
Алексей
ЧЕРКАСОВ
Полина
МОСКВИТИНА

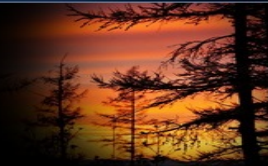
**СКАЗАНИЯ
О ЛЮДЯХ
ТАЙГИ**



МОЯ БОЛЬШАЯ КНИГА

Алексей
ЧЕРКАСОВ
Полина
МОСКВИТИНА

**СКАЗАНИЯ
О ЛЮДЯХ
ТАЙГИ**



МОЯ БОЛЬШАЯ КНИГА

Annotation

Трилогия **А. Черкасова** и **П. Москвитиной** «Сказания о людях тайги» включает три романа и охватывает период с 1830 года по 1955 год.

«Хмель» — роман об истории Сибирского края — воссоздает события от восстания декабристов до потрясений начала XX века.

«Конь рыжий» — роман о событиях, происходящих во время Гражданской войны в Красноярске и Енисейской губернии.

Заключительная часть трилогии «Черный тополь» повествует о сибирской деревне двадцатых годов, о периоде Великой Отечественной войны и первых послевоенных годах.

Трилогия написана живо, увлекательно и поражает масштабом охватываемых событий.

Содержание:

Хмель

Конь Рыжий

Черный тополь



-
- [Алексей ЧЕРКАСОВ, Полина МОСКВИТИНА](#)
 -
 - [ХМЕЛЬ](#)
 - [НАПУТНОЕ СЛОВО](#)
 - [КРЕПОСТЬ](#)
 - [ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)

- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
- [ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
- [ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)

- ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
- ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
- ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
- АПОЛОГ
 - I
 - II
 - III
 - VI
 - V
 - VI
- КОРНИ И ЛИСТЬЯ
 - ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV

- V
- VI
- ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
- ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI
- ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
- ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
- ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ
 - I
 - II
 - III

- IV
- V
- VI
- ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
- ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
- ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
- ЗАВЯЗЬ ДЕСЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
- ЗАВЯЗЬ ОДИННАДЦАТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV

- V
- ЗАВЯЗЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
- ЗАВЯЗЬ ТРИНАДЦАТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
- ЗАВЯЗЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
 - I
 - II
 - III
- ПЕРЕВОРОТ
 - ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII

- VIII
- ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
- ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
- ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
- ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII

- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
- ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
- ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
- КОНЬ РЫЖИЙ
 - БЫТИЕ РЫЖИХ ЛЕБЕДЕЙ
 - I
 - II

- [III](#)
- [IV](#)
- [ВЕТРЫ И СУДЬБЫ](#)
 - [ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)

- VII
- ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI
- ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
- ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
- ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ
 - I
 - II
 - III

- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
- ЗАВЯЗЬ ДЕСЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI
- МЕРОЮ ЖИЗНИ
 - ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI

- VII
- VIII
- IX
- ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
- ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
- ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI
 - XII

- XIII
- XIV
- ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
- ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI
 - XII
 - XIII
 - XIV
 - XV
 - XVI
- ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII

- IX
- X
- XI
- XII
- ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI
 - XIII
 - XIII
- ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
- ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ
 - ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV

- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI
 - XII
- ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI
 - XII
 - XIII
- ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
- ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI
 - XII
- ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V

- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
- [ЗАВЯЗЬ ДЕСЯТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
- [ЗАВЯЗЬ ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)

- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- ЗАВЯЗЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
- ЗАВЯЗЬ ТРИНАДЦАТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
- ЗАВЯЗЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
- ЗАВЯЗЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

- I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - ΑΠΟΛΟΓ
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
-

**Алексей ЧЕРКАСОВ, Полина
МОСКВИТИНА**
Сказания о людях тайги
(трилогия)



ХМЕЛЬ

НАПУТНОЕ СЛОВО

Было так...

1941 год, канун Октября. Напряженное ожидание чего-то важного, необычайного, что должно произойти не сегодня-завтра. Белые и красные флажки на географической карте столпились возле Москвы и вокруг Ленинграда. Каждое утро, после того как с телеграфа приносили в редакцию сводку Совинформбюро, мы собирались у карты, молчали и угрюмо расходились по своим углам; шли напряженные бои за Москву...

В один из таких дней в редакцию пришло довольно странное письмо из деревушки Подсинея, что близ Минусинска. Письмо попало ко мне. Я читал его и перечитывал и все не мог уразуметь: о ком и о чем в нем речь? И что за старуха пишет в таком древнем стиле:

«Вижу, яко зима хочет быти лютой, сердце иззябло и ноги задрожали. Всю Предтечину седмицу тайно молюся, чтобы сподобиться, и слышу глас господний. Время не приспе: и анчихрист Наполеон у град Москвы белокаменной на той Поклонной горе, где повстречалась с ним малою горлинкою несмышленной, и разуметь не могла, что Москве гореть и сатане погибели быть. Да пожнет тя огонь, аще не зазиришь спасения. Погибель, погибель будет. И лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом...»

Вот и пойми: «Лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом...» И что за малая горлинка, которая виделась с Наполеоном? После нашествия Наполеона минуло сто двадцать девять лет!..

Письмо было большое, написанное с буквой ять, с фитой, ижицей, прямым, окаменелым почерком. Мы его называли «письмом с того света». Под письмом стояла подпись «Ефимия, дочь Аввакума из Юсковых, проживающая в деревне Подсинея у Алевтины Крушининой».

Интереса ради, да и к тому же попутно по дороге в Минусинск, заехал я в деревушку Подсинюю и отыскал бревенчатую избенку Крушининой, наполовину вросшую в землю. Три подслеповатых

окошка, завалинка до окна, рада в три жердины, копна сена в огороде, корова у копны и снег, снег до берега Енисея.

В избе на деревянной кровати на лохмотьях жались ребятенки — похожий на одуванчик мальчишка лет трех и две девочки-погодки — лет семи и шести. Я поздоровался, но мне никто не ответил. Ребятишки еще теснее сплелись в клубок.

— Мамы нету. Она на ферме, — предупредительно сообщила девочка постарше.

— Ну, а бабушка Ефимия у вас проживает? — спросил я.

— Вон она, на печке дрыхнет, — выпалила старшая.

В избе было довольно прохладно. Я спросил: где же их отец? Мальчонка скороговоркой сообщил:

— Папку убили фашисты на войне.

Разговор с ребятенками потревожил бабку Ефимию, и она, откинув занавеску, поглядела с печи...

Голова ее была совершенно белая. Ястребиный нос пригнулся чуть не до верхней губы. Лицо было до того перепахано морщинами, что никто бы не мог угадать, какой была старуха в молодости. На мой вопрос, не она ли написала письмо в редакцию газеты, старуха охотно подтвердила:

— Кто же за меня напишет? Сама. Сама. Анчихрист, анчихрист Наполеон. Детей вот осиротил и горем землю заполнил. Сгинет он в пожаре, сгинет.

Я сказал, что Наполеона давным-давно в помине нет и что война идет с Гитлером, с фашистской Германией. Старуха проворчала что-то, поворочалась на печке и медленно слезла, кутаясь в рваную шаленку. Сказала:

— Не сообщно глаголать то, чего не ведаешь, раб божий. Сказано: сатанинское — в сатану вмещается; Саулова — в Саула, Исавова — в Исава. Рече про Гитлера, а он — сатано Наполеон. Видала я его, треклятого. Ноги толстые, обтянутые белыми штанинами, и ляжками дрыгает. И губы, яко скаредные, продольные. Не брыластый. Нет! Брыластые добрые.

Старуха пояснила: «брыластый» — толстогубый, значит. Так говаривали, дескать, в старину.

Я все-таки не верил, что старуха виделась с Наполеоном, и она еще раз подтвердила:

— Как же, как же. Как вот с тобой теперь. Ближе даже.

— После Наполеона, бабушка, много воды утекло!

— Много, много. И воды и грязи. И морозы были. И тепло было, и люди были, и звери были. Молодые гибли, как солома на огне. А я живу, мучаюсь и не зрю века. Ох-хо-хо!

Я невольно поинтересовался, сколько же ей лет.

— Да вот с предтечи сто тридцать шестой годок миновал. Год-то ноне от сотворения... Зажилась, должно. Аще не днесь, умрем же всяко. И рече господь: ходяй во тьме, невесть камо грядет. Не сделай беды, да и не сгинешь во зле.

— И паспорт у вас есть, бабушка?

— Лежит, лежит пачпорт. Не мне — на ветер дан. На пришлых да встречных. Покажу ужо. Покажу. Глянь. Глянь...

Паспорт советский, самый настоящий, и выдан был в городе Артемовске в 1934 году. Год рождения — 1805-й!

Спустя много лет Ефимия заговорила у меня в Сказании «Крепость», и я услышал ее голос, увидел ее живые черные глаза, глубокие и красивые в девичестве, но она ли это? Та ли Ефимия, с которой я встретился тогда в избушке?

«Я так вижу», — сказал один большой художник.

Много, очень много было встреч с людьми сибирской тайги и особенно с крепчайшими раскольниками-старообрядцами — не с волжскими, описанными Мельниковым-Печерским, а с непримиримыми, которых при всех царях гнали этапами в Сибирь.

Особенно памятной для меня была быль, рассказанная Дедом, Зиновием Андреевичем Черкасовым, о декабристе, нечаянно встретившемся с общиной поморских раскольников где-то на берегах Ишима в бывшей Тобольской губернии. Этот декабрист был моим прапрадедом.

Так по крупинке из года в год собирались впечатления, раздумья, покуда не вылились в романах Сказаний.

Да, я их такими вижу, больших и маленьких героев Сказаний! Увидит ли их такими же взыскательный читатель?..

КРЕПОСТЬ

Сказание первое

*Сторона-то ты, сторонушка,
Далекая, сибирская!
Лесами ты богатая,
Зверями непочатая,
Народ в тебе, сторонушка,
Со всей России-матушки:
С Волги, с Дона тихого
Шли люди, духом смелые,
Удалью богатые!..*

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

I

Чуждо и дико гремело железо в ковыльном безмолвии. «Тринь-трак, тринь-трак», — слышались кандалные звуки.

Степь и степь...

Как моря синь, как неоглядная голубень июльского неба, равнинная степь. Хоть бы лесная опушка, кустик ли — кругом голым-голо. Хоть бы капля дождя упала на отвердевшую, как камень, местами лысую землю с выступающими островками солонцов.

Человек, закованный в кандалы, брел степью неведомо куда, не чая, выйдет ли к чему живому или упадет и никогда уже не подыметя.

Каторжанские коты на деревянных подошвах, негнущиеся, тяжелые, затрудняли движения колодника, и он часто останавливался, вытирая рукавом серой арестантской куртки пот с лица.

Следом за колодником прыгала гривастая, низкорослая гнедая кобылица с таким же гнedenьким жеребенком-сосунком. У кобылицы была повреждена левая передняя нога — и она скакала на трех. Жеребенок то забегал вперед, то плелся сзади, то уносился по степи в сторону, и тогда кобылица печально и призывно ржала.

Третьи сутки тащила лошадь за колодником. Она подошла к нему ночью при полной луне и, когда колодник попробовал поймать ее, дико фыркнула и ускакала прочь. Потом снова вернулась и шла за ним на некотором расстоянии. Откуда она появилась в безводной степи и что ее тянуло к человеку, которому она не хотела даваться в руки, — так и осталось загадкой для колодника. Холка и шея у нее были избиты и затянулись коростой. Может, кто-то из обоза, что шел по Московскому тракту, бросил изувеченную кобылицу вместе с жеребенком, и она, плутая по степи, набрела на такого же одинокого, человека и шла теперь за ним, томясь, как и человек, желанием: скорее добраться до пресной воды; к речке ли, к озеру, хотя бы к лужице.

Если колодник, изнемогая от цепей, падал на землю, кобылица ждала, когда он встанет; жеребенок тем временем тыкался мордой в вымя матери, где, наверное, не было ни капли молока.

Кудрявым маревом иссыхала налитая зноем пустыньность, и не было ей конца-края. Куда ни кинь взор — всюду синее, смыкающееся с небом, равнинное безмолвие; никлый, устоявшийся ковыль, распустив сизые усы, переливался от шалого ветра лиловыми барашками. Иногда по степи проносился вихрь, трепал космы ковыля, и опять все утихало, томилось в жарких лучах солнца, накаляющих воздух и землю. В такую пору над истомленной степью не парит даже птица, не встретишь ни зверя, ни косяка диких коз и лошадей, каких немало водится в степном приволье. И все-таки степь жила какой-то особенной, неторопливой и трудной жизнью. Где-то пролегал Московский тракт; проезжали государевы почтовые кибитки; скакали на четверках фельдъегеря с форейторами; плелись груженые товарами купеческие телеги на железном ходу; тарактели наемные подводы с пассажирами, а временами по тракту гнали арестантов, закованных в цепи, и колодник, выйдя на тракт, вряд ли обрадовался бы встрече с партией каторжан, угоняемых на рудники в Сибирь.

Степь и степь!..

«Тринь-трак, тринь-трак», — вызванивали цепи.

Голубая суконная куртка с двумя желтыми бубновыми тузами на спине — знак государственного политического преступника — покрывала широкие плечи колодника. Он был высок, хотя и сильно сутулился. Его светло-синие глаза ввалились и казались большими, округлыми; на щеках, опаленных солнцем, шелушилась кожа; кудрявая

бородка золотой подковкой обрамляла прямоносое исхудалое лицо. Арестантский колпак он разорвал на лоскутья и подложил под железные браслеты на ногах. Сыромятный ремень, который поддерживал кандальную цепь на ногах, соединенный с цепью на руках, служил поводком, за который он держался одной рукой, а другой тащил суковатую палку. Кандальные кольца были наглухо заклепаны.

Озираясь, колодник испуганно пробормотал:

— Курган! Опять тот же самый курган... О господи, в пятый раз выхожу на это же место!..

Действительно, впереди возвышался курган. Но тот ли самый?.. Колодник подошел ближе и увидел помятую траву и несколько свежих лунок.

Некоторое время он тупо созерцал место, куда вышел в пятый раз, потом ударил палкой по комку земли и вдруг услышал за спиной голос: «Мичман Лопарев».

Он вздрогнул, выронив палку и мгновенно обернувшись: никого не было, кроме кобылицы с жеребенком. «Но я же слышал, слышал... Клянусь девятью мужами славы, то был он! — вспомнил хрипловатый, лающий голос коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина. Фамилия генерала была под стать его должности. — Или опять показалось? Ночью голос Рылеева слышал, а сейчас — Сукина...»

Он упал на примятую траву и долго лежал так, к чему-то напряженно прислушиваясь и бормоча:

Царь наш — немец русский,
Носит мундир прусский...

Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!

Трусит он законов,
Трусит он масонов...

Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!

Только за парады
Раздает награды...

Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!

А за правду-матку
Прямо шлет в Камчатку...

Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!

«А за комплименты — голубые ленты», — вспомнил еще и, подняв голову, похолодел: будто совсем рядом, рукой подать, в струистом мареве — Санкт-Петербург, Сенатская площадь... Та самая! И Медный всадник, придавив копытами чугунно-черную гадюку, простирал руку к реке, указывая колоднику на золотой шпиль Петропавловского собора и на крепость, стену которой омывали прохладные воды Невы.

— Боже, боже... — простонал он, привстав на колени и неотрывно глядя на причудливый мираж. — Я вижу, вижу!.. Неву вижу! Шпиль вижу! Крепость!..

Вот она — Нева, северная жемчужина славян, счастье водное. Вот она, совсем рядом. Иди же, колодник, и утоли жажду. Забудь, что ты затерялся в пустынной равнине за Каменным поясом — Уралом. Нева, Нева!.. Ты слышишь, колодник, как плещутся ее благодатные воды?..

Мираж постепенно отдалялся и таял в жарком полуденном мареве.

— Я же видел, видел! — воскликнул он, с ужасом глядя на необозримую степь: уж не лишился ли ума от жажды? Он знает: в степи нередко можно увидеть мираж, но почему именно примерещились Сенатская площадь, Медный всадник, золотые купола Петропавловского собора и сама Нева?..

Колодник заплакал и снова уткнулся лицом в скрипучий ковыль.

В больном воображении проносилась одна картина за другой — и так явственно, точно все происходило вчера.

Улица города Ревеля... Он спешит к прохладе и пьет, пьет и никак не может напиться. Он один среди прохожих, совершенно незнакомых. Море где-то далеко-далеко, за тридевять долин. И есть ли вообще море, прохладные реки, утоляющие жажду?... Страх сковывает его: он боится поднять голову — опознают... И тут, на людной улице, чья-то тяжелая рука в перчатке ложится ему на плечо:

— Мичман Лопарев!

Он не успевает ответить: перед ним жандарм.

— Вы арестованы.

— Пить... пить. — Он облизывает губы. Жандарм сухо отвечает:

— Нет для вас воды, нет для вас моря, а есть вечная безводная степь в Сибири, за Уралом, и вы умрете от жажды, государственный преступник Лопарев! Следуйте за мною!

«Если бы я тогда не задержался на сутки в Ревеле, я мог добраться до Варшавы, а там — к Юлиану Сабинскому, к Ядвиге, — подумал Лопарев, переживая минувшее в своей нелегкой судьбе. — Нет, я их не выдал. Ни Ядвигу, ни Юлиана, ни Мстислава со Станиславом. Венценосец не вымотал из меня признания, нет! Ты слышишь, Ядвига?..»

Черные, ищущие глаза Ядвиги придвинулись к его лицу. Она все такая же — чуточку насмешливая, капризная полячка, но самоотверженная и бесстрашная, как и ее двоюродный брат Юлиан... Лопарев и Ядвига в полутемной гостиной дома Сабинских пьют старое вино; на улицах Варшавы гроза и дождь.

Он пьет вино и говорит стихами Кондратия Рылеева:

Ревела буря, дождь шумел;
Во мраке молнии летали,
И беспрерывно гром гремел,
И ветры а дебрях бушевали...
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком берегу Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой...

Ядвига спросила:

— Кто такой Ермак?

Он ответил.

Ядвига печально промолвила!

— О matka боска! Только бы не Сибирь. Мне страшно за всех вас. Только бы не Сибирь!

— Ядвига! Ядвига! Где ты? — зовет он в исступлении. ... Безмолвие и полуденный зной, от которого нигде не укрыться...

— О боже! Конец мне, конец... — стонет колодник, приминая лицом ковыль.

Где теперь Ядвига Менцовская? Юлиан Сабинский? Где они все, варшавские друзья? Он никого не предал, никого не назвал...

— Ты сгниешь в тринадцатой камере, жалкий мичманишка! — рычит генерал Сукин.

Тринадцатая камера в Секретном Доме... Камера с голосами призраков... Колодник слышит пронзительный крик:

— Назови сообщников в Варшаве! Назови сообщников в Варшаве!

— Не было, не было сообщников... стонет он. Но... чу! В уши бьет материнский голос:

— Сашенька! Сашенька! — Не голос, а мученическая мольба израненного сердца. — Что ты наделал, Сашенька! Как ты мог скрыть от меня и от отца крамольную тайну? Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив — простит. И я буду молиться. Закружили тебя бесы...

«И я закружился в проклятой степи, — с горечью подумал колодник. — Бесы закружили, видно: в пятый раз я вышел на этот курган. Может, и в жизни так — кружимся, кружимся, а выбиться на дорогу не можем?..»

Руки матери теплые, желанные.

— Сашенька...

И сразу же, как в пекло головой: лицом к лицу с генерал-адъютантом Чернышевым.

Генерал-адъютант вкрадчиво допытывается:

— Смею спросить: кого же вы прочили в Буонапарты России? Пестеля? Рылеева? Или Муравьева-Апостола? Кого же? Я, смею заверить, пожил на белом свете и кое-что повидал, не исключая

самозванного императора Франции. И вот — Конституция вашего тайного общества, кою вы собирались огласить народу, если бы вам удалось... Кого же вы готовили в Буонапарты?

«Нет, нет, нет! — стонет колодник, выдирая руками ковыль. — Мы не готовили Бонапарта для России. Нет, не готовили...»

«Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив — простит...»

— О боже!..

Он вскочил, гремя цепью. Перекрестился. Перед ним — все тот же курган, изнывающая в зное ковыльная степь.

II

Бывший мичман гвардейского экипажа, участник декабрьского восстания Александр Лопарев, 1803 года рождения, государственный преступник, осужденный по третьему разряду известного царского алфавита к двадцати годам каторжных работ и к вечному поселению в Сибири, три года отсидевший милостью царя в Секретном Доме Петропавловской крепости, — бежал с этапа...

Седьмого июля 1830 года этап остановился на привал у гнилого озера. Вода была вонючая, мерзкая. Берега поросли камышом: войдешь, — и потеряешься, как в лесу. Уголовники, какие шли в Сибирь вместе с Лопаревым, собирали на берегу сухой камыш и жгли его возле багажных кибиток.

Ночью разыгралась гроза с проливным дождем, и Лопареву не спалось. Жандарм Ивашинин храпел рядом. «Бежать!» — будто услышал Лопарев чей-то голос.

Бежать... Берегом озера, подальше в степь от своей злосчастной судьбины! Думалось: верст десять — пятнадцать пройти степью, а там...

И Лопарев ушел.

Всю ночь брел под дождем, неведомо куда; с рассветом передохнул и поплелся степью дальше. Трижды встречались ему озера — солоноватые, горклые, но Лопарев не брезговал, утолял жажду, и все шел, шел...

На вторые сутки повернул на запад, к тракту, как думал, но степь так и не разомкнула своих жарких объятий.

После грозы и дождя наступил иссушающий зной.

Знает ли кто, что такое степь безводная? Есть ли другое место на земле, где все так чуждо человеку, где земля бела от соли, а от необоримой жары сохнут даже глаза?

Под вечер пятых суток, когда солнце ткнулось в горизонт, у ног Лопарева мелькнула тень. Глянул кверху — орел! На сажень в размахе крыльев. Лопарев даже слышал, как шумели они, когда птица кружила над степью. Кобылица и жеребенок жались к нему, как бы моля о защите. Лопарев судорожно сжал палку, и в тот же миг орел камнем упал жеребенку на спину. Лопарев ударил орла, тот неистово забил крылом, словно подгоняя свою жертву. Лопарев, задохнувшись, ударил еще и еще уже из последних сил, и потом, когда окровавленная птица рухнула наземь, долго топтал ногами ее бесформенную тушу. Надрывный и тонкий крик жеребенка вплетался в тревожное ржание кобылицы. Так и стояли они вместе с человеком, будто судьба связала их одной веревкой...

В ночь на шестые сутки Лопарева одолевали видения: то мерещилась ему тринадцатая камера Секретного Дома; то кидала его соленая морская волна, и тогда еще сильнее томила жажда; то чудился ему двуглавый серебряный Эльбрус...

О, Ядвига, Ядвига!

Лопарев повстречался с пани Менцовской на водах, где она была вместе с Юлианом Сабинским, своим двоюродным братом. Сабинский слыл за ученого, говорил свободно на многих языках и держался с большим достоинством. Но Ядвига, Ядвига... Она будто никого не замечала, и никто не решался приблизиться к ней, кроме молодого князя Темирова, гвардейского поручика. Внезапно они рассорились. Как и что произошло, Лопарев не знал.

Возвращаясь с прогулки, уже после размолвки с гвардейцем, Ядвига подвернула ногу. У самой тропки, которой начинался подъем на Бештау, Лопарев услышал зов о помощи.

«Я бежал на этот голос, словно олень, — восстанавливал он в памяти и вновь переживал ту встречу. — Я бежал бы вечность. Я узнал ее тотчас, и мне почему-то стало страшно. Ползком Ядвига пыталась достигнуть дороги, ведущей в город. С ужасом глядел я на ее маленькую ножку, еле прикрытую изодраным платьем. Потом я увидел лицо Ядвиги: в слезах оно было прекрасным! Ее локоны

ниспадали к плечам, а белая шляпка, перехваченная у шеи резинкой, была откинута за спину. Я стоял, не зная, что делать, и, вероятно, выглядел глупо, без конца бормоча сладостное сердцу имя.

«Нога... О, матка боска!.. — со стоном проговорила Ядвига и что-то добавила по-польски, но я не понял. — Помогите ж мне!»

Осмотрев ногу в тонком чулке, я сказал, еле ворочая языком, что перелома нет, а только опухоль у щиколотки. Ядвига смотрела на меня, смигивая слезы. Я и теперь их вижу. Потом она спросила, знаком ли мне поручик Темиров. Да, я знал князя, отчаянного дуэлянта и скандалиста. «Он обидел вас, пани?» — спросил я. Губы ее дрогнули. «Нет такого поганого русского князя, который что-либо мог сделать з мною!» — со злостью выговорила Ядвига, и я догадался, что между ними что-то произошло на Бештау. Затем она сказала, что больше никогда не поедет на кавказские воды, и пусть будут прокляты поганые москвиты, пусть будет проклята Россия, погубившая ее отца, который бежал во Францию и умер там в изгнании. Я отвечал: «Россия не виновата, пани. Цари — еще не Россия. Разве, говорил я, презренный Наполеон был вся Франция? Он был изгнан с позором, а прекрасная Франция осталась, и французы остались французами... Так в у нас в России будет: настанет время, и презренных царей уничтожат, а Россия жить будет, и народы жить будут...»

Что я еще говорил?... Ах да, — о ней, о ее красоте... Говорил о своей матери: она ведь тоже из Кракова, полячка, о друзьях моих рассказывал, особенно о тех, кто побывал во Франции, в Париже, О, с какими мыслями, многие из них вернулись оттуда: о свободе народной они говорили, о революции, о конституции... Правда, я и словом Ядвиге не обмолвился ни о Северном, ни о Южном обществе, но дал ей знать, что в России есть люди, способные покончить с самодержавием.

Как удивилась и обрадовалась Ядвига. «О, матка боска! — воскликнула она, сжимая мои руки. — Увижу ли свободную Польшу?!» И я почему-то уверенно сказал, что настанет день, когда ее мечты сбудутся.

А теперь... Так много времени прошло! Но я не забыл ни Ядвиги, ни наших разговоров. Стремления, мечты мои и Ядвиги — все это слилось в одно целое.

Даже в стенах Секретного Дома, с глухонемыми надзирателями, ее образ не покидал меня. Ядвига была утренней и вечерней моей звездой. Не было во мне большего желания, чем видеть и видеть ее, но мечтам этим не суждено было сбыться. И вот в горький час жизни моей, в этой безводной сибирской степи, я с нею и будто ощущаю ее теплые руки и вижу грустные ее глаза. Мне неотступно слышится грудной тембр ее голоса: «Я буду любить тебя. Ты хочешь этого? Я буду любить, видит бог, говорю правду...»

— Ядвига, я перенес все пытки, но не предал нашу мечту... Ты слышишь, Ядвига, меня не сломили... И снопа готов идти той же тернистой дорогой. Слышишь?

Безмолвие и тяжкая, тяжкая ночь...

Ты помнишь, как я нес тебя на руках в город? Твои руки были теплы и пахучи, а вся ты — невесомая, жаркая... О, как хотелось бы, чтобы это повторилось...

И все-таки ты не могла понять меня до конца: я не мог стать католиком, как ты хотела. И не потому, что я православный, — совсем нет: наша религия одна — на плаху венценосцев, свободу народам! Польскому, русскому, всем народам, населяющим империю под двуглавым орлом. Понимаешь ли ты меня?..»

Но кругом то же безмолвие и тяжкая ночь...

После знойного дня земля отдает свое тепло. Колоднику худо в степной духоте, и бредовые видения снова кидают его с волны на волну, как щепку в море.

Он опять с Ядвигою — там, на Бештау. И знойно, и душно, и нет ни глотка воды. Но он, колодник, несет на руках Ядвигу не в сторону Пятигорска, а к себе на Орловщину, в деревню Боровиково, в отцовское имение. Там у них парк с прохладой, такой чудесный пруд и вода, вода, кругом вода!

Но куда же за ними скачет хромая кобылица с жеребенком? Или она так и будет за ними скакать вечно? «Не гони ее, Александр, — шепчет Ядвига. — Пусть она будет с нами. Но куда же мы? Куда идем?» И глаза Ядвиги насыщены тревогою, какими он запомнил их в последний чае расставания.

«Мы будем идти дальше, дальше, дальше! — бормочет колодник, вцепившись руками в хрустящий ковыль. — Ядвига, ты слышишь? Мы должны идти дальше!..»

Колодник очнулся от призывного ржания кобылицы. Над степью все выше поднималось синее небо, а ему, колоднику, хотелось бы еще вернуть себе Ядвигу и движение, движение по каменистой тропе... Он, колодник Лопарев, должен встать и идти... «Но что теперь в том... Настал конец. Мой конец, Ядвига! И если я погибну здесь, помни: тебе завещаю жизнь и счастье.

Жизнь и счастье...»

Ш

Уже занялась над степью предутренняя голубень, когда Лопарев увидел зарево. Будто и близко стояло оно, но не верил глазам: может, снова видение?

Какая сила подняла его с земли, он и сам не знал. Он шел и шел, а зарево было все так же далеко. Когда показалось солнце, оно исчезло совсем, и тут, в утренней свежести, почудилось, будто лают собаки.

Лопарев упал и пополз на четвереньках. Он не мог вспомнить, куда девалась кобылица с жеребенком...

И вдруг, словно чудо, какое-то поселение открылось взору, и силы покинули Лопарева. Он позвал: «Люди!» Но было тихо. Темнел лес, — не мираж ли? Нет, зримость! Воды, воды, воды! — это было единственное, чего он жаждал, и чувствовал, что внутри у него все сгорело и обуглилось.

Воды, воды, воды!..

Накинулись лохматые псы. Лопарев уткнулся головой в землю и так лежал до тех пор, пока не склонились над ним трое бородачей — один другого старше; двое тощих и длинных, — в посконных рубахах до колен, в войлочных котелках, — сивобородые, угрюмые, третий — согбенный, кривоносый, с реденькой белой бородкой и босой; к правой ноге его была прикована пудовая гиря на железной цепи.

Отогнали собак, молча переглянулись и перекрестились ладонями.

— Эко! Человече бог послал, — сказал длинный старик.

— По ногам и рукам закованный. Беглый, должно, — дополнил другой, длинный. — Каторга!

Кривоносый же фыркнул:

— Откель те ведомо, праведник Тимофей, што зришь человеце, а не сатано в рублище кандальника?

— Спаси и сохрани! — перекрестились двое.

Лопарев поднял голову: сивобородые мужики кружились перед глазами, и вся земля тоже качалась.

— Воды, воды, воды!..

— Сатано и в багрянице является, — продолжал кривоносый, пристально разглядывая колодника.

— Также, праведник Елисей! — поддакнул один из старцев.

— Ноне судному молению быть, — напомнил названный Елисеем с гирей у ноги. — Может, в яму к нечестивке ползет нечистый дух? А? Спаси и сохрани, господи!..

Все трое истоиво осенили себя ладонями, отплевываясь от нечистого духа.

— Пить, пить...

— Ишь как вопиет! Воды просит, чтобы порчу навести на всех и в геенну огненну ввергнуть праведников. Беда будет! Беда!

— Спаси Христос! — поддакнули двое.

— Аз же хвалу богу воздав, вопрошаю нечистого: хто такой будешь? — уставился Елисей. — Сказывай! Крест наложи на чело свое. Ну-ка же?

Лопарев перекрестился тремя перстами.

— Сатанинским кукишем осенил себя!

— Нечистый дух!

— Святейшего батюшку позвать надо...

— Да, чтоб ништо из правоверцев не зрил нечистого, — напомнил Елисей. — Грех будет.

— Грех! Грех!

— Осподи помилуй!

— Пить... ради бога! — Лопарев уперся локтями в землю.

— Изыди вон! Изыди, изыди!

— Нету для тя воды, нечистый дух! — затрясся Елисей. — Смолу кипучу хлебай, хоть от пуза, и сам варись в той смоле. Правоверцев не совратить тебе, нечистый! Изыди! В геенну кипучу! Вон, вон!

— Батогами гнать надо, праведник Елисей! — подсказал кто-то.

— Пусть благостный батюшка Филарет глянет — тогда погоним, ужо. Топтать будем, ужо. Пинать будем, ужо. Также славно будет Иисусе

многомилостивому, Иисусе пресладкому, Иисусе многострадному!
Аллилуйю воспоем на всенощном моленье.

— Воспоем, воспоем!..

Кандальник решительно ничего не разумел из всего этого.

— Благостный батюшка Филарет идет со старцами, — сообщил Елисей и опустился на колени; двое других сделали то же.

— Люди! Или вы глухи? Помогите же! — тщетно молил Лопарев, пытаясь встать на ноги.

Сутулый, тщедушный Елисей торжественно затянул:

— Батюшка Филарет наш многомилостивый, многоправедный, яко сам Спаситель, благостный и пресладкий, спаси нас от погибели!

Двое, бородами касаясь земли, разом подхватили:

— Спаси нас! Спаси нас! Елисей воздел руки к небу:

— Духовник наш многомилостивый, отец родной наш, покровитель наш и яко Спаситель, оборони от нечистого! Сатано приполз к становищу! Рога зрил; хвост зрил; огонь из горла исторгался и смрадный дым шел. Аминь!..

Лопарев окончательно сбился с толку. О каком сатане плел старикашка? И что они за люди? Будто мужики, и на мужиков не похожи. И кто этот их многомилостивый покровитель? Собрав все силы, он стал подниматься с земли и тут увидел, как двигался к нему некий старец, вид которого поверг Лопарева в трепет.

Старец был необыкновенно высок, с царя Петра, костлявый, прямой; на белой рубахе до колен искрилась такая же белая аршинная борода: поверх нее лежала толстая золотая цепь — увесистый осьмиконечный золотой крест. Холщовая рубаха была перетянута широким ремнем по чреслам; длинные белые космы, ни разу, видать не стриженные, спускались ниже плеч. Старец был бос и шел величаво, опираясь на толстый посох с золотым набалдашником и железным наконечником, — точь-в-точь Иван Грозный со старинной иконы. И такой же горбоносый.

— Кого бог послал? — подойдя, спросил он. — Подымитесь, праведники. Спаси вас Христос.

— Спаси Христос, батюшка Филарет! — поднялись праведники, крестясь.

Старец грозно огляделся:

— Где зрите Филарета! Али у алтаря, на моленье? Из памяти вышибло, должно? Не вижу Филарета, старца. И где он?

Старики испуганно переглянулись.

— Нету, нету! — подтвердил догадливый Елисей. — Бог даст, увидим. На моленье увидим, яко Спасителя. Воспоем аллилуйю, праведники, батюшке Филарету.

— Аллилуйя, аллилуйя! — воспели бородачи. Старец стукнул посохом, сердито напомнил:

— Когда явится к нам батюшка Филарет, тогда и аллилуйю петь будем. Кого бог послал — сказывайте! — кивнул на Лопарева.

Подобострастный Елисей сообщил, что вот, мол, явился нечистый дух в облике кандальника, чтобы порчу навести на древних христиан, и что он, Елисей, на какой-то миг собственными глазами увидел на сатанинском лбу рога, и огонь с дымом из пасти шел.

— Такоже. Такоже, — поддакнули старики.

— Православный я! Православный! — не выдержал Лопарев и перекрестился щепотью. — Я православный, русский...

Старец с посохом ворчливо ответил:

— А мы — люди божьи. Не русские и не православные, а праведные христиане.

— Куда ж я, люди? Шестые сутки без крошки хлеба. Люди!.. — путаясь в словах от слабости, бормотал Лопарев.

— Никоновой щепотью молишься? — уставился на него старец. — Стал-быть анчихристу молишься. Иуда брал соль щепотью, а никониане, собакины дети, купель божию щепотью осеняют. Спасителя Иуса Иисусом зовут, как нечестивцы. За семнадцать праведных поклонов — четыре бьют; усердие богу во мзду обратили. Аллилуйю во храме божьем поют три раза, а не два, как но старой вере. Оттого и погибель будет.

Он тронул посохом кандалы:

— За какой грех закован? Правду глаголь. Срамные уста лживостью сами себя губят. А бог, он все видит и слышит.

— Воды! Хоть глоток воды!.. Подумав, старец оглянулся на мужиков:

— Скажите там Ефимии, пусть принесет для болящего, пришлого с ветра. Живо мне!

Один из мужиков побежал. Старец опустился на колени и осмотрел, как заклепаны железные кольца на ногах.

— Эко! Крепко привязал тебя царь своей милостью-радостью. Ну, да цепи люди сымут. Вольным будешь, ежели скажешь, пошто закован.

— За восстание закован. Царю Николаю не присягнул.

— Царю-анчихристу?! Дивно! За восстание, говоришь?

Лопарев полагал: вся Русь знает про то, что свершилось четырнадцатого декабря. Но старец про восстание ничего не слышал.

— В самом Петербурге? Тихо, божьи люди!

Лопарев сказал, что часть войска в столице во главе с офицерами отказалась присягнуть Николаю, царь жестоко подавил восстание, а потом учинил суд и расправу. Солдат прогнали сквозь строй и били шпицрутенами. Тех, кто выжил, заковали в кандалы и отправили на каторжные работы и на вечное поселение в Сибирь. Офицеров не били шпицрутенами, но пятерых повесили в Петропавловской крепости, остальных приговорили к разным срокам каторги, к вечному поселению в Сибири, разжаловали в рядовые. И что он, колодник, успел бежать в Ревель, но вскоре был опознан и пойман, доставлен в Петропавловскую крепость, а потом по личному приказу царя заточен в Секретный Дом, и что он бежал с этапа, плутал по степи и вот вышел к ним...

— Много ли солдат забили палками? — спросил старец. Лопарев числа назвать не мог. Должно, много.

— Праведный ты человек, кандальник, коль на царя-анчихриста топор поднял. На плаху бы царю-то, на плаху! — одобрительно гудел старец, пощипывая бороду. — А мы-то ни слухом ни духом не ведали про восстание!.. Помогите, мужики, человече и отведите к Мокеевой телеге. Живо мне! Не дам тебя в обиду, раб божий. Хоть и не нашей веры-правды, но на праведном деле мучение принял. Вот и привел тебя господь к становищу древних христиан. Не принимаем мы власть царя-анчихриста, оттого и ушла с Поморья в Сибирь студеную. Не раз подымался народ на анчихриста, но не одолел. Слышал, может, про осудари Петра Федоровича? Царствие небесное осударю-батюшке! — Старец перекрестился и, завидев женщину в черном платке, позвал:

— Подь сюда, Ефимия.

Женщина подошла. Старец принял из ее рук берестяную посуду, спросил: кипячена ли вода?

— Нет, батюшка. Речная.

Старец вылил воду. Лопарев вскрикнул.

— Погоди, сын божий. Нельзя сырую пить-то, коль ты обгорел изнутри.

IV

Долгим показался колоднику путь до того места, где находилась телега.

И вдруг, сразу, промеж двух рябиновых прибрежных кустов увидел он спокойную синь речной воды. Рванулся, но мужики удержали.

Над степью, за рекой, вставало солнце в полкруга, и тени от берез отпечатались длинные, пронизанные багрянцем. И небо розовело, и степь, и птицы, перелетающие с дерева па дерево. Певучая звонкость как бы призывала к движению и радости. В поредолой роще виднелся пригон для скота, оттуда шли женщины с подойниками, повязанные платками до самых бровей, украдкой взглядывая на небывалого человека в кандалах.

Отроки в длинных холщовых рубахах и без штанов шли следом за Лопаревым, покуда не оглянулся один из бородачей и не погрозил батоном.

Замычали коровы. За Ишимом кочевники в малахаях, рассевшись на берегу, курили трубки.

Лопарева подвели к телеге и усадили на сухое, шуршащее Сено под холщовым пологом.

Старец сам подал кружку с кипяченой водой, Лопарев выпил ее одним махом.

— Еще!

— Погоди ужо, раб божий. Который день без воды-то?

— Четвертые сутки. Кружил по степи, пять раз выходил на один и тот же курган.

— Ишь ты! Нутро перегорело, значит. Сушь, жарница. Не тебя ли анчихристовы слуги искали третьеводни? При шашках, конные. Наехали на наше становище. Допытывались: не прячется ли государев преступник. Разумей потому, как экую напасть обойти. И мы поможем. Как твое имя-прозвание от бога и родителя?

— Александр, Михайлов сын, Лопарев по фамилии.

— Из барского сословия?

— Из дворян. Мичманом служил, по суду разжалован и лишен всех званий...

Старец что-то припоминал, поглаживая бороду.

— Слыхивал Лопаревых. Когда еще парнем ходил, на барщине хрип гнул у помещика Лопарева в Орловской губернии. Не из Орловщины?

Лопарев будто испугался.

— Толкуй правду, человече! Когда я проживал на Орловщине, тебя на свете не было. Может, дед твой? При военном звании состоял.

Лопарев признался, что дед его, Василием Александровичем звали, действительно «при военном звании состоял»: служил полковником у Суворова. Умер в своем имении на Орловщине.

— Имение-то Боровиковским прозывалось?

— Боровиковским.

— И деревня там — Боровикова?

— Боровикова... Старец покачал головой.

— С той деревни и я. Там, почитай, все из Боровиковых состоят. Слыхивал, может, от деда, как он выиграл в карты именье и три деревни в придачу? Семьсот душ на карту взял! Эх-хе-хе! Житие барское да дворянское. Родитель мой, Наум Мефодьев, тоже по прованию Боровиков, старостой был, когда помещик проиграл крепостных твоему деду. Слово такое сказал — два помещика взъярились, яко звери лютые. Палками бит был нещадно за слово и тут же смерть принял. Несмышленищем был тогда, а помню, как кровью изошел батюшка мой.

— Помилуй, господи! — разом перекрестились бородачи.

— Господь милует, да зверь год от году лютеет, — проговорил старец. — Стал-быть, земляки мы с тобой, Александра, Михайлов сын. Ишь ты! Земля-то велика, да люди текучие.

Обращаясь к бородачам, наказал:

— Погрозите чадам своим, женам своим и всей общине, чтобы никто не подходил к телеге. Никто из вас не видывал кандальника и слыхом не слыхивал. Где Микула-то?

— Микула-а-а! — гаркнули в три глотки.

— ... ку-ла, ку-ла-а, — отозвались кочевники с того берега.

Старец плюнул в их сторону:

— Ипеть зырятся, нехристи, собакины дети!.. Мы тут в осени. Травой запаслись для скота, в землю зарылись. Ходоков послали на Енисей-реку. Сказывают: места там как вроде наши, Поморские, лесные. Сын мой на Енисей-реку ушел со товарищами. Вот возвернутся к страде, должно, и мы поедем.

Подошел рыжебородый кряжистый богатырь с кузнечным инструментом в руках.

— Звал, отче? — поклонился старцу.

— Звал, Микула. Сподобил тебя господь разбить анчихристовы подковки да в реку Ишим закинуть и плюнуть им вослед трижды. Аминь!

— Нашей ли он веры, отче? — уставился Микула на кандальника.

— Сказывал на моленьях: кто подымет топор на царя-анчихриста и на поганое войско, тот нашей веры-правды.

— Благослови, отче струмент, — склонил богатырь голову.

Старец благословил.

Микула, встав на колени, осмотрел цепи, заклепки.

— Как навек закован.

Старец подал еще кружку воды Лопареву и наказал Ефимии, чтобы она сготовила взвар из курицы.

— Оно хоша и пост ноне, да человеке подымать надо. А ты, Ларивон, заруби курицу.

— Неможно, батюшка... — попятился Ларивон, в сажень ростом. — Грех будет.

— Сымаю грех тот перед небом чистым. Молебствие будет — замолим. Ступай с богом. Руби!

Ларивон поплелся рубить курицу.

Покуда Микула орудовал напильником и зубилом, старец толковал про вольную волюшку, про справедливого «осударя Петра Федоровича», ни разу не обмолвившись, что под тем именем скрывался беглый донской казак Пугачев.

— Не одолели мы царское войско втапору, — гудел старец. — Ну да срок не ушел. Полыхнет по земле пламя горячее, и тогда не спастись от погибели сатанинскому престолу и кабале, в какой мается народ на святой Руси. Грядет день, грядет!

Микула одолел последнюю заклепку. Старец принял от него кандалы:

— Эка тяжесть...

Кандалные цепи кинули в Ишим и трижды плюнули, Микула дальше всех.

Тем временем черноглазая молодка Ефимия готовила куриный взвар. Старец наказал ей, чтобы она не перепутала посуду, из которой попотчует кандалника.

— Грех будет.

На что Ефимия ответила:

— Ведаю, батюшка.

— Да чтоб он про то не ведал. Да, слышь: кандалником не зови. И чтоб никто слово такое не ронял всуе. Нету кандалника, был человеке с ветра и ушел на ветер.

Ефимия не уразумела, что хотел сказать старец.

— Говорю: ушел на ветер, и все должны то знать. А покель поживет под твоей телегой втайности. Ты будешь кормить его, выхаживать, чтоб хворь к нему не пристала. Мучение великое принял он, потому и помощь окажем. Да гляди, язык держи на привязи. Расспросов не учиняй, слышишь? Вера у него никонианская, поганая.

— Как же мне быть, батюшка? Можно ли никонианина видеть? Срамника?

— И на нечистого с крестом да с молитвой идут. И бог обороняет от погибели. Аминь.

— Аминь, — в пояс поклонилась Ефимия.

К полудню, когда Лопарев крепко спал под телегой, сын старца Ларивона наметал наверх полкопны ковыльного сена, обставил вокруг хворостом так, что не узнаешь, что под копною запрятана телега, а под телегой — беглый государев преступник, которого ищут сейчас от Камы до Оби.

V

... Все тот же жуткий сон: каменный пол, железная дверь и — тишина. Гробовая тишина.

Тринадцатая камера в Секретном Доме...

Он опять здесь, мичман Лопарев. Хоть бы раз увидеть солнце над головою, услышать человеческий голос!

Лопарев мечется по камере, зовет, стучит кулаками в железную дверь — но тщетно! Ни голоса в ответ. Может, он заживо погребен в каменном склепе, и никто не узнает, что он не погнул спины перед тираном.

Но что это? Стены тюрьмы наполнились кровью. Кровь капает с потолка. Лопарев хочет крикнуть, но голос пропал, и он чувствует, как цепенеют руки и ноги...

Лопарев очнулся и не сразу сообразил, где он и что с ним.

Душно и жарко. Ноют плечи и спина. И сушь, сушь во рту. Пить, пить... Когда же он напьется? Где-то он видел реку. Когда и где?

Пахучее, шуршащее сено. Как он сюда попал? Ах да! Бежал с этапа. Плутил по безводью. Неделю, две, месяц? Целую вечность! С ним плелась хромая кобылица с жеребенком. Куда они делись? Он не помнит. Может, и не было ни кобылицы, ни жажды, ни побега с этапа, ни кандалов...

Он схватил себя за руку:

— Боже! Кандалов нету! — И сразу вспомнил встречу с угрюмыми бородачами и старца с белой бородой ниже пояса и как неподатливо скрипело железо, а кузнец Микула молча и деловито пилил заклепки...

«Дзззз-дзз-дззз», — пел напильник.

— Царь милостив! Покайся! Лопарев заскрипел зубами. Покаяться? Перед царем-вешателем?

И он вспомнил вытаращенные глаза Николая, когда видел его совсем близко на Сенатской площади в тот морозный день четырнадцатого декабря, и корнет кавалергардского полка Муравьев-младший сказал:

— Гляди, Лопарев: вот он, престолонаследник! Жалкая скотина. Видишь, как он озирается? В такую скотину не выстрелит пистолет.

И — не выстрелил. Может, именно потому, что все видели, каким был трусоватым и жалким претендент на престол?..

Потом — картечь. Комья утоптанного снега, крики, и стон, и свист пуль.

Они беспорядочно отступили. Кто куда.

«Как это могло случиться? Кто виноват? Пестель? Муравьев? Кто виноват, что восстание провалилось?» — спрашивал себя Лопарев тот раз, когда бежал в Ревель.

Не минуло трех недель, как его схватили и доставили в Петропавловскую крепость. Он не знал, кто взят, кто сидит в соседней камере, кто и какие давал показания. Он ничего не знал и все отрицал. Генерал-адъютант Чернышев травился:

— Ты сгниешь в крепости, жалкий мичманишка!

Еще была одна ночь. Непогодная, мартовская. Лопарева вывели из дворика тюрьмы, усадили в черную карету, бок о бок с комендантом крепости генералом Сукиным, и повезли в Зимний дворец, где он во второй раз свиделся с Николаем.

Царь возвышался над столом.

Генерал-адъютант Чернышев занимал место слева, граф Бенкендорф — справа.

Генерал Сукин представил арестованного.

Лопарев не упал на колени, как это сделали некоторые участники заговора и восстания. Твердо и спокойно ответил на пронзительно-голубой взгляд царя.

— Сын подполковника лейб-гвардии Михайлы Васильевича? — спросил и, не дожидаясь ответа, дополнил: — Достоин сожаления, что у почтенных отцов, верных престолу и отечеству, преступные дети.

— Достоин сожаления, ваше императорское величество, — отозвался генерал-адъютант Чернышев. — Еще более нетерпимо, когда избалованные преступники упорствуют в своих показаниях, ведут себя крайне дерзко, стараясь утаить от следствия крамольные связи с сообщниками...

В предварительном следствии мичман Лопарев проходил по восьмому разряду: его могли разжаловать, сослать на Кавказ под пули чеченцев или приговорить к каторге и поселению в Сибири.

Была одна малая зацепка: в июне 1825 года мичман Лопарев, пользуясь месячным увольнением по причине тяжелой болезни матери, вдруг уехал не к родителям в имение, а в Варшаву, где пробыл пять суток у невесты Ядвиги Менцовской, с которой будто бы поссорился. Менцовская заявила, что ничего не знала о принадлежности жениха к тайному обществу. Никаких документов, избаловывающих мичмана, у следственной комиссии не было. Так бы и

остался вопрос открытым, если бы сам царь не усомнился: подумать только — ездил в Варшаву! Это же все равно, что к дьяволу в пекло. Не проходило ни одной тайной молитвы, когда бы царь не оглядывался на Варшаву. Это же Варшава!

Вот почему у него сорвался голос, когда он потребовал:

— Назови сообщников в Варшаве! По чьему поручению ездил? С кем ты встречался? Отвечай! — он ко всем обращался на «ты».

Лопарев молчал.

Комендант крепости генерал Сукин, тараща глаза, прошипел сквозь зубы:

— Отвечайте!

Лопарев передернул плечами и, глядя в упор на царя, проговорил:

— Я ездил в Варшаву повидаться с невестой. Более ничего не могу сообщить.

— На колени! — ткнул царь кулаком в стол.

— На колени! На колени! — подтолкнул в спину Сукин. Лопарев вытянулся, как на параде.

— Я отвечаю, ваше императорское величество, только за свои деяния и поступки. За других отвечать не могу и никого не назову. В Варшаве я виделся только с невестой, Ядвигой Менцовской.

Царь хлопнул ладонью по столу:

— Лжешь! Даю тебе три минуты. Только три. Назови заговорщиков в Варшаве! Фамилии!

Лопарев не назвал ни одной и даже отказался сообщить, какие разговоры вел с Пестелем в доме Никиты Муравьева на Фонтанке, где собирался штаб тайного общества...

Николай посмотрел на часы.

— Ну, что же, вижу, тебе мало трех минут. Очень жаль. — И шевельнул плечом в сторону Сукина, ожидавшего приказа. — Я думаю, место сыщется в Секретном Доме?

— Так точно, ваше императорское величество! Можно в тринадцатую.

— Водворите. — И, глянув на Лопарева, царь неожиданно улыбнулся: — Жалея вас, вашу молодость, Лопарев, я предоставлю последнюю возможность подумать. Я терпелив. Прощаю дерзость, но не могу простить упорствования в сокрытии преступников. Сожалею. Очень сожалею!..

Голос его дрогнул, и Лопареву почудилось, будто царевы глаза увлажнились: он не знал того, что эти мнимые слезы венценосца побудили Каховского составить покаянное письмо, в котором он принес царю полное признание, а самому себе — виселицу...

Нет, не напрасно Николай брал в ту пору уроки у актера Каратыгина...

VI

Было за полночь, когда Сукин доставил Лопарева в Секретный Дом.

— Тринадцатый номер. В тринадцатую камеру. — Слова генерала означали, что с этой минуты узник утратил имя и звание и стал тринадцатым номером.

Никто, ни единая душа не могла проведать о человеке, упрятанном в Секретный Дом. Тот, кто попадал сюда, как бы живьем уходил в могилу...

На столике — кружка, Евангелие и несколько листов бумаги из канцелярии генерал-адъютанта Чернышева.

Каждое утро в четверг, когда вместе с пищей Лопареву подавали три листика бумаги с типографским заголовком, он метался по камере, повторял одно и то же: «Не было сообщников, не было сообщников!» — и писал рапорт в канцелярию Чернышева.

Надзиратели в Секретном Доме не отзывались на вопросы, и Лопарев уверился, что все они были глухонемые. Позднее он узнал, что из Секретного Дома за все существование не сбежал ни один узник!

Время тянулось мучительно однообразно. В соседней камере беспрестанно орал сумасшедший. Лопарев потерял счет дням и одичал до того, что и разговаривать разучился...

Тринадцатого июля 1826 года его вывели из камеры, молча кинули парадный мундир, и он оделся.

Над Петербургом зачиналась заря. Лопарев не знал, какое было число и какой месяц. Жандарм принял его от надзирателя Секретного Дома и провел в крепость, а потом на гласис, где находились участники неудавшегося восстания 14 декабря, размещенные по категориям.

— Лопарев! Ты ли это, Александр?!

Лопарев узнал братьев Беляевых — мичманов гвардейского экипажа, хотел кинуться к ним, но жандарм схватил за руку.

Александр Муравьев, корнет кавалергардского полка, помахал ему: прощай, мол, брат!

Никита Муравьев, капитан гвардейского генерального штаба, составитель Конституции, в доме которого на Фонтанке часто бывал Лопарев, стоял в окружении жандармов, безучастный ко всему.

Друзья-товарищи... Но ни поговорить, ни пожать друг другу руки!

Перед глазами маячила виселица с пятью веревками на одной перекладине...

Предутренняя зорька румянила небо. Дымились костры, Лопарев не понимал, к чему это.

Чуть в стороне, поближе к плац-кронверку крепости, в плотном кольце жандармов, стояли пятеро: Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев, Каховский и поэт Рылеев. Неужели?..

Страшась своей мысли, Лопарев поглядел на перекладину с пятью веревками. Не может быть!..

Генерал-адъютант Чернышев, гарцуя на коне, подал знак, и началась церемония разжалования и чтение приговоров.

Лопарев увидел, как заслуженный герой Отечественной войны, тридцативосьмилетний генерал-майор Сергей Волконский снял с себя сюртук, увешанный боевыми регалиями, и кинул в костер — не хотел, чтобы жандармы сорвали его. Лопарев намеревался сделать то же, что и Волконский, но не успел: жандарм вцепился в воротник, стащил с плеч мундир, швырнул в огонь.

Весь гласис заволокло чадом сжигаемого сукна.

Затем над головами осужденных стали ломать шпаги.

Чадно и тяжело, тяжело!..

«По высочайшему повелению...»

Зачинался рассвет, но Лопареву казалось, будто над гласисом крепости, над плац-кронверком, где мрачно вырисовывалась виселица, над всем Петербургом с прохладной Невою опускалась долгая ночь, которой никому из них не пережить.

Вечная ночь...

Солдаты били в барабаны. Розовело небо. На золотом шпиле собора вспыхнули золотые лучи...

Не узнавали друг друга в арестантских одеждах.

Желтели на спинах бубновые тузы...

Пятерых построили под перекладной. Над каждым спускалась пеньковая петля. Тех самых, пятерых...

Лопареву хотелось крикнуть, но он не мог вызвать из окаменевшей груди ни малейшего звука.

Когда трое сорвались — Муравьев-Апостол, Рылеев, Каховский, — среди осужденных на каторгу послышались стоны.

Кто-то крикнул:

— Дважды не вешают!

И звонкий голос Рылеева:

— Я счастлив, что дважды за Отечество умираю! Генерал-адъютант Чернышев гарцевал на коне... Лопарев не помнил, как отводил его жандарм в Секретный Дом.

Двери тринадцатой камеры захлопнулись, как крышка гроба...

И опять потянулись дни и ночи... Теперь узнику не подавали в окошечко бумагу с гербом и заголовком и голоса. призраков не поднимали с постели.

Позднее, когда погнали этапом в Сибирь на каторгу, Лопарев подсчитал, что провел в Секретном Доме после объявления приговора девятьсот девяносто один день!..

Тяжкая, тяжкая ночь легла над Россией. Неужели на веки вечные?

VII

Лопарев вылез из-под телеги. Вечерело. Солнце закатилось, но было еще светло.

Возле старой изогнувшейся березы, у тлеющего костра, сидела на пне Ефимия, невестка старца, в длинной льняной юбке, закрывающей ноги, в бордовой кофте, с рукавами до запястья, в неизменном черном платке, повязанном до бровей. На коленях у нее лежала раскрытая Библия. У костра возился мальчонка лет пяти, белоголовый, щекастый, в холщовой рубахе до пят. На тагане висел прокоптелый котелок. В трех шагах от костра темнело еще одно пепелище, с печуркой,

чугунами и глиняными кринками. Поодаль — еще одна телега с поднятыми оглоблями, со сбруей.

Ефимия до того углубилась в чтение Библии, что не слышала, как выполз из своего убежища Лопарев.

Мальчонка вытаращил глаза на незнакомого дядю и заревел, ухватившись за подол матери.

— Барин! — ахнула Ефимия, закрыв Библию и схватив сына на руки.

Лопарев удивился:

— Чего так испугались? Я не зверь.

— Нельзя вам выходить, барин, — промолвила Ефимия, поднимаясь и пятясь к толстой березе. — Батюшка Филарет наказал, чтоб вы таились под телегой.

— Батюшка Филарет? — Лопарев не знал такого.

— Старец общины.

— Тот старик, с которым я разговаривал?

— Если что надо, барин, подайте голос. Я буду всегда тут, поблизости. Вода вон в берестяной посуде возле телеги. Прокипяченная и остуженная. Ужин сготовила вам, только... спрячьтесь под телегу.

— От кого мне прятаться? Здесь же нет жандармов или казаков?

— Упаси бог!

— Чего же мне прятаться?

— Так повелел батюшка Филарет. Чтоб никто из общины не смел зрить вас, разговор вести.

— Почему?

— Верование ваше чуждо. Анчихристово.

— Да ведь вся Русь православная!

— Не вся, не вся! — поспешно открестилась Ефимия, прижимая сына лицом к груди. — Есть на святой Руси праведники. Есть! Хоть малым числом, да блюдут святость старой веры.

— Старой веры?

— Аль вы не слыхивали, как нечестивый патриарх Никон совратил церковь с пути истинного? Как он Святое писание извратил да опоганил? Как на Вселенском соборе попрал ногами праведников и самого Аввакума-великомученика да возвел в чин и благолепие еретиков поганых да мздоимцев жадных?

Нет, Лопарев ничего подобного не слышал.

— От него великий грех вышел, от того Никона. Проклят он на веки вечные.

Ефимия тревожно оглянулась. Кругом — ни души. Тихо лопотала старая береза. Поблизости мычала корова — призывно и долго. Где-то в березняке фыркали лошади. Рядом синела тиховодная река.

Лопарев спросил, что за река.

— Ишимом прозывается, — ответила Ефимия.

— И рыбу можно ловить?

— Ловят мужики. Да нету такой рыбы, как в нашем Студеном море. Мы оттуда вышли, с Поморья.

— Это же очень далеко!

— Для сохранения старой веры нету близкой дороги. И в Поморье дошли анчихристовы слуги со своим крестом да с ружьями. Вот и убежали мы общиною в Сибирь.

Лопарев хотел взглянуть на Ишим.

— Нельзя, барин! Нельзя! — перепугалась Ефимия. — Старец разгневается и прогонит. Не гневайте старца! Набирайтесь тела, силы, а потом сами обдумаете, куда уходить. Да и нехристи могут увидеть с того берега.

— Нехристи?

— Дикие киргизы или татары сибирские, не ведаю, — : ответила Ефимия. — Они могут и стрелу пустить. Лопарев спросил, где же люди, старец.

— Вся община на всеобщем моленье, — сообщила Ефимия. — Малые дети спят. Старухи доглядывают за ними. А так все на моленье за лесом. Там у нас часовня поставлена. Люди захоронены, которые померли за зиму и весну.

Спрячьтесь, барин! Нельзя так стоять-то. Худо будет. И мне и вам...

— Что у вас за община такая строгая?

— Филаретовская община, — вздохнула Ефимия. — Погодите, барин, я парнишку отнесу к старухе. Возьмите котелок, ужинайте. Хлеб там лежит. Я скоро вернусь. Не выходите на берег! Упаси бог.

Лопарев поглядел Ефимии вслед, горько усмехнулся. Вот так вольная волюшка. Что же это за община, если сами себя на каторгу гонят?..

Смеркалось. Покатое небо за Ишимом играло зарницей. Полыхнет пламенем и тут же потухнет. Такую же зарницу Лопарев видел в Кронштадте, когда вышел в мичманы гвардейского экипажа, и радовался. Чему? Мичманской солености? И вот другая зарница, сибирская, а Лопареву тошно.

Беглый каторжник!..

Велика Русь, а деться некуда. По трактовым дороженькам гремят оковы, а чуть в сторону — темень людская, хоть глаз выколи.

Муторно!..

Ефимии все еще нет. Может, не явится? Лопарев так и не успел разглядеть, какая она. Видел черные молодые глаза, настороженные и цепкие. Чем-то она похожа на его невесту, Ядвигу Менцовскую, только в ином наряде.

Лопарев успел поужинать, но не полез под телегу. Духота. Ночью, должно, разыграется гроза.

Послышались шаги. Мягкие, шуршащие.

— Не спите, барин? — Голос тихий, как шелест листьев на старой березе. — Ужинали?

— Спасибо, Ефимия. Ужинал.

— Тсс! По имени не зови. Если кто услышит — беда мне.

— Как же звать?

— Никак. Нельзя мне вступать в разговор с вами, а... вот пришла. Ну мой грех, мне и ответ держать. — И, помолчав, сообщила: — Да ночь-то сегодня такая — все на судное моленье ушли.

— Судное моленье?

— Тсс! Говорите тише, барин. — Ефимия оглянулась, приглядываясь к лесу: совсем близко фыркнула лошадь. — А мне-то померещилось, будто кто крадется. — И, взглянув на Лопарева, опустила на землю. — Видите, не боюсь, барин. Только если кому скажете, что я говорила с вами, тогда опустят меня в яму.

— В яму?!

— И огнем сожгут, яко еретичку нечестивую.

В сумерках лицо Ефимии казалось белым, особенно зубы, сверкающие, как серебряные подковки. Голос у нее был тихий, но задушевный и тягучий, как смолка на пихтах в июле. Ее что-то

беспокоило, она хотела что-то сказать и боялась, как бы кто не подслушал. Ее волнение передалось Лопареву.

— Что у вас за община такая страшная? — вполголоса спросил он.

— Ой, страшная, барин! Страшная!

— Не зови меня барином. Какой я барин — колодник.

— Про колодника батюшка Филарет наказал, чтоб я и во сне не обмолвилась.

И, вздрогнув, спросила:

— А какое ваше званье?

— Из дворян. Но лишен судом всех сословных званий и состояния.

— Правда, что сам Филарет из ваших крепостных? Беглый будто?

— Этого я не знаю.

— Он говорил, что из Боровиковой деревни, а деревня ваша. И что ваш дед насмерть прибил отца Филаретова. Правда ли?

— Не слышал. Я мало жил в имении родителей. С детства в Петербурге.

— А в Москве бывали?

— Бывал.

— Ой! А Преображенский монастырь видели?

Нет, Лопарев ничего не знает про такой монастырь.

— А я в том монастыре родилась, — тихо промолвила Ефимия, потупя голову, — Из монастыря того на встречу Наполеона ходила.

— Наполеона?!

— Тсс! Потом скажу. Ой, кабы не крепость Филаретова, поговорили бы мы, побеседовали! Сколь годков не встречалась с человеком с воли!

— Да что же это за крепость, если даже говорить запрещено! Какая же это вера?

— Крепость наша Филаретовская. Как Филипповская. Едный толк был.

И вдруг предупредила:

— Смотрите, барин, не назовите «осударя Петра Федоровича» Пугачевым. Батюшка Филарет разгневается!

— Да разве он был государем, Пугачев?

— Был, нет ли, про то не ведаю. Под именем «осударя Петра Федоровича» шел на Москву, чтобы взять престол.

Лопарев слышал в Петербурге, что до казни сам Пугачев заточен был в Кексгольмскую крепость, в отдельную башню, вместе с женою, двумя дочерьми, сыном и еще одной женщиной, которую он именовал «императрицей Екатериной Алексеевной»... В той же «пугачевской» башне, много лет спустя, заточены были трое из декабристов, которых знал Лопарев: Горбачевский, Барятинский и Спиридонов.

Пугачева казнили в Москве в 1775 году, а в 1834 году умерла в крепости его сестра, последняя из Пугачевых, про которую потом говорил Пушкину царь Николай Первый...

Из Кексгольмской крепости было только две дороги: либо на виселицу или лобное место, либо на каторгу...

Декабристам вышла каторга.

IX

Лопарев спросил, что же такое «Филаретовский толк».

— Тсс! Послушать надо. — Ефимия поднялась и обошла вокруг становища, вернулась.

— Толк-то? Самый лютой, — начала она. — Выговский Церковный собор порешил, чтоб совершать моления во здравие царя Николая и подать платить, вот и ушел с того собора батюшка Филарет, духовник того собора, а с ним Филипп-строжайший. Филипповцы сожгли себя в избах, на кострах, а Филарет надумал увести общину в Сибирь, в потайное место, чтобы царские слуги рукой не достали.

Ефимия вздохнула.

— Батюшка Филарет — наш старец, духовник. Как он скажет, так и будет. Он всю власть вершит. Казнит и милует. Вся община под его рукой ходит. И стар и млад.

Ефимия рассказала про обычаи в общине. Без слова старца никто не смеет заговорить с посторонними: никто не смеет назвать старца по имени. Нельзя отлучаться из общины — великий грех. Женщина не смеет подать голос, если мужчина стоит рядом. Нельзя открыть голову, даже в постель ложатся в платках. На духовника женщина не смеет поднять глаз — грех будет. Каждый имеет свою посуду: кружку, ложку, вилку, хлебальную чашку, котелок, черпак, винную посуду и к чужой

не смеет прикасаться — тяжкий грех, осквернение. Женщине нельзя садиться за стол с мужчиною. Молитву начинает мужчина. Молитва и крест — на каждом шагу. «Без бога ни до порога». Если кто увидит, что мужчина целуется с женщиной, немедленно совершается молебствие очищения плоти и духа от нечистой силы, виновников подвергают наказанию. Белица выходит замуж только по указанию старца, духовника.

— На Волге, слышь, приключилась беда, — продолжала Ефимия. — Белица из нашей общины хотела убежать замуж за тамошнего парня из Даниловского толка. Поймали ее и на суд привели. Белица не отреклась. Тогда ее сожгли на костре.

— Это же, это же... преступление! — возмутился Лопарев.

— Тсс, барин! Сама ведаю, да молчу. Куда денешься? Кабы вы знали, как я попала в Филаретовский толк...

— Уйти можно!

— Ой, барин. Куда от петли уйдешь, коль она на шее? Я-то из Федосеевского толка. Московского...

По словам Ефимии, Федосеевский толк возник в 1771 году в Москве во время повальной чумы.

Основатели толка — Федосей Васильев и купец Ковылин — выпросили у правительства землю возле Преображенской заставы и устроили там карантин. Всех, кто бежал из Москвы, задерживали, поясняя беженцам, что чума послана в Москву в наказание за никонианство. Чаны с водою, специально приготовленные, служили для крещения в новую веру. В Москве в ту пору опустело много домов. Федосеевцы подбирали мертвых, а заодно свозили к себе все ценности из опустевших домов: старинные иконы рублевского письма, бархат, парчу, персидские шелка, деньги. Вскоре касса Федосея оказалась настолько богатой, что денег хватило поставить несколько каменных домов со всеми хозяйственными пристройками. При каждом корпусе была сооружена моленная часовня. Городок обнесли высокой стеной и назвали Федосеевским монастырем. Все живущие в монастыре получали особую одежду: мужчины — кафтаны, отороченные черными шкурками, с тремя складками на лифе, застегивающимися на восемь пуговиц, и сапоги на высоких каблуках, женщины — черные плисовые повязки, черные платки и синие сарафаны с золотыми прошивами.

Когда Наполеон подошел к Москве, федосеевцы успели все ценное имущество вывезти во Владимирскую губернию; туда же отправили жителей Преображенского монастыря. Остались только белицы и часть мужчин. Когда Наполеон задержался на Поклонной горе, ожидая представителей первопрестольной градстолицы, к нему явилась депутация федосеевцев.

— Тогда-то я, барин, и свиделась с Наполеоном, — говорила Ефимия. — В то утро батюшка сказал, чтоб я нарядилась в батистовое платье. Матушка хворала и не могла пойти на встречу. Батюшка мой, Аввакум Данилов, со старцами стоговил подарок Наполеону: быка красного; да еще золото несли на фарфоровом блюде. Мне-то было семь годов, а я все помню.

— Но зачем же быка? — удивился Лопарев.

— Старцы порешили так: бык красный — это будто сама Русь христианская. Вот и повели ее на поклон Наполеону.

Ефимия тихо усмехнулась:

— Утро стояло моросное, ненастное, а мы все шли в нарядах, с песнопениями. Впереди батюшка со старцами, а за ними — большущий красный бык — рога вилами. Того быка я гнала ракитовой веткой. Сама в батистовом платье, с красными лентами в волосах. Нарядная! Так и вижу себя в том платье. Брат мой, Елизар, толковал по-французски. Икону Преображения нес, чтобы передать самому императору.

Встретили нас офицеры. Брат Елизар толкует им: так вот и так, к императору идем, к Наполеону...

Небо прояснилось, и солнце показалось. Батюшка мой остановился и молитву сотворил: «Божье дело, говорит, коль само солнышко проглянуло!»

А какое тут «божье дело», если мы к басурману на поклон шли?

Наполеон встретил нас возле пушек своих на Поклонной горе. И маршалы стояли рядом с ним. Наполеон спросил: «Что за депутация явилась из град Москвы?»

Брат Елизар ответил: «Мы — древние христиане, утесняемые царем и никонианской церковью. Пришли заявить вам, государь император, свою верноподданническую преданность и покорность».

Тут и пали все наши старцы на колени. И меня поставили на колени возле пушки. И страх такой: «А вдруг пальнет пушка и смерть

будет?»

Наполеон разгневался, что мало людей пришло, и не от самого царя, не от Кутузова депутация. Слышу: «Кутузов, Кутузов!» А брат Елизар толкует, что Кутузова с нами нету, а вот красного быка привели, мол, возьмите.

Стоим мы на коленях перед пушками, а Наполеон совет держит со своими маршалами и офицерами: как быть? Гнать ли нас аль, может, перебить всех?

Потом опять призвали брата Елизара для разговора.) Не ведаю, что за разговор был, только Наполеон смилостивился и принял золото на фарфоровом блюде, и быка того взял.

Вижу, как теперь. Наполеона-то. Как он подошел ко мне и в глаза заглянул. Ноги такие толстые у него, как две чурки, и туго обтянутые белыми штанами. Взял меня рукой за подбородок и глядит мне в глаза, что-то спрашивает.

Брат Елизар толкует:

«Привечай, сестрица, императора. Да поясной поклон отбей». А я стою, как деревянная. Чудно! Наполеон-то совсем не страшный. И ногами дрыгает, как юродивый.

Похлопал меня по щеке, а рука у пего духмяная.

Брат Елизар потом сказал, будто Наполеон хотел, чтоб я осталась при его свите, да батюшка через Елизара упросил не брать меня, как хворую. Хоть я и не была хворая.

В тот же день войско Наполеона в Москву вошло, а мы вернулись в свой монастырь. И беда пришла: матушка померла!

В монастырь к нам пришли французы. Машины привезли такие, чтоб делать русские деньги. Старцы устроили французам богатое угощение, и батюшка опять повелел нарядить меня в батистовое платье, хоть в келье лежала матушка моя покойная.

— Где же вера-правда, барин? — вдруг спросила Ефимия, и слезы покатались у нее по щекам. — Зачем старцы шли к басурману Наполеону? Што искали? Зачем приняли французов в монастыре да угощение им устроили? Кошунство одно, а не верованье!.. Потом я думала: нету веры-правды у федосеевцев, хоть родилась в ихнем монастыре и матушка там захоронена!.. Какая же это вера, коль сами старцы блуд богом покрывают? Не раз слышала, как на моленях старцы наставляли: «Пусть белицы и бабы балуются и родят

младенцев, а потом их убивают. Утопят аль удушат. Младенец будет мучеником и сразу попадет в царствие божие». Так и делали срамные белицы и бабы. Сколь младенцев утопили в Москве-реке!.. Где же та вера, страх божий?!

Лопарев не знал того. Спросил, что же было потом с федосеевцами, когда Наполеона прогнали из Москвы.

— Горе было. Стон был, — ответила Ефимия. — Старцев, которые шли на поклон Наполеону, и брата мово Елизара Кутузовы солдаты схватили как изменщиков. Што с ними поделали — не ведаю. Батюшка мой со своими тремя братьями да с братьями Юсковыми в побег ударился, в Поморье, к древним христианам. И меня взял с собой. Долго мы ехали до Поморья. Рухлядь везли всякую и золото... Разбойники напали на нас, дядю Гаврилу убили...

В Поморье, на реке Лексе, встретили нас чуждо и хотели батогами бить, да батюшка с братьями Юсковыми откупились подарками. И золотом, и парчой, и бархатом. И меня отец отдал в ихний монастырь.

Тут и началась беда. Новая вера, новые строгости, а я того не ведаю. Что к чему? Понять не умею. Била меня игуменья да приговаривала: «Изыди, сатано, из тела белаго, из сердца несмышленного, из крови ретивой!» А какая может быть кровь ретивая у девчонки по девятому году?

Потом игуменья проведала про мою матушку, што она из княгинь была, рода Дашковых. Возила меня в Москву, чтоб князя Дашковы выкуп богатый дали и меня взяли к себе. Да не вышло так. Князь Дашков глядеть не стал. «Не нашего рода-племени, — сказал, — коль на свет произошла от блудницы!» С тем и выгнал из дворца свово.

Помолчав, Ефимия пояснила:

— Это он мою матушку, дочь свою, блудницей величал. Она сама себя упрятала в монастырь к федосеевцам. Преступила волю родителя — позналась с купеческим сыном Аввакумом Даниловым, моим отцом, и ушла в монастырь к нему. Родитель наложил на нее тяжкое проклятье в церкви, с тем и померла матушка в монастыре. У меня и теперь есть ее иконка, которую она вынесла из родительского дома.

Так было, барин.

Игуменья разгневалась, что не выкупили меня Дашковы. Всю обратную дорогу помыкала, как черничку какую. И ноги мыть заставляла, и ночью не спать, пока она спит да нежится. Батюшка мой

к той поре помер, я осталась одна на белом свете. Хоть так, хоть эдак, а все иголка без нитки.

Жила я в том монастыре до зрелого девичества. Не знала, какая великая беда грянет!..

От малой беды до большой, далеко ли? Рукой подать!..

Так и случилось. Тяжко вспоминать...

Игуменья готовила меня в лекарши-монашки, да налетел черный ястреб — и не стало белицы! — загадочно проговорила Ефимия, к чему-то прислушиваясь.

X

Небо перемигивалось звездами. Тишина. Истома. И вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное: «А-а-а-а! Ма-а-а-туш-ка-а-а!»

Лопарев поднялся.

— Прячьтесь, барин! Прячьтесь! — прошептала Ефимия. — Это Акулину с младенцем из ямы вытаскивают. На суд поведут.

— На суд? Акулину?

— Тсс, барин! Погубите меня и себя. Спрячьтесь к телеге, Христом-богом прошу!

Лопарев попятился к телеге и сел. Что еще за Акулина из ямы? Из какой ямы?

Ефимия постояла немного, потом обошла вокруг и только тогда вернулась к Лопареву.

— Страх-то какой, господи! Всю трясет, — проговорила она, зябко скрестив на груди руки. — Это ее когда из ямы вытаскивали, она успела крикнуть. Потом рот зажали, должно. Помогите ей, господи, смерть принять легкую! — перекрестилась Ефимия.

Лопарев спросил, кто такая Акулина и за что ей будет смерть.

— Беда приключилась, барин. Младенец у Акулины родился шестипалый. На обеих руках по шесть пальцев.

Лопарев не понимал: при чем же тут Акулина?

— По верованию Филарета, шестипалый от нечистого, — пояснила Ефимия. — Акулина хотела сокрыть грех и долго не показывала младенца духовнику, чтоб окрестить. Потом надумала убежать, да поймали и к старцу привели. Тут и грех открылся. Сама-то

она красивая, приглядная. Как вышли из Поморья, стала женой Юскова парня. И вот беда пришла.

— Какая же беда? — не унимался Лопарев. — Мало ли рождается на свет шестипалых.

— Ах, барин! Крепость-то наша какая?! Сказал старец: шестипалый от нечистого, и все уверовали в то. Жалко Акулину, да своих рук не подставишь, — горестно молвила Ефимия, глядя в сторону леса. — На свете не успела пожить, первого ребенка народила, и вот — смерть пришла. Еще вчера сготовили место. За лесом, на прогалине, одна береза растет. Вокруг березы наметали большую копну сена да хворостом обложили, чтоб сразу большой огонь занялся.

— Это же, это же... убийство!

Ефимия испуганно откачнулась:

— Не глаголь так! Исусе, спаси мя!

Лопарев не унимался. Ругал Филаретовский толк и самого Филарета:

— Сам говорил, что от барской крепости бежал! А в какой крепости людей держит!

— Боже мой, боже мой! Пощадите, барин! Сыпок у меня! — взмолилась Ефимия.

— Потому тиран и топчет ногами всех, что каждый думает только о себе, — кипел Лопарев.

— Не так, барин! Не так! От веры, а не от тиранства. Люди-то верят старцу Филарету, что он таинство откроет, спасет от гибели.

— Какое же это спасение? Где? В чем? За шестипалого ребенка на огонь мать ведут!

— Ой, боже мой! Што я наделала? Зачем сказала?! — опомнилась Ефимия. — Знать, и мне гореть... Аль на тайный спрос поволокут.

Лопарев стиснул голову ладонями, примолк.

И опять в ночи раздался истошный вопль: «Ма-а-ату-у-шка-а-а!..» И эхо покатилося по лесу, отдалось по реке а тихо замерло.

Лопарев поднялся, намереваясь пойти на тайное моление общины, чтоб защитить Акулину с младенцем.

Ефимия решительно загородила ему дорогу.

— Али вам жизнь надоела, барин?

— Жизнь каторжника не дорого ценится, Ефимия. Надо спасти Акулину с младенцем.

— Четырем гореть, значит, — скорбно промолвила Ефимия.

— Почему четверем?

— А как же, барин! Одно слово старца — и тебя скрутят и к той березе веревками привяжут. Спина спиной к Акулине с младенцем. Потом старец учинит мне спрос: не вела ли я греховных речей со щепотником с ветра? И я скажу: глаголила, отче. И шестипалый младенец, скажу, не от нечистого народился, а от уродства. И верованье наше лютое, не божеское, скажут. Тогда старец подымет два перста в небо и завопит: «Еретичка промеж нас, братия!» И тут схватят меня и к той березе веревками притянут.

Ефимия воздела руки к небу:

— Гореть тогда! Четырем гореть!

У Лопарева опустились плечи и ноги будто чугунными стали, с места не сдвинуть. Одному гореть — одна беда. Но четверем!..

— Кабы видели, как жгли себя филипповцы, которые отошли от общины Филаретовой, — продолжала Ефимия. — В срубках сосновых со младенцами, с белицами, мужики и бабы жгли себя огнем да еще песни пели радостные. И никто не остановил того огня! Никто не остановил смерть! В три ночи погорело более тысячи душ. Гарью обволокло все Поморье.

— О, тьма-тьмущая!..

— Тьма, тьма! — эхом отозвалась Ефимия.

— Такая крепость хуже тюрьмы.

— Хуже Александра, хуже! — Ефимия тревожно оглянулась и прислушалась. — Прости мою душу грешную. И я так думаю: не от бога крепость! Сомненья мучают, а исхода не вижу. Сколь верований знала, а все в душе пустошь. Про то никто не ведает. Один бог да небо ясное. Кабы знал старец, какая смута на душе моей, давно бы не жить мне!

Далеко за Ишимом скрестились белые молнии, и громыхнула гроза глухо, ворчливо.

— Хоть бы дождь пошел да залил бы всю степь, чтоб судный огонь не занялся!

Судный огонь!..

И Лопарев будто въявь увидел перекладину с, пятью веревками на плац-кронверке Петропавловской крепости. Никто не остановил казни в то прозрачное, погожее утро! Ни небо, ни народ, ни царь!..

— Не убивайтесь так-то. Жить надо.

Жить? В такой вот крепости или где-то в Нерчинском каторге, а потом на вечном поселении? Да что же это за жизнь?! Во имя чего такая жизнь?!

Ефимия толковала свое:

— Утре, когда старец заговорит с вами, прикиньтесь хворым да безголосым. Польза будет. Старец скажет мне, чтоб я лечила вас от хвори. Я одна лекарша на всю общину! И травы целебные знаю, и снадобья готовлю. Только бы не возвернулся скоро Мокей, муж мой постылый. Крепость моя горькая и тяжкая!

Лопарев отошел к телеге и сел, беспомощно сторбившись...

Грозовая туча пологом нависла над Ишимом. Сверкали молнии, но дождя не было.

Лопарев вспомнил стихи Кондратия Рылеева:

И непрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...

И вот в третий раз над лесом и темной степью пронесся нутряной вопль:

— Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Спа-а-а-си-те-е-е!.. Спа-а-а-си-те-е-е!..

Тревожно заржали лошади и залаяли собаки.

Ефимия отскочила к старой березе и там спряталась. Лопарев сжался, скрючился в три погибели. Зубы у пего мелко и противно постукивали. Из края в край плескалось:

— Ма-а-атуш-ка-а-а!.. Ба-а-тюш-ка-а-а... Спа-а-а-си-те-е-е!..

Судная ночь!

Лопарев зажал уши ладонями и уполз под телегу.

Под утро он и без притворства захворал.

XI

... Неделю Акулина с шестипалым младенцем сидела в глубокой яме под строжайшей охраною старцев-пустынников, помощников Филарета.

Раз в сутки в яму подавали кружку воды и ломтик черного хлеба.

Старцы караулили: не явится ли в яму нечистый, чтоб повидать блудницу?

Нечистый так и не явился. Должно, убоился праведников-старцев, посвятивших всю свою долгую жизнь господу богу и ни разу не осквернивших себя близостью с женщинами.

Акулина знала: ее ждет судное моление...

День и ночь молилась святым угодникам...

Одному из старцев, Елисею, будто бы привиделось, как среди ночи к яме подполз дым. Откуда бы? Неведомо. Знать, дымом объявился нечистый дух да сиганул в яму к Акулине-блуднице. И она приняла его втайности, миловалась с ним, окаянная, а узреть тот грех нельзя было: нечистый напустил сон на старцев.

Вся община потом ахнула:

— Гореть, гореть блуднице!

Ларивон, сын Филарета, и кузнец Микула вытащили Акулину из ямы. Ноги у нее до того отекали, что она не могла стоять. Младенец пищал возле ее груди.

Ларивон подтолкнул Акулину:

— Намиловалась с нечистым в яме-то! Ноги не держат, срамница!

— Не было нечистого! Не было! И старцы караулили, — начала было Акулина, но Ларивон прищипнул:

— Молчай! Гореть тебе ноне, ведьма! И Акулина завопила...

Ларивон зажал ей рот и при помощи Микулы поволок на судное место.

Моление продолжалось несколько часов. Мужчины стояла на коленях отдельно от женщин.

Безбородые юнцы и отроки перепугались насмерть, неистово крестясь.

Женщины, особенно старухи, одеты в старинные монашеские платья, какие носили до патриарха Никона, чинно молились, не оглядываясь друг на друга и по сторонам, чтоб нечистый молитву не попутал.

Более шестисот человек старых и малых сомкнулись тесным кольцом вокруг березы.

На самодельном алтаре горели восковые свечи, и старец Филарет читал Писание.

Потом Филаретовы апостолы — пустынноики затянули псалмы.

Акулину с младенцем поставили на колени возле березы, и она так же, как и все, истово крестясь, молила бога о спасении своей грешной души, хотя и сама не ведала, когда и в чем согрешила.

Закончив чтение псалмов, старец Филарет приступил к судному вопросу:

— Кайся, грешница! Перед миром древних христиан, какие за веру на смерть идут, на каторгу идут, в Сибирь идут, кайся, — как согрешила со нечистым? В какую ночь явился он к тебе в постель и тело взял твое, поганое, непотребное? Кайся!

Акулина воздела руки к алтарю:

— Не было того, отче! Христом-богом молюсь — не было! Помыслами чиста, как и душой своей. Михайла, скажи же! Скажи! — просила она мужа Михайлу Юскова, но» тот молчал, со страхом глядя на молодую жену: ведьма ведь!

Тогда старец Филарет предупредил:

— Не покаешься во грехе, не будет тебе спасения на том свете! Геенна огненная поглотит тя, яко тварь ползучую!

— Не было нечистого, отче! Не было!

— Нечистый дух у тебя на руках, блудница! О шести пальцах, и рога потом вырастут, и хвост!

Община глухо проворчала: «Грех-то! Грех-то!» И одним духом:

— На огонь блудницу со нечистым духом! — На огонь!

— В геенну огненну!

Старец Филарет поднял золотой осьмиконечный крест:

— От нечистых помыслов твоих, блудница, на свет родился шестипалый нечистый! Вяжите блудницу! Аминь.

И как ни вопила Акулина, Ларивон с кузнецом Микулой притянули ее веревками к березе.

Шестипалый младенец исходил визгом на руках матери, да никто того визга не слушал: нечистый вопит. Пусть вопит!

С Акулины сорвали платок и одежду. Теперь она предстала перед всеми голая — срамота-то какая! Длинную русую косу обкрутили вокруг березы.

— Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Ба-тюш-ка-а!

Ни матушка, ни батюшка не отозвались на вопль. Нет пощады тому, кто согрешил с нечистым и попрал праведную веру.

— Ма-а-а-туш-ка-а-а-а!..

Старец затянул длинный псалом «очищения духа от нечистой силы», и все подхватили пение, часто повторяя:

— Аллилуйя! Аллилуйя!

После слов старца: «Да сгинет нечистая сила!» — Акулина завопила во весь голос, обезумев от страха.

Многие попадали с колен — лишились сил.

Ларивон с Микулой поспешно обложили Акулину с младенцем сеном и хворостом.

Старец поджег сено от свечи.

Сухое сено и хворост моментально вспыхнули. Над темным лесом поднялся столб пламени.

— Ма-а-а-туш-ка-а-а-а!..

Перекрывая вопль Акулины, вся община гаркнула:

— Аллилуйя! Аллилуйя!.. Судное моление свершилось.

ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ

I

Белая борода — не снег, а прожитое лихолетье.

Когда-то Филарет Боровиков был таким же молодым, как и беглый каторжник Александр Лопарев. То и разницы: Филарет возрос в барской неволе, а Лопарев — из барского сословия, жил в холе и довольстве.

Филарет перебивался с куска на кусок. Пять дней в неделю гнул хрип на барщине, а барин Лопарев не ведал нужды из-за куска хлеба насущного, ел, что душе нравилось. Службу нес царскую, в море плавал, тешился.

Когда стало невмоготу Филарету Боровикову везти упряжь помещика, он бежал в Оренбургские степи, нашел там пристанище у раскольников-скрытников, откуда судьба не свела с Емельяном Пугачевым, который назвал себя «осударем Петром Федоровичем». Помнит Филарет последние слова Пугачева:

— Сгину я, брат мой во Христе, да не отойду весь на тот свет. И может, бог даст, из кровушки моей и моих братьев вырастут новые

люди, и тогда порубят мечом и выжгут огнем всех царских слуг и насильников! И настанет на святой Руси вольная волюшка!..

Может, далеко еще до вольной волюшки, но вот поднялись же на царя-кровопивца сами дворяне офицеры. Если бы они кинули народу призывное слово, не устоять бы царю. Рухнул бы трон, а вместе с ним крепостная неволя, и настала бы хорошая жизнь.

Как же поступить с беглым каторжником Лопаревым?

Можно ли приобщить холеного барина к верованью Филаретову? Не порушит ли он крепость?

«Белую кость, как ни прислоняй к мужичьим мослам, а все не выйдет единой кости. Две будет: белая и черная».

Задумался старец Филарет. И так кидал неводом мысли и эдак.

Ночь минула тяжкая, судная. Блудница Акулина сгорела, не раскаявшись в грехе. Ладно ли?

«Экая крепость у нечистого, — думал старец. — И огнем не отторгли бабу от него. Как бы худа не было!»

На солнцевсходе старец учинил спрос невестке Ефимии:

— Слыхала вопль блудницы Акулины?

— Слыхала, батюшка.

— И барин слышал?

— Не ведаю, батюшка.

— Где же была? Доглядывала за барином аль нет?

— Барин захворал, должно. Я не посмела спросить. Да и самой страшно было.

Старец недоверчиво покосился на невестку: из веры давно вышла.

У Ефимии что ни погляд, то огонь. Истая искусительница! Глаз черный, скрытный, и душа в туман укутана. Разберись, что у нее прячется за словами и за черными глазами!

Как ни укрощал Ефимию Мокей, сын Филаретов, ничего не достиг. Схватит, бывало, Мокей Ефимию за черную косу, пригнет к земле и лупит, как Сидорову козу. Ефимия хоть бы раз покорилась. «Убей, ирод, а все равно горлица ястребу не пара».

Горлица ли? Еретичка!

Приметил Филарет: после отъезда Мокея ходоком на Енисей Ефимия будто совращать стала несмышленища Семена Юскова — безбородого парня. Пустынник Елисей пожаловался; парень

испортился, радеет перед образами не от души. Ефимия ходила с ним по степи собирать травы целебные, а может, искушала?

«Ох-хо-хо! Ведьма, ведьма! — кряхтел старец. — Прогнать бы из общины аль на судное моленье выставить».

Но как же быть с барином? Хоть в оковах появился а все не мужик, не праведник.

Старец долго стоял возле телеги, под которой скрывался Лопарев, потом позвал:

— Человече! Бог послал утро!

Лопарев выполз из-под телеги, поздоровался со старцем, а сам руки прячет в рукава. Бледный, и глаза впали.

— Али хворь привязалась?

Лопарев пожаловался: и в жар кидает, и в озноб. И голова болит — глаз не поднять, и всего ломит, и в горле сухо — туес воды выпил за ночь, и все мало.

— Бог милостив, — ответил старец. — Лекарша у нас есть. Хоть баба, а толк в знахарстве имеет. Бог даст, подымет на ноги. Аминь.

II

Ефимия только того и ждала: позволения лечить барина, встречаться с ним, изливать душу. Но чтобы старец не заподозрил в дурных помыслах, Ефимия сперва отказалась лечить щепотника: грех ведь, не из нашей веры. Деверь Ларивон поддержал сноху:

— Праведное слово говорит благостная, — прогудел он себе в рыжую бородищу. — Блудницу огнем сожгли, а щепотника выхаживаем, паки зверя лютого. Отчего так?

Старец стукнул батоном-посохом:

— Молчай, срамное брюхо! Хаживал ли ты, праведник, в чеши закованным по рукам и ногам? Шел ли ты на царя с ружьем? Сиживал ли в каменной крепости? Барин тот попрал барство да дворянство, чтоб свергнуть сатанинский престол со барщиной и крепостной неволей. Слыхивал ли экое? На зуб клал али мимо бороды прошло? Может, тот барин примет нашу веру древних христиан и, как Аввакум-великомученик, пойдет с нами к Беловодьюшку сибирскому. Тогда, бог даст, отдам ему посох и крест золотой...

Содрогнулась община от подобных намерений духовника, почитаемого не менее самого Иисуса Христа.

Пустынники-верижники толковали и так и сяк. Особенно старался в том пустынник-апостол Елисей.

— Грядет, грядет великая напасть! — вещал Елисей по землянкам, хаживая к верижникам. — Сам духовник в отступ пошел от древней веры — гибель будет. Сам зрил того нечистого, упрятого под Мокеевой телегой. Курицу жрал, и масло по бороде текло. Откель масло? Еретичка Ефимия оскоромилась!

И — пошло, понеслось среди верижников:

— Не зрить нам Беловодьюшка!

— Нечистый барин, чай, в церковь поповскую поведет, кукишем креститься заставит.

— Ох, худо! Ой, худо!..

Дошел вопль и до старца Филарета. Созвал он на тайное моление в свою избу избранных богом и самими верижниками верных апостолов и в том числе неистового кривоносого Елисея с гирею на ноге.

Зажгли двенадцать свечей у древних икон, помолились по уставу, расселись вокруг стола духовника, а потом начали разговор.

— Сказывайте волю Иисуса, — потребовал старец. — Глаголь, святой Елисей!..

Елисей вышел на середину избы, опустился на колени и, воздев руки к иконам, возопил:

— Сатано округ рыщет — гибели нашей ищет, святейший наш батюшка Филарет! От барина того гибель будет.

— Также. Также. — Филарет помолился. — Глаголь далее.

— Слыхивали: посох духовника обещал щепотнику? — намекнул Елисей и замер, ожидая слова духовника.

Духовник ничего не ответил. Обратился к апостолу Тимофею:

— Сказывай, преблагостный Тимофей. Кто рек при щепотнике Филаретово имя? На чью ладонь положили тайну святого Церковного собора? Чьему имени при щепотнике хвалу воздали? Сказывайте!

— Елисей, батюшка Филарет! Он рек имя! Он! — ответил длиннющий апостол Тимофей.

— Бес попутал. Каюсь, батюшка!.. — бухнулся лбом о земляной пол апостол Елисей.

— Тайна на чужой ладони — чья тайна? Сказывайте!

— Июдина. батюшка Филарет.

— Как быть таперича? Гнать ли щепотника со тайною во поле, в сатанинский мир, али у себя оставить да под надзором покель держать?

Порешили: держать пока под надзором, тем более барин тяжело захворал и, бог даст... сам преставится на суд всевышнего. Ну, а если выживет...

— Не вводи нас во искушение, господи! — помолился батюшка Филарет со своими апостолами. — Бог послал искушение — бог даст прозрение. А тебе, святейший апостол Елисей, сказываю: многими скорбями подобает войти во царство небесное! Если господь призовет меня — тебе носить посох духовника. Аминь.

Апостол Елисей от такого обещания лишился речи и до того обессилел, что еле выволок ноги из моленной судной избы старца.

Каждый из апостолов невольно подумал: «Настал час для Елисея. Теперь ему надо торопиться аминь отдать. Господи, помилуй раба божьего!..»

Сам раб божий едва дополз до своей землянки: хворь будто пристала к старым костям.

Духовник меж тем долго еще после тайного моления со своими апостолами отбивал земные поклоны.

«Смута, смута зреет в общине нашей, господи! — стонал Филарет, воззрившись на иконы. — От Юсковского становища смута идет; от ехидны Ефимии смрадом тянет! Повергнут, июды, веру древних христиан и расползутся все по сатанинскому миру, яко поганые крысы по земле. Как едную крепость держать, господи? Огнем ли жечь еретиков али в реке живьем топить? Еретичку сожгли — во грехе не покаялась. Апостола Митрофана на огонь волокли — глаголет святотатство! Как жить, господи? Силы нету. Разуменья нету. Праведники во червей обратятся, спаси, Иисусе!.. Дай мне силу и просветления господнего!..»

Ответа не было. Мерцали восковые свечи; тянуло запахом горящего ладана. Старец тяжело поднялся и вышел из моленной избы. Сказал сыну Ларивону, чтоб позвал Ефимию.

— Пусть Марфа во сто глаз зрит за ней да чтоб к Веденейке на дух не пускала. Смотрите! — погрозил посохом Ларивону и вышел на

берег Ишима, где и дождался невестки, давно подозреваемой в тайном еретичестве и в сговоре со становищем Юсковых.

Ефимия подошла, и глаза в землю: не ей говорить первое слово. Старец долго молчал, глядел на другой берег Ишима. Вскинул глаза на невестку. Ух, до чего же чернущие глаза у искусительницы! Дна не увидишь, сокровенной тайны на крючок слова не выудишь; хитрость на хитрость метать надо.

— Што барин? — спросил. — Полегчало?

— Худо барину, батюшка, — скорбно ответила Ефимия, глядя себе под ноги. — Огнем-пламенем пышет; реченье бредовое. Взваром травы пою, а более ничего в рот не берет.

Филарет подумал.

— Реченье, глаголешь? Слова слышала?

— Слышала, батюшка. Про восстанье говорит, про расправу царскую. Кровавым венценосцем царя называет.

— Глаголь правду! — насторожился старец. — Что узрилась в землю? Не в ногах правда, на небеси.

Ефимия вскинула глаза на старца — черные-черные и ясные, без единой тучки. Старец сдался:

— Оно так: царь — кровавый венценосец. Праведное слово барин глаголет. Вразумит господь — с нами будет. Нашу веру примет. Али не примет?

— Не ведаю, батюшка.

— И то! — хмыкнул старец. — Какая болесть у барина? Не ведаешь?

— По всем приметам тиф или черная холера. При тифе в такой жар кидает болящего...

— Господи помилуй! — испугался старик и будто ростом стал ниже. — Ежли хворь на общину перекинется — сколь людей сгинет!

— Я сказала Ларивону...

— Ларивону!.. Мне ведать надо, не Ларивону. Господи помилуй, беда грядет! Беда! — Минуту помолчав, собравшись с думами, наказал: — Покель барин хворый — с ним будь неотступно.

— Со щепотником-то! Помилосердствуйте, батюшка!

— Молчай, когда я глагол держу! Не со щепотником, а с болящим без памяти. Неотступно будь с ним. Во общину не хаживай — хворь по праведникам не носи, слышь? Батогами бить буду. И к Марфе глаз не

кажи, и к моленной близко не подходи. Ежли барин подыметя — моленье будет; грех сыем с тебя, и ты очистишья. Еду какую надо — Юсковы подносить будут в твою избу.

У Ефимии будто потемнели глаза.

— Али жалкуешь Юсково становище?

— У меня есть свое становище, батюшка.

— Такоже. Да в глазах у те узрил сейчас два становища, а понять не могу, которое тебе дороже.

— Всех людей жалею, батюшка...

— Ладно! Сполняй мою волю, — отпустил старец невестку и сам подался проведать многочисленных пустынников-верижников с ружьями, без которых немислимо было бы удержатъ подобную крепость, какую учредили когда-то давно в доброславном Поморье на реках Лексе и Выге.

III

Щепотник Лопарев седьмые сутки не подымался, то огнем горел и беспрестанно просил воды, то закрывался с головою овчинным тулупом, чтоб согреть зябнущее тело.

Ефимия призвала на помощь все свое знахарство, какое познала белицею в Лексинском монастыре. И настоем трилистника поила, и взваром болотной полыни потчевала, и резун-травую, и корнями вилорога, и горячими бутылками обкладывала бариново тело, чтоб из костей ушла остуда. А более всего лечила собственным сердцем, неистраченной любовью, обрызганной с девичества горем горьким да вязким.

Ефимия перехитрила-таки дотошливого и никому не верящего старца: не черная холера, не тиф у барина, а просто лихорадка. После голодного и безводного плутания под солнцем по степи, да еще судную ночь слушал, — из памяти камень вышибет, не то что человека.

Знала: и от лихорадки умереть можно, потому и помогала целебными травами, и верила: одолеет худую немочь, подымет мученика на ноги...

Вокруг стана, сооруженного Ларивоном под телегою, — ни единой души ни днем, ни ночью. До того перепугал всех духовник.

Ефимии то и надо — побыть хоть неделю-две с человеком, не ведавшим тягчайшей крепости духа...

Настала восьмая ночь. Пасмурь навалилась на приишимскую степь; тучи сплывались на обнимку, и ветер пошумливал шапкою старой березы.

Ефимия долго сидела возле березы у потухшего костра с прокоптелыми котелками. Вечером она потчевала болящего и рада была, что съел кусок пшеничного хлеба из просеянной муки и выпил полкринки молока: для болящего пост — не закон.

«Ноне он в памяти, — подумала Ефимия, зябко кутаясь в теплую шаль с кистями, вывезенную дядей Третьяком из Голландии. — Как спать-то мне рядом с ним под телегой? Али сказать старцу, что болесть уходит?»

Нет, не скажет старцу. Пусть хоть три дня таких же, без крепости духа...

Вынула маленькую иконку из-за пазухи, опустила на колени тут же возле березы и, глядя на восток, помолилась.

«Спаси меня, богородица пречистая, — шептала собственную молитву. — Не греховная плоть мучает мя, а сердце тепла ищет; человека ищет; свободы духа ищет. Ведала ли ты, мать божья, как тяжко жить на белом свете без свободы духа? Знала ли ты оковы без железа, которыми выжившие из ума старцы пеленают души людские? Помоги, мать божья, скинуть те оковы, от которых дух каменеет и руки на дело не поднимаются! Молю тебя, господи! Услышь мой вопль и слезы мои высуши в глазах моих. Аминь!»

Такая молитва словно вдохнула в сердце Ефимии решимость и бесстрашие. Спокойно спрятала иконку за пазуху и, оглянувшись, прислушалась. Тихо... Слышно фыркание лошадей, сопенье коров в пригоне, да изредка собака взлает.

Тихо...

Облака в обнимку сплываются, а слёз-дождя не выжмут, сухие, значит. К погодью.

Опустилась на колени и полезла под телегу, где можно троим спать. Шурша луговым сеном, подползла к болящему, прислушалась к дыханию: неровное, нездоровое. На ощупь дотронулась головы и тогда уже ладонь приложила ко лбу: жар.

Лопарев застонал, переворачиваясь на спину и сбрасывая с себя тулуп.

— Горит, горит... — бормотал он. — Кругом все горит. Ядвига! Имение горит... Воеводство горит...

— Опять Ядвига! — вздохнула Ефимия.

— Вся Россия гореть будет. Будет. Будет. Слышишь, Ядвига?

— Слышу, — ответила Ефимия, приваливаясь на локоть возле него.

Лопарев будто услышал подлинный голос Ядвиги и быстро переспросил:

— Ты слышишь? Да? Слышишь?

— Слышу.

— Ядвига? — Я здесь...

— О, господи! — облегченно и радостно заговорил он, Ефимия не успела отпрянуть, как он схватил ее за руки. — Ядвига? Твои руки! Твои! О, господи! Надо бежать, бежать...

— Лежи, лежи, Александра! Нельзя бежать: жандармы кругом.

— Жандармы?

— Кругом, кругом жандармы, — заторопилась Ефимия, удерживая Лопарева за плечи. — Схватят и в цепи закуют. Душу в цепи закуют, и тогда погибнем.

— Душу?.. — соображал он.

— Самое страшное — душу. Руки и ноги давно закованы, Александра. Цепи на руках и ногах легко носить — ох, как тяжело носить цепи на душе!..

— Понимаю. Понимаю... О, господи! Как душно... Где мы, Ядвига?

Ефимия не сразу нашлась что ответить.

— Где мы? Где? — требовал Лопарев.

— Мы далеко-далеко, в девятом царстве, — проговорила она, а у самой сердце слезами умылось: как быть, если барин пришел в сознание?

— Не понимаю. Ничего не понимаю. Такая боль в голове!.. О, господи! Мама!.. Что стало с мамой?.. Я ничего не знаю, ничего не знаю. Она мне сказала: «Бесы закружили, видно». Нет, не закружили, мама! Не вышло восстание: плечо к плечу не держали. Будет другое время — не устоять престолу. Иначе жить нельзя. Нельзя, нельзя!

— Нельзя, Александра, — подтвердила Ефимия.

— Ты меня звала Сашей, Ядвига. Зови Сашей... Как ты меня нашла?

— Нашла, нашла, — отозвалась со вздохом Ефимия. — Ложись. Нельзя говорить громко... Саша. Нельзя.

Он нашел ее руки и порывисто притянул к себе. Ефимию в жар бросило, когда барин стал целовать их, бормоча что-то, а потом сказал стихами:

Вчера был день разлуки шумной,
Вчера был Вакха буйный пир,
При кликах юности безумной,
При громе чаш, при звуке лир...

Ефимия со слезами слушала его голос и не знала, что же ей делать.

— Клянусь девятью мужами славы, мы еще доживем до славных дней России. Доживем, Ядвига!

— Дай бог! — тихо промолвила Ефимия.

— Бог? Нет, нет, Ядвига! Ни католический, ни православный не помогут нам. Не помогут. Свободу надо брать своими руками. Да, своими!

Ефимия промолчала.

— Голова... голова... О, господи!.. — опять застонал Лопарев и опустил на сенное ложе; притих.

Ефимия подождала, пока он уснул, и, не в силах удержать горечь, подступившую к горлу, выбралась на ветер. Хоронясь возле березы, долго-долго плакала. Это была ее последняя ночь «без крепости духа»...

На другой день Ефимия сказала Ларивону, что барину полегчало и он в полной памяти, а потому быть с ним нельзя правоверке. Старец Филарет вскоре позвал ее в Ларивонову избу, выслушал и тогда разрешил навещать к барину только днем, с приношением пищи.

На десятый день Лопарев покинул свое убежище, грелся на солнышке и слушал быль старца про поморских праведников.

— Кабы анчихрист не плутал по царствам-государствам, давно бы люд праведный жил во счастье, со господом богом, — гудел старец. — Вот мы спасаемся от греховности одной общиной. А кругом как? Соблазн. Искушения. Погань всякая.

Лопарев не сдержался, заметил:

— Спасение для людей — свобода. Без свободы нет жизни человеку, а есть каторга, в цепях или без цепей — какая разница!

— Свобода с блудом бывает, — возразил Филарет. — Дай свободу слабым да не твердым — и в блуде погрязнут, со червями земляными заодно будут.

— Без свободы человек окаменеет, думаю. Нищий духом станет.

Старец поднялся и ушел восвояси...

Ефимия радовалась. Она так и светилась вся, глядя на Лопарева. Это она спасла его от смерти!

И Лопарев сказал:

— Если бы не ты, не жить бы мне. На что Ефимия тихо ответила:

— Тогда и мне, может, не жить бы, — и тут же ушла — стройная, еще совсем молодая женщина, такая же загадочная и неопределенная, как завтрашний день.

Минуло еще четыре дня, и старец сообщил, что позовет па совет крепчайших пустынников и тогда решат, как поступить с барином: оставить ли в общине, как пришлого, иль прогнать, как щепотника.

«Если прогонят, куда идти? — думал Лопарев. — В городе опознают, схватят, закуют и отправят на каторгу. А в деревню пойти — примут ли? Не лучше ли остаться в общине Филарета? Хоть тьма-тьмущая, но люди надежные, кремневые...

Русь! Какая же ты дремучая и непроглядная! А я-то знал Россию петербургскую, невскую, с выходом в Балтийское море, в Европу просвещенную.

И все-таки надо жить, как сказала Ефимия. Кто знает, может, настанут перемены?»

IV

Августовская ночь прояснилась звездами. Играла, нежила. С берегов Ишима тянуло теплой испариной.

Лопарев лежал возле телеги, думал.

Послышался шорох, будто кто полз. Лопарев оглянулся и встретился с черными глазами — Ефимия!

— Тсс! — Ефимия погрозила пальцем: молчи, мол, — явилась тайно от старца. Подползла к телеге и протянула Лопареву бутылку. — Вино возьми.

— Вино?

Угольные глаза приблизились и заискрились, как две падучие звездочки.

— Што глядишь так, Александра? — И голос тихий, мягкий, как безветренная августовская ночь, и такой же таинственный, обещающий.

— Разве у вас пьют вино? — Лопарев взял бутылку из черного стекла, нагретую руками Ефимии.

Пухлые губы усмехнулись:

— Наше вино — не зелье. На ягодах и меде настоящее. Такое вино все пьют, силу набирают. Зелье сатанинское, аль чай китайский, аль табак бусурманский — того на дух не примаем. — И, лукаво щурясь, Ефимия пояснила: — Кто пьет чай — спасения не чай; кто табак курит — тот бога из себя турит; а кто зелье пьет — тот с сатаной беседу ведет. Аль не так?

— Не думал про то, — ответил Лопарев. — Я и чай пил, и трубку курил, и вино пил крымское и заморское. И водку пил.

— Ой, ой, Александра! — пожурила Ефимия, но беззлобно. — А про спасение души думал?

— Думал, когда сидел в Секретном Доме. Вот, думаю, сгноит меня царь-батюшка в камнях, и куда душа моя денется, коль из каменного мешка и щели нет на волю?

— Грешно так глаголать, — построжела Ефимия. — Потому: душа — не тело. Затворы да стены не удержат.

— Куда же она денется, коль и щели на волю нет? Пробьет камни?

— И камни и землю пробьет, если душа живая.

— Может быть. Не думал про то, — уклонился Лопарев.

— А думай, думай, Александра Михайлович! Нонешнюю ночь судьба твоя решается. Жить тебе с общиной аль гнатым быть. Куда уйдешь, скажи? В оковы? Али ждешь милости от царя-сатаны?

Нет, Лопарев не ждал от царя милости. Он его знает. Говорил с ним с глазу на глаз...

— И духовник так сказал пустынникам: барину от царя милости не будет, а потому спасти надо. Да вот пустынники...

— Что пустынники?

— Лютая крепость у них. Ой, лютая! Жен не ведают, потому, говорят, как Ева совратила Адама и со змеем-сатаной познакомилась, значит, и все жены сатану в себе носят. Они бы всех женщин огнем сожгли.

— Ну, а матерей своих тоже пожгли бы?

— Дай волю — пожгли бы. Лютые, лютые старцы! В общине проживают, как истые праведники. Есть которые с веригами и во власяницах.

— Это еще что такое?

— Вериги? Тяжесть на теле. Которые таскают ружья и спят с ружьями или железо с шипами, чтоб тело кололо. А один раб божий пудовые чурки повешал на себя и таскает их, мучает плоть, чтоб искусу не поддаться.

Власяницы вяжут из конского волоса. Рубаха такая. Надевают на голое тело. Один тут старец есть, Елисей, самый злющий; он двадцать лет носит власяницу и ни разу, говорят, не сымал. Тело у него все в струпьях и рубцах. А на правую ногу чугунную гирю привязал, чтоб сатана не утащил к соблазну, когда глаза спят.

— Разве у него только глаза спят?

— Глаголет так. Телу во власянице не уснуть. Я спытала. Ой, не дай бог повтор!..

— Зачем же тогда надела?

Ефимия оглянулась, взяла Лопарева за руку:

— А ты сам себя заковал в кандалы?

— Со мною разговор был малый: каторжник...

— И то! А меня возвели в еретички. Потом скажу, Александра, только не уходи из общины. Гнать будут — не уходи. Скажи, что примешь веру Филаретову. И я помогу тебе. Пустынники-апостолы, слышь, собрались у старца на тайную вечерю и в один голос трубят, чтоб прогнать тебя, яко нечестивца. Боятся, как бы старец не отдал потом тебе пастырский посох и крест золотой.

— К чему мне посох и крест? — удивился Лопарев.

— Ой, ой! Сила в них великая, Александра. Тогда бы ты стал духовником общины, как теперь Филарет. И тьма-тьмущая сгила бы в

таргарары.

Черные глаза смотрели в упор, настойчиво, призывно, трепетно.

Лопарев смутился и опустил голову: не выдержал натиска.

— Красивый ты, Александра Михайлович, — чуть в нос промолвила Ефимия и опять взяла за руку. — Когда ты в беспамятстве лежал под телегой в лихорадке, я, грешница, трижды побывала у тебя в гостях.

— У меня?! — Лопарев почувствовал, как пламя кинулось ему в лицо.

— Тсс! Где же еще? Рядом с тобой побывала и тулупом тебя кутала, а ты все зяб и звал Кондратия. Дружок твой аль брат?

— Брат по восстанию.

— В каторгу пошел?

— Повешен.

— Помилуй его душу, господи, и отверзни пред ним врата господни! — помолилась Ефимия, и звезды ее глаз будто потухли.

Помолчав, спросила:

— Еще глаголет про кобылицу с жеребенком, какие с тобой по степи шли. Может, привиделась кобылица-то?

Нет, Лопарев уверен, что кобылица с жеребенком шла и потом орел налетел.

— Знать, знамение господне! Чтоб не сгил в степи и звери не рвали твоё тело, господь послал кобылицу с жеребенком. Знамение, знамение!

Лопарев не верил, конечно, что бог послал ему знамение, но не стал разубеждать Ефимию. К чему?

— Раз ночью, — продолжала Ефимия, — когда я крадучись пролезла к тебе, ты в беспамятстве звал мать. И я молила здравия твоей матушке.

Лопарев хотел поблагодарить, но от волнения ничего не мог сказать.

— А вот тут, где сейчас сидишь, на седьму ночь, помню, подошла проведать тебя, а ты... горько так плачешь. Слышу: «Ядвига! Ядвига!» И про Варшаву-город, и про какого-то Никиту. Не ведаю. — И тихо спросила: — Ядвига — жена твоя?

Лопарев поежился:

— Невеста была. Да поругались с ней, еще до восстания.

— Из-за чего поругались? — допытывалась Ефимия. Лопарев усмехнулся:

— Веру отказалась менять.

— Веру?! Какая же у ней вера?

— Католическая. Римская.

— Ой, ой! Бесовская. Тричасному кресту молятся и деве Марии, а ведь Христос — спаситель и бог наш. Ладно, што поругался с ней, беда была бы. Ой, беда! От христианства уйти, как на огне сгореть. Забудь ее, Ядвига-то. Из сердца, из души выкинь, чтоб и во сне не являлась. Я еще подумала...

Послышался старческий кашель Филарета. Ефимию как ветром сдуло...

V

Мелководная река воркует, журчит, будто сказку бормочет...

Бурная — камни перекатывает, с ног сшибает. Не река — кипень студеная.

Кипеню начал свою жизнь род Боровиковых...

Сам Филарет в молодые годы баловался силушкой, сноровкой, смелостью и удалью. Емельян Пугачев наградил Филарета кривой турецкой шашкой и четырехфунтовым золотым крестом, снятым с какого-то важного божьего пастыря.

Осеня себя двоеперстием, Филарет кидался в самую гущу битвы и рубил, рубил анчихристов во имя вольной волюшки!

Не раз Емельян говорил Филарету:

— Помолимся, брат, чтобы укрепить дух и побить ворогов-супостатов, опеленавших Русь железом. Народ в ярме, а бары в золоте да в холе. Нашей кровушкой питаются, а мы слезами исходим.

И они молились. Плечом к плечу. А потом брались за пищали, шашки, за деревянные рогатины с железными наконечниками и бились с царским войском до последнего вздоха.

Не одолели крепость царскую и боярскую — силы не хватило...

Емельяна упрятали в железную клетку и повезли на казнь; Филарету удалось бежать в Поморье, где он впоследствии утвердил свою крепость веры.

С Поморья общиною бежали в Сибирь...

И вот встреча с беглым каторжником, барином...

«Чем же не потрафил царь-батюшка барину? Чего не поделили? Холопов аль добычи и власти?» — думал Филарет.

Он подошел к пепелищу — в белых холщовых штанах и в продегтяренных поморских мокроступах на босу ногу, опираясь на высокий посох с золотым набалдашником.

Огляделся.

Золотой крест тускло поблескивал.

Лопарев впервые увидел старца-духовника такого вот торжественного, важного, как сама вечность.

Минуты три старец к чему-то приглядывался, принюхивался, поводя головою.

«Спугнул, должно, ведьму Ефимию, — подумал старец, видя, как барин испуганно сгорбился возле колеса телеги. — Ох, искусьительница! Как змея, явится и, как змея, уползет — следа не сыщешь».

Тяжко вздохнул. Грех, грех!

Поверх белой из тонкого холста длиннополой рубахи опоясан широким кожаным поясом со множеством кармашков, где старец хранил часть золотой казны общины.

Дорога дальняя, и золота у общины немало, а живут своими харчами. И на Волге урожай вырастили, и вот на Ишиме соберут урожай, а золото тратят в крайнем случае.

Шурша крылами, на старца налетела летучая мышь и прицепилась к белой рубахе.

— Изыди, тварь!

Постоял возле пепелища, прислушался к чему-то.

— Не спишь, Александра?

— Не сплю, отец.

— Ишь, бормочет Ишим, а ветру нет.

Подошел ближе, поглядел на Лопарева, вздохнул:

— Пустынники порешили, Александра, прогнать тебя из общины, чтоб не порушилась крепость старой веры. Жалкую вот, куда пойдешь. В чеи али в землю?

Лопарев не знал, что ответить.

— Также было со мной, когда бежал я от висельников. Войско наше побили, в чеи заковали. А я ушел, господи помилуй. И познал

лютость людскую. О трех деревнях гнатым был, да не изловлен. Голодом маялся и холодом, покуда пустынный не спас мя.

Стукнул посохом, вознегодовал:

— Спасен был! А ты вот гоню на погибель. Ладно ли? В оковы гоню, к еретикам, собакам нечистым! Ох-хо-хо!

Лопарев ничего не ответил: Ефимия научила не говорить лишнего, а больше слушать старца.

— Молчишь? И то! Судишь, должно, старца Филарета.

— За что судить, отец? Поступайте по вашей вере.

— Пустынники наседают на меня! Пустынники! Погоди ужо, Александра. Хвалу богу воздав, аз *те* и благодать будет. Где та благодать, спросишь. Погоди ужо. Скажу.

Филарет опустил на лагун с водой, хрустнув хрящами.

— Пустынники глаголют: вера твоя еретичная, а сам ты из барского сословия, чуждый общине. Тако ли есть? Какое твое барство?

— Теперь я каторжанин.

— Ведомо, ведомо! Сам кинул чеши в Ишим-реку. И ты закинь свое барство да дворянство на дно реки текучей, и бог примет тя, и благодать будет. Скажу про общину. Не ведаем мы оков, не знаем сатанинских печатей и списков, какие хотели завести на нас на Волге и в Перми-городе. Мучили нас стражники, да урядники, да попы бесноватые, чтоб мы отрешились от старой веры. Тогда сказали мы: в срубках огнем себя пожжем, а веры щепотной не примем и царю молитву не воздадим. Сказано бо: и паки пойте в печь идущие!

Старец торжественно перекрестился.

— Ведаешь ли ты, Александра, какой грех творят поганые попы?

Лопарев того не знает.

— Я морскому делу обучался, отец.

— Потому и глаголю с тобой, что ты, под богом ходючи, бога не ведал, зело не искушен.

— Не искушен, — признался Лопарев.

— В Писании сказано: падут грады, вознегодует на них вода морская, реки же потекут жесточае. И то! Грады от бога отступились, погрязли в блуде да еретичестве, оттого и погибель будет! Спасутся истинно верующие. Вот и блюдем мы старую веру. И сказано: своего врага возлюби, а не божьего, сиречь еретика и наветника. С еретиком

мир какой, Александра? Ехидна и погибель! Еретика не исправишь, а себе язвы в душу примешь. Еретиков жечь надо!..

Лопарев слушал, присматривался к старцу. Такого Филарета он еще не знал. Неистового, убежденного, непреклонного и уверенного в своей истинной вере-правде.

— Примешь ли ты, Александра, крепость старой веры? Лопарев содрогнулся. Ему было почудилось, что в ночи опять раздался вопль Акулины...

— Не срыгнешь ли? — спрашивал старец. — Али, можешь, к царю да к барам-крепостникам на поклон поволокешь нас, праведников?

— Не будет того, отец, — ответил Лопарев. — С вами хоть на край света пойду, если не изловят жандармы.

— Община укроет. По нашей вере так: хочешь помилованному быть — сам такоже милуй; хочешь почтен быть — почитай другова. Богатому поклонись в пояс, а нищему — в землю. Алчущего — накорми, жаждущего — напои, нагого — одень. Бо се есть божья любовь, Александра! Блудницу — батогом гони, лупи, бо се есть бесовская любовь. Хвально так-то жить! Хвально! Передохнув, старец спросил:

— Читал ли ты, Александра, Писание по старым книгам?

— Не читал, отец.

— Читать будешь, познаешь веру. Научу тя молениям нашим, погоди. Да вот пустынники глаголют, будто глазами зрили, как тебя сатано подвел к становищу. Скажи, как дошел до нас?

Лопарев вспомнил, как Ефимия сказала ему про знамение...

— Если бы бог не послал знамение, не дошел бы до вас, отец.

— Знамение?! — Старец вздрогнул от такого слова. — Сказывай, сказывай, человече!..

— Три ночи и три дня кружился я по степи, отец. Иду, иду, а выхожу на то же место. Думал, погибну так. Тут услышал я голос: «Мичман Лопарев!» Глянул вокруг — никого нету. А потом вижу — кобылица подошла ко мне с жеребенком, хромая на переднюю ногу. Откуда взялась? Не знаю. Хотел изловить ее — не далась. Побежала степью, и я за ней. Так и пошли мы. И тогда воспрял духом: не один, значит, в пустыне. А ночью увидел зарево огня. Так было, отец. Где та кобылица с жеребенком, не знаю.

Старец поднялся и воздел руки к небу:

— Прости мя, господи, чадо неразумное, в седых власах пребывающее! Как я того не уразумел, господи! Знамение было, знамение!..

И упал на колени.

— Прости мя, раб божий, за слепоту мою, коль не уразумел того.

Лопарев не знал, что делать. Старец молится на него и просит прощения.

— Отец, отец, что вы так, — бормотал Лопарев. — Может, то не знамение было, а показалось мне...

Старец замахал руками:

— Молчай, молчай! Не кощунствуй! Знамение было — радость правоверцам! Аллилуйю воспоем, аллилуйю!.. Кобылица та, хромяя, с перебитой ногой, к табуну нашему прибилась, и жеребенок с ней, слышь. Молосный, гнеденький, и спина поранена у того жеребенка. Вот оно диво дивное, господи! Бог вразумил мя сказать мужикам, чтоб кобылицу не убивали. Жива, жива!

— Я на нее могу посмотреть?

— погоди ужо. погоди, Александра. Диво дивное свершилось, а тут старцы-пустынники, какие под именем Христа-спасителя ходят, ересь на меня пустили, собакины дети! Ишь что удумали! Гнать тя батогами, грязью, яко еретика-щепотника! Верижников подбили на то, слышь! Ах, паскудники, псы вонючие! погоди ужо, я того апостола Елисея крестом огненным заставлю молиться, и аллилуйю воспоем ужо!

Лопарев догадался: какому-то «апостолу» Елисею — гореть на кресте...

— Пустынники ведь не знали про знамение.

— Молчай, молчай, Александра! Не вводи во искушение, бо сам под божьим знамением живешь, яко младенец у титьки матери! погоди ужо. Дай подумать.

И старец Филарет погрузился в думу.

Лопареву стало жутковато: что-то надумает Филарет. Если бы знал, как обернется совет Ефимии, никогда бы не сказал. Чего доброго, человека сожгут да еще и аллилуйю петь заставят!

— Возлюбил тя, Александра, — начал старец, — яко сына родного Мокея, какой на Енисей-реку ушел со товарищами. Плоть к

плоти приму ты в общину, потому — благодать божью принес ты всем нам. Слава господу! Апостолы порешили гнать тебя батогами, да навозом, и грязью, слышь! Погоди ужо! Познают батоги!

Перекрестился, спросил:

— Окреп ли телом, Александра?

— Окреп, отец.

— Можешь ли пройти версты три али четыре?

— Пройду, отец.

— Ладно. Слушай тогда. Восхода солнца ждать нельзя, потому как апостолов надо потрясти! Такоже надо. Ох, надо!.. Ожирели, собакины дети. Придут гнать батогами, а тебя нету. Тут я скажу им, треклятым, как они посрамили знамение господне и узрили нечистого чрез дурные помыслы свои. Скажу-тко, скажу!

Старец погрозил посохом.

— Надумал так, Александра: подыму сейчас Ларивона, и он поведет тебя, сын мой, версты за три к лесу, и ты там спрячешься. Пять дней поживешь там до субботнего моленья. В субботу явимся к тебе всей общиной, с песнопениями, со иконами древними и кобылицу ту приведем с жеребенком, слышь. И ты выйдешь из леса, яко праведник Иисуса, и воспоем аллилуйю!

Лопарев ничуть не обрадовался такому торжественному вступлению в общину, тем более если кого-то сожгут.

— Не надо никого сжигать, — попросил Лопарев. Старец пристально поглядел на него.

— До субботы пять дней, человек. Успеешь обдумать всю свою жизнь от истока до устья. Коль порешишь быть с нами, выйдешь к общине, и служба будет. Не порешишь — ступай себе с миром. Хоть на восток, хоть на запад.

Лопареву ничего другого не оставалось, как принять условия старца.

— Аминь тогда. Стань на колени, благословлю. Лопарев опустился на колени.

— Теперь пойду будить Ларивона. Хлеба возьмет тебе, кружку там, баклажку для воды, серных спичек, чтобы огонь мог добыть, топор, чтоб в лесу жить.

Старец поднялся, опираясь на посох, постоял некоторое время, глядя на Ишим, пробормотал что-то себе под нос про бесноватых

верижников и ушел, шаркая мокроступами.

Послышался подозрительный шорох. Лопарев оглянулся. Ефимия!

— Тсс! Все слышала, знаю, — промолвила полуночница, горячо схватившись за руку Лопарева. — Ой, хорошо сказал про знамение-то!

— Не было никакого знамения, — вырвалось у Лопарева.

— Было, было! — шептала Ефимия. — Верить надо, Александра, коль под богом ходишь.

— А потом Елисея на кресте сожгут?

— Елисея-апостола?! Ой, кабы сожгли! Не старец, а лешак, чудовище поморское. Он бы тебя первый батогом ударил по голове, и ногами бы топтал, и грязью бы кидал! Кого жалеть-то! Не пустынный, а ехидна треглавая! Слушай, Александра, не думай от общины уйти — сгинешь. На каторге али в цепях. В общине твое спасение. Не один Филарет возлюбил тебя, слышь. Идти мне надо. Может, позовет старец. Не уходи же, не уходи! Я в той роще найду тебя. Жди меня, жди!

Лопарев не успел собраться с духом, как Ефимия уползла. До чего же она проворная, бесстрашная и ловкая! Что сказал бы старец, если бы застал сноху возле телеги, жарко пожимающую руку будущему праведнику Иисуса?!

Явился Ларивон. Молчаливый, бородатый, с мешком и топором на левом плече и с толстущим батоном в правой руке. Поглядел на барина, как гора на мышь, прогудел в бороду:

— Пшли, што ль, барин.

Ночь играла ясными звездами. Возле берега шумели рябиновые заросли. Ларивон вышагивал впереди, что медведь, переваливаясь с плеча на плечо, и ни разу не споткнувшись, и не оглядываясь на неловкого барина.

Шли часа три, не менее.

Слева — пологий берег Ишима, безмолвная степь, а справа по берегу — травы по пояс. Шелестящие, поющие. Из-под ног вылетали потревоженные перепелки. Впереди темнел лес.

Не доходя до леса, Ларивон остановился.

— Тамо-ко хоронись. Батюшка так велел, — указал Ларивон, сбросив в траву мешок и топор.

— Тут нет никакой деревни близко?

— Не хаживал в деревни. Не ведаю.

— А тракт далеко?

— Не ведаю.

Повернулся и пошел в обратную сторону.

Лопарев сел возле мешка, задумался. Потом лег на спину и долго глядел в небо. Такое ли оно в эту ночь над Петербургом или Орлом?

«Навряд ли я когда-нибудь увижу петербургское или орловское небо! Туда мне дороги заказаны. Одна дорога открыта: на каторгу!»

Но если он сам явится к стражникам, то наверняка его посадят в тюрьму и пошлют запрос царю: как поступить с ним после побега?

«Царь еще подумает, что я собирался бежать в Варшаву, и опять упрячет в Секретный Дом».

Ну, нет! Лучше умереть здесь, в степи, чем еще раз быть узником Секретного Дома.

I

Кудрявые темные березы, отчего вы так печально шумите пышной листвою? Неумные птицы, о чем вы беспрестанно поете в березовой роще? Муторно на душе Лопарева — места себе не находит в тенистой роще.

Плещется тиховодный синий Ишим.

Минули сутки, вторые. На исходе третья ночь. Над Ишимом полыхает предутренняя зарница. Костер то потухает, покрываясь сединою пепла, то мигает Лопареву кроваво-красными глазами углей.

Кого и чего он ждет, Александр Лопарев? Ефимию? К чему она ему, жена сына Филаретова, возросшая в двух раскольничьих монастырях, повидавшая Наполеона? Или он ждет, когда к нему явится община с молитвами, песнопениями, с иконами и позовет его к себе как Исусова праведника?

«Не могу я принять дикарское верованье, — думает Лопарев. — Как жить с ними, если они сами себя сжигают во имя святости старой веры? И что в той вере? Заблуждения, мрак?..»

Надо встать и уйти, пока не поздно.

«Но куда уйти? Куда? — в тысячный раз спрашивает себя Лопарев. — Велика ты, Русь, а деться некуда! Пустынна ты под тиранией венценосца, ох, как пустынна! Одни сами себя гонят в безлюдье, куда-то в дебри на Енисей, другие идут на каторгу, третьи в поте лица своего добывают хлеб насущный и кормят царскую челядь, а сами живут впроголодь. И терпят, терпят! Доколе же ходить в ярме? Доколе?!»

II

Никуда не ушел Лопарев. Остался ждать Ефимию. Она же обещала найти его.

Утром Лопарев искупался в Ишине. Дважды переплыл реку, набираясь остуды тела, а в сущности — хотел успокоить мятущиеся чувства.

Солнце повернуло на полдень. День выдался несносно жаркий и душный. Лопарев то встанет, то сядет, то выйдет из рощи в степь и

ждет, ждет, когда же наконец появится Ефимия? А ее все нет и нет.

«Она придет. Не может быть, чтобы она забыла о своем обещании. Если только в яму посадили, тогда...»

Лопареву стало жутко. Он не может покинуть эту степь, не повидав Ефимии.

Порхают птицы, беззаботные, веселые, как будто вся березовая роща отдана им на вечную радость.

В зените золотистое облако.

И тишина, тишина. Первозданная...

Когда совсем не ждал, — голос:

— Ты ли здесь, праведник Исуса?

Лопарев круто обернулся на голос и попятился. Ефимия ли то?

— Чего так испугался? — А голос, как мед текучий, и сладкий, и приятный, и до того липкий, что Лопарев не в силах оторвать взгляда от Ефимии. Это, конечно, она. Но как же она преобразилась! В синем нарядном сарафане с красной прошвой посередине, с золотой вышивкой по подолу. Под сарафаном батистовая кофта с вышивкой по рукавам, застегнутая на перламутровые пуговицы. Без привычного черного платка. Чудно! Кудрявящиеся на висках черные волосы схвачены красною лентой у затылка, отпущены по спине — струистые, чуть ниже плеч. Совсем не черница и не староверка. Лопарев ни разу не видел ее без платка и в такой богатой одежде. И в самом деле — княгинюшка.

Ефимия держится прямо, вызывающе. Глаза большие, блестящие, как черные камушки в родниковой воде, с лукавым прищуром. В припухлых, капризно вычерченных губах играет усмешка. Виднеется полоска широких зубов. Белых-белых. На подбородке ямочка. Такие же ямочки на пунцовых щеках, будто кто надавил пальцами. В руках Ефимии — маленькая иконка богородицы, отделанная сканью и золотом. Ноги в шагреневых ботинках с высокими голенищами, застегнутыми на пуговицы.

Лопарев оробел, утратил дар речи и чувствовал, как прямо в жилы ему льется кипяток из ее черных глаз. На вид совсем юная и хрупкая. Но если бы он мог знать, какая сила сокрыта в ее красивом и спокойном теле!..

За спиною Ефимии толпились толстые березы, выросшие из одного корня.

Лопарев навсегда запомнил Ефимию на фоне трех берез.

— Ждал меня? — Ефимия поклонилась в пояс, прижимая иконку к ложбине между грудей.

Лопарев кинулся к Ефимии, но она дико отскочила.

— погоди, Александра. Не подходи, — проговорила она и поспешно перекрестилась. — Возьми палку и бей. Лупи меня, лупи!

Лопарев вытаращил глаза:

— Что ты, Ефимия?

— Али забыл, как толковал тебе старец Филарет? Лопарев, конечно, забыл.

— «Алчущего накорми, жаждущего папой... бо се есть божья любовь, Александра! Блудницу батогом гони, лупи, бо се есть бесовская любовь», — напонила Ефимия слова старца и опустила на колени.

— И я пришла, видишь. В наряде пришла федосеевском, какой дядя мой, Третьяк, сохранил от покойной матушки. Если бы старец узрил меня в этом наряде, на огонь поволок бы, как ту Акулину. Да не все, Александра, под волей старца. С общиной в Сибирь идет мой дядя Третьяк. Потому: третьим сыном был после мово покойного батюшки. Кабы не дядя Третьяк да не Юсковы, сгила бы я. Убил бы меня зверь окаянный, Мокей Филаретыч, крепость моя страшная! Прости меня, богородица пречистая.

Ефимия истово перекрестилась.

— В Писании сказано: жена да убоится мужа своего. Рабыней станет по гроб жизни. Нет! Клянусь светлым ликом материной иконки, не стала я рабою, не стала я женою Мокея, хоть и повязала меня судьба с ним. И никогда не буду ничьей рабыней. Родилась я на свет вольной птицей, и только сама черная смерть, худая немочь, укоротит мой дух и спеленает меня по рукам и ногам.

Ефимия трижды поцеловала иконку.

— К тебе пришла, Александра! Видишь какая. Смотри же, смотри блудницу, праведник.

— Я не праведник, Ефимия.

— Не говори так! Ты — праведник, коль на восстание пошел супротив царя и войска сатанинского. Не убоился. Кланяюсь тебе в землю пред чистым небом, пред ясным солнышком. И как па небе нет сейчас черной тучи, так и в моем сердце нету тьмы, а есть радость

зрить тебя, кандалника. Жаждет душа моя света, Александра. Не блудница я, нет! Не верь наветам, если кто чернить будет меня. Душа моя измучилась, а радости не видела. Правду говорю. Нет в моем сердце жалости к Мокею Филаретычу, хоть и спас он меня от лютой стражи собора. Стала я невольницей, а женою никогда не была, хоть породила сына. И горько мне, и тяжело!.. Не жить мне с Мокеем в мире и согласии, как не живет кровожадный коршун с малою горлинкой. Клянусь святым нательным крестом!..

— Помни же, — продолжала Ефимия, — отвергаю я Писание, где сказано, что жена — раба мужа свою. Не рабою, а равною быть хочу. Любви ищу, а не блуда. Такою вели меня на суд собора, такой я пошла в Сибирь далекую. Старец говорит, что я еретичка, а по знахарству — ведьма. Да неправда то! Бог не заповедовал держать душу в цепях, а сердце в холоде. Из сердца идут добрые и злые помыслы. К тебе дурных помыслов не имею, видит бог и небо. Пришла, чтоб узнать тебя и — если ты примешь — отдать свое сердце.

Ефимия поднялась и, выпрямившись, спросила в третий раз:

— Ждал меня?

— Ждал, Ефимия, ждал!

— Блудницу ждал?

— Спасительницу свою ждал.

— Погоди. Я не святая, Александра. И не праведница. Но если бы ты позвал меня на смертный бой с царским войском, я бы с радостью пошла на смерть, Таковую ты ждал три дня и три ночи?

— Таковую, Ефимия!

— Погоди, погоди, Александра. Ты еще не познал меня и не ведаешь, как я стала еретичкой и Мокей спас меня. Скажу потом. И если примешь меня после того, я готова тогда хоть на кресте гореть.

— Зачем гореть?! Довольно одной несчастной Акулины!

— Ой, ой, какой праведник! Бог бы услышал твои слова, Александра, да вразумил бы темный люд. Радость была бы.

— Будет радость, Ефимия. Будет еще!

— И я помогу тебе, Александра. Слушай, у меня есть пачпорт пустытника, с каким праведники хаживают по земле. Старец Амвросий Лексинский, пещерник, дал мне тот пачпорт, чтоб я передала его праведному человеку. Я шесть годов хранила тот пачпорт

втайности. Шесть годов. И вот настал час, встретила такого человека. Спаси нас, богородица!..

Ш

Ефимия достала из-за пазухи что-то завернутое в тряпицу, потом оглянувшись, отошла к березе и повесила сверточек на сук, промолвив:

— В тряпице пачпорт пустытника, Александра. Да не запомнят: ты его снял с березы. Так и старцу скажи. Пустытники хотели тебя батогами бить и грязью кидать, а ты явишься в общину с пачпортом праведника Исусова. Не знаешь, как старец ругал пустытников и посохом лупил? Пришли гнать тебя, а старец их встрел проклятием. «Пущины дети, собаки нечистые, знамение господне явилось, да вы ничего не зрили», — кричал на них. Потом Елисею тайный спрос учинили как нечестивцу грязному. И висеть он будет на кресте до того моленья, покуда ты не явишься в общину. Так порешил тайный совет апостолов-пустытников. А ты явишься с пачпортом. Сам старец упадет тебе в ноги, слышь. Не робей. Так будет, чтоб потом прозрели.

Лопарев слушал и ничего не понимал. Елисей висит на кресте? И он должен явиться с «пачпортом пустытника»? К чему ему пачпорт? Но Ефимия твердит: должен явиться с пачпортом пустытника, и тогда он будет свободен: общинные моленья для него не обязательны, он исповедует собственное раденье. Он может учить людей.

— Чему учить, Ефимия?

— Грамоте искушен, поди. Мало ли в общине малолетних отроков, не умеющих читать и писать? Подвиг то, Александра, коль человек несет людям прозренье от тьмы. Я хотела обучать грамоте, да Мокей чуть не удушил меня, яко бесноватую блудницу. А у тебя будет защита — пачпорт пустытника. Скажешь, видение было тебе обучать малолетних грамоте, и никто перечить не станет. Потому: твоими устами глаголет сам Спаситель, скажут.

Вот об этом Лопарев не подумал. В самом деле, если он будет обучать грамоте ребятишек, то не откажутся ли они потом от дикой веры, гонящей их на огонь и в пустыню.

— Пачпорт возьмешь, когда я уйду. Да не забудь: двоеперстием крестись. Иудину щепоть из головы выкинь, из сердца вынь.

Лопарев подумал: не все ли равно богу, как ему молятся, тремя или двумя перстами?

Потом Ефимия сказала, что сходит за своими узлами, которые она спрятала в роще, перед тем как выйти к нему. В одном узле была ее староверческая одежда: черная юбка из грубой ткани, холстяная кофта и чирки-мокроступы из яловой продегтяренной кожи. В другом узле снедь: отварные куры, каравай свежего пшеничного хлеба, вино и пирог с рыбой.

Лопарев приволок подгнившую на корню березу, собрал хворосту и развел костер. Пытливые глаза Ефимии неотступно следили за каждым его движением.

Ефимия собрала обед и отошла к березе.

— Разве ты не будешь со мной обедать?

— Обедай, Александра. Я не голодна.

— И я не голоден.

— Обедай. Я же не могу обедать с мужчиною. Так заведено у правоверцев.

— Это же дикий обычай, Ефимия. Разве мужчина и женщина не едины во всем?

Ефимия ответила:

— Едины духом, не телом.

— Бог сотворил Еву из ребра Адама.

— Не верю в то, — не моргнув глазом ответила Ефимия. Она стояла возле березы, прислонившись к ней спиною, такая же нарядная и столь же загадочная, как и береза, которую она подпирала своим молодым красивым телом. — Не верю в то, — повторила Ефимия. — В Писании сказано: «И создал господь бог человека из праха земли, и вдунул в него жизнь, и стал человек душою живою». А разве у женщины не живая душа? Отчего бог не сотворил так же женщину, как мужчину? Или она не человек? Пошто бог сотворил тварь ползучую прежде женщины? В Писании сказано: «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и все зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И тогда навел бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер и закрыл то место плотью. И создал бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот эта кость от кости моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего».

Могло ли так быть?» — опять спросила Ефимия. — И еще сказано, что змей ползучий совратил жену яблоком. Отчего змей не обольстил человека, а жену? Человек сказал богу: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне яблоко от запретного древа, и я его ел». Такого человека, Александра, я бы не стала звать мужем. Он съел яблоко, а вину свалил на жену. Такой человек презренный. А господь бог сказал жене: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей своих, и муж будет господствовать над тобою». Какой муж? Поганый трус! И его бог назвал человеком. Еще сказал бог человеку: «За то, что ты послушался жены своей, будет проклята земля, из которой ты рожден; со скорбью будешь питаться во все дни своей жизни». Могло ли так быть? За что проклята земля?

Черные глаза Ефимии жгли и чего-то ждали. Лопарев сказал, что не читал Библии и не знает, что в ней написано.

Ефимия усмехнулась:

— А я читаю Писание с шести лет. Когда жила в Преображенском монастыре, еще до Наполеона, матушка читала Писание и говорила, что оно святое. И я верила. Всему верила и блюла святость, покуда судьба не свела с пещерником Амвросием Лексинским. Пошто так глянул на меня? — И, мгновенно помолчав, тихо проговорила: — Слушай, что скажу...

IV

— На малую пречистую, когда начинает желтеть лист на деревьях, шла я берегом речки Лексы к дяде Третьяку на три дня. Матушка игуменья Евдокия говорила: «Прими пострижение, Ефимия, святой игуменью станешь: вижу в тебе такую тайну святости».

Я готовилась принять пострижение и стать схимницей, да все не могла решиться. То лист тополя трепещет за окном кельи и тревожит душу, то ветер несет мирской дух, а все душа не на месте.

Стану на колени перед материной иконкой богородицы и молюсь, молюсь, чтобы укрепиться в вере, и вдруг за окном послышался легкий посвист ветра: «Иди, иди, иди», — будто зовет в мир соблазнитель.

Собьюсь с молитвы и реву в голос.

«Матушка, где ты? — зову покойную мать. — Отзовись! Я сижу в келье, и нет мне покоя ни днем, ни ночью. Для чего ты меня породила на свет божий? Ужли для четырех стен и вечного раденья? Скушно мне, матушка. Глаза бы не глядели на каменные стены! Что в них, в тех стенах? Одно забвение, вечная упокойница. Живая, а в могиле. Страшно мне, матушка!»

Но никто не отзывался на мой голос. И в снах не снилась мать, какую помнила.

Проведала про мои стенания игуменя Евдокия и говорит: «Мучает тебя, Ефимия, искуситель. Ступай к дяде на три дня и скажи ему, чтоб он благословил тебя на пострижение. И ты станешь святой девой непорочной. Прославится имя твое по всему христианству, и будут поклоняться тебе девы мирские, чтобы укрепиться в нашей вере. В том великая благодать».

Во всем монастыре никто из белиц не знал так Писание, как я. Сама игуменя Евдокия часто просила меня совершать малые чтения и слушала, как я по памяти читала откровения пророков. Диву давались, а того не ведали, что Писание вошло в меня с молоком матери.

Вот и шла я к дяде Третьяку за благословением. Под вечер так, версты за три от монастыря, вспомнила, что в каменной пещере, чуть от берега Лексы, живет старец Амвросий Лексинский, про которого сказывали, что он из князей, был офицером до пострижения и жил в Петербурге.

Думаю, дай гляну на святого Амвросия. Может, он укрепит меня в вере.

К пещере вела тропка среди вереска. Шла я по ней, а сердце замирало от страха. Всякое говорили про пещерника. Будто он зарезал ножом искусительницу, деву, которая приезжала к нему из Петербурга; кого-то из скитских филипповцев пришиб камнем. И что из самого Церковного собора приходили к нему келари за святым благословением. Как-то он примет меня, думаю. А вдруг пришибет камнем иль зарежет, как деву петербургскую?

Подошла к пещере и сробела. Холодом налились ноги и руки. И вдруг слышу стенания:

— Господи! Избави меня от лукавого. Вижу, вижу, разные люди творили Писание. Не Словом бога, а человеческим разумом. Все, все вижу! Прелюбодеяния вижу, корыстолюбие вижу, господи!

На всю жизнь запомнила я эти стенания подземные. Замерла возле черных камней пещеры и стою так — ни жива ни мертва. А из камней слышится голос:

— Будь ты трижды проклят, лукавый Моисей! Не Словом божьим писал ты откровения, а хитростью, чтоб ввести в заблуждение род людской. Презренный!

Внутри меня все помертвело от такого еретичества. Слыхано ли, святой пещерник проклинал пророка Моисея! Как тому поверить?

Подумала я, искушает меня нечистый перед пещерой, чтоб опорочить святого старца. «Нет, думаю, не свершу святотатства. Пойду к пещернику и все скажу ему, что слышала. Пусть знает, как лукавый ходит возле его пещеры и соблазняет праведные души».

За диким вереском шел спуск в пещеру. Ступеней на семь так, запомнила. Дошла до дубовой двери, стучусь, никто не отзывается.

— Именем Иисуса — отзовись, старец! — кричу в дверь.

— Изыди, искунитель! — послышалось в ответ.

— Я не искунитель, а белица монастырская Ефимия. Пришла к тебе, чтоб укрепиться в праведной вере.

И опять старец вопит в ответ:

— Изыди, изыди, сатано!

Мне было страшно. Ночь застала меня у пещеры, долго я стучалась, покуда Амвросий не открыл дверь.

Он встретил меня с крестом. Я на коленях вползла в пещеру...

Помню, при свете восковой свечи Амвросий показался очень высоким, согбенным и совсем белым, как вот эта кора березы. Бороду он носил длинную, по пояс. Такие же белые волосы на голове спускались у него ниже плеч. Руки у него были холодные, белые. Одет он был в длинную холщовую рубаху, которая не покрывала его голых ног.

Я сказала, что заблудилась в лесу и вдруг услышала возле пещеры голос искуителя, как он проклинал Святое писание Моисеево, и что Библию творили человеческим разумом, а не Словом божьим.

Амвросий испугался моих слов и затрясся, как лист на дереве от ветра. Я видела, как он протянул руку за поморским ножом, какой лежал на столе.

— Не убивай меня, не убивай! — крикнула я, не в силах встать на ноги. — За святостью к тебе шла, не за смертью. Видит дева

пречистая, дурных помыслов не имею.

Слова ли мои или что другое, но старец бросил нож, и глядя на меня, сказал:

— Вижу, дочь, погибель изыдет от тебя на меня, как на Адама от Евы нечестивой. Да будет так, аминь. Рок не минул моей головы — на то воля божья. Встань, дочь, и дай мне поглядеть на тебя.

Не помню, как я поднялась. Амвросий усадил меня на доски, покрытые рогожей. В пещере были одни голые камни, дымная печурка, на которой стоял черный котелок, сухари на столе, много пучков сухой травы. Возле стола на ларе были сложены книги: Библии на разных языках и печатные откровения пещерников.

Амвросий глядел на меня долго-долго, потом закрыл лицо ладонями и упал на колени.

— Евгения, Евгения, прости мя! — закричал он и схватил меня за ноги.

Я вся заледенела. Думала, пришла моя смертушка, А старец бормочет:

— Прости мя, Евгения. Не убивал я тебя, не убивал! Искуситель поднял мою руку, видит бог. Молюсь за тебя, Евгения, прощения прошу. Не мучай меня на исходе лет. Сокройся, если ты не плоть, а дух.

Старец еще что-то бормотал, не помню. Он принял меня за какую-то Евгению. Я сказала, что я Ефимия, белица монастырская.

— Ты ушла в монастырь? — спросил старец.

Я ответила, что с детских лет живу в монастырях. Сказала и про Преображенский и про Лексинский.

— Ты не Евгения? — допытывался старец.

— Ефимия я, Ефимия, — твердила я.

— Если то правда, как ты говоришь, и если ты не дух, а тело, покажись вся, чтоб я видел тебя без рубища и узнал бы: Евгения ты или чужая белица.

Боже, как дрожали мои руки, когда я снимала свое платье перед старцем! Ничего не помню. Страх перед старцем будто отнял у меня рассудок и память.

Как сейчас вижу. Сижу нагая на досках, а старец со свечою в руке глядит на мое тело и что-то ищет. Меня всю трясет, и я не могу вымолвить слова.

— Нету тех родинок. Нету! — вдруг сказал старец. — Вижу, ты не дух, а плоть. И не моей Евгении плоть. Спаси, господи! Оденься, дочь человеческая, и скажи, что тебя привело ко мне?

Я натянула на себя платье и сказала, что пришла к нему, чтоб укрепиться в вере.

— Во что ты веруешь, дочь? В Писание? — бормотал старец и потом спросил: — Слышала мои стенания, как я говорил про бытие Моисеево? То был мой голос. Куда ты шла? К дяде на три дня? Вот и хорошо. Будешь жить у меня три дня и три ночи, и я открою тебе великую тайну, если ты поклянешься, что словом не обмолвишься, где была три дня, что видела и что слышала.

Я дала такую клятву...

С того началось, Александра Михайлыч...

Амвросий читал мне Библию не как игуменья или старцы, а как ясновидец, прозревший тьму на исходе своей жизни. Помню, он говорил: «Жил я, яко агнец незрячий, в мирской суете, жил среди людей знатных и образованных. Носил погоны офицерские и ездил в карете со своим гербом, а душу имел алчного дикаря и невежды. Верил в то, во что верили люди, пребывающие во тьме. Любили меня, я любил. Потом познал великую любовь белошвейки Евгении. Вечную любовь, без какой не может жить человек. Белошвейка — не княгиня, не графиня, и я не мог жениться на ней, хотя дня не помышлял прожить без нее. Тогда послал меня родитель воевать Емельку Пугачева. Молод был, по двадцать первому году, и отвагою и лихостью прославился от Казани до Петербурга. А потом, как начали казнить пугачевцев да распинать их на столбах, вешать на деревьях, содрогнулась моя душа. Черным показался белый свет, и любовь к Евгении угасла в сердце. Как можно коснуться девического тела руками, испачканными кровью? Чудилось мне, что я весь в крови пугачевцев. Мучили они меня во сне, проклинали, и я ни в чем не находил утешения. Потом помог захваченным пугачевцам бежать от стражи и ушел с ними в Поморье, в монастырь. Много пронеслось дней в поисках, дочь, пока я не обрел пещеру».

Амвросий говорил, что за долгие годы в пещере он перечитал много Библий на разных языках, каким был обучен в молодости. «Не словом божьим, а промыслом людского разума творилась Библия, — говорил Амвросий. — Познал я еврейский и греческий языки, чтоб

читать Библию в первоизданности. И вижу: разночтений множество, прелюбодеяния и скверны, как в миру навоза». Так и говорил Амвросий; я слово в слово помню его речения. В семнадцать годов у девицы память как прошва на батисте. Батист изнашивается, а прошва видна все ярче да ярче.

Амвросий открыл мне, что Библию творили евреи по сказаниям других народов: египетских и вавилонских. Семь годов он собирал древние книги, пока уразумел тайную суть.

«Человек пребывает во тьме, а тьма — тенеты невежества и неразумения, — толковал Амвросий. — Вижу, — говорил он, — не в Библию веровать надо, а в дух вселенский, в солнце, яко греющее нас, питающее нас. В том бог, откуда исходит благодать. Слова — вода, текут по склону, а не в гору. Напустили в Библию много слов и наполнили ими землю. Зablуждение ввели да рабство. Не должно быть рабства, дочь. «Человек — земное светило, и от рождения каждый равен другому».

Как сейчас вижу Амвросия Лексинского: весь белый, сидит сгорбившись и толкует мне Писание, как надо читать и понимать.

Амвросий звал меня своей дочерью и взял трижды клятву, что я до конца дней буду нести в мир слово прозренья от тьмы, а не саму тьму.

«Будь послушна, дочь, яко овца; живи со общиною, — наказывал он. — Но пусть река твоей веры перебьет течения мутных вод, и ты обретешь вечность. Не сразу, не в день откроешь людские души. Наберись на то терпения. Гнать будут — терпи. Бить будут — не плачь. Помни, свет не сразу пробивает тьму. Глянь на восход солнца. На востоке заря солнцевосхода, а в лесу темно, как в колодце. Но ты не отступайся от тьмы. Точи ее словом, и камень станет дресвой и распадется».

«Стар я и немощен телом, — говорил Амвросий. — Если бы я, дочь, был так же молод, как ты, вышел бы из пещеры и жил бы, как Мафусаил, девятьсот годов, только бы открыть истину людям. Но вижу, жизнь моя на исходе. Изморил себя постами и раденьями, а не тяжестью годов. Клянись, дочь Ефимия, клянись жизнью своей, чревом своим, кровью своей, что ты пронесешь мои откровения людям через всю тьму».

И я клялась. Старец добыл ножом кровь из моего пальца, и я начертала крест на Библии греческой. Амвросий посыпал мою голову

пеплом из очага, и я припала к его стопам, как к святому источнику в пустыне Аравийской.

Так было, Александра Михайлыч...

V

— ... Всю зиму и весну я тайно ходила в пещеру, и Амвросий встречал меня светлым сиянием. Грешна, может, но во всей Поморской земле от моря до суши, во всей Олонецкой губернии не видела я никого, кто мог бы заполнить мою душу, как Амвросий Лексинский. Для меня он был как светлое Христово воскресение.

Есть ли в том грех? Если есть — грешна, но не каюсь. Повторись та пещера сейчас — была бы в ней, видит небо.

Амвросий открыл мне столько тайн создания Библии, столько открыл тьмы и заблуждений, сколь не познаешь в целый век, если Библию читать незрячими глазами.

У себя в келье я тайно вела запись речений Амвросия и хранила в волосяном тюфяке. Грешна, каюсь.

Амвросий научил меня распознавать травы и варить из них полезные для здоровья зелья. Ни ползучая тварь, ни какой другой зверь не страшны были старцу. Я зрела собственными глазами, как змеи замирали от взгляда старца и он звал их за собою посвистом, как ручных. И они ползли за ним. Протянет руку к змее, посвистывает, и змея вползает в рукав рубахи, а из другого выползает наземь. Иль свернется и одеревенеет. Меня учил тому, хоть я и брезговала гадами ползучими.

«Тварь ли, зверь ли — покорны человеку, — наставлял Амвросий. — Нет на земле силы выше разума человеческого. Гляди вот так на гадину ползучую, собери в себе весь дух, и гадина замрет, как неживая».

Боже, не ведаю, как то случилось, но Амвросий сам отрекся от бога и на глазах пришлых монахов Выговского монастыря, какие пришли к нему за словом веры, попрал Святое писание, как скверну: рвал Библии, Евангелие, топтал их ногами. Его схватили, связали по рукам и ногам и так доставили на великий суд Церковного собора. Жестоко пытали в подвалах, жгли железом, выворачивали руки, предавали анафеме, как буйного еретика, и он назвал мое имя...

Из собора за много прислали десятского и стражника. Не помню, как я пережила те дни. В монастыре игуменья собрала всех белиц и монахинь на великую службу очищения духа — изгоняли ведьму. Меня водили по ограде голышом, и каждая монашка и белица плевала на мое тело.

Келью мою, в которой я жила, закидали коровьим пометом. И стены, и два окошка, и пол. Когда монашки потащили мой тюфяк на сжигание, я упала в ноги матушке игуменье и просила ее, чтоб она позволила мне достать из тюфяка мои записи. В тех записях хранился и пачпорт...

— Возьми, возьми свою нечисть! — разрешила игуменья. — Не послушалась меня, еретичкой стала. Собор порешил казнить люто, и нет тебе спасения. Семь годов будешь сидеть на цепи в каменном подвале в студеной воде, какую напустят тебе по шею. Захочешь утонуть — цепи не пустят. Тело твое подвесят на цепях. Опосля семи лет кары сожгут тебя, и пепел развеют по Студеному морю.

Жила ли я в те часы? Не знаю, не ведаю. Вся оплеванная, во власянице, какую натянули на меня монашки, босая, с обрезанной косой, вышла я к десятскому Церковного собора и к стражнику. Под власяницей спрятала записи. Зачем — не знаю. Думала так: «Если меня будут казнить, пусть предадут смерти с моим грехом. Если же я познала у старца великую правду, тогда минует черная смерть мое тело. И клянусь всем святым, что есть на белом свете, буду служить людям сердцем и душою, умом и руками, чем могу и сколько буду жить».

Таковую дала клятву вот перед этой иконой богородицы.

... Перед смертью мать говорила мне: «Береги, Фима, иконку. В ней все мое достояние. Писал ее иконописец Рублев, а сканью и золотом выложил филигранщик Костоусов-Пермский». И что иконку надо хранить как святыню.

«Если доведется тебе, — говорила матушка, — свидеться с кем из князей Дашковых, покажи им иконку, и они узнают тебя. Если не признают за сродственницу, анафема всему ихнему роду...»

Вот с этой иконкой вывели меня из монастыря Лексинского и повели в Выговский, где ждал меня приговор собора. Я узнала от десятского, что Амвросий умер от пыток и тело его увезли к морю и там выбросили на съедение рыбам.

«Вот сейчас ты — красавица белица, — говорил десятский, — погляжу на тебя через семь годов — старуха будешь. Вся почернеешь, как твои сатанинские глаза. Может, потом поручат мне предать тебя смерти. Уж справлю я свою должность во славу господа бога!»

Мне стало страшно от таких слов. Меня всю трясло.

До ночи стражник и десятский ехали на телеге, а я шла за ней, привязанная веревкой, со скрученными назад руками. Я упросила десятского, чтоб материну иконку дали мне в руки. Он смилоствивился, и я держала ее в руках за спиной.

На ночь стражник и десятский остановились на отдых в дремучем лесу. Узкая щель дороги, уложенная бревенчатым настилом, дыра в небо да огонь костра. Я все молилась и молилась. Стражник развязал мои руки, чтоб я приняла пищу и воду. Тут и подошел охотник-поморец. Он нес славную добычу. Как все правоверцы, носил бороду, хоть и молодой был. Десятский хотел прогнать его от костра, но парень разговорился про удачливую охоту, и они забыли про меня, не связали руки.

Помню, десятский сказал, показывая на меня: «Вот мы тоже добыли волчицу-ведьму. Гляди, какая красивая тварь!»

Охотник стал разглядывать меня и спросил, ведьма ли я.

— Не ведьма, а веру-правду ищу для людей, — так ответила.

— Какая твоя вера? — вопрошал охотник.

— Моя вера, — сказала я, — вся в поисках, как темная ночь в звездах, когда на небе не тучек. Ищу правду. Как жить и что надо делать, чтоб счастье иметь.

Моя ли речь, сказанная от сердца, а может, охотника обуял соблазн, но я видела, как притемнилось его лицо. Десятский сказал ему, чтоб он не искушал себя разговором с ведьмой, и охотник отошел и лег возле костра.

Потом и стражник лег, и десятский. Стражник на ночь скрутил мне руки и привязал веревку за свою руку, если подымусь, его разбужу.

А я все молилась, чтоб богородица пречистая укрепила мой дух и тело, чтоб защитила меня от людей дремучих, утопающих в невежестве, как кочки в тряской мшарине поморских болот. Идешь по болоту, прыгнешь на кочку, и она сразу уходит во мшарину. Так и люди темные. Торчат будто над бездной болота жизни, а обопрешься об

такого человека — он весь уходит во мшарину невежества и тебя тянет за собой.

Охотник будто храпел — так крепко спал, но вдруг поднялся, прислушался к стражнику и десятскому, взял свое ружье и добычу и, ничего не сказав, развязал меня, а веревку привязал к колесу телеги. Потом поднял меня и унес в лес. Сердце мое сильно-сильно билось, и я не знала, куда несет меня человек. И человек ли?

Охотник притомился, положил меня на землю и сам обвязал мне босые ноги звериными шкурками.

— Теперь можешь идти? — спросил он.

— Могу, — ответила.

— Тогда пойдем скорее. Идти нам далеко. Завтра к ночи доберемся до надежного места, и я тебя там укрою. Меня зовут Мокеем. Женой моей будешь, слышь. Приглянулась ты мне. Ежли ты и в самом деле ведьма, сам предам тебя казни, без собора. А стражники пусть тащат на суд собора колесо от телеги.

Хоть и спас меня Мокей от страшной казни, но не было в моем сердце тепла к нему. Стала говорить с ним про Писание, он махнул рукой: «Ты, говорит, про Писание толковать будешь с моим батюшкой. А мое дело — охота, промысел в море».

Как я ни умоляла дикого человека — он преодолел мою силу, овладел телом да еще измывательство учинил: «Пошто, говорит, тело твое студеное, как из воды вынутое?» А того понять не мог: откуда телу горячему быть, коль берут его силой?

С той поры возненавидела я Мокея Филаретыча, да бежать мне было некуда. Куда бы я ни сунулась в Поморье — угодила бы на цепи в каменные подвалы собора.

Проведал Мокей про Амвросия Лексинского и долго допытывался, как я жила со старцем. Греховно ли? Не ведьма ли я? Изводил меня долгими ночами, как огонь лучину. «Ну думаю, не жить нам двум на земле!» — до того мне тяжело было.

Когда в Поморье появилось царское войско, мой дядя Третьяк с Юсковым семейством бежали с Лексы на Сосновку и тоже приняли крепость Филаретову, только не погнуть голову перед анчихристовым войском. Потом в Сибирь собрались.

Вот и едем мы. Ехали летом, и осенью, и зимой, и вот опять настало лето. Еще далеко, говорят, до Енисея!..

Вот и вся исповедь моя перед богородицей пречистой и перед тобою, Александра. Суди сам, какая есть. Ничего не утаила, и ни о чем больше не спрашивай.

VI

Тихо шумели березы, как бы умиротворяя, но Лопареву припомнились и первые допросы у графа Бенкендорфа и генерал-адъютанта Чернышева, и следственная комиссия с ее каверзными вопросами; Сперанский, которому царь доверил определить степень виновности и меру наказания для каждого декабриста; и допрос царем; и тесная камера в Секретном Доме; и мутное наводнение тюремной решетчатой тишины, когда все внутри натянуто в звенящую струну, и ты все слушаешь, слушаешь звуки, исходящие из собственного сердца, и кажется — настал конец жизни; и побег с этапа — все это разом опеленало Лопарева тревогою, беспокойством, и он, глядя на Ефимию, невольно проговорил:

— Как ты все это пережила?

Ефимия опустила на колени, поклонилась в землю.

— Пережила и радуюсь, радуюсь! Судьба смилостивилась и послала мне человека, пытанного железом, которого примет община, и он пойдет с нами в Сибирь, до Енисея. Радуюсь тому, Александра! Не ведаем мы страха, не ведаем неволи. Слушай, будь Исусовым праведником, и ты всегда будешь со мною, и я откроюсь тебе сердцем, как птица крыльями навстречу воздуху. Ты вышел из мертвых, чтобы жить вечно. Будь таким, и я жена твоя перед богом!

И само солнце будто плеснуло жаркими лучами. И птицы примолкли в роще...

— Приди же, приди ко мне, возлюбленный, и я открою уста для твоего сердца, — тихо молвила Ефимия, простирая к Лопареву руки. — Пусть нашим ложем — трава зеленая; пусть крышею дома — небо синее; пусть виноградниками моего сада будут шумящие березы! Я жду тебя!..

У Лопарева горело лицо и сохли губы.

— Ефимия! Сестра моя! Подруга моя!

— Говори же, говори. Ибо слова твои слаще вина. Не смотри на меня, что я телом смугла, ибо солнце опалило меня на большой дороге.

Я шла и ждала тебя, как солнце ждут после темной ночи. И ты явился ко мне из ночи, и я первая узрела тебя и дала тебе воды утолить жажду и любовь свою! Ты не видел рук моих, не зрил моих глаз, ибо в теле твоём замерла жизнь, а я была рядом с тобой, и никто про то не ведал!.. Ты звал меня в беспмятстве чуждым именем, да я не верила тому, думала: «Меня, меня зовет!..»

— Тебя, тебя, Ефимия!

— Тогда я сказала себе: «Он будет мужем моим перед богом. Он пришел ко мне в железе. Я хочу, чтобы он был волен, как птица!» И я тайно жила с тобою неделю, сторожила твой сон, гнала хворь, хоть ты и не ведал, что есть такая живая плоть, которая любит тебя пуще всего па свете!.. Не подходи, слушай... Зреть хочу тебя, посветленного и ясного, как вот солнышко. И пусть твои горячие руки после стылого железа обнимут меня и найдут тепло! Я — твоя. И пусть в общине знают тебя как праведника, для меня ты будешь вечной радостью. И я скажу: «Мировый пучок — возлюбленный мой, и он у моей груди пребывает. Как кисть кипариса, возлюбленный мой, и я навсегда отдам ему свои виноградники!..» Как не повторится ночь, так не воскреснет вчерашнее, прожитое. Лист опавший не подыметсЯ вновь на древо жизни; трава сожженная не станет вновь зеленой. Будь моим возлюбленным перед небом и богородицей пречистой, и я скажу тебе: не рабыню нашел ты, а верную подругу, с которой и горе не бывает горьким. Пусть весь пламень моей души будет твоим огнем. Пусть живу я твоим сердцем, ибо я — жена твоя перед небом чистым. И не бесовская то любовь, а божья, божья! — в исступлении говорила Ефимия, глядя в глаза Лопарева.

— Подруга моя, возлюбленная моя, — бормотал он.

— Твоя, твоя! На веки вечные! — молвила Ефимия. — Скажи, что ждешь ты ото дня грядущего? Тьмы или света?

— Света, света жду!

— Пусть стану я для тебя вечным светом! Ищу я, ищу, возлюбленный мой, не покоя, не богатства, а прозрения от тьмы, кипения и огня!.. В глазах моих нет тьмы, а есть пламень. И этот пламень никогда не угаснет, доколе ты будешь со мною вместе.

— Мы уйдем из общины.

— Нет, нет, Александра! Нельзя уходить. Из крепости в крепость не уходят. Ты будешь праведником и пробьешь тьму невежества. И я

помогу. Пусть нам будет трудно, но люди должны прозреть — в том счастье великое!.. Ты видишь, еще не отросла моя коса, отрезанная игуменьей Евдокией, еще в душе не залечились раны пережитого испуга, когда меня во власянице тащили на веревке к телеге, но я не та, какая была в ту пору. Нет той Ефимии. Есть другая, какую никто не знает. Только ты один. Перед тобою открылась вся, как зарница на небе... Иди ко мне, возлюбленный мой, муж мой! — И протянула Лопареву зовущие руки.

VII

Сказывают старообрядцы: судьбами людей наделяет бог с высоты седьмого неба.

Еще толкуют: в одной руке у бога судьба, а в другой — горячая, как пламя, любовь, какую редко кто из баб ведает на святой Руси. Точно богу известно, что русской бабе любовь ни к чему, — некуда ее употребить. Как вышла замуж, народила детишек — тут и конец бабьей любви. То свекор ворчит, то свекровка клюкой стучит, то муженек попадется — ни колода, ни вода у брода. Перешагни — не встанет, перебреди — груди не замочит.

Румянцем зальется белица, когда ее невинного тела коснется рука мужская. А через два-три года — пустошь в душе, и глаза словно выцвели и спрятались внутрь, как горошины в стручок: не сразу сыщешь, что в них было в девичестве.

В редкости падает на избранницу любовь: водой не залить, хмелем не увить и цепями не спеленать; она горит до самой старости...

Такая любовь таилась и в сердце Ефимии и сейчас выплеснулась на беглого кандальника, и он впервые узнал, как горяча бывает и неистребима женская любовь, поднимающая человека со смертного одра.

От солнца ли полуденного, истомного, от духмяных ли трав, обволакивающих, как туманом, от жарких ли поцелуев Ефимии или от ее пронизывающих слов, бередящих душу, у Лопарева кружилась голова, щемило сердце, и он беспрерывно твердил одно и то же: «Не уходи, не уходи... Ради бога, не уходи!»

— Идти надо, возлюбленный мой, — шептала Ефимия, глядя в небо сквозь сучья березы. — Я еще травы должна собрать, чтоб духовник не заподозрил. Глаза у него как у змея, а сердце каменное.

— Я его ненавижу!

— Тсс... — Ефимия закрыла ему ладонью губы и чему-то усмехнулась. — Жить надо, Саша! Ты просил, чтобы я тебя так называла, помнишь?

Лопарев ничего не помнил.

— Ядвигой меня звал. Семь ночей звал, и я откликалась на твой голос. В уста целовал меня, руки целовал... Богородица пречистая, прости мне тот грех!

— Не было у меня любви с Ядвигой, — сказал Лопарев. — Нас повязала клятва.

— Какая же?

— Царь не дознался, комиссия не дозналась, а тебе скажу. Я был узами братства связан с польскими патриотами. Не знаю, когда сбудется, но вся Польша восстанет за свою свободу!

— С католиками какое же братство?

— Не с католиками, а с такими же поруганными, как и все мы, русские. Клянусь девятью мужами славы — восстание еще будет! От Польши до Москвы. Вся Россия займется огнем...

— Ты говорил такое, когда сам огнем горел. И такую яге клятву давал: «девятью мужами славы». Какие это мужья?

Лопарев сказал, что девятью мужами славы считались три иудея — Иисус Навин, Давид, Иуда Макковей; три язычника — Александр Македонский, Гектор, Юлий Цезарь; три христианина — король Артур, Карл Великий и Гектор Бульонский.

— Ой, ой, сколько! — усмехнулась Ефимия. — Я знаю только двух: Иисуса Навина и Давида. Не Иисуса, а Иисуса, как называют правоверны...

Солнце клонилось к вечеру, а Ефимия все еще никак не могла расстаться с возлюбленным.

— Господи, что скажу батюшке Филарету? Беда мне, Александра, беда! Не дай бог, если он что заподозрит...

— Я же говорю: уйдем из общины, — напомнил Лопарев.

— Куда же, Саша? Куда? К еретикам или к царским висельникам? Ни ты не вольный, и я птица со связанными крыльями. На первой же

версте остановят и тебя повяжут в цепи. А как же я? Куда тогда?

Лопарев ничего утешительного придумать не мог. Сам знал: куда ни сунь нос — чужие. Ни вида на жительство, ни знакомых в неведомой Сибири.

Ефимия догадалась, о чем думал.

— Одна у нас дорога — в общину. Бог даст, и щель откроется, тогда уйдем.

— Как ты будешь с Мокеем, когда он вернется?

— Не надо, Александра, и без того страшно... Пойду я, милый, не держи меня: сами себя погубить можем. Прости меня. Я ждать буду «Исусова праведника», помни. Другой дороги нет, Александра. Ждать надо. Терпеть надо. Вся Русь терпит, слышь!

И ушла...

VIII

Минул пасмурный субботний день, и настал вечер. Лопарев сидел у костра, в который раз перечитывая пачпорт странника-пустынника:

«Объявитель сего, раб божий Исуса Христа, праведник, уволен из Иерусалима, града божия, в разные города и селения святой Руси ради души прокормления. Промышлять ему праведными трудами и работами, еже работати с прилежанием, и пить и есть с воздержанием. Против всех не прекословить, убивающих тело не бояться, и терпением укрепляться, ходить правым путем во Христе, дабы не задерживали бесы раба божия нигде. Аминь. Утверди мя, господи, во святых заповедях стояти, и от Востока — тебя, Христе, к Западу, сиречь ко анчихристу не отступати. Господи Исусе, просвещение мое и спаситель мой. Аще ополчится на мя полк, не убогося. Покой — мой бог, прибежище — Христос, покровитель — дух святой. А как я сего не буду соблюдать, то опосля много буду плакати и рыдати. А хто страняго мя принята в дом свой боитися, тот не хочет с господином моим знатися. А царь мой и господин — Исус Христос, сын божий. Аминь.

Дан сей пачпорт из Соловецкой обители Праведников на один век, а по истечении срока явиться мне на страшный Христов суд. Имя Праведника — Раб Божий, опричь других имен нету. Явлен пачпорт в Святую ризницу Соловецкого монастыря и в книгу животну под

номером будущего века прописан, и печатью Обители Праведников припечатан на веки вечные. Аминь».

Пачпорт написан был тушью на толстой бумаге, уже пожелтевшей, с переломами на сгибах. Стояли какие-то неразборчивые подписи соловецких праведников и большущая печать.

С такими пачпортами во времена Разина и Пугачева соловецкие странники хаживали по всей Руси, из губернии в губернию. И если праведник умирал в дороге, пачпорт передавался в другие надежные руки, и Слово божье шло дальше. Потому-то в пачпорте и не указывались имя владельца и его приметы. И кто знает, кто и где скитался по Руси с этим «пачпортом, прописанным в книгу животну под номером будущего века» до Амвросия Лексинского, покуда он не попал в руки Ефимии, а от нее — к беглому Лопареву...

Не хотел бы Лопарев предъявить этот сомнительный пачпорт старцу Филарету, но он дал слово Ефимии, что явится в общину с пачпортом, неведомо кем оставленным на суку березы.

Субботняя ночь...

Где-то в степи вышел из рощи и увидел, как вдали двигалась черная поющая лавина людей, озаряемая трепетными огоньками свечей. Пение все ближе и ближе.

«Это же все вздор, и я должен поверить во всю эту чепуху да еще представиться каким-то пустынноком с дурацким пачпортом!» — думал Лопарев, а поющая толпа придвинулась саженой на сто от рощи.

Впереди шел старец Филарет и вел кобылицу. Но жеребенка не было с ней: не поймали, может?

Кобылица скакала на трех ногах...

«Исусе сладкий, Исусе сладчайший, Исусе пресладкий, Исусе многомилостивый...» — трубно тянули выступающие впереди праведники-апостолы с иконами. Некоторые старцы были увешаны веригами, ружьями, чугунными гирями на веревках; а один из пустынноков горбился под тяжестью деревянной бороны. И все это двигалось, крестилось, орало.

Остановились саженьях в тридцати от Лопарева и зажгли множество свечей, озаривших равнинную степь.

«Благослови еси, господи боже, отец наш, хвально и прославлено имя твое вовеки!..» — затянул Филарет.

— Аллилуйя, аллилуйя!

У Лопарева одеревенели ноги — шагу ступить не мог. Вот так же, наверное, орали молитвенное песнопение в судную ночь, когда жгли у березы Акулину с шестипалым младенцем.

Филарет в облачении духовника подошел к Лопареву на шаг, поднял золотой крест, спросил:

— Ты ли здесь, человеке, посланный нам знамением господним?

У Лопарева едва повернулся язык...

— Здесь я...

— Прощаешь ли нам тяжкий грех, когда мы прогнали тебя из общины и знамение господне попрали, яко свиньи?

— Прощаю, отец...

— Воспоем аллилуйю, братия и сестры, и ты с нами воспой, человеке...

Пропели аллилуйю.

— Скажи нам, человеке, примешь ли ты веру древних христиан, какие с топором и ружьями на царя пойдут, на попов бесноватых, а веры праведной не переменят?

У Лопарева градом катился пот с лица.

— Принимаю...

— Благословен еси присно... — загудел старец и после короткого псалма опять спросил: — Не было ли тебе, человеке, какого видения в роще, oprичь того, когда бог послал тебе кобылицу с жеребенком и вывел к нашей общине?

Толпа придвинулась полукружьем и замерла, распахнув сотни жадных глаз.

— Сказывай, человеке. Делать нечего — надо говорить.

— Может, то сон был, не знаю, — начал Лопарев. — Лежу я так у трех берез в роще, где у меня костер горел. Думаю, как мне жить. Как правое дело вершить? Как слово просветления людям нести? И будто слышу, кто-то глаголет мне: «Грамоте обучай отроков, чтоб могли писать и читать, живи как праведник, и радость будет». Потом вижу: на суку березы висит какая-то тряпица. Откуда, думаю? Будто не было тряпицы, когда костер разжигал. Поднялся и снял тряпицу. Тряпка вся истлела, а в той тряпке — пачпорт раба божьего из Иерусалима.

Толпа чуть отпрянула, и сам старец на шаг отступил. У Лопарева дух захватило: вдруг изобличат с позором да по шее дадут?..

Восковые свечи мотаются огненными косичками.

У Лопарева пересохло во рту.

— Может, кто подшутил надо мной, не знаю, — пробормотал он и развел руками.

Первым опомнился старец. Подошел к Лопареву, попросил показать «пачпорт».

Кто-то из пустынников подсунул старцу икону, на которой разложили восемь лоскутков пачпорта. Долго читали старинную славянскую вязь, буква к букве, и вдруг старец воздел руки:

— Чудо свершилось, чудо! Бог послал к нам праведника из града божьего Иерусалима!

Глазастая суеверная толпа рухнула на колени.

— Чудо, чудо! — вопили мужики во все горло.

— Чудо, чудо! — визжали старухи.

Старец Филарет упал на колени перед Лопаревым и ткнулся лбом в землю.

— Чудо, чудо!

Лопареву стало и стыдно и страшно...

— Всенощную, всенощную! — шквалом пронеслось из конца в конец.

Начали всенощную службу.

Лопарев показал на березу, с которой он снял тряпицу с пачпортом. Возле березы соорудили алтарь, прилепили множество свечей на сучьях, и роща огласилась песнопением.

IX

... После сожжения Акулины с младенцем на обширной елани остался торчать огарышек березы, как черный палец проклятия, грозящий небу.

На огарышек, по велению старца Филарета, прибили осиновую перекладину — и вышел бело-черный крест.

На крест привязали веревками пустытника апостола Елисея: «Не вводи во искушение, собака грязная!» Это ведь Елисей смутил общину, когда сказал, что видел собственными глазами, как на лбу кандальника, приползшего на карачках к становищу общины, торчали рога сатаны, а потом вдруг спрятались.

Пустынники со старцем-духовником порешили так: пусть Елисей висит на кресте до того часа, когда в общину вернется праведник, какого бог послал со своим знамением. Если праведник не простит Елисея, тогда его надо сжечь как еретика и пепел развеять по Ишиму-реке.

Для сжигания Елисея припасли сухой хворост и приволокли на волокуше большую копну сена.

За пять суток жития на кресте Елисей до того почернел, будто его коптили, как поморскую воблу, над дымом.

Первые двое суток Елисей пел псалмы и молитвы.

На третьи сутки от неутолимой жажды перехватило горло, и Елисей не то что петь — шипеть не мог.

В ночь на четвертые сутки полоснуло дождем, и Елисей, задрав бороду, напился воды и окреп.

Поднялось солнце, прижгло лысину, и он, как ни силился, ни одной молитвы припомнить не мог — из головы будто все выпарилось, как вода из чугунка на огне.

«Господи, пощади живота мово, отошли солнце в тартарары, прими мя, Сусе!» — бормотал Елисей.

Ни стоны, ни жалобы, конечно, никто не слышал. Разве мыслимо вопить божьему мученику, как той поганой бабе Акулине!

Власяница впиалась в тело, но Елисей не чувствовал ее на своей продубленной коже — привычно.

Хвально так-то во имя Иисуса принимать мучения. Радость будет на том свете.

На копну сена и на хворост, припасенный для его сжигания, глядел как на благодать. Если бы его подожгли, он бы еще нашел в себе силы затянуть: «Исусе сладкий, Исусе пресладкий, Исусе сладчайший...» — с песнопением отлетела бы душа Елисея на небеси, ну, а там, в рай божий. Куда еще?

К субботнему молению успокоился. Обвис на кресте, как мешок с костями, и голову уронил на грудь. Успокоение настало. Ни боли в суставах, ни жажды в глотке. Хвально, хоть и помутился рассудок. С Иисусом разговаривал, как с пустынником, и благословение принял двумя перстами.

Слышал, будто мимо проходили с песнопениями, но никого не видел: глаза глядели в землю, а шея окостенела — башку не поднять.

Мало того что привязан на крест, так еще и пудовая чугунная гиря оттягивает правую ногу.

Полуночная прохлада остудила тело апостола Елисея, но он ничего не чувствовал: обтерпелся праведник.

Кажется, опять послышалось песнопение?

Гудит земля, поет, ликует!..

«Хвально, хвально! — радуется Елисей. — Отмучился, должно, в земной юдоли, господи, помилуй мя! Прими мя на небеси... отверзни врата господни... аллилуйя...»

Кто-то взял Елисея за бороду.

— Жив али нет, раб божий?

Елисей тарачил помутневшие глаза, но решительно ничего не соображал: где он и что с ним? Может, опять в избе старца Филарета и братья-пустынники, прозываемые апостолами, пытаются его каленым железом как еретика, совратившего общину? «Жги его, жги, пречистый Ксенофонт! — слышит Елисей голос Филарета. — Иуде посох пообещал, а он нас всех нечистым духом омрачил. Иуда!» Елисею надо бы крикнуть, что он не еретик, а праведник. Но ему мешают. Кто-то усиленно трясет его за бороду. «Елисей, Елисей!» — слышит сладостный голос. Может, он на небеси и святой Петр вытряхивает из его сивой бороды земную пыль? И свечи горят будто. Или то звездочки божьи? И ангелы со архангелами услаждают его душу райским песнопением? «Хвально так-то, хвально!» И тут же мысль Елисеева угасла, как свеча, задутая ветром.

Елисей глубоко вздохнул и потянулся...

— Преставился раб божий!

Старец Филарет набожно перекрестился и затянул поминальный псалом.

Лопарев вытарачил глаза на распятого Елисея и машинально, не помня себя, трижды перекрестился щепотью...

Филарет отступил на шаг в сторону и подал знак ладонью своим верным апостолам, чтоб они помалкивали, будто и не видели еретичного кукиша новоявленного пустынника с пачпортом. Сам Лопарев, конечно, не подозревал, какую великую беду навлек на себя щепотью!

— Сымите! — махнул рукою старец.

Тело во власянице сняли с креста, положили на землю возле березы, сложили на груди руки и укрыли сеном. Потом выкопают яму и захоронят Елисея без колоды. Был бы рядом красный лес, как в Поморье, — сосны, пихты, лиственницы, тогда бы выдолбили Елисею колоду-домовину. Но красного леса нет, а из березы колоду не выдолбишь.

Трое пустынников, таких же сивобородых, вечно нечесаных, как и Елисей, остались возле тела петь псалмы.

Возрадовались женщины, особенно белицы и молодухи:

— Мучитель наш помер!

— Иуда окаянный! Так и зырился, так и зырился!

— Кабы не он, Акулину бы не сожгли.

— Это Елисею привиделось, будто в яму к Акулине сиганул нечистый дух в виде белесого дыма.

«Как же порушить дикую крепость? — думал Лопарев, когда после всеобщей вернулся со старцем к той же телеге, где его выходила от смерти Ефимия. — Чему они верят, эти люди, пребывающие во тьме и невежестве? Одну сожгли живьем с младенцем, другой на кресте умер. И все во имя Исусово? Во имя святости старой веры? Да что же это за вера?..»

X

Но где же Ефимия?

С того дня, как она пришла к нему в рощу, и нарядилась там в сарафан и батистовую кофту, и пропела ему песнь любви, назвала его возлюбленным своим и мужем, он ее не видел. Искал глазами на всеобщем моленье — не нашел: мужики заслоняли женщин. И возле распятого Елисея Ефимии не было. Где же она?

Старец Филарет что-то уже чересчур прилипчиво поглядывал на Лопарева, будто впервые видел.

— Возрадовался я, сын мой, — заговорил Филарет, и лицо его посветлело, смягчилось. — Бог послал те пачпорт пустытника, благодать будет!.. Набирай силы, живи... Ежли надумаешь отроков обучать грамоте, и я помогу в том. Писание прозрею. Славно! Бог даст, передам те из рук в руки посох духовника и крест золотой, чтобы не

порушилась старая крепость, какую заповедовал нам сохранять мученик Аввакум. Аминь.

Лопарев поклонился старцу: «Если бы мне твой посох, настал бы конец крепости».

— Как теперь жить будешь, раб божий? В моем ли становище аль перейдешь к пустынникам?

— Мне хорошо было под телегой, отец.

У старца зло сверкнули глаза, чего не заметил Лопарев.

— Как хочешь, так и будет. Семей у нас множество — более шестиста душ. И гурт коров у нас, и два табуна лошадей, и птица всякая. Прибыльно живем, раб божий. Общиною. Всяк по себе не тащит богатство под свою руку. Общинное достояние. И пропитание у всех единое, из одних сусеков. Также проживали в Поморье, с тем в Сибирь пошли. По душе тебе экий порядок?

— По душе, отец.

— Спаси Христос! Опосля того как бог послал те пачпорт раба божьего, можно ли тебе зрить бабу?

Лопарев смутился и ответил глухо:

— Каждый мужчина, отец, от женщины рожден. От Евы отошли первые люди, от тех людей еще люди, а потом и мы народились.

— Благостно глаголешь, — прогудел старец, тяжело опираясь на пастырский посох. — Баба — она тоже тварь божья. Вот хоша бы Ефимия.

Лопарев вздрогнул, точно от удара. Старец заметил, но виду не подал.

— Что Ефимия.

— Еретичка.

— Еретичка?

— Опеленала, ведьма, сына мово Мокея. Еще в Поморье, когда белицей проживала...

И тут Лопарев услышал от Филарета, как еретичка Ефимия возопила в монастырской келье и к ней явился нечистый, завладел ее душой и телом, а потом... погнал к святому пещернику Амвросию Лексинскому. Пещерник будто отбивался от еретички крестом, бил батогом, но искушительница оборотилась в муху и порчу навела на сухари. И когда Амвросий сожрал сухари, дух вышел из него, «яко вода из дырявой посуды»...

— Сидеть бы еретичке на чеши в каменном подвале с донной водой, — продолжал Филарет, — да сын мой Мокей украл ее от стражи собора. Я-то не ведал, какова она белица! Ох-хо-хо!.. Как узнал, тащить хотел на собор, да Мокей сдурел и уволок ее к морю, и там проживал с ней года за три так. Потом возвернулся ко мне в общину на Сосновку! «Очистилась, грит. Ефимия-то». Эко!.. Бил дурня, да мало.

У Лопарева — холод за плечами. Так вот каков «милостивый старец»!..

— Была ведьма и есть, — долбил старец. — Ни в чох, ни в мох не верует. Псалмы Давидовы и песни Соломоновы, слышь, перекладывает на мирской язык да пишет их в свои тетрадки. Пожег я те тетрадки и клюшкой лупил, чтоб вразумить нечестивку. Ох-хо-хо! Как присоветуешь, гнать ведьму из общины аль на судное моленье выставить?

У Лопарева дух перехватило. Ефимию — на судное моленье? За что? За какие-то песни Соломоновы? Старец таинственно сообщил:

— У одной бабы, слышь, от нечистого младенец родился о шести пальцах. И рога на лбу пробивались. Сожгли ту бабу. Ведаешь ли?

Лопарев притворился, что ничего не знает.

— Грех! Великий грех был! Елисей-то, который помер, сказывал: нечистый дух по общине ходит кажинную ночь в бабьем обличье. А доглядеть, какая баба, не узрел.

Старец, конечно, намекал на Ефимию.

— Елисею привиделось, что и у меня рога на лбу, — ввернул Лопарев, мучительно соображая, как защитит ее.

— И то! — согласился Филарет.

— А мне вот привиделась Ефимия в светлом сиянии, — соврал Лопарев.

Глаза старца сверкнули, как алмазы.

— Сказывай! Знамение было али как?

— Ночью так, когда в лихорадке лежал, выполз я из-под телеги воды напиться. Вижу: сидит Ефимия вот на этом пне, а вокруг головы сияние.

— Иусе! Баба ведь она, сиречь того — ведьма. Сиянию откуда?

— Жар у меня был...

— И то, — фыркнул старец, ухватившись за свой золотой крест, как спасительный якорь. — Блудница она, блудница!.. Мокей-то без мово благословения проживает с ней. Епитимью наложил на них на семь годов. Ежли за семь годов Ефимия не окажет себя еретичкой, благословлю тогда...

И тут Лопарева осенило:

— Грешно так жить, отец. Ребенок у них родился... Филарет вздрогнул и выпрямился.

— Откель ведаешь про ребенка?

Лопарев сказал, что видел Ефимию с ребенком...

— Это! Спрошу Марфу Ларивонову, спрошу! — погрозил какой-то Марфе, сообщив: — Ребенка отобрал я от ведьмы, чтоб не искушала чадо. Отобрал! До исхода епитимьи будет жить чадо со снохой Марфой, бабой Ларивоновой. Да не узришь! Глядь, еретичка опять возле парнишки. И бита была, а нейметя!

«За что бита была? За что?» — ныло сердце у Лопарева, и он едва сдерживал себя, чтобы не высказать в глаза старцу всю неприязнь к дикому староверчеству.

Что же придумать? Как спасти Ефимию?!

А старец упрямо бубнит:

— Гореть бы ей на той березе с Акулиной нечестивой, кабы Елисей усмотрел, какая баба оборотнем ходит по общине! Не углядел. Ефимия совратила Акулину-то. Она! И Юскова парня, Семена, совращала, да не углядели.

Лопарев осмелился сказать правду:

— Не верю я, отец, чтобы Ефимия кого-то совращала и что она ведьма. Не верю! Она меня спасла от смерти. Святость в ней великая.

Филарет вытаращил круглые глаза, как белые камушки.

— Святость?!

— Если она спасает людей...

— Совращает, ведьма! Искушает, еретичка.

— Не верю, — твердо ответил Лопарев.

У старца перекошилось лицо от ярости и ноздри раздулись, но он сдержал себя.

— Не ведаешь всего про ведьму-то, не ведаешь!.. Грех-то!..

— Могу я с ней поговорить?

— С ведьмой?!

— С Ефимией.

Старец не сразу собрался с духом, что сказать. Подумал, потеревил бороду, скрипнул:

— Остра на язык, как пчела на жало. То и гляди, ужалит. Веру надо иметь крепкую и руку праведника, чтоб не поддаться искушительнице. Не совратит ли ты с веры-правды?

— Не совратит.

— Это! Молодой ишшо глаголать так-то. Погоди маленько, вот посох отдам тебе и крест золотой, тогда вершить будешь волю господа бога нашего и узришь: ведьма ль Ефимия али праведница.

— Если она ведьма, как же тогда она стала женою Мокея, вашего сына?

— Не жена, не жена! — отмахнулся старец.

— Как же можно жить ей с Мокеем, если она не жена?

— Неможно! Отторгну, яко тать от овна. И так не шла за моей телегой. Не шла, не шла! Вот под этой телегой скарб паскудницы!

Старец указал на ту самую телегу, под которой скрывался Лопарев во время лихорадки. Так вот куда определил его старец!

— Мне хорошо было под этой телегой. Выздоровел, видите? Если бы Ефимия была ведьма, разве бы она спасала людей от болезней?

ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Что за люди? Чем они живут? Лопарев надумал побывать у Юсковых и узнать, где же Ефимия?

Мимо шла молодуха в черном платке. На плечах — гнутое коромысло и деревянные ведра с водой. Поклонилась Лопареву, торопливо проговорив:

— Спаси Христос, — и как бы невзначай резанула игривыми карими глазами.

Лопарев спросил:

— Где тут становище Юсковых?

Молодуха испугалась, плеснула воду и тихо ответила:

— За кузней Микулы. Вон там, где березы, Юсковых становище.

И пошла дальше, придерживая руками дужки ведер.

Табунок горластых ребятишек окружил гнеденького жеребенка. Не тот ли жеребенок? Кто-то из ребятишек крикнул: «Барин!» — и все разом, как воробьи, разлетелись в разные стороны, мелькая голыми пятками. И жеребенок убежал.

Лопотали реденькие березы, а кругом, куда ни глянешь, торчали пни, оплывшие розово-желтой пеной вешнего сока. Совсем недавно здесь шумела березовая роща. И вот наехали люди, облюбовали рощу и начали строиться. Почти над каждой землянкой возвышается березовый сруб с квадратными оконцами. Некоторые из оконцев затянуты пленками из брюшины — тонкой махровой оболочкой, выстилающей изнутри брюшную полость. Ее осторожно отдирали, вымачивали, промывали и натягивали для просушки на столетию.

Поодаль — три пригона для скота, обнесенные березовыми жердями. В степи виднеются стога сена. Всюду добротные телеги на железном ходу, продегтяренная сбруя, костры с таганам и печурками, поленницы березовых дров. Возле одной землянки, под навесом из жердей, соорудили мельницу на конном приводе. Пара лошадей ходила по кругу — мололи зерно. Тут же устроена сушилка для зерна с глинобитной печью. Мужики что-то мастерили — ладили сани, что ли. Возле землянок суетились бабы, старухи, ребятишки. У трех избушек, под навесами из жердей с накиданным сеном, стояли кросна и бабы ткали холст. Вот двое бородачей шорничают, а у другой землянки на самодельном станке мнут кожи. Возле кузницы, построенной из березовых бревен, два мужика натягивают железную шину на дубовое колесо.

Лопарев остановился, пожелал мужикам доброго здоровья.

Мужики разом поднялись, поклонились в пояс:

— Спаси тя Христос, барин.

Точно так же когда-то юного Лопарева приветствовали крепостные мужики, когда он наведывался в имение отца.

— Я не барин, люди.

— Были на моленье-то, были. Пустынник таперича. Пачпорт господь послал.

Лопарев смутился и глухо ответил, что явился в общину не с пачпортом пустынника, а в кандалах. Один из мужиков низко поклонился.

— За кандалы — земной поклон тебе, праведник. Сказывал наш духовник, на царя будто поднялись охицеры я солдаты во граде-блуде. Славно то! И я бы пошел на царя с топором.

— Настанет еще время, — сказал Лопарев.

— Дай-то бог! Одно восстанье порешил анчихрист, другое объявится. И с топорами пойдут, и с ружьями.

Из кузницы вышел Микула. Рыжая борода горит на солнце, как золотой оклад иконы.

— Спаси Христос! — поклонился Лопареву. — Про восстанье, слышу, толкуете. Дай-то бог! Всей общиной пошли бы, чтобы порушить крепостную неволю да престол царя-анчихриста.

Лопарев залюбовался: какой же богатырь этот Микула. Плечи — руками не охватишь. Глаза молодые, пронзительные.

— С тобой бы, Микула, не страшно на эскадрон кинуться.

— Чаво там, — осклабился Микула. — За вольную волюшку, барин, и башки не жалко. Да вот проехали мы с общиной всю Расею, почитай, а не слыхивали, чтоб где-то парод топоры точил да в кузнях шашки ковал. Живут, яко кроты слепые, да хрип гнут на барщине-дворянщине аль на подрядчиков. На Волге видывали лямочников — бурлаками прозываются. Барки тянут купеческие, опосля того зелье хлебывают да песни орут на всю Волгу, яко свиньи. Люди то аль нет? Где у них прозренье, злоба? Нету ни прозренья, ни злобы. Ярмо укатало.

— Укатало, укатало, — подхватили бородачи.

К кузнице подошли еще мужики. Кто-то придвинул Лопареву березовую чурку, и он сел. Микула попросил рассказать народу про восстание, какое свершилось в Петербурге: с чего началось и как царское войско подавило то восстание.

— Не бойся, барин, — предупредил Микула. — Из нашей общины слово не убежит, с нами останется. Могут огнем пожечь всех, а человека из общины не вымут.

Лопарев долго говорил, как вступил в тайное общество Союза благоденствия, а потом в Северное, как собирались на тайные сходки, обсуждали конституцию для народа, какую хотели объявить, если бы восстание удалось, и что по той конституции крестьяне освобождались от помещичьей крепости, престол упразднялся и что установили бы парламент с народными министрами.

Микула слушал и вдруг перебил Лопарева:

— Вот бы тут и объявиться Стеньке Разину!

Глядя на Микулу и на всех мужиков, рассуждающих толково, Лопарев невольно подумал: как же эти мужики могли поверить, что шестипалый младенец Акулины от нечистого?

— Кабы такую силу, как у Наполеона была, — заметил один из мужиков, в суконной однорядке, пожилой бородач, но еще не старик, хотя голова усеялась проседью, — тогда бы и царю не устоять. Эх и силища шла с Наполеоном!.. Маршалы с генералами у него башковитые, зело борзо! Огнь-пламя!

— Негоже, Третьяк, — возразил Микула. — Наполеона поганого хрещеная Русь не примет, скажу. Кабы Кутузова на нашу сторону али Суворова с войском!

Лопарев пристально поглядел на мужика в суконной однорядке. Нос ястребиный, гнутый, а черными глазами так и стрижет. Так вот он каков дядя Ефимии, Третьяк.

Третьяк поклонился.

— Спрашивали, барии, про становище Юсковых. Милости просим. — И еще раз поклонился.

Лопареву показалось, что Третьяк усмехнулся в свою кудрявую седеющую бороду.

II

Когда отошли от кузницы, Третьяк спросил:

— Который вам год, барин?

— Двадцать семь.

— Из князей, должно?

Лопарев подумал: «Хитер Третьяк! Знает же, что не из князей, а спрашивает».

— Каторжник, oprичь того государственный преступник, лишенный чина и сословного званья. Другого званья не имею пожизненно, — ответил Лопарев, принаравливаясь к языку Третьяка.

Третьяк усмехнулся, поблескивая черными глазами:

— Со мною, барин, глаголать можно, как от сердца к сердцу. Потому: принял вас, яко брата. Я вить тоже из кандалников, oprичь того государственный преступник. Не сносить бы мне башки, кабы

Наполеон в Москву не заявился. Служил я в кутузовском войске, в Семеновском гренадерском полку. Возле Смоленска заковали меня в кандалы и отправили в Москву на следствие. Потом в Петербург повезли бы, зело борзо!.. Подбивал солдат на восстанье. Самое время было, барин, чтоб потрошить Расею. Кабы восстанье свершилось да Наполеон помог бы тому, не устоял бы престол. Не вышло того восстанья, зело борзо! Народ хоша и в кабале, а за Русь на смерть пошел. Отчего так? Не разумею. А по мне — хоть бы всю Расею под топор, не жалко, коль нету в ней вольной волюшки. Мой дед, Данилов, в стрельцах ходил, а волю так и не добыл. Все кабала да холопство! И за ту Расею на смерть идти? Князья, да дворяне, да царская челядь вино пьют, заморскими игрищами тешатся, а народ стонет. Тако ли, барин?

Ноздри Третьяка раздулись, как у хищной рыси, и весь он подобрался, вытянулся, твердо и жестко вышагивая в яловых продегтяренных сапогах.

— Волю завоевывать надо без Наполеона, — ответил Лопарев. — Иноземного ига русский народ не примет.

Третьяк упрямо возразил:

— Не было бы ига, барин, Наполеон и так ушел бы из Расеи. Какая ему тут прибыль? Кабы войско паше поднялось супротив царя, как мы замышляли, и Наполеону прижгли бы пятки. Потому вся Расея огнем бы занялась! Так думали свершить. Не вышло того, зело борзо. На тайном сборе в Смоленске взяли нас, грешных, числом в осьмдесят душ, со унтерами, со поручиком Лехвириевым. Из дворян такоже, да в разоре именье было. Брательники прокутили да на ветер пустили. Умнуций поручик был! Не дался в руки. Двух порубил шашкой и сам ткнул себе шашку в сердце. А нас, грешных, скрутили, а потом и в цепи заковали, в Москву повезли, чтоб пытатъ, где таится гнездо наше. Кабы проведали, порешили бы Преображенский монастырь, да Наполеон занял Москву...

Третьяк остановился возле изгороди в три жерди. За изгородью — избушки четыре. Не полуземлянки, а настоящие избушки из березовых бревен. Рядом шептались тенистые березы. На шестах — рыболовные сети, перевернутая вверх дном лодка-долбленка, какие-то чаны. Возле чанов на жердях просушивались сырые кожи, бараньи овчины, еще не черненные и не дубленные. Поодаль — телеги, рыдваны, два навеса.

Возле чанов стояли три женщины с ребятишками. У первой избы горбился бородатый старик, щупленький, в холщовой рубахе под синим кушаком, в мокроступах. Третьяк назвал его большаком становища, Данилой Юсковым.

На старшей дочери Юскова женат был Третьяк и тоже носил фамилию Юскова, пояснив, что свою фамилию пришлось запомнить: в бегах числится. «В нашем становище, — говорил Третьяк, — девять мужиков, одна старуха, семь жен, три белицы на выданье, два парня, вдовец Михайла, жену которого, Акулину, огню предали».

Как узнал Лопарев, из девяти мужиков, проживающих под Юсковой фамилией, только трое настоящие Юсковы. Остальные — беглые люди, кандальники, фамилии свои запомнили на веки вечные, что и посоветовал Третьяк сделать Лопареву.

— Филаретушка фыркает ноздрями на наше становище, да сила у нас немалая, — обмолвился Третьяк. — А главное — Микула-кузнец. Наикрепчайший праведник и тоже под фамилией Юскова. Втапору двум жандармам башку проломил!

Все это сказано как бы между прочим, мимоходом, покуда Лопарев здоровался со старцем, еще с двумя мужиками и курчавым синеглазым молодым вдовцом Михайлой.

Данило Юсков пригласил гостя в избу.

Первое, что бросилось в глаза Лопареву, — богатая рухлядь. На полу дорогие ковры, и стены увешаны коврами. На одном из ковров — курковые ружья, окованные сталью рогатины, с какими на тяжелого зверя охотятся. Стол застлан скатертью. Вместо лавок и лежанок — высоченные сундуки, покрытые коврами. И в сундуках, надо думать, немало рухляди.

Старец Данило позвал в избу двух баб, и те стали собирать на стол, ничуть не стесняясь Лопарева и не пряча глаз. В открытую дверь уставились ребятишки, и никто их не гнал батогом.

Третьяк по знаку старца зажег свечи на божнице, потом пригласил Лопарева на малую молитву, и все, как по уговору, стали на колени, помолились, а тогда уже Данило усадил гостя в красный угол.

— Нету у нас той лютости, как у духовника, — сказал Третьяк, усевшись рядом с Лопаревым. — Бог, он завсегда еси не втуне, а в ребрах.

Данило Юсков хихикнул в реденькую бородку:

— Про бога памятуй, сиречь того — про себя не забывай.

Михайла, чубатый красивый парень, еще не переживший каменеющего на сердце горя утраты жены Акулины с младенцем, спросил у Лопарева, многих ли офицеров в кандалы заковали и на каторгу отправили?

Лопарев ответил, невольно подумав, что в становище Юсковых известны все подробности про восстание на Сенатской площади и что Ефимия предана Юсковым и душою и телом...

В избу вошел совсем молодой парень, безбородый, кудрявый, принес лагун вина, Третьяк назвал его Семеном и сказал, что отец Семена еще десять лет назад пропал без вести в Студеном море. Как ушел на промысел, так и не вернулся.

Данило заговорил про Енисей, куда еще прошлой осенью уехал сын Данилы Поликарп с Мокеем Филаретовым и с другими единоверцами.

— Толкуют: Енисей — река дивная, рыбная, невиданной благости и пустынности, — говорил Третьяк. — Живут там наши единоверцы в тайге будто. Лесу там — хоромы строить можно. И от царя не близко — не дотянется. Туда и мы поедем, чтоб корни пустить в землю сибирскую. На вольной земле жить можно, барин. И хлеб сеять, и в тайге зверя промышлять, и золото, толкуют, есть на малых реках, какие текут в Енисей. Таперича и ты с нами, праведник. Бог послал те пачпорт пустытника.

— Благостно, благостно, — поддакнул Данило.

В который раз Лопареву напоминают о пачпорте! Не смеются ли над ним Третьяк со старцем Данилой? И откуда Ефимия взяла тот пачпорт? Не от Юсковых ли? Уж больно хитер дядя! И глаз цыганский, черный, и в заговорщиках побывал.

Вино разлили в серебряные кубки. Из таких кубков пивали бояре да стрельцы.

Не зря Филарет обмолвился: «Боровский дуван везут». Малую долю, наверное, положили на алтарь раскольникового собора, ну а себе — сокровища, драгоценности, золото. И вот бегут в Сибирь с воровским дуваном под прикрытием Филаретовой общины.

Догадка Лопарева подтвердилась, когда Третьяк сказал, что вся сила «шить единым духом, чтоб не допустить подушной переписи, и

тем паче вопросов, кто и откуда попал в общину».

Михайла-вдовец не удержался:

— Оттого и Акулину сожгли, от «едного духа»! Кабы Микула не помогал Ларивону...

— Молчи, дурак! — осадил Данило.

— За что сожгли-то, барин? Слышали? — Синие глаза Михайлы жалостливо помигивали. — Шестипалый, сказали. От нечистого-де...

— Молчи, грю, в застолье, — оборвал Данило.

— Зело борзо! — крикнул Третьяк. Михайла хотел уйти, да Третьяк удержал.

Лопарев слушал и молчал, поглядывая то на одного, то на другого.

— Оказия вышла такая, зело борзо, — начал Третьяк издали, предварительно глянув в оконце: нет ли кого чужого в ограде становища. — Должно, слышали вопль Акулины? Про шестипалого младенца что толковать! Каких бабы не родят. И слепых, и горбатых, и ноги у которых срослись в кучу. От уродства то, зело борзо! Все знаем, барин. Да вот апостолы-пустынники, какие суд и веру держат при самом Филарете, смуту навели: в Юсковом становище, мол, нечистый народился. Особливо старался Елисей, какой ноне сдох на кресте. Узрил, будто Акулина тайно якшается со нечистым, и всю общину на то подбил со благословенья Филарета. Мало ли в общине голытьбы да верижников? Только и ведают, что лоб пальцем долбить, а на работу квелые, зело борзо. Зазорно им, что в Юсковом становище всего вдосталь и живут, как единый перст — не разумеешь. Вот и порешил Филаретушка вывернуть Юсковых через ту Акулину.

— Такоже! Такоже, — подтвердил Данило.

— Не сидели бы в застолье, барин, кабы не дали Акулину, — подвел итог Третьяк. — Три ночи думали так и эдак. Сна лишились. А верижники с ружьями обложили все наше становище. Жди огня-пламя! Зело борзо!

— Такоже. Такоже, — кивал Данило.

— Надумали тогда: стерпеть, и Микулу выбрали, чтоб помог вязать Акулину, яко блудницу и нечестивку.

Лопарев отодвинул кубок вина...

— Суди сам, барин, — продолжал Третьяк, — в нашем Юсковом становище — шестеро каторжных, беглых. А всего в общине за пятьдесят беглых, опричь холопов, какие ушли от помещиков. Когда

мы едем общиной, к нам подступу нет. Из Поморья общиной вышли; держимся старой веры, печати и спроса анчихристов не признаем! Держали нас на Волге и в Перми, а потом — идите, зело борзо, паче того — в Сибирь. Дале гнать некуда. Ну, а если по семьям стали бы перебирать?..

Лопарев подумал: многих бы заковали в кандалы!.. Ну, а сам он разве не беглый каторжник?

Неспроста Ефимия удержала его в ту ночь возле телеги, не дала связаться в судное моление. И что бы он мог сделать, Лопарев, один против сотен фанатиков?

«Четверым гореть тогда!..»

И спросил про Ефимию: где она сейчас?

Третьяк подумал, прищурился:

— И я не зрил благостную на всенощном моление, вело борзо!

— Не было, не было, — сказал Данило. Михайла-вдовец угрюмо заметил:

— Может, на костылях висит?

Третьяк вздрогнул и выпрямился.

— Спаси Христос! Данило тоже перекрестился.

— Бабы, идите отсель! Живо! Бабы тотчас ушли из избы.

Лопарев поинтересовался: что еще за костыли?

— Филаретовы, — ответил Третьяк. — В избе у него в стене костыли набиты, во какие. К тем костылям веревками привязывают еретика, когда тайный спрос вершат апостолы Филаретовы. Ох-хо-хо!

Лопарев вспыхнул:

— Кто дал право Филарету вершить подобные судные спросы?

— Тихо, Александра, тихо! — урезонил Третьяк. — Экий порядок с Поморья тащим. Филарет-то — духовник собора!.. И апостолов из пустынников набрал, чтоб держать крепость веры. И всю общину в страхе держит — не пискни, огнем сожгут. Может, порушим ишшо крепость Филаретову. Потому: Сибирь — не Поморье!

Данило Юсков перепугался, замахал руками:

— Негоже, негоже, Третьяк! Филаретушка — святитель наш многомилостивый!..

— Чаво там! — отмахнулся Третьяк. — С Александрой толковать можно в открытую, зело борзо. Не из верижников!

— Один бог ведает.

Лопарев заверил, что с ним можно говорить в открытую, и что он не принимает крепость, и даже готов высказать это на собрании общинников, чтоб укоротить руки Филарета.

— До рук далеко, Александра, — вздохнул Третьяк. — Дай до Енисея доползти, а там...

Третьяк недосказал, что будет «там», но Лопарев догадался и, вспомнив разговор с Филаретом про Ефимию, сказал о нем. Все слушали внимательно.

— Беда, должно, беда! — охнул Данило. — Филаретушка и сына своо Мокея потому отправил на Енисей, чтоб извести благостную!..

— За что извести? За что? — не понимал Лопарев. Третьяк выпил вина, попросил Семена наполнить кубки, и тогда пояснил:

— Сказ короткий, Александра. Филаретушка чувствует, как земля у него из-под ног уходит. Зубами душу не удержишь, зело борзо! Также. И крепость Филаретова скоро лопнет — народ Сибирью дохнул, а не Поморьем верижным.

— Но при чем же здесь Ефимия? Третьяк помигал на Лопарева, удивился:

— Али не говорила Ефимия, как ее в Поморье еретичкой объявили и на пытку в собор вели?

— Так ведь это же было в Поморье!

— Много надо сказывать, Александра, — покачал головой Третьяк. — Тут ведь какая тайна? Мокей-то, сын Филаретов, силища невиданная, зело борзо! За Ефимию он а самому Филарету башку оторвет.

— Также, — кивнул Данило.

— Вот и нашла коса на камень. Порешить Ефимию — порешить Мокея. А тут еще в Поморье заявилось царское войско, не до Ефимии!.. Филипповцы пожгли себя, а Филарет с общиной в побег ударились, и мы с ними. Едем вот, зело борзо!.. Тут и пронюхал Филаретушка, что в Юсковском становище нету для него опоры, а поруха будет. Мало того: Ефимия в самом становище духовника — совсем беда. Знали мы, кабы Акулина на тайном спросе, когда висела на костылях, назвала Ефимию как искусительницу, не жить бы Ефимии!.. Да мы наказали: смерть прими, а благостную, которая ребенка твоего приняла да сокрыла, что он шестипалый, вздохом не почерни!

— Также. Также, — кудахтал захмелевший Данило. — Благостную оборони бог хулить.

Лопарев задумался. Что-то тяжкое, тревожное прищемило сердце.

— Не может быть! Не может быть! — проговорил он, сжимая голову ладонями. — За что? За что?

Третьяк согласился:

— Нету никакой провинности! Чиста, как слеза Христова. Присоветую тебе так, Александра, объявись верижником да возьми себе в тягость ружье.

Семен, почтительно молчавший, когда говорили старшие, робко сообщил, что видел Ефимию вчера, до того как на всенощное моление вышла община.

— За травами собиралась будто. Третьяк повеселел:

— К вечеру, может, возвратится. Подождем. На всенощное моление Филарет мог и не пустить ее. На судное моление не пустил же.

Лопарев тоже успокоился. Не так просто повязать Ефимию! И решится ли Филарет скрутить единственную лекаршу общины да выставить на судный спрос? И ко всему — Юсковы. Стерпят ли они второе душегубство или возьмутся за рогадины и ружья?

III

Из становища Юсковых Лопарева пошел провожать белобрысый парень Семен. Неспроста тоже. Мужики не хотели показываться с Лопаревым на виду всей общины.

Еще в застолье Лопарев пригляделся к Семену: парень бравый, румяный, косая сажень в плечах. Золотистый пушок покрыл его губу и чуть припушил щеки. Не зря, может, старец Филарет обмолвился, что Ефимия совращала несмышлениша Юскова. Да какой же он несмышлениш?

— Который тебе год, Семен?

— Осьмнадцатый миновал, барин.

— Бороды еще нет.

— Будет, барин. От бороды, как от подружии, не отвяжешься.

— Грамотен?

— Читать и писать сподобился.

— Где же ты учился?

— На Выге. Была там школа при монастыре.

— Отец твой погиб?

— А кто иво знает! Море, оно хоша и шумное, а бессловесное. Заглотит, и аминь не успеешь отдать.

— Ну, а мать... жива?

— И мать, и две сестры. Матушка на стол собирала, видели?

— А...

Помолчали. Лопарев опять спросил:

— Как народ зимовал вот в этих землянках? Морозы ведь в Сибири.

— Не морозы, барин, — само огневище. По неделе из землянок и избушек не вылазили. Одна семья в пять душ замерзла.

— Разве нельзя было остановиться на зимовку в какой-нибудь деревне?

Семен боязливо оглянулся.

— Кабы можно было!.. И деревни проезжали, и вокруг городов по тракту объезжали, а на зимовку в землю зарылись. Потому — вера наша такая. Крепость Филаретова, значит.

— Ты рад такой крепости?

Семен испугался. Кровь кинулась ему в лицо, и он чуть в нос, с запинкой пробормотал:

— Не совращайте, барин!.. Грех так-то пытаться... Лопарев невесело усмехнулся:

— А Я-то думал, что ты не из пугливых.

— Спытайте в другом, а не в верованье, барин. Нонеча вот, до того как вы объявились, разорил я логово волчицы. Шел степью и наткнулся на логово. Без палки и без ружья был. Потешно так!.. Вижу, ползают в траве волчата, пять штук. Самой волчицы не видно. Я снял рубаху, и всех волчат сложил туда, и завязал рукавами. Тут и волчица объявилась. Ох, лютая!.. Хорошо, что я сапоги тот раз тащил в руках. Кабы видели, как я ее сапогом бил по морде. Во потеха!.. Она-то кидается, а я — бах, бах по морде, да потом как схвачу за хвост!.. Тут и кинулась она по степи — на коне не догнать.

Вот он каков, поморец Филаретовского толка! На волчицу с голыми руками не убоился кинуться, а на судном моленье, когда безвинную Акулину с младенцем жгли огнем, онемел от страха. В нору хоть самого жги.

— Старец Филарет говорил мне, будто тебя хотела совратить Ефимия, невестка Филаретова?

Семен тонко усмехнулся:

— Наговор, барин. Мало ли что старцам не привидится? И невестка она никакая — ни жена Мокея, ни приживалка, никто. Под ярмом живет. Мокей-то — кабы видели! Чудище рыжее. Силища у него страшная. Подковы гнет, яко гвозди. Костыли в бревно кулаком забивает. Положит на костыль железяку, чтоб не поранить руку, как трахнет так костыль в бревне.

— А что, если Мокей узнает, как Ефимия ходила с тобой за травами?

— Дык што? — пожал плечами Семен. — Мое дело третье. Позвала — пошел. Ко Гнилому озеру водила. По горло лазил в той воде, траву выискивал, на которую она показывала с берега. А пустынный Елисей вопль поднял: искушала, грит. Кабы искушала!.. Ефимия не такая, барин.

— Какая же?

— Благостная. Так ее все зовут. А по уму-то — страх божий. Говорить говорит, а что к чему, не поймешь. Будто из Писания, а как проникнешь, совращение с веры получается.

Лопарев ничего не ответил. Знал ли он сам Ефимию? Не ее ли волю исполнил?..

«Зреть хочу тебя просветленного и ясного», — вспомнил слова Ефимии и будто увидел ее перед собою — страстную, призывную и желанную. Как бы он сейчас обрадовался, если бы она шла к нему навстречу!

Нет, не Ефимия шла навстречу, а гигант Ларивон, переваливаясь с плеча на плечо.

— Космач идет, — буркнул Семен, на шаг отступив от Лопарева.

Ларивон и в самом деле смахивал на космача. Борода рыжая, как у Микулы, отродясь не чесанная, взгляд исподлобья, руки длиннущие, ухватом, будто Ларивон что-то нес в охапке.

— Ищу тя, праведник, — протрубил он, глядя в землю. — А ты эвона где гостевал! У Юсковых. Ефимия там обед сготовила.

У Лопарева отлегло от сердца: Ефимия ждет его!

— А ты ступай, нетопырь, — погнал Ларивон Семена и, глядя куда-то вбок, в сторону степи, нехотя сообщил: — Батюшка наказал на

охоту нам идти на всю ночь. Волки одолевают. Трех жеребят вадрали. На приступ берут, тати поганые. Вот и пойдем ноне на логовище.

Лопарев обрадовался: на охоту так на охоту. Давно из ружья не стрелял, забыл даже, чем пахнет пороховой дымок.

Не доходя до становища Филарета, Лопарев обратил внимание, что вокруг моленной избы старца плотным кольцом расселись верижники. И утром он видел их на том же месте. Некоторые из них с ружьями. Во власяницах, босоногие, косматые, без шапок, молчаливые, как черные камни.

— Что они тут собрались?

Ларивон тоже поглядел на верижников, хмыкнул в бороду и через некоторое время собрался с ответом:

— Поминать будут Елисея. Преставился раб божий. «Ничего себе преставился!..»

На бородатом лице Ларивона — ни единого движения мысли. Да и бывает ли отражение какой-либо мысли на таком вот тупом, как обух топора, лице?

Ефимии возле телеги не было. Понятно: там, где Ларивон, не жди Ефимию.

В прокоптелом котелке — щи, на чугунной тарелке — жареная рыба, полкаравая хлеба на белом рушнике. Возле пепелища — бахилищи на мягкой подошве, портянки, суконная однорядка, войлочный котелок, заменяющий шляпу.

— Может, поужинаете, коль на обед не успели? А, у Юсковых!.. Тамо-ка жратвы от пуза. С портянками обувку носили, праведник?

— Не носил. Но сумею обуться.

— И то. — Задрав бороду, крикнул: — Лука-а!.. Ну да я сам управлюсь. Снаряжайтесь, праведник.

И охота будет не в радость с таким космачом. Ни поговорить, ни подумать. Вот если бы позвать Третьяка с Микулой!

Ужинать не стал. Обулся, оделся и вышел на берег Ишима. Вспомнилась Нева. Грозный шпиль Петропавловского собора. Медный всадник, Зимний дворец, Мореходное училище, академия, Невский проспект, Фонтанка с домом Муравьевых под номером 25, где так часто бывал Лопарев. Как давно все это виделось, будто сто лет назад!..

Над Ишимом плыли реденькие рваные тучки. Только что зашло солнце, и алая зарница прыснула у горизонта.

— Сготовились, барин?

Лопарев принял от Ларивона кремневое ружье, кожаную сумку с порохом и только сейчас обратил внимание на двух бородачей и на молодого парня, Луку, сына Ларивона.

Пошли прибрежной тропкой, протоптанной коровами, вниз по течению Ишима. Миновали пригоны для скота, несколько стогов сена, часовенку, похожую на колодезный сруб; потом свернули в степь, на восход солнца.

И все молча, молча, будто шли глухонемые.

Лопарев поравнялся с двумя бородачами, спросил, много ли волков в степи, но бородачи почему-то отвернулись.

— Чего замешкались? — зыкнул Ларивон.

Ничего не поделаешь: надо идти, с такими не разговоришься.

Степь куталась в черное покрывало. Горизонты придвинулись, трава почернела и мягко пощелкивала. Так прошли версты три от становища общины. Ларивон остановился, подошел к Лопареву:

— Эко! С пачпортом древним объявился, а ружье взял. Лопарев не сразу сообразил, к чему клонит Ларивон.

— С чем же идти на волков?

— Сказывай, барин, — фыркнул Ларивон. — Ежели пустынный объявился под пачпортом, он идет по земле со словом божьим, а не с ружьем. Али ты верижник?

— Я не верижник. — Лопарев насторожился: тут что-то неладно.

— Давай ружье-то, праведник! — И без лишних слов Ларивон отобрал у Лопарева ружье и сумку с провиантом.

Двое бородачей и безусый Лука — парень, бревном не ушибить, подошли к Лопареву плечом к плечу.

— Я могу не идти на охоту, — догадался он, что попал в ловушку.

— Ничаво, — осклабился гигант Ларивон. — Пайдешь, барин!.. А ну вяжите!

И тут же Лопарева схватили за руки, за плечи, за шиворот.

... Чтобы вершить свою волю, держать в тайном трепете и страхе общину, Филарет приблизил к себе неукротимых фанатиков-пустынников, готовых пойти в огонь по его первому слову.

Будучи духовником Церковного собора, Филарет ведал подвалами Выговского монастыря, где вел тайные допросы еретиков, и перед именем Филарета даже келарь собора испытывал смертельную оторопь.

Старец не знал жалости к еретикам, как не чувствовал боли и мучений, подвергаемых пыткам и казни.

Когда Филипп-строжайший откололся от Филаретовой общины, Филарет созвал всех верижников Поморья, чтоб огнем пожечь отступников, но те сами себя сожгли в восьмидесяти трех срубках, числом в тысячу двести сорок душ. И сам Филипп принял смерть. Тогда Филарет обратил гнев на милость, и отпели чин чином принявших смерть огнем.

Из всех святых мучеников Филарет почитал только протопопа Аввакума — неукротимого, бесстрашного, которого не уломали ни пытки цепями, ни битье батогами, ни сибирские морозы на Ангаре и даже смерть жены и младших детей. Сгорел в срубке с дьячком Федькой, а веры не отринул.

«Такоже, как святой Аввакум, и я буду держать свою крепость», — поклялся перед древними иконами Филарет и ни разу не отступил от своей клятвы.

И все-таки крепость рушилась даже в такой малой общине, какую увел Филарет из Поморья в Сибирь.

На Волге сожгли деву, еретичку.

У города Перми сожгли двух мужиков за тайное общение со щепотниками.

На Кане сожгли семью в четыре души — проклинали Филарета, а это все равно, что проклинать самого Иисуса!..

И вот опять Филарет проведал про тайную смуту Юсковского становища. Нет такого почтения, как должно, будто сама Сибирь ударила в ноздри вольной волюшкой. Чего доброго, начнется разброд, и у Филарета отберут посох и крест золотой!..

Если Филарет говорил: «Отдам те посох и крест золотой», — неискушенный так и понимал: отдаст старик. В эту же ловушку угодил

Елисей. Еще в Перми Филарет пообещал Елисею посох и крест, и Елисей сперва возрадовался. Вот и сдох на кресте.

На посох и крест золотой позарился Лопарев. «Погоди уже, возрадуешься, барин».

V

Если бы знал Лопарев, какие молитвы шептала Ефимия в тот момент, когда Ларивон окликнул его: «Сготовились, барин?»

«Близится мой тягчайший час испытания, — молилась Ефимия, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту, прикрученная веревками к костылям, вбитым в стену. — Помоги ему, богородица пречистая! Спаси его, ибо люди темные, пребывающие в забвении, поправшие бога и сатану, могут свершить свой суд, не ведая, что осквернили само небо! Спаси ему жизнь, богородица, ни о чем более не молю тебя. Пусть я сгину, и пусть пепел мой развеют по ветру, но спаси жизнь кандалнику рабу божьему Александру!..»

Ефимия не признавала никаких святых, кроме богородицы, и попраля бы самого Иисуса Христа за скверну, какую творят пустынноики Филарета, прикрываясь его именем. Но богородицу, в муках родившую Сына человеческого, попрасть не могла.

Знала Ефимия про коварные повадки Филарета, знала, если старец говорит умильно, ласково и прослезится даже, то нельзя ему верить: он с такой же легкостью погубить может. Но вот такого ехидства и лукавства, какое учинил Филарет вечером накануне молитвенного шествия к роще, такого коварства даже и она не предвидела.

VI

... В прошлый вечер Филарет позвал Ефимию в свою молебную избу, где расселись по лавкам шестеро тайных апостолов-пустынноиков: Калистрат, Павел, пречистый Тимофей, благостный Иона, Ксенофонт и бесноватый, непорочный Андрей.

Ефимия не смела прямо зреть старцев и тем паче стоять перед ними на ногах, потому и опустилась на колени, потупя голову.

Филарет ласково спросил:

— Сготовилась ли ты, дочь, навстречу праведнику? Ефимия низко поклонилась:

— Сготовилась, батюшка.

— Знаешь ли ты, что праведника господь послал со своим знаменем, с кобылой и жеребенком?

— Слышала, батюшка.

— Рада ли знамению господню?

— Рада, батюшка.

— От чистого сердца пойдешь встречать праведника?

— От чистого сердца, батюшка.

— Хвально! Хвально! — И с тем же умилением, обращаясь к своим апостолам, Филарет спросил: — От сердца ли говорит сия дочь, пребывающая в храме господнем? Скажи, смиренный апостол Павел.

Смиренный Павел — лобастый, лысый старик лет шестидесяти, свирепый женоненавистник, сухой и длинный, как жердь, поднялся с судной лавки, вышел на середину избушки, отвесил поклон духовнику, а тогда уже ткнул ладонью в сторону Ефимии:

— Нечистый дух глаголет ее устами, святой духовник, отец наш вечный и нетленный, батюшка Филарет.

(Таков был торжественный титул старца.) Филарет воздел руки к бревенчатому, накатному потолку, возопил:

— Избави, Спаситель, от нечистого духа! Вразуми мя, тварь неразумную, слабую, в доброте пребывающую и в благодати к рабам божьим! Вразуми, господи, пресвятых апостолов! Глаголь, праведный апостол Андрей.

Павел сел на лавку, Андрей поднялся. Худенький, весь ссохшийся, смахивающий на гнутое коромысло, упал на колени и затрясся, как припадочный.

— Зрю я, отец наш духовный, сиречь спаситель наш сладчайший и сиречь раб божий и нетленный, батюшка наш Филарет. Зрю я, червь земной, пребывающий в боге, и бог, пребывающий во мне; зрю я, старец наш благодатный и умиленный, в избе твоей, во божьем чертоге, пред святыми образами стоит на коленях поганая блудница, сиречь ведьма и нечестивка, сиречь ехидна, какая умыслила свергнуть нас

всех в геенну огненну, в смолу кипучу чрез Юсковых, еретиков поганых. Погибель будет! Погибель!

У Ефимии дух занялся и ноги налились холодом, как чужие стали. Она не верила собственным ушам, что все это слышит наяву, а не во сне. Это же судный спрос! Судный спрос! Что же замыслил свершить над ней «спаситель сладчайший, благостный и умиленный» батюшка Филарет?

Апостолы затащили псалом во спасение души нетленного Филарета. Сам Филарет молитвенно сложил руки на золотом кресте, как бы говоря: «Я — вечный, нетленный, а вы, апостолы, пойте мне аллилуйю! Услаждайте душу мою райским песнопением!»

Пуще жизни старец Филарет возлюбил земное почитание, чтоб хвалили его рабы божьи и приближенные апостолы, как самого Спасителя, и чтоб на тайном судном спросе апостолы видели в нем не духовника, а Иисуса Христа.

Редко кто оставался в живых после судного спроса. И Акулина с младенцем побывала на тайном спросе, и апостол Елисей, и семья Кондратия-хулителя. Так же вот учинили тайный спрос, а потом сожгли в лесной глухомани на Каме, завалив мужа с женою и двумя отроками-сыновьями пихтовым сухостойником так, что и кости сгорели.

И вот Ефимия...

Выслушав апостола Андрея, старец обратился к Кали-страту:

— Ума у тебя много, Калистратушка. Глаголь!

Калистрат — мужик лет пятидесяти пяти, сытый, размашистый в плечах, с горбатым носом, как у турка, черноглазый, когда-то попраный из Петербургской духовной академии за святотатство и непочтение «божьего помазанника Александра», как-то странно, через плечо глянул на Ефимию, ответил:

— Братия, воспоем аллилуйю отцу нашему духовному, сиречь самому спасителю премудрому, преблагостному батюшке Филарету!

— Аллилуйя! Аллилуйя! — гаркнули в пять глоток; у одного из апостолов — Ионы глухого, дважды урезали язык в Соловецком монастыре, откуда он бежал потом в Поморье. Иона не пел и ничего не слышал, только долбил лоб двуперстием.

Калистрат сел на лавку, так ничего и не сказав про Ефимию.

— Благостно, благостно, Калистратушка! — похвалил Филарет и впился в пунцовое лицо апостола. — Скоро, может, отдам тебе пастырский посох и крест золотой. Возрадуемся, братия!

— Аллилуйя! Аллилуйя! — возрадовались апостолы, кроме самого Калистрата.

Понятно: старец пообещал посох и крест золотой — не заживешься на белом свете! Готовься аминь отдать. Из двенадцати апостолов, какие были возле старца в Поморье семь годов назад, в живых осталось шестеро, и только один умер своей смертью.

(Когда шла тайная вечеря, Елисей пятые сутки висел на кресте...)

Калистрат вспотел в своей толстой грубой власянице из конского волоса и верблюжьей шерсти и не слышал, как Филарет дважды спросил у него, что же он скажет про Ефимию; опять вышел на середину избы и поклонился в пояс:

— Хвально ли мне, отец наш духовный, допрежь слова твоего и братьев моих глагол держать? Как же я буду крест золотой носить, если нет у меня ушей, яко слышащих, и вразуменья господня, чтоб суд вершить?

Филарет мотнул головой, как рассерженный бык, и не сразу нашелся что ответить Калистрату.

— Также. Также, — пробормотал сквозь зубы Филарет, и шея его налилась кровью. Разорвал бы он Калистрата за поучение перед апостолами, но надо стерпеть. Настанет час и для Калистрата. — Говори, пречистый Тимофей. Уста твои богоугодные, и дух нетленный в теле твоём.

Ровесник Филарета, семидесятипятилетний Тимофей, во власянице и в посконных штанах, босой, бухнулся на колени и возопил с осатанелостью:

— Ехидну зрю! Ехидну! О ста главах, о четырех хвостах, о мильёне ядовитых жал! Погибель будет! Погибель! — И затрясся, отползая к лавке.

— Во имя отца, и сына, и святого духа... — затянул Филарет и, обращаясь к апостолу Ксенофонт, поклонился ему: — Уста твои, возлюбленный мой Ксенофонт, разуменья господнего! Посветли крест мой, праведник.

Ксенофонт облобызал крест и, ткнув двуперстием в сторону Ефимии, прорычал:

— Ехидна, ехидна! Сука четырехногая, какую подослал в общину сатано! Погибель будет, Юскова змеища в храме господнем, батюшка мой святейший, сиятельнейший, богом дарованный во спасение душ наших, червев земных. Судный спрос вершить надо, батюшка Филарет!

— Благостно, благостно, — еще раз поклонился Ксенофону Филарет и подозвал знаком руки безъязыкого и глухого Иону. Тот подполз к столу на коленях. Филарет ткнул рукой на Ефимию, потом приложил ко лбу два пальца, потом руки скрестил на груди, что означало: если Иона признает Ефимию еретичкой, должен приставить ко лбу два пальца, если праведницей — показать крест.

Иона забулькал что-то обрезком языка и показал два пальца да еще пошевелил ими: еретичка!

Ефимия свалилась с коленей...

Филарет вышел из-за стола и, не обращая внимания на Ефимию, повернулся к иконам, затянул псалом, а вместе с ним и апостолы.

— Свершим волю твою, господи! Вяжите ведьму. Вяжите. Веревки на крюке висят.

Ефимия схватила Филарета за ноги:

— Ба-а-а-тюш-ка-а! Помилосердствуй! Сын у меня от сына твоего Мокея. Ба-а-а-тюш-ка!

Филарет пнул Ефимию:

— Ведьма!

Апостолы схватили Ефимию и, толкая друг друга, повалили лицом в земляной пол, заломили руки, начали вязать.

Калистрат поднялся и опять сел на лавку.

— Батюшка-а-а!..

— Кляп в рот забейте! — Филарет еще раз пнул Ефимию, свирепо кося глазом на Калистрата. Теперь это был не тот немощный старец, каким он любил показываться на людях и на открытых моленьях, а неистовый, свирепый старик, с раздувающимися ноздрями тонкого, чуть горбategoся носа, твердо прямящий спину и неумолимый, как железо. Ефимии заткнули тряпкой рот и поволокли к стене. Филарет потарапливал: пора идти на общинное моленье навстречу праведнику к роще.

— Крепше вяжите на костыли, чтоб не сползла, как тогда Акулина-блудница!

Апостолы добросовестно исполнили волю духовника.

Заведено было так: тайные апостолы избирались раз в пять лет на большом благовещенском моленье. Такой порядок существовал в Поморье, где у Филарета было пустынных более двух тысяч душ (до того, как откололся от общины Филипп-строжайший).

В Поморье пустытники жили в лесах, охотничали, странствовали по всей Руси от Волги до Днепра и раз в пять лет стекались на большую службу благовещенья. А потом беда пришла: Церковный собор объявил еретиками пустытников с ружьями и запретил сборища на реке Сосновке, где проживали Филарет с Филиппом. Мало того, Филипп с Филаретом растолкнулся, и пустытники не знали, куда им кинуться. Филипп возопил: если пойдете со мной в огонь — спасены будете! Более тысячи пустытников сожгли себя.

Апостола Митрофана в Поморье удушили...

Апостол Елисей на кресте висит...

Шестеро под рукою Филарета, считая Калистрата. Но и Калистрат, конечно, не заживется. «Погоди ужо, боров упитанный! Возопишь, кобелина!»

Из всех пустытников, в том числе и апостолов, только у девяти были «страннические пачпорта», и те не древние соловецкие, а поморские, Филиппом писанные и печатью Филаретова посоха припечатанные.

И вдруг барин Лопарев объявился с древним пачпортом...

Пустытники и сам старец до того оробели, что не знали: петь ли им аллилуйю или анафему? Но анафеме предать пустытника с пачпортом — попать неписанный устав старой веры, почитаемый с 1666 года!

Ничего не поделаешь, пришлось провозгласить «чудо», да еще свершить всенощное моленье. И вдруг нежданно у креста Елисея новоявленный пустытник осенил себя кукишем!..

Откуда же у него пачпорт взялся? И кто он сам? Беглый ли каторжник или оборотень, нечистый дух? И тут Филарет ахнул: барин получил пачпорт от Ефимии! Не иначе. Но где же взяла Ефимия? Конечно, у дяди Третьяка!

«Умыслили еретики пустить змея ко мне под подушку. Также! Чтоб разброд начался у пустынников, а потом и веру порушить. Ох, собаки грязные!.. Доколе терпеть их? И все это не без помощи ведьмы Ефимии. Хорошо еще, что успел повязать ее. На судном спросе она все скажет, и там — Юсково становище в пепел обратить, рухлядь забрать, а Третьяка и старца Данилу на костылях пытать. Хвально будет так-то. Хвально. И крепость каменной будет. На веки вечные».

Лопарева отправили будто бы на охоту под надежной охраной во главе с Ларивоном и апостолом Павлом в степь, чтоб там учинить ему судный спрос.

Вокруг избы духовника дежурили верижники с ружьями и рогатинами, чтоб никто за триста саженой не приблизился к избе.

Как только стемнело, апостолы обошли все землянки и избышки, оповещая, что святой духовник Филарет наказал старым и малым на восходе солнца сотворить большую молитву во здравие ходоков, уехавших на Енисей. И чтоб никто из парней и белиц не шлялся по общине: батогами бить будут.

У Юсковых наказ Филарета вызвал переполох. Неспроста гонят людей спать и чтобы никто не выходил из изб и землянок. И верижники караулят избу духовника. Что же там происходит? Не иначе — тайный судный спрос!..

Третьяк догадался:

— Чует душа, Ефимию будут пытать.

Старик Данило предупредил: если порешат благостную, то и всем Юсковым несдобровать: Филарет науськает обжорку — не отобьешься.

«Обжорной» Юсковы навеличивали верижников, особенно Филаретовых апостолов. Никто из них не работает, а жрать — за уши не оттянешь. Только и знают «вершить судные спросы», долбить лбы на всеобщих молитвах, а потом спать и жрать от пуза.

Но где же взять силу, чтоб обезоружить верижников? Полсотни мужиков набрать можно, какие осмелятся взяться за рогатины и отринуть Филаретову крепость. Все остальные в огонь пойдут за Филарета.

Юсковы зашевелились — и сон пропал. Собрались в избе Данилы, толковали так и эдак, а ничего не могли придумать. Пойти самим с ружьями к избе Филарета — не перебьешь всех, да и Ефимию не вызволишь из когтей коршуна.

Данило засуетился: то сядет, то встанет, то в оконце выглянет.

— Беда, беда, мужики! Филаретушка лазутчика подсылал, а мы-то, господи прости, языки распустили. Особливо ты, Третьяк!

Третьяк ухватился за бороду:

— Какого лазутчика? Данило ехидно проверещал:

— А барин-то? Пустынник-то?

— Дык барин же! Каторжный.

— Хе-хе-хе! Барин! А ведаешь ли, откель у него пачпорт пустынника?

И тут Третьяк признался:

— Тот пачпорт Ефимия дала. У меня хоронила. Во как. И в роще у него была, и сговор поимела. Токмо нишкни! Оборони бог!

Данило от такой неожиданности чуть не упал.

— Дык, дык как же, а? Пачпорт твой, стал-быть? Третьяк пояснил, что пачпорт Ефимия получила от Амвросия Лексинского, передала ему на сохранение и вот отдала Лопареву.

— Господи прости! Тогда сила на нашей стороне, — обрадовался Данило. — И Калистратушка не отторгнет нас, и Лопарев. Общинников подбить еще, и Филаретушку свалить можно.

Микула слушал разговоры Третьяка с Данилой, сопел в бороду, а тут не выдержал:

— Эко! Умыслили. На месте Филарета пять Филаретов будет али пятьдесят. Сколь верижников-то? Калистратушка! От такого апостола упаси бог. От одного взгляда Ларивона или Мокея у Калистрата в штанах мокро. И барин тоже. Один глаз — в Рязань, другой — в Казань. Не примет он ни веры нашей, ни крепости.

— Чуждый, чуждый, — поддакнул Данило.

— А верижник Лука? — напомнил Третьяк.

И в самом деле, есть еще, кроме апостола Калистрата, верижник Лука, тайно проживающий со вдовой Пелагеей. Лука терпеть не может старца Филарета.

Данило пожурил:

— От Луки — ни потрохов, ни муки. Солома одна. Притихли. Задумались.

В избе стало темно, но огня не зажгли. По очереди глядели в оконце.

Послали Семена лазутчиком к избе Филаретовой, и тот вернулся вскоре, сообщил:

— Ефимию пытаются. Голос слышал. Онемели.

— К избе не мог подползти, — верижники залегли: ноги в ноги, голова в голову, и все с ружьями и с рогатинами.

Третьяк схватился за бороду:

— Знать, жди — нагрянут. На сонных, зело борзо. Огнем пожгут, собаки.

Данило схватил подушку и закрыл единственное оконце. Третьяк засветил сальник. Семена послали за своими мужиками.

— Да гляди, чтоб тихо было.

— Ладно! — И Семен ушел.

— Беда, беда, — стонал Данило. — Надо бы послать человека в город, власти призвать на помощь. Казаков али жандармов. Открыть про убийства, какие учинили верижники. Спасение будет.

— Каторга будет, батюшка Данило, — прогудел Микула. — Всем каторга: Филарет никого не помилует.

— И мне будет виселица, — вздохнул Третьяк.

Куда денешься — сами беглые, каторжники! А Третьяк приговорен к смертной казни через повешение еще в 1813 году!..

VIII

Костыли в стене — железные, веревки — пеньковые, не порвешь, и кляп рушником притянут. Сутки кляп во рту. Веревки впились в руки, и в ноги, и в грудь.

Пятеро апостолов — Калистрат, Андрей, Тимофей, Ксенофонт, Иона — расселись на судной лавке. Прямо перед ними — Ефимия...

Филарет сидел в переднем углу за столом, под иконами, в торжественном облачении: на голове поморский колпак духовника с восьмиконечным крестом и пурпурным верхом, на рубахе — золотой крест на цепи, в руке — посох, через левое плечо перекинута широкая лента, шитая золотом, с пурпурными крестами. В таком облачении обычно Филарет спускался в подвалы Выговского монастыря пытаться ведьм и еретиков...

Кроме Калистрата, все апостолы носили власяницы и вериги, но в избу вошли без вериг — так положено. Обитель духовника что рай

небесный: можно ли в рай тащить вериги, ружья, гири, рогатины, железяки?

Как всегда в подобных случаях, изнутри дверь закрыли на деревянную перекладину в железных скобах: ломись впятером — не согнется, и два маленьких оконца закрыли досками, укрепив перекладной в скобах.

Воняло лампадным маслом, чадом свечей. У старинных икон горело двенадцать толстых свеч — по числу апостолов Иисуса Христа, именем которого вершился судный спрос и казнь. Кроме стола с глиняными кружками да еще двух лавок возле стен, дощатой лежанки с волосяным матрасом и волосяной подушкой, накрытых дерюгой, в избе старца ничего не было: вся рухлядь хранилась в двух избушках сыновей. Чуть поодаль от двери и от стены чернела железная печка с прямой, как оглобля, трубой, выведенной на крышу. Возле печки лежали березовые дрова, щепки и железная клюшка.

Помолились, пропели псалом во славу Иисуса, испили из кружек святой водицы, окропленной Филаретом, и тогда уже обратили взор на еретичку.

— У, как стришет глазищами-то, ведьма! — начал тщедушный и желчный апостол Андрей.

Филарет повелел вынуть кляп изо рта еретички. Андрей тут же исполнил.

Ефимия не могла сразу закрыть рот — до того растянулись скулы и отерпли за сутки.

Филарет выждал (не первый судный спрос!), когда Ефимия наберет воздух ртом.

— Глаголь, ведьма, пред святыми угодниками, пред образом Спасителя сущую правду, — начал Филарет. — Ежли будешь таить правду, язык вытянем щипцами и тело твое поганое жечь будем. Аминь.

Лицо Ефимии за сутки до того побледнело и обескровело, что выделялось белым пятном на фоне прокоптелых круглых бревен.

«Помоги ему, богородица пречистая», — тайно молилась Ефимия во спасение Лопарева. Про себя не думала — смерть сидела перед глазами: шестиглавая, двенадцатиглазая, пятиязыкая, неотвратимая, как рок. Знала, с такого тайного спроса не уходят в жизнь. Только на смерть.

Молила богородицу за малого сына, за Лопарева — возлюбленного, какого бог послал на один час жизни. Двадцать пять лет прожила на белом свете и только один час радость любви пережила. Не много же дано богом человеку!..

— Сказывай пречистым апостолам, какие вершат господний спрос и суд, какой тайный стговор умыслили еретики Юсковы: Данило, Третьяк, Микула, Михайла и все ихо становище. Сказывай.

Если бы могла, Ефимия плюнула бы в лицо Филарету.

— Сказывай! — рыкнул Филарет и стукнул кулаком по столу. — Али запамятовала, еретичка, как совратила святого Амвросия Лексинского? Забыла, как околдовала сына мово Мокея? Еретичка!

— Еретичка, еретичка! — гавкнули апостолы, кроме Калистрата и Ионы.

— Дайте воды, батюшка. — И голос Ефимии потух — гортань пересохла.

— Нету тут, ведьма, еретика, который дал бы те воды испить. Барин твой, щепотник поганый, шесть дней шлялся без воды по степи, а не сдох.

У Ефимии екнуло сердце: Лопарева, возлюбленного, пытать будут!

— Праведник Андрей, растопи печку да накали клюшку.

Андрей кинулся к печке. Дрова уже наложены в печку, только серянку поднеси и засунь клюшку. Что и сделал праведник. Ефимия тяжело вздохнула — пытать будут. Только бы не кричать, не смочить щек паскудными слезами, а все претерпеть без стопа и не порадовать мучителей воплем.

— Сказывай, еретичка! — рыкнул старец и подстегнул своих апостолов свирепым взглядом: молчать собрались, что ли?

Тимофей, Ксенофонт и Андрей накиннулись на Ефимию, как голодные псы на теплые кости:

— Ведьма, ехидна стоглавая, сказывай!..

— Не зрить неба Юсковым — огнем-пламенем пожгем!

— Пожгем, пожгем!

— Совратительница, тварь ползучая, сказывай!

— Блудница, сиречь ведьма и нечестивка, ехидна и змея стожалая, сказывай! — трясся бесноватый Андрей.

Святой Филарет узрил промах.

— Кара нам, кара! — крикнул он. — Как вы, праведники, не узрили убруса на ведьме? Как правоверна стоит, гли-ко! Аль затмение навела на вас?

Андрей испуганно попятился:

— Свят, свят! Спаси мя, владыко небесный! Свят, свят! Ксенофонт сорвал убрус (платок) с Ефимии, кинул на пол и давай топтать.

— За власы ее, за власы поторкайте! — подсказал Филарет и сам вылез из красного угла, взял свой посох из кипариса с золотым набалдашником и с острием, окованным железом, прямя спину, любовался, как Ксенофонт, Тимофей и Андрей вцепились в волосы Ефимии, готовые оторвать голову. — Также! Также! Благостно, благостно! — радовался Филарет, и в глазах его просветленных играло умиление и блаженство: еретичку изничтожают.

Но нельзя же, чтобы судный спрос закончился в самом начале, не усладив сердца. Надо пытку растянуть на всю ночь, а под утро, как надумал старец, прикончить ведьму: привязать к ногам ее по большому камню, вывезти в лодке на середину Ишима, вниз по течению — от становища верст за семь, и там утопить. «И господня благодать будет для всех, и радость великая!..»

— Чурку дайте мне. Сесть! — приказал старец. Апостолы оставили Ефимию и выкатили из-под лежанки березовую чурку. Старец торжественно сел, поправил на голове колпак и легонько ткнул острием посоха Ефимию в живот:

— Не втягивай пузо, ехидна! Али смерти испужалась? Ефимия облизнула пересохшие губы:

— Сразу бы... убили... батюшка. В сердце, в сердце ударьте посохом!

— Погоди ишшо! Смерть твоя долгая, всенощная али тренощная, как господь повелит. Ежли скажешь, какую ересь умыслили Юсковы и дядя твой Третьяк, и смерти не будет. Помилую тя и епитимью наложу малую — на месяц, не боле. Потом благословлю, и женой будешь Мокея.

Ефимия вздрогнула. Растрепанные волосы закрывали ей щеки, плечи. На лбу выступил пот. Радовалась: первую пытку перенесла без вопля.

— Лучше смерть, а женой Мокея-мучителя не буду! Филарет вытаращил глаза. Еле промигался.

— Не хочешь быть женой Мокея?

— Не хочу.

— Эко!

Филарет перекрестился, обрадовался и, обращаясь к апостолам, сказал, чтобы они не забыли: Ефимия отреклась от Мокея. По своей воле без пытки.

— Благостно, благостно! — И, помолчав, старец спросил: — Али те барин приглянулся?

Ефимия не сразу ответила.

— Сказывай!

— Мокей не муж мне, сами знаете. Не по моей воле взял меня, не по моей воле дерл?ал меня.

— Такоже.

— В Писании сказано: господь создал Еву из ребра Адамова, и она стала его женой. Так и всякая жена — из ребра мужа своего. Разве из Мокеева ребра господь создал меня?

Филарет подпрыгнул на чурке:

— Еретичка ты! Ишь что умыслила. Чтоб из Мокеева ребра да экая блудница вышла! Еретичка! — И ткнул посохом Ефимию в плечо.

Ефимия ойкнула, закусил губы. На кофте появилась кровь.

— Зрите, зрите, апостолы! Кровь-то у ведьмы черная.

На холостяной коричневой кофте да при свете свечей увидеть красную кровь было бы мудрено, но апостолы обрадовались: у ведьмы черная кровь — суд праведный.

— Сорвите с ведьмы хламье, чтоб поганое тело на суд вышло!

Расторопный Ксенофонт с бесноватым Андреем и безъязыким глухим Ионой накинулись, как черные коршуны, на Ефимию и рвали одежду руками.

— Такоже. Такоже, — умилялся Филарет, стучая в земляной пол посохом.

Наконец сорвана исподняя рубашка, и Ефимия предстала нагая. Веревки впились в ее тело, но она не чувствовала боли.

— Не стыдно вам, старцы? — Глаза Ефимии округлились и дико уставились в лицо Филарета, наливаясь смертельной ненавистью. — Вы не праведники, а собаки нечистые! Собаки! Собаки грязные,

кровожадные! — Ефимия плюнула Филарету в лицо, тот подпрыгнул и ударил посохом, но промахнулся: железный наконечник посоха увяз в бревне возле шеи Ефимии. Чуть-чуть, и Ефимия отмучилась бы.

— Кляп, кляп заткните! — рыкнул Филарет, вытаскивая посох.

Апостолы подхватили с полу рванье и, как Ефимия не увертывалась, выкрикивая, что Филарет сатана, искуситель, дьявол нечистый, заткнули рот.

По телу Ефимии от плеча текла кровь.

Опьяненный зрелищем пытки, Филарет не обратил внимания на апостола Калистрата, которому вчера пообещал посох и крест золотой.

IX

Калистрат ни единым словом не очернил Ефимию. Ни вчера, ни сегодня. Похожий на патриарха Никона, с черной окладистой бородою в проседь, лобастый, вкусивший сладость престольных угощений в академии, одетый во власяницу из верблюжьего волоса, с кожаным поясом на чреслах, он лихорадочно думал, как бы ему самому избавиться от казни и пытки и в то же время завладеть посохом и золотым четырехфунтовым крестом Филарета. Без креста и посоха не жить ему — убьют. По первому знаку старца — каюк. Бежать разве? Если бы он знал, что угодит в ловушку! Грешен, подбивал пустынников, тайно сговаривался с Юсковыми, и вот кто-то предал. Кто же? Не Юсковы же!

Лука разве? Верижник паскудный! Не должно. Кто же?

«Погибель будет мне, погибель! — стонал Калистрат, глядя на Ефимию. — Также пытать будет сатано. Елисею выжгли дырку до ребер, и он на кресте муки принял, а меня, должно, щипцами терзать будут и на общину выставят. И за академию пытать будут, и за щепоть, какой тогда молился, и за сговор с Юсковыми!»

Да, Филарет кое-что проведал про сговор Калистрата о Юсковыми, но не от верижников, а от сына Ларивонова — безусого Луки, которого тайно засылал лазутчиком к Юсковым. Внук Лука трижды подглядел, как под прикрытием дождя и грозы крался к Юсковым Калистрат и еще кто-то с ним и прятались в избе Третьяка. Туда же наведывалась Ефимия. Однажды Лука усмотрел, как в избе у Третьяка собрались трое верижников. Калистрат с ними и Ефимия.

Сговор велся среди ночи в темной избе. Лука узнал по голосам четырех: Ефимию, Третьяка, Калистрата и Микулу. Говорили, как бы спихнуть Филарета, отобрать посох и отпустить подпруги, чтоб не задыхался народ под игом Филарета-мучителя.

Внук Лука — не свидетель: борода не выросла! Его нельзя выставить перед общиной и свершить потом казнь еретиков Юсковых.

Где же взять свидетеля? Ефимию пытаться надо. Баба не выдержит, признается, назовет в первую очередь Калистрата — и тогда каюк еретикам!

Филарет давно косился на Калистрата, хоть тот и хорошо читал Писание, и голос у него как у соборного протодиакона, и статность внушительна, и умом бог не обидел. И в то же время именно за эти достоинства Филарет терпеть не мог Калистрата. И вдруг открылось, что Калистрат в тайном сговоре с Юсковыми!..

Елисей дурак был, чурошник. Надоел всем своими знаменьями и бесноватостью — общину чуть не распугал. И так более двухсот общинников убежали от Филарета на Волге. Дай волю — все разбегутся, кроме каторжных. С кем тогда крепость держать? Вот и убрал дурака.

Калистрат — еретик умнющий. Такого пытаться надо сто раз смертью и жизнью. Чтоб обмирал и оживал.

«Погибель будет! — тарачил глаза на Ефимию Калистрат, вытирая рукавом рубахи пот с лица. — Кабы Юсковых призвать, да силы мало у них!..»

Не до Ефимии Калистрату. Глядит на казнь, как самого себя видит. Хватит ли у него натуры, как вот у Ефимии, что и вопля еще не исторгла?..

X

... Лопареву завернули руки за спину и стянули веревками, а потом опеленали тело до пояса. И все это молча, без единого слова.

Апостол Павел поторапливал: вяжите, вяжите!

— Хорошо ли скрутили барина?

— Скрутили! — поднялся Ларивон. — Пусть сатано призовет, чтоб развивал нашу повязку.

— Благостно.

Лопарев онемел от неожиданного наскока бородачей. С чего такая напасть? Ведь только утром старец Филарет разговаривал с ним и клялся, что возлюбил его, «яко сына родного!»

Вспомнил о пачпорте пустытника. Не выручит ли?

— Вы што делаете, рабы божьи? Как вы удумали связать пустытника с пачпортом? Или не были на всеобщем моленье?

— Го-го-го! — заржал гигант Ларивон. — Вот баит, вот баит! Ишь, пустынником заделался. Ты еще скажешь нам, барин, щепотник поганый, откель получил пачпорт праведника. Сказывай!

— С березы снял. С березы.

Апостол Павел пнул Лопарева в лицо, аж в глазах потемнело. Угодил в губы мокроступом. Лопарев задохнулся от злобы. Грязным мокроступом — да в лицо! Такого с ним не вытворяли в казарме Петропавловской крепости.

Попытался вскочить, но двое навалились на него, да еще Ларивон помог, и давай садить барину. Биби, били да приговаривали: «За барскую кровь твою, за омман, за омман! Паче того, за пачпорт, за пачпорт. Также. Также».

— А-а-а, дьяволы! Космачи! Чтоб вам сдохнуть! Сволочи сивобородые! — крикнул Лопарев.

А праведники бородатые избивали до тех пор, пока у барина не помутился в голове весь свет — черное слилось с белым и образовалось оранжевое, огненное. Кровь текла из губ, из носа, подбитый глаз затек, и в ребрах будто что-то хрустнуло.

Праведники присели передохнуть.

Лопарев долго лежал на спине, еле переводя дух. Небо кружилось над ним, как шатер над каруселью. В голове гудело. Потом он повернулся и опять увидел небо у горизонта. Плыли тучи, рваные, черные, как серые овчины. Ленивые, бесформенные, как вот эти бородатые праведники.

— С-со-о-ба-а-а-ки! З-за-а ч-что вы... меня, а-а-а?

Апостол Павел лениво предупредил:

— Молчай, щепотник. Ишшо не то будет во славу господа бога нашего. Аминь.

У Лопарева закипели слезы. Чуть не разревелся. Пересиливая боль в ребрах и в паху, еще раз спросил:

— За што вы меня? За што?! Я же... я же... в кандалах приполз... под знаменем...

— Молчай, пес грязный! — пхнул мокроступом Ларивон. Метил в губы, а угадал в лоб. — Будет тебе ишшо знамение, погоди маленько. Совращать праведников объявился. Юда окаянный. Под поповскую церковь подвести хотел, кровопивец.

— Я-я ничью кровь не пил, космач! Собака!

И еще пинок. Лопарев успел отвести голову. Ларивон лениво подполз к барину и давай пинать его куда попало. Напинался, предупредил:

— Погоди, щепотник. Мы еще ребра ломать будем. Благостно будет то. Благостно. Хрустеть будут. Ты нам признаешься, как совратить задумал всю общину с Юсковыми и с ведьмой Ефимией. На посох духовника глаза разинул, тать болотная. Чего умыслил! Посохом завладеть.

— Не нужен мне посох! Не нужен!

— Зачем тогда пачпорт пустытника принял от ведьмы? Сказывай!

Так вот в чем дело! За Ефимией, наверное, следили. Кто-то подглядел, как она повесила на березе в тряпице тот паршивый пачпорт!.. Что же сейчас с Ефимией? Где она?

«Пусть они сожрут этот проклятый пачпорт», — кипел Лопарев, задыхаясь от злобы и бессилия.

— Возьмите свой пачпорт, и я уйду от вас! Не имеете права держать меня, слышите? Я государственный преступник, слышите? Не праведник, не пустытник, а государственный преступник.

Апостол Павел заржал:

— Ишь как барина повело, праведники. И посоха не захотел, щепотник. Возопил, кобелина!

Лопарев корчился, мотался головой по траве, изнемогая от ярости. Если бы не путы да шашку в руки, рубил бы он этих космачей до светопреставления!

— Эй, вы! Как вас, не знаю. Кто вы, какая ваша вера, не хочу знать, слышите! К черту вашу веру вместе с вашим стариком и с его посохом. К черту!

Ларивон опять начал пинать, приговаривая: «Не паскудь праведников, не паскудь! Сиречь духовника благостного батюшку

Филарета! Не паскудь, не паскудь». Лопарев стонал, ругался, грыз зубами землю. Праведники покатывались:

— Как вопиет-то! Как вопиет-то барин чистенький.

— С-со-о-ба-а-ки. К-ко-с-с-ма-ч-чи.

— Мы те покажем собак, погоди!

— Отведите меня в деревню, слышите? Сдайте старосте или кому там, чтоб в тюрьму отправили. В тюрьму. На каторгу. Слышите? Пустите меня на каторгу.

— Ха-ха-ха!.. Как вопиет-то! В тюрьму захотел, кобели-па. На каторгу захотел. Ишь как отрыгнул пашу праведную веру, а? Ишшо объявился пустынным.

— Не пустынный я. Не пустынный. Апостол Павел торжествовал:

— Слышите, праведники? Отрекся, иуда.

— Я не называл себя пустынным. Не называл. Я снял тот пачпорт с березы, рваные те бумажки. И вы сами вопили: чудо, чудо! А чуда не было. И кобылицу с жеребенком сам Филарет объявил чудом. Не я же! Что вы меня терзаете? За что? Отведите меня в деревню, говорю, и сдайте власти. Пусть на каторгу отправит.

— Ишь как шибко захотел на каторгу, — надрывали животы Иисусовы праведники. — От веры-то нашей, от Христа-спасителя да на каторгу захотел. Сказано: щепотник поганый. Тако есть.

Лопарев кричал и умолял, чтоб отвели его в любую деревню, хоть бы вытолкали на тракт и сдали кому угодно как беглого каторжника, но праведники потешались: вопи, барин.

Апостол Павел наказал:

— Барина-то покрепше завязать надо. И ноги скрутить, штоб не встал, не сел.

— За что?! За что?! По какому праву, спрашиваю?! Апостол Павел ответил:

— Еретика, сиречь того — щепотника огнем жечь можем. А право у нас и власть от царя всевышнего и от сына божьего Исуса. Во какое право. Как бог повелел изничтожать еретиков, так и дело вершим. Аминь. Лежи, барин, тихо. Утре покажешь нам, на каком месте бог послал тебе кобылицу с жеребенком.

— Да что я там памятник поставил, что ли? — огрызнулся Лопарев. — Откуда я знаю, где она появилась?

— Ежли не укажешь место, лупить будем. Ребра ломать будем.

— О! — простонал Лопарев.

Вот так крепость Филаретова! Вот так многомилостивый батюшка Филарет! Вот так умильная любовь отца к сыну!

И вдруг вспомнил.

«Не за то ли мстит мне Филарет, что отца его будто бы насмерть прибил мой дед? Да было ли то?»

И проклял вековечную барщину и крепостную неволю. За что же он должен страдать, внук крепостника-полковника? Да когда же настанет на святой Руси конец несносной тирании? Или так на веки вечные: холопы — под барином, барин — под царем, царь — под богом? И деться от этой неволи некуда!

XI

— Вопи, вопи, ведьма! — рычал Филарет. Но как вопить ведьме, коль кляп во рту?

— Вопи, вопи, змеища стохвостая, — поддакивал апостол Андрей.

Калистрат невольно залюбовался телом Ефимии. Какая же она дивная красавица. И тут же прикусил язык: вдруг про тайную мысль проведает духовник? «Свят, свят, спаси мя», — открестился Калистрат, уставясь на железную печку.

В избе и без того жарко, душно, а тут еще печка гудит.

Апостолы терпят. Привычно. За господу бога какую муку не примешь, только бы душеньку определить в рай небесный.

— Таперича слушай, ехидна, — поднялся Филарет и стукнул посохом — ком земли вывернул. — Ежли погаными устами будешь порочить духовника али моих пресвятых апостолов, вырвем язык щипцами, а потом жечи будем. Реченье поганое не веди, отвечай на судный спрос. Вынь кляп, праведник Ксенофонт. Да гляди, змеища!

Ксенофонт вынул кляп и брезгливо бросил под голые ноги Ефимии.

Ефимия вздохнула во всю грудь. Глаза как в туман укутаны, — видит и не видит праведников Иисусовых.

— Сказывай, какой сговор был в избе у Третьяка на третьей неделе опосля пасхи?

— Не ведаю, батюшка.

— Врешь, тварь ползучая. На том сговоре ты была и все знаешь. Глаголь, кто был на сговоре! Третьяк, Микула, Данило шелудивый, а еще кто?

У Калистрата от таких вопросов — в горле лед и сердца захолонуло. «Спаси мя, Иисусе Христе, — молился он. — Обет наложу на себя: от гордыни отрекусь, от блуда, к церкви православной возвернусь, господи».

Филарет готов был пронзить Ефимию посохом, но сдержался. Если Ефимия не признается, беда будет. Не вырвешь язык самому Калистрату.

— Сказывай, Ефимия. Молю тебя, сказывай! — Голос Филарета дрогнул. — Ты не мужчина, не пустыница, вины твоей нету в том сговоре. Пред Спасителем божусь: благодать будет. И ты станешь жить. Хошь, из общины уходи. Хошь, сама по себе живи. Воля твоя будет. Помоги мне крепость утвердить сю, и дам те спасение. Тако ли, апостолы?

Апостолы, кроме Калистрата и Ионы, гаркнули:

— Спасена будет, грех простится.

— Слышь, Ефимия?

— Слышу, — тихо ответила Ефимия и встретила с глазами апостола Калистрата. Вот он, апостол блудливый и хитрый, виляющий хвостом на две стороны — и нам, и вам, но какой же он трусливый пес! Что он так остолбенело уставился на нее? Молит, чтоб жизнью своей спасла его жизнь. «Богородица пречистая, помоги мне!» Назвать или умолчать? Если назвать — не жить всем Юсковым. Не жить хитрому и хозяйственному дяде Третьяку, кутузовскому солдату, заговорщику, с кем делилась втайне и горем и радостью. Назвать — утвердить Филаретову крепость. Крепость мучителя. Тяжкую, свирепую, без единого просвета радости.

— Еще один был сговор — главный, — напомнил Филарет. — Опосля того как Акулину-блудницу на тайном спросе пытали, а потом посадили в яму; у Третьяка в избе, ночью, в дождь, собрались еретики: Микула, Третьяк, Михайла и ты была там. Окромья того, три верижника и апостол с ними. Тот апостол сказал: «Вырвем у Филарета крест золотой и чресельник отберем. Хозяйством править будешь ты, Третьяк, а я буду духовником». Назови, который апостол! Жить будешь. Аминь.

— Аминь. Аминь, — откликнулись перепуганные апостолы.

Тимофея и Ксенофонта била лихорадка. А вдруг Ефимия назовет кого-нибудь из них?

Калистрат вылупил черные цыганские глаза, а зубы унять не мог — стучали. По спине — холод, а по лицу — дождь. С бровей, с бороды соль капает.

Настала тягостная, жуткая минута.

Апостолы примолкли на судной лавке, а глазами так и впились в Ефимию. Знали: баба не сдюжит пытки и кого-то из них назовет. Тогда на костылях повиснет кто-то из апостолов. Кто же? Кто?

И сам Филарет волновался. Другого судного спроса не свершить, если Ефимия не назовет апостола. Чего доброго, Калистратушке, упитанному борову, доведется носить крест золотой! Тот самый крест, у которого на коленях стояли сам осударь Петр Федорович, Хлопуша, Кривой Глаз и Прасковеюшка покойная!..

«Исусе Христе, развяжи язык твари ползучей, — молился Филарет. — Сгинет крепость твоя, господи, если останется в живых иуда Калистрат».

Филарет еще раз напомнил:

— На том сговоре апостол-еретик сказал: «Филарета убить надо, и Ларивона убить, и Мокея также». Третьяк и Микула также глаголали: убить. И тут раздался твой голос: «Филарета убивать не надо, и Ларивона, и Мокея убивать не надо. Потому — смертью смерть не правят. Надо порушить крепость, а Филарет пусть живет и помрет своей смертью». Глаголала так али нет?

Тишина. Слышно, как пощелкивают дрова в печке и как тяжело сопят взмокшие апостолы.

Голос Ефимии прозвучал, как гроза с чистого неба:

— Говорила так.

У Калистратушки будто оборвалось сердце, и он едва не потерял сознание.

— Слава Исусе Христе! — воспрял Филарет: Ефимия разомкнула уста.

— Говорила так, — повторила Ефимия. — Потому: крепость твоя чуждая, не божеская, а сатанинская. От гордыни то, от злого сердца то, а не от бога. Господь не заповедовал терзать людей — жечь огнем, рвать тело железом. Господь заповедовал милосердие и любовь. Где

оно, милосердие? Нету. Крепость одна лютая. От такой крепости дух каменеет.

— Молчи, тварь! — подскочил Филарет и ударил тупым концом посоха Ефимию по голове. — Крепость наша на веки вечные, ехидна. Не разумеешь то: сатано кругом рыщет, погибели нашей ищет. Не будет крепости старой веры — сгинем, яко твари ползучие. Али не говорил Спаситель: «Если рука или нога твоя соблазняет тя — отсеки и брось. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, чем в два — в геенну огненну».

— Также! — откликнулись апостолы. Ефимия не удержалась, напомнила:

— «И любите врагов наших; благословляйте проклинающих вас!»

— Тварь, тварь! Писание толкуешь, а ересь хвостом покрываешь. Али не говорил апостол Петр: «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью, терзайте плоть свою и спасены будете». Али не говорил Спаситель: «Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь»?

— Не принимаю то, батюшка. Не принимаю. В Писании апостолов блуда много, скверны много.

Филарет испуганно попятился: еретичка!

— Замкни уши мои, Иисусе Христе, чтоб не слышать скверны еретички. Господи!

— Ведьма, ведьма! — трясся Ксенофонт.

Филарет перевел дух, выпил кружку воды и опять приступил к Ефимии:

— Глагол твой, паскудница, в землю шел. Праведников с веры не совратишь! Не богохульствуй боле. Оглаголь апостола, и я повелю, чтоб развязали тебя.

Ефимия молчала. Назвать апостола — укрепить крепость Филарета. Крепость мучителя. Пусть не она, другие будут мучиться.

— Не оглаголю, батюшка. Крепость твою отринула. Людей жалко, каких ты мучаешь.

— Праведник Андрей, сунь клюшкой в титьку! Андрей схватился было за железную рукоятку клюшки и тут же отдернул руку — обжегся. Прихватил тряпку и вынул раскаленную клюшку из печки.

— Матерь божья, спаси мя! — успела крикнуть Ефимия, как праведник Андрей сунул клюшкой в грудь...

Тело Ефимии передернулось, вырвался тяжкий стон, и голова свесилась к плечу — сознания лишилась.

— Вопи, вопи, ведьма! — прищипнул Филарет. Он терпеть не мог, когда — пытаемый не вопил бы во всю глотку, не извивался бы, как веревка, кинутая на быстрое течение воды. — Вопи, вопи, ехидна! Андрей, плесни воды в лицо.

От кружки холодной воды Ефимия очнулась.

— Батюшка... батюшка... — прерывисто заговорила она. — Твой сын... Мокей... муж мой... пять годов...

— Не муж, не муж! Опеленала ты его, ведьма, сатанинскими чарами, да и в искус ввела. Грех свой Мокей искупит, бог даст. Покаяньем, раденьем.

— Искупит, искупит! — отозвались Ксенофонт, Тимофей и Андрей.

Калистрат по-прежнему молчал.

— Оглаголь апостола, ехидна! — требовал Филарет. — На судное моленье выставим. Оглаголь!

Ефимия глубоко вздохнула.

— Не будет того, не будет! Судные моленья — сатанинский вертеп, не божеский. И ты... ты — сатано!

— Жги ее, жги, Андрей.

Клюшка прильнула ко второй груди Ефимии...

— Вопи, вопи!..

— Сатано ты, сатано!.. Сынок у меня... Веденей... Я его народила. Я ему все поведала про твою любовь, сатано!.. Как вырастет, проклянет кости твои сатанинские!.. Не будет тебе спасения и на том свете!.. Черви тебя будут точить!.. Проклинать тебя будут живые и мертвые!.. Сатано-о-о! Веденейка, сынок мой, прокляни его до седьмого колена!..

Филарет подскочил на чурке, сел, опять вскочил и посох выронил из рук. Сам о том не раз думал! Изничтожишь еретичку, а Змей Горыныч под боком силу наберет, а потом ядовитое жало пустит в крепость старой веры.

Мысли ворочались злые, беспощадные, жесточайшие.

— Праведники! — Филарет глянул на апостолов. — Али не слышите вопль ведьмы? Змеищу изничтожим, сиречь еретичку, а змей подрастать будет, когти точить будет. Каково житие будет для всех

праведников? Помните, как змееныши Кондратия плевались на судном спросе! Пожгли тех змеенышей. Каково — змей вырастет? Каково?!

— Погибель, погибель будет!

— Сказывайте волю Иисову. — Филарет поднял крест. Ксенофонт поцеловал крест.

— Удушить змееныша, покуда не вырос змей.

— Иисус глаголет твоими устами, благостный Ксенофонт, — помолился Филарет. — Ступай ты, Тимофей, и... — Филарет запнулся, обвел взглядом апостолов и остановился на пунцовом, потном лице Калистрата. — И ты, Калистратушка. Несите парнишку ведьмы. Да тихо штоб. Марфу Ларивонову со чадами не пугайте. Тихо штоб. Благостью чадо возьмите. У избы моей чадо крепше повяжите и уста такоже, штоб не испускал вопля. Пусть душа чада в рай господний уйдет без вопля, а не в геенну со еретичкой. Аминь.

Ефимия слушала и плохо соображала. Рассудок будто отшибло. Наконец дошло до ее сознания:

— Ба-а-тюшка-а-а!.. Сыно-о-очка-а-а... помилуйте!.. Филарет обрадовался:

— Вопль, вопль исторгся! Слышите, праведники, как сатано из чрева еретички возопил? Жутко ему, сатане, в тело нечестивки. Ужо не так возопит. Не так!

Калистрат вынул перекладину из скоб, открыл дверь и первым вышел через маленькие сенцы на улицу. Хватанул воздуха, как манны небесной. В ушах звенело, будто пели купеческие колокольцы на Невском проспекте.

Первая мысль — бежать, бежать к Юсковым. Поднять посконников да накинуться на верижников. И тут же опомнился: у верижников, охраняющих храм Филаретов, сорок ружей! Не одолеть такую ораву. Может, удастся бежать из общины? Куда? Хоть на край света. На покаяние в православную церковь! Хоть к черту на рога, только бы не испытывать раскаленной клюшки!..

Марфа Ларивонова не спала. Стояла на коленях перед иконами и молилась, отбивая поклоны.

На широченной лежанке из досок почивали меньшие сыновья Ларивона. Одному — тринадцатый миновал, другому — седьмой. Пятилетний Веденейка, курчавый, синеглазый, стоял на коленях возле

Марфы и до того уморился на молитве, что крест накладывал от подбородка до живота.

Апостол Тимофей ласково обратился к Веденейке:

— Батюшка Филарет зовет тя, чадо. Подем. Подем.

Марфа глянула на апостола, догадалась, вскрикнула и, как сноп, упала лицом в земляной пол.

Веденейка заревел...

Калистрат схватился за ведро на дощатом столе и тут заметил нож. Поморский нож Ларивона с острым лезвием, чуть гнутый, как шашка. Дрожащей рукою схватил нож и сунул под подол рубахи, под ремень, а тогда уже зачерпнул ковшиком воды, выпил ее в три глотка, опять зачерпнул и вылил на голову Марфы.

Апостол Тимофей возился с Веденейкой.

Проснулись дети Ларивона и — в голос. Марфа тоже ревет. Где уж тут вязать парнишку!

XII

В сенцах Тимофей спохватился:

— Чем повязать-то чадо, не взяли? Дай твой чресельник.

У Калистрата под ремнем-чресельником — нож...

— Тако неси! — И распахнул дверь. Ударило жаром и запахом подгорелого мяса.

На грудях я на животе Ефимии углились отметины от клюшки.

Филарет не глянул на внука — нельзя показать робость и жалость, когда вершишь волю господу бога.

— Чадо — на лежанку! Подушкой, подушкой. Живо! Ксенофоб, помоги Тимофею.

Ефимия напряглась всем телом. Тянулась к сыну. Крепкие костыли в стене. И пеньковые веревки не порвать. Заревела в голос...

— Такжеже! Такжеже! Сатаво дух испускает, — хрипел Филарет.

— Веденейка! Сыночек мой! Веденейка!

— Похвалялась: змееныша оставишь в общине? Зри, зри, ведьма!.. Душа Веденейки возрадуется на небеси, на небеси, не в преисподней!..

Ефимия в третий раз лишилась сознания... Филарет выждал, покуда удушили Веденейку, а тогда уже затянул поминальный псалом.

Ефимия не очнулась. Филарет пристально воззрился на Калистрата.

— А ведь ты, Калистратушка, ведьму и словом не чернил будто?

У Калистрата задергалась верхняя губа и усы задвигались, как у тюленя.

— Подойди ко мне, Калистратушка. Праведники умучились, а ты отдыхал. Богу, поди, молился. Праведной ладонью, не кукишем. Академию духовну одолел — вера у те превеликая. Куда мне из холопьем упряжи. Потому и посох отдам тебе, и крест золотой. Духовником будешь, Калистратушка. Скоро будешь. Может, нонешним утром, а? Вот сейчас позовем верижника Луку, блудливца бабьего, спрос учиним еретику, а там и благодать будет.

У Калистрата от испуга судорогой свело правую ногу, и он невольно покособочился. Призовут верижника Луку! «Лука-то не сдюжит пытки, гибель мне!» — не успел подумать, как Филарет подстегнул:

— Што ногой дрыгаешь?

— Судорога, батюшка.

— Минует, минует судорога. Вот верижника спросим, и ты сам духовником станешь, — ехидствовал Филарет, отчаявшись на последнее: пытать верижника. Было бы куда лучше, если бы Ефимия оглаголила апостола да на судном моленье подтвердила! Не вышло того.

— Лука-то... верижник... под пачпортом ходит, — напомнил Калистрат.

Филарет знал: верижника с пачпортом на судный спрос вызывать можно только в том случае, если апостолы точно знают, что он еретик. Апостолы молчали.

— Знаменье было мне, праведники. Али не зрили, как затаилась ведьма на спросе? Отчего, думаете? Еретик меж нами. Как Иуда между апостолами Спасителя. Лука про то сам скажет. Тако будет.

Откуда-то издалека донеслось пение петухов...

— Праведник Андрей, сунь клюшкой в непотребное пузо ведьмы, чтоб в память пришла.

— Клюшка остыла, батюшка.

— Ударь клюшкой, ударь! Андрей исполнил волю старца.

Ефимия очнулась от ударов, закричала дико и страшно, уставившись на апостолов-убийц.

— Слышишь, Калистратушка? Нечистый вопит. Благодно ли тебе от вопля нечистого? Али у те язык отнялся? Ведьма! Гляди: праведник Калистрат проткнет тебе чрево. Проткнет. Гляди, гляди на апостола!.. На посох, праведник Калистратушка, сверши волю господню. Да наперед глаза выткни ведьме, чтоб нечистый чрез глаза не зрил свой смертный час и порчу бы не навел на пастырский посох. На, на, на!.. А вы, святые праведники, сядьте на лавку, отдохните.

Апостолы рады были перевести дух.

— На посох, на! Чо узрился на меня?!

И тут случилось то, чего никто ожидать не мог, и вместе с тем неизбежное.

Калистрат не взял, а вырвал посох из рук Филарета и, отскочив на два шага, неистово крикнул:

— Сатано! Сатано зрю!! Рога зрю! — И не успел Филарет опомниться, как Калистрат изо всей силы ударил его по голове, да еще раз — и посох переломился надвое. Старец опрокинулся наземь, как поганое ведро. Апостолы повскакивали с лавки, но Калистрат вдруг выхватил нож из-под рубахи и гаркнул:

— На колени, собаки! На колени! Апостолы-собаки попадали на колени... Безъязыкого Иону хватил удар — сдох в секунду...

— В духовника бес вселился, али не зрили? — подступил к апостолам Калистрат, вооруженный ножом и половинкой посоха. — Видели рога, сказывайте? Видели, как я сбил рога?! Или смерть вам как нечестивцам!

Первым опомнился праведник Ксенофонт — душитель Веденейки:

— Зрил рога, батюшка Калистрат! Зрил, зрил. На лбу Филарета. Явственно.

— А ты, Тимофей?

— Зрил, зрил, батюшка Калистрат.

— А ты, Андрей?

— Зрил, зрил. Проступили рога-то, проступили. Таперича ты, батюшка Калистрат, отец наш духовный, нетленный, благодный. Спаси нас от гибели!

Калистрат того и ждал: отныне он отец духовный, благодный и нетленный.

— Сыми крест золотой с нечестивца, праведник Андрей, мудрый и благостный апостол. Иль помрачнеет крест на шее нечестивца, и всем пропадать тогда.

— Иисусе Христе, спаси нас! — молились апостолы. Калистрат предусмотрительно отступил на шаг в сторону Ефимии.

Андрей на коленях подполз к Филарету и трясущимися руками взялся за литую золотую цепь, чтоб снять крест. Филарет очнулся и схватил апостола за руки.

— Батюшка Калистрат! Помогите! А-а-а!

— Апостолы, вяжите нечестивца Филарета! Живо, живо! — И опять нож Калистрата угрожающе поднялся над головой.

Трое апостолов навалились на Филарета и содрали с шеи крест. Филарет изрыгал проклятия. Грозился геенной огненной. Апостолы моментально заткнули ему рот тряпками, содранными с Ефимии. Потом развязали Ефимию и теми же веревками стянули «отца вечного и нетленного», хоть он и отчаянно сопротивлялся. Ефимия упала и поползла возле стены к лежанке Филарета, где под подушками покоилось тело умерщвленного Веденейки. Схватила сына на руки, прижала к своей прожженной груди и редела в голос.

Калистрату и апостолам — не до Ефимии.

Из пораненной головы Филарета текла кровь...

— Зрите, апостолы, зрите! Кровь-то черная! — подсказал Калистрат, и апостолы в один голос подтвердили, что у нечестивца Филарета кровь чернее смолы.

— Одолеет сатано старца! Одолеет, — наступал Калистрат, покуда апостолы не пришли в память да не кинулись в двери, чтоб призвать на помощь свирепых верижников.

Надо спешить!

— Кто повелел удушить апостола Митрофана?

— Сатано, сатано повелел! Филарет окаянный, — ответил Тимофей, самый близкий пустынный Филарета, и он же душитель Митрофана.

— Возомнил себя Иисусом. Тако ли было?

— Так! Так, батюшка Калистрат!

— Кто погубил праведника Елисея? Кто повелел жечь ему брюхо, а потом на крест повязать? Сказывайте.

— Филарет погубил. Нечестивец поганый! — старался апостол Ксенофонт, душитель Веденейки. — Через свою гордыню, паки чрез нечистого!

— Тако, Ксенофонт. Тако!

Апостолы, в отличив от Ефимии, оказались на редкость сговорчивыми и податливыми, что воск в теплых руках.

Андрей держал золотой крест обеими руками, не зная, что с ним делать: положить ли на стол или повесить на шею Калистрата.

— Спаси нас, батюшка Калистрат, — взмолился богоугодный Ксенофонт, отвешивая поклоны. — Спаси нас! Отринь от нечестивца, сиречь зверя лютого. Ты наш духовник! Припадаю к твоим стопам, яко праведным. Воспоем аллилуйю отцу нашему духовному, батюшке Калистрату.

На коленях воспели аллилуйю, не позабыв проклясть искусителя Филарета, погрязшего в лютости.

— Еще скажу, — подступил к апостолам Калистрат, — не будет нам спасения, коль не отберем ружья и рогатины от верижников. От них вся лютость. На них стояла крепость душителя. Тако ли?

— Так, батюшка Калистрат. Так!

— Ты, Ксенофонт, реченье будешь вести с верижниками, и благодать будет тебе. Ружья и рогатины — не вериги. Потому: Филарет повелел взять ружья пустынным в Поморье не от доброхотства, а от соблазна гордыни, какая обуяла старца. Не оттого ли, братия, Филипп наш строжайший со общиною праведников огнем пожгли себя? Не оттого ли Митрофана удушили? Не оттого ли старец напустил на нас туман и мы не зрили неба, Иисуса, господа бога, а пребывали в забвении, в лютости?

— Все, все от старца Филарета. И пусть он будет проклят.

— Удушить иуду! — проверещал апостол Тимофей, и даже сам Калистрат перепугался. Легко сказать — удушить Филарета, старейшего духовника Церковного собора! «Смуте быть тогда, и мне, должно, беда будет. Али ножом пырнут верижники, али мешок на голову накинут». И кстати вспомнил слова Ефимии: «Смертью смерть не правят».

Калистрат откинул обломок кипарисового посоха, засунул нож за пояс, спросил:

— Духовник ли я ваш, праведники?

— Духовник, духовник!

— Тогда клянитесь спасением своим, Иисусом многомилостивым, что будем вы и я — одна душа!.. Сатано мог погубить всех, да я посохом сбил рога с головы нечестивца. Еще скажу: лютый зверь хотел погубить благостную Ефимию, которую почитает вся община. Не еретичка она — праведница!

— Праведница, праведница!

— Жить ей веки вечные.

— Жить, жить, жить! — орали мучители Ефимии. Если бы могла Ефимия взглянуть на апостолов, что она сказала бы им — убийцам Веденейки! Не Калистрат ли с Тимофеем принесли Веденейку из избы Ларивона?

Не Ксенофонт ли с тем же Тимофеем удушили парнишку волосяной подушкой? И вот убийцы избрали себе нового духовника, надели ему на шею четырехфунтовый золотой крест, клялись перед иконами, что будут все как одно тело и одна душа, и трижды прокляли Филарета, чью волю и слово недавно почитали превыше воли самого господа бога!

Связанного по рукам и ногам Филарета запихали под стол, где он сопел и рычал, как издыхающий зверь.

Ефимия заливалась слезами над телом. Веденейки, не чувствуя ни боли пожженного тела, ни раны от посоха на плече. Поторкали Иону — не отзывается. Старикашка не выдержал ударов посохом по святой голове Филарета. Слыхано ли, видано ли: самого духовника...

Ссохшееся от постов и радений тело Ионы положили на судную лавку, сложили праведнику руки, заскорузлые от грязи: Иона никогда не мылся — такую наложил на себя епитимью, — и вложили в мертвые пальцы восковую толстую свечку. Преставился апостол!..

Калистрат вспомнил и про Лопарева:

— Кандальник спасения искал у нас, а где он теперь? В степь повели пытаться? Виданное ли святотатство, братия!

— Озверел, озверел, сатано! — отозвались апостолы. Заручившись поддержкою апостолов, Калистрат надумал разоружить верижников — бывалых поморских охотников. Но вот как это сделать без шума и кровопролития? Угодливый Ксенофонт подсказал, что надо выйти к верижникам с иконами и песнопением, позвать всех на тайное моление к часовне, и пусть они ружья и рогатины сложат возле избы

духовника. И там, на моленье возле часовни, объявить, что в старца Филарета вселился нечистый дух и что апостол Калистрат узрил, как на голове Филарета проступили рога. Апостол не растерялся и сбил рога с башки старца-еретика. И вот, мол, решайте сами, какую епитимью наложить на старца за гордыню, и святотатство, и за убийство апостолов-праведников.

Перед иконами верижники не устояли — попадали на колени...

Ксенофонт позвал всех на тайную молитву к часовне, да чтоб ружья и рогатины сложили возле избы духовника.

Калистрат не вышел с крестом; спрятал его под рубаху и знаками подозвал своих трех единомышленников: блудливого Луку, Никиту и Гаврилу. Они и остались возле ружей и рогатин, а с ними — Калистрат.

Ксенофонт, Тимофей и Андрей с верижниками, распевая псалмы, подались к часовне...

Верижник Лука рысью побежал за Юсковыми и за другими мужиками, которых когда-то подговаривал Калистрат свергнуть душителя Филарета.

Возле чернеющих избушек и землянок в разноголосье запели петухи. Вторые...

У Калистрата зуб на зуб не попадает. Удастся ли апостолам уговорить верижников или те кинутся выручать Филарета?

«Благослови, господи, лютую крепость рушу, — молился Калистрат. — Вразуми мя, Спаситель, как вершить волю твою! Не бежать ли, пока не поздно? В Тобольск, в Ишим ли. Везде можно найти пристанище».

И убежал бы, если бы не подоспели четверо Юсковых: Третьяк, Микула, Михайло, Андрей. Еще подбежали мужики и взялись за ружья. Третьяк, позабыв про племянницу, пытанную огнем, погнал верижников Никиту и Гаврилу поднимать мужиков-посконников.

— Зело борзо! Супротив верижников, дармоедов, вся община подыметя, Калистратушка! Вот они, ружья-то!.. Наша сила теперь, слава богу!..

Калистрат молча достал из-под рубахи золотой крест: глядите, мол, духовник перед вами. Третьяк размашисто перекрестился:

— Слава те господи, свершилась воля твоя! Повергнут иудумучителя. Возрадуемся!

Мужики действительно обрадовались. Кому интересно кормить драмоядов-верижников да замирать от одного их взгляда!..

На улицу выбежала Ефимия с телом Веденейки на руках. Голая!.. Калистрат успел схватить ее, но она вырывалась.

— Ефимия! Благостная! Куда же ты бежишь голая?

— Изыди! Изыди! Изыди! — кричала Ефимия.

Третьяк снял с себя однорядку, накинул на плечи Ефимии и подозвал Михайлу и Андрея, чтоб они увели ее в избу к Даниле да поскорее сами возвращались.

Со всех сторон подбегали мужики. Вскоре набралось человек пятьдесят — и ружья верижников разобрали...

Не успели третьи петухи допеть свои песни, как от часовни с апостолами и без песнопения вернулись верижники...

Калистрат хоть и трусил, а вышел навстречу в облачении духовника и объявил волю апостолов.

— Молитесь, братия, порушилась крепость сатанинская, какую породил своей гордыней старец Филарет, отринувший Исуса! Молитесь, и благодать будет. Жить будем миром и добром, а не пытками и кровью, какие учинял нечестивец Филарет, а вы сторожили те пытки с ружьями! Грех был! Великий грех! Ружья и рогатины — не вериги, а огонь и смерть. Пусть ружья носят правоверцы семейные, а не пустынноики-праведники! С ружьями ли по земле Иудейской, Египетской и Вавилонской хаживали Моисей и сам Христос?

В разноголосье, по-петушину и не дружно отвечали верижники:

— Филарет! Старец! Тако заведено было в Поморье!..

— Молитесь, молитесь, братия! Не ружьями молитесь, а перстами, как Спаситель заповедовал!

Вержники нехотя распозлились по своим землянкам и избушкам. Ничего не поделаешь, придется молиться перстами. Но как же охотиться на зверье с голыми руками? Может, еще удастся вернуть Филарета в духовники, хотя на моление возле часовни порешили: пусть духовником общины будет Калистрат, а Филарету — епитимья на три года за убиенных апостолов...

Лопарева вели на веревке по степи, чтоб он указал, на каком месте бог послал ему кобылицу с жеребенком.

Тащили да приговаривали: «Кабы всех бар вот так, веревками повязать да на рогатины вздеть. Хвально было бы Иусу!..»

Росная степь умылась солнечными лучами и чуть обсохла.

За минувшую ночь праведники до того излупили барина, что он еле передвигал ноги. Не ругался и не проклинал своих мучителей. Успокоение и примирение настало. И вдруг показались верховые, и апостол Павел сказал, что надо подождать — не из общины ли?

Безбородый Лука приставил ладонь ко лбу, пригляделся:

— Вроде Третьяк с Михайлой Юсковым.

— Ври, — не поверил Ларивон. — Говорил же батюшка: Третьяку и всему становищу Юсковых — каюк в нонешнюю ночь, и Калистратушке также. Потому и верижников с ружьями призвал, как тот раз, еще в Поморье, когда пожгли себя филипповцы.

— Третьяк, осподи помилуй! — ахнул верижник Терентий, помощник апостола Павла. — Михайла с ним, двое посконников и апостол Ксенофонт благостный.

Теперь и Ларивон видел: Третьяк скачет с ружьем и о рогатиной, и посконники с ружьями!

— Спаси Христос! — перепугался апостол Павел. — Откель у посконников ружья объявились?

«Посконниками» называли семейных правоверцев, землепашцев, ремесленников, пастухов, скотников. Им всем строго-настрого запрещалось брать в руки ружья. И только в становище Юсковых были ружья, потому что кузнец Микула — под пачпортом пустытника, и Третьяк тоже объявил себя верижником с ружьем. Хитрость Филаретову проведаль да воспользовался ею. Вот почему Третьяк советовал Лопареву примкнуть к верижникам и взять себе в тягость не борону, не чугунные гири, а ружье таскать!..

Лопарев до того обессилел, что не ждал спасения. Какая разница: сейчас ли его прикончат или к вечеру?

— Третьяк-то, Третьяк-то, а? — суетился Ларивон, не веря собственным глазам. — Живой еретик-то, живой!

Пятеро верховых все ближе и ближе. И ружья наизготовку. Только апостол Ксенофонт без ружья. Он и подъехал первым. Не торопясь

спешился. За ним — Третьяк с Михайлой и двое бородачей посконников.

Ксенофонт благостный указал рукой на Лопарева:

— Развяжите праведника.

Лобастый, лысый Павел поднял ладонь с разобщенными пальцами — между средним и безымянным, заявил:

— Еретиком объявился барин-то. И веру нашу отринул, и духовника ругал непотребно.

Ксенофонт также поднял ладонь:

— Сказано: развяжите и дайте ему ружье. Так повелел духовник, — объяснил Ксенофонт, и ни слова, что Филарет низвергнут.

Лопарев только покривил распухшие губы. Теперь он никому не верит. Руки у него до того отекли, связанные за спиной, что он едва ими шевелил. Верижник Терентий протянул ему ружье, но он не взял. С него хватит и той «охоты», какую он пережил за минувшую ночь.

— Бери, бери, праведник, — просил Ксенофонт, не внявший словам лысого Павла, что барин «еретиком показал себя».

— Зачем оно мне, ружье? — хрипло спросил Лопарев. — Меня и без ружья примут на каторге. В общине не останусь. Нет! С меня довольно. — И отвернулся.

Ксенофонт взял ружье у Терентия, потом у безусого малого Луки, а Ларивон попятился с ружьем в сторону.

— Самому батюшке Филарету, сиречь того, Спасителю нашему отдам ружье!

Ксенофонт молча отнес ружье в сторону, шагов на десять, и сказал Лопареву, чтобы он тоже отошел, потому — будет сказана воля духовника.

Стали лицо к лицу — пятеро подъехавших к четверем.

Ксенофонт указал на Лопарева:

— Собаки нечистые, как вы избии праведника, какой пришел в кандалы закованный искать милости, а не бато́гов! Ах вы собаки!.. А тебя, Ларивон, бить будем. Батюшка твой еретиком объявился! Ису́са отверг, бога отверг, и рога сатаны на лбу выросли!

От такого нежданного сообщения гигант Ларивон лишился дара речи, а вместе с ним и его сообщники.

— Повергли крепость Филаретову, повергли! — возвысил голос Ксенофонт. — И ты, праведник, прости нас, грешных: сатано всех ввел в заблуждение да и в искус. Правил нами, яко зверь рыкающий. Нету теперь зверя. Веревками повязали и кляп ему в рот забили. Микула чепь сготовит, и будет он сидеть на той чепи три года.

— Исусе!

— Духовник наш теперь — многомилостивый Калистрат, братия! Ларивон чуть не упал от такого сообщения. Калистрат — духовник общины? Юсковский прихлебатель? Боров упитанный!

— Неможно то! Неможно! — гаркнул Ларивон. — Не быть духовником Калистрату, кобелине треклятому!

Ксенофонт затрясся от подобного святотатства:

— Неможно, гришь?! Неможно?! Батюшку Калистрата — да погаными словами?! А ну, праведники, лупите гада Филаретова!

Ларивон отскочил и ружье поднял:

— Не дамся!

— Убьем, собака! — И Ксенофонт сам схватил ружье. (Апостол-то — да с ружьем.) — Убьем, слышишь? И Луку твою убьем, и чад твоих, и Марфу.

— Батюшка! — подскочил к Ларивону безусый Лука. — Молись! Али всем пропадать, што ли? Батюшка-а!

— На колени, собака! — кричал Ксенофонт. — Благостно тебе было с нечестивым Филаретом крепость держать да праведников попирать! Нету теперь той крепости, собака! На колени! Али не жить тебе и Луке!

Ларивон повалился на колени.

— Дай сюда ружье, Лука!

Лука передал ружье Ксенофонту и сам упал апостолу в ноги: помилуйте, мол, батюшку и меня с ним.

Но Ксенофонт разошелся. Где уж тут до милости, если Ларивон посмел поганым словом очернить духовника Калистрата!

— Бейте, праведники, пса Филаретова! Бейте его, бейте! Чтоб долго помнил. А ты, Михайла, и я ружья возьмем. Ежели он хоть рукой двинет, двумя пулями в башку ему!..

И тут началось поучение «Филаретовой собаки», Ларивона, самого ненавистного для всей общины — тупого и упрямого, ревностного исполнителя воли батюшки Филарета.

— Бей и ты, праведник, бей! — призвал Ксенофонт Лопарева. Но Лопарев отвернулся и пошел в степь.

С него довольно! Довольно! Ему наплевать, кто теперь духовник общины — Филарет-мучитель или Калистрат многомилостивый, именем которого лупцуют Ларивона.

«Одну крепость заменили другой и возрадовались. Ко всем чертям!» Пусть хоть сам Христос явится к ним в духовники. Лопарев не отдаст ему поклона и не перекрестится ни кукишем, ни ладонью.

Единственное, что еще тянуло Лопарева в общину, — Ефимия. Надо же узнать, что с ней. О, до какой дикости и изуверства могут прийти люди! Надо вырвать Ефимию из общины. Пусть она узнает, что жить можно и без всемогущих молитв и радений, без тьмы-тьмущей. Если бы Лопарев сам не был беглым каторжником, он бы увел Ефимию в город. Может, удастся скрыться в Варшаву? Достать бы дорожную бумагу и добраться до Варшавы. Там у него есть друзья. Он не предал их, нет!..

О чем только не думал Лопарев, бредя по степи. Третьяк нагнал его. На поводу еще одна лошадь — для Лопарева.

— Зело борзо! Садись, Александра! Лопарев вскарабкался на лошадь.

— Нету теперь крепости мучителя, Александра! — возвестил Третьяк. — Калистратушка сбил рога с Филарета, зело борзо. И ружья отняли у верижников. Пусть таскают на хребте бороны или железяки. Прижмем, собак, прижмем! Вся крепость на верижниках держалась. Ох, што они вытворили в Поморье, кабы знал!

Лопарев помалкивал.

— Жалко благостную. Мучение приняла за всех...

— Ефимия?!

Лопарев дернул коня за ременный чембур и помчался рысью к становищу общины.

XIV

Возле избы Третьяка — бабий вопль по убиенному Веденейке....

Лопарев протиснулся в избу. Маленький стол убран. На лавке — тело Веденейки, того самого Веденейки, который перепугался, впервые увидев чужого человека. Кудрявая светлая головка, восковая

свечка в ручонках и около сына на коленях — Ефимия, укутанная по шею в тонкий холст; платья не могла надеть на пожженное и пораненное тело.

Посмотрела на Лопарева долгим-долгим взглядом.

Как она изменилась, Ефимия! Ни кровинки в лице. Удивительно спокойная и какая-то сумная, отрешенная.

Лопарев опустил перед ней на колени.

— Молилась за тебя, — тихо промолвила. — Пытали звери? Вижу, вижу! — А по щекам слезы, как горошины.

— Если бы я мог знать, Ефимия!.. Обманом увели в степь!

Ефимия смигнула с ресниц слезы, вздохнула, как будто что-то припоминая.

— Нету у меня сына Веденейки. Удушили.

Что же ей сказать? Чем утешить? И есть ли утешение для матери, когда она стоит на коленях перед телом убиенного сына?

— Думала, убили тебя. Молилась, чтоб защитила тебя мать божия. Ни о чем больше не просила богородицу!.. Ни о чем боле!.. За Веденейку молилась, чтоб вырос да проклял старца-душителя!.. Не вырастет Веденейка. Не вырастет!

Слезы высохли на глазах Ефимии. Ей бы надо плакать сейчас, стенать, а глаза сухие, дикие, горящие холодным огнем.

— Жить надо, Ефимия! Ты помнишь, говорила так? Ефимия покачала головой:

— Нету Ефимии. Нету. Огнем сожгли, погаными устами оплевали. Нету, нету!

Мгновенье помолчав, попросила:

— Отдай поклон Веденейке и ступай. Не зри меня, не зри!.. Тяжко мне. Тяжко. Сыми тяжесть жизни с меня, мать пресвятая богородица. Сжался!.. Не надо жить мне, не надо!.. Не хочу!.. Иди, иди, Александра... Иди!.. Не песнопениями жизнь повита, а слезами, да горем, да смертью. Иди!

Лопарев наткнулся на какую-то старуху, ударился плечом о косяк и не вышел, а вывалился из сеней.

... Синели воды Ишима. Веяло свежестью реки. На отмели под водой сверкали камушки. Так же, как всегда, порхали над рекой птицы, а чуть поодаль, под навесистыми рябинами, резвилась рыба. А там, за Ишимом, — равнинная степь, и нет ей конца-края. Есть ли там люди,

на том берегу? Деревни, города? Ну, а дальше? Что там, дальше? Персия, что ли? Шахи с гаремами и со своей крепостью? И у них своя вера? Магометанская, кажется. Ну, а что, если во дворце шаха кто-нибудь скажет: «Нету Магомета!» — на огонь поволокут или будут пытаться каленым железом?

А река бормотала о чем-то, и кто знает, как далеко неслись ее прохладные воды.

ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ

I

Жизнь, как река, — с истоком и устьем.

У каждого — своя река. У одного — извилистая, петлистая, с мелководьем на перекатах, так что не плыть, а брести приходится; у другого — бурливая, клокочущая, несущая воды с такой яростью, будто она накопила силы, чтоб пролететь сто тысяч верст, и вдруг встречается с другой рекой, теряет стремительность, шумливость, и начинается спокойное движение вперед, к устью.

Есть не реки, а ручейки — коротенькие и прозрачные, как жизнь младенца: родился, глянул на белый свет, не успел налюбоваться им и — помер. Таким ручейком была жизнь Веденейки...

Если глянуть с истока, иной думает: нету конца-края теченью его реки — и он радуется.

В истоке не оглядываются назад. За плечами — розовый туман, и в том тумане — игрища, потехи, мать да отец, братья да сестры, бабушки да дедушки, прилежание иль леность — чем любоваться? Зато вперед глядеть радостно. Неведомые берега тянут к себе, новые люди, встречи и разминки — жизнь!..

С той поры, когда человек начинает ходить, он уже жизнеиспытатель, землепроходец, меряющий землю двумя стопами, а не четырьмя, как скот какой.

Только птица разве сродни человеку...

И чтобы ни в чем не уступить птице, человек еще в сказках взлетел на ковре-самолете. И тогда же подумал: есть ли кто равный мне? И ответил: нету. В том его сила и слабость.

Гордыня, властолюбие возносит иного на высоченную гору, и тогда начинается беда...

II

Гордыня вознесла Филарета, и он возомнил о себе, что в него вселился святой дух и ему нет равных.

Попрал многих, оплевал, ожесточил, и его попрали. Тою же хитростью, какой он правил.

Калистрат перехитрил Филарета и сбил с него рога...

Опамятовался старец связанным и с кляпом во рту.

На другой день явился Калистрат с апостолами и объявил, что пустыnnики-верижники приговорили Филарета к епитимье на три года.

И тут Филарет подумал: устье близко...

Глянул вперед — страшно: смерть-то вот она, рукой достать.

Отогнал прочь окаянное видение и стал глядеть назад, в прошлое. Увидел себя парнем, холопом барским — нерадостно. На губе пробился ус, а в сердце любовное тление. Огонь еще не зачался, а только чуть тлел уголек. Тот уголек заронила ему в душу холопка Дуня.

Вспомнил, как ждал, что из уголька возгорится пламя, да не дождался: холопку Дуню барин Лопарев выдал замуж за старого сластолюбца, приезжего из Орла.

В сердце Филарета образовался камень. От тяжести того камня кровью налились глаза и отяжелели руки. Поджег барскую маслобойню и убежал. Куда? По белу свету.

Потом странники. Такие же ожесточенные, обиженные жизнью.

— Спасение в старой вере! — вопили они, и молодой Филарет охотно принял старую веру, только бы не угодить в барские иль царские холопы.

С того пошло...

Река в излучине точит берег, рвет его; обида и несправедливость ожесточают сердце. День ото дня сердце холодеет, твердеет постепенно, и тогда уже в нем не вздуешь огня радости.

И Филарет отторг радость.

— В мучениях пребывать должны мы, рабы божьи. Спасение на небеси будет!

Старая вера затмила небо, и звезды, и жизнь. Свиделся с равным себе по лютой злобе к барам и дворянам — с Емелей Пугачевым, беглым хорунжим из казанской тюрьмы. Принял его как «осударя Петра Федоровича» и помог собирать войско... Пламенем восстания обожгло щеки и душу — возрадовался.

Силушку употребил в дело.

Пережил разгром праведного войска и ушел в странствие. Не один, с бабой. Казачку Прасковеюшку прихватил с собой. Синеглазую казачку писаной красоты. С казачкой Хлопуша баловался. Хлопушу повязали, а Прасковеюшка Филарету досталась. Не роптала на судьбу праведница. Любви не было, обида и горечь поражения жгли сердце. Прожил с Прасковеюшкой сорок годов и ни разу не поцеловал в медовые уста.

III

... В 1694 году в Поморье на речке Выге при впадении в нее реки Сосновки Данило Викулов основал первую староверческую пустынь. Раскольники там имели два главных монастыря — Выговский и Лексинский. В каждом из них была своя часовня с колокольной, кельи для белиц и монахов, больница для престарелых и убогих, гостиница для приезжих и много хозяйственных построек.

Монастыри подчинялись раскольничьему Церковному собору, где и занял почетное место духовник Филарет Боровиков.

Все важные дела — торговые, строительные, административные, религиозные и нравственные обсуждались Церковным собором. Власть собора была всеобъемлющей.

Особенно строго собор следил за тем, чтобы ни в чем не нарушалась старая вера. Всякого уклоняющегося от старой веры доставляли в собор под караулом, принуждали к временному отлучению от общества, публичному покаянию, запирали в смирительную камеру с донной водой, а особо упорствующих живьем сжигали либо сажали на цепь, избивали палками, пытали огнем. Воров и насильников клеймили каленым железом и гнали прочь с Поморья.

Пустынь занималась скотоводством, морскими промыслами, торговала со многими городами, с Сибирью и даже с заморскими странами.

Жили богато, прибыльно, на широкую ногу. А те, что правили Церковным собором, слыли за земных богов, перечить которым нельзя и опасно.

Податей не платили, а сами получали мзду со всех раскольничьих монастырей: с Волги, Камы, Белой и Малой Руси, Лифляндии; из Сибири получали медь и железо и в большом количестве золото.

Выговская пустынь стала потом центром всех раскольников.

Раскольники — участники многих бунтов...

Филарет в соборе вершил суд над еретиками с той же лютостью, какую перенял от существующей власти царя-анчихриста.

«Такоже крепость держать надо! Милосердия нету».

И гордыня свила гнездо в сердце.

И вот низвергнут... Легко ли?

Тяжко.

IV

Длинная-длинная ночь. Впереди — забвение...

На запястье левой руки — железное кольцо на заклепке. Обновка от Калистрата. От кольца — толстая цепь в десять аршин длины. В стену вбита скоба. К скобе цепь примкнута на увесистый замок. Микула Юсков услужил-таки!

Семнадцать суток на цепи. Люто. Люто.

И вспомнил, как в каменных подвалах Выговского монастыря по пояс в донной воде годами сидели еретики. А он, Филарет-духовник, наведываясь в подвалы, думал: обвыклись, собаки!..

Гремя цепью, Филарет сполз с лежанки и встал на молитву.

У оконца еще одна лежанка, и на ней верижник Лука, блудливый пес, которому Калистрат доверил приглядывать денно и ночью за Филаретом.

Лука проснулся от звона цепи, поднял голову от подушки. Филарет ехидно скрипнул:

— Что узрися, сучий сын?

Лука приподнялся на локте, отпарировал:

— Али те не спится без рогов-то сатаны? Благостно вышло: два раза трахнул посохом святой Калистрат — и роги сбил. Хвально.

— Пес рваный.

— Горбись, горбись, сатано! Молись, покель рука есть. Не будет руки — ногой будешь молиться.

У Филарета все молитвы вылетели из головы.

— Кабы общину на моленье призвать, я бы тебя с Калистратом по костям разобрал в едный час!

Лука заржал:

— Кабы у тебя рога выросли до неба, по тем рогам Ларивон поднялся бы на небеси, а с небеси головой вниз бы. Там Елисей встретил бы твою Ларивона чугуной гирей в тыщу пудов. Го-го-го!

Филарет вскочил на ноги, кинулся на Луку, да цепь удержала.

Лука покатывается от хохота:

— Тако, тако! Рви его! Зубами спытай. Зубами. Спомни, как праведника Митрофана три недели держал на чеши и заставлял рвать ее зубами. Таперича сам рви! Ну, чаво?

У Филарета тряслись руки и ноги — до того он рассвирепел. Долго не думая, повернулся задом, спустил холщовые портки, нагнулся и присоветовал:

— Глядись в зеркало, собака грязная! Рожу видишь али нет?

Лука слетел с лежанки и — за железную клюшку, а Филарет в тот же миг, придерживая левой рукой портки, ухватил принесенную доску и успел отбить удар.

Поглядели друг на дружку, выругались, как умели, и разошлись по своим местам.

Так каждую ночь — мира нету...

Низвергнутый святой духовник — да под надзором блудливого Луки! Кто такое умыслил? Иуда Калистрат.

«Ох-хо-хо! Явился бы Мокеюшка со своей силушкой да вызволил бы меня из неволи, огнем пожгли бы отступников от крепости!» — стонал еженощно Филарет.

Еще до того, как Микула оборудовал Филарету надежную цепь, чтоб век не изнасил, побывал в избушке Лопарев...

Калистрат с Третьяком в тот вечер выпытывали у Филарета, где он припрятал бумажные деньги и общинное золото, кроме того, что носил в карманах пояса-чресельника. Филарет упорствовал, прикидывался

беспамятным, по когда сам Калистрат сунул в печку железную клюку и растопил печку, Филарет сдался и указал место в Избушке, где было закопано в кованом сундучке общинное золотое достояние, скопленное за всю жизнь в Поморье.

Тут и появился Лопарев. Под левым затекшим глазом темнел синяк с грушу, губы еще не поджили, с коростами, но Лопарев покривил их в ядовитой ухмылке, когда взглянул на Филарета.

— «И возлюбил тя, аки сына родного», — напомнил Лопарев.

Филарет не оробел и ответил с достоинством:

— Яко сына, сиречь того — еретика и нечестивца. Тако же, барин.

— Что ж вы притворились? И милость оказали, и курицу убили в пост, и прятали под телегой? По нашей вере так: «Алчущего — накорми, жаждущего — напои!..»

Филарет прищурился:

— Свинью поганую, какая рылом навоз роет, также хвально кормят: и в пост и в мясоед, а потом на потребу тела пускают. Ведаешь ли то, барин чистенький?

Лопарев ответил со злостью:

— Теперь ведаю. Испытал и милость вашу, и доброхотство.

— Спытал, гришь? — Филарет поднялся с лежанки и, потрясая кулаком, заговорил: — Когда твой дед православный мово батюшку, холопа, да руками холопов батогами насмерть забил за едное слово, я также спытал и милость вашу барскую, и доброхотство ваше дворянское!

Сколько же горькой и жестокой правды было в ответе старца, что не обойти ее, не перешагнуть словоблудием!

«От барской крепости только и могла народиться вот такая Филаретова крепость, — невольно подумал Лопарев. — Где же правда-истина? Как ее утвердить на Руси, чтоб люди навсегда позабыли и про крепость барскую, и про ненависть Филаретову? И наступила бы жизнь вольная да радостная!»

И с тем Лопарев и ушел от старца.

V

«Боже, боже! На кого ты меня покинул?» — молился Филарет, отбивая поклоны, как вдруг на улице послышались голоса

посконников, охраняющих избу. Филарет насторожил ухо и открыл рот — так слышнее.

— Какая епитимья?! За што?! — узнал Филарет голос Мокея.

Лука подскочил на лежанке, да к двери. — Перекладина на месте. Но удержит ли?

— Ври, посконник! Убью! Сей момент! — гаркнул голос Мокея, и Филарет притопнул:

— Тако, тако, сын мой! Убивай гадов ползучих! Убивай! Голоса, голоса, но чужие, и слов не разобрать. И все стихло.

Раздался стук в дверь.

— Кто там? — окликнул Лука.

— Запрись покрепше, Лука, — раздалось в ответ. — Мокей возвернулся с Енисея.

— Господи помилуй! — оробел Лука, крестясь. Филарет воспрял. Ого! Мокей явился. Сын многолюбимый, сладостный, желанный. Богатырь-славушка.

— Как теперь запоешь, верижник окаянный? Погляжу-ко.

Трусоватый Лука не стал ждать, когда в избу вломится Мокей Филаретыч да «пропишет его в книгу животну под номером будущего века». Поспешно вынул из скоб перекладину — и был таков!

— Ага! Ага! Припекло, нечестивца, — радовался Филарет, будто воскрес из мертвых. Теперь-то он покажет себя. Небу над Ишимом жарко будет. И Калистрата — на огонь, и всех проклятущих изменников-апостолов. «Ужотко покажу праведникам сладчайшим, как на хворосте жариться. Ох, кабы лес тут был красный, как на Каме! Учудил бы огневище!» И тут же передумал. К чему огонь? Не слишком ли почтенной будет смерть на огне для апостолов-отступников, тем паче для Калистрата с Юсковым? «Не огнем — щипцами терзать надо. По два раза резать языки, как Ионе резали в Соловках. Пальцы ломать, чтоб хрустели. Иглы загонять под ногти. Ребра ломать, чтоб трещали».

Еще бы какую казнь придумать?

Но где же Мокей? Или к Ларивону пошел, чтобы сейчас же поднять верижников?

«Хвально то. Хвально», — переминался с ноги на ногу Филарет, поджидая Мокея с Ларивоном и с верижниками.

Пусть Калистрат отобрал ружья у верижников и отдал посконникам, — тем злее верижники. Они с топорами, с жердями

побьют посконников. А сыновья-то какие у батюшки Филарета — богатыри. Прасковеюшка народила только двух казачат, но зато на диво всему Поморью. Особенно Мокей в силе. Равных нет.

Минуты ожидания тянутся муторно долго, как тропа в неведомое, будто течение времени остановилось.

«Где же они, сыны мои отрядные? Горлом бы надо подымать всех верижников. Святого повергли. Вопить надо, вопить».

Если бы не цепь! Он бы сейчас и мертвых поднял на всенощное судное моление.

И вот, подобно буре или черному вихрю, ворвался в избу Мокей. Голова под потолок. Без войлочного котелка, кудрявая, мокрая. Синие глаза вытаращены, дикие. Кожаные штаны, натертые от долгой езды в седле, вздулись пузырями на коленях. Ворот холщовой рубахи разорван от столбика до пупа. Богатырская грудь вздымается, как кузнечный мех. Из вытаращенных глаз будто льдом брызнуло на старца, и он попятился к лежанке. Только тут увидел Ларивона, перепуганного, притаившегося возле распахнутой двери.

Звякнула цепь. Филарет и сам вздрогнул от этого звука. Мокей уставился на цепь и будто стал ниже ростом.

— Гляди, гляди, Мокеюшка! — гремел цепью отец. — Повязали меня еретики, собаки гряз...

— Убивец! — грохнул сын, потрясая пудовыми кулаками. — Убивец! Сына мово Веденейку удушил! А-а-а! Убивец!

Филарет повалился на колени.

— Кабы ты... кабы ты... не батюшка мой!.. Кабы ты!.. — Мокей рванул половинку разорванной рубахи, обнажив волосатую грудь.

— Убивец!..

Филарет съежился, трясся белой головой, бормотал молитву.

— Вера твоя... вера твоя... сатанинская!.. Как ты удушил Веденейку, сказывай? Сказывай, мучитель! Сатано треклятое, сказывай!..

— Исусе Христе! Исусе Христе! — бормотал Филарет, размашисто и быстро накладывая кресты.

Мокей глянул на иконы, на три свечи на божнице, потом на отца и опять на иконы, и вдруг рванулся в передний угол, сорвал большущего Спасителя и одним махом о стол — икона в куски разлетелась, и столетия проломилась.

— Исус твой милостивый и ты с Исусом — убивцы! Кровопивцы! Убивцы! — орал Мокей во все горло, хватая икону за иконой и разбивая их о стену так, что щепы брызгали.

Ларивон, неистово крестясь, подхватился и кинулся бежать.

— Убивцы! Убивцы! Нету бога, нету! Не верю! — еще раз выкрикнул Мокей и, потрясая кулаками, пошел из избы. Ударился головой о верхний косяк, выпрямился, схватил продольный косяк, вырвал его и тогда уже, пригнув голову, ушел...

Возле избы не оказалось ни одного караульщика — все разбежались. И в становище — ни души.

— Подошли все, или как?

Постоял, подумал, остывая на воздухе.

Ах да! Ларивон сказал, что Ефимию апостолы пытали огнем как еретичку, потом назвали праведницей, после того как удавили Веденейку, и что Ефимия теперь лежит в избе Третьяка, а возле нее беглый каторжник, барин какой-то, Лопарев: и что батюшка Филарет будто из беглых холопов помещика Лопарева. Мокей так и не уразумел, у какого Лопарева отец был крепостным? У этого ли, что заявился в общину в кандалах, или у какого другого. Пошел к становищу Юсковых. Косяк от двери нес в правой руке, как прутик. Ни тяжести, ни удобства для драки. Но если кого умилостивить по башке — душа до рая небесного долетит быстрее пули из ружья.

— Веденейка мой!.. Веденеюшка!.. Чадо мое светлое да разумное, где ты? Погибель пришла, погибель! Чрез Исуса, паче того — чрез бога!.. Проклинаю-у-у-у! — гаркнул в небо и погрозил звездам березовым косяком. Если бы мог, посшибал бы звезды, рог кособокого месяца и дырку проломил бы в тверди небесной, чтобы трахнуть по лбу Спасителя и бога заодно; отца и сына! — Молятся вам! Молитвы творят! А вы — сатано, но не боги! Сатано! Не верую боле, не верую!

Даже собаки и те попрятались от ярости Мокея Филаретыча.

В становище Юсковых всполошились поморские лайки, но ни одна не отважилась подступить к Мокею, будто нюхом чуяли — добра не ждать.

Мокей постоял возле изгороди, поглядел туда-сюда, потом пнул ногою изгородь, повалил ее и вошел в ограду.

Миновал избу Данилы-большака, избу Микулы, полуземлянку Поликарпа, с которым вернулся из поездки на Енисей, опрокинул

мимоходом кожевенные мялки и, размахнувшись косяком, ударил по кадке с водой. Клепки от кадки разлетелись во все стороны с той же легкостью, как дробь из ружья.

Из-за сарайчика вышли четверо с ружьями.

— Опамятуйся, Мокей! — узнал голос Третьяка.

— Што-о-о?! Где Ефимия, Третьяк?

— В моей избе лежит. Ты же знаешь, как ее жег огнем твой батюшка.

— Нету батюшки! Нету. Сатано есть, — ответил Мокей, подобно раскатам грома. — Низверг я вашего Иисуса! В щепы обратил. Не верую в бога, слышите? Не верую!

— Опамятуйся, Мокей!

— Што-о-о?! — Мокей поднял над головой косяк. — С ружьями вышли? Четыре на одного? Еще Иисус с вами? Ну, пуляйте! Не убьете враз — не жить вам всем, говорю.

Третьяк кинул ружье к сараю и пошел навстречу Мокею.

— Тут нету убивцев, Мокей. И сына твою Веденейку не нашими руками удушили. И Ефимию, племянницу мою, не нашими руками жгли.

— О! — Мокей опустил косяк и бросил его в сторону, продолжая стонать. — Сына мово Веденейку!.. Чадо мое светлое! Удушили! — И, закрыв ладонями лицо, зарычал, сотрясаясь всем своим мощным телом. — Кто возвернет мне Веденейку? Кто? Красавца мово? Кто возвернет?! Иисус Христос или сатано?! Кто?!

Молчание в ответ.

— Кто возвернет Веденейку?!

Михайла Юсков подошел к Мокею, спросил:

— А кто возвернет мне Акулину со чадом?

Мокей уставился на Михайлу и, преодолевая тяжесть на сердце, переспросил:

— Какую Акулину?

— Бабу мою со чадом. Али не знаешь Акулину, на которой я женился, когда вышли с Поморья?

— Акулину? Померла, што ль?

— Твой батюшка огнем сожег яко еретичку и чадо такоже. Уже семь недель прошло.

Мокей сграбастал себя за волосы и готов был оторвать собственную голову, изрыгая проклятья на отца-убийцу.

— Буде, Мокей. Буде. Нету у нас этой крепости, зело борзо. Порушили.

— А бог есть? Исус Христос есть?

— Не богохульствуй, Мокей. Срамно так-то.

— Срамно?! Удушить малое чадо во имя Исуса — то не срамно? Можно? Исус повелел? Давайте мне тово Исуса, я его не на Голгофе распинать буду, я его...

Мокей не умыслил, какую бы казнь свершил над убивцем-Исусом.

— Где Ефимия?

— Сказал же: в моей избе лежит.

— Пытал ее сатано огнем?

— Пытал.

Мокей направился к избе, Третьяк за ним. Не надо бы тревожить больную Ефимию, и без того до смертушки запуганную. Но Мокей твердит свое:

— Погибель пришла мне, Третьяк. Вижу то. Чрез отца свово треклятого. Веровал в него, яко в Исуса. А хто они теперь — Исус и батюшка мой? Тати али того хуже. Попрал их, изверг из души!

— Не кричи так, Мокеюшка. Говорю же — Ефимия дюже хворая; у смерти на оглядках.

— Ладно. Кричать не буду, Третьяк. Нутром гореть буду. Третьяк первым прошел в избу. От сальной плошки в избе густой полумрак. Справа — малюсенькая глинобитная печь с подом (хлеб-то надо печь); слева — кухонный стол с кринками, чугунами один в другом, деревянные ведра. В избе троим не повернуться — до того тесно. Только у печки пяточок, где еще можно стоять. Все остальное занято пятью коваными сундуками с рухлядью и двумя лежанками из березовых кругляшей с толстым слоем умятого ковыльного сена, а по верх сена — пуховые перины. Наволочки на подушках шиты древнерусскими узорами, одеяла с лисьими подбивами, легкие, удобные. Покрывала и рухлядь — голландские. Третьяк не обошел себя, когда от Церковного собора плывал в Голландию с пушшиной и с рыбой от собора. «Мужик оборотистый — жить умеет», — говорили в Поморье про Третьяка. Одна беда: сыскные царские собаки могли накрыть Третьяка, приговоренного заочно к повешению. Много он

учудил в Москве и много добра нагабил, породнившись с французами!..

Мокей сразу увидел Ефимию — подружью свою, из-за которой однажды поправил волю родителя, а если к тому пришлось, поправил бы и бога.

Захолонуло сердце, как только встретил черный, текучий, отчужденный и в то же время наполненный через края смертным страхом взгляд Ефимии.

— Не пужайся, — вывернул из нутра и тяжело вздохнул. Голова Ефимии до щек утопала в пуховой подушке. Волосы на лбу кудрявились в кольца. Глаза ввалились, щеки впали, резко обозначились скулы, и сама такая непонятная, льдистая, будто впервые увидела богатыря Мокея.

На другой лежанке проснулась баба Третьяка, Лукерья, телесая, успевшая натянуть до шеи одеяло и накинуть на русые волосы черный платок. Рядом с Лукерьей — две девочки, беленькие, одна на другую похожие, как близнецы. Возле дверей остановился Третьяк и только что перешагнувший порог, любопытный и настороженный Лопарев в однорядке, без войлочного котелка.

Для Мокея существовала только Ефимия — ее бледное, исхудалое лицо, чуть горбатящийся красивый нос, ямочка на подбородке и белые руки поверх шелкового синего одеяла. На коленях одеяло приподнялось шатром.

Мозолистая рука Мокея закрыла, как черным камнем, белую руку Ефимии.

— Вот и возвратился я с Енисея, — сообщил, и кадык передвинулся на его толстой шее. — Ведаю теперь хитрость сатано, ведаю!.. Знать, убивство обдумал загодя. Наказывал, чтоб я не возвратился с Енисея — место обживал бы со товарищами. Двух кого послал бы в общину, а четырнадцать осталось бы на новом месте. Умыслил, убивец!.. Умыслил, треклятый. А я вот возвратился — нутро болеть стало. Места себе не находил в тайге дремучей. На зверей хаживал, а рогатина в руке дрожала. От смутности все, должно. Чужал, беда где-то. А где? Не мог понять. Думал, с общиной што. Вот и поспешил обратно с Поликарпом и с Варласием Пасхой-Брюхом. Одиннадцать там осталось в тайге. Двух медведи задрали. Такоже вот.

Ефимия слушает, а в глазах испуг мечется.

— Боишься вроде?

— Чего мне... бояться? — И тут же подумала: «Отреклась же, отреклась от Мокея на судном спросе, а руку отнять не могу».

— Сатано пытал тебя?

— Глядеть хошь?

— Покажи.

Ефимия молча откинула одеяло — гляди, мол, коль словам не веришь. Груды вспухшие, пожженные клюшкой, затянулись черными коростами, как зимняя кора на плакучей иве. И на животе такие же коросты и опухоль. И на плече рубец от пастырского посоха.

Закрылась, сказала:

— Ступай теперь. Благодарствуй батюшке Филарету Наумычу, яко праведнику пречистому, — И, закрыв глаза, прикусила губу, чтоб сдержать слезы.

У Мокея сами по себе поднялись кулаки и в горле костью застряла злоба. На пропыленных медным загаром щеках вспухли желваки. И борода будто задымилась рыжим пламенем.

— Кабы он... не батюшка... по ветру бы развеял пеплом!

Помотал головою, спросил:

— Кто из апостолов сполнял волю сатаны? Кто жег тебя железом?

Калистрат?

— Нет, Калистрат не жег.

— Кто? Сказывай! За твои коросты, за Веденейку удушенного нонешнюю ночь суд буду вершить. Один супротив всех верижников и паче того — апостолов. Супротив бород сивых и чугунных! Обмолочу головы, а потроха в землю втопчу на три сажени. Сказывай!

Глаза Ефимии распахнулись от ужаса. Знала: глагол Мокея не по ветру бьет, а по живому телу. И если Мокей поднял руку, жди: смерть будет. Сколь раз сама ждала смерти! Но рука Мокея знала-таки меру для бабы своей: спускала силу, не доходя до тела.

— Сказывай! Али мало тебя жгли? Ефимия горестно вздохнула:

— Оттого и крепость народилась. Тиранство — за тиранство. Око за око, зуб за зуб. К погибели то приведет, не к жизни. Как бары да дворяне тиранят народ, так и сам народ промеж себя стал тиранить друг друга, да мучить, да изводить. Не по-божьи то! Исус заповедовал...

— Нету Исуса! В щепы разлетелся! — бухнул Мокей, как молотом по наковальне.

Лукерья с перепугу икнула и, не успев перекреститься, нырнула под одеяло, а за нею — девочки. Третьяк набожно перекрестился:

— Опамятуйся, Мокей. Опамятуйся. В избе-то у меня — да экое богохульство. Неможно так, зело борзо.

Мокей гавкнул, не обернувшись:

— Выдь за двери!

— Изба-то моя, Мокей. И баба моя тут со дщерями. Мокей что-то хотел сказать Третьяку, но увидел чужого человека, большелобого, глазастого — не посконника образина и не верижника. Не тот ли барин Лопарев, про которого говорил Ларивон?

— Кто такой?! — И толстые брови Мокея сплылись. — Что молчишь? Али язык за дверью оставил?

— Лопарев, — последовал ответ.

— Барин?

— Беглый каторжник.

— Из бар да на каторгу — дивно. Таперича праведник, сказывают? И пачпорт пустынного заимел?

— Не праведник и не пустынный.

— И то! — хмыкнул Мокей. — Из бар да в праведники — небо хохотать будет. Ведомо, каковы бары да дворяне! Холопов бьют, холопов жрут и на холопах выезд совершают, как на собаках лопари возле Студеного моря. Слыхал про лопарей? Дикари, а чище бар и дворян, паче того — царя и анчихристовых попов.

Ефимия хотела защитить Лопарева, но побоялась перечить Мокею: как бы хуже не было. Мокей посопел, кивнул головой:

— Ступай из избы, барин. Аль ты от сатаны народился — зришь чужую подружью в постели да без платка?

Лопарев перемял плечами и ушел. Мокей кивнул Третьяку, и тот не стал ждать, когда непрошенный гость даст пинка.

— Барина зрить — свою душу зорить, — проворчал Мокей, закрывая дверь, а тогда уже вернулся к Ефимии.

— Верижников молотить буду. Апостолов! Также обмолочу, яко ячмень из гумна.

Ефимия приподнялась на подушках, думала, чем бы укротить ярость человека, потерявшего голову.

— От зла зло творить будешь. Под богом ходишь, вспомни!

Мокей покривил губы:

— Нету бога, Ефимия. Нету! Не видывал, не зрил за тридцать годов. Сына мово и твого, Веденейку кудрявова, под Исусом удавили. И бог то зрил, и силу дал душителям. Такова бога, паче с ним Исуса — пинать надо, в землю вогнать на три версты, в геенну огненну свергнуть, в смолу кипучу!

Ефимия не на шутку перепугалась и заслонила ладошками.

— Что испужалась?

— Не богохульствуй!

— Али бог повязал тебя веревками на Лексе и тащил пытаться в подвалы собора?! Бог тебе жег каленым железом перси и чрево? Зрила бога али сатану? Нету бога, Ефимия. Омман едний, как перст вот.

— Изыди, изыди! Исуса — да погаными устами! И гром тебя не ударил?!

Мокей ослабился:

— Не ударит небось. Нету у нево грома. Нету у нево молний. Нету у нево ушей. Нету у нево глаз. Пустошь едная. Исус от книг пришел со богом своим. От Библии той да Евангелия. Умыслили звери. Туман напустили, чтоб люди за тот туман огнем себя жгли, молитвами да постами морились да младенцев душили. И то есть бог? И то есть Спаситель?!

— Свят, свят, свят!

— Али ты веруешь опосля железа? Опосля Веденейки? Озрись, отринь туман тот!

В глазах Ефимии пламя гнездо вьет. Мокей ли рядом? Не сатана ли в образе Мокея и с бородой Мокея?

Лукерью под одеялом трясет лихорадка — до того перепугалась.

— Час настал, откроюсь тебе, — продолжал Мокей. — Отринул я бога, когда ишшо парнишкой ходил. Батюшка тогда в Большом соборе на Выге духовником был, пытки учинял еретикам. Водил меня в каменные подвалы, чтоб я потом также изничтожал еретиков. Зрил, зрил!.. Кости ломали тем еретикам, языки щипцами вытаскивали и ножом отрезали, уши резали, под ногти гвозди загоняли и жгли, жгли. Как тебя вот. Каменел потом от страха. Падучая стала бить, и батюшка отослал меня к охотникам-верижникам на море. И думал с той поры: бога нету!.. Лютость и зверство едное, чтоб веру одну держать.

И, потрясая кулаками, спросил: — А к чему та вера, скажи? Туман тот? Не принимаю тумана. Шить вольным хочу, яко птица: лба не крестит и пост не блюдет, а под солнцем ликует.

Ефимия судорожно сжимала руку рукою. Если бы давно вот так открылся Мокей! Вечно молчал, сопел себе в бороду, свирепостью душил, а от сердца слова ни разу не обронил.

— Озрись, озрись, Ефимия! Отринь туман тот. Клятву дам: на руках носить буду. В городе жить будем. Без бога, без Иисуса.

Ефимия готова была втиснуться в подушку:

— Не будет того, не будет! Изыди, изыди! Богородица пречистая, спаси мя!..

Мокей глянул на иконы в переднем углу:

— Пощепал бы их! Со богородицей, со святыми угодниками, со Иисусом. Ладно, молись.

И ушел.

Ефимия не могла оторвать взгляда от двери, за которой скрылся Мокей.

Он ли был в избе? Мокей ли?

VI

Не удалось Мокею обмолотить апостолов и верижников. Как только высунул голову из сенной двери на улицу, в тот же миг в шею впилась веревка. Не успел рукой взмахнуть, как дыхание перехватило. Третьяк постарался с Микулой.

Захлестнув удавкой, повалили и руки заломили за спину да веревками связали. И ноги стянули в кучу.

— Не удушили? — пыхтел Микула.

— Экого в час не удушишь, — ответил Третьяк и чуть отпустил веревку на шее Мокея. Тот со свистом набрал воздух, узнал Юсковых.

— На огонь поволокете? — спросил. — Иисус-то, он с огнем да с ворами и грабителями за одним столом трапезу правит.

Третьяк, долго не раздумывая, завернул в сени, нашарил там какую-то тряпку, помойную, должно, и этой тряпкой упаковал срамную пасть богохульника.

Подняли и потащили к избе Филаретовой на судный спрос...

По всей общине — вопль и стон...

Мыслимое ли дело: еретик пощепал древнейшие иконы! Такого не зрили отроду до нынешнего века. Старушонки ревели в голос. Старики изрыгали проклятия. Молодые мужики и молодухи набожно крестились. Ну, а пустынники-верижники — тут и говорить нечего: источались в вопле, как ветер в свисте в зимнем лесу.

Со всех землянок и избушек бежали мужики и бабы к избе Филарета, чтоб откреститься от еретика и отвести от себя кару господню.

Возле избы Филарета, на той самой телеге, где когда-то скрывался беглый каторжник Лопарев, соорудили стол, накинув на телегу скатерть, а на ней — щепы от древних икон. По краям телеги свечи зажгли.

Сытый чернобородый Калистрат, умильный и благостный, торжествующий свою полную победу над Филаретом, возвышался возле телеги в облачении духовника. И крест золотой на цепи, и посох новый с золотым набалдашником от старого, и голос зычный, и в академии побыл к тому же. По всем статьям — архиерей.

Мокея поднесли к телеге, развязали ноги.

— Выньте кляп, — повелел Калистрат и приказал, чтоб привели старца Филарета.

Низвергнутый духовник идти не мог; паралич хватил. Правая рука и нога чужими стали, и рот перекосялся. Легко ли было пережить, как сын Мокей щепал самого Иисуса?!

Отца и сына поставили рядом. Двое верижников поддерживали старца под руки.

Калистрат помолился, начал спрос:

— Сын ли твой Мокей стоит рядом?

У Филарета что-то забулькало в глотке, не разобрать. Калистрат протянул руки к общинникам:

— Братия и сестры многомилостивые! Зрите, зрите, вот он, пред очами вашими старец Филарет. Поднимали вопль, што я под спудом держу Филарета и посох отобрал силой, а того не ведаете, как я сбил тем посохом рога сатаны с башки старца.

Пронесся глухой стон: «Оглаголать, оглаголать еретика», — что означало: обвинить. И Калистрат «оглаголивает»:

— И вот, братия и сестры, заявился ноне вечером Мокей, сын Филаретов. Кабы старец не осквернил Иисуса, и творца нашего, и духа

святого, разве свершилось бы экое святотатство?! Зрите, иконы наши в щепу обратились. Образ Спасителя...

Калистрат перечислил иконы.

Суеверная толпа старообрядцев придвинулась к телеге, требовала выдать еретика Мокея, чтоб тут же растерзать его и в Ишиме утопить.

Протодьяконский бас Калистрата угомонил единоверцев:

— Волки вы али праведники? Под богом вы стоите али под сатаной? — и ткнул ладонью в небо.

Мокей слушал, понимал и ухмылялся. Калистрат дурачит мужиков и баб, а сам себя почитает «вседетельным» — совершенным.

— Ты веруешь в бога, Мокей, сын Филаретов? — толкнул бас Калистрата.

— А ты веруешь, вседетельный Калистратушка? Али притвор едный, штоб брюхо набить дармовой снedyю? Эко! Он верует! Чей крест носишь? Филаретов! Четыре фунта золота! С этим крестом отец мой Казань брал, а ты его себе нацепил. Хвально!

Калистрат затрясся от злобы:

— Веруешь в бога али нет? Глаголь, брыластый сын еретика!

— Ты сам брыластый боров!

Как можно стерпеть такое поношение? Духовник Калистрат — да брыластый — толстогубый, значит, срамной!

— В третий раз вопрошаю: веруешь в бога?

— А ты сам зрил бога? Исуса зрил? Угодников зрил? И где они, сказывай! На небеси? На тучах али под туча-пи? На звездах сидючи али под звездами?

— Еретик, — возвестил Калистрат.

— Такоже ты, брыластый, еретик, паче того — мытарь хитрый!

— Еретик, еретик, промеж нас, братия! — орал Калистрат.

— Брыластый боров, вор, мытарь, крыж римский! — отвечал Мокей.

Верижники попадали на колени от богохульства Мокея. Старухи визжали. И вдруг возле телеги появилась Ефимия в черном платке, укутанная до шеи в синее покрывало. Как она в таком одеянии прошла к телеге, никто не заметил. Приблизилась к Калистрату, распахнула на груди покрывало, спросила:

— За что мне перси жгли железом, Калистрат, скажи? И ты зрил то и молчал. Смотрите, люди, как мне праведники Тимофей, Андрей и

Ксенофонт жгли железом перси и на иконы молились. Смотрите! И под теми иконами сына мово и Мокея, Веденейку, подушкой удавили. Бог ли то заповедовал, скажите?!

Толпа притихла, замерла.

Старухи испуганно отпрянули: срам-то какой! Ефимия-то совсем сдурела — голые перси выставила на судном моленье!

— Голую меня пытали старцы, жгли огнем да на иконы молились! И то творилось по воле изгоя Филарета, сатано треклятого! И бог то заповедовал, скажите?

У Калистрата жилы вздулись на лбу. Он до того взмок в своей иоановской верблюжьей рубашке, что даже чувствовал, как по ложбинке спины течет пот.

— Мучение ты приняла во имя господа бога нашего, Ефимия! — ответил Калистрат и гаркнул во все горло: — Помолимся, братия и сестры, за мученицу Ефимию!

Помолились, пропели аллилуйю.

— Поди теперь, Ефимия. Негоже стоять как-то, — погнал Калистрат.

Ефимия не уходила.

— Мокея развяжите. Не делайте суд божий своими руками. И сказано в Писании: «До семи раз прощать брату моему, согрешившему против творца нашего?» И сказал Иисус: «Не говорю до семи, а до семижды семидесяти раз». Тако ли в Писании, Калистрат? Калистрат подтвердил.

— Сына мово и Мокея удушили. Чей грех?

— Изгоя Филарета! Сатано!

— У сатано были руки старцев: Тимофея, Ксенофонта, Андрея. Пошто не судите их, мытарей?

Верижники закричали: гнать бабу! Но Ефимия требовала свое:

— Не судите мытарей, не судите Мокея. Иконы он порубил в беспамятстве. И бога отринул от тяжести. Пусть идет в мир и там узнает: есть бог или нету. Развяжите его!

Третьяк подскочил к племяннице, чтоб увести ее, но помешал Лопарев.

— Мокея судите — судите меня! — кричала Ефимия. — Жгите огнем, и тогда гибель всем будет за мытарство, тиранство! И сказал Исая...

Калистрат сообразил, что решение надо принимать немедленно и что брыластого еретика Мокея не удастся сжечь, если оставить в живых Ефимию. А разве можно тронуть благостную мученицу, не посрамив самого себя?

— Братья и сестры, — затянул Калистрат, — отторгнем еретика, яко не бымши с нами. Уйдешь ли ты сам, Мокей Филаретов, али гнать тебя батогами связанного?

Мокей умоляюще воззрился на Ефимию.

— Подружия моя, Ефимия, пусть со мной уйдет. Не жить ей с вами, мучителями! Уйдем, подружия.

Ефимия откачнулась, молитвенно сложив руки на груди. А со стороны женщин и даже старух пронесся вопль:

— Не уходи, благостная! Не уходи. На кого ты нас покидаешь, скажи?

— Со Исусом оставайтесь! — ответил Мокей. — Со Калистратом-гордоусцем.

— Батогами гнать еретика! Батогами!

— Подружия, уйдем! — звал Мокей супругу свою.

— Не будет того, Мокей Филаретов. Не была я твоей подружкой, а черной рабыней, сенной девкой в избе Филаретовой. Веденейку мово мучитель отторг от груди моей и удушил! Не стало Веденейки, чужие мы вовсе, Мокей Филаретыч. Прощевай! Пусть настанет в душе твоей просветление.

— Оно у меня настало, — не сдавался Мокей. — Озрись, может, и ты станешь, как я.

— Не будет того, не будет!

Ничего не поделаешь. Надо уходить одному без подружки. И тяжело и горько.

— Дозвольте на могилке чада мово побыть, — попросил Мокей, и общинники разрешили ему погостить на могилке сына.

До солнцевсхода Мокей просидел со связанными руками на холмике могилы, и кто знает, что он передумал за это время?!

Сготовили Мокею лошадь в седле, на которой он вернулся с Енисея, положили в мешок каравай хлеба, сушеной рыбы и только тогда развязали руки. Третьяк и два надежных посконника стояли с ружьями, предупредив, если Мокей заартачится, стрелять будут.

Ефимия тоже пришла проводить Мокея.

— Пусть дорога твоя будет светлой, яко солнышко, — пожелала Ефимия, низко поклонившись. — Прощевай!

— Прощевай, подружия!..

Мокей погнулся в седле, тронул поводьями. Ларивон на лошади поехал провожать его.

ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ

I

Черной застывшей рекою прорезался по степной равнине Московский кандальный тракт.

Два конца у тракта, как у веревки, да концов не видно.

Поверни коня на закат солнца — в Тюмень уедешь, а там через Урал на Волгу иль в Москву, в Суздаль, в Поморье — куда угодно.

По изведанной дороге легче ехать, было бы куда. Мокей подумал, повернул солового коня на восход солнца.

Ларивон помалкивал. Как там ни толкуй, а брат — еретик, древние иконы пощепал, бога отринул.

Надолго ли расстанутся? Кто знает! Может, навсегда.

— Как теперь жить будешь, Ларивон? Ларивон перекрестился:

— И жизнь и смерть в руке бога. Мокей покособочился в седле:

— Богу молись, а за ум берись, скажу. Третьяк с Калистратом прибрали общинное золото, гляди, как бы холопом не стал у Третьяка.

— Холопом не буду.

— Зри за Третьяком. Волк зубастый; хвост — лисицы.

Ларивон понимает: хвост у Третьяка что у лисицы, а пасть зверя.

— Ежли узришь ощеру, шибани по башке да общину на свою сторону перетяни. На новом месте дом поставь о пяти стен, какой был в Поморье. Может, понаведаюсь к тебе на Енисей.

— Дык говорили же: место приглядели не на самом Енисее, а в тайге?

— Тамошнее Енисейским прозывается. Как у нас Поморьем.

— Тако!

— Батюшкин крест золотой сдери с брыластого.

— Духовник он таперича, брыластый, как сдерешь?

— Верижников зуди.

— Неможно. Ересь будет.

Мокей уставился на старшего брата огненным взглядом, да разве прожжешь шкуру Ларивона?

— Рухлядь твою Третьяк не ворошил?

— Эва! У Третьяка своей рухляди много. На пяти рыдванах ташил. Али запомятовал?

— Гляди! Деньги запрячь в землю. Паче того — золото. Ларивон вытарашил глаза:

— Откель деньги? Золото? Разве батюшка дозволил бы, штоб утаить кусок от общины? В ремне золото носил да в кованом сундучке. Третьяк с Калистратом взяли.

— Дурак! Кругом общипанный. Чем жить будешь? Третьяк общину порешит, и ты в холопах будешь ходить.

И тут же достал из потайного кармашка в очкуре штанов несколько золотых и бумажных денег, припрятанных на черный день.

— Бери! Да чтоб Третьяк не унюхал.

Ларивон запрягал деньги, подумал: ладно ли будет, если утаить от общины?

— Тот барин, Лопарев, к Ефимии льнет?

— Из-за того и батюшка пытал ведьму, чтоб порешить всех одним часом. И барина, и Третьяка; и всех иудов Юсковых. Через них пришла напасть. Барин-то у Данилы Юскова живет, а к Третьяку на оглядку ходит. К Ефимии, значит. И пачпорт достала барину от Юсковых, и сговор имели, как порешить духовника да Калистрата в чин возвести.

Мокей долго молчал, раздувая ноздри. Понаведаться бы тайно в общину да захватить барина возле Ефимии, — и одним разом отправить обоих на небеси.

«Озрись, отринь туман тот», — вспомнил Мокей и содрогнулся: как жить без бога? У кого просить милости и кому грехи отдавать? «Едный, как перст. Конь подо мной, да степь предо мной». Не до Ефимии в такой час. И без того неведомо, куда ехать, где жить и что в изголовье положить. Камень ли, ком сена или взять у кого подушку!

— Прощевай, Ларивон!

— Прощевай, Мокеюшка. Опамятуйся да покаяние наложи на себя, и бог простит, может.

Поклонились друг другу и разъехались.

Смятение в душе Ефимии. И в жар и в холод кидает...

«Озрись, отринь туман тот!» — бьет, бьет нутряной вопль Мокея.

«Нету бога! Сына мово и твово, Веденейку, под Исусом удавили!»

Правда в том, и горечь в том. Сама себе не верила. Накипть слоилась на сердце, истекая скупыми слезами.

Вспомнила, как Амвросий Лексинский, потрясая перед нею Библиями на разных языках, вопил в пещере: «Блуд, блуд, скверна книжников, а не божье слово». И Ефимия боялась тому поверить: правда ли то, что Библия и откровения апостолов в Евангелии не божье слово, а скверна книжников? Думала: Амвросий из памяти и разума выжил, потому и отринул бога. И все-таки тянулась к Амвросию: слушала неистового старца, а потом записывала в тетрадку все его богохульства — не для предательства Церковному собору, а для собственного разумения.

И вот Мокей, сын Филаретов. Не открывал разночтения и путаницы в Святом писании на разных языках, а просто нутром, жизнью своей пронзил, прозрел, и — отринул бога «яко не бымши». Не потому ли он, Мокей, терпеть не мог, когда она, Ефимия, говорила ему про Писания? «Не мое то дело, — обычно отвечал он. — Писанием зверя не убьешь и рыбу из моря не выловишь».

И вдруг открылся. Нежданно-негаданно. Налетел, как черная буря, переполошил все становище древних христиан и будто копытом ударил по тверди небесной, и не стало там ни бога, ни Спасителя, ни святого духа, ни божьих угодников.

Ефимия содрогнулась от страха...

И не одна Ефимия...

Подобного Мокея никак не ожидал встретить Лопарев. Он думал, что Мокей — первобытный космач, такое же непроворотное существо, как и его старший брат, Ларивон Филаретыч, а тут — богатырь-силушка, низвергнувший богов и, как обухом топора, со всего размаха трахнувший по самой крепости. «Это же сам Пугачев или Стенька Разин, — думал Лопарев, когда Мокей прогнал его из избы, чтобы он не зрил подружью в постели без платка. — Если бы нам такого Мокея на Сенатскую площадь — поражения не было бы. Пестель убоился

поднять такого Мокея, потому и отказался призвать народ к восстанию. А без таких Мокеев Русь не обновить и самодержавие не свергнуть». И тут же возразил себе: «А что будет с нами, с просвещенными дворянами? Или так же, как Мокей — иконы, пощепают всех на лучину? Розня будет, кровь будет. Много крови будет».

Нет, еще не созрел народ для такого восстания. Можно ли допустить жесточайшую резню, какую учинил Пугачев и все его войско? «Не с дикарством поднимать народ надо на обновление России; не тащить на престол «справедливого осударя-батюшку Петра Федоровича», а чтоб из самого народа вышли справедливые правители России; не тираны, каким показал себя корсиканец во Франции, а такие, как русский академик Михайла Ломоносов!..»

Крепко задумался беглый колодник Лопарев; себя он увидел в Мокее и невольно признался, что нет в нем такой решительности и необоримой силы, как в Мокее. «Это же ураган! Тайфун. Одним махом покончил со всеми богами и святыми угодниками».

И когда Третьяк призвал Лопарева вязать Мокея, Лопарев наотрез отказался:

— Или тебе жаль крепости, Третьяк? Тогда зачем посадили на цепь Филарета?

— Не то глаголешь, барии, зело борзо! — осерчал Третьяк. — За святотатство, какое учинил в моленной избе сын Филарета, суд вершить будем. Всем миром! На огонь поволокем гада Филаретова! Ужо устроим огневище, барин!

— А я вам говорю, — не троньте Мокея! Или ты такой верующий, Третьяк, что без тех икон жизни не мыслишь?

— Мои мысли со мной останутся, барин. А тебе присоветую: не являйся на судное моленье; худо будет. Праведников с веры не совратить тебе, барин!

Точно так же сказал бы сам Филарет...

Лопарев не принял участия в разбойничьем нападении на Мокея, но сразу же, как только его потащили на судное моленье, долго не раздумывая, пошел в избу Третьяка.

Ефимия, конечно, не слышала, что случилось с Мокеем. Лежала высоко на подушках и горько плакала.

— Ты, Александра? — тихо спросила. — Беда грянет, беда!.. Чую сердцем — Мокеюшка чью-то кровь прольет и сам погибнет.

Лопарев сказал, как скрутили Мокея и потащили на судный спрос.

— Третьяк с Микулой? — переспросила Ефимия. — О мать божья, изгои окаянные! Не дам Мокея! Не дам сатанинскому судилищу!

Лукерья стала уговаривать Ефимию, чтобы она не вставала, но разве есть сила, которая могла бы остановить благостную Ефимию?..

Судный огонь не занялся...

Третьяк с духовником Калистратом проклинали Ефимию, а более того барина Лопарева. Как быть с баринном? Если прогнать из общины — не выдаст ли он, что в общине много беглых каторжников, а самого Третьяка давно ждет петля?

За Лопаревым установили строжайший надзор.

Ефимия, только Мокей уехал, ушла к себе в избенку, поставленную им самим, и закрылась там; даже возлюбленного кандальника не пустила к себе.

Третьяк ругался:

— Во спасение еретика поднялась с постели да в срамном виде явилась перед общиной! Али мало того, как Мокей терзал тебя шесть годов? Как изгалялся над тобой? Кого спасала? На огонь бы еретика, удавить бы, иуду!

Ефимия ответила:

— Не бог глаголет твоими устами, дядя Третьяк, а нечистый дух, да корысть, да лихоимство.

Так оно и было. Хоть лютую крепость держал Филарет, да Третьяк с Юсковыми озирались, как бы посконники и верижники не общипали! И вот настала разминка. Третьяк взял вожжи в свои руки, мало того — золото. И не мало. Филарет с Филиппом-строжайшим двадцать лет собирали; торг вели с заморскими странами, чтоб накопить много золота, потом бы ружья и пушки тайно приобрести и тогда уже из Поморья двинуться со своим войском не на Москву, а прямо на Петербург проклятый! В самое гнездо анчихриста.

Третьяк потирал руки: благостно вышло! Сундучок золота у него в руках. Калистратушка пусть носит крест золотой: четыре фунта! Не мало. Хватит духовнику. Сумел бы с толком распорядиться крестом. А вот сундучок тяжелехонек. Община пока что в смятений — тридцать

три дня минуло после того, как свергли Филарета. А вдруг потребуют: отдай, Третьяк, общинное достояние! «Зело борзо! Мешкать никак нельзя. Богатство-то экое!» А тут еще Ефимия заперлась в Мокеевой избушке. Что она задумала? Не поджидает ли Мокея? А вдруг Мокей явится ночью да с ружьем и топором, застигнет врасплох Третьяка с Калистратом, сведет в кучу, ударит, как горшок о горшок, и дух вон!

«Умыслила, умыслила, болящая», — стонал Третьяк, успев отполовинить общинное достояние из кованого сундучка. Поговорил с Калистратом, и установили караул возле Мокеевой избушки. Четырех посконников ставили ночью, — трех от зари до зари.

В двух крохотных оконцах Мокеевой избушки ночами не гасли свечи. Под оконцами — старая рябина, и на ее ветках, склонившихся к окошечкам, играли световые блики, от чего листья казались серебряными.

— Сколь свечей-то пожгет, болящая, — кряхтел жадный Третьяк. Потом спросил у Марфы Ларивоновой: много ли свечей в избе Мокея?

— Да весь воск там, — сказала Марфа.

— Много ли воску?

— Пуда три али четыре. Мокей сам притащил тот воск из города Тюмени.

Третьяк схватился за голову: три пуда воска! Богатство-то какое! Попробовал отобрать воск, но племянница не открыла дверь.

— Воск Мокеев и мой. И рухлядь в избе Мокея и моя.

— Общинное! Общинное! — тужился дядя Третьяк.

— Тогда и твоя рухлядь, дядя, общинная. И воск у тебя общинный. Пуда два будет. Сама видела. Отдай свой воск и рухлядь всю, и я отдам свой воск и рухлядь всю.

Такого отпора Третьяк не ожидал от племянницы.

— Блудница, нечестивка, — ругался он, жалуясь Кали-страту. Вот, мол, спасли ее от гибели, от сатаны Филарета, а она тут же отрыгнула благодать и заперлась в избе мучителя. — Поджидает зверя, ехидна! Ежли явится, заглотит пули, тать болотная!..

Третьяк и Калистрат успели забыть, что если бы Ефимия назвала их имена на судном спросе, давно бы им не топтать землю. Теперь, оказывается, они спасители Ефимии.

Калистратушка бороду холит да в Юсковом становище пироги жрет, Апостолов-пустынников, учинявших тайный суд при Филарете, прогнали из общины: «Ступайте странствовать, яко праведники Иисусовы». И те, как ни тягостно было покидать общину, накинули котомки на плечи и подались на все четыре стороны.

Верижников и тех Калистрат обжал: «Богу молитесь, а за топоры беритесь». И повелел пилить дрова в соседней роще, чтоб всем избам хватило на зиму.

Третьяк правил хозяйством. До Третьяка главенствовал сам Филарет с Ларивоном, а тут, на тебе, хитрущему Третьяку Калистрат передал вожжи. Известное дело: Третьяк Юсковых не обойдет, машну набьет, лучшие куски сожрет, а других морозить будет, поститься заставит да еще холопами сделает.

Беда, беда!

Старики наведывались в избу к Филарету, да тот ополоумел будто. Глядит, слушает, а у самого рот набок и звуки вылетают бессловесные. Глагола лишился. Ларивон примолк, погорбился и покорно гнул хрип на общинных работах.

По избам и землянкам смятение. Не стало крепости Филаретовой! Блуд, блуд. Еретики объявятся и веру порушат!..

Роптали и молились за старца Филарета, чтоб бог послал ему глагол и силу, как в Поморье, чтоб огнем пожечь Юсковых с Третьяком и Калистратом.

Парни с белицами игрищами тешились, да еще и песни украдкой пели. Слыхано ли? «Там, где веселье, там и сатаны раденье».

Ходоки с Енисея: Поликарп Юсков, Варласий Пасха-Брюхо, прозванный так за обжирание пасхальными куличами, сказывали про Енисей, где остались одиннадцать ходоков обживать место: «Места на Енисее как наши поморские. И лесу красного — видимо-невидимо, и река огромная, и рыбы много, и паче того — зверя в тайге».

Вольной волюшки — хоть захлебнись.

Верижники приступили к Калистрату: ехать, мол, надо на Енисей, там и Беловодьюшко для спасения душ.

Но как же ехать, глядя на мокрую осень и на зиму?

— Ехать, ехать! — орали верижники. Им-то что: встал, встряхнулся, в мокроступы обулся — и все сборы.

Третьяк образумил:

— Зимовать где будете? Со еретиками-щепотниками в деревнях? Али под небом да под снегом? Не подохнете ли, яко тараканы? На Ишиме в землю зарылись, землянки да избышки понастроили, ячмень в землю усы клонит, пшеница на сорока десятинах стеной стоит. Бросить все али огнем пожечь?

Остались зимовать.

В сухую погоду, до того как подошел ячмень, поморские круглые копны сена перетасили на волокушах к скотным пригонам, а для дойных коров устроили навесы из жердей. Все мужики и подростки работали от темна и до темна. Более двухсот коров в общине да столько же лошадей. Было за тысячу коров, да в Перми сожрали.

Третьяк с верижниками Гаврилой и Никитой ездили в большое село на тракте, продали там сырые и выделанные кожи, отмятые овчины, масло и закупили у тамошнего купца сахар, крупу разную, железо для кузницы и кто знает что еще. Узнай у Третьяка!

Время подоспело осеннее, переменчивое. То дождь моросит, то пасмурь темнит, то ветер полощет.

Лопарев прилепился к Микуле — водой не разлить. И в кузнице работают вместе, и лясы точат, и брагу пьют. Общинники роптали: не вышло праведника из барина. И руки белые, и говор не мужичий, и про молитвы, должно, ни разу не вспомнил, если только знал их. При Филарете так бы не было: старец не терпел белокожих еретиков.

Ефимия тем временем отсиживалась в Мокеевой избышке, и кто знает, что она там делала! «Сорокоуст справляет», — говорил Третьяк.

IV

Настало утро сорокоуста...

Третьяк собирался ехать в город Ишим и позвал к себе Калистрата, Микулу и Лопарева.

Лукерья отварила по-башкирски барана и подала его на серебряном подносе царской чеканки и росписи. Лопарев догадался: не иначе как из кремлевской добычи поднос, как и кубки для вина.

Вместо лавок — кованые сундуки.

Из серебряных кубков вино пили, не брагу, серебряными ложками юшку хлебали и серебряными вилками мясо в рот тащили.

Для поездки в город Третьяк вырядился в плисовые шаровары, в красную рубаху под широким ремнем на чреслах, и поддевку Лукерья достала суконную, отменную, бог знает с чьих плеч стянутую. Калистрат и тот преобразился. Власяницу из конского волоса давно сбросил, а надел из черного плиса рубаху с широкими и длинными рукавами, шитую на манер боярских. Золотой крест на цепи так и сверкал на черном плисе.

Верижники Никита и Гаврила, едущие в Ишим с Третьяком, потчевались отдельно. Лукерья соорудила для них стол на перевернутой кадушке, застланной дорогой скатертью.

За такой-то трапезой и застала гостей у Третьяка племянница Ефимия.

В суконной однорядке с перехватом у пояса, в черном платке, повязанном до бровей, с большим глиняным горшком в руках, Ефимия быстро и резко взглянула на всех от порога, как кипящей смолой окатила, и, поклонившись в пояс, молвила:

— Есть ли кому аминь отдать?

— Спаси Христос! — подхватил Третьяк, ответно кланяясь. — Слава Иусу — милости сподобились. Думал, запамятовала про дядю-то, зело борзо.

Ефимия открыла горшок поминальной кутьи и зачерпнула деревянной ложкой отваренную пшеницу:

— Помяни, дядя, убиенного сына мово Веденейку в нонешнее сорокоустное утро.

— Господи помилуй, запамятовал. — Третьяк размашисто перекрестился.

— Дай ложку — кутью положить. — И опять Ефимия будто черным хлыстом стегнула по упитанному и потному лицу Калистрата, по медной бороде Микулы и по пунцовому, отдохнувшему от невзгод лицу Лопарева и как бы невзначай глянула на стол, полный явств и вина.

Третьяк принял кутью в свою ложку. Лукерья тоже взяла и на два серебряных блюда попросила положить кутьи для дочерей, которых не было в избе.

Под Лопаревым будто горел сундук — до того ему было стыдно. А ведь знал: в сундуке украденное общинное богатство спрятано. И все-таки он не в силах был оторваться от сундука. Сколько же

спокойного презрения было во взгляде Ефимии! Так смотрят святые на великих грешников перед тем, как спровадить их в геенну огненну.

— Ты ли здесь, Александра Михайлович, который приполз к нам в общину, в цепи закованный?

Лопарев едва продыхнул стыд:

— Я, Ефимия, — и вышел из-за стола.

В глазах Ефимии — кружевной узор затаенной обиды и горечи.

— Прости меня, грешницу. Не признала тебя. Помянешь ли сына мово Веденейку, удушенного под иконами руками праведников Иусовых? Ты же не сидел в ту ночь на судной лавке, помянуть без злобы можешь. Ты же не ходил за Веденейкой в избу Ларивона, помянуть можешь. Глаза твои не зрили, как два кровожадных коршуна исполняли волю сатаны и три коршуна зрили то убийство с судных лавок, помянуть можешь! Ты же не вырвал посох из рук сатаны, когда над твоей головой закружилась черная смерть, и не ты кинулся спасти свое тело лютой хитростью! Не ты заставил апостолов петь тебе аллилуйю и не повесил себе на шею золотой крест сатаны. С тем крестом Филарет смертью смерть правил. Лжецаря тащил в Москву. Хитростью хитрость покрывал; и зло было, и горе было. Не царя надо было тащить на престол, а вольную волюшку. И ты, Александра, пошел против царя, против сатанинского престола, чтоб на Руси не зрили тьмы, а было бы утро и благодать. И за то заковали тебя в цепи. Помянешь ли сына мово Веденейку, праведник?

У Калистрата глотка пересохла и с лохматых бровей соль стала капать — до того он взмок.

Третьяк не посмел перебить племянницу, но готов был сожрать ее вместе с глиняным горшком паршивой кутьи: «Оглаголала, оглаголала духовника, паскудница!»

Хоть Ефимия не назвала имени Калистрата, да кому не понять, о ком реченье вела?

Лопарев взял со стола чеканенную ювелирщиком ложку, но Ефимия оттолкнула ее.

— Твоя ли это ложка? — спросила. — Твое ли здесь серебро и золото? Иль ты побывал в Московском кремле, во дворах князей Кусковых, Юрьевых, Скобельцыных и серебром запасся?

У Лопарева за плечами крещенский мороз — пробирает до позвоночника, до ребер.

— Прими кутью из моей ложки. — И поднесла сама ложку пшеничной каши. Лопарев быстро перекрестился... щепотью и сказал, что пусть душа Веденейки возрадуется в царствии божьем.

— Благодарствую, дядя, за поминки сына мово Веденейки.

— Нехорошо так, Ефимия, — остановил Третьяк, — от солнца глядишь, зело борзо.

Ефимия сверкнула черными глазами:

— Или в одной твоей избе солнце, дядя? Оно и у меня бывает, и по всей общине. Люди-то ропщут, слышал? И мукой обделяешь, и крупой, и мясом, и хороших коров раздал по богатым посконникам да себе под начало взял. Ладно ли так? Общиною живем, а у тебя вот на столе и яства, и вина, и сахар, и мед, и хлеб белый. Откель? Третьяк готов был треснуть от злобы.

— Кабы не племянница ты мне...

— Огнем сожег бы? Али ножом зарезал? Третьяк попятился от такого удара.

— Бесстыдно так глаголать, Ефимия! Я те отец опосля отца. А ты!.. Спаси Исусе! Болящая ты. Не от души реченье твое, а от болести. Прощаю то, зело борзо.

У племянницы передернулись пухлые губы.

— Али ты хошь приравнять Третьяка с голопузыми посконниками, которые жрать умеют, а на работу пуп болит? Общинное делим по разумению. Третьяку — долю Третьяка. Микуле — Микулину. Лодырю дам — лодырную. И того много.

— Хлеб-то общинный, дядя. И скот общинный.

— Дык што? Да не все люди одинаковы, говорю. А яства и вина на столе моем не общинные. На рухлядь свою выменял у купца. Также вот.

— Грешно, дядя, об одной оглобле в рай ехать. Третьяк с остервенением плюнул.

— Худая та птица, зело борзо, которая гнездо свое марает.

— Худая, дядя, худая, — поклонилась племянница. — Та птица коршуном прозывается.

Повернулась и пошла к двери.

— Погоди, благостная! — поднялся Микула. — Меня-то за што обошла кутьей? Али я душил Веденейку? Али воссочувствовал душителям?

Ефимия обернулась с порога:

— Вопль Акулины с младенцем слышу, дядя Микула. Вопит Акулина-то, вопит. Со чадом вопит. На небеси вопит! — Ефимия ткнула пальцем вверх. — Может, вспомнишь, дядя Микула, кто помогал Ларивону тащить Акулину с младенцем на огонь, и смерть стала? Вспомни да прокляни того мучителя. Радость тебе будет!

И — хлоп дверью. Серебро зазвенело...

Микула не сел — упал на сундук.

Лопарев быстро оглянулся и тоже — за дверь.

Калистрат вытер рукавом пот с горбатого носа и, опустив глаза, увидел на черном золотой Филаретов крест, икнул и перекрестил рот.

Молчали.

Верижник Гаврила вдруг вспомнил:

— Барин-то щепотью крестился, когда кутью ел.

— Кукишем, кукишем! — подтвердил Никита. Третьяк рад был сорвать зло на Лопареве:

— На барина понадейся — на веревке будешь али цепями забрякаешь, зело борзо. В общине проживает, а голову набок держит. Как-то будет опосля?! Уйдет из общины да заявится ко губернатору с повинной: вяжите, мол, да милуйте, из побега возвращаюсь с прибылью! Возьмите, скажет, сотню казаков, поезжайте в общину, и там пятьдесят семь каторжных скрывается, зело борзо. Сыскные собаки не взяли, а я вот, скажет, один всех накрыл. Хвально то будет. Хвально.

Каторжники Микула, Гаврила, Никита вытаращили глаза на Третьяка, переглянулись, будто сами себя увидели в цепях.

— Господи помилуй! — помолился Микула.

— Спаси Христос! — помолился Никита.

— Господи прости, я про то не раз думал, — помолился Гаврила.

Третьяк зло рявкнул:

— «Думали»! Не думать, а по-божьи надо: сатанинское — сатане спровадить, зело борзо.

Понимающе притихли...

— Прости меня, Ефимия!

— За что прощать? Али ты свое серебро разложил и сам себе гостей выбрал на праздничную трапезу?

— Ты — святая!

— Если бы я была святая, не так бы отпотчевала. Я бы дядю параличом разбила. И руки и ноги отняла бы. Чтоб он лежал на своих сундуках и не зрил, как свинья, неба!.. Тяжко на душе моей, Александра, когда вижу, как правит хозяйством Третьяк. И как он прибрал общинное золото. Сколько того золота, ведаешь? Сундучок видел? Более трех пудов золота в том сундучке! Филарет с Филиппом-строжайшим народ мытарили. Поморцев, рыбаков, пустынников гоняли за данью на Волгу и в Сибирь, чтобы скопить то золото, а потом на восстание поднять народ. На доброе дело копили, а коршуну в руки досталось, слышь. И тот коршун — дядя мой. Легко ли?!

— Как же быть?..

— Не ведаю. Ни умом, ни сердцем. Молюсь, молюсь, а тяжесть лежит на сердце. Еще буду молиться. До той поры, пока не настанет просветление.

— Ты и так за эти сорок дней столько молилась, что просто страшно. Надо подумать да поговорить с народом.

— Ох, Александра! Народ-то темный, забитый. То Филарет мучил и страшал, то хитрый Калистрат увещевает и тьмой глаза застилает.

— Тогда... уйдем из общины. Нельзя жить вот в такой малой общине, оторвавшись от всей жизни. Надо жить со всем народом, со всем светом.

— Не будет того!

— Но почему? Почему?!

— Община наша — спасение от мирской скверны. От царской и барской неволи. От царских судов и каторги. Нету, Александра, вольной воли за общиною. Али ты не в цепях приполз? Кто заковал тебя в цепи?

— Не все же в России закованы в цепи...

— Не все, не все! Потому — смирились и силу свою во зло себя обратили. Развратом живут, блудом, пьянством да лихоимством. Иные

по избам-клетям прячутся, как раки в речных норах. И то жизнь? И то вольная волюшка?!

— Неправда, Ефимия. Клянусь девятью мужами славы!.. Я знал в Петербурге людей благородных и высоких в деле. Я встречал Пушкина — стихотворца. Если бы ты знала, какие он стихи пишет! Есть честные люди в войске, в гвардии, в мореходстве. Да мало ли где!

— Не для меня то, Александра.

— Почему?

— Я кровью своей поклялась на греческой Библии, что никогда не уйду из общины. Словом, разумением своим, как умею, буду помогать бедным людям.

— Амвросий предал тебя!

— Не предал, не предал! Имя мое назвал в соборе. Как назвал? Не знаю. Пытку не перенес и назвал. Но не во зло мне. Кабы во зло, отрекся бы от еретичества и сидел бы в каменном подвале. А его сожгли и пепел развеяли по морю, значит, не отрекся. И я не отрекусь от своей крови.

— Не знаю, что тебе сказать. Вижу, так жить нельзя. Сама подумай: уйдете в тайгу, и будет та же крепость, как при Филарете. Сейчас Калистрат и Третьяк, а потом...

— Молиться буду, молиться! И бог пошлет мне просветление. Верю, господи! Верю!..

А Лопареву послышалось: «Не верю, не верю! Есть ли ты, господи?..»

— Пойдем, погляди, как люди живут...

Спустились в землянку. Спертый затхлый воздух и сумерки среди бела дня. Вместо двери — камышовый полог вполроста. Лопарев вдвое согнулся, пролезая в землянку за Ефимией. Ни лежанки, ни рухляди. Сразу от порога — дымная печурка. Сверху — дыра в накатном потолке, чтобы дым из печурки выходил на волю. На умятом сене — пятеро малый полуголых ребятишек, девочки или мальчики, не разглядеть впотьмах. Три сколоченных плашки вместо стола. Чугуны, пара кринок, краюха углистого хлеба, состряпанного вместе с охвостьями и землей. Старуха и молодая баба упали на колени:

— Благостная, благостная!

— Что же вы на коленях? Сколько раз говорила!.. — Ефимия назвала по имени и отчеству старуху и молодую бабу в поскони и,

открыв горшок, угостила кутьей.

Помянули Веденейку. Ефимия спросила:

— Хлеба-то у вас, видно, нету?

— Есть, есть, благостная! Слава богу.

— Напополам с землей?

— До нови, до нови терпеть надо.

— Молоко берете от общинных коров, или у вас на семью корова?

— Нету молочка-то. Нетути. Батюшка хозяин сказал: масло копить надо для торга.

— У вас же была корова?

— На общину взяли. Батюшка хозяин повелел.

— У вас же мужик и два парня. Где они?

— Сено мечут у пригонов.

— Господи! Разве на таких харчах можно работать?

— Отчего ж, благостная? Сила-то не от харчей, а от молитвы.

Молюсь вот. Денно и ночью, — тараторила старуха.

Лопарев погорбился от ужаса. Какая же неопишная покорность и смирение! «Так повелел батюшка хозяин!» Третьяк, значит.

И в следующей землянке то же самое. Сумерки, хламье и нищета беспросветная. Вместо старухи — болезненная баба да трое ребятишек, один другого меньше. Такой же крохотный столик, краюшка землистого хлеба и надрывный, чахоточный кашель хозяйки.

— Ну, а мужик где? — На общинной работе, благостная.

Лопареву послышалось: «На барщине». Не у помещика Лопарева, а у злодея Третьяка!..

И еще одна землянка, и еще... Нищета, нищета. Сумерки. Забвение и молитвы. Раболепная покорность.

— Я больше не могу, — отказался Лопарев от пятой землянки. — Не могу, не могу! Это же, это же кошмар! Нищенство!

Ефимия печально вздохнула:

— Нищенство — не грех, коль все нищи. Да не все в общине худо так живут — то грех. Один — три куска. Говорят, мало! Дай еще три. Другим — ни одного, не ропщут, молятся...

Заглянула в горшок — кутьи осталось на доньшке.

— Пойдем, Александра. Есть еще одна изба, куда мне не пойти одной, ноги не понесут. А идти надо.

Ефимия молча повела к берегу Ишима и свернула к избе Филарета.

— Да ты что, Ефимия! — остановился Лопарев.

— Надо. Надо. — И подошла к сенной двери. Толкнула — дверь закрыта изнутри. Лопарев двинул в дверь ногой, и тогда кто-то вышел в сенцы.

— Кто там?

— Это ты, Лука? Открой мне, Ефимии. Иду с поминальной кутьей.

— Кого поминаешь?

— Сорокоуст по убиенному Веденейке.

Молчание. Верижник, наверное, думает: открыть ли? Лопарев еще раз толкнул ногой дверь.

— Батюшка Калистрат наказал, чтоб я никому не открывал. Помяну Веденейку без кутьи.

— Али ты еретик, Лука?

— Пошто еретик? Пустынник.

— Как ты мог запомнить, пустынник, что перед поминальной кутьей все двери открываются настежь? И кто дверь не откроет, тому всесветное проклятье, яко еретику. Открой сейчас же! Или я подниму всю общину и выставлю тебя на судный спрос как еретика.

— Иисусе Христе! — перетрусил Лука. — Погоди маненько, благодная. Я сейчас!

Ждали долго. Лопарев со всей силы начал бить в дверь. Лука наконец вернулся и, чуть приоткрыв дверь, протянул глиняную чашку для кутьи.

Ефимия отстранила чашку.

— Старцу несю поминальную кутью, — сказала и рукой толкнула дверь. Лука попытался закрыть, но Лопарев нажал и оттеснил Луку.

И каково же было удивление Ефимии, когда на лежанке верижника Луки она увидела мордастую, льноволосую, не первой молодости вдовушку Пелагею!

— Ах ты блудливый кобель! — накинулась на Луку. — Такой-то ты пустынник? Среди бела дня да в покаянной избе, где людей жгли железом и смертью пытали!.. Чтоб глаза твои треснули, козел ты бородатый! Для святой кутьи двери не открыл, а блудницу на постель положил!

Лука бух на колени да к ногам Ефимии:

— Помилуй меня, грешного! Околдовала меня блудница, околдовала. Крестом не отмолился и батогом не отбился!

— Врет, врет, кобелина! — подскочила Пелагея. — Сам заманил меня, штоб я зрила, как он будет беса гнать из сатаны Филарета.

Только сейчас Ефимия взглянула на Филарета. Не признала даже, до того старик переменялся. Будто ссохся за сорок дней — кожа да кости. Сидит на лежанке сгорбившись и неотрывно глядит на Ефимию. Что было в его взгляде? Страх ли? Отчаяние? Или позднее раскаяние в злодеяниях?

— Беса гнал? — не поняла Ефимия.

— Гнал, гнал! — застегивала Пелагея кофту. — Плетью лупил да приговаривал: «Алгимей, алгимей!»

На столе ременная плеть.

Ефимия взглянула на пять большущих костылей в стене. Давно ли она висела на этих костылях и Филарет с апостолами терзал ее тело, плевал в душу?

Три шага. Всего три шага до лежанки старца! Но как тяжело пройти три таких шага!

Железная цепь. Руки Филарета в рубцах и кровавых полосах. И на лице такие же полосы. Не чуя под собою ног, Ефимия подошла вплотную и взглянула на согбенную спину старца. Вся посконная рубаха запеклась от крови. Но сегодняшней, давнишней. Вот как обернулась для Филарета его собственная крепость!..

Ефимия хотела сказать Филарету, что она прокляла его, и пусть он отведаст кутьи по удушенному внуку, и пусть кутья застрянет у него в горле. Но ничего не сказала.

— Батюшка Калистрат повелел лупить, — оправдывался Лука. — И Третьяк также приходил и лупил сатану. И чтоб я кажинный день споведывал мучителя.

— Мучителя? — У Ефимии задрожали губы. — Все вы треклятые мучители! И нету у вас ни совести, ни сердца, ни души! Сатано вас породил на белый свет, и сгинете, яко не бымши, — и ткнула пальцем в грудь Луки. — Пусть тебя на том свете так же лупцуют бесы, как ты...

И, не досказав, быстро ушла из избы, так и не угостив никого кутьей.

В избушке Ефимии гостевали старухи — поминали Веденейку. Лопарев поклонился старухам, остановившись возле порога.

Стены избушки увешаны сухими целебными травами. Глинобитная маленькая печь, сработанная Мокеем, ухваты, кочерга, чугуны, медный самовар, чайник, глиняные кринки. Пол застлан ковыльным сеном, а поверх сена — самотканые половики. На лежанке гора пуховых подушек, цветастое одеяло, на крючьях зимние шубы.

Войдя в избу, Ефимия молча сняла иконку богородицы с младенцем, поклонилась старухам:

— Благодарствую за поминание сына моего Веденейки. А теперь ступайте. Я молиться буду.

Старухи ушли.

Она будет молиться! До каких же пор? С ума сойти можно!

— Послушай меня, Ефимия!

— Не говори, не говори. В душе у меня черно и камень лежит. Нету силы жить, Александра. Нету! Зреть народ во тьме да в забвении тяжко. Тяжко! Не зри меня. Ступай.

Она была, как мечта, вся из противоречий. Ее нельзя было судить, как не судят малое дитя за ослушание.

— Ефимия!..

— Поцелуй меня и ступай.

Лопарев схватил ее, прижал к себе и все целовал, целовал в щеки, в глаза, в губы, куда попало. Иконка упала на пол.

— Пусти, пусти! Богородица пречистая, помоги мне!

— Я не оставлю тебя. Не оставлю. Довольно молитв. Хватит! Жить надо. Жить, жить! Вспомни, какая ты была в роце. Тогда ты вся светила, как солнце!

— И солнце в тучи заходит.

— Не вечно же оно бывает в тучах?

— Не вечно. Может, и на моей душе настанет просветление. Погоди.

— Вместе будем ждать. Я же муж твой. Ты же сама сказала, что я муж твой. Или забыла?

— Нету покоя на сердце, Александра! Нету. Одной надо побыть. Не хочу, чтоб ты зрил меня в смятении да в тумане. Пусть я для тебя буду всегда как небо без туч.

— Тогда не гони меня.

— Не буду гнать, не буду. Только дай мне отстоять всюнощную молитву.

— Нет, нет, нет!

— Молю тебя, дай мне одну ночь! Одну ночь! На теле моем сошли коросты от огня, и рана зажила от посоха сатаны, а в душе раны кровью точат. Те раны закроются, если богородица пречистая услышит мою молитву.

— Ты же столько молилась, а разве она услышала?

— Услышит, услышит!

— Будем вместе молиться. Вместе!

— Нет, нет, нет! Нельзя молиться вдвоем, коль души разные. Ищу я, ищу, а чего — сама не знаю. И нет мне покоя. Ты видел, как люди по землянкам живут? В коростах, голодом и холодом, а дядя Третьяк обжирается да бедных мытарит. Таковую ли я крепость просила у господа бога, когда на костылях прокляла Филарета-мучителя?

— Есть одно спасение — уйти из общины. Послушай меня...

— И не говори! Не совращай, Александра. Или ты сам от сатаны народился? Как я могу уйти, если кровью поклялась? И как уйти от бедных людей, которым я помогаю лечением? Неможно! Нет, нет!

— Если ты поднимешься против Третьяка и Калистрата, они убьют тебя, Ефимия. Неужели ты этого не видишь?

— Не убьют! Не убьют! Разве убил меня Филарет? Огнем жег, посохом ударил, да мимо!.. А что теперь? Сам в рубцах и в крови. А я живая. И жить буду. Дай мне одну ночь. Одну только ночь!

— Если ты меня сейчас прогонишь, я пойду, подниму общинников и скажу, что Третьяка с Калистратом надо прогнать из общины.

— Ой, ой! Что ты! Никого, никого не поднимешь, а сам себя погубишь. Нельзя так.

— А как надо? Как?

— Не ведаю. Буду молиться.

— О!..

— Не мучай меня, жену свою. Дай мне одну ночь.

— О!..

И, как пьяный, вышел из избы.

Долго стоял на берегу Ишима. Чужой он, чужой в общине. И никогда не сумеет быть своим для таких вот темных и забытых людей.

И даже Ефимию не понимает.
«Уйти мне надо. Уйти!» Но куда?!

VI

Попутный ветер толкал Мокея в спину да насвистывал: «Сибирь, Сибирь!»

— И без того ведомо: Сибирь. Да не пропаду, может? Ехал, ехал — и все один на тракте. Пустынность. Под вечер показался встречный обоз. На телегах везде тюки с шерстью, навьюченные под бастрики. В каждой телеге пара лошадей. Мокей поздоровался с купеческими обозниками и попросил воды.

— Эко! Уграздило тя, — миролюбиво проворчал усатый мужик с бритыми щеками и крикнул первой подводе: — Попридержи, Захар! Человек воды просит.

Обоз остановился. Усач налил из лагуна воды в медную кружку и подал Мокею. И все это без креста и спроса, не то что в общине батюшки Филарета.

— Далече едешь, паря?

— На Енисей-реку.

— В тридевятое царство, можно сказать! А мы вот, паря, из Ишима тянемся на Тюмень. На ярманку поспеть надо. Ноне богатящая ярманка будет.

Что за ярмарка? Мокей не знал. Думалось, вся Сибирь голая, как ладонь, да каторжная. А вот тянется обоз из Ишима на осеннюю ярмарку.

Вспомнил, как ехал с единоверцами ходоком на Енисей и далеко объезжали сибирские городишки, чтоб не опаскудиться среди щепотников. Изредка навевались в деревни за хлебом и мясом и то боялись как бы не оскверниться. А ведь и в городах люди живут, только без свирепости, без огня. «Филипп-то как пожег единоверцев!» И будто перед глазами поднялось языкастое пламя сосновых срубов и оттуда, из огня, несло радостное песнопение...

Как же так? Одни живут вольно, походя не крестят лоб, не творят всеобщих служб и не думают, что они великие грешники и что им уготована геенна огненная; другие сами себя терзают, носят вериги, орут о спасении. А от кого спастись?

Как осенние листья падают с дерева, так постепенно Мокей отряхивал страхи господни, запреты, жадно приглядываясь к людям.

Долго гостевал в Ишиме — малом деревянном городишке на бойком тракте.

На постоялом дворе Мокей спал под сенным навесом со щепотниками, кои кукишами крестились, табак смолили, аж дым из ноздрей валил, и в бога ругались до того отчаянно и срамно, что у Мокея дух захватывало.

От общения с проезжим текучим людом у Мокея голова кружилась: до чего же разный народ проживает на белом свете! И татары, и киргизы, и чалдоны, и все текут, бурлят, каждый разматывает собственную жизнь, нимало не беспокоясь: угодно ли то Иисусу. Или он морду отворотил от такого народа?

Заглянул Мокей в киргизскую харчевню. Дивился, как люди в теплых бешметах жрали барана на большущем медном блюде, хватая мясо руками, и сало текло им до обнаженных локтей. Табак жевали и тут же плевались на пол. Срамота! А живут же, живут!

«Нету бога, нету! — оседало решение, и Мокей, обретая новую силу, не знал еще, куда ее употребить. — Кабы подружил Ефимия со мной, и сатано не одолел бы нас!..»

Но подружии Ефимии не было.

VII

Под вечер в субботу на постоялый двор заехал ночевать обоз омского купца Тужилина на пятнадцати подводах. Всю ограду забили телегами с кладью да еще три телеги остались на улице возле ограды.

Красномордый купец в яловых сапожищах по пахи, в суконной поддевке под красным кушаком шутики ради вызвал охотников бороться и четырех мужиков положил на лопатки.

— Налетай, теребень кабацкая! Спытай силушку! — куражился купец, бритощекий и бритоусый.

Мокей посмеивался себе в красную бороду: поборол бы купчину да вот беда — обличность у купца бабья. Купец и сам заметил Мокея возле крыльца:

— Эка бородища огненна! Не хошь ли силушку спытать? Поборешь — рублем одарю. Не поборешь — нужник заставлю

чистить.

Купеческие возчики с подрядчиком и постоянными людьми тормозили Мокея: спытай, мол, не под бабой лежать!

«Сатано в искус вводит, — думал Мокей, — али я убоюсь нечистого? Отринул самого бога и нечистого такоже отрину!»

Купец наседал:

— Ай-я-яй, борода! Плечищи-то эвон какие, а силушка мякинная, што ль?

Долговязый подрядчик в поддевке верещал в самое ухо: — Не бойся, мужик. Гаврила Спиридоныч жалостливый — не убьет небось. Полежишь маленько на лопатках, а нужник ночью почистишь. Чаво там! Плевое дело.

— Спытай, паря! Спытай! — подталкивали купеческие возчики.

Купчина махнул рукой:

— Ладно, борода! Не будешь нужник чистить. Дам тебе урок: на Ишим за водой с ведрами на коромысле сходишь, бабье дело справишь.

Мокей решил: если сатана вызывает на бой, ничего не поделаешь, надо помериться силой. И вышел на круг. Боднул купца глазами:

— Обличность у тебя бабья, купец. Хоть бы усы сберег, чтоб зрить: не с бабой ли буду бороться?

Возчиков смех прошиб. Купчина рявкнул:

— Чаво ржете, мякинные утробы? А ты, борода, погоди зубоскалить. Погляжу на тебя, как ты под бабой ногами сучить будешь!..

— Не замай! — остановил Мокей. — Ты дал урок, теперь мой урок слушай. Веруешь в бога?

Купец вытаращил глаза:

— Давай бороться, а не лясы точить.

— Скажи наперед: веруешь в бога али нет?

— Ну, верую! — И купец перекрестился... двоеперстием! Мокей испуганно отшатнулся: «Единоверец! Мыслимое ли дело? Бритощекий и бритоусый! На постоялом дворе — да в единоборство со щепотниками?»

— Али ты старой веры?

— Твое которое дело, какой я веры? Моя вера самая праведная.

Мокей глухо проговорил!

— Тогда пускай тебе, купец, твоя праведная вера поможет на спине не лежать. А я тебя без бога бороться буду, слышь?

Мужики притихли: к чему речь такая? Бога-то не надо бы трогать.

Купчина не сразу сообразил, что ему сказал бородач.

— Как так без бога? Или нехристь?

Мокей чуть призадумался: кто же он теперь, отринувший бога? Как ни суди, а крещен на самой Лексе.

— Хрещен, да... отринул, — натужно вывернул Мокей. Врать он не сподобился. Что думал, держал на сердце, то и на язык ложилось. Гольшком шел по миру, глядите, мол, весь тут.

— Кого «отринул»? — донимал купчина.

— Бога.

Мужики возле телег испуганно забормотали. Шутейная борьба, а разговор-то вышел не шутейный. Безбожник объявился на постоялом дворе.

— Бога?! — собрался с духом купец. — Да ты татарин али хто?

— Не зришь, что ль? Русской, а веры был старой, христианской, какая опосля Никона в Поморье да в скитах сохранилась. Да я отринул то. Веру, и бога, и самого Иисуса, Как не бымши.

— Кто «не бымши»? — тарашился купчина.

— Иисус не бымши. И бог такоже. Придумка книжников да глагол верижников, какие умом рехнулись. Вот и побори меня, купец, да не один, а с богом, со Иисусом, в какого веруешь, хоша и борода у тебя нету. Бабья образина-то. А я без бога положу тебя, знай!

Мужики глухо проворчали: шутка ли — изгальство над богом над Иисусом Христом (для них не Иисус, а Иисус)! Кто-то сказал, что надо бы проучить рыжую бороду да пинками надавать из ограды. Купца тоже пробрало до костей. Озверел.

— Без бога, гришь? Без Иисуса? — и, оглянувшись на мужиков, призвал: — Будьте свидетелями, православные христиане! Биться буду с безбожником смертным боем. Слышали, как он святотаствовал? Кто экое потерпит?!

— Бить, бить надо!

Мокей ничего не понимал. Только что собственными ушами слышал, как ругались и в бога и в мать богородицу, и вдруг все ополчились на него, как на волка.

— В бога материтесь, а за бога...

Мокей не успел досказать — купчина ударил в скулу. Чуть с ног не слетел.

— Лупи его, Гаврила Спиридоныч! Лупи!

— Смертным боем безбожника...

— Под сосало ему, под сосало! — орали со всех сторон.

На крыльцо из постоянного дома и из трактира на верхнем этаже выбежали сенные девки, целовальник, заезжий лабазник, трактирщик, и все они подбадривали купчину Гаврилу Спиридоныча, чтоб он проучил смертным боем бородатого безбожника.

VIII

И пошло, завертелось, закружилось возле крыльца!..

Схватились грудь в грудь, отскакивали, снова сплывались, хватали друг друга за глотки, но держались на ногах.

Мужики со стороны, особенно возчики и приказчик, поддакивали купцу Гавриле Спиридонычу, готовые сами ввязаться в драку и отбить почки и внутренности безбожнику.

Со всей улицы сбегался народ к постоянному двору. Глазели, дивились, возгораясь жаждою настоящего смертоубийства. От одного к другому, как по веревочке, несло, что купец бьется смертным боем с безбожником, какого свет не видывал.

Мокей собрал всю свою силушку и сноровку в драках, чтоб не поддаться купчине, а положить бы его на лопатки без кровопролития да прижать к земле, чтоб он пришел в сознание.

— Без бога, гришь? Не бымши, гришь? — осатанел купчина и, изловчившись, ударил Мокея в нос и в губы — кровь брызнула. Заехал, как кувалдой. И тут терпение Мокея лопнуло. Ахнул купчину в скулу — челюсть вывернулась. Падая, купец ударился затылком о железную чеку возле ступицы заднего колеса телеги и руки раскинул.

— Убивство! Убивство, православные! — заорал приказчик.

— Сусе Христе! Сусе Христе!

— Станового позвать! Станового!

— Вяжите разбойника!..

Мокей отпрыгнул к телеге, возле которой лежал купец, крикнул:

— Не я лез с кулаками, али не зрили?!

Кто-то запустил половинкой кирпича. Мокей успел уклониться и кирпич угодил в купца — башку проломил.

Приказчик успел достать ружье, или ему кто подал, Мокей того не знает и не сообразил даже, что было прежде: грохот ли выстрела или сильный толчок в правое плечо.

Выстрел из ружья образумил всех...

Сенные девки, подобрав длинные сарпиковые юбки, с визгом побежали на второй этаж постоялого дома, а за ними — лабазник, трактирщик, а целовальник кинулся прочь из ограды. Вскоре в ограде остались только возчики купеческого обоза и долговязый приказчик с ними.

— Шутейно, шутейно, а тут — на тебе! Смертоубийство! — бормотал один из возчиков.

— Шутейно? Али не видели, как разбойник кирпичом саданул по голове Гаврила Спиридоныча?! — подсказал приказчик, и возчики, сообразив, притихли: кирпич-то запустил один из них, свой брат.

Прислонившись к телеге, ухватившись за пораненное плечо, Мокей качал головою. Разве он зачинщик драки? Разве он ударил кирпичом? «Убивец, убивец!» — кричат. Кто убивец? Он. Мокей? Да как же это так! «Неможно то, невозможно. Напраслина», — ворочалась трудная мысль, как вдруг в ограду беркутом влетел становой пристав, усатый, как морж, и шашку из ножен, а за ним два стражника с ружьями.

Приказчик и возчики купеческого обоза одним дыхом гаркнули, указав на Мокея: — Убивец!..

Мокей слушает и не понимает: оказывается, он сам полез с кулаками на купца Тужилина за то, что тот верующий в бога, а он, Мокей, безбожник, потому и убил купца кирпичом. И что приказчик, защищая себя и возчиков от разбойника, выстрелил в Мокея из ружья.

— Не убивал купца! Не убивал! — проговорил Мокей, но становой пристав не стал слушать.

— Связать!..

Стражники, выставив ружья, крикнули долговязому приказчику и возчикам, чтоб те скрутили веревками разбойника.

— Неможно то! Неможно! Напраслина!

— Заррублю, собака! — И шашка станового пристава взлетела в воздух.

Мокей шагнул под шашку:

— Руби, сатано! Руби!

Пятеро возчиков с приказчиком еле совладали с Мокеем, хоть тому и подбили правую руку. Мокей отпинавался, повалил трех себе под ноги и кинулся было бежать через телеги, но его схватили, повалили между двух телег и связали.

Суконная однорядка Мокея прилипла к окровавленной рубахе. Становой пристав послал за лекарем и за урядником.

Когда явились лекарь и урядник, прежде всего подняли тело купца Тужилина, составили протокол об учиненном смертоубийстве заезжим на постоялый двор, разбойником, у которого не оказалось ни подорожной, ни вида на жительство и он не назвал ни своей фамилии и ни того, откуда и куда едет. По всем видам — чистый варнак. Потом лекарь промыл и перевязал огнестрельную рану на плече Мокея, и тогда уже стражники отвели арестованного в острог.

Если бы Мокей сказал, что он из общины поморских раскольников, переселяющихся на Енисей, тогда бы, возможно, не определили его сразу в разбойники и в беглого каторжника, по понятным причинам скрывающего свою подлинную фамилию и место постоянного жительства.

Становой пристав знал, что в семидесяти верстах от города, на берегу Ишима, остановилась община раскольников из далекого Поморья. Было предписание тобольского губернатора учредить строжайший надзор за общиною еретиков, именующих царя анчихристом и совершающих молебствия по уставу раскольничьего Церковного собора.

Становой пристав с урядником и стражником дважды навестили общину, разговаривали с духовником Филаретом и строго упредили, чтоб никто не отлучался от общины без его дозволения и, самое главное, поскорее бы убрались с берегов Ишима подальше от Тобольской губернии. «Отправляйся на Енисей, там места хватит для всех еретиков». Пусть, мол, раскольниками ведает енисейский губернатор Степанов.

И вдруг следователь Нижней земской расправы Евстигней Миных, толстенный, щекастый, с ехидными ноздрями человек, не мытьем, так катаньем лезущий в чины губернского земского суда, чтоб перемахнуть из Ишима в Тобольск, ошарашил станowego пристава

нежданным сообщением: разбойник, учинивший смертоубийство, как о том показали возчики купеческого обоза, сказал, будто он «отринул старую веру, поморскую», а значит, не из той ли он общины еретиков, какая с прошлой осени поселилась на берегу Ишима?

Становой пристав замахал руками:

— Ну, батенька ты мой, перехватил, перехватил! Знаете ли вы тех космачей? Это же не люди, а бревна неотесанные. Как свалили с пней, такими в мир пошли. В сучьях, лохматыми, неотесанными дикарями. Видел я их, батенька ты мой, и скажу вам по секрету: если бы вас хотя бы на неделю оставить в той общине, вы бы пардону запросили. Да-с, милостивый государь! Сие вам не Петербург! Они бы вас уморили на всенощных молениях и раденьях, и вы бы продолбили себе лоб двумя перстами. И на коленях накатали бы вот такие мозоли. Ха-ха-ха!

Евстигней Миныч не сдавался:

— И все-таки, смею заметить, образина разбойника раскольничья. И борода, и сам этакая непроходимая дикость!

— Беглый каторжник, вот кто он, батенька ты мой, — заявил сведущий становой пристав. — Верное слово, каторжник. И если угодно, на его совести не мало убийств! Обратите внимание на мешочек, в котором разбойник хранил деньги. Из какой кожи сшит, как вы думаете?

Евгений Миныч над этим вопросом еще не задумывался.

— Из человечесьей кожи, батенька ты мой. Да-с! Есть такой обычай у вечных каторжников: если они кого заподозрят в предательстве, то мало того что удушат раскаявшегося в злодеяниях, так еще живьем сдерут со спины кожу и шьют потом из этой кожи подобные мешочки. Да-с! Звери, батенька ты мой. Соблаговолите узнать, из кожи какого каторжника мешочек у разбойника. Тонкими намеками, так сказать, паче того — хитростью, Евгений Миныч, Да-с!

Евгений Миныч ушел от станowego изрядно посрамленным и долго потом сидел в своем кабинете, разглядывая и так и сяк злополучный мешочек разбойника.

Странная штука: шкура мешочка шершавая, чуть желтоватая, пупырчатая, наподобие змеиной. Не может же быть, чтобы человеческая кожа была вот такая пупырчатая, изжелта? Или кожа вечных каторжан именно такая, и он, Евстигней Миныч, человек из Санкт-Петербурга, не знает еще всех тонкостей каторжанской кожи?

Делать» нечего, надо установить, из кожи какого каторжника сшит мешочек, и постепенно, исподтишка допытаться, кто же он, сам разбойник? Многих ли он отправил на тот свет после побега с каторги? Один ли он орудует в Приишимье или где-нибудь у него есть разбойничья ватага?

IX

Трудную ночь провел Мокей в остроге. Мало того что правой рукой не пошевелить и плечо вспухло от раны, так еще клопы донимали. Не видывал, чтоб паскудность ползала целыми полчищами! По стенам, по голым доскам, заменяющим кровать, и сыпалась с потолка, как чечевица. Мокей отряхивал клопов с рубахи, давил с остервенением и всю ночь топтался на ногах.

Думал и про убиенного купчину. Не он же убил! Навет — чистое дело. Должны же подтвердить мужики, что спрос учинят трактирщику. Мокей видел его на крыльце. И сенных девок спросят. Те обязательно скажут, кто кинул в Мокея кирпич и угодил в башку купчине.

Утром в бревенчатую каталажку явился урядник при шашке, а с ним пятеро стражников с ружьями. И цепи принесли. Благо, в этапных тюрьмах от Санкт-Петербурга до Тихого океана не было недостатка в кандалах.

— Неможно то! Неможно! За безвинность в цепи не куют! — отпрянул Мокей, но его прижали к стене и, как он ни сопротивлялся, связали, а потом пришел кузнец с инструментом и оборудовал Мокею обновку от царя-батюшки — век не износить.

Когда вывели Мокея из каталажки, само небо будто лопнуло от негодования за учиненную несправедливость и ударило громом. Стражники с ружьями перекрестились. Мокей обрадовался: гремит небо-то, гремит!

«Хоть бы прибило!»

Громом не прибило, а дождем прополоскало. С бороды ручьями лилась вода. С войлочного котелка дождь лился за шиворот. Плечо заболело от взмокшей повязки, но Мокей не обращал внимания: не такое переживал!..

В новом деревянном доме Нижней земской расправы Мокея встретил следователь Евстигней Мипыч до того радостно, будто к

нему привели не убийцу-разбойника, а ближайшего родственника.

— Милости прошу ко мне в присутствие. В кабинетик. В кабинетик, — приглашал Евстигней Миныч, и даже лысина его стала розовой от умиления. Сам распахнул дверь кабинета, куда и ввели Мокея, усадив у стены на деревянный стул.

Один из стражников попросил дозволения выйти в коридор и там закурить.

— Закурить? — Евстигней Миныч хитро прищурил зеленоватые глазки. — Курите здесь, в присутствии. И угостите человека, — показал рукою на Мокея.

— Не потребляю, — отказался Мокей.

— Не курите? Или бросили?

— Отродясь не курил.

— И водочку не потребляете?

— Не потребляю. Срамно то.

— Ах, вот так! Совершенно правильно — срамно. Я придерживаюсь такого же мнения. Не курю, не пью. Потому — родитель мой держался старой веры. Слыхали про такую веру?

— Отринул то.

— Кого «отринул»? Старую веру?

— Бога со угодниками и со Иисусом также. Как не бымши.

— Безбожник окаянный, — проворчал стражник. Евстигней Миныч строго заметил стражнику:

— А вот этого я вас не просил делать: вставлять ваши замечания. Попрошу впредь молчать.

— Слушаюсь, ваше благородие.

«Эко благородие лысое да мордастое!» Мокею впервые в жизни довелось встретиться с представителем власти Российской империи, и он еще не знал ни чинов, ни рангов людей, вершащих расправу над нижним сословием — крестьянами.

— Начнем с вашего кошелька. — Евстигней Миныч показал Мокею мешочек. — Из какой кожи он сшит, любезный?

Мокей подумал: отвечать или нет на спрос? Если бы он был в общине единоверцев, понятное дело, молчал бы. Ну, а тут как быть?

— Пошто в цепи заковали? Не убивец я! Евстигней Миныч сладостно пропел:

— Но ведь купец Гаврила Спиридоныч Тужилин убит? Не так ли? Понятное дело, в драке. Но ведь убит.

— Не я убивец, говорю. Откель кирпич у меня взялся бы?

— Вот я и буду вести дознание, чтоб установить, кто же убил купца. И если вы невиновны, будете оправданы и цепи снимут. Но для того чтобы доказать, что вы не убийца, дознание должно установить, кто же истинный убийца.

— Возчик купеческий шибанул кирпичом. Такоже было.

— Прекрасно. Так и запишем в протокол. Но прежде всего надо установить, откуда вы приехали в Ишим, куда едете и где взяли вот этот кошелек с тремя золотыми и серебром три рубля с пятиалтынным. Откуда такие деньги?

— Того не будет.

— Чего не будет?

— Дознания. Ни к чему то, скажу. Еду по Сибири место глядеть. Более ничего не скажу, благородие.

— А вот кошелек ваш сказал нам кое-что, представьте! Он сшит из кожи убитого каторжника. Не так ли?

— Эко! Умыслили. Из лебединой кожи шит.

— То есть как из лебединой.

— Из лебедей, какие в Поморье залетают. На озера там.

— Так вы из Поморья? Молчание.

— Это же очень далеко!

— Не близко.

— Так и ехали один?

И тут Мокей признался:

— С общиной ехал. От самого Поморья. И па Енисей потом ездил место глядеть. Возвернулся в общину, и беда пришла: сына мово Веденейку, чадо милое да разумное, старцы-сатаны под иконами удушили!.. Оттого и бога отринул. За душегубство то. И ушел из той общины, яко не бымши там.

— Удушили сына? Вашего сына? Веденейку? Но за что же? За что?

— За туман тот, за бога того! Под иконами на тайном судном спросе удушили!.. Чадо мое махонькое, благостное, по шестому году! Яко от еретички народился. И бог то зрил и силу дал душителям!..

Евстигней Миныч посочувствовал:

— Сына вашего! Веденейку! По шестому году... Какое горе!

Мокей ответил стоном:

— В грудях кипит. Исхода не вижу от такого горя. Туман будто перед глазами.

— Понимаю, понимаю...

Евстигней Миныч обрадовался. На первом же допросе тонким ходом он раскрыл преступника: кто он и откуда! И мало того, получил ошеломляющее сообщение об убийстве ребенка в общине еретиков. Это же дело для Верхней земской расправы! Губернатору доложат, и он, Евстигней Миныч, сразу вырастет на целую голову. Как же будет посрамлен становой пристав, почитающий себя за знатока каторжан!.. Надо сию минуту идти к исправнику и сообщить потрясающую весть. А там — выезд с исправником в общину раскольников, дознания, и под стражу возьмут не только одного разбойника!..

— Вы сказали, что сына вашего Веденейку удушили под иконами на тайном судебном споре. Но, помилуйте, что же мог отвечать ребенок?

Мокей спохватился, да было поздно.

— Про чадо мое спору не будет, благородие. Мое чадо — мое горе. Не вам то ведать.

— Как же так не нам? Кто же должен наказать преступников?

Мокей подумал. В самом деле, кто же должен наказать душеителя Веденейки? Бог? Мокей отринул бога. Общинники? Они готовы были растерзать самого Мокея. И убили б, если бы не подросла подружия Ефимия.

— Мое горе со мной в землю пойдет, — решил Мокей. Нет, он не назовет никого из общины. Ни подружии, ни бесноватых апостолов, ни Третьяка с Микулой.

— Так, значит, вы из общины раскольников, которая остановилась у Ишима?

— Про общину спора не будет.

— Как так не будет?

— Не будет, и все. Про купца спрос ведите.

— Нет, нет, любезный. Прежде всего мы установим вашу личность, опознаем, возьмем под стражу душеителей вашего сына Веденейки, а тогда и про убийство купца будем говорить.

— Не будет того! Не будет! — гаркнул Мокей.

— Позвольте нам знать, как вершить дознание!.. Евстигней Миныч потирал руки. Он сейчас явится к исправнику — и тогда...

ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ

I

Ефимия молилась, молилась...

Кутаясь в суконное одеяло, подложив под ноги Мокееву меховую тужурку, не поднималась с коленей седьмые сутки. Рядом поставила глиняную обливную кружку и медный чайник кипяченой воды, сухари в плетеной корзиночке, вот и вся снедь для епитимьи. Теряя силы, падая головой в землю, мгновенно засыпая. Час-два забытья, и снова молитвы и земные поклоны. Ноги то деревенели, то отходили. Правая рука до того отяжелела, что с трудом подымалась, чтобы наложить крест. Много раз прочла по памяти Псалтырь, откровения апостолов, а просветления не было.

Виделся Веденейка. Кудрявый, говорливый, как первозданный ручеек в камнях, синеглазый, как Мокей. Вспомнила, как Филарет гнал ее от сына, чтоб не искушала чадо. Но она постоянно тянулась к сыну, и Марфа Ларивонова помогала в том. Веденейка у груди лежал, как вечное тепло, чем жива мать.

Удушили Веденейку...

«Под Исусом удушили. И бог то зрил и силу дал душителям...»

Чадно. Жутко.

«Есть ли ты, боже?!»

Ни ответа, ни успокоения.

В переднем углу на божнице не осталось ни одной иконы, какие когда-то повесил старец Филарет. Ефимия убрала их, упаковав в дерюжку, и перевязала веревкой.

Молилась только своей иконке — богородице с младенцем.

Если свечи, догорая, гасли, Ефимия ползком добиралась до лавки, зажигала новые, ставила на божницу, опять падала на колени, отползая на свое место.

Трижды за неделю в избушку стучался Лопарев.

— Ефимия, ради бога, открой! Ты же уморить себя па молитве! Разве это нужно богу, подумай? — увещевал он, получая неизменный ответ:

— Не говорить нам, Александра! И зрить тебя не могу. Если кто вломится в избу, огнем себя сожгу. Не трожьте меня, и господь пошлет мне просветление...

Но увы! Просветления не было.

Как там случилось, Ефимия и сама толком не знает. Вскоре после полуночи, сторбившись па коленях, Ефимия забылась в тяжком сне, и вдруг почудилось ей, как в избу налетели черные коршуны и, свистя крылами, кружились, кружились. «Ехидна, ехидна! — кричали черные коршуны. — Змея стоголавая! Кара тебе, кара!» Потом все стихло и с шумом распахнулась дверь. Вошел Филарет. Белая борода тащилась через порог. Старец подобрал бороду руками, поклонился Ефимии, потребовал: «Оглаголь апостола! Оглаголь!» — и тут же, исчез, как дым ползучий.

Ефимия протянула руки к иконке, лик богородицы посветлел, и уста открылись — живая будто.

«Слушай меня, благостная, — молвила богородица. — Праведница ты, сиречь того — мученица. Господь покарал мучителя твоего — глагола лишил и руку отнял, чтоб не крестился еретик. Не зрить мучителю царствия господня! Гордыня обуяла мучителя. Железо железом правил. За око око рвал. За ребро ребро ломал! Не по-божьи то, по-бесовски. От гордыни и лютости. Еще скажу тебе, благостная: Третьяк, дядя твой, со Калистратом погубят общину. Кали-страт нацепил себе на грудь крест золотой. С тем крестом старец-мучитель огнем огонь крестил, смерть сеял заместо жита, и стала возле него пустыня. То исполнится при Калистрате: пустыня будет!..

Слушай меня, благостная! Как лист рябины росой умывается, так и ты прозреешь, и благодать будет. На грудь надень рябиновый крестик, и ты очистишься. Покой и твердь — счастье твое».

Ефимия очнулась от забытья, испуганно перекрестилась: «Знамение было, знамение!..»

Поспешно подползла к лавке и поглядела в оконце — тут она, рябинушка. Сияет будто. Ефимии невдомек, что за окном сизая рань рассвета и на отпотевших листьях рябины — световые блики. Она видит свое: рябина воссияла. В переплетении ветвей увидела

крестики. Множество крестиков. И богородица с младенцем стоит под рябиной и зовет:

«Выйди ко мне, благостная! Спасение будет под рябиной!..»

Ефимия отпрянула от окна, вскрикнула:

— Богородица пречистая, прозрела я! Прозрела! — и, не помня себя, кинулась к двери. Долго возилась с запорами, наконец открыла дверь, упала на пороге, тут же вскочила, забыв про одеяло, и в одной нательной рубашке подбежала к рябине, обняла ее и медленно боком повалилась возле рябины, теряя сознание.

Один из караульчиков заорал что есть мочи:

— Ведьма! Ведьма! Ведьма! — и дай бог ноги.

Вслед за ним очнулся от сна Микула. Увидел, что-то белое под рябиной и вскинул ружье. «Спаси Христос!» На счастье Ефимии, Микула до того перепугался, что, взведя курок, забыл поправить кремь. Трижды щелкнул, а ружье не выстрелило. «С нами крестная сила!» — попятился Микула и, бросив кремневое ружье, приударил такой рысью, что на рысак не догнать.

Переполох караульчиков разбудил Ларивона. Мокей, может, явился?

Выскочил из избы да — к Мокеевой. Дверь распахнута, горят свечи, а в избе никого.

Со всего становища бежали люди. Тут и Ларивон увидел Ефимию под рябиной и подскочил к ней.

— Ефимия! Ефимия!

— Слышу, слышу, богородица пречистая! — отозвалась Ефимия, подняв голову. — Ларивон? Ты што здесь? Видение было мне!.. Богородица явилась под рябиной!.. Третьяк и Калистрат погубят общину. Народ надо созвать на всеобщее моление, и я скажу волю богородицы.

Ефимия даже не подумала, что ночь минула и настало утро...

Суеверные старообрядцы ахнули: «Погибель будет! Погибель!..» Калистрат не на шутку перепугался и приказал, чтоб сейчас же несли Ефимию в избу: «Она сама не в себе».

Хитрый дядя Третьяк только что вернулся из города Ишима с верижниками Никитой и Гаврилой и прибежал к избе Мокея запыхавшись.

— Глядеть за ней надо, глядеть, зело борзо!

Человек шесть верижников подвинулись к Третьяку. Зло на зло катят. Готовы лезть в драку.

— Благостная богородицу зрила, а ты ее порочишь! Через тебя погибель будет!

— Через меня? — гаркнул Третьяк. — Через Мокея-еретика погибель ждите! Пошто отпустили еретика? Мы вот с мужиками в Ишим ездили и узнали там: Мокея в чеши заковали. Купца проезжего убил, зело борзо!.. А вдруг проведают, что Мокей из нашей общины, тогда каким крестом открестимся от стражников да урядников, от станowego да исправника али губернатора?!

Верижники притихли: правда ли то? Ужли Мокей в цепях, как убивец?..

II

Третьяк с Калистратом накинулись на Ефимию: и такая, и сякая, и богородицу опорочила срамными устами, и никакого видения не было. Сама себя уморила на молитве, ума лишилась да еще навела смуту на единоверцев паскудным реченьем. И что, если будет совращать людей, ее свяжут, запрут в землянке и епитимью наложат.

Ефимия отбивалась, порываясь убежать из избушки, чтоб поднять общину, но Третьяк с Лукой силою уложили в постель и держали за руки.

— Притихни, зело борзо! — рычал Третьяк.

— Коршуны! Коршуны!

— Умучилась, благостная, — трубил Калистрат, осеняя себя ладонью, а Ефимии виделась сатанинская щепоть. — Отоспись, Ефимия, и будет мир на душе твоей.

— Изыди, алгимей! Щепотью крестишься, иуда! Вижу, вижу! Ко лбу несешь ладонь, а большой палец подогнул к двум перстам, гордоус треклятый!

— Повязать ее надо, Третьяк.

— Надо, зело борзо! Лука, кликни Гаврилу и Никиту! Никита и Гаврила — ближайшие помощники Третьяка и Калистрата — стояли в сенцах. Явились по первому зову. Веревок в Мокеевой избе не сыскали. Схватили рушник и, как ни плевалась Ефимия, связали ей

руки, а потом укутали в одеяло и опеленали поверх одеяла холстом. Ни встать, ни сесть.

— Алгимей! Алгимей треклятые! — кричала Ефимия, бессильная вырваться из тенет мучителей. — Не радуйтесь, что повязали меня! Не радуйтесь! Слово богородицы из уст в уста пойдет по всей общине!

— Не богородицы, а срамницы!

— Ругай, ругай, дядя. Не скрыть тебе черную душу пред господом богом. Нету в тебе бога, а корысть одна да жадность! В чьих руках общинное золото, которое ты с Калистратом забрал у Филарета? Где оно, то золото? Твоим ли потом и кровью добыто оно?

— Ефимия, замолкни! Кляп в рот забью! — вскипел Третьяк, выкатив черные глаза.

Тут и явился Лопарев. Он еще не знал, что произошло и отчего поднялась община, и вот увидел Ефимию скрученной. Кинулся к ней, но Третьяк схватил его за плечи.

— Ступай отсель, барин! Не твое тут дело, зело борзо!

— Александра! Спаси меня! Видение было мне. Богородицу зрила и реченье слушала. И сказала богородица: Третьяк с Калистратом погубят общину. Оттого и повязали меня.

— Ступай, барин! — гаркнул Третьяк, толкая Лопарева к двери. — Худо будет, зело борзо.

— Не страшай, Третьяк, убери руки! За что вы ее мучаете? И не стыдно вам, мужчины? Пятеро против одной! Не много ли? Так-то вы повергли крепость Филарета? Это и есть, Третьяк, вольная волюшка?

Ноздри хищного носа Третьяка раздулись, и сам он весь сжался, напряжился.

— Не замай, барин!

— Понимаю, — крикнул Лопарев. — Это вы умеете: убивать, мучить, истязать. Не мало ли для того, чтобы называться человеком, Третьяк?

Кто знает, чем и как ответил бы взбешенный, позеленевший Третьяк, успевший опустить руку на костяную рукоятку поморского ножа в ножнах, подвешенного к широкому филаретовскому ремню, если бы не ввязался сам духовник.

— Не огнем правят жизнь, человеке, — пожурил Кали-страт, — ты вот зришь повязанной эту мученицу. А ведаешь ли ты, что она повязана во спасение, а не во зло? Не злорадствуй словом, раб божий.

Мнишь себя человеком образованным, а всех нас дикарями зришь. Тако ли? Вот верижник Лука. Хитро ли сказать — дикарь! А ведомо тебе: у дикаря Луки родословная такая же древняя, как и сама Русь христианская?! Назови фамилию и род Луки в Петербурге, и твоя фамилия Лопарева потемнеет, как медь в сырости. Да, отринул Лука и род свой древний, и фамилию, и званье, какое получил в Санкт-Петербургском университете, и сам пришел в Поморье спасать душу...

Лопарев зло усмехнулся. Верижник Лука, как о том говорил Третьяк, бежал в Поморье из Петербурга, совершив двойное смертоубийство: единоутробного брата зарезал и отчима, которым удалось захватить родовое имение покойного отца Луки. И Лука остался при высоком звании князя... без наследства.

Калистрат не обошел и собственную персону. И он, из древних дворян Могилевской губернии, вхож был в дома Орловых, Анненковых и многих других, блестяще закончил курс духовной академии и был бы теперь архиереем или профессором богословия академии, да отказался от всех почестей и званий и ушел искать спасение в старой вере...

Лопарев успокоил:

— Я никого не порочу. И мысли такой не держу — порочить. Я вот вижу, пятеро повязали одну женщину. Разве это достойно мужчин и тем паче столбовых дворян?

— Врешь, врешь, дядя! — выкрикнула Ефимия. Лопарев не слышал, что сказал племяннице Третьяк. — Ума я не лишилась! Врешь, врешь, треклятый. Волк ты, не человек. Али ты не грабил Москву с французами? Не убивал русских, какие шли на смерть за Русь? Убивал, убивал! Помню, помню. И в общине учинишь смертоубийство. Волк ты, волк!

— Змеища! Ехидна! Тварь! — Третьяк схватил племянницу за горло и удушил бы, если бы Лопарев не оттолкнул его прочь. Третьяк боком ударился о стол и, напружинясь, как тигр, бросился на Лопарева, выхватив из кожаных ножен кривой нож: «А, барин!.. В кровь твою барскую!..» И не успел Лопарев отскочить в сторону, как Третьяк, по-разбойничьи, из-под низу, вонзил ему нож в грудь.

Лопарев успел схватиться за руку Третьяка с ножом и медленно осел у ног верижника Луки и Калистрата. Те попятились к лежанке Ефимии. «Сусе Христе! Сусе Христе!»

Ефимия завопила, завопила...

Лука с Гаврилой кинулись к двери и столкнулись с Микулой.

— Беда, беда! — протрубил Микула, не переступив порог. — Казаки и стражники к становищу подъехали! Мокея в цепях привезли на телеге. Беда!

— Казаки?! Стражники?! — переглянулись верижники. Микула увидел Третьяка с окровавленным ножом и был таков — убежал без оглядки.

— Господи помилуй! — молился Калистрат.

До Третьяка наконец дошло: казаки и стражники в общине. Бежать надо! Сию минуту. Убийство-то вот оно, свежее, не остывшее.

Вылетел из избы вслед за верижниками. «Стойте! Куда вы, иуды? Вместе надо!» — И верижники задержались у берега Ишима.

Ранняя стыпь. Над Ишимом туман белесый. Третьяк хватанул сырого осеннего воздуха и тут вспомнил, что где-то на берегу две лодки, на которых общинники рыбачили. Где они, те лодки?

— Лодки! Где лодки?

У верижников цокают зубы. Третьяк-то с ножом!

— На лодках спустимся ниже по течению, переждем!.. Уедут, собаки! Мокей-то, Мокей, а?! Всех оглаголет!

Туман. Туман. Белым чубом вьется. Берега застиляет. Бежать, бежать, бежать!..

Ефимия назовет Третьяка убийцей и тогда — цепи, дознание, и Третьяку болтаться на перекладине. Вспомнил про общинное золото! Золото! Сундучок золота! Успеет ли?.. Из Мокеевой избы несется вопль:

— Спа-а-а-сите-е-е! Спа-а-а-сите-е!..

Но где же лодки? Выше или ниже по течению?

Ш

Избушки, березы, пни, землянки, мычащие коровы у притонов, табун лошадей у берега Ишима — и ни души.

Ни единой души во всем становище.

Тридцать конных казаков спешили у рессорных тарантасов исправника и станового.

На двух телегах стражники с ружьями. И Мокей в цепях.

Исправник сошел с тарантаса, огляделся. Поджарый, немолодой, в форменной шинели и подполковничьих погонах.

Становой пристав — грузный, усатый, страдающий одышкой, сообщил исправнику, что сейчас все «ископаемые космачи» попрятались в своих норах и только силой можно вытащить их на белый свет, но нет, к сожалению, такой силы, которая бы заставила тех космачей заговорить.

— М-да-а, — пожевал тонкими губами исправник.

— Духовником у них чудище бородатое, — продолжал становой. — Нет никакой возможности разговор вести — необозримая тупость. Глядит в землю да долбит лоб ладонью.

— М-да-а.

И через минуту:

— Гнать бы их с берегов Ишима.

— Совершенно верно, ваше высокоблагородие. Гнать надо. Гнать, гнать.

Исправник подошел к Мокеевой телеге, где в этот момент крутился дотошный Евстигней Миньч.

Изрядно измученный за полторы недели Мокей, в той же суконной однорядке и в кожаных штанах, притворился усталым, ничего не смыслящим, потому и не ответил сразу на вопрос исправника: из этой ли он общины?

— Тебя спрашиваю, рыло! — взвинулся исправник. — Ты из этой общины?

— Не ведаю, благородие.

— Как так не ведаешь? Здесь удушили твоего сына?

— Навет. Чистый навет, благородие. Исправник распорядился:

— Пошлите казаков, пусть кого-нибудь вытащат из этих нор.

— Слушаюсь!

Но не успел становой отдать распоряжение казакам, как явился Калистрат. Сам духовник! Лобастый, чернобородый, раздувая ноздри горбатого носа, попросил дозволения говорить с начальником.

Исправник подошел к бородачу с золотым крестом.

— Спасите, ваше высокоблагородие! — И Калистрат бухнул лбом в начищенные до блеска сапоги исправника. — Спасите, ради Христа! Отрекаюсь от сатанинской веры! Отрекаюсь! Ко православному христианству возвернусь. Искуплю грех свой тяжкий. Семнадцать

годов мытарился со старообрядцами в Поморье, искал спасение души, а нашел зверство едное, душегубство, тиранство, какое учинял сатано Филарет. Отрекаюсь!.. Спасите, ради Христа! Припадаю к стопам вашим!..

Ошарашенный исправник так и не уразумел: кого спасать и от кого спасать?

— Кто вы такой? Поднимитесь и говорите толком.

— Не смею подняться — спасения прошу, — отвечивал Калистрат, обметая собственной бородой пыль с сапог исправника.

— Спасения?

— Православие приму. Старообрядчество дикое отторгну, яко сатанинское верованье.

— Похвально. Чем могу, тем буду содействовать вашему возвращению в православную церковь. Однако, кто вы такой?

— Имя мое, под каким был в духовной академии, Калистрат Варфоломеевич Вознесенский, дворянин Могилевской губернии. В 1811 году, в день рождества Христова, был рукоположен в протопопы и оставлен при академии. Гордыней своей обуянный, расторг духовные узы, отрекся от православия и ушел искать спасения в раскольничьем Церковном соборе Поморья, где и сыскал себе погибель.

— Вот как! — Исправник переглянулся со становым. — Что ж, буду лично говорить с архиереем Тобольским. — И покрутил стрелки белых усов. — Поднимитесь, Калита Варфоломеевич. Посмотрите на арестованного. Не из вашей он общины?

Что там глядеть, если под Мокеевым взглядом за десять сажений у Калистрата-Калиты по спине холод гуляет.

— Безбожник то и еретик по имени Мокей — сын сатаны Филарета, который был духовником общины.

— Он убежал из общины?

— Прогнали за святотатство: иконы в щепу обратил.

— Вот как?! — удивился исправник. — Он говорил, что его сына какие-то старцы удушили под иконами.

— Удушили. Сам сатано Филарет удушил. Отец его.

— Где он — Филарет?

— На цепь посажен за смертоубийство. пытки учинял раскаленным железом, на кресте распинал, огнем жег людей и чадо сына своо Мокея, по шестому году удушил.

— Ну и ну!.. Дела...

Становой погнулся под свирепым взглядом исправника. Кому-кому, а становому достанется!

Мокей рванулся с телеги, откинул прочь двух стражников и, гремя цепями, одним взмахом руки опрокинул исправника, но не успел схватить Калистрата: тот кинулся в сторону, как жеребец от прясла, — только борода раздувалась от ветра.

Казачи сбили Мокея с ног и поволокли к телеге, насовывая ему под микитки.

— Привяжите его к телеге! — приказал исправник. И, обращаясь к становому: — Что вы тут смотрите, дважды побывав в общине? Или доверились тому «духовнику», который, как вы говорили, «долбил лоб двумя перстами»? А что творилось за спиною духовника, видели?

— Виноват, ваше высокоблагородие.

— Старик вы, извините. Напрасно я вам доверился. Вот следователь земской расправы сразу раскусил, что дело тут уголовное, вопиющее!

— Вопиющее, вопиющее, — гнулся становой.

Евстигней Миныч раболепно помалкивал, потупя голову: он будет отмечен, и потому покорность — верная стезя на ступеньку Верхней земской расправы.

Посрамленный Калистрат-Калита вернулся, не преминув сказать, что Мокей еще в Поморье исполнял волю своего отца духовника и многих будто бы удушил собственноручно.

— Брыластый боров! Иуда! — орал Мокей.

— Есть тут кто-нибудь старший? — спросил исправник. Калистрат поклонился.

— Меня избрали, да отрекаюсь я. Отрекаюсь! Филарета на цепь посадил, а каторжные по воле ходят. С ружьями и с ножами. Каждый час смерти жди.

— Каторжные? Какие каторжные?

— Числом на пятьдесят семь душ. Беглые каторжные. Вот сейчас произошло смертоубийство. Третьяк, который скрывается под фамилией Юскова, бежал из Москвы после французов. Изменщик и грабитель. Фальшивые деньги делал с французами в Преображенском монастыре и расправу учинял над русскими офицерами, какие верой и правдой служили, отечеству. Приговорен был к смерти через

повешение, да бежал в Поморье с богатой воровской рухлядью и там скрылся в общине Филарета Боровикова. И сам Филарет — беглый пугачевец. Духовником был у Пугачева.

— Што-о-о?! Духовник Пугачева?! — поперхнулся исправник.

— Сущую правду глаголю, ваше высокоблагородие. Этот Третьяк, про которого сказал, зарезал беглого каторжника Лопарева, государственного преступника, осужденного на двадцать лет каторги за восстание в Санкт-Петербурге.

— Лопарева?! Здесь Лопарев?!

— Здесь. Филарет сокрыл в общине. Как и всех других каторжных. Пятьдесят семь душ. Кабы я не поверг мучителя Филарета, сам бы не жил. Смерть перед глазами стояла. Потому — у Филарета были верижники с ружьями и рогатинами. Не уйдешь и не убежишь. Отобрал я те ружья, да Третьяк раздал посконникам каторжным и беглым холопам.

Исправник вытер батистовым платком пот с лица. Вот так дела! Да тут всех подряд надо заковать в кандалы и гнать на каторгу. Как же община прошла столько губерний в России, дотянулась до Сибири и никто не сумел раскрыть преступников?! А вот он, исправник, только явился в общину...

Ах да! Здесь скрывается Лопарев! Когда еще сбежал с этапа, и вот сыскался. И где?

— Где он, Лопарев? Где?

— Зарезал его Третьяк. Сейчас зарезал и убежал. С ножом убежал. Вон в той избе произошло смертоубийство. С ножом убежал. Господи помилуй!

Исправник круто повернулся к казакам:

— Десять казаков за мной! А вы глядите эдесь! — кинул становому. — Шашки наголо!..

Туман, туман. Молоко льется над берегами Ишима...

IV

Он еще жив, Лопарев. Он еще жив, жив! Он должен жить. «Милый мой, муж мой! Пусть смерть возьмет меня, а тебе будет жизнь», — бормотала Ефимия, перевязывая отбеленным рушником пораненную грудь Лопарева.

Ларивон и Марфа развязали Ефимию и теперь помогали ей.

Лопарева положили на постель. Рушник пропитался кровью. Кисти рук ослабели, и Лопарев не в силах удержать жену свою, Ефимию. Падает куда-то вниз, в черную бездонную пропасть, в вечное забвение, а в ушах шумное течение Невы в половодье. Сразу и вдруг пришла смерть! Он еще так мало жил на белом свете.

— Ты должна... ты должна...

— Молчи, молчи. Не надо говорить. Сама умру, а тебе жизнь верну. Богородица пречистая, помоги мне! Вразуми мя, дочь свою слабую и несчастную!..

— Не надо молитв! Никто их не слышит! Ни бог, ни богородица.

— Не говори так. Не говори.

— Нету бога. Ефимия. Нету, нету, нету!

Раздались бухающие шаги в сенцах, стук, грохот, и в избу ворвались казаки с обнаженными шашками, исправник, а за его спиною — «брыластый боров» — Калистрат-Калита Варфоломеевич Вознесенский, дворянин Могилевской губернии, беглый протопоп.

Бледная, обессилевшая за недельное радение Ефимия попятилась к лежанке, заслоняя Лопарева.

— Взять! — ткнул исправник на Ларивона.

— Это не Третьяк, ваше высокоблагородие. Это старший сын Филарета-пугачевца.

— Там разберемся. Уведите его к становому.

Трое казаков повели Ларивона. Марфа со слезами поплелась следом.

Исправник подошел к Лопареву.

— Лопарев? Так вот вы где оказались, Лопарев! Достойное нашли себе пристанище. Достойное. — И кивнул казакам. — Двое останетесь здесь.

Ефимия подошла к Калистрату и плюнула ему в лицо.

— Христопродавец! Алгимей треклятый! Убивец сына мово! Треклятый убивец!

Один из казаков оттеснил Ефимию от Калистрата.

— Убивец! Убивец!

— Не убивец я, Ефимия. Не убивец! — оправдывался Калистрат. Чего доброго, самого повяжут. — Филарет удушил твоего сына. Сатано! Али забыла?

— Ты убивец, ты! Кобелина треклятый. И Акулину со младенцем огнем сожег на березе, и Елисея на кресте удушил. Убивец!

— Кто эта женщина? — спросил исправник.

— Бесноватая, ваше высокоблагородие. Ума лишилась. Жена Мокея Филаретова. Сына ее удушил старец, и ей груди жгли клюшкой, и на веревках висела. Я ее спас от смерти.

— Ты убивец, убивец! Не меня спас, а сам себя в духовники возвел и крест золотой отобрал у Филарета!..

— Взять ее!

Как Ефимия ни вырывалась от казаков, как ни умоляла исправника оставить ее возле умирающего Лопарева, — увели из избы.

По всей общине — смятение, страх и отчаяние.

Мужики, особенно беглые каторжники, пользуясь туманом, распозлились кто куда. И в степь ушли, иные бродом махнули за Ишим, в рощу, а Третьяк с тремя верижниками удрал по Ишиму на двух лодках.

Духовник Калистрат всех оглаголивает. Пятерых каторжников успели схватить: Микулу, Поликарпа Юскова, Пасху-Брюхо, Данилу Юскова и Мигай-Глаза — многодетного посконника, когда-то отправившего на тот свет управляющего имением на Тамбовщине...

Посконников стаскивали в круг, как баранов. Бабы исходили визгом. Ребятишки ревели.

Конные казаки объездили окрестности на десять верст, но никого не сыскали из беглых каторжан.

Велика ковыльная степь!..

Калистрат знал, что Третьяк, опасаясь, как бы посконники не набрали силу да и не прижали его, у многих отобрал ружья, а куда спрятал — неизвестно.

Перевернули всю рухлядь в становище Юсковых, особенно в избе Третьяка. Забрали на три телеги добра. Кованый сундучок с золотом из рук в руки перешел к исправнику.

Лукерья Третьяка с девчонками обеспамятела от рева: голыми остались.

Под вечер Калистрат подсказал исправнику, что ждать ночи никак нельзя: каторжные верижники, отчаявшись, могут напасть ночью и перебить всех. Полсотни каторжных? Где-то они спрятались?

Исправник и сам о том подумал — своя шкура дороже полсотни каторжанских шкур.

— Вы останетесь здесь с двадцатью казаками, — умиловил исправник опального станового.

— Слушаюсь!

А чего же больше? Не перечить же заслуженному подполковнику, герою Отечественной войны с Наполеоном, побывавшему даже в Париже с русским войском!..

Вскоре после полудня Лопарев скончался, и тело его положили на поморскую телегу, укрыв дерюжкой. В Тобольск повезут, в острог, даже мертвого. Опознать надо и бумагу отправить в Санкт-Петербург. Пусть порадует его императорское величество, самодержец всея Руси...

Старца Филарета с цепью на руке усадили на одной телеге с сыном Мокеем, спина в спину.

Ефимии исправник разрешил сесть на телеге возле тела Лопарева.

Юсковых — Данилу, Поликарпа, Василия повязали одной веревкой. И вдовца Михайлу прихватили — свидетелем будет по делу об убийстве Акулины с младенцем.

Девять поморских телег потянулись степью к тракту, а там дальше — в Тобольск.

Истошным воплем огласилась вся приишимская степь...

Ночью становой пристав с казаками жгли сено и обнаружили сразу пятерых беглецов — в стогу прятались. Повязали спина к спине и отпотчевали плетями без жалости.

На другой день исправник поджег еще один стог сена, и опять двоих выловили, а один сгорел, не вылез. Кто? Неизвестно. Верижник каторжный, наверное.

Бабы и мужики подступили: не жгите сено. Чем скот кормить? И сами назвали разворошить все стога...

На четвертые сутки, до того как из Тобольска вернулся исправник с казачьей сотней, становой со своими казаками успел повязать тридцать семь беглых каторжников. Выслужился-таки и милости сподобился от исправника.

Вместе с исправником и казачьей сотней в общину явилось духовенство, архиерей с двумя священниками, военный врач и Калистрат с ними. Теперь уже не «многомилостивый батюшка

Калистрат», а духовное лицо при архиерее — Калита Варфоломеевич Вознесенский, ставший потом воинствующим обличителем раскольников, автор незавершенных записок про Филаретовскую крепость, удостоенных особого внимания обер-прокурора синода. «Быть Калите архиереем», — будто сказал обер-прокурор, читая его записки.

Следом за исправником с казаками и духовными особами пожаловал и сам губернатор. Надо же взглянуть на ископаемых единоверцев Филарета, духовника Пугачева, некогда докатившегося со своим войском до берегов Ишима!

Немало богатой рухляди доставил исправник и в дом губернатора, конфискованной у беглого опаснейшего преступника Третьяка Данилова!..

На поиски Третьяка с верижниками-каторжниками кинулись казаки по всей губернии. Кроме того, надо было захватить беглых апостолов Филарета, оглаженных Калистратом как опасных преступников, на чьей совести немало убийств и самосожжения филипповцев, единомышленников духовника Филарета.

Пожалуй, никто не проявлял такого усердия по службе, не считая Калистрата-Калиты, как до того неведомый, а теперь всем известный чиновник Евстигней Миныч Скарედнов, успевший за четыре дня получить ошеломляющее повышение по службе. Из уездного захудалого городишка Евстигней Миныч перемахнул по воле губернатора в помощники губернатора по Верхней земской расправе! Ему доверен высший суд в губернии над нижним сословием...

Экипажи, экипажи, экипажи...

Сытые, любопытные, не ведавшие ни нужды, ни забот, пожилые и старики, в мундирах и золотых галунах и даже молодые чиновные люди расположились на берегу Ишима, недалеко от знаменитой избы духовника Пугачева, угощались, пили дорогие вина; повара готовили отменные закуски и обеды, а тем временем казаки с исправником и становым приставом вытаскивали из землянок, избышек старух и стариков, мужчин и женщин, подростков и малых ребятишек — «еретиков-раскольников» и гнали их к той самой березовой часовенке, где когда-то старец Филарет творил всенощные молитвы и они пели славу «Исусу сладчайшему, пресладкому!..»

В свите губернатора было немало губернских светских дам, в том числе и губернаторская дочь на выданье, которую сопровождал сам Калистрат-Калита в избу «духовника Пугачева»...

— Это те самые костыли? — шурилась близорукая, топкая в перехвате губернаторская дочь. — Ужасно, ужасно!.. Но какая же нищета, боже мой! И здесь жил сам духовник Пугачева, тот Филарет?

— Жилище, достойное алгимея, — отвечал Калита.

— Что значит «алгимей»?

— Мучитель.

— Как это выразительно — «алгимей»!.. Я его должна видеть. Непременно. Он не убежит из острога?

Нет, конечно, не убежит. Калистрат-Калита в том уверен. Из царской крепости не всегда удается убежать.

— Та женщина, как ее? Ефимия! О! Интересное имя. Она висела на этих костылях? Ужасно, ужасно!

Побывала губернаторская дочь и в избе Ефимии. Щупала пуховые подушки, разглядывала вышивки на полотенцах, зимние шубы на крючьях и особенно заинтересовалась пучками сухой травы, развешенной на стенах. Калистрат, сказал, что Ефимия была лекаршей всей общины.

— Знахарка? Вот интересно! Она старуха?

— Нет, Ефимия — не старуха. Еще молодая и даже красивая особа, если ее отметил своим вниманием беглый каторжник Лопарев.

— Какая романтическая история! Беглый каторжник, дворянин, влюблен был в замужнюю женщину, знахарку. Она его не околдовала?

Калистрат охотно сообщал, что Ефимию сам старец Филарет на судном спросе оглаголил ведьмой и что Ефимия на пытке отреклась от своего мужа Мокея, того самого убийцы омского купца Тужилина, отпетого в Тобольском соборе как святого мученика, принявшего смерть от еретика-дьявола. И так по всем избам.

Ходили, брезгливо морщились, шурились, а в избе Данилы Юскова разворошили кованые сундуки и унесли все, что «само прилипло к рукам».

Тем временем после сытного обеда и разговора на религиозные темы губернатор с его преосвященством архиереем снизошли до «стада еретиков». И такие, и сякие, и разэтакие! И если сейчас же не расскаются во грехе и не вернуться в лоно православной церкви, то всем

им уготована геенна огненна, где они будут жариться и париться до нового светопреставления.

Еретики слушали и молчали.

И Калистрат-Калита сунулся со своей проповедью, но не успел сказать десяти слов, как полетели в него комья земли и проклятья со всех сторон: «Иуда, иуда! Брыластый боров! Сатано ты проклятый! Иуда, иуда!» И Калистрат, отплеываясь, поспешно отступил.

Преосвященству угодили комом земли в нос, и лысый старик, зажав нос платком, проклял «дикое стадо сатаны». И губернатору припачкали мундир. «Пороть, пороть всех!» — приказал губернатор, торжественно удаляясь.

Сразу же после отъезда высоких гостей началась порка. Казачьими плетями и шомполами да по мужичьим костлявым телесам, аж свистело. По полсотни ударов каждому, а некоторым по сотне, глядя у кого какая морда. Бабам и даже старухам и тем уделили казачьих плетей.

Беглых каторжников пороли с особенным усердием — век будут помнить милость тобольского губернатора и «вольную волюшку»!..

Беглых каторжников угнали в Тобольск.

Становой пристав, по указанию губернатора, с двадцатью стражниками поселился в соседней деревне, в двадцати семи верстах от становища раскольников, и должен был вести неустанный надзор за общиной и переписать всех «посконников-еретиков» по приметам, если откажутся назвать свои имена, и список представить в канцелярию губернатора.

Вопль, вопль, вопль!..

Из крепости Филаретовой да в крепость царскую. Из огня да в полымя!..

V

Дни, дни, дни...

И пасмурь, и солнце, и приморозки осенние.

Опечаленные старообрядцы-филаретовцы, преданные изменщиком Калистратом, убрали ячмень и пшеницу, сложили в поределой роще и огородили жердями.

Из-за нехватки хлеба пшеничные снопы тащили по избам и землянкам, сушили и вымолачивали вальками, чтоб сварить кашу из пшеницы. Жить-то надо!..

Во второй половине октября, еще до снега, из Тобольска вернулись десятка два мужиков, Ларивон с ними, помилованный губернатором «за непроходимую тупость и глупость», старец Данило Юсков — «и без того скоро богу душу отдаст», вдовец Михайла Юсков на одной телеге с печальной, притихшей Ефимией, от которой он в Тобольске не отходил ни на шаг, чтобы сама на себя руки не наложила.

Ни в Верхней земской расправе, учинившей суд над апостолами, убийцами Веденейки, и над Мокеем, ни в самом городе, где жила в казенной заезжей избе, Ефимия не обмолвилась ни единым словом обвинения апостолов. Тиранили ее на осмотрах, не один раз заставляли открыть груди, чтоб поглядеть следы от клюшки, сколько раз в суде напоминали ей об убиенном Веденейке, чтобы она выступила со своим карающим словом свидетельницы и потерпевшей, но ничего не достигли. «Зреть вас не могу, анчихристы! Не вам судить Филаретову крепость, коль сами людей держите в острогах да в цепях да на каторгу шлете!» — только и сказала судьям Ефимия, за что и удалили ее с судебного заседания.

Третьяка с верижниками Лукой, Гаврилой и Никитой тоже доставили с Тобольск. Схватили в каком-то киргизском ауле.

Третьяка и Луку заковали в цепи и повезли в Петербург, наверное.

Калистрат сподобился в священники собора, и бас его гремел теперь на всю губернию: «Исусе сладкий, Исусе пресладкий, Исусе многомилостивый!..» И в том помог Калистрату-Калите четырехфунтовый золотой крест, переданный им с нижайшим поклоном и раболепием в старческие руки Тобольского архиерея.

Старец Филарет не дожил до конца следствия — скончался в остроге. С того дня, как упрятали в острог, он не выпил ни единого глотка воды, не съел куска хлеба. Сам себя уморил. Без стога. Без вопля.

Апостолов Тимофея, Ксенофонта, Павла и Андрея сыскали в одной деревне, невдалеке от города Ишима, и доставили в Тобольск на суд. Батюшка Калистрат, которому они поклялись, что будут «он и они — одно тело», оглаголил их во всех тяжких преступлениях, и Верхняя земская расправа приговорила старцев к вечной каторге.

«Алгимей, алгимей треклятый!» — стонали апостолы в остроге.

VI

На другой день после возвращения из Тобольска Ефимия собралась в ту трактовую деревню, где обосновался со своими стражниками становой пристав. «Благословлю единоверцев, когда их будут гнать на каторгу», — сообщила Михайле Юскову.

Михайла вызвался увезти Ефимию на телеге, но она наотрез отказалась. Пешком ушла.

В тот же день, под вечер, Ефимию доставили в избу к становому, и тот накинулся на нее: как смела покинуть общину без его дозволения?

— Не каторжная я, не арестантка. Где хочу, там и хожу. В деревню пришла вот.

— Врешь, врешь! Явилась, чтоб встретить каторжных еретиков? Вижу, вижу!

— Али кому заказано глядеть на каторжных, когда их по тракту гонят да в этапные остроги запирают?

Глядеть, конечно, никому не заказано, но если Ефимия замыслила содействовать побегу, то пусть не думает, что это ей удастся. «И ты цепями загремишь!..»

Ефимия согласилась поселиться в богатой крестьянской избе доверенного казака, где проживал один из стражников. Куда бы ни пошла — и стражник следом.

Минуло недели полторы, когда стражник сообщил Ефимии, что из Тобольска ожидается большой этап каторжных. «И твой, наверное, припожалует».

— Благодарствую за доброе слово, — поклонилась Ефимия и с утра вышла за околицу деревни к этапному острогу — деревянному бараку за высоким забором из сосновых брусьев, заостренных сверху.

Узел Ефимии, в котором она несла для каторжников хлеб, сухари, отварное мясо, пяток вареных кур, сам становой пристав проверил: «Как бы напильник не передала».

День выдался сумрачный, ветреный. Ефимия укрылась от ветра в будке для часового, покуда этапный острог пустовал, и неотрывно глядела на черный тракт.

Под вечер показались этапные. Она их услышала и увидела...

«Тринь-трак, тринь-трак», — вызванивали безрадостную песню тяжелые цепи, и такие же тяжелые думы угнетали Ефимию: «Доколе цепи звенеть будут, господи? Слышишь ли ты?!» И вспомнила Лопарева. Давно ли то было? Давно ли потчевала кандальника отварной курицей и сидела с ним ночью возле телеги, когда раздался вопль Акулины с младенцем?! Давно ли? И вот не стало ни крепости Филарета, ни самого Филарета нету в живых, и возлюбленный Лопарев нашел нежданную смерть в ее избе. «Богородица пречистая, зрела ли ты убийство? Пошто дала силу разбойнику с ножом? За што карашь меня, скажи?!»

Никакого ответа. Только звон кандалов на тракте.

Впереди — трое верховых в шинелях и с ружьями. За ними каторжники, по три в ряду. Мокей с Микулой шли головными, и между ними еще какой-то богатырь. За их спинами — верижники Никита и Гаврила и апостол Ксенофонт. А вот и знакомые посконники, с которыми шла от Поморья. И Поликарп Юсков, и Трохин, и Пасха-Брюхо, и Мигай-Глаз! Сколько их? Полсотни душ! И всех их оглаголал иуда Калистрат многомилостивый!..

Мокей, Микула и все единовержцы глядели на Ефимию. как на чудо, осеняя себя крестами. Не видение ли?

Ефимия стояла на коленях и молилась.

Подъехал верховой стражник в серой шинели на карей лошади и, взмахнув плетью, крикнул:

— Пшла, пшла, баба! Чаво молишься? Баба ни слова в ответ.

— Пшла, грю! — И хлестнул плетью. Ефимия не ойкнула, только чуть вздрогнула.

Мокей рванулся было к подружии на выручку, но удержали Микула и верижник Гаврила со спины.

— Р-р-растопчу, стерва! — Стражник направил коня на Ефимию, но конь попятился, как перед высоким барьером. Ефимия даже не подняла голову. — Да ты што, баба? Пшла, грю!

— Топчи, топчи! Бей плетью, руби шашкой. Исполни волю сатаны, и благодать тебе будет от царя-батюшки.

— Эв-а! — покосился стражник. — Али у те кто из сродственников в каторжных?

— Муж мой.

— Эва! Который?

— В первом ряду. Дозволь передать узел.

— Не положено. С начальником говори, с офицером. Подъехал конвойный офицер. Что еще за женщина с узлом? Тут и становой пристав подошел. Так, мол и так. Жена одного из каторжных, Мокея Боровикова, осужденного в Тобольске за убийство купца Тужилина на вечную каторгу. Узел ее тщательно проверен.

— На ваше усмотрение, — отговорился грузный становой, а сам в сторону: пусть конвойный офицер решает, допустить или нет жену на свидание с каторжником.

— Не будет свиданки, говорю. Ступай, баба! — И, подобрав поводья солового иноходца, поехал сбочь строя этапных, усталый и злой как черт, отупевший от непрерывного звона кандалов.

Мокей неотрывно глядел на Ефимию. «Подружия моя, подружия! Едная на всем белом свете. Не зреть мне тебя до скончания века. Кабы раньше пригляделся к тебе, подружия, понял бы тебя нутром, разве была бы мне каторга? Подружия! Прости мя», — думал Мокей, стиснув зубы. И вдруг как волною ударило: «Благостная! Благостная! Иисусе Христе! Благостная!» И, гремя цепями, каторжные, вчерашние общинники, попадали на колени и молились, молились, будто зрили не Ефимию, а богородицу пречистую, сошедшую с небес на кандалный тракт.

Один из апостолов Филаретовых, Тимофей, затянул псалом: «Восстань, господи, во гневе твоём, подвигнись супротив врагов лютых, сиречь еретиков-щепотников, и дай им суд и кару!..» — и гаркнул на всю степь: «Кару, кару, кару!..»

— Молчать! Молчать! — метался на коне конвойный офицер и хлестал каторжных плетью.

Пешие стражники ощетинились ружьями.

— Гнать бабу! Гнать! — рыкнул офицер, налетев на Ефимию с плетью, но не ударил. Двое стражников подхватили Ефимию под руки и поволокли по тракту в сторону деревни. Саженой на двести отнесли и там бросили вместе с ее узлом. Она тут же поднялась и пошла следом за стражниками.

— Стерва баба, н-назад!

— Иду назад. А вы вперед гнали.

— Поддать, што ль! — И поддали Ефимии, но разве ее устрашишь такой поддачкой, если раскаленной клюшкой Филарет не мог исторгнуть из ее груди вопля?

Пришлось одному из стражников караулить Ефимию, а другой ушел загонять этапных в острог.

Всю ночь Ефимия провела у острога, прячась от стужи возле высокого забора.

На зорьке, когда над степью курился туман, поднялись каторжные. Слышались хриплые голоса стражников, унтеров, а потом и звон цепей. Ефимия опять вышла к воротам острога. «Иди, иди, холера! До чего же ты вредная баба! Вот заявится из деревни старший офицер, заработаешь порку. Чистое дело — заработаешь!»

Отдохнувший в деревне старший конвойный офицер на этот раз смилостивился, заговорил с Ефимией. Кто? Откуда? Далеко ли та община раскольников, где скрывались беглые каторжники? И правда ли, что общиной правил духовник самого Пугачева и что они, общинники, будто бы шли в Сибирь, чтобы поднять каторжан на восстание?

Ефимия сказала, что они шли в Сибирь, на Енисей, в тайгу, спастись от анчихриста и что никому зла не сделали, а жили тихо и мирно, и за все в ответе перед богом.

— Говори! Слышал, как вы там жили в общине! И сами себя терзали, и архиерея с губернатором закидали грязью. За такое дело — всех на каторгу! — И, помолчав, спросил: — А где та баба, которую на суд привозили в Тобольск? Ребенка ее удушили какие-то апостолы, и ей груди прожгли — вчистую изуродовали. Живая?

— Живая, — тихо ответила Ефимия.

— Не убежала из общины?

— Куда же ей бежать?

— В монастырь ушла бы в православный. В Томске есть такой монастырь.

Ефимия просила дозволения проводить мужа Мокея по тракту. «Там я уйду в свою общину. Пешком сюда пришла, чтоб повидать мужа и проводить его».

— Чудище твой муж. Бревно.

— Какого бог дал.

— Ищи другого. Самое время. Из вечной каторги не возвращаются. Понимаешь?

— Одна буду жить.

— Ребятишек много?

— Много, — соврала Ефимия, а в сущности сказала правду: мало ли она выходила ребятишек от смерти за долгую дорогу от Поморья?

— Сожрут тебя каторжные. Не боишься?!

— Меньше мучиться, барин, коль сожрут.

— Ладно. Разрешу тебе идти рядом с мужем, только придется обыскать тебя всю до нитки. Чего доброго, напильник передашь или какую-нибудь пакость. Согласна? Имей в виду, баба, при обыске раздену. Или проваливай дальше!

Ефимия побожилась, что с ней нет никакой пакости. Но разве конвойный начальник поверит? Ни богу, ни брату, ни матери родной такие люди не доверяют. Испытанное дело. Каторжных гнать из губернии в губернию по Сибири — не солому везти по тракту.

Как ни стыдно было, а пришлось Ефимии раздеться в караульном помещении. Обыскивать вызвали одну из благородных арестанток — шла на вечное поселение. Тут же сидел и сам конвойный начальник. Тарашил глаза на Ефимию да причмокивал Губами: так бы и сожрал.

— Красотка ты, скажу! А? Какая, а? — И не стыдно вам, ваше благородие?

— При моем деле стыд вышел из употребления. А что у тебя за рубцы на груди и на животе? — И подошел посмотреть. Ефимия готова была выдрать ему глаза, но стерпела.

— Э, да не тебя ли жгли, баба? Чистое дело, тебя!

— Отроду такие рубцы. Отроду.

— Ври! Или я сам не клеймил шкур каторжанских? Трудно было, а? Ревела?

— Радовалась и молилась.

— Ну, ну. Не пугайся и не ерепенься. Выгоню из караулки, и пометешься одна по тракту. Я всех щупаю, баба. Такая моя должность. По грудям-то не видно, чтоб у тебя было много ребятишек. Меня не обманешь — свою бабу имею. Трех народила — и титьки опустила, как и должно. А ты красотка.

Стыд и срам, а что поделаешь? Вот они какие, слуги анчихристовы! Есть ли у них совесть? Или они ее потеряли еще в

утробах своих матерей?

Из караульного помещения, когда этапные выстроились перед выходом на тракт и телеги с поклажей и с больными выехали за ворота, конвойный начальник сам вывел Ефимию к Мокею:

— Молись богу, бревно! Жена твоя — сто сот стоит, если явилась проводить тебя, чудовище.

Мокей не успел ничего ответить, как Ефимия опустилась на колени, перекрестилась и поцеловала кандалы на его ногах.

— Подружия! Их ли лобызать?!

— Долго тебе их носить, Мокеюшка. Дай бог, чтоб не погубили они в тебе живую душу. Оттого и поцеловала их — не чувствуй их тяжести.

Мокей трудно захлюпал носом:

— Подружия моя! Едная! Не зрил тя, не понимал!.. Мытарил, яко алгимей треклятый!..

— Поцелуй меня, Мокеюшка. Сколь не виделись? Знала же, не забыла, что Мокей никогда не целовал ее.

И умел ли, отважный и бесстрашный поморец?

Гремя цепью, Мокей неловко поднял руки, обнял Ефимию, как мог, и прильнул к ее устам — не оторвать. «Подружия!.. Едная!.. Светлая!.. Благостная!..»

И кандальники-единоверцы Микула, Никита, Гаврила, Пасха-Брюхо, Мигай-Глаз и многие даже чужие и неведомые для Ефимии люди, глядя на нее и на Мокея, горько заплакали и вспомнили, быть может, своих несчастных матерей, невест и верных подружий...

— Пшли! Ша-гом арш! Арш! Арш!..

И разом, как колокольный перезвон, звякнули цепи головных каторжников, и постепенно, ряд за рядом, тронулся по тракту весь этап, растянувшийся на четверть версты.

«Тринь-трак, тринь-трак, тринь-трак...»

Путь сибирский дальний!..

Ефимия и Мокей шли, взявшись за руки. Впервые в жизни! И здоровущая ладонь Мокея показалась Ефимии такой нежной и жалостливой, что она не чувствовала ни ее тяжести, ни ее силы, как бывало не раз, когда Мокей хватал ее по-звериному, кидая наземь, как щепку.

Нет, он не убивец купца. Шибанул кирпичом кто-то из купеческих возчиков, а на него свалили. В остроге толковали: писать надо бумагу царю. Да чего там! Лучше каторга, чем помилование царя-кровопивца.

Не забыл Мокей и про брыластого борова Калистрата.

— Зрела, сколько наших людей цепи тащат? Про апостолов глагола нету. Собаки! Не жалкую. А вот как Ми-кула, Никита, Поликарп, Гаврила, Пасха-Брюхо, как другие верижники и посконники, — тех жалкую. Семьи остались. Ребятишки, бабы едные. Как жить будут? Мытарство, мытарство. Через кого погибель пришла? От брыластого борова. В милость вошел ко щепотникам, паче того — архиерею, собаке. На судилище всех оглаголал. Слышала? Кровь кипела — удушил бы. Да цепи вот!

— Так, Мокей. Цепи, — подтвердил Микула.

— И бог то зрит и милостью осыпает мучителя, а праведники цепи тащат. Тако ли?

Ефимия вздрогнула. Сама о том не раз думала! На привале попрощалась с Мокеем и со всеми единоверцами-каторжанами.

Этапные тронулись в путь...

— Прощевай, подружия! Навек прощевай! — кричал Мокей.

— Прощевай, Мокеюшка! Прощевай! Не зри небо в тучах. Не губи живую душу!

— Прощевай, благостная! — кланялись единоверцы. Ефимия долго еще шла сбочь дороги.

«Тринь-трак, тринь-трак», — стучало железо в безмолвном просторе равнинной степи.

АПОЛОГ

I

Из сумерек тирании слышится вопль: «Велика Русь, а деться некуда!...»

Остроги и цепи, стражники и жандармы, арестантские одежды и бубновые тузы на спинах каторжан: «По высочайшему повелению...»

Пятерых удавили на одной перекладине...

Тысячи забили шпицрутенами...

Сотни заковали в кандалы и угнали в Сибирь на каторгу...
Солдаты били в барабаны. Розовело небо.

«По высочайшему повелению...»

На руках цепи. На ногах цепи.

Зной и жажда.

Показалось какое-то поселение. Полз, полз к людям...

— Воды, воды, воды!..

— Изыди, сатано! Хлебай смолу кипучу!..

А розовое солнце так же поднималось над миром, как в то утро 13 июля 1826 года, и пятеро повешенных висели на пеньковых веревках на одной перекладине...

Кузнец Микула пилил заклепки.

«Дззз... дззз... дззз» — пел напильник...

— С той деревни и я родом. Там, почитай, вся деревня из Боровиковых состоит. Слыхал, может, от деда, как он выиграл в карты имение у помещика Боровикова? Эх-хе-хе! Житие барское да дворянское. Родитель мой, Наум Мефодьев, по прозвищу Боровиков, старостой был на деревне. Слово такое сказал — два помещика взъярились, яко звери лютые. Палками бит был нещадно, и тут же смерть принял...

Небо перемигивалось звездами. Тишина. Истома. И вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное: «Ма-а-а-туш-ка-а-а! спа-асите!»

Судная ночь...

По всей России вопль и стон. От поколения к поколению одно и то же: холопы — под барином, барин — под царем, царь — под богом, а бога никто не видывал, никто его голоса не слыхивал.

Неистово, до исступления, молились в неведомое, не получая ни ответа, ни поддержки...

Из века в век: «Глас вопиющего в пустыне...»

В окружающей жестокости Филарет утвердил свою жестокость, чтобы сохранить общину. И он сумел это сделать, духовник Пугачева. Через всю Россию-матушку провел единоверцев, и вдруг предательство брыластого борова Калистрата — и более полусотни душ обрели цепи. И сам Филарет — гордый и непримиримый старец — почил в каменном подвале Тобольского острога, и кто знает, где захоронили его бранные останки!

Не стало крепости Филаретовой... В судной избе поселилась семья поморца Валявина — осьмнадцать душ. Лоб ко лбу, плечо к плечу. Пятеро мужиков — сыновья старца Валявина. Снохи, детишки, старуха на изжитии.

Дочь Валявина Акулину с младенцем сожгли, яко еретичку. Легко ли?

На костылях — рухлядь домашняя. На тех самых костылях, где совсем недавно исходила воплем Акулина, кряхтел апостол Елисей и мучилась благостная Ефимия...

Старик Валявин не стал молиться на испоганенные иконы — прорубил в избе дырку на восход солнца: «Бог-то, он не в досках, а на небушке пребывает». И вся семья Валявина молилась в дырку, а потом и другие стали также молиться.

С того пошло новое верование — «дырники».

Данило Юсков уверовал в явление богородицы под рябиной, хотя сама Ефимия молчала теперь про богородицу. Данило Юсков рассудил так: богородица сказала болящей Ефимии, что спасение будет под рябиной, значит, надо всем носить рябиновые крестики, тем паче рябина не кипарис, не благородный лавр, везде произрастает, и даже в Сибири.

Многие общинники нацепили на себя самодельные рябиновые крестики и собирались у старца Данилы слушать его проповеди и чтение Писания.

Рябиновцы не только усердно молились, но и прибрали к рукам лучших лошадей, коров, овец, и конная мельница с крупорушкой оказалась у рябиновцев. Так что в общине не раз вспыхивали потасовки. Мужики хватали друг друга за грудки, за бороды.

Бабы тоже не отставали — тайком уводили коров и телят к своим землянкам и клетям, всячески понося друг друга. Особенно враждовали рябиновцы с ларивоновцами. Ларивон явил себя духовником заместо упокойного батюшки Филарета, и к нему в избу стекались крепчайшие поморцы, совершали всенощные молебствия, проклиная вероотступников и более всех Юсковых, из-за которых будто пришла напасть на всю общину поморских раскольников.

Так мало-помалу единая крепость распалась на разные толки, но никто из общинников не явился с раскаянием в православную церковь и не примирился с царской властью.

III

Лохматая, постылая осень.

Вчера еще над Приишимьем пролетела последняя связка курлыкающих журавлей, а ночью ударил приморозок с ветром — и Ефимия озябла в своей избенке.

Ночь тянулась, как суровье на кроснах, — однообразно и бесконечно. Скорчившись под рухлядью, Ефимия никак не могла уснуть и все глядела в квадратное оконце. Голые сучья рябины, качаемые ветром, тоненько царапали стекло. Когда-то ей привиделась богородица под рябиной. «Не было того, не было! Туман единый да сон тяжкий».

Нет, она не запомнила свои молитвы. Всенощные, до измора тела и духа, недельные раденья с тысячами земных поклонов, и никто не отозвался на ее молитвы — ни бог, ни сын божий Иисус, ни мать божья.

«Веденейку удушили под Иисусом!..»

Если бы Иисус был камнем, то и камень треснул бы от горьких стенаний Ефимии и надрывного вопля Мокея.

Но камень не треснул, потому что и камня не было.

«Нет у него грома. Нет у него молний. Нет у него ушей. Нет у него глаз. Пустошь едная. Иисус от книг произошел со богом своим. От Библии той да Евангелия. Умыслили, звери!..»

И вот Ефимия осталась одна. Совсем одна в березовой избенке, продуваемой студеным ветром.

Не жена, не девица, не вдовица.

Мученица.

Тьма. Тьма. Забвение.

Жестокое одиночество и неприкаянность живой среди живых, «в тумане пребывающих».

Сплетаются два голоса. Она их теперь все время слышит. И днем и ночью.

«Не надо молитв, Ефимия! Никто их не слышит. Ни бог, ни богородица».

«Может, это душа убиенного кандальника Лопарева тревожит сейчас Ефимию и не дает спать?» «Мужем назвала, а женой не была». Не он ли, Лопарев, звал ее уйти из общины? Не родной ли дядя Ефимии зарезал Лопарева?

«Возлюбленный мой, муж мой, где ты? Как то случилось, боже?! Видел ли ты, боже, как злодей ударил праведника ножом и смерть стала?»

Отвечает Мокей громовым басом:

«Нету бога, Ефимия! Нету! Сына мово и твово, Веденейку кудрявова, под Исусом удавили. И бог то зрил и силу дал душителям. Такого бога, паче с ним Исуса, пинать надо... Али ты веруешь опосля железа? Опосля Веденейки? Озрись, отринь туман тот!..»

Озрилась. И отринула.

За неделю ни одного креста не положила, ни одной молитвы не прочитала, ни одного поклона не отбила перед единственной иконой богородицы. На приветствия единоверцев «спаси Христос» отвечала молчаливым кивком головы. И вот сейчас, лежа в постели, хотела бы помолиться, чтобы вздохнулось легче, да руки не поднять. Вера иссякла, как источник в Аравийской пустыне. Шли дожди — прохладую дышал источник. Настала знойная, иссушающая пора — ушел источник.

Одна!..

Печаль точит сердце, нужда — тело.

VI

Не посконью повязывают судьбы, а страданием и горем.

И чем тяжелее горе, тем крепче узы людей.

Плечом к плечу — легче жить.

Ни радости вечной, ни печали бесконечной.

Не одна же, нет! Люди кругом, или вот хотя бы вдовец Михайла Юсков каждый вечер наведывается к Ефимии. То охапку дров несет, то свежей рыбы, то мяса, то муки, и все смотрит и смотрит, как будто она, Ефимия, — солнце красное.

Молодой еще, красивый и неглупый мужик. Русая борода и вьющиеся на темени волосы. Мягкие, ласкающие синие глаза, как у покойного Лопарева, и тихая, застенчивая улыбка. Такой мужик воды не замутит и сам себя от обиды не защитит. Смиранный и робкий, а ведь Юсков же, правнук мятежного стрельца, помышлявшего убить Петра Первого, сын хитрущего Данилы, сумевшего до того разжалобить тобольского губернатора, что тот отпустил его «упокоиться в общине».

В кого же он такой, Михайла?

Спросила:

— Часто ко мне ходишь, Михайла. Или сказать что хочешь?

Молчит и голову уронил.

— Али от скуки время цедишь сквозь пальцы? Говори!

— Прости, ради Христа, благостная. Жить не могу, не зрив тебя хоть едний день.

— И в жены взял бы?

— Господи! Век бы молился. Едная на всем белом свете. Да разве мыслимо? Шутейно глаголешь.

— Потто шутейно? Али я юродивая? И мне солнце светит.

— Кабы согласилась, да я бы, осподи прости, воскресе из мертвых. Без тебя нету жизни мне, скажу.

— И на смерть пошел бы за слово мое?

— Пошел бы!

— Не убоился бы?

— Хоть сейчас режь! Возьми нож и убей. Руки не подыму.

В пухлых губах Ефимии — тоскующая усмешка, а в черных глазах затаился огонь загниетки, когда в кучу собраны горящие угли.

Вот он, охотник-поморец! И на зверя с рогатиной хаживал, и по Студеному морю плавал, и от трудной работы рук не прятал за пояс, а сам за себя постоять не может.

— Вижу то, вижу, — горестно промолвила Ефимия, вздохнув. — Робкий ты и тихий. А я смелости жду, не покорности. Пошто на огонь не пошел за Акулину? Пошто зрил убивство и рук не поднял? Младенца твоего сожгли, подружью, и ты то видел, а молитву творил всенощную. Пошто не отринул самого бога за то убивство? Пошто не кинулся на апостолов треклятых, хоть бы потом смерть стала? Как можно жить так, Михайла?

У Михайлы глаза округлились и кровь ударила в лицо. Глагол-то Ефимии еретичный! Отринуть бога — слыхано ли?! Или для испытки духа обмолвилась Ефимия?

— Ступай, Михайла! Не тревожь душу. Не пара мне тихая птица без когтей, когда кругом кровожадные коршуны летают. Убивец твоей Акулины, брыластый боров, и теперь в холе проживает, а братья твои — Поликарп, Андрей, Микула — цепями гремят. Ах, если бы я родилась мужчиною!

И вдруг спросила:

— Пошто не убил брыластого в Тобольске, когда он наших единоверцев оглаголивал?

Легко сказать: убить самого Калистрата, проживающего в Тобольске под защитою псов царя-батюшки — казаков, жандармов и чиновников с губернатором!

— Веруешь ли ты в бога, Михайла?

У Михайлы от такого вопроса в глотке пересохло. — Спаси Христос, благостная!.. Как можно!.. Испокон веку!.. Что б! Как можно!..

У Ефимии отвердел взгляд и стал жестким, давящим.

— Когда жгли Акулину со чадом твоим, молился?

— Спаси Христос!.. Всенощная шла!.. Как же не творить молитву?

— Просил смерти аль жизни чаду своему?

Михайла вытер рукавом посконной рубахи пот с лица, еле ответил:

— Обеспамятствовал на моленье-то! Страхи господни!..

— И бог зрил тот огонь, и слышал вопль Акулины со чадом, и не ударил апостолов громом, и не залил тот огонь дождем? За рекой в ту ночь дождь шел.

— Не ведаю, благостная.

— Я зрила тот дождь и молила бога, чтобы он залил судный огонь, да не случилось то. Отчего так, скажи?

— Не ведаю, благостная.

— Ведать надо, Михайла! Кабы был господь на небеси, не стало бы смерти для Акулины со чадом, а была жизнь. И Веденейка мой не лежал бы во сырой земле, а пребывал бы возле груди моей. Али мне не

жгли тело именем Иисуса? Али я не висела на костылях, а Иисус зрил меня с икон и громом не ударил апостолов? Пошто так?

— Не искушен я в Писании, благостная!

— Писание! — Ефимия покачала головой. — Блуд в том Писании да скверна книжников. В Писании глаголют пророки да апостолы: раб — живи рабом, господин — проживай господином. Тако ли надо жить? Хошь ли быть рабом, холопом?

— Лучше смерть, а холопом не буду!

— Тогда ты не веруешь в бога, Михайла! Бог заповедовал чрез своих пророков, чтоб ты рабом был, ярмо на шее таскал. Али ты от знатного рода корень ведешь? Али твой родитель — князь? Как ты можешь проживать вольно, коль от холопа произошел на белый свет? Стань рабом, как господь бог велит!

Михайла опустил голову, сопит, думает. Трудно, с оглядкой. Правда ли, что бог заповедовал ему вечное рабство? И не верить Ефимии нельзя — она-то знает Писание!

— Слушай. Если ты будешь мужем моим, и я принесу тебе две дочери — кровь от крови твоей, и дочери потом вырастут, придут к тебе и скажут, что они хотят спать с тобой и родить от тебя младенцев, как ты сделаешь?

— Иисусе Христе! Как можно то?!

— Можно, Михайла, если в бога веруешь! Лотовы дочери спали с отцом своим. Потом и сынов народили, и бог за то дал им святость. Веруешь ли в это?

У Михайлы рубаха взмокла. Он что-то слышал про Лота и его дочерей, как они убежали из города Содома, потом пришли в город Сикор и не стали там жить, как все люди, а ушли с отцом в пещеру, где и свершили «таинство со своим отцом», предварительно напоив отца хорошим вином, чтобы он спяну не разобрал, с кем спит: с дочерьми или с женой. Но одно дело — читать Священное писание, другое — вообразить подобное со своими дочерьми. Экая скверна и паскудство! Но как же можно назвать паскудством Святое писание? Глагол пророков?

А Ефимия долбит свое:

— Знаешь, бог сотворил Адама, а потом Еву из ребра Адамова. И они через змея свершили тяжкий грех и народили детей, и бог проклял их. А кабы не свершили грех, так бы и жили двое на земле? И нас бы

не было, и никого бы не было на всей Руси! К чему тогда бог сотворил самое землю? Как могут два человека жить на всей земле, подумай! И откель, скажи, другие люди пошли? Ева народила детей, а других детей не было на всей земле! Выходит: братья поженились на сестрах, и бог то зрил али на небе в тучах прятался?

— Не ведаю, благодная!.. Не искушен в Писании, прости меня, господи!

Ефимия усмехнулась:

— Господь простит! Хоть мать убей, хоть отца иди зарежь — все простит. Да люди не простят, Михайла. Веровать надо в людей, а не в бога. Не бог сотворил человека, а сам человек себя сотворил, чтобы жить на земле господином. Такоже было, думаю. Зло и добро в людях пребывает, а не на небе у бога. Ноне вот брыластый боров молитвы творит в соборе, крестом осеняет людей и купель для младенцев, — а кто он сам?

— Алгимей треклятый!

— И он тоже молится Иусу, и ты молишься. Чью молитву бог слышит?

— Праведная молитва угодна господу богу. Не алгимеева!

— Праведная? Значит, это господь заковал единоверцев в цепи, когда услышал молитву брыластого борова? Тогда ступай, Михайла, в Тобольск и поклонись в ноги брыластому, а ко мне не ходи, слышь? Отринула я бога, Иусу и святых угодников, которые Калистратами были при жизни, а потом во святые перешли. Не верую более в туман да скверну Писания. Не верую! Не дам, чтобы дочери мои по Писанию спали с отцом своим, с моим мужем. Не дам! И рабыней не буду вовек!

Помолчав, спросила:

— Теперь возьмешь меня в жены? Сказывай! Михайла тарашил глаза и слова вымолвить не мог.

Сама Ефимия отреклась от бога! Сама Ефимия! Крепчайшая из крепких праведниц!

— Как можно, благодная? Богородицу зрила!.. Кабы господь не защитил тебя, огнем бы сожгли апостолы.

— Не господь, сама себя защитила. Если бы назвала апостола Калистрата, какие он тайные реченья вел у Третьяка, и смерть была бы мне, и Калистрату, и всем Юсковым. Ведаю то. И богородицы не было. Тяжкий сон был от измора тела и духа. Во сне и в яму падаешь, а как

озришься — на постели почиваешь. Али ты без снов живешь? Иди, Михайла. Иди! Когти точи, чтобы ястребом быть, а не голубем, какой в когтях ястреба смерть находит. Озрись сам, и ты увидишь: есть бог или нету. Брыластого повидай. Может, он укрепит веру твою, а не ходи ко мне: я порушу веру. Иди!

Сам не свой ушел Михайла и сенную дверь не закрыл.

Минуло три дня. К Ефимии понаведалься Ларивон и спросил, не знает ли она, куда исчез Михайла Юсков...

— Михайла? — удивилась Ефимия.

— Два дня как нету. На соловом жеребце уехал. С норовом который. Как он иво взнуздал, никто не видел. Нету ни солового, ни Михайлы. А вдруг становой со стражниками приедет да спросит: все ли в общине, — как говорить тогда?

— Так и скажи: все, мол. Али тебе становой поручил головы считать и за бороды держать?

Нет, такого поручения от станового не было.

Ларивон успокоился и ушел.

Ефимия встревожилась — куда же исчез Михайла? Что еще надумал? Не сбежал ли он из общины?

И старец Данило приходил, спрашивал, да что она могла знать! В чужую думу руку не засунешь и глазом не заглянешь.

Прошла неделя, другая. От Михайлы ни вестей, ни костей...

V

Зимушка-зима! Не рано ли завьюжила метелица, распушив белый хвост на всю Приишимскую степь?

Курятся дымки в избушках и землянках поморцев, и редко где ночью мерцает огонек: сало берегли, — зима-то длинная, а смолья достать негде. И только в избенке Ефимии до поздней ночи светилось оконце.

Ишим сковало льдом. Снегом перемело дорогу от займища общины до кандального тракта. Поморцы обмолотили хлеб ценами, провеяли лопатами на ветру и мололи зерно на конной и ручных мельницах.

Ефимия ждала и не ждала Михайлу — сгинул, может. Ночами, прокидываясь ото сна, к чему-то прислушивалась, вздыхала или

плакала в подушку.

И вдруг среди ночи кто-то постучал в оледенелое оконце. И голос: «Благостная, благостная!» Михайлы голос. Соскочила с лежанки да к оконцу:

— Ты ли здесь, Михайла?

— Я, благостная.

— Господи! — И, не вздув огня, в одной рубашке выскочила в сени, вынула перекладину из скоб и — босая на улицу.

Лунная тишь и мороз к тому же. Серебряными блестками играет девственно белый снег. Михайла будто испугался, попятился, а вместе с ним, храпя, закусывая железные удила, попятился дымчато-белый гривастый жеребец. Михайла в шубе, в пимах и в шапке-сибирке с опущенными ушами. Не признала даже — до того переменялся мужик.

— Ты ли, Михаила?

— Я, благостная. Не зреть мне тебя, прости господи!

— В избу иди. В избу.

— Не вздувай огня, Христом-богом прошу, — проговорил Михаила чужим, хрипким голосом.

— Иди же, иди! — А у самой голос срывается и босые ноги прихватывает на снегу.

Лунная сковорода светится, а не греет. Жеребец снег гребет копытами. За седлом, в тороках, какая-то кладь, стянутая веревкой.

Переступив порог, Михайла опять напомнил, чтоб Ефимия не вздувала огня.

— Да што с тобой подеялось, Михаила? Извелась я, ожидаючи тебя. Сколь время прошло-то! На неделе рождество, а тебя все нет.

— Мог сгинуть, да сдюжил. Без бороды возвернулся вот, и на голове волосов нету-ка. Срамота! Исчадие.

И в самом деле Михайла без бороды.

— Где же ты был?

— В Тобольске, благостная. Урок дал себе: изничтожить брыластого борова али живым доставить в общину да судный спрос учинить изменщику треклятому!

— Исусе Христе! И это говорит Михайла — робкий и тихий мужик. Как же ты урок такой загадал себе? Мыслимо ли?

— И голубь на ястреба кидается, благостная, коль к тому час подойдет, — ответил Михайла, переминаясь у порога. — В ту же ночь, как ты мне поучение сделала про брыластого, у меня будто земля ушла из-под ног. Вот, думаю, где же он, Иисус Христос, Спаситель, когда по земле ходит брыластый боров Калистрат и молитву ему возносит? И порешил тогда: не жить алгимею! Али мне пусть будет смерть, али изменщику, чрез которого братья мои цепями гремят на каторге.

— Если бы я знала, не говорила бы так в тот вечер.

— Пошто не говорила бы?

— Через меня на смерть-то пошел!

— Не чрез тебя, благостная, а от своей души. Места себе не находил. Сколь единоверцев загубил брыластый — умом рехнуться можно.

— Один ли он, брыластый, под царем проживает? Сколько их ходит с шашками да с ружьями? И стражники, и казаки, и губернатор с жандармами и чиновниками. Да мало ли их, кровопивцев! Одного брыластого убьешь — десять других будет. Спокон веку так, Михайла. Кабы всю крепость порушить: с царем, с алгимеями, со жандармами и помещиками, да чтоб сам народ власть вершил, тогда и вольная воля настала на всей Руси — от моря до моря. — И, помолчав, спросила: — Где же ты таился? В Тобольске?

— У единоверца Варламия Перфилыча. Он ишшо хлебом-солью потчевал, когда расправа шла. Помнишь? Старой веры держится, хоша и проживает при городе. Косторез знатный. Из Поморья такоже, как и мы. У него проживал и в болести мучился: черная оспа повалила. Мрут в Тобольске от оспы — кажинный день гробы тащат да воплем исходят. И меня скрутило. И всю семью Варламия Перфилыча. Дочка у него померла и старуха. И я чуть не помер, осподи прости.

— Из-за меня сгинуть мог!

— Што ты, благостная! Это господь на Тобольск мор наслал, а ты на себя вину берешь. Кабы не ты, и я бы помер. Одной тебе молился, истинный бог. Как вроде ты святая.

— Не говори так, не говори! — испугалась Ефимия.

— Истинную правду глаголю. Вот, думаю, ежели благостная святое реченье вела, минует меня черная смерть. И стало так: минула. А дохтура те, окаянные, того и ведают — бороды стригут да головы

оболванивают. И все лекарство. Иуды! За бороду я бы им башку оторвал.

— Вырастет борода-то, вырастет. Слава богу, сам живой вернулся.

— Конопатый я таперича. Образина-то — сам не зрил бы.

— Оспинка — божья щедринка, аль не знаешь? Прививная оспа — антиева печатка. Да неправда то! Ох, неправда! От черной оспы да от холеры — молитвами не спасешься. Не дай-то бог!

— Не дай бог, — ответно вздохнул Михайла и вдруг горестно промолвил: — Жить мне таперича вековечным вдовцом.

— Пошто так?

— Доля такая выпала. За конопатого разве приворотная перестарка пойдет аль какая порченная. К чему то мне? Один буду мыкаться да сам с собой аукаться.

Ефимия подошла ближе. Михайла уперся спиной в стену.

— Не зри меня, не зри! Хворь-то и к тебе пристанет.

— Не боюсь я ни хвори, ни смерти, Михайлушка. Чрез огонь и смолу кипучую прошла — мне ли убояться оспы? Дай обниму тебя, мученик праведный.

— Погоди, погоди, благодная! При свете али при солнце плеваться будешь. Легче умереть, чем экое пережить.

— Не в лице красота-то, а в душе, Михайла! Много я перетерпела в жизни за двадцать-то пять годов, а кабы ты не возвернулся к рождеству, ушла бы из общины. До каторги дошла бы к единоверцам и, чем могла, помогла бы им.

У Михайлы жар по телу, и в нот кинуло. Схватил бы Ефимию, обнял, да робость мешает.

— Спросить хочу: брыластого куда деть? Может, на моленье поднять всех, чтобы поглядели на иуду мертвого да проклятье наложили?

До Ефимии не дошло: брыластого? Какого брыластого?

— Да Калистрата-иуду. Мертвый токо. В тороках привязан.

— Исусе Христе! — перепугалась Ефимия. — Ты ли это, Михайлушка? Как ты осилил его?

— Тебе молился, говорю. И силы у меня будто прибавилось. С тремя бы брыластыми совладал.

— Господи! Как же ты, а?

— Неделю караулил алгимея. Иуда, запершись, сидел дома — черной оспы боялся, сатано. На молебствие в собор явится и скорее домой едет на санках. Выезд, как у архиерея. Сказывают: золотую цепь от Филаретова креста продал в казну, а крест архиерею убоготворил, паскудник, и в милость вошел. Проживал в доме при ограде самого архиерея. Там и стукнул я его. Булавой да по башке. Варлаамий Перфилович булаву удружил. Конь не сдюжит удара.

— Иисусе Христе! Михайлушка! Прости меня, что тогда посмеялась да робостью и тихостью укорила.

— За тот урок в ноги поклонюсь тебе, благостная. Как будто на свет в другой раз народился. Робким да тихим не проживешь, должно, алгимеи сожрут и кости на зубах перемелют. Такжеже.

— Михайлушка! Михайлушка!..

— Как с брыластым быть, скажи?

Ефимия догадалась: искать будут в Тобольске Калистрата-Калиту и, чего доброго, явятся в общину. Если созвать всех единоверцев на моление, а вдруг потом кто-нибудь проговорится, и Михайле тогда вечная каторга.

— Подумать надо, подумать! Ларивон и так спрашивал: как отвечать становому, если спрос учинит — все ли в общине? Как же быть-то, господи? Нельзя всех созывать на моление — назовут тебя, и каторга будет. Как же быть-то, а? Чую: беда будет! Лучше бы ты его там бросил — пусть бы искали убийца в Тобольске. Ах, Михайлушка, что ты наделал? На себя черных коршунов накликаешь! Кто видел тебя, когда ты возвратился в займище?

— Никто не зрил.

— Дай бы бог, если бы никто не зрил...

И как бы в ответ кто-то постучал в оконце. Ефимия подошла, прильнула к стеклу, присмотрелась, окликнула и услышала в ответ голос Ларивона.

— Ты, Ларивон?

— Я. Возле избы у тебя соловой привязан. Михайла приехал, или как?

— Иди в избу. Скорее. Дело есть.

Кому другому нельзя, а Ларивону можно сказать про кладь, навьюченную на солового жеребца.

Ларивон открыл дверь в избу и, не переступив порог, заговорил с оглядкой:

— Чаво тут? Али беда какая?

— Зайди в избу. Михайла возвернулся. Поговорить надо.

— Пошто огонь не вздули?

— Поговорим без огня. — И когда Ларивон вошел в избу, оглянувшись на Михайлу Юскова, Ефимия спросила: — Скажи, Ларивон, если бы в общину Калистрат заявился — живой или мертвый, как бы ты его встретил, алгимея?

— Исусе Христе! — испугался Ларивон.

— Говори!

— Огнем-пламенем сожег бы иуду! Через него погибель пришла и вся община сгнула.

— Тогда сверши волю свою. Михайла вон привез Калистрата мертвого, а ты убери паскудное тело с земли, чтоб следов не было для станового со стражниками, когда они приедут в общину искать брыластого. И чтоб тихо было, слышишь. Не поднимай всю общину! Царские собаки спрос учинят, а вдруг кто скажет да назовет тебя. И тогда будут цепи и каторга.

Ларивон не сразу сообразил, что от него требует Ефимия. По когда Ефимия сказала, что Калистрат теперь мертвый и тело его навьючено на солового, обрадовался:

— Слава Исусу, свершилось! А я-то думал: куда уехал Михайла? Оно вот как обернулось! Век буду помнить Михайла, и в моленьях благодости сподобишься, яко праведник.

Огнем-пламенем сожгу треклятого собаку и пепел в Ишиме утоплю.

Ларивон так и сделал. Разбудил крепчайших старцев-филаретовцев и сына Луку, утащили труп Калистрата к часовенке, совершили молебствие и, кинув труп на березовые дрова, сожгли, а пепел собрали в мешок, положили туда камней и утопили мешок в проруби...

... Так и остались недописанными откровения Кадастрата-Калиты Варфоломеевича Вознесенского о раскольниках-филаретовцах.

Ефимия не ошиблась. Недели не минуло после возвращения Михайлы, как в общину явились стражники со становым приставом, а вместе с ними исправник из Тобольска с дотошным Евстигнеем

Минымчем из Верхней земской расправы. Допытывались так и эдак: не отлучался ли кто из общины за две недели до рождества? Не грозился ли кто из филаретовцев убить Калистрата-Калиту? Пересчитали мужиков — все оказались на месте. И все-таки Евстигней Миныч уверял исправника, что загадочное исчезновение первосвященника собора Калиты Вознесенского не иначе как злодейское убийство, совершенное кем-то из раскольников. «В кандалы бы их всех да на Камчатку!»

За общиною установили гласный надзор. В двух избышках поселился урядник с пятью стражниками. Мало того, по первой оттепели в общину пожаловал помощник губернатора и объявил «высочайшую милость царя-батюшки»: всех раскольников, укрывавших беглых каторжан, водворить под стражею со всем их движимым и недвижимым имуществом на вечное поселение в Енисейскую губернию, в место, указанное губернатором. Тем из еретиков, которые отрекутся от раскольниковства и примут православие, разрешалось получить вид на жительство и поселиться в любом месте Сибири без выезда на Урал — «если на то не будет позволения власти».

«По высочайшему повелению...»

Общинники притихли, опечалились. Куда денешься? «Вот она какая наша вольная волюшка!..»

Как там случилось, никто не знает, кроме Ефимии: Михайло Юсков вдруг явился на поклон к помощнику губернатора и попросил дозволения принять православие и в тот же день уехал со стражником на одной телеге в город Ишим.

Роптали общинники, плевались, но не тронули отступника.

Вернулся Михайла из Ишима не в становище Юсковых к отцу Даниле, а к Ефимии, и через неделю сама Ефимия отбила поясной поклон общинникам: прощевайте, мол! Не поминайте лихом. Не я порушила клятву. Крепость царская да жандармская расторгла узы содружества нашего. Михайла навьючил все свое имущество и скарб Ефимии на четыре телеги, прихватил двух коров и солового жеребца, кроме пяти лошадей, и они уехали искать себе место.

Вскоре по весенней распутице раскольников погнали в Енисейскую губернию...

В Заобье началась невиданная тайга. Плотная, густо замешанная, непролазная.

Лили дожди.

До конца второй половины апреля — ни единого просвета в небе. Лошади по брюхо вязли в грязище. Все шли пешком, даже старики и старухи. Изнемогали, падали от усталости, но не роптали на судьбу. Шли, шли, шли!

Впереди гнали гурт коров, телят, жеребых кобылиц, молодняк и сотни три овец, закупленных у кочевников Приишимья.

Каждая семья держалась теперь своего неписаного устава: везла свой скарб. Коров и лошадей давно разделили, а кое-кто из состоятельных общинников прикупил животину у кочевников. Особенно в том преуспели Юсковы и Валя-вины.

Община распалась...

Возле города Ачинска оттесненные стражниками за Чулым-реку раскольники передохнули недели две, покуда уездное начальство не получило указание губернатора — в какое место гнать еретиков.

Енисейский губернатор ткнул перстом в карту: верховье Енисея, по реке Тубе к устью Амыла — в глушь, в тайгу, под надзор казачьего Каратуза. Чего лучше? Каторжные места рядышком — рукой подать!

От Ачинска той же непролазной тайгою раскольников погнали в сторону Енисея. Шли и ехали много дней, покуда не уткнулись в кремнистые берега. На правом берегу возвышались угрюмые скалы, омываемые устьем Тубы.

Вода в Енисее ревучая, студеная. Берега сумрачные, лохматые.

— Матушки свет, не Волга, чать, а воды-то сколь гонит! Кто бы ведал, братья, што есть на свете такая река, как Енисей сибирский!

Долго переправлялись па правый берег на счаленных лодках, потом передохнули и подались дальше левобережьем быстротечной Тубы. В три дня дошли до богатого хлебосольного села Курагино, и тогда уже отправились ходоки с Ларивоном искать в тайге единоверцев, которых еще старец Филарет посылал облюбовывать место.

Не отыскивали единоверцев. У кого ни спрашивали — ни слухом ни духом! Куда же они делись, одиннадцать мужиков? Говорили же Мокей

с Пасхой-Брюхом, что они отыскиали поселение в предгорной глухомани по Амылу. А где оно, то поселение? Ищи! Мыкался Ларивон с тремя мужиками из деревни в деревню и ни с чем вернулся в Курагино. А тут становой пристав насел: убирайтесь из православной волости, чтоб духу вашего не было!

Далеко не ушли от Курагино. Уткнулись в такую нехоженность — пальца не просунешь. Валежник, гниль всякая, хвойный лес под самое небо, а кругом — звери. Сохатые, маралы, медведи, рыси, а белок — несчетное множество. Благо, зверь в вешнюю пору не лют. Встретится медведь аль сохатый и — в сторону.

На высокой горе Ларивон с мужиками наткнулись на избушечку одичалого человека, похожего на татарина, заросшего волосами, одетого в звериные шкуры. Думали, не лешак ли? Одичалый бормотал что-то, зверовато поглядывая на неожиданных гостей. Тыча в сторону речушки у подножия горы, он часто повторял:

— Мал-Тат, Мал-Тат.

Поодаль, в зарослях плотного пихтача и ельника, бурлил в вешнем разливе Амыл.

С горы виднелась тайга на сотню верст. У подножия заприметили чистое место.

— Экая елань белая, — восхитился Ларивон. — Тут и жить будем, братия.

Гору прозвали Татар-горою. Поселение окрестили Белой Еланью.

Лесные прогалины вспахали сохами и засеяли на первый раз ячменем.

День и ночь стучали топоры. Валили столетние кедры, лиственницы, пихты и сосны, свозили их волоком к облюбованному месту, строили дома на веки вечные.

Ларивон ставил дом сыновьям возле поймы Малтата, на пригорке. Как и наказывал Мокей, дом строили пятистенный, с моленной горницей, со светелкой, с большой передней. Три года прилаживали бревно к бревну, и вышел дом на славу.

Шли годы. Тайга отступала все дальше...

КОРНИ И ЛИСТЬЯ

Сказание второе

*А еще сказать ли тебе, старец, повесть?
Блазновато, кажется, да было так.*

*Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное*

Вольный свет на волю дан.

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

I

Горы, и тучи, и лес дремучий. На ногах цепи, и на руках цепи. От двух цепей — еще одна в два аршина длины: к тачке замком примкнута. Ключ от замка у надзирателя.

Каторга!

От темна и до темна колодники с бритыми лбами гоняют тачки — от шурфа до бутары. Золотоносную породу возят. И в дождь, и в зной, и в осеннюю слякоть, и в крещенские морозы. Изо дня в день, из года в год. Звенят и звенят днем и ночью цепи, да колодники обвыклись — не слышат звона. Одна думка: порвать бы цепи да бежать.

Один из колодников, вечный каторжник, трижды клейменный за побеги, давно забывший собственное имя, прихватив с собой напильник, бежал в горы.

Немилостивая тайга сомкнулась хвойным обручем — дух занялся: куда уйти? Где найти пристанище, чтоб не угодить в руки стражников и сибирских казаков?

Стальной напильник одолел железные заклепки на браслетах кандалов, и беглый каторжник осенил себя... ладонью, не троеперстием. Давно так не молился, и будто легче стало.

Долго шел старик хмурой тайгою, сам не ведая куда. Питался незрелыми ягодами и кореньями, ночи коротал под елями у огня:

благо, серные спички прихватил. И чем дальше, тем выше горы, под самое поднебесье. Так он подступил к Белогорью и горько заплакал: не одолеть гольцов с нетающими льдами. Знал: за гольцами вольная монгольская земля!..

Близок локоть, да не укусишь.

Потащился вниз по неведомой реке. Отощал нещадно и, выбившись из сил, подошел к Белой Елани.

Как затравленный волк, глядел на деревню издали, боясь подступить ближе. На пойменных лугах в прозрачной струистости летнего воздуха мужики косили траву. Возле речки, в тени ракитовых кустов, фыркали лошади, и там же устроен был стан. Виднелись телеги, холщовый полог на кольях, и курился синий, медленно тающий дымок. Беглец подкрался к телегам и, как того не ждал, наткнулся па бабу с грудным ребенком. Вытаращив глаза на лысого, сивобородого оборванца, баба дико взвизгнула, не в силах подняться на ноги и бежать: до того перепугалась.

Босоногий старик в рваных арестантских штанах, зверовато оглянувшись, приблизился:

— Хлебца бы мне, Христа ради! Едную корочку.

— Сусе Христе! Сусе Христе! — лопотала баба, прижимая к груди младенца.

Старик опустил на колени и перекрестился... ладонью.

— Ради Христа, — повторил он, облизнув заветренные губы и не спуская глаз с бабы. — Сжался над немощью да над старостью. Век поминать буду.

— Сусе Христе! — И, набравшись смелости, баба завопила во всю глотку.

Старик срамно выругался и кинулся в заросли чернолесья, к речке.

К бабе подбежали мужики и тут услышали, как явился неведомо откуда лешак — глазастый, лысый, в рваных штанах, сивобородый — и чуть было не сожрал бабу вместе с младенцем.

Мужики бросились на поиски, и одному из них удалось увидеть на прогалине между лесом страшного человека. По всем приметам — беглый с каторги. С какой только? С Ольховой иль Никольской? А может, с медного завода, что возле Минусинска?

— Изловить надо каторгу, награда будет, — сказал кто-то из мужиков, и все кинулись ловить беглеца. Но тот сумел скрыться.

Вскоре вся Белая Елань знала, что возле деревни прячется беглый каторжник. Местный урядник поднял всех па ноги. С ружьями, с топорами, с собаками кинулись на пойменные сенокосы, сторожили трактовые дороги, но не сыскали каторжника.

Голод — не тетка. Таясь в пойме Малтата, белобородый беглец заметил на карнизе окраинного дома скрутки звериного мяса, вывешенного для завяливания на солнышке.

Дело было на ильин день, почитаемый в Белой Елани как престольный праздник.

Вечером беглец добрался до охотничьей снеди, да не ушел далеко...

Хозяин дома Ларивон Филаретыч, костлявый, жилистый старик в крашеной поскони, в чирках, лобастый, горбоносый, как коршун, увидел в окошко моленной горницы, как нездешний оборванец прятал за пазуху скрутки сохатины. «Осподи помилуй! Каторжник, иначе», — затрясся от злобы старик и заорал:

— Лука, Лука! Варнак-то, каторга окаянная, снесь опаскудил! Сохатину с карниза снял!

Лука влетел в горницу и сопя прильнул к стеклу:

— Игде, батюшка?

— Эвон, промеж кустов-то! Изловить бы, треклятого. Да самосудом, чтоб на веки вечные!..

Закатные лучи упали на рыжую бородищу Луки, и она вспыхнула зловещим пламенем.

В передней избе, где можно на тройке развернуться, за большим столом трапезничали домочадцы — двенадцать душ: двое женатых сыновей Луки Ларивоныча с женами и ребятишками, меньшей сын, Андрей, бровастый, поджарый парень, еще не успевший отпустить огненную бороду, и престарелая, щербатая Марфа, иссохшая и желтая, как сосновая стружка, кормящая малых правнуков: двух льяноголовых девчонок и двух прожорливых мальчишек: Елистрашку и Прошку.

Большак семьи, Лука, поднял всех на ноги:

— Живо мне! Ты, Веденей, возьми ружье. А ты, Микита, рогатину. Собаками травить будем. Урядник сказывал: награда будет.

Хошь живого, хошь мертвого!

Вскоре из резных ворот боровиковской усадьбы вылете ли лохматые собаки-медвежатники, вечно голодные, подтощальные, готовые разорвать не только чужого, но и своего, только бы их науськали.

На взгорье, перед тем как бежать в пойму, Лука успел крикнуть старшему сыну Веденею:

— Гляди здесь, да никого не пушай в пойму! Сами травить будем.

— Не пушу, батюшка! — потряс дробовиком Веденей, Из поймы доносилось:

— Ату, ату, ату!

Натасканные на зверя собаки никак не могли взять след человека, и носясь как очумелые между кустов боярышника и черемухи, напали на гулящую телку с колокольчиком на шее, и не успела та вздуть хвост трубой и убежать, как собаки сбили ее с ног и разорвали бы, да подоспел Микита с рогатиной. Одну собаку огрел по голове, другую пхнул под брюхо. И тут раздался голос Ларивона Филаретыча:

— Здеся, здеся! Лука, Лука! Пестря! Черня! Белка! Ату, ату! Микита, Лука!

Собаки понеслись на голос старика, а вслед за ними Микита, бухающий сапожищами.

Каторжник прятался в кустах черемушника. Что-то говорил, умоляя сивобородого старика, да Ларивон Филаретыч не слушал. Притопывая ногами, науськивал:

— Ату, Черня! Ату, Петря! Рвите анчихриста! Ату, ату! Черный кобель, как смерть, прыгнул в кусты и вцепился в бродягу — ключья полетели.

А из кустов умоляющий хрип:

— Люди, люди! Братцы! Помилосердствуйте! Не анчихрист я, братцы! За напраслину век мытарюсь, люди! Помилосердствуйте!

Куда уж тут до милосердия, коль за поимку каторжника — живого или мертвого — награду дают...

Микита намеревался проткнуть бродягу рогатиной, да старик удержал:

— Пушай собаки. Тако сподобнее. Штоб без смертоубийства. Без греха штоб!

Тошная беломордая Белка, заливаясь лаем, кружилась возле куста.

Лука схватил Белку и кинул ее в кусты:

— Ату, ату!

Слышалось стонущее, трудное, хриплое:

— Бра-а-а-т-цы-ы! Спа-а-а-си-те! Бра-а-а-т-цы!

А «милосердны братцы», уминая траву возле куста, в три глотки травили собак.

Не помня себя, жестоко искусанный собаками, в жалких окровавленных лоскутьях вместо штанов, бродяга выдрался из кустов и из последних сил ударился в сторону дома Боровиковых. Собаки не отставали. Рвали ноги, остатки одежды. Неистовый Черня взлетел несчастному на спину и вцепился в загривок.

Вопль, вопль и стон...

— Ату, ату, ату!

С горы в пойму бежали мужики и бабы — Боровиковы варнака собаками травят.

— От Боровиковых не уйдет небось!

Лука орал, чтоб никто не подходил к каторге.

— Мы изловили ворюгу!..

Жилистая бабка Марфа, стоя возле окна в горнице, молилась Иисусу, чтоб он смилостивился и помог собакам и своим мужикам одолеть варнака.

— Спа-а-сите, бра-а-т-цы! — поднял окровавленные руки каторжник, упираясь спиной в горы и отпихивая собак ногами. — Али вы анчихристы? Али на вас креста нету?!

— Повалить бы да связать, — сказал Микита.

— По башке его, но башке дюбни! — крикнул Лука Ларивоныч.

Затравленный пронзительно уставился на Луку и вдруг проговорил:

— Ларивон, а?! Борода-то! Ларивон, а?! — И тут же Микита стукнул его рогатиной по лысому черепу.

Обмякшее тело каторжника медленно осело у горы. Собак оттащили. Веденей гнал прочь пришлых мужиков и баб, но никто не уходил.

Меньшой, Андрюха, глядя на страшное, обезображенное тело, быстро и часто крестился:

— Спаси Христе! Спаси Христе!..

Упираясь локтями в землю, несчастный поднял голову и, дико глядя на всех, прерывисто бормотал:

— Убивцы, убивцы треклятые!.. Ларивон... со общиной... убивцы, исчадие сатаны!.. Ларивон, а? Ларивон!.. До гольцов дошел!.. Тридцать годов цепи таскал!.. За напраслину!.. Одиннадцать дней по тайге мытарился... звери миловали... Треклятые!.. — И, обессилев, ткнулся лицом в землю. Притих. Подумали — скончался.

Бабы испуганно попятились. Но вот он опять поднял голову и, медленно подтягивая руки, покачиваясь, привстал на колени, и тут же свалился на бок.

Долго лежал так, недвижимый и ужасный, хлюпая открытым ртом. Потом потянулся, упираясь лысым затылком в крапивный куст.

— Успокоился, мученик, — сказал кто-то со стороны.

— Сохатый и то не сдюжил бы! И горло порвали, и брюхо располоснули!

— Ладонью молился на покосе Валявиных, когда к Наталье со младенцем подошел. Корочку хлеба просил.

— Также!.. Также!..

Лука ухватился за рыжую лопату бороды, глянул на всех:

— Чаво не дали корочку? А? Чаво?!

Старец Ларивон не слушал и никого не видел, осовело уставившись на покойника. Отчего он, варнак, сына Луку назвал Ларивоном? Кто он? Про какую общину говорил бродяга? Откуда он знает общину, которой вот уже тридцать годов как нету? И ладонью, говорят, молился. Не правоверен ли? Кто же он? Кто? И тут только вспомнил, как давным-давно, оглаголенные брыластым боровом Калистратом, пятьдесят душ единоверцев угодили на вечную каторгу...

Погнулся Ларивон и, шаркая чириками, поплелся домой. Закрылся в моленной горнице и упал на колени: всеношную молитву стоять, грехи замаливать...

II

Тело каторжника без сожаления предали земле тут же, где лежал. Креста не поставили, а вбили в могилу тополевым кол: чтобы другим воругам было неповадно. «Не воруй. Не тяни лапы к чужому добру».

За убийство каторжника никто не преследовал.

— Туда ему и дорога, — сказал потом урядник. — В цепях не издох — собаки разорвали. Одна статья — смерть.

На неделе приехала в Белую Елань Ефимия Аввакумовна Юскова.

Наслышался Ларивон Филаретыч про богатства Михайлы Юскова, знал, что у Ефимии родилось двое сынов и три дочери и что сама Ефимия будто худо жила с Михайлой Данилычем. И ссорились, и от веры отреклась, и в мир уходила «искать правды», но ни разу глаз не казала в Белой Елани у родственников Юсковых.

Под вечер как-то, выглянув в окно из молельной, Ларивон увидел женщину в черном возле свежей могилы каторжника. «Господи, сама Ефимия!..»

Долго молилась Ефимия, стоя на коленях возле могилы, потом поднялась, поглядела снизу вверх на окна дома Боровиковых, придерживая рукою черный платок, пошла в гору. Ларивон Филаретыч слышал, как хлопнула калитка, и опустился на лавку.

В ограде всполошились собаки. Кто-то выскочил из избы — Прасковья Микиты, наверное. Лука Ларивоныч со своими сыновьями, с бабой Катериной и со снохой Натальей на сенокосе — стога мечут. Старуха Марфа ушла в староверческий Кижарт на богомолье, а Прасковеюшка с малыми ребятами водится.

— Собаки-то у вас лютые! — раздается голос Ефимии Аввакумовны. — Ларивон-то Филаретыч дома?

— Дома, дома, — ответила Прасковеюшка. — Позвать батюшку?

Ларивон Филаретыч сам вошел в избу.

Оробел старик, встретившись с такими знакомыми и непонятными, полными земной тяжести, черными глазами гостыи, словно в них таился для него тяжкий приговор, как смертный страх перед неизбежным. Нет, он ее не забыл, еретичку Ефимию! Ни ее вот этих глубоких и вечно скрытых глаз, перед которыми опускал голову батюшка Филарет, ни ее непреклонной, неподкупной гордости, так что а апостолы Филаретовы робели перед ней, хоть и срамно плевались и жгли ее тело железом. Ни огнем ее не сожгли, на опоганили проклятьями, не утрашили геенной огненной. Вот она, живая, статная и гордая, соболебровая, моложавая, будто тридцать минувших лет пробежала без оглядки босиком, не переводя дыхания, отчего и не успела ни постареть, ни утратить глубины своих черных глаз. Что же она ему скажет, Ефимия? Неспроста, конечно, она прежде всего

навестила могилу убиенного каторжника, стояла там на коленях, придерживаясь руками за толстущий тополевыи кол, а долго глядела на боровиковскую крепость. Поклонился гостье в пояс:

— Спаси Христос, Ефимия Аввакумовна! Гостья ответила мирским приветствием:

— Здравствуй, Илларион Филаретыч. — Не «Ларивон», как все зовут и к чему привык, а по-городчанскому. — Постарел, вижу. Сразу не признать. На прошлой неделе сына твоего Луку встретила в улице. Испугалась. Ларивон, думаю. До чего же похож! И борода и лицо. Каким был ты на Ишиме.

— Господи прости, сколь годов-то!.. В памяти и то мало осталось. Просевки да сумежья. Проходите, проходите, Ефимия Аввакумовна, красной гостьей будете. С богатством вас! — И еще раз поклонился в пояс. — Слышал, разбогател Михайла-то Юсков в Урянхае. На всю Минусинскую округу первеющий богач. Да што же мы, а? Прасковея! Привечай дорогую гостью. Можно сказать, невесткой была. Осподи! Жисть-то окаянная, как перекрутилась! И узлов не развязать.

Прасковеюшка в подоткнутой юбке — только что вымыла пол, — в бордовой холстяной кофте, полнеющая, круглолицая, не знала, что ей делать и как привечать гостью. Не раз слышала от батюшки Луки Ларивоныча, что Ефимия — паскудная еретичка, блудница, которую когда-то на судном спросе сам сатана спас от смерти. И вдруг привечать ее! Да и как подступиться к гостье в черной бархатной жакетке и в черном шерстяном платке, в невиданных ботинках и в шерстяном нарядном платье, закрывающем ботинки до носков? Слыхано ли — привечать барыню!

— Прасковеюшка. Аль ты глухая?

— Я што. Я тутока.

— Гостью-то привечай.

— Дык-дык не ведаю, батюшка, — таращила глаза Прасковеюшка и будто клюквенным соком налилась от смущения и неловкости.

— Стул из горницы подай, самовар ставь да угощение собери. Чаем потчевать будешь.

Гостья усмехнулась чему-то, сказала, что не надо беспокоиться с чаем — «зашла повидаться», — и присела на оголовок лавки, куда никто из домашних не садится: оголовок для людей с ветра. Кому-

кому, а Ефимии Аввакумовне известен неписанный устав старообрядчества!

Ларивон Филаретыч догадался и примолк.

Прасковеюшка вынесла стул.

— Садись, Ларивон Филаретыч, — пригласила гостя хозяина, чинно указав на стул. — Посидим мирком да поговорим ладком, коль не чужими были.

— Такоже. Такоже. Не чужими.

— Семья у тебя большая?

— Дык четырнадцать едоков под одной крышей. Лука хозяйствует со сыновьями. Ишшо в дороге взял себе Наталью Трубину. Помнишь? Старшой Луки, Веденей, родился в тот год, как мы место обживали.

— Василия Трубина или Григория Наталья-то?

— Григория-то медведь задрал, когда ишшо ходоком ушел со Мокеем. Баба иво будто ума лишилась: собрала ребятишек в короб, когда к Ачинску подъехали, и в церковь ко щепотникам привезла: возьмите, грит, коль старая вера не спасла от погибели мужика мово.

— Слышала.

— Как же, как же. Ума лишилась.

— А может, прозрела? — сверлили черные глаза гостыи. — Только и в церкви поповской спасения нету. Обман да блуд под колоколами.

— И то и то! Поп с крестом, а урядник за ним с хлыстом.

— Так, Илларион Филаретыч. Так! — и вдруг спросила: — Что же Лука сына своо назвал Веденеем? Али не слышал про мово Веденейку?

— Как же, как же! — покачал головою Ларивон. — Да ведь душа благостного Веденейки на небеси со ангелами ликует? Сколь раз видения были Марфе: Веденейку зрила ангелом. И кажинный раз после сна такого благодать была. Потому и Веденеем нарекли.

Лицо Ефимии Аввакумовны потемнело, точно от черной тучи тень легла. Веденейка махонький? Она его все время видит кудрявым и маленьким, а ведь он был бы богатырь!

— Сколько вашему Веденею? — тихо спросила.

— На Сильвестра-курятника двадцать осьмой стукнуло. Двух сынов растит: Елистратушку и Прошку.

Ефимия покачала головой:

— А моему-то Веденейке со спасова дня тридцать шестой миновал бы. Во славу Иисуса удавили.

Ларивон Филаретыч не ослышался: Ефимия так и сказала: не Иисуса — Иисуса.

— Ну, а еще кто в семье у вас?

— Дык четырнадцать едоков, грю. Со мною и со старухой Марфой. Микита, середний сын Луки, поженился вот на Прасковее Лутоновых. Из Кижарта взял единоверку. Осиоди прости! — что-то вспомнил Ларивон Филаретыч. — Как искали-то мы своих единоверцев, когда пригнали нас стражники в Курагино! С ног сбились. И туда кидались, и сюда. Мокей-то сказывал, помню: на Амыле-реке. Да и сам Амыл-то велик, ищи! Мыкались и рукой махнули. Года два жили на новом месте я вдруг проведали: вот тут, рядышком, десять верст от нас, за Амылом по речке Кижарт наши единоверцы втайности проживают большой деревней, и власти про них ничего не знают. Дивно! Тут и сыскались ходоки. Потом и власти открыли Кижарт и поселенцев нагнали туда. В Белой-то Елани, почитай, дворов за пятьдесят, которые возвернулись на жительство опосля каторги. И урядник тутока живет.

— Урядники, казаки да стражники с жандармами — опора царя. Если бы не они, давно бы упал престол.

— Такжеже.

Медный самовар с черной трубой, вставленной в круглое отверстие русской печи, тоненько запел.

Прасковеюшка, скрестив пухлые руки на груди, открыв рот, пялила глаза на гостью. До чего же она не деревенская, барыня! И выговор и голос чужой, не бабий. Будто по вешней зелени холсты стелет для отбеливания. И вся такая пахучая.

— Господи! Гляжу на вас, Ефимия Аввакумовна, и диву даюсь: до чего же мало переменились! — Ларивон Филаретыч даже головой покачал. — И согнутости нету, и лицом не потухла, и глаз свежий, а ведь, дай бог памяти, пятьдесят годов будет?

— Пяток прибавь.

— Бабий век минула, а об старость не обопнулась. Житье, знать, покойным было. Мне-то с цветного мясоеда семьдесят семь исполнилось. Силушка-то ушла! Сквозь пальцы процедилась. Одышка задавила от надсады, и кости ровно ссохлись. Отчего так? От

бедности. На голом месте жисть зачинал с сыновьями. Меньшой-то, Евлашка, помер. Надсадился, помаялся и богу душу отдал. Пануфрий в Кижарте дом поставил и бабу там взял. Ох-хо-хо! Житье хрестьянское. Хмарь таежная, гнус да небо над головой. И вся видимость. Али медведь сожрет, али урядник в калач согнет.

— Постарел, постарел!

— Должно, скоро призовет господь.

— Филаретовой крепости держишься?

— Нету той крепости, — горько признался старик. — Со всех сторон одолели царевы слуги. И налоги платим, и подушную берут. Продыху нет. Дай царю деньги, а откель их нагрести? Кабы наша земля была, как вот курагинская — ладошка черноземная да равнинная. А то тайга ведь. Каждую десятину зубами и когтями выдирали из тайги. Таперича вон пашни много, а пней ишшо больше. И тракт через деревню на две каторги: на Ольховскую и Никольскую. Прииски там.

Через порог перелезла льняноволосяя, пухлощекая девочка, годика три, не больше. За нею старшая, такая же беленькая. Обе босые, в холщовых платицах. Прасковеюшка погнала их прочь из избы.

— Ись хочу... Ись! — визжала меньшая.

— И я ись хочу! — вторила старшая.

— Зачем ты их гонишь? — удивилась Ефимия.

— Чаво им подеется? — ответила Прасковеюшка. — Пусть трескают на огороде морковку, а потом мыть поташу в речку: эких да в чистую избу пускать!..

Ларивон Филаретыч спросил:

— Михаила-то твой постарел? — Три года как помер.

— Исусе Христе! Не слыхивал. В богатстве проживал, деньги наживал — и на тебе — помер!

— Богатство душу не удержит.

— И то.

Ларивон Филаретыч вспомнил, как тихий Михаила Юс-ков вдруг показал себя совсем не тихим: брыластого борова Калистрата упокоил да еще в общину привез, чтоб изничтожить паскудное тело, что и свершил во славу Исуса Ларивон Филаретыч, — небу жарко было.

— В Урянхае долго проживали? — спросил он.!

— Годов семь так иль восемь.

— Какая там земля?

— Горная да пустынная. Куда ни глянешь — всюду черные да синие горы и лес па них. Иль голые камни. Енисей там зовут Бий-Хемом. Их там два Енисея: Большой и Малый. Ка-Хем и Бий-Хем. Живут на той земле сойоты и монголы, а мы их звали всех инородцами. Люди гостеприимные, да темные. Язычники. Шаманы у них такие — смотреть страшно, как они колдовство совершают. И от хвори лечат, и службу правят. Прыгают с бубнами, разнаряженные лентами и побрякушками, а им верят, что они нечистый дух гонят прочь. Скота там несметное множество. Жили мы в большом селе на берегу Бий-Хема. И Малый Енисей впадает рядом, возле горы. Я сперва не знала: выживу ли на той земле? Потом надумала открыть русскую школу для инородцев. Учила, что сама разумела. Может, и теперь добром поминают люди тех гор — не ведаю. Грамоту многим дала, а счастьем не оделила ни одного. Где его взять, счастье?

— Оно так. Да, может, и счастья нету?

— Может, и нету, — согласилась Ефимия Аввакумовна. — Повидала я разных людей, а счастливых что-то не видывала. В душегубстве счастье ли?

— В спасении жизнь наша!

— От чего спасаться?

— От людского блуда. Во грехе люди погрязли. Прасковеюшка набожно перекрестилась.

Ларивон Филаретыч заговорил про богатства покойного Михайлы Юскова.

— Не было мне счастья в том богатстве, Илларион Филаретыч! Коротка и прискорбна жизнь человека, если он помышляет о деньгах и богатстве. У одних богатство и золото, дворцы понастроены, а у других черный хлеб с водицей.

— Такжеже. Такжеже. Кабы старой веры все держались...

— Было ли богатство в общине, когда все держались старой веры? — И ответила: — Только не умирали от голода — и все богатство!

— Оно так!

Самовар закипал. Прасковеюшка собирала на стол, застланный самотканой скатертью с поморскими узорами — бабка Марфа ткала.

Ефимия Аввакумовна глянула на иконы, занимающие весь красный угол. Те самые, под которыми удушили Веденейку! Она, Ефимия, молилась на эти иконы, когда сутки висела на костылях, ожидая судного спроса. Мокеюшка пощепал их, побил о стены, да Ларивон Филаретыч склеил потом: щепочку к щепочке, но и теперь виднеются расщелины на масляной краске.

Хозяин заметил взгляд гостыи, испугался. Как бы не опорочила нерукотворные лики святых!

— Как здоровьишко-то Семена Данилыча? — спросил про деверя Ефимии.

— Поправляется.

— Слава Христе. Со медведем бороться — спаси и сохрани! Не оробел, слава богу. Веденей наш тоже спытал обнимку косолапого. В позапрошлый год у берлоги оказия приключилась. Взял на рогатину, а руки не сдюжили. Кабы не успел нож выхватить, каюк бы.

Ефимия Аввакумовна опять взглянула на иконы.

— Гостевать долго будете?

— Да насовсем приехала. Поставлю дом у поскотины и буду жить возле Гремучего ключа в рощице.

— У кладбища?

— Через дорогу.

— Да што вы!

— Мертвые за ноги не хватают, Илларион Филаретыч. Живых собаками травят.

Старик вздохнул, но сделал вид, что не уразумел намека.

— Другой раз думается, — продолжала Ефимия Аввакумовна, — нет человеку спасения ни на земле, ни на небе. Все тлен и прах. Из праха вышли — в прах отойдем. И после будем как не жившие. Дыхание в ноздрях наших — дым. И слово наше — пустошь и суета сует. Тело обратится в ничто, и дух рассеется. И само имя наше забудется со временем, и никто про нас не вспомнит. Ибо вся наша жизнь — единая тень без плоти. На челе у всех печатка смерти, и нет от той печатки спасения. К чему вера? И во что веровать? В туман, в церковный блуд и в вечное забвение? И вот эти лики святых угодников творили люди, а что в них, в ликах?

Ларивон Филаретыч испуганно ахнул:

— Что вы, что вы, Ефимия Аввакумовна! Еретичество-то экое, а?! Иисусе Христе, спаси и помилуй! — и взглянул на Прасковеюшку, махнул рукой: — Подь!

— Зачем гонишь!

— Святотатством смущаешь.

— Смущаю? Ишь ты какой благостный! Веру Филаретову блюдешь, а человека затравил собаками.

— Каторгу-то?

— Праведника.

— Экий праведник! На нем креста не было. Клейменный разбойник. Сам урядник сказывал: по клеймам — вечный каторжный. От такого не оборонись — смерть будет.

— Или он напал на дом твой?

— Кабы недоглядел, ночью всех порешил бы.

— Говорят, будто на покосе Валявиных ладонью молился, не щепотью.

— Неможно! — отмахнулся старик. — Наталье поблазнилось. Чаво бы стал он молиться?

— Молился, Корочку хлеба просил.

— На каторжных да на бродяг хлеба не напасешься. Ефимия укоризненно покачала головой.

— Где же тогда милосердие? К чему веровать в туман, а творить смерть?

— Иисусе Христе!

— Луку твоео будто Ларивоном назвал?

— Разве он Ларивон, Лука-то?

— Подумай: каким ты был тридцать годов назад? Значит, убиенный знал тебя, каким ты был на Ишине? И про общину обмолвился. Кого же затравили собаками? Единоверца! Спасение искал человек, а смерть нашел. А если бы явился сам Иисус в терновом венце, и на него бы собак пустили?

— Свят, свят, свят!

— По облику, как сказывают, убиенный был дюжий. И костью широк, хоть и старик, и борода белая, и на трех местах клейма. Наталья Валявина заприметила: на лбу у него рубец, как будто кто лоб проломил, говорит. Страшно подумать: не Мокей ли то?

— Што ты, што ты, благостная! — Наконец-то Ларивон вспомнил, как звали Ефимию в общине. — Неможно то.

— Тогда слушай...

Ефимия помолчала, о чем-то думая, и заговорила тихо, глядя себе в колени:

— Знаешь ли, где Мокеюшка с единоверцами первую каторгу отбывал? В стороне Иркутской, на слюдяном руднике. Когда мы с Михайлой поселились в Минусинске, я письмо послала в сенат, в Петербург, и мне указали место. На другой год побывала на том руднике, поглядела, как люди гибли. И в холоде и в голоде. Глянула на Мокеюшку — и силы лишилась, до того он постарел! И голова полысела, и в бороде седой волос. Говорила: буду писать царю, чтоб освободил от каторги, да он сам не дозволил: «Весь народ на Руси так мытарится, — сказал. — Не едный мой перст в смолу кипучую, а вся длань в геенне огненной!..»

Недели три жила на каторге и, чем могла, помогала несчастным. Когда прощались, Мокеюшка облобызал мне руки и сказал, что мы еще свидимся па этом свете...

— Господи помилуй!

— Не думала я, что будет у нас свиданка, а была... — Была?!

— Года через два так, под осень, Мокеюшка заявился в Минусинск. В армяке ямщицком и шапка соболья. Кушак синий и сапоги с отворотами, как у приискателей. Явился ко мне, когда Михайлы не было дома, да упал в ноги. «Прости, говорит, подружил. Обещал тебе свиданку, вот и пришел. Гони али урядника зови: пусть вяжут. Двух стражников смертью ублаготворил!»

— Исусе! — тяжко продыхнул Ларивон Филаретыч.

— Тогда и увидела на лбу Мокеюшки ямку: пуля скобленула. Он еще хохотал: «Башка, говорит, тверже пули. Жить буду!» И жил бы, если бы укротил характер... Надумала увезти Мокеюшку в Урянхай, чтоб никто не знал, что он из беглых. Достала ему вид на жительство на имя мастерового человека по фамилии Потапов Иван Сергеевич, еще просила, чтоб он и во сне забыл про Мокея. С тем видом поехали мы с Мокеюшкой в Урянхай.

Ефимия Аввакумовна примолкла, собираясь с духом, и, как бы гоня прочь навязчивую тень, договорила:

— Не зажился Мокеюшка в Урянхае. Первое время таился (от самого Михайлы я скрывала, что со мной приехал Мокей) и с Михайлой редко встречался. Потом ушел в горы. Где был — не ведаю. Что там делал — один бог знает! Весною вернулся в нашу деревню, где мы жили с Михайлой, и встретил меня на берегу Бий-Хема, да и говорит: «Ты, моя подружия едная, как земля. Без тебя мне нету жизни и счастья. Вот, говорит, нашел я золото, гляди!» И показал добычу. Фунта два, пожалуй. «Еще, говорит, возьму на том месте столько же или в десять раз больше, только скажи, что уйдешь от Михайлы».

Как же я могла уйти от Михайлы, если слово дала и у меня два сына народились?

Мокеюшка твердит: «Буду почитать, как своих сынов». Да в одном ли почтении отец для детей своих?

К чему — сама не знаю — сказала я Мокеюшке, как он измывался надо мною в Поморье и какое проклятье наложила я на Филарета Наумыча за убиенного Веденейку. Слова мои тяжко ударили! Мокеюшка поглядел, опустил голову, кинул золото в мешочке в Бий-Хем — только вода брызнула. И ушел!..

Куда? Ни слуху ни духу! Годов пять прошло так. Жили мы в Минусинске. Михайла поехал как-то на каторжный медный завод, да и говорит потом, что Мокея встретил в цепях. «Руду возит на тачке», — говорит.

Спасибо сказала Михайле и через неделю или две, не помню, сама поехала на медный завод. Дозволили поглядеть каторжных. Ходила по баракам, по руднику, не встретила Мокеюшку. Потом спрашиваю: был у вас такой-то каторжный? Говорят: неделю как сбежал...

Вот и второй побег Мокеюшки!..

Ларивон Филаретыч ни словом не обмолвился. Давным-давно запомнил Мокея, а брат был вот тут рядом, в Минусинске, и, кто знает, — не он ли затравлен собаками?!

— После смерти Михайлы, на другой год, послала я розыск в Петербург, да ответа не получила. Побывала на многих каторгах, а не отыскала след Мокея. На неделе соберусь на Ольховую, потом на Никольскую каторги. Урядник сказал, какие были клейма на теле убиенного праведника. Узнаю — не Мокеюшка ли?

— Иисусе Христе! — крестился Ларивон Филаретыч. Ефимия Аввакумовна поднялась уходить, так и не угостившись чаем.

Поклонилась хозяину:

— Господь помилует за убиенного, как и за Веденейку мово помиловал. Да на весь род твой, Илларион Филаретыч, пятно ляжет. И не смыть то пятно святой водой, но стереть молитвами. Тиранство Филаретово вижу.

С тем ушла не попрощавшись.

Ларивон Филаретыч долго стоял посредине избы, тяжело горбясь, собираясь с духом. Потом ушел в моленную, закрылся там и упал на колени перед иконами столь же древними, как и он сам.

— Мокеюшка, и где ты? — спрашивал, не ожидая ответа.

Недели через две, в середине погожего дня, Ефимия Аввакумовна опять понаведывалась к могиле каторжника, а вместе с нею пришел нездешний мужчина в суконной куртке, без шапки, с лопатой. Долго они стояли возле могилы, а Ларивон Филаретыч поглядывал на них из окна моленной и никак не мог понять, что они там обсуждают. Потом мужчина поглядел на окна, и Ларивон Филаретыч спрятался в простенок. Когда снова выглянул, незнакомец сбивал лопатой крапиву вокруг могилы, долго обкапывал могильный холмик, а Ефимия Аввакумовна ладонями утрамбовывала чернозем.

Поздно вечером, когда вся пойма куталась волглой сыростью, Ларивон Филаретыч тайком пробрался к могиле и, бормоча псалом, молился до иступления. Сын Лука перепугался:

— Али ты, батюшка, в своем уме? Чаво тут молишься? — спросил, подхватывая старика под мышки, чтобы увести домой. Старик вырвался и тут только сказал:

— Видения мучают меня, Лука! Во снах зрю убиенного. Господь послал, должно, праведника, единоверца, а мы его собаками стравили. Может, брат мой Мокей в могиле сей лежит, а мы во грехе погрязли. Ох, погрязли, погрязли, Лука! — погрозил Луке пальцем. — Ишшо никому не ведомо, какой судный день грядет!

Мало одной печали, подоспела другая: меньшей сын Луки, безбородый Андрюха, зачастил к Семену Данилычу Юскову, где жила в эти дни Ефимия Аввакумовна с человеком. Говорили: с каторги Ольховой привезла какого-то безбожника из бывших польских офицеров, участников восстания 1830 года, отбывшего двадцативосьмилетнюю каторгу и теперь определенного на вечное поселение в Белую Елань.

— Чаво ходишь к Юсковым? — спросил Лука сына Андрюху.

— Реченья Ефимии Аввакумовны слушаю, батюшка, — ответил Андрюха, рослый и бравый парень, похожий на Мокея, каким его помнил сам Лука. — Сказывала Ефимия Аввакумовна: во тьме люди погрязли, как кочки в болоте. Али не так, батюшка? Али мы читаем книги? Ведаем грамоту? Пошто на свет народились, скажи? Отчего в поскони мыкаемся, а бары да чиновники городские в нарядах щеголяют, бога не блюдут, а лучше всех жрут?

Что мог ответить сыну Лука Ларивоныч, диковатый, сызмала умыканный заботушкой о хлебе насущном?

— Юсковы — рябиновцы. Али не знаешь? — спросил у сына.

— Дык што? Рябиновцы богу молятся, и мы, и дырники Валявины, и все, как сказывает Ефимия Аввакумовна, во тьме погрязли. Тако ли жить надо?

— Молчай, дурак! Али по зубам захотел?

— Правду хочу искать, батюшка.

— Молись денно и ночью, и господь пошлет те благодать, и спасение будет, — только и мог присоветовать Лука.

Андрюха не стал молиться. Тайком собрал свои пожитки да ушел на прииск Благодатный счастья и правды искать.

— Ефимия совратила! Еретичка! — гремел Лука Ларивоныч, и всем домом, без участия старца Ларивона, прокляли искушительницу Ефимию Аввакумовну и заклятье наложили навеки, чтобы ноги ее не было в надворье Боровиковых...

IV

Лили дожди. Под осень кол, что вбили в могилу каторжника, выкинул гибкую веточку о трех листиках. Дунь — ломается. Но не сломалась веточка, не сгил в лютые морозы. Весною она выкинула новые побеги, окрепла. Кол пустил корешок — тонюсенький с волосинками. Ветвь тянулась все выше и выше. Корень тоже не отставал, работал, разрастался.

Минул еще год, и к ильину дню кол стал лохматым от зелени. И вдруг в ильин день сам Ларивон Филаретыч испустил дух. Что его потянуло к могиле, под сень молодого тополька, кто его знает. Когда

вечером Микита Лукич позвал деда, тот не поднялся. Прислонившись спиной к деревцу, старик сидел недвижимый.

На зов Микиты выбежал Лука, заорал:

— Батюшка, али ты спишь, што ли? На молитву все собрались, а тебя нету.

Батюшка не шевелился.

— Свят, свят, жив ли? — испугался Лука, кидаясь вниз с горки.

Творя молитву, филаретовцы спустились к могиле каторжника и подняли усопшего Ларивона Филаретыча. Сотворили всенощную службу, и тут бабка Марфа сказала единоверцам про откровения покойного Ларивона, что убиенный каторжник был праведником господним и что дух его воспарил на небеси, а плоть перешла в древо. «И древо стало жизнью, — бормотала Марфа. — И тому древу надо молиться, яко живому праведнику, и спасение будет».

С того зачался новый раскольничий толк — тополевый.

V

Первым проповедником тополевого толка филаретовцы избрали старшего сына Луки, Веденя, единственного человека, чтеца рукописной Библии.

Лет через семь после кончины старца Ларивона померла бабка Марфа.

Желтая, как тополевая смола на почках, бабка Марфа утром выползла ко христову тополю и, отбив к вечеру тысячу поклонов, благословила самое себя на «красную смерть», какую почитали пустытники-филипповцы.

«Красная смерть» приходила так. Пустытника, принявшего тайное моление «сподобиться», душат подушкой в красной наволочке. С этой подушкой один из старейших пустытников должен вылезти из темного подполья. Сам в красной рубахе и в белых штанах, босоногий. «Я здесь, отче!» — подает голос тот, кто должен принять «красную смерть».

Господний посланник, творя молитву, приближается на голос с закрытыми глазами при свете тонюсенькой восковой свечки, которую смертник держит в руках, слозкленных на груди. И когда в третий раз посланник слышит: «Я здесь, отче!», он должен успеть накрыть лицо

мученика подушкой, не затушив свечи, и, навалившись на подушку всей тяжестью своего тела, душить единоверца.

Совершив убийство, пустынные поют радостные псалмы во славу Иисуса. Толкуют так: «Расточать слезы и плач по усопшему — тяжкий грех. Душа мученика отправлена на небеси в рай господний — возрадуемся, братия и сестры!»

С радостными песнопениями совершаются и похороны. Это единственный случай, когда пустынным дозволяется употребить красное вино, яйца, отведать мяса, рыбы, сколько кто может. Так что на похоронах пустынные нередко пускаются в дикий пляс, распевая во всю мочь мирские песни — «Ах вы сени, мои сени! Сени новые мои!..»

Такую-то смерть призывала себе бабка Марфа.

Отбив по уставу поклоны, нарядилась в льняное платье, прибрала себя, припасла подушку в красной наволочке, а тогда уже созвала в моленную единоверцев-тополевец.

Чадно коптели лампадки у тусклых от времени икон, воняло тополевыми листьями, сжигаемыми вместе с ладаном. Бабка Марфа обратилась ко всем с откровением.

— Видение было мне, — шамкала она, перебирая желтыми пальцами черные четки. — Привиделся наш тополь, разнаряженный свечками, яко алтарь господний. И будто сам Иисусдохнул благодатью и рек, чтоб я приняла «красную смерть» на ильин день, как мой покойный батюшка на Лексе. Сготовилась я, чады мои. Отойду от мира с радостью. Вижу врата господни и ангелов, поющих аллилуйю. — Старуха запомнела, что «красную смерть» — удушение — принимают чуждые поморцам-филаретовцам еретики-пустынные.

— Аллилуйя, аллилуйя! — шумнуло по моленной и по всему дому Боровиковых и перекачилось в пойму, где творили молитву единоверцы, не вместившиеся в доме.

— И сказал сын божий: «Радость, Марфа, встренешь на небеси и со праведником убиенным свидишься». Еще глаголал, чтоб я сказала всем: живите единым тополевым толком да поминайте благостью отца нашего, мученика Филарета, а также Ларивона. Стоит Ларивон у врат светлого рая и отмаливает тяжкий грех. Минует сороковина опосля

моей смерти — воссияет небо, и Ларивон войдет во врата господни, и мы воспоем аллилуйю!..

— Аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, боже!

— И сказал Спаситель: сгинут все еретики, какие отошли от нашей праведной веры, а нам благодать будет. И чтоб никто из чад наших не брал в жены белиц еретиковой веры али из других толков. Ежлив придет сноха из чужого толка, то ее надо крестить в реке на ильин день, окуная в воду дважды и творя молитву. Опосля купели на ее голову надо надеть веночек из тополевых веток, а потом веночек тот бросить в воду. Ежлив веночек утопнет — белица не очистилась. Срамная, значит. Тогда пусть она творит каждодневные молитвы до другого ильина дня, чтоб принять новое крещение. Так до трех раз, чады мои!.. Еще скажу благость: пусть сноха почитает свекра, яко мужа. Плоть от плоти, кровь от крови — все должно быть единое, и благодать будет!..

Подобное откровение старухи опечалило молодых, да и старики призадумались. Все верили, что устами бабки Марфы глаголет сам Спаситель. Но как же так: сноха должна почитать свекра, как мужа, и тайно радеть с ним, как с мужем, — плоть от плоти, кровь от крови, значит, сам господь благословляет снохачество?

После откровения бабка Марфа осталась одна в моленной горнице, чтоб отойти с миром. Минул час — в моленную вошел сын Лука — мать лежала мертвая. Лицо она закрыла красной подушкой и так приняла смерть: сама себя удушила.

Бабку Марфу возвели в лик великомучениц, а икону Пантелеймона-целителя, с которой Марфа еще в девичестве вышла из Лексинского монастыря, поставили рядом с иконой Благовещенья.

VI

Шли долгие годы. Разрастался тополевыи толк.

В доме Боровиковых хозяйничал Прокопий Веденеевич о сыновьями Гаврилой, Филимоном и малым Тимофеем.

Тополь меж тем рос да рос. И как ни обламывали его ветки на венки для снох и для украшений икон, он еще сильнее разрастался — гривастый, мощный. И тут стряслась беда. Тимошка, десятилетний отрок, срубил вершину тополя. Мало того, в мелкие щепы искромсал

икону Благовещенья и опаскудил моленную горницу, где свершались службы тополецев. Ахнули единоверцы: нету чудотворной иконы, из-за которой в дом Боровиковых стекались тоттолевцы со всех окрестных деревень Минусинской округи!

Совершив подобное святотатство, будто бы по наущению поселенца Зыряна, Тимошка сбежал из отчего дома. Прокопий Веденеевич побывал во многих деревнях трех волостей, но так и не напал на след сына. А ведь какой рос смышленный парнишка! На девятом году читал Писание. «Богом данный, благодать господня» — так и звали Тимошку.

Беда не ходит в одиночку. На другой год грозовой удар расщепил вершину тополя. Дерево сверху обгорело, почернело — глядеть тошно. А тут еще рябиновцы осрамили тополецев, будто тополь — «аичихристово древо». Если Иуда повесился на осине, то какая, мол, разница между тополем и осиною!

С того и пошла напасть. Осиротел дом Боровиковых. На прииски ушел старший сын Гаврила и там женился на щепотнице-никонианке, и сам принял православие. Ни одна старуха не заглядывала в надворье Боровиковых, а если кому случалось проходить мимо обгорелого дерева, то открещивались от «святого места», как от сатаны.

По весне тополь сызнава зазеленел, но не на радость — на горе Прокопия Веденеевича. «Экое позорище вымахало! — кряхтел хозяин дома, поглядывая на тополь. — И громом не убило, и от топора Тимки устоял. Срубить бы, что ли, чтоб глаза не мозолил?»

Но срубить руки не поднялись...

Вместо одной, расщепленной громом, тополь выкинул две вершины, и они год от году крепки, набирая силу. Между ними торчал огарыш. В огарыше поселялись мерзостные бабочки, откладывали личинки, и как только наступала пора цветения хмеля, из гнилого обрубыша вылетали прожорливые насекомые и начисто уничтожали завязи хмеля.

Черным огарышем торчал в жизни и сам Прокопий Веденеевич, правнук Ларивона, свято соблюдавший крепость тополевого толка.

Когда над поймой гулял ветер, сучья тополя стучали по крыше и весь дом полнился посторонним шумом.

Как-то раз в ветреную ночь Прокопию Веденеевичу привиделся дурной сон. Заявился будто в моленную каторжник из-под тополя да и

взял за шиворот хозяина: «А ну, лешак, подымайся! Иди ложись со мною рядом. Спытай, хорошо ли лежать во сырой землице без креста и отпущения грехов?»

Очнулся Прокопий Веденеевич и слышит: кто-то ходит по горнице. Шаг сделает, передохнет. И опять шагнет. У Прокопия Веденеевича дух перехватило и язык отнялся.

Хочет крикнуть в большую избу старухе Степанидушке, а голоса нету. Кругом тьма, остудина. И шум, шум!

— Спаси и сохрани мя! — упал на колени Прокопий Веденеевич и, не помня как, выполз из моленной да на постель к Степанидушке. И ту перепугал до озноба.

А тополь шумел, и шумел, и стучал по крыше сучьями.

И казалось Прокопию Веденеевичу, хозяину боровиковского большого дома: беда грядет, от которой не отмахнуться и не замолить ее перед иконами. И он слушал и слушал глухими ночами все тот же зловещий шум тополя.

ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ

I

Сын Филимон не радовал — увалень. Мешок с мякиной. Сам себе невесту не мог выбрать. Приглянулась парню Меланья из рода Валявиных — дырников. Глянул на нее разок на вечерке и слезу пустил: «Жени, тятя!»

— Какую лихоманку выбрал-то? Тонкая, звонкая, голосистая, на бегах рысистая, а на работу какая? Подумал?

— Подумал, тятенька.

— Ну?

— Робить будет. Порода у Валявиных ядреная. Мужики-то эвон какие! Под потолок. И богатющие!

— Дурило гороховое! Не на мужике женишься, на белице. Как она, заметил?

— В самый раз, тятенька. Обличность у нее как вроде ягодиночка.

— Прости меня, господи! Истый дурак. Не обличностью землю пахать, а руками надо ворочать, силу иметь в жилах. У той Меланьи,

как я видел, жилы наподобие струн балалаешных — натяни покрепше — лопнут. Вот и отпашешься и отсеешься. Милуйся с ягодиночкой, а другие будут кадило раздувать. Смыслишь?

— Смыслю, тятенька. Токмо поскорее жени. Мясоед пройдет — до нового года отложишь.

— Тьфу, пропастина! Жени его. Ишь как подперло.

— Подперло, тятенька. Дыхнуть нечем.

На подмогу сыну пришла старуха — Степанида Григорьевна. Реченье повела издали, с маслеными переборами. И так-то хороша Мелания Валявиных: и добрая, и тихая, и покорная.

— Найти ему девку из нашего толка, — не сдавался бровастый Прокопий Веденеевич.

— Из какого нашего, Прокопий Веденеевич? Меланья тоже будет в пашей вере, тополевой. Крещение примет, — пела Степанида Григорьевна, не в пример сухостойному мужу, женщина полная, степенная и неуступчивая.

Ничего не поделаешь — пришлось женить увальня.

Совсем юная, робкая Меланья Валявина вошла в дом Боровиковых на второй день масленой недели.

Не по обычаю тополевцев, невесту привела в дом свекровка, Степанида Григорьевна.

Плескалось лучистое солнышко. В надворье у калитки синела прозрачная лужица подтаявшего снега. С хрустким звоном обрывались с карнизов дома ледяные свечки.

Прежде чем подняться на крыльцо, сотворили службу в ограде. Сам Прокопий Веденеевич в новой холстяной рубахе под самотканой узорчатой опояской вышел на крыльцо и, осеня грудь двоеперстием, затянул псалом о том, что жена, сотворенная из ребра мужа, во всем будет покорна, тиха, как лань, молчалива, как виноградник, работаща, как птица господня, которая сама себе гнездо вьет, яйца в гнезда кладет, птенцов высиживает, сама их кормит и в небо пускает. И что она не замутит воду в божьем озере и не преступит заповедей господних.

Здоровяк Филя, плечистый, мордастый, с вьющейся рыжей бородой, отродясь не ведавшей ножниц, стоял на коленях возле крыльца, предусмотрительно подложив под ноги дощечку. Степанида

Григорьевна, вся в черном, земно кланяясь, стояла голыми коленями рядом с невестой на подтаявшем снегу.

У Меланьи заходило сердце от страха. Наслышалась про обычаи тополевцев, когда свекор, если на то снисходила на него божья воля, творил тайные моления с невесткой, спал с нею, и никто не смел перечить ему. А что, если Прокопий Веденеевич, такой бровастый, сивобородый, прожигающий Меланью до сердца своими едучими ястребиными глазами, вздумает тайно радеть с нею? Мать наказывала Меланье в случае чего не поддаваться свекру: «Лучше убеги от греха. Место в родительском доме сыщется».

А сыщется ли? У тятеньки что ни погляд, то укор. Шестеро дочерей, одна другой меньше, и трое сынов — братьев Меланьи, которые никогда не примут сторону сестры. Им-то что! И дом принадлежит братьям, и скот, и тайга привольная. А вот они, сестры, чужие в доме. Потому-то и рад был тятенька спихнуть Меланью за первого жениха.

— А таперича, слушай, што скажу, Меланья, — начал Прокопий Веденеевич, закрыв Четы-Минеи. — Молилась ты у родителей двумя перстами, да не на иконы нерукотворные, а в срамную дырку, какую прорубил твой отец в избе. Потому нечистая ты. А коль переступишь наш порог, примешь нашу веру, истинную. Молиться будешь на образа, а не на солнце глядя. Солнце ходит по тверди небесной, а ты ходи по избе да молись в передний угол на лики святых угодников. Окромья того, скажу тебе: покуда не примешь тополевое крещение в ильин день, жить в доме будешь невестою. Не помышляй до той поры о грехе — срам выйдет; из дома выгоню, яко овцу приبلудную. Опосля крещения, если веноч твой не утонет, сотворим службу всенощную *л* благословлю вас, чады мои. Аминь!

— Аминь, аминь! — откликнулась тучная Степанида Григорьевна, поднимаясь с коленей. За нею — Меланья. Покорная, маленькая и хрупкая — в пальцах переломить.

— Эх-хе, который тебе год, Меланья? — Склонив голову, Прокопий Веденеевич прощупывал строгим взглядом невесту Фили.

— Шестнадцатый миновал.

— Отчего такая худущая? Может, немочь какая пристала?

— Не хвораю я, — воркнула Меланья.

— Ишь ты! Стал-быть, порода квелая. Ну, может, наберешь к ильину дню тела. Харч у нас добрый. Свое едим, на чужое не глядим.

Меланья со Степанидой Григорьевной, рука в руку, сдержанно и степенно прошли в дом.

— Как же со свадьбой, тятенька? — Филя еще не успел сообразить, что значит наказ отца.

— Дурак! Где ты видывал, чтобы по нашей вере свадьбу правили? Аль мы рябиновцы-срамники? Аль новожены? Аль дырники? Мы от Филарета-праведника род ведем. Такой и обычай блюдем. Сказал: до ильина дня пальцем не тронь! Тому и повинуйся.

У здоровяка Фили дух перехватило. Неужели он будет жить под одной крышей с такой вот писаной красавицей Меланьей и глядеть на нее до ильина дня, как кот на сало? Да он за такой срок распухнет. «Силов у меня не хватит, иначе, — туго соображал Филя. — Ну, да, может, тятенька уедет на ярманку!..»

Прокопий Веденеевич и в самом деле уехал на ярмарку в Минусинск. Филя в тот же день подступил к Меланье, но та отпрянула от него, как дикая коза.

— Не трожь! Не трожь! — А из глаз словно искры посыпались.

— Да ты што, холера? Мужик я тебе аль нет?

— Никакой не мужик. Сказывал Прокопий Веденеевич, чтоб пальцем не касался. И не касайся!

Округлые карие глаза Меланьи под черными ресницами не выражали никакого чувства, кроме ужаса. Втиснувшись в передний угол, сложив ладошки на груди, бормоча молитву, она казалась беспомощной и в то же время недоступной под образами. Филя топтался возле стола, уговаривал невесту, чтоб она позволила ему посидеть с нею рядышком.

— Экая ты пугливая.

— Какая есть, а наказ Прокопия Веденеевича сполню. Если будешь приставать, закричу. И Прокопию Веденеевичу скажу, как ты меня сильничаешь.

— Што ты, што ты! — перетрусил Филя. — Я вить шутейно...

На том и отступил Филя от невесты. Глядел на нее, мучился, а тронуть не смел.

По приезде с ярмарки Прокопий Веденеевич, не успев оглядеться и показать обновы, позвал Меланью в горницу и, ткнув пальцем на

икону богоматери, спросил:

— Чиста ль ты, Меланья, перед богородицей?

— Чиста, Прокопий Веденеевич.

— Побожись и крест наложи на себя.

Меланья стала на колени, наложила на себя крест и побожилась.

— Ну, слава те господи, не согрешила. А мне-то поблазнилось худое. В глазах у те испуг заметил.

— Филя приставал ко мне, батюшка. В передний угол загнал. Думала, сгину.

— Ах ты паскудник! Вразумлю, стервеца. — И вразумил. Позвал Филю в завозню и так крепко выпорол ремненным гужом, что Филя неделю не мог лечь на спину.

II

До весны — за кроснами. Невеста и свекровка ткали за двумя станками. Меланья — тонкий холст из льна; свекровь ткала по суровой основе шерстью — холст для поддевок и однорядок.

Начинали при лучине и разгибали спины при лучине.

Привычные к работе руки машинально перекидывали челнок из стороны в сторону по основе, и виделось Меланье приволье таежное, посиделки на вечерках у Юсковых и Вавиловых, на которые она и в девичестве не смела заглядывать. Ах, если бы ей хоть разок довелось побывать на такой вечерке, встретиться бы с парнями. Такие ль они увальни, как Филя Боровиков?

Сядет Филя возле кросен Меланьи, если в доме нет отца, и глядит клейким взором на невесту, облизывает толстые губы, вздыхает. Зальет румянец щеки Меланьи, но не вспорхнут ресницы, не откроют карих глаз.

— Ты хоть глянь на меня, — взмолится Филя.

— Видела. Што глядеть-то? Ткать надо.

— Может, я весь иссох. И ты иссохнешь. Мыслимое дело — терпеть до ильина дня! Хоть бы ты смилоствилась.

Меланья еще ниже уронит голову или стянет платок до бровей.

— А што, ежли венок утопнет? Тогда как? До другого ильина дня ждать? — бурчит Филя. — Умопомраченье одно. Женился и не женился. Разве по-божески так-то?

— С отцом говори. Я-то што? Не моя воля, — промолвит Меланья, лишь бы отвязаться.

— С отцом потолкуешь. Што камень, што тятенька — одна статья. Кремневая.

До ильина дня наработалась Меланья в доме Боровиковых вволю. И холста наткала, и за плугом ходила, и боронила, и дрова со свекровью пилила па продажу, и деготь гнала со свекром, и за огородом смотрела, и на покосе была не из последних.

Родители Меланьи не навевались в дом Боровиковых — нельзя, верованья разные. Грех тяжкий. И Меланью не привечали в отчем доме, если она заходила к тятеньке. Однажды Меланья, войдя в дом отца, по обычаю дырников, подошла в угол на восток, вытащила деревянную затычку и хотела помолиться в дырку, как на нее налетел отец:

— Сгинь, нечистая сила! Не смей дотрагиваться до нашей дырки. Молись на тополь и на доски греховодные, а не в праведную дырку.

Дочь сказала, что она еще не приняла тополевое крещение, но отец и слушать не стал.

— Коль вошла в нечистое стадо, сама нечистая.

— Зачем же вы меня отдали в нечистое стадо, тятенька?

— Молчи, срамница. Не твою ума дело — зачем. Подросла — выдали. У меня, кроме тебя, еще пятеро чужих ртов. Мантуль на вас, окаянных!..

Не жаловали родители дочерей — чужие рты.

А на деревне — тьма-тьмущая. Двести дворов в Белой Елани и сорок разных толков и согласий, а правды человеческой нету. У кого что спросишь? Одна отрада — ночная молитва да слезы в подушку.

Ш

Румянился погожестью ильин день. Еще на солнцевсходе Степанида Григорьевна сплела венок для Меланьи, густо увив его зелеными пуговками хмеля и полевыми цветами. Не венок — корона царевны. Сам-то Прокопий Веденеевич похвалил: стоящий, мол, венок, для работающей невестки.

Всей семьей вышли поймою к устью мелководного Малтата.

Рядом — Амыл. Река бурная, таежная, порожистая. Глянешь в воду — прозрачная, словно стекло. Все камушки пересчитать можно. В верховьях Амыла — Ухоздвигова прииски.

Филя, в красной сатиновой рубаше под шелковым поясом, в черных суконных штанах, вправленных в сапоги со скрипом, шел с Меланьей, взявшись рука за руку. Ладонка Меланьи, холодная, как льдинка; Филина лапища костистая, жесткая и горячая, нетерпеливая.

Накрапывал дождик. Морок затянул тайгу. Курились синюшные хребты и распадки меж ними. Порхали птицы.

— Таперича, дай бог, чтоб венок не утоп, — бормотал Филя. — Кабы дали мне кинуть, я бы забросил его до самой середины, истинный бог. Чтоб уперло его в одночасье до Тубы, а там до Енисея.

Меланья шла в синем матерчатом платье без всяких украшений, как и положено ходить белицам из крепких староверов. Слышно было, как у нее стучали, зубы, точно подковки цокали.

— Озябла, што ль?

— Страшно, поди.

— Чаво страшишься-то? Бабой моей будешь таперича. Шить будем, слава те осподи, справно. Гаврила ушел из дома без тятиного позволения, знать, хозяйство все нашим будет. Три коровы, нетель стоящая, Каурка и Буланка, Игренька, каких, можно сказать, во всей Белой Елани не сыщешь. Ишшо подрастут малолетки-рысаки. Тогда нас рукой нехватишь, — хвалился Филя. — И тятенька, как там ни гляди, хозяйство ведет умеючи. И деньги у нас водятся, и хлебушко едим свой.

Остановились возле черемуховых кустов. На отмели Малтата — голыши камней, обкатанные илом. Плещутся резвые струи Малтата, играют будто, а Меланье страшно. Вдруг она утонет? Сказывали, что одна из невест тополевецв утонула. Отошла от берега, чтоб еще раз окунуться, нырнула и — с концом. Может, нарочно утопилась, чтоб не жить с нелюбимым? Страхота!

— Ну, Меланья, готовься. Разболокись, перекрестись, молитву читай. Показала ты себя в работе и в обиходе. Слова не скажу худого — стоящая белица. Таперича стань женой мово сына, Филимона Прокопьевича. И чтоб жили не тужили, в гости к чужим не хаживали, троеперстием Никоновым не крестились, от анчихристовой церкви лицо отворачивали, а на бога почаще поглядывали, — гудел Прокопий

Веденеевич, глядя, как Степанида Григорьевна помогала раздеться Меланье.

Толстая русая коса Меланьи, сейчас расплетенная, спускалась ниже бедер по белой холщовой рубахе.

Хрупкая, тоненькая, и груди совсем девчоночьи, едва заметны под рубахой, а работающая. Не в одном теле проворство. Вот хотя бы Степанида Григорьевна. Прокопий Веденеевич помнит, как он женился на дородной рябиновке. Тут же, в устье Малтата, стояла перед ним Степанида, и груди ее выпирали из-под холщовой рубахи, как две сдобные булки. И телом была пригожа. Покатоплеча, круглолица, синеглаза. Озорная. Еще ущипнула Прокопия, перед тем как войти в воду. Меланья не то! Не озорна, не тельна. Смирнущая овца.

У Фили маслом подернулись глаза и сохли толстые губы. Так бы он и съел Меланью — до того она ему нравилась. Впервые видел невесту простоволосой. По обычаю тополевцев, да и всех старообрядцев, женщина с девичества прячет волосы под платок и не смеет показаться на глаза мужчине простоволосой. Великий грех!

Степанида Григорьевна повела Меланью в воду.

— Не робей, не робей, милая. Сама так же крестилась.

— Читай, читай молитву, — тормошил Прокопий Веденеевич.

Лютая водица — до сердца прохватывает. Меланья забрела до пояса. Слезы катились у нее по щекам с ямочками, словно выщелкивались горошины из стручков. Степанида Григорьевна надела ей на голову веночек. И как раз в этот момент из морока проглянуло солнышко. Тусклые воды Малтата и Амыла вспыхнули летучими барашками. И будто весь мир преобразился — стал просторным, вместительным.

— Слава те, господи! — воскликнул Прокопий Веденеевич. — Знать, с Ильи повернет на ведро. И ржица поспела, и сенцо еще не убрано. Хоть бы погодые постояло.

— Опамятуйся, Прокопий. Крестить надо, — напомнила Степанида Григорьевна.

Затянули торжественный псалом.

— Да благословит господь бог дочь свою! — Прокопий Веденеевич окунул Меланью в воду с головою. Ее холщовая рубаха вздулась пузырем и прилипла па плечах, оголив тело. Филиа разинул рот. Степанида Григорьевна поспешно одернула рубаху.

— Чиста ли дочь твоя, господи? — спросил Прокопий Веденеевич, кидая венки на поду сажени на три от себя по течению Малтата.

Венок подхватила кипящая суводь в устье и понесла к противоположному берегу.

— Плывет, плывет! — заорал Филя.

— Погоди ужо, — предостерег Прокопий Веденеевич, наблюдая за движениями венка.

Продрогшая, озябшая Меланья, не попадая зубом на зуб, неловко ступая босыми ногами по камням, вышла на бережок. Мокрая рубаха обтянула ее худенькое тело. Мордастый Филя стоял рядом, но не догадался подать Меланье хотя бы шаль, чтоб укрыть плечи.

— Какого он лешего кружится, — пробурчал Филя, наблюдая, как венки выписывали петли в глубоком улове, куда его занесло сбойное течение. — Пихнуть бы его!

— Молчай, срамник, — урезонил отец. — Судьба Меланьи решается, а у те на языке святотатство.

Ухватившись пальцами за медный нательный крестик на черной тесемочке, Меланья тоже следила за движениями венка с тайным страхом и какой-то еще не осознанной, смутной надеждою. Если венки утонут, быть ей невестою до следующего ильина дня. Ну, а если выбьется на стрежень и уплывет по Амылу, тогда конец девичеству. Страхота! Боязно глянуть на здоровяка Филю. Морда у него пунцовая, щекастая, шея толстая, бычья, глаза синее неба и до того похотливые, щупающие, что от одной встречи с ними ныло сердце. Не о таком муже втайне помышляла Меланья! Ей бы выйти за Егоршу Вавилова, да опередила старшая сестра, Аксинья. Повезло сестричке! Егорша ласковый, обходительный. Сколько раз заглядывалась на Егоршу Меланья, тайно помышляя о таком же муже. А вышло не так, как думалось. И все из-за тяти. Ему бы поскорее вытолкнуть дочерей из дому.

— Господи помилуй! — гаркнул Прокопий Веденеевич. Глянула Меланья на всхлипывающие воды Малтата — от венка, обремененного цветами и диким хмелем, только одна тополевая ветка с хмелевою пуговкой трепыхалась над водою.

Молча, окаменело Филя наблюдал за тонущим венком, то сжимая кулаки от злости, то разжимая. Если бы мог, он бы прыгнул в

праздничных сапогах в воду и швырнул бы венок как можно дальше.

— Знать-то, утонет веночек, — вздохнула Степанида Григорьевна.

— Утоп уже! — рявкнул Прокопий Веденеевич.

— Нацепляли на венок беремья цветов да хмеля, поневоле утонет!

— Молчай, грю!

— Чо молчать-то! Из-за какого-то венка напасть экая. На деревне, кроме нас, никто таперича в тополеый толк не верует. Дядя Маркел и тот перестал. Правду сказывала бабка Ефимия, што вера тополевая самая несправедная.

— Ах ты поганец! — коршуном налетел на него отец, но Филя отскочил в сторону и нырнул за куст черемухи.

На воде плавали два или три тополевых листика — все остальное под водою.

— Видела, Меланья? Утонул венок-то. Не отошла от тебя нечисть дырников. Молись таперича каждодневно, радей. Сподобишься, может. Поживи невестой еще год — телом и духом окрепнешь. Все не убыток, а прибыль. А ты, Филя, смотри! Чуть что замечу, худо будет. Вытурю из дома в одних подштанниках да еще и по шее надаю.

Филя ворчал, сопел, крайне обиженный отцом, а более всего, как он сам воочию убедился, несправедной верой в проклятый тополь. Ходи вот возле невесты второй год, как кобель возле замкнутого амбара...

IV

Настали дни тягучие, как застывающая смола. Филя день и ночь пропадал на пашне: на Меланью глаз не подымал. «Пропади ты пропадом, окаянная, — думал он. — Только и знает молитвы читать да лоб крестить».

Меланья ходила по дому, как безгласная тень.

Не дом — тюрьма, постылость. Хоть бежать бы от срама. Но куда бежать? И так после того как венок утонул, на Меланью в деревне глядели как на порченую. Старухи носились из дома в дом и чернили ее почем зря: и будто хворая она, и в дом Боровиковых заявила без девственности, и что сам Боровиков держит ее у себя из милости.

В один из звонких холодных дней, когда березы, отряхнув летние наряды, отливают чернью верхушек и в лесу от обильного листопада вся земля залита желтым и багряным, Прокопий Веденеевич собрал

Филю на заработки в Красноярский скит раскольников. Приезжали из скита люди, обещали раскольникам всех толков и согласий хороший заработок. Строили что-то там — лес надо было заготовить по реке Мане. Вот и собрался Филя за сотни верст от дома. К следующему ильину дню должен был вернуться.

До Минусинска Филя ехал с отцом в тарантасе. Отец всю дорогу жужжал в ухо Фили, чтоб он держал себя осторожно среди скитских раскольников и что земля полна соблазнами, грехопадениями. Не ровен час, оступишься, и поминай как звали Филюшу!..

— На диаволовом пароходе будешь плыть до скита, гляди! Штоб не пристала к тебе мирская грязь. Люди во грехе погрязли, яко свиньи в навозе. Вонь от них, как от рыбы протухшей. Взойдешь на пароход, молитву читай. И всю дорогу твори молитвы.

Филя помалкивал. Надоели ему проповеди тятеньки. Вечно одно и то же!..

Оторвался от тятеньки, полетел к пароходу, что твой жеребчик — вприпрыжку. Бороденка рыжая, кудрявая, зад отпаченный, что у бабы.

И каково же было удивление Фили, когда он, растопырив руки, по трапу поднялся на борт, двухтрубового парохода «Святой Николай». Громадище! Огнем дышит. Из двух ноздрей — труб — дымище черный валит.

Филя забился между поленицами сосновых дров в корме парохода и так ехал вниз по Енисею до скита, выглядывая в мир, полный странных звуков и непонятностей. Будто ехали на пароходе такие же люди, как и он, да по-другому вели себя. Походя лбы не крестили. Мужчины бритощекие, нарядно одетые, пахучие, не говоря о женщинах-городчанках. И в шляпках, и в красивых платьях, и что самое удивительное, встречались простоволосые. Ходили по пароходу с непокрытыми головами, улыбались, веселились, и никакая холера с ними не приключилась.

«Темень в глухомани у нас, одначе. Истая темень!» — впервые шелохнулась у Фили собственная мыслишка. В душе у него как будто что-то треснуло и распалось на две половинки. Одна — темнущая, раскольничья, полная страхов господних, угнетала, давила каменной тяжестью; другая — полная непонятности, манила к себе, соблазняла, и Филя как-то хотел постичь ее, уразуметь...

В скиту Филя лес валил по Мане на пару с тощим монахом. От него набрался слухов о тайнах скитской жизни. И как монахи в прелюбодеянии погрязли, и как мясо жрут в великий пост, и что верить человеку надо только в самого себя, не уповая на бога.

— Про фальшивки слыхал? — спросил как-то Филю монах.

Откуда знать Филе о каких-то фальшивках!..

— Эх ты, тьма-тьмущая! — И монах рассказал, как в скиту когда-то печатались фальшивые «катеринки» и что многих арестовали и определили в Александровский централ.

С весны до середины леса Филя работал на сплаве заготовленного леса. Мана — не река, а водоворот ревучий. Филя чуть не утонул, да спасла чернобровая молодушка Харитинья, солдатка из деревни Ошаровой. Тоже из раскольниц, но иного толка — белокриничница.

Приголубила Филю солдатка-белокриничница, пожаловалась ему на скудное житье в деревне, и Филя, сам того не ведая как, опьянел от бабьей ласки. «Ах ты, младенчик мой!» — пела ему Харитинья, и у Фили кружилась голова.

Когда Филя поведал солдатке о своей незадачливой женитьбе, Харитинья, хватаясь за бока, заливалась на всю тайгу звонким смехом.

— Вот невидаль-то! Вот невидаль-то! Да что же это такое — тополевы, а? — И хохотала, сверкая оскалом бело-сахарных зубов.

Этот заразительный смех солдатки окончательно доконал смирягу Филю. «Как только тятеньку бог приберет, — надумал Филя, — так под корень срублю каторжанский тополь. Срамота одна, а не верованье!..»

С тем и вернулся домой в разгар сенокоса.

Раздобрел парень, еще шире раздался в плечах, а Меланья меж тем на тень похожей стала. Щеки у нее ввалились, нос заострился, карие глаза под черными ресницами потускнели, и шея совсем тоненькая.

— Ишь ты, какая стала, — посочувствовал Филя. — Не я ли толковал: иссохнешь. Вот и вышло на мое. Ну, таперича недолго ждать — скоро желание сполнится.

Как бы между прочим, сообщил, что в скиту, хоть он и мужской, запросто живут монашки пришлые. И нет там никаких дурацких радений — простор на всю душу.

— Я бы навсегда остался там, кабы не хозяйство, — хвастался Филя.

V

Меланья невольно потянулась к жениху — надо же куда-то прислонить одинокую головушку. А Филя хорохорился. Он и то повидал, и это; и так живут раскольники, и эдак. И постов не блюдут.

— Грех-то, грех какой! — содрогалась Меланья.

— Никакого греха нету. Все наши грехи — одна дурацкая сказка, — поучал Филя. — Только тятеньке ничего не сказывай.

От первого же поцелуя Фили у Меланьи подкосились колени. Еле устояла на ногах.

— Што будет-то! Што будет-то! — стонала Меланья.

— Ничего не будет. Молчи — и все.

— А как перед богородицей поставит?

— И тогда ничего не говори. Я сам видел, как в скиту рисовали богородиц на деревянных дощечках. Никакой святости. Сам богомаз постов не блюдет. И ничего.

На неделе Меланья с Филей гребли сено по Суходолью. День выдался истомно жаркий, прозрачный. Безумолчно трещали кузнечики, сверкая в лучах солнца оранжево сияющими крылышками. Филя потянулся к Меланье, дотронулся до ее упруго-девичьей маленькой груди, и, жарко дыша в лицо, поднял на руки, и унес в затенье к реке в густую заросль дикотравья. И долго потом сидела Меланья под развесистым кустом ивняка, не в силах унять слезы. С ужасом ждала Прокопия Веденеевича. Верила — глянет на нее свекор, и все узнает!

— Вот бы тебе в скиту побывать, — не утерпел Филя. — Поглядела бы на людей, не точила бы зря слезы!

— А как венюк утопнет?

— Поменьше цветов навязывайте да хмеля. Не утопнет тогда.

Может, и заметил какую перемену в Меланье Прокопий Веденеевич, да виду не подал. Женитьба Фили и без того вышла затяжная.

В ильин день, еще до того как небо отбелила предутренняя зорюшка, Меланья, по наказу Фили, собственноручно сплела себе

венка. Ветки обламывала, какие потолще и листа на них поменьше. А хмелевые бутоны вплела подсохшие, снятые с крыши. Вместо пышных цветов понатыкала незабудок. Легкие, не утопят венка.

И свекор тоже постарался. Окунув невесту положенных два раза, поспешно прочитав молитву, он так далеко швырнул венка, что тот, подхваченный мощным течением Амыла, вскоре скрылся из виду.

— С богом! — радостно возвестил Прокопий Веденеевич в белой холщовой рубахе, с двумя косичками седеющих волос, болтающихся по спине. — Милуйтесь, детки. Живите и радуйтесь. Да чтоб внука заимел я через год. Аминь!

— Аминь, аминь! — вторила Степанида Григорьевна.

А Филя что-то не возрадовался. Шел тропую в зарослях чернолесья, на шаг опередив Меланью, и думал о вольном житье, какое изведаль на реке Мане. Где-то теперь солдатка Харитинья из Ошаровой! Смешливая, жаркая и отчаянная. Не от нее ли Филя набрался смелости? «Быть бы мне таперича утопленником, кабы не Харитинья, — думал Филя. — А тут одна темень да дикарство. Зачервивеешь в таком житье, иначе».

— Филя! — Голос тихий, словно воркнула птица спросонья.

— Ну?

— Венка-то уплыл! А я так боялась, так боялась!..

— И ты бы уплыла, если кинуть тебя на самую середку Амыла. Невидаль. По Мане-реке такая же бурливость, как на Амыле и Казыре. Не то что венка, человек утопнет в одночасье.

Филя почему-то не рассказал ни отцу, ни Меланье про то, как его спасла на реке Мане Харитинья-белокриничница. Родитель еще заставит радеть да отбивать поклоны!..

С покрыва дня невестушка понесла. Поглядывая на ее полнеющий живот, Прокопий Веденеевич предупреждал: «Гляди, Меланья, девкой не разродись. Потому — дурак первую силу пушает на ветер. Девка — ветрова невеста».

Набожная Меланья призывала на помощь богородицу, подолгу простаивала в моленной горнице на коленях, отбивая поклоны, чтоб родить сына; и все прислушивалась, словно по толчкам плода могла определить: девчонка в ней или парень.

— Ежели родишь мужика, куплю тебе сатинету на сарафан, — нашептывал Филя, жарко прижимаясь к женушке. — Сама понимаешь:

хозяйство раздуть надо, а сила где? И тятя требует. Знаешь, какой он. Вечор сказал: если, грит, Меланья принесет девку, косы обрежем.

И без того запуганная Меланья сжималась в комочек. У нее такие роскошные косы! И вдруг обрежут их. Как ей жить стриженной?

Как только отсеялись на пяти десятинах, Меланья совсем отяжелела. Лицом осунулась, а на покос вышла. Подоспела первая травушка в июльском цветении. Слабели руки и ноги, а литовку-косу выпустить из рук нельзя: поджимал свекор. «Эй, Меланья, пятки подрежу, холера!» И Меланья, выбиваясь из сил, старалась добить прокос, чтоб немножко передохнуть на новом заходе.

ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ

I

Черствые ковриги хлеба, квас в лагушке, квашенина, солонина зимняя, которую никак не уваришь, а огородинка еще не подошла. Меланья до того обессилела, что не рада белому свету и тем более — солнечному погожему. Хоть бы на денек-два зарядили дожди! Так нет же — ни облачка! Бездонная струится синева над головой: зной, пекло, и вечерами, осточертелый сверлящий гнус, от которого дымом не отобьешься.

В полдень случилась беда: у Меланьи выпала литовка из рук на середине покоса. Следом за нею шел свекор; впереди шевелилась широченная спина Фили.

Споткнувшись, Меланья присела и скорчилась. Трещали кузнечики звонко и часто. Подбежал Прокопий Веденеевич в броднях, в холщовых шароварах с отвисающей мотней чуть не до колена, горланно крикнул:

— Што ты, холера, выкомариваешь?

— Тошно мне, тятенька!

— Ишь ты, квелая какая!

— Знать, время подошло, тятенька.

— Толкуй! Самое время сенцом запастись, покуда гнилой Илья дождем не прыснул. Передохнула?

Филя добил свой прокос и подошел с литовкою на плече, вытирая рукавом рубахи потное, разгоряченное лицо. Свистя ястребиным носом, поглядел на Меланью, потом на отца. Его дело сторона. Пусть тятенька сам разбирается, что к чему.

Пряча лицо в согнутые колени, Меланья растяжно стонала, придерживая сухонькими руками живот.

Горбоносый, узколиций, со льдистыми синими глазами, свекор, грузно навалившись на черенок литовки, поглядывал на виновницу прерванной работы, неприязненно, брезгливо.

— Полегчало иль крутит?

— Спасу нет, тятенька. Может, умру. А-а-а-а!.. Мамонька!..

Старик остервенело плюнул и отвернулся, уставившись на мглисто-багряный круг солнца. Погодь!.. Долго ли оно продержится?

— Ма-а-а-мо-о-онь-ка-а-а-а!.. — валивалась Меланья. Глаза ее дико и страшно метались из сторону в сторону.

— Тятя! — опомился Филя.

— Ну?

— Дык худо Меланье-то.

— Худо? А ты думаешь, как родют? — И, подкрутив в пальцах мокрую от пота косичку сидящих волос, закинул ее за спину, дополнил: — Хорошей бабе родить — раз плюнуть. От природы все происходит.

Придерживая руками живот, тыкаясь головою в землю, Меланья поползла к телеге. Тяжелые темно-русые косы выбились из-под цветастого платка и тащились по зеленой щетине словно змеи. Невдалеке, за развесистыми кустами ивняка, ворковал мелководный Малтат, рябью переливаясь по камням. Тучею накинuloсь на Меланью комарье, в кровь искусывая лицо и шею. Она не чувствовала укусов — ей бы хоть один глоток воды! Пересохло во рту, и давит, давит в бедрах. А рядом — ни души.

— Ма-а-а-мо-онь-ка-а-а-а!..

Старик подождал еще некоторое время — не утихнет ли Меланья, а потом махнул рукой:

— Вези ее домой. Там старуха справится. Я к ночи один добыю угол. Травостой-то — любя малина! — и показал рукой на излучину Малтата, где, по пояс человеку, цветущее разнотравье источало медовые ароматы.

До поздней ночи старик добивал угол, изредка останавливаясь, чтобы направить оселком съеденную в работе чуть не до обуха литовку. Крутой солью пропиталась холщовая рубаха, с длиннущей сивой бороды и с двух косичек капелью стекал едкий пот, а старик все косил, косил. Костлявый, жилистый, высокий, неласковый на слово, не ведавший ни любви, ни жалости к ближним, сызмала привык он к такой вот работе, когда от собственной соли расползаются рубахи, а на ладонях нарастают сухие мозоли в палец толщиной, что конские копыта.

«Земли-то, земли скоко, осподи благослови! — подбадривал он себя, заглядываясь на девственные просторы. — Эх, кабы силушку! Озолотиться можно, якри ее».

Хватал люто, по-волчьи, тянул по-медвежьи, а все никак не мог разбогатеть.

«Эх-х! Подрезал мне крылья Тимка! — сокрушался старик, поминая недобрым словом беглого сына. — Кабы не обрубил тополь, до сей поры ходили бы в дом единовержцы с приношениями. Все не убыток, а прибыль. А Филя что! Ни хватки, ни лютости. Умри я, так и останется со своей Меланьей середка наполовине: ни туда и ни сюда! Подымать надо! Эх, кабы мужика родила!»

II

Ночь выдалась звездная, тихая, истомная. Шел Прокопий Веденеевич в деревню, и вдруг напала на него смутность: так ли он живет, как должно? Не раз слышал от покойного батюшки Веденя Лукича, каким был праведник Филарет Боровиков, пугачевец. С Емелькой Пугачевым Казань брал, царевых слуг казнил, до царя добирался, чтоб на дыбу вздернуть, а вот праправнук Прокопий платит подати царские, бывает на сходках и не помышляет ни о каком бунте. Может, люди другими стали, или как? «Мельчает народишко, — размышлял Прокопий Веденеевич. — Где уж нам до Филарета! Духом обнищали, телом отощали. Разве Меланья родит такого богатыря, каким был Филарет Боровиков? Э-хе! Порода не та», — сокрушался старик.

У поскотины присел отдохнуть. Невдалеке, на пригорке, в березовой рощице — изба бабки Ефимии. В окнах виднеется огонек.

Не спит старуха! Подумать только: дважды пережила бабий век, а все еще без костыля ходит. И с Филаретом шла в Сибирь с Поморья, и анафеме предала как еретичка и ведьма, а черная смерть будто отступилась от нее. Хоть бы не повстречать ведьму на дороге! Кого-кого, а Ефимии Прокопий Веденеевич побаивается не менее господ бога. Дурной глаз у старухи. Чего доброго, сглазит иль хомут наденет. Может, и вправду старуха с нечистым дружбу водит? Сказывают, сызмала в греховодстве погрязла.

Дома старика встретил все тот же истошный вопль Меланьи.

Филя, прикорнув на табуретке возле порога, отвалив рыжую голову на крашеную стену, храпел на всю избу.

В переднем углу — лики святых угодников, чадающая лампада с деревянным маслом, горящие восковые свечечки. На столе, накрытом холстяной скатерью, сотканной руками Меланьи, для каждого домочадца обливная кружка. Если понадобится воды испить, бери свою кружку. За обедом каждый, как и водится у старообрядцев, пользуется своей посудой, к чужой не притрагивается — грех, осквернение. Для пришлого на кухонном столике стоит «срамной» берестяной туес с водой и такая же «срамная» кружка. Если хозяйка набирает в «срамной» туес воды, то после должна чисто вымыть руки и отбить положенное количество поклонов. Иначе сама осрамится, опаскудится.

Строгость в доме лютая. Женщина не смеет сесть обедать рядом с мужчиной, первой мыться в бане, выйти из дома раньше мужчины. Первым должен подняться хозяин, сотворить службу. Если муж захворал, жена должна творить всенощные молитвы. Не смей пить молоко, сбивать масло, ходить в светлом платке, не говоря уже о скоромной пище. Хлеб и вода, сухари — вот и вся снедь для жены, коль мужик прихворнул.

Упаси бог, если жена вернется домой поздним вечером с улицы! За такое святотатство радеть будет неделю.

Ш

Шаркая пятками бродней, Прокопий Веденеевич прошел в куть, зачерпнул медным ковшиком из кадки, попил, жадно глотая степлившуюся воду. По сивой бороде скатились на посконную рубаху

крупные капли. Из большой горницы доносился протяжный стон Меланьи, будто из нее вытягивали жилы.

Борода Фили торчала вверх золотой лопатой. «Экий нутрянной! Ни печалюшки, ни беспокойства, — подумал Прокопий Веденеевич, но не стал будить сына. — Проку не будет, если и разбудишь. Не в меня удался холерский. Всю Степанидину стать перенял, ленивица мокропятая». И пхнув лохматого серого кота, опустился на колени. Долго молился, чтобы господь помог разродиться невестушке.

«Дщерь твоя, господи, в мучении пребывает от дня сего до настигшей ночи, — бормотал старик. — И как ты, господи, слышишь ее тяжкий вопль, то воссодействуй, помоги рабе Меланье, яко твари господней. И чтоб родился люд мужского пола. Воспою тебе хвалу великую, господи, за внука, яко раба божьего. Аминь».

Кряхтя, ухватившись за поясницу, старик поднялся с колен и, еще раз осенив себя крестом, прошел в жилую горницу.

— А-а-а-а!.. Ма-а-гушки-и-и!.. — билось из стены в стену.

На моленном столике восковая свеча; полумрак, духота и вонь. У трех окон, закрытых на глухие ставни, мечутся две уродливые тени. По горнице, согнувшись, ходит бабка-повитуха Мандрузиха, вся в черном, словно пришла на похороны, и сама черная, крючконосая, с оттянутым вниз подбородком. Степанида Григорьевна, телесная, разморенная в жаркой горнице, то держит Меланью на кровати, то лениво крестится.

Едва вошел Прокопий Веденеевич, Степанида поспешно накрыла Меланью толстым лоскутным одеялом, чтоб мужчина не увидел мучающуюся женщину, — тяжкий грех будет.

Меланье дыхнуть нечем, а тут еще накрыли с головой кудельной плотностью. Она что-то кричит и сбивает одеяло руками. Из-под одеяла выглядывают черные ступни маленьких ног.

— Скоро будет?

— Как бог даст, — буркнула Мандрузиха. — Больно мучится, сердешная.

— Ежли парня родит, крестить в моленной горнице. Фаларетом назовем, каким был праведник, прародитель мой. Аминь.

— Аминь, — в два голоса ответил полумрак.

— Ежли девчонка, крестите тут. На глаза не кажите. Аминь.

— Аминь, аминь!..

Старик пошел в свою моленную и, открыв там окошко в пойму, долго смотрел на углисто-черные сучья тополя с черными, будто чугунными, листьями.

«Экая чернота окрест! И морок. К погодью бы только. Управиться бы с сеном, а там и ржища подоспеет... Жизнь свершает свой круг. От Филаретова корня произошел Ларивон, опосля Лука, а потом мой батюшка Веденей, покойничек. От меня — Гаврила, Филя и Тимоха... Господи! Какой смышленный был отрок! С «крестом народился», чтоб духовником опосля меня быть. А вот замутила нечистая сила каторжанина Зыряна — совратили парнишку, и не стало сына мово благостного!.. — Вспомнив пропащего сына, старик почувствовал, как ему стало нехорошо: сердце защемило, будто кто его сжал тяжелой лапой. — Девчонок бог прибрал. И то! К чему пустопорожние посудыны? Ни корысти в них, ни добра. Чужие фамилии. Нам бы корень укрепить».

Корень Боровиковых оказался неплодовитым. Изморили себя постами, раденьями, строгостью. У Веденя Лукича было три сына и две дочери. Старший сын подался в хлебородный Семипалатинский уезд; дочери ушли в другие деревни замуж, и ни одна не понаведалась к брату Прокопию Веденеевичу. Потому: к срамной церкви примкнули.

Трудно Прокопию Веденеевичу держать Филаретову крепость! И вот Филя, Удержит ли? Не рухнет ли со смертью Прокопия вся старая вера, какую вынес Филарет с Поморья?

«До чего же народишко греховодный, — переметнулся на новую думу старик. — Все толкуют, будто из-под тополя ночами раздается голос. А враки. Который раз слушаю, и хоть бы какая холера пискнула».

И вдруг совершенно явственно:

— Спа-а-аси-те-е-е!.. Старик откачнулся от окна. «Свят, свят! Изыди, нечистая сила!..»

— Спа-а-а-си-те-е-е!.. Ма-а-а-ту-шка-а-а!.. Старик облегченно перевел дух:

— А мне-то поблазнилось, осподи! Это же Меланья исходит. Помоги ей, Марфа-великомученица.

Закрыв створку окна, зажег лампаду под иконою Пантелеймона и стал на молитву.

Еще только начало отбеливать реденькой голубенью и за окном сучья тополя из черных превратились в лиловые, в моленную вошла Степанида Григорьевна. Молча переглянулись супруги и, как по уговору, перекрестились, вздохнули.

— Меланья-то вся извелась. Мечется, а потом вовсе замирает. И ноги холодеют. На грудях по ложбине холодный пот пошел. Постель под ней хоть выжми. И так не тельна, а тут и вовсе доходит...

Ноздри старика сузились. Не он ли толковал, чтобы Филя не зарился на валявинскую красотку! Вот и пользуйтесь: не баба, худая немочь, хвороба.

— Што ворошить-то минувшее... Бабка Мандрузиха ушла; глядеть не может. Грит: пошлите за бабкой Ефимией Аввакумовной. Она такие же роды принимала у сестры Меланьиной Аксины Романовны. Послать надо бы.

— Опамятуйся! За ведьмой слать. Мало она чернила наш толк? Дом наш? Сколь раз говорил мне покойничек батюшка, чтобы нога Ефимии через порог не преступала. Не порушу батюшкину заповедь.

— Как помрет, тогда как?

— Все от бога. И смерть и рождение.

— Гляди, Прокопий, на тебе грех будет. По всей деревне слух пойдет, если никого не пригласим на помощь.

Старик недовольно хмыкнул. И вдруг представил Меланью мертвую, накрытую до рук отбеленным холстом, лежащую вдоль лавки в красном углу, с мерцающей свечою в сложенных руках, с ребенком во чреве, и — содрогнулся. Мертвому телу ничем не поможешь: ребенка не спасешь, а худую молву лопатой не отгребешь.

— Напасть-то экая, господи! За Ефимией-ведьмой слать, а? У ведьмы што ни слово, то одно еретичество. В боге разуверилась.

Посутулился Прокопий Веденеевич...

Филя сидел на кухонной лавке, широко расставив толстые ноги в самодельных яловых броднях, отупело тараща глаза в цело печи на пламя березовых дров.

— Сей момент заложи Каурку в тарантас и поезжай за ведьмой, — вывернул Прокопий Веденеевич, не глянув на Филю. — Да не запамятуй: не назови старуху ведьмой. Не поедет. Скажешь: Ефимия Аввакумовна, к вашей, мол, милости Пособите моей жене Меланье, роды у ней трудные. Помереть может. Ишшо вот што: как подойдешь к

ее избе, троекратный большой крест на себя наложи и про себя молитву прочти. Ступай.

Над округлой сопкой Татар-горы румянилось щекастое небо: поднималось солнце. На сук тополя, виснувший с крыши, прилепилась куча ворон и подняла такой гвалт, будто учуяла мертвое тело. Филя схватил палку и, размахнувшись, запустил ею в воронью сходку. Палка загремела по крыше.

Вороны шумно взлетели, кружась над оградой, опустились на баню. Филя схватил круглое полено и погнался за ними.

— Филин! Филин! А, чтоб тебе треснуть, окаянный, — орал с крыльца отец. — За воронами погоню учиняешь, а баба вот-вот богу душу отдаст. У, нетопырь!..

Филя кинулся за сытым Кауркой — надел сыромятную оброть, застегнул ее на ремешок под конской челюстью, вывел к поднавесу, проворно охомутил и, не высвободив хвост из-под наборной шлеи, увенчанной ремешками с кистями и медными бляхами, заложил Каурку в оглобли выездного тарантаса.

— Живо мне! — поторапливал отец.

IV

Не ждала бабка Ефимия, что за ней пошлет сына Прокопий Боровиков. Не она ли, Ефимия, порушила тополевыи толк? Не она ли поясняла темным староверам, что верованье в тополь — дикарское, не божеское, а скорее сатанинское? И вот Филя, мужик под потолок, мнет картуз перед старухой.

Бабка Ефимия только что поднялась с постели и помогала безродной пожилой приживалке Варварушке выкатать сдобное тесто — печь подоспела.

Изба Ефимии, построенная по ее велению на отшибе деревни, у кладбища, в березовой роще, вся пряталась в зелени. Кругом щебетали птицы.

В переднем углу избы приметил Филя — маленькая иконка в две ладони, в золотом окладе, так хорошо выписанная старым письмом, что Филя от порога разглядел божью мать с младенцем. Изба застлана половиками.

Справа — дверь в горницу за шелковыми занавесками; еще одна дверь в боковушку Варварушки, нарядная кровать с пуховой периною и пуховыми подушками под потолок. На окнах узорчатые прозрачные шторы, какие Филя видел только в скиту на окнах игумена.

— Люто живете, парень. Теперь уж не парень. Как звать тебя? Филимон? Приметный. Все Ларивоновы отметины перехватил. Тот таким же рыжим был. Ишь какая кудрявая борода! Вся из золота.

Филю коробило от пристального внимания бабки Ефимии.

— К вашей милости, Ефимия Абакумовна.

— Аввакумовна я.

— К вашей милости, — топтался Филя.

— В тополеый толк веруешь? — И опять Филю сверлят черные старушечьи глаза. «Ведьма и есть!»

— Дык тятенька. Моя воля какая, — развел руками Филя.

— Куда конь с копытом, туда и рак с клешней? Без воли и разумения? Тебе и свою волю иметь можно.

— Не заведено так-то.

— Знаю. Все ваше заведение от тополя до срамного туеса. Полдеревни в такой тьме пребывает. От тьмы произошли, во тьму уходят, яко не живши и ничего не видимши на свете. А век-то ноне другой. Двадцатым прозывается. Слышал? И!! Какой же ты темнуший при красной бороде, ай-я-яй! Ты хоть на календарь поглядывай.

— Не заведено у нас. Исчисление ведем от сотворения мира. Как оно было. Так оно идет. Тятенька так и другие.

Филя взмок и вытер ладошкой толстую шею.

— От сотворения! Кто его зрил, сотворение, что в лист пером врубить? Вот взгляни на листок — грамотный, поди?

— Читаю. Пишу. Батюшка обучил.

— И про то ведаю. Чтоб Писание толковать по Филаретовой крепости. Ох-ох-ох! Сколь держится мертвая крепость!.. Ну, ну, глянь на листок. Узнай, который ноне год.

— К вашей милости, Ефимия Аввакумовна. Как мучается жена моя, Меланья. Пособите ей в родах. Помереть может.

— Экий ты, — покачала головой бабка Ефимия — Вроде несмышленьш, а мужиком ходишь.

Бабка Ефимия накинула на плечи теплую шаль с кистями и вышла с Филей из избы.

Послушала пение птиц с крылечка и села в тарантас. Маленькая, ссохшаяся старушонка, а все еще бодрая, резвая.

Прокопий Веденеевич встретил бабушку Ефимию у ворот, низко поклонился, в пояс.

— Не кланяйся, Прокопий. Притвор один, вижу, — кинула бабушка Ефимия, вылезая из плетеного коробка тарантаса. — По нужде жалуешь — принимай без слов. Сама все разумею. Где лежит невестка? Веди.

В избу и в горницу вошла без креста и, что самое ужасное, сняла шаль и темный платок, обнажив седенькие, словно присыпанные сахаром, волосы.

Прокопий Веденеевич отвернулся и вышел из горницы. Истая еретичка! Простоволосой показалась перед мужчиною!..

Выбежала Степанида Григорьевна.

— Окно велит открыть, — сообщила. — Ругает. Уморили, грит, роженицу. Без воздуха, взаперти. Повелела тело обнажить и помогать, значит. Руки не поднимаются на экое.

— Подымешь небось! — зыкнул Прокопий Веденеевич. — Сполняй, што она требует. Ставни пойду открою...

От дома Боровиковых пастух начал собирать стадо. Заревел в рожок. Филя выгнал из надворья трех коров и нетель.

Прокопий Веденеевич, горбясь, сидел на приступке крыльца. Думал.

На крутизну неба вкатывалось солнце, как желтая дыня, пропитывая землю теплом. Ночной морок рассеялся. Местами по выгнутой синеве плавали рваные хлопья барашков. Сколько бы скосили травушки в такой день!.. Под навесом Филя отбивал литовки. У трех скворешен гомозились сизые скворцы.

Ограду бы надо вымостить торцом и переменить прогнившую крышу на бане. Еще вот конюшню надо построить для рысаков. В прошлогоднюю ярмарку Прокопий Веденеевич купил в Минусинске пару двухлеток-рысаков юсковского конезавода. Гнедой и Чалый для ямщины — залетные птицы. Нынче зимой Прокопий Веденеевич возьмется гонять ямщину от казачьего Каратуза в Минусинск и обратно. Он мужик в доброй силе. Хоть сейчас к молодушке, кабы не строгость веры. Степанидушка вышла с подвохом. Пятерых народила,

двух девчонок похоронила и отошла в старость. Хоть бы еще одного сына!..

Думы лились, как вода по камням. Прозрачные, бегучие.

V

Щедро припекало солнце. На крыльцо сунулась Степанида, заслонив собою проем двери. «Экая тельная! — скосил глаза Прокопий Веденеевич, будто впервые увидел супругу. — Разбухтела, а ни плода, ни проворства. От года к году все толще и толще. Оказия!» — Ну?

— Бог миловал! Хоть не померла, и то ладно. Степанида одернула на груди холщовую кофту, крашенную в коре багульника.

— Кого бог дал?

— Внучкой тебе будет.

— А, штоб вас! — подскочил Прокопий Веденеевич. Если бы мог, выругался бы крутым словом. Нельзя. Отродясь в доме Боровиковых не слыхано срамного слова, не пролита капля царевой водки, не протемнен потолок табачным дымом.

— Бабка Ефимия советует, чтоб имя нарекли божьей матери, Марией назвали.

— Хоть как нареките! Одна статья — пустошь. Филюха! Эй, слышь! Закладывай Буланку — на покос поедем.

— Погоди ужо. Бабка Ефимия зовет тебя в избу.

Прокопий Веденеевич буркнул что-то себе под нос, пошел в избу. Первое, что услышал, — сверлящий писк из-за дверей горницы. «Истый сверчок верещит». Сел на лавку, поджидая Ефимию. Степанида Григорьевна прошла в горницу. Знал старик, напустится на него проклятушая Ефимия за невестку. Что поделаешь, придется слушать и моргать глазами.

Строгая, вся в черном, бабка Ефимия уставилась на старика таким липучим взглядом, что у того морозец прошел за плечами.

— Ты, Прокопий, крест носишь?

— Эко! Господи помилуй!

— Покажи.

— Да вот он, мой крест. Поблазнилось вам или как, Ефимия Аввакумовна?

— Заморил ты невестку, едва от смерти выходила. Отжали вы из нее силушку, как масло из конопляного семени. Шмых один остался. Кожа да кости. Всю грудь в ладонь собрать. Крест носишь, а живешь-то как?

— От своо тела кусок не отхватишь и к чужому телу не приставишь, Ефимия Аввакумовна. Такая она есть — худущая. Два года жила у нас в доме невестою, а тела так и не набрала. Чья в том вина?

В избу явился Филя.

— Урядник идет к нам, тятенька. С чужим человеком.

— Анафема!..

Широко распахнулась дверь, и через порог перевалился упитанный, приземистый Игнатий Елизарович Юсков, урядник в форменном мундире, при сабле, в фуражке с белеющей кокардой. Снял фуражку и троекратно перекрестился на иконы двумя перстами. Следом за ним — парень из городских, плечистый, высокий, в кепчонке, в легком пальто, в ботинках и с ящичком в руке. Кепку не снял и лба не перекрестил. Замер у порога, тревожно оглядываясь на Прокопия Веденеевича и на бабу Ефимию, которая присела на красную лавку возле стола.

Урядник Юсков покрутил стрельчатые усики, выпятил грудь, утыканную медными пуговицами.

— По казенной надобности беспокою вас, Прокопий Веденеевич, — загремел бас урядника. — Вот (кивок на молодого человека), по предписанию свыше жить, значит, будет у вас в доме сицилист и безбожник. Под вашим надзором проживать будет пять лет, исчисляя с того дня, когда был подвергнут аресту и тюремному заключению.

Глаза Прокопия Веденеевича, отливающие синевой перекаленной стали, свирепо воззрились на безбожника-парня в городчанской одежде и на урядника.

— Такого паскудства не будет, грю. Поставьте своего безбожника к поселенцам аль к медведям спровадьте.

— Под ваш надзор указано, — хитро накручивал усики мордастый урядник. — Преступить указание свыше не в моей власти.

— Не будет того, грю! — загремел Прокопий Веденеевич, поднимаясь с лавки. — Мой дом не для безбожества, грю.

В разговор встрял молодой человек:

— Нет такого предписания, господин урядник, чтобы я жил именно в этом доме. По приговору суда я должен отбывать ссылку по месту рождения.

— Под надзором родителей, сказано, — пророкотал бас урядника.

— В приговоре сказано: «до совершеннолетия отбывать ссылку под надзором родителей». А мне исполнилось девятнадцать лет. Могу отбывать ссылку в любом доме.

— До получения разъяснения из губернского жандармского управления вы будете под родительским надзором, упреждаю.

«Под родительским надзором!..»

У Прокопия Веденеевича еще более округлились глаза. Кажется, есть что-то знакомое в обличности городского парня. Взгляд из-под бровей, чуть горбатящийся нос, светлорусые, вьющиеся на висках стриженные волосы, боровиковская стать и размах плеч, и даже окалина синих глаз.

— Признаете иль нет? — кивнул урядник, уставившись чугунным взглядом.

У Прокопия Веденеевича захолонуло внутри и слова на язык не легли. Онемел.

Из горницы на разговор вышла Степанида Григорьевна.

— Может, Степанида Григорьевна признает? Степанида Григорьевна подошла ближе, пригляделась и попятилась. «Свят, свят! Поблазнилось будто. Лицом-то — Тима».

Молчание.

Три пары глаз щупают друг друга.

— Такое бывает у сицилистов, — пояснил урядник. — Они ведь на все идут. На подвох, подлог и на воровство чужих фамилий. Чтоб следы замести. И такое происходит. Этот сицилист назвался Тимофеем Прокопьевичем Боровиковым, а может, липа, а? Глядите взыскательно, потому дело щекотливое.

— Тимофеем?! — Прокопий Веденеевич свирепо уставился в лицо городского парня.

И вдруг, не помня себя, Степанида Григорьевна кинулась к парню.

— Тимошенька!

— Мама!..

Одно слово, и Степанида Григорьевна, как подкошенная, упала на грудь парня. Тот прижался к ней. Урядник отошел в сторону.

— Тимошенька!.. Родненький мой!.. Што с тобой подеялось, родненький!.. Из родительского дома... бежал... Тимошенька!..

Прокопий Веденеевич хмыкнул и сел на лавку. Филя усиленно моргал глазами, переступая с ноги на ногу. Бабка Ефимия что-то шептала про себя, машинально глядя ладонью скатерку.

— Признали? Принимайте тогда, как положено. Распишитесь в документе.

— Погоди ужо с документом. Отколе он, поясни.

— Из красноярской тюрьмы. Прибыл по этапу на отбытие ссылки как политический преступник. Был арестован за участие в стачке мастеровых депо.

— Это как — политический?

— В подрывном понятии. Собираются, значит, как бандиты, по подпольям и учиняют потом всякую пакость, народ мутят. Помышления имеют свергнуть государя самодержца и самим царствовать. А того не разумеют, что они есть тля, мокрость на сухом месте. В бога не веруют, лба не крестят, с чертями заодно. И все молокососы. Материно молоко на губах не обсохло, а они лезут, как тараканы в щели, поганые. В такую политику ударился ваш сын. Работал в депо кузнецом, жалованье имел. Чего бы еще? Золото на ладонь падало, а он кинулся за медяками к подпольщикам.

Прокопий Веденеевич накручивал на палец прядь сивой бороды.

— Эвон какая оказия...

— На моей памяти зародилась поганая политика, — пыжился урядник. — А сейчас что видим? В одной Белой Елани девятеро отбывают политическую ссылку, не считая вашего сына. Он десятым будет.

Никто не обратил внимания на Ефимию.

— Слава те господи! — раздался голос старухи. Прокопий Веденеевич оглянулся на нее. — Возрадуйся, Прокопий! Возрадуйся, яко тьму прозревший. Гляди, гляди, праведник пред тобою! — И показала на парня. — Мокеюшку вижу, Мокея!.. В другом обличье, в молодой силе! Возрадуйся! А ты, Игнашенька, погань, не человек. Отторгла я тебя от сердца, хоть мы из одной фамилии. Сытый экий, упитанный, а чьим добром напился? Крохами с царского стола набил

брюхо и глазами в землю смотришь. Живешь, как бросовое тело, с тем отойдешь на тот свет. И не сам, не сам отойдешь! Снесут тебе голову вместе с сатанинской кокардой, и помянуть некому будет. Не раз говорила тебе про то и еще толкую: гибель у тебя за плечами! Озрись!

Урядникова морда налилась, как свекольным соком.

— Подойди ко мне, парень. Подойди, — позвала Ефимия.

— погоди ужо, Ефимия Аввакумовна, — поднялся Прокопий Веденеевич. — Как он есть сын мой, мне и разговор вести допрежь. Отцепись, Степанида! Пойди к Меланье в горницу. Ступай. А ты, Филя, сей момент отвези Ефимию Аввакумовну. Благодарствуем за помощь, Ефимия Аввакумовна, а за другое что, ежели выходит не по-вашему, не обессудьте. Мне чрез родительскую крепость не преступить, скажу.

Урядник одобрительно гудел себе под нос. Степанида Григорьевна ушла в горницу, Филя — запрягать Каурку.

— Может, на солнышке погреешься, Ефимия Аввакумовна? День ноне разгулялся.

— А ты меня не гони! — осерчала она и сама подошла к Тимофею. — Мокея вижу, Мокея! Не тебя, Прокопий. Ты, как межеумок, прополз по жизни, батюшка твой Веденей межеумком полз по дням текучим да сонным. А вот у парня, гляжу, другая линия. Как тебя звать?

— Тимофеем, бабушка.

— Ишь, неторопкий голос Вразумительный. Не робеешь?

Парень спокойно пожал плечами.

— Не робей! Была и я такова в твоём возрасте. Себя, как тебя, вижу. Искала веру-правду во всем Поморье. Держись крепко своей веры-правды. Гнать будут — терпи: бить будут — не плачь. Потому: свет не сразу пробивает ночь. Не веруешь в бога? Не надо. У тебя своя вера-правда, ее блюди. У родителей своя тьма-тьмущая, они в той тьме сами себя потеряли. Притеснять будет отец — приходи ко мне и живи хоть век. Как сына приму. Теперь пойду домой. Приморилась за утро. Не розовые годочки ноги носят. Живу еще. И перемены жду. Чтоб вся Россия Пугачевым огнем занялась! И тогда настанет на земле вольная волюшка. Того жду, о том молюсь. Потому человек от рождения не раб, а вольная птица. Ну, спаси тебя бог, Тимоша. Пойду я. Приходи ко мне. Ждать буду.

Бабка Ефимия сходилa в горницу за шалью, побыла там (синице через деревню перелететь) и вышла из избы. Нутряным рыком проводил ее внучатый племянник Игнат Елизарович. До чего же надоела престарелая старушонка! Пропиталась ересью и греховодством. Игнат Елизарович исповедует веру прадеда, Аввакума Юскова; за фалды «федосеевского кафтана» держится рябиновец, хоть и стрижет бороду.

VI

В избе водворилась тишина. Прокопий Веденеевич, скомкав в медвежьей лапище бороду, обдумывал тягостное положение, стоя возле стола и не глядя на шалопутного сына. Он все еще никак не мог уверовать, что объявился беглый Тимка — рубщик икон, срамное чадо.

Урядник ждал, что будет дальше. С хромовых сапог его тоненьким узором легла пыль на скобленные половицы.

На шаг от двери прикипел Тимоха. Если отец вдруг заедет в скулу — моментом вылетишь в сени. Тогда беги, не оглядывайся. За восемь лет, какие Тимка провел в городе, в памяти жил строжайший батюшка-старообрядец. Парнишка помнил, как от одного отцовского удара старший брат Гаврила головой ударился в тесовую стену в завозне.

Окаменелое молчание буравил младенческий писк.

Прокопий Веденеевич сотворил молитву, бормоча застревающие в зубах непроворотливые старославянские слова: «Блудный сын спаскудил дом твой, господи, — дополнил к псалму нутряное горе Прокопий Веденеевич, — сотворил изгальство в доме твоём, господи. Вразуми мя, господи, в деянии твоём, в слове твоём».

Шумно передохнул, одернул рубаху под льняным поясом, повернулся к сыну.

— Сказывай, шалопутный, где бывал? Кто надоумил тя, несмышленища, свершить пакостное святотатство в моленной горнице? Сам того умыслить не мог. Сказывай.

Пружиня голос, сын ответил с запинкой:

— Где был — известно. Господин урядник сообщил. В депо работал. Год учеником, год подручным, а потом кузнецом. Арестовали за участие в сходке мастеровых. В школе учился, в воскресной. В тюрьму потом посадили.

— Про арест, тюрьму будет разговор. Про святотатство реки, грю. Сын шумно вздохнул.

— Ну? Молчание.

— Говори, грю, кто надоумил чудотворную икону порубить!

— Никто. Сам.

— Врешь, шалопутный. С каторжанином Зыряном про што разговор вел, сказывай. В десять-то годов отрок все помнит. Сказывай!

В ответ молчание.

— Пороть, пороть надо! — подсказал урядник. — Вы же, Прокопий Веденеевич, праведной веры держитесь. За порубку икон особливо вложить память, чтобы вовек не забыл. Позовем в соборню и, как по воле родителей и через родительское дозволение положить на скамейку и всыпать, вложим памяти, как и должно. Чтоб держал себя в дозволенных линиях. И я помогу. Потому — за святотатство.

На щеках Тимохи перекатились крутые желваки. Синим огнем вспыхнули отчаянные глаза.

— Пороть, пороть! — рычал урядник.

— Погоди ужо, служивый. Чадо мое — мне и толк вести, — урезонил старик. — Мир мне ни к чему — сам в силе. С тремя такими совладаю. Господь бог повелел прощать грешников. До семижды семидесяти раз, сказано в Писании. За несмышление прощаю. Про дальнейшее — бог скажет, как поступить.

Обескураженный урядник достал бумагу.

— Спрячь бумагу! — махнул рукой старик.

— По закону, по закону требуется, — пояснил урядник. — Коль принимаете сына, распишитесь.

— Грю, нет моей росписи!

— Если не примете под расписку, отправлю обратно в тюрьму, как не опознанного.

— Верши власть свою, как можешь. Роспись под бумагой не поставлю. Аминь.

— До чего же вы тугие! — не стерпел урядник. — Оно и понятно, стал-быть, что от вашего корня отлетают головорезы.

— В нашей родове нету головорезов, Игнат Елизарыч! — отсек старик, как полено дров развалил на две половинки. — Ищи головорезов в юсковском корне, у рябиновцев, грю. А мы от

праведника Филарета род ведем. К царю в урядники не нанимаемся. Аминь.

Подхватив рукою ножны сабли, урядник вылетел из избы синей тучею, с досады хлопнув дверью.

Отец и сын переглянулись, будто серебряный рубль переложили из руки в руку.

— Не таким я тебя ждал, Тимоха. Надежду на тебя имел. В помышлениях тайных видел тебя Филаретом-праведником.

Помолчал, глядя себе под ноги.

— Из тюрьмы пригнали?

— Из тюрьмы.

— Царю не поклонился?

— Не поклонился.

— Добро. А сила есть, чтоб пихнуть царскую власть? Прадед Ларивон мой, покойничек, сказывал про Филарета, как их разгромили царевы слуги. Смыслишь то?

— Поднимется весь народ, тогда не устоит самодержавие.

— Дай бог! Ох-хо-хо! В бога не веруешь? Безбожник?

— Церковь существует, как мышеловка для темного народа. Самито они, царь с генералами, разве верят в бога?

— Замолкни про бога! В никониановской церкви бога нету: анчихрист службу правит. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Бог есть у нас, в нашей вере-правде. К тому прислон надо держать. Без бога царя не спихнете. Ну, да про то разговор вести не будем. Таперича слушай, што скажу. Коль объявился безбожником, живи чужаком в доме на моей хлеб-соли. Ежли табак куришь, в избе не сметь. Вино пьешь — хоть из лохани хлебай за моим домом. И валяйся со свиньями, а через порог, в сатанинском виде не перекатывайся. Снедь принимать будешь из своей посуды. К столу не прикасайся, на красну лавку не садись. Оборони бог, ежли увижу в моленной горенке! Смотриай. Ну, а работать, скажу тебе, не ленись. Хлебушко солью тела добывается. Уразумел?

— Уразумел.

— Добро. Семью анчихристовыми разговорами не совращай. Про политику такоже. Замкни рот и чесало привяжи к зубам. А таперича, как у нас в доме народилось чадо, увезу тебя от греха на покос. Неделю будем жить там, покуда в доме сырая роженица. Эй,

Степанида! — И в ту же минуту она показалась на пороге. — Ишь какая торопящая. Под дверью стояла? Собирай на покос. Пригласи бабку Мандрузиху — помогать будет Меланье и за скотом глядеть, а сама завтра явись в Суходолье.

— Тимоша с дороги, отдохнул бы, — молвила Степанида Григорьевна, не смея приблизиться к сыну.

— Молчи, коль ум с ноготь. Достань с подлавки стол, какой вынесли из моленной. Вот в том углу поставь. Табуретку также. Чугунок, хлебальную чашку, посуду, какую соберешь, на тот стол. Тимофеев угол будет. К приезду с покоса устрой ему постель в казенке. На ларь с мукой доски положишь, а постелью будет мой тюфячок волосняной, полостью суконною — покрываться, подушку дашь для пришлых с ветра.

— Сделаю, батюшка.

В слабо торжественных случаях Степанида Григорьевна звала мужа «батюшкой» или «большаком».

— Ну, помоги мне, шалопутный!

Тимофей вышел с отцом в сени. Отец полез на чердак я сам подал оттуда старенький березовый стол, закапанный почернелым воском от свеч.

Водворив стол в угол, старик наказал жене, чтобы она покормила сына, а сам вышел в надворье. Подальше от грехопадения.

Как только вышел он за дверь, мать повисла на шее сына.

— Соколик мой! Рада-то как я, господи!.. Шивой, живой!.. Сколь молитв перечитала, сколь свечей сожгла, тебя ожидаючи! Живой, живой!.. Слава те господи. Один ты у меня лежишь у самого сердца. Ночь и день грела бы тебя. На отца не сердись. Неломкий он; за старую веру кремнем стоит. Одни на всю деревню с этакой крепостью. Кругом старая вера рушится. Живой, живой!

Тимофей разнял теплые руки матери и, озираясь, спросил:

— Которая «красная лавка»?

— Да вот эта. Гляди, не сядь на нее.

— Ладно.

— Да я бы тебя, Тима, на грудь себе посадила. Вера-то, вера наша, осподи! Век терплю, век землю топчу, а все не разумею: где истинная вера-правда? Помнишь дядю Елистраха? Поди, забыл? Тот вовсе отторгся от мира, в тайге живет и на деревню глаз не кажет. Живет в

избушке на пасеке Юсковых, спит в колоде, в которой потом захоронят его. Единоверцы ходят к нему с приношениями — кто сухариков, кто мучицы поднесет, а более ничего не принимает. Была я у него с приношением. Заставил ночь радеть и читать молитвы, а потом принял ржаные сухарики, а пшеничные повелел зверям кинуть. Глядеть страшно! Весь иссох и дикой, дикой.

— Тьма-тьмущая, — вспомнил Тимофей слова бабки Ефимии.

— Тсс, не говори так, Тимоша. Оборони бог, сам услышит. Истинная вера-правда у нас. Не слушай ведьму. В искус вводит.

— Какую ведьму?

— Да бабу Ефимию, которая Мокеем тебя назвала.

— Это та самая бабка Ефимия?

— Ишь ты, помнишь? Она, она, еретичка. Внуки сколь раз прогоняли ее из Минусинска, а ей все нейметя. Ходит из дома в дом да совращает праведные души.

— А как тут Зырян живет?

— Свят, свят! Про каторжника вспомнил! — замахала ладошками мать.

VII

Солнце поднялось в полдуги, когда Прокопий Веденеевич выехал с сыновьями на покос. Филя правил лохматым Буланкой. Каурка бежал рядом возле оглобли.

Тимофей с отцом сидели спина в спину. Один обозревал левую сторону дороги, другой — хребет Лебяжьей гривы.

Встреча с отцом прошла благополучно. Пуще всего Тимофей боялся именно этой встречи, когда ему огласили приговор суда. Он просил суд сослать его в любое отдаленное место Енисейской губернии, хоть в Туруханск, хоть во льды океана, только не в Белую Елань. И суд учел: приговорили на пять лет ссылки по месту рождения, и чтоб водворили в родительский дом под строжайшим конвоем. «Надеялись, что отец переломает мне кости».

Иные думы кучились у отца.

«Вот оно как вышло! В пятом колене закипела кровь Филаретова. Супротив царя пошел. У ведьмы глаз вострый. Кабы не безбожество — радость-то экая! Ну, да, может, еще оботрется парень. Ласковостью

надо брать, умом, воздержанием. Ежели начать гнуть, как медведь гнул дерево, аль переломится, аль сбежит. А сын ведь! Не чета Филе».

До покоса тащились проселочной дорогой, петляющей между опушками красного и белого леса.

Погожесть, солнце, и звонкая, пезучая тишина необозримых просторов. Воздух, как медовуха: пьянит, клонит ко сну.

Филя подвернул к стану. Треугольный шатер, обложенный сверху берестой, из которой осенью будут деготь гнать. Пепелище с кучей хвороста. Треногий таган для варки обедов. В трех шагах журчит Малтат, заросший багульником и черемушником.

Оказалось, что Тимоха не умеет держать литовку.

— Гляди, как черенок брать в руки, — взялся учить отец. — Вот эдак бери ее, милушечку косоротую, и иди по травушке-муравушке, только свистеть будет. Сила у те, слава богу, есть. В мою кость выпер.

Дюжие, привычные к пудовому молоту руки Тимофея крепко взяли за черенок литовки. К вечеру с непривычки набил кровавые мозоли. Отец велел перетирать в ладонях сухой пепел, чтоб быстрее narosla рабочая кожа.

Закончили косьбу поздно. Поужинали врозь. Филя с отцом сотворили вечернюю молитву, а Тимофей в укромном уголке за станом умял свою долю обеда и тут же свалился спать. Отец укрыл его половиком и долго сидел подле сына, глядя на его курчавую русую голову.

На другой день к обеду явилась Степанида Григорьевна, притащила на горбу два туеса свежего молока, кусок тайменя в полпуда и сейчас же наварила ухи, стараясь угостить лучшим куском меньшого сына.

Мордатый Филя набычился:

«Ежели припаяется к дому Тимка, ополовинят меня, леший. Надо бы отворотить тятеньку от Тимки».

С того и невлюбил меньшого брата, косоротился.

Как только утренняя зорька румянила синюю полость погожего неба, сразу, без разминки, вскакивал Прокопий Веденеевич и брался отбивать литовки. Степанида Григорьевна что-нибудь варила в прокоптелых котелках, а потом, плотно позавтракав, выходили в пахучее разнотравье, и по увалам, логам мягко, со свистом пели косы: «Вжик, вжик, вжик».

Прокос за прокосом.

Впереди шел Прокопий Веденеевич, неутомимый, сильный, костлявый; за ним — чувал спины Фили, за Филей — поджарый, в отца плечистый Тимофей в синей рубаше, а следом мать — пыхтящая, тяжелая, вся мокрая от пота, в непомерно длинной холщовой юбке, путающейся в ногах.

Перемежались дни. То прыснет дождик, то опять проглянет горячее солнышко, то морок простоит весь день.

В ясные дни собирали сено деревянными граблями и метали в копны.

На исходе недели Степанида Григорьевна до того разморилась, что слегла под телегой, и, как ее ни ругал Прокопий Веденеевич, не поднялась.

— Нету силы моей, Прокопий. Хоть прибеи.

— Истая колода! Чтоб тебя разорвало, холеру! Ступай домой тогда и пошли двух копневщиков из поселенцев. Да не наговори лишку, когда будешь рядиться. Хватит им того, что жрать будут мой кусок хлеба. И Меланью отправь на покос. Поди, отлежалась.

По вечерней прохладе Степанида Григорьевна ушла в деревню, а на другой день подошла Меланья с малюсенькой грудной дочкой Маней и с белоголовой, тоненькой, как лучинка, внучкой бабки Мандрузихи Анюткой, которую Меланья взяла в няньки. Пришли коппевщики — босоногие подростки в холщовых шароварах. Прокопий Веденеевич сразу же определил парнишек в угол безбожника Тимохи, чтоб не опаскудили стана.

Впервые свиделась Меланья с деверем Тимофеем. До чего же он красивый парень! Смутилась, опустили руки вдоль тела и, потупив голову, отошла от Тимофея.

Улучив минуту, свекор предупредил невестушку:

— С Тимохой в разговор не вступай, слышь. Потому — безбожник.

— Ой, как можно так, тятенька? Грех-то, грех какой!

— Грех его, не наш. Ему и ответ держать перед богом. Филя, в свою очередь, высказал такую догадку:

— Ишшо неизвестно, может, с нами вовсе не Тимоха, а нечистый дух, оборотень.

— Свят, свят, свят! — истово крестилась перепуганная Меланья, боясь глянуть в ту сторону, где спал с конневщиками деверь Тимофей.

Неделя выдалась редкостная. Ни гнуса, ни комарья — пекло солнце. Курилось синюшное марево, будто от земли к небу тянулись шелковистые голубые волосы.

VIII

С обеда начали метать два зарода. Филя с Тимохой в низине, возле берега Малтата; отец с Меланьей на взгорье, у старой березы.

Меланья подавала сено на зарод, стараясь изо всех сил. Слабели руки и ноги, а свекор поторапливал:

— Эй, живо мне! Еще, еще! Што ты суешь навильник, будто три дня не ела? Живо, грю!

У Меланьи свет мутился в глазах. Поднимая трезубыми березовыми вилами сено на зарод, покачнулась и упала без памяти.

Свекор, утапывая сено наверху, заорал:

— Чаво там замешкалась, холера? Слышь, што ли? Никакого ответа.

— Меланья!

Меланья не поднималась.

Старик винтом слетел с зарода и, подскочив к Меланье, пнул ее броднем в живот. И еще раз, и еще.

— А-а-а-а, тятенька!..

— Вот тебе! Вот тебе! Стерва, не баба. Разлеглась!

— Тятенька-а-а-а!..

— Штоб тебе провалиться скрозь землю, лихоманка! На крик прибежали Тимофей с Филей и подростки-копневщики.

Меланья, ползая в ногах свекра, жалостливо, сквозь слезы стонала:

— Не бейте, тятенька! Не бейте! Силов нету-ка! Голова идет кругом!..

— Ах ты погань! Ставай, грю! — И еще раза два пнул невестку, та скорчилась.

К отцу подскочил Тимофей. Лицо в лицо, как молнии скрестились.

— Ты что, очумел, отец? Не видишь, что ли? Кого ты поставил с вилами? А ты что смотришь, Филя?

У Прокопия Веденеевича — озноб по спине. Лицо перекосилось, ноздри раздулись, на шее и на висках вспухли вены.

— Ты, варнак, што, а? На вилы хошь? Я те сей момент проткну! — И схватил березовые вилы. Не успел развернуться, как Тимофей схватил со спины. — А, Филя! Бей его, анчихриста! Лупи, грю!

К покосу Боровиковых кто-то ехал верхом. «Чужой кто-то, а у нас экое!» — топтался Филя на одном месте.

— Бей, грю!

— Дык... дык... едет хтой-то, чужой.

Отец и сын пыхтели над зародом. Тимофей втиснул отца лицом в сено, тот вырывался, клопоча злобою и бессилием.

— Тятенька, чужой человек едет! Што вы, в самом деле! Тимофей вырвал из рук отца вилы и отошел к копне. Подъехал человек из поселенцев. Не слезая с вислозадного коня, заорал:

— Слушайте, люди! Запрягайте коней та поизжайте до дому! Громаду собирает голова с волости!

Прокопий Веденеевич шумно перевел дух.

— Што ты бормочешь? — угрюмо спросил.

— Кажу: поизжайте до дому. Сход собирает голова чи той, староста. Манихфест царский читать буде. Ерманец чи той, поганый немец войну почал, люди!

Филя вытаращил глаза.

— Мабуть, заберут всех хлопцев на ту войну. А, мать божья! Як жить без хлопцев чи мужиков? Погибель одна, и все. Ну, я пойду, до покоса Лалетиных. Гукать людей надо. Война, война!..

И уехал.

IX

Меланья поднялась бледная, ни кровинки в щеках, ни радости в тухнувших молодых глазах.

— Вот што, Тимоха, не в свое дело не суй нос! — медленно отходил Прокопий Веденеевич, отирая мокрое лицо рукавом рубахи. — Не твою ума дело, как я веду хозяйство. Ты со своим умом

дошел до ссылки, а я со своим подниму Филимона — рукой нехватишь.

— Одного поднимешь, а ее в гроб загонишь.

— Молчи, грю, каторга!

— Я еще не каторжник. Но думаю, на каторге для Меланьи было бы легче... Вы же ее заездили. Никакой жалости.

Толстоногий, медлительный Филя косил глазом то на отца, то на Тимоху, то на всхлипывающую Меланью. «Ишь как вышло, а? — туго соображал он, ковыряя пальцем в носу. — Кабы не подъехал поселенец, я бы Тимку съездил в затылок. — И, уставившись неприязненно на Меланью, покривил толстые губы. — И отчего она такая слабосильная?»

Тимофей взял Меланью за руку и хотел увести к стану.

— Не трожь! — подскочил отец. — Не твоя баба, в рот не клади, Заведи свою и жуй.

— Постыдились бы, папаша.

— Молчай, стервец! — притопнул Прокопий Веденеевич.

— Оставь ее, Тимоха, — подал равнодушный голос Филя. — С бабами завсегда всякая холера приключается.

— Мне сейчас лучше, — пролепетала Меланья, облизнув сухие губы. — Маню бы покормить, тятенька.

— Потерпит твоя Маня, не сдохнет.

У Филя засело в башке одно слово: война. Что бы это значило — война?

— Тятенька, на войну-то поедем аль нет?

— Дурак! На войну тебе захотелось, нетопырь. Ты знаешь, с чем ее жуют, ту войну? Перво-паперво обстригут тебя, как барана. Бороду сымут овечьими ножницами, онося сунут в руки винтовку, замкнут на пуговицы в сатанинскую шинелю и погонют, как арестанта, на пароход. С парохода пихнут в железный вагон и повезут на позицию, как увозили мужиков к япошкам в Порт-Артуру. Смыслишь то? Пырнет штыком немец в брюхо, вот тебе и будет война!

Меланья всплеснула ладошками:

— Тятенька!

— Нишкни! — прицыкнул отец. — Без твоего визга обдумаем, как быть. Вот домечем зароды, а там покумекаем.

— Дык, дык, ежели такое дело... мне... дык... не к спеху, — пыхтел Филя.

— Ишь, не к спеху! Кому она к спеху, та война? Лезь па зарод. Я подавать буду. А ты, Тимоха, иди с ней, домечи зародишко в яме. — Приставил ладонь ко лбу. — Вишь, с прислона туча наползает.

— Экая синющая тучища! Ну, валяй, Тимоха. Да вдругорядь не наскакивай на отца. Гляди!

Ни старик, ни Филя не видели, как посветлело измученное лицо Меланьи, с какой она благодарностью глядела на Тимофея. «За меня заступился парень. Тятеньки не убоился. Кабы Филя таким был, вот бы счастье-то. Молилась бы на него, как на иконку».

Как только отошли от зарода, Тимофей спросил:

— Дойдешь до стана?

— Тятенька-то, чать, узрит.

— Иди, не бойся. Кусаться надо. А то они тебя живьем съедят.

— И так, Тима, съели.

— Кусайся.

— Укусишь, пожалуй, змею за хвост.

— Наплюй на них и уйди.

— Куда уйти-то, Тима? Дома разве меня примут? И што там! Мой-то тятенька ишшо лютее, в другой вере состоит. Слышал, поди, про дырников? Икон у нас в доме нет, молимся в дырку такую, на восток. Тятенька говорит, что все иконы анчихристом припачканы. А я теперь вошла в веру тополевецев. Куда же мне сунуться? Кругом двери заперты. И Маня вот ишшо. Не с рук же ее...

— Фу, какая страшная жизнь, — вырвалось у Тимофея. — Задохнуться можно!

— И Филя мой... хоть бы раз заступился. Ни житья с ним, ни радости. Я-то разве виновата, што принесла девчонку? За што изгаляться-то? Не вняла моей молитве пресвятая богородица.

Тимофей захохотал.

— Ты што, Тима?

— Непроходимые вы люди, вижу. Сама подумай: при чем тут богородица... Иконы-то — обыкновенные доски!

— Тима, оборони бог, не совращай! — перепугалась Меланья, замерев на месте. — Пожалей хоть ты, не совращай. Сгину я, как былинка на огне. Не совращай!

Тимофей покачал головой: тяжело. До чего же дремучая темень! Пробьет ли ее когда-нибудь свет человеческого разума?

— Плюну я на всю эту отцовскую крепость и уйду!

— В город?

— К беднякам-поселенцам. Буду работать в кузнице и жить людскому среди людей.

— Ой, что ты, Тима! На отца-то!

— Такого космача пулей не прошибешь, не то что словом. Вечером лбы бьют на молитве, а день со зверями заодно. Какой тут бог! Если вся эта тьма от бога, гнать его надо ко всем чертям. Так я тебе скажу, Меланья. Не пугайся, не совращаю, а глаза тебе открываю. В чем тебе бог помог, скажи? Под зародом бог тебя бил ногой в живот? Бог тебя поставил под вилы? Бог тебя лишил слова и воли? Ты же как перепелка с подрезанными крыльями. И это все от бога, да? Такого бога рубить надо в куски, как я порубил иконы. Ну, не упади с испугу! Я и сейчас все эти разрисованные доски положил бы на наковальню да пудовым бы молотом трахнул! Во как!

— Свят, свят, свят, — лопотала Меланья, крестясь.

— Я же не икона, что на меня крестишься? Эх ты! В школу бы тебя, да не в поповскую, а в наш бы марксистский кружок, чтоб глаза у тебя открылись.

— Тима, Тима! Пожалей!

— Жалеючи тебя, говорю. Филину не стал бы. Он дурак с салом на боках, его не проймешь. А в твоих глазах ум должен засветиться, понимаешь? Ум! Ну, ладно, иди корми Маню.

— Спаси мя, богородица! Вдохни в меня благодать свою, мать божья, — бормотала Меланья, сложив на груди маленькие ладошки. — Сердце штой-то зашлось с перепугу. Реченье-то твое сатанинское. Изыди, изыди от меня!.. Свят, свят!..

Тимофей махнул рукою и ушел в низину. Меланья глядела ему вслед. Какой он плечистый, высокий и сильный. Такого медведя, как тятеньку, удержал в руках. Может, и вправду оборотень?

Глотая слезы, Меланья подошла к стану.

На руках Анютки криком исходила девочка, искусанная комарами.

— Ревет, ревет, никак унять не могу!

Меланья присела возле телеги, взяла на руки крошечную, черноглазую Маню в мокрых пеленках. Та сучила пухлыми ноженками и, морщась, пускала пузыри.

— Сердешная моя, зачем ты только на свет народилась? — заголосила мать. Сунув дочери грудь, качая на руках, смотрела вдаль и

ничего не видела. Слезы катились по щекам, и она их слизывала с потрескавшихся губ.

«Один только Тима заступился за меня. Если он оборотень, пошто голубит эдак? Оборотни-то мучают».

Нескладные, обрывчатые думы роились у Меланьи.

«И это тоже называется жизнью? — спрашивал себя Тимофей, остервенело вонзая трезубые вилы в шуршащее, пересохшее луговое сено. — Ни света, ни радости у них. Кому нужна такая жизнь? И вот еще война! За кого воевать? За такую каторгу? За царя-батюшку? За обжорливых жандармов и чиновников?

Думы зрели, ширились, роняя ядерные зерна в память...

Прибежала Меланья. Посвежевшая, бодрая: она успела искупаться в Малтате. Коричневая холщовая кофтенка прилипла к ее телу, отпечатав маленькие груди и резко выступающие на спине лопатки.

Оглянулась — кругом безлюдье. Зарод Тимофей мечет в яме, откуда никак нельзя было вытянуть копны к большому зароду на взгорье.

— Тима, Тима! Заметьвать надо верх-то. Гляди, девять копешек осталось. Я мастерица сводить верх, подсади.

— Не боишься нечистого духа? Анчихриста?

— Што ты, Тима? Я вить... ничегошеньки не знаю. Тятенька предостерег. Грит, оборотень ты, — соврала Меланья, свалив слова Фили на отца.

— Отец? Гм! Он скажет, сивый.

— А ты... не оборотень, а?

Тимофей воткнул вилы в копну сена, призадумался.

— Оно как смотреть. Если с колокольни тятеньки — оборотень. Потому что он во тьме от века пребывает, а я ушел из тьмы. Просто сбежал. Добрые люди помогли. Так же вот радел иконами, как ты. По восьмому году читать библию научился. Ох, набил же я оскомину Библией! Слова в ней как пни листовенные, не подынешь и не поймешь, что к чему. Ворочал языком на славянском, а в голове, как в разохшейся старой бочке, — пусто. Готовил меня папаша в праведники тополевам. Люди шли к нам в дом изо всех деревень. Посадят меня перед иконами и заставляют бубнить всю ночь напролет. Оно понятно, отцу было выгодно. Сколько тащили разных

приношений. И хлебом, и медом, и салом, и тряпьем. Кто чем мог. Заездили бы, если бы не подсказал человек, что делать. Рубанул я тот тополь, а потом иконы пощепал, и был таков. Понимаешь? Туго было первое время в городе. Мастеровой взял к себе в семью, кузнец. От него в люди вышел. Вот и все мое оборотничество.

— Тятенька грит, ты вовсе не Тимоха...

— Нечистый дух? — хохотнул Тимофей. — Оно понятно. Того Тимохи, который радел ночами с Библией, нету. И никогда не будет.

— Как же бог-то?

— Сама думай как. Увидишь — покажи. Никто его пока не видывал. Ты видела когда-нибудь сон наяву?

— Как так?

— Очень просто. Во сне другой летает птицей.

— И правда. Сколько раз я летала.

— Попробуй взлети. Ну вот. Так и бог. Все равно что беспробудный сон человека.

— Подсади на зарод-то.

— Рано еще. Отдохни.

— И так успела отдохнуть. Много ли бабе надо? Часок.

— И того не дают «рабы божьи»?

— Дадут они!..

— То-то же. Вот и думай: где бог, а где тьма.

В холщовых отцовских шароварах с отвисающей мотней, в яловых поношенных броднишках, в холщовой рубахе, сизой от соли, весь присыпанный трухой сена, Тимофей ворочал вилами, поднимая сразу по полкопны. Березовые вилы выгибались, потрескивали. Тимофей ловко перехватывал черенок, уткнув его в землю, а тогда уже, весь напряжись, поднимал сено в зарод.

— Ох, силен ты, Тима! Я бы, ей-богу, умерла под таким навильником.

— Мужчине — мужское, женщине — женское.

— Кабы все так думали.

— Настанет пора, не думать, а делать так будут.

— Не будет такого никогда.

— Почему не будет?

— Да потому, что мущина завсегда сумеет закабалить бабу. Разве Филя мой другим будет? Ни в жисть. Бревно и есть бревно.

— Филю ждет хорошая мялка. Харю бы ему набок свернуть за такое отношение к тебе.

— Если так, подсади меня на зарод. А то ты развел его па пятнадцать копен, а осталось семь. Как верх сводить будем?

— Ну, лезь...

Меланья подошла лицом к зароду и протянула руки вверх. Тимофей легко приподнял ее и, удерживая на ладони, на шаг отошел от зарода.

— Што ты, Тима! Увидят наши.

— И черт с ними.

— Ужли я совсем не тяжелая?

— Пуда три будет.

— Хоть бы разочек вот так подержал меня Филин, — тихим суховеем прошелестели слова Меланьи, опалив щеки Тимофея.

— Ну, ну, лезь!..

XI

Много ли женщине надо, чтобы согреть сердце, если до того она не чувствовала ни ласки, ни внимания, ни любви...

Сердчишко Меланьи будто омылось теплой водой; стало легко и приятно, радостно. И небо такое высокое и прозрачное. Ах, если бы вся жизнь пролетела в такой благодати, как один миг с Тимофеем на метке зарода!..

На паужин собрались у стана. Филя с отцом совещались: ехать или нет на сельский сход?

— От нас на той сходке прибытку не будет, — порешил Прокопий Веденеевич. — А мы вот передохнем, а потом ишшо попотеем, а зимой пузо на печке погреем. От того — прибыток.

Тимофей ушел на речку купаться. Забрел в глубокое улово по шею и, не умея плавать, держась рукою за коло-дину, окунулся с головою. Спугнул лиловый ломоть хариуса, пытаюсь схватить домоседа за хвост. Вскарабкался на колодину, посторожил хариуса и, не дождавшись, вышел на травянистый берег.

«Война! Нешуточное дело. Погреешь пузо! — думал он, натягивая городчанские суконные брюки и простиранную синюю косоворотку с перламутровыми пуговками по столбику. Перетянул

живот лакированным ремнем с пряжкой. Кося глазом на медного двуглавого орла, поморщился:

«Во имя орла, что ли, цедить кровь из немцев?»

Прокопий Веденеевич отбивал Меланьину литовку: «Как бритва будет. В дождь самое время травушку положить за Коровьим мыском». Глянул на Тимоху через плечо, насупился:

— Аль на войну рвешься, политик?

— Надо сходить, послушать, что там за «манифест» царя.

— Эко! Печатка царя не про тебя, должно.

— Еще неизвестно, какая будет война. Кайзер насел на Францию, только перья летят, как из курицы. На пароходе газету читали.

— Люто?

— Силу германец собрал большую. Если он повернет ее на Россию, всех припечет.

— Филаретовой крепости держись — не припекет. Из корня Боровиковых за царя никто не хаживал с ружьем. Тайга — вот она, милушечка. Сколь там разных скрытников проживает! Иди к ним — и вся недолга. Дядя твой там, Елистрах, спасает душу. Молитва — не пуля, лоб не прошибет.

— Сущестительно, — охотно поддакнул Филя. Когда Тимофей скрылся за увалом, Филя вспомнил:

— Кабы не тот поселенец, тятенька, я б Тимоху двинул в затылок.

Прокопий Веденеевич сверкнул льдистым глазом:

— На што доброе, а в затылок-то ты горазд, Филин. Ты вот столкнись с ним грудь в грудь. Жоманет — и дух из тебя вон. Силища в нем, как в сохатом.

Обескураженный Филя нацедил из лагуна ковшик перебродившей медовухи и выпил «во здравие собственного тела».

ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Сизо-черная туча, клубясь и пенясь, дулась, ширилась, захватывая полнеба, до огненно-белого солнца.

Тимофей бежал вниз со склону горы, как молодой лось, откинув назад голову и раздувая ноздри от избытка силы. В рот бил горячий воздух.

Стаями перелетали воробьи.

Гулко ухнул вдалеке гром, будто кто ударил обухом топора в дно опрокинутой бочки.

Вслед за первым ударом грозы прямо над головою отполированным лезвием кривой шашки сверху вниз и наискосок в землю резанула молния, и брюхо нависшей тучи лопнуло за Амылом. Космы тучи, будто растрепанные черные волосы, тащились за рекою по верхушкам зубчатой стены ельника. Там лил дождь. А над головою жжет солнце. В затылок, в спину, в лицо и шею. Припекает, как от печки. Ветер бил в правую щеку, раздувал подол рубахи.

В Белой Елани, на стыке поселенческой стороны с кержачьей, возле каменного магазина Елизара Юскова с разрисованной вывеской: «Всякая манухфактура и так и бакалея разна», стоя на крыльце у закрытой двери, обитой жестью, тощий и кадыкастый волостной писарь из казачьего Каратуза, тупо и безнадежно оглядывая головастую, пеструю, туго сбитую толпу (лопатой не провернуть), напрягая глотку, заорал на всю улицу:

— Ми-и-ило-о-ости-и-ию бо-о-о-ожи-и-ей...

И толпа — холстяная, глазастая — ударила в лоб крестом: кержаки — двуперстым, поселенцы — щепотью.

«Милость божия» для всех была единая...

II

Карабкаясь на Сохатиную горку, волновались от ветра старые сосны. Пучки лучей процедились сквозь мякоть тучи, как молоко сквозь сито, и вовсе скрылись. Сразу потемнело и дохнуло свежестью. Вершины сосен клонились к горе в одну сторону, а березы по увалу шумели и качались.

Ударил ослепительно белый свет, и в тот же миг какая-то чудовищная сила швырнула Тимофея на обочину дороги. Тимофей не слышал, как рванул гром и как от огромной сосны на пригорке во все стороны полетели сучья, и ствол сосны расщепился от вершины до комля на много кусков.

Из нутра разорванного дерева выкинулась черная коса дыма. Тимофея присыпало на дороге хвойными лапами, оглушило и больно ударило в бок и в левое плечо — рука не поднималась. В ушах звенело.

— Вот это гвоздануло! — уставился Тимофей на дымящуюся сосну.

Посыпался град. Белые круглые горошины долбили в голову, точно птичьими клювами. Тимофей спохватился и, оглядываясь, одним махом перелетел через жерди поскотины и только тут вспомнил про кепку, оставленную на дороге. Не стал возвращаться. Больно клевало градом. Справа — кладбище, потемнелые от времени кресты и решетчатые оградки; шумящие высокие березы; слова — дом бабки Ефимии на берегу ключа в роще.

Ветер с градом и дождем шумел и свистел в деревьях.

Через все приступки Тимофей влетел на крыльцо и чуть не сбил с ног кого-то в белом.

— Ой, что вы!..

Тимофей замер, уставившись в черные, округлые глаза.

— Ну и лупит! — тряхнул он головою. С волос посыпались па крыльцо тающие белые градины. — Оглох я, что ли? В ушах звенит. Гроза ударила в сосну, аж в щепы разлетелась, и дым пошел. Двинуло меня — с ног слетел. Фу, черт, руки не поднять.

Над рощей крест-накрест сверкнула молния, и блеск ее отразился в черных глазах девушки в белом.

От грохота грозы на перилах крыльца зазвенели железные ведра.

— Спаси и сохрани, — тихо пробормотала девушка, молитвенно сложив ладоши на батисте длинного платья.

Минутку они стояли лицом в лицо, как на безмолвном поединке — судьба с судьбою.

— Какая белая птица! — вырвалось у Тимофея, и он испугался собственных слов.

Птица могла вспорхнуть и улететь с крыльца.

Птица осталась на крыльце, не улетела...

На миг, на один-единственный миг синь неба Тимофеевых глаз слилась с вороненой застывшей чернью.

Она стояла рядом — рукой дотронуться. Стройная, цельная, когда сердце еще не раскрылось, когда вся сила — материнская, сила предков и созревшего тела не обронила ни единого лепестка. И эта

сила удивления, робости, смущения и еще чего-то непонятного, загадочного сейчас лилась из ее черных глаз.

И Тимофей вспомнил: он видел эту девушку на пароходе «Святой Николай». Такую же: в белом, с шелковым платком на плечах. С нею была подруга в синем платье.

— Я видел вас на пароходе. Очень хорошо помню. Вы заходили в трюм к «селедкам».

— К «селедкам»? — Черные брови вспархнули на лоб.

— Ну да. Трюмных всегда называют «селедками». Господа там не ездят. А вы что туда заходили?

— Посмотреть, как ездят люди.

— Люди?!

— А разве четвертым классом не люди ездят?

— На чей взгляд...

Опять сверкнула молния, и девушка вздрогнула.

— Бойтесь?

— А вы разве не бойтесь?

— Чего бояться? Гроза — не урядник, ударить может и не в меня. Вот сейчас в сосну ударила возле дороги, а я жив остался. Правда, плечо больно и руки не поднять, но жив. Урядник — другое дело.

— Почему урядник?

— Да очень просто. Если бы молнию кинул урядник, он бы ее не в сосну направил, а мне в макушку, чтоб расщепить до самого корня. Он бы сейчас сказал: «Пороть, пороть!»

— Кого пороть?

— Меня, конечно. «Политику». И пороть так, чтоб ребра переломать «через родительское дозволение». Они это умеют, урядники и стражники. Слышали про Юскова?

— Д-да...

— Хорош битюг. Вот бы кого на войну спровадить. Там бы ему морду отутюжили. Солдат с ружьем — сам себе генерал. Одну пулю в немца, другую в урядника.

— О!.. — Это «о» прозвучало как стон отчаяния. — Зачем вы так, а? Я бы никому не пожелала смерти. Пусть люди живут.

— Разные бывают люди, барышня. Одни — солому жуют, другие — дармовой кофе попивают да шоколадом закусьвают. На людском

дobre жируют да еще при случав в морду сунут, как милостыню отваяют. Так что же, по-вашему, всех на одну доску?

Еще раз полыхнула молния., ударила гроза. С перил упало железное ведро. Тимофей поднял и поставил на прежнее место.

У крыльца ветер трепал березу. Вершина березы качалась и шумела.

Он не мог сравнить девушку с белой березой. Девушка была красивее.

По крыльцу снизу вверх тянулись тонкие, усышанные листьями и зелеными пуговками, хмелевые плети.

Он не мог сравнить ее с хмелем...

Она пьянила без хмеля лучами черных глаз, пылью солнечного загара на щеках, шелковым прозрачным платком, покрывающим только на затылке ее смолистые волосы, резко выделяющиеся на батисте нарядного платья. Ему нравились припухлые губы девушки, розоватая бархатистость ее лица, подбородок со вмятинкой посредине.

— Ах, как все запутано на белом свете, — проговорила девушка. — Я еще ничего не понимаю! В гимназии так много разговоров было про всякие несправедливости в жизни! И то плохо, и то нехорошо. А будет ли когда такая жизнь, что все будет хорошо?

— Если произойдет революция...

— Как в девятьсот пятом? — перебила девушка. — Да ведь ничего не вышло с той революцией. Одни говорят, что был просто бунт, подстроенный социалистами, а другие называют революцией. А кому стало легче от той революции или бунта? Никому. Вот наша бабушка Ефимия ждет новую революцию. Она такая! — И чему-то усмехнулась. — Ждет нового Филарета или Пугачева. Смешно просто!

— Что тут смешного?

— Разве может повториться вчерашний день? И кто в народе знает про какого-то Филарета Боровикова? Никто не знает, кроме бабушки Ефимии. Ее только послушать, всему можно поверить. Только все это как сказка. Вы разве верите? В Пугачева и в Филарета?

— Как же я мог не слышать про Филарета, если сам из его корня? И в революцию верю, конечно.

Девушка стояла возле двери, окрашенной охрой. Запомнилось: на желтом — белое, слепящее.

— Вы — Тимофей Боровиков?

— Он самый.

— Бабушка вас очень ждала.

— Вы ее внучка?

— Внучатая племянница. Или правнучатая даже. Тимофеем от неожиданности чуть не свистнул.

— Может, вы дочь урядника Юскова? — И сразу почувствовал боль в плече и в боку.

— Что вы! У дяди Игната нет детей.

— Чья же вы Юскова?

— Елизара Елизаровича. Дарья. Что так поглядели?

Боль в плече усилилась. Тимофей попробовал поднять руку выше головы и не смог.

— Здорово меня ударило. До сих пор в ушах звенит.

— Еще сказали, что не бойтесь грозы.

— Я сказал: гроза — не урядник. Если бы и убило — просто случайно. Другое дело — урядник. Он бы не промахнулся.

Дождь перестал; тучу пронесло; откуда-то из-за берез сочились закатные лучи солнца.

— Где же бабушка? — промолвила Дарьюшка. — Наверное, к поселенцам ушла со своими травами. Она всегда так: то лечит, то утешает. Если бы все были такими, как бабушка Ефимия, хорошо бы жилось на свете, правда? А вот и она!..

Бабушку Ефимию с ее приживалкой Варварой поселенцы привезли на телеге. Завидев Тимофея с Дарьюшкой, бабушка Ефимия что-то сказала Варваре, и та быстро поднялась на крыльцо, отомкнула замок.

Начались хлопоты с чаем, общие и личные воспоминания, разговор о манифесте царя, о войне.

Ефимия глядела на молодых, думала: «Неисповедимы пути сердца человека к человеку!» Куда можно было скрыть смущенье Дарьюшки, когда она вдруг переглядывалась с Тимофеем? «Мои, мои глаза у лебедушки, — радовалась Ефимия. — Дай бог, чтоб святостью любви засветились божьи свечечки в глазах Дарьюшки. Полюбить бы ей Тиму? Чем не пара? И сам собою красив, и умом господь не обидел. Беден? Оно и хорошо, ладно. Чист и светел, как рождество Христово. Надо бы Дарьюшку приобщить к «Песне Песней». Псалмы Давидовы пусть не читает, а вот «Песнь Песней» — назубок заучит. Вот уж

поставлю я шиш под нос Елизарке-индюку. Выхвачу у него из-под носа любимицу — пусть попляшет». Все остальное время вечера она думала об этом.

С тем и заснула старуха.

III

Удивляла Дарьюшка, недавняя гимназистка, переменчивая, дотошная, ищущая заветный красный огонек — таинственный и загадочный, как сокровенная мечта о счастье.

Ей все хотелось знать. И в какой партии состоял Тимофей в городе, и о чем разговаривали на подпольных сходках, и кто такой Маркс, и что за «Коммунистический манифест», за который Тимофея посадили в тюрьму, и самое главное — не отступит ли сам Тимофей от революции.

— Угадайте, где мы вчера были с бабушкой? Под вашим тополем! — вдруг сообщила Дарьюшка. — Сидели там и говорили про раскольников. Я слушала бабушку и все думала, думала. Жутко под тополем. Очень! Такие мысли лезут в голову. А вы не отречетесь, а?

— Нет. От чего мне отречься? Богатства у меня нет. Одни голые руки. Но по двенадцать часов мантулить за гроши не согласен. И с жандармами мириться тоже не хочу.

— А если к вам свалится миллион?

— С неба, что ли?

— Пусть с неба.

— Ко мне не свалится. Надо мною небо дырявое. Потом Тимофей рассказал про стычку с отцом на покосе, и Дарьюшка окрестила его Микулой Селяниновичем. Над Филей хохотала от души и хлопала в ладоши. «Ваш Филя переживет всех нас, вот вам крест!» — И перекрестилась.

Им было хорошо и весело. Коротенькая ночь — первая ночь мировой войны, сблизила их.

— Светает, — тихо воркнула Дарьюшка и, глянув на Тимофея, вспыхнула до черных волос.

Когда Тимофей ушел, Дарьюшка накинула на плечи оренбургский платок и, открыв створку в горнице, села на подоконник. Жаркая, трепетная, молчаливая.

«Он еще угловатый, но хороший, откровенный и без вранья», — будто кто шепнул Дарьюшке.

«Кто?» — спросила себя Дарьюшка.

«Микула Селянинович!»

И, ткнувшись лбом в косяк, заплакала.

Печаль девичья солью оmyвается.

«Я — белая птица!» — твердила Дарьюшка слова Тимофея, испытывая приятный озноб, словно кто влил в нее ковш хмельной браги. Кровью било в виски, сладко ныло сердце.

Тимофей в этот момент летел к дому не чуя под собою ног. Нечто новое, необозримое, сильное заполнило его сердце.

У юности во все времена свои непреложные неизменные законы.

IV

Тесно стало Дарьюшке в отцовском богатом доме в Белой Елани. Отец — Елизар Елизарович Юсков, миллионщик, пайщик Енисейского акционерного общества промышленности и торговли, владел двумя паровыми мельницами, торговал скотом с Урянхаем, имел в Минусинске крупчатную мельницу, был в деле с золотопромышленником Ухоздвиговым. Братья Елизара — Игнат-урядник, Михайла, Андрей и Феокист — слыли на деревне за богатых хозяев. Кержаки побаивались Елизара не менее господ бога: руки — что медвежьи лапы, если подвесит горяченькую — конь не устоит на ногах.

Сам старик Юсков, дед Дарьюшки, хитрющий федосеевц-рябиновец, содержал шорную мастерскую — изготовлял редкие наборные шлеи с малиновым звоном.

Скучно в отчем доме, как будто сами стены в отлинялых обоях тискают Дарьюшку в бревенчатых объятиях. Она почему-то верила, что после гимназии начнется иная жизнь — ее молодая сила и ум понадобятся обществу, и ей суждено будет свершить нечто значительное, когда не стыдно будет за прожитую жизнь. А тут, дома, как сто лет назад, — тот же затхлый мир старообрядчества, те же иконы, тот же неписанный федосеевский устав, тот же дед Юсков со псалмами. Не было дома папаша — тяжелого, угрюмого, без молитв и любезностей с его любовницей Алевтиной Карповной и с

доверенным человеком — казачьим офицером Григорием Потылицыным, который служил у Юскова «для весу и солидности предприятия» по ограблению инородцев в Урянхайском крае; не было в доме Дуни — сестры-близнишки, которую выдали замуж за какого-то Урвана...

И вот встреча с Тимофеем Боровиковым...

Гроза и дождь, кипень юности и молодой олень...

Вспомнилась быль бабки Ефимии. Бабка Ефимия все еще верит, что Лопарев не погиб на берегах Ишима; она его ждет денно и ночью из потустороннего мира. Он явится к ней, и она, Ефимия, обретет второе счастье — г бессмертие с возлюбленным, которого будто бы зарезал ножом ее родной дядя Третьяк. Смешно думать так. А что, если блажь бабки Ефимии — не блажь, а пророчество о судьбе Дарьюшки? Явился же политссылный Боровиков? Может, с ним, с Тимофеем, Дарьюшка откроет иной мир и обретет счастье?

Вспомнились гимназические мечты...

Перечитывала недавнюю тетрадку — свежие записи:

«... Плакать, плакать, рыдать хочется! Этот большой каменный дом гимназии, где я чувствовала себя всегда чужой и непонятной, этот угрюмый Енисей и милый, милый Красноярск на его берегу, все, все прощай!

Я окончила гимназию.

Я — взрослая!..

Помню утро в солнечный свет,
В этот день мне было семнадцать лет...
Словно хмель горячил мою кровь,
Хотелось петь и кричать про любовь...
Так манила безвестная даль,
Но порой мне было чего-то жаль...

Семнадцать!..

Я хочу ущипнуть себя, чтоб проснуться и опять увидеть себя девочкой в гимназическом фартуке и в том коричневом платье с белыми манжетами и белым воротничком, в котором

я вошла в гимназию. Но где то платье? Отчего я так упорно твердила подружкам, что я со дна Енисея достану золотое кольцо? Про какое золотое кольцо мечтала?

Ах, если бы можно было взять время за чуб и сказать ему: «Стой! Я переоденусь во взрослое платье».

Но время бежит и бежит, как река быстротечная, и с этой рекой несусь вперед я, и мне придется сменить платье на ходу, не останавливая ни одной секунды».

«... Подружки проводили меня на пристань, а тут и папаша подошел; заняли каюту первого класса.

— До свидания! До свидания! — кричали подружки с берега.

К пароходу вели арестантов, закованных в цепи. Некоторые арестанты, наверное, ссыльные, шли без цепей. Я слышала, как звенели кандалы по камням — такая вдруг стала тишина. Народ расступился перед конвоем; какая-то баба громко плакала:

— Несчастненькие!.. Дайте подать им, Христа ради!..

— Ат-т-страниць, говорю! Ат-т-страниць! — кричал на бабу солдат.

Арестантов пересчитывали возле трапа. Офицер шел вдоль строя и, тыкая рукой в перчатке каждого крайнего из пары, принимал их, чтоб доставить в наш тихий Минусинск, откуда они пойдут дальше этапом — на каторгу и ссылку. Я тоже считала и опередила офицера: сорок семь пар и один арестант в пальто и в кепи стоял отдельно.

— По два по трапу арш, — скомандовал офицер. Цепи скребут по камням и звенят, звенят...

— Бодайбо отзванивает, — сказал отец. — Позвонили языками, помахали кулаками, а теперь час настал звенеть кандалами.

Не помню, как у меня сорвалось:

— Папаша, как вам не стыдно! Разве декабристы не звенели цепями? А Юсковы не звенели цепями по Сибири?

Дедушка говорил, что мы все из кандалников. Вся Россия кандалная!

Я еще что-то говорила. Отец схватил меня за руку и так стиснул и крутанул — чуть из плеча не вырвал. Кругом были пассажиры, а я никого не видела, кроме его бородатого лица. Он хотел утащить меня с палубы, но я ухватилась за решетку, и он бросил мою руку с угрозой: «Па-аговорим потом!» — и ушел.

— Это же сам Юсков! Каково! — Кто-то сыто хихикнул, и я, сгорая от стыда, убежала к подружке, Верочке Метелиной, и долго плакала у нее в каюте. Ах, если бы я знала, что мне делать! Сколько я перечитала книг, разных, всяких, а ответа на вопрос, как жить, так и не вычитала».

«... Никогда еще Енисей не казался мне таким величественным и огромным, как в эту ночь, когда я смотрела на пего с палубы. «Святой Николай» шлепал плицами возле скал, нависших над рекою, то мимо островов, наполовину затопленных вешним наводнением. И в душе моей разлилось наводнение отчаянных мечтаний. «Пусть меня закуют в кандалы, — думала я, — но я не отступлюсь от своей цели. Свобода, равенство и братство!» А бурные воды плещутся, шумят за кормою. Я хотела бы стать частицею этих вод, чтоб бежать к далеким просторам, подтачивая глинистые берега, не зная усталости. Быть вечно живой, вечно подвижной, как река!..

Утром нашел меня отец, но не стал ругаться. Долго так смотрел на меня, как будто не узнавал, и потом мы пошли в салон завтракать. Я для него просто вздорная девчонка. Ну, а кто же я?..

В Минусинске я осталась гостить у Метелиных и у дяди Василия Кирилловича; отец уехал по своим делам к инородцам в Урянхайский край».

«17 июня.

... Я вся мокрая, как лягушка. И страшно счастливая. Буря! Какая сильная буря пронеслась над батушкой Енисеем. У деревни Подсиней сорвала с якорей паром. А на пароме люди и лошади. Орут, орут, орут!..

— А-а-а-а, га-га-а-а-а!.. а-а-а!..

А мне так было хорошо и весело, что я, подставляя лицо навстречу буре, захохотала. Паром несет вниз, лошади ржут, люди кричат, волны ворочаются, как горы, а я хохочу, хохочу...

— Ой, чо подеялось! Барышня ума лишилась! — закричала какая-то баба, и все сразу отошли от меня.

Смешно! Сумасшедшего боятся больше чем бури. А я люблю рев и стон бури. Пусть ее могучие силы бьют мне в грудь, брызжут водою в лицо, а я буду стоять лицом к буре, лицом к стихии и хохотать от радости.

Буря бы грянула, что ли, Чаша с краями полна!.. Грянь над пучиною моря. В поле, в лесу просвищи, Чашу вселенского горя Всю расплещи!..

Грянь же, грянь, вселенская буря! Пронесись над вечным Енисеем, над каторжанской Сибирью, над всей Россией-матушкой, как пронеслась ты в 1905 году. И я выйду тебе навстречу, и буду петь песни о тебе, песни о Свободе, Равенстве и Братстве!»

«Ночью.

... Всполошились змеи небесные! Будто серебряными шашками кромсают небо на куски, а Минусинск спит, дрыхнет, как старый леший, тугой на оба уха.

Мещане и обыватели в непогоду крепко спят. С вечера закрывают окна на ставни, спускают в оградах цепных собак, закупориваются на засовы и пьют чай из блюдцев. Ну и жители, боженька!..

Грозовая туча повисла над городом, из которой раз за разом били в землю белые молнии. В такую ночь обыватели читают молитвы — я так и слышу их бормотанье; не я господь, я бы разразилась такой грозой, что испепелила бы всех обывателей. Трясла бы их всю ночь напролет, а потом вытащила бы из бревенчатых берлог и лила бы на них, лила водопадом дождя, чтоб смыть с них вечный сон забвения! Пусть бы они хоть раз в жизни проснулись...»

Дед Юсков холил внучку, балуя ее сладостями, таежной бывальщиной, но смотрел за нею строго. «Девка зреет — ветер веет. Не узришь — улетит. Улетит — не поймаешь», — говаривал дед Юсков.

После города деревня казалась несносно скучной, вязкой, как тина. С деревенскими девушками Дарьюшка сойтись не могла — неучи и дикарки, словом не перекинешься. А парни — чубатые, то черные, то белесые, как прошлогодняя солома, — отпугивали звероватой грубостью.

Бывало, возвращаясь в отчий дом на летние каникулы из города, Дарьюшка порхала, как ласточка, над Амылом или Малтатом и все пела свои звонкие девичьи песни, а тут вот смолкла, поникла, тихая, задумчивая, и глаза притуманились. Ни мать, Александра Панкратьевна, ни сам дед Юсков, ни старшая сестра Клавдеюшка не ведали, что случилось с любимицей, отчего вернулась сама не в себе, ровно ее подменили в Красноярске. Дед Юсков заметил невестке:

— Гли, неладно с Дарьей-то, как закруженная ходит. Сказывал: к чему девке при наших мельнах сатанинская гимназия? Для совращения с круга. На то и вышло. Она вроде не признает нас за сродственников. К ведьме Ефимии повадилась на дню по три раза — чего хуже! У ведьмы глаз с приворотом, а язык со ядом змеиным; чистая отравка.

— Чо с ней поделалось — ума не приложу! — вздыхала меланхоличная Александра Панкратьевна. — Говорит, скушно ей в глухомани; к людям, грит, душу зовет.

— Не к людям, а к соблазнам.

— Заневестилаась, может?

— И то! — подхватил дед Юсков. — Самая пора. Да где-приискать мельенщика?

Впрочем, наискосок через улицу от дома Юсковых — каменный дом золотопромышленника Ухоздвигова.

— Хоша он и варначьего отродья, — раздумчиво говорил Юсков, — а мельнами ворочает, и пятеро сынов — лоб ко лбу.

— Михайло-то Иннокентьич женатый...

— Не про него слово. С Михайлы не вышло ни жому, ни лому, бесхарактерный. Метить надо на Иннокентия Иннокентьича. Не

ломкий в деле, хваткий волк. Как бы все папашины прииски к рукам не прибрал...

— Есть еще Кирилла Иннокентьевич...

— Барахло! — отмахнулся Юсков.

— Али Андрей Иннокентьевич... — перебирала Александра Панкратьевна сынов Ухоздвигова, как дохлых мух пересчитывала.

— Андрей-то? Порченный.

— Офицером служит в казачьем войске.

— Мало ли што! Башка верчена, а ноги длинные по ветру пустит.

— Иннокентий Иннокентьевич тоже казачий сотник.

— Не век будет сотником. На него надо метить, не в проигрыше будем.

— Да лицом-то он конопатый и глазом косит...

— Конопатина как лопатина — грабанет, и миллион на стол положит.

— Дарьюшка и не глянет на такого.

— Не ей, а нам глядеть.

— У купца Метелина в Минусинске сын есть. Ученый, сказывают. Красивый, — еще вспомнила Александра Панкратьевна. — Дарьюшка ноне у них в доме гостевала.

— Эка ты бестолочь, Александра! — плюнул Юсков. — . Али не знаешь, кто такой Василий Семенович Метелин? Из какого он роду-племени? Из каторжанского корня! Папаша-то Василия, кто был? Каторжный, государев преступник. В самом Петербурге, сказывают, во царствование Николая Первого в заговоре путался, и восстание учинили супротив самодержца. Истый прохвост! До манифеста сдох, и трех сынов в дело не вывел.

— Василий-то Семенович в большом деле. Конный завод имеет, — не унималась Александра Панкратьевна.

— Под пятки глядеть надо, а не коням под хвост.

— По Ефимье-то он нам вроде не чужой. На ее дочери Глафире женат. И Дарьюшка чтит их, прислон к ним держит.

— Да ты в уме ли, Александра? — осерчал Юсков. — Экая ты сонная и непотребная! К погибели девку толкаешь и сама не ведаешь. Через ведьму Ефимию, да еще через дом Метелиных со Юсковыми красноярскими Дарья от рук уходит. Зри! Хвостом махнет, и позорище

выйдет на всю губернию. Погоди вот. Подъедет сам Елизар из Урянхая — найдем жениха.

— Дай-то бог, — вздохнула Александра Панкратьевна... Весь этот разговор о женихах невзначай подслушала Дарьюшка из своей девичьей горницы-светелки. «Хомут на шею ищут», — подумала она, вспомнив слова Тимофея: «Есть ли святость в церковном браке, когда венцом покрывают не любовь, а купеческую сделку? Когда птицу вяжут с волком?»

Но что она может, Дарьюшка Юскова, если у нее нет даже вида на жительство? Если она посмеет бежать из отцовского дома — ее сыщет полиция и вернет домой под родительский надзор.

Есть одна дорога — тюрьма. По уголовному или политическому делу — только бы тюрьма! Отбыв срок, она может получить соответствующий вид на жительство. Но есть еще один путь: выйти замуж за политического. Тогда наверняка отступится жестокий папаша Елизар Елизарович.

«Я должна, должна что-то сделать», — зрело решение у Дарьюшки.

Что знала Дарьюшка до гимназии? Тихую работающую деревню в медвежьем углу на золотом тракте, сонную одурь отчего дома. Сама успела уверовать в дурной глаз, в пустые ведра, в черного кота, в сновидение и во все те нелепости, чем была переполнена Белая Елань с ее двумя сторонами — кержачьей староверской и православной поселенческой.

А сердце билось горячее, зовущее к беспокойной жизни, а не к тихому купеческому омуту. «Если так жить дальше, скука впереди», — вспомнила слова Тимофея.

И в самом деле — скука впереди. Что ей уготовано отцом и матерью? Богатое приданое. Мать сулила ей свои девичьи платья и накидки, отец — паровую мельницу на Ир-бе, а дед Юсков — сбрую с малиновым перезвоном, словно Дарьюшку и в замужестве будут гонять в упряжке. Так и помрет, ничего не изведав — ни сладкого, ни горького, ни воды, ни пламени. Будет пить чай из блюда, ложиться в пуховую постель засветло и рожать детей.

И опять вспомнила: «Мужественными и смелыми не рождаются, — уверял Тимофей. — Один ползет тараканом — такому

мужество ни к чему, другой парит соколом — а разве без смелости и мужества сокол кинется на волка?..»

Никто из Юсковых не знал и не догадывался, что за минувшие три дня Дарьюшка трижды встречалась с Тимофеем Боровиковым в доме бабки Ефимии.

А что сказал бы дед Юсков, если бы ему довелось подслушать разговор внучки с Тимофеем!

Вернется Дарьюшка от бабки Ефимии, а потом долго-долго ходит по девичьей светелке и все теребит красную ленту, вплетенную в черную косу. Станет на молитву перед иконами, молится будто и прилежно, а в глазах паутинка незрячая: видит и не видит лики святых.

— Молись, молись, ненаглядунья, — увещевает мать, — В боге пристанище от душевной смуты.

А Дарьюшка будто слышит Тимофея:

«Я не верю в сказки про бога. Разве бог сотворил богатых и бедных? Если все это сотворил бог, тогда надо поднять пудовый молот, чтобы разбить такого бога за совершенную несправедливость».

— Жил ведь Иисус Христос? — как-то спросила Дарьюшка.

— В разных верованиях — разные Иисусы, — говорил Тимофей. — У старообрядцев Иисус, у православных Иисус, а оба вместе — сказка про белого бычка. Придумали люди сказки, чтоб самих себя обмануть. Но разве человек живет для того, чтобы, как рыба, биться в неволе темноты? Не лоб крестить надо, а людей готовить для новой жизни, сердца зажигать! Кузница не для того, чтобы на нее молились, а чтобы ковать железо для пользы человека...

V

Ночью в окно глядела круглая луна, и Дарьюшка загадала; если завтра увидит луну в тучах, значит, вся ее жизнь будет темная, стылая; если луна проплывет по голубой скатерке, Дарьюшку ждет любовь, радость и перемена в жизни. Когда на другой день она собралась к бабке Ефимии, Юсков предостерег:

— Ты бы не ходила. Ведьма давно выжила из ума. Несет всякую непотребность про дом наш, ждет какого-то Пугачева да говорит про всякую ересь.

— Зачем вы так, дедушка? Бабушка никому зла не делает. Все бы так жили, как она...

— Нельзя так жить, Дарьюшка. Ни середка, ни окраина, межеумок какой-то. Она вот по поселенцам ходит, лечит, якшается с ними, а того не ведает, что не лечить их надо, а с земли гнать. Потому: у голодранцев рот широкий, а глаза завидушие. Им дай волю — живьем слопают!

Дарьюшка не стала спорить, но к Ефимии пошла.

Бабушке нездоровилось, и она лежала в постели седенькая, похожая на мумию. Поверх одеяла желтела рука с набухшими венами.

Дарьюшка присела на кровать, и ей почему-то стало страшно. Неужели когда-нибудь и у нее будет такая же костлявая желтая рука, вот так же загнется нос, подтянутся губы и она станет дряхлой, беспомощной старушонкой?

Далеко еще Дарьюшке до годов бабки Ефимии! «Через сто девять гор перевалила, на сто десятую подымаюсь, — говорила бабка Ефимия. — Не все горы, какие видывала, остались в памяти. Куда все ушло? День живешь — сколько передумаешь! Минуют годы — и нету дня; в тартарары провалился. В одной любви пристанище, Дарьюшка. Без любви нету радости. Любовь как птица поднебесная. Над головой летает, а не всем в руки дается. Коль схватишь в руки, не отпускай — твоя будет».

Потом бабушка попросила подать ей Библию и, открыв «Песню Песней», читала о любви Суламифь...

«Да лобзает он меня лобзаньем уст своих! Ибо ласки твои лучше вина...»

И чудилось Дарьюшке, как она обнимает и целует Тимофея в березовой роще, а над ними в синеве кружатся, кружатся голуби...

«Он вечером придет, и я его встречу на крыльце, и мы пойдем с ним рощею в пойму Малтата...»

Вечерело. Натужно покраснев, катилось за рощу солнышко. Трещали кузнечики. Жалили, как крапивой, комары. Белая Елань, пригретая Лебяжьей гривой и Татар-горою, истекала в струистом фиолетовом мареве.

Дарьюшка долго стояла на крыльце, поджидая Тимофея. Потом сошла на тропинку, перешла через мостик и увидела, как шел Тимофей с гибким прутиком в руке.

— Вот и заря-заряница! — раздался его голос, и сердце Дарьюшки приятно заныло. — Дома бабушка?

Дарьюшка сказала, что бабушка занемогла и только что уснула.

— Тогда пойдем в пойму, там сейчас никого нет. Дарьюшка оглянулась — кругом ни души. Тимофей взял ее за руку, и она пошла за ним — притихшая, трепетная, покорная, словно ее вела судьба.

— Боже, если кто увидит, — шептала Дарьюшка, оглядываясь, когда перешли трактовую дорогу. — Куда же мы, Тима?

— Идем, идем. Все равно я унесу тебя из тайги. Правду говорю. Весь день думал только о тебе; как бы нам убежать из медвежьего угла, — бормотал Тимофей, крепко сжимая в своей руке теплую ладонь Дарьюшки.

— Что я делаю, Тима! Что я делаю! Не дай бог, если кто увидит из наших, — замирала Дарьюшка и от любви, и от страха...

Она не помнит, как оказалась на руках Тимофея. Опомнилась от жарких, обжигающих губ. Он нес ее по зарослям чернолесья и целовал в припухлый рот, в горбинку носа, в белую шею. «Ты моя белая птица, Дарьюшка. Никто не вырвет тебя из моих рук. Не отдам! Полсвета разнесу молотом, а не отдам. Моя, моя, моя!» И опять жгло щеки, горело тело, и сердце расплавилось, как олово в горне кузницы. У Дарьюшки будто отшибло память. Забыла обо всем на свете. Ни слов, ни укора! Она сама хотела любви.

— Тима, милый. Я буду всегда с тобой. Везде, везде! Хоть в ссылке, хоть в тюрьме, только бы с тобой. Каждый час, каждую минуту. Ты любишь меня? Знаешь, я загадала возле ключа в роще: если ты будешь идти навстречу, значит, судьба моя. Только так подумала — и ты идешь. Мне стало страшно и хорошо-хорошо! Я весь день про тебя думала. А ты?

— И я тоже.

— Тима, милый, какой ты сильный. Куда ты меня несешь? К Амылу? Не утопишь?

— Утоплю, если не будешь моей женой.

— Буду, буду, Тима.

— Дарьюшка!..

— Другой судьбы не хочу, Тима. Слышишь? Не хочу. Ты будешь любить меня всегда, правда?

— Всегда, всегда. Вечно!

— И я, и я!

— А не разлюбишь потом? Я ведь только кузнец, Дарьюшка. Ни богатства, ни денег, ничего не обещаю. Что сумею заработать, то твое.

— И я буду работать, Тима. Хоть учительницей в деревне. Можно ведь, правда?

— Конечно, можно.

— Если тебя возьмут на войну, что тогда? Боже мой! Мне страшно подумать.

— За царя и жандармов воевать не пойду. Нет. Моя винтовка стрелять будет в них, а не за них. Они это прекрасно понимают. Жду письма из города. Когда шел по этапу, я разговаривал с одним товарищем. Он обещал писать. Вот жду. Бежать в город просто так нельзя: еще натянут серую шинель.

— Письмо не перехватят?

— Если перехватят, ничего не поймут. Наши письма не всякий прочитает.

— Только бы скорее, милый. Скорее бы!..

— И ты уйдешь со мною?

— Ах, боже мой, неужели останусь?

— Дарьюшка!..

И он целовал ее влажно блестящие черные глаза под сугревом таких же черных ресниц. Ей было приятно и щекотно, когда он трогал ладонями ее тугие нецелованные груди.

— Жена моя! жена! — твердил он, жарко дыша ей в лицо, счастливый и возбужденный.

Над ними склонились ветки черемух, увитые спиральями хмеля. Хмелевые бутоны висли по сучьям, как шелковые шарики. Густая трава в цветении, черемушник и красные закатные лучи солнца. Комары вились над ними, жужжали шмели, стрекотали кузнечики, а кругом такой плотный пряный аромат, что Дарьюшка опьянела.

Она почувствовала, как по телу от горящих пунцовых щек и до икр ног разлился крапивный холод. Становилось боязно, и вместе с тем она чего-то ждала...

— Тима, милый, родной мой! Страшно мне!

— Дашенька!..

— Пожалей меня, прогони.

Закатилось солнце, и потянуло освежающим ветерком с Амыла. Дарьюшка лежала на траве сосредоточенная, упорно и настойчиво разглядывая, как полыхала огненными космами рыжая борода неба, кроваво-красными полосами вспыхивая возле горизонта. «Я — женщина, его жена, — думала Дарьюшка, насыщаясь новым, загадочным чувством. — Что будет, боже мой! Убьет отец, если узнает. Ах, все равно!..»

Дарьюшка шла домой с чувством тихой подавленности, захороненной в сердце виноватости.

Над Белой Еланью сгасли сумеречные краски и отчетно посинело небо.

Мать встретила Дарьюшку в сенях.

— Осподи, полуночица заявила. Где была-то? Парнишку посылала к бабке Ефимии, тебя там не было.

— Купалась в Амыле.

— На ночь глядя? С ума сошла, — встревожилась мать, рослая, полная, с сонно подпухлыми глазами. — То ей тесно в доме, то гонит ее кто-то на Амыл. Места себе не сыщешь.

Квасом пропахшие сени опеленали сонным холодком. Хотелось пить, пить, чтоб залить огонь и стыд, разлитый по телу.

— Пьешь-то как, осподи! — стояла за спиною мать. — И все-то тебе не по нраву в родительском доме. Не в Дуню ли удалась? Та росла, оборони бог, до чего отчаянная. И бил ее отец, грешным делом, а ей все нейметя, шалой.

— За что бил-то?

— За жадность ее. Всех парней готова была перевертеть, окаянная. Двойняшки вы у меня, а до чего разные, не приведи господь бог! Ту пришлось выдать замуж, и вот жалуется теперь — уйду, грит, от свово Кондратия. Не мужик, грит, а сухая ступа. В кого уродилась, ума не приложу!.. Заявилась вечер с прииска. Останусь дома, грит. Погоди же!.. Приедет отец, он ее проучит, лихорадку.

Мать прикоснулась к платью дочери.

— Платье-то отчего мокрехонько?

— Жарища такая... духота...

— Чудишь!

В горенке встретила Дуню. Такая же черноглазая, статная, успевшая нарядиться в Дарьюшкино городское платье и фильдекосовые чулки, она похаживала из угла в угол.

— Сестренка! Чертушечка! — кинулась Дуня на шею Дарьюшке. — Знаешь, чертушечка, убежала я от Кондратия!.. Взятся еще учить меня, увалень!.. Мало ему, лобастому дьякону, мово приданого!..

— Почему — дьякону?

— Истый дьякон.

Муж Дуни Юсковой, Кондратий Урванов, заведовал горными работами на Благодатном прииске золотопромышленника Ухоздвигова. Говорили, будто у Кондратия Урвана золота припрятано больше, чем у самого Ухоздвигова. На золото Урвана позарился Елизар Елизарович, выдав за него замуж свою непутевую доченьку, когда ей еще не исполнилось шестнадцать.

— Не вернусь, ни за что не вернусь к Урвану, — твердила своенравная Дуня, расхаживая по горенке. Ее черпая тень металась по обоям на стенах; на божнице теплились восковые свечи и дымилась лампадка с деревянным маслом. Тихо, постыло, отчужденно от младших сестер сидела с рукоделием старшая, Клавдея, горбатенькая, кроткая, набожная. Она любила Дарьюшку и боялась Дуни, потому и молчала.

— Дай хоть наглядеться на тебя, чертушечка! Чай, три года не виделись. Городчанка. Я и так думала: не бывать тебе в нашей деревне, не приедешь. А вот приехала, — тараторила Дуня. — Подари платье, а? Ты ведь не жадная.

— Возьми.

— Как будто своих у тебя нет нарядов, — подала голос Клавдея.

— Сиди, сиди, Клавдеюшка. А то опять поругаемся.

— Из-за чего поругались?

— Не понравилось ей, что я не крещусь прилежно.

— Какое крестишься! Отмахиваешься, и все. Гляди, накажет бог.

— Хватит ему наказывать меня, — махнула рукой Дуня. — И так наказал — сунул замуж за Урвана. Ах, Даша, Даша, чертяточка, если бы ты знала, что за житье с постылым!.. Господи, за что невзлюбил меня тятя?

До первых петухов Дуня не дала спать Даше. Ворочалась на постели — то ей жарко, то воняет ладаном, а потом постелила себе на пол и вдруг расплакалась.

— Горемычная моя головушка, — причитала Дуня. — Выдали меня не замуж, а на поругание за постылого и немилото. Годов еще прибавили. А вот я сама заявлюсь к архиерею да и скажу, что мне еще не исполнилось восемнадцать и что я два года как мучаюсь замужем. Расторгнет такой брак архиерей, вот увидите! Назло всем сделаю, — грозила Дуня. — А што мне? Чем я виновата, скажите? Одну дочь холят да учат в городе, а меня ни за что ни про что вытолкнули из дому.

Даше не спалось. За окном шумела черемуха и старая ель в палисаднике; кучились облака, и не видно было просвета в тучах.

Даша встала на колени перед горящею лампадкою. Тусклый лик богородицы с младенцем глядел из глубины угла. Даша прилежно молилась, земно кланяясь.

— Прости меня, мать пречистая богородица, грешница я, великая грешница, — шептала Даша собственную молитву. — Не от слабости и корысти согрешила я, а от тоски-кручинушки, от которой свет немил. Не могу, не могу я жить так, мать пресвятая дева непорочная! Спаси и сохрани меня, мать божья. Люблю его!..

Дуня притворилась, будто спит, а сама, глядя сквозь припущенные веки на Дарьюшку, слушая ее молитву перед иконой богородицы, не сдержалась и прыснула:

— Ой, уморила, чертушечка! Дарьюшка испуганно оглянулась:

— Ты... ты что, Дуня?

— Уморила ты меня своей дурацкой молитвой, — покачивается Дуня. — Кому молишься-то? Богородице? Ой, чертушечка! А богородица эта от кого Иисуса родила? Ха-ха-ха-ха. От святого духа? Который по ночам лазил к ней в постель через окно, когда ее муж, Иосиф, дрых со своими овцами? Ха-ха-ха! А еще гимназию кончила. Не в богородицу надо верить, а самой себе, в свою хитрость и в силу. Вот что!

Клавдеюшка тоже не спала:

— Ах ты бессовестная! — вскочила на постели. — Про богородицу такие слова говоришь. Я вот сейчас скажу маменьке...

Дуня винтом слетела с постели — да к Клавдеюшке. Схватила сестру за горло, да об стену головой, приговаривая:

— Гадина! Гадина! Гадина! Наушница папенькина! Это ты, горбунья, да полубовница папаши измывались надо мной день и ночь! Чтоб тебе сдохнуть, гадина!

Дарьюшка подбежала разнять сестер:

— С ума сошли! С ума сошли! Маменьку подымете. Как тебе не стыдно, Дуня?!

— Стыдно? — вяжет свое Дуня. — Пусть вот эта гадина сгорит от стыда: меня предала папеньке! Я бы за кузнеца вышла замуж, а она, гадина, продала! Удавлю! Все равно удавлю. Уходи сейчас же. Брысь, горбатая змеища. Если пикнешь маменьке — зарежу. Вот те крест, зарежу!..

Клавдеюшка, плача и сморкаясь, растрепанная, наступая на свою длинную ночную рубаху, спотыкаясь, убралась из горенки.

— Стыдно, стыдно, Дуня! На Клавдеюшку руку поднимать — рука отсохнет. Она — господняя овечка.

— Ха-ха-ха! — покачивается Дуня. — Не господняя, а чертова кочерга.

— Ну, за что ты ее так? За что?

— Через эту горбунью меня пропили за Урвана. Через нее и через полубовницу папаши! У-у, ненавижу их всех! Огнем бы сжечь в этом окаянном доме!

— Боже мой! — попятилась Дарьюшка.

— Тебе-то что! Ты не изведала папашиних пудовых кулаков. Не дай бог, если изведает. Тогда вспомнешь меня. Хоть бы мне умереть от такой окаянной жизни! Бежать бы, а куда? Нету у меня ни паспорта, ни денег, ни дела в руках. Если бы хоть выучиться на фельдшерицу или на учительницу. Так нет же — век меня стращали и век меня унижали по милости папеньки! За что? За что такое наказание? Помнишь, как на меня налетел рыжий конь? Совсем была маленькая, а как сейчас вижу коня рыжего. Страшный, страшный конь!.. Как что, меня пугали конем рыжим...

Дарьюшка помнит про коня рыжего. Маменька сказывала...

— Ты ведь не знаешь, как я полюбила кузнеца Мамонта... Ох, как я хотела бежать с ним из этой проклятой глухомани...

— Какого... кузнеца? — дрогнула Дарьюшка.

— В кузнице у Трифона робит. Такой высоченный, как колокольня. Знаешь, как все было... скажу тебе... если бы не горбунья...

Это ведь она, тихая Клавдеюшка, наушничала папаше, когда Дуня, провалив экзамены в Каратузскую гимназию, вернулась в отчий дом и тут встретила у деда в мастерской ссыльного поселенца Мамонта Головню. Бравый, чубатый кузнец пленил сердце Дуни, и она, будучи не робкой, липла к нему своими черными жадными глазами; просила, чтоб он научил ее слесарить, паять и приваривать, ковать раскаленное железо: глазела, как Мамонт работал в кузнице Трифона. «Ах, ах!» — бил кувалдой молотобоец. И Дуня потом шепталась с Клавдеюшкой, доверяя ей сокровенные тайны, а Клавдеюшка взяла да и выдала папаше, а тот — скорый на крутые решения, выгнал Головню из мастерской. Тогда Дуня тайком наведывалась в кузницу, где потом работал ее возлюбленный. Бывало, Мамонт возьмет молот-пудовик да как начнет оттягивать железо — огненный дождь сыплется, и этот дождь обжигал Дуню; она воображала, как влюбится в нее кузнец и они будут век жить свободными, ковать железо, паять и лудить самовары, и это будет такая интересная жизнь — помирать не надо; а он все кует, кует, а Дуня смотрит, смотрит и вспоминает песенку:

Во кузнице — молодые кузнецы.
Они, они куют,
Они, они куют,
Они куют-принаваривают,
К себе Дуню приговаривают...

И Дуня готова была бежать с кузнецом «во лесок и сорвать там лопушок»; песня тешила, сближала, кружилась в памяти, пьянила и обещала; все так и случится, как в песне; надо только быть отчаянной и суметь убежать с кузнецом из отчего дома. А в отчем доме, бывало, как престольная гулянка, так папаша, хвастаясь и потрясая мошной, милуется с Алевтиной; не раз папаша, не корысти ради, а потехи, призывал на гулянки неудачливую в науках дочь и заставлял плясать перед гостями, песни петь; куражи устраивал: он все мог — бурлил силой и диким норовом; похвалялся, что сожрет всю округу; он видел

себя единым владыкой во всем Минусинском уезде. Куражился, куражился папаша; Дуня танцевала, танцевала; хмельные гости пилили на нее желтые бельма, слюнявили кислыми губами, причмокивали, точно пробовали Дуню на вкус, запах, похваливали. Красный от вина, Елизар обнимал свою любовницу и, ничуть не стесняясь дочери, приговаривал: «Давай, давай, Дуня! Покажи себя! Не схимницей будешь — умудряйся, покель я жив и в силе». И сила папаша стягивала Дуню по рукам и ногам, как стальными прутьями, а благочестивая маменька, насмерть перепуганная, не смела нос высунуть из горницы, отстаивая долгие молитвы перед иконами. Ни мать, ни дед Юсков, никто не пришел на помощь Дуне-лучинушке. А лучинушку гнули. Как-то в одной из комнат в разгар оргии миллионщик Ухоздвигов наскочил на Дуню, схватил ее лапищами и бородатой пастью закрыл ее розовый, невинный рот. С этого и началось... Все кружилось, пело, хлебало вино, орало, и не было ни чуру, ни удержу: Юсков справлял свои куражи!..

В одну такую рождественскую ночь, когда в доме с панашей пировал Ухоздвигов со своим пайщиком Урваном, свершилась помолвка. Отец сказал, что Дуня выйдет замуж за Урвана. Свинячьи глазки Урвана бесстыдно раздевали Дуню, сатанинские руки щупали ее тело, а папаша, развалясь с полуобнаженной Алевтиной на диване, босой, медвежеступный, в исподней рубахе, распахнутой на волосатой груди, делал вид, что не замечает, как Дуню Ухоздвигов с Урваном зажали между коленями, нашептывали ей, что она будет купаться в золоте, выезжать на тройке рысаков в Минусинск, Красноярск и в Ачинск, форсить на всю Енисейскую губернию и дальше, до Семипалатинска и Урала. Она не могла отбиться от пьяных скотов, в голове у ней шумело от вина и похотливой купели, щеки жгло, как огнем... Она продана, продана Урвану!.. Урвану, Урвану!.. Он будет измываться над ее телом, и миллионщик с ним. Сам папаша сказал, что отхватил пай в ухоздвиговских владениях: прииск Разлюлюевский поделили пополам — золота-то сколько! Золота! Век не вычерпаешь; они еще раздуют кадило: заведут на приисках гидравлику, как у американцев, а Дуня решительно ничего не понимала. К чему ей гидравлика, прииски, свинячьи глаза Урвана, бородатая пасть Ухоздвигова? Рожи были противны; пасть рыгала алкогольным перегаром. Бежать бы, бежать бы! Куда? Мамонт Головня! Где он,

кузнец? Не помня как, Дуня вырвалась и бежала прочь из дома в одном шелковом платье. Стоял рождественский мороз; Белую Елань кутала мгла...

Она бежала, бежала, не чувствуя мороза; улица то качалась под ногами, то проваливалась, и Дуня куда-то падала в яму. «Я пьяная, пьяная! Пусть, пусть!» — твердила она себе, не подумав даже, что скажет кузнецу, что он подумает, когда увидит пьяную?..

Кузнец до того растерялся при виде Дуни Юсковой, что слова сказать не мог. Стоял перед Дуней — голова под потолок, и смотрел на нее сверху вниз. «Увезите меня, увезите, увезите», — лопотала Дуня. На загнетке жарко пылали смолевые полешки; избенка без горницы; кровать у двери и лежанка возле печи — трем не повернуться, до того тесно. «Увезите, увезите!». Но куда мог увезти Дуню Юскову Мамонт Головня — ссыльнопоселенец? Чья-то борода пыхтела, ворчала, предостерегая Мамонта Головню, что беды не оберешься, если Юсков явится за Дуней. А сама Дуня не могла собраться с духом и сказать кузнецу, что она пришла к нему на всю жизнь и пусть он защитит ее, увезет из Белой Елани. Да и Мамонт Головня не подумал о том. Куда там!

Чья-то борода подталкивала Мамонта: веди, мол, девку; не ровен час, хватится Юсков. И Головня предложил Дуне но любовь свою и защиту, а козлиную полудошку с вытертыми боками, чтоб Дуню не прихватил мороз. Дуня сникла, онемела — ни слез, ни откровения. Когда вышли из избы в сени, Дуня задержалась возле двери, прильнув к Мамонту Головне. «К тебе пришла, к тебе! — шептала она ему. — Меня за Урвана папаша выдает, га Урвана. Продали меня!.. Пропивают! Пропивают! Господи, спаси меня. Век с тобой буду. Спаси!» — продолжала девушка в отчаянии. Но что он мог поделаться, Головня?

А Дуня... Дуня грезила, как ее выкрадет Головня и как они умчатся на тройке из Белой Елани. Будет погоня. Будет. Но Головня сыщет самых быстрых коней — в гривах ленты развеются по ветру. Они будут мчаться, мчаться, как птицы, трактором в Минусинск. «Гони, гони, ямщик! Гони, гони!» — шептала Дуня в подушку, и сердце ее билось радостно и весело, как будто она мчалась в некую благодать, называемую счастьем.

Грезы, грезы девичьи! Сказки-незабудки! И явь каменная. Не так ли мечталось сестре Дарьюшке?

... Притихла Дарьюшка: мучила совесть. Щеки впали, ходит по дому сама не своя. Все кусает и кусает ногти.

На другой день из Урянхая приехал отец; Дуня спряталась в горнице. Ждала, когда подготовят крутого характером Елизара Елизаровича. Но не сумели подготовить. Освирепел, узнав, что замыслила дочь.

— До архиерея дойдешь? — кричал он на весь дом. — Я те ноне покажу такого архиерея, что сидеть не на чем будет.

Жестоко, как не бьют лошадь, отец истязал Дуню. Выгнал всех из горницы и, повалив дочь на пол, волочил ее за косы из угла в угол.

— Ма-а-атушка, спа-а-сите!.. — вопила Дуня.

Мать стояла перед иконами, рыхлая, высокая, истово молилась. Сам дед Юсков, угрюмо насупясь, побряхтывал на лавке, пережидая бурю.

— Батюшка, заступитесь, чать убьет он Дуню-то, — просила мать деда.

— Все от бога, невестушка. И свирепость и милость. Нешуточное дело — убегла от мужа-то! Сколь приданого дали!

Дарьюшка ломилась в горницу, но не могла открыть. На дверях — надежные крючки и запоры.

— Папаша! Папаша! Бейте меня! Меня лучше! — кричала Дарьюшка.

Долго еще раздавался истошный вопль Дуни, а когда распахнулась дверь и отец, сверкнув цыганским глазом, оттолкнув прочь Дарьюшку, вышел из избы, все кинулись в горницу. На узорчатых половиках лежала нагая Дуня, наливаясь синюшными кровоподтеками.

— Будьте вы все прокляты, — проговорила она, с трудом поднимаясь на руки; губы ее были разбиты в кровь и вспухли. — Будьте вы все прокляты!.. Век буду мстить вам!.. Будьте вы прокляты!..

ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ

Жизнь в Белой Елани, как хмель в кустах чернолесья, скрутилась в тугие узлы. Идешь и не продерешься в зарослях родства и староверческих толков и согласий.

В дикотравье поймы Малтата и днем сумеречно. Кусты черемухи, ивняка, топольника заслоняют солнце. Внизу — дурнина невпроворот. Смородяжник, малинник, черничник, багульник, блеклые стебли в рост человека и выше, будылья пучок в руке толщиной — все это держится так цепко друг за друга, что путнику, чтобы пробиться к Амылу или Малтату, приходится разрывать дикотравье руками, плечами и головой. Хмелевое витье, перекидываясь с куста на куст, захлестывает, как удавками.

Так и жизнь в Белой Елани. Запуталась, очерствела, шла, как муть в подмытых берегах. Редко кто из приезжих мог прижиться на стороне кержаков-староверов.

Невлюбят Юсковы — выживут не мытьем, так катаньем. Косо взглянут ядовито насмешливые Лалетины — не жди добра. Не успеешь оглянуться, как прозвище схватишь. Не угодишь Мызниковым — беги, не теряя минуты.

Но как и в чащобе нет куста, не кидающего ветви по-своему, так и в зарослях родства каждая семья со своим нравом, установлением и традицией.

Есть какая-то отметина наподобие родимого пятна на каждом кусте фамилии.

В характере Вавиловых припечаталась угрюминка; взгляд исподлобья, недоверчивый, сверлящий, вдавливающий.

Юсковы — народ богатый, гордый, но туговатый на хлеб-соль: «Ем свой, а ты на ногах постой».

Боровиковы — люди особого нрава. Круто замешенные в долго печенные, с отвердевшей подовой окалиной. Про них говорят: «С Боровиковым столковаться, что с Татар-горою потягаться».

Хитрые Валявины — брови на лоб; с виду полнейшее недоумение и простодушие. А копни — потаенная хитрость, лисья настырность и кошачья дотошливость.

Семье каторжанина Зыряна свойственны прямодушие и заполошность.

Вся Белая, Елань делится на две половины — на кержачью, прозываемую стороной Предивной, и поселенческую — Щедринку.

Стороны, как небо с землею, никогда не сходятся друг с другом.

На тропах за околицей в летнюю пору встречаются медведи. Сытые, ленивые и трусоватые. Подойдут, понюхают воздух, рывкнут для острастки и — поминай как звали.

У кержаков дома пятистенные, прокаленные солнцем, с шатровыми крышами. Глухие ограды увенчаны резными воротами в лиственных столбах с узорчатыми карнизами, где издревле вьют гнезда скворцы и ласточки.

Что ни дом, то крепость. В оградах — охотничьи собаки: не подступись.

Никто из кержаков не белит внутри — все красят.

Не то в Щедринке. Здесь нет ни глухих заплотов, ни домов из старые лиственниц. Строились — лишь бы поскорее. Живут здесь бедняки Смоленщины, Черниговщины, Екатеринославщины, Орловщины, и каждая семья перебивается с куска на кусок. Зато ребятишек на стороне Щедринки, как цветов на лугу в вешнюю пору.

II

На межеумке двух сторон поставил кузницу поселенец Трифон, прозванный Переметной сумой.

Кузница большая, просторная, на два горна. От зари до темна не потухают горны. Куют, наваривают, оттягивают лемеха, ремонтируют молотилки, веялки, жатки, сенокосилки — работы хватает.

В напарники к Трифону пришел ссыльный из Тулы Мамонт Петрович Головня. Молодой парень гвардейского роста, слесарь и кузнец, он сразу же преобразил всю кузницу. Поставил новый горн, добыл слесарные инструменты, и кузница Трифона прославилась на всю волость.

Сюда и понаведалься Тимофей.

У жатки возле кузницы возился Головня. Тут же сидели мужики. Кержаки — отдельно, у станка дляковки лошадей; поселенцы топтались у двери. Из кузницы доносился тяжелый стук молота.

Знакомый запах жженого железа, древесного угля, сиплые вздохи раздуваемого меха словно втянули Тимофея внутрь кузницы.

Сумрачный, лохматый Трифон и молотобоец изо всех сии били по раскаленному куску стали. У наковальни лежали готовые лемеха, три

или четыре топора, отдельно — склепанные литовки.

— Ну, што надо, парень? — спросил Трифон, сунув остывшую болванку в горн.

— Гляжу, какая кузница.

— Чаво глазеть? Кузница — она не икона, чтоб на нее шары пялить да ребра ей просматривать. Дело какое есть — толкуй. Нам некогда. Не мельтеши зазря.

— Хочу работать у вас, если примете.

Трифон пригнул голову, подкинул красную бороду ладонью от шеи вверх, закрыв себе рот, как медной лопатой.

— Поселенец?

— Ссылный.

— Эва! По которому поводу? За конокрадство аль попа-тику?

— Политический.

— Эва! Напарник мой тоже за политику. И ты ишшо. Не много ли на одну кузню? Не разопрет? Урядник моментом прихлопнет. Молотобойцем хошь?

— Кузнецом.

Трифон поглядел на Тимофея исподлобья, потом косо так, одним прищуренным глазом.

— Робил где?

— В депо.

— С которой стороны понимать? Какая там работа?

— Паровозы ремонтировали. Кузнечная работа разная.

— Эй, Го-оловня! Подь сюды! — заорал Трифон. Вскоре в кузницу вошел Головня, прямой, как столб, в холщовом фартуке, с засученными рукавами рубахи.

— Гляди! Кузнец новый объявился. Из политики. Как кумекаешь, спытаем, а? Гляди сюда: видишь вот эту штуковину от жатки? Вышла из употребления. Надо такую же отковать. Тютелька в тютельку. Становись на мое место и дуй, муха те в горло. Скуешь — становись рядом на наковальню. Места на четырех хватит. Работы семерым не провернуть. Как думаешь, Головня, спытаем?

— Давно пригнали? — подошел Головня. Тимофей ответил.

— Паз-воль! На пять лет по месту рождения? Из поселенцев? Старожил?! Удивительно. Из чьей фамилии, извиняйте? Боровиковых? Это не из тех, чей дом на конце большака?

И когда Тимофей подтвердил, что он именно из того дома кержаков, у Головни от удивления распахнулся рот, как окошко скворечника.

— Какими же судьбами кинуло вас в политику? Долгая песня? А, понятно. В политическом деле коротких песен нет. В тюрьме сидели? М-да. Н-не понимаю. Кержаки что казаки — государева крепость. И вдруг политика!..

— Ничего подобного, — возразил Тимофей. — Не все кержаки — государева крепость. Настоящие раскольники-поморцы никогда не молились за царя. Мой пращур вместе с Пугачевым воевал.

— Боровиков?

— Боровиков. А что?

— Значит, за молитву и в тюрьму?

Тимофею не понравился разговор Головни, и он запальчиво ответил, что арестован был не за молитвы, а за нелегальную марксистскую литературу, за «Манифест» Карла Маркса и за стачку рабочих в депо.

— Ну, становись, парень, — отошел Трифон от наковальни. — Про политику с Мамонтом опосля поговорите. Болванка подоспела. На мой фартук.

Тимофей сперва оробел. Будто ему предстояло выдержать трудный экзамен. Натянул на себя фартук, взялся за клещи. Вытащили огненную болванку из горна на наковальню. От первого удара брызнули искры, осыпалась окалина. Рука привычно вздымала и опускала молот на поковку. Молотобоец бухал тяжелым молотом. Тимофей, одной рукой зажимая клещи с поковкой, второй, малым молотом, правил поковку. Он не видел, с каким вниманием приглядывались к его работе Трифон, Головня и мужики, застрявшие в дверях.

После косьбы молот казался легким, невесомым, удивительно привычным, будто Тимофей не расставался с ним.

— Ловок, холера, — кряхтел Трифон. — Эко, играючи дует, муха ему в горло. Парень ишшо, а наторен. И глаз цепкий. Ишь как! Без подогрева закончит, должно. Молодчага! Давай! Давай!

Закончив поковку по указанному образцу, Тимофей спросил, можно ли еще поработать?

— Погоди, парень. Шибко быстрый, — остановил Трифон. — Покумекать надо, как и што. Кузня моя; не задарма досталась, якри ее. Струмент и все такое прочее. Подать плачу подходявую, то, се, пятое, десятое. У нас с Головней особливый уговор, как, значит, мы сработались. Ну, а тебя с какой стороны пристроить? На притычку к нам, аль как? Негоже. Молоток к наковальне приткнется и тут же отскочит. То и оно, муха те в горло. Думаю так: становись и робь у второго горна. От выработки — половина мне за кузню, струмент, так и за молотобойца. Андрон в силе — управится на два горна. Прикину ему, сколь полагается, и ладно.

От такой длинной и обстоятельной речи Трифон взмок и раза два вытер рукавом рубахи потное лицо, будто час без передыху бил тяжелым молотом. Головня хитро щурил узкие зеленоватые глазки, покручивая в пальцах стрелки рыжих усиков. «Ну, черноземная силища! — думал Головня. — Вчера ходил без штанов, а сегодня полнейший эксплуататор. За такую выкладку надо бы Трифона головой пхнуть в горн и опалить ему бороду».

— С половины так с половины, — согласился Тимофей. Трифон от удовольствия просиял.

— По рукам, стал-быть. — И протянул Тимофею широченную, заскорузлую ладонь. — Уговор, паря, дороже денег. Завтре приходи и начинай.

Когда Тимофей вышел из кузницы, Головня остановил его:

— Ну, каков космач? — кивнул головою на кузницу. — Кузнец из него как из оглобки подкова. А гляди какую эксплуататорскую линию гнет. Он же до моего прихода в кузницу подкову отковать не умел. Переметная сума! Ишь, «струмент». Этого «струменту» у него было — дырявый мех да клещи с молотком. Я тут за два года вложил силу. И кузницу перестроили, и оборудовали два горна, и весь инструмент выковал собственными руками. Садись, покурим.

— Я не курю.

Головня коротко хохотнул.

— Па-анятно. Извиняйте. Как это кержаки говорят: «Кто табак курит, тот бога из себя турит»?

— А ну, дайте попробовать, — попросил Тимофей, заливаясь девичьим румянцем.

Головня усмехнулся и подал Тимофею кiset с крепчайшим самосадам.

— Э, парень. Не в ту сторону крутишь сигарку. Такая манера называется бабьей. Крути от себя, а не на себя. Потому: мужчина, как и полагается, силу отдает от себя. А женщина — в себя берет. Ты с какого года?

— Девяносто пятого.

— На четыре года моложе меня. Садись, потолкуем. Меня зовут Мамонтом. А ты? Тимофей? Подходяще. А вот скажи, пожалуйста, какая дикая идея ударила в голову моего папаша, когда он окрестил меня Мамонтом? А? В метрику врубил имя, каналья. Комплекция моя, понятно, не карликовая. Таков и папаша, мастер Тульского оружейного завода. Слыхал, как наш Левша подковал блоху? Мой папаша из той породы. Собираемся подковать гниду...

От первой затяжки Тимофей задохся, будто хватанул ковш спирта. Кровь ударила в голову, в глотке перехватило, и он, вытирая кулаком слезы, закашлялся.

— Не идет мне курево.

— Кому оно идет? Все так начинают. Мне тоже. И вонь, и спертый воздух, и арестанты, на смерть похожие. Ну, думаю, пропал. Не идет мне тюрьма. А ничего. Притерпелся.

— Также за стачку и за литературу?

— Похуже. Баклана не сумел уложить.

— Баклана?

— Тульского губернатора.

— А что он?

— Подлюга. Нарвался на него — распушил меня, как воробья. Вообрази себе такую штуковину: тульский архиерей... Как бы тебе пояснить? Ну, вроде мой сродственник... двоюродный дядя, что ли. Потянуло меня переломить его на две половины. Писал на его доме разные прокламации, разоблачал долгогривого во всех тайных грехах, какие мне известны были и про которые я сам догадывался. И пошло! Куда архиерей, туда и я. В соборе раз, во время литургии, кричу во всю глотку: «Эй, иуда, до каких ты пор, говорю, будешь омрачать туманом народ? Не верьте архиерею, он проходимец!» И еще что-то в этом роде. Ну, схватили меня, а тут и губернатор. Рожа свирепая, глаза ворочаются, как у филина. Расспросы, допросы. Молчу. Ну, поволокли

в участок. На другой день является отец. Эх, милоч, до чего же тяжелая рука у папаши! Сунул разок — я в стену влип, и дух зашелся. Дал он мне, родитель, памяти!.. Все перенес, милоч. Вот и родилась у меня мысль: порешить баклана, то есть губернатора. Вторым номером — самого архиерея. Достал я револьверину — смит-вессон ямщицкий. Из него не то что губернатора, коня уложить можно. Неделю выбирал удобный момент. Дождался. Выехал губернатор в открытой пролетке. Приложился и давай садить в него пулю за пулей.

И хоть бы царапнул! Мимо! Ну да не в том обида. Как потом узнал, стрелял не в губернатора, а в его старшего брата, какой приехал к нему гостевать из Петербурга. Понятно, схватили меня, насовали для первой радости, а потом следствие, тюрьма и суд. Три года каторги да ссылка в места отдаленные и малопонятные на карте Российской империи. После каторги препроводили в Омск. Поступил там в депо кузнецом, как и ты. Не успел прижиться, как произошел Ленский расстрел. И опять я, дружок, восстал за справедливость. Припаялся там к одной группе ребят, да не успели мы работу развернуть... схватили нас как миленьких. Тут уж пошел я как политический на вечное поселение в Енисейскую губернию.

Тимофей спросил: к какой партии принадлежала та группа ребят, в которую вошел Головня в Омском депо?

— Откуда мне известно? — развел руками Мамонт Петрович. — Я, дружок, не особенно вдавался в политику. Главное, чтоб за рабочее дело.

— И меньшевики за рабочее дело.

— Какие «меньшевики»?

— Какие откололись от нашей партии РСДРП. Наша партия сейчас зовется большевистской.

— Э, друг! — Головня выпустил дым колечками перед своим носом. Наблюдая, как уродливо растекались в воздухе дымовые кольца, продолжил: — Наслушался я, парень, про разные партии. Сидят в камере за решеткой и грызутся. У того партия такая-то, самая первеющая; у другого такая, самая рабочая. Шипят, пенятся, а то еще и за грудки схватятся. А по мне: человек должен быть сам себе партия. Возьми хотя бы солнце. Как думаешь, к какой партии оно принадлежит? Само себе светило. Так и человек — светиться должен,

как солнце. Эксплуататоров — к ногтю; губернаторов и всех долгогривых — ко всем чертям! Что еще нужно?

— Как же ты эксплуататоров прижмешь к ногтю? — поинтересовался Тимофей.

— Там будет видно. Дай время. Помолчал на две затяжки, спросил:

— Какое соображение имеешь насчет войны? Тимофей и сам не ведал, какое он имеет соображение.

Война налетела неожиданно.

К кузнице подошел Зырян, тот самый, про которого в Белой Елани говорят: «Без бога в раю проживает».

— Тимофей? — протянул руку Зырян. — Ну, покажись, покажись!.. Экий, а? Ты гляди, Мамонт, какое пополнение прибыло, а? Ждал тебя, Тимоха. Что же ты, а? Забыл про мои сказки-побаски и про шаньги Ланюшки?

Нет, конечно, Тимофей не забыл. И тетку Лукерью помнит, жену Зыряна, и «департамент политики», в котором когда-то Зырян поучал Тимку, что «бог существует только для ущербных и постных людей».

— Говорят, кузнецом стал? — спросил Зырян.

— Далеко мне до настоящего кузнеца.

— Ишь ты, муха те в горло, скромничает, — прогудел Трифон.

— Ну, а Прокопий Веденеевич как? Стерпел?

— На красную лавку заказал не заглядывать.

— Вот-вот! На красную лавку не смей и к посуде не прикасаться! — захохотал Зырян. — А ты давай ко мне. Все лавки в твоём распоряжении. Хоть на красную, хоть на синюю. И садись и ложись. Пойдем, пойдем! Ланюшку порадуем.

III

... В доме Зыряна постоянно квартировал кто-нибудь из ссыльных за политику. Нескончаемые разговоры и споры про дела в Российской империи взбадривали Зыряна, как добрая трубка самосада, которую он не выпускал из зубов.

Одна из горниц большого дома, где обычно поселялись ссыльные, так и называлась: «департамент политики».

Одно время, в пору детства Тимки Боровикова, в «департаменте политики» обитали народовольцы откуда-то из недр Белоруссии. Их навещала ссыльная девица той же партии, тонконогая, с тонкой шеей, похожая на захудалую гусыню. Все трое прибыли по этапу из Могилева и часто пели грустные песни. От них Зырян набрался атеизма «по самые ноздри и чуть выше».

После народовольцев поселился в «департаменте политики» человек бывалый, некий Вахрушев, социалист-революционер. Каждый раз начиная разговор с хозяином, Вахрушев поучительно изрекал: «Мы, социал-революционеры, действуем прямо и точно: пуля в лоб каждому тирану». Зырян про себя окрестил Вахрушева «солитером». Квартирант все время жаловался: «Сосет меня солитер, терпения нет. Льду, льду, хозяйюшка!» — глотал лед кусками. Вахрушев прожил что-то около двух с половиной месяцев и сбежал вслед за тающим снегом. Его место занял портной Яков Петержинский, сам себя отрекомендовавший «справедливым бундовцем», а Зырян переименовал в «бубновца». Портной остался в Белой Елани, открыл свою мастерскую, женился на дочери поселенца Мурашкина, и теперь его ножная машина «Зингер» стрекочет на всю Белую Елань.

До Мамонта Петровича Головни в «департаменте политики» проживал тихий социал-демократ Давид Гранин, человек вежливый, предупредительный, начитанный, — воды не замутит в доме. Но как только подселился к нему кузнец Головня, так сразу же в горнице произошел взрыв. Головня что-то орал про пустопорожние посудины, рушил всех «сицилистов», а под конец ссоры вежливый человек Гранин выскочил из горницы, как из парной бани, красный, перепуганный, и, не объяснившись с хозяином, собрал свои пожитки и переехал жить к поселенцам в Щедринку.

Зырян попробовал сойтись на короткую ногу с Мамонтом Головней, но тот поднес к его носу пудовый кулак и процедил сквозь зубы: «Понюхай, чем пахнет. Тут вся моя политика, ясно? Бери с меня за стол, за квартиру, а в душу ко мне крючков не закидывай. В моей душе рыба не плавает. Па-анятно?» И поставил перед носом Зыряна указательный палец, как высочайшую вершину своей мысли.

Вскоре Головин притащил в горницу два портрета на лакированной жести — государя императора Николая Второго и Иоанна Кронштадтского. Дня не прошло, как Головня выпросил у

Зыряна ружье с заряженными патронами и, захватив с собой портреты из жести, завернутые в мешок, ушел в пойму Малтата. Когда на другой день, улучив момент, Зырян заглянул в «департамент политики» и вытащил портреты из мешка, глазам своим не поверил. Грудь Николая Второго была пробита тремя пулями; Иоанну Кронштадтскому досталась одна. Самому Головне Зырян, конечно, ничего не сказал. В следующее воскресенье Головня снова взял одноствольное ружье хозяина, накатал из свинца пуль, зарядил патроны и ушел в пойму. Зырян с нетерпением ждал следующего дня. И как только Головня ушел в кузницу, Зырян позвал Лукерью Петровну, и они вместе понавелись в «департамент политики». Долго искали мешок, Лукерья Петровна догадалась заглянуть под постель и там нашли его. Вытащила портреты и ахнула. На коронованной особе насчитали девять дырок, на Иоанне — семь.

— Што будет-то, што будет-то! — испугалась Лукерья Петровна.

— Спрячь и помалкивай!

В молодости Зырян побывал на каторге...

В ту пору жил он в работниках у Михайлы Юскова, прижимистого кержака. День и ночь работал на пашне, а Юс-ков хоть бы алтын на ладонь положил. «Ты, парень, не суетись, — урезонил кержак. — От сатанинских денег, окромя порчи крови, ничего не произойдет. Живи налегке, как бог велит. Торная дорога в рай». И Зырян, хоть и не верил, в торную дорогу в рай, работал прилежно, а Юсков, набивая карманы деньгой, поучал бескорыстию.

Но вот приключилась беда. У Юсковой племенной игреневой кобылицы народился жеребенок. Всем статья добрый приплод — рослый, грудастый, емкий на перед, чуть вислозадый, по всему — рысистый. Одна незадача — родился полосатым, словно зебра. Вся шкура от хвоста до гривы в полосах, будто кто разрисовал. Когда Юсков взглянул на приплод, сперва удивился, но тут подоспела супруга, Галина Евсеевна.

— К лихости примета, — сказала она, выпятив жирный подбородок. У Галины Евсеевны, кроме толстого подбородка, была еще одна достопримечательность — разноглазье. Как говорится, один глаз в Казань, другой в Рязань. Левый зеленоватый, как у кошки, а правый будто простоквашей налит. Чудище, не баба.

— Какая же лихость? — спросил Юсков.

— И дурак! Тебе ли знать, ты на бога-то одним глазом смотришь. Если я толкую к лихости, знать, так оно и есть.

И тут же привела пример, как у ее батюшки вот такой же уродился жеребенок, а через три года перевелась вся живность, и тятенька вынужден был переменить местожительство.

— Ишь ты, — поцарапал в затылке Михайла Юсков. — Жалко жеребенка. Роспись у него, как вроде под дугу с колокольцами. Ну да и быть по сему! Бери, Зырянка, твою живность не переведет. Ежели и освободишься от лишней живности за очкуром, — тебе же в пользу. Только упреждаю: к кобылице не подпущу зебру. Бери и выкармливай сам.

Зырян взял жеребчика, кормил его молоком из соски, выделанной из коровьего вымени, холил, что малое дитя, мыл, скреб ему шкуру:

жеребчик рос да рос, как на опаре. Вся деревня стекалась в ограду Зыряна любоваться на полосатую «оказию». Мужики прищелкивали языками, хвалили, судили, толковали разное, а полосатая зебра росла. Попробовал Зырян трехлетка на вожжах — рвет, что огонь в трубу под ветер. Ноздрями пышет, глазами так и стрижет. Не удержишь втроем.

Но, как говорится, на ловца и зверь бежит. Так и на бедняка все беды и злключения.

Случилось на троицу гостевать в доме Михайлы Юскова золотопромышленнику Ухоздвигову. Узрив он полосатого жеребца да и спросил у хозяина: чей, мол, красавец? Это же, говорит, не лошадь, а картина галереи купца Третьякова. Такая присказка ударила хозяина, что ременным гужом по мягкому месту. Картин галереи купца Третьякова Юс-ков, конечно, не видел и не слышал про них, но сказано-то кем! Самим Ухоздвиговым!..

— На таком красавце к царским подъездам санки подавать, а не пыль в вашей улице мести. Чей же это, а? Нельзя ли купить? — приставал Ухоздвигов, глядя в окно.

Даже у разноглазой Галины Евсеевны дух сперло.

— Да... наша... скотинка, — выдавила она из себя, едва ворочая языком.

— Ваш? Што ж ты молчишь, пень березовый! — обрушился миллионщик на Юскова.

Купить! Немедленно купить! Сию же минуту. Миллионщик успел прикинуть, как он подъедет на таком жеребце к дому енисейского губернатора в Красноярске и как все будут удивлены и ошарашены. «Знай, мол, наших! Это вам не четверка орловских рысаков Иваницкого, а полосатый. Видывали такого? В Африке только, да и то не лошади, а зебры».

— Так что же, по рукам, хозяйюшка? — обратился Ухоздвигов к Галине Евсеевне, сообразив, что иметь дело придется с ней.

— Ваш глаз — ваша цифра, милый, — ответствовала Галина Евсеевна, умильно щурясь.

— Три, — бухнул миллионщик и провел пальцем возле носа Галины Евсеевны три круга.

— Понять не могу. Что же это обозначает?

— Эх, бурятия! Три — значит три тысячи!

У Галины Евсеевны глаза от жадности в цвете сравнялись. Мыслимое ли дело, три круга — три тысячи?! Это же бог знает что такое! Доброго коня можно было купить за четвертную, а тут — «три круга».

Миллионщик был крепко под хмельком, потому и ломился в открытые ворота. Да и норов ухоздвиговский показать надо было перед деревенской «бурятщиной».

— Мишенька, поди приведи Зебру. Да и по рукам. Выпивайте магарыч, а... Зырянку овцой одари.

Но «три круга» прошли мимо Галины Евсеевны воздушными кругами.

Как узнал Зырян, что на его Зебру точит зуб Ухоздвигов, сел верхом на жеребчика, да и был таков. Умчался — с собаками не догонишь. Вернулся он в Белую Елань дня через три без Зебры. Куда дел, у кого спрятал, неизвестно. Началась тяжба. Галина Евсеевна таскала Зыряна то к становому, то к земскому, не помогло. Зырян уперся, как бык. Мой жеребчик — и баста.

И вот залегла злоба у Галины Евсеевны: худеть начала бабенка. Что ни день, то фунта на три убудет в весе. Сам Михайла Юсков тоже видеть не мог Зыряна, все грозился снести ему голову. Братья Зыряна Жили на прииске. И те приставали к Зырянку: отдай, мол, пусть чудит миллионщик. Ведь деньги-то какие!..

— Не моя статья мощной трясти и моль пасти, — отвечал Зырян. — Живу — пью, веселюсь. Отжил — вздохнул, ногой тряхнул, и дух вон.

Зимою, при первой пороше, Зырян явился в Белую Елань на полосатом красавце. К тому времени дело улеглось — суд отказал Юсковым, а силой у Зыряна не возьмешь не то что Зебру, но и пуговку от штанов.

Недолго гарцевал по деревне Зырян на полосатом жеребчике. Как-то ночью, в апрельскую ростепель, грянул выстрел... Зебру уложили в стойле конюшни, специально для нее построенной Зыряном. Пуля промеж глаз — и копыта откинул жеребчик. Умно было сработано. У стайки лежал лосевой кисет Романа Валявина, вот, мол, кто убийца, судитесь...

Более всех сокрушался о гибели Зебры сам Михайла Юсков. Так-то он вздыхал, качал головой, чмокал языком, что со стороны жалко

было смотреть.

— Ловкая работа, — сказал Зырян, когда возле Зебры собрался народ: дело было утром. — Не думай, Роман Иванович, на тебя грех не кладу.

— Да что ты, Зырян! В роду Валявиных убивцев не было.

— А кисет-то, кисет-то как попал сюда? — суетился Юсков.

Зырян отдал кисет Валявину, с тем и разошлись мужики. Зырян похоронил Зебру вместе со шкурой и запил горькую. В петровки вспыхнула мельница Юсковых. Дотла сгорела. Одни жернова остались, и те потрескались: бабы на дресву растащили полы натирать. Спустя некоторое время вспыхнуло надворье Михайлы Юскова. Один из работников, Трошка Зуб, поймал Зыряна на месте преступления.

Зыряна осудили на пять лет каторжных работ. Вернулся он с гармошкой-тальянкой таким же весельчаком, каким когда-то хаживал по Белой Елани.

До каторги Зырян остерегался трогать предивинских девок и молодок, а тут как сдурел. То подмигнет, то ущипнет, то шепнет круглое словечко, от которого у молодки кровь бросится в лицо и глаза заблестят. Жила в ту пору на стороне Предивной девка, Лукерья Круглова, дочь приискателя Петра Данилыча.

Мать Зыряна сколько раз предостерегала сына, чтоб не заглядывался на богатую девку, да разве уговоришь Зыряна. Пошел наперекор всем. Встретится с Лукерьей, подойдет к ней грудью да скажет:

— Глаза у те, Луша, как огоньки шахтерские. С такими огоньками ты мне вот как по душе! Потому в каторге видел тебя во сне. Иду по стволу шахты, а внутри — огонек твой. Тем и отогрела мою душу, моль таежная. Смотри, как бы тебя не укутали в кержацкую шубу. Задохнешься от вони, истинный Христос!

— Да ты-то чем соблазняешь, Зырян? У тех хоть кержацкая, да шуба, а у тебя что?

— Шаровары, девка, на двух хватит всю жизнь носить!

Плюнет девка в глаза Зыряна и пойдет дальше, а тот вытрет плевков, закинет ремень тальянки на плечо и пошел наяривать «Когда б имел золотые горы и реки полные вина», хоть ни того ни другого во сне не видывал.

Так уж устроена девичья душа! Как ни отплевывалась Лукерья от потешного Зыряна, обладателя тальянки, а все нет-нет да глянет на него карим глазом, будто мед воьлет в мужика-каторжанина. Если нет Зыряна на вечерке, в душе Лукерьи смятение, в губах горечь, будто кто настой зверобоя влил в девку. И ведь не пара ей Зырян! Мало того что гол как сокол, так еще и парень-то с отметиной каторжанина. Такому жениться на вдовушке или, на худой конец, на испорченной девке, а не на Лукерье-приискательнице, девятнадцатилетней красотке. Отец Лукерьи в ту пору хаживал по тайге с сыном золотопромышленника Ухоздвигова — все искали новые месторождения россыпей. И товары и деньги не переводились в доме Кругловых. Предивинцы помнят, как однажды Петр Данилыч после форта появился из тайги на сторону Предивную на шестерке рысаков, а с улицы от сборни до своего дома повелел выстлать дорожку из семи кусков первейшего бархата, по полтора рубля за аршин!..

V

... Случилось так, что удачливый приискатель Круглов потерялся в тайге. По вешней оттепели ушел проведать «золотые жилы» и не вернулся. Ждали до осени, всю зиму, настала снова весна — и ждать перестали. Овдовела Харитинья Круглова с единственной дочерью Лукерьей.

Богатые кержаки засылали сватов в дом Харитиньи, но дочь уперлась: «Не выйду за нелюбого, не приневоливай, матушка».

Побывали сваты и от Елизара Елизаровича Юскова. Старик Елизар явился к вдове в борчатке, отделанной каракулями, притащил в дар невесте китайский плюш, бархату на платье, японский нарядный платок — хвастался мощной. И паровые мельницы у них, и табун лошадей в Курагиной, и отары овец, а рухляди всякой — не счесть. «В неге да в холе жить будешь, Лукерья Петровна, — гундосил старик, развалившись на лавке. — Приглянулась ты, значит, Елизару моему, с ума не сходишь у парня. Он у меня хоша и третий сын, а самый главнейший. Потому: на свет народился в день нашего престольного праздника. Оттого и Елизаром нарекли. По обычаю, значит. Сынов старших отделил — не обидел. Ну, а Елизар — род наш, юсковский, поведет далее. При его доме и мне век доживать как и должно. Вера у

нас, слава те господи, без крепости, пользительная. И в городе бываем, и на миру с православным людом дружбу водим».

Долго похвалялся старик, уговаривая строптивую невесту, и не преуспел. «Не пойду, хоть золотом усыпьте дорогу», — ответила Лукерья. Вдова Харитиньюшка уговаривала дочь, грозилась, что уйдет из дому к сыну-приискателю, а дочь знай себе твердит: «Не пойду, и все».

После сватовства Юсковых Харитинья и в самом деле собралась и уехала с попутчиками на прииск к сыну. «Поживи-ка одна, непутевая. Подпирай стены!»

Лукерья того и ждала. Дня не минуло после отъезда матери на прииск, как она сама понаведальась в избенку каторжанина Зыряна. Жил он на поселенческой стороне и до того бедно, что вокруг избенки не было даже ограды. Хоть так дуй ветер, хоть эдак — задержки нет.

В избенке с подслеповатыми окошками Зырян столярничал. Табуретки, стулья, оконные рамы, посудные буфеты, резьбу по карнизам — все мог сработать Зырян, хоть у самого в избе не было ни единого подходящего стула и шкафа. Сразу от порога занимал почетное место верстак, а у стены — токарный станок по дереву. На стене — столярные инструменты. Пихтовыми и кедровыми заготовками забита была вся печь. На полу щепка и стружка по колено.

Когда в избу вошла Лукерья, Зырян стругал доску на верстаке, напевая песню.

Оглянулся и выронил рубанок из рук.

— Вот так гостьюшка!

— Здравствуйте, — поклонилась она.

— Здравствуй, здравствуй, девица-лебедица! По морю летала, синь земли повидала, куда же посадить тебя, а? Не иначе — на божницу. Проходи, проходи, лебедица!

— Я на минутку. Мороз такой: крещение. Пристыли ноги, вот и зашла погреться. А где же ваша матушка?

— Угорела от краски и клея и в тайгу улетела. Шиву один. Ну да не печалься, Ланюшка, угостить сумею. И чайком, и медком, и посидим ладком. Поговорим. Давно не видел тебя. Думал, выскочила замуж и никогда уж мы не свидимся. Из кержацкой шубы не высунешь губы, упрячут. Отец так и не нашелся?

— Как свечечка сгас. Одна я теперь, совсем, совсем одна. Мать уехала на прииски. А тут такая стылость, морозы, — лепетала Лукерья, перебирая в руках вязаные перчатки.

Зырян поставил самовар, уткнул колено железной трубы в бок русской печи. Вскоре ведерный самовар приятно затянул песню. Зырян беспрестанно шутил, рассказывал всякие были и небылицы. Потом растянул мехи тальянки и сыграл про «золотые горы». За одинарными окошками мороз ковал землю. А им было тепло и хорошо в маленькой избушке. «Так бы и жила с ним век, и ничего-то, ничего мне не надо. Ни золота, ни шелковых японских платков». И думы Лукерьи передались Зыряну. Он перестал мучить тальянку и собрал на стол, чем был богат.

— Слышал, сватают тебя Юсковы?

— Ах, боже мой, что мне от того сватовства? Мука да печаль со слезами. И мать приневоливает, и брат приезжал — каблуками стучал. А я вот не могу; не могу, не могу! Не продажная я, уж лучше в петлю или в прорубь. — И вдруг расплакалась, уткнув лицо в ладони. Зырян подскочил к ней, сел рядышком и обнял.

— Зачем же слезы, Ланюшка? Такую лебедицу, как ты, никто не приневолит. Ни мошна, ни казна, ни каблук брата. Ты, как зорюшка, на всю Белую Елань. Если бы узнал, что ты вышла замуж, тем бы разом собрал свои инструменты и умелся бы из глухомани на все четыре стороны.

— Как жить-то буду? Как жить-то? Одна! Кругом одна! — бормотала Ланюшка сквозь слезы.

— Ну, а если бы я посватался, Ланюшка?

— Ах, боже мой! Сама пришла, что еще надо? Ни стыда у меня, ни совести! Думала, не дойду. С утра вышла. И сколько мерзла в улице!

Зырян прижал Ланюшку к сердцу, целовал в мягкие, пахучие волосы, грел собственным телом, и Ланюшка совсем обессилела. Если бы прогнал Зырян, до порога не дошла бы.

— Ланюшка, Ланюшка! Любовь-то моя, как в той песне про лучинушку. Если догорит, и я с ней догорю. Но ведь, кроме любви, у меня ничего нет. Мастеровые руки да горячее сердце. Не в цене мое богатство, сама знаешь. Да и в годах я; не парень, коль нога перенесла в четвертый десяток. А тебе двадцати нет. Тяжелу ты мне задачу

поставила, милая Ланюшка. И так верчу, и эдак, а концы с концами не сходятся. Укоришь потом: обманул Зырян, опутал. Легко ли?

— Не мне корить! Сама, сама пришла. Иль того мало? ... Так и вошел Зырян в дом к Лукерье Кругловой.

ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ

I

«Милостию божьей» заголосила вся деревня от стороны переселенческой до кержачьей.

Заглянула беда и к Боровиковым на покос...

День выдался погожий, солнечный.

Боровиковы только что собрались на обед возле стана, как Меланья заметила верхового. Пригляделась и ойкнула.

— Тятенька, урядник едет.

Прокопий Веденеевич обернулся как ужаленный.

— Едет, проклятуций!

Филя, развалившись возле телеги в прохладке, зевнул во всю пасть:

— За Тимохой, должно. — И опять зевнул.

На гнедом рысаке, выпячивая грудь, размеренным шагом подъехал к стану урядник. От надраенных пуговиц отражались лучики, и пуговицы сияли, как золотые десятирублевки. Ухватившись за облучок казачьего седла, урядник тяжело перекинул толстую ногу, спешился. Кинул ременный чембур подростку-копневщику и, важно поддерживая рукою саблю, отдуваясь, пожелал божьей помощи обедающему Прокопию Веденеевичу.

— Про манифест государя императора слышали? Старик развел руками: знать ничего не знаем и слухом не пользовались.

— К вам же приезжал десятник на той неделе?

— Не видывали, Игнат Елизарович.

— Хм! — хмыкнул Игнат Елизарович и, как бы играючи стегнул нагайкой по босым ногам курносого копневщика! Парнишка взвизгнул, подпрыгнул и кинулся бежать. — Ха-ха-ха! Как он

завострючился, хохленок! Так бы их всех, поселюгов. Визжит, да бежит. Фу, какая жарница! Нет ли у вас воды?

— Меланья! Живо мне! — погнал невестку Прокопий Веденеевич, приглашая урядника присесть на телегу. К обеду пригласить не мог: грех будет. Урядник-то рябиновец.

— Не слышали? Так вот поясню: кайзер Вильгельм, как он есть прохвост и сукин сын, а так и по дальнейшим делам своим, какие навывторял в других государствах-царствах, как во Франции, к примеру сказать; наш государь император, восполняя воссочувствие, объявил кайзеру войну до полного изничтожения. Аминь, — перекрестился урядник.

Филя, отвалив голову набок, добросовестно слушал, поражаясь, до чего же грамотящий и начитанный «государев человек».

Меланья принесла с речки воды в ковшике, урядник с удовольствием выпил, смахнул капельки с усов и, оглядевшись, спросил:

— А где ваш ссыльный? Не сбежал?

— В деревню умелся, — ответил Прокопий Веденеевич.

— По какой такой причине?

— Не по нраву пришлась хрестьянская работушка.

— Эге! Прижимать надо, Прокопий Веденеевич.

— Отрезанный ломоть к буханке не прижмешь, Игнат Елизарович. То и с Тимохой.

— Он, может, не Тимоха, а чистый оборотень, — вставил свое слово Филя. — Ежли бы это был Тимка, какого я ишло помню, разве он кинулся бы с кулаками на тятю?

— Молчай, Филин.

— Чо молчать-то?

— Эге-ге-ге! С кулаками налетел? — подхватил урядник. — Я про што толковал? Пороть, пороть надо!

— Так тиснул, так тиснул тятеньку, как сохатый.

— Молчай, грю, нетопырь! — пнул ногою в зад Филе отец. И к уряднику: — Затмение на парню нашло, ну и полез с кулаками, варнак. Известно: без родителя возрос в городе анчихристовом. Всему научился.

— Погоди, Прокопий Веденеевич. Ежели это так произошло, што, значит, Тимофей тиснул, как сохатый, то за такое употребление силы,

говору, существует мера пресечения, дозволенная по месту отбытия ссылки преступником. А именно: порка. Без телесного наказания, а как проучение, чтоб держал себя по предписанию.

— А я грю, не трожьте парня!

— Укрывательство, — проворчал урядник. — Ну, да мы еще разберемся с Тимофеем. И ты, Филимон, не спущай. Подскажи старосте: меры примем. А теперь, как есть ты в полной сознательности, покажи другим, как надо держать голову, когда сам государь призвал тебя к защите отечества от поганых немцев. И чтоб вернулся ты в Белую Елань при выкладке георгиевского кавалера. Чтоб кресты и медали обложили всю грудь. Во! — И урядник выпятил грудь, вообразив, что она усеяна крестами и медалями. — Собирайся, поедем на сборный пункт.

Филя некоторое время соображал, чего от него требует урядник, и когда наконец дошло, то чуть не упал с телеги.

— Дык-дык моя... какая... воля... дык... дык, — тыркался Филя, двигая по телеге толстым задом.

— Запрягать надо. Поедем.

— Куда, тятенька? — У Фили на лбу градинами покотился пот.

— Чаво ерзаешь по телеге? Ставай! Эй, поселюги, живо ведите лошадей!

Копневщики побежали за лошадьми.

— Ма-а-а-тушки-и-и! — залилась Меланья, качая на руках девчонку.

У Фили от жалости к самому себе брызнули слезы и капля за каплей потекли по толстым пунцовым щекам.

Прокопий Веденеевич сам заложил Буланку, собрал на телегу пожитки из стана, прогнал копневщиков пешком в деревню и, усевшись на телегу, не обращая внимания на вой Меланьи и хныканье Фили, тронул вожжами. Каурка на привязи у дуги рвался вперед, оттесняя Буланку с дороги. Урядник посоветовал Филимону сесть верхом на Каурку и мчаться в деревню вместе с ним.

— Не к спеху, Игнат Елизарович. Так доедем, — шевелил вожжами старик.

Веснушчатая худенькая нянька прижалась к лагушке в задке и все глядела, как браво держался в седле упитанный урядник.

Телега мерно катилась по дороге, не встряхивая на ухабах. Солнце жгло в затылок уряднику; от дремы смыкались веки.

— Шевели, Прокопий Веденеевич!

— Ничаво! Поспеем. У меня не табун. Не погонишь в хвост и в гриву.

Урядник не выдержал, опередил телегу, предупредив, чтоб Филимон в два счета собрался и незамедлительно явился в сборню.

— Не жди десятников, Филимон. Слышь? — крикнул урядник и пустил рысака вскачь.

Некоторое время ехали молча.

— Тятенька!

— Молчай!..

— Дык... ерманец-то... Вильгельма... разве помилует? И... вера наша — разве можно за царя-то с винтовкой?

Прокопий Веденеевич не слушал: свои думы одолевали.

Как только переехали мостик через ключ, он остановил Буланку, спросил у няньки:

— На коне верхом ездила?

— Ездила, дедушка.

— Слезай тогда. Посажу тебя на Каурку, мчись домой к Степаниде Григорьевне. Скажешь: пусть собирает Филимона на войну. Кружка, ложка, провизия на три дня, бельишко, то, се.

— Тятенька-а-а-а! Помилосердствуй! — утробно затанул Филя, глядя мокрыми глазами, как нянька усаживалась на Каурку.

— Мужик ты аль баба мокроглазая? — крикнул Прокопий Веденеевич. — Што ты воешь, кобелина сытая? Замолкни сей момент.

Филю бросило в холод.

«Убьет ерманец, не видеть тогда белова свету! — И даже борода Филя будто потемнела. — Другим солнышко посветит, а мне могилушка ерманская. Захоронют во чужой земле без креста, без песнопенья. И зачем я токмо на свет народился эким разнесчастливым!»

И свет, полуденный, солнечный, припекающий тугой загревок, казался сейчас таким необыкновенным, что Филя никак не хотел с ним расстаться, вцепившись руками в телегу. Одно сообразил: на войну — значит, гибель будет без промедления.

Нутряное подвывание Филя переворачивало душу.

«Экий мешок, а? — морщился отец. — Чудище телесное. Ни веры в нем, ни какого другого потребности, окромя дикого мяса. И в кого он экий уродился?»

И вспомнил Прокопий Веденеевич, что Филю Степанидушка зачала в тот год, когда Елистрах — старший брат Прокопия, пытался прибрать к рукам дом и хозяйство. Прокопий Веденеевич до того перепугался, что денно и ночью творил молитвы. Потом единоверцы-филаретовцы заступились за читчика ветхой Библии, и Елистраха выжили из деревни.

«Мне бы в ту пору не молитвой, а силой надо бы потягаться с Елистрашкой. Одолел бы я его, холерского, и дух мушчинский вошел бы в Филю».

И еще припомнил старик, как он воевал с рябиновцами-юсковцами за тополевы толк. В тот год Степанида принесла Тимофея...

«Отчего ж Тимоха отошел от всякой веры? Как сие свершилось? Иль я не разумею того, во что уверовал Тимоха?»

Такую мудреную загадку растолковать не мог.

Прокопий Веденеевич остановил Буланку, огляделся. Кругом ни души. Справа — зеленый дым Лебязьей гривы...

— Ну, слазь!..

Филя поспешно сполз с телеги.

— Ступай гривой к яме, где лонись деготь гнали. Там хоронись до завтрашней ночи. Ночью подойдешь поймою к тополю. Буду ждать. Ружье дам, провьант, новые бахилы, однорядку с опояской, полушубчик прихватишь, хлеба дам — и дуй в глухомань к пустынноку Елистраху. К дяде, стал-быть. Тропа одна — по распадку Тюмиля. Помнишь? Поклонишься дяде честь честью и будешь спасать душу, пока хлещется война. Становись на колени, благословлю.

Филя бухнул на колени и молитвенно сложил крестом лапы на груди, распирающей холщовую рубаху. Отец размашисто и сердито перекрестил лохматую, нечесаную голову новоявленного божьего пустытника, бормоча что-то во славу пророка Исаяи.

— С богом!

Филя вовремя вспомнил:

— Хлебушка надо бы взять, тятенька. До завтрашней ночи дневать надо.

— Бери.

Филя запустил руки в мешок и вытащил оттуда здоровенную ржаную ковригу, а заодно прихватил кружку и добрый кусок сала. На Меланью и не глянул — будто ее и не было рядом, хоть она и тянулась к нему. Чесанул в лес, только спина мелькнула между деревьями.

Меланья хныкала, сморкалась в подол. Скрипело переднее колесо телеги. В задке гремела пустая лагушка.

На большаке стороны Предивной — народищу, как в храмовый праздник. Как вода Амыла кипит и клоочет подо льдом, так глухо стонала улица. В голос ревели молодухи, бабы, а возле сборни, через три дома, — тьма мужичьих спин.

Прокопий Веденеевич остановил Буланку и долго глядел в сторону сборни. Мимо шли мужики, здоровались. Один из Лалетиных, единоверцев, старик с белой бородой в полтора аршина, подошел к Прокопию Веденеевичу, разговорился.

— Ерманец-то силен, леший! Перещелкает мужиков, как соболь орешки. Филю твою забирают?

— Ерманец-то силен, а бог, он ишшо сильнее. Кабы веру блюсти, мужики не шли бы на войну анчихристову.

— Оно так, Прокопий Веденеич. Дык Расея же. Оборонять надо.

— Наша Расея в боге, а не в сатанинском сборище, Андроний Варфоломеич. От нечистого обороняться надо денно и ночью. От него вся муть и колобродство.

Андроний Варфоломеевич осенил себя малым крестом: согласен с праведником Прокопием.

II

Не успел он подвернуть Буланку к собственной ограде, как из калитки вышел Тимофей со своим деревянным ящичком, в черном суконном пальто, а следом за ним — растрепанная причитающая Степанида Григорьевна...

— Т-и-и-и-и-и-мушка-а-а! — тянулась мать к сыну. — Не уходи же, голубок мой, зорюшка моя!.. Чем не потрафили тебе, Тимушка-а-а? Отец, отец, гли, Тима уходит кватрировать в дом каторжанина Зыряна. Скажи ему, скажи!

Через дорогу плотники строили дом Санюхе Вавилову. Трое мужиков вкатывали по слегам обтесанное бревно.

Прокопий Веденеевич кинул вожжи Меланье, сполз с телеги и шагнул навстречу Тимофею. Тот остановился.

На какой-то миг столкнулись глазами и — ни слова друг другу. Свершилось нечто такое, очень важное, поворотное, когда ни кулаками, ни родительской властью ничего не поделаешь. Будто сошлись с глазу на глаз два века — минувший и новый, умудренный опытом и начинающий жить. И, глядя друг другу в глаза, не признались в родстве. Оставалось одно — разминуться. Но старик не хотел просто так, молча, уступить дорогу сыну.

«Одно к одному — крепость веры рушится», — успел подумать отец.

— Так будет лучше, отец, — хмуро проговорил сын. — Жить в таком затмении, как у вас, не могу.

— Затмение, гришь?

Лохматые брови старика переломились, как прутья, выкинув вверх стрелки по вискам, как у Филина.

— Ты... ты... про какое затмение?

Тимофей шагнул в сторону; отец наплыл на него, как туча на солнце.

— Сказывай!

Раздувая ноздри, распаяясь, Прокопий Веденеевич враз вспомнил, каким отрешенным чужаком заявился в дом блудный сын и как он, отец, милостиво принял его и не растянул на лавке, чтобы проучить ременным гужем, и сын не вразумел его родительской милости, а еще бросился на него на покосе, и что, может быть, Тимофей — вовсе не сын, а оборотень, нечистый дух. «Сатано, сатано!» — наслаивалась злоба.

— Вдохни в меня благодать, господи! Прозрей глаза мои, просвети душу мою! — воздел руки к небу Прокопий Веденеевич. — Спаси мя от наваждения нечистого духа. Исполню волю твою!

Степанида Григорьевна, мелко и часто крестясь, попятилась к калитке. Меланья съезжилась на телеге; в одной руке продегтяренные вожжи; в другой — Маня, сучит ножонками в мокрых пеленках. Из калитки пестрыми комьями выкатились собаки и, навинчивая

баранками хвостов, подкатились под ноги Прокопия Веденеевича. Тот пнул их, и они, визжа, отлетели.

— Господи! Твердыня мя, прибежище мое, избавитель мой от анчихристовой скверны, входни в мя благодать разумения! Уповаю на тя, господи, щит мой, рог спасения моего; бог мой — скала моя!..

— Што вы, в самом деле? — пробурчал Тимофей. — Не тяните ваши молитвы, я все равно в них не верю. И жить в такой дремучести, как вы живете, нельзя в дальнейшем.

У Прокопия Веденеевича вспухли связки вен на жилистой черной шее, озноб прошел по спине.

— Пра-а-клина-а-аю, сатано! — ударило на всю улицу, как гром. — Изыди, изыди! — И отец харкнул в лицо сына, как в нечистого духа. — Тьфу тебе, сатано! Тьфу! Оборотень! Изыди, изыди, во имя отца, и сына, и святого духа, аминь! С нами крестная сила. Пред чистым небом, пред всей живностью заклинаю тебя, нечистый дух. Тьфу, тьфу! Да исполнится воля твоя, господи. Изыди, изыди. И штоб гнало тебя по земле, нечистый дух, как прах, от века до века. Тьфу! тьфу! Аминь, аминь, аминь...

Тимофей бежал вдоль большака стороны Предивной, а вслед за ним бухал броднями отец и плевал ему в спину, крича на всю улицу: «Сатано, сатано! Изыди, изыди!..»

Тимофей забежал во двор Зыряна, споткнулся, упал, ящичек раскрылся, и оттуда вывалились две или три тоненькие книжки, рубаха и какие-то камушки — подобрал на Енисее. Оглянулся; к ограде сбежался народ со всей улицы и от сборни. Отец истошно призывал единоверцев изгнать из деревни исчадие ада, оборотня.

Дом Зыряна прятался в зарослях черемуховых кустов.

На крыльцо выбежал Зырян — приземистый, рыженький, а за ним — девятнадцатилетний сын Аркадий и квартирант Мамонт Головня в черной косоворотке.

У Тимофея стучали зубы, и он, озираясь по сторонам, не знал куда сунуться. Отец! Родной отец!

— Верующие во Христа-спасителя! — гортанно клокотал Прокопий Веденеевич. — Смотрите, смотрите, сатано меж нами!.. Нечистый дух опеленал нас, яко овнов неразумных, штоб погубить в геенне огненной!.. Погибель, погибель будет от нечистого духа! Гнать надо, люди!

Возле ограды Зыряна — тьма ревучая.

Плечом к плечу у резного крыльца сомкнулись трое — Зырян, Мамонт Головня и Тимофей.

Из сенных дверей выглядывала Лукерья Петровна. На крыльце — Аркадий, такой же рыженький, щупловатый, как и отец.

— Робята, худо дело, — первым опомнился Зырян, глядя, как черная, глазастая, многоликая толпа плотно прильнула к тесовому заплоту ограды.

— По бревнышку разметать анчихристово гнездо! — орал Прокопий Веденеевич. — Доколе терпеть, люди, нечистую силу?

— Эх, револьвер бы мне!

— Што ты, Мамонт Петрович? Уходить надо, говорю, — топтался Зырян. — Аркадий, ступай в дом с матерью. А ты, Мамонт Петрович, валяй с Тимохой в пойму.

— Едрит твою в кандебобер, штоб я отступил перед космачами! — выругался Мамонт Петрович. — Дай-ка мне, Зырян, топор! Тетя Ланя, кинь топор!..

Тесовые ворота треснули и раскрылись на две половинки. Клокочущим потоком хлынула во двор толпа — мужчины и женщины, молодые и престарелые, и все плевались, открещивались от нечистой силы, надвигаясь на Тимофея и Головню. Зырян тем временем вместе с сыном и с Лукерьей Петровной скрылся в сенях. Слышно было, как гремели запоры.

Головня и Тимофей отступали в глубь двора к коровьему хлеву. Тимофей куда-то закинул свой ящичек. Головня успел вооружиться дубиной.

— Пулемет бы нам, Тимоха, — скрипнул зубами Головня.

— Бейте их, анчихристов! Бейте! — кто-то резко и надрывно подкинул в толпу. И в тот же миг в Головню и Тимофея полетели палки, комья земли, камни, столярные заготовки Зыряна. Осажденные не успевали увертываться. То камнем попадут, то палкой. Тимофею угодили в голову. Струйка крови, как пеленою, затянула глаз. Дряхлая старушонка Мандрузиха, вооружившись палкою, лезла вперед, пыхтела, широко разевая беззубый рот. Со всех сторон несло: «Анчихристы! Сатаны! Безбожники!»

Тимофея сбили с ног. В волосы ему вцепились чьи-то пальцы, как зубья деревянных граблей, царапали кожу, будто хотели содрать ее с

черепа. Пинали ногами в спину, в бока. И крик, крик! В сто глоток. «Ребра ломают», — бодал лицом землю Тимофей, теряя сознание. Что-то тяжелое и мягкое навалилось на него и гудело, гудело.

Бабы схватили Головню за ноги, стянули сапоги, а удержать не хватило силы: уполз в хлев.

И опять кто-то из мужиков подкинул в толпу:

— Громить гнездо каторжанина!

Тимофей не слышал и не чувствовал, как груда тел, навалившихся на него, зашевелилась и отхлынула, как волна от берега. Рядом с Тимофеем осталась лежать недвижимая, притоптанная бабка Мандрузиха.

К Зыряну ломились в сени, били окна и рамы, только стекла звенели. Разворотили крыльцо, раскидали по плашке, кто-то вопил во всю глотку, чтоб подпустить огня.

— Жечь, жечь каторжанина!..

— Сусе Христе! Сусе Христе!..

И, кто знает, может, поджарили бы Зыряна, если бы не подоспел урядник Юсков. Раздались выстрелы. Бах, бах, бах!!! И голос урядника загремел на всю ограду:

— Р-р-р-р-а-а-азайдись, гря-у-у-у! Р-р-р-р-ра-а-а-зай-дись!..

Ш

Толпа беспорядочно отступила. Первым убежал Прокопий Веденеевич, ошалелый, как шершень. Жужжа себе в бороду, не оглядываясь по сторонам, влетел во двор, не закрыв воротца калитки, поспешно крестясь, поднялся на крыльцо, шмыгнул в сени, как вор, передохнул минуту и ввалился в избу.

Степанида Григорьевна завывала во весь голос:

— Ти-и-мо-о-ошенька-а-а! Мил мой сыночек!.. Спаси тебя богородица пречистая!.. Внемли слову моему!.. Тимошенька-а-а!

Прокопий Веденеевич спрятался в моленную горницу.

Тем временем со двора Зыряна вынесли мертвое тело старухи Мандрузихи. Босые ноги старушонки волочились по земле.

— Зырян, тащи воды! — кричал урядник.

Сын Зыряна притащил ведро воды и вылил на Тимофея. Рубаха на Тимофее разорвана в клочки. На спине кровавые полосы. Правое ухо

заплыло кровью.

— Изувечили парня! Ни за што ни про што, — жалела Лукерья Петровна.

Тимофей тяжело застонал, силясь приподняться. Левый глаз затек и опух. Правым, подбитым, разглядел урядника:

— А-а!.. В-ваше... б-благородие!.. Р-ребра ломали? Это вы умеете!.. — и опять уронил голову.

Суматошной птицей через поваленную ограду влетела Дарьюшка в цветном платье и, не взглянув на дядю-урядника и на всех, кто стоял возле Тимофея, бросилась к возлюбленному, заплакала, приговаривая: «Тима, милый, што с тобой сделали? Тима, ты слышишь меня?» Ее черпая коса скатилась на окровавленную спину Тимофея, как толстый жгут. Урядник, вытаращив глаза, воззрился на племянницу с таким недоумением, точно ему в рот заехали оглоблей.

— Милый мой, муж мой! — твердила Дарьюшка в исступлении. — Што они с тобой сделали!

Урядник, подхватив рукою шашку, побежал к брату Елизару Елизаровичу. Мыслимое ли дело: дочь Елизара кинулась на шею смутьяну-сицилисту и громогласно назвала его милым мужем. Брат Елизар от такой неожиданной напасти непременно лопнет иль насмерть прибьет Дарью. «Экое круговращение происходит! — соображал Игнат Елизарович. — С одной стороны, Авдотья с ума сошла — в побег ударилась от мужа; с другой стороны — Дарья. В кою пору они успели снюхаться?»

В воротах столкнулся с бабкой Ефимией. Опираясь на палку, горбясь, она шла к Зыряну. Урядник глянул на нее, догадался: «Не иначе как эта ведьма свела их. Поджечь бы ее вместе с гнездом!»

Зырян и еще два мужика помогли Тимофею подняться и повели в дом. Под ногами хрустели стекла, валялись обломки крестовин рам.

Тимофея провели в горницу и усадили на стул. Лукерья Петровна достала чистый рушник, налила воды из самовара обмыть лицо Тимофею. Сын Аркадий взялся прибирать щепы от рам. Дарьюшка будто прилипла к Тимофею.

— Тима, ради бога, сбежим. Не жить нам здесь. Хоть бы куда скрыться, — шептала она.

— Теперь видишь... какое надо мною... небо! И какие падают миллионы, — вспомнил Тимофей, силясь улыбнуться. — И все

папаша, космач!.. Сатану изгонял, оборотня.

Зырян и мужики пошли искать Головню. Нашли в хлеву. Избитый и помятый, босоногий, по пояс голый, Мамонт Головня забился в угол хлева и тяжело, утробно рычал, как пораненный лось. Как его ни упрашивали, не вылез из хлева.

— Идите отсюда! Идите! — гудел он. Так и остался сидеть до поздней ночи.

Бабка Ефимия осмотрела голову Тимофея, пробитую камнем на затылке, и сказала, что надо найти чистого спирта, чтоб обезвредить рану и перевязать.

— Сбегай, ласточка, ко мне, возьми там у Варвары бутылочку, — попросила Дарьюшка.

В горницу заглянул Зырян.

— Сам Елизар Елизарович идет!

— Прибьет он меня, — испугалась Дарьюшка.

Зырян вышел из горницы и закрыл за собою флиенчатую дверь. Трое мужиков поспешно отошли в сторону.

Подобно буре ворвался Елизар Елизарович с братом-урядником. Остановился у порога и, пригнув голову, уставился на хозяина. Чуть не под потолок ростом, громадища, в суконной поддевке нараспашку, до того пунцовый от злобы, что его черная кучерявая борода словно обуглилась.

— С-с-сволочи! — бухнул Елизар Елизарович.

— Это што же, Елизар Елизарович, заместо «здравствуй»? — спросил Зырян.

Ответ не заставил себя ждать. Елизар Елизарович схватил Зыряна за грудки.

— Каторга!.. Ты!.. Я вас в пыль!.. В потроха!.. — оттолкнув в сторону Зыряна, схватил стул и ударил его об пол так, что он разлетелся в щепы. В этот момент из горницы вышла Ефимия.

— Где она, тварь? Где она?! — озирался Елизар Елизарович.

Бабка Ефимия подняла двоеперстие.

— Опамятуйся, ирод! Рок, рок, рок висит у тебя над головой. Ты што вытворяешь? Аль погибель чуешь?

— Ведьма! — рыкнул урядник.

Елизар Елизарович молча отстранил старуху и, пнув ногою флиенчатую дверь, ввалился в горницу. Дарьюшка успела выпрыгнуть

в окошко.

Лукерья Петровна стояла возле Тимофея с рушником.

— Этот Боровиков?!

— Он самый, — отозвался урядник.

— В зятя метишь, варнак?! — процедил сквозь зубы Елизар Елизарович, брезгливо глядя на Тимофея. — Я тебе устрою свадьбу, проходимец!.. Я тебе!.. А где она? Где?! Ищи ее, Игнат! Ищи!

— Кого ищешь-то? — спросила Лукерья Петровна.

— Сводней заделалась, каторжанская шлюха!

Бабка Ефимия успела протиснуться в горницу и опять подняла перед носом взбешенного Елизара Елизаровича крючок двоеперстия:

— Зри, зри, ирод! Не минешь погибели. Что ты навыворачивал с Авдотьей? За кого выпихнул замуж? За мешок денег? Несмышленную белицу выдал за перестарка вора приискового? За Урвана? Сама дойду до губернатора, в тюрьму пойдешь за изгальство над Авдотьей и за казнокрадство в Монголии и в Урянхае. Все, все ведомо мне!

Кто-то с улицы крикнул в оконную нишу без рамы:

— Елизар Елизарович! Дарья побежала улицей в пойму! Бабка Ефимия перекрестилась:

— Знать, топиться побежала. Ну, Елизарка, если погубишь Дарью, оглянись: за спиною свою смерть увидишь.

Тонконосое лицо Елизара, пышущее огнем, перекошилось. Что-то пробормотав себе в черную бороду, он попятился из горницы.

Урядник задержался в избе.

— Вот к чему привело твое безбожество, Зырян, — топча битые стекла, подвел итог урядник. — Кабы я не успел, сожгли бы дом, определенно!

— Нам гореть вместе, господин урядник, — намекнул Зырян на соседство.

IV

Дарьюшку перехватил в пойме Малтата подручный миллионщика Юскова, казачий сотник Потылицын — худощавый, в кителе без погон, в пропыленных хромовых сапогах, черноволосый, с чубом на левый висок и длинноногий, как аист.

Это ему кто-то из зевак крикнул, что Дарьюшка убежала в пойму, и он, не теряя времени, пустился следом за дочерью миллионщика, нагнал ее на тропке к Амылу и схватил за руку.

— Опомнитесь, куда вы бежите? — спросил он, запыхавшись. Дарьюшка взглянула ему в потное лицо, вырвала руку. — Прошу прощения... В отчаянье люди теряют голову, и это плохо, видит бог.

— Плохо? — сузила ноздри Дарьюшка, словно принюхиваясь к нему. — А вам-то что? Оставьте меня в покое.

— В покое? — подхватил Потылицын. — А есть ли он, покой? В покое люди не совершают безрассудства. А вы безрассудно кинулись к уголовнику, назвали его мужем. Да что вы, Дарья Елизаровна! Я не могу поверить, видит бог.

Дарьюшка презрительно скривила губы.

— Семинарист! — бросила словно камнем. Потылицын потемнел, губы его сжались в упрямую и твердую складку. Да, он побывал в шкуре семинариста... Разве не он бежал оттуда, чтобы поступить в офицерскую казачью школу? Блестяще закончил ее. И разве не он был в Средней Азии на усмирении взбунтовавшихся инородцев? За что произведен в хорунжий, а потом в сотники. Со временем он стал думать о том, чтобы расстаться с офицерским мундиром и стать капиталовладельцем, подручным у миллионщика Юскова.

Но кому ведом день грядущий! Разве он не ждал, когда же наконец Дарья Елизаровна закончит гимназию, а он тем временем, снискав расположение Елизара Елизаровича, женится на дочери миллионщика и войдет в большое дело! И он шел к своей цели с упрямством, шаг за шагом, и вдруг — такие вести: Дарья Юскова связалась с политическим ссыльным Боровиковым! И это в те дни, покуда Потылицын с Юсковым занимались делами в Урянхайском крае. Было от чего потерять голову: враз рушились все надежды...

— Да, я был семинаристом, — ответил Потылицын, — и в том нет ничего постыдного, Дарья Елизаровна... Но я бежал из семинарии, когда узнал, что не в поповском облачении пристанище и откровение господне, а в нашей суетной жизни. И в этой жизни, не дай-то бог, испачкать душу грязью социалистов.

— Да-а-а-арья-а-а-а! — трубно загудело чернолесье. Дарьюшка встрепенулась, как ветка от порыва ветра, кинулась бежать, но Потылицын схватил за руки:

— Опомнитесь! И сей день не без завтрашнего. Минует гнев отца.

— Как вы смеете! Пустите! — вырвалась она.

— Я смею малое: удерживаю от безрассудства. Амыл бурлив, и воды его бездне подобны.

— О боже! Какой вы... гадкий, гадкий семинарист!

— Сейчас я сотник, Дарья Елизаровна! Но, видит бог, если бы я мог спасти вас от скверны безбожного социалиста...

— О, я помню вас, Григорий Андреевич! И ваши любезности, да не нужно мне ваше внимание. У меня своя жизнь. И не вам судить о социалисте-безбожнике. Я жена его.

Потылицын отшатнулся, но продолжал сжимать ее руку.

— Само бы небо опрокинулось на вас, если бы это была правда! Во гневе сказано это, Дарьюшка. И пусть никто другой не слышит...

А по чернолесью катилось:

— Да-а-арья-а-а!

— Пустите же, пустите! Ради бога, пустите.

— Немыслимое просите, Дарья Елизаровна. Повинуйтесь, и отец смилостивится, и я помогу в том.

Послышались бухающие шаги; подбежал дядя Дарьюшки, Михаила Елизарович, у которого когда-то в работниках служил старый Зырян и получил в награду «полосатую зебру», следом за Михайлой — второй дядя Дарьюшки, Игнат Елизарович, а потом и сам Елизар Елизарович.

Отец подступил к дочери, остановился, раздувая ноздри. Глаза огонь мечут, горят, как у волка в зимнюю ночь. Пот течет по вискам, теряясь в кудрявой черной бороде.

— Так, доченька... Гимназистка с серебряной медалью! Гляди в глаза, тварь в длинном платье! Оборони бог, скажешь неправду: убью. Кого назвала мужем, сказывай?

Дарьюшка сложила ладошки на упругой девичьей груди, замерла. Лицо как снег, и губы посинели, точно она промерзла до костей. В ее расширенных глазах — и жизнь, я предверие самой смерти. Она неотрывно глядела в пунцовое, бородатое лицо, но ничего не видела.

— Стыдно, Дарья! Опосля гимназии-то! — позорище на всю Белую Елань, — шипел сквозь зубы урядник. — Подо мной земля горела, когда ты кинулась к прохвосту Боровикову. Кто он, имеешь понятие как по законоуложению, так и по жизненности? Варнак и

разбойник-сицилист! Такого бы в тюрьме гноить надо, а ты кинулась ему на шею: «Муж мой! Муж мой!» Мыслимо ли?

— Судьба свела нас, — тихо, как шелест черемуховых листьев, промолвила Дарьюшка.

— Р-р-р-а-аз-о-р-ву! — рывкнул Елизар Елизарович. И разорвал бы, да пудовый кулак брата успел перехватить Михайла Елизарович, и сам едва устоял на ногах.

— Миром надо, Елизар, миром, — басил Михаила. — Потому, сила на силу — беда будет. А ты — миром, миром...

— Где свиделась с проходимцем? — еле передыхнул отец.

— Давно, папаша, — как в забытьи ответила Дарьюшка.

— Как так давно? В Красноярске? Где? Ответствуй!

— Давно, давно... В подготовительном классе читала Некрасова — печальника русского народа. И он меня, великий Некрасов, сроднил с Тимофеем.

— Какой такой Некрасов? Подпольщик, или как?

— Поэт он был, папаша... Урядник заинтересовался:

— В каком понятии — поэт?

— Верованье какое? Из татар, может?

Дарьюшка не успела ответить. Снова грохнул папаша:

— Отвечай! Где свиделась с разбойником?

— Он не разбойник...

— Молчай, сучка! Ответствуй!

— О боже!..

— Где свиделись?

— У бабушки Ефимии...

— Я так и знал! — охнул урядник. — Не стало никакой жизни из-за этой ведьмы. Под фамилией нашей проживает, как вроде сродственница, а никакая не сродственница. Когда же она издохнет!

— Я ее... Я ее... — зашипел Елизар Елизарович. — Р-разорву! В распыл!

— Зловредная старушонка, — поддакнул Михайла Елизарович.

— Ведьма сосватала? Спрашиваю! Дарьюшка глубоко вздохнула:

— Не вините бабушку Ефимию, папаша. Судьба свела меня с Тимофеем Прокопьевичем...

— Судьба свела? — у Елизара Елизаровича пена выступила на губах. Братья — Игнат и старик Михайла, как по уговору, стали

плечом к плечу, чтоб в случае чего заслонить Дарьюшку. Сотник Потылицын чуть отступил в сторону и шептал: «Боже Саваоф! Обрати свой взор, укроти ярость зверя! Воссияй лицом твоим, и спасены будут!»

Но никто не мог укротить ярость зверя.

Но как же она была хороша, Дарьюшка!.. Лицо ее с высоким лбом, чуть вздернутым носиком, упрямо вскинутым подбородком и круто выписанными черными бровями казалось спокойным, предельно чистым, как улыбка младенца; ее белая высокая шея будто вытянулась, и резко выделялся воротничок платья. Тонкая, подобранная, отточенная, как веретено, она стояла среди космачей, как удивительный цветок, и тянулась к солнцу.

Сотник смотрел на рдеющую щеку Дарьюшки, на ее просвечивающее на солнце розовое ушко, и ему стало не по себе. Он готов был упасть перед ней на колени, целовать землю под ее ногами в шагреневых ботиночках.

— Судьба? Я дам тебе судьбу и мужа дам!

И, метнув взгляд на Потылицына, торжественно возвестил:

— Ты ее поймал — твоей будет, сотник! Возьмешь? Дарьюшка быстро, через плечо, оглянулась на сотника:

неужели посмеет?..

— Али брезгуешь, ваше высокоблагородие? — набычился Елизар Елизарович. — Не без приданого получишь гулящую сучку. Паровую мельницу на Ирбе отдам, и в дело войдешь сопайщиком. Ну?

— За честь почту, Елизар Елизарович. Но...

— Што-о-о? Не перевариваю! Сказывай: берешь или нет?

— Я бы... Видит бог, счастлив, Елизар Елизарович... Дарьюшка откачнулась.

— Подлец! — только и ответила.

— Молчай!

— Папаша...

— На колени! Сей момент благословлю. И — с богом. Свадьбу справим на всю губернию.

— Нет, нет!

— На колени, грю! На колени!

Потылицын опустил на колени; Дарьюшка кинулась к дяде Михайле:

— Дядя, ради всего святого! Дядя! — молила она, обхватив руками вислые его плечи. — Пощадите! Я... я жена Тимофея.

И в ту же секунду отец стиснул Дарьюшке горло. Голова ее запрокинулась. Потылицын, прикрыв ладонью глаза, пошел прочь. Братья с трудом разняли руки Елизара Елизаровича. Дарьюшка свалилась на шелковистый подорожник. Михайла вздохнул:

— Убивец ты, Елизар. Убивец... Урядник и тот перетрусил:

— За смертоубийство... как по законоуложению... каторга...

Елизар Елизарович рванул ворот шелковой рубахи — перламутровые пуговицы посыпались. Плечи обвисли, и он, не помня себя, шагнул на куст черемухи, остановился рыча:

— Господи, да што же это, а? Одну гулящую со двора прогнал, другая гулящая на всю губернию ославит. Да што же это, а?

Дядя-урядник помог Дарьюшке подняться. Дарьюшка глянула в синь неба. Прямо над нею бился жаворонок. Кругом тишина, дрема чернолесья, шелковистая трава под ногами, а возле куста — отец-зверь, не ведающий ни жалости, ни милосердия.

Дарьюшку повел домой дядя-урядник. Шли не большаком стороны Предивной, а низом поймы.

Когда беспутную дочь водворили в дом, Елизар Елизарович вышел во двор с урядником.

— А ты вот что... этого ссыльного прохвоста... сей момент убери из Белой Елани. Хоть в преисподнюю, только подальше.

— Самолично доставлю в волость, — ответил меньшей брат.

— А, волость! Ты его вот што... вези в Минусинск. Сунь там кому следует, и — в дисциплинарный батальон. Понятно? Там ему поставят немцы крестик. И вот еще што. Про свалку во дворе Зыряна. Надо вызвать исправника. Провернуть можно как бунт против мобилизации. Как подрыв устоев государства.

Брат-урядник намекнул, что хлопоты по определению ссыльного Боровикова в дисциплинарный батальон не обойдутся без расходов. Тем более — дело щекотливое.

— Сколько тебе?

— К их высоким благородиям, Елизар, с малой подмазкой не подступишься. Тонко надо сработать. Заложу пару рысаков, я их там передам из рук в руки кому надо. Так и так рысаков отполовинят у

тебя. А ты сам пойдешь первым номером. Патриотично! Умеючи играть надо. Ну и тысячу в руки.

— Зоб! Не подавишься?

— Смотри, твое дело. Токмо прямо скажу: если у Дарьи с проходимцем завязался узелок, голыми пальцами не развяжешь.

— Бери рысаков и пятьсот на руки.

— С места не тронусь.

— Ладно, дам тысячу. Но помни!..

— Не беспокойся.

— Сейчас же в дорогу. Без всякого промедления.

— И это понимаю. Пока он не очухался, я его в тарантас и айда.

— Валяй.

— погоди. А как про Григория Потылицына? Если задумал выдать Дарью за Григория, то ставлю тебя в известность: Григорий должен явиться в казачье войско.

— Пусть едет. Вернется с войны — женится.

— Может и не вернуться. Война ведь...

Елизар Елизарович ничего не ответил. Позвал конюха, приказал заложить двух гнедых рысаков в тарантас на железном ходу.

Под вечер урядник подкатил к ограде Зыряна. Прошел в избу и сказал, чтоб сейчас же собрали в дорогу Тимофея Боровикова.

— Повезу в волость, — хитрил Игнат Елизарович. — Там фельдшер поглядит в больнице.

— Лучше ко мне отвези, — назвалась бабка Ефимия. — Не таких подымала со смертного одра. И Тимошу подниму.

— Не дозволено, — буркнул урядник, крайне недовольный. — Потому, если Боровикова оставить в деревне, всем гореть тогда! Прокопий Веденеевич соберет своих тополецев и учинят такой пожарище, какого свет не видывал. Слыхали, как он объявил, что Тимофей вовсе не сын ему?

Зырян понимающе усмехнулся. Урядник погрозил:

— Ты свою шкуру береги, Зырян! Прямо скажу: соседство мне твое не по нутру. Содержишь в доме ссыльных, разговоры с ними ведешь подрывного характера, передний угол без икон. На што похоже? На подстрекательство к бунту.

— Мое безбожество вас не касается, Игнат Елизарович.

— Как разговариваешь! — рыкнул урядник. — При исполнении должности сей момент загребу под пятки. Погоди еще! Выедет становой, разберутся, как произошла свалка. Тело подняли па твоей ограде. Как понимать надо?

— А так понимать, господин урядник, что вы сами дозволили смертоубийство. Когда старик Боровиков орал во всю глотку, вы где находились?

— Молчать!

На подмогу к Зыряну подроспела бабка Ефимия.

— На свою голову орешь, Игнашка! Ум у тебя, вижу, короче рыбьего хвоста, а глотка — шире ворот. Гляди!

— Скоро там, Боровиков? — крикнул урядник в горницу.

V

Вскоре в Белую Елань приехали трое из жандармского управления, что-то выпрашивали у раскольников-тополепцев, допытывались о бунте, который будто подняли ссыльные Головня и Боровиков. Дважды вызывали на допрос Прокопия Веденевича, но тот открестился от всех.

Головню вызвали на допрос ночью. И то, что кузнец держал себя перед жандармами чересчур свободно, возмутило ротмистра Толокнянникова.

— К-ак стоишь, морда? Харя! Я тебя научу держать каблуки вместе!

На что Головня ответил:

— У меня грыжа, ваше благородие, пятки не сдвигаются.

— Што-о-о? — выкатил кадык ротмистр. — Хахоньки? Р-р-р-аздевайся! Я тебя преобразую, харя! Привяжите его к лавке и пятьдесят горячих шомполов влупите ему в зад!

И, как того не ожидал Мамонт Петрович, трое казаков навалились на него, свалили с ног, стянули брюки, уложили на скамейку и раз за разом в две руки начали бить шомполами. Это было первое телесное наказание при закрытых дверях в сельской сборне.

Между тем в семье Боровиковых произошел неожиданный раскол: взбунтовалась Степанида Григорьевна. С того часа, как отец оплевал сына как нечистого духа, Степанида неделю ходила по дому сама не в

себе. Сколько кринок перебила. Возьмет в руки, упрется глазами в стену, вздохнет, а кринка бух об пол — только черепки летят. Дважды засыпала на красной лавке. Ночью прокинется ото сна, позовет сына Тимофея и зальется слезами:

— Тимошенька, мил-соколик, где ты? Жив ли? — и долго к чему-то прислушивается. — О господи, где же вера-правда? Куда прислонить голову? Не принимаю я лютой крепости! Не принимаю!

Меланья слушает причитания старухи, а у самой мороз по коже.

Когда приехали жандармы из города, Прокопий Веденеевич наказал, чтоб Степанида Григорьевна не смела выходить из дома. Но она сама явилась в сборню к жандармам.

Прокопий Веденеевич, поджидая супругу, встретил ее на крыльце.

Моросил дождичек. Мелкий, убористый, будто Просеиваемый сквозь частое сито. С карнизов крыльца струилась пряжа.

— Вернулась, толстопятая? Сей момент на колени! — гаркнул Прокопий Веденеевич. — И стоять будешь до утра. Епитимью на тебя накладываю.

— Не стану на колени пред тобой, Прокопий! — дерзко ответила Степанида Григорьевна. — Вся вина в тебе, я так и пояснила служивым людям. Изувечил ты Тиму, сына нашего. Умника. Нету в душе твоей бога, Прокопий. Сатано ты!..

— Ополоумела?! — У Прокопия Веденеевича округлились глаза и челюсть отвалилась. — Как смеешь говорить экое, а? На колени, грю!

— Не кричи, не стану. Дух во мне перевернулся: слово говорить буду. Прожила с тобою, Прокопий, тридцать лет, всякое видела, всего натерпелась, а более сил нет терпеть твоей крепости. Надумала уйти в скит. Там замолю, может, и твой и свой грех. Никогда я не веровала в тополевы толк, а смирилась, молчала. В том каюсь пред светлым ликом творца нашего. Вот, гляди, на мне рябиновый крест, которому молилась в доме родимого батюшки. Тайно от тебя сохранила крестик, ему молилась. С ним и в скит уйду. Одно прошу: отпусти тихо, без ссоры, без лютой. Молиться тогда за тебя буду.

Если бы на голову Прокопия Веденеевича упала крыша, то и тогда бы он не был так потрясен. Так вот откуда сошла напасть на род Боровиковых! Ехидна, рябиновка таилась подле Прокопия Веденеевича, срамница. Сделала вид, что приняла тополевы толк, а

тайно молилась на рябиновый крест, на котором нет изображения Иисуса Христа! Мыслимо ли такое святотатство?!

Мысли путались, вязались в узлы, а по рукам и ногам бессилие разлилось. Словно из Прокопия Веденеевича выцедили кровушку.

Степанида Григорьевна все-таки стала на колени.

— Молю тебя, Прокопий, отпусти тихо. Не прймай грех на свою душу. Не праведной верой живешь — дикостью. Доколе жить так можно? Кругом люди как люди, а у нас запоры от всех, раденья да молитвы. Дыхнуть нечем. Тускло, Прокопий! Свету надо, свету! Тимуто, сына, изувечил! Не грех ли? Верованье твое — сатанинское, не божеское.

— Слышишь ли ты?! — закатил глаза к небу Прокопий Веденеевич. — Ехидну, змею подколодную согрел подле груди своей, господи!

— Спаси тебя Христос! — Степанида Григорьевна поднялась и занесла ногу на приступку крыльца.

— Изыди!

— Дозволь пройти в избу, погляжу на внучку. Прощусь с Меланьей, с домом, с углами.

— Изыди, грю!

— Дай хоть одежду, рубль какой на дорогу. Хлебушка.

— Изыди, изыди! Таилась подле меня, ехидна, а молилась на рябиновый крест. Веру нашу попрала, нечестивка! Прокопий Веденеевич и сам себя честил, и епитимью наложил на дом со всеми домочадцами, а под конец махнул рукою, чтобы с глаз долой рябиновку.

— Настанет час, вспомнешь меня, Прокопий. По всему миру разнесу, как ты меня изгнал без куска хлеба. И Тиму вспомнишь.

Прокопий Веденеевич слетел с крыльца и в толчки выпроводил из ограды рябиновку-супругу, с которой прожил тридцать лет. Захлопнув калитку, привалился спиной на столб и долго стоял под дождем.

Степанида Григорьевна нашла пристанище у бабки Ефимии. Прожила дня три, отвела душу в разговорах и ушла из деревни. Куда, никто не ведал. Как капля воды упала в текучую воду и растворилась в ней.

Прокопий Веденеевич меж тем особо исповедовал Меланью, допытываясь, не таит ли она в своей душе веру дыр-пиков, из которых вышла? Меланья поклялась на кресте чревом своим, всем белым светом, что никогда не порушит тополевого толка и если даже умрет, то пусть ее захоронят по обычаю тополевецев — в лиственной колоде, а не в гробу из сосновых досок.

— Во всем ли будешь повинна, дочь? — пытал Прокопий Веденеевич.

— Во всем, батюшка.

— Помни то! Аминь.

Поднималась Меланья на зорьке, как только в моленной горнице раздавалось кряхтение свекра. Надо было и печь истопить, и обед сготовить, и трех коров подоить и отправить в стадо. Глянет другой раз Прокопий Веденеевич на сноху и диву дается: худенькая, опрятная, проворная, работала она за троих, не зная усталости. И все делала молча, без пререканий. Особенно удавались у Меланьи булки. Как испечет хлеб, сама булка в рот просится. И без подовой окалины, чем славилась Степанидушка, и без ожогов сверху. В меру подрумяненная, пропеченная, а в разрезе — ноздристая, будто вся наполнилась горячим воздухом. И девчонка Меланьи выдалась на редкость тихонькая. Белесая, как одуванчик, сиротка Анютка, внучка покойной бабки Мандрузихи, осталась в доме Боровиковых навсегда.

Филя таился в тайге у дяди Елистраха-пустынника и глаз не казал домой. Меланья редко вспоминала мужа, от которого не извела ни ласки, ни утех. Деверя Тимофея частенько видела во сне. Будто он был ее мужем и носил на руках, как малую девчонку, и пел ей песни. Такие сны пугали Меланью, и она боялась, как бы про них не проведал свекор...

VI

На шее Дарьюшки отчетно синели отпечатки отцовских пальцев. Если бы не дед Юсков, несдобровать бы ей — убил бы бешеный Елизар Елизарович.

... В тот вечер, как только брат-урядник умчался на паре рысаков с Тимофеем Боровиковым в Минусинск, Елизар Елизарович объявил домашним, чтоб Дарью готовили к свадьбе.

Дарьюшка таилась в горенке под замком, куда ее спрятал дед Юсков. Она слышала, как гремел каблуками отец, как он раскидывал стулья, и дед Юсков, заступаясь за внучку, упрашивал сына, чтоб он повременил со свадьбой.

«По нашей вере, Елизар, то не грех, что белица содеяла в девичестве. Тайно содеянное тайно судится. Пусть Дарья молится, и бог простит ей. Кабы люди не грешили, им тогда и каяться не надо. Согрешил — кайся, твори крест. А со свадьбой подожди».

Долго кричали, шумели и порешили: если Дарья поклянется перед иконами, что не запятнает чести нареченной невесты Григория Потылицына, тогда отец оставит ее в покое.

Всю ночь Александра Панкратьевна уговаривала дочь не суперечить воле родителя, но не сломила Дарьюшку.

— Как я слово дам, когда само небо меня повенчало о Тимофеем? Знать, судьба моя с ним. Хоть горькая, страшная, а другой не будет.

— Как может небо повенчать без родительского дозволения? — спрашивала мать.

— Повенчало, мама.

— Аль согрешила? — испугалась мать.

— Женой, женой стала Тимофея Прокопьевича.

Мать от такого признания Дарьюшки едва поднялась с мягкого плюшевого дивана и, не благословив дочь, ушла в свою комнату и там молилась до зорьки.

Утром Елизар Елизарович объявил дочери, чтобы она готовилась к обручению. Дарьюшка кинулась в ноги отцу, запричитала, что она не может стать женою сотника Потылицына, коль другому отдала сердце и душу.

Отец схватил Дарьюшку за плечи, поднял и потрянул.

— Душу отдала? Душу? Ты ее имеешь, душу? Твоя душа в моей власти. Я тебя породил, паскудница! Слушай: женою станешь Григория Потылицына. Он еще и атаманом будет. Ежли не поклянешься перед иконами, без свадьбы станешь женою.

— Не стану, не стану! — отчаялась Дарьюшка.

— Ты... ты... ты... тварь, мерзость!.. Свою волю мне, блудница!.. На цепь посажу. На цепь!

И опять на помощь пришел дед Юсков.

— Елизар, опамятуйся! За Авдотью не заступился, Дарью в обиду не дам. Изгальства не допущу, упреждаю.

Сын сверкнул чугунными глазами.

— Говори: клянешься или нет, что будешь блюсти честь невесты Григория? Ни словом, ни помыслом не согрешишь ни перед богом, ни перед родителями?

— Не могу я! Не могу! Не дам такой клятвы!

— Не дашь?

— Убейте! Не вернуть того, что случилось.

— Што случилось? Што?

— Жена я. Жена Тимофея Боровикова!..

— А-а-а! Проклятушая!..

Дарьюшка пролетела через всю горницу и упала боком на кровать.

— Сейчас же в монастырь. Сейчас же! И будешь там сидеть в келье на цепи как бесноватая. Носа не высунешь. На цепь повелю приковать. На цепь!..

Еще сутки гремел отец, и только когда дед Юсков заявил, что самолично выедет в Каратуз к становому приставу и совершит новый раздел имущества, Елизар Елизарович немножко поостыл и оставил непутевую дочь в покое.

С этого времени для Дарьюшки настала пора затворничества. Она не смела выйти на улицу без деда Юскова и в течение сорока ночей должна была проводить долгие часы к молитвам.

Как только сумерки начинали темнить горенку, так дед Юсков задавал урок Дарьюшке прочитать столько-то молитв перед иконами. Горбатенькая Клавдеюшка становилась рядом с Дарьюшкой и молилась с ней крест в крест, поклон в поклон.

Недели через две вернулся из Минусинска дядя-урядник, я до Дарьюшки дошел слух, что Тимофей Боровиков отправлен на войну в дисциплинарном батальоне, где его непременно упокоит первая пуля.

«Не убьют, не убьют, — твердила Дарьюшка. — Я буду молиться за тебя, Тима. Каждую ночь буду жечь три свечечки — за тебя, за себя и за Спасителя. А если убьют, не жить мне, Тима. Сама приму смерть!..»

Проведал дед Юсков про тайные молитвы Дарьюшки, рассердился:

— Паскудство творишь, Дарья! Разве можно молиться за безбожника Боровикова? Кто он тебе? Муж? Эко! Таких проходимцев лопатой отгребай! Погоди уж! Как война на убыль пойдет, сам выдам тебя замуж. Первешего человека сыщу.

— Никого мне не надо, дедушка. Сыскала я.

— Дуришь, Дарья! Мотри у меня! Попомни: покуда я за твоей спиной, ты в сохранности. Откачнусь — не пеняй. Дуня-то по свету пошла, сгинет, должно. Опомнись, забудь про варнака: на войне упокоят. Остепенись, Дарья!

Но Дарьюшка продолжала молиться за жизнь Тимофея. А дни тянулись скучные и однообразные.

ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ

I

Догорало бабье лето — паутинчатая погожая осень. В сизой дымке куталась тайга — манящая, ягодная, кедровая, звериная.

Подспела рожь, понунив к земле бледные тонкие колосья, словно возвращенные лунным светом. Качалась она на ветру, туманная, пеннистая, поджидая жнецов.

Увядали травы: страда деревенская!..

Прокопий Веденеевич дневал и ночевал на пашне вместе с Меланьей и нянькой Анюткой, которая возилась с ее грудным ребенком. В дождь отсиживались в теплом курном стане, где Прокопий Веденеевич соорудил люльку для Маньки на гибкой березовой жердипе.

Рожь убрали вовремя; на пшенице непогоде пристигло. День и ночь лили дожди. Прокопий Веденеевич выпросил у родственников Валявиных жатку-американку и подрядил семью поселенца Сосновского убрать пшеницу на татарском солнцепеке.

Ночами долгими, студеными Меланья с ребенком и нянькой спала бок о бок со свекром. Согревались под тремя шубами. За день до отжина ржи, на чистый четверг, особо почитаемый тополевыми, Прокопий Веденеевич проснулся в середине ночи и долго не мог прийти в себя, точно то, что ему приснилось, свершилось наяву.

Будто явилась к нему покойная матушка в светлом сиянии, взяла за руку и повела к устью Малтата. «Видишь ли, Проня, глубь воды текучей? То и слову родительницы нету дна. Ты не исполнил волю мою: тайно не радел с невестушкой Меланьей, не слился с ней плоть с плотью, тело с телом. Оттого не будет у тебя внука, и вся вера порушится, как гнилое древо. Изойдет весь твой род на текучесть воды, и сам канешь в воду без мово благословения».

И видит Прокопий: со дна Мактата поднялась Меланья в белой как снег рубахе, простоволосая. Вода вокруг нее пенится, кипит. И матушка рядом. «Иди, иди, Проня! Возьми ее и сверши тайность!» Прокопий ступил в воду и пошел к Меланье. Гнется текучая зыбь, а ноги сухие.

«Возьми Меланью за руку, она — твоя», — говорит матушка и подает сыну руку невестки, белую, мяконькую, как подушечка. И лицо Меланьи просветлело, как на солнцевсходе. А мать наказывает: «От тайного радения счастье будет. Аминь. Иди и не оглядывайся. Сие — божье, твоя тропа мирская, праведная».

И вдруг Меланья потянулась к Прокопию Веденеевичу, как стебель травы к солнцу. И не стало на ней рубашки — голышком явилась. И вся трепещет, жжет тело и душу. «Господи помилуй», — крестился будто Прокопий Веденеевич, а Меланья в ответ ему: «Аль не исполнишь слово родительницы? Тогда помирать мне, аль как?» На голову ей сыплются тополевы листья, и сам Прокопий стал молодым и почувствовал в себе мужинскую силу.

Тут и прокинулся ото сна...

В стане черно, как в преисподней. Рядом теплая спина Меланьи. Близкая и совершенно непонятная. Меланья спит в холщовой кофте и юбке. «А мне-то экое привиделось!» И еще теснее прижался к спине невестки, обнял ее и погладил ладонью по груди. Сонное тело Меланьи стало особенным и таинственным. И как бы в ответ на ласку Меланья потянулась и повернулась на спину. Прокопия Веденеевича в жар бросило. Сам расстегнул кофтенку Меланьи и посунул от нее ребенка.

«Экое, экое! Благослови господи и богородица пречистая, — читал про себя молитву Прокопий Веденеевич, не в силах сдержаться. — Хоть бы во сне не свершилось, господи!»

Наработалась невестушка за день с серпом — не проснуться. Прокопий Веденеевич ласкает, нежит ее. И снится Меланье: рядом с нею Филя, но не тот увалень, которого знает, а другой — нежный, сердечный, душевный. И она отвечает ему теплом: «Осподи помилуй!..»

Меланья проснулась от тяжести и не сразу разобралась, что с ней и кто с ней?

— Филя?!

В ответ что-то невнятное и будто чужое.

— Ай, господи! Ты, Филя?! — испугалась Меланья и руками дотронулась до бороды. Нет, борода не Фили. Кто ж? Уж не свекор ли?! Крепкие руки вцепились ей в плечи, как лапы зверя. — Боже, боже мой! Хтой-то? — Назвать свекра язык не поворачивался. Попыталась вывернуться и не смогла. Тихо, сдавленно всхлипнула...

Вылез Прокопий Веденеевич из стана облегченный и довольный: он исполнил волю родительницы. Хоть с опозданием, но исполнил. Поглядел на рясные звезды — за полночь перевалило. Помочился возле березы и вернулся к стану, присел на корточки возле пепелища. Раздул тлеющие угли, сунул бересты — и огонь занялся. Помолился, глядя на Малую Медведицу. Где-то там, среди звездочек, витает нетленный дух матушки.

II

На зорьке поднялась Меланья и вылезла из стана — глаза уронила в землю. На щеках разлился стыд. Прокопий Веденеевич с небывалой для него обходительностью усадил невестушку возле костра на лагун и укрыл спину Меланьи суконной Степанидиной шалью с кистями, чтоб не простыла. Сам присел на корточки и кряхтя подсунул березовые кругляши в огонь. Над костром на крючке свешивался прокоптелый чайник, а в чугуне, поставленном на камни, варилась картошка. И голос даже переменялся у Прокопия Веденеевича, когда он заговорил, что поселенцы Сосновские одни управятся со пшеницей и заскирдуют ее в поморские клады. А там и молотьба подоспеет.

— Ноне хозяйство вести надо умеючи: война хлещет. Гляди, как бы не началась грабировка. Выскребут хлебушко у мужиков. Ну да с умом жить — не выскребут.

— Долго ли война-то будет?

— Морокую так: в год не развяжутся. Схлестнулись царства с царствами, должно, выщедят друг у друга кровушку. Опосля, кто посвежее, сверху прихлопнет, и мир настанет. Для одних царств — с голодом, для других — с прибытком.

— Как же Филя, тятенька?

— Филя? При своей линии. Мякина — не зерно. Вспори брюхо — развеется по ветру и ничего не останется. От Фили доброго приплода не жди, праведника не родишь. Мякина на мякину пойдет.

Меланья горько вздохнула:

— Он же мужик мне, тятенька!

— И што? — Прокопий Веденеевич подвинулся ближе и, как бы невзначай, положил руку на колено невестки.

Щеки Меланьи вспыхнули, а свекор поучает:

— Несу свой крест при тайной крепости веры, и твой верх будет.

И я в том пособлю.

У невестушки захолонуло сердце:

— Грех-то, грех-то, тятенька!

— Не грех, а святость, коль по верованию. И сказано в Писании: «Аще дочь твоя в руке твоей, паки чадо неразумное. И мучь ее, и плачь. Не сделай беды в едипоправстве веры, да не погибнешь зле».

Изо всего сказанного Меланья уразумела одно: «Не суперечь, дщерь господня, повинуйся!..»

— Сон ноне мне привиделся, — продолжал свекор. — Касаемый нашей жизни. Матушку давно в таком светлом сиянии не видывал. Царствие ей небесное! Реченье вела. Вещий сон!..

Черные ресницы Меланьи дрогнули, как крылышки мотылька, и вспорхнули вверх.

— И ты была там.

— Где?

— В том видении, какое мне привиделось среди ночи. Матушка говорит: «Иди сюда, Прокопий». И я подошел. Иду, как Спаситель, по морю и ног не замочил. Подала мне матушка твою руку — мяконькую, белую и теплую. Говорит: «Иди с ней и радей в святости. Радость великая будет. Даст тебе господь внука. И тот внук, как твердь белокаменная, в праведную веру войдет».

Меланья — ни жива ни мертва. Ноги и руки точно жидким огнем налились. А голос Прокопия Веденеевича умиротворенно журчит, обволакивает, как дымом:

— И тут явилась ты, паки Ева, когда ее господь создал из ребра Адамова. И тело твое прислонилось ко груди моей, а со стороны голос слышу: «Возьми ее, Прокопий, она — твоя рабица». И руки твои, яко крылья птицы, легли на плечи мои. И нету силы убежать от тебя. Кипенье прошло по жилам, и стал я парнем вроде. «Господи, благослови!» — сказал я, и ты взяла меня к себе. Очнулся я прозренный и вижу: свершилась воля твоя, господи!..

Прокопий Веденеевич перекрестился.

— Богородица пречистая! — отозвалась Меланья, едва переводя дух.

А голос Прокопия Веденеевича вопрошает:

— Аль тебе такой сон не привиделся?

— Н-нет. Грех-то, грех какой!

— То не грех, а благодать, коли по воле святого духа свершилось. И ты не суперечь тому. Беду накличешь.

— Филя-то, Филя-то как?

— За божье пред богом в ответе.

В карих расширенных глазах Меланьи и страх, и смятение духа. «Можно ли так поступить по истинной вере? — спрашивает себя Меланья и тут же гонит сомненье: — Знать, тятеньке ведомо, как должно».

— Про сон-то — правда, тятя?

— Христос с тобой! Истинно так свершилось, как сказал. И сон и явь. И матушку зрил, как вот тебя сейчас. И ты явилась пред глазами моими голая, паки Ева.

— Свят, свят. К добру ли?

— Родительница к лихости не явится. Потому как я сын ее; плоть и кровь — едины.

— Господи, хоть бы к добру! — скрестила руки на груди Меланья, не в силах подняться с лагушки. — Я вить во всем повинна, тятенька. Сами видите. Только чтоб по вере, как в Писании.

— Истинно так! — поддакнул Прожигай Веденеевич. — Вот приедем домой, радеть будем, и я прочитаю тебе откровение Моисеево про дочерей Лота, как они проживали в пещере, когда господь бог

покарал нечестивых содомцев. И сказала старшая дочь младшей: «Отец наш стар, и нету человека, который бы спал с нами». Тогда они напоили отца вином, и каждая спала с родителем. Смыслишь то? И сделались обе дочери Лотовы беременны от отца своего. И родила старшая дочь сына, и нарекла ему имя Моава, што означает: «от отца моего»...

— Ой! — всплеснула ладошками Меланья. — Ужли правда?

— Окстись! Про божье Писание толкую, а ты экое слово кинула.

— Прости, тятенька. Да ведь отец-то, отец-то!

— И што? Для бога мы все, как есть, дети. Веровать надо. Без пререкания и оглядки.

— Верую, батюшка, — потупилась Меланья.

— Оборони бог суперечить создателю. Кару накличешь. И на себя, и на плод свой. Помолимся, чтоб дух очистить пред господним небом.

Стали на колени рядышком и, глядя на восток, долго молились на небо, сплошь ватянутое волглыми тучами.

Приобщившись к богу, Меланья пошла в стан за дочерью.

Чайник вскипел и брызнул через крышку на огонь. Прокопий Веденеевич снял чайник с крючка, сходил в стан, разбудил там худенькую няню Анютку и вынес продукты.

Меланья присела возле огня и дала грудь дочери. Прокопий Веденеевич опять укрыл ее плечи теплой шалью я все смотрел, как тыкалась мордочкой в грудь матери смуглявая внучка.

— Ишь как сосет! Старательная. Вся в тебя удалась, слава Христе. Кабы выросла такая же работающая и кроткая, как ты.

У Меланьи от такой хвалы лицо посветлело.

— Все мои капли собрала.

— Хоть бы не переняла Филину сонность. Оборони бог!

— В меня, в меня будет.

— Дай бог. Наелась, поди? Дай мне, повожусь, а ты снесь собирай.

Впервые за все замужество Меланье вздохнулось легче. Свекор — свирепый и жестокий человек, от взгляда которого у Меланьи леденело сердце, заговорил вдруг с ней с таким вниманием и сердечностью. И даже внучку взял на руки. «Хоть бы к добру, не к худу перемена такая», — думала Меланья, раскладывая на рушник хлеб, чеснок и

свежую огородину — пупырчатые огурцы, зеленый лук с головками и каждому по одной репе и по три морковки, до чего особенно охоч был свекор. Из корзины достала кринку сметаны и вяленое сохатиное мясо прошлогоднего убоа.

— Ишь как супится! — забавляется с внучкой Прокопий Веденеевич. Сунул в крошечный ротик внучки палец и удивился: — Ужли зубы режутся?

— Два зубика прорезалось.

— Экая ранняя да зубатая. На зубок-то надо бы гостинца купить. Погоди ужо, завтра будем дома — сбегаяю в лавку к Юскову. И тебе куплю на платье и на сарафан. Выряжу на погляд всей деревне. Кашемировую шаль куплю.

— Ой, што вы, тятя!

— Ничаво, жить будем. Погоди ужо.

— Кабы Филя так-то.

— У Фили в кармане волки выли, да и те в лес убежали. Я хозяин в доме. Прислон ко мне держи.

— Я и так, тятенька...

— Жалеть буду. Потому в первородном виде явилась ты ко мне ноне из рук матушки, со мной и быть тебе. Филина статья у скрытников. Елистрах приобщит, должно.

Помолились и начали трапезу.

— А ты ешь, ешь, Меланья, — потчевал Прокопий Веденеевич, точно Меланья явилась к нему в гости. — Сметану-то не жалей. И мяско.

— Маловытная я.

— Пересиливай нутро. Ешь побольше, станешь потолще.

— Ох, кабы мне пополнеть, как матушка.

— Окстись! Не поминай паскудницу рябиновку. Она завсегда была тельна, как корова стельна, а так и не разродилась добрым плодом. Как за сорок перевалило, так и утроба салом заплыла. Все от нечистой силы.

Сахарной осыпью серебрились жнивье и отава по меже, когда Меланья со свекром вышли с серпами дожидать рожь.

Белесым пологом навис туман над ржаными суслонами по взгорью, а в низине, в логу, он лежал, как перина в серой наволочке, и пенился. Вершины кудрявых берез торчали из перины, как золотые

веники. Солнце проглядывало сквозь морок, и лучи его цедились на землю красные, будто кровь.

Не разгибая спины, Меланья шла и шла по своей загонке с серпом, оставляя на жнивье толстые, туго стянутые связками ржаные снопы.

К вечеру дожали полосу, и Прокопий Веденеевич сплел в углу на восток «отжинную бороду», а Меланья потянула ее за колосья обеими руками, приговаривая:

— Тяну, тяну ржаную бороду! Отдай мне припек и солод. Оставь себе окалину, окалину, окалину!

— Расти, расти, борода, — вторил Прокопий Веденеевич. — Расти, разрастайся, новым хлебом наряжайся. Придем к тебе с серпами, сожнем тебя с песнями.

Оставив «ржаную бороду» в покое, присели возле сулона передохнуть. Кругом по взгорью белеют заплатами пашни сельчан, утыканые сулонами. Кое-где видны несжатые полосы — мучение многолетних солдаток. По оврагу темнели заросли лиственного леса, прихваченные первыми заморозками. Прямо над головой летел косяк курлыкающих журавлей. Еще выше — длинная лента гогочущих гусей.

— Притомилась?

— Нисколечко.

— Проворная. Загляденье, как жнешь. — С мальства жну.

— А я вот про жизнь подумал. Есть ли ей начало и конец? Неведомо. Смутность в миру великая, а твердости нету: что, к чему? Вот сицилисты объявились. И без бога, и без царя. Сами по себе. Жизнь помышляют перевернуть, а к чему? Старая крепость самая верная, ее бы надо крепить. А сила где? Нету!

Меланья молчит, слушает. Подобные рассуждения не трогают ее, как далекие горы...

— К обеду завтра управимся с кладью ржи, и домой. В баньке попаримся.

Помолчали.

— Ноне в зиму рысаков попробую объездить. Ямщину гонять буду в город. И ты со мной съездишь.

— Правда? Ой, как хочу посмотреть город! Большой, иначе?

— Сутолочный. Без ума и памяти. Одно греховодство.

— Сказывают, дома там большущие. Правда?

— Чего в тех домах? Стылость. В наших стенах теплее и просторнее. Хоть на полатях лежи, хоть на кровати. Сам себе старшой. Кабы вовсе отторгнуться от сатанинского мира, вот благодать была бы!..

— Пустынники живут так.

— Што пустынники? Вера у них куцая, без простора души. Нам бы со своей верой в пустынность, да чтоб не одной семьей, всей деревней.

— Да ведь у всех разные толки.

— То и грех! Кабы один наш толк утвердился. Опять помолчали.

— Ноне явись ко мне, как во сне приключилось. Меланья сжалась в комочек, втиснувшись спиной в суслон.

— Как, тятенька? — тихо спросила, облизнув пересохшие губы.

— В рубище Евы.

— Грех-то, грех-то!

— Святость!

— Тятенька!

— Жалеть буду. Холить. Потому дороже всего на свете для меня теперь ты. Сынов окаянная рябиновка из сердца вынула. Может, бог пошлет внука.

Прокопию Веденеевичу надо было сказать — сына, но он еще не успел одумать, кто ему теперь Меланья: жена или невестка?

— Што скажут-то! Што скажут! — простонала Меланья.

— Плюнь на всякий наговор и живи. Наша вера такая, у других этакая. Вот на Маркела Христофоныча чего не говорили, а он на всех начхал и жил по нашей вере с Апросиньей. Двух внуков заимел.

Руки и ноги Меланьи точно кто повязал железными путами. Сохли губы, а в глазах приютилась кротость, как у овцы. Что еще толковал свекор, не слушала. Шла к стану и не видела собственных ног в броднишках, хоть и глядела в землю.

После ужина, когда стемнело, Меланья залезла в стан и долго кормила грудью Маню, покуда дочь не засопела. Укутала Маню в шаль и положила к Анютке.

За пологом, закрывающим вход в стан, полыхал костер. Пламя то вздымалось ввысь, то болталось из стороны в сторону красными космами. Где-то там, возле костра, сидит Прокопий Веденеевич и ждет

ночи. Шубы не греют Меланью — озноб трясет. Кто-то скребется в изголовье, мыши, что ли? День за днем Меланья перебирает всю свою жизнь, и кругом одно повиновение чужой воле. То помыкал родной тятенька, то братья, то свекор, то свекровка, то муж Филя. «Ничего-то я не свершила по своей думке. Все из чужих рук. Как фартук: то наденут, то скинут и бросят. Ах, если бы Тима! Вот я бы с ним... Царица небесная, што лезет в голову-то?» — испугалась.

Вспомнила побаску поселенцев про раскольников. «Что ни дом, то содом; что ни двор, то гоморр, что ни улица, то блудница».

«Может, и правда, старая вера самая греховная? — спросила себя Меланья. — С ума сошла! Што в голову втемяшила!» И поспешно сняла кофтенку. Свернула ее комом и сунула в изголовье. На юбке намертво затянулся узел, и Меланья никак не могла распутать его. Рвала — силы не хватило. Выползла из-под шуб, нашарила впотьмах серп, резанула холщовую завязку, и юбка сама упала к ногам. И опять нырнула под шубы, как щука в омут...

Тянется, тянется время! На пологе шевельнулась углистая тень, заслонившая огонь костра. «Осподи, благослови!» — раздался голос Прокопия Веденеевича, и полог приподнялся.

Мрак, тишина. Тихое бормотание молитвы — слов не разобрать, хоть Меланья вся превратилась в слух.

Приподнялся полог, и дохнуло морозом. Меланья — ни жива ни мертва.

Шершавая ладонь легла на ее груди.

— Озябла?

— Н-нет. Сердце чтой-то.

— Экая ты худенькая!..

На рождество явился из тайги Филя с охотничьей добычей, диковатый. Дядя Елистрах-пустынник довел Филю до религиозного иступления. На Меланью Филя не успел глянуть, потому и не заметил перемены в жене. Полчаса творил молитву, чем не в малой мере удивил отца. Поклоны бил с усердием, не жалея лба. Потом выложил из мешков связки беличьих шкурок, трех первеющих соболей, добытых в Белогорье, шкуры росомахи и двух пестунов-медвежат.

Отец хвалил Филю за удачливую охоту, расспрашивал про таежное житье-бытье, а Меланья собирала на стол, умышленно сторонясь мужа. Виноватость плескалась на ее щеках бордовым румянцем.

Обычно Меланья держала голову вниз, трепетала перед свекром. Холщовые кофтенка и юбка на ней всегда были старенькие, заношенные. Теперь Меланья голову повязала кашемировым платком, и узел кос, небрежно сложенный на затылке, падал ей на шею. За такое святотатство радеть бы Меланье целую неделю. А тут еще новенький сатиновый сарафан, какой за всю бытность в доме Боровиковых в глаза не видывала сама Степанида Григорьевна. Под сарафаном — сарпинковая кофта, перламутровые пуговицы по столбику и у запястий, как у городчанки.

Но Филя ничего не заметил. Знай себе бубнит про спасение души, и что ни слово, то крест. Косматый, нечесаный, в грязном лоснящемся рубище.

Прокопий Веденеевич держал себя непривычно тихо, глядя на сына-увальня косо и вскользь.

— А матушка где? — опомнился Филя.

Меланья вздохнула и пошла в куть к печи.

Прокопий. Веденеевич схватился за бороду, как за спасательный якорь, и, шумно вздохнув, сообщил, что матушку «сатано уволок».

— Праведную веру отринула, яко свинья рылом. Рябиновый крест нацепила, ехидна! Сколь лет таилась! Прогнал нечестивку и заклятие наложил навек.

— Господи прости! — размахисто перекрестился Филя, вылупив глаза на тятеньку. — Знать, чрез Тимоху, чрез безбожника экое

совращение произошло. Я ишло тогда подумал: оборотень объявился, а не Тимоха. Игде он?

— На войну утартал урядник.

— Слава господи!

— И тебя ищут казаки.

— Оборони бог!

— Сам не замешкайся, а бог оборонит потом, когда подалье уйдешь от нечистого.

— Дык я и так, тятенька, токмо на рождество пришел, чтоб усладиться песнопением и про видение сказать.

— Про какое видение?

— Дяде Елистраху видение открылось. В Егорья-морозного, ночью так, вышел дядя Елистрах до ветру из избушки и глядь — небо расколосось. Крест образовался. И святые лики глянули с того креста, и ангелы со архангелами слетели на тайгу. Истинный бог! Опосля того дунул ветер, аж тайга ходуном заходила. И голос раздался из тверди небесной: «Сойду, грит, на землю и сам буду вершить суд над неверными. Правые воскреснут, неверные сгинут». И небо закрылось. А потом на Варвару-заваруху столбы показались на небе. Семь столбов, и все красные. И я то зрил, батюшка.

— Спаси Христе! — ойкнула Меланья.

— Дядя Елистрах говорит: светопреставление будет опосля войны. И про наш тополевыи толк сказывал. Грит: паскудный, непотребный, и про снохачество...

У Меланьи выскользнула из рук обливная кринка и бухнулась об пол. Филя испуганно подскочил на лавке. И только сейчас, разинув рот, разглядел жену в нарядном сарафане и в кашемировом платке. Меланья наклонилась подобрать черепки. Узел волос у нее разъехался на затылке, скатился, и толстая коса в руку толщиной свесилась до пола. Меланья подхватила ее и забросила за спину. У Фили от такой неожиданности слова застряли в горле.

— Экое!.. Эт... эт... што жа? А? Но тут раздался голос отца:

— Ах ты чудище окаянное! За такие слова про толк ваш — в шею бы тебя из дома. Штоб у тебя язык отсох вместе с Елистрахом! Народила мне ехидна сынов, штоб вам сдохнуть!

— Дык, дык я-то што? Дядя грит.

— Молчай, стервец! Твоему дяде Елистраху, кабы не убежал в тайгу втапору, довелось бы на осине качаться. Ишь сыскался праведник! Не он ли вошел в богатеющий дом вдовы в Кижарте, а потом изгальство учинил над ее двумя дочерьми-несмышленишками?.. Срам и стыд на всю правоверную окрестность! Кабы не успел убежать в тайгу, до сей поры ходил бы в каторжных. Может, издох бы давно, праведник. А я вот тебя на всенощную поставлю в моленной перед иконами, и будешь ты...

Во дворе залаяли собаки.

— Чужой кто-то, — кинулась к окну Меланья.

— Знать, облава, — догадался Прокопий Веденеевич. — В третий раз за нынешнюю зиму.

Филя опрометью кинулся в жилую горницу и тут же вылетел обратно.

— Куда мне, тятенька?!

Кто-то отбивался от собак, потом раздался стук в сенную дверь. Меланья всплеснула ладошками и села на лавку.

— Тятенька! Пропадать мне, што ль?

Прокопий Веденеевич беспокойно озирался, не зная, куда спрятать Филю. Через двойные рамы, расписанные по стеклам узорами мороза, в улицу не выпрыгнешь.

— Тятенька! Помилосердствуй! Я же к святой пустынности приобщился!

— Куда я тебя суну? К себе в штаны, што ли? Приобщился!

Филя случайно глянул в цело печи:

— Тять, в печь можно? Не сгорю там?

— Утре топили. Лезь.

Филя нырнул к печи, вынул железную заслонку и поспешно полез головою в цело. Еле-еле протиснул плечи и толстый зад. Подобрал ноги, а Меланья прикрыла заслонкой. Перекрестилась и опять села на лавку, молитвенно сложив руки на груди.

IV

Пришлые люди ломались в сенную дверь и барабанили кулаком в ставень.

Прокопий Веденеевич пошел открывать и вскоре вернулся с казаками, братьями Потылицыными — Андреем и Пантелеем, и с сельским десятником Саввой Мызниковым из поморцев-новоженов.

Поджарые, пожилые братья в черных папахах, при саблях, в синих штанах с лампасами, вправленных в сапожищи, на которые прицепили шпоры, сыновья известного атамана, павшего смертью храбрых, издавна точили зуб на дом Боровиковых. Кто, как не Тимофей Боровиков, опозорил на всю Белую Елань Дарью Юскову, невесту младшего брата Григория!..

Старший брат, подхорунжий, как только вошел в избу, не сняв папахи и лба не перекрестив, потребовал огня, чтоб начать обыск в горницах.

— Аль сами объявите свово дезертира? — И, подбоченясь, Потылицын уставился на хозяина.

— Нету мово разговора с анчихристовыми слугами, — отрезал Прокопий Веденеевич, заслонив собою дверь в моленную горницу.

— Это мы анчихристовы слуги? — подступил к Прокопию Веденеевичу Андрей Потылицын. — Хошь, за такие слова моментом отхвачу бороду?

Прокопий Веденеевич смолчал.

— Э, братуха! Гляди — мешок, вот и бахилищи с собачьими чулками. А добыча-то, добыча-то! Ишь скоко беличьих шкур! Забрать надо. Как вещественность. Туту-ка он, дезертир. Искать надо.

Подхорунжий потянулся к висячей лампе.

— Не трожьте, грю!

— Ты, сивый, што? В кутузку просишься, а? Младший брат повернулся к десятнику:

— А ну, бери лампу. Посвети Андрюхе. Я дверь буду караулить.

Савва Мызников потоптался возле дверей, но к столу не пошел — нельзя: верованья разные.

— А, штоб вас громом разщепало! — выругался рыжебородый Пантелей. — Сторожи дверь. Да гляди! Выпрыгнет — сам на отсидку пойдешь.

Меланья заголосила:

— Побойтесь бога, люди! Разве можно к чужому столу прислоняться?

Старший брат вытащил из железного кольца стеклянную лампу и двинулся в моленную горницу.

Прокопий Веденеевич схватился за косяки руками.

— Да пожнет вас огонь, яко содомлян! Куда лезете? Здесь у нас моленная горница.

— Пантюха, вынь шашку. Пхни ему в брюхо. Пантелей выхватил из ножен шашку и направил ее в грудь Прокопию Веденеевичу.

— Режь, ирод, а в моленную не войдешь! Сатано паскудный! Не зришь души своей греховной. Убойся бога, сидящего на херувимах. Его же трепещут небесные силы и вся тварь со человеками, един ты презираешь и неудобства показуешь.

Пантелей кинул в ножны шашку и подступил грудь в грудь к Прокопию Веденеевичу.

— Ну, дай дорогу!..

— Изыди!

А, вот ты как! Сицилиста вскормил — и туда же, в святые апостолы!

Пантелей схватил Прокопия Веденеевича за руку, но старик так его толкнул в грудь, что бравый казак, гремя шашкою, отлетел к двери.

Старший брат поставил лампу на подоконник и сграбастал Прокопия Веденеевича в охапку. Ему помог Пантелей. Прокопий Веденеевич пыхтел, изворачивался, не поддавался, но кто-то ему подставил ногу, и он упал. Братья Потылицыны навалились на него сверху, схватили опояску Филимона и связали старику руки. Прокопий Веденеевич проклинал насильников, пинал их, а те скрутили ему ноги, уложили у порога под охрану Саввы Мызникова. Сами двинулись в горницу.

Два окошка закрыты на ставни. Вся стена на восток заставлена иконами старинного письма. Братья почтительно перекрестились. Перевернули постель Прокопия Веденеевича на узенькой деревянной кровати, но дезертира не нашли. Перешли с лампой в большую горницу, а следом за ними Меланья.

Ни под периной, ни под кроватью дезертира не оказалось.

Нянька Анютка спала на деревянном диванчике. Девчонку не стали будить. Вернулись в избу и поставили лампу в обруч.

— Под пол полезем?

— Погоди ужо, Пантюха. Покурим.

Андрюха вынул из кармана полушубка кожаный кисет и стал набивать трубку.

— Не смей, анчихристы, паскудить избу! — закричал Прокопий Веденеевич. — Курите у себя в хлеву, а в моей избе не смей, грю! Меланья, дай им, собакам, по губам. По губам их! Сквородником иль ухватом.

— Лежи, лешак.

— Ах, да што же это деетсяя? А? Иль у вас стыда нету? В избе-то, в избе-то не курят.

— Ишь, — подмигнул Андрей Пантелею, — как у него раздобрела невестушка! Гляди, баба, он тебе, старый сыч, накаляет горку! Как потом жить будешь, а? Иль по вашей тополевой вере дозволено, а?

— Сатаны!

— Помалкивай, леший! Ишь отпустил космы. Собрать бы вас всех, староверов, да разложить среди улицы, да влупить бы горяченьких. И всю вашу веру разметать в пух-прах. Што брови лохматишь? Не по ноздрям говорю? Ничаво! Обвыкнешься.

Андрюха набил трубку, отделанную серебром и медью, Пантелей свернул сигарку.

— Высекай огонь, Пантюха.

Пантелей достал из кисета кварцевый камень, отщепил ногтем от комка трута малую дольку, прижал ее большим пальцем на камушек и начал бить стальным кресалом. За взмахами руки лентою вилась мелкая осыпь искр, но трут не загорался.

— Э, братуха, трут никудышный. А ну, десятник, достань уголек из загнетки.

Савва Мызников развел руками.

— Достань, говорю, огонек!

— По нашей вере, государи служивые, никак невозможно прикасаться к чужой печи. Осквернение будет.

Пантелей сам пошел к печи, но подскочила Меланья.

— Серянки достану! Не срамите святое место где хлеб печем.

Пантелей потеснил Меланью, как бы ненароком упершись рукою в ее грудь.

— Попалась бы ты мне в Маньчжурии!

— Окстись, окстись! — отскочила Меланья. Пантелей вытащил заслонку, протянул руку к загнетке и тут же ее отдернул.

Нагнулся и посмотрел в цело. Там виднелась еще одна заслонка. Тронул рукою.

— Эге-ге-ге, братуха! Да тут чья-то... выглядывает. Ей-бо, шире печи.

— Да ну?

Пантелей вынул шашку и ткнул в толстый зад Филимона.

— А-а-а-а! — завыл Филя.

— Ишшо разок пхни. Так его, так! Эвон где голубчик схоронился.

Филя вылез из печи весь в саже, как черт из преисподней. Только белки глаз и зубы сверкали. Слезы катились у Фили по щекам и терялись в бороде.

— Как есть я пустынный, никуды не пойду! — вопил Филя, размазывая сажу по щекам. — И сказал Спаситель: «Не убий!» И я к тому стоговился. Сатанинское ружье в руки не приму.

— Примешь, лешак! Офицер иль фельдфебель съездит разок-другой в зубы, черта в руки примешь, не то ружье.

— По Писанию то не дозволено. Тятенька, скажи им! Я нутром хвораю. Сколько в зимовье-то мучился!

— Там тебя вылечат, поторапливайся. Твой брательник сицилист утопал в дисциплинарку, туда и ты пойдешь. Образумишься.

Увели Филю, ополоумевшего от горя. Он даже не простился с женою и дочерью.

Меланья всплакнула для порядка. И во всю рождественскую службу со свекром ни разу не сбилась с торжественного песнопения...

Соседки судачили: не узнать Меланьи. Ни печали в лице, ни тумана в глазах. Хаживала по деревне в шубке, крытой плюшем, в пимах с росписью — «романовских», в каких только богатые казачки форсировали по улицам стороны Предивной.

Соседка Трубина, встретив Меланью на улице, игриво подмигнула бесстыжим глазом:

— Радеешь со свекром-то? Грех жжет щеки и вяжет язык. Прокопий Веденеевич утешил:

— Наговор не слушай, а живи, как по вере нашей, — благодать будет.

— Стыд-то!

— Стыд не сало. Кинут в щеки — ничего не пристало. Вскоре после рождества Прокопий Веденеевич объездил молодых рысаков и, как обещал, повез невестушку в Минусинск «поглядеть сутолочный город», а заодно купить в кредит в американской конторе сенокосилку и конные грабли.

В деревянном тихом Минусинске пахло блинами и шаньгами, а в трехэтажном каменном доме Юсковых — внуков бабки Ефимии, почтенные горожане справляли Новый год.

Горели свечи на елке, мигали невиданные электрические лампочки, как назвал их Прокопий Веденеевич: «сатанинские бельма», а в купеческих лавках от всякой всячины рябило в глазах.

Нежданно он встретился с Дарьюшкой Юсковой.

В нарядной беличьей дошке, в фетровых сапожках и в пуховой шали, печальная и тихая, шла она улицей.

И вдруг остановилась.

— Прокопий Веденеевич... — проговорила Дарьюшка, и глаза ее распахнулись, ожидающие, жалостливые.

Он раза два мельком видел Дарьюшку в Белой Елани, потому и не узнал.

— Дарьюшка назвалась и спросила:

— Есть ли какое известие от Тимофея Прокопьевича?

— Эко! — хмыкнул старик. — Отторг нечестивца, яко змия! И вести от него не жду, а также письма с сатанинской печаткой.

И пошел себе дальше, не оглядываясь.

«Из сердца вынул, из души выкинул! — сердился старик, недовольный, что Дарьюшка напомнила ему о меньшом сыне. — Ишь ты, ждет вести! Богатеющая невеста, а круженная. Чаво ей приглянулся Тимка?»

Рассудить не мог.

ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ

I

На масленой неделе 1915 года, когда с боровиковской горки ребятишки катались на санках, к Прокопию Веденеевичу понаведалься

урядник Юсков, как всегда важный, надутый, с накрученными усиками, при новой шапке, и как бы между прочим завел разговор о сыновьях Прокопия Веденеевича: что и как?

Прокопий Веденеевич сперва отмалчивался, сопел в бороду, а потом не выдержал:

— Чаво пристал? Филя, Филя!.. Али не ведаешь, где он, Филя? Вшей кормит у сатаны в преисподней.

— Ну, а Тимофей как? Сицилист?

— Чаво?

— Может, известие какое имеете?

— С анчихристом в одной упряжке не езжу, грю, и спрос не учиняй. В святцах мово дома имени Тимофея нету-ка. Сгил, яко тлен!

— Правильное слово, Прокопий Веденеевич, — похвалил урядник. — Кабы я знал, каким фруктом обернется Тимофей, я б его тогда еще в могилевскую спровадил! — И, подкинув стрелки усиков. — Из губернии со жандармского управления запрос был: разыскивают Тимофея как сицилиста. Солдат подбивал, штоб оружие повернуть на офицеров и восстание поднять. Чистый Пугачев! Розыск идет.

Прокопий Веденеевич не уразумел.

— Какой такой Пугачев?

— Эва! — усмехнулся урядник. — Али не слыхали, как в самодревнее царствование Екатерины в Оренбургских степях, а так и на Волге объявился Емелька Пугачев, какой назвался царем Петром Федоровичем и смуту поднял? Престол помышлял захватить, да на лобное место упредили. Руки отсекли, а потом ноги и башку, как и должно. Также Тимофей! На престол попер сицилист. Изловят — четвертовать будут.

— Эко! — Прокопий Веденеевич осовело уставился на урядника. Правда ли, что Тимка на престол попер? Мыслимо ли? И опять-таки, если умом раскинуть, от Тимки всего можно ожидать. «Не из родовой, а в родовой». Не раз слышал от покойного батюшки, Веденя Лукича, а тот от деда Ларивона, будто сам Филарет был у «справедливого осударя, Петра Федоровича», духовником и что они вместе поднимали войско.

Теперь вот Тимофей объявился. Подумать, а? Филаретова кровь выиграла. Молиться ли во здравие безбожника Тимофея и снять с него

родительское проклятие или оставить все так, как есть?

— И про вас спрос был, — продолжал урядник. — Ответствовал: отец Тимофея, говорю, не опознал безбожника сына, прогнал и палками бил.

— Не бил палками!

— Не самолично, а по вашему наущению тузили. Кабы тогда насмерть прибили — хорошо было бы. Становой сказал: зря не убили.

Прокопий Веденеевич поднялся и, накручивая косичку сивых волос, ушел в моленную.

— Вроде жалеет Тимофея-то? — глянул урядник на Меланью.

У Меланьи один ответ: руки ладошками на живот и глаза в пол.

— В деревню Тимофей не покажется, — бормотал урядник. — Разве только каторжанину Зыряну или Головне весть придет через попутчиков. Узнать бы, а? Ты бы сходила, Меланья, к Зыряну. Намеками, стал-быть, так и сяк, вроде беспокоишься: живой или нет деверь Тимофей?

Ни слова в ответ.

— Глухая, што ли? Меланья ушла в горницу.

— Тьфу, дремучее отродье! — выругался Игнат Елизарович и ушел сердитый.

Более всех встревожился отец Дарьюшки, Елизар Елизарович: вдруг Дарья встретится в городе с беглым Тимофеем?..

Меньшой брат охотно поддакнул:

— Все может быть, братуха. Дарья того только и ждет. Елизар Елизарович зверовато рыкнул:

— Тогда я тебе зуб вырву!

— Па-азволь!

— Без позволения икру выдавлю. Так и заруби на носу.

— Как я есть при исполнении должности...

— Кончится твоя должность, Игнашка! Через меня получил урядника и чрез меня мундир сымешь. Смотри!

— Твоя Дарья при городе, а я при Белой Елани, при ссыльных поселенцах. Как могу усмотреть?

— С Дарьей сам совладаю, а ты гляди! Чтоб она ни слухом ни духом не проведала, что бандюга жив-здоров.

Урядник не на шутку перетрусил. Он успел проговориться Боровиковым, что идут розыски Тимофея.

— Кабы похоронную сочинить или какое письмо, как будто от дружка... Так, мол, и так. Погиб от ерманской пули Тимофей Прокопьевич и перед смертью просил, мол, передать поклон Дарье Елизаровне...

Елизар Елизарович подумал:

— Кому письмо-то?

— Для Дарьи.

— Башка! От такого письма Дарья на стену ползет да еще в розыск ударится.

— Тогда похоронную. Через волость идут извещения про погибших.

— Похоронную можно. Боровиковым пошли, дойдет и до Дарьи, — одобрил Елизар Елизарович и, долго не раздумывая, махнул на тройке в Минусинск — привез непутевую дочь домой.

Для Дарьюшки настала новая пора затворничества.

Между тем Игнат Елизарович сочинил-таки «похоронное» извещение на Тимофея Прокопьевича Боровикова и самолично проследил, дошло ли извещение до Прокопия Веденеевича. Минула неделя, другая. Боровиковы помалкивали.

Игнат Елизарович призадумался. Тут что-то не так! А вдруг Прокопию доподлинно известно, что сын Тимофей жив-здоров? «Ворон ворону глаз не выклюнет, — подумал. — Вся их родова паскудная! В кандалы бы да в острог, в тюрьму!..»

Дарьюшка надумала открыть школу в Белой Елани, но грозный отец и слушать не стал:

— Кого учить будешь? Поселюгов и самоходов?

— Все люди божьи, батюшка.

— Враки! Есть которые божьи, а поселюги от диявола происходят. Без грамоты для них сподобнее.

Как-то на неделе, после возвращения Дарьюшки в отчий дом из города, дядя-урядник принес племяннице письмо на имя Прокопия Веденеевича.

— Почитай, повесели душу! Умора. В волости животы надорвали.

Письмо Фили и в самом деле было потешное...

«Спаси Вас Христос, родитель мой батюшка Прокопий Веденеевич, а так и жена моя Меланья Романовна с дочерью моей Маней.

Во первых строках прописываю, какие я претерпел мучения во славу нашей праведной веры.

Из волости увезли меня с езертирами в Минусинск, где перво-наперво обрезали срамными ножницами мою бороду, так и власы на башке. Ужаснулся и, когда воззрися на образ свой в зеркале: истый сатано! Ухи торчат, как два ушата, и голова колючая, и бороды нету-ка! И возроптал я, аки болящий: «Господи, за што караешь? Аль я содомовец какой?» И не было мне ответа.

Опосля того призвал меня фельдхебель и вопрошает: грамоты сподобился? Ответствую: «Сподобился чрез родителя свово Прокопия Веденеевича, проживающего в Белой Елани».

Тогда фельдхебель дает мне гумагу и говорит:

«Садись, пиши Высокому благородию, полковнику Рада-лову, что будешь справно воевать за царя и отечество».

Ответствую:

«Неможно писать так — вера не дозволяет. Как я есть старой веры, какая на земле от сотворения мира, так и жить буду. И винтовку в руки не возьму, и стрелять в людей не буду, так заповедовал сам господь: «Не убий».

Фельдхебель за такие мои слова учинил мне побоище. И в зубы бил кулаками, и в грудь, и в голову, а потом пхал ногами. И я то стерпел, батюшка. И молюсь я: «Господи! Возверни мне праведный образ, не доводи до погибели живота мово!» И нету мне ответа.

Лежал я три недели взаперти под замком, и кажинный раз под вечер вызывал меня фельдхебель и разные там благородия охицеры и спрос учиняли, говорили, чтоб отрекся от веры, взял винтовку, да я такого согласия не давал. И меня лупили нещадно. Телесность моя вся посинела, как чугунная стала. Кажинную ночь молился, родитель мой Прокопий Веденеевич, штоб господь заслонил меня от иродов!..

Тятенька! Родитель мой праведный! Не забывай про меня в своих молитвах. Мучаюсь я, тятенька, денно и ношно!..

В городе Ачинске, куда пригнали меня с езертирами, спрос учинил Высокое благородие, да я не отрекся от праведной веры. Просил, штоб возвернули домой, паки болящего. Не возвернули! Одели в шинелю солдатскую и посадили в телячью вагону под замок и повезли по железке со штрафными на упокой. Тот фельдхебель много раз вызывал меня из вагона и учинял изгальство. А того не разумеет, что я есть раб божий и все могу стерпеть, яко сам Спаситель на кресте!..

Тятенька! Родитель мой праведный! Таперича проживаю я при городе Смоленске. Заставили меня робить при лазарете, как я отказался от винтовки.

Кажинный день, тятенька, с войны привозят в лазарет солдатов и благородиев. У которых ноги оторваны, у которых руки, а у которых внутренности повреждены пулями али снарядами. Ужась! Чистые упокойники. Я роблю при бане лазарета. Дрова заготовливаю, топлю баню, воду грею. Провизия есть и харч добрый, но я живу воздержанием, особливо когда пост.

Таскали меня к начальнику госпиталя, при золотых погонах и сам без волосов на голове, а в один глаз вставлял стеклышко, когда меня разглядывал.

Упал я иму в ноги и возмолился, штоб пощадил мою телесность.

Высокое благородие вынул стекло из глаза и спросил: какой я веры? В том кабинете, когда меня привели, сидели дохтура — мущины и женщины в белых халатах. Прописываю тебе, родитель мой, какие я ответы давал высокому благородию.

Перво-наперво спрос такой:

По какой причине я, Боровиков, отказался брать в руки винтовку и не пошел убивать поганых немцев?

Ответствую:

«Как я исповедую веру Филаретову и особенно тополевым толк, то нельзя мне брать ружье самочинно, без дозволения батюшки, родителя моего, который старую веру соблюдает».

И опять высокое благородие вопрошает:

«Какая такая вера Филаретова и также тополевым толк?»

Отвечую:

«Самово праведника Филарета не видывал, царствие ему небесное. От родителя своего слышал, что Филарет на свет народился опосля сотворения мира господом богом и проживал в благости в земле Поморской, возле самого Спасителя. Игде та земля — не ведаю. Должно, где рай господний, там и Поморье, говорю».

Все дохтура в смех, а Высокое благородие сказал, что земля Поморская не там, где рай господний, а в Российской империи, и за Поморье, говорит, надо воевать с немцами.

Если дойдут немцы до Поморья и рай изничтожат, бери, говорит Высокое благородие, винтовку и вой за рай господний, за Поморье».

Смушение напало на меня, батюшка. Ужли Поморье в нашем царстве-государстве? Неможно то, думаю. Сатано хитростью пеленает, чтоб с веры совратить.

Сказал Высокому благородию так:

«Про Поморье не ведаю, игде оно. Родитель мой сказывал, что праведник Филарет заповедовал единоверцам: «Смерть примите, а за царя, за бар и дворян не воюйте! Потому: бары и царь — от нечистого народились».

За такие слова Высокое благородие шибко рассердился и сказал, что я не просто дурак, «а дурак с коромыслом сицилиста», как наш Тимоха вроде. Перепужался я до ужастев и все молился господу богу, чтоб помиловал мою душу грешную. А Высокое благородие приказ отдал: «Пусть, говорит, санитары пропарят его в бане». Меня, значит.

Заволокли меня в ту баню, сами в шинелях и в фуражках, а я голышком. Положили на полук и стали бить двумя вениками. Били, били до полного бесчувствия. Вся

спина моя волдырями покрылась. Ипеть я, родитель мой Прокопий Веденеевич, перенес телесность и две недели валялся в солдатском бараке вверх спиной. Как только не номер, господи!

Тятенька, родитель мой! Молитесь за меня, штоб господь поимел ко мне воссочувствие и не испытывал дух мой. Ежли дух мой сдюжит, то телесность Сгинуть может в сатанинском образе, и не будет мне воскрешения из мертвых!..

Вот уже три дни пишу письмо, тятенька, а всего прописать не могу. И солдаты изгалялись, и фельдхебели разные, и охицеры, и Высокое благородие. Призывали, вопрошали, смеялись, опосля лупили. А за што, про што, сам господь не ведает, должно!..

Пропиши мне, тятенька, как Вы там проживаете. Есть ли приплод от нашей живности, как от Буренки, как от Чернушки, как от Комолой и от овечек такоже.

Война ишшо хлещется. Слыхивал, будто наших бьют нещадно и многие гибнут... Где их хоронют — неведомо. В лазарет убиенных не возют. Упаси меня бог от такой погибели! И ты, Меланья, молись, как я есть мужик твой.

Ишшо бы писал, да почта возропщет.

Жду весточки от родителя своего Прокопия Веденеевича.

Остаюсь жив и покелева здоров и того Вам желаю

Филимон Прокопьевич».

Ш

Дарьюшка хохотала до слез, читая послание «телесно умученного праведника», часто повторяя: «Тятенька, родитель мой праведный!..»

Ах, Филя, Филя! Филимов Проконьевич! Какой же ты смешной, жалкий, прозрачно хитренький и такой беспомощный!

Вспомнила Тимофея: «Он совсем не такой, как Филя. Господи, как бы я рада была узнать, где он сейчас, муж мой!»

Улучив минуту, спросила у вездесущего дяди-урядника.

Игнат Елизарович подумал, покрутил усики и тогда уже сообщил, что Боровиковым будто бы было извещение о погибшем...

— Неправда, неправда, дядя! — воскликнула Дарьюшка. — Я бы чувствовала, если бы он погиб. Нет, пет! Не верю!

Игнат Елизарович подсказал: чего, мол, проще — пойти к Боровиковым и узнать.

В тот же час собрались. Дарьюшку пошел проводить сам Игнат Елизарович.

И каково же было удивление Игната Елизаровича и Дарьюшки, когда в ограде их встретил неломкий старик Прокопий Веденеевич и, не выслушав даже, погнал прочь с надворья:

— Ступайте, сатаны! Ступайте! Не будет мово разговора с вами... Ежли спросить хотели про Тимофея, ступайте вон! Сын мой не из ваших кровей, и антиресу для вас нету-ка!

И ушел в дом.

— Боже мой, боже мой! — кусала пухлые губы Дарьюшка.

Дядя-урядник грозился, что он «подведет линию» и под самого старика Боровикова. Он ему покажет, как порочить мундир урядника!

— Не властью надо карать людей, дядя, — возразила Дарьюшка, — открыть бы школу. И люди росли бы совсем другими, добрыми и образованными.

— Не школа, а плеть надобна для Боровиковых! Погоди уже, дождутся порки!

Минуло много времени, и Дарьюшке довелось прочитать еще одно вскрытое письмо Филимона Прокопьевича...

«Спаси Вас Христос, тятенька, родитель мой Прокопий Веденеевич!

Таперича другой год доходит, как я принимаю мучения. И нету мне весточки от Вас. Моя жисть муторна, кишаца кругом болестями. С позиций таперича везут, окромя раненых, которые в тифе. Вши кишмя кишат — ужасть! Должно, и я захвораю, потому все, кто робит при бане али санитарями, в тифу слегли.

Тятенька, родитель мой, пропиши хоша едную весточку, штоб дух мой не смущался от страшных видений.

Ужли никто не отзовется на глас вопиющего? Отзовитесь, тятенька! И ты, Меланья, яко жена моя с дщерью Маней.

Коли не отзоветесь, запрос учиню чрез урядника.

Остаюсь при лазарете города Смоленска, умученный раб божий, Ваш сын

Филимон Прокопьевич».

И тятенька наконец-то отозвался...

«Письмо писано сыну моему, Филимону Прокопьевичу, яко пустыннику Исусову.

Возроптал ты, чадо, и бог отторг тя от груди своей. Спытанье послал те, штоб ты показал крепость своей веры, а не мякину, какой набито брюхо твое. А ты вопиешь! Доколе, вопрошаю, вопить будешь? Неси свой крест при молчании, и благодать будет.

Мы — родитель твой, живем по своей вере, а ты принял у Елистраха крепость пустынника и живи так, а наш тополевыи толк не трожь, не паскудь! Молись денно и ночью, и отверзнутся врата господни! А ты в писаниях своих поганых поминаешь жену Меланью, яко рабицу твою. Ах ты срамник! Нетопырь! Как ты можешь иметь жену, коль стал пустынником! Нету тебе таперича ни жены, ни какой другой холеры из хозяйства. Блюди, сказываю, святость пустышника, и ты воссияешь пред лицом Творца нашего. А Меланья таперича прислон ко мне держит, как по нашей вере. В кротости и послушании, яко овца господня, а ты не встревай своим копытом — грех будет!

Ишшо раз благословляю тя на пустынность, и штоб не греховодничал, не прыгал из веры в веру, яко блоха.

Руку приложил родитель твой

Прокотий Веденеевич».

«Спаси Вас Христос, родитель мой Прокотий Веденеевич, а так и жена моя Меланья со дщерью Маней!

Господи, узрю ли я Вас, родитель мой? Узрю ли я тя, Меланья, жена моя со дочерью?

Лежу я таперича в лазарете шесту неделю, как по тифу живота мово. Болесть пристала несподобная, тяжкая. Кишками мучаюсь, спасу нет.

Получил я Вашу весточку, родитель мой, и очинно захолонуло сердце. И горько плакал я, зрил господь то! Не ведаю я того, тятенька, чтоб я отторгся от нашей крепости Филаретовой веры. И дяде Елистраху того не говорил. Видит господь, не принял я пустынность! Разве я могу жить при тайге, таиться от людей, питаться сухариками и во гроб ложиться допрежь смерти, как дядя Елистрах? Не могу того, батюшка! Помилосердствуй! Воплю, воплю, не отторгай мя от веры нашей праведной. И Меланья пусть ко мне прислон держит, как благословенье приняла и крещение тополевое. Не порушу того, не порушу! Услышь мой вопль, тятенька, и весточку благостную пришли! Долго писать не могу — слабость в теле великая. Ни руками, ни ногами владеть не могу. Молю господа, штоб начальство дало мне белый билет, я не до потребности схудал и знемог. Господи! Хоть бы сие свершилось!

Остаюсь болящий, телесно умученный, праведной веры Филаретовой со тополем господним.

Филимон Прокопьевич».

IV

Вопи, Филя, вопи! Вопи во всю глотку, авось кто-нибудь услышит твой «глас вопиющего в пустыне».

Кругом везде люди, и кругом везде пустыня. И люди топчутся в пустыне, не познавая друг друга, и у каждого свой нутряной вопль и стон.

От Смоленска до Перемышля — вопль и стон.

Дивизии с дивизиями сходятся на смертную свиданку...

Война скребет землю огненными метлами. Гарью, трупной вонью полнится земля, истоптанная солдатскими ботинками и офицерскими

сапогами.

Жерла пушек, винтовок харкают огнем и смертью.

В окопных закутках, в блиндажах, в грязи, в серой солдатской суконке кишат паразиты. Ползает ничтожная мразь с тела на тело — тиф!..

И стон, и вопль, и тиф. «Со святыми упокой» и без оных.

Огненная метла войны работает...

Вопи, Филя, вопи!

Телесно умученный, лупцованный фельдфебелями, унтерами, осмеянный солдатами — «кобылкой», паренный «Высоким благородием», отошальный до последней возможности, лежишь ты, Филя, на железной лазаретной койке в палате тифозных для нижних чинов, охаешь, крестишься, вскидывая взор в пустыню потолка. И ниоткуда не виден тебе лик господа бога! Един ты, как перст, со своим воплем и стоном.

Ты еще счастлив, Филя: твоя кровать у окошка. И ты видишь, как хохочет рыжая лохматая осень тысяча девятьсот шестнадцатого года, кривляется сучьями кленов, свистит, сюсюкает, а по ночам тревожно и таинственно перешептывается.

Кто знает, о чем шепчутся клены и липы! Отчего они так беспокойно лопочут лапами-листьями? Един дух — и ты дома на красной лавке под нерукотворными образами. И Меланья, рабица, пред тобою, и благословенный родитель Прокопий Веденеевич, но никто не возрадовался явлению телесно умученного праведника.

«Ступай в пустыню к Елистраху!» — гонит отец.

«Дык-дык разве я пустынный, тятенька?!»

«Молчай, мякинное брюхо! Из веры в веру прыгаешь, яко блоха!»

У Фили от страха в животе заурчало, и он очнулся.

— Тятенька!..

В ответ — бредовый стон девятнадцатикоечной палаты. И вонь, и спертый воздух.

Филя подполз к окошку и уставился в мир, полный струистой текучести, пронизанный розовостью тлеющего заката. На желтых ладошках одинокой кривой березки среди высоких кленов — глазастые, прозрачные росинки, играющие лучиками.

За деревьями — три пузатых луковицы с багровыми крестами, резко отпечатанными на голубом прислоне неба. И с тех луковиц

срывается печальный благовест.

Языкастая медь сыплет трезвоном в пустыню, а в брюхе у Фили свой трезвон — спасу нет. Надо спешить. Ты еще, Филя, в ходячих. Хоть кальсоны не держатся на твоих костях и отошлом заде, а ходячий.

«Тирили-ли-линь, тирили-ли-линь. Бом! Бом! Бом!»

Похоронный звон.

Может, и воскреснешь ты, Филя, из мертвых, кто ее знает! Ты молишься? Молись, молись.

Хватаясь руками за железо кроватей, Филя выползает в желтый коридор. В ушах свистит ветер. Упал.

Два ленивых, привычных ко всему санитаря подхвата ни Филю.

— Мне бы до ветру, братцы, по большой нужде...

— Переставляй ноги.

— Дык переставляю.

Санитары подталкивают Филю, скалят зубы:

— Доходит наш сусик!

— Как подштанники потеряет, так во врата рая въедет. Филя мычит, крутит огненной башкой:

— Не сподобился, братцы, во врата я. В сатанинском-то образе да в рай господний!..

— Ничаво, Филюха! Тамо-ка примут. Завозно ноне на небеси. Целыми дивизиями солдатня прет в рай. Иль место не сыщется для праведника? Ты же сам говорил, что твоя вера самая праведная?

— Дык верно, братцы. Самая праведная.

— Знать, примут в рай.

Медь колоколов вызванивает: «При-мут, не при-мут. Примут, не при-мут. Бом. Бом. Бом».

Тащат Филимона обратно «из большой нужды» — весь вестибюль до парадной лестницы в заслоне офицерских спин. В кою пору собралось столько «высоких благородий!»

По обеим сторонам широкой парадной лестницы, ведущей на второй этаж в офицерский корпус, выстроились военные в сверкающих мундирах, лицом к лицу, и шашки наголо; кого-то ждут, наверное.

«Экая силища у анчихриста», — глазеет Филя.

— Смир-р-но-о! — резануло сверху вниз, и две стены офицеров вытянулись, окаменело замерли.

Печатаются чеканные шаги. По лестнице вниз спускается грузный генерал в белых перчатках при оголенной шпаге. Следом за ним прямоплечий полковник с золотыми крестиками и еще с какими-то не виданными Филей орденами на груди мундира. Фуражка с белым глазом кокарды — на правой полусогнутой руке. Волосы белые, как пена в улове Амыла. Бок о бок с полковником — молодой офицер с генеральской шпагою на вытянутых руках. Следом еще два офицера несут черные бархатные подушечки с орденами. «Экая невидаль! — соображает Филя. — Высокое превосходительство и на том свете почивать будет на двух подушках и при оружии...»

Черный гроб с телом генерала на плечах гвардейцев покачивается, будто плывет по волнам, со ступеньки на ступеньку. «И колокола звонят, и охицеры с шашками. К чему бы, а?» — недоумеваает Филя, тараща глаза на траурное шествие.

И вдруг глаза Фили округлились, и рот открылся — узнал Тимоху, брательника, сицилиста! Это же, конечно, он идет рядом с полковником и тащит обеими руками генеральскую оружие. И лбина Тимохи, и плечи, и стать приметная, боровиковская, и чуть горбатящийся нос, и разлет черных бровей. Тимоха!

— Тимоха! Истый Тимоха, — буркнул Филя.

— Тсс, сусик! — одернул Филю санитар.

— Дык Тимоха же, Тимоха!

— Какой тебе Тимоха, — шипит в ухо дюжий санитар. — Генерала Лопарева тащат в собор отпевать.

— Лопарева?

— Их высокопревосходительство Сибирской дивизией командовал, которая, сказывают, у немцев в «кошеле» побывала. Зубами выдрались, а теперь на отдыхе в Смоленске. Вся дивизия выстроилась на похороны генерала Лопарева. Во! И ты не мешкай, торопись: заодно с генералом отпоют в соборе.

Суеверный Филя размашисто перекрестился и не ведал даже, что фамилия генерала знакомая. И кто знает, не из того ли корня, из которого происходил беглый государственный преступник Лопарев?

«Бом, бом, бом!» — бьет большой колокол.

Гроб вынесли, и там, где-то у парадного подъезда, разом грянула трубная музыка.

Раздалась команда, и почетный офицерский караул единым мундирным рукавом покинул каменную лестницу и вестибюль, оставив после себя открытой парадную дверь.

— Ей-бо, Тимоха со полковником шел, — побожился Филя, поддерживая обеими руками сползающие подштанники.

— Какой такой Тимоха?

— Брательник мой. Ей-бо, он самый. На войну забрали, как манифесту царь объявил.

Санитары хохочут — не верят Филимону Прокопьевичу.

— Признал же, братцы. Он самый! «Оборотень».

— Как так «оборотень»?

— Нечистый дух, стал-быть, В любой обличности появиться может. Иконы пощепал ишшо в малолетстве, а потом в город убег ко анчихристу. Изловили власти и к нам пригнали на ссылку, как сицилиста... И лба не крестил, ей-бо!

— Умный лоб, значит...

Из палаты для нижних чинов задом выпячивается санитар с носилками. Лицом к нему второй санитар. На носилках тело, закрытое простыней с непростиранными ржавыми пятнами от крови. На сложенных руках горбом вздымается простыня. На месте ног — провал до дна носилок.

— Кого несете?

— Кто его знает. Солдатик какой-то. Всю ночь маму звал.

«Бом, бом, бом!» — натужно стонет большой колокол, как бы взывая: «Кто следующий?..»

В этот же день Филимона Прокопьевича вызвал старший лазаретный доктор и спросил: доберется ли служивый домой, если ему выдадут «чистую»?

Филя едва устоял на ногах:

— Век буду молиться, дохтур! Ослободите, ради Христа!.. Нету моих сил мытариться во анчихристовом войске.

Старший доктор поглядел на своих помощников и, барабаня пальцами по мраморной доске, проговорил:

— Глуп, как пробка!

Филе то и надо — рад стараться:

— Глуп, глуп, ваше благородие. Токмо отпустите домой душу на покаяние.

— Ну, а тело здесь оставишь?

— Дык тело без души не проживет на белом свете.

— О! Однако ты не так глуп, каким кажешься.

— Истый дурак, ваше благородие. Умом бог обидел, а за што про што экая напасть — один бог ведает!

Доктора посмеялись, потешились и прописали Филимону Прокопьевичу «белый билет» из-за умственной ущербности.

И поехал Филя домой, в далекую Сибирь к немилостивому тятеньке Прокопию Веденеевичу и благословенной женошке Меланье Романовне, и только в дороге, за тридевять железнодорожных станций, вспомнил про офицера, похожего на брата Тимофея, да тут же отмахнулся: Тимоха — сам по себе, а он, Филя, будет жить сам по себе. «Мне бы хозяйство да обернуться с деньжишками, а потом бы пашню распахать на курагинских землях!..»

Одна беда: тятенька не выпустит хозяйские вожжи из рук, и покуда надо терпеть, повиноваться, проживать «мякинным брюхом», чтобы потом воспарить в поднебесье ясным соколом!

ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ

I

Лили дожди. Убористые, сенопрелые.

Текли вдовьи слезы, и некому их было высушить. Одичало-пустынно голосили солдатки на несжатых полосах.

Зерно падало наземь, и не было сил удержать его — сжать хлеб вовремя.

В редкости с позиций возвращались солдаты — серошинельная молчаливость, испившая фронтовой похлебки, и тогда в Белой Елани начиналась отчаянная и скорбная гульба. И как было не запить мужику, если он вернулся с позиций без руки или ноги, а были и такие, отравленные газами, которым и пить-то нельзя было, и они, угрюмые и отчужденные, трудно и долго откашливались.

Пили самогонку, курили табак, матерились срамно и жутко, и частенько бабы появлялись в улицах с накипью синяков на лицах.

Скудела жизнь; ожесточались нравы.

Прокопий Веденеевич окончательно открестился от мира и всех его соблазнов.

Всю прошлую зиму гонял ямщину из Курагина в Минусинск и трижды до Красноярска а обратно — деньгу зашибал, золото. «Гумажки, жди, лопнут, — говорил Меланье. — Золото копить надо».

Дождь, дождь, дождь.

В том же курном стане, где два года назад Прокопию Веденеевичу привиделась во сне матушка и он потом исполнил волю родительницы, Меланья вдруг проснулась ото сна среди ночи и, скорчившись, поджимая руками большой живот, испуганно уставилась во тьму берестяного стана, сдерживаясь от крика. «Сусе милостивый! — кусала губы Меланья, качаясь с плеча на плечо. — Спаси мя! Спаси мя!..»

Слышно было, как землю намывал дождь. Беспросветный, как крестьянская житуха. Льет, льет, как в бездонную бочку. Фыркают лошади. Рядом под двумя шубами похрапывает свекор.

— Ой, ма-а-а-тушки-и-и!

— Ты чаво? — поднялся он.

— Живот крутит. Спасу нет.

— От огурцов, гли!

— Н-не! Подоспело, кажись...

— Говорила же: на покров день?

— Должно, не дохожу. Еще вечор тискало.

— Дай бог!

— Что делать-то будем, тятенька? И так по деревне не пройти: стыдобушка.

— Плевать на деревню. Мы — сами по себе, деревня — сама по себе. Во грехе, во блюде утопла.

— Катеринушка Тужилина и меня блудницей обозвала. «Ты, грит, Меланья, выродка народишь».

— Плюнула бы ей в харю — и весь разговор! Только бы бог послал мужика — рублевых свечей накупил бы.

Меланья натянула шубу до подбородка, съежилась.

— Вдруг девчонкой разрожусь?

— Окстись!

— Филя-то, Филя што скажет?

— Сказывал: не поминай увальня! Ежли заявится, турну к пустынным в тайгу. Пусть там радеет. Покуда я жив, никто не порушит нашей крепости. Ни сатано, ни наговор деревни.

— Алевтину-то Трубину Васюха чуть насмерть не пришиб за раденье с батюшкой.

— Эва! Васюха! Кабы он в мои руки попал.

Меланья теснее прижалась к свекру: он ее спасение и защита. И лаской умилует, и холит, и по воскресеньям нежит. По дому гоняет безродную девчонку Анютку, а Меланье позволяет отдыхать...

— Дарья-то Юскова совсем извелась: на тень похожей стала. В чем дух держится? Григорий-то Потылицын возвернулся болящий. Газом немцы отравили, и руку на перевязи носит. Дарья прячется от него. Елизар Елизарович, сказывают, порешил: ноне будет свадьба.

— Ишь ты!

— А красивая Дарья-то, осподи! Видела я ее — глаз оторвать не могла. Сама тонкая, подобранная, как веретено, а глазищи чернее углей. И туман в лице. Худущая-худущая. Щеки ввалились, и шея стала как соломинка.

— Знать, не сдюжит такая шея хомута.

— Сам-то Елизар Елизарович — страхи господни, до чего сердитый да немилостивый.

— Порода звериная.

— Когда встрела меня Дарьюшка, вопрошать стала: правда ли, что Тимофей Прокопьевич погиб на войне? А я так гляжу на нее, и будто дух занялся. Хочу сказать, а слов нету-ка. Она схватила меня за руки и глядит, глядит, как углями жжет. «Правда ли, правда ли?» — заладила. А я чую: искушает! Как можно говорить с иноверкой?

— Истинно так, — поддакнул Прокопий Веденеевич.

— Вот и я так подумала, когда Дарья за руку схватила. Еще вспомнила, как ты наказал, что никому ни слова про Тимофея и про гумагу.

— Оборони господь!

— А Дарья-то чуть руки мне не оторвала. Трещит так: «Что же, говорит, вы за люди, если слово ответить не можете?» Я вырвала руку и убегла.

— Слава господи!

Меланья опять ойкнула и схватилась за живот. «Матушки-и, ма-атушки!» — билась во тьме берестяного стана. Прокопий Веденеевич, не накинув однорядки на плечи, выскочил из стана под дождь, схватил оброть, поймал буланого мерина, продрогшего и мокрого, моментально охомутил, запряг в телегу с проворностью молодого парня, кинулся в стан, укутал Меланью в шубу шерстью вверх, чтоб не промокла мездра, и усадил на телегу. Но Меланья не могла сидеть — свалилась на бок, скорчилась и все кричала, кричала.

По сторонам проселочной дороги, по глухому увалу мотались лохматые папахи деревьев, и все вокруг шумело, ухало, стонало, как это всегда бывает в непогодину.

Миновали сухую рассоху — расщелину между горами, где когда-то текла речушка, а потом высохла.

Вода сверху и вода снизу чавкает, струится и бормочет, как во время всесветного потопа, когда Ной спасался со чадами своими на вместительном ковчеге, упрятавшем в свою утробу по паре от каждого зверя, скотины, птицы... Непонятно только, к чему Ной взял в ковчег «семь пар нечистых» — змей ползучих, бреховатых сорок, кровожадных волков?

Прокопий Веденеевич призадумался, а Меланья исходила криком.

Из тьмы, воды и сырости наплыла такая же темная, непроглядная деревня, и просто удивительно, что такую вот чернь окрестили Белой Еланью!

... На солнцевсходе Меланья принесла сына.

Бабка-повитуха Акимиха, маленькая, ссохшаяся, суетливая, обмыв новорожденного, предостерегала:

— Под непогодье родила-то! Под непогодье. Гли, беды не оберешься. Ишь как господний тополь пошумливает? Вроде к светопреставлению. Война хлобыщется — мужиков изводит, а бабы, господи прости, откель и как детей родют!.. Гли! Горюшкахватишь, болящая. Таперича, скажу, никто не верует в тополевыи толк. Как на мужика-то глядеть будешь?

Прокопий Веденеевич прогнал непутевую бабку Акимиху и в то же утро сходил за тополевкой, безродной одинокой женщиной Лизаветой, смахивающей на кряж сухостоины, — до того она была жилиста, костиста, будто сама природушка отлила ее на три века.

Голосом служивого драгуна Лизавета возвестила:

— Спаси Христос чад ваших!

— Спаси Христос! — ответил с поклоном Прокопий Веденеевич.

II

Тем временем Филя, не ведая того, что произошло в семье за два минувших года, глазел на мир из окошка санитарного вагона, изредка выползая на костылях на больших станциях, набирался впечатлений и диву давался: до чего же многолика Русь, которую он не знал, не понимал и, глядя на нее голодными глазами, хотел постичь ее, уразуметь и не мог: в башку не помещалось.

Русь пласталась лоскутьями скудных пашен, топтала землю смоленскими, брянскими лаптями, трясла нищетою, щеголяла золотыми погонами и особенно оглушила Филю Русь московская, когда санитарный эшелон из Смоленска загнали в тупик на какое-то «формирование» и по вагонам, щелкая каблучками, бухая подковками солдатских ботинок, ходили московские сестры милосердия и дюжие санитары с докторами; одних, болящих, уносили на брезентовых носилках, других, ходячих, уводили, и Филя слышал, что «формируют эшелоны» больных и раненых из Москвы на Воронеж, Нижний Новгород, Саратов, Самару и в Сибирь.

— Меня в Сибирь, братцы! Ваше благородия! В Сибирь я. Ради Христа, ваше благородия! — всполошился Филя, когда в вагоне осталось человек пять неходячих и санитары с доктором и тремя сестрами милосердия покидали вагон.

Филя подхватил костыли и потопал за доктором, упрашивая, чтобы его непременно и как можно скорее отправили в Сибирь.

Доктор вскинул глаза на Филю, пригляделся:

— Ваш эшелон формируется на Казанском вокзале, говорю. Вас тут пятеро остается, погодите. Приедут за вами.

Но Филю не так-то просто уговорить. Чего доброго, забудут Филю в опустелом вагоне, и сгинет он, «как не бымши па земле».

— Иисусе Христе, помилосердствуйте! Сподобился я домой, ваше благородие. Воссочувствуйте.

На вопль Филя отозвалась тоненькая барышня в белом с пурпурными крестами на груди и на белом платке. Она сказала, что

возьмет извозчика за свой счет и доставит солдата на Казанский вокзал: «Он такой перепуганный, что просто жалко». Доктор выдал барышне какую-то бумажку, и Филя оказался в извозничьем экипаже бок о бок с чистенькой, сахарно-хрупкой сестрой милосердия, и та надумала показать телесно умученному солдатику первопрестольную град-столицу и ее сорок сороков, с золотыми тыквами куполов, торговыми рядами, с запутанными кривыми улицами, тем более что диковинный солдатик сказал, что он из сибирской тайги и держится какой-то старой веры, вынес лупцовку «фельдхебелей и разных благородий» и вот теперь едет домой «вчистую» (умолчав почему-то об умственной ущербности); будет век коротать в тайге, спать по соседству с медведями. «Зверь в нашей тайге, барышня, можно сказать, милостивый. Кабы фельдхебели были, как наши звери, разве я перетерпел бы во славу Иисуса экие мучения? — изливал душу Филя. — Господи! Думал, не сдюжу и дух из меня выйдет в сатанинском образе, как без бороды я таперича и башка голая, стриженная. Экой образине в Содоме токмо проживать».

— Какой вы чудной! — хохотала тоненькая сестрица, не похожая на тех огрубелых, бесцеремонных «сестер и братьев без милосердия», каких немало повидал Филимон Прокопьевич в смоленском лазарете. — Давно на войне?

— Как уволокли, с той поры, значит. С рождества позапрошлого года.

— И вы убивали?

— Оборони господь! Мыслимо ли? При лазарете состоял я, как не принявши оружие...

— Если бы все не стали убивать немцев, Россия погибла бы. Разве вам не жалко России?

— Не сподобился такое разумение иметь, барышня. Как не я веру правлю, так не мне глагол по Писанию держать.

— По какому «Писанию»?

— По божьему.

— Так ведь священники благословляют убивать врагов?

— Не принимаю того, барышня. Попам не веруем, как они есть от анчихриста.

— Кому же верите?

— Старой веры держусь, какую прародители из Поморья вынесли в Сибирь. Так и мы живем. От Филаретова корня.

— От Филаретова? А кто такой Филарет?

— Святой мученик, сказывают. С праведником Пугачевым веру правил, да анчихрист одолел.

Нежное создание с пурпурными крестами ополчилось на Пугачева, на старую веру, па безграмотность, стараясь разом вытащить Филимона Прокопьевича из вековых заблуждений, чтобы он прозрел сейчас же на улицах Москвы и уверовал, как разумно устроена жизнь на святой Руси! «Глядите, какие дома! Какие магазины, и сколько людей, я все они православной веры. Спасение наше в православии, а не в старой вере».

Девушка называла дома и чем они знамениты; называла улицы, и Филя тут же забывал их.

Проезжая мимо храма Христа-спасителя, девушка указала в сторону другого берега Москвы-реки, за каменным мостом.

— А вот на том месте, что Болотной площадью называется, казнили разбойника Пугачева: ему отрубили голову, руки и ноги.

— Господи помилуй! — Филя осенил себя крестом (сам не рад, что так некстати проговорился барышне про Филарета-пугачевца). — Мочи нету, как нутро крутит!.. Из-под тифа я, барышня. Помилосердствуйте, ради Христа! Доставьте к эшелону. Мужик я, неуч. И ноги у меня гудут. Кабы вовсе не отнялись.

— Тогда я скажу, чтобы вас оставили на лечение в нашем лазарете. Если я скажу, и папа — отец мой — укажет кому следует, вас здесь будут лечить.

— Упаси бог, барышня! — вконец перепугался Филя. — Домой я хочу. Нету мне житья без мого дома. Исстрадался. Помилосердствуйте! Тягостно мне зреть экое круговращение, которому отроду не приспособлен, как в тайге родился...

Далее задержались у торговых рядов Охотного, и девушка сошла с экипажа, купила для солдата связку подрумяненных баранок и очень жалела, что ничего другого достать не могла — оскудел Охотный ряд.

Филя, открыв рот, не сводил глаз с зубчатых Кремлевских стен, соборов с золотыми куполами и палат. Особенно увлекла его своей красотой колокольня Ивана Великого.

— Эко ж, эко ж, господи Сусе! Под самое небо!

— А может, останетесь здесь долечиваться? — уже не без иронии спросила девица.

— Господи! Господи! Помилосердствуйте! Мне надо домой ехать.

Пришлось отвезти «чудо природы» в санитарный эшелон дальнего следования...

И чем дальше Филя уезжал от Москвы, тем сильнее сужались впечатления от первопрестольной. Когда эшелон перевалил за Урал, перед глазами возникали и в беспорядке наплывали многоярусные домины с глазастыми стенами, кривые улицы, зубчатая стена Кремля, кружилась колокольня Ивана Великого и та девица — белокожее создание, и Филя потешался над ней: «Экая желторотая фитюлька!

Знать, буржуйские бабы только таких родят. Трещит, трещит, а что к чему, сама не ведает. Фитюлька!» Но вдруг, как наяву, услышал ее голос: «А вот на том месте, что Болотной площадью называется...» Тут же видения исчезли, и он осенил себя крестом.

III

Сибирь, Сибирь, Сибирь...

Радовали бескрайние просторы, бородатые степенные мужики, дородные бабы с кринками молока и простокваши. Филя предвкушал отдых под крышею родительского дома, сна лишился: как-то там? Управятся ли с хлебом? «И Меланья также. Соскучилась, должно. Ужо заявлюсь, возрадуется. Таперича никакая холера не загребет меня на войну!»

В ненастный день с присвистами студеного ветра эшелон дошел до Красноярска.

Филя выполз на станцию, заручился от воинского начальника бесплатным билетом на пароход и, не мешкая, подался на пристань.

Вечером в верховья Енисея уходил пароход «Дедушка».

Из двух труб огненными искрами пышет, жжет осеннее небо, а народищу — лопатой не повернуть.

И кого же видит Филя? Самого Елизара Елизаровича Юскова, миллионщика, земляка! В дорогом пальто, в заморской шляпе, в черных перчатках и с тростью, а рядом с ним — казачий есаул, не кто иной, как Григорий Потылицын, — руку несет на перевязи. Погоны — серебряные, гладкие, и шашка на боку — страхота! Папаха с

малиновым верхом, и лапы в перчатках. Не подступись! А ведь земляки же. Из той же Белой Елани! Вот оно как жизнь размежевала род людской!..

Филя рванулся к трапу, чтобы отбить поясной поклон Елизару Елизаровичу, да матросы, чумазные рыла, дали Филе под зад, и он едва не взлетел в бормочущую синь воды.

Обитая в четвертом классе, в трюме, Филя узнал, что земляк Елизар Елизарович — пайщик пароходной компании, потому и занимал «всю господскую салону, куда никого не пущали».

Случилось так, что Елизар Елизарович со своим верным подручным, новоиспеченным на фронте есаулом, Григорием Потылицыным, снизошел до трюма, чтобы поглядеть: хорошо ли утрамбован трюм «селедками» — так звали неимущих пассажиров четвертого класса. Не гоняет ли налегке капитан пароход компании.

Филя не заставил себя долго ждать: продрался вперед, кому-то отдал ноги и, отвесив поклон земляку, возвестил:

— Спаси Христос, Елизар Елизарович!

По обычаю староверов, Елизар Елизарович должен бы ответно откланяться, сказав: «Спаси Христос», — и наложить на себя большой крест, но вместо того, набычив голову так, что поля шляпы затемнили лоб и брови, предупредил солдатишку:

— Не кланяйся, рупь не дам.

— Дык я разве рупь? Оборони бог! Как земляки мы. Воссочувствие от радостей.

— «Воссочувствие»? — хмыкнул в бороду Елизар Елизарович. — Откуда будешь, «земляк»?

— Да с Белой Елани, Елизар Елизарович. Как можно сказать: из одного корня приходим, Филаретова, хоша по разным толкам ноне состоим. Корень-то едний был, слава Христе.

— Какой такой «корень Филаретов»?

— Дык из Поморья вышли пращурь в едной общине, али не слышали от родителя? И ту общину вел праведник Филарет.

Все это, понятно, знал Елизар Елизарович, но давным-давно плюнул на корень: абы листья шумели.

— На побывку? Руки и ноги, вижу, целы. И башка такоже.

— Вчистую еду, — осклабился Филя, тиская в руках старенький картузишко без кокарды. — Как из-под тифа, значит. Схудал, изнемог,

и тут ишшо ноги не держут. Тиф ударил, должно. Дохтур говорил: могут насовсем отняться, ежли волнение поиметь. Дык вот сижу здесь, а дух захватывает: воздух шибко тяжелый.

— Воздух тяжелый? — скрипнул Елизар Елизарович. — Шел бы пешком, и воздух был бы легкий. Хватай в обе ноздри и знай переставляй ноги.

— Дык ноги-то худые. Ежли бы, к примеру, сказать... Елизар Елизарович не слушал, опасливо поводя глазами по трюму: чего доброго, тиф схватишь или еще какую-нибудь заразу. Люди-то кругом как навоз. Вот и солдатишка-рыжая образина, башка огненная, шинель от грязи ломается, а туда же, в земляки напросился, в единовержцы!

— Дай ему, есаул, полтину, — смилостивился миллионщик и, уходя, спросил: — Чей из Белой Елани?

— Да Боровиков. Али не признали?

— Ба-ро-виков?! — поперхнулся Елизар Елизарович и вылетел из трюма, как снаряд из гаубицы, а следом за ним, поддерживая рукою шашку, казачий есаул, подтощальный, как стрельчатый лук, Григорий Потылицын, так и не оделив земляка полтиной.

Боровиков! До каких же пор Елизар Елизарович, человек при большом состоянии, почтенный и уважаемый, будет слышать эту фамилию, скрестившуюся с его, юсковской?

«Воссочувствие»! Шелудивый солдатишка издевался над ним, а он, Юсков, не уразумел того. Похоже, что он брат того Тимофея-сицилиста!..

— Ты этого... Боровикова вышвырни на берег, — пыхтел Елизар Елизарович, поднимаясь по трапу.

— Это не тот Боровиков.

— Вижу, не тот. Но из того же корня, падаль.

Да, да! «Из того же корня». А ведь юсковский и боровиковский корни когда-то были под единым деревом. Филаретовым, да потом оторвались друг от друга, и от каждого отошли свои побеги, и выросли новые деревья.

— Корень тот же, да сучья на дереве разные. Если бы того Боровикова встретить! Не пожалел бы припачкать шашки. И за Дарью Елизаровну, и за все. А с этим не стоит связываться. Дурак.

— Черт с ним, пусть едет. Зря дал полтину.

— Полтину поберег для другого раза.

— Я вот о чем подумал, Григорий. Гляди, какие скалы. Век стоят. Мальчонкой плавал по Енисею — скалы стояли на этом *же* месте. И вот стукнуло пятьдесят три, а скалы тут же. — И оглянулся, опираясь на поручни: догадался ли Григорий?

— Понимаю: человек — не скала, не камень. Должен двигаться. Иначе мхом покроется. Скалы-то мшистые.

— Ха! Остер. В точку попал.

— Иначе нельзя. Если воротник мундира давит шею, мундир меняют на более подходящий по туловищу, по шее.

— Па-нятно! — И Елизар Елизарович приподнял плечи так, что кости хрустнули. Он еще в силе! За два года войны сколотил на торговле скотом более трех миллионов чистогана! Владелец трех паровых мельниц, пайщик Енисейского акционерного общества пароходства, пайщик приисков Ухоздвигова — недавний, прошлогодний, но все-таки вошел в дело. Не пора ли ему растолкнуться с Белой Еланью?.. И все-таки в душе было муторно, не было той радости, какой хотелось бы... Всему причиной супруга, Александра Панкратьевна! Как он, Елизар Елизарович, ни молил бога, чтоб родила сына, так нет же, «девять лет ходила яловой переходницей, после рождения первой дочери — горбатой Клавдеюшки, а потом вдруг вспучило бабу, и она, господи прости, разродилась двойнею — девчонками, и сама чуть не сдохла» (хоть бы сдохла — руки бы развязала).

Подросли незадачливые дочери — одна другой хуже. Дунька не ужилась за управляющим прииска; Дарьюшка — умнущая, начитанная, но так же, как и Дунька, успела опаскудиться в девичестве и теперь отмахивается от единственного жениха Григория Потылицына.

До каких же пор потакать?

«Дарью надо скрутить, пока хвост трубой не вздула да в учительки не пристроилась».

Медлить никак нельзя. Елизар Елизарович купил участок под застройку в Красноярске. Домину поставит в два этажа, как у Востротина и у родича Михайлы Михайловича Юскова. Ну, а там исподволь перехватить ему горло и оттяпать у него два пая в акционерном обществе пароходства, а там и прииск в Южной тайге. Все можно сделать, только выбиться в фарватер большого течения.

«Теперь же отошлю Григория в Красноярск. Пусть начинает дело, приглядывается, приноживается, а по весне и сам махну туда же. Пора пришла».

Глаз узрил, нацелился, и надо бить без промаха! Надо! Или укатают саврасого миллионщика, или саврасый уездит гнедых, соловых.

«Если бы мне другие руки!..»

Другие руки — Григорий Андреевич Потылицын...

Хитер фронтовой есаул! Из чина в чин как по маслу катится. Другие до седой бороды топчутся в сотниках, а этот напролом лезет, себе на уме, хоть постоянно играет в молчанку. Но хватка волчья, оскал — тигриный. С таким можно начать дело.

— М-да-да, — мычит Елизар Елизарович, потягивая французский коньяк подвалов Михайлы Михайловича Юскова.

Ужинают в салоне. Двое на весь салон. Пусть господа на ус мотают, что значит пайщик пароходства!

Но что уткнул глаза в хрустальную рюмку Гришка-есаул? И на палубе молчит, и теперь. Любопытно, что у него на уме?

Двое суток в пути — с глазу на глаз, скушнота! Сам Елизар упорно выжидал: не подскажет ли что-нибудь будущий зять? Если бы он, Елизар Елизарович, был один, да тут бы Енисей задымился от веселья. Тысячу бы не пожалел, а пяток красавиц пропустил бы через руки. На золотой крючок любая рыбка клюнет: и красной породы, и сорожнячок, разная там образованная нищета, учительницы или офицерские женушки, тоскующие в одиночестве.

— М-да, война! Как там под Верденом?.. Григорий неопределенно усмехнулся:

— Если под Верденом французы не устоят, немцы зимовать будут в Париже.

— Так сразу и в Париж?

— Если хребет армии переломить, чего не дойти?

— Да ведь и наши австриякам всыпали. И в Галицию вышли, и в Буковину. Четыреста тысяч пленных цапнули. Видел в Красноярске австрияков? Казармы строят. Говорят, к рождеству пленными забьют всю Россию.

— Там будет видно.

— Надо бы протереть кишки капитану: на пароходе хватит места на сотню «селедок».

— Енисей обмелел.

— Посудина плоскодонная — пройдет. Ты натри холку капитану.

Григорий опять усмехнулся и пожал плечом: он еще не пайщик акционерного общества.

Левая рука Григория, изувеченная мадьярским палашом, висит на перевязи. Просто так, ради формы: рука давно зажила.

— Смотри, какие гусыни плавают, — кивнул Елизар Елизарович в сторону палубы. — Сейчас бы их на закуску, а? Самое время, чтоб во сне живот не вспучило. А?

— Не охотник на гусынь.

— Зря. Если хорошую гусыню подвалить на ночь, к утру сила удвоится.

Помолчали. Елизар Елизарович вспомнил богатый дом Юсковых в Красноярске. Завидный домина!

— Думаю, Михайла Юсков году не протянет. Укатает его женушка! Видел, как она хвостом метет по лестницам?

— Н-да-а. Не но Михайле Михайловичу гусыня! Елизар Елизарович махнул рукой и, раздувая ноздри ястребиного носа, спросил:

— Знаешь, кто он, Михайла? И не ожидая ответа:

— Сука! Помолчав, дополнил:

— Старая сука. Сам себя навеличивает либералом.

— Либералом?

— Вот-вот. А что это за фигура, «либерал»?

— Добрый, значит. В драку не лезет и драку не начинает. Со стороны смотрит и судит: как нехорошо друг другу морду бить, не похристиански, говорит.

— Он самый, Михайла Михайлович... сын ведьмы Ефимии. На Евангелие сидит, а в карман тебе глядит, как бы запустить руку. Так-то. Либерал, значит? Надо запомнить. Он любит, чтобы его все называли так. Имей в виду, когда будешь сталкиваться с ним. Мирком да ладком. Но ухо держи остро: в карман залезет или вывернет наизнанку. Это же сынок того самого Михайлы Данилыча, который мово прадеда Семена Данилыча околпачил, ободрал как липку и умелся из общины с блудницей Ефимией. С этой самой ведьмой! Если бы тот Михайла не

перемахнул в православие да не цапнул бы золотишко всех Юсковых, этот Михайла Михайлович тряс бы холщовыми шароварами. Да-с, батенька ты мой. Теперь он миллионщик да еще во второй раз женился. На ком женился-то?.. На самой княгине Львовой. Эх, сука она, так и вихляет хвостом!

— А минусинские Юсковы?

— Племянники Михайлы Михайловича. Внуки того Михайлы Данилыча, ворюги. И тоже в либералы лезут. Типографию открыли, газетку печатают, враньем рот замазывают, а почитают себя святошами.

— Сколько же лет бабке Ефимии?

— Сто двенадцать стукнуло. Вреднющая старушонка. И когда она сдохнет? На лето — в Белую Елань; на зиму — от одного дома к другому. Из Минусинска в Красноярск, а то в Петербург. В Петроград то исть. И всех ругает, тычет носом. Не старуха, а капустная кочерыжка. Я бы ее давно спровадил в преисподнюю. Она же и в бога не верит, ведьма!

— Они все не верят, думаю, — буркнул Григорий. — Погрязли в блуде и разврате, суета сует, как тина болотная, и нет ей дна. Во Спасителя веруют, а сейфам поклоны отдают, во храме божьем на иконы глаза вскидывают, а руками греховными под юбки чужих жен лезут.

— Это ты правильно подметил, да... — Ухватившись за столетнюю, покачиваясь, проговорил: — Да и есть ли он, бог? Живешь — ноздри раздуваешь; испустил дух — тлен, и больше ничего. Потому и рвут друг другу глотки: абы прожить на этом свете, а на тот что-то никто не поспешает. А? Жми-дави, и вся статья жизни. Пойдем, охолонемся на палубе. В башке тяжеловато и в брюхе тошно от этих стерлядок.

На палубе коротали время одинокие дамы, кутаясь в теплые шали, в пальто, и важно прохаживался пузатый толстяк Вандерлипп. «Маслобойщик из Америки», — узнал его Елизар Елизарович.

Двухтрубный пароход, тяжело отдуваясь, как старик, и назывался «Дедушкой», медленно двигался навстречу течению возле аспидно-черных утесов по правому борту. Ни звезд, ни неба; чугунная плита. Давящая, гнетущая.

Здрав бороду, Елизар Елизарович поглядел в небо:

— Опять дождь собирается!

— Всю осень льет.

— Н-да, льет. — И, шумно вздохнув: — Скушно, Гришка, на белом свете! Ох, как скушно.

— Смотря где и кому.

— Понятно! В Париж бы катануть, а? Я ведь, господи прости, дальше Сибири нос не высовывал. А надо бы! Хоть глазом боднуть тех самых француженок, от которых Востротин и теперь еще глаза под лоб закатывает, как только вспомнит, как форсил в Париже. Н-да!.. А на нашей земле из века в век одна музыка; скушнатория, братец! И не солоно хлебаем, и солоно жрем, а все едино: друг друга терпеть не можем. Кровь у нас такая, или как?

— Ошейник туго затянут.

— Как так?

— Дыханье сдавлено, говорят казаки. Жандармов много, свободы — кот наплакал. Какое может быть веселье и простор для души, если перед носом жандарм и за плечами квартальный или урядник? Надо вдохнуть в суетный мир какую-то свежую струю, чтобы развеять туман смрадного застоя.

— Да ты што, Гришка? Сицилист?

— Ко всем чертям сицилистов! Говорю про простор для души.

— Дай простор — сицилисты и вся шваль сядут на шею, и пиши пропало.

— Не сядут. Политику политикой бить надо, а не нагайкой. Вот в Минусинске у нас одна газетка, и та паршивая. Пусть бы было десять, пятнадцать!

— Э, батенька! Да кто их читать будет? Грамотеев-то на весь уезд тысяча, не более. Одной газеткой давятся, а ты «пятнадцать»!

Григорий помалкивал. Отоспаться бы до Минусинска! Да хозяина в трех ступах не утолчешь.

— Приедем домой — свадьбу завернем на всю Белую Елань! А?

— Третий год жду, — намекнул Григорий.

— А ты не жди! Или ты не есаул? У девки дурь в башке, и она с этой дурью век прополощется, если ее не взнудать. Повенчаются или по староверческому обычаю: без венца и без торца?

— Я не старовер, православный.

— Тогда бери невесту за жабы да в Курагино, в церковь. А потом с последним парходом валяй в Красноярск со всеми потрохами: дело

надо начинать.

— Надо.

— Надо, Гришуха. Надо!

И, распахнув пальто, выпячивая грудь, пожалел:

— Кабы годы молодые вернуть, Григорий Андреевич! Я бы не с того начал. Козырным пошел бы тузом. Сжевал бы Михайлу Михайловича и Востротина заглотнул бы с французскими штанами. А там!.. — И, подняв руки к небу, задрал черную лопату бороды, хохотнул: — Либералом объявился бы, Христосиком.

«Шлеп, шлеп, шлеп», — вторили плицы ходовых колес, жадно загребая воду.

Огни парохода отражались на толще шипящих и спученых вод, как в кривом зеркале. На нижней палубе кто-то устало и безнадежно прощался:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

Елизар Елизарович плюнул за борт и, запахнул пальто, подмигнул цыганским глазом:

— Пойду искать гусыню. Без них нельзя, Григорий. Вторые сутки всухомятку — оскомины на зубах. Баба, она как редька: горло дерет и аппетит на жизнь разжигает. Испокон веку так: мужику — дело; бабе — сдобное тело да вывеску подходящую. Ну, я пошел! Не постничай. До свадьбы можно оскоромиться. А после свадьбы — жди первого мясоеда. А потом!..

Григорий вспомнил Дарьюшку. Вот если бы сейчас явилась она!

Но она не явится. Силою надо взять. Хотел бы он согнуть ее в бараний рог за Боровикова, но сумеет ли?

«Я ее возьму. Какая ни есть — моей будет. Моей!..»

Но взять Дарьюшку оказалось не так-то просто...

IV

За угрюмо-лбистым утесом Тураном, морщинистым и древним, как сама земля, отбивающим каменной грудью кипящую суводь устья

Тубы, открылись благодатные минусинские просторы.

На левобережье виднелись Баландинские каменноугольные копи, а кругом, куда ни глянешь, бескрайняя ковыльная степь, и там где-то, за селом Усть-Абаканским, нагуливались гурты коров, отары овец Елизара Елизаровича, наращивая мясо до зимнего убоя.

Табунщики, пастухи, чабаны, гуртовщики не знали самого скотопромышленника — был на то управляющий Минусинской конторы Иннокентий Михайлович Пашин, скупщики в Урянхайском крае, казначеи и бухгалтер. Скот закупали в Минусинском уезде, в Урянхае, у инородцев Аскиза, Абакана, Шира, потом забивали на бойнях и по первому льду мясо везли обозами в Красноярск или Ачинск на железную дорогу. Закупленный скот весной и летом грузили на баржи и везли в Красноярск.

«Мяса, мяса, мяса!» — наседали воинские начальники.

Деньги текли на счета Елизара Елизаровича в три банка: в коммерческий Минусинский, в Русско-Азиатский и в Сибирский торговый банк.

Минусинская мельница Елизара Елизаровича, как он ее сам называл «завод», с мощными паровыми котлами, с бельгийским оборудованием, круглый год молола прозрачно-звонкую твердую пшеницу в муку-крупчатку, манную крупу и даже отруби грузила на баржи, и опять для воинского ведомства.

Не хватало пароходов — строили барки-баржи, вязали плоты из мендовых сосен.

Юсковские подрядчики ухитрились заполучить лес на порубку возле Минусинска в бору — оголяли земли, где потом, много лет спустя будут свистеть ветры, перемещая сыпучие пески. В завтрашний день никто не заглядывал, жили днем сущим.

За два года войны немало выцедили из Минусинской округи хлеба, а еще больше скота. И казна цедила, и военное ведомство, и скотопромышленники, и даже иноземные купцы.

«Мяса, мяса, мяса! Хлеба, хлеба, хлеба!» — гребла война по аулам, селам, деревням.

За устьем холодноводной бурной Тубы пароход отвалил от левого берега, и, сбавив ход, с промерами дна вошел в Татарскую протоку Енисея. Вдали дымился Минусинск.

Чем ближе пароход подплывал к Минусинску, тем жестче был взгляд Елизара Елизаровича. В уме сами по себе складывались соображения, разговоры с управляющим и скупщиками и особенно с дотошным бухгалтером, который непременно выложит на стол счета, реестры и будет высказывать свои особые заметки, предостережения, на что Елизар Елизарович обычно отвечал: «Все мои капиталы и обороты у меня в башке...»

Еще до того как «Дедушка» отдал якорь в Тагарской протоке и стальная цепь со скрежетом сползла в воду, Елизар Елизарович, озирая пристань с капитанского мостика, увидел на пологом берегу брата-урядника Игнашку и удивился: какая нелегкая занесла его па пристань?

— Игнат Елизарович встречает, — сообщил Григорий.

— Вижу.

И, нахлобучив шляпу на лоб, буркнул:

— Неспроста явился сом.

— Может, с Дарьей Елизаровной что случилось?

— С Дарьей? Што еще с ней может случиться? — дрогнул Елизар Елизарович и, уходя, напомнил: — Проследи гут за выгрузкой товаров, схожу к Игнашке.

Пароход пришвартовывался к затопленной барже. Елизар Елизарович спустился вниз, в толщу потных и сдавленных у трапа пассажиров, рявкнул:

— Ма-атросы! Па-арядок где?

Из туго скрученной связки людей раздался голос земляка, Филимона Прокопьевича:

— Елизар Елизарович!.. Сусе Христе!.. Давют, давют!.. Елизар Елизарович!.. Христа ради, пропустите, — толкался Филимон Прокопьевич и кое-как продрался к земляку вместе со своими костылями. — Ноги не дюжат, Елизар Елизарович! Вот костыли дали в лазарете, да разве на них ускачешь в Белую Елань? Ради Христа, доведи меня попутно, значит. Попутно. Не доползти мне на костылях-то. Через волнение ноги совсем не ходют, осподи!..

— Па-астронись, па-астронись! — Локти Елизара Елизаровича, как пушинку, отмели Филю вместе с костылями. Напирая всей силушкой, продрался к трапу, еще не укрепленному поперечной

перекладиной, балансируя руками, сошел на баржу вслед за мужичьей сутулой спиной на берег.

— Ну, что у вас? Пожар? Потоп? — крикнул брату, медленно двигаясь навстречу.

Нет, дома. ничего не случилось: все живы-здоровы, ни потопа, ни пожара. В город Игнат Елизарович приехал с воинским начальником и со становым: исправник вызвал. Дезертиров будут вылавливать в Каратузской тайге.

— Ну и черт с вами, ловите, — отмахнулся Елизар Елизарович. — А я-то подумал — беда какая.

— Беды нету, а вот про Боровикова известия имею...

— Што-о-о? — покособочился Елизар Елизарович.

— Про Боровикова, говорю. Про того политикана, сицилиста, которого...

— Пошел ты к такой... — взорвался Елизар Елизарович.

— Дай сказать. Дело щекотливое, слышь. Ежли старик Боровиков объявит воинскому начальнику ту похоронную гумагу, какую мы тогда сработали...

— Кто «мы», сом?!

— Как уговорились тогда...

— Иди ты, Игнашка, к едрене...

— погоди, Елизар. Тут и твой есть интерес. Воинский начальник получил пакет про Тимофея Боровикова. Определенно прописано самим генералом, за печатью штаба, как есть Тимофей Боровиков георгиевский кавалер, а так и за спасение знамя Сибирской стрелковой дивизии, а так и генерала по фамилии Лопарева, которого Боровиков отбил от немцев, по той причине Боровиков командует взводом и званье поимел прапорщика. Это тебе как? Предписание указывает: выдать денежную пособию семье Боровикова, то исть родителю, значит, а так и на сходке прочесть гумагу генерала за печатью штаба. Кумекай, куда повернет Дарья, ежли узнает, что Боровиков жив и при большом почете? И письмо перехватил от самого Боровикова каторжанину Зыряну. И на меня угроза и на тебя!.. Обещается явиться на побывку. Тогда как?

Елизар Елизарович почернел от подобного сообщения. Тот самый Боровиков! Прапорщик! Благородие! Боровиков — благородие?! Георгиевский кавалер?! Обнародовать на сходке?!

— Тебе, тебе, Игнашка, надо зуб вырвать за Боровикова! — бухнул Елизар Елизарович. — Кого выпустил из рук, а? Чтоб тебе подавиться той тысячей и рысаками!..

Игнат Елизарович тоже взорвался:

— Не ори! Я тебе не приказчик, не скупщик скота! Как есть при должности...

— При должности?! Да я тебя в почки, в селезенку!..

— Не ори, говорю! Военский начальник али сам исправник нас рассудит. Как ты подстрекал меня на убийство Боровикова...

— Што-о-о?! — еще одно слово, и Елизар Елизарович измолотил бы Игнашку пудовыми кулаками. — Ты... меня... зоб!

Игнат Елизарович отскочил в сторону и в мгновение ока выхватил шашку:

— На-а-зад! Раз-в-з-валю!

Елизар Елизарович услышал, как, сверкнув серебряной змеей, свистнула шашка.

— Ты... ты... что, а? — испуганно попятился.

— А ты думал как? Измываться? Век будешь измываться? Как над скупщиками? Я тебе кто? Нахлебник?

Елизар Елизарович, остывая, стриганул глазами: собирается народ, позорище выйдет.

— Уходить надо. Глазют. Погорячились, хватит. Само собой — хватит. Не из-за чего на стену лезти. Подумаешь, прапорщик! С крестами! Будет ему еще один крест — осиновый. Будет!.. Дарья ничего не знает?

Игнат кинул шашку в ножны и, поворачивая с братом на набережную, сдержанно ответил:

— Старик посадил ее под замок до твоего приезда.

— Молодчага отец!

— Уйти собралась. В учительницы.

— Повенчаю дуру.

— Как знаешь.

— Говоришь, письмо есть от Боровикова?

— Есть.

— У тебя?

— У меня. Но не дам тебе. Ты его изорвешь, а письмо пришло под сургушными печатями, чтоб вручить Зыряну под расписку. Ночь сидел,

пока вынул письмо через дырку в конверте. Как вроде потерял конверт. И опять вложил.

— В милость к Боровикову войти хочешь?

— Чтоб под законоуложение не попасть. Потому пакет за номером штаба дивизии.

V

Некоторое время братья шли молча в тени багряных прибрежных тополей.

— Что он там пишет, сицилист?

— Про политику ничего не пишет. Кабы было!.. Про сражения, за которые кресты получил. Прописывает, как погиб их командир штабс-капитан в бою, как он командование на себя принял. В «кошель» к немцам попала вся дивизия генерала Лопарева; с боями пробивались из того «кошеля». И сам генерал тяжелые ранения поимел, и от дивизии мало осталось. Теперь дивизия в Смоленске.

— Та-ак. Ну, а про меня что?

— Тебя он круто посолил. Так и пишет Зыряну: «Сообщите, мол, как там распорядился с Дарьей Елизаровной цыган, жадюга»?

— Цыган?!

— Далее: «Если цыган силою выдал Дарьюшку замуж за казачьего недоноска» (это он про Григория Андреевича), то, пишет: «приеду на побывку, с цыганом подобью итоги по-фронтовому». Стал быть, жди, припожалует. При оружии, как офицер, и характер, должно, не хуже твоего.

— Та-а-ак. — Елизар Елизарович стиснул челюсти — желваки вспухли. — Припожалует? Ну, что ж. Осинный крест схватит.

— Гляди. Как бы по-другому не обернулось.

— Не пужай ястреба сороками!

— А чего бы тебе: пусть Дарья сама обдумает, ей жить в дальнейшем. С Дуней-то как произошло? В насильном замужестве, долго ли прожила? То и с Дарьей. Пропадет, как Дуня. А можно с толком распорядиться. Хочет уйти учительствовать, пускай идет, если ей не по нраву Григорий Андреевич. Как там ни суди: девке двадцать лет — принуждать нельзя. И Боровик на стену не ползет.

— Боровикову — Дарью?

— Сама пускай решает. Может, выйдет за кого другого.

— Не «за кого другого», а за Григория. И ты не сучи хвостом — от Боровика награды не получишь. Если хочешь, чтобы я оказал тебе поддержку, не трясни штанами: письмо к Зыряну сожги и пепел выкинь к свиньям. Военского начальника завези ко мне, поговорю с ним как следует быть. Сам подумай: если про Боровика на сходке объявят, все ссыльные поселюги хвост подымут и тебя же копытами бить будут. Тебя же, урядника! Или не соображаешь? Весь разговор про геройство и про офицерство сицилиста перетрем в ладонях. Мало ли сволочей проскочит в прапорщики через войну — и все им кланяться. Итоги подобьем после войны. Там будет видно, кто останется в офицерах, а кто в трубочистах. Морду ему еще начистят, если останется жив. Потому он и метил на Дарью, чтоб зацепиться за юсковский корень и на поверхность выплыть. Не выйдет. Лапы обожжет. Вот на пароходе встретил меня Боровиков — рыжая образина. Брат того, кажется. Поклон отвесил, земляком назвался, «воссочувствия от радостей» проявил — и лапу протянул: «Христа ради!..» Дай такому поблажку — он тебя за горло схватит. Не миловать, а бить таких надо.

— Оно так, — буркнул притихший Игнат Елизарович, принаравливаясь к шагу старшего брата: как там ни суди, а «цыган-жадюга» — головастый миллионщик, на кривой не объедешь.

Багряно-жухлые листья прибрежных тополей кружились в воздухе, устилая землю.

— Тут ведь какая вышла штука... — заискивающе заговорил Игнат Елизарович. — Как пришел пакет военному начальнику, я под тот раз был в Каратузе. Говорю: «Он же сицилист, Тимофей Боровиков, и розыск был из жандармского управления»; И писарь тот помнит. Отыскали бумагу. Прописано: в такой-то военной штрафной части, с девятьсот четырнадцатого году Тимофей Боровиков, значит, крамольные разговоры проводил среди нижних чинов. И вдруг новая бумага: прапорщиком объявлен и георгиевский кавалер! Военский начальник за голову схватился. Говорит: в уезде разужнаем.

— Ну и как?

— Ротмистр пояснил, что опосля того поступило из губернского управления упреждение: Боровиков проявил храбрость в боях. А тут вот и новая бумага!..

— На волка «Георгиев» навешали?

— Выходит.

— Сымут. Раскусят, что он за фрукт, и в «могилевскую губернию» пропишут.

— Дай бог!..

Братья разошлись мирно. Игнат Елизарович пообещал уничтожить письмо Тимофея каторжанину Зыряну и завезти воинского начальника в гости к Елизару...

Покончив с делами в Минусинске, на тройке собственных рысаков, лоснящихся от сытости, Елизар Елизарович с Григорием в рессорном тарантасе с брезентовым пологом мчались Курагинским трактом в Белую Елань.

Дарьюшка петляла по горенке, как черная лисица в клетке. Четыре стены, четыре угла и филенчатая дверь на замке — арестантка. «Все равно уйду, через стены уйду. Не хочу, чтобы меня спихнули с рук Потылицыну, в придачу к паровой мельнице. Отцу нужен свой человек, чтобы ворочать миллионами. И он хотел бы, чтобы я стала закладной у Потылицына, сидела бы в четырех стенах и была бы покорной, как купчихи в Минусинске».

«Бежать, бежать! — зрело решение. — Если явится отец с Григорием, тогда не уйти. Он меня убьет. Или, как тогда Дуню, будет волочить за косы по горнице, пинать, издеваться». Кто знает, где теперь горемычная Дуня? Был слух, будто с цыганом спуталась на руднике Иваницкого, а потом куда-то исчезла. «Все равно уйду, — думала Дарьюшка. — Пусть погибну, но уйду!»

Но как бежать из четырех стен, если мать Александра Панкратьевна и сам дед Юсков денно и ночью доглядывают за пленницей?

В молитвеннике — неотправленное письмо Аинне Юсковой, подружке по Красноярской гимназии. Как давно все это было! Гимназия, двухэтажный бревенчатый дом Михайлы Михайловича Юскова, того самого Юскова, с которым в тайной войне сам Елизар Елизарович! Что сказал бы отец, если бы ему в руки попало это письмо?

«Аинна! Милая моя подружка!

Не знаю, получишь ли мое письмо и живешь ли ты сейчас дома, но я бы очень хотела, чтобы письмо мое дошло до тебя. Ты вообразить не можешь, что я пережила с того времени, когда вернулась домой из гимназии.

Я не писала тебе: не могла писать. Такое со мной приключилось, что я два года жила как в тумане и все чего-то ждала, на что-то надеялась. Боже, что я только не передумала и не перечувствовала за это время!..

Как бы я хотела сейчас вспорхнуть и улететь в Красноярск и там встретиться с тобой, с дядей Михайлой, с тихим Ионычем и с твоей мамой Евгенией Сергеевной. Вы совсем иначе живете, чем у нас в

Белой Елани. У нас тюрьма, староверчество; а у вас в доме все куда-то спешат, спорят, и жизнь такая кипучая, что дух захватывает. Помню, как я бегала из комнаты в комнату в вашем доме и все ждала бурю, чтоб испытать силу. Но бури не было, и твоя мама смеялась над нами: «Девчонки! Сахарные барышни! Не думайте, что все так просто в жизни, как вам сейчас кажется. Однажды вы проснетесь от розовых снов и увидите себя беспомощными и жалкими, и, чего доброго, перепугаетесь...»

VII

Дарьюшка скомкала письмо и, взглянув на иконы, исступленно проговорила: «Неправда, неправда! Жив он, жив, жив!»

Тыкались сонные мухи в стекло, а Дарьюшка, похаживая по горнице, места себе не находила. За окном стылая осень трепала куст черемухи, и багряные листья устилали поблекшую траву в палисаднике. В ногах и руках ртуть перекатывалась. И страшно, и отчаянность подмыла. Понесла, закружила — не удержаться. Судьба решалась! Не сегодня-завтра вернется отец из Красноярска. Тогда будет поздно...

В большой горнице чаевничали сватовья Потылицыны, братья Григория Андреевича. Вкусно пахло жареным мясом, утятинной, сладким печеньем, а у Дарьюшки совсем живота не стало.

— Григорий наш жалостливый, да и умом бог не обидел. В большом чине. Сама великая княгиня собеседование вела с ним, когда в казачье войско припожаловала с генералами и сановниками. Есаульского чина удостоили! — гудел бас Пантелея Потылицына.

«Хоть бы провалился сквозь землю ваш Григорий!» — подумала Дарьюшка, подслушивая разговор возле двери.

В горенке — ни пальто, ни жакетки, ни шали. Дед Юс-ков догадался убрать одежду.

«Сбегу в одном платье, — соображала Дарьюшка. — Только у кого спрятаться на день-два? Хоть бы деньги были! Серьги отдам, крестик с цепочкой».

Перебирала в памяти дом за домом, и везде — чужие люди. Уйти к поселенцам в Щедринку? Но ведь она там никого не знает. Ни одной

семьи, ни одной избушки! Да примут ли ее, дочь свирепого миллионщика, бедные зависимые от Юскова люди?

Нет, в Щедринке не найти пристанища...

«Только к старику Боровикову, — остановилась Дарьюшка. — Неужели он не спрячет? Отдам ему золотые серьги, крест с цепочкой, только бы тайком увез в Минусинск или в Курагино. Тут же близко! В Курагино пойду к становому и буду просить защиты. Все ему расскажу. И про Дуню и про себя. Пусть нас рассудит закон».

Зрела разгоряченная мысль, накатывалась отчаянность, прихотливая сердце. Глаза у Дарьюшки стали какие-то острые, суженные, как черенные пули на тяжелого зверя, — так и выстрелят.

На сон грядущий помолилась — истово, медленно и твердо накладывая на себя кресты, словно впечатывала двоеперстие в грудь, в середину лба, в плечи.

Понаведалась мать. Благословила Дарьюшку, молвив:

— Смирись, доченька. Себя мучаешь и нас всех изводишь. Чем не муж Григорий Андреевич? И сам собой пригляден, не ветрогон, и офицерского званья. С отцом дело ведет.

— А я что закладная для отца? Пусть они ведут свои дела, а меня оставят в покое. Я ничего не требую от вас. Ничего! Дайте мне уйти.

— Знать, кто-то изурочил тебя.

— Никто не изурочил, а Григория терпеть не могу.

— Слово-то отцовское нерушимо. Смирись. Тебе добра желаю.

— Добра? — передернулась Дарьюшка. — На шею петлю хотите накинуть, и это добро?!

— Ополоумела!

— Лучше смерть, чем замуж за Григория. Дед Юсков заглянул в горницу:

— Вот куда вылезла сатанинская гимназия. Не я ли упреждал Елизара: не держи девку в доме баламута Михайлы! Не дом, а содом с гоморрой. Того и Дарья набралась.

— Неправда! У дяди Михайлы в доме настоящая жизнь, а у нас — вечная тьма, иконы, молитвы и — тьма, тьма!

— Тьма?! Иконы — тьма? — ощерился дед. — Погоди ужо, разговор будешь иметь с отцом. Защиты моей не будет. Али смерть жди, али покорность прояви.

Разошлись, не помирившись. Дарьюшка поджидала, когда уснут все в доме. Знала, мать с сестрой Клавдией спят — из ружья не разбудишь. Дед Юсков одним ухом спит, другим — возню мышей слушает.

VIII

Померкли двуглавые орлы на тисненых обоях. Дарьюшка поднялась, подошла к двери, долго прислушивалась. Надела свое черное платье, а вместо шали — льняное покрывало на плечи. Заглянула под кровать, достала войлочные туфли.

Стала на молитву.

За окном черно и мокро. По стеклам потоки дождя о хлопьями снега; октябрь дохнул стужею. И ветер, ветер.

Долго отгибала ножницами гвозди у второй рамы, потом бережно вытащила раму и поставила ее возле простенка.

Распахнула створку. Ветер рванул в горницу, обдав холодом. Прислонилась к косяку.

Нет ли кого в переулке? Безлюдно. Через переулок — бревенчатая стена дома дяди Игната, урядника. В окнах черно.

— Спаси меня, господи. — Вздохнула во всю грудь, вылезая из окна в палисадник. Не успела прикрыть створку, как по большаку, сперва издалека, а потом ближе, слышались знакомые перезвоны серебряных колокольчиков. Отец! У одних Юсковых малиновый перезвон. «Боже, если захватит?» И, прикрыв створку, притаилась возле кустов черемухи. Малиновый перезвон залил улицу. Слышно было, как хлопали копыта по грязи. Дождь, дождь.»

Тройка миновала переулок и подвернула к ограде Юсковых. Дарьюшка, поддерживая обеими руками покрывало, быстро перелезла через частоколовый палисадник и не оглядываясь, побежала по переулку, в сумрачную пойму Малтата.

Взмыленная тройка била копытами; кучер Микула стучал кнутовищем по тесовым воротам. Встречать выбежал дед Юсков — Елизар Елизарович-второй, как он называл себя знатным гостям.

Кучер провел под уздцы тройку в обширный двор, вымощенный торцом — кругляшами лиственниц.

Елизар Елизарович-третий, усталый и злой, вылез из-под брезентового полога, а вслед за ним Григорий.

— Микула! Вьюки занеси в дом.

— Сичас занесу.

Два Елизара — отец и сын — упруго сдвинулись цыганскими глазами и молча прошли в просторную переднюю избу. За ними Григорий, как восклицательный знак, поджарый, высокий и почтительно молчаливый.

— Живы-здоровы? — буркнул Елизар-третий.

— Слава богу, — ответил Елизар-второй, уважительно поглядывая на оборотистого сына. — Как у тебя съездилось?

— Старая лиса Михайла хитрит с прибылями. И акционеры также.

— Ворюги, — поддакнул отец.

Из опочивальни выдвинулась заспавшаяся Александра Папкратьевна, отвесила поясной поклон супругу, приняла «аглицкое пальто» с бархатным воротничком, гарусный шарф и, приветив будущего зятя Григория Андреевича, взяла от него шинель, ремни с шашкой и казачью фуражку.

Из боковой светелки вышла горбатенькая Клавдеюшка и, низко поклонившись батюшке, уползла в тень лакированного буфета, забитого серебром и хрусталем, — знай, мол, наших! И мы не деревянными ложками щи хлебаем.

Прошли в большую «парадную горницу», обставленную венской мебелью, вывезенной по специальному заказу из Будапешта. Домоводительница Алевтина Карповна, из городчанок, перехваченная у золотопромышленника Иваницкого, «собачника», «псаря», церемонно пригласила Потылицына на плюшевый диванчик, придвинув к нему лакированный закусочный столик с графином хорошего вина и хрустальной пепельницей, хотя Григорий не курил. «Для такого столика положена пепельница», — объяснила однажды хозяйину Алевтина Карповна.

На большой круглый стол под сверкающей висячей лампой в серебряном черненном ободке со стеклянным абажуром домоводительница накинула скатерть и собрали холодную закуску. Из вьюков достали коньяк, копченую нельму и, что самое важное,

новинку из Японии: банки консервированных крабов, выловленных в территориальных водах России японскими рыбаками.

— В доме Михайлы Юскова кого не встретишь, — разминался Елизар Елизарович, похаживая по мягкому пушистому ковру вокруг стола, украдкой взглядывая на филенчатую дверь в малую горенку, где, как он узнал от Игнашки, отсиживается под замком Дарья. — И японские коммерсанты бывают, и голландские купцы, и датчане с англичанами. К зиме ждут гостей из Америки. И все жрут нашу хлеб-соль, и всем нужна сибирская пушнина, и золото, и масло, и мясо. У нас же закупают и нам же, как от своих фирм, продают с прибылью для себя. На пароходе встрел американского пузыря, под вывеской Датской концессии вывозит в Европу наше масло — сибирское. Будто сами не умеют масло вырабатывать от своих коров.

— Экая напасть, — вторил Елизар-второй, успевший натянуть на себя жилет с кармашками и нагрудной золотой цепью от часов, заводимых по торжественным случаям. — Так и Расею растащат.

— И растащат, — раздул ноздри Елизар Елизарович. — Отчего не тащить, ежели головы в сенате мякинные? Война тряхнула, и остатнее соображение вылетело. Да и мы тоже, русские промышленники! В пеленках пребываем, во младенчестве. Кабы я со своей конторой лег на большой фарватер — в Красноярск или вот в Новониколаевск. Городишко малый, а на бойком месте строится. Говорят, лет через двадцать Новониколаевск заткнет за пояс Красноярск. Потому на стремнине поставлен. Семипалатинские и барнаульские степи рядышком, алтайская благодать. И киргизские земли. Есть где кадило раздуть.

— Новониколаевск? Ишь ты!

— Думал махнуть туда со своей конторой. Опять-таки, если умом раскинуть, то и на Енисее можно укрепиться. И Урянхай наш, и инородческие волости по Абакану до Саян. Для скотоводства — не хуже семипалатинского приволья.

— Оно так, — поддакнул Елизар-второй.

— Но дело надо держать в самом Красноярске. Купил вот участок под застройку дома. Каменный поставлю, на три яруса. Возле пристани, чтоб все было под руками.

Елизар-второй почесал в затылке!

— Ладно ли? Белая Елань, к слову сказать, на золотом тракте. И туда прииски, и сюда...

— Белая Елань — забегаловка, медвежий угол. Сделки совершаются в больших городах.

— Иваницкий тоже проживает в деревне у инородцев.

— Псарю — собачье место, — отрубил Елизар Елизарович. — Куда он сунется, Иваницкий? Или не знают, как он монашеством прибрал к рукам прииски?

— Оно так. Псарь.

— Если бы Михаила не жил в Красноярске, разве бы он ворочал такими миллионами? И в Англии у него свои люди, и в Японии, и в самом акционерном обществе — заглавная фигура, и с губернатором на одну ногу.

— Старик ведь. На три года старше меня.

— Скоро сдохнет.

Елизар-второй вздохнул: «И я не заживусь, должно».

— Кому же капиталы перейдут? Сыновьям? Двое у него?

— Капиталы? Похоже, сыновья умоются. Пока они военные мундиры носят, петербургская просвирка Евгения Сергеевна дом и дело к рукам приберет. Хитрущая змея! Обставила себя управляющими — мошенниками. На прииски — брата, Толстова по фамилии. По лесоторговле — племянника Львова посадила. Мало того: в тайном сговоре с американцем, мистером Чертом прозывается. На русском языке гребет не хуже архиерея Никона. И сам архиерей, цыганская образа, днюет и ночует у Юсковых. Такая круговороть в доме — не приведи господи!

— Должно, укатают Михайлу Михайловича...

— Укатают, — подтвердил Елизар Елизарович. — Не жалко. Туда ему и дорога. Дело лопнет. С такими порядками, чего доброго, пая в пароходстве лишусь.

— Спаси Христе! — перекрестился Елизар-второй. — Как надумал-то? Забрать пай?

— Евгеньюшка на то и била, чтоб я взял пай и развязал ей руки. Не на таковского напала. Чавылин, как уговорился с ним, отдаст мне свой пай с пятью процентами. Так что к весне два пая мои. А там подбьем итоги: чьей силы больше?

— Дай-то бог! Григория Андреевича пошлешь в Красноярск? — догадался старик.

— Надежнее нету, — кивнул Елизар Елизарович. Григорий Андреевич, прислушиваясь к разговору, никак не отозвался на похвалу.

— Дай бог! Дай бог! — кудахтал старик.

— Медлить нельзя. С последним пароходом Григорию надо уехать, и Дарья с ним.

Обмолвившись про Дарью, сын уставился на отца:

— Што она тут за фокус выкинула?

Старик переглянулся с Александрой Панкратьевной. Та, скрестив пухлые руки на груди, потупилась. Алевтина Карповна, как бы стараясь отвести неприятный разговор, пригласила к столу:

— Присаживайтесь, Григорий Андреевич. Выпили по рюмке коньяку, закусили.

— Так что она за фокус выкинула? — напомнил Елизар Елизарович. — В побег, говорят, ударились?

Старик подтвердил:

— Было дело. В Минусинск собралась, в учительницы. Чтоб самой хлеб себе зарабатывать. Ну, пошумели. Под замок посадили, штоб охолонулась.

Елизар Елизарович набычился:

— На хлеб себе зарабатывать? А за родительскую хлеб-соль рассчиталась? Позовите!

— Может, утречком потолкуешь? — уклонился отец.

— Зови!

Старик долго не мог отомкнуть замок — руки тряслись. «Хоть бы миром обошлось», — молился. Открыв половину филенчатой двери, громко позвал:

— Дарья!.. Заспалась, Дарья! Проснись! Отец приехал! Тишина и темень.

В приоткрытую створку двери потянуло ветром. Старик пошел в горницу, на ощупь к деревянной кровати. Ощупал постель — пусто! И тут увидел выставленную раму...

— А-а-а-а-а!.. Такут твою!.. А-а-а!.. — повело Елизара-второго, словно судорога схватила.

С треском распахнулись обе половинки двери, и в горницу ворвался Елизар Елизарович.

— Где она! Где? Сбежала?! Как же вы, а?..

— Потемну наведывался, потемну, — бормотал старик, суетясь возле окна. — Потемну наведывался! Ни обуви, ни одежды. Гольшком ушла, осподи!

Александра Панкратьевна с Клавдеюшкой запричитали Как по покойнику.

— Ти-ха! — рыкнул Елизар Елизарович, распиная венские стулья. — Найти ее, сейчас же! Сей момент! Поднять работников. Конных послать на тракт в Курагино И в Каратуз. Живо! Григорий, подымай своих казаков.

Вылетел на резное крыльцо:

— Ра-а-а-бо-о-о-тники! По-о-дымайсь!

Из большой избы выбежали трое мужиков с бабами. Григорий, схватив шинель и ремни с шашкой, побежал будить братьев...

Верхом и пешком кинулись на поиски Дарьи.

ЗАВЯЗЬ ДЕСЯТАЯ

I

Тьма, стылость, мокрость, осенняя... Дарьюшка пробиралась берегом Малтата к дому Боровиковых, настороженно прислушиваясь к деревне.

Нудно лопотал лапами-листьями черный тополь, как шатром укрывающий тесовую крышу дома Боровиковых.

Прокопий Веденеевич задержался на полуночной молитве.

Сучья тополя шуршали по крыше.

Под завывание ветра с мокрым снегом, отбивая поклоны, набожный тополевец читал псалом:

— Милость Твоя до небеси; истина Твоя до облаков. Правда Твоя как горы божьи, и судьбы Твои — бездны великия. Человеков и скотов хранишь ты, господи...

Раздался стук в окошко моленной.

Прокопий Веденеевич испуганно обернулся, пробормотав: «Спаси мя, Христе...»

— Прокопий Веденеевич, — послышался голос, как будто из потустороннего мира.

Старик воздел руки к иконам, запричитал, а из неведомого: «Прокопий Веденеевич! Прокопий Веденеевич!» — да так настойчиво, страждуще, что старик, одолевая робость и страх, приблизился к окошку.

Лицо будто. Женское.

— Кто там?!

— Ради бога, пустите в дом!

— Кто ты?

— Я — Дарья. Дарьюшка Юскова.

— Осподи прости! — Прокопий Веденеевич отважился открыть половину створки. На голове Дарьюшки что-то белое, мокрое. На исхудалом лице не глаза — горящие угли.

— Юскова, гришь? Елизара Елизаровича?

— Из тюрьмы ушла я, Прокопий Веденеевич. Замучили, замучили меня. Под замком держали, как арестантку, — бормотала Дарьюшка, и глаза ее, умоляющие, просящие, прилипли к бородавотому, немилостивому лицу старика. — На одну ночь пустите. Завтра уйду в Курагино, к становому, а потом в город. Ради бога!

— Экое!..

— Ради бога!..

— Опамятуйся, дочь. Опамятуйся. Не божья воля то, чтоб от родителя в побег дочь ушла. Не по-божьи то! От нечистого экое наваждение.

— Не бог меня мучает.

— Нечистый искушает, грю. Нечистый. Верованье ваше поганое, оттого и нечистый верховодит домом, грю. И сказано: «Не отверзни лицо твое от родителя, вскормившего тя, паки молоком своим». Ступай и покорись.

— Не покорюсь. На одну ночь пустите. Серьги золотые с камнями отдам. Крест золотой на платиновой цепочке. Ради Христа!

— Не искушай, сатано! Не надо мне ни твоих сережек, ни сатанинской печатки на золоте, кое крестом зовешь. И в дом пустить не могу, не обессудь. Верованье ваше рябиновое, греховное. И дед твой, Елизар, еретик и паскудник. Ступай.

Дарьюшка вцепилась руками в подоконник.

— Ради Христа! Убьет меня отец. Хоть в амбар пустите. На одну ночь.

— Али ты в своем уме? — ударили каменные слова. — Куда убежишь от воли божьей? Судьба твоя в руке создателя, грю. Терпением да послушанием жить надо, а не греховной плотью. Али не ведаешь слова Апокалипсиса Иванова?

— Иоанова? — переспросила Дарьюшка, соображая, что ей толкует бровастый старик. — Не помню я, не помню.

— И то! Откель тебе помнить про таинства, коль у греха в приклету возросла! — злобствуя, твердил старик.

И Прокопий Веденеевич, будто смилостивившись над несведущей Дарьюшкой, поведал ей устрашающим голосом, точно творил заклятье всему роду еретиков Юсковых:

— Есть у таинства четыре коня, и каждому дан глас грома господнего. Под первой печаткой — конь белый, а на нем всадник, имеющий лук и на голове венец. Под второй печатью — конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтоб убивали друг друга, и дан ему большой меч на два конца точенный. Смыслишь то? Конь рыжий явлен ноне, и стала война, побоище всесветное.

— Да, да, война, — отозвалась Дарьюшка, трясась от холода и проникающей сырости. «И на войне убит Тимофей», — вспомнила, а Прокопий Веденеевич продолжал!

— ... и когда он сымет третью печать, тогда явится на землю конь вороной, имеющий меру в руне своей, чтоб грехи людские перемерять. Стон будет и вопль будет.

— И стон и вопль, — повторила Дарьюшка, и зубы у нее отстукивали мелкую дробь.

— ... и будет снята четвертая печать, и тогда объявится конь бледный, и на нем всадник, слушай. Имя тому всаднику — смерть, и ад за ним. И дана будет ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять мечом и голодом, мором и зверями земными, и не будет грешникам спасения. Ступай, дочь! В послушании и терпении явится тебе Спаситель, и ты узришь тайну, и жизнь откроется тебе из пяти мер.

— Из каких «пяти мер»? — тряслась от холода Дарьюшка.

— Святым мученикам, какие не ведают греховной плоти, был глас господний. И сказано: «Ведайте пять мер жизни и сготовьтесь

предстать пред ликом творца нашего». Такжеже. Первая мера — когда во чреве пребываешь и ноздрями не дышишь, а плоть живая. Отчего так? Господь ведает. Вторая мера — когда на свет народился, стопами по земле пошел, а что к чему — не уразумел. Один к богу обратился, и благодать ему от века. Другой во грехе увяз, яко свинья в навозе. Со злом трапезу правит и не ведает, когда грядет конь бледный и спрос и суд чинить будет.

Дарьюшка решительно ничего не понимала. Что еще за «мера жизни»? И что за «конь бледный»?

— Будет и третья мера жизни за второй, — наставительно продолжал старик. — Угодный богу, яко во второй раз народится, и радость будет ему. И небо узрит в розовости, и станет на душе его просветление и мир. Такая мера для святых мучеников.

— И я, и я мученица!

— Ты не мученица, а во грехе пребываешь, коль плоть терзает тебя. Зри! Грядет третья мера, как жить будешь?

— Я ничего не понимаю!

— Будет дано, поймешь. И еще скажу: за третьей мерой жди четвертую, в коей старцы пребывают. Тогда душа очищение примет от земной скверны, чтоб воссиять в пятой мере и усладиться вечным блаженством в загробной жизни.

— Не понимаю!

— Ступай тогда! Нету мово разговора с греховницей, коль святого слова не разумеешь.

— Какая мера? Где? Люди как звери. Они меня замучают.

— В третьей мере возрадуешься, грю.

— В третьей? О боже! На одну ночь прошусь. Я не чужая вам, не чужая! Сын ваш...

— Сгинь с глаз моих, не совращай. Экая стужа! Не держи створку!

Старик пытался закрыть створку, но Дарьюшка вцепилась в нее обеими руками.

— Скажите, ради бога, Тимофей живой?

— Плоть мучает тебя, греховодница!

— Живой он? Живой?

— До чего же ты вредная. Гумага была — убит. Неведомо токмо: с покаянием али без креста и молитвы отошел из юдоли земной. Ежли

без покаяния, сгил, как не жимши.

— Не верю! — выкрикнула Дарьюшка. — Не верю! Покажите бумагу.

— Не тебе пришла бумага из волости, а мне, яко родителю, — рассердился Прокопий Веденеевич. — Изыди, грю.

— Не уйду! Дайте прочесть бумагу.

— Створку вырвешь, дура. Бить тебя, што ль?

— Бейте же, бейте! — рванулась Дарьюшка грудью в окошко.

Прокопий Веденеевич отступил ругаясь, глядя на Дарьюшку пронзительно и зло, а тогда уже достал из деревянного сундучка сверток казенных бумаг, порылся в нем и нашел извещение, сочиненное урядником о погибшем сыне Тимофее.

Дарьюшка выхватила четвертушку бумаги и, повернув ее к свету, мгновенно пробежала глазами, и еще раз, и еще, и вдруг, тихо ойкнув, повалилась на завалинку.

Старик испуганно перекрестился, быстро захлопнул створку, притянул ее веревочкой к косяку и, не мешкая, погасил свечи на аналое, бормоча что-то под нос, ушел в большую горницу к сырице Меланье.

«Неисповедимы пути господни, — подумал он, приваливаясь к теплому боку невестки на деревянной кровати. — Экая дурь обуяла девку, а? Ума решилась! Греховное в греховности пребывает».

И заснул сном праведника.

II

Сколько пролежала Дарьюшка в беспамятстве под окном дома Боровиковых, она сама не знает. Очнулась продрогшая. «Убит, убит! — обожгло сердце, и она враз все вспомнила, поднимаясь на колени. — Убит, убит!.. Как же я, Тима?»

Ответа не было, только лопотал черный тополь.

Толстущие сучья висят над головой Дарьюшки и, покачиваясь под напором ветра, зловеще скребут по карнизу в крыше: «Скrrrr, скrrrr! Так было, так будет. Из века в век. Ступай и покорись». А у Дарьюшки зуб на зуб не попадает. Мокрое платье прилипло к телу. Волосы рассыпались по плечам. Покрывало скатилось с завалинки, и Дарьюшка не отважилась спуститься вниз и поднять его. К чему?

«Убит! Убит! — отжимались слезы. Она плакала молча, глядя на черный, заунывно шумящий тополь. — Хоть бы мне умереть!» Но и умереть не могла — силы иссякли. Если бы кто подскочил с ножом, она бы не стала защищаться — молча приняла бы удар. Она не помнит, где и когда потеряла войлочные домашние туфли, и не чувствовала, как окоченели ноги. Пространное, всеохватное равнодушие усыпило сознание. «Мне все равно», — подумала она, теснее прижимаясь к бревенчатой стене, и боком, шаг за шагом добралась до угла дома, спустила ноги с завалинки, еще раз оглянулась на черный тополь и, вся скорчившись, с силою прижав руки к груди, побрела, как тень, возле заплота Боровиковых, мимо ворот, мимо соседнего дома Турбиных и свернула в глухой и узкий переулочек. Куда? Зачем? Не думала. Брела серединой переулочка по колено в вязкой, намытой непогодьем грязи, из лужи в лужу, гонимая вздохами холодного ветра, слякотью и тупым отчаянием.

На исходе переулочка в присковую улицу поскользнулась и упала, не успев опереться на руки. Не ойкнула. Враз объемно увидела обрюзгшее небо в наплывах такой же непролазной грязи, как и на земле, и вдруг вспомнила давнишний гимназический вечер памятной осенью тринадцатого года. Так же вот лепило мокрым снегом, и она, Дарьюшка, возвращаясь с вечера, оступилась и упала навзничь в лужу, а подружка Аинна, потешаясь, толкнула в лужу гимназиста Антошку Гмырю, долговязого, стеснительного паренька, поклонника малороссийской поэтессы Леси Украинки. Тот раз Антошка Гмыря подхватил Дарьюшку на руки, вынес на сухое место и, возбужденный близостью с красавицей Дарьюшкой, восторженно прочитал стихотворение Леси Украинки. Дарьюшка потом попросила Антошку, чтобы он записал стихотворение в ее альбом, и выучила его наизусть — до того оно ей понравилось.

Дарьюшка вспомнила это стихотворение и, чего-то испугавшись, какого-то толчка изнутри, порывисто поднялась, огляделась. Одна! Совершенно одна в пустыне! Может, и Леся Украинка побывала в такой же пустыне одиночества и отчаяния, когда написала свое страшное стихотворение? Глядя в немую пустоту, Дарьюшка шептала:

Я на темном глухом перелогe
Буду сеять цветы и растить.

Буду сеять цветы у дороги,
На морозе слезами поить...
И от слез этих вьюги не станет,
Ледяная растает кора,
И цветы зацветут, и настанет,
Может быть, золотая пора...
Да! Я буду сквозь плач улыбаться,
Песни петь даже в горькие дни,
Без надежды надеясь, смеяться,
Прочь, унылые думы мои!..

«Без надежды надеясь, смеяться!» И слезы брызнули из глаз Дарьюшки. Закрыв лицо отерпшими от стужи ладонями, согнувшись, она плакала, плакала навзрыд, будто сама судьба подвела ее на край могилы. Еще один толчок, и Дарьюшка упадет в яму и никогда уже не будет на этом свете «без надежды надеясь, смеяться»...

Черно и сыро.

«Замучили, замучили, проклятые!» — билась в оскорбленной душе ядовитая тоска, и Дарьюшка, преодолевая чугунную тяжесть, пошла дальше улицей, мимо безмолвных изб, мимо равнодушных и сонно безучастных людей, не ведавших, что где-то рядом, за бревенчатыми стенами, чье-то сердце исходит кровью в неравной схватке с жестокостью.

Ни в одной избе огня!

Фартовые приискатели отсыпались за летнюю удачу, нефартовые — горе мыкали в потемках до осеннего престольного покрова дня, когда они будут собираться в компании, пить самогонку и хвастаться. Тут всегда так: в праздник — пьяный разгул с драками; в будни — сытая или голодная одурь до вешней побудки, когда тайга, освободившись от зимней спячки, позовет к себе старателей на потаенные тропки и золотиносные жилы.

Чужие люди! Чужие судьбы, и весь мир для Дарьюшка В эту ночь как библейская Аравийская пустыня: ни отзвука на глас вопиющий, ни участия на стон страждущий.

«Ступай и покорись!..»

Бьют — не ропщи. Передают с рук на руки в придачу к мельнице — радуйся. «Так было, так будет». На крови каторжника поднялся страшный тополь, как бы утверждая собой незыблемую, окаменелую вечность: человек человеку — волк. Милосердия нету. Или ты, или тебя укатают!..

Ш

— «Без надежды надеясь, смеяться», — шептала Дарьюшка, напряженно прислушиваясь к чему-то новому, важному, нарастающему внутри, освобождающему сердце от тяжести.

Куда она идет? К какому пристанищу? И есть ли пристанище?

За приисковой улицей — тракт в Курагино. Ветер с дождем и мокрым снегом застилал глаза, упираясь в грудь мохнатой лапой, будто хотел повернуть Дарьюшку обратно под родительский кров, к покорности и смирению.

По левой стороне тракта мотались вершинами березы, и ветер свистел в сучьях. Слева от тракта — кладбище. И Дарьюшка вспомнила пророчества старика: «Есть у таинства четыре коня... Конь белый... Конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтоб убивали друг друга... Тогда явится конь вороной... чтоб грехи людские перемерять... И тогда объявится конь бледный, и на нем всадник. Имя тому всаднику — смерть, и ад за ним...»

Дарьюшке почудилось, что она отчетливо видит кресты и слышит конский топот. Ближе, ближе. По кладбищу мчится всадник на бледном коне. «Спаси и сохрани», — помолилась она, но не испугалась.

Всадник и конь исчезли.

— Я видела, видела! — Дарьюшка напряженно приглядывалась к темноте.

«И жизнь откроется тебе из пяти мер...»

— Да, да! — промолвила Дарьюшка, как будто клялась кому-то, и внутри у нее, в сердце, в рассудке, что-то раскололось на две половины: на мир зримый, который она видела и не понимала, и мир внутренний, таинственный, с которым она сейчас вела разговор.

«И ты узришь тайну, и жизнь откроется тебе из пяти мер...»

— Да, да. Из пяти мер, — поддакнула Дарьюшка. «Первая мера, когда во чреве пребываешь и ноздрями не дышишь, а плоть живая...»

— Да, да. Живая!

«Вторая мера, когда на свет народился, стопами по земле пошел, а что к чему — не уразумел...»

«Будет и третья мера жизни за второй. И радость будет.

И настанет на душе просветление... Такая мера для мучеников...»

— Я — мученица! Мученица! — воскликнула Дарьюшка и облегченно вздохнула. Теперь она понимает, куда идет! В третью меру жизни. Да, да!..

Из рощи на тракт вышли трое мужчин. Дарьюшка удивленно уставилась на них. Узнала Мамонта Головню, кузнеца, высоченного, в картузе и в тужурке по пояс. И каторжанин Зырян с сигаркой в зубах. Еще кто-то. Кажется, еврей Петержинский, портной из ссыльнопоселенцев.

— Э? — уставился Мамонт Головня. — Дарья Елизаровна? Ищете тебя Потылицын с братьями. У Крачковского они.

У какого Крачковского? Дарьюшка забыла, что в доме бабки Ефимии квартирует политссыльный Крачковский с чахоточной женою, и безродная Варварушка живет с ними.

— Она же босая! В экую непогодь! — засуетился Зырян, стягивая с себя тужурку. — Сбежала, должно, от живоглотов. Куда бы ее, а? Спрятать бы надо, ребята.

— Што ви! Што ви! — замахал руками Петержинский в суконной поддевке. — С атаманом шутить нельзя, скажу вам. — И, не попрощавшись, Петержинский ушел.

Зырян накинул на плечи Дарьюшке тужурку. Дарьюшка очнулась будто и сбросила тужурку.

— Уходите, уходите скорее! — И, быстро оглянувшись, таинственно сообщила: — Идите лесом, горами. Мимо кладбища не ходите. Там сейчас бледный конь.

— Бледный конь? — перепросил Зырян.

— Уходите, уходите!

— Э?

— Куда же ты, босая, раздетая? Непогодь-то на всю ночь! Пойдем с нами. Мы тебя спрячем.

— Меня спрячете? — переспросила Дарьюшка и добродушно захохотала. Беззаботно, восторженно, как давно не смеялась. — Какие вы чудные... Спрячете... Меня... Ха-ха-ха!.. Меня нельзя спрятать. Я теперь в третьей мере жизни, и меня никто, никто не достанет. Высоко-высоко. Я совсем стала легкая. Как птица.

— Господи помилуй! — попятился Зырян.

— Позимия, — проговорил Мамонт Головня, не зная, что предпринять. — Они ее доконали, живоглоты.

— Доконали, паря.

Присматриваясь к темноте, Дарьюшка увидела рыжие пятна света из окон дома бабки Ефимии.

— Там свет, видите?

Головня еще раз напомнил, что в доме бабки Ефимии сейчас атаман Сотников и есаул Потылицын с братьями и что они ее ищут.

— Меня ищут? Смешно. Меня нельзя найти. — И так же спокойно сошла с тракта в рощу, направляясь к дому бабки Ефимии.

— Эге-ге, — покачал головою Зырян.

— Смыслишь, что к чему? — спросил Головня. — Вот оно тебе, самодержавие. Человек может погибнуть ни за понюшку табаку. У личности никакой свободы нет. Ох, как нужна всесветная революция!

— Оно-то так, паря. Они пошли к деревне.

IV

В поисках беглой Дарьюшки Григорий с братьями, Андреем и Пантелеем, пришли к дому бабки Ефимии в березовой роще.

Григорий, поднявшись на высокую завалинку, заглянул в окно, в другое. За столом в передней избе сидели «политики»: Исаак Крачковский с вислыми черными усами, рядом с ним Мамонт Головня, Зырян, приискательница Ольга Федорова; на угловой лавке — кто-то молодой, черноволосый, в желтой кожаной куртке с отложным воротником, при галстукe — не иначе вожак подпольщиков; спиною к окну еще двое — мужчина и женщина. На столе самовар чеканной тульской работы — достояние Ефимии; возле каждого чашка с чаем на блюде, печенюжки, варенье в хрустальной вазе. Однако ни к чаю, ни к этой снеди никто не притрагивался: тот, кто сидел спиною к окну, читал что-то по книге. Ага!.. Вот и Петержинский, портной. К столу

подошла, вся в черном, жена Крачковского — Григорий не раз встречал ее в Белой Елани. Понятное дело: сходка!..

Напрягая слух, заглядывая в глазок ставни, Григорий никак не мог понять, о чем шла речь. Тот, кто сидел в кожаном, перебивая чтеца, сказал:

— Все это чересчур мудрено, расщепай меня на лучину! Надо бы проще. Так, чтобы понятно было каждому приискателю, рабочему. Сейчас надо говорить не о противоречиях империализма, а о самой войне. Так, чтобы солдаты оружие повернули против тирании, против самодержавия.

Ого!.. Это понятно Григорию.

— Не видно Дарьи? — шепотом спросил Андрей. Григорий спрыгнул с завалинки.

— Не видно. Тут собрались такие головорезы, по которым тюрьма плачет. Договариваются, как солдат подбить на восстание. Надо их накрыть. Ты, Пантелей, беги моментом за атаманом Сотниковым, он у Сумковых остановился. И старосту Лалетина позови. Да шашку захвати, не забудь. Сей момент! Скажешь атаману: у политссыльного Крачковского сходку накрыли. Понял?

Пантелей побежал.

Григорий и Андрей прошли под навес, заглянули в конюшню рядом с коровником. Под навесом стояли две кошевки: одна без оглоблей и другая, обитая медвежьими шкурами, вместительная, с пялами у задка; на середине ограды — тарантас на железном ходу. В конюшне пара лошадей, а поодаль — сытый мерин в яблоко.

— Не иначе из Минусинска прикатили, — проговорил Андрей, разглядывая тарантас с железными подкрылками.

— Это мы сейчас узнаем...

Долго стучались в сенную дверь. Окликнул мужской голос:

— Кто там?

— Казаки. Открывай! Живо!.. — Григорий вытащил пистолет.

Открыл Крачковский.

Григорий вошел в избу первым. Выглянула старенькая Варварушка из боковушки и тут же спряталась.

— Дарьи Елизаровны тут нет? — спросил Григорий. Крачковский ответил:

— Нет Дарьи Елизаровны.

— Загляни-ка в горницу, Андрей, — отослал брата Григорий.

— Я же сказал: у нас нет Дарьи Елизаровны, — напомнил Крачковский.

— Помолчите пока, «политик»!.. Я еще спрошу, кто у вас в доме и что здесь происходит.

За столом поднялся незнакомый с черной бородкой. — По какому праву, позвольте узнать... Григорий хищно раздул ноздри.

— Это вы сейчас узнаете по какому. Предупреждаю: сидеть всем на своих местах. Вез разговоров!

— Расщепай меня на лучину! — вскочил человек в кожанке. — Вы что, в конюшню ввалились или в казарму! Судя по вашим погонам, вы есаул?

— Ма-алчать! — вскипел Григорий, наставляя на него пистолет. — Ни с места, говорю.

— Это же произвол... — сказал Крачковский.

Андрей вернулся из горницы, повел плечами: нет, дескать.

— Найдется! — буркнул Григорий и, продолжая держать пистолет, вытянул той же рукой шашку из ножен, передал брату. — Садись у двери. В случае чего — рубить, гадов!

— Прошу прощения, — иронически поклонился человек в кожанке, рабочих приискательских сапогах с высокими голенищами. — Соображение ваше ниже конских копыт.

— Учтем, вожак, учтем, — пригрозил есаул, опускаясь на стул возле кровати. — Расколем от макушки до пяток. А ты, Крачковский, и ты, Петержинский, загремите из Белой Елани! Ко всем чертям. Подпольные сходки устраиваете?

Петержинский начал было объяснять — по поводу чего чаепитие, но тут вмешалась вдовушка Ольга, кареглазая приисковая красавица:

— Што с ним говорить-то, с лещом эдаким! — и устремила к Григорию. — Ну, стреляй, лещ при погонах!

Андрей вскинул шашку.

— Предупреждаю! — снова погрозил Григорий. — Стрелять буду без предупреждения. Ясно?

Вскоре пожаловали атаман Енисейского казачьего войска Сотников, приехавший в Белую Елан на медвежью охоту, Пантелей при шашке и староста Лалетин с берданкой. Григорий заявил, что

подпольщики читали недозволенное и что готовы были совершить нападение, чтобы замести следы.

— Особенно вот этот хлюст, — указал он на кожанку.

— Тэк-с, — пронзительно уставился атаман на незнакомца. — Паз-вольте документы!

Тот предъявил паспорт, выданный министерством внутренних дел для поездки в Англию.

— Гавриил Иванович Грива?

— Так точно, ваше превосходительство.

— М-да, — зло уставился атаман на Гриву. — Паспорт выдан вам для поездки в Англию?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Довольно! Не навеличивайте с ехидством. Мне ясно, что вы имеете в виду.

— Нижайшее почтение! — поклонился Грива.

— Дворянин? — спросил атаман.

— Из дворян. Горный инженер.

— Что за забота в Англии? Связь с преступными элементами?

— Никак нет, еду на один из заводов компании...

— Работаете на приисках Иваницкого? — Да.

— Политссыльный доктор Грива — ваш родственник?

— Отец.

— Па-анятно. Садитесь! Паспорт пока оставлю. Позвольте ваши документы! — обратился атаман к господину с черной бородкой.

Тот предъявил ссыльнопоселенческий вид на жительство.

— Тэк-с. Вейнбаум?

— Григорий Спиридонович.

— Петербургский уроженец?

— Так точно. Тысяча восемьсот девяносто первого года.

— Жид?

— Еврей.

— Ссыльнопоселенец?

— Да. С апреля тысяча девятьсот десятого года. Определен в ссылку в деревню Подгорную Яланской волости Енисейской губернии. С разрешения губернского жандармского управления переехал в Минусинск к жене, — кивнул на молодую женщину с орехово-желтыми волосами.

— Тэк-с. — Атаман прочитал бумагу жандармского управления. — В Минусинск дозволено?

— Дозволено.

— А где находитесь, спрашиваю? — вскипел атаман. — Тайную сходку проводите? Спрашиваю!

— Никаких сходок, господин атаман. Приехал в гости к Исааку Львовичу Крачковскому. И... никаких сходок.

— А это кто — родственники? — ткнул атаман на Головню, Зыряна и Петержинского.

— Ссылнопоселенцы.

Есаул напомнил атаману, что на сходке, как он своими ушами слышал, читалась крамольная книжица, которую успели запрятать.

— Поищем... Ну, а ваши документы? — прицелился атаман на жену Вейнбаума. — Тоже ссылнопоселенческий вид? Великолепно! Ада Павловна Лебедева? Жидовка?

— Не смейте! — вспыхнула она.

— Позвольте сметь! — И, взглянув исподлобья на мужа, скрипнул: — Какая она вам жена? — И потряс документами. — Или у жидов так: ночь — жена, вечером — девица гулящая?

— Я попрошу вас...

— Мал-чать! Или предъявите брачное свидетельство. В каком соборе вас повенчали? С попом, раввином или сам черт венчал и на руках качал?

— Господин атаман...

— Ма-алчать! Тут вам не жандармское управление — казачья земля, предупреждаю. И если вы явились с подрывными целями, я сумею справиться и без жандармов. Либеральничать со всякой сволочью... Казаки! Обыскать дом! Староста, помогай! Ну, а эти кто? — кивнул на сидящих в углу и отдельно на Ольгу Федоровну.

Григорий пояснил: Мамонт Головня — здешний политссылный, которому бы давно пора катать тачки; Зырян — из каторжных, а вот Федорова, вдовушка, не из ссыльных, но, как есаулу дополнительно известно, принимала активное участие в бунте приискателей в Бодайбо в 1912 году и ее муж расстрелян во время восстания, и сама она достойна отменной порки.

— Прошу именно ее задержать и обыскать, ваше высокоблагородие, — торопился Григорий. — Подозреваю, что

книжки или прокламация спрятана под платьем.

— Тэк-с. — Атаман расправил пшеничные усики и, кивнув на дверь, scomандовал Головне, Петержинскому и Зыряну: — А ну, метитесь! Я еще вами займусь!

Воспользовавшись моментом, Ольга убежала к Варварушке. Слышно было, как щелкнул крючок.

— Выбить дверь!

Григорий попробовал плечом, но не сорвал с крючка.

— Погибели на вас нету, окаянных! — послышался голос старухи.

Григорий позвал братьев, те приналегли. В ту же секунду, как только распахнулась дверь, Пантелей получил удар деревянным вальком.

— Взять ее! — притопнул атаман.

Андрей со старостой нырнули в комнатушку и в темноте схватились с Ольгой. Выкрики, ругань, грохот... Ольга выскочила, толкнула Григория к двери.

— Поганцы! Стервятники! — В руках ее сверкнул нож.

— Взять! Взять! — гремел атаман.

Ольга отпрянула в куть, и кто знает, как получилось бы дальше, если бы в эту минуту...

— Здра-авству-уйте-е, — раздался удивительно спокойный, умиротворяющий голос.

Все оглянулись.

У порога стояла женщина. Босые маленькие ноги по колено в грязи, как в шерстяных чулках; черное платье с кружевным воротничком прилипло к телу; лицо неестественно белое; округлые блестящие глаза.

— Что вы так кричали и шумели? — И, увидев Ольгу с ножом, усмехнулась: — Что это? На кого ты, ан гро, анфан тэррибль? — И так же спокойно, улыбаясь, направилась к Ольге в куть. Ольга опустила руку, пятясь в угол, к печи. — Мы еще не ответили на вопрос древних греков — что для нас главное: энтелехия или энделехия, а вы тут шумите. Это же очень важно! Что для нас важнее: реальность или действительность — или тяготение к бытию? Брр, как холодно!.. Я вся иззябла.

— Дарья Елизаровна... — пришел в себя Григорий.

— Милая ты моя, разнесчастливая головушка! — залилась Варварушка. — Што они с тобой поделали, изгои, жестокосердные ироды!

Дарьюшка узнала ее по холщовой длинной рубахе и передернула плечами.

— Иззябла я, Варварушка, иззябла...

— Ах, кабы бабушка Ефимия была дома! Не дала бы тебя в обиду, не дала. Изверг отец твой, мучитель. И старый хрыч тоже. За что они тебя под замком-то держали, окаянные?

— Иззябла я, Варварушка. И дождь. И снег. Небо розовое, как кровью умытое. И свет красный-красный... Мне надо еще многое успеть, Варварушка. «Я на темном глухом перелогe буду сеять цветы и растить. Буду сеять цветы у дороги, на морозе слезами поить...» — Дарьюшка приложила ладонь к глазам, как бы что-то припоминая. — Они меня испугать хотели — мою живую и вечную душу. Ха-ха-ха!..

Дарьюшка пронзительно взглянула на атамана, на братьев Потылицыных, которых узнала.

— А... а! Есауловы сваты! Они меня сватали, мою живую душу. За кого? А... а... И он здесь. Ух, какой он гадкий! Вечно гадкий. Мой жених, нареченный папашей. Ему разве я нужна? «Все ладно, если деньги есть и переполнена мошна...» У моего папаши переполнена мошна. Ему нужен свой человек. Но... смотрите! — погрозила пальцем. — Конь бледный рядом, на кладбище. И всадник белый на нем. В саване. Тот всадник — смерть и ад мучителям. Кому из вас черед — тот нынче под копытами будет... Как холодно в тундре! Мхи и лишайники. Вечная мерзлота. Северные сияния.

— Господи, — отважилась подойти Варварушка. — Пойдем ко мне. Пойдем, одену в сухое-то...

Дарьюшка решительно отстранила ее руку.

— Нет, нет, сейчас нельзя. Ты ведь не знаешь, Варварушка: я босиком прошла вторую меру жизни, а теперь третья мера. И мне все так ясно и понятно. Я ушла от вас. В третью меру ушла. Я теперь как француженка: видите, какая тоненькая...

Дарьюшка недосказала, потупилась и засмеялась, прикрыв пухлый рот ладошкой.

Григорий и братья стояли плечом к плечу возле кровати, не зная, что предпринять. Атаман, держась рукою за темляк шашки,

многозначительно посапывал.

Нечто невероятное творилось с инженером Гривой. Он, казалось, окаменел, неотрывно глядя на Дарьюшку, потом машинально распустил узел черного галстука, расстегнул воротник. Он то взъерошивал свои густые черные волосы, то закрывал на мгновение глаза и, тяжело горбясь на лавке, слушал и слушал Дарьюшку.

Крачковский с женою стояли в дверях горницы.

Ада Лебедева переглянулась с Вейнбаумом.

— Я ее знаю, Гриша. Она однофамилица Василия Кирилловича Юскова, нашего домохозяина. Что с ней произошло?

— Казаков надо спросить. Ада подошла к Дарьюшке.

— Даша, ты меня помнишь?

Даша пристально посмотрела на нее.

— Я — Ада Лебедева, помнишь? У Дарьюшки только зубы цокали.

— Помнишь, мы часто спорили с тобой по прочитанным книгам? Особенно по «Воскресению» Толстого.

— Воскресенье? В третьей мере нет воскресенья, а есть вечная жизнь.

— Что с тобой, Даша?

— Со мною? — Дарьюшка усмехнулась, обнажая плотные сахарно-белые зубы. — Если бы вы знали, как я счастлива! Мне так трудно было. Шла, шла... — И опять стригущий взгляд черных глаз. — И снег, и дождь, и небо... А я все шла, шла. Вторая мера длинная-длинная.

— Ты меня помнишь?

— Тебя? А кто ты?

— Ада Лебедева. Из Петербурга. Я снимаю комнату у Василия Кирилловича Юскова в Минусинске. Ваш дядя, кажется, винозаводчик и коннозаводчик, и у него богатая библиотека. Мы жили с тобой в одной комнате, помпишь?

— У дяди Василия?

— Помнишь? Книги вместе читали, помнишь?

— Книги? — Дарьюшка насупилась и, оглянувшись на казаков, проговорила, как в забытьи: — Они... они... скоты... не читают книг! Не читают. Они меня, как арестантку, под замок упрятали!.. Изранили мне всю душу. Ненавижу их!

За что они меня? За что? — спрашивала Дарьюшка, перескакивая с одного на другое; щеки у нее разгорелись. — Они меня... Вот он, есаул... В придачу к паровой мельнице... Меня! Мое тело, мою живую душу!..

— Это и есть дочь Елизара Елизаровича? — указал взглядом атаман, повернувшись к Потылицыну.

Григорий подтвердил и дополнил: бежала из дому и ее сейчас ищут.

— Надо немедленно в больницу, — сказала Ада Лебедева. — У нее жар. И даже...

— Ты, Вейбаум, и ты! — кивнул атаман в сторону Лебедевой. — Даю сроку три часа. Метитесь из Белой Елани! Если через три часа не уберетесь, отправлю под конвоем в казачий Каратуз. Там я с вами поговорю в штабе дивизиона. А ты, приискательница, гляди: если и впредь таскаться будешь по сходкам, покажется тебе небо с овчинку! — И, не дождавшись ответа, пошел из избы.

Грива остановил его:

— Позвольте паспорт.

Атаман помедлил, что-то обдумывая, молча выкинул паспорт и вышел. За ним староста.

Дарьюшка только сейчас распознала Гавриила Гриву. Быстро подошла, оглядела удивленно:

— Ты здесь? Как ты здесь, а? Почему ты здесь, Рыцарь Мятежной Совестьи? Вот интересно! Помнишь, ты звал меня Дульсинеей Енисейской?

Грива хотел ответить и не мог.

— Говори, говори, Гавря! Ты должен говорить, должен! Я так ждала тебя тогда в доме Метелиных, Но ты исчез. Куда? Не знаю. Я ничего не знаю...

Грива молчал.

— Я тогда первым парходом приехала, и Вера Метелина со мной, подружка. Помнишь ее?

— Помню, — глухо ответил инженер.

— Ты любил старшую, Прасковью. Как она называла тебя?.. — Дарьюшка потерла ладонью лоб. — Вспомнила: «инженер на услугах». Гордая, умная и беспощадная. Теперь она твоя мачеха, да?

— Да, — еще глуше отозвался Грива.

— Ты ее очень любил?
— Все прошло, Дарьюшка... А тебя... помнил. Не знал, что ты в Белой Елани.
— Почему не знал?
— Я думал, ты дочь красноярских Юсковых.
— Красноярских? Там же другие Юсковы, Гавря. Совсем другие. Михайла Михайлович — сын бабушки Ефимии, Как же я могла быть его дочерью?
— Что с тобой случилось, Дарьюшка? Она ответила милой улыбкой.
— Смешной ты. Тогда тоже был смешной. Ты так важно говорил: «горный инженер». Все равно как «ваше величество».
На миг прояснившееся сознание снова заволгло туманом.
— Здесь, здесь конь бледный! — погрозила она всем. Григорий велел Варварушке переодеть Дарью в сухое, но она не далась — выпорхнула из избы, как черная птица. Григорий с братьями — за нею.

V

Дарьюшку нагнали в роще.
— Пустите, пустите! — отбивалась она от казаков.
— Дарья Елизаровна, опамятуйтесь! — басил дюжий Пантелей, схватив ее в охапку. — Братуха! Держи ей голову, она мне бороду прикусила. А... шток тебе!
— Несите ее на руках, — скомандовал Григорий и, сняв шинель, накинул Дарьюшке на плечи. Она вспомнила: вот так же скрутили бабушку Ефимию, потом подвесили на костыли и тело жгли каленым железом...
— Пытать будете? — билась пленница в дюжих казачьих лапах. — Вы вечно мучаете всех живых. Вечно, вечно!..
Шли быстро по тракту.
— Куда ее, Гришуха? — пыхтел Пантелей.
— Давай к нам в дом: Елизар Елизарович убить может...
— Ладно ли к нам-то? — усомнился Андрей. — Она, кажись, умом повредилась.
— Дай-ка мою шашку, — сказал Григорий, заслышав шаги на тракте. Оглянулся: следом шел горный инженер. В размыве черных туч

выглянула удивительно светлая луна; отчетливо проступили стволы берез по обочинам и мохнатые шапки деревьев на кладбище.

— Здесь, здесь бледный конь! — вскрикнула Дарьюшка. — Не спасетесь, мучители! Не спасетесь. Не будет вам розового неба, не будет вам света. Тьма. Тьма. Тьма.

Григорий поотстал от братьев, поджидая Гриву. «Я его сейчас разделаю, дворянина. Одним ударом. — Но тут же осадил себя: можно ведь и без шашки своротить морду. — Пусть рылом пропашет тракт».

Заметив есаула, Грива замедлил шаг. Луна опять укуталась в тучу, как в черную шубу. Темень; снег с дождем утих, начало подмораживать.

Сжимая кулак в хромовой перчатке, Григорий жалел, что оставил пистолет в шинели: он бы сейчас пригодился.

Грива остановился справа от тракта, в двух шагах от есаула. Григорий не заставил себя ждать. Момент — и лицом к лицу, как кольцо в кольцо, — не разнять.

— Ну, тыловик, па-аговорим! — И, размахнувшись, со всей силой ударил в лицо. Грива упал, чавкнула грязь. — Ложись мордой, или я тебя проткну насквозь, собака! — задыхался Григорий. — Поворачивайся! Носом в грязь!

Чувствуя шеей жалящее лезвие шашки, Грива перевернулся на живот.

— Ползи, ползи! — рычал Григорий. — И помни, собака, если бы но мы, рыцари России, такие бы дворяне, как ты, продали бы Россию.

Насытившись вволю зрелищем поверженного, Григорий повернул обратно в Белой Елани.

— Какие мерзавцы! — сказала Ада.

— В Российской империи сие дозволено, — развел руками Вейнбаум.

— Ты все шутишь...

— Что ж нам делать, безоружным, если не шутить? Ну, а вы, Ольга Семеновна, настоящая Марфа-посадница!

— Ох и струсил я, боженьки! Думала, как рванут платье, тут тебе и обе книжки вывалятся.

— С этими книжечками мы бы все прогулялись в казачий Каратуз, а потом и до губернии бы дотопали, — усмехнулся Вейнбаум.

Ада сцепила на груди пальцы.

— Какое зверство! Они ее замучили... Мы ее не можем оставить в таком положении.

— Что ты предлагаешь? — спросил Вейнбаум.

— Увезти в Минусинск.

— Гуманно. Но как это сделать?

— Гриша! — воскликнула Ада. — Ты шутишь!

— Я не шучу: кто тебе ее отдаст! Или ты думаешь ворваться к казакам и отбить ее силой?

— Исаак, что ты скажешь? — обернулась Ада к Исааку Крачковскому.

Тот тоже ничего не мог придумать.

— Наверяд ли мы ей поможем, Ада. Да и слушать нас не станут. Здесь, Ада, не Минусинск, казачья земля. И казачий Каратуз рядом. Староверы грязью закидают, а казаки шашками изрубят. Без суда и следствия, как бунтовщиков-provokаторов. Это они умеют оформить. В два счета. За семь месяцев пребывания в ссылке в Белой Елани нас с женою пять раз обыскивали, насакивали на улицах, закидывали грязью и гнали из деревни, как собак.

— Если бы только это, — грустно отозвалась больная жена Крачковского.

— Если бы только это! — повторил Крачковский.

— Дарья может погибнуть, — не унималась Ада. — Вы же видели?

— Именно, — подтвердил Крачковский. — Юскова сейчас в таком состоянии, что ей уже никто ничего не сделает. Все, что можно было, они уже сделали. Довели до последней черты, или, как она сама сказала, до «третьей меры жизни».

Вейнбаум хлопнул себя по коленям:

— Сейчас надо убираться ко всем чертям, как по предписанию атамана Енисейского казачьего войска. Примут черти, а?

— Ты все шутишь, Гриша...

— Безо всяких шуточек, Ада. Но где же наш Рыцарь Мятежной Совети — Гавриил Иванович?

— Дарьюшка удивилась, узнав Гриву, — сказала Ада. — Они, кажется, были в близких отношениях. Он так смутился...

— Она горела, как факел, — вспомнил Вейнбаум. — Я бы скорее ее назвал Рыцарем Мятежной Совести.

В сенях послышался шум, будто что-то искали. Крачковский быстро вышел и вскоре вернулся встревоженный. Захватив железный ковшик с кухонного стола, снова ушел. Вернулся не скоро и не один: с ним был Гавриил Грива.

Все молча уставились на него: все лицо горного инженера было в кровавых порезах, одежда и сапоги в грязи.

— Казаки? — тихо спросила Ада. Грива ничего не ответил.

VI

В крестовом доме братьев Потылицыных — прямо через улицу от дома Юсковых — Дарьюшку встретили перепуганные невестки Григория — Фекла Андриановна, жена Пантелея, и Марья Никаноровна, жена Андрея Андреевича. Одна — высокая, сухая, остроносая, в черном, как монахиня; другая — толстая, неповоротливая, как сытая корова.

Дарьюшку пронесли в горенку Григория с окнами в ограду и уложили на холостяцкую узкую кровать.

— Куда вы меня? Куда? — стонала Дарьюшка, дрожа всем телом и бросая тот же стригущий, отчужденно холодный взгляд на поджарого Григория, осторожного и предупредительного, то на длинную Феклу, то куда-то мимо в мутное окно с цветочными горшками. — Как я иззябла!..

Фекла Андриановна подсказала, что Дарью надо бы растереть спиртом, в бане бы попарить.

— Простыла она. Гли, какая! У Сумковых ноне топили баню. Сбегай, Марья, узнай. Если остыла баня, дров подкинь в каменку.

— Одной-то мне боязно. Баня-то у них эвон где, у Малтата.

— Идите с Андреем.

— Ишь как! — вздулась Марья, не трогаясь с места.

— Живо! — подстегнул Григорий, а сам направился к Юсковым.

Вскоре в дом ввалились Юсковы: два Елизара, Александра Панкратьевна и домоводительница Алевтина Карповна.

Елизар Елизарович прошел в горницу, посмотрел па дочь, хмыкнул в бороду и вернулся в избу.

— Добегалась, дура! — И, строго взглянув на жену, пригрозил: — Вот до чего довело твое попустительство и слабыхарактерность. У

девки дурь через края хлещет, а ты ей потворствовала, И батюшка тоже. Хороша она теперь, смотрите!

Старик Юсков виновато погнулся и, шаркая подошвами, прошел в горенку, а за ним мать Дарьюшки с Алевтиной Карповной.

Елизар Елизарович подступил к Григорию и, глядя в упор, спросил:

— Как соображаешь в дальнейшем? Григорий охотно ответил:

— Если позволите, пусть останется у нас.

— В каком понятии «останется»?

— Моей женой.

— Я свое слово сказал давно, перемены не будет. Ты для меня, Григорий, как правая рука. Потому — движение у нас определенное, как по большому тракту.

Григорий помалкивал. Что-то насторожило его в состоянии невесты. Пугали ее отчужденно холодные глаза, обрывчатое бормотание, «как у сумасшедшей», не свихнулась ли? Но тут же гнал сомнение; просто Дарьюшка простыла, перепугалась по дороге к дому Ефимии.

— Ну, как?

— За счастье почту, Елизар Елизарович.

— С богом, Гришуха! — обрадовался родитель. — Скажу Алевтине, чтоб икону принесла, и благословлю, как по нашей вере. Пожелаешь, повенчаетесь в городе. Приданое, какое полагается, сготовлено, хоть сейчас возьми. Бумаги на мельницу и вступление в пай уладим в Красноярске. А сейчас медлить нельзя. Последний пароход придет в ту пятницу.

— А здоровье Дарьи Елизаровны?

— Молодое тело живуче, Гришуха. В случае чего, так в большом городе и большие доктора в наличности.

Домоводительницу Алевтину Карповну послал за иконой. Александра Панкратьевна сморкалась в платок:

— Што с ней поделалось-то, осподи! Меня не признает. Огнем горит; в чем дух держится?

— Не распускай нюни! — прицыкнул Елизар Елизарович. — Она к своей судьбе пришла, радоваться надо. Благословим с легкостью, и жить будут миром и радостью.

Даже старик Юсков, немало повидавший на своем веку, и тот не выдержал церемонии «родительского благословения», поплелся к себе. Да и у Григория ком застрял в глотке от одного взгляда на нареченную. Вышло так, что Елизар Елизарович со старинною иконою в руках и Александра Панкратьевна с зажженною свечою благословили одного жениха в те минуты, когда невеста, то вскакивая на постели, то порываясь сорвать с себя одежды, отбиваясь от костлявых рук Феклы Андриановны, металась, как щука в бредне.

Григорий принял от Елизара Елизаровича нерукотворный образ вместе с самотканым полотенцем и понес поставить в передний угол на божницу. Братан Андрюха подал стул, чтобы подняться к божнице.

— Богородица пречистая, спаси и сохрани! — раздались голоса по горнице.

Елизар Елизарович, взглянув на Дарьюшку, готов был сам бежать без оглядки, но одолел слабость.

— Душно, душно! — стонала Дарьюшка.

— Потерпи, доченька. Ненаглядунышка моя, — утешала мать.

— В баню несите! — приказал Елизар Елизарович. — Самое верное от простуды.

Дарьюшка скидывала руки, сбивала ногами одеяло.

— Жжет, жжет. Внутри все сгорело. Пить, пить!.. Подносили воду — ни капли не проглотила: до того плотно сжимала зубы и мотала головой.

— Убили, убили!

— Кого убили, Дарьюшка?

— Тимофея убили. Тиму! Я к нему сейчас. Сейчас, сейчас!..

Закутали несчастную в стеганое одеяло и на руках понесли в баню. Парили березовым веником, грудь растирали натертой редькой и до того ухаживали болящую, что она лишилась сознания.

Призвали престарелую бабушку Крутояриху, и та крестила Дарьюшку, нашептывая на ключевую водицу, окропила горницу и постель, чтоб изгнать «нечистую силу».

Когда синь пасмурного рассвета потемнила огонь десятилинейной лампы, Дарьюшка забылась в тяжком сне.

Бабка Крутояриха сунула руку под спину Дарьюшки, порадовала:

— Слава создателю, жить будет. В пот кинуло. Постель — хоть выжми.

Григорий за ночь не сомкнул глаз, осунулся и почернел. Самому себе не верил, что женился, а тут еще толстуха Марья набралась деревенских слухов, будто бы Дарья сошла с ума, в чем клятвенно заверяли ее Лукерья Зырянова и Ольга-приискательница.

«Так и так везти в город», — успокоил себя Григорий и пошел к тестю.

Говорили мало, пили много. Две бутылки коньяка на двоих и десятка два деловых слов.

Тем временем пробуждение Дарьюшки перепугало Александру Панкратьевну и золовку Григория Феклу Апдриановну.

Открыв глаза, Дарьюшка уставилась в потолок и раскатисто захохотала:

— Небо белое-белое!

— Доченька! — запричитала Александра Панкратьевна. Дарьюшка будто не узнала мать, откачнулась, но потом обрадовалась:

— И ты со мной, мама? Как хорошо! Не жалею, что ушла из второй меры жизни. Я вот все думала, думала: что там осталось, и никак не вспомнила. Ничего там не осталось. И ночь, и снег, и дорога длинная-длинная!..

VII

В доме Боровиковых крестили новорожденного.

Возле анаоя — кедровая лохань с малтатской водицей, налитой с вечера, чтоб степлилась.

Сам Прокопий Веденеевич, свершив службу, посыпал безволосую головенку младенца тополевыми листьями, окунул в лохань и, трижды перекрестив, нарек имя:

— Благослови, еси, господи, раба твоего Демида...

Не успела Меланья кинуть в лохань кусочек воска, чтоб узнать, выживет младенец иль нет, как в сенную дверь раздался стук. Все притихли и переглянулись. Голое тельце младенца лежало животиком на широченной ладони Прокопия Веденеевича и исходило криком.

— Кидай листья, кума! — напомнил Прокопий Веденеевич единомерке Лизавете, и та кинула пригоршню листьев в лохань.

— Благослови, еси... — затянул во второй раз Прокопий Веденеевич и, взяв младенца за ноги, погрузил в воду, и тут снова

резанул напористый стук, как бы призывающий к ответу.

Меланья тихо ойкнула, промолвив:

— Чую, Филя!

И этот ее испуг моментально сковал Прокопия Веденеевича, и он, машинально расслабив пальцы, выпустил ноги младенца, и тот булькнул в лохань, аж брызнуло.

— Господи прости! С нами крестная сила! — Выловил из лохани младенца и, не окуная, по обычаю, в третий раз, передал ревущее тельце с рук на руки Лизавете.

В сенную дверь кто-то бухал со всей силы.

Крестясь и шепча нечто невнятное, Меланья вскинула взор на иконы и медленно осела на колени.

Бормотанье молитвы — поспешное, торопливое: сверлящий визг измученного ребенка, босые ноги Лизаветы, не знающей, что ей делать: кутать ли новокрещенного в холстинку или подождать? Сам Прокопий Веденеевич, шаря крючками пальцев в бороде, вышел в переднюю избу. Нянька Анютка забавлялась с двухлетней пухлощечкой Маней, ползающей возле красной лавки. По большой избе полоскался голубой рассвет, отпечатав тень от рамы на выскобленной березовой столешне. В окно из ограды глядело широкое лицо.

Сомнения нет: Филин возвернулся!..

Прокопий Веденеевич уставился в окно, как в потусторонний мир, куда он совсем не торопился, но знал, что ему придется все-таки уйти в тот мир. Только бы не сейчас, не в это торжественно-тревожное утро, насыщенное криком нового человека.

— Господи прости!.. Вразуми мя, Иисусе Христе, пребывающий во чертоге господнем! Вразуми мя!

Филя барабанил в раму.

— Тятенька! Тятенька! Али глухие?!

— Изыди! Изыди, — опомнился Прокопий Веденеевич и, толкнув крашеную дверь, вышел.

Из сумерек прохладных сеней, пахнувших березовыми я полынными вениками, нанизанными на две жерди под крышей, Прокопий Веденеевич, охолонувшись, окликнул:

— Кто там? Ответствуй!

Чего там отвечать! Видел же собственными глазами. Но надо выиграть время, перевести дух и подождать чуть-чуть, покуда Иисус

милостивый ниспошлет своего просветления и вразумления.

— Дык я, тятенька! Али не признали?

— Кто ты, сказывай!

— Филимон.

Прокопий Веденеевич схватился за шею, словно в горле дыхание сперло, и, помолчав, снова:

— Какой веры будешь, сказывай!

— Дык праведной. Филаретовой. Тополевого толка, тятенька.

Прокопия Веденеевича осенило: непотребный сын прыгает из веры в веру, что равносильно еретичеству!

— Изыди, мякинное брюхо. Изыди! Али я не благословил тя на пустынность к Елистраху? Али ты не ушел втапору в тайгу спасать душу, срамник окаянный! Али ты не молился с пустынниками, не радел, яко скрытник Христов, несущий исповедь перед лицом творца нашего в песнопеньях и в отрешении от суеты земной?

Прокопий Веденеевич напал на торный след...

— Тятенька!.. Напраслина то! Напраслина! Разе можно отторгнуть праведную веру, в какой я на свет народился? Ни в жисть! В тайгу тогда убег, чтоб на войну не идти, со анчихристовым войском плечо не держать. Сами благословили, тятенька!.. Помилосердствуйте! С лазарету я...

Прокопий Веденеевич топчется возле двери, скребет в бороде, а в башке — ералаш.

— Тятенька... — мычит Филя по ту сторону двери.

— Как благословил тя на пустынность, тако живи, и благодать будет. Спасение твое возле пустытника Елистраха. Их таперича много собралось на заимке Елистраха. За тридцать душ. И хлебушко свой сеют в тайге, и скотину держат.

— Не сподобился, тятенька! Не сподобился! — подвывал Филя, поталкивая дверь.

— Не ломись, грю!

— Дык домой же я возвернулся! Молчание. Тугое, настороженное.

Прокопий Веденеевич сучит в пальцах седую косичку, а в голове молоточки стучают. Что ж делать? Впустить в дом? У Фили в доме жена, Меланья, и дочь. Ну, а что же останется самому Прокопию Веденеевичу? Закуток глинобитной печи? Посрамление за снохачество? Семейная распря, и, кто знает, не поможет ли Филину

сосед, Васюха Трубин, недавно вразумивший собственного батюшку-тополевец так, что тот еле жив остался, а теперь вот и хозяйство раскололи на три части!

«Погибель тогда, погибель! — отслаивалось решение. — С Меланьей денной свет увидел; горы сворочу ишшо».

Кипение крови чуть стихло, и Прокопий Веденеевич почувствовал, что теперь он сумеет потягаться не то что с увальнем Филимоном, но если выйдет на него полк, то и тогда не отступит.

Филя напористее поталкивал дверь и звал, напоминал: он же домой возвратился!

— Сказано: дом твой и приклеть — на заимке Елистраха. Навек так будет. А ежели отринешь веру пустычника, в геенне огненной жариться будешь...

Филя завыл в голос, бормоча, что он не пустыжник и веры Филаретовой не отринет и что он «исстрадался, извелся на чужбине и молит тятеньку внять его страждущему голосу и пустить в дом перевести дух от тяжеств».

— Неможно, грю! Неможно! — рубанул тятенька. — Ступай покель в баню и тамо-ка переведи дух. Потом я дам тебе хлеба, одежонку какую, то-се, и ты пойдешь к Ели-страху.

— Меланья-то...

— Нету для тя Меланьи, сказываю. Али не прописал тебе: Меланья ко мне прислон держит, как по нашей вере. Младенец вот народился...

— Игде народился?

— Меланья родила, грю! Меланья.

— Осподи прости!.. Откелева?!

— От меня родила, от меня! — бухнул Прокопий Веденеевич и сразу же точно отлетел от сына на сто верст — чужие навек.

Но Филя все еще не верит:

— Раза мыслимо, тятенька?

— Нетопырь! Паскудник! А ишшо держался нашей веры! Али не заповедовали праведники, какие веру сю утвердили, чтоб свершалось тайное раденье рабицы, входящей в Дом, со твердью в доме сем?

— С какой «твердью», тятенька?

— Со хозяином, какой дом держит, паскудник! Веры нашей не знаешь, а копыта суешь в дом. Изыди, грю!

— Меланья-то — жена моя, жена!

— Изыди, нечистый дух! Как можешь ты иметь жену, коль пустынный? Изыди! Не доводи до греха. А то схвачу топор... И не стучи более! Худо будет. — И, переведа дух, еще раз напомнил: — Иди таперича в баню и там жди, молись. Приду потом. Да гляди! Не разговаривай с мирскими, не смущай дух — анафема будет.

И тятенька ушел из сеней, нарочито громко хлопнув дверью, чтобы Филя слышал.

VIII

— Сусе Христе! Сусе Христе, спаси мя, — бормочет Филя. — И матушку изгнал, и Гаврилу, и Тимоху, и меня таперича... Неможно то, неможно!..

Если бы мог, Филя заорал бы сейчас во все горло, чтоб вся Белая Елань сбежалась в надворье. Пусть бы все знали и видели, как отец встретил сына и как жена-блудница запамятовала собственного мужа.

Но ни стона, ни вопля Филя исторгнуть не может: прихлопнула злосчастная судьбина. И сам не ведает, жив ли?

Вцепился руками в косяк и, опустившись на приступку крыльца, горько заплакал. Не слышал даже, как в ограду вошли трое: урядник Юсков, воинский начальник и староста Лалетин.

Испугался: не за ним ли? Опять сцапают, как дезертира, и морду набьют.

— Ваши благородия! Вчистую я, вчистую! — забормотал Филя, тарашась на урядника и воинского начальника и поспешно доставая бумаги из потайного кармана шинели.

— Филимон? Возвернулся? — проговорил урядник. — По болезни иль по ранению?

— Вот бумага, ваше благородие, — навеличивал Филя, сунув уряднику бумагу. — Ноги не ходют, ваши благородия. Как после тифа, значит.

Престарелый воинский начальник из казачьих сотников, усатый и рыхлый, лениво посмотрел бумаги Фили, почмокал губами, будто пережевывая прочитанное, и одарил служивого долгим взглядом. В бумагах-то прописана умственная ущербность!

— М-да-а. Контужен?

— В тифу валялся, ваше благородие.

— М-да-а. В тифу?

— В Христов день свалило. Думал, жизни решусь.

— М-да-а. Что же ты на крыльце? Или дома никого нет?

— Дык-дык тятенька, ваше благородие, не пускает в дом. Стучал — не открывает. Грит: иди к пустынным в тайгу спасать душу. А разве я пустынный? Оборони господь! Тополевого толка я, ваше благородие. Батюшка и слушать не стал. И жену мою Меланью со дщерью моей себе взял, и младенец родился, грит. Как же так, ваше благородие? Меланья-то — жена моя.

Из речи Фили воинский начальник ничего не понял. Выручил урядник:

— Вера у них такая — тополевым толком прозывается, ваше благородие. Как я вам пояснял, значит, этот самый старик, Прокопий Веденеевич, родитель Тимофея Прокопьевича, чистое дело — снохач. Вся Белая Елань про то знает. Никакого стыда не признает и на мирской сходке не бывает.

— Снохач? — промигивался воинский начальник, пытаюсь сообразить.

— Так точно.

— Фу, какое свинство!

— Вот и я поясняю, ваше благородие: как можно говорить па сходке про такого старика? — ввернул урядник, памятуя наказ старшего брата: опозорить Боровиковых, а значит, и георгиевского кавалера, прапорщика Тимофея Прокопьевича. — Вся деревня на смех подымет. Спросят еще: отец ли он, старик, прапорщику Тимофею, ежели, значит, у них такая грязная вера? Старик и сам от Тимофея отрекся.

— Отрекся, ваше благородие, — поддакнул Фили, хотя и не понял, о чем речь. — Тимоха-то, ваше благородие, чистый выродок, оборотень. Во Смоленске-городе, в лазарете, своими глазами зрил, как он объявился офицером при погонах и генеральскую оружие нес двумя руками, шпагой прозывается.

— Генеральскую оружие?

— Так точно, ваше благородие. Сам зрил. В лазарете генерал Лопарев помер, и на похороны дивизию вывели. Как гроб выносили из

лазарета, Тимоха наш будто наперед гроба генеральскую оружие нес, и полковник рядом при золотых погонах.

— Не врешь? — не поверил урядник.

— Истинный бог! Сам зрил. Ишшо крикнул: «Тимоха, Тимоха!» Да санитар толкнул меня.

— Генерала Лопарева хоронили? — переспросил воинский начальник. — М-да-а! А ну, пройдемте в дом, поговорим со стариком.

Прокопий Веденеевич ругался, призывая все силы преисподней на анчихристовых слуг, но не помогло: вломились.

— Эт-то еще что за безобразие, старик? — накинулся воинский начальник и давай стыдить, поучать — и такой и сякой, на что старик ответил бранью:

— Веру мою не порушить вам, анчихристовы слуги! Собаки грязные! Али не вам кипеть в геенне огненной? Али не вас сатано взденет на рога? Али не у тебя на лбу печатка анчихриста! — ткнул пальцем в кокарду начальника. — Вижу, вижу! Падалью кормишься, сатано!

— Падалью?! Печатка сатаны?! Взять его, урядник! Немедленно под конвоем в Каратуз! И протокол составить. Я тебе покажу печатку сатаны, снохач! Я т-тебе пок-кажу!

— Сам себе показывай, анчихрист, — не сдавался Прокопий Веденеевич, отбиваясь от урядника и старосты.

Связали и потащили в сборню; Филя перекрестился; «Слава богу! Хоть бы навсегда утартали».

Визжала дочь Фили, чернявая Маня, ревела нянька Анютка, подросшая за два минувших года, и только сухая и черствая Лизаветушка-единоверка, равнодушно созерцая события, укорила Филимона Прокопьевича:

— Экий содом поднял, лихоимец! И отца спровадил, сыч! Но и у Фили терпение лопнуло, тем более — тятеньки дома нет, и он теперь хозяин!

— А ты кто такая будешь? — свирепо воззрился на Лизавету, будто век не знал ее. — Сей момент гребись из дома! Иначе порешу! — И поднял костыль, единственное свое оружие.

Лизавета вырвала костыль, плюнула на стриженного единоверца и, собрав свои пожитки, ушла.

Добрался Филя и до моленой горницы. Без костылей, на собственных ногах: начальства рядом нет, можно и силу показать!

Младенец пищал в люльке, сучил голыми ноженьками, а Меланья стояла на коленях перед иконами.

— Молишься? — И пхнул ботинком Меланью в спину. — Али запомнотвала, кто мужик твой, тварюга?

Вечно покорная Меланья не посмела оглянуться.

— Подымайся! Ответствовать будешь. Нагуляла, тварюга! — И лапы Филимона Прокопьевича сами по себе потянулись к шее Меланьи.

— Души, души. Воля твоя, — пролепетала Меланья, и шея ее чуть вытянулась, как у гусыни.

— Сказывай, как сподобилась на греховодность?!

— У батюшки спрашивай.

— Нету таперича батюшки! В дом не пуцу треклятого. И тебя из дома выгоню, тварюга!

— Твоя воля, твоя воля, — лопотала сквозь слезы Меланья.

— Э-эх, тварюга! Блудница! Сучка! — схватил Филя Меланью за косу и бил ее лбом об пол, приговаривая: — Содомовцы окаянные! И батюшка, и ты, все вы, тополевы! Убью-у!.. Паскуду-у!..

Анютка тем временем успела выбежать в улицу и позвала Санюху Вавилова и Фрола Лалетина — соседей. Мужики отняли Меланью от

Фили, увещевали служивого, но Филя заартачился: убью, и все!

— Не жить ей таперича! Из-за такой тварюги у меня, может, нутро перевернулось.

— погоди ужо, Филимон, — гудел Фрол Лалетин, младший брат старосты. — Ты сперва разберись, что к чему. Или забыл, какая ваша тополевая вера? Прокопий Веденеевич радел с Меланьей, как по вашей вере, значит. И ты сам, Филя, веруешь. Дык кто виноват?

— Отрекаюсь от тополевой веры! Отрекаюсь, мужики! В бога веровать надо при воздержании, как по Евангелию, значит, по Писанию.

После разговора с мужиками Филя поостыл малость, но с Меланьей не помирился.

Не одну горячую слезу пролила она под старым тополем. Как ночь, так Филя гонит вон из дома:

— Епитимью на тебя накладываю. Ступай под тополь а молись на коленях всю ночь, радей, тварюга, вместе со своим выродком.

И Меланья, укутав младенца в суконную шаль и в одеяльчишко, коротала ночь под тополем, хоть сердце и заходило от страха.

Между тем Филя, хозяйничая, отъедаясь сметаной с наливными шаньгами, подружился с фронтовиком Васюхой Трубиным, и тот поучал его, как надо выпроводить отца за бесстыдное сожительство со снохою.

— Не гляди ему в зубы! Дай памяти, чтоб век помнил. Таперича другое время, Филя. Не тополевым толком, а миром, совестью жить надо. Хозяйство подымать надо.

И Филя отважился биться с тятенькой не на живот, а на смерть.

— Али он меня, али я его выпровожу. Срамота-то экая! На всю деревню стыд и паскудство!

Куда девались робость, смиренность и трусоватость! Будто подменили мужика: гусаком похаживал по надворью. За хозяйство-то драться надо! И пара рысаков, первеющих на всю Белую Елань, и три сытых мерина, и три коровы, четыре десятка овец, дюжина колодок пчел, новый амбар, поставленный тятенькой, американская сенокосилка «Мак-кормик», купленная в кредит в Минусинске, конные грабли, сакковский плуг, и все это тятенька приобрел за два года войны, гоня ямщину на рысаках. И все это бросить, уйти? «Неможно то! Неможно! Меланья-то — моя баба, всем миром осудят содомовца».

Полторы недели отсидел в волостной каталажке Прокопий Веденеевич за оскорбление воинского начальника. Мало того что обругал всячески, так еще и плюнул в лицо в присутственном месте.

— Изыди, сатано! — освирепел старик и про сына Тимофея слушать не стал: — Сатанинское — сатане отдайте, — и от вознаграждения отмахнулся.

— Не старик — дьявол, — сказал про него воинский начальник, но уголовного дела не стал заводить. Как ни суди — родитель прославленного прапорщика!..

Дотащился Прокопий Веденеевич домой, и тут поруха: Филин взбунтовался, «мякинное брюхо!» Встретил отца в ограде, вооружившись кругляшом березовым, и гаркнул, как из трехдюймовой пушки:

— Метись с надворья, содомовец! Аль пор-решу! Прокопий Веденеевич некоторое время молча глядел на увальня, хищно раздувая ноздри, потом двинулся на него, ничуть не убоившись полена.

— Не подступай, грю! Не подступай! Пришибу!

На выручку Филе через заплот перепрыгнул дюжий Васюха Трубин:

— Дюбни его по башке! Дюбни! За тополевое паскудство! За снохачество. И мово старика такоже надо: за ноги и в Амыл!..

Прокопий Веденеевич успел схватиться за полено, но силы не хватило вырвать. Вцепились друг другу в посконные рубахи, и пошло: то Филе подвесит тятеньке, то тятенька умилюстит Филе. Васюха Трубин топчется рядом да приговаривает:

— Под сосало ему! Под сосало!

— А-а-а, такут вашу, сатаны! Собаки грязные.

— Содомовец, содомовец! Меланья-то — моя баба!

— Нету тебе бабы, мякинное брюхо!

Меланья затаилась в сенях ни жива ни мертва. И тятеньку жалко, и стыдобушка жжет душу: не кинешься на выручку!

— За ноги его, за ноги да к тополю! — помогал Васюха Трубин. И, ухватив старика за ноги, как он ни брыкался, вытащили из ограды и кинули с горки к тополю.

— Тамо-ко лежи, содомовец! — хорохорился Филе, окончательно почувствовав себя хозяином. — Да моли бога, што я не пришиб насмерть!

Прокопий Веденеевич проклял увальня и поплелся в избушку к единовержке Лизаветушке. Жалел Меланью, младенца Демида, хозяйство, но ничего не поделаешь — сила ушла, не согнешь Филимона в бараний рог!

Лизавета выговорила у Филимона буланого мерина, корову и три овцы для Прокопия Веденеевича.

Неделю встречались, ругались, до мирового суда хотели дойти, но Филя знал: тятенька не из тех, чтоб потащиться в «анчихристов суд», потому и скаредничал.

ЗАВЯЗЬ ОДИННАДЦАТАЯ

I

Никто не знал, что происходит с Дарьюшкой. Она жила своим особенным миром, и мир тот казался ей прекрасным, сложным, переменчивым, возбуждающим. И Дарьюшка, созерцая его, старалась постичь некую истину, но никак не могла сосредоточиться. Видения, картины, лица менялись, путались.

Ночь была бесконечная, и она все шла, шла, падая и поднимаясь. Она так и не узнала: что стало с ночью, с бесконечностью, когда ее укутали в шинель и унесли, чтобы потом терзать тело? Зачем ее унесли? Куда девалась та ночь?..

Прояснения не настало утром. Она узнала мать и удивилась, что и мать с нею в третьей мере жизни. Не успела сообразить что-то важное, решающее, как явился отец с подтощальным Григорием. Отец настойчиво долбил, что она должна быть покорной, терпеливой и благодарной Григорию. А Дарьюшка в ответ тонко усмехалась. И вовсе не над отцом. Кто-то невидимый, ласковый, обволакивающий напевал ей песенку без слов. Мотив песни беспрестанно менялся. Становился то растяжно-печальным, то возбужденно-лукавым, как поют девки в хороводах.

— Они поют, поют... — шепнула Дарьюшка, блаженно прикрыв веки, и лицо ее со впалыми щеками загорелось румянцем. Напев оборвался. И тишина водворилась особая, тугая, как узел на конопляной веревке. Где-то рядом, за пределом Дарьюшкиной

тишины, раздавались голоса живых призраков: Григория, отца, матери, костлявой Феклы Андриановны, толстухи Марьи, ржали лошади и кто-то что-то требовал от Дарьюшки, но она не могла переступить грань волшебной тишины, в которой надо было сосредоточить мысль и ответить на какие-то важные вопросы. Была ли она, Дарьюшка, вчера, позавчера и вообще? Или ей суждено вечно жить и вечно ставить вопросы, и никто на ее вопросы никогда не ответит?..

«ЕСТЬ У ТАИНСТВА ЧЕТЫРЕ КОНЯ», — припоминала Дарьюшка и не могла понять: что это значит? Почему кони?..

Не успела задуматься, подхватывал новый вихрь: «И ЖИЗНЬ ОТКРОЕТСЯ ТЕБЕ ИЗ ПЯТИ МЕР». Из каких пяти мер? Если она прошла две меры и перешла в третью, то когда же она перейдет в четвертую, пятую? И что будет за пятой? Или она, Дарьюшка, исчезнет?

Прислушиваясь к бормотанию Дарьюшки, к ее внезапному хохоту, глядя, как мгновенно менялось выражение ее стригущих глаз и как она, не обращая внимания на присутствующих, задирала подол батистового платья, в которое ее вырядили утром, разглядывала свои ноги, сосредоточенно ощупывая их пальцами, Елизар Елизарович наконец-то уяснил: не в уме.

— Доучилась, — только и сказал.

Уединившись с Григорием на террасе, начал разговор исподволь: он, конечно, почитает Григория, как родного сына, да что, мол, попишешь, коль свалилась экая напасть.

— Дарья-то, вишь, какая. Ночесь-то мы сгоряча не вникли: что и как? А оно всурьез беда привалила. Куда экую в жены брать? Не зверья, Гришуха, не лихоимец. Она ведь, гляди, ни отца, ни мать не признает. А как будет в дальнейшем? Тебе на шею повесить экую?

Нет, Григорий не стал отстаивать Дарьюшку и цепляться за родительское благословение. И сам видел: Дарья свихнулась. И кто знает, надолго ли? Чего доброго, на всю жизнь. Не велика радость жениться на такой.

— Как и уговорились: будешь моим доверенным в акционерном обществе, — продолжал Елизар Елизарович. — Потом, глядишь, и в пайщики войдешь, и я в том помогу.

— Еще неизвестно, куда повернет война, — ответил Григорий, привалившись плечом к резному столбику. — Вчера; говорил с

атаманом: казачий дивизион из Каратуза приказано перебросить в Красноярск и призвать всех отпусковиков, И меня, наверное, призовут.

Разговору помешала Александра Панкратьевна:

— Отец, отец! Гляди, што с Дарьюшкой деется! Платье сорвала с себя: «бледное», говорит, Страхота.

— Собирай ее домой.

— Слава богу! В больницу бы.

— Иди собирай! — И, не глядя на Григория, пожаловался: — Как она меня подрезала! В Урянхай надо ехать. Ты, Григорий, не отвезешь ее в Красноярск? Юсковы там помогут определить в больницу. Алевтину пошлю с тобой.

— Я и один могу. На пароходе мало ли будет людей?

— Оно так. Мир не без людей.

Но если бы Елизар Елизарович сказал это Дарьюшке, она бы ответила: «Неправда! Мир без людей». Люди для нее существовали сейчас как призраки. Она была твердо уверена в том, что вокруг нее пустыня, розовая бездна, и она одна в этой бездне под солнцем счастливая. Ах, если бы призраки не мешали ей! Она бы открыла великую тайну, что ее ждет за пятой мерой жизни.

И вот Дарьюшка вернулась в ту горенку, из которой бежала ночью. Вчера ночью! Помнит ли она? «Вчера» исчезло для Дарьюшки. Она, может, и вспомнила, что жила в этой горенке и спала вот на этой кровати, но воспоминание мелькнуло, как искорка, и тут же погасло...

Среди ночи, с первыми петухами, Дарьюшка проснулась, сбросила одеяло и, опустив ноги на пол, сказала кому-то, что она сейчас придет:

— Я сейчас, сейчас! Только волосы приберу.

Сестра Клавдеюшка разбудила мать, и они помешали уйти Дарьюшке.

— Меня ждут же, ждут!

— Никто тебя не ждет, доченька.

— Зачем вы мне мешаете? — И тихо заплакала.

II

Осень...

Какая же печаль в этом слове! Не вихрит ли ветер увядшее золото и багрянец разнолесья?

Куда ее везут, Дарьюшку? И что так стыло плещется ветер, насвистывая в сумрачном лесу?

— Красавчики! Красавчики! — гикал кучер Микула, сидя на облучке рессорного экипажа.

Дарьюшка, укутанная в теплые одежды, забила в угол экипажа, не обращая внимания на разговор отца с Григорием. Теперь она не кричала, не билась, порываясь куда-то уйти, и не хотела никого знать.

Близость Дарьюшки, ее рдеющая щека, упрямо вскинутый подбородок, прядки вьющихся черных волос, выбившихся из-под пухового платка, волновали Григория, и он никак не мог сосредоточиться на чем-то постороннем, далеком от Дарьюшки. Сейчас, когда она молчала, глядя черными глазами вдаль, трудно было подумать, что она не в своем уме. Было нечто проникновенное и вместе с тем покойное, уверенное в ее взгляде. Хотел бы он знать, что происходит с ней, в ее душе, в сердце, в рассудке! И что она видит? Пустынное безмолвие или то же, что и он: холмистую землю, редющий лес или нечто особенное, доступное только ей?

Вперед, вперед в неведомое!..

Медленно покачивали рессоры, встряхивая на ухабах; напевали малиновым звоном подвески на выездной сбруе вороной тройки, впряженной гусем. И так, несясь мимо деревень равниною, спешили в Минусинск к последнему пароходу...

Гони. Микула, гони!

Мимо ковыльных курганов, мимо каменных баб времен Кумача, мимо бревенчатых домов с шатровыми крышами, вперед, вперед!

Мимо стогов сена и скирд хлеба, мимо вековой отсталости России в неведомое огненно-вздыбленное, чему суждено свершиться не за горами долгих дней.

Никто из путников не знал и не гадал, что ждет их в недалеком будущем, какие беды и злоключения доведется пережить каждому из них в сумятице гневного времени, неотвратимого, как рок.

— Эге-гей, красавчики!.

Пусть плотнее надвигается вечерняя мгла с приморозком, не обращай внимания, Микула. Гони! И месяц выплыл на середину неба, потемнив Млечный Путь, и рысаки взмылились, одолевая крутой

подъем на гору, и сама земля притихла, будто прилегла вздремнуть, а дорога все так же неслась навстречу. И чудилось Дарьюшке, что она летит к розовым туманам в таинственную глубь счастливой жизни. И там, в неведомом, ее примут с радостью и она забудет людей жестоких, с оледенелыми сердцами. «Скорее бы, скорее бы!»

Лунные блеклые тени от деревьев, сгустки кустов по обочинам тракта, надвигающаяся ковыльная степь, как белая скатерть, темная улица Малой Минусы с бревенчатыми домами, с пятнами света в квадратных окнах, и опять дорога, степь, версты, широкая спина кучера Микулы.

Начинался Минусинск, сонно-дремотный, встревоженный собачьим лаем. И не успела Дарьюшка подумать, куда ее завезли, как тройка подвернула к глухим тесовым воротам, потом ворота распахнулись, как пасть зверя, и воронье рысаки один за другим потянулись в черную пасть по торцовому настилу и остановились.

Бородатое лицо отца придвинулось к Дарьюшке, вцепилось черными глазами, пощупало:

— Ну, как ты? Притомилась?

— Н-нет.

— Пойдем тогда.

— Куда пойдем?

— Да в дом, к Иннокентию Михайловичу. Управляющий мой. Отдохнем, переспим, а там, бог даст, и пароход придет.

— Какой пароход?

— «Россия» должна подойти.

— «Россия»? — Дарьюшка усмехнулась. — Чудно, папаша! Россия к нам не может подойти, это мы должны подойти к России. Это же так просто и так трудно. Каждый разбойник думает, что он подходит к России, а если разобраться, — он грабит Россию, грабит мучеников, святых людей, и России он совсем не нужен, разбойник.

Бородатое лицо медленно отстранилось.

— Умно рассудила. Как по книгам разложила. Оно так: не все люди надобны России, да куда от них денешься? Вот хотя бы от голодранцев, дармоедов?

— Я не знаю голодранцев и дармоедов. Если такие есть, как вот поселенцы в нашей Щедринке, так в том виноваты разбойники: чиновники, губернаторы, фабриканты, купцы и все насильники,

которые грабят честных людей. И тогда честные люди, ограбленные, становятся голодранцами.

«Эге-ге!» — призадумался папаша, как бы со стороны приглядываясь к дочери.

— Умно, умно. Откуда только набралась? Как овца в репьях...

— Я не в репьях, — вполне рассудительно возразила Дарьюшка, не трогаясь с нагретого места в экипаже. — Если бы я была в репьях, я бы была похожа на вас. Была бы жадной и жестокой... Не ведала бы милосердия к людям, которых вы вечно мучаете. Я счастлива, что ушла из вашей меры жизни.

— Вот как! В какой же ты теперь мере?

— Я говорила: в третьей.

— Чушь городишь! Нету разных мер жизни. Есть одна — зримая, как ты, да я, да все округ.

— Неправда! И волки в одной мере с овцами? И мученики с грабителями? Погодите же, узнаете скоро, кто в какой мере живет.

— В каком понятии: «узнаете»? Дарьюшка торжественно ответила:

— Настанет день, когда с каждого спросится, как он живет. Добром или злом? Тиранством или мученичеством? И тогда каждый станет лицом к солнцу, и все увидят, какое у кого лицо. Никто ничего не спрячет.

Григорий, прислушиваясь к разговору отца с дочерью, невольно подумал: «Она нас всех за нос водит. Дуры так не рассуждают. Просто ей надо вырваться в Красноярск, подальше от тайги, а там... Это мы еще посмотрим! На пароходе я займу отдельную каюту, и тогда...» Григорий не подумал даже, что Дарьюшка никогда не была дурой в том смысле, как он разумел. Ему ли, фронтовому казачьему есаулу, разбираться в тонкостях психического расстройства!

— Ну, а мое лицо какое? — глухо, словно по принуждению поинтересовался отец, кося глазом на молчаливо торчащего долговязого Григория. — Что на моем лице пропечатается?

— Лихоимство и жадность, — спокойно ответила Дарьюшка. — Вам все мало. Миллион — мало. Два миллиона — опять мало. А рядом люди нищие, бедные, как поселенцы в Щедринке, и вы их никогда не видите. Потому что душа из жадности и жестокости.

Отец схватил Дарьюшку за руку, стиснул запястье:

— Притворщица ты, голубушка! Гляди, как бы хуже тебе не было. Пойдем!

От окрика отца, от того, как он больно стиснул руку, Дарьюшка притихла и покорно пошла в каменный белый дом, где их встретила интеллигентная нарядная дама, жена управляющего Минусинской конторой, Аннушка. Она сообщила, что муж ее, Иннокентий Михайлович Пашин, вчера уехал в Усть-Абаканское по известному делу и пробудет там дня три и что она очень рада видеть в добром здравии милого Елизара Елизаровича да еще с красавицей дочерью.

Елизар Елизарович отозвал хозяйку в сторону, что-то шепнул. Та вскрикнула: «Боже, какой ужас!» Дарьюшка оглянулась: на нее в упор уставились округлые белые глаза.

— Когда же будет «Россия»? — спросил отец.

— Наверное, послезавтра.

— Подождем.

Дарьюшку поместили в отдельную комнату с полукруглыми огромными окнами в сторону пустынной ярмарочной площади, за которой виднелся трехэтажный дом знаменитого купца Вильнера — высокий, светящийся, похожий на маленький Зимний дворец.

Хозяйка умильно улыбалась:

— Такая красавица! Ты меня не забыла, Дарьюшка? Дарьюшка уселась на венский стул и, не сняв перчаток, сцепила ладони пальцами.

— Ты в ту зиму гостила у Василия Кирилловича, и мы часто встречались. Помнишь?

— Ах, что вам от меня нужно? — отмахнулась Дарьюшка. И отвернулась к окну.

— Надо раздеться, милая.

— Не хочу.

— Но...

— Ах, оставьте меня! Подошел отец.

Тяжелая рука легла на плечо:

— Чудишь? Живо разденься!

Не подымаясь, Дарьюшка расстегнула жакетку, но отец поднял за плечи, встряхнул, стащил жакетку и погрозил пальцем.

— Шура, ты будешь здесь. Ухаживай за барышней, — наказала хозяйка служанке, курносой толстухе в цветастом ситцевом платье.

Оставшись наедине с толстушкой, Дарьюшка подошла, пригляделась.

— У тебя шеи совсем нет.

— Как нету? Вот она, шея.

— Туесок, не шея. И сама ты ужасно толстая. Ан гро, анфан тэррибль, — дополнила Дарьюшка по-французски, что означало: «В общем, ужасный ребенок».

— Скажете, барышня, — пухло отдувалась служанка, боязливо поглядывая на доченьку миллионщика и не понимая, отчего такая красавица сошла с ума? И денег — куры не клюют, и женихов, наверное, сколько хочешь, — знай выбирай, а вот поди ты!

— Как тебя звать? — приглядывалась Дарьюшка.

— Шурой звать. Александрой, значит.

— Шура-Александра? Ан гро, анфан тэррибль!

— Не понимаю, что говорите-то?

— Ан гро, ан гро! Ты почему такая толстая?

— Так уж толстая! Вот кабы видели мою сестру, тогда бы узнали, какие бывают толстые. Она вот в эту дверь не влезет.

Дарьюшка поглядела на створчатую дверь, захохотала.

— Не влезет! Ха-ха-ха! Как же она, ха-ха-ха, на свете живет?

— А што ей подеется? Живет я хлеб жует, А мужик у нее подтощальный, и злющий, как волк. Весь дом тятеньки к рукам прибрали, со скотом и с пашней, и меня, несчастную, вытурили. Ушла в город. Схудала от такой жисти по чужим людям.

— Схудала? Ой, боженька! Ха-ха-ха! Схудала! Ха-ха-ха!..

На раскатистый смех Дарьюшки примчалась встревоженная хозяйка, а за нею Елизар Елизарович.

— Вот смеется надо мной барышня, — отпыхивалась пухлощекая служанка. — Грит. шеи у меня нету-ка. И толстая, грит.

Елизар Елизарович повеселел:

— Ловко она тебя! А шеи, Александра, и пра слово нету. И телом тебя бог не обидел. — И шлепнул служанку по ее пышному заду, как бы в знак своей милости и доброго расположения духа.

Каждый раз, гостюя в доме Иннокентия Михайловича Пашина, Елизар Елизарович потешался над его выжившими из ума родителями — Мишей и сухонькой старушкой Клавой.

Случайно или как, Дарьюшка за поздним ужином в гостиной оказалась на другом конце стола меж ними.

Старички, иссохшие и смахивающие на мумий, в некотором роде были историческими персонами Минусинска.

Когда-то Пашин имел большое дело, владел паровыми мельницами, винным и кожевенным заводами, взял из трех банков весь свой наличный капитал — более ста тысяч золотом — и объявил себя банкротом. Мельницы и все заводы пошли с молотка. Остался только двухэтажный каменный дом с надворной постройкой, пара гнедых иноходцев я единственный сын Кеша, женатый на дочери купца Паталашкина Аннушке.

Все в городе знали, что Пашин «свихнулся» и все сто тысяч золотом будто где-то запрятал. Сын подступал к отцу и так и эдак, но ничего не добился, кроме туманного обещания, что «золотой клад, бог даст, добром обернется». Каким добром? Неведомо! Жди, Кеша, и не горюй. Но ведь на одних обещаниях не проживешь на белом свете — жрать-то надо, и стариков кормить к тому же. Вот и пришлось Иннокентию Михайловичу определиться в управляющие чужими делами, и, мало того, кряхтеть и не роптать, когда таежный медведь Юсков учинял всяческое изгальство, да и жену Аннушку прибрал к рукам. Эх, если бы папашины сто тысяч!..

Года три назад, по совету Юскова, Иннокентий Михайлович принял крутые меры против родителей: посадил их на черный хлеб и на редьку: «Нет, мол, денег, чтоб кормить вас телятиной». Старики не роптали. Довольствовались редькой и ржаным хлебом и пели псалмы на весь дом. Невестка не выдержала: «Или ты их корми, идиотов, или я утоплюсь».

Пришлось кормить.

Была еще одна странность. Старички оглохли, но виду не подавали, что они не слышат друг друга. Более того — не признавали себя стариками. Она звала его «Мишуткой», а он ее «Клавпунчиком».

Занимая две комнаты из девяти на втором этаже, Мишутка и Клавпунчик каждый вечер после ужина оставались в гостиной, и тогда между ними начинался такой любезный разговор, что невестка

Аннушка готова была треснуть от злобы. Они все еще объяснялись в любви и даже ревновали друг друга! Подумать — ревновали! Песок сыпался, а они — про любовь и ревность! И если их прогоняли из гостиной, они ворковали в какой-нибудь из своих комнат, покуда не засыпали в объятиях друг друга. Такая любовь продолжалась у них вот уже без малого... шестьдесят лет! Было чем возмутиться Аннушке, разочарованной доченьке купца Паталашкина, давным-давно разлюбившей незадачливого сына свихнувшихся родителей.

— Что-то они не в духе сегодня, твои асмодеи, — кивнул на старичков Елизар Елизарович. — Поддай-ка им вина, портвейнчику.

Хозяйка презрительно фыркнула:

— А ну их! Глядеть на них тошно.

— Поддай, поддай, Аннушка! Пусть они поворкуют про любовь, зауспокойные голубки. Григорий вот послушает, и Дарьюшка, может, развеселится.

— Если разве так, — смилостивилась пышногрудая Аннушка, наливая розовое вино в хрустальные старинные рюмки.

Мишутка — сухонький, беленький, как капустная кочерыжка, в черном поношенном фраке и в белой манишке с крахмальным воротником, с кустиками белых волос, уцелевших на висках, аккуратно выбритый, радостно принял рюмку вина от скупой невестки и, поставив рюмку на тарелочку, потирая сухонькими ладонями, обратился сперва к Дарьюшке, что он выпьет «за здоровье присутствующей красавицы», а потом уже, дотронувшись до руки Клавпунчика, сказал:

— Ты мне простишь, конечно, великодушно простишь, что я не мог не обратить внимания на столь милое создание, как вот моя юная соседка. А? Что? Ты простишь, простишь. Как это великодушно.

— Ах, боже мой, вино! — ворковала Клавпунчик. — Как давно я не пила хорошего вина, Мишутка. Я же сразу опьянею, ей-богу! Я же говорила тебе, Мишутка, сегодня что-то случится. Непременно что-то случится. Я видела такой сон. О! Это было ужасно, ужасно. И как всегда — сон. Чистый сон. Хи-хи-хи, — рассыпалась сморщенная, седенькая старушка, до того маленькая, что ее можно было унести на ладони.

Мишутка, в свою очередь бормотал:

— Клавпунчик, ты такая великодушная! Я понимаю. Я, конечно, понимаю. О, как я тебя понимаю!..

Клавпунчик досказывала сон:

— ... и вижу так явственно: падаю, падаю, милый. Хочу крикнуть, а голосу нет. Откуда ни возьмись — черный сокол. Совершенно черный. Взвился из-под ног, и тут я проснулась. «Мишутка, Мишутка», — зову. А он хоть бы хны. Спит. Вот всегда так, милый: каждый видит свой сон, хоть и спим рядом. Хи-хи-хи.

Елизар Елизарович, развалившись на черном стуле с высокой спинкой, потешался:

— Ну, чем не спектакль, Гришуха? Из ума выжили, в «могилевскую» пора бы, а про любовь, про любовь щебечут. Небось не покажут, где запрятали куш в сто тысяч! Эх, не я Иннокентий. Я бы их год, два держал на редьке, а все-таки добился бы.

Хозяйка пожаловалась, что старики окончательно измучили ее и что ради них она должна держать лишнюю горничную: «И хоть бы прониклись уважением. Как же, дожدهшься! Кошмар просто».

— Они совсем глухие? — спросил Григорий.

— Что не надо, то слышат. — Так и сидят дома?

— Да что вы! Если бы вы знали, какой у них распорядочек. Как утро — прихорашиваются, чай пьют и на гуляние отправляются. До обеда не жди. Уйдут на Татарский остров, в бор, к саду доктора Гривы и там наслаждаются природой. Явятся к обеду, а после обеда — за чтение. Сам он историю России по Соловьеву изучает и все что-то выписывает в тетрадки; она перечитала все старинные журналы от Пушкина и до теперешней «Нивы». Ну, а потом ужин. А после ужина... любовь и ревность.

— Любовь и ревность? — не поверил Григорий.

— Поживите недельку, узнаете. Или вот с ней, ради интереса, полюбезничайте, а потом послушайте, как они в своей комнате будут ссориться, а потом, простите за выражение, целоваться.

— Вот она какова, любовь-то, Григорий. Чуешь, а? — подмигнул Елизар Елизарович. — Э, а ты что же, Дарья? Притихла, как мышь под кладью, и лапки на стол.

Дарьюшка и в самом деле необычно притихла. Потупив голову, положив ладони на стол, она сидела, как изваяние. Ее черные, не прикрытые платком волосы поблескивали под светом

тридцатилинейной лампы-молнии, спущенной над столом на медных цепочках с лепного круга на потолке.

— Опять ушла от нас в третью меру? — подковырнул Елизар Елизарович. — Дарья! Дарья!

Мишутка и тот услышал позывные миллионщика Юскова.

— Весьма задумалась. Весьма.

— Толкни ее там, Михайла Платонович. Толкни. Михайло Платонович умильно улыбался в ответ.

— Толкни, говорю. Спит она, что ли?

— Весьма задумалась. Весьма.

— А, чтоб вас!

Елизар Елизарович сам подошел к Дарье и встряхнул ее:

— Тебя зовут. Не слышишь, что ли?

— Ах, оставьте меня!..

— Выпей-ка портвейнчику, развеселись да песню спой, штоб на душе муть не оседала. Дай-ка бутылку, Григорий. Налью асмодеям. Пить будем. Гулять будем.

Вино лилось густое и красное, как кровь. Дарьюшка вспомнила, как дед Елизар-второй, совершая службу, причащая домочадцев-рябиновцев, разносил в серебряной ложке вино и говорил, что это кровь Христа-спасителя. И она, Дарьюшка, пила ту кровь. Может, потому и мучилась во второй мере жизни, что пила кровь Спасителя? И все, все пили! А что, если из черной бутылки льется в рюмки не вино, а кровь?

Схватив рюмку, сплеснув вино, поднялась.

— Не смейте! Не смейте пить кровь! Не смейте!

У Елизара Елизаровича бутылка выскользнула из рук и ударилась о тарелку — звон раздался. Белесый старичок, крестясь, что-то бормотал.

— Мишутка, Мишутка! — пищала старушка, отодвигаясь от Дарьюшки.

— Дарья! — топнул Елизар Елизарович.

— Не смейте! Не вино, кровь пьете. Вечно кровь пьете и воображаете, что это вино. Я вижу, вижу. Не думайте, что я останусь с вами и буду пить кровь!

— Сядь, Дарья!

— С вами? За один стол? Ха-ха-ха! Не с вами я! Не с вами! Вечно не с вами. — И, хохоча, швырнула хрустальную рюмку.

Елизар Елизарович ударил дочь по щеке — на ногах не устояла. Упала спиною па старушку, и они вместе свалились на пол.

— Господи помилуй! — крестился Михайла Платонович. — Помилосердствуйте, Елизар Елизарович! Как можно девицу, а? И жена моя...

Дальнейшее осталось невысказанным. Елизар Елизарович схватил Михайлу Платоновича за шиворот и поднял, рыча:

— Неможно, говоришь? Неможно? А жрать хлеб-соль задарма можно?! Куда запрятал клад, сказывай, асмодей! Не я Иннокентий! Ты бы мне сказал, голубок!

Тем временем Дарьюшка, спохватившись, пыталась убежать из гостиной, но ее задержал Григорий.

— Пусти, пусти! Ненавижу вас! Всех, всех ненавижу! Презираю! Презираю! — отбивалась Дарьюшка.

— Вздуть ее надо, стерву! Вздуть!

Григорий утащил Дарьюшку из гостиной. «Ради Христа! Ради Христа!» — слышалось бормотание хозяйки.

— Убью, стерву! Убью. Заглотну, как мисказоба. Как она меня подрезала, а? Под корень.

Елизар Елизарович помотал головою, как бык, и, что-то вспомнив, оглянулся.

— А где он, асмодей? Я из него... я из него весь клад вытряхну. Он мне сейчас выложит!

— Ради Христа! — повисла на шее Елизара Елизаровича хозяйка, а старички, не задерживаясь, скрылись в своем убежище.

— Пусти, Анна. Тебе же на пользу. Твой Кешка век из них не вытрясет деньги. А я...

— Ради Христа!..

— Я из них...

— Милый мой Елизар Елизарович! Дорогой мой Елизар Елизарович. Послушайте. Я... я... ох, господи. И сказать-то боюсь. Кеша наказал, чтоб я не проговорила...

— Што-о? Про что не проговорила?

— Нету никакого клада, Елизар Елизарович. Дым. Туман, и больше ничего. Такой стыд!..

— Нету? Как так нету?

— Нету, нету.

— Позволь, Анна. Позволь. Весь город знает...

— Если бы я могла открыться тебе...

— Што-о?

— Не могу я. Не могу. Пожалей!

— Тебя пожалеть? Али ты забыла, кто ты есть для меня? Ну, выкладывай.

— О, господи! Кеша убьет меня.

— Кешка? Да я его... да я его раз-зорву. Или я не через тебя держу в управляющих этакое слюнтяя, а? Не через тебя? Да я его завтра вышвырну!

— О, господи! Куда тогда я? Как мне тогда жить? Елизар Елизарович некоторое время молчал, раздувая ноздри, придерживаясь волосатой рукою за спинку стула, потом вдруг что-то сообразил, поднял стул и трахнул им об пол.

— Со мной жить будешь, Анна. В открытую! Соображаешь? Дам тебе денег — всю заверну в «катеринки». От ног до головы.

— Ах, если бы дело мне, — теснее прижалась к Елизару Елизаровичу растроганная Аннушка. — Как вот у вдовы Кушкаревой: питейное заведение...

— Што-о? Питейное? Ха-ха-ха! Плевать на Кушкареву. Если начинать, так начинать с шиком, на весь уезд. Не питейное, а ресторацию откроем, с девицами, на два этажа. Как в Красноярске или в самом Петербурге. Дом на Мещанской отдам под такое заведение. Чтоб на всех трех этажах жизнь кипела!

— Боже!

— Согласна?

— Да я бы, да я бы век... О, господи!..

— Баста! Вот тебе моя рука — бери.

Аннушка охотно вложила свою пухленькую руку в широченную лапу Елизара Елизаровича и взвизгнула, когда он легонько стиснул ее в знак состоявшейся сделки.

— Гляди, Анна, со мной не шути. Ежели с сегодняшней ночи ты хоть пальцем позволишь к себе дотронуться слюнтяю Кешке, жди — смерть будет.

— Как же...

— Што-о? Или ты руку не дала? Помни: медведь шутить не умеет. Аннушка струхнула:

— Господи, господи! Так все сразу. Голова кругом. Как же мне быть-то, милый? А?

— Приедет Иннокентий, и объявишь ему, что уходишь на свою линию жизни. Двадцать тысяч получишь от меня под вексель.

— Под вексель? Я же...

— Молчи! Под вексель, сказано. На двадцать тысяч три таких заведения можешь открыть. Знай поворачивайся. Ну, а ежели хвост мне покажешь, я из тебя весь дух вытряхну.

— Ой, медведь, медведь! Милый медведь. Если бы это исполнилось, да я бы...

— Мое слово — камень. А теперь говори, куда девался клад асмодея? — И кивнул на дверь в комнату стариков.

— Не было клада. Не было. Позор один. Весной, помните, старичок чуть не помер? Вот тогда все открылось. Священника позвали, причастился, а потом сказал Кешке, что деньги ушли на погашение векселей Иваницкому.

— Псарю?! — вытаращил глаза Елизар Елизарович. — Какие такие векселя?

— Векселя-то Иваницкому достались от Маторшина, промышленника, с которым тайное дело имел свекор.

— Ловко! Ай, как ловко! Ну, ну рассказывай!..

Аннушка что-то щебетала про какие-то косвенные, прямые и разные всякие позорные векселя Пашина, выданные обанкротившемуся золотопромышленнику, и как ловко Иваницкий собрал все векселя и прихлопнул ими слабохарактерного Пашина, который и теперь еще проклинает Иваницкого. Елизар Елизарович, довольный, что слюняй управляющий остался на бобах, усадил к себе на колени интеллигентную Аннушку, уверенный, что отныне она будет принадлежать только ему.

— Ах, боже мой, ты меня не слушаешь, — покраснелась она.

Вот всегда так: как выпьет, так подавай ему все сразу. Мужа, Иннокентия, обычно отсылал по делам, а с ней устраивал гульбу — с катанием на тройке куда-нибудь в Ермаковское, в Шушь, в Малую Минусу. Ночами, без кучера, со свистом и гиком, и коньяком, который пил прямо из горлышка.

— Моя ты теперь. Гульнем, а? Чтоб узелок завязался?

— Когда еще завязали... — хихикнула.

— Навек завяжем. Навек. Собирайся, а я скажу Микуле, чтоб Воронка заложил.

— Куда же?

— Волчью полость прихватим. Карабин с патронами, чтоб чертей пугать. Коньяку для согрева души и тела. И на сенокосы, к Суходолу. А? Моментиком! Под зарод сена, а? Пить будем. С шиком. Рвать землю будем. И жечь, жечь! Огневище устроим на весь Суходол.

Аннушка жеманно охала, притворно чванилась, но не отказалась от увеселительной поездки. И пить будут, и гулять будут: «Была не была!» А потом устроят огневище — чей-то зарод сена сожгут. Чудненько! «Ах, какой милый медведь! Он будет теперь мой. Навсегда мой! Только бы заведение открыть». И откроют, конечно. Тому порукою медведь, хватающий направо и налево.

IV

Григорий догадывался, чем окончится у Елизара Елизаровича, видел в окно, как на вороном иноходце, запряженном в рессорный тарантас, они выехали и вскоре скрылись в темноте.

Постоял у окна, покривился, злясь на свою скучную долю фронтowego есаула, которому кругом не повезло: ни славы, ни денег, ни уважения. Был удостоен внимания великой княгини: отмечен великим князем офицерским золотым крестом. А кто он в действительности! Папаша был атаманом, вовремя завел связи, бросил семью в кержачьей заводи, женился на дворянке, вылез в атаманы, оставив сынов от первого брака в черном теле. «На животе ползу. Во имя чего? За царя и отечество? За тупорылых миллионщиков Юсковых и им подобных? В есаульских погонах — на побегушках?» Не он ли радовался, когда по настоянию великой княгини Марии его вдруг произвели в есаулы, и он тогда подумал: «Теперь я покажу себя!» И в ту же неделю мадьярский палаш изуродовал руку. Мало того, хлебнул иприта.

О, если бы Дарьюшка!.. Она его преследует во сне и наяву. Нет, он без нее не может жить! Ради Дарьюшки он наплевал себе в душу, раболепствуя перед Юсковым. Думая так, он отгонял свои тайные помыслы. А в этих-то тайных помыслах он был уверен, что капитал

золотопромышленника Юскова в конце концов перейдет к нему, Григорию Андреевичу Потылицыну, а ради капитала и не такие унижения перетерпеть можно!..

И вот медведь рвет чужую жизнь в клочья, развратничает с гусынями, а он, Григорий, человек с умом и сердцем, должен заискивать перед этой скотиной и получать от него деньги на харчи... Если бы Дарьюшка заметила его, Григория, он был бы вознагражден за все свои горечи постыдной жизни. Но нет же! Он дважды спас ее от бешеного родителя, дважды благословлен быть ее мужем; и ни разу, ни единого раза она не взглянула на него с участием. До каких же пор?!

Сейчас они вдвоем в большой комнате. Три огромных окна за тюлевыми шторами, задрапированная золотистым плюшем филенчатая дверь, лакированный стол для игры в преферанс и вист, стайка венских стульев вокруг стола и у стен, персидский старинный ковер с проплешинами, две или три картины в рамах, не задерживающие на себе ничего внимания, столь же ненужные, отжившие, как и то время, откуда они явились и прикипели к стенам, отчаянно светлое зеркало под потолок в черной раме с финтифлюшками. Под зеркалом — туалетный ореховый столик, пуф в чехле, и на этом пуфе, согнувшись, упираясь локтями в колени, — Дарьюшка в бордовом шерстяном платье с длинными рукавами.

Она и он. Он — с нею, но она — вне его, далекая, как тающий мираж, спиною к нему. Вечно спиною и никогда — лицом к лицу. Как два окна порознь и никогда вместе.

В простенке между двумя окнами — неумолимые часы. Идут, идут, идут. Уносят время. Уносят молодость, кипение крови, мечты и надежды.

«Жена она мне или не жена?» В ответ ударили часы: «Бом!» — один раз. Час ночи.

Григорий, растирая правой рукой кисть левой изуродованной руки, опять вернулся к окну, раздернул штору, поглядел. Ночь. Сонная, обволакивающая, а у него клокочет кровь, жжет щеки, ноздри, горло.

«Надо взглянуть, где эта кадушка», — подумал про служанку и быстро вышел из комнаты.

Служанка убирала со стола в гостиной. Щеки красные, как спелые помидоры. Льняная коса в руку толщиной перекинута по левому плечу на высокую грудь. Синяя сатиновая кофта с глухим воротничком,

черная юбка и сальные, короткопалые руки, моющие жирную тарелку. «Была бы гусыня, — вспомнил Юскова, и нервный тик передернул левую щеку и веко глаза. — Подумает еще, что я ей подмигиваю. Ну, кадушка! — И тут же оборвал себя: — А почему бы и нет? Всем дозволено, кроме меня? И на фронте офицерье издевалось за мою стеснительность и брезгливость, а ради чего? Или у меня три жизни? — И вздрогнул: Дарьюшка говорит, что ушла от всех в третью меру жизни. А что, если правда существуют разные меры жизни? Фу, какая ерунда!»

Грудятся перемытые тарелки, соусники, вилки, ножи, куча объедков на трех собак, распахнутые дверцы буфета времен Ивана Грозного, книжный шкаф во всю стену — «достояние асмодеев», диван с плюшевыми подушечками, три двери — одна в прихожую и две в комнаты стариков. Два окна, задрапированные бархатом.

— Ну как, Шура?

Григорий подступил к толстухе, намереваясь обнять ее по-юсковски, а внутри, в нервах, каждая клетка вопила: «Нет, нет! Противно».

Но он шел на сближение, как каторжник, волоча цепи, толкая ненавистную тачку вперед, проклиная все и вся.

— Ну как ты? — И обнял толстуху, как бочонок с творогом: и жрать не хочется, а тащить надо.

— Штой-то вы? — Шура прижалась животом к столу, не смея тронуть офицера грязными руками. С ее коротких пальцев стекали жирные капли в медный тазик, в котором она мыла посуду.

— Ты сдобная.

— Штой-то вы, барин? Аль как вас?

— Тихо. Или не соображаешь?

— Чо соображать-то?

— Ты это брось. Не люблю притворщиц. Или медведь тебе больше нравится?

— Какой медведь?

— Который хозяйку твою уволок. Тот раз я тебя пожалел, когда он тебя уволок на всю ночь. Где вы тогда гульнули с ним?

— Дык, дык на сенокосах, на острове, — отдувалась Шура, и рот у нее открылся, как у телки. Она и похожа была на телку. Тело ее под ладонями Григория неприятно вздрагивало.

— Как же ты ему позволила, медведю?

— Дык, дык, что я?

— Такого бы жеребца в табун, а он...

Стиснув зубы, глядя вниз, Григорий отошел к буфету, заглянул туда, достал початую бутылку коньяка, налил себе в чистый стакан и Шуре в рюмку:

— Ну, выпьем.

— Руки-то у меня...

— Пей.

— Ой, боженька! Крепкое-то, крепкое-то... Аж дух занялся.

— Где твоя комната?

— Комната. Какая мне комната? С поварихой Карповной живем. Сразу внизу. Дверь от лестницы другая. Первая — конюх со своей семьей проживает, а другая дверь — мы с Карповной.

— Ладно, иди. Я тебя потом позову.

— Дык, дык вдруг хозяйка явится?

— Ты сама знаешь, когда она явится, — брезгливо процедил Григорий и опять налил себе полстакана коньяку.

Толстуха хихикнула:

— Уж как знаю!.. Как вы тогда уплыли в город, в доме у нас гостевал господин Востротин из Красноярска, миллионщик тоже. Сам-то Иннокентий Михайлович в Урянхай укатил, а Востротин неделю жил, да с Анной Платоновной так-то они обиходливо миловались, как вроде жених и невеста.

— И черт с ними, — хмуро отмахнулся Григорий и вздрогнул: в комнате у Дарьюшки что-то упало.

— Барышня не спит? Мне так страшно, так страшно! Сама-то наказала, чтоб я глядела за ней, а я так боюсь, боюсь! Как вроде углями жжет. Страхота. И такая раскрасавица. Как картинка писаная.

— Ладно. За барышней доглядывать буду я.

— Вот спасибо-то. А то я с перепугу умерла бы. До того глаза у ней пронзительны. Как иголки будто. И что с ней подеялось? И с лица воду пить, и родитель экий богатющий, а вот поди ты...

— Ладно.

Подтолкнул толстуху упругим взглядом и долго еще сидел один за столом, потягивая из стакана коньяк и не пьянея.

Часы или кровь стучает? «Как будто перед атакой на мадьяр».

Поднялся и, оттянув плечи назад, пружиня бицепсы, подумал: «Сейчас или никогда. Притворилась и третью меру придумала, чтобы найти потом Боровикова». И сразу же — ненависть. Горькая, как резун-трава. Глухая, как тоска. Чем он хуже Боровикова? Она, конечно, знает, что Боровиков — георгиевский кавалер, прапорщик и она ждет его.

«Проклятье! Я еще с ним встречусь».

Массажируя негнущиеся пальцы левой руки, подумал: «А может, я ни рыба ни мясо?! Такие, как Дарья, любят силу и смелость. А у меня только жалость. Ко всем чертям!»

V

Шаги. Шаги. Скрипучие. Кровь не стучит, а жидким огнем мчится по венам. Надо снять френч в прихожей. Или лучше там, в комнате?

«Что я вор, что ли? Она — моя жена».

Сразу от двери он увидел ее голову на атласной подушке. Лицо белое и чуть вздернутый носик... Овал подбородка. Она уставилась на лампу. Может, свет мешает? Не сейчас, потом. Бордовое платье на спинке кровати. Пустые рукава смялись гармошкой на полу. Шагреневые ботинки на пуговках в стороне от кровати. Это она ботинки тогда кинула, наверное. Комочек пепельных чулок. До подбородка — голубое покрывало. Что она, не разобрала постель? В комнате прохладно или он, Григорий, охвачен таким морозом, от которого не согреешься теплом от печки? И зубы стучат. Надо взять себя в руки и — без разговоров. Спокойно, спокойно, есаул.

Опустился на пуф, стянул сапоги, шерстяные чулки, а потом уже френч, рубаху, брюки, и все это — в одну кучу.

Поднялся и — оторопел. Она все так же, шурясь, глядела на пузырь висячей лампы под стеклянным абажуром. А что, если она действительно...

Подошел к кровати. Дарьюшка будто очнулась, вскинув глаза на Григория. Он спросил: почему не разобрала постель?

— Постель? — хлопала глазами Дарьюшка.

— Поднимись, я вытащу одеяло.

— Одеяло?

Голос хриплый, как у пропойцы.

— Поднимись.

Дарьюшка сообразила, чего от нее требует Григорий, и села на постели, машинально натянув на голую грудь покрывало. Следила за его рукой, как он, убрав две подушки, вытянул лохматое верблюжье одеяло с пристегнутым на пуговицы пододеяльником, а потом стянул с нее покрывало и бросил на никелированную шишку кровати.

Плотно стиснув ноги, сгорбившись, закрывая ладонями груди, она глядела на него снизу вверх и, как видно, ничего не понимала. Что ему нужно? Или он укладывает ее спать? Она же сама легла. Ах, вот, одеяло!..

— Потушить свет? — спросил он.

— Да. Да. Я хотела. Но высоко. И лампа какая-то — не понимаю. Такую не видела.

— Ты бы замерзла под покрывалом.

— Замерзла? Н-нет.

— Твой папаша укатил с хозяйкой.

— Укатил? Куда?

— У него мест много, где он может показать себя и свои деньги. Таких, как хозяйка, он называет «гусынями».

— Гусынями? Смешно. Она красивая, только глаза у нее, как молоко, белые. Нахальные.

— Твоему отцу нравятся всякие «гусыни».

— Я его ненавижу. Животное. Никогда не вернусь к нему в дом. Никогда.

Григорий бережно накрыл ее ноги одеялом, ответил:

— У нас будет свой дом.

— Свой дом? — забавно помигала она и усмехнулась доверчиво и просто. — К чему дом? Весь мир — дом. В четырех стенах всегда тесно и тоска такая — хоть плачь. И я плакала. Как ночь, я плакала. Уткнусь в подушку и плачу, плачу! Сейчас я хочу уйти. В мир уйти. И чтоб дождь, и снег, и ветер, и черный-черный тополь. Тогда я шла и думала: настанет день, и птицы начнут петь. Они всегда поют при солнце. Если бы люди, как птицы, могли петь, они бы, они бы... — И тихо-тихо, одними губами усмехнулась, опустив голову на подушку.

Он тронул пальцами ее обнаженное плечо и будто ожегся. Она, накупившись, поглядела в упор.

— Дашенька! — позвал он и, опустившись на кровать, повернулся, поцеловал ее руку.

Он что-то еще говорил — ласковое, желанное, но она не поспевала за его словами. А руки его, пальцы, ладони, приятно жалили и жгли, жгли Дарьюшку. Это он, конечно, целовал ее в пойме Малтата. Давно-давно.

— И птицы пели, пели, — бормотала Дарьюшка в забытьи, подставляя тоскующее тело под жадные поцелуи. — И было солнце, и была трава. Высокая-высокая. Белоголовник цвел. А шиповник такой колючий, противный. Трещали кузнечики часто-часто. И небо синее-синее, потом бордовое.

Он впился в ее припухлые губы и целует, целует. И любит ее, конечно. Любит. Ее пахучие, гибкие руки обняли его за шею. Она столько ждала! Целую вечность.

— Ты меня любишь? — И глаза ее сияли, как черные звезды.

— Если бы ты знала, как я тебя люблю!

— И я. И я.

— Ты как богородица...

— Ты меня будешь целовать. Всегда. Всегда. Я так ждала. И так мучилась! Всегда думала: он придет, и тогда мне откроется розовое небо и я буду счастлива.

— Ты будешь счастлива!

— Посмотри, я красивая. — И, откинув одеяло, она вытянулась на постели, но, взглянув на себя, проговорила: — Рубашка вот... у меня тело как молоко. Я сама, сама. погоди. Я хочу, чтобы ты видел, какая я. И всегда помнил!

— Дашенька.

— Смотри. Смотри. Всю, всю. И помни. Вечно помни: я хочу, чтобы ты меня любил. Вечно. И в третьей мере, и в четвертой. Ах, я не хочу быть старухой. В четвертой я буду старухой. Потом умру и уйду в пятую меру. И тогда хочу любви. Вечно хочу любви. Если бы все так любили...

Он опьянел от ее податливого тела и не мог насытиться. Что случилось с Дарьюшкой? Она его ждала. Она его любит. Его, Григория!

— Жена моя!

— Жена, жена, жена, — твердила Дарьюшка. — Я так ждала. Я так мучилась! — И вдруг она промолвила: — Ты помнишь, Тима, как трещали кузнечики? Тима, милый, я хочу тебя, Тима!

Григорий отпрянул.

— Ты... ты... ты, — поперхнулся он, — што?

— Ты испугался? Почему испугался, Тима? Это я, я, Дарьюшка. Твоя Дарьюшка.

Чужое имя, как хлыстом по голой спине. Ее руки тянулись к нему, и опять:

— Тима!.. Милый!.. Тима!..

Он ударил ее по рукам и еще раз по щеке, точь-в-точь, как давеча папаша в гостинной.

Она сжалась в комочек, лицо ее перекосилось, в глазах — укор и недоумение.

— Ты... ты... забудь это проклятое имя. — Тима! — вывернул он из нутра, как ушатом холодной воды окатив Дарьюшку. — И не притворяйся, что спутала меня с какой-то сволочью.

— З-за ч-что? З-за ч-что?

Она не понимает, за что же он ее ударил? Что случилось? Он же ее ласкал, нежил, и ей было так хорошо, и вдруг — чужое, страшное, противное лицо! Куда исчез тот, чье сердце стучалось ей в грудь?..

— Мамочка!..

Пересиливая гнев ревности, он лег рядом с ней. Она звала — он молчал. Она хотела что-то вспомнить, понять, уяснить, а он ей не хотел помочь. Опять встретилась с его глазами — не видела таких, и быстро поднялась, собираясь бежать.

— Я уйду, уйду! — И губы у нее тряслись, как у обиженного ребенка. — Ты жестокий, жестокий, жестокий! Вы все жестокие, жестокие!

— Зачем ты его вспомнила?

— Я тебя ждала. Столько ждала! А ты... жестокий, жестокий!

— Я бы тебя пальцем не тронул, если бы ты не вспомнила про него. Мало тебе, что он таскал тебя в пойму!

— Он? Он? — Дарьюшка не понимала, что еще за «он»?

— Я с ним еще встречусь! Лоб в лоб!

— Я не хочу тебя. Не хочу. Уйди. Сейчас же уйди!

— Я твой муж.

— Нет! Не хочу. У меня будет другой муж. Завтра будет другой.

— Завтра?

— Завтра, завтра!

Григорий хотел ударить ее, но передумал. Он свое возьмет...

— Пусти, пусти! Мамочка! — позвала она, и тут же потная ладонь закрыла ей рот. Он ее мучает. Почувствовав боль, она его укусила за ребро ладони. Он ударил ее по губам. Собрав все силы, она вывернулась и стала царапаться, как волчица. Он опять ударил ее и втиснул руки в постель. Бил ее коленом. И рычал, рычал. Долго и бесстыдно насиловал. И вдруг, неловко повернувшись, он ткнулся лицом в подушку, и в тот же миг Дарьюшка схватила зубами за ухо...

— А-а-а-а! — заорал Григорий. Брызнула кровь, заливая лицо Дарьюшки.

Зажав ладонью окровавленное ухо, Григорий слетел с кровати и волчком закружился возле стола. Сквозь пальцы сочилась кровь, стекая по руке до локтя.

— Будь ты проклята! Будь ты проклята! — цедил он сквозь стиснутые зубы.

ЗАВЯЗЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

I

Минусинск проснулся коровьим мыком — трубным, долгим, в тысячу глоток — воплощением умиротворенности и спокойствия.

Дарьюшка прислушалась и подбежала к окну, уставившись в текущий, мычащий мир.

Похоже было, что город населяли одни ленивые, удоиные, меланхоличные коровы, телки и быки. Они стекались на площадь со всех сторон. Красные, бурые, пестрые, черные, комолые, рогатые, подтощальные, с выпирающими крестцами, жирные, с раздутыми утробами, с торчащими к земле сосками шли и шли, толкая друг друга, шли стадом на пойменные луга, на отавы, чтобы к вечеру набить утробы и вернуться в город с закатом солнца и так же мычать, возвещая мир о своем благополучном возвращении.

Навстречу коровам поднималось розовое солнце.

— Мычат, мычат, — шептала Дарьюшка, созерцая коровье царство.

Она была в платье, расстегнутом на спине. Но если бы спросить Дарьюшку, легла ли она в постель в платье или без него и что с нею произошло ночью, она вряд ли ответила бы.

— Мычат, мычат!

А что, если весь подлунный мир от зари и до зари населяют одни дойные коровы, телки, нетели и быки? Может, это и есть та третья мера жизни, куда пришла Дарьюшка, отряхнув прах со своих ног от прошлых трудных дней жизни? Коровье царство и коровье спокойствие. И она, Дарьюшка, тоже должна мычать! — призывно, утробно, и тогда она будет счастлива?

Надо мычать, мычать...

— М-у-у-у-у, — попробовала Дарьюшка сперва тихо, неумело, а потом, набрав полные легкие воздуха, замычала свободно, не хуже любой нетели: — М-у-у-у, м-у-у-у-у! — И сразу стало легче, точно вместе с мыком улетучилась горечь минувшей ночи, все сомнения и те неразрешимые вопросы о пяти мерах, над которыми она столько билась. Как все просто: набрать воздуху и, сложив губы трубочкой, выдыхать из себя облегчающее «м-у-у-у, м-у-у-у!», постепенно вытягивая живот.

— Барышня!

Дарьюшка оглянулась на толстуху в ситцевом платье, пригляделась и промычала.

— Штой-то вы, барышня?

— М-у-у-у, м-у-у-у!

— Рань такую поднялись и опять чудите. И ночью офицера покусали.

— М-у-у-у! — ответила Дарьюшка и сказала: — Мычи, мычи. Сейчас ты нетель. Справная, жирная, а потом станешь коровой. Мычи!

— Ой, боженька! — попятилась обладательница толстых ног, смахивающих на ступы. — Спали бы, барышня.

— Мычи, мычи. — И, пригнув голову, Дарьюшка намеревалась боднуть толстуху-нетель, но та кинулась за двери.

Некоторое время Дарьюшка кружилась вокруг стола и мычала, но потом прибежала встревоженная хозяйка, попробовала утихомирить Дарьюшку и, не преуспев, подняла самого Елизара Елизаровича.

Отец вошел в комнату в нижней голландской рубахе ниже колен, распахнутой до пупа, в халате, накинутом на вислые широкие плечи, и не без робости приблизился к дочери:

— Ну, што ты тут, Дарья? Дарьюшка отпрянула от отца:

— Цыган, цыган. Мясник.

У папаши глаза полезли на лоб, и сон как рукой сняло:

— Ты... ты, стерва, што-о?! А?! Изувечу!

— Му-у-у! Му-у-у! Му-у! — тревожно промычала Дарьюшка, как бы взывая о милосердии.

— Это што же, а? Што же, а? — затравленно оглянулся Елизар Елизарович, запахиваясь халатом. — Час от часу не легче. А? Давно она поднялась?

Выслушав сбивчивый рассказ служанки, предупредил:

— А ты смотри, Александра, помалкивай в городе. И чтоб книжочтец Юсков не проведал. И про то, как она ухо покусала человеку, ни гугу! — И пригрозил: — Вздую.

Утром Елизар Елизарович получил депешу от капитана «России», что пароход будет в Минусинске послезавтра утром: туманы задерживают.

Надо было съездить в Усть-Абаканское и встретиться там с «размазней» управляющим, Иннокентием Михайловичем, которого он решил отстранить от дел, но Дарьюшка висела на шее, как якорь. Надумал показать ее известному минусинскому доктору Ивану Прохоровичу Гриве.

Доктор не хотел принять Дарьюшку: «Я — хирург. Да-с. Если ваша дочь, как вы говорите, с ума сошла, то следует обратиться за помощью к психиатрии — паука о душевнобольных, в Красноярске имеется больница». Елизар Елизарович пообещал хорошее вознаграждение. «Никакого вознаграждения, почтенный, — рассердился доктор Грива. — Вы, вероятно, думаете, что доктора призваны взимать, а не давать. Есть и такие доктора. Да-с!» И, подумав, доктор нашел выход: «Есть здесь бывшая курсистка психоневрологического института. Официально она не практикует. Я приглашу ее к себе. Так что приводите вашу дочь в мой сад, в пересылку доктора Гривы».

— Как так «в пересылку?» — не понял Елизар Елизарович.

— Ну, если угодно, в мой дом на дюне. Да-с. Но я предпочитаю свой дом называть «пересылкой» — этапной тюрьмой. В России, как вам известно, все жители так или иначе заключенные. Да-с. И я пока живу в пересылке. В Сибирь меня гнали из Одессы. От тюрьмы к тюрьме. От пересылки к пересылке. Тридцать три тюрьмы, почтенный. Да-с. Ну, а дальше... Одному богу и жандармам известно, куда погонят дальше. Так что я пока в собственной пересылке. На всякий случай запомните: к моему дому ехать будете мимо тюрьмы. Не испугайте больную. Другой дороги нет. Да-с. В России, почтенный, от сотворения мира все дороги ведут в тюрьму. Не в Рим, как в матушке Европе, а в тюрьму. Да-с!

Доктор Грива шутил, конечно. В Минусинске он прикипел на вечное поселение, вырастил на бросовой земле яблоневый сад, построил дом на сыпучей дюне в полуверсте от тюрьмы, и говорят, будто на новоселье созвал всех свободных надзирателей, конвойных солдат и бражничал с ними всю ночь напролет.

Мало ли чудаков на свете!..

II

День выдался солнечный, высокий и просторный, какие бывают в благодатной Минусинской долине. Сытый рысак Воронок, любимец хозяина, пощелкивая подковами, сияя серебром и медью наборной сбруи с кисточками, играючи бежал по улицам города через деревянный мост на Татарский остров и там, свернув на одну из улиц-линий, помчал хозяина с дочерью к тюрьме.

И надо же было встретиться с этапными арестантами! Впереди на сером коне в длиннополой шинели, в начищенных сапогах со шпорами, при шашке, в серой каракулевой папахе картинно кособочился конвойный офицер.

Взмахнув плетью, он крикнул: «Па-асторонись!» — и успел прицелиться глазом на молоденькую красавицу, сидевшую слева в тарантасе рядом с бородачом в шляпе и суконной поддевке.

Постоянно настороженная Дарьюшка еще издали заметила всадника «на бледном коне» и готова была выпорхнуть из коробки тарантаса. Но когда раздался голос всадника, а потом он, гарцуя, вздыбил коня и, обращаясь к конвойным солдатам, крикнул: «Па-

адтянись!»), внимание Дарьюшки метнулось на арестантов. Они шли по четыре в ряд, закованные по рукам и ногам, в серых колпаках и в таких же грубых куртках и штанах, похожие друг на друга, точно одно лицо растворилось в сотне обреченно тупых лиц, охраняемые конвойными солдатами. Двигались медленно, гремя цепями, и Дарьюшка вспомнила, как давно в Красноярске, по Воскресенской, вот так же гнали этапных и горожане, любопытные, но безучастные, тупо созерцали шествие несчастных. И она, Дарьюшка, плакала и втайне проклинала царя и всю существующую власть, которая только и умеет, что творить жестокость. И люди терпят ярмо, волочат цепи, издыхают на каторге и благословляют рабской покорностью. Жестокость! Она, Дарьюшка, никогда не благословляла ее. Но она была такая беспомощная и жалкая! Но ведь это было тогда, во второй мере жизни! Сейчас Дарьюшка чувствует в себе силу, чтобы сразиться с тиранией.

Сдерживая Воронка на ременных вожжах, Елизар Елизарович подъехал к заплоту и не успел оглянуться, как Дарьюшка выпрыгнула и побежала к этапным, ловко увернувшись от солдата.

— На-аза-ад! Назад! — заорал конвойный, и в ту же секунду круто обернулся офицер на сером коне.

Дарьюшка влетела в ряды арестантов, как стрела, пущенная самой судьбою.

— Не смейте жить в цепях! Вы — люди! — раздался ее призывный голос. — Пусть цепи носят насильники и мучители. Смотрите, как светит солнце. Оно светит для всех. И для вас, чтобы вы радовались жизни и были счастливы. Бросьте цепи, бросьте! Сейчас же!

— Взять ее! Взять! — взвизгнул офицер, то наезжая на арестантов, то вскидывая коня на дыбы. Танцуя, серый конь звучно перекатывал на оскаленных зубах стальной мундштук, а конвойные солдаты, оцетинившись штыками, держали на прицеле сбившихся в кучу кандалников.

Голос Дарьюшки зазвенел страстно и призывно. Арестанты моментально сгрудились вокруг нее, и каждый хотел взглянуть на лицо девушки. И она их видела, несчастных. Близко-близко. Совсем молодых, измученных казематами, бородатых, отупевших, не верящих ни в солнце, ни в радость жизни.

— Пусть они взбесятся, насильники! — возвещала Дарьюшка, довольная, что сказала правду. — Смотрите, как прыгает бледный конь! И ад и смерть на бледном коне! Не бойтесь, я с вами, мученики! Я с вами! Киньте цепи и пойдете со мною в третью меру жизни. У нас будет радость. У нас будет солнце. У нас будет счастье. И сгинут цепи, слышите?..

Офицер выхватил револьвер, выстрелил вверх. И еще, и еще. «Бах, бах, бах!»

— Ложись! Ложись!

Арестанты остались безучастными к воплю офицера. Тесно сомкнулись плечом к плечу, и там, среди них, — Дарьюшка в черной плюшевой жакетке и в пуховом платке, сбившемся на плечи.

На выстрелы офицера отозвалась тюрьма. Бежали солдаты, надзиратели, унтеры, а из соседних домов, из оград в улицу высыпали любопытные горожане.

Елизар Елизарович перепугался до икоты, а тут еще Воронок, как только раздались выстрелы, попятил тарантас на середину улицы. Надо бы сказать, что Дарья не в своем уме, да где уж тут. И кто услышит? «Осподи помилуй! Осподи помилуй!» — молился Елизар Елизарович, порешив, что Дарьюшку, наверное, прикончат, да и его схватят. Шутка ли: посягательство на законы царя и отечества! Призыв к освобождению арестантов.

Шум, гвалт. Крик. Ругань, Звон цепей.

Ш

Солдатские лапы сграбастали Елизара Елизаровича за шиворот английской поддевки и выволокли из коробка тарантаса.

Арестантов штыками погнали обратно в тюрьму.

Елизара Елизаровича поволокли в караульное помещение рядом с тюремной стеною.

— Разберитесь, братцы! Разберитесь! — взывал к солдатам Елизар Елизарович, но те тащили да подкидывали горяченьких, чтоб век помнил, как нападать на конвой.

Первое, что увидел Елизар Елизарович в бревенчатом караульном помещении, были решетки на трех окнах. Стол впереди, широкая скамья и жестяная лампа, спущенная над столом с потолка. Еще одна

дверь в соседнюю комнату, и там бился голосок Дарьюшки. Это, конечно, она кричала, Стон, стон и удары. Догадался: Дарью избивают. Не успел сказать, что дочь «психическая», как дюжий солдат подскочил к нему и без единого слова сунул кулаком в рыло — искры из глаз посыпались.

Тут и пошло. Трое держали со спины, а двое утюжили почтенную физиономию миллионщика. «Братцы! Служивые! Разберитесь!» — нутряным стоном отзывался на удары Елизар Елизарович, не чая, останется ли в живых.

Нет, такого он не переживал! Сам молотил инородцев смертным боем, если те жаловались на него, что он их ограбил, но чтоб самому испытать лупцовки — в помышлении не было. Не он ли за веру, царя и отечество готов хоть всех инородцев отправить на тот свет? Раздеть до нитки, забрать весь скот и потом продать «царю и отечеству» втридорога или того больше. Не он ли самый праведный гражданин в отечестве?! И вот — бьют, бьют да приговаривают: «Собака, образина! Харя! Рыло!» И все это комментируется соответствующим довеском физического воздействия на «собаку, образину, харю, рыло» в одном лице.

Измотали Елизара Елизаровича до того, что он еле поднялся на четвереньки. Окатили водой, очухался.

— Господи! За што? А? За што?

После столь внушительной обработки потащили в двухэтажный дом управления тюрьмы, на второй этаж, и тут Елизар Елизарович предстал перед начальником тюрьмы — бритощекиим старикашкой в погонах штабс-капитана и перед жандармским подпоручиком. —

— Прошу. Садитесь. — Подпоручик указал на деревянный замызганный стул, поставленный на почтительное расстояние от стола. — Фамилия?

Помятый, всклокоченный, диковатый, с подбитыми глазами и подпухшей щекой, Елизар Елизарович смахивал на затравленного медведя со связанными лапами. Из головы вылетело, что он — почтенное лицо, миллионщик, все может, до всех дойти горазд и что ему сам черт не страшен. А тут притих, покособочился, грузно опустившись на стул. Хоть бы развязали руки! Так нет же, притащили к начальству, как какого-нибудь арестанта или каторжного.

«Да это же Иконников! — узнал Елизар Елизарович жандармского подпоручика, с трудом переводя дыхание. Болели ребра, спина и башку не повернуть. — Иконников же! За одним столом сидели у Вильнера».

— Фамилия! — подтолкнул подпоручик.

— Юсков фамилия, — покорно ответствовал Елизар Елизарович и, собравшись с духом, заискивающе проговорил: — Юсков же, господин Иконников.

Подпоручик хлопнул ладонью о стол:

— Ма-алчать! Имя-отчество?

— Елизар Елизарович. Или вы меня не признали, господин Иконников? Дело у меня на всю губернию.

— Дело? на всю губернию? — прицелился подпоручик. — Понятно. В нашем уезде такую сволочь еще не видели. Из губернии прилетел с той шлюхой?

— Господи прости!..

— Ма-алчать! От какой партии имел поручение совершить налет на этап и освободить государственных преступников? Отвечай!

— Не было того! Не было! А партия моя — по скотопромышленности, и в акционерном обществе состою пайщиком. Контора моя в Минусинске, в Урянхее, а также и в Красноярске по акционерному обществу.

— Ты эти штучку-мучки брось, — погрозил пальцем щеголь подпоручик, прохаживаясь возле стола. — Со мною не пройдет. Понятно? Ты мне выложишь, по чьему заданию явился в Минусинск. — И без перехода, в упор: — социалист-революционер? Террорист? Ну? Живо?

— Юсков же я! Юсков! Господина исправника спросите. Ротмистра Толокнянникова! Меня весь город знает.

Начальник тюрьмы что-то шепнул подпоручику, тот внимательно пригляделся к арестованному, а потом уже обратился к конвойному унтер-офицеру:

— При задержании обыскали? Нет, оказывается, не успели.

— Обыскать!

Подскочили три надзирателя, унтер-офицер, развязали руки арестованному, обшарили карманы: золотые часы «Павел Буре», замшевый бумажник, набитый кредитными билетами, какие-то бумаги,

счета с печатными заголовками: «ЕНИСЕЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ, ЮСКОВ ЕЛИЗАР ЕЛИЗАРОВИЧ»; в нагрудном кармане поддевки — осколки от разбитой бутылки марочного французского коньяка — угощение для доктора Гривы; в наружном кармане — пара дамских роговых шпилек, серебряная и медная мелочь, витая цепочка с разнообразными ключами.

Пересчитали деньги: одна тысяча семьсот двадцать пять рублей.

— Значит, Юсков? — потеплел жандармский подпоручик, соображая, не влип ли он в историю. — Ну, а теперь скажите: как вы задумали совершить налет на этапных о той шлюхой? И как она? Социалистка? Кого именно она хотела освободить, призывая преступников совершить нападение на конвой? Это ее деньги?

— Господи прости! Не было нападения на преступников. Не было!

— Это ее деньги, спрашиваю?

— Мои деньги. Мои.

— Как она, та особа, которая ехала с вами, а потом прорвалась к этапным и призывала к нападению на конвой?!

— Умом помешанная, господин Иконников. Другая неделя, как сошла с ума. Вез доктору Гриве. А дорога-то, господи прости, мимо тюрьмы. Кабы знал такое, связал бы, скрутил или человека взял бы с собой. А тут, господи помилуй, вожжи в руках — рысак-то у меня норовистый. Не успел глянуть... экое, господи! Ночью человеку ухо откусила.

— Ухо откусила? Кому откусила?

— Моему доверенному по акционерному обществу, Григорию Потылицыну. Казачий офицер, есаул. Доглядывал ночесь за нею, — кинулась и ухо отжевала.

Елизара Елизаровича понесло! Только бы не его обвиняли в злоумышленном посягательстве на тюремную крепость царя и отечества! Пусть за все ответит Дарья... Какой с нее спрос, коль с ума сошла?

— Как ее фамилия, этой особы?

У Елизара Елизаровича захолонуло внутри: фамилия-то Юскова!

— Не знаете ее фамилию?

— Как не знать! Юскова. Прости меня, господи. Дарья Юскова. Дочь моя. Другая неделя, как с ума сошла.

Поручик переглянулся с начальником тюрьмы.

— Ваша дочь?

— Истинно так. Дочь. После гимназии ума решилась. Дома держали под замком, а сегодня вот хотели показать доктору Гриве.

— Вы понимаете, какое она преступление совершила?

— Разве ждал того, ваше благородие? Думал ли, что каторжных встретим?

Жандармский подпоручик призадумался. Дочь Юскова! Сумасшедшая. С дураков взятки гладки. Только можно препроводить под конвоем в психиатрическую больницу. Но ведь дочь Юскова! Этот космач поднимет на ноги исправника, ротмистра, дойдет до губернатора Гололобова. И, чего доброго, подпоручика отправят на фронт... из-за какой-то дуры! К тому же «дуру» до того избили, что она еле жива.

Не лучше ли выпроводить миллионщика вместе с его дочерью, только пусть он подпишет протокол, что его больная дочь Дарья в состоянии невменяемости кинулась к этапным, призывая их к нападению на конвой. И когда преступники пытались разбежаться, конвойные солдаты применили силу, и Дарья Юскова пострадала в свалке. И что отец психически больной Дарьи Елизар Елизарович получил соответствующее предупреждение, чтобы впредь больную дочь держать под строжайшим надзором и водворить в больницу. И что сам Елизар Елизарович не имеет никаких претензий к жандармскому подпоручику Иконникову, в чем и расписуется.

Пришлось стерпеть и подписать протокол. Только бы убрать ноги из заведения его императорского величества!..

Подпоручик любезно вернул деньги и вещи. Принимая часы, Елизар Елизарович нажал на головку боя и прислушался к серебряным ударам: три часа с тройным перезвоном, что означало четверть четвертого. После перезвона — серебряная мелодия «Боже, царя храни!»

Начальник тюрьмы выпрямился и перекрестился, слушая гимн.

Дослушав мелодию, Елизар Елизарович положил часы в карман, собираясь уходить.

Жандармский подпоручик выразил сожаление, что произошла такая печальная история.

— Иметь такую дочь! — Подпоручик покачал головой. — По уставу конвойной службы, ее должны были застрелить на месте преступления. Нападение на конвой с целью освобождения преступников. Как о том имеется специальное предписание, конвойная охрана открывает огонь без предупреждения. Что поделаешь? Тем более, господин Юсков, среди конвоируемых немало головорезов, приговоренных к вечной каторге, и, что особенно важно, более тридцати — государственные преступники, подпольщики, так называемые социалисты-революционеры, весьма опасные для отечества.

— Да я бы, — воспрял Елизар Елизарович, — всех этих социалистов живьем в землю, а не на каторгу!

Подпоручик, конечно, согласен: лучше бы их живьем в землю...

Начальник тюрьмы пригласил Елизара Елизаровича в свой кабинет.

— Тут у меня туалетная комната, — предупредительно указал сухонький старичок на задрапированную дверь. — Прошу. Прошу.

Елизар Елизарович воспользовался приглашением.

В туалетной был установлен большой цинковый титан для нагрева воды, ванна, рукомойник с эмалированным бачком, флаконы с ароматной водой, зеркало в черных крапинках, в котором Елизар Елизарович увидел свою изрядно помятую физиономию: губы распухли, с запекшейся кровью на бороде, правая щека вздулась и перекосилась, глаз затек, и на лбу шишка! «Эко уходили меня служивые! Надо бы сырого мяса приложить к щеке и в подглазье. Куда я теперь с этакой образиной?» Понятно: ни к исправнику в гости, ни к Вильнеру, ни к миллионеру-маслобойщику Вандерлиппу, с которым уговорился вечером встретиться.

Начальник тюрьмы, прощаясь, проверещал, что он непричастен к инциденту. И что конвойная служба находится в распоряжении особого ведомства, и что если господин Юсков как нечаянно пострадавший возбудит дело, то следует обратиться туда-то и к тому-то, и ни в коем случае к ведомству тюрем Российской империи.

Елизар Елизарович махнул рукой: ладно, мол, до того ли!

Подпоручик Иконников поспешил в караульное помещение взглянуть на дочь миллионщика Юскова, которую он принял за политическую террористку и поручил допросить со всей строгостью прапорщику Мордушину, тому офицеру, который так картинно кособочился на сером коне, заглядевшись на Дарьюшку, а потом открыл стрельбу из револьвера.

В помещении для нижних чинов с деревянными нарами, с козлами для винтовок, где недавно «отработали дюжего бородача», рассевшись по двум лавкам возле стола, густо дымили самокрутками конвойные солдаты. Все они разом поднялись, уставившись на холеного жандармского подпоручика.

Дверь в офицерскую половину караульного помещения была замкнута, и подпоручик постучал кулаком. Солдаты переглянулись, и двое из них лукаво перемигнулись.

— Арестованная здесь? — скрипнул подпоручик.

— Так точно, ваше благородие.

— И прапорщик там?

— Так точно.

Подпоручик передернул плечами и ударил в дверь носком сапога. Вскоре отозвался прапорщик Мордушин и почему-то не открыл дверь.

«Сволочь! Он ее там...» — догадался подпоручик и еще раз ударил кулаком.

Щелкнул замок, и в дверь выглянуло пунцово-потное узкое лицо, бесстыже вытарашенные глаза, рыжие, завинченные стрелками вверх усики и неестественно красные торчащие уши.

Подпоручик молча прошел в первую половину офицерского помещения и, круто обернувшись, уставился на прапорщика Мордушина. Тот, закрыв дверь, сообщил, что арестованная террористка не отвечает на вопросы — не назвала сообщников и кто ее подослал отбить кого-то из политических. «Они все такие, политики. Хоть на куски режь». И мало того, упала в обморок, и прапорщику пришлось ее уложить во второй комнате на койку, где обычно отдыхали конвойные офицеры, пригоняя этап или перед тем, как принять из тюрьмы заключенных.

— Понятно, — процедил сквозь зубы подпоручик и, заметив болтающийся из-под френча конец брючного ремня у прапорщика, язвительно указал: — Уберите улики! — И первым прошел в следующую комнату, поскрипывая зеркально блестящими сапогами.

Дарьюшка лежала на узкой железной кровати поверх армейского суконного одеяла в своем бордовом шерстяном платье, и взгляд ее, устремленный в прокоптелые плахи потолка, был каким-то плавающим, невидящим. Ее плюшевая жакетка на атласном подбиве и пуховый оренбургский платок лежали на соседней кровати рядом с прапорщицкой шинелью.

Подпоручик взглянул на Дарьюшку, а потом на прапорщика. Тот по-прежнему тарасил разбойничьи глаза, делая вид, что не понимает, к чему клонит жандармский подпоручик.

— Выйдем! — на пунцовых щеках подпоручика вздулись желваки. Есть ли предел нахальству у этих конвойных офицериков? Пойман с поличным, а ведь будет заператься, сволочь. И тут же осадил себя: если всю эту паскудную историйку предать огласке, то как бы самому не влипнуть. Он же, подпоручик Иконников, прикомандирован к тюрьме и отвечает за конвойную стражу.

В секундном поединке они готовы были расстрелять друг друга. Молодые, увильнувшие от фронта, беспредельно жестокие, чем и заслужили исполнять грязную работу в тылу, и в то же время ненавидящие друг друга.

Жандармский офицер для офицера конвойной охраны — это хуже немца в рукопашном бою. Этаким щеголь! Да еще и губами дергает! Небось не припачкает свои лайковые перчатки о физиономию арестантов. А вот ему, прапорщику Мордушину, в дождь, в зной и в лютый мороз приходится гонять этапы по каторгам и пересылкам, кормить клопов, отбивать кулаки о заключенных, жрать всухомятку на этапных привалах, мерзнуть и мокнуть, как собаке, и стрелять без предупреждения при малейшей попытке к побегу, составлять рапорты, харчевые листы, прикарманивать медяки и тянуться перед тыловыми щеголями в голубых мундирах.

— Ну, так что же, прапорщик? — покривил губы подпоручик. — Изнасилование?

— Как так изнасилование? — выкатил глаза прапорщик.

— Знаешь, сколько положено по статье законоуложения за подобное преступление при исполнении служебных обязанностей?

— Какое такое преступление?!

— Оставьте, прапорщик! Не корчите из себя идиота! — И, понизив голос, пригрозил: — Если я немедленно вызову доктора из тюремной больницы и он осмотрит ее, то...

Прапорщик оцетинился, как разгневанный дикобраз, и быстро взглянул на свою шашку в ножнах и кобуру с револьвером, оставленные на квадратном столе.

— Без глупостей! — осадил подпоручик. — Не хочу упекать тебя на каторгу, Мордушин. Но имей в виду: это мое последнее предупреждение. У тебя это не в первый раз! — уступил подпоручик и, достав пачку папирос, закуривая, продолжал: — Угораздило тебя! Знаешь, с кем имел дело?

— Запирается. Но я ее расколю. Только было начал... Подпоручик тоненько засмеялся.

— Она — сумасшедшая, Мордушин. Дочь миллионщика Юскова. Слышал про скотопромышленника? Ну вот. Он ее вез к доктору Гриве показать, и тут с этапом встретился. Как она тебе ухо не откусила? Вчера одному откусила ухо.

— Да ну? — не поверил прапорщик.

— Как она показала себя?

— Вот уж показала! А я-то думал, что она меня хочет обмануть! Тут такое дело! Лопнуть можно. Я ее допрашиваю, понимаете, а она уставилась на мое оружие и говорит: «Сними оружие, брось и пойдём со мной, говорит, в третью меру жизни». Ну, думаю, барышня задумала поймать меня на крючок, чтоб я ее выпустил. Да, думаю, сыграю. Спрашиваю: «Если я сниму оружие и поведу за собой, то, говорю, ты откроешь мне всю тайну?» Она отвечает: «Вся моя тайна будет твоей тайной». Ну вот. Лопнуть можно! Снял оружие и — повел ее в ту комнату. Умора! Если бы послушал ротмистр, какую она мне речь закатила!..

— Что она говорила?

— Призывала меня к свержению царя, бормотала что-то про пять мер жизни, а главное — чтоб всех насильников с оружием заковать в цепи и чтобы они жили и подышали в этих цепях. Если послушать —

штучка! Не подумаешь, что чокнутая. Таковую выпусти в город — бунт подымет. Надо же, а? А я-то думал!..

Подпоручик, прикусив тонкую губу, призадумался.

— А ну позови ее сюда.

Прапорщик вышел, и раздался его голос:

— Вставай! Одевайся! Да побыстрее! И голос Дарьюшки:

— Ты опять другой? Опять другой?

— А ну шевелись! Еще подумают, что я с тобой тут цацкаюсь!

— Боже, как ты кричишь! Ты же сказал, что пойдешь со мною!

— Давай, давай, — подталкивал голос прапорщика.

И вот вышла Дарьюшка в незастегнутой жакетке и в наспех накинутом платке. Посмотрела на подпоручика, на его саблю и ремни с кобурой, покачала головой:

— Опять с оружием! Подпоручик подвинул стул:

— Садитесь.

Дарьюшка вскинула подбородок, ответила:

— Это вы садитесь, на цепь садитесь. Вас всех надо на цепь посадить, насильников. И чтоб вы вечно сидели на цепи.

Дарьюшка повернулась к двери, чтобы уйти.

— Минуточку, барышня, — остановил подпоручик. — Я все-таки должен поговорить с вами. Что вы делали в той комнате?

Дарьюшка па мгновение растерялась, и щеки ее заалели.

— Что вы делали в той комнате? — добивался подпоручик. — Надо же узнать: помнит ли она? Не скажет ли, что ее изнасиловали в караульном помещении.

Прапорщик вернулся в шинели и направился к столу за оружием. Как же посмотрела на него Дарьюшка! Сперва она растерялась, потом помрачнела.

— Ты... ты... подлец! Подлец! — раздался ее гневный голос, а прапорщик, ухмыляясь, затянувшись ремнями, деловито поправив на боку шашку, ответил:

— Я из третьей меры ухожу во вторую. Потому что в третьей мере без оружия и харчей сдохнуть можно. И ты давай топай из третьей во вторую.

Дарьюшка сцепила руки пальцами, взмолившись:

— Боже, боже! Подлец, подлец!

— За оскорбление офицера, голубушка, я могу и в морду дать! Живо схватишь. — И прапорщик показал Дарьюшке увесистый кулак.

— Боже! — На глаза Дарьюшки навернулись слезы.

— Так что же вы делали в той комнате? — еще раз ехидно напомнил жандармский подпоручик.

— Не смейте, не смейте, звери! — выкрикнула Дарьюшка. — Вам за все отплатится! Настанет час, и вам все припомнят. И кандалы, и цепи, и тюрьмы — все, все! И ваш царь поганый, и все жандармы, и солдаты — звери, насильники. Презираю вас! Презираю!

— Дать ей? — кивнул прапорщик.

— В таком состоянии ее выпустить действительно нельзя. Кто знает, что она может натворить!

— Вот и я говорю...

— Рапорт составил?

— Пожалуйста, — подал прапорщик рапорт.

Подпоручик остался доволен рапортом конвойного офицера, написанным безграмотно, с обилием устрашающих глаголов: «Долой царя! Пусть кровопивцы носят цепи. Бейте офицеров», а в заключение: «При задержании преступница оказала сопротивление и пыталась убежать с другим заговорщиком, которого тоже задержали».

— Этого достаточно, — сказал подпоручик, пряча рапорт в карман шинели. — Ну, а теперь приведи ее в полный порядок, и чтоб никаких разговоров. Для успокоения — валерьянки. Фельдшера можешь вызвать. Да пусть умоется. Если не сама — помогите. И чтоб полный порядок. Отведешь ее потом в управление тюрьмы. Я поеду за ротмистром.

— Есть в полный порядок! — вытянулся прапорщик, звякнув шпорами.

Дарьюшка презрительно усмехнулась: собаки!..

Елизар Елизарович, охолонувшись на воздухе, подждал дочь у тарантаса. Подпоручик явился без Дарьюшки. Оказывается, придется Елизару Елизаровичу побыть пока в управлении тюрьмы, а он, жандармский подпоручик, па Воронке съездит к начальству. «Дело-то нешуточное, господин Юсков. Нам пока неизвестно: больная ваша дочь или нет? Как указано в рапорте офицера конвоя, задержанная выкрикивала противогосударственные призывы...»

Красномордый, упитанный надзиратель с выпяченным бабьим задом охотно подтвердил, что девица кричала такое.

— На всю тюрьму тревогу объявили. Побойще могло произойти. Очинно просто.

А солнце все так же полоскало негреющими осенними лучами красно-кирпичную трехэтажную тюрьму, в некотором роде — оплот и крепость Минусинска.

Любопытно заметить: в тот год, когда заложили фундамент тюрьмы чуть ли не на тысячу заключенных, в самом городе насчитывалось около пяти тысяч жителей.

Говорили так:

«Свято место пусто не бывает» — это про тюрьму.

«От сумы и от тюрьмы — не отрекайся».

«С судьбою не спорь, с тюрьмою не вздор».

«В тюрьму — ворота, а из тюрьмы — калитка».

«За тюрьмой — аукнется, а в тюрьме — откликнется...»

И вот откликнулось. Призывный голос Дарьюшки взбудоражил заключенных. Потрясающая новость моментально проникла во все камеры: нашлась будто отчаянная революционерка, которая с голыми руками кинулась на конвой и призывала арестантов в третью меру жизни, и что те, умыканные, не воспользовались моментом. И что революционерку, конечно, упекут на каторгу. Потом узнали от надзирателей, что девица будто бы была сумасшедшей, дочерью миллионщика Юскова и что на конвой кинулась в припадке невменяемости. Арестанты не поверили: почему она ни на кого другого не кинулась, а именно па конвой?

А в самом деле, почему?..

Закрутилась, завертелась самодержавная машина Жестокости, все и вся подчиняя единому намерению: подавить Слово, Мысль, Желание и все человеческое в человеке.

Мыслить и действовать положено священной Особе, и соответственно мысли и деянию этой Особы — Думе, сенату, тайным и действительным советникам, ну, а рангом ниже — подчинение, исполнение. А все, что супротив, — подрывные деяния, опасные для отечества.

Всякая жестокость, как щитом, укрывается отечеством, народом, подразумевая под народом малую кучку злодеев, дорвавшихся до жирного пирога.

Конвойный прапорщик Мордушин, не разобравшись, в чем дело, открыл стрельбу, вообразив, что на конвой совершено нападение, хотя нападающей стороной было девица, отнюдь не богатырского сложения.

Девицу схватили как террористку и мало того что избили, так еще надругались над ней, и все это под прикрытием непроницаемого для света и разума плаща Жестокости.

И вот явился встревоженный ротмистр Толокнянников, а с ним — уездный исправник Свищев.

Безграмотный рапорт прапорщика Мордушина лежал на столе, как фундамент под трехэтажной тюрьмой.

Особы в позолоченных мундирах и скрипучих ремнях, «не взирая на почтенную личность скотопромышленника», допытывались: не зналась ли дочь господина Юскова с политссыльными Вейнбаумом, Лебедевой и доктором Гривой? И почему именно к доктору Гриве вез психически больную дочь господин Юсков?

Елизар Елизарович и так и сяк оправдывался, призывая в свидетели есаула Потылицына, жену своего управляющего Аннушку, и все-таки ротмистр Толокнянников не смилостивился: не поверил на слово.

Привели Дарьюшку из другой комнаты. Елизар Елизарович так и впился в дочь, как бы призывая ее к благоразумию. А Дарьюшка устала, измучилась!

— Ну, так что же вы тут натворили? — приблизился к Дарьюшке пожилой ротмистр.

Дарьюшка вскинула глаза на старика в мундире и при оружии, горестно промолвила:

— Как вы мне надоели, мучители! Сколько вас тут, а? Всех бы вас в цепи, чтобы вы других не мучили.

— О! — погнул голову ротмистр. — Еще что?

— Еще? — Дарьюшка нервно встрепенулась, как лист на дереве, и, не думая долго, плюнула в ухмыляющееся лицо.

Ротмистр отпрянул в сторону, выругавшись:

— Мерзавка! Ну мерзавка!

Жандармский подпоручик скрутил Дарьюшке руки, как бы предотвращая избиение высокого начальника.

— Вот какова ваша дочь. — Ротмистр готов был испепелить Елизара Елизаровича. — Отменное воспитание дано. Отменное! Если она и сошла с ума, как вы уведомляете, то ее сумасшествие сугубо опасное, должен сказать. Сугубо опасное. Такую особу необходимо держать за толстыми стенами и за крепкими решетками. Да-с. — И опять, уставившись на Дарьюшку, гаркнул: — А ну, скажите, кто вас подослал совершить нападение на конвой? Кто?!

— Отвечай! — подтолкнул Дарьюшку жандармский подпоручик.

— Как вы мне надоели, мучители! Как вы мне надоели! Но знайте, знайте, ждет вас гибель. Как поганые звери, сдохните вы в своих мундирах. И не будет вам ни пощады, ни спасения. Не будет вам ни дня, ни ночи. Ни третьей, ни четвертой меры жизни.

— Так. Так. Еще что нас ждет? — сверлил ротмистр.

— Еще вас ждет яма. Могильная яма. Боже, хоть бы скорее спихнули вас в ту яму!

— Уведите! — отмахнулся ротмистр и, повернувшись на каблуках к исправнику: — С меня достаточно.

— Пожалуй, достаточно, — поддакнул исправник. Судьба Дарьюшки была решена...

Жандармский ротмистр Толокнянников с исправником Свищевым составили еще одну устрашающую бумагу: Дарью Елизаровну Юскову препроводить под конвоем в Красноярскую психиатрическую больницу на испытание. И, если не подтвердится, что она больная, предать суду как государственную преступницу.

До отправки пароходом в Красноярск Дарьюшку поместили в тюремную больницу.

Впервые Елизар Елизарович почувствовал себя беспомощным и жалким перед законами Российской империи. «Вот оно как обернулось, господи! По всей губернии молва разнесется. Да што же это, а? Как вроде на всех затмение нашло. Перед погибелью, не иначе!..»

С горя Елизар Елизарович напился пьяным и завалился в постель к Аннушке, проклиная свою злосчастную судьбу.

— Душа горит, Аннушка! Душа горит. Не видать мне Дарьи, погубят живодеры. Погубят. Как же так можно, а?

Аннушка утешала, как могла. Да разве есть утешение для оскорбленного самолюбия?

— Ночь-то, ночь-то экая! Который час, Анна? Дай мои часы. Сей момент.

Нажал на головку боя, узнал время и, слушая мелодию гимна «Боже, царя храни!», пробормотал:

— Как бы другим звоном не всполошилась Россия, Аннушка. Чую сердцем — беда грянет.

ЗАВЯЗЬ ТРИНАДЦАТАЯ

I

Медленно, на ощупь, с промерами дна подходила к Минусинску «Россия» — сияюще-белая в лучах полуденного солнца, трехпалубная, с двумя толстыми трубами, усеянная пассажирами по левому борту.

На берегу глазели горожане. Поодаль от толпы — Елизар Елизарович в английском пальто с бархатным воротничком, с тростью и в шляпе; мрачный, тяжелый.

Григорий Потылицын в шинели, при шашке, в фуражке с кокардой, с забинтованным ухом стоял рядом, глядя прямо перед собой с выражением свирепой решимости, стиснув зубы так сильно, что выпятились челюсти. Всю ночь они пьянствовали в доме Пашиных и вдобавок подрались. Медведь ни с того ни с сего ополчился на своего подручного есаула, обозвал всячески, и будто Дарья из-за него ума

лишилась; Григорий не сдержался, схватился за шашку, но в ту же секунду от удара медведя чуть было не проломил башкой стену.

Утром Григорий побывал у атамана Сотникова, и тот отдал приказ призвать фронтового есаула в Енисейское казачье войско на должность командира особого дивизиона. «Буде! Послужил кержачьей харе», — думал есаул, но скрыл от Елизара Елизаровича, что в Красноярске они разойдутся по разным дорогам.

— Баржи в Сорокиной оставил, подлец, — бурчал Елизар Елизарович, недовольный капитаном «России». — На тех баржах груз первеющей необходимости. В Урянхай надо завезти до снега. А баржи в Сорокиной. Я с него шкуру спущу.

— Не спустишь. Это не тот капитан.

— Спущу!

— Этот капитан, пожалуй, так спустит, что и на том свете икаться будет, — ковырнул Григорий.

— Я ему зоб вырву!

— Не вырвешь. И зоба у него нет. За этого капитана сам Гадалов держится, как за икону.

— Сказывают, он из политиков?

— До девятьсот пятого плавал на военном корабле лейтенантом, а потом — тюрьма, ссылка, и вот — на Енисее царь и бог! Это же брат доктора Гривы. Оба они служили на одном и том же корабле: один — доктором, другой — лейтенантом. Те птицы! Дворяне...

— Дворяне? Ишь ты! Чего же им не хватало, что они в политику сунулись? — спросил Елизар Елизарович.

— От жира бесятся, — ответил Григорий и вспомнил: — Дал я памяти одному дворянину из ихней фамилии. Век помнить будет! Одним ударом в морду — и с копылков слетел. А потом показал ему шашку, так он со страху носом в грязь и так полз по грязи саженой тридцать.

— Да ну! Кого же ты так? Григорий пробурчал:

— Был один такой. Каждого бы из них как обработать — навек зареклись бы лезть в политику.

— Верно. Бить надо. Смертным боем, — поддакнул Елизар Елизарович.

Помолчали. Миллионщик глядел на подваливавшую к берегу «Россию».

— Как же теперь с баржами? Это же чистый убыток. Если нанять буксир Вильпера, он же три цены слупит.

— И того мало. Я бы пять слупил.

— Тьфу! Не зуди, Гришка. И без того весь белый свет в дегте.

— А кто его залил дегтем?

Елизар Елизарович примолк, раздувая ноздри.

«Россия» пришвартовывалась.

Матросы выкинули трап на баржу-дебаркадер, капитан исчез со мостика, и на берег потекли пассажиры. Серая суконка, мещане с багажом, крестьяне с мешками и под конец почтенная публика первого класса: офицеры, купцы, промышленники, а среди них — старуха, вся в черном, и бок о бок с нею высокий, представительный офицер с тяжелым саквояжем в руке.

Елизар Елизарович узнал Ефимию.

— Ведьма прижаловала. Гляди, и офицерик топают. Не из Юсковых ли кто? Ну, ведьма! Не ужилась, должно, у сына Михайлы.

Зоркоглазый Григорий пригляделся к офицеру: прапорщик, кажется, и лицо знакомое. Да это же...

— Боровиков?!

— Што? Где Боровиков?!

— С ведьмой. Тот самый Боровиков, прапор. Он! Чего там.

— Господи помилуй!

— Я бы его сейчас...

— Хоть бы с Дарьей не встретился. Беда будет. Ты погляди: не гонят Дарью? Гудок парохода, должно, слышали в тюрьме. Я им сказал: как услышите гудок, приводите.

Григорий пошел за бабкой Ефимией и офицером.

Из минусинских Юсковых никого не было на пристани. Бабка Ефимия и офицер направились к стоянке извозчиков. Григорий подслушал разговор.

— Может, передумаешь, Тима! Денек передохни в городе, а там и в Белую Елань, И я бы с тобой съездила, да вот ноги гудут.

«У ней гудут ноги, — язвительно думал Григорий. — На сто двенадцатом году жизни — «гудут ноги»! Когда же она сдохнет?» И поймал себя: слова-то Елизара Елизаровича...

— В другой раз, бабушка, — ответил офицер. Теперь Григорий не сомневался: Тимофей Боровиков!

— Знаю, милый. Поспешать тебе надо. Кабы чего не случилось с Дарьюшкой. Год, как весточки нету. Может, и послала письмо, да перехватили злодеи. И твои письма перехватили. Увидишь, скажи, чтоб повидаться приехала. Жить буду у внуков. И Варварушке поклон от меня. А Ели-варке бешеному — кукиш под нос. В крепости сатанинской пребывает, злодей. Ох, люди, люди! Доживу ли я до вольной волюшки, когда человек к человеку лицом станет и слово будет не в цепях и тюрьмах? Я сама, сама подымусь, Тима. Благослови тебя господь. Хоть бы вы соединились, голуби. Молиться буду за тебя и за Дарьюшку.

Старуха уехала. Багажа у нее не было — ни узелочка. Как будто она приехала не из дальнего города, а переходила из дома в дом через улицу.

Григорий ждал, что будет делать дальше прапорщик. Тот закурил, взял свой кожаный саквояж, наверное, трофейный, и подошел к извозчикам.

— Кто из вас увезет меня в Белую Елань?

«К черту бы тебя на рога, а не в Белую Елань!..»

— Давай. Чего там! — согласился один из извозчиков и назвал цену. Боровиков не стал торговаться, но сказал, что за такие деньги он потребует быстрой езды.

— Насчет этого не беспокойтесь, ваше благородие. Дорога знакомая, приискательская, хотя и дальняя, якри ее.

Когда Боровиков уехал, Григорий все еще тупо глядел в пространство, потом пошел к протоке, не ослабляя напряжения мускулов, пока не подошел к обрыву. Тут он остановился. Сердце стучало. Опять накатило то отвратительное чувство позевоты, которое всегда овладевало им в порыве неудержимой ярости. «А пусть! Он там узнает, что она с ума сошла. Узнает!» — угрожал он Боровикову, не двигаясь с места, затем опустился на причальный столб и долго сидел так, глядя вниз, под яр, на пепельно-серую гальку отмели.

II

Она шла серединой набережной с конвойным солдатом и жандармским подпоручиком. Но это была не та Дарьюшка. Она шла,

низко опустив голову, в своей плюшевой жакетке, застегнутой на одну нижнюю петлю, в пуховом платке, закрывающем щеки, необычно притихшая, будто гнали ее на каторгу. Чем-то она напоминала подстреленную птицу: еще жива, бьется на земле, а взлететь не может. Она не видела Григория, когда поравнялась с ним, и не слышала, когда он окликнул:

— Дарьюшка!

Жандармский подпоручик уставился на Григория, но тот не обратил на него внимания.

— Дарья Елизаровна! — подошел Григорий ближе; она взглянула на него и тут же потупилась, не остановившись.

Жандармский подпоручик предупредил:

— С конвоируемой в разговор вступать запрещается.

— Что вы ее гоните под конвоем?

— Это вас не касается, есаул. Отстаньте.

— Потише!

— Что значит «потише», есаул? Я предупреждаю!

— Ты как разговариваешь? На фронт бы тебя! Там бы тебе мозги прочистили.

— Што? — Вытянулся подпоручик. — Фамилия?

— Фамилия? — Григорий пригнулся к подпоручику и, сузив глаза, ответил такое, что жандарм потянулся к револьверу. — Тихо, тыловик! Не балуй! — И, опередив Дарьюшку с конвоирами, Григорий быстро пошел к пристани, забежал по трапу на баржу, где Елизар Елизарович о чем-то разговаривал с капитаном.

— Вот она... дочь моя... — трудно провернул таежный медведь, мотнув бородою. — В каюту, значит! В ту, какую указал. Подальше от публики.

— Отец? — У Дарьюшки задергались губы. Сколько же горечи выплеснула она ему в лицо! Это, конечно, ее отец! — Это ты меня отдал на поругание насильникам с оружием? За что, а? За что? Жестокий ты. Жестокий. Пусть, пусть меня терзают мучители! Пусть рвут мое тело хищники, но и для тебя настанет час, отец. Ударит голубой колокол, я само небо не потерпит мучителей. Ударит колокол, ударит!

— Што ты! Што ты, Дарьюшка! Даст бог, и все обойдется.

— Обойдется? — Губы Дарьюшки еще сильнее задергались. — Ты жестокий, жестокий. Я помню. Все помню, как ты держал меня под замком, как мучил Дуню... Ты, ты ее погубил! И меня терзал, как волк овечку. Тогда, в пойме, вот этими своими лохматыми руками душил меня. Глаза твои черные, как две могилы. Змеи в твоих глазах! Когти зверя на твоих пальцах! Гляди, гляди на свои когти, хватай за горло всех. Хватай, души!..

У Елизара Елизаровича дух занялся. Это же публичное посрамление! Презрительно смотрит на него подтянутый, строгий капитан. Что он думает? Подпоручик и тот ухмыляется.

«Господи, осрамила на весь свет!»

Дарьюшка метнулась к Григорию, и в ее печально-потерянных глазах разлилась такая мука, что капитан отвернулся.

— И ты здесь, черный дух? Ну, терзайте же меня, терзайте! Вы вечно кровью питаетесь. Людской кровью, как волки. Ну, что пятишься, зверь в казачьих погонах? Хватай шашку, руби меня! — И, распахнув полы жакетки, выставила грудь. — Вот я, вся здесь. Или ты ждешь, чтобы я сняла платье, как тогда, ночью, и ты будешь рубить меня на куски голую? В тюрьму меня упрятали, мучители, на поругание. За что? За тех несчастных, которых гнали в цепях? Терзайте же, терзайте!..

— Успокойтесь... Успокойтесь, — верещал жандармский щеголь, весьма довольный зрелищем.

Дарьюшка откачнулась.

— Подлец! Ты вчера доволен был, когда тот офицер, что гнал арестантов, терзал мое тело, изгалялся. О боже! Где же люди? — И, взглянув на отца, запинаясь, выговорила: — Они меня... вчера... Хоть бы мне умереть!

— Надо бы сейчас же в каюту, — сказал подпоручик, чуя недоброе.

— Погоди, Иконников, — бросил Елизар Елизарович. — Ну, што они вытворяли, Дарья? Говори.

— Тот офицер... насильничал. А тот ухмылялся потом. Насильники!

— Бред, бред, — юлил подпоручик. — Вы же понимаете, в каком она состоянии. Это же...

Елизар Елизарович сцапал его за скрипучие ремни и гак тряхнул, что с того слетела фуражка.

— Бред, говоришь? Да я из тебя...

— Стойте! — вмешался строгий капитан. — Тут следует разобраться спокойно, господин Юсков. Кулаками и себе повредите и дочери не поможете.

— Я из тебя душу выну! — гремел Елизар Елизарович, не отпуская подпоручика. — Душу твою поганую! Тюремными степами прикрылся, лещ!

— Надо вызвать ротмистра Толокнянникова, — продолжал капитан, взяв Елизара Елизаровича за плечо. — Или пойти к нему. Это же уголовное преступление...

— Пожалуйста, — лепетал подпоручик. — Вы же сами подписали протокол, господин Юсков, что ваша дочь психически ненормальна. И что она напала на конвой в состоянии невменяемости. Как же можно поверить ее бреду?..

— Вранье? — оборвал Григорий. — Она не в таком состоянии, чтобы ничего не помнить.

Меж тем внимание Дарьюшки захватило одно слово на спасательном круге: «Россия». Много, много кругов, и на всех черным по белому: «Россия».

— Россия... Россия... Я так ждала Россию, — промолвила Дарьюшка, глядя на пробковые калачи. — И она пришла, Россия! Но почему она белая? Она же вся в крови. Льется, льется кровь по всей России, а сама Россия белая-белая. Да-да. Я понимаю: пароход «Россия» — это не сама Россия... Хоть бы мне уехать на «России» от насильников с оружием. Везде, везде насильники с оружием. И люди кругом немые, точно камни. Гонят их в цепях, сажают в тюрьмы, мучают на каторгах, и они идут, идут по России, гремят цепями и молчат. Вечно молчат. Долго ли они будут молчать? И царь на престоле сидит в крови, и жандармы в крови, а люди все терпят, терпят, и молчат, как мыши. О боже!..

— Слышите? Как полагаете: в здравом она уме? — съязвил подпоручик, отпущенный наконец Елизаром Елизаровичем.

Капитан напомнил:

— Вы, господин Юсков, вправе потребовать у ротмистра расследования: почему ваша дочь оказалась в тюремной больнице. Разве ее туда определил суд? И почему отправляют под конвоем? Или вы отказались от дочери?

— И в помышлении не было, — воспрял Елизар Елизарович. — До полковника Зубова дойду, до губернатора, до сената! А ну, Дарья, пойдем к ротмистру!

Она покачала головой:

— Я свое прошла. Меня увезет «Россия».

Капитан подсказал: оставить Дарьюшку на пароходе с конвойным солдатом, которому поручено доставить больную в Красноярскую психиатрическую больницу, а с жандармским подпоручиком пойти к ротмистру.

Подпоручик ликовал: физиономия уцелела. А тюремные стены непроглядны: на то и тюрьма, чтоб творить насилие.

Ротмистр, конечно, обещал строжайшее расследование заявления господина Юскова, хотя: «Если ваша дочь неменяемая, то как же можно всерьез принять ее слова? Она и царя помышляет свергнуть!»

Елизар Елизарович, поддержанный капитаном, потребовал освободить больную от конвоя. Ротмистр согласился освободить на поруки с условием, что Юсков непременно доставит дочь в больницу с пакетом и только после того, как будет получен из губернской больницы протокол медицинского освидетельствования, в котором подтвердится, что Дарья Юскова больная, дело по обвинению ее в государственном преступлении будет закрыто ротмистром.

Пришлось Елизару Елизаровичу, не теряя времени, слетать на тройке в Абаканское к своему управляющему, чтобы тот за время его отсутствия отправил бы необходимые товары с пристани Сорокиной в Урянхай и сам поехал туда бы, чтоб вовремя перегнать закупленный скот через Саяны.

Елизар Елизарович собрался в дорогу не один, а, конечно, с Аннушкой, чтоб помогала глядеть за дочерью. Смиренный управляющий не возражал: ничего не поделаешь, коль в лапах медведя!..

Ш

Тимофей сидел в переднем углу и все еще никак не мог поверить, что Дарьюшка сошла с ума. Она его ждала, Дарьюшка! Мучилась, вынесла издевательства, но не уступила жестокому отцу: не вышла замуж за есаула Потылицына. А он, Тимофей, думал, что она давно

замужем, потому и на письма его никто не отвечал из Белой Елани. Оказывается, ни одно письмо не дошло!..

Хотя он был награжден четырьмя Георгиевскими крестами, но на груди у него сверкал один золотой.

Остатки разбитой дивизии, в которой служил Тимофей, еще в Смоленске влились в новую сформированную дивизию, а прапорщик Боровиков со штабом полковника Толстова прибыл в Красноярский гарнизон, а из гарнизона — в отпуск домой.

Домой ли? Что он здесь оставил, в Белой Елани? Надеялся встретиться с Дарьюшкой, узнать, в чем дело, я вот — удар. Хотел было немедленно повернуть обратно, чтоб захватить пароход, но удержали земляки Зырян, Головня, политссылный Крачковский.

— Побудь с нами, Тимофей Прокопьевич, не брезгуй. Да и пароход не захватишь. А Дарью найдешь в Красноярске — туда ее увез живоглот.

И Тимофей остался погостить. Ланюшка потчевала дорогого гостя:

— Блинчиков отведай, Тима.

— Спасибо, тетя Ланя.

— Отведай, отведай. Не обижай. Ольга-приискательница, бедовая вдовушка, подсела к Тимофею, вытеснив старого Зыряна, певуче проговорила:

— Не видела тебя, когда ты здесь жил до войны. Влюбилась бы, истинный бог. Сила у тебя, вижу, таежная. С такой силой золото брать.

— Не для меня золото, — буркнул Тимофей, косясь на Ольгу.

— Ой ли? На золото и царь падок.

— А я с царем не в одной упряжке.

— В чьей же ты упряжке?

— В рабочей.

— При «вашем благородии»?

— «Благородие» не для меня. Сниму погоны, придет время.

— Кузнец? — щурилась Ольга и, взяв стакан с самогонкой, смеясь, проговорила: — Кручина — не лучина, милый. Догорит в сердце и дым не оставит. Выпей со мной, чтоб догорела кручинушка. Я ведь тоже на золото не падка, а пошла в тайгу, чтоб самое себя испытать. И золото ко мне пошло. Спроси у приискателей: у кого в руках фарт? Про меня скажут. А фарт мой со слезами напополам. На

Бодайбо проживала с отцом: замуж вышла в шестнадцать лет и не успела повенчаться — явился на прииск ротмистр Терещенко да учинил побоище рабочих. Не люди — звери с ружьями. И овдовела я до венца. Легко ли? А потом вывезли жандармы с прииска и толкнули: катитесь дальше от Лены! Чтоб духу вашего не было. И докатились мы с отцом до Благодатного. Только чья здесь благодать?

— Понятно чья, не для рабочих.

— Тогда скажи: как же вы там, на позициях, не думаете, за кого воюете? За царя ведь. За самодержавие. За Ухоздвиговых и живоглотов. И погоны и кресты из царских рук. Через генералов царских. Или нет?

Тимофей встряхнул русым чубом и внимательно поглядел на новоявленную пропагандистку.

— Што глянул так?

— Выпьем лучше, приискательница фартовая. Чокнулись и выпили.

— Вижу: страдаешь по Дарьюшке, но на вздохах и охах не проживешь, — продолжала Ольга, бесцеремонно заглядывая в душу Тимофея. — Твоя ли она судьба? Или ты запамятовал про рабочее дело? Впереди-то тюрьма маячит. Мало ли наших по тюрьмам и ссылкам? Для такой ли дороженьки Дарья Юскова? От дармового куска хлеба да на тюремную корочку — легко ли? От первой поглядки ой как далеко до жизни!

— Не бреди душу, Ольга! — остановил Зырян. — Што ты пристала к нему? Иль глаз разгорелся?

— И я из костей и тела, живая, — озорно искрилась карими глазами Ольга-приискательница. — Ты вот Аркашку жени, Зырян, на моей сестре Анфиске. Изведаешь счастьеце.

— Тогда вы меня в гроб загоните, — хохотал Зырян.

— Хоть бы вернулся жив-здоров, Аркашенька! — вздохнула Ланюшка.

Крачковский, пощипывая пальцами свою козлиную бородку, допытывался: назревает ли взрыв солдатской массы на позициях? Знают ли солдаты, за кого воюют и как живет трудовому народу в тылу? Доходит ли до солдат слово правды?

Тимофей отвечал уклончиво: правд расплодилось чересчур много. И у монархистов правда, и у эсеров с кадетами, и у анархистов. И

каждый лезет со своей правдой к солдату в окопы.

— Ну, а наша, большевиков? — шурился Крачковский.

— У рабочей массы нету партийной правды! — вздыбился Мамонт Головня. — Я всегда говорю: вот она, наша правда! — И показал туго сжатый кулак.

— Рабочие должны объединиться в нашу партию, и тогда это будет сила. А без партии нет силы, чтобы свергнуть самодержавие. Ты же сам в партии социалистов-революционеров! — напомнил Тимофей.

— Вот уж правда так правда! — засмеялась Ольга. — Давайте хоть песню споем, чтоб на душе отлегло. — И, не ожидая согласия, затянула:

«По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах». Мамонт Головня гаркнул во всю мощь своих легких, и лампа, мигнув, потухла.

— Штоб тебе, Мамонт! Оглушил! — засуетилась хозяйка в поисках спичек.

— Не голос — иерихонская труба, — заметил Крачковский.

— Самый подходящий — глушить царских сатрапов! — не унимался Головня, чиркая спичкой.

Тимофей вылез из-за стола. Поправил френч, сказал, что должен навестить Филимона. Старый Зырян успел ему рассказать про все злоключения в семье Боровиковых: и как Филимон изгнал отца за сожительство с Меланьей, и про новорожденного Демида, и про раденья Меланьи под тополем, что особенно возмутило Тимофея.

Зырян посоветовал:

— Отложил бы до утра, Тима, Филю-то перепугаешь.

— Филя наш живучий, — ответил Тимофей, натягивая шинель.

Из саквояжа достал подарки: Меланье отрез шерсти на платье, теплую шаль с кистями, игрушки для племянницы и брату трофейные немецкие ножницы, бритву и хромовые сапоги с лакированными голенищами — офицерские.

Вышел на крыльцо и лицом к лицу столкнулся с Ольгой. Не заметил, как она вышла из избы.

— Чуть с ног не сбил, георгиевский кавалер!

— Прошу прощения.

— Не прощайся. Придешь песню допеть или у брата заночуешь?

— Там видно будет, Ольга Семеновна.

— Не навеличивай, не старуха. Годки мы с тобой, и оба как пни обгорелые. Жгло нас, жгло, а не сожгло. И то ладно. Не запомнят, завтра к вечеру ко мне всей компанией. Так у нас принято. Не побрезгуешь?

— Приду.

— Ой, как кольнуло в сердце, — схватилась Ольга за грудь, невзначай оперевшись о плечо Тимофея. — Ох, если бы ты знал, Прокопьевич, какими слезами исходит мое сердце, глядя, как проходит жизнь в глухомани и в скуке и как сгорают молодые годы! Как звездочки с зарею: горят а тускнеют.

— Такая красивая и одинокая?

— Правда ли, что я красивая? — А сама так и впиалась в лицо Тимофея. — Ну, если правда, спасибо. Может, потому и сокол не сыскался, а? Приискатели судят: Ольга Федорова чересчур от форта возгордилась. Неправда, Тима! Не от форта, а ищут форт в человеке. Да где его взять, чтоб душа огнем загорелась?

Тимофей не знал, что и сказать, до того внезапной была атака приискательницы.

— Хочу спросить: какая она была, Дарья Елизаровна, в ту ночь, когда ее схватил Потылицын с братьями и с атаманом?

— Будешь в Минусинске, спроси у Ады Лебедевой, она в каком-то психиатрическом институте училась в Петербурге. Живет она со своим мужем Вейнбаумом у Юсковых. Там, где бабка Ефимия.

— Обязательно встречусь, — сказал Тимофей.

IV

До Филимона дошел слухок, что на побывку приехал Тимоха-сицилист и остановился у Зыряна; «весь в Георгиях и в офицерских погонах», Филя подумал: может, не явится брательник в дом, откуда изгнал его отец с таким позором? До вечера Филя тревожно поглядывал в окна: не идет ли Тимоха? Потом успокоился: «Оно как ни прикидывай, одна видимость родства. А как по-божьи — чужие навек. Он у сатаны в приклети, а у меня прислон к богу», — и помолился, не забыв спровадить Меланью с грудным Димкой радеть под тополь: епитимья-то на год наложена!

— Зимой радеть не будешь, — смилостивился Филимон Прокопьевич, царапая спину о косяк двери в горницу. — До весны разминку дам. С весны, как должно, до покрова дня. Перед иконами епитимью наложил-то, не отверзнешь.

Потускневшая рабица Меланья не перечила: надела валенки, жакетку, поверх жакетки — собачью, доху, укутала в стеганое одеяло младенца и, перекрестясь на иконы, ушла под тополь коротать трудную ночь.

Филимон завалился в постель и успел всхрапнуть, как вдруг раздался стук в избе: кто-то вошел, зажег лампу и схватил сонного Филю за плечо.

— Господи помилуй! Кто тут? — наложил на себя крест Филимон Прокопьевич, продирая глаза. Возле кровати — человек в шинели, весь в ремнях, при погонах и револьвер у пояса. Страхи господни!..

— Ну спишь ты!

— Исусе милостивый! Тимоха, кажись?

— Ну, вставай, — подтолкнул Тимоха, и ноздри Филимона учуяли запах самогона, эо святотатство! И табаком воняет.

— Истый Тимоха, — хлопал глазами Филя. — И в Смоленске в лазарете такоже зрил и в сумление вошел.

— Бредишь ты, что ли?

— Дык спал. Таперича зрю: Тимоха. Исусе! При охицерском званье? Звиняйте, ваше благородие. О, господи. Куды штаны сунул?

Натягивая шаровары, Филя бормотал что-то про лазарет в Смоленске и как он нутром мучился, а Тимофей, не слушая брата, подошел к племяннице Мане, которая проснулась вместе с нянькой, поднес ей игрушки, но племянница заревела на всю горницу.

— А ты — Анютка, да?

— Анютка. Ишшо Апроська.

— И Анютка и Апроська? — наклонился Тимофей к няньке. — Ты так и не подросла за два года.

— Расту, может.

— Вот тебе на конфеты, — одарил ее Тимоха горстью серебра и, оглянувшись на лохматого Филю, вышел из горницы.

Некоторое время братья молча разглядывали друг друга. Тимофей спросил: где Меланья?

— К своим пошла, — не моргнув глазом, соврал Филимон.

— К своим?

— Туда. — Филя поежился под липучим взглядом Тимофея: сатано!

— Что у вас произошло с отцом?

— До волости срам вышел. Покель на позиции во Смоленске пребывал...

— Какие позиции «во Смоленске»?

— Дык при лазарете состоял, ваше благородие...

— Спишь ты, что ли?

— Никак нет, ваше благородие.

— Какое тебе «благородие»?

— Как при охицерском званье, ваше благородие.

— Давай без дури. Я ведь тебя насквозь вижу. Не знал, что ты был в Смоленске!

— Как же, как же! И тебя зрил, как вот таперича. Генерала Лопарева хоронили, а ты, значит, генеральскую шашку нес вот так.

— Что же ты потом не встретился со мной?

— В тифе валялся, грю. Ипеть-таки в сумление вошел.

— Оборотень, подумал?

— Шутка ли: генеральскую оружиею нес. Ишшо подумал: к чему высокому превосходительству оружия на том свете?

— Ты бы хоть пригласил сесть.

— Дык вот лавка. Она что? Чистая лавка...

Тимофей снял шинель, повесил на крюк и сел с другой стороны стола. Филимон следил за каждым его движением: что же делать? Похоже, брательник собирается остановиться в его доме? Нехристь, безбожник, курящий и пьющий. Весь дом опаскудит. Надо сказать Меланье, чтоб лавку и столетию ножом соскоблила да с дресвой промыла и тополевыми листьями протерла.

Тимофей спрашивает про отца. Филя ерзает на лавке, скребет в бороде, бормочет про сожительство, и что народилось чадо, и Филя таперича должен «кормить грех батюшки».

Ладонь Тимофея на столешнице сжалась в кулак.

— Ну, а сам ты верил в тополевы толк? Или прикидывался верующим?

— В повинении был, как испокон веку, пред родителем.

— Не юли: верил или нет?

— Веровал. Как в разумленье вошел...

— Значит, верил? И знаешь, конечно, что по обычаю тополевцев положено... Как это у них?

— Отверг я! Вчистую.

— Когда «отверг»?

— Возвернулся, и срам такой...

— Ага! Когда тебя самого припекло, тогда и «отверг»? Тогда на что же ты жалуешься? Чему молился, то и получил. А за что измываешься над Меланьей? Или за то, что она на своем хребте тащила весь дом, все хозяйство, пока ты «при лазарете состоял»? Ты бы на нее должен молиться, а не на иконы.

У Фили в ноздрях завертело и по спине потянуло морозцем. Вот он, кулак-то Тимохи, на столетие. Не кулак — молот. Но голова Фили — не наковальня для такого молота!

— Помнишь, как я заступился на покосе за Меланью, а ты в носу пальцем ковырял? И ты — ее муж?

«Оборони бог, ежели тиснет меня, как тогда тятеньку! Господи, услышь глас мой в молитве, сохрани жизнь мя, паки раба твоего», — молился Филя, а Тимофей напирал.

— Я еще тогда хотел дать тебе хорошую мялку, да война помешала. Теперь поговорим.

— Дык... дык... разве я супротив? Меланья-то в доме проживает. И младенец тоже.

— И собаки у тебя в ограде проживают.

— Один ноне кобель. К чему много собак?

— Жизнь Меланьи в твоём доме хуже собачьей.

— Навет! Истинный...

— Где она? Под тополем? С младенцем? Ну?!

— Дык... дык... как верованье...

— Какое верованье? Тополевое?

У Филимона Прокопьевича лампа в глазах раздвоилась. Он и сам не знает, по какому верованью радеет сейчас Меланья.

— Какой бог подсказал тебе мучить мать с ребенком? С грудным ребенком! Ну? Какой бог? — Тимофей побагровел, левая щека у него задергалась.

— Как по старой вере...

— По тополевой? Какую ты отверг?

Филя почувствовал себя припертым к стене.

— Говори: тополевец ты или нет?

— Дык... токмо... без снохачества чтоб.

— Ага! Тополевец все-таки?

— Истинно так. Как народился...

Тимофей поднялся, прямя плечи и глядя в упор, как выстрелил в самое сердце Фили:

— Сейчас пойду за отцом и приведу. Он ведь настоящий тополевец и знает весь устав вашей службы. Пусть он мне подскажет, как с тобой быть. Если признает, что ты не тополевец, а еретик и прыгаешь из веры в веру, тогда...

Филя повалился на пол и воздел руки.

— Брательник! Помилосердствуй! Сколь я мытарился из-за тятеньки, ведаешь ли? Не тополевец я, нет. Перед богом крест ложу, зри! Пусть меня коршуны склюют, волки сожрут, ежели я тополевец!

— Встань!

— Помилосердствуй!

— А ты Меланью «помилосердствовал»?

— Нечистый попутал. Через гордыню мя, через характер.

— «Характер»?

— Век буду молить, токмо не зови батюшку. Жизни решусь тогда.

— Врешь. За свою жизнь ты продашь бога, Иисуса, а все на свете.

— Как можно? Спаси и сохрани!..

— Не молись. Я тебя насквозь вижу. Ни в какого бога ты не веришь, кроме одного, который у тебя в брюхе. К тому же ты трус. Василий Трубин тоже тополевец, а на фронте бил немцев, вшей кормил в окопах. А ты «при лазарете» состоял. Завтра же на фронт.

— Мать пресвятая богородица! Как можно? Дохтура при лазарете белый билет прописали...

— «Из-за умственной ущербности»? Ну, если ты «умственно ущербный» и опасный для здоровых людей, то тебя надо немедленно спровадить в строгую изоляцию, — медленно проговорил Тимофей и, вспомнив Дарьюшку, еще крепче стиснул зубы: ее, никому не сделавшую зла, погнали в «психическую», а такие вот идиоты...

Подошел к кадке, зачерпнул ковш воды и выпил до дна.

— Брательники мы, Тимоха! — вспомнил Филя. — А ты вот как со мной...

— А как ты с Меланьей? Как? По совести?

— Прости, ради Христа. Навек дам клятву...

— Не мне, а Меланье дашь клятву. Зови ее.

Филя бегом кинулся за рабицей Меланьей, долго уговаривал ее под тополем, чтоб она «не сказала ничего лишнего сатанинскому отродью» Тимохе, свалившемуся как снег на непорочную голову праведника Фили.

Тимофей взглянул на Меланью, и сердце упало: как она постарела! Губы осели вниз, и все лицо потускнело, в морщинах, точно душа Меланьи давно умерла, а тело оставалось еще здесь, «в земной юдоли», на поругание мордастому мужу, из ребра которого она появилась на свет божий, как о том сказано в Писании.

Поздоровались. Меланьина ладошка холодная, как льдинка.

— Святая ты, Меланья, если до сих пор не стукнула топором по башке Филимона. Знаю, что они учинили с отцом, тополевы паскудные. За такие дела...

— Бог простит, — лопотнула Меланья.

— Разболوكись да привечай дорогого гостюшку, — заискивал Филя.

Меланья прошла в горницу, разделась и вернулась с младенцем.

— Ну, каков парень? — Тимофей взял на руки ребенка, не сообразив, кто он ему, Тимофею? С одной стороны — племянник, а фактически — брат. — Как крепко спит.

На глаза Меланьи навернулись слезы. Филя-то ни разу не посмотрел на младенца!..

— Э, да он богатырь будет, Меланья. Не из родовой.

— Такжеже, — поддакнул Филя.

— Вот подрастет немножко, и я его возьму в город, чтоб он человеком стал.

— Господи помилуй! — охнул Филя. — Разе я супротив? От бога не отверзнешься.

— Ну, так как же, Филя? Будешь просить прощения у Меланьи за все издевательства, какие ты и отец учиняли над ней? Над беззащитной?

Долго ли Филе упасть на колени. Наложил тройной крест с воняем и стукнулся лбом в пол. Меланья ответила:

— Господь простит, Филимон Прокопьевич. И я прощаю. Нечистый попутал, должно. И тятеньку совратил. Оттого грех вышел.

— Замолим грех. Замолим, — старался Филя. Тьма. Тьма...

Тимофей одарил подарками и предупредил: если до него дойдет слух, что Филя нарушил клятву, тогда он немедленно примчится в Белую Елань и встретится с братом...

От угощенья отказался:

— Я ведь курящий и водку пьющий. Куца уж мне! Буду гостить у Зыряна. Мы с ним из одного теста — безбожники.

V

Куда, в какую даль мчится «Россия», и ветер несется ей навстречу, и Енисей морщится свинцовой рябью, точно недоволен, что его потревожили?

Полуденная пасмурь и тучи. День безотрадно постылый, как тяжелое воспоминание, и река в синих берегах, как в гробу. Глаза бы не глядели!

И все-таки Дарьюшка не уходит с палубы. Ветер бьет в щеки. А впереди, за излучиной, черный дым столбом. Там что-то горит.

Аннушка зовет Дарьюшку в каюту. Никого же нет на палубе и холодно.

— Не пойду. Иди.

— У тебя губы посинели.

— Ну что вам от меня нужно? Идите, если вам холодно. Хорошо, что никого нет на палубе. Я успею подумать, — молвит Дарьюшка, глядя на столб дыма.

— О чем думать-то?

— Не скажу.

— Я пошлю отца.

— Ах, какие вы вредные! Ну что вы меня опекаете? Или я кого-нибудь съем? Или боитесь, что я кинусь в воду? Если бы хотела кинуться, не удержали бы. Я должна жить, вот что. Не мешайте мне, пожалуйста!

Чопорная Аннушка во французском манто постояла еще за спиной Дарьюшки, пряча руки в муфту, и ушла: никуда не денется, капризница. Никакая она не «психическая», блажит, и все. Куражи

наводит. Рассуждает нормально и злится еще, когда ее что-нибудь спрашивают. Пусть торчит на палубе!

Но Дарьюшка не осталась мерзнуть. Она должна узнать, куда идет Россия. Кто сумеет ответить на такой вопрос? Не отец же с «боже царя храни»! Не черный дух, которому она чуть не откусила ухо. Не те мешане, купцы и казаки, которыми забит пароход. Кто же? Кто?

А что, если спросить капитана?..

Встретился какой-то Червонный туз. Глаза заплывшие, как у борова, и губы в масле — лоснятся. Он выполз на палубу из-за стеклянных дверей, пузо вперед и руки как крабы, словно кого-то нащупывал растопыренными пальцами.

— Гуляем, барышня? — загородил он дорогу Дарьюшке, но Дарьюшка так взглянула, что туз посторонился: — Смотри, какая краля сердитая!

— Червонный туз.

— Это я — туз? По какой такой причине оскорбление? Или ты думаешь, я пьян? А если я тебя...

— Ты мертвый, мертвый! И никогда не был живым, — выпалила Дарьюшка, подступая ближе. — И ты никогда не узнаешь, куда идет Россия. А это очень важно знать, чтобы жить. И ты — мертвый. Но еще на ногах. Мертвых много на ногах. Полный пароход. А я найду, кто знает, куда идет Россия. Ты видишь, какая река? — показала Дарьюшка. — Мрачная, и берега голые. Но река живая. Она не стоит на месте. А ты вот остановился. Иди!

— Ат-та-та! — попятился Червонный туз. — Значит, это ты и есть доченька Жми-дави Юскова?

Дарьюшка не удостоила Червонного туза ответом и вошла в коридор первого класса, потом спустилась по трапу в поисках каюты капитана.

Вот и каюта с табличкою: «Капитан».

Слышится фортепьянная музыка. Знакомые, обволакивающие, пьянящие звуки. И сразу вспомнился дом Михайлы Юскова в Красноярске, хозяйка дома Евгения Сергеевна, синеглазая непоседа Аинна и музыка, музыка!

«Как я танцевала тогда!.. — прижмурилась Дарьюшка, взявшись за скобу двери. — И жизнь была такая интересная, и не было никаких

вопросов. А теперь я должна узнать...» И, как в свой дом, вошла в каюту.

Музыка оборвалась. У фортепьяно сидел поджарый человек в белой сорочке с бабочкой, в черных брюках, и голова у него была совершенно белая, с коротко подстриженными волосами. Он поднялся.

— Прошу, прошу...

— У вас здесь уютно и покойно, как дома, — промолвила Дарьюшка, оглядывая круглый лакированный столик, мягкие стулья и кресла; еще на одном столике с лампой и пепельницей лежали две трубки и коробка с табаком.

Нашла себя в зеркале: какие круглые глаза, словно черные пуговицы. Странно: отчего они такие круглые? Лицо какое-то неприятное, холодное, со впалыми щеками; ямочка на подбородке будто стала глубже, и подбородок чуть больше выдвинулся вперед. «Вся, вся переменялась. Скоро буду, как бабушка Ефимия, — в морщинах и в землю врасту. Нет, я должна быть вечно такой, как тогда в гимназии, и все говорили, что я красавица». Поправила волосы. «Откуда взялось это платье? Измятое, и воротничок грязный. Я стала такой неряхой... Что сказала бы Аинна, модница...»

— Прошу! — Капитан указал на кресло.

— Мне удобнее на стуле. — И еще раз посмотрела на капитана. — Когда у человека седая голова, он должен говорить правду. Если седой человек лжет, значит, он вор: сам у себя ворует жизнь. Она никогда не повторяется, жизнь. У всех одна, из пяти мер.

Капитан не удивился: он знал, что за гостя пожаловала к нему.

— Из каких же пяти мер?

— Капитан должен знать.

— Простите, не знаю. Вы же предупредили: седой человек не должен лгать.

— Да, я скажу.

И Дарьюшка, не торопясь, рассказала, как от чрева матери человек переходит из меры в меру, вплоть до вечности, когда он умирает.

— Мой папаша не верит, что жизнь из равных мер. Он вообще ни во что не верит, кроме денег.

Капитан понимающе усмехнулся:

— Значит, из пяти мер?

— Не для всех. Переходят из меры в меру только те, кто приносит людям добро, не жестокость. Для жандармов, насильников есть только одна мера — жестокость.

— Вот как!..

— А я хочу узнать. Хочу. Это очень важно. Хочу спросить...

— Я слушаю вас. — Капитан наклонил голову. И вдруг, как удар колокола:

— КУДА ИДЕТ РОССИЯ?

В смятении он поглядел на Дарьюшку.

— В Красноярск. Если ночью не задержит туман...

— О, не смейтесь. Разве я о пароходе?

— Ах, вот как... Прошу прощения. М... м... м... Куда идет Россия? Как бы вам сказать... Трудный вопрос. Война, думаю...

— Нет же, нет! Если бы Россия знала, куда она идет, не было бы войны.

— Но она есть.

— Я знаю. И все время думаю: КУДА ИДЕТ РОССИЯ? КУДА? Где наша счастливая пристань? Или для России нет счастливой пристани? От жестокости — к новой жестокости, да? За что? Помните у Данте в «Божественной комедии» на вратах ада написано: «Оставьте надежду входящие сюда». Это же страшно, страшно, капитан! Я вижу, вижу эту надпись на вратах России сейчас. Она горит кровью мучеников. Звенят, звенят цепи каторжников. Вы разве не слышите, как звенят цепи и как стонут арестанты? А я слышу, и мне страшно.

Капитан молча глядел в сторону.

— Я понимаю: вы боитесь сказать, куда идет Россия? Жандармов боитесь.

Нет, капитан не боится жандармов, да и нету их в каюте.

— Есть, есть. Они везде. Помните?

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ...

И, отирая лоб, виновато спросила:

— Или не так? Я не перепутала? Капитан промолчал.

— И он погиб...

— Кто?

— Лермонтов. Разве не знаете?

— Знаю, знаю...

— Ну, вот. Но я не о том. Я все думаю: КУДА ИДЕТ РОССИЯ? Это очень важно. Очень важно, чтобы жить. А я хочу, хочу жить. Я плакала, когда читала о французской революции. «Либертэ, эгалитэ, фратернитэ...» — И, зажмурясь, повторила по-русски: — Свобода. Равенство. Братство. Счастливый народ!

— Не совсем, — заметил капитан.

— Почему?

— Как мне известно, во Франции нет ни свободы, ни равенства, ни братства.

— Но почему? Почему? Он пожал плечами.

— Неужели никогда не будет Свободы, Равенства, Братства? Или все люди на земле прокляты богом?

— Надо надеяться на будущее.

— А какое оно, будущее? — наступала Дарьюшка. — Неужели после войны в России так все и останется? И царь на престоле, и жандармы, и казаки, и люди в цепях, и тюрьмы, и нищие? А мой папаша будет наживать миллионы. Чиновники будут писать какие-то бумаги. Капитаны будут играть Брамса... — Дарьюшка горестно покачала головой. Капитан по-прежнему молчал.

В каюту неслышно вошел племянник капитана, инженер Грива. Капитан выразительно взглянул на него. Тот бесшумно прикрыл за собой дверь.

— Итак, не всем, значит, пять мер жизни? Дарьюшка поняла капитана.

— Вы вот сейчас подумали, что я просто сумасшедшая, как меня аттестуют жандармы, и несусь вздор?

— Что вы, что вы!

— Я не обижаюсь, — кротко проговорила Дарьюшка. — Это же так просто: назвать сумасшедшей, чтобы не слушать правды. В гимназии меня тоже считали ненормальной, потому что я думала не так, как все, и видела такое, чего не видели сахарные барышни, и читала книги, на которые барышни никогда не взглянут.

«Это же она! — узнал Гавриил Грива, замерев у двери. — Как она оказалась здесь? Конечно, она самая, мятежная душа из Белой Елани, Дульсинья Енисейская. Так он называл Дарьюшку, когда встречался с нею в доме Метелиных в Минусинске. Знает ли дядя-капитан, что его гостья — психически больна?»

VI

— Вчера утром... — вспомнила что-то Дарьюшка, так и не почуяв, что за ее спиной Гавриил Грива. — Это случилось только вчера. А у меня такое ощущение, будто прошло сто лет. Когда я проснулась в доме Пашиных и выглянула в окно, удивилась — как много коров на площади. Это пастух собирал стадо. Мычат, мычат, мычат... Настойчиво, утробно, как будто призывают к этому всех живых. И я подумала... смешно!.. подумала: что, если бы люди — живые люди с живыми душами вдруг превратились в быков и коров и знали бы одну заботу — как бы набить утробу или спокойно идти под нож мясника. Как бы счастливо жили тогда все жандармы и насильники! Я попробовала мычать, и стало противно. Лучше смерть... Я была один раз у архиерея Никона, когда училась в гимназии, и спорила с ним, — продолжала она, сосредоточенно разглядывая немецкую марку фортепьяно. — Это было еще до войны. Пришла к Никону со своими «ненормальными» вопросами.

... Если бы вы видели, какие картины в золотых рамах в гостиной архиерея! Кругом мягкая мебель красного дерева, зеркала, и ковры, и сама гостиная, как зал театра. Огромные окна, и солнце, солнце! Я совершенно потерялась в такой гостиной и сразу подумала: зачем я пришла? Разве человек, живущий в такой роскоши, сумеет понять мои страшные вопросы?.. Разве волк понимает блеяние овечки? Коршун — писк синицы? И сама себе ответила:

— Люди никогда не поймут друг друга, если они живут на разных этажах благополучия. Один — всегда в роскоши, кушает на серебряных блюдах, имеет парижского повара, а другой, как мастеровые люди, всегда в мазуте, в грязи, в нищете, и всегда с ним нужда, несчастье, болезни!..

О, боже, как страшно устроена жизнь людей. Но почему? Почему?.. Никон вошел: крест золотой на груди, руки пухлые,

упитанный. Осенил меня щепотью... православной щепотью. Смешно! Я же сразу стала бы еретичкой, если бы узнал мой дедушка: мы же старообрядцы. А тут стерпела и даже поцеловала крест. Брр!.. Борода у него черная-черная, кудрявая, расчесанная на две половины. Точь-в-точь как у моего отца. Смешно, ей-богу! Кто-то чью-то бороду носит, кто-то на кого-то похож лицом, и вообще, как я заметила, чересчур много людей, похожих друг на друга. Коровы и те не похожи так друг на друга, как люди. А знаете почему?

Капитан не успел спросить — Дарьюшка сама ответила:

— Жестокость подавила людей, стерла лица, носы, улыбки — и все, все! Вы не видели, как зерно перемалывают в муку. А я видела. Течет зерно в желоб в верхнем жернове, а потом течет мука в мешок. Белая или серая. Если из обойной пшеницы — белая крупчатка. Так и все насильники — жандармы, казаки, войско — перемалывают безоружных людей в серую или белую муку. Интеллигентных — в белую муку, а простой люд — в серую. Разве это не страшно?

Капитан машинально взялся за свою трубку: вот так гостя «не в своем уме»!..

Грива так и стоял у двери, глядя Дарьюшке в спину. Он помнит, все великолепно помнит! Не по случайной встрече в Белой Елани, а еще по тем встречам в июне 1914 года. Тогда он трусливо сбежал от нее на рудник, даже не попрощавшись. Не потому, что она в чем-то была умнее его, бесстрашнее и так же вот, как сейчас, ставила свои «страшные вопросы», на которые он не мог тогда ответить с той же искренностью и прямоотой...

— Я спросила архиерея: «Не страшно вам, когда всех людей перемалывают на муку?»

— И что же он ответил? — Капитан прикурил трубку.

— Он так липуче поглядел на меня, а потом взял за обе руки и пригласил в свой кабинет. Парадная лестница застлана ковром, идешь и шагов не слышно. Как по сыпучему песку. Никон не отпускал моей руки, мне стыдно, а я иду, иду, со ступеньки на ступеньку. Вспомнила, как в «Божественной комедии» спускаются в ад. Только где он, ад? Я думаю, он на земле... Начался наш разговор. Впрочем, нет, никакого разговора не было, была проповедь, и еще... паскудство. Он опять взял мои руки, и мы сидели в креслах — колени в колени. Он говорил, что меня обуяла гордыня и надо смирить ее и что никто не перемалывает

людей на муку, а сами люди, великие грешники, достойны того, чтобы терпеть кару господню. Но я видела по его глазам, что он и сам не верит в свои слова. Он совсем не про то думал. Он просил, чтобы я пришла в следующий четверг. Я была в чистый четверг. Но я была рада, что ушла от него, и всю дорогу плевалась... Господи, как жить, если душа не на месте!.. Я все ищу, ищу живую душу. Если бы вы знали, что я пережила в Белой Елани за два года после гимназии. Это не рассказать. Я столько молилась, ночи напролет — не богу, сама не знаю кому, только бы облегчить душу. Чтобы жить и не думать над страшными вопросами. Но я не могла так — жить и не думать. Никто из родных меня не понимал, не знал и знать не хотел. Совсем как в пустыне. Я все думала: вот мать, которая меня родила, носила на руках. Но мы же с ней совсем чужие, как иностранцы. И никогда не были родными. Она — сама покорность и вечный покой, как на кладбище. А я ждала... Сама не знаю, чего и кого ждала. Хоть бы землетрясения, что ли. Но не было землетрясения. Ничего не было. Сон. Вечный сон и кладбищенский покой. Жить вечным покоем кладбища — это же страшнее смерти. Сколько раз я собиралась бежать. А куда? В няньки идти или в гувернантки? А вы знаете, как бывает с няньками в богатых домах. Неделю жила в Минусинске в доме Метелиных. Знаете их? Ну вот. В их доме. Сам Василий Семенович Метелин — сын декабриста, смиренный сын отечества, не такой, как отец. А Метелин смирился и разбогател, конный завод имеет. Но я не о том. Тогда в Минусинске я и встретила с горным инженером Гривой...

— Вот как! — капитан переглянулся с племянником. — Ну, и каков он, горный инженер?

Дарьюшка подумала.

— Я его звала: Рыцарь Мятёжной Совести. Но он...

— ... оказался не рыцарем?

— Не знаю. Он как-то исчез вдруг, сразу. Отец его политический ссыльный, доктор Грива, и дядя еще, плавает капитаном... — Дарьюшка откачнулась на спинку. — Вы... тот самый капитан?

— Почему — тот? — рассмеялся он. — Я действительно Дядя Гавриила Гривы. Бывший лейтенант флота, разжалованный и осужденный, ныне капитан «России», Тимофей Прохорович Грива.

— О боже! — всплеснула руками Дарьюшка. — Тимофей... Это имя так много значит для меня... Его звали Тимофей Прокопьевич Боровиков, он был тоже ссыльный, большевик.

— Большевик?

— Да, да. Он погиб на фронте. Убит, убит...

По впалым раскрасневшимся щекам Дарьюшки катились слезы, и она не стыдилась их, глядя в стену, словно стена была прозрачной, и она видела нечто свое, сокровенное, неповторимое и чрезвычайно важное для нее. И в этом сокровенном был, конечно, Тимофей Боровиков... Он убит, и кто знает, где покоятся его останки. Где та похоронная бумага, которую подал ей мрачный старик из окна дома Боровиковых? И где он теперь сам, старик, вещун о пяти мерах жизни? Да и есть ли они, пять мер?.. Старик просто обманул ее. Но как жить? Должно же быть хоть какое-то утешение... Не жить же в одной мере с тюремщиками, с жандармами и грабителями.

— Пять мер... пять мер... — бормотала Дарьюшка. — Это потому, что я ищу, ищу, как жить. Ищу человека, живые души. Как трудно жить!

— Да, трудно, — согласился капитан. — Ну, а с племянником моим давно не встречались?

— Совсем недавно. В Белой Елани... Даже не поверила, что это был он. Ночь такая трудная, страшная. Я убежала из дома Юсковых. И хоть бы кто приютил на одну ночь! Хоть бы кто! С той ночи сердце будто горит... Мне так страшно... Как жить? Вчера я хотела умереть. Но не сумела. Потом меня хотели отвезти к доктору Гриве, вашему брату...

Внезапный стук прозвучал, как выстрел: Гавриил Грива выронил свой портсигар. Вздогнув, Дарьюшка вскочила.

— О боже!..

— Я вас напугал, извините... — Гавриил подошел к ней.

— Вы... здесь? — Дарьюшка еле собралась с духом. — Да я из Белой Елани. Нету Белой Елани, а есть черная и страшная. И вся Россия кажется мне такой же страшной черной Еланью.

— Это правда, — согласился Гавриил.

— Но разве такая судьба России?

Глаза Дарьюшки требовали честного ответа.

— Россию ждет другая судьба, — уверил капитан.

— Другая? — переспросила Дарьюшка. — Это правда? Или тоже... слова, слова?

— Святая правда, Дарьюшка. Россия дошла до такой черты, как Гамлет Шекспира, когда задал себе знаменитый вопрос: «Быть ли не быть?» Весь народ России ставит сейчас такой вопрос. Если «быть» — то революция неизбежна.

— О! Если бы так!

— Будет так, — твердо заверил прямой и красивый капитан. — Ну, мне пора на вахту. Прошу прощения.

— И мне пора. «Пора, пора, рога трубят!» — поспешила Дарьюшка. — Еще потеряют тюремщики и начнут бегать по «России», всех поднимут.

Капитан развел руками. Вот так сумасшедшая! Понятно теперь, почему ротмистр Толокнянников обмолвился: «Ваша дочь не просто больная, господин Юсков. Мысли у нее крамольные, подрывные».

В своем дневнике Грива потом записал:

«... Она поразила меня своей непосредственностью. Если она, как ее считают, психическая, то каковы же мы, нормальные? Ее можно видеть всю, и она не считает нужным скрывать свои мысли и чувства. А мы, я лично, живу, как кресло в чехле: сам чехол чистый, выстиранный, а под чехлом пыль и грязь. Я прячу свои мысли, она их держит на ладони. Она ОБНАЖЕННАЯ, а мы, я лично, в панцире условностей, недомолвок. Может быть, она из будущего? Действительно, из «пяти мер жизни»?

Прозрачной звездной ночью, когда капитан стоял на вахте в штурманской рубке и все еще находился под впечатлением разговора с «обнаженной» Дарьюшкой и беспрестанно курил трубку, попыхивая ароматным табаком, вдруг раздался голос:

— Можно войти?

В дверях рубки стояла Дарьюшка.

— Милости прошу, — приветил капитан и подал гостье свой стул с высоким сиденьем. Но Дарьюшка не села, подошла к штурманскому колесу, остановилась возле рулевого и, мило улыбаясь, проговорила:

— Мой папаша спит сном праведника, и я убежала. Вы не сердитесь, пожалуйста, что я пришла сюда. Люди так редко встречаются и потому не знают друг друга. Насильники всегда вместе, а люди врозь, как звезды на небе.

Капитану неудобно было сказать что-нибудь откровенное в присутствии рулевого, и он промолчал, затягиваясь дымом.

— Знаете, что я подумала? — оглянувшись Дарьюшка на капитана и, не ожидая ответа, промолвила: — России нужен добрый капитан, умный капитан. Чтоб он не был жандармом, а человеком и всех понимал. Разве такого капитана нет?

Капитан пожал плечами. «Такого капитана, пожалуй, нет, — подумал. — Есть особа императорского величества с рыжей бородкой в погонах полковника, но ведь не капитан же он России!»

У Манских порогов «Россия» развернулась и бросила якорь — ложился туман, успевший укутать в белый тулуп оба берега.

Капитан проводил Дарьюшку и долго потом сердился на себя, что не сумел сказать ничего путного страдающей Дарьюшке, которую он понимал, но не мог быть столь же откровенным.

Поздним утром Дарьюшка покинула пароход, и капитан почему-то постеснялся проститься с нею.

ЗАВЯЗЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

I

Знакомый Гимназический переулок города па Енисее; Дарьюшка его узнала и удивилась: какими судьбами занесло ее на извозчике в этот тихий переулок с деревянными домами, где три года назад бродила она с Аинной Юсковой в недозволенное для гимназисток время, после восьми часов вечера, и все-таки попалась однажды на глаза «классной кобыле», и та пристыдила Дарьюшку: «Вы же дочь почтенного родителя!»

Вот и главная улица — Воскресенская, прямая, как стрела, с плитчатыми тротуарами.

Цокают подковы. Горожане, экипажи, конные казаки. Солдаты, разночинцы, золотые купола собора.

Двухэтажный деревянный дом Михайлы Юскова — «енисейского миллионщика».

Старый слуга Ионыч, лысый, иссохшийся старик, раскланялся перед Елизаром Елизаровичем и его дочерью и послал человека наверх к хозяйке дома Евгении Сергеевне.

— Михайлыч жив-здоров? — спросил Елизар Елизарович.

— Недомогают Михайлыч. Недомогают. Семьдесят пять ноне стукнуло.

— Слава Христе. Дожить бы нам, — трубил Елизар Елизарович, помогая Аннушке раздеться.

Прибежала подруга Дарьюшки Аинна в нарядном синем платье, пахнувшая духами и сквозным ветром. Целовала Дарьюшку в щеки, жаловалась на забывчивость подруги, а сама Дарьюшка, теряя связь с действительностью, напряженно прислушивалась к таинственному звону колокольчиков.

Звенят, звенят, звенят...

— Серебряные колокольчики, — тихо промолвила она, улыбаясь.

— Какие колокольчики, Даша? — не поняла Аинна. Звенят, звенят, звенят...

И потом в городской больнице, куда определил Дарьюшку отец «согласно особому предписанию ротмистра Толокнянникова», Дарьюшка все еще слушала малиновые перезвоны, и дед Юсков долбил: «Слышь, Даша, как вызванивает нашенькая «малинушка»? Или приходил отец в английской поддевке, глядел на нее тускло, медвежьей тяжестью, словно хотел раздавить непутевую дочь, и, уходя, показывал ей свои массивные золотые часы на платиновой цепочке с драгоценными камнями, и часы пели, мерно и ласково вызванивая: «Боже, царя храни...»

По настоянию Елизара Елизаровича и не без денежной подмазки Дарьюшку поместили в отдельную палату психиатрической больницы со строжайшим условием, чтоб ни единая душа не знала о ее пребывании в больнице, кроме указанных лиц: Аинны Юсковой и Евгении Сергеевны, которые обещали навещать к больной.

Противные лекарства, порошки и микстуры, два окна с решетками, железная кровать, привинченная к полу, и толстая дверь на замке: арестантка!..

Дни менялись; жизнь плелась все та же — постылая, без веселинки и просвета в тучах.

Ночь...

От вековой тьмы самодержавия, от безысходной нищеты людской, от кандалных перезвонов на этапных трактах; в городах, среди людей фабричных, заводских, среди господ в богатых особняках, на редких сходках в деревнях и селах — везде и всюду люди чего-то ждали, какой-то перемены, только бы не жить в такой стылости, от которой сатанел дух и мертвела память, роняя в забвение годы и саму жизнь.

Доколе же?..

Одни говорили — грядет день, и свершится чудо: русские армии разобьют войска вероломного Вильгельма с его союзниками, и тогда настанет мир и благодать господня; «возрадуемся, братия, и воздвигнем крест на святой Софии!» Да никто не верил в такую благодать. Русские армии терпели поражения; калеки на костылях, возвращаясь домой в рваных солдатских шинелях, продуваемых ветром, люто проклинали войну, грабильку богатых, тьму нищих и обездоленных, пророчествовали, что не сегодня-завтра солдатня повернет штыки, смахнет престол, и начнется революция.

А пока...

Знай не зевай — мощну набивай; лопатой гребь деньги.

Все тлен и разминка на полпути — одно золото вечно. Золото как кровь: выцеди и пиши сам себе заупокойный листок; староверческую домовину заказывай, чтоб не на казенный счет похоронили с православным попом.

Рви глотку ближнему, да помни: если до смерти не уходишь ближнего, то, не ровен час, поверженный наберет силу и тебе глотку перехватит.

Хочешь жить — умей крутиться.

Войдя в дом ближнего и обдери его, как дальнего: не внакладе будешь.

Языком можешь ужалить, капиталом насмерть прихлопнуть.

Совесь — для простаков; невод — для дураков. Не будь дураком и простаком — кадило раздуешь.

Своя рубаха ближе к телу; а еще лучше — если содрать рубаху с ближнего; в двух рубахах теплее.

Заповедей много; жизнь — короткая...

Родная кровь до той поры родная — покуда твое тело греет; если от крови ни тепла, ни прибыли, то это не твоя — чужая кровь...

Елизар Елизарович так и поступил. Не покорила Дарьюшка, не стала опорой в деле — определил в сумасшедший дом и спину выпрямил — лишний груз сбросил с плеч.

Про Дуню не вспоминал. Мало ли пустоши растет на земле? Даже собственную бороду приходится стричь ножницами, а вот иные начисто бреют: лишнее, никчемное. Не вышло с дочерями — повезло в деле. Самого господина Востротина — миллионщика — обжал на сто тридцать семь тысяч золотых в довоенном курсе. Копейка в копейку. К титьке и не прикладывался, а грудь высосал, и господин Востротин, хоть и мастак в деле, с заморцами лапа в лапу, и то чуть на стену не полез. «Хищник», — только и сказал.

Мало того, Елизар Елизарович обжал томского миллионщика Саханова — опередил в сделке с англичанами: вступил пайщиком в Русско-Азиатское объединение, прибирающее к рукам рудные месторождения Сибири. Еще год-два, и Елизар Елизарович, не без англо-американской помощи, перехватит горло и золотопромышленнику Иваницкому: англичане давно приглядываются к его руднику Сарале: не рудник — золотые горы.

Само собой — торговля...

За минувший год навигации — из Красноярска по Енисею, а там — морями и океанами — вывезли в Европу сорок тысяч пудов масла, пятнадцать тысяч пудов конопли, тысячу триста пудов льна, а по Оби на судне «Форрестолл» отправили в ту же Европу более ста тысяч пудов масла, поставленного фирмой Вандерлиппа, пайщиком которой состоит Елизар Елизарович. Сибирское масло пойдет на рынки Европы как датское. Ну и пусть. Лишь бы обороты пучились от прибылей. Сейчас на Сибирь нацелились американцы — не опоздать бы в сделках...

Знай не зевай — мошну набивай.

II

Евгения Сергеевна, бывшая любовница Востротина, и та умилилась:

— Ох и медведь! До чего же сильный и хваткий... На что Елизар Елизарович отвечивал:

— Благодарствую. Ваше слово — как бриллиант ювелирщика: хоть в банк клади — не просчитаешься.

— Не просчитаетесь, — уверила Евгения и пригласила таежного медведя на званый обед, предупредив, что будут заезжие иностранцы, в общем человек тридцать. Но Елизар Елизарович, конечно, не затеряется в застолье. — Вы такой приметный, — льстила львица с голубыми глазами. — Будет еще отец Исидор из скита. Мой старик собирается замолить тяжкие грехи по старой вере. Вы ведь тоже старой веры? Грешен, может? — Глаза Евгении Сергеевны стали синими-синими, как две слезы Христовы.

— Безгрешные в богадельне проживают, — удачно ввернул Елизар, соображая, что за петлю готовит ему красавица. Не думает ли отыграть капиталец любовника? Пусть спытает, как бы сама не выпрыгнула из нарядного платья...

Они беседовали в оранжерее дома Гадалова. Гости еще не вышли из внутренних покоев; прислуга расставляла маленькие столики. Эта оранжерея была гордостью Гадалова, и он всегда здесь потчевал гостей. В центре возвышалась пальма, распахнув зеленое опахало под самым стеклянным куполом.

Слуги двигались молча и бесшумно. От цветов веяло свежестью и отдохновением. На улице осень, а здесь — весна и цветут заморские розы Бербанка.

— Вы мне нравитесь. Очень, — потупилась Евгения Сергеевна. — Вы как редкий самородок...

— Благодарствую. — Глазами так и впился в голову львицы. Она была высока, не в девичьем возрасте, но поразительно моложава и сумела сохранить фигуру; на ногах английские туфельки на низком каблучке — рост не позволял щеголять на французском, и так по плечо медведю. Впрочем, и сам медведь нарядился. Аннушка постаралась: и манишка белоснежная, и фрак как уголь, и черная бабочка на крахмальном воротничке, вот только сапоги с лакированными голенищами некстати — точь-в-точь заезжий купчина, а не знатный акционер-миллионщик. Но от сапог Елизар Елизарович отказаться не мог: сызмала привык греть икры голенищами.

— А мой старик совсем выжил из ума, — жаловалась Евгения. — Сейчас время крупных сделок, а я как связанная. Просто поражаюсь, как вам удалось войти в дело с англичанами, и даже француза подхватили.

Елизар Елизарович щурил цыганский глаз и загадочно отвечал:

— Цветы баскенькие, а запаху нет. Или мне нос заложило?

Евгения Сергеевна уразумела намек.

— У них весьма тонкий запах. Французские.

— Ишь ты! Да и мой нос не толст, а вот запаха не чую. — Он чуть наклонился, скосил глаз на львицыны холеные руки, невольно подумав, что этими руками она бы с превеликим удовольствием перехватила ему горло. Но и он из таковских.

— Пахнут? — В глазах Евгении прыгали бесики.

— Немножко...

— Нравится вам аромат?

— Да чей аромат-то?

— Он может быть и вашим, милый медведь! — усмехнулась Евгения. — Вы столько раз бывали у нас, неужели так ничего и не поняли? Старику же семьдесят шестой, он совсем выжил. А дело-то чье? Юскова. А вы кто?

— Из той же фамилии, — охотно подтвердил Елизар и тут же спохватился: — Да корень разный.

— Все мы под одним корнем.

— Как так?

— Наш общий корень — капитал. Или не так? Где бы он ни был, а все одно — капитал. И если бы к вашему капиталу еще один, да если бы к вашей хватке еще одну — ласковую, нежную, с большими связями не только в Петербурге...

— Петербурга нету, — невежливо вставил Елизар.

— Есть. Как только его величество подпишет мир, так и Петербург вернется.

— Слухи, али как? — насторожился миллионщик.

— Есть всякие. Да я не о том. — И руку ко лбу, будто запамтовала.

Прищулив цыганский глаз, Елизар Елизарович размышлял: «А ловко вышло бы. Силу бы я набрал огромную, десятерым Линдам — Востротиным не сжевать. Да хитрит змея, хитрит: невод закидывает.

Как бы ловчее заманить ее самое в этот невод да скрутить, чтоб не прыгала в миллионщицах...»

А вслух:

— Кабы дал бог...

Сцепились глазами, молчат. У Евгении раздуваются ноздри; медведь сопит в бороду и чмокает, словно пробует львицу на вкус.

— И что же?..

— Прикинуть надо, — мялся медведь.

— Как прикинуть? — И брови вскинула, будто не понимает.

— Птица к гнезду, если не прикинется — в гнезде жить не будет.

То и нам испытать бы. В гнездышке. А?

Щеки у Евгении Сергеевны зардели.

— Так уж сразу и в гнездышке!

— Спыток — не убыток. Помолчали: Красавица напомнила:

— Да ведь в вашем здешнем гнездышке, говорят, живет славная птичка?

На что медведь ответил:

— То не птичка, а сопутница. Дунь — и нету.

— Какой вы безжалостный!

— Пошто? Я сопутницу в дело вывел, заведение в Минусинске откроет.

— Заведение? — будто испугалась Евгения.

— Ресторацию.

— С девицами?

— Девицы — не птицы: сами за стол садятся.

Еще раз сцепились глазами: в голубых черти пляшут, в черных у медведя — смола кипит. И борода дымится кольцами. «Хитрущая, — отметил он. — Обжать бы ее со всех сторон, чтоб тонкой стала. Надо самого Михайлу Михайловича натравить на нее, чтоб не допускал в дело, а там, мирком да ладком, и Михайлу жемануть. Чевелева с Гадаловым подпушу к Михайле: они живо обормочут, в трех скитах не отмолятся».

Евгения Сергеевна соображение имела другое. «А я его расшевелила, сытого. С ним надо играть в откровенность да напустить на него Четтерсворта. Он его втянет в крупную сделку, а потом сделка лопнет, и весь капитал будет а нашей компании». Но... в чьей

«нашей»? Не окажется ли она сама у разбитого корыта? «Когда же он умрет, лысый дурак!» — с досадой подумала о муже и спросила:

— Правда ли, что вы осчастливили мадам Тарабайкину-Маньчжурскую — отдали в ее заведение такую красавицу, от которой все с ума сходят?

— Экое! — крикнул Елизар. — Впервой слышу. Никакой красавицы знать не знал, да ежели бы и знал, в заведение не отдал. Спаси Христе!

«Вот уж будет диво, когда Востротин разыграет свой номер, — думала Евгения. — Но что же это за красавица? И куда отдал: в публичный дом! Господи, он и меня бы определил туда, если бы удалось прибрать мой капитал».

А вслух:

— Какой же вы, право, милый медведь!

— Да и вы, Евгеньюшка, не из малых птах, на больших крыльях летаете, слава Христе!

— Так уж на больших! — хихикнула и, заслышав шаги, тихо договорила: — Я подумаю... про гнездышко. Вы мне, право, нравитесь.

— Дай-то, господь, чтоб сие свершилось! — возрадовался Елизар, подхватывая ее под руку.

Знай не зевай — мошну набивай...

Ш

Ели и пили. Друг перед другом похвалялись. На здравия не скупались. Но у каждого был припрятан за пазухой камень.

От духмяных кушаний, приготовленных французским поваром, голодный упал бы. Вино заморское; французским коньяком аппетит разжигали.

Бесились не от жиру — от пресыщения. На матушку-Россию смотрели сквозь пальцы, под иностранцев рядились. И даже каменный одноэтажный особняк Гадалова выстроен был на манер итальянских богатых домов, хотя и строил русский инженер русскими рабочими руками. Так уж повелось: свое под ногами — на чужое глаза скидывали и умилялись.

Но на этот раз на званом обеде не было ни одного иностранца. Сошлись потолковать про житье-бытье русское, а главное, прощупать печенку у каждого.

За столиками — по трое. «Бог троицу любит» — девиз Петра Ивановича Гадалова, миллионщика с русским размахом и желудком истого француза.

Господин Востротин — джентльмен от воротничка до заморских ботинок — один за столиком с тремя приборами: кого-то поджидал, должно. Евгения Сергеевна сидела с медведем — колени в колени, и сам Петр Иванович Гадалов тут же, как бы на довесок.

Была еще одна престарелая дама, купчиха Синельникова с мужем, а вместе с ними поручик Синельников. Семья почетная в Красноярске, не то что Шмандины или Худояровы: Синельников пожертвовал городу детский приют, выстроил трехэтажную каменную школу на берегу Енисея. Про синельниковский приют молва дошла до Петербурга. Экий домина! Не на собор кинул деньгу, а на горемычных сирот.

Улучив момент, Евгения Сергеевна привлекла к себе внимание:

— Если бы вы знали, господа, что происходит при дворе...

Гости знали, что ее тетушка, княгиня Толстова, двоюродная сестра думского Львова, бывшая фрейлина, пользуется слухами из первых рук. Потому слушали внимательно.

Красавица не скупилась. Она рассказала, будто английский посол Бьюкенен «прямо сидит на шее маленького полковника». И на позициях плохо — поражение за поражением, и при дворе — ни складу, ни ладу, ни увеса, ни привеса. Один на другого беду валит, а виноватого нет.

— Я почитаю вам из письма тетушки...

Тетушка писала, что Бьюкенен хоть и джентльмен, а держится варваром при дворе Российской империи. «Как можно так беспардонно вести себя, даже послу? Его величество с лица сменился, ужасно нервничает». А когда царь сменил Сазонова и поставил Штюрмера, слывшего сторонником сепаратного мира, Бьюкенен в тот же день телеграфировал в Лондон: «Судя по всем данным, Штюрмер является германофилом в душе. К тому же он, будучи отъявленным реакционером, заодно с императрицей хочет сохранить самодержавие в неприкосновенности. Если император будет продолжать слушаться

своих нынешних реакционных советчиков, то революция в России, боюсь, является неизбежной...»

Далее тетушка писала!

«В тот же день сия депеша стала достоянием высших кругов столицы. И многие считают, что английский посол совершенно прав: революции неизбежна. Ужас! Какие страсти!»

— Господи помилуй, — отозвался миллионщик Ченелев.

— Не дай-то бог, — сказал Петр Иванович Гадалов.

— Чему быть, того не миновать, — вздохнул Синельников.

— Россия на пороге революции, — подал голос и Петр Иванович Востротин, и все оглянулись: человек он сведущий, образованный, дипломат в некотором роде. Он все еще сидел один и не пил, не притронулся к кушаньям — заботы одолели: видел, как бывшая любовница миловалась с Елизаром.

— Петр Иванович прав, — пропела Евгения Сергеевна, сообщив, будто французский посол Морис Палеолог высказался еще хлеще Бьюкенена. Он будто говорил недавно великой княгине Марии Павловне, что-де сам царь губит Россию и что его царствование скоро кончится катастрофой. И не плохо, если бы все лица императорской фамилии объединились сейчас и предприняли решительный шаг, дабы устранить зло.

— Он так и сказал Марии Павловне: «Я имею в виду драму Павла». На что княгиня в ужасе ответила: «Бог мой, что же будет?» А Морис сказал: «Или революция, и тогда еще неизвестно, что станет с Россией, или упразднение слабого царя с его министром-предателем...»

— О, господи! — вздохнул Чевелев, вытирая лысину.

— Беда, беда грядет, — поддакнул Елизар Елизарович и как бы невзначай прижал коленями Евгению Сергеевну.

— Не дай-то господи, как в девятьсот пятом.

— Ну, положим, девятьсот пятый не вернется, — возразил господин Востротин. — Если грянет революция, тогда не то что престолу не устоять, но вся империя развалится.

— Но что же делать? — замахнулся кто-то и тут же притих.

— Что делать? — подхватил Востротин, поднимаясь. — Сейчас же подписать мир с Германией и покончить с нашей азиатчиной!

— С азиатчиной? — тарашился Чевелев.

— Да, с азиатчиной. Пусть вас научит цивилизованный мир управлять государством и промышленностью. Нельзя терпеть, когда миллионщики, как медведи из берлоги, не ведая ни образования, ни порядочности, прут в сапогах в каретный ряд.

Гости притихли. Слышно было, как сопел лысый Чевелев и трудно вздыхал Синельников: оба они «из берлог» и в каретный ряд затесались.

Елизар Елизарович подтянул толстые ноги, хищновато подобрался. Намек Востротина уразумел вполне и ответ готовил. Ты, мол, не из берлоги вылез, а из подворотни мистера Линда — русского американца во французских штанах; ты и Россию готов продать — хоть американцам, хоть французам — кто дороже заплатит, а в русских медведей пальцем тычешь. «Погоди, ужо рубану сплеча».

Но рубануть не удалось...

Востротин трагично возвысил голос:

— Азиатчину и варварство, господа, терпеть нельзя в наш просвещенный век. А что вы скажете, если один из миллионщиков, не брезгуя ничем, грабит инородцев в Урянхайском крае и учиняет варварские самосуды? Этот миллионщик до того озверел, что даже собственную дочь поместил в публичный дом...

— Господи! Кто такой? — ахнули, оглядываясь.

У Елизара Елизаровича пот выступил и борода мокрой стала. Прямо перед собой он видел бутылку в ведерке. Схватить бы ее да в башку Востротину!

Не схватил...

Гадалов поспешно ушел, и Евгения Сергеевна удалилась.

Один. «Господи помилуй, на позор выставил, иуда! Христосиком прикинулся».

— Кто же это, господа? — охала Синельникова.

— Сейчас узнаете, — кривил губы Востротин. — Пусть сама эта девица расскажет, как благословенный родитель издевался над нею, чуть не убил, прежде чем выгнать на все четыре стороны... без участия и поддержки, без вида на жительство, без копейки денег. И она ушла, несчастная, скитаться по земле.

Елизару Елизаровичу будто серой горячей ударило в ноздри, воздух стал угарным, дыхание перехватило. Беда пристигла. Беда...

Вот как надумал отыгаться за сто тридцать семь тысяч золотых целковых Востротин. Учудил спектакль, подлец! А сам-то каков? Не он ли с Линдом содержит особый дом на Береговой, и в тот дом мадам Тарабайкина-Манчжурская поставляет девиц для утехи? А мало ли он, Востротин, пустил людей по миру? Мало ли выжал золотишка из посконных душ приискателей, мыкающих жизнь в потемках? Рыкнуть бы на всех, топнуть да за шиворот схватить джентльмена, вытряхнуть из французских штанов да выставить перед всеми напоказ: глядите, каков Христосик!

Не рыкнешь и не топнешь... У джентльмена хватка не волчья — тигриная. Мягкими шажками, умильными словесами, с образованностью, начитанностью да за горло ближнего! А что он, медведь? Ни образования, ни повадки тигриной, весь наружу — без всякой хитрой накладки.

Поруха!..

Рванул крахмальный воротничок — черная бабочка спорхнула на пол.

Он стоял один возле столика, дрожа от ненависти и стыда. Кулаки, как кувалды, а бить — некого. Эх, кабы господь умудрил словом! Не одними миллионами, оказывается, бить надо. Но господь не дал слова. Нем как рыба или того хуже... Погодите же! Не спешите с заупокойной службой, живодеры!..

Утеха малая, когда всеми поруган, да без утехи совсем хана...

— Прошу вас, — вещает гладенький Востротин во французских штанах, — проявите милосердие к поруганной девице. Она ни в чем не виновна...

Все с нетерпением ждали, что за девицу приведет господин Востротин. Надо было уйти Елизару Елизаровичу, уйти от позорища, да он все еще на что-то надеялся.

И вот появилась она...

Все поднялись, глядя на стройную красавицу с черными волосами, собранными в замысловатую прическу. Она была в нарядном голубом платье, голову держала книзу, совсем молоденькая, и не такая уж разнесчастливая, какой изобразил Востротин.

Евгения Сергеевна испуганно ойкнула: «Дарьюшка!»

Елизару Елизаровичу словно нож сунули под лопатку. Он выпрямился во весь свой богатырский рост и рот распахнул. Истинно

так: «Дарьюшка! Господи помилуй, из больницы взяли, — успел подумать. — Да што же это, а? Полковника подыму! Самого губернатора!»

И — был таков.

Все ждали, когда Востротин назовет имя черноволосой красавицы, но он нарочно медлил.

— Прошу любить и жаловать! — сказал наконец, беря девицу за руку. — Дочь Елизара Елизаровича Юскова, нашего почтенного сокомпанейца, хлебосола и христианина. Как пас звать, барышня?

Девица удивилась:

— Ужли забыли, Петр Иванович? Лилией звать.

— Именно гак нарекли вас родители? — домогался он.

— Так уж родители! Родитель мой выбил из меня имя кулаками. Век не забуду!

Елизар Елизарович мчался в распахнутом пальто. Он шкуру спустит с доктора. Он всех жандармов поднимет на ноги. До губернатора дойдет. «Погоди ужо, французская харя, учищу тебя — родня не признает! — кипел миллионщик. — Законом учищу».

Было три часа дня, когда Елизар Елизарович, как вихрь, влетел в ограду больницы. Ступенек не считал — одним махом перемахнул все, пхнул сапогом дверь.

Доктор Столбов не успел подняться с кресла, как Елизар Елизарович схватил его за воротник.

— Душу из тебя поганую вымотаю! Где она, сказывай? Как ты посмел отпустить ее на поругание в дом терпимости? Сказывай, чудище!

— На помощь! — взревел Столбов. — Санитары!

— Я те дам санитаров, чудище! Век помнить будешь. К губернатору поволоку! — И, как пушинку, поднял доктора с кресла.

Подоспели санитары, привычные к обращению: медведя подмяли, завалили на кушетку.

— Вяжите, вяжите! — распорядился Столбов.

Елизар Елизарович хрипел, отбивался, но санитары связали.

— В смирительную!

... Девица назвалась Евдокией.

— Евдокия Елизаровна? — уточнил Востротин.

— Отреклась навек от родителя... Евгения Сергеевна ласково спросила:

— Вы сестра Дарьи Елизаровны?

— Сестра. В один час родились.

— Вы так похожи...

— Еще бы! — усмехнулась Дуня. — Родимая матушка и то пас путала. Глянет на которую и спрашивает: Дуня али Даша? У нас и родинки на одном месте. Да родители по-разному распорядились. Дарью в гимназии учили, баловали, а меня в пятнадцать лет замуж выдали за Урвана, который был управляющим у Иваницкого. Ох, и натерпелась я от Урвана!.. Что родитель, что он — из одной берлоги. Измывались так, что руки на себя наложить хотела.

Тут госпожа Синельникова прослезилась...

Умяли миллионщика — ни ногой дрыгнуть, ни прыгнуть. Явился Столбов. Санитары отошли от железной кровати.

— Ну, как себя чувствуете? В ответ — утробное рычание.

— М-да, — сказал доктор.

— За Дарью душу из тебя вымотаю. За взятку продал? Сколько отвалил Востротин?

Доктор снисходительно покачал головой: бред. Теперь понятно, что за болезнь у Дарьи Елизаровны: наследственность. Но Елизар Елизарович ровно догадался: чего доброго, можно и остаться здесь, в этой келье каменной!

— Ладно уж, — примирительно сказал он, — Дело щекотливое, понимаю. Востротин отвалил тебе изрядный куш, ну да и я не без денег. Упреждаю: за Дарью жандармское управление ответ потребует.

Доктор уставился ему в глаза.

— Так что же она?..

Елизар Елизарович ответил: только что видел Дарью в доме Гадалова; ее привели из заведения, дабы опозорить родителя перед миллионщиками; все это, конечно, подстроил мошенник Востротин, с которым он, Елизар, на ножах.

— Ах, вот как! — соображал доктор. — Но, позвольте, как же могла Дарья Елизаровна оказаться в доме Гадалова, если она находится у мена, здесь?

— Нету ее здесь.

Столбов подумал, пощипывая бородку, и приказал санитарам привести больную.

— Господи помилуй, ежели Дарья здесь, — проговорил Елиزار Елизарович, уже догадываясь обо всем. — Как я запомнил?.. Должно, Авдотья отыскалась...

— Авдотья?

— Двойняшки они, — тяжело вздохнул Елиزار Елизарович, пробуя высвободить руки. — Развяжите: ежели Дарья увидит — испугается. Господи, экая напасть! А я-то подумал, что Дарьюшку Востротин вытащил. Дуня же это. Дуня!

Из коридора в смиренную комнату ворвался какой-то больной в сером рваном халате, с рыженькой бородкой, маленький, щедушный; выставив вперед ногу, подбоченясь, важно спросил:

— Царь я или не царь? Доктор оглянулся:

— А, ты!

Санитар схватил больного и потащил прочь из комнаты.

— Как ты смеешь, хам, хватать меня за царскую маятию? — надсажался больной, вцепившись рукой за косяк двери. — Царь я или не царь?

— Царь, царь, — успокоил доктор. — Но разве здесь твой царский трон? Иди на свой трон.

— Иду! Руки прочь, хам! Не пачкай мою царскую мантию!

Санитар подтолкнул царя в спину:

— Топай, топай!

Маленький рыжий человек вывернулся от санитаря, выскочил на середину комнаты и, царственным жестом распахнув рваный халат, притопнув, еще раз спросил:

— Царь я или не царь? — и рыжую бороденку задрал вверх, точь-в-точь как на одном из недавних портретов царствующей особы.

Доктор Столбов подошел к «царю» и взял его за бороду:

— Ты что, домогаешься, чтобы я приказал остричь тебе бороду?

«Царь» присел от испуга, забормотал, что он немедленно вернется на свой престол и будет тих и нем, как того требует господин доктор.

— Без бороды мне сразу смерть. Сразу смерть! Отпустите, господин доктор. Ради Христа, отпустите.

— То-то же, царь. Иди и сиди смиренно на престоле. «Царь» покорно убрался восвояси.

— Экое! — бормотнул Елизар Елизарович. — На царя-то, господи помилуй, очень запохаживает. Как вроде с патрета срисован.

— Совершеннейшая копия, — поддакнул доктор Столбов, — дюйм в дюйм. Если поставить рядом с царствующей особой в соответствующем облачении, то не сразу узнаете, который из них лжецарь. На том и помешался.

Елизар Елизарович подавленно притих, чувствуя себя весьма неуютно на жесткой, как каменная плита, койке.

— Развяжите, господин доктор, — жалостливо провернул Елизар Елизарович, багровея от стыда. — Извините великодушно, если вышло так нехорошо. Позорище-то экое учинил Востротин в доме Гадалова! Нежданно-негаданно, и вдруг такое!

Распахнулась дверь, вошли санитары, с ними Дарьюшка. Тихая, как тень; волосы едва прибраны, сама в халате, босиком. Ни слова. Ни вздоха.

Доктор заслонил собой Елизара и велел санитарам увести Дарьюшку.

— Ну-с? Что скажете?

— Виноват. Кругом виноват... Вижу теперь: укатают меня, укатают...

— То есть?

— Востротин на всю губернию ославит за Авдотью. Ждал ли экое! Ни сном ни духом. Из памяти вышибло будто.

Столбов начал развязывать Елизара.

— Что же вы намерены предпринять?

— Из ума вышибло, — повторил Елизар Елизарович. — Призову полицию, чтоб взять Авдотью из заведения. Эка напасть, господи!..

Поднялся помятый, жалкий. Покуда приводил себя в порядок, Столбов намекнул, что хлопот с Дарьей тут немало: и то и се. Миллионщик уразумел намек: пообещал чек на три тысячи, чтобы содержать больную не в голых стенах, а как положено, в приличном помещении, и чтоб она ни в чем нужды не знала.

— Особо упреждаю: ни в коем случае не допускайте никаких господ, окромя Евгении Сергеевны Юсковой с дочерью. Может еще припожаловать прапорщик такой, Боровиков фамилия. Скажет если, что Дарья невеста его, — враки! Ежли на рожон ползет — образумьте, чтоб век помнил...

Дарьюшка тем временем, сидя в каменной келье, глядела сквозь решетку окна на дворик — пустынный и голый, с вытоптанной травой. За двориком — стена, над ней серое осеннее небо: он всегда здесь серое, неуютное, без солнца.

На столике — Евангелие. Единственная книга, которую дозволили читать, чтоб Дарьюшка в уме укрепилась.

Затворница...

... Позор, позор, позор!

Кого бы Елизар Елизарович не встретил из своих, каждый отворачивал морду.

Молва по всему Красноярску: такой и сякой, жестокий, алчный, красавицу дочь погубил. Дуню, конечно. Про Дарьюшку никто и словом не обмолвился: не успели прознать, что ли?

В поисках беспутной Дуни понаведалься в заведение к мадам Тарабайкиной-Маньчжурской, прихватив с собою для бодрости квартального. Но Дуни там не оказалось. Была ли? Была, но не долго. Перешла будто на содержание господина Востротина и что Востротин увез ее в Питер.

— Ищи-свищи! Позор, позор...

Одна дочь в сумасшедшем доме, другая — проститутка. А третья дома — убогая и горбатая!..

«Так и жизнь кончится, — горестно раздумывал Елизар Елизарович, поглядывая на чубатые, седые горы. — Не все горы одолею, должно. Горы все выше и выше, а силы все меньше и меньше. На какой-то горе и аминь отдам».

Понимал: жизнь менялась не по дням, а по часам. К добру или к худу?..

Давно ли был он царь и бог тайги, и никто не смел перечить, а теперь хамье поднимает голову, какое-то соображение имеют, на царя поплевывают и самого бога под лавку упрятали.

Куда же девалась старина?..

ПЕРЕВОРОТ

Сказание третье

*И сей день не без завтрашнего.
Без огня овина не высушишь.*

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

I

Минули новогодние праздники, настал 1917 год...

У Дарьюшки в гостях побывал отец. Неловкий, ласковый, участливый, прячущий глаза, с богатыми подарками, с поклонами от всех Юсковых.

— Приневоливать не стану, — виновато пообещал отец. — Живи как надумаешь. Потребуется помощь — скажи.

— Спасибо, — кротко ответила Дарьюшка.

— Поправишься — живи у Михайлы Михайловича: не откажут. Да и денег я оставил Евгенье Сергеевне. Хочешь — приезжай домой. И про замужество также: выйдешь за кого — с богом; девой жить будешь — спаси Христос.

Дарьюшка не удержала слез. Если бы давно вот так поступил отец, разве бы она пережила столько унижений и мук?

— Григория Андреевича призвали на службу в казачье войско атамана Сотникова, — сообщил как бы между прочим. — Из России слухи идут: престол самодержца поталкивают в столице. Как бы не рухнул! Народишко отощал за войну. Голодуха.

И вдруг Дарьюшка явственно услышала знакомую мелодию «Боже, царя храни...»

Отец достал часы из кармана, нажал головку, чтобы оборвать музыку, поднялся.

— Облобызаю тебя да пойду. Дела-то ноне крутые: ни сна, ни покоя. — И, чмокнув дочь в переносье, ушел из палаты к доктору на второй этаж.

Пожилой, обрюзгший и неряшливый Столбов, нетерпеливо похаживая по кабинету, говорил что-то о нервно-реактивных психозах и что Дарьюшка, в сущности, почти здорова, да и не была столь опасной больной, чтобы ее изолировать, но тем не менее...

— Она может остаться пожизненно в психиатрических больницах.

— Как так «пожизненно?» — тарачился Елизар Елизарович.

— Такое поступило решение губернского жандармского управления, — ответил доктор. — Если будете ходатайствовать...

— Да я их в пыль, в прах!

— Если можете, буду вам признателен, — поклонился доктор, пощипывая клин бороды, и Елизар Елизарович вынужден был прикусить язык: никого он не разнесет «ни в пыль, ни в прах»...

Единственное, чего добился таежный медведь, — доктор обещал держать Дарьюшку в Красноярске, а не отправлять в Томскую психиатрическую больницу в строгую изоляцию, как было определено решением губернского жандармского управления, скрепленным подписью прокурора.

Мороз, мороз и — тоска!..

Дни короткие, ночи длинные.

Отгорел на щеках Дарьюшки румянец. Сгорбившись, петляла по палате и все зябла, засовывая руки в рукава халата. Глаза ее, такие ясные когда-то, смоляные, точно опрокинулись и глядели внутрь, как в единственный источник радости и утешения. На лбу врезалась вертикальная черточка — редко расходились брови.

Тоска!..

Лютая, мутная, неизбывная. Схватывала ночами за горло, втискивая лицо в подушку, истекая скупыми слезинками, от чего на душе становилось еще беспросветнее.

Так вот какова «счастливая третья мера жизни»!

В редких снах напоминало о себе нешумливое, таежное детство, тройки с колокольцами на масляной неделе; суетливый Елизар-второй с пением псалмов, нелюдимый отец при золотых часах; набожная Клавдеюшка; горемычная скиталица Дуня и, совсем некстати, есаул Григорий с его жадными глазами...

Был день. Обыкновенный, зимний. Самодержец всея Руси — царь Польский, великий князь Финляндский и проч., и проч., и проч., —

помазанник самого господа бога Николай Второй отрекся от престола.

Власть перешла в руки Временного правительства, составленного наспех. Туда вошли: князь Львов, известные капиталисты Гучков, Терещенко, Коновалов, буржуазный историк-публицист Милюков и «демократ» эсер Керенский и проч., и проч. «Десять министров-капиталистов».

Бурлящая кипень, очищающая от скверны.

— Революция!

Телеграфист почтамта, тихий чиновник, принимая чрезвычайную депешу, испугался: «Быть того не может! Не ошибка ли? Не провокация ли томских телеграфистов?!»

Бумажная лента текла на стол, испещренная точками, тире, скручивалась витками, заполненная таким огромным содержанием, объять которые не в силах был чиновничий ум.

«Всем, всем, всем!.. Самодержец всея России... Создано Временное правительство...»

Схватив ленту, телеграфист побежал к начальнику почтамта. Тот некоторое время хлопал глазами, а потом сказал, что надо «подождать до вечера», и, тяжело отдуваясь, вышел охолонуться на воздух.

И телеграфист, исполнительный и благонадежный, не утерпел-таки, вынес из кабинета начальника потрясающее известие в присутственный зал...

Из почтамта — на улицу. И понесло, завьюжило по городу на Енисее. Из дома в дом, из казармы в казарму, а к вечеру весь город охватило пламенем:

— РЕ-ВО-ЛЮ-ЦИЯ!..

Еще никто не знал, не догадывался, как она полыхнет по России, кого столкнет в яму забвения и притопчет, кого вознесет, кому суждено жить, а кому сложить голову во славу ее торжества, но ее приняли без оговорок, как долгожданное утро после кромешной ночи.

Униженные и оскорбленные поднялись, дохнув во всю грудь, готовые к подвигам и жертвам.

Буржуазия — именитые купцы всех гильдий, промышленники, мещане, акционеры всех компаний, пайщики банков, чиновники, — сперва перепугались, но, поразмыслив, согласились: во Временном-то нашенские люди!..

В доме Михайлы Юскова ликовали, нацепив красные бантики, вспомнили про существующую партию конституционалистов-демократов, или, как ее все знали, — кадетов, — «нашенская партия»!..

Престарелого Михайлу Юскова выдвинули большаком губернских кадетов. «Согласен, господа, — поклонился старик единомышленникам и отдельно Гадалову. — Если у нас будет парламент, терпеть можно». Но не сказал, что и царь должен остаться на престоле, как в Англии король: надо же и помазаннику божьему уделить кусок пирога. Не гнать же, коль сам господь послал!..

Вьюжит, вьюжит мартовская метелица. Мороз кует землю, а всем жарко:

— РЕВОЛЮЦИЯ!..

II

Подобно жар-птице, в палату к Дарьюшке впорхнула Аинна Юскова, в норковой жакетке с алым бантом на груди, в собольей шапочке, прикрывающей только на затылке узел ее каштановых волос. И вся она, разгоряченная морозом, событиями, готова была вспыхнуть и сгореть.

— Даша, милая ты моя подружка! — обняла Аинна Дарьюшку. — Теперь ты свободна, Дарьюшка! Ты же настоящая революционерка! Кончилась власть жандармов, и ты будешь с нами!.. Если бы ты знала, что происходит в нашем доме! Даже старик расшевелился и не брюзжит. Представляешь? Он теперь председатель партии кадетов, или Союза семнадцатого октября, — не разбираюсь. Все отчаянно возбуждены, и такие разговоры — ужас! Как бы старика не хватил удар, ей-богу, — выплескивалась Аинна. «Стариком» она называла отца, Михайлу Михайловича Юскова. — И на нашем механическом заводе митингуют, и в депо, и солдаты в гарнизоне, и в мещанской управе был митинг. Везде, везде! По всему городу. Столько открылось партий — ужас! Я и не представляла, что в нашем городе так много разных партий. Боженька! Вся Кача кишит ворами и налетчиками. Тихий кошмар. Теперь без оружия не выйдешь на вечернюю прогулку. Дядя преподнес мне подарочек. — И, оглянувшись на дверь, Аинна

достала из меховой муфты французский пистолет, помещающийся на ладони.

Слушая Аинну, глядя на ее пунцовое лицо, Дарьюшка никак не могла понять, что за революция в городе.

— Что ты так смотришь? — опомнилась Аинна. — Или ты не рада, что произошла революция и царя свергли?

— Царя свергли?! — округлились глаза у Дарьюшки.

— Так ты ничего не знаешь? О, господи! Такие события. Даша! Нету царя, нету! Со всем престолом рухнул. Власть перешла в руки Временного революционного правительства. Представляешь? Революци-он-но-го! Все жандармы из города скрылись.

— Жандармы? Скрылись? Куда скрылись?

— Попрятались, как крысы в норы.

— Я ничего не знаю. Ничего не знаю. Меня же, видишь, как арестантку, под замком держат. Евангелие, тетрадка и вечный замок. И этот проклятый доктор! О!

— Ты теперь свободна, свободна!

— Они меня не отправят в Томск?

— Ты же выздоровела? Доктор сказал, что у тебя все прошло и ты теперь совсем забыла про эти самые «пять мер жизни»! Страхота, ей-богу! До чего тебя довели!

Так вот в чем дело! Они думают, что Дарьюшка действительно сошла с ума, когда говорила, что существуют разные меры жизни у каждого человека. И фельдшер сколько раз предупреждал Дарьюшку, что если она будет говорить о мерах жизни, то ее обязательно отправят в строгую изоляцию в Томскую психиатрическую и она навсегда останется там. И Дарьюшка схитрила: научилась умалчивать про свои думы. Никому нельзя доверять, даже подруге Аинне.

— Мы с тобой вступим в партию социалистов-революционеров. Это будет потрясающе. Мы — эсерки! Эсерки!

— Эсерки? — Дарьюшка вспомнила о партии большевиков, к которой принадлежал Тимофей.

— Большевики? — Аинна покачала головой. — Такой партии нету. Ты что-то перепутала, милая.

Нет, Дарьюшка ничего не перепутала.

— У нас в Белую Елань перед войной пригнали в ссылку одного большевика...

— Их всех гнали в ссылку! И эсеров, и анархистов, и террористов. Тебя арестовали как террористку, потому и держали так строго. Боженька! Террористка. Тихий ужас. Ты ведь не помнишь, как напала на конвой?

— Я не нападала на конвой. Это жандармы выдумали. Я только хотела, чтобы люди не жили в цепях и не шли на каторгу, как животные. Они же люди!

— Боженька! — Аинна рассыпалась звонким смехом. — Это и есть призыв к свержению царя со всеми жандармами. Они же на штыках и тюрьмах держались.

— Да, да. На штыках и тюрьмах, — повторила Дарьюшка. — Но если бы ты знала, какие они жестокие, свирепые и подлые! О! Я помню. И вечно буду помнить.

— Что помнить? Зачем помнить? Тебе же будет хуже. Как говорит Ионыч: «Не надо травить старые раны».

Дарьюшка закашляла, закрыв рот платком. Она теперь часто кашляет, еще с декабря. Сколько раз ее ослушивали и осматривали доктора. Один из них предупредил, чтобы боялась простуд, сырости и особенно распутицы. Фельдшер потом пояснил, что доктора нашли у нее бронхиальную астму. Он такой славный старичок, фельдшер! Она не знает ни его фамилии, ни имени и отчества, но всегда с нетерпением ждала его дежурства. Он разрешал ей выходить из палаты в квадратный дворик за высоким забором, и она наслаждалась морозным воздухом, а потом кашляла.

— Ты что-нибудь пьешь от кашля?

— Пройдет, — ответила Дарьюшка, — Как мне надоело здесь! Всегда одна в палате. Такая скука и ужас. И крики, крики, стоны. Тут одна сумасшедшая кричит ночами напролет, и я так измучилась. Ты за мной приехала? Правда? О! Хоть сейчас! Только как же в халате?

— Бог мой! Я же тебе привезла пальто и все что надо.

Сейчас оденешься и — на санках по городу. Шикарно!

Настывшая беличья дошка, фетровые боты и даже красный бант с английской булавкой. Дарьюшка с радостью сбросила с себя больничное белье, халат. Аинна с ужасом заметила, как она похудела.

— Теперь ты поправишься, милая. Будешь, как я! — И надула свои красные щеки, как резиновые мячики. — Шикарная рубашка! О! Это голландская. Большая? Ой, ой! Ты в ней утонула. Боженька!

Ничего, подберем другую. Я же не думала, что ты стала такая пикантная особа. Как былинка в поле. Ой, умора! Сегодня у нас будет званый ужин. Мой дядя князь Толстов пожалует из гарнизона со своими революционерами. Умора! Теперь все революционеры.

Вот и расписные санки с медвежьей полостью. Сколько раз Дарьюшка каталась в этих санках с Аинной, когда еще была гимназисткой!..

— Узнала Василия? — толкнула Аинна кучера в спину.

— Да.

— Помнишь, как он вывалил нас на Енисее и я вот такую шишку набила об лед?

Дарьюшка запомнила про шишку.

— Дак ведь тогда Дарьи Елизаровны не было, — обернулся кучер. — С одной из сестер Терских катались.

— Хорошо, что напомнил. Завези меня к сестрам Терским. Я их должна пригласить на вечер.

На стенах некоторых домов торчали древки с флагами, и флаги были разные — от бело-голубого андреевского до совершенно красного. А с одного балкона свешивался черный флаг.

Оставили Аинну у дома Терских и поехали обратно. Вот и дом Юсковых — лупоглазый, не успевший потемнеть от времени, из мендовых бревен с причудливым угловым балконом.

Обширный двор с каменной конюшней на три выезда, в глубине ограды американский автомобиль, закрытый брезентом; домик «для людей» — конюхов, дворников, лакеев; поднавесы с экипажами и санками; парнишка с метлой на середине ограды, дворник в фартуке с широченной деревянной лопатой, сгребаящий в кучу выпавший с утра снег, и знакомая дверь, обитая тисненой кожей.

Дарьюшка приглядывалась к каждой мелочи, узнавала и, не торопясь, шла к господскому дому.

«Тут все так же! Сейчас увижу Ионыча».

И лысый Ионыч встретил Дарьюшку в прихожей у двери.

— Слава Христе, возвратились! А у нас в доме такая круговороть с этой революцией! Все с ног сбилось. Отродясь такого не было. Даст бог, утрясется, умнется, и опять будем жить-поживать и песни попевать.

Сообщил, что для Дарьюшки приготовлена комната по соседству с гостьей из Петербурга — сестрой хозяйки, и если Дарьюшке не понравится, она может перейти в первый ярус, где жила в гимназические годы, и что в доме сейчас гостюет старший сын Михайлы Михайловича от первого брака подполковник Владимир, бывший помощник военного атташе в Англии, неделю назад приехавший из Владивостока, и что вместе с ним припожаловало много чужеземцев и, слава богу, уехали четверо — остался еще какой-то русский мексиканец, «бунтовщик и разбойник».

Наверху Дарьюшку встретила Евгения Сергеевна, моложавая, прямая и статная, в черном бархатном платье с белым воротничком и с красным бантиком на упругой груди, с такими же синими округлыми глазами, как и у дочери Аинны, с шишкой русых волос, уложенных на затылке и сколотых черепаховым гребнем с камнями, — «еще бабушкиным наследством».

— Прости, милая, я у тебя так редко бывала, — певуче проговорила Евгения Сергеевна, поцеловав Дарьюшку. — Весь дом на мне, весь дом! А тут еще такие события!.. Но как же ты исхудала, милая. И печальная.

— Я? Н-нет. Что вы, Евгения Сергеевна.

— Глаза у тебя печальные, — промолвила Евгения Сергеевна. — У меня такие же были, когда я выходила замуж за Юскова. Но ведь тебя никакой старик не сватает? — вымученно усмехнулась, думая о чем-то далеком от Дарьюшки. — Ну, да все пройдет! Встряхнешься после больницы, забудешь совсем о своих мерах жизни, и глаза станут веселыми. Сейчас бы тебе ехать на воды, но такие события! И

на водах, наверное, революция!.. Ты ведь совсем поправилась от этого...

— Да, да. Поправилась, — с запинкою ответила Дарьюшка.

— Слава богу! Ужасно, в каком ты была состоянии, когда тебя привезли. Просто смешно, как ты размеряла жизнь на пять мер! Я так и не узнала, что с тобой случилось. Ну, мы еще поговорим. Сейчас походи к себе — там все приготовлено. Оденься, ванную можешь принять, а потом, вечером, милости прошу в гостиную, Аинна говорила тебе, что брат мой, полковник Сергей Сергеевич, бесстрашный рыцарь, прибыл с фронта со своими офицерами еще осенью? Такие события!..

И ушла, величественная, холеная, нарядная.

III

В доме Юсковых не было того продуманного порядка и стиля, как в петербургских и московских домах. Все тут было чересчур крикливо, несимметрично, надменно и даже пошло. Что-то старорусское, купеческое пучилось в каждой комнате, залах, коридорах, боковушках, из каждого угла. Глупо устроены были отяжеленные металлом электрические люстры, настенные бра, зеркала, пушистые ковры и громоздкая мебель. Каждый, кто входил в дом, невольно сталкивался с этим коммерческим, бестолковым, крикливым и уродливым вкусом.

В доме Юсковых не было ни порядка, ни согласия.

Евгения Сергеевна открыто позорила мужа и гордилась этим, презирая пересуды знатных дам; дочь Аинна жила обособленно, никому не подчиняясь и никого не признавая. Лакеи, слуги, горничные, служащие главной конторы не знали, перед кем гнуть спину. Распоряжались все: старик Юсков и Юсков-сын, начиненный лондонским туманом; чувствовал себя хозяином мистер Четтерсворт, американец, доверенный Джона Принстона Моргана, чьими капиталами пользовались и Юсков-старший, и Гадалов, и Востротин.

Юсков во всем был зависим от вице-председателя Сибирского акционерного общества пароходства, промышленности и торговли Востротина, а тот, в свою очередь, зависел от заокеанского капиталиста, в чьих руках был основной пакет с акциями.

Сам Четтерсворт, проживающий у Юсковых, исполняющий волю своего хозяина не без интереса для себя, задавал тон в доме, любезничал с хозяйкою без стеснения и как бы подсматривал за престарелым Юсковым. И хозяин, шаркая пятками, уползал в свою нору — в ореховый кабинет за дубовой глухой дверью, замыкаемой на три ключа. В кабинете стояли бельгийские металлические сейфы с ценными бумагами, а теперь, в тревожное время, в сейфы перекочевало не менее двух пудов золота в слитках, несколько пудов серебра и золото в валюте.

Все эти дни после возвращения сына из Англии, откуда он был отозван еще по указанию самого царя, Юсков-старший находился в таком состоянии духа, которое мучительнее всяких угрызений совести.

Хмуру, подозрительно смотрел он на домочадцев и особенно на сына, который вернулся с Британских островов утратившим дух русский, ругающим все и вся, да еще приволок за собою свиту навязчивых, грубых и наглых людей, которые шумели, много пили, судили русских, в доме которых ели дармовой хлеб. Смеялись над русскими генералами, не умеющими воевать, хвалили Вильгельма и его вышколенное войско с доблестными полководцами и в то же время трещали о том, что русская армия должна немедленно, теперь же начать решительное наступление и что они, англичане и американцы (хотя единственный американец, который приехал с ними, был частным лицом), предвидят плохой конец войны, если царь Николай не предпримет что-то, в чем они и сами не разбирались. И вдруг грохнуло: в Петрограде — революция, царь сошел с престола. Господа из-за морей посовещались и спешно выехали в Петроград, чтобы с достоверностью узнать, что же творится в России и каковы будут последствия русской революции для капиталистов лондонского Сити и американского Уолл-стрита.

В доме Юсковых остались двое: постоянный гость, Сэмюэл Четтерсворт, прозванный Серым чертом, и вольнопутешествующий революционер из Мексики Арзур Палло, с которым подполковник Владимир находился в довольно странных отношениях.

«Что у него за связь с этим русским мексиканцем? — думал Михайла Михайлович. — Или мало своих бунтовщиков, так притащил с заморья! Эх, Володя, Володя! Лучше бы ты стал деловым человеком, а не бестолковым политиканом! Потому и отозвали из посольства — кругом запутался».

Жену Евгению Сергеевну Михайла Михайлович просто ненавидел, как мерзкую и похотливую самку. «Так она и будет барахтаться в грязи. Там ей и место! Скверно. Гадко. Скверно!» — бормотал старик себе под нос.

Он знал о ее связи с Востротиным. Да и как не знать, если эта связь длилась чуть ли не двадцать пять лет. Он знал и то, что дочь его Аинна, похожая на красивую розовую бабочку, вовсе не его дочь, а Востротина. Но он молчал. Он всегда молчал. И молчал не потому, что боялся петербургских Толстых, предприимчивого Востротина, нет, он просто понимал, что даже в нравственном падении Евгения

Сергеевна была превосходна. Она была сильнее его и чище. Она не скрывала своих грехов и была откровенна в своей любви и ненависти.

«Она подлая, беспутная, а я боюсь ее и чувствую себя виноватым псом», — гнулся старик, не в силах выдержать натиска пронзительно-синих глаз Евгении Сергеевны. И каждый раз, прячась в своем кабинете, разматывал старческие думы.

«Кругом скверна и ложь. Во лжи погрязли и не видим исхода. Добро и зло — всего-навсего слова, и в сущность их никто не верит. Отчего же? И жизнь наша не стала красивее. Родитель мой шел с общиной какого-то Филарета Боровикова — пугачевца; крестились двумя перстами, бежали в Сибирь от антихристовых слуг — от царя и крепостной неволи, а сами себя мучили и сыскали погибель через собственную жестокость. Не стало общины, и люди разбрелись по всей Сибири, в забвенье ушли. Так же и мы: не ведаем любви к ближнему, не ведаем добра и зла. Всяк живет во имя живота своего. И будем мы барахтаться в скверне и отойдем в небытие, как говорит моя престарелая мать».

Мать, Ефимия Аввакумовна, стодвенадцатилетняя старуха, еще жива, бодра и проклинает дом, из которого ушла под натиском невестки.

«Не зреть мне тебя, Михайла, — сказала старуха на прощание сыну. — Паскудство в твоём доме. Блудницу держишь».

«Блудница, блудница!» — пыхтел Михайла Михайлович. Но отчего же блудница чувствует себя девою непорочной и все трепещут перед нею, в том числе и он, старик?

«Когда я говорю: «Спаси и помилуй меня, боже» — это все равно, как если бы я сказал: «Ионыч, помоги натянуть сюртук!» Такая вера не от бога, а от нечистой силы, оттого и разврат. И умираем мы, как животные. Нам жаль жизни, жаль скверны, в какой погрязли от века. Отчего же нам страшно умирать?..»

Послышался тихий шелест, кошачье-мягкие шаги по ковру, и напахнуло духами.

— Ты здесь?!

Старик испуганно вздрогнул, просыпаясь от лени в мягком кресле, и уставился на жену. Лицо черное. Свет падал из открытой двери на затылок с шишкою волос.

— Истинно так, — продолжал свою мысль вслух старик, удобнее поворачиваясь в кресле. — Истинно так, матушка! Из ничто вышли, в ничто уйдем. И после нас...

— Ей давно бы пора уйти в ничто, — иронически проговорил певучий голос жены, неприятный для старика и пугающий.

— Э? Кому пора уйти?

— Твоей престарелой матушке, мешающей жить другим, — спокойно ответила жена. — Какой ужас! Сто двенадцать лет! К чему столько жить? Ради чего? Дряхлая немощность — обуза для живых. Их надо просто усыплять, престарелых. Усыплять и оздоравливать жизнь.

— Господи помилуй!

— Не пугайся. Ты еще не дожил до ста двенадцати лет.

— Кощунствуешь, Евгения. Кощунствуешь.

— Не умею притворяться, как вам это хорошо известно.

— Есть старики, которым за сто сорок лет. Вот в Енисейске живут многие, в Минусинске.

— Мало ли где не живут? И что же? Какая от них радость, от тех стариков? Кому интересно выслушивать брюзжание вековой отсталости? И ты бы хотел, чтобы я с ней любезничала! Слава богу, убралась. Если бы она была еще здесь, я бы дом разметала по бревнышку.

— Господи помилуй какая злость!

— Ты еще начнешь матушкины псалмы читать: «Дыханье в ноздрях наших дым...» А никакого дыма нет. Ты сидя спишь и пузыри пускаешь.

— Пузыри? — пошевелился Михайла Михайлович. — Ты чем-то расстроена, а?

— Созерцанием.

— Э? Каким созерцанием?

— На тебя смотрю и думаю: когда же ты наконец проснешься?

— Опять что-нибудь в городе? Митингуют?

— Ты совсем выжил из ума, — скрестила руки на груди Евгения Сергеевна. — И тебя еще выбрали председателем партии!

— Гм! Председателем? Все суета, Евгения. Суета сует.

— Господи! До чего же ты стар! — перебила Евгения Сергеевна, глядя на мужа сверху вниз. — Под нами земля горит, Россия в

судорогах, а тебе хоть бы хны!

— Ты чем-то расстроена, Евгения? Россия! Оставь Россию. Не первый раз у нее судороги, а все ничего, живем.

И в девятьсот пятом судороги были, и теперь, и при Пугачеве, и при нашествии Наполеона, и при Стеньке Разине...

— Хватит, Михайла Михайлович. Приведи себя в порядок и выходи встречать гостей. Не притворяйся.

— Опять гости! Господи, когда же все это кончится? Пошли Ионыча, пожалуйста. Или сама поможешь одеться?

Евгения Сергеевна презрительно фыркнула и ушла, а вскоре явился Ионыч.

— Ты?

— Я, Михайла Михайлович.

— Гм! Опять съезжаются гости?

— Съезжаются, Михайла Михайлович.

— И много их будет?

— Хозяйка послала приглашения Гадалову, Чевелеву, Востротину, его преосвященству и ждет гостей из гарнизона: генерал Коченгин должен прибыть со свитой, полковник Сергей Сергеевич обещался быть со своими офицерами, из войска казачьего ждут атамана Сотникова; и свои еще: подполковник Владимир Михайлович, русский мексиканец Палло, Серый черт, сестра хозяйки и вот еще пожаловал без приглашения господин Саямо, японец.

— И всех кормить?

— Столы накрывают па тридцать персон. Не могу знать, сколько будет офицеров из гарнизона.

— О, господи! Когда же кончат революцию? Есть же казаки, армия, генералы, пора бы и в чувство привести Россию. А? Что?

— Пора бы, Михайла Михайлович. Круговороть такая — спаси Христос. С ног сбились.

— Разор, разор, — стонал старик.

— Истинно разор.

— Владимир дома?

— С обеда уехал в гарнизон вместе с мексиканцем.

— Разбойник этот мексиканец, чистый разбойник. И харя у него разбойничья. А? Что? Экая напасть, господи! И все это в нашем доме. До каких же пор, Ионыч, а? И это в великий пост! Я просто не

понимаю тебя, Ионыч, как ты ужасно распустился. Ну что за безобразие — лучшие вина на стол! И гости, гости, гости! Третий день гости. Как будто подвалы Юскова без замков и хозяина. Бери, тащи! А? Что?

Старый слуга Ионыч, почитающий, как бога, своего незадачливого хозяина, умеющий слушать и отвечать в крайней необходимости, сейчас молчал, стоя перед Юсковым с покорно опущенною головою.

Хозяин и слуга — оба были лысы и несчастны, немощны и ежедневно испытывали на себе гнет энергичной хозяйки.

Ионыч еще парнем был отчислен из духовной семинарии в Санкт-Петербурге за чрезмерное послушание одному божьему пастырю, оказавшемуся тайным еретиком и агентом папы римского, за что и арестован был, осужден синодом на пожизненную ссылку в Сибирь, а вместе с ним и его сообщники семинаристы. Одни из них удостоились семинарского покаяния, другие бежали кто куда, Ионыч последовал за своим пастырем в Сибирь. И здесь, в Красноярске, устроившись лакеем в дом Юскова, Ионыч помогал своему духовному наставнику, но вдруг постригся и ушел в скит раскольников.

Минуло какое-то время — в скиту накрыли фальшивомонетчиков, печатавших на литографском камне «катеринки», и главою фальшивомонетчиков оказался тот самый божий пастырь, «римский крыж», духовник Ионыча, скоропостижно испутивший дух.

Подозрение пало на дом Юскова: фальшивки распространялись по Малой Руси, в Бессарабии, в Курляндии и Лифляндии. Кто их туда завозил? Через чьи руки текли поддельные банковские билеты, оборачиваясь золотом? И с чего у Юскова пухло богатство?

Ионыча арестовали, этапировали в Петербург, гоняли так и эдак и, ничего не добившись, освободили. С той поры слуга и хозяин дышали в одну ноздрю.

Сам Юсков, пайщик трех акционерных обществ, владелец механического завода и лесопильного, золотопромышленник, женился второй раз пятидесятилетним вдовцом на Евгении Сергеевне, из рода нищенствующих князей Толстых, запутавшихся в долгах.

Будучи в Петербурге, Михайла Михайлович «влип в эту историю» через каких-то старательных дам и опомнился в маленькой церквушке на Петроградской стороне, где и повенчали его с двадцатитрехлетней,

разочарованной в любви и жизни, обманутой неким уланским офицером голубоглазой красавицей Евгенией.

С того и пошла напасть. Михайла Михайлович старел и лысел, а молодая жена прибирала к рукам дом и дело, совалась всюду и везде, тягалась с сестрами Терскими, дочерьми умершего золотопромышленника, живущими на проценты от капитала, намереваясь вырвать из опекунского совета еще один прииск. Вскоре нашла общий язык с золотопромышленником и пайщиком акционерных обществ Востротиным, побывала с ним не раз во Франции, в Италии и, что самое удивительное, в игорном Монако родила дочь Аинну которой сейчас исполнилось столько же лет, сколько было матери, когда она перед алтарем поклялась не прелюбодействовать, жить по божьим заповедям и во всем быть покорной мужу своему...

— Она меня в могилу загонит, — бормотал Михайла Михайлович, одеваясь при помощи единственного единомышленника. — Кто ее там распекает, э? Серый черт, э? Или этот мексиканец, э?

— Не могу знать, — сопел тщательно выбритый Ионыч, хотя великолепно знал, «кто распекает красавицу хозяйку», скрывающую от всех и даже от господ бога свой солидный возраст, все еще воображающую себя молоденькой блондинкой, хотя давно волосы потемнели и голубые глаза стали синими, возле глаз гнездились морщины, хоть их нещадно гнала хозяйка массажами и косметическими масками, чему научилась у француженок. «Рвет землю из-под ног!» — думал про хозяйку Ионыч, наблюдая за всеми ее маневрами. Сейчас она ударилась в революцию, и кто знает, какое у нее представление о революции и что она от нее ждет? Возврата утраченной молодости? Новой жгучей любви, от которой бы уши горели и пяткам было больно? Кто знает!

— Опять будут речи, э?

— Теперь и рысаки в стойлах ржут, как перед потопом.

— Рысаки в стойлах? — повеселел хозяин, подтягивая живот, покуда Ионыч управлялся с пуговками штанов. — Оно так, Ионыч, все ржут, а толку мало.

— Как бы до голодухи не доржались.

— А? Что? До голодухи? Доржутся. К весне зубы на полку положат. Про рысаков не забыть бы. Огорошу почтенных гостей! Как

на грех, уши заложило. Ты это, таво, посади рядом со мной Володю, а с другой стороны, э, Чевелева, а?

— Не могу знать, Михайла Михайлович. Хозяйка распоряжается.

— Господи! До каких же пор, а? И поясницу не разогнуть. Пиявок бы поставить. Есть пиявки? А? Что?

Пиявки, конечно, припасены у Ионыча, и он их поставит, как только разойдутся гости.

IV

... Дарьюшка заблудилась в лиловом нагромождении скал. Красноярские «Столбы» — любимое место для прогулок горожан!

Кругом каменные глыбы, кремнистые кинжалы, выпирающие из земли, лохматые ели, сосны и фиолетовая тьма. Она бежит между замшелыми соснами возле серых «Столбов», куда когда-то ходила с гимназистами, карабкается по истоптанным залысинам камней, а следом за нею орущий Потылицын: «Опамятуйся, Дарья Елизаровна, опамятуйся!» Дарьюшка бежит, бежит, зовет на помощь, но не слышит собственного голоса, задыхается, и вдруг ее схватил Потылицын...

— Даша! Даша! Проснись же, пожалуйста.

Дарьюшка испуганно вскочила на постели, непонимающе уставилась на Аинну в черной юбке и в снежно-белой кофте.

— Как ты кричала во сне, бог мой!

— Страшный сон видела.

— Еще чего не хватало! И вся мокрая, ужас? — бормочет Аинна.

Дарьюшке душно. В груди больно, и в горле сушь. Она силится сдержать кашель и не может. Хватает из-под пуховой подушки платок и, прижав его к губам, долго и трудно кашляет, уткнувшись головой в резную спинку дубовой кровати.

— Ты простыла?

— Н-нет. Это после воспаления. Пройдет. Пожалуйста, открой форточку.

— Не продует?

— Нет, нет. Пожалуйста.

Забравшись на стул, Аинна возится с форточкой. Дарьюшка видит себя в большом начищенном зеркале в резной ореховой раме. Халат распахнулся, лифчик сполз, обнажив маленькие груди, выступающую

кость ключицы, бледное лицо и глядящие в пространство черные, лихорадочно блестящие глаза. Поправляет лифчик, растрепанные волосы и думает, что она теперь будет вечно кашлять, со дня на день тая, как чахоточная, и помрет, наверное, весной, когда расцветут фиалки и пламенные жарки... Нет, нет! Ничего не надо говорить. Опять запрут в больницу и будут там держать до самой смерти.

— Ужас, какой кашель. И у тебя нет лекарства?

— Пройдет. Это я в ванной прогрелась, а потом уснула, и так тяжело — лицом в подушку. Чуть не задохлась. «Столбы» приснились.

— Какие «Столбы»?

— Ну, те «Столбы». Помнишь, как мы ходили?

— А что в них страшного? Обыкновенные скалы. Вот чудачка!

— Который час?

— У тебя нет часов?

— Нету.

— Ох и жадный твой папаша-кержак. Я тебе подарю свои. Мне Володя привез вот эти швейцарские, а у меня еще трое.

— И без часов хорошо. Даже спокойнее; Если все время глядеть на часы, противно жить. Так и долбят: «Идем, идем, идем. Тики-так, тики-так! А — как? Куда идем?»

Аинна захохотала:

— Сейчас бы мексиканец сказал: «Из тебя, детка, выйдет философ!»

— Какой мексиканец?

Аинна помедлила и ответила с нарочитой веселостью, будто что-то пряча под шуткой:

— Сегодня ты его увидишь на ужине. Только не влюбись, смотри. Ты ведь такая тихая, скромная, а мексиканец — огонь и ветер и весь в шрамах... Один казак показывал мне шашку в зазубринах и хвастался, сколько он мадьярских голов размозжил напололам.

— Я бы не стала смотреть на такую шашку.

— И тебя бы прозвали кисейной барышней.

— Пусть кисейная, но никогда не помирюсь с жестокостью.

— Чудачка! Вся жизнь — жестокость. — И, что-то припомнив, Аинна заговорила чужим голосом: — Из чего состоит революция? Из жестокости. Какие силы двигают революцию? Жестокость. Революция подобно грозовой туче, накопившей в себе колоссальный заряд

электричества. Люди с горящими сердцами обретают дар речи и разят, разят, как молнии. Подобно молниям, люди в революционной буре скрещиваются, высекая искры, уничтожая скверну, обновляя общество. В революцию идут сильные духом — слабых она не принимает. Ты понимаешь, что это значит?

Дарья будто переломилась, присмирела, притихла.

— Я тебя не узнаю, — промолвила она.

— Не узнаешь? Значит, тебя еще не захватила революция, и ты, может быть, останешься в стороне от ее бурного потока.

Переведя дух, Аинна продолжала с той же стремительностью:

— Но и посторонних не будет. Революция сомнет их, раздавит и выбросит вон из жизни. Всякий, кто ищет обновления общества, отдаст свое сердце революции и — «да пусть святится имя его!»

— Боже, как ты говоришь, — прошептала Дарьюшка, чувствуя себя подавленной. Она, Дарьюшка, безнадежно отстала, ничего не совершила и вряд ли на что-нибудь способна, если революция — это сама жестокость! — Я ее сумею быть жестокой. Ненавижу жестокость!

— Ненавидишь? — Аинна усмехнулась. — А я вот сумею, на все решусь, если хочешь знать. Как говорит бабка Ефимия: «Отряхну прах со своих ног» — и пойду за ним на любые испытания!

— За кем? — хлопала глазами Дарьюшка. Аинна прикусила пухлую губку.

— За революцией, вот за кем. Мне терять нечего. — И, обняв Дарьюшку за плечи, таинственно сообщила: — Ты ведь не знаешь, какое завещание сочинил наш старик и держит в строжайшем секрете? Ох уж эти мне стариковские секреты!.. Так вот слушай: по завещанию старика все капиталы, пакеты акций, активы и пассивы и как там еще, не разбираюсь, и все движимое и недвижимое имущество наследуют его сыновья от первого брака: половину подполковник Владимир Михайлович, который сейчас приехал из Англии, одну четвертую часть младший сын, Николай Михайлович, который сейчас в Петрограде, и другую четвертую часть... Ионыч! Лопнуть можно. Ионыч!

— А Евгении Сергеевне?

— «Кукиш с маслом», как говорит кучер Василий.

— Как же это?

— Вот так же! И мне кукиш с маслом. И черт с ним, с его капиталами, не очень-то я нуждаюсь в них. Но самое отвратительное, Даша, чего я не пойму: старик собственный позор записал в завещание и передал его на хранение нотариусу. Он там пишет, что я ему не дочь и что он никогда не признавал меня своей дочерью, и выставляет в завещании каких-то свидетелей, которые подтвердят, что моя мать Евгения Сергеевна полтора года путешествовала в Италии и Франции и там родила меня. Отвратительно! И что он, старик, полтора года до моего рождения не имел близости с женою, в чем клянется всеми святыми. А потому жена его — блудница и скверна, и нет для нее никакого наследства. И дочь от этой жены — порождение скверны, и пусть она хоть сдохнет, старику не жалко! Стыдно, стыдно! И ты бы хотела, чтобы я осталась в этом доме? В доме обмана и лжи? Нет, нет и миллион раз нет!

Взглянув на себя в зеркало, удивилась, какое злое лицо, захохотала:

— Комедия, Даша! Бальзак, Бальзак, «Блеск и нищета куртизанок». Нет, нет! Это хуже, чем барон Нусинген! Это — Юсков! Хитрый, немощный, трусливый и пакостный, пакостный! И он еще хвастается, что по отцу происходит от стрельцов, какие были до Петра Великого, а по матери — от князей Дашковых. Лопнуть можно! Бабка Ефимия — княжеского рода!

— А я думала, что у вас в доме совсем другая жизнь, — призналась Дарьюшка.

— Другая? Обман и ложь.

— Да, да. Там, где богатство, там обман и ложь, — согласилась Дарьюшка.

— Не представляю, как мать проникла в тайну этого завещания старика, но это ужасно и подло! Он его сочинил после Нового года. Пятое, кажется. Все собирается умирать и цепляется за живых. Отвратительно! Мама предупредила, чтобы я помалкивала и что она еще примет меры. А я ей сказала: никаких мер не надо, а плюнуть на все и уйти! Разве ее убедишь? У нее свои понятия и соображения. А тут вдруг революция! Представляешь, как я счастлива?

— Счастлива? — Дарьюшка не понимала, что может дать подруге революция взамен наследства и доброго имени законнорожденной?

— А ты думаешь как? Все останется по-прежнему, да? Революция все перевернет, вот увидишь. И подлых стариков, и все их хитрые завещания, и банки, и акционерные общества! Всю ложь и гадость уничтожит. Да, да! Не веришь? А я верю, верю, видит бог! И скоро, очень скоро, Даша, уйду из этого дома обмана и лжи. О, если он меня поймет! Он должен меня понять. Должен. Он же видит, что я во всем с ним откровенна. Сам бог послал его к нам в дом.

— Кого?

Аинна будто не слышала вопроса. Что-то накопилось в ней бурное, клокочущее и рвалось наружу, пламенем обжигая щеки. Нет, это была не та Аинна, которую знала Дарьюшка в гимназические годы. В той Аинне было много неопределенного, беспричинно порывистого, язвительного: если кто-нибудь из гимназисток намекал ей, что она фактически не дочь Михайла Михайловича Юскова, то Аинна всячески защищала «старика», нарочито появлялась с ним в обществе, игнорируя представительного Востротина, и даже ссорилась с матерью. И вдруг та самая Аинна, которую так хорошо знала Дарьюшка, говорит, что в доме Юскова обман и ложь; и всю жизнь с Гадаловыми, Востротинными, Юсковыми, с их коммерческими промышленными банками, акционерными обществами, со всеми их привычными, установившимися связями с промышленными и торговыми компаниями Англии, Франции, Бельгии, Японии и Америки, надо разрушить, уничтожить, как скверну, как зло, порождающее зло. И что революция — та самая метла, которой простые люди, труженики, мастеровые заводов, железных дорог, солдаты и даже казаки выметут скверну из России.

Такого переворота всей жизни Дарьюшка не могла понять, а потому и не верила Аинне, догадываясь, что она не свои мысли высказывает, а чьи-то, безрассудно принятые близко к сердцу. Так кто же этот внушитель революционных мыслей, подчинявший себе темпераментную подругу? Кто он? Не мексиканец ли, про которого Аинна обмолвилась? Дарьюшка слышала от Ионыча, что вместе с подполковником Владимиром Михайловичем приехал некий русский мексиканец Арзур Палло, «бунтовщик и разбойник».

Аинна продолжала свое:

— Он говорит, что я могу испугаться, что революция не бал-маскарад. Но разве я из трусливого десятка, а? Помнишь, как мы

ходили тогда на «Столбы» и я спускалась с «Перьев»? Ты еще кричала: «Разобьется!» И мне было жутко. Гляжу вниз, в каменную щель, и холод за плечами: а вдруг разобьюсь? И тот парень-скалолаз, который был со мною, — помнишь? — говорит: «Если, барышня, обдерете спину, не жалко. Кожа новая растет. Все мы, столбисты, с ободранными спинами и боками. В лепешку не разбейтесь, вот что важно. Зубами держитесь за камни». И не разбилась же? Не струсила?

— Ты всегда была отчаянной.

— И буду! Лучше умереть отчаянно в драке, чем трусливой от страха.

— Я трусливая, да?

— Ты? — Аинна секунду подумала. — Ты как замок с секретом, никогда не узнаешь, какая ты. А я вся наружу. — И тут же, забыв про Дарьюшку, стиснув ладонями щеки, промолвила горячо и страстно: — Люблю, люблю, люблю! Это все как пожар, как наводнение, как ураган, что ли. Несет, несет и жжет, жжет душу! Ни сна, ни покоя. Пойду за ним хоть в огонь, хоть в воду, хоть на смерть. Я буду молиться на его шрамы, на его рубцы в сердце. Да, да! Рубцы в сердце. Будет гнать, а я буду идти, идти за ним. Всюду и везде! О, Дашенька, если бы ты знала!..

— Кто он, этот «со шрамами и с рубцами в сердце»?

— Не сейчас, не сейчас, Даша. Одевайся. Там ждут нас сестры Терские. Помнишь их?

— Клавдия, Валерия и Анна?

— Анна вышла замуж.

Дарьюшка вздрогнула. Одно слово «замуж» привело ее в ужас.

— Сегодня у нас будут генерал и офицеры из гарнизона. Мама специально для них устраивает этот званый ужин. Она же терпеть не может неопределенности и неизвестности. Надо же ей знать, что происходит в гарнизоне! — иронизировала Аинна. — И дядя Сергей обещал познакомить со своим знаменитым прапорщиком, который спас ему жизнь где-то там на позициях, когда дивизия попала в какой-то «кошель» к немцам, не представляю. Он такой представительный и умеренный, дядя Сергей — полковник князь Толстое! Лопнуть можно, ей-богу. Мама носится со своей родословной, а дядя Сергей терпеть не может, если ему кто-нибудь скажет, что он князь. «Прошу прощения, я не князь», и лицо сделает строгое, холодное, как на воинском параде.

Называет себя демократом. Все Толстовы демократы. Не Толстые, а Толстовы. Терпеть не могу, как он обстоятельно, по-немецки все размусливает, прописывает, будто не доверяет, что книгу будут читать люди думающие и, может, не глупее его. Лопнуть можно! Ты что кинула юбку?

— Ты хочешь, чтобы я ее надела?

— Конечно.

— Она с меня сползает.

— Затянешь ремнем. Дай я тебе помогу. Какая ты тоненькая, прелесть. «Во французском вкусе», — сказала бы мама. А у меня такие толстые икры. Сдохнуть можно. Боженька, какая ты шикарная! Бабочку подними чуть выше. Как ты собрала волосы? Это же старомодно. Видела, как уложены у мамы? Разве это шпильки? Ужас! Вот же в столике и шпильки, и гребни, и всякая всячина. От английской мисс остались. Если бы ты ее видела! Вроде нашей классной кобылы. Точь-в-точь. Шикарно! С ума сойдут все офицеры, ей-богу. Зажмурься, спрысну немножко. Это же французские духи. Чудесно! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, — приплясывала Аинна, увлекая за собой Дарьюшку.

Сестры Терские, чопорно надутые, вышколенные, замкнутые в бархатные платья, отделанные стеклярусом, с драгоценностями на руках и в ушах, одинаково русые, прямоносые, приняли Дарьюшку придиричиво, взыскательно и не разговорились.

— Пойдемте же, гости собираются! Тра-ля-ля, — плескалась Аинна, не в состоянии присесть хотя бы на минутку.

V

В малом приемном зале, разбившись по кучкам, знатные люди города перемалывали свежие новости.

Высокий и прямой Востротин в черном фраке, всегда подтянутый и нестареющий блондин, как бы напоминающий своим видом, что он настоящий джентльмен, слушал говорливого и чем-то перепуганного Петра Ивановича Гада-лова. Возле них терся коротконогий, неуклюжий Чевелев, и голова его, круглая, с проплешинами от висков, туго вращалась на прямых плечах. Пятеро или шестеро сгрудились под аркой у входа в большой зал. За круглым столиком, уминая мягкий

диван, трубил архиерей енисейской епархии Никон, чернобородый здоровяк, смахивающий на турка: до того он был черняв, горбонос, и борода кудрявилась, как у Елизара Елизаровича. Смазанные бриллиантином волосы блестели, как смола. Рядом с ним белобрысый, лобастый, жилистый, словно скрученный из пеньковых веревок, в клетчатом пиджаке, не по ритуалу вечерних приемов, в белой рубашке, расстегнутой чуть не до пупа, в остроносых лакированных штиблетах Сэмюэлл Четтерсворт — Серый черт, окуривающий сигарным дымом турецкую бороду его преосвященства.

В глубине комнаты, в полумраке, утопая до лысины в красном кожаном кресле, спокойно дремал хозяин Михайла Михайлович, а возле него — Акут Тао Саямо, японский коммерсант, поставляющий Сибирскому акционерному обществу пароходства, промышленности и торговли китайские и японские шелка, сиамские платки, вышитые золотом, не линяющие от стирки, шерстяные ткани, одинаковые с лица в с изнанки, фарфоровые сервизы и электрооборудование и даже перламутровые пуговицы, а заодно собирающий с японской обстоятельностью сведения, ничего общего не имеющие с коммерцией. Человек он был ничем не выдающийся, с приплюснутым носом, как бы раздавленным роговыми очками.

Со стариком Юсковым он охотно молчал, сцепив на животе пухлые руки, ожидая господ офицеров из гарнизона:

— Какие-то будут новости!..

Старая дева, сестра Евгении Сергеевны, скучающая петербургская дама, охотно приняла племянницу с ее подружками и сразу же выплеснула собственную горечь:

— Я будто предчувствовала, девочки, что никогда уже не встречусь с императрицей. Она меня благословила в дорогу и прослезилась. Такое горе! Кто бы мог подумать!! Боже! Как жить России без царя?! Это же вопиющее францужество!

Аинна под села к тетушке на подлокотник кресла и, скрестив свои сильные ноги в шагреновых ботинках, спросила:

— Она же немка, императрица?

— Да что ты, милая! Православная.

— Немка. Все знают. Потому и в заговоре была с немцами. И генерал Сухомлинов, и все там генералы из генштаба — чистые

предатели, а императрица покрывала их своим шлейфом. Дядя Сергей говорил.

— У моего братца дикая фантазия! Он всегда всех поражал своей фантазией. Никто не знает, что он придумает завтра.

— Разве Распутина придумали?

— Аинна!

— А что?! Пьяница, развратник — и вдруг «святой отец», бык гималайский, и он их там всех: императрицу и княгинь...

— Аинна! — заткнула тетушка уши. — Я тебя предупреждала!

— Что тут особенного, тетушка! Вся Россия, весь мир возмущен развратом, каким жили царственные особы. Вчера читала в газете про похождения царицы с Григорием Распутиным...

— Оставь, оставь, пожалуйста! Слушать не хочу про газеты. Это же мразь, пачкотня! Через газеты революция произошла. Уволь, уволь, пожалуйста! Сколько раз говорили его величеству, что все газеты надо держать в одной руке. И не было бы смуты. Может, это Временное додумается схватить все газеты и все партии в одну руку — тогда оно удержится. Если не успеет схватить, партии перервут друг другу горло, и верх возьмет та партия, какая будет беспощаднее. Сам князь Львов говорил так. А он — политик! Газеты! Дурно, дурно, Аинна. Ты забыла меня познакомить со своей однофамилицей. Как вас, милая?

— Дарья.

— Очень мило. Какая вы бледненькая. Слышала, слышала. Поправляйтесь. Я вот приехала к ним и чувствую себя дурно, хоть в лазарет ложись. И глушь, глушь... Вот покончат с революцией, и я возьму вас всех в Санкт-Петербург.

— В Петроград, тетя.

— Для меня будет всегда только Санкт-Петербург, как его нарекли от первого камня, от первой сваи, вбитой великим Петром, милая.

Аинна прыснула в ладонь.

VI

Ионыч возвестил: пожаловал атаман Енисейского казачьего войска Сотников со свитой.

И вот он, атаман, с пожилыми и молодыми сотниками и есаулами, но Дарьюшка видела только одного: есаула Потылицына, подтянутого,

застегнутого на все пуговицы, длинноногого аиста, который даже во сне преследует ее. «Как я его ненавижу, боже!»

— Твой кавалер, — есаул, — сказала Аинна.

— Мой?!

— Как он о тебе заботился! А ты хоть бы раз спросила о нем. Что ты такая? Он интересный.

— Я его ненавижу! Мучитель, насильник!.. — процедила сквозь зубы Дарьюшка. — Если бы я знала, что ты от него приносила подарки...

— За подарки благодарят, кажется?

— Я бы от него и жизнь не приняла в подарок!

— Вот это здорово, — удивилась Аинна. — За что ты на него так ополчилась?

— Если бы тебя папаша отдал такому вот страусу в придачу к мельнице, ты бы обрадовалась?

— В придачу к мельнице?

И еще одна свита военных: командир 6-й Сибирской стрелковой запасной бригады генерал Коченгин и он *же* начальник Красноярского гарнизона с двумя штабными подполковниками, с подпоручиком-адъютантом, а следом за ними трое штатских, по выправке, осанке не иначе как бывшие офицеры полевой жандармерии.

Генерал с ходу подступил к Сотникову:

— Ну-с, батенька ты мой, как там твои казаки, не знаю, а солдаты в гарнизоне митингуют до хрипоты в глотках. Такого не видывала ни одна армия от сотворения мира! Представьте, господа, в присутствии командира бригады поднимается солдатишка, некий Ильин, и орет на весь полк: «Та-а-а-ва-а-а-риш-шы-ы! Сгарнизует Совет солдатских депутатов! Та-а-а-ва-а-а-риш-шы-ы-ы, революция!..» И этого солдатишку, который трем свиньям шей не разольет, избирают председателем полкового комитета, и командир полка, штаб, полковник, генерал бригады должны выслушивать его разглагольствования. «Та-а-а-ва-а-а-ри-ш-шы-ы-ы!..» Как вам это нравится, господа?

Господа помалкивают, атаман пощипывает ржаные усики.

— Это же анархия! Гибель армии! — трубит генерал. — Россия в состоянии войны, а у нас в запасной бригаде: «Та-а-а-ва-а-а-риш-ш-

шы! Сгарнизуюем!» На что это похоже, спрашиваю?! Что они там думают, во Временном?

Кто же знает, что «думают во Временном»? Аинна вспорхнула и увлекла за собою сестер Терских: надо же послушать генерала!

— У меня голова распухла, господа, от митингов. Из округа — ни звука: соображайте, мол, сами. И вот, пожалуйста, создан Совет солдатских депутатов Красноярского гарнизона. В полках, батальонах, ротах и везде одно и то же: «Та-а-а-ва-а-а-риш-шы-ы!» Испекли постановление: немедленно арестовать бывшего губернатора Гололобова, жандармских офицеров и вашего есаула... Атаман, как его?

— Могилева, — отозвался атаман.

— Фу, какая жуткая фамилия! Как бы есаула не спровадили по ее прямому звучанию. Он что натворил?

— Жандармским дивизионом командовал.

— М-да.

Генерал помолчал, пригляделся — кругом свои люди, без «товарищей» и серой суконки, можно говорить откровенно.

— Смею сообщить, господа, в гарнизоне выплыли на поверхность агитаторы из социал-демократов. Седьмой полк морально и дисциплинарно разложен ими. Да-с! А что будет завтра, спрашиваю?

Ни вдоха в ответ. Кто же знает, что будет в гарнизоне завтра, если сам генерал разводит руками?

— На митинге седьмого полка, господа, я имел честь выслушать возмутительное выступление прапора Боровикова. К сожалению, полного георгиевского кавалера, прибывшего в гарнизон с фронта с командою полковника Толстова, либерала и потатчика упомянутого прапора. Это было, господа...

Щеголеватый подпоручик-адъютант что-то успел шепнуть генералу, и тот, удивленно оглянувшись на хозяйку, понравился:

— Прошу прощения. Полковника Толстова, заслуженного воина одиннадцатой Сибирской стрелковой дивизии генерала Лопарева, погибшего смертью храбрых, господа.

— Что он говорил, этот прапор Боровиков? — напомнил атаман.

— Да, да! Это было вопиющее выступление! Призыв к деморализации армии и тыла, призыв к поражению, господа! Прапор! Боровиков начал с того, что он-де с малых лет приобщился к

революционной деятельности в здешнем депо, работал кузнецом. Потом он был арестован за подрывную пропаганду и препровожден в ссылку по месту рождения в некую Белую Елань, которую он назвал «самодержавной Черной Еланью», живущей по милости царских сатрапов во тьме и невежестве от сотворения мира. Не забыл и о диком старовечестве, и о том, что он будто бы корнями своими уходит к пугачевщине и что, мол, еще пращур Боровиков...

У Дарьюшки дух захватило: Боровиков! Препровожден в ссылку по месту рождения в некую Белую Елань... Это он, он, Тимофей Прокопьевич! Другой Белой Елани нет в Енисейской губернии. Но он же убит, убит! Дарьюшка своими руками держала извещение о погибшем Тимофее Прокопьевиче.

А голос генерала гремит:

— Прапор Боровиков призывает солдат верить только социал-демократам фракции большевиков. Да-с! А все существующие партии, по его утверждению, не что иное, как обманщики народа, жрущие буржуйские пироги. И что в России, мол, царил бесшабашный произвол, кровавая тризна царских сатрапов только потому, что у власти стояли жандармы и буржуазия. Надо покончить с буржуазией и с ее партиями. Да-с! Так-то, господа! Мало того, прапор призывает к прекращению войны, к миру с вероломной Германией! Спрашивается, что это, как не призыв к поражению, к деморализации армии?! И кто такие большевики? Кто знает такую партию?

— Впервые слышу, — сказал Востротин.

— Шли какие-то разговоры, — припомнил Гадалов.

— Позвольте, ваше превосходительство, — подступил к генералу Чевелев. — Этот прапор Боровиков арестован?

Генерал презрительно фыркнул:

— У нас же теперь демократия, революция!..

— Господа! Мне известно про фракция болшевикоф, — напомнил о своем существовании мистер Серый черт, подвигаясь к генералу с той американской невозмутимостью я свободой, как это принято в кругу близких единомышленников. — Был съезд социал-демократическа парти, м-м, не могу назвать город, но не в России, нет, нет! На том съезде парти принимал свой программа. Выступал два лидер парти: русски эмигрант Ленин и философ Плеханов гуманист, демократ. Лидер Ленин требовал железной дисциплина парти.

Философ Плеханов призывал к свободе гуманизму. Было голосование по двум принципам. Принцип Ленина получил большинство голосов и стал потому большевик.

— Вот как! — надулся генерал, недовольный развязностью американца. — Не знаю, господа, где и как образовались большевики, да и не хочу знать, извините. Но вот то, что говорил на митинге седьмого полка прапор Боровиков, могу констатировать как призыв к деморализации армии, к поражению. Да-с!

— У них такой программа, — не сдавался Серый черт, не обращая внимания на кислую физиономию его превосходительства. — У них такой программа, господа! Лидер Ленин призывал к поражению России в русско-японской кампания, чтобы через поражения на фронте свергнуть самодержавие и захватить власть. И революция была в тысяча девятьсот пятый год. Но тогда не был Временный правительств, через который большевик могут захватить власть. Такой их программа! Деморализовать армия, глубокий тыл, вызвать хаос во всей России и захватить власть.

Господа подавленно притихли. И джентльмен Востротин кое-что знал о большевиках, и Гадалов, и атаман Сотников, и те трое в штатском с военной выправкой, следующие, как тень, за генералом Коченгиным. Знали и помалкивали, как молчат люди о злополучном неизлечимом недуге, чтобы не травить душу. И кто из них, из присутствующих, не помнил события девятьсот пятого года в Красноярске, во главе которых стояли социал-демократы большевики?!

Евгения Сергеевна представила гостям бывшего помощника военного атташе в союзной Великобритании подполковника Владимира Михайловича Юскова, тридцатисемилетнего мужчину. холостяка, белобрысого и белолицего, как женщина.

Подполковник, в свою очередь, представил своего заморского друга, мексиканского революционера, майора мексиканской армии Арзура Палло, русского эмигранта с 905 года, что не очень-то обрадовало гостей. Еще один из 905-го!..

Чевелев недоумевал: русский — и вдруг Арзур Палло. Из армян, что ли? Подполковник Юсков разъяснил, что так прозвали в Мексике Арсентия Ивановича Гриву, участника восстания московских рабочих в 905 году, бежавшего потом за границу, сына известного минусинского ссыльного народовольца Ивана Прохоровича Гривы.

Арзур Палло, одногодок полковника Юскова, седеющий брюнет гвардейского роста, с глубокими шрамами на щеке и лбу, в армейском френче без погон, в бриджах и в ботинках с крагами, сдержанно ответил Чевелеву о годах эмиграции, заметив, что он рад возвращению в Россию, тем более что самодержавие рухнуло: «Подгнившие устои русского самодержавия не выдержали и распались. Вчерашние вершители судеб страны сошли со сцены, уступив свое место народу, революции». И что «Россия теперь возродится, как сказочная птица Феникс из собственного пепла, и станет свободной, социалистической».

Такое предсказание русского мексиканца подействовало на всех гостей, как холодный душ в сорокаградусный мороз.

Генерал Коченгин, подергивая плечами, отошел с атаманом в сторону, а за ним офицеры. Гадалов и Востротин попытались уйти, но их успела перехватить хозяйка.

— Прощу к столу, господа! Мы же собрались не митинговать, надеюсь?

Господа обрадовались: наконец-то настал час подзакусить и выпить.

Все это время Дарьюшка сидела как на иголках. И верила и не верила. Неужели он жив? Неужели?!

— Голубушка, что с тобою? — стиснула руку Дарьюшки старая дева.

— Ничего, — очнулась Дарьюшка.

— До чего холодная у тебя рука! Зову, зову, не слышишь.

Подбежала Аинна, румяная, возбужденная, круто развернулась, обняла Дарьюшку, спросила:

— Слышала, что говорил генерал про прапора Боровикова?

— Да.

— Он назвал вашу Белую Елань. Это не тот большевик, про которого ты говорила?

— Было... извещение, — машинально промолвила Дарьюшка, судорожно сцепив пальцы и хруснув суставами.

— Какое извещение?

— О смерти. Погиб в боях с немцами.

— Ты про кого?

— Ну, про... Боровикова.

— Ничего не понимаю, — тряхнула каштановыми локонами Аинна и позвала тетушку с Дарьюшкой к столу.

— А вы меня поддержите, барышни, — попросила старая дева. — Мне ведь подпорки нужны. Подагра, подагра.

Устроив тетушку с подругой в обществе его преосвященства и мистера Серого черта, Аинна облюбовала себе местечко, втиснувшись между подполковником Владимиром Михайловичем и Арзуром Палло.

Рассаживая гостей, привечая и улыбаясь каждому, хозяйка забыла про Михайлу Михайловича. Кто-то шепнул ей, и она убежала в малый зал, подняла там старика, встряхнула, привела и чопорно усадила на место хозяина. Старик беспомощно оглянулся: один и два ряда гостей — любезных, энергичных, голодных, молодых и тех, кто всячески скрывает старость. А вот он не может петь петухом. «Господи помилуй, речь говорить надо, — подумал старик, неловко прикрепляя салфетку и чувствуя, что лысина у него сейчас мокрая и блестит, наверное, как японское фарфоровое блюдо. — Она меня усадила на посмешище!» — хлопал глазами Михайла Михайлович, глядя на батареи отпотевших бутылок с выдержанными винами, на закуски и приборы, фужеры с сельтерской, на коньяки и шампанское в ведерке со льдом, на горки фруктов, и все это вскоре будет уничтожено, съедено и выпито во имя революции! И вчера был такой же стол и два ряда гостей, именитых чиновников, среди которых выделялся Крутовский, «нашенский Керенский», были артисты, фортепьянная музыка, толстущая певичка драла горло, он, старик, отупело глядя на всех, проклинал «вертихвостку разорительницу», призывая на ее голову все муки ада. «Погоди уж, умру — голышом из дому выпрыгнешь, змеища!..»

Сборище... Отборное... Весомое... как золотые кирпичи, тайно запрятанные в сейфы. Каждый из именитых — Гада-лов, Востротин, Чевелев — может выкинуть на стол миллион и кутнуть всем городом. «И на чужой пирог хватки!» Что они на него уставились, как на диковинного зверя? Речи ждут? Сказать разве о Союзе 17 октября? К месту ли? Или о «нашенской партии кадетов»? Но разве кому-нибудь из них нужна конституция и демократия? Одни лишь разговоры. Вот он, старик, видит всех и будто слышит шепот: «Царя бы нам, царя-батюшку! Да плетями бы, шомполами по мужичьим и мазутным телесам! Михаила бы на престол, а революцию под стол, в

преисподнюю, ко всем чертям!» Еще вот эсеры — социалисты-революционеры. Какие они революционеры?! Немало от них откололось таких, которые с девятьсот шестого года называли себя партией «народных социалистов», ходят в одной упряжке с нашенской партией. И даже сам Столыпин в свое время пощадил таких эсеров: предал суду только фракцию социал-демократов. И атаман Сотников в таких же эсерах ходит, и генерал Коченгин, и Востротин метит туда же. Да все они «туда и сюда». А лучше бы прихлопнуть все партии, чтоб люди делом занимались, а не митинговали, не жрали чужих крабов, не потягивали чужие вина — «они же денег стоят». Золото пьют и жрут! Каждая бутылочка на золотую ладонь положена, не задарма!

Сухомлинова поминают, великого князя Николая Николаевича, генерала Брусилова... Ах да, война же!..

Это ничего, война, Необходима, как пиявки. Без нее не прожить: народишко заскорузнет в сонности. Война, она ничего. Стоящее дело. Обороты поднялись: банковские реестры пучатся от прибылей: «Давай, давай!» Деньги гребут лопатами. Не все, конечно, а деловые люди. Как вот Гада-лов, Чевелев, Востротин и он, Юсков.

Старик чмокает губами, думает. Плавно, без нажима. Ему никто не мешает — без речи обошлись. Все заняты разглагольствованием генерала Коченгина. Краснобай! Что еще за Советы солдатских депутатов? Гм! Что-то вроде из 905-го. Тогда такие же Советы объявились. Как на грех, уши заложило. Шипит и шипит в ушах, будто вода вскипает. Хоть бы кто рядом сидел, спросить бы. Вот и мексиканец заговорил. Фу, как невоздержанно и непочтительно! Генерал же перед ним. Что он бубнит про революцию в Мексике? Еще чего не хватало!

Пьют, пьют, пьют. Золото пьют, а пустыми словами расплачиваются! И все она, блудница и скверна!..

Старик налил себе коньячку, сплеснул на брюссельскую скатерть. Выпил. Огонь ударил по жилам, и в ушах что-то щелкнуло. Еще налил рюмочку и, не закусывая, пропустил по горлу пламя. Совсем хорошо. Так-то, господа! Великолепные крабы, Акут Тао Саямо! Пальчики оближешь. Шельмецы япошки. Флотилии рыбаков держат в русских водах и за наших же крабов из наших же карманов золото cedят! Наглецы.

Дарьюшку заговаривал Серый черт, навязчиво заставляя выпить рюмочку выдержанного бургундского вина, да еще старая дева бубнила, и Дарьюшка сдалась. Потом еще рюмочка, и кровь кинулась в щеки, и Дарьюшка подумала: «Я, кажется, совсем пьяная». Сотрапезники показались ей неестественно возбужденными, комичными, особенно генерал с его трубным голосом, призывающий к строжайшей дисциплине в армии, в казачьем войске, без чего нельзя побить немцев, австрийцев, венгров, турок и болгар. К чему бить немцев? Какие странные мужчины. Им бы только кого-то бить и самим быть битыми. Ни милосердия, ни любви к ближнему. «Я — пьяная, пьяная, пьяная!..»

Случайно столкнулась с призывными глазами есаула Потылицына. Он так и впился в Дарьюшку. Хотел что-то сказать, но Дарьюшка нашла в себе силы отвернуться. А тут опять Серый черт!

— Ви необыкновенно молчаливый, мисс Дарь, м-м Юскоф. Ви родственница господина Юскофа? Одна фамилия! В Америке очень много одна фамилия... Вы поехал бы Америка?

— Нет.

— Пошему?

— Я русская.

— В Америка очень много русски люди. Ошинь много. Америка интернат ональный государств, великие Штаты. Изумительный совершенство. Я бы мог дать вам дорога Америка, и вы бит бы очень счастлив, мисс Дарья. Твердый имя. Мисс Аинна — мягче.

Старая дева подсказала американцу.

— Ее можно звать Дашей, Даша.

— Даша? О! Как пашб звучит. Хорошо.

Ионыч что-то шепнул в золотую серьгу хозяйки, и та, поднимаясь, радостно сообщила:

— Господа! Сейчас пожалует виновник нашего торжества мой брат, князь Сергей Сергеевич Толстов с офицерами.

Дарьюшка поразились: до чего же белая голова у полковника Толстова. «Совершенно белая, а лицом молодой, и добродушный, наверное. Какая виноватая у него улыбка!

— Прошу прощения, господа, — поклонился полковник, приложив руку к золотому крестику на груди. — Разрешите представить. — И указав рукою: — Прапорщик Алексей Окулов. Штабс-капитан Юрий Соколов. — И повернувшись вполоборота: — Особо хочу представить героя нашей дивизии — полный георгиевский кавалер, прапорщик Боровиков, которому я обязан жизнью и честью. В трудный момент, когда наша дивизия оказалась у немцев в окружении, рядовой Боровиков нашел в себе силу и мужество, находчивость и смелость, чтобы принять на себя командование батальоном и тем спас штаб дивизии.

Это же он, он! Воскресший из мертвых! Он, он, он!..

Дарьюшка больше никого не видела и ничего не слышала. Какое ей дело до именитых гостей, если вот здесь, рядом, — он, он, ее любовь!

Хозяйка усадила брата полковника с офицерами на почетное место — лицом к хозяину.

Генерал провозгласил тост за войну до победного конца, за отважных георгиевских кавалеров, за славу русского оружия, за доблестного полковника князя Толстова, за штабс-капитана Юрия Соколова и сразу же — «ур-ра-а!» — и все выпили. У генерала язык не повернулся назвать прапоров Окулова и Боровикова.

Дарьюшка не сумела выпить — руки тряслись, рюмку не удержать. Что-то сказала тетушка, мистер Серый черт, — ах, как они ей надоели!..

Он ее не видит, Тимофей! Как он возмужал, в плечах стал шире. На новеньком мундире кресты, кресты и медали, медали, и одна звездочка на погоне. Он очень сдержан, и щека у него дергается. Дарьюшка видит его руки — рабочие руки. Он ее ласкал этими руками и нес поймою Малтата, а кругом кузнечики трещали. Когда это было? Давно-давно!

Поднялась хозяйка. Величественная, красивая, и даже рюмка в ее руке под светом электрической люстры наполнилась оранжевым сиянием.

— Милые дорогие гости, — певуче заговорила хозяйка. — Я не военная и, да простит мне бог, не хочу быть военной. Я — женщина и, как все женщины, хрупкое создание. Когда я узнала от брата, какой ужас пережил он на фронте, я плакала, плакала, — единственно, что

мы умеем, женщины. И я молилась богу, что мой брат вырвался из пекла ада! И разве я, сестра, могу остаться равнодушной к тому, кто спас жизнь и честь моего брата? Я благодарна буду ему всю жизнь, Тимофею Боровикову. Он молодой и простит меня, что я его называю запросто. И пусть тебе светит солнце, мой юный друг! Я пью за его здоровье и вас прошу, гости!..

— Спасибо, сестра, — поклонился полковник.

И тут Тимофей увидел Дарьюшку. Выпрямился и будто испугался: она или не она?

— Дарьюшка, он приглашает тебя выпить, — заметила хозяйка. — Что же ты, а?

— Они из одной деревни.

Кто это сказал? Аинна? У Дарьюшки дух захватило.

— Дарья Елизаровна? — медленно и трудно выговорил Тимофей.

— О! — подхватила хозяйка. — Вы знакомы с Дашей? Очень мило! Что же ты, Даша? Что с тобой?

У Дарьюшки спазмы в горле и сушь, сушь, не хватает воздуха. Сейчас она закашляется. Где же платок? И платка нет. Скорее бы, скорее бы уйти, чтобы он не видел и не слышал.

— Вы ее извините, — сказала хозяйка. — Ей нездоровится.

К Тимофею подошла бесстрашная Аинна:

— Я подруга Даши, Аинна. Вы правда из одной деревни? Вот интересно! Не обижайтесь на нее. Она долго болела и еще не совсем поправилась. Она такая славная! Правда, что вы большевик?

— Она вам сказала?

— Сам генерал говорил, — шепотом ответила Аинна. — А Дарьюшка говорила, что в Белой Елани был один ссыльный большевик, но не сказала кто.

Тимофей ничего не ответил.

— Сегодня вы разговаривали в гарнизоне с Арзуром Палло? — спросила Боровикова Аинна.

— Да. А что?

— Он просит вас остаться после ужина. И я прошу. Он ведь русский. И фамилия у него Грива. Арсентий Грива. В Мексике он был профессором университета. А в девятьсот пятом он был в Москве.

— Он говорил.

— Не сердитесь на Дашу! — И с той же поспешностью упорхнула на другую сторону стола.

Прапорщик Окулов поднял рюмку:

— Пью за тех, кто не уронил в грязь знамя революции!..

«Господи помилуй, опять революция!» — тарачился на прапорщика Михайла Михайлович, повеселевший от четырех рюмок коньяку. Они про него забыли, господа. Экие свиньи. Он им напомнит. Что бы такое сказать, чтоб отрезвить горячие головы зеленых прапорщиков? Ах да! Шурин полковник упомянул фамилии генерала Лопарева и Боровикова. Вертлявая Аинна обмолвилась, что Боровиков из одного села с Дарьей Юсковой, из Белой Елани. Из тех Боровиковых? Он его сейчас подденет, прапорщика!..

Михайла Михайлович поднялся:

— Почтенные, позвольте!..

Евгения Сергеевна перепугалась, — сейчас что-нибудь бухнет некстати...

— Просим, Михайла Михайловича!

— Давно ждем!

— Приятно. Очень рад. Очень рад. Э? Тут вот шурин мой, э, упомянул фамилию генерала Лопарева, э, незнаком с ним. Но фамилию слышал. И Боровикова также.

Помолчал, собираясь с духом. Как назло, мысли рвутся, расплываются.

— Э, революция вот. Но как ее понимать, почтенные? Господин мексиканец, э, говорил про обновление, оздоровление общества, э, и про Мексику. Слушал и думал. Скажу, почтенные, одну быль нашего, юсковского корня.

Евгения Сергеевна схватилась за щеки: чего боялась, то и сбылось. Старик и в самом деле выжил из ума.

— В давние времена, э, в светлой памяти, э, царствования Николая Первого, э, в Санкт-Петербурге офицеры и некоторые генералы, э, подняли бунт, и тот бунт, э, назвали революцией. К власти рвались безрассудные головы. И кровь лилась, и суд вершился.

Михайла Михайлович, взбодлив себя еще одной рюмочкой коньяку, продолжал рассказывать дамам и господам о событиях давно минувших дней, нарочито перевирая их:

— Один из осужденных на каторгу офицеров, Лопарев, бежал с этапа и случайно попал в общину раскольников, э, на реке Ишиме. Ту общину из Поморья в Сибирь вел пугачевец Филарет Боровиков, сам себя, э, почитавший за Иисуса Христа. Кто не признавал Филарета Иисусом Христом, тех уничтожали: жгли огнем, пытали каленым железом, распинали на крестах. Мою матушку Ефимию Аввакумовну Филарет подверг такой вот пытке и сжег бы, если бы ее не спас, э, беглый декабрист, э, Лопарев. Трахнул по башке Филарета и освободил несчастную. Запомню, как там было дальше в общине. Помню, мать говорила, что кто-то из сынов Филарета Боровикова зарезал ножом Лопарева, а потом и власти приехали, арестовали разбойников и самого Филарета в Тоболе утопили, э. Или в остроге сдох, э, запомню. Говорю к тому: не будет ли теперь так же, как в той общине Филаретовой? Не полезут ли в революцию преступники и головорезы? Не учинят ли резню и всесветное побоище? Подумать надо. Ох, как подумать! Перережут горло — не подумаешь. Без головы тело не думает, э. Покойно надо жить, господа. Покойно. Дело, дело! Вот паша, э, революция. Не в смуте, не в митингах, э, а дело, дело!

Гадалов облобызал Михайлу Михайловича и прослезился. И сам генерал Коченгин был в восторге, и атаман Сотников со своими сотниками и есаулами, и Чевелев от восторга хлопал пухлыми ладонями, но не возрадовалась хозяйка, Евгения Сергеевна, ее брат, Сергей Сергеевич, не говоря уже о прапорщиках.

У Тимофея вспухли желваки на скулах. Что это, публичное посрамление? Но он не из тех, чтобы уйти, не ответив.

— Позвольте, господа! — И встал, поклонившись хозяйке. — Я из боровиковского корня — того самого Филарета, про которого говорил хозяин. Каков был Филарет — дело давнее, в книгах не записанное, а вот от живой свидетель-вицы Ефимии Аввакумовны слышал, что сам Филарет был жесток, но чужого добра не присваивал! Того барина Лопарева, по словам Ефимии Аввакумовны, зарезал ее родной дядя, Третьяк Юсков. Третьяк похитил общинное золото, и Лопарев требовал, чтобы он вернул золото в общину. Для Третьяка оказалось легче человека зарезать, чем вернуть украденное.

Михайла Михайлович хлопал глазами. Экая напасть! Старуха сама себя оговорила! Но кто может подтвердить? А никто!

— Э, молодой человек! Не так было. Кому же знать, как не мне? В роде Юсковых воров нет! — И хлопнул ладонью по тарелке, звон раздался. — Экое свинство, прости меня господи! В моем же доме...

— Михайла Михайлович! — пристыдила жена. — Какая у вас плохая память. Все было так, как сказал молодой человек. Я тому свидетельница.

— Помилуй мя, Евгения! Разве ты шла с общиною Филарета?

— Достаточно того, что я наслышалась от вашей матушки Ефимии Аввакумовны, — отпарировала супруга. — Дня не проходило, чтобы моя свекровь не проклинала убийцу дядю Третьяка, который зарезал беглого каторжника Лопарева. И это вы сами прекрасно знаете со слов матери. Или забыли, как она говорила вам, что Михайла Данилыч, ваш родной батюшка, убил потом Калистрата, которого в общине звали «брыластым боровом», за то, что Калистрат выдал беглых каторжников тобольскому исправнику и какой-то земской расправе, — понятия не имею. Да и чем гордиться, Михайла Михайлович? Юсковы-то сами из беглых каторжников. Если верить вашей матушке, все они бежали из Москвы после того, как французов прогнали. Что они натворили в Москве с французами, вам лучше знать.

— Э! Евгения! Ехидна! — У Михайлы Михайловича лицо поплыло набок.

Ужин расстроился...

VIII

Это был он, он, Тимофей! Что же теперь делать? Она его узнала и все вспомнила. Но он совсем не такой, каким был тогда в Белой Елани. И он ее узнал. Она видела, что он ее узнал. «Было лето, и трещали кузнечики, и я была такая счастливая! И он сказал мне, что я белая птица! Но ведь это было тогда, давно, в прежней жизни, в которую я никогда не вернусь. Они все думают, что я забыла о мерах жизни. Пусть, пусть! Но я-то знаю, что перешла в третью меру и скоро перейду в четвертую. Скоро».

Дарьюшка ходит, ходит по комнате. «Если они узнают, какие у меня мысли, опять замкнут в палату к идиоту доктору. Они все там

идиоты, а воображают себя умными, нормальными. Только старичок фельдшер настоящий человек».

С шумом влетела Аинна.

— Боженька! Если бы ты слышала, как мама посадила старикашку в лужу. По самые уши. Выжил из ума, а еще хорохорится. Что так взглянула?

— Ничего. Так.

— Он хочет с тобой поговорить.

— Кто?

— Кто же! Прапорщик Боровиков. Как будто не знаешь? Он мне понравился. Позвать?

Дарьюшка вздрогнула.

— Ты с ним встречалась там?

— Где «там»?

— В Белой Елани, конечно? Дарьюшка покачала головой.

— Но ты же сама сказала?

— Я не о том. Это было... — Дарьюшка чуть не проговорила. Хотела сказать: «Во второй мере жизни», но вовремя прикусила язык.

— Что «было»?

— Ничего. Просто так...

— Да что ты, Даша? Как будто тебя чем прихлопнуло. Он говорит, что искал тебя в этой «психичке» и доктор сказал, что тебя нет, отправили будто в Томск. А из Томска ответили, что и там тебя нет. Свинья этот доктор с бородкой.

— Он спрашивал? В «психичке»? Как он узнал?

— Еще в Белой Елани узнал. Он был там в отпуске. Я ему сказала, что ты теперь забыла про всякие меры жизни, но еще кашляешь. Так это совсем другая болезнь. Я так рада, что у тебя прошло это.

— Да, да. Прошло.

— Забыла сказать.: ты встречалась на пароходе с капитаном Гривой? Такой представительный, интересный. Это же дядя мексиканца — Арсентия Ивановича. Они так хорошо встретились! Это же наш капитан, Тимофей Грива. Мама им очень дорожит. Он тоже спрашивал про тебя и говорил, как ты его испугала пятью мерами жизни. Умора! Вот интересно бы послушать этих психических. Чего они там только не изображают. И Наполеон, говорят, есть в больнице, и какая-то великая княгиня из судовоек. Умора!

У Дарьюшки захолонуло сердце и руки упали вдоль тела. Как жить ей? С кем быть откровенной и отвести душу? Все ее приняли за сумасшедшую. Если бы спросить сейчас Аинну: в какой мере овцы и волки? Грабители и те, кого грабят? Жандармы и арестанты! Все они в одной мере? Под одним навесом и в одной постели? И капитан, и хозяйка парохода? Еще бормочут про какую-то революцию!

— Я его позову. — И, не ожидая ответа, Аинна выскочила за дверь.

Дарьюшка замерла. Сильно стучало сердце.

Почему-то увидела сперва кресты и медали, а потом лацканы карманов и щепотку рыжих усиков. С глазами побоялась встретиться.

— Здравствуй, Дарьюшка.

— Здравствуйте, — тихо ответила Дарьюшка и взглянула на Аинну через плечо Тимофея.

— Я вас оставлю. Поговорите, земляки!

А земляки минуту молчали, словно между ними была каменная стена под самое небо и они не ведали, хватит ли у них сил проломить стену.

Он говорит, что искал ее везде и не получал ответа на письма из Белой Елани. И что письма перехватывал ее дядя-урядник.

— Они такие. Все перехватывают, — отозвалась Дарьюшка.

— Если бы я знал, что с тобой случилось...

— Со мной ничего не случилось. Простыла, и потом воспаление легких. Еще кашляю.

— Я все знаю, Дарьюшка!

— Все? Что «все»?

— До какого состояния они тебя довели, живоглоты! За такое издевательство...

— Не надо. Ради бога.

Тимофей явственно слышал, как тикал в грудном кармане его трофейный «мозер», и, странно, тиканье его часов в тишине большой комнаты будто бы загадочно перезванивалось с мелодичным подпевом чьих-то других часов. Так, наверное, бьются два сердца.

— Дарьюшка!

Он и тогда называл ее Дарьюшкой, и она узнала его голос, призывный и ласковый, как зов весны и таинственный шелест пробуждающихся деревьев.

— Ты не забыла меня?

Она вздохнула, не в силах унять противный стук зубов, тоненькая, от ног до пояса черная, потом девственно белая до уложенных на затылке черных волос. Свет от настенной матовой лампы падал на ее лицо, темнил подбородок, резко отпечатывая черную бархатную бабочку на стоячем белом воротничке, закрывающем шею. Он, Тимофей, стоял еще у двери в тени от бра, смягчающем защитный цвет его френча с накладными карманами, армейский ремень с медной пряжкой, и только носки лакированных сапог неприятно поблескивали. Какой он высокий и плечистый! Протянув руки, он шагнул, скрипнув сапогами, и каменная стена враз рухнула, и глаза Дарьюшки, расширенные, тревожно-ожидаящие, сухие, увлажнились и заблестели.

— Дарьюшка!.. — проговорил он с придыхом и горячо, с силою прижал ее хрупкое тело к своей груди. Она успела наклонить голову, ткнувшись носом в холодный золотой крест.

— Не надо! Ради бога! — взмолилась она, упираясь руками в его плечи. — Ради бога! — И вдруг послышалось, что в груди трещат кузнечики: тики-тики, тики-тики.

— Моя ты белая птица!

— Не птица, не птица! Нет, нет! Я должна сказать... не сейчас. Потом, потом. Так сразу. Ради бога! Если бы я знала!.. И та похоронная, и все, все против нас, боже!.. Весь белый свет против нас, боже!.. Не надо. Не надо.

— Я не могу без тебя, Дарьюшка. Одна-единственная моя радость.

— Нет, нет. Я должна... — Она так и не собралась с духом сказать нечто тайное, сокровенное, чтобы он понял, как далеко они теперь друг от друга, и что минувшие годы пролегли между ними глубокой трещиной, и кто знает, есть ли сила на свете, чтобы сдвинуть горы в кучу, если даже очень молишься богу!

— Ты, помнишь, сказала, что вечно будешь ждать меня? И что ты моя жена?

— Боже, помоги мне!.. Я столько пережила, и такие люди!.. Дай мне подумать. Я сегодня из больницы. Из «психички». Ты же знаешь?

— Ты же выздоровела, Дарьюшка? Крест до больна надавил нос.

— Скажи, пожалуйста, ты веришь, что люди живут в одной мере жизни? И у человека одна мера?

— В одной мере? Как это понять?

— Один старик сказал... отец твой, Прокопий Веденеевич, что у каждого человека пять мер жизни.

— Есть кого слушать. Он зачитался Библией и совесть окончательно потерял. Такое натворил, что уши вянут.

— А если... если я верю? — И замерла в ожидании ответа.

— Пройдет, Дарьюшка, — успокоил Тимофей. — Если стариков слушать, дня не проживешь от скуки. И мой папаша не из пророков. Уткнулся в Библию, и жизнь прошла мимо. Не в Библию надо верить, не апостолам, а собственному разуму и собственной силе. Надо жизнь перестроить. Вот в чем штука. Революция нам поможет.

«Он меня совсем не понимает и никогда не поймет, — обожгло Дарьюшку, и она вспомнила презренного прапорщика, когда тот мучил ее в караульном помещении возле тюрьмы. — Подлец, подлец!»

— Я верю, верю! И вечно буду верить! — запальчиво проговорила Дарьюшка, с силой отстранившись от Тимофея. — Был такой офицер, который... Он надсмеялся, подлец!..

— Есаул Потылицын?

— Нет, нет. Там, в Минусинске, в тюрьме.

— И что он, тот офицер?

— Не надо. Ради бога! — Дарьюшка закрыла лицо ладонями и отвернулась.

Тимофей не сошел с места, когда раздался стук в дверь и неугомонная Аинна притащила за собою прапорщика Окулова.

— Мы вам не помешали, надеюсь? Что ты, Дарьюшка? Опять тебе плохо?

— Нет, нет. Ничего.

— Ну да встряхнись ты! Что вы ей не поможете? — уперлась Аинна в Тимофея. — Ночь такая чудесная!.. Индюки расплзлись, и мы гулять будем, танцевать будем.

Дарьюшка отказалась от веселья — нездоровится.

— Вызвать доктора?

— Не надо. Не надо. Мне просто надо лежать. И все пройдет. Сегодня из больницы, и такая ночь... без ночи, — жалостливо улыбнулась прапорщикам.

Аинна ушла с Окуловым. Тимофей задержался. Он хотел побыть с Дарьюшкой.

— Оставьте меня, Тимофей Прокопьевич. Сейчас я ничего не скажу. Так все сразу!.. Буду лежать и думать, думать. Так мне будет легче.

Тимофей потихоньку вышел из комнаты и, не задерживаясь в доме Юсковых, уехал в гарнизон.

Вот как он встретился с Дарьюшкой! Она — и не она! Где же та Дарьюшка? Может, он ее найдет еще?

IX

Легко и красиво танцевала Аинна с Арзуром Палло, неотрывно глядя ему в лицо, исполосованное шрамами. И на шее у него шрам, уходящий под воротничок, — только сейчас заметила. Для Аинны Арзур Палло был самым интересным и представительным мужчиною, и она не взглянула бы теперь ни на одно лицо без шрамов. И на правой руке у него шрам и вместо мизинца — коротенький обрубок. Да, русский мексиканец побывал в переделках!..

— Я буду молиться на твои шрамы, — промолвила Аинна, и Арзур Палло чуть усмехнулся, но не иронически, как всегда, а доверительно, понимающе. — Я хочу знать все, все про революцию в Мексике. Обещай, что ничего не скроешь!

— Обещаю. Что было в Мексике — не военная тайна.

— И военные тайны хочу знать!

— У меня их пока нет.

— Но будут!

— Кто знает!..

— Все равно я должна все, все знать...

— Все знать невозможно.

— Возможно. И я обязательно буду знать все, что касается твоей и моей жизни.

А он, Арзур Палло, все еще не доверял дочери Юскова. Чересчур откровенна, порывиста. Не кинется ли она в сторону с той же стремительностью, с какой ищет близости с ним сейчас? Но он истосковался по русской женщине. Там, в Мексике, он всегда думал о русской женщине. До 905-го не успел жениться, но он любил тогда

девушку, курсистку Московского университета. И сам блестяще закончил в том же университете физико-математический факультет, был одним из сочувствующих революционному движению в России, хотя не состоял ни в одной партии. Нет, он ни разу не был арестован. Товарищи берегли талантливого математика. Но когда вспыхнуло восстание, он сам явился на Красную Пресню, на баррикады. От сабельного казачьего удара остался глубокий шрам на лбу через левую бровь, и мизинец оторвало срикошетившей пулей. И опять выручили товарищи. Спрятали, сберегли и достали паспорт для поездки в Мексику на имя болгарина Арзура Палло. Он никак не мог понять, почему именно в Мексику? Не во Францию, Швейцарию, а именно в Мексику? Товарищи говорили: такой подвернулся. Паспорт во Францию и особенно в Швейцарию стоил значительно дороже. И он потерял ту девушку, курсистку. Что стало с ней за двенадцать минувших лет, кто знает! Но он ее помнил, дочь акцизного чиновника. Какая она была? Смуглая, высокая и постоянно сосредоточенная. Вот и все, что уцелело в памяти. Аинна совсем другая. Бурная и нетерпеливая: «Отдай все сразу». Ей двадцать три, а ему тридцать семь! Четырнадцать лет — большой прыжок. Со вчерашнего вечера они на «ты».

«Если она всегда будет такая, жизнь промчится птицей и страшно будет умереть, — думал Арзур. — Она вся из темперамента и песни. И эти ее каштановые волосы, и зовущие глаза — все, все русское».

Он чувствует под своими ладонями ее упругое тело, ощущает ее ровное дыхание, видит ее синие-синие глаза, черные ресницы и брови, мочки ушей с сережками, и ему кажется, что он ее знал давно...

«Я люблю, люблю его, — пело в душе Аинны. — Арзур, Арзур! Я буду звать его Арзуром, а не Арсентием. Я буду благодарна ему, что он разбудил меня, и жизнь открылась, которой я не знала. Смешно, ей-богу, что я хотела остаться старой девой, как Терские. Нет, нет! Противно быть старой девой, противоестественно. Что-то поет, поет во мне. Какая-то музыка. Хочется сказать ему что-то серьезное, но я не могу сосредоточиться».

Они молчали, но он понимал ее без слов. Говорили ее сияющие глаза, полуоткрытый рот с усмешкой, и вся она в его сильных руках, осязаемая, понятная, стала как бы составной частью его жизни. И вот он кружится, кружится с нею в танце, все более и более поддаваясь

опьяняющему чувству близости и единения. Ему теперь нравится ее непосредственность и внезапность, откровенность без гримас и ужимок, ее беспредельная доверчивость и особенно то, что она вчера просто сообщила ему, что она — чужая в доме Юскова и что старик собственноручно записал это на гербовой бумаге «в здравом уме и твердой памяти». И тогда Арзур назвал ее на «ты»...

В пятом часу утра, когда в гостиной остались Евгения Сергеевна с Аинной и Арзур Палло, возле дома хлопнули два выстрела...

— Боже! — отозвалась на звон стекол Евгения Сергеевна.

— Из винтовок, — определил Арзур и, не раздумывая, кинулся из дома. За ним — Аинна.

Мартовский приморозок льдом подернул лужицы возле открытых ворот. И тут, в пяти шагах от ворот, три солдата, склонившись, кого-то разглядывали у своих ног.

— Живой будто? — проговорил один из солдат.

— Готов, — ответил другой.

— Тащить придется. Вот сволочь, как стриганул в буржуйский дом!

Солдат увидел человека во френче.

— Стой!

— Что тут случилось? — остановился Арзур Палло.

— Разговаривай! Видно, ждали гостя? И ворота специально открыли.

Двое других солдат тоже подняли винтовки, щелкнув затворами.

Третий митинговал:

— Гляди, товарищи, этот вот гад во френче без погонов определенно из жандармов. Определенно!

— Ошибаетесь.

— Руки вверх, говорю! И ты, голубка, пойдешь! Доставим вас в Совет, а там разузнаем, кого вы поджидали этой ночью. Верно говорю, товарищи?

— Верно! Сволота есаул в дом бежал.

— Что ж, я пойду с вами, а девушку отпустите. Но должен сказать вам, солдаты, я пока еще гость в вашем городе. — И Арзур Палло сказал на французском, повернувшись к Аинне, что он в Мексике посадил бы солдат в тюрьму за убийство: трое одного догнать не

могли. Пусть бы конвоируемый забежал в ворота — но ведь из ограды выхода другого нет? И кроме того, разве у солдат ноги деревянные?

Митинговавший солдат заметно поостыл и, опустив винтовку, спросил:

— Ты из каких?

— Майор мексиканской революционной армии генерала Сапата.

— Какой такой «мексиканской»? Што ты нам мозги крутишь?

— Идемте в ваш Совет, и вы узнаете, что за мексиканская революционная армия и где она находится. Повторяю вам на русском языке: если бы мои солдаты революционной армии трое не доставили бы по назначению арестованного, я бы приказал посадить их в тюрьму. Или у вас деревянные ноги и вы не могли догнать арестованного? Минуту собирались с ответом.

— Приказано: при побеге стрелять.

— В том случае стрелять, если точно знаете, что не сумеете догнать. Пусть бы забежал в ограду, ну, а дальше куда?

— Нашел бы небось!

— Да он живой еще, — сказал Арзур.

— И пра слово, ребята. Ноги подбирает. А ну поволокем! Живой, гад! Есаул Могилев. Сволота первый номер. Сколь порубил людей, зверюга, в девятьсот пятом. А тут испугался, что судить будут или в тюрьме придушат гада.

— Само собой, — отозвались солдаты. И арестованного потащили.

Аинна, не вымолвив ни слова за все время, только сейчас опомнилась:

— Разве... разве это необходимо так, а? Обязательно? Они же могли догнать его.

— Могли и не догнать, — возразил Арзур Палло. — Но почему есаул кинулся к вашей ограде?

— Он... он бывал у старика. П двор знает. Он бы тут мог спрятаться или через двор выбежать на Благовещенскую.

— А!..

— Ужасно!..

— Революция оставляет свои следы, — подвел итог Арзур Палло. Кто-кто, а он-то знал, каковы бывают следы революции.

ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ

I

Стычка с русскими солдатами у ворот дома Юсковых подействовала на Арзура Палло неприятно. Для русских он был чужакom, мексиканцем, путающимся в ногах революции.

Как это могло случиться?

Он помнит сестренку Селестину, брата, зарубленную казаками мать еще в 1907 году под Красноярском; помнит отца — доктора Гриву, сосланного из Севастополя. Отец! Именно отец сослан был за подпольную деятельность и принадлежность к партии РСДРП. Такой ли он теперь, отец?

Он будто видит его — вечно лохматого, непримиримого со скверной жизни экспериментатора природы, почему-то боится поехать сейчас в Минусинск и встретиться с ним. «Ты не оправдал моих надежд, Арсентий, — будто слышит он голос отца. — Какое нам дело до Мексики, если в самой России нет порядка?» Но он, Арзур-Арсентий, как и тысячи других русских эмигрантов, начиная от Герцена, не мог вернуться в Россию только для того, чтобы сидеть в тюрьме. В эмиграции сейчас лидер социал-демократов Ленин. Арзур читал его брошюры и не уверен: все ли ему ясно в учении Ленина? И что он, Ленин? Эрудит, судя по брошюре, а по стилю — оратор. Он читал брошюры Мартова, Плеханова и даже речи Милюкова и Прокоповича. Он многое перечитал из русской политической литературы еще в Лондоне прошлой зимой и теперь в Красноярске, но так и не уяснил, какая же партия достойна, чтобы сказать самому себе: это моя партия!

За девять суток жизни в Красноярске (это же так мало!) Арзур Палло встречался с мастеровыми депо, бывал в гарнизоне и сошелся гам с прапорщиками Боровиковым и Алексеем Окуловым. Боровиков понравился. Настоящий военный и умный парень. Волевой и твердый офицер. Но и от прапорщиков он ничего путного не узнал: у них своих забот по горло, особенно сейчас, когда созданы Советы солдатских депутатов: спать и пустословить некогда. Но вот Арзур Палло встретился с Яковом Дубровинским, красивым и внушительным

человеком с черными пышными усами, как у запорожца. Дубровинский испытан ссылками и арестами. Брат его был известным революционером и умер в Красноярске. Яков Дубровинский, конечно, разбирался в революционном движении России. Он уверен, что Россия в конечном итоге будет социалистической. Такое утверждение никак не укладывалось в сознании Арзура Палло. Ну, а какая партия? Дубровинский и тут не сомневался: только социал-демократическая. Но почему только эта партия? Есть еще социал-революционеры. Вздор! Эсеры — все равно что кадеты. А что такое кадеты? Кадеты — конституционно-демократическая партия буржуазии. Ленин их заклеил беспощадно. Сравнивая кадетов с октябристами, он говорил, что как те, так и другие мечтают об идеально буржуазном обществе. Лидер кадетов Милюков — профессор истории Московского университета...

— Я его знаю, — сказал Дубровинскому Арзур Палло. — Я же окончил Московский университет.

Да, Милюков крупный оратор и знаток международных отношений. Он идейный вождь русской буржуазии. Его статьи о захвате Галиции, Турецкой Армении и Черноморских проливов Арзур Палло читал еще в Лондоне, но не знал, что у Милюкова кличка Милюк-Дарданельский.

И все-таки Арзур Палло не понимал Дубровинского. Почему в России должна быть одна РСДРП?

— Я против всякой диктатуры, — заявил он Дубровинскому. — Диктатура исключает свободу личности.

— Значит, вы за анархию? — усмехнулся в черные усы Дубровинский.

Нет, Палло не анархист. Так кто же он? Еще и сам не разобрался?

Что же, пускай русский мексиканец разбирается в своем умственном хозяйстве, а они, революционеры, будут продолжать революцию.

«Мучительнее всех зол — утрата веры в самого себя», — думал Арзур Палло после встречи с Дубровинским.

По мере того как жизнь России захватывала его все больше и больше, в его памяти открывались давнишние встречи, друзья. Но где они теперь, московские товарищи?

Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным, как сейчас после февральского грома русской революции. Он проснулся и увидел, что русская действительность совсем не та, что была в девятьсот пятом. И люди стали другие, и политика, и партии.

Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к истине, добру, к идеальному обществу Арзуру Палло доводилось переживать мучения, равных которым нет. Сколько раз его старались смять, уничтожить, а он не сдавался и лез в драку. Там, в Мехико, он вместе с генералом Сапата проповедовал взгляды, близкие к идеям «Народной воли», и призывал народ к восстанию против диктатуры Диаса. Он, Арзур Палло, стал другом Франсиско Вилья — сына бедного крестьянина, пеона, удостоенного звания генерала революционной повстанческой армии. И сам Палло, теоретик генерала Сапата, командовал сводными батальонами пеонов — аборигенов Мексики.

Франсиско Вилья не раз говорил Арзуру:

«Ты наш. Ты — сама Россия с нами! Ты своими глазами видел кровь и стоны пеонов под гнетом помещиков и американцев. Ты знаешь таких предателей, как Мадеро. Ты знаешь ошибки нашего вождя генерала Сапата. Генералу мешает жажда власти. Он хочет быть диктатором, как Диас и Мадеро, Сапата требует, чтобы все мы служили только ему, а Не Мексике. И я ухожу от генерала. Я ненавижу диктатуру. Пеоны — свободный народ. Я люблю свой народ. Я тоже пеон».

И Арзур Палло, уверенный в правоте Франсиско, не мог уйти от генерала Сапата. Надо было изгнать коварного диктатора Диаса и американцев — это было самое важное для Мексики.

Да, простой народ Мексики имел мужество идти против наемных войск Диаса. Они умели побеждать батальоны регулярной армии, но не знали, что делать с завоеванной землей, какой установить порядок и власть, исключая диктатуру личности.

Кто ему говорил: «Если ты потерял отца, — это большая потеря. Но если ты потерял желание драться за счастье народа, — ты потерял все!» Кто это говорил? Ах да, Франсиско Вилья!

Аинна спрашивает: какая Мексика? Как в ней? Что в ней? Наивная девочка. Разве можно сказать про Мексику — какая она! Человек и то неохватен, а тут государство. Граничит с Северо-Американскими Соединенными Штатами. Но это необычная граница. Все равно, как если бы рядом с домом беспечного хозяина поселился громила-вор.

Большая ли? Длина сухопутной границы 3383 километра: береговая линия по Тихому океану — 7142 километра. По Мексиканскому заливу и Карибскому морю — 2855 километров. Столица — Мехико, там и жил Арзур Палло с марта 1906 года. Читал лекции по физике в университете, удостоен был звания доктора физико-математических наук, не раз уходил с повстанцами. В Мехико есть Дом индустриальных рабочих мира, и он был три года президентом в этом Доме, поддерживающим связь с революционерами Латинской Америки. Бывали люди из Европы.

Мексика! Где еще дуют такие мягкие ветры, ласкающие землю? Чудесный климат, а в России лучше. Да, да! Он, Арзур, родился в Севастополе...

— А я в Монако, — проговорила Аинна.

— В Монако? Ты в Монако?

— В Монако. Так получилось у мамы. Арзур Палло усмехнулся:

— Кажется, я второй раз выигрываю в Монако!

— Ты был в Монако? Играл в рулетку?

— Был, но... не играл в рулетку. Арзур Палло сказал неправду...

Он трижды бывал в Монако, где встречался с неофициальными бельгийскими агентами поставщиков вооружения для армии. Генерал Сапата доверял Арзуру Палло — «рус ской чести» — крупные суммы для закупки оружия. Арзур Палло скупал оружие и боеприпасы для повстанцев. Бывал и у дельцов Ост-Индской компании, чтобы на ее кораблях перевозить тайные грузы для армии Сапата. И вот в августе 1914 года, когда Россия находилась в состоянии войны с Германией, Арзур Палло в знаменитом игорном доме Монако случайно встретился с русским подполковником Владимиром Юсковым. Нет, нет! Арзур Палло никому не проговорился об этой встрече.

Да и можно ли назвать встречей, что случилось тогда в игорном доме у зеленого поля рулетки? Об этом можно написать драму. Такую драму пережил русский подполковник Юсков, помощник военного

атташе в Англии. Он совершил преступление: проиграл крупную сумму казенных денег.

Ему был доверен секретнейший пакет от самого царя-батюшки на имя Пуанкаре! С этим пакетом подполковник Юсков должен был с утра явиться в Париж 7 сентября 1914 года в загородную виллу Пуанкаре. Что было в том пакете, он, конечно, не знал. Ведомо было только двору и, наверное, великому князю Николаю Николаевичу. Пакет доставлен был в Лондон специальным дипкурьером, нарочно минуя — по указанию самого царя — посольство России во Франции. Там же одному из приближенных к Пуанкаре лицу надо было передать крупную сумму.

Более четырех часов Арзур Палло наблюдал отчаянную и страшную игру — игру на бесчестье русского офицера! А он, Арзур, будучи революционером Мексики, в душе оставался русским. И сам генерал Сапата разве не говорил: «Русской чести я могу доверить собственную жизнь!» И вдруг такое позорище!..

Колесо рулетки вертелось... шарик прыгал... Подполковник Юсков проигрывал...

Оставалось всего несколько часов до его визита, а в кармане ни копейки... как же быть?! Какой позор!

— В долг... займы тысячу франков.

— Нет! — отказался главный крупье. — Можем одолжить пятьсот франков. Ни сантима больше.

— Тысячу! — повторил русский подполковник, хватая себя за горло, и Арзур Палло видел, как со лба на нос струился у него пот, — в таком он был отчаянии, когда спасает только пуля в лоб.

— Пятьсот!

И тут к подполковнику подошел Арзур Палло. Он отвел его в сторону, поговорил и вернулся к игорному столу.

— Я буду играть вместо русского, — сказал он крупье. Арзур Палло поставил максимальную ставку — четыре тысячи франков. Понимал ли он тогда, что шел на предательство генерала Сапата?!

Самое удивительное — поставил на красное. Все же видели, сколько раз выходило красное! И все-таки он поставил на красное. На что он надеялся? Или потому, что из всех цветов цвет крови был для него самым дорогим?

И вот чудо — вышло красное!

— Теперь я ставлю на всю сумму, какую проиграл вам русский подполковник.

Главный крупье назвал: тринадцать тысяч франков.

Арзур Палло имел наличными пятьдесят тысяч американских долларов: первый взнос одному из оружейников, бельгийскому подданному...

Главный крупье пересчитал франки, и Арзур поставил...

— Ставлю на zero!

На зеленом поле Мексики сложить буйную голову — это не бесчестье, но на зеленом игорном поле проиграть совесть — это падение!..

Zero выходило крайне редко. Колесо рулетки вертелось долго. Но, как видно, рок минул его головы: zero вышло! За какие-то минуты напряженной игры Арзур Палло возненавидел себя и долго потом не мог простить себе «патриотической слабости».

Русский подполковник воспрял и готов был снова ринуться в игру, но не таков был «покровитель» мексиканец!

— У вас не на что играть, господин полковник, — сказал Арзур. Он знал порядок: человека в подполковничьих погонах следует аттестовать полковником. — Я не позволю вам поставить даже копейку. Я защищал не вашу честь, а честь России. Извольте пойти со мной!

Это сказано было по-русски, что не в малой мере поразило подполковника Юскова и всех крупье.

Потом в гостинице, когда хмель буйного азарта, граничащего с невменяемостью, минул, подполковник Юсков грозился, что он пустит себе пулю в лоб, что он подлец и преступник...

Арзур Палло встряхнул раскисшего соотечественника и заявил, что, если бы речь шла о каком-то вообще русском, утратившем человеческий облик, он бы не поставил на зеленое поле ни единого песо. «Но речь шла о чести России, сэр, и вы это помните! Оставьте самобичевание, не люблю!»

И предупреждаю: то, что случилось в игорном доме, навсегда должно остаться между нами». Подполковник Юсков униженно и прослезившись просил о вечной дружбе и обещал русскому мексиканцу неизменную верность. Потом они уехали в Париж и вскоре расстались, но не потеряли друг друга.

Разве мог Владимир сказать отцу, какие узы связывают его с бунтарем-мексиканцем? И сам Арзур Палло мог ли открыть Аинне или кому другому тайну его отношений с худосочным блондином, подполковником Юсковым?

Мексика...

Закрыв глаза, Арзур Палло видит Мексику с ее богатой и щедрой землей, где так бедно и первобытно прозябают ее труженики, пеоны.

Сейчас здесь, в Красноярске, Арзур Палло, собираясь с мыслями, анализирует: что же произошло в Мексике? Как случилось, что мексиканская контрреволюция — диасовцы — задушила революцию на американские деньги?

В феврале 1913 года Уэрта-проамериканец объявил себя диктатором. Президент Мадеро был убит. Арзур Палло еле унес ноги из университета. Уэртовцы разгромили Дом индустриальных рабочих мира в Мехико. Два генерала повстанческой революционной армии, Сапата и Франсиско Вилья, из-за власти, чуть не перегрызли друг другу глотки... Франсиско Вилья увел часть войск и присоединился к армии Карранса, помог ему захватить столицу. Диктатор Уэрта бежал, и в тот же день Карранса объявил себя единовластным диктатором. Вскоре в столицу вошла партизанская армия генерала Сапата, и власть могла перейти в руки народа, но крестьянские вожди Сапата и Франсиско Вилья учинили между собою побоище — трое суток гремела стрельба в Мехико. Карранса тем временем воспользовался столкновением крестьянских армий, собрал силы и разгромил обе повстанческие армии. Арзур Палло отступил со своим батальоном в штат Пэбра, где и принял бой с помещичьими карательными отрядами. От батальона осталось не более полусотни, и тех пришлось отпустить с миром. Тайно вернулся в Мехико, побывал в университете, собрал свои пожитки, деньги и документы и на одном из попутных кораблей отплыл в Лондон. И вот — Сибирь!..

Да, он здесь. А шрамы Мексики и генерал Сапата не забыты... Но во имя чего же шла война с апреля 1910 года?! Иностранные компании по-прежнему хозяйничают в Мексике! Спекулянты и помещики, как и прежде, торгуют землями и недрами, Я либералы между тем умничают, утопая в пустословии.

И вот — революция в России. Пока что ее нельзя назвать народной, буржуазная, если во Временном задают гон князь Львов и

выхоленный острослов Милюков, а над ними некий Керенский — «кто и что он?».

«Я не политик, в конце концов. Мое призвание — физика. Я сейчас могу вернуться в Московский университет», — уверял себя Арзур Палло, утешаясь.

Ш

Прапорщики Владимир Иванович Окулов и Тимофей Боровиков, искоса поглядывая на энергичного, сидящего русского мексиканца, невольно подумали: в какую сторону ударится Арзур Палло?

Они разговорились в гостиной Юсковых за чашкой чая.

— Где теперь генерал Сапата? — спросил Тимофей.

— Погиб при отступлении из Мехико.

— А Франсиско Вилья?

О судьбе Франсиско Вильи Арзуру Палло ничего не известно, но армии у генерала нет — разгромлена. Тимофей сказал:

— Если бы в Мексике была единая рабочая партия, такого разгрома повстанческой армии не было бы. Только рабочая партия может привести народ к победе над всякими диктаторами.

Нет, Арзур Палло не согласен.

— Не может быть никакой победы, друг мой, если человек не победит в самом себе эгоизма и жажды власти. В этом все зло, как я убедился на жизненных примерах двух крестьянских генералов. Надо помнить, друзья: прежде чем грянет революция, начинается брожение, недовольство, а потом уже восстание. И оно всегда стихийно.

— Почему стихийно? — не понимал Тимофей.

— Ну, а как же было в девятьсот пятом после шествия народа к его величеству в России? — напомнил Арзур и усмехнулся: — Слова текут, а дело стоит. Так говорят пеоны. Я бы не хотел, чтобы в России на полпути остановилась революция.

— Она и не остановится, — уверил Тимофей, как бы подводя черту под разговором.

— Займусь-ка я лучше физикой, друзья! Если бы вы знали, какие нас ждут открытия! Существуют рентгенлучи, ну, а там, дальше, физики расщепят ядро атома — и тогда...

страшно подумать, какая это будет энергия! Если будет время, я вам кое-что скажу о тайнах, куда сейчас уже заглядывают физики. Недавно в Лондоне я разговаривал с одним известным ученым, и он уверяет, что вся энергия будущего — в атомном ядре. Знаете ли вы, что такое атомное ядро?

Прапорщики помалкивали: чего не знали — говорить не могли. Да и какое им дело до атомного ядра, если на завтрашний день в гарнизоне назначены митинги во всех взводах, ротах и батальонах трех полков?

Аинна ждала Арзура в домашней библиотеке — он же обещался быть после разговора с прапорщиками!

И вот пришел, как никогда, мрачный и ногти обкусывает.

— Что случилось? — приблизилась Аинна.

— Ничего особенного, кроме одного: меня даже прапорщики не понимают, — признался Арзур.

— Они же совсем малограмотны!

— Они — сама жизнь, ее недра. И если недра меня не примут, тогда мне действительно придется заняться физикой. И кроме того...

— Что еще?

— Надо собираться в дорогу. В Петроград, в Москву! И как можно скорее. Откуда я пошел, туда я и пришел. Любопытно все-таки!.. Как ее понять, жизнь? Все ее неожиданности и фокусы? — И, положив руки на плечи Аинны, спросил: — Позвольте узнать, Аинна Михайловна, согласны ли вы быть женою русского мексиканца Арзура-Арсентия Палло-Гривы?

Такого объяснения Аинна не ждала. Но не растерялась. Отступила на шаг и, как на церемониале, низко поклонилась ему.

— Согласна, ваше величество, — сказала она, пряча покрасневшее лицо.

— Тогда разрешите говорить с вашей матерью?

— И только с нею, — предупредила Аинна. — Вы же теперь все знаете?

— Так точно, — кивнул Арзур Палло. — Смею вас уверить, мадемуазель, — поскольку вы родились в Монако, — если бы за вами виднелся тяжкий груз приданого, я бы не сделал вам предложения. Хочу вас взять налегке — дорога предстоит дальняя, каждая иголка в тягость. Не так ли?

— Спасибо, — потупилась Аинна.

— А теперь позвольте вас поцеловать, государыня невеста. Если мне не изменяет память, это будет наш первый поцелуй?

— Боже мой! — кинулась Аинна и сама обняла своего возлюбленного. — Буду я ждать, когда ты расщедришься!

IV

Галдели «белые ромашки» — юные гимназистки с коронами на шапочках, наподобие ромашек, старатели во имя ближнего: они собирали пожертвования в пользу вдов и сирот.

На плитчатых тротуарах подтаял ледок. Арзур Палло шел с Аинной, когда их окружили белые ромашки — румяные, веселые, хотя и занимались печальной миссией сбора денег для разнесчастных вдов и сирот.

Арзур Палло заметил, как одна из белых ромашек раздавала прохожим какие-то бумажки. Кому две, а кому одну.

Арзур опустил золотой в металлический ящичек, и белая ромашка, отвесив реверанс, подала ему листок.

— Это воззвание.

— Вы раздавали по два листка?

— Вас тот листок не может заинтересовать, — с уверенностью ответила ромашка. Она же видела человека состоятельного, если он опустил золотой. А Аинну Юскову узнала, конечно. Буржук в городе по пальцам пересчитать можно.

— Что же в том листке, если думаете, что он меня не может заинтересовать?

— Я собираю деньги в помощь партии.

— Партий много, белая ромашка.

— В пользу Российской рабочей социал-демократической партии.

Вот воззвание, прочитайте. Или вам прочитать?

— Буду рад, если прочтете, — серьезно ответил Арзур Палло.

Белая ромашка сперва смутилась, косясь на буржуйку Аинну в норковой дошке, да еще с красным бантом, и на господина в заграничном пальто с бобриковым воротником, в чудных ботиках, с крагами, как у пленных австрияков — «генерал, может, пленный», — и, переглянувшись с подругами, стала читать нарочито громко:

**РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!**

Воззвание.

Ввиду решительного желания многих членов партии расширить свою деятельность и возглавить организацию, бывший Красноярский комитет Российской социал-демократической рабочей партии просит всех членов партии и примыкающих принять посильное участие в содействии этому личными взносами и сбором денег среди сочувствующих задачам и целям рабочего класса.

Арзур Палло подумал.

— Что ж, для рабочей партии, если она действительно рабочая, жизни не жалко. Но я у нас в городе гость и еще не знаю, что это за партия и чьи интересы защищает. Хочу верить, что вашими чистыми руками она не берет деньги на грязные цели, а потому охотно жертвую. К сожалению, у меня нет русских банковских билетов. Этот билет в английских фунтах. В любом банке обменяют, он обеспечен золотом.

Белая ромашка испуганно притихла.

— Если разрешите, я запишу вашу фамилию.

— Записывать не надо, но я могу назвать себя: бывший майор мексиканской революционной армии Арзур-Арсентий Палло-Грива, бывший участник революции девятьсот пятого года.

«Все бывший, бывший, бывший», — сам над собою подтрунивал Палло.

Белая ромашка, одолев смущение, достала из сумки газету.

— Сегодня в нашей газете «Красноярский рабочий»... Мой папа из ссыльных, социал-демократ, — перескочила ромашка и, удивленно помигивая, договорила: — Сегодня опубликовано сообщение об организации Красноярского комитета РСДРП (б) и избрании делегатов в Красноярский Совет и Комитет общественной безопасности. Избрано по два депутата в Красноярский комитет общественной

безопасности и в Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов. И еще пишут, что скоро будет связь с Центральным Комитетом РСДРП (большевиков).

— Большевиков? — прищурился Арзур Палло. — Спасибо, спасибо, ромашка. А, газета «Красноярский рабочий»! Почитаю. Это первая рабочая газета, которую я получил из ваших рук, вернувшись в Россию из эмиграции.

— Из эмиграции? — рдела белая ромашка.

— Да, детка, из эмиграции. Из Мексики. Это очень далеко. Очень далеко! И там нет белых ромашек — ни разу не встречал. Так есть девушки-пеонки — крестьянки, по-нашему, и они очень смелые и отважные. В нашей повстанческой армии они так же, как и вы, собирали деньги для революционной армии, и мы потом закупали на те деньги оружие.

Белые ромашки теснее придвинулись к Арзуру Палло, как бы невзначай оттеснив буржуйку Аинну.

— И в Мексике была революция?

— Была. Шесть лет повстанческая армия воевала с разными наемными диктаторами и, как это ни прискорбно, потерпела поражение.

— Поражение? И кто победил?

— Денежные тузы Америки, детка. Денежные тузы. Есть такие тузы в Северо-Американских Соединенных Штатах. Сейчас они посадили в Мексике своего диктатора Карранса, спекулянта и помещика.

— Это ужасно!

— Революции не всегда венчаются победою народа. Не всегда.

— А какая там была партия? В этой повстанческой армии, которая воевала против диктаторов?

Арзур Палло не ждал столь серьезного вопроса от русской белой ромашки! Точь-в-точь вопрос прапорщика Боровикова. Не сразу ответил.

— Какая партия? Партии не было. Была революционная армия и генералы в армии.

— Но почему же? Почему? — тянулась тоненькая белая ромашка, глядя на шрамы русского эмигранта из Мексики. — Как же без партии?

Папа говорит: без партии народ, как слепой в лодке на реке, — утонуть может.

— О! — Арзур Палло, чуть склонив голову к плечу, вздернул толстые черные брови. — Я думаю, ваш отец настоящий революционер. Без партии народ действительно утонуть может в словоблудии либералов. Передайте ему от меня революционный привет. И скажите, что вы встречались с майором мексиканской революционной армии, с бывшим майором, — поправился Арзур Палло. — Да, да! И не забудьте еще: да здравствует мировая революция! И в Мексике, и в Аргентине, и в Бразилии, и на Кубе, и в Африке, и во Франции, и в Англии, и в Германии — во всем мире!

Арзур Палло поднял руку ладонью вверх — знак единения мексиканской революционной армии.

Аинна готова была лопнуть от возмущения. Вот так жених! Ничего себе! Они еще не успели повенчаться (он же согласился повенчаться в соборе, как просила мама. Ох, уж эта мама!), и вот жених готов целовать наглуую белую ромашку прямо на тротуаре! Еще чего не хватало!..

Арзур Палло, не подозревая, что творилось с невестой, искал по карманам очки, чтобы прочитать воззвание, полученное от белой ромашки.

Очки забыл дома. Попросил Аинну прочитать.

— Еще чего, — вздулась Аинна. Арзур Палло удивленно посмотрел! — Прошу прощения.

Аинна смягчилась:

— Так и быть. Дай прочитаю. — И сразу же без перехода, твердым голосом: — Позавчерашнее!

— Для меня оно сегодняшнее.

— Пожалуйста! — И чуть посторонившись на тротуаре, чтобы не мешать прохожим, Аинна стала читать:

***РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!***

К гражданам города Красноярска

Граждане!

Старый порядок рухнул. Все видные приверженцы старого порядка арестованы. Образовалось новое Временное правительство. Народ в тесной согласии с армией организуется. В городах учреждаются Комитеты общественной безопасности. Управление своими судьбами народ берет в свои руки.

Необходимо, чтобы процесс организации народных сил шел как можно быстрее. Только организация избавит народ от излишних жертв.

Поэтому наше слово к вам, граждане города Красноярска: организуйтесь!

Органиуйтесь спешно в профессиональные союзы, посылайте своих депутатов в Совет рабочих депутатов, в Комитет общественной безопасности.

Власть из рук приверженцев старого порядка должна быть немедленно взята и передана истинным представителям народа.

Граждане, мы призываем вас спокойно и серьезно отнестись к событиям, сознайте свою силу и не тратьте ее на неорганизованные выступления.

Граждане, нам предстоит пережить тяжелое время. Старое правительство расшатало все устои народной жизни. Необходимо исправить все это.

Нужно внести порядок в тот хаос, который остался нам в наследство от старого порядка.

Стоящее сейчас у власти правительство может считаться только временным. Народ должен немедленно приступить к организации правительства действительно народного. Это правительство может быть организовано только Учредительным собранием, избранным всем народом в тылу и на фронте, всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.

Это собрание истинных и действительно народных представителей вырабатывает новые порядки управления Россией на основах, отвечающих интересам демократии.

Граждане! Второе наше слово к вам — призыв к борьбе за Учредительное собрание.

Да здравствует революция!

Да здравствует Учредительное собрание!

Инициативная группа членов Российской социал-демократической рабочей партии

V

Покуда Аинна читала, собралась кучка народа, человек пятнадцать, чиновники и мещане.

Один из чиновников, наверное знавший Аинну Юскову, но не знакомый с ее важным спутником, доверительно скавал:

— Эта партия к добру не приведет. Насквозь из жидов. Артур Палло оглянулся.

— Из жидов? Знакомый голос! В девятьсот пятом еврейские погромы устраивали черносотенцы с такими же голосами. Вы не из их союза?

Чиновник отступил.

— Это же Мансуров из банка.

«Революция еще только начинается, — подумал Палло. — Хотел бы я встретиться с лидером этой партии Лениным. Он должен вернуться из эмиграции, должен! В такое время быть за пределами России нельзя. И он вернется, конечно. Надо спешить в Петроград. Может, отложить это дикое венчание? — И, метнув взгляд на Аинну, вздохнул: ничего не выйдет. — Как я мог согласиться на венчание, революционер? Это же непростительная слабость. Во всяком случае, не в соборе! Нет, нет! Пусть в какой-нибудь церквушке, да поживее. И далось же им это венчание!» — с неудовольствием вспомнил позавчерашний разговор с матерью Аинны.

Евгения Сергеевна прослезилась, когда Арзур сделал предложение ее дочери. Как она беспокоилась! Столько было женихов,

и всем Аинна указала от ворот поворот. Даже сыну Петра Ивановича Гадалова! И Новожилову из Новониколаевска. «Лучше останусь старой девой, чем повенчаюсь с этой мордой», — сказала про Новожилова. И вот, слава богу, как будто с неба упал жених, да еще какой! Владеет четырьмя языками, ученый и революционер, и не без гроша в кармане. Чего же лучше? И отца Арзуза Палло знала — встречала в Минусинске. «Этакий чудак, а яблоки вырастил в Сибири! И помидоры, каких во сне не видывали чалдоны, и даже липовую аллею в собственном саду. Выезд имеет не хуже юсковского — тройка рысаков». Правда, Арзур Палло предупредил, что доктор Грива не родной ему отец, но он считает его подлинным отцом. Давно еще доктор Грива взял на воспитание двух сирот. Он подобрал их в Севастополе. Старшему брату, Арсентию, было тринадцать, а младшему, Гавре, три года. И он, великодушный доктор Грива, воспитал их, вывел в люди. И все-таки Арзур Палло не собирался навестить отца в Минусинске. «Я же не был в Минусинске. Старику я послал письмо из Лондона, и он знает, что я жив-здоров. Если сейчас приехать к нему и тут же уехать, — обидится. Вот, вернемся из Петрограда, тогда...»

Но причина была совсем другая. Не мог же он сказать отцу, что столько лет дрался в Мексике за свободу народа и вынужден был бежать, как вор, тайком на английском корабле. «Ничего другого я и не ожидал, — проворчал бы отец. — Как еще голова уцелела, удивляюсь!.. Лучше бы ты был физиком и не совался не в свое корыто».

Придет время, и он еще встретится с отцом. И кто знает, может, не с поражением, а с победой?..

С Почтамтского на Воскресенскую вышел взвод солдат — серая суконка. Поближе к тротуару шли знакомые прапорщики Окулов и Тимофей Боровиков.

Увидев русского мексиканца с Аинной, Тимофей что-то сказал Окулову и шагнул на тротуар.

— Здравия желаю! Гуляете? Арзур Палло усмехнулся:

— Митинги проводим.

— Митинги? — покосился Тимофей. — Это что, «Красноярский рабочий»? Сегодняшний? Читали? Нет еще? — Помолчал,

приноравливаясь к шагу Арзура. — Там одно сообщение напечатано. Прочитайте обязательно. Читали?

Арзур ответил:

— Партия начинает действовать.

— С такими действиями я не согласен. Послано по два делегата в Совет рабочих и в этот Комитет общественной безопасности!

— Так в чем же дело?

— Как вы не понимаете? Наша партия рабочая, и программа у нас определенная. Никакой сделки с буржуазией! А кто во Временном? Буржуазия. Тузы капитала. Их с помещиками водой не разольешь! Этот Родзянко... Знаете, какой он помещик? Ого! И князь Львов. И все они. А Гучков? Он приезжал к нам в Смоленск. Видел же, что дивизия Лопарева вышла из «кошеля» — двух полков не собрать, а он три часа орал: «Солдатики! Братцы! Убивайте, убивайте немцев! Убивайте!..» Он других слов не знал, этот Гучков. И он во Временном. Что же он — против войны будет говорить? За власть народа? Ждите!

Забывшись, Тимофей сплюнул и, взглянув на Аинну, готов был провалиться сквозь землю.

— Так что же вы предлагаете?

Тимофей выдержал сверлящий взгляд русского мексиканца, ответил:

— Никаких делегатов в Комитет, к эсеру Крутовскому. Ни одного! Это меньшевики у нас орудуют. Заблудились в трех соснах. Но большевики сумеют отстоять рабочую правду. У нас вся сила в Совете рабочих, солдатских и казачьих депутатов. И партийный комитет должен поддерживать только Советы.

— Как же Комитет общественной безопасности? Кому он подчиняется?

— Временному Керенского.

— Так что ж, вы против Временного правительства?

— В корне. С буржуазией, с эсерами, кадетами, меньшевиками и всякими соглашателями нам не по пути. Нашей партии большевиков, говорю.

Арзур Палло подумал.

— Самоизоляция?

— Никакой изоляции! Мы же рабочая партия, и рабочие с нами. А кто солдаты? Те же рабочие и крестьяне. Ни одного буржуйского

сынка в солдатской суконке нет. Точно. С солдатами нам жить и работать, с ними, а не с комитетом Крутовского. С кем он, Крутовский? С буржуазией. С Гадаловым, Чевелевым, Востротинным, с генералом Коченгиным, с атаманом Сотниковым, которые сейчас на стену лезут и совершенно не признают Комитеты солдатских депутатов. Не по ноздрям им.

— Это что-то новое, — признался Арзур Палло. — Похоже на двоевластие. С одной стороны Комитет общественной безопасности, с другой — Совет солдатских депутатов.

— Так и есть. По всей России.

— От фронта до Владивостока. И Советы и комитеты. Но самое революционное — это Советы. Как было в девятьсот пятом. Слышали?

Еще бы! Арзур Палло — участник девятьсот пятого, конечно, знает, как были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. Но они недолго продержались: были жестоко раздавлены.

— Сейчас не раздавят, если большевики будут работать с Советами. Иначе как же? Кто куда, что ли? Есть здесь настоящий большевик, Белопольский, из пролетариев. Он прямо говорит, что наш партийный комитет допустил грубую ошибку. И мы будем прямо говорить об этом. И драться будем. Меньшевики-интернационалисты сейчас маневрируют. Есть такая группка всепрощенцев, сколачивающих дом без углов и крыши. Фантазиями занимаются.

Арзур Палло спросил:

— Но ведь комитет признает Советы?

— Попробуй не признай! — кивнул Тимофей, и папаха его съехала на затылок. — У наших Советов винтовки с привинченными штыками и подсумки с патронами. Видели взвод? Мало — полки выведем. Но они хитрят, комитетчики. Выжидают момент, чтобы раздавить Советы и захватить власть. Знаете, что происходит в казачьем войске Сотникова? Самоизоляция, как вы сказали. Никаких Советов. Хоть сейчас готовы: «Шашки наголо!» — и рубить, рубить. Кого рубить? Советы. Революцию.

— Так ли?

— Точно. А чего же ждать от буржуазии? Чтобы сама разбуржуазилась — заводы, фабрики и капиталы отдала народу?

«Пожалуй, он прав, — подумал Арзур. — От буржуазии добра не ждать, сама себя не ликвидирует. Так же случилось в Мексике. Шесть

лет гражданской войны, а помещики взяли верх».

— Таких прапорщиков не было в мексиканской революции, — признался Арзур.

Тимофей смутился, пробормотал, что таких немало в гарнизоне. Сама революция учит.

— Суровая академия.

— У нас сегодня заседание исполнительного комитета Совета. Приходите.

— Со взводом на заседание Совета?

— Ну, а как же? Иначе нельзя. Говорю же: атаман казачьего войска начинает хитрить. Приготовили похороны к заседанию Совета.

— Похороны?

Тимофей взглянул на часы.

— Начались уже. Есаула Могилева с жандарским ротмистром Трусковым, и с женою Трускова, и с его сыном — четыре гроба сразу. Могилева при побеге застрелили, ротмистр Трусков сам себя прикончил. И записку оставил: «Россия гибнет: лучше смерть, чем власть жидов и уголовных преступников, освобожденных из тюрем. Граждане, опомнитесь! Всех честных людей России ждет насильственная смерть от рук разбойников» — и всякое такое, подходящее для жандарма. Я его помню, Трускова! Измолотил меня в тринадцатом году при допросе, думал, сдохну. Месяц в тюремной больнице отлеживался. А вот теперь, видите, когда сама земля ушла из-под ног, и жену отправил на тот свет, и гимназиста сына, а потом себя. Чисто сработано, по-жандармски.

Аинна злилась. То белые ромашки захватили Арзура Палло, то прапорщик. Хоть не выходи на улицу. И никакого к ней внимания, как будто ее нет. «Хамство, и больше ничего. Прапорщик, а воображает о себе! Как будто он лидер партии. Терпеть не могу нахалов. Из хамов хам».

Прапорщик все-таки заметил Аинну и, обращаясь к ней, спросил, дома ли Дарьюшка?

— Где же ей быть?! — вздула губы Аинна. Тимофей еле промигался и ушел.

— Мужлан!

— Ты злая, детка.

— Терпеть не могу хамов. Прапорщик!

— Голова у него крепко привинчена. Если бы в мексиканской революционной армии были такие прапорщики, народ выиграл бы революцию. Самое главное для революционера — не спутать адреса друзей и врагов. А это очень важно — не спутать адреса. Ну, а теперь пойдем домой. Надо подготовить выступление на Совете.

— Речь?

— Что-нибудь придумаю. — И, помолчав, прислушиваясь к собственным хрустящим шагам, дополнил: — Надо же разобраться в собственном умственном хозяйстве.

— Я буду твоей секретаршей, майор.

— Быть по сему. Хотя по законам совести и революции это нечто сродни эксплуатации?

— Эксплуатируй! — махнула рукой Аинна. — Чему быть, того не миновать. Терпеть не могу «третьего лишнего».

— Все зависит от тебя, детка.

— Не зови меня деткой.

— Ну, а если ты совершеннолетняя и принимаешь революцию, то и прапорщика должна принять. Он настоящий парень.

Аинна примолкла. Ей тоже надо пересмотреть свое умственное хозяйство, если Арзур Палло со всеми своими шрамами и рубцами в сердце требует, чтобы она поняла и «приняла» прапорщика.

— Сделаю так, как ты хочешь.

— Делай так, как подсказывает тебе сердце, совесть и здравый рассудок, — уточнил Арзур Палло.

Трубная, стонущая музыка. Черная, мутная, клокочущая толпа запрудила Театральный переулок, закрыв подступы к двухэтажному каменному дому, где должны были собраться депутаты солдатских, казачьих и рабочих Советов на свое первое заседание исполнительного комитета Красноярского Совета.

От Благовещенской улицы по Театральному текли люди, переливаясь через Воскресенскую.

Взвод солдат, щетинясь штыками, остановился на перекрестке.

Прапорщики Окулов и Боровиков совещались: как им быть? Главное, не поддастся на провокацию казаков и долгогривых семинаристов в черных сутанах до пят. И сколько же тут собралось обывателей! Только не было милиционеров Комитета общественной безопасности. Оно и понятно: недавно созданная милиция, оглядываясь через левое плечо на попранную полицию его императорского величества, еще не уяснила, как ей поддерживать порядок в городе с царствующим двоевластием. Кого миловать, а кому под микитки насовывать? Побьешь совдеповца — похвалят комитетчики; прижмешь комитетчика — похлопают по плечу совдеповцы. А не лучше ли — ни тех, ни других? И милиция каждый раз, если возникали митинги, шествия, отсиживалась по бывшим полицейским участкам — так покойнее.

Гроб с телом есаула Могилева, «убиенного разбойниками», вынесли из ограды под трубный рев духового оркестра и установили на двух столах возле ворот.

Знамен не было, хоругвей также, но ораторы нашлись. Один за другим вылезали из толпы и горланили, что вот-де пришла гибель для православного христианства — без суда и следствия расстреливают.

— Христиане православные! Внемлите гласу божьему! — хрипел детина в суконной поддевке. — Гибель будет, гибель! Советы депутатов объявились, чтоб резню учинить! Внемлите!..

Родственники есаула Могилева — пожилая жена в черном, мордастая дочь на выданье, невестка с младенцем на руках и сын —

чиновник городской думы — подвывали на весь переулок, чтобы добрые христиане прониклись скорбью и печалью.

Гроб окуривал ладаном дьякон, длинный, с бычьим голосом, покрывающим гундосое тьяканье священника, скрюченного старичка, затертого толпою.

Со стороны Гостиной, от Песочной, двигалось похоронное шествие с тремя гробами Трусковых. Обитые черным крепом, гробы качались на руках почтенных горожан. Голова ротмистра Трускова утопала в живых цветах, доставленных из домашней оранжереи миллионщика Гадалова — «свой свояка видит издалека».

Три гроба должны были соединиться с гробом есаула Могилева, но Театральный переулок до того был забит, что шествие как в стену уперлось и остановилось, закрыв проезд по Гостиной. Три деревянных креста сплылись в кучу, касаясь один другого над обнаженными головами православных обитателей дремотных деревянных домиков с подслеповатыми окошками, пугливо глядящими в суетный мир. Слышался бас соборного дьякона, толстого, гривастого, с увесистым кадиллом, а рядом с ним подвывал фальцетом священник Покровского собора отец Афанасий, известный в Красноярске с девятьсот пятого года своими погромными проповедями, призывавшими православных к удушению «жидов-иудеев, посеявших на ячменном поле христианства плевелы сатаны, бунтовщиков-мазутчиков, за убиение которых сам господь вознаграждает блаженством на небеси».

Казаки из бывшего дивизиона Могилева как бы сами собой собрались на похороны «отца родного, командира», не забыв прихватить пашки — испытанное оружие для усмирения бунтовщиков. Возле Дома просвещения, где должен был заседать исполком Совета, казаки держались стеной, плечом к плечу, спина к спине — пальца не просунешь. Поодаль от парадного подъезда в окружении служивых лычников прятался есаул Потылицын, теперешний командир дивизиона.

Тем временем в бывшем кабинете губернатора Гололобова комиссар Комитета общественной безопасности господин Крутовский рвал и метал молнии на головы своих приближенных и в том числе на атамана Сотникова.

— Кого хоронят, спрашиваю?! — хрипел доктор Крутовский. — Кого хоронят? Жандармов! И там ваши казаки, атаман. Позорно,

вопиюще, господа!.. Совдеповцы свалят нам на голову: «Вот, мол, Комитет общественной безопасности оплакивает жандармов!» Что? У них заседание Совета?.. Пусть заседают! Власть в руках Комитета! Мы, партия социал-революционеров, призваны принять на себя всю полноту государственной власти и установить порядок. И мы это сделаем!

— Есть еще РСДРП (большевиков), — напомнил атаман.

— К черту! К свиньям! У них нет партии. У них нет программы. Сброд, банда, фальшивка! Мы говорим: экспроприация земель, Учредительное собрание, конституция, парламент, свобода! Это наши козыри, атаман. И полный разгром Германии. Полнейший! И мы это сделаем, а не какие-то большевики. Сейчас они послали двух своих делегатов к нам в Комитет. Что ж, послушаем. Пусть еще посылают. Но предупреждаю: не копайте сами себе яму, как вот эти вопиющие похороны, приуроченные к заседанию совдеповцев. Сейчас же, немедленно очистить Театральный от гробов с жандармами. Сию минуту! Это вы должны сделать, атаман. Вы! Торопитесь же, пока грязный листок большевиков не пропечатал вас как плакальчиков по жандармам!

До атамана дошло: он и в самом деле перехватил. Чего доброго, в «Красноярском рабочем» пропечатают на всю губернию, и тогда чихай себе на здоровье! И во всем виноваты проклятые «советчики-друзья» атамана: Гадалов и Чевелев!

В тот момент, когда атаман, звеня шпорами, поддерживая рукою пашку, летел вниз по каменной лестнице, прапорщик Боровиков столкнулся с есаулом Потылицыным. У входа в здание.

Узнали друг друга...

С памятного ужина в доме Юскова они не встречались, да и тогда не перекинулись ни единым словом, хотя достаточно было сказано взаимоуничтожающими взглядами.

И вот лицом к лицу...

Одинакового роста, только Потылицын поджарее, сутулее, без усов, тщательно выбритый, впалощекий, длиннолицый, сумнобровый, со стальным окладом прищуренных глаз, впившихся в горбоносое, бровастое, синеглазое лицо прапорщика Боровикова.

Минуту молчали.

«Надо, чтоб все было по форме», — подумал прапорщик Боровиков.

«Я бы его сейчас нагайкой, да поперек морды, по глазам, чтоб брызнуло, — подумал Потылицын и тут же взнуздal себя: — Надо его без крика, без шума. Чин чином, по-есаульски».

— Это ваши казаки, есаул, явились на похороны жандарма?

У есаула Потылицына щеки побурели и сама собою рукоятка нагайки влипла в стиснутый кулак. Прищурился, смерил взглядом прапорщика:

— Обращаясь к старшему офицеру, положено честь отдавать, прапор. Но ведь вы... фронтовой прапор! Прощаю! Тем более... богом обиженного грешно отправлять на гауптвахту.

Прапорщик — ни слова, только глаза будто стеклянные стали.

— Чуть не забыл, прапорщик! В Белой Елани мне пришлось защищать вас. Один из тамошних жителей собирался убить вас за изнасилование его дочери гимназистки. Ну, а я сказал ему, что у сицилистов, какие зовут себя большаками, такой порядок: встретил девицу, понравилась, хватай и тащи в кусты. Такая у них программа, говорю. У большевиков.

Казаки-лычники заржали: «Вот урезал, в точку!»

Тимофей стиснул зубы. Еще мгновение, и горло перервет есаулу. И тогда... кто знает, что будет тогда! «Молчать, молчать, молчать», — твердил он себе, призывая на помощь всю свою силу. Есаул вызывает на схватку! Это же провокация!.. Но Тимофей Боровиков не просто прапорщик, а член РСДРП (большевиков), председатель Комитета солдатских депутатов батальона, член комитета 7-го полка, избранный на первое заседание исполнительного комитета Красноярского Совета.

«Молчать, молчать!..»

А есаул продолжает:

— Отец известной вам девицы чуть не задушил ее, и тут я заступился за несчастную: что поделаешь — девичья слабость! Не ходи гулять, говорю, за околицу, если в село припожаловал большевик! Ну ведь деревня же, деревня! Ах да! Папаша ваш тоже отличился, прапорщик. У собственной невестки прижил ребенка. Так что можете считать и папашу большевиком — полностью принял вашу программу. Ну а вы благодарите меня, что защитил честь вашего мундира. И

девицу ту не искупали в дегте, не вывалили в перьях — она успела сойти с ума. Так что жду от вас двойной благодарности, прапор.

Казаки ржали, как жеребцы. У Тимофея кровь била в виски, обжигая лицо.

— Что же молчите, прапор? — скалился есаул, довольный, что сумел обойтись без нагайки.

— Могу... — отблагодарить, — с трудом, глухо проговорил Тимофей, задержав дыхание па полную грудь. — Могу отблагодарить. Не здесь. Пойдемте, получите дюжину благодарностей. Если... не трусите.

У Потылицына не глаза — узкие щели. Он его вызывает, прапор? Подходящий момент расквитаться. И за Дарью, и за все кресты, какие сдуру навешали на прапора. «Я его в пух-прах, по-есаульски, да мордой в грязь, как того подпольщика...»

— Надеюсь, без взвода солдат будете благодарить?

— К чему взвод?

— Понятно. Пойдемте прогуляемся.

Тимофей двинулся первым, вклиниваясь в толпу. Следом — Потылицын. Он успел незаметно вытащить из грудного кармана шинели маленький браунинг, передернуть в ладонях колодку, заслать патрон в ствол и сунуть браунинг в шерстяную перчатку на правую ладонь — так будет надежнее, нагайку — в левую. И выстрелить можно из перчатки. Только бы затянуть прапора куда-нибудь на пустырь.

На углу Театрального и Воскресенской подошел к Потылицыну мужик в длиннополом тулупе, волочащемся по тротуару, в шапке с опущенными ушами, и бороденка рыжая.

— Ваше благородие! Ваше благородие! Потылицын остановился, рявкнул:

— Ну, что еще?

— Здравие желаю, ваше благородие! Как земляки мы, стал-быть. Али запомятовали, как на пароходе повстречались? Ишшо Елизар Елизарович повелел полтину дать, да вы не успели, вроде дух шибко тяжелый был в том трюме.

Есаул Потылицын узнал «земляка», осклабился:

— А!.. Помню, помню, служивый. Боровиков?

— Как есть он. Филимон Прокопьевич.

«Филя?» — вытаращил глаза Тимофей, не ждавший такой встречи.

Потылицын и тут успел опередить:

— Как поживает младенец у вашей жены от вашего батюшки?

— Живой, живой.

— Не кашляет?

— Никакая хвороба не берет.

— Мужского или женского пола?

— Мужского, ваше благородие.

У Тимофея потемнело в глазах и ноги каменными стали.

— Довольно, есаул, — оборвал Тимофей и коротко взглянул на брата; братья узнали друг друга, но Филимон, по своему обыкновению, принял его за «оборотня». — Жди меня здесь, Филимон. Здесь на углу.

— Господи помилуй!

— Жди, говорю! — еще раз напомнил Тимофей, сворачивая в сторону Почтамтского переулка.

«Долго ему придется ждать», — зло подумал Потылицын, успев передвинуть браунинг в перчатке, чтобы в любую секунду выстрелить. И кобуру маузера расстегнул — на всякий случай.

С Воскресенской свернули на Почтамтский, но пошли не по деревянному тротуару, а серединой улицы с подтаявшим черным снегом. Минули городскую больницу. Перешли Гостиную и дальше, к Песочной.

Деревянный высокий заплот, и калитка открыта на длину железной цепочки.

Остановились. Ни тот, ни другой не полез в щель калитки. Тимофей что-то заметил в перчатке есаула, буркнул:

— Пройдем дальше, к Енисею? — И голос осип, точно всю ночь орал песни.

— Давай.

Еще один двор. Створчатые ворота. Одна половинка открыта. Виднеется большой двор.

— Зайдем, — кивнул Тимофей, но есаул выжидал, как бы пропустить вперед себя прапора. «Ждет, сука! В спину из перчатки, тыловая крыса! В рукопашную бы тебя с немцами!» И, люто кося глазом, кинул: — Без хитрости, есаул. Держи плечо.

Бок в бок вошли в ограду. Есаул взглянул влево, в сторону дома, Тимофей — вправо.

Две коровы — одна пестрая, вилорогая, другая бурая, с подрезанными рогами, морда к морде с двух сторон уткнулись в решетчатые ясли в пригоне возле хлева. Бревенчатая конюшня с закрытыми воротами, извозчичья кошева с поднятыми оглоблями, рессорный экипаж с номером на задке, копна сена, придавленная жердями, чтоб не раздувало ветром, посредине ограды куча черного снега, смешанного с навозом, и каменная противопожарная стена соседней усадьбы.

Возле каменной стены прошли за конюшню, все так же плечом к плечу. Дальше — огород с вытаявшими грядками, еще одна копна в прислон к стене конюшни.

Враз повернулись друг к другу, похожие на петухов, еще не утративших ни формы, ни выправки и не потерявших в драке ни единого пера. Есаул переступил с ноги на ногу и вздрогнул от хрустнувшего снега.

Нет, не Дарьюшка стояла между ними — кроткая, тихая, никому не желающая зла, а кто-то другой, тяжелый, каменный. Вот так же, может, в оные времена под Оренбургом или Казанью скрещивались в смертном поединке беглые холопы-пугачевцы с барамы и дворянами и с войском ее величества Екатерины. И не оттуда ли, из дальней дали, залегла смертельная сословная вражда между ними, оросившая собственной кровью оренбургские и приуральские степи? И не так ли встречался с недругом праведник Филарет, не ведавший ни страха, ни жалости к лютым врагам вольной волюшки, за которую бился не на живот, а на смерть? И может, из глубин минувшего, векового вспыхнуло в глазах потомка Филарета горячее пламя ненависти и презрения к казачьему есаулу?..

— Ты, недоносок, сыми перчатки! По-го-ворим!

И в тот же миг Потылицын как бы оттолкнулся от противника на шаг, вскинув правую руку с браунингом в перчатке, выстрелил и — промахнулся.

Тимофей ударил есаула под локоть и тут же, не успела рука упасть, схватил ее у запястья, с силой крутнул на излом, слева-направо, и рука, парализованная вывихом, расслабла, наливаясь несносной болью.

— С-с-с-во-о-олочь! Р-р-р-руку! — вскрикнул есаул и, пересилив боль, размахнулся рукояткой нагайки. И снова удар под локоть, и нагайка отлетела в сторону, в снег.

Прапор стоял рядом, и синее пламя его глаз жгло есаула.

— Практику пройди, недоносок, — раздельно, с придыхом проговорил Тимофей и, схватив есаула за ремни, подтянул к себе, и кулаком под челюсть — звезды из глаз посыпались. По есаульской физиономии да нижним ударом под санки, порядок!

— Прямо держись, есаул!

Потылицын все-таки успел ударить левой — папаху сбил с прапора, и тут же получил ответный удар — небо в башке треснуло...

— Это... это... скуловой с правой, — пояснил Тимофей. — Запомни, недоносок! Если придется врукопашную — порядок!.. Теперь — благодарность. Ты просил — это... это... скуловой с левой. Держись, говорю! — доносилось откуда-то со стороны, и Потылицын слышал хруст ремней, его ремней, и видел огонь глаз — страшный, обжигающий, а голова раздулась как шар, и гудит. — Браунинг запрятал?! — Тимофей сдернул перчатку с вывихнутой руки и деловито, как бы исполняя служебную обязанность, ударил рукою с браунингом под солнечное сплетение — дух занялся и тело само собою скрючилось. Но прапорщик не дал упасть. Поднял на ремнях, встряхнул: — Ты... ты... доволен благодарностью?! Спрашиваю! Или тебе еще приданое выдать вместо мельницы? Тебе еще приданое?! — И, как кувалдой, слева и справа. И тут же наступил покой, забвение...

Потылицын долго лежал возле копны, беспamięтно поворачиваясь и подтягивая ноги. Враз почувствовал адскую боль под ложечкой и в голове. Ни крикнуть, ни охнуть. Вывихнутая рука отяжелела, раздулась в плече. Он его зарезал, зарезал, прапор! Зарезал, зарезал. И Потылицын, испугавшись, схватился за грудь. Что-то холодное, мокрое, тающее. Кровь, конечно! А-а-а, а-а-а!

Подбежал мужик, а за ним женщина в длинной юбке. Бормочут что-то, суетятся, помогая Потылицыну встать.

— Беда-то какая, беда-то какая! Ни слухом, ни духом, чтоб такое!.. Папаху подыми — дай сюда. Жив, жив, ваше благородие. Кто же вас так, а? Ничего, ничего!

Вытащили из ограды и оставили на тротуаре, моментально закрыв ворота: обыватель не терпит беспокойства. Хоть сам царь-батюшка,

все равно — вон из ограды, подальше от моего дома, чтобы не попасть в свидетели или в ответчики.

Потылицын прислонился спиной к заплоту, постоял. Нет, он не поранен, есаул. Чем же он его ударил — прапор? Кулаками, как молотом? Быть не может! Но где же шашка с ремнями? И кобура с маузером?! И перчатки нет с браунингом! Это же позор, кошмар, ужас! От ярости и боль поутихла. Рот не открыть — такая боль в челюстях. И на языке камушки. Плюнул — два зуба...

— О-о-о-о! Я его! Я его! О!..

Казни измыслить не мог. Одна ненависть. Теперь он, есаул, кажется, уяснил, что значит полный георгиевский кавалер...

VII

На Воскресенской Тимофей остановил извозчика:

— Отвезите шашку с ремнями в дом Юскова. Передайте там Дарье Елизаровне. Если ее нет, оставьте в лакейской у Ионыча. От прапорщика Боровикова, скажете.

— Отвезу, чего там! Полтина?

Тимофей уплатил полтину и пошел на тот угол, где должен был поджидать его брат Филимон.

В Театральном орудовал атаманский эскадрон, разгонял толпу и семинаристов.

— Живо, живо! Выпрастывайтесь! — блажили казаки. — Жандарма хоронить заявили? Грабанем! Моментом!

И толпа, смертельно перепуганная, рассасывалась, как вода в песке. За какие-то пять минут опустел Театральный переулок, и гроб с есаулом Могилевым остался у ворот на двух столах. Родственники спрятались в ограду.

Казаки — те, что явились на похороны «отца родного, командира», — по приказу атамана Сотникова подхватили черный гроб, затащили в ограду и там оставили:

— Хороните без шума, на катафалке. И без попа чтоб.

Как переедете Воскресенскую, шпарьте по Благовещенской, а там до кладбища без оглядки!..

Самоубийцу Трускова атаман приказал захоронить без креста и отпевания, как и положено в христианском мире, а убиенных жену и

сына, как безвинно пострадавших, отпеть в кладбищенской церкви и похоронить отдельно от их убийцы.

Гробы поставили на ломовые дроги, три в ряд, и повезли под конвоем казаков к месту вечного упокоения.

Манифестации всеобщего протеста против совдеповцев, приуроченной к заседанию Совета, не произошло.

Взвод солдат расположился в первом этаже Дома просвещения и у парадного подъезда.

До заседания Совета оставалось часа полтора.

Тимофей все еще искал Филимона. Спросил у Окулова: не видел ли мужика в длинной дубленой шубе?

— Что за мужик?

— Да брата встретил и тут же потерял.

— Брата?

— Сказал ему, чтоб ждал на углу.

— А куда ты уходил с есаулом?

— Промялись по Воскресенской. Земляки.

— Да ну?! Ты знаешь есаула Потылицына. Это же любимчик атамана. Может, это ты атаману мозги поставил на место?

Нет, Тимофей не ставил «атаману мозги на место». Просто у него был разговор с есаулом — «из одной же деревни».

— Пойду поищу брата.

VIII

Но не так-то просто было найти перепуганного Филимона Прокопьевича. Город велик, а Филя хотя и приметный, да не из тех, чтоб ни за что ни про что отведать казачьих плетей.

Как только появился казачий эскадрон, Филя, долго не раздумывая, ударился за толпой по Театральному до Песочной, поминутно оглядываясь, не гонятся ли конные казаки. «Исусе Христе, экая круговороть в сатанинском городе, — пыхтел Филя. — И царя, сказывают, свергли, и казаки все едино с шашками и нагайками, и офицеры при погонах, как и при царе было».

Филя, конечно, помнил, что офицер, брательник, «сидилист», наказал дожидаться его на углу. Но Филя не таковский — его не обманешь. «И вера моя каменная».

На Песочной, сразу за углом, Филимон Прокопьевич завернул в скобяную лавку. Скобянщик, подперев ладонями рыжую бороду, спал за прилавком. В лавке — ни души. Выставлены на обозрение железные и чугунные изделия, косы, сковороды, ухваты, утюги, всевозможные замки, бельгийские сепараторы, крючья, гвозди, сухие краски в жестяных банках и, конечно, подковы с винтовыми шипами.

Филя брякнул двумя подковами — хозяин очнулся.

— А! Первый сорт. Златоустское литье. В три зимы не собьешь шипы. И запасные шипы есть.

Филя определял по звуку — стальные ли?

— К приблизительности, цена какая?

— На весь скат — три рубля серебром. Дешевле в Бухаре только. Потому зимы не бывает.

— Пошто серебром?

— А ты как бы хотел, мужик? Бумажками?

— Как и водится: бумажные али серебро, золото — все едино деньги. Бумажные ловчее — карман не оттягивают.

— Ишь ты! Умнуций, — оживился хозяин. — Бумажки себе придержи, мужик, а мне — серебро или золото. За сепаратор, к примеру, золотом.

— Эко?

— Вот тебе и «эко»! Или ты из тайги вылез? Революцию проспал? Слышал, царю пинка дали, Всем престолом загредел. А завтра и денежки царские в пыль обратятся, не иначе. А я бы тебе сепаратор отвалил на бумажки... Умнуций!

Филя положил подковы на прилавок.

— Неможно то, чтоб деньги в пыль.

Скобянщик некоторое время разглядывал мужика подозрительно, но, поняв, что до мужика еще не дошла революция, захохотал:

— Деревня-матушка! Тьма беспросветная! Никакого фигурального соображения не имеете. Ты же в городе сейчас, а ничего не уразумел. На всех заплотах воззвания наклеены. И от Комитета, и от совдепов, и от всяких разных партий. Как ты того не сообразил: пе-ре-во-рот в России! Пе-ре-во-рот! Трехсотлетнее царствие как корова языком слизнула — ищи-свищи! Жди: вот-вот в банк привезут от Временного новые деньги. Какие будут деньги? Пустые, как вот эти чугуны. По какой причине? А по той, что у Временного золота нет —

не накопили, а в частных банках золото не про Временное правительство. Понимаешь?

— Экое наваждение, — вздохнул Филя. — Я вечер приехал из Минусинска. Человека с багажом привез. На паре рысаков. И он мне гумажками уплатил. Што ж, задарма неделю в дороге мыкался?

— На паре рысаков? Ха-ха-ха! Ты их деньгами теперь корми. Бумажками. Золотом опорожняться будут. Ха-ха-ха! Вот и покроешь убыток.

— Дык я и в банк пойду!

— Иди, иди. В Русско-Азиатский или в Сибирский торговый?

— Присоветуйте, ради Христа.

— Оберни на базаре в товар. Мало ли дураков на свете? Не ты первый.

— Осподи!

— Погоди, и до деревни дойдет революция.

— Дойдет?

, — А ты думал, при городе останется?

— Дык сподобнее при городе — и народ грамотный, и офицеры тут, и войско. А в деревне какая корысть для революции?

— Корысть какая? — прищурился скобянщик. — Тогда слушай: каюк вам всем, мужички. Как только дойдет до вас революция, считай, выметет весь хлеб вместе с охвостьями, а вам солому оставит. Ничего, сожрете. Утробы у вас чугунные — все переварите. Ну, а потом жди, жоманет налогами так, что очумеете. Не выплатите налоги — потянет на убой коров, овец, свиней, а вас, тугодумов, загребет под пятки на позиции вшей кормить. Гамузом. Под гребенку.

— Неможно то! Как по «белому» билету...

— Жди! Получишь «красный» билет и потопаешь, потопаешь. «Шагом арш! В а-а-атаку, суконка! В а-а-атаку!..» Это тебе не царь-барюшка, который примерялся, как бы худо не было, да все думал в своей Думе. Революция, она, брат, покажет!

Филимона Прокопьевича проняло — хоть сымай шубу.

— Уезжал из Минусинска — про революцию ни слуху ни духу.

— Гляди! Как бы не забыл дорогу домой. В городе совдепы объявились.

— В каком понятии?

— Советами солдатских депутатов называются. Оружие у кого? У солдатни. Прижмут тебя, скомандуют: снимай шубу, становись к стене, и — каюк.

— Оно так. Солдаты или казаки. Оно так.

— Казаки — православное войско, мужик. Я сам казачий хорунжий, рыло. Казаки со вшивой солдатней не споятся. Погоди еще!..

Филя приуныл. И на постоялом дворе хозяин наговорил страстей — голова вспухла, и тут еще в скобяной лавке. Осталось одно — поскорее из сатанинского города. Неспроста, может, Тимофей крикнул: «Жди, Филимон, на углу!» Чего ждать? Чтоб потащили бы к воинскому начальству, к докторам, и те сказали бы: «Годен, лоб забрить»? А у Филимона Прокопьевича борода еще как следует не выросла за шесть месяцев после возвращения домой.

— Подковы-то берешь?

— Повременю покуда.

— Так что ж ты тут лясы точил? И правильно говорят люди. Дремучее вы отродье, мужики. Давай твоими «гумажными» десятку за четыре подковы. Хоть себе в убыток, да где наше не пропадало!

— Не к спеху, говорю.

Вывалился Филя из лавки, охолонулся и хотел было пойти на постоялый двор, минуя главные улицы города, как увидел идущего навстречу по тротуару есаула Потылицына. Не признал сразу. «Сусе Христе, экое круговращение!» — тарасился Филимон Прокопьевич, поражаясь, до чего же переменился бравый казачий офицер. Только что встречались, поговорили, и Филя видел перед собой подтянутого есаула при шашке, в ремнях и при оружии в кобуре, а тут — есаул согнулся, ни шашки, ни ремней, ни кобуры! Что же произошло в этом переулке, откуда Филя вовремя убрал ноги, если даже есаула уходили — чуть жив?

Есаул тоже уставился на Филю подпухшими глазами.

— Ба-ра-ви-ков?! — И не успел Филимон Прокопьевич сообразить, в чем дело, как есаул, вот он, рядом, и без всякого промедления, с маху, с левой руки да по физиономии земляка так, что Филя влип спиной в ставень скобяной лавки.

— Ваше высокоблагородие!..

— Я тебя — в пух, в прах!..

Есаул, как коршун, подлетел к поверженному Филимону Прокопьевичу, вцепился левой рукой в воротник шубы и — вперед-назад о ставень, цедея сквозь зубы:

— За шашку! За маузер! Я тебя! В пыль! В прах!

— Ваше высокоблагородие, не был я в том побоище, вот те крест! Не был! Истинный Христос! Революция — ваша, а моя линия — сторона!

— Сторона?! Сторона?! Я тебя! Я тебя! В пыль! В потроха!

Скобянщик выскочил из лавки, глянул, как лупцует мужика казачий есаул, возрадовался:

— Так их, космачей! Так их!

— Я тебя... я тебя... в пух!.. — пыхтел Потылицын, волоча Филимона Прокопьевича по тротуару и поддавая пинков то с правой, то с левой ноги. О, если бы у есаула поднялась правая рука! Дал бы он жизни брательнику большевика! — Шашку бы!.. Шашку!.. Я бы тебя на сто частей!..

Почувяв смертельную опасность, Филя рванулся изо всей силушки, накопленной за двадцать семь лет жизни на белом свете. А силушка была немалая! Раздался сухой треск, точно от соснового полена щепу оторвали, и воротник, как птица, отлетел от новехонькой шубы, а вместе с ним взбешенный есаул, неловко упавший на правую и без того изувеченную руку, взревел, как волк, и бросился за Филей, но тот наметом прыгнул в сторону и приударил по Песочной — паровозом не догнать, только шуба шумела.

— Уф, уф, уф! — отдувался Филя, вытаращив глаза. — Спаси Христе! Спаси Христе!

В таком темпе Филя пролетел три квартала, до заплота городского сада, и только тогда, опасливо оглянувшись, перевел дух. Из разбитого носа и губ текла кровь, собираясь в бороде.

«Экая напасть, Иусе! — сморкался Филя, размазывая кровь по щекам. — Быть бы мне нонче убиенному. Слава Пантелеймону-великомученику, ушел из того проулка, где революция учинила побоище. Потылицын-то вовсе ополоумел, осподи! Слава Христе, без шашки и без револьверта. Прикончил бы, как пить дать. Экая житуха неподобная, а? И без города худо, и в город не заявляйся: упокоят в два счета».

Поминутно оглядываясь, трусцой, сторонясь встречных и поперечных, Филя явился на постоянный двор и сразу же — под навес к рысакам. Тут они, сено жуют. Надо бы напоить да овсеца перед дорогой, но до того ли?

Заложил рысаков в кошеву с проворностью пожарного и чуть не забыл куль с овсом — до того торопился. Вышел хозяин и потребовал уплаты за ночлег и сено. Полюбопытствовал:

— Ударил кто, или как? Лицо-то в крови. Филя махнул рукой:

— Революция ваша, городчанская! Будь она проклята.

— На митинге бывал?

— Слава Христе, ушел. Упокоили бы. А воротником пусть подавятся, окаянные. Эко располоснул! Новехонькая, а не сдюжила. Ну да воротник пришью новый.

Кинул куль с овсом в кошеву и, не прощаясь, гикнул на гнеденьких: дай бог ноги!..

За железнодорожным мостом, оглядываясь на дымнопепельный город, Филя плюнул с остервенением:

— Штоб тебе, окаянному, в тартарары провалиться!.. Как он мне нос и губы разбил, осподи! С чего бы, а? Не иначе как революция измочалила казачьего есаула, а есаул сорвал зло на мне, на беззащитном.

Нет, теперь Филю и белым калачом не заманишь в город. Дома надо переждать сумятицу. И дома опасно: как бы не грабанули во второй раз на позиции — у революции ума хватит. Не лучше ли уйти в тайгу к дяде Елистраху и там отсиживаться, покуда революция не задохнется в собственной ярости? Опять-таки хозяйство — знай поворачивайся. Работника нанять — себе в убыток выйдет. Меланья одна сдохнет от надсады. «Кабы тятенька был дома!» Понятно, со старика не спросишь, не то что с мордастого Фили. Как же быть? И так крутил, и эдак.

А Тимофей меж тем более часа толкался на Воскресенской, обошел все магазины Гадалова, Чевелева и три кабака госпожи Тарабайкиной-Маньчжурской, но нигде не сыскал брата.

В Театральном Тимофея поджидали Дарьюшка с Аинной.

— Ждем, ждем! — потянулась Дарьюшка, и глаза ее словно шептали: «Не забывай обо мне».

Аинна так и прилипла к Тимофею своими синими глазами, как бы стараясь определить подлинную цену прапорщику. Тимофей не выносил липучих взглядов.

— На заседание Совета пришли? — спросил.

— Если дозволит высокое начальство, — сказала Аинна не без ехидства.

— Мы сами высокое и низкое начальство, дозволим. Господин Палло здесь?

— Он с Дубровинским, — ответила Аинна, добавив: — Арзура можете называть товарищем. Он сказал, что готов доверить вам свою судьбу.

Тимофей взглянул на цветную афишу новой живой картины с участием знаменитой Веры Холодной. На афише Вера Холодная изображена была с кинжалом в груди, и рядом с ней разъяренный грузин в черкеске.

— Свою судьбу? — И толстые брови Тимофея сплылись над переносьем. — Это он сказал просто так, вообще. Никто свою судьбу никому не доверяет. Да и можно ли ее доверить, если никому не известно, что она такое — судьба?

— Интересно, — усмехнулась Аинна.

— Ну, а как же? Сколько раз, когда я поднимал солдат в атаку и мы шли под пули, на штыки, разве я знал, что не буду убит? Никто этого не знает. Одна секунда — осколок шрапнели, шальная пуля, и песня кончена; венец судьбы. В октябре четырнадцатого меня могли расстрелять военно-долевым судом, а нашелся полковник Толстов, который прервал заседание суда, а через день я был уже в маршевой роте тридцать первого Сибирского стрелкового полка. Что, разве я так хотел распорядиться своей судьбой? И разве я завел одиннадцатую стрелковую дивизию в «кошель» к немцам? И даже когда пришлось уничтожить предателя, командира батальона, и взять командование на себя, я совсем не думал так сделать. Просто получилось так — и все. Судьба, что ли? Другое дело — общее движение, борьба за справедливость. В такие моменты люди объединяются, но и тогда у каждого своя судьба.

Глаза Дарьюшки сияли. Она полностью согласна. Поглядел на часы:

— Пойдемте. Скоро начнется заседание.

ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ

I

Тишина.

Предвесенняя, задумчивая.

В тишине зреют проникновенные мысли, совершаются открытия миров и созвездий, и человек как бы охватывает умом вселенную, отыскивая собственное место в ней.

Тимофей искал свое место в революции, а рядом с ним шла Дарьюшка — притихшая, как птица, в теплом гнезде, бледная, как половинка лупы, и Тимофей чувствовал, как она кротко и робко тянулась к нему каждым своим лучиком, каждую кровинкой и словно не верила, что он рядом с нею и нагревает ее руку в своей ладони.

Они еще не привыкли друг к другу, точно кто-то упорно мешал. Революция, может, гонящая Тимофея днем и ночью в гарнизон к солдатам; и он что-то там делал, будничное, обыкновенное, но очень важное, как считала Дарьюшка, если четверо суток после первой встречи и той ночи без ночи только раз побывал в доме Юсковых, и то на часок. «Сейчас в гарнизоне — как в кипящем котле», — обмолвился он тогда, отказавшись от приглашения к ужину.

Сейчас он опять уйдет в гарнизон — поведет взвод солдат. Опять у них будет там какое-то заседание, совет полка, что ли, а утром одну из частей отправят эшелоном на фронт, на далекий запад.

Она что-то хотела сказать или спросить, но забыла. Он ее взял под руку, и они пошли по тротуару к дому Юсковых.

Ранняя стынь с востока насунулась тучами, а с запада ласкала темная голубень. И так же, как отлетающая голубень, что-то колыхалось в сердце Дарьюшки, нарастая, захватывая, и Дарьюшка не хотела, чтобы Тимофей сейчас ушел в гарнизон; нельзя же так. Когда же им сойтись ближе, чтобы понять друг друга! И боялась самой себе сказать непривычно грубое, твердое слово, обязывающее и как будто старящее «не сейчас, потом! Но он не должен уйти, не должен. Арзур все время вместе с Аинной».

— Та ночь... без ночи, и — ни одной ночи, — промолвила Дарьюшка и испугалась собственного голоса: он стал насыщенным,

густым, гортанным.

Тимофей подумал: «О чем она? Надо бы ей встряхнуться после пережитого. Втянуть бы ее в дело революции. Завтра поговорю с Дубровинским».

Если бы он понял ее, почувствовал тоску ее сердца, взял бы ее за руку, как тогда, давно, в пойме Малтата, заглянул бы в глубину ее черных глаз, и она вдруг поверила бы, что это именно он, тот самый Тимофей, которого безжалостно замыла тина времени, тогда кто знает, как сложилась бы их жизнь...

«Он совсем чужой, — меркла Дарьюшка, как свеча на рассвете. — Я ждала, верила, а сейчас мне холодно и как будто я иду одна. Всегда одна в пустыне...»

Она давно свыклась с одиночеством, постоянно листая в памяти впечатления, дни, события, как круглые четки, и никому неверяла ни своих дум, ни сердечной тайны. И в этом ее отчуждении повинны были люди, когда ее, доверчивую, необычную в своей откровенности, сочли сумасшедшей, не догадываясь, что она просто была в состоянии крайнего накала всех душевных сил. Она искала участия, ответа на свои вопросы, а нашла убийственный приговор: сумасшедшая.

Она подумала: был ли он, Тимофей, таким, каким она воображала в своем ожесточенном поиске живой души?

«Нет, он совсем чужой». Но он был и шел рядом; сапоги его звонко стучали подковками.

Тот был юный, первозданный, как вешний лист, а этот — не то что обстрелянный, а насквозь пропитанный окопной жизнью, ходивший по израненной земле в обнимку со смертью, и совсем не тот, каким был в Белой Елани...

Где-то там, в минувшем, была Дарьюшка — белая птица. Это он хорошо помнил, но не мог бы с уверенностью ответить: какая она была, белая птица? Тогда они поклялись быть мужем и женой, а потом кинуло их в разные стороны, как две щепки. Крутило, мотало во времени, и вдруг опять прибило на одну и ту же отмель, и они не узнали друг друга, не признались в родстве.

«Ты же выздоровела, Дарьюшка», — сказал он в ту ночь без ночи, и это было самое страшное для нее: «И он, как все. И никогда не поймет меня».

... И надо же было!

На тротуаре столкнулись с доктором Столбовым.

— Честь имею! — поклонился не Дарьюшке, а Тимофею. — Рад видеть вас вместе, весьма рад. Только не запомните мое наставление, господин офицер... Э...

— Боровиков.

— Память-то, память!.. Ну, как ваше самочувствие, моя беспокойная пациентка?

«Подлец, паук, насекомое!» — кипела она, зло глядя на пухлые докторские щеки.

— Надеюсь, теперь вас не беспокоят страшные вопросы и пять мер жизни? И самой вспомнить смешно, не так ли? Есть одна путевая мера — сама жизнь. От чрева до ямы — единственная для каждого.

— И в этой мере, — не удержалась Дарьюшка, — пауки и тараканы, голуби и волки в одной банке, и все счастливы?

— Те-те-те! Опять за старое? Следите за ней, господин прапорщик. Пусть меньше думает, а больше вот так, под ручку да по бульварчику... Ба! Забыл сказать вам, господин прапорщик: в том, что я скрыл от вас местопребывание больной, когда вы прошлой осенью были у меня, повинно не только жандармское управление. Господин Юсков, человек весьма крутого нрава, особенно предупреждал, чтобы не допускать к больной трех господ, — вас, капитана Гриву и инженера Гриву, весьма настойчивого молодого человека.

— Инженера Гриву?

— Именно, господин прапорщик. И, должен сказать, оба упомянутые, капитан и племянник оного, в те же дни, как Дарью Елизаровну поместили ко мне, настойчиво домогались взять ее тайно.

Дарьюшка так и вытянулась в струнку. Капитан Грива!.. Он хотел вырвать ее из лап мучителей. И не один, а с Гавриилом!..

— Честь имею! — Столбов приподнял шляпу.

Значит, Тимофей ходил советоваться к доктору? Он будет следить за нею, он ее тоже считает сумасшедшей... «Все разом, одним разом, — решила Дарьюшка. — Я теперь знаю, что делать. Найду капитана, и он поможет. Но где Гавря? Или он в тайге? Уеду в тайгу. Завтра», — бурлила Дарьюшка, пряча руки в муфту.

Тимофей спросил:

— Я ничего не слышал про капитана Гриву и про инженера Гриву. Ты их знаешь?

— Не знаю... Не помню...

— Что ты, Дарьюшка?

— Ничего. Устала на вашем Совете, голова болит.

— Ты извини, я не сказал тебе...

— Не надо, не хочу.

— Выслушай...

— Завтра. В другой раз. — И вдруг захохотала. Тимофей в испуге остановился:

— Что с тобой?

«Он сейчас подумал, что у меня... началось!» И ответила:

— Вспомнила Аинну. Мы жались с ней там, наверху, когда Дубровинский, Белопольский, а потом Арзур Палло говорили речи. Аинна все вертелась и злилась, что ее не пригласили за красный стол, где сидел Арзур. «Терпеть, говорит, не могу. От этой революции портянками пахнет».

— А! Портянками? Самый крепкий запах революции. Когда ее начинали временные в Петрограде, она, конечно, французскими духами пахла. Скоро духи выветрятся.

— И что потом?

— Начнется революция пролетарская, от которой буржуазии и Временному не поздоровится.

— Сколько же будет революций?

— Еще одна. Сейчас буржуазная, а потом пролетарская.

— А главной не будет?

— Какой еще?

— Революции в душе человека. Стрелять и убивать всякий сумеет, А вот с душой как? Кто ее просветлит? Или так и будут люди жить в цепях да в ненависти? И терпеть жестокость будут, как скоты?

— Вот и будет революция пролетарская. И для души, и для живота.

— Как понять — «пролетарская»? Пролетка, пролет, пролетит. От этих слов?

Тимофей пояснил, что пролетарская — все равно что рабочая, всенародная.

Нагоняла маршевая рота. Солдаты гаркнули песню про канареечку, которая жалобно поет. И Дарьюшке тоже захотелось жалобно запеть, как той канареечке, но не при Тимофее же

Прокопьевиче, который недавно сидел за большим красным столом и писал протокол заседания Красноярского исполкома Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов.

— «Канареечку» еще при Суворове пели, — сказала Дарьюшка. Тимофей ничего не ответил: в ее тоне было нечто оскорбительное.

— Боже, как повторяется мир! Как будто все вечно — и ошибки, и трагедии, и даже революция. Но когда же свершится революция в душе человека?

— Настанет такое время, — глухо отозвался Тимофей. — Хочу верить, хочу! — Завидев дом Юсковых, спросила: — Тебе ведь с солдатами?

— Догоню. Завтра, если ничего не случится, приду на весь день.

«Завтра я уйду к капитану Гриве на весь день», — подумала Дарьюшка.

Темный, отчужденно холодный дом Юсковых; ни в одном окне нет огня... Тимофей хотел было обнять Дарьюшку, но она вывернулась.

— Ты сердишься?

— Я же... психически больна. Чего еще вам, Тимофей Прокопьевич? Вот сейчас вспорхну к небу. А вам жить па земле. На небо, на небо! — И, не попрощавшись, скрылась за калиткой.

Обидно и больно. Она упорхнет. Куда только? Он ничего не знает, Тимофей. Той, давнишней Дарьюшки нет...

II

Замерла солдатская песня...

Дарьюшке опостылел дом Юсковых; она вернулась па улицу.

Вдруг повалил густой мартовский снег, подул ветер о Енисея. Завихрясь, снег танцевал у ног Дарьюшки. И она, запрокинув голову в меховой шапочке, подставляла разгоряченное лицо под холодные хлопья. «Буран, буран, — радовалась Дарьюшка. — «Буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна!» — вспомнились некрасовские строки. И сама ответила: — Она грянула, буря, грянула! По всей России. Дует, кидает снегом, метет по улицам, а я все чего-то жду, как будто сама хочу лететь за бурей».

Сейчас бы пойти по темным улицам, идти всю ночь напролет. Туда, к Черной сопке. Или на правобережье, до станции Злобино. Фу, какая станция — Злобино! Нет, лучше по Енисею — торосами, торосами... Или упасть на лед, чтобы остудить кровь и глядеть на серую овчину неба.

«Хочу, хочу, хочу! — беспрестанно твердила Дарьюшка, и тающие снежинки приятно холодили ее жадные, давно не целованные губы. — Хочу, чтобы все поднялись и шли навстречу буре и чтоб люди навсегда забыли про жестокость скотов с оружием. Пусть бы смеялись счастливые, и пусть слово в России станет вольным, как во Франции. Либертэ, Эгалитэ, Фратернитэ!..»

Очнулась от чьих-то скрипучих шагов. К воротам шел человек в пальто нараспашку, шапка с длинными ушами, их заносило ветром, как тюленьи лапы. Дарьюшка отступила к калитке.

— А-а-а, черт! Припозднился! — послышался голос. — Спят в этом идиотском доме! — И бесцеремонно подошел к Дарьюшке. — Расщепай меня на лучину... Дарьюшка? — И придвинул лицо к лицу. — Она! Побей меня громом! Моя Дульсинея Енисейская!..

Дарьюшка оробела — она узнала Гаврю.

— Побей меня бог, Дарьюшка! Дядя сказал, что никак не мог с тобой свидеться. Хозяйка этого идиотского дома, Евгения Сергеевна, весьма скверное создание природы и господа бога. Мой капитан расплевался с ней, уходит с «России».

— Я ничего не знала, — еле вымолвила Дарьюшка.

— Понятно. Они же, идиоты, держат тебя в таких шорах, что и у себя под копытами ничего не увидишь. Если бы мне осенью удалось вытащить тебя из больницы, я был бы счастлив, расщепай меня на лучину! Тебя же держали там, как смертницу.

У Дарьюшка сердце — как уголек горящий. Она готова была расплакаться.

— Мне так тяжело... Боже мой!..

— Скоты! Не стоят они того, чтобы помнить о них. Я вот тоже встретился утром с одной скотиной. Ты его знаешь! Потылицын.

— Потылицын?..

— Он самый, стервятник! Как он меня разделал тогда в Белой Елани! А он тоже считает себя революционером, на рукаве — красная повязка.

— Народ будет жестоко обманут, если революция оставит таких.

— Это верно. Да поймет ли он, народ, если его запросто околпачут?

— Поймет.

— Ой ли! После трехсотлетнего царствования жестокости — новая жестокость не в тягость, а в привычку.

— Нет, нет. Жестокость терпеть нельзя.

Грива притянул Дарьюшку к себе, заглянул в ее черные сияющие глаза.

— Милая...

Ее так и опалило: давно кто-то называл ее так... От ласки до ласки — эры проходят. От улыбки до улыбки — века. А сердце постоянно ждет ласки, глаза ищут сердечной улыбки. И еще нечто божественное и сокровенное, как первый крик новорожденного. Скучна жизнь на улыбки и на ласку. Была пойма Малтата — трещали кузнечики; солнце катилось вниз; полыхали рыжие метлы у горизонта...

Но это было так давно, кажется, еще до египетских пирамид!

— Милая Дарьюшка...

Она увидела немигающие светлые глаза, опущенные черными ресницами. Дарьюшка прижалась к нему, забыв обо всем на свете. Запрокинув голову, успела подумать: «Какие у него ясные, большие глаза — купайся, не утонешь». И утонула в его глазах. Жадные губы захватили ее рот.

— Гавря, Гавря... — Слезы катились по ее щекам.

— Милая, милая... Я так боялся встречи с тобой, столько передумал, пока плыл из Англии...

— Из Англии? О боже!

— Я же хотел увезти тебя туда. Мы бы это сумели обделать с капитаном. Если бы нам удалось вырвать тебя из того проклятого дома!..

— Господи, неужели правда?

— Святая правда, Дарьюшка. Дядя сказал, что у тебя есть жених, прапорщик Боровиков. Это... правда?

— Нет, пет! — запальчиво отреклась она. — Все совсем не так, Гавря. Ты же помнишь, я тогда говорила про Боровикова? Он самый.

Тогда, в Белой Елани, он был совсем другой. Тогда я сказала, что жена его. И я была бы, если бы потом...

— Дарьюшка...

— Всегда, всегда Дарьюшка... А ты давно приехал?

— В одиннадцать. Дядя говорит, что в доме Юсковых мой брат Арсентий?

— Арсентий?

— Он теперь не русский, а мексиканец. Арзур Палло. Я его с девятьсот третьего не видел.

— Мексиканец? Боже! Совсем забыла: он же Арсентий Иванович Грива, и вы все — Гривы. И капитан, и твой отец-доктор, и ты, и Арсентий. Ты еще не встречался с ним? Это будет чудесно!

Гавря стиснул ее плечи.

— Это счастье, что мы с тобой встретились!

— О боже! Щеки у меня горят. Никогда со мной такого не было. Я ведь теперь всегда одна, одна, как лисица в клетке. А я хочу простора, свободы и жить, жить! Ты слышишь? Свободы и простора.

— У нас революция, Дарьюшка. Мы — русские. И у нас революция! А там дальше, не знаю, что еще будет. Как говорит мой дядя-капитан — революция еще не все паруса подняла, она еще ставит паруса. И кто знает, какой ветер надует их... Такие перемены, расщепай меня на лучину! И везде кипение котла на предельном давлении. Это значит — ОНА СВЕРШИЛАСЬ!

... Так они говорили, перебивая друг друга, и целовались, и хохотали. Они были счастливы.

Ш

Лысый лакей Ионыч до того перепугался темпераментной Дарьюшки, что, забыв приветить позднего гостя, убежал в свою нору, бормоча: «Свят-свят... Содом и гоморра! Укатают Михайлу Михайловича, укатают. То бунтовщик-мексиканец присватался, то сумасшедшая тащит людей с улицы. Содом и гоморра!»

— О как перепугался! — хохотала Дарьюшка и сама распорядилась горничной Шурой: — Проснись! Такая чудная ночь. Буран и ветер, ветер! Ты понимаешь? Ветер дует в наши паруса... Помоги раздеться гостю.

Опомнясь, чопорная Шура приняла от Гавриила Ивановича пальто и шапку. Дарьюшка меж тем вторглась в заповедные пределы мексиканца — в библиотеку.

Арзур Палло сидел за столом, что-то писал.

Дарьюшка вихрем подлетела к столу. Очки Арзура съехали на кончик носа.

— Все мудрствуете? А где Аинна? — оглянулась на тахту. — Спит, конечно, у себя. Она спит! А я счастлива, вы понимаете? Нет, вы ничего не понимаете. Снизойдете ли вы до милости встретиться с вашим братом?

— Не понимаю...

— Может, вы скажете, что у вас нет младшего брата?

— Но ведь он в Англии...

— Англия в вашей передней, мексиканец! — не унималась Дарьюшка. — И Англия, и Франция, а завтра весь мир будет в нашей передней. В передней России, и будут ждать приема. Идите же, идите!

Ошарашенный Арзур вышел. И там, в передней, пока Дарьюшка летела в комнату Аинны, братья тискали друг друга в объятиях...

Аинна безмятежно спала.

— О, боже! — раздался над ее ухом звонкий голос. — Где тут выключатели? — Дарьюшка не нашла: ощупью добралась до кровати. — Ах ты толстая засоня! Подымись! Гавря приехал! — вцепилась она в голые теплые плечи Аинны.

— Ма-а-ма-а-а! — заорала Аинна. — Ну, ей-богу, ты ненормальная! Вся мокрая, в дохе — и на постель! — пыхтела она, включив свет возле кровати.

IV

Ночь была неповторимой для воскресшей из мертвых Дарьюшки. Никто ее не узнавал — ни Аинна, потчужа нежданного деверя, ни мексиканец, и только Гавря был доволен: он подоспел вовремя. Теперь она будет с ним, всегда с ним. Как же он смел бежать от гимназистки еще тогда, давно? Чего он испугался? Ее «страшных вопросов»? Ее постоянного искания? Если бы он тогда сумел понять Дарьюшку со всем ее сумбуром, не было бы горечи Белой Елани, не было бы Боровикова и всего, что случилось после.

Даже кашель, противный кашель, и тот отступил от Дарьюшки. За все время, пока они веселились в большой гостиной, пили вино, Дарьюшка ни разу не кашлянула. Она нарядилась в Аиннино бордовое платье, искусно отделанное всякими складочками, строчками, выемками, собрала в большой узел свои пышные волосы, надела кольца, а поверх платья спустила золотой крестик на платиновой цепочке, тот самый, что обещала старику Боровикову за пристанище. Она была красива в эту ночь, милая Дарьюшка, и на нее нельзя было не заглядеться.

Арзур Палло расспрашивал Гаврю: как дела в Англии, во Франции, нет ли там такого же революционного брожения, каким охвачена Россия. Гавря умерил пыл брата: Англия пребывает в блаженном покое. Колонисты достаточно нажились за счет негров, арабов, индусов, китайцев. Пусть революционер из Мексики не воображает, что Англия и Франция так, запросто, вывалят награбленные богатства на стол ограбленных.

— Будет нечто другое: со временем обрежут им лапы, и не мы, русские, а сами арабы и негры, расщепай меня на лучину, если не так!

Дарьюшка хлопала в ладоши:

— Да будет так, Гавря! Да будет так! Стук-стук-стук...

Это сердце бьется, трепетное сердце Дарьюшки. Сердце дочери тайги.

Стук-стук-стук...

Пусть громче бьется сердце. Пусть оно гонит кровь по телу, и пусть пылают щеки. Пусть оно не спит, сердце, как у лысого Ионыча, а вечно отстукивает мгновения быстротекущей жизни!

В ту же ночь прапорщики Красноярского гарнизона держали военный совет в канцелярии штаба 7-го запасного полка. Потом пошли к солдатам в казармы. Каждый в свою казарму. Так из ночи в ночь...

Тимофей понимал, что теряет Дарьюшку, что он не сумел приблизить ее к себе. Он был просто прапорщик, мобилизованный революцией. Чересчур много довелось пережить на фронте, чтобы вот так, сразу, отключить себя от солдатских забот. Да, он всегда помнил Дарьюшку. Но не ту, что встретил в доме Юскова, красноярского миллионщика, а совсем другую, неопределенную, как дымчатое облако среди ясного неба, и это дымчатое облако таяло сейчас на глазах.

«Я просто прапорщик», — постоянно говорил он себе, добросовестно выполняя свой долг.

Но в те дни это значило много.

V

Стук-стук-стук...

Это сердце торопится жить, беспокойное сердце Дарьюшки. Она вся как в огне. Даже не помнит, какими словами поздравила ее с женихом хитрая Аинна, довольная, что наконец-то Дарьюшка избавилась от Тимофея Боровикова — «мужлана».

Было так.

— Милая, хорошая Дарьюшка, — поднялась Аинна в застолье. — Сейчас мы выпьем за твое счастье и за ваше, Гавриил. Ах, мамы нет, она бы так обрадовалась...

Дарьюшка и Гавря чокнулись.

— Горько! Горько! — воскликнула Аинна. — Сегодня у нас две свадьбы, Арзур! Или ты не понимаешь? Или вы против? Кто против? Горько, горько! Мне тоже горько, Арзур!

Откуда-то выполз хозяин, Михайла Михайлович. Кутаясь в толстый халат, остановился под аркой, мрачно уставился на пиршество. Экая напасть! Не помышляет ли разбойник из Мексики прибрать к рукам весь дом? Кто он и что он, сей разбойник? Чего доброго, ворвутся в кабинет, «пропишут в книгу животну под номером будущего века» и выгребут золото из сейфов. Много золота! «О господи, спаси мя! — шептал он, украдкой выглядывая из-за арки. — Пусть Ионыч призовет в дом кучера и дворника. На всякий случай... А где же сын мой непутевый? Володенька... Ограбят тебя разбойники, нищим пойдешь по миру. Господи, господи, спаси мя!..»

Это все она, разорительница Евгения Сергеевна. Это она сосватала мексиканца своей нагульной дочери. Экая непутевая доченька! Экое бесстыдство! Пьют, пьют дорогие вина; коньяк пьют, крабами заедают. А кто позволил? Кто? Или шумнуть, чтоб разбежались? Да нет, не шумнешь. Не та сила в теле, не то время в улице. Весь разор пришел от революции. Да што же это? «Есть ли ты, господи? Видишь ли, господи? Матушка упреждала: разор придет через вертихвостку, погибель. Исполнилось то, исполнилось!»

Они целуются... Мексиканец с нагульной и еще какой-то господин с Дарьей, Целуются на его глазах. Про свадьбы говорят. Какие свадьбы? «Экая собачья жизнь настала! Без венца, без господнего благословения венчаются и в постель ложатся. И сие — в моем доме, на моих глазах. Туда ей и дорога, нагульной кукле! — подумал про Аинну. — А Дарья-то, Дарья... Она же, сказывают, психическая, а целуется с неизвестным. Или все враки? Никакая не психическая, а хитрость напустила на себя, чтоб беспутствовать. И то! Елизар-то медведь каторжный. Вырвалась на волю, да и пирует в моем доме с проходимцем. Все они с улицы, все проходимцы!.. Кого бы призвать на помощь? Полицию? Или упразднили полицию? Есаула бы Могилева сюда. Да где он сейчас, есаул? О, господи! Позвать надо Ионыча, да с револьверами укрыться за дверями. Будут ломиться в кабинет — стрелять...»

Старика, конечно, видели. Но Аинна успела предупредить: не обращайтесь, мол, внимания. Пусть запрется в кабинете и сочиняет новое завещание. Плевать на завещания! Аинне не нужен капитал из миллионов Юскова: Арзур Паяло берет ее безо всяких капиталов...

Но не так думала Евгения Сергеевна...

Она была в эту ночь у его преосвященства архиерея Никона.

Эта ночь была особенной: судьба решалась — быть ей или не быть хозяйкой юсковских миллионов?

Никто, кроме бессловесной, костлявой монахини Марии, обитающей в доме архиерея, не смел видеть Евгению Сергеевну, когда она с Никоном поднималась на второй этаж в его опочивальню.

Обычно архиерей, перед тем как отправиться на покой, засиживался с Евгенией в кабинете за шашками. На такой случай Никон надевал мирское платье — английский костюм или белую рубаху с золотыми запонками. Но нынче его преосвященству не удалось сыграть в шашки с Евгенией Сергеевной: чересчур она была озабочена земными делами. Нарядная, красиво причесанная, со сверкающей диадемою на голове, с жемчужным ожерельем на полнеющей шее, всегда энергичная, она сегодня была особенно нетерпеливой: «Поддай все сразу».

— Что мне делать? Что мне делать? — сетовала она, похаживая по пушистому ковру. — Я несчастна! Столько лет жизни, столько позора и

унижения с моим проклятым замужеством, и теперь я нищая.

Никон говорил что-то о провидении господнем, о каре для кощунствующих обманщиков, каким оказался Михайла Михайлович, супруг. Но разве такого утешения ждет страждущая и оскорбленная душа госпожи Юсковой?

— Я же нищая, нищая! — твердила она. — Или тебе безразлично? Аинну выдала замуж без приданого — какой позор, господи!

— Все образуется, образуется, Евгения.

— Образуется! Мне надо знать сейчас, Никон. Через неделю будет поздно. Если в доме останется Владимир, тогда мне одна дорога — с сумой по миру или в нахлебницы к зятю.

Никон распустил черную бороду.

— Не так сразу, Евгения, не так сразу...

— Только, ради бога, без проповеди! Я хочу знать: что мне делать? Ты обещал уладить. Как уладить? Я жду. Говори же!

Никону не по душе такой напор: все же с архиереем разговаривает, не с мистером Четтерсвортом. Но куда денешься? Все люди грешны: безгрешные на небеси пребывают.

— Не в отчаянье, а в бодрствовании успех, Евгения. Если в доме останется Владимир... — Помолчал, накручивая в пальцах кольца цыганской бороды. — Сие еще не беда. Слаб телом и духом раб божий Владимир. И в молодом теле — немолодая жизнь. Смерть равно ищет — молодых а старых. Изживши себя, паче того. Неисповедимы пути господни, Евгения.

— Если бы не Ионыч...

— Червь земной, не старец! — перебил Никон. — Ионыч не помеха, да и рок ищет его головы, давно ищет.

— А сам? Сам? — напомнила о муже.

— Золото ослепляет разум. Михайла не откроет сейфов Владимиру. Он сам будет лежать на своих сокровищах. Подумай, подумай, Евгения.

— Что думать? Я столько передумала, — наступала она, не терпя недомолвок. — Если бы... Если бы не моя женская слабость и беспечность, я бы давно взяла дело в свои руки. Старик дал телеграмму в Питер — вызывает меньшого сына Николая. Я успела перехватить депешу. А если он пошлет новую и начальник почтамта обманет меня? Меня же они разорвут втроем!..

Да, Юсковых — трое. Но самым опасным для Евгении оставался меньший сын Михайлы Михайловича, Николай, поручик. Его-то и хотел вызвать старик, чтобы выдворить Евгению Сергеевну.

— Этот Николенька — мот и подлец. Они меня прикончат без Аинны и капиталы пустят на ветер.

— Не так сразу, Евгения, не так сразу, — увещевал Никон, охаживая бороду.

— Ты что-то хотел сказать про Ионыча? Никон подумал.

— Есть страшные грешники, Евгения. Из них — Ионыч. Достоин кары великой, геенны огненной достоин. Призову к великому соборному покаянию, призову! Ведаешь ли, как убит был старец-раскольник в скиту, по чьему разумению делались фальшивые деньги? Быть бы старцу на виселице, кабы не Ионыч. Убийство свершил он, злодейское убийство...

Он снова помолчал, обдумывая дальнейшее.

— Революция освободила одного каторжанина с Акатуя. Явился он ко мне с покаянием. Речение вел такое: преступного старца в красноярском скиту убил Ионыч, чтоб самому не попасть на каторгу и не потянуть за собой миллионщика Юскова.

— И... что же он, каторжник? — напряглась Евгения.

— Доставил мне пачку фальшивых казначейских билетов, какие были спрятаны в скиту в тайнике. Билеты упакованы в пергамент, и на том пергаменте собственноручная надпись Ионыча: «Для М. М. Ю.». То есть для Михайлы Михайловича Юскова. Почерк установить — не тяжесть. Дело давнее, забытое, но вопиющее, Евгения. Теперешнее Временное правительство может и помиловать Ионыча, ну, а если не помилует? Пристращать надо, и он тебе служить будет. Что и свершится, когда я призову его к соборному покаянию. — Передохнув, дополнил: — И то не все. Тот каторжник передал мне и флакон с ядом. Тибетский яд. Надпись на флаконе такая же фальшивая, как те билеты. Каторжник сказал, что флакон сей был передан ему самим Ионычем и хранился в тайнике на тот случай, если захватят фальшивомонетчиков. Сам старец не знал того будто, не почил от яда. Помяни его душу, господи, — помолился Никон. — Кто его умертвил? Ионыч же. Дам тебе тот флакон, и ты пострадай старика. Узнает флакон-то, узнает! Но, упаси бог, не употреби во зло содержимое. Три капли на кусочек сахара или смешать с другими каплями — и смерть. Спаси бог!..

Евгению Сергеевну пробирали мороз. Боялась поднять глаза, чтобы не встретиться с чугунной чернью очей его преосвященства.

— О, господи! Помоги мне, — молилась. Настал такой час. Она еще померится силами не только с престарелым Михайлой Михайловичем, но и с обоими его сыновьями! «Или они меня на панель, или я их...» Это было единственное ее решение.

Прежде чем перейти в Никоновы покои, Евгения Сергеевна приняла из рук своего тайного любовника флакончик желтого стекла с притертой пробкой и спрятала в шагреновую сумочку. Подумала: «Как там Аинна со своим мексиканцем? Спят, наверное».

И мысленно благословила дочь.

VI

Он все еще тут, старик?.. Совсем лысый, как Ионыч, круглоголовый, немой, словно привидение — никому не нужный гость на грешной земле, единственный живой сын Ефимии Аввакумовны, Михайла Михайлович Юсков.

Дарьюшка сразу узнала его. Она слышала, как он шел из темных глубин дома, шаркая войлочными туфлями, — страшный на черном фоне. Он шел в малую гостиную, где не было огня. И словно кто тащил старика под руки. Он упирался: зацепился за резной столб арки и тут спрятался. И кто-то тяжело вздохнул. Может, ветер бился в огромные окна за плотными шторами? Или сама смерть пожаловала за хозяином и тащила его на кладбище?..

— Ну, что ты смотришь? — сказала Аинна. — Пусть торчит, если ему нравится.

— Сик транзит gloria mundi!

— Что ты сказала? — не поняла Аинна.

— «Так проходит земная слава».

— Фи! Тоже мне, слава! — отмахнулась Аинна. Арзур Палло угрюмо помалкивал. Что-то ему не по душе в доме Юсковых. Конечно, он не вправе заглядывать в тайны — не он здесь хозяин и опекун. Но уж лучше поскорее покинуть эти стены.

— Еще один лысый лакей, — зашипел Гавря. — Побей меня гром, у вас, кажется, все лакеи лысые.

Аинна фыркнула.

— Это Михайла Михайлович, — тихо отозвалась Дарьюшка.

— Лакей?

— Хозяин.

Дарьюшка видела нечто, доступное только ее воображению, Она и сама не сумела бы объяснить, но чуяла: за плечами старца спряталась смерть и держит его за шиворот.

Странно, откуда-то напахнуло тонкими французскими духами Евгении Сергеевны. Да, это ее духи, любимые, и Дарьюшка не переносила их запах, потому и запомнила.

И в тот же миг кто-то силою потащил Михайлу Михайловича из-под арки.

— Куда она его? — дрогнула Дарьюшка. Аинна тревожно взглянула на нее.

— Ты про кого?

— Мне показалось... как будто Евгения Сергеевна.

— Мама же нет.

— Духи... ее духи...

— Духи? Они на твоём платье. Я же тебя спрыснула из ее флакона. Ну, что смотришь? Старик испугал? Он сейчас запрется в своей норе, призовет Ионыча, и будут сидеть там за тремя замками и с двумя револьверами. Умора! Плевать на все его золото и миллионы! Правда, Арзур? Ты что-то хмуришься? Давайте веселиться до утра. Но веселье не состоялось.

— Нет, не могу больше, извини, Аинна, — поднялась Дарьюшка и неловко покачнулась. Ее поддержал Гавря. — Мне страшно. Извини, и вы извините, Палло. Я вас пере» пугала тогда в библиотеке?

— Вы чудесная, Дарьюшка! — восторженно откликнулся он.

Дарьюшка кротко потупилась. Гавря взял ее под руку. Арзур и Аинна шли позади, переговариваясь, но Дарьюшка не слушала; ступеньки качались под ее ногами.

В комнате электрический свет ослепляюще ударил в глаза.

— Давит, давит... Принесите свечи, пожалуйста!

— Ты будешь спать, милая.

— Свечи, пожалуйста!..

— За свечами ушел Гавря.

— Ты опьянела, — ласково журила Аинна, помогая Дарьюшке раздеться. — А мне хоть бы что!

— Кружится, кружится... — лепетала меж тем Дарьюшка. — Дай мне другое платье. Нет, лучше черную кашемировую юбку с батистовой кофтой. И бабочку черную с лентой.

— К чему это? Ложись!

— Не хочу... Я должна уехать. И где Тимофей? Почему его не было за столом?

— Боженьки! — фыркнула Аинна. — Она пьяная, пьяная. Обойдешься и без него! Твоя судьба — не Тимофей, а Гавря.

— Гавря? Он хороший, но... Тимофей... Я должна сказать ему...

— Успеешь сказать, спи!

А в этот час в казарме пулеметной роты 7-го полка Тимофея Боровикова спрашивал пулеметчик:

— Революция — оно так. Это мы понимаем. А вот как оно будет на руднике Сарала? Останется Иваницкий или нет?

Тимофей ответил, что программа партии большевиков такова, что капиталистов не останется.

— А кто управлять будет? Инженер Грива?

— Инженер Грива? — насторожился Тимофей. — А кто он такой? С кем он?

— Да разве вы не слышали? Они все Гривы из политических.

— Если он с народом, революция найдет ему место, — ответил Тимофей и с чувством тяжелой горечи покинул казарму.

Было четыре часа.

Еле добрался до своей койки. «Надо побывать у этого Гривы, — размышлял он, сидя на голой железной койке. — Что это еще за инженер Грива?»

— И как был — в шинели, ремнях и при шашке — свалился и мгновенно заснул.

VII

Дарьюшка и Гавря все еще бодрствовали. Ему приготовили постель в библиотеке, но Гавря остался у Дарьюшки.

Мерцают свечи. За окнами ветер.

Дарьюшка приподнялась на подушках, усмехнулась.

— Какая чудная жизнь, Гавря! Вся из загадок. Разве я знала тогда, в доме Метелиных, что мы через три года встретимся? Садись ко мне, хочу посмотреть на тебя. Нет, Гавря, я не пьяна... У тебя сильные руки. Как у мастерового.

— Я и есть мастеровой. Таежный, человек...

— У тебя интересная жизнь. Полезная для людей. И я хочу быть полезной.

Гавря не решался притронуться к Дарьюшке, и все-таки она тянула его, как магнит стрелку компаса. Она была какая-то неземная, из воздуха и порывов ветра. Она то говорила что-то, сама себя перебивая, и не было сил удержаться, то молчала, устремляясь в неизвестное. Ее нельзя было поцеловать и обнять, как невозможно обнять воздух и ветер. И в то же время она была милой и желанной. Он никак не мог уследить за ее мыслями и только глядел, слушал, не понимая, что с ним.

Как моряк после долгого плавания, покинув корабль, еще неловко держится на земле, так и Дарьюшка после мучительных дней заточения еще сама не знала, что с ней. Она хотела найти себя и устоять на земле.

— Милая Дарьюшка... — тихо проговорил Гавря.

Разметав волосы, она лежала почти обнаженная, но Гавря не замечал наготы, точно она была окутана густым туманом.

— Так странно, так странно...

Гавре послышалось: «Ты видишь меня? Или меня нет? Где ты, Гавря? Найди меня».

И он искал ее, искал и не находил. Но он должен найти ее, должен! «Я ее люблю, люблю. Ее надо увезти в тайгу». И взял Дарьюшку за руку. Она не отняла, лишь пристально взглянула на Гаврю.

— Милая Дарьюшка...

— Ты меня боишься?

— Нет, не в этом доме, не в этом! Я... я прошу твоей руки, Дарьюшка.

Она не сразу сообразила.

— Руки? Ты же ее держишь. Ах да... Так, кажется, начинается сватовство. Ты серьезно?

— Да. Тысячу раз — да!

— А потом? Что потом?

— Завтра Арсентий и Аинна венчаются. И мы... Дарьюшка вырвала руку.

— Нет, нет, нет! Никогда! Я ненавижу попов. Была я у Никона, у его преосвященства... Знаешь, чего он хотел? И я бы еще повенчалась в церкви у алтаря, где скверна и блуд? У алтаря венчались жандармы, цари, насильники, Гавря. Я — верующая, но никогда не буду венчаться в поповской церкви. Если ты... если серьезно... Если ты любишь — ты должен знать, какая я.

— Ты святая, Дарьюшка.

— Не верю в святых. И я не святая, я — грешница. Но не грязная, не пакостная. Гляди какая! Видишь, совсем маленькая... — Помолчала, натянув одеяло до плеч. — Дай сказать. Ну, Гавря! Все перепуталось... Ну вот... Если ты любишь, я буду с тобой. Но хочу, чтобы ты знал: ты свободен в своей любви. Разлюбишь — не стану осуждать.

— Дарьюшка...

— Дай сказать... Я много думала, Гавря, как бы я устроила свою жизнь. Однажды я дала слово, что буду женою навек. И не сдержала слова. А если бы мы повенчались? Я тогда хотела венчаться и клялась, Гавря, всеми святыми клялась, что буду женой Тимофея Прокопьевича. И... я была его женой — один раз и один вечер, Гавря... У тебя часы тикают, и у Тимофея часы. Трофейные. Ужасно! С мертвых — часы. Я какая-то неземная, Гавря, а люди — как пещерные жители, ей-богу. Ты не должен давать слова. Нельзя давать на веки вечные. Я не хочу, чтобы твое слово было для тебя же цепью на всю жизнь. Зачем! Лучше честно. Я буду верить тебе. Ты меня звал Дульсинеей Енисейской, а я была кривлякой, гимназисточкой. И Дульсинеи не было. Я просто Дарьюшка... Ты меня любишь?

— Люблю, люблю...

— Я и забыла, что я — в третьей мере жизни...

— Все меры наши, — уклонился Гавря. — Та секунда, что на часах, уже не наша, она канула в вечность. И что-то в тебе, во мне, во всей вселенной ушло безвозвратно в вечность. Но кто сумеет ответить, что же ушло? А что возродилось? По закону физики, ничто не исчезает бесследно.

— Вечность никогда не познают, Гавря. — И, откинувшись на подушку, Дарьюшка зажмурилась. — А что, если я и есть вечность? Если моя любовь вечна — разве я смертна? Пусть умру, но моя любовь останется на земле. Я не знаю — в чем и как, но останется. Нет, нет! Не только дети, Гавря, — моя собственная любовь остается на земле. Как дух, что ли... Или, может, любовь — особый вид энергии, которую мы еще не знаем? Любовь не смертна, Гавря. Без любви нет жизни и никогда не будет. Пошлость и гадость могут жить без любви. Я так думаю. И вот еще: что если моя любовь пришла ко мне из далекого времени, которое ушло?.. Ты меня увезешь в тайгу? Я все выдержу, Гавря, во всем буду помогать тебе. И еще...

Послышалось: кто-то хлопнул дверью.

— Мне страшно, Гавря...

Он хотел обнять ее, — не далась.

— Не в этом доме, Гавря. Ты же сам сказал. Мне страшно здесь, страшно...

Он не понимал.

Дарьюшка схватила его руку, прижалась щекою.

— В ЭТОМ ДОМЕ БУДЕТ УБИЙСТВО. Гавря выпрямился.

— С чего ты взяла?

— У меня такое предчувствие, Гавря. Не оставляй меня одну, не оставляй! В ЭТОМ ДОМЕ БУДЕТ УБИЙСТВО...

... «В нашем доме скоро будет покойник», — подумала Евгения Сергеевна. И ни один мускул не дрогнул на ее холеном лице, как будто думала о смене платья.

Заслышав отдаленные шаги его преосвященства, перестала массировать свои румяные щеки и с той же проворностью сняла сверкающую диадему, вытащила черепаховый гребень из копны русых волос, сняла с белой лебяжьей шеи жемчужное ожерелье и, как бы завершая священный обряд египетской жрицы, встряхнула голову, распуская копну волос по спине и полным плечам.

Сам «жрец», босиком, в лохматом французском халате на голом теле, перетянутом по чреслам, изрядно надушив цыганскую бороду, с некоторой торжественностью вступил в кабинет и остановился в двух шагах от жрицы.

Евгения Сергеевна сладострастно потянулась, успев подумать: «Шаль платья; я в нем только два раза появлялась на званых обедах».

— О, господи! — шумно вздохнул Никон-жрец; она его в такие ночи звала жрецом, а он ее жрицей. — Возолкал, отче; исцели, сыне!..

Его преосвященство все еще пока помнил о своем высоком сане, докладывая «отче-богу», что он преисполнен греховной страсти, и в то же время милостиво просил «сыне-Иисуса», чтобы тот исцелил его, как однажды Марию Магдалину.

Но ничего подобного не случилось; все шло, как и должно. Евгения Сергеевна потягивалась, поправляла навитые локоны, потом присела на пуф, не торопясь, рассчитанными движениями расстегнула пуговицы ботинок, сбросила их, а тогда уже, как бы подкрадываясь к таинству, с широко открытыми глазами подступила к «возолкавшему жрецу».

— Мой великий жрец! Мой великий жрец! — шептала она в душистую бороду, прильнув к Никону своей высокой грудью.

Дрожь прошла по могучему телу его преосвященства; борода его, как черной метлой, закрыла подбородок и белую шею жрицы-искусительницы.

— О, господи, спаси мя! Возолкал, отче; исцели, сыне!.. Великий огонь во теле твоём, Евгения. Уста твои ядом испоены; руки твои змеям подобны, о господи!..

— И ты будешь пить яд из моих губ, и будешь лобызать мои руки.

— Исполню то! Исцели, сыне!..

— Исцелю, исцелю, исцелю, — шептала чарующая Евгения.

— О, господи!..

Одно прикосновение к телу искусительницы, и Никон моментально забыл о своем высоком пастырском сане, про всех овечек и баранов, за стадом которых ему следовало бы наблюдать денно и ночью в поте лица своего, дабы не вошла греховная скверна в душу какой-либо безропотной овечки или тупорылого барана, отбивающего поклоны во храме господнем, а за храмом, у кабака — само воплощение нечистого духа.

— О, господи, Евгения! Жрица, ниспосланная мне языческими богами Олимпа! — едва продыхнул жрец Никон, отрываясь от пухлых и сладостно-пьянящих губ искусительницы. — Плоть твоя, Евгения, миррою окроплена, огню подобна. Уста твои яко медом испоены. Не зреть мне спасения господнего, если ты не есть сам дух геенны огненной!..

— Так уж сразу геенны, — хихикнула в нос жрица.

— Ввергнет, господь, ввергнет! Да нету силы противостоять тому, Евгения, жрица, ниспосланная Аполлоном!

— Аполлоном, Аполлоном! — отозвалась жрица.

— Руки твои божественно сладостны, и грудь твоя — перси твои упоению самого Юпитера подобны, Евгения! Трепетно тело твое, исполненное византийскими ваятелями, Евгения! О, господи, не раз в помышлении было: а греховно ли то, господи, что слиянию рек подобно?

— Не греховно, не греховно, о мой великий жрец! — льнула жрица, обхватив руками столб бычьей шеи великого жреца, и с малой силою притянула его к себе. — Нету греха, великий мой, в божественном слиянии рек.

— О, господи! Разверзись, небо! — ахнул Никон и, не в силах больше бороться с искусительницей, подхватил ее на руки с той же легкостью, как если бы пятипудовая жрица была пуховой подушкой, и потащил ее вон из кабинета через большой сумрачный пастырский приемный зал, провонявший ладаном и гарью восковых свечей, где обычно по четвергам каждую неделю перед светлыми и непорочными очами его преосвященства в страхе замирали попы и дьяконы всех рангов.

Из пастырской приемной — в опочивальню. Тут густой полумрак. В золотом именном подсвечнике мерцает одна восковая свеча; не пахнет ладаном, но зато такой густой запах дорогих духов, будто вся мебель, ковры, шкаф во всю стену, и даже сами стены двухэтажного особняка пропитались французскими духами.

— О, господи! — рычал Никон.

— Ты такой богатырь, великий жрец мой, что тебя неприлично называть милым, — лопотала Евгения Сергеевна, рока Никон, кружась по опочивальне, носился со своей драгоценной ношей, как жеребец с таранасом вокруг прясла. — О, как я тебя люблю, бог мой!

— О, господи! Разверзись, небеси! Разверзись! — стонал Никон, не находя пристанища. — Сила во мне огромная, Евгения. И тебе то ведомо. И укрощение силы в твоей плоти, о, господи!

— Ты бог! Сам бог!

— Не богохульствуй, Евгения!

— Хочу богохульствовать, Юпитер!

Наконец-то Никон уложил искусительницу на кровать...

Жрица замерла, глядя снизу вверх на своего великого жреца. Она знала, что последует дальше. Еще мгновение, и Никон обрушится на нее, как лавина вулкана, и будет рвать ее платье в лоскутья. Рвать и страшно рычать: «Возолкал, отче; исцели, сыне!» И так до тех пор, пока на искусительнице не останется ни единой нитки.

«Спаси, господи. Спаси, господи, — шептала Евгения Сергеевна, когда раздался треск ее платья, как будто кто саблей полоснул по портюере. — Рублевых свеч накуплю, в грехах своих тяжких покаюсь, спаси, господи!»

VIII

Тимофей передал команду учебной ротой фельдфебелю и направился к штабу.

Возле коновязи — лоснящиеся казачьи лошади: караковый, грудастый, катающий в зубах мундштук уздечки, и вислозадый, белокопытый иноходец. Сидя на коновязи, курил трубку красномордый казак, не иначе — сверхсрочник.

Секретарь приемной, тонконосый, щеголеватый прапор, поразительно веснушчатый, завидовавший храбрости и отваге Тимофея, кивнул на дверь: проходи, мол, ждут.

Атаман Сотников сидел возле стола полковника Толстова и курил.

— Прибыл по вашему приказанию, господин полковник! — козырнул Тимофей, забыв представиться. И тут же раздался хрипловатый голос атамана:

— Кто прибыл? Прапор? Генерал? Главнокомандующий? Как разговариваешь, прапор? Полковник для тебя не господин, а ваше высокое благородие!

— Чинопочитание отменено, господин атаман.

— Кэм? Кэгда?

— Революцией, господин атаман. Есть постановление исполкома Красноярского Совета. И сегодня вынесено решение гарнизонного Совета солдатских депутатов.

— С кэм согласовано? — притопнул атаман.

— Решение гарнизонного Совета обязательно для всех.

— Штто это «для всех»? Вы где находитесь, прапор? В кабаке? В транзитном зале? С кэм согласовано?!

— С революцией, господин атаман.

— Штто вы понимаете в революции, прапор!

— Революция — это взрыв народного гнева. И, кроме того, господин атаман, вы забываетесь. Я — полный георгиевский кавалер, и вы не смеете на меня кричать. Вы не отдали мне честь, когда я вошел.

Атаман побагровел. Полковник Толстов миролюбиво проворчал:

— Чинопочитание пока еще не отменено военным округом, дорогой прапорщик. Но я не в претензии. Человеческой природе чуждо чинопочитание. Их императорское величество слетело с престола, а вместе с ним и все чинопочитания. Надеюсь, из Округа придет соответствующее разъяснение.

Подумал, переворачивая в пальцах граненый карандаш. Белая прядь волос скатилась на высокий лоб с тонкими черными бровями. Нет, он не в претензии, полковник.

— Скажите, прапорщик, что у вас произошло с есаулом Потылицыным?

Ах, вот чем разгневан атаман!..

— Что произошло? — Тимофей насупился и медленно, с придыхами, глядя на край стола, продолжил: — Это началось еще в четырнадцатом, до войны, когда я отбывал ссылку в Белой Елани. И вот в то время...

— Довольно басен, прапор! — отсек атаман.

— Позвольте! — предостерегающе поднял руку полковник и, обращаясь к Боровикову, попросил: — Продолжайте.

— И вот в то время, когда меня сплывили в штрафной батальон, Григорий Потылицын, в ту пору сотник и подручный Елизара Юскова, по воле самого Юскова стал женихом моей невесты. Избиения бешеным отцом, издевательства, арестантское содержание — все перенесла Дарья Елизаровна. И все это знал Григорий Потылицын и все-таки не отказался от женитьбы на моей невесте. Ему важно было получить в приданое капитал и обещанную паровую мельницу.

Атаман, гремя шпорами, прошелся по кабинету. Тимофей продолжал, не обращая внимания на мелькающего перед глазами коротконового атамана:

— Потылицына потом призвали в действующую армию, и он вернулся раненым и, конечно, опять к своему покровителю-миллионщику, с которым он спелся. Для Дарьи Елизаровны это было самое страшное и жуткое время. Потылицыну надо было получить приданое, и он шел на любую подлость.

— Как ты смеешь, прапор? — топнул атаман.

— Смею, господин атаман! — напрягся Тимофей. — Еще как смею!

— Еще слово, и я тебя... Полковник Толстов поднялся:

— Прошу вас, господин атаман, не вмешивайтесь. Продолжайте, прапорщик.

— Кто там умудрился, не знаю, но сочинили похоронную на меня как на погибшего на фронте. Дарью Елизаровну решено было повенчать насильно с есаулом Потылицыным, и она в полном отчаянии бежала из-под замка ночью в одном платье. И только смертельная болезнь спасла ее от домогательств Потылицына. И вот этот самый Потылицын, когда я с ним столкнулся у Дома просвещения на похоронах жандармов, в присутствии казаков сказал... — Тимофей вскинул глаза на полковника и, секунду помолчав, проговорил: — Сказал, что она — потаскушка, мол, которую надо было искупать в дегте и вывалить в перьях для всеобщей потехи. И что я должен благодарить есаула... Понятно, есаул хотел вызвать меня на драку в присутствии казаков.

— Басни, басни! Сплошные басни! — шипел атаман раздувая курносый нос. — Расскажите, как вы подло напали на есаула, нанесли ему удар в недозволенное место, а потом похитили оружие — шашку и маузер в кобуре.

Тимофей напряжился каждым мускулом:

— Есаул врет.

— Не позволю!

— Боровиков, говорите точнее.

— Отвечаю, господин полковник. Я сказал ему: если он не трус, то пусть пройдет со мною, и мы... поговорим. Я хотел потребовать, чтобы он немедленно извинился в присутствии тех же казаков. Но есаул запрягал в перчатку браунинг, чтобы застрелить меня в спину в подходящий момент.

— Ложь! Ложь! — рычал атаман.

— Вот простреленная перчатка, а вот и браунинг, господин полковник. Прапорщик Окулов видел есаула в этих перчатках, когда мы шли с ним. Эти же перчатки видели казаки. Я знаю одного, каратузского, подхорунжего Максима Пантюхича. Как его фамилия — не знаю. И других казаков могу узнать в строю.

Полковник разглядывал браунинг и простреленную перчатку.

— Продолжайте.

— Когда есаул пытался еще раз выстрелить, я успел схватить его за руку и обезоружил. Есаул ударил, и, понятно, господин полковник, я ответил ему по-фронтальному. Потом снял с него шашку и маузер. И я не верну ни шашки, ни маузера, пока есаул публично не возьмет свои слова обратно.

Атаман круто повернулся к полковнику:

— Как он разговаривает, прапор?

— Прапорщик, — уточнил полковник. — Нахожу, что прапорщик Боровиков прав, господин атаман. Есаул должен извиниться, как того требует георгиевский кавалер прапорщик Боровиков.

— Это... это... возмутительно!

Полковник подал Тимофею браунинг и перчатку Потылицына.

— Можете идти. Атаман взорвался:

— Это... это... капитуляция перед жалким прапором!

— Жалким? — Седой полковник прикурил папиросу. — Не хотел бы я, чтобы вы встретились с этим, как вы сказали, жалким прапорщиком один на один.

— Я бы его развалил от головы до ж...!

— Не успели бы. Это я вам говорю, знающий Боровикова. Если бы не его принадлежность к нелегальной в то время социал-демократической партии, он был бы сейчас штабс-капитаном, как о том просил в своем рапорте ныне покойный генерал Лопарев. Советую: наложите взыскание на есаула Потылицына, и пусть он публично извинится.

— Никогда! — И рубанул рукою: — Никогда! Мы найдем другие меры воздействия на прапора.

Полковник встал, упираясь кулаками в стол:

— Другие меры? В таком случае предупреждаю, господин атаман, если вы уберете «другими мерами» прапорщика Боровикова, мне

придется иметь дело лично с вами. А есаула Потылицына я потом пристрелю, как собаку.

Атаман презрительно процедил сквозь редкие прокуренные зубы:

— И это говорит... и это говорит... князь? Да вы... Полковник достал из ящика стола кольт и спокойно заслал патрон в ствол.

Атаман схватил свою дымчато-пепельную папаху и, поддерживая рукою шашку, вылетел из штаба.

Нет, конечно, атаман не принудил любимчика есаула к публичному извинению перед прапорщиком, но на всякий случай «завязал узелок на память». Еще неизвестно, в какую сторону повернет революция завтра! Как бы полковник Толстов со своим либерализмом и заигрыванием с прапором не оказался у разбитого корыта и не позвал бы на помощь атамана с казачьим войском. Вот тогда он, атаман Сотников, «развяжет узелок»... А пока он примет меры через генерала Коченгина.

ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Надо сесть и подумать. И не когда-нибудь, а сейчас. Что же все-таки произошло? Столкнулись две силы: патриархально-косная, казачья и безрассудная прапорщика Боровикова. Но была еще третья сила — он сам, полковник Толстов. Насчет княжества — ерунда. Никакой он не князь. Мишура, дым. Блаженная тень из сумерек! Еще прадед прокутил и прожрал «княжество», дед приумножил кутеж и оставил своему сыну шнурованную книгу с родовым гербом и закладные квитанции. Долговые сжег, но кредиторы с векселями атаковали даже внуков.

Нет, полковник Толстов не князь. Просто полковник на казенном жалованье. Жена у него учительница в гимназии в Петрограде, сын закончил военную школу и служит в Петроградском особом гарнизоне. Дочь вышла замуж за таможенного чиновника в надежде, что хотя бы через шлагбаум таможенной службы будет видеть великосветских дам, возвращающихся из заморских променажей. А он, отец семейства, постоянно в армии. Без хитрости и жульничества. Честь превыше всего. Может, потому, что предок прославился бесчестьем?

Надо сесть и подумать. Подбить итоги жития. Такое время.

Дерьмо атаман. Еще слово, и он бы его пристрелил...

Но он не может сидя думать. Ходить, ходить, как бывало в портретном зале Военной академии.

Хорошо думается с папиросой.

Итак, революция...

Он ее приветствует, полковник Толстов. Как говорится, ему терять нечего, кроме своих цепей. У него есть квартира в Петрограде, хозяин дома, требующий плату за квартиру раз в три месяца. Такая у него манера, у хозяина. Черт с ним! Если революция конфискует частные дома, кому-то все равно придется платить за квартиру. Комитету какому-нибудь. Не важно. Пустяки.

Он слышал выступления Окулова и потом Боровикова. Оба прапорщика утверждают, что революция сейчас буржуазная, а будет

еще рабочая, «пролетарская». Откуда они выдрали это дикое слово? Почему бы не по-русски: «революция народа»? И вообще у всех социалистов преступное неуважение к русскому языку. Чем это вызвано? Безграмотностью переводчиков политических брошюр? Говорили о каких-то лидерах — Марксе и Левине. Еще в Санкт-Петербурге за год до войны полковнику Толстову попала в руки нелегальная брошюра Маркса «Манифест Коммунистической партии». Запомнил: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». Что еще за призрак? Как они его представляют?

Окулов говорил, что народ не потерпит власти буржуазии, власти капиталистов и помещиков и что революция, так сказать, «пролетарская», ликвидирует собственность на землю, национализирует фабрики и заводы, банки и все, чем жив капитализм.

Полковник полностью принимает любую конфискацию, даже его собственного мундира. Он может быть учителем гимназии. Владеет двумя языками, знает математику. Что-то же осталось после Военной академии!..

Но если революция, эта самая «пролетарская», дойдет до экспроприации и национализации, тогда начнется гражданская война. Такие, как атаман Сотников, первыми отдадут команду: «Шашки наголо!» И он, полковник, вынужден будет отдать приказ: «Прямой наводкой по казакам огонь!»

Время будет жаркое, прапорщицкое. И Серый черт — мистер Четтерсворт, пророчит гражданскую. Но у Серого черта зловещее пророчество: «После гражданской, мистер Толстоф, могу вас заверять, в России будет диктатура военной партии, которая есть социалистов. И тогда вам надо погибать». Русский мексиканец Арзур Палло ополчился на Серого черта и назвал его пророчества «бредом воспаленного ума», но и Серый черт не остался в долгу. Он спросил: «А было ли в России когда-нибудь свободное правительство на принципах такой демократии, как в Америке? Давно ли в России упразднено крепостное право?» «Русски привык к диктатура, к насилья, без демократия. Он еще не имеют вкус демократия». Арзур Палло сказал: «Аппетит приходит во время еды. Настанет время, и русские узнают, что такое демократия, будьте покойны».

Надо подумать, подумать...

Советы солдатских депутатов...

А кто он, полковник Толстов?

«У них там в исполкоме выше прапорщиков никого нет». Он знает всех прапорщиков, еще зеленых, но удивительно воинственных. Им нужна революция. Но если спросить, что они разумеют под революцией в смысле будущего России? Как они понимают свободу? Только для себя и своих действий? «Отсюда все и начинается. Завтра я могу оказаться под пятою безграмотного солдата, и он мне скажет: «Кругом, шагом арш в нужник!»»

Молодежь. Она всегда отчаянна и безрассудна.

На гарнизонном совете он не видел ни одного оратора старше двадцати трех лет. Это предел. Если дать им волю, они готовы сокрушить все и вся. Только бы оружие в руки, опьянение властью, да еще подкинуть лозунгов, призывов. Кто-то из старших должен подкинуть лозунги, призывы. Такие всегда найдутся, подкинут. Он, полковник Толстой, не падок на лозунги и призывы. Из возраста вышел. Но он обязан подумать. Крепко подумать.

«Из огня да в полымя после революции!» Тогда с него, с русского интеллигента, спросится. Собственно, кто будет спрашивать? Народ? И царь вопил от имени народа, и вот теперь отыскался адвокат Керенский и тоже — от имени народа!.. Всеобъемлюще и пусто. Все равно, что от имени Великого, или Тихого океана. Фактически каждый сам за себя, от собственного «я». Полковник Толстой не такой идиот, чтобы позволить себе говорить от имени народа, если сто миллионов в один голос не сказали ему: «Говори от моего имени». Тогда бы он имел право говорить от имени ста миллионов. А тут собралась кучка прапорщиков и солдат-депутатов и кричит: «Мы от имени народа!» Да знают ли они, что такое народ России?

Если начнется гражданская, тогда заговорит какая-то часть народа, но весь парод — никогда. Полковник предвидит атамана лицом к лицу с прапорщиком Боровиковым. И тот и другой будут призывать от имени народа! Какая нелепость!..

Думают ли прапоры? Вот хотя бы Боровиков, Окулов? Умеют ли они проникать в сущность вещей и времени? Если бы умели, прежде чем кричать от имени народа, они бы сели и подумали. Но в том-то и дело, что те, кому сегодня каких-то двадцать лет от роду, не умеют думать. Чтобы думать, надо прожить жизнь, хотя бы лет сорок, что ли. Он, Толстой, помнит, что думать начал после сорока лет.

Инициативное меньшинство!..

В этом весь фокус всех исторических событий. Значит, все эти прапорщики, солдатские депутаты — инициативное меньшинство, и революцию они, конечно, повернут по своему усмотрению и разумению.

II

Полковник Толстов думал, генерал Коченгин действовал. Власть в гарнизоне фактически в руках Совета солдатских депутатов — «пробольшевистских депутатов», как изложил в своей тайной записке доверенный генерала штабс-капитан Юрий Соколов. Тот самый Соколов, которого представил гостям в доме Юскова полковник Толстов.

Командующий Иркутским военным округом парализован нарастающими событиями революции. На прямой вопрос генерала ответил: «Действуйте сообразно обстоятельствам. С вас спросится как с командира бригады, а не с комитетов. В штабе военного округа комитетов нет». Как это понять? И в штабе 6-й Сибирской запасной стрелковой бригады тоже комитетов нет, но они есть в гарнизоне, во всех полках, батальонах, ротах и действуют не по команде генерала.

Трое в штатском, с которыми генерал был на званом ужине, представители Временного из Петрограда, выражают неудовольствие: «В Красноярске складывается обстановка чудовищная! Действуйте, генерал, пока вас не арестовали пробольшевистские комитеты». Как они рассудили, а? Не из Красноярска в Петербург ссылали политических, а из Петербурга в Енисейскую губернию, в сторону Иркутскую, в Сибирь! Или они этого не знают? И депутаты Государственной думы фракции социал-демократов, вчера освобожденные, находились здесь, в Енисейской губернии!

А вот газетка. Полюбуйтесь, господа, «Красноярский рабочий»! С такой физиономией она появилась на божий свет не вчера, а... в девятьсот пятом. Да-с, господа! Была ли такая газетка в девятьсот пятом в самом Петербурге? «То-то же, господа!..»

Создан Красноярский Совет. Возмутительно! Что же будет завтра? Надо действовать без всякого промедления...

И вот еще один из разгневанных — атаман Сотников, доверенное лицо генерала. Что? Что? Прапор Боровиков наглеет? Слышал, слышал. Не один Боровиков. Есть еще Окулов, Лазо, солдат Ильин... Вот списочек личного состава подрывных элементов в городе и гарнизоне — пятнадцать страниц машинописного текста! И гражданские, и бывшие ссыльные, и эти самые рабочие, и по земству, и по мещанской управе, и главное — в гарнизоне! Боровиков не из первых, но и не из последних. Да, да, генерал согласен с атаманом: харя Боровикова крайне возмутительна! Немедленно отдаст приказ об отправке на фронт. Сейчас же о маршевой ротой! Туда ему и дорога.

Ну, а всех, подобных Боровикову, позднее собрать в маршевые роты и — на фронт. «Ша-гом арш, арш!»

Однако собрать всех и «шагом арш» генералу не удалось...

Десятого марта генерал приехал в Ачинск инспектировать 13-й Сибирский стрелковый полк. Отменил все постановления Ачинского гарнизонного Совета солдатских депутатов. Совет вызвал генерала, и, когда генерал и на Совете выступил с погромной речью, его... арестовали. Самого генерала! И под конвоем — обратно в Красноярск. «Вопиюще, вопиюще! Надо действовать». И генерал в тот же день, как только его освободили из-под ареста, первым делом вызвал к себе атамана Сотникова на секретное совещание...

III

Приказ безоговорочный, как команда: «Ле-вое пле-чо вперед!», с исходящим номером, с размашистой хвостатой подписью генерала, точно генерал выписал на бумаге такой взмах, пытаясь взлететь в небо, и шлепнулся в лужу, оставив на конце завитушки кляксу и печать штаба бригады.

Полковой писарь положил на стол бумаги, полковник махнул рукой: «Потом...»

Надо встать и подумать.

Генерал указал: три роты полка, соединив с двумя ротами из двух других полков, немедленно отправить на фронт. «Исполнение доложить немедленно». Как известно полковнику, в трех указанных ротях — густой засев большевистских агитаторов, призванных из

мастеровых Иланского, Красноярского и других депо Сибирской железной дороги.

«Нейтрализовать, обезвредить полки...»

«Вопиющий промах, генерал, — покачал головою полковник Толстой. — Революция шествует дальше. Или вы против революции, генерал? Может, и она — вопиющий «промах»?»

«Ну, а вы как считаете, полковник?» — услышал воображаемый вопрос генерала и ответил:

«Я не столь считаю, сколь созерцаю, генерал. Мы все сейчас, «не солдатские депутаты», созерцаем. Идиотское положение, генерал. Думаю, тот, кто развязал революцию, свергнув престол «от имени народа», не сумеет ее укротить и сам окажется свергнутым. Думать надо, генерал. Думать!»

Полковник, конечно, помнит, как он спас однажды опального солдата Боровикова от военно-полевого суда. Мог и теперь поехать к генералу Коченгину и объяснить. Он хотел бы видеть физиономию генерала, смертельно перепуганного Советами солдатских депутатов. «Как же он представляет себе революцию, фазан? Как очередную ревизию штаба округа. Экое идиотство».

Нет, полковник Толстов не снизойдет до объяснения с генералом. Себе дорожке выйдет, да и прапорщику не поможешь. В конце концов, прапорщик может призвать на помощь Советы. У них свои соображения и власть.

Не иначе — генералу подсказал атаман. Любопытно: сказал ли атаман генералу, как прапор разделал под орех атаманского есаула?

Да, атаман Сотников! Дубина. А выпячивает себя на передний план в партийной фракции социал-революционеров. Социалист! Да от такого социалиста за сто верст пахнет болотом. Эсер! И Керенский эсер? И лидер кадетов Милюков — «эта вопиющая университетская морда» считает себя демократом... Гм...

Никаким социализмом от Временного не пахнет. Натуральное свинство, и больше ничего. Фигурально выражаясь, маневры идиотов. Но только ли маневры? Не кроется ли за маневрами эсеров варварство и азиатчина? «Сперва в тоге революционеров, а потом — шашки наголо и рубить, рубить социалистов!»

Называют какие-то сложные, драматические события, и он, полковник Толстов, обязан в них разобраться.

Вызвал адъютанта.

— Позвать прапорщика Боровикова!

Заслышав шаги в приемной и голос прапорщика, быстро поднялся для встречи с полным георгиевским кавалером.

— Давай без рапорта. Садись! — Чиркнув спичкой, поглядел на крошечное пламя. Не с такого ли пламени началась революция?

Познакомил прапорщика с приказом.

— Догадываешься, чем это вызвано?

— Догадываюсь, господин полковник.

— Так-так.

Помолчал. Папироса потухла. Еще раз прикурил.

— Что думаешь предпринять?

— Выполню приказ генерала Коченгина. — Вот как? А через Советы?

— Революцию надо разворачивать не только в тылу, но а на фронте. Такие назревают события.

— Назревают?

— А как же? Выборы делегатов в Учредительное собрание будут проходить не только в тылу. Так что и там работы хватит. Я просто прапорщик революции.

— Не исключена возможность, судя по истории французской революции, или как вот говорил о революции в Мексике господин Палло, что и ты можешь стать генералом.

— Исключено, Сергей Сергеевич.

— Почему?

— Вечерняя воскресная школа, шесть месяцев фронтовой школы прапорщиков — не так уж много. Я-то понимаю. На одной отваге далеко не прыгнешь. Да и не тянет меня в генералы. Суконка не по моим плечам.

— Что же по плечам?

— Сейчас бы ушел в депо. Надежнее всего. Там мой хлеб.

— У вас сегодня совет полка?

— Утром был.

— О!

— Спать не приходится.

— Что же было экстренного?

— Солдаты потребовали упразднить офицеров, исключая прапорщиков. Пришлось разъяснить, что революция — не разложение армии, а должна быть дисциплина. Не царская, понятно, а революционная, строгая, на сознательности.

— Как же с офицерами? С полковником, например?

— И полковник и офицеры остаются, если они не восстанут против революции.

— Тогда почему не Советы солдатских и офицерских депутатов?

— Офицеры — те же солдаты армии.

— Далеко не солдаты, мой друг. Никак не солдаты. Не лучше ли было бы: Советы армейских депутатов?

— Сейчас — нет. Сегодня что главное? Сознание народа. Сознание рабочих, солдат, крестьян. Чтоб они почувствовали, что власть верховная принадлежит им, народу то есть. И чтоб учились на депутатстве. Главное, чтоб прониклись: власть народа, а не буржуазии.

— Народ — чересчур всеохватно. Народ — это не только солдаты, рабочие, крестьяне. Это и я, полковник, и тот же миллионер Юсков, и сто шестьдесят девять миллионов жителей России! Почему не я, не чиновники, не инженеры, а только рабочие и солдаты должны решать судьбу России?

— Кого же больше? Рабочих, солдат и крестьян.

— Все это очень сложно и запутанно, мой друг. Зло порождает зло, добро — добро. Тут надо подумать. Я не знаю, что говорят лидеры вашей партии и как они представляют власть народа, но вот то, что созданы Советы солдатских депутатов без офицеров, без полковников — командиров, это меня беспокоит. На одном из советов вы можете принять решение: расстрелять полковника Толстова. Это значит, меня расстрелять. И я не могу пассивно созерцать Советы. Понимаю, понимаю. Я сказал это в качестве аллегии. Но она может стать и символичной, мой друг. Кто же знает, в какую сторону революция повернет завтра? Беспокоюсь, мой друг. Очень.

IV

— В нашем доме все винтом, все винтом! И это все она, ехидна, змея трехглавая, развратница!

— Отец, прошу тебя!

— Молчи, молчи. Я терпел. Я чересчур долго терпел, э, ехидну. И пусть она провалится в тартарары вместе со своей нагульной дочерью. Притопну и присыплю.

— Это возмутительно, в конце концов.

— А? Что? Возмутительно? И это ты говоришь отцу? Э? Депутатом от ехидны явился? Приданого для нагульной козявки, э? Баста, Володя! Старик еще в силе, чтобы раздавить ехидну трехглавую, развратницу, э, пускающую на ветер состояние, э, не мое, а твое, Николаево. Молчи. Молчи. Э, всему бывает конец, Володя, и даже змее. Сколько бы змея ни тянулась из-под колодины, а хвост покажет. Раздавить гадину, и кончено. Э, ты, может, воображаешь, что отец выжил из ума и не знает, где у него правая, а где левая нога? А? Что? Знает, знает, Володя. Вот тут наболело, перекипело и более нету мочи: час пробил! Или она меня, э, укатает, или я ее, э, спроважу из дома на все четыре стороны. Да-с, Володя. Гнать надо, гнать.

— Что же ты не гнал ее раньше? Пятнадцать, двадцать пять лет назад, когда она, как ты говоришь, путалась с Востротиным. Что же тогда не гнал? Это же началось не вчера, не позавчера, а двадцать пять лет назад. И, в конце концов, ты же женился не двадцатилетним парнем, а...

— Молчи. Молчи. Не тебе судить меня, видит бог. Э, женился... Дай бог, чтобы тебя так же вот не заарканили в Петербурге, э, в Петрограде теперешнем. Гляди! Там много благородных свах, э, которые, э, которые на живца ловят. Как бы Николая не изловили, господи! Где они, мои сыновья, создатель? На кого я оставлен на старости лет? Для кого я припас состояние, э, праведной жизнью своей?! Для кого? Ты вот семнадцать лет крутился с дипломатами, а высоко ли поднялся? До полковника? Сколько мне это стоило, э?

— Я многим обязан Толстовым, отец. А ты поступаешь с ними...

— Обязан? Толстовым ли, сударь? Э? Золоту обязан, которое выгружалось вот из этих сейфов. Три прииска, рудник и мало ли!.. Я звал тебя в дело, да ты глух и нем оказался. В заморье потянуло, э, в дипломаты И чего ты достиг? Э? Богатства? Генеральского чина? А если бы внял голосу отца, генералы бы перед тобой на цыпочках ходили. Да-с, сударь. И ехидны бы давно в доме не было. Вот она, беда-то дома Юскова! В несогласии, яко погибельном в земной юдоли. Куда ты сейчас спешишь, спрашиваю? В столицу? К чему? Э? Кто тебя

там ждет? Отозвал царь-батюшка, а сам он где, э? Держись моего плеча, Володя. Дома оставайся. Дома!

— Я обязан явиться в министерство иностранных дел.

— Не обязан. Нет! Это я тебе говорю, отец. Ты просто не можешь оборвать постромки от телеги, э, мексиканца, э, разбойника, исполосованного шрамами. Истый разбойник! Как он на богатство мое нацелился, а?

— Не тронь господина Палло. Прошу тебя!

— Э! А я вот трону, сударь. Еще как! На цыпочках встать перед разбойником, э? Молчи. Ни слова. Я все вижу, сударь. Он не спроста держит тебя в своих когтях, как коршун цыпушку, прости господи! И все тайна, тайна! А тайны нету, э? Как они быстро столковались со стрекозой ехидны, а? В два счета. И ты явился... за приданным. Дурак.

— Отец!

— Ты... ты... на меня топнул? Ты? И это мой сын, господи? И это моя кровь и плоть?

— Господину Палло не нужно приданное дома Юскова. Я сказал: деньги мне нужны не для приданого.

— Врешь, врешь! Чтобы этот мексиканец, э, не протянул лапу к моим сейфам, э? Врешь, врешь.

— У него своих капиталов достаточно.

— Капиталы? Какие же, э? Ты что-то говорил про его капиталы. Кто же он, э? Акционер? Банкир? Оружейник, э?

— Профессор.

— Гм, гм! Слышал, сударь. С такими капиталами, дай бог памяти, лишних штанов не купишь, Да-с! Имел честь разговаривать с профессорами духовной академии, военной, э, и Московской.

— Там нет академии, в Москве.

— Есть, сударь, Петровско-Разумовская. Дела имел с проректором, э, профессором. С богом, с богом! Я на капиталы профессора не посягаю. Но, э, ты же просил двадцать тысяч золотом. Э? Как это понять?

— Хочу вернуть часть долга.

— Часть долга? Часть?! Э? Позволь. Какого долга?

— Это моя тайна, отец.

— Тайна! Э? Твоя тайна? А золото мое? Э!

— Если ты считаешь меня своим сыном...

— Без словопререканий, Володя. Не перевариваю словопрения.

— Могу сказать, но...

— Без «но», Володя! Без «но»!

— Ни единого слова никому, отец. Никому.

— Помилуй меня!

— Говорю: я обязан вернуть хотя бы часть долга. Это долг моей жизни и смерти.

— Какие страсти на ночь глядя! Кому обязан? Ну? Божись! Перед Евангелием. Спаси и сохрани меня, господи, в щедрости и милости своей. Э, говори.

— Я обязан уплатить господину Палло двадцать одну тысячу фунтов стерлингов по курсу двенадцатого года.

— Обязан? Разбойнику обязан? Так и знал! О, коготь коршуна! Уму непостижимо. Золотом? Двадцать одну тысячу фунтов? Спаситель! Нет, нет! Это ты сейчас придумал. Вижу, вижу!

— Тогда слушай. Скажу. В августе четырнадцатого года, в Монако...

— Опять Монако!

— Ты же хотел узнать?

— Не хочу, сударь. Никакого Монако. Уволь. Уволь.

— Ты просил, чтобы я остался дома?

— Как же, как же, Володя. И мы заживем с тобой. Славно заживем. Без фурии.

— Тогда уплатите завтра же господину Палло двадцать одну тысячу фунтов стерлингов. Пересчитаете, конечно, на наши деньги по курсу двенадцатого года. И золотом, понятно. И скажите ему, что вы его пожизненно благодарите за спасение чести и жизни вашего сына.

— Э?..

И через минуту:

— Э?.. Должен благодарить разбойника? Грабителя?!

— Я сказал, он мне спас жизнь и честь в Монако. Я проиграл и то и другое. И должен был пустить себе пулю в лоб. Ты это понимаешь, отец? Или тебе моя жизнь ничего не стоит? Только деньги, деньги, сейфы, сейфы! Ты же говоришь: написал завещание на меня и брата. Так дай же из моей доли. Спаси, отец! От бесчестья спаси. Я же и теперь из Англии приехал на деньги господина Палло. Что

причиталось в посольстве, — получил лондонский ростовщик. Прошу тебя, отец!

— Господи! Господи! Э, э, э...

— Отец!

— Э, э, э...

Добропорядочный отец Михайла Михайлович Юсков, закатив глаза под лоб, грузно осел в кожаном кресле, уронив мокрую лысую голову на подлокотник.

Владимир кинулся к столу, нажал кнопку, не отнимая пальца до тех пор, пока в ореховый кабинет не вбежал запыхавшийся Ионыч.

Тут же, в кабинете, нашелся нашатырный спирт, стакан воды из хрустального графина, вызвали по телефону доктора из лазарета, а потом уже перетащили грузного старика на ореховую кровать под балдахин и открыли форточку у двух окон.

Явился доктор. Сделал укол камфоры, предупредив, что больному нужен абсолютный покой.

Подполковник Владимир Михайлович, растерянный, некоторое время топтался возле кровати и молился, молился. Тихо, про себя. Это же он, он убил собственного отца! «Есть ли предел моему падению и низости?» — спрашивал себя Владимир, расстегнув воротник мундира. Белесые волосы жидкими прядками липли ему на лоб, и капельки пота собирались у надбровных дуг.

— Неужели? Неужели, господи? — хватался за голову Юсков-сын.

Ионыч утешил:

— Все под богом ходим, Владимир Михайлович. Может, даст бог, придет в сознание. Я посижу. Не беспокойтесь.

— Спасибо, Ионыч!

Подполковник тихо, на цыпочках, чтобы не скрипнуть сапогами, вышел из кабинета.

Минуты не прошло, старик повернул голову:

— Ты, Ионыч?

— Я, Михайла Михайлович.

— Тихо. Тихо. Закрой дверь на замок. Ионыч закрыл дверь на замок.

Михайла Михайлович приподнялся на подушках и ладонью вытер пот со лба и лысины.

— Повенчалась, э, стрекоза с разбойником?

— Повенчалась, Михайла Михайлович.

— В соборе, э?

— В слободскую церковь ездили.

— С шаферами? Дружками?

— Только с хозяйкою. Более никого не было.

— Никого?

— Никого.

— Гм. Гм. Ладно. Ладно. То ли еще будет, Ионыч. Мы ее, фурию, по ветру пустим.

— Дай-то бог.

— Без бога, э, своими усилиями и разумением. Депешу надо отбить Николаю в Петербург, э, в Петроград. Чтоб сейчас же приехал. Отец, мол, при смерти. Адрес возьмешь на конторке. Там конверт. Да гляди, э! Никого ко мне не пускай. Говори: в чувство не приходит. Вызови еще врача, э, этого...

— Прейса.

— Вот. Вот. Дать придется, чтоб предупредил всех не беспокоить меня. Сердце, мол, э, совсем слабое. Володя-то мой влип. Ой, как влип! В Монако проигрался, э, разбойнику-мексиканцу. Двадцать одну тысячу стерлингов просадил, а? Вот оно как, Ионыч! По ветру пустит капиталы. Как нить дать. Господи! Николенька не такой, нет. Копейку считать умеет. Да и к капиталам льнет. Завещание новое напишу, э. Только гляди, Ионыч! Как бы фурия опять не пронюхала. Нотариуса Вениаминыча — к свиньям! Тайну не сохранил. Обмозгуем, Ионыч. А Владимир пусть едет в Петроград, как и должно. В министерство. Не упразднили министерство?

— Узнаю, Михайла Михайлович.

— Узнай, узнай. А Володя пусть едет. С богом. Так и скажи: отец, мол, благословляет, э. Николая дождемся, а потом и фурию, э, благословим: «скатертью дорожка!» Такое настало время, Ионыч. Крутенько, ох, как крутенько. Дай волю фурии — по ветру пустит и нас в богадельню определит.

— Определит.

— Ничего. Ничего. Мы ее, э, тово! Тут я подготовил бумаги, то, се, э, полицию позовем...

— Милицию, Михайла Михайлович.

— А? Что? Милиция? Как милиция?

— Полицию упразднили, Михайла Михайлович.

— Господи помилуй! И есаула Могилева убили, и полицию упразднили. Кто же теперь? В каком понятии — милиция? В каком соответствии, э?

— При комитете господина Крутовского.

— Крутовского? Говоруна? О господи! Что же такое происходит, а? Революция? Доколе же, а? Доколе?

— Круговороть, круговороть, Михайла Михайлович.

— Переждем. Переждем, Ионыч. Самое время — в постели лежать, чтоб круговороть не засосала. Пусть сами по себе перекипятятся. А фурию мы, э, тово, выпроводим!

Помолчали, довольные друг другом, лакей и хозяин, взаимно связанные тайными нитями.

— Свадьбу готовят, э?

— Свадьбы не будет.

— Э? Без свадьбы?! — Без свадьбы.

— Гм. Гм. Так-то оно лучше, а? Припекает фурию? Есть же, есть у нее некоторый капиталец, э? Мало ли припрятала, ехидна. Не щедрится, а? Так-то. Так-то.

— В дорогу собираются.

— Кто собирается? А, мексиканец со стрекозой! Дай-то бог. Дай-то бог. И пусть Володя с ними, э, за компанию. Пусть хватит петербургских туманов, может, отрезвеет после лондонских. Э?

Михайла Михайлович успокоился: он предпринял первые шаги к изгнанию фурии.

V

— Минуточку! Что вы называете цивилизацией?

Вопрос был поставлен так резко и сердито, что мистер Четтерсворт вздрогнул, оглянувшись на господина Палло.

Четтерсворт — Серый черт — разговаривал с полковником Толстовым. Акут Тао Саямо сидел тут же, по обыкновению, тихий л неприметный, как бы удалившийся в самого себя.

Разговор шел о цивилизации и, как это всегда случается перед обедом, переливался плавно, покойно, подобно журчащему ручью в

тени дремотного леса, и вдруг ворвался господин Палло.

— Что вы называете цивилизацией? — повторил он.

— Цивилизация? О! Это великий культура Америка, великий принцип демократия, великий прогресс промышленности. Это всем ясно.

— Ну, а мне, извините, совсем неясно, что вы называете американской цивилизацией. Прибыли от капитала? Концерны? Биржи с вашими трескучими акциями? Или вы называете цивилизацией линчевание негров в Южных Штатах? Или вы называете цивилизацией грабеж в странах Латинской Америки, в Африке, Индии, на Среднем Востоке, в Китае и в России? Что же главное в вашей, извините, американской цивилизации?

Серый черт не ждал такого ввезенного нападения со стороны русского мексиканца. Все оживились, и даже Акут Тао Сямо проснулся от своих внутренних созерцаний. В стороне от всех молчал подполковник Владимир Михайлович, сутулясь в том самом кресле, где когда-то перед ужином дремал его отец.

Никто не обращал внимания на Тимофея. Он стоял за половинкой полустеклянной створчатой двери и, как всегда, чувствовал себя случайным и чужим в доме Юскова. Никому из них и в голову не придет спросить у фронтового прапорщика, что он думает о цивилизации и буржуазной культуре. А он бы мог сказать!

Что они знают, эти люди, про жизнь солдата? Про жизнь прапорщика Боровикова? Они его сейчас принимают по милости ее величества Революции, терпят и вместе с тем никто из них не пойдет кузнецом в депо, на пашню с серпом, чтобы в поте лица добывать себе хлеб насущный!

Да они, эти образованные люди, никогда не жрали всухомятку японские галеты, которыми хоть из минометов стреляй, не жрали чечевицу пополам с землей, не долбили лоб двоеперстием, уповая на бога; они всегда были сыты, хорошо одеты, обеспечены, а за счет кого, спрашивается? Вот что хотел бы сказать им Тимофей! Почему именно они, холеные, изнеженные, должны жрать вкусную пищу, приготовленную ученым поваром? Почему именно они должны получать всяческие блага, а вот солдаты, мастеровые депо, фабричные бабы, одичалые в вековом забытии и невежестве, подобные отцу Прокопию Веденевичу, должны от века довольствоваться

прозябанием, что и словами-то не выразить! Вот в чем штука! И он, Тимофей, хоть и в мундире прапорщика, а никак не приклеится к этим людям, если даже они и будут терпеть его молчаливое присутствие. И отчего не терпеть? Он же для них, как стул, как вот эта стена, дверь, — неодушевленный предмет, и больше ничего.

«Цивилизация!» Как это по-русски, по-простонародному? А ну их подальше! И все-таки прислушался, когда Арзур Палло спросил у Серого черта, что он считает главным в цивилизации Америки.

— Свобода, сэ. Великий принцип Джефферсона, сэ.

— Свобода? Чья свобода?

Это уже интересно! Тимофей насторожился. Арзур Палло спрашивает и отвечает:

— Свобода Джона Принстона Моргана, чьим эмиссаром вы являетесь? Или свобода тех арабов, которые за нищенскую оплату перекачивают нефть из своей страны в Америку, обогащая капиталистов? Скажите: за чей счет раздулись капиталы Джона Принстона Моргана?

— Это очень не вески политика, сэ.

— О да! Конечно!

И Арзур Палло напомнил Четтерсворту, что, например, в России для американских капиталистов «очень вески политики» заключалась в том, чтобы оттяпать Берингов пролив, а там и Камчатку с Чукоткой. Разве не американский инженер-капиталист Вандерлипп нацелился на Камчатку? Разве не Морган основал на Аляске синдикат по ограблению окраин России?

— Что. вы там сделали с чукчами? Дали им цивилизацию? Образование? Культуру? Вы брали, а взамен давали спирт, наркотики, разврат и падение народности, извините. Надо называть вещи своими именами, господин Четтерсворт. Взять хотя бы банки — Русско-Азиатский и Сибирский торговый. Чьи основные капиталы в этих банках, скажите, пожалуйста?

— Если бы Америка не дала свои капиталы, русский промышленник совсем бы помер! Помер, сэ! Определенно!

— Не померли бы, господин Четтерсворт! Нет! Но ваша цивилизация дорого обошлась России, и не только России. В этом я убедился, когда был в Латинской Америке.

— Ошечь сожалечу, нам никак нельзя иметь одно понятие о цивилизация, культура и великий назначения Америка!

Арзур Палло согласен: у них действительно разные понятия о цивилизации.

— Что поделаешь? Я имел честь, будучи в Мексике, пожинать плоды вашей цивилизации, сэр.

— О! — поморщился Серый черт.

— Смею думать, — продолжал Арзур Палло, — революция в России освободит Россию от заморских капиталов со всеми акционерными обществами.

— Это русски обществ — акционеры компани!

— Совершенно русские, только начинка обществ, капиталы ваши, сэр: американские, английские, бельгийские, французские.

— Пирог без начинка, м-м, как сказать?..

— Пирогы всегда с начинкой, — ответил Арзур. И, помолчав, дополнил: — Думаю, революция в России пойдет дальше, чем мы полагаем. Вот, пожалуйста, спросите у русского прапорщика господина Боровикова, какую бы он хотел видеть Россию в будущем.

— О! — Серый черт презрительно усмехнулся. Ему так и не удалось коротко познакомиться с молчаливым прапорщиком. «Русски битюг, который умеет возить, но не умеет говорить. Что он может знать о судьбе России?» Это же все равно, если бы спросить у ломового мерина, что он думает о своем будущем! — Ошечь рад! Шьто ви сказать будете, господин Борофикоф? Как понимаете цивилизация?

Тимофей не ждал, что его втянут в разговор, да и не хотел бы отвечать на презрительную иронию американца, но все-таки вынужден был покинуть свое убежище и выйти в малый зал под обстрел щупающих взглядов.

— Как я думаю? — Тимофей пожал плечами — погонь согнулись. — Я не знаю, что вы называете ци-ви-ли-за-цией. Хочу спросить: кто начал войну? Цивилизация?

Американец хлопнул ладонями по коленям:

— Цивилизаци не начинайт война!

И Серый черт пустился в пространные доказательства, погружаясь в историю, как водолаз на дно океана. Он начал с персидского царя Ксеркса, который еще в 48 году до нашей эры начал

войну против Греции, когда и в помине не было капитализма со всей современной цивилизацией.

Арзур Палло захохотал:

— Очень длинный мост надо построить вам, господин Четтерсворт, чтобы соединить диктатора Ксеркса с капитанами капитализма — Рокфеллером, Морганом, Дюпоном, Рено, Чемберленами! Очень длинный мост!

— Я хотел сказать, я хотел сказать, — не капитан капитализм делает война, а сам, м-м, человек, сэр. О да! Сам человек.

И, не дав опомниться Арзуру Палло, с напускной непринужденностью и дружелюбием Серый черт спросил у прапорщика: видит ли он будущую Россию после революции без капитанов цивилизации? Без промышленности? Без культуры и науки?

— Почему без промышленности и науки? Я этого не говорю. Я думаю, что в России не будет капитанов капитализма, потому что революция разгромит капитализм.

— Ошечь приятно! — поддакнул Серый черт. — Без капитал? Воздухом питают?

— Революция отберет у буржуазии капитал, и он будет народным. Банки будут в руках Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

— Широкий будет Совет? — скорчил рожу Серый черт.

— По всей России.

Может, на этом и закончился бы разговор о будущем России и Тимофей спокойно бы отступил за полустеклянную створчатую дверь, но тут полковник Толстое поднялся с кресла и, обращаясь к прапорщику, спросил:

— Допустим, Советы. Но и Советы сами по себе не будут существовать. Будут ли партии внутри самих Советов и вообще в России? Или как было при царе-батюшке — все партии должны уйти в подполье?

— Да, партия, конечно, будет РСДРП (большевиков). И только одна эта партия на всю Россию. И только она выражает волю рабочих, солдат, бедных и средних крестьян. К чему другие партии? Рабочим нужно устройство порядочной жизни на земле.

— И это устройство порядочной жизни берет на себя одна ваша партия?

Тимофей напряжился, как перед прыжком:

— Да, берет. Наша партия рабочих. Наступила неловкая, настороженная заминка. Полковник Толстое, не взглянув в сторону прапорщика, со злом ткнул недокуренную папиросу в чугунную пепельницу, пробормотав:

— Если бы действительно случилось так, я бы первым поднял оружие против такой партии! Да! Из одного самодержавия в другое — избави бог, избави бог!

Тимофей стиснул зубы, глядя прямо перед собою в лакированную гулкую пустоту. Один — лицом к лицу с господами, умеющими рассуждать красиво и возвышенно на разных языках, помышляющих о свободе, равенстве и братстве для самих себя, но не для рабочих, не для крестьян, не для серой суконки! Какое им дело до тех, кто своими руками добывает хлеб насущный!

Ждал, что ответит полковник Арзур Палло — «русский мексиканец». Он обязан ответить. Обязан. Он же участник революции девятьсот пятого, революции в Мексике. На чью сторону он перейдет сейчас, в девятьсот семнадцатом?

Арзур Палло молчал.

Надо уйти. Сейчас же! «Не по зубам им наша рабочая партия большевиков, — подумал Тимофей и повернулся уходить, столкнувшись с Ионычем. — Еще один холуй!..»

Ионыч сказал, что господина мексиканца спрашивает инженер Грива из тайги и что за прапорщиком Боровиковым пришел солдат из Красноярского Совета.

— Ждет внизу...

VI

Навстречу по парадной ползла сухопарая монахиня в черном, будто выползла из преисподней: крючковатый нос, тонкие губы в черточку и колючие прищуренные глаза, как два буравчика. Еще одна приживалка буржуазии!

Арзур Палло почтительно посторонился перед монахиней, а Тимофей шел прямо на нее возле перил. Монахиня остановилась и не хотела уступить дорогу.

Ионыч взглянул на монахиню:

— Вам кого, матушка?

— Мне бы хозяйюшку повидать, Евгению Сергеевну. Монахиня явилась от его преосвященства архиерея Никона.

Солдат жался у двери, диковато поглядывая на большущие, под потолок, зеркала в резных рамах, на мягкие диваны, на парадную лестницу, застланную шикарным ковром снизу доверху, и особенно поразила солдата голая женщина на пьедестале, прикрывающая ладонью стыд, — «экая невидаль! Словно живехонькая, окаянная».

В прихожей похаживал Гавря — в выдровой шапке с длинными ушами, в меховом пальто нараспашку и в волчьих унтах на толстущих подошвах — и по сырости ходить можно, и по снегу зимой: таежная обувка.

До того как в прихожую спустился Арзур Палло с Тимофеем, Грива потешался над солдатом.

— Давай-ка, дружище, уволокем эту бабенку, а? Какая, а? С такой бы по вселенной, чтоб звезды сшибать, а?

— Бабенка складная.

— Венерой называется. Таких Венер натесано — дай боже. И нам бы одну на двоих, а?

— Куда с каменной. Кабы живая.

— Расщепай меня на лучину, живой такой не сыщешь. Чур!

Пригнув голову, сдвинув шапку на затылок и закинув ее уши на спину, Гавря уставился на Арзура Палло, чинно шествующего вниз со ступеньки на ступеньку.

Арзур Палло пригласил брата к себе в комнату, и они ушли.

Курносый приземистый солдат в старенькой шинели, в разбухших ботинках все еще топтался у двери.

— Ко мне? — обратился к нему Тимофей. Солдат щелкнул задниками ботинок.

— Так точно, ваше благородие.

— Отставить. Честь отдавать только в строю, в гарнизоне.

— Так точно. Солдат Купоросов прибыл из исполкома. Дежурю я с отделением от Седьмого полка, Срочно требуют рас, господин прапорщик. В исполком.

— Отставить «господина». Товарищи мы.

— Так точно, товарищи.

— Хорошая у тебя фамилия, Купоросов. Ты еще подсыплешь купоросу господам и высоким благородиям.

— Так точно, товарищ прапорщик. Подсыплем.

— Можешь идти.

Проводив солдата, Тимофей пошел одеться в комнату Дарьюшки.

Закатные лучи солнца цедились, как сквозь сито, через узорчатые тюлевые шторы на грех полукруглых окнах. Резная деревянная кровать Дарьюшки с тремя подушками — чужая кровать! И все здесь, от изразцового камина с пуфами, ковров, картин в рамах на стене до зеркального трельяжа с туалетным столиком, заставленного дамскими пустяковинами, было чужим, холодным и противным.

Но что же случилось с Дарьюшкой? Почему она упорно прячется от него, Тимофея? Аинна загадочно посмеивалась; чопорная хозяйка всячески навеличивала прапорщика, а в сущности, откровенно презирала мужичью черную кость.

Завтра Тимофей уедет из Красноярска с эшеленом маршевых рот. Он должен повидать Дарьюшку. Должен!

«Еще подумает, что я ее преследую!» — мелькнула неприятная мысль.

Тимофей взглянул на овальный столик в простенке между двух окон. На столике — книга, раскрытая на середине, в какие-то листки. Подошел к столику и удивился: на развороте, слева, жирным шрифтом: «ЕВАНГЕЛИЕ» на правой странице: «ОТ ИОАННА». Взял один из листков, исписанный прямым почерком Дарьюшки:

«ОТ ЛУКИ, гл. 18.

Всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя — возвысится».

Подумал: что-то темно, заумно. Как это: унижающий себя возвысится? На карачках ползать перед господами, и тогда они отметят тебя своей милостью?

«Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца своего и мать свою».

Тяжко вздохнул: в общем-то, не худо бы жить так, но кто именно соблюдает это божье напутствие? Хотя бы сами попы или тот же архиерей Никон, которого Тимофей видел тогда на званом ужине? Кто

из капиталистов соблюдает: «не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй?» Никто! В этом Тимофей твердо уверен.

«Когда же услышите о войнах и смятениях, — не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть».

Вот это здорово! Не ужасайтесь! Гонят вас, как баранов на убой, радуйтесь. Капиталисты будут карманы набивать, а вы, солдатики, не ужасайтесь, «ибо этому надлежит быть».

Взял другой листок.

«ОТ ЛУКИ, гл. И.

Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам».

Тимофей помотал головой. Какая умиротворяющая ересь. Простите, рабы божьи, и получите по шее! Ищите — и тюрьму найдете.

А вот святой апостол Иаков поучает:

«Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».

Вечное терпение рабов! Чего же лучше желать для голодных и обездоленных? А вдруг они взбунтуются да спросят у капиталистов: чью кровь вы сосете, вампиры?

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».

Так, так. Плачьте, рабы божьи! На том свете утешитесь.

«А я говорю вам: возлюбите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».

И всему этому верит Дарьюшка, если так старательно выписала на листки пророчества апостолов? Неспроста явилась монахиня! Что он, Тимофей, знает о жизни Дарьюшки?

Взял еще листок:

«Никто не приставляет заплат к ветхой одежде, оторвав от новой одежды. А иначе и новую раздерете, и к старой не подойдет заплата от новой».

Покачал головой. Не велика мудрость! Всякий дурак знает, что не надо рвать новую шинель, чтобы залатать старую. Так и с религией. Революцию не заштопаешь ветхими заплатами святых апостолов из Евангелия. А вот Дарьюшка, кажется, верит, что можно примирить революцию с Евангелием!

И еще:

«Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут».

«И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше».

«Молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то и другое».

Тимофей подумал: надо бы господам наверху, в шикарной гостиной, прочитать эти притчи Иисуса из Назарета. Они же изо всех сил стараются влить молодое вино революции в старые мехи — в изжившее себя барство и тунеядство. Они бы хотели заполнить революцию словоблудием, чтоб сохранить свое господство — «без царя-батюшки — самим царями и пророками быть». Да не выйдет так, господа! Новое вино революции никак не вольешь в старые мехи, в разные комитеты, где заседают адвокаты буржуазии. Ничего не выйдет! Революция создала свои мехи — Советы! Господам не по носу наша рабочая социал-демократическая партия большевиков, да их никто не спросит: быть или не быть нашей партии! Понятно, тот, кто пил старое вино, как вот полковник Толстов, тот, конечно, не захочет молодого вина, еще не выбродившего, не крепкого. Дайте срок: вино революции наберет крепость! Хмель в нашем вине самый натуральный — народный, мозолистых рук!..

Дайте только время.

«Нет, она такой не была! Где же та, давнишняя Дарьюшка?..»

Тимофей вышел из комнаты в прихожую и, натягивая шинель, послал лысого лакея за Дарьюшкой...

VII

Что же он скажет Дарьюшке? Начать с ее листков? Но ведь она не скрывала своей религиозности, только он, Тимофей, пропускал ее молитвы мимо, как назойливый шум, мешающий сосредоточиться на чем-то главном, первостепенном.

Дарьюшка верит апостолам, а он, Тимофей, познал апостолов еще в детстве, когда ночами бубнил на славянском по затасканным страницам Писания. И тогда он видел, что никто из старообрядцев-тополепцев не разумел ни единого слова из того, что он читал им по-славянски, но все истово молились, отстаивая долгие часы на коленях.

Что же ей сказать? Разве она не понимает, что сейчас происходят такие события, что не со Святым писанием надо в них действовать, а взять винтовку, записаться в Красную гвардию совдеповцев и рушить вековую тьму, созданную не без религии. Надо, чтобы человек поверил в самого себя и, засучив рукава, взялся за перестройку жизни без всяких предрассудков.

Когда-то давно человек создал бога и дьявола и наделил их своими собственными понятиями добра и зла, отдал им частицу самого себя и уверовал потом, что все это — бог и черт — возникло до него, до человека.

Сила тьмы стала силою дьявола, он же — черт, люцифер, нечистый дух. И человек сказал, что это есть зло, скверна.

Породив дьявола, надо было определить его постоянное местожительство. Не на небо же, к солнцу и звездам! Куда же? В недра земли, откуда вырываются огнедышащие вулканы. Вот тебе и преисподняя. Живи, нечистый дух, карай грешников!

Силою света, благодати, силою добра стал бог и человек, создавший бога, нашел его превосходную обитель — загадочные небеса с несказанным садом Эдема — пристанищем для праведных душ.

Поймет ли Дарьюшка?..

VIII

Она вошла тихо. Очень тихо и робко подошла к Тимофею в своей ослепительно белой батистовой кофточке, в черной расклешенной юбке, в черных ботинках, тоненькая в перехвате, перепоясанная широким лакированным ремнем с причудливой пряжкой, и глаза ее, виновато прячущиеся, не в силах были подняться на Тимофея.

Он сказал, что его вызывают в исполком Совета, и что он хотел бы поговорить с Дарьюшкой откровенно, и что он завтра во второй половине дня отправляется с эшеленом на запад.

— В окопы? Опять в окопы? — как эхо, отозвалась Дарьюшка.

— По-божьи так: когда услышите о войнах, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть. Гонят вас на убой — радуйтесь. Только я что-то не видел в окопах ни попов, ни толстосумов, ни святых апостолов.

Дарьюшка глянула такими округлыми, испуганными глазами, что, казалось, свет из ее глаз лился волнами, и закрыла Евангелие со своими листиками.

— Зачем вы так? Я же верующая.

— Господа капиталисты тоже верующие, — глухо ответил Тимофей. Он не ослышался — она назвала его на «вы» и не первый раз! — Они тоже верующие. Только непонятно, как они одной рукой богу молятся, а другой обдирают ближнего и не думают, что грешат. А Святое писание поучает: возлюбите врагов ваших, обдирающих вас, объедающих вас, и не ропщите, рабы божьи: на том свете насытитесь! Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа!.. Что же они, господа, поступают не по Писанию, а прибрали к рукам все богатства, и все им мало? Готовы сожрать весь свет. А для голодных в самый раз: блаженны плачущие, ибо они утешатся... на том свете...

— С них спросится, если они попрали божьи заповеди. Не будет им ни радости, ни спасения.

— Где «спросится»?

— За земной юдолюю.

— Нет, Дарьюшка. Народ так долго ждать не будет. С капиталистов сейчас спросится. Солдаты, рабочие, крестьяне — вот кто спросит. Ко всем чертям капиталистов!

— О! — простонала Дарьюшка. — Жестоко так. Жестоко. И потом. Я хочу спросить, Тимофей Прокопьевич, зачем вы мне прислали шашку и маузер есаула Потылицына? Зачем? Я не знала, что

вы его избили. Да, мне говорил Сергей Сергеевич. Подлец он, Потылицын. Какую мерою меряет, такой и ему бог отмеряет.

— Я воздал ему за подлость без бога полною мерою. Век помнить будет.

— О! — раздался ее стон, резанувший как ножом по сердцу. Багрово-красное пятно заката разлилось по ее белой кофточке, и Тимофею показалось, будто на труди Дарьюшки выступила кровь.

— Дарьюшка!

— Да?

— Мы так с тобой и не поговорили откровенно.

— Почему же? Мы говорили, — тихо ответила Дарьюшка, опустив голову. — Говорили... только... только... мы совсем разные люди, Тимофей Прокопьевич.

— В Белой Елани...

— Не надо, Тимофей Прокопьевич. Не надо! Я никогда не сумею быть жестокой и благословлять жестокость. Прошу вас, возьмите шашку и этот маузер Потылицына.

— Может, мне пойти к есаулу и просить прощения? — зло ответил Тимофей, хотя и пытался сдержаться. — Ты можешь вернуть ему шашку, маузер и вот этот браунинг, из которого он стрелял в меня, да промахнулся. — Вороненый браунинг загремел по лакированному столику.

Круто повернувшись, так, что ковер сморщился, Тимофей не вышел, а вылетел из дома Юсковых.

Дарьюшка долго стояла у окна. Багровое пятно залило ей всю грудь, но она не заметила этого зловещего закатного пламени.

— Ушел твой прапор? — вкатилась Аинна в нарядном платье, счастливая, сияющая, как новый золотой. — Пришел твой муж — «расщепай меня на лучину».

Дарьюшка ойкнула и чуть не упала от такой присказки.

— Что так испугалась? Какая ты чудная, ей-богу! Да ты живи, живи, подружка. Как бы я хотела, чтобы ты встряхнулась и поехала бы с нами в Москву, в Петроград, в центр революции! Это было бы восхитительно! Пойдем же скорее — надо гостей приглашать к столу. Явился архиерей. Терпеть его не могу. И что нашла в этом цыгане мама — не представляю. — И потащила Дарьюшку за руку.

Надолго, на всю жизнь Тимофей запомнил красное на белом.

Это было нечто неизбежное, столь же неотвратимое, как рок, зреющее именно сейчас, с первых дней революции, в недрах народа по всей Руси великой. И это Красное и Белое он увидел на груди Дарьюшки и содрогнулся, может, потому, что все время думал о гражданской войне, когда рабочий класс стеной поднимется за свободу и социализм.

И вот — Дарьюшка. Ждал ли он такого «непротивления злу насилием» от милой Дарьюшки? Нет, тут не просто религиозные искания Дарьюшки, тут нечто другое, потаенное. Неспроста чопорная Аинна, встречаясь с ним, суживала ноздри, как бы принюхиваясь: не пахнет ли от прапорщика солдатскими портянками. Это они, Юсковы, запутали Дарьюшку, опеленали ложью, оговорили Тимофея, выставив перед нею неотесанного болвана, рубаку жестокого, как сама смерть.

Он остановился на тротуаре, пораженный редким закатом. Огненно-красный круг медленно, но упорно врезался в макушку Черной сопки, похожей на Везувий. В ту самую Черную сопку, где Тимофей провел маевку с деповскими рабочими в двенадцатом году и они говорили тогда о расстреле рабочих на прииске Бодайбо и поклялись, что настанет время — отомстят за кровь своих братьев.

На фоне огненно-раскаленной сковороды резко отпечатались силуэты хвойных деревьев. Небо над Черной сопкой охватило языкастое пламя и лилось на город. Люди двигались в пламени странного пожара, спешили; некоторые читали воззвания на заборах, не обращая внимания на причуды мартовского солнца.

Тимофей шел к вокзалу с маршевой частью и все ждал — не встретит ли Дарьюшку. Видел, как Арзур Палло подъехал с Аинной и красавица Евгения Сергеевна беспрестанно прикладывала платочек к глазам. Был на перроне и полковник Толстов.

Он подозвал Тимофея и запросто протянул руку.

— Без чинопочитания, друг мой, — сказал полковник и тут же сообщил: — Могу вас порадовать. Воля покойного генерала Лопарева исполнена. Я настоял перед генералом Коченгиным о присвоении вам воинского звания штабс-капитана.

Это было сказано торжественно, и Тимофей невольно вытянулся.

— Служу отечеству, господин полковник!

— Bravo, bravo капитану! — захлопала в ладоши Евгения Сергеевна, а за нею и все, кто провожал Арзура Палло и его жену.

Толстое взглянул на часы.

— Я не мог вам сообщить это раньше. Были некоторые осложнения с подписанием приказа. Теперь он подписан, и вы получите его по прибытии во Псков. Там формируется новая Сибирская стрелковая дивизия. Надеюсь и верю, капитан, что вы будете таким же бесстрашным офицером, каким были солдатом.

И опять Тимофей вскинул руку к козырьку.

— Служу отечеству!

Евгения Сергеевна, не гася милой улыбки, заметила:

— Наше отечество и наша революция в опасности, милый капитан. И мы все молимся, чтобы вам, нашим защитникам, бог послал победу над Германией.

Да, они, конечно, молились. Молились о том, чтобы миллионы Боровиковых поскорее бы захлебнулись собственной кровью в окопах великой бойни.

Тимофей ничего не ответил на это. Он ничего не мог сказать. Да и нечего было говорить...

ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ

I

Судьбы!..

Кому ведомо в истоке жизни, какая его ждет судьба? Злодейка или добрая покровительница? Что ему на роду написано пережить; на каком ухабе споткнуться и сломать себе голову?

Михайла Михайлович встревожен: ячейки в неводе судьбы перебирает. Не те, какие судьба навяжет завтра, а что давно минули, и сами ячейки в памяти истлели — рвутся.

Давно ли был молодым — в силе, в хитрости, и думалось: не изжить века, я все могу, танцы заказывать буду я, музыка — моя и танцоры — мои. И все шло ладно. Капни тал плыл к капиталу, как

тина к берегу; капитал множился а сила, здоровье — не привяжи кобылу за хвост! — таяли, на убыль шли, как лед под вешним солнцем.

Самое паскудное — женитьба на нищей княгинюшке Евгении Толстой, племяннице князя Львова, нынешнего министра во Временном. Пакостная, греховная женитьба. Опеленала развратница Михайлу — рассудок потерял; голым телом блудницы питался — лобызал в непотребные места, и не задарма — золото плыло из сейфов. За месяц спустил более ста тысяч и тут спохватился — пригоршнями полезли волосы. И пошло! Скрутила блудница, связала у алтаря и под ноги себе положила — таковский дурак! Ох-хо-хо!..

Настало время крутое, густо замешанное событиями; свалился дурак Николашка — вся Русь вздыбилась революцией, беда! За горизонтом текучей жизни маячат тени на Сибирском кандальном тракте: покойный батюшка Михайла Данилыч тихий да кроткий, а брыластого борова, Кали-страта, упокоил-таки булавой в лоб; хвально то, хвально! Еще топчет землю матушка Ефимия Аввакумовна, а он, единственный живой сын, лысый, немощный, всеми четырьмя лапами в капкане у блудницы.

Ох-хо-хо!

Есть же сыновья — подполковник Владимир (дурак дураком); Николенька, а што они? Ни звука, ни бряка. Пустота.

Вот еще революция. Бурлит, пенится, развращает и без того ленивых; механический завод бастует, на приисках — колобродь, комитеты, Советы, чтоб им провалиться в тартарары. Долго ли? Што они там и думают, министры Временного?

Ночь...

Тихая, мартовская, покойная будто, а душа не на месте.

Горит люстра, свисающая с лепного потолка, на хрустальных подвесках, и на ореховом столе лампа под стеклянным зеленым абажуром. Михайла Михайлович не терпит темноты. Сын Владимир с разбойником-мексиканцем и с нагульной Аинной прихватив с собою Серого американского черта — мистера Четтерсворта, — укатили в Петроград. Пусть себе катят хоть в преисподнюю. Михайла Михайлович наотрез отказался провозжать: больной, мол, с постели не подымается.

На другой день, перед обедом, как того не ждал Михайла Михайлович, супруга Евгения явилась к нему в кабинет.

Михайла ополчился на лысого слугу Ионыча. Как смел ввести в кабинет ехидну, блудницу, отторгнутую им от груди своей? Или запомнил приказ: нога блудницы не должна переступить порог кабинета — единственного пристанища Михайлы Михайловича в большом доме, — где он чувствовал себя в безопасности.

— Доколе же доколе терпеть скверну?! — гремел Михайла Михайлович. — Настало время, Евгения, уплатить по векселю, который ты подписала у алтаря. А есть ли у тебя капитал, э, которым, э-э, ты можешь погасить вексель?

Евгения Сергеевна слушала, слушала, источая слезы, а потом схватилась за грудь: «Сердце, сердце!» Это у нее-то сердце? Враки. У ехидны нет сердца и не бывало. Есть только хитрость. Ущемили хитрость — жалуется на сердце: пожалей, мол, колпак, а я тебя потом ухажу — ноги в гробу протянешь...

— Дайте капель! Капель! Боже!.. — стонала Евгения Сергеевна.

Ионыч хотел было подать капли со стола хозяина возле его одинокой старческой кровати за шелковой занавеской.

— Не смей! — притопнул Михайла Михайлович. — Или ты не видишь маневра лисицы, э? Старый дурак. Пусть госпожа сама себе накапает лекарства, а мы подождем; дальнейший спектакль смотреть будем.

Евгения Сергеевна, плача и сморкаясь в платок, поплелась к столику на другом конце кабинета. Михайла Михайлович нарочито отвернулся.

— Скажи, какие капли от сердца? Боже! Я умру! Михайла Михайлович обрезал, не оглядываясь:

— Если сердце прихватит, найдешь, голубушка. Чтобы лечить сердце, э, надо его иметь в наличности.

— Какие же капли? Боже! Я упаду!

— Валерьянка с адонисом, — смилостивился Михайла Михайлович; он сам всегда употреблял именно эти капли, о чем, конечно, великолепно знала ехидна, да притворялась.

Евгения Сергеевна что-то долго возилась у столика возле кровати, слышно было, как лила воду, охала, всхлипывала, а потом выпила лекарство.

— Полегчало? — съязвил Михайла Михайлович, когда супруга вернулась к столу в кожаное кресло. — Продолжай комедию. Мы вот с

Ионычем потешимся.

— Ты зверь, зверь, зверь, — всхлипывала Евгения Сергеевна, сморкаясь в батистовый платок. — Пусть я порочная, греховная, но я же законная жена, я же тебе жена перед богом и людьми. Пойми это! И если я такая порочная, то не потому ли, что повенчалась со зверем, а не с человеком? Пока ты нуждался в покровительстве Толстовых — ты на всю мою жизнь смотрел сквозь пальцы и даже сам толкал меня на порочные связи. Разве не ты послал меня с Востротиным во Францию и в Англию? Тебе нужны были кредиты, и такие кредиты мог достать только Востротин, а не ты сам! И ты меня отдал Востротину на временное пользование; получил кредиты и паровые машины для механического завода и для двух пароходов. И я порочная? Михайла Михайлович ничуть не возмутился.

— Это из какой пьесы? — спросил супругу. — Я ведь, Евгеньюшка, все перезабыл. Из Шекспира, должно?

— Зверь, зверь!

— Слышишь, Ионыч, напирает на мое сердце, чтоб и я испил валерьянки с адонисом. Не старайся, Евгения. Мое сердце стучает нормально; решение принял и успокоился.

— Решение? Какое решение?

— Ишь как испугалась! Может, еще выпьешь капель?

— О, боже, я призову Сергея на защиту.

— Сергей Сергеича? — Михайло Михайлович кивнул округлой головой. — У тебя память короткая, Евгения. Ты уж призывала брата-полковника на помощь, и мы с ним поимели длинный разговор. Он познакомился с некоторыми документиками! Познакомился!

Евгения Сергеевна быстро поднялась и, глядя в упор на супруга, объявила:

— Ты хам! Из хамов хам! Ты дал брату Сергею читать мои дневники и письма, которые выкрал у меня. Хам и подлец!

— Ступай вон, ехидна! — не удержался Михайла Михайлович.

— Нет, погоди, супруг мой законный, — перешла в наступление Евгения Сергеевна, и слезы моментально высохли на ее румяных щеках. — Наш разговор еще не окончен; и то будет последний разговор. Слышишь?

— Дай-то господь! — Михайла Михайлович перекрестился раскольничьим двоеперстием.

— Ха-ха-ха! — засмеялась супруга. — Какой же ты двуличный, Михайла!

— Э?

— «Э»? — передразнила супруга. — Ты сейчас совершил кощунство — по-староверчески перекрестился, а в православной церкви милости господней просишь! Так во всем. Одному богу молишься, а другому — вексель подписываешь.

— Ехидна! Змея треглавая! — побагровел Михайла Михайлович, теряя спокойствие. — До чего же ты греховна, ехидна!

— А ты не греховен, старый колпак?

— Спаси мя, создатель!

— Не спасет, Михайла. Не молись. Час твой пробил.

— Изыди, тварь! Ионыч, сию минуту... — И, не досказав, нажал одну из кнопок на своем столе. — Сейчас явятся люди и выведут тебя вон!

— Ха-ха-ха! Как ты перепугался, старый колпак, — потешалась Евгения Сергеевна. — А еще комедию хотел смотреть.

Но как же она была хороша, Евгения Сергеевна, в этот полуденный час! Она в роскошном платье па английский манер. На ее руках сияют кольца с камнями, браслет, усеянный мелкими жемчужинами, на белой шее ожерелье, и на голове диадема из драгоценных камней. Михайла Михайлович однажды подсчитал, что наряд супруги превышает стоимость любого парохода Акционерного общества! И это все его капитал, выброшенный на ветер.

Она прошла возле стола, словно демонстрировала все свои прелести. Ей можно дать лет тридцать, и никак не больше. А он, Михайла, старик, немощен, и голова его плешива, как голое колено.

— Гляди же, гляди па меня, Михайла! — потешалась Евгения. — Или я собой нехороша? Или тело у меня из ржаного теста? Или глаза мои, как твои, из прокисшего творога? Гляди же, гляди! Тогда вспомнишь, под какой вексель выдал мне валюту из сейфов.

— Блудница и скверна!

— И блудница, и скверна, и ехидна! — отозвалась супруга, подбоченясь перед Михайлой Михайловичем. — Но я вижу по твоим глазам, что ты сейчас бы подписал чек на все свои капиталы в трех банках, чтобы хоть одну ночь обладать такой блудницей!

— Врешь!

— Подписал бы!

— Врешь, врешь!

Евгения Сергеевна быстро протянула руку, положила ее на Евангелие:

— Клянусь богом — подписал бы чек, если бы я позвала тебя сегодня ночью и открыла бы один-единственный секрет, какой выведала у твоей матушки.

Михайла Михайлович ничего подобного не ждал. Что еще задумала ехидна?

— Э?

— «Э»? — передразнила Евгения Сергеевна, но не с издевкой, а с некоторым снисхождением к старцу. — Ты же, старый колпак, ворочая миллионами, не подумал даже: как же случилось, что твоя матушка так долго зажилась на белом свете?

Раздался звонок. Это пришли люди, которых вызвал Михайла Михайлович.

Ионыч взглянул на хозяина — открыть ли дверь.

— Скажи им, пусть подождут, — попался на крючок Михайла Михайлович. — И ты сам побудь там, — буркнул он себе под нос, не в силах поднять глаза на верного лакея.

Некоторое время молчали, не доверяя друг другу. Евгения Сергеевна о чем-то призадумалась, стоя боком к овальному углу письменного стола с резной решеткой по бокам; Михайла Михайлович, кося глазом, как старый филин, ничуть не доверял ей.

— Ну, закидывай невод, Евгения. Да упреждаю: хитрость тебе не поможет.

Евгения Сергеевна пожала плечами.

— Если не поможет, — тихо проговорила, глядя себе под ноги на узоры ковра, — если не поможет, тогда... в нашем доме будет покойник.

Михайла Михайлович дрогнул и, будто невзначай, повернул ключ в замке письменного стола, в ящике которого хранились два револьвера на боевом взводе, чуть выдвинул ящик.

— Дурак ты, Михайла, — усмехнулась Евгения. — Не тронь револьверы. Или ты думаешь, что я бы стала убивать тебя своими руками? Так пишут только в романах да в пьесах играют. В жизни все по-другому, и ты это знаешь. Я же блудница, скверна, и вдруг превратилась бы в такую дуру, чтобы запачкать руки в твоей крови! Нет, Михайла, не так будет. Я сказала: если ты меня не поймешь — в нашем доме скоро будет покойник. И этот покойник будешь ты.

— Евгения!

— Молчи! — оборвала супруга и опять положила руки на Евангелие. — Клянусь, Михайла, убить тебя невыгодно мне. И только мне! Сам подумай — какие разговоры пойдут? Какие догадки, пересуды? В каком положении окажусь я, понимаешь? Из дела сопайщики вытеснят меня, начнется раздел между мною и твоими сыновьями...

— Так будет, — кивнул Михайла.

— Дурак! Ты успел сунуть ногу в капкан Гадалова и Чевелева! Они тебя пожалели, старый дурак! Если бы не я — они бы давно выгребли весь твой капитал. Разве они тебя не подговорили убрать моих управляющих?

— Э? — Михайла Михайлович хлопал глазами. И это ей известно. До чего же ехидна хитруща. Или у ней всюду тайные агенты?

— Слушай, Михайла. Пока ты мне не мешал — ты нужен был не Чевелеву, а мне. Но за последний месяц ты наделал столько глупостей, что расстроил все мои дела; мне же подставил ногу. Клянусь: я этого не потерплю.

— Да как ты смеешь, ехидна, э, диктовать мне...

— Смею! — притопнула каблучком ехидна. — И еще раз повторяю: ты мне нужен был, как английскому парламенту король на троне. Ты король, Михайла, и не мешай мне. Дело в моих руках.

— Тому настал конец!

— Если настал конец, — спокойно возразила величавая хозяйка — премьерша юсковского парламента, — ты через три дня будешь покойником. Молчи! Ни слова. Слушай. Я не хочу убивать тебя — ты нужен мне. Но не мешай множить капитал. Не мешай, Михайла. И королей несут на кладбище.

Михайла призадумался. Ох умна, ехидна! Хитра и умна! Как же избавиться от нее и самому не оказаться покойником?

— Ты вызываешь Николая. А кто он, Николенька? Мотовщик, юбочник и пьяница. А я, твоя блудница. Юскова. Или ты забыл?

И в самом деле, блудница-то Юскова; четверть века Юскова.

— Так вот, Михайла, мое последнее слово: выбирай из двух одно. Или покойником быть через три дня, или жизнь на долгие годы с блудницей, ехидной, со скверной. У меня два секрета: могу продлить тебе жизнь и могу убить, когда захочу. Такой час пробил. Смерть всегда невредимая, Михайла. Она придет к тебе, и ты не увидишь, через какую щель пролезла.

Михайла Михайлович взмок, хоть выжми. Истинно так! Ехидна па все способна. Влип. Шея в петле и ноги в капкане.

— Вот еще что запомни, Михайла: если бы ты меня убил — ты бы не протянул дня. У меня останутся живые руки — племянник и два брата.

Что правда, то правда. У ехидны длинные руки. Не на каторгу упекут, а на тот свет. «Спаси мя, создатель!»

— Ответь прямо, Михайла: смерти или живота?

— Не страшай, змеища! Есть власть, закон...

— Ни власти, ни закона нету, Михайла. Все теперь временное. И в этом временном надо устоять делу Юскова, а ты своими руками губишь его. Я этого не потерплю. Слышишь? Не потерплю! — И опять притопнула каблучком.

Михайла Михайлович ни слова: сопит и думает. Ехидну трудно опровергнуть. Делу надо устоять во всем этом «временном» круговращении.

— Что ты хочешь? Э?

— Хочу, чтобы ты жил с ехидной королем на троне.

— Э?

— Хочу продлить тебе жизнь.

— Не в твоей то власти, — опротестовал Михайла, но не весьма уверенно. А чем черт не шутит, когда бог справляет обедню? — Новые маневры? Как бы ты, э, продлила мне жизнь?

— Секретом твоей матушки.

— Нету секрета, э, Евгения. Случай то.

— Как же других обошел такой случай?

— Сам господь ведает то.

— Ни господь, ни черт, ни твоя матушка не ведают, а я своим умом разгадала тайну твоей матушки. Еще позапрошлый год в ночь на страстную пятницу спряталась в ее комнате под кроватью и прослушала всю ее всенощную молитву, когда она беседовала с богом. Она же все свои собеседования с богом проводит при закрытых дверях и при одной свечке у иконы богородицы с младенцем. И я ту молитву всенощную прослушала; бока отлежала под ее кроватью, а все-таки секрет разгадала.

— Правда ли то?

Евгения Сергеевна поклялась на Евангелии. Какой же дурак откажется от жизни? Михайла Михайлович сказал, что он не прочь жить с Евгенией, если...

— Дурак! — оборвала Евгения. — Без всяких «если». Ответь прямо: смерти или живота? Хочешь ли ты жить долгие годы с блудницей, ехидной, со змеей или лучше тебе помереть сейчас? Отвечай одним словом. Не торопись. Подумай. Минуты три подумай. У тебя даже звонок с Ионычем на секунды рассчитан: пароль придумали. Ха-ха-ха! Дураки! Ты не в кабинете найдешь смерть, а в

другом месте. Но я хочу, чтобы ты был со мною королем. Даю тебе три минуты. Думай же, думай, Михайла. Твой час настал.

Михайла Михайлович не в шутку перепугался. Чересчур серьезно говорила Евгения и клялась на Евангелии. Она, конечно, все давно приготовила. Умертвить сумеет, хоть полк солдат призови на помощь. Хоть бы сыновья были рядом. Один же! Кругом один — в ореховой берлоге за тремя замками. Но что замки для ехидны!..

Как бы между прочим Евгения сообщила:

— Я бы могла тебя и на каторгу отправить, Михайла, и все дело закрыть навсегда. Могла бы! Ты не подумал, почему Ионыч осмелился провести меня в твой кабинет? Твой раб ослушался! Кто защитит тебя, Михайла, в трудный час?

— Э?

— Вытри пот с лица. Что ты так потеешь?

— Господи помилуй! — терялся Михайла Михайлович. Сам о том подумал. Как же Ионыч вдруг порушил его приказ? Как смел ввести в кабинет ехидну?

Евгения Сергеевна глянула на свои золотые швейцарские часики:

— Три минуты прошло, Михайла. Отвечай.

— Э?

— Смерти или живота?

— Живота! Кому смерть мила, господи! — прорвало крепость Михайлы, и он сразу почувствовал себя поверженным к ногам ехидны, блудницы и в том числе стожалой змеищи. — Живота, Евгения. Живота.

Евгения Сергеевна посмотрела на супруга внимательно, точно впервые видела; усмешка победительницы едва тронула ее пухлые губы, и она, облегченно вздохнув, подошла к Михайле, повернула его к себе на вертящемся кресле и мягко, но властно уселась к нему на колени, положив руку на спинку кресла.

— Евгения!..

— Молчи, молчи. Я же блудница, блудница. И я дам тебе жизнь и радость. В моем теле, в моей душе сама геенна огненна.

— Помилуй меня, господи! — пыхтел Михайла.

— Не господь, а я милую.

— Не безбожничай!

— Я безбожница, и я — вечная, вечная, как геенна. Жить буду долго, если... всех нас не удушит революция.

— Чего страшиться! Революция сама себя удушит.

— Нет, Михайла. Ты бы побывал на нашем заводе, послушал бы мастеровых, или как их зовут — «пролетариев всех стран», — тогда бы понял, какая пропасть перед нами. Нам надо выстоять.

— Надо, — отозвался Михайла, не чувствуя тяжести на своих старческих коленях. Как-никак, а супруга немалая птаха, а вот держит на коленях, и ему приятно. Даже ноги потеплели, как будто укутал их лисьими мехами.

— Бог даст, выстоим и жить будем. Но только без хитростей, Михайла.

— Спаси Христос! Ты же сама и есть хитрость.

— Моя хитрость — в дело, а твоя — рушит дело. Вот мое условие: ты сегодня до часу ночи подпишешь договор-сделку на мое имя. И в этом договоре передашь мне все свои права по банкам, по акционерным обществам, по прииску. Передашь мне ключи от сейфов, и в этом кабинете буду жить я. Молчи! Не перебивай. Я же сказала: сегодня ночью ты подпишешь мне все свои капиталы...

— Не будет того! — воспрял Михайла Михайлович.

— Оставь, не мешай. Так будет, если я сказала. Слушай. Ни в какие денежные и промышленные дела ты никогда не будешь вмешиваться. Никогда. Ты будешь королем на троне. Я все дела буду вести сама со своими управляющими. Ты будешь иногда знать, как идет дело, но не всегда будешь знать. Не всегда. Твое дело жить и радоваться жизни. Разве плохо на старости лет? Ах ты старый дурень! Это же счастье, счастье. Я буду для тебя не женой, а блудницей, скверной, змеей, и ты сам познаешь, какая это сила жизни. Если надо — будут у тебя девицы мадам Тарабайкиной. Так надо, Михайла, чтобы жить. Ты же почти умер в этой норе, куда сам себя упрятал. От тебя тленом пахнет. Белье на тебе грязное. Постель страшная и грязная. Ты боишься даже позвать горничных прибрать постель: как бы не отравили да не удушили по моему приказу. Ох, Михайла! Я бы давно похоронила тебя, если бы ты был лишним. Ты король! Я без короля — вдова. А это так хлопотно! Брр!

Михайла Михайлович окончательно обмяк. Вот так окрутила ехидна! Как веревками повязала — ни дрыгнуть, ни прыгнуть.

Евгения продолжала!

— Со своей стороны я заготовила охранное письмо на! твое имя, что буду заботиться о твоём здоровье, и если ты, не ровен час, умрешь, капитал разделю на четыре равных части.

— Э? Как так на четыре?

— Евгения, Владимир, Николай, Аинна.

— Э?

— Без всяких «э», Михайла. Это будет справедливо перед богом и людьми. Я все сказала. Договор-делку я заготовила и пошлю тебе с Ионычем на подпись. Решай до часу ночи. Если хочешь жить с блудницей — подпиши договор, надень японский халат, который я тебе пошлю, да не забудь вечером принять ароматичную ванну. Я распорядюсь. Придешь ко мне в спальню в одном халате и позовешь: «Здесь ли ты, блудница?» И я отвечу: «Здесь, король мой!»

Евгения Сергеевна, как кошка, прильнула к Михайле Михайловичу, и он увидел ее сияющие, ядовитые глаза искусительницы — помраченье настало. А он-то решил, что ни гроша, ни цента, ни пфеннига не отдаст за ее страшные чары! Живой еще! Живой! Да есть ли предел тому? «Спаси мя, Иисусе! — молился староверческому Иисусу. — Вдохни в меня прозрение!»

Прозренье улетучилось...

— Блудница я, блудница, — жарко шептала Евгения.

— Истая блудница, — отвечал вздохами Михайла Михайлович.

— И ты будешь жить с блудницей и радоваться будешь, король мой лысенький.

— Ехидна ты, Евгения!

— Ехидна, король мой. Ехидна.

— Змея ты!

— Змея, змея. Во мне яд для смерти и лекарство для жизни.

— Видишь ли ты, господи?!

— Видит, Михайла, и благословляет тебя на жизнь.

— Э?

Михайла Михайлович совсем разомлел, когда Евгения Сергеевна, еще раз предупредив, что будет ждать его с подписанным договором к часу ночи, удалилась восвояси.

Потом Ионыч принес от ехидны заготовленные бумаги на гербовых листах и, не выдержав свинцового взгляда хозяина, покался:

— Беда пристигла, Михайла Михайлович. Беда!

— Ты мерзавец, Ионыч! Кому предал меня? Кому? Ионыч гнулся коромыслом.

— Да есть ли верность среди людей, господи! — жаловался хозяин, ополчившись на лакея. — Как же смел привести ее ко мне? И бумаги притащил! Да што же это, господи!..

Ионыч осмелился доложить:

— Был разговор у меня, Михайла Михайлович... с Евгенией Сергеевной. Беда пристигла, говорю. Она показала мне пачку фальшивых банкнотов... Скитских. В пергаменте. И

подпись моя на той пачке... Как условлено было тогда. Помните?

— Господи! — ахнул Михайла Михайлович. — Откуда она достала ту пачку?

— Выкрала, думаю, у его преосвященства Никона. Какой будет позор, Михайла Михайлович, — бормотал Ионыч, горбясь.

— Да не осталось же у Никона фальшивых банкнотов!

— Не все он вам отдал за сто тысяч выкупу. Пачку приберег для себя.

— О, ехидна, змея стожала! — засуетился по кабинету Михайла Михайлович и кинулся к столику с лекарствами. Вспомнил! Евгения Сергеевна, уходя, забрала лекарства, предупредив, что отныне она будет лечить его сама. — А Никон-то, Никон! А? Как же быть, э? Фальшивки передал ехидне! Доколе же, Ионыч? Доколе? Как жить, Ионыч? За один и тот же товар сколько раз платить можно?

Что мог ответить Ионыч?

Михайла Михайлович прогнал лакея, а сам погрузился в тяжкие думы. И так вертел и эдак, а выхода из ситуации не находил. Он в петле.

Вечером принял ароматичную ванну; Ионыч еще раз понаведался и принес от хозяйки японский халат, замшевые домашние туфли.

— Пошел вон, старый дурак! — выгнал Михайла Михайлович единственного верного человека. — Ты со своим скитом погубил меня, зарезал, зарезал...

Ионыч, уходя, заплакал.

Ночь...

Секунды прядут нитки, минуты ткнут суровый холст из пряжи секунд, часы отмеряют холст аршином суток. И так без конца, без передышки из века в век.

Михайла Михайлович мечется по кабинету — ищет решение и не находит.

Бумага ехидны страшная. Он окажется полностью в ее власти, и если будет неудобным — она его спровадит в богадельню для стариков, выживших из ума.

Секунды прядут нитки...

«Она меня убьет, убьет, если не подпишу паскудный документ. Не даст оглашать с амвона, сама убьет. Чужими руками. Помилуй мя, господи!»

Одна и та же молитва с полудня до ночи...

Мысли рвутся — текут и не текут. Как стоячая вода в озере. Позвонить разве Чевелеву? Можно ли? Нельзя! Тут такой позор!

Сердце разбухло — в груди не помещается: одышка. Тяжелый удался час. Какой там час!

В письменный стол вмонтированы три кнопки звонка. Красная пуговка — связь с полицейским, который когда-то дежурил в заведении Юскова. Полицию упразднили — полицейского не стало, а с милицией не успел снюхаться. Да и кто знает, какие теперь порядки в милиции Временного?

Синяя пуговка — звонок для горничных. Как и первый, бездействует. Еще с черной кнопкой — для Ионыча. Это в постоянном пользовании. Но звонить надо по секундомеру. Сперва длинный звонок — предупреждающий. Потом два коротких с интервалами в десять секунд после каждого звонка. Этот — пароль на сегодняшний день.

Михайла Михайлович погладил пуговки звонков, не нажимая, отнял руку. Звонить некому. Ионычу? Был Ионыч и нету. Хищница заглотнула вместе с лысиной и секундомером.

«Как же быть, господи?»

Не подписать бумагу ехидне — смерть будет. Какая? Неведомо. Но она уготована.

«В НАШЕМ ДОМЕ СКОРО БУДЕТ ПОКОЙНИК. ЭТОТ ПОКОЙНИК БУДЕШЬ ТЫ».

Сказано довольно точно, без маскировки, прямо в лоб. Так дает знать о себе сила и могущество. И фарс тоже. Но ехидна не манкирует фарсом. Она если бьет, то наповал. Так она разделала однажды самого Востротина, и тот чуть не сдох. А ведь от него же народила дочь! Нет, не фарс. Предупреждение.

Но если он подпишет паскудный документ, отдаст ехидне все свои миллионы и власть, то что же потом будет? Она его не потерпит в доме. Остается только одно: богадельня. Не сыновьям, не себе, а все ехидне. Комедия — и только!

На столе между бронзовым бюстом Николая Второго и настольными часами «Павел Буре» разбросаны письма сына Владимира. Давнишние — выкинуть надо.

«Эх, Володя, Володя! — покачал головою Михайла Михайлович, опираясь о решетку. — Лучше бы ты никогда не был подполковником, а был бы ты у моего плеча деловым человеком».

Чего нет — не сыщешь полицией...

Но что же молчит Николенька? Три депеши отбил с запросом, и хоть бы слово. Или революция там, в Петрограде, прикончила его?

Мрачно. Тяжело. И так крути, и эдак. В западне.

IV

Возле часов — вороненый револьвер-самовзвод. Только в руку, нажми спусковую собачку, и коня уложить можно. А что, если не коня, а ехидну? Змею стоглавую?

Мысль трезвая, бодрящая. Другого выхода нет...

«Она меня сейчас ждет, змея стохвостая. Жди! Жди, блудница!» Он ее из револьвера на близком расстоянии. Без всяких слов — наповал.

Часы звонко тикнули — половина первого...

Надо бы прорепетировать, как это сделать. Взял со стола документ, еще не подписанный, а в правую руку револьвер. Протянул бумагу, как бы подавая Евгении Сергеевне, а в правой — револьвер под прикрытием бумаги. Так не выйдет. Надо примерить в японском халате, чтоб все вышло точно.

Быстро переоделся. Халат волочился по полу. Рукава длинные. Наверное, придется стрелять через шелк. Дырка будет в рукаве.

«В нашем доме, ехидна, будет покойник, — повеселел Михайла Михайлович. — И этим покойником будешь ты, скверна!» — И ногой притопнул.

Еще раз прорепетировал возле стола. Теперь он понимает, что значат для артистов репетиции...

«Последнюю комедию сыграем, ехидна». Она, конечно, приняла ароматичную ванну, натерла свое холеное тело розовым маслом и лежит в постели, едва прикрыв стыд. «Жди! блудница! Не ты мне, а я дам тебе «продление» жизни... на вечном покое».

Без четверти час.

Еще раз прочитал позорную бумагу и только сейчас обратил внимание, что бумага, составленная нотариусом, помечена... девятнадцатым днем января месяца одна тысяча девятьсот семнадцатого года! Вот когда еще заготовила! Ох-хо-хо. Что же ей помешало привести в исполнение свой замысел? Ах да! Были же заокеанские гости, а потом революция...

Сел в кресло, снял колпачок с бронзовой чернильницы, обмакнул перо и тут же положил его. Бумагу следует подписывать тушью, как положено. Ехидна сразу взглянет на подпись. Достал тушь и особое перо. Давно не пользовался.

Вытер перо клочком от письма Владимира и тогда уже с достоинством подписал четко и разборчиво: «Мих. ЮСКОВЪ». И хвостик от «ъ», как поросячий кренделек.

Без тринадцати минут час. Надо спешить.

Ключи на столе. Быстрее. Быстрее.

Повернул в замочной скважине один английский ключ и поставил замок на предохранитель. И другой так же. Пусть дверь будет не замкнута. Кто знает, какая сложится ситуация. Дело щекотливое. Убийством пахнет. Не пахнет, а будет убийство.

Нижний замок нутряной на три оборота. Дверь изнутри обита толстым войлоком, покрытым тисненой кожей. Под войлоком — стальной лист на всю дверь. Открывается легко — петли на американских шариках. С той стороны дверь задрапирована плюшем на всю ступу. Если занавес закрыт, не сразу сыщешь, где спрятана дверь.

«Господи, спаси мя», — помолился Михайла Михайлович, покидая кабинет. Ключи на металлическом брелке оставил в двери с

внутренней стороны. Так лучше. Если что — бегом к двери и — хлоп; тут же нажать кнопку на английском замке — сам замкнется.

Полусогнутую правую руку держал клюшкой. Дула револьвера не видно...

В вестибюльчике к малому залу горит на одной из стен бра, от чего кругом полумрак.

Прикрыл за собою дверь, шагнул... И не успел сделать второй шаг, кто-то схватил за ногу и так дернул, что он, неловко взмахнув руками, трахнулся о паркет — гром раздался. Не выстрел, а головой ударился об пол. Все это произошло в одно мгновение. Револьвер, гремя по полу, отлетел на сажень от хозяина, и бумага выпала.

— Подлец! Какой подлец!

У Михайлы Михайловича сердце покатилося куда-то в глубину живота, и там будто сдохло — захлебнулось. Но он еще нашел в себе силы приподняться на полусогнутые руки и, глядя снизу вверх, в ужасе вытаращил остекленевшие глаза. Он увидел змею — и не просто серую гадюку, а настоящую кобру, как некогда в клетке зоопарка. Змея в черном извивалась над ним, скаля белые зубы.

— Кобра! Кобра! Спаси мя! — страшно проговорил Михайла Михайлович и, теряя сознание, позвал: — Ионыч! Ионыч! — И тут же руки у него подвернулись, и он упал носом в паркет, распрямляясь, медленно вытянул ноги.

— Какой подлец! — еще раз пнула поверженного супруга Евгения Сергеевна; в одной руке у нее был револьвер, в другой — долгожданный документ. — Или ты думал, старый колпак, что я так тебя и буду ждать, когда ты явишься ко мне с револьвером? Ха-ха-ха! Старый дурак! Я видела тебя сквозь стальную дверь!

«Старый дурак» ни о чем, пожалуй, не думал сейчас, да и навряд ли слышал хохот торжествующей победительницы.

Евгения Сергеевна чуточку преувеличивала. Она наблюдала за старым дураком с двенадцати ночи не сквозь стены и стальную дверь, а всего-навсего через замочную скважину.

Оставив супруга лежать лицом в паркет, Евгения Сергеевна подошла к двери кабинета, открыла ее, вынула ключ и, захлопнув дверь, замкнула. Отныне для Михайлы Михайловича навсегда заказана дорога в его собственный кабинет и к остальным дверцам заветных сейфов...

— Поднимайся! Ну? — Евгения Сергеевна потрянула супруга за плечо, но он почему-то не охнул и никак не отозвался. — В обморок упал, старый колпак.

Сказав так, величавая хозяйка прошла к себе в спальню, погруженную в розовый полумрак. Она была не в кимоно, как о том думал Михайла Михайлович, а в черном гладком платье, обтянутом в талии.

Потом она включила верхний свет и внимательно посмотрела на подпись Михайлы Михайловича. Все в полном порядке. «Он меня хотел обмануть документом, — подумала красавица. — Как ловко он готовился преподнести документ, ха-ха-ха!.. Фу! Каторжник! Фальшивомонетчик!»

Насладившись документом, спрятала его в портфель для особо важных бумаг. Отныне она единовластная хозяйка миллионов Юскова; прииски — золото — прииски — золото; механический завод — забастовщики — убытки — милицию призвать, милицию — пусть не жалеют патронов — она не пожалеет денег; порядок — прежде всего порядок и — прибыли — прибыли!

Поцеловала портфельчик из замшевой кожи и спрятала в свой собственный сейф.

Хозяйка. Миллионерша. Ах, если бы еще к тому же — вдова...

Постель в спальне не разобрана; узорная накидка из тончайших брюссельских кружев — десять целковых за аршин — на горе пуховых подушек. Нет, Евгения Сергеевна вовсе не собиралась тешиться со старым колпаком в любовном экстазе, как он о том думал; она чересчур брезгливой стала; полюбовниками хоть пруд пруди. Она собиралась объявить Михайле Михайловичу, что с сего дня он, Михайла Юсков, навсегда оставит дом и жить будет в смирении со старцами в раскольничьем скиту, где когда-то печаталась на литографическом камне фальшивые «екатеринки».

V

Михайла Михайлович лежал в той же позе — лицом в паркет, и ни рукою, ни ногою не дрыгал. Смиренько так. Покойно.

Евгения Сергеевна присмотрелась к нему, толкнула туфлем — мягкий и беззвучный.

Разбудила горничных — Клавдию и Шуру.

Дюжие, откормленные девки, в наспех натянутых платьях, простоволосые, заспавшиеся, едва приподняли хозяина, испуганно ахнули.

— Господи, господи!..

— Он будто помер. Ей-бо! Евгения Сергеевна дрогнула:

— С ума сошли! С чего он помер бы? Нет, нет. Доктора надо вызвать. Я сейчас. — Никогда еще она не поворачивалась так круто. Моментом открыла дверь кабинета, кинулась к телефону, вызвала карету «скорой помощи» из городской больницы и тут только вспомнила о ключах от сейфов. В руках только ключи от двери. Где же от сейфов? Ах каторжник, фальшивомонетчик! Ящики стола замкнуты — у каждого ящика свой ключ. Вылетела в вестибюльчик:

— Несите его в кабинет, на постель, живо!

— Нам его не поднять, — сказала одна из горничных, таращась на хозяйку.

Слышно было, как внизу хлопнула дверь. Кто еще там? Ионыч? Или пришла Дарьюшка со своим возлюбленным таежным медведем? Только бы не чужой кто. Надо найти ключи от сейфов. Обыскать весь кабинет — все перетрясти.

Ни слова горничным, и поспешила вниз — Дарьюшка! Смотрит на хозяйку снизу вверх, чему-то улыбаясь, отряхиваясь от снега.

— Такой буран, такой буран, ужас!

Евгения Сергеевна спустилась вниз по ковру, не зная, что сказать Дарьюшке, да и надо ли говорить? Она же сумасшедшая! О, господи! Хоть бы она уехала в тайгу о таежным медведем — избавила бы дом от своего присутствия.

На Дарьюшке меховая полудошка, забитая тающим снегом, пуховая шаль, а лицо румяное и в глазах туман — влюбилась, что ли? Или все еще воображает, что живет в третьей мере жизни?

— Одна? — И голос у Евгении Сергеевны переменялся — тревогой насытился, беспокойством. Она почти уверена, что Михайла Михайлович отдал концы из земной юдоли. Ну, а дальше что? Похороны? Извещать ли сыновей Михайлы? Дать ли депешу престарелой матери? Не заподозрят ли Евгению Сергеевну в убийстве? Ионыч! Лысый лакей и сообщник фальшивомонетчиков. Что скажет он?

— О, господи! Господи! — невольно вырвалось у Евгении Сергеевны.

Откинув шаль на плечи, поправив волосы, Дарьюшка липуче так взглянула на Евгению Сергеевну:

— Что вы так? Я вас побеспокоила?

— Да что ты, что ты.

А тут сверху горничная кричит:

— Страшно нам чтой-то. Страшно. Позвать бы кого из мужиков. Хоть конюха Василия или Павла.

— Что? Что? Ах да! Не троньте его. Не троньте. Сейчас будет доктор.

— Что случилось? — дрогнула Дарьюшка.

— С Михайлой Михайловичем что-то плохо. Не представляю, что с ним. Слышу — что-то загремело. Выскочила из спальни — лежит в вестибюльчике. Боже!

Дарьюшка попятилась к зеркалу.

— Убийство?

У Евгении Сергеевны от таких слов Дарьюшки кровь отлила от щек и глаза расширились.

— Что ты, что ты? Какое убийство? С чего ты?

— Где он? Где?

— Да успокойся ты, ради бога. — И, собравшись с духом: — Кто бы его мог убить? Что ты! Он же всю неделю совсем плохой был: на каплях да на уколах жил. Камфорой весь пропитался. Может, опять плохо с сердцем.

А Дарьюшка видит свое — трезво и страшно. Тихо так говорит. Тихо так — в упор:

— Я знала, чувствовала, что у вас в доме будет убийство. Я по его лицу видела, что его убьют. Скоро убьют.

— О, боже! С ума сошла! — перетрусила Евгения Сергеевна. — С чего бы его стали убивать? Кому он нужен?

Но разве можно убедить Дарьюшку, если она видит глаза Евгении Сергеевны — глаза убийцы; змеи в ее глазах, змеи, змеи. Она видит, как змеи выползают из глаз. Серые змеи.

— Я вижу, вижу, вижу!

— Что видишь? Да успокойся ты, ради Христа. Успокойся.

— Я знала, предчувствовала, а молчала. Гослоди, почему я ему не сказала, что его убьют? Почему?

— Сумасшедшая!

— Я? Ха-ха-ха. Как у вас все просто. Это вы с ума сошли. Все вы с ума сошли. Была же революция, а вы... за миллионы убиваете друг друга!

Евгения Сергеевна взяла себя в руки:

— Вот что, голубушка, если ты будешь нести вздор, я сейчас же вызову доктора Столбова и он тебя определит в психиатричку. Сейчас же определит.

— У меня есть защитник, не беспокойтесь, — вспомнила Дарьюшка про Гавриила Ивановича, который только что проводил ее из дома капитала Гривы. — А вот вам... вам будет плохо, если раскроют убийство.

— Вон! Вон! — взорвалась Евгения Сергеевна, указав на дверь. — Чтоб ноги твоей не было в моем доме. Какой позор, а? И это говорит мне сестра проститутки? — вспомнила кстати. — Ты бы, голубушка, прежде всего очистила свой хвост. Твоя родная сестра, Евдокия Елизаровна, таскается по домам терпимости, а ты изображаешь из себя святую невинность. Фу, какие вы гадкие!

— Моя сестра? — хлопала глазами Дарьюшка.

— Как будто тебе это неизвестно, что твоя сестра была в доме терпимости у мадам Тарабайкиной!

— Нет, нет, нет! Это вы... это вы сейчас придумали. Я вижу, вижу.

— О, господи! Вот еще навязалась сумасшедшая на мою голову, — взмолилась Евгения Сергеевна. — Иди-ка ты, милая, узнай, где твоя сестра. Тебе скажет хозяйка заведения мадам Тарабайкина. Дом ее на Гостиной улице — найдешь. Спроси — любой укажет. Иди же, иди! Или тебя силой вывести? За вещами завтра придешь. Ну?!

Наконец-то Евгения Сергеевна избавилась от беспокойной квартирантки — вздохнула полной грудью.

VI

Был доктор — не из знакомых, дежурный из «неотложки». Посмотрел остывающее тело. Тело — не жизнь.

Конюх и дворник втащили усопшего в малую гостиную и положили пока на диван.

Ключи, ключи, ключи от сейфов!

Металась по кабинету, как фурия; перевернула заплесневевшую постель усопшего, обшарила все уголки — нет как нет. Куда же он их спрятал?

— О, боже! В чем он ходил? Не мог же он отдать ключи Ионычу? А что, если позвать Ионыча? Нет, нет. Пусть лакей дрыхнет. Что-нибудь придумаю.

Вспомнила: старик принял ее в домашнем замызганном халате, в карманах которого он хранит ключи. А халат валяется в мягком кресле. Встряхнула — зазвенело железо — ключи! Гора с плеч. Теперь надо дать знать близким — Чевелеву и Гадалову — сопайщикам. Телефон Чевелева не ответил — дрыхнут; Гадалов отозвался. Что? Что? Упокоился Михайла Михайлович? О, какое горе! И на некоторое время примолк, соображая. Думай, думай, красноярский банкир! Я тебя еще не так огорошу, когда объявлю свои права.

Еще кого вызвать?..

Ах да! Власть имущего, хотя и во временном комитете, председателя Крутовского. И он же известный доктор. Как это кстати!..

Доктор Крутовский обещал быть сию минуту.

Кого еще вызвать?

Как же она могла забыть! Понятное дело, его преосвященство, архиерея Никона.

Телефон Никона долго не отвечал. «Подлец! Бык гималайский! Он там перед какой-нибудь красоткой представляет сейчас великого жреца. Ну, погоди же!» — пригрозила Евгения Сергеевна, когда в трубку ответил женский голос престарелой монашки.

— Кто у него там сегодня? — раздраженно спросила Евгения Сергеевна. — Скажите ему, скажите!.. Скажите... Скажите, что великая жрица больше не жрица, а вдова. Вдова. И никогда не будет жрицей.

И повесила трубку телефона.

Но нельзя же быть в такой час без священника в доме! Это же скандал на весь город!

«Мне надо взять себя в руки, — опомнилась. — С чего я наговорила глупости по телефону монашке! Дура! Какая дура, боже!»

И вызвала по телефону знакомого священника, отца Афанасия, того самого, который так бесславно бежал с похорон есаула Могилева.

Отец Афанасий, довольный вызовом госпожи Юсковой, облачившись в новую рясу, спешил в дом грешника Михайлы, с которым он не один раз спорил о сущности раскола церкви, понося всех старообрядцев, как тупейших еретиков, которым бы надо стричь не бороды, а головы за их упорствование в ереси.

В тот момент, когда Евгения Сергеевна настойчиво вызывала по телефону военный городок, где находился в эту ночь полковник Толстов, ее старший брат, в малую гостиную прибежала вконец перепуганная рыжая толстушка Шура, сообщив:

— Ой, матушки! Ионыч-то, Ионыч-то!

— Что? Что еще? — обернулась Евгения Сергеевна.

— Удавился на шелковом шнуре от гардин. Удавился!

— Боже мой! — выронила телефонную трубку Евгения Сергеевна. Такого она никак не ожидала.

— И записка вот, — подала горничная записку. Евгения Сергеевна так и вцепилась в записку. Что еще за документ? К лиху или к добру?

Документ был вот какой:

«Господам полицейским (это слово зачеркнуто одной линией) — милиции. Господину следователю. Господину Чевелеву. Всем господам.

Я, нижеподписавшийся, монашеского имени Иона, в мирском крещении — Исидор Ионыч Галущенко, уроженец города Пскова, 1844 года от р. х., сим письмом заявляю нижеследующее:

Господам полицейским известно дело красноярского староверческого скита, где изготовлялись фальшивые государственные билеты. В изготовлении тех фальшивых билетов я тайно принимал участие, о чем заявляю власти сим моим письмом. В деле изготовления фальшивых билетов никакого участия, ни тайного, ни явного, не принимал господин Михайла Михайлович Юсков, которого я чту, и прошу ему здравия господнего на многие лета. Но как мне стало известно, госпожа Евгения Сергеевна, неведомо где достала фальшивые старые билеты, и сегодняшним днем,

числа 23 марта месяца, угрожала хозяину, Михайле Михайловичу, сими фальшивками, чтоб он подписал ей свое имущество и капитал. Греховная Евгения подбивала меня на тяжкий проступок, чтоб я вступил с ней в заговор супротив моего хозяина, Михайлы Михайловича, в чем я отказал ей. Тогда она объявила, что про фальшивки будет оглашено с амвона в проповеди архиерея Никона, с которым она состоит в греховой связи, и меня, Иону, а так и моего хозяина, Михайлу Михайловича Юскова, власти призовут к ответу за фальшивые билеты.

Сим письмом перед смертью своей заявляю: Михайла Михайлович ни в чем не повинен, и фальшивые билеты, кои находятся в руках преступной Евгении Сергеевны, это мои собственные фальшивки, которые я тайно хранил у себя на случай употребления, если бы меня изгнал хозяин из дома.

Я оставил хозяина в его кабинете в третьем часу пополудни в тяжелом расстройстве духа, уstraшенного преступной Евгенией Сергеевной, упомянутыми фальшивками. По долгому раздумью над своей грешной жизнью я, Иона, дабы не опорочить имя и честь моего хозяина, Михайлы Михайловича Юскова, принял решение покинуть земную юдоль, где я не единожды совершил тяжчайший грех, и господь бог призвал меня к ответу.

Уходя из земной юдоли, обращаюсь к господам, кои будут читать мое письмо: Михайла Михайлович Юсков ни в чем не виновен, и прошу изнять у госпожи Евгении Сергеевны мои фальшивки, дабы она не угрожала хозяину, и тем самым не погубила его тело и душу.

Господь бог видит, что я изложил всю правду.

К сему приложил руку в здоровой памяти

ИОНА».

От подобного послания «покинувшего земную юдоль» Ионыча у величавой хозяйки дома Юскова мурашки забегали по спине. Вот так Ионыч! Какую он ей свинью подложил! Она, Евгения Сергеевна, угрожала хозяину фальшивками, и тот, понятное дело, со страху

испустил дух. «О, господи! И даже мертвые лгут, — морщилась Евгения Сергеевна. — Кому же верить, если даже мертвые лгут?»

Спросила горничную:

— Кто читал эти каракули?

— Никто не читал. Дядя Петя совсем неграмотный, а Василий даже не видел. Когда сняли Ионыча, я увидела эту бумагу у него в кармане. Подумала сразу — записка. Взяла и к вам бегом.

У Евгении Сергеевны отлегло от сердца:

— Хорошо. Никому ни слова, Шура. Смотри.

— Помереть мне...

— Хватит!

Евгения Сергеевна сыта мертвецами. Не было ни одного, и сразу два — успевай разворачивайся.

Но надо же немедленно устранить свидетелей, которые видели, как горничная вытащила из кармана пиджака Ионыча злополучную записку!

Быстро пошла вниз, в комнату Ионыча.

Маленькая, просто обставленная комната старого холостяка. Кровать, стол под скатертью, на столе чайный прибор с недопитым стаканом чая, вафли в вазе, раскрытая Библия, и возле Библии листы бумаги, чернильница и ручка, которой было написано последнее письмо Ионыча.

Евгения Сергеевна сразу же, как вошла в комнату, распорядилась: кучер Василий должен сейчас же заложить пару лошадей и мчаться в Минусинск к матери покойного Михайлы Михайловича, престарелой Ефимии Аввакумовне; дворник Петр тоже пусть заложит в ее санки рысака и поедет в скит за старцем Иосифом.

— Живее. Живее! — подтолкнула хозяйка.

Тело Ионыча положили пока на пол — стол был чересчур мал, и прикрыли скатертью.

Случайно Евгения Сергеевна увидела на полу скомканную бумагу. Подняла ее, развернула и, к немалому удивлению, прочитала письмо Ионыча, адресованное не «господам», а хозяину, Михайле Михайловичу.

«Настал час, милостивый мой государь Михайла Михайлович, и я должен открыть сию тайну вам: не могу далее проживать великим грешником, который однажды ушел от закона и нашел себе

пристанище в вашем добром доме. За мои тяжкие грехи я сам себе избрал наказание — смертоубийство наложением на себя своих грешных рук, чтоб не порочить, ни ваш дом, ни ваше доброе имя. Нету спасения душе злодея, совершившего умертвление одного старца в красноярском ските, и потому я милостиво прошу захоронить меня без церковного отпевания, и так и без попа православной церкви...»

И ни слова про Евгению Сергеевну и про ее угрозы хозяину! «И даже мертвые не раз, а дважды врут, — подумала Евгения Сергеевна, бережно разглаживая гербовый лист посмертного послания лысого слуги усопшего хозяина. — Мне помогает само провидение!» Жаль, конечно, что первое письмо осталось недописанным, оборванным на полуслове. Вероятно, Ионыч, сочиняя лживое письмо, вдруг вспомнил хозяйку, которую ненавидел, и призадумался. Что ему терять, уходя на тот свет? Она же, ехидна, фурия, змея стожалая, так или иначе, а все равно попытается выжить из дома самого хозяина, Михайлу Михайловича, припирая его к стене фальшивыми билетами! Надо вырвать все сто ядовитых жал у змеищи, и тем самым, хотя бы ценою собственной жизни, обезопасить Михайлу Михайловича — единственного своего друга.

Так и сделал. Первое письмо скомкал и бросил под стол, а потом сам же, наверное, незаметно выпинал ногой из-под стола, сочиняя новое лживое письмо, которое и сунул себе в карман.

Евгения Сергеевна положила письмо на стол и обшарила карманы Ионыча — нет ли там еще третьего послания, Третьего не было.

Приехал доктор Крутовский, а за ним священник...

Скомканное послание Ионыча пошло по рукам...

Всем стала понятна причина самоубийства Ионыча, которого «призвал господь к ответу». Умный и начитанный доктор Крутовский высказал такую догадку:

— Надо думать, между хозяином и слугой был довольно неприятный разговор накануне! Михайла Михайлович, будучи человеком твердого характера, пригрозил Ионычу арестом, а слуга ответил деянием самоубийства. Ну, а сам Михайла Михайлович, будучи не столь завидного здоровья, чрезвычайно близко принял к сердцу ссору с Ионычем, и вот результат — сердце не выдержало.

Евгения Сергеевна подсказала доктору Крутовскому:

— Люди могут всякое подумать, Владимир Михайлович. Я настаиваю на вскрытии, как это мне ни тяжело.

Господа утешали: кто же смеет подумать порочащее госпожу Юскову, если налицо вещественное доказательство — признание самого Ионыча — самоубийцы?

— Тем не менее... тем не менее, — сказал господин Крутовский. — Вскрытие усопшего установит подлинную причину смерти.

— Ах, боже мой! — плакала Евгения Сергеевна. — Я подозреваю убийство! Да, да! Может, Ионыч отравил хозяина? А потом сам повесился. Почему он не дописал письмо?

А в самом деле — почему?

Так Михайла Михайлович впервые попал в городскую больницу, которой он категорически отказал в пожертвовании на ремонт и благоустройство. Доктора шутили: «Это он в наказание за свою скупость приехал к нам не в карете, а на катафалке».

Между тем недели три спустя после похорон, когда Евгения Сергеевна утвердилась единовластной хозяйкой дела Юскова, его преосвященство Никон, беседуя наедине с Евгенией Сергеевной, бывшей жрицей, намекнул:

— На дела церкви надо бы уделить суммы, почтенная Евгения Сергеевна. Грехи земные покаянием и щедростью искупаются. — И так это недвусмысленно уставился на рабицу божью. Должна, мол, понять, какого вознаграждения он, Никон, ждет и в каких суммах.

Евгения Сергеевна ответила:

— Я еще не успела согрешить, ваше преосвященство, и мне не в чем каяться и щедро откупаться. Ну, а если какой грех совершил покойный супруг, — он своей щедростью искупил при жизни.

— Не все, не все искупил, Евгения!

— Что же он не искупил?

— Капитал его греховно нажит. Ох, греховно!

— За тот грех, ваше преосвященство, ответил перед господом богом раб божий Иона. Он согрешил, и он же сам себя наказал.

Никон усомнился:

— Смутно посмертное письмо Ионы. И подписи нету. Да и не совсем прописано. Или помешал кто Ионе?

Евгения Сергеевна величаво поднялась:

— Смею сказать вам, ваше преосвященство, ваши смутные мысли меня не интересуют. Дела божьи — покаяния преступников, посмертные их письма и все их грехи, пусть сам господь бог рассудит. И я не смею вмешиваться в дела господя бога. Прошу вас, оставим этот разговор и никогда к нему не будем возвращаться. Никогда. Других много дел.

Архиерей Никон побагровел от подобной отповеди:

— О, господи! Слышишь ли ты?

— Слышит, ваше преосвященство, и просит вас не вмешиваться в его дела, — усмехнулась хозяйка в трауре.

— О, господи!

— Прошу извинить меня. У меня мигрень.

— Развернись, небо! — грохнул Никон. — Ты, Евгения, грехоподобное создание! Сама геенна огненна!

— Теперь не геенна, ваше преосвященство. И не ваша жрица. Несчастливая вдова, как видите. Прошу извинить. У меня мигрень. — И так же спокойно, как однажды покинула кабинет Михайлы Михайловича, удалилась из гостиной, оставив там великого жреца в крайнем расстройстве духа.

VII

... В ту ночь Дарьюшка нашла себе пристанище в доме капитана Гривы. Она не могла объяснить, что случилось в доме Юсковых, и все твердила одно и то же: «Убийство свершилось, Гавря! Убийство свершилось. Как же можно жить так, Гавря? Как же можно жить так? Как звери! Настоящие хищники!»

И как того не ждал Гавриил Грива, Дарьюшка неестественно покойно сказала:

— Гавриил Иванович, вы просили моей руки... Если... если не передумали...

— Побей меня гром!

— Постой, постой, Гавря. Не спеши. Ты все знаешь... И если не передумал...

— Расщепай меня на лучину!

— Нет, нет! Пусть никто не щепает тебя на лучину. — И подала руку Гавриилу Ивановичу. — Вот моя рука, Гавря.

... На другой день они уехали в Минусинск на ямщицкой паре с колокольчиками. Старик еврей догадался, что они молодожены, и, гикая на разномастных коней, напевал им веселые песни: он тоже радовался революции, свободе и верил, что отныне на Руси не будут выползать из мрака братья «Союза 17 октября», чтобы потрошить несчастных евреев, хватая их за пейсы, а жен за юбки.

Стояла мартовская оттепель: мягко стучали подковы коней; посвистывал еврей-возница, и вся жизнь, как думалось Дарьюшке, промчится в таком вот отрадном и веселом движении.

На первом станке от Красноярска, в деревне Езагаш, они остановились в богатом крестьянском доме. Хозяин уступил им свою кровать, не подозревая, что для постояльцев это была первая брачная ночь.

Вся горница была заставлена фикусами в кадучках; ночь была прозрачная, и лапы фикусов чернели на фоне окна. Грива долго ходил по горнице и курил трубку. На деревне лаяли собаки, и по улице кто-то прошел с песнями под балалайку. И, странно, Дарьюшке слышалось, будто в горнице трещат кузнечики. И она не в чужом доме, а в пойме Малтата. И не Гавря, а он, другой, отвергнутый, но неизжитый, шепчет, что она его жена, возлюбленная и руки его жалят тело как крапивою: но ей не больно, а радостно и приятно.

«Я люблю, люблю Гаврю! — твердила себе Дарьюшка, будто спасалась бегством от чьей-то тени. — Иди же, иди, Гавря! Мне страшно!» — крикнула она и, как сумасшедшая, вцепилась в Гаврю, хватая его за руки, за плечи. Она хотела что-то задушить в себе, чтоб навсегда обрести покой и счастье. А Гавря твердил свое: у них будет непременно сын, который никогда не будет знать ни жандармов, ни царя на троне, ни жестокости, а будет свободным и удивительным человеком. Она не хотела сына; ни дочери, ни сына. К чему? Кто-то сказал из древних: чтобы зачать ребенка, надо быть до зачатия матерью, а не ветром в поле. Дарьюшка не чувствовала себя матерью. Ее куда-то гнал ветер, гнал, гнал, и не было пристанища. Пусть Гавря думает, что у них будет сын, но сына не будет. С тем и поднялась в чужой горнице. Он еще спал, Гавря, и не видел, что Дарьюшка провела ночь без сна. Старик еврей хитровато подмигнул Дарьюшке, но она не ответила смущением; она была равнодушна и безразлична. Просто

уселась в кошеву и, как только выехали на Енисей, тут же уснула подле Гаври.

VIII

... Из вязкой тьмы робко прорезывались желтые огни Минусинска.

Дарьюшка сжалась в комочек; тоска подмыла; дорога кончилась, и кто знает, что ее ждет в большом доме на дюне?

«Тима, милый, спаси меня», — молилась она. И почудилось Дарьюшке, что Тимофей подсел к ней в кошеву, но не в мундире с крестами и медалями, а тот самый, который еще не был на войне...

«Ты пришел, милый? Пусть это твоя рука на моих плечах; пусть я слышу твой голос. Я знала, что ты обязательно придешь. Не уходи же, не уходи!»

И он ответил:

«Я никогда не уйду от тебя, Дарьюшка».

«Ты меня любишь, Тима?»

«Люблю, Дарьюшка, и вечно буду любить».

«И мы будем всегда вместе?»

«Всегда. Ты моя белая птица».

«Твоя, твоя, милый, Я и сама не знаю, что со мной случилось в доме Юсковых. Но это прошло, и ты опять со мной. Ты видишь: над нами розовое небо?»

«Пусть всегда будет розовое небо», — повторил он, как клятву.

«И ты, Тима, никогда не будешь жестоким? Никогда не будешь мучить и терзать людей?»

«Никогда!» — отвечал он.

«И ты мне простишь? Все мои грехи и заблуждения? Я такая грешница, если бы ты знал! Меня мотало по земле, как щенку, и я нигде не находила пристанища. Я верила, а меня жестоко обманывали; и твой отец тоже. Если бы ты знал, как он меня обманул, Тима! Если бы он меня укрыл в ту страшную ночь!.. Я просила помощи — пристанища на одну ночь. О! Как я хочу, чтобы люди не толкали друг друга в ямы, а помогали бы друг другу и были бы братьями. Земля такая большая, а людям как будто тесно. Приди же, приди ко мне, Тима!»

Но не было Тимофея без крестов и медалей, который поклялся, что никогда не пойдет на войну, не было розового неба, да и самой Дарьюшки, той, давнишней, тоже не было...

Был дом на дюне, был Гавря — Гавриил Иванович, и он торжественно возвестил Дарьюшке:

— Вот и наш скворечник! — и показал на дом отца.

«Какие они? Что за люди?» — думала Дарьюшка. Она боялась встречи с доктором Гривой, и более всего с его молодой женой, Прасковьей Васильевной, которую знала. Про нее столько говорили!

Серая, мглистая тьма поглотила стены и крышу дома, и только светились окна, как у маяка, утонувшего в разбушевавшейся стихии.

ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ

I

Дом Гривы — на высоком холме дюны.

Одинокий, овеваемый всеми ветрами, из толстых мендовых бревен на каменном фундаменте, он стоял как крепость в левобережье Тагарской протоки Енисея, торжественно подтянутый, как бы в ожидании грядущих событий, с тремя трубами на крутой тесовой крыше, немой и строгой, как страж у полкового знамени.

Дули на него студеные ветры с Белогорья, сыпучие пески хлестали в его окна, проносились над ним черные ураганы, от которых трещали заматерелыми стволами тополя, выворачиваясь из земли вместе с корнями; в половодье бурный Енисей, выпениваясь из берегов, катил свои мутные, ревучие воды по оврагам, лугам левобережья, смывал деревянные избенки, а дом на дюне все так же гордо возвышался над равниной.

От времени, солнца, бурь и метелей он еще плотнее осел на каменном фундаменте; его мендовые бревна покраснели, точно были отлиты из меди.

В темные, промозгло-сырые осенние ночи, когда все вокруг погружалось в непроглядную тьму, дом на дюне похож был на какой-то странный маяк, высоко приподнятый над грешной землей. И не было такой ночи, которая не отступила бы от манящего зарева его огней. И

жители города, показывая на дом, говорили: «Светится доктор!» Дом на дюне виден был и с грозных утесов Турана, с горы Самохвал, и со всех точек города — особенно зимними ночами, когда голый лес просматривался насквозь, а дом на дюне, вспыхивая семнадцатью окнами, горел далеко за полночь.

И не один путник засматривался на его загадочные и вместе с тем негреющие огни...

Знать, хозяин дома был человек с характером, коль укротил песчаную дюну.

Если бы дом был выстроен просто на горе, разве бы он производил такое впечатление? Одно дело — гора, другое — дюна, песок. Дюны, как известно, перемещаются. Выстроить дом на песке надо быть смелым — без риска не обойдешься. Зачем столпились вокруг дюны тополя? Они укротили дюну, посадили на цепь. И если ветер выхватывает местами песок, то всю дюну унести в протоку он уже не властен. Может, и судоходной протоки не было бы, если бы доктор Грива не обуздал дюну. А что там за гребень, похожий на вал штормовой волны? Тоже пески. Их остановили хвойные леса. Когда-то давно декабрист Метелин уговорил сонных горожан остановить пески посадкой хвойных деревьев. С той поры минуло много лет, и вот — лес шумит. Сосновый бор шумит, как вечный памятник декабристу.

Но приглядитесь к дому, к его независимой осанке. Кажется, перед вами стоит человек — высокий, могучий, с широко открытыми глазами, уверенный в своей силе. На его бревнах, как на щеках здоровяка, теплота жизни и задор. Но почему он уставился глазами-окнами фасада не на восток, в сторону города, а на юго-запад? Кому он бросает дерзкий вызов?

На юго-западе — тюрьма...

Наверное, у хозяина дома на дюне были свои счета с тюрьмой...

II

Смеркалось, когда подъехали к дому. Видны были только высокие черные тополя по берегу и вокруг дюны, и над тополями, прямо в воздухе, висели оранжевые квадраты окон. Дарьюшка насчитала с видимой стороны дома шесть таких оранжевых квадратов с шестью крестами.

Старик еврей притих, не сыпал более шутками и прибаутками, и взмыленные кони, отстукивая подковами последнюю версту, тоже бежали усталой рысцой. Один Гавря спешил домой.

Кошева стукалась о торосы, занесенные снегом. На крутой извоз поднимались пешком. Коренник упал на колени, кошева раскатилась и ударила Дарьюшку по ногам. Она не устояла и кубарем улетела с горки. Гавря бросился к ней на выручку, но она его оттолкнула и расплакалась. Не от боли, а от обиды, что дорога кончилась!..

— Ну, что ты? Что ты? — растерялся Гавря.

— Что, что! — бормотала Дарьюшка сквозь слезы. — Я так рада, что мне придется встретиться с твоей мачехой, с этой красавицей Прасковьей Васильевной!.. Ты же сам говорил, что был влюблен в нее когда-то! Еще у отца хотел отбить... Боже, как я войду в дом хромая? История! Не хватало еще, чтоб я на костылях вошла в этот дом на дюне! О, боже!

Усадьба доктора Гривы была обнесена высоким заплотом из плах, заостренных сверху. Тесовые ворота были закрыты на замок, и Гавря прошел в ограду калиткой, поднял управляющего усадьбой Антона Цыса, и тот распахнул ворота, низко поклонившись Дарьюшке, невестке доктора Гривы.

«Не хочу, не хочу, не хочу», — твердила себе Дарьюшка и пошла в ограду, хромая на ушибленную ногу.

Высоченный управляющий, и он же садовод, хотел помочь ей подняться на дюну к дому, но она сердито сказала, что сама в состоянии идти.

Старик еврей сказал ей:

— До свидания, пани. И она ему ответила:

— Надеюсь, что у нас еще будет свидание! — намекнув, что она в доме на дюне не задержится долго. Потом она спросила Гаврю, почему доктор Грива построил свой дом на горе сыпучего песка — на дюне?

— Так ему понравилось, — ответил Гавря.

В доме Гривы были гости. Как потом узнала Дарьюшка, доктор Грива жить не мог без гостей. Здесь постоянно кто-то засиживался до поздней ночи. Пили чай с вареньем, потчевались яблоками и вишнями, выращенными в саду, бесконечно спорили, перебивая кости матушки-России.

Власть в доме была не в руках суетливого доктора Гривы, а в более нежных руках молодой жены доктора, Прасковьи Васильевны Метелиной, внучки известного декабриста. Прасковья Васильевна тоже была врачом, но она была еще и красавицей города, и, что самое интересное, ее знали все как непримиримую воительницу с мещанами, купцами и со всей скверной жизни. Еще курсисткой в Томском университете она вступила в подпольную партию РСДРП фракции большевиков, дважды была арестована и теперь открыто заявила о своей непримиримости с комитетами Временного правительства. Сам доктор Грива состоял в партии социал-революционеров, когда-то он был народником и участником восстания на Черноморском флоте в 1905 году, за что и был сослан на вечное поселение в Сибирь, как и его младший брат, разжалованный лейтенант флота Тимофей Прохорович Грива. Но как же они были не похожи друг на друга! Капитан был представительный красавец-мужчина, а доктор Грива — тщедушный, с оспинкой, и до того непоседливый, что часу бы не усидел на одном месте. На дела своей молодой жены он мало обращал внимания, называя их причудами. Он был занят садом и больными.

Гости и хозяйева шумно приветствовали Гаврю и его жену.

Ошарашенный доктор Грива некоторое время молча сидел на своем особенном высоком стуле, глядя на Дарьюшку. Гости — четверо мужчин и две дамы-докторши, липуче разглядывали Дарьюшку.

— Очень рад. Весьма рад, — спустился со своего стула доктор Грива, отвешивая поклон Дарьюшке.

Гавря почему-то не сказал, что Дарьюшка — дочь миллионщика Юскова. Но об этом сразу же сообщила Прасковья Васильевна. Как же! Она знает Дарью Елизаровну — подругу ее сестры Верочки; имела честь сталкиваться с панашей Дарьюшки Елизаром Елизаровичем... удостоившим город открытием весьма сомнительного питейного заведения. Правда, не под своей фамилией, нашлась некая Аннушка Пашина. Про питейное заведение Прасковья Васильевна умолчала, но кто же из гостей не знал этого заведения?

«Она злая, злая! Я ее ненавижу», — подумала Дарьюшка, вспомнив, как Верочка Метелина, сестра Прасковьи, говорила про старшую сестру, что она всех как есть ненавидит.

Предчувствия не обманули Дарьюшку...

В доме на дюне она оказалась чужим человеком. Гавря вскоре уехал на рудник Саралу с золотопромышленником Иваницким; начиналось бездорожье, вешняя распутица, и Гавря не мог взять с собой Дарьюшку, он же ехал по тайге не один, а с хозяином-миллионщиком, со псарем и хамом, как он называл его, добросовестно исполняя должность главного инженера у псаря и хама.

Дарьюшка осталась одна в комнате с тремя окошками; за окнами гулко постанывал сосновый бор, туго опоясывающий яблоневый сад. Иногда Дарьюшка с утра до позднего вечера бродила среди разлапистых сосен, засиживалась возле бревенчатой избы пасечника Яна Виллисовича, угощалась прошлогодним сотовым медом, пила чай с пасечником и никак не могла избавиться от тягостной пустоты одиночества.

С домочадцами дома на дюне она почти не встречалась, да ее и не приглашали на шумные вечера; она всегда была одна в своей комнате, заставленной диковинными цветами и горшках. И как это ни тягостно было сознаться самой себе, но она втайне любила Тимофея, стыдилась своего замужества, о чем никто не знал и не догадывался.

Трудные были мартовские ночи с приморозками. В доме на дюне перестали топить голландскую печь, обшитую черным железом, обогревающую кабинет доктора Гривы и комнату Дарьюшки. Неразговорчивая стряпуха тетя Устинья сказала, что дымоход в голландке завалился и топить нельзя; и пусть Дарья возьмет себе лишнюю шубу для сугрева тела, да не жгет керосин в своей комнате. Довольно того, что в гостинной лампы горят до поздней ночи. Дарьюшка вынуждена была просиживать долгие вечера впотьмах, не снимая своей беличьей дошки. На кровать она ложилась, как в гроб, и долго не могла заснуть. В такие часы постоянно звала Тимофея: «Я хочу, Тима, чтобы ты пришел ко мне. Сюда, в проклятый дом на дюне».

Ш

Вскоре после отъезда Таври в тайгу Дарьюшка наведальась в дом дяди Васи — Василия Кирилловича Юскова, внука бабки Ефимии.

В доме дяди Васи квартировала классная дама женской гимназии Вероника Самосова, дева из Санкт-Петербурга, весьма начитанная,

мечтательная, покойная и плавная, как лодка на реке. Она была блондинка, а усики на верхней губе пробивались черненькие. Смешно просто. Она была женственна, терпеть не могла мужчин и равнодушна была к красавицам брюнеткам. В Дарьюшку она влюбилась с первого взгляда. Она столько прелестей нашла у Дарьюшки, что и сама Дарьюшка умилилась. Она сказала, что призвана воспитывать у гимназисток неизменную владычицу мира — женственность, чтобы дать отпор мужланам и скотам в брюках. Она читала Дарьюшке свои записки о том, как благодаря женственности можно преобразить мир.

Но было еще нечто, весьма существенное, чем покорила Дарьюшку Вероника Георгиевна.

Вероника называла себя социалисткой-революционеркой; она люто ненавидела фракцию большевиков и говорила, что, если большевики придут к власти в России, тогда Россия скатится в такую пропасть, какой никогда еще не знал мир!

Она читала Дарьюшке «Бесов» Достоевского, уверяя, что великий писатель в своем большом романе пророчески поведал миру о большевиках, а не о каких-то там нечаевцах.

Досталось и Прасковье Васильевне, большевичке; она и такая и сякая, и что не только притворщица, оболванивающая выжившего из ума доктора Гриву, но и опасная интриганка.

— Она же подлая, подлая! — уверяла Вероника Дарьюшку, открывая ей тайны из жизни хозяйки дома на дюне. — Весь же город столько говорил о ее любви к сыну доктора Гривы. Ужас! Столько лет длилась эта преступная любовь. И вдруг такой конфуз для красавицы! Ею обожаемый сын доктора показал ей спину. Представляю, как она вас встретила в доме на дюне!

Дарьюшка после откровений с Вероникой возненавидела Прасковью Васильевну.

Однажды Вероника пригласила Дарьюшку на собрание разных социалистов города Минусинска, где Прасковья Васильевна выступила с речью против меньшевиков и социал-революционеров, по случилось так, что ее освистали и выгнали прочь из дома Мартьяновской библиотеки, где проходило собрание.

«Так ей и надо!» — подумала Дарьюшка, не подозревая, что Прасковью Васильевну освистали меньшевики и эсеры, запродавшие

себя буржуазии, на чьи подачки витийствовали на собраниях и бесконечных митингах, призывая народ голосовать на выборах в Учредительное собрание за свой список.

Вероника тащила Дарьюшку то в один комитет, то в другой: они всегда были вместе, и даже на вечерах в гимназии.

Как два ручья, стремительно стекая с гор, соединяются в низине в один ручей, так сошлась Дарьюшка с Вероникой Георгиевной Самосовой. Они поклялись быть всегда вместе, держаться плечом к плечу и создать союз женщин, которым должен принадлежать мир.

Дарьюшка поведала Веронике про свою тайну о пяти мерах жизни.

— Это же чудесно! Из меры в меру! — восторженно лепетала Вероника, тиская Дарьюшку. — Ты такая славная, бесподобная, божественная. И мы будем с тобою вечно в третьей мере, и будем вечно приветствовать весну и молодость. Бог мой, какая ты хорошенькая! Тебя бы из мрамора высечь, как Венеру. О, боже, и ты с этим инженером Гривой! Разве он сумеет оценить, какое ты божественное создание! Ты должна быть вечно самобытной и вечно стрелиться к слиянию с небом! Ты должна быть на Олимпе среди богов.

И без того не окрепшая еще Дарьюшка в своих убеждениях полностью попала под влияние Вероники. Не без помощи Вероники Дарьюшка пришла в дом эсера Николая Михайловича, и тот благословил ее вступить в партию социалистов-революционеров.

— Ну, а как же почтенный инженер Грива, ваш супруг? — намекнул Николай Михайлович.

Дарьюшка сказала, что она отвечает сама за себя, но в комитете эсеров, куда потом пришла Дарьюшка с Вероникой, настоятельно посоветовали вовлечь в партию социал-революционеров инженера Гриву.

Как только Гавриил Иванович вернулся на неделю из тайги, Дарьюшка приступила к атаке. Гавря и так и сяк отбивался; на кой черт ему нужна партия каких-то социалистов-революционеров, программы которых он не знает; но Дарьюшка все приготовила: программу и брошюры эсеров.

— Ну, если ты так настаиваешь, расщепай меня на лучину. Давай заполню эти бумаги, — сдался Грива и с горечью дополнил: — Сейчас

в России столько наплодилось партий, разных союзов, хоть пруд пруди. И от всех этих партий бьет тюремной крепостью в ноздри. Какие-то эсеры, трудовики, меньшевики, прогрессисты, кадеты, а у всех одно и то же: диктовать свою волю как непреложную истину. Ох-хо-хо, куда идет Россия, хотел бы я знать!

Этот вопрос Гривы больно задел Дарьюшку. Когда-то она сама ставила этот вопрос. И вот теперь Гавря, ее невенчаный муж. Вероника говорит: «Россия идет к демократическому парламенту». А что это такое, «демократический парламент»?

— Ну, а когда же мы будем работать? — спросил Гавря. — Я сыт митингами. На рудниках митинги, на приисках митинги! То агитатор от такой-то партии, то от такой-то. И все мутят воду, сбивают с толку, а золото в земле лежит. Так мы и без штанов останемся, чего доброго. Англичане и французы только и ждут, когда мы очумеем. Разделают они нас, расщепай меня на лучину!

Что могла сказать Дарьюшка? Она слушала и помалкивала. Вот если бы на помощь пришла Вероника...

— Да! — вспомнил Гавря. — Что у тебя за отношения с этой классной дамой Самосовой? Особа весьма препротивная, побей меня гром. Не будем спорить! Упаси бог от домашних дискуссий! Но я прошу тебя... Я исполнил твою волю, изволь. Моя просьба будет маленькой: не встречайся с этой классной кобылой, извини.

Дарьюшка кинулась защищать бесподобную Веронику, но таежный человек не любил дискуссий.

— Или эта особа, или оставь меня в покое со своей партией эсеров.

Дарьюшка пообещала расстаться с Вероникой и жить в доме на дюне до следующего возвращения Гаври из тайги.

IV

Был полдень — знойный, горячий. И была любовь к жизни, столь же знойная, как солнце перед дождем. Дарьюшка торопилась в дом на дюне и все смотрела на черную тучу. Вот-вот пойдет дождь, а на ней легкая накидка и соломенная шляпка. Возле музея Мартьянова Дарьюшку остановил человек в серой косоворотке, один из

обожателей Прасковьи Васильевны; он просил передать записку хозяйке дома на дуне. Потом сказал, взглянув на тучу:

— Если вас не задержит дождь в городе.

— Меня дождь не задержит, — сухо ответила Дарьюшка.

— Я вас не обременяю, извините?

— Я передам записку.

На мосту через Татарскую протоку Енисея Дарьюшка не удержалась и прочитала записку. Некто подписавшийся буквами «М. М.» уведомлял «П. В.», что получены очень важные сведения из «П» и что сегодня, 3-го августа 1917 года, состоится «в том доме» очень важное партийное собрание, и «П. В.» непременно должна быть к девяти часам вечера.

Вот и все. Ничего особенного. Но Дарьюшка, натасканная Вероникой Самосовой, усмотрела в этой записке много скверны и пакости. «П. В.» приглашают, конечно, на сходку большевиков, и они будут там что-то обсуждать коварное и злое, чтобы взять верх в Учредительном собрании России.

Рванула гроза с невероятным треском, точно само небо лопнуло, как огромный барабан. «Я ей скажу! Я ей все скажу! — надумала Дарьюшка, скомкав записку в руке. — Пусть не думает, что я дура, набитая скорлупою!»

Лил дождь, гремело небо, а Дарьюшка шла, как по сухому, прямо берегом, увязая в глине, и чуть не потеряла ботинок — до того была сердитая.

Прасковья Васильевна очень удивилась, когда Дарьюшка вошла в гостиную мокрая как лягушка, в мокрой шелковой накидке, прилипшей к платью, в грязных ботинках и с сумочкой в руке.

— Надо бы раздеться, милая, в прихожей, — заметила Прасковья Васильевна. — Наша тетя Устя не из молодых л з а каждым прибираться не может. Но что с вами? — Прасковья Васильевна отодвинула на столе блюдо с чашкой; она пила чай одна, и на коленях ее сидел паршивый кот.

— Вам записка. — Дарьюшка подала записку, как камень.

— Однако, как вы ее скомкали! Могли бы в сумочку положить.

Дарьюшка обрезала:

— Не всякие записки кладутся в мою сумочку. Я, например, терпеть не могу записок про тайные сходки.

Прасковья Васильевна выпрямилась и сунула свои больные руки между колен.

— Вот как! Но если вас попросили...

— Меня могут попросить поджечь этот дом, — перебила Дарьюшка, воспаляясь гневом, — и я должна поджечь?

— Однако! — Прасковья Васильевна поднялась и на шаг отступила от круглого стола, как бы издали приглядываясь к Дарьюшке. — Однако не всегда читают чужие записки. Не так ли?

— Чужие? — Дарьюшка сузила глаза, и губы у нее непонятно задергались, как у обиженного ребенка. — Чужие тайны, сударыня, бывают опасными тайнами для всех. Да! А вы все — опасные «товарищи»! И тайны ваши опасные. Очень опасные. Если послушать — вы так печетесь о судьбе России, что просто заплакать хочется, какие вы добрые и заботливые. А если подумать — вы задушите Россию, если вам дать власть. Задушите!

Прасковья Васильевна не на шутку разозлилась. Она стояла возле круглого стола, высокая и прямая, и волосы ее, полные воздуха, просвечиваясь на солнце, отливали золотом.

— Прежде всего, голубушка, мои тайны — не твои тайны, и я никому не позволю вмешиваться в них, — спокойно проговорила она, хотя лицо ее заметно побледнело. — Ну, а если вам угодно знать, у большевиков нет никакой тайны. Наши тайны знает весь мир. Экспроприация фабрик и заводов у капиталистов; экспроприация земель у помещиков, вся власть Советам рабочих и крестьянских депутатов.

— Знаю, сударыня!

— Плохо знаете, голубушка. Наши тайны записаны в «Манифесте Коммунистической партии». И если бы вы...

— Читала, сударыня! — опять перебила Дарьюшка. — «Манифест» не про вас писали Маркс и Энгельс. Не про вас! Тот «Манифест» был создан для французской революции, а не нашей, русской революции. Мы не французы, не немцы, а русские. Сейчас не девяносто третий год, не сорок восьмой год и не семьдесят первый год прошлого столетия, сударыня, а семнадцатый двадцатого века. Да! Или вы все перепутали?

— Какой вздор! Если бы вы знали задачи нашей партии...

— Знаю!.. Наслышалась про «Манифест» Маркса, Только мы русские, а не немцы!..

— Не мудрено, что вы окончательно заблудились, — спокойно ответила Прасковья Васильевна. — «Манифест Коммунистической партии» — это святая истина. И не для немцев и французов, а для всех коммунистов мира. Но я вижу, что «Манифест» до вас не дошел. Не созрели вы, дочь Елизара Елизаровича Юскова. Ну, а насчет тайн большевиков — они у всех на языке сейчас: «Долой Временное правительство буржуазии и капиталистов со всеми их прихлебателями! Долой войну! Вся власть Советам!» Вот наши «тайны». Судьба народа должна быть в руках самого народа.

— Народа? Какого народа? — наплыла Дарьюшка. — Вы — народ? Я — не народ, и все, как я, — не народ? Да? А я хочу, чтобы все в России жили свободно.

— И ваш папаша, конечно?

— И вы, конечно. И мой папаша, конечно. Разные, всякие. И без всякого насилия над совестью человека. Да! В этом доме нет ни одной иконы... А почему? Потому что вы, атеистка, не верите ни в бога, ни в душу, ни в черта. И все должны не верить, конечно. А я верю в бога. И миллионы верят, как я. Так почему же моя вера должна быть затоптана вашими ногами?

Прасковья Васильевна покачала головой:

— Какой же сумбур под вашей мокрой шляпкой с пером. Ужас! Но прежде чем кидаться в драку, вам бы надо разобраться, голубушка, что к чему, а не принимать на веру вздор Вероники Самосовой. Интриганки и сводни! Она внушила вам опасные мысли, и вы ей поверили и мечете громы и молнии. А вы подумали: кто такая Вероника Самосова? Она и меньшевичка-интернационалистка, она и в кадетках побывала, а теперь эсерка. А в целом — провокаторша.

— Лжете!

— Тогда узнайте у госпожи Самосовой: кто ее финансирует? На чьи деньги форсит госпожа Самосова?

— Она классная дама гимназии.

— На жалованье классной дамы не до форсу. А Вероника Самосова — самая нарядная дама города. Она почетная гостья в почетных домах, да и в самом Петербурге она плавала среди знатных

господ. С чего бы, а? Какого она роду-племени? Всего-навсего дочь акцизного чиновника. И вдруг знатные дома распахнулись перед ней.

— Она была сослана в Минусинск, — напомнила Дарьюшка.

— А вы узнайте лучше, кто и когда ее сослал и за какое преступление. Не знаете? На Песочной живет отставной офицер Крашенинников. Он вам скажет, в какой скандальной афере была замешана Вероника Самосова, за что и угодила в ссылку. Но, упаси бог, не являйтесь к Крашенинникову одна. Это человек конченный, алкоголик.

— Не верю. Это вы сейчас придумали, чтобы опорочить Самосову. Она лучше вас и откровеннее вас. Да!

— Потом вы сами узнаете, но будет поздно, — печально проговорила Прасковья Васильевна, — но будет очень поздно. Теперь мне понятно, почему Гавря вступил в партию эсеров. Он же такой далекий человек от политики и вдруг — эсер! И все вы, невестушка.

И тут Дарьюшка выпалила:

— Я вам не невестушка, а соперница.

— Что? Что?!

— Соперница.

— С ума сошла!

— Как вас передернуло! Значит, правда. Я это знала еще три года назад. Вы хитрая и жестокая. Как вы удивились, что Гавриил Иванович привез жену, ха-ха-ха! О, как вы удивились! Какие у вас были глаза в ту ночь, бог мой.

Туча нашла на солнце, и в доме на дюне потемнело; и лицо хозяйки стало темным, мрачным.

— Ты и в самом деле больная, — глухо ответила Прасковья Васильевна. — Тебе бы, голубушка, в больнице лежать, а не замуж выходить.

— А тебе... тебе... — Дарьюшка задыхалась от злобы, — тебе бы не с мужчинами играть, а... вот с этим котом!

Такого оскорбления Прасковья Васильевна стерпеть не могла. Она откинула стул и, презрительно взглянув на Дарьюшку, быстро ушла в другую комнату, хлопнув створчатой дверью.

В тот же день Дарьюшка переехала к дяде Василию.

Но и в доме дяди Дарьюшка не задержалась. Встретила в городе политссыльного из Белой Елани Петержинского, и тот просил ее содействия и помощи в открытии школы в Белой Елани, где тьма прижилась от сотворения мира. Дарьюшка ухватилась: она будет учительницей в Белой Елани! В уезде она добила постановление об открытии школы, но денег не дали. Туго было с деньгами. Дарьюшка надумала тряхнуть кошелек папаши...

Елизар Елизарович алтына не кинул на школу, но зато тысячу рублей золотом пожертвовала престарелая бабка Ефимия. С того и пошло. С миру по нитке — и школу открыли в Белой Елани.

Гавря сопел, сердился на непутевую жену, но сдался: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не уросило.

Был зимний день. Нежданно к Дарьюшке явилась в гости Вероника Георгиевна — сама на себя не похожая. Случилась беда! Большевики совершили переворот в Петрограде и пришли к власти. Совдепия утвердилась по всей России, и, что самое страшное, Вероника оказалась за бортом, как и вся ее партия эсеров.

Всю ночь они совещались в доме бабки Ефимии, где жила Дарьюшка после приезда в Белую Елань...

Куча ужасов и страхов! По всей России совдепы хамов, которые де только и умеют, что разрушать и убивать себе неугодных. В уезде создано некое ЧК, и председателем УЧК назначен политссыльный большевик Таволожин. И, бог, мой, что творится... И тот схвачен, офицер, и другой, и всех без суда и следствия пустили в расход.

Идейный вождь минусинских эсеров Николай Михайлович, благословивший Дарьюшку вступить в партию эсеров, схвачен. Сама Вероника пока еще дышит, но, кто знает, что будет с нею завтра?

— Мне даже сны такие снятся, что меня ведут ночью в бор за тюрьму и там... — Вероника боялась досказать, что с нею сделают в бору за тюрьмою «там», но Дарьюшка и так понимала, подавленная потрясающими известиями. — Ты помнишь, милая, нашу клятву?

Дарьюшка, конечно, помнила.

— И ты не отступишь от своей клятвы? — домогалась Вероника. — Я хочу верить, что тебя не испугает даже смерть, если настал час свершить святое дело и спасти Россию... Какие-то большевики, боже! Кто они такие? Пришли из ничто, из праха! У них

теперь Ленин. А кто он? Явился из Германии. С чем же он пожаловал от кайзера? Ты представляешь, что будет с Россией, когда всех нас захватят немцы?

Дарьюшка не знала, что сказать; ночь легла беспросветная — ни зги впереди; тьма, забвение.

— Ты веришь мне, милая?

— Мне страшно, страшно, — глухо отозвалась Дарьюшка.

— И мне страшно, милая. Но мы же существуем и не будем ждать, когда придут за нами. Ужас!

Вероника явилась неспроста. Она сообщила, что создан тайный «Союз освобождения России от большевизма», и она, женственная Вероника Самосова, особо доверенное лицо союза по Минусинскому уезду, а Дарьюшка заочно «кооптирована в губернский подпольный комитет союза».

— Тебе такая честь, милая! Тебя же знают и ценят, — льнула Вероника. Они сидели в темной горнице на кровати Дарьюшки, накинув на плечи одеяло и спрятав ноги под пуховые подушки. — Мы будем действовать, а не ждать милости от большевиков. Иначе кто же спасет Россию от жестокости?

Для подпольного союза нужно было достать золото — не пустые бумажки, которые мужики таскают мешками, а чеканное золото. И это золото надо было взять у миллионщиков Белой Елани и у других богатых мужиков, которым большевики наступили на хвост.

Как раз в это время, за три дня до приезда Вероники в Белую Елань, инженер Грива уехал по делам приисков в Красноярский губернский Совет. «Как это чудесно! — ликовала Вероника. — Как только толстосумы раскошелятся, ты сейчас же поедешь в Красноярск. Я тебе дам явку. И тогда... тогда око за око, зуб за зуб, как сказано в Священном писании. У нас другого выбора нет, милая. Я тебе еще открою тайну: в уезде появился святой Ананий. Божественный святой Ананий. Само провидение господне послало нам мученика...» Так Дарьюшка впервые услышала про явление святого Анания.

Двое суток Вероника Георгиевна где-то пропадала, с кем встречалась, у кого коротала ночи — одному богу известно. В ночь на пятое декабря, предупредив Дарьюшку и особо Варварушку, Вероника принимала в доме нежданных гостей на тайную сходку союза. Первым пожаловал Елизар Елизарович, за ним Микула — кучер Елизара

Елизаровича, казаки Сумковы, родственники атамана Сотникова, ввалился в рваном полушубочке золотопромышленник Ухоздвигов, а потом и сыновья его: сотник Иннокентий Иннокентьевич и поручик Гавриил Иннокентьевич. И еще казаки — и все больше пожилые, бородатые, тертые на жерновах жизни, обстрелянные на позициях. Из Щедринки пришли богатые куркули — Мурашкин и Савушкин. Всего собралось пятнадцать лбов, из них четверо проживали в Белой Елани тайно, скрываясь от арестов.

Бабушка Ефимия удалилась в боковушку Варварушки и там нашла себе покой. Не те годы, чтобы ходить в заговорщиках! Варварушку с одним из казаков Вероника отослала во двор, чтоб в случае чего предупредить об опасности.

Чаем не потчевались: не до того было.

Вероника сразу приступила к делу. Зачитала послание союза к братьям и сестрам, призывающее к подготовке вооруженного восстания. Из этого послания Дарьюшка узнала, что восстание свершится весной 1918 года и будет повсеместным — от Москвы до Владивостока... В Минусинском уезде возглавит восстание некий атаман Георгий, приказы которого должны выполняться беспрекословно всеми, кто вступил в «Союз освобождения России от большевизма». И что упомянутый атаман Георгий, в свою очередь, должен всемерно поддерживать святого Анания-великомученика, и все должны содействовать распространению «божьих писем» святого Анания. С одним из таких «божьих писем» Вероника Георгиевна познакомилась собравшихся. Сотник Ухоздвигов должен срочно подготовить тайные явки и надежные места для хранения оружия. Таких мест должно быть три: на приисках Ольховки и Благодатном и в Белой Елани. Желательно в доме Ефимии Юсковой. Кроме того, все имеющееся оружие у казаков должно быть взято на строгий учет. Кто даст оружие ревкомовцам — совдеповцам, тот объявляется изменником присяги и казачьему войску, и что битва с антихристом предстоит долгая и упорная.

Под письмом было две подписи. Крупным, давящим почерком подписался: «С нами бог. Святой Ананий».

Под «святым Ананием» беглым почерком:

«Атаман Георгий». Числа и месяца не было, года тоже.

Сотник Ухоздвигов подумал, что «святой Ананий», скорее всего, фигура заслонная, а письмо сочинил сам «атаман Георгий». Такого атамана сотник Ухоздвигов не знал. Может, кто из есаулов скрывается под чужим именем?

Миллионщики и богатые казаки на этот раз не скаредничали. На спасение живота своего и дела своего чего не пожертвуешь!

Разошлись со сходки так же, как и сошлись, — поодиночке, каждый в свою нору.

Вероника с Дарьюшкой улеглись спать на одной кровати. Тикали настенные часы, унося секунды и жизнь, а Дарьюшке не спалось. Сама Вероника сладко посапывала на подушке, как жрица после судного моления. Кто-то постучал в ставень горницы. Дарьюшка испугалась. Через некоторое время стук повторился. Дарьюшка подошла к окну, закрытому ставнем, окликнула:

— Кто там?

— Веронику! — раздалось в ответ.

Тут и Вероника вскочила, брякнув спросонья:

— Боже! Святой Ананий.

— Святой Ананий?

Вероника спохватилась, что сболтнула лишку и уклончиво ответила:

— Во сне видела святого Анания. Такой волшебный сон, милая. Воинственный сон. Меня зовут, да? Я же забыла, что обещала быть у Тужилиных...

Дарьюшка не поверила Веронике, но ничего не сказала. «Все теперь тайны, тайны!» И как только Вероника ушла и Варварушка закрыла за нею сенную дверь, Дарьюшка опустилась на колени и долго молилась перед иконами. Зажгла огарок свечи перед темными староверческими иконами — достоянием набожной Варварушки, и снова стала на колени.

Она почувствовала себя беспомощной и потерянной в пустынном море. И как будто что-то сломалось у ней внутри и умерло. Она не знала, что умерло, но что-то умерло. Вспомнила «божье письмо» святого Анания — скорее не письмо, а воинский приказ, и как будто въявь увидела перед собою бородатое сборище казаков. Они были на сходке в полушубках, шубах, безоружные, как добрые миряне, но Дарьюшка видела их сейчас в казачьих шинелях, в штанах с

лампасами, с шашками и пиками, и где-то в роще будто ржали казачьи кони.

Не в силах успокоиться, открыла Псалтырь и прочла девяностый псалом — молитву Моисееву, человека божьего. Потом вернулась вспять, прочла восемьдесят шестой псалом, молитву Давидову, и тут огарок свечи погас.

Спряталась в постель...

Из кромешной тьмы явились кошмары. Они лезли из бревенчатых стен, пучились из подполья, скулили в дымовую трубу, скреблись в ставни с улицы, и не было от них спасения.

Так и забылась в тяжком сне...

Утром вернулась Вероника Георгиевна — сияющая и довольная; дело свершилось, и Дарьюшка должна немедленно выехать в Красноярск, а с нею казак Тужилин, кому миллионщики доверили сопровождать Дарьюшку с золотом.

— Как же школа? — вспомнила Дарьюшка. Вероника, понятно, заменит Дарьюшку в школе. Напутствуя перед дорогой, Вероника передала Дарьюшке бронзовое крестьянское колечко с двумя зазубринками — тайный знак союза. С этим кольцом Дарьюшка должна явиться в такой-то дом в Красноярске и сказать три слова старухе.

— Ты ее сразу узнаешь, старуху. Если придешь днем, — она будет в коляске — у ней парализованы ноги. Звать Анастасия Евлампиевна. Скажешь ей: «Спаси вас господи». И покажешь колечко. Она назовет явку и даст тебе серебряное колечко, и тогда ты придешь туда, куда надо. Ради бога, будь осторожна. На явке побывай до встречи с мужем. Ни слова Гриве! Он хотя и в нашей партии, но ты же знаешь, какой он безразличный человек к судьбе России.

Золото упрятали в мешок с овсом, и мешок засунули в передок выездной кошевы Елизара Елизаровича. Вероника передала Дарьюшке тоненькую книжку Троцкого, напечатанную на желтой бумаге, это была брошюрка о «перманентной революции».

— Можешь не читать, — усмехнулась Вероника. — Но, не дай бог, не потеряй книжку! Отдашь ее отцу Мирону, когда у старухи узнаешь явку. Только в его собственные руки.

Что еще за «отец Мирон»? Какая старуха. Темная ночь...

Елизар Елизарович заложил лучшую пару коней и отправил с Дарьюшкой своего доверенного кучера, Микулу; ни в чем не поспешил. Такая щедрость папаши неприятно поразила Дарьюшку, но она гнала от себя всякие возвращающие мысли, как поганых мух гонят с тарелки с медом.

Микула не жалел коней. Нахлестывал коренного рысака и красавицу пристяжную.

Неразговорчивый казак Тужилин, когда останавливались на ночевку, не расставался с мешком овса — себе в изголовье клал. Так и спали бок о бок с дюжим Микулой, а в изголовье мешок овса.

Морозным мгlistым вечером Дарьюшка приехала в Красноярск. И не к мужу, в дом капитана Гривы, а прежде всего отыскала бревенчатую избу на Благовещенской улице, где жила старуха с парализованными ногами. Все случилось так, как предупредила Вероника. Старуха взяла бронзовое колечко, долго смотрела на зазубрины, а потом вынула из укромного места серебряное колечко, а на нем вмятинка. Адрес назвала, куда заехать: угол Театрального переулка и Песочной улицы, дом Шмандина...

Рысаки, взмыленные за долгую дорогу, устало плелись о Благовещенской по Театральному переулку до Песочной улицы. К дому Шмандиных Дарьюшка подошла пешком, постучалась в глухую калитку и позвала Андрона Поликарповича. Тот вышел в жилетке с кармашками, в черной рубахе.

— Милости прошу, — приветил бородатый хозяин, как только Дарьюшка показала колечко. — Заезжайте, добрые люди.

Микула с Тужилиным заехали в ограду.

Дарьюшка так устала за дорогу, что у ней подкашивались ноги в поярковых, расписных по голенищам пимах, купленных мужем на ярмарке.

Хозяин провел Дарьюшку на второй этаж. На первом этаже размещалась скобяная лавка, где год назад приценивался к златоустовским подковам Филимон Прокопьевич и хозяин-скобянщик потешался над мужиком из тайги.

— Позвольте вашу шубу. Раздевайтесь, раздевайтесь, гостьюшка, — привечал мордастый бородач; и если бы Дарьюшка

внимательно взглянула в его лицо, она бы без особого труда узнала в нем лихого рубаку казака и не иначе как хорунжего.

Весь второй этаж разделен был на две половины. В одной из половин, в четырех комнатах, размещалась семья Андрона Поликарповича: седая старуха, жена не из молодых, дочь из старых дев, бельмоватая на один глаз, и детина под потолок, с усиками, сын хозяина.

Дарьюшка поздоровалась со всеми.

— Я должна... — начала было Дарьюшка. Хозяин угодливо перебил:

— Знаю, знаю, гостьюшка. Сейчас приготовлю комнату. Как же, как же! — И ушел. Не прошло трех минут, как хозяин вернулся и пригласил гостью «посмотреть» гостиный номер.

Вся вторая половина дома сдавалась заезжим гостям. Здесь было три комнаты и большая зала с круглым столом. В зале пахло дорогим табаком. На круглом столе под скатертью стоял на подносе самовар с чайником на конфорке; две чашки на блюдцах, сдоба в сухарнице, нарезанная ломтиками ветчина в блюде и нарезанная семга в рыбнице. В залу вошел человек в косоворотке, в домашних туфлях. Дарьюшка ахнула. Она узнала полковника Толстова! Не кто иной, как сам Сергей Сергеевич! Седая голова, тонкое холеное лицо с прямым носом и топки губы под коротко стриженными усами.

— Позвольте кольцо, — вместо «здравствуй» сказал полковник Толстов, как будто не узнав Дарьюшку.

Дарьюшка подала кольцо.

— Покорнейше прошу. — Полковник подал стул. — Побеспокою вас, Андрон Поликарпович. Самоварчик подогрейте. Чайком побалуемся.

Когда хозяин ушел, полковник подошел к Дарьюшке и тихо спросил:

— Своего имени хозяину не называли?

— Нет.

— И что у вас в городе муж?

— Нет.

— Отлично. Хозяин разговаривал с ямщиком и с тем, кто приехал с вами?

— Нет. Он сразу меня повел в дом.

— Минуточку!

Полковник накинул на плечи полушубок и ушел, оставив Дарьюшку. Вернулся он минут через пять, а вслед за ним казак Тужилин с мешком овса. Мешок пронесли в комнату. Потом полковник опять ушел с Тужилиным, и Дарьюшка не утерпела, подошла к окну и взглянула в ограду. В кошеву уселись Микула с Тужилиным и уехали. Полковник закрыл за ними ворота. «Как же я, боже!» — испугалась Дарьюшка, возвращаясь на свой стул.

Но где же «отец Мирон»? Туда ли она попала? Не спутала ли адрес явки?

Полковник вернулся и успокоил:

— Они придут за вами завтра под вечер. Нам предстоит серьезный разговор... Дарья Елизаровна. — И внимательно, чуть усмехаясь, взглянул в растерянное лицо Дарьюшки.

— Я вас узнала, — промолвила Дарьюшка, но не успела назвать полковника по имени-отчеству.

— Тсс! Того, кого узнали, нету. А есть отец Мирон: добрый христианин. И вы... Какое вам имя удобнее? Назовем вас Аннушкой. Располагающее имя. Еще более располагающее: Анна Ивановна, — сказал первое, что пришло в голову, и глаза его испытующе щурились. — Будем знакомы, Анна Ивановна. Да не запомните мое имя: Мирон Власович Кузьмин — мещанин из Екатеринбурга. Торгующий скобяными товарами. Ну, а хозяин мой, скобянщик Андрон Поликарпович Шмандин, мой должник по скобяным товарам.

Дарьюшка вздохнула: она еще не обвыклась с такими тайнами и тем более со своим новым именем и отчеством. Аннушка! Да еще Анна Ивановна! Смешно просто.

— Как вы доехали, Анна Ивановна?

— Мороз!

— Настали морозы. Жестокие морозы, — отозвался отец Мирон и пошел вокруг стола по ковру с проплешинами. Он был в войлочных туфлях, в черных суконных штанах и в рубахе под пояском по чреслам. — Жестокие морозы сковали Россию!

Дарьюшка ничего не ответила. И что она могла сказать, «заочно кооптированная в губернский подпольный комитет «Союза освобождения России от большевизма»? Что ей известно из подлинных намерений союза? С кем они и за кого они, заговорщики?

Сами за себя и за свои драгоценные холеные шкуры или они в самом деле пекутся о судьбе России?

«И где она теперь, Россия?» — грустно спросила себя Дарьюшка, глядя на расписную китайскую чашку.

Отец Мирон заметил перемену в лице гостыи, спросил:

— Что вас беспокоит?

— Ничего. Так. С дороги. — И передернула плечами. Она была в шерстяной вязаной кофте, в черном длинном платье, и на шее у нее был красный гарусный шарф. Волосы на голове были уложены в толстый узел.

— Будем откровенны, — предупредил отец Мирон, присаживаясь на стул подле Дарьюшки. — Наш союз — добровольный союз патриотов. Вас рекомендовали в союз как патриотку нашего несчастного отечества, и мы ждем от вас откровенности. Если возникают сомнения — скажите, а не прячьте. Сомнение, запрятанное в сердце, это опасный червь, который потом подточит его.

— А разве есть человек без сомнений? — спросила Дарьюшка. — Я думаю: человек без сомнений — это мертвый человек. Если он не сомневается, он не живет.

Отец Мирон согласился, что человек без сомнений — пустой и никчемный; но есть идеалы, в которые человек верит, как в истину, и сомнения здесь неуместны.

— Можете ли вы сомневаться, что отечество в смертельной опасности? Можете ли вы принять власть узурпаторов, попирающих весь мир? Они же на весь мир кричат про мировую революцию. И если им дать волю, они без тени страха и сомнения зальют кровью весь мир! Тут никакого сомнения быть не может. Над Россией нависла страшная угроза, как во времена оные угроза нашествия орд Чингисхана. Были князья на Руси, которые сомневались в нашествии татар на Русь, и что стало с теми князьями? Они первыми легли на плаху кровожадной орды.

Дарьюшка подумала: «Золотая орда — это уже чужеземцы? А мы русские. Сами на себя нашествие совершили, или как? Большевики тоже русские, как и мы».

Отец Мирон вдруг спросил:

— Что слышно о Тимофее Прокопьевиче Боровикове? Дарьюшка не ждала такого вопроса.

— У меня муж Грива. Инженер Грива, — напомнила.

— Да-да. Он сейчас заседает в губернском Совете. Всемерно помогает большевикам. Им нужно золото. Много золота! А ведь он же вступил в партию социалистов-революционеров!

— Он не считает себя политиком. Отец Мирон помолчал.

— Сейчас нет даже тараканов вне политики, Анна Ивановна. Если инженер Грива работает на большевиков — он работает против России, против нас с вами. Вам предстоит серьезный разговор с вашим мужем. Весьма серьезный. Или — или. Другого выбора нет. Он должен быть с нами. На этот счет я вам кое-что подскажу... А теперь прошу вас быть хозяйкою. Скоро подойдут наши люди, и мы будем чаевничать. Да не забудьте: вас звать-величать Анна Ивановна. Пожаловали вы к нам не из тайги, а... из Канска, допустим. Из Канска. Кое-чему вы должны научиться, чтобы случайно не погубить дело. За нами наблюдают тысячи глаз; и даже стены имеют уши. Трудное время, Анна Ивановна. Очень трудное.

— Да, да, — отозвалась Дарьюшка.

Отец Мирон положил руку на колено Дарьюшки:

— Я не случайно обмолвился о Тимофее Боровикове.

— Это все прошло, — потупилась Дарьюшка.

— Он сейчас в Красноярске.

— Здесь?!

— Да, он здесь. Не исключена возможность, что вы можете с ним встретиться.

— Зачем? Нет, нет!

— Я сказал: не исключена возможность. Будете идти улицей и вдруг столкнетесь лицом к лицу.

— Нет, нет!

— В таком случае будьте осторожны. Лучше вам не показываться на людных больших улицах.

— А... что он здесь?

— Вы же знали, что он большевик? — Да.

— Ну, так вот. Он предал немцам батальон на фронте, и в том, как это ни тяжело, повинен я. То есть не я, а некий полковник Толстое.

Дарьюшка ничего не поняла из того, что сказал полковник и он же отец Мирон. Полковник продолжил:

— Я настоял перед тогдашним командиром гарнизона генералом Коченгиным присвоить прапорщику Боровикову звание штабс-капитана и назначить командиром батальона. Своими руками ввел рыжую свинью в каретный ряд. Но увы! Свинья осталась свиньёю.

Дарьюшка — ни слова, но глаза у нее потемнели. Она не забыла, как полковник говорил тогда, что на фронте Тимофей спас ему жизнь и честь.

Полковник говорит, что по тайному приказу Ленина большевики на фронте разложили армию: батальонами, полками сдаются в плен немцам. Одним из таких предателей оказался штабс-капитан Боровиков. Сейчас он приехал в Красноярск из Петрограда. По личному поручению Ленина. Теперь он, понятно, не штабс-капитан, а чрезвычайный комиссар по продовольствию и член военно-революционной тройки. Опасная фигура.

— Он тогда не был таким, — сказала Дарьюшка.

— То есть когда?

— В девятьсот четырнадцатом. В ссылке.

— Они все были добренькие и тихенькие в ссылках. И Боровиков, и здешний Дубровинский, и некий Вейнбаум. Теперь они показали себя во всем своем блеске и великолепии!

— Можно? — раздался голос хозяина.

— Пожалуйста, — пригласил отец Мирон.

Хозяин притащил фыркающий паром самовар, сообщив, что к отцу Мирону пришли почетные гости на чашку чая...

VII

На другой день, также под вечер, на паре отдохнувших рысаков Дарьюшка с кучером Микулой подкатила к двухэтажному деревянному дому на Набережной возле пристани, где снимал квартиру на втором этаже капитан Грива. Капитана не было дома — он зимовал в низовье Енисея в Подтесовой со своим пароходом «Орел», на котором плавал после «России».

Инженер Грива обрадовался нежданному приезду жены, не подозревая, что Дарьюшка сутки как в городе.

— Не околела, создание богов? — тискал Гавря. Нет, Дарьюшка не замерзла...

— Заезжали греться в Лалетино. Тут совсем рядом, — соврала мужу, пряча виноватые глаза.

— Побей меня гром, рад! Давно бы так.

Тетя Лиза — бездетная жена капитана, тоже обрадовалась приезду Дарьюшки и не знала, чем ее угостить.

— Ах, боже мой! — вспомнила Дарьюшка. — Я вам привезла гостинцы. Туес меду, варенья, крупчатку на рождественские праздники и орехов целый мешок.

— Да ты у меня молодчага, расщепай меня на лучину! Если бы и жена ответила ему таким же искренним объятием!

VIII

Горел ночник — электрическая лампочка под стеклянным абажуром. Дарьюшка лежала на кровати и думала. На лепном украшении потолка она увидела извилистую змейку трещины. Такая же трещина прошла по ее сердцу.

За письменным столом Гавря читал бумаги, фыркал и беспрестанно курил. Затрещал телефон, и он взял трубку.

— Он самый, — ответил. — По кузнецовским приискам? Читаю. Да. Ну-ну. Вранье, извините, товарищ Дубровинский. Все шито белыми нитками. Золото Кузнецов запрятал так же, как и Ухоздвигов. Да-да. Да нет, видите ли. Я не один. Жена приехала. Да. Да. Если вырвусь — буду.

Положив трубку, Гавря сказал, что его вызывают в губернский Совет с документами по приискам Кузнецова.

— Тут такие дела с приискателями!

— Нет, нет! — встрепелась Дарьюшка. — Я долита тебе сказать... — И глаза ее, встревоженные, сцепились в каком-то странном поединке с большими, серыми глазами Гривы. Он стоял возле кровати, и Дарьюшка держала его за руку. — Так дальше жить нельзя, Гавря. Ты меня должен понять. Я...

Дарьюшка прижалась щекою к руке мужа:

— Сейчас такое время, Гавря. Такое опасное время! О боже! Разве ты не видишь, что творят большевики? Здесь, в Сибири, в Петрограде, по всей России! Это же гибель, гибель!

— Побей меня гром, откуда ты набралась страхов?

— А разве ты сам не видишь?

— Вижу, святая душа. Вижу. Большевики — подходящие мужики, стоящие. Без вранья. С ними работать можно. Это тебе не фальшивые миллионщики, а простые люди.

И они понимают: если не работать, то все передохнем о голоду.

— О, боже! Помоги мне. Если бы ты знал, Гавря, какие жуткие мысли лезут в голову.

— Еще чего не хватало — мысли! — проворчал Грива, догадываясь, что Дарьюшка приехала в город неспроста. — Мысли! Да знаешь ли ты, святая душа, что мне противна собственная мысль? К черту. Надоело. Грязная газетка эсеров «Свободная Сибирь» напечатала про меня издевательскую статью. Они тоже высказывают некоторые «мысли».

— А что они?

— Пишут, что у них «возникла мысль», будто инженер Грива продался большевикам. И что инженер Грива, по их мысли, не кто иной, как узурпатор, холуй большевиков и все такое, не менее приятное.

Отошел от кровати, взял сигаретку и, прикурив, спросил:

— Может, и у тебя возникли такие же мысли?

— Как ты смеешь, Гавря!

— Извини. Лучше бы ты не начинала этот разговор. «Мысли!» Спаси и сохрани. Мысль все объясняет и все может обвинить, очернить и любое злодейство оправдать. И кровь превращает в воду, и воду в кровь. Как вам угодно. И ад и рай, святая душа, внутри нас, расщепай меня на лучину. Да. Да. В самом человеке. В его паршивой мысли. От нее все горечи и печали. Мысль создала мир и все, чему мы молимся. И она же создала богов и дьявола вместе с преисподней. Да. Да и она же все разрушит. Да! Мрак будущего, руины и гибель материи, все это уничтожит мысль. И ты тоже со своей «мыслью»!.. Не хочу. Уволь, святая душа. Работать надо. Работать. Россию поднимать из праха и пепла. Не хочу знать, какие «мысли» у эсеров — правых и левых, у меньшевиков — правых и левых, у кадетов, у бундовцев... Ко всем чертям! Уволь!

— О, боже!

— Ты же хотела, чтобы я высказал свои «мысли»? Тогда слушай. Я покончил с эсерами. Да! Явился к ним в «Свободную Сибирь»,

порвал эсеровские корки и швырнул в морду редактору. Довольно с меня всей этой грязи. Кто они? И что они? Опасные обормоты, скажу тебе. Весьма опасные. Ты знаешь сколько выходит газет в Красноярске? Чертова дюжина! И во всех перелицованные эсеры, меньшевики и всякая сволочь. И все они вопят в один голос: «Надо спасти Россию!» От кого спасти?

— От большевиков, — подсказала Дарьюшка. — Я так и знал, что ты это скажешь.

— Разве это не правда?

— Такая же правда, как если бы я назвал себя протопопом Аввакумом.

— Если бы ты знал...

— Что еще знать? Я достаточно вижу и знаю: надо видеть, как работают, как тянут трудный воз большевики! Да! Они тянут, как стожильные черти. Глаза на лоб лезут, а тянут, тянут тяжелый воз России! И они вытянут воз, если их не будут бить в затылок. Вся эта сволочь эсеровская, кадетская, меньшевистская, как я убедился, только и умеет, что обормотать и двинуть в затылок. Ко всем чертям эту банду.

— Я никогда не примирюсь с жестокостью, — отозвалась Дарьюшка. — А большевики — сама жестокость.

— Жестокость? Они мужики не из ласковых; не в спальнях на пуховых подушках нежились, не жрали чужой хлеб на золотых тарелках. Они свой хлеб добывали в поте лица. И постель у них была не из мягких — тюремный карцер, бетон и камни, а вместо «доброе утро» кулак жандарма под нос. И они скорее умрут, захлебнутся собственной кровью, но не пойдут на стговор с буржуазией. Им терять нечего, кроме своих цепей, расщепай меня на лучину.

— И они всех закуют в цепи! — вlepила Дарьюшка. Грива не заметил, как она слезла с кровати и стояла теперь рядом, плечом к плечу, вернее, головой к плечу мужа. Она была в розовой трикотажной сорочке, отделанной по подолу и у плеч тонкими кружевами. На руке у нее были швейцарские золотые часики — подарок Аинны; на высокой шее — платиновая цепочка от крестика и крестик на оголенной груди.

— Ну, не всех, положим, закуют в цепи. Кого следует заковать, те сами просятся, как бешеные собаки.

— О, боже! Какой ты!..

— Натуральный.

— Ты такой же, как они?

— Ну, не совсем такой. В моей башке еще слишком много всякой ерунды и эквилибристики, чтобы быть таким, как они. Надо три пуда соли сожрать, выпаренной из собственного тела, чтобы быть большевиком, голубушка. Но я буду помогать им всем своим умом, всеми своими сухожилиями и мышцами, чтобы поднять Россию из нищеты и праха и построить социализм. Да! Это было бы, побей меня гром, здорово! Во всем мире в ушах бы зазвенело. Да! И они, черт бы их подрал, верят в социализм. Верят, святая душа! Дай бог, как верят. У них есть Ленин — светлая голова. Философ и тяжеловоз. Как мне известно из истории, философы со времен древности только и делали что лукаво мудрствовали и поучали себе подобных. Ленин — философ и тяжеловоз. Взвалил себе на плечи растрепанный войною воз России и тянет, как тысяча паровозов. И не жалуется, что ему тяжело. Представь, не жалуется. А эсеры и всякая сволочь дерут горло, лепят грязь. Но! «Горло дерти, не воза перти!» — как говорят хохлы. И я хочу свой воз везти сам без трепологии.

— Но жестокость...

— Помилуй бог! — перебил Гавря. — Или ты думаешь, что революцию можно совершить рождественским песнопением? Святая душа! Ну, а если бы пришли к власти эсеры, кадеты и вся эта банда? Они что, ангелами бы явились?

— Нет, нет! — не унималась Дарьюшка. — Ты забыл, что есть еще милосердие...

— О святая душа! — потряс руками Грива. — Где оно, милосердие? И было ли оно, милосердие?

— Ты забываешь: женщина Христа родила...

— А был ли он, Христос? — усмехнулся Грива. — Если угодно — фитюлька тот Христос. Надувательство. Если и был, то не таким, как о нем наговорили апостолы в Библии.

— В Евангелии.

— И Евангелие и Библия — ерунда на постном масле. Фитюлька за три алтына для дураков и простофиль.

— Какой же ты страшный, Гавря! Нет, нет. Ты веришь, веришь!

— В самого себя, голубушка. В мускулы, в башку, если она работает не на холостых перегонах, а для дела. Верю в металл, в хлеб,

в скотину и животину, в жито и в просо, верю в солнце и в благодатный дождь, и не хочу знать фантазмагорий политиков из «Свободной Сибири!» С меня довольно. Жить надо проще, и работать, работать. Надо поднять Россию. Нищету нигде не покажешь, если даже обернешь ее в хламиду Христа.

— Христос не заповедовал нищенства...

— Он ни черта не заповедовал. Люди живут и множатся, как умеют, и начхать им на Христа и на всех божьих угодников. И я жить хочу. Во имя самого себя, во имя России, чтобы она не сверкала перед миром голым задом; жить хочу во имя тебя и наших будущих детей. Да. Так было. Так есть. И так будет. Под каким бы соусом ни подавали поросенка — поросенок останется поросенком.

— Грубо. Грубо. Жить ради живота своего — грубо и гадко.

— Ах, как мы привыкли к соусам, к сиропам и всяческой заоблачной ерунде! А я грубый. Голый. Просто инженер. Да! Я живу во имя обогащения России — и это, понятно, грубо. Вот если бы я сказал, что хочу жить ради святых ангелов на розовых крылышках, тогда, пожалуй, я угодный богу раб божий. Ко всем чертям рабов божьих. Да! Надоело. По горло сыт ерундой. Большевики не верят во всю эту чепуху, и правильно. Молитвами не спасешь Россию от голода и тифа. А у нас тиф, холера и голодуха!

— Гавря, Гавря! — На глаза Дарьюшки навернулись слезы.

— Ну, что ты? Что ты? Сама же начала.

— И не оставлю. Не оставлю, — бормотала Дарьюшка сквозь слезы, — не оставлю! Ты не видишь, куда идет Россия с большевиками, с этими узурпаторами власти?

— Побей меня гром!

— Ударит. Ударит, Гавря.

— Давай без страхов, святая душа. Пусть она придет, смерть, но сама по себе, а не приведут ее ко мне твои высокоидейные братья — эсеры, которым надо жрать и захватить власть. И ты будешь виновен тем, что кушать им охота. Но они не просто тебя скушают, а перво-наперво оговорят идейно, упакуют в политический гроб, как это сделали со мной в «Свободной Сибири», а потом сожрут за милую душу и не отгрынут, как кит отгрынул Иону. Или кого там по Библии. Так что оставь свои страхи. Час поздний. Жить надо проще, расщепай меня на лучину. И никто из нас не знает:

Что день грядущий нам готовит!..

И, положив руки на голые плечи Дарьюшки:

Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный...

— Не так ли? — спросил, наклонясь поцеловать, но она не далась.

— Ты не такой, Гавря. Ты сам себя оговорил. Вспомни, как мы мечтали с тобой о прекрасном! И нам было так хорошо. Ты же вступил в нашу партию не из прихоти, а по зову сердца. Неужели ты все забыл?

Грива замахал руками:

— Каюсь, каюсь, грешен! Нашло такое затмение — залез в болото. И все тот краснобай, Николай Михайлович.

— Как тебе не стыдно!

— Извини. Но он, этот Николай Михайлович, порядочная сволочь!

Дарьюшка схватилась за мокрые щеки!

— О, боже! Ты даже на мертвом танцуешь!

— Что? Что?

— Николай Михайлович расстрелян в подвалах ЧК! Грива некоторое время ошарашенно смотрел на Дарьюшку.

— Не может быть!

— Так ты ничего не знаешь? — язвительно усмехнулась Дарьюшка, и слезы ее высохли. — Но ты сейчас узнаешь...

Дарьюшка быстро вышла из комнаты, прикрыв за собою дверь. Что она еще припасла? Ну, беспокойное создание!

Грива поглядел на часы: второй час! Поздняя ночь, а женушку в трех ступах не утолчешь. «Дались ей эсеры, черт бы их подрал. Они ее окончательно закружили, — подумал Грива, затягиваясь дымом. — Жужжит, жужжит и уразуметь не может, что ее милосердие — ветхая хламида из рыцарских времен. Сейчас в таких одеждах не проживешь — горло перервут милосердные братья эсеры. Только дайся им в руки,

тут и сожрут вместе с потрохами. У них же закон: как бы ловчее перервать друг другу глотку, протолкнуться вперед, если даже придется кому-то наступить на череп! Но ведь это же Дарьюшка! Жена! Как же ее убедить, что жизнь и революция — не французские лампасеи?»

«Она еще тешится пятью мерами жизни!» — иронически покачал головой Грива, и его мягко очерченное лицо с высоким лбом и спокойным разлетом черных бровей стало еще более задумчивым. Он-то понимал Дарьюшку! Но что поделаешь, если вся Россия в эти тяжелые дни — кипящий котел?! У большевиков — своя платформа, у эсеров — своя, а у меньшевиков и разных кадетов — своя, а в самой России голод и разруха! Брюшной и сыпной тиф полощет по всем губерниям: животинадохнет от сибирки и сапа; мужики гноят хлеб в ямах — хоть караул кричи. Доколе же?

Нет, он не зря разорвал в клочья свой партийный билет эсера. Ко всем чертям! Наслушался краснобаев — и самому тошно. Но что же делать с Дарьюшкой? Как ее убедить?

Она и слушать не хочет о большевиках; а что она знает о них? Дикие бредни эсеров? Экая чушь. Они, эсеры, навеличивают себя подлинными революционерами. Обормоты и путаники. И сами не ведают, чего хотят. И за социализм и за капитализм. И нашим и вашим. Свистуны, и больше ничего.

«Она же знала Аду Лебедеву? — вспомнил. — Я ее сведу с Адой. Если Ада не вытряхнет из нее дурь...»

IX

На тонкой рисовой бумаге — прокламация «Союза освобождения России от большевизма». Отпечатана не иначе как газетою «Свободная Сибирь». Грива узнает мертвую хватку газетчиков. Чего они только не нагородили! Куча мерзостей! Имена, фамилии и пытки, пытки в подвалах ЧК! Кровавая тризна. Если поверить — с ума сойти можно.

Не слова, а вопль «к братьям и сестрам»!

Что ни слово — то камень по башке.

Дарьюшка видела, как неприятно отвердело лицо мужа и глаза его будто стали свинцовыми.

В улице раздался цокот копыт. Грива вздрогнул, оглянулся на замерзшее окно.

— Это... это... что же, а? — проговорил с паузами.

— Теперь ты знаешь, кто такие большевики.

— Где это ты взяла?

— Люди дали.

— Какие люди? Кто?

— Которые живут не ради живота своего.

— Ты знаешь, чем это пахнет?

— Знаю. Если ты меня выдашь — меня расстреляют в ЧК. Вот и все.

— Это же фитюлька, фитюлька подлецов! Проходимцев! Свистунов! Чего они только не натворили, побей меня гром! Вздор. Чепуха. И ты эту чепуху — подлую чепуху, опасную чепуху где-то прячешь в доме.

— Ты боишься?

— О, святые угодники! Да ты понимаешь ли, в какое болото залезла?

Дарьюшка невозмутимо заметила:

— Какой же ты... жалкий, Гавря. Ты даже правде боишься взглянуть в глаза. Святой правде! О, боже! Как мне страшно! Такие, как ты, Гавря, погубят Россию. Но ты еще не знаешь, Гавря. Я... я хотела тебя подготовить к самому страшному и вижу — для тебя нет ничего ни святого, ни страшного. Один только страх перед большевиками.

У Гривы комок подкатил к горлу — слова застряли. Но он сдержал себя от вспышки. Пожалел, что ли, Дарьюшку?

— Но нельзя вечно жить страхом, Гавриил Иванович, — доканывала Дарьюшка. — Когда-то ты должен взглянуть страшной правде в глаза.

— Это... это — правда? — Гавря потряс прокламацией под носом Дарьюшки. — Эту подлую ложь эсеров ты называешь правдой?!

— Святая правда! Грива мгновенно подумал.

— Когда ты приехала в город? Отвечай!

— Это что, допрос?

— Когда ты приехала в город? По чьему поручению? Кто тебя послал и куда?

— Донеси в ЧК, и меня там спросят.

— Ты... ты...

Злоба закупорила горло, как пробкой:

— Ты — не святая душа. Нет. Ты... ты — штука!

— Спасибо.

— Ты явилась не ко мне, расщепай меня на лучину. Ты явилась в город как заговорщица. И ты повезешь эти фитюльки в Минусинский уезд, чтобы там пустить в народ. Это же... это же... призыв к восстанию!

— Да.

— Побей меня гром!

— Побьет, Гавря.

— Святые угодники! — потряс руками Гавря. — С меня довольно, голубушка. Одного раза достаточно. Не без твоей божьей помощи я залез в болото к эсерам. Довольно. Сейчас ты скажешь, кто тебе дал эти фитюльки! Где они у тебя хранятся? Где? В чистом доме ты хранишь такую грязь и пакость!

— О, боже!..

— Ко всем чертям богов и святых угодников! — выпалил Гавря и рванул крахмальный воротничок сорочки — дыхание стесняло. — Побей меня гром, ты опасная штука.

— О, Гавря!..

— Не делай круглых глаз. Отвечай: когда приехала в город? С кем? Явку, явку!

Прижав руки к груди, не спуская испуганных глаз с мужа, Дарьюшка чуть было не лишилась сил: такого Гриву она не знала и не верила сама себе, что это он, ее тихий и покладистый Гавря. Нет, нет. Это не он.

— О, мамочка!..

— Не падай в обморок — не поверю. Ты же не упала в обморок, когда явилась на тайную явку «Союза»? Может, у тебя и любовник в том «Союзе»?

— Не смеешь!

— Не смею? Это я-то не смею? Ты творишь опасные пакости, и я не смею ударить тебя по рукам? Да ты штука, побей меня гром! Ну нет. Так не пойдет. Ты сейчас скажешь, где находится тайная явка и что там за вождь, который сочиняет призывы к восстанию! — И, схватив

Дарьюшку за плечи. Грива притянул ее к себе, пронзительно уставившись в глаза. — Явку! Где явка?! Кто там жоак — говори. Меня не проведешь, голубушка. Ты не сама, а кто-то за тебя думает и тащит на дно. Ты же дура!

Дарьюшка смотрела, смотрела. Прямо в глаза. Прямо в глаза.

— Ты... ты — большевик! — Голос ее зазвенел, как струна. — Ты палач, палач! Вижу, вижу. О, я не боюсь тебя. Ты мечешься, мечешься и сам себя не видишь. Никто из палачей не видит сам себя. Ха-ха-ха! Никто. Никто. Но правда все равно найдет тебя, Гавря. И ты тогда будешь жалким и ничтожным.

Ее ли страшный смех, или жестокие, ранящие слова, или то, как она пронзительно смотрела ему в лицо — что было главной причиною, он и сам не знает, но он поднял руку и ударил ее тылом ладони по правой щеке. Наотмашь по щеке. Она покачнулась.

— Большевик! Ха-ха-ха!..

Он совсем потерял голову и схватил ее за плечи. Притиснул спиною к косяку окна и с левой — раз, раз; потом с правой — раз, раз.

— Знай же, знай же, зверь! Твой брат Арзур расстрелян! Ха-ха-ха!.. И его — Арзура — вот так же, ха-ха-ха, били, били, а потом расстреляли.

У Гривы ослабли руки.

— Ты... ты... что еще?!

— Ха-ха-ха!.. — хохотала Дарьюшка сквозь слезы покачиваясь возле окна. — И я еще... и я еще хотела подготовить тебя к страшной вести. А ты... большевик! Ха-ха! Знай же: твой брат Арзур расстрелян в Петрограде. Ха-ха-ха!

— Врешь! Расщепай меня на лучину!

— Расщепают. Расщепают.

Давясь смехом, смазывая слезы со щек на кулаки, Дарьюшка говорила с паузами, что брат Гаври Арзур Палло, как ей точно известно, был арестован вскоре после Октябрьского переворота в Петрограде за участие в заговоре юнкеров и кадетов и теперь расстрелян. И что Аинна, ни в чем не виновная, не принимавшая участия в заговоре, была арестована и выслана в Красноярск, где и находится сейчас в доме матери под гласным надзором губчека.

— А ты... ты — подлый! Ха-ха-ха! Служи, Гавря. Служи. Они тебя помилуют Меня казнят — тебя помилуют. Ха-ха-ха! Ты можешь

узнать у Аинны — ха-ха-ха! — только за ней хвостом шпик ходит, ха-ха-ха! В воскресенье, на заутрене в соборе, она будет молиться за упокой Арзура. За упокой — не за здоровье! Ха-ха-ха!.. Приди в собор, сам услышишь ее молитву.

Он опять схватил ее, закрыл ладонью рот, чтобы оборвать жуткий смех, выматывающий нервы, и тут раздался голос:

— Гавря! Гавря!

Это вошла в комнату испуганная тетя Лиза... Дарьюшка хохотала...

— Что случилось? Ради бога!

— Его брат Арзур расстрелян, а он — ха-ха-ха — меня душил!..

У Гривы было такое состояние, что он готов был удариться лбом о стену. Не помня себя, он схватил свое пальто, шарф и шапку и вылетел прочь из дома.

X

Какая была ночь? С луною или без луны? Он ничего не помнит. Он не шел, а буравил головою морозный воздух, в пальто нараспашку, тяжелый, неуклюжий, дикий и страшный. Он и сам не знал, куда шел. Тени от домов лежали до середины улицы. Безобразные и жуткие. А он все шел, шел и что-то бормотал. Так вышел на Воскресенскую и тут остановился.

Ах да! Есть дом госпожи Юсковой! Он не бывал в этом идиотском доме с того дня, как уехал из города Арзур-Арсентий — старший брат. Сейчас он все узнает. Что ему ждать воскресной заутрени? Ко всем чертям!

Помотал головою — спят, бегемоты!

Долго стучался в глухую калитку. Не стучался, а барабанил кулаками.

Кто-то с той стороны окликнул!

— Кто ломится?

— Давай открывай.

— Ишь какой приткий. Кому открывать? Для чо открывать? Ежели к самой госпоже Евгень Сергеевне, тогда пойдя в губчека и там стучись.

— В губчека?

— Туда. Туда. Там она, стерва.

— Ну и черт с ней, — отмахнулся Грива. — Ну, а Аинна Михайловна дома?

— Аинна Михайловна? Нету. Чаво ей одной сидеть в пустом доме? Горничных распустила и дом закрыла на замок. Сама где — сыщи ветра в поле. У кого-нибудь должно, прижилась.

— Да ты хоть покажи лицо, оратор! — не утерпел Грива. — Чего боишься? Или я тебя сожру?

— Бывает, и жрут.

— Я не бандит. Не трусь.

— А чо те мое лицо? Целоваться, что ли?

— Пошел ты к черту!

— Ну и ступай сам туда.

— погоди. Дай спросить.

— спрашивай, да не чертыхайся.

— Скажи: у кого она сейчас, Аинна?

— Да хто и знает? Али я за подол ейный держусь?

— Она давно приехала из Петрограда?

— Фи! — свистнул невидимый оратор. — Так бы тебе приехать, в боках бы закололо. Не приехала, а привезли.

— Кого привезли?

— Днев девять так али мене. Пстой! Седне суббота? Дак по за ту субботу во вторник. А самуе взяли дни три так. Прикрыли всю лавочку.

— Какую лавочку?

— Офицерскую. Какую еще? Черт их разберет, белых господ. Восстание собирают. Казаков подбивают на резню.

— Так.

— Перетакивать не будем. Все разузнал?

— А муж... муж Аинны Михайловны? Мексиканец?

— Фи! Хватился. Самой госпоже перестало икаться.

— Что? Что?

— Другого подберет, говорю.

— А где он, мексиканец?

— На том свете пасхальные яйца катает. Сама Аинна рассказывала, как иво, голубчика, красные кокнули.

— Ты это брось, хам! Я тебе как кокну!

— А ну, кокни! Моментом обухом по башке схватишь. Может, и ты такой же? И то! Гретишь на всю улицу. А я вот пойду да брякну по телефону в губчека, живо подберут. Вас еще, кажись, не всех подобрали, белых.

Грива отчаянно выматерился, бухнул ногой в калитку и пошел от негостеприимного дома Юсковых.

— Теперь все ясно. Понятно, — бормотал он вслух, размахивая руками. — А я хам, из хамов хам, бил, бил ее! О, будь оно все проклято!

Остановился, погрозил кулаками в пространство и громко крикнул:

— За кровь Арсентия, расщепай меня на лучину! О, боги! Ко всем чертям!..

В душе у него клокотало, бурлило, пенилось, и он не находил себе покоя; и сама тишина морозной улицы — предутренняя, лютая, — как будто поливала крутым кипятком.

Надо было чем-то залить пожар. Вспомнил, как еще до встречи с Дарьюшкой, бывая в Красноярске с золотопромышленником Иваницким, навещался в заведение мадам Тарабайкиной-Маньчжурской. Оно тут, это заведение, на Гостиной, сразу за углом Театрального. Туда, туда, к мадам Тарабайкиной-Маньчжурской! У нее сыщется утешение. Не плотью девиц и самой мадам, а питием, огненным питием. Пусть хоть самогонку поставит на стол!

У парадных дверей под резным карнизом не светился красный фонарь. Что она, потушила фонарь?

И опять стучался, стучался.

В глазок двери, вырезанной в форме сердца, кто-то выглянул.

— Чаво ишо, полуночник?

— Ну, открывай.

— Заведение прикрыто.

— Как так прикрыто?

— Большевики прикрыли.

— Ну, а мадам не прикрыта?

— Сама-то? Да не прикрыта покель. Упреждение сделали. Ежли, грит, поступит сигнал, что девицы сдаются, то и мадам прикроют. Строгости.

— Позови мадам.

— Занята.

— Как так занята?

— Али не знаешь, как занята? Хи-хи-хи.

— А тебя как? Аграфена, кажется?

— Ишь, помнишь! Должно, из клиентов. Я-то, слава Христе, не занята. Да стара больно. Хи-хи-хи. Иди, милай, домой. Не стучись.

— У меня нет дома. Я из тайги приехал. Инженер с приисков. С миллионщиком Иваницким бывал у вас.

— И! Так бы сразу и сказал!

Какие только двери не откроются перед именем миллионщика! Разве только двери большевистских совдепов захлопнутся перед носом миллионщика, а вот такие, как заведение мадам Тарабайкиной-Маньчжурской или двери тайных кабачков, притонов, домов перепуганных миллионщиков, — эти двери всегда распахнутся настежь.

Грузная, престарелая Аграфена провела позднего гостя в шикарную залу, где обычно принимались дорогие гости с тугой мошной.

Электрического света в заведении не было: Аграфена зажгла керосиновую лампу и ушла в покои мадам.

Мадам, придерживая пухлыми руками полы халата, щурясь на свет, вышла к гостю.

Грива назвал себя.

— Вон кто пришел! Помню. Помню. С господином Иваницким бывали. Такой ты был молосенький, стеснительный. Ишь, надумал! Да заведенье-то...

— Старуха сказала, — перебил Гавря. — Мне девиц не нужно, расщепай меня на лучину. Мне надо водки, мадам. Или самогонки. Первачу бы.

— Бедастряслась?

— Стряслась. Брата расстреляли в ЧК.

— Спаси его душу, господи! — перекрестилась мадам. — Тогда будь гостем, милый. С таким горем всех принимаю. Если не я — кто душу утешит?

... На другой день, поздним вечером, Грива дополз к дому дяди-капитана, Он был вдрызг пьян. На второй этаж карабкался на карачках. Тетя Лиза вышла на стук и ахнула:

— Боже!

Тут и Дарьюшка подбежала.

— Гавря! Гавря!

Гавря помотал башкой. Он был без шапки. Лицо у него было все в ссадинах и губы разбиты.

— А, святая душа! — узнал он жену. — Из-ви-ни! Побей меня гром! Жребий брошен. Слышишь? Жребий брошен.

Этим все было сказано.

XI

Было так...

Шашки в ножнах; мороз в накале; горы во мгле; Енисей в сизой накипи; сорок шесть тысяч населения города на Енисее — во страхе смертельной схватки совдеповцев с казачьим войском атамана Сотникова.

Лапы казачьи — на эфесах шашек, ноги в стремях, Один момент, секунда, и —

«Ша-ашки на-го-о-ло!..»

Казачье войско должно было захватить власть в Красноярске, арестовать большевиков, разогнать Советы и установить власть подпольного эсеровского «Союза освобождения России от большевизма».

Первым блином был Иркутск...

Восьмого декабря 1917 года иркутские эсеры и меньшевики, действуя по указанию своего центра и томской «Сибоблдумы», подняли мятеж мокрогубых юнкеров, офицеров и забайкальских казаков. До 17 декабря на улицах Иркутска шли нестихающие кровопролитные бои с отрядами Красной гвардии. В улицах гремела артиллерия. На помощь иркутским частям Красной гвардии были посланы лучшие красногвардейские отряды Красноярска, Ачинска и Черемхова — города угольщиков. Военно-революционный Комитет Красноярска назначил командующим всеми вооруженными силами Иркутска члена Красноярского соединенного исполкома, бывшего прапорщика, Сергея Лазо. Мятеж был подавлен. Но не успели вернуться красноярские красногвардейцы к себе домой, как атаман Енисейского казачьего войска эсер Сотников открыто выступил против

губернского большевистского исполкома. Он категорически отказался выполнить постановление о переводе казачьего войска на мирное положение и стал собирать вокруг себя все контрреволюционные силы города. К нему шли семинаристы, явился пророк Моисей из староверческого скита, примкнули беглые офицеры из Иркутска и все недовольные Советской властью, и, понятно, шло к нему золото из буржуазных тайников Гадаловых, Чевелева, Кузнецова, Афанасьева — бывшего управляющего Русско-Азиатским банком.

Губисполком спешно создал особый революционный штаб по борьбе с казаками. Не теряя времени, военно-революционный Комитет доставил из Томска артиллерийский батальон. Пушки установили на горе с прямой наводкой на казачьи казармы; пушки ждали казаков на Старобазарной площади, и казаки дрогнули...

Ультиматум гласил:

«Город объявлен на осадном положении;

в течение двух часов казачий дивизион должен сложить оружие и перейти на мирное положение;

время на раздумье отпущено: до 7 часов утра 19 января 1918 года...»

Шашки остались в ножнах.

В четыре часа поутру атаман со своим войском бежал в станицу Торгашино и там создал свой «революционный штаб социалистов-революционеров для освобождения Сибири от большевиков» и обратился к населению губернии с призывом к восстанию. Воззвание атаманского штаба было подхвачено эсерами. Бюро эсеров выставило его в своих витринах и напечатало в газете «Свободная Сибирь». Военно-революционный штаб арестовал бюро эсеров; части Красной гвардии двинулись на Торгашино. В самом казачьем дивизионе меж тем всяк тянул в свою сторону. Пророк Моисей призывал казаков и все «белое праведное воинство» не отступать перед большевиками, а лобанить, лобанить красных. Но не удалось лобанить — казаки уперлись — баста! Навоевались, хватит, пора разъезжаться по своим станицам. Отвалились эскадроны и сотни нижне-енисейских станиц Абалаково, Есаулово, Атаманово, Казачинска и Енисейска; ушли гимназисты, и длинноволосые семинаристы, и часть армейских офицеров...

Почтово-телеграфное агентство сообщило в газету «Правда»:

«Красноярск, 28 января. Введенное 19 января осадное положение снято 26 января постановлением губернского Исполнительного комитета; революционный штаб распущен; казаки разбрелись по деревням; белогвардейцы, гимназисты, воспитанники духовной семинарии и часть офицеров вернулись в город и сдались. Крестьяне отказываются снабжать казаков и выгоняют их из деревень. На днях Сибирский банк прекращает деятельность, балансы его принимает Госбанк. В Госбанке имеется 26 пудов 26 фунтов золота. Нет денежных знаков, поэтому банк приостановил операции. На почте обнаружено 9 посылок серебра слитками по 4 пуда и 35 фунтов каждый из Екатеринбурга. Серебро конфисковано. Открылась вторая сессия уездного крестьянского Совета...»

XII

Все перепуталось в городе на Енисее — казаки — казаки — осадное положение — 26 пудов 26 фунтов золота — балансы принимает новоявленный Госбанк — 9 посылок серебра — лязганье затворов — безусые гимназисты — офицеры — пророк Моисей — белогвардейцы...

Так, значит, они уже появились, белые? Кто их, впервые назвал так? Еще не обожгла щеки и обнаженную грудь Сибири гражданская заваруха, еще казаки сонно и покойно тряслись в своих седлах вверх по Енисею к Даурску, а некий безвестный журналист почтово-телеграфного агентства, телеграфируя в «Правду», употребил такое слово — белогвардейцы...

Белые, белые!..

Как будто все просто и обычно...

И не просто и не обычно.

Город был парализован — бастовали банковские служащие, прекратив все операции по наущению Афанасьева и Николая Гадалова; бастовали губернские чиновники по наущению Свешникова, бастовали и требовали, требовали:

— Советы без большевиков! — Это был вопль эсеров.

Миллионщики и банкиры губернии вели тайный сговор с американскими, английскими и французскими представителями миссий и фирм, обещая забастовщикам выплачивать зарплату в золотой валюте в течение шести месяцев, только бастуйте, не сотрудничайте с большевиками...

Слитки серебра из Екатеринбурга поступили на предьявителя государственного *императорского* векселя за номером БФ-01 097...

Предьявитель странного векселя не явился на почту. Кто был этот таинственный человек?

Двадцать седьмого июля 1918 года, после трагических событий в Красноярске, предьявитель нашелся. Принял его самолично... Алексей Иванович Афанасьев! Афанасьев-банкир и выдал серебро предьявителю векселя. Это был... японский загадочный коммерсант, господин Акут Тао Саямо, и вексель его был японский, действительно императорский. Тот самый Акут Тао Саямо, который когда-то дремал в мягком кресле в доме ныне покойного Михайлы Михайловича Юскова.

А сессия? На сессии тоже не все шло ладно. Зажиточные мужики вопили о притеснениях совдеповцев, требовали, чтоб город не лез к ним в закрома, не выгребал хлеб, ничего не давая взамен; эсеры закатывали речи, во всем обвиняя большевиков — в разрухе, в беспорядках в губернии, в неумении хозяйствовать. Колобродь — не сессия!

Да и с казаками все было не так просто.

Из Даурска пришло сообщение, что войско атамана Сотникова движется в Минусинский уезд — сто семьдесят пять конных и на двадцати подводах беглые офицеры и штатские, вооруженные винтовками, и чуть не на каждых санях по пулемету...

С войском Сотникова ехал и руководитель красноярского бюро эсеров Яков Михайлович Штибен, некогда отбывавший ссылку в Туруханске.

Про Якова Штибена сами казаки говорили, что это был до того умный оратор, что атаман Сотников ходил перед ним на задних лапках. В Даурске Штибен созвал чрезвычайный волостной съезд интеллигенции и богатых мужиков, три часа держал речь, проклиная большевиков до того дюже, что его вынесли потом на руках в

двухэтажный белый дом купца Белянкина, где был дан офицерам пир на весь мир.

Не ушел со своими казаками и командир 1-го Енисейского казачьего полка хорунжий Розанов вместе со своим сотником Ивановым.

В каждой волости казаки устанавливали свои порядки: проводились митинги, съезды, сходки, смещали совдеповцев-большевиков, подсказывая кулакам брать власть в свои руки. В Новоселовой дело дошло до того, что богатые крестьяне готовы были разорвать большевиков, но сам атаман не допустил кровопролития:

— Миром надо, мужики. Миром. Гоните большевиков — и баста. Не давайте им власти.

И — гнали.

Пророк Моисей ехал верхом на рыжем Вельзевуле из деревни в деревню впереди казаков, призывая лобанить красных:

— Обухом в лоб — и каюк.

Офицеры, тайно совещаясь, поговаривали, что вот-вот во Владивостоке высадится десант английских, французских, американских и японских войск. Вот тогда...

А в тылу, на рельсах, от Самары до Иркутска — чешские эшелоны...

Вопль стелется и стелется желтым дымом...

ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ

I

В лютые морозы, в затишье слышно, как трещат старые кости дерева, и оно, кутаясь в белую шубу куржака, похоже на древнего старца.

Старец — Филарет Боровиков, пугачевец...

От бабки Ефимии довелось узнать, как Филарет Боровиков в оную пору, скрываясь от барщины, скитался по Оренбургским степям, покуда судьба не свела с единоверцем Емельяном Пугачевым. И как они собирали войско и Казань брали, да не вместе на казнь пошли.

Кто про то ведает?

Не доживи бабка Ефимия до таких годов, никто бы понятия не имел ни о поморцах-раскольниках, ни о самом Филарете. Мало ли на деревне разных фамилий, а кому известны истоки их? Письменно не врублено в лист, а память людская куцая, как заячий хвост.

Согбенная, почерневшая, как картошка в огне, почти живьем вросшая в землю, с крючковатым носом, бабка Ефимия в некотором роде была особенной старухой. Неумная, суетливая и, что самое удивительное — до последнего дня своей долгой жизни читала Библию без очков, толкуя Писание на свой лад, за что и предана была анафеме еще в пору девичества в выговском монастыре, в Поморье.

Частенько бабка Ефимия навещала боровиковский тополь, садилась там на собственную скамеечку, бормоча «Песню Песней» или Давидовы псалмы.

Странно было видеть согбенную старушонку под старым деревом, похожую на черную взлохмаченную непогодьем птицу. Сидит другой раз час, два, и какие картины из прошлого воскресают в ее памяти... Иногда ей будто слышится, что где-то рядом в чернолесье раздается таинственный и жуткий звон кандалных цепей...

Динь-бом, динь-бом...

Слышен звон кандалный.

Динь-бом, динь-бом...

Путь сибирский дальний...

Идут, идут колодники Сибирским трактом, взметая цепями дорожную пыль. Идут на каторгу...

— Господи! Доколе цепи звенеть будут? — спрашивает себя бабка Ефимия и снова заново переживает всю свою долгую и нелегкую жизнь.

И каждый раз, воскрешая былое, то видит себя монастырской белицей в пещере Амвросия Лексинского, то во власянице, когда ее объявили еретичкой и вели связанной на суд церковного собора, то на руках охотника Мокея Боровикова, то молодой на берегу Ишима, где встретила с беглым каторжником декабристом Лопаревым, то вдруг вспомнится старец Филарет — белая борода в аршин, взгляд изгоя-мучителя.

Старец Филарет грозит пальцем:

— Ох, ведьма, ведьма! Порушила праведную крепость поганым словом своим; отринула веру праведную и стала ведьмой. Не замолить тебе сей грех и водой не запить. Сама смерть отторгнет тебя, яко погань нечестивую.

И тогда бабка Ефимия, падая на колени возле тополя, молит бога, чтоб он смилостивился над ее бранным телом: «Прими, прими мя, создатель. Порушила я крепость изгоя Филарета; не от бога то, от сатаны рыкающего. Кровью кровь обмывал; ранами раны лечил, и люди гибли во тьме и невежестве. Али не ты, Филарет, пытал меня в моленной избе — жег мое тело железом, бил посохом, а поганые твои апостолы, исполняя волю твою, удушили сына мово, Веденейку махонького? Зверь ты, скажи, али человек? Зверь, зверь! И нет тебе прощения во веки веков. Пусть я живу, маюсь, но покуда я живу — проклинать буду тебя до седьмого колена, мучителя!..»

Молилась и за убиенного каторжника Лопарева:

«Прости мне, Александра, хлад в сердце моем. Не было во мне тепла, когда мучитель Филарет удушил мово Веденейку. Дай, господи, вечную память тебе, Александра. Не от тебя детей народила, оттого, может, живу и не живу, а маюсь, и не зрю века. Пережила я сынов своих немилостивых, дочерей своих нерадостных, и нет мне исхода!»

И казалось бабке Ефимии, что старый тополь вдруг начинал шуметь грозно, будто слова выговаривал: «Молись, молись, блудница. В сердце твоём несть бога. Нету. Нету!»

И тогда бабка Ефимия горестно плакала, выплескивая в скорбные ладони: «Да есть ли ты, господи?»

И не было ответа.

II

Старый, старый тополь!..

Бывало, старик казался страшным, неким неземным чудищем, как будто это было не дерево, а само исчадие ада. Таким его видела Дарьюшка в ту непогодную, свистящую ночь, когда бежала из отчего дома и в поисках пристанища постучалась в окно моленной горницы Боровиковых. Из окна рыкнул на нее старик, лохматый, как леший, глазастый, а сучья тополя, цепляясь за одежду Дарьюшки, как будто

хотели разорвать несчастную. А сколько же горючих слез вымотала на кулак Меланья с младенцем на руках, когда Филимон Прокопьевич наложил на нее тяжкий обет радеть под святым деревом ночи напролет! То были осенние, лютые ночи с морозцем. Кутая младенца в шубу, исходя ознобом, Меланья жалась у старого тополя и молилась всем святым, чтоб господь смилостивился и дал ей с младенцем смерть вместо мученической жизни, а тополь так это устрашающе гудел над ее головою!

III

Филаретова кровушка взыграла в Тимофее. Неумная, неприкаянная к углам и притолокам, она будто гнала Тимофея по белу свету, и он нигде не находил себе покоя.

Прокопий Веденеевич отторг непутевого сына, а кровь сочилась: сын ведь, не мякинное брюхо, силушка! Но чья силушка? Анчихриста. Не миловать, биться надо не на живот, а на смерть.

Наведываясь к Филимону в дом, старик запирался в моленной горнице и, часами выстаивая на коленях, не раз ловил себя, что не богу молится, а смутные мирские думы ворошит перед образами. Как жить, коль анчихрист сошел на землю под прозванием красных? И сын Тимофей пожаловал снова в тайгу из Петрограда — самый что ни на есть красный и безбожник!

Заговорить бы Меланье с батюшкой, да не решалась: сердитым был старик. Помолится наедине и молча уйдет к своей единомерке Лизаветушке.

Меланья тоже молилась на старинные иконы, а потом подходила к окошку, засматриваясь на белый тополь, ждала некоей милости господней.

Филимон Прокопьевич поговаривал: не поехать ли в Каратуз в православную церковь, кому-то надо грехи отдать? А где крестить ребенка? Народилось чадо после окаянного выродка Димки — Филимоново чадо — девчонка, и до сей поры как подкидыш у крыльца. Ни в лохань не окунули, ни крестом не осенили, ни песнопеньем не усладились. Нехристь растет. Беда пристигла. Погибель. И на деревню глаз не кажи — круговорот, порядка нет. Сперва шумнула власть временная, без царя и урядника, потом

временную пихнули, и объявились красные. К чему бы то? К гибели или ко здравью?

Ума не мог приложить...

Мороз устилал узорами стекла, чадно дымилось смолье на каменке русской печи. Меланья вязала варежку возле огня. Филимон драил суконкой медные бляхи на выездной сбруе — в дорогу собирался. С продрозверсткой выкрутился. Натё, жрите, содомовцы! Теперь поедет в Минусинск деньгу зашибать. До весны; пожалуй.

Ребятенки — чернявая Маня и несмышлениш Димка — шестой месяц по второму году, забавлялись возле хомутов.

Медные побрякушки блестят, а от наборных шлей и уздечек так вкусно пахнет дегтем.

Поздний вечер. Побаски да сказки бы слушать. Но не речист Филимон Прокопьевич, не потешит Меланью притчами из Святого писания и бывальщину не утыкает цветами, чтоб скука не замывала сердце: сопит да молчит.

Меланья зевнула:

— Апроська чей-то припозднилась...

— И то! — фыркнул Филя. — Ты смотри тут без меня, доглядывай за ней. На деревню чтоб нос не совала — моментом совратится.

— Дык я и так не отпускаю. Сам повелел пойти разузнать, каких заарестованных привезли с тайги.

Филя сосредоточился на медных бляшках. Не сбруя — загляденье. Хоть не малиновые перезвоны, как у Юсковых, но форсу задать можно. Да и рысаки удались на славу: рвут как дым из трубы в морозную ночь.

В избе жарко. Топится железная печка. Дверь по углам заиндевила, а на пороге сверток кошмы, чтобы не тянуло холодом в ноги.

По хозяйству управились. Рысаки в конюшне, Буланка тоже уминает сено. Надо бы еще коня купить, да кто знает, какая жизнь будет при красных? Две коровы в стайке — одна с новотелу, другая вот-вот будет. Меланья ночами наведывается к стельной Пеструшке: вдруг отелится и телушка замерзнет? Возле двери у лавки лежит на подостланной соломе молосная телочка — красненькая, и копытца беленькие. По всем приметам — добрая корова будет. Отсудил

Апроське. Как ни говори, а сироту придется выдать замуж, — не голую же спихнуть с рук. Мало ли Апроська переворачивала в доме! В шестке, устроенном под печью и в бабьем углу под лавкой — три десятка кур и хриловатый петух, умеющий драть горло не хуже ревкомовца Мамонта Головни. Филя так и звал петуха: «Головня». В подполье десятков колодок пчел — как без меда жить ребятам, коль сахару давным-давно нету в деревне? Под теплыми сенями устроен хлев, и там обитает хрюкающее население. Возле коровника овечий пригон на два десятка овец и баранов, крытый покатым навесом от сивера — ледяного ветра с поймы Малтата. Четырех баранов пришлось прирезать и сдать в продразверстку. Легко ли! Кишка за кишку заходила от жалости. И так они бляли, горемычные, будто чуяли, что режут их не для Филиного брюха, а в продразверстку для каких-то пролетариев, как пояснил председатель ревкома Мамонт Головня.

Хозяйство немалое — знай поворачивайся. Без работающей Апроськи не управились бы. Вжилась сирота в семью, как витка в иглоку. А с весны и до осени — чужие руки, поселенческие.

— Идет Апроська, — сказала Меланья. Разгоряченная морозом, не по годам рослая и ладная, в рыжем полушубчике с Меланьиных плеч, в разбухших подшитых валенках и в суконной старушечьей шали, Апроська внесла в избу вместе с холодом улицы обжигающие новости:

— Ой, чо деется! — громко оповестила, стягивая шаль и полушубок. — Чо деется!..

Филя отложил сбрую, Меланья — рукоделье.

— С двух приисков привезли заарестованных. С Благодатного самого Ухоздвигова с Урваном, а с Ольховки анжинера Гриву, который мужиком будет учительши Дарьи Елизаровны, да подрядчика какого-то и еще двух сынов самого Ухоздвигова, охицеров. Иннокентия Иннокентьевича будто и Андрея Иннокентьевича будто. И оружия много нашли. Восстание будто подымать хотели.

— Будоражатся, будоражатся, — бормотал Филя, почесывая толстый зад. — К весне, может, и подымут. Схлестнутся красные с белыми. Ипеть грабировка будет для мужиков.

— Казаков Потылицыных всех заарестовали, — продолжала Апроська.

— Ишь ты! Настал черед и для казаков, — обрадовался Филя.

— Сумкова старика заарестовали, который сродственник атаману Сотникову. Охицера Потылицына ишшут. По всем казакам ходют с винтовками. Страхи! К ревкому близко не подпушают...

Филя поднялся, поцарапал в затылке:

— Ишь как красные разворачиваются!

— Страхота, страхота! — тараторила Апроська.

— Спаси господи! — крестилась Меланья.

— Господь таперича не спасет, потому как красные от анчихриста власть держат, — сказал Филя.

— Самого Елизара Елизаровича заарестовали и учительшу Дарью Елизаровну заарестовали. Школу теперь прикрыли.

— Слава Христе! — помолился Филя.

— Насовсем прикрыли! У бабки Ефимии обыск был, когда анжинера Гриву привезли с тайги. Ой, что деется!.. Сама бабка с Дарьей Елизаровной, сказывают, со святым Ананием заодно, нюх в нюх. И сам святой Ананий был у их в дому, ей-бо! Пришли, значит, заарестовать, а он какдохнет на всех, так ревкомовцы с ног попадали. «Изыди, грит, нечистая сила!» А когда ревкомовцы в память пришли, святой Ананий на небеси поднялся али невидимый стал. Ей-бо! Бабка Акимиха сказывала. И все, все про святого Анания шепчутся и молятся, молятся...

Апроська истово перекрестилась, за нею Меланья, потом Филимон Прокопьевич.

Про явление святого Анания вся тайга гудит с осени. То в одной деревне видели, будто и реченье слушали; то в другой деревне. Никто толком не знал, какой веры святой Ананий. Если поповской — еретик, если дырник — тоже еретик; если федосеевец-рябиновец, как Юсковы, тоже понятно, еретик. Сама-то бабка Ефимия чистая ведьма. Как же мог святой Ананий появиться у нее? Другое дело, если бы святой Ананий, призывающий народ к восстанию против красных, переступил порог дома Филимона Прокопьевича! Тогда бы он был настоящий святой и, конечно, праведник. Надо бы спросить у батюшки: молиться ли во здравие святого Анания или анафеме предать как нечистую силу?

— Что будет-то с миллионщиками? — спрашивает Меланья.

— Выдают золотишко, чаво более? — зевнул Филя. Апроська еще вспомнила:

— Елизар-то Елизарович, сказывают, не пьет, не ест под арестом.

— Ничаво! — хмыкнул Филя. — Как живот утянет под ребра, пить и жрать будет. Полтину мне тогда пожалел на параходе, а вот подоспел час — мильены выдают с его! Так ему и надо: жмон, какого свет не знал, собака! И есаул такоже — собака.

— А бабы-то, бабы-то заарестованных как ревут! На всю улицу! — насыщала Апроська новостями.

— Припекло и баб...

— Ой, как припекло, тятенька! — Апроська звала хозяина тятенькой так же, как Прокопия Веденеевича. — Сказывают, будто Ухоздвигов золото попрятал в тайге.

— Ничаво, красные сыщут!

— Ждут Тимофея Прокопьевича из Минусинска. Ольга-приискательница поехала за им.

Филя поскреб в бороде:

— Тимоху ждут?

— Сама слышала, как Аркашка Зырян сказал: «Сегодня должен быть Тимофей Прокопич, и мы, грит, устроим миллионщикам полную растребиловку».

— Оно так, устроят! — поддакнул Филя. — Особливо Юскову и Дарье Елизаровне. У Тимохи давно зуб на них. Сила у него огромятущая — в самой чике как вроде генерал. Комиссаром прозывается.

— Зайдет ли к нам в гости-то?

— Чаво ему таперича у нас делать? — огрызнулся уже сонный Филя. — Хлебушка у нас и без него выдавили — жди до другой беды. Нечистый дух и есть!

— Сказывают — голод в Расее?

— Мрут, — снова зевнул Филя. — Они там завсегда пухнут и мрут. На каждой десятине как вшей на гашнике. Лаптями ворочают землю — как не пухнуть? Мы плугами пашем, они — лаптями. Сбруя такая на ногах.

Апроська, выплеснув все новости, с тем же проворством взялась прибираться в избе.

— Какая такая чика есть, где Тимофей Прокопьевич генералом? — спросила Меланья.

— Чика? — Филя малость подумал. — Да вроде как сама преисподня, геенна огненна. Не дай-то господи! Спаси и сохрани. В городе песню такую поют: «В губчику попадешь — не воротишься». Оборони господи!

— И ты ипеть в город поедешь... — бормотнула Меланья.

— А чо? Мое дело такое — ямщицкое.

— А вдруг повезешь кого, а он самый что ни на есть красный, и в чику тебя посадят?

— Молчай, дура! — прищыкнул Филя: он и сам о том не раз подумывал. — На молитву таперича...

Меланья зажгла свечные огарыши у икон...

Филимон Прокопьевич первым опустился на колени, за ним Меланья, Апроська, Маня и Димка тоже стали на колени. Филя читал молитву, Меланья повторяла, Апроська подхватывала. А по черным иконам — трепетные блики...

В жилой горнице запищала «нехрещеная душа» — восьмимесячная Фрося. Имени у некрещеной души еще не было, и ее звали по имени няньки — надо ж как-то звать.

Меланья потушила смолевые полешки на каменке, перекрестила цело печи, чтоб нечистый через дымовую трубу не проник, потом перекрестила куть, ухваты, три окна, дверь в жилую комнату и тогда уже легла, не смея потеснить Филю, развалившегося на двух подушках.

— Ежли Тимоха заявится без меня, мотрай не потчуй. Оборони господи! Подтощалую покажи из себя, и также Апроська. Пухнем, мол, с голоду. Хлебушка весь вывезли, и Филимон Прокопьевич, скажешь, в город поехал ямщину гонять, чтоб хлебушка купить на пропитанье.

— Али он в другой раз продразверстку потребует? — спросила Меланья. — Брат ведь твой, сродственник.

— Истая дура! Какой он такой сродственник, коль под анчихристом ходит?

— Чо буде-то с миллионщиками?

— Гм... Выведут ночью в пойму и прикончат. Как пить дать. Всех миллионщиков прикончат: казаков подбивали на восстание. Еще

есаула сыщут. Аминь тогда!

— И анжинера застрелят?

— Какого анжинера?

— Да мужика Дарьи Елизаровны?

— Прикончат. Всех прикончат.

— Господи!

— Молитвой обороняться надо. Да на деревню мотрай не ходи!

— Спаси Христос!

— В дом никого не пушай.

— Не пущу. Вот те крест — не пущу!

— У тятеньки спроси, ежели придет: возносить ли молитву во здравие святого Анания, какой объявился таперича, али анафему? Ежли, мол, святой Ананий бывал в доме ведьмы Ефимии, то он нечистый дух, должно?

— Спрошу, — тихо обещала Меланья. Но Филя, помолчав, передумал:

— Не, не спрашивай про святого Анания. Сам возвернусь и разузнаю, как и што. А ты с тятенькой в разговор не вступай. Мотрай!

— Ладно, — кротко обещала Меланья.

— Таперь спи. Утре ехать.

Филя отвернулся к стене, потеснив Меланью спиной, и вскоре захрапел на всю избу. Ночь...

V

Когда под шестком загорланил полуночный петух и Филя, насыщаясь крепким сном, вдруг увидел себя в обнимку с телесой искусительницей Харитиньей из Ошаровой, с которой когда-то миловался на сплаве скитского леса по реке Мане, вдруг кто-то настойчиво постучал в ставень из ограды. Меланья проснулась, торкнула мужа в плечо, но разве добудишься, если Филю опеленал такой сладкий сон и он никак не хотел расставаться с Харитиньей из Ошаровой.

— Хтой-то стучится, Филя! — тормошила Меланья.

— Харитипьюшка!.. Шанежка сдобная! — бормотнул муж, чмокая губами.

Меланья так и похолодела. Не первый раз она слышит это имя. И всегда он зовет некую Харитинью во сне и врет наяву. Станет Меланья допытываться — кто такая, Филя пристращает перетягой да скажет: «Святую Харитинью не знаешь, дура, а молитву богу возносишь!» И Меланья сколько раз молилась святой Харитинье. Но как же можно святую Харитинью называть, хоть и во сне, сдобной шанежкой да, чего доброго, целовать ее?

Не ведала Меланья тайны Филимона Прокопьевича. Каждый раз, гоня ямщину из Минусинска в Красноярск, он останавливался на суточный постой в деревушке Ошаровой, близ Красноярска, в доме вдовушки Харитиньи и миловался со сдобной шанежкой, да еще и подарками ублаgotворял белокриничницу-раскольницу весьма веселого нрава. Если бы не хозяйство — давно бы махнул рукой на Белую Елань да подвалился к Харитинье, как бревно к берегу. Жили бы не тужили, души не чая друг в друге. И вот сегодня, засыпая, Филя сладостно подумал о том, как он повезет кого из Минусинска в Красноярск, а на обратном пути завернет в гости к милой. В предвкушении такой отрады и явилась к нему во сне Харитинья... Теперь кто-то стучал в ставень горницы.

Меланья перекрестилась, вышла в темную избу в исподней рубаше, нашарила на каменке серянки, зажгла сальную коптилку.

Стучали в сенную дверь. Кто бы это среди ночи? Набросила на плечи полушубок и, не переступая порога, окликнула:

— Хтой-то?

— Спаси Христе, — узнала голос свекра. — Открой, Меланья.

— Спаси Христе, батюшка!

Старик прошел в избу в своей длиннополой шубе с болтающимся по полу хвостом (не отрезать же половину овчины, если она даже оказалась лишней). Огляделся:

— Чужих никого?

— Нету, батюшка, — потупилась Меланья.

— Слава Христе. Ступай буди Филимона. Да чтоб тихо! Пусть живее оболкнетса да придет в моленную безо всякого шума. Ребяенок с Апроськой не вскинь, пусть спят. И сама ложись потом. Дай серянки! Да горницу закрой и не выглядывай...

Старик подождал, пока Меланья закрыла за собою дверь в моленную, а сам вышел в сени, потом на крыльцо. Огляделся,

прислушиваясь. Тихо. Только мороз щелкает, как голодный кобель зубами перед охотой. Не воздух — само огневище белым инеем стелется.

— Ананий! — тихо позвал Прокопий.

Откуда-то из-под крытой завозни послышались шаги: скрр... скрр... Как по стеклу. На крыльцо поднялся человек, укутанный с ног до головы в лохматую собачью доху.

Старик провел его в сени, закрыл за собою дверь, а тогда уже прошли в избу и, не задерживаясь, так же молча, спрятались в моленной горнице...

Филя брыкался, как мерин, мычал что-то в бороду, но Меланья все-таки подняла, втолковав, что в моленной ждет отец, Прокопий Веденеевич.

— Чаво ему среди ночи-то? — воркнул Филя, но тут же Меланья закрыла ему волосатую пасть.

— Тихо, тихо! Батюшка так велел.

Хоть и сладок полуночный сон, а пришлось сжевать его. Натянув стеганые шаровары, обулся в новые валенки, вылез из горницы, не закрыв двери; Меланья тут же прикрыла.

В моленной у икон горела одна толстая восковая свеча. Отец и еще кто-то в черненой борчатке, черноголовый, стояли на коленях. Филя тоже опустился на колени и не успел наложить на себя большой крест, как отец оглянулся и будто пронзил взглядом:

— Сказывай, раб божий, веруешь ли во Христа-спасителя, во господя бога, во святого духа и во тополевыи толк, какой заповедывали нам отцы наши от века?

— Истинно верую, батюшка, — вытаращил глаза Филя.

— Я те не батюшка, а духовник, пред которым ты должен на коленях ползать, мякинная утроба! — рыкнул батюшка, и глаза его под седыми метелками засветились угрозой. — Настал час вытряхнуть из тебя мякину, какой набита твоя башка, а так и брюхо!

— Тятенька!.. — поперхнулся Филя, почуяв недоброе.

— Тверд ли ты в вере, сказывай!

— Дык... дык...

— Сказывай! Али ко апчихристу во хвостатое войско переметнешься? Звезду на лоб прицепишь?

— Оборони господь! Прокопий торжественно затынул:

— Господи Иисусе, сыне божий, помилуй нас! Слава отцу, и сыну, и святому духу, аминь! Господи, благослови раба божьего Филимона на боренье со анчихристовой силой, и штоб была ему твердь в ноги, в башку, в грудь, в печенку, в селезенку...

Помолились и за печенку и за селезенку...

— Пред иконами клятву дал, помни! — погрозил отец двоеперстием. — От сего дня во сражение идешь со анчихристом. И будет тебе радость и вечное царство во чертоге господнем.

У Фили по спине мороз, а из ноздрей жар пышет.

— Во какое сраженье, тятенька?

— Со нечистой силой!

И Прокопий Веденеевич устрашающе поведал, что настал час, когда надо спастись от анчихриста не крестом и молитвою, а топором, огнем и оружием. Анчихрист опеленал всю Расею — от тьмы до тьмы, и если праведники, истинно верующие во Христа, в бога и святого духа, не ринутся в битву в назначенный час, то все поголовно передохнут, и никто из них не удостоен будет вечной жизни во царствии господнем. Но праведники не дремлют, войско собирают и одолеют потом нечистую силу. В предстоящей битве раб божий Филимон должен, мол, отличиться храбростью, а не мякинной утробой.

Ах, вот к чему клонит батюшка! Тут что-то неладно. Нет, Филя не собирается сражаться со анчихристом, не его дело суд божий вершить на земле, — его дело хозяйство вести, от власти выкрутиться, чтоб лишний пуд хлеба не сдать в продразверстку, золотишка накопить, трудное время в ладонях перетереть, а не губить сдуру голову в каком-то сраженье. Не с добром явился тятенька среди ночи да еще человека притащил с собою, и тот стоит на коленях спиною к Филе и усердно молится. Что он умыслил?

Надо» пока молчать, с умом собраться и рассудить потом, что к чему. Тятеньке что — ни хозяйства, ни тяжести, знай читай всеобщные молитвы. А у Фили забот невпроворот. К тому же — тополевы толк отринул же? Не сказал о том отцу — сам еще не определил себя, в какой он вере. А без веры разве можно? Еретиком будешь, как Тимоха-оборотень...

Тятенька будто догадался, о чем думал Филя.

— Сказывай, какой разговор завяжешь со еретиком, какой объявился под прозванием комиссара?

— Дык... дык... на кой он мне, нечистый дух.

— Позовешь ли ты нечистого в свой дом?

— Оборони бог! Хоть Меланью спросите, тятенька! Вечером наказал ей: как заявится оборотень, чтоб воплем изгнала его и чрез порог не пускала.

Старик воздел руки к иконам:

— Слышишь ли ты, господи? Прозрей очи мои, дай мне силу дымом извеять нечистого, какой отринул веру нашу, попрал стяжю нашу и переметнулся, яко змий, во анчихристово войско! И пусть будет ему вечное проклятье! И пусть не зрит он детей, ни своих костей, ни крови своей. И пусть не будет земля ему землею, а камнем, и не возлежать ему на сем камне, не стоять, не ходить, а в геенну огненну ввергнутым быть. Аминь!

— Аминь! — громко сказал чужой человек.

— Аминь, — подвыл Филя со страху. Как-никак Тимоха-то хоть и оборотень, а зла большого не внес в дом...

Некоторое время лохматый старик молился молча, как и человек в борчатке, потом спросил у сына:

— Молился ли ты, не отринувший праведную веру тополевою, чтоб отец твой, духовник твой, возвратился в дом сей и был хозяином?

Вот так ловушка! Не к тому ли тятенька и затеял всю эту всенощную молитву, чтоб лишить хозяйства Филимона Прокопьевича?

— Сказывай!

— Неможно то, — трудно вывернул Филя, подымаясь с колен: не перед образами же делить хозяйство... — Неможно то, тятенька. Как была промеж нас драка за то паскудство...

— Паскудство, гришь? — Отец поднялся, словно коршун с камня. — Драка, гришь? За ту драку, нетопырь, кишки с тебя выну и свиньям кину! Святой Ананий поможет в том, — ткнул в сторону человека в борчатке.

У Фили даже зарябило в глазах: в моленной святой Ананий! Шутка ли?! Не в рубище пустытника или окутанный в облако, каким его видели будто старухи, а в черной борчатке с перехватом у пояса, и голова черная; волосы на голове не длинные, как у святых на иконах. Но ведь сказано же — святой Ананий!

— Господи помилуй! — перекрестился Филя.

— Не помилует господь, не помилует! — гремел родитель, попранный из собственного дома. — Нету милости еретику, какой веру отрыгнул, и мякиной брюхо набил себе, и возрадовался, яко собака, или того хуже, и ко анчихристу во хвостатое войско переметнулся! Не будет тебе спасения — геенна будет, геенна!

— Тятенька, тятенька... — пятился Филя, готовый кинуться вон из моленной. — Меланья — баба моя, а ты — родитель — экое паскудство учинил, экое! Не от бога то! Не от бога! Не веру я попраю, а паскудство. Срам-то экий!

— Срам, гришь? Паскудство?

Филя бежал бы, если б вдруг не раздался громкий голос святого Анания:

— Пусть будет мир в доме сем, господи! И пусть сын почитает отца, яко праведника господнего, и благодать будет, и радость будет. Аминь!

Филя таращился на его черный затылок, и ноги будто и в самом деле мякинными стали.

— На колени, паскудник! — рыкнул отец, и сам опустился на колени.

— Дык... дык... осподи! — бормотал Филя, размашисто крестясь и отвешивая поклоны.

Святой Ананий протянул руку к иконам:

— В горнице сей, господи, три тела, шесть рук, три головы, три души. Да будет прозренье на три души, на три головы, на три тела! Аминь!

Такую молитву Филимон Прокопьевич впервые слышал и разумел ее, принимая. Это совсем не то, что он заучил на старославянском от батюшки, не понимая ни слов ни смысла.

— Время настало смутное, тяжкое, — продолжал святой Ананий хрипловатым, простуженным голосом. — Разор и погибель будет, господи, если люди твоя не подымутся на анчихриста, какой сошел на землю со звездой во лбу. И голод, и холод, и мор будет. Был хлеб — не будет хлеба. Придут злодеи нечистого — возьмут хлеб, скотину и животину, бабу и дите попрут, потопчут и пир сатаны устроят.

— Истинно так! — подхватил Прокопий Веденеевич.

— Кто слаб в вере — погибнет, кто слаб духом — погибнет. И не станет на земле ни людей, ни птиц, ни жита.

— Помилуй нас, господи! — затянул старик.

— Да будет вам прозрение в моленной сей, и радость потом будет, и веселье, жито и скотина! Говорю вам, — пророчествовал святой Ананий, — сын познает отца, и поклон отдаст отцу, и отец станет праведником, и сын сыном праведника. И будет две радости на две души. Знайте! Сошел на землю зверь с семью головами и десятью удесятью рогами. Пасть у него, как у льва, ноги у него, как у медведя, и дал ему дракон силу и престол свой и великую власть. И открыл зверь пасть для хулы на бога и живущих на небеси. Кто имеет ухо, да слышит...

Филя, понятно, имел ухо, хоть и туговатое, но все же ухо.

— Кто имеет ум, тот сочти число зверя: ибо это число человеческое. Число его — шестьсот шестьдесят шесть!

Филимон Прокопьевич знал Апокалипсис Иоанна и потому не очень испугался. Страшным зверем тятенька пугал Филю сызмальства и всех сирых и немощных духом, кто приходил на моленья.

— И скажу вам, — продолжал святой Ананий, — будет День, и ночь будет. И станут два праведника, две души осиянные, и зреть будут, как зверь, какой сошел на землю, будет кинут в смрадное озеро, в кипящую серу горячу. И

дым пойдет от озера. И скажу вам: спасенье ваше во крепости тополевой, яко праведной, какую вынесли отцы наши, деды наши из земли Поморской.

Филя напрягся, как мерин, вытягивающий тяжелый воз на крутую гору. Сказано-то кем — святым Ананием! Топелевый толк — праведный, богоугодный, а он не раз усомнился в том. «Осподи, помилуй мя, грешного!»

— И сказано пророками, — вещал святой Ананий, — живущие во тополевом толке угодны господу богу, и радость им от века! Жена, какая входит в дом, в жены к сыну хозяина дома, пусть станет женою два раза: духовнику, какой веру правит и молитву спасителю возносит, и сыну, который веру блюдет и на поклон людей в дом отца своего ведет. И родит жена в доме сем праведника, и станет имя праведника Диомид, что означает: воссиянный пред престолом творца нашего!

— Воссиянный! Воссиянный! — радостно затянул Прокопий Веденеевич. — Молись, молись, нетопырь. Слово господне слышишь! Филя-нетопырь молился, но с некоторой оглядкой...

VI

Было нечто таинственное и страшное в этой полуночной тайной вечере в моленной горнице.

Трепетно мерцали свечи, оплывая сосульками; угрюмо и неподвижно взирали на молящихся лики святых угодников с древних икон; за стенами дома трещал мороз, а они, трое, молились, молились, и святой Ананий рек слово господне.

— Вопрошаю, — поднял руки к иконам святой Ананий, — родилось ли чадо в доме сем под именем Диомида?

— Родилось, господи! — исторг Прокопий Веденеевич.

— Родилось! — вывернул с натугой Филимон.

— Зрит ли чадо очами своими?

— Зрит, зрит, господи! — трясся старик.

— Зрит, зрит, — подвывал Филя, чувствуя себя страшным грешником. Не он ли гнал Меланью со чадом господним под тополь и ждал, не сдохнет ли от простуды или какой другой холеры паскудное чадо? Не он ли измывался над Меланьей? «О господи, спаси мя!»

А святой Ананий спрашивает:

— Ходит ли чадо воссиянное ногами своими?

— Ходит, ходит, господи!

— По восьмому месяцу говорить начал и пошел на ногах, — сообщил Филя.

— Аллилуйя воссиянному Диомиду! — пропел святой Ананий. — И скажу вам: настанет день, того вы не знаете, воссиянный Диомид повергнет зверя в озеро с кипящей серой, и будет тогда вечное царство. Боязливых же и неверных, не твердых в вере тополевой, повергнет воссиянный Диомид в серу кипучу, в озеро за зверем. И будет им смерть.

— Смерть, смерть неверным! — сатанел Прокопий Веденеевич.

— Еще скажу вам: жена, которая народила воссиянного Диомида, святая рабица божья; кротость в ее лице, как само солнце на восходе, и сияние на лице ее, как самой луны сияние...

У Филимона Прокопьевича жила за жилу цеплялась — до того перетрусил. И в голове гудело, и в ушах пищало, и под ложечкой давило. Не он ли попрали святую рабицу божью, бил ее, терзал своими лапами, и рабица божья терпела все, и на лице у нее, как вспомнил сейчас, было сияние луны. И не потому ли, что Филя грешник, а она святая?

— Осподи! — Он вытер рукавом пот с лица.

— Имя той рабицы божьей, — продолжал святой Ананий, — Меланья. Есть ли она в доме сем?

— Есть, есть, господи! — торопился Прокопий Веденеевич.

— Скажу вам тайну: была в этом доме распря. Сын восстал на отца, и была скверна, и грех был. Нечистый во искушение ввел, в соблазн ввел. И не стало молитвы в доме сем — грех стал; и нечистый дух со звездой на лбу копыта занес в дом, чтобы погубить всех. И дом, и люди твоя, господи! Изыди, изыди, нечистый дух! Не дадим тебе на посрамление веру тополевою! Изыди!

— Изыди, изыди! — гнали нечистого отец и сын, на этот раз голос в голос, будто спелись.

— Спрашиваю: здесь ли раб божий Филимон? Где же он, Филя? Конечно, здесь в моленной.

— Веруешь ли ты во Христа-спасителя, во господя бога, во святого духа и во тополевыи толк, в каком от века пребываешь?

— Истинно верую! — утвердился Филя (в который раз!).

— Отпускаю тебе грех посрамления веры, и ты поклонись отцу своему, родившему тебя.

— Тятенька! Прости меня, осподи! Нечистый ввел во искушение. Как болящий был. Опосля тифу да лазарету. Осподи!..

Тятенька хоть и со скрипом, но простил раба божьего.

— Слава Христе! — сказал святой Ананий. — Мир будет в доме сем, радость будет. Аминь!

Помолились за мир и за радость в доме.

— Скажу тебе, раб божий Филимон, лица моего ты не должен видеть, пока не тверд будешь в вере своей. Бог даст, и ты увидишь чудо, и станешь твердым, как камень, и никто не совратит тебя с веры. Дана мне от господя тайна нести Слово божье к святым старцам в тайную пещеру. Ты поедешь со мною в эту ночь. И будет тебе награда — благодать господня.

Навряд ли Филя обрадовался бы такой награде, и святой Ананий будто знал, что Филя — мужик с запросом: не синицу в небе, а алтын на руку!

— Мирскую награду на ладонь положу, — пообещал святой. — И то будет не вода, не бумага, а чистое золото. Господи, пошли мне золото! Пятьдесят золотых прошу, господи! На тайную поездку, господи! Потому зверь кругом рыщет. Слово твое ищет, чтоб погубить его и не дать жизни. А мы спасем твое Слово, боже!

— Спасем, господи! Спасем! — вторил Прокопий Веденеевич, как дьячок попу в церкви.

Филя еще не успел понять — куда и в какую тайную поездку он должен отправиться со святым Ананием. И не отделается ли святой Ананий молитвою да обещанием золота, которое потом сам господь бог должен воздать Филе? Ладно ли так-то? Оно, конечно, бог слышит и не сразу воздаст. А вдруг ждать придется вечно, а он тем временем нетленное золото ямщиной заработал?

— Молитесь, молитесь! — призывал святой Ананий. — Господь даст мне золото, чтобы положить на ладонь раба божьего Филимона. И то будет золото вечное, и богатство будет потом.

Как же не вознести молитву золоту? Тут не то что Филя, но и сам господь, наверное, помолился бы самому себе, чтоб не слова текучие, а настоящее золото отяготило ему ладонь.

И вправду послышался звон металла, будто с икон или с небеси летели золотые святому Ананию.

— Лови, лови через плечо мое! — сказал святой Ананий и кинул через плечо золотой.

— Осподи! — ахнул Филя, не успев поймать.

— Лови, лови!.. Один... другой... третий.

И все это размеренно, с молитвою, как и положено свершившемуся чуду. Не грязь, не пустые «керенки», которые Филя привозил из города мешками, а настоящие империалы — сияющие в трепетном свете свечи, желанные не менее, чем манна небесная для голодных пешеходов Моисеевых.

Филя сперва считал, а потом сбился, ловил золотые и укладывал в подол рубахи.

Если это не чудо, то что же? И за что бы святой Ананий так щедро одарил раба божьего? Если гонять ямщину с усердием, то во всю зиму

столько не заработаешь золотом... Пятьдесят золотых — пятьсот рублей! На золото и теперь, в смутное время, когда «керенки» превратились в смрадный дым, да и николаевские бумажки не в большой цене, в городе можно купить все, что душе угодно. Только покажи золотой — и товар сам собою плывет в руки. Рысака можно купить за двадцать золотых. А на «керенки» — не подступись, на смех подымут.

— Аминь! — сказал святой Ананий, и золотой дождь прекратился.

Филя взмок, хоть выжми: с лица и с бороды кислая вода течет, а в глазах сияние — золото, золото в подоле рубахи! Подумал еще: не взять ли на зуб, да тут же испугался — мыслимо ли усомниться, что золото фальшивое! Если господь расщедрился, то, понятно, не фальшивым золотом. Да и слышно было, как золотые звенели приятно, восторженно, услаждающе, как и полагается звенеть золоту.

Поддерживая империялы в подоле, Филя ползал, собирая те, что не успел поймать.

— А теперь иди, раб божий, закладывай рысаков в кошеву. Час настал. Слово божье повезем во чертог тайный, и чтоб ни одна душа не знала про нашу поездку. Аминь!

— Да будет радость тебе, Филимон, и отпущение грехов, — смилостивился Прокопий Веденеевич. — Бог услышал твою молитву, и ты сподобился тайной поездке.

— Слушай! — задержал святой Ананий. — Золото в дорогу не бери, господний дар дома оставь. В дороге ни в чем нуждаться не будешь. И харчи не бери, господь насытит: и хлеб будет, и питье будет. Для рысаков возьми овса мешок, ведро, чтобы поить в дороге, топор, чтобы прорубь прорубить и воды набрать. Аминь!

До чего же сведущий в ямщицких делах святой Ананий, не то что другие угодники: им молишься, а они хоть бы слово. Немы и глухи, как камни.

— Сполню, святой Ананий, — с некоторым страхом пробормотал Филя, завороченно глядя в черный затылок. Святой Ананий стоял на коленях возле аналоя, где обычно выстаивал молитву отец, когда обедню служил.

— Скажи еще: кого оставишь в доме, когда в поездке со Словом божьим будешь...

— Дык Меланья, жена моя со младенцами... — покосился Филя на тятеньку, но не призвал в дом.

— Грешно так, раб божий, — построжел святой Ананий. — Дом без хозяина хоть на один день — ворота для нечистого. В дом сей должны приходиться люди за Словом господним, на тайную молитву спасения. Кто примет их в моленной горнице? Кто даст им прозрение?

Для Филя настал трудный момент. Хоть и праведный тополевыи толк, да что-то мутит душу, и сам того не сообразит. Призвать тятеньку — язык не поворачивался.

— Назови имя, кого позовешь в дом хозяином. Без хозяина не будет у тебя дома — нечистый копытом ударит. Вижу то копыто! Вижу!

— Дык... дык... ежели тятенька вот... покеда я... Тятенька, доглядывайте, Христа ради, за домом. Помилосердствуйте, тятенька! — хитровато подкатился Филя, отвешивая поклон отцу. И в дом хозяином не позвал, и в то же время честь отдал.

— Ступай, закладывай рысаков! — погнал рассерженный отец.

— Я сичас! Сичас! — воспрянул Филя, уметаясь прочь.

Прокопий Веденеевич прошел к двери, послушал, дожидая, когда сын оденется и уйдет, закрыл дверь на крючок и, когда тот оделся и ушел, сердито проговорил:

— Экое мякинное брюхо! По ветру бы развеять падаль экую. Ни веры в нем, ни какого другого потребности. Истая мякина!

Святой Ананий, упираясь руками в пол, медленно поднялся с колен. Он был высок, не стар, прямонос, и черная борода недавняя — на пол-ладони не отросла, пальца в три. Он до того уморился на молитве, да еще в борчатке, что, достав платок, вытер лицо и бороду, а потом, расстегнув борчатку, снял шарф, вытер шею.

— Не тверд, не тверд, раб божий, — сказал он старику.

— Смертным часом испужать бы, — подсказал Прокопий Веденеевич.

Святой Ананий покачал головой.

— Такого не испугаешь, отец, смертным часом, — и опустил на лавку. — С перепугу он еще в ревком побежит и поклон отдаст Головне с винтовкой.

— Отдаст, собака!

— Все они такие, мужики. И вся их вера — в брюхе, в хозяйстве и в стенах, в которых они утробы свои набивают.

— Истинно так, сын мой!

— Потому и зверь сошел на землю. Но они еще прозреют, космачи, Дойдет еще черемуха. Дойдет! Пусть усерднее красные выколачивают продразверстку — эта молитва для черемухи самая подходящая.

Помолчали.

Прокопий Веденеевич сказал:

— В дороге побереги себя, сын мой. В греховную скверну не лезь зря. Мирское имя свое запомнят, как не было, и я о том молить буду. От той ночи, когда ты принял тополевое крещение, до ночи сей ты — сын мой, Ананий, а потому — жить нам и благодать господнюю творить нам.

— Спасибо, отец.

— Во городе будешь, скажи там: кипит котел — пар идет к небу, и в том котле люди воплем исходят. Пусть оружие собирают и войско. Белое, праведное войско.

Святой Ананий пообещал собирать оружие и войско.

— Дух мой крепкий, слава Христе! — нудил старик. — Виденье было: не помру я, покель не одолеем анчихриста. Восстание подымать надо, оружие ковать надо. На хитрость метать хитростью надо.

— Надо, отец, надо, — отозвался святой Ананий.

— Тятенька... — позвал Филя из-за двери.

— Ну, с богом, сын мой! Ждать буду добрых вестей. А про нас не думай. Не спать будем — божье дело творить будем. Из деревни в деревню старух пошлю и стариков. И сказано во Писании: око за око, зуб за зуб.

С тем старик вышел из моленной в избу.

Святой Ананий раздевался. Он оказался в меховой душегрейке, в толстых стеганых штанах; под душегрейкой по черной рубахе — не опояска, а военный ремень и на ремне маузер в деревянной кобуре. Эту амуницию Ананий снял, положил на лавку, намотал на шею шарф, надел борчатку, а уж тогда и подпоясался ремнем с оружием; достал из левого кармана две небольшие бомбы, подержал их на ладони и сунул в карман; уши меховой шапки подвязал тесемочками под подбородком; поверх борчатки натянул подборную черную доху, полы которой

подметали пол, и поднял воротник так, что лицо скрылось — только глаза виднелись. Надел еще лохмашки из собачьих шкур шерстью наружу, как и доха, оглянулся на иконы, пробормотал:

— Дай бог, чтобы все обошлось благополучно, — и покинул моленную.

... Еще в прошлом году, в декабре, есаул Потылицын сошелся душа в душу с Прокопием Веденеевичем. В ту ночь есаула чуть не схватили ревкомовцы в доме казачьего старшины Сумкова. Есаул бежал в одних кальсонах, в нижней рубахе, босиком — выпрыгнул в окно из горницы. Окно выходило в проулок, и Потылицын, ошалелый от страха, ударился по переулку на Верхнюю улицу. Мороз держался лютей — крещенский, и Малтат, кипевший наледью, дымился туманом. Есаул не помнил, как он влетел в первую попавшую избу и стал ломиться в дверь. Открыл ему старик, испугавшийся не менее есаула, и, бормоча молитву, отступил в избу: «Свят, свят, свят! С нами крестная сила!» Есаул повалился в ноги старику и просил укрыть его от разбойников на одну ночь. Опомнясь, старик спросил: «Грешник ты аль праведник пред господом богом, святым духом и сыном божьим, Иисусом?» Есаул, конечно, ответил, что он самый настоящий праведник, а убить его хотели безбожники-ревкомовцы.

«Такоже. Такоже. Анчихрист напустил на землю безбожников, какие теперь власть взяли и суд вершат, — возвестил старик и тут же нарек имя праведнику: — И будешь ты праведником Ананием, какой пошел на огонь и смерть, а святое дело божье не попрали ни языком, ни руками. Аминь!»

Так они сошлись — раб божий Прокопий с праведником Ананием, и он же есаул Потылицын. С той поры дули ноздря в ноздю.

Мороз, мороз, мороз...

Филя спросил тятеньку: брать ли ружье?

Святой Ананий махнул рукой — не надо, мол.

— С богом! — проводил Прокопий Веденеевич. Постоял на улице, прислушиваясь, потом закрыл тесовые ворота, заложил березовой перекладной в железных скобах и калитку на запор.

Встревоженная Меланья никак не могла заснуть. Чуюла — случилась какая-то беда, если среди ночи явился батюшка и призвал в моленную Филимона, и тот, перепуганный до нутряной икоты,

второпях оделся в дорогу, охая и бормоча себе в бороду, запряг рысаков и куда-то уехал. С тятенькой, наверное.

Она слышала, как выехали из ограды, и будто кто умер — такая настала тишина. Вспомнила: сени не закрыты на перекладину. И страх, страх! Хотела разбудить Апроську, да передумала.

Как была в нательной рубашке, так и выскочила из горницы в избу и в сени, и тут открылась дверь...

— Ой, мамоньки! Исусе!..

— Ты чаво? — удивился Прокопий Веденеевич.

— Аль батюшка?

— Ступай в избу, сам закрою.

— Как перепугалась-то, господи! Думала — уехали вы с Филей, а дверь не заложена. Обмерла от страху, — лопотала Меланья на пороге.

Прокопий Веденеевич снял шапку и шубу, повесил на крюк. В избе полумрак от сальной плошки. Меланья стояла возле молосной телушки, зябко прижимая руки к нательному крестнику.

— Мне чей-то страшно, тятенька. Всю так трясет, трясет... Филя-то вдруг уехал...

— Все слава богу, — ответил свекор. — Али первый раз уезжает в ямщину?

Меланья вздохнула и повернулась к дверям в горницу, но остановил свекор:

— Погоди. Сядем на лежанку у печи, поговорим. Печь-то топила?

— Хлеб пекла сѣдне, — воркнула Меланья.

— Принеси подушку. Постель кинь на лежанку. Да Апроську не разбуди.

Меланья — ни слова, ни вдоха, вся — вековечная покорность и смиренность.

VII

Была полночь; скупилась светом звезды, и поднявшаяся полная луна с белесым кругом величаво плыла над снежными просторами. Кругом было так необыкновенно тихо, что можно подумать: мир навсегда околел в тяжком забытии, и только один хозяин — мороз за пятьдесят гулко рвал местами обнаженную землю...

Но вот послышалось цоканье подков и малиновый перезвон колокольчиков, и сразу стало веселее: земля живет!

Ольга возвращалась в Белую Елань из Минусинска с чрезвычайным комиссаром Тимофеем Прокопьевичем: если не всю судьбу везла, то хоть клочок ее, и то ладно.

Влюбчива кареглазая вдовушка, да никто вот так не прельстил ее, как Тимофей Прокопьевич. Более года ждала весточки, как он обещал позапрошлой осенью, уезжая из Белой Елани, да где уж, если сердце другой занято.

Вожжи в руках Ольги. Она ли не мастерица? И золото в тайге видит сквозь землю, и собой недурна: не молоко с лица пить, но и не займы за красотой ходить.

Поджарая кобылица Белка, отворотив морду от коренника, готова была выпрыгнуть из постромок: неумная, силу не бережет. Коренной — соловый рысак, прозванный Ухоздвиговым Губернатором, мчится с некоторой гордостью, вскинув к дуге голову. Рысаки холеные, выносливые, а Белка и в кавалерии побывала, да не в тыловом казачьем войске, а на позициях. Не колыбица — ветер. Не зря сын Ухоздвигова, казачий сотник Иннокентий Иннокентьевич, увещевал ревкомовцев прииска, чтоб не губили Белку. Да еще сказал: «Золото купит любую жену, конь же лихой не имеет цену».

Ольга, в дохе, в лохмашках, ресницы у вдовушки обметал мороз, и похожи они на бабочек-капустниц.

— Не замерз, кавалер? — толкнула Тимофея.

— Дюжу...

— Ты, никак, спать собрался?

— Мороз дерет. Сорок, пожалуй?

— Из Шошиной выехали было пятьдесят, а теперь сорок? К ночи мороз всегда лютее. Говорила же — заночуем в Таскиной, так нет, гонит тебя нелегкая.

— Гонит, Ольга, гонит. Время такое.

— Времечко — в беремечко да под подушечку... Фу, губы твердеют!

— А ты ловкая с вожжами!

— Э, Тима! Была бы я ловкая, разве бы жила, как перст, ткнутый в небо? Ни звездочки на перст не упало, ни луна не скобленула. Так и живу — счастья жду.

— Будет и счастье.

— Ой ли! Ты вот обещал писать в ту осень и хоть бы разок воробьем чирикнул. Кому, мол, писать? Какой-то приискательнице! В сердце поместил дочь миллионщика — до меня ли?

Тимофей буркнул невнятное.

— И теперь любишь, когда она в заговоре со святым Ананием? Может, помилуешь?

— Я не милую и не жалую, — проворчал Тимофей, крайне недовольный. В который раз за дорогу она заводит один и тот же разговор, безжалостно припирая его к стене.

— Тебе власть дана от самого Ленина.

— Не давал он мне такой власти, чтобы единолично вершить суд и расправу.

— Твое слово, Тима, золото: тяжелое. И ты должен первым сказать свое слово.

— Не первым и не последним.

— Серединки держаться будешь?

— До чего же ты занозистая, приискательница!

— С занозой в сердце на свет народилась. Или так жить худо?

Тимофей натянул на лицо воротник тулупа и отвернулся в сторону. Он будто вновь увидел лицо Дарьюшки и как она потерянно и виновато глядела на него в тот памятный день расставания в доме Юсковых, на ее белой, батистовой кофточке алело, переливаясь по упругой груди, зловещее пятно заката, смахивающее на кровь.

ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ

I

Звенят, звенят колокольчики... Лютый мороз пробирает до костей, и лицо до того отвердело, что губы не шевелятся. Ухоздвиговская пара соловых мчится по тракту, отстукивая версты коваными копытами.

Тимофей думает о дорогах, о людях, о судьбах.

Куда ведут дороги? И есть ли единственная дорога для всех?

Тимофей давно выбрал дорогу и понять не может, почему все умные люди не пошли сразу по этой же единственно верной дороге.

Что за смысл петлять, уходить в стороны и не слушать вождя — знающего, испытанного, видящего дальше других, такого, как Ленин!

И вот — Дарьюшка...

Она не была революционеркой, но и не была эсеркой, как некая меньшевичка Вероника Самосова. Тимофей знал, что Дарьюшка ищет свою дорогу о какими-то пятью мерами жизни. И что же она нашла? Утонула в белогвардейском заговоре?

Нет, он не будет спешить с судом и расправой. Ему дана власть не для того, чтобы губить людей, едва оступившихся. Он — большевик, а у большевика, как и у самого Ленина, должны быть чистые руки. Долго ли превратиться в жандарма с усами?..

Звонят, звонят колокольчики под расписной дугою. Позолоченный таз луны плывет над снежными просторами, а кругом, куда ни кинь, немая пустыня с купами белых деревьев по обочинам тракта, будто лес вырядился в похоронный саван. Жалобно повизгивают стальные подползки, и вся жизнь наплывает на Тимофея в картинах фронтовых атак, артиллерийских дуэлей, конных атак, штыковых свиданок с противником, когда люди кажутся чудовищными. А потом, после боя, тупое недоумение: ты еще жив и тебя бьет озноб; шашка в зазубринах, а у кого-то вместо штыка огрызок, и кровь, кровь, от которой тошнит, и глаза не щурятся — обвыклись! И где-то среди этого хаоса войны — Дарьюшка с ее припухшими губами и с несказанной тоскою в черных глазах.

И — нет Дарьюшки. Нету. Исчезла, как голубой туман над окопами на восходе солнца...

— Волки! — обжег голос Ольги. Тимофея будто подкинуло:

— Где?

— Гли, гли! Сколько им, мамонька-а-а!

Справа по пологому взгорью — подвижные огоньки. Они быстро перемещались вперед... Огонек за огоньком. Самих волков не видно было, серое сливалось с белым, но горящие глаза — зеленоватые, мерцающие — катились вниз к тракту, пара за парой, точно звезды падали на грешную умыканную землю.

— Девять... одиннадцать... двенадцать... — громко считала Ольга, сдерживая рысаков. Тимофей сбросил нагольный тулуп, схватился за маузер — заряжен ли? — хотя помнил, что в колодке полная обойма. Маузер не успел настыть под тулупом, и Тимофей

сунул его рукояткой за борт шинели — чего доброго, забарахлит на морозе: с маузерами такое бывает.

У Тимофея не мышцы — железо. Всегда так перед боем: единый скруток воли — жила к жиле, искра к искре.

— Сгинем, Тима!

— Без паники!

— На прошлой неделе обоз...

— Без паники, говорю! Слушать мою команду: ни одного патрона вхолостую. Сколько у тебя винтовочных?

— Обойма одна...

— И то сила. Ты стрелять-то из винтовки умеешь?

— Из винтовки отродясь не стреляла. Нет! Когда Анфиска наша за Аркадия Зыряна вышла замуж...

— Если бы фронтового коня!

— Белка-то фронтовая, Тима. Сотник Ухоздвигов на ней три года был на войне и с ней возвернулся опосля ранения. Сколь раз от смерти спасала его, говорит.

— Порядок! В случае чего — на Белку и — шашку в руки.

— Ой, Тима! Не успеешь сесть на Белку. На прошлой неделе...

— Без паники, говорю! — прикрикнул Тимофей, сунув в карман пару запасных обойм — они у него лежали в дорожном саквояже; саквояж задвинул в передок и наказал Ольге не выронить из кошевы. Глядя на Тимофея, Ольга успокоилась, хотя зубы выстукивали противную дробь.

— Ужли тебе не страшно?

— Страхом города не берут, а в штаны кладут, — бухнул Тимофей. — Или грудь в крестах, или голова в кустах!

— Ой, Тима, Тима!..

Но где же волки? Куда они исчезли? Ольга говорит, что волки сдуру не нападают, а выбирают удобный момент, наверное, перебежали тот взлобок по тракту и ждут у Гремячего ключа — самое худое место.

Ах, вот в чем дело! Он помнит то место, в десяти верстах от Белой Елани: там его когда-то оглушило грозой, и он потом встретил...

— Позицию они выбрали завидную! — оборотился к Ольге. — Надо как-то обойти...

— Не обойдешь, Тима. Там дурное место — Волчьим прозывается. Давай вернемся в Таскину? Тут как и до Белой Елани, зато горы нет.

— Давай!..

Рысаки, почуяв беду, норовисто храпели и копытили льдистую дорогу.

Не успели развернуться, как далеко впереди раздался выстрел, потом еще и еще...

Бах, бах, бах...

— Кто-то стреляет, Тима? Слышишь? Далеко, будто за тем взлобком, ей-богу? Успеем умчаться?

— Дура! Поворачивай обратно!

Кошева увязла в глубоком перемете снега и круто накренилась на левый бок. Губернатор не слушался вожжей — пятился в оглоблях, норовясь сбросить хомут.

— Ай, боже мой! — путалась в вожжах Ольга.

Тимофей схватил вожжи, хлестнул Губернатора по упитанной спине, гикнул, и коренник понес обочиной, отвалив голову к оглобле.

Вдруг где-то далеко грохнуло, будто обвал случился.

— «Лимонка», — раздумчиво сказал Тимофей.

— Какая «лимонка»?

— Бомба. Но кто тут может ехать с бомбой? И стреляли не из ружья, а из маузера, пожалуй... Тут что-то не то. Не о! Вот что: я отстегну Белку и поеду на ней вперед. Ты — а мной. Нет, тут что-то не то...

Впереди послышалось протяжное: «а-у... у-у-у». Ольга вскрикнула. Белка рвалась на чембуре, мешая Губернатору.

— Воеет, воеет... Другая воеет, Тима! Знать, две свадьбы сошлись, истинный бог!

— Держись в кошеве! — приказал Тимофей, сбрасывая тулуп.

Когда он отвязал чембур Белки, раздался второй взрыв. Кинув хомут в кошеву, Тимофей коршуном взлетел на Белку. Почуяв всадника, она зачастила на одном месте. Чембур в руке Тимофея, как две струны, а руки в армейских шерстяных перчатках: на правой ладони перчатка протерлась. Выхватил маузер.

— Гони за мной! Гони!

Три колокольчика под дугою как серебром сыплют...

— Ох-хо-хо! Дурное время настало, Меланья! — жаловался Прокопий Веденеевич, сидя с ней возле русской печи на широкой лежанке с застланной постелью при двух подушках. — Кабы не такое время, когда бы еще сжевал мякинную утробу и свиньям выкинул. Колобродь на земле, сумятица. Ни притыку, ни утыку, ни царства, ни полцарства. Безбожество ползет на Расею, как вша на нищих и сирых. Народ умыкался, отошал и духом обнищал. И тиф полощет, и оспа, и холера объявилась на Волге, сказывают... От чего такая погибель? От нечистой силы. От большевиков, как выродок Тимоха. Крепость веры порушилась.

Меланья ответно вздыхает. На ней сподняя рубашка и шаль на плечах.

Старик тронул ее за руку повыше локтя.

— Виденье было мне, как тогда. Помнишь?

— Помню...

— На рождество так. Не спал будто и вижу, как ты подошла и говоришь: «Пусти меня, батюшка, али помру я, как отступница от веры нашей тополевой». И сама такая холодная, льдистая, и глаза закрыты, как спишь вроде...

— Сколь я мучилась-то! — воркнула Меланья.

— Ведомо. Настал черед Филе отмолить грех совраченья с веры. Ежли не покажет нонича твердость духа — не быть ему в доме, вытурю! И сказано: худую траву вырви да брось. Сколь раз думал: ежли греховное было мне виденье в ту пору, тогда пошто мужчина народился? Отчего народилась теперь девчонка, и та который месяц нехрещеная на свете пребывает? Чистая она аль нечистому в заклад растет?

Меланья сморкнулась в шаль:

— Молю, батюшка, окрестите ребенчишку-то! Извелась я от тяжести экой. — Девчонкой назвать «ребенчишку» не осмелилась, знала, что не терпит свекор «пустопорожние посудины».

— Теперь окрещу: в дом возвернулся.

— Слава Христе!

— А ты вроде запомновала про свою клятву?

— Ой, батюшка, как можно! И мне сколь раз виденья были. И по лесу ходили будто, и деготь гнали в березняке, а потом спали в том стане, как на Сосновом ключе, — помните? И вы носите меня, как малую, и песню будто поете. И на душе не было смутности. Нисколечко! Будто святое виденье. Отчего так? А Филя все попрекает, да попрекает, да попрекает. А теперь и вовсе: «Как, грит, девчонку народила?» Кого господь послал, того и народила.

— И то! — хмыкнул старик. — От мякины да штоб зерно было! Я и то ждал. Ну, думаю, пусть Филин хозяйствует, сноровку проявит. Гляжу — ладно живет будто и к ямщине сподобился. Ну, живи, ума набирайся. Слышу — беременной ходишь, а потом девчонку принесла. Плюнул: пусть мыкаются, коль веру попрала! Я и так жить буду. Сила моя не в убытке, слава Христе! А тут время подоспело — анчихрист на землю сошел. Народ подымать надо, веру крепить. Заблудшего обратил в свою веру, перекрестил из щепотников. И стал он теперь святым Ананием и сыном мне.

— Ой, батюшки, и я слышала про святого Анания! Вся тайга говорит про него. А кто он?

— Имя его втайне должно быть. Потому — анчихрист кругом рыщет, головы наши ищет.

— Страхи-то!

— И сказано во Писании: восстанут лжепророки и лжеучители, чтоб прельстить и в ад ввергнуть, не верьте им.

— А какой я пришла к вам в виденье, батюшка? — спросила Меланья, чуя, что он теснее прижался.

— Тебя зрил без рубища. И розовость в теле такая, как на солнышке подрумянилась, и волосы по спине и плечам, как ручьи с гор текучие, да теплые, ворсистые. И я руки купаю в тех ручьях, и к телу прислоняюсь, яко младенец, и сила мужская проснулась...

— И я, и я так зрила!

— А потом голос слышал: «От века люди пребывают на земле врозь, а вы всегда будьте вместе, Прокопий и Меланья. И крепость веры держите. От малого числа восстанет большое число. И сойдет на землю Спаситель, и вы два спасены будете, яко святые праведники».

— Спаси Христе! — млела от ласки Меланья. — С Филей-то ни поговорить, ни душу усладить словом из Писания. Молюсь другой раз

и от тебя, батюшка, благословенья господнего прошу на сон грядущий или на утро, вставшее из ночи.

— Слава Христе, не отторгла! — обрадовался Прокопий Веденеевич. — И я всегда благословлял тебя — и на сон, и на день, восставший из ночи.

— Помолюсь, и мне так радостно...

— Это моя душа с тобой пеленалась.

— Пеленалась, батюшка!

Старик сунул руки под шаль и взял Меланью за мягкие податливые груди.

— Не те., как тогда были...

— Трех ведь народила, батюшка. Димка-то сколь грудь сосал — на рождестве только и отняла.

— Пусть бы ишшо сосал — крепости впрок набирался!

— Филя заставил отнять.

— Даст бог, духовником будет.

— Димка-то баскенький, смышленный такой... будто ум в глазах светится.

— Истинно так. Чадо растет разумное — береги!

— Ой, как берегу, батюшка! Филя другой раз ругается...

— Таперя укорочу руки: в дом возвернулся.

— Насовсем?

— На век свой.

— Ой, аж сердце екнуло! А Филя-то как?

— Ежли толк наш отторгнет — пусть уходит к еретикам и там ищет пристанища. А мы жить будем. Я буду завсегда в моленной. Кровать там поставлю. Ты приходишь будешь. Холить буду, как тогда. Работника возьму да еще Лизавету, Посрамленья не будет, радость воссияет!

— Я так молилась, батюшка...

— Господь услышал молитву. — И еще теснее прильнул к невестушке. — Колени-то охладели... Хочу тебя в рубище Евы зрить, и моя матушка зрить будет. Душа ее витает в сей час над нами, усладим ее душу праведную!

— Я так ждала, так мыкалась... Без тебя будто в погребе ледовом жила — холодно, холодно... И все одна, одна, сама с собою да с образами святых.

— Власы распусти по плечам да с плоской по избе пройди. Пред образами стань, да помолимся. Нетленный дух матушки усладим зримостью.

— Усладим, усладим!..

Меланья в рубище Евы прошла в куть за плоской и перед Прокопием Веденеевичем. Он смотрел на нее и молился, радуясь. Потом Меланья опустилась на колени, а за нею свекор в белых холщовых подштанниках, застегнутых на деревянную самодельную пуговку, и в белой холстяной рубахе ниже колен.

Помолились.

Сальную плоску поставили на печь, чтоб свет падал на лежанку и отпугивал тараканов. Меланья легла на две подушки и зажмурилась, раскинула руки, как птица крылья перед полетом.

— Экая ты усладная, — задрожал Прокопий, разглядывая ее, как некое божественное видение. — Как кисть кипариса, лежишь предо мною, господи! И, как от кисти кипариса, сияние вижу, господи! И сказано в бытие Моисеевом: «И были оба наги, Адам и жена его Ева, и не стыдились».

— Тятенька... — тихо позвала Меланья, не открывая глаз.

— Вещай, вещай, воссиянная!

— Песню Соломонову пропой мне, как тогда в стане, когда деготь гнали.

— Пропою, пропою, усладная! — пообещал, поглаживая ее ноги. — Тело твое, как из пшеничной мучки спеченное, духмяное, да белое, да теплое.

— Схудала...

— Дам поправиться, поспособнеешь!

— Батюшка, хочу спросить... Есть такая святая, Харитиньей называется?

Старик призадумался: разве всех святых упомнишь? Сказать — нет, а вдруг да есть? Ответил уклончиво:

— Должно, есть. От кого слышала про святую Харитинью?

— Да от Фили. Сколь раз во сне поминает Харитинью. Как приедет из ямщины, завсегда поминает. Спросила раз — грит, святая. И вот как вам прийти седне, слышу: «Харитиньюшка, шанежка сдобная», — грит. И губами чмокает, как целуется.

— Экий греховодник!

Филя, конечно, греховодник. А вот Прокопий Веденеевич, наслаждаясь Филиной женою, — чистый праведник. Потому что по уставу тополевого толка живет...

III

Была ночь. И была тьма.

Белая тьма.

Из белой тьмы раздался голос зверя:

«Ау-ау-ау-ау-ау».

Пять раз кряду, да так страшно, что даже лошади взволновались, не то что Филимон Прокопьевич. На этот раз он без Слова божьего поверил в смертельную опасность.

Одно дело — зверь, про которого так устрашающе говорил пророк Иоанн в своем Апокалипсисе; другое дело — вот тут, рядом, где-то в белой тьме воют земные волчицы, заливаясь то на высоких, то на утробно низких нотах.

Филя сразу определил, что не одна, а две стаи.

— Господи! Святой Ананий, гибель будет!..

— Не скули, мякинная утроба!

— Дык... дык... страхи-о, господи!

— Тихо! — прикрикнул святой Ананий, зорко приглядываясь к мерцающим огонькам.

— Эка напасть! Гли, гли, святой Ананий, скоко их, господи!..

Волки обтекали путников со всех сторон, а впереди — подъем на гору-взлобок: не разгонишься. Повернуть назад поздно — одна стая уже закрыла дорогу.

Танцуют, пляшут рысаки — ни вперед, ни назад. И ржут, как перед гибелью. Оно и есть перед гибелью!

— Господи, хоть бы ружье! Кабы вы не сказали не брать, я бы таперича...

— Тихо! — Голос у святого переменился: куда девались протяжные, певучие, хоть и с хрипотцой слова, какие слышал Филя в моленной перед иконами.

— Обоз порешили на той неделе, господи... — бормотал Филя, топчась в кошеве возле ямщицкого облучка.

И — свершилось чудо. У святого Анания, сбросившего доху под ноги, вдруг оказался в руке револьвер, да какой-то невиданный.

Если бы Филя усомнился, что перед ним святой, он бы его предупредил, что волков надо бить умеючи. Ни в коем разе нельзя убивать волчицу. Звери без волчицы до того сатанеют, что самой геенной огненной не остановишь их. Еще хуже, если волчицу слегка поранишь; тогда она не отпустит жертву без отмщения.

Волчицу среди стаи разглядеть и ночью не трудно. Обычно рядом с волчицей матерый волк, одолевший в жестокой драке не одного такого же зверя. По другую сторону — еще один, которого волчица, как бы дразня других, держит при себе про запас. Перед тем как стае разойтись, оба соперника вступают в последнюю схватку, и тут их не разнять никому. Случается, битва за брачное ложе длится с переменным успехом сутки и под конец оба соперника издыхают, И тогда в драку вступает новая пара...

Святой Ананий первыми выстрелами поранил волчицу. Филя сразу это заметил, оглянувшись; она коротко и зло тьякнула, и сразу волчья рать, прикрывая блудницу, подступила к кошеве.

И тут... рванула бомба.

Филя с перепугу упал грудью на передок: коренник Чалый кинулся в дыбы; Гнедко, оборвав чембур, потащил кошеву в сторону, но крюк на пристяжном вальке разогнулся, и Гнедко, освободившись, наметом бросился в снег, порвал ременную вожжу и тут же был охвачен со всех сторон.

Святой Ананий неистово крестился, бормоча что-то, он видел, как рысак взлетел свечой, отбиваясь от стаи, а зверье, наседа, рвало его в клочья. И будто не лошадиное предсмертное ржание, а крик человеческий разлился окрест.

Филю всего трясло, он никак не мог опомниться после взрыва. Показалось, будто земля разверзлась и вот-вот поглотит всех в ту самую геенну, в которую он, правду говоря, не очень-то и верил. Филя, понятно, не видел, как Ананий бросил бомбу, да и отродясь не держал ее на ладони, хоть и слышал в лазарете, что на войне бросают бомбы и стреляют из пушек. Но одно дело побаски, а тут вот сразу ахнуло, сам господь ведает, коль дал святому Ананию такую силу, что тот может и землю разорвать в клочья.

Взрывом забросило в кошеву оторванное волчье стегно с лапою. Ананий выбросил стегно прочь и толкнул Филю кулаком в бок:

— Гони, гони, рыжий!

Не дожидаясь, пока Филя опомнится, сам схватился за вожжи, подобрав вожжину пристяжного и, опоясав ремнем Чалого, погнал вперед. Но не отъехал и двухсот сажений, как настигла вторая стая, на этот раз спереди. Чалый повернул назад.

— Осподи помилуй!..

— А... твою мать! Очумел, сволочь! Мякинная утроба! — И все это сопровождалось толчками в бок, в голову «мякинной утробы». И что самое страшное — святой Ананий, как это явственно услышал Филимон Прокопьевич, завернул вдруг в бога, в спаса и во всех святых угодников.

Такого Филя никак не ждал. Ну, пусть смерть, пусть геенна, пусть волки, но чтоб святой Ананий, как мужик какой, покрыл бога такими жуткими словами, от которых волосы становятся дыбом, — это же уму непостижимо!

Но он нашел в себе силы оглянуться на святого и окончательно обалдел: лицо Анания при лунном свете показалось ему поразительно знакомым. До ужаса. В животе у Филя заурчало, и он... пустил в штаны.

«Экое, экое, осподи!» — Филимону Прокопьевичу примерещилось, будто перед ним не кто иной, как сам есаул Потылицын! Тот есаул, который излупил Филю в мартовскую ростепель в прошлом году. Осподи помилуй!..

— Где топор, сволочь рыжая? Топор где, спрашиваю? В почки тебя, в селезенку!.. — потчевал его святой Ананий, вытаращив глаза. — Топор, топор где, рыло?

Не в силах сказать и слова, Филя упал в передок, успев ухватиться за облучок.

И тут опять он услышал взрыв, геенна огненная разверзлась во второй раз, и оглобля у кошевы треснула. Филя сообразил, что сразу после взрыва увязшая в снегу кошева дернулась в сторону, тут-то и треснула оглобля. Конец!.. Сейчас, сию минуту великий грешник, раб божий Филимон, предстанет не перед богом, а перед сатаной, и тот пнет его копытом в морду. Бьет, бьет сатана копытом... Перед кошевы трещит. И ржет, ржет! Это нечистый ржет, торжествуя победу;

возрадовался сатана, что грешник Филимон наконец-то пожаловал к нему в геенну огненную!

Мало того — сатана насовывал Филе в бока, в зад, в голову, рвал с него доху. Но нет! Не таковский Филя! Дома сподобнее — лишний час протянешь. Пусть сатана топчет Филю, рычит, бьет копытами, сует в бока, а он все равно не отцепится от кошевы.

Долго ли, коротко ли длилось оцепенение Филимона Прокопьевича, он и сам не ведал. Может, минуту, может, час, может, веки вечные? Кто ж ее знает, какими часами отмеряют время на том свете! Но Филя вдруг почувствовал, что еще жив и рядом гремит железо. Догадался: святой Ананий бьет в ведро револьвером: такой звук не от топора. Но что ж он не стреляет, святой Ананий?

Бах, бах, бах!..

Выстрелы, выстрелы...

Не из кошевы, а в стороне будто.

Святой Ананий гремит ведром...

Кто же стреляет? Или Филя совсем рехнулся? «Примерещилось, должно, — подумал он и тут почуял носом, как от него совсем нехорошо пахнет. — Экая напасть, осподи! Пущай бы сам тятенька вез свово святого хоть в геенну, хоть на небеси. И Чалка сгил, должно? Нету теперь рысаков, осподи! И все из-за тятеньки. На погибель вытурил среди ночи. Погоди ужо! Погоди!»

IV

... Не о звере лютом, какой округ рыщет да погибели праведников ищет, наговаривал Меланье Прокопий Веденеевич, когда она лежала перед ним в рубище Евы; не о спасении грешных душ молился он: не звал на помощь бога — сам управлялся, без бога; не рычал зверем, устрашая грешников адом, а бормотал ласково, нежно, и руки его — заскорузлые, твердые, не скребли по телу Меланьи дресвою, а были теплыми, жадными, умелыми, и от их прикосновения у Меланьи не оставалось синяков на теле, как бывало давно. Пусть мороз на улице кует льдистую землю; пусть ветры студеные веют над миром и кто-то зябнет в дороге, им обоим — Прокопию и Меланье — тепло, благодатно, будто угодили в рай господний и возрадовались. И сам Прокопий Веденеевич — вовсе не Прокопий, а царь Соломон-

премудрый, чью «Песнь Песней» из Святого писания он сейчас пересказывает рабице Меланье, и не на старославянском, как они записаны в древней Библии, а на разговорном языке, отчего они и пронизывали Меланью, как молнии Ильи-громовержца, и ей не страшно было, а томительно-сладостно.

Ночь не стала ночью, а воссиянным днем, и они, Прокопий и Меланья, видели себя не на жестком ложе возле печи, где шуршали тараканы, а под печью шебуршали куры, — они видели себя на божьем винограднике в саду Соломона. И хоть отродясь ни Прокопий Веденеевич, ни Меланья не испробовали винограда, не видели древа кипариса — да и дерево ли то? — хоть понятия не имели о шатрах кидарских, но сейчас они наслаждались именно под шатром кидарским, вкушая виноград.

Они жили...

Они радовались и наслаждались, предав забвению свою убогую жизнь — и печь с тараканами и клопами, и вечную нужду, и очерствелость сердец, когда все дни текучие похожи один на другой, и от этой похожести черствеет сердце, угасает радость в глазах, слабеет память, и ты уже не живешь, а просто «в хрестьянстве пребываешь», в вековечной тьме и забитости, в поте лица своего добывая хлеб насущный. И нет никому ни горя, ни печали, чтоб кинуть тебе луч радости и дать тебе за твой хлеб насущный духовное прозрение. Ты сам один в своей избе тараканьей да семья с тобою — рабы твои и божьи; и ты правишь своими рабами по собственному разумению, не ведая ни сам, ни твои рабы ни продыху, ни роздыху. И так уходит жизнь, гаснет, покрываясь золою времени. И под этой золою никто не узнает и не поймет, как ты жил, раб божий, воздвигнувший себе бревенчатый дом, в котором ты был хозяином, ворочавший собственными руками землю! Ты был и лошадью, и плугом, и бороною, и учителем детей своих и мучителем для них же. И не потому, что ты на свет народился мучителем, а потому, что другого ты не знал от века. Так жили деды и прадеды. И хоть слыл ты хозяином в своем доме, но дом твой был для тебя самого и твоих домочадцев могилою, и не было исхода из этой могилы.

И, может, именно от такой безысходности на старости лет Прокопий Веденеевич прилепился к Меланье — не от блуда, а от осатанелой тоски сердца, от постоянного жития в самом себе.

«Взалкал духа», — сказал однажды Меланье.

Единственная книга, какую познал Прокопий Веденеевич, была Библия. Батюшка заповедовал ему быть духовником тополевого толка и потом приготовить себе из сынов своих такого же.

Отрок Тимка попрая веру и бежал. Филя, хоть и познал от батюшки грамоту чтения и письма, но негож был в духовники: мякинной утроба оказалась; дунь — и нету!

Меланья родила-таки Демида, а тут старик будто воскрес. Он еще вырастит духовника! И старость ушла будто, и мушчинская сила проснулась — удержи нет. И вот настала ночь, и они вместе...

— Власы твои как стадо коз, — бормотал Прокопий Веденеевич, обметая бородою тело Меланьи. — Глаза твои как два голубя Соломонова. Зубы твои как ядрышки орешков кедровых, — переиначивал на свой лад песню Соломонову Прокопий Веденеевич, любуясь Меланьей. — Пощелкал бы твои орешки, да больно жалко! Пусть они из губ выглядывают. А губы твои как два пирожка тепленькие, — вкушал бы их, да со сметаною!.. Шея твоя как башня Давидова, — тыща щитов висит на ней, и все щиты божьих ратников, которые сразятся со анчихристом, — опять уклонился Прокопий Веденеевич. И башню Соломонову он представлял в виде колокольни собора. — Два сосца твоих, Меланья, как два ореха кедровых в скорлупках. (По Писанию несколько иначе: «Два сосца твои как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями»). Но этого даже Прокопий Веденеевич уразуметь не мог: как можно сравнивать сосцы женщины с двойнями-сернами? Это же все равно что с двумя баранами. Ну разве похожи бараны на сосцы?..)

— Унеси меня, батюшка, на винограды! — шептала Меланья.

— Неможно, Меланья. Винограды на небеси произрастают. То плод божий. И сам господь дарует винограды душам праведным, какие перед очами его предстанут.

— А мне будут винограды, когда помру?

— Будут, Меланья. Вкусим тогда винограды.

— И кипарисы вкусим?

— Кипарисы — образа господни.

— Господи! Какие древы на небеси произрастают!

— Еще божьи лилии, — подсказал Прокопий.

— Лилия — цветок?

— Не земной токмо, небесный. И ты, как та лилия, — воссиянная. Сотовый мед капает с губ твоих, как в Писании сказано. И мед и молоко на языке твоём, Меланья. Духмяное тело твоё, дочь Иерусалимская!

— Век бы так, век бы так, батюшка! — И слезы катились по щекам Меланьи.

V

... И слезы катились по щекам Филимона Прокопьевича — до того ему стало жалко самого себя: много ли пожил на белом свете, и вот погибель будет.

Бах, бах, бах!.. И голос:

— В атаку! В атаку!

То был голос не святого Анания. Или на выручку ему сошли с небеси все ангелы со архангелами и вострубили в свои трубы?

Если бы Филя отважился поднять голову, он бы увидел человека в белой папахе, в шинели и на белом коне. Он бы его, понятно, принял за Георгия Победоносца, разящего зверей огнем и мечом.

Святой Ананий почему-то не бил в ведро.

Бах, бах, бах!..

Всадник в упор расстреливал хищников.

Пламя и смерть. Пламя и смерть.

Чалый, свалившись в снег, в агонии вскидывал голову и тяжело ржал.

Потом всадник выхватил шашку.

Волки отступили. Всадник на белом коне догонял их и рубил, рубил, рубил...

Свистит змея-шашка. Поет змея-шашка.

— Ой, Тима, Тима! — кричит чей-то голос.

И Филя тоже услышал этот голос. Баба же кричит! Истая баба! Но откуда бабе взяться на небеси? Не сказано же, что на небеси есть архангельши или ангельши?

Святой Ананий меж тем, бросив ведро, кинулся из кошевы прочь к лесу. Проваливаясь по пахи в глубокие наметы снега, он бежал, бежал, тяжело отпыхиваясь, сердце готово было лопнуть, точно святой

Ананий и в самом деле увидел некое чудовище на белом коне, которое уничтожит его одним взмахом шашки.

— Тима, Тима, Тима!..

«Осподи, Тимку зовет! — трезвел Филимон Прокопьевич и тут вспомнил, что именно этой ночью ждали в Белой Елани Тимофея Прокопьевича, как о том сказала Апроська. — Оборони господи! Беда будет!»

— Ольга, Ольга! Подъезжай сюда! Живо! Сомнения быть не могло: голос Тимофея...

Кинув окровавленную шашку в ножны, Тимофей повернул Белку к лесу и быстро нагнал человека в борчатке.

— Эй, куда? Обалдел, что ли?

— Спаси Христе!..

— Христос тебя бы спас! — ответил Тимофей. Взмыленная Белка стояла рядом с беглецом, и пена с удилов ключьями падала в снег. — Возвращайся к кошеве!

Но человек в борчатке не хотел возвращаться к кошеве. Он что-то медлил, пряча голову в воротник.

— Давай к кошеве, говорю! С волками разделались. Здорово они вас прижали! Слышал, как вы сыпали из маузера, а потом рванули пару «лимонок».

И опять голос Ольги:

— Тима, Тима! В кошеве Филимон!

Человек в борчатке вдруг схватился за ножны Тимофеевой шашки и так рванул ее на себя, что тот не удержался, свалился с коня прямо на борчатку, и оба закричали в снегу, отбиваясь друг от друга.

— Ольга, сюда! — позвал Тимофей, втиснув неизвестного голову в снег.

Подбежала Ольга с винтовкой:

— Ай, ктой-то?

— Еще один волк, — ответил Тимофей и потащил неизвестного к кошеве.

Филя успел очухаться. Вылез, не веря сам себе, что жив-здоров и держится на собственных ногах.

Чалка издох, вытянув ноги, и брюхо было вспорото; снег смешался с кровью. С некоторым страхом Филя отошел от Чалки и тут увидел, как Тимофей тащил святого Анания.

— Господи помилуй, задрали! Самого святого задрали! Тимофей позвал:

— Иди сюда!

Филя быстро подошел к брату, которого побаивался не меньше нечистого.

— Кто с тобою ехал, знаешь?

— Дык... дык... святой Ананий, господи помилуй!

— Ой, мамоньки! Святой Ананий! — вскрикнула Ольга.

Тимофей схватил человека в борчатке за плечи и одним рывком повернул к себе. Он узнал его, и лютая ненависть подкатила к горлу. Но Тимофей сдержал себя.

— Святой Ананий?.. — И стиснул зубы так, что на щеках желваки вздулись. Рука сама собой легла на эфес шашки. — Понятно! Святой Ананий, значит? Великолепно! Очень рад. Давно искал встречи. Как вас теперь — ваше преосвященство или ваше высокоблагородие? Я в святых чинах не разбираюсь. Как видите, я вас еще раз отблагодарил за ваше доброе слово в мой адрес. На этот раз шкуру вам спас, святой Ананий! Но что же вы ударились вслед за волками? Или вы тоже из ихней стаи? А где же ваш маузер? Ольга, поискать надо маузер святого Анания — куда ему без маузера? Не та обедня без маузера! А «лимонок» еще нет у вас, святой Ананий? А ну, покажите карманы! Филимон, выверни карманы святому Ананию!

— Господи, помилуй!..

— Без господи выворачивай, живо!

Филя потерянно топтался на месте, не смея подступиться к святому и тем более встретиться с его пронзительными глазами.

— Неможно то, Тимоха... Не сподобился.

— Не сподобился? А с контрой снюхаться сподобился? Придется тобою заняться. — Говоря так, Тимофей вытащил свой маузер. — Сымай борчатку, святой Ананий! Живо! Или пристрелю, как собаку. И это будет твоя последняя обедня.

Святой Ананий молча повиновался.

— Ольга, обыскивай! Чего доброго, у него еще может быть бомба.

Ни бомб, ни патронов, никакого оружия больше не было: святой Ананий словчился еще раньше закинуть маузер в снег. Ольга нашла только увесистый мешочек с золотом запрятанный во внутренний карман.

Филя тем временем, рыдая на всю оттяжку, снял хомут и уздечку с Чалого, положил в свою кошеву, которую пристроил к задку Ольгиной кошевы: не бросать же добро. Снять бы еще шкуру и подковы с Чалого...

— Займись, а мы поедem, — сказал ему Тимофей, усаживаясь с Ольгой и с арестованным.

Филя захныкал и тут только вспомнил про Гнедка: сбруя же! С медными подвесками! Не сожрали же волки подвески, так тщательно надраенные Филей!

Подбежал к брату:

— Тимоха, ради Христа, посочувствуй! Тамо-ка вон лежит Гнедко. Сбруя на нем. Истинный бог, сбруя!

— Трогай, Ольга! — сказал Тимофей.

Вздыхнув, Филя залез в свою кошеву и всю дорогу до Белой Елани боялся, как бы она не оторвалась от задка.

VI

Чадно коптила лампа. Фитиль, обугливаясь, краснел огарышком язычка — керосин разбавлен водицей.

Нету в деревне ни керосина, ни серянок, ни сахару, ни гвоздей — коня нечем подковать. Нужда заела. Схватила мужика за горло — не продыхнуть. Орала бабьими глотками, цепляясь за холщовые штаны детскими ручонками, подвывала сиплыми голосами старушонок, щерилась беззубыми ртами стариков.

Мужик осwirепел...

Надоели ему перевороты, обещания городских краснобаев, а более всего намылила шею война. Сперва били почем зря немцев, мадьяр и австрияков. Орали на сходках: «Воздвигнем крест на святой Софии». А где она, та София? И что ей так понадобился крест? Потом Николаша отрекся от престола. Жить бы можно. Так нет же — Керенский завопил на всю Россию: «Война до победного конца!» А мужиков на деревне осталось мало — драные, рваные, калеки да старики. С кем победу совершать? Вот и втюрились: набил немец морду — поперли назад, удержу нет. Тут и объявились большевики: «Долой войну! Вся власть Советам; фабрики — рабочим, земля — крестьянам». В аккурат сказано! Солдатня покатилась с фронтов:

которые прямо с винтовками, с шашками, иные сами себя еле дотащили. Все бы ничего — продрозверстка началась.

«Хлеба! Хлеба!» — наступал голод.

Мужик ощерился: «Нету хлеба! Хоть так вертите, хоть эдак, в голос: «Нету!»»

На сходках мужичьи страсти кипели ключом. Схватывались за грудки, трясли бородами и рваными штанами, исходили от крика до седьмого пота. Голос в голос: «Нету!»»

Ревкомовцы шли по надворьям. «Есть у тебя хлеб, Иван Кузьмич. Сеял ты в прошлом году столько-то, урожай снял такой-то, на семена тебе столько-то, себе, на жратву до нови столько-то. А вот и остаточек, — выгребай».

И опять мужик бился с продотрядчиками. Баба ревела благим матом, старик грозился костылем, старуха — анафемой. Но не помогало. Взламывали замки на амбарах, насыпали кули, и мужик, кряхтя и кляня все на свете, все власти и перевороты, вез хлебушко на ссыпной пункт.

Особо упорствующих, хитрых, запрятавших хлеб в ямы, держали в ревкомах. Жарили железную печку до красных щек, а мужики сидели в шубах, в полном зимнем снаряжении.

«Хлебушко выпаривают», — кряхтели неподатливые.

VII

Председатель ревкома Мамонт Головня с помощником из фронтовиков, Аркадием Зыряном, оба с револьверами, в одних нательных рубахах, тоже парятся в большом крестовом доме со связью, где недавно была школа. Сейчас в доме ревком.

Головня предупредил: кто снимет шубу, тот, значит, согласен вывезти хлеб немедленно с участием ревкомовцев.

Дружинник Васюха Трубин беспрестанно подкладывает березовые дрова в железную печку.

Время за полночь. И ревкомовцы и мужики до того наговорились, что глотки пересохли. Опять-таки, воды ни капли. «Сознательность без воды скорее проснется», — предупредил Головин.

— О, господи! — стонет один, ворочаясь на полу и вытирая рукавом шубы пот. — Подумай, Мамонт Петрович, што ты

выкомариваешь? Ежли умом раскинуть — супротив власти прешь. Как сказано в декрете? Слабода. А ты нас жаришь в шубах. Это как понимать? Слабода?

Головня лежит грудью на столетне, дремлет. Пригляделся, зевнул:

— Лалетин? На свободу потянуло? Хлеб гноишь в ямах, и тебе же свободы надо? Хрена с редькой не хошь?

— Ты меня хреном не потчуй, сам жри, — бурчит Лалетин и поворачивается спиною к Головне.

Поднимает голову сивобородый старик тополевец:

— Сказывали на митинге, што дадут народу дых перевести опосля царского прижима. А игде он, дых?

— Дых, Варфоломеюшка? Погоди, мы еще спросим, какой ты «дых» разносил по Белой Елани. Ты нам скажешь, где свиданки устраивал со святым Ананием...

— Не зрить вам, анчихристы, святого Анания!

— Узрим. Ты нам его сам покажешь. Старик свирепеет:

— Покажу ужо, покажу! Когда святой Ананий в геенну огненну ввергнет вас, анчихристы. Грядет день, грядет! И сказано: сойдет на землю праведник, яко спаситель, и будет в его руке метла и щит господний, чтоб анчихристов в геенну мести, а на щите слово божье нести.

— Жди, Варфоломеюшка, жди! Только штаны покрепче затяни, а то они у тебя спадут от страху, когда мы тебя со святым Ананием за бороды трясти будем. Под пятки выверяем!

Старик ругается в бороду и вклинивается меж двух мужиков. С одной стороны храпит Валявин, ему хоть бы хны! В шубе так в шубе, пар костей не ломит. Валявин сдюжит, абы не дать власти хлебушка — золота по теперешнему времени! С другой стороны свистит носом Сохатов, в дохе, жмон, какого свет не видывал: ни копейки, ни фунта красным.

Четверо мужиков, взопревших, сбившись в кучу у лавки, курят самосад, зло косясь на печку: спасу нет, жарыща! Печку бы разворотить, что ли, беды не оберешься: Головня моментом спровадит в уезд, а там, конечно, в тюрьму. Вот если бы ушел Головня с Аркашкой, с дружинником можно было бы столковаться.

— Карасин-то, Петрович, окончательно выгорает, — замечает один из мужиков.

Головня покосился на жестяную лампу с закоптелым семилинейным стеклом: чадит... До утра не близко, а керосину в ревкоме больше нет, надо зажигать коптилку с конопляным маслом.

— Васюха!

Васюха Трубин, отвалив чубатую голову на косяк двери, залихватски всхрапывает. Мужики с завистью глядят на него: эх, кабы вот так же раздеться до нательной рубахи да растянуться на шубе — умирать не надо!

— Васюха, — лениво повторяет Головня, и в челюстях у него хрустит — позевоту мнет.

— Эко храпит...

— Как вроде воз тянет, якри его!

— Куда там! Не иначе с бабой милуется. Ишь как чмокает...

— Со своей бабой оно — шго! Без особого сугрева, — тянет басом порт-артурский герой, матрос первой статьи Егорша Вавилов. — Суседку бы прихватить, да которая потелесее, чтоб было за что держаться.

Мужики ржут.

Головня сам зажег коптилку. От обуглившегося фитиля лампы потянуло чадом.

— Эко вонища!

— Завсегда так от карасина с водой.

— Когда токмо поруха кончится?

— Довели Расею до ручки! Ворчат.

Ругаются беззлобно и устало.

Коптилка светит тускло, и само время кажется таким же тусклым и непроглядным.

Сгорают минуты, часы, жизнь. Коптят и сгорают...

Плохо с продразверсткой. В Белой Елани много хлеба, но попробуй взять его — попрятали, космачи! Еще с осени зарыли в ямы. Город требует: душа через перетягу — хлеба! А мужики уперлись — ни в какую...

Головня скрутил сигарку, задымил в обе ноздри.

Аркадий Зырян что-то бормочет во сне; на коленях у него револьвер — урядницкий.

Во второй половине дома слышится кашель. Там под замком упрятаны арестованные миллионщики и их подручные. А с другой

стороны дома, там, где когда-то была урядницкая, а потом комната учительницы Дарьи Елизаровны, сидят сейчас под арестом зловредные старухи. И с ними Дарья.

Чадно...

Курят. Дремлют. Курят...

За трое суток сожгли три поленницы дров. Завтра Головня погонит всех этих упорствующих космачей в лес за дровами: пусть сами пилят, колют, подвезут к ревкому и сами потом жарятся.

С улицы донесся звон колокольчиков. Ближе, ближе... И замерли у ревкома.

— Кажись, Ольга с комиссаром, — сказал Головня, натягивая на себя рубаху из чертовой кожи; перетянулся ремнем с пряжкой; на ремне — револьвер в кобуре, на пряжке — двуглавый орел.

Кто-то постучался. Головня окликнул:

— Ольга?

— Она самая. Открывай!

Следом за приискательницей вошел человек в подборной черной дохе с поднятым воротником — лица не видно, за ним чрезвычайный комиссар по продовольствию Тимофей Прокопьевич в нагольном тулупе, а последним — Филимон Прокопьевич.

Мужики проснулись, отползли к стенам.

— Вас тут не сожрали волки? — спросила Ольга. — Что было! Что было! В жизни не переживала такого страха. Да вот пусть святой Ананий сам скажет. Покажи лицо, святой Ананий! Али боишься, что тебя сожрут?

— Святой Ананий? — вздыбил плечи Головня. — Едрит твою в кандибобер. Где он? Не врешь?

— Филимон Прокопьевич, скажи, где святой Аваний?

— Дык... вот святой Ананий, — показал Филя рукою в лохмашке, не выступая вперед.

Тимофей сбросил тулуп и сел на лавку. Он отчаянно устал, и руки как чугунные.

Головня подошел к человеку в черной дохе:

— В ревкOME тепло, сымай доху, гражданин! Гражданин ни звука — будто глух и нем.

— А ты, Мамонт Петрович, помоги святому Ананию раздеться; он же, мамоньки, чуть жив с перепугу! Филимон Прокопьевич куда-то вез его, а тут волки напали. Бомбами не отбились, истинный бог!

Головня бесцеремонно отвернул воротник дохи и ахнул:

— Есаул... Едрит свою в кандибобер. Сам есаул! Ваше высокоблагородие! А говоришь, снятой Ананий...

— Неужто есаул? — притворно всплеснула руками бедовая приискательница. — Ай, мамоньки! Ей-боженьки, есаул. А Филимон Прокопьевич говорит, что святой Ананий. И я поверила, дура! Или, может, не есаул, а? Мужики! Кто помнит есаула Потылицына?

Мужики, конечно, помнят, а матрос первой статьи Егорша Вавилов хорошо знал есаулова отца, атамана Потылицына.

— Тебя-то мы давно ищем, ваше высокоблагородие, — сказал есаулу Головня.

Ольга хохочет:

— А святого Анания не ищешь?

— Мы бы его сейчас за бороду потрясли! — пригрозил Головня; он все еще не верил, что есаул Потылицын и святой Ананий одно и то же лицо.

— Да он же и есть святой Ананий!

— Што-о-о? Сурьезно?

— А ты Филимона спроси. Филимон Прокопьевич бормочет:

— Рысаков порешили волки, осподи! Эка напасть, спаси Христос! Думал, сгину. Святой Ананий стрелял, стрелял из револьвера да волчищу, должно, поранил. А потом бомбами два раза бахнул. Страхи господни. А таперича што? На щетку сел. Кошеву привез без оглоблей да хомут с Чалого. С Гнедка хомут не снял, чистая погибель!..

Мужики подступили, расспрашивают про волков, Филя рад стараться: хоть с мужиками душу отвести, и то ладно.

Ольга спросила у Тимофея — долго ли он будет в ревкоме. Тимофей ответил, что будет здесь до утра и пусть Ольга идет отдыхать, ему не до отдыха. Ольга позвала Зыряна, и они ушли.

Святой Ананий, прислонившись к замкнутой двери, за которой находились арестованные, стоял все так же в шубе. В ревком зашли погреться приисковые дружинники, о ними высокий сумнобровый Крачковский в полушубке под солдатским ремнем, с карабином.

Головня сказал Крачковскому, что пойман святой Ананий, он же есаул Потылицын.

— Да ну? А мы ищем двух!

— Он, как сам бог, в двух лицах, — зло заметил Головня. Крачковский уточнил:

— Бог в трех лицах, Мамонт Петрович.

— Когда есаул дойдет до бога, он объявится в трех лицах, — нашелся Головня. — Ну, Варфоломеюшка, чаво молчишь? Вот и святой Ананий! Хоть борода не такая, как у тебя, но все-таки есть борода. У нас, Тимофей Прокопьевич, столько накопилось божьих писем святого Анания — на целую Библию. Дарья Елизаровна, как его помощница, переписывала да со старухами рассылала по всем деревням. До Фили дошло, какая ему угрожает опасность. Не теряя времени, подступил к брату:

— Али на погибель меня с есаулом-то? Неможно так, Тимофей Прокопьевич! Мое дело ямщицкое. Подрядил везти в тайную пещеру, я и повез. Сказал тятенька: святой Ананий, грит. А мне што? Все едино.

— Не хитри, Филимон, довольно! Знаю, какой ты есть. Не прибедняйся, умственную ущербность оставь при себе. Кошева твоя, не беспокойся, не пропадет, и хомут также. А вот куда ты вез святого Анания в полночь, да еще бомбами отбивались от волков, — это нас интересуе.

— Разве я? Призвал тятенька...

— Хватит! Знакомая песня: думает за тебя господь бог, к преступлению призывает тятенька, воз тянет Меланья, а ты всегда в стороне, при вечном лазарете состоишь. Но надо когда-то и ответ держать.

Филя начал было оправдываться; Тимофей оборвал:

— Водворите их к арестованным!

— Обоих? — спросил Головня.

— Обоих.

Филя бухнулся Тимофею в ноги. Долго ли Филе упасть на колени — перед иконами или в ревком перед братом?

— Люди твоя, господи, пребывают в цепях анчихриста, — затянул святой Ананий с хрипотцой. — Но настанет день, и спасены будут мученики. Кто имеет ухо, да слышит; кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тот сам будет убит мечом.

— Так! — Тимофей подошел к нему. — А известно ли вам, святой Ананий, что, кто переиначивает слово пророков и божьих апостолов,

тот сам еретик? И читать надо па славянском, как и положено для всех святых.

Тимофей прочитал из тридцать четвертого псалома Давидова стих четырнадцатый на славянском и перевел. «Удерживай язык твой от зла и уста твои от коварных слов».

— А теперь говорить будем без псалмов. Вы обвиняетесь, есаул, в мятеже. Именем революции вы арестованы. Уведите его!

Филя охал, ахал, сморкался, но его все-таки потащили вслед за есаулом, которого Головня еще раз обыскал, и посадили к арестованным.

Мужики притихли: если Тимофей Прокопьевич не помиловал брата, то что же будет с ними, с саботажниками?

Крачковский пошептался с Тимофеем Прокопьевичем и ушел с тремя приисковыми дружинниками в дозор.

С улицы и с ограды охраняют ревком: как ни говори, а у ревкомовцев богатый улов — сколько офицеров поймали! Оружие нашли припрятанное и самих накрыли. Мало того, сам бог будто посодействовал и предал святого Анания, который оказался не только святым, но и есаулом казачьего войска.

Жарко в ревкоме, хоть парься. Но мужички на этот раз терпят, ждут: беда или милость грядет?

Вернулся Аркадий Зырян с кавалерийским карабином, сел на порог, карабин меж ног поставил.

Головня что-то докладывал комиссару, и тот, подперев ладонью щеку, косил глазом на мужиков. Потом поднялся с лавки, сказал громко:

— Понятно!..

Уставился на мужиков, как будто прикидывал на глазок, какой в них вес в зимней амуниции.

Семнадцать арестованных — с бородами и без бород — дрогнули на полу, теснее сдвинулись друг к другу.

— Восстания ждете, значит? И тогда вам всем полегчает? Восставшие казаки отваят вам божью благодать, а святой Ананий псалмы будет петь? Ну, ждите, ждите!..

Говоря так, Тимофей прошелся по свободным половицам, что-то обдумывая. Мужики разглядывали его со всех сторон. Шинель па комиссаре не иначе генеральская — на красной подкладке, и пуговицы

будто из золота; под распахнутой шинелью френч с накладными карманами, офицерский, без погон только. Георгиевских крестов и медалей не видно, снял, должно, раз красным комиссаром заделался. Опять-таки натура — вылитый Прокопий Веденеевич, всей деревней не переломишь. Хоть так навались, хоть эдак, а все равно его верх будет. И сила! Плечи — дай боже и помилуй — жернова таскать. Лицо впалощекое, с голодухи, наверно, или от постоянных разъездов. По всему уезду рыскает, из деревни в деревню, с прииска на прииск. Без усов, а был с усами, когда приезжал на побывку, и «Георгиями» хвастался. Лобастый, дьявол, и соображение имеет. Такого на кривой кобыле не объедешь. По левой скуле печатка лиха — шрам в палец; щека и левый глаз подергиваются, будто комиссар кому подмигивает...

— Понятно, — сказал себе комиссар и вдруг, остановившись у лавки, взял шашку; подержал обеими руками, как бы взвешивая, потом медленно потянул ее из ножен.

Старик Варфоломеюшка с перепугу затыкнул:

— Господи! Не сокрой лица твоего от мя. В день и час бедствия да преклони ко мне ухо твое; в день, когда призываю тя, господи!

Тимофей вынул шашку, оглянулся на него, узнал:

— А, Варфоломеюшка! Псалмы петь ты горазд. С отцом моим состязались, помню. Это из сто второго псалма? Ты прочитай-ка седьмой стих...

Варфоломеюшка узрился на еретика — и бороду кверху, как метлу из покони.

— Не помнишь седьмой?

— Изыди, сатано!

— Совсем, совсем старик стал, Варфоломеюшка! И седьмой стих забыл! — потешался Тимофей, глядя на шашку в застывших потеках волчьей крови: надо сейчас же почистить.

— «Подсечено, яко трава, и иссохло сердце мое...» — затыкнул вдруг Варфоломеюшка.

— Не, это пятый стих; — перебил Тимофей.

— Все перепутал, старик! — ожил кто-то из мужиков. Варфоломеюшка, напрягаясь, снова затыкнул:

— «От гласа стенания моего...»

— Это шестой! — вновь перебил Тимофей.

— Ну, комиссар! Вот так комиссар! Всех духовников за пояс заткнет. Эх ты, Варфоломеюшка!

Но тот не сдавался:

— «Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как сова на развалинах...»

Грохнул хохот — густой, мужичий.

— В самую точку врезал!

— Ну Тимоха! Вот так Тимоха! Не зря тебя отец в духовники прочил. Истый духовник!

— Варфоломеюшка, пропал ты зазря, пропал! Как тот пеликан али сова на развалинах.

— Ха-ха-ха! Истая сова!

— Еретики, собаки! — отпыхивался Варфоломеюшка. Тимофей сел на лавку, стащил валенок с ноги, отрезал от портянки кусок и стал чистить шашку.

— Видать, ты их много порубил, волков-то? — заговорил хитрый Лалетин.

— Порядком.

— Волчья нопа пропасть! — сказал второй мужик.

— Дозволь спросить, Тимофей Прокопьевич, — подступил третий, с черной окладистой бородой. — Дозволь узнать: как там новая власть в Петрограде кумекает насчет мужиков? К примеру, хлеб. Допрежь власть была, как ее...

— Керенская, — подсказал хитрый Лалетин.

— Вот, вот она самая. При том Керенском... как бы ловчее сморозить...

— Дых в горле не перехватывали, — снова дополнил Лалетин.

— А теперь што происходит? — продолжал чернобородый. — Режут мужика под щетку. Как жить далее? Пухнуть?

Притихли. Торчат бороды. Ждут. Комиссар не торопится, и глаз у него усиленно подмигивает. В железной трубе с тремя коленами, местами прожженными, змеится огонь. И сама печка, растопырка на кирпичах, топится с подвыванием.

— Дых в горле не перехватывали. Это верно. Не такое время было, — согласился Тимофей. — Ну, а вы знаете, как теперь живут рабочие? По осьмушке на сутки, и та с охвостьями.

Мужики не сдаются. Какое им дело до города?

И продрозверстку они категорически отказываются выполнить. Как не по закону, не по совести. Такого, дескать, не было и при царском прижиме.

— Чистая грабировка!

Тимофей, измотанный в схватке с волками, уставший от постоянного недоедания и сна урывками, взорвался:

— Грабировка? Вся Россия голодает, а для вас грабировка? Сам Ленин, вождь мировой революции, сидит на четвертушке, а для вас грабировка, бороды?! — И, круто повернувшись к Головне, люто приказал: — Сейчас же запрягайте и мчитесь в Курагино. Там председатель УЧК. Пусть немедленно явится: здесь у вас пахнет порохом!

— Только спичку поднеси, — поддакнул Головня.

— Аркадий, позови приискового комиссара Гончарова с его дружинниками! А сам найди лошадей, да настоящих! У кого возьмете лошадей?

— У миллионщика Юскова, конечно, полная конюшня.

— Давайте! И чтоб через полчаса выехали. Живо! Аркадий Зырян — один шаг, и за дверью!

Мужики задвигались, заговорили было, что и хлеба у них нет, давно сожрали, и то и се, но Тимофей не слушал. Достал из саквояжа офицерскую сумку, сел к столу и что-то долго писал карандашом.

По вызову явился комиссар прииска Благодатного Гончаров, а с ним трое вооруженных дружинников приискателей.

Тимофей сложил бумажку, передал Головне и еще раз наказал, чтоб выехали немедленно и утром были здесь с председателем УЧК. Не знали мужики, что Тимофей Прокопьевич вызывал отряд чекистов вовсе не для того, чтобы вытряхнуть из них продрозверстку. Дело было не в мужиках, а в офицерах, что сейчас сидели под замком и, как видно, подслушивали, что происходило в ревкоме. Это были опасные волки, шутить с ними нельзя.

— Едрит твою в кандибобер! — вернулся Головня. — Забыл ключи отдать от арестантской, — сказал он Гончарову и передал ему на веревочке три ключа.

— Ну, прощевай, Тимофей Прокопьевич! Одним моментом будем в Курагино.

IX

... Время трудное, необычное. Война еще хлещется, по всей России голод, а тут, в Минусинском уезде, готовится восстание контрреволюции. Нити заговора тянутся далеко от Белой Елани не в уездный город, а куда-то дальше.

«Надо покончить с этими волками, пока не поздно, — размышлял Тимофей. — Если здесь орудовал есаул и завезли оружие на прииски и сюда, в Белую Елань, значит, тут не все взяты волки. Пусть ЧК займется ими». Он, Тимофей, не комиссар ЧК, как о том говорил Меланье Филимон. Тимофей только чрезвычайный комиссар по продовольствию. Приехал по личному указанию Ленина. И он обещал Ленину, что из Сибири поступит хлеб в голодающий революционный Питер. И он сдержит слово. Иначе быть не может.

«Какие тугие космачи. Непроворотные, — подумал Тимофей, тяжело опускаясь на лавку. В животе у него урчало. — Надо бы поужинать, хоть с опозданием. В саквояже есть краюха хлеба. А эти там притихли что-то. Волки в такой момент не спят, выжидают. Ну, ждите!..»

X

Мозеровские часы показывали девять минут третьего. До утра еще далеко. Утро приходит с солнцем, а солнце в феврале неторопкое, ленивое, само в теплой шубе — не греет и не сильно светит. Часов в десять появится над тайгой в белесой мгле и так сгаснет потом во мгле.

Сунул часы в нагрудный карман френча, поставил себе на колени саквояж. Мужики напряженно следили за каждым движением комиссара: что он еще задумал?

Тимофей достал из саквояжа краюху хлеба, до того черную, что она смахивала на уголь. Положил на стол полотенце, а на полотенце краюху; достал армейскую обливную кружку и армейский котелок. Поискал глазами воды, но воды в ревкоме не было. Что-то вспомнил, насупился и достал из саквояжа узелочек в белом платочке. Развернул

— ломоть хлеба. Не хлеб — кусок железа — Вот, поглядите, мужички! Да руками не трогайте, с платком держите: что это?

Мужики взяли на платке ломоть. Так и эдак разглядывали, а назвать ломоть хлебом не отважились.

— Продукт какой, али как?

— Глядите, глядите, вы же крестьяне...

— У нас таких продуктов не водится. Должно, в Расее произрастает?

Матрос первой статьи Егорша Вавилов ошарашил:

— В Расее! Да хлеб же это! Из земли и охвостий. Япошки в плену потчевали нас таким хлебом.

— Господи помилуй!

— Видали? — сказал Тимофей. — Этот кусок хлеба — самый дорогой для меня, дороже золота.

Мужики удивленно уставились на комиссара.

— Али сила в нем какая, в этом хлебе? — подкатился хитрый Лалетин. — Есть, сказывают, такой хлеб, от которого будто хворый от смерти уходит.

— Вот это и есть такой хлеб! — подтвердил Тимофей, бережно завертывая ломоть в платочек и снова укладывая в саквояж. — Ты правду сказал, что он из охвостий, с землею. Да сила в нем великая. Такой хлеб сейчас едят рабочие и дети Петрограда, но все-таки духом не падают. Нет такой силы, которая бы их сломила. Это и понятно: с ними Ленин. А кто Ленин? Разве не он сказал — вся власть Советам, земля — крестьянам, фабрики — рабочим, долой войну? И наша партия большевиков прикончит войну. Или вы не сыты войной?

Мужики, понятно, сыты по горловую косточку войной и разрухой.

— Ну, а если вы будете лежать бородами поперек революции и ждать восстания контры, что же будет? Рай или ад? Кому вы помогаете? Куда тащите народ и всю Россию?

Мужики зашевелились.

Первым подступил к Тимофею бывший матрос Егорша Вавилов — прямой, высоченный, под потолок, в пестрой дохе и в поярковых пимах.

Он подошел к столу и, подкинув ребром ладони черные усы, заговорил:

— Погоди, едрена-зелена, комиссар! Ты же наш земляк. Обормотать мужика, долго ли? И на рею вздернуть можно. И утопить, как упокойных с корабля. Железяку к ногам, в мешок, и за борт к акулам. Но!.. — погрозил пальцем. — Просчет может выйти. Хлеб, он, как думаешь, с неба падает мужику? Грыжи наживали, а тут — выгребай, и баста! Шутейно ли? Жизнью гребут, не хлебушко! Деревня обнищала, обезгвоздела, лишнюю подкову не сыщешь. Это как?

Переглянулся с мужиками и махнул рукой:

— Так и быть, сдам продразверстку. За три дня рассчитаюсь. Какой седне день? Пятница али суббота. Суббота? Стал-быть, в понедельник али вторник чистым буду. И мужики также. Ладно толкую?

Мужики помедлили и не дружно, но все-таки поддержали матроса.

— Дадим расписку, как и что... Али без расписки поверишь? Как другие, а я не обману.

Тимофей отодвинул свою краюху, подумал.

— Поверю на слово. Каждый пусть скажет, когда вы пезет. Ну ты сказал свое, можешь идти. Кто следующий?

Один за другим мужики подходили, называли день, когда полностью рассчитаются с продразверткой, и уходили из ревкома.

Остался косматый старик.

— Ну, а ты как, Варфоломеевич?

Старик поднялся, погрозил Тимофею крючком пальца:

— Погоди ужо, сатапо! Недолго власть ваша удержится. Ударит колокол, ударит! Земля под ногами вашими огнем-пламенем займется. В смоле кипучей гореть будете, сатаны! Языками сковороды раскаленные лизать будете, сатаны! Праведников под замок упрятали — мученицу Дарью, мученицу Лизавету, мученицу Варвару, мученицу Пелагею. Ужо будет вам огонь, будет! Сама Дарья огненным крестом крестить вас будет, а святой Ананий на сковородке жарить будет. Ужо грядет день!..

Тимофей зажал ладонью тикающую щеку.

— Ты вот что, Варфоломеюшка: иди-ка домой да охолонись на воздухе. А завтра утром приходи, разберемся. Если ты со святым Ананием (Тимофей кивнул на дверь под замком), ну, что ж, твое дело. Пожалуйста! В тюрьму или на печку — сам выберешь. Иди!

Старик не хотел уходить, он хочет нести свой крест мученика.

— Иди, старик, иди! — погнал Тимофей. — Охолопись!

— Давай топай! — открыл дверь один из дружинников. Старик ушел.

Дружинник принес ведро воды, поставил на лавку и тогда уже, взглянув на комиссара, положил что-то на стол, завернутое в холщовое полотенце с петухами.

— Это вам, товарищ комиссар. Старый Зырян передал. От Ланюшки, говорит. И утром ждате будут в гости.

Тимофей чему-то усмехнулся — жалостливо и печально. Есть в Белой Елани семья Зырянов — приветливая Ланюшка, — которые помнят его и заботятся о нем, а он их еще ничем не отблагодарил: закружила, завертела метелица жизни!

— Спасибо, — сказал дружиннику, разворачивая сверток.

Полбуханки пшеничного духмяного хлеба — минусинского хлеба! — кусок сала — троим ее управиться; десяток яиц, а в солдатской кружке, завязанной тряпочкой, сметана и соль в маленьком узелочке.

У Тимофея даже лицо перекошилось, когда он глянул на богатую снедь. Здесь, в Сибири, живут сытно.

Приземистый Гончаров, как бы между прочим, сообщил, что на всех приисках и рудниках в нынешнюю зиму нехватка продуктов и что космачи сибирские продают хлеб, мясо, масло только на золото. А разве у всех приискателей и горняков золото в заначке?

— Понимаю, — сказал Тимофей, вспомнив свирепые слова Варфоломеюшки: «Праведников под замок упрятали — мученицу Дарью, мученицу Лизавету...» «Какую Лизавету? Еще Варвару с Пелагеей... Надо взглянуть, каких мучениц арестовал Головня. Среди них — Дарья Елизаровна».

Головня оставил ему пачку писем, сочиненных святым Ананием и переписанных ее рукой. Сказал еще, что Дарья Елизаровна читала ученикам «божьи письма», поясняя, что большевики от дьявола и потому нельзя им верить. Тимофей помнил листки Дарьюшки с притчами апостолов из Евангелия. Но как же она далеко зашла!.. Он никак не может понять и поверить, что Дарьюшка, та самая Дарьюшка, вдруг примирилась с есаулом Потылицыным и стала его помощницей в подготовке восстания против Советской власти. Или по той притче:

«Возлюби врага своего»? Странно и чудовищно! А он, Тимофей, пронес ее в своем сердце по всем фронтам белой птицей; ее не выжгли ни взрывы мин и снарядов, не вытоптали атаки и контратаки немцев, отступления и победы; не вырубил из памяти тяжелая контузия в дни прошлогоднего июньского наступления. Она всегда была с ним — в победах и поражениях. Как же он теперь встретится с помощницей святого Анания? Или яблоко от яблони далеко не падает? Дарьюшка всего-навсего дочь Юскова. Но под его-то деревом — корень пугачевский. Это он всегда помнил. Так почему же он до сих пор не вытравил из души и сердца Дарью Юскову? Именно Юскову, дочь Жми-дави Юскова? Не выжег ее как полынь-траву угарную?

«Выжгу еще, Раз и навсегда», — круто посолил Тимофей и, позвав с собой Гончарова, пошел взглянуть на «мучениц».

ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ

I

Была ночь. И была тьма.

Черная тьма.

Тьма пеленала Дарьюшку и не грела, а сжимала, как черемуховым обручем клепки кадки.

Старухи спали во тьме, тесно прильнув друг к дружке.

Дарьюшке не спалось. Она куталась в свою беличью дошку и г. пуховую оренбургскую шаль, сидела в углу, под-корчи в ноги, и все что-то слушала, слушала, перебирая в памяти зерна и отсеивая мякину. Чадящую лампу она потушила, положив подле себя коробок спичек. В комнатухе холодно — с утра не топили. Но Дарьюшку трясет не от озноба, а от каких-то страшных предчувствий. Она и сама не знает, что на нее накатило: что-то подкатывает под сердце и давит, давит. А что?

За глухой бревенчатой стеною среди арестованных — ее муж, Гавриил Иванович Грива. Он ее прокликает, она это чувствует. И вдруг кольнуло: «В этом доме будет убийство...»

И сразу услышала серебряную трель колокольчиков: к ревкому кто-то подъехал. Она подскочила к окошку, но разве что увидишь за

двойными замерзшими рамами, да еще закрытыми ставнями и наглухо заколоченными?

«Неужели они нас всех в этом доме...» — Дарьюшка сжалась в комочек, отгоняя страшную мысль.

Старуха густым мужичьим басом проговорила сквозь сон: «Да хвально имя господне... слава святому Ананию... Прокопушка...»

Это Лизавета, тополевка.

Тьма, тьма. Твердая, как железо, непробиваемая...

Где-то за бревенчатыми стенами живут люди, но Дарьюшка почему-то не верит, что там живут люди. Из тьмы приходят и во тьму исчезают, как щуки в омут, — безликие, спешащие, прихлопнутые нуждою и страхом, немые, как камни. Но есть еще святой Ананий. Дарьюшка никогда с ним не встречалась, но уверовала, что он ниспослан богом, чтобы спасти сирот и обездоленных.

И вдруг вспомнила, как в ту декабрьскую ночь поссорилась с Гавриилом Гривой, домогаясь, чтобы он вступил в подпольный «Союз освобождения России...». Тогда Грива сказал ей:.

«Работать надо. Работать! Россию подымать из праха и пепла. Не хочу знать, какие там мысли у эсеров — правых и левых. Я достаточно вижу и знаю: как работают, как тянут свой трудный воз большевики. Они тянут, как стожильные черти. Глаза на лоб лезут, а тянут тяжелый воз России! И они вытянут этот воз, если их не будут бить в затылок из-за угла. А вся эта сволочь эсеровская, кадетская только и умеет бить из-за угла в затылок...»

И еще: «Ко всем чертям эту банду!»

И она, Дарьюшка Юскова, со всей этой бандой? Со святым Ананием, с отцом Мироном — полковником Толстовым, со скорбящим Шмандиным, со свирепыми казаками, с миллионщиками и с оскорбленной Аинной Юсковой? Как белая ворона среди ястребов и коршунов!..

И опять голос Гривы:

«Надо три пуда соли сожрать, выпаренной из собственного тела, чтобы стать большевиком, голубушка! Я от всей души с ними. Я буду помогать им, чтобы поднять Россию из нищеты и праха и построить социализм. Это было бы здорово! Во всем мире в ушах бы зазвенело!..»

«А что, если Грива был прав, а я жестоко запутала его, оговорила большевиков по наущению отца Мирона, Аинны, Вероники Самосовой... Он меня проклинаяет, проклинаяет», — в который раз подумала Дарьюшка и, как это бывает в трудные минуты отчаяния, мгновенно уснула.

II

По ногам дохнуло холодным воздухом. Послышался удивительно знакомый голос.

— У вас что, не нашлось лампы?

— Была лампа, — ответил другой голос.

Кто-то чиркнул спичкой. Дарьюшка испуганно зажмурилась.

— Вот лампа, с керосином. Сами потушили.

Старухи зашевелились, поднимаясь. Дарьюшка втиснулась в угол. Она узнала Тимофея в длиннополой шинели, при шашке и с маузером. «Близится мой час», — подумала. Он ее убьет, Тимофей Прокопьевич. И за измену, и за ее «божьи письма», и за участие в делах подпольного союза. «Пусть, пусть. Мне ничуть не страшно», — успокоила себя, не в силах поднять дошку, свалившуюся с плеч.

— А, тетка Лизавета! — обратился Тимофей к известной тополевке. — А я-то подумал: какая там Лизаветушка? Ну-ну! Как же у вас получилось, праведница, что вы молились святому Ананию-щепотнику? Он же еретик. Мало того что кукишем крестится, так еще и в казачьем войске дослужился до есаула. Или он принял тополевое крещение?

Лизаветушка по-драгунски гаркнула:

— Изыди, сатано!

— Понятно, — кивнул Тимофей. — Только вот что интересно: не папаша ли мой перелицевал есаула Потылицына в святого Анания? Ну, мы еще разберемся. Скажу вам, старушки, так: если бы я не подоспел на помощь вашему святому Ананию-есаулу, его бы сожрали волки. Так что идите домой и не беспокойтесь: святой Ананий сам за свои небожеские грехи ответит перед народом и революцией... И ты, бабушка Варвара, здесь? Ну-ну! И Марфа Никитична? Отменное войско у святого Анания!

— Самое подходящее, — сказал Гончаров.

— Идите домой, идите, бабки! — снова погнал Тимофей. Они еще не верили, что настал час освобождения. — Топите печи да грейтесь — самое подходящее для вас, бабки!

Старухи умелись одна за другой. Тимофей сказал Гончарову, что будет здесь. Гончаров положил к лампе замок с ключами.

Тем временем Дарьюшка натянула на плечи дошку, поднялась: если застрелит, то пусть стоя. «Милости просить не буду», — подумала.

Тимофей опустился на табуретку, глянул на часы: было без четверти четыре — до рассвета еще далеко.

— Вот мы и встретились, Дарья Елизаровна, — проговорил он, глядя на черный циферблат. — Не думал, что так встретимся...

Дарьюшка упрямо вздернула подбородок.

— Не надо слов, — попросила она, глубоко вздохнув, — Делайте свое дело. Я же знаю: вы пришли убить. Убивайте без слов.

— Убить?.. — Тимофей выпрямился.

— Я готова. Ни милости вашей, ни пощады не жду. Я исполнила свой долг.

— Исполнили долг? Любопытно! Взамен паровой мельницы вы отдали себя целиком на службу Потылицыну. Это и есть ваш долг? Давно он перелицевался в святого Анания, есаул Потылицын?

— Убивайте!..

Тимофей зажал ладонью щеку, глухо ответил:

— Я никого не собираюсь убивать, Дарья Елизаровна. Если бы я был убийцей, то сегодня не шкуру бы спас есаулу от волчьих клыков, а оставил бы его на милость зверей.

Дарьюшка слушала, напрягая внимание. Разве есаул Потылицын и святой Ананий — одно и то же лицо? «Не может быть. Нет, нет!» Но Тимофей говорил так просто, обыкновенно, будто сам с собою:

— Ну и стриганул он за волками, святой Ананий, когда узнал меня! Это надо было видеть. Еле догнал по наметам снега. Тоже мне есаул... Второй раз мы с ним сталкиваемся, и оба раза он не на высоте. Кстати, вы пашку и маузер вернули ему?

Дарьюшка, помолчав, ответила тихо:

— Да. Вы же не взяли тогда свои трофеи. А к чему они мне?

— Понятно.

— Шашку и маузер отдала есаулу Евгения Сергеевна, не я. У меня остался... браунинг. Тот, что вы бросили тогда на столик...

Тимофей пристально взглянул на Дарьюшку: она опустила глаза.

— Как же вступили с ним в союз?

— С кем?

— С Потылицыным?

— Я никогда не встречалась с есаулом Потылицыным и слушать не хочу — где он и что он.

— Ну, а со святым Ананием встречались? Принимали от него «божьи письма»?

Нет, Дарьюшка не встречалась со святым Ананием.

— И вы не знали, что есаул Потылицын и святой Ананий — одно и то же лицо?

— Неправда!

— И он же — атаман Георгий, самозванный атаман без войска. «Божьи письма» он подписывал левой и правой рукой: левой — святой Ананий, правой — атаман Георгий.

— Неправда, неправда! — отбивалась Дарьюшка. Тимофей что-то обдумывал.

— Завтра вы с ним встретитесь в ревкоме и сами увидите. Ну, а Веронику Георгиевну Самосову знали?

— Да... А что?

— Арестованная Самосова показала, что вы не только знали святого Анания — есаула Потылицына, но и тайно встречались с ним.

Тимофей открыл офицерскую сумку, достал бумаги и, придвинул лампу, прочитал:

— «Это было пятого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года. Среди ночи в окно дома бабки Ефимии в Белой Елани кто-то постучал три раза. Дарья Елизаровна сидела со мной на постели. Она сразу поднялась на стук и сказала: «Это святой Ананий», — и потом ушла. До утра Дарья Юскова не возвращалась...»

— Неправда! Вероника Георгиевна не могла дать такое показание.

— Вы с ней встретитесь на очной ставке, — ответил Тимофей, пряча бумаги в сумку. — Она показала еще, что вы втянули ее вступить в «Союз освобождения России...» и она вам помогла собрать золото у миллионщиков, которое вы увезли в Красноярск отцу Мирону — полковнику Толстову. Полковник Толстов не мог примириться с

народной властью. Ему достаточно было одной революции — буржуазной, Февральской, она его вполне устраивала: миллионщики оставались при своих миллионах, полковники Толстовы у власти, ну, а народ от такой революции получил только шиш, голод и разруху... Дарьюшка не утерпела:

— А что народ сейчас получил? От вашей революции? Кругом жестокость. Одна жестокость!

— Жестокость? — Тимофей поднялся, уставился на Дарьюшку, как бы взвешивая ее слова. — Революция не без жестокости. Ну, а разве ваш союз не призывал народ к восстанию? Против кого восстание? Против большевиков? А кто такие большевики? Мы что — дворяне, князья, капиталисты? Разве я не своими руками ковал железо в кузнице? Может, за меня работал кто из миллионщиков, а я чужими руками я; ар загребал? Ну, а что получил народ от своей революции — разве вы этого не видите, даже здесь, в Белой Елани? Народ взял власть в свои руки, он стал хозяином своей жизни. И голод и разруху народ сам одолеет. Без Толстовых и без капиталистов. Пусть только господа не стреляют нам в спину и в затылок.

То же самое говорил Грива...

— Не верю в слова, не верю, — проговорила Дарьюшка, не в силах поднять глаза на Тимофея. — Я никогда не примирюсь с жестокостью, никогда! За что расстрелян Арзур Палло? За что? За то, что не принял власть большевиков?

— Как?.. Арзур Палло? — выпрямился Тимофей. — Когда расстрелян? Кем?

Голос Дарьюшки зазвенел, как медный колокольчик:

— В Петрограде! В подвалах ЧК. Тимофей помолчал, спросил глухо:

— Кто вам сказал об этом?

— Аинна Юскова, жена Палло. Вы же знаете Аинну.

— Да, да, знаю... Ну, а насчет Арзура Палло... Тимофей расстегнул шинель, достал какие-то бумаги в твердых корках, порылся в них и вытащил фотокарточку.

— Узнаете? Прочитайте па обороте.

На фотокарточке, величиною с мужскую ладонь, на приступках какого-то здания стоят двое, плечом к плечу. И эти двое — Арзур Палло в тех самых крагах, в мексиканской куртке с теплым шарфом па

шее, а рядом он, Тимофей Прокопьевич, в шинели и в ремнях, в папаше. Точь-в-точь как перед Дарьюшкой. На обороте карточки надпись рукою Арзура Палло: «Торжествуем, друг мой Тимофей! Наша пролетарская социалистическая революция совершилась. Да здравствует мировая социалистическая революция! Будем ее верными солдатами до конца своей жизни. Арзур Палло». А еще ниже дата: «13 ноября 1917 года, Петроград».

— Как же... как же Аинна... — бормотала Дарьюшка, возвращая фотокарточку...

— Аинна Юскова выслана из Петрограда за участие в заговоре юнкеров.

Дарьюшка попятилась на шаг, прижалась спиной к простенку двух окон, глядя округлыми глазами на бровастое заветренное лицо Тимофея с глубоким шрамом. И это лицо — единственное из всех живых — стало ей до того близким, что на глаза ее навернулись слезы. Она его предала, Тимофея, попрапа его имя в доме миллионщика Юскова, пригретая убийцей-барыней Евгенией Сергеевной и своей подругой Аинной, которая оказалась обманщицей. Разве не Дарьюшка в прошлом году в декабре вместе с Аинной оплакивала гибель Арзура Палло, и Аинна — лгунья, так искренне изображала скорбь по убиенному мужу. И разве не Дарьюшка потом пришибла доверчивого таежного человека Гавриилу Гриву, подрезала ему крылья, и он вернулся в ту ночь вдрызг пьяный, рыдающий, проклинающий убийц брата...

«Ложь, ложь, все ложь и ложь, — отслаивалась горечь на сердце Дарьюшки. — И святой Ананий, и «божьи письма» к народу — все ложь, ложь! Да если это правда, что святой Ананий — Потылицын... О боже! Пусть он меня убьет, Тимофей Прокопьевич, только он, и я приму смерть с радостью. Я погубила Гриву. За что?..»

Она звала к себе Тимофея, а приходил Грива, и она закрывала глаза, воображая, что с нею он — единственный, кого она любит. «Лгунья, лгунья...» И слезы покатались по впалым щекам Дарьюшки.

Все произошло в какую-то минуту, и Тимофей, глядя на мгновенную перемену в лице Дарьюшки, невольно подумал, что эту заплутавшую мятежную душу втянули с головой в контрреволюционный заговор, воспользовавшись ее откровенной

доверчивостью, и она не то что заблудилась, а погибла, как пичужка в тенетах.

«Ее окончательно доконали, — трудно подумал Тимофей. Он не в силах был обвинять Дарьюшку, он просто не мог уверовать, что она на самом деле такая опасная преступница, какой изобразила Дарьюшку Вероника Самосова. — Эсерка выкручивается, как подлая тварь. Если явится председатель УЧК, он не очень-то поймет ее, улик достаточно. Но я знаю ее лучше всех и не могу так оставить». Он чувствует, что она сейчас в таком состоянии, когда смерть не пугает, а зовет ее, как красную гостью.

— Инженер Грива ни в чем не виноват, клянусь вам, — дрогнувшим голосом проговорила Дарьюшка, смахивая на пуховый платок слезы. — Это я втянула его в «Союз освобождения». Я сказала ему про Арзура Палло. Он не хотел верить. Потом пришел в дом Юсковых, и то же сказал ему дворник. Это сама Аинна всем говорила про расстрел Арзура Палло, она в соборе заказала службу по убиенному. О, боже! Ложь, все ложь и ложь!..

Как-то сразу весь ее внутренний мир распался на какие-то странные осколки, наподобие разбитого зеркала; и в каждом осколке она видела себя, и в разных лицах: то юная, беспечная, на парадной лестнице в женской классической гимназии; то совсем девчонка, в батистовом платье, отличница приготовительного класса; то с растрепанными волосами на лужайке в девичьем хороводе; то в дворянском собрании на выпускном вечере — сияющая, счастливая, и все были уверены, что она получит золотую медаль. Но ее обошли. За что обошли? Она горела, как факел, когда читала «Марсельезу», и ей хлопали, ликовали. А потом вместо золотой медали — серебряную. Кто-то сказал: «За «Марсельезу» посеребрили...»

И так пошло. Наказание за наказанием. За добро — злом; за откровение — хитростью; за мягкосердечие и участие — жестокостью.

— Не хочу жить, не хочу! — с болью выдохнула Дарьюшка.

Тимофей взял ее за руки; она вырвала их:

— Не надо, не надо. Не пачкайтесь, Тимофей Прокопьевич...

«Нельзя ее оставить под замком в таком состоянии, — подумал Тимофей. — Я не могу ее оставить».

— Как здоровье бабушки Ефимии? — спросил нарочито спокойно, чтобы размыть мрачные мысли Дарьюшки.

— Что? Что? — не поняла она, хмуря высокий лоб. — А... она здорова. Была здорова.

— Вы в ее доме живете?

— Я? Нет. Нигде. Здесь! — и показала рукой, думая о чем-то совсем далеко. Слова как будто не доходили до ее сознания. Все слова, слова, одни пустые слова... Она, Дарьюшка, верила в пустые слова, исповедовала Слово божье, а Слово было мертвым; со Словом божьим творил зло «святой Ананий»...

— Пойдемте к бабушке Ефимии, Дарья Елизаровна. Там вы отдохнете, выспитесь...

III

На улицах куражился мороз — колючий и жесткий, сизый в накале, железный.

Они шли двое — чужие и близкие; снег сухо скрипел под ногами.

Тимофей говорил о Петрограде, о Ленине: и что он за человек, Ленин — настоящий вождь пролетариата, а он, Тимофей, приехал в Минусинский уезд по поручению Петроградского Совета — достать хлеб для голодающего Питера. Мрут малые детишки, рабочие пухнут с голоду, а в Сибири много хлеба, и этот хлеб надо дать голодным.

— Ленин... Так много разговоров о Ленине, — тихо промолвила Дарьюшка, что-то вспомнив. — Грива говорил, что Ленин тянет растрепанный воз России, как тысяча паровозов. Л куда? Куда тянет воз России?..

— В социализм, — ответил Тимофей.

— И Грива говорил — в социализм. Но если кругом голод и разруха...

— Одолеем и голод и разруху!

— Грива говорил, что с большевиками работать можно, они без вранья.

— Грива?

— И он верил, что большевики построят социализм.

— Тогда чего же он залез в заговор? Или испугался социализма?

— Нет, нет, это все я!..

Тимофей не спорил: у него па этот счет особое мнение.

Они вошли в березовую рощу. Белый снег, как саван, и белые березы с черными метлами голых вершин; босоногие березы, дремлющие в морозную ночь. Дарьюшка слышит их таинственный шепот, они будто подбадривают друг друга: «Еще немного, и не станет морозов, весной дохнет Синегорье. И тогда мы опять будем нарядные и шумные на ветру. Под нашими зелеными платьями будет прохлада от зноя, и ты придешь к нам, Дарьюшка». Или они о чем другом шепчутся, белоногие красавицы?

От дороги к дому бабки Ефимии вела узкая тропа, умятая в глубоком снегу — одному пройти. Тимофей пошел вперед. Так бы они шли вечно, если бы...

Престарелая Ефимия встретила Тимофея в передней избе; узнала сразу, приветила, как дорогого гостя, пригласив на красную лавку.

Ефимия только что растопила печь, и вся куть пылала жарким заревом от горящих березовых дров; вкусно и сытно пахло творогом, тестом в квашне.

А Дарьюшку несло, несло куда-то в неведомое, мутное, откуда нет обратной дороги. Она вошла, как чужая, в дом Ефимии Аввакумовны, и если бы сама бабушка не подтолкнула, так и не разделась бы.

Тимофей снял шинель, повесил на сохатинные рога у порога и остался во френче с оттопыренными карманами. Оружие положил на лавку и сам сел возле оружия у стола.

— Ах, Тимошенька, Тимошенька, — бормотала Ефимия, собирая на стол. — Вижу и глазам не верю. Времечко-то настало крутенькое. Ох, крутенькое! Ударил колокол, ударил... Пугачевым огнем занялась вся Россия. Ни унять тот огонь, ни водой залить И царь с престолом сгорел в огне, и чиновники, и жандармы. Пусть разгорается огонек-то, к добру разгорается. Старое да гнилое в пепел обратится. Так, Тимошенька! А тебя куда несет, головушка? — глянула она на Дарьюшку. — Заблудшая овца... Тут вот перед рождеством барынька явилась из Минусинска, прильнула к Дарье. С казаками хороводилась, со святым Ананием. Я-то увещевала ее, — кивнула на Дарьюшку, — от духмяной барыньки добра не жди, па то и вышло. Кабы сила моя, дала бы я тем казакам с барынькой, да и Дарьюшке досталось бы. Ох, досталось! Да где мне, сто тринадцатый годок вытаптываю, Тима, сто

тринадцатый. А все живу, дышу да глаза вскидываю на пожарища. Неслыханное. Неслыханное! Знать, дожила я до тех годов, о которых Филарет толковал единоверцам на тайных молениях: займется пожарище, и сгинут в том пожарище бары да дворяне, помещики да объедалы, и настанет народу вольная волюшка.

Взглянув на притихшую Дарьюшку, рассердилась:

— Дарья! Да ты што сидишь как неживая! Чай подай да заварку сделай погуще. У меня вот тесто подоспело, хлеб выкатывать надо.

Дарьюшка занялась приготовлением чая; бабушка — теслом.

Голова Тимофея стала тяжелая, как оловянная. Если бы сейчас беззаботно выспаться, как это бывало в дни затишья на позициях! Он давно не спал. За месяц в уезде — ни дня покоя. Правая кисть мозжит и ноет — обморозил, что ли? Ну, да ничего! Заживет, как на собаке.

Не заметил, как уснул мгновенно, вот так — сидя, подперев скулу ладонью.

Дарьюшка подала чай и растерянно посмотрела на спящего Тимофея. Она не хотела его тревожить. Есть нечто особенное в лице спящего: он становится будто другим человеком. И сейчас, глядя на Тимофея, Дарьюшка узнала его. Да, это он! Самый настоящий, не из вымысла ее страстных желаний. В его исхудалом лице нет ни тени жестокости, он кажется таким смиренным, добрым и беззлобным. Правая рука беспрестанно подергивается. Дарьюшка присмотрелась, тихо позвала:

— Бабушка! Что у него с пальцами? Видите? Ефимия осмотрела руку.

— Обморозил, должно: пухнут пальцы... Где же он так?

— Он говорил: от волков отбивался.

— Ишь ты, господи! В горенку бы увела к себе, приветила бы.

— Нет, нет, что вы, бабушка! Наши пути разошлись.

— Нету у тебя пути, Дарья, беспутство одно! Хоть подушку дай да в изголовье положи. Руку бы гусиным салом натереть. Зажги лампу да сходи в кладовушку, там есть гусиное сало.

— Скажи, бабушка, кто такой святой Ананий?

— Самозванец, должно. Сколь раз говорила тебе, что святыми объявляются из корысти да тщеславия. Не верить им, а гнать надо. Где он, этот святой?

Дарьюшка ничего не ответила; пошла в кладовушку за гусиным салом. Бабушка Ефимия подложила под голову Тимофея свою подушку.

V

Но для Тимофея и во сне не было покоя. Сейчас он в Петрограде — в промозглом, сыром, голодающем Питере.

Он спешит в Смольный к Ленину. Ветер хлещет в лицо. Правую руку покалечило шрапнелью, что ли? Он не слышал взрыва, схватился — рука вся в крови, оторвало пальцы. «Это все юнкера поганые, буржуйские недоноски», — скрежещет зубами Тимофей и несет правую руку возле груди, удерживая стон. Спешит, спешит в Смольный к Ленину... Навстречу по узким улочкам — изможденные голодные люди. И все они просят хлеба. Детишки, как галчата желторотые, пищат: «Корочку!» Страшно... «В Сибири много хлеба», — думает Тимофей. Он скажет Ленину, что пусть его, Тимофея, пошлют в Минусинский уезд. И он доставит хлеб в Питер. Эшелонами!.. Вот и Смольный. Красногвардейцы, матросы, винтовки, пулеметы на приступках парадной лестницы, где когда-то топали туфельками благородные девицы. Бряцающая шашкой по ступеням, Тимофей не идет, а летит. Кто-то из матросов кричит вслед: «Выручай, братишка, голодом задушат революцию!»

Нет, не задушат! Есть Ленин. Есть партия — пролетарская рабочая партия. Есть мировой пролетариат — не задушат! Есть питерские рабочие, пусть голодные, разутые, но непреклонные...

Смольный наполнен солнцем и зноем. Тимофею жарко в шинели, рука нестерпимо болит. Солнечные своды Смольного кажутся бесконечными. И чем дальше Тимофей идет, тем выше своды и тем ярче солнце слепит. Гудят, трезвонят колокола. Вот бьет большой колокол Петропавловки. Тимофей командует пушками. «Прямой наводкой, по контрреволюции. Огонь!» Взять надо последнее прибежище министров-капиталистов, прихлопнуть их в царском дворце.

«Бом, бом, бом!» — это набат революции.

Мгновение, уходящее в вечность. Дни Октябрьской вечности. И это знают все — Тимофей, солдаты, матросы, вооруженные рабочие

дружины: они творят мировую историю. И каждый удар колокола — это уходящие минуты революции. Их будут вспоминать веками.

«Вся власть Советам! Даешь Зимний!»

«Бом, бом, бом!» — гремит на весь мир колокол русской революции.

И опять Тимофей видит себя в Смольном у двери в кабинет Ленина. Часовой подталкивает в спину: «Иди, браток, иди! Ильич — он, браток, башковитый. Насквозь все видит и понимает».

Дверь настезь, и вот он — Ленин.

Какой он, Ленин? Тимофей пять раз встречался с Лениным и всегда спрашивал себя: какой он, Ленин?

Сейчас он увидел Ленина в белой рубашке, и ворот расстегнут. Он никогда не видел вождя в такой рубашке: длинная, без пояса, и до того белая, что смотреть больно, белее снега. Тот Ленин, с которым Тимофей встречался пять раз, был в черном пиджаке, в жилетке, при галстуке на белом. Этот — в простой косоворотке, какую Тимофей носил когда-то в Красноярске, до того как его сослали в Белую Елань.

Ленин пожал руку Тимофею.

— Ну, здравствуйте, сибиряк! Рад вас видеть. Как о хлебом?

— Хлеб будет, Владимир Ильич! Есть хлеб в Сибири.

— Как же, как же! В Сибири действительно много хлеба. Феликс Эдмундович, как думаете, в Сибири есть хлеб? — прищурясь, Ленин оглянулся на Дзержинского.

Дзержинский сказал, что в Сибири достаточно хлеба и его надо доставить в голодающий Питер. И тут Тимофей выпалил:

— Владимир Ильич, бороды легли на хлеб!

— Бороды? Как то есть бороды?..

— Самые настоящие бороды, Владимир Ильич.

— Слышите, Феликс Эдмундович, — бороды! — хохочет Ленин и трижды повторяет сквозь смех: «Бороды, бороды, бороды». И опять Дзержинскому: — И у нас с вами бороды. А? Как? А?

— Там другие бороды, Владимир Ильич. Космачей бороды. Кержаков бороды. Непроходимой дремучести бороды.

— Ах, вот как! Лю-бо-пыт-но! Кержаков бороды? Так, так... Другие бороды, значит? Помню, помню их, — кивает округлой головой и потирает лысину ладонью. — Великолепно помню. И вы помните, Феликс Эдмундович? Непроходимой дремучести бороды. В

Шуше — Ермолаева борода. Как он там, жив-здоров? Длинная у него борода?

— На всю Шушь, Владимир Ильич. Там еще бороды Заверткина, Строганова. Непроходимые бороды.

— Помню. Помню.

— В Шуше полнейший саботаж, Владимир Ильич. Каждый пуд хлеба приходится брать с бою.

— Ну, а в Ермаках как? Тоже бороды?

— Во всем уезде такое положение.

— Что же вы решили? — прищурился Владимир Ильич.

— Стричь надо бороды.

— Так. Так. — Ленин задумался, пошел по кабинету. Следом за ним идет Тимофей. Они идут долго-долго. Теперь они не в Смольном, а на Невском. И всюду — голодные, кричащие: «Хлеба, хлеба!» Ленин идет все быстрее и быстрее, засунув руки в карманы, чуть сутулясь. Тимофей едва поспевает за ним. Они идут через Дворецкий мост; Тимофей задержался на мосту и посмотрел на Зимний. Во всем дворце ни единого огня; безмолвный дворец; ни царя, ни министров-капиталистов. «Так, значит, стричь бороды?» — слышит Тимофей голос Ленина. Но где он, Ленин? Тимофей оглядывается, ищет, бежит, но Ленина нигде нет, будто растворился в воздухе. Но Тимофей знает, что Ленин здесь, рядом с ним. Ленин — это весь Питер. И в самом Тимофее Ленин. И он слышит голос Ленина: «Тимофей Прокопьевич! Тимофей Прокопьевич!..»

Кто-то встряхивает Тимофея за плечо.

— Что? Что?

— Беда, Тимофей Прокопьевич! Беда!..

Тимофей вскочил, никак не может сообразить, где он. Только что был с Лениным...

— Беда стряслась, Тимофей Прокопьевич! — грохочет бас Мамонта Головни.

— Что? Что?

— Арестованные сбежали. Не все, а главные, офицерье...

— Кто сбежал? Кто? — Миг — и Тимофей на ногах, в шинели, в ремнях, при шашке и маузере.

— Пять душегубов смылись со святым Ананием. Оба офицера Ухоздвигова, отчаянный контра Урван, хорунжий из Каратуза, фамилия

как его...

— Еще кто?

— Сам Елизар Юсков, медведище, утопал. Восемь остались. Инженер Грива, Филимон, миллионщик Ухоздвигов, старик, братья Потылицыны, есауловы братья, двое. А так и другие. А те ушли через окно в улицу.

— Как так в улицу? А часовой?

— В ревкоме байки слушал, туды их!.. А те улучили момент, выставили раму, а в первой выдавили стекла. Доска не удержала ставень, прибили-то на скорую руку, едрит твою в кандибобер! Крачковский с Гончаровым говорят, что они глаз не сводили с арестантской. Да врут, собаки!

— Что же Грива не ушел с ними? — спросил Тимофей и только тут заметил, что правая рука у него перевязана отбеленным рушником.

— Драка у них там произошла, — ответил Головня. — Филимон говорит, что инженер Грива будто налетел на святого Анания и двинул ему в морду. Офицеры Ухоздвиговы моментом скрутили Гриву, кляп в рот заткнули и по рукам-ногам связали. А есаул потом пинками морду инженеру расквасил. До полной невозможности расквасил! Самого Филимона тоже связали и кляп засунули, чтоб голос не подал. Чисто сработали!

— Так... — На щеках Тимофея вздулись желваки. — Ну, что же, они свое същут со святым Ананием. Недолго погуляют!

— Я всех поднял на ноги, — сказал Головня. — Мы с Аркадием Зыряном на рассвете вернулись. Видим, что-то неладно со ставнем: доска болтается...

Тимофей попрощался с бабкой Ефимией, а Дарьюшке скупо обронил:

— Всего хорошего. Спасибо за хлеб-соль. И ушел.

VI

Был день. И не было дня.

Было солнце. И не было солнца.

Мгла топталась над миром, седой туман тянулся к синему куполу неба; поземка мела по улицам, зализывая черные бока кержачьей Белой Елани.

Дарьюшка шла в ревком, и ноги не несли: туман перед глазами. Где оно, солнце, когда на душе темно и сыро?

Зубастый волк ушел...

Она бы хотела взглянуть на него — каким он стал, Григорий Потылицын, один «в двух лицах». Без серебряных гладких погон, в рубище, наверное. Тот есаул был бритощекий, хитрый... Она его помнит...

Когда Дарьюшка вошла в ревком, перед нею все расступились, и она сразу увидела Гаврю. Он сидел на лавке. Лицо его... Только глаза уставились на Дарьюшку свирепо и зло, а все остальное было скрыто повязкой. Ни носа, ни щек, ни лба.

Тимофея в ревкоме не было.

Кто-то вошел, сказал, что подводы есть и надо арестантов выводить.

Аркадий Зырян подал Гриве тулуп, помог надеть шапку, но шапка прикрыла только затылок — мешала повязка.

— Оставьте! — рыкнул Грива, не спуская чугунного взгляда с Дарьюшки.

Она не смела подойти к нему. Столько собралась сказать, но ничего не сказала. Были слова. И не было слов...

Из арестантской вывели братьев Потылицыных, миллионщика Ухоздвигова и еще троих, кроме Гаври.

Грива трудно поднялся и, не запахнув тулупа, пошел к выходу, прямо на Дарьюшку.

— Прочь, сука! — И с силою толкнул ее в сторону. — Не знал, с каким святым Ананием ты повязалась, не знал! Будь ты проклята! И пусть земля будет тебе камнем!

— Гавря!.. — ойкнула Дарьюшка.

— Прочь! — отмахнулся он и быстро вышел. Следом за ним все, кто был.

Она осталась одна: сама перед собой. Тихо. Очень тихо. Или она оглохла?..

VII

«Возьми свое и пойди», — ударили слова. Она не знала, откуда они, эти слова, и что они значат. «Что я должна взять свое? Что тут

мое?» — оглянулась. И тут подумала: «Я пришла с раскаяньем, с поздним раскаяньем. Он не принял мое раскаянье, он проклял меня...»

Возле ревкома уже не было подвод с арестантами — уехали.

Слова не имели смысла. Она утешалась словами и верила в слова. И слова эти были возвышенные, умиротворяющие, бередящие душу. Но только слова.

«Я не знала людей, — призналась сама себе с обидным опозданием, — великое множество людей! Не знала их, не понимала. Что-то мне претило понять все суетное, мазутное. И так постепенно я оказалась совсем одна, Грива проклял меня. Проклял...»

Настал час деянию; деяния не было.

Но деяние должно было свершиться; одно последнее деяние, и она сразу это поняла, когда вышла из ревкома и оглянулась на отчий дом Юсковых.

Она вспомнила, что было воскресенье и был день в истоке. Мороз еще держался с ночи, но постепенно смягчился, и когда поднялось солнце над Татар-горою, сразу защебетали синицы, воробьи, перелетая с крыши на крышу.

Улицей шел дед Юсков. Он сильно состарился, осунулся, горбился, опираясь на толстую палку. Они встретились посреди улицы, и Дарьюшка, не выдержав, склонила голову на грудь деда, промолвив:

— Прощай, дедушка. Не поминай лихом.

— Али тебя не освободили?

— Меня? — Она подумала. — Нет, не освободили, дедушка. Не освободили.

— А сказывала Марья Тужилина, что сам Боровик-разбойник освободил...

— Нет, дедушка, не освободил...

— Ах ты господи! — Дед оглянулся. — Пойдем к нам, пойдем... Спрячем — не сыщут. Отец-то, слава Христе, ушел. И святой Ананий с ним.

— Прощай, дедушка!

— Да што ты, што ты, Дашенька? — встревожился не на шутку Юсков, но не сумел остановить внучку.

Она пошла большаком на исход улицы. Куда же?

Из ограды зырянской улицы выехали в кошеве трое: Головня, Тимофей и Аркадий Зырян.

Дарьюшка поравнялась с ними. Тимофей глянул на нее, ничего не сказал.

Ничего не сказал.

У него не было к ней слов...

Когда кошева проехала, Дарьюшка двинулась дальше, как слепая, не видя ни домов, ни неба, ни тумана над поймою Малтата. Мимо прошли какие-то низовские бабы; дед Юсков, напряженно приглядываясь, топтался на месте. Куда же она? Куда? Сам Боровик с ревкомовцами укатил. Она же шла все дальше и дальше, под горку...

— Господи помилуй! — перекрестился дед Юсков и, опираясь на палку, пошел большаком к пойме Малтата. Нога у него волочилась, и он не мог ускорить шаг.

VIII

Спускаясь к пойме, Дарьюшка остановилась. Вокруг тополя грудились старики и старухи, и чей-то старческий бас тянул молитву: шла служба тополевцев.

Дарьюшка подошла ближе. На снегу под тополем на коленях стоял Прокопий Веденеевич — в полушубке, без шапки, седой, крепкий, как пень, и тянул по-старообрядчески, чтоб благословил господь единоверцев, дал бы просветление разума и вверг бы в геенну огненную большаков, поправших бога.

— На Слово твое упо-о-о-ва-а-ю...

А Слово было ложью, и это знала Дарьюшка.

«Под этим тополем, наверно, Потылицын из есаула превратился в святого Анания», — с горечью подумала, спускаясь в гущу зарослей чернолесья.

Дорога вела к Амылу.

Дарьюшка отломил ветку черемухи, и осыпь инея засыпала ее пуховый платок. Солнце поднялось над Татар-горою, но она не видела солнца.

Думала ли она о весне? Наверно, думала, если обломил ветку черемухи. Может, подумала, что вот ветка черемухи белая от инея, но будет другая черемуха — в осыпи белых цветов, пахучая.

Так она дошла до Амыла — но не в том месте, где Малтат сливается с ним, а значительно выше. Спустилась с берега, но не

вышла на лед. Постояла и круто свернула к правому берегу. Тут она пошла снегом; местами наст не выдерживал тяжести ее тела, и она проваливалась, оставляя глубокие ямки в сугробе. Она не торопилась, как потом разглядел дед Юсков, шла спокойно, как ходят люди, которым некуда спешить.

Ниже по течению Амыла дымилась полынья. Знала ли Дарьюшка про эту полынью? Наверное, не знала. Была бы на Амыле в эту зиму, то пошла бы с дороги влево, и там, саженой сто, на перекате была большая полынья и никогда не замерзала. А эта подернулась ледком; пар шел от небольшой проталины, как от проруби. Вокруг полыньи на большом круге лед был недавний, еще не занесенный снегом. Дарьюшка от берега направилась к полынье, и шаги ее на снегу стали более торопливыми, а на гладком льду исчезли.

Не дошла до полыньи сажени две и остановилась.

Сперва она сняла дошку, почему-то свернула ее вверх подкладкой и положила на лед. Потом сняла шаль, кинула поверх дошки. Под шубкой была вязаная кофта — она и ее скинула и бросила тут же. Затем вынула из волос роговые шпильки, положила кучкою на кофту. Также на кофте оказались два золотых кольца — суперик с бриллиантом и толстое кольцо со среднего пальца левой руки — подарок Аинны Юсковой. Потом сняла шерстяное платье (как видно, торопилась: позже установили, что петельки застежки на спинке были разорваны и одна пуговка висела на нитке). Платье бросила на кофту; сняла крест на платиновой цепочке, швырнула его в сторону полыньи (его так и нашли у самой кромки). Но вот что самое удивительное — это часы. О чем думала Дарьюшка, когда, отстегнув браслетку, сняла их и с силою разбила о лед? Не то что разбила, топтала ногами: ибо на мелкие осколки разлетелось стекло.

Так, покончив с пятью мерами жизни, подошла Дарьюшка к полынье и тут сняла новые фетровые сапожки — подарок инженера Гривы; поставила их рядышком. Ноги в чулках пристывали ко льду; остались два следа.

— Да-а-арья! — раздавался над Амылом голос деда Юскова.

Ответа не было. И еще раз:

— Да-а-а-арья! Ответа не было. Больше никто ее не звал...

К месту, где разделась Дарьюшка, приковылял дед Юс-ков. Долго смотрел на внучкины вещи. Подбежал мальчонка в мужичьем

полушубке с длинными рукавами и тоже молча уставился на кинутое.

По старческим щекам Юскова катились слезы, теряясь в бороде. Потом он опустился на колени и пополз к полынье, где стояли фетровые сапожки.

Мальчонка крикнул:

— Деда, провалитесь! Тута лед шибко тонкий! Старик не ответил.

Он взял сапожки и сунул в них руки: они еще хранили тепло ее ног.

Он молился долго. Очень долго. Силы его слабели, и, путаясь в псалмах, он размашисто крестился. Вдруг покачнулся и, падая лицом на лед, громко сказал: «АМИНЬ». И тут настало успокоение.

— Дедушка! — жалостно позвал мальчонка.

Налетевшая поземка раздувала белые стариковские волосы.

Мальчонка побежал прочь: ему предстояло жить, а у него были крепкие ноги...

1934–1937

1951–1966

Казахстан

Сибирь

КОНЬ РЫЖИЙ

БЫТИЕ РЫЖИХ ЛЕБЕДЕЙ

I

Во времена оные, незапамятные, когда за Каменный пояс — Урал — перевалили отважные русские казаки вольницы Ермака Тимофеевича, закрепляясь на берегах Иртыша и Тобола, появились в Сибири первые казачьи поселения — станки, городища, а много позднее — станицы.

Одной из таких станиц был Таштып у синих гор Саянских.

Проживал в Таштыпе казак Василий Васильевич Лебедь, из донских. Служил он верою и правдою царю и отечеству в Крыму, где сыскал себе красавицу женушку из семьи бедного столяра, да и сам не из богатых был; выпало ему на долю быть первым в боях с японцами в Южной Корее, где его контузило от взрыва снаряда. И говорил потом рыжий казачина: кабы не командующий генерал, который не подбросил подмогу русскому гарнизону, то он, славный донской казак, вернулся бы в отчий курень не рваным и драным, а непременно в георгиях и звонких медалях.

Тем временем в родной станице Качалинской на берегу Верхнего Дона братья Василия поделили имущество и землю, и битому вояке мало чего досталось. Встретила его женушка, Анастасия Евстигнеевна, с тремя сынами: Василием, старшим, названным в честь деда, как шло из рода в род у Лебедей, головастым Ноем, нареченным именем прародителя рода людского, и малым пятилетним Иваном — вот и все богатство, да еще мазанка отца, старого Лебеда, с матушкой Марфой Никитичной, а на базу — один конь, тупорогий вол да еще пестрая буренушка.

Два брата служивого успели обжить собственные курени, отделившись от старого Лебеда, два других — женились на богатых казачках и ушли из дому. Еще до того, как вернулся служивый из чужедальной Маньчжурии, сыновья его успели побывать в Юзовке на шахте, да ничего не заработали — уголек-то горькой солью оmyвается, а не деньгами для углекопов.

Созвал престарелый рыжий Лебедь сынов своих на семейный совет и сказал так:

— Все вы для меня и матери, как вот пять пальцев на руке — не оторвать без боли и крови ни единый. Одначе, Григорий, и ты, Михаил, заобидели старшего брата, имя которого мое, как он первым народился, и по роду нашему — глава куреня. Али забыли то?

Рыжебородые братья — плечо к плечу, чуб в чуб, не забыли то, но в чем виноватит их батюшка?

— Гутарю я, вы слушайте! — призвал старик сынов, расправив надвое длинную, огненную бороду. А на груди его вся выкладка из крестов полного георгиевского кавалера, ордена Болгарии за освобождение от ига турецкого, а через плечо по старому мундиру — георгиевская лента о трех черных и двух желтых полосах с бантом. — Наш род, сыны мои, сыспокон века славен воинством, не богатством. Нету такой войны, в которой не воевали бы Аленины-Лебеди за землю русскую. Вышел из нашего куреня Алениных, какая у нас была фамилия до того, как стали звать нас Лебедями, Яремей сын Тимофеев, атаман знатный. Сказывают, будто род Алениных почался от самых первых казаков, какие за сто годов до царствия Ивана Великого пришли на Дон и тут жить стали.

Яремей, а как по прозвищу — Ермак, третьим был сыном у Тимофея Аленина, самым отчаянным. Созвал батюшка сыновей в курене и повелел вынуть по пруту из веника. У кого будет короткий прут, тому уйти из куреня в Астраханское воеводство, которое охраняло Дон от бусурман-турок и от татар крымских. Вынул Яремей короткий прут, ушел в войско, удалю и смелостью прославился, атаманом стал; награду поимел от воеводства — шашку турскую ковки дамасской в золоте с прописью. Как было потом, никто не ведает: ушел из войска Яремей Тимофеевич, на Волге вольницу отчаянных людей собрал, на стругах летали, боярские и царские вотчины щупали, за что и били их не малым числом. Сам Иван Грозный повелел лютой казнью порешить всех, особо назвав атаманов: Ермака, Ивана Кольцо и Матвея Мещеряка из станицы Качалинской, от которого род ведет наш станичный атаман, Григорий Анисимович, неслыханно разбогатевший конным заводом на казенных землях.

Приметил Ермака башковитый Строганов — на Урале заводы имел, соль варил, железо ковал и торг вел с кучумской Сибирью.

Сказал Строганов Ермаку: ступай с вольницею за Камень — там земля сибирская под бухарским Кучумом-ханом. Нету, говорит, на той земле ни ладу, ни складу: кучумцы бусурманскому Магомету молятся, а дикари-сибирцы зверю и лесу, ясак не платят, богатства ногами топчут. Без той земли, говорит Строганов Ермаку, не жить России — простору не будет. Завоюй для царства Сибирь и — милости великой сподобишься.

И пошел Ермак с казаками и атаманами за Урал-Камень воевать того Кучума. Четыре года бились, потеснили войско орды, да не уберегся атаман: кучумцы подстерегли, напали на сонных, и утонул наш Ермак Тимофеев в Иртыше. В песнях навек прославился, а Сибирь прислонилась к царству Российскому.

II

— А таперь слушайте далее, сыны мои! Жили мы куренем у отца: пятеро братьев, как вот вы у меня, да еще четыре сестры. Хоть и немало повоевали Лебеди за землю русскую, а богатства не завоевали. Отчего? Что приплыло от воинских почестей, то и уплыло само собой, как Дон воду несет к богатым низовским станицам. А земли наши известны, и промысла нету!

Созвал нас батюшка на совет, и долго мы гутарили: как и чем жить? На богатых ли станичников горбиться, али в шахты уйти, как внуки два года мытарилась и рваными вернулись? И тогда сказал отец мой, который опосля Крымской войны из Севастополя вернулся при наградах и четырех раненьях: «Корень наш от Ермака во земле Сибирской, и не след нам, Лебедам, забывать про ту землю».

Рыжие чубы повисли вниз...

— Как Ярмак со своими братьями, тянули мы прутики из веника. Дяди ваши — Кондратий и Леонтий, вынули короткие; еще до чугулки поехали со скарбом в Сибирь — мы отдали им все, што имели, как деньгами так и добром. Знаете, живут теперь в станице Таштып, и не жалуются, и стала им земля сибирская родней донской. Али не так?

Призадумались братья Лебеди.

Старый Лебедь поглядел на каждого из сынов, погладил раздвоенную бороду, будто пламя разметнул, уставился на малого Ноя;

а этот малый, не обиженный богом силушкой, на пятнадцатом году вскидывал на плечо чувал с пшеницею в шесть пудов и не гнулся.

— Ноюшка, подь ко мне!

Братья Лебеди догадались: пошлет за веником...

Старого Лебеда опередил Василий:

— Не будем тянуть жребий, батюшка, — сказал он, выдержав суровый взгляд отца. — Братья своими куренями живут и для них-то земли мало. К чему им трогаться? Ехать надо мне с семьею.

— Ай! — вскрикнула Анастасия.

— Видит господь, от сердца говорю, старший сын мой, пусть будет так, — ответил старый Лебедь. — И не станет меж братьями злобы, а дружба восторжествует. А вы, сыны мои, остаетесь здесь, на славном Доне, окажите помощь старшему брату. Соберите деньги, кто сколько может, выделите что из скарба, скотины, имущества. У кого нету денег — займите. А я пропишу братьям в Таштып. — Глянул на седенькую жену Марфу Никитичну: — Вынь из моего сундука шашку Яремееву, евангелие, какое носил с собой всю турецкую кампанию с иконкой богородицы, отца моего.

Старуха принесла из маленькой горенки шашку, завернутую в отбеленный холст, евангелие с иконкой богородицы и положила на стол перед хозяином куреня.

Старик вылез из застолья, развернул шашку, держа ее на вытянутых руках, подозвал Василия:

— Перекрестись, сын мой.

Василий перекрестился.

— Передаю тебе боевую шашку Яремея Аленина, яко Лебеда. Не потреби ее во зло.

Василий принял шашку, поблагодарил отца за доверие, поцеловав золотой эфес.

— Ежли призовут на войну сынов твоих, — наказывал старый Лебедь, — передашь Ною; к нему имею великое доверие; не запомнят то.

— Не запомню, батюшка, — ответил Василий.

Старик взял евангелие с иконкой, подошел к Ною, положив руку на его плечо, сказал:

— Сие писание, Ноюшка, с ним я гнал турков из Болгарии, и немало видывал смертей и баталий. Передаю тебе с иконкою, и ты

помни то в Сибири! Блюди слово господне — не забижай всеу других людей.

— Я и так никого не забижаю, — ответил внук.

— Знаю то! Господи! Кабы не бедность наша, послал бы тебя в Войсковое училище, и стал бы ты славный офицер для державы. Ну да, доброе сердце подскажет тебе линию жизни. Таперь идите, сыны, с богом. За неделю собрать надо Василия. До Воронежа проводим. А тебе скажу, невестушка Анастасия, не точи слезы: в Сибири не одни каторжные и ссыльные проживают. Василий знает, какую неслыханную смелость и геройство показали они на японской.

III

Василий Лебедь с сыновьями и женошкой Анастасией Евстигнеевной отбили поясной поклон Дону и поехали на двух бричках лицом к восходу солнца — в Сибирь. На чугунке погрузились в товарный вагон вместе с двумя разномастными конями, коровою, нетелью, скарбом, и немало времени тянулись эшелоном в просторные земли за Уралом. От Красноярска плыли на пароходе до Минусинска по Енисею, а окрест лохматилась желтая осень. И тайга подступала к берегам, какую во снах не видывали. Потом на бричках дорога в Таштып. Ковыльные степи, серебрящиеся на солнце, где нагуливались отары овец и косяки лошадей, а деревня от деревни — семь верст киселя хлебать. На пашнях шатрами возвышались суслоны и скирды хлеба, стога сена по долинам. Дух захватывало от размашистого простора, невиданного на Дону.

Дяди — Кондратий и Леонтий Васильевичи, — такие же рыжие, как и старый Лебедь, встретили племянника с семьею гуляньем на целую неделю; жили они справно в крестовых домах, а в надворьях — амбары с хлебом, скотные дворы.

Приписался Василий Лебедь к Енисейскому казачьему войску, сменил красные лампасы на желтые. За два года поставили пятистенный дом — благо лес был под рукою — кедровый, сосновый, живи, не тужи!..

Прибавлялась семья. Одна за другой появлялись на свет люди твоя, господи, женского полу: Харитинья, Лизавета, Анна, Прасковья и на исходе бабьего века народилась Евлампия, которая, не прожив трех

недель после крещения, была «заспана» матерью — о чем не очень-то сокрушался отец.

По семнадцатому году богатырской силушки сын Ной в горном Урянхайском крае, где казаки несли пограничную службу, подружился с отчаянным лоцманом, гонявшим салики по бурным и опасным рекам двуглавого Енисея — Бий-Хему и Каа-Хему, и до того наторел в плаванье, что век бы не расставался с диким краем, где проживали сойоты в берестяных и войлочных чумах, а среди них русские поселенцы из староверов, некогда бежавшие от православной церкви и самодержавия. Вольной волюшки набрался Ной по самую маковку. И действительную службу довелось ему отбыть в Урянхае, в казачьем гарнизоне Белоцарска.

Шли годы. Обжились Лебеди в Таштыпе. Замылся в памяти отчий курень старого Лебеда, умершего в Качалинской, и давно отошла с миром матушка Василия Васильевича, да и с братьями разминулся. Мужали сыновья, отбыв действительную службу. Старший, Василий, женился на сибирской казачке — у батюшки Лебеда появились внучки. Жить бы миром и согласием, да самодержец всея Руси, помазанник божий, царь Николай Второй призвал казаков первой очереди в армию.

Было Василию двадцать шесть лет от роду, Ною — двадцать четыре.

И сказал рыжий батюшка Лебедь сынам: свое никому не отдавайте, чужого на погляд не берите и не вводите себя в искушение — грех будет. Служите верою и правдою царю и отечеству, как я служил, как отец мой служил.

— И если почнется война с проклятушим кайзером Вильгельмом, не последними будьте в казачьем полку. Лебеди завсегда должны быть первыми, — напутствовал отец. — А еще скажу вам: держите шашки всегда острыми и поезжайте с богом и родительским благословением.

Батюшка Лебедь торжественно передал шашку Яремея сыну Ною, как и заповедовал ему отец.

Братья Лебеди оседлали откормленных гнедых коней, поклонились в ноги отцу, Ной принял из рук матери дедушкино евангелие и малую иконку богородицы, а Василий простился с женошкой и двумя малолетними дочерьми. Ной облобызался с крестной, бабушкой Татьяной Семеновной. Напутствуя крестника на

ратные подвиги, она самолично проверила казачье снаряжение — седла, потники, подковы, подпруги, ремни шашек и даже темляки на эфесах. Поклонились рыжечубые отчему дому, надворью, а тогда уже сумрачным, лохматым Саянам, где немало охотились и добывали зверя.

Любовью и разлукой светился тот день в истоке, когда братья вывели из ограды коней под седлами и ускакали на сбор к станичной управе.

Батюшка Лебедь наказал домашним: три дня ворота не закрывать, а у самого захолонуло сердце: старший сын Василий — казак надежный, а вот головастый Ной чуток подпорченный, на полевых ученьях не шибко старался, водил дружбу с поселенцами и ссыльными; ох уж эта Сибирь каторжная! Как бы греха не вышло.

IV

И вот она — война с Германией!..

Хлеба шли в налив, нескошенные травы пенились под ветром, а в станице — мобилизация.

Сполоснулась станица слезами казачек, солдаток и малых детушек.

Кому-то война выкинет козырную карту — живым быть, кому-то с мелкими козырями — калекой остаться, а кому-то бескозырные — аминь отдать.

В доме Василия Васильевича Лебеда печаль гнездо свила, и никто не знал, каких она птенцов высидит: черных воронят или сизокрылых голубей?

Кому угадать судьбу свою?..

В мокропогодное сентябрьское утро переступил порог дома Лебедей станичный почтальон в дождевике, с сумкой. И потому, как он виновато вошел в переднюю избу, сняв старый картуз, перекрестился на иконы, у батюшки Лебеда подмыло душу — не иначе, как черный пакет принес.

Так и есть: два казенных конверта! Одно в траурной рамке — извещение о гибели. Василия или Ноя? Другое в конверте под пятью сургучными печатями.

Слышно было, как хлестал дождь за окнами и в палисаднике пошумливая отлинялая черемуха да тикали настенные ходики, а в голове у батюшки Лебеда вскипало горе: убит, убит! Один или оба?!

— Дай, Анастасия, ножик конверты вскрыть. — Супругу свою он всегда называл Анастасией, не мельчил имени.

Маленький листок бумаги, отпечатанный в типографии и заполненный писарской рукой черными чернилами: «Ваш сын, Василий Васильевич Лебедь, казак Первого Енисейского полка, в бою с неравными силами противника пал смертью храбрых...»

Анастасия истошно завопила. У батюшки Лебеда бумага выпала из рук. Невестка, вскрикнув, упала возле стола.

Свершилось! Высиделся в гнезде печальный черный ворон! Овдовела Натальюшка с двумя дочерьми, едва почав трудный бабий век.

А дождь хлещет, хлещет, черемуховые ветки шелестят по стеклам и так-то тошно батюшке Лебедю! Вертит в пальцах пакет за сургучными печатями; черноголовый, вытянувшийся Иван смотрит на него.

— Наталия! Анастасия! Буде на первый, раз, — призвал хозяин. — Ишшо долго реветь нам таперя. Второй пакет открывать али отложить до завтра? Может, сперва оплачем одного?

подавив рыдания, вытираясь концами платков, Анастасия Евстигнеевна с невесткой подошли к столу, напряженно ждали. Батюшка Лебедь глянул на них, матюгнулся неизвестно в чей адрес, сорвал печати — большой лист гербовой бумаги с распростертым во всю ширину водянистым знаком державного орла с короною, а вверху жирный оттиск: «Ставка Командующего Северо-Западного фронта его высокого превосходительства генерала Я. Г. Жилинского».

У батюшки Лебеда мелко тряслись руки:

«Многоуважаемый младший урядник Енисейского казачьего войска, господин Василий Васильевич Лебедь». Многоуважаемый! У батюшки Лебеда прыгали перед глазами машинописные строчки. Глядя на лист, вдруг понял: бумага вовсе не о Василии! Про подвиги Ноя в Восточной Пруссии...

Четырежды награжден георгиями!..

Переведя дух, достал кожаный кисет, свернул самокрутку, прикурил и глубоко затянулся крепчайшим самосадам.

«По личному соизволению его сиятельства, великого князя...»

Схватился руками за голову и, сотрясаясь мощным телом, разразился рыданием:

— Господи! Неслыханный подвиг свершил Ной! Как батюшка мой под Плевною и Шипкой! Славен наш Ной перед государем и отечеством! — рывком отодвинул от себя стул — тарелка слетела, разбившись, но никто не слышал звона; домочадцы испуганно смотрели на батюшку, а он повернулся лицом к божнице, упал на колени:

— Да ниспошли мне, господи, прозрения и твердости духа, каким ты осенил сына мово Ноя. В полные георгиевские кавалеры вышел!..

Из того же гнезда, откуда только что вылетел черный ворон, порхнул по дому сизокрылый голубь; печаль и радость в один и тот же час!

Справили Лебеди панихиду по убиенному сыну Василию, а тем временем прибыло уездное начальство чествовать георгиевского кавалера Ноя Васильевича Лебеда.

Отлили сентябрьские дожди, начались первые заморозки, и тут пришло скупое письмо от самого героя. Земные поклоны батюшке и матушке, брату Ивану, сестренкам, горькое соболезнование невестке и осиротевшим племянницам, твердости духа всей семье в годину тяжких испытаний, а в конце:

«Из бумаги штаба Ставки командования фронта вам все известно — о том писать не буду. Пеплом присыпало душу от того боя, в котором сгиб мой дорогой брат и наши солдаты; чрез неслыханный огонь прорвались мы с пулеметною командою, чтоб выскочить из ада. И нету мне утешения по сей день — черная печаль укутала душу...»

Минул год, и еще год; от Ноя приходили скупые письма. В хорунжие вышел, командовал сотней в том же первом Енисейском полку, трижды пополненном, и вдруг — никаких вестей.

В марте 1917 года докатилось до Таштыпа: свалился царь с престола, и настала в России такая заваруха, что во всей станице ума не нашлось, чтоб рассудить: что к чему свершается?

Батюшку Лебеда избрали на станичном кругу атаманом, и он не посрамил себя. Призвал на службу всех бракованных, и стариков

тряхнул, чтоб отстоять свои исконные привилегии, если, неровен час, власть временная обернется супротив казаков.

Но власть временная милостиво обошлась с казаками: как жили, так и жить будут. Да вот есть в России партия неких большевиков, от них, дескать, беды ждать надо. А посему сготавливайтесь.

В июле, до страды, казачья сотня атамана Лебеда погрузилась на баржу в Минусинске и в Красноярск приплыла на подмогу комиссариату Временного, чтоб в страхе держать смутьянов и этих самых большевиков.

По первоснежью ударило — не морозом, хуже! — большевики в Петрограде захватили власть. «Экое, господи прости! — кряхтел атаман Лебедь. — Сохрани сына мово, Ноя, мать пресвятая богородица!..»

Сколько раз батюшка Лебедь выстаивал долгие молитвы в Покровском соборе Красноярска, вскидывая глаза на святого Георгия Победоносца, поражающего копьём змия: «Святой Егорий, нету угрева мне, нету известия. Игде сын мой радостный, Ной? В живых ли он пребывает али большевики прикончили его? Игде он, сын мой?»

И не было ответа батюшке Лебедю.

ВЕТРЫ И СУДЬБЫ

(Сказание первое)

Слово дано всем, мудрость души — немногим.

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

I

Река катает камни, бьет их друг о дружку, шлифует, и камни становятся гладкими, круглыми или плоскими, и тогда говорят: обкатаны водой.

Людей обкатывает жизнь и время...

Ной сидит возле печки с открытой дверкой, изредка подкидывает в огонь по паркетной плитке и неотрывно смотрит на вздрагивающее пламя. Голова у него большая, лобастая, борода рыжая, кудрявая — медью медь лита, плечи в суконной гимнастерке — саженью меряй; на коленях, в рыжей замше и золоте, драгоценная шашка, гнутая коромыслом. Подживляя огонь, Ной перекладывает шашку, вздыхает, то выпрямится, то сгорбится, тяжело думает.

Ох, хо, хо!

Времечко!..

Не взять тебя в беремечко, не перенести с места на место.

Четверо сидят и думают...

Пятый поглядывает на думщиков со стороны, подкручивает смоляные метелки усов, и — ни о чем не думает: ни к чему зазря мозги тревожить. Он пятый, Санька — Александр Свиридович Круглов — всего-навсего ординарец хорунжего Ноя Лебеда, председателя полкового комитета.

Тайный центр заговора из Пскова уведомил: на 26 января 1918 года назначено восстание двух дивизий 17 корпуса на Северном фронте, двух стрелковых полков в Петрограде, женского батальона на станции Суйда и, главное, начать восстание должен Сводный сибирский полк с артбригадой в Гатчине.

В комнате буржуйского дома тепло от жарко пылающей чугунной печки. Думщики пригрелись — сон морит. Опять-таки решение надо обмозговать и дать ответ посланцу тайного центра, сотнику Бологову. Штабисты во главе с выборным командиром полка Дальчевским ловко вывернулись: пускай, мол, всю ответственность за восстание берет на себя чубатая дремучесть — полковой комитет.

Трое комитетчиков — Павлов, Сазонов и Крыслов, в казачьих шароварах с лампасами, думают всяк по-своему. Павлов — русский, усатый, стреляет глазами по думщикам, как бы в ожидания подсказки; Сазонов — пожилой казак, заросший сивою щетиной с подрезанными усами и седеющей головой, развалился в кресле, вроде спит с открытыми глазами: всхрапнет со вкусом, дрогнет, оглянется и опять примет прежнее покойное положение; Крыслов беспокойно вертится на резном стуле с высокой спинкой, то на лепной потолок уставится, то на готические своды двух окон с замысловатыми переплетами рам, то на трубу печки, вставленную в форточку, то на полированный стол с гнутыми ножками, на котором чинно расставлена дорогая фарфоровая посуда — тарелки, чашечки с блюдами, тут же обливная кружка, алюминиевый котелок, в черных корках евангелие, иконка богородицы над столом, две полированные кровати под ворсистыми одеялами, пуховые подушки — экая уютность, язвы его! Ловко окопался хорунжий со своим ординарцем. Должно, не мало добра нашли в этом одноэтажном каменном доме, брошенном беглым буржуем. Не с пустыми руками уедут домой. А тоже, председатель полкового комитета!..

Ной посмотрел на массивные золотые часы «Павел Буре» с откидной крышкой и золотой витой цепочкой: было без нескольких минут семь. По январю — ночь.

— Надумали? Починай, Иван Тимофеевич.

Крыслов прячется, оглядывается:

— Почему с меня? Как по старшинству — Сазонов пушай.

— Гутарь, Михаил Власыч.

— А што я? — просыпается Сазонов. — Какое мое старшинство? Председатель всему голова.

— Потому и спрашиваю как председатель. Придет сотник — ответ надо дать.

Молчат. Прячут глаза за частоколом ресниц, и как будто не с них спрос.

— Два часа преем. Сколь можно думать?

— Не шутейное дело!

— Влезем по пояс, а потом и по горло.

— Опосля как будет, если дело не выгорит? — щурится Павлов.

— Поминки дома справят, вот как будет опосля, — ворочается Ной на стуле — припекло от печки, отодвигается вместе со стулом. — Гутарьте! Не на мирный майдан сошлись.

— Пущай бы штаб с командиром.

— Штаб переложил на нас, как на комитет.

— Дык двух комитетчиков от солдат полка нету, — вспомнил Павлов, лишь бы оттянуть время. — Мы за казаков — само собой, а полк-то сводный. Половина на половину. Куда два батальона попрут?

— Без серой суконки тошно, — ворчнул Крыслов. — Мы ж договорились без них обсудить. По мне так: вроде бы приспело, а? Если в самом Петрограде два полка шатаются да еще артбригада, которая сейчас в Гатчине, да наш полк, да из Пскова подойдут две дивизии, как там не суди — сила!..

Ной внимательно выслушал Ивана Тимофеевича, наклоняя голову то к правому, то к левому плечу.

— За восстание ты или против? — спросил.

— А причем тут я-то? Не одной башкой решать!

— А если поддержка не подоспеет из Пскова? И петроградские полки замешкаются? — спрашивает Сазонов, что-то соображая. — Тогда как будет?

— Всякому по Якову! — отрубил Ной. — Трех месяцев не прошло после мятежа генерала Краснова. Донцы шли! Отборное войско. Растрепали в пух-прах, а теперь новое восстание. Соображайте! Сами казаков шуруете: прикончить надо большевиков и так далее.

— Все едино не жить нам с большевиками! — зло сказал Крыслов, задиристый, что бойцовый петух. — Они ж наскрозь из суконки и мазутчиков, которым казаки с испокон века плетей всыпали. Али помилуют нас, когда укрепятся? У!

Заговорили, перебивая друг друга, и все в один голос: с большевиками в мире и согласии не жить.

— Стал быть, решили восставать? Подымайте руки!

Молчание. Рук не подняли. Сидят, посапывают, не глядя друг на друга.

Ной оглянулся на своего ординарца:

— Может ты, Александр Свиридыч, решишь за нас?

— А што, Ной Василич? Моментом! Токо не в комитете я.

Крыслов ожил:

— Даем тебе право — решай!

Санька подкинул ребром ладони чернуший ус:

— По мне так: бежать надо отселева. без оглядки! Из Гатчины — до Вятчины, а там через Урал в Сибирь, к себе домой. Вот и весь мой сказ. Пушай большевики сами по себе, а мы сами по себе. Нам с ними ни детей крестить, ни иордань святить. Пропади они пропадом!

— Что правда, то правда! — поддакнул Сазонов.

— В самом деле, чево мы тут прикипели в Гатчине? — удивился Павлов, будто только что узнал, где он находится. — Со всех фронтов солдатня прет домой, а казаки и кавалерия — давным-давно с бабами постели мнут. Чего нам-то ждать?

— Шутейный разговор слышу! — остановил Ной. — А теперь скажу так: приспел час посмотреть нам на самих себя, какие мы есть спереду и сзади.

Комитетчики ждут. Интересно, какие же они с этих сторон?

Председатель продолжает:

— Какие мы есть спереду? Красные, как вроде клюквы или той брусники. Али не мы подняли оружие за Советы и за большевиков, когда нас пригнали в Петроград по приказу временных? Али не наши две сотни щипали донских казаков Краснова под Пулковом? Такие мы есть спереду.

Комитетчики шумно вздохнули. Эко разложил их председатель! А ведь в самом деле так оно и есть — клюква...

— Теперь глянем, какие мы есть сзади? Каждодневно шипим и дуемся на большевиков, которых мы же сами защищали. Слушаемся разных серых и офицерам поддакиваем, гнем линию к восстанию. Так или нет? С центром тайную связь держим. Так или нет? Какие же мы есть сзади? Белые. Только погонушки навешать — и сготовились. А разве не наскрозь белый наш выборный командир Дальчевский? Али он запомятовал, что он есть полковник и должен быть при погонах с двумя просветами? Хэ! Он на свои карточки денно и ночью глядит!

Там-то он припечатан в парадных погонах. Зовется эсером, а што это обозначает? Каким бывает туман, видели?

— Дак серый! — подсказал Санька.

— То и есть серые, туманные, — кивнул Ной, довольный тем, что сумел точно определить эсеров. — Ну, а теперь скажите: разве можно жить на два цвета? Красными и белыми? Поглядят на нас большевики, какие мы есть сзади — влупят! Ну, а как из тайного центра захватят власть, как думаете: запомнят, какими мы показали себя большевикам спереду? Опять влупят!

У комитетчиков чубы повисли.

— Теперь скажу про диспозицию, какую выработал тайный центр. За январь месяц в третий раз приезжают к нам офицеры из центра, шуруют в полку, а мы — глаза вприжмурку. Бологов красиво гутарил про дивизии, да враки все. Нету дивизии в Пскове и на Северо-Западном фронте, какие сготовились идти на Петроград. Дезертирство кругом, офицерье щелкают по взводам и ротам. И чтоб солдаты пошли в такое время за восстание за бывших благородий? Хо-хо! Смехота. Или те два полка в Петрограде... Что же они не восстали?

Молчание. Тягучее, клейкое, как смола.

Ной доканывает:

— Стал быть, на кого надежду имеет тайный центр? Да на наш сбродный полк! Еще на эту артбригаду, какая из Павловска прибыла в Гатчину на передислокацию, как у них там что-то произошло, и теперь их чистят.

— Пятерых офицеров арестовали у них позавчера, — сообщил вездесущий Санька, поддерживая командира. — А комиссаром к ним поставили большевичку из Петрограда, ей-бо! Селестина Грива, по фамилии, из Минусинска, будто бы. Сама в кожаной тужурке под матросским ремнем, с револьвером, в папаше, ей-бо! Глаза чернущие, а лицом белая. Спросила: из какой станицы я, много ли казаков Минусинского уезда? А я ей: «А вам какое дело?»

Сазонов тоже вспомнил:

— Погоди, Сань. Гришь, в кожаной тужурке и в солдатской папаше? Тогда я ее знаю. Приходила в нашу казарму, газету еще читала, про мировых буржуев чтой-то. Комиссар наш с ней был. А потом со мной разговор поимела. Интересовалась: знал ли я полковника

Дальчевского по Красноярску, когда он ишшо был сотником? Я тут смикитил: подбирается, стерва, к девятьсот пятому году!..

Ной выпрямился, как аршин заглотнул:

— А что было тогда в Красноярске?

— В Красноярске-то? Дак Советы! Всю власть в городе захватили. Али не слышали, Ной Васильевич? У-у!

— Так разве Дальчевский был там на подавлении восстания?

— Сотней командовал, слышал, — виновато бормотнул Сазонов, опустив голову: сам был в той сотне карателей.

— Та-ак! — Ной поставил шашку промеж ног, навалился на эфес грудью. — А теперь подумайте: тогда он подавлял революцию, рубил всех социалистов под корень, а таперь социалистом себя навеличивает!

Павлов сказал о подслушанном разговоре Дальчевского с офицерами, будто в Ленина стреляли, когда он ехал в автомашине, и тяжело ранили, и что Ленин недолго, мол, протянет.

— Смехота! — покачал головой Сазонов, любивший поспорить по любому поводу. — За это время, Яков Георгиевич, покель мы стояли в Петрограде и вот в Гатчине, Ленина пять раз убивали, сто раз свергали, а он все жив-здоров и отряды Красной гвардии гарнизует.

— Живой, конечно!

— Да вот у меня — семь ранений. Два пулевых, одно от мины, одно от пики и три от шрапнельных снарядов. А чаво? Затянуло, заросло и крепше стало, — сказал Крыслов.

— Кто-то в окно глядит! — насторожился Санька.

Все оглянулись на окна — никого. Санька божится:

— Истинный бог видел! По обличности женщина, токо в шапке!

Думщики заметно перетрусили:

— Щупают нас, кажись! — шипит Крыслов.

— Хоть бы окна чем завешали!

— На такие окна по три одеяла на каждое потребуется, — отвечает Санька.

Ной взял со стола стеклянную лампу под зеленым абажуром и поставил ее под стол. В комнате сразу стало сумрачно.

— Вот сейчас мы доподлинные подпольщики, — ошаршил и без того перепуганных комитетчиков. — А вы как думаете? Большевикам головы рубить сготавливаемся, а они бы сидели и ушами хлопали? У

них теперь ЧК. Думаю так: удержать надо полк от свары! Пускай начинают петроградские.

— В самом деле, пушай они! — подхватил Сазонов. — К чему нам? Ни к чему. Первым завсегда дают по шее.

II

Послышались шаги за дверью. Кто-то шел по пустому дому к единственной жилой комнате председателя.

— Помолчим покуда, — предупредил Ной. — До отхода поезда на Псков часа два. Тянуть надо.

Вошел сотник Бологов — посланник центра, а с ним... две женщины!

Ной встал и комитетчики поднялись,

— Что вы лампу спрятали? — спросил Бологов.

Женщины стояли у двери. Высокая, в папахе, бекеша ниже колен, в пимах, а с нею — в обрезанной шинели и в ушастой шапке, ростом чуть ниже. Бологов представил:

— Познакомьтесь, служивые. Командир женского батальона, — показал рукой на высокую, но ни фамилии, ни имени-отчества не назвал. А про ту, что в шинели, — ни слова.

Высокая в бекеше сама подала руку хорунжему Лебедю:

— Юлия Михайловна, — назвалась. — Рада с вами познакомиться, господин хорунжий. Как вас? Ной Васильевич! О, какой же вы истинно русский богатырь-силушка! Добрыня Никитич.

— Никак нет, — отверг Ной. — Не сродственник Добрыни Никитича. Присаживайтесь, коль в гости пришли. Милости прошу, — и подал стул.

Юлия Михайловна будто не слышала приглашения, ввинчиваясь сине-синими глазами в Ноя, точно просвечивала его нутро. Ной выдержал дерзкий взгляд. Экая баба ускладистая! Лицом молодая, не схудалая. Из-под белой каракулевой папахи выбились прядки русых волос. В душу лезет, язва! А за ее спиной черноглазая хоронится. Что-то неладное. Не ловят ли их, доверчивых комитетчиков?

Санька меж тем, поставив десятилинейную лампу с начищенным стеклом на стол, подозрительно взглядывал на черноглазую. Именно она смотрела в окно! В шапке, точно! Она самая. Так, чтобы никто не

заметил, толкнул локтем командира; Ной уразумел — предостеречься надо.

— Когда из батальона? — сухо спросил командиршу.

Дуги бровей Юлии Михайловны круто выгнулись:

— Вы кажется, не доверяете? Скажите же, Григорий Кириллович, — оглянулась на Бологова.

— Тут нет подвоха, господин хорунжий, — заверил Бологов. — Наши люди.

Ной глянул на черноглазую в шинели, спросил:

— Вы смотрели в окно?

Командирша хохотнула:

— Ах, вот в чем дело! Она заглянула. Моя пулеметчица. Не беспокойтесь. Мы должны быть крайне осторожными.

— Угу. — И — никакого доверия.

— Познакомьтесь, пожалуйста, с членами комитета.

Ной Лебедь представил. Юлия Михайловна пожалала всем троим руки.

— Я не задержусь у вас, — сообщила, не садясь на стул. — Подошел поезд на Петроград. Пока на паровоз грузят дрова, зашла к вам, чтобы познакомиться. Нам выпала великая честь освободить Россию от власти узурпаторов-большевиков. Сейчас самый удачный момент: на Дону восстали казаки, в Оренбургском войске не признали большевиков, в Екатеринбурге беспокойно, в Малороссии — немцы, а по всем губерниям восстания крестьян. Надеюсь, вы знаете, какие переговоры ведут совнаркомовцы с немцами в Брест-Литовске? Они готовы пожертвовать половиною России, только бы выиграть момент и удержаться у власти. Ужасно! Ужасно! Сейчас или никогда!

— В каком смысле «сейчас или никогда»? — не понял Ной.

— Выгнать большевиков из Смольного!

— Угу.

Комитетчики поддакнули: гнать большевиков в три шеи! Ко всем чертям, чтоб под носом не пахло.

— Вы от серых, следственно?

У командирши глаза округлились:

— Каких серых?

— Партия, кажись.

— Нет, я не эсерка. Да это не столь существенно в данный момент.

— Кого вместо большевиков в Смольный?

— Никого! Институт благородных девиц — не для правительства великой Российской империи. У нас есть Зимний дворец.

— Царя, стал быть?

— Почему — царя? Я лично не за монархию. Созовем съезд Учредительного собрания, а там решим, какое будет правительство.

— Угу, — кивнул Ной, а себе на уме: «Экая суматошная баба! Учредиловкой давно насытились, а она только что проснулась. И ведь беды наделает, ежли не спеленать ее по рукам и ногам».

— Будьте покойны, Ной Васильевич, — разошлась командирша, — у меня рука не дрогнет, когда встретимся в бою с большевиками! У меня с ними особые счеты, хотя я в данный момент формально являюсь членом РСДРП фракции большевиков. Но это всего-навсего необходимый маневр.

— Угу! — А на уме: «Ну и стерва! Этакая баба к чужому мужику будет бегать на свиданку, а про своего скажет, что вышла за него замуж по необходимому маневру, штоб в распыл его пустить вместе с куренем».

Смолчал. Слушал.

— Вы тут с Григорием Кирилловичем обсудите план нашего восстания, а я сейчас еду в Петроград, побываю в двух полках. У меня там есть свои люди. Главное — Смольный! Взять его надо именно сейчас, пока немецкое командование не подписало мир с делегацией большевиков. Ваш полк, как меня заверили, надежнейший.

— В каком понятии?

— Подготовлен к восстанию. Крикунов придется убрать, конечно. И вот еще артбригада. Пятерых офицеров арестовала ЧК, слышали?

— Угу.

— Но в артбригаде есть наши люди — батарейцы исключительные. Сейчас к ним поставили комиссаром Селестину Гриву — опаснейшую тварь! Она была в нашем батальоне. До прихода к власти большевиков маскировалась под демократку. Но я ее еще тогда заподозрила! Оказалось, что она еще при Временном правительстве была агентом большевиков на фронте и выполняла особые поручения. Надо ее во что бы то ни стало обезвредить! —

Липуче приглядываясь к богатырю Нюю, дополнила: — Ну, я рада знакомству! Надеюсь на вас, Ной Васильевич! И на вас, служивые!.. От всей души желаю удачи!

И, как того никто не ожидал, Юлия Михайловна сперва обняла Крыслова, поцеловала, потом Павлова, Сазонова, а тогда уже вскинула руки на плечи Ноя, прижалась к нему грудью, опалив обе щеки долгим поцелуем — жаром ударило в голову...

Ш

Комитетчики умилялись: ах, какая приветливая, истинно русская женщина, командирша батальона! Такая женщина сто сот стоит. Бабой не называли — куда там! Крыслова слеза прошибла: вот уж казачка так казачка! Бологов поддакивал: Юлия Михайловна — умнейшая женщина, отважнейшая, а по части подпольной тактики — зубы съела, большевиков изучила досконально.

Санька поставил на буржуйку чайник, чтоб попотчевать гостя.

Ной все это время помалкивал, примостившись на стуле у стены возле кровати; шашка лежала на его коленях.

Думал...

Время неторопливо шло...

Комитетчики с командирши перекинулись на своих жен-казачек, у кого какая, про ребятишек вспомнили, про хозяйства, неслыханную разруху, про скудные пайки, не забыли о питерцах, как они пухнут с голоду и вымерзают без дров, и что даже в Смольном будто жрут неободранное просо и овес — толкут в ступах, парят в котлах, и что если дальше так будут харчеваться, заржут, не иначе, от конской кормежки.

Бологов разделся, охотно рассуждал с комитетчиками, любовался фарфоровыми чашками — тончайшими, узорными, добытыми ординарцем Ноя в тайнике каменного дома.

— Который час? — спохватился он. — Ого! Четверть девятого. Скоро будет поезд на Псков.

Ной успокоил:

— Поезда ноне ходят, как им вздумается. Услышим гудок — станция близко. Чаевничайте, Григорий Кириллыч.

— Такого чаю давно не пил, — сказал Бологов. — Где вы раздобыли?

— Фронтовые трофеи допиваем.

Но надо же и главный вопрос решить!..

— Ну, так с чего начнете? Думаю, надо сразу поднять весь полк. Прежде всего казаков. Я разговаривал с офицерами — обижаются на комитет. Напрасно вы их обходите. Надо к ним прислушиваться, господин хорунжий. Не собирать их, понятно, но с каждым в отдельности надо войти в контакт. Прежде всего свяжитесь с поручиком Хомутовым.

— В нашей казарме проживает, — сказал Павлов, представитель оренбургских казаков.

Бологов достал портсигар и хотел закурить.

— Попрошу не курить, Григорий Кириллыч, — остановил Ной без стеснения. — Табачного дыму не переношу.

— Не курите? Извините. — Бологов поморщился.

— Не курит и не пьет, — пояснил Крыслов. — Скажи на милость, Ной Васильевич, как ты не приучился курить?

— Ни к чему, Иван Тимофеевич.

— Дык на позиции-то как без курева! Хоть красное-то вино потребляешь?

— Для ошалелости пьют, Иван Тимофеевич, а к чему мне из памяти выскакивать?

— Гляди ты! — зудит дальше Крыслов. — И по бабенкам не горазд, слышал?

— Я еще холостой.

— Дык самое время! — подмигнул усатый Павлов, вылезая из-за стола и подвигая свой стул поближе к печке. — Покель холостуешь — не зевай! Я, бывало, сколь девок и баб перещупал в холостяцтве!

Ной глянул на Павлова:

— А те девки какими стали потом, Яков Георгиевич? Кому нужна щупаная и лапаная? Вдовцу только. Вить она опосля чужих щупаний ни кочерга, ни свечка, а обгорелая головешка.

— Что верно, то верно, Ной Васильевич, — согласно кивнул Сазонов.

Бологов, недоумевая, водит глазами по комитетчикам, а те льют слово по слову, развалясь на стульях, будто на посиделки сошлись.

— С чего же вы начнете двадцать шестого? — напористее давит Бологов, поднимаясь.

Ной словно не слышал вопроса:

— Хочу спросить про письмо, которое вы получили из Красноярска. По какой причине казачье войско не признало там Советы? Из каких соображений?

— Понятно, из каких. Жиды захватили власть, как и в Петрограде. Это же ясно.

Ной покачал головой:

— Ясности покуда нету. Должно, другая причина. Эсеры, может, напустили туману?

Бологов сузил кошачьи глаза:

— А что эсеры? Эсеры — самая верная народная партия. Я что-то вас не понимаю, господин хорунжий! Я тоже эсер.

— Слышал, — скупо кивнул Ной. — Только у господ эсеров нынешних, как офицеров так и генералов, чтой-то мозолей на ладонях не видывал. И соль хлебопашцев, как вот у казаков, по хребтовине не выступала. Откуда знать разным серым, что надобно народу?

— Извините, хорунжий, но подобные рассуждения неуместны для вас, — заметил Бологов. — Вы же полный георгиевский кавалер! За царя и отечество...

— Про царя разговору не будет, — отсек Ной. — Письмо почитать можно?

— Такие письма, Ной Васильевич, не держат при себе. Сжег. — Бологов взглянул на ручные часы. — Десятый час! Бог ты мой! Скоро будет поезд, а вы мне так и не сказали ничего существенного. До двадцать шестого осталась неделя! Вам надо успеть подготовить полк, особенно два стрелковых батальона. Казаки у вас молодцы — хоть сейчас на коня! Подъем чувствуется.

— Оно так, — хитро поддакнул Ной. — Хоть сейчас на коня, а потом окажутся под конем, в снегу и грязи, за упокой господи!..

Скуластое лицо Бологова побагровело. Он уперся взглядом в хорунжего:

— Я вас совершенно не понимаю! Вы же приняли решение!

— Какое решение?

— Как, то есть?!

— Комитет еще не принял решения. Думаем. Сядь, посиди покуда.

— Ну, знаете ли, председатель! — Сотника проняла дрожь с ног до головы. — Вы и в самом деле Конь Рыжий!

Ной медленно встал — глаза сужены, рука сжимает эфес шашки. Сотник попятился, бормоча:

— Извините, пожалуйста, господин хорунжий. Про Коня Рыжего в штабе у вас слышал. Обмолвился. Виноват.

Ной ничего не сказал, опустил на стул, вздохнул и опять начал думать.

Трое членов комитета тоже вроде мозгуют.

Санька Круглов притащил из недр пустого дома нарубленных половиц, подшуровал. «буржуйку» и сел в угол — подальше от думщиков.

Молчат.

Время идет.

Сотник Бологов успел одеться — бекеша, ремень с кобурой, шашка — то на того узрится, то на другого, раздувает ноздри, смотрит на часы, в окна, а ноги так и прядут, будто ток утаптывают,

— Ну?!

Никакого ответа.

Тянут, сучат время в нитки, мотают на клубок: скребут в затылках, навинчивают усы и — ни слова.

— В молчанку играете, что ли? Так и скажите: ответа не будет. Я успею сбегать в штаб полка.

— Беги, может, сам полковник решит с генералами.

— Так, значит, не будет ответа?

— Будет. За семь минут до отхода поезда. Гляди на часы.

— Почему за семь минут? — хлопает глазами сотник.

— Ответственные решения завсегда принимаются за семь минут до кризиса.

— Какого кризиса?

— Духа, следственно.

— Ничего не понимаю!

— Молодой еще, мало был на позиции. С какого года?

— Девяносто четвертого. А что?

— Я с девяностого, а на позиции с марта четырнадцатого.

— Да при чем тут года!

— При своем месте.

— Не понимаю!

— В поезде поймешь, когда будешь ехать из Гатчины в Псков. Там соберешься с мыслями.

— Взопресть можно с вами!

— Попрей — не вредно. Жар костей не ломит.

— Вот на чем выиграли большевики! На вашем тугодумстве. Пока вы вот так сидели и думали, кучка большевиков из Смольного захватила власть.

— Стал быть, сила была у той кучки, — согласно кивнул головой Ной.

— Ну, знаете ли, председатель! Скажу... — Но сотник больше ничего не сказал, а Ной не стал спрашивать.

В январской морозной стыни за окном послышался протяжный мык паровоза, прибывшего из Петрограда.

Сотника как поленом шибануло:

— Поезд же! Поезд! Слышите?

— Не сейчас уйдет. Гатчина — большая станция.

Ной снова примолк.

— Да вы что? Я же опоздаю на поезд! Голову с меня снимут в штабе корпуса.

— Не съмут. У штабных свои головы в тумане — к чему им твоя. Морока одна.

— Это-это-это... — Сотника начинало потряхивать. — Ну, я ухожу! Думайте. Черт с вами!

— Не чертись — нехорошо, Григорий Кириллыч, — пробурлил Ной, обихаживая кудрявую бороду. Поднялся: — Решенье наше такое: сообщенье центра мы, полковой комитет, выслушали и обдумали. Полк наш разноперый, не так, чтоб чисто казачий, не так, чтоб чисто пехотный, сводный и сбродный, следственно. Ни в каких восстаньях участия не принимал. Но, как тайный центр корпуса востребовал, отвечаем: наш полк не садил большевиков в Смольный и не нам гнать их оттуда. Кто их сажал, тот пуцай и сымает, ежели чем не потрафили.

Бологов на минуту онемел, губы трясутся, правая рука машинально опустилась на кобуру.

Санька Круглов глаз с него не спускал. Прошел к своей кровати, потихоньку вынул револьвер из кобуры, взвел курок и сунул в карман.

А Ной продолжает:

— Ежели тайный центр двинет дивизии на Петроград, мы, как полковой комитет, созовем митинг. Пущай казаки и солдаты решают: идти ли им на Петроград, чтоб успокоиться в побоище, али по домам разъехаться? Так и передайте центру.

Взбешенный сотник оглянулся на комитетчиков:

— Это и ваше решение?!

Комитетчики — ни гу-гу! Втянули головы в плечи, как куры на насесте, и глаза в разные, стороны.

— Я вас спрашиваю! — рявкнул сотник, чутко подпрыгнув. — Или один хорунжий решает судьбы полка?!

Никакого ответа. Сопят, тяжело, с присвистом.

— Вы же заверили командира женского батальона! — выкрикнул сотник. — Целовались с нею, черт возьми-то!

Ной сказал за комитетчиков:

— Ну, целовались. И что? Командирша батальона приходила нас поглядеть да себя показать. Решением нашим не интересовалась. К тому же — не с бабьим батальоном переворот свершать! Курицам на смех! И дивизий нету, сготовленных идти на Петроград. Нас втравить умыслили? Ну, а мы не лыком шиты. Соображенье имеем. Другого решения не будет.

— Во-о-от оно что-о-о! Да вы тут... большевики... мать вашу... бога... креста...

Бологов подавился словами, икнул, аж слезы выступили, и пулей в двери, запнулся об ногу Крыслова, брякнулся поперек порога — шашка загремела, еще раз выматерился в бога, креста и богородицу, подобрал папаху и бежать, что есть мочи: на поезд торопился.

Комитетчики схватились за животы, ржали с таким грохотом и свистом, что посуда на лакированном столе подпрыгивала, позвякивая. Ну председатель! Ну холера! Вот дал ответ центру, язви ты в почки! Ну хорунжий!..

— Ох и шпарит он сичас по улице!..

— Шурует, токо копыты щелкают.

— Ежли не отпустит подпруги — запалится, язва!..

Отхохотались, успокоились.

Ной предупредил, чтоб про ответ тайному центру — ни слова в штабе полка! Иначе головы можно потерять.

Комитетчики согласились: помалкивать надо.

— Созвать бы митинг, да шумнуть: кто за восстание — остаются в Гатчине, а прочие — кто куда, — предложил Павлов.

— Теперешними декретами, какие подписал Ленин: землю крестьянам, фабрики — рабочим, — сказал Ной, — он по шее дал буржуйам и разным министрам. Солдатня учуяла, попрет домой, удержу не будет.

— Да ведь ежли вникнуть в декреты про землю, так ведь, Ной Васильевич, нашему казачьему сословию от большевистских Советов чистая расстрелиловка, — напомнил Павлов.

Павлова поддержал задиристый Крыслов.

— С корнем вырвут! Казачество изничтожать будут, а на земли наши поселятся самоходы, как Ленин с кайзером Вильгельмом сговорились.

— Враки! — отрубил Ной. — Ежли бы сговорились, немцы давно в Петрограде были бы. Тогда к чему переговоры о мире?

— Про то самое и переговоры идут, — не сдавался Крыслов. — Самолично слушал одного товарища, что в том Бресте-Литовске половину России отдают немцам. Стал-быть, и про казачество порешат. С чем тогда вернемся в станицы? Похвалят нас, что здесь в отсидку играем?

Разом выдохнули: станичники не похвалят. А как же быть?

— Экое время — в башку не поместишь!

— Хоть лопни от натуги, не поймешь: што к чему свершается?

— Чего не понять? — развел руками Ной. — Наше какое прозвание? Казаки от дедов и прадедов. И земли наши кровушкой политы, а не задарма получены. Того и держаться надо. Ни к серым, ни к меньшевикам, ни к большевикам в партию. Стоять будем за свое казачество.

— В точку, якри ее! — поддакнул Сазонов.

— Нету точки, — отверг Крыслов. — Ежли укоренятся у власти большевики с Лениным, тогда и точку поставят. Токо кому? Казачеству. Али не на казаков ярился наш комиссар? Не ждите, говорил, на время будущее царских привилегий.

Комитетчики притихли. Привилегии терять — не папаху с головы!..

Разошлись, подавленные неопределенностью.

IV

Время не конь, не объездишь, не уймешь — летит-мчится, а куда? И как там будет завтра, послезавтра? Погибель или здоровье? К добру или к худу утащит за собой суматошное время?..

...И не было покоя Ною Лебедю с апреля 1917 года, когда избрали его председателем полкового революционного комитета; маята одна: ни власти, ни порядка — митинги кружили солдатню.

В августе первый Енисейский казачий полк угодил в клещи австро-венгерских легионеров и до того поредел, что ни пыху, ни дыху, ни знамени, ни штаба, и офицеров — по пальцам пересчитать. Отвели в Псков на формирование — пополнили разрозненными казачьими взводами — кто и откуда, разберись, да еще два стрелковых батальона подкинули, а командиром на митинге выбрали обиходливого штабиста Дальчевского. Назвали полк сводным Сибирским и по приказу Керенского двинули на Петроград.

Не успели казаки и солдаты вытряхнуться из эшелона, как на Цветочной площадке, куда железнодорожники загнали состав, встретили их вооруженные красногвардейцы-путиловцы с матросским отрядом Центробалта.

Пулеметы справа, пулеметы слева, штыки наперевес — вся Цветочная площадка взята в кольцо. Крепко уконопачено.

Митинг.

После митинга сводный Сибирский полк разместили в теплушках эшелона и загнали его в тупик на Цветочной площадке.

Но не очень-то, видно, надеялись на казаков совнаркомовцы, коль по соседству с офицерским вагоном полка поместился матросский отряд Ивана Свиридова.

С той поры Свиридов не отрывался от сводного Сибирского полка, куда назначен был комиссаром. Казаки прозвали его Бушлатной Революцией. Ни на коня, ни под коня. Из мастеровых на флот взяли, да еще рязанский — «косопузый», значит. Чужак!

Взбудоражили фронтовиков декреты новой власти, призывы Второго съезда Советов — подходящие для солдат и казаков.

Ну, а господин Керенский все еще прыгал — рвал и метал в Пскове, где находился штаб Северного фронта. Генерал Краснов призвал донцев к походу на Петроград, чтоб спасти Россию от анархии и большевизма.

28 октября красновцы заняли Гатчину. А в Петрограде тем временем готовились к бою красногвардейские отряды путиловцев с бронепоездом, военные корабли подошли с матросами, на подмогу им Ной привел две сотни енисейских конников. Разгромили красновцев возле Пулкова, усыпали мертвыми краснолампасниками снежное поле, разоружили живых, а генерала Краснова взяли в плен и отправили под конвоем в Смольный.

Хорунжему Ною Лебедю достался рыжий жеребец самого генерала — норовистый, горячий. За неделю умял жеребца — тихим стал.

В начале января полк отвели в Гатчину, чтоб охранял подступы к Петрограду.

Тут и завертелось! Командир полка эсер Дальчевский принял на довольствие в полк двух битых на позициях генералов, один из них правый эсер Новокрешинов. Генералы без погон, шитых золотом, а шинелюшки-то генеральские на красной подкладке и теплом подбиве.

За генералами в полк втесались беглые офицеры, переодетые в солдатские шинели; разговоры кругом пошли, сомненья. Бывшие вашброди шипят в уши казаков: и там-де восстанье, и там не приняли большевиков, а вы что смотрите? Милости от Совнаркома ждете?

V

...Офицеры полка и артбригады тайно сходились на совещание в дом вдовы авиатора Кулагина, погибшего на войне. Дом находился на окраине городка по соседству с летным полем, на котором казаки теперь проминали коней и проводили учения.

У вдовы Кулагиной снимал квартиру начальник канцелярии полка, подпоручик Дарлай-Назаров, и здесь иногда тайно собирались офицеры, частенько захаживал комполка Дальчевский.

Ограда была обнесена тесовым заплотом с резными воротами, калиткою и палисадником. Окна, выходящие в маленькую тихую улочку, закрытые глухими ставнями, не пропускали света. Возле ворот стояли на карауле двое: старший урядник Терехов, командир сотни оренбургских казаков, и его закадычный дружок, тоже старший урядник, Васюха Петюхин, комвзвода, известный в полку картежник и драчун.

Офицеры подходили один за другим и, называя пароль: «Туман сегодня», проходили в ограду в сопровождении Терехова, который должен был узнавать каждого в лицо.

Только что подошел незнакомый офицер в бекеше и шапке. И хотя он точно назвал пароль, Терехов пропустил его за калитку в ограду и задержал:

— Погодите. Штой-то я вас не признаю. От кого узнали пароль?

— Уберите «пушку», не балуйте.

Подошел генерал в длиннополой шинели и папахе, увидев Терехова с револьвером, спросил:

— Что происходит?

— Лицо незнакомое, господин генерал. Приказано строго проверять каждого.

— Этот офицер со мной. «Со шрамом» еще не прошел?

— Никак нет, господин генерал.

Под кличкою «Лицо со шрамом» — был комполка Дальчевский.

После генерала с неизвестным офицером прошли еще четверо знакомых Терехову. Заминка произошла с двумя женщинами. Их вел поручик Хомутов. Васюха Петюхин узнал Хомутова издали, сказал Терехову:

— Про женщин не было разговору.

И задержал поручика Хомутова у калитки.

— Ты что, Петюхин? Меня не узнал?

— Ну, дак што? Пусть барышни отойдут от ворот. Когда придет «Со шрамом», тогда выясним.

Еще прошли офицеры, а поручик с дамами разговаривал поодаль. Казаки прислушивались: что-то о хорунжем Лебеде. Ну и ну! Уж кто-кто, а Конь Рыжий — злейший враг казачества, и Терехов, будь на то позволение офицеров, изрубил бы его в куски.

А вот и сам «Со шрамом», а с ним коренастый, в бекеше и в пимах, начальник штаба, хорунжий Мотовилов.

Заметив двух женщин с поручиком Хомутовым, полковник сразу пошел к ним.

— Юлия Михайловна? Оч-чень рад. Так вы еще не уехали в Петроград?

— Поезда сегодня не будет, — услышал Терехов ответ одной из женщин. — И вот мы решили побывать у вас. Обговорить еще раз предстоящую операцию.

Полковник тем временем узнал вторую женщину:

— И Дуня с вами? Ну, ну!

— На нее вы можете положиться, Мстислав Леопольдович. Она не только бесстрашная пулеметчица, но и моя помощница. Вы еще не знаете о наших переговорах с полковым комитетом? Надежные люди, Мстислав Леопольдович. А председатель — это настоящий Добрыня Никитич! Мне говорили, что у него большой авторитет не только среди казаков, но и у солдат.

— Расскажите на совещании. Николай Гаврилович, проведите дам.

Когда Мотовилов с Хомутовым увели женщин, полковник подошел к Терехову, чтобы узнать, не произошло ли чего подозрительного? Терехова прорвало:

— Извините, господин полковник. Поскольку слышал разговор про хорунжего — этого Коня Рыжего, должен упредить вас с глазу на глаз. Я этого хорунжего, извините, от хвоста до ушей вижу наскрозь. Стерва он! Если не большевик, то давно ходит в ихней упряжи. Али не он водил енисейцев под Пулково на донцев генерала Краснова? Али не поимел благодарность от военки Смольного? Да его еще тогда надо было шлепнуть.

— Совершенно верно, Кондратий Филиппович, — доверительно ответил полковник. — Но... Нам чрезвычайно важно в данный момент повязать его так, чтобы он никуда не ускакал на красных копытах. А шлепнуть? Не всегда это нужно. Военный комиссариат Смольного перешерстит всех казаков и офицеров, и на митинге выберут в председатели такого же объезженного большевиками коня или того хуже. Надо его обламывать. Мы этот вопрос еще обсудим с вами,

Кондратий Филиппович. А сейчас смотрите тут строго. В случае чего, постучите в ставень.

— Слушаюсь, господин полковник!

Возле крыльца полковник обмел голиком снег с сапог, потоптался на приступках, прошел через глухие сени в переднюю избу. Над обеденным столом тускло светилась керосиновая лампа. Возле стола сидела русоволосая молодая женщина в теплом платке, накинутом на плечи. Перед ней грудились чайные чашки с блюдцами, белела сахарница по соседству с печеньем в синей вазе. Когда вошел полковник и стал раздеваться у порога, женщина поднялась и пошла навстречу.

— Как я вас ждала, Мстислав Леопольдович, — ласково проговорила она. — Мне говорили, что вы болели?

— Ничего страшного, милая Елена Викторовна. Беспокоим вот вас, извините, пожалуйста.

— Да что вы, господи! Мой дом — ваш дом. Ваши беды — мои беды. Я вот позавчера побывала в Петрограде, и не поверите — больная вернулась. Люди, как тени там. И мертвый, мертвый город! Наш Питер, господи! И когда это только кончится?

— Если большевики задержатся еще на полгода, Питера вообще не будет.

— Господи! — вздохнула хозяйка, спросив: — Подать в гостиную чай? Сейчас вскипит. За чаем-то лучше разговаривать.

— Ради бога, не вздумайте сами нести самовар. Пришлю офицера, — сказал полковник и направился за филенчатую голубую дверь.

В гостиной — большой комнате с двумя мягкими диванами, на которых расположились офицеры, у квадратного стола облаком плавал табачный дым. Курили все, в том числе женщины, стряхивая пепел в морские раковины и чугунную пепельницу. Лампа-молния, свисающая на стержне от потолка, ярко освещала офицеров. Полковник поздоровался, и разговоры оборвались. Юлия Михайловна, докурив папиросу, ткнула окурок в чугунную пепельницу, повернулась к полковнику.

— Мстислав Леопольдович, вот генерал, Сергей Васильевич, не верит моим словам о благоприятных переговорах с комитетом.

Генерал, не дожидаясь, что скажет командир полка, ответил:

— Эмоции, эмоции, госпожа Леонова!.. Мало ли какое впечатление произвели на вас комитетчики, а я вам скажу, извините, они просто обманули вас. Да, да, сударыня! И Конь Рыжий, извините, такой подлец, которого мало повесить. И не рыжий, он, а красный конь военки Совнаркома. Да-с!..

— Я с этим, простите, совершенно не согласна, — возразила Юлия Михайловна. — Он все-таки офицер из казаков. А казак, как его не крути-верти, останется казаком. И если на митинге казаки примут решение идти на Петроград, хорунжий будет впереди, господин генерал.

— Помилуй нас бог от наивных верований! — взмолился генерал. — В этом-то и провал всей нашей русской интеллигенции: в наивной вере, что всю Россию можно осчастливить, если уничтожить промышленников, купцов, национализировать землю и все прочее. Интеллигентики шли в ссылку ради идеи всеобщего благодетельствования народа. Вот Совнарком напечатал декреты о земле и мире, когда еще война не кончена с Германией. Какой может быть мир, если армии врага на территории России?! А ведь эти декреты всех сбили с толку. И такие вояки, как наши комитетчики, рты разинули: благодати ждут от большевиков!

— Не будем заниматься пустыми разговорами, господа, — попросил полковник. — Да, мы интеллигенты. Но ведь это же — мозг нации! Так что будем, по мере наших сил, работать для возрождения России. От декретов Совнаркома так просто не отмахнешься, Сергей Васильевич! В них заложен огромный взрывчатый материал. Или — или! А потому надо учиться работать в тылу большевиков и не допускать вопиющих глупостей. Надо помнить — впереди завтрашний день! А кому известно, каким будет завтрашний день?

Ни офицеры, ни генералы не сумели ответить на этот вопрос.

— Молчите? Именно в этом вся суть момента! Никто точно не может дать ответ о завтрашнем дне России! Быть ей или не быть вообще.

— России — быть всегда! — вдруг сказал один из офицеров, сидящий рядом с пулеметчицей Дуней. Все посмотрели на него — никто его не знал, кроме самого полковника и генерала Новокрешинова. — Да, я убежден: России быть всегда! Если Россия выдержала двухсотлетнее монгольское иго и не исчезла, а изгнала и

разгромила орды завоевателей, то в данный исторический момент она, безусловно, выстоит и процветать будет. В этом я лично убежден. Другое дело: устоим ли мы, господа офицеры? И как с нами распорядится история? Вот на этот вопрос, думаю, и господь бог не ответит.

— Ну, знаете ли! Не от офицера слышать подобное! — зло сказал лысый поручик Хомутов.

— Надо бы прежде представиться собранию, а не начинать знакомство с сентенций сомнительного содержания, — заметил еще один офицер.

— Господа — остановил полковник. — Мы тут увлеклись, и я не успел представить вам уполномоченного центра «союза» капитана Кирилла Иннокентьевича Ухоздвигова, социалиста-революционера. Попросим капитана информировать нас о положении на фронте и конкретно о задачах, поставленных перед нашим полком на 26 января. Прошу!

Пулеметчица Дуня уставилась в лицо капитана: Ухоздвигов! Это же ее земляк!.. Сын золотопромышленника Ухоздвигова!.. Или однофамилец?

— Господа! — начал глуховатым голосом Ухоздвигов. — Я ничем не могу вас порадовать. Все армии на фронте полностью деморализованы и развалились. О дисциплине и говорить нечего. Судя по тому, что я успел узнать о вашем полке, его можно считать единственным, устоявшим от деморализации и повального дезертирства. Достаточно сказать: только за минувший декабрь и по десятое января текущего года на одном нашем фронте убито более тысячи четырехсот офицеров! Нет-нет! Не большевики расстреливали. Обыкновенные убийства солдатами из-за угла. Теперешний главнокомандующий Крыленко...

— Прапорщик! — не утерпел престарелый генерал Сахаров.

— Этот прапорщик, господа, оказался талантливым военным организатором, о чем писали даже французские газеты.

— Так что же он, прапорщик Крыленко? — напомнил полковник.

— Даже он со своим авторитетом и другие военные комиссары, как Антонов-Овсеенко, ничего не могут поделать, чтобы задержать процесс распада армии и вопиющих самосудов.

— Большевики именно к этому призывали суконку: к поголовному истреблению офицерского состава в армиях, — сказал генерал Новокрецинов. — Но меня интересуют конкретные установки центра относительно ближайших событий.

— Я охотно отвечу, господин генерал. План «союза» заключается в том, чтобы использовать конец января и начало февраля для решительного броска на уничтожение большевиков в Смольном вместе с их вождем. Акция индивидуального убийства, как вы знаете, провалилась. Есть сведения, что Ленин вообще не ранен, а пострадал только шофер.

Седой генерал спросил о реальных силах для восстания, на что надеется центр «союза»?

— Главные силы — Гатчина, сводный Сибирский полк и артбригада. Из Луги и Суйды 26 января подойдет особый офицерский отряд, а вместе с ним женский батальон под командованием Юлии Михайловны Леоновой, с которой вы знакомы, — капитан кивнул в сторону русокосой командирши женского батальона. — В самом Петрограде, как нас проинформировал центр «союза», готовы к восстанию два стрелковых полка. Командир одного из них, капитан Голубков, должен быть у вас, господа. И тут вся тяжесть ложится на ваш дисциплинированный сводный полк.

Офицеры шумнули:

— До дисциплины нам, как до господ бога!

— Разлезаемся по швам! Один толчок — и солдатушки с казаками посыплются, как горох из мешка.

Раздался удар в ставень окна, выходящего в ограду. Все разом притихли, оглянулись. И еще два удара в ставень, даже стекла зазвенели.

Офицеры повскакивали, готовые кинуться в переднюю, чтоб поскорее одеться.

— Спокойно, господа! — призвал полковник. Он стоял у изразцовой печи, грел спину. — Поручик, — глянул на Дарлай-Назарова. — Помогите хозяйке накрыть на стол, а я выйду узнать, что там произошло. Никакой паники! Если Бушлатная Революция пожаловала в гости со своими матросами — мы здесь собрались на вечеринку по случаю дня рождения господина подпоручика Дарлай-Назарова. И никаких глупостей и лишних слов.

В ставень еще раз стукнули... Полковник накинул шинель, папаху и не торопясь вышел из дома.

Звездилось полуночное северное небо, простирванное ветрами до синевы.

Терехов с Васюхой Петюхиным задержали кого-то. Увидев Дальчевского, Терехов пошел навстречу и отрапортовал:

— Фельдфебель Карнаухов привел неизвестного офицера и рвется к вам. А я спрашиваю: кто им сказал, что комполка здесь? И по какой экстренной надобности? Офицер при оружии и заявляет, что у него к вам пакет из штаба корпуса. А, может быть, никакого пакета нет!

Дальчевский узнал сотника Бологова и фельдфебеля Карнаухова. И то, что Карнаухов, член полкового комитета от первого стрелкового батальона, привел сотника к дому вдовы Кулагиной, не в малой мере встревожило полковника. Так могут привести и агентов ВЧК!

— Ко мне? — Дальчевский пронзительно взглянул на Карнаухова: — Кто вам сказал, что я в гостях у дамы в этом доме?

— Ординарец ваш, старший урядник Глотов.

— Хорошо, фельдфебель. Вы свободны. — И когда Карнаухов вышел из ограды, полковник кивнул Терехову: — Надо последить за ним.

Поднявшись на крыльцо с Бологовым, Дальчевский повернулся спиной к сенной двери, сухо спросил:

— Почему вы не в поезде на Псков?

— Выслушайте меня, господин полковник, — дрожащим голосом попросил Бологов. — Конь Рыжий с комитетчиками пытался меня задержать, доставить в матросский отряд на станцию и сдать в вагон ВЧК. Он категорически против...

— Без фантазий, сотник, — поморщился полковник, поддернув накинутую на плечи шинель. Он догадался обо всем, глядя на вытаращенные глаза Бологова. Обыкновенная история! Хорунжий Лебедь лягнул набитого дурака, а дурак с перепугу готов лбом прошибить стену.

Кое-как, мешая явь с вымыслом, Бологов рассказал, какой у него состоялся разговор с комитетчиками в присутствии Леоновой и пулеметчицы Дуни, и как председатель комитета заявил: пусть, дескать, господа офицеры и все серые восстают в Пскове, Гатчине и прут на Петроград, но казаков комитет не призовет к восстанию.

— Так и заявил: «Повяжем офицеров».

— Он сам офицер, — напомнил полковник. — И как известно по фронту, бесстрашный офицер и к тому же георгиевский кавалер. Это много значит, сотник. Я не знаю, что у вас произошло. Вы, случайно, не назвали хорунжего Конем Рыжим?

— Обмолвился. Но... извинился.

— Па-анятно! Молите бога, что выскочили от него живым.

Дальчевский прижал пальцами тикающую левую щеку со шрамом — фронтную метку, подумал, что обалдевшего сотника нельзя вводить в дом: он столько наболтает на себя и под себя, что потом не выпутаешься. Достаточно одного его появления и встречи с госпожой Леоновой, как у последней разыграются дамские нервы, и тогда эту госпожу никакими припарками не успокоишь.

Полковник достал карманные часы, посмотрел время: было без четверти час ночи. А в час сорок проходит товарно-пассажирский поезд из Петрограда на Псков.

— О том, что с вами произошло в комитете, ни слова в Пскове! А вы фельдфебелю не проговорились?

Бологов дал слово офицера, что он понимает всю ответственность, и не из болтливых, а Дальчевский подумал: как бы этот жалкий сотник при другом случае не выдал всех и вся? «И это офицеры?! Да разве с такими работать в подполье у большевиков?..»

— Хорошо, хорошо. Я вам верю, сотник. А теперь слушайте внимательно. Полк наш восстанет, как и намечено центром, и не Рыжему Коню остановить развивающиеся события. И вы должны утром быть в Пскове. Старший урядник проводит вас на станцию и посадит на поезд. Только не вздумайте прогуливаться по перрону. Иначе и в самом деле побываете в вагоне ВЧК. Еще раз предупреждаю: информируйте наших людей с должной объективностью и точно передайте мой ответ. А по дороге в Псков подумайте.

Кондратий Терехов пошел проводить Бологова на станцию.

Полковник долго еще оставался на крыльце, выкуривая одну папиросу за другой. Надо было и самому подумать. Конь Рыжий, если его не стреножить, сумеет повернуть полк не в ту сторону. Надо бы от него избавиться, но так, чтобы заподозрены были только казаки, но не офицеры и не оренбургские орлы Кондратия Терехова. Наступает

самый ответственный момент подготовки операции. Вот если бы в самом Петрограде вспыхнуло восстание, тогда бы легче было бросить туда сводный полк. Но там...

«Помоги нам, господи! — взмолился Мстислав Леопольдович, хотя не верил ни господу, ни своему «союзу», да и самому себе. Что можно сделать, если находишься в окружении таких болтунов, как генерал Новокрецинов или престарелый Сахаров? Они же, фактически, трупы, и он, Дальчевский, с умом и талантом, гниет среди них. — Ужасное время! Если бы знать, что предпримут союзники России, если большевикам удастся подписать сепаратный мир с Германией? Это же мировой конфликт! Неужели ни во Франции, ни в Англии, ни в Америке ума не хватит понять: если большевизм устоит — то ведь волна «мировой революции» выплеснется и к ним!»

Полковнику Дальчевскому было просто страшно. Страшно жить, чувствовать себя в окружении рефлексирующих офицеров, суматошных дам, наподобие Леоновой и всех прочих говорунов, утративших власть и влияние. Иногда ему казалось, что земля плывет у него из-под ног.

Махнуть бы на Дон! Дальчевскому доподлинно известно, что Войско Донское восстанет в ближайшее время, и кто знает, как далеко они пойдут. И поддержку донцы, понятно, получают от союзников: Черное море рядышком! Но на Дон Дальчевскому дорога заказана! Ведь это его сводный Сибирский полк принимал участие в разгроме войска генерала Краснова!

Сиди и думай на перилах крыльца!..

Тем временем в гостиной вокруг тульского самовара, попивая чай, офицеры играли в карты, поджидая полковника. Куда и кто его вызвал? Что еще стряслось?

Черноглазая красавица Дуня играла в карты с капитаном Ухоздвиговым, а против них два генерала — седой и грузный Сахаров и напористый, энергичный Новокрецинов, немало скомпрометировавший себя среди офицеров длинным языком. Генерал обладал удивительным талантом восстанавливать всех и вся против собственной персоны. Стоило ему два-три раза встретиться с кем-нибудь в компании, перекинуться в картишки, как его знакомство тут же обрывалось. Он умел так ловко оговаривать друзей и знакомых, что даже сам удивлялся; откуда у него столько врагов? Язык его, поистине,

был его лютым недругом, и он с ним никак не мог совладать. И на этот раз, не успев сделать двух ходов в подкидного, он разозлил капитана Ухоздвигова.

— Плохо вы кончите, капитан! — сказал генерал. — Экую глупость ввернули, братец, про Россию! Что значит: «России быть всегда?» Мальчишество, братец! А представьте себе такую карикатуру: большевики усидят в Смольном, ну, хотя бы два года, что же останется от России?

— Россия останется, господин генерал. И в этом я не сомневаюсь.

— Хо! хо! — хорхнул генерал. — Вы пишете стишки, кажется?

— Пишу. И если уж говорить о России, господин генерал, напомню вам на этот счет стихи Тютчева:

*Умом Россию не понять,
Аришином общим не измерить:
У ней особенная стать, —
В Россию можно только верить!*

Генерал покачал головой и, сбросив карту, ответил:

— Что же тут умного, капитан? Если умом не понять Россию, то почему, позвольте, я должен в нее верить? Это уж, извините, нечто языческое. Глупо. Вы, может, прочтете мне и такой шедевр:

*Прощай, немытая Россия!
Страна рабов, страна господ...*

— Это написал гений России! — подхватил капитан.

— Не гений, милостивый государь, а великий путаник. При надлежащем правительстве подобных путаников будут вешать на осинах. Да! Именно так. И заметьте себе: Россия не Франция. Вы бывали во Франции? Ах, да! Вы же кавалер ордена Почетного легиона. Это очень хорошо. Тогда вы знаете, что французы не верят в слова и просто слушают, позевывая, а вот русский мужик, если его подзудить словами, берется за дубину по присказке: «Была не была, а по башке шарахну. А потом хоть виселица». И когда баламуты в стихах или книгах напускают разврат суждений, вызывая недовольство

правительством, в России один исход — мятеж! Революция. И это вам надо бы знать, братец.

— А разве не было революции во Франции? — сдержанно напомнил генералу капитан.

— Все их революции, братец, мыльные пузыри!

— А семьдесят первый год? Надеюсь, вы слышали о так называемой Парижской коммуне.

— Слышал, братец. И что же? Все эти смутьяны Парижа перекипели сами в себе, как в котле смола, и стоило дунуть на них генералу Тьеру — смола окаменела. А вот вы попробуйте дунуть на смолу в котле России. То-то же. Попомните мои слова: если в России утвердится какое-либо волевое и решительное правительство и поставит своей целью сохранить мощь России и даже приумножить ее территорию, оно прежде всего зажмет в кулак всяких там «мыслителей», как их называют хлюпающие слюной интеллигенты без ума и памяти. Вот что я вам присоветую по старшинству, господин капитан: не пишите стихов и не читайте их! Никогда. Будьте офицером. А что значит русский офицер? Это тугой кулак без всяких эмоций и рассуждений! Иначе, повторяю, плохо вы кончите!

— Благодарю за совет, — сердито ответил капитан Ухоздвигов и, положив карты на стол, дополнил: — То, что вы тут наговорили, чингисхановщиной припахивает, господин генерал. Именно Золотая орда завоевала мир без наличия какого-либо интеллекта и не оставила после себя ни единого умного человеческого слова. Были — и не были! Именно такое чингисхановское правительство хотели бы вы создать в России? В таком случае — я не слуга вам.

Генерал ничуть не возмутился.

— Не сержусь на вас, капитан. Если бы вы были явлением исключительным для России, я бы вызвал вас к барьеру. Но увы! И барьеров ныне нету, и офицеров, в сущности, так же.

— Достаточно одного генерала на всю Россию, — съязвил Ухоздвигов, раскуривая папиросу.

Генерал Сахаров, доселе молчавший, не утерпел и сделал замечание Новокрецинову:

— Вот так всегда у вас, Сергей Васильевич.

— Что вы имеете в виду: «так всегда»? Хотел бы я знать, Владислав Петрович, что лично вы думали о России, когда в августе

четырнадцатого немцы пережевывали ваш корпус в Восточной Пруссии?

— Сергей Васильевич!

— Молчу, молчу, голубчик. Не вы одни составили тот позорнейший оперативный план прорыва фронта немецкой армии. Были, конечно, Ставка, Сухомлинов и предатель Ренненкампф. Все и вся были!..

Генерал Сахаров, дрожа от возмущения, поднялся:

— Ну уж, позвольте, Сергей Васильевич! На том оперативном плане была и ваша подпись! И как мне известно, вы и предложили разработать ту операцию. А вариться в котле пришлось российским солдатам и офицерам.

Генералы разошлись в разные стороны, как бойцовые петухи.

— Вот вам и Россия, — усмехнулся капитан, пристально взглянув на пулеметчицу. — Бог мой! Старшая дочь Елизара Елизаровича Юскова?!

— Ошибаетесь, — усмехнулась Дуня. — Старшая у нас убогая, горбатая. А я ведь не горбатая?

— Да, да! Вспомнил. Вы учились в Красноярской гимназии?

— Нет, училась Дарьюшка. Она была любимицей папаши. А меня звать Дуней — Евдокией. Мы с ней близнецы.

Вошел полковник, и все повернулись к нему.

— Ничего особенного, господа, — успокоил Дальчевский. — Приходил мой ординарец. Есть кое-какие новости. Из Смольного вернулся комиссар. И не один, а с кем-то из военки. Да, вот еще: командиром артбригады назначается наш комиссар, а это значит: офицерский состав будет профильтрован основательно.

Офицеры заговорили о тактике большевиков, об их умении проникать в солдатскую и казачью среду, и что бороться с большевиками надо умеючи.

Полковник не поддержал разговора. То что он сообщил о возвращении комиссара из Петрограда, известно было ему еще до собрания. Но он попридержал неприятное сообщение. И к случаю оно пригодилось, чтобы не говорить о своих тревогах и тем более о сотнике Бологове.

«А Коня Рыжего ко всем чертям, пока не поздно!» — это было самое первостепенное и важное, что надо было сделать не откладывая.

Не чуял Ной Лебедь, каким лютым словом поминают его офицеры на совещании и оренбургские казаки в казарме. Он никак не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, кряхтел, как будто кладь вез в гору, скрипела буржуйская деревянная кровать, а небо за окном было таким милостивым и звездным!

«Беда грянет, господи!» — бормотнул Ной, подымаясь. Пол был холодный, настывший. Натянул валенки на босу ногу, подкинул дров в буржуйку, разжег, посидел, вспомнил, как крестная бабушка Татьяна гадала на евангелии, взял черную книгу со стола и открыл ее наугад, чтобы потом разгадать тайный смысл прочитанного.

«И если случится найти ее, то, истинно говорю вам: он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти заблудившихся».

«Какую еще заблудившуюся? — подумал Ной. — Самому бы не пропасть!» И тут же забыл о прочитанном.

Ной еще не поднялся с постели, как прибежали перепуганные комитетчики — Сазонов, Павлов и Крыслов. Так и так, беда! По всем казармам шумнуло, что комитетчики — доподлинные большевики, а для видимости маскируются, чтоб ловчее запутывать казаков. И с Бушлатной Революцией комитет — лапа в лапу!

— Как быть, Ной Васильевич? От кого отбиваться, если со всех сторон грязь ползет, а кто ее подкидывает, неизвестно.

Ной не подал виду, что самому ему хоть волком вой, до того тошно. Не торопясь натянул брюки с желтыми лампасами, заправил рубаху, обулся, сполоснул лицо над поганым ведром, вытерся выстиранным полотенцем, тогда уже надел, китель, глянул на часы. Нажал пальцем одну из трех головок. Отбило восемь часов и семнадцать минут.

— Грязь плывет, говорите? А вы что думали: белыми булками кормить будут нас серые путаники за ответ тайному «союзу»? Еще не так будет! Вижу, как обиходили тебя, Яков Георгиевич, — заметил Ной, глянув на распухший нос и подбитые глаза Павлова. — Дружки Кондратия Терехова?

— Васюха Петюхин, гад! Придрался, будто я у него кисет вечер брал и не отдал, и — пошел! Хоть бы кто поднялся со своих постелей! Ну и я ему тожа дал! Кричит мне: «Под рыжего подложил всех нас?»

Красные звезды, грит, готовите нам на папахи». А тут и комиссар вошел: «Это что еще такое?! — крикнул. — За какие красные звезды бьешь члена полкового комитета?» Ну, Васюха попер на меня со своим кисетом. А с комиссаром два крепких якоря — матросы те.

Сазонов сокрушенно признался:

— А ведь, Ной Васильевич, как вот я ночесь обдумал опосля нашего заседанья с Бологовым, ежли в корень глянуть: мы за большевиков стоим в Гатчине? Али не так? Стал быть, казаки не зря ярятся.

— Ну, а ты как думал, Михаил Власович, когда оказался на Цветочной площадке?

— Да ведь пулеметы у них были, у тех матросов! — вспомнил Крыслов.

— Ну, а с чем они должны были нас встречать, хлебом-солью? Чего мутить-то воду в чистом пруду!

Нетерпеливый Крыслов поднялся со стула, выругался:

— А на кой мне... прости господи, быть в комитете? Али мне жизнь прискучила и надо соломинку перекусить? С какими глазами вернусь я к себе в станицу? Ведь станичники спросят: где и кому служили? А вот как пишут от нас: смутность там, твердости нет у новой власти. Как бы ее с тыла не опрокинули. Вот тогда где мы окажемся?

Ной и сам о том же думал. Ответил:

— Я уже сказал, Иван Тимофеевич: про то надо было мозговать раньше. С кем вы? С этой... слово-то, господи прости, на языке не провернуть! У мово Александры Свиридыча в башке всякое упаковывается! С этой, значит, социалистической революцией, али за временных? А их успели к тому дню в Петропавловскую крепость спровадить.

— И нас угнали бы туда же, — ввернул Сазонов.

— Ну, сказанул! До министров возвысились, — ухмыльнулся Ной. — Ладно, министры. Вы хоть успели позавтракать?

— В кою пору?

Сазонов вдруг вспомнил:

— Да ведь тогда-то как спрашивали? За Советы мы аль нет? А разе Советы и солдатские комитеты не при Керенском заварились?

— Точно! — поддержал Павлов. — Как же это понимать, если у большевиков тоже Советы? И ЦК партии ишло, как вот Бушлатная Революция обсказывал. Кто у них за самого главного? ЦК большевиков али те Советы? А теперь ишло ВЧК объявилось. И в самой Гатчине на станции вагон стоит с матросами от ВЧК.

— Про то спросить надо у комиссара, — уклонился Ной. — Для нас главная задача одна: удержать полк от восстания.

Крыслов опять вскочил со стула. До того комитетчик был непоседливый и ершистый.

— Ни хрена нам его не удержать! Только Кондратий Терехов со своими оренбуржцами шумнет, и полк вздыбится. Помяните мое слово! Тогда при каком интересе останемся?

Павлов ответил:

— При осиновом, Иван Тимофеевич. Перевешают, как иудов на осинах.

Санька — Александр Свиридович, у которого, по словам Ноя, «в башке всякое упаковывается», подживляя огонь в печке, чтобы доварить кашу на завтрак и вскипятить чайник, напомнил о своем совете:

— Бежать надо, покаля всех не повязали.

— И в сам-деле, Сань! — обрадовался Сазонов. — Кони при нас, по паре мешков овса кинуть в тороки, и дай бог гладкой дороги!

— По всей России сейчас, скажу, нету гладкой дороги, — сурово отверг Ной. — Никуда не ускачем. Разве только в банду какую! Стал быть, одно у нас: удержать полк от восстания и просить комиссара, чтоб посодествовал через тот Смольный распустить полк, как ненадежный.

— В самый раз бы!

— Да разве Бушлатную Революцию уломаем? Он вить самый ярый большевик, — усомнился Павлов.

Ной Васильевич взопрел.

— Новое заседание почнем, или завтракать пойдете по своим казармам? — спросил.

Успокоившись, комитетчики ушли завтракать. У Саньки подоспела овсяная каша — разлил по фарфоровым тарелкам. Посуда-то какая! На таком бы столе да с такой посудой — свадьбу справлять...

— Еще кой-то идет! — предупредил Санька, заслышав шаги по пустому дому. На стук в дверь Ной ответил: «Входите». Нежданные гости показались на пороге: Свиридов, а с ним молодая женщина в кожанке под армейским ремнем.

— Приятного аппетита, товарищ председатель, — грубовато, простуженным голосом сказал комиссар, снимая шапку-ушанку.

Ной поднялся:

— Милости прошу к столу, коль в гости пришли! — А сам так и резанул настороженным глазом по лицу женщины. Уж не из ЧК ли? Но Свиридов сбил с толку, представив попутчицу:

— Познакомьтесь, комиссар артбригады Селестина Ивановна Грива, ваша землячка. Если я не ошибаюсь, вы из Минусинского уезда?

— Округа, по-казачьи, — поправил Ной Васильевич. — Из Минусинска, говорите?

— Из Минусинска. Там живет и работает мой отец, доктор Грива.

— Доктор Грива? Слышал, слышал, — буркнул Ной, припоминая. Кажется, есть такой доктор в Минусинске. — Что ж, раздевайтесь и садитесь наших харчей отведать. Вот ждем, когда нас демобилизуют, Иван Михеевич! Время пришло. Потому, как даже армии на позициях давно демобилизованы.

Комиссар сказал, что сводный Сибирский полк в настоящее время не может быть демобилизован. Нельзя оставить революционный Петроград без прикрытия с тыла.

— Плохое прикрытие, комиссар, — сказал Ной. — С таким прикрытием, не ровен час, утопнуть можно. Али не знаете, что происходит в казармах? Ведь мы сводные и сбродные. И что ни день, то потасовки. То казаки бьют солдат, то солдаты молотят казаков. Стал быть — ни ладу, ни складу. Развинтились казаки до полной невозможности.

— То, что казаки в полку развинтились, — это мне известно, — ответил комиссар. — Но ведь полковой комитет должен поддерживать дисциплину и не допускать безобразий. И кроме того, почему комполка установил разное довольствие? Казаки получают больше продуктов, чем солдаты.

— Не так, комиссар. Довольствие получаем одно. Чего мы стоим? Садитесь и за чаем потолкуем, — еще раз пригласил Ной.

— С удовольствием выпью чаю, — сказала Селестина и расстегнула ремень.

Санька достал чашки, расставил, разлил чай и подвинул два стула. Комиссар Свиридов сел, и маузер в кобуре опустился до пола.

— А где сахар? — спросил Ной Саньку.

Санька сверкнул глазами на председателя и нехотя достал жестяную коробку с сахаром.

— Может, каши положить вам? — спросил Ной. — Вот вы, комиссар, говорите, что у казаков богаче довольствие! А про коней-то забыли? У нас же фураж имеется — еще вывезенный с позиций. На каждого коня получаем овес. А ежели не в атаку, то чего в коня овес травить. Вот вам и каша! Овес жарим, толчем, просеиваем, а после кашу варим. Александр, налей по тарелке комиссарам нашего дополнительного харчевания.

Свиридов отказался.

— Вот разве Селестину Ивановну угостите. Она с утра не ела.

— Не с утра, Иван Михеевич, а со вчерашнего обеда. Как в Центробалте с вами пообедала, так и не ела.

— Что ж вы молчали? — возмутился Свиридов. — Я бы уж нашел, где вам пообедать!

Селестина ела Санькину кашу из конских пайков и так-то похваливала! Ной подумал, что она не со вчерашнего обеда, а с позавчерашнего завтрака во рту куска хлеба не держала! Ну и житуха у этих комиссаров! Господи прости, экая подтощала!

— Извините, Ной Васильевич, — промолвила комиссарша. — Хочу спросить: я слышала, будто вы не коренной сибирский казак, а приезжий с Дона, из станицы Качалинской. Я даже не поверила.

— Тринадцать лет как в Сибири, — сказал Ной. — То есть, четыре года сбросить надо. На позициях вот пластаюсь. Сбруя оттянула плечи!

— Но вы же знаете, что Совнарком направил в Брест-Литовск делегацию, чтобы подписать мирный договор с Германией? Время сейчас напряженное. Вот если в Брест-Литовске немцы подпишут с нами мир, тогда полк будет немедленно демобилизован, и вы разъедетесь по своим войскам, — сказал Свиридов.

— Не по войскам, по станицам, — поправил Ной. — Я, почитай, на всю жизнь наелся войною. Мне мир надобен!

— Эт-то в самый раз, Ной Васильевич, — подхватил Санька. — У меня вот детишки растут без отца, казачка моя, должно, иссохла на корню, а у Ноя Васильевича хоша и нету казачки, дак сколько девок теперь подросло? Да и вам, комиссар, тоже надо бы к семье прислониться, если вы из крестьян.

— Не из крестьян, из рабочих.

— А рабочие, те разве без семей проживают?

— Сейчас не до семьи! Впереди у нас мировая революция! Мы не остановимся, пока не выметем со всего земного шара буржуазию и всех капиталистов. Иначе и быть не может.

У Саньки нос повис. Стал быть, не скоро им с Ноем Васильевичем выбраться из военной амуниции! Впереди — мировая еще!

Селестина поблагодарила хозяев за хлеб-соль и особенно за кашу. Санька принял благодарность на свой счет: он ведь варил кашу и заваривал чай!

— А вы не стесняйтесь, — подобрел он, — почаще приходите к нам. Я завсегда утрами варю кашу, а на обед — похлебку или картошку. Два куля добыл в деревне. Так что милости прошу. Да ежели вы, как сказывали, земляки с Ноем Васильевичем, отчего не бывать в гостях?

— Спасибо, спасибо. Обязательно приду, — ответила Селестина и, что-то вспомнив, спросила Ноя:

— А это правда, что из вашего рода был Ермак Тимофеевич и что у вас шашка самого Ермака?

— В доподлинности — не знаю. По роду так идет, — нехотя сказал Ной. — А шашка — вот она, с надписью.

Селестина встrepенулась:

— Можно взглянуть? Я ж тоже казачьего роду!

Ной снял шашку со стены и передал в руки Селестине.

Низ ножен шашки на полчетверти отделан золотом с оспинками — вероятно здесь что-то было вкраплено, рыжая замша поистерлась. Узорчатая отделка ножен с такими же оспинами, ушко отбито и вместо него — самоковное железное кольцо для ремня. У эфеса два золотых

подкрылка, чтоб рука не скатывалась на лезвие. Эфес костяной, местами выщербленный, с золотым причудливым набалдашником.

— Похоже на голову птицы, — сказал комиссар.

— Голова лебедя, — ответил Ной.

— Почему — лебедя?

— Про то сказано в надписи.

— Вот это шашечка! — восторженно проговорил комиссар. А Селестина даже в лице переменилась, разглядывая шашку. Ловко вынула из ножен. Крепчайшая, зеркальная сталь в отменном обиходе.

— А вот и надпись, — сказала она и прочитала вслух:

«Лета 7083 неембрия благовестна молебна твориша».

— Что это значит? — спросил комиссар.

— В ноябре, следственно, 7083 года от сотворения мира, как по святому писанию, — пояснил Ной и дополнил: — Еще на другой стороне читайте.

Селестина прочитала и на другой стороне:

«Атаману яко Лебядю Яремею Аленину воеводства Астраханска жалует».

— Яремею Аленину? Значит, от Яремея перешла к Ермаку?

— Никак нет. Яремей Аленин — это и есть Ермак. Из Минусинского музея так же толковал один господин. И наша фамилия была сперва Аленины, ну, а потом, как от шашки прибавилось — Лебеди. В надписи видите: «Яко Лебядю».

— Хорошая фамилия, — проговорил комиссар Свиридов, задумавшись.

Селестина кинула шашку в ножны и передала ее хозяину, раздумчиво проговорив:

— Странно, почему мой дедушка ни разу не сказал об этом? А ведь мы из одной станицы. И он знал, конечно. Мещеряк — его фамилия. Григорий Анисимович. Может, помните?

У Ноя скулы отвердели — комиссарша из рода Мещеряка-коннозаводчика, из-за которого немало натерпелся лиха курень Алениных-Лебедей, особенно его дедушка! Вот тебе и большевичка!

— С Мещеряками мы не в дружбе жили, — отрубил Ной. — Богатые с бедными, хотя и казачьего сословия, никогда не сживаются. Линии жизни разные.

— Но мы с вами не будем ссориться? — улыбнулась Селестина. — Да и я не из буржуев. Моя мама, дочь Григория Анисимовича, была учительницей в Севастополе. В 1905 году за восстание на флоте ее и папу арестовали и сослали в Енисейскую губернию на вечное поселение.

Ной не сразу ответил. Подумал. В ее словах что-то упрятано.

— Да ведь я вас и не знаю. Впервой свиделся, — пожал плечами Ной. — Да и жизнь моя в другом складе проходит. Офицер я. Ну, а все офицеры, как вот некоторые говорят, «шкуры и контра».

— Ну, далеко не все! — опротестовал Свиридов. — У нас и на кораблях есть бывшие офицеры, и в армии. Может, и вы еще будете служить Советской власти в Красной Армии.

— Ну про то говорить покуда рано, — ответил Ной. — Мне не дано знать, какой день будет завтра? Хоть и вижу — не с миром ожидается. Через всю чехарду, какая повсеместно происходит, видится: нарыв вспухает! А когда он прорвется — одному богу известно. Вот хотя бы вы, комиссар. Мало ли речей говорили по казармам? А известно ли вам: сколько зерен из вашего жита осталось в головах людей? А, может, ни одного зерна не осталось? И сеяли вы напрасно? Вот она какая загадка! Про меня каких слухов не ходит по казармам: и продал полк большевикам, и сам, дескать, Конь Рыжий! Пущай гутарят. Кони они тоже, комиссар, не задом в атаку идут, а головой к смерти!

— Это вы очень хорошо сказали, Ной Васильевич! — горячо откликнулась Селестина.

Когда ушли гости, Санька, перемывая тарелки, не преминул заметить:

— А ведь взнуздают тебя, Ной Васильевич! Попомни мое слово. Я же тебе говорил, как подсватывалась ко мне с разговорами эта самая комиссарша! А тут, вот она, пожалуйста! А что если она и не землячка тебе вовсе, а как есть все придумала, чтобы зацепить тебя на крючок? Это же большевичка!..

— Не мели лишку! — оборвал Ной и без того встревоженный разговором с комиссарами. — Казакам чтоб ни одного слова про них! Не было их у нас, и все тут.

— Да она еще завтра придет кашу исть. Она ж, видел, до чего отошала. А чо? И знашь на кого запохаживает? Ей-бо, на ту

пулеметчицу! Может, они родные сестры? — И, вспомнив более существенное, Санька спросил: — А што ты им не сказал: казаки не будут служить за мировую революцию.

— Другой день сам за себя скажет. Иди посмотри коней, а я в штаб. Чтой-то подмывает меня после вчерашнего. Уехал ли ночесь сотник Бологов?

В штабе Ноя встретили злым молчанием: ни комполка Дальчевский, ни начштаба Мотовилов, никто из офицеров и даже писарь на его «здравия желаю» и ухом не повел.

В двух пехотных батальонах и того хуже: кто-то успел нашептать выборным командирам, что полковой председатель комитета проводит совещания только с казачьими представителями, а на серошинельников чихает с высоты седла: таковские! Да и харчуются казаки отдельно, урывая овсишко от конских пайков, меняя его на черной толкучке в Гатчине на стоящие вещи, а потом ездят по окрестным деревням, возвращаясь оттуда с маслом и мясом. А куда пехотинцу на двух подтощальных ногах?..

Хорунжий уразумел: сумятицу и разброд напустили ловкие серые, и никого из них за горло не схватишь, а затылком чувствуешь: злоба за спиной вскипает.

Минуло три напряженных дня...

Поутру начальник канцелярии штаба подпоручик Дарлай-Назаров сообщил Ною Лебедю, что в Петрограде при штабе военного округа проходит экстренное совещание с командирами частей и председателями комитетов. Все уехали в седьмом часу утра в Петроград, а Ною Дарлай-Назаров сообщил в половине девятого! Надо же так!

Не теряя времени — из штаба напрямиком на станцию. На Петроград шел эшелон с дровами. Ной пристроился на одной из платформ в тамбуре без дверей, на морозе, прохватывающем с ветерком до селезенки.

Только к вечеру отыскал штаб округа, но там и понятия не имели ни о каком совещании!.. Не теряя времени, Ной решил побывать в двух стрелковых полках, на которые особенно надеялся тайный центр, готовя восстание. Надо же «понюхать там воздух».

ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ

I

Жизнь — река текучая. Она петляет даже на ровном месте — то бежит еле-еле, то рвется вперед, взбуривая и пенясь на перекатах и подтачивая берега, то застаиваясь в омутах, где всегда сумрачно.

Жизнь Ноя текла тихо, нешумливо в пору детства, и все там было славно и солнечно. Потом шахта в Юзовке, где он был коногоном, ожесточение к шахтному начальству, возвращение к деду с пустыми карманами, и смутная, непонятная обида.

Рожденный на Дону, не ведал он в пору детства, что предки его давно уже перечалили Дон своими челнами, обрета новые земли и прозвища чалдонов, и что его собственная река жизни вдруг рванется в страну студеную и неизвестную — в Сибирь до самых гор Саянских, и он прильнет к новой земле, запамятовав навсегда дедовский курень в станице Качалинской.

Сибирь, размашистая и малолюдная, свела его с каторжными и ссыльными, от которых узнал много такого, что в голове от дум стало тесно. И вот война!..

Ной топает по улицам Петрограда в потоках людских рек, в поисках казармы стрелкового полка за Невой, чтоб переночевать там и прощупать кого-нибудь из малых командиров, разузнать о настроении солдат.

Отыскал двухэтажный каменный дом — еще екатерининская казармушка: часовой возле полосатой будки у железных ворот пропустил не спрашивая.

Нашел дежурного по полку, фельдфебеля, по фамилии Коршунов: нос крючком, глаза маленькие, пронзительные и губы в тонкую скардную складку, а злобы — кадык подпирает. Ной назвался рядовым казаком Васильевым из сводного Сибирского полка; нельзя ли переночевать?

— Из Гатчины? — наострил крючок носа Коршунов. — Как вас к нам занесло? Приезжали просто в Петроград?.. А! Можешь переночевать у меня в дежурной комнате — позвал за собою Ноя в каморку, заставленную какими-то ящиками.

Ную не понадобилось выспрашивать, крючконосый Коршунов сам пристал с расспросами: как и что в сводном полку? Выступит ли двадцать шестого.

— Мы тут все, казак, как на горячих углях сидим. Нам нужен запал. Как только подойдут войска из Гатчины, наш полк немедленно попрет на Смольный. Вот тогда мы разделаемся со всеми сволочами — всмятку, в пыль, в прах, ко всем чертям!..

Ной смекнул: ни к чему выдавать себя, он-де не из крупной рыбы и в большой политике не тумкает. А восстанием, наверное, руководить будут офицеры и генералы, и планы свои держат они в тайности.

— Еще бы! — шипел желтолицый фельдфебель. — Надо провернуть так, чтоб захватить Смольный врасплох, особенно Ленина.

Как бы между прочим Ной поинтересовался: какая же сила противостоять будет со стороны Смольного?

— Какая там сила! — отмахнулся самоуверенный фельдфебель. — Интернациональный полк, в котором что ни взвод, то свой язык, и ни в зуб ногой по-русски. Из каких соображений Ленин создал такой полк? Чтоб солдаты друг с другом не смогли сговориться! Головка частей тумкает по-русски, а солдатня — ни бум-бум! Латыши, литовцы, эстонцы, есть и немцы, башкиры и еще какие-то туземцы, черт бы их подрал. Попробуй сговоришься с ними. Раздавить их надо всмятку. Шарахнем из артиллерии, захватим Петропавловку, а флот в данный момент свою фисгармонию не выдвинет на Неву!.. Это уж точно, казак. На чем проиграл генерал Краснов?

— Того не знаю, — буркнул Ной. — Я не из генералов.

— Оно и видно, — согласно кивнул тонкогубый фельдфебель, в третий раз закуривая и пуская дым из носа. — А проиграл он, казак, на осени!

— Как так?

— А вот так, на осени! На мокрой осени.

— Склизко было, что ль? — в карих глазах Ноя плескался смех: ну и пустобрех же фельдфебелишка!

— Голова! «Склизко!» Будет «склизко», если Центробалт сумел провести военные корабли с Балтики в Неву со всеми многоствольными орудиями! Вот в чем штука, казак. Шарахнули по красновцам с кораблей, так маменьку-землицу в дрожь кинуло. А если бы Краснов выступил именно сейчас, в январе, другая бы выиграла

фисгармония. Большевиков — всмятку со всем ихним разноязыким интернационалом. Ка-а-апут! Красногвардейцами они бы себя не отстояли — точно. А все другие части пойдут за нами, социалистами-революционерами. Вот почему в данный момент самое выгодное время для восстания. Корабли по льду не плавают — раз, в Петрограде голод и холод — два, не вояки, значит. Немцы с Украины подперли — три! Тебе известно: большевики снюхиваются с немцами? Сам Ленин отдает им половину России, а немцы не берут. А почему?

— Кто их знает, немцев!

— А мы имеем точное разъяснение. Хоть Ленин и отдает им половину России, да ведь они же, немцы, великолепно знают: фисгармония в Смольном с дырявыми мехами. Ни сипу, ни хрипу. А потому — ждут.

— Чего ждут?

— Да я же тебе, казак, час толкую! — горячился фельдфебель. — Немцы ждут прихода к власти настоящего правительства партии социалистов-революционеров! Но учти, казак, от нас они получают шиш под нос! Призовем на помощь союзников, а это значит так жиманем кайзеровских битюгов, что они, задрав хвосты, шпарить будут без передышки до Гринича или дальше!..

— Какого «Гринича»?

— Меридиан такой. Ты бы хоть географию почитал! Или неграмотный? Эх, Сибирь, Сибирь! Каторжные вы там все поголовно — ни грамоты вам, ни настоящей жизни, извечная тьма!..

Ной не обиделся. Мели Емеля — твоя неделя. А выспросить Емелю надо.

— Ну, солдаты как?

— Что солдаты?

— Сготовлены к восстанию?

— Ху, солдаты! Тут разговор будет коротким. Не весь запас золота Российской империи вывезен в Казань, осталось еще и на нашу долю. Ну, а если солдатам подпустить, что их ждет нажива, — рвать будут, как дым в трубу. Известная фисгармония.

— Ну, а ежли запала не будет?

— Какого запала? — фельдфебель запомятовал, о чем говорил только что.

— Не выступит полк из Гатчины!

— Как то есть не выступит! — уставился фельдфебель едучими глазками. — Или ты не из сводного полка? Что-то ты мне, казак, не нравишься. Не липовый ли? Документы при тебе?

Ной степенно поднялся с ящика.

— Экий ты, фельдфебель, шалопутный! А звание мое — хорунжий; председатель полкового комитета сводного Сибирского полка в Гатчине. Вот мои документы — доверяю, хотя мог бы и не показать. Ладно, взгляни.

Фельдфебель Коршунов еле промигался.

— Вы же назвались казаком Васильевым?

— Встречному-поперечному не называюсь ни по фамилии, ни по должности, и тайну не выбалтываю, как вот ты мне за час вывернул весь полк наизнанку. А ежели я председатель полкового комитета, стал быть, вся власть в руках комитета! Должен понимать. Более ничего не скажу. Хотел соснуть, чтоб в здравии быть завтра, да разве с таким приварком, каким ваша милость отпотчевала меня, уснешь? Определи меня в казарму. Сей момент.

Фельдфебель кинулся в раскаянье, уговаривал остаться у него ночевать и угостить чайком хотел, да Ной слушать не стал: ушел в казарму.

II

Спят солдатушки на нарах в два яруса, а над ними вполнакала помигивают электрические лампочки, не светом, а словно кровцой льющие на серошинельные горбыли.

Ной горестно смотрел на спящих солдат, как будто они ему близкие сродственники. Оно и есть — сродственники! В одну и ту же землю закапывали в братских могилах!..

Лежал Ной на деревянном ложе нар, положив в изголовье папаху с шашкой, а глаз смежить не мог — наплывала тревога, подтачивала изнутри, как вода плотину у мельницы. И вроде бы не сон, а явь: увидел себя на гнедом коне — том самом, которого под уздцы вывел с родительского база, а над головою было такое радостное мартовское голубое небо, высокое-высокое, и солнышко жарило всю раскаленную добела сковородку, сгоняя снега, и вдруг провал, ямина: немецкие легионеры летят в атаку клином, врубаются в полк,

полосуют направо и налево, страшно ржут кони, орут чьи-то глотки, как иерихонские трубы, и он, Ной Лебедь, явственно видит здорового немца, как тот, оскалив белые зубы, вытаращив глаза, с палашом над головою, изогнувшись на горячем коне, налетает на старшего брата Василия... Ной кидает своего гнедка на выручку брату, а тут еще один немец — Ной рубанул его со всей силушкой, от плеча до пояса развалил, а брат-то, брат-то, Василий Васильевич, в седле еще, в руке шашка, опущенная поперек луки седла, в левой — натянутый ременный чембур, а головы-то, головы-то — нет!.. Цевкою бьет кровь вверх из шеи, заливая гимнастерку и коня, а головы-то — нету!..

«О, господи! Доколе буду видеть экое! — поднялся Ной и долго сидел, прислонившись спиною к столбику, подпирающему второй ярус, откуда слышался мерный посвист спящего солдата. — Век будет видеться кровавое побоище! Хучь бы на малый срок замиренье вышло — дых перевести!»

Хоть бы на малый срок...

На другой день Ною столь же не повезло, как и в день минувший.

Где проходит совещание — неизвестно...

Побывал еще в одном стрелковом полку за Невою — такая же чересполосица: ни толку, ни понятия. А про дисциплину и говорить нечего — кто во что горазд! Не войско — цыганский табор.

А было ли в самом деле совещание? Куда уехали выборные командиры с полковником Дальчевским и начштаба Мотовиловым?..

Ш

В половине восьмого вечера притащился Ной со спецпоездом из Петрограда в Гатчину — злой до невозможности, наполненный, как река в половодье, мутностью.

Сумеет ли он удержать полк от восстания, когда казаки, да и солдаты, будто взбесились, разуженные господами-говорунками?.. Ну, а если удержит полк, а в Гатчину припожалуют дивизии из Пскова? Тогда бывшие высокие благородия припомнят и бой под Пулковом, и генеральского коня, а заодно присовокупят комиссара — Бушлатную Революцию: «Ага, скажут, в одной упряжи с большевиками ходил? На веревку его!».

Не расстреляют и не зарубят — повесят на осине, как сказал комитетчик Павлов.

Но отступить ему некуда, да и поздно, одной линии надо держаться.

С улицы увидел, что одно из окон закрыто изнутри досками — ставень, что ли, сделал Санька? Второе светилось.

Постоял возле дома на углу переулка к станции. Темень. Небо затянуло серыми овчинами облаков, мороз чуточку сдал, как это всегда бывает перед снегом.

Прошел в обширную ограду, обнесенную каменной стеною, — ворот не было: кто-то из местных жителей утащил на дрова. Поднялся на высокое крыльцо — дверь на запоре. На стук вышел Санька.

— Возвнулся? Слава богу!

— Чего на запорах сидишь?

— Скажу потом.

Прошли просторную веранду с выбитыми стеклами в рамах, еще четыре пустынных и гулких комнаты, не пахнувшие жильем, а тогда уже в обжитую, свою — теплом напахнуло и сосновыми щепами. Натасканы доски, ручная пила на стуле, гвозди, молоток, топор, а на окне — сработанный Санькою ставень.

— Чудишь, что ли?

Санька в гимнастерке без ремня, разморенный теплом, убрал топор, пилку, доски. Сказал:

— От такой чудости, какая заварилась в полку, очень просто на небеси преставимся. Ага! Пуцай теперь стреляют через доски!

— В кого стреляют?

— В твою башку сперва, потом в мою. — И, чтоб не манежить Ноя тайною, выложил: — Покель ты два дня был в Петрограде, тут такое дело развернулось, ого!.. По казармам вчерась плакаты появились против тебя. Три сорвал — покажу. А сегодня, когда чистил твою рыжего, подошел ко мне в конюшне казак из оренбургских. Молодой еще, из необстрелянных. Фамилию не назвал. Упредил: «Ты меня не видел, и я тебя тоже. Этот, — спрашивает, — генеральский конь?» — А я ему: «Этот, а что?» — «Председателя, значит?» — «Ну, председателя». Он помолчал, оглянулся и с хитростью так: «Стенька Разин, — грит, — казаков на бабу променял, а твой председатель — за генеральского жеребца продал большевикам весь полк». Ну, схватил

его за грудки, а он заверещал, безусик: «Не бей, — бормочет, — скажу, что знаю. По мне, — говорит, — хрен с ним, с твоим красным хорунжем, на кого он нас променял. Домой бы живым уехать. А тут такое дело заваривают — на тот свет сыграешь. Скажу, — говорит, — по секрету: вчера ночью проходило тайное совещание доверенных казаков оренбургской сотни с офицерами, а у кого — неизвестно. Токо не в полку. Офицеры из Пскова приехали. На совещании, будто, решили: полк восстанет двадцать шестого, в субботу. А до восстания сговорились казаки-оренбуржцы прикончить председателя, а потом комитетчиков. А жребий вытянул хлопнуть его поручик Хомутов. Живет с оренбургскими в девятой казарме».

Одно к одному! Тучи метутся, метутся по небу, а все в одну сплываются!..

— Та-а-ак! Поручик Хомутов? Знаю его.

— Дык не признается же! А тот казачишка, который выдал, так-то вихлял: «Если, — говорит, — назовешь меня — в морду плюну: знать тебя не знаю, и никаких разговоров с тобой не имел».

Ной повесил шашку на гвоздь, вбитый над кроватью, где висел фронтовой карабин с побитой ложею, разделся, кося глазом на окно в переулок, еще не заставленное, а Санька показал сорванные с казарм плакаты на серой бумаге.

На одном из них крупными буквами:

КАЗАКИ! КОНЬ РЫЖИЙ — ПРЕДАТЕЛЬ!

***ПРОДАЛ ВАС БОЛЬШЕВИКАМ ЗА ЧЕЧЕВИЧНУЮ
ПОХЛЕБКУ,***

***ЗА ГЕНЕРАЛЬСКОГО КОНЯ, ЗА ДОЛЖНОСТЬ
КОМАНДИРА ПОЛКА!***

СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЮ КАЗАЧЕСТВА!»

На втором такими же буквами:

***«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛКОВОГО КОМИТЕТА —
ТАЙНЫЙ АГЕНТ ВЧК!***

БОЙКОТИРУЙТЕ РЫЖУЮ СВОЛОЧЬ!»

Третий, совсем свеженький, и еще злее...

У Ноя от этих плакатов морозом подрало по спине, даже в затылке боль появилась.

Значит, все было разыграно, как по нотам. Начальник канцелярии Дарлай-Назаров не сказал, где проходило совещание, и кто вызывал — ищи ветра в поле!..

— Разве не был на совещании? — спросил Санька.

Ной поведал, как над ним «подшутил» Дарлай-Назаров, но...

— Не напрасно съездил. Побывал в двух полках за Невой. Разузнал кое-что.

Санька наострил уши:

— Ну и как? Сготовились там к восстанию?

Ной чуток подумал. Санька есть Санька, да и комитетчикам не скажешь про разговор с фельдфебелем Коршуновым.

— Сготовились. Только в обратную сторону. За день разделяются.

У Саньки рот раскрылся:

— Дык что же это, а? На стрелбенье полк толкают?

— Бывшим благородиям не жалко наших голов. Спыток — не убыток. Не свои головы сложить.

— Эва-ан ка-ак! До чего же хитрущие, серые, а?!

— Наторели жар загребать чужими руками. Пускай своими попробуют.

— Ох, и голова у тебя, Ной Васильевич!

— Варит еще, чтоб серые на кривой кобыле не объехали.

— Оно так! — согласно кивнул Санька, вспомнив о своем, более существенном: — Язви те почки! Из-за этой сумятицы три дня не был на свиданке у своей крали-телефонистки. Хучь бы на часок сбегать, а?

— Экий ты вихлючий кобель! У тебя вить мальчонка растет, девчушка, да и Татьяна твоя такая выгладистая! Сколь раз толковал: душа не шуба, не выдаст каптинармус новую. — Взглянув на плакаты, брошенные на кровать, Ной помрачнел: — Шутки оставим, а то и в самом деле на небеси преставимся.

— Ставень доделывать?

— Одевайся, лети за комитетчиками. По одному подымай их, да тихо, смотри. Подхорунжему Мамалыгину скажи от меня, чтоб сотню енисейцев держал в боевой готовности. Из батальонов позови Ларионова и Карнаухова.

Санька понял: паленым напахнуло! Моментом оделся.

— Ты хоть досками покеда заставь окно, — напомнил Ною.

— Лети!

Не успел Ной снять китель, чтобы умыться после дороги, как услышал голос Саньки: «Стой, гад! Стреляю!!!»

И выстрел — бах!..

Ной за карабин и — вон из комнаты, оставив дверь распахнутой. Выбежал на веранду и возле открытой двери на крыльце увидел Саньку с наганом.

— В кого палишь?

— Не вылазь! — оглянулся Санька. — Двое, кажись, прячутся за сортиром. Один улег в ворота.

— Что приключилось?

— Дык вышел я... — зашептал Санька. — С веранды увидел. Идут трое. Кто бы это, думаю? В папах. Шашек не видел.

Пригляделся — человека тащут. Ого, думаю! Духовито. Когой-то кокнули, а к нам в ограду несут. Выскочил на крыльцо. Они как раз подошли к гаражу. Один ворота стал открывать. Я им: «Стой, гады! Стреляю!» Пальнул без прицела. Бросили избежать — один возле каменной стены проскочил в ворота. Двое, видел, за сортиром схоронились — ждут, гады, когда на крыльцо сунусь.

Саженьх в пятнадцати от крыльца возле белокаменного гаража, где бывший владелец держал автомобиль, Ной увидел на снегу что-то черное. Густо сыпал снег, да и ночь к тому же — не разглядишь. Вспомнил, что за уборной кирпичная стена разворочена. Быстро побежал туда с карабином наперевес, и Санька за ним. Следы вели по занесенным снегом кирпичам в соседнюю ограду, а оттуда можно убежать в переулок.

— Ушли, гады! Мне бы надо прицельно бить, а я чтой-то раздумывал. Офицерье взыграло, ей-бо! Кого они прихлопнули?

А вот и жертва в снегу — еще живая! Подтягивает ноги и мычит, мычит. Женщина!.. В кожанке, простоволосая, изо рта кляп торчит — шерстяные перчатки.

— Та самая большевичка-комиссарша, Селестина Грива! — ахнул Санька. — Знать, почалось! Живая еще! Теперь жди, возвернутся, чтоб нас вместе с ней прикончить, истинный бог. Швырнут гранату, и капнут нам!

— Не болтай лишку! — оборвал Ной. — Бери мой карабин, перейди переулок к дому с палисадником. Заляжешь там. Если подойдут к нашим окнам с оружием, стреляй без предупреждения!

— Понесешь ее? Окно заставь!

— Ладно. Через час сменю тебя.

А снег сыплет и сыплет! Заметает стежки-дорожки и волчьи следы бывших благородий.

Тихо...

IV

Не думал Ной, что ему когда-нибудь доведется нести большевичку-комиссаршу на руках в комнату, не чуя тяжести: весу в ней пуда три или того меньше.

Она была без сознания — обмякла, валилась со стула и голову не держала. Руки туго скручены за спиной шерстяным шарфом, Ной развязал, и они упали, как плети. Ни живинки в теле! Осмотрел ее — ни на голове, ни на кожанке не видно пулевой раны, но губы и нос в кровь разбиты, подбородок и шея в густых подтеках. Подвинул стул вместе с нею к кровати, расстегнул хромовую кожанку, освободил грудь — ремня не было, а след от него есть: сняли вместе с кобурой пистолета. Под кожанкой — шерстяной свитер, облегающий тело, с тугой резинкой, сдавливающей шею. Ной смочил конец полотенца в холодной воде и осторожно вытер разбитые губы Селестины, нос, подбородок и шею, оттянув ворот. Глаза ее были крепко зажмурены, будто Селестину поразила молния. Дышит ли? Губы теплые, но ухом не уловил дыхания. Призвав на помощь все свои фронтовые познания по оживлению контуженных, Ной сообразил, что надо применять принудительное дыхание, как это делали санитары. Моментом стащил кожанку, бросил на кровать ординарца и через голову снял свитер, вздыбив стриженные черные волосы. Под свитером — один лифчик. Ну и ну! Докомиссарила — на ночь тело нечем прикрыть. Должно, так и спит в свитере, душенька мятущаяся. На шее синюшные кровоподтеки — душили, стервы! А шея тонкая, девчоночья, выпирающие от худобы ключицы и ребра можно пересчитать под кожей.

Не раздумывая, Ной взял ее за кисти рук, и — вверх, вниз, вверх, вниз, нажимая на впалый живот. Появилось дыхание — трудное, захлеб, и на губах проступила розовая пена. Вверх, вниз, вверх, вниз, покуда не открыла глаза — блуждающие, бессмысленные, круто выписанные брови супятся. Голова болит, значит. Снова смочил полотенце, тщательно обтер рот Селестины, налил из холодного чайника воды в кружку, разжал зубы, лил воду в рот, но она тут же выливалась по углам губ, смешанная с кровью. Потом Селестину стало тошнить, икота напала, дыхание вырывалось с хрипом. Он снова дал воды — начала глотать, трудно, будто не воду, а камни.

Смущала ее нагота, впалый живот; на правом боку след от пулевой раны — давнишний, с розовой кожицей. Надо ее чем-то прикрыть — негоже смотреть на голую.

Сдернул одеяло с кровати Саньки и укутал им Селестину.

Принялся заставлять окно — доска к доске, чтоб щелей больших не было. Быстро управился и присел подшуровать печку — комната

выстыла. Оглянулся. Селестина смотрела на него осмысленным, упорным взглядом. В сознание пришла, слава богу... Пушай отдыхается. Чего доброго, подумает еще, что это он ее душил и притащил на истязание в свою берлогу!..

Селестина смотрела на него все пристальнее, злее, потирая рукою шею...

— Опамятовались? — сдержанно спросил Ной. Ненависть искривила ее лицо, губы передергиваются, рука замерла на шее.

— Не смотри так. Я тебя не душил.

Ни слова.

— Не помнишь, кто тебя караулил?

Тот же взгляд...

— Опамятуешься, вспомнишь. Офицерье выиграло, будь они неладны. Восстание думают поднять, гады!

— Восстание?.. — тихо переспросила Селестина, все еще ничего не понимая. — Какое восстание?

— Нашего полка и артбригады, — ответил Ной. Поднял один плакат с полу, показал Селестине: — Вот погляди, как меня разрисовали.

Она уставилась на плакат, долго и трудно вчитывалась, машинально растирая шею.

— Горячего чаю бы, — вспомнил Ной, суетясь. — Сейчас поставлю чайник. Живо скипит.

Селестина глазами повела по комнате, что-то напряженно припоминая, массируя шею, задержала взгляд на своей кожаной тужурке и свитере и тут обратила внимание на одеяло, кутавшее ее тело. Ной заметил, как она вся сжалась, и медленно, через силу спросила:

— Что со мною?

— Того не могу знать, Селестина Ивановна, — Ной неторопко рассказал о происшествии.

— Ничего не помню. Голова болит и слабость такая... Все, все болит...

— Растирайте шею с боков, чтоб кровь прилила к голове. От удушья помогает. Вот разболок, то исть раздел — свитер снял: ворот шибко тугой. Не обессудьте — как-то надо было привести в чувство.

— Сейчас мне лучше... только туман, туман, голова болит... шла на станцию к поезду... должна была уехать в Петроград... помню, задержалась на углу переулка возле вашего дома. Кого-то увидела. Да, да! Я кого-то увидела возле окон дома. Но — кого? Никак не могу вспомнить. И потом сразу удар в голову с затылка, а дальше провал. Ничего не помню.

— Оружие было при вас?

— Оружие? Да, да! На ремне в кобуре — браунинг.

— Нету ремня. А на голове что было?

— Солдатская папаха.

— Нету. Только вот варежки и шарф еще — руки были связаны.

Ординарец подоспел вовремя...

Гром оглушительного удара в окно не дал договорить Ною. Зазвенело разбитое стекло, и доски с грохотом полетели в комнату. В этот же миг хлопнул выстрел.

Ной одним махом подхватил Селестину вместе с одеялом, посадил на пол возле кровати, быстро проговорив:

— Не подымайсь!

За карабин — и только дверь стукнула. Из разбитого окна в комнату торчала березовая жердь; густо тянуло холодным воздухом.

Санька не оплошал. По его словам было так: «Сперва мимо дома с улицы в переулок прошел один офицер в папахе, руки в карманах шинели, в сапогах. (Ты как раз заставлял окно досками). Свет на него падал из окна, когда он топтался возле дома да оглядывался. Взял иво на мушку, жду, когда пистолет подымет. Гляжу — пошел дальше переулком. В разведку приходил, значит. Лежу в палисаднике, жду. В снегу я хорошо окопался. Долго никого не было. Думал — не придут. Ноги пристыли, а — терплю. Вижу — идут, гады. Втроем. Снег сыплет — издали не опознать. О чем-то разговаривают. Один тащит жердь. Ну, догадался: окно вышибать. Эге, думаю! У одного наган в руке, явственно, у другого каменюга не каменюга. Что бы такое могло быть, соображаю? Который с наганом — отошел к углу, чтоб смотреть по переулку и улице, а этот, у которого што-то непонятное в руке, стал боком к окну. Тут я и догадался. Связка гранат! Вот они, глянь, натуральные, это ж надо, а?! Рвануло бы на полдома, истинный бог!.. Ну, держу его на прицеле. Хотел сразу хлопнуть, да потом как

докажешь, что к нам гранаты собирались закинуть? Как токо другой шарахнул жердью в окно, тут и я влупил тому, с гранатами — рукой не махнул. Этот с жердью кинулся к дому. Пришил его моментом, а тот скрылся за углом. Слышу — стреляешь. Ага, думаю, подоспел Ной Васильевич!..»

Двое убитых в переулке возле дома, третий — в улице...

Ной погнал Саньку за комитетчиками и казаками подхорунжего Мамалыгина.

Когда Санька убежал, Ной тщательно осмотрел убитых, взял револьверы, документы, подобрал связку гранат. Офицера Чухонина Санька сразил в голову. Рисковал... А если б промахнулся? Второй лежал у стены дома, убит был пулей в грудь. Скрючился, ноги подтянул к животу. Лицо незнакомое. Офицер из Пскова, пожалуй. Третий, что уткнулся в снег на улице от меткой пули Ноя, — начальник канцелярии, подпоручик Дарлай-Назаров.

Ни в переулке, ни в улице — ни души. Собаки всполошились по оградкам, но никто из жителей не вышел. И ни одного в черных окнах. А ведь не спят. Безоружные — вечные пленники вооруженных, и в вечном страхе перед ними.

Подошел к окну. Переплет рамы выбит — голову просунуть можно, по краям осколки стекла, холоду натянет в комнату. Жердь не стал убирать — вещественное доказательство! Выглянул из-за угла — идут улицей люди. Вдалеке так. Явственно — не казаки!.. Комитетчикам еще рано. Санька не успел добежать до казарм. Кто же это? Случайные или... В папах, шинелях. Офицеры! Снег перестал — хорошо видно. Остановились на середине улицы возле убитого подпоручика Дарлай-Назарова. Разговаривают.

Подбежал к окну, крикнул в разбитую шибку:

— Селестина! Живо под кровать! Кожанку спрячь. Еще офицеры идут!

И — прочь от окна. Хотел махнуть в палисадник, но сообразил, что офицеры будут искать, где была засада. Куда же? Нельзя уходить. Что-то они предпримут, паскуды, Ага! Заплот возле дома с палисадником. Перекинул карабин со связкою гранат на ту сторону, ухватился за почерневшие доски и моментом перелетел в ограду. Присел возле заплота — хорошо просматривается дом, перекресток улицы и переулочек, и не так далеко — все будет слышно.

Хоть бы Селестина спряталась! В окно будут заглядывать!

Идут! Скрипит снег. Скрр, скрр, скрр! В сапогах. Узнал полковника Дальчевского — высокого, поджарого, при шашке и в белеющей смушковой папахе, а с ним — начштаба Мотовилов, толстый генерал Новокрещинов, ну и ну! Головка! Кто же четвертый. В бекеше и шапке?

Карабин достал из снега, а связку гранат не стал искать — не до них.

Офицеры подошли к убитым. Первым начал разговор Дальчевский, нарочито громко, чтобы в доме слышно было:

— Товарищи! Еще двое убитых! Хорунжий! Хорунжий! — орет Дальчевский в окно. — Ной Васильевич! Или кто там? Ординарец!

Из дома никто не ответил. Кричи еще, сволочное отродье!

— Где они могут быть?

— Умелись за комитетчиками! — по голосу узнал Мотовилова.

— Какого черта, господи! — ругнулся третий голос. Генерал, кажись. — Не ломайте комедию. Картина налицо. Влипли офицеры. Вопиюще влипли!

Ной видел, как Мотовилов подтянулся по стене к окну, раздался звон стекла, и через некоторое время:

— Никого, Мстислав Леопольдович! Смылись.

— Какое смылись! — зло ответил Дальчевский. — Операцию провалили господа офицеры и сами погибли. Рыжая сволочь поднимет казаков.

Незнакомый голос сказал:

— Вот к чему приводит непродуманность. Если бы господа офицеры не потащили комиссаршу в ограду, ничего бы подобного не случилось.

— Они налетели на нее случайно, Кирилл Иннокентьевич, — оправдывался голос Мотовилова. — Она же опознала Голубкова.

— Оставим, господа, — сказал генерал. — Надо что-то предпринять. Прежде всего офицеров предупредить. Рыжая сволочь среди казаков имеет авторитет, да еще матросов призовет на помощь.

— Комиссар не вернулся из Центробалта, — сообщил Мотовилов. — А за матросами Конь Рыжий не пойдет. Казакам это не по ноздрям.

— Жаль Голубкова, — сказал полковник Дальчевский.

— Что с ними делать? — спросил генерал.

— Пусть остаются, — ответил Дальчевский. — Мертвые — не свидетели. Не все еще проиграно, тут темное дело, не сразу распутают. Если займется ЧК, что они могут выудить? Офицеры тащили девку насиловать, нарвались на хорунжего, бросили и потом вернулись, чтобы убрать свидетеля — самого хорунжего. Ну, призову к порядку офицеров, чтоб впредь держали себя достойно и не охотились за красотками. И — все!

— У Голубкова могут быть при себе документы, — сказал генерал.

Мотовилов принялся обыскивать убитого, предупредив:

— Смотрите в улицу, Сергей Васильевич. Одного не могу понять: кто их перестрелял? Не из окна же, понятно! Попали в засаду. А если это так, кто предупредил Рыжего? И кто был в засаде? Чухонин видел, как хорунжий заставлял окно досками. Иначе бы он не повел офицеров. Засада была где-то здесь.

Документов у Голубкова не было — карманы вывернуты, все встревожились.

Человек в бекеше отошел к углу дома, а Дальчевский, Мотовилов и генерал Новокрещинов подошли к палисаднику.

— Отсюда стреляли! — сказал Дальчевский. — Видите? Лежал один. Рыжий послал ординарца в засаду.

— Позвольте, Мстислав Леопольдович, — возразил Мотовилов. — А кто же убил Дарлай-Назарова на улице? Ординарец не успел бы. Был еще кто-то в ограде. Мне лично весьма подозрительно: почему на два дня задержался в Петрограде хорунжий? Не был же он в военке Смольного! А где? Один ли вернулся? Неизвестно. И почему не с пассажирским поездом? Вот в чем вопрос. Если бы он в семь вечера подъехал с пассажирским, как его поджидали Чухонин с Тереховым, далеко бы не ушел.

У Ноя аж в затылке жарко стало от этих слов Мотовилова. Вот оно как было разработано, а? Лежал бы теперь где-нибудь возле станции, если бы не опоздал к поезду в Петрограде. Везет ему, господи!

— Казаки идут! — крикнул человек в бекеше от угла дома.

— Надо уходить, господа. Кирилл Иннокентьевич, побыстрее! Нас здесь не было.

Это голос Дальчевского...

Ной Васильевич не знал, что и предпринять. А что он мог поделаться? Ничего! Их здесь не было!.. Ловко умыслил, сволочное отродье! А где свидетели, что они были здесь? Он, хорунжий, прятался за заплотом. Сам себя выставишь на посмешище. А тут еще гранаты не отыскать — роет, роет снег, едва нашел. В кителе и без папахи пробрало холодом, да ничего, отогреется. С той стороны заплот как будто был ниже, или снег там утрамбован ветром, а с этой Ной увяз по пояс, никак не перепрыгнуть. Побежал в ограду — собака на цепи взыграла: рвет во всю глотку, чтоб ей задохнуться. Еще незадача — калитка и ворота на замке. Вскочил на завалинку, и по ней через заплот в сторону палисадника.

V

Казаки, казаки — одновойсковики енисейские. Комитетчики тут же. Санька сбегал в дом за бекешей и папахой хорунжего. Селестина пришла.

Из офицеров — никого...

Ной обсказал про недавнее событие. Благо, росту был чуток ниже колокольни, видел всех от угла дома. Про поездку в Петроград — не зря съездил. Стрелковые полки не восстанут, хотя офицерье и расшатывает их, да вот самим солдатам не нужно восстание: со дня на день ждут, когда будет подписан мир с Германией, чтоб по домам разъехаться. И не пойдут на Смольный, определенно, потому как Советская власть дала им землю, а так и буржуев при большевиках пихнули.

— Ежли мы двинемся на Петроград, — гудел Ной, — горячо будет. Которые полки шатаются — поплывут на нас со штыками наперевес, а тут еще красногвардейцы — весь Петроград вздыбится. Это уж точно! Моряки Балтики шарахнут из орудий. Имеются таковые. Питерцы, как один, поголовно все подымутся на защиту Советов и революции. Думайте, казаки! Думайте, пока не поздно.

Сказал про плакаты, кто их рисует и кому выгодно раздавить полковой комитет — сами с усами, маракуйте!..

— Что произошло у дома — видите. Есть ли среди убитых казак или солдат? Офицерье взъярилось, чтоб к восстанию шарахнуть полк через сумятицу в головах! Думайте, казаки, думайте! Своим умом

живите. Один раз я вас призвал к побоищу с немцами, чтоб вырваться из клещей, и это был наш подвиг за Россию. Сегодня я вас призываю к миру, чтоб держались плечом к плечу, а не слушались баламутов от серой партии. Да и партии у них цельной нету. Есть, которые зовут себя правыми, другие левыми, а посередине — пустошь! Тут без подсказки ясно, куда они гнут. Но просчитаются благородия!

Казаки орали в сотню глоток, понося заговорщиков офицеров. Дюжий подхорунжий Афанасий Мамалыгин, из Минусинского округа, вызвался охранять хорунжего Лебеда денно и ночью.

— Я не царь — чего меня охранять, — отмахнулся Ной. — Сами себя берегите. А я в обиду себя не дам и на погибель никого не позову, пока жив-здоров.

Пришли люди из трибунала и уполномоченный ВЧК, назвавшийся Карповым. Попросили разойтись всех по казармам.

Неохотно, шумно казаки мало-помалу разбрелись. Остались комитетчики — Сазонов, Павлов, Крыслов, Карнаухов и Ларионов. Селестина отозвала Ноя в сторону, спросила:

— Почему вы ничего не сказали про офицеров, которые потом пришли и кричали в окно?

Ной тихо спросил:

— Видела их?

— Я? — запнулась Селестина. — Вы ж мне крикнули...

— То и оно, не видела! И я прятался за заплотом да слушал, про что они гутарили.

— Оказать же надо!

— Погодь, не поспевай в рай, Селестина Ивановна, не приспело еще. Живые покуда. Кто будет свидетелем, окромя меня, что офицеры были здесь и такой-то вели разговор? Нету свидетелей! Стал быть, навет. На кого сыграет? На их сторону. За руку не схвачены — не воры. Вот эти, которых упокоили, схвачены. Да мертвые не дают показания!..

— Но я должна сообщить о полковнике Дальчевском. Я его знаю. В девятьсот пятом году в Красноярске...

— Командовал сотней карателей, — досказал Ной, оглядываясь на трибунальщиков. — А свидетели где? А может, тот был Иван Иванович, а этот — Мстислав Леопольдович!

— ЧК затребует документы из жандармских архивов.

— Откуда?

— Из Красноярска.

— Господи прости! До бога далеко, до Красноярска еще дальше. Время ли? Тут момент играет. Ни лишнего слова, ни шагу в кусты. Огонь только разгорается — тушить надо умеючи. Сами можем сгореть. Вот эти казаки, какие прибежали сюда, за мной пойдут. А другие? А два полка в Петрограде? Куда они шатнутся? Офицерье у них верховодит. Запала ждут. То и оно! А что произойдет в Пскове завтра? Известно мне или тебе? Иди с ординарцем, чаю попей. Я тут останусь с трибунальцами и комитетчиками. Тебя сейчас спрашивать не будут.

Ной даже и не заметил, как невзначай перешел в разговоре с Селестиной на «ты», чему и она, впрочем, не удивилась.

Трибунальцы выслушали показания Ноя и Саньки, осмотрели место недавней трагедии, трупы, засаду Саньки, вымеряли шагами расстояние от палисадника до окна и от ворот ограды до убитого Дарлай-Назарова, приказали убрать тела и пошли в дом.

Карпов закурил и поднес Ную портсигар:

— Угощайтесь, Ной Васильевич.

— Не курящий.

— Из Минусинского уезда, слышал? Знаю ваши края — отбывал там ссылку. Вы меня не узнаете?

Ной быстро взглянул в лицо говорящего: коренастый, узколицый с бородкой — вроде не видывал.

— Впервой вижу, извиняйте.

— А я не забыл, как вы меня привязывали к бревнам салика перед Большим порогом. Забыли про Тоджу и Урянхай?

— Господи, помилуй! — ахнул Ной. — Земля-то, она круглая, выходит.

— Выходит так. Но сейчас нам надо совместными усилиями удержать полк от восстания, а не салик с бревнами. Это немножко потруднее. На Дону восстали казаки, слышали?

— А как в Брест-Литовске? — спросил Ной.

— Пока ничего определенного. Немцы затягивают переговоры.

Вызвали Дальчевского и Мотовилова. Как же они возмутились преступлением офицеров! Хорунжий молодец, что сумел скараулить преступников.

— Подобных офицеров я лично пристрелил бы, как собак! — яростно сказал Дальчевский и, обращаясь к Селестине Гриве, склонил голову: — Виноват перед вами, товарищ комиссар артбригады!

— Я теперь не комиссар, господин полковник, — перебила Селестина Грива. — Комиссаром назначен товарищ Карпов.

Лицо Дальчевского будто отвердело. Вот так сюрприз! Он, Дальчевский, впервые о том слышит. Как же люди Мотовилова не развели?

Склонив голову перед Селестиной, Дальчевский еще раз принес свои извинения за то, что в его полку находились такие мерзавцы.

— Мне стыдно, поверьте, стыдно!

Селестина покривила вспухшие губы, но смолчала. Наказ Ной помнит. Ни слова лишнего. Она видела, как Ной уважительно разговаривал с Дальчевским и Мотовиловым, хотя карие глаза его будто дымились от сдерживаемой ярости.

Карпов и трибунальцы ушли вскоре после Дальчевского с Мотовиловым, и с ними Селестина Грива.

Комитетчики еще посидели у председателя, повздыхали, да Ной спровадил их, напомнив: завтра — суббота, 26 января!..

Остались вдвоем.

— Ну, пятница выдалась, будь она проклята! — ругнулся Ной, пошатываясь. — Коня, и того можно уездить.

— Суббота началась, не пятница, — поправил Санька, дополнив: — Двадцать шестое января!

— Двадцать шестое?! — вздрогнул Ной, словно Санька стегнул его плетью: — Живо спать!

VI

Метель свистит, поет, сыплет снегом, январь щелкает зубами, целует в щеки до розовости, упаси бог, до белизны; хватает за нос, губы твердеют; матросу Ивану Свиридову — неугревно в суконном бушлате, в старых ботинках с подковками, маузер оттянул плечо. Вместе с ним на перроне матросы из отряда, охраняющего станцию Гатчина и доглядывающего за сводным Сибирским полком.

Поодаль от Свиридова, невдалеке от продовольственных складов, бывших помещений станции, засыпаемых снегом сверху и с боков,

стоит Ной в бекеше, под ремнями, при шашке, в белой папахе, а за его спиной — конь под седлом.

Матросы под свист метели переговариваются:

— Гляди, Иван, Конь Рыжий, как вкопанный. Стоит и стоит. Чего он тут пришвартовался?

— Как бы этот Конь, братишки, не дал нам сегодня копытами, — бурчит Свиридов, пританцовывая на одном месте. — Это же не казаки — чугунные якоря. Буза с ними. Тут может очень просто заваруха произойти. Я никак не мог разузнать, по какой причине на семь вечера назначен митинг. И хорунжий вихляет: казаки, говорит, думают круг собирать. Врет, Рыжий! В Луге бузят минометчики, в Пскове зашевелились эсеры, а в Суйде утром женский батальон станцию захватил, и ревкомовцев перестреляли, сволочи. Вот в чем штука!

— Да мы же были там позавчера, — сказал один из матросов.

— Позавчера — не сегодня. Та командирша батальона стервой оказалась. Под большевичку играла, гадина. И вот, пожалуйста, перещелкали ревком и станцию держат.

— Да ведь матросский отряд прошел в Суйду! Или они там не разделались с бабами?

— Все может быть.

— Такого не бывает, комиссар!

— Всякое бывает, братишки! Если бы наши разогнали их там — было бы сообщение. Кто на телефоне?

— Сыровцев.

— Идите узнавайте. Один кто-нибудь.

— Надо звонить в Смольный!

— Зачем? И так ясно. Приказ получен: подготовить полк к бою.

— А что полковник?

— Полковник кивает на комитет, а комитетчики на штаб. И вот собирают митинг. Так что нам, братишки, надо будет собраться в кулак.

— Уложить Коня Рыжего до митинга, и — порядок на вахте!

— Не один Конь Рыжий в полку. Эсеров надо бы давно вывернуть под пятки. Я говорил Подвойскому: шатается полк, эсеры раскачивают. Вздул меня. Мы, говорит, послали тебя в полк проникать в глубь казачьей массы и разоблачать махинации эсеров. А у этих краснобаев

правых и у меньшевиков платформа самая подходящая для казаков!
Проникни!

— Лбы!

— Дубовые!

— Чугунные!

— Конь Рыжий, кажись, ждет поезда из Пскова, — сказал матрос.

Комиссар поглядел на Ноя:

— Похоже!

— А если подкатят к Гатчине эшелоны с восставшими полками из Пскова и с батальонами из Луг и Суйды? — сказал длинный сутулый матрос в шапке с опущенными ушами. — А нас тут сколько? Девятнадцать. В куски изрубят. И батарейцы не помогут — определенно!

— Отдай швартовы и шпарь по шпалам, в Питер, — воркнул комиссар. — Подождем. А на митинг — в бескозырках, для бодрости.

— Без ушей останемся!

Вернулся матрос с телефона.

— Связи с Суйдой нету.

— Та-а-ак. Ясно. Я пойду в стрелковые батальоны, а ты, Рассохин, подымешь всех по боевой тревоге!

Ветер. Ветер с Финского залива. Злющий ветер Балтики. Снег перестал, и сразу взял свои градусы мороз. Четверть шестого, а темно; январь куцехвостый, не день — ладонь с обрубленными пальцами.

VII

Хорунжий Лебедь не слышит, как матросы костерят его на все корки, догадывается. Пусть ругают, не суперечит тому, поглаживает генеральского жеребца по крупу. Со спины он бело-белый от снега и грива белая, и седло, а под брюхом все еще рыжий, горячий орловский выродок; на зубах ядрено пощелкивает железный мундштук наборной уздечки.

Ной действительно ждал хоть какого-нибудь поезда из Пскова. Днем из Петрограда промчался эшелон с матросами и как в воду канул. А что если за бывшим Георгиевским женским батальоном смерти поднялся в Пскове и весь корпус, как и намечал центр

заговора? Тогда жди — подкатят! А поезда нет со стороны Пскова, связи нет!

«Экое, господи прости, беспокойное время!» — кричит Ной Лебедь и вдруг слышит: ата-та-та-та! Ата-та-та-та! Ата-та-та-та!..

Горнист штаба взыграл!..

Ной поспешно достал часы, глянул: половина шестого вечера!.. Экое, а! Кто же это торопится к смерти?!

Смахнул перчаткой снег с кожаной подушки, ногу в стремя, метнулся в седло, поддал рыжему шенкелей и ускакал.

А вдали, в морозной мглистой стыни:

— Ата-т-та-та! Ата-т-та-та!

Ревет, ревет медная глотка горниста.

Поспешают казаки к штабу на митинг, поспешают, чубатые.

Штаб размещается в одноэтажном кирпичном доме недалеко от казарм.

Те, что пришли, взламывают ограду, тащут доски всяк в свою сторону и разжигают костры.

В отвесных языкастого пламени тускло поблескивают стволы карабинов, эфесы шашек, папахи, а из ноздрей казаков — пар летучий. Парят разнолампасники — с бору да с сосенки, сбродные да сводные из разных войск.

Председатель со своим комитетом обозревают митинг с высоты резного крыльца.

Сазонов по обыкновению постанывает:

— Миром бы надо, миром, Ной Васильевич.

— Хрен с редькой, миром! — бурчит Крыслов, готовый хоть сейчас в седло. — Теперь не комитету решать, а всему кругу.

Павлов туда же:

— Известно, кругу!

— У нас еще два стрелковых батальона, — сдержанно напомнил комитетчику Ной. — Окромья того, не забывайте, артбригада рядышком. Вы говорите про мир, а на уме восстание держите. А подумали про то, как могут шарахнуть прямой наводкой с тех платформ? На платформах-то орудия, какие еще в прошлом году лупили красновцев. С кораблей снятые.

— Не посмеют, — сомневается Сазонов. — Потому как Советы же. Как же из орудий?

— А восстанье супротив кого сготавливают серые и офицерье с ними?

— Против большевиков.

Ной оборвал разговор:

— Ладно, тут не комитет — наши разговоры кончились. Перед митингом выступать будем.

— Гляди, матросы прут!

Ной увидел цепочкою идущих матросов, рассекающих черным палашом серобекешное казачье месиво, подбодрился — силу почувствовал.

— Чо они в бескозырках? Мороз давит, а они все в бескозырках, — недоумеваает Сазонов, и в голосе слышится нарастающая тревога. Дело-то не шутейное! Как еще обернется! И вслух: — Хоть бы эшелон какой подошел из Пскова.

— Не жди, эшелона, Михаил Власович. К разъезду в сторону Пскова выведены три платформы с орудиями.

Матросы в ботинках идут твердо. Маузеры по ляжкам, карабины за плечами, лица сумрачные, каменные, челюсти стиснуты.

— Восемнадцать, — успел пересчитать Сазонов. — А где же Бушлатная Революция?

— При артбригаде должно, — буркнул Ной.

По всей площади костры, а тепла нету. Мороз, мороз!..

У всех матросов на рукавах красные повязки.

Из штаба вышли один за другим офицеры во главе с Дальчевским и двумя генералами — Сахаровым и Новокрециновым, и отошли кучкою на правую сторону крыльца. Ной зло оглянулся на них. Вот она, головка-то заговора! Дальчевский, Мотовилов, генералы, но не они будут кричать до хрипоты глоток, на то есть пара сотен оренбургских казаков и уральских богатых станичников. Ни к чему офицерам и генералам пачкаться, не мы, мол, заводилы, а вот сами казаки пресыщены ненавистью к новой власти, пусть они и решают, дескать, свою судьбу. Им, казакам, махать шашками и стрелять из карабинов.

Оглянувшись на офицеров и задержав взгляд на молчаливых чернобушлатниках с маузерами, Ной горестно подумал: вот тебе и ковчег, Ной Васильевич из рода Ермака Тимофеевича, разберись, сколь тут пар чистых и нечистых и как с ними поступить? Сбросить ли

нечистых в геенну огненную, или оставить в ковчеге и плыть в неизвестное будущее России! А какое оно будет, будущее? Того рассудить не мог. А ведь надо со всеми как-то ладить, удержать от бунта. Если вспыхнет восстание, то как бы весь ковчег вместе с председателем Ноем не пошел ко дну!

А снизу, из бекешной тьмы, горласто требуют:

— Починай митинг, председатель!

— Чего волынку тянете!

Ной заметил с высоты крыльца, как в отдалении, за кострами, обтекая площадь, цепью шли солдаты стрелковых батальонов с винтовками, и штыки частоколом чернели за их спинами. А на возвышении, на трех пароконных упряжках саней, подъехали пулеметы. Молодец, комиссар!.. Фельдфебель Карнаухов и прапорщик Ларионов с комиссаром Свиридовым шли к крыльцу.

Ной подождал, покуда на крыльцо поднялись Свиридов с председателями батальонных комитетов.

— По чьему приказу, комиссар, казаки окружены вооруженными солдатами и пулеметами? Что это значит?! — спросил напряженным голосом Дальчевский.

— А это значит, полковник, что Советскую власть опрокинуть и порубить в куски не так-то просто!

— Казаки собрались на свой митинг, — не унимался Дальчевский. — И они имеют на это право.

— Будет митинг, товарищ комполка, — заверил Свиридов. — Начинайте, товарищ председатель полкового комитета.

Ной набрал воздуха в грудь и гаркнул:

— Тихо! Скажу так, казаки, шатаетесь вы, служивые, промеж двух столбов — белого и красного. И не знаете, на какой столб опереться. Но я скажу вам. На двух столбах есть еще перекладина! И ежели шарахнетесь к восстанию, то смотрите, как бы потом не болтаться на этой перекладине. Это я говорю на время завтрашнее. А потому — думайте, казаки! Каждый пушай всурьез помозгует, допреж того, как решить свою судьбу. Баламутов не слушайте — своими мозгами ворочайте. Мы теперь как вроде в ковчеге плывем морем. И волны нас бьют, раскачивают, и ветры нас хлещут, а нам надо плыть, чтоб потом под ногами почувствовать не хлябь болотную, а земную

твердь, и быть живыми! К тому призываю: быть живыми! Потому думайте, когда будете выступать с этого крыльца!

А снизу сильным голосом:

— Не стращай, рыжий, первый будешь болтаться на той перекладине хвостом вниз, как ты есть конь!

— В точку сказано!

Ной узнал голос:

— Чего там орешь, Терехов? Вылазь сюда. Али боишься?

— Эт-то я-то боюсь тебя?! Я т-тебе покажу, рыжий!

Клокоча ненавистью, Кондратий Терехов пробрался на крыльцо, зло глянул на Свиридова с матросами, повернулся лицом к митингу и загорланил:

— Станичники! Братья-казаки! Нас окружили пулеметами и серой суконкой, а мы собрались на свой казачий круг! Это все Конь Рыжий, вот он, продажная шкура! Пущай ответит таку его... туда... сюда!..

— Без матерков! — оборвал председатель. — Со свиньями матерись!

— Не затыкай мне рот! Не сегодня так завтра вздернем на веревке тебя через ту перекладину, про которую орал сейчас.

На крыльцо взлетел черноусый Санька Круглов в бекеше и белой папахе. Без лишних слов трахнул Терехова в скулу и выкрикнул:

— На кого, гад, припас веревку?! Кого вздернешь?!

Схватились за грудки — подкидывают друг друга. Комитетчики еле растащили.

— Так будем митинговать и в дальнейшем, иль, может, пашками почнем полосовать друг друга?! — крикнул Ной.

— Пьяных не пуцать!

— Под дыхало им, стервам!

— Тиха-а! Кто еще слово берет?

Вылез казачишка из уральских. Так-то обрисовал гибель большевиков, что самого слеза прошибла. Так и ушел с крыльца-трибуны, сморкаясь в ладони.

Еще один поднялся из оренбургских:

— Казаки! Как можно терпеть Коня Рыжего в председателях? Али вот еще Бушлатную Революцию! По какой такой причине? Какие они нам сродственники? Али комиссару с матросами большевики поручили обрядить нас всех в черные бушлаты, привязать к якорям

чугунным, опосля в море потопить, как обсказал Конь Рыжий, што мы будто в ковчеге плывем по морю. Врет рыжий! Хоть он и хорунжий. Кто нас повенчал с большевиками и Бушлатной Революцией?! Конь Рыжий! Свергнуть его, как насквозь продажного, и отторгнуть от казачества!

— Прааавильно! Давно пора! Свергнуть... Пушай метется из православного казачьего войска! Доолооой!..

Шум, гвалт, рев. А три пулемета на санях — стволами к митингу. Казаки беспрестанно оглядываются — сила подперла!

К Ною подошел генерал Новокрецинов. Щеки оползнями, руки на перила:

— Казаки! Братья! Святые мученики многострадальной России!.. Кто такие большевики? Самозванцы, узурпаторы власти, разбойники! Разве не пишут в свободных газетах про Ленина, что он обвиняется в шпионаже в пользу кайзеровской Германии? Ленин вернулся в Россию в апреле прошлого года. А кто его пропустил в Россию через Германию в то время, когда Германия находится в состоянии войны с Россией?! Кто его там пропустил? Значит, завербовали в шпионы.

К генералу подскочил комиссар — маузер в руке:

— За такую провокацию, генерал...

— Погодь, Иван Михеевич, — встал между ними Ной. — Не хватайся за горячее железо голыми руками. Дай остынуть. Пушай говорит. — И к митингу: — Тиха-а! Даю еще слово его превосходительству генералу Новокрецинову. Да будут ему еще погоны! Ежели вы подмогнете. Говори, превосходительство!

Новокрецинов сверкнул глазами, и на зубах будто дресву перетерло:

— Хам, не офицер, истинно хам! — и повернулся к митингу. — Братья-казаки! Видите теперь каков комиссар?! Пулеметами окружили нас! Он всем готов глотку перервать, кто несет правду и истину о многострадальной России. Позор, позор! Душа вопиет, братья-казаки! Я говорю не как монархист, а как русский патриот и офицер российской армии. Завтра из Пскова подойдут восставшие полки и вся тридцать седьмая дивизия! Из Суйды — рядом с вами — женский батальон и офицерская минометная батарея — орлы России!.. Неужели вы, казаки, стали хуже женщин-патриоток?! И не сумеете постоять за

свое отечество? Еще раз спрашиваю: кто ваш председатель? Изменник казачеству и родине! Пособник большевикам!

Еще раз выручил председателя Санька Круглов:

— Утри губы, генерал! Кого изменщиком обзываешь? Полного георгиевского кавалера, который четыре года на позициях пластался, а ты во дворце отсиживался да баб чужих лапал?

— Хо-хо-хо-хо! — рвануло снизу.

— Хамы! Хамы! — генерал отошел за спину полковника Дальчевского.

VIII

На крыльце как бы граница пролегла. Если стать лицом к митингу — справа будут генералы с полковником и офицерами, и каждый из них незаметно зажал в руке, опущенной в карман шинели, немилостивое оружие — кольт ли, браунинг, а по левую сторону — маузеры в дюжих лапах матросов тускло поблескивают.

Поутихли костры за казачьими спинами — некому подкинуть досок.

На крыльце, в сторонке за столом, штабной писарь в полушубке и перчатках при свете фонаря усердно пишет протокол.

Гудит, ревет митинг. Бросает Ноев ковчег из стороны в сторону в бушующую пучину. То один, то другой казак влезает на крыльцо, и все в одно горло: мы не с большевиками! Свергнуть Коня Рыжего!

С одной стороны полковой комитет подталкивает комиссар с матросами, с другой — офицерье из кожи лезет.

— Это же не сводный полк, а извините за выражение, чистый бардак! Судьба решается, а ты, председатель, рот раззявил на побаски большевиков. Позор, позор! Головой ответишь за разложение полка, — выкрикивает какой-то офицер.

А голова у хорунжего Лебеда всего-навсего одна-разъединственная...

— Даю слово комиссару! Тиха-а!

Комиссар помедлил и заорал:

— Будем говорить прямо: с кем вы, казаки? С мировой революцией или контрой? Драться нам в лоб или лапа в лапу жить? Если драться — давайте! А скажите, какой интерес нам столкнуться

лбами? За генерала этого? За чумного?! Слышали, как он назвал себя патриотом России, а как в натуре — холуй буржуазии, холуй мировой контры? Куда зовет генерал? В ярмо! Чтоб на шею рабочего класса и крестьянства, а так и солдатам, матросам и казакам посадить жирную буржуазию, которая каждый день рожать будет новую буржуазию. А вы что, кормить их должны, чтоб плодились они на вашу шею?

— Го-го-го-го!.. — пронеслось по площади.

— Генерал, а так и казаки-оренбуржцы призывали к восстанию. Ладно! Восстать, казаки, можно. А вот как потом встать?! Подумали?

Толпа настороженно приутихает.

— Генерал сообщил, что восстали полки в Пскове. А где те полки? Почему увязли? Нету восставших полков!

— Есть! — заорал генерал.

— Где представители полков?! — потребовал комиссар.

— Отвечай, хорунжий! — подтолкнул генерал.

— Что он сказал? Громче!

— Требуется, чтоб хорунжий сказал: восстали полки или нет. Пусть сообщит председатель, — уступил место комиссар.

— Нету восставших полков и не будет — не ждите! — ответил Ной, тревожно озирая однополчан, Скажу так, казаки: пушай беглый Керенский из своих сотрапезников войско собирает, чтоб идти на Петроград. А мы, сибирцы, оренбуржцы, семипалатинцы Керенскому и беглым генералам не сотрапезники! А так и немцам не сотрапезники! Генерал пошто из кожи лезет? Власть свою потерять боится. Она им шибко сладкая при царе, власть-то, была. Смыслите? А кто такие в Петрограде, которые в Смольном? Да вот такие же, как эти матросы, — от хрестьянства которые, из мастеровых. А чем они от нашего брата отличаются? Почитай, что ничем! Дак скажите теперь: кого защищать надо? Буржуазию и свергнутых...

Хлопнул выстрел — пуля свистнула возле уха председателя, он резко откачнулся:

— Поглядите там! Живо! Перелицованный офицер стреляет, должно! Уймите благородия!

— Тащите его! Тащите! — орали енисейские казаки, сплотившиеся возле крыльца плотной стеною.

— На крыльцо, под факела, чтоб морду видеть!

Возня, шум, кого-то волокут, насовывают в спину, в почки, в селезенку, волокут, и как только схваченный офицер, — без папахи, лысоватый, в шинелюшке, в сопровождении трех енисейских казаков поднялся на три приступки крыльца, полковник Дальчевский быстро выстрелил из браунинга в его лысую голову.

— Не гоже так, товарищ комполка! — рявкнул Ной. — Мы бы узнали, из каких интересов поручик Хомутов выстрелил! Кто за его спиной?! Ну, отнесите его за крыльцо. Говори дале, комиссар.

— Про женский батальон, товарищи! Это верно — батальон восстал в Суйде. Этот батальон, действительно, надеялся на восстание дивизии в Пскове, но не получилось так. Теперь у женского батальона — бывшего керенского батальона смерти — две дороги: одна в натуре к смерти, другая к вам, чтоб вы восстали, позор позором покрыли! Контра использовала удачный момент — в Гатчине нет красногвардейских отрядов, Советская власть надеялась на вас, казаки. Надеялась. Но пусть не думает контра, что одним батальоном захватят Петроград и Смольный. Там их встретят, в Петрограде. И если вы потопаете за батальоном в Петроград — не ждите речей, другая музыка разыграет сегодня! Подумайте, казаки! Да здравствует мировая революция! Да здравствует вождь мировой революции Ленин! Уррааа!..

Матросы гаркнули «ура», а у казаков будто языки отсохли.

Офицеры шипят, дуются за спиной хорунжего, а он гнет свое:

— Кто за восстанье к верной гибели — отходи влево от моей правой руки! Живо! Живо!

Казаки ни туда, ни сюда.

— Ага, прикипели! Дак что же канитель разводите? А вот что: промеж нас набились офицеры да два генерала! Звали мы их в полк или не звали?

— Не звали! К черту!

— Верно! — подхватил председатель. — А теперь спрошу: долго еще будут мутить воду от серой партии? Звали мы серых или не звали? Не звали! Генерал стращал, что восстал бабий батальон и движется к нам. Поглядим ужо на батальонщиц под георгиевским знаменем. Из красных в белых перелицевались, а мы их, братцы, обратно в женское обличье разлицуем.

Енисейские казаки отозвались дружно:

— В точку сказано!
— Пощупаем ужо!
— Почешем бабенок!

— А теперь скажу, — набирал силы Ной, — чтоб не было смуты, — разоружим серых и генералов с офицерами! Пушай метутся из полка.

Не без помощи матросов полковой комитет разоружил тут же на крыльце двух генералов и пятерых офицеров. Полковник Дальчевский объявил действия комитета во главе с комиссаром вопиющим безобразием, анархией, и что он об этом поставит в известность Военно-Революционный комитет Совнаркома.

Ной ответил:

— На фронте, господин полковник, ежели бы эсеры, а также и другие путаники, заварили такую кашу, как сегодня, то комитет принял бы другие меры: расстрел на месте. Так мы и делали в прошлом году на позициях.

Дальчевский ничего не ответил, пронзительно сверкнул глазами, щека со шрамом передернулась, и молча удалился.

На крыльце остались с председателем начальник штаба Мотовилов и пятеро командиров. Ной тут же обратился к казакам:

— Слушать, казаки и солдаты! Командиры — в штаб! Каждому сготовиться к бою; команда пулеметчиков — в штаб. Подготовить сани для пулеметов. Все может быть, восставшие подкатят к Гатчине ночью, чтоб перещелкать нас на мирных стойлах. А мира покуда нету!

Сотня казаков под командою члена комитета Крыслова двинулась на соседний разъезд, чтобы в случае чего предупредить о движении эшелонов с восставшими; матросы со взводами стрелковых батальонов готовились к неминуемому завтрашнему бою с мятежниками...

IX

Тоска!..

Или век Ною одному вековать? Или век самому с собою мыкаться да аукаться?..

Женою ему стала Яремеева шашечка, куренем — казенные казармы и чужие крыши; опорой — карабин фронтной; думой

попынною — постелюшка-самостелюшка; кручиной неизбывною — канитель военная!..

Тоска. Тоска!..

Не исчерпать ее ведрами, как тину болотную; щемит она сердце и старит душу, и чувствует себя Ной не молодым казаком — согбенным старцем, которому не казачку обнимать, а самого себя в пору от хвори спасать.

Тоска!

Сидит Ной на стуле в писарской комнате штаба, а в голове, как на водяной мельнице, всю жернова раскручиваются — не муку́, а му́ку, мелют и перемолоты не могут.

Тяжелый и сумрачный после яростного митинга, почувствовал он себя до того одиноким и отчужденным от людской жизни, как будто на свет родился в казачьей амуниции и отродясь у него не было ни семьи, ни красной скамьи, ни божницы с иконушками и лампадками, ни постов, ни разговений, ни праздников, ни буден!..

Который год не сеял, не жал, не молот, не веял — казенные харчи, хоть чертей полощи, все едино радости нет!..

Тоска!..

Обхватив головку эфеса шашки руками, склонившись щекою на собственные кулаки, смотрит он на грязный, затоптанный пол, но видит нечто невообразимо далекое, скребущее душеньку. Будто он не в штабе полка, а у себя дома, на огороде: желтеют широченные шляпы подсолнухов, кругом все цветет и благоухает, сестренки тут же — Харитиньюшка, Лизанька, Дунечка, одна другой меньше, какими он их запомнил в час безрадостного прощания, бегают по огороду, щебечут, как птицы, а издали между гряд идет навстречу Ною родимая матушка вся в черном, печальном. Отчего она так вырядилась? Плакивает ли сына Василия и всех сирот, заброшенных в дальние края на позиции, от которых давным-давно ни вестей, ни костей?

Она идет к Ною, а дойти не может. Он ее видит далеко и близко, и опять — далеко и близко.

Так и минует жизнь — телега проедет далеко и близко, но не рядом с тобою!..

Тоска!

Ему бы сынов и дочерей растить — пора давно! Землицу холить, как родную женушку, заботясь о хлебе насущном. Везет, везет по

чужой воле тяжеленный воз, и не вырваться ему из этой упряжи!.. Не потому ли он за все свои двадцать восемь лет не изведал ни девичьей, ни случайной женской ласки.

Как там Селестина?.. Утром собирался попроведать ее в отряде питерских красногвардейцев, да шарахнуло обухом в лоб неожиданное известие. Санька ходил смотреть коней и прибежал с вытаращенными глазами:

— Новность, Ной Васильевич! Восстал женский батальон на станции Суйда, ей-бо! По всем казармам гуд идет! Как шершни гудут, ей-бо! Вот и почалось двадцать шестое, гли!..

У Ноя враз вылетело тогда все из головы — Селестина и трибунальцы, уполномоченный ВЧК Карпов, ночные опросы и допросы, митинг... Натянув амуницию, помчался он с ординарцем в казармы к пехотинцам, чтоб батальоны стрелков держались в стороне от свары с казачьими взводами, весь день крутился в сумятице людской... Летал на разъезд...

В стороне от Ноя седая машинистка быстро печатает протокол митинга:

«Та-та-та-та-та-та-та-та!..»

А что если ночью или на рассвете воскресенья подойдут к Гатчине мятежные эшелоны из Пскова, как о том стращали офицеры?

«Та-та-та-та-та-та-та-та!..»

Так и будет: посекут из пулеметов, а чего доброго — хвостанут из орудий прямо с железнодорожных платформ, займут Гатчину и попрут на Петроград...

Крутятся, крутятся жернова в башке.

Пулеметная дробь стихла, и сразу стало как-то чуждо, не по себе. Поднял голову — старушка ушла, накрыв машинку черным чехлом.

Подумалось: как будет после войны? Сразу ли втянется в тишину, или долго еще будет вспоминать себя с шашкою, свистящею над головой, и с перекосившимся от ярости лицом?

Тоска схлынула, как волна с берега, веки слипаются — сон морит.

В писарскую раз три заглядывал Санька, он не посмел тревожить думающего Ноя, и никого из командиров не пустил к нему:

— Дайте ему дых перевести, леший! Сами, поди, всласть выспались, а мы за двое суток часа три урвали, и то с надрывом от всех переживаний.

Не тревожили...

Голова тяжелеет, не поднять от рук, отерпших на золотом эфесе.

Ной не заметил, как в комнату вошла Селестина и долго смотрела от двери на его огненную голову, потом окликнула:

— Здравствуйте, Ной Васильевич!

Он вздрогнул и быстро поднялся.

— А, Селестина Ивановна! Здравия желаю.

Ладонь Селестины утонула в его руке.

Что-то было в ее упругом взгляде затаенное внутри. Усталость еще не сошла с лица, в глазах прикипела душевная мука, как это бывает с человеком, когда после страшного боя он вдруг видит себя живым, а кругом — мертвые.

— Присаживайтесь, — подал стул гостю. — Отошли?

Селестина глубоко вздохнула.

— Убитый офицер Голубков оказался членом ЦК левых эсеров, лично готовил покушение на товарища Ленина. ЧК давно разыскивала его.

— Эвон как! — кивнул Ной. — Где же он достал документы Петроградского Совета, какие я вытащил у него из кармана?

— Тут ничего удивительного нет, — ответила Селестина. — У ЦК эсеров есть люди и в Петроградском Совете. Все это разматают теперь.

— Само собой, — поддакнул Ной.

— А я зашла проститься с вами. Вчера не успела сказать, меня посылают с женским продовольственным отрядом в нашу Енисейскую губернию.

— Ну и слава богу!

— Почему?

— Чуток поправитесь после питерской голодовки.

— А!..

Он ее, конечно, видел, в каком она справном теле — ребра пересчитать можно. Смутилась.

— Мне пора, Ной Васильевич. В десять пойдет поезд на Петроград.

— Я вас провожу. А заодно побываю у батарейцев.

Шли улицею. Над Гатчиной вызвездилось небо.

— А вашего дедушку, Василия Васильевича, я хорошо помню, — сказала Селестина. — Мне было одиннадцать лет, когда я гостила в

Качалинской. Моей маме он все рассказывал о турецкой войне. Он ведь был героем Болгарии?

— И полным георгиевским кавалером, — дополнил Ной. — Когда же вы были там?

— В девятьсот четвертом году, летом.

— А! Меня тогда в станице не было — в Юзовке с братом работал в шахте.

— В шахте?!

— Коногоном был. Породу и уголь возил по узкоколейке на лошадях. Кони там все слепые. Их ведь как спустят в шахту, так и не поднимают бедных, пока не околеют. Вот жалко! Вить животное, и в такой безысходной беде! До сей поры вижу их во снах. А угольная пыль, будь она проклята, до того въедалась в кожу, ни каким мылом не отмоешь. Углекопы, которые в забое работают голыми по пояс, — чистые упокойники. Дорого тот уголек доставался, а заработали мы с братом Василием, вечная ему память, за два года только на обратную дорогу. — Глубоко вздохнув, дополнил: — Эх, сыт голодного сроду не разумел. Кабы казаки оренбургские поработали углекопами, головы у них протрезвились бы. Они ведь из богатых станичников. Как дед ваш, Григорий Анисимович Мещеряк.

— Дедушка умер еще в 1905 году после ареста мамы. Когда жандармы приехали к нему с обыском, он... скоропостижно скончался.

— Эвон ка-ак! Извиняйте, Селестина Ивановна, что слово про деда вашего дурное сказал, когда вы были у меня с комиссаром. Про мертвых не заповедано говорить худо.

На вокзале разноликая толпа осаждала прибывший поезд.

— Ну, а матушка ваша жива? — спросил Ной.

— Мама? — Селестина глубоко вздохнула. — Она погибла еще в девятьсот седьмом. Зарубила ее какая-то казачка в деревне Ошаровой. Тогда всюду рыскали за «бунтовщиками». А мать с отцом везла двух раненых. И кто-то из мужиков выдал их таштыпским казакам. Налетели сотней. Папа успел бежать в тайгу. А мама...

— Таштыпские, говорите? Кто же, кто же это мог быть?! Одна там была только, которая с мужем... — Ной осекся на полуслове. — О, господи! — вырвалось у него. Ведь дяди отца — Кондратий и Леонтий, служили в той сотне. И только одна бездетная Татьяна

Семеновна сопровождала мужа. На его крестной матери, выходит, кровь рода Мещеряков!? Господи, да ведь она и сама из того же рода!..

— Что с вами, Ной Васильевич?

— Да ничего, Селестина Ивановна. После митинга все никак не могу с душой собраться.

— Бой вам предстоит трудный. Батальонщицы мадам Леоновой умеют драться. И хорошо вооружены. Не случайно батальон получил от Керенского георгиевское знамя. А многие батальонщицы — кресты и медали.

— В бою не кресты воюют, — ответил Ной. — Мы вот разъезд заняли, для нас там позиция будет самая подходящая. Только бы обошлось без большого кровопролития.

— А знаете, как вас прозвали?

— Знаю. Только ежели поразмыслить, зря не скажут. Казаки шутейно кинули в меня слово, а стрельнули в середину копеечки. В апокалипсисе Иоановом сказано: «И выйдет другой конь рыж, и сидящему на нем дано бысть взять мир от земли, и да люди убьют друг друга». Или я в бою на коне рыжем или каком другом, мир несущий и благодать? Или я шашкою играю, когда головы срубаю? Хотя и противнику на позиции. А что он мне сделал, тот противник, которого я только один момент увидел и — зарубил?! Мир ли то? А мой брат разве виноват был перед тем немцем, который ему начисто голову отрубил, и я то видел самолично? Будет ли этому конец?

Селестина помолчала, как бы решая трудный вопрос, и взволнованно, но твердо ответила:

— Будет, Ной Васильевич! Непременно будет! Научатся же люди когда-то понимать друг друга. Вот вы спасли мне жизнь. За это не благодарят, но я... я буду помнить вас.

Раздался гудок паровоза. Селестина встрепенулась — сейчас отойдет поезд.

— До свидания, Ной Васильевич, — скороговоркой промолвила она и бегом кинулась к вагону. А с подножки уже, махая рукой, крикнула: — Я буду помнить вас!

Когда поезд отошел, Ной мысленно благословил комиссаршу Селестину: «Спаси ее, господи».

И ушел с перрона, еще более растревоженный.

ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ

I

Было утро. Дымчатое, морозное...

Еще глубокой ночью из Гатчины подтянули к месту предполагаемого боя артбригаду с шестью батареями. Двенадцать балтийских матросов и комиссар бригады Ефим Семенович Карпов находились неотлучно при батареях. Помнили: среди артиллеристов немало ярых эсеров, готовых в любой момент шарахнуть из гаубиц по своим.

Домик на разъезде заняли под командный пункт.

Ранней ранью из Гатчины выступили стрелковые батальоны с пулеметной командой из двадцати матросов и комиссаром полка Свиридовым. Пулеметы и боеприпасы везли на санях-розвальнях.

Казачьи сотни выступили часом позже во главе с председателем полкового комитета.

На прогалинах между голым лесом и железной дорогой, недалеко от разъезда, где прикипел длинный эшелон теплушек, на котором подъехали воительницы, утром началось сражение. Сперва батарейцы обстреливали позицию мятежниц из орудий. Потом солдаты и матросы с пулеметами на санях-розвальнях, казаки, пешие и конные, взяли батальонщиц в клещи, потеснили к теплушкам. У батальонщиц было пять станковых пулеметов, два ручных да еще минометная батарея. И драться умели — фронтовички.

Рыжая борода, белая смушковая папаха, бекеша, перетянутая накрест ремнями, рыжие ножны и рыжий конь под седлом — не конь, огневище о четырех кованых ногах.

Из рыжих ножен зеркальной сталью вылетела кривая шашка и раздался могучий голос Ноя Лебеда:

— Не посрамим, братцы, казачьего звания, а так и мужского обличья. Бабий батальон подступил к Гатчине, чтоб усмирить наш полк и повернуть на Петроград. Ультиматум прислали. Хрен его знает, как этот батальон перелицовался из красного в белый, ну да разве не казаки мы?! Пощупаем уже грудастых батальонщиц да всыпем плетей, как следовало! Или нам в юбки вырядиться надо? С богом, братцы!

Дыбятся пораненные кони; мертвые всадники опрокидываются на белое снежное поле, циркают пули, строчат пулеметы, вздымают землю к небу взрывы снарядов и мин.

Бьются не на живот, а на смерть бабы с мужиками.

Смерть в смерть, зуб в зуб. Хорунжий Лебедь и там поспевал, и тут подбадривал: держитесь, братцы! Не прите дуриком на пулеметы. С обхода, с тыла!

Пораненные кони не ржут, а гортанно кричат, взметают комья земли со снегом.

Месяц, месяц, утаптывают снег. Пулеметы строчат из-за укрытий, из леса. Батальонщицы перебегают — гнутся до земли. Падают, ползут и снова стреляют по казакам и матросам.

Кричит командирша:

— Бейте их, бейте, па-аа-аадруженьки!

А казаки свое молотят:

— Такут твою! Ааа!

— Митрий, Митрий!

Через голову коня падает всадник, и конь через всадника.

— Брааатишки! За кровь маатросов!

— Ага-га-га-га!

— А, стерва! В бога! Креста!

— Маамааа!

— Крыслов! Эй, Крыслов! Тесни их от леса. Слушай, грю. Тесни от леса!

— Живее, казаки, живее!

— Сааазооонов! Сааазооонов! К балке, живо!.. За линию! За линию!

— Зааа мной, казаки!

Жжжю! Жжю! — свистят мины.

Та-та-та-та-та-та-та-та-ат-та...

Строчат пулеметы с той и с другой стороны. Не менее полусотни казаков скопытились под огнем остервенелых батальонщиц, девять матросов упокоились на веки вечные.

Батальонщицы беспорядочно отступают к эшелону...

Надо было обойти их и ударить с тыла. Не допустить укрыться в эшелоне, не дать им возможности бежать. Ной поспешил к резервной сотне оренбургских казаков под командованием старшего урядника

Кондратия Терехова, того самого, который на митинге призывал однополчан к восстанию и свержению Бушлатной Революции — комиссара Свиридова, а Ною грозил виселицею.

Казакι упитанные, мордастые, в изрядном подпитии. Терехов — коренастый, белобрысый, с вислыми золотистыми усами, красномордый, взбуривал на Ноя исподлобья.

— Ну, Кондратий Филиппович, — обратился к нему хорунжий, — видишь, куда, отступают батальонщицы? Надо отрезать их от эшелона. Держи здесь на опушке леса свою сотню, в резерве следственно. Без приказа не трогаться в бой — предупреждаю!

Издали донеслась орудийная перестрелка. И Ной со своим испытанным ординарцем Санькой и казаками-енисейцами ускакали.

— Братцы мои! Это што жа!?! — вздыбив коня, заорал Терехов. — Да они нам не доверяют, сволочи! Скоко можно стоять в резерве?! Не доверяют — это точно! Гнать надо батальонщиц! А ну, подмогнем! — гикнул он своим орлам. И те понеслись за ним из укрытия.

Терехов был крепко пьян, но цепко держался в седле.

Они мчались густо, весело и браво, впереди сам Терехов — только усы по щекам раздуваются да шашка винтится над черной папахой. Никто и не задумался в этот момент, кому же хочет «подмотнуть» их командир?..

И вдруг!..

Та-та...

Секут! Секут! Да так плотно, что казаки, сталкиваясь конями, теряя одного за другим, кинулись врассыпную, к лесу.

Вытирая пот с разгоряченного лица лохматой папахой, Терехов погнал одного из казаков:

— А ну, Петюхин! Самолично проверь: хто убит? Поименно!

Васюха Петюхин — фронтовой дружок Терехова, объехал сотню, сообщил: убиты такие-то, десять казаков!..

— А тяжело ранены, до Гатчины не довести: Петр Кравцев, Никита Даралай — очень тяжело, в голову ранен, Иван Хлебников...

— Помер уже! — кто-то крикнул из леса.

— Ну... туда, сюда... Позор перед полком... О, господи! Я их, стервов живьем возьму!.. — решилсЯ Терехов. — Четырех мне надо, штоб добровольно!

— Мы все за тобою, Кондратий Филиппович!

— Четырех, говорю! Ты, братан, как?

— Чаво спрашиваешь? — окрысился златоусый казачина, старший брат Терехова, Михайла Филиппович. К нему присоединились Васюха Петюхин, его двоюродный брат Григорий Петюхин и Михайла Саврасов — пожилой казак.

Терехов подъехал к уряднику:

— На тебя надежда вся, Иван Христофорович. Тяжело раненых отправь в Гатчину. С остатными атакуй батальонщиц. Слышите, взвод Мамалыгина полосует их? Коль приказ нарушили — оправдаться надо! Али заподозрит нас всех в измене Конь Рыжий. С богом, братцы?

Иван Христофорович предостерег командира:

— Не при на пулеметы, Кондратий Филиппович. С обхода возьми, вон с того конца. Откель не ждут. Да тиха!.. Без гиканья!..

Разъехались.

Пулеметчиц захватили врасплох, выскочили с тыла до того внезапно, что те не успели развернуть «максимы» на санках.

Терехов первым вылетел на своем разгоряченном коне к засаде. Он заметил, как одна в шинели и сапогах, с карабином, низко пригибаясь, быстро скрылась в чащобу, внимание захватила другая — целилась в него. Успел рвануть коня в сторону, выстрела не слышал, сбил конем пулеметчицу, изогнулся, полосонув ее шашкой.

Два «максима» были заправлены пулеметными лентами; вокруг утоптан снег, на армейском вещмешке — кружки, три солдатских фляги, термос.

Терехов матюгнулся:

— Ишь, курвы! Побросали всю амуницию.

Неожиданно хлопнул выстрел из леса, и Васюха Петюхин, не охнув, повалился на правый бок, задрал левую ногу в стремя.

У Терехова язык одеревенел. Да и все таращились на Васюху с таким недоумением, точно он убит был не выстрелом, а молнией господней.

И еще выстрел.

— Ааааа! Аааа!..

Михайла, братан Терехова, схватился обеими руками за грудь и сунулся головой в гриву коня.

Трое живых, рванув коней, кинулись врассыпную, а вслед им — бах, бах, бах!

Укрылись в лесу — опомнились.

Терехова прорвало:

— Как же это я, робята?! Да я же ее, гадину, видел! Видел, робята, как она мелась в лес!.. Михайла, братан мой, господи помилуй!.. Да што же это такое, а? Братан мой Васюха, а?!

Минуты три Терехов, трезвея, приходил в себя. Не по его ли вине казаки попали в засаду и столько понесли жертв?.. Не по его ли вине бежавшая пулеметчица сняла меткими выстрелами еще двух!.. Он, Терехов, чтоб искупить вину перед убиенными, должен взять ее собственными руками. Двенадцать казаков, как корова языком слизнула!..

Терехов спешился, привязав коня у вяза, снял карабин, проверил патроны в магазинной коробке, переложил револьвер из кобуры в карман и все это молча, сосредоточенно.

— Ты што, Кондратий? — спросил Михайло Саврасов.

— Я ие живьем возьму! — процедил сквозь зубы Терехов. — Я ие за братана Михайла, за Васюху, за Мишку Шуркова, а так и всех убитых и пораненных, сто раз буду казни предавать и сто раз она будет видеть своими глазами смерть, а потом — заррублю!

Казаки спешились, привязали коней у деревьев.

— Погоди, Кондратий Филиппович, — остепенил Михайла Саврасов. — Надо с умом брать. Если она так прицельно бьет — не шутка.

Терехов оскалился, как волк:

— Кто убьет ее до меня — застрррелю! Вот вам крест, святая икона! — сняв папаху, истово перекрестился.

Михайла Саврасов и Григорий Петюхин примолкли. Таким взбешенным Терехова они еще не видели. Не иначе, как умом тронулся. Глазищи кровью налились. Михайла Саврасов хотел остаться, но Григорий Петюхин пошел за Тереховым, коротко буркнув:

— Пошли!

— Закружило их с заговором офицерье, — вздохнул Михайла Саврасов. — И мы бы втюрились, точно! Мокрость бы осталась от всего полка, кабы не головастый председатель.

Терехов оглянулся и зло гавкнул:

— Погоди еще! Рыжего я тысяче смертей предам за измену! Али ты с нами не караулил иво у станции? Провернулся, гад рыжий.

— Побили бы нас в Петрограде или на митинге из пулеметов, — возразил Михайла.

— Пошел ты... — Терехов скрипнул зубами, оглянулся. — Тиха теперь!.. Ползти будем. Мотрите! Спугнете или пристрелите — сказал уж!..

Давно Терехов не ползал по-пластунски с таким старанием, как в этот раз. Между кустов и деревьев, осторожно пробираясь, чтоб не хрустнуть веткою, изредка поднимал голову, приглядываясь к чащобе. Наконец-то увидел ее! Спиною к нему сидит на пне в шинели, в шапке с опущенными ушами и карабин держит наизготовку. Ну, жди, жди!

Еще осторожнее, затаив дыхание, подполз-таки к пулеметнице, с маху схватил ее за плечи, рванул на себя, втискивая голову в рыхлый снег.

У батальонницы снегом забило рот, глаза, уши, и она даже не отбивалась,

Михайла Саврасов подумал, что Терехов придушит ее тут же. Но Терехов рванул с нее шинель — крючки выдрал с сукном. Живо снял ремень, бросил, крикнув Григорию Петюхину:

— Подмоги, чаво глядишь? Стаскивай сапоги и всю ее амуницию.

Нагую пулеметницу с растрепанными черными волосами Терехов с Петюхиным потащили под руки спиною к черному толстому дубу, подняли ее там в рост, руки назад, вокруг ствола и привязали ремнем.

— Эт-таааа штоооо тааакоооо! — раздался могучий голос Ноя Лебеда.

Никто из казаков не слышал, как по чащобе продрался к ним Ной с кольцом в руке, а за ним его верный ординарец Санька с наганом.

Терехов резко повернулся, вытаращив ошалелые белые глаза, не выпуская из рук карабина с засланным патроном, хотел пальнуть в Коня Рыжего, но тот отбил рукой ствол в сторону, грохнул выстрел. Ной с необычайной проворностью ударил Терехова рукояткой револьвера в лоб — с ног сбил, вырвал карабин, оборвал шашку, бросил в сторону, вытащил наган — в минуту управился.

Петюхин с Саврасовым не сопротивлялись — сами отдали карабины и револьверы. Шашку Петюхин не хотел снимать.

— Пристрелю! — крикнул Санька. — Сымай сичас же!

— Под трибунал пойдете все трое! — малость охолонулся Ной Лебедь. — За самосуд! За нарушение приказа! Это уже не бой, а казнь без суда и следствия!

У Терехова кровью залило глаза и щеки, он все еще утробно рычал, смахивая кровь тылом руки, ощупал лоб, череп, кажись, не проломан.

— За митинг мстишь? — зло спросил Терехов, тяжело поднимаясь. — Завяжем узелок, помни! Не век при большевиках будешь носиться на красных копытах. Когда-то слетишь с них!

— Не стращай, вша, очкур не пережуешь, — отпарировал Ной. — А мщенья у меня нет. Ни за митинг, ни за то, как ты меня со своими казаками скарауливал у станции! Нету мщения, а есть справедливость.

— У большевиков, што ль, справедливость сыскал? — огрызнулся Терехов, зачерпнув горсть снега и прикладывая ко лбу.

— А что большевики? Миллиончики или кровопивцы?

— Ной Васильевич, она — живая! — крикнул Санька.

— Кто живой!

— Да батальонщица. Ей-бо, живая! Это ж та самая пулеметчица, которая была...

— Не болтай лишку! — оборвал Ной Саньку. И казакам: — Стал быть, изгальство учинили?

— Не было изгальства, — отверг Григорий Петюхин. — Ты бы хоть выслушал нас. Эта стерва, — кивнул на батальонщицу, — двенадцать казаков из взвода убила. Мало, да? Мало? И мово брата, Василья, пристрелила из карабина. Брата Кондратия Филипповича — Михайлу. Мало, да?

— Одна убила, что ли? Бой есть бой! А над этой почему особую казнь умыслили? Баба ведь она. За изгальство ответ держать будете. И за нарушение приказа.

Молчали.

— Гони их, Александра, до взвода Афанасия Мамалыгина, как арестованных. Передашь Мамалыгину мой приказ: доставить их на губу под строжайший арест. Ухари! Скажешь Мамалыгину, чтоб послал казаков подобрать пулеметы, убитых, а так и коней. Потом доглядывать будешь по всей позиции, чтоб не осталось чего.

— Трогайсь! — приказал Санька.

Терехов остервенело матюгнулся и пошел первым, подобрав свою папаху, за ним Григорий Петюхин и пожилой Саврасов — след в след.

Смертница готова была втиснуться в ствол дерева, уставившись на рыжебородого казака немигающими черными глазами.

Взгляды их встретились, словно накрепко затянули узел, — не развязать.

Один миг — всего один миг охватного, объемного взгляда. Белое лицо, словно из него выцедили всю кровь, чуть открытый рот с белеющими плотными зубами, трясущиеся губы и подбородок с ямочкой, маленький чуть вздернутый нос, большие, страхом насыщенные глаза, пряди волос по плечам до маленьких опавших грудей и напряженное дыхание.

Она вдруг сползла вниз, и руки ее безжизненно упали на снег. Но где же ее одежда? Ной глянул туда, сюда, побежал к плотному кустарнику — нашел! Схватил в охапку все, что валялось разбросанным, примчался, а пулеметчица ревет, ревет в голос, сотрясаясь всем телом. Бьется, бессвязно выкрикивая: «Не я! не я! не я! Убейте меня, убейте!..»

Снег таял на ее голом теле, оседая крупными каплями, волосы в снегу, спутались комом. Попытался надеть байковую рубаху, но батальонщица вцепилась ему в бороду, булькая невнятными словами, а глаза дикие, ошалелые. «Вот оно как после смертной казни отходят, господи! Хоть бы умом не тронулась. Беда! Не бросать же ее в таком положении».

— Да охолонись ты, дура! Охолонись! Или те не морозно кататься по снегу? Сгинешь, язва! Дуры вы, дуры! Из благородных барышень, должно. В Сибири такой дуры отродясь не сыщешь!

— Из Сибири я. Из Сибири! Только убейте поскорее!

— Ври! Ты Сибирь-то, поди, не нюхала, — миролюбиво оказал Ной, натягивая шинель на пулеметчицу, и потом затянул армейским ремнем — крючки все были вырваны. Из шапки вытряхнул снег, надел ей на голову, не заправив волосы. Сапоги настыли — холоднющие. Взялся оттирать ноги пулеметчицы — не сопротивляется, хлопает носом. — Где ты бывала в Сибири? — спросил, чтобы пришла в себя поскорее. — В книгах, однако, читала про Сибирь?

— Я в Сибири родилась! Ах, да не все ли вам равно?!

— Где? — дрогнул Ной.

— В Минусинском уезде, на Амыле.

— Деревня какая?

— Белая Елань на Амыле. Там у нас тоже казаки. Каратузской станицы, Монской, Арбаты, Таштыпа... — совсем как малый ребенок лепетала бравая воительница.

— Господи прости. Я со станицы Таштып. Лебедь моя фамилия.

— Я в Таштып не раз ездила. У отца там кожевенный завод был.

— Экое! Один у нас завод — Юскова, миллионщика. Ты, стал быть, самого Юскова?

Ной слышал про миллионщика Юскова: «Чужое сожрет, свое сожрет, из-под себя сожрет и не поморщится».

Сказал:

— Ах ты, якри ты! Чего ж ты, дура, сразу не сказала, что ты сибирская, а не питерская? Экое! Знать, мильены папаши погнали тебя в батальон смерти?

— «Мильены»! Нету у меня мильенов, нету у меня папаши! — вздыбилась пулеметчица. — Есть душегуб, который терзал меня, как вот вы, казаки рыжие, зверь зверем. Если бы всех вас вместе с папашей под пулемет — узнали бы, какая я миллионщица. Боженька! Что ты меня не пристрелил?

— Ладно, ладно, не сопливсья, — бурчал Ной. — Моли бога, что подоспел вовремя. Ну, чего? Вставай!

— Нога у меня подвернулась.

Батальонщица, поднявшись, зацепилась за какую-то корягу и сунулась лицом в снег. Ной подхватил ее на руки и вынес из леса.

— Сейчас на коне домчу ты, дуреха. Сейчас!

У старого вяза топтался юдин конь на привязи — рыжий конь хорунжего. Девушка как глянула на коня, забила на руках Ноя, вскрикивая:

— Конь рыжий! Конь рыжий! Пусти, пусти, пусти!

— Экое! Что тебе мой конь рыжий?

Девушка выскользнула из рук, как щука, лопочет:

— Боженька! Боженька!

— Экая, господи прости! Я за войну на всех мастях поездил, язви ее в душу. Сколько коней хануло подо мной, а я...

Батальонщица пятилась, пятилась, запнулась о мертвое тело, отупело взглянула на отрубленную голову подруженьки и, ойкнув, раскинув руки, упала навзничь — лицом к небу. Ной подскочил к ней — глаза зажмурены, зубы стиснуты и — ни звука. Присев на колени, подsunул руку под спину, глядит в лицо, и как будто чем прожгло душу — понять не может.

— «Экое, а?! Ах ты, язва сибирская!

Стянул зубами шерстяную перчатку с руки, зачерпнул горсть снега и давай тереть лицо, чтоб очнулась. Нет, не приходит в себя. Не умерла ли? Давай потряхивать на левой руке, и девица протяжно охнула. Ну, слава Христе, живая! Конь остервенело бил копытами и, мотая головой, всхрапывал, тараша карие глаза на рыжебородого Ноя с ношей в руках.

III

Ной не сумел бы ответить даже на страшном суде: почему он, бывалый казак, повидавший тысячи смертей, жестоко рубивший врагов на позиции, вдруг размягчился, подобрал батальонщицу, и мало того, поехал с нею на коне не полем недавнего сражения, где еще были казаки, солдаты и матросы, подбиравшие оружие, раненых и убитых, ошкуривающие не остывших лошадей; он мчался с нею бездорожьем, чтоб никто не встретился, и, когда она пришла в себя от тряски, усадил ее впереди, придерживая одной рукой, и так подъехал к Гатчине.

— Куда ты меня?

— Домой везу.

— Боженька!

— То-то, боженька!

— Командирша наша... Юлия Михайловна... Мы были с нею у вас в понедельник. Помните? Она так уверилась, что ваш полк начнет восстание! И мы все верили ей. А вышло так страшно, жутко!.. Разгром!.. Полный разгром!.. — И, прижимаясь к Ною, пулеметчица взмолилась: — Не отдавайте меня матросам, ради бога!

— Тиха! Людностью едем. И так сколько кружил.

— Мне страшно! Страшно!

— Как не страшно, коль смерть на плечах сидит. Может, проскочим.

Батальонщица притихла, жметя к Ною. А вот и каменная ограда вокруг белого дома. Заехал в ворота, спешился, снял землячку, посадил на крыльцо, завел коня в пустующий гараж, привязал там и повел пленницу в каменный белый дом под железным укрытием с тремя трубами, из которых давно не пахло дымом.

— Как тебя звать, землячка? — спросил Ной, когда провел батальонщицу в свою комнату. — Дуня? Ладно. Меня Ноем зовут, Васильевичем кличут. Сейчас подшурю печку — тепло будет. Куда запропастился ординарец, якри его?.. Болят ноги-то? Три! Пальцы-то побелели — сам видел. Разуйся и три. Без стесеньев.

— «Без стесеньев»! — вздула покусанные губы пленница. — Сколько девчат порубили, и «без стесеньев»!

— Само собой. Рубили, — поддакнул Ной, разжигая печку. — Спрос надо вести с тех социалистов, которые закружили ваш батальон.

— Наш батальон дрался с немцами. Может, вы так не бились, как мы. Отсиживались в Гатчине. Казаки еще!

— А чего нам? Как на отдыхе и формировании. Кроме того, время, якри его, щекотливое. Вроде у большевиков на харчах проживаем.

— То-то и откормили вас!

— Неужто на голодуху держать полк? Само собой. А вот ваш батальон. Седне с красными, а завтра с белыми?

— Мы с патриотами, чтобы спасти Россию от большевиков с их Лениным, который сам немецкий шпион. Какие вы чумные!

Ной прищурил карие глаза, покачал огненной головой.

— Экое у те соображенье. Ежели бы Ленин был немецкий шпион, чего ж тогда немцы не в Петрограде?

Чугунная «буржуйка», поставленная на кирпичи, зардела румянцем — тепло разошлось по всей комнате. В готические окна плеснуло полуденное солнце. Дуня сбросила шинель и, разувшись, под села к печке. Болели прихваченные морозом ноги и руки, но она терпела, зло поглядывая на Коня Рыжего: что он с ней сотворит, неизвестно.

— Экое! запамятовал! — спохватился Ной. — Сейчас подлечу тебе ноги, землячка. У самого не раз прихватывало на позиции. Дак натирал гусиным салом.

Отыскал банку, подсел на корточки возле Дуни, положил ее босую ногу себе на колено. Дуня глубоко вздохнула и, откинув голову, прикусила губы, а из прижмуренных черных век потекли слезы — слеза за слезой, как из родничка. Не от боли в ногах, а от обиды и жалости к самой себе: она такая разнесчастливая! Били — не убили, стреляли — не расстреляли!.. Сколько мучений пережила, сколько горюшка и позора извела! И никто никогда не пожалел ее. Она нужна была мужчинам на час-два для утешения... И не оттого ли Дуня Юскова возненавидела мужчин, не доверяя ни одному из них?

— Больно?

— Н-нет.

— Ври! Запухли пальцы-то. Надо бы мне там еще оттереть снегом, да ты и без того перемерзла. Спиртом бы, да нету, не пьющие мы с ординарцем.

Взялся оттирать другую ногу.

— Экое! Плачешь! Эту ногу, что ль, подвернула? Больно?

— Не в ногах боль, не в ногах! — сквозь зубы процедила Дуня.

— А! — уразумел Ной и тоже вздохнул. — Понимаю, Дуня. Война, одно слово. И пораженья бывают, и победы, а все едино — кровью кровь смывают. У печки-то не надо держать ноги — шибче болеть будут. Дам шерстяные носки, надень да сунь в рукава моей бекешки — так лучше будет.

— Не надо!

— Пошто?

— А что мне ноги, если голову потеряла?

— Как так? Покуда человек живой — голова всегда на своем месте. И соображенье имеет при этом. Обиды и горе отходчивы.

Поставил на «буржуйку» чайник, подкинул в огонь дубовых паркетных квадратиков и взялся за уборку комнаты. Утащил на улицу постели с обеих кроватей, вытряхнул на морозе, вернулся, застлал кровати, чтоб все было чин чинком. Подмел пол, предварительно spraysнув пыль водою.

Пили вдвоем густо заваренный байховый чай с сахаром. Дуня все так же растерянно и подозрительно взглядывала на Ноя, трудно соображая. Страх жестокого пленения казаками, обида и боль за разгром батальона отошли в глубь сердца, и она, сводя черные, круто

выписанные брови, думала: и чего он с ней возится, этот рыжий? Уж лучше бы к одному концу...

— Куда запропастился ординарец, язви его? — бормотнул Ной, когда Дуня отблагодарила за чай с сахаром с ржаным ломтем хлеба, испеченного напополам с охвостьями. — Может, в штабе что происходит?

Дуня села на кровать.

А Ной притащил беремья дров — остатки буржуйской мебели и паркетных полов.

— Ты замужем, Дуня?

Дуня зло усмехнулась. Они все так начинают: замужем ли! А если замужем — счастливый ли брак? Хорош ли муж?

— Н-нет. Не замужем.

— Училась, поди, в Питере?

У Дуни запрыгало веко левого глаза — нервный тик. Училась! Это она-то, Дуня Юскова, содержанка дома терпимости мадам Тарабайкиной-Маньчжурской!

— В Красноярске прошла все науки.

— В гимназии?

— В заведении и в домах миллионщиков.

— А! — кивнул Ной. Он, конечно, понял, в каких заведениях побывала пулемтчица Дуня, слышал, что батальонщицы охотно обслуживали женскими любезностями господ офицеров, но для Ноя это было отвратно, и он не стал дальше расспрашивать.

— А у вас какое военное звание?

— Председатель полкового комитета. А как войсковое — хорунжий.

— Большевик?

— Никак нет!

— Что же вы за большевиков поднялись? Или они вас купили?

— Мы не продажны, — весомо ответил Ной. — А поднялись пошто? Чтоб малой кровью сохранить большую кровь.

— Не понимаю!

— Да ведь если бы наш полк с артбригадой и ваш батальон прорвались в Петроград — большая бы лилась кровь. А там и без того люди изголодались, легко ли им? Из таких соображений.

— Боженька! Да ведь вы спасли большевиков! Наше командование рассчитало удар. В Петрограде нас поджидали два полка. Если бы еще ваш полк...

— Не можно то! — решительно отверг Ной. — Кабы Временное правительство было не буржуйским — миллионщиков разных, тогда бы в Петрограде не произошло в октябре восстания. А к чему теперь свергать большевиков, ежели они от большинства власть взяли?

И, помолчав, еще раз напомнил:

— Из этих соображений.

Дуня призадумалась. Куда же ее занесло? С кем она? С теми, кто ее мучил и покупал в заведении за трешку или красненькую? Бывало, «катеринки» перепадали, но от кого? И какой ценою!..

— Все так запутано, запутано! — бормотала Дуня, настороженно взглядывая на рыжего Ноя.

— Бывал и я в Белой Елани, — вспомнил Ной, — на полевых учениях. И дом Юскова помню. На середине улицы, кажись, большущий, на каменном фундаменте.

— На углу переулка? Наш.

— Богатый.

— Будь он проклят!

— Вот те и на! — ахнул Ной. — Как можно проклинать родительский дом?

— Нет у меня родительского дома. Нету! Есть дом душегуба-отца! Ох, как я их всех ненавижу! И цыгана-папашу, и дядей с тетками, и всех, всех!

— Господи прости!

— И господа — ко всем чертям! Ненавижу! Нету ни бога, ни черта, а есть только сволочи, сволочи всякие!

Ной еле промигался. Вот так землячка-миллионщица! С чего в ней лютость к людям и к господу богу даже? Но не стал спрашивать, вдруг вспомнив слова, которые он вычитал в апокалипсисе перед боем:

«И ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ НАЙТИ ЕЕ, ТО ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: ОН РАДУЕТСЯ О НЕЙ БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ О ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИ НЕЗАБЛУДИВШИХСЯ».

А разве можно сыскать БОЛЕЕ ЗАБЛУДИВШУЮСЯ, ЧЕМ ВОТ ЭТА ПОТЕРЯННАЯ и жалкая Дуня Юскова?

Нежели она, эта заполошная Дуня, должна для него стать дороже девяносто девяти незаблудившихся?

— Что на меня так смотрите? — спросила Дуня.

— Отчего в тебе экое озлобление к людям?

— Вот еще! Меня таскали, таскали, топтали, топтали, и я бы еще любила мучителей своих?

— Не все же таскали тебя и топтали. Ужли не встречала добрых людей?

— Не встречала таких! — зло ответила Дуня, боком привалившись на спинку кровати. — Вот хотя бы вы! Заверили нашу командиршу батальона, что полк восстанет, и — полк не восстал!

— Не давал такого заверенья! Это ваша командирша сочинила. А если помнишь, я молчал да слушал. И все тут. А потом Бологову от всего комитета заявили: полк не восстанет. А тебе скажу так, Дуня: отдыхайся. Не на одних похоронах, поминках и мытарстве жизнь стоит. Бог даст, проглянет и твое солнышко. А так пропадешь ни за грош, ни за копейку.

Пришел ординарец Санька — усы черные, завинченные вверх, чернуший чуб, шельмоватые глаза, губастый, подобранный, узел картошки притащил и в карманах белой бекеши — консервные банки. Куча новостей к тому же.

— Седне нажрутся казаки конины от пуза. Тащут по казармам, кому сколь угодно. По полконю, ей-бо! Может, и нам взять?

— Бери, да вари на улице.

— А чаво? Чище коня животного нету.

— Потому и жрать нельзя его.

— Ох, и было в штабе! — перескочил Санька, посмотрев на Дуню. — Карпова с артбригадой спешно направили в Псков. Всех ваших батальонщиц матросы допросили. Всех бы пустили в расход, если бы не подъехал Подвойский. Увезут остатных в Петроград. Одна писарша, штабистка ихняя, хлипкая такая, на допросе выдала, какой сговор имела командирша Леонова с другими полками, и самых злющих из пулеметчиц назвала. По матросам в Суйде строчила будто отчаянная георгиевка Евдокия Юскова.

— Не я! Не я! — вскрикнула Дуня. Юлия Михайловна сама вела огонь.

Санька оглянулся:

— Эвва! Юлия Михайловна?!

— Она всех в кулаке держала. Вы же ее знаете!.. С красными комиссарами была красная, в Смольный не раз ездила.

Санька переглянулся с Ноем, сказал вполголоса:

— Ищут ее. Сам комиссар Свиридов и наши казачьи командиры. Гляди, Ной Васильевич, как бы греха не было.

Ной предупредил:

— Ты вот что, Александра, что она батальонщица — никому ни слова. Тем паче — Бушлатной Революции, комиссару, стал быть. Из Петрограда, мол. Землячка наша, слышь? Был в Белой Елани на полевых ученьях? Ну вот. Из Белой Елани. Звать Дуней... — И к Дуне: — По отчеству как?

— Елизаровна, — ответила Дуня и тут же поправилась: — В документах Ивановной записана. Не хотела носить отчества папаши.

Ной понимающе кивнул:

— Ивановна. Слышал, Александра? Не она была командиршей, которая ходила в двух шкурах, сверху натянула красную, а под красной — бело-серая, гадючья.

— А мне што? — хлопал глазами Санька, разумея слова командира на свой лад: «Язви те, втезенился, знать-то. Четыре года воевал — коленей не замарал, а тут приспел. А меня штырит за баб».

Ной догадался, что на уме у Саньки:

— Не вихляй глазами — нутро вижу. О чем думаешь — выкинь из башки.

— А про што думаю?

— Про мою шашку, потому как она не ржавая.

Санька на дюйм стал ниже ростом, посутулился.

— Евдокии отдам свою кровать, нам хватит одной. Переждемся.

— Еще поставить можно.

— Ни к чему. Под боком сподобнее котелок поганый держать.

Санька уразумел, о чем речь! Ох уж до чего настырный дьявол!

— Смыслишь?

— Не бестолочь.

— Ладно. Теперь ступай, коней давно пора обиходить. А я загляну в штаб: какие разговоры, про что? Где Подвойский?

— Должно, уехал обратно в Петроград. Бушлатная Революция увел его на вокзал. А вечером, Сазонов grit, митинг будет.

— Зайду в казарму к оренбуржцам. Как они? Какие разговоры про арестованных?

— Все они верченые. Доверять нельзя.

— Иди! Погодь! У кого взял консервы?

— Каптенармус дал.

— Опять власть употребил?

— Никакой власти. Сам Захар Платоныч дал. Бери, говорит, как положено председателю комитета. А што? Полковник-то со штабными на каких харчах?

— Я не полковник! — рыкнул Ной. — Ступай.

Санька ногой за дверь, а Ной остановил:

— Погодь!

— Ну?

— Не через порог.

Санька закрыл двери.

— Тайник, что отыскали в подвале, цел?

— Как лежало, так и лежит все, — а глазом покосился на Дуню, в ноздрах завертело: конец, знать-то, тайничку. Санька облюбовал такие знатные женские наряды в тайничке! Для женушки Татьяны Ивановны. Ведь это он, Санька, открыл буржуйский клад! Ему и пользоваться. Да вот командир!

— Ладно. Иди.

Санька умелся в плохом настроении. Пока чистил коней, то и дело плевался и матерился. Шепнуть бы Булатной Революции, что самая злющая из окаянных пулеметчиц спрятана у председателя...

Оренбуржцы встретили Ноя настороженным молчанием: Терехов-то с Григорием Петюхиным под арестом! Варили конину на трех кострах, шкуровали на снегу убитых коней, выжидали, куда председатель повернет...

— Половину мяса отдать стрелковым батальонам и батарейцам! — приказал Ной.

И, не дождавшись, что скажут казаки, пошел в штаб.

Свиридов размашисто шагал по комнате, не выпуская махорочной сигарки из зубов. Сазонов, Павлов и Крыслов чинно расселись по стенке. Пятеро матросов развалились в креслах. Один храпел, уткнувшись головой в стол начальника штаба Мотовилова.

— О! Хорунжий! — приветствовал Свиридов Ной. — Наконец-то! И куда запропастились комполка Дальчевский и начальник штаба Мотовилов? Увиливают сволочи от решения назревших вопросов. А тут такие новости, Ной Васильевич! За разгром батальона полку объявлена благодарность Военного Комиссариата Совнаркома. Приезжал сам Подвойский. Он считает, что наш полк следует переименовать в красноармейский конный имени Степана Разина. Каково, а? Звучит?! Это же событие! Красную Армию организуем, браток! И я рекомендовал вас на должность командира как достойного...

— Не можно то! Как есть уже выборный командир полка.

— Дальчевский — фигура неподходящая. Подвойский оставил нам пропуск на весь комитет полка. Завтра нас ждут в Смольном.

— Не можно то! — отверг Ной. — Как не большевик я.

— Большевик или не большевик, а приказано явиться. И точка. Комитетчики твои предлагают вон митинг опять созвать. Мало мы горло драли. К тому же семь часов вечера и казаки устали после боя. Я против!

— Как можно против? Пускай солдаты и казаки решают, остаться им в красноармейском полку или просить распустить его. По хорошему, так должно.

— Ну, валяйте, созывайте. Время не ждет. А за что ты Терехова под арест посадил?

— За изгальство над пленными. И за невыполнение приказа.

— Правильно! Советская власть за такие дела карать должна. Одним горлодером на митинге меньше будет.

Вернулся домой Ной в двенадцатом часу ночи. Саньки еще не было. «Уж не к крале ли своей утезенил, шельма? Ведь только что видел его на митинге».

Дуня угрелась на кровати, сидя уснула.

Семилинейная лампа коптила: керосин кончается. Ной покрутил фитилек и стал быстро мыть картошку в солдатском котелке. Поставил вариться.

Дуня проснулась и пересела к столу, уставившись на Ноя. Большие черные глаза на исхудалом девичьем лице наблюдали за ним со странным нарастающим интересом. Задумалась, почему этот кудрявобородый казачина прозван Конем Рыжим?

— В бога верите?

— Не верить — душу погубить. А к чему мне губить душу, коль и без моей — тьма-тьмущая погибших?

Помолчав, признался:

— Да не всегда по-божьи поступаю. И все война проклятушая. Доколе же будет так?

Горестно покачал головой.

Дуня в комок сжалась на резном господском стуле с высокой спинкой.

— А почему... почему... прозвали вас... Конем Рыжим?

— А! Помнишь. Да просто так, шутейно, — уклонился Ной.

— Боженька! Бели бы вы знали, как я боюсь коня рыжего! Если бы вы знали!.. Еще девчушкой меня раз нес наш рыжий конь — чуть не убилась. Да дед с матерью еще постарались, чуть что, так и страшат: «Мотряй, не запамятуй знамение господне. Бойся!.. Господь явит рыжего коня, и он задавит тебя копытами».

— Не мучайся, Дуня. Не всем нам дано понять. Забудь свои страхи.

Вернулся Санька, разделся, повесил бекешу на вбитый в стену гвоздь, туда же папаху.

— Изморился за день. Сколь всего нахватал — в башку не помещается.

В комнате заметно темнело. Санька сказал, что керосина больше нет, лампа скоро потухнет, и принялся щепать лучину.

Из пустующих недр каменного дома раздался голос:

— Эй! Где тут председатель?

Ной вышел и вскоре вернулся с комполка Дальчевским.

Дальчевокий, увидев Дуню Юскову, выпрямился, пронзил взглядом.

В ее глазах метался испуг: ради всего святого не признавайте меня, я ни в чем не виновата, ни в чем! Она никому не выдала проговор полковника с Юлией Михайловной.

Ной не ждал, что к нему пожалует чопорный полковник Дальчевский. А тут — батальонщица!.. Надо как-то извернуться.

— Приехала вот на воскресенье из Питера погостевать землячка. А тут у нас сражение произошло. Из нашего Минусинского уезда Евдокия Ивановна.

— О-очень приятно! — Неулыбчивое, длинное лицо Дальчевского не выразило ни удивления, ни участия, как будто и в самом деле он не спал с Дуней в Пскове! — Такое жестокое время, Ной Васильевич! Кошмарное время. Вас не было, когда матросы допрашивали батальонщиц. Пятерых казаки расстреляли на кладбище, а других замучают у себя в теплушках. До Петрограда не довезут, понятно. Наш комиссар допытывался про пулеметчицу Евдокию Юскову. Погибла, пожалуй. Это ее счастье!

У Дуни ни кровинки в щеках и сердце замерло.

— Надо полагать, у большевиков не все единомышленники, если восстал красногвардейский батальон! Что ж, Ной Васильевич, приглашайте сесть.

— Милости прошу, Мстислав Леопольдович.

Подавал ему стул, а у самого глаза сузились, как у охотника, целящегося в крупного зверя.

Расселись...

Ной повесил беспогонную шинель Дальчевского и папаху.

— Что у вас варится?

— Картошка.

— Ну, ну! Скоро не будет ни картошки, ни консервов. Впрочем, у нас есть лошади. — Не спрашивая разрешения, Дальчевский размял в пальцах папиросу, закурил. — Барышня не курит?

— Спасибо, не курю, — ответила Дуня. Ох, как бы она закурила!

Дальчевский спросил: есть ли у председателя керосин или свечи? Нету? Пусть пойдет ординарец к нему на квартиру и возьмет несколько свечей.

— Ступай! — послал Ной, отмахиваясь рукой от табачного дыма.

Санька ушел.

Булькала вода в котелке, брызги летели на раскаленную буржуйку, шипели, испаряясь, Дальчевский что-то обдумывал, прищурив косясь на

Ноя. Взглянул на гимнастерку Дуни, похвалил как отважную патриотку, но сейчас-де настали такие времена, когда «георгии» не в моде, и патриотизм, к сожалению, канул в небытие, хотя половина женщин России и носит военную форму. Но в данной ситуации, после разгрома женского батальона, небезопасно землячке Ноя Васильевича выставлять свою форму напоказ и не лучше ли переодеться в штатское платье? «А крест спрячьте и не потеряйте», — милостиво напомнил Далвчевский. Дуня не сняла, а сорвала крест и сунула его в карман гимнастерки.

Ной опустил на стул, ладони на колени, а внутри, как в котелке на печке, вскипает лютая ненависть к полковнику из тайного «союза», еще не избличенному, не схваченному на месте преступления. «Мертвые не свидетели», — вспомнились слова Дальчевского у трупов убитых в ту ночь офицеров.

— Ну так вот, Ной Васильевич, поскольку я не был на митинге, но информирован, что завтра вы едете в Смольный, то решил зайти к вам и сказать, что подал рапорт об освобождении меня от командования. Сожалею, что принял полк 11-го октября. Ну-с, а теперь, когда у военки Смольного фактически нет ни армии, ни устава, если не считать Бушлатную Революцию и отрядов Красной гвардии, моя миссия командира полка закончена. Положение у Смольного не из важнецких: армии развалились от той же большевистской агитации «долой войну», кругам дезертирство, сплошные митинги, на Украине самостийная рада сговаривается с немцами. А кайзеровские дивизии на Северо-Западном фронте плечом к плечу, и надо ждать их в Петрограде: братишки и путиловцы не спасут. Достаточно сказать, что на место главнокомандующего, прославленного генерала Духонина, поставлен прапорщик Крыленко. Это же издевательство над Россией!.. Если меня не упрячут в ЧК, то я, пожалуй, уеду к семье в Красноярск и буду там сажать репу и брюкву. Обожаю пареную брюкву!

Ной изрядно вспотел возле буржуйки — припекло спину, а со лба соль капала.

«Ну и стерва, господи прости! — думал он. — В кусты прячется. А комитетчиков успел подвернуть под себя, и они гнули его линию на митинге, да еще оренбургские казаки поддавали жару!.. Ясно-понятно, полк развалился. И ведь не схватишь за горло!..»

— Подвойский особо предупреждал, чтобы мы усилили охрану продовольственных складов, фуража и сена. Я распорядился. Ну и вы, само собой, имейте в виду: фураж — это кони под седлом.

— Как же, как же! — согласно прогудел Ной, соображая: тут что-то запряжено!.. Уж не думают ли они оголить Гатчинский гарнизон? Продовольственные склады рядом со штабелями прессованного сена!..

Это он, Дальчевский, предвкушая разгром большевиков и захват Смольного, вывез из Луг весь фураж для конников 17 корпуса и тюки спрессованного сена, чтоб потом, в Петрограде, ни в чем не нуждаться. И все это достанется красноармейским конникам!

Дуня чутьем угадывала: Мстислав Леопольдович говорит совсем не то. Он сожрал бы рыжего Ноя с его кудрявой бородой. И как будто рядом с Дальчевским, на одном стуле, сама Юлия Михайловна, со своей роскошной русой косой. Это она легла у пулемета на водокачке, отстранив Дуню, и так-то ворковала:

— Какие они славненькие, матросики! Бегут, бегут! Ко мне, миленькие! Ах, как горят теплушки! Чудненько! Чутьчку поближе, миленькие. Сейчас я их расцелую, красных ангелов.

И потом, когда матросы полегли на рельсах, возле горящих вагонов, и малое число спаслось бегством, Юлия Михайловна поднялась от пулемета, обиходливо стерла грязь с низа ядовито-зеленой юбки, сорвала красную повязку с правой руки и, скомкав, бросила:

— Все, Дунечка. Надо их, милая, вот так убивать, с короткого расстояния.

Мстислав Леопольдович так же, как Юлия Михайловна, ласково, милостиво разоружал хорунжего Лебеда. Но Дуня заметила по настороженному цепкому взгляду Ноя, что он тоже хитрит, и не так-то просто его разоружить!

И Дуня видела себя сейчас не в комнате, а на желтой водонапорной башне под грязным небом, на башне с огромным котлом, и в котле том не вода — смола кипучая ненависти к матросам, рабочим, красным комиссарам Смольного, ко всем, кто лишил полковника Дальчевского, Юлию Михайловну сытого благополучия и узаконенного разврата, которым они жили от века, а вместе с ними и Дуня Юскова. И все они сейчас на желтой водонапорной башне.

Дуне страшно. Жутко.

«Боженька, боженька! Да что же это? Что же?» Бежать бы, бежать бы из Гатчины домой, но куда бежать? И есть ли у Дуни дом и пристанище?

Давно ли вот этот Мстислав Леопольдович в Пскове лежал в постели Дуни и бормотал ей в ухо:

— Если все обойдется благополучно, я возьму тебя с собой в Красноярск. Только бы вырваться из Гатчины...

— У вас ведь в Красноярске супруга с девочками?

— Не беспокойся, я тебя устрою.

— Нет, нет! Только... не у мадам Тарабайкиной. Вы же знаете...

А теперь она — пленница Ноя, и Мстислав Леопольдович уедет без нее. Без нее! О, боже! Какие они все скоты! У него же ни в одном глазу жалости к ней. А она еще пела ему про нежность и вишневую шаль!

— А знаете, Ной Васильевич, — сказал Дальчевский. — Одна из батальонщиц оказалась крепким орешком. Она заявила, что нет той кары, самой жестокой кары, достаточной кары, которая постигнет каждого предателя «союза», и она лучше умрет, чем отречется от священной клятвы!

Что это? Уж не угрожает ли ей Мстислав Леопольдович?

Скотина! Он и тогда был скотиной. Она прекрасно помнит, как в Пскове, сделав свое дело, он прошелся по комнате, вскрыл консервную банку датских поставщиков, выел до дна тушенку ломтем черного хлеба (на него всегда нападал жор в такие минуты) и, забыв о всех своих обещаниях, уехал, холодно попрощавшись.

— Закружили их эсеры с заговором, — ответил Ной, едва сдерживая ненависть.

Санька принес пяток стеариновых свечей и зажег три.

Свечи, укрепленные на донышках обливных кружек, мягко освещали большую комнату.

— Я очень сожалею, что нам не удалось догнать их командиршу Леонову. Она бежала на паровозе с тремя санитарными вагонами и отрядом офицеров. Вот только хотелось бы знать — далеко ли они ушли?!

Очень уж беспокоился Мстислав Леопольдович.

— Далек они не ушли. Путиловцы, я думаю, их уже встретили, — прогудел Ной. — И артбригада ушла туда же.

Как-то вдруг сразу на улице посветлело.

Мстислав Леопольдович кинулся к окну:

— Пожар! Склады горят! Сено горит! — ахнул Ной.

Пожар моментально разгорелся. Сено же, сено горит! До неба взметнулось пламя.

— Точно, Ной Васильевич, горит, горит! Фураж горит. Продовольственные склады горят! — крикнул Санька. — Какая-то сука подожгла.

Мстислав Леопольдович быстро оделся, и все трое выбежали из дому.

Дуня осталась одна...

На желтой башне. Сама с собою и с полыхающим пожаром за готическими окнами. Бегут, бегут в ночи люди на пожар. Мелькают за окнами. Страшно и стыдно, стыдно. Спустится ли она когда-нибудь с башни на грешную землю?

Заговоры, заговоры, заговоры...

Зверь то там, то тут выпускал кровавые когти.

Были склады с продовольствием в Гатчине — в уголь и пепел обратились, выгребли из-под углей и пепла смешанную с золою муку, обгорелые туши конского мяса, вздувшиеся консервы...

Было сено — зола и пепел.

Были охвостья с овсом — ни мякины, ни зернышка.

Пожары, пожары!

Взрывы на рельсах.

Не проходило дня, чтобы где-то возле Петрограда или в самом Петрограде, в Пскове, Ревеле не багровело небо пожарищем.

Мстислав Леопольдович торопился, очень торопился. У дома, где он жил с ординарцем и начальником штаба Мотовиловым, его ждали две кошевы. Кони сытые, холеные, только бы скорее рвануть на них!..

Мстислав Леопольдович с ординарцем в поте лица, запалившись, таскали добро из дома в кошеву. Скорее, скорее, скорее бежать санным путем из Гатчины. А Мотовилова нету!.. Где же он?..

Кто это? Что это значит?

Два мотроса с маузерами...

Мстислав Леопольдович поднял руки...

Дуня спряталась под два одеяла и не могла согреться — округлые колени подтянула к подбородку. Уснуть бы! А сна нету. Страшно что-то. Пожар потух, и стало темно. Свеча догорела. Ни председателя, ни ординарца. Поможет ли Дуне Мстислав Леопольдович, как обещал, или выкинет вон из памяти и сердца? Да и кто она полковнику? Он и там, в Красноярске, знал Дуню, по красненькой платил за ночь.

Вспомнила, как в батальоне барышни похвалялись прежними богатствами, удобствами, квартирами, мебелью, женихами, любовными приключениями, и Дуня в свою очередь рассказывала про миллионы папаша, жаловалась на судьбу-злодейку, да никто, ей не сочувствовал: сама дура, если не сумела обжать папашу. Когда проснулась, бледный свет утра разлился по всей комнате. Никого не было. Она не знала, который час. Не вставая с постели, увидела на стуле развешанные женские платья, наряды, наряды — на двух стульях! Боженька — шерстяные платья, шелковые, тончайшие заграничные рубашки, чулки, разные лифчики! Все это так ошеломило Дуню, что она мигом слетела с кровати, схватила в охапку неожиданное богатство. Боженька! Не забыл Мстислав Леопольдович!

— Век буду благодарить вас, Мстислав Леопольдович! Век буду благодарить, — захлебывалась Дуня от радости. И что еще поразило — поверх одеяла была накинута меховая желтая дошка из заморских шкур обезьян, пушистая дошка! В самый раз.

— Ах, Мстислав Леопольдович!

Примеряла, улыбалась и все никак не могла нарадоваться нарядам. И про ночные страхи забыла, про пожар, про Коня Рыжего — этаким мужлан! Нужен он ей, рыжий! Как же ей опротивела фронтовая амуниция! Надела на голое тело рубашку и, довольная, замурлыкала песню.

Нарядилась в бархатное черное платье, перетянулась пояском, прибрала волосы и — к зеркальцу на столе:

— Боженька! Себя не узнать!

На столе записочка:

«Завтракайте. Консервы и хлеб с картошкой завернуты в полотенце под хлебальной чашкой. Чай подогрейте. Серянки на печке. Дрова наложены».

Умора! «Под хлебальной чашкой!» Ну и Конь Рыжий! И чтоб с ним...

Застилая постель, подняла встряхнуть грязную подушечку, и бесики запрыгали: под подушечкой лежали золотые дутые серьги с камнями, браслетик с инкрустациями и — часики! Золотые наручные часики! С золотой браслеткой!

— Мстислав Леопольдович! Какой вы благородный, боженка! — Дуня заплакала от признательности к Мстиславу Леопольдовичу.

Разжигая печку, невзначай взглянула под кровать — женские фетровые сапожки!

— Ай! Да што это?!

А вот и ординарец Санька Круглов в белой бекеше, местами заляпанной сажею на ночном пожарище, чуб из-под папахи.

— Экая! Не признал даже!

— Я и сама себя не узнаю. Откуда это все?

— Откель? От председателя.

— Что?! От председателя?!

— Тайник я открыл в подвале. Хламу там — не провернуть. Ну, таскал оттуда дрова. Вижу — хламом почему-то закрыта одна стена, кирпичная. Вроде не такая, как другие. Поновее. Трахнул обухом — дыра. А там — ишшо подполье. Головастый буржуй проживал. Ну, лежало бы чужое добро, да председатель опосля пожара разворотил тайник, наряды тебе достал. Чаво ж — носи, — зло бормотал Санька, косясь на Дуню. Не для нее припасены наряды-то; экое богатство, ежлив бы домой утащить. «С Конем Рыжим, не иначе, как голышкой заявишься в Таштып. Ишь, вырядилась, курва. К ногтю бы паскуду», — наматывалось у Саньки.

Дуня притихла...

— А полковник... знает про тайник?

— Экое! С чего бы мы открыли полковнику про тайник? У него, небось, свово добра напихано было на две кошевы. Цапнули иво вместе с добром.

— «Цапнули»?!

— Да ты все проспала! Полковника заарестовали сразу, когда хорунжего Мотовилова схватили. Мотовилов склады с продовольствием поджег и сено. Он верховодил заговором в полку. Вчистую оголил Гатчину. Сам Ной Васильевич сказал, что полковник

здесь был. Кабы тебя можно было бы в свидетели выставить, Дальчевского с Мотовиловым шлепнули бы у одной стенки, — умиловил Санька, липуче приглядываясь к Дуне. — Да вот Ной Васильевич скрыл тебя.

— Я ничего не знаю! — растерянно лопотала Дуня, присев на краешек кровати. И нарядам не возрадовалась — живой бы из пекла выскочить. — Может, не они подожгли склады?

— Кто жа? Мотовилов самолично подкрался к часовому, выстрелил в него. Потом, стерва, поджег сено. А казак ишшо живой был. Выполз из огня — обгорелый, назвал Мотовилова и — помер. Мотовилова арестовали, а Дальчевского схватили, когда он барахло свое с ординарцем таскал в кошевы, чтоб бежать из Гатчины. В Петроград повезут.

Распахнулась дверь — и на пороге казак. Глянул на Дуню, а потом на Саньку.

— Слышь, председатель послал. Какая-то Дуня у вас. Эта, што ль? Собери все ее шмутки и беги с ней на фатеру телефонистки. Кто-то сказал Бушлатной Революции, будто она пулеметчица, которая по матросам с водокачки стреляла в Суйде.

У Дуни отнялись руки, и вся она съежилась, будто смерть от дверей нацелилась в нее двумя серыми пулями.

— Боженька! — только и выдавила из себя Дуня.

— Ну, теперь крышка! — ахнул Санька. — Не иначе, как сам полковник выдал.

— Поторапливаться надо, — напомнил казак.

— Куда поторапливаться?! — огрызнулся Санька, заламывая на затылок смушковую папаху. — Тут надо подумать, скажу. Ежли матросы навалятся и востребуют, не спасешься, гли! Моментом перестреляют.

Казак у порога пожал плечами:

— Гляди! Председатель дал приказ.

— Приказ! Не председатель держит на себе большевиков, а матросы да пролетарьи питерские. Али мне свою голову подставить? И куда бежать? Телефонистка, небось, не примет ее в таком наряде. Скажет — буржуйка! Как же быть, а? — тянул время хитрый Санька Круглов и надумал-таки: — Вот што, Евдокея. Ты, это самое, переоблачись, да живее. Сунь буржуйское барахло под кровать, чтоб

духу его не было. А в солдатской амуниции телефонистка примет тебя, и спросу не будет: кто такая? Откеда? Я подожду за дверью.

VI

Дуню отчаянно лихорадило — тряслись руки и ноги, зубом на зуб не попадала. Одно уразумела: «облагодетельствовал» Мстислав Леопольдович! Только он мог назвать ее, чтоб очистить от грязи собственный хвост!

Едва успела надеть солдатские штаны, но еще не затянулась ремнем, не обулась, как влетел Санька!

— Комиссар идет, с матросами! Не успели. Ты это...

Сгреб буржуйское барахло в охапку и затолкал под свою кровать. А вот и Ной на пороге в рыжей бекеше, перекрещенной ремнями, при шашке, а за ним, в размах его плеч, комиссар полка Свиридов с двумя матросами в шапках-ушанках и в своих неизменных черных бушлатах.

Комиссар взглянул на Дуню и круто повернулся лицом к председателю:

— Она?! Что ж вы говорили, что знать не знаете пулеметчицы?

— Нету здесь пулеметчицы, а вот землячка моя, Евдокией звать, гостюет.

— А ну, позволь взглянуть, — Свиридов хотел обойти Ноя, да тот взмахнул правой рукой и в ладонь из рукава бекешки сам собою влип револьвер. — Ты эти штучки брось, председатель! — напряжился комиссар и — руку на деревянную кобуру маузера, а за ним, как по команде, матросы выхватили маузеры.

— Не балуйте! — осадил Ной. — Слышите топот? Сейчас будет здесь сотня енисейцев. Гляди в окно — прискакали уже. Я не ваше высокоблагородие — у меня за спиной казаки, на позиции вместе пластались. За мою голову ни одной головы матросов не останется во всей Гатчине.

Скулы Свиридова отвердели, как из бронзы литые. Санька меж тем, отступив к своей кровати, ошалело таранился на всех.

— Ной Васильевич! Ни к чему эдак-то. За какую-то пулеметчицу, господи прости, голову терять? Сколько она казаков перестреляла! Миловать ее, што ль?!

Ной коротко и люто оглянулся на Саньку и опять уставился на комиссара.

— Да ведь я ее знаю! Точно! — пригляделся Свиридов. — Как у меня вылетело из головы. Это же питерская проститутка Дуня!.. Известно вам, председатель, что это за штучка? В моем отряде есть матрос первой статьи Нестеров, он ее хорошо знает. Она была казначейшей в нашем матросском клубе в Кронштадте, а потом подхватил ее какой-то офицерик, и она умелась из Кронштадта в женский батальон смерти. Точно!

Председатель ничего не сказал на эти слова комиссара — стоял как каменный.

— А ну, собирайся! Ответ держать будешь за расстрел матросов.

— Не я, не я, не я! — пятилась Дуня за спину Ноя. — Леонова стреляла из пулемета с водокачки. Не я, не я!..

— Врешь, штучка! Собирайся!

— А я грю, не возьмешь ее, комиссар. Не она была заглавной фигурой — не ей ответ держать. Кабы я вчера был в штабе, не дал бы под распыл, пятерых батальонщиц!

У Свиридова желваки играли на выпяченных скулах.

За окном кони, кони, всадники, всадники — всю улицу запрудили. Кто-то зычно подал команду:

— Спе-ешиться! Окружить! Матросов с комиссарами не пускать из дома!

Ной спокойно спрятал револьвер в кобуру:

— Слышал, комиссар, как твоя башка взыграла? Не пулеметчицу тебе брать надо под арест, а тех серых, которые закружили бабий батальон. Да и наш полк окончательно развалили!

Свиридов укоризненно покачал головой:

— Не думал, что за какую-то потаскуху бузу поднимешь. Не думал! Дело не в том, что она не заглавная фигура, как ты говоришь, но она контрреволюционерка! Это уж совершенно точно. А ты ее покрываешь. Это как понимать?!

— Так и понимай, комиссар: лежачих не убиваю. В этакое круговращенье, какое происходит по всей России, не одна Евдокия Юскова закружилась. А может, и мы с тобой закружились, если друг друга не понимаем?

— Ты бы узнал у матроса Нестерова, кто она такая. Мы ее подобрали в Петрограде, доверие оказали в Кронштадте, а что вышло? Как была она... Пусть сама скажет. Спроси, кто она такая?

— Ни к чему спрос, — отмахнулся Ной. — Если вы ее таскали — не вам хвалиться. Всякого можно истаскать и затаскать, а после к стенке поставить. Или она не в женском облике? Или с оружием против тебя стоит? Была драка — бились, после драки — думать надо, милосердными быть к поверженным и побежденным. Такоже!

— Ладно, председатель. Нам нужно ехать в Смольный, — трудно провернул комиссар, когда распахнулась дверь и в комнату ввалились казаки.

Карабины. Шашки. Револьверы.

— Если не дашь слово, что матросы твои не тронут без меня Евдокию, в Смольный не поеду. И комитетчики с места не тронутся.

— На кой черт мне твоя Евдокия! Держи ее при себе, если она тебе так понравилась, — раздраженно ответил Свиридов.

— Не те слова говоришь, комиссар, — урезонил Ной. — Про то, понравилась или не понравилась — разговора нет. Я за всю войну ни единой жизни не погубил зазря. В бою — лоб в лоб, зуб в зуб. А если без боя — не шашками лязгать, не револьверами тыкать в морду.

Свиридов еще раз напомнил, что надо ехать в Смольный, поезд на Петроград подойдет через полчаса.

— Пулеметчицу никто из матросов не тронет. Можешь не беспокоиться.

— Ладно, — согласно прогудел Ной. — А теперь ступай на станцию, и вы тоже идите, — кивнул Крыслову, Сазонову и Павлову. — Проводите, казаки, комиссара. И чтоб никакого шума. Честь по чести. А ты, Мамалыгин, снаряди людей выкопать братскую могилу для павших в бою.

Подхорунжий Мамалыгин спросил:

— Где копать?

— На кладбище. Или убитые нехристи?

Как только последний из уходящих закрыл за собою дверь, Ной, облегченно переводя дух, вытер рукою пот со лба, устался на ординарца.

— Экая ты падаль, Александра! А ну пойдём, поговорим.

У Саньки округлились глаза, как луковицы, и рот открылся.

— Разве я, Ной Васильевич? Разве я? За ради Христа...
— Пойдем, говорю! — люто прищипнул Ной и, распахнув дверь, пропустил вперед ординарца.

VII

Она живая! В который раз за минувшие сутки смерть помиловала Дуню! Живая! Кто же он, этот человек, Ной Васильевич? За какие такие добродетели спасает он ее от смерти? На поле боя у казаков выхватил и от комиссара Свиридова заслонила собственной грудью... А Мстислав Леопольдович, вчерашний миленочек, предал!..

«Боженька! — шептала Дуня, возвращаясь к жизни. — Они бы меня убили! И за Кронштадт, и за все! Как мне страшно!.. Запуталась я, запуталась, а жить, жить хочу, боженька!»

А вот и Ной. Дуня вцепилась в него своими черными глазами, и слезы брызнули. Упала на колени, молитвенно сложила руки.

— Век буду помнить вас, Ной Васильевич! Век буду молиться за вас. Клянусь!

— Экое! — растерялся Ной. — Не за меня, а за себя молись, скажу. Из-за красоты, должно, в грязи испачкали тебя, и ты же виноватой стала.

— Боженька! — плакала Дуня. — Не из-за красоты, а из-за душегуба-папаши. Продал меня за пай на прииске. Ох, сколько я слез выплакала! Сколько мучений! И никто, никто не помог мне!..

— Забудь про то, Дуня. Каждый человек, покуда жив-здоров, сам себя может выпрямить. И ты также — душу воскреси, и радость тебе будет. Ординарец отведет тебя на фатеру телефонистки — поживешь покуда в тайности.

Дуня поклялась, что отныне она «выпрямится на всю свою жизнь».

— А ты не клянись. Другой поклянется, слышь, и тут же соблазн лезет в голову. Ты верь, верь, удерживай себя от грязи, и господь поможет тебе.

Некоторое время Ной стоял посредине комнаты, слушая Дуню, увидел под стулом Георгия с бантом, поднял и наказал Дуне:

— Береги! Про позиции век будешь помнить. Этакое, господи прости, суматошное время!

Санька отвел Дуню на квартиру телефонистки недалеко от станции.

— Чаво так переживаешь? Таперь не повяжут матросы. Не думай. Нихто не тронет — хорунжий не даст. Он, язви иво, характерный, леший. Ежли што втемяшит в башку — молотком не выбьешь. Приглянулась ты ему, штоль, не рассужу вас? Мы с ним годки — завсегда вместе. Слава богу, живы покель. У меня-то дома — жена, двое ребятишек, матушка моя — овдовела с японской. А у Ноя Васильевича крылья на разлет — холостует покель и соблюдает себя в строгости. Хоша бы разок оскоромился, холера, и меня держит на притужальнике. Никакой слабоды с ним, как вроде большевик. Оно и выходит: на словах не с большевиками, а как на деле — в их оглоблях ходит, как сродственность духа имеет. Кабы не он, полк наш, может, перещелкал бы матросов на митинге, а он, язва, выступил, обсказал, что к чему, и казаки расчихвостили ваш батальон.

Сцепив пальцами руки на коленях, Дуня сидела на чужом стуле, в чужой горнице дома железнодорожника, как будто упала на этот стул с поднебесной башни.

— Не чаевничала?

— Н-нет. Какой мне чай?

— Чай завсегда согревает. Попрошу хозяйку, штоб поставила самовар, и сбегая к себе за провизией.

— Не оставляйте меня, ради бога. Мне страшно.

— Экое! Чаво страшно?

— Я так виновата перед вами! Так виновата! В ногах буду просить прощенья у Ноя Васильевича.

— Оборони бог! Он, гли, шибко стыдливый. Виду не подавай. Дома скоро будем. Комиссар полка так-то лез из свово бушлата — уговаривал послужить ишшо мировой революции. От своей дых в ноздрях сперло, дык штоб ишшо мировую свершать!

Плюнул и вышел в переднюю избу.

Поезд ползет — на коне обогнать можно. В вагоне — холодище: угля нет, и дров нет. Народу не густо — богатые мужики неохотно наезжают в Питер: ни ярмарок, ни базаров, а жуликов-мазуриков — небо темное.

Едут работницы закрытых фабрик, рабочие в легкой одежке — рыскали по близлежащим волостям в поисках продовольствия, меняли вещи на крупу, картошку, овощи, неободранное просо, овес, и у всех мешки тощие, и каждый держится за свой мешок, как черт за грешную душу.

Едут. Не ропщут. Никого не клянут. Молча.

Трое комитетчиков с Ноем Лебедем спрессовались на одной из нижних полок, а насупротив, горбясь, у заледенелого окна, комиссар Свиридов, зубы стиснуты, маузер на коленях, бескозырка с лентами, а на лентах явственно читается: «Гавриил» — эсминец Балтийской эскадры; комиссар косится на лампасников в бекешах.

За два месяца комиссарства в сводном Сибирском полку матрос первой статьи Иван Михайлович Свиридов так и не уяснил: кто они такие, казаки? Если вывернуть под корень — мировая контра, дубье, ни словом пронять, ни советскими декретами. Глухи и немые.

А казаки: начхать нам на тебя, Бушлатная Революция! С чего ты залез к нам в комиссары? Ежели отродясь на коня не садился — какой из тебя сродственник нам?

Прохрипел паровоз — для подходящего гудка пара не хватило: доездились, досвершали революции — в почки, селезенку! Подумали так, но — молчок, при комиссаре у полкового комитета на губах замки навешаны.

Сошли с поезда. Комиссар первым, за ним комитетчики. Мешочки высыпали из вагонов.

— Экий туман! — сказал Крыслов.

— Хоть ложкой хлебай, — поддакнул Павлов.

— Тут всегда так, — согласился Сазонов. — Ни в жисть не стал бы мыкаться в этакой мокрости. И чаво здесь столицу поставили?

Ной ничего не сказал — смотрел вдоль состава: сейчас должны вывести на перрон арестованных Дальчевского с Мотовиловым. Экое, а! Склады сожгли, подлюги благородные.

— Ну, топаем! — подтолкнул комиссар. — Извозчиков нам не предоставили.

И пошел первым.

— Где у них Смольный? — спросил Крыслов.

— Комиссар доведет, — пробормотал Павлов.

— А што нам в том Смольном, Ной Васильевич? — начал тощий Сазонов. — Ты как председатель говори за всех.

Павлов туда же — не сподобился, и Крыслов предупредил, что говорить с красными комиссарами не будет. Отдувайся за всех один, председатель.

Разделились попарно — впереди хорунжий Лебедь с Крысловым, а за ним Сазонов с Павловым. Ну, а ведущим — комиссар.

II

Из улицы в улицу все строже город — огромная и туманная явь беспокойного, норовистого Петра Первого.

Ной помнит Петроград пятнадцатого года, когда побывал здесь в эскорте, сопровождающем в столицу с фронта великого князя Николая Николаевича — дядю царствующей особы. До столицы ехали в императорском вагоне под надраенными медными орлами. Стоял погожий июньский вечер.

Тот Петроград оглушил хорунжего Ноя Лебеда — глаза разбегались во все стороны; сверкали эполеты с аксельбантами, звенели шпоры, соблазняли огромными витринами магазины, извозчики мотались по вылизанным улицам, и кони лоснились от сытости, богатые дамы волочили шлейфы, гимназистки и студенты тарасились на казачий эскорт на белых конях, царев дядя картинно приветствовал зевак, помахивал рукою в лайковой перчатке, трамваи весело позвякивали, колокольный перезвон церквей и соборов могучими волнами плыл над столицей, багряным золотом заката сияли купола; Зимний дворец строжел окаменелыми часовыми. Миллионная улица, задыхаясь от патриотического гула по случаю победы над австро-венграми в Галиции, день и ночь бражничала в шикарных гостиных. Все тогда слепило — от Адмиралтейского шпиля, Петропавловских золотых колоколен, чешуйчатой шкуры куполов

собора Исаакия до окон и стен Зимнего дворца, — во всем чувствовалась столица Российской империи под двуглавым орлом...

И вот другой Петроград!

Постарелый, серьезный, умыканный, с голодными, бледными лицами прохожих. Витрины магазинов заклеены афишами, призывами новой власти, вывески покоробились, и некому их снять — магазины мертвые, на тротуарах мусор, смешанный со снегом, улицы черные, утопанные, и редко-редко проедет извозчик на отощалой лошаденке — ребра да кожа; прошел трамвай — не трамвай, усевье чернущее, как птицы, бывает, облепят дерево, так виснут люди со всех сторон на трамвае-тихоходе — глядеть тошно; а вот топает серединою улицы красногвардейский рабочий отряд. Командир в потертой тужурчонке с красной повязкой на рукаве, за ним, по четыре в ряд, не в ногу, кто в чем, и все они озираются на казаков, зло бормочут: «Лампасные сволочи!», а казаки идут себе за комиссаром. Уши комиссара пламенеют от мороза, но он ведет, ведет комитетчиков-казаков, хотя вести ему их горше горькой редьки, легче бы разрядить обойму в них, чтоб навсегда опустить на дно революции чугунные якоря бывшего самодержавия. И думает комиссар Свиридов: не сегодня, так завтра вот эти самые комитетчики полка, будь они прокляты, гикнут, свистнут и почнут рубить Советскую власть и, кто знает, какими силами и какой кровью одолеть их придется?.. А он, Иван Свиридов, большевик, должен возиться с ними, да еще вести в Смольный! Он, Иван Свиридов, верит в мировую революцию — верит потому, что другого ему не дано, он свое завоевал в памятную ночь при штурме Зимнего и никому не отдаст завоеванное, потому что оно составляет твою сущность и все твое будущее.

Топают, топают ботинками комиссар Свиридов на три шага впереди полкового казачьего комитета.

Узкая, кривая улица — всюду печатные призывы, лоскутья от вчерашних и позавчерашних декретов, улица постепенно прямится, раздвигается в Лафонскую площадь, комиссар подворачивает к каменной ограде — двое часовых в шинелях, на ремнях — патронные подсумки, по правым рукавам — красное, к винтовкам примкнуты штыки. Невдалеке пылает костер — жгут трухлявые бревна, греются солдаты. В трех местах установлены артиллерийские орудия, два броневедомокола и — солдаты, солдаты!.. Смольный!..

У парадной лестницы часовой, а по бокам — по станковому пулемету.

Комиссар все время предъявляет пропуск.

Шашки бряцают по каменным ступеням лестницы — звяк, звяк, звяк — со ступеньки на ступеньку, шпоры — цирк, цирк, цирк, как бы тоненько подпевают звяку шашек. У самых дверей, слева — станковый пулемет, магазинная часть и патронная лента накрыты брезентом, пулемет установлен на металлическом цилиндре — с корабля снят или откуда-то с береговой обороны; еще двое часовых, на этот раз строжайшие, придирчивые.

Смольный!

Не Зимний дворец — шикарный, узорно-паркетный, с колоннами и сводами, ослепительными залами, дивно и прочно сработанный русскими умельцами, резиденция царей, где после полковника Николашки витийствовал нечаянно взлетевший на перистое облако верховной власти Керенский, — а Смольный, где до большевиков топали ботиночками пахучие воспитанницы института благородных девиц и после февральского переворота разместились редакции большевистских газет.

— Экое, а? Смольный!..

Ш

Всюду вооруженные солдаты, матросы, дым от самокруток под самые своды. Парадная лестница вверх, и тут двое часовых — дюжих, крепких, в шинелях и папахах с красными повязками, винтовками со штыками. Весь Смольный в крепость превращен. Комиссар Свиридов предъявил пропуск: часовой, не читая, позвал:

— Товарищ Чугунихин!

По выговору латыш, кажись. А вот и Чугунихин, при маузере, в кожаной тужурке с оттопыренными карманами, в руке солдатский котелок с кашей, лапа в лапу с комиссаром Свиридовым.

— С казаками? Почему опоздали? К 10 утра, а в данный момент имеем, — посмотрел на часы, — семь минут третьего. Не торопитесь. Лебедь, Павлов, Сазонов, Крыслов. Кто Лебедь?

Хорунжий — грудь вперед, подборы сапог стукнули.

— Председатель полкового комитета? Ну что ж, иди с ними, Свиридов, в нашу семьдесят пятую. Там Оскар с комиссарами. — Скользнул по шашкам, насупился: — Револютеров нет?

— Оставили, как сказал комиссар.

Чугунихин к Свиридову:

— Точно?

— Я предупреждал.

— Идите.

Пропуск наколол на штык часового, а таких пропусков наколото на четверть четырехгранного штыка.

Поднимаясь на третий этаж, оглянулся:

— Если у кого револьвер при себе — отдай сейчас же. Ясно?

Идут. Поддерживают руками шашки. Ной охватывает взглядом всех, кого видит, — латышей, людей в штатском, женщин, какого-то бородача в лаптях и длинной шубе, еще трех мужиков, что сидят на среднем пролете лестницы, смолят сигарки.

— Казаки! — как будто на пожар крикнули.

— Матрос за собой тащит. Может, заарестовали?

— Всех бы их заарестовать! — ударило в спину Ноя.

А вот и штаб комиссаров Смольного. Затылки, спины, спины — в гимнастерках, кителях, кто в чем, и все с оружием.

К Свиридову подошел один из комиссаров — высокий, русский.

— А, Свиридов! Здравствуй!

— Здравствуй, Оскар. Порядок у вас?

— Всегда порядок.

Ной отметил про себя: латыш.

— Ну, я пойду, Оскар. Пусть товарищи отдохнут у вас.

— Пожалуйста, пожалуйста!

Берзинь подошел к комитетчикам.

— Садитесь, товарищи. Можно снять ваши шубы. У нас был сообщенья. Восстал ваш полк. Это был скверный сообщенья. Утром вчера мы узнали: ваш полк разгромил эсерский батальон женщин. Это хороший сообщенья!

Казаки ни гу-гу, языки за стиснутыми зубами, как шашки в ножнах, не спеша разделись, сложили бекешы и папахи на два свободных стула. Трое комитетчиков в гимнастерках под ремнями. Ной

Васильевич в офицерском кителе со всеми Георгиями. У Крыслова и Сазонова тоже по два Георгия.

Сидят.

Комитетчики засмолили сигарки; Ной отодвинулся от курильщиков к окну. Думал, мараковал: как и что?

Прислушался — трое комиссаров меж собою разговаривают по-латышски. Здоровенные, укладистые, белобрысые.

По тому, как приходили, рапортовали и тут же уходили комиссары, Ной догадался, что все они носятся по Петрограду из конца в конец, и не без урона, должно.

IV

...Комитетчики были довольны: военный комиссар Совнаркома Подвойский, пригласив их к себе в кабинет, сообщил, что в ближайшие дни полк будет демобилизован. И от имени Совнаркома объявил благодарность за службу социалистической республике.

В разговоре выяснили, сколько казаков и из каких войск, куда и как долго кому ехать? Ной деловито и точно отвечал на все вопросы. Он мог с закрытыми глазами среди ночи рассказать о всех казаках: кто чем дышит, у кого какая рука — тяжелая или легкая, и кто во сне храпит.

— Ну, а кони как? — вдруг спросил Сазонов.

Комиссар не понял:

— А что вас беспокоит?

— Мы ведь казаки, — ответил Сазонов. — Каждый явился по мобилизации на своем коне. И ежели демобилизуемся, то за коней военные власти деньгами должны выплачивать.

— А вы забыли: сожжены склады с фуражом и продовольствием? — вставил Свиридов. — И, кроме того, в Петрограде мрут ребятишки от голода. Так что кони пойдут на мясо.

— Ни к чему разговор, — отмахнулся Ной Лебедь. — Разве ты, Михаил Власович, свово Пегого не съел? Какого тебе еще коня надо?

— Эв-ва! — не сдавался Сазонов. — В бою с батальонщицами ханул мой Пегий. Ежли в бы я иво сам прирезал, тогда бы другой разговор. Тут ты, Ной Васильевич, как по войсковым нашим порядкам, неправ, скажу.

— Ну, завел, Сазонов! — укорил Павлов. — Хучь бы самим доехать домой в добром, здравии, а то ишло с конями. Как бы ты, скажи, перетаскивал коня на пересадках из вагона в вагон?

— Да он бы Пегого привязал сзади поезда, — пояснил язвительный Крыслов. — А чаво? И литера на проезд не надо, ей-бо...

— Ну, будет, — оборвал разговор Ной.

В этот момент в кабинет вошел приземистый человек в суконных брюках, пиджак расстегнут, жилетка под пиджаком, черный галстук на белой рубашке, лбина в четверть, лысый и, как особо отметил Ной, — рыжая, аккуратно подстриженная борода.

Комитетчики не обратили внимания на вошедшего, занятые размышлениями о предстоящей дороге в отчие края. А Ной, напряжись, вдруг сразу признал: это же сам Ленин! Он не раз видел его портрет в комнате комиссара Свиридова.

Подвойский подумал, что Владимир Ильич решил просто послушать комитетчиков, не называя себя, как это он делал ежедневно в Смольном, когда заходил в семьдесят пятую комнату, в столовую или разговаривал с солдатами в коридорах.

Но Ленин протянул руку сидящему рядом с Подвойским казаку:

— Давайте познакомимся. Ульянов Владимир Ильич. Председатель Совета Народных Комиссаров.

— Сазонов, — не без натуги вывернул казак. — Михаил Власович.

— Солдат?

— Числюсь — старший урядник, по войску, как округлили.

Ленин подал следующему руку, тот сразу ответил, бойчее:

— Павлов, Яков Георгиевич.

Следующий:

— Вахмистр кавалерии, Иван Тимофеевич Крылов, Семипалатинского казачьего войска.

Ной, как и все члены комитета, поднялся и ответил твердо:

— Хорунжий, Аленин-Лебедь, Ной Васильев, Енисейского войска Минусинского казачьего округа.

— Очень приятно. Бывал в ваших краях. — Ленин пригласил комитетчиков сесть и себе взял стул, подвинулся поближе.

— Товарищ военком, вы передали благодарность Совнаркома сводному Сибирскому полку за добросовестную службу?

— Передал, товарищ Ленин.

— Очень хорошо. — Ленин взглянул на рыжебородого Ноя: — Надо довести благодарность до каждого казака и солдата.

Ной моментом поднялся:

— Будет исполнено, товарищ председатель Совнаркома. Да только не достойны мы благодарности, как не удержали полк. Окончательно расшатали серые, то есть эсеры.

— Это нам известно, — ответил Ленин и спросил: — Есть ли у полкового комитета вопросы к Совнаркому республики?

Члены комитета, понятно, как в рот воды набрали.

Отдулся председатель:

— Один был вопрос — демобилизация. Разрешили только что с военным комиссаром. Других вопросов не имеем.

— Так-таки никаких вопросов? — прищурился Ленин и чуть наклонился в сторону председателя. — Ну, а как вы разъедетесь? У вас же сводный полк. Ехать всем не в одно место.

— Само собой. Всяк в свой край поедет.

Ленин обратился к военному комиссару:

— Надо, товарищ Подвойский, организовать отъезд казаков и солдат. Сейчас тяжелое положение на транспорте. Есть еще имущество полка, вооружение, кроме личного оружия. Сколько потребуется времени, чтобы полностью демобилизовать полк?

Подвойский доложил:

— За пять дней управимся.

Ленин спросил у Сазонова:

— Давно на фронте, Михаил Власович?

Сазонов подскочил, будто ему пружина ударила из сиденья мягкого стула.

— Как с мобилизации, значит, с августа 1914 года.

— Из какого войска?

— Енисейского, как вот наш председатель. Станицы Атамановой.

— А! Большая станица?

— Как жа — раз Атаманова. Допреж в станице проживал сам атаман. Теперь не живет. Да и атамана нету. Так, барахло.

— Барахло? — насторожился Ленин. — В каком смысле барахло, Михаил Власович?

Сазонов оглянулся на Ноя и не знал, что ему делать. Эко проговорился! И ведь никто за язык не тащил — сам брякнул. И со стороны председателя комитета — никакой подсказки.

— Так кто же у вас теперь атаманом? — допытывался Ленин.

— Да вот прописывали мне: объявился атаман от серой партии, сотник, и по фамилии Сотников. Дык я иво хорошо знаю: на позиции ишшо в пятнадцатом году вилял и так и эдак, покель в тыл не умелся, как по нездоровью. А здоровый! Хитрость все. А при Временном там, в Красноярске, атаманом войска стал. Теперь замутил воду и казаков втянул в мятеж — не признали новую власть. Как и што там произойдет в дальнейшем — того сказать не могу. Вот и сказал: барахло, не атаман.

Ленин оживился:

— Совершенно верно, Михаил Власович: барахло. К сожалению, такого барахла, как названный вами сотник, всплывает сейчас немало, и сами казаки должны тщательно присматриваться ко всем самозванным атаманам. Время очень тревожное.

— Куды тревожнее! — кивнул Сазонов. Повеселел старший урядник, как будто гора с плеч свалилась. Ленин-то экий уважительный, а? И по имени-отчеству называет, и разговаривает запросто, а не как генерал или тот Дальчевский со злым сверканием в глазах. Ведь чего только говорили серые про Ленина!

Ленин спросил у Павлова: «Давно ли на фронте, Яков Георгиевич?»

— С шестнадцатого, как имел освобождение по многодетности. Проживал в станице Масловка под Оренбургом.

— Богатая станица?

— Была богатая. В 905 году кыргызы пожгли, и с той поры так и не поднялись. За што? Дак известно — за землю. За сенокосы, то исть. Река у нас Масловка. Как весной разливается — на поймах трава богатющая. Дак эта самая Масловка с поймами, как вроде к нашей станице отходит, а вроде не к нашей — к кыргызскому аулу. В точности столбами граница не обозначена. Ну, как почалась заваруха в 905 году по всей Расее, налетели кыргызы на станицу с кольями, ружьями, как саранча, стребили много казаков, детишек, стариков и дома пожгли — пожарище такое было, ужас вспомнить. Вот и захирела станица.

— Понимаю, понимаю, — кивнул Ленин и спросил у Крыслова:

— А вы давно на фронте, Иван Тимофеевич?

«Ишь, всех упомянул», — отметил про себя Ной.

— С объявления войны мобилизован. При лазарете долго лежал в Пскове опосля тяжелого ранения. Вот и толкнули потом в этот сводный полк.

— А вам хотелось бы вернуться в свой, кавалерийский?

— Не было свово — начисто стребили мадьяры. Ни штаба не осталось, ни полковника. Эскадрона не набрали из тех, какие живыми выскочили. Сам я под шрапнельный снаряд попал. В трех местах продырявило, окромя двух ранений, какие поимел ишшо в четырнадцатом зимою. По этой причине вот.

— Что же вас не демобилизовали?

— Дак командование по приказу самого Керенского спешно сколачивало сводный Сибирский полк, вот и собирали кого откуда, штоб направить на Петроград. А полк по прибытии в Петроград другое соображение сложил: стрелковые батальоны сразу перешли на сторону революции и дрались с юнкерами и другими частями.

— Но ведь вас силою не принуждали «сложить другое соображение?» Или грозились?

— Никак нет. Того не было.

— Ну, а что вы скажете станичникам по прибытии домой? — спросил Ленин у Крыслова. — Казаки, думаю, будут спрашивать: почему служили на стороне Советов, а не с мятежниками генерала Краснова? И кто такие большевики?

У Крыслова в мозгу заклинило. Вопрос-то щекотливый! Сам о том думал денно и ночью. А как ответить? Ленин ведь перед ним!

— Что вы скажете? Или в вашей войске все спокойно, и казаки поголовно приняли социалистическую революцию и декреты Совнаркома?

— Как ежели по вестям из дому — не приняли, — ответил Крыслов и вытер тылом руки пот со лба. — Сумятица происходит по всем станицам. Побоища между иногородними и поселенцами покуда нету у казаков, дак, как вот говорил наш председатель, нарыв сам по себе вспухает.

— Вспухает нарыв?

Крыслов окончательно упарился и никак не мог отвертеться от вопросов председателя Совнаркома.

— Да и среди казаков нашего полка очинно большие сумления. И в самом нашем комитете. Вить, как вот слышал: большевики изведут казачье сословие, как тех буржуев и министров Временного.

— Ну, это все провокации! — успокоил Ленин. — Никто из большевиков не думает, можете мне поверить, истреблять или, как вы сказали, «изводить» казачье сословие. Трудовое казачество для нас, большевиков, то же самое трудовое крестьянство. Живите на доброе здоровье. Вот сегодня, например, я только что подписал телеграмму в Войско Донское на съезд сельских и городских Советов, в которой сообщил, что Совнарком ничего не имеет против автономии Донской области. А ведь нам известно, что заговорщики генералы, тот же Краснов, мятеж которого был подавлен под Петроградом при участии вашего сводного Сибирского полка, готовят восстание на Дону против Советов. Так кто же кого собирается «изводить?» Казаки Советскую власть рабочих, крестьянских и солдатских депутатов или большевики казаков? Разве большевики «изводили» казаков сводного Сибирского полка в Петрограде и в Гатчине?

— Того не было!

— И быть не могло, — уверил Ленин. — Но полковому комитету, как высшему органу власти, думаю, надо серьезно обдумать свое настоящее положение и разъяснить казакам и солдатам: кому вы служили? Именно Советам, социалистической революции. Служили без принуждения.

— Принуждения не было, — подтвердил Крыслов, хотя именно он говорил среди казаков, что их принуждают большевики денно и ночью своим матросским отрядом. Но ведь то разговор среди казаков!.. Да и на заседаниях комитета Крыслов качался из стороны в сторону, то к восстанию, то против. — Принуждения не было, — повторил Крыслов и кстати вспомнил: — Но вот как мы порешили на заседании комитета с нашим председателем... — Крыслов упустил ниточку и запутался, не знал, что сказать дальше?

— Так что же вы решили на заседании комитета?

Крыслов отважился ответить прямо:

— Да вот сам Ной Васильевич сказал: «Как мы есть казаки — того и держаться надо. Ни к большевикам в партию, ни к

меньшевикам, ни к серым». За казачество, значит.

— Это совершенно правильная позиция, — поддержал Ленин на полном серьезе. — Надеюсь, товарищ Свиридов, вы не принуждали казаков вступать в нашу партию?

Комиссар Свиридов встал.

— И разговора такого не было, товарищ Ленин. Наша партия сознательных революционеров, как же я мог принуждать...

Карие прищурные глаза Ленина уперлись в такие же карие, открытые и немигающие глаза Ноя Лебеда.

— Ну, а вы давно на войне, Ной Васильевич?

Ной поднялся, звякнул шашкой, ударившейся об стул.

— Да вы сидите, Ной Васильевич!

— Не можно то, — отверг Ной. — Мобилизован в марте четырнадцатого года со старшим братом.

— Да садитесь же вы, Ной Васильевич. Или и мне придется подняться?

Ной опустил на мягкий стул аршином. Потяни за чуб — подпрыгнет.

— Вы из станицы Таштып?

— Так точно, товарищ председатель. Минусинского казачьего округа.

— Я в Таштыпе не был. Три года отбывал ссылку в селе Шушь. Бывал на Енисее — загляденье. Такие изумительные места.

От этих слов у Ноя потеплело на душе, и он, вздохнув, сказал:

— Бывал я в Шуше два раза. Любее места не сыщешь. Острова там зеленеют, и как поглядишь окрест, так и дых захватывает — этакая там пространственность! А пшеничка какая вызревает?! Наши казаки не раз ездили на базары в Шушь, чтоб заместо своей шушенскую купить. Ведь из ихней пшеницы булки такие ноздреватые и пышные, каких ни в жисть не испечешь из таштыпской. Потому, как наша станица в горах, и приморозки бывают, почитай, кажинный год. И на охоту хаживал там на озера — сколь дичи, господи помилуй! Или бор сосновый — дерево к дереву, и солнце цедится сквозь ветки, а внизу тени лежат, да с узорами. Едешь и так-то легко дышится, глубоко. Стал быть — пространственно!

— Именно так, пространственно, — подхватил Владимир Ильич, и в лице его, измученном напряженной работой и бессонницей,

появилось нечто мягкое, размытое воспоминаниями. И в то же время лицо как-то посерело. И все увидели разом: как он устал!

— Николай Ильич, вы угостили товарищей обедом? — вдруг спохватился Ленин.

Нет, оказывается, обедом не угостили.

Ленин укоризненно покачал головой: нехорошо! Непременно накормите товарищей, и они сегодня же должны вернуться в Гатчину: отвезите на машине к поезду. И попрощался со всеми за руку.

— Ну, а мы с вами земляки, значит? — задержал руку Ноя Лебеда. — Или трех лет ссылки мало для того, чтобы считать себя земляком минусинцев?

— Того даже много, — сразу ответил Ной. — За три года наша Сибирь, как говаривают, или с костями пережует и поминок по себе не оставит, или дух стальной в грудь нальет.

— Совершенно правильно! — согласился Ленин. — Это мне хорошо известно. Много наших товарищей погибло в ссылках, на каторгах. Но «поминки» они по себе оставили: рабоче-крестьянскую революцию. — И, помолчав, спросил: — Знают ли казаки и солдаты полка о том, что Советское правительство ведет переговоры с немецким командованием о подписании сепаратного мира?

— Знают, товарищ председатель Совнаркома, да только много туману напущено серыми. И что немцам будут отданы целые губернии, как вот Курляндия, Лифляндия, а так и часть Украины. Про то слышал в Петроградском Совете.

Ленин наклонился чуть вперед и вдруг спросил:

— Значит, ваш полк достаточно боеспособен, чтобы перебросить его на Северо-Западный фронт для борьбы с немцами?

Ной Васильевич вытаращил глаза:

— Такого не говорил, извиняйте. Полк наш, как вот известно из протоколов митингов, окончательно развалился. С таким полком только бежать от Гатчины до Вятчины, — кстати вспомнились слова ординарца Саньки.

Ленин засмеялся, приговаривая: «От Гатчины до Вятчины!»

— В таком случае, как же подписать мир с сильным противником?

Ной Васильевич взопрел — нижняя рубаха к лопаткам прилипла, и по спине, чувствовал, соль стекала под брючный ремень. Вот он каков, Ленин-то!

— Не с моим умом, товарищ председатель Совнаркома, обсуждать такие вопросы, извините великодушно, — уклонился хорунжий. — Про мир или войну с Германией Совнарком, должно, решит умнее меня.

Но и от Ленина не так-то просто было уклониться. Он обязательно хотел узнать: какие мысли у казачьего хорунжего о предлагаемом германскому командованию сепаратном мире?

Ной отважился сказать:

— Мои думы, товарищ председатель, хлебопашеские, казачьи. Ну, а если по-казачьи, то деды говорили так: с сильным не дерись, с богатым не судись.

— Именно! Немцы в данный момент достаточно сильны! — согласился Владимир Ильич и, провожая Ноя к выходу, сказал: — Передайте мой сердечный привет минусинцам и особенно сознательным крестьянам и трудовым казакам.

Ной поклонился, сдвинул задники сапог, так что шпоры тренькнули, развернулся и вышел из кабинета строевым шагом.

V

Беды не ждут урочного часа — накатываются неожиданно.

Все началось утром 29 января.

Ной с Санькой не успели еще позавтракать, как прибежал к ним, запыхавшись, Карнаухов и, не переводя дух, шарахнул:

— Беда, товарищ Конь Рыжий! — Впопыхах Карнаухов запомнил имя-отчество и фамилию председателя полкового комитета. — Солдаты бегут. С винтовками, боеприпасами, со всеми шмутками. А ночью, как только что узнал, из команды пулеметчиков сбежали с товарным поездом семеро и утащили «льюис» с патронными цинками и один «максим». Это же надо!

Под Ноем будто фугас взорвался: так и подпрыгнул.

— Пулеметы сперли? А вы где были, командир батальона? Спрашиваю!?

— Дежурил в штабе!

— Дрыхли вы в штабе, Карнаухов! А еще фельдфебель! Пулеметы у него сперли! Солдаты бегут вооруженными и тащут полковое

имущество. Эт-то што такое, а?! Сей момент в штаб своих комитетчиков.

Карнаухов сгорбился, развел руками и растерянно пробормотал:

— Нету.

— Кого нету?!

— Комитета батальона. Еще ночью уехали с теми пулеметами.

Пятеро пулеметчиков, а двое — члены комитета.

Ной сел — ноги не держали.

— И Ларионова нету, — дополнил Карнаухов.

— Што-о-о?

У Ноя дух занялся. Ларионов — председатель батальонного комитета, прапорщик с двумя Георгиями, отменный командир, на него-то особенно надеялся Ной, и вдруг! Быть того не может!

— Вечером смылся из полка. Он же из Москвы — бежать близко. Тут ведь как произошло... когда вы были в Смольном, поступил приказ о демобилизации от командующего Крыленко, а ночью кто-то из штаба шумок пустил, што большевиков арестовали в Брест-Литовске, и немцы прут в наступление. С того и полыхнуло по казармам.

— Господи помилуй! И тут успели серые, — рычал Ной, одеваясь. — Никакого наступления немцев не предвидится. Сам председатель Совнаркома Владимир Ильич Ульянов, если бы ему было известно о предстоящем наступлении немцев, не дал бы согласия демобилизовать полк. Слова о том не было! А тут, пожалуйста, шарахнулись, как дурные овцы за слепым бараном. Да нет! Не слепой баран подпустил такую воньку, чтоб солдаты бежали с оружием и растаскивали бы полковое имущество! И ты тоже, комбат! Как мог не знать, что происходит в казармах ночью?

Карнаухов виновато опустил голову.

Ной как бы нечаянно приблизил к нему нос, принялся:

— Эв-ва ка-ак! От тебя же перегаром прет за сажень! Эт-та еще что такое, а? Под арест пойдешь! Сей момент в гарнизонную тюрьму запру!

Карнаухов нечто невнятное пробормотал о своих именинах, да Ной не стал слушать: под арест! Пуще всяких преступлений он считал пьянство при исполнении воинской службы, тем паче на дежурстве в штабе полка!..

— Александра, — оглянулся Ной Васильевич на ординарца. — Живо одевайся. Мчись за комитетчиками полка, штоб явились в штаб. Будем разбираться с комбатом Карнауховым. — И Карнаухову: — Идите в штаб.

VI

Творилось нечто уму непостижимое...

Солдаты с оружием толпились на перроне, в зале ожидания вокзала, поджидая поезд на Петроград, и оттуда по Николаевской дороге на Москву или еще куда, только бы не задержаться в Гатчине.

Напрасно надрывал глотку Ной, уговаривая солдат и казаков вернуться в полк, чтоб разъехаться честь честью, без стыда и позора, с демобилизационными документами, с харчевыми листами и без казенного оружия и прочих вещей, да не тут-то было: глухи и немые, как камни. Спрессовались в тугой кулак и ноль внимания на горластого Коня Рыжего, мол, кукиш тебе с маслом! Катись отселева.

— Выслуживается, рыжий, перед Совнаркомом!

— Чтоб ему звезду на лоб навешали!

А тут еще Санька протиснулся к Ною и вполголоса сказал:

— Нету комитетчиков.

— Как так нету?! — зыкнул Ной.

— Убегли. Чистое дело, смылись. Как Сазонов, так и Крыслов с Павловым. На конях удули. Куда они токо ускакали, леший?

Вот когда Ной почувствовал, что у него ни силы, ни власти!

День выдался морозный, без мглы и тумана с Балтики, а Ною жарко — по хребтине соль выступила.

— Очумели вроде, — со вздохом признался, когда отошли от станции. — Надо поднять сотню Мамалыгина. Силою разоружить серых баранов!

Санька свистнул.

— Чего свистишь?

— Ищи ветра в поле! С Сазоновым удрал Мамалыгин.

Ной остановился и злющим взглядом пронзил Саньку.

— Истинный бог, смылись! — побожился ординарец. — Хучь сам иди проверь. Я и так весь в мыле, пока обежал казармы. Забыл сказать. Комиссар тебя ждет в штабе и ишшо ктой-то. Урядник оренбургский,

Иван Христофорыч, тоже там. Просить будет за арестованных. Отпустил бы ты их! Как там не суди, хучь кричать на меня будешь, а стерву пулеметчицу я бы не стал спасать. Сколь матросов посекала, а потом и казаков.

Ной ничего не ответил, погрузился в думу, как камень в омут.

Так они прошли одну, другую улочку и повернули не в сторону штаба, а к гарнизонной тюрьме — одноэтажный каменный домик между двумя казармами.

Санька повеселел: пронял-таки Ноя Васильевича! Освободит казаков. Чтоб из-за шлюхи да еще в гарнизонке держать. Ее бы, гадюку, как вшу, щелкнуть надо, а не в наряды буржуйские вырывать.

Санька никак не мог смириться с потерей богатства, обнаруженного в тайнике. Правда, на его долю еще много добра осталось, да ведь неизвестно, что возьмет себе сам председатель. Шепнуть разве Терехову, чтоб он на прощанье с Гатчиной понаведалься на квартиру телефонистки — Санькиной милашки, и там бы упокоил проститутку Дуньку. Нет, лучше не говорить. Ной Васильевич моментом раскроет, и тогда самому Саньке несдобровать, как сообщнику тереховских баламутов, расшатавших полк. Ох, лют Ной Васильевич! За измену — расстрел! А какую-то Дуньку спиной заслонил.

«Ишь, лежачую не бьют, — вспомнилось Саньке. — Раздавить бы ее гадину, как вшу!..»

Ной занялся делами арестованных — пятерых солдат и двух оренбуржцев — Терехова и Григория Петюхина.

Один из солдат арестован за изнасилование девчонки — патруль доставил. Приказал дело передать в трибунал без всякого промедления. Двое за воровство в каптерке.

— Отпустить. Пушай домой собираются.

Еще двое — за драку в казарме.

— Освободить. А казаков — ко мне. Разберусь.

Казаков привели в гимнастерках без ремней. Ной уставился на них жестким взглядом:

— Подумали? — спросил.

— Чево думать? — встряхнул взлохмаченной головой неломкий Терехов. — Мстишь за митинг, и все тут.

Ной оглянулся на начальника гарнизонной тюрьмы:

— Скажи, как по революционному закону положено, если в бой врываются без приказа командира, губят зазря воинов под огнем и фактически оказывают помощь не своим, а противнику?

Начальник тюрьмы без запинки ответил:

— Расстрел на месте. Или через трибунал — тоже расстрел. А разве эти казаки такое преступление сделали?

Ной сверкнул глазами:

— Про них нече толковать. Кабы учинили экое злодейство — не стояли бы здесь живыми.

Терехов не дрогнул, только жестче вычертил губы и сузил глаза, Петюхин что-то хотел сказать, но, выслушав ответ председателя начальнику, глубоко вздохнул и вытер тылом ладони пот со лба — пробрало.

— Так вот, казаки, — поднялся Ной. — Подумайте над тем, покель в живых пребываете. Отпусти их, начальник. Пуццай метутся из полка обезоруженными! В Оренбурге у вас банды, не качнитесь сдуру к ним — без голов останетесь!

С тем и ушел из тюрьмы Ной со своим ординарцем.

Петюхин призадумался, а Терехов еще пуще раздулся злобою так, что матерков хватило ему до Оренбурга, и к себе в станицу доvez — детишек перепугал, а жену-казачку ни за что, ни про что при встрече вздул плетью, чтоб силу мужа почувствовала. Не успев передохнуть после Гатчины, метнулся в банду, зверски истреблял большевиков, за что и произведен был мятежным генералом Дутовым из урядников... в есаулы!

Из кутузки Ной не пошел в штаб, где его поджидали комиссар Свиридов с Подвойским.

Был потом и митинг — горюшко! Никто никого не слушал — сплошной рев и гвалт: домой, домой, живо распускайте!..

А тут еще беда — ни продовольствия для солдат и казаков, ни фуража для коней — склады-то сгорели!..

Тридцать первого января приехал снова из Смольного Николай Ильич Подвойский, чтоб завершить демобилизацию полка.

Самым страшным для Ноя было решение о расстреле лошадей. Кони, кони! Казачьи кони! На махан пойдут для голодающих питерцев.

Коня рыжего, генеральского, отстоял. Передали малочисленному Гатчинскому гарнизону.

До вечера Ной занимался полковыми делами. Прощаясь с Подвойским, спросил про батальонщицу Евдокию Юскову. Да, он ее спас из-под расстрела, так и так, и матросам не отдал. Нельзя ли выдать ей документ, как тем батальонщицам, которых отпустили в Петрограде?

— Оформите ее через свой полк. Пусть едет домой без приключений.

Ной поблагодарил и ушел. Надобно сказать, что с того утра, как ординарец Санька спрятал Дуню в доме телефонистки, Ной не встречался со своей пленницей. И если Санька напоминал о ней — сердито отмахивался: не до нее!

Кровать ординарца Саньки была ободрана, мешки с добром из буржуйского тайника исчезли, и Саньки след простыл.

— Дезертировал, подлюга! — вскипел Ной и бегом на станцию.

Туда-сюда, нету ординарца, спрятался где-то. Ной сделал вид, что ушел со станции, а сам подкрался с другой стороны, затаился за углом и ждет. А вот и поезд показался из Пскова — платформы, платформы с дровами для замерзающего Питера. Глядь: бежит Санька по перрону, согнувшись под тяжестью двух мешков. Ной выхватил револьвер и выстрелил в небо:

— Ложись, гад! Изменщик!

Санька распластался на перроне, спрятавшись за туго набитыми мешками. Ной двинул его сапогом в зад.

— Ты знаешь, сволочь, что за измену на позиции в Восточной Пруссии я расстрелял полковника со всем штабом! Забыл! А ты дезертировать?! Подымайся! Именем революции укорочу твою дорогу.

Быть бы упокойным ординарцу Саньке, если бы не подошел Подвойский с комиссаром Свиридовым. В чем дело? Ординарец дезертирует?

Санька почувал, что комиссар из Смольного может выручить:

— Из ума вышибло, истинный бог! Думщики, значит, сказывали, что председатель, Ной Васильевич, на службе остается, и меня захомутает. А я хворый! Помилосердствуйте!

Подвойский, понятно, не похвалил ординарца за дезертирство:

— За это на фронте, безусловно, расстреливают. Но сейчас, я думаю, командир простит вас. И если он вам сию минуту прикажет сопровождать его в бой — выполняйте неукоснительно. Или вы новобранец? Не фронтовик?

Санька обратился за помощью к комиссару:

— Иван Михеевич, за ради Христа, отпустите! Скажите ему, что не я вам первый обсказывал про батальонщицу тогда, а Дальчевский. С той поры житья мне никакого нету. Убьет меня Конь Рыжий. Помилосердствуйте!

Ной на некоторое время очумел, будто ушам не поверил! Так, значит, Санька выдал Дуню Юскову?

— Не-ет, ты не уедешь, пакость! — туго закрутил Ной, теперь его не остановит ни комиссар Свиридов, ни Подвойский, ни сам дух святой и сатана из преисподней. — Один раз становятся предателем, не запомнят! Навьючивай мешки, живо! И отпущен ты будешь тогда, когда свой грязный хвост очистишь. Такжеже.

Санька поплелся обратно со своей кладью, оправдываясь, что он ополоумел после побега комитетчиков, и что батальонщицу первый выдал Дальчевский. А он только после него не стерпел, сердце не выдержало, чтобы укрывать стерву, и что сам Ной Васильевич с того утра ни разу не навестил пулеметчицу, а значит, брезговал ею. И потому Санька решил, что Ной Васильевич плюнул на паскуду, и Санька отобрал у ней сегодня буржуйское добро — пушай таскается в своей шинельке и в солдатской амуниции, потому как тайник открыл не кто иной как Санька, и добром пользоваться ему.

Как только вошли в ворота ограды, Ной гаркнул:

— Стой, гад!

Санька бросил мешки.

— Так ты, падаль, Иуда?! Три раза Иуда!! А Иудов смертным боем бить надо. Смертным боем!

Санька не успел отскочить, как Ной сцапал его за бекешу и одним махом вскинул в воздух, перекинул через себя. Не успел Санька подняться, как Ной снова его подхватил, как мешок, и, размахнувшись, швырнул в другую сторону — по снегу дорога пролегла. Санька за револьвер, да разве успеешь — это же Конь Рыжий! Вырвал револьвер, оборвал шашку и пошел возить Саньку, тыча мордой в снег молча и люто. Кулаками не бил — знал силу своего удара. На позиции как-то, рассвирепев на обезумевшего коня во время боя, ударил кулаком меж ушей — конь тотчас испустил дух.

Санька взвыл о милосердии:

— Ной Васильевич! Детишки у меня! Детишки малые!

— А ты, гад, помнил про детишек, когда должность Иуды правил?!

— За ради Христа!..

— Нету у тебя Христа! Нету бога!

Бекеша Саньки трещала по всем швам. Свирепый Ной еще раз взметнул Саньку в воздух, задержал над своей головой и давай трясти — ноги и руки заболтались, как тряпичные.

— Не запомнят, грю, про свое паскудство, падло! Смерти иль живота?!

— Живо-о-о-та! За-а-а ра-а-а-ди го-о-оспо-о-да-а-а!.. — И, переведя дух, более внятно покаялся: — Клятву даю — помраченье нашло.

Ной тяжело перевел дух.

— Ладно. Живота просить будешь у Евдокеи. Сей момент иди за ней, и ежели она помилует — жить будешь. И долго помнить будешь! Также! Должность Иуды завсегда мерзкая. Да не вздумай удариться в побег — от меня никуда не уйдешь. Ступай!

Забыв про папаху, Санька ушел из ограды, насыщенный до ноздрей страхом и злобой.

Ной подобрал мешки, папаху, оружие Саньки и поплелся в дом. В темноте пустынных комнат ударился об стену, нашарил дверной косяк и пошел дальше. Под его ногами жалостливо повизгивали разошедшие половицы, без паркетных плиток, сожженных в печке-буржуйке.

Бросил мешки на пол, оглянулся, будто искал кого-то, и, вздохнув, опустился на стул.

— Господи! Избави меня от лютооти! — вырвалось у него со стоном.

Дуня, конечно, простила Саньку — сама не из безгрешных, переделась в буржуйское по приказу Ноя и после скудного позднего ужина собралась спать. И как не ждала того, Ной сказал:

— Ложись на мою кровать, а нам с Александром одной хватит.

Теперь, когда все страхи минули, Дуня удивилась словам Ноя. Он начинал ей нравиться — ни одного похожего на Ноя не встречала; про любовь, понятно, думать не могла. Само это слово для нее было отвратным. Фу! Любовь! Для дур оловянных да баб деревянных. А она, Дуня, пройдя огонь и воду и медные трубы, уверовала в одно: всякому мужчине нужна любовь на одну ночь или час какой, а потом ищи другого.

Со станции доносились гудки паровозов; уже храпел Санька. Дуня никак уснуть не могла; когда же Ной придет к ней? И она, Дуня, отдастся спасителю со всей присущей ей страстью и умелостью.

Послышался мерный сап Ноя. Дуня сама себе не поверила: неужто уснул?

Вспомнила слова Ноя:

«Отдыхивайся, Дуня. Не на одном паскудстве жизнь стоит. Не сгибли еще в смертном круговращенье человек и душа человечья. Каждый должен держать себя в строгости и уваженьи к другому. Милосердые проявлять надо! Или все ханем скотам подобны».

Уж не монах ли он, Конь Рыжий?

Ночь текла, как река по степной равнине, мало-помалу убаюкала Дуню, и она забылась в тревожном сне.

Когда проснулась утром — Ноя не было. Санька угрюмо сообщил, что председатель уехал по каким-то делам в Петроград, и как бы беды не было.

— Окончательно стреножат хорунжего — никуда не уедем! — сопел Санька, готовя скудный завтрак. — Ежли у большевиков останется, вот те крест, сбегу! У меня дома детишки, а не крольчата. И казачка моя на корню иссыхает... Ты бы вот оказала на него влиянье, — ввернул шельма-ординарец. — Не даром же спишь на его постели?

Дуня передернула губы:

— Если бы я так спала на других постелях — осталась бы невестой Христовой!

Санька быстро и коротко взглянул на Дуню, покачал головою:

— Ежли не врешь, стало быть, он и взаправду конь, а не казак. При такой красоте, как у тебя, да штоб... господи прости! Не знаю я иво, хоша вместе по всем позициям пластались. Моget, и в самом деле записался в партию большевиков? Они ведь, как вот Бушлатная Революция, строгостью живут. Все для мировой революции, будь она проклята! А на хрен мне ишшо мировая? Не союзник я ей! Верченые они, Лебеди! Хоша и атаманит отец ево у нас в станице, да все едино не казачьим дыхом Ной Васильевич пропитан. Недаром путался со ссыльными. Да и бабушка у него ссыльного сицилиста подобрала чахоточного.

— Он какой-то непонятный, Ной Васильевич, — тихо промолвила Дуня, присаживаясь к столу пить чай. — А характер у него каменный. Я-то думала — отдаст меня комиссару.

— Вырви у волка кость! — подмигнул Санька. — А ты это таво, ежли он останется служить большевикам, не оставайся с ним.

— Вот еще! Лучше удавлюсь!

— К черту их! — поддакнул Санька. — Рванем из Гатчины вместе, токо бы момент улучшить.

На том и порешили...

Ждали Ноя до поздней ночи. Вернулся он с демобилизационными документами на себя, ординарца и Евдокию Юскову.

Сводный полк прекратил свое существование, освободив казармы и сдав имущество Гатчинскому военному гарнизону.

Второго февраля, по старому стилю, а по новому, совнаркомовскому — пятнадцатого, Ной со своими спутниками покинули Гатчину. Домой, домой, за дальнюю даль, в Сибирь морозную!..

ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ

I

Жестокий ветер судьбы бросал Дуню Юскову по белу свету, как щепку на волнах, то прибывая к берегу, то относя. С пятнадцати лет Дуня барахталась в грязи, зубами и ногтями выцарапываясь, чтобы встать на ноги, и снова летела в грязь, ожесточаясь на белый свет.

С того памятного зимнего дня, когда пьяный папаша продал пятнадцатилетнюю Дуню жулику Урвану — сокомпанейцу золотопромышленника Ухоздвигова, душу ее попросту растоптали без жалости и милосердия.

Но есть такие шальные натуры, которые, вихрясь в диком пьяном танце, вдруг трезвеют, рвут на себе волосы, ненавидя все и вся.

Такой была Дуня. Ее нельзя было понять вдруг или открыть, как шкатулку с дамскими безделушками. Она и сама не знала, что она может натворить завтра. И вот встреча с Ноем, который отогрел ее, что называется, в собственных ладонях, а для чего? Если для того — так пользуйся же! Черт знает, что он за человек, этот Конь Рыжий?

Дуня за недлинный век свой научилась вести образованные разговоры, но умела и огорошить собеседника языком деревенской бабы — ей так нравилось! Как нравилось ее папаше обжулить простака — обвести его вокруг пальца. Может, потому он и выдворил

ее вон, что явственно увидел в ней все язвы и пороки своего варначьего рода...

Дуню тошнило от Ноевых душеспасительных разговоров. Есть тело, желание, утоление желания, страсть и — деньги, деньги! Она с презрением поглядывала на Ноя, когда он читал евангелие — книгу сказок про бога, или крестился перед едою и отходя ко сну. Смешной человек, ей-богу! Да плюнуть на этого бога и плевком растереть. Везде люди одинаковы: звери, и нет среди них Христа из дурацкой сказки, а есть дьяволы и ведьмы, дураки дубовые и умные головы. Но ничего не сказала об этом Ную — побаивалась. Решила завлечь рыжего. Не такой, как все — это раз. Силища и спаситель — это два. Но Ной все время делал вид, что ничего не понимает. Молча, без единого слова мог он усадить Дуню на стул, как дрессированную собачку, хотя Дуня скорее всего была дикой кошкой. А кто видел кошку на поводке? И, как того не хотела Дуня, оказалась на поводке. Мало того, поймала себя на паскудной мысли: тянет ее к Коню Рыжему! Еще чего не хватало! Ведь это он втрескался в нее, она же видит! Но почему этот молчун медлит! Или брезгует? Или бог с богородицей ему мешают? Ведь не круглый же он дурак, чтоб не понять: бог — сила, а сила у людей! Вот и весь бог с богородицей, которая забрюхатела от ветра и родила идиота, похожего на нее, — Иисуса Христа. Сдохнуть можно от всех этих бредней!

— Как приедешь домой, чем жить будешь? — спросил ее Ной перед отъездом.

— Есть о чем думать! — отмахнулась Дуня, но тут же высказала сокровенное: — Если бы мне сегодня из папашиних миллионов хотя бы один, я бы сумела сделать из него десять или тридцать.

Ной с сожалением посмотрел на нее:

— Вот и выходит, нечего пенять тебе на отца, коль овца в того же подлеца. Это у тебя сон, Дуня. Только он вчерашний. Не проспй день завтрашний.

— Уж как-нибудь не просплю! А вот когда свергнут большевиков, какой вы будете иметь интерес?

— Совесть мою никто не свергнет. И честь. На том весь белый свет стоит.

В вагоне холодище.

Кругом охи и вздохи — ни дров, ни угля! Сытые таились от голодных, как волки от охотников. А поезд тащился так медленно — тошно в окно глядеть. То одна остановка — дров набирают, то другая — воду ведрами в тендер таскают. А люди прут и прут в вагоны — ни дыхнуть!

Разруха!..

В Москве повезло — сели в поезд, идущий до Иркутска через Самару. Ной с Дуней и Санькой упаковались в спальное купе, потеснив бородатого купчину из Екатеринбурга — Георгия Нефедыча, как он себя назвал. Борода стриженная, черная, глаза — у черта взяты — едучие и до того хитрые, насквозь все видят. Известное дело купецкое — глаза надо иметь во лбу и на затылке, иначе облопошат. Купчина ехал с молоденькой бабенкой — Люсьеной звать — пригожая собой, полненькая, сдобная, еще поп из Омска подселился, отец Михаил — худущий, будто век некормленный, высокий, с позолоченным крестом на черном священническом одеянии. Поп забрался со своими корзинками на верхнюю полку и пел оттуда псалмы Давида тихо и нудно. Купчина устроился на полу, вернее, на вместительных тюках и мешках, перетянутых веревками: подкатывался к Ною, чтоб тот со своим ординарцем, в случае чего, защитил бы его, разумеется, за приличное вознаграждение. Хорошенькая, беленькая Люсьена, широколицая, скуластая, смахивающая на монголку, доверительно поглядывала на богатыря офицера, но, не преуспев, отметила своим вниманием черночубого ординарца в белой бекеше, а тот — с моим почтением!

Стало их в третьем купе шестеро — печальной судьбы сотрапезников. В других купе набивалось по десять человек и больше. И в коридоре классного вагона — веслом не повернуть.

Санька устроился на тюках — другого места не было, щупал купчину, как бы ненароком, так, что у Георгия Нефедыча сон пропал. По всей ночи вертелся, перекладывая из одного кармана в другой браунинг, а Санька в пику браунингу — револьверище системы наган, чей, мол, козырь убойнее! У хорунжего при себе была сабля, как и у ординарца Саньки, револьвер и кавалерийский карабин: при боевом снаряжении отпустили. Дуня Юскова, отдохнувшая от охов и вздохов, в некотором роде неприкосновенная, тащила своего спасителя Ноя на

каждой станции и полустанке поглядеть на народ, как и что происходит на великой российской дороженьке!

— Экая ты неумная! — сопел Ной, но не отказывался от вылазок.

Какой сговор произошел у Саньки Круглова с Георгием Нефедычем, Ной не знал. На вторую ночь от Москвы Санька потушил стеариновую купеческую свечу на фарфоровом блюде и вскарабкался на верхнюю полку погреться к хорошенькой Люсьене. Купчина и ухом не повел. Пушай, мол, греются, только бы черночубый казачина не щупал мотню: в мотне лосевой кошель болтался, туго набитый золотыми империялами. Санька, понятно, ущупал кошель...

За окном промерзшего вагона снег — пустыня, дымящиеся, нахохлившиеся деревни, мертвые колокольни и медленный, самый медленный в мире пассажирский поезд восемнадцатого года.

Ночь. Глубокая ночь...

Скрежет тормозов — удар, визг железа. Санька Круглов трахнулся с верхней полки на купчину, тот заорал во всю пасть:

— Грабют!..

На Саньку свалился поп Михаил, темень, переполох. Во всем вагоне рев, гвалт, визг.

Поп Михаил вопит:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!

— Кажись, крушенье, — первым опомнился Ной и, открыв дверь, схватил бекешу, шашку, карабин, поспешно выбежал из вагона узнать, что произошло?

Путь впереди разворочен. Пассажиры из вагонов, как горох из решета. А кругом — снег, сухой, скрипучий — в бога, креста, давай, машинист, Самару!..

Бегут. Бегут. Качаются в снежной метелице волчьи глаза свечевых фонарей, путь разворочен! «Ааа! Ааа!» — вопит горластая толпа, и бегом, бегом к дымящимся вагонам на втором пути безвестного разъезда.

Поезд с продовольствием шел из Сибири в Петроград — поезд с продовольствием пустили под откос.

Как тут было? И что тут было? Скрежет и вой стонущего железа, хруст и треск ломающихся товарных вагонов, облако пара от лопнувшего котла, слетевшего с рельс и железным лбом своротившего

деревянный телеграфный столб. Возле столба — оборванные струны проводов, и в этих струнах свистит ветер — ветер и мороз! Искромсанные, сжеванные вагоны. Некоторые вагоны-теплушки горят, там ехали люди — охрана, и все они, эти люди, обезображенные, валяются на рельсах. В шинелишках, в полушубчишках, кто в чем. Едкий дым стелется в морозной стыни. А по разъезду всадники с шашками — всадники с шашками! Возле разъезда — подводы, подводы, подводы. Какие-то мужики в шубах горбятся под кулями с хлебом — грабят пущенный под откос эшелон с продовольствием.

Конные надрывают глотки:

— Наааазаааад! Паааа ваагооонаам!

Стреляют. Из винтовок, револьверов. В кого стреляют?! Кто стреляет?!

По рельсам, по шпалам, по откосу — потоки пшеницы, мешки с мукой, крупой, туши скотского мяса — в ледяном распяты. Рельсы выворочены, шпалы вздыблены — катастрофа! Вся Россия разворочена сейчас, как этот пущенный под откос продовольственный эшелон из Сибири.

— Ааааа! Г-гаг-га-га! — стонет толпа, пятась от всадников.

— Пааа ваагооонаам!

На досках от разбитого, догорающего вагона лежат обгорелые трупы. Дуню тошнит, и она, отступая, упирается в чьи-то спины. А тут еще поп Михаил, длинноволосый, без шапки, с крестом на черной шубе, устрашающе гудит:

— Горе, горе тебе, великий город Вавилон! Горе нам, горе, погрязшим в блуде и неразумении! Бесы нас крутят и мутят — будет еще, глаголю вам, пир сатаны! Внемлите, православные!..

— Боженька! Боженька! — бормочет Дуня, затираемая со всех сторон.

Тискают, давят, месят друг друга, толпа орет в тысячу порожних глоток — орет, орет, а что — сам черт не разберет. Бегут. Бегут. Падают. Подхватываются. Завьюживают сбочь пассажирского поезда, рассасываясь по вагонам.

Дуня бежит, бежит — сердце или лопнет, или разопрет грудь. Гонят, гонят конные бандиты с винтовками и шашками. Дуня видит всадника в белой папахе, шашка свистит над головой. «Пааа вааагооонаам!..» — базлает чертов всадник.

Кто-то схватил Дуню за рукав шубки, и в сторону, к вагону.

— Лезь за мной, дуреха! Под вагон! Живо!

Это хорунжий. Боженька! Конь Рыжий!

Ной сграбастал ее и без лишних слов утащил под вагон.

— Ах, ты, язва сибирская! Сколь ищущи! Осподи! Бежать надо от греха подальше. Я оружие и вещи перенес на ту сторону, за насыпь, там нету бандитов. Оттуда бежать надо.

— Как бежать? Куда бежать?

— Экая! Бандиты-то золотишко давить будут, как пить дать.

— Какое у нас золото? Или у вас есть золото?!

— Дуреха! Морда-то у те краснеющая. Живо накинутся. Тогда как? Тебя не отдам — жизни лишусь: отдать — совести лишусь. Одно к другому сплылось: бежать до другой станции. Там подождем, когда выручат паровоз. Не ранее завтрашнего вечера. Рельсы-то на разъезде все разворотили.

Уразумела: «Тебя не отдам — жизни лишусь; отдам — совести лишусь. Одно к другому сплылось».

— А твой ординарец?

— Ему што? Схитрит, Санька тертый.

Перелезли на другую сторону поезда и ползком скатились под откос.

Ш

В третьем спальном купе переполох. Купец из Екатеринбурга в барашковой шапке, в шубе, сопел, пыхтел, беспомощно двигая пухлыми руками.

Поп Михаил бормотал о погибшем граде Вавилоне; беленькая пригожая Люсьена с монгольской мордашкой, в нарядной шубке и в теплой шали милостиво жалась к черноусому казаку в серой папахе, да и супруг ее заискивал перед служивым:

— Вы как служивый, э-э, смею обратиться, поимейте разговор с этими, которые, э-э? Надо полагать, банда учинит грабеж, э-э?.. Куда ушел ваш хорунжий с дамочкой, а?

Санька успел спрятать свое оружие и кули с добром засунул подальше.

— Завсегда так: грабить будут, — равнодушно ответил Санька. — А хорунжий утопал с Дунькой.

— Что же нам делать?

Санька подкрутил усы:

— Мотню твою, Георгий Нефедыч, как пить дать пощупают. Вот те крест! Меня щупать не станут. Казак? Навоевался? Ну, ладно, валяй дальше. А у тебя сколь добра напихано? Ого-го-го! Много. Мотня к тому же. Соображенье имей.

— Мы же едем вместе! Ради Христа, не оставляйте нас с Люсьеной на произвол судьбы. Ради Христа! Будете вознаграждены.

— Люсьене что? За мотню возьмутся.

— Горе, горе тебе, великий город Вавилон! Город крепкий...

— Батюшка! Э-э, отец Михаил! Ради нашего, э-э благополучия, э-э помолчите со своими псалмами. Как же, служивый? Оружие к чему спрятали? Момент такой, чтоб отпор дать.

Санька не успел ответить, раздался голос в коридоре:

— Ти-иха-а! Всем оставаться по местам. Теснитесь, теснитесь на тот конец по коридору. Живо! Маалчаать! Предупреждаю: кто знает большевиков — укажите, сами помилованы будете. Подготовьте документы и золото. Паанятнааа? Золото! Для войска святого архангела Анакентия Вознесенского, а так и для завоеванья слабоды. За сопротивление без упреждения стрелять будем. Паанятнааа?

Купчина из Екатеринбурга как стоял, так и сел на мягкую, умятую полку, где недавно отлеживал бока хорунжий. Поп Михаил, обалдело тарашась на закрытую дверь, растерянно развел руками:

— Нету такого архангела Анакентия Вознесенского. Ни в каких святцах нету.

— К черту святцы! — гавкнул купчина.

— Господи прости! — перекрестился поп.

В коридоре слышались возня и крики пассажиров. Кого-то били, тискали, женщина визжала во все горло. Хлопнул выстрел. Люсьена повисла на шее Саньки:

— Умоляю вас! Умоляю! Вы же казак — поговорите с ними. Может, они поймут. Они же люди, люди.

— Один на банду не сунешься, — буркнул Санька и отступил от Люсьены поближе к двери. — Какое у меня золото? Вот у Георгия

Нефедыча, разве. Так за его золотишко я лоб не подставлю. У него мотня, а у меня што?

— Жора! Жора! Ради Христа! Ах, боже, он ополоумел. Передай кошель Александру — сохраннее будет. Да што ты, в самом деле!..

Не дожидаясь, когда в себя придет Жора, Люсьена подскочила к нему, распахнула шубу на лисьем подбиве, но не успела добраться до ремня плисовых штанов, как Жора моментом оправился от шока, руку в карман и — в лапу браунинг. Чужа неладное, Санька — одна нога здесь, другая в коридор, и дверь не закрыл.

— Не дамся, бандюги, грабители! — надулся купчина. — Этот Санька с хорунжим из той же шайки-лейки. То-то он щупал меня ночью, паскуда!..

— Жора! Жора!

— Прочь! Прочь! — расвирепел Жора.

Из коридора падал слабый свет в темное купе, по коридору кто-то пробежал мимо с винтовкой, а потом Санька — быстро так. Люсьена истерично причитала, сидя на купецких тюках, попик Михаил попытался было вскарабкаться на верхнюю полку, но сорвался и упал на Люсьену, отчего она закричала еще громче. В тот же момент в открытую дверь из-за стены сунулся ствол карабина:

— Выходи, большевик!.. Живо!..

Купец одним махом перескочил в угол. Первое, что попало ему в глаза, — черная лохматая папаха. Не теряя ни секунды, он выстрелил в черную папаху — два раза сряду, карабин покачнулся и упал в дверях. Купчина за карабин, и дверь закрыл. В коридоре еще не опомнились, как купчина защелкнул дверь на секретку.

— А ну, Люсьена, бери карабин. Живо! — призвал свою ревущую супругу. — Бери, говорю. Или из браунинга будешь стрелять?

— Ты не большевик!.. Скажи им!..

— Боже, боже, боже! — частил поп.

— К черту бога! Теперь другой молитвы нет. Или они нас, или мы их, бандитов. Бери! Покажу гадам, какой я большевик!..

Купец взял себе карабин, а Люсьене передал браунинг.

Из коридора кто-то выстрелил в закрытую дверь — щепой ударило купца в нос, и окно тоненько звякнуло — пуля тюкнула. Люсьена раза три выстрелила в дверь. Купец одним махом взлетел на верхнюю полку; Люсьена лезла под полку, но ей мешали тюки. Еще

выстрелили в купе из коридора. Поп Михаил завопил: «Господи, помилуй, убийство». Он корчился в темноте на тюках, а купец, приловчившись, саданул раз за разом из карабина в дверь. В коридоре кто-то утробно взвыл: «Аааа!» — и все затихло.

Время ожидания тянулось ужасно медленно. Люсьена мелко и часто причитала. Купец спросил: ранена? Нет? Ну, так чего воешь! Лезь на верхнюю полку. Живо! Да стреляй, стреляй!.. Поп полз к двери, чтобы выбраться прочь из осажденного купе, но купчина рявкнул:

— Назад! Пристрелю, черт в рясе! Лежи там!

Поп тягуче затянул:

— Истлевают душа моя о спасении твоём; когда ты утетишь меня, господи! Когда призовешь?.. Сколько дней раба твоего осталось?..

С улицы трахнули шпалою в окно, и оно со звоном вывалилось. Купец не успел развернуться, как в купе бросили камень будто, и этот камень лопнул со страшным грохотом. Все купе густо задымилось. Купец оглох. Мотал башкой, хватаясь за темя, и тут почувствовал, что у него оторвало ухо, разворотило щеку и в левом боку застрял огненный комок — прожигало насквозь. Но он был еще в себе, соображая, что и как дальше. Позвал Люсьену — ни звука, ни оха, и поп Михаил тоже молчал — упокоился.

— Та-ак, — сказал себе купец, зажимая ладонью развороченную щеку и место, где было левое ухо. — Та-ак, бандюги...

В окно валил дым — и то ладно, не задохнешься. Товар горел. Жалко, Ну да, конец всему. И товарам, и купецким делам.

Огненный комок сжигал внутренности, но купец, стиснув зубы, примолк. Он был уверен, что бандиты ждут, не подаст ли кто голос из купе, и тогда бросят еще одну бомбу. Если он будет молчать, они разворотят дверь, и тут он в упор с короткого расстояния. Эх, если бы пришить этого проклятого ординарца хорунжего! Это он, Санька, выдал, наверное, купчину за большевика.

В дверь били, били прикладами. Купец молчал, а карабин держал наизготовку, стволом к двери. И как только дверь раззявилась, он из темноты на свет сразу увидел трех в шубах, но Саньки не было.

— Тут все горит, — сказал один из них. — Пуцай к черту все сгорит!

Бандит повернулся спиной к купе — лицом к другому в шубе — на одну пулю двое! Ахнул выстрел, и еще один. Купец передернул затвор — патрона больше не было. Он помнит, где-то на полке Люсьены казак Санька спрятал свое оружие. Хотел перелезть на вторую полку, но сорвался и упал на горящие тюки.

В окно стреляли по верхним полкам, но купчину выстрелы не беспокоили. Он хватал голыми руками пламя, обжигался и не чувствовал ожогов.

Он слышал, как зачастил пулемет. Та-та-та-та-та! Он еще не сообразил, в чем дело, как на линии за разбитым окном раздались голоса:

— Красные из Самары! Красные из Самары!

Наступила тишина. Удивительная тишина. Купец примолк. Время остановилось.

Кто-то лил воду на купца и товар.

В купе вошел проводник с фонарем — дюжий, сытый дядька, а за ним трое с винтовками. Купец поднял голову, испачканную в крови и саже, тяжело рыкнул:

— Гады! Стреляйте! У, гады! Бандюги!

Один с винтовкою ответил:

— Мы не бандиты. Мы красногвардейцы. Надо спасти человека! Быстрее!

Купчина помотал головой:

— Поздно. Хана мне. У-ух. Нутро сторело. Сколько я их, э? Сколько! Э-э?

— Трех бандитов убили. Один ранен.

— Слава Христе! — И купчина сунулся головой в обгорелый, мокрый тюк. Рядом с ним, скорчившись, лежала Люсьена с браунингом в мертвой руке. Поп Михаил головой упал на лавку, а туловище под купцом.

Потом явился откуда-то Санька, предъявил свой демобилизационный документ и сказал, что он, дескать, ехал со своим красным командиром, а где теперь командир — неизвестно, была еще женщина — большевичка из Петрограда. Не иначе, как бандиты утащили их за собой. А он, ординарец, спасся, спрятавшись под вагоном. Санька врал отчаянно.

А купец еще жив был и слышал вранье черноусого Саньки Круглова. Собравшись с силами, он шарил руками возле Люсьены, пока не нащупал браунинг. Тогда он приподнял голову — на него никто не смотрел, все были в коридоре у дверей, ждали доктора.

— Та-а-ак, — растяжно протянул купчина. — Где он, бандюга? За большевика продал?! Где он?

Браунинг качался в руке купца, а голова падала вниз. Все отпрянули от двери. Теряя сознание, купчина все-таки выстрелил в пустое пространство и, шумно вздохнув, скончался.

— Господи помилуй! — перекрестился Санька, робея; он догадался, какого бандюгу хотел пристрелить купец Георгий Нефедыч. — Без памяти, а все еще стреляет. До чего отчаянный! Я с ним, товарищи, душа в душу жил. Ехали мы в Екатеринбург с товаром, чтоб закупать там хлеб для голодающего Петрограда. И вот, как привелось!..

Санька умел врать и выкручиваться — не зря же таскался в ординарцах!..

И что самое отрадное было для Саньки в конце всей истории: лосевый кошель с золотыми империялами перекочевал-таки к нему в мотню и болтался на том же нательном ремешке Георгия Нефедыча!..

Так-то вот!

«Умей жить, умей крутиться» — было девизом Саньки Круглова.

Делать нечего — пришлось вытащить трупы.

А добра-то, добра-то сколько досталось Саньке!..

IV

Они шли двое в немом и стылом пространстве ночи. Санную дорогу перемела поземка. Местами, сбиваясь на обочины, Ной проваливался в снег по пояс. Он тащил куль и увесистый чемодан из буйволового кожи, перетянутый ремнями. Дуня шла сзади с карабином на ремне через плечо. Приноравливалась идти рядом, но санная дорога была до того узкая, что они сталкивали друг друга на обочины.

Покуда шли возле леса, Дуня со страхом озиралась: не вылетит ли из чащобы волк?

— Ной Васильевич!

— Ну?

— Передохнем.

— Устала, я кри тебе?

— Дорога такая трудная, как будто здесь никто не ездил. А снегу-то, снегу-то!

— Перемело...

— Тебе не тяжело тащить куль с этим чемоданом?

— Дотащу.

— Боженька, что они теперь творят с пассажирами? Как же трудно жить!

— Само собой. Летают, куда крылья не обломают. От разрухи и распутства характеров. Расея вроде напополам переломилась. Уразуметь не могу: какая жизнь будет после? Советы берут силу, а удержатся ли?

Перешли какую-то речку в черных ветлах по берегам; дорога круто свернула в займище, слева черный лес, справа плоскогорье, редкие опушки уныло белеющих берез, покатый склон, открытый всем ветрам; ветер содрал снег с горы, и они долго шли сбочь пашен. Шли, шли, и подступили к логу. Уткнулись в такой глубокий снег — коню по пузо. Ной тыкался то в одну, то в другую сторону, но дороги не было — потеряли. Куда она девалась, холера? Ной оставил куль с чемоданом возле Дуни, и, взяв карабин, пошел искать дорогу. Дуня как стояла в снегу по колено, так и села, будто в белый пуховик. Ветер дул в спину. Спасала обезьянья дошка. Дуня подняла воротник, спрятала руки в варежках в широкие рукава шубки и так это удобно устроилась, как в кошевке будто. А снег мело и мело. В низине чернел лес — белое и черное.

Снег мело и мело...

Ной лез и лез взгорьем в поисках дороги. Ветер рвал из-под пимов сухой снег, взвихривал, стлался белым дымом. Полы бекешки то обжимали ноги, мешая идти, то раздувались парусом. Кое-где по склону темнели в темном забвеньи одинокие прибудные сосны, размахнувшиеся вширь и ввысь. Хоть бы луна выглянула из свинцовой тяжести — ни луны, ни прибежища от ветра и мороза.

Опираясь на карабин, как на дубину, Ной искал дорогу и потерял собственный след. Будто и не шел здесь. Туда сунулся, сюда — нету следа. Что за наваждение? Не потерять бы Дуню. «Ого-го-го-о!» — позвал он, повернувшись лицом в лог. Ветер напирал в спину,

подталкивал. Дуня не ответила. Ной испугался и пошел вниз, в лог, потом опять вернулся — не то взял направление. Собственные следы терялись — заметало снегом. Быстрее, быстрее по склону горы. Еще раз крикнул. Прислушался, не ответит ли Дуня, но голоса не было. В логу чернолесье, как дегтярная река. Мрачная, тяжелая река. Бежал, бежал склоном, загребая ногами снег, падал грудью вперед, вскакивал и снова бежал. Белая, белая мгла. За десять шагов ни зги не видно. Крутится, вьет, вьет белые кружева, замечает следы. Белым-бело. За склоном горы чуть тише. Здесь где-то Дуня. Догадался — прикорнула на снегу и уснула, как всегда случается с усталым человеком. Это же бог знает что! Так и замерзнуть можно. До рези в глазах осматривался вокруг, выписывая спирали, и сам заблудился. Понять не может — как и откуда они шли? С той стороны или с этой? В какой стороне Самара, Волга? А вот и дорога. Точно, дорога! За гребнем снега, вылизанная до санных борозд. Опустился на колени, пощупал — точно! Дорога шла в глубь леса, в лог. Но где же Дуня? И снова полез взгорьем.

— Ага-га-га! га-га!..

Только ветер посвистывает в ответ.

Спит. Спит. Младенческим сном праведницы. Надо же, а? Где же ее искать? Подумал, заломив папаху на затылок. Взмок. Жарко. Главное — спокойствие в данный момент. Как на позиции. Если нет уверенности перед боем — лучше не начинать атаку. Дорогу он теперь знает, как найти. Вот здесь излучина лога — чугунная река чащобы круто поворачивает влево, а ему надо взбираться вверх, на склон горы и там осмотреться. Лучше всего идти спиралью. Идти и кричать во все горло. Снег, набившись в голенища пимов, таял, и он чувствовал, что портянки стали мокрыми. На крутом склоне выскользнул из рук карабин и укатился вниз. Побежал за карабином, поскользнулся, круто выругался, ворча: экое, прости господи!

Умогнулся в снегу и, не помня как, задремал, а по всему телу разлилась до того сладостная истома, что, казалось, не было ничего дороже такой приятной минуты. Век бы отдыхать в таком вот умиротворяющем теле и душе покое. А покоя нет. И когда он настанет, покой для воина России?

— Экое! Чавой-то я, лешак? — беззлобно выругался, поднимаясь. Ноги дрожат в коленях, пальцы рук онемели. Но где же Дуня?

Ни карабина, ни Дуни.

Собрался с силами, призвал на помощь всех святителей и пошел дальше в поисках карабина. Шарил шашкой по снегу.

— Эвон куда укатился!

Надо стрелять — может, Дуня услышит выстрелы?..

V

Горит, горит, горит! Вся земля горит от края и до края, от неба и до неба. И так жарко, душно — не продохнуть. Будто пожар проник в сердце Дуни, и жжет ее, жжет сонную, расслабленную, и она куда-то бежит, бежит от пожара. Она одна в поле, на бездорожье. Где-то здесь хорунжий Ной Лебедь. Она все еще помнит, что он оставил ее в снегу, а сам ушел искать дорогу. Прошло много-много лет. Ной ищет и ищет дорогу, она, Дуня, ищет и ищет Ноя, зовет, кричит громким голосом, а голоса нет!

Стреляют. Стреляют. В кого стреляют? Дуня отчетливо слышит выстрелы и никак не может понять, в кого и где стреляют?

Снег летит и летит. Где же Ной?

«Что это я? Что это я? — испугалась Дуня, очнувшись. Она сидит в снегу. Почему она сидит в снегу? Она слышала выстрелы. Или во сне были выстрелы? — Как жутко, боженька! Где же Ной Васильевич?» — И опять хлопнул выстрел — совсем недалеко. Это же Ной Васильевич стреляет! Попыталась встать, и ноги не подняли, как чужие будто. «Я замерзну, совсем замерзну! Боженька!»

— Нооой! Нооой! — закричала, что есть мочи, и Ной услышал. Побежал к косогору. — Я совсем окоченела! Встать не могу, — жалостно пробормотала, глядя снизу вверх на Ноя.

— Экое, господи прости, потерялись! Часа два ищу, и сам закружился. Экая огромнящая пустошь! Ног не чуешь? Ужли обморозила? Оттирать надо. Ах ты, беда!..

Усадил Дуню на туго набитый куль с добром, стащил фетровые сапожки и, стянув шерстяной носок, давай растирать ступню в теплых, широких ладонях. Трет, трет да приговаривает, чтоб она никогда не забывала, что ноги у нее прихвачены. Дуня бормочет что-то о страшном сне.

— Плюнь ты на сон! — урезонил Ной. — Чего страшиться-то?

Оттер обе ноги, но Дуня едва могла ступить на них — огнем горели. Но она терпела и шла, шла за Ноем — за его широкой спиной.

Скоро уткнулись в сонную тишь бедной деревеньки дворов в пятнадцать или того меньше: там халупа под соломенной крышей, и там, там, как копны, разбросаны среди белого безмолвия. Ни собачьего бреха, ни огней, ни дымов над придавленными снегом бедняцкими избами.

Постучались в окно какой-то хаты, еле разбудили бабу. Земляной пол, лавки, столик, нищая кухонька с черными чугунами и большущая печь, откуда высунулись белые, пшеничные головенки детей с вытаращенными глазами: один другого меньше, как поросята будто, сколько их, хозяйшка? Девятеро. Хозяина нет — вдова, до того истерзанная нищетой, что у Ноя в носу завертело. А есть ли в деревеньке добрый хозяин с лошадьми, чтоб подрядить отвезти в Самару? Ой, ой! Самара-то далече-далече! Хозяйка не бывала в Самаре, должно, далече. Ну, а Волга? Волга недалече — за деревней сразу Волга. А за Волгой богатая деревня.

Ох, хо, хо!..

Ни чаю испить, ни погреться — соломы мало осталось топить печь, а кизяков совсем нет, корову бандиты прирезали и сожрали.

— Экое! — глянул Ной на испитую бабу, как она испуганно жалась спиною к печи, заслоняя свое пшеничноголовое богатство, успокоил:

— Чего боишься? Или думаешь, не из той ли я банды, которая сожрала твою корову? Не из банды. С поезда мы, бежим в Самару. Погреемся малость, да пойду искать лошадей. А ты ложись спи, не бойся. И я вот тут вздремну.

Дуня как вошла в избу, села на лавку, в простенке у стола, тут же уснула — умаялась. В шубе, небось, угреется. Баба залезла на ту же печь, откуда выглядывали детские головенки, пошушукались там, и вскоре улеглись. Потухла коптилка. Чернь и холод по всей избе. Ной вздремнул и, как только синь отбелилась в одинарном замерзшем окошке, встряхнулся, сунул карабин под лавку к Дуне, закрыл увесистым кулем и потихоньку вышел.

Едва забрезжило утро, Ной подкатил с состоятельным мужичком из соседней деревни на паре лошадей, звонким золотом расплатился,

чтоб домчал мужик до Самары, к поезду торопились. Но не застали поезд — ушел при полудни, а они подъехали вечером...

VI

А в Самаре-то, в той Самаре — народищу невпроворот. Со всего голодающего Приволжья. И столько-то горя горького, столько-то охов и голодных людей, что в голове у хорунжего Лебедея, как в ступе просо: толкется, толкется, а что к чему — разберись! Одно слово — голод!.. Россиюшку опоясал голод, как нищего неугревные лохмотья.

Самара-то, русская Самарушка!

На вокзале — ни продыху, ни отдыха, ни толку, ни понятия, все смешалось в кучу и ревело одним отошальным людским мыком: дайте уехать! Дайте уехать! Куда уехать?!

А военных-то, военных! С Юго-Западного, Северо-Западного фронтов, а ты откуда, хорунжий?..

А поезда на Сибирь нет и не скоро ожидается, нужда за горло схватила: паровозов нет, депо вымерзло, угля нет, масла нет, машинистов нет, кочегаров нет, одно ясно — нет как нет! На все и вся один ответ: нет!

Разруха!..

Еле-еле Ной выжал место для Дуни в закутке вокзала: сиди, да не спи, и револьверчик свой держи в строгости: ухарей, как червей в навозе. Ты же, якри тебя, пулеметчица! Тут у нас все богатство, потеряем — никак не уедем.

Вышел на перрон: все пути забиты воинскими эшелонами. А по перрону чехи, чехи, словаки. Те самые, которые целым корпусом сдались в плен, отказываясь воевать за интересы Австро-Венгрии в союзе с кайзеровской Германией, чтобы создать потом свою республику. Многие из чехов, как помнит Ной, пели национальные песни, славили Яна Гуса, а когда свершился октябрьский переворот, категорически отказались воевать вместе с русскими войсками против Германии и Австро-Венгрии и по приказу ставки эшелоны с чехословацкими войсками отведены были в тыл, где и ждали решения своей судьбы. И вот — эшелонами забита Самара!

Эшелоны, эшелоны, и все при боевом укладе: на платформах зачехленные пушки, пулеметы, минометы! Вот дела так дела!

Узнал у железнодорожника: вечером отправят санитарный эшелон с тифозно-больными чехами во Владивосток по специальному разрешению Ленина.

Как бы уехать с этим эшелоном? Железнодорожник посоветовал толкнуться к генералу — эвон императорские вагоны, видишь? Там много набилось бывших русских вашбродей. А ты не «вашбродь»?

— Хорунжий, — с достоинством ответил Ной.

— А! Из тех же перышек!

— Красный хорунжий.

Железнодорожник в замасленной тужурке некоторое время внимательно приглядывался к Ною, потом сказал:

— Ежли красный — не иди в генеральский вагон. Там нос держут на свержение Советской власти. Вот какие дела! А других поездов нет — пути забиты. Дня за три рассортируем чехов по станциям, как только поступят указания власти, — а пока — пробка заколотилась. — Подумав малость, посоветовал: — А ты попробуй. Да не выпирай красную кожу наружу — может, уедешь с ихним эшелоном.

Направился хорунжий в генеральский вагон. Стрелок при немецкой винтовке с ножевым штыком никак не мог уразуметь, что понадобилось высоченному казаку при шашке и в лихо заломленной папахе в генеральском вагоне? Гнал прочь. Винтовку наискосок — запруда стальная.

Вышел из вагона капрал Кнапп — морда утюга просит, глаза вприщур, усы нафабрены. Часовой доложил капралу Кнаппу, лезет русский казак.

— Шьто надо, казак?

— Здравия желаю ваш-сок-бродь! — отчаянно козырнул прошлогоднему противнику хитрый хорунжий; черт с ним — рука не отсохнет, а вывезти может.

Капрал Кнапп молчит. Знает, бестия, что с революции русские чествование отменили.

— Хорош казак! Шьто надо?

— Уехать бы мне в Сибирь, ваш-со-бродь, с санитарным эшелоном. Как бы поговорить с генералом?

— О! Генераль? Не можно! Нет! Можно подпоручик Богумил Борецкий. Он будить отправлять эшелон на Владивосток. Франций, Франций!

Капрал позвал за собою служивого в мягкий, бывший императорский вагон под медными надраенными орлами. И кого же Ной встретил в коридоре вагона? Вашброди, вашкоброди! И все нацепляли на себя погонушки, иные в эполетах, аксельбантах, начищенные, наутюженные, нафабранные, как золотые империалы из банка. Что же такое происходит? Бог ты мой! Кого видит? Сотник Бологов в кителе, в начищенных сапогах, усики накручены, глаза-шельмы и кадык, давящий на воротник кителя. Но откуда же у сотника есаульский погон с одним просветом без звездочек? Когда и кто произвел его в есаулы?

Зеленовато-кошачьи глаза Болотова до того округлились, не мигая, будто готовы были выскочить из орбит.

— Конь Рыжий! — воскликнул он, забывшись — А, черт! Извини. Надо же — запомнил. Какими судьбами занесло тебя сюда, господин хорунжий?

Ной сказал, как его занесло — уехать надо.

— А, черт! Вижу и глазам не верю. Ты хоть скажи — откуда явился в Самару. Из Гатчины? Ну, как там?

— Демобилизовали полк.

— Да ну?! Здорово! А немцы прут на Петроград. Не сегодня, так завтра возьмут. Пятнадцать дивизий шарахнули. Слышал? Прут, прут немецкие битюги! А ты знаешь, как раскололи наш центр? Это же солдатня! Хорошо, что ваш полк не восстал — расчехвостили бы вас. Я еще двадцать четвертого января смылся из Пскова — еле ноги убрал, многих наших центристов шлепнули. Через военно-полевой суд. А сейчас тут встретил Дальчевского, генералов Сахарова и Новокрещинова — их выслали из Петрограда. А хорунжего Мотовилова произвели на тот свет. Слышал? Да много здесь наших офицеров из Пскова и Петрограда.

Ной помалкивал. Ну, сволота! Хоть бы в одном глазу совесть проклюнулась! Сам же приезжал подбивать полк к восстанию, а теперь похохатывает.

— Ну, а как там женский батальон в Суйде. Разгромили?

Ной неопределенно пожал плечами, и — молчок.

— Эх, и батальонщицы были! М-м! Штук тридцать — георгиевки. Из телефонисток, гимназисток, курсисток, разные, всякие. Я у них часто бывал. Нарвались здорово они!.. Была там парочка: одна

сибирячка Дуня Юскова, пулеметчица, и Женя — институтка из Смольного. Я с этой Женечкой — бог мой! До сих пор в голове угар. Дальчевский говорил, что ты спас Дуню Юскову. Где она?

Ной хлопал карими глазами, и ни звука, — как в рот воды набрал.

— Эх, и молчун ты, хорунжий!

— Само собой, — весьма неопределенно ответил Ной, подумав: если увидит Болотов Дуню Юскову — моментом захомутает и утащит за собою в преисподнюю, в смолу кипучую.

— А мы тут собрались на чествование чешского генерала Сырового, пятидесятилетие, кажется. Просил к обеду всех русских офицеров откусать в вагоне-ресторане. Будут какие-то важные лица. Переговоры ведем. Чрезвычайно важные! Большевиков не сегодня-завтра пихнут из Петрограда. С нетерпением ждем этого дня. Чехословацкий корпус нам может оказать помощь. Ну, пойдем к подпоручику Богумилу Борецкому. Может, он втиснет тебя в санитарный эшелон. Но имей в виду: уважение, уважение и парадная честь! Это наши будущие союзники, учти. Особенно офицеры корпуса.

Подпоручик Богумил Борецкий изволил откусивать в своем отдельном купе, не ожидая званого генеральского обеда. На подносе — индейка, кофеек в серебряном чайнике, бутылка марочного коньяка, что-то еще, накрытое ослепительно-белыми салфетками, ну и сам, собственной персоной: в одной исподней рубахе, австрийских шароварах на тяжах, чтоб не свалились, молодой, здоровенный, грудина на отрыв пуговиц, в щеки пальцем сунь — кровцу добудешь; упитался на тыловом харчеванье на территории позапрошлогоднего противника; не воевал, должно, ни за Австро-Венгрию против России, ни за Россию против Австро-Венгрии, а вот, поди ты, какую власть имеет! По уставу царской службы не положено отдавать честь противнику или, тем паче, военнопленному, — да еще перед сидячим, гологоловым, а вот, на тебе, — замри и стой, хорунжий драный, тянись хвощом, коль Россию одолела вша несусветная!

«Есаул» представил: так и так — хорунжий Енисейского, войска, рубил большевиков в Петрограде во время недавнего мятежа, бежал и теперь надо ему уехать к себе в Красноярск. И ни слова о разгроме женского батальона!..

Ноя как дегтем окатило! Вот как господа вашброди аттестуют себя чехам! Все они, оказывается, рубили большевиков и чудом спаслись. А

ведь сами бежали из армии без оглядки и, конечно, погоны не цепляли на плечи!

Подпоручик так-то липуче разглядывал хорунжего Лебеда, ну будто купить задумал. Вытер губы салфеткой, оттянул большими пальцами тяжи на плечах, отпустил — звучно шлепнули, еще раз оттянул — еще раз шлепнули. Понравилась музыка.

— Петр-град? Капут польшефик! Фриц, мадьяр — делать пудут с польшефик — шлеп, шлеп, — показал оттяжкой на тяжах. — Ми требайт от польшефик немедлен отправка Владивосток. Мальчаль Петр-град! У них тут плоха, — повертел пальцем у виска. — Они думайт наш корпус пудет да польшефик сражайт немцев, австро-венгров. Фи! Ни будить! Н-нет. Ми пудем делайт так польшефик, — еще раз показал на тяжах: шлеп, шлеп.

Хорунжий руки по швам — струна туже не натягивается.

— Краснояр ехайт?

— Так точно!

— Можейт ждайт будешь Самара чешска эшелон? Сегодня большой событий будейт. Ваш офицеры, генералы встречаются нашим генералами Сыровым, Чачеком и русс Шокоровым, офицерами.

Нет, хорунжему надо спешить домой. Нельзя ли с санитарным эшелонем сегодня? Жена с ним едет больная (Бологов глаза вытарацил. Жена?! Но промолчал).

— Какой болесь? Кранкхайт? Ваш мадам?

— Воспаление легких? — подсказал Бологов. — Давай что-нибудь.

— Болесь — нельзя эшелон. Нельзя! — категорически отрубил подпоручик, заливая себя, как из огнемета, убойным горючим из трофейной французской бутылки.

Бологов покачал головой:

— Сам себе все испортил! Золотишка нету? Я выйду, ты орудуй. — И смылся.

Ладно. Хоть нелегко Ною расставаться с золотом, полученным еще при Николашке, а запустил руку под рыжую бекешу, достал гононок, куда отложил десяток имперялов на всякий экстренный случай, и серебром рублишка три, подпоручик подкинул на ладони золотые, а серебро вернул. Позвал охранника, сказал по-чешски, чтобы

отвели казака с его мадам в санитарный вагон с разрешения, мол, генерала Сырового.

— Буйдеш ехайт, козак. Скоро ехайт. Эшелон — тиф, тиф. Чтоб мадам никакой общенья офицер. Бросай будут. Вон, вон! Понял?

— Так точно!

— Мало рубил польшефик, козак! Мало! Ми топить будем польшефик. Вольга! Ха, ха, ха! Доволен? Нет?

— Премного благодарен, вашбродь!

Из конюшни-то уписной, императорской, да в санитарный эшелон — благодать господня.

Ефрейтор одного из вагонов санитарного эшелона, знающий десятка три русских слов, указал место для казака с его дамой. Вагон плацкартный, пропитанный карболкой, как потник конским потом, набитый тифозными больными, два туалета настезь открыты — рай господний! Последнее купе занавешено серым одеялом, забито ящиками, с медикаментами. Одна нижняя полка свободна.

— Тут! Ты, мадам, — тут! — Ефрейтор показал на полку. — Воровайт медикамент — капут. Понимайт? Капут! Пуф, пуф!

— Так точно! На кой ляд мне ваши медикаменты!

VII

На вокзале Дуню облепили офицеры, разъедают ухаживаньем, как ржа железо, курят папиросы — до тошноты ароматные. Она давно не курила настоящих папирос! Сам Ной не курил, и ординарец не курил. Дуня просила достать табачку — так-то стыдил, усовещал! Водки не пьет, табак не курит и на женщин не взглядывает. Не житье — монашья схима.

Штабс-капитан, особо атакующий Дуню, угостил красавицу знатной папиросой. Прикурила от зажигалки. Штабс-капитан галантно преподнес Дуне пачку папирос и зажигалку, сработанную из винтовочного патрона: колпачок на фитиле на тонкой серебряной цепочке. Дуня сунула зажигалку с пачкой дорогих папирос в сумочку, поблагодарила офицера. Затянулась на все легкие и как будто огонь разлился по венам — моментом опьянела, в щеки и в шею кровь кинулась.

— Спааасибо, — едва выговорила, и глаза смягчились.

Штабс-капитан шумнул на офицеров, и они разошлись кто куда: субординация!

Ну, ясно: откуда? далеко ли? чей карабин? Ах, хорунжего? А кто хорунжий?

— Боженька! — бормотнула Дуня. — Судьба свела меня с хорунжим. — И Дуня так-то жалостливо выглядела, что молоденький штабс-капитан тут же подсел к ней на кожаный чемодан и давай прочесывать: где и что? и как? Пулеметчица? Женского батальона смерти Керенского? Как это патриотично! Что? Что? Батальон восстал под Петроградом и был разбит в Гатчине. Да что вы?! В Самаре он ничего не слышал о восстании батальона. Об этом должна узнать вся Самара, Нижний Новгород, вся Волга! Здесь, в Самаре, собираются лучшие люди России — весь аромат и букет России; все изгнанные офицеры и эсеры из Петрограда сейчас здесь. Штабс-капитан непременно введет Дуню Юскову, патриотку, в узкий круг особо доверенных людей. У Дуни екнулось: «особо доверенные!» Как те, из Пскова, которые толкнули на восстание, а сами спрятались в кусты. А батальонщицы за них поплатились кровью.

— Ты, Дуня, в партии? — умощает штабс-капитан. — Я буду лично рекомендовать тебя в нашу партию социалистов-революционеров. В ближайшие дни в России ожидаются грозные изменения. Немцы сейчас под Петроградом. В неделю они разделаются с большевиками, и тогда...

Дуня не слышит, что еще говорит весьма осведомленный штабс-капитан, она видит, как толкаются среди пассажиров проститутки — рыжие, пепельные, отчаянно крашенные, усталые и голодные, торгущие телом, и все их разглядывают сразу, как будто на лбу у них клеймо, а они рыщут, липнут нахальными глазами с вытравленной совестью...

— Уберите руку! Сейчас же! — резанула Дуня и, встав, швырнула прочь недокуренную папиросу. — Как вам не стыдно!

— Что ты, что ты, Дуня?

— Ко всем чертям, господин офицер! Ко всем чертям! Я таких, как вы, повидала на позиции. Убирайтесь! — И топнула.

Молоденькая проститутка захохотала:

— Прибавь красненькую, офицерик! Она в дорогой шубе — на красненькую дорожке.

— Если вы сию минуту не уйдете — пристрелю! — с ненавистью резанула Дуня, сузив глаза. И штабс-капитан понял: пристрелит, такая пристрелит. Убрался, не оглядываясь.

Ной прибежал с доброй вестью: уедем, якри ее, хоть с обманом, а уедем, в санитарном эшелоне чехов.

— Паскуду одну встретил у чехов в офицерском эшелоне, — говорил Ной. — Да ты его знаешь. Сотник Бологов. Погоны есаульские нацепил, шельма.

— Сволочь! — присолила Дуня.

— Само собой. Да вот что в удивление: радуются вашброди, что немцы прут на Петроград. Как будто не русские матери народили их, господи прости.

VIII

Они уехали.

Две недели отсиживались и отлеживались в купе с медикаментами. Ной пристроился спать на полу, доставал на станциях продукты, носил кипяток в чайнике, и все так же держал себя в строгости, как старший брат с заблудшей сестрой.

В конце февраля добрались до Ачинска. Из Ачинска на перекладных — до Ужура, и тут повезло: на почтовой станции нашли четверку саврасых, впряженных гусем в важнецкую кошеву — семерым ехать. Хозяин назвался Терентием Гавриловичем Курбатовым из деревни Яновой Новоселовской волости. А ты откуда будешь, служивый? Из Петрограда в Минусинск? Ну, братец, гостю из Петрограда Курбатов всегда рад. Садитесь. Поговорим дома про Питер, как и что там происходит у большевиков с их Лениным.

— А мне вот, служивый, здешний телеграфист передал, что красные собираются подписать мир с немцами. Оторопь берет. Такого Россия не переживала со времен нашествия Наполеона. Кони у меня — молнии, американский автомобиль загонят. Собственного завода. Да-с. Садитесь. Садитесь. А вы, гостюшка, устраивайтесь спиной в передок, да вот доху накинем на вас. Ноги спрячете под медвежью полость. Ну, Павлуша, трогай!

Молодой парень, Павлуша, в новехоньком полушубке под красным ямщицким кушаком взобрался на облучок, обитый, как и вся

кошева, выделанными медвежьими шкурами, ухарски гикнул, и они помчались...

Ветер не поспевал за кошевой, пунцовое, будто кровью напитанное солнце до того отяжелело, что никак не могло подняться на синюшную гору небосвода. Дуня — ноги в ноги с Ноем, и смешно, и дивно: называют себя мужем и женою, а ни разу бородатый Ной и пальцем ее не тронул. Брезгует, может, батальонщицей Керенского? И Минусинск близко, совсем близко. Терентий Гаврилович пообещал завтра, в воскресенье, к обеду доставить в Минусинск. А там куда? К дяде Василию Кириллычу? А потом? К папаше-душегубу в Белую Елань? Страшно!

Горы, Ужурские горы. Местами чернел лес, а потом снова равнина, пашни, лысые горы. Мороз за сорок градусов, а Дуня как в печку спряталась.

Терентий Гаврилович хотел угостить их из утепленных тайников кошевы первеющим коньяком — отказались: Ной не употребляет — не сподобился, а Дуня отказалась из-за Ноя, облизывая губы: ох, как бы она выпила!

Терентий Гаврилович — бородка русая, соболья шапка, подборная черная доха, белые, с розовой росписью по голенищам, романовские пимы, образованный, начитанный — сказал, что в Сибирь притопал как народоволец на вечное поселение, обзавелся семьей и хозяйством; пустопорожней политикой заниматься некогда — без штанов останешься.

Павлуша на облучке посвистывает, едва шевелит вожжами, а кони мчат, только подковы щелкают. Вспомнились Дуне рысаки конюшни папашы, кучер Микула, такой же размашистый, чернобородый, как отец, видела отчий дом на каменном фундаменте, где не сыскалось ей малого закутка — выгнали прочь; вспомнила себя маленькой в белом батистовом платице, сестру Дарьюшку, как каплю с каплей схожую с ней — из одного плода. И вдруг как-то сразу, счужу увидела себя в кричащем наряде девицы заведения мадам Тарабайкиной...

IX

Деревня ядреная, неумолотная. Долго и с великим усердием надо молотить такую деревню, чтобы она разорилась. Ну, а про Терентия

Гаврилыча говорить нечего: этого разве в распыл пустить, тогда уж не подымется.

Дом Курбатова на середине главной улицы — крестовый, под железом, на кирпичном фундаменте. Наличники резные, карнизы резные, и по краям крыши окантовка узорами, ставни голубые, ограда, как крепость, — тесовые ворота украшены железными полосами и бляхами, навес, где обычно зимуют голуби.

Хозяина встретили домохадцы. Терентий Гаврилыч важно представил: «Вот моя супруга, Павлина Афанасьевна, прошу любить и жаловать. Сын Павел, только что из Пермского лазарета, старший сын все еще воюет на Юго-Западном фронте. Жив ли? Неизвестно. Писем давно нет. А вот старшая дочь, Глафира Терентьевна, здешняя учительница. А на ее руках Кешка — внучонок, шустрый вояка, спасу нет. А вот еще одна белая лань — дочь Катя помышляет уйти в гусары. Ну-с, а гусары вышли из употребления. Вот, Катя, перед тобою хотя и не гусар, а казачий хорунжий с шашкой. А это наши люди — Павел, кучер, знакомы, брат его Тимофей Акимыч, прапорщик, из румынского плена, навоевался. Ведает моими конторскими делами. Супруга Тимофея — Федосья Наумовна, главная наша кормилица: не обижаемся. Без нее мы так и не знали бы, с чем едят малороссийские галушки и вареники. А это наш шорник, Селиверст Назарыч, молодой еще, но знающий дело. Был шорником у меня его отец, а теперь сын. Всякое мастерство требует, служивый, постоянства и любви к делу».

Ной с Дуней со всеми поздоровались за руку, как и положено на Руси православной.

— Федосья отведет вам комнату, располагайтесь. Если хотите, оставайтесь на воскресенье? Нет? Домой тянет? Понимаю, понимаю! Ну-с, передохнем часик, а потом и в баньку. А банька у меня, скажу вам, голуби мои питерские, столь же заглавная вещь, как и хлеб насущный: остудину из тела гонит.

Хозяин позвал Ноя в отведенную комнату, где Дуня возилась с малым кудрявым Кешкой: так-то играла, забавлялась, как будто Кешка был ее сыном.

— Познакомились? — уставился на Дуню Терентий Гаврилыч. — Ну, ну. Дозвольте спросить, Евдокия Елизаровна, м-м, как бы вам сказать... Нет ли у вас сестры, Дарьи Елизаровны?

— Боженька! — ахнула Дуня. — Вы знаете Дарьюшку?

— Как же, как же! — усмехнулся хозяин. — В декабре прошлого года была у меня в гостях с мужем. Но как вы поразительно схожи. Я еще в Ужуре удивился, как будто Дарья Елизаровна, капля в каплю. Потом подумал: не может быть. В кою пору попала бы в Питер? Да и муж ее...

— Боженька! Терентий Гаврилыч! Расскажите же, расскажите, ради бога. Я ничегошеньки не знаю. Мы и вправду похожи — близнецы. Так, значит, вы ее видели? Вот диво-то! Дарьюшка замужем! А кто ее муж?

— Горный инженер. Гавриил Иванович Грива. Сын минусинского доктора Гривы. Слышали про такого доктора? Из политссылных социал-демократов.

— Это тот, у которого яблоневый сад на Тагарском острове?

— Он самый.

— Боженька! Как я рада! Хоть сестричка вырвалась от папашин-душегуба.

— Н-да! Елизар Елизарович Юсков, как я знаю, человек не из любезных. Крутоват.

— Зверь зверем, — поправила Дуня. — А куда Дарьюшка ехала с мужем?

— Из Красноярска возвращались к себе в Минусинск.

Дуня похлопала в ладоши:

— Как я рада, боженька! Завтра встречусь с чертушечкой, вот уж повеселюсь! Мы так давно не виделись!

— Ну, а теперь, супруги Лебеди, сготовливайтесь в баньку. Что такое дорога от Питера до Яновой — не надо сказывать: не почистишься и не помоешься. Так что освободитесь от своего дорожного бельишка, как мужского, так и женского. И всю верхнюю одежду отдайте на прожарку. Федосья подаст вам по смене белья. А все свое сымите — прожарить надо. Ни за белье, ни за прочее, в том числе за дорогу, никаких расчетов. Вы — мои гости. Ну, кудрявый, пойдем. Сейчас подошло Федосью.

Ной до того растерялся, что не в силах был глянуть в лицо Дуни:

«Вот те и на! Супруги!» — только и подумал.

— Верхнее мы можем достать свое, — молвила Дуня. — А мы ведь и правда обовшивели за дорогу.

Само собой.

А вот и Федосья с кипую белья: подштанники, нижняя льняная рубашка для Ноя, штаны суконные, рубаха плисовая; Дуне белье и платье старшей дочери Курбатова.

— Ты это, таво, Дуня, переодевайся, а я буду покель там, — кивнул Ной на соседнюю комнату, и был таков.

X

Баня! Парное царствие для костей и тела. Не жить русскому человеку без бани, ну никак не жить. Да еще такая вот, как у Курбатова. Просторная, что дом, с двойными рамами на больших окнах за плотными занавесками, с огромной каменкой и дымовой трубой, чтоб топилась по белому; над каменкой специальные жерди для прожарки одежды, там и наряды Дуни, и штаны с лампасами, и все прочее: веники заварены в соленой воде, чтобы березовые листья хорошо льнули к телу, пробирая паром до косточек, шесть широких скамеек — для двоих каждая, с медными тазами, лавки для отдыха возле стен, кадки с холодной и горячей водой и со щелоком для женских волос, потолок и стены струганные, с крючьями для белья, ну, а про полки для парки особо сказать надо: в четыре яруса; на верхнем полке чешет себя веником Селиверст-шорник, а на нижних еще семеро мужчин; хозяин отсидивается на парадной лавке, угревается перед паркой; Павлушка-кучер не успевает поддавать воды в каменку. Ной покуда терпит на одной из скамеек; он отродясь не парился: донские редко жучат себя вениками.

А Селиверст-шорник наяривает:

— Ах, ты! Ух, ты! Едрит твою!.. Ишшо поддай, Павлуха! Ишшо! Ах, ты! Ух, ты! Ишшо маленько! Ишшо! Квасом плесни. Квасом. Ах, ты! Ух, ты!.. Тяленька! Ах, господи! Святые угодники-сковородники!.. Ах, ты, ух, ты!..

Ной только что намылил рыжечубую голову, дюжил, крепился, потом слез со скамейки на пол, а Селиверст-шорник поддает да поддает. Мыло разъедает глаза, горячий сухой пар из каменки жжет уши, печет спину — терпенья нету, вот-вот сжаришься, а Селиверст-шорник подкидывает:

— Ишшо маненько! Ишшо!.. Ах, ты! Их, ты!.. Матушки-патлатушки! Угодники-сковородники!.. Ишшо, Павлуха! Ишшо.

Шибче плесни! В зев плесни! Ишшо! ишшо! Такут-твою!..

Паровозный котел лопнул, не иначе, до того нестерпимо жжет тело. Не баня, пекло сатаны. Ной схватился за уши, и носом, носом по полу к бадейке с холодной водой; достал пригоршню воды и в глаза, чтобы белый свет увидеть, а Терентий Гаврилыч ржет:

— Вот погоди, служивый, я поддам после Селиверста, да в снегу покатаюсь, вот это будет баня!

— К лешему! — послал Ной, и ползком в предбанник. Ну, нет, такая баня не для него. Отпыхался кое-как, мотая башкой, быстренько натянул кальсоны, но не успел застегнуть, лопнули по втокам, и пояс на полчетверти не сошелся. Экое! И нижняя рубаха еле-еле налезла — руки потяни в обхват плечей — расползется. Кое-как-собрался, и в дом.

Белесая, дородная хозяйюшка, Павлина Афанасьевна удивилась:

— Так скоро?

— В экой бане быка сжарить можно.

Дуня ходила по передней с малым Кешкой на руках; глянула на голову Ноя.

— Ой, боженька! Да у тебя голова в мыльной пене.

— Говорю же: отродясь не мылся в таком пекле.

Хозяйка с Федосьей хохочут.

— О, це чоловик! У нас, на Украине, нема таких бань. Ширяют, ширяют себя, молотят, як скаженные! Ой, як молотят! Це ж Сибирь!

Хозяйюшка умилоствовала:

— Ладно, Ной Васильевич. Вот мы — женщины — помоемся и попаримся, тогда вы пойдете с Дуней. И Кешу помоете. Он у нас тоже не терпит пару.

Дуня хохотнула в нос, а глаза, глаза — искрами, черными искрами так и сыплют, так и сыплют, и жгут, жгут Ноя до пяток, и он чувствует, как кровь стучит в висках, вскипает, насыщая богатырское тело неведомым доселе буйством чувств.

Дуня к бане припасла заморскую рубашку из запасов, добытых Ноем, французские чулки и бордовое шерстяное платье, ни разу не надеванное, с бельгийской этикеткой, хотела поднарядиться, чтобы понравиться Коню Рыжему.

Мужики пришли из бани до того разопревшие, разморенные, будто варили их в красном причастном вине, чтобы подмолодить лет на

двадцать. Выпили по ковшику кваса, и хозяин прошел к себе в опочивальню, чтоб отдохнуть перед ужином. Ужинали они все вместе — хозяин с работниками за одним большим столом в гостиной.

Женщины мылись долго; известное дело — умостительная, чистоplotная и обиходливая половина людского рода.

Когда перемылись женщины, хозяйка сказала, что пар теперь сошел, и они, гости, могут идти, если их не обременит, пусть возьмут с собою малого Кешку, тем паче, он будто прилип к Дуне.

— Пойдем, Дуня, — позвал Ной, и голос у него вроде осип.

— Сейчас. Сейчас! — А сама что-то ищет, тычется по своей комнате, хотя все собрано.

«Господи прости, эго привелось! Да ведь мужик я, язви ты, а все как вроде мальчонка. Сколь смертей повидал, сколь всякого разного хлебал, а вот, якри ее, робость одолела!» — пыхтел себе в бороду Ной.

XI

Они шли огородом между сугробами. Дуня мелко и часто, Ной — широко, размашисто с Кешкою на руках, с хрустом затаптывая ее маленькие следы.

В теплом предбаннике, где горела лампа, ни слова друг другу, Ной повесил на сохатинные рога бекешу, папаху, френч с накладными карманами, рубаху, одеяло, в которое был завернут белоголовый Кешка, и ушел первым в баню с мальчонкой, поддерживая одной рукой лопнувшие подштанники.

В бане светло от пузырчатых фонарей, подвешенных на крючья у высокого потолка. Дуня вошла в одной рубашке, и Ной, успев раздеться, отвернулся от нее, от греха подальше. Она опять хохотнула в нос, сняла рубашку, села на скамейку; взяла к себе малого, чтоб заслониться крохой от стесняющегося Ноя. Кешка сопел, фыркал, но не плакал.

— Кешку вымыли? — спросила Глафира Терентьевна из предбанника.

— Вымыли.

— Несите, пожалуйста, одену.

Дуня вынесла Кешку, закрыла дверь, обернулась и замерла возле каменки. Ной сидел к ней грудью на широченной лавке из цельной

лиственной плахи и как-то странно смотрел на нее. С его медной бороды стекала вода. Но не борода, не мощная шея и грудь, не размах плеч поразили Дуню. На широченной груди Ноя, чуть ниже ямочки, зловеще сиял золотой крест на чуть видимой цепочке. Такого креста Дуня отродясь не видела. От него неслись лучики — тонюсенькие, белые, как вроде стеклянные — из верхней точки, и кроваво-красные в четырех местах. Никак не могла уяснить, что же это такое светится? Над Ноем свисал пузырь фонаря. Может, капля воды сверкает? Тогда откуда красные лучики из четырех точек. На Дуне давным-давно не было нательного креста; жила, как бусурманка, нехристь, а тут — эвон какое чудо! Дуня даже забыла про стыд и не закрылась рукою.

— Боженька! — ахнула она. — Это что у вас? Крест-то почему так сверкает?

— Экое! — Ной взглянул на крест, точно сам видел впервые. — Нательный крест деда моего. Архиерей пожаловал. Каменья в нем. Бриллиант и четыре рубина. Один генерал сказывал: каменья потому так сияют, что молодые еще, не утухли. Каменья драгоценные, как и люди: сияют до той поры, пока молоды. Погляди.

Дуне стало до того страшно, хоть беги из бани. Вспомнились молитвы деда Юскова, страхи божьи, а что если Ной — вовсе не Ной, а и вправду конь рыжий? И все, что случилось: спанье вчуже друг от друга, бегство с поезда — было ли оно? Может, и поезда не было? Где она, Дуня? С кем она? А что если все будет так, как грозился дед Юсков? Что настанет день и час, когда свершится над ней суд господний за все ее грехи тяжкие, за прелюбоддеяние, за торг своим телом, за непочтение отца и матери и за другие мелкие и всякие грехи, про которые сама не помнит? И вот Конь Рыжий затащил ее в баню, а может, не в баню, а в чистилище?

— Боженька! — вскрикнула Дуня, закрыв лицо ладонями.

— Чего ты?!

Ной подскочил к ней, схватил на руки и прижал к груди. Она пыталась вырваться, что-то бормоча сквозь слезы про свои грехи, и что не по своей воле стала великой грешницей и запомнила про бога, а Ной уговаривал, прижимал к себе, защищая ее от всех для него неизвестных напастей, затаившихся в ней. Ее сухие, кудрявящиеся волосы рассыпались по плечам и спине. Тонкая в перехвате, упругая,

белая, она прилипла к его мокрому телу, мало-помалу успокаиваясь от щедрой и бесхитростной ласки.

— И в самом деле, Дунюшка, папаша твой чистый зверь, если толкнул ты в яму, и ты потом сама себя потеряла. А ты вылезти из ямы, вылезти! И я помогу, Дунюшка. Ты для меня самая что ни на есть благостная, и самая что ни на есть чистая: в душе чистота-то, в душе!

— Нет, нет, нет! Я же... я же... ты не знаешь, где я побывала, боженька!

— Со мной теперь. Где бывала — там нету тебя.

— Потом плевать будешь!

— Господи прости, или я сослепу спас тебя от казаков? Один у меня теперь прислон: к тебе вот, какая ты есть. Поженимся честь честью.

— Нет. Нет!

— Пошто?

— Дурная я, дурная. Не буду я тебе женой! Не буду! Ты найдешь чище. Ты хороший...

— Кабы сам, Дунюшка, чистым был. Кругом закружился.

— Это я закружилась!

Как раз в этот момент ладонь Ноя нащупала рубец на шее Дуни возле ключицы. Рана, кажись? Но это была не фронтовая рана... Пьяный клиент в заведении, домогаясь, чтоб красотка Дуня принимала бы только его и никого больше, да еще жадничал — умойся трешкой, дьявол патлатый, — саданул ножом. Слава богу, успела откатнуться — так бы и перехватил горло. Ох, каких повидала! Брр!..

— Ну, пусти!..

— Не пущу, Дунюшка. Не пущу.

— Нет, не надо, Ной Васильевич. Не надо!

— Экое! От тебя табаком пахнет. Откуда эдакий запах? Не кури, Дунюшка, не кури!..

— Не надо! Не надо!.. Не пачкайся, ради бога!.. Не пачкайся!.. Грязная я, грязная!..

В ее мягком размытом взгляде мерцало что-то странное, недовольное и обиженное. Она с чем-то боролась в себе и не могла это высказать. Руки ее расслабленно опустились, маленькие груди исчезли, словно он их стер ладонью, торчали только черные пуговицы. Она боролась с собою. То, что было просто с другими, оказалось таким

трудным с Ноем. Он спросил, откуда у нее рубец на левой ключице, где ее так ранило? Она сильнее стиснула зубы, зажмурилась, отвернулась.

— Как вроде штыковая рана.

— Пусти!

Она упорно отворачивалась, закусывая губы, не отвечала ему. Не сопротивлялась, и не была с ним. Лучше, если бы он не спрашивал про рубец, тогда, быть может, она не вспомнила своего прошлого. Они приходили в заведение голодные, жадные, иногда бешеные, накидывались, как волки, рвали тело, долго и люто насыщались, и потом, когда уходили, желтые лисы уползали к себе в норы, массировали тело, чтобы не было синяков, и не раз, бывало, плакали от бессилия и отвращения, проклиная свою страшную работу и все на свете. И этот, от которого она ждала после Самары чего-то особенного, был таким же сильным, неодолимым, и ей стало плохо — в голову ударило.

— Ты что, Дуня?

Он поцеловал ее в мокрую щеку — хорошо еще, не ударил со щеки на щеку, как били недовольные клиенты, если желтая лисица отдавалась не с жаром и пылом. Ной Васильевич утешал ее, допытываясь, отчего она расплакалась, подsunул руки под спину, поднял бормоча:

— погоди, мы еще вот как жить будем! Понимаешь? Еще вот как! Ну, что плачешь? Ну?

— Я же просила... мне надо отдохнуть... забыть... — И совсем как ребенок: — Ну, не сердись, пожалуйста. Я буду другая. Вот увидишь, буду. Потом. Когда все пройдет.

— Сиди, сиди. Я тебя вымою.

— Я сама. Посижу немножко.

— Сиди, сиди, «сама»! Наклони голову.

— Ой, мылом нельзя голову. Такие волосы — войлоком скатаются. Мыльной водой надо. Или щелоком. Федосья сказала, в кадке щелок.

Он набрал в шайку щелоку — горячей воды, настоенной на березовой золе. Она сидела перед ним на лавочке, стиснув ноги, склонив голову до округлых коленей, а он мыл, старательно намыливая кудряшки, потом окатил теплой водой, и еще, еще, чтобы водой

расчесать волосы. Потом она скрутила мокрые волосы, отжала и уложила узлом на темени. И когда он повернул ее, чтобы смыть спину, облегченно вздохнула на всю грудь. Так с нею никто еще не обращался из мужчин.

— Ной!

— Ну?

— Ты хороший, Конь Рыжий.

— Ладно, ладно.

Тело ее было горячее и до того промытое, что скрипело под его ладонями.

— Порядок. Давай ноги.

— Дай же я сама! — винтом повернулась и повисла у него на шее, повалив на спину.

— Живая?

— Живая! — хохотнула она, прижимаясь к нему своим горячим телом. — Теперь я другая, видишь?..

Узел ее волос распался и упал ему на лицо. Он убрал мокрые пряди от глаз, смотрел прямо и близко в ее светящиеся, сияющие глаза. Она что-то еще бормотала, неузнаваемая, жадная, как будто в нее влили ковш браги...

— Какие у тебя сильные плечи! Ты такой здоровый, Конь Рыжий! А я-то думала — монах-казак. А ты ловкий. Если бы я была казачка, ей-богу, влюбилась бы. Будешь меня вспоминать, скажи?

— Пошто вспоминать? Или мы не сроднились за дорогу, а так и в Гатчине?

Дуня разом поостыла, поднимаясь, сказала:

— Вот уж сроднились! Спас меня от расстрела — спасибо на том, но нам никогда не сродниться, Ной Васильевич. Разные мы люди. Ни мне за тебя замуж, ни тебе на мне жениться. Куда кукушке до Коня Рыжего! Сроднились! Век бы нам так не родниться и не креститься — ни двумя перстами, ни кукишем, как ты молишься. Ты ведь совсем не знаешь перелетную кукушку. Смешно просто. Ужли ты и вправду подумал, что мог бы удержать в казачьих руках кукушку, которой век суждено куковать и из гнезда в гнездо летать?

— Ни к чему оговариваешь себя, Дунюшка. Если родитель, как ты сказала, изгнал тебя из дома, дак не все же на миру злодеи. Есть и добрые люди. А как по мне — жили бы мы с тобой в мире и согласии,

и было бы хорошо. Не позволил бы никому срамить тебя. Оборони бог!..

Дуня опять захохотала:

— Срамить меня? Да если я сама себя посрамила, как же ты меня обелишь? Или не слышал: черного кобеля не отмоешь добела! Уж как-нибудь одна буду век вековать. А ты женишься на казачке, в своем Таштыпе или из какой другой станицы возьмешь — мало ли красивых казачек по станицам? Зла тебе не пожелаю — живи и радуйся в крестьянстве. Ты же будешь землю ворочать, на сборы выезжать, а казачка детишек тебе нарожает, хозяйство будет вести, коров доить, кур щупать... А у меня, Ноюшка, пальцы не так сработаны, чтоб куриц щупать да коров доить.

Ной приуныл — чужая душа с ним, будто не сидят друг возле друга на лавочке. И у этой чужой души свои заботы, а ему, Ною, от ворот поворот указан.

— Что ты так вздыхаешь? — спросила Дуня.

— Мои вздохи со мной останутся, Дуня. Только сказать хочу: и в крестьянской жизни есть радость, а не токо щупанье кур. Меня, к примеру, земля радует. Сами себе хлеб добываем и городчан кормим. А того, чтоб насмеяться над кем-то, в заведенье нету.

— Боженька! Рассердился! Да не со зла я говорила так, не думай. Выросла при городе, а не в крестьянстве. Да еще доченькой миллионщика навеличивали!.. Я вот еще спрос учиню с папаши. Я ему припомню в горький час его жизни все свои мытарства и муки! Ох, как припомню. Обгорела я, как выброшенная из каменки головешка.

Ной ничего не сказал. Окатила себя шайкой воды, провел ладонями по бороде, долго и тщательно протирал тело полотенцем, а потом не спеша стал одеваться.

Было воскресенье — день в истоке.

Морозная мгла с туманом кутала енисейские просторы, и только цокот копыт по ледяной дороге да гиканье кучера Павлуши на облучке нарушали дремотный покой в холодном и неуютном пространстве.

Силушку-Ноя подмывала забота: как он встретится с батюшкой Лебедем и со своими родными, тем паче с казаками-одностаничниками? «Про собеседование в Смольном с красными комиссарами молчать надо, — думал Ной. — Не понять ни батюшке-

атаману, ни казакам, какой переворот свершился в России! Вчерашнее, кажись, навеки отзвонило в царские колокола! Да и где они, наши казаки? Терентий Гаврилыч сказывал; дивизион атамана Сотникова задержался в Даурске; двигаются на Минусинск. И батюшка с одностаничниками, должно, в дивизионе. Ох, хо, хо! Как бы не выиграло здесь побоище, как в той Гатчине, господи прости!..»

Дуня, спрятав лицо в лохматый воротник дохи (Терентий Гаврилович обрядил гостей из Питера в собачьи дохи, чтоб не перемерзли в дороге), думала про встречу с Дарьюшкой. Сколько лет не виделись! И так много, много разного и всякого намоталось за эти годы, что всего враз не выскажешь. Да и можно ли говорить про свои мытарства, как миллионщик Востротин бросил ее на произвол судьбы в Питере! Разве все это поймет счастливица Дарьюшка?

«Она-то не мыкалась и по углам не тыкалась, — кручинилась Дуня. — За что меня исказнила судьба-злодейка? Как жить мне?! У Дарьюшки на притычке?..»

Но если бы знала Дуня, что произошло именно в это мглистое утро в Белой Елани!..

ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ

I

В далеком, неведомом Петрограде царь отрекся от престола и к власти пришло Временное правительство, а у людей тайги все так же выгребали хлеб, забирали скотину, расплачиваясь пустопорожними «керенками» и посулами вечной свободы и счастья. И вдруг шумнуло: пихнули временных, и объявилась Советская власть, а заглавными воротилами — большевики. Кто такие? Откуда? Не иначе, как от анчихриста. А тут еще на сходке в Белой Елани сын старого Зыряна, Аркадий, заявил, что он-де натуральный большевик. Хоть так жуйте, хоть эдак, а я — вот он, не от анчихриста, а от мирового пролетариата. А что обозначает «пролетариат» — не обсказал.

Ладно бы, жить можно, Да кругом разруха такая — ни гвоздей, ни мануфактуры, ни говоря про сахар там или конфеты, а товарищи из продовольственных отрядов тоже заседают: «Хлеба, хлеба, хлеба!»

Бедствие и нищета опоясали деревню — портки на бедных мужиках не держались. А богатые попрятали хлеб — попробуй сыщи!

Смутность напала: что, к чему? В башку не помещалось.

А старый тополь все шумел и шумел и, кто знает, какое он лихо навораживал!..

II

...Служба шла своим чередом. Молились. Молились. Молились.

Подбежал запыхавшийся мальчонка в мужичьем полушубке и, еле переводя дух, заорал:

— Ой, чо случила-а-ся! Учительша-то, Дарья Елизаровна, ут-о-опла-а!.. — И перекрестился по-старообрядчески на всю грудь ладонью, касаясь лба, живота и плеч двумя перстами.

Прокопий Веденеевич прицыкнул на мальчонку, но праведница Лизаветушка, костлявая сухостоина в рыжем полушубке и черной суконной шали, насунутой до бровей, остановила духовника грубоватым, драгунским басом:

— Погоди, ужо, духовник. Погоди. Пущай скажет. — И, поднявшись с колен, отряхнула снег, подошла к парнишке, взяла его рукой за подбородок, предупредила: — Не ври токо, чадо. Мотряй! Грех будет.

Тополевцы уставились на парнишку. Тот сдернул шапку и, вскинув светлые кругляшки на высоченную Лизаветушку, наложил на себя большой крест с воплем:

— Вот те крест свята икона спаса Суса, утопла. Я тама-ка был, на берегу Амыла. Петли на зайцев смотрел. Вижу: учительша идет Амылом. Подошла к полынье возле больших камней. Постояла. Самую малость. Перекрестилась. Опосля сняла шубу и положила на лед. Потома-ка кохту и потома-ка платью. И власы распустила, как еретичка, вроде. Страхота. Ипеть помолилась. Без платка, а — помолилась. Во те крест! А ветер на Амыле рвет, рвет и власы ейные раздувает, как гриву у коня. Я гляжу так. Потома-ка подошла к полынье и обувки сняла. Закрыла вот так ладонями лицо, и — бух в воду. Ажник брызнуло. Истинный бог. Я гляжу. Вынырнет аль не вынырнет? Нету-ка! Страхота! Потома-ка голос слышу: «Дарьяаа!» Это ейный дед Юсков базлал. Костыляет по льду, костыляет, Подошел к ейной одежке и смотрит, смотрит. Потома-ка снял шапку и пополз на коленях к ейным катанкам. А сам молится, молится. «Тута-ка лед, — грю, — шибко тонкий». А он молится, молится. Не слышит, вроде. Потом-ка упал лицом на лед и лежит. Я кричал, а он лежит. Вот те крест свята икона спаса Суса!

Тополевцы сбились в кучу вокруг мальчонки, слушали, помалкивали.

Лизаветушка возвестила:

— Анчихрист сгубил мученицу Дарью.

— Анафема нечистой силе!

Прокопий Веденеевич, духовник, голосу не подал и крест на себя не наложил. Как там не суди, а Дарья Юскова — федосеевка, еретичка. Хоть и помогла святому Ананию, а крепости тополевой не обрела: не приобщила к праведникам. Ну, а про анчихриста, какой заявился ночью, хоть и сыном доводится, говорить нече. Филимона уволок в тюрьму, да и сам Прокопий Веденеевич сколько времени скрывается от ареста. Выдалось вот воскресенье — ревкомовцы уехали в Минусинск на какой-то там уездный крестьянский съезд. А завтра, чего доброго,

схватят Прокопушку за бороду и упрячут в тюрьму: милости от такого сына, как Тимофей, не ждать, анчихрист со звездой во лбу. «Ох, хо, хо! Много мучительства сотворил проклятуший безбожник», — трудно подумал старик.

Единоверцы меж тем, не спросясь духовника, сорвались, как овцы с пригона, побежали поймой к Амылу.

Ш

Лизаветушка неслась, как рысистая кобыла — удержу нет. За нею — сивобородый старик, Меланья с малым Демкой на руках, еще два мужика, которые обогнали Меланью, старики и старухи.

Лизаветушка до того вошла в раж, что не подумала о предосторожности на тонком льду возле взбуривающей полыньи. Она спешила первой взглянуть на деда Юскова: жив ли? Лед звонко и сухо треснул под ее ногами, и она, едва успев вскрикнуть: «господи», — ухнула в воду по шею. Бурлящая кипень сбила ее с ног у подводного камня, вокруг которого всхлипывала ледяная вода. Рядом с нею, на обломке льдины, плавал скрюченный в три погибели дед Юсков. Его седые жиденькие волосы все так же раздувались ветром, на спине вздулась шуба, не успев намокнуть. Лизаветушка вцепилась обеими руками в шубу Юскова. Бабы истошно вопили, не смея подойти близко. Один из мужиков пополз к полынье, но когда раздался треск подмытого снизу льда, отпрянул вспять. Под руками ни у кого не было ни палки, ни веревки. Покуда мужики сообразили снять самотканые опояски, Лизаветушку утащило под лед, а вместе с нею и скрюченного деда Юскова. Некоторое время крутились в бурлящем водовороте Дарьюшкины фетровые сапожки, шапка деда Юскова, но и они, намокнув, ушли под лед. Какая-то старушонка, бормоча молитву, тыкаясь возле полыньи, подобрала вещи Дарьюшки и отнесла их подальше в сторону. Некоторое время все молчали. Опомнясь, бабы заголосили. Мужики сопели в бороды. Как там ни суди, а по их нерасторопности утащило под лед праведницу Лизавету. Шутка ли! Не иначе, как водяной схватил за ноги и, поминай как звали!

— Беда-то, беда-то, гли!

— В одночасье!..

— Подо мной как треснет, треснет. Ишшо бы чуть замешкался, был бы таперяча тама-ка с имя вместе.

— На каменюге-то эка взбурлирует.

— И то!..

Подошел и сам Прокопий Веденеевич. Выслушал единоверцев и неторопко, но без видимого страха направился к полынье.

— Поберегись, духовник. Лед-то нонече...

Прокопий Веденеевич остановился у полыньи, перекрестился:

— Не лед зримый, а крепость веры должна быть в помыслах ваших, праведники. Али не ведомо, как пророк морем шел и люд за собой вел, и никто ног не замочил?

— Дык Лизаветушка-то... — начал было кто-то, но духовник, подняв руку, призвал к молитве.

Как разуметь то, что свершилось на глазах людей? — размышлял старик. Была праведница, и — нету. Ни хладного тела утопшей, ни свечечки в скрещенных на груди руках. Утопла. А можно ли утопленницу почитать яко праведницу? А кто зрил, что Лизаветушка сама собой утопла? Разве нечистая сила не оборачивается ветром, водою, огнем летучим и даже петухом кукарекающим? Истинно так. Праведница, должно, не успела сотворить молитву, как нечистый погубил ее. За что? Да чтоб порушить веру праведников. Старик Юсков с нечистым знался, паскудную веру правил, а Лизаветушка кинулась спасать его. Вот и сгила. Полынья ли то?

— Али не зрите, праведники, котел сатаны? — показал старик на полынью. — Тут он котел, зрите! Ярится нечистая сила, злорадствует. Пенные губы вскидывает. К погибели то, грю. Али не ведаете: где лежит ваш меч, а где пух летит? Игде ваш меч, вопрошаю? Где ваши ружья. Много ли припасли ружей и провианту, чтоб на нечистых ревкомовцев с огнем кинуться?

Единоверцы пыхтят. Нет у них ни мечей, ни ружей.

— Али не сказывал: близится день сражения? Рушить надо безбожников. Подчистую рубить. Глите: котел сатаны кипит! Али ждете, когда ревкомовцы повергнут всех в котел? Чаво ждете? Сказываю: нынешнюю неделю подыдемся. Ружья припасите, топоры, железные вилы. Старые и малые все соберутся в одно войско, и святой Ананий будет с нами, яко спаситель. Огнь будет, огнь! И будет нам спасение, и крепость веры утвердится от века в век. Аминь.

— Аминь! — подхватили единовѣрцы.

— А кто из слабых сил скажет про слово божье ревкомовцам, — пугал старик, — тому смерть будет. Тут он котел, зрите! И пусть нечистый сгубил праведницу Лизавету — не слезы расточать будем, а силу копить. Сотворим праведнице службу, яко убиенной, и души ее в сонме ангелов возликует. И крест воздвигнем тричастный. Аминь.

IV

Вопль стелется желтым дымом... Бегут, бегут из деревни поймою Малтата...

Черная молния ударила в сердце Белой Елани...

Беда-то, беда-то экая! Три смерти, и — ни одного покойника; хоронить некого. А Дарья-то! Дарья-то Елизаровна! Светлая да разумная, кроткая и беззлобная, ей ли должно так помереть? Не она ли была первой учительницей в Белой Елани, и вот не стало ее, радостной и улыбочивой, одежда на льду да заморские золотые часики на чьей-то шершавой ладони.

А часики-то, часики-то тикают, тикают.

— Истинный бог, тикают!

От уха к уху — тикают, тикают. Стекло выпало, эмалевый циферблат треснул, а часы тикают.

— Вот диво-то! Живехоньки.

— В самом деле — живехоньки. Ишь ты!

— Сама идет.

— Игде?

— Ведут. Ведут.

— А самово-то нету: прячется где-то. Из ревкома ночесь стриганул с есаулом.

— Сыщут.

— Такого живоглота самово бы в полынью.

— В самый раз. Дарью-то он уездил.

— На школу рубля не положил, а на пакости разные мильена не пожалел. Банду содержит, живоглот.

— Известное дело, мильены упускать нелегко. С кровью рвал у инородцев в Урянхае.

— Новая власть живо подрежет крылья.

— Сорока гадала на сало, а оно, паря, к ногам ейным не пристало. То и с новой властью. Товарищи кумекают так, а оно, гляди, обернется вот эдак, навыворот.

— Не обернется. Вытряхнут Юскова с Ухоздвиговым из приисков, и баста.

— Фи! А мильены куда?

— Всему миру, для обчества, стал быть.

— Ишь, как рассудил! А не выйдет, Васюха, как в той побаске: шел народ до броду, увидел воду да и повернул обратно. Мокрая, толкует, водица, портки жалко. Ехал богач, залетел в ту воду вскачь, перемахнул на другой берег, а тама-ка — видимо-невидимо золота лежит. Нагрел, сколь мог, пуще обогатился, а народишка к нему притулился: авось, на чай перепадет. Как оно? Не выйдет эдак?

— Ленин говорит: не выйдет.

— Ленин? Слыхивал в Минусинске про него. Сказывают, что он, этот Ленин, ерманцам нас запродавал. С потрохами, холщовыми штанами.

— Ну и врешь, Андрей Иваныч!

— Оно так, Васюха. Один врет — лыко дерет; другой врет — лапти плетет. Третий подошел — лапти те надел да и ушел. Эх, хе, хе! Житуха настала — сопатому не в милость. Роздыху нет. Чистая погибель подоспела. То один переворот, то другой, оглобля ему в рот, а мужику — чистая растребиловка. Гли, вот у меня семьдесят пудов пшенички выгребли, а самому как жить-быть? При Николашке вроде легче дышалось.

— У тебя, Андрей Иваныч, всего не выгребешь. Известное дело: кто Лалетина на кривой кобыле объедет, кобыла та в одночасье сдохнет.

Ржут. Беззлобно. Добродушно.

— Сама! Сама!

Сама — Александра Панкратьевна, мать незадачливых дочерей, Евдокии и Дарьи, тяжелая, рыхлая неуклюжая в длиннополом салопе, крытом черным бархатом, не идет, а ведут ее под руки — деверь Михайла Елизарович и горбатенькая дочь Клавдеюшка. Следом тянутся люди и приживальщики дома Юскова: домоводительница Алевтина Карповна в нарядной, невиданной в деревне котиковой шубке и в кашемировой шали с кистями — надменная и важная, за

нею работники: кучер Микула, чернобородый, размашистый в плечах, в новеньком черненном полушубке и в поярковых расписных пимах, за ним — поселенец Мишухин, корявый до невозможности, стряпуха Аннушка и дочь ее Гланька с льняной косой через плечо, в полушубчишке с чужих плеч; самоход Евсей с бабой Натальей, еще один работник Наум со своей бабой Акулиной, и за ними уже столь же значительные, как и минувший день: Галина Евсеевна — супруга Михайлы Елизаровича, степенная, величавая, под руку с престарелым Феоктистом Елизаровичем, старейшим из братьев Юсковых.

Богачи идут, ни на кого не глядя, как с другой планеты вроде.

Снег по берегу и на Амыле почернел, словно обуглился от удара молнии.

Топчутся в валенках, и снег на льду не скрипит — прахом мира запорошен.

Утоптали...

Пасмурь с хиузом.

Посвистывает, посвистывает и стонет верховка в прибрежных пихтах и елях.

Сама еще не верит, глаза ее сумеречно-темные, немигающие, что-то ищут в немом и стылом пространстве, бледные, бескровные губы беззвучно шепчут молитву.

Протянулась чья-то бабья ладонь, как лодочка, и на чужой лодочке — золотая округлая слеза, а в слезе — бельмо с паутинкою трещин.

— Часики Дарьи Елизаровны. Живехоньки, вроде. Тикают.

— Ма-аменька-а! — вскрикнула Клавдеюшка. — Знать, правда! Часики-то, часики-то Да-ашенькины-ы!

У маменьки подкосились ноги — Михайла Елизарович удержал ее.

— Ах, господи! Ах, господи!

— К полынье ведите, к полынье. Дайте мне хоть глянуть на полынью... на кого ты меня покинула... разнесчастную мою головушку... отзовись, откликнись!..

Не отозвалась. Не откликнулась.

Поздно.

Чернота.

Посвистывает. Посвистывает.

Красномордый кучер Микула, возвращаясь от полыньи с длинным шестом в руках, возвестил:

— Чаво искать? Уволокло.

— Может, пошарить в полыньях ниже по Амылу?

— Чаво шарить? Уволокло. Амба.

Кто-то из охочих на суды и пересуды сказал, что Дарья Елизаровна-де утопилась из-за Тимофея Боровикова, чрезвычайного комиссара из Петрограда, который увел ее из кутузки к бабке Ефимии и не иначе как измывался над несчастной.

— Оно так, Боровик-разбойник доконал. Он самый. Продразверстку выдал из мужиков, вчистую сработал. Сколь ночей вы парились в ревкоме, а он, лешак, заявился и враз все выдал. Сом.

— Порода известная!

— Лют варнак. Лют.

Васюха Трубин, ревкомовский дружинник, говорит:

— Чаво задря виноватить Боровикова? Ни к чему то. Дарью Елизаровну он ночесь аслободил со старухами.

V

Кружатся, топчутся, уминают саван; каркают вороны в чернолесье по левому берегу, перелетая стаями с места на место, как будто падаль чуют, полынья взбуривает на подводных каменюгах, бормочет синюшными губами, точно облизывается после сытного обеда. Народу все гуще и гуще.

— Ой, глите, ктой-то идет? — показала какая-то баба.

— Святители, пророк Моисей! — возвестила сморщенная старушонка в самотканой однорядке поверх полушубка, перепоясанная красным кучерским кушаком. — Али не слыхивали? Ишшо вечер объявился. У Харитиньи Поликарповны заночевал. Моленье у них было. Вера у него самая праведная, сказывал. От войска атамана Сотникова приехамши, чтоб людей готовить ко встрече с войском.

Мужикам в диковинку — что еще за пророк? А старухи — одна к другой — то-се, святой, дескать, переворот ожидается; привечать надо святого поклоном.

Пророк тем временем сошел с берега на лед и двигался к народу этаким невиданной громадиной, опираясь на толстую суковатую палку.

Фигура в некотором роде внушительная — косая сажень в плечах, высоченный, чернущая борода в аршин из кольца в кольцо развеивается ветром, как веник, без шапки, в одной длинной холщовой рубахе, смахивающей на бабью споднюю становину, без ворота — просто вырез, чтоб голова пролезла, могучие плечи наполовину голые, шея что у быка, лохматобровый, носатый великан. Борода — смола текучая, а на голове — огонь летучий. Не диво ли? На холщовой рубахе — самодельный осиновый крест на толстой веревке. Полешки креста не обструганы — корою вверх для явственности, чтобы зрили, с какого дерева сработан. Холщовые шаровары пророка вправлены в белые шерстяные носки. На ногах сшитые из лосевой кожи чирки.

Мужики глазают на пророка, подавленно покряхтывают. Экая силища! В мороз — в одной рубахе, в чирках, простоголовый. Тут в шубах и полушубках пробрало до костей, руки-ноги с испару заходятся, а ему, должно, жарко.

Бабы и старухи, расступившись, крестятся, кланяются.

— По-о-омяни, го-оспо-ди, — затянул трубным бычьим басом пророк, озирая толпу с высоты своего роста, осеняя грудь староверческим знаменем. — Блаженны плачущи, ибо утешатся в час лицепристанья пред господом богом нашим. Увы, увy, чадy мои, сестры мои, братия во Христе, настал час скорбям и мукам вашим, и дана нам вера господня, чтобы было нам спасенье. Аааминь.

Трубное «аминь» отдалось в берегах Амыла.

— Помолимся, помолимся! Аще будет спасенье! Войско атамана Сотникова поспешает на землю Минусинскую, ждите!.. На неделе будет здесь. Прозрятся души наши, и спасены будем. Аааминь!..

Домоводительница Юсковых Алевтина Карповна подступила к нему ближе всех, глядела на грудь святого, выпиравшую колоколом из-под холщовой рубахи, на его могучие плечи, рыжую голову и бородищу смоляную, ну как будто жеребца покупала: хорош ли? Не съел ли коренные зубы? Ладен ли круп? Пророк, в свою очередь, возвещая тарабарщину, украдкой взглядывал на богатую бабенку.

Вскидывая руки к небу, заорал:

— Зрю, зрю! Страшен будет суд над безбожниками, какие будут помогать большевикам. Геенна будет!

Кто знает, что еще наговорил бы пророк Моисей, если бы не подошла к нему на шаг маленькая, неприметная, ссохшаяся бабка

Ефимия в старомодной лисьей шубе, в шаленке, едва прикрывающей сахарно-белые волосы, а с нею приживалка Варварушка.

Недовольная Алевтина Карповна посторонилась, капризно смяв пухлые губы, а бабка Ефимия на нее никакого внимания: смотрит и смотрит на пророка. Тот еще рычал о грядущем светопреставлении, о страшном суде над отступниками от старой веры, и когда на секунду замолк, бабка взяла его за осиновый крест и легонько дернула.

— Узнала тебя, Евлашенька. Экий ты стал, а? Бороду-то какую вырастил, а?

Пророк онемел на некоторое время, а бабка Ефимия подергивает осиновый крест:

— Не признал? Гляди же, гляди!

— Откуда сия старуха? — опомнился пророк, оглядываясь на толпу.

— Не признал? Ай, суетный! Так и мать родную не признал бы. Не ко мне ли в дом в Минусинске прибился ты с каторги? Ко мне, ко мне! Тому тридцать лет минуло. Приняла тебя, обогрела, дала укрыться, да ты, вижу, порушил слово свое. Грех то, Евлашенька! Не ты ли говорил, что отторгнул еретичную «осиновую» веру отца своего? А крест-то, крест осиновый. Ай-я-яй! Али псом стал?

Пророк гаркнул:

— Изыди, нечистая сила!

А тут и Александра Панкратьевна подкинула:

— Ведьма она, ведьма!

Юсковы добавили:

— Из твоей избы Дарья в полынью кинулась! Чтобы тебе околеть, проклятушая!..

Старушонки облепили бабку Ефимию, цеплялись за ее шубу, и если бы не мужики — разорвали бы нарушительницу благочестивого откровения пророка Моисея.

Чернота.

Морозит. Морозит.

Посвистывает.

Розовело небо; солнце еще не поднялось на пики елей — куталось в мглисто-слоеную шубу; не грело и не радовало — да есть ли оно на небеси?

На берегу, сидя на задних лапах, задрав голову к небу, утробно воет лохматый кобель деда Юскова — воет по покойнику, душу выматывает.

Пророк призвал разойтись всех по домам и не глазеть здесь из праздного любопытства. Алевтине Карповне шепнул незаметно, что поговорить-де надо, с глазу на глаз.

— Отойдем от суетных и праздных, сестра.

Бормоча молитву, размахисто крестясь, обошел вокруг полыньи и подался льдом дальше.

С реки свернул к излучине правого, крутого, берега, где не так жестоко драл свирепый ветер. Нет, он не жаловался на мороз, как будто и в самом деле не чувствовал ни холода, ни пронизывающего ветра. Его лапы до того покраснели, будто кровь выступила сквозь кожу, морда — краснее кирпича. Алевтина Карповна едва поспевала за ним.

— Куда же мы идем? — спросила. — У нас в доме такое горе!.. Хозяйку надо утешить. И вас прошу к нам в этот скорбный час.

— И смерть, и жизнь в руке господа бога нашего, — ответил пророк, хищновато поглядывая на барыню в дорогой шубе. — Поговорим здесь, сестра, откровение под небом угодно господу богу, не суетным, перемежающимся. Дозволь узнать, старуха, какая подступила ко мне, откуда родом? Кто такая?

— Юскова фамилия ее, Ефимия Юскова. Однофамилица моего хозяина, Елизара Елизаровича.

— О, господи! Да сколь годов ей?

— Сто тринадцать, будто.

— О, господи! Продли мне век до годов сей старухи, и я прозрею в святости твоей, господи!

— Она давно из ума выжила. Несет всякое. — А глаза хитрые, молоком вскипают, и видит то пророк, уминая под собою снег. — Разве вы Евлашенька, как она вас назвала?

— Евлампием был в общине батюшки свово, — признался пророк с тяжким вздохом. — Евлампием был, службу тяжкую правил, за что и

повязан был царской властью: на двадцать лет в каторгу упекли. Али не слыхала про Усинскую общину?

Алевтина Карповна ушам своим не верила. Так вот кто он такой! Про Усинскую общину до сей поры быль и небыль сказывают. Еще давно глубоко в Саянах открыто было тайное поселение раскольников. Вся власть в общине принадлежала святому Емануилу с его тремя сынами. Они вершили суд и расправу над отступниками от «осинников».

Заведено было так: ни одна из девиц не могла выйти замуж, не переспав с Емануилом в особой исповедальне. Однако нашлась отчаянная — имя ее не называли в газетах — бежала из Усинска тайгою, едва не погибла, но вышла на казачью станицу Таштып, и открыла станичному атаману про все злодеяния святого Емануила в Усинске. Девуцу доставили в город, снарядили казачий отряд, отыскивали поселение раскольников, нашли «смертный лог», в котором «лобанили» еретиков, собрали около сотни черепов с проломанными лобными костями, арестовали святого и всех его подручных и потом судили. Святого приговорили на вечную каторгу. Один из его сынов — Евлампий... пророк Моисей.

— У Юскова проживаешь, сестра? Атаман шлет ему поклон, да пусть готовит встречу войску.

— Скорее бы они пришли!

— Не так торопко. Пашеничку ждать будем.

— Как это понять?

— Поймешь!

— Вам же холодно в одной рубахе! Пойдемте, — а сама с любопытством игриво воззрилась на бородатое чудище; не выдержав напора нечистых глаз, тряхнул огненной головой:

— Ох, ввела во искушение!

— Ну, что вы! Что вы! — попяtilась Алевтина Карповна. — Пойдемте! Вы же окоченеете в одной рубахе. Мне и в шубе холодно.

— Не холодно, гляди! Сейчас жарко будет, — гудящим, сдавленным басом ответил пророк и, воткнув свою толстую палку в снег, облапил дородную Алевтину Карповну, да бородищей к лицу — задохлась. От бороды несло конопляным маслом, а от губ — тертым чесноком. Одной рукой он стащил свой осиновый крест, а другой

прижал ее к себе: — Не грех то, не грех, — сопел в лицо чесночной вонью. — Не грех то, коль плоть с духом пеленается.

— С ума сошли! Кричать буду!

— Кого кричать? Обратись! — отвечал пророк, уминая сугроб под крутым ярмом. От тяжести двух тел оледеневшая корка сугроба не выдержала, и они оказались в белом гробу.

Это был самый длинный час в ее постылой жизни вечной полюбовницы. «О, боже, спаси меня!» Но бога не было — она не знала и не помнила ни бога, ни черта, воспитанница купца Пашина, которого обокрала по наущению золотопромышленника Иваницкого, сколько рук хватало ее белое, холеное тело, сколько раз она подсчитывала потом прибавку к собственному капиталу, а тут — за что? Задарма? Чудовище, пещерный дикарь!

— Сподобилась, господи, пшеничная. Приобщу. Приобщу ко кресту праведному.

— Будь ты проклят, дьявол! — кусала себе губы Алевтина Карповна. Страх и бессилье закупорили горло; на лицо сыпался снег, и слезы, смешиваясь с тающим снегом, текли по щекам, приторно-чесночный запах будто проникал во все поры ее тела.

— Поплачь маненько. Полегчает.

— Будь ты проклят! Насильник!

— Замкни чесало!

— Чудовище!

Он вытаращил на нее глаза:

— Гляди, барыня! Шутейки свои забудь. Про меня в скиту говаривали: кто хоть раз с Моисеем шутку сыграет, вдругорядь, господи помилуй, на небеси преставится. Цалуй хрест, коль сподобилась. Обратилась. Дюжая ты, слава Христе, Ой, дюжая. Хрест поцалуешь и — ступай.

— Будь ты проклят вместе со своим осиновым крестом. Будь ты...

Он ударил ее по мокрым губам — головой в снег сунулась.

— Не кощунствуй на пророка, тварь.

— Боже, боже! Да что это такое? — В горле у нее закипели слезы. Это же сумасшедший!..

Он опять поднес к ее губам крест:

— С пророком ли ты пребываешь, барыня? Не вводи меня в соблазн пролития крови.

— Не пророк ты! Каторжник, каторжник! — взревела барыня.

— Баба! — грозно гаркнул пророк. — Не зуди больно. Не шарборься по гладкой стене — не вскочишь на небеси, не сдвигнешь гору, коль веры нету. Уверуй допрежь. Обратилась — держи тайну сю. Ежли бы я был Евлампием — да в родственном Усинске — не жила бы за срамное суесловие — в геенну вверх бы. Погрязла. Ой, погрязла. Цалуй троекратно.

Поцеловала троекратно...

Обратилась.

Брела домой, согнувшись коромыслом, и слезы застилали глаза. Плакала, плакала, не видя ни берегов Амыла, не чувствуя ледяного дыхания хиуза.

Не успела дойти до дома Юсковых, как по большаку навстречу вылетел пророк на грудастом рыжем жеребце.

— В Минусинск поспешаю! — крикнул, скаля белые зубы. — Жди, пшеничная, возвернусь с войском. Моленье будет, пшеничная!

И лихо умчался.

VII

За час до того, как Дуня появилась в доме доктора Гривы, инженер Грива был освобожден из УЧК. Как же он встретил Дуню! Он принял ее за Дарьюшку и готов был расстрелять своими серыми глазами. А потом, когда узнал, что явилась свояченица, скупно сообщил, что Дарья Елизаровна живет в Белой Елани и что ее освободил из-под ареста некий чрезвычайный комиссар Боровиков.

— Известна вам фамилия?

— Боровиков? Что-то помню, — сказала Дуня. — Большой дом на самом краю улицы, и тополь еще, под которым убитый каторжанин закопан. Он из тех Боровиковых?

— Из тех самых. Вы с ним не встречались?

Дуня, понятно, никогда не встречалась ни с каким комиссаром Боровиковым, на том и оборвался разговор.

В доме семеро женщин готовили торжественный обед на сто персон. Из окон дома Дуня видела краснокирпичную трехэтажную тюрьму.

Тюрьма и сад доктора Гривы.

Еще в 1907 году ссыльный доктор купил у земства участок земли рядом с тюрьмой, куда горожане вывозили нечистоты, и на этом участке заложил фруктово-ягодный сад и построил стеклянную оранжерею, где выращивались розы и всякая всячина.

Сразу за тюремной стеной вздыбился по взгорью шумливый сосновый бор — печальное воспоминание о былых минусинских лесах. У берега Тагарской протоки Енисея лепились к тюремной стене, подобно ржавым коростам, бараки надзирателей и конвойной службы. За бараками, на юго-восток — высокий заплот из плах, заостренных кверху: здесь начиналось владение доктора Гривы.

Из Красноярска приехали почтить доктора по случаю его шестидесятилетия его ближайший друг, доктор Прутов и доктор Марк Прокопьевич Прейс с супругою и племянником. Вместе с ними пожаловал без приглашения редактор губернской газеты «Свободная Сибирь» некий Завитухин — вертлявый и языкастый журналист.

Гостей было приглашено по именным билетам, отпечатанным на фасонной цветной бумаге с портретом доктора Гривы, ровно сто персон. Почему именно сто? На век будущий, так сказать. Доктор Грива — фаталист. Ему надо прожить сто лет.

Перед юбилейным пиршеством доктор Грива повел гостей в свой зимний сад.

На пятнадцати десятинах, в чаше-впадине, сжатой с трех сторон хвойным лесом, уныло торчали из-под снега деревья: уссурийская дичка, полукультурка, местами возвышались сугробы над присыпанными землею крупноплодными яблоками, а вот и оранжерея, парники, конюшня, коровник! Имение!..

Смотрите же, смотрите! Это сад доктора Гривы. Не Санта-Роза Лютера Бербанка, не гороховые грядки монаха Грегора Менделя в благоприятном климате Европы, а сад в Сибири — розы Сибири, хризантемы Сибири! Да, да, все это выращено в Сибири — у черта на куличках! В этом климате! Доктор Грива не только умеет делать операции, но и вырастил вот эти великолепные цветы! Дамы, прошу вас. Рвите, рвите! Не стесняйтесь. Цветы для вас. Прошу.

Браво, доктор Грива! Браво!

Позвольте, доктор, записать ваши слова для «Свободной Сибири». Но сначала снимочек вот в этой оранжерее. Одну минуточку, дамы и

господа. Исторический момент. Мы дадим снимок на первой полосе «Свободной Сибири».

Улыбались, улыбались, чтоб быть навечно припечатанными на первой полосе...

Два сына доктора Гривы — Арсений и Гавриил, — ничуть не похожие на маленького, суетливого, не в меру энергичного и речистого отца, держались в стороне — пусть тешится чудак-отец, забавляется на старости лет.

Дуня почтительно помалкивала.

— Прошу прощения, — извинился Гавриил Иванович, подойдя к Дуне. — Я бы хотел с вами кое о чем поговорить, Евдокия Елизаровна. Пройдемтесь на пасеку.

Дуня не понимала, почему именно на пасеку позвал ее инженер Грива-младший? Можно бы поговорить здесь, в лесу. Тут так хорошо! О чем-то шепчутся темные сосны. На их нижних лапах пристыл снег, а верхушки зеленые. И шумят, шумят, как перед непогодьем. Снег утыкан опавшими шишками, иголками, и кое-где исчерчен заячьими и птичьими лапами. За гривой леса вторая чаша-впадина, а там еще один участок сада — абрикосовые неплодоносящие деревья, липы, впервые выращенные в Сибири, ягодники — малинник, смородяжник, а по солнцепеку — кусты облепихи. В низине крестовый дом, в котором живет конюх с семьей, две старые девы — работницы доктора Гривы, и одинокий старик сторож.

— Так, значит, вы давно не встречались с сестрою? — спросил Гавриил Иванович. — Да, да. Понимаю. Будем откровенны, Евдокия Елизаровна. Никакой семейной жизни у меня не получилось с вашей сестрой. Не вышло. Не моя в том вина. Она жила фантазиями и воображаемой жизнью, но не той, какая была на самом деле. Фактически она была попросту больная, хотя я не мог тому поверить. — После психиатрической больницы ее надо было бы оставить в покое хотя бы года на два, но... Проклятое наше время! Ни покоя, ни передышки. Сейчас она учительствует в Белой Елани...

VIII

Пророк Моисей, взмылив рыжего Вельзевула, во второй половине дня приехал в Минусинск и, не теряя времени, поспешил в сад доктора

Гривы на Тагарский остров, поставив жеребца на выстойку у знакомого мужика на Набережной.

Пророк явился в ограду как раз в тот момент, когда доктор Грива показывал гостям оранжерею, угощал свеженькими, прямо с грядки, огурчиками, а потом повел всех к своим подземным владениям, где у него хранились в каменных подвалах овощи и фрукты, наливки и даже облепиховое масло, которое доктор Грива выдавал за «собственное открытие», хотя именно этим маслом пользовались много веков назад фараоны.

Пророк Моисей шел навстречу гостям в распахнутой накидке вроде шабура, в длинной холщовой рубахе — чернобородый, рыжеголовый, что вширь, что ввысь: матушки-светушки! И деревянный крест болтался на груди.

Все гости и сам доктор Грива замерли в недоумении, наблюдая за пещерным жителем, мнущим снег размашистыми шагами, с палкою чуть поменьше оглобли. Кто он и откуда — никто понятия не имел.

Незванный гость устремился к почтенному господину в драповом пальто с бобровым воротником-шалю, усмотрев в нем хозяина:

— Истинно-о-о гла-аго-олю, мно-ооога-а-ая лета-а-а хозяину сей земли!

Обладатель бобрового воротника, доктор Прутов, развел руками:

— Но я здесь не хозяин, извините.

Пещерный житель вывернулся:

— Али не ведомо: хто у хозяина в чести пребывает — добро хозяина, благодать хозяина на себе в тот час носит? Имя мое — пророк Моисей, не зван на пир сей, слово несу тайного собеседования со хозяином, доктором Гривой. Со Белой Елани — из тайги. Только што примчался. Коня запалил. А вам скажу: люди, прозрейте!.. Двигается, движется, к нашему уезду праведное казачье войско — возрадуемся и власть свою утвердим на земле сей. Али не ждете праведное войско? Доколе терпеть будете большаков — сынов нечистого? Али ждете, когда вас всех в тюрьму упрячут?

Знатные гости потерянно потупились.

Доктор Грива ничуть не обрадовался явлению пророка Моисея. Экое чудище! Будет трубить в застолье, как сохатый в лесу, заглушит всех и выставит на посмешище.

— Так, значит, пророк Моисей? — поинтересовался доктор Грива. — Не имею чести быть знакомым с вами. А, позвольте, как вы стали пророком? Самовнушением или миропомазаны?

— Шизофреник, — сказал доктор Прутов.

— Ярko выраженный параноик, — уточнил доктор Прейс.

Пророк, набычившись, разглядывая маленького человечка, туго соображал: неужели это и есть сам хозяин?

— О, создатель! — рявкнул он с досады, что промахнулся. — Много птиц поющих и летающих по пустыне сей холодной! Птичье житие даровано создателем пророкам, которые слово господне не все держат, а в люд несут.

Маленький доктор Грива сухо урезал:

— Ну, я земной житель. Земной. Птичье житие — не моя стихия. Вам виднее, пророк. Я лично неверующий. Атеист. Э, Антон Францевич, угостите пророка огурцами. Земными огурцами. Покажите ему парники — земные парники, не птичьи. Ну, и сведите на пасеку к Яну Виллисовичу. Пусть угостит медом. И проводите потом. Честь имею.

Доктор слегка кивнул пророку и позвал за собой гостей — нечего, мол, глазеть на идиота.

— Или! Или! Ламма Савахфана! Ламма Савахфана! — взвыл пророк, не ожидавший такого приема. — Ты кто будешь, раб греховный? — уставился он на управляющего заведением доктора Гривы, Антона Францевича Цыса. — Кто будешь, бритоусец? Сокомпанеец сего малого человека, утопшего во гордыне, или соутробец? Еще скажи, где мне сыскать гордоусца инженера Гриву? Ох, будет слово обвинное ко Гривам всем!.. Будет!..

IX

Дуне скушно, скушно. Позевоту мнет. Зачем Грива-младший привел ее на эту пасеку в большой дом на две половины? Им не о чем говорить. Не о чем. Про Дарьюшку он что-то мямлил, тянул и ничего не сказал. Ах, какие они скушные, Гривы.

Она сидит на деревянном стуле у большого окна. За окном, по горке в багровом закате колючие необобранные кусты облепихи. Ягоды лепятся прямо на веточках, как желтые круглые пуговики.

Сорвать бы хоть горстку, покатать ледяные горошины на языке, чтобы сонность прошла. Неудобно зевать перед инженером. У окна — квадратный верстак. Книги, книги, бумаги, карандаши, микроскоп, какие-то пробирки, колбы на подоконнике, два бронзовых подсвечника с огарышами толстых восковых свечей, одинарная рама с подтаявшим льдом по нижним стеклам, некрашенный и давно не мытый пол из широких плах с черными щелями, забитыми грязью, еще один верстак у стены, масляно-желтые кедровые стружки, рубанки и фуганок, сверла, долотья, стамески, на полу, возле верстака — неструганые доски для ульев в углу, один на другом — улья «дадана-блатта», у другой стены — деревянная самодельная кровать, пуховая подушка в батистовой наволочке, узорчатое покрывало, на табуретке, рядом с кроватью, коробка папирос, чугунная пепельница, и тут же жестяная лампа, — а все это, вместе взятое, чудачество доктора Гривы. Сюда Грива прячется от мирской суеты и нервного переутомления; не житуха — рай божий! Над кроватью, на оленьих рогах, набор разных ружей, из которых, пожалуй, стреляли только на заводских испытаниях. Полушубок на гвозде, шарф, башлык, собачья доха, ушастая шапка. За верстаком в углу — беремья березовых дров сбочь кирпичной плиты. На плите — прокоптелый чайник, кастрюли, точь-в-точь, как на охотничьем зимовье. Им здесь не скучно, доктору с пчеловодом, Яном Виллисовичем. Ян Виллисович плохо говорит по-русски, а доктор Грива ни слова не понимает по-латышски — друг другу не мешают. Ян Виллисович поставил на стол перед Дуней фарфоровую тарелку с вырезанными сотами. По надрезам сотов желтый мед, пахнувший фацелией и донником.

— Угощайтесь, — пригласил Гавриил Иванович.

— Спасибо. Я не люблю сладкое.

— Дарьюшка любит сладкое.

— Да, — сказала Дуня. — Она любит сладкое, а я — горькое. Лук, чеснок, редьку, красный перец. Смешно, правда?

— М-да. — На лице инженера Гривы прикипели лиловые синяки — памятки вчерашней потасовки в кутузке Белой Елани, когда его измолотил взбешенный есаул Потылицын перед тем, как бежал со своими сообщниками.

Что-то вспомнив, Дуня посмотрела на Гриву:

— Вы из казаков Дона? — спросила.

У Гривы брови полезли на лоб:

— Помилуй бог! Еще чего не хватало!

— Может, родились на Дону?

У Гривы даже губы задергались, и он ответил с достоинством:

— Родился я в Кронштадте! Мой отец дворянин.

— А!

— Почему вы спросили, что я родом с Дона, да еще из казаков, чтоб их черт побрал?

— Да вспомнила вот про комиссаршу нашего женского батальона, вашу однофамилицу, — сказала Дуня, отведав ложечкой ароматного меду, — Звали ее Селестиной Ивановной Гривой...

Дуня не заметила, как вздрогнул инженер Грива, но он вовремя взял себя в руки. Это же, конечно, сестра его, Селестина! Три дня назад отец получил от нее письмо, в котором Селестина писала, что она «давит хлеб из богатых мужиков» и скоро приедет работать в Минусинск. Отец до того был взбешен действиями дочери-большевички, что даже от именин хотел отказаться. «Это возмутительно! Мало того, что она три года таскалась по фронтам, так теперь, пожалуйста, грабежом занимается! — гремел папаша. — Чтоб не слышал о ней ни единого слова! Ни единого слова!»

— Так что же она, та Селестина Грива? сдержанно напомнил Гавриил Иванович.

— Бандитка, что еще? — ответила Дуня. — Ох, и злющая была!.. Сколько офицеров из-за нее арестовала ВЧК! И за всеми нами, батальонщицами, шпионила. Родом она, говорила, с Дона. Забыла какой станицы. Мать ее, будто, была атаманская дочь.

— М-да, — проямлил инженер Грива, потирая синяки.

Из передней избы раздался трубный голос:

— Спаси, Христе! Да будет прозренье от невери в доме сем. И тут бритощекий? Ох, неверь! Неверь!

Грохочущий бас испугал Дуню: она узнала голос. Узнала! Быстро выглянула в дверь и спряталась за косяк.

— Боженька!

Грива подошел к двери и посмотрел. Ну и ну!

— Что за старик? — спросил у управляющего.

Тот ответил:

— А кто его знает. Назвался пророком Моисеем. Велено было отвести сюда, чтоб погрелся. И медом угостить. Доктор наказал, чтобы проводить потом с пасеки, а он говорит, не уйдет, пока не скажет «обвинное слово».

— Привяжи язык, бритоусец, — осадил могучий гость. И молодому Гриве: — Должно, инженер Грива? Тебя ищу,

— Что вам от меня нужно? — нахмурился Грива, заслонив собою дверь.

— Чаво так глядишь-то? Али я зверь? Погрязли, вижу, с отцом! Жарко те будет, инженер пригожий.

— Никакого ему угощенья, Антон Францевич. Пусть убирается к себе в богадельню. Фигура!

— Ох, не зуди, господин хороший, Гавриила Иванович. Не зуди. Не будь выше отца своо, погрязшего во гордыне! Скажи, из Белой Елани утром увезли тебя в тюрьму красные комиссары, а ты — вот он, жив-здрав! Али чем умилиствовал красных, что в тюрьму не упрятали?..

— Убирайся, старик. Сию минуту! Выведи его, Антон Францевич. А ты помоги, Ян Виллисович.

Раздался грохочущий хохот.

— Гляди, гляди, создатель, как вскипел! Ха, ха, ха! Спытай, господин инженер, сам силу, а не принуждай к тому людей купленных. Ха, ха, ха! Угощай, управляющий! Живо мне! Да не в грязной избе потчуй, веди в чистую половину.

— Не пускайте его сюда, не пускайте! — попросила Дуня, она знала этого ужасного пророка староверческого знаменского скита: от одного его голоса в дрожь кинуло и пот выступил на шишечке ее чуть вздернутого носа.

— Глас бабы слышу? — загремел пророк, напирая на инженера Гриву.

— Ты, ископаемое...

— А ну, отклонись от двери, инженер, во блюде и невери погрязший! Дай глянуть на бабу ту. Чаво она там бормочет?

Грива не устоял в дверях — пророк Моисей оттолкнул его прочь в сторону, за косяк, и, рыча, пригнув лохматую голову, вошел в чистую половину избы. Уставился на Дуню, развел руками, громогласно возвестив:

— Спаси мя, Лилию зрю! Фиалку зрю! Дуню Юскову зрю, господи. Откелева заявилась плоть духмяная? Три года не зрил тя, сладостная Лилия. По Красноярску шарил, искаючи тебя. Мадам Тарабайкина сказала: уехала Дуня с господином Востротинным в Петербург! А ты — вот она, радостная, Чаво так пужаешься?

Дуня пятилась, пятилась, покуда пророк не загнал ее в угол.

— Ну, чаво глядишь так? А я вот не запамятовал тебя, гляди. В субботу привел господь в Белую Елань и стало прозренье: Дуня-то Юскова, говорю себе, была из Белой Елани. Вопрошаю: есть тут юсковцы-федосеевцы? Есть, говорят, и отца твоего назвали. Тот ли, думаю, Юсков? А утре на солнцевосходе слышу: утопилась Дарья Елизаровна Юскова, учительница. Воспрошаю, какая такая Дарья Елизаровна? Не сестра ли Евдокеи, про которую выпрашивал. Говорят: двое их было у родителя: Дарья и Евдокея. Пошел со старухами на Амыл, где смерть сыскала себе сестра твоя...

Что он бормочет, страшный человек? Что он такое бормочет? Кто утопился? Дарьюшка! Да нет же, нет!

— Слушай, старик, — опомнился Грива. — Что ты чушь городишь?

— Помолчи, Грива! — гавкнул пророк. — К тебе у меня слово другое будет. Не елейное — обвинное. Сказуй: Дарья Елизаровна, какая в полынью бросилась, женой была тебе? Не тако ли? Юсковы говорили потом, что ты проклял ее утром. И она, бедная, в полынью кинулась.

— Вранье, вранье, — дрогнул Грива.

— Это правда?! Правда про Дарьюшку? — вскинулась Дуня.

— Помилуй мя! Как можно обвинное слово с неправдой нести? Али я не сподобился в пророки?

— Вранье! — отступил Грива, теряя самообладание. — Это какой-то дикий бред!

— Ага, ага! Возопил, гордоусец!

— Боженька! Как же это? Скажите же, Гавриил Иванович, что у вас там случилось?

Пророк еще что-то бормотал о праведном казачьем войске и что красных большаков надо «лобанить», а люди «в развращении духа пребывают», и что если бы Дуня Юскова — духмяная Лилия — пошла

за ним, то он бы воспел аллилуйю на две души, на два тела, и была бы им радость великая.

Грива взревел:

— Ты... ты — ископаемое!

— Примолкни! — цыкнул пророк. — Не с тобой разговор веду, а вот с ней, покель она ишшо не утопла в полынье.

Дуня слушала пророка с пятого на десятое, а он, инженер Грива, погнул голову, недавние синяки на его заметно побледневшем лице проступили до того резко, как будто кто налепил ему на лоб, щеки и подбородок лиловые заплаты.

— Это правда — утопилась?! — все еще никак не могла поверить Дуня.

— Сгила, как не жимши! Помяни ее душу, господи! — Пророк размашисто осенил себя крестом, и к инженеру Гриве: — Несть бога в душе твоей, а пустошь едная, душу в заклад отдал красному диаволу. Погрязли в суесловии и ветрогонстве, и несть вам спасения. Сказуй, раб греховный, как тебя сразу освободили из чики? Игде оружие, какое припасли божьи люди, чтоб прикончить красных антихристов? Игде оно?!

Грива не стерпел оскорбления, схватил со стены американский восьмизарядный винчестер, но тут же был обезоружен.

— Не балуй, господин бритощекий!

Воспользовавшись моментом, Дуня убежала из избы — и от насильника пророка, и от интеллигентного, посрамленного инженера Гривы. Она все еще не могла поверить, что Дарьюшка — ее бедная сестричка — утопилась! Бежала, бежала среди высоких стройных сосен, будто спешила на выручку Дарьюшки. А вот и дом на дюне, холодный дом на дюне. Она не стала объясняться ни с кем, взяла свою сумочку и кинулась на крыльцо. Когда спускалась с дюны, взглянула на небо, испугалась: на его прислоне метались красные метлы, охватывающие полнеба. Над возвышающейся тюрьмой повисли лиловые столбы, будто кто их выстреливал вверх из пушки.

— Боженька! Что это? Или пожар где? — подумала Дуня. И все смотрела на северное сияние, покуда не вышла из ворот ограды. Перед тем, как спуститься с берега на лед Татарской протоки, еще раз оглянулась. Лилово-пурпурные столбы над тюрьмой постепенно

тухли, а сама тюрьма казалась до того красной, как будто кровь узников проступила изнутри наружу.

И это пышущее пурпуром небо, как бы отчужденное от всего земного, и неожиданная весть о трагической гибели Дарьюшки, и встреча с насильником, выдающим себя за пророка, который еще в ту пору, когда родственники упрятали Дуню в келью скита, жестоко истязал ее, все это разом наплыло на Дуню, и она горько расплакалась. Какие они несчастные, сестры, Дарьюшка и Дуня! В какой дурной час народила их на белый свет маменька. Слезы катились по впалым щекам Дуни, она их смигивала с ресниц, и все шла, шла дорогою возле берега, не ведая, куда идет.

Дуня не помнила, как она оказалась у аптеки в доме Вильнера — ни о каких лекарствах не думала, а вот пришла и остановилась возле зеркально-блестящего светящегося окна. За окном вращающаяся горка с лекарствами, какие-то люди — женщины и мужчины.

Вдруг рядом раздался голос:

— Дарьюшка!

Дуня быстро оглянулась. Перед нею стоял высокий человеку длиннополой офицерской шинели, в папахе, она его никогда не видела и знать не знала. Он знал Дарьюшку!..

Свет из окна аптеки падал ему на лицо, резко выпечатывая скулы, шрам на лице и тревожно ожидающий ответ взгляд, упругий, настойчивый. Дуня попятилась под напором этого взгляда.

Кто же это?

— Что ты такая потерянная, Дарьюшка! — продолжал человек в шинели и папахе. А у Дуни дух занялся. Это же, наверно, тот самый чрезвычайный комиссар из Петрограда, Боровиков, про которого со злобой говорил инженер Грива?

— Боженька! Я, я — не Дарьюшка, не Дарьюшка! Нету больше Дарьюшки! Нету! Она утопилась, — зачастила Дуня и слезы покатились по ее щекам, освобождая сердце от тяжести. — А вы обознались. Не Дарьюшка я, нет, сестра Дарьюшки, Евдокией меня звать... Евдокия Елизаровна. Я только что приехала в Минусинск — спешила повидаться с Дарьюшкой — столько лет не виделись! Из Петрограда я...

Вокруг них собрались зеваки — глазают, слушают. Человек в шинели молча взял Дуню под руку, и она пошла с ним на другую

сторону улицы.

— Дарьюшка утопилась?! Что-то невероятное, — растерянно проговорил он, приглядываясь к Евдокии Елизаровне. — Я утром выехал из Белой Елани — ничего подобного не было. Ничего подобного!

— Если бы это было неправдой! — печально и горько сказала Дуня. — Завтра я поеду туда и все узнаю.

Тимофею морозно, знобко и жутко. Внутри как будто что-то оборвалось. Утопилась Дарьюшка? Сегодня утром? Да как это могло случиться? Он же видел ее, когда выехал в кошеве из ограды старого Зыряна. Видел же! Она шла серединою улицы, посмотрела на него странным, отчужденным взглядом и, опустив голову, посторонилась от кошевы. И он, Тимофей, проехал мимо...

X

Ной тем временем ждал Дуню в доме ее двоюродного дяди, Василия Кирилловича Юскова, известного книголюба, владельца винного и пивоваренного заводов. Он был единственным сыном Кириллы Михайловича, который вопреки матери, Ефимии Аввакумовны, избрал для себя военную карьеру, дослужился до звания казачьего полковника и трагически погиб во время Японской войны под Мукденом.

Как и отец, Василий Кириллович тоже закончил высшую школу казачьих офицеров, был командиром Минусинского дивизиона, но при подавлении восстания красноярских рабочих в 1905 году подал рапорт об отставке, мотивируя действия наказного атамана Енисейского войска Меллер-Закомельского как непозволительные для казачьей чести.

В его двухэтажном доме в Минусинске частенько снимали комнаты политссылные, и до прошлого года проживали здесь Ада Павловна Лебедева и Григорий Спиридонович Вейнбаум. Будучи человеком начитанным, Василий Кириллович иногда вступал в споры с политиками, цитируя Гегеля, Шопенгауэра, Фейербаха и Плеханова, книги которых он доставал, что называется, «из-под земли». Кроме книг Василий Кириллович собрал знатную коллекцию ртутных и механических барометров, которыми завешал всю свою просторную

спальню. Погоду же он предугадывал не по ста барометрам, а по собственному ревматизму.

Дом, в котором жил Василий Кириллович с бездетною супругою Марией Власовной, из рода мещан Ковригиных, был построен Михаилом Даниловичем Юсковым — мужем Ефимии Аввакумовны, и здесь один раз побывал беглый каторжник, Мокей Филаретыч Боровиков, перед тем, как уйти на «поиски золотого фарта» в Урянхай, где опознан был урядником пограничного казачьего взвода.

Сама бабка Ефимия, переезжая от внука к внуку или от правнучки к правнучке, часто наезжала к Василию Кирилловичу.

Дунюшка, не успев обопнуться у дяди, убежала к доктору Гриве на Тагарский остров, оставив Ноя в просторной гостиной, даже путем не представив его Василию Кирилловичу — «сами познакомитесь».

Гостиная, с тремя полукруглыми окнами в улицу и двумя в ограду, заставлена была тяжелой старинной мебелью: резной буфет из черного дерева, массивный стол, такие же массивные черные стулья с высокими спинками, широченный диван с плюшевыми подушечками, на котором отдыхал Ной, поставив свою шашку в угол на диван вместе с фронтным карабином. В простенке между окон в ограду стояли большие часы с эмалевым циферблатом и тремя медными гирями. Рядом с Ноем лениво развалился рыжий ангорский кот. Ной попробовал погладить его и тут же был поцарапан.

— Не трожьте разбойника, — сказал Василий Кириллович, сидя в глубоком кресле у двери в соседнюю комнату. — Вот ведь животное, скажите на милость! Живет у нас полгода, и чтоб потерпеть чужую руку, спаси бог! Привезла его племянница из Красноярска. Учительствует здесь в школе. У, зверь ангорский!

«Зверь ангорский», будто понял, что речь шла о нем, уставился на старика горящими злыми глазами.

— Ну, а как теперь в армии с довольствием? Скучно? Ну, ну! Отощала Россия. Неслыханно отощала и обнищала, господи прости. Так, значит, послужили в Петрограде? В толк не возьму: что у вас за сводный Сибирский полк был?

Ной рассказал.

— Неслыханно! — покачал головою Василий Кириллович. — Как же могло командование формировать казачий полк в совокупности со стрелковыми батальонами?

В тот момент кот, наострив уши, вдруг прыгнул через подлокотник дивана на пушистый ковер, подбежал к двери в прихожую, толкнул ее лапами, был таков.

— Видели? — кивнул Василий Кириллович. — Почуял приближение своей хозяйки.

— Чего она в воскресенье-то учит? — вздохнула Мария Власовна. — Или будней мало? На пять классов одна! Ты бы, Вася, поговорил с кем из учителей-забастовщиков, может, вышли бы учить.

— Хм, поговорил бы! — фыркнул лобастый Василий Кириллович. — С кем говорить? И во имя чего вести переговоры? Денег у совдепа нету ни на школы, ни на учебные пособия и пайков нету для учителей. Все и вся расплзается по швам, прости господи. Такого бедствия еще не переживала матушка Россия. Вот к чему привели нас всевозможные теории социалистов. Много партий и никакого толку. Все пошло вкривь и вкось. Ну, а как в Петрограде? Существуют школы?

Ной ничего определенного сказать не мог про школы в Петрограде.

— А вот в Гатчине, как знаю, — закрыты. Учителей нету, да и школы вымерзают без дров. Ну, и голод к тому же.

— Ох, хо, хо! — постанывал Василий Кириллович. — Куда же мы идем, служивый, хотел бы я знать на старости лет? — Подумав, заверил: — Монархия, понятно, канула в небытие. Отжила свое. Но должно же что-то определенное установиться с твердыми порядками и законами?

— Должно бы, — эхом отозвался Ной. — Без порядка круговерть запеленает.

— «Круговерть»? — Василий Кириллович внимательно посмотрел на рыжебородого гостя, кивнул: — Это вы хорошо определили — «круговерть».

Часы отбили четверть пятого.

— Дунюшка-то, наверное, надолго задержится у доктора Гривы. Может, накрыть на стол? — спросила Мария Власовна.

— Если с Дарьюшкой встретятся — разговоров им хватит на три дня. Скажи Татьяне Михайловне, пусть накрывает. К тому же у доктора Гривы сегодня юбилей — шестидесятилетие; будет пир горой. А как вам понравился Терентий Гаврилович Курбатов?

— Хозяйственный мужик. Обстоятельный.

— Именно — обстоятельный. А ведь он из народовольцев восьмидесятых годов. Не говорил вам?

Ной понятия не имел ни о каких народовольцах.

— Да, да! В школах тому не учили, а зря! Народ-то наш, служивый, фактически к революции пришел малограмотным и наполовину совершенно безграмотным. Цари-самодержцы с первого Рюрика и до свергнутого с престола Николая Романова не баловали народ образованием. И вот, пожалуйста, революция! Сам по себе факт потрясающий. Не пугачевщина, про которую помнит по некоему Филарету-раскольнику моя здравствующая бабушка, а — революция.

«Умнящий старик», — подумал Ной.

В прихожей слышались чьи-то шаги — Ной выпрямился подумав, что пришла Дуня. Василий Кириллович успокоил:

— Не Дуня. Родственница наша, учительница.

В гостиную вошла милостивая девушка, тоненькая, белолицая, а по груди — толстая белокурая коса с красною лентою. Ной поднялся, поправил китель. Необычайная синева глаз плеснула ему в лицо, а Василий Кириллович чинно представил:

— Познакомься, Анечка. Хорунжий Енисейского казачьего войска, Ной Васильевич Лебедь из станицы Таштып. Прибыл из Петрограда, где служил со своим сводным Сибирским полком.

Лицо девушки просияло:

— Правда, из Петрограда? — спросила она, подав маленькую настывшую ладонь. — Анна Дмитриевна.

Ной слегка поклонился — не горазд он был на знакомства с девицами, тем паче — учительницами.

В руке у Анечки был тяжелый портфель с учебниками и грифельными досками, и она, положив его на диван, все с тем же удивлением разглядывала хорунжего, как бы не веря, что он и в самом деле приехал из революционного Петрограда.

— Я ведь и представления не имею о Петрограде, — призналась Анечка. — Когда еще училась в гимназии, мечтала быть курсистскою, да вот не пришлось. Это ж, наверное, огромный город!

— Огромный, Анечка, — подтвердил Василий Кириллович и, заметив, что «зверь ангорский» пробрался в гостиную, пошел на него: — А ну, брысь, сатана!

— Он вас поцарапал?

— Не шибко.

— Сейчас же уходи, Ангорец! — И, оглянувшись на Ноя, разъяснила: — Я его дрессирую. Видели, как он послушался?

— Мало тебе твоих ребятишек, — заметил Василий Кириллович. — Но по воскресеньям не надо бы заниматься в школе. Достаточно будних дней. И, кроме того, одна за четырех не вытянешь всех отстающих и ленивых к тому же.

В лучах угасающего солнца отсвечивали на столе хрустальные рюмки, сияла фарфоровая посуда. Татьяна Михайловна принесла на большом блюде зажаренного с гречневой кашей поросенка, Анечка — солонину в двух тарелках — знаменитые минусинские помидоры и разрезанный соленый арбуз. Хозяйка, Мария Власовна, поставила на стол в сплетенной из тонких прутьев корзиночке грудку подрумяненных наливных шанег. Ноя радовало, что в Минусинске люди живут сытно, и тут же вспомнились голодные люди Питера, скуднейшее полковое харчеванье.

— Мы еще живем, как видите, — показал рукою на стол Василий Кириллович. — Ну, а там, где вы были, — слезы и грезы.

Хозяйка пригласила к столу, хозяин достал из буфета две бутылки, сообщив:

— Ради такого дня не пожалею Шустовский коньячок и любимый моей супругою апельсиновый ликерчик. Давно не пробовали настоящего Шустовского?

Ной простовато улыбнулся:

— Понятия не имею ни о каких винах и ликерах. Непьющий.

Василий Кириллович не поверил:

— Ну, ну, не скромничайте, господин хорунжий. Я ведь тоже из казачьей косточки — подьесаульские погонушки нашивал. Ну, а у казаков, как помню по службе, не пьющими вин бывают только лошади.

— Должно, и я из лошадиной породы, — запросто признался Ной, сообщив: — Меня так и прозвали в полку — Конь Рыжий.

Старушка-хозяйка тоненько хихикнула, Татьяна Михайловна рассыпалась смехом, покачиваясь мощным телом, Анечка, недоумевая, забавно помигивала, словно ей соринка попала в глаза.

— Что? Конь Рыжий? То есть как — Конь Рыжий? — хлопал глазами Василий Кириллович.

Ной и сам не рад был, что некстати проговорился.

— Дунюшка вам потом расскажет.

Василий Кириллович налил в рюмки для женщин ликер, а себе и гостю — превосходный Шустовский коньяк.

— За наше знакомство, Ной Васильевич. Это же для нас большая радость встреча с вами — вестником из самого Петрограда! Так что прошу уважить.

Ной взял в пальцы веретенце рюмки, сказал:

— Нельзя пить-то мне — зарок такой дал. Когда еще жил парнем на Дону в курене деда, конфуз произошел со мной, а так и с другими парнями. Собрались мы в престольный праздник — еще безусые, ну и переложили дюже. Драка произошла, и один парень утонул в Дону. После того собрали нас, да на казачий круг. Как и что? До сей поры в памяти.

— Не вино, а самогонку пили, наверное. Ну, в малой мере вино пить можно, господин хорунжий, — успокоил Василий Кириллович. — И сам Христос вино пил на свадьбе в Канне Галлилейской.

— Читал про Канну Галлилейскую, но не сказано, что спаситель вино пил. Воду обратил в вино — правда, а чтоб пить — про то не сказано.

— Не пил! Не пил! — подхватила супруга Василия Кирилловича. — Это пьяницы придумали, чтоб на Христа ссылаться.

— Но если Христос воду превратил в вино, для кого же он совершил подобное превращение? Для людей же, чтоб потребляли в малой мере. Одно беда: никто не знает, где кончается малая мера и начинается большая, после которой человек не только в свинью превращается, но и хуже того, в зверя. Ну, а за сим, за ваше здоровье и благополучное возвращение в отчие края, Ной Васильевич!

Ной поморщился, будто хватанул ложку уксуса.

— Господи прости, до чего же горючее снадобье. И как только пьют его в большом количестве?

— Пьют, пьют да похваливают. Мой винный завод, например, не успевает напоить один наш маленький город. А ведь по деревням и селам самогонку гонят. Это же чистейший яд!

Закусив, Василий Кириллович вспомнил:

— Так какую же карательную службу вы должны были править своим полком в Петрограде? Когда вы туда прибыли?

Ной рассказал о всех злоключениях сводного Сибирского полка со дня его формирования в Пскове и до демобилизации в Гатчине, умолчав о разгроме мятежного женского батальона. Солдаты бегут со всех фронтов, в Самаре — светопреставление в некотором роде, и эшелоны с чехословацкими войсками при боевом укладе, а в Смольном — Ленин — Владимир Ильич Ульянов заглавный большевик, да вот сама Россия, как поглядел Ной, вроде с копылков слетела.

— Неслыханно! Неслыханно! — поддакивал Василий Кириллович, успев выпить вторую рюмку коньяка. — Никто не думал о большевиках, а вот, пожалуйста: любите и жалуйте — Совнарком и с Лениным во главе! Я вот читал книжицу господина Троцкого про «перманентную революцию». И если вникнуть в ее суть, то революция, которую начали мы в России, будет продолжаться вечно — до полной победы так называемого «мирового пролетариата». Экая чушь, господи прости! Такой ереси не писали даже во Франции, искушенной тремя революциями. Ну, а народ как, русский и прочий, населяющий Россию? Сдюжит эту самую «перманентную революцию» Троцкого!..

Анечка с присущим ей темпераментом горячо заступилась за мировую революцию, чтоб на земном шаре восторжествовали социализм, свобода, равенство всех наций без буржуазии и проклятого капитализма.

— Чушь, Анечка! Чушь! — отмахивался Василий Кириллович. — Ты даже мысленно себе не можешь представить, что это такое. — И, обращаясь к Ною, поинтересовался: — Ну, а Ленин как, за эту «перманентную революцию» Троцкого или за какую другую?

Ной затруднялся ответить.

— Про «перманентную» не слыхивал. А вот как были мы в Смольном и Ленин разговаривал с нами, то я так понял своим малым умом: он за то, чтоб мир установить в России. Про то и декрет есть Совнаркома.

Анечка удивилась:

— Но как же вы так, Ной Васильевич! Ленин — вождь мировой революции. Об этом пишут во всех большевистских газетах.

— Газет не читал, извиняйте, Анна Дмитриевна. — И, чтобы враз определить границы неприятного разговора, Ной сообщил: Кроме евангелия, ничего не читаю.

— Евангелия? — еле промигалась Анечка.

— Вот славно-то! Вот славно-то! — похвалила хозяйка.

— Вы это, конечно, в шутку про евангелие? — обиженно спросила Анечка.

— Почему в шутку? Я с ним по всей позиции прошел, и худого в том ничего не вижу для себя.

— Странн-но! Для революционера это очень даже странно!

— Для революционера — само собой, а я из казаков. В партию не вступал.

— Слышала, Анечка? Туда ли ты заехала, головушка! — сокрушалась тетушка. — Вот рассудите, Ной Васильевич. Она для нас — красное солнышко в окошке. Любим-то мы ее с Васей — души не чаем. А вот закружилась головушка, закружилась. И все от политики проклятушей! Отец мой, Влас Поликарпович, еще сорок лет назад сослан, был в Минусинск за «Народную волю». Ну, прижился в городе, поднялся на ноги. Брат мой, Дмитрий Власович Ковригин, извозом промышлял, а потом купил дом в Красноярске и переехал туда на жительство. С того и начался распад его семьи. Сперва сына в депо арестовали за политику, а потом подросла дочь Прасковья, фельдшерницей теперь, и тоже отведала ссылки. Вся семья брата погрязла в безбожестве и политике. А к чему то девицам, господи! Ты бы, Анечка, подумала о себе и как жить дальше. Вот приехала учительствовать к нам в город, а все наши учителя забастовали — ни денег им не платят, ни пайков не дают. А она, — кивнула на племянницу, — одна школу тянет. И мало того, в партию большевиков записалась. К чему то девице, господи!..

Ной вспомнил комиссара Селестину Ивановну Гриву и ничего не сказал.

— Смутные, смутные времена настали! — поддакнул супруге Василий Кириллович. — Ни власти истинно сущей, ни державы твердой, а так, бог весть кто и что верховодит тарантасом России. И то, что вы, Ной Васильевич, обсказали нам про Смольный, Совнарком и

Ленина, весьма печально, служивый. Ленин не та личность, чтобы вытащить Россию из бедствия. Твердая рука нужна. А что у нас происходит? Одно упразднили, другое — не утвердили, и мы располземся кто куда. К социалистам-революционерам, а их у нас в Минусинске полным-полна коробочка!.. Есть еще меньшевики.

— От эсеров туман да пакости, — вспомнил Ной заговорщиков в Гатчине. — Ленин призывает к миру, и чтоб от разрухи живыми вылезти. Не воевать меж собою, а жизнь налаживать.

— Будем еще воевать! — упрямо ответил Василий Кириллович. — Будем! Большевики, служивый, развалили государственный строй. А к чему то привело, смею вас спросить?

— Строй этот был тюремный, самодержавный! — вмешалась Анечка.

— Те-те-те! Поехали!.. Нет, Анечка, не в ту сторону крен держишь. Расползется Россия по всем швам. Нужен военный кулак, чтоб одним ударом поставить все на свои места. И не Ленину то свершать! Не Ленину! Не пойдет за ним народ.

— Так ежели судить по Гатчине и Петрограду, за Лениным вся бушлатная революция, то есть матросы, а так и рабочий люд, — возразил Ной. — Потому как Ленин за мир, чтоб из разрухи живьем вылезти. Куда далее воевать?

— Будем еще воевать! — упрямо напомнил старик. — Да-с! А вам я присоветую по старшинству: умалчивайте о своем собеседовании с Лениным в том Смольном. — Ни к чему то, как вы есть казачий хорунжий. С Дуни, например, какой спрос? Она с охотностью махнет к большевикам, а завтра — к их противникам. Не спросил, как вы с ней в Питере повстречались?

— Не в Питере, а в бою. Евдокия Ивановна...

— Елизаровна.

— Евдокия Елизаровна была пулеметчицей восставшего женского батальона и дралась отчаянно...

— Те-те-те! — ожил старик. — Гляди ты, мать, какова Дунька-то у Елизаровича! Ай-я-яй! Во тебе и Дунька! Пулеметчица. А? Таковую бы я, будь на позиции, к Георгию представил!

Ной сказал, что у Дуни есть солдатский Георгий четвертой степени.

— Гляди ты, мать! А? Какова? И ни слова! Ну и ну! Ай, да Дуня! Гляди ты! — радостно кудахтал старик и еще выпил рюмочку. — Ну, а вашим сводным полком кто командовал? Комиссар от большевиков?

Ной не сподобился лукавить:

— Был комиссар, да он командовал матросским отрядом. А казачьим полком командовал я, как председатель полкового комитета.

Юсков поперхнулся на слове, закашлялся:

— Звон ка-ак! Свой свояка бьет наверняка. Те-те-те! Печально то, служивый. Такого, чтобы казачий хорунжий мог командовать полком от какого-то неслыханного комитета, да еще принять большевиков за мое поживаешь, такого в голову не вместишь. М-да-а! Времена и лета нынешнего света! Да-а! Ну, а в каком же отношении вы с Евдокией Елизаровной, прошу прощения?

Ной изрядно взмок под напором престарелого подьесаула.

— Как в один край ехали.

— Угу, — кивнул старик и, не попрощавшись, ушел к себе на второй этаж.

Покуда разговаривал старик с хорунжим Ноем, Анечка пожирала рыжечубого казака распахнутым взглядом синих глаз, жадно впитывая каждое его слово.

Ной поблагодарил хозяйку за хлеб-соль, та отвела ему комнату — отдыхайте после дальней дороги.

Да разве отдохнешь? Ждал Дуню до позднего вечера, походил по городу, а Дуни все нет и нет. С тем и спать лег. И вдруг среди ночи проснулся от ее рева. Наспех оделся и вышел в гостиную. Дуня сидела за столом, растрепанная, взмокшая, с красными глазами.

— Да не плачь ты, Дунюшка, не плачь, — утешала старушка Юскова. — Живая она, живая!

— А я, тетечка, над своей судьбой слезы лью. Тошно-то мне как, если бы вы знали! Вот приехала, а куда мне сунуться? Чем жить, тетя?

— Что приключилось, Евдокия Елизаровна? — неловко топчась возле стола, спросил Ной.

— А! Это ты? Спаситель мой... непрошенный! Боженька, сколько раз спасти меня будут, а я все тону и утопиться не могу?!

— Что ты, Дунюшка! — всплеснула руками старуха Юскова. — Да разве можно так говорить? На себя-то!

— Ах, тетечка! Такое ли я могу сказать! Тошно мне, тошно! И ты, Ной Васильевич, иди спать. Уезжаю я завтра в деревню, сестра моя утопилась...

На другой день Дуня собралась в Белую Елань. Ной не отпускал ее одну — но разве есть такая сила, чтоб урезонить своенравную Дуню? Она не хотела, чтобы Ной присутствовал при ее встрече с родными. Пусть Ной Васильевич едет к себе в Таштып — там его ждут, а у Дуни свои горечи и печали...

— Доехали, и слава богу! Пора и разъехаться, Ной Васильевич.

И — разъехались...

ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ

I

В доме Юсковых справлялись поминки по утопшим. Потчевались на одиннадцати столах родичи, единоверцы-федосеевцы, работники со своими бабами и чадами; для всех пшеничной кутьи хватило.

Каждый, кто уходил с поминок, с некоторым страхом заглядывал в малую горенку. На круглом столе, крытом черным бархатом, лежали вещи утопшей: дошка, шаль, платье, часики, и горели толстые восковые свечи в позолоченных подсвечниках. В большой гостиной, где отводили поминки, в переднем углу под старообрядческими иконами мотали свои желтые язычки восковые свечи, хотя и без них было светло от двух ламп-молний, свисающих с потолка.

Во всем доме держался приторно сладкий запах тлена, как будто всюду лежали покойники.

Поминальную службу по федосеевскому обряду справил старший из братьев Юсковых, Феоктист Елизарович, и тут же ушел со старухой — расхворался.

На час после поминального бдения остались свои: Михайла Елизарович с супругой Галиной Евсеевной; женишок горбатой Клавдеюшки прыщеватый детина Иванушка Валявин, покорный сын своей родимой матушки Харитиньи Пудеевны; чуть в сторонке супились золовки — Фекла Андриановна и Марья Никаноровна, жены братьев Потылицыных, арестованных ревкомом.

— Вот оно как привалила беда-то, — кряхтел Михайла Елизарович.

Говорили вполголоса, неторопко, чтоб не потревожить витающие над миром души утопших.

Александра Панкратьевна, как и дочь Клавдеюшка с домоводительницей Алевтиной Карповной, во всем черном, вспоминали, какая была Дарьюшка в живых: умница, писаная красавица, и сколько же было достойных женихов! Хоть бы тот же есаул, Григорий Андреевич.

— Н-не судьба, в-ид-но, — начала, заикаясь, Любовь Гордеевна, женушка Игната Елизаровича; слова ее были пухлые, надутые, как мыльные пузыри, да и сама она была сдобная, точно подоспевшее пасхальное тесто. — В-вот м-маменьк-ка по-пок-койница г-говаривала: от судьбы н-не от-творачивайся, в-езде найдет.

— Судьба, — она завсегда, начал было и тут же кончил Иванушка, поглядывая на горбатую невесту Клавдеюшку: приданое-то обещано не горбатое. Да вот как теперь будет? Сам Елизар Елизарович в банде, а тут еще утопленники. Как бы приданое мимо рыла не проехало. — Вот тебе и судьба!..

— Не судьба, а муть земная закружила Дарью, сказала престарелая Галина Евсеевна; глаза ее уперлись — один в передний угол, второй косил к двери. — А всему причиной — ведьма Ефимия.

— Оно так! — поддакнул Михайла Елизарович. Он сидел под двумя чеканными лампадками — на лысину его падала тень от божницы; по жилетке — золотая цепь.

Стряпуха Аннушка с дочерью Гланькой, тоненькой, как веретено, с льняной косой через плечо по цветастому ситцевому платью, собирали со столов грязную посуду, а работницы Мавра и Акулина уносили ее на кухню.

Слышно было сквозь двойные рамы, как кто-то подъехал к дому; Иванушка заглянул в окно, отвернув штору, но матушка Харитинья торкнула его локтем в бок, и он сразу принял прежнее почтительное положение.

Алевтина Карповна угощала вином и закусками.

На час бдения для близких стряпуха Аннушка с Гланькой собрали два стола со всевозможными закусками и винами в толстых бутылках и даже французским коньяком.

— Хоть бы Дунюшка сыскалась, — покручинилась Александра Панкратьевна. — Может, тоже в живых нету?

— Жива, должно, — буркнул Михайла Елизарович.

— Не про Дуню вспоминать в такой час, — пропела Алевтина Карповна. — Если бы вы знали, как она собой распорядилась в городе. Лучше бы такой дочери на свете не было. Стыд и срам.

Как раз в этот момент из прихожей вошла женщина в пестрой собачьей дохе. Воротник дохи поднят и завязан на сыромятные ремешки — лица не разглядеть.

— Про Дуньку што толковать, — поддакнул Михайла Елизарович. — Не приведи бог, до чего верченая была. Не я ли отвез ее в скит, чтоб образумилась! Што она там наделала? Игуменью поленом умилоствовала, и — бежать.

— Гланька, сприси-ка! — кивнула Алевтина Карповна на гостью в дохе, будто примерзшую к половицам у порога.

Шустрая Гланька, игривая и веселая, как молочная телка, заглянула в чернущие глаза гостыи, спросила: чья, откуда? Та ни слова.

— Глухая, што ль?

Гостья развязала тесемки, сбросила доху прямо себе под ноги, стянула суконную шаль с меховой шапочки, и тогда уже, расстегнув крючки, не торопясь сняла желтую шубу, и тут у всех перехватило дыхание.

Дарьюшка!

Истинная Дарьюшка. Это ее углисто-черные брови, черные влажно-блестящие глаза, румяное впалощекое лицо с ямочкой на подбородке, вздернутый носик, рост и перехват талии...

Дарьюшка!

Знакомыми движениями рук сняла шапочку, поправила пышный узел кудрявившихся волос, взяла лакированную сумочку с блестящим замком, перекинула ремень на сгиб левой руки и ни слова. Ни здравствуй, ни прощай. Стоит и смотрит, как будто вяжет всех в кучу одной веревкой.

— Свят! Свят! — испугались золовки Потылицыны.

— Господи помилуй! — перекрестился Михайла Елизарович.

— Чего испугались? — спросила гостья, тиская ладонь ладонью. На ней была расклешенная кашемировая юбка до носков поярковых сапожек, бордовая кофта в талию, с пышными плечиками, длинными

рукавами, в мочках ушей золотые дутые серьги, как у цыганки. — Дуню судите, слышу, — тягуче проговорила она. — А за судью-то кто у вас?

— Спаси Христе! — ахнула Галина Евсеевна, втискиваясь в мягкое кресло.

Александра Панкратьевна вскрикнула и повалилась на лавке; Клавдея успела поддержать маменьку. Гостья подскочила к ним, обняла мать и попросила воды. Никто не сдвинулся с места.

— Дайте же воды! Оглохли?!

Прислуга Гланька подала стакан воды, а у самой глазенки, как два бесика — туда-сюда, туда-сюда.

Клавдеюшка нежданно опознала:

— Дуня же это! Дуня! Маменька! Дуня приехала.

Дуня sprиснула лицо матери, та очнулась, и руки ее сами собой потянулись к дочери:

— Дунюшка!..

— Маменька!..

— Как ты меня испугала, господи. Слава Христе, возвратилась. А у нас-то горюшко какое! О-ох!..

Дуня выпрямилась, хрустнула тонкими пальцами и опять быстро взглянула на всех родичей, передернула губы, а мать ей, помяни, мол, деданьку Елизара и сестрицу Дашеньку; ни слова в ответ, только вздох на полную грудь.

— Помяни, помяни!..

Дуня с омерзением уставилась в белые тускловатые глаза Алевтины Карповны, и та отпятилась в тень резного буфета.

Клавдеюшка молвила, что инженер Грина, супруг Дарьюшки, по наущению-де ревкомовцев проклял Дарью.

— Не Грива, а Боровик-злодей измытарил, — ловко повернула оглобли Галина Евсеевна.

Дуня щурилась и молчала; пухлые губы кривились в злой усмешке. На столах печенье, варенье, кутья в хрустальной вазе, золотые ложечки, серебряные приборы, причудливые рюмки в потеках красного вина, рябчики, тетерки, остатки зажаренных в собственном соку молочных поросят, бутылки с вином и марочным коньяком.

Жирно.

Дуня взяла со стола бутылку коньяка, вынула пробку и налила не в рюмку, а в тонкий стакан. Все узрились, как текло улыбочатое золото до кромок стакана. Тонкие пальцы обняли резной стакан; на пальцах кольца, суперики; браслет с инкрустациями на запястье.

Встряхнула головою — кудряшки волос затрепыхались на всю грудь.

Подумала секунду, стакан мелко вздрагивал в смуглой руке. И так, ничего не сказав, выпила до дна и стакан об пол: звон раздался.

— Спаси, Христе! — ахнули родичи.

Мать привычно запричитала; Клавдеюшка тонюсенько вторила, как подголосок в церковном хоре.

Галина Евсеевна, ворочаясь в кресле, сказала, что варначье отродье, Тимофей Боровиков, большевик, а вместе с ним всякая рвань и шваль поселенческая превратили землю в камень, и что от Боровиковых только и мог выползти такой лютый волк, как душегуб Тимофей. Говоря так, она испытующе поглядывала на Дуню: истая Дарья! Говорят, клиентов любовью одаривала, с рук на руки шла; а как себя держит?! Будто из заморского променада пожаловала в чине генеральши.

— Оно так, под немцами и жидами ходить будем, — ввернул Михайла Елизарович.

Тут и посыпалось. И немцы, и большевики, и поселенцы с ревкомовцами, всех свалили в одну яму — лопаты бы только в руки.

— Всех, всех передуют!..

— Врете! — вдруг оборвала Дуня разноголосую сумятицу голосов. И топнула — стекло под ногою хрустнуло. — И на Боровикова врете. На всех врете и не краснеете.

— Вот так гостюшка!

— Не успела ноги перенести через порог...

А Дуня свое вяжет:

— Да не шипите вы, как змеи. Не шипите! Видела я этого «злодея» — знаю. Не злодей он вовсе, а добрый человек. Душевный. И глаза у него светлые, открытые, добрые, понимаете? Добрые! Это вы злодеи! Всю мою и Дарьюшкину жизнь искалечили. Не папаша ли измывался надо мной? И выкинул из дома, а ты, дядя Миша, благостный, увез меня, связанную, в скит, чтоб я там сдохла в монашках?! А, чтоб вам всем провалиться!

Тишина. Сопение. Вздохи.

Маятник настенных бельгийских часов откачивает медное время. И в этом медном времени бьется голос:

— Ну, што же вы молчите, как сычи, на похоронах? Судите? Ненавидете? Судите, рядите, а Дарьюшки-то больше нет! Ах, если бы я застала Дарьюшку!.. Я как будто чуяла, погибнет она с вами.

Дуня быстро ходила от стола к двери в горенку, тиская в руках лакированную сумочку. Лицо ее покраснелось, будто щеки натерли суконкой.

— Он звал ее белой птицей!.. А што вы, благодетели, сделали с этой птицей? Вы у нее крылья вырвали с кровью, и душу ей захаркали. Асмодеи!

Часы начали бить медью, как в похоронный колокол. Семь раз ударили.

Прыщеватый Иванушка — сын родимой матушки Харитиньи, разинув рот, усердно лицезрел воинственную сестру горбатенькой Клавдии: до чего же она писаная красавица?! Ну, как принцесса из бабушкиной сказки. Экая, а! Больно тонкая в перехвате и шея высокая, но зато!..

Харитинья торкнула Иванушку в бок и молча кивнула на дверь: пора, мол, выметаться вон, от греха подальше. Иванушка нехотя поплелся за нею.

II

Злющие, ненавидящие глаза Дуни жгли щекастое, пунцовое лицо Алевтины Карповны и жалили, как крапивой.

— Как ты разъелась-то! Бесстыжая морда. Тебе ли судить меня?! Не ты ли моталась с Иваницким и с Урваном? Не ты ли подкатилась к папаше в полюбовницы и хозяйкой стала?

Алевтина Карповна задохлась:

— Как ты смеешь, потаскушка! — взвизгнула она. — Знайте, она желтобилетница!

— Желтобилетница? — вцепилась Дуня. — А ты проститутка благородная? А скажи, благородная, сколько тысяч выдавила ты из Иваницкого, из старого дурака Пашина, когда выкрала у него векселя и продала Иваницкому? Сколько взяла у папаши-душегуба? На какие

деньги купила двухэтажный дом в Минусинске? Каким местом деньги заработала?

— Господи!..

— Святые угодники!..

— К черту святых, — топнула Дуня. — Ишь, как вы раздулись, пауки!

Потолок не рухнул, лампы не оборвались с медных стержней, но воздух стал горячим, как будто Дуня раскалила его.

— Экий срам!..

— С ума сошла, гулящая! — сказала Галина Евсеевна, подтягивая ревматические ноги — в суставы ударило.

— Гулящая? — Дуня так круто повернулась, что подол ее юбки раздулся колоколом. — А вы благородная, тетенька? Когда благородной-то стали, скажите? Может, с того раза, когда Зыряна упекли на каторгу за «полосатую Зебру»? Благородные! Плюнуть хочется на такое благородство!

Глянула на столы:

— Жирно живете, вижу. Ишь, какие вы все тощие — морды так и трескаются. А в Питере, во всей России, люди пухнут с голоду. Ребятишки умирают. А вам хоть бы хны. Пусть хоть все передохнут.

— Ты што же это, вертихвостка, вытворяешь? — ополчился Михайла Елизарович, двигаясь из-за стола. — Кого срамишь, спрашиваю? А ты что смотришь, Александра? Потакаешь беспутнице?

— Дунюшка, Дунюшка! — перепугалась мать. — В уме ли ты, осподи? На поминках-то экое несешь на родственников.

— Родственники? Ха-ха-ха! Лопнуть можно. Не от таких ли родственников сестра в полынью кинулась?

— Свят, свят!..

Завопили, завопили, перебивая друг друга. И такая, и сякая, и разэтакая... Не иначе как с цепи сорвалась. Алевтина Карповна выкрикнула, что Дуня, может, еще сифилисная!

Любовь Гордеевна возмутилась — ее даже злой татарин не оскорблял так, как вот эта гадина, и она отныне ноги не перенесет через порог юсковского дома. Золовки Потылицыны в свою очередь шипели и дулись, поспешно одеваясь.

— Выгнать ее надо! — поднялся Михайла Елизарович, подпернув жилетку.

— Выгнать? — зло переспросила Дуня. — Какой ты благостный, дядя Миша. Лысина так и светится, как у святого на иконе. Это ты выдал меня на растерзание душегубу! Помню, дядя. И по лысине поглажу еще. Живодееры!

Михайла Елизарович позеленел от натуги:

— Акулина! — крикнул работнице. — Позови мужиков. Связать ее надо.

— Выгнать, выгнать!

— А ну, спытайте!.. — раздула ноздри Дуня. — Я затем и приехала, чтобы посчитаться с вами, родственнички. Погодите, еще получите свое. А папаша в первую очередь. Сыщут и прикончат. И тебя вместе с ним! — резанула пунцовую Алевтину Карповну. — Я ему припомню Дарью! А с тобой, дядя, нет у меня разговора. Все вы из одной квашни. Убирайтесь отсюда! Сейчас же!..

— Да ты-ты-ты!.. — Михайла Елизарович задохся; бороденка тряслась и лысина поблескивала от пота. — Где там мужики? Да я тебя, сучка!

Дядя схватил со стола горластый графин с красным вином, но не успел умиловить племянницу, как Дуня выхватила из своей сумочки револьверчик.

— Ну, спытай судьбу! — и прицелилась в сивую бороденку. Михайла Елизарович попятился. Графин ударился об пол. Поднялся такой крик, что и не разберешь, что и кто вопит. А Дуня с револьвером понужает: — Убирайтесь все! И ты, тварь, тоже! — притопнула на Алевтину Карповну. — Иль я вас сейчас перестреляю! — И, хлопнув филенчатой дверью, скрылась в горенке.

— Ну, спасибочко, спасибочко, — хныкал Михайла Елизарович, натягивая поддевку и не попадая в рукава. — Отпотчевала племянница. Спасибочко, Александра Панкратьевна. Баскенская у те доченька.

— Чего ждать от прости-господи! — кудахтала Галина Евеевна, наряжаясь в меховой салоп. — Ишь, сволота. Зыряна каторжного вывернула.

Алевтина Карповна не стала ждать, когда Дуня снова выйдет из горенки, умелась из дома.

Александра Панкратьевна с Клавдеюшкой, покинутые всеми, сиротливо хныкали на лавке, не зная, что делать и что сказать

непутевой Дуне; погром-то какой учинила!

— Мне так страшно, так страшно, — пускала пузыри Клавдеюшка. — Дуня-то с револьвертом. А вдруг ночью понаведается папаша?..

Распахнулась филенчатая дверь, как будто птица раскинула крылья, — и на пороге Дуня, злая, немного пьяная, дерзкая, все с той же лакированной сумочкой, в которой прятала револьвер. Она услышала лепет сестры, потому и глядела на нее с некоторым презрением. Вот уж счастливая горбунья. И женишка успела выбрать — дурак дураком и лоб в угрях; сойдет для Клавдеюшки. Она-то будет жить, а вот Дарьюшки нету, и ей, Дуне, видно, не жить на белом свете!

Что они уставились на нее, отчужденно-далекие, испуганные, маменька и Клавдеюшка? Ох, маменька! Век прожила в кротости и покорности федосеевской веры, во всем послушная супругу, серым дымом стлалась у ног его любовницы, выглядывая на мир из подворотни, и так сгасла, ничего не изведав, не познав. Да как же можно так жить? Или папаша сразу притоптал ее, как только ввел в дом?

— Уймись, Дунюшка, уймись, — забормотала мать; она сидела на мягком пуфе у изразцовой печи.

Дуня вышла из рамы дверей, прошла по гостиной, постояла минутку, и, что-то вспомнив, вышла в прихожую, вернулась с маленьким баульчиком, поставила его на кожаный диван возле двери, где когда-то почивал дед Юсков, вынула из сумочки ключик, открыла, достала пачку папирос с зажигалкой, размяла папироску в пальцах, отвинтила колпачок на фитиле зажигалки, крутанула колесико.

Мать и Клавдия наблюдали за каждым ее движением,

— Господи! Да ты никак куришь?! — тарасилась маменька. У Дуни дым из ноздрей, как от головешки, выкинутой из банной каменки.

— Курю, маменька.

— В доме-то у нас не курят, и в роду курящих не было.

— А убивцы были? Я вот помню, как бабушка говорила, что дом наш на приискательской кровушке держится. Дед-то Елизар не брезговал привечать фартовых приискателей, хоть они дымили сигарками. Потчевал их в убежище, которое под домом, а потом фартовые куда-то пропадали, а дед богател. Или неправда?

Мать двигается на пуфе — туда-сюда, а руки ее не находят пристанища. Переглянулась с Клавдеюшкой, и — молчок,

Дуня присела на лавку к столу между пальцами дымится папироса; потыкала вилкой в холодную снедь, спросила, нет ли чего горячего — от Минусинска куска во рту не было. Мать послала Клавдеюшку в кухню, чтоб стряпуха или Гланька принесли чего горячего. Клавдеюшка узнала: есть обедешные щи с грудинкой, а поросенка сейчас прдогреют. Щи так щи — давай щи. Клавдеюшка позвонила в колокольчик, и белесая Гланька принесла в фарфоровой тарелочке щи с куском грудинки — двум не управиться; глазами так и стрижет Дуню восхищенно, с завидкой.

— Как тебя звать? — спросила Дуня.

— Гланька.

— Чья ты?

— Маменькина, Анны Калистратовны, которая в доме стряпухой. Безродные мы, смоленские, с голодной губернии.

— Давно из Смоленска?

— В прошлом году, после пасхи приехали. Не из самого Смоленска, а из деревни Кочерягиной. С нее мы. В той деревне мало кто в живых остался — с голоду померли. Отец мой на войне убит, а других никого не было. Наш деревенский Леон Цирков с бабой собрались в Сибирь и нас с маменькой взяли.

Дуня налила красного вина в хрустальную рюмку — для Гланьки, а себе в стакан — коньяк не стала пить, побаивалась, настороженно прислушиваясь, как будто кого ждала. Да и мать с Клавдеюшкой тоже сидели, как на углях, — ушки на макушке, а в глазах — бездна тревоги.

— Помяни, Гланя, сестру мою Дарьюшку, — пригласила Дуня, подавая рюмку.

Клавдеюшка толкнула Гланьку своими черными зенкамя, и девушка, выпив вино, отпрянула:

— Ой, дух занялся! Извиняйте, побегу я, матушка ругать будет. — И — бегом из гостиной.

А Дуня все сидит, примечает и до нутра прохватывает взглядом то маменьку на пуфе, то Клавдеюшку. Ни ту, ни другую не пригласила выпить на помин души Дарьюшки.

— Ты бы хоть сказала, куда ушла из скита? — бормотнула мать, поджимая блеклые губы в черточку.

Дуня отодвинула тарелку со щами, выпила вина и тогда уже:

— А куда бы я могла уйти без денег, без паспорта? По желтому билету жила.

— Какому такому билету?

— А ну вас! Будто не знаете? С подписью и печатью!

У Александры Панкратьевны дрожит подбородок, а глаза уперлись в плотную штору окна. Не то страшно, что дочь проститутка, а что печатью припечатана. Да што же это, а? Так вот почему сам Елизар налетел с кулаками на жену и рычал, как медведь: «Дочерей мне народила, чтоб тебе сдохнуть! Одна умом рехнулась, другая — проститутка». Мало ли как не оскорблял жену Елизар Елизарович! А покорялась, терпела! Чего в злобе не скажет супруг с таким характером, как у Елизара!..

— Таковую ли я тебя ждала?

— Не знаю, какую ждала, но я вам не Дарьюшка. И вы лучше не сморкайтесь — не разжалобите. Как мои слезы никого не разжалобили — ни тебя, мамонька, ни папашу, ни деда, ни дядей с тетками.

Александра Панкратьевна смотрит на дочь и будто сомневается: дочь ли припожаловала? Таковую Дуню она знать не знает.

Она знала Дуню урсливую, непокорную, «поперешную», как называл ее дед. Но ведь то было «дите». Думала, вырастет, характер сменится. Но вот такую, чужую, всю из злобы и дым из ноздрей, как у ясашной татарки, — век не знать бы!

— Хоть бы мне помереть от стыда и позора.

А Дуня свое:

— Не помрете, маменька, не причитайте. Жить будете и еще молиться будете и серым дымом стлаться перед папашей-душегубом. Одну дочь загнали в полынью — вторая на очереди.

Клавдеюшка отважилась:

— Дарья сама себя сгубила, што нас виноватишь? Ты бы почитала ее тетрадки, тогда бы все узнала. Она сама себя закружила. Нече на других сваливать.

— А ну, дай тетрадки.

Мать все еще плакала, жалуясь, что не доживет до утра — голову разламывает на куски; как теперь встречаться с родственниками?

Есть о ком жалеть! — махнула рукой Дуня и, взяв тетрадки, скрылась в горенку, где лежали вещи покойной Дарьюшки на черном столе.

IV

Как вчера, как век назад, мерцают восковые свечи — рыжие косички на тонком суровье, сжигающие чью-то жизнь.

Дунину, может?

Медью бьют часы в гостиной, хрипло, с отяжкой. Т-ики-ки-бом! Бом! Медный бой. И кто знает, какое время — золотое или железное, будет отбивать свою меру в будущем, когда изживет свой век медное, теперешнее — беспокойное и трудное!..

Верилось Дуне, что Дарьюшка будет счастлива, да не так вышло. А потом, позднее, Дуня спрашивала себя: неужели бог наделил сестер-близнецов одной-единственной судьбой? Или это рок, упавший на две головы?

Сестры сызмала во всем были одинаковы: родная маменька путала их. После крещения, чтобы различить близнецов, мать привязала к их ножкам ленты: Дуне — голубенькую, Дарьюшке — красненькую.

В детстве Дуня неразлучна была с сестрой. И вкусы, и шалости, куклы — во всем были одинаковы. И вот минули годы! На поверку вышло, что характеры и судьбы у них совершенно разные. Не было у Дуни набожности Дарьюшки, не вскидывала она глаз на иконы, не было у ней жалости к обидчикам — горло могла перегрызть. Дарьюшка во всем была кроткой, милой, гнулась, но не ломалась. Такие уж если сломаются, то раз и, навсегда — с концом.

Осталась жить Дуня. Может, не Дуня? Спросить бы у маменьки, а что если она ленты перепутала?

Дуня ходит, ходит по пушистому ковру горницы, хрустит пальцами и никак не может успокоиться. На стене и закрытой филенчатой двери мечется ее черная тень — то раздуется, то сузится, а на столе со свечами в двух подсвечниках — аккуратно свернутая беличья дошка — атласной подкладкой вверх, пуховая шаль с узорчатыми каймами, шерстяная вязаная кофта, золотой крестик с цепочкой и разбитые золотые часики...

Скрип-рип-скрип — качается маятник. Мечется, мечется черная тень, словно милая Дарьюшка только что разделась, сложила вещи на стол и, превратившись в тень, не находит себе пристанища даже на стенах постылого дома. Она здесь, с земными, со своей сестрой-близинкой, с отчаянной Дуней, она стала ее тенью, и только непроглядная тьма без всяких источников света уберет ее в Дуню, как шашку в ножны. Но как только появится хоть маленький источник света — она сразу же напомним о себе: только смерть самой Дуни оборвет ее существование, и кто знает, может, забудут люди о сестрах-близнецах, как запытали о миллионах им подобных, бесследно исчезнувших в минувших поколениях?

Ну, а пока одна из них живая с трепетным сердцем подсаживается к столу, открывает тетрадку...

«...Откуда мы? Кто мы? Если есть мы, то почему все так зыбко и непрочное?..

Если есть Я, скажи мне: кто меня послал? — загадочно спрашивала кого-то Дарьюшка в своих записках. — Зачем меня послал? Для счастья или для суеты сует и смерти во тьме? Кто и когда призовет меня в Пятую меру, когда я буду не здесь, а там, и что будет здесь, и как будет, когда я уйду и потом вернусь с воскресшими из мертвых? Или я никогда не вернусь, и нет Пятой меры, а есть мираж, обман?

Тимофей всегда со мной. «Ты моя белая птица!» — слышу его голос. Неправда. Не птица. У меня нет крыльев, чтобы взлететь в небо. Почему я все время возвращаюсь к нему? Он вчуже, в стороне от меня, и нам не дано понять друг друга. Откуда пришло непонимание? Непознаваемость? Чуждость живых? Ненависть одного к другому. Отец на сына! Сын на отца!

Бабушка Ефимия говорит: «Ты, Дарьюшка, не такая, какой была я на Ишиме, в Поморье и в Москве, когда шла малою горлинкой навстречу французам. Я помнила, и все помню теперь. Душа моя восстала против мерзости и тьмы, а вокруг тебя, Дарьюшка, люди, люди, которые ищут, зовут, а ты не видишь их, не понимаешь, чуждишься. Душа у тебя в забвеньи».

Я сказала бабушке: все переменялось в теперешней жизни. Сейчас не так, как было в то время, когда ты встретила кандальника, беглого декабриста, на Ишиме, или при французах в Москве. Сейчас

так много путаницы, а правды нету. Попробуй разберись, кто тебе враг, кто — истинный друг? Если бы человек знал, с кем бороться, он бы победил любого врага! Но жизнь нарядилась в чужое платье...

Вот еще сестра Дуня. Ее совсем измытарили, унизили и заплевали. В Красноярске я узнала страшное про Дуню — она стала проституткой, содержанкой заведения, желтобилетницей!.. Ужас! Может, и самое Россию так же унизили, заплевали, и она стала, как Дуня? И отчего такая ненависть среди людей? Кто нас стравил? Где же она, эта незабвенная Третья мера жизни, мера счастья для всех? Или нет никаких мер от века до века, а есть серое из серого, и в том жизнь живых?

Но что же делать? Что же делать? Как познать и открыть тайну?..»

...Голос, голос Дарьюшки — то страдающий, зовущий на помощь, то шепчущий, сокровенный,веряющий сомнения, то злой, непримиримый, и сама она будто ходит вокруг черного стола в мокрой нательной рубаше, вся ледяная, только что из полыньи, смигивает ресниц слезы, а пухлые губы говорят, кричат от боли и сомнений, а у Дуни за столом сжимается сердце от страха, сжимается в комочек, и горошины слез капают на раскрытую тетрадку, как в мертвые ладони сестры.

Дуне страшно, очень страшно; она и сама не может понять, отчего накатился такой страх; никак не может успокоиться, взять себя в руки: мороз дерет по коже, словно Дуню прохватывает сквозной ветер, хотя в горнице пышит теплом голландская печь. А что если в самом деле ворвется в горницу папаша? С чего бы Клавдеюшка обмолвилась: «А что если папаша явится ночью?» Знать, он где-то здесь, в Белой Елани, а может, в тайном убежище под домом? Или где-нибудь в омшанике отсиживается? Да мало ли закутков в заведении Юсковых? Две работницкие избы с подпольями и чердаками, конюшня для рысаков, два коровника, амбары, завозни! Как она, Дуня, не подумала: если Алевтина-полюбовница верховодит в доме, знать, и папаша где-то здесь! Но что же ей делать? Бежать в ревком? А что если ее поджидают в темных сенях или на крыльце, в ограде, в просторной прихожей? Схватят за горло, тиснут, и дух из нее вон.

«Сейчас мне не уйти, на ночь глядя. Он ждет, может, когда я лягу спать, чтобы прикончить сонную. Не успею охнуть».

Вытерла платком слезы и посмотрела на свои часики: было двадцать минут десятого. До утра она одуреет в горенке. Не одна же, с Дарьюшкой! Она чувствует, что Дарьюшка здесь, ходит и ходит, будто не может согреться...

Надо пойти в ревком. Кто-то сказал ей в Минусинске, что председателем совдепа в Белой Елани Мамонт Петрович Головня, чужак Головня.

Головня!..

Такой ли он, как в ту рождественскую ночь, когда она прибежала к нему в избушку Трифона Переметной Сумы? Помнит ли он Дуню?

V

И кажется Дуне, дом кряхтит, как часующий старик, вздыхает и молится, молится во здравие, а здравия нет и не будет, никогда не будет.

В руке Дуни револьверчик — она с ним не расстанется ни на секунду.

Осмотрелась — в который раз! Четыре окна, Два в проулок и сдвоенное в улицу, закрыты на ставни с железными засовами. В стержнях — клинышки, вставленные в ушки-прорези. Двойные зимние рамы. Двустворчатая дверь. Изнутри — никакого запора. А что если забаррикадировать дверь? В углу, под иконами — треугольный столик, на столике — флаконы, старая резная шкатулка, железная коробка и всякие безделушки. Если все это убрать, а столик поставить к двери — нет, не удержит! Надо подвинуть к двери круглый стол, а угловичок к нему. Сосчитала венские стулья. Семь штук. Еще есть большой платяной шкаф с зеркальной дверцей. Но шкаф Дуне с места не сдвинуть.

Послышались чьи-то шаги в гостиной, Кто там? Мать с Клавдеюшкой легли спать. Дуня прижалась к стене возле двери в сторону сдвоенного окна в улицу, замерла. Тихо, будто. Но тихо ли? Кто-то, кажется, подошел к двери. Слух до того обострен, что Дуня явственно услышала чье-то трудное, напряженное дыхание по ту сторону двери. Отец! Жизнь и смерть в одно мгновение. Пощады ей не ждаться. Он ее раздавит, как лягушку. Наступит сапогом, и мокрого места не останется. Боженька! Она читает мысли отца, словно они

сочатся сквозь двери, прохватывая Дуню до печенки. Дверь тихонько скрипнула, а у Дуни лихорадочно запрыгало сердце. Револьвер она держит на уровне груди, и палец на спусковом крючке. Стрелять будет без промедления, только бы не мимо, боженька, только бы не мимо! Половинка двери открывается, открывается, а Дуня готова втиснуться в стену: руку с револьвером подняла выше — холодный ствол прильнул к пылающей щеке, как льдинка. И тут раздался знакомый голос Алевтины:

— Ее тут нету.

Ага, вот он кого послал впереди себя! Ох, зверюга, боженька! Только бы не мимо. Стрелять надо в него, в отца, прежде всего в отца; только бы не мимо!..

От Дуни за створкою двери до сдвоенного окна — шага четыре. Кровать и шкаф в противоположной стороне. Она слышит, как Алевтина прошла в горницу, наверное, к кровати. Скрипнул стул, еще что-то, и тут же раздался приглушенный мужской голос:

— Ну?! — И через мгновение: — Ну?!

— Да где же она? Ни под кроватью, ни на кровати. Куда она девалась? В гардеробе, может? Господи, меня всю трясет. Уйдем, ради бога.

Тяжелые шаги: Алевтина шарахнулась к столу — свечи мигнули, и в тот момент кто-то трахнул в зеркало платяного шкафа — зеркало зазвенело и рассыпалось, а еще через миг:

— Где она, курва? Где она?!

А у Дуни, прижатой дверью к стене, не сердце, а перепелка в клетке — тики-тик-тики-ти-ти-ки — и часто-часто, кровь жжет-жжет щеки, шею, а с бровей пот льется — холодный пот. Еще чьи-то шаги и чужой голос:

— Уходить надо, Елизар Елизарович. Не ровен час ревкомовцы нагрянуть могут.

— Где она, стерва? Где? — рычит зверь, быстро выкатывается из горницы в гостиную и там орет медвежьим голосом: — Где она, спрашиваю! Где?! Ты, сальная бочка! В пыль-потроха!..

— Аааа! — разнеслось по дому. Дуня догадалась, отец схватил мать за горло. Выскочить бы, да в спину ему или в голову, а ноги деревянные, деревянные, и спина приклеилась к стене.

Голос Клавдеюшки:

— Папенька, папенька!

— Заааддаавлюу! Тваарюууги!

— Елизар, Елизар!..

— Господи, помилуй, господи, помилуй? — кто-то молится басом.

— Клавдея, убью! Говори, куда ее спрятали. Живо! Ууудавлю!

— Папенька, папенька!..

Хлесть, хлесть, хлесть...

— Аааа! Папенькаааа! Спаси, господи! Папенькаааа!..

— Елизар! Я ухожу. Ко всем чертям. Ухожу. Пойдем, Микула.

— Опомятуйся, хозяин! Опомятуйся. Уходить надо.

Хлопнула дверь: кто-то ушел.

И тут на спаде голос Клавдеи:

— Папенька! Папенька! В горнице она! В горнице. За дверью!

В тот же миг Дуня отпрянула от двери. Сейчас она успокоилась, как бывало не раз на фронте. Ни дрожи в руке, ни замиранья сердца. Раздались выстрелы в одну и в другую половинки двери. Бах, бах, бах! И визг, и рев маменьки с Клавдеюшкой, что-то грохнулось там, стул, что ли.

Запричитала Алевтина:

— Уйдем, Елизар! Ради всего святого. Она убежала в ревком в одном платье. Или ее спрятала кухарка. Пока сыщешь... с револьвером она, с револьвером!

— Изрешечу пулями! Изрешечу, сволочь!

— Ужасно глупо! Ужасно глупо. Ради бога!

Ревет мать, и Клавдеюшка заливается слезами, а громовой голос угрожает:

— Ну, помни, сальная бочка! Я еще понаведаюсь. Ууу, твари!..

— Скорее. Ради всего святого! Скорее!

Шаги. Шаги.

Хлопнула дверь.

Дуня ни жива, ни мертва. Сердце до того сильно прыгает, как будто гонится за папашей. Закурить бы. Ох, как хочется закурить. Боженька, хоть бы одну затяжку. Ноги в коленях дрожат, и всю трясет — зубом на зуб не попадает. Громко бьют часы с оттяжкой: бом-хорр-бом-хрр-бом! — три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... Только-то? Может, не все удары сосчитала?

А из гостиной:

— Дунька-то... она же... там была, маменька...

— Ооох, оох!.. голову разламывает... ооох! Думала — смертушка. Шею не повернуть. Ооох! Да што же это, господи? Ноженьки не держат. Дай порошки от головы. Ооох, не доживу до утра. Как было все ладно, явилась, проклятушая, содом подняла!..

— Убил ее папенька, наверно, — лопочет горбунья. — Чтой-то страшно мне, маменька. Где Гланька? Гланька!

— Не ори! Дай порошки, говорю. И от сердца капли.

Дуня вышла из горенки. Клавдеюшка замерла на пороге, вытаращив глаза, ахнула, вскинув руки, сползла по косяку на порог.

— Ой, господи! — вскрикнула мать и, завидев Дуню с револьвером, заорала: — Каарааауул!

На сгиб левой руки перекинут лакированный ремень буржуйской сумки. Достала папироску с зажигалкой, закурила, кося глаза на Клавдею.

— Ну, я вам припомню, сестрица и маменька! — зло сказала Дуня и, схватив Дарьюшкину дошку со стола, не выпуская из зубов папироску, застегнулась на три пуговики.

— Ооох!.. смертушка!..

Возле дивана — лоскутья желтой дошки. Шапочка уцелела.

Дуня, взяла баульчик, шапочку и шерстяные варежки.

— Ооох!.. Не доживу до утраааа!..

— Доживете, маменька! Доживете.

— Ну, сыщет тебя смерть, потаскушка! Прооклинаааю!..

— Кляните, кляните! Черт с вами!

Прислушиваясь к чему-то, взглянула в темную прихожую и потихоньку вышла из гостиной.

VI

Лампа с закоптелым стеклом, тусклость и две головы лицом к лицу — совещаются; они — ревкомовцы, на них вся ответственность и тяжесть новой Советской власти; жизнь требует немедленных решений и деяний, а у них ни опыта, ни умения.

Мамонт Головня — председатель ревкома, прямой и высокий, как колокольня, рыжий Аркадий Зырян — его заместитель, единственный большевик на всю Белую Елань.

В Белой Елани будоражатся тополевы; по Сагайской волости рыскает банда Юскова-Урвана, где-то здесь спрячутся святой Прокопушка Боровиков, есаул Потылицын, братья Юсковы — Елизар и Игнатий, бывший урядник; в ревком дежурят поселенцы с фронтowymi винтовками,

Времечко...

— Гляди, Мамонт, поджарят нас контрики Елизара Юскова, — бурчит Аркадий Зырян.

Головня подкручивает пальцами стрелку уса:

— Глядеть надо. В оба.

— Глядим, а што толку?

— Пощупать надо тополевы,

— Может, они на заимке в тайге?

— Давай прочешем. Где у Юскова и Потылицыных заимки?

— В Лешачьих горах по Амылу.

В соседней классной комнате, где недавно Дарьюшка учила ребятишек грамоте, залиvisto хохочут мужики:

— Што они там ржут?

Головня подошел к двери, приоткрыл на ладонь.

Кучась возле железной печки, дружинники дымят сигарками самосада, а над ними возвышается Васюха Трубин в мерлушковой шапке, сдвинутой на тугой загривок, в полушубчишке с пятнами известки на спине — чью-то стену вытер; покачиваясь на толстых ногах в разбухших старых валенках, рассказывает:

— Ну, как выхватила она револьверт да к Михайле Елизарычу. Я, грит, приехала, чтоб всех вас прикончить — выдрать с корнем. Жалею, грит, не застала папашу-душегуба — моментом спровадила бы на тот свет! Михайла Елизарыч наклал в штаны со страху. А эта самая домоводительница... ей-бо, треснуть на этом самом месте, лужу под себя пустила.

— Го-го-го! — рванули дружинники, аж в железной печке загудело.

— Что ты им заливаешь? — поинтересовался Головня.

Васюха оглянулся и, разводя руками:

— Им правду говорят, а они гогочут, как гуси на метлу! Возьми их за рупь двадцать! А вы разве не слышали, Мамонт Петрович?

Плутоватые глаза Васюхи Трубина, того самого соседа Боровиковых, который когда-то помог Филимону вытурить из надворья родного батюшку за постыдное снохачество, помигивая, прицелились:

— Дуня Юскова приехала. Которая за Урваном была. Ну, так вот...

Головня позвал Васюху Трубина в председательскую комнату и дверь закрыл. Одно слово — Дуня, и у Мамонта Петровича припекло щеки. Та самая Дуня?!

Головня думает, накручивая стрелки русских усов. Дуня! Откуда она явилась, хотел бы он знать. Куда и какими ветрами носило ее по белу свету: у каких ворот стояла в трудный час жизни; какими тропками хаживала и с чем вернулась?

Тихо приоткрылась дверь, и:

— Разрешите?

Она!

Васюха Трубин посторонился; Зырян задвигался на стуле, пяля глаза на Дуню в Дарьюшкиной дошке, точь-в-точь сама Дарья Елизаровна. Те же плавные движения и тот же охватывающий сужающийся взгляд больших черных глаз, и та же улыбка на припухлых губах.

Дуня сказала «здравствуйте» всем сразу: и широченному в плечах Васюхе Трубину, и рыжему фронтовику Зыряну с револьвером у пояса, и Мамонту Головне; он сидел на своем председательском месте в желтой косоворотке, застегнутой по столбику на перламутровые пуговицы; новехонький казачий полушубок висел на спинке березового стула, касаясь рукавами и полами заплыванного, забросанного окурками некрашеного пола; руки Мамонта — сильные, привычные к слесарным и кузнечным инструментам, лежали бурыми плитами на изрезанной грязной столешне, а между ними, на бумагах, — огрызок карандаша — непривычный инструмент для этих рук; они были добрыми, руки кузнеца; Дуня взглянула на них, чему-то улыбнулась, и они тут же дрогнули на столешне и медленно, неохотно поползли прочь, спрятались под столом.

Она узнала Мамонта Петровича. Такой, и — другой будто. С усами. Тогда у него не было усов, когда она к нему навязывалась в жены. Помнит ли он?..

...Когда это было? Давно, давно!..

Растревожила в ту пору Дуня кузнеца; отяжелел молот — руки не поднимают. Стоит у наковальни, постукивает молоточком; молотобоец бух да бух, да не туда, куда надо, — поковки как не бывало. Сколько железа перепортил. Станет наваривать топор, засунет в горн, молотобоец раздувает меха, из сил выбьется, а Головня стоит возле горна, смотрит на раскалившийся топор, а видит глаза Дуни; синие космы вьются в раздуваемых древесных углях, а Головне мерещатся кудряшки Дуни. Опомнится — хватить клещами топор, а вместо топора — обух жареный.

...Урван уехал на прииски — свадьбу отложили до масленицы; самое время бежать из дома. Не раз, прильнув к стеклу окна, Дуня заглядывалась в улицу: не идет ли в кузницу Мамонт Головня? Снег танцует под окнами, сельчане в шубах и дохах, собаки взирают, а Головни нет и нет, как будто он забыл дорогу мимо дома Юсковых.

Накинет Дуня на плечи шубу, всунет ноги в романовские сапожки, выйдет в обширную ограду, где, гремя кольцом по железной проволоке, мечется белый пес Удавка; походит, повздыхает, прильнет щекою к резному столбику крыльца и с тем вернется в светелку. Видит дед Юсков: заневестилась Дуня. «Потерпи, Дунюшка, до масленицы, — утешает внучку. — Ужо справим свадьбу на всю округу».

— Не надо мне такой свадьбы, деданька. Не хочу выходить за Урвана. Если бы ты знал, деданька, што они вытворили на гулянке! Спаси меня, деданька. Выдай замуж за кузнеца.

Как же ополчился дед на внучку за подобное откровение. Ну, как коршун расхотелся — вот-вот сцапает в когти и разорвет. Чтоб дочь Юскова, да за ссыльного поселюгу без роду и племени?! Не иначе как кузнец тайно закружил Дуню, а дед не углядел. Пошел сам в кузницу. Головня что-то ковал из стальной штуки. Дед Юсков начал сразу: такой-сякой, к Дуне задумал присвататься, проходимец!

Головня перестал ковать, погнув голову, разглядывал деда Юскова от поярковых пимов до горностаевой шапки; сбросил холщовый фартук, ударил ладонью о ладонь, спросил:

— Ты што, дед, сон пришел рассказывать?

— Я те дам такой сон — на том свете икать будешь. Или ты понятия не имеешь, кто такие Юсковы? От какого мы роду-племени? А

ты из какого сорта-породы, а? Из охвостьев. На чей каравай рот разинул, поселюга?

Головня помолчал некоторое время, потом поднял пудовый молот, поднес к носу деда Юскова и говорит:

— Вот это ты видел, дед? А кто я такой буду, сообщаю: социалист-революционер. Смыслишь? Какая моя порода и племя? Рабочее племя; мильенное, всесветное: шаром земным завладеем в мировую революцию. Жди — грянет! Жди, дед. Какая моя теперешняя линия? Вымести царский прижим к едрене фене! А про вашу внучку скажу так: если вам другой раз сон такой приснится, хватайте себя за бороду. Помогает.

— Ах ты, варнак! — вскипел дед Юсков. — Да я тебя за такие слова про самодержца — в пыль, в прах!.. Я тебя...

— Ти-ха, дед. Ти-ха! — урезонил Головня, и опять поднял увесистый молот. — Скажу вам так: не ложитесь между молотом и наковальной. Интересуетесь, что может случиться? С моим удовольствием. Смотрите.

Головня положил на наковальню жестяную коробку, размахнулся со всего плеча да как а-ахнет — гром раздался; коробка блином стала.

— Кхе! — крякнул дед Юсков.

— Вот так! — сказал Головня.

На том и разошлись.

VII

В комнатухе было всего два стула, чтоб лишние зубоскалы не задерживались у председателя; Зырян подал Дуне стул, сообразив, что лучше всего оставить Мамонта Петровича наедине с Дуней — не так просто зашла в ревком; кивнул Васюхе Трубину, и тот, хоть и не хотел уходить, а поплелся-таки за Зыряном и закрыл дверь.

Между ними стол с жестяной лампой; Головня посунул лампу на середину стола, как бы заслоняясь от Дуни.

Он смотрел на Дуню и думал: та ли это красивая девчушка, которая совала вздернутый носик в слесарные инструменты, когда он, Головня, мастерил серебряные, медные и бронзовые подвески и бляхи для «малиновых перезвонов» в мастерской деда Юскова? Девчушка мешала, вертелась около него, садилась на верстак, и он смущенно

отворачивался от ее округлых розовых коленей; она хотела постичь ремесло, которое никак не липло к ее маленьким рукам с длинными пальцами; она показывала ему, как выгибаются у нее ладони; он заглядывался на ее ладони, и думал, что у фабричных, заводских девчонок и у крестьянок не бывает таких изнеженных тонких рук, но такие руки жили и жадно требовали: им подавай; они были прихотливыми — и то бросят, и это им не нравится, а руки фабричных девчонок или тех же крестьянок, теребящих лен, всегда были наготове, чтобы угодить холеным и красивым лодочкам, которые ничего не умели делать, но имели право требовать, и это оскорбляло Мамонта Головню, но он все-таки вопреки тому, что думал, заглядывался на холеные руки, выгибающиеся лодочками; она его волновала, возбуждала, но он понимал, что Дуня промчится мимо, как ветер, не опалив его щек своим жарким дыханием...

Он не знал, что ее привело в ревком в такой поздний час; о чем можно с ней говорить и о чем спрашивать?

Прикурил сигарку от стекла лампы: и та и не та: пунцовые впалые щеки с ямочками, духмяная, как цветы в разливе лета, буржуйское золото в ушах, и руки... Какие у ней руки? Так ли она выгибает их лодочками?..

...Она у него в мастерской — не эта — та, что на верстак залазила, что прибежала тогда в рождественскую ночь, испуганная, заплаканная. Она говорит, говорит, шепчет, льнет: «К тебе, к тебе пришла. Спаси меня. Спаси. Меня выдают замуж за Урвана. Папаша меня продал. Продай! Сегодня меня пропивают». Пропивают Дуню! А он, Головня, не знает, что ему делать. Рождественский мороз кует белую землю — вбивает железные клинья — земля трещит; черные столбы пахучего дыма подпирают вызвездившееся небо, и — холодно, люто, морозно, бревенчатые стены молчат в сонном покое, а рядом, под боком, пищит перепелка: «Меня пропивают, пропивают, пропивают», — а он, здоровый парень-кузнец, Мамонт Головня, не смеет дотронуться до беспомощной перепелки, утешает ее грядущей всесветной революцией и тем, что он сам скоро поднимет пудовый молот и будет рушить под корень самодержавие, чтоб родители не пропивали своих дочерей, и что для человека самое главное — свобода, первостепенная, как хлеб насущный.

И перепелку — пропили...

А сегодня...

— Из Красноярска приехали?

— Из Петрограда, — ответила Дуня.

И глубоко вздохнула.

Нет, не та Дуня сидит перед Мамонтом Петровичем, не та, которую он знал.

Головня щурится, приглядывается к ней, а ведь это он, он самолично отвел ее тогда на заклятие дьяволу.

— Вот шла улицей. Хоть бы кто встретился. Ни одного огня в избах. Спят. Если кого убьют в каком доме — никто не проснется. Тихо.

Тихо? Это у них-то тихо?!

— Не все спят, Евдокия Елизаровна. Можно так уснуть, что и на том свете не проснешься. Елизар Елизарович, ваш папаша, банду снарядил. Урван за командира банды, есаул Потылицын с ними. Вот и сидим, дежури́м в ревкоме день и ночь. Если бы...

Быстро вошел Аркадий Зырян и, ошарашенно взглянув на Дуню, сообщил Головне:

— Такое дело, Мамонт Петрович. Евсей, работник Юсковых, прибежал. В доме Юсковых, говорит, стрельба была.

— Штоо? — вскочил Головня.

Дуня тискает узорчатые варежки, крутит их и глухо так, не глядя ни на кого:

— Это папаша в меня стрелял... Они в убежище скрывались.

— В каком убежище?!

— В омшанике есть тайная дверь, — вздохнув, сообщила Дуня. — Коридор такой, а потом убежище. Он всегда там отсиживался после гулянок. Про убежище никто в доме не смел говорить.

— Понятно! — встал Головня.

VIII

Четверо дружинников пошли с Головней и Зыряном; Дуня чуть в сторонке шла, шла, как в неизбежность.

В ограде лаяли собаки. Белый кобель, любимец покойного деда Юскова, протяжно взвыл, задрал голову в морозную стынь к белесой в

светлом круге луне. Кто-то вышел из работников. Головня позвал мужика к воротам. Это был конопатый Мишухин.

— А, пролетарий! — с ходу бухнул Головня. — Еще в ревкоме бил себя кулаком в грудь, что ты окончательно с революцией. А теперь, оказывается, контру укрываешь? Восстания ждешь? А ну, подымай мужиков! Зырян, распорядись тут. Пусть зажгут фонарь. А я подниму хозяйку.

Дуня задержалась возле крыльца, как чужая, пришедшая с ветра. Рука руку давит, страшно что-то.

Зырян спросил Мишухина:

— Где Микула?

— Микула? — Мишухин оглянулся на Головню, тот что-то говорил Гланьке, которая вышла на крыльцо. — А хто иво знает. Ушел куда-то.

— Пошли свою бабу, пусть найдет.

Головня с Гланькой ушел в дом.

— Уехал Микула, — сказал Мишухин.

— Куда уехал?

— А хто иво знает.

Зырян послал двоих к двери омшаника; собрались работники — Леон Цирков с бабой и Наум Смоляк с бабой. На крыльцо вышла Александра Панкратьевна в шубе и с нею Клавдеюшка. Увидев Дуню, мать всплеснула руками:

— Господи милостливый! Кого я на свет народила? За што мне экое мученье? Паскуда ты, Дунька! Продажная тварь. — Будь ты проклята! Попомни, не будет тебе жизни.

— Ладно, ладно! — зло ответила дочь. — Дали вы мне жизни. Чтоб вас черти уездили за такую жизнь. — И быстро пошла к омшанику.

При свете фонаря «летучая мышь» вошли в обширный омшаник. С обеих сторон в три яруса расставлены улья, под ногами сухой песок, белые столбики, подпирающие горбатые матицы. Головня и Зырян шли впереди: Зырян светил фонарем. За ним Дуня и трое дружинников с винтовками. Обошли весь омшаник, но не отыскали потайного хода.

— Да помню же, помню, — твердила Дуня, шарясь рукою по стене. — Где-то здесь, слева, отодвигались стеллажи, а за ними открывалась стена — одному пройти! Где-то здесь...

Винтовки стукались о столбики, мерно пошумливали потревоженные клубы сонных пчел. Головня распорядился снимать ульи со среднего ряда и тщательно осматривать стену. Долго возились с ульями, кого-то ужалила пчела.

Зырян, наконец, сообразил:

— Если дом от омшаника, когда смотришь из ограды, справа, то как же дверь будет слева? Это же в другую сторону.

Стали искать справа и тут, на одном стыке стеллажей, увидели, что плахи не совпадают с плахами следующего звена за столбиком, подпирающим матицу. Потянули за это звено, и оно отошло на шарнирах, а вместе с ним открылась стенка — дверь. Начался узкий коридор в рост человека, аршин на пятнадцать в длину. Стены коридора выложены кирпичом, и по сводам кирпичи — сработано на совесть. Пол устлан широкими досками. Подошли к массивной двери, обитой войлоком. Головня сказал, чтоб все стали под прикрытие двери, и с маху открыл ее. В убежище было светло; на столе горела лампа на железной подставке. Обширная комната, крашенные стены, ковер под ногами, две деревянные кровати, отслужившие срок в верхних комнатах; одна кровать занавешена цветастым сатином. Поперек кровати кто-то спал со связанными босыми ногами и нет-нет всхрапывал, как мерин в упряжи. Возле стен — стулья, два кресла и плюшевый диван с проплешинами. На столе — остатки обеда и начищенный до блеска тульский самовар с чайником на конфорке. Тут недавно пировали...

Головня подскочил к деревянной кровати — Урван! Главарь банды. Взял за шиворот, приподнял и так тряхнул, что Урван стукнулся головой об стену.

Маленькие, заплывшие глазки Урвана открылись, лицо побурело от прилива крови, на шее вздулись жилы. Он еще не сообразил, в чем дело.

— А? Што?! Кто такие?!

— Па-адымайсь!..

Головня поставил Урвана на связанные ноги.

— Где другие контрики? Где?!

Здоровенный, сумнобровый Урван в исподней рубахе, разорванной до пупа, в плисовых шароварах, с опухшим от перепоя лицом, с кудрявыми волосами, включенными на голове и бороде,

установился на Головню, раздувая толстый сальный живот, тяжело сопел, ворочая могучими плечами.

— Кто его связал по рукам и ногам? — удивился Васюха Трубин.

— Буянил, должно, — сказал второй дружинник.

— А, Головня! — узнал-таки Урван и тут же увидел Дуню; лицо его исказилось, лохматые брови сплылись в кучу, челюсть отвисла, и он рванулся было, заорав: — Ааа, курва, такут-твою мать, шлюха! Привела... в бога... тресвятителя...

Никто не успел взглянуть на Дуню. Вздрогнув, как от удара хлыста по лицу, она откачнулась от Головни, стиснув колодку револьверчика, не поднимая руки и не целясь, нажала на спуск — раздался выстрел, будто кто трахнул стеклянную кринку о камни. Урван дрогнул и завопил во все горло.

Еще один выстрел. Мамонт Головня оттолкнул Дуню, Зырян схватился за ее револьверчик.

— Убью! Все равно убью гада!

Зырян вырвал револьверчик. Урван корчился и орал во все горло.

А Дуня, пылающая, растрепанная, кусая губы, с ненавистью взглядывала на своего мучителя, от которого бежала будто вчера, твердила, что надо бы выстрелить в пасть, а не в живот и в грудь.

Мучитель, вор и жулик, корчась от раны, извергал поток брани.

— Связали меня... связали... Сомище с есаулом, я бы ее, стерву, еще на поминках, — рычал Урван. — Ну, вспомнят! Они меня вспомнят!.. в бога... богородицу... тресвятую икону!.. Женой наградил, сомище! Курвой наградил за пай на прииске... Такут-твою... жулики!.. проходимцы!..

Головня ругал Дуню: революцию, дескать, свершили не для того, чтоб всяк по-своему сводил личные счета, а Дуня сокрушалась:

— Мне бы надо в лоб, а я в живот. В лоб ему!

Головня посоветовался с Зыряном, как быть? А вдруг Урван сдохнет до утра? Надумали сейчас же везти в Минусинск в УЧК: там и доктор сыщется, и допрос успеют снять.

— А ты, Авдотья, у Зыряна побудешь пока, — сказал Головня. — Я там буду говорить в ЧК. Может, отстою тебя.

— Я сама за себя буду говорить,

— И сама за себя скажешь.

Дуня подошла к столу. Они тут удобно устроились. Жратва, вино и все, что душе угодно — живи не тужи!

— Быть бы мне упокойницей, если бы папаша захватил меня сонную. Что тут на столах-то! Вот уж весело! Выпью. Ей-богу выпью. Да заткните же глотку Урвану! — И налила стакан вина.

Урвана увели, Головня сказал, чтоб кто-нибудь из баб перевязал ему раны, и пусть запрягут лошадей в кошеву, да самых лучших: дорога дальняя и надо торопиться.

ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ

I

Таясь и озираясь, носился по Белой Елани осатанелый Прокопий Веденеевич; из дома в дом задворками, темными переулками. Никогда еще старик не поворачивался так круто, как в эти дни после гибели Лизаветушки. Жужжал, как шмель, и жалил, как шершень. Вонзит какому мужику жало в сердце, и — к другому.

Меланья, меж тем, исполняя наказ батюшки, заколотила избушку безродной Лизаветушки, где до прошлой субботы жил Прокопий Веденеевич, а живность — вилорогую корову, красную нетель по третьему году, кобылу и буланого мерина с пятью овечками, перегнала к себе в надворье.

Немудрящее барахлишко, рвань разную, иконушки там, лампадку раздала старушонкам на помин души праведницы. Ну, а кованный сундук с добром и даже чугуны, ухваты, самотканые половики, свернутые в трубки по пуду весом, кросна, три воза сена, телегу с таратайкой и сани перетащила-таки к себе.

Само собою — тополевы поставили Лизаветушке крест на берегу Амыла. Но не там, где работники Юсковых закопали два сосновых креста в память утопленников, а ниже по Амылу, в непролазной чащобе, чтоб еретики не плевались на тричастный крест праведницы.

II

Случилось среди бела дня в субботу...

Меланья с Апроськой раздавали корм скоту, как вдруг раздался позыв тятеньки:

— Меланья! Меланья!

— Из бани, будто, — догадалась Апроська, рослая, здоровая девка с румянцем на все лицо, ворочающая деревянными вилами не хуже мужика, — сено коровам разносила.

Старик прятался в холодном предбаннике, одетый в длинную шубу с болтающимся хвостом: от жадности пожалел портить овчину, так и носил необрезанной. Мутность в лице, злоба, трясущиеся руки, хотя старику было немногим более шестидесяти. Жизнь не пощадила ни его голову, ни бороду — снегом усыпала. Спросил: нет ли кого из чужих?

Чужих в доме нету, но вчера вечером и ночью, когда Меланья сидела за кроснами, были ревкомовцы с обыском. Переворошили все в доме и в надворье, спрашивали, не знает ли она, где прячется старик со святым Ананием?

— Ни слухом, ни духом, грю, не ведаю.

— Ладно. Кто был?

— Молодой Зырян с Василием Трубиным.

— Еретики, анчихристы! Кипеть будут. В смолу кипучую свергнем, — пророкотал старик. — Скажи Апроське, пушай кобеля спустит. А сама возьми малого да икону соловецкую. В баню принеси. Служба будет.

Меланья так и сделала.

Спущенный с цепи кобель взлаял от радости и понесся по ограде. Курчавого Демку укутала в старенькую шаль, завернула в полотенце соловецкую икону без ризы, на которой был изображен скорбный Илья Громовержец, прихватила свечки и вернулась.

Старик поставил икону в передний угол к малой закоптелой иконке, раздул угли для лампадки, зажег свечки, предварительно закрыв шубой оконце из бани, чтоб свет не проникал наружу, а тогда уже опустился на колени и чадо поставил возле себя.

— Помолимся, — сказал Меланье. — Нонешнею ночью вся Белая Елань вздыбится на нечистых. Огонь и смерть будет анчихристовым слугам.

Меланья ойкнула.

— Молчай. Слушай! Ежли беда приключится со мной, на твоих руках сей праведник возрости должен. Оборони господь, ежли допустишь порчу отрока и сатане под начало отдашь, али в школупустишь, в мир срамной. Погибель будет. И ты будешь кипеть в сере со еретиками, и глаза к небу вскидывать, а на небе зрить будешь хрест тричастный, карающий!

Меланья молилась...

— Ишшо сказую, — продолжал свекор, он же отец малого Демки, и он же родимый тятенька мужа Меланьи, Филимона Прокопьевича, — ежли не станет меня (спаси мя, господи), не вводи во искушение Диомида; хитростью защищай от мякинной утробы, штоб не посеял он в душу чада мякину заместо жита. Слушай: припас я на время будущее, какое настанет опосля смуты, золото, слышь. Дашь мне перед иконой клятьбу. Сказуй: «Я, рабица божья, Меланья, не порушив ни словом, ни помыслом праведную веру древних христиан, клянусь не совратить с истинного путя Диомида, яко праведника; дан сему праведнику глас господний утвердить веру тополевою на мир христианский; клятьбу даю перед иконой соловецкой — не открою тайну, какую узнала от духовника свово Прокопия. Аминь».

— Аминь, — отозвалась Меланья.

— «А ежли порушу клятьбу... Погибель мне!» Повтори, — продолжал старик, нагоняя страх, штоб Меланья нутром дошла, какая ей уготовлена кара, если она выдаст тайну духовника, воле которого послушна, как овца.

Меланья повторила.

Старик указал на темный угол бани возле двери:

— На два аршина вглубь копать надо, под стенку так. Будут там камни. Под камнями — два туеса. Золото, серебро, а так и деньги. Много. Думалось, хозяйство подыму, мельницу куплю, а теперича вишь: ни жизни, ни полжизни. Круговерть спеленала. Золото сбережешь до возрастания Диомида. Передашь, когда он духовником станет. Аминь.

— Аминь, аминь, аминь!

Молились, молились...

Малюхонький Демка в холщовой рубашонке — будущий святой духовник Диомид, как начертал его судьбу Прокопий Веденеевич,

продрогший до костей, стоял на коленях, истово молился и отбивал поклоны, когда ладонь старика гнула его к полу.

За свою коротенькую жизнь, не длиннее мышинового хвостика, с того дня, как кроха встал на ноги на восьмом месяце говорить начал, он успел отбить такую уйму поклонов, так много наложил крестов, что ему впору быть святым сейчас, а не тогда, когда он возрастет. Он научился лопотать молитвы: с «оце нас» просыпался, умывался студеной водой, потом становился на колени в моленной и, воззрясь на лики святых в ризах и без риз, на мерцающие свечечки и чадящую лампаду, замирал от страха. Боженька мог наказать, оставить без молока и куска хлеба, мог выпороть ременной супонью и сожрать Демку с косточками. Страх божий пеленал Демку днем и ночью, не раз он прокидывался от сна в своей постельке, бормоча «оце нас», тараща глазенки в стылую тьму, не смея хныкать. У Демки не было младенчества — избраннику божьему положен был строжайший устав больших и малых поклонов, и Меланья умилялась: «Экий дар божий, духовником будет».

Пуще смертушки Демка боялся красной бороды — самого хозяина, Филимона Прокопьевича. Когда борода рычала и потчевала супонью на век будущий, приговаривая: «Не ташши кусок в пасть свою наперед всех, не пригубляй молоко допрежь сестры твоей», — да мало ли за что не попадало крохе Демке от красной бороды!

Старик сказал:

— Нонешнюю ночь, слушай, когда чады спать будут, в моленной зажги свечи у всех икон, как в большую службу, и всеношную молитву твори во здравие мое. Если услышишь стрельбу — пуще молись, и не робей токо. Полыхнет зарево — то будет гореть ревком, вертеп сатанинский. А ты молись, молись. Возликуем опосля. Ишшо скажу...

В ограде взлаял кобель, но не злобно, как на чужого, а с повизгиванием.

— Чаво он?

— Дык с цепи спущен. Носится по ограде.

— Калитка не стукнула?

— Не слышала.

— Господи прости, — перевел дух старик, — хоть бы свершилась праведная кара над еретиками! И в Таскиной, и в Таятах, и в Нижних

Курятах пожар займется; огонь, огонь будет! Хоть бы...

Шаги, хрустящие по снегу у бани, шаркающие в предбаннике; у старика открылся рот и борода задралась кверху.

Распахнулась дверь, и вот она — красная борода лезет...

Меланья испуганно ойкнула — переступил порог Филимон. В дохе и шубе, глаза вытаращены, как фарфоровые блюда, борода всклокочена.

— Моленьи устраиваете, сатаны треклятые! На погибель спровадил меня, сатано, не батюшка; рысаков волки сожрали! Таперича не будет того, грю. Сам спытай, как вшей, кормить в чике. Али в тюрьму уволукут, как контру супротив власти, какую завоевал пролетариат всемирный!

Старик до того был ошарашен словами Филимона, что, с трудом встав на онемевшие ноги, уставился на сына, как старый кот на кусок мяса в зубах собаки.

— И выродок на моленье? У, сатаны! В духовники сготавливаете, чтоб на шею мне ишшо одну гирю привешать. Ну, буде, батюшка! Конец тому. Бастую!

Прокопий Веденеевич только что собрался харкнуть в рожу «забастовщика», как снова слышались шаги в предбаннике и, согнувшись вдвое, с наганом в руке протиснулся в баню... Мамонт Головня.

Филимон торопливо посторонился; Головня посмотрел на каменку, под полук, где прели старые березовые веники, и, никого не обнаружив:

— Именем пролетарской революции вы арестованы, Прокопий Веденеевич. Па-анятно?

Ни слова в ответ: ненависть.

— Ну, пойдём, божий старец. Ждут тебя там Варфоломеюшка с Митрофанием. Восстание задумали поднять? Мало тебе еще, космач, смуты на деревне? Ты еще не сыт, старый мерин?

Меланья пристыла на коленях — крест наложить не в состоянии. Малый Демка хныкал, не понимая, что происходит и отчего мать не творит молитвы? Холод пробрал Демку до печенки — губы посинели. Сам старик до того пришиблен был внезапным арестом, что никак не мог вдеть руки в рукава шубы, слезы катились у него по щекам, теряясь в бороде.

Мамонт Головня поторапливал:

— Иди, иди, космач, не мешкай, — и наганом толкал в спину.

В дверях старик оглянулся на Филимона:

— Июда ты, Июда! От сего часа до скончания века проклинаяю тя.

Июда, поправший престол господний, и спасителя на Голгофу отправивший, Июда. Не я тебя породил — сатано отец твой, сучка рябиновая — мать твоя. Тьфу, тьфу, тьфу! Меланья проклинай Июду! И штоб...

— Иди, иди, пророк тополевыи, — вытолкал Головня Прокопия из бани.

У Филимона от проклятий батюшки заурчало в брюхе, как будто в утробе бились камни, перекатываясь из кишки в кишку. Взмок. Сопрел.

Жареным запахло. Или так противно воняет деревянное масло в лампадке?

— Осподи, осподи, экое, а? Экое, а? — бормотал Филимон, топчась на одном месте.

— Июда, Июда, Июда! — шарахнулась Меланья, отползая на коленях в угол, под прикрытие соловецкой чудотворной иконы, и отвернулась к стене. — Июда, Июда!

— И ты ишшо, пропастина! — раздулся Филимон Прокопьевич. Мало того, что тятенька проклял, так еще и Меланья, на которую и плюнуть-то зазорно. — Праведницей считаешь себя, сука, на иконы глаза вскидываешь, опосля молитв под отца и сына стелешься, падаль!

— Июда! Проклинаю Июду!

И вдруг тонюсенький голосок:

— Юда, Юда!

— И ты ишшо?! — Филимон Прокопьевич пхнул малого Демку валенком — чадо кувыркнулось, как туесок с капустой. — А, тварюги!..

Задыхаясь от злобы, Филимон налетел на Меланью, трахнул кулаком — в угол лбом бухнулась.

Забыл Филимон Прокопьевич, из башки вылетело, что в надворье пришел он не один, а с Головней, и с ними Тимофей, чрезвычайный комиссар из Петрограда...

— Околей, треклятая! Околей, сука!

Как-то сразу, в миг, в ушах взорвалась бомба — до того сильным был удар, отбросивший Филимона к стене. Слава богу, в дохе и шубе — мягко было падать. Но тем не кончилось. Сильные руки брата Тимофея схватили за шубу, подняли, и кувалда влипла в морду, расквасив нос и губы, — кровь брызнула.

— Тимоха! Тимофей Прокопыч! За ради Христа! Безвинный я! Безвинный! — хлюпал Филимон Прокопьевич, а брат утюжил его молча, без нравоучений. — Осподи, осподи! Ааа! Ааа!

Еще одним ударом Тимофей сбил Филимона и за воротник выволок из бани, ткнул носом в снег и вернулся.

Меланья притиснулась к лавке — лоб у нее был разбит, но она не чувствовала ни боли, ни потеков крови. Малый Демка карабкался к ней на колени, ревел, хватался за кофту, как лягушонок беспомощный. Она видела, как нечистый дух, Тимофей Прокопьевич, в белой каракулевой папахе, при шашке и при деревянной колодке у ремня, нещадно бил Июду Филимона; и утащил, не иначе, как в преисподнюю, как нечистый уволок под лед праведницу Лизаветушку. Нечистый со звездой во лбу вернулся за ней — погибель будет, погибель!..

— Свят, свят, свят! — забормотала Меланья; Демка все еще визжал и лез к ней; она его торкнула и приказала: — Молись, молись, чадо! Нечистый сгубит! Молись! Молись!

Демка и без того перепуганный, быстро встал на колени, и крестом себя, крестом, крестом.

— Изыди, изыди, изыди!.. — вопит мать.

Демка прерывающимся писком подвывает:

— Ыди, ыди, ыди! Сят, сят, сят!

Тимофей вспомнил себя таким же крохою, когда батюшка Прокопий Веденеевич повязал его божьим страхом, и он едва не испустил дух на молитвенных бдениях. Надо спасти от фанатиков ребенка! Они же его замучают до смерти!..

— Опомнись, Меланья. Или ты не узнала меня?

— Изыди, изыди, нечистый!.. Спаси нас... — И молитва, молитва.

— Оце... нас... еси...

Головенка кудрявая, шея тоненькая, длинная, и кресты, кресты, чтоб нечистый не утащил человечка величиною с лохмашку.

Тимофей видит, как трясется в ознобе худенькое тело перепуганного Демки, и мать на него не обращает внимания — от нечистой силы отрешивается. Взял суконную шаль с лавочки, накрыл со спины Демку, неловко укутал и поднял на руки; нечистый-то да богом избранного Диомида взял на руки!.. Меланья затряслась, бормочет что-то непонятное, а нечистый спрашивает:

— Ты что же это, Меланья, в самом деле в гроб хочешь загнать ребенка?

— Не трожь, не трожь, не трожь! — тараторит Меланья, не спуская глаз с Демки на руках Тимофея — нечистого духа. — Пусти, пусти! Не трожь святого Диомида. Не паскудь! Дай мне, дай!

— Успокойся, Меланья.

— Диомида, Диомида!.. Господи!.. Вееношную служить буду! Радеть год буду!

Малый Демка визжал, карабкался, но Тимофей держал его крепко. Живое тепло было у него на руках, и он должен спасти это тепло.

— Замучаете ребенка! Замучаете!

— Святой он, святой. С крестом родился.

— С крестом родился? Понимаю. Про меня отец тоже говорил, что я с крестом родился. Давно бы сдох под батюшкиным крестом, если бы не помогли люди.

— Господи, господи! — крестилась Меланья, вскидывая глаза то на икону, то на Демку.

Тимофей явственно представил, что ждет заморыша Демку в доме Филимона. Вечная тьма молитв, поклонов, а Филимон Прокопьевич меж тем исподтишка будет изводить постылое чадо, чтобы поскорее спровадить на тот свет, и все это свершится именем бога, с поклонами, с песнопением, с чтением Давидовых псалмов, и закопают гробик с телом чада с плачем и молитвами, недолго горя: чадо призвал господь в рай небесный!..

— Ну, нет! Не позволю! — И к Меланье: — Именем революции заявляю: ребенка отбираю, у вас. Не кричи. Не будет он при Советской власти духовником и святым угодником, не будет он рабом божьим. Понимаешь?

— Ай! — У Меланьи защемило сердце, как будто смерть подкатилась.

Тимофей ушел и ребенка унес — святого Диомида утащил, нечистый дух...

III

Что произошло в доме и о чем там разговаривал Тимофей с Филимоном, Меланья не знала; она так и сидела в углу на отерпших ногах, отирая сажу со стены на платок и спину, хватая ртом холодный воздух и ничего не соображая. Потом пришел Филимон с Апроськой. Филимон сказал, что он сгоряча ударил ее, пусть простит, и Тимофей-де справедливо наказал его за рукоприкладство, отныне он, Филимон, пальцем не тронет Меланью, и что малого Демку Тимофей унес с собою, и в том они виноваты сами: не надо было ребенка держать до измора тела и духа на молитвах.

— Власть-то, власть-то теперь не царская, — ворчал Филимон Прокопьевич. — За изгальство над ребенком, слышь, в тюрьму посадить могут. Советская власть таперича. А мы-то ни сном-духом. Она — вот она власть-то — живо!.. Затыркали ребенчишку — одни кости да кожа. Ужась. Али в чиху хошь за изгальство над чадом?

Увели Меланью в дом под руки — сама не могла идти — ноги не несли. Апроська смыла кровь с ее лица, перевязала голову чистым рушником и уложила в постель.

Филимон подсел на табуретку и опять заговорил про новую власть, про батюшку, который на всех беду накликать, да Меланья не слушала: видела себя в кипучей сере, а над головою — пылающий тричастный крест. «Осподи, клятвопреступница таперь!»

Облизнула сохнувшие губы, жалостливо взмолилась:

— Удави меня, Филимон. Нету мне спасенья — клятьбу порушила.

— Чаво ишшо? Какую клятьбу?

— Батюшке... пред иконушкой соловецкой... клялась вырастить духовника... а ежли порушу клятьбу — в сере кипучей гореть мне... удави... Христом богом прошу...

Толстый зад Филимона заерзал на табуретке, будто припекло; лапы досадливо трут холщовые колени; не Иуда ли он, в самом деле? Родимого тятеньку продал! Опять-таки — его ли в том вина? Случай такой вышел. В тот момент, когда Филимон с Тимофеем и

следователем УЧК подъехали на паре лошадей к ревкому и Филимон хотел отправиться домой, из ревкома вышел Мамонт Головня, а потом подошел дружинник Васюха Трубин и сообщил, что старик Боровиков, как он только что видел, явился в свою баню и там прячется. Головня сказал: пусть сам чрезвычайный комиссар решает, как быть со стариком Боровиковым, подбивающим народ к восстанию, и задержал Филимона.

Тимофей кивнул в сторону отчего дома:

— Идемте.

И они пришли...

Меланья не смотрит на него, перебирает концы черного платка, а слезы, как два ключа, бьются из недр сердца. Морщины в подглазье, у тонких бескровных губ, на лбу, и все лицо блеклое, без кровинки — старуха, упокойница.

— Меланья? — позвал Филимон, будто хотел удостовериться, она ли лежит на постели. — Слышь Меланья?

— Ну? — откликнулась Меланья, как из гроба.

— Который тебе год?

Меланья подумала, зажмурилась, а из-под ресниц сочатся слезы.

— Чо спрашиваешь?

— Который тебе год ноне?

— Который? Дык... дык лонесъ было двадцать два... ноне двадцать три будет... не доживу, может.

— Господи, помилуй! — крикнул Филимон Прокопьевич. Вот так штука. Бабе двадцать три, а — старуха перед ним, старуха на изжитье века.

«На экой немоче женился, а! — укорил себя Филимон Прокопьевич. — Кабы взял не из дырниковой веры, хоша Евлампью бы, не обмишурился бы так. Та и таперь ходит молодая, как картинка».

IV

Судьбы, как тропы в глухолесье, — всегда разные.

Найдет человек сохатиную иль медвежью стежку, и пошел по ней. Потом удивляется: какая нечистая сила понесла его по такой дремучести, где сам черт ногу сломит?

Многие идут по наторенным дорогам, но не след в след, каждый по-своему.

Случается: человек долго ищет судьбу. Набьет ноги, не раз умоется горькой солью; брызнет седина в голову, а ему все еще кажется — жизнь впереди!..

Другой, не успев пожить, вдруг вспыхнет огнем, да так ярко, что многим возле него хоть водой окатывайся: неумоги припекает. Сгорит, а про него долго еще будут говорить, поминая добром и лихом.

Есть судьбы легкие. Век проживет иной, ни разу не охнув. Есть трудные. Когда, как говорят в народе, на бедного Макара все шишки валяются.

Сколько людей — столько судеб, все не охватишь.

Шел Прокопий Веденеевич в ревком и как будто заметал хвостом своей шубы безрадостный след судьбы. Возомнил себя святым духовником Филаретом; готовил единоверцев к смертельной схватке с большаками-безбожниками — самое время начать битву с анчихристом, и вот тебе, ведут духовника в ревком, чтоб отправить в тюрьму. Не сохранил господь бог праведника — отдал в руки нечистого. Ладно ли то? Или раб божий Прокопушка в чем грешен, что «отец и сын, и святой дух» плюнули ему в космы сивой бороды? Или он не ведает, где лежит кривда и правда для суетного люда?

Никак не мог рассудить. Поруха вышла. Позорище!

«Экое, осподи, помилуй, — кряхтел Прокопий Веденеевич. — Не быть мне, должно, Филаретом. Сила не та. Треклятая рябиновка народила мне сынов-иродов. Ох-хо-хо! Грехи-то какие, а?»

Он все еще не мог простить себе, что столько лет прожил с женой не тополевкой, а рябиновкой Степанидой, которая плюнула на тополеву крепость. Он изгнал ее прочь, хоть поздно, но изгнал же, очистился от скверны. А господь не принял, может, очищения, карает.

«Претерпеть надо. Постигну, может. Помяну имя твое во всяком роде, да просветли разум мой, господи», — молился про себя старик и не сам открыл дверь ревкома — не осквернился; не по своей воле перешагнул порог — подневольно.

В большой комнате ревкома, рассевшись по лавкам, переминали текучее время арестованные: Варфоломеюшка-тополевец. Митрофаній Емануилович-тополевец; отдельно от всех, в котиковой

шубе — тышча золотом! — этакая оскорбленная невинность, брезгливо сложив тонкие, хищные губы, готовая все отрицать и знать ничего не знать — Алевтина Карповна, арестованная, вместе с Михаилом Елизаровичем Юсковым, который горбился на лавке, понуря лысую голову.

В погребке Михайлы Елизаровича ревкомовцы обнаружили ящик кавалерийских карабинов, завернутых в промасленную бумагу. Раньше был же обыск — не сыскали. А вот налетела вертихвостка, подняла всех — цапнули припасенные карабины; переверорошили омшаник у Елизара Елизаровича и, как того никто не ждал, в ульях под соломенными матами, в пустоте сокращенных гнезд, нашли винтовочные патроны, свинец, порох, селитру, а в подполье-убежище в стене открыли тайник — два кирпича золота!.. По пуду каждому.

Двое дружинников, Васюха Трубин и Митька Лалетин, резались возле железной печки в самодельные картишки, шлепая разрисованными картонками о табуретку.

— Проходи, святой Прокопушко, — подталкивал Головня, и все посмотрели на старика Боровикова с болтающимися косичками на воротнике шубы. — Садись к Варфоломеюшке. Можете молиться или даже псалмы петь, но не во все горло, дозволяю. А вы тут смотрите за ними. Не проиграйте в карты.

— А чаво? — осклабился Васюха Трубин. — Дунуть бы всех святых в очко. Снохача Прокопушку пустили бы за царскую золотую десятку; какого духовника сработал невестушке — диво!

— Не трожьте их, — урезонил Головня и пошел в свою председательскую комнату, где Дуню Юскову допрашивал сотрудник Минусинского УЧК, давнишний знакомый Мамонта Головни, Исаак Крачковский. Он таким и остался, Исаак, непоседливым, мотающимся по тайге, приискам, неломкий подпольщик-большевик, отбывавший ссылку с 1912 года в Белой Елани. Исаак Крачковский, понятно, за житие в Белой Елани достаточно насмотрелся на жесточайшего «жмидави» Юскова, великолепно помнил, как Юсков чуть ли не до смерти избил Дуню, когда она бежала от Кондратия Урвана, знал Дарьюшку — мятежную, ищущую, безвременно погибшую, но своих рук подставить не мог, а вот сейчас он должен был расследовать преступление Дуни Юсковой, а преступления не было; он знал, что никакого преступления не было: Кондратия Урвана, атамана банды,

Дуня застрелила не за банду, понятно, а за те издевательства, какие претерпела от него. Он все знал.

Дуня сидела по одну сторону стола, Крачковский — в потертой кожаной тужурке, в очках с металлическими дужками, черноусый, бритощекий, кашляющий от чахотки, — уминал березовый трон самого Головни.

Дуня — сама не в себе; поникла, и голову вниз; с лица спала, поуххла. С ночи вторника и до полудня среды, кроме воды, в рот ничего не брала. Пила и пила воду да молчала. О чем думала? Потом подъехал Аркадий Зырян из Минусинска, сказал, что Кондратия Урвана не довез — по дороге околел. Головня буркнул: «Собаке — собачья смерть!» А Зырян возразил: «Если бы Урвана в ЧК допросили, мы бы узнали, какие лбы в его банде. Банда-то осталась!»

Банда Урвана таилась хитро. То вдруг объявит себя, налетит на обоз, пощелкает обозчиков, смешает хлеб со снегом и грязью, и поминай, как звали. Захватит совдеповцев — на деревьях болтаются с записками: «Мы не последние. Очередь за другими, которые будут помогать Советской власти». Везде одни и те же записочки на мертвых телах.

— Святого Прокопушку Боровикова привел, — сообщил Головня, доставая кiset. Спрашивающий взгляд Дуни вцепился в Мамонта Петровича и не отпускал. Догадался, что она поджидает Тимофея Прокопьевича.

— Там он остался, у своих, — сообщил, заворачивая самокрутку. — Скоро подойдет.

Дуня облизнула пересохшие губы, и робко так:

— Разрешите мне выйти. Я хочу поговорить с Тимофеем Прокопьевичем. Не здесь.

Крачковский посмотрел на Головню, а тот:

— Какой может быть спрос? За бандита, который вешал совдеповцев, кишки выпускал из ямщиков, да еще под ружьем держать, едрит твою в кандибобер! Идите, Евдокия Елизаровна.

Дуня поблагодарила Мамонта Петровича, сняла беличью шубку с гвоздя, шапочку и быстро ушла.

Сперва Тимофей хотел только припугнуть Меланью, вразумить Филимона, чтоб они не творили паскудства, не губили ребенка, но Меланья, вытаращив глаза, тараторила свое: «Диомид с крестом народился», — и на щеках Тимофея желваки заходили.

Филимон, в свою очередь, увидев срамное чадо на руках сурового брата, в злобе бормотал, что пусть Тимофей хоть застрелит его, а он все равно не примет в душу выродка окаянного. «Хоша бы от татарина народила — ить от батюшки, да ишшо в духовники сготавливают! Бастую! Хошь на месте стреляй — бастую. Или пусть сей момент выгребается из дома со своим выродком, а я буду жить со своими девчонками: растить буду. Они-то духовниками не будут. Батюшка зрить их не может, а как я должен зрить чадо батюшки?» — слюнявился Филя.

Тимофей терпеть не мог, когда мужчины хнычут.

— Баба ты или мужик? А, мужик! Тогда не налетай с кулаками на бабу. Ищи по силе. Запомни. Насчет Меланьи скажу так: бей сам себя по морде, потому что ты притащил ее в свою веру, когда ей было каких-то шестнадцать лет. Или кто другой за тебя это делал?

— Матушка притащила. А потом батюшка встрял со своей уставой.

— Где ты был?

— Какая моя воля? При батюшке-то.

— Черт бы тебя подрал с твоей волей и тополевым толком! Закружили, запутали Меланью, и она же виновата, что родила ребенка по вашей паскудной вере.

— Не приму чадо. Хоть казни, — отбивался Филимон.

Малое чадо притихло на руках Тимофея, пригрелось: но куда Тимофею с этим ребенчишком? Сам мотается по свету из конца в конец, и кто знает, куда позовет революция завтра! Ни дома, ни полдома, ни угла, ни подружки — один, как перст.

— Ладно, не сморкайся, Демку возьму — не пропадет. Есть у него какие-нибудь шмутки? Одеялко, штанишки, рубашки?

— Должно, — ответил Филимон, не поднимаясь с лавки, где он сидел в шубе и дохе — все еще не пришел в себя после мялки брата.

— С Меланьей будешь ты говорить. Без кулаков, смотри. Предупреждаю.

Филимон пыхтел, сморкался в грязный рушник; нос у него распух и посинел, глаза заплыли — братухины молотки тяжелехоньки.

— Меланья — што!.. Батюшка вот... Али долго будете держать в чике? Осподи, какая круговерть, а? Хоть сдохни с натуги. Экое, а? И чадо, все-таки жалко. Ипеть — оно самое — как гляну на нево, ну, как мышу заглотну с шерстью. Ты бы сам, Тимофей Прокопьевич, поговорил с отцом. Припужнул ево. Как ты сподобился...

— Ладно! — взмок Тимофей. — Вещички собери. Или сам принесешь к Зыряну?

— Сичас соберем. Сичас. Эй, Апроська! Погляди в горнице, что есть для малого чада. Живо.

Нашлось одеяльчишко, пара холщовых штанишек — руку не спрятать, одна рубашонка из отбеленного холста и поношенные чирки с ног Маньки, — вот и все имущество «святого Диомида».

VI

Морозная стынь свирепого марта, горбатая синь-тайга у горизонта, просторная улица, бревенчатые стены, дымы над шатровыми и двускатными крышами, заплоты из плах, хрустящий снег, малый Демка на руках, а навстречу, саженой за тридцать-сорок — Дуня Юскова, и сразу же стало тяжело. Если бы это не Дуня, а Дарьюшка шла навстречу...

— Здравствуйте, Тимофей Прокопьевич, — приветствовала Дуня, а глазами, ну, как пулями, пронзила Тимофея. Ох, и глаза!

— Здравствуйте, Евдокия Елизаровна, — ответил Тимофей и левая щека его с печаткой лиха передернулась, как будто он подмигнул Дуне.

— Не величайте Елизаровной. Просто Дуней. И без «вы», если можно.

Тимофей ничего не сказал, вскинул черную бровь: не Дарьюшка, нет; и лицо другое, и глаза не те: у Дарьюшки были вопрошающие, думающие, у Дуни — блестящие, черные, как вороненые бока маузера.

— Собралась сходить на Амыл на то место, да одной что-то страшно. Вы со мной не пойдете? Спросить мне вас надо.

Он понял, про какое место она говорила.

— Сходим, — сдержанно ответил. — Я вот ребенка занесу к Зырянам, и пойдем. Обзавелся сыном, хотя — ни жены, ни дома. Такая вышла история: человека надо спасти от фанатиков.

— От каких фанатиков?

— Брательник мой, черт бы его подрал, тополевец. Ладно. Подожди меня. — Еще раз пытливо взглянул на Дуню, насупился. Что-то было в ней путаное, сумрачное и непонятное. Вздохнул и ушел в ограду Зырянов.

Мимо прошла баба в полушубке, с ведрами на коромысле. Из ведра плескалась вода, как стекло, и тут же замерзала на уезженной улице.

Кто-то проехал в санках, лошадь заиндевила, морду обметало сосульками.

Тишина и серое небо — деревня.

— Пойдем, Дуня.

Офицерская, выучка — прямит плечи, печатает шаг, и твердо держит голову. Хоть бы на минуту размягчился, размыл бы натиск бровей, сказал бы что-нибудь или просто усмехнулся. Так нет же, как конверт под сургучными печатями.

А Дуне так много хотелось бы сказать Тимофею Прокопьевичу! Растопить бы лед на сердце, чтоб ясность обрести: как жить ей в этакой сумятице?..

Чернолесье отряхивало иглистый снег с колючих ветвей; лиловою стеною возвышались вдали ели и пихты. С дороги свернули на тропку и брели снегом. На берегу, против полыньи, два желтых креста с карнизиками — «памятка об утопленниках». Ставят такие же кресты на месте совершенного убийства. Сколько их на приисковых дорогах?

Молча постояли у крестов и спустились с берега на Амыл. А Дуня так и не осмелилась начать трудный разговор.

Искрился снег ослепительно-белый, как подвенечное платье; следы успело занести, и только птицы вокруг полыньи наставили свои крестики крохотных лапок.

Тихо.

Мокрогубая полынья бормочет на подводном каменюге.

Небо серое, холодное солнце катится по свинцовой стыни к зубчатым вершинам елей.

— Не могу себе простить, что оставил ее в то утро здесь. Не должен был оставить. Она так и не нашла дорогу к настоящей правде, — сказал строго Тимофей, испытующе глядя в рдеющее морозным румянцем лицо Дуни. — Так и не нашла. Запутали ее господа эсеры.

— Боженька! Она не была эсеркой, не была! Она была такая светлая и чистая! Не чета мне. Она верила, что настанет на земле третья мера жизни, и все будут счастливы, и над всеми будет розовое небо. Да где оно, это небо?! Где оно, розовое небо?! Может, потому она и кинулась в полынью, что разуверилась?.. А я-то, мыкаясь по свету, завидовала ей, думала, что она счастливая!.. А вчера, за одну ночь, я всю свою окаянную жизнь переворошила. Урвана вот убила. И не жалею, нет!.. Потому, что все равно не будет розового неба, а будет зло и насилие — сила солому ломит.

— Погоди, Дуня. Вот выметем старый мир ко всем чертям, тогда увидишь. Будет еще розовое небо! Будет. Жаль только, что я ее не уберег. Но пусть это останется со мною...

Угасающее солнце быстро откатывалось куда-то за горизонт, а у Дуни было такое самочувствие, как будто она давно-давно, с самого сизого девичьего восхода жизни, ждала этой трепетной минуты, и теперь, когда она пришла, что-то лопнуло в ней, как натянутая струна, оглушив сердце пустотою.

— Пойдем, Дуня, — сказал Тимофей.

Накатились на деревню смутные времена, и нет числа людским бедствиям и горю.

Про нищету и разруху толковали мужики в доме старого Зыряна. Говорили про войну и про мир...

— А ну, мужики, выпрастывайтесь, — распорядилась домовитая седеющая Ланюшка, входя в избу.

Разогнала мужиков и напустилась на спелую невестушку Анфису с годовалой Агнейкой на руках.

— Не вожжайся с девчонкой, в избе прибири. А ты, Зырян, метись по хозяйству да мяса наруби к ужину.

Дуня вышла из горенки с Демкой: малюхонький тополевец глазеет на всех и ничего понять не может. Тимофей подошел к Дуне.

— Ну, как, святой Диомид, живешь? — спросил у Демки, окунувшись взглядом в младенчески-невинную синеву его глаз. У Демки такие же синие озерки, как у него.

— Ты бы видел, как он в горнице искал иконы, — промолвила Дуня. — Я сразу же поняла, что он бормочет. Показывает в передний угол и лепечет: «Сусе! Сусе! Сусе!» — а это он икону Иисуса искал.

— Ага! — кивнул Тимофей. — Иисуса ищет? Бога? Ты вот что, святой Диомид, плюнь на бога вот так. Тьфу бога! Тьфу Иисуса. Тьфу на них, и баста.

Демка сообразил-таки, что чужой безбородый дядька плюет на бога и Иисуса, затрясся худеньким тельцем и, обхватив шею Дуни ручонками, лепечет:

— Есисты дух!.. Иде, иде! Сят, сят!

Дуня заливисто хохотала.

Тимофей с мужиками ушел и ревком, каждый со своим оружием. Такое времечко — без оружия ни на шаг.

Кроха Демка шарит глазенками по стенам, ищет иконушки, а нет их, нету!

Анфиса попробовала свести Демку с пухленькой Агнейкой, но тополевец оказалась рукастый — чуть глазенки не выдрал.

— Вот уж истинный Прокопушка! — заметила Ланюшка.

— Вернулся Аркадий Зырян, а с ним Меланья, на тень похожая: черный платок повязан до бровей, полушубок с Филимоновых плеч и сумная тревога в лице. Сразу от двери уставилась на Демку на руках... Дарьюшки?

— Господи! — испугалась. — А... сказали... утопла.

Аркадий Зырян пояснил, что это не Дарьюшка, а Евдокия Елизаровна.

— Не совращайте Демку-то. Не совращайте... безбожеством.

Демка увидел мать, залопотал, потянулся к ней. Дуня унесла его в горенку.

Зырян пояснил Меланье:

— Про Демку, Меланья, скажу так: Тимофей Прокопьевич не отдаст ребенка на истязанье. Ежели вы с Филимоном дадите в ревком подписку, что не будете мытарить ребенка со всякими вашими тополевыми богами, тогда возьмете. Опять-таки упреждаю — ревком проверять будет: истязаете или нет?

— Господи! Ни в жисть! Ни в жисть! Не дам анчихристам никакой гумаги!

— Тогда у нас будет Демка. Тимофей Прокопьевич так сказал.

— Анафема!.. Сгинет он с нечистым, сгинет.

— Не беспокойся, жить будет. И песни еще петь будет...

— Сгинет, сгинет!.. Ревком-то ваш ноне... гореть будет... огнем-пламенем... пожарище будет... свекор-то... как он... в ревком держать будете?

— Если будет гореть ревком — и он сгорит с Митрофанием и Варфоломеюшкой.

— Спаси и сохрани!.. Сторожите ревком-то! Сторожите. Пришла, чтоб сказать. Виденье было мне.

Кто-то постучал с улицы; Меланья испуганно попятилась. И — вон из избы.

— Чавой-то она? — удивился Зырян.

— Может, Филимон стучал, — сказала Ланюшка.

Из горницы вышла Дуня с Демкой на руках.

— Это и есть Меланья-тополевка, про которую вы говорили? — спросила у Ланюшки. — Какая она запуганная, ужас. Как дикарка. Платком-то как повязалась — только глаза и нос видно.

Стук раздался в избяную дверь.

— Ну, кто там? Заезжай! — ответил хозяин.

Согнувшись под косяком двери, в избу вошел здоровенный казак в рыжей бекеше, в папахе, сабля в рыжих ножнах и красная, аккуратно подстриженная борода подковою.

— Боженька! — вскрикнула Дуня. — Мой хорунжий, Ной Васильевич! Я вам говорила, Аркадий Александрович, как ехала с ним из Петрограда.

Ной поприветствовал хозяев, те пригласили его на лавку — гостем будет.

— Благодарствую на приглашении, хозяин с хозяйюшкой, — чинно ответил казачий хорунжий и, сняв папаху, сел на лавку.

— Сказывала нам про вас Евдокия Елизаровна, — начал разговор Зырян. — Стал быть, сибирские казаки под Петроградом не подняли оружия против большевиков? А вот наши казаки, которые дивизионом стояли в Красноярске под командованием атамана Сотникова, не дошли умом, чтобы принять Советскую власть. Тащутся войском к нам в уезд. Слыхали? Дуня, привечай гостя. Привечай.

Дуня не знала, что и сказать хорунжему. За неделю жизни в Белой Елани в ней наслоилося столько, что она не то, что забыла Ноя — спасителя своего, но попросту отмахнулась от него: был и нету, что вспоминать?

Голова у Ноя недавно подстрижена, чуб укорочен, и борода урезана. Умора!

Из большой горницы вышла статная молодуха Анфиса и тоже приветила рыжечубого хорунжего — раздевайтесь, мол. Сама Ланюшка осуждающе глянула на Дуню, взяла к себе на руки Демку; Дуня подошла к Ною и подала руку:

— Здравствуйте, Ной Васильевич. Вижу и глазам не верю, ей-богу. Я-то думала: живете дома в Таштыпе, отсыпаетесь за все дорожные мытарства и про меня не вспомнили!

— Как можно? — вскинулся Ной. — Я только и думал...

— А я не раз спасибо сказала вам за револьверчик, — перебила Дуня. — Мучителя своего, Урвана, прикончила. Ох, если б можно было убить его три раза — убила бы!

— Кабы знатье, якри ее, што ты тут, Дунюшка, учинишь суд и расправу, да я бы, вот те крест, ни в жисть не отпустил бы тебя одну из Минусинска. Разве мыслимо эдак-то?

— Есть о ком печалиться! — отмахнулась Дуня. — Урван свое схлопотал. Да раздевайтесь вы, коль гостем назвали. В избе у нас тепло.

Зырян собрался идти в ревком.

— Ну, гостуйте, Ной Васильевич.

— Благодарствую.

Дуня приняла от Ноя шубу, спросила: обнову завел? Повесила ее на крюк, туда же папаху с казачьим башлыком. На Ное — парадный офицерский китель, диагональные штаны с желтыми лампасами, начищенные до блеска сапоги со шпорами — вот чудак-то! Готов ноги отморозить, только бы представиться Дуне в должном виде.

— Как вы подмолодились-то, Ной Васильевич! Стали, как новый империял из банка, — хохотнула она.

К ужину из ревкома пришел Тимофей. Дуня представила хорунжего Ноя Лебеда Тимофею Прокопьевичу. Старый Зырян припомнил кого-то из таштыпских казаков; разговорились про смутное и тяжкое время.

Тимофей расспрашивал Ноя про положение в Петрограде и какими судьбами сводный Сибирский полк перешел на сторону Советской власти. Ной отвечал сдержанно; самогонки не пригубил, а Дуня, нарочито похваляясь, выпила стакан первача до дна. Ной вздохнул только. Сидел в застоле, как на офицерском обеде, прямил спину, Георгии на груди, медали — не отсекся, мол, от своего геройства. Старый Зырян, поглядывая на Георгиев и медали хорунжего, сказал, что вот-де Тимофей Прокопьевич, бывший штабс-капитан, большевик, тоже полный георгиевский кавалер, так что у красных есть теперь обстрелянные командиры.

— Ужли полный георгиевский кавалер? — подхватила Дуня. — Хотела бы я у вас, Тимофей Прокопьевич, быть пулеметчицей!

— И пулеметчицей можно, — ответил Тимофей. Но сейчас нам важнее всего — сознательные люди. В Красноярске бастуют служащие, и даже телефонистки отказались работать. Так что давайте будем работать, и дело у нас пойдет. Буржуазия пугает, что мы не справимся с государством, а мы вот потянем воз, как учит Ленин, вождь мировой революции, и социализм построим.

— Я согласна! Ей-богу, согласна! — горячо отозвалась Дуня и тут же попросила Тимофея Прокопьевича, чтоб он помог ей устроиться на

работу. — Сама не знаю, куда мне сунуться. Да ведь меня еще в тюрьму посадят за Урвана! — вспомнила Дуня, на что Тимофей ответил:

— За бандита не посадим. Так что живите спокойно. А в дальнейшем соображайте. Может, вместе с товарищем Лебедем надумаете служить Советской власти? Было бы очень хорошо, товарищ Лебедь, если бы вы смогли повлиять на казаков атамана Сотникова. Их никто не тронет, если они разойдутся по своим станциям.

— Само собой, — кивнул Ной, — кровопролитие ни к чему.

В избу шумно вошла приискательница Ольга Федорова в пестрой длиннополой дохе нараспашку, а за нею горный техник рудника Никита Корнеев.

— А вот и мы! Не ждали? — возвестила Ольга, сбрасывая доху на пол. — Раздевайся, Никита. Не жди, когда пригласят. Вот уж рада, что захватила вас, Тимофей Прокопьевич. Беда у нас на Благодатном — еле живые выскочили!

Все это высказала Ольга одним духом, покуда освобождалась от зимнего угревья. Старый Зырян принес из горницы два стула. Ной потеснился поближе к строптивой Дуне. Над столом свисала на проволоке семилинейная стеклянная лампа под жестяным абажуром, и свет ее был скуден.

Дуня настороженно уставилась на Ольгу с Никитой Корнеевым. Она их знала по руднику Благодатному. Даже Ухоздвигов не раз говорил с завистью про Ольгу, бодайбинскую приискательницу, что фартовее ее никого нет. Дуня помнит, как Ольга однажды, в летний день, остановила ее у главной конторы рудника, взяла пальцами за подбородок, заглянула в глаза и сказала: «А ты красивая, пташка Урвана. Чья будешь? Ветрова или бросова девка? А, Юскова!.. Красоту свою за золото продала вору и жулику. Ай, как весело!» И Дуня потом плакала. Разве Ольга знала, как Дуня себя продала?

Младшая сестра Ольги, румяная Анфиса, приняла одежду от Никиты и подобрала с полу доху и шубу Ольги.

— А у нас на Благодатном беда, Тима, — начала разматывать свое горе Ольга. — Разбили всю дружину. Девять человек погибло, да семеро осталось раненых.

— Вот так штука! Как же это произошло? — спросил Тимофей.

— Как? Всех вокруг пальца обвел Ухоздвигов. Старый волк. Как только приехали на рудник, он сразу заявил, что никакого спрятанного золота знать не знает, а просто сболтнул, чтоб у комиссаров глаза разгорелись...

История с Ухоздвиговым была вот такая.

Еще в июле 1917 года, будучи главным хозяином рудника Благодатного и сокомпанейцем приисков, Иннокентий Евменыч Ухоздвигов отправил под охраню двух казаков золото, добытое на руднике. Ни много ни мало, а тридцать шесть пудов. В тот же день, как только ушли лошади, увешанные кожаными сумами, Ухоздвигов со своим верным проводником из инородцев, Имурташкой, подались верхами в тайгу.

Под вечер ненастного дня на одном из горных перевалов золотой караван встретили будто бандиты. Оба казака и трое рабочих из главной конторы рудника были убиты. Как потом установили, бандиты стреляли из ручного пулемета. Сколько было их — неизвестно. Следов не осталось — дождь смыл следы и кровь. Золото и семь лошадей исчезли. Сопайщики Ухоздвигова «сели на щетку» и попросили кредит в банке, чтобы не объявить себя банкротами. Елизар Елизарович смекнул: не сам ли Ухоздвигов сотворил такую пакость?.. Но время ушло, а тут еще переворот власти. Проводник Имурташка исчез из тайги. Либо его прикончил Ухоздвигов, чтобы свидетеля не осталось, либо Имурташка бежал куда-нибудь в инородческий аал. В кутузке миллионщики передрались, и Юсков клятвенно заверил Головню и Боровикова, что «сомище Ухоздвигов» запрятал где-то в тайге тридцать шесть пудиков золота. Пусть новая власть жаманет его как следует.

Но Ухоздвигов и на этот раз вывернулся.

— Как привезли на рудник, моментом слетелись к нему приискатели, — продолжала Ольга. — На поклон явились к хозяину. А он, волчище, слезу пустил. Самого, говорит, под ружье взяли. Давить будут из всех золото. Прячьте золото! Вот вам, говорит, новая комиссарша — молитесь на нее да работайте на голодное брюхо задарма.

Ох, что творилось! Если бы не дружинники с Никитой, разорвали бы меня приискатели. Весь Благодатный гудел. Бабы всячески обзывали меня — ушами бы не слушать. Кидали говляшами, истинный

бог. Не стрелять же в чумных баб!.. А на другой день пришли обозы из Курагиной с продовольствием. Завезли муку, мясо и сахар на год. Мы поставили охрану у складов, пайки установили для горняков и приискателей, а на работу никто не вышел — пьянствовал весь рудник. Ухоздвигов отдал горнякам из своих тайников пять бочек спирту, а мы про этот спирт ничего не знали. Вокруг дома Ухоздвигова день и ночь дежурили горняки с ружьями. Орала на весь Благодатный. Никита всячески уговаривал их, где уж! Не было у нас ни бочек спирту, ни сладких обещаний.

Слушая Ольгу, Тимофей задумался — не первая дурная весть. И там саботаж, и тут поруха, а хлеба в городах нету, тиф валит людей, как жить дальше?

— И что потом, с Ухоздвиговым? — спросил старый Зырян.

Ольга ударила кулаком об стол:

— Расстрелять надо было, вот што, Зырян! Легче было бы. Всех их стрелять надо без суда и следствия!

— Господи! — испугалась кроткая Ланюшка.

— С ума сошла! — сказала Анфиса.

— С ума сошла? — оглянулась Ольга на младшую сестру. — Тебя бы на мое место. — И к Тимофею: — Стрелять их надо. Стрелять!

— Ох, и горячая у тебя головушка, сватья! — сочувственно положил ладонь на голову Ольги старый Зырян. — Всех разве перестреляешь?

— Не всех, а миллиончиков и которые стеной за них стоят.

— Дык сама же сказала — горняки заслонили Ухоздвигова. Их стрелять, что ли? Головушка!

— Стрелять, сват! Стрелять. Попомните мое слово — будем еще стрелять. Али не жить Советской власти. Вот што!

Тимофей дрогнул. Стрелять? Рабочих стрелять? Сомневающихся стрелять?

— Так нельзя, Ольга Семеновна, — назвал Ольгу по отчеству, как бы отчуждая от себя. — Ты же бодайбинская приискательница, помнишь, наверное, как расправились с рабочими царские сатрапы? Твой муж расстрелян. И потому направили тебя комиссаром на прииск. Или все забыла?..

— Ха-ха-ха! Помню ли я? Анфиса, ты помнишь? Не беспокойся, Тимофей Прокопьевич, Ольга Семеновна все помнит! И

расстрелянного мужа, и как с голоду чуть не подошли мы у английских концессионеров «Лена-Голдфильс». Был там инженер, мистер... Как его фамилия, Анфиса?

— Клерн, кажется.

— Вот-вот, мистер Клерн. К нему я ходила на поклон. Ох, господи! Как я унижалась, упрашивала мистера Клерна, чтоб он заступился за рабочих. В ногах у него валялась, а он мне по-русски: «Госпожа Федор, не беспокойся. У вас много золота спрятан. Пусть ваш рабочий отдаст золото — продовольствий много будет. Ви можете мне служить — скажите, кто прячет золото?»

А какое золото у горняков? Откуда? Ребятенки с голоду пухли. Тогда и началась забастовка. Господи, как я только выжила от побоев ротмистра Терещенки? Чтоб ему треснуть, окаянному. Три недели валялась в беспамятстве. А потом вывезли нас всех на железную дорогу, и вон с Лены на все четыре стороны. Вот она какая милость-то царская! Век помнить буду. Налей, сват! Хоть бы пожар затушить в душе!

Лицо Ольги пылало, и сама она горела будто. На ней была красная шерстяная кофта и красный шарф на плечах — вся из пламени. Ее иссиня-черные волосы поблескивали под светом лампы,

Дуня с Демкою на руках глаз не спускала с Ольги. Так вот она какая, бодайбинская приискательница!

— А ты говоришь мне, Тимофей Прокопьевич, помню ли я Бодайбо! Ха-ха-ха! Помню, милый. Я все помню. И ночь с волками помню, и «святого Анания». Не схватили его? Где уж нам! Они хитрее нас. Умнее нас. А когда же мы ума-разума наберемся?

И как бы отвечая себе:

— Наберемся, может, если кровью умоемся. Чую сердцем — быть большой крови. Знаете, казачье атамана Сотникова тащится в уезд?

Покачала головой, стукнула кулаком об стол:

— Откажусь от комиссарства! Ей-богу, откажусь. Не по мне хомут. Мое дело тайга, потаенные тропы и золотоносные жилы. Я их нюхом беру, глазом вижу в земле золото, — и горестно сказала: — А ведь я еще живая, сват! Живая. А вот те, дружинники... девять головушек! Отговорили, отшумели... Мы и не думали, что так все обернется. Сперва поднялись бабы — все к ревкому, к ревкому! А потом склады вспыхнули. Все кинулись на пожар, тут и началась

стрельба. Офицеры-то наторели командовать. Со всех сторон обложили нас в ревкоме. Дома дружинников сожгли. Контору сожгли. До ночи хлестались. Господи, что же такое происходит? Когда же мы миром и добром жить будем?

— Погоди, кума! Будет еще и у нас счастливая жизнь, — сказал старый Зырян.

Тимофей спросил у Никиты Корнеева про золотопромышленника.

— Сам Ухоздвигов убит, — ответил Никита. — Да вот кем убит — загадка.

Ольга оборвала:

— Никакой загадки! Сыновья офицеры прикончили, а свалили на нас.

— Как так? Отца-то?

— Отца! Они бы и у родной мамы кишки выпустили за золото. Они-то знают, что папаша где-то спрятал золото. До тайника добираются.

В десятом часу вечера, сменив лошадей, Ольга с Никитой собрались ехать в Минусинск.

Прощаясь с Тимофеем в ограде, будто предчувствуя беду, Ольга тихо сказала:

— Свидимся ли мы с тобой, Тима?

— Свидимся, и не раз, — весело ответил Тимофей. — Я еще приеду к тебе на Благодатный.

— Ой ли? — Ольга покачала головой. — Чует мое сердечко, беда нас ждет великая. Ей-богу! Может, не чубы трещать будут, а головы в кусты лететь?

— Ну, ну! К чему такое похоронное настроение. Все наладится.

VIII

Дуня ходит, ходит по горенке, и курит, курит самосадные сигарки, чтоб до копыт прокоптить Коня Рыжего — Ноя Васильевича Лебеда.

— Хучь себя бы пожалела, Дунюшка. Не ко здравью экое.

— «Не ко здравью!» — фыркнула Дуня, пуская дым из ноздрей. — У меня ничего нет ко здравью. За упокой только. Не Ольга я! У нее геройство, а у меня что? «Бодайбо» мадам Тарабайкиной-

Маньжурской?! Эх ты, офицер казачий!.. А еще жениться на мне хотел!

— На окаянных обидах век не прожить, Дуня. У каждого дня свои обиды бывают. Если бы ты послушалась...

— И вышла бы за тебя замуж? — зло подхватила Дуня. — Ха-ха-ха!.. — Помолчав, дополнила: — Кипит во мне все. Кровь кипит. Порченная она у меня, кровь-то. Куда уж мне, Ной Васильевич, до твоей казачьей степенности и порядочности.

Ной горестно опустил голову. Чужая!

Собрались спать.

Дуня постелила Ною на жестком деревянном диване, а сама легла на кровать и малого тополевец взяла к себе в постель.

В полночь Дуню разбудили:

— Вставай, Дуня! Скорее. Это я, Аркадий Зырян. Беда! Банда налетела на ревком. Крачковского убили. Дружинника Васюху Трубина убили. Сам Юсков притащил бандитов из Уджея.

— О, боже! — воспряла Дуня. Сон, как метлой сняло. — А Тимофей Прокопьевич?

— Кабы не Тимофей — всех бы перещелкали в ревкоме. Я только что пришел домой, как услышал стрельбу. За винтовку, и в улицу. Слышишь, конные орут? Казачье войско атамана Сотникова занимает Белую Елань. Резню еще устроят.

Хорунжий тоже проснулся и быстро оделся. Слышно было, как в соседней горнице вскрикнула Анфиса, плакала малюхонькая Агнейка. Все Зыряны торопились покинуть дом — поскорее бы убежать в поселенческую Щедринку.

— Боженька! Ничего не видно. Как же Демку? Спит он.

— Демку отец унесет к Боровиковым.

— А где Тимофей?

— Отбил бандитов и ушел в Щедринку с братьями Харитоновыми. За Урвана казаки тебя не помилуют, гли.

Голос подал хорунжий:

— За Евдокию Елизаровну я сумею постоять!

— Нет, нет! Я сейчас, Аркадий Александрович. Куда идти только?

— Со мной пойдем. Ну, прощевайте, Ной Васильевич!

Зырян увел Дуню в пойму Малтата, и там пешеходной тропкой они двинулись в сторону Щедринки.

Случилось вот что...

Крачковский с Тимофеем допрашивали Алевтину Карповну. Ну, известное дело, допрос затянулся. Сперва Алевтина ни в чем не признавалась, но потом, когда Крачковский припер ее фактами, начала давать показания: где банда скрывалась, кто из уджейцев, каратузцев, сагайцев, курятцев состоял в ней; про есаула Потылицына выложила всю подноготную, про старика Боровикова — успевай вносить в протокол.

Мамонт Головня некоторое время присутствовал при допросе, а потом удалился в соседнюю комнату, укутался в ревкомовский тулуп и храпанул — кузнечным молотом не разбудишь.

Время было за полночь...

Тимофей вышел подышать и разогнать сон и, разминаясь, побрел пустырем обширной ограды на другую улицу. Не успел перелезть через забор, как за спиною хлопнули выстрелы. Это было так неожиданно, что Тимофей не сразу сообразил, в чем дело. Сперва повернул обратно, но когда раздался крик из ревкома, понял, что не иначе, как налетела банда. Чего доброго, сам Елизар Елизарович! Это же ясно-понятно. Два кирпича золота, конфискованного из тайника Юскова, находились в ревкоме!..

Одним махом Тимофей перескочил изгородь в проулок и подбежал к ревкому с другой стороны. Выглянул из-за угла, и вот они!.. Двое в седлах с карабинами наизготовку, и двое стояли у лошадей. До бандитов было шагов десять-пятнадцать. Хотел сперва снять конных, но тут на крыльцо выбежал еще один в полушубке с револьвером.

— Боровиков смылся! — по голосу Тимофей узнал бывшего урядника, Игната Юскова. — У Зыряна он! Мы их сейчас там...

Тимофей прицелился и выстрелил. Игнат кувыркнулся с крыльца. Еще два выстрела по конным: пешие, бросив коней, кинулись в ограду ревкома. Кони помчались по улице. Всадник тащился по земле, нога застряла в стремени. На выстрелы из своей ограды выбежал Зырян в полушубке, без шапки, с винтовкой. Тимофей все еще прятался за углом, поджидая бандитов из дверей ревкома. И вот, сам Елизар-сомище в распахнутой шубе, револьвер в лапе, а левой тащит мешок с золотыми слитками. За ним — Алевтинушка. Тимофей выстрелил —

Юсков упал, а Алевтина с визгом бросилась обратно в двери; как раз в этот момент кто-то пальнул в Тимофея со стороны проулка. Тюкнуло в правое плечо. Зырян не растерялся, ответил тремя выстрелами из винтовки в проулок. Подбежали братья Харитоновы и с ними Головня.

Мамонт до того крепко спал, что первых выстрелов не слышал. Харитонов-старший рассказывал, как в ревком влетели трое: братья Юсковы и еще какой-то бандит с ними. Пристрелили Крачковского и дружинника Василия Трубина.

Кособочась, зажимая рукой правое плечо, Тимофей сказал, что надо поймать коней.

Слышалась стрельба на Большом тракте.

— Кто бы это?

Выстрелы сдвоились.

— Из винтовок!

— Сигнал дают, — сообразил Зырян. — Банда, кажись, была не вся.

— Может быть, — согласился Тимофей. Маузер он успел поднять и засунул в карман шинели. — Зырян, смени обойму в моем маузере. Да подберите оружие бандитов.

Братья Харитоновы побежали ловить коней. Зырян подобрал оружие — два револьвера и карабин.

Где-то далеко, за рощей, раздался винтовочный залп.

— Ого! — присел Зырян.

— Надо уходить, — решил Тимофей. — Головня, дай-ка мне мешок с капиталом Юскова. А ты, Зырян, подыми Авдотью. Идите поймою в Щедринку, на самый край деревни. Там сообразим. Ну, а ты что? — спросил у Головни.

— Мое дело при ревкоме.

Братья Харитоновы подвели четырех юсковских коней.

Сам казак, командовал казаками, а вот, поди ты, оробел хорунжий Лебедь, когда вышел на улицу.

Конников видимо-невидимо — холка к холке; кони всхрапывают, топчутся; всадники в полушубках, шубах, шапках и папахах с башлыками, забили всю улицу, и у каждого карабин за спиною, шашка.

— Есть тут таштыпские? — спросил Ной у одного из конников. Тот посмотрел на него:

— Кто такой будешь?

Хорунжий сказал.

— Эва! Сын атамана Лебеда! Ишь ты!.. С нами таштыпские, со Лебедем-атаманом. Тут наша сотня, каратузская. Таштыпские и монские на той улице.

Мамонт Головня, после того, как в улице появились конные, спрятал свой револьвер в сенях ревкома и вернулся на крыльцо. Только сейчас улышал: Юсков стонет. Живой!.. Кого-кого, а Юскова Мамонт Петрович прихлопнул бы без оглядки на завтрашний день. Но — конные спешиваются. Четверо в башлыках подошли к крыльцу.

— Здесь ревком?

— Здесь.

— А ты кто?

— Председатель.

— А это кто лежит?

— Бандит. И вот еще один на крыльце.

— Кто их застрелил?

— Дружинники. Налет сделали на ревком.

— А ты жив-здоров, председатель?

— Меня не было во время налета.

— Где ты был?

— Спал.

— А ну, стой. Разберемся.

Тот, что разговаривал с Головней, задержался на крыльце, выкрикнул:

— Ко мне, Платон Тимофеевич! Ка-азаки! Слуша-ать! Занимайте дома для ночлега и отдыха! По собственному усмотрению! За ночлег и отдых, а так и за фураж, рассчитаемся с жителями, как только большевиков вытряхнем из уезда! Па-анятна-а?

К крыльцу подошел бородатый атаман каратузских казаков, Платон Шошин.

— Слушай, Платон Тимофеевич. Надо выставить патрулей на дорогах из Белой Елани. Никого не выпускать. В ревком собрать всех атаманов. На этом крыльце поставьте пулемет.

— О-ох, оо-ооох! — послышался стон.

— Кто стонет? — оглянулся командующий. — А! Живой! А ну, занесите его в избу. Ты, председатель!..

Головня ухватил Юскова за воротник шубы и потащил в помещение.

Старики-тополевы — Варфоломеюшка, Митрофаний, Прокопушко громко пели псалом царя Давида, Алевтина Карповна, перепуганная насмерть, жалась к Михайле Елизаровичу. А там в маленькой комнатухе, распластался на полу Крачковский. Туда же Головня затащил мертвого дружинника. Из комнаты в открытую дверь несет холодом. Убегая из ревкома, один из бандитов высадил раму. Если бы он выбежал на крыльцо, кто знает, может, лежал бы теперь мертвым в обнимку с урядником.

Ввалились офицеры. Двое в башлыках, молодые, с усиками — у одного пшеничные, навинченные вверх стрелками, у другого черные, в белых тулупах поверх шинелей, сразу же приступили к Головне:

— Так, значит, председатель?

— Председатель.

— Фамилия?

— Головня.

— Головня?!

Переглянулись, сбрасывая тулупы на пол. В шинелях без погон, при шашках и револьверах, офицеры. Одного из них, с пшеничными усами, Головня узнал: атаман Сотников!

— Так, так, Головня! Па-аговорим, — уставился атаман. — А это что за люди? Арестованные? За что?

— За контрреволюцию.

— И старики за контрреволюцию? Та-ак, председатель!

Большая комната наполнилась холодом, скрипом, ремнями, шашками, карабинами, шубами, дохами. И все это двигалось, оттесняя Головню к лавке, где сбились в кучу арестованные, а среди них Алевтина Карповна — настороженная. Протокол-то допроса собственноручно подписала! И протокол лежит в той комнате на столе!

Юсков стонал возле печки. Кто-то из казаков посмотрел на него и сказал, что он еще живой.

Михайла Елизарович отважился:

— Дозвольте, служивые!.. Брат мой, Елизар Елизарович!.. Может, часует...

— Елизар Елизарович? — атаман посмотрел на стонущего. — Вот оно как!.. Сейчас же отнесите в его дом. Отыщите нашего доктора. Он

ехал с каратузским казаками. А ты, председатель, арестован! Оружие!

Юскова утащили. Михайла Елизарович ушел следом за казаками. Старики подались восвояси. Алевтина Карповна осталась. Протокол же есть!.. Головню обыскали, но оружия не нашли. Кто-то из казаков сообщил атаману, что в малой комнатухе лежат трое убитых, и рамы высажены.

— Кто такие? — спросил Сотников у Головни.

— Сотрудник УЧК Крачковский, дружинник Трубин, бандит Юсков, бывший урядник.

— Тэкс! Сотрудник УЧК! Чем он тут занимался?

— Следствие вел.

— Фигура! Где-то я тебя видел! Большевик?

— Социалист-революционер.

— Штоо?

— С мая девятьсот одиннадцатого года, — последовал ответ, озадачивший атамана.

К председателю подошел низенький человек с черной бородкой и черными усами, в шубе и шапке.

— Поразительно! — удивился он. — В тайге встречаемся с нашим сопартийцем! Весьма, весьма рад. Вот вам, атаман, живой пример проникновения силы нашей партии в массы. Как вы здесь оказались, товарищ Головня?

— На вечное поселение спровадили при царизме. Другой дороги сюда не было.

— Великолепный ответ! Рад с вами познакомиться! — и подал Головне тонкую интеллигентную руку: — Яков Матвеевич Штибен, председатель Енисейского губернского бюро партии социалистов-революционеров. Вы знаете, какой погром учинили большевички в Красноярске над нашей фракцией? Бюро разгромлено, многие томятся в тюрьме, и нам в данный момент следует собрать все свои силы...

Атаман Сотников, приглядываясь к председателю, взорвался:

— Морда! Ты не эсер, а большевик! Я тебя вспомнил. В шестнадцатом году, осенью, я захватил тебя на подпольной сходке большевиков. Так или нет? Сходку проводил Вейнбаум! Ну?!

— На той сходке были ссыльные от разных партий, — ответил Головня. — Я от эсеров. Петержинский — бундовец, Крачковский, который сейчас лежит мертвый — большевик, а в общем —

политссылные. А вы тогда, извиняйте, в какой партии состояли? Царю-батюшке служили? Плетями драли эсеров и, большевиков?

Маленький, курносый атаман оцетинился, подпрыгнул и сунул сопартийцу кулаком в нос и губы. Но разве собьешь Мамонта таким ударом? Мамонт Петрович, не размахиваясь, прямым ударом, торчмя, дал сдачи, и атаман отлетел на казачью стену, подпирающую сзади, схватился за револьвер. Быть бы Мамонту Петровичу на небеси, если бы не встал между ним и атаманом Яков Штибен:

— Тихо, тихо, товарищи! Без потасовок, прошу вас. Алевтина Карповна молчать не могла:

— Ах, боже мой! Да он же большевик! Ох, что они тут творили, если бы вы знали!.. Я все обскажу. Не было банды, это они сами придумали, чтоб терзать безвинных. У хозяина моего, Елизара Елизаровича два пуда золота взяли, деньги! Изгалялись над всеми, меня под арест посадили. А ночью сегодня затащили в ту комнату и сильничали, сильничали!.. Комиссар Боровиков, из чики Крачковский и этот вот Головня!.. Протокол писали, а я ничего такого не показывала. Через насильование подписала протокол!.. Тут и произошла стрельба...

Головня осадил Алевтину Карповну — любовница Юскова выкручивается; атаман выхватил револьвер:

— Пристрелю, подлец! Ма-ала-чать! Сейчас же созовем митинг и выставим эту оглоблю на казачий суд! Боровиков далеко не ушел! — И к офицерам: — Помните Боровикова? Это он требовал в Красноярске, чтоб открыть огонь из пушек по нашему дивизиону.

IX

К атаману протиснулся есаул Потылицын. Голубой казакин с есаульскими серебряными погонами без звездочек, диагональные брюки с лампасами, начищенные сапоги, папаха, башлык, шашка с чеканным серебряным эфесом; козырнул:

— Здравия желаю, господин атаман!

— Есаул?! — тарачился атаман; никто из его офицеров погон не носит, а вот, пожалуйста. Что бы это значило? — Так вы разве здесь, Григорий Андреевич?

Мамонт Головня не менее атамана был поражен нарядом есаула Потылицына. Он впервые видел его в таком парадном одеянии. Вот он каков, «святой Ананий»!..

— Мог не быть здесь, — ответил есаул, — если бы не вырвался из лап ЧК!

Алевтина Карповна, завидев есаула, спряталась за казачьи спины. Она же столько наговорила на него!

— Как тут обстановка в уезде? — спросил атаман.

Не успел есаул ответить, как от дверей раздался трубный голос пророка Моисея:

— Или! Или! Ламма Савахфана! Где моя горлинка? А ну, дайте дорогу!..

При грое голоса пророка Алевтина Карповна чуть не упала в обморок.

Пророк протиснулся к атаману.

— Горлинку мою, атаман, яснозрячую мою заарестовали ревкомовцы. Горе, горе мне, атаман! Сыщу обращенную, чрево ее, вместилище достославное!

Грохнул такой сытый ржаной хохот, что у Алевтины Карповны от стыда и позора захлебнулось сердце.

— Чаво иржете, жеребцы? — рявкнул пророк, озирая хохочущих. — Али не я шел с вами от Красноярска, да ишшо впереди вас? Али не мой топор лобанил большевиков? Али не я спасал молитвою ваши посконные души? Мотряйте! Не гневите господа бога!

Хохочущие прикусили языки. С пророком шутки плохи — так умилостит пудовым кулаком, что аминь не успеешь отдать.

Есаул брезгливо взглянул на пророка:

— Кто тебя произвел в пророки, самозванец? — И к атаману: — От такого пророка надо бы, атаман, избавиться. Мне известно, какие он проповеди читает. Городит такую чушь — уши вянут!

— А ты хто, хлыщ, при есаульских погонах? — гаркнул пророк. — Ага! Есаул Потылицын, который выдавал себя за святого Анания! Такому есаулу стадо баранов пасти, а не в казачьем войске службу нести! Где оружие, есаул, которое дали тебе тайно через отца Мирона, достославного полковника нашего, Сергея Сергеевича? Как ты им распорядился? Сказывай, как ты «завоевал ревком» нонешней ночью? Ох, чудь заморская! Комиссар Боровиков один их всех

перещелкал! Изыди, сатано! Вместилище, нечистого! Чувал печной, рыкающий! Я еднѣй святой пророк — Моисей! Зри меня, чудь!

Мамонт Головня подкинул со своей стороны:

— Вот она и банда открылась! Слышали, кто устроил побоище в ревкоме в эту ночь? Вот он, есаул-то!

— Ма-алчать! — прикрикнул атаман.

Но где уж тут молчать.

— А это верно, атаман! Нам, казакам, с бандою не с руки! И при погонах также. Ежлив нацепляем погоны, то што же произойдет, служивые? Да нас до станиц не допустят!

И пошло! Кто и что говорит — не разберешь. Есаул только сейчас почуял свою страшную промашку. Атаман поправил ремни, подтолкнул есаула:

— Идите, есаул, подумайте! Вы перепутали время и обстановку на сегодняшнѣй день.

Есаул повернулся и пошел вон.

— Изыди, сатано! Изыди! — рявкнул пророк Моисей вслед и тут узрил Алевтину Карповну. — О, господи! Кого зрю? Горлинка моя!.. Живая, живая! Ах ты, господи!

Малая горлинка в шесть пудов весом — окаменела, сидя на лавке. Она то разевала свой мелкозубѣй хищнѣй рот, то кусала губы, не в силах отвести округлившихся глаз от пророка, будто он околдовал ее, как удав крольчиху. Не успела ни вскрикнуть, ни охнуть, как пророк, отпихнув от лавки Головню, подскочил к ней, схватил на руки, трубно возвестил о своей радости:

— Зрите, зрите, чудь заморская! Не на небеси радость — на моих руках пребывает.

Пхнув ногой дверь, трахнулся лбом о притолоку, отступил на шаг:

— Нагородили, чудь заморская, дверей, и в кажинную дверь лбы бьют, тьфу! Ну, пригнись яснолика; пригнись ко плечу. Истощал я за шесть дней, господи. Будет нам уже лобызанье и тайное моленье. Почивайте, батюшка атаман, да красного сатано не упустите — дайте мне его завтра лобанить. Моментом пристукну. Спаси вас Христос.

И с тем ушел.

Тут только казаки дали волю животам своим — хохотали до того устительно, что гнулись в три погибели. Атаман ржал, закусывая пшеничнѣй ус, сотники, хорунжие, лидер партии с. — р. Яков

Михайлович, и только Мамонт Петрович сурово молчал. Вот они какие на сегодняшний день социалисты-революционеры!..

...Вступив в обширную ограду Юсковых, пророк кивнул на рыжего жеребца у коновязи:

— Гляди, Вельзевул мой. Такого коня нет во всем казачьем войске! Следом за мной ходит. Куда я, туда он. На свист бежит, как собака. погоди, ужо, вскачу на Вельзевула с мечом, и смерть красным будет. Ужо настанет день! Сиди, сиди, горлинка. В дом понесу.

Так и потащил в дом через просторные сени, прихожую, в большую гостиную; а в гостиной — все Юсковы в сборе: Феокист Елизарович, Александра Панкратьевна с Клавдеюшкой, Галина Евсеевна, а в переднем углу под иконами — убиенный Игнат Елизарович, а там, в Дарьюшкиной горенке, — умирающий хозяин заведения Юсковых, сам Елизар Елизарович. Все ждут, что скажет дивизионный доктор.

Вскоре в гостиную вышел доктор в роговых очках, длинный, носатый, худущий, развел руками и простуженным голосом сообщил:

— Скончался.

X

Не удалось Сотникову выставить Головню на суд казачьего круга: атаманы подвели. Дважды посылал казаков за атаманами, а те что-то мешкали, потом явились чинно так, один за другим: Каратузской станицы — Платон Шошин, Монской — Андрей Крупняк, Саянской — Михайла Спирин и Таштыпской — атаман Василий Васильевич Лебедь, а с ним, нежданно встреченный в Белой Елани, сын Ной Васильевич — хорунжий.

В ревкоме набилось офицеров, казаков, штатских, но атаманы протиснулись вперед. Так, мол, и так достославный атаман Енисейского казачьего войска, заявил Платон Шошин, мы, казаки, промеж себя порешили до лета свары с красными не начинать. Март греет, а за ним апрель подоспеет — с посевами надо управиться, к хозяйствам руки потянулись.

— Супротив мира не погрешь, — говорил Платон Шошин. — Как все наши станичники, так и мы. Так что извиняйте, атаман, а так и ваши офицеры, какие пришли к нам в войско в Красноярске. Мои

одностаничники, каратузцы, на постой не пошли: кони передохнули, потопаем далее, домой.

Сотник прикусил пшеничный ус, сдержался от взрыва. Бородачи хитрят, в кусты ныряют. А что он с ними может поделывать? В Красноярске отвалились эскадроны из нижеенисейских станиц, остались Минусинского уезда, и эти разбредутся. Не вышло у атамана «славного присоединения к доблестным донским казакам», как о том телеграфировал он генералу Каледину в Ново-Черкасск; не получилось «сибирского правительства», и атаман покуда не военный министр, хоть и вписан министром в секретные бумаги томской «Сибоблдумой».

— Что же вы думаете, атаманы, помилуют вас большевики за восстание? — сдержанно спросил Сотников, оглядываясь на офицеров. — Сейчас, когда мы все сжались в тугой кулак, и у нас — пулеметы, две трехдюймовки, триста семьдесят пять конных, сотня отчаянных орлов на подводах — красногвардейский Минусинский гарнизон, нам не страшен. С ходу возьмем город.

Атаманы переглянулись. Ответил за всех Платон Шошин:

— Оно так, господин атаман, да ни к чему то. Вот хорунжий Ной Лебедь, полный георгиевский кавалер, сын атамана Лебедея, приехал из Петрограда. Сказывает: наш полк, какой стоял в Гатчине под Петроградом, принял сторону новой власти. Это как понимать?

— Это провокация! — выкрикнул Сотников. — Где он, хорунжий?

Вместо хорунжего выступил на шаг вперед атаман Лебедь — бородища рыжая, окладистая, могутный, в черненном полушубке и в черных катанках, предупредил атамана:

— Хорунжий — сын мой, атаман. Кость от кости мой и бровь от брови мой! Один сын сгил на позиции, а другой возвернулся из Петрограда. Вот он, сын мой, хорунжий, герой, спасший от немцев первый Енисейский полк еще в августе четырнадцатого года.

Атаман зверовато взглядывал то на отца — рыжая бородища, то на сына — хорунжего — рыжая подкова, каракулевая белая папаха, и на голову выше отца. Так вот в чем причина развала войска!..

— Теперь, атаман, скажу так: красные отпустили мово сына из Петрограда живым-здоровым; дак и мы, казаки, не из воды в воду, не из грязи в грязь, а из воды и грязи на сухое место вылезем. Ни к чему нам кровь цедить из совдеповцев, а они будут цедить из нас.

Монский атаман поддержал:

— Раззудим красных, соберут силу и растреплют в пух-прах. Вот и отсеемся и отпашемся, а к осени — зубы на полку. Перемежаться надо. Хитрость на хитрость метать. Мы их не тронем, и они нас, глядишь, оставят на нашем хрестьянстве.

— Тэкс! — Сотников подумал. Не свяжешь большевика хорунжего — атаманы вот они, а за ними — лбы казачьи! Будь они все прокляты, дуболомы! — Тэкс! Хорунжий, значит, при Георгиях? Большевик?

Хорунжий Лебедь подтянулся — бороду чуть вверх, пятки сапогов сдвинул, грудь выпятил:

— Не большевик, — ответил басом.

— Документы!

Хорунжий отвернул полу бекеши, достал из кармана кителя демобилизационные и наградные документы.

— Ну-с, — мычал Сотников, проверяя документы. — Председатель полкового комитета?

— Так точно. С апреля 1917 года.

— Что за полк?

— Был первый Енисейский, а с октября, после нового формирования, Сибирский сводный.

— И весь он перешел на сторону большевиков?

— Полковой митинг принял такую резолюцию.

— Тэкс! Резолюцию? И ты подсказал казакам, что надо голосовать за резолюцию большевиков?

— Не я, сила красных подсказала.

— Вранье! — опять вспылал атаман. — Вас всех специально разослали, чтоб вы агитировали за большевиков. Удачный маневр! За такие дела расстреливают на месте! Что же вы смотрите, атаманы?

Атаманы теснее стали друг к другу, и Платон Шошин сказал за всех:

— Стрелять хорунжего Лебеда не будем, а так и банду покрывать. Вот налетела на Белую Елань банда, а хто был в ней? Есаул Потылицын! Такого есаула близ войска не подпустим! Потому — казаки — праведное войско, а не бандиты!

— Не бандиты! — гаркнули атаманы.

— А в Каратузе, атаман, — продолжал Шошин, — созовем казачий круг — и вас, само собой, милости просим. А теперь двигаться надо. Кони отдохнули — токмо в седлы, и в Каратузе будем.

Такого ультиматума Сотников не ждал.

— Ну, что ж. Давайте по коням. Я еду с вами. Казаки других станиц останутся пока здесь, — сдался он, сдерживаясь от ярости. Они его предали, предали, бородатые дьяволы. Поспешают к бабам в пуховые постели, к мирским штанам со втоками до колена; будут гнать самогонку, отъедаться шаньгами и мясом, отсыпаться, и чхать им на всю Россию-матушку.

Сотников уехал с каратузцами, а на другой день, по утренней сизости с морозцем, атаман Лебедь вместе с сыном Ноем увел своих таштыпских казаков. В Белой Елани остались монские, саянские и десятка три из станицы Арбаты, беглые офицеры с ними, несколько семинаристов с пророком Моисеем, и пятеро эсеров с Яковом Штибенем. Пировали в богатых домах, отъедались, покуда из Минусинска не подошел красногвардейский отряд. Казаки, не приняв боя, удрали, оставив красногвардейцам семинаристов и беглых офицеров.

В доме Юсковых, до того, как Белую Елань заняли красногвардейцы, отвели поминки по убиенным рабам божьим Елизару и его младшему брату Игнатию. Похоронили их по федосеевскому обряду с песнопением на староверческом кладбище. Иванушка Валявин — детинушка родимой матушки, не мешкая, перебрался в осиротевший дом и поторапливал овдовевшую Александру Панкратьевну со свадьбой — чего, мол, время терять! Евдокея-то, чего доброго, вернется и залезет в дом хозяйкой!

Сразу после похорон, чуя неладное, пророк Моисей заложил пару юсковских коней в хозяйскую кошеву, навьючил на пялы богатые пожитки обращенной в его осиновою веру Алевтины Карловны и умчался дорогою на Красноярск. Рыжего Вельзевула увел на поводу за кошевой: норовистый жеребец не объезжен был ходить в упряжи.

Немало пророк отправил на тот свет большевиков по пути из Красноярска в Минусинский уезд. Губернское ЧК разыскивало его, но пророк был не из тех, кого берут голыми руками. Сменил разбойничье одеяние на крестьянское, пристроил Алевтину Карповну в городе, а

сам на некоторое время скрылся в ожидании «большой свары красных с белыми».

Войско атамана Сотникова расплзлось по станицам. Сам Сотников с верными офицерами и десятком казаков, уклоняясь от боя с красными, отступил тайгою в Кузнецкий уезд...

XI

...В ту памятную ночь, когда Дуня бежала из Белой Елани от мятежного войска атамана Сотникова с Тимофеем Прокопьевичем, и золото Елизара Елизаровича — два слитка — прихватили с собой, еще никто понятия не имел, что произойдет в Сибири спустя каких-то три месяца!..

Тимофей Прокопьевич сказал в Минусинске, что золото придется сдать Евдокии Елизаровне в Государственный банк в Красноярске: «Прииски еще не национализированы, и произвола быть не может. Там оформят, как полагается». И Дуня охотно согласилась поехать в Красноярск. На две недели они задержались в Минусинске, и тут неожиданно привалило счастье: инженер Грива передал Дуне имущество утопшей сестры и деньгами семь тысяч — кругленькая сумма, тем паче для Дуни с ее пустым кошельком! Она ничего подобного не ожидала от Гривы и не слышала, что у Дарьюшки имелись деньги, хоть не миллион, а деньги же, да еще золотом — чистейшими империялами! Хоть на зуб возьми, хоть царскою водкой испытывай!..

Дуня сперва растерялась:

— Про вещи Дарьюшки и про золото, Гавриил Иванович, никто не знает, а вы отдаете мне. Дарьюшка была вашей женой, и золото ваше, значит. И вещи. С чего мне-то отдаете?

Инженер Грива ответил:

— Как вы помните, Евдокия Елизаровна, я вам сказал: ваша покойная сестра не была моею женой. Если уточнить — ее действительным мужем был комиссар Боровиков, с коим я не имел, не имею, и не собираюсь иметь никаких отношений. А посему — ни вещей, вплоть до пуговиц, гребней и прочего, ни ее личного капитала, полученного, надо полагать, от Елизара Елизаровича, я не намерен присваивать. Своего достаточно. Да-с! И вам советую не говорить про эти деньги — незамедлительно отберут и в кутузку посадят: подумают,

что у вас еще миллион! Мы с братом Арсением уезжаем навсегда из России. Эмигрируем в Южную Америку, в Монтевидео.

Грива сам сложил и увязал вещи Дарьюшки: две зимних шубы, пальто демисезонное и два летних, накидка японская и еще одна накидка бельгийская, новехонькая, ни разу не одеванная, перина пуховая, три подушки, два одеяла, ящик с бельем, платьями и всякими безделушками вплоть до пустых флаконов из-под французских духов, три пары галош, две пары ботинок, две шали и полушалки еще, шляпка, множество книг, от которых Дуня Христом-богом отмахивалась, но Грива все-таки упаковал их, а потом вызвал управляющего заведением доктора Гривы, Антона Цыса, приказал заложить пару лошадей, и лично сам отвез Дуню к Василию Кирилловичу Юскову, где она остановилась на квартире.

— Ну, прощайте, Евдокия Елизаровна! — поклонился Дуне и не подал руки. Как деревянный будто. Сел в кошеву, гикнул на гнедых и умчался.

Дуня осталась с узлами и чемоданами у ворот, глядя вслед кошеве.

«Боженька! Какие же бывают дураки на белом свете! — подумала она и расхохоталась. — Надо же, а! Индюк! Чистый индюк. Из России уедет, подумаешь, велика потеря! «Эмигрируем!» Катись колбаской, инженер пригожий».

Вскоре Дуня выехала с Тимофеем Прокопьевичем из Минусинска. За деревней Быстрой их обогнали на тройке братья Гривы — Гавриил Иванович и Арсений Иванович, он же профессор Арзур Палло.

Санний путь был проложен Енисеем по льду среди торосов. Случилось так, что кошевы зацепились. Пока их растаскивали, Дуня с Тимофеем стояли у дороги. Младший Грива даже не поклонился в их сторону, будто знать не знал. А старший, чуть кивнув, обратился к Боровикову:

— Вы все еще хлеб давите из крестьян, Тимофей Прокопьевич? Вот чем закончились наши прошлогодние споры о диктатуре партии большевиков!

— Не партии большевиков, а пролетариата, — напружинясь ответил Тимофей.

— Оставьте, господин Боровиков! Моя сестра назначена работать в УЧК. Что же, вы ее тоже причисляете к так называемому пролетариату? И комиссаром в полку она была по назначению такого

же пролетария — господина Дзержинского, — язвил Арзур Палло, раскуривая папиросу. — Впрочем, мне все ясно: Россия скатилась к разрухе, какой не переживала даже Мексика за долгие годы гражданской войны. Там у нас, к счастью, не было ни ВЧК, ни партии большевиков.

— И потому революцию в Мексике раздавила буржуазия, — отпарировал Тимофей Прокопьевич.

— Уж лучше пусть будет буржуазное правительство и относительная свобода, господин Боровиков, чем единовластие и диктатура большевиков с ВЧК! Впрочем, мне теперь все равно... — Бросив недокуренную папиросу и не попрощавшись, Арзур Палло направился к кошеве, на пятах которой были уложены вместительные корзины и тюки.

Ненависть захлестнула горло Тимофею. Разрядить бы маузер в этих сволочей, которым там и родина, где хорошо.

— Пусть катятся колбаской, господа образованные! — поддакнула Дуня. — Подумаешь! Монтевидео!

На подъезде к городу Тимофей спросил Дуню: куда она думает устроиться на работу? Но Дуня уже успела забыть про работу: при ней же баульчик с золотом покойной Дарьюшки! И слитки, слитки!

— Мне бы сперва в гостиницу устроиться, Тимофей Прокопьевич, — уклончиво ответила она.

Тимофей помог ей занять отдельный номер в гостинице «Метрополь».

В реестре Красноярского Государственного банка появилась запись:

«Принято от гражданки Евдокии Елизаровны Юсковой, дочери Е. Е. Юскова, золотопромышленника и сопайщика акционерного общества пароходства и торговли, сопайщика приисков и рудников Ухоздвигов и К^о, на текущий счет компании два нестандартных слитка золота с печаткою «ЕЕЮ». В одном вес 39 фун. 5 золотников и 2 доли, в другом — 40 фун. 3 зол. и 7 долей. Общий вес 79 фунтов 8 золотников и 9 долей. Казначей Румянцев».

Папашино золото Евдокия Елизаровна сдала в присутствии чрезвычайного комиссара Боровикова, но записано-то было на счет компании! А разве она не наследница Е. Е. Юскова?..

У Дуни за плечами будто золотые крылья выросли — она же миллионщица!..

XII

После сдачи золота Дуня распрощалась с Тимофеем.

Разошлись, как будто и не ехали вместе — случайные попутчики...

Дуня шла деревянным тротуаром по Большой улице, разглядывая знакомый до мельчайших подробностей Красноярск, как вдруг остановил ее человек в поношенном пальто, узколицый, ничем не примечательный.

Приподняв шапку над головой, незнакомец учтиво сказал:

— Прошу прощения, мадемуазель. Не сочтите за дерзость...

У Дуни хищно сузились ноздри — кто-то из ее бывших клиентов! Еще чего не хватало в такой день, когда за ее плечами только что начали отрастать золотые крылышки.

— Вы меня не узнаете?

Дуня зло фыркнула:

— Представьте, мил-сдарь, не узнаю. И не имела чести знать!

Незнакомец посутулился, но робко дополнил:

— А я вас готовил, простите, в подготовительный класс гимназии.

Поручик Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов, сын покойного Иннокентия Евменыча, сокомпанейца вашего папаши. Горный инженер и, к великому сожалению, никому теперь не нужный, — представился Ухоздвигов.

Дуня моментально сообразила: этот человек — горный инженер. Значит, он нужен ей, как хлеб насущный!

— Простите, пожалуйста, Гавриил Иннокентьевич, — извинилась. — Я очень рада встрече!

— Неужели?

— Конечно рада! Хочу спросить: прииски и рудники не национализированы?

— Ни в коем случае! — взбодрился горный инженер. — Местные власти учинили некоторый произвол, и добыча золота скатилась к нулю. Но получен строжайший нагоняй Совнаркома. Советам нужно золото, золото! А его можно взять при действующих приисках и

рудниках. А действовать они могут только при умелом руководстве! Иначе золото останется в недрах. Драги бездействуют, гидравлика парализована. Рудничные комитеты разогнали мастеров и техников, бойкотируя бывших владельцев, и полностью парализовали добычу золота. Вернее, приток золота в Государственный банк! Я именно этим вопросом занимаюсь при специальной комиссии губернского Совета у товарища Дубровинского. Ну, а поскольку я в некотором роде наследник погибшего папаши, меня назначили главным администратором компании. Послан от губернского Совета вызов вашему отцу — без него нельзя начать работы. Он же сокомпанеец. Главный!

У Дуни сердце екнуло от такой новости. Надо же! А в глазах — бесики, бесики. Выпалила, как из ружья:

— Нету главного, в могиле черти жрут! И третьего сокомпанейца Кондратия Урвана уже, наверно, доедают.

— Н-не п-понимаю, — запнулся ошарашенный Ухоздвигов.

— Чего тут не понять? Папашу шлепнули, как бандита, а того Урвана... еще двумя пулями прошили, как он того заслужил!

— Это все меняет! Решительно все меняет! — пробормотал поручик.

— Что меняет! — вцепилась Дуня. — Я наследница капиталов папаши и Урвана.

У инженера рот распахнулся от столь ошеломляющей вести: перед ним наследница капиталов Елизара Елизаровича — «жми-дави Юскова» и Урвана.

— Прошу прощения...

— Какое «прощение»! Спасибо за радостное известие! — У Дуни, казалось, крылья подросли на три аршина каждый. — Вот уж не чаяла, боженька! Аж в зобу дыханье сперло!

Горный инженер только хлопал глазами.

— Вы где остановились?

— В частной гостинице, на Узенькой.

— К лешему Узенькую! — разошлась Дуня. — Переходите ко мне в номер «Метрополя» — не раздеремся, может. Мы же, получается, сокомпанейцы!

— Но я... видите ли... вы же помните... незаконнорожденный.

— Вот еще мне! Есть о чем печалиться! — выпалила Дуня. — Возьмите меня под руку, кавалер, проводите к гостинице. — И, чтоб враз разрешить все существенные вопросы, спросила: — Вы женаты?

— Н-не успел. Я же взят был... вернее, добровольцем ушел на фронт после университета. Взыграл дурацкий патриотизм.

— С дуростью пора кончать. А братья ваши где?

— Старший, Иннокентий Иннокентьевич, полковник, арестован в Омске, сидит в тюрьме за участие в мятеже атамана Анненкова. Сотник Андрей Иннокентьевич сейчас неизвестно, где скрывается.

— А этот, которого я встречала в Гатчине...

— Вы о ком, собственно?

— О вашем третьем брате, о ком же! Законном.

— Что-то я... извините... не совсем понимаю, Евдокия Елизаровна, простите.

— Вот еще! Брат своих братьев не помнит. А Кирилл Иннокентьевич Ухоздвигов?

— Ах, вот вы о ком! — промямлил поручик Ухоздвигов. — Тут, извините, что-то темное. Сейчас он сидит здесь в тюрьме — нелегально приезжал к красноярскому подпольному союзу, и на тайном совещании арестован с офицерами. Я его лично не встречал. Слышал от отца, что он родился от первого брака. Но Кириллу в четырехлетнем возрасте усыновил какой-то барон фон Таубе, женатый на сестре его умершей матери. Кажется, этот немец имел завод в Златоусте. Ну, вскоре они уехали в Берлин, и на том связь оборвалась. Старший брат бывал в этом семействе, рассказывал, что Кирилл закончил какую-то академию, работал во Франции, а потом вернулся в Россию, был в Белой Елани. Но отец его выгнал и в завещании особо оговорил, что он лишает его прав наследства.

— Интересно! — раздумчиво проговорила Дуня. — А он мне сказал, что с марта по май прошлого года находился в Красноярске и женился на какой-то дочери капитана. Врал?

— Не врал. Он действительно женат на дочери капитана Шубина, учительнице. Но с братьями не встречался. Я вам говорю: тут что-то не совсем ясное!

— Ну и лешак с ним! — с маху покончила Дуня с туманным прошлым Кириллы Иннокентьевича. Главное — начать дело, не

допустить к наследству ни маменьку, ни убогую горбунью — сестру с ее мужем Иваном Валявиным.

На другой день в гостиницу к Дуне пожаловал офицер, знающий ее как члена «тайного союза» по Северо-Западному фронту. Пригласил вместе с Ухоздвиговым на тайную явку. И кого же встретила там Дуня? Полковника Мстислава Леопольдовича Дальчевского!

Золотые сказки отодвинулись в туманную даль: Дуня должна срочно выехать с господами офицерами по особо важному делу в Челябинск...

Минуло всего полтора месяца после разминки Дуни с Ноем. А сколько разного наслоилось. Дуня и думать забыла о нем: со злом вырвала из памяти, как пуговку от платья. И вдруг он напомнил о себе. Да так, что Дуню в холодный пот кинуло: не появилось того, чего она ждала, женского. Высчитала по дням: Конь Рыжий облагодетельствовал! А ведь она давно забыла про эти самые «женские дела». Думала, никогда уже не способна стать матерью. Вот еще не было печали!.. А перед глазами Ной, Ной, Ной! Его прищурый добрый взгляд осуждает, прохватывает до печенки!..

ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ

I

Ной отдыхал — отсыпался и отъедался после Гатчины и поездки в Белую Елань, где он сумел убедить атаманов казачьих станиц тихо и мирно разъехаться по станицам, чтоб не сполоснуть уезд кровушкой.

Казачков пошерстили-таки красногвардейцы Минусинского военного гарнизона под командованием хорунжего Мариева. Отряд Мариева занял Таштып; сперва арестовали поголовно всех мятежников, разоружили, большинство отпустили с миром, а пятнадцать особо злющих, как Никиту Никулина, его брата урядника Синяева вместе с атаманом Василием Васильевичем Лебедем, спровадили в минусинскую тюрьму.

Пришлось Ною сесть в седло и лететь в город. Встретился лично с председателем уездного Совета неким Тарелкиным, эсером, скользким

и хитрым, который наговорил ему с три короба про мировую революцию, а потом как бы мимоходом обмолвился:

— Арест полезен казакам, товарищ Лебедь, — и так-то хитро сощурился. — Если уж они шли на уезд, с чего же вдруг разбежались по станицам, как зайцы по кустам? Это же не казаки, а, извините, сволочи. Держать бы их в тюрьме до нового светопредставления. Впрочем, коль вы ходатайствуете, все будут освобождены.

Ной не забыл о поручении Ленина передать благодарность крестьянам и казакам, сдающим добровольно хлебные излишки для голодающих губерний России. Тарелкина понесло по кабинету:

— До-обровольно?! Ха, ха, ха! Вы шутите, господин хорунжий! Если вы считаете, что крестьянин сдал хлеб под стволом маузера такого комиссара, как Боровиков, добровольно, то — помилуйте! Тогда что же вы назовете насилием над личностью и попранием свободы?! Впрочем, благодарность Ленина мною будет передана. Но я, извините, из тех деятелей, которые еще со времен школы помнят некоторые места закона божьего: «Не сотворите себе кумира и кумир не сожрет вас».

— Такого нет в евангелии, — отверг Ной. — Есть просто: «Да не сотворите себе кумира». А эсеров, товарищ Тарелкин, казаки свободного Сибирского полка называли «серыми баламутами» за их вихляние: на словах за власть Советов, а на деле — против.

Тарелкин больше ничего не сказал, учтиво распрощался с хорунжим и дал распоряжение немедленно освободить из тюрьмы Василия Васильевича Лебеда и с ним всех арестованных казаков.

Ной без подсказки уяснил: шкура этот Тарелкин!..

Между тем, после возвращения в станицу ординарна Саньки Круглова с невесть откуда взятыми товарами и тугой мошной, по станице шумнуло прозвище Ноя — Конь Рыжий, и что он-де в чести был у большевиков и у самого Ленина в Смольном! Ездил туда на какие-то тайные переговоры, и пошло, пошло. Даже в станице Арбаты узнали — специально наведывались оттуда казаки, чтоб поглядеть на Коня Рыжего. Да и местные станичники, что ни день, то собирались в доме атамана Лебеда, выспрашивая у Ноя, какая она есть в натуральности Советская власть с большевиками, и чего надо ждать от этой власти казакам, и есть ли сила у большевиков, чтоб усидеть в седле? Ной отвечал сдержанно, скуповато. Батюшка Лебедь особо

предупредил сына, чтоб он запомнил про свое большевистство. Было и — сплыло, или тебе башки не сносить — казаки в одной упряжи с большевиками ходить не будут.

Чугунолитые пашни на солнцепеках, пригретые солнцем, до пасхи позвали к себе с боронами и сеялками.

Жарким было солнце, перепадали вешние дожди, земля парила струистым маревом; ранняя и угревая удалась весна на юге Сибири, как будто сама природа расщедрилась, чтоб умиловать благодатью умыканных войною и разрухою хлебопашцев.

В станицу потянулись отошальные люди из города и поселенческих деревень; на пашне у Лебедей работало четверо пришлых мужиков с бабами — за хлебушко старались.

Холодными ночами, бывало, отдыхая возле стана у огня, батюшка Лебедь затягивал единственную полюбившуюся ему песню:

*Бывало вспашешь пашенку,
Лошадок распряжешь,
А сам тропой знакомою
В заветный дом пойдешь...
Идешь, уж дожидается
Красавица моя,
Коса полураспущена,
Как лебедь грудь бела...*

И самым паскудным, по соображению Ноя, было то, что батюшка Лебедь не только пел про красавицу с полураспущенной косой и лебяжье-белой грудью, но еще тайком пробирался из своего стана в не столь отдаленный стан казачки-вдовушки и миловался там до утра, а возвращаясь из таких прогулок, сердито фыркал: лошадей, дескать, распустили! Всю ночь гонялся за мерином — с ног валится от усталости. И потом храпел до полудня.

II

Управились с посевами — разминка настала до сенокоса; сезонников отпустили. Жизнь в станице изо дня в день насыщалась

тревогою. Слухи разные ползли от приезжих людей из города: на Дону повсеместно бушует восстание против Советов, в Оренбуржье местами восстания, и что Советам по всей Сибири оставалось жить малое время — до страды, не более.

Ной не придавал этим тревожным слухам особого значения: мало ли чего не плетут люди! Ординарец Санька Круглов подрядил иногородних плотников и строил новый пятистенный дом, хотя и старый был еще добрый. Ной не выпытывал у Саньки, откуда у него завелись большие деньги — догадывался: наверное, купец из Екатеринбурга, Георгий Нефедович, прикончен бандитами, а Санька, понятно, не обробел, прибрал товар и мошну купца.

После посева яровых Ной занялся охотою: двух сохатых завалил, ну, а дичи озерной столько настрелял — на весь сенокос хватит.

Батюшка Лебедь и тот умилился:

— Экий ты меткий! Одно не могу уразуметь: как с таким глазом до сей поры казачку себе не подстрелил? Аль век собрался холостовать?

Молчал Ной, сопя в бороду. Не мог же он сказать, что сватал Евдокию Елизаровну Юскову, да от ворот поворот получил. Но он, Ной, не забыл Дунюшку — заблудшую землячку. Никак рассудить себя не мог: что его вязало с беспутной Евдокией Елизаровной? А ведь были казачки на выданье в Таштыпе. Домовитые, рукодельницы, не лапанные похотливыми руками, со стыдливим румянцем на щеках, воспитанные в строгости и воздержании, не чета Дуне-батальонщице! Ной встречался с ними на вечерках в предвесенние зори, когда особенным буйством насыщается молодая кровь; сама матушка Ноя, Анастасия Евстигнеевна, зазывала на посиделки в дом самых милых и красивых казачек и поселенских девушек, и на всех этих девиц глазом не повел Ной, будто незрячим вернулся из Петрограда. А как старались девушки на вечерках! И та потупит взор перед рыжебородым силачом Ноем, и эта залется краской, а он смотрит на всех одним охватом и видит Дунюшку с ее цыганскими кудряшками и чернущими глазами.

Как-то на пашне Ной лежал в берестяном стане, и ему вдруг почудился Дунин голос: будто она звала его, и он, выскочив из стана, долго всматривайся в апрельскую темень. С той ночи затосковал, вспоминая Дуню. То видел ее лежащей на снегу с раскинутыми

руками, то поперек седла, когда вез в Гатчину с поля боя, то у печки-буржуйки, когда растирал ее маленькие ноги со слипшимися пальцами. Чтоб успокоиться и не думать о ней, ругал себя всячески.

А время катилось зыбучей рябью: ни убытка, ни прибытка; малые золотинки оседали в памяти — в ладони нечего держать.

Когда до Таштыпа докатилась весть о подписании делегацией Совнаркома сепаратного мира с Германией, среди казаков начался разброд: мыслимое ли дело, большевики пустили на торг матушку Россию! Не казаки ли испокон веку собирали земли в кучу, чтоб возликовала великая Российская империя под двуглавым орлом?! К Нюю приставали с расспросами: как и чем он объяснит такое самоуправство большевиков, ежели стоял за них под тем Петроградом? Ной говорил про деморализованные и небоеспособные армии, о том, что солдатня бежит со всех фронтов, в том числе разъехались по своим войскам и станицам казаки: кто же наступать будет на немцев? Да разве этим можно было успокоить задиристых служивых? Большевики, мол, во всем виноваты, и баста! И у батюшки Лебедея была одна молитва: денно и ночью клял большевиков, призывал на их головы все сатанинские силы преисподней.

Льнули к молчаливому брату подрастающие сестры-лебедицы: Харитиньюшка, по шестнадцатому году, Лизушка — одиннадцати лет, Нюрашка — кругляш рыженький в семь лет и болезненная Паша, на год старше Нюры — сумнобровая чернявица, в матушку Анастасию Евстигнеевну. О младшем брате Иване не было ни слуху, ни духу. Второй год, как сбежал из дому. У Нюя кошки скребли на сердце, ведь тоже в свое время пластался с плотогонами в Урянхое, бежав из дому, а братнины примеры заразительны. Батюшка с матушкой на все вопросы Нюя отмалчивались, будто Ной был в чем-то виноват.

Отец не баловал дочерей — глядел на них косо, вскользь, посторонне: не светились и не грели отца возрастающие дочери — чужие курени обживать будут.

Бестия Харитиньюшка нашептывала брату поклоны от самых-самых красивых невест Таштыпа, и Ной грозился: «Смотри! У тына, гляди, добрая крапива! Ужо, прикрапавлю — не на чем сидеть будет».

Была еще крестная бабушка Татьяна Семеновна. Жила она в собственном крестовом доме под железною крышею с разноцветными

стеклами по веранде, слыла за колдунью, и ее побаивались соседи. Сплетни про бабу Татьяну ходили разные: то будто у коровы молоко отымет, то отворотит какого мужика от бабы, то кому из нелюбых «оденет хомут», и тот в одночасье скончается в страшных муках. После гибели Кондратия Васильевича Татьяна Семеновна сыскала ссыльного поселенца, отбывшего пятнадцать лет каторги, и этот чахоточный ссыльный беспрестанно грозился бежать, но терпеливо жил со старухой, лечившей его медвежьей кровью и барсучьим салом. «Эх, ты, поселюга серый! — обычно ворчала бабушка Татьяна. — От меня бежать можно токо в рученьки к смертушке. А я тебя ишло на ноги подыму». И поднимала.

Когда вернулся крестник Ной, чахоточный Филипп, как звали мужа бабки Татьяны, и в самом деле поправился и, будучи человеком грамотным, открыл на поселенческой стороне Таштыпа школу для детишек, чем особенно гордилась Татьяна Семеновна.

В молодости Татьяна Семеновна, когда еще жила в семье отца на Дону, прославилась ездой на норовистых конях. Шашкой она владела не хуже любого казака, да и здесь, в сибирской тайге, на медведя хаживала не раз, чтобы отпаивать медвежьей кровью своего болезненного поселенца. Женщина она была от роду бездетная, но о том не печалилась. В тот год, когда вернулся крестник Ной, бабушке Татьяне перевалило за восемьдесят лет, но на упадок силы она не жаловалась. «Когда только черт приберет эту ведьму?» — косились на старуху казачки.

Бабка Татьяна не раз зазывала к себе крестничка, чтоб он погостил у нее да помог бы по хозяйству. «Люб ты мне, Ноюшка рыжий! Ты уж не забывай меня», — говаривала бабка и часто спрашивала: «Кого из казачек, крестничек, приворожить тебе? Любая раскрасавица твоя будет — токо имя назови». Ной признался крестной, что если он и назовет имя, то бабушка ничем ему не поможет. И рассказал, как спас пулеметчицу мятежного батальона по имени Дуня, и какого она роду-племени, на что бабушка сказала: «Доченька того разбойника миллионщика Елизара Елизаровича Юскова, которого, слышала, убили за банду? Экая невидаль! Нет ли у тебя какой вещички от нее или хоша ба волоска с головы?» Но у Ноя не было от Дуни ни вещички, ни единого волоса с головы, да и привораживать ни к чему: силой милому не быть!

В троицу, когда жители Таштыпа ранней ранью потянулись из станции с самоварами в привольные места по реке Таштып у самых синих гор Саянских, батюшка Лебедь пригласил к себе в компанию, кроме Татьяны Семеновны с ее мужем, братьев Никулиных — богатеев, имея на них надежду в будущем, да еще три казачьи семьи, в том числе нечаянно разбогатевшего Александра Свиридовича Круглова с его женою, Татьяной Ивановной.

На прогретую солнцем поляну на берегу Таштыпа возле цветущих кустов черемухи и боярышника принесли самогонку в лагунах и четвертях, самодельное крепчайшее пиво на меду, разные домашние настойки, лагун хлебного кваса поставили в воду, чтобы пить холодным. День выдался солнечный и теплый. Всюду галдели гуляющие веселые голоса. По реке плыли венки из цветов. Казаки, в новых гимнастерках или сатиновых рубахах, чинно рассевшись вокруг фыркающих на белоснежных скатертях самоваров, некоторое время обсуждали житье-бытье, сравнивая благословенное минувшее время с теперешним, беспокойным и неустойчивым. Потом, когда бабы, разложив праздничную снедь, пригласили служивых к трапезе, враз оборвались разговоры, казаки стукнулись стаканами с мутной самогонкой, поздравили друг друга с троицей, хватанули каждый до доньшка, и почалась гульба.

Ной держался в стороне с ребяташками, балуясь чайком со сдобной стряпней. Девчонки и особенно мальчишки радовались, что с ними гуляет самый настоящий офицер, да еще при погонах с крестами и медалями на новом кителе, и сапоги у него блестят лакированными голенищами, как зеркала. Надо сказать, Ной не случайно нацепил погоны в троицын день. Батюшка Лебедь упросил: «Явись в компанию при погонах и парадной оммундировке. Казаки ярятся на тебя, особливо Никитины, Михайло Кронов, а так и Николай Синяев. Зуб на тебя имеют, злобство накачивают, большевиком зовут. А ты вот он, при погонушках да при боевых наградах. Али меня скovyрнут с атаманства, а Никулины заглотнут наши пашни на Солнечной горе, какие я получил за твое геройство. Да и всем сродственникам худо будет. За день погоны не оттянут тебе плечи». Санька и тот умилился: как хорошо выглядит их благородие, Ной Васильевич! Да и

станичники прикусили языки. Как там не суди, а перед ними доподлинный офицер.

Четверти с самогонкою шли по кругу; разговор пошел громкий; служивые изрядно охмелели и ополчились на атамана: по какой, мол, причине их благородие хорунжий сторонится одностаничников? Самогонку с ними не пьет, вместе не сидит, как будто он другого склада и скроя? Или надо прописаться в большевики, чтоб снизошел до них хорунжий?

Атаман попервости увещевал: непьющий, дескать, сын его, Ной Васильевич, потому и в стороне, чтоб не стеснять их, но казаки, развязав языки, яростно косясь в сторону Ноя, подступили к Александру Свиридовичу:

— Скажи, Александра, когда служили в той Гатчине, хорунжий при погонах ходил, али прятал их в сапогах заместо стелек?

— Большевики там! Какие погоны!

Поднялся один из казачишек — Николай Синяев, неказист собою, плетью зашибить можно, но до невозможности ершистый.

— Не тот спрос! — важно начал он, надувая круглый живот под сатиновой косовороткой. — Покеля тверезый, я хочу узнать: по какой причине казачий хорунжий, полный георгиевский кавалер, выслуживался перед большевиками в Петрограде и опосля в Гатчине? Очинно антиресно узнать: за какой хрен с редькой водил он наших енисейцев в бой на казаков генерала Краснова? И какую службу сготавливается править в дальнейшем? Под тюрьму ли нас всех подведет, али в большевики заставит прописаться?

— Какой он вам большевик! — заступилась бабушка Татьяна.

— Не встрвай, Семеновна, — топтался казачишка. — Разговор идет тверезый, а не по пьяной лавочке.

— Куда уж тверезый! Не упади часом с берега в Таштып.

— Эт я-то? Ты, Татьяна Семеновна...

— Не тычь, драный сыч!

На подмогу щупленькому казачишке Синяеву еще трое поднялись — дюжее, нахрапистее. Братья Никулины и Михайло Кронов. Перебивая друг друга, потребовали от хорунжего, чтоб он «окончательно» разъяснил им, за какое вознаграждение служил у большевиков? И пусть хорунжий скажет, по чьему приказу подверстал

сводный Сибирский полк под большевиков и какие тайные переговоры имел в некоем Смольном в Петрограде?

— Пуцай он нам скажет, атаман! — дулся Михайло Кронов в расстегнутой гимнастерке без ремня. — Нам это очень важно узнать на время завтрашнее. А комедь мы все ломать умеем, батюшка атаман. Я хучь сичас выряжусь в генерала али войскового старшину, покеда рядом большевиков нету. А вот пусть хорунжий обскажет, што обозначает поставленное ему клеймо в Петрограде — Конь Рыжий? В каком сложении — Конь Рыжий?

— Известно в каком! — подхватил Синяев. — Выложили красные комиссары хорунжего в Петрограде, и все тут. Потому как конь происходит из выложенного жеребца. А рыжий — под красную масть, значит.

— Ха-ха-ха-ха! — грохнули казаки.

— Ох, срамники! Детишки рядом, — сказала одна из казачек.

Но разве уймешь служивых, если их разбирает вызвать на драку рыжего хорунжего?

— А мы-то думали, язви иво, возвернулся в станицу Ной Васильевич при всей унутренней форме, и погуляем ишшо всей станицей на иво свадьбе, а он, ха-ха-ха!.. Конем объявился!

— Ну и стервы в том Петрограде!

— Дождемся и мы, может!

— А чаво? — картинно покачивался Синяев. — В самый раз дождемся, ежли. большаки окончательно всех взнуздают. Выложат, а потом стрелят, как наше казачье сословье не по ноздрям им. И будем мы тогда кони рыжие, али пегие, саврасые. Вот уж радость будет нашим женушкам-казачкам!

— Ха-ха-ха-ха!

Ржали вволюшку, вплотную подступая к хорунжему, и даже Санька Круглов, распустивший пакостные слухи в станице про Ноя, и тот покатывался на спине, дрыгая ногами.

У батюшки Лебеда моментом настала трезвость: вот оно как обернулась его затея с погонами! Дошло до него: казаки не простят сыну службу в Петрограде на стороне большевиков, а, значит, несдобровать и самому атаману — вытряхнут на станичном кругу из атаманства, и лучшие земли богачи Никулины непременно приберут себе и не подавятся от жадности.

У Ноя желваки вздулись па багровых плитах скул, но он, сдерживая себя от взрыва бешенства, угрюмо помалкивал. Ребятишки же рядом! Знал свой характер: если подыметя, чтобы ответить на оскорбления, — побоище будет. Но казаки не отступали — требовали ответа. Батюшка Лебедь так и сяк уговаривал: не он ли, его сын Ной, вытащил их из тюрьмы? Куда там!

— А мы иво просили али нет, штоб он вел за нас переговоры в Минусинском совдепе? Просили али нет?

— Спаситель сыскался, такут-твою... туда-сюда!.. Слышали вот от Александры Свиридовича, как хорунжий призвал полк к побоищу супротив женского батальона, какой шел на Петроград! Стал быть, и в Гатчине показал он себя спасителем... большаков с их Лениным, который немцам отдал Эстляндию, Лифляндию, Курляндию, а так и другие губернии! Не нуждаемся, атаман, в этаких спасителях!

Медленно, будто по великому принуждению, поднялся Ной. Обвел казаков тяжелым, немилостивым взглядом, спросил:

— На драку вызываете? Кровушка казачья взыграла?

— А хучь бы и так?! — ответил за всех старший Никулин — Никита Никитич. — Какой ответ даешь про службу большакам?

Ной тяжело перевел дух:

— Ответ будет потом. Вы меня спрашивали, а таперь я спрошу: были в Красноярске при Совете? Ага, были! Сколько там войска имелось, в Красноярском красногвардейском гарнизоне?

— Сопли — не войско! — плюнул себе под ноги Синяев.

— Сопли, говоришь? А чаво ж вы, отборные казаки войска Енисейского, побегом ушли из города, ежлив силы у Совета не было? И почему не взяли Минусинск, а расползлись по станицам? А в Минусинском гарнизоне было всего-навсего полторы сотни красногвардейцев, и те пешие!

И, не дожидаясь ответа:

— А вот почему, служивые. Не Красноярский красногвардейский гарнизон, как и Минусинский, страшны были для вас, а вот ежли бы поднялись супротив вас все рабочие города да бедняки из волостей, вот тогда бы аминь прописали всему вашему воинству. Так или нет?

Никакого ответа...

— А теперь про Петроград. Знаю, какую злобу катаете на меня, да только все не так происходило, как вам думается.

Передохнув, Ной продолжал:

— Не большевик я, и в партии не состою. А как был председателем полкового комитета, то следственно отвечал не за одну свою голову, а за весь полк! Тако же. У меня была одна линия: иметь при себе живых казаков, а не упокойников. Ну, а ежели про погоны говорили, — вспомнил Ной, — дак погонам царским по теперешнему времени цена малая! — Рванул один погон с плеча, другой и, размахнувшись, швырнул их в реку. — Пущай плывут! Две революции прокипели не для погонов царских, скажу. Думать надо, казаки, штоб головы свои сохранить. А таперь, ежели вам надо силу спробовать на мне — починайте. В кусты не спрячусь, и кресты с медалями на мне — не за трусость навешаны.

И тут напряженную тишину разрядил звонкий голос сестренки Лизушки, которая, прибежав и едва переводя дух, сообщила:

— Ой, братик! Приехамши к тебе из городу какой-то старик. Важный такой, вроде из офицеров, и крестик золотой у него вот тут. Сюда идет. Я наперед иво забежала, чтоб сказать. Счас приведу. — И нырнула в кусты — только шорох послышался.

Задиристые казаки, не глядя друг на друга, как по уговору, разом повернули к реке и пошли к плакучей иве, возле которой, в воде, поставлен был лагун с квасом.

Все облегченно перевели дух, а Татьяна Семеновна перекрестилась:

— Пронесло, господи!

Ной слышал возглас крестной и тоже про себя помолился: слава Христе, пронесло!.. И тут же подумал: другой раз, наверное, не пронесет. Казачья злоба не отходчива!

— Сюда, барин, — слышался в кустах черемухи голос Лизушки, и вскоре на солнечную поляну вышел высокий, прямоплечий старик в офицерском кителе с золотым крестиком и в форменном казачьем картузе. Ной узнал его: дядя Евдокии Елизаровны — Василий Кириллович Юсков, бывший подьесаул.

— Здравия желаю, станичники! — приветствовал старик, обведя всех взглядом. В одной руке у него была палка с костяным набалдашником, в другой — походный кожаный баул. Батюшка Лебедь узнал подьесаула, приветствовал:

— Здравия желаю, ваше благородие! Милости просим к нашей компании.

— Атаман, Василий Васильевич! — подал руку Лебедю подъесаул, пояснив: — А благородий теперь нету, атаман. Остались одни товарищи. И свинью называют товарищем, и козлы тоже в товарищах. — Посмотрел на Ноя. — А! Господин хорунжий! Очень рад видеть вас в добром здравии. А я-то думал, что вы находитесь на службе в красном гарнизоне. Я специально приехал к вам с милостивейшей просьбою от моей племянницы, Евдокии Елизаровны, если вы ее помните.

Ной, конечно, помнил Евдокию Елизаровну. Где она? И что с нею? Старик покачал головою:

— В УЧК Дунюшка, Ной Васильевич. Вот уже вторую неделю находится под арестом. Позавчера мне позволили свидание с нею в присутствии заместительницы председателя УЧК некой Селестины Гривы — дочери известного доктора Гривы. Дуня просила меня поехать к вам. Надо ее выручить. Погибнуть может. Вы ее однажды спасли от матросов в Гатчине? Так вот, история повторяется. Названная Селестина Грива, оказывается, была комиссаром женского батальона...

Ной слушал внимательно. Дунюшку допрашивает Селестина Ивановна за участие в мятеже женского батальона и обвиняет даже в том, что она приехала в Минусинск по подложному документу сводного Сибирского полка?

— Того быть не может, — возразил Ной Васильевич. — Подлога не было. Демобилизационный документ выдан ей по разрешению военного комиссара Совнаркома товарища Подвойского.

— Да, да, господин хорунжий, — учтиво подтвердил старик. — Но для местного УЧК все это ничего не значит. Они здесь верховная власть и сила. Ну, а племянницу мою долго ли обвинить во всех смертных грехах? Было бы желание.

Батюшка Лебедь и трезвеющие казаки внимательно слушали разговор бывшего подъесаула Юскова с Ноем. Санька успел шепнуть своей Татьяне Ивановне: «Это та самая Дунька-пулеметчица, про которую я тебе обсказывал. Она же, тварюга...» — Но заметив свирепый взгляд Ноя, прикусил язык.

Казачки тем временем прибрали на скатерти, и батюшка Лебедь пригласил подьесаула быть гостем.

— Благодарствую, станичники. — И обращаясь к Ноя, подьесаул спросил: — Так что же вы скажете? Не рискнете выручить Дунюшку? Дело-то не шутейное, должен сказать. Минусинск объявлен на военном положении. Слышали? Как же, как же! Восстание в Сибири! Так что не сегодня-завтра полыхнет по всем уездам. Повсеместно будет происходить раздел сфер влияния. Настало время и нам, казакам, сказать свое слово. Да-с! И разговор с товарищами большевиками и совдеповцами произойдет у нас крупный, паки того, кровавый.

Вот так новость! У Ноя враз расслабились руки и ноги. Казаки загудели: давно пора свернуть головы товарищам, а бывший станичный подхорунжий, Никита Никитич Никулин, присовокупил:

— И тем, кто за спины товарищей прячется, — тоже ребра пересчитать надо! — намекнул на самого Ноя. — А ведь што происходит, господин подьесаул? Казачьи офицеры и те шарахнулись на службу к большевикам, как вот хорунжий Мариев, который теперь командиром Минусинского гарнизона красногвардейцев.

— Совершенно верно, — поддакнул подьесаул и, взглянув на Ноя, похвалил: — Хорошо, что вы оказались не в одной компании с хорунжим Мариевым! Ну, да у вас трезвости предостаточно. Пусть ваши петроградские заблуждения канут в небытие — у кого не бывало заблуждений! Главное — день нынешний, творящий историю великой России. Нельзя же позволить товарищам окончательно разорить матушку Россию, как это они учинили со своим Брест-Литовским миром.

Ной понял: пора уходить. Как видно, бывший подьесаул неспроста приехал в станицу на празднование троицы. Но что же стряслось с Дуней? Не так же просто взяли ее в УЧК?

— Батюшка, я еду в Минусинск, — сказал Ной отцу. И к подьесаулу: — До свидания, Василий Кириллович.

— Счастливой дороги, Ной Васильевич. Только будьте осторожны в Минусинске. Не вздумайте ехать туда вооруженным — патрули задержат, и окажетесь вы в том же каменном доме УЧК.

— Понимаю, — кивнул Ной и, попрощавшись со всеми, ушел вместе с сестренкой Лизанькой.

Когда вышли с поймы к станице, Ной глянул на сестренку, спросил:

— Старик к нашему дому подъехал?

— Нет, братик. Я токо видела, как в тарантасе улицею мимо нас проехали трое. Кучер сидел на облучке, да двое в коробке. А потом пришел старик и спросил: здесь ли проживает хорунжий Ной Васильевич и атаман Лебедь? Я сказала...

— Ладно. — Ною все ясно. Приехали двое. Кто же второй? Наверное, кто-нибудь из бывших офицеров. Духовитое положение!..

Дома Ной переделся, в будничное — холщовые шаровары, бахилы с портянками, натянул поношенную гимнастерку, а в кожаные сумы сложил свою парадную одежду с сапогами, продуктов взял на неделю, двуствольное ружье, с которым недавно ходил на охоту, а тогда уже пошел седлать вороного жеребца — купил его недавно и не отпускал покуда в табун, чтоб ко двору привык. Оседлал, навешал сумы, приторочил скатку шинели с мешком овса, топор в чехле привязал на сыромятные ремешки сзади седла у сум, поцеловал милую Лизушку и выехал из ограды шагом...

IV

Ночь провел верстах в тридцати от Минусинска в аршановских степях у чабанов-хакасов — отару мясных баранов бая Алимжанова нагуливали и косяк дойных кобылиц. Кумысом потчевали из бурдюков; разговоры вели про житье-бытье. Кочевники тоже были встревожены: приезжал бай Алимжанов и говорил им, что в уезде скоро будет новая белая власть, и тогда он, Алимжанов, отдаст в солдаты к белым нерадивых чабанов, которые за Советы горло драли.

— Беда, беда! Бай шибко сердитый, — жаловался один из чабанов, выпытывая у русского путника: правда ли, что власть возьмут белые? И всех ли будут забирать в солдаты?

Ной и сам о том же думал: если заговорщики захватят власть, то, конечно, немало мужиков заберут в армию. Ну, а что ждет самого Ноя — не хотелось думать. Казаки его попросту изрубят в куски. Так и просидел до сизого рассвета у костра, подживляя огонь.

А на рассвете, выпив пару чашек крепчайшего, бьющего в нос кумыса, махнул в седло и в половине дня был уже в Минусинске. На

Тагарском острове возле протоки Енисея все еще праздновали второй день троицы, горланили песни и, наверное, ни о чем не беспокоились. И в улицах полно разнаряженных людей; день выдался угревный и солнечный.

У двухэтажного белокаменного дома, бывшего штаба Минусинского казачьего дивизиона, занимаемого УЧК, Ной спешился, спросил у красногвардейца с винтовкою: здесь ли заместительница председателя УЧК Селестина Ивановна Грива?

Красногвардеец внимательно посмотрел на рыжебородого гражданина и на его вороного жеребца под седлом и со вьюком, поинтересовался:

— А что вам? Вызывали в УЧК? Откуда приехали?

Ной терпеть не мог спросов и расспросов.

— Можно пройти к Селестине Ивановне? Я ее знакомый по Петрограду. Доложите: — Ной Васильевич Лебедь.

— Докладывать некому. Председатель, товарищ Таволожин, в отъезде и будет вечером или ночью вернется. А товарищ Грива только что ушла домой.

— Она живет в доме доктора Гривы?

— На пасеке живет. С доктором Гривой у Селестины Ивановны полный разрыв. Если вы ее знакомый, должны знать, что из себя представляет доктор Грива — главарь меньшевиков, чтоб их черт побрал! Так что у доктора Гривы не ищите.

Красногвардеец рассказал, как найти пасеку, и Ной, не теряя времени, поехал туда.

Отыскал объездную дорогу на участок земского лесничества и тут решил переодеться в парадное, чтоб встретиться с Селестиной Ивановной в должном виде. В сумы столкнул будничное и, разминаясь, шел пешком и коня за собою вел за ременный чембур.

А было солнце жаркое, нежащее, ни облачка, ни тучки; погожий и безветренный стоял день, каких немало перепадает летом в Минусинском уезде. И люди здесь особенные — неторопливые, прогретые солнцем и тишиною маленького города.

Благодать!

Красные размашистые сосны, толпясь на песчаных холмах, купаются в солнце — неподвижные, изумрудно-дремотные, а под ними пестрые, голубоватые тени с прохладцею.

Синева неба, насыщенная разбрызганным золотом, неподвижна в зените, и никого встречных — тишина!..

Сосны сбежались вплотную к дороге, сыпучий песок податливо мнется под ногами, и тишина, тишина!..

Где еще сыщешь такие вот просторы, подобные сибирским? Неохватные, необжитые при малой людской плотности. В российских губерниях ничего подобного нет. Там — скученность, толчея, и люди в больших городах, как помнит Ной, кажутся сдавленными от тесноты.

Шел дальше. А вот и сворот вправо — едва заметная дорога, по обочинам поросшая разлапистым подорожником и кудрявой богородской травой.

В голову лезли одни и те же мысли: как он встретится с Селестиной Ивановной? Какими словами приветит? Сразу начать разговор о Дуне? Ладно ли?.. Это же сама Селестина Ивановна, большевичка-комиссар!

Вот оно как приспело, якри ее. Хуже чем идти в атаку.

Но он все-таки шел, застегнув парадный китель на все пуговицы и беспрестанно вытирая потеющее лицо платком.

Враз раздвинулась чаша-впадина; сосновый бор по двум холмам круто свернул влево и вправо, а впереди — большое поле, засеянное медоносными травами — фацелией и донником.

На горке в скудно зеленеющих кустах облепихи увидел дом с двускатной крышей.

Вправо, на поляне — пасека. У дальнего ряда кто-то в белой рубаше и черных штанах, в сапожишках, и в круглой, наподобие шляпы, сетке возится возле открытого улья. Хоть и в мужской одежде, а по складу фигуры со спины — баба. Пасечница, должно. На углу улья — черный дымарь, и струйка дыма из него. Ной подошел шагов на пятнадцать к первому ряду, запомнявав, что за спиною у него потный конь; все было тихо и мирно — наводнение солнечного света, темнеющий сосновый бор, приятно жужжащие пчелы, нарядные улья с утепленными днищами и разноцветными крышами — синими, зелеными, красными, белыми, пестрыми — чтоб крылатым труженицам легче было находить свои домики, и — тишина, благословеннейшая тишина, чем особенно дорожил Ной. Славное место выбрала себе Селестина Ивановна! Тут тебе и отдых, и медок,

как слеза Христова, и целебный воздух, настоящий на хвое, и в то же время недалеко от города — в раю такого места не сыщешь!

Умница Селестина Ивановна! Но где же она? Дома ли?

Спросить разве пасечницу? Она только что достала из корпуса рамку с густым усевьем пчел и, взяв с улья специальный нож, что-то, старательно вырезала в сотах — наверное, трутневигов.

Ной позвал:

— Эй, хозяйюшка!

Женщина с рамкою в руках выпрямилась, повернулась на голос.

— Ной Васильевич!.. — громко крикнула она, выронив рамку. Густо поднялись потревоженные пчелы, а пасечница, не подняв рамку, побежала к Ною, но в этот момент произошло невероятное. Из открытого улья отроился рой, и пчелы, не переносящие запаха конского пота, со всех сторон налетели на вороного да как начали садить его ядовитыми жалами, что конь, рванувшись, вырвал чембур, вскинув задом и пошел чесать к бору на всю рысь, то и дело лягаясь. Ной за ним во весь опор, истово отмахиваясь от осатаневших пчел обеими руками, а те пуще того остервенели — бьют то в нос, то в лоб, то в подглазье, то в шею, и в бороду налезли — жалят, жалят, проклятушие!.. Ной учуял, как в нос ему напахнул нежнейший, убаюкивающий аромат пчелиного яда, но боль в голове стала до того нестерпимой, что из глаз и носа вода потекла, и сразу пропало обоняние.

— Господи! Господи! — ухал Ной, шуруя за вороным во всю силушку, — только кусты щелкали по лакированным голенищам сапог.

— Уф! Уф! Господи! Господи!

Моментом перелетели гриву соснового бора и пустились по обширному лугу острова, дальше, дальше! У Ноя сердце заходило от страха — конь-то с сумами и вьюком! Запалится, язва.

Выбежав на луг, конь упал на траву и давай кататься, брыкаясь ногами, но мешало седло и вьюк. Ной не успел подбежать к нему, как он вскочил и пошел шпарить поперек луга к Тагарской протоке. Ной видел, как Воронко прыгнул с крутого берега в воду...

— Господи! Утопнет, дьявол!

Когда Ной подбежал — Воронко, фыркая, плыл вниз. А впереди, за излучиной острова, течение бьет от левого к правому берегу — утащит!..

Пришлось Ною припустить дальше, обогнать коня, быстро сбросить парадные сапоги, китель, брюки и кинуться в холодную воду в подштанниках и нижней рубаше. Успел вовремя: Воронка относилась вглубь, на середину протоки. Ной схватил чембур, повернул за собою коня, загребая воду левой рукой. Мешал отвесный глинистый яр — не выскочишь, и глубина — ногами дна не достать. Так они проплыли еще сажень двести, коченея, покуда не выбрались из ледяной купели.

— Надо же так, а? — пыхтел Ной, связывая разорванные концы чембура. — Как я мог подвести коня к пчелам, а? Очумел!.. Ну, стервы! Башка трещит, и в глазах туман!..

Увидел Селестину Ивановну — бежала к нему — черно-белое по зеленой скатерти луга. Узнал ее сразу. А он, Ной, в мокрых подштанниках и мокрой нательной рубаше, трясется, как студень на тарелке! Надо же так приключиться, а? До парадной обмундировки не добежать — Селестина близко! Экий конфуз! Хоть бы дрожь в теле унять — зубы отбивают дробь, как подковы по мощеной улице. Предстать перед Селестиной Ивановной в таком плачевном виде — это же окончательно потерять всякую цену самому себе!..

Не раздумывая, Ной махнул в седло, поддал коню пятками под брюхо и помчался вдоль луга, не оглядываясь.

Селестина Ивановна, недоумевая, долго стояла на одном месте, покуда не скрылся из виду рыжебородый всадник. Потом подошла к одежде Ною Васильевича — из тонкого сукна офицерский китель, казачья фуражка с желтым околышком, сапоги с лакированными голенищами, ремень с двуглавым орлом, казачьи брюки, тонкие холстяные портянки. Для полной экипировки не хватало Яремеевой шашки, карабина и револьвера в кобуре.

Собрала амуницию хорунжего, связала ремнем и поспешила на пасеку, уверенная, что Ной, продрогший в ледяной воде, помчался лугом, чтобы разогреть себя и коня.

В тени тесового поднавеса стоял в упряжи саврасый конь: приехал из города Ян Виллисович, пасечник доктора Гривы, и, оставив нераспряженного коня, возился возле открытого улья.

— Ян Виллисович! — позвала Селестина Ивановна.

Старик глянул на Селестину, накрыл улей крышкою, пошел к ней, качая головой и ворча:

— О, Иванна! Как ви мог бросай улий на жара без крыша? Ай, ай! Рой ушел. Почему так? Ай, ай!

— Ах, погодите вы с пчелами! — остановила старика Селестина и рассказала, что произошло.

Ян Виллисович снял шляпу с сеткою, подумал, глянул на узел, положенный Селестиной на кучерское сиденье, спросил:

— Ви сам видал: рой летел на коня и тот всадника? О! Ви понимает, это ошине пльохо может быть. Конь может сдохнуть. Сто раз пчела бьет — конь будет околевать.

— Офицера тоже изжалили!

— Ай, ай, совсем пльохо, Иванна. Искать надо. Я распрягай коня — ездить будешь по лесу, искать. Я буду тоже искать.

Ян Виллисович начал распрягать саврасого, а Селестина Ивановна отнесла вещи Ноя в избу, переделалась там, обулась в хромовые сапожки, глянула на себя в зеркало — лицо испачкано, на шее пятна от прополиса — пчелиного клея, умыться бы! Но надо спешить. Ян Виллисович успел оседлать Савраску.

Поехала...

V

Цедились косые лучи сквозь сосновые ветви. Местами цвел багульник и шиповник. Под ногами коня хрустели прошлогодние шишки. Где же Ной Васильевич? Вспомнила про брюки и китель. Как же она не сообразила, что хорунжий ускакал в одном белье! Хотела вернуться, но вдруг увидела в низине, на солнечной поляне с редкими березами, огненно-рыжую голову Ноя. На сучьях были развешаны какие-то вещи, что-то белело на траве. Ной ходил быстрыми шагами по кругу в штанах, бахилах и выцветшей гимнастерке. Спешилась, привязала Савраску у сосны и пошла вниз.

Вороной конь лежал в тени возле березы, вокруг которой маршировал хорунжий, Селестина быстро сбежала вниз и замерла перед Ноем, глядя в его лицо. Щеки у Ноя, как сдобные шаньги, нос раздулся, на лбу всплыли шишки, губы, как пироги, глаза запухли, и видит ли он?..

— Ной Васильевич! О, как же они вас!

Ной подтянулся и подал руку:

— Здравия желаю, Селестина Ивановна!

Безудержный смех плескался в черных глазах Селестины, но она не захохотала, ответила:

— Рада вас видеть, Ной Васильевич. Я все время собиралась съездить в Таштып, но так и не выкроила дня. Я теперь работаю в УЧК.

— Знаю, Селестина Ивановна.

— Как же они вас изжалили, бог мой! Я не успела прикрыть улей, как отошел рой.

— Ох и гвоздили! — со вздохом признался Ной. — Башка трещит, как вроде разваливается по швам. Ну да натура моя сдюжит, а вот Воронку плохо. Издохнет, кажись.

Воронко лежал со вздутым животом, откинув гривастую голову, трудно дышал, и глаза его налились кровью; по всей шкуре всплыли шишки, да так густо, на ладонь места не сыщешь, где бы не ужалили пчелы.

На разостланной скатерти под березою — перемокшие продукты: наливные шаньги, сдобная стряпня, сало, скрутки сохатиного мяса, что-то в берестяном туесе, россыпью патроны охотничьего ружья, а на сучьях висела мокрая шинель, дерюга, попона, евангелие, потник и ружье — все перемокло.

Селестина посмотрела на Воронка: не съездить ли за ветеринаром?

— Чем он поможет? — пробурлил Ной и, наклонившись, погладил ладонью по голове и шее коня. — Не поможет. Шибко изжалили, да еще горячий поплавал в ледяной купели — эко живот вздулся! Кажись, колики. Всего изжалили, якри ее, — покачал головою. — Месяца не прошло, как купил. Я ведь без коня демобилизовался. На махан все кони пошли, потому как Питер страшно голодает.

— А вам нужен казачий конь? — поинтересовалась Селестина. Ною что-то слышалось в ее голосе затаенное.

Ответил:

— Каждый казак должен иметь коня, как по Уставу службы. Казачество-то покуда существует.

— И это казачество, — тихо промолвила Селестина, — восстало против власти Советов. На Дону, Оренбургское войско, Уральское,

Сибирское, Семипалатинское, да и наше, Енисейское, готово к восстанию. А тут еще восстал чехословацкий корпус по всей Транссибирской магистрали!

Ной на некоторое время онемел будто. Не соврал, значит, подьесаул Юсков!..

— О, господи! Думать того не мог. Что же произошло, если не секрет?

Селестина коротко рассказала, как эсеры и особенно подпольные офицерские союзы вели тайный сговор с генералами чехословацкого корпуса, и что сейчас захвачены мятежниками Челябинск, Омск, Новониколаевск, Семипалатинск, бои идут на подступах к Екатеринбург, Уфе, вспыхнули мятежи в Самаре, Барнауле. Одним словом — восстание!..

Ной тяжело вздохнул:

— Значит, гражданская почалась и у нас в Сибири?! Господи помилуй!.. Неслыханное бедствие то, Селестина Ивановна. Неслыханное!

— Положение очень тяжелое, Ной Васильевич, — подтвердила Селестина. — Под Красноярском пока боев не было. Сейчас спешно формируются части красногвардейцев по всем уездам, создаются рабочие дружины и добровольные части интернационалистов из военнопленных. Если бы не восстали чехи — было бы много легче...

Ной зябко поежился: его сильно морозило после ледяной купели, аж зубы цокали, как подковки.

— Видел я чехов в Самаре! Все пути были забиты чешскими эшелонами — пробка образовалась. Ни туда и ни сюда.

— Вы там встречались с командованием чехословацкого корпуса? — осторожно поинтересовалась Селестина, пристально глядя на Ноя.

Ничего особенного не подозревая в вопросе Селестины, Ной простовато ответил:

— Побывал в генеральском вагоне.

Селестину Ивановну интересует: какие вел переговоры Ной Васильевич с чехословацким генералом Сыровым и с другими офицерами?

— Генерала Сырового в глаза не видывал, — ответил Ной. — Потому — какая я для него фигура? Слышал, офицеры праздновать

собрались его именины. Да и наших офицеров немало было в том императорском вагоне. Самозваного есаула Бологова встретил у них. Ну и стерва! Сам себе нацепил есаульские погоны, а в Гатчину к нам приезжал сотником. До чего же вихлючий гад!

— Так, значит, с Бологовым были у генерала Сырового?

На этот раз Ной Васильевич уловил некий подвох в вопросе Селестины. Поглядел на нее внимательно.

— Штой-то в толк не возьму: к чему про генерала Сырового спрашиваете?

— В Самаре вы были с Евдокией Елизаровной?

Ага! Вот и сам по себе разговор подошел к Дуне!..

— С ней. С разрешения Военного комиссара товарища Подвойского Евдокии Елизаровне выдан был демобилизационный документ сводного Сибирского полка. За этот документ ее арестовали?

— Кто вам сказал, Ной Васильевич, что Евдокию Елизаровну арестовали за «этот документ»? — насторожилась Селестина.

— Сообщение такое получил вчера. И вот приехал выяснить. Ну, а ежели взяли ее за женский батальон, как она была пулеметчицей, то должен сказать: я ее отстоял от комиссара Свиридова и матросов; товарищ Подвойский о том был поставлен мною в известность. Утайки не было, Селестина Ивановна. Как Евдокия Елизаровна не была заглавной фигурой того батальона.

— «Заглавной фигурой»! — иронически проговорила Селестина, о чем-то думая. — Сообщение вы получили ложное, Ной Васильевич. Евдокия Елизаровна была арестована не за «тот документ», и не за участие в мятеже женского батальона. Есть нечто другое...

Чуть помолчав, все так же пристально вглядываясь в лицо Ноя, спросила:

— Она была с вами в «императорском вагоне»? Присутствовала при переговорах с генералом Сыровым?

— Штой-то не пойму вас, Селестина Ивановна! Все переговоры и переговоры. Какие могли быть переговоры? Али я генерал или какой вождь от партии серых, как вот был Дальчевский? Ходил в тот вагон, чтоб получить разрешение выехать из Самары, так как никаких других поездов не предвиделось на восток. И. Разговаривал я не с генералом, а с подпоручиком Борецким. При Болотове к тому же. Ну, пришлось

дать подпоручику десяток золотых империалов. Никакого генерала при том не было.

— Не было? — подхватила Селестина. — Ну, а Евдокия Елизаровна дала показание, что она лично присутствовала при переговорах делегации Енисейского казачьего войска с генералом Сыровым. А делегацию возглавляли полковник Дальчевский, генералы Сахаров, Новокрешинов, есаул Бологов и вы, как хорунжий от имени Минусинского казачьего дивизиона.

— Господи помилуй! — ахнул Ной. — Очумела она, што ли, чтоб нести такую околесицу! Да и не было ее вовсе в том вагоне. И полковника Дальчевского с генералом Сахаровым самолично не видел. Экое умопомрачение!

— Если бы только умопомрачение! — сказала Селестина. — По показаниям Евдокии Елизаровны, вас должны были арестовать за тайные переговоры с чехословацким командованием. Но я была уверена, что слова госпожи Юсковой, мягко говоря, не соответствуют действительности. У нас в УЧК был крупный разговор по этому поводу.

Ной ничего не сказал. И башка трещит, будто на куски разваливается, и мороз дерет по коже, а тут еще этакий навет! Как же Дунюшка могла столь паскудно наклепать на него?.. За что?

— Ничего не понимаю, Селестина Ивановна, — горестно признался Ной. — Вить она, Дуня, не только меня, но и себя топит? К чему то? Из-за каких интересов. Из дурости?

— Не из дурости, Ной Васильевич. Тут все не так просто. Как нам стало известно, полковник Дальчевский, а с ним офицеры — Бологов и поручик Ухоздвигов, который, по словам Евдокии Елизаровны, является ее сокомпанейщиком по приискам и любовником (это с ее слов, Ной Васильевич), в первых числах апреля действительно ездили на тайные переговоры от имени «союза освобождения России от большевизма» с командованием чехословацкого корпуса в Челябинск. И с ними была Евдокия Елизаровна. «Не заглавной фигурой», понятно. Она просто нужна была господам «союза» для маскировки. Удобнее ехать в поезде с дамою, приятною во всех отношениях, — меньше подозрений. Легкий флирт господ с красавицей, и больше ничего.

— Закружили ее господа офицеры!

— Никто ее не «закружил», Ной Васильевич. Она сама себя «закружила». С полковником Дальчевским она в давней связи, о чем мне было известно еще по женскому батальону. И с сотником Бологовым, теперешним есаулом, так же состояла в связи. И с поручиком Ухоздвиговым. «Букет» набирается богатый! Так вот: от поездки в Челябинск Евдокия Елизаровна категорически открестилась: знать ничего не знает, и даже выставила свидетелем некоего господина Калупникова, бывшего управляющего Сибирского акционерного банка, у которого будто проживала в Красноярске в первых числах апреля. И сам Калупников подтвердил ее ложь. Как видите, все было продумано господином Дальчевским!

— Стал быть, он здесь?!

— Где-то скрывается в губернии, — сообщила Селестина Ивановна и продолжала: — Но когда мы изобличили, госпожу Юскову показаниями арестованного офицера, она вдруг призналась, что действительно принимала участие в тайных переговорах с чехословацким командованием, но не в Челябинске, а в Самаре и назвала вас, как одного из участников переговоров. Обыкновенный прием!..

— Сгибнет, несчастная! — пожалел Ной. — Какая она есть фигура для головки заговора серых? Истоптали ее вконец!

— Кто же виноват, Ной Васильевич, что ее «истоптали»? И разве вы не дали ей жизнь и свободу в Гатчине? Кстати, Евдокия Елизаровна сказала еще, что присутствовала на заседании полкового комитета в Гатчине с комбатом Леоновой, и вы, будто, заверили Леонову, что полк восстанет, а потом передумали. Так что Евдокию Елизаровну трудно обелить, Ной Васильевич. Никто ее не толкал в грязь — сама лезла, как и в подлый контрреволюционный «союз», где она охотно исполняла роль «полюбовницы» то одного, то другого офицера.

Ною нечего было сказать в защиту Дуни, хотя он и примчался на ее выручку. Как же она запуталась!.. И его, Ною, паскудно оговорила. Ну и ну! Дунюшка! «И чего я с нею связался, господи прости меня! — кручинился Ной. — Ишь, генерала Сырового приплела, стерва. Ее же спас от гибели, и она же меня топит. Ну да, бог с ней!»

— Вы собирались на ней жениться? — вдруг спросила Селестина Ивановна.

Ной без лукавства ответил: было с его стороны подобное предложение Дуне.

Селестина Ивановна пожалала плечами, с усмешкою предупредила:

— В таком случае вам надо поторопиться, Ной Васильевич. Сегодня утром Евдокию Елизаровну освободили из-под ареста. Сыскался еще один защитник — чрезвычайный комиссар Боровиков! Просто смешно, ей-богу, такие порядочные люди и вдруг выступают в роли защитников врагов революции и Советской власти!.. «Не заглавная фигура»! А разве мало будет теперь жертв из-за таких вот дунечек — «не заглавных» фигур, но помогающих «фигурам» и покрывающих их, как шлейфом?!

— Штой-то меня шибко морозит. Надо погреться, побегать, чтоб с ног не свалиться. Башка трещит! — уклонился Ной от разговора и быстро пошел от Селестины по вытоптанному кругу. Она смотрела на него из затеня березы, решительно ничего не понимая. Как мог Ной Васильевич довериться Дуне и даже собирался на ней жениться? Что между ними общего? «Я, кажется, совсем не понимаю мужчин», — грустно подумала.

Подошел Ян Виллисович, посмотрел на коня, поахал, что-то сказал Селестине Ивановне и перехватил Ноя.

— Ваш конь сдыхайт!

Ной уставился на старика. Что еще за человек?

— Это наш пасечник, Ной Васильевич. Ян Виллисович.

— А! Конь сдыхает? Знаю!

— Стреляй надо. Так пропадет — совсем пропадет. Застрелить — махан будет. Лесничий-татарин живет рядом — мясо брать будет. Деньги отдаст.

— Надо пристрелить, конечно, — поддержала Селестина.

Воронко мотается в беспмятстве со вздутым брюхом — колики после ледяной купели и пчелиных укусов. Хана жеребцу! А в голове у Ноя туман — кровь вскипает в висках. А изнутри морозит. Бегать надо, чтоб в пот кинуло.

Подошел к березе, снял двустволку с сука, переломил, выбрал на скатерти пару сухих патронов, вложил и, взведя оба курка:

— Отойдите, Селестина Ивановна. Не для женщины то!

Обыкновенные слова Ноя: «не для женщины то!», как крапивой, обожгли Селестину. Она давно выполняет работу, которая «не для

женщины то»! И не потому ли мужчины, как вот Тимофей Боровиков или тот же председатель УЧК Артем Таволожин, ни разу не поговорили с нею, как с женщиной? Она для них — комиссар! Фронтовой комиссар, товарищ. А вот Евдокия Елизаровна, проститутка, пакостница, оказывается «при всем, при том» женщина!..

Раздался выстрел, второй. — Селестина вздрогнула и быстро оглянулась. Ной стоял возле Воронка, покачивая головою:

— Прости меня, господи, загубил коня. Не по злему умыслу, по дурости своей!

Воронко, пронзенный двумя пулями в голову, еще дрыгал ногами, храпел, потом, вытянувшись, испустил дух.

Ной швырнул ружье к березе и принялся бегать по кругу.

— Нож! Нож надо! У вас есть нож?!

Селестина взяла со скатерти нож, вынула его из кожаных ножен и передала Яну Виллисовичу. Тот перерезал коню горло, чтоб кровь сошла, и начал ошкуривать.

А Ной — по кругу, по кругу, как будто именно в этом было его спасение. Чувал, что внутри у него огонь пылает, жжет, жжет, а тело в дрожь кинуло. Как бы воспаление легких не схлопотать! Из-за каких-то пчел и свалиться с ног — уму непостижимо. Главное — выгнать остуду изнутри, со всех пор тела. По кругу, по кругу!..

Селестина поговорила с Яном Виллисовичем, побежала на горку и вернулась на Савраске к березе. Привязала коня, собрала продукты и вещи Ноя в сумы, перекинула их сзади седла, отдала топор Яну Виллисовичу, а потом подошла к Нюю. Лицо у него, как в огне — от бороды не отличишь, в одну масть. Дышит горячо и часто.

— Вам плохо, Ной Васильевич?

— Пошто? Ничего.

— У меня отец доктор. Могу вызвать.

— Ни к чему то, Селестина Ивановна. В дохтурах не нуждаюсь. А вот баню бы можно.

— Хорошо. Рядом в лесничестве есть баня. Попрошу истопить.

Селестина уехала...

«Восстание, восстание! По всей Сибири — восстание! — кипело в голове Ноя. — Лучше бы не уезжал я из Гатчины. Как мне быть теперь с казаками?»

Вспомнил своих незадачливых комитетчиков: какое у них теперь соображение? Ясно! Первыми выхватят шашки, чтоб хвост очистить за комитетство в полку.

Солнце скатывается все ниже и ниже. Не заметил, как и день гаснуть начал. Но есть еще Дуня — Евдокия Елизаровна! «Под УЧК, стерва, гнула, чтоб своих любовников выгородить. Не выпрямиться ей вовек!» И все-таки жаль Дунюшку. Что он ей скажет? Мало ли ему стыда было в Белой Елани?!

Сердце до того сильно бьется, что Ной чувствует его упругие удары, будто оно разбивает ему ребра, чтоб наружу вылететь.

Ян Виллисович успел ошкуровать коня, разрубил тушу, а Ной все это время гонял себя по кругу, чтоб разогреться, и добился-таки — в жар кинуло, с лица соль капала. Ага! Вот так-то.

Подъехал лесничий на ломовой телеге — это Селестина послала; домик его невдалеке от пасеки. Лопату привез. Ной сам вырыл яму, сбросил туда останки Воронка, закопал и дерном обложил.

Ян Виллисович с лесничим уехали на телеге с мясом, завернутым в сырую шкуру, седло прихватили, мешок с овсом, а Ной задержался. Полегчало. Потеет, потеет! Оглядывается, не оставил ли чего — увидел перемокшее евангелие на сучке, снял, сунул под мышку.

VI

Ной подошел к пасечному дому слева — подальше от «стервов-пчел», и тут, за стеною тесового поднавеса, услышал громкий разговор.

Заглянул в щель между плахами. Половину поднавеса занимало сметанное сено, а в другой — Савраска, еще не расседланный, тарантас, пустые улья один на другом, а возле крыльца трое: маленький человек в буржуйском котелке, в черном пиджаке и таких же брюках, в лакированных ботинках на высоких каблуках; женщина с ним — весома, молодая, светлые волосы уложены короною, и — Селестина в светлом платье.

Прислушался...

Ярился маленький человек в буржуйском котелке, наскакивая на Селестину:

— Именно так, сударыня! Бессовестно пользуетесь моим авторитетом! Да-с! И то, что я от вас требую, руководствуясь здравым рассудком, ничто иное, как гума-анно-сть! Да-с! Гуманность! Хотя ваши партийцы, сударыня, понятия не имеют о таком предмете! Ну, а чего им не дано, того у них не сыщешь. И тем не менее, тем не менее...

— Иван Прохорович, — вмешалась женщина. — Разговор не о том.

— О том самом, сударыня! О том самом! Предо мною дочь, манкирующая моим авторитетом. Да-с! Она же — Селестина Грива! Не Иванова или некая Петрова, да-с!

— Никто твоим авторитетом не манкирует, папа, — ответила Селестина. — Но то, что ты требуешь, несовместимо со здравым рассудком. Не я одна решаю судьбу арестованных контрреволюционеров! Не я! Но если бы я решала...

— То что бы?

— Расстреляла бы! Вот что! Они связаны с бандами, создавали подлые «комитеты», собирали оружие, и вы еще требуете освободить их?

— Хороша птичка! — взревел отец — Хороша-а! Вот она какова, выучка Дзержинского!.. Мне все ясно, сударыня. В таком случае я ставлю вопрос в двух плоскостях: либо вы меня упрячете в тюрьму, как контрреволюционера, либо немедленно, не позднее завтрашнего утра, удалитесь из моей усадьбы! Да-с! И напечатаете — да, да! напечатаете в вашей дрянной газетенке, вашим суконнейшим языком неучей, что вы, персона УЧК, отрекаетесь от отца имярек, да-с! Именно так!

— Иван Прохорович!..

— Сударыня! У меня разговор с нею по праву отцовства, да-с!

— Понимаю! — ответила дочь. — Тебе нужно алиби перед белогвардейцами, прихода к власти которых ты ждешь с нетерпением. А дочь в УЧК! Большевичка! Фронтowej комиссар! Это не для тебя, понятно. Но я не дам тебе алиби. Не дам! Братья сбежали за границу — не хватит ли такого алиби?

— Во-он! Сию минуту вон из моего дома!

— Тише, папа. Эта изба — не твоя изба. Она принадлежит лесничеству земства, но ты ее попросту прибрал к рукам. И земля под

пасекой — земская. Ты да же в аренду ее не снимал.

— Меррзавка! — подпрыгнул отец. — Подлая и развратная мерзавка!

— Иван Прохорович! Это невозможно слушать без возмущения, — не выдержала красивая женщина. — К чему вы меня сюда позвали? Вы даже дали слово, что будете говорить спокойно, без крика!

— Ах, прошу прощения! Извините великодушно. Запомню, что в присутствии ваших большевистских персон следует выражаться только в патетических и ультрапохвальных тонах. Елейчиком, елейчиком поливать на миропомазанных марксистов! Ха-ха! Куда там до вас двенадцати римским цезарям! Вы ушли дальше их, дальше!.. Но именно потому и выметут вас в ближайшем будущем, что чванства у вас и самомнения хватило бы утопить весь древний Рим с Египтом в придачу. Да-с! Вы же в некотором роде сфинксы. Не свинксы, пардон, а сфинксы! Есть такие каменные изваяния. Но они именно каменные, а следовательно — мертвые, да-с! С чем и поздравляют вас, не помнящих родства!

— Это подло, подло и низко! — крайне возмутилась светловолосая женщина и прошла прочь от пасеки.

— О, господи! Экий папаша! — забывшись, бухнул Ной и тут же, опомнившись, шарахнулся прочь от стены поднавеса в бор.

Доктор Грива, а это был он, — конечно, на некоторое время утратил дар речи: что еще за трубный глас раздался?

Развернулся на каблуках, обошел поднавес, взглянул на бор и кусты облепихи — никого! Что за чертовщина? Вернулся и тщательно осмотрел под завозней все углы и даже в сенник заглянул — никого!

— Тэкс! Все ясно! Со шпиком живешь?

— Боже мой! Если бы жива была мама!..

— Маму вспомнила? Весьма кстати! Она бы тебя поздравила!.. Доченька — жандарм! Ве-елико-олепно!

Селестина кинулась в избу, не в силах сдержать слез обиды и возмущения...

Ной тем временем шагал по бору. Надо же было языком брякнуть! Ну и ну! И тут раздел сфер влияния. Не по губерниям и автономиям наций, а по душам, по умам! Один с Христом, другой с пестом, третий

с кистенем на большой дороге, а четвертый богатство прибирает к рукам.

Но чтоб родной отец вот так мог разговаривать с дочерью — паскудно! Ведь даже звери и те не пожирают своих детей! За што же его сослали в Сибирь на вечное поселение? Али состоял в серой партии террористов? Смута, смута! Господи прости наше окаянное время, — помолился Ной.

Неоглядно и сине-сине — вдаль и вширь Енисей-батюшка!..

Удивленный Ной остановился на берегу: не ожидал, что выйдет на Енисей, перемахнув Тагарский остров!..

Голова перестала трещать и сердце, будто, остепенилось — не рвется наружу из-под ребер. Вдыхая волглую свежесть реки, радовался: экая благодать! Раскинулась перед тобою кормилица-прародительница Природа, и ты в ней, дитя ее, и ее же великий злодей — жесточайший убийца! «Скоко лесов срубили по берегу, — глядел Ной на чернеющие там и сям толстушие пни сосен. — А таперь ветром песок рвет, гонит его на луга и пашни. Хоть бы кого повесили за экое злодейство! Не от того ли мы сгинем, ежели не токо дарами природы владеть не умеем, но сами себя стреляем в дикости и нелепости! Отец ведь, а? И дочь пред ним, а он — зверь рыкающий!..»

Враз похолодало. Солнце, наливаясь багрянцем, уходило.

Ной возвращался лугом такими же широкими шагами.

Навстречу ехала в седле Селестина на саврасом коне.

Ной шел и смотрел на Селестину — спокойный, много успевший взвесить и оценить. Поравнялся с нею, глянул в лицо — глаза подпухшие, плакала, значит. Понял.

— Не переживайте очень, Селестина Ивановна, — успокоил. — Время такое приспело — в головах у всех туман, не токо у одного вашего папаша. Происходит раздел сфер влияния по душам, по умам и по губерниям России, как сказал один старик.

— Подъесаул Юсков?

— Откель знаете?

— Ну, подъесаула все знают в нашем маленьком городе. Евдокия Елизаровна со своими офицерами постаралась запутать его в сети заговора, и он на старости лет вообразил себя лидером спасения России. Вы об этом еще узнаете. Как и отец мой, социал-демократ, меньшевик, тоже в лидерах. У всех у них одно общее: ненависть к

Советам, мужикам и большевикам, а в общем все они — за барство и дворянство, за Учредительное собрание, в котором бы верховодили миллионеры и банкиры, но не рабочие и крестьяне.

Ной погнул голову. Дунюшка, Дуня! Чтоб тебе околеть, вертихвостка окаянная!

Селестина, что-то вспомнив, внимательно посмотрела на Ноя:

— Удивительно!

— Што?

— У вас же был жар!

— Был и сплыл. К чему он мне?

— У лесника топят баню.

— Попарюсь ужо.

И попарился, да еще как — нужда приперла. Лежал на полке, а лесничий, натерев его по пояс скипидаром, потчевал березовым веником, поливая водой на голову, чтоб уши не обгорели.

Ян Виллисович поджидал Ноя в предбаннике с шубой и шапкой, а потом увез в тарантасе на пасеку.

Густилась тьма с прохладой позднего вечера, но звезды еще не горели. На синем горизонте всплывала бледная круглая луна, еще не успев насытить землю холодным сиянием, отчего тени от деревьев будто размылись, не выпечатываясь чернью. Воительницы с ядовитыми жалами мирно почивали в домиках, темнеющих аккуратными рядами на фоне вздыбленной черной гривы леса. Из-под темного поднавеса показался серый кобель, глянул на Ноя и Яна Виллисовича, зевнул и лениво поплелся обратно.

— Лесничий, какой парил меня, знает, што я — офицер? — спросил Ной у Яна Виллисовича. — Штоб он ничего такого не ведал.

— Понимай! Понимай! Все будет надежна, Ной Васильевич. Карим Булат — хороший человек. Завтра махан продавать буду с ним на базаре. Мясо удивительно жирный.

— Торгуйте. Деньги возьмите себе.

— Никак не можно! — энергично запротестовал Ян Виллисович, рассупонивая хомут. — Обижай буду. Не надо так.

— Эко! Селестина Ивановна отдает мне Савраску. У банды отбили, сказывала. Добрый конь, вижу. Казачий. К чему мне ишшо один?

— Нет! Нет! — решительно отверг Ян Виллисович. — Мой глубокий уважений вам не надо мешайт деньга. Никак не надо!

— С легким паром, Ной Васильевич! — крикнула Селестина с крыльца. Она до Ноя помылась в бане и сейчас поджидала его.

— Спасибо, Селестина Ивановна. Как токо сдюжил, господи! Пот с меня хлещет в три ручья. И тулуп, должно, взмок.

— Ничего. Зато вы теперь здоровы.

VII

Покуда парился Ной, Селестина успела переглядить промокшие в суках и подсушенные на березе пожитки Ноя, и он переоделся в сухое, приятно пахнущее белье, натянул китель с брюками и сапогами и тогда уже, протерев досуха голову и бороду лохматым полотенцем, чинно вступил на половину Селестины.

На полу — самотканые половики, жесткие стулья, пара табуреток, железная узкая кровать под нарядным покрывалом с двумя пуховыми подушками, пустой улей с плоской крышей у кровати, а на нем — медный подсвечник с тремя восковыми свечами, стопка книг, карандаши в стакане, а возле единственного окна — накрытый стол:стряпня Ноева, нарезанное ломтиками сохатиное мясо, сало, что-то горячее в двух тарелках, сковородка с жареной рыбой, малиновое варенье в вазочке, тонкие стаканы, на черном подносе — начищенный самовар с краном в виде петушиного гребня, чайник на конфорке, сотовый мед в обливной чашке, нарезанные свежие парниковые огурцы с луком, вина в двух бутылках и в плоской бутылке — «смирновка», ножи, вилки, а посередине стола оранжевые полевые жарки. Ишь, ты! Цветы любит.

Да и сама хозяйюшка выглядела нарядной, не такой, какую он помнил по Гатчине. Сейчас на Селестине было розоватое шелковое платье с длинными рукавами и глухим воротничком, отделанное кружевами по манжетам и воротничку, а на ногах вместо сапожек — туфли.

— Прошу к столу, Ной Васильевич, — пригласила Селестина. — Вы же отчаянно проголодались за день.

— Не так, штобы проголодался, а умаялся изрядно.

— У вас сошла вся опухоль с лица, — заметила Селестина. — А вот у меня так быстро не проходит. Видите, руки, как подушки, — показала Ной обе распухшие кисти.

Подвинула ему тарелку с жареным мясом, разлила вино в фужеры:

— Или вам «смирновки» налить?

— Не потребляю, Селестина Ивановна. Извините великодушно. Ни «смирновки» господ офицеров, ни разных вин.

— Серьезно? Или стесняетесь?

— Пошто стесняюсь? Пьющие не стесняются, а хлещут до умопомрачения с великой радостью, Селестина Ивановна. С меня довольно того, что казаки и мой батюшка, не то что пьют, а готовы утопнуть в самогонке. И что ни пьянка, то потасовка в станице. Али жен своих бьют и ребятишек до смерти пугают, али сами себе морды расквашивают. Отвратно видеть экое. Вот вчера, когда мы вышли на гулянье к реке Таштып большой компанией, из-за самогонки чуток побоище не произошло у меня с казаками. За Петроград и Гатчину ополчились. Будь они трезвыми — не напрашивались бы на драку. Пронесло, слава Христе. А в другой раз заклинить может. Взъярились все станичники.

— Но за что?

— Мой ординарец наговорил с три короба казакам. А головы-то у них не шибко умные, со сквознячком. Продувные.

— Мы фактически ничего не успели сделать, — призналась Селестина. — Само слово «большевик», как пугало воспринимается. Эсеры и меньшевики постарались.

— Они ишшо сами между собой перецапаются, — ввернул Ной, уплетая жареное мясо — аппетит разгулялся: с зорьки во рту куска хлеба не было.

Селестина Ивановна не притронулась к мясу. О чем-то призадумалась, глядя в темное окно: там, за окном, тревожный мир, насыщенный ожесточенною борьбою. Взяла с подоконника коробку с, папиросами и коробок спичек, размяла папироску в руках и закурила. Ной еле промигался. Комиссарша курит!

— Экое! — только и сказал. — И вы курите?!

— Курю, Ной Васильевич. Я ведь фронтовичка. У нас в батальоне, помню, ни одной не было некурящей. А вы не курите?

— Оборои бог! Ну, к чему вам травить себя ядом? Вить от одного табачного дыму сдохнуть можно.

— Я выйду в прихожую, — поднялась Селестина.

— Тогда и мне уйти надо. Нехорошо. Курите, пожалуйста, если вам нравится. Дуня тоже курит, шалопутная. Ну, да вить то Дуня!

Селестина Ивановна потушила папироску и ничего не сказала.

— Чего ж вы сами не кушаете? — опомнился Ной, управившись с мясом. — Али все ишшо переживаете ссору с папашей? Да он сам, поди, забыл про нее. А вить я вспомнил вашего отца!

— Вспомнили?

— Я ж с ним, когда он приезжал к Мещерякам гостевать, помню, — раза три плавал по Дону на рыбалку — сазанов и лещей ловили. И матушку вашу явственно помню. Рослая она была. Волосы черные и глаза черные, а лицом белая. Слышал, дед ваш, Григорий Анисимович, женат был на болгарке — привез после Турецкой войны.

— Если бы жива была мама! — горестно вздохнула Селестина, и этот ее вздох передался Ною. Он так и не расспросил бабушку про давние события! Ох, хо, хо! Времена, времена! Али так будет на века в России? Понять того не мог. Мутило душу. Если бабушка и в самом деле зарубила свою двоюродную сестру, то ведь пролитая кровь и на нем, на Ное!

— Будете чай пить? С медом.

— Без чая нельзя. У нас вить тожа десяток колодок пчел. Матушка пчеловодит, ну и я помогаю. Батюшка терпеть их не может — шибко опухает. Кровь-то у него отравлена самогонкою. Не дюжит. И курит к тому же.

Селестина покосилась на гостя. Ну, Ной! Не курит и не пьет, да еще с Дуней сравнил ее. И вышла в переднюю комнату за чайником.

Ной достал платок и вытер потное лицо и шею.

Пили густо настоенный байховый чай.

— Этакый чай был у нас в Гатчине, — вспомнил Ной.

— И я вам была так благодарна в то утро, — отозвалась Селестина Ивановна. — И каша у вас была вкусная — будто век такой не едала.

Ной кивнул:

— Завсегда так, когда человек живет впроголодь.

Слышно было, кто-то подъехал к избе и спешился. Селестина Ивановна встрепенулась.

— За мною, кажется.

— Да вить ночь на дворе?

— У нас не бывает ни ночи, ни дня, Ной Васильевич. — И лицо Селестины притемнилось.

Послышались чьи-то шаги в передней, открылась дверь и на пороге — человек в кожанке и кожаной фуражке, узколицый, глянул на Селестину и рыжеголового незнакомца, заметно удивился.

— Добрый вечер.

— Добрый вечер, Артем Иванович. Проходите, — пригласила Селестина Ивановна и представила гостя: — Познакомьтесь: хорунжий Ной Васильевич Лебедь, бывший председатель полкового комитета сводного Сибирского полка в Гатчине.

Ной поднялся.

Артем Иванович, крайне озадаченный, подал руку:

— Председатель УЧК, Таволожин.

— Здравия желаю, товарищ председатель.

Таволожин, конечно, не ждал встретить в гостях у своего заместителя казачьего хорунжего, на аресте которого он особенно настаивал. Увидел на столе бутылки с вином и в фужерах вино. Ну и ну! Как все это понимать? В каких же отношениях его заместительница с этим хорунжим?

А Селестина Ивановна как ни в чем не бывало:

— Я так и знала, что вы приедете. Ну, садитесь же. И не смотрите так на Ноя Васильевича и на меня. Тут ничего особенного нет. Я же говорила, что мы знакомые по Гатчине, и нам было не так-то легко сорвать заговор офицеров. Как я и предвидела, показания госпожи Юсковой насквозь лживые. Никаких переговоров с чехами Ной Васильевич, понятно, не вел в Самаре.

Председатель УЧК внимательно посмотрел на Ноя и Селестину, прошелся по комнате, взъерошивая густые волосы, и сдержанно проговорил:

— Я верю вам, товарищ Грива. Пусть будет так. Но госпожа Юскова действительно доказывала, что хорунжий Лебедь в Самаре был на переговорах с чехословацким командованием.

— Слышал, — кивнул Ной. — Для переговоров я не из фигур, должно. Кто тому поверит?! Только шалопутная Евдокея Елизаровна могла такое придумать.

Слушая простоватую речь хорунжего, Артем Иванович достал кисет, оторвал лоскуток бумаги, начал сворачивать сигарку.

— Не курите, Артем Иванович, а садитесь поужинать, — пригласила Селестина Ивановна и сказала еще, что Ной Васильевич был в Смольном и встречался с Лениным, когда разрешался вопрос демобилизации полка.

— Вот как! Но все-таки странно, что вы обошли уезд.

— Не обошел, — возразил Ной Васильевич. — Владимир Ильич поручил мне передать благодарность минусинским крестьянам и казачеству, которые добровольно сдавали хлебные излишки для голодающих губерний. Я эту благодарность передал товарищу Тарелкину.

— Тарелкину?

— Ему, как председателю Совета.

— Впервые слышу. Как же он никого из нас не информировал?

— Тарелкин, наверное, информировал, только не нас, — ввернула Селестина Ивановна. — И не просто так госпожа Юскова старалась скомпрометировать Ноя Васильевича своей клеветой. Я ее сразу поняла. Выпьете, Артем Иванович?

— С удовольствием. Только не красное. «Смирновка», кажется?

— А гость мой трезвенник. Непьющий и некурящий.

— Вот как! Офицеры, как я знаю, не обходили водочку и вина.

— Каждому дано жить по характеру и нраву.

— Вот потому и опухоль у вас прошла сразу.

— Какая опухоль?

Селестина Ивановна рассказала председателю УЧК о происшествии и гибели коня Ноя, и что она готова ему отдать Савраску, отбитого у бандитов. Нельзя же хорунжему остаться без коня.

— Вы не против, Артем Иванович?

Председатель УЧК, конечно, не против, если произошел такой непредвиденный конфуз с конем офицера. Но вот вопрос: что думает хорунжий Лебедь о будущем?

— Останетесь у себя в станице?

— Нельзя мне оставаться в станице, — отверг Ной. — Потому, как всем известно, какую я службу нес в Петрограде и Гатчине. И казаки наши тугой завязали узелок на память — исказнят вместе с семьей батюшки.

— Так что же вы решили?

— Думаю. Ударило-то, как громом с ясного неба, господи прости.

— А если мы вас, товарищ Лебедь, откомандируем с нашими формирующимися частями красногвардейцев в Красноярск? — предложил Артем Иванович. — Белогвардейцы вот-вот начнут наступление на Красноярск, если не начали только. Два дня не было никаких сообщений. Да и в местном гарнизоне нужны командиры.

— Про минусинский гарнизон слов не будет, — сразу отказался Ной. — Я ведь в семье не один. Не хочу, чтобы из-за моей головы всех сродственников стрелили. А про Красноярск подумаю. В одном сумлеваюсь: как примут меня красногвардейцы! Ведь хорунжий-то я казачий.

Артем Иванович призадумался. И в самом деле, не назначишь казачьего хорунжего вот так сразу командиром красногвардейской роты.

— Мы этот вопрос с вами еще обдумаем, Ной Васильевич, когда вы вернетесь из станицы. Я свяжусь с губернскими военными властями. Условимся, как вам сообщить.

После ужина Селестина Ивановна ушла проводить председателя УЧК и долго не возвращалась. Ной понял: собеседование между ними не для его ушей, а он не горазд был до чужих секретов.

Не дождавшись Селестины, кинул в передней избе потник на пол, попону и тулуп, поставил седло в изголовье, и, сняв китель, накрылся им — шинель еще не просохла. Не прошло и трех минут, как он захрапел — мерно так, будто тоненько играл на кларнете. Засыпал он сразу и всегда со сновидениями и любил потом разгадывать сны.

Вернулась Селестина, увидела Ноя крепко спящим, сняла с кровати одеяло и осторожно накрыла им своего гатчинского знакомого.

И канул в небытие этот удивительно длинный-длинный день, не развязавший ни одного узла суматошного времени.

ЗАВЯЗЬ ДЕСЯТАЯ

I

Лето началось буйством грозы и разливом Таштыпа — сползали снега с синехребетья Саян.

Над станицей грохотал гром и шумел ливневый дождь. Ной почивал в малой горенке с двумя сестренками — Лизушкой и Пашенькой, а сон у него был отменный, хотя только что нагнал страху на отца после возвращения из Минусинска: два дня-де допрашивали его в УЧК за тайные переговоры с командованием чехословацкого корпуса в Самаре (все, что на него наклепала Дуня, повернул себе на пользу, чтоб отбелиться не только перед батюшкой атаманом, но и перед казаками), мало того, бежал из УЧК на чужом коне — еле ноги унес. И если бы схватили, упаси бог, то непременно спровадили бы в чистилище, не иначе. Батюшка Лебедь советовал рыжеголовому сыну на некоторое время скрыться из станицы — «не ровен час, наедут из чики, схватят», на что Ной отвечал: он, дескать сподобился в Гатчине пролезать сквозь игольное ушко. Пронесет, может.

От батюшки Лебеда и бабушки Татьяны Семеновны, с которой Ной также успел побеседовать про свое «щекотливое положение», шумнуло по всей станице: Ной Васильевич, дескать, вовсе не с большевиками в одной упряжи, а только казачеству преданнейший офицер.

Матушка Анастасия Евстигнеевна молилась в церкви за здоровье милого сына, да и сам сыночек исповедовался отцу Афанасию в своих тяжких прогрешениях и молил господа бога о ниспослании спасения не только близким, но всем одностаничникам, чем особенно потрафил священнику. И все это, понятно, не без умысла.

Раздался стук в окно избы. Супруги Лебеди проснулись, и Анастасия Евстигнеевна, бормоча молитву, подбежала к окну:

— Кто там?

— Атаман пусть выйдет к воротам.

Пригляделась — под ливнем человек на коне, в дождевике, с башлыком, конь топчется в луже. Кто бы это?

Батюшка Лебедь поднял сына: беда! Не за тобой ли? А ты дрыхнешь, и ни в одном глазу страха!..

Ной быстренько вскочил, за шаровары, рубаху, бахилы — все у него лежало рядом с кроватью.

Отец оделся и ушел в непогодь. Куда? Неизвестно. Ной сказал матушке, чтоб она почивала — не за ним, поди, приехали, если отец не вернулся с улицы.

Долго ждал возвращения отца, прикрыв двери в малую и большую горницы. А сон так-то морит — спасу нет! Привалил чубатую голову к косяку, и засвистел в обе ноздри.

— Спишь? — раздался голос батюшки.

— Какой сон? — пожаловался сын. — Сидишь, как на горячих углях, и не ведаешь: какой час подоспеет? Аминь ли отдать, аль во здравие помолиться?!

— Рано тебе ишшо аминь отдавать, — успокоил батюшка, стряхивая у порога промокший шабур. — Ну и дождина хлобыщет! Кругом заволокло. В самый, аккурат. Хлеба попрут ноне неслыханные! — А сам косо так взглядывает на сына, сел на лавку с другой стороны стола спиною к окну, запустил пальцы в бороду, как бы выскребая из нее нечто важное для ночного разговора с бывшим их благородием Ноем Васильевичем, сыном собственных родителей. За окном хлюпал поток воды с крыши в палисадник. На столе тускло светилась трехлинейная лампа-ночник: свет ее равен малюхонькой свечке. Ноюшка ждал, не торопил батюшку. «Пуцвай с мыслей соберется». И батюшка собрался:

— Ну вот, хорунжий, — тихо заговорил, поглаживая ладонью клеенку на столе. — Погода переменялась.

Ной понял, какую «погоду» разумел батюшка, но промолчал.

— Гонец прискакал из Минусинска от Тарелкина.

— Фамилию не след называть, — укоротил сын отца.

— Мы ж с глазу на глаз! — прошипел отец.

— За окном может быть третий. Да и матушка, кажись, не спит.

— Она — казачка! А у казачек уши на мужские разговоры воском залиты.

— Угу. Дак что? Про гонца.

— Повелел экстренно созвать самых верных казаков, которых мы выбрали депутатами на седьмой уездный съезд. Ну, сошлись у

Никулина. Под завозней — на машинах расселись. Ох, Никулин! Вот справно живет! Три жатки, ажник блестят от масла, стготовлены к страде! Три сенокоски — зубья оскалили, да пара конных граблей; я на сиденье одно залез. Кожаное. Да ишло молотилка-американка, да...

— Про машины, что ль, разговор шел?

— А у нас-то много машин тех?

— Позаимствуй у Никулина.

— Кукиш под нос схлопочешь от гада ползучего. Это ж пузырь!

— Понимаю! — кивнул Ной. — Скорее мужик какой штаны последние сымет для тебя, чем у жмона Никулина возьмешь хотя бы горсть снега середь зимы.

А себе на уме: так вот каков председатель Минусинского уездного Совета, товарищ Тарелкин! То-то он и прощупывал Ноя при собеседовании и никому не сообщил о благодарности Ленина трудовым крестьянам. Ох, хо, хо! Круговерть. Значит, заговорщики не только из бывших офицеров, но имеются таковые и на высших должностях в Совете!..

Ной складывал соображение, а батюшка продолжал:

— Дак вот. Доверенный от Тарелкина... тьфу, ты!.. Ну, от высшего, значит. Обсказывал нам про общее положение в Сибири, и штоб мы, казаки, когда поедем в Минусинск на седьмой съезд, то все были бы при полном боевом укладе. Окромья того — полусотню казаков подвести под Минусинск в деревню Кривую, тайно, а мужиков кривинских не выпускать из деревни под страхом изничтожения. На том съезде, говорит, большевиков и жидов кончать будем одним днем.

— Угу! — кивнул Ной. «Так же, как было в Гатчине, — подумал. — Только там у серых баламутов силы не хватило прорваться в Петроград, а здесь они, кажись, хорошо спелись».

— Морозом дерет по коже, — жалуется батюшка атаман.

— Угу.

— Што заладил: угу да угу! Ты ж сам, оказывается, в тайной головке числишься! Не знал того! — вздыхает атаман, косо взглядывая на хорунжего сына. — Гонец и про тебя разговор поимел. Сказал, что ты опытный офицер и можешь оказать большую помощь в движении белых. И штоб наши казаки, как вот все Никулины, не меряли тебя на свой станичный аршин. Сообщил: будто ты, когда поперли немцы на Петроград, под носом у большевиков успел распустить тот сбродный

полк, и про переговоры в Самаре с чехами сказал. У Никулиных враз злоба поутихла. Смыслишь? Окромя того, гонец передал для тебя наганный патрончик, а в патроне — адресок, куда ты должен непременно явиться в Красноярск при крайней экстренности. В доме, куда дан адрес, покажешь патрон и скажешь: «Мне надо видеть Григория». А кто такой Григорий?

Ной понятия не имел ни о каком Григории. Кстати вспомнил, что сотника Бологова — самозваного есаула, зовут Григорием Кирилловичем. Ной Васильевич сразу сообразил: что подпольный «союз» загодя собирает всех офицеров — кто-то же должен командовать воинскими частями? Но не мог же Бологов сам по себе решить вопрос с Ноем? Стал быть, решение приняли о нем, Ное, на тайном заседании «союза»?

Сообразил, что с отцом надо разговаривать «на должной дистанции», как и положено офицеру со старшим урядником.

— Не знаешь? — допытывался отец.

— Атаман, — наугад ответил Ной.

— Эв-ва! А по фамилии как?

— Козел под фамилией, батюшка, да только под хозяйской.

— Аль недоверье мне, атаману?

— Я бы мог многое сказать тебе, да боюсь: не сдюжишь, тайну «союза» в ярости выдашь. Атаман-то ты станичный, не войска Енисейского. Что еще говорил гонец?

— Обсказывал про восстание по всей Сибири и России. И того Ленина, будто, прикончили. Мы даже чуток припозднились, сказал. Чехи повсеместно по чугунке опрокинули Советы, а большевиков стребили под корень. Уезд за уездом заглатывают, город за городом, и повсюду казнят большевиков и совдеповцев. Сила, говорил, огромятущая собралась!

— Угу!

Ной привалился спиною к простенку меж двух окошек, на коленях кулаки, как чугунные гири.

— Ну, а ты как? — подталкивает атаман-отец.

— Чего мне? Все собрано, стотовлено. Заложешь телегу и отвезешь мой багаж на пристань к пароходу, а я махну на Савраске до тебя, чтоб у города встретить.

Надо сказать, Ноюшка постарался «собрать» себя! Три куля пшеничной отсевной муки, куль ржаной, лагун с маслом (держит в леднике подвала), брезентовый мешок свежеподсоленного с чесноком и перцем сала, мешок завяленного звериного мяса, бочоночек с медом, мешочек луку с чесноком, ну и прочее: постель, бельишко, карабин в разобранном виде с шашкою упакован в тючок с поперечной пилою — под плотничьи инструменты!

— Не густо от тебя узнал! Благодарствую, ваше благородие, на высоком доверье.

Ага! Подпирает-таки батюшку Лебедея! Ишь, не густо! Ему и хочется и колется. И большевиков сготовился рубить, и за спиною жарко!..

— Могу и сказать кой-что, да только слово дай про неразглашение высшей офицерской тайны! — врал сын отцу.

— Аль я не отец тебе?

— Для тайны нету сродственников!

Старый Лебедь поднатужился, косо кинув взгляд в темный угол на божницу, побожился держать тайну.

— Ну, слушай, батяня, да на ус мотай, — степенно, приглушенным басом начал Ной. — В Самаре той в императорском вагоне под двуглавыми орлами произошел секретный сговор побитых царских генералов, а так и высших офицеров, и от эсеров были, от распушенной учредилочки, всякие, разные. Чешскую ставку подкупали золотыми завереньями.

— Подку-упа-али? На золото, што ль?

— Может, и не увидят они золота. Обдуют их пупы из учредилочки! Они ж там от буржуазии все. Тузы! Главное было, чтоб захватить золотые и бриллиантовые, а так и прочие запасы всей державы!

— Разве золото в Самаре?

— В Казань вывезли из Петрограда.

— Эв-ва! И куда то золото?

— Пока в Сибирь перетащут, в Омск. Ну, а там, когда тиснут из-за Урала красные, за границу упрут. В Англию, Америку! Без золота в заморских странах как проживут буржуи, и говоруны от разных партий? Кто их там кормить будет?

— Штой-то не пойму тебя, — вздохнул с натугою батюшка. — Куда клонился сговор в Самаре?

— Сказал же! Захватить золотой запас России. Разве без восстания вырвешь богатство всей России у тех мазутчиков и углекопов, которые есть большевики? Они ж рубля не дадут буржуям. Пинок под зад сунут, и все!

— Дак свергли же их по всей Расее!

Ноюшка хохотнул:

— На простоте и ловят вас, туманных, а после — стреляют. Не только не свергли, а вот как я получил сообщенье в Минусинске при встрече с атаманом Григорием, аж в зобу дыханье сперло! В России сейчас Красная Армия за два миллиона штыков! — нещадно врал Ной отцу, уверенный, что все это узнают казаки — батюшка не долго носит груз тайны.

Старый Лебедь враз посутулился, собираясь с туговатой мыслью.

— Откель они там наскребли стоко люду?

— Россия — не Сибирь безлюдная. Там и до пяти миллионов созовут в армию под красные знамена революции. Она ведь для них, как манна небесная. Натерпелись рабочие и бедные крестьяне от буржуев и жандармов с казаками!

Батюшке Лебедю показалось, что с ним говорит не их благородие, а самый что ни на есть краснющий большевик; даже в голове теплота не в ту сторону.

— «Боже, царя храни пел? «— вдруг спросил Ной. — Ну дак в Красной Армии поют «Интернационал». Слова в нем есть такие: «Вставай, проклятьем клейменный, весь мир голодных и рабов!..» И еще такие: «Весь мир насилья мы разрушим». Вот и подумай, как одолеть большевиков, ежли за них весь трудовой люд? Они же, как дрожжи подняли все тесто в квашне России, а так и по всему миру шумнуло!

— Утопчут тесто! Утопчут, — не очень уверенно ответил батюшка Лебедь и спросил: — Это что ж, такие вот разговоры ведут промеж себя на тайных сходках офицеры?

Ной чуть подумал:

— Промеж нас казаков не бывает, а так и серой суконки. Для вас — стробительные побоища, для высших офицеров — тактика, стратегия и высшая политика. А при таком складе на супротивника не

волками взглядывают, а с полным пониманием тактики: как и что? Или в атаку поведу я полк, не изучив противника, а также местность?

Чуб у атамана поник.

— Выходит, надежды нету выместить большевиков из России?

— Смешно! Буржуи или капиталисты работать будут у станков на заводах и фабриках? Углекопами в шахтах? Или за плугами ходить?

— Дык восстанья же! Повсеместно хлещут!

— Ну дак что! После тумана земля в другом складе виднеется. То и восстания. Офицеры с помощью чехов почали, а как будет дальше, одному богу известно! — И помолчав, с огорчением сказал: — Беда у нас в главном. Программы не имеем.

— Какой программы?

— Как вот у большевиков. Это ведь они затвердили на весь мир: земля — крестьянам; фабрики и заводы — рабочим; народу трудовому — свобода; буржуям и дармоедам — пинок в зад! А мы что можем обещать? Буржуев и капиталистов вернуть — только и всего. Говорунов еще от всяких серых партий. Более ничего не имеем. Вот в чем у нас полнейшая чересполосица!

Батюшка Лебедь погнулся на лавке, призадумался. А в самом деле, что они, белые, дадут народу?

— А ежели самим нам перехватить у большевиков, чтоб земли всем мужикам и казакам без всякого возмездия и налогов, а фабрики те — мазутчикам?

— Ну, батяня!

— А што? За такое дело все подымутся. А-апрделенно!

— Это и прозывается большевицтвом! Смыслишь? И ежели брякнешь где при офицере этакое — не помилуют. Твое дело призывать казаков на восстание, чтоб вернуть буржуазию, всех капиталистов, а так и говорунов, у которых язык на все стороны болтается. Чехи почали и — уйдут потом. После них, должно, припожалуют из-за Урала красные. Офицерые высшее, само собой, покатится к Тихому океану во Владивосток, а там на корабли с награбленным добром, и — поминай как звали! Ну, а вы тут царापаться будете, расхлебывать заваруху.

— Эв-ва ка-ак! Ну, а ты куда метишь?

— Не «закудыкивай», батяня! Известно, в какую сторону двинусь, за офицерами!

— Дык што же мне делать, скажи?! — И борода старого Лебеда задралась вверх.

— Мозгами ворочать надо! А более ничего не добавлю. Самому тошно!

Разошлись по своим постелям, как не сходились. Батюшка Лебедь подвинул супругу на деревянной кровати, ворча, улегся, тяжело вздыхая. Ну сынок! Эв-ван в каком он тайном «союзе» состоит! Чтоб им всем подохнуть, гадам! Сами же восстание сготовили, подтолкнули к побоищу, а потом, как не выгорит, удуют в заморские страны с награбленным добром! И Ной за ними, стервец. Не булки бы тебе, обжора, из отсевной муки, а камни напихать в кули, чтоб ты ими подавился! То-то не скоблел его ни одна пуля на позиции — на тайных советах заседал с офицером и генералами, а казаки головы сложили, и в том числе старший сын Василий!..

II

Трудное дело — мозгами ворочать, — а надо, надо, чтоб собственную голову не потерять. Минуло еще два дня без происшествий, и вдруг среди ночи снова раздался стук в окно.

— О, господи! — тяжело воркнул отец. — Еще хтой-то, кажись, примчался.

Хотел поднять Анастасию Евстигнеевну, но ведь она же через него перелазить будет, пыхтеть да сопеть; сам вышел в куть.

— Кто там? — окликнул батюшка Лебедь, выглянув в улицу. Ага! На коне кто-то, а дождина так-то поливает, ну как из ведра! Небо лопнуло, что ли? Неделю льет.

— Атамана! Живо!

— А, чтоб вам всем скопытиться! — выругался батюшка Лебедь и, накинув мокрый шабур на голову, пошел из избы. Приоткрыл калитку, спросил:

— Чаво ишшо?

— Атаман?

— Нету таперь атамана. Станичный Совет имеется.

— Што-о-о! — рыкнуло фистулой чье-то горло, и на коне к калитке. — Фамилия?

— Лебедь.

— Василий Васильевич?

— Ну и што?

— Кэ-эк рэ-эзгэ-ва-ариваешь?!

Эге! Не иначе, из офицеров. Капюшон дождевика на голове, а из-под полы выглядывает низ шашки, карабин за плечом стволом вниз.

— Распустились, сволочи! Большевиков обнюхиваете? Мы вам по-окажэ-эм! Сва-абоды вам захотелось? Па-алучитэ-э! Передашь пакет хорунжему Лебедю.

Быстро протянул атаману что-то белое. Атаман принял пакет, успевший намокнуть.

— А казаков, атаман, мы еще тряхнем! Мы им покажэ-эм! А ты моли бога, што у тебя сын в героях!

Вздыбил коня и ускакал в темень непогодья, только копыта зашлепали по грязи.

Батюшка Лебедь выпустил заряд матерков на всю ограду и, усмиряя злой дух, вернулся в дом. Сын успел вздуть огонь, оделся, поджидал.

— Кто еще приезжал?

— Из вашей головки сволота какая-то! — туго провернул батюшка и сунул сыну пакет. Тот вскрыл его и прочитал у лампы:

«Г. Х. Л.

Немедленно явитесь указанный пункт. Пароход отойдет шестнадцатого. Немедленно!

А. Е. К. В. Б.»

— Ну, што там? — не терпелось узнать старому Лебедю.

Сын сунул ему записку:

— Можешь прочитать, а потом сожгу.

Батюшка Лебедь прочитал.

— А што обозначают буквы, не скажешь?

Ной взял серянки со стола, подошел к русской печи, поджег записку (догадался: записка Селестины Ивановны, как и условились), подождал, покуда не сгорела, ответил:

— Скажу, да только ты от меня ничего не слышал! Первые буквы: «Господин хорунжий Лебедь», а последние: «Атаман Енисейского

казачьего войска Болотов».

— Эв-ва! А Сотников как же?

— В министры сготовливаем, — отчаянно врал Ной.

— Сопливый из него министр будет! С одним дивизионом управиться не мог.

— Батяня! — И в голосе сына зазвучала колокольная медь. — За такие слова на наших доблестных белых министров мы ставить будем кажинного к стенке без промедления! Мы — не большевики, не запамятуй. И про свободу — ни гу-гу! Это вы на Ленина несли всякое — большевики дюжили. А у нас другого склада будет разговор.

— Спасибочка!

— Атаман! — зыкнул сын на отца. — Эт-то что за дисциплина?

Батюшке Лебедю на миг показалось, что глазищами сына посмотрел на него дьявол. Да и сын ли ему этот рыжий верзила, на голову выше родного отца?!

— Закладывай лошадей в тарантас. Грузи, что сготовлено. До рассвета выедешь. Да поспешай только! И моего саврасого заседлай. Помчусь до тебя.

— Али не вместе?

— В ЧК заехать можно вместе!

У батюшки Лебеда вскипала до того лютая злоба, что он ничего уже не мог сказать «их благородию» сыну; повиновался. Пуццай метется на свой пункт! А он, атаман, потихоньку шумнет казакам! Ужо погодите! Мы тоже с мозгами. Подумаем еще!..

И — подумали. Таштыпские казаки выступили против Советов самыми последними, да и то под угрозой арестов и расстрелов...

Ш

Дождь все так же полоскал темную, нахохлившуюся станицу, когда Ной в дождевике вышел из ограды и подался к дому своего бывшего ординарца Саньки Круглова. В переулке непролазная грязь. Темно и сыро. Ни в одном доме огня. Спят казаки, как те солдаты в казарме, где довелось побывать Ною в трудные гатчинские дни! Как-то они еще взыграют?

Почти рядом со старым домом Саньки возвышался сруб из пихтача и кедра: определил по запаху свежеобтесанных бревен.

Торчали стропила, еще не покрытые тесом; дом строится на два крыльца — знай, мол, наших! У Саньки ноздря свистела вылезти в богатые станичники.

Бывший ординарец вышел в попоне, накинутой на голову, и, с некоторым страхом приглядываясь к Ною, идущему оградой к крыльцу, скосил глаза на открытую сенную дверь — в случае чего нырнет в сени. От Коня Рыжего всего можно ожидать. Разве не Санька распустил о своем бывшем командире порочащие слухи по станице, а, как недавно выяснилось, Конь Рыжий свинью подложил большевикам — полк не удержал и тайный сговор будто имел с неким «союзом» в самом Петрограде.

— Ну, здравствуй, Александр Свиридыч, — поприветствовал Ной, но руки не подал. — Пришел поговорить с тобой, хотя надо бы тебя... Ну да ладно! Вихлючий ты, стерва. Не думал того! Подвалил ты меня, гад, под ЧК! Молчи, не вводи во искушение. Через тебя чуток не выдрали меня со всем корнем, какой имею в уезде, а так и в губернии. Большевикам прислуживал?

— Оборои бог, Ной Васильевич!

— Ти-х-ха! Разговор тайный. Только что прилетал гонец из нашего «союза», на большое дело выезжаю. Атаман войска Боголов вызывает.

— Разве он атаман?

— Это мы решили еще в Самаре: он! Ну, дак вот. В записке сказано: убрать тебя, как брехливую собаку. Тих-ха! От меня никуда не упрыгнешь. Жалею не тебя, а детишек и Татьяну твою. Но упреждаю: казаки без меня разговор поймут с тобой самый короткий. Как выступят на Минусинск — аминь тебе!

— Ной Васильевич! Да разве я...

— Слово не давал тебе. Слушай! Если тебе дорога жизнь, не медли: собери провиант, оружие, какое имеешь, чеши в тайгу на охотничью заимку, и там пережди до зимы, а может, и зиму! Живым останешься. Это я тебе говорю из милосердия. А Татьяна пушай слушок пустит, что ты со мной уехал по тайному вызову командования войска. Ясно?

Саньке враз все стало ясно — дрожью прохватило от затылка до пяток. За что на него такая напасть? Шутейные разговоры были, и эвон как обернулось! Он готов служить Ною Васильевичу по гроб жизни,

но если уж так складывается, уйдет в тайгу от греха подальше. Только он ни в чем не виноват! Оборони бог!

— Экий ты склизкий! — покачал головой Ной. — Вроде налима. Купца того бандиты кокнули?

— Какого? Ни сном-духом!

— Ну, налим! «Какого»! С чьим богатством притащился в станицу? Не спрашивал, да и ну тебя к лешему!

Санька поежился под попоной, бормоча:

— То-то мне сон привиделся! Будто я со своей Татьяной хожу берегом Таштыпа, а вместо гальки — сплошняком курицые яйца, ей-бо! Топчу их, топчу, а их все больше и больше!..

— Про сон бабе доскажешь. Прощевай!

— Ной Васильевич!

— Ну?

— Хучь скажи, што происходит?

— Восстание! Смыслишь? Да только одна беда: за Уралом у тех большевиков два миллиона в Красной Армии! Сдюжим ли? У нас ведь, господи помилуй, окромя чешского корпуса, дивизии нету еще, да и вооружения такоже, У самого башка трещит! Ну, да в попятку нам идти некуда. Может, малость продержимся, а потом дунем до Владивостока.

Санька моментом, сообразил: надо убираться от такой напасти! Два миллиона! Ого! Силища у тех большевиков огромяющая. Ишь, как встревожился хорунжий! Припекло рыжего. Работал, выходит, вашим и нашим, и на иностранные корабли нацелился, чтоб в случае чего удрать! А он, Санька, при каком интересе останется?

— Вот и отпраздновал я ноне влазины, — покосился Санька на недостроенный дом. — Язви ее в душу! Черти видно сглазили.

— Если пересидишь в тайге стребительное побоище — будут влазины, только без меня. Ну, прощевай! Не поминай лихом за Гатчину, что я тебе не доверял тайные секреты нашего «союза».

И — ушел. Санька облегченно перевел дух. Слава богу, пронесло! Ребра целые. Ну, Конь Рыжий!.. Хоть на том спасибо, что предупредил. Ни к чему Александру Свиридовичу Круглову вся эта заваруха! Пусть старый Лебедь созывает серых волков с шашками, у кого они еще не отобраны...

На другой день Санька тайком уехал к себе на заимку, поджидая, покуда Татьяна не засушит ему кулей пять сухарей и не насолит сала, чтоб уйти потом в глубь Саян...

IV

Сумность напала — душа в туман укуталась! Как-то все сложится в дальнейшем? Ну, Санька не задержится. С этой стороны свидетеля не будет. А как с той, где Дальчевский, генерал Новокрецинов? Есть еще и Дуня-пулеметчица!..

От Саньки пошел проститься бабушкой Татьяной.

В доме ее светился тусклый огонек. Еще на крыльце услышал затяжной кашель. Постучался. Бабушка открыла сенную дверь, встревожилась:

— Беда пригнала?

— Уезжаю по тайному вызову — гонец был.

— А мой-то совсем плох. Никудышен! Доживет ли до середины лета?

— Даст бог, поправится.

— И! — бабушка махнула рукой, провела Ноя в переднюю комнату, заставленную фикусами в кадучках и цветами в горшках на четырех подоконниках; Ной разулся у порога, чтоб не наследить на половиках; горела семилинейная лампа с увернутым фитилем, и в горнице, где лежал чахоточный муж Татьяны Семеновны, тоже светился слабый ночник. Резко пахло каким-то лекарством и ладаном. У порога Ной стряхнул шабур и повесил с войлочным котелком на сохатинные рога.

Бабушка пригласила сесть на лавку к столу.

— Обсказывай!

Ной скупо поведал про свое выдуманное подпольство, то же, что и отцу: такие-то дела!

— Ох, богатырь мой, Ноюшка! — покачала головой бабушка и, глянув на открытую дверь в горницу, пошла и закрыла ее филенчатыми резными половинками. — Запутался, вижу. С чего тебя занесло в «союз» тот к генералам и серым каким-то? Головушка рыжая! Тебе ли с такими шишками хлеб-соль водить?! Твое дело, Ноюшка, телячье:

пососал и в куток. Полком-то командовал по нечаянности! Тебе ли на божницу лезти?

Ноюшка помалкивал. У него к бабушке очень серьезный вопрос имеется, да вот как спросить?

— Скажи правду: удержатся белые, если свергнут в Сибири проклятушие Советы? — спросила Татьяна Семеновна, присаживаясь рядом.

— Не удержатся.

— И мой говорит так же. В чем дух, а все едино твердит поселенец: Советы в Россию пришли насовсем. А мне так-то тяжело слушать! Душа к ним не лежит, Ноюшка. Потеряла я своего Кондратия из-за баламутов этих.

Повздыхала, дополнила:

— Тотчас с тобой бы поехала, истинный бог. Хоть и не та теперь рука у меня, а рубила бы этих советчиков до последнего своо духу, истинный бог! Уж лучше мертвой быть, чем с Советами жить! И ты вершишь правое дело, Ноюшка! Правое! Христианское. Они вить, жидюги, всю нашу веру порушат, в безбожество обратят, навозом да грязью станут люди!..

Ной уставился на свои босые ноги, помрачнел. Голос казаков слышит! Ярость казаков нутром чувствует!..

— Не вешай голову, Ноюшка. Не вешай! Даст бог, воскресите матушку Россию, и радость всем будет. Дай хоть взгляну на твою ладонь. На левую.

Ной положил руку ладонью вверх на столешню. Бабушка, склонив голову, долго ее разглядывала, повздыхивая, а потом сказала:

— Крестовая! Вот тебе и в рубашке родился! Хучь бы рубашку сохранил. Игде потерял-то ладанку?

— В мальстве еще потерял.

— Крестовая! Крестовая!

— Что обозначает — «крестовая»?

— Линии такие. Крестовые называются. Вертеть тебя будет жизнь и так и эдак, а богатства не вижу. Пустошь, Ноюшка. И жены на линии нету. Век холостовать будешь, кажись. Экий, а?! Сила-то какая в тебе, а линия — одинокая, ущербная. Женская линия должна рядом с твоей коренной идти, а — нетути. Как корова языком слизнула. Лучше бы

мне не смотреть на твою карту. Ну, не сокрушайся. Не всегда жизнь складывается по ладони. В Красноярск поедешь?

— Туда.

— Просьбы нет ко мне?

— Есть.

— Говори, покель мой притих. Три часа било! Вот тебе и линии! У него вить на руке — долголетье, и три жены по стремени коренной линии. А он и одной не имел, ежли меня не считать. Какая я ему жена? Восьмидесятый разматываю, а ему — сорока семи нету! И ноне сгаснет. Чем я прогневила господа бога, не ведаю!.. Третьего мужика хоронить буду, господи!.. Ладно, не будем печалиться, пока в доме нету покойника. Какая просьба?

У Ноя не выходит из головы страшная история, рассказанная Селестиной в Гатчине.

— Сперва хочу спросить: Вы были при дяде Кондратии, когда его убили? Ну, помните, по дороге на Минусинск, еще в 1907 году? Вы же рассказывали.

— С чего тебя занесло в даль этакую? Не по дороге, а в Ошаровой. Деревня под Красноярском. Под новый год было, помню. В последний день рождества.

— Как это произошло?

— Да просто: налетел эскадрон Кондратия на беглых. Мужики натакали. Точно, грят, те самые подпольщики, которых власти ищут. Облава была на них в Красноярске. Поранили, да не изловили. С дохтуром едут. Тоже из ссыльных...

И, вспомнив давнее, бабушка разволновалась:

— Я б их, гадов, на раскаленных сквородках жарила, истинный бог! Помню, как еще в девятьсот пятом всю их дружину мазутчиков загнали в те железнодорожные мастерские, обложили, как волков, и гранаты им подкидывали. Жарко было, а — дюжили! Более недели отсиживались. Кондратия мово у тех мастерских ранило, да не шибко.

— С чего вы на них налетели в Ошаровой?

— Сказала же! Мужики послали. Ну, захватили в избушке на самом краю деревни. Двух раненых, а двое успели убежать. Тайга-то рядышком! С теми ранеными возилась жидовка. Глаза, как сейчас вижу, — чернушие, волосы черные, длинные, а сама этакая злющая волчица!..

Ну, мой Кондратий проткнул одного шашкой, тут она в него и стрельнула из револьвера. Как мы не увидели — не в ум, не в память!..

Кондратий охнул и повалился боком на железную печку. Я кинулась к нему, а у него — глаза стеклянные. Кончился! В самое сердце пуля попала. Никулин — знаешь его? Старик теперь. Вот он! Успел отобрать у жидовки револьвер, да в нее самое пальнул, да поранил токо. Тут я спохватилась. Вырвала из мертвой руки Кондратия шашку, и... господи прости!.. Не к ночи вспоминать экое!..

Ной погнулся на лавке и долго молчал, а потом спросил, да глухо так, с придыхом:

— Батюшка ваш — Семен Анисимович Мещеряк?

— Аль запомятовал?

— А Григорий Анисимович Мещеряк — дядей будет?

Не понимая, куда клонит рыжеголовой Ноюшка, бабушка удивилась:

— Штой-то кидает тебя, Ноюшка, то в одну, то в другую сторону?

А Ноюшка тихо так, не глядя на бабушку:

— Стал быть, зарубили вы в той избушке двоюродную сестру свою.

— Окстись! Аль умом тронулся?

— Родную дочь Григория Анисимовича Мещеряка.

— Да ты чо несешь-то?! Жидовку зарубила. Али я из памяти выжила, што ль?!

— Не жидовка она была, а из рода в род казачка, как вы сами. Селестина Григорьевна Мещеряк, а по замужеству — Грива. И тот, что убежал в тайгу, был — доктор Грива. Он и теперь в Минусинске проживает.

— Да ты што?! Нет, нет! Брехня, брехня! Штоб сестру Селестину... Да, нет! Откель набрался?

— От самого доктора Гривы, Ивана Прохоровича, — соврал крестник. — Он говорил, как сгилла его первая жена, революционерка, в деревне Ошаровой. Тут я и вспомнил, что слышал от вас.

Бабушку подхватила некая сила с лавки и понесла спиралью по избе — боком, боком. Сунулась к порогу, кинула веник на другое место, протопала в куть, заглянула в цело печи, на кухонном столике переставила порожние, прожаренные в печке глиняные кринки, и тогда уже снова села на лавку, спросила:

— Давно узнал у дохтура Гривы?

— Как был в городе.

— Сказал про меня?

— Не говорил.

— Ох ты, господи! Правда ль то? Ужли была Селестина?!

— Разве вы ее не видели, когда еще жили на Дону?

— Как же не видывала! Мы ведь переселились в Сибирь с Кондратием в восемьдесят пятом! Помню ее гимназисткой... До чего же она выгладистая была! Вся в болгарку, што дядя Григорий с Турецкой войны привез. И статность, и пригожесть. А умнющая-то, умнющая!.. В Петербурге училась на каких-то женских курсах, не в памяти, учительницей стала, там же и замуж вышла за военного дохтура. Фамилию дохтура запомнила!..

— Грива его фамилия.

— Не помню. А потом она с доктором в Севастополь переехала...

— Глаза и волосы у нее были черные?

— Черну...

Не договорив, бабушка схватилась ладонями за шею — задыхнулась. Уставилась на Ноя, и рот закрыть не может.

Со стены три раза прокуковала кукушка.

Ной поднялся уходить.

— Теперь просьба у меня к вам, бабушка. Меня тут не будет. Ну, а батюшка, как и все казаки, сами знаете, какие бывают в ярости и безумстве. Поговорите с ними, чтоб не захлебнулись они в людской крови, когда шумнет по уезду восстание. Пущай укрощают в себе дьявола!.. В порубленных и убитых могут оказаться братья и сестры, племянники и племянницы, отцы и дети, а так и чужие да безвинные.

Бабушка отчужденно смотрела на Ноя и ничего не понимала.

Ной попрощался с нею — не слышала. Виденье открылось перед ее затуманенным взором. Будто бы пришла к ней в дом черноглазая двоюродная сестра Селестина Григорьевна, смотрит, смотрит обвинно, не моргая мертвыми глазами: «За что ты зарубила меня, сестра? За что? За что?!»

— О, богородица пресвятая! — со свистом вырвалось у Татьяны Семеновны. — Убивцы мы! Все как есть — убивцы! Иди, иди! Ступай! — махнула рукой Ноем — подняться с лавки не могла.

Ной поспешно оделся и ушел в непогоду ночи. Чуть-чуть брезжил рассвет.

Дома ждали слезы — мать ревела в голос; сестренки облепили, а русококая Лизушка — рук не могла оторвать от брата. Так-то льнула и плакала к своему единственному защитнику. У самого Ноя в носу вертело, да и у батюшки атамана голос пропал. Ной попросил отца, чтоб он взял с собою Лизушку — пущай побывает в городе и еще раз свидится с ним перед отъездом.

Такое это было время.

И кровь. И слезы.

И печаль, печаль, печаль!..

V

Ненастье.

В дороге было так же пасмурно и дождливо.

Под вечер на другой день на усталом Савраске Ной приехал на пасеку доктора Гривы.

Ян Виллисович что-то стругал фуганком на верстаке под навесом. Увидев спешившегося Ноя в брезентовом дождевике, бахилах, Савраску по пузо в грязи со вьюком у седла, пошел навстречу:

— Здравстуй, Ной Васильевич. Я ждал, ждал, не ехал лесничество. Селестина Иванна уплыла с красногвардейской частью в Красноярск. Ошινή беспокоилась, о вас. Пакет оставила. Сегодня в обед пришел еще один пароход «Россия» для новых красногвардейцев. Ви на «России» поплывете? Иванна сказал: вам надо повидать Артем Иванович Таволожин — председатель УЧК. Сейчас принесу пакет.

Ной поставил Савраску на выстойку, отпустил подпруги и нарвал травы, вытер ему бока и пузо.

— Она вас, Ной Васильевич, ошινή глубоко уважайт, Селестина Иванна, — сообщил старик, передавая пакет.

В пакете два листка. Один, отпечатанный на пишущей машинке, — «Распоряжение капитану парохода «Россия», где было сказано, что товарищу Лебедю Н.В. разрешается погрузиться на пароход с лошадью и вещами. Распоряжение подписано: «Заместитель председателя УЧК С. Грива». И число: 12 июня 1918 года.

На другом листке, написанном черными чернилами нарочито разборчивым почерком, Селестина просила Ноя найти ее в Красноярском Совете. И там, в Красноярске, разрешится вопрос относительно назначения Ноя в действующую часть. Ян Виллисович, меж тем, поведал ему о недавних событиях.

Новостей — куча и все чернее сажи. Вокруг Красноярска с востока и запада идут ожесточенные бои красногвардейцев с белочехами и белогвардейцами. Из Минусинска два раза за это время отправляли пароходами спешно мобилизованных мужиков, и завтра еще отправят.

Разминаясь после долгой дороги, Ной прохаживался возле Яна Виллисовича, слушал.

— Иванна очень больша был тревога! — сокрушался Ян Виллисович. — А я сказалъ Иванна: гропы не будут иметь победа навсегда. Временно. Временно!

Ной остановился, уперся взглядом в морщинистое лицо Яна Виллисовича, переспросил:

— Какие «гропы»?

Ян Виллисович сел на верстак, пояснил:

— Ну, гроп, какой хоронят покойников. Я понимайт так: революция — это молодой люди России, молодой кровь, крепка сила; они, молодой, выбрал самый трудный дорога!

Контрреволюция поднималь гропы — старый люди: капиталист, жирный чиновник, который не надо ни революция, никакой перемена великий России!..

Какой запрос их? Жирно жить, покойно, мягкий постель, крепко спайт, кушайт хорошо. Они — гропы. Живой гропы! Им надо помирайт, но они никак не хотят помирайт. Они будут смердятъ, жить трупом среди живой люди. Они хотят вечно жить! Вечно давить молодой люди России. Они — гропы! Живой гропы! А ви все — молодой, сильный, о!

Ной с некоторым удивлением разглядывал Яна Виллисовича, будто впервые видел его. Интересно толкует старик!

А дождь все лил и лил...

Ной поужинал с Яном Виллисовичем — чай пили с медом, а на сытную пищу Ной не взглянул — аппетит пропал. С тем и ушел на сенник под навесом, где устроил себе постель. Застлал сено одеялом,

тулуп кинул под голову, разделся, сложив бахилы с шароварами и гимнастерку внизу у стены, и долго лежал на податливом сенном ложе, поглядывая в чернь ночи с непрерывным дождем.

Последняя ночь Ноя на тихой пасеке!..

Слушая дождевую пряжу, что-то упорно и нудно ткущую на тесовой крыше, думал о предстоящем отъезде.

Морил сон — натрясся за два дня в седле по непролазной грязи. Как-то еще доедет бабушка? Взял ли с собой Лизушку? Промокнут. Почему-то вспомнил, как в Гатчине сидел возле печки-буржуйки январской ночью; одолевали тяжелые думы, и Ной что-то должен был решить очень важное, а за окном в морозной гатчинской стыни три пьяных казачьих голоса орали песню на весь переулок:

*Понапрасну, Рыжий, ходишь,
Понапрасну сено жрешь!
Ничего ты не получишь,
Без хвоста домой уйдешь!..*

А Санька ржет, как жеребец.

— Вот, гады! Песню переиначили. Это ж глотки дерут казаки сотни Терехова, оренбуржцы. Разве про то песня? А чаво, Ной Васильевич, все может быть, понапрасну ноги бьем! Што нам даст революция? Шейной мази, али пинок под зад. Али упокоят ни за что, ни про што. Дунуть бы от этой революции, покель хвосты нам не обломали! А?

«Экое, господи прости! — помотал головой Ной. — Должно, по гроб жизни помнить буду Гатчину!..»

Вынул золотые часы из кармана гимнастерки — наградные, пожалованные Ноем великим князем Николаем Николаевичем за службу в почетном эскорте. Часы лежали в кожаном чехле — сам сшил три дня назад, чтоб не портились от пыли: чистить надо потом, чинить, а часовщики, не иначе, как вынут из них нутро да никудышное вставят, вот и пропали редкостные часики!.. Нажал головку боя, и часы тоненько пробили два раза и еще семь раз тренькнули: два часа семь минут ночи. Что-то холодно, холодно, знобко. Надо тулуп накинуть на ноги, к чему держать в изголовье? Сено можно подбить заместо

подушки. Так и сделал, ворочаясь, как медведь в берлоге, утаптывая место для зимней лежки.

В голове все тише и короче мысли, и по всему телу разлилась приятная, расслабляющая истома...

VI

А дождь все льет и льет!..

Где-то рядом фыркает Савраска. Ной же спутал его на лугу за бором. Или это другой конь, не Савраска?

— И-и-го-го-го!.. — слышит Ной призывное ржание.

По ржанию узнал: это же генеральский жеребец! И сам себя видит не на сеннике, а на коне рыжем. И не сон будто, а явь: влетает он галопом в сияющий собор с золотыми куполами. А вокруг народу тьма-тьмушая: офицерье, казаки в гимнастерках при шашках и карабинах (разве можно в собор при оружии?!), генералы при погонах и эполетах, министры, великий князь Николай Николаевич, царь со своим бледным, болезненным наследником, с царевнами — Анастасией, Татьяной, Марией, Ольгой; сама царица, Александра Федоровна, и множество сановных фигур. Фигуры заглавные и несть числа им! А на амвоне гробы стоят — множество! Отпевание идет. Хоронят? Кого хоронят? «Ужли это и есть те самые «гropy», про которые рассказывал Ян Виллисович?»

Ранней ранью поднялся мрачный и злой, будто всю ночь на нем черти скакали и до того уездили, что в голове туман и внутри пустошь.

А Ян Виллисович: хорошо ли спалось Ною Васильевичу? Не надо мрачный вид иметь. Иванна тоже была очень мрачна перед отъездом. Очень печальная и ночью, слышал, плакала. Иванна — плакала! Это же так противоестественно. Конечно, Иванна красивая девушка, но она фронтальной комиссар; выдержку надо иметь. Твердость духа. Гробы не будут иметь успеха. Временно, временно.

— Сумлеваюсь! — вырвалось у Ноя. Не слушая рассуждения Яна Виллисовича, оседлал Савраску и поехал рысцой.

Пасмурно. Пасмурно и сыро.

Над Тагарской протокой Енисея белесою подушкой нависал туман после холодной и дождливой ночи. В троицу стояло необычайное ведро, а сейчас будто осенью дохнуло.

Дымя двумя трубами, загребая воду ходовым колесом, к пристани подваливал еще один пароход — облинялый, тусклый, будто век некрашенный. Ной прочитал надпись полукружьем над ходовым колесом: «Тобол».

Шагом проехал берегом ниже к трехпалубной и такой же двутрубной «России». Спешился, привязал Савраску у столба и пошел на трап. Задержали часовые красногвардейцы с примкнутыми к винтовкам штыками, в старых шинелях и фуражках.

— Кто такой? Без разрешения военного коменданта на пароход входить нельзя.

Ной достал пакет из кармана кителя:

— Этот пакет УЧК я должен передать лично капитану.

— Из УЧК? — спросил один из красногвардейцев и, не посмотрев пакет, повел Ноя на пароход.

Двое матросов драили нижнюю палубу. Один из них споласкивал ее водою из ведра, второй мыл шваброю. Поднялись на среднюю палубу, где размещались господские каюты первого и второго классов. Отыскали каюту с эмалевой пластинкой на двери, привинченную медными винтами:

«КАПИТАНЪ»

На стук в дверь раздался голос:

— Входите!

В просторной каюте, за маленьким столом, прямоплечий капитан в белой сорочке с черной бабочкой у воротничка пил чай вприкуску с сахаром.

— У меня к вам письмо из УЧК, — сказал Ной, подавая пакет.

Капитан внимательно прочитал листок, положил себе на стол:

— Хорошо. Дам указание боцману — предоставит каюту. А вот с конем... У меня на буксире нет баржи. И военные власти не предупреждали, что будут еще и кони с красногвардейцами. Много коней?

— Покуда я один с конем, — ответил Ной.

— Поставите его на корму. На сутки возьмите фуража.

— Само собой.

— Вы сотрудник УЧК? — И не дожидаясь ответа, сказал: — Но ведь Селестина Ивановна сейчас в Красноярске? Позавчера встретил ее на «Соколе» у Даурска — плыла в Красноярск.

Ной пояснил:

— Пакет для меня Селестина Ивановна оставила на пасеке, где проживала.

— Угу! — кивнул сахарно-белой головой капитан, приглядываясь к незнакомцу в брезентовом дождевике и казачьем вылинявшем картузе. — Селестина Ивановна могла бы мне написать просто записку, а не столь грозное «распоряжение»! Как-никак — родная племянница! Или у сотрудников ВЧК нет ни дядей, ни отцов?

Ной не знал, что и сказать. Он понятия не имел о том, что у Селестины Ивановны есть дядя — капитан парохода.

— Вы давно с ней работаете?

— Вместе служили в Гатчине, — просто ответил Ной.

— Давайте познакомимся, — сказал капитан, поднимаясь, и первым подал руку: — Тимофей Прохорович Грива.

Слегка пожав тонкую, холеную капитанскую руку, Ной представился:

— Ной Васильевич Лебедь. Служил председателем полкового комитета сводного Сибирского полка.

Капитан взглянул на красногвардейца:

— Вы свободны, товарищ.

Звякнув винтовкою о косяк двери, красногвардеец ушел. Капитан пригласил Ноя:

— Садитесь пить чай. Можете раздеться. Вешалка у двери.

— Благодарствую, — ответил Ной и, стянув хрустящий дождевик, повесил его вместе с картузом на крючок, окинув взглядом шикарную каюту капитана.

Господская музыка чернеет лакированными боками. На верхней крышке — форменная фуражка капитана и бело-мраморная красивая статуэтка голой женщины. Ной видел где-то в Петрограде точно такую мраморную женщину во весь рост и кто-то ему сказал: «Венера». Люба она господам, что ли, нагая Венера? Телом запохаживает на шалопутную Дунюшку.

— Берите сахар и печенье, — угощал капитан. — Прошу прощения: вам не кажется странным, что заместителем председателя

УЧК работает Селестина Ивановна? Непостижимо. Или недостаточно мужчин для столь... трудной работы. Вот хотя бы вы!

— Не сподобился, — туго провернул Ной, не уяснив, куда клонит белоголовый капитан.

— Понимаю! — раздумчиво проговорил капитан, отпивая чай из фарфоровой чашки. — Для того, чтобы получить назначение заместителем председателя УЧК, нужны особые заслуги у большевиков? Вы их не имеете?

— Откуда быть «особым заслугам»? И кроме того, не в партии я.

— Не в партии?!

— Оборони бог! Казак я, а по званию — хорунжий. К большевикам сопричастен только по перевороту в октябре.

— «Сопричастен»? — крайне удивился капитан, внимательно разглядывая рыжебородого гостя. — Ка-азачий хо-орунжий?

— Так точно.

— И — слу-ужили у бо-ольшевиков? — пуще того удивился седой капитан, что-то обдумывая.

— Сподобился, как другого поворота не было.

— По-онимаю! «Другого поворота не было»! — качал головой напористый капитан. — Ну, а если бы «поворот» представился?

— Был и такой момент, когда генерал Краснов с отборными донцами шел на Петроград свергать Советы.

— И как же?..

— Разгромили в три дня красновцев, а самово генерала доставили к Ленину в Смольный.

— Кто разгромил?

— Матросские отряды, красногвардейские полки, артиллерия с кораблей Балтики, а так и наших две сотни енисейских казаков.

— Па-ара-адоксально! — воскликнул капитан. Ной не знал смысла слова «парадоксально», но не стал спрашивать, а капитан: — Казаки, и — за большевиков с Лениным!.. Извечные враги всех социалистов! Этого я, извините, понять не могу. Я ведь тоже когда-то состоял в партии наиболее революционной — социалистов-революционеров, кое-что знаю о казаках из своей судьбы препровожденного на вечное поселение в не столь отдаленные места нашей благословенной Российской империи, ныне рухнувшей и

разбившейся вдребезги! Печальная и страшная судьба постигла Россию, извините. Страшная судьба!

Вот теперь для Ноя прояснилось: серый!..

— Ну, а куда же вы теперь едете, извините? Понятно, в Красноярск. А из Красноярска? Отступать на коне в тундру?

— Пошто — в тундру — хлопал глазами Ной.

— Но ведь красные из Красноярска бегут на пароходах вниз по Енисею. Не знаете? Ну, как же вы! Пять пароходов должно уйти завтра с товарищами интернационалистами и совдеповцами! Правда, бои еще продолжаются на Клюквенском фронте и где-то под Мариинском. Но бои безнадежные. Совершенно безнадежные! Наступают на Красноярск отборные чехословацкие легионеры, прекрасно вооруженные, а с ними белогвардейские части, в том числе — казаки! Казаки!.. Разве вы не читали последний номер «Свободной Сибири»? Напрасно, напрасно. Газеты — это информация нашего страшного времени, без чего нельзя жить. Надо же иметь хотя бы приблизительное представление, что происходит в мире и прежде всего у нас в России!

— Без газет расскажут обо всем люди, — спокойно пояснил Ной. — А в газетах, как знаю по Гатчине, шибко много бессовестно врут.

— А кто сейчас не врет бессовестно? — спросил капитан. — Все партии, сударь, изолгались до крайней степени. Понятно, независимых и объективных газет нету. Но ведь газеты надо уметь читать. Это же азбучное понятие для любого интеллигента.

— Я не интеллигент, казак просто. Только с пашни, из станицы.

— Вы едете с красногвардейцами?

— Должно, с ними.

— Не думаю, что вы успеете со своими мобилизованными мужиками послужить совдеповцам на каком-то фронте. Не успеете. Ну, а за сим на пароходы и в тундру!

— Пошто — в тундру? — сверлило Ноя.

— Ну, а куда же, извините? В низовьях Енисея — тундра!

Помолчав, сведущий капитан сообщил:

— Всех капитанов пароходов совдеповские военные власти предупредили, что они не оставят в Красноярске ни одного парохода,

чтобы их не могли догнать белые. Это же детская наивность! Не хотел бы оказаться в их положении.

Ноя сквозняком прохватывало: это ведь касается и его головы! В тундру он не попутчик товарищам. Оборони бог! Лучше в тайге отсиживаться до нового светопреставления.

— Я свои соображения высказал позавчера товарищам на пристани в Даурске, — продолжал капитан. — Приказано исполнять и не думать. Что ж, будем исполнять. Такова судьба всех мобилизованных, хотя с парохода у меня успели убежать два помощника машиниста, лоцман и четыре матроса. Сейчас пароход охраняют красногвардейцы с военным комендантом. Так что мы под арестом.

Ной не поддерживал разговора — соображение складывал...

— А ведь можно было иначе решить вопрос, — продолжал капитан. — Если уж уходить, то на Минусинск.

— Извиняйте. Но у красных, думаю, тоже головы не дубовые. Они знают, что казаки здесь, да и крестьянство их покуда не поддержит, — ввернул Ной.

— Казачьи станицы в уезде были бы блокированы и разоружены. Это во-первых. А во-вторых: в конце концов есть возможность отступить через Саяны в Урянхай, а там через Монголию в совдеповский Туркестан. Дорога длинная, но не столь безнадежная, как тундра.

Ной уразумел одно: пришло «мозгами ворочать». Может, не садиться на пароход вовсе, а сразу дунуть в тайгу, как он сам советовал Саньке? Но ведь кто-то же проявил о нем заботу, кроме Селестины Ивановны? Патрончик-то наганный у него в кармане! «Не берут ли меня на пушку серые? — подумал. — Вызовут опосля к стенке!» И так может быть. Но лучше уж все узнать в Красноярске доподлинно и в случае чего на коня и прочь берегом Енисея к себе в уезд и — в тайгу!.. Это еще успеется.

— Впрочем, теперь уже рассуждать поздно, — подвел черту капитан. — Пароходы, возможно, ушли, а за ними и два наших — «Тобол» и «Россия». Получается, как у графа Толстого в его романе «Война и мир». Платон Каратаев, мужичок забавный и премудрый, утешая барина Пьера Безухова, говорит ему: чаво, мол, беспокоитесь, барин? А если не вас убьют завтра французы, а меня? Того, говорит,

никто не знает. Потому, как рок головы ищет. Так и здесь — рок головы ищет! А в каких вы отношениях, извините, с моей племянницей?

— Да просто знакомые по Гатчине. Встречались там и здесь один раз побывал у Селестины Ивановны на пасеке.

Капитан натянул форменный китель, застегнул на все медные надраенные пуговицы, фуражку надел и пошел с Ноем. Нашли боцмана — пожилого человека, и капитан распорядился предоставить каюту товарищу Лебедю в первом классе.

— Мы еще встретимся с вами, Ной Васильевич, — попрощался капитан. — Заходите ко мне в каюту или в лоцманскую рубку. Поговорим.

— Рад буду, — кивнул Ной и ушел с парохода, сел на Савраску, поскакал на тракт: батюшка Лебедь должен вот-вот подъехать к городу.

VII

Дождь перестал, но небо так заволокло пасмурью со всех сторон, что солнышку негде было прочикнуться.

Батюшка Лебедь на паре гнедых в рессорном ходке ехал один — Лизушку не взял: куда ее в этакую мокропогодицу?

— Чуток сам не утоп на переездах чрез речки. Эко вздулись! Как токо обратно проеду? Хучь бы сеногнойные дожди не зарядили. У тебя как? Ладно?

— Слава богу. Поплыву на «России». С капитаном договорился.

— Не пристукают эти, из УЧК?

— Им не до меня! Красногвардейцев будут отправлять в Красноярск. Подошел еще один пароход — «Тобол».

— Эв-ва! Дык на «Тоболе» плавает масленщиком наш Ванька-дурень.

Ной удивился: четыре года не видел меньшого брата. Сколько раз выпытывал у батюшки: где он? А батюшка, должно, знал, что он близко, и ни разу не обмолвился...

— Ты его таперь не признаешь. Вытянулся, стервец, за эти годы. Забыл сказать: было от него письмо. Прописывал, што в партию большевиков залез, балда. Ишшо молоко матери не обсохло на губах, а он в большевики попер!

— Ивану девятнадцатый год. Своя голова на плечах.

— Ужли туда всех принимают?

— Отбор у них строгий, батюшка. Гарнизация суровая, как вроде военная. В чужой карман большевику заказано лезти, тем паче — разбогатеть — живо к стенке поставят.

— Да ну?! А Ленин?!

— Говорил же — из ссыльных. А какое богатство могло быть у ссыльного? Тюремная постель да харч казенный.

Батюшка подумал:

— В толк не возьму: кто такие «пролетарии»? Из какого роду-племени?

— Да без всякого роду. У дворян родовитость. А они — рабочие фабрик и заводов, у которых в одном кармане — вша на аркане, а в другом — блоха на цепи. А вот в партию серых или в кадетскую, там отбор из состоятельных господ-говорунов или из офицерья.

— Эв-ва! — понял батюшка Лебедь и больше ничего не спросил у сведущего сына.

За деревянным мостом свернули на Набережную к пристани. Нагнали марширующую роту недавно мобилизованных мужиков, каждый в своей крестьянской одежде, с винтовками через плечо, идут не в ногу, а сбочь роты — в ремнях, кителе и казачьем картузе — хорунжий Мариев.

— Ну, войско у Мариева, такут твою, — ругнулся батюшка Лебедь.

— Тише! Дома отведешь душу.

— Хорунжий-то, Мариев! Я вить иво знаю, стерву. Средний брат Никулина сказывал: на позиции снюхался с большевиками, вступил в их партию, как заслуги имел в девятьсот пятом, и вот командует гарнизоном. Попомни мое слово: казаки иво в куски изрубят. Вот те крест!

Ной не сомневался: изрубят!.. И его изрубили бы, если остаться дома.

На пристанской площади еще была одна рота мобилизованных. Ной увидел чрезвычайного комиссара Боровикова — шинель внакидку, маузер под шинелью. Тут же председатель уездного Совдепа Тарелкин в темном плаще и шляпе.

— К «России» подъезжать? Подмогнуть тебе? — спросил отец.

— Сгрузюсь один, и коня поставлю, а потом схожу за Иваном, если на пароходе. Надо бы ему гостинец передать. Сала и меду бы — голодает, поди.

— Кто иво гнал из станицы?! Чаво искал, шалопутный? — проворчал отец. — Траву возьмешь? Первая травка, гли! На пойме у аула подросла. Как коню без травы на пароходе?

— Ладно!

Ной взвалил куль на плечо, подхватил под мышку поперечную пилу с деревянными ручками, к которой примотаны были старым половиком Яремеева шашка, карабин и офицерский ремень с двумя подсумками. У трапа стояли те же красногвардейцы. Узнали Ноя и без слов пропустили. У входа, ведущего на господскую палубу, остановил вахтенный матрос:

— Куда прешь с кулем? Для груза имеется трюм.

— Мой груз со мною едет.

Матрос загоразивал трап.

— Не разрешается, говорю.

— Узнай у боцмана — живо! Он тебе даст пояснение. А теперь отслонись от трапа!

Посунул матроса в сторону и потопал вверх.

Шикарная двухместная каюта со столиком, зеркалами и с мягкой постелью. Ной засунул куль под полку и туда же «струмент», скрученный бечевкою, вытер пот со лба и вернулся на берег. За три раза перетащил все, изрядно загрузив каюту. А потом завел коня с помощью красногвардейца на корму, расседлал там, привязал, перенес охапками свежую траву и мешок с овсом.

Управился хорунжий.

— Ну, а теперь повидаемся с Иваном, — сказал Ной отцу и, развернувшись, они отъехали берегом к «Тоболу».

— Ваньку бы вздуть, а? — кипело у батюшки. — Отозвать бы в сторонку да содрать штаны и врезать сукиному сыну за большевицтво! Как думаешь?

— Чаво думать, батюшка? Это его линия. Ежли сознательно выбрал — пуцай пьет пиво с гущей.

— Не пиво, а кровью умоется, вертиголовый дурень!

На пристанской площади впритирку друг к другу люди с винтовками; некоторые из них в старом солдатском обмундировании, в

фуражках, картузишках, простоголовые. Возле торговых навесов дунул в медные трубы духовой оркестр. Не «Боже, царя храни» и не «Коль славен наш господь в Сионе», а нечто новое, непривычное.

— Слышишь? — спросил отца Ной.

— Што выдувают?

«Интернационал». Большевицкий гимн.

Чрезвычайный комиссар по продовольствию Боровиков поднялся на торговую лавку без шинели и фуражки — рев труб оборвался.

— Товарищи! — громко начал Боровиков. — Настал тяжелый момент для нашей рабоче-крестьянской Республики Советов. Тяжелый момент, товарищи красногвардейцы. Но это не смертный час, хотя нам грозит страшная опасность. Со всех сторон нас окружили враги. Как с Украины, так и с Дона. А теперь у нас, в Сибири, восстал еще белочешский корпус, а за ним — белогвардейцы подняли головы. А с ними кулаки и кровожадные казаки — прихвостни царизма. Вы теперь бойцы Красной гвардии трудового крестьянства, и вам придется драться с белой сволочью плечом к плечу с рабочими отрядами и с нашими товарищами интернационалистами. До последнего патрона будем драться. На этих пароходах мы поплывем в Красноярск. Никто из нас...

Тут Боровикова кто-то прервал. Ной увидел председателя УЧК Таволожина в кожанке и кожаной фуражке. Боровиков взял у Таволожина какую-то бумажку и некоторое время молчал.

— Чаво он, подавился, комиссар? — буркнул старый Лебедь.

— Запомни его, батяня. Да спаси бог, когда почнете заваруху, не налети на него с шашкой.

— Не скажи! Я б иво.

— Не успеешь глазом моргнуть, как сам без головы будешь. Этот комиссар по фамилии Боровиков. Тот раз в Белой Елани видел убитых бандитов? С ними управился один Боровиков — полный георгиевский кавалер, штабс-капитан.

— Штабс-капитан?! Чаво ж он с большевиками?

— У большевиков и генералов немало, не говоря про офицеров.

— Товарищи! — вскинул руку с бумажкой Тимофей Боровиков. — Только что получена телеграмма. Минусинский гарнизон остается на месте. Держитесь здесь, товарищи, тесными рядами — плечом к

плечу! Если поднимут голову казаки — никакой пощады врагам революции!

Старый Лебедь ухватился за бороду, будто пламя в ладони стиснул. Уразумел! Отошел с Ноем на берег протоки.

Вода мутная, как гуща ячменного сусла; рвет берег, и комья подмытой глины бухаются в воду. На том берегу, на дюне, возвышался дом доктора Гривы, темнеют стеною тополя и липы, ползут по небу тучи — жди опять дождя.

— Экая водища! — кивнул старый Лебедь...

— Грязь плывет, — сказал молодой Лебедь, думая о чем-то своем.

— Это ты в точку сказал — грязь плывет, как вот эти красногвардейцы, которые толкуются на площади. Ну да опосля грязи и чистая вода пойдет.

— С кровью и с мясом?

— В каком понятии?

— Ладно. Пойду попрошу кого из матросов, чтоб позвали Ивана.

Батюшка Лебедь отверг:

— Не хочу видеть сукиного сына. Я ж ему непременно морду побую, а эти вот, — кивнул на площадь, — привяжутся ишшо. Да и тучища, вишь, какая напоззает — поспешать надо. Повидай иво, выговор от меня передай строжайший, а так и от матери. Ну, а гостинцев — как знаешь. У тебя все есть.

— Ладно.

Ной обнял отца, трижды поцеловались, и батюшка Лебедь сел в коробок, понукал гнедых и рысью поехал прочь с пристани. Ной некоторое время смотрел ему вслед с сожалением, что оставляет отца, хозяйство и сестренку, и кто знает, что его ждет в Красноярске!..

VIII

Матросы с носилками грузили на «Тобол» дрова. Возле берега — поленницы, поленницы сосновых и березовых дров — на полную навигацию заготовлено. Потому-то и поредели вокруг Минусинска леса.

Ной задержал одного из матросов, возвращающегося с парохода с пустыми носилками. Спросил: плавает ли на пароходе масленщиком Иван Васильевич Лебедь?

— Есть такой.

— Будьте добры, позовите на берег. Скажите — брат просит.

— Брат? Позовем.

Как раз в этот момент к трапу подошел Артем Таволожин, увидел Ноя, развел руки:

— Так вы все-таки приехали? Ну, здравствуйте.

— Здравствуйте, товарищ председатель.

— Ну, как вы?

— Погрузился на «Россию», как Селестина Ивановна оставила мне записку для капитана.

— Пожалуй, поздно вам ехать в Красноярск. События происходят быстрее, чем мы думали. Мы получили телеграмму...

— Слышал, когда выступал Тимофей Прокопьевич.

— Боровиков? Вы его знаете?

— В Белой Елани виделись, когда я туда ездил уговаривать казаков.

— Сожалею, Ной Васильевич, что я не встретился с вами сразу, когда вы приехали из Петрограда. Тарелкин, например, все-таки не помнит вас, и будто не разговаривал с вами. Ну, это мне понятно. Эсер! И для него сейчас первостепенная задача — полный разрыв с большевиками. С казачеством заигрывает, чтоб собственную шкуру спасти. Вот вам истинная физиономия эсеров!

— Баламуты несусветные!

— Если бы только «баламуты», Ной Васильевич! Впрочем, вы их великолепно знаете по Гатчине и Петрограду. Все наши из Красноярска уходят пароходами вниз по Енисею. Присоединяйтесь к ним. А мне положено быть здесь. Мы так просто не сдадим своих позиций господам эсерам Тарелкиным и меньшевикам на уездном съезде Советов.

— Угу! — А себе на уме: «И председатель, стал быть, не поспешает в тундру на съедение гнуса и стреление белыми».

С парохода сошел на берег черноволосый парень в промасленной робе — узковатый в плечах, черноглазый. Уставился на рыжебородого; Ной, увидев его, сказал:

— Иван?! Ну и вытянулся ты! — И к Таволожину: — Брат мой. Плавает на пароходе масленщиком.

— Брат? Ну, ну! Не буду вам мешать.

Таволожин энергично пожал руку Ноя и пошел на пароход.

Иван сошел с трапа на берег, и Ной молча схватил его в свои объятия.

— Медведь! — сказал Иван. — Вот уж не ждал тебя встретить, хотя и наслышался много. Даже не верил, что про тебя говорили. Ты же, кажется, казачий офицер?

— Кажется! Хо-хо, Иван Васильевич. Хорунжий!.. А тебе кажется!.. Вырос, вырос! Тонковат только. Батюшка был со мною на пристани; гневается на тебя. Ну, да на родителей не надо злобствовать. Ты не безродный Иван, а от матери и отца при честной фамилии родился. И рода нашего достославного, русского.

— От Ермака того?

— А что Ермак? Плохо России послужил, если Сибирь для царства завоевал? То-то же, брат. Думать надо. Владимир Ильич Ульянов-Ленин сказал при собеседовании: казачество — такое же трудовое крестьянство. Смыслишь? То-то же!

— Казаки показали себя сейчас на стороне белых! Они же всегда были при царях карателями.

— Само собой, — поддакнул старший брат. — Это ведь глядя по тому, кто за спинами казаков. Не в лицо надо смотреть, а за спину: там бывает виднее и понятнее, что к чему и по какой причине свершается.

— А ты сильно похож на отца. Только выше и в плечах шире.

— На силу не жалуясь, слава Христе. И тебе бы надо возмужать не возле машин, а в поле, на пашне, на сенокосах, и плечи бы сами собой в размах пошли.

— Мне силы хватит, — успокоил младший старшего. — Как же, интересно, ваш полк оказался на службе социалистической революции?

— А ты думаешь, что революцию свершили одни матросы, большевики и рабочие? Были и солдаты, и образованные господа, да и сам Ленин не из масленщиков, Иван. Человек при большом уме и с образованием. Такжеже. И не будем говорить про то. Не знал я, что ты плаваешь на «Тоболе». Батюшка только на пристани сказал. А я уж погрузился с конем на «Россию». Каюту первого класса занял, якри ее. Пойдем ко мне, посидим часок. Четыре года не виделись. Чаю попьем с медом, да гостинец передам тебе от матушки и сестренки.

— От парохода уходить никому не разрешается, — ответил Иван. — Видишь, патрули? С ними приплыли и уплывем при военном коменданте. У нас и так по пути следования сбежали семеро из команды, и даже повар удул с тремя матросами. Отвязали шлюпку и удули, гады!

— Кто у вас комендант?

— Кривошеин из Красноярского ПВРЗ, крепкий товарищ.

Ной увидел председателя УЧК с двумя военными — все во френчах, с маузерами.

— Познакомься, товарищ Лебедь, с военными комендантами пароходов, — сказал Таволожин и представил: — С «России» — товарищ Яснов. Павел Лаврентьевич, — обратился он к Яснову. — На вашем пароходе поедут священные особы — архиерей Никон со своими чернорясными монахами, три дамы с ним. И еще сплавщики-артельщики. Приглядитесь к ним. А это, — показал председатель УЧК на второго военного, — комендант «Тобола» — товарищ Кривошеин. У них на пароходе будет плыть известный вам чрезвычайный комиссар Боровиков. Старайтесь, товарищи, по возможности не отрываться друг от друга. И будьте осторожны на пристанях, особенно в Новоселове. Возможна попытка захвата пароходов, учтите. Имеются такие сведения. У вас при себе оружие?

— Карабин и кольт, — ответил Ной и, воспользовавшись моментом: — Вот зову брата на часок к себе в каюту — четыре года не виделись, можно?

— Пожалуйста! — разрешил Таволожин.

Внимательный, щупающий взгляд серо-стальных глаз председателя УЧК как бы просветил еще раз на прощание Ноя с братом Иваном.

— Ну, всего вам хорошего! Пароходы должны уйти часа через два-три максимум. Еще раз напоминаю: всемерно охраняйте пароходы. Всемерно! Утром восемнадцатого пароходы должны быть в Красноярске. Это самый крайний срок, товарищи.

Военные коменданты, а с ними и Ной с братом Иваном, попрощались с Таволожиным и разошлись.

Три мужика в шабуришках и поношенных войлочных шляпах шли по пристани к пароходу «Россия». Мешки на плечах, но мужики не горбятся под тяжестью. Ной внимательно присмотрелся. Странные

мужички! Все в броднях с ремешками у щиколоток, но шаг-то не мужичий, с пришаркиванием пяток, а с вытягиванием стопы, доподлинно офицерский. Заросшие и давно не бритые; а разве мужик, не носящий бороду, поедет из деревни в губернский город, тщательно не побрившись? Ясно, офицеры! Документы у них, понятно, в полном порядке — комар носа не подточит. Но Ноя не проведешь: у него наметанный глаз. Это и есть, пожалуй, сплавщики-артельщики, про которых обмолвился председатель УЧК. Ну и ну! Слетаются белые ястреба в место гнездования. Сколько их? Трое или тринадцать? Если не трое — на «России» Ной до Красноярска не доплывет, это уж как пить дать!

— Погода, кажись, переменится, — пожаловался брату Ной. — Чавой-то поясицу покалывает.

— А хвастался здоровьем!

— Четырежды меня сбивали с коня, это раз; трех коней подо мной убили и я нацеловывал матушку-землю всем своим туловом, аж потом распрямиться не мог — это будет два; а кроме того, в Пинских болотах мок — это будет три; под Перемышлем пятнадцать верст на брюхе полз. Как думаешь, святцы?

Ной нарочито подождал, покуда на пароход не прошли, предъявляя пропуски военных властей, три подозрительных мужика. К Ною подошел комендант Яснов.

— Вы в пятой каюте, Ной Васильевич?

— В пятой. Идемте с нами чай пить с медом.

Широколицый, курносый и белобрысый комендант Яснов чуток подумал:

— Лучше завтра, Ной Васильевич. Я еще должен принять на пароход товарищей интернационалистов.

— Они вооружены? — спросил Ной.

— Не все. Винтовок в Минусинском гарнизоне — в обрез, и патронов нету. Так что только у девятерых винтовки и патронов по обойме.

Ной оглянулся — рядом никого:

— Вы меня извините, товарищ Яснов. Но я вам так присоветую: этих артельщиков-сплавщиков определите по каютам, как и священнослужителей, а чтоб выход к капитану и машинам — бесценно охранялся. И с первого класса никому не разрешайте

подыматься к лоцману или встречаться с кем из команды, особенно с капитаном, хотя он и человек будто надежный. Но под револьвером, бывает, и «надежные» оборачиваются в не очень-то надежных. Знаю то по Петрограду и Гатчине — на своей шкуре испытал. Так что извиняйте, товарищ Яснов, за совет. У трапов на палубе тоже надо бы поставить часовых, а вы сами где едете?

— Во второй каюте, рядом с капитаном.

— Оставьте каюту, Павел Лаврентьевич. Извиняйте. Можете оказаться закупоренным в трудный момент. Хотя для вас и неудобно, а лучше будет, если устроитесь возле машинного отделения без всяких удобств, с теми интернационалистами. И чтоб постоянно имели возле себя проверяющего посты.

По тому, как серьезно и вдумчиво говорил Ной, комендант Яснов понял: рыжебородому офицеру что-то показалось подозрительным.

— Я посоветуюсь с чрезвычайным комиссаром Боровиковым и Кривошеиным.

— Непременно. А на «Тоболе» сколько поплывет вольных и невольных пассажиров?

— Как понимать: «вольных» и «невольных»?

— К чему пояснять? Такое уж наше время — переворотное. Все люди делятся на «вольных», у которых душа открытая и живут они без зла и паскудных умыслов, и на «невольных», какие должны исполнять чужую волю.

— Понимаю! — Яснов свернул сигарку и предложил кiset Ною.

— Некурящий я, Павел Лаврентьевич. И вот еще что: у интернационалистов и ваших патрульных надо проверить: нет ли самогонки или еще какой дурманящей гадости? Если найдете — непременно вылейте. Непременно! Трезвые вас не подведут, а пьяные под монастырь утащут. Не обижайтесь, что я советы даю. У меня ведь тоже одна-разъединственная голова и я не хочу, чтоб ее продырявили.

— Я вас понимаю, Ной Васильевич, — уверил Яснов.

Когда комендант отошел, Иван заметил:

— Ты настоящий командир. Я и не представлял.

— Побыл бы ты у меня в полку в Гатчине — ума-разума набрался бы навек. Трудное время, Иван. Ой какое трудное. Мозгами ворочать надо денно и нощно. Слава богу, что я еще отдохнул дома. Девять десятин самолично вспахал, засеял, полдесятины картошки посадил, а

вот сена, якри ее, не успел накопить. Матушке и сестренкам мыкаться! А теперь молча будем идти до каюты. Ты иди следом, как вроде сам по себе.

IX

Братья. Ни в кость, ни в бровь, ни в глаз, ни в рост, и ноздря с ноздрей не схожи, — а братья: одна матушка на свет народила!

Когда Иван вошел в каюту Ноя, у него глаза на лоб полезли:

— Вот так загрузил! И это в первом классе! Наш бы капитан разнес матросов за такое дело.

— Если дали мне каюту, то тут уж мое дело, Иван, как и чем я ее загружу. Если бы осталось место для коня — тут бы поставил. Надежнее.

Иван расхохотался:

— Не зря, кажется, тебя прозвали в Петрограде Конем Рыжим.

У Ноя от такой обмолвки брата кровь отлила от лица:

— Не брат бы мне, пришиб бы, язва! От кого услышал про Коня Рыжего?

Иван понял, что зря обмолвился, но и выдавать кого-то не хотел.

— Не помню. Ехал на пароходе кто-то из казаков, ну и говорил про тебя.

— Врешь. Моих казаков не встретил ты — по станицам высиживают яйца. От кого набрался?

— Слышал, и все. Один господин ехал еще с первым рейсом в Красноярск.

Ной прикинул: кто бы это?

— Лысый старик? Образованный и начитанный?

— Кажется.

— Крестись, если кажется. А мне точно надо знать. А еще что болтал тот господин. Ну, вытряхивайся! По глазам вижу — имеется в тебе груз.

— Ну, говорил, как ты служил у большевиков, про Смольный и Ленина, и как приехал с одной девицей в Минусинск, с какой-то Дуней «легкого поведения», и эта Дуня, будто, всячески ругала тебя и позорила.

Ной упруго ввинчивался глазами в младшего брата, догадываясь, что престарелый подъяесаул Юсков не стал бы так худо говорить про свою двоюродную племянницу. Может, от Селестины? На каком пароходе она уплыла? Ну, шалопутный Ванька!

— И про господина врешь. Не было. Придумывай что-нибудь другое. Потому, как я должен точно знать.

— Вот пристал! К чему тебе? Слышал, и все тут. И не от плохого человека.

— Дурной тот человек, который вонь разносит по белу свету. Не уважаю этаких. На выстрел близ себя не подпущу. Смыслишь?

— Что у тебя в лагунах и мешках?

— Сопли в лагунах. Собрал и везу на базар в Красноярск продавать, — все еще никак не мог отойти оскорбленный Ной. И тут пошел гулять по округе Конь Рыжий! Доколе же? Ему, Ною, осточертело лошадиное прозвище. А ведь шумнет по всей губернии. Кто-то же напел Ивану? Но попробуй, выбей из него, если он из той же породы, что и сам Ной! — Ладно. Не знаешь: кипяток есть на пароходе?

— Обязательно есть титан. Как же без кипятка?

Ной снял с верхней полки мешок, гремющий железом, развязав, вытащил из него чайник, медный солдатский котелок, пару ложек, пару кружек, вместительную миску, а Иван смотрел и удивлялся: вот так собрался в дорогу казачий хорунжий!

— Вот в мешочке китайский чай, — передал Ной Ивану. — Иди и завари в чайнике. Ты знаешь где и что на пароходе.

Когда Иван ушел, Ной вытащил деревянную пробку из одного лагуна, начерпал в миски меду по кромки, а из другого лагуна — масла наложил в котелок, поставил все это на стол, а потом из мешка достал сала фунта четыре, скрутки сохатиного мяса, охотничий нож из ножен и принялся нарезать мясо.

У Ивана от обилия продуктов в глазах зарябило.

— Ох и припасливый ты, Ной Васильевич.

— Слава Христе, помнишь имя-отчество мое. А я думал, что ты не только род свой забыл, но и все прочее.

— С чего я буду забывать?

— Тогда от кого набрался слухов про меня?

— Честное слово, я тебя не понимаю, — взмок младший брат. — Чего ты на меня насел?

— Не беспричинно. Жизнь, Иван, из мелко нарезанных ломтей состоит, а не из одних цельных буханок. Садись, есть будем и чай пить. Сала потом возьмешь, мяса, меда и котелок с маслом. Ну, ну! Это гостинец матушки.

— «Матушки»! — усомнился Иван. — Сам же говорил, что от отца на пристани узнал, что я плаваю на «Тоболе» и потому сел на «Россию», а теперь — от матушки.

— От меня, следственно. От старшего брата. Мало того? А потому не утаивай секрета.

— Какой еще «секрет»?

— От кого узнал прозвище мое? И все остатков, чего ты еще не вытряхнул. К чему? А к тому: мне надо доподлинно знать: с какой стороны дует на меня ветер? Время такое. Я ж не думаю бежать в тундру на съедение гнусу.

— Про какую тундру говоришь?

— Ох, Иван! Мало ты соленой воды, прозываемой слезами, пролил! Ну, да соль у тебя еще сойдет, только бы дал бог, чтоб не вместе с жизнью! Ты не думал, как спасешься в тундре, куда уплывешь на пароходе?

— Н-не понимаю! — поежился Иван. — А ты что, останешься в Красноярске, что ли, когда все будут уходить?

— Все не уйдут, не беспокойся, Иван. Кто-то останется. Хорошо бы, если и ты со мной был бы.

Нет. У Ивана своя линия: он мобилизован и не подведет командование красных. Будет на пароходе до последнего дня.

— Ладно, поговорим еще. В городе у тебя есть квартира?

— Конечно, есть. А что?

— Да вот на первое время куда-то бы мне надо заехать. Только чтоб хозяева надежные были.

— Ну, мои хозяева самые надежные! Это такие люди! Сам хозяин извозчик. И сын его тоже извозчик. Еще две дочери. Старшая — революционерка и младшая большевичка.

— Вот это «надежные»! — ахнул Ной. — Да ведь твоих «надежных» при перевороте белые под корень вывернут! И глазом не

успеешь моргнуть, как в тюрьму за ними утопаешь. А другие кто есть? Вот у кочегара бы.

— Оба кочегара сбежали в Даурске. Как мы просмотрели, черт ее знает. Хвастались — нету кочегаров.

— Понятно, Иван.

Занялись обедом и чаем. Иван с удовольствием ел вяленое сохатиное мясо, сало и пил чай с медом. Старший брат ел мало — аппетит который день, как пропал. Кусок в горло не лезет.

— А знаешь, мой хозяин может тебе найти надежную квартиру, — вытирая потное лицо грязным, застиранным платком, сказал Иван. — У него двухэтажный дом на Каче, а сама Кача — это же люди из тех, кого побаивались все жандармы и полицейские. Живут там и воры, и налетчики, но коренные, как мой хозяин, самые порядочные люди из ссыльных. Хозяин, наверное, будет на пристани: дочери-то его уедут с последним пароходом, и квартиранты-большевики тоже уедут, если не уехали.

— Хорошо. Ты меня сведешь с ним в Красноярске, ежели он будет на пристани. Какой пароход придет раньше?

— Наш, слышал от коменданта.

— Тогда живо подбежишь ко мне. А теперь мне надо достать оружие, как следует быть.

— Ты кого-нибудь подозрительных увидел? Тех мужиков, что ли?

— Для военного, Иван, главное: и во сне должен помнить, где у него оружие.

Достав поперечную пилу, Ной не торопясь развязал бечевку, пашку положил на мягкую полку и карабин туда же, а потом занялся мешком с мукой, где был спрятан револьвер и в отдельном мешочке боеприпасы.

Иван наблюдал за старшим братом, завидуя, что не ему довелось служить в Гатчине, побывать в Смольном и видеть Ленина — самого Ленина!..

— А знаешь, — начал Иван, посматривая, как Ной чистил револьвер. — Послушаешь тебя, даже не верится, что ты офицер, мужик просто.

— Не мужик — казак! — оборвал Ной, не терпевший, когда его называли мужиком. — А язык, Иван, сохранять надо таким, какой у дедов. А то напридумывали: «парадоксально», «меридиан» какой-то.

Слушаешь другой раз такого гладкого умника, и муторность на душе, а в голове хоть бы маковка сохранилась, русский будто, а насквозь чужеземными словами хлещет! К чему то? Русскость сохранять надо. Русскость, а не иноземность.

— Ты, поди-ка и крест еще носишь?

— Экий ты ерш, Иван! Я и у Ленина был с комитетчиками не без креста на шее. Или думаешь, солдаты, а их тысячи и тысячи, какие перешли на сторону революции в день двадцать пятого октября и после, все были без нательных крестов, как басурманы какие? Голова два уха! Россия сыпкокон века православная. Слава Христе. И я не отверг того, с тем и помру, может. Казак я, Иван, от колена Ермака Тимофеева, вечная ему память. Или не с крестом на шее подымал народ Стенька Разин, казак донской? Или Емельян Пугачев? Или предок наш, Ермак, не с крестом на шее завоевал Сибирь для России?! Это тебе мало?! Окромя того, не запомнят: от царей остались не только крестики и держава на тысячи-тысячи верст в длину и ширину, но и дворцы неслыханной в мире красоты в том Петрограде, да и сам Петроград кем начат от первого камня? Государем всея Руси, Петром Алексеевичем! Или ты попер в большевики, не ведая, какая у нас держава и как она складывалась?

Иван в свою очередь тоже не сдержался и выговорил старшему брату: не цари создавали державу, а народ России, хотя и находился под гнетом кровавых царей.

— Без царя в голове, Иван, только вша по телу ползает. Или ты вошь?

— Ты недалеко ушел от отца, — ввернул младший брат.

— А я и не собирался никуда уходить от родителя свою. Со мной он завсегда, как плоть моя от него и матушки происходит. И тебе не советую отчуждаться. Без роду и племени варнаки шатаются по земле.

Иван, досадуя на старшего брата, вдруг проговорился:

— Если бы тебя послушала Анна Дмитриевна, она бы по-другому думала о тебе. Она представила тебя героем революции, а какой же ты герой, если на царей оглядываешься?

— Какая еще Анна Дмитриевна? — нацелился суровым взглядом старший брат.

— Дочь Дмитрия Власовича Ковригина, у которого я снимаю комнату, Она была учительницей в Минусинске, когда ты только что

приехал со своей Дуней из Петрограда.

— Эв-ва от кого набрался! — мотнул головою Ной. Он, понятно, помнит тоненькую учительницу, племянницу Василия Кирилловича Юскова. — Мало ли что не примерещилось той учительнице; я ведь с ней разговора не имел, не причащался и не исповедовался. А снаружи человека нельзя разглядеть.

Иван ушел от старшего брата, изрядно нагрузившись гостинцами.

Вскоре пришел матрос — безусый парень, посланный предупредительным капитаном Гривой, наутюженное постельное белье принес, байковое одеяло, подушку — настоящую, пуховую, графин с водой и стаканом и передал приглашение капитана отужинать с ним в семь часов вечера.

— Благодарствую, служивый, — чинно ответил Ной.

— Если вам надо помыться, для первого класса имеется душ.

— Хорошо бы, служивый! В таком испачканном виде неладно идти в гости к капитану.

Матрос назвался провести в душевую. Пришлось Ною достать с верхней полки еще один мешок и вытащить из него завернутую в скатерть парадную обмундировку: китель, брюки, чистую нательную рубаху и кальсоны, новые сапоги.

Матрос поглядывал на него, меняясь в лице: офицер! Вот это да! Знает ли военный комендант?!

X

Горячая вода хлестала тонкими струйками, и Ной, покрхтывая от величайшего удовольствия, подставлял то спину, то бока. С Пскова не мылся в господском душе. Экая благодать!..

Послышался гудок — длинный-длинный: «Тобол» ревел, прощаясь с пристанью.

Душевую заволокло паром — окна не видно, и электрическая лампочка еле светилась, Ной все мылся под горячим душем.

«Ужли не провернись, господи? — неотступно думал Ной. — Иван-то, экий ерш, право. И с чего той тоненькой учительнице взбрело в голову говорить про меня, да еще и прозвище сказала Ивану. Ах, Ванька, Ванька! Если бы уломать парнишку, чтоб не плыл в низовья

Енисея, а со мной остался. Купили бы еще одного коня в городе и чесанули в Урянхай».

Прогудел второй гудок на «Тоболе», а за ним подал свой густой, надрывный голос пароход «Россия».

Перекрыв душ, вышел в прихожую, посмотрел на себя в запотевшее зеркало: ну и бородища вымахала! «Чего я ее не обрезал?» — сам себе удивился, протираясь казенным полотенцем. Мышцы тела, окрепшие после работы на пашне, напряжены: «Хо, хо! Экая сила во мне, а куда ее девать? Ни казачки, ни семьи! Бегай теперь по кругу, как волк зафлаженный. Опять-таки поворота судьбы в другую сторону нету. Дальчевский не простит убитых офицеров», — подумал Ной.

Послышалось шипенье пара, скрежет якорной цепи — отходят, значит! Покуда Ной одевался, «Россия» отошла от пристани, загребая воду плицами. Шлеп, шлеп, шлеп! И все чаще и чаще шлепанье.

Собрав пожитки в поношенный китель, а бахилы завернув в шаровары, вышел в коридор. Лакированные двери кают на обе стороны, зеркала, вделанные в стенки между дверями, — эго славно оборудован пароход! Не иначе, как из Германии или Англии.

По коридору навстречу важно выступали четверо священнослужителей: широкий и здоровенный чернобородый мужчина в черном одеянии и высоком клобуке — архиерей, значит, и два красномордых и бородатых иеромонаха и протоиерей. Лицо у его преосвященства сытое, борода окладистая, обихоженная и навитая, и морда преблагостная.

Ной прошел мимо к себе в каюту, не склонив рыжечубой мокрой головы — не в соборе на моленье!

В каюте еще раз протерся полотенцем, сложил в мешок будничную одежду, причесал бороду и голову, поглядывая в окно со спущенными жалюзи.

Прибрал в каюте — лишнее упаковал под полку, туда-сюда, и каюта немножко освободилась. Только возле лакированного столика с зеркалом громоздились друг на дружке два лагуна с медом и маслом, прикрытые шинелью.

Старательно застлал постель хрустящей простыней, накрыл одеялом и, вздыбив подушку, залюбовался: экое удобство, а?! Вот как ездили важные господа по Енисею!..

Теперь можно к капитану пойти.

Выйдя в коридор, Ной повернулся лицом к двери, собираясь замкнуть каюту, и вдруг за спиной раздался до ужаса знакомый голос:

— Боженька! Ной Васильевич!

Ной вздрогнул, уронил ключ, помотал головой, промигиваясь. Дунька! Стерва Дунька! Ее еще не хватало для полного комплекта. В батистовой белой кофте, невесомый шелковый шарф на покатых плечах, золото с камнями в мочках ушей и глаза — знакомые, разинутые!

— Вас не узнать, честное слово! Вот уж никак не ожидала, ей-богу, Ной Васильевич!

Экая паскуда, а? Несусветно оклеветала, и хоть бы в одном глазу совесть прочикнулась! Рразорррву, стерву! Нет, нет! Тихо! Тихо надо. Без шума и крику!

Лапы Ноя сами по себе поднялись, легли на покатые плечи Дуни, подтянул к себе — грудь в грудь, нос в нос.

— Боженька! — испугалась Дуня. — Вы меня раздавите!

— Ззамолкни, сей момент! — не сказал, а утробно выдохнул Ной и, подняв ключ, толкнул спиною дверь, втащил за собою Дуню в каюту: — Не кричи. Потому как крик будет последним.

— Боженька! Боженька!

— Тих-ха, выхухоль!

— Отпустите же. Закричу!

— Только посмей крикнуть, стерва. А теперь соберись с духом и выложи мне, как на весы божьи: по чьей подсказке оговорила меня на допросах в УЧК! С какими генералами я вел тайные переговоры в той Самаре, откуда я тебя вез честь честью?

Дуня мгновенно поняла: убьет ее за клевету Конь Рыжий!

— Боженька! А я-то, дура, думала, что ты человек. А ты, рыжий, сам дьявол. Ну, бей меня, бей! Только в живот, чтоб во мне ребенка от тебя не осталось! — В глазах Дуни навернулись слезы.

— Какого ребенка? — опешил Ной, не веря ни единому слову паскудной Дуни.

— От тебя забеременела, рыжий черт! Что ты не спросил в УЧК? Там известно. Та проклятущая комиссарша Грива, которая собиралась пристрелить меня за батальон...

— Не за батальон, а за поездку с офицером в Челябинск. И ты, чтоб не выдать офицеров, свалила все на меня да еще врешь теперь.

«Забеременела»! Это ты-то? От кого только?

— От тебя, гада! От тебя! Или ты, как та Селестина Грива, не можешь поверить без освидетельствования врачом? Она вызывала врача, вызывала! Так свирепела, когда допрашивала! Боженька! И еще ты, рыжий! А я-то думала...

Ярость схлынула, как волна от берега, и руки Ноя расслабленно опустились, скользнув по бокам Дуни:

— Ладно, живи! Только не ври, ради бога. Не одна ты виновата в том, что происходит. И не на тебе зло срывать. О, господи! Доколе же? Садись сюда и обскажи, как и что? Одну сторону слышал, теперь ты обскажи.

— «Теперь»! Чуть не раздавил и, — «обскажи». Тимофей Прокопьевич Боровиков, чрезвычайный комиссар, и тот имел ко мне больше сочувствия, чем ты. Вырвал из когтей комиссарши, — успокаивалась Дуня, потирая ладонями плечи. — Синяки будут, черт рыжий. Боженька, как она меня допрашивала девять дней и ночей! Раз по пять за ночь вызывала и тянула, тянула из меня жилы. Вот теперь как она запоем!.. Заместительница председателя УЧК! От нее и отец отказался!

— А тебя самое миловал отец?

— У меня был не отец, а зверь. Без образования, «жми-дави» и больше ничего. А доктор Грива — интеллигент с образованием. Вот что! Разница большая.

— К чему про беременность соврала? Ведь врешь?

Дуня повернулась к Ною грудью и со злом так:

— От доктора дать заверение? Осталось в УЧК. В Красноярске можешь получить. Четыре месяца исполнилось, как ношу твою ласку и милость при себе и никак не могу расстаться. Не хочу! Да! Если бы захотела — рассталась. Что так смотришь? Может, и бани не было и ночи на постели Курбатова? Или думаешь, от кого другого? Не было другого до поездки в Челябинск, — проговорила Дуня.

— А кто тебя гнал в Челябинск?

— Зло на этих совдеповцев в губернии, которые запретили мне вести дела папаши по приискам! Или я не выстрадала и не выплакала свое? Мало натерпелась от Урвана и папаши-душегуба?! Ничуть не жалею, что Тимофей Прокопьевич пристрелил его в ту ночь. Ничуточки!

Ной примолк, все еще сомневаясь, что Дуня носит от него ребенка. Но она говорила так подкупающе искренне, что сомнение поколебалось: а что если правда? Ах, Дунюшка, Дуня! Грешная душенька! А ведь своя, до чертиков в крапинку — своя. Разве он забыл ее, хотя бы на малый срок?! Постоянно думал о ней, вышагивая длинными днями за «саковским» плугом черноземной бороздой, или сидя на сеялке, впряженной в пароконную упряжку, ночами в стане; она ему душеньку припечатала печалью неубывной и горечью, не вычерпанной днями! И вот она рядышком — этакая красивая, собранная, с чернущими кудряшками по вискам и шее, прихлопнутая неласковой встречей Ноя. Но ведь это же Дуня — Дунечка! И если она в самом деле носит от него ребенка, господи помилуй!.. «Ужли врет? Спаси ее бог!» Соврать Дуне — не дорого взять. А вдруг?..

А Дуня лопочет про допросы Селестиною Гривой в УЧК, про свою поездку в Челябинск с полковником Дальчевским и офицерами — Бологовым и Гавриилом Иннокентьевичем Ухоздвиговым, про которого обмолвилась, что он такой же разнесчастный, как и она: незаконнорожденный сын золотопромышленника Иннокентия Евменыча Ухоздвигова, а ведь горный инженер по образованию и поручик с фронта. И думалось Дуне, когда она хотела связать свою судьбу с Гавриилом Иннокентьевичем, что они поднимут прииски, наладят добычу золота, да ничего не вышло: Советы губернии наложили арест на капиталы Ухоздвигова и Юскова, и они, Дуня и Гавриил, остались при пиковом интересе. И как раз в это время встретил Дуню есаул Бологов и предложил ехать в Челябинск с делегацией от подпольного «союза». И она поехала.

— Я бы хоть к черту на рога поехала в те дни, когда меня вместе с Гавриилом Иннокентьевичем оставили ни при чем. Все, все рухнуло!

Она так и сказала: Гавриил Иннокентьевич — ее «последний огарышек судьбы». У них были общие вздохи, опустошенность после фронта и безотрадность в дне сущем. Горе с горем сплылось, будто век в обнимку спало.

— Одно только плохо: нет у него самолюбия! Да уважения ко мне не оказалось, — горько сетовала Дуня.

— У кого?

— У поручика Ухоздвигова, у кого еще! Пальцем за меня не пошевелил. И тогда ему я сказала в Челябинске: ты, говорю, как щенок

перед Дальчевским и Бологовым. И рассказала про тебя. Ты же не отдал меня матросам на казнь? Не бросил и мужской силой своей не воспользовался ни в Гатчине, ни в длинной дороге, и я отдохнула душою и телом, боженька! Век помнить буду. Первый раз в жизни мужчина не пакостил мое тело. Это ты понимаешь или нет?.. Потому, однако, и забеременела сразу после Яновой. Отдохнула с тобой, черт рыжий.

Ноя пробирало до печенки-селезенки. А Дуня свое вымолачивает:

— Когда Тимофей Прокопьевич в УЧК спрашивал, я ему все обсказала про тебя от первой встречи и до той ночи в Белой Елани. И он один мне поверил, и на эту Селестину Гриву прикрикнул: «А почему вы сомневаетесь, что Евдокия Елизаровна беременна от хорунжего Ноя? Я, говорит, не сомневаюсь в ее признании. Судьба у ней, говорит, страшная, и это надо понимать, товарищ Грива». Чтоб ей сдохнуть! Влюбилась она в тебя, что ли?

— Экое несешь, господи прости!

— Да не поминай ты господа! — взъярилась Дуня. — Тоже мне, православный праведник! Как меня тиснул, боженька. А я так ждала тебя, дура. Дядю Василия Кирилловича посылала в Таштып. А ты в Минусинске у Селестины Гривы отрекся от меня: знать ничего не знаешь и видеть не видывал, спать не спал, праведник Христов!

— Экое несешь! Не отрекался я, — переминался Ной, чувствуя себя виновным.

— «Не отрекался!» Где ж ты был? Ко мне заехал, да? Я ждала тебя в доме Василия Кирилловича, а ты и адрес забыл, рыжий. И Василий Кириллович ждал тебя. Патрончик наганный послал тебе с адресом в Красноярске, чтоб ты не остался в Таштыпе. Когда ты уехал в тот день, дядя наслышался много кое-чего от ваших казаков. Злобились на тебя за Гатчину и службу большевикам.

— Стал быть, патрончик с адресом от Василия Кирилловича?

— От кого же?! Кому ты еще нужен!

— Эв-ва! Думать о том не мог.

— Да о чем ты «думал»? Сидел себе в Таштыпе и не царапался. Хлебопашеством занимался, геройский хорунжий! Слава богу, что не поступил служить в гарнизон, как хорунжий Мариев. Не было бы тебе патрончика с адресом. В списочек записали бы.

— В какой «списочек»?

— Чтоб голову отрубить потом, — вlepила Дуня. — Ты хоть раз подумал, что сейчас свершается? Ни о чем ты не думал. Другие за тебя думали, как совдеповцы, так и из «союза». — И, чтоб хорошо «проветрить рыжую голову» Ноя, пояснила: — Василий Кириллович будет командовать Минусинским дивизионом, но тебя оставить нельзя было, как во всех станицах известно стало про твою Гатчину и Смольный.

— В Красноярске Дальчевский, слышал.

— «Слышал»! Он командует белыми частями на Клюквенском фронте! Но за тебя Григорий Кириллович Бологов.

— Жидкая защита!

— Какая есть. Будут и другие, может, — намекнула Дуня и, вспомнив самое набoлевшее: — А ты, говорят, ночевал на пасеке у Селестины Гривы? Хо-орош, жених мой! Я теперь понимаю, почему она так язвила меня и всячески унижала: имела виды на тебя! Ни одного моего показания не хотела записывать, а я требовала, чтоб записывала. И про Гатчину и Самару. Документы-то остаются. Это уж я знаю. Чем бы ты оправдался за Гатчину и Смольный? За разгромленный наш батальон и убитых офицеров «союза»? Бородой своей, что ли? А борода-то у тебя краснющая. А ты не думал, когда к власти придут другие, что бороду могут отрезать вместе с головой?

Ной беспрестанно вытирался рушником — нещадно потел. Вот так баня с предбанником!

— Чего потеешь так? — заметила Дуня. — В господском душе был?! Ну, тебе бы только баня! И Селестина водила тебя в баню!

— Помилуй бог! От кого набралась сплетен?

— Да всему городу стало известно от татарина-лесничего, как сдох твой конь, изжаленный пчелами, и тебя самого отпаривала в бане заместительница председателя УЧК!

— Экие враки! — натужно сопел Ной.

— «Враки». Или ты не ночевал у нее?

— У пасечника ночевал, язва. У пасечника! И в помыслах того не было, про что сплетен набралась.

— Нету дыму без огня, — упорствовала Дуня, она перешла в наступление и не думала щадить своего незадачливого жениха. — Да вот и едешь с оружием, в открытую! Что, тоже сплетни? А кто теперь

ездит с оружием, когда вся губерния совдеповцами объявлена на военном положении?

Дуня на этот раз крепко прижала Ноя — сказать нечего. В самом деле, разве не его карабин стоит возле столика с обоймою патронов в магазинной коробке? И не его кольт в кобуре у брючного ремня под кителем? Не его шашка лежит вдоль постели, поблескивая золотым эфесом?

Ничего не ответил Дуне. И сам еще не уяснил: куда он едет? И что с ним будет завтра, послезавтра? Аминь или здравие?

— Она ждет тебя в Красноярске? — доканывала Дуня.

— Никто меня не ждет, язва! Сам по себе еду.

— Хоть ты и хитрый, но когда будешь уезжать из Красноярска с совдеповцами на пароходе, попомни мои слова: обратной дороги не будет. Никакой дороги тебе не будет. Ох, куда только тебя гонит, и сам не знаешь!

Что верно, то верно, Ной понятия не имел: куда его гонит? И где его последняя пристань!

Дунюшка некоторое время молчала, поглядывая в окно мимо рыжей бороды Ноя, потом, прижав ладони к животу, потерянно и жалко промолвила:

— Как толкается, боженька! Прилягу я. Это ты меня испужал. Можешь пощупать, Фома неверующий. — И взяв руку Ноя, положила к себе на живот. Под ладонью Ноя и в самом деле что-то ворочалось внутри Дуни, поталкиваясь. У Ноя от такой неожиданности точно сердце в комок сжалось: ребенок! А Дунюшка лопочет: — Или я с корзиной надорвалась? Тащила на пароход с экипажа; этих чернорясных жеребцов не попросишь. И матросов не было. Вот уж счастьеще привалило. Оставила себе на муку. А ребенка так хочу, если бы ты знал. Даже во снах вижу, и так мне приятно, радостно бывает. Пусть буду нищей, бездомной, но чтоб не одна. Я все время одна и одна. Вот еще! Куда с тобой?! В станицу, что ли? Помолчи лучше. Ой, чтой-то плохо мне, боженька!

Дуня лежит на спине, возле шашки, согнув в коленях ноги, не отнимая рук от живота.

— Как же ты не побереглась, Дунюшка, если в положении?

— Сам только что так меня тиснул и рывкнул, аж дух перехватило, лешак рыжий, и — «не побереглась!»

— Разве я знал, Дунюшка!

— Знал бы, если захотел! Может, тоже думаешь, как комиссарша твоя, — вру я все? Она мне говорила: «Не клеветайте на достойного человека, вы ногтя его не стоите». Как она тебя защищала! Ну, да плевать мне на всех вас! У меня будет ребенок — не полезут ко мне скоты в брюках. Все вы скоты, и больше ничего. Вам бы проституток и баб, легких на уговоры, чтоб не затруднять себя. Раз, и в дамках!

— Силой к тебе никто не лез. Не я ли говорил: не вожжайся с прихвостнями буржуев! А ты и сама метишь в буржуйки!

Дунюшка рассердилась:

— «Метишь»! А разве не мой капитал арестовали губернские совдеповцы?! Кабы не арестовали капитал, мы бы подняли прииски Благодатный, Разлюлюевский и на Горбатом Медведе. Вот! Сами ничего не делали, и нам руки связали.

— Кому «вам»? Про Ухоздвигова, что ль?

— Про кого еще? Прииски-то совместные были у папаши с Ухоздвиговым.

— Эх, Дунюшка, Дунюшка! Ничего-то ты не понимаешь, что свершилось по всей России! Буржуйам капиталы свои не возвернуть, как повсеместно пролетарии поднялись. А их мильены и мильены! Смыслишь ли ты, куда повернула вся Россия?

— Не пой мне, как пела комиссарша. Враки все! Теперь вот они бегут, эти, которые поворачивали. И ты с ними, что ль. Ну, беги! Это твое дело.

Ной не стал разубеждать Дунюшку: чуждая, чуждая да еще вбила себе в голову папашины миллионы, которых ей и в глаза не видеть! И ведь не уговоришь, не повернешь. Но ведь она носит ребенка, его ребенка, господи помилуй! Вот оно как привелось, о чем не думалось Ною.

— Эх, Дунюшка, Дуня! Горько после заплачешь, когда все твои мильены, как дым, ветром развеются. И ничего у тебя не будет.

— Не страшай, пожалуйста! Мне и так не по себе. После каталажки УЧК от еды отвернуло; на мясо глядеть не могу. Только молосное — творог, сметану и мед еще. И рыбы вот хочу — красной. Хоть бы хвостик кеты или ломтик семги. Все бы отдала за ломтик красной рыбы. Смешно просто. Ужли мальчишка будет? Инте-ересно! Как по времени — в декабре родить должна. Мы ж в последний день

февраля были у Курбатова? Ну, вот! Ох, как мне опостылела неприкаянность и скитанье! Куда токо меня не гоняло проклятым ветром судьбы!

Ною жаль было неприкайнную Дунюшку: взял бы ее сейчас на руки и понес бы в обетованную землю счастья и спокойствия, где нет ни серых, ни белых, ни мятежей и злобы людской; но где эта земля обетованная?..

— Успокоился, слава богу, — промолвила Дуня, вытягивая ноги по постели. — Как я испужалась, боженька. Представляю, что тебе наговорила про меня комиссарша Грива!.. То-то ты и рявкнул, как зверь!

— Ничего не наговорила, кроме правды. Или я вел переговоры с чехами в Самаре?

— Тебя же приглашал Бологов остаться! Он мне сам говорил. Да ведь ты... Ах, да ну тебя!..

— Не было там переговоров, Дунюшка. На именины чешского генерала собрались наши беглые офицеры и генералы, которых выслали из Петрограда.

— Были переговоры, были! Дальчевский с генералами Сахаровым и Новокрециновым и много разных офицеров присутствовали там на именинах генерала. Ты только мне не сказал в тот раз.

— Но ведь меня-то там не было, а ты показания дала — был!

— Вот еще! Это я для комиссарши сюрприз выдала, чтоб она не выцарапывала из меня Челябинск. Потому и взъярилась, гадина!

— Не злобствуй, Дуня. Еще и сама не знаешь: какой у тебя день будет завтра.

— Мои дни известны! Если не получу капитал папаши, у кого-нибудь в содержанках буду, когда проживу деньги, которые мне передал инженер Грива: сестры моей покойной капитал. Еду теперь с миллионершей, Евгенией Сергеевной Юсковой, однофамилицей: мужа своего на тот свет спровадила, миллионами завладела, и выбрала себе в любовники архиерея Никона. Брр! Кого бы другого, а ведь это же харя-то какая! Так похож на моего покойного папашу — ужас! Как они мне все противны! Не глядела бы. А сама Евгения Сергеевна старается свести меня со своим полуболювником архиереем. Говорит, что он имеет большое влияние во всей губернии, и если выгонят красных, поможет мне стать законной приемницей капиталов папаши. Да уж больно

хитрая она сама! Боюсь и их до чертиков! Поют-то они сладко! И чтоб с архиереем — этим откормленным быком, которому православные дураки руку поганую целуют, брр!

Он приезжал в Минусинск на престольные богослужения со своими чернорясными жеребцами: два иеромонаха — Андриан и Павел, мордovorоты такие — ужас! И еще один протоиерей, пресвятой Пестимий, пакостник, как и само преосвященство со своей кобылой миллионершей. Монашку за собой возит Пестимий и до того измучил ее, что на нее жалко посмотреть. Боженька! Какие все сволочи. Одни с богом, другие с «отечеством». Все, все! Евгения Сергеевна жила со своим архиереем у Василия Кирилловича в двух комнатах, и такое они выделявали каждую ночь, что если бы был в сам-деле бог, у него кишки бы перевернулись. Сдохнуть можно! А ты мне еще пел в Гатчине: «Душу спасти надо, Дунечка. В церковь ходим — исповедуемся», — зло передразнила Дуня, спросив: — Ты все еще читаешь дурацкое евангелие?

— От бога не отрекался, — буркнул Ной, крайне недовольный богохульствующей Дуней: этак оговорила самого архиерея! Как на него врала в УЧК, так несет сейчас на архиерея. — Не злобствуй так, Дуня, на архиерея. Нехорошо. Он при священном сане и ему многое дано.

— «Дано»! Чтоб развращать и пакостить?

— Врешь ведь!

— Да я только что убежала от него с палубы и на тебя нарвалась. За груди меня потискал, толстомордый, и зад оглаживал. Сказал: будет ждать меня в одиннадцать вечера у себя в девятой каюте — один занимает. Все в Красноярске знают, как он развратничает в своем доме — содом и гоморра! Двери его дома дегтем мазали и панталоны дамские гвоздями прибивали. Веруй, Ной Васильевич! Бог тебе поможет. Молись и жди, жди — манна небесная посыплется тебе на голову из рукавов архиереевой сутаны. Только манна эта будет с таким навозом — задохнешься. Боженька! Сдохнуть можно от ваших дурацких верований, евангелий и скотства! А бог, как помню писание, первый скот и развратник. Чтоб ему околеть, ежели не околет еще на своем небеси.

Ной терпеть не мог поношения господа бога и священнослужителей — в соборах и церквях не раз выстаивал долгие

молитвы, приобщался и исповедовался, как и должно, чтоб спасти душу от грехопадения, и не потому ли Дуня — душенька пропащая, что отвернулась от бога?

— Было бы тебе спасение...

— Замолчи! Ты что, псаломщик, что ли? Или не понимаешь, что я рассказала про архиерея?

— Враки все! От злобы, Дуня.

— От злобы? Может, пойдешь со мной в одиннадцать вечера к архиерею?

— Перестань! Не клевети!

— И ты, как Гавриил Иннокентьевич. Тот сказал: «Отечеству, Дуня, послужить надо». Скот! И ты еще:

«Иди, Дунюшка, к архиерею — с ним господь бог пребывает, и он спасет твою грешную душеньку — ноченьку поедит на тебе и платье еще подарит».

Ной ничего подобного не говорил, конечно, и только руками развел: Дунюшку не спасешь — навеки погрязла в грехопадении и богохульстве — не воскресить ей себя. А он, Ной, хотел бы воскресить Дуню!

— А я-то так обрадовалась, когда увидела тебя, рыжий. Нет, видно, радости мне, если кругом скоты. Не лезь ко мне! — оттолкнула руку Ноя. — Обойдусь без телячьих нежностей. Уж лучше пусть его преосвященство утешит меня своими нежностями и отпущение грехов провозгласит с амвона. У, толстогубый черт!..

Поднялась с постели и быстро надела туфли:

— Пойду к благостной сводне, Евгении Сергеевне — ищет меня, наверное. — И хохотнув, зло добавила: — Авось, не загрызет меня твой божий пастырь? А спасение души будет, правда? Ты ведь так старался спасти мою душу! Эх ты, Ной Васильевич! Ты ничуть не лучше поручика Гавриила Иннокентьевича. Из того же теста!

Ной был так подавлен и растерян, что ничего не успел сказать, как Дуня ушла, хлопнув дверью.

До чего же она озлобилась и низко пала! А ведь беременной ходит, господи прости нас грешных! Должно, архиерей внушал ей веру в господя бога и православную церковь, чтоб спасти ее падшую душеньку словом божьим, а бес кружит ее, кружит, насыщая злом и ненавистью!

Дуня осталась Дуней. Внезапной, неожиданной, взбалмошной, но желанной. Не поймешь: где у нее правда, где ложь и кривляния! Но ведь именно она — та самая заблудившаяся овца из девяносто девяти незаблудившихся, которой особенно дорожит хозяин овчарни господь бог! И не потому ли так тяжело, так муторно, муторно Ною...

XI

В двенадцатом часу ночи пароход подходил к пристани Новоселовой. Еще издали Ной (он дежурил в лоцманской по уговору с комендантом Ясным) увидел пожар на пристани. До самого черного неба вскидывалось огромное пламя.

— Дрова подождли, — догадался капитан. — И склады, кажется, горят.

«Тобол» отошел вниз от пристани и стоял там, поджидая «Россию».

— Без дров мы плыть не можем, — сказал капитан и сам стал у штурвала. Ной вышел из рубки и увидел темнеющую фигуру человека в шинели. Догадался: Боровиков.

— На «России»! — крикнул Боровиков в рупор. — Нас обстреляли! Двое убитых и трое раненых! Подождли скла-ады и дрова-а!

— Видим! — без всякой трубы гаркнул Ной.

— Ка-ак у ва-ас с дро-ова-ами?!

— Не хватит до Даурска-а!

Тимофей ушел с мостика и вскоре вернулся:

— Идем на-а пристань Ка-ара-уул! Следуйте за на-ами!

— Ла-адно-о! — протрубил Ной.

А с пристани Новоселовой стреляют, стреляют, хотя и с дальней дистанции. Пожарище все выше и выше. За пожаром темнеют высокие горы, видно, как бегают люди по берегу. Как-то враз поднялся низовой ветер, и пламя пожарища взметнулось еще выше, перекидываясь на жилые дома.

— Почалось, кажись, — сам себе сказал Ной, укрывшись от пуль за дымовой трубой: винтовочные пули в рубку два раза тюкнули.

Капитан прибавил ходу и, отваливая вплотную к правому берегу, подальше от пристани, развернулся следом за «Тоболом» и полным

ходом пошел вниз.

Небо прояснилось — горы то справа, то слева, и на фарватере не горят огни бакенов. Первый пароход сбавил ход, чтобы не вылететь на отмель, а «Россия» шлепала у него за кормой с потушенными бортовыми огнями.

Ной вернулся в рубку. У штурвала стоял рулевой матрос, а капитан слева от него попыхивал трубкою.

Молчали некоторое время, как это всегда бывает после неожиданного происшествия.

— Жестокое начинается время для Сибири да и вообще во всей России! — начал капитан, оглянувшись на Ноя. — Кстати вспомнил. В шестнадцатом году на моем пароходе плыла больная девушка — дочь золотопромышленника-миллионера Юскова, Дарья Елизаровна. Тот раз зашла она ко мне в рубку ночью. Не помню, с чего начался разговор, она вдруг спросила: «Куда идет Россия, господин капитан?» Я думал о пароходе и сказал: «В Красноярск». «Да разве я о пароходе? — возразила мне Дарья Елизаровна. — Я хочу, — говорит, — знать: куда идет Россия? Или, — говорит, — у России нету счастливой пристани? Я, — говорит, — вижу на воротах России надпись, начертанную кровью мучеников: «Оставьте надежду, входящие сюда». Это же, — говорит, — страшно, капитан! Страшно!» — И помолчав, капитан проговорил со вздохом: — Тогда, в шестнадцатом году, было еще не страшно. А вот сейчас действительно страшно! И я часто вспоминаю слова Дарьи Елизаровны. Вы не задумывались, Ной Васильевич, в Петрограде и в Гатчине над этим вопросом: куда идет Россия? От одного переворота к другому? Ну, а дальше что нас ждет? Останется ли Россия вообще? Не растащут ее по бревнышку и не сожгут ли дотла, как вот сжигают новоселовскую пристань! Мне лично страшно жить в наше время!

Ной слышал про утопившуюся сестру Дунюшки, подумал: Дунина судьба куда страшнее судьбы, выпавшей на долю Дарьи Елизаровны.

— Того не должно, чтоб сгилбла Россия, — ответил капитану. — Банды век летать не будут. Времена переменчивы. Пристань, должно, какая-то будет.

Капитан сказал: если он останется жив-здоров после рейса в низовья Енисея, то эмигрирует из России к племяннику в Монтевидео.

— Это в Южной Америке, — пояснил капитан, набивая снова трубку и прикуривая. — Сожалею, что не эмигрировал сразу после Севастополя. Очень сожалею. Теперь я бы там жил как человек, и никто не посмел бы командовать мною вопреки моим человеческим убеждениям и самолюбию.

Ной хотя и не знал слово «эмигрировал», но по смыслу сказанного догадался: капитан собирается бежать из России в чужедальную державу к племяннику.

— Вся Россия-то, капитан, не подыметя с места и не убежит, — возразил. — Куда народу бежать — рабочим, крестьянам и казакам, так и всем прочим людям? Жизнь надо устроить у себя без побоищ и смертоубийств.

Капитан сомневается, что в России можно устроить порядочную жизнь.

— Разве вы не видите, что за один этот, год мы Россию разворотили, довели до разрухи; весь, народ ожесточился, и трудно что-либо сделать сейчас. И кто бы не пришел к власти, хорунжий, — продолжал капитан, попопыхивая дымом, — начнет устанавливать свои порядки с побоищами и смертоубийствами, говоря вашими словами. Разве не было побоища в Петрограде в октябре прошлого года?

— Шибко большого не было, капитан. После раскрытия заговоров в январе офицеров высылали, но не расстреливали. А теперь вот повсеместно офицеры призывают к стребительному побоищу. Почнется гражданская, следственно. И не с малой кровью! Претерпеть надо, думаю. А бежать со своей земли — стыдно будет за самого себя. Тут ведь курени наши в России, люди наши, куда от них бежать? Сладкое едали и горькое надо выхлебать. По мне так. Другого исхода не вижу.

Капитан думает иначе: эмигрировать надо, пока еще жив и к стенке не поставили — белые или красные! Бежать, бежать!

Ной пожал плечами и ничего не ответил: кому что!..

В лоцманскую вошел комендант Яснов и позвал за собою Ноя.

Отошли от рубки, Яснов вытащил из карманов тужурки две бомбы-лимонки:

— Отобрали у артельщиков-сплавщиков, — сообщил. — Товарищ интернационалист заметил одного, как тот вертелся у машинного

отделения. Ну и схватил его. Взорвал бы машину, бандит. Документов при себе не имеет: у них на троих одно общее удостоверение Красноярской заготовительной кооперации, да все это липа. Обыскали его товарищей — у каждого было по кольту и еще одна бомба. Офицеры, думаю.

У Ноя в затылке горячо стало: как в Гатчине!

— Что сделали с ним? — спросил Яснова.

— Расстреляем. А вы бы как поступили?

— Вы комендант, товарищ Яснов, вам и решение принимать. Еще ведь есть там мужики? Как с ними?

— Проверили — крестьяне. Нормально. Спать не пойдете?

— Чтоб на том свете проснуться? — ответил Ной и вернулся в лоцманскую.

Прошло некоторое время — хлопнул выстрел. Капитан глянул на Ноя.

— У нас на судне, кажется?

— Бандита одного в чистилище препроводили. Там разберутся в его грехах.

— Где «разберутся»?

— В чистилище, говорю.

— Ну, я не верю в божьи сказки — ни в ад, ни в рай, ни в чистилище. Есть для всех одно земное существование с адом и раем, и чистилищем. У кого как сложится жизнь. Но вот право карать и миловать на себя бы никогда не взял. Недавно мне попала интересная книга на французском, по-русски ее можно было бы назвать «Святой вертеп Ватикана». Писателя Лео Таксиля. Вы ее, конечно, не читали. На русский ее еще не перевели — чересчур откровенно описан разврат и всякие мерзости христианских наместников бога на земле. Без содрогания читать нельзя.

— Чего не напишут в книгах безбожники, — отмахнулся Ной.

— Эта книга документальная — по архивам Ватикана и запискам разных пап. Я и представить не мог, чтобы до такой степени пали священнослужители, хотя и немало слышался о нашем архиерее Никоне. Мерзостная личность, похотливейший скот, знаете ли. Но то, что происходило у пап римских, вообразить невозможно. Разврат без границ и предела. И люди еще верят в божьи сказки! Это же величайший парадокс человечества.

Ной промолчал. Опять этот «парадокс»! Но про архиерея зацепилось: выходит, Дунюшка не врала, и его преосвященство действительно погряз в мерзостях? «О, господи! — подумал. — Если правда, то ведь его убить мало, гада! Вывести бы на корму и шлепнуть с тем бандитом!» Вскипело зло на самого себя и на Дунечку. Он ей не поверил, а если правда, и Дунечка сейчас развратничает с архипастырем в его девятой каюте? Рвануть бы к архиерею в каюту, выбить двери и двумя пулями с короткого расстояния... «Куда меня несет, — спохватился, укрощая ярость. — Этак и сам бандитом сделаюсь. Дано ли мне право карать и миловать?» А в сердце комом ярость и злоба — не продыхнуть. «Она с ребенком, выхухоль! Или вовсе без всякого понятия? Спаси меня бог!» — не забыл о самом себе.

В третьем часу ночи пароходы причалили к пологому берегу пристани Караул. Матросы, красногвардейцы и мужики начали погрузку дров.

Иван подошел к Ною, рассказал, как бандиты обстреляли «Тобол»: окна по левому борту выбиты, ниже по корпусу судна дырки — пришлось заделывать, чтобы не текла вода.

— А как у вас?

Ной молча положил тяжелую руку на жидкое плечо Ивана, качая головой, сказал:

— Ох, хо, хо! Иван! Это еще цветочки. Ягодки для флотилии будут впереди. Ярость у белых только вскипает по первой пене. Они еще не у власти! Потому скажу тебе: раз уж так выпало на твою долю плыть на пароходе — держись Тимофея Прокопьевича Боровикова. Человек он всех мер.

— Так ты все-таки решил остаться? У белых, что ли? Тебя, же за Гатчину...

— Погодь! Не бери лишних слов. У меня есть конь — стал быть, имею шесть ног и две силы; оружие, патроны, шашка при мне и голова притом имеется в наличности. Но в тундру плыть — не попутчик. Душа к тому не лежит; сыщу выход другой. Ты мне только адрес запиши твоего хозяина. На день-два придется задержаться в городе. Вдруг его не будет на пристани? Да подбеги к пароходу, чтоб выгрузиться. И про меня худо не думай. Как говорили на позиции: или грудь в крестах, иль голова в кустах. Жизнь свою не продам по малой цене.

На рассвете пароходы покинули тихую пустынную пристань.

Вскоре дежурившего в лоцманской рубке Ноя подменил красногвардеец.

Прежде чем заснуть хотя бы час-два, Ной упаковал свое оружие — карабин и шашку, привязав их к поперечной пиле. В сущности, для жизни в тайге у него все имеется, даже топор и пила. Вспомнил про Дуню и архиерея и тут же отторг, будто сапогом наступил на собственное сердце. «Если в разврате погрязла — утонет, значит, и спасителя не сыщется. Как спасти, если ей нравится быть утопшей».

Опустил решетчатые жалюзи, чтоб дневной свет не беспокоил, и завалился спать. А вот дверь на ключ забыл закрыть, потому и не слышал, как в одиннадцатом часу утра в каюту вошла Дуня. Она была в той же батистовой кофте и темной юбке. В каюте полумрак, и душно от спертых воздуха. Дуня поглядела на спящего Ноя, подошла, подняла жалюзи. Солнечным светом разом залило каюту — погода разведрилась.

— Па-агодь! Кто тут? — подскочил Ной. — Дуня?! Чего тебе?!

— Боженька! Что ты на меня кричишь? — возмутилась Дуня. — Скоро Красноярск, пришла проститься.

— После архиерея? — рыкнул Ной. — Ступай отсюда, и чтоб ни слова.

— Не была я у архиерея, не беспокойся. Не такая уж я дрянь. Пусть он жрет свою любовницу — она меня толще в два раза. А ты всю ночь пробыл с капитаном? Стрельба была, слышала. Хотела побыть с тобой, да красногвардеец не пустил меня на капитанский мостик. Что так смотришь? Вчера злился и сегодня. Вот еще! Я же за него беспокоюсь, и он же зверем на меня смотрит.

— Беспокойство при себе оставь, — проворчал Ной одеваясь. — Коль жизнь твоя мимо моей идет. Не время для пустых разговоров. У тебя же есть инженер и поручик Ухоздвигов — сокомпанец твой. Вот и веди с ним переговоры.

Дуня смело подошла к Ною и села рядом на смятую постель, промолвив:

— Вижу, что тебя гложет! Голову запихал в петлю и боишься, что из нее не выскочишь. Удавишься. А кто тебя просил лезть туда, когда получил патрончик?

— У меня своих патрончиков хватит. Не безоружным еду. И ты не морочь мне голову.

Умелая и опытная Дунечка, не раз укрощавшая своенравных мужчин, сообразила, что ее «миленочек» находится в таком состоянии духа, когда его не возьмешь ни ревностью, как она пыталась вчера, ни ссорой — еще выбросит из каюты, и отважилась на последнее средство — на ласку и любовь. Теснее прижалась к Ною и будто невзначай положила свою ладошку на тыл его загорелой и сильной руки, напомнила про ноченьку в доме Курбатова: и как Ной говорил, что она для него самая чистая, а что было в прошлом, то он, мол, не заглядывает туда, для него она чистая.

— И мне было так хорошо — будто седьмое небо открылось, — пела Дунечка. — Еще в Гатчине, помнишь, как ты меня спас и сказал комиссару Свиридову: «Если вы ее таскали — не вам хвастаться». Так ни один мужчина за меня не заступался. Я все время вспоминала и думала о тебе, хотя и не вышла за тебя замуж; даже не знала тогда, что забеременела после той ночи. А как узнала, и страшно было, и охотно! Не одна же, не одна! И я теперь женщина, думала, а не «прости-господи», как называют таких, как я. Или ты этого не понимаешь? Ох, Ной! Ной! Не чуждайся меня! По-ожа-алуйста! — И не ожидая, когда Ной расшевелится, сама вскинула руки на его размашистые плечи и обожгла долгим поцелуем.

— Экая ты надсада! — взмолился Ной и обнял Дунечку, подхватил ее и посадил на колени. Она еще теснее прижалась к нему:

— Не уезжай на север, по-ожа-луйста! Куда тебя понесет морями и льдами, если ты от роду казак. На коне тебе быть, а не на пароходе отсиживаться. Ох, Ной, Ной! Мне будет трудно без тебя, честное слово. Ну, пусть я не жена, но я хочу, чтобы ты был хотя бы близко. Ты же меня два раза спас от смертушки, а теперь хочешь бросить. А вдруг у меня ничего не выйдет с этим золотом? Ведь ты один от меня тогда не откажешься. А время придет...

— Вона, как рассудила! — обиделся Ной.

Кто-то потихоньку постучал в дверь. Дуня спорхнула с коленей Ноя, поправила юбку и волосы обеими руками, а Ной накинул на плечи китель:

— Входите!

Комендант Яснов. Удивленно глянул на Дунечку, извинился, сообщив Ною:

— Часа через три будем в Красноярске.

— Слава богу! — кивнул Ной и показал на Дуню: — Моя знакомая из Минусинска, — но не назвал ни имени, ни фамилии. Ни к чему бросать лишние слова. — Чай попить бы надо, — вспомнил: — Вы пили чай, Павел Лаврентьевич? Где у них там кипятилок?

Яснов назвал его сходить за кипятиком. Ной отдал ему чайник и в мешочке заварку.

Опередив коменданта, Дуся быстро ушла, не попрощавшись.

Беседа Ноя с Ясновым прервана была звоном выбитого стекла по правому борту: пароход снова обстреливали.

Ной с Ясновым выбежали из каюты, а им навстречу с палубы, зажимая плечо рукою, вытаращив глаза, бежал длинноволосый протоиерей, охая и ругаясь:

— Антихристы! Антихристы стреляют из скита! О-ох! Они же явственно видели с берега мое черное одеяние, а стреляли, антихристы! О-ох! О-ох!

Ной побежал вниз: цел ли на корме Савраска? И сразу увидел: конь и нетель убиты.

Навстречу мужик в шабуришке, подпоясанный кушаком, глаза вытаращены, ошалело бормочет:

— Нетель-то! Нетель-то ханула!

Лежит Савраска, туго натянув чембур, и ногами не дрыгает. Пуля угодила в голову.

Спешился!..

МЕРОЮ ЖИЗНИ

(Сказание второе)

Все минется — одна правда останется

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

I

Когда русские казаки, пробираясь в глубь Сибири, вышли к Енисею и остановились на горе, откуда вширь и вдаль просматривался пологий берег синеющей внизу великой реки, а справа, обнимая низменность полукружьем, тупыми лбами упирались в реку лохматые горы, атаман сказал: «Сколько прошли Сибирью, этакой красоты не видывали. Под горою у реки станок будем рубить, на горе сей воздвигнем караульную часовню, штоб дозору бысть и дьяк мог бы молебствия проводить христианские. Отныне се земля русская, вольная!»

Застучали топоры, падали наземь вековые сосны и пихты. Выстроили сперва бревенчатую часовню в три яруса с дозорными окнами для караула на все четыре стороны света, поставили немало домов, обнесли станок крепостной стеною из вбитых в землю бревен, заостренных сверху.

Помаленьку строились, обживались...

Года через три припожаловал воевода, похвалил атамана за выбор доброго места, спросил:

— Как сей станок прозывается?

— Красный Яр, — ответил атаман.

Огляделся воевода окрест: по крутому яру выступали красные камни, и сама земля была будто окроплена кровью.

— Бысть по сему! — сказал воевода. — Отныне пусть сей станок Красным Яром прозывается, а гора — Караульной. Отслужи, дьяк, службу, да освяти место, штоб веки бысть ему здраву.

И стало так.

Не ведал знатный воевода, что нарек казачий станок мятежным именем.

С того и пошло: жили казаки вольно, не зная притеснений боярских, изведанных на Руси. Вдоволь добывали пушного зверя, за Урал-Камень с торгом ездили. Разрастался Красный Яр домами русских поселенцев, распахивались земли, сеяли рожь, ячмень и просо, собственное пиво варили — по усам текло и в рот попадало. А потом и город вырос — Красноярск.

Первый бунт в Красноярске вспыхнул против власти нового воеводы, жадного на сибирское пушное богатство, не в малой мере притеснявшего жителей Красноярска. Зарубили того воеводу, разогнали его охранную дружину, чем и ввели во гнев государя всея Руси. Карать, карать вольнолюбцев, чтоб были тише воды и ниже травы. Да вот вода-то в самом Енисее не тихая, а бурная. То и дух вольного Красноярска — неукротим, неистребим оказался.

Не малым числом осело на вечное жительство в Красноярске за время царское ссыльных и отбывших каторгу, а после завершения строительства железной дороги — пришлого рабочего люда. И не потому ли в 1905 году в Красноярске восстали рабочие, провозгласив Советы? Кровью умылся город на Енисее; на стенах депо и железнодорожных мастерских надолго остались выщербины от винтовочных пуль. Многие погибли в боях, еще больше угнано в ссылку и на каторгу. Но нельзя было убить дух города — вольный, размашистый, под стать самой Сибири!

Недаром вслед за Петроградом в Красноярске утвердилась власть Советов. Не минуло года, не успели Советы укрепиться, как поднял восстание мятежный чехословацкий корпус, растянувший свои вооруженные эшелоны от Самары до Владивостока.

Белочехи захватили Челябинск, Омск, Петропавловск, Семипалатинск, Акмолинск, Новониколаевск, Томск, а с востока — Нижнеудинск и Канск.

Красноярск оказался в клещах.

Город превратился в военный лагерь, оцетинился штыками. Улицы патрулировались красногвардейцами и интернационалистами из бывших военнопленных. Губернские и городские партийные и советские учреждения были закрыты — все ушли на фронт. Не хватало оружия, боеприпасов, обмундирования. В мастерских, депо и

на паровозовагоноремонтном заводе набивались патроны, изготовлялись снаряды и гранаты, ремонтировались винтовки, берданки и даже дробовики дедов и прадедов.

Эшелон за эшелон отправлялись отряды рабочих-добровольцев и красногвардейцев на восточный — Клюквенский и западный — Мариинский фронты.

Красноярск сражался...

Отряды, батальоны, рабочие дружины красногвардейцев, сдерживая натиск превосходно вооруженных белочехов и белогвардейцев, отступали, взрывая железнодорожные мосты, густо поливая землю кровью.

Минула неделя — Красноярск сражался...

Вторая — бои, бои!..

В конце третьей недели началась эвакуация оставшихся в городе советских работников, отрядов красногвардейцев и интернационалистов на север — другого исхода не было. Из Москвы было получено сообщение, что из Мурманска в устье Енисея в беспримерно трудный рейс морями Ледовитого океана вышел ледокол «Вайгач». Ледокол затонул в Енисейском заливе, напорвшись на подводную скалу. Но об этом узнали много позднее...

18 июня у пристани дымили под парами «Орел», «Иртыш» и маленькая «Стрела». Из Минусинска поджидали еще два парохода — «Тобол» и «Россию».

Это был последний день эвакуации...

Надрывались гудки заводов, паровозов, лесопилок. А тем временем воинствующие эсеры и меньшевики очумело носились по городу, возбуждая население: «Красные бегут! Большевики грабанули банк! Караул, держите! Омский совдеп, отступая по Иртышу, захватил триста миллионов, Томский — сорок, а Красноярский, господи помилуй, все золото и бумажки выгреб подчистую».

Заговором в губернии руководила группа эсеров-полковников, утвержденных подпольной Сибоблдумой в Новониколаевске правителями Енисейской губернии и арестованных Красноярским ГубЧК на тайном совещании в середине марта.

Заключенные контрреволюционеры успели вступить в тайную связь со старшим надзирателем третьего корпуса Поповым, через которого получали информацию с воли.

Утром 18 июня полковник Ляпунов, назначенный управляющим Енисейской губернией, получил от Попова буханку хлеба, а в ней — подробнейший доклад об эвакуации красных: какие пароходы ушли, кто на пароходах, фамилии капитанов, комендантов, лоцманов, механиков. Сообщение полковника Дальчевского с восточного фронта и эсера Фейфера с Мариинского — победа над красными не за горами! Мужайтесь, господа! Тайное эсеровское бюро взяло на учет по губернии столько-то младших и старших офицеров; имеются казачьи взводы, готовые немедленно выступить на разгром Советов.

А город?! В чьих руках город?!

— Красные в городе, господин полковник, — ответил старший надзиратель. — Но они уйдут сегодня.

— Уйдут? И вы думаете, они не устроят кровавого побоища в тюрьме? Господа! — обратился полковник к офицерам. — Для нас этот день может стать последним. Но прошу вас, никакой паники. Господин Попов, пришлите парикмахера! — И когда ушел из камеры старший надзиратель, Ляпунов вытер платком вспотевшее лицо, трагически закончил: — Большевики устроят сегодня Варфоломеевскую ночь в тюрьме! Маски сброшены, господа. Всем побриться и привести в порядок одежду, чтобы предстать перед ними в должном виде! Мы умрем стоя, господа!

Господ офицеров будто прохватило крещенским морозом. У будущего губернского комиссара подполковника Каргаполова перекошилось лицо и ноги заметно дрожали. Погибнуть за Россию? На кой черт ему Россия со всеми ее потрохами?!

К обеду все побрились, почистились...

С минуту на минуту ждали, когда же ворвутся в камеру бандиты-большевики?

Штабс-капитан князь Хвостов, друг кавалера ордена Почетного легиона Кириллы Иннокентьевича Ухоздвигова — личности весьма темной, попытался было рассказать анекдот. Но его перебил Розанов, командир третьего Енисейского казачьего полка:

— Оставьте, князь! Не до шуток!

Прокурор Лаппо, адвокат Троицкий, доктор Прутов, назначенный Сибоблдумой министром внутренних дел губернии, и подполковник Коротковский, начальник управления МВД, потерянно помалкивали.

Разгуливалось ведро — ни облачка, ни тучки. День обещал быть жарким.

До подхода к городу Ной ободрал убитого Савраску, тушу разрубил и завернул мясо в шкуру — не пропадать же добру! Покончив с Савраской, перетащил багаж на палубу к трапу, чтоб покинуть пароход без промедления.

По левому берегу от господских дач горбатились обрывистые горы и над ними выписывали круги коршуны, охотясь за малыми пичужками.

Ной разговаривал с Ясным, расспрашивая про конную дорогу на Минусинск.

— Да вот левым берегом, слышал, есть дорога. До пристани Езагаш. А там и до Даурска доберетесь. А у кого вы остановитесь в городе? Можете заехать к нам. Найти наш дом просто. Через линию у депо и в гору по Николаевке — по Большой улице. Сорок седьмой дом.

— Благодарствую, Павел Лаврентьевич.

Впереди показался железнодорожный мост.

Сразу за мостом распахнулся город, деревянный, приземистый, одноэтажный по Набережной, разруганный солнцем; зеленым парусом всплыл навстречу островок с тополями, гривы которых причесаны были ветрами в сторону течения реки, пароход подал длинный гудок, отваливая к правому берегу и медленно разворачиваясь. Черный дым из двух труб выстилался над взбугренной водою; дымил «Тобол», недавно причаливший к борту однотрубного «Сибиряка», а по берегу и на дебаркадере суетились провожающие и отъезжающие люди.

Матросы поднесли к борту багаж священнослужителей — плетеные корзины, саквояжи, чемоданы, свертки, — и владыко с золотым, сияющим крестом на груди сошел вниз с двумя иеромонахами и протоиереем, а за ними — в нарядной одежде и роскошной шляпке с пером — буржуйка Евгения Сергеевна Юскова с монашкой и Дуней. Ной поглядывал на них со стороны; толпились красногвардейцы, товарищи интернационалисты, приехавшие из Минусинска, разговоры об одном и том же: об отступлении на север, о белочехах и белогвардейцах, о трудном и неизбежном.

Подваливая к берегу и все медленнее ворочая воду колесами, пароход еще два раза прогудел и, стукнувшись о дебаркадер, притираясь, остановился. Матросы выкинули широкий трап. Яснов с красногвардейцами стали по обе его стороны, и пассажиры пошли на берег. Первым сошел владыко. Мимо него проскочил на пароход Иван, а следом за ним — Селестина. Дуня в этот момент, так и не осмелившись попрощаться с Ноем при коменданте и красногвардейцах, шла под руку с Евгенией Сергеевной. Селестина столкнулась с ней на трапе, и Ной видел, как она задержалась, будто ошпаренная, и быстро подошла к Ною, уперлась в него взглядом. Ной поприветствовал Селестину Ивановну, и она сразу сообщила: белые сегодня займут город. Через три-четыре часа все пароходы уйдут. На Клюквенском фронте командует белогвардейцами полковник Дальчевский, а на западном — Мариинском — с чехословаками капитана Гайды генерал Новокрецинов.

— Такие вот тяжелые обстоятельства, Ной Васильевич! Что скажете?

Ной ничего не сказал — «соображение складывал»...

— На «России» поплывете? Я вас записала на этот пароход.

А Ной стоял у приготовленного к выгрузке багажа; Яснов напряженно прислушивался к их разговору, да и брат Иван пожирал Ноя глазами. И Ной твердо ответил, как того не ждала Селестина:

— На север не поплыву, Селестина Ивановна. О том и разговора не было в Минусинске. Не для меня то.

— Как не для вас?

— Чтоб плыть на пароходе, следственно. Не для меня то! — в том же тоне повторил Ной, выдержав упорный взгляд Селестины. — Коня только убили при обстреле парохода. Ну, да сыщу коня. А там — как бог даст.

— Не-е по-нимаю! — У Селестины враз зарделось лицо, будто обожгло огнем. — Для вас небезопасно оставаться в городе при белых. За Гатчину и Петроград Дальчевский и Новокрецинов не помилуют.

— В милостях не нуждаюсь, — отверг Ной. Не для него то, и баста. Ему не пароход нужен, а конь, добрый конь!

— Далеко ли уедете на коне?

— Дорога сама покажет.

— Мы вас не принуждаем плыть с нами на север, Ной Васильевич. Это ваше личное дело.

— Само собой, — коротко обрезал Ной, давая понять, что разговор исчерпан.

Селестина поникла; лицо ее стало жестким, и она подала руку Ною, тихо и отчужденно промолвив:

— В таком случае, прощайте, Ной Васильевич. Навряд ли встретимся. Если вы здесь погибнете, мне будет жаль. Очень. А если... — Тряхнув руку Ноя, не договорив, повернулась, и быстро ушла с парохода.

Все это время молчавший Иван зло поглядывал на старшего брата, будто в чем обвинял его. Ной ничего ему не сказал, спросив, здесь ли хозяин?

— Здесь, на пристани. Вместе с сыном. Груз подвозили на ломовых телегах. Пожалуйста, заезжай. На двух этажах дома они одни остались: Ковригин со старухой и сын его с женой. Я их сейчас позову.

Иван привел отца и сына Ковригиных. Сам Ковригин, Дмитрий Власович, пожилой человек в ямщицкой поддевке и в войлочной шляпе, рад гостю — «милости просим», он много хорошего слышал о Ное Васильевиче от дочери-учительницы, Анны Дмитриевны, и назвал сына:

— Василий, из фронтовиков. Контужен был и вышел по белому билету вчистую, еще до первого переворота.

Василий — сильный мужчина с рыжими усиками, широкоскулый, в сатиновой рубаше и плисовых шароварах, вправленных в сапоги, крепко пожал руку Ноя и взял на плечо мешок с мукой, да еще лагунок с маслом прихватил, а Ной за ним понес завернутую в шинель пилу с привязанным к ней оружием и куль с вещами. Телеги стояли поодаль возле крутого яра у взвоза на Набережную. Вскоре перетащили весь груз, в том числе и конину, закрыв ее на телеге сырой шкурой и брезентом от мух. Ковригин велел сыну ехать домой, а сам остался до отхода «России»: обе дочери, Прасковья и Анна, уплывали на этом пароходе.

— Не пойму, что им бежать из города? — сокрушался Ковригин и, сняв шляпу, вытер платком лысую голову с остатками рыжих волос у висков. — Ну, Прасковья в партии ишло с четырнадцатого года. В пятнадцатом посадили и вышла в марте прошлого года. Фельдшерницей

работала при лазарете. Анна после гимназии уехала учительствовать в Минусинск, а вернулась: «Теперь, — говорит, — и я в партии, как Паша». Со старшим сыном были на Клюквенском фронте, там и погиб наш Александр Дмитрич! А мы, выходит, с Василием осиротели в большом доме.

«Вот так надежная фатера!» — подмыло Ноя.

Иван уходил на пароходе — через час отплывают.

— Держись команды, Иван, — напутствовал Ной. — Не выпирай наружу большевицтво, потому как ты мало еще соли с боков спустил. Бог даст, свидимся.

— Через месяц мы будем в Мурманске! — задиристо ответил Иван и быстро пошел к пароходу.

Василий взялся за вожжи:

— Со мной поедете, Ной Васильевич?

— На пристани побуду до отхода «Тобола». А как найти ваш дом, если разминемся? — Ковригин сказал адрес и как найти: за Юдинским мостом, на берегу Качи — двухэтажный.

— Ладно. Сыщу. Да, вот что, Василий Дмитриевич, — Ной подошел к телеге, — тут в шинели сверток — в дом занесите. Оружие мое.

— Понимаю! Все будет хорошо. А конину мы продадим татарам на Каче сегодня же. И коня вам купим. Не сомневайтесь!

Ной прошелся берегом по гальке среди отъезжающих и провожающих. И столько-то кругом горячих слез льется, что у Ноя сердце защемило. То старики плачут, прощаясь с сыновьями, то молодые люди обнимаются со своими женами, остающимися в городе. Со всех сторон вспыхивают разговоры:

— Побереги себя на пароходе-то! На севере-то холода. Снег, говорят, не сошел.

— Ладно, мама. Не замерзну!

Или вот еще вяжется узел:

— Другого выхода у нас нету, отец, понимаешь? Только на север. Куда еще? Ах, да! Мало ли чего не говорят обыватели! Вон они собрались на берегу — чиновники и мещане! Золото и миллионы оплакивают!

Поодаль, напротив «Сибиряка», — у трапа увидел Селестину с Тимофеем Боровиковым, — не пошел дальше, ни к чему глаза

мозолить, остался, значит, возврата назад нету, и обсуждать нечего. Надо было что-то хорошее, доброе сказать в напутствие Селестине Ивановне, да из души не выплеснулось. Рядом громко разговаривал высокий господин в соломенной шляпе с черноволосой женщиной, а возле них — чемоданы, постельный сверток, мешок.

— Оставь, Юзеф, прошу тебя! — умоляет женщина.

— О, matka боска! Что ты делаешь, Евгения!

— Я вижу, ты надеешься, что белые в город придут с милосердием, а не с плетями и казнями!.. О, Юзеф!.. Сколько погибло наших товарищей за станцией Маганск, когда белые пустили эшелон под откос и налетели казаки! Казаки!

Ной, сопя, пошел прочь. Казаки! Вот оно как — опять казаки, как смертный страх для всех живых!..

— Хоть бы пушку взяли! На всю флотилию один пулемет, — пробасил какой-то красногвардеец с винтовкою.

— И тот еще на берегу, — ответил второй.

Поляков встретил, венгров — интернационалисты... И они плывут на пароходах?

— Но-ой Ва-асильевич!

Оглянулся и сразу узнал: Анна Дмитриевна, в жакеточке, простоволосая, с копною белокурых волос, уложенных на затылке, лицо загорелое, пухлогубое, с маленьким прямым носом, а с нею девица крупнее и рыжая коса по груди. Подошли, и Анна Дмитриевна подала руку:

— Здравствуйте, Но-ой Ва-асильевич, — певуче проговорила она. — Вот теперь верю. Ваня только что сказал, что вы приехали. Так неожиданно, честное слово. Познакомьтесь, моя сестра, Прасковья Дмитриевна.

— Вот вы какой! — пожала руку Ноя Прасковья Дмитриевна. — Так вы у нас остановитесь? Вот хорошо-то. А то у нас дом совсем опустел.

— Ну, я на сутки разве.

— На сутки? — вскинула вверх темные брови Прасковья Дмитриевна, а взгляд упругий, дерзкий — сине-синий, как у младшей сестры. Но до чего рыжая косища! Загляденье. А веснушек-то, веснушек!.. Да еще корявая: на лице и сильной шее ямочки оспинок. — И далеко потом? — спросила и, не ожидая ответа: —

Сейчас не говорят — «куда», чтобы дорогу не «закудыкивать». Смешно, правда? Мы с Анечкой тоже собрались далеко — до самого Ледовитого океана, а там морями, морями в Мурманск! Это очень далеко, правда?

— Па-аша! Смотри! — вскрикнула Анечка. — Григорий Авдеевич Миханошин! Рука у него перевязана, видишь?

— Где он?! Где?!

— Вон с Вейнбаумом идет, гляди! У него же в отряде был Казимир Францевич!..

Старшая сестра бегом кинулась к какому-то Григорию Авдеевичу. Младшая сказала Ною, что Миханошин на Клюквенском фронте командовал отрядом подрывников.

— Если бы не отряд Григория Авдеевича, белые, наверное, уже были бы в городе! Красноармейцы подорвали много стрелок на станциях и разъездах, водокачку и несколько мостов, — говорила Анечка. — Но вчера нам сказали, что отряд окружили белочехи и едва ли кто в живых остался. Паша прямо с ума сходила. Ведь в этом отряде находился и Казимир Францевич Машевский. Живой ли он?! Это такой замечательный человек, если бы вы знали, Ной Васильевич. Только ужасно скромный, ужасно! Он ведь простой портной. Но настоящий революционер! Сперва он отбывал ссылку в Тулуне, а потом поселился у нас. Паша его безумно любит! Да и все мы его безумно любим. Честно говоря, если бы не Казимир Францевич, я бы совсем, совсем запуталась в жизни... Теперь-то эсеры и меньшевики сбросили маску. Мне ясно, что они предатели, им нужно задушить во что бы то ни стало дело рабочих и крестьян — революцию! Но понять это мне помог только Казимир Францевич... Когда все было у нас хорошо, он тихонько работал в типографии. Но когда на город обрушилась беда, многие растерялись и пали духом. А он день и ночь пропадал в штабе добровольной дружины. Организовал отправку молодежи на фронт, и сам первый записался добровольцем. Мы с Пашей тоже пошли в сестры милосердия. Вернулись вот с Клюквенского, а о нем ничего не знаем... Паша. Бежит! Боже, да на ней лица нет! Неужели убили?!

Прасковья Дмитриевна подбежала, запыхавшись, обняла сестру:

— Он жив, Анечка! Жив! Жив! Они прорвались на дрезине с Миханошиным и еще двумя красноармейцами. Миханошин ранен в

плечо...

Ною стало неудобно слушать разговор сестер, и он молча отошел от них.

— Успокойся. А то люди смотрят, — сказала Анечка.

— Я не могу собраться с духом... Понимаешь, все меняется!

— Что меняется? Да говори ты яснее!

— Он не едет с нами. Понимаешь?.. Я сама ничего толком не могла разобрать. Или это он сам решил, или ему приказали остаться. Нет, скорее сам! Может, он просто не хотел мне ничего говорить? Но там были только свои... В общем, если он не едет, я тоже остаюсь!

— А я?! — встрепенулась Анечка.

— Ты поплывешь с товарищами. Иначе и быть не может. Не сердись, пожалуйста. Тебе нельзя оставаться. Я не знаю, что нас тут ждет.

— Так я тебя и послушала!..

Ш

Толкаются чиновники, обыватели, банковские служащие. Никто никого не слушает — каждый молотит свое.

— Разграбят денежки! Это уж точно!..

— Между собой поделают товарищи!..

— Сейчас бы вот наши пришли, да с пулеметами и хотя бы с одной пушкой!..

— Осторожнее, мужик!

— Прет, как паровоз!

— А вы што тут глазеете? Спектакль для вас, што ли?

— Глядите! Еще один совдеповец сыскался!

Ной лезет дальше, разворачивая толпу, отпихивает кого-то, и лицом к лицу — Дунечка! Сцепились глазами и смотрят друг на друга, будто узел гатчинский затягивают туже, чтоб не развязался.

— Экая! Чего тут толкаешься?

— Остался! Ну, вот! Я так и думала, когда вещи твои увидела внизу. Ох, как же на меня комиссарша глянула, будто двумя пулями прошила. Сейчас пойдешь по адресу на Гостиную улицу? Тебе надо с кем-то из офицеров встретиться.

— Повременю покуда! А ты — укороти язык, не болтай лишку. Чтоб никто не знал, что я в городе.

— Будешь ждать совдеповцев? Думаешь, они вернутся пароходами с севера? Жди!

— Молчи, говорю.

— Ты таким не был в Гатчине и у Курбатова в Яновой!

— Да и ты в Челябинск еще не таскалась с офицерами.

— Вот еще, прокурор мне! — вздулась Дуня и примолкла на некоторое время.

Рядом два чиновника в буржуйских котелках громко обсуждали недавние события. Один из них восхищался, как белочехи «жаманули красных под Мариинском: с захода в тыл, и — в пух-прах!» А второй с умилением рассказывал про разгром красных на Клюквенском фронте: «Эшелоны перехватили да под откос. А тут орлы Дальчевского с шашками и пулеметчики так здорово поработали — мало кто выскочил из красных живым».

Сейчас бы ковшик холодной воды — охолонуться...

Ной тяжело вздохнул, почувствовал себя разбитым и слабым. Вот как за миллионы ощерились буржуи со своими сотрапезниками!..

— Гляди! — толкнула Дуня. — Пророка Моисея поймали.

— Какой еще пророк?

— Да вон ведут связанного. Если бы ты знал, какой это зверь! С атаманом Сотниковым шел на Минусинск и казнил совдеповцев. Топором в лоб убивал.

Кто-то из толпы ввернул:

— Втюрился, пророк! Где его, интересно, схватили?

Трое красногвардейцев с винтовками, ведущие пророка, кричат в толпу:

— Разойдитесь, товарищи!

— Гра-ажда-ане! Дубины берите! Винтовки! — трубно загорланил пророк, пытаюсь вырваться от красногвардейцев. — Ча-аво ждете, чудь заморская!.. Золото увозят большаки!.. Хва-атайте их, хва-атайте! Отбейте меня, граждане! Не дайте загубить святую душу! Спа-асите, за ра-ади Христа-а!

Спасители не спешат — глазают, удивляются: до чего же косматое чудище! Рыжие волосы, век не стрижены, свисают ниже плеч, холщовая рубаха до колен, перепоясана кушаком. Черная борода, как

метла по рубахе; следом за пророком двое красногвардейцев вели упитанного, лоснящегося на солнце рыжего жеребца с необычайно длинной гривой и подвязанным хвостом. Жеребец храпит, нетерпеливо перебирает копытами с белыми бабками. Сойотское седло с кожаной подушкой и низко опущенными узорчатыми стремянами; сумы навешаны, вьюк за седлом и топор с длинным топорищем привязан сбочь седла.

— С Вельзевулом взяли гада! — шипит Дуня.

— С каким Вельзевулом? — переспросил Ной.

— Жеребец его, видишь. На его свист прибежит хоть откуда, если только услышит. Вельзевулом звать. Страшно бешеный, как сам пророк. На этом Вельзевуле он меня силком увез из венского монастыря в Знаменский скит и чуток не замучил до смертушки, гад!

Ной покосился на Дунечку:

— Господи прости! Кто только тебя силком не увозил и не мучил. Хоть бы сама об этом не болтала. Отвратно слушать!

— Гра-ажда-ане! — взывает пророк во все свое бычье горло. — Али все вы тут от сатаны народились? Святого пророка мытарят красные анчихристы, а вы глазеете! Не за вас ли мученичество принимаю? Али вы не верите во-о го-оспода бо-ога?! Есть ли, вопрошаю, верующие во святую троицу?! — тужился пророк, напрягая свое могучее тело. — Гра-ажда-ане! Пра-авосла-авные! Про-озрейте за ради го-оспо-ода! Бейте их, красных диаволов! За-абор ломайте, лавки, дубину берите!

Никто из православных граждан, верующих во Христа-спасителя и святую троицу, а особенно в земные блага — золото, движимость и недвижимость, в дома, особняки, собственную землю, — не кинулся ломать забор и лавку, чтоб вооружиться дубинами и отбить святого пророка Моисея.

— Ну и горло у него! Чистая иерихонская труба, — заметил Ной.

— Жуть! — отозвалась Дунечка. — Если бы ты послушал, как он дурацкое евангелие читал среди скитских — аж стекла в окнах дребезжали!

К горланящему пророку подошли трое: Тимофей Боровиков с маузером в деревянной кобуре, еще какой-то товарищ, приземистый, во френче и начищенных сапогах и Селестина Грива. О чем-то

поговорили с красногвардейцами, и те повели пророка вниз по Набережной, и Боровиков пошел следом.

— Комиссарша смотрит на нас! Пусть теперь своими глазами убедится, гадина! — вскипела Дуня. — А еще срамила: «Вы его ногтя не стоите»!

Ной смутился и опустил голову, чтобы не видеть Селестины, бормотнув:

— Помолчи ты за ради Христа!

— Вот еще! Или стыдно, что ли? Чего ж тогда не едешь с нею? Ага! Не по носу комиссарше — подалась!

Селестина и в самом деле, поглядев на Ноя с Дунечкой, отвернулась и пошла вниз, к пароходам.

Шагов на полсотни красногвардейцы с Боровиковым отвели пророка Моисея, и вдруг раздался пронзительный свист. Дуня заметила: «Вельзевула подзывает, гад!» И в самом деле, рыжий Вельзевул рванулся за косматым хозяином, потащив за собою на длинном ременном чембуре двух красногвардейцев. Те упирались, но жеребец, храпя и мотая головой, так что грива развевалась, таскал их то в одну сторону, то в другую. А пророк свистит, свистит! Зовет на помощь единственного верного сообщника.

Жеребец вскидывал задом, аж подковы сверкали на солнце, и комья земли летели в толпу, потом он вздыбился свечой, и один из красногвардейцев, оторвавшись от чембура, упал наземь и на четвереньках быстро-быстро отполз в сторону, волоча за собой винтовку.

— Вот это жеребчик! — восхитился Ной.

Его будто подтолкнула в спину неведомая сила, кинулся к взбешенному жеребцу, схватился за чембур, красногвардеец, воспользовавшись случаем, бросил повод и в сторону, к толпе.

Сила на силу сошлась. Вельзевул вырывался, таская Ноя за собой, отпячиваясь к толпе, и зеваки, давя друг друга, отбегали кто куда, а Ной, повиснув на чембуре, укрощал коня:

— Тих-хо! Тих-хо, дьявол! Я т-тебе да-ам, ужо! Я т-тебе дам!

— Убьет, убьет мужика!..

— Ноой! Нооой! Брось его — убьет!

— Паааагодь, дьявол! — басит Ной, таскаясь за конем во все стороны, вздымая бахилами пыль на площади.

— Взбесился, точно!

— Пена-то! Пена-то с кровью, смотрите!

У Ноя до предела напряглись мышцы во всем теле, глаза застилают пот, дышит он тяжело, прерывисто, но держит Вельзевула за чембур, хотя жеребец все с той же силой бьет задом и таскает его то в одну сторону, то в другую.

— Убьет мужика. Убьет!

— Отпусти его! Отпусти! — кто-то пронзительно визжит. — Не твой — отпусти за хозяином!

(В этом все дело: «Не твой — отпусти за хозяином!»)

— Не вырвешься! Не-е-е вырве-ешься, дьявол! — рычит Ной и кулаком бьет по храпу Вельзевула.

— Не бей! Не бей коня. Не твой — не бей! — вопит какая-то сердобольная дамочка.

Один из красногвардейцев вскинул винтовку:

— Бросай, мужик! Пристрелю его!

— Не смейте стрелять! Не смейте! — теперь уж хором орут господа интеллигенты.

— Паааааагооодь! — натужно выдыхает Ной и еще раз бьет жеребца по храпу.

— Нооой! Брось его! Брось! — вопит Дунюшка, не на шутку испугавшись.

Дуня не видела, как Ной успел перекинуть сыромятный чембур через голову осатаневшего Вельзевула и, ухватившись за длинную гриву и шею, взлетел в седло, не коснувшись ногою стремени. Толпа ахнула в сотни ртов.

— Надо же так, а?!

— Вот это мужичище! — кто-то восхитился рядом с Дуней.

Вельзевул, взмыл вверх, танцуя на задних ногах, а потом давай кидаться всем своим мощным телом из стороны в сторону, чтобы сбросить непрошеного всадника, а Ной, задирая ему голову, бьет под брюхо задниками бахил, приговаривая:

— Тих-хо, дьявол! Тих-хо, грю! Тих-хо-о!

Вельзевул еще раз свечою взмыл, протанцевал на задних ногах, а потом давай выписывать круги по площади. Слышался со всех сторон истошный вопль зевак. Ной успел сунуть ноги в стремя, поддал пятками под брюхо жеребца, передернул раз пять удилами, раздирая

пасть, и жеребец, задрав голову, рванул по Дубенскому переулку бешеным галопом. Ной будто впаялся в седло, припав к шее, натянул картуз до бровей и давай нахлестывать Вельзевула длинным чембуром, как будто хотел взлететь в небо. Дубенским переулком промчался до Благовещенской и вдоль по улице — только дома мелькали и в ушах свистел ветер. Проскочил площадь с огромным белым собором, какие на Руси считают по пальцам. С Благовещенской Ной повернул по Плац-Парадному переулку вниз, под горку, и все так же нахлестывая и поддавая задниками бахил под брюхо Вельзевула, задирая ему голову, проскакал мимо красно-кирпичной тюрьмы за высокою стеною, и кандальным Московским трактом за город. С Вельзевула ключьями летела пена. Верстах в пяти от города жеребец начал сдавать, перешел на рысь, а Ной все еще вздергивал ему голову вверх, потом свернул с дороги в березняк, поехал шагом, чтоб сердце лошади вошло в нормальный ритм. На одной из полянок между березами спешился, накрутил на руку сыромятный лосевый чембур и трахнул Вельзевула кулаком в лоб, в продольную белую звездочку наподобие погона. Жеребец всхрапнул, попятился, а Ной еще ему подвесил в скулу и другую, натягивая чембур вниз:

— Ложись, говорю! Ложись, дьявол!

Дрожа всем телом, мотая башкой, жеребец опустился на передние колени; а человек требует, чтобы он лег, еще ударил по храпу — Вельзевул повалился на бок. Взмыленное брюхо его вздувалось, и все тело дрожало, как студень.

— А! Уразумел, дьявол, что сила на силу сошлась? — Ной потрясал кулаком у кроваво-красных глаз Вельзевула. — Чтоб сей момент был тише воды, ниже травы! Или я тебя так ухайдакаю — шкура не в мыле будет, а кровью залется. Такжеже! А теперь вставай. Живо! Вельзевулом звать? Ладно. Пушай будешь Вельзевул.

Жеребец поднялся на дрожащие в коленях ноги; весь ходуном ходит, по удилам кровь течет.

Ной сменил гнев на милость. Погладил Вельзевула по храпу и мокрой шее, приговаривая:

— Быть бы тебе упокойником, дьявол, кабы я не подоспел. А теперь служи мне, говорю. Хозяина твоего шлепнули.

Стоит рыжий Вельзевул возле здорового рыжего человека, притих, не всхрапывает — норов в копыта спустил. А человек что-то

медлит, вздыхает. Задумался крепко.

«Как-то еще со мной обернется!» — кричит Ной.

Может, бежать? Куда? В какую сторону?

Фыркнул Вельзевул, прочищая продухи. Ной погладил его по мокрой шее, удивляясь, до чего же мощный жеребец, много крупнее генеральского — неизвестно каких кровей — может, и в самом деле от сатаны родился, коль нарекли Вельзевулом?

— Вельзевул! Вельзевул! — бормотал Ной, приваживая к себе жеребца. — Таперь ты мой, выходит. Только куда на тебе скакать? Под закат или восход? И закат кровью обливается, и восход с кровью начинается. Эко седло, гли!

Внимательно рассмотрел подгрудную подпругу в ладонь шириной, отделанную серебряными бляшками. Да и седло не из простых. Такие Ной видел у баев-сойотов в Урянхэе и в Аскизе, недалеко от Таштыпа. Луки седла из вязкой березы с серебряной отделкой, с кожаной подушкой и коваными стремями, отпущенными длинно — в аккурат по ногам Ноя.

Привязал Вельзевула на выстойку под березой, расседлал. Под седлом был отменный потник, простроченный квадратами замшевой кожей. Слева к седлу в чехле привязан топор на длинном топорнице и осиновый крест тут же на пеньковой веревке. Вот уж диво-то! К чему экий крест? Что он обозначает? Понять не мог. Отвязал от седла и бросил подальше от березы. В тороках — вьюк в брезентовом дождевике, а во вьюке — романовский полушубок, черная ряса, монашеский клобук, замусоленная книга «Четьи mineи»; в сумках — кусок сала, фунтов пять, булка хлеба, охотничий нож, деревянная ложка, соль в мешочке, солдатский котелок, скрутки вяленого звериного мяса, фляга с самогонкой, как подумал Ной, понюхав, револьвер в кобуре, два туеса со сметаной и медом, калачи, алюминиевая кружка и три куса сахара по кулаку каждый. Запасливый был пророк. Вот еще суконное одеяло, офицерские новые брюки, гимнастерка, хромовые сапоги. Не сапоги, а сапожищи. По подошве еще новые — деревянные шпильки не затерты. Тут же черная рубаха с косым воротником, смена белья и портянки из тонкого холста, и... евангелие.

Ной все это сложил под березой, разглядывал так и сяк, потом насытился продуктами пророка, выпил сметану из туеса и растянулся

на потнике.

IV

Привиделась ему бездна, каких немало в Саянах вверх по Енисею, где не раз охотился на тяжелого зверя. Он шел куда-то по тропе, оступился и полетел в бездну, аж сердце оборвалось.

От страха Ной проснулся, бормотнув; «Господи помилуй, к погибели, што ль, экое?» Прямо перед ним переплетались сучья березы, висели зеленые серьги. Листва на березе пошумливала — дул слабый ветерок. Подтянув ноги, Ной сел под березой, прислонившись спиною к теплому стволу.

Понимал — времени осталось на малую разминку. Солнце катилось по заполуденной грани. Может, завтра спросится за сводный полк, за Гатчину, за Смольный, за собеседование с Лениным и за генерала Краснова? Дальчевский-то с Новокрешиновым будут в Красноярске! Они ему не простят ни митинга, на котором он, председатель, приказал разоружить генерала, ни разгрома женского батальона, во всем будет виноват один хорунжий Ной Васильевич Лебедь...

«Стал быть, жизнь подвела к обрыву, — думал Ной. — Пхнут ногой в зад, и кувыркнушь в ту пропасть».

Чтоб не лезли в голову отвратные мысли, взялся за седло. И так, и сяк рассматривал, нечаянно нажал на какую-то пружинку у основания задней луки. К чему такая пружинка? Потряс в руках седло — глухой звон послышался. Что-то запрятано в луках будто. Еще раз нажал на пружинку и с силою потянул на себя серебряную окову луки — открылась. Тайник! Вот так штука! Тайничок прикрыт грязною тряпичкой. Вытащил ее прочь и тут увидел золотые кругляшки. Вытряхнул из тайника золотые и то же самое проделал с передней лукой. Золото поблескивало между его ног на замшевой накидке потника. Пересчитал — пятьдесят восемь золотых пятнадцатирублевиков! «Вот те и на! — ахнул Ной, и карие глаза его сияли, как золотые импералы. — Восемьсот семьдесят целковых!.. Экий пророк был припасливый, а?! Собственный банк при себе держал. И как ловко устроено. Не нажми я пружинку нечаянно, так бы осталось в луках. Нет ли еще где заначки?»

Ной долго разглядывал седло, постукивал, потряхивал, а потом обратил внимание на простроченные квадраты в шагреновой коже поверх потника. Прощупывая каждый квадрат, нашел-таки подозрительные утолщения. Нож в руки, отпорол кожу с одной стороны потника и тут обнаружили в суконной подкладке, пристроченной к коже, специальные кармашки для денег. Так прячут деньги только богатые кочевники-сойоты в Урянхае! Бумажные купюры николаевских денег спрессовались, слепились, и Ной разнимал их осторожно ножом, чтоб не порвать. По всему, пролежали в тайнике немалое время. В некоторых кармашках обнаружили иноземные бумажные деньги, а какого государства, Ной не знал. Может, китайские или японские? Турецкие, болгарские, французские, германские и австрийские деньги видел, а таких не держал в руках. Да и знал ли сам пророк про тайник? Деньги давнего выпуска. Некоторые 1874, 1887, 1890 годов! «Скорее всего, пророк кого-то умилил своим топором, а седло с потником забрал себе, — соображал Ной. — Иначе как бы они этак склеились от конского пота?»

Царские купюры пересчитал: шесть тысяч рублей «николаевок» — богатство!.. Да еще иноземных сколько?

«Разбогател я, якри тебя! — обрадовался Ной. — Золотые-то надо в седло запрятать».

Думая так, Ной разулся и стащил с себя холщовые шаровары, натянутые поверх новехоньких казачьих с желтыми лампасами. В карманы кителя насовал бумажных денег, — раздулся хорунжий Лебедь!.. В брюки сунул наган пророка — на всякий непредвиденный случай. Из брезентового мешочка взял горсть наганных патронов. И вдруг вспомнил: день-то сегодня особенный! Как по-старому — пятое июня, а по новому — восемнадцатое. По-старому — среда, а по новому — вторник. Ной живет по-старому! И что именно пятое июня — день его рождения, двадцать восемь лет исполнилось! «И в сам деле, в рубашке родился! Вот тебе и «крестова ладонь», — вспомнил пророчества бабушки, сворачивая выюк с пожитками пророка. В этот же выюк уложил свои старые холщовые шаровары. Теперь он в кителе, казачьих брюках и вместо бахил — сапоги пророка натянул. В самый раз, будто на его ногу сшиты!.. Хромовые, с накатными зубчатыми рантами отменной работы. Только шпоры пристегнуть, шашку подвесить к левому боку да револьвер в кобуре, и — пжал-ста,

хорунжий! Да еще этакий жеребец у него, нечаянно приобретенный. Этакий жеребец, а? Плотнее упаковал в луках золотые, чтоб не звенело охальное золото! Ни к чему звон — тихо надо!..

— Тихо надо! — громко сам себе сказал Ной, заметно повеселев, будто хватил ковш браги. — Теперь провернуться бы, да через голову не кувырнуться, А там помаракуем.

— Бом! бом! бом! бом!

Ной прислушался, глядя в сторону города. Над головою плыло перистое облако, растекаясь по голубому небу текучей серебряной пряжей.

— Бом! бом! бом! бом!

Плывет, плывет над пространством набатный гул колоколов.

— Может, пожар? — таратился Ной, но ничего не высмотрел — далекованько. Моментально оседлал Вельзевула, даже не протерев проступившей соли на его высохшем мощном теле.

V

Лупят, лупят железные языки в бронзовое литье вместительных утроб колоколов Покровского собора, созывая люд на великое торжество изгнания красных.

На железной дороге пронзительно свистят паровозы, на одной ноте протяжно гудит механический завод, где-то за Енисеем басовито тужится лесопилка.

По трем главным улицам — Воскресенской, Гостиной, Благовещенской — лихо промчались из конца в конец пьяные торгашинские казаки, оповещая горожан, чтоб все шли к собору на Ново-Базарную площадь и на вокзал встречать прибывающий с востока эшелон казаков и солдат во главе с полковником Дальчевским.

— Поспешайте, поспешайте! С хлебом-солью! На площадь, на вокзал! Слышите! А которые красные — на тот свет сготавливайтесь. Моментом спровадим! Совдеповцев и большевиков указывайте, не укрывайте!.. За укрытие большевиков — расстрел!..

Улицы города, доселе тихие, настороженные, постепенно ожили — мещане и обыватели, оглядываясь друг на дружку, сперва высыпали на тротуары, а потом подались к Ново-Базарной площади.

В пятом часу вечера к губернской тюрьме прискакал с наспех собранными красноярскими казаками атаман Бологов, чтобы освободить доблестных патриотов. Возле тюрьмы успели собраться родственники заключенных, друзья и разные радетели, не в малой мере поработавшие для подготовки восстания против Советов.

Начальник конвойной службы с красногвардейцами, прихватив все оружие, успели уйти на последний пароход, надзиратели разбежались. К тюрьме был вызван духовой оркестр театра, чтобы торжественно встретить многострадальных патриотов отечества.

Народу становилось все гуще и гуще.

В это время к тюрьме подъехал Ной. Завидев толпу, задержался. Вельзевул, всхрапывал, мотая гривастой головой, бил копытами. «Посторонись!» — попросил Ной. Толпа медленно разваливалась, давая дорогу. Казак ведь! Хотя и без шашки и плети, но штаны-то с лампасами. Кто-то из казаков окликнул:

— Ной Васильевич!

Ной вздрогнул. И кого же он видит? Вихлючий комитетчик Михайло Власович Сазонов!

— Ах ты, якри ты, Ной Васильевич, живой! Ажник глазам не верю. И жеребца генеральского не оставил?! Ой, до чего же ты башковитый! А я-то, грешным делом, подумал в Гатчине, што ты останешься в той новой Красной Армии, будь она треклята. Извиняй.

Ной глянул на бывшего комитетчика пронзительно и ничего не сказал. По толпе пронеслось: «Идут! Идут!»

Тюрьма распахнула ворота...

Жулики и налетчики, спекулянты и воры из первого и второго корпуса выбежали на волю первыми и, дай бог ноги, кинулись в разные стороны.

Первыми из политических вышли из тюрьмы — полковник Ляпунов в шинели, начищенных сапогах и папахе — арестован-то был в морозы, а за ним в шинели подполковник Коротковский и, тоже в папахе, полковник Розанов, прокурор Лаппо в добротной шубе и шапке, подполковник Каргаполов в бекеше и шапке, с чемоданом и мешком в руке, доктор Прутов с саквояжем, в английском пальто и шляпе, офицеры, за ними долгогривые попы, семинаристы и прочие, причисляющие себя к пострадавшим от красного террора.

— Патриотам отечества — урррааа! — заорал Бологов и сразу же духовой оркестр рванул вальс «На сопках Маньчжурии». Гимна еще не было, знамени так же, ну, а исполнить последний царский гимн «Коль славен наш господь в Сионе» никто не отважился.

Бологов еще раз подкинул:

— Патриотам отечества — урааа!

— Урааа!

— Бом! бом! бом! — доносился набат большого колокола собора.

Освобожденные обнимались с женами, родственниками, друзьями; толпа ревела. Бологов приказал некоторым казакам отдать коней многострадальным патриотам, чтобы ехать на вокзал и встретить там прибывающий с востока эшелон Дальчевского.

«Патриоты отечества» не без помощи казаков сели в седла; Ляпунов, сняв папаху, провозгласил:

— Да здравствует свобода!

Из толпы подхватили:

— Свобода, свобода!

Ляпунов продолжал:

— Господа! Свершился долгожданный переворот! Красный дьявол большевизма опрокинут навсегда! Ур-ррааа!

— Ааарррааа!

— Да здравствует Сибирское правительство! — во всю глотку выкрикивал Ляпунов, приподнимаясь на стремянах. — Не далек тот день, господа, когда по всей России будет установлена демократия народного правительства во главе с нашей партией социалистов-революционеров, и каждый гражданин великого отечества почувствует...

Ляпунов не успел сказать, что почувствует каждый «гражданин великого отечества», как произошло непредвиденное: торгашинские казаки под командованием старшего урядника Кузнецова и монархистствующие граждане города, вооруженные кто чем, подогнали толпу арестованных мужчин и женщин; все они были избиты.

— Доорогу! Расступись! — орал пьяный вислопечий урядник, размахивая плетью. — Большевиков гоним.

Старший надзиратель Попов сообщил:

— Господа! В тюрьме нет надзирателей! Ни начальника, ни охраны тюрьмы.

Наступила заминка — куда же определить арестованных?

Кто-то из сообщников казаков заорал:

— Самосудом кончать их!

— Самосудом!

У Ноя по заплечью продрал мороз: вот и волюшка со свободой подоспела, господа серые! Но — молчок! Он находился рядом с казаками атамана Бологова, хотя сам Бологов еще не видел его; занимался чествованием «многострадальных патриотов».

На заплотах и крышах соседствующих с тюрьмою домов гроздьями висели любопытные: невиданное дело — ворота государевой крепости открыты.

— Никаких самосудов, господа! — крикнул Ляпунов. — Мы не большевики! У нас будет законность и порядок.

Старший урядник Кузнецов рывком повернул своего коня, гаркнул:

— Кто такой будешь, стерва? Сицилист? Какие даны тебе права, чтоб речь говорить от правительства? Мы за царя, стерва! А не за дранных сицилистов! — И завернул матом.

— Ма-алчать! — прикрикнул атаман Бологов. — Перед вами полковник Ляпунов, управляющий губернией и начальник Красноярского гарнизона.

— А ты што за шишка, гад? Слышите, казаки, сицилисты выползли из тюрьмы и этих большевиков покрывают. В шашки большевиков! Ррубить, рубить гадов! У нас своя власть — казачья! В шашки!

Бологов рванул коня в сторону, а за ним полковник Ляпунов и другие. Полковник визгливо выкрикнул:

— За учиненный самосуд под трибунал пойдете!

— Под трибунал! Погодь, стерва, — мы ишо покажем тебе трибунал! — взревел пьяный урядник и, выхватив шашку, — только сталь сверкнула, — рубанул одного из арестованных. Раздался истошный вопль. Ной и сам не мог объяснить, как и почему он бросил своего Вельзевула на урядника, едва не сбив его вместе с конем, и схватив за руку, крутанул, вырвал шашку, а другой рукой слева нанес ему такой сильный удар в грудь, что тот вылетел из седла, задрав ногу в стремя. Вельзевул кусал в шею и уши урядникова коня.

— Ка-аза-аки! — заорал Ной громовым басом. — Шашки в ножны! Живооо! Или крови взалкали?! Приказано не чинить самосудов — сполняйте, чтоб головы ваши целы были!

Торгашинские казаки один за другим кинули шашки в ножны.

И тут очумевший от страха атаман Бологов узнал всадника:

— Конь Рыжий! — вскрикнул он удивленно и к полковнику Ляпунову: — Это хорунжий Лебедь, господин полковник. Наш человек. Мы его ждали из Минусинска (Бологов вовсе не ждал приезда хорунжего). Бывший председатель полкового комитета сводного Сибирского полка, которым командовал полковник Дальчевский. Когда немцы двинулись на Петроград, хорунжий Лебедь распустил полк в Гатчине, и мы встретились потом в Самаре, когда он бежал из Петрограда.

(В Гатчине все было не так, и это прекрасно знал Бологов, но он не мог сказать, как было в Гатчине и Петрограде — у самого рыльце в пушку: это он втравил в восстание женский батальон и минометный офицерский отряд без поддержки со стороны 17-го корпуса, а когда заговор в Пскове был раскрыт, на первых же допросах Бологов назвал все фамилии «центра союза», чем и спас собственную шкуру!).

Урядник Кузнецов, сбитый с коня, все еще орал:

— Братцы! Казаки! Рубите гадов сицилистов!..

К хорунжему Лебедю снова подъехал Сазонов.

— Ной Васильевич! Ах ты, якри ты! Ловко ты урядника-то!

А вот и полковник Ляпунов, а с ним — лицо гражданское, в шляпе и в господском пальто, черная борода, аккуратно подстриженная, с тщательно выбритыми щеками, и еще человек во френче и шинели внакидку, в папахе.

Все трое пристально разглядывали Ноя от сапог, казачьих брюк и до его нетерпеливо перебирающего копытами жеребца. Спрос начал Ляпунов:

— Хорунжий Лебедь?

— Так точно. Лебедь Ной Васильевич. Из Таштыпской станицы Минусинского казачьего округа.

Подъехал еще один офицер во френче с расстегнутым воротником; простоголовый, глазастый, цепкий.

— Давно из Таштыпа? — продолжал Ляпунов.

— Сегодня приплыл на пароходе «Россия».

— Вот как! И вы так вот приехали в казачьем обмундировании, с конем?

Ной сказал, что он ехал, переодевшись мужиком — шаровары, бахилы, как бы на базар торговать мукою, маслом и медом.

— Была ли попытка со стороны патриотов захватить пароход «Россию?»

— Пароход обстреляли на пристани Новоселовой, а пристань подожгли. Склады с дровами, а потом и вся пристань пылала. Мы дрова грузили ниже Новоселовой, а на подходе к городу со стороны скита еще раз нас обстреляли.

— Служили в Гатчине в сводном Сибирском полку?

Ной сразу выложил: прибыли в Петроград тогда-то. Это может подтвердить присутствующий здесь член полкового комитета Михаил Власович Сазонов. Два стрелковых батальона, влитые в казачий полк, сразу приняли сторону революции и сражались с юнкерами и солдатами Семеновского полка. По тому, как внимательно слушали офицеры и казаки, Ной сообразил: надо сразу же сказать обо всем без утайки; комитетчик Сазонов здесь, самый вихлючий и болтливый; он молчать не будет, да и Бологов — сейчас дует в одну сторону, завтра повернется спиной к Ною.

За каких-то три-четыре минуты Ной выложил все, что произошло, уповая на господа бога и на непредвиденно счастливый случай, который помог ему предотвратить кровавую расправу над арестованными. Кто знает, может, и другие казаки вслед за своим командиром помахали бы шашками, и тогда неизвестно, кто остался бы в живых из сотрапезников полковника по тюрьме.

Это было совсем не то, что сказал Бологов, но смекалка Ноя на этот раз выиграла.

Господин в шляпе (это был доктор Прутов) поинтересовался:

— И как держал себя Ленин при разговоре с вами? Агитировал за мировую революцию?

— Того не было, извиняйте, — опроверг Ной. — Вот здесь член комитета, Сазонов, помнит. Ленин говорил про мир с Германией, чтоб как можно скорее подписать, потому: Россия измытарилась и нету армий, пригодных к наступлению на немцев. Еще спросил у меня: готов ли наш сбродный полк к наступлению на немцев? Я сказал: «С нашим полком бежать можно только от Гатчины до Вятчины».

Господин в шляпе захохотал, а вслед за ним и полковники с казаками, а Ной закончил:

— Так и случилось. Когда мы с комитетом вернулись из Смольного — полк разбежался. Вот и оголилась Гатчина, а потом в Москве услышал: немцы двинули армии на Петроград.

Один из офицеров (подполковник Каргаполов) вкрадчивым медоточивым голосом поинтересовался:

— Надо думать, господин хорунжий, поскольку вы принимали участие при разгроме войска генерала Краснова и своим комитетом удержали полк от восстания...

— Бессмысленного восстания, — перебил Ляпунов.

— Разумеется! — согласился Каргаполов. — При тех обстоятельствах, какие тогда сложились, восстание было бы бессмысленным, пагубным для всего полка. Но я не о том. Я хочу спросить хорунжего (коль ему выпала честь беседовать доверительно с лидером большевиков Лениным): не было лично вам предложено служить в Красной Армии? Они же не могли не заметить вас, как опытного офицера из казачьей массы!

И еще раз Ной оказался под перекрестными взглядами со всех сторон, будто под обнаженными шашками. Если соврать — поверят ли? Головы-то штаб-офицерские! Не хорунжие и не урядники. А именно от них зависит будущее Ноя: в тюрьму идти или остаться на воле.

— Такого предложения не было, потому как полк весь развалился. Какой же я был бы командир полка!

Тут и Сазонов подал голос:

— Доподлинно так. Казаки мы, сказали Ленину, и за казаков стоять будем, и в партию большевиков не пропишемся...

Офицеры, оглянувшись на тщедушного Сазонова, поинтересовались:

— А разве вас просили «прописаться в партию большевиков»?

Ной опередил Сазонова, чтоб тот не брякнул лишнего:

— Того не было. В партию не звали, но весь полк и особенно комитет находился под постоянным наблюдением комиссара, а так и других большевиков.

Полковник Ляпунов обратился к своему окружению:

— Господа! Я думаю, за искренность хорунжему Лебедю и за то, что он предотвратил кровавый инцидент, мы должны вынести благодарность.

— Безусловно! — сказал господин в шляпе.

— Благодарю вас от имени военного гарнизона, господин хорунжий, за проявленную находчивость и смелость. Прошу, атаман, оружие арестованного урядника — шашку и револьвер — передать хорунжему Лебедю. Я лично рад, что вы прибыли в Красноярск в данный исторический момент, и командир казачьего полка, полковник Розанов, надеюсь, зачислит вас в свой полк. — Ляпунов оглянулся на одного из офицеров и дополнил: — Назначаю вас с сего дня, господин хорунжий Лебедь, командиром особого Красноярского эскадрона для охраны города и вокзала. Полковник Розанов и атаман Бологов подберут для эскадрона надежных казаков.

— Есть подобрать казаков! — отозвался Бологов, довольный, что командуемый Красноярским военным гарнизоном назвал его атаманом.

Между тем арестованные горожане, пользуясь случаем, разбежались кто куда.

VI

Чужая шашка в ножнах, чужой наган в кобуре на офицерском ремне под кителем, чужое золото в луках седла и крупные деньги в кармашках потника и в карманах кителя, чужой конь под седлом с чужими сумами и вьюком в тороках, а своя шкура — целехонька и, шутка ли, командиром особого эскадрона назначен! Правда, покуда весь эскадрон Лебедея на четырех копытах Вельзевула, но минет день-два, и копыта приумножатся вдесятеро. Все покуда складывается непредвиденно хорошо, как и не думалось. Ему бы полковнику Дальчевскому и генералу Новокрещинову руки укоротить!.. Ну да у него теперь надежный заслон: Ляпунов со своими штаб-офицерами и господин еще в черной шляпе.

Выдался удивительно погожий вечер после знойного и суетного дня; небо было совершенно чистым, будто красные выстирали его, прежде чем покинуть город.

Ной ехал в арьергарде обочиною улицы за казаками — ни к чему вылазить, а впереди полковники, офицеры. Вскоре к Ною подъехал какой-то офицер во френче, застегнутом на две нижних пуговицы, узколиций, русоголовый и большелобый, с пронзительным взглядом прищуренных серых глаз. Он хорошо держался в седле на караковом казачьем коне, и некоторое время так взыскивающе поглядывал на хорунжего, точно просвечивал его насквозь. Ной хотел оторваться от офицера, но тот остановил:

— Попридержите жеребца, хорунжий Лебедь. Мы их потом нагоним.

Что еще за шишка? И сколько у них шишек? Ни погон, никаких знаков отличий нет. Разберись тут! Вроде полковник Ляпунов за главного?

— А вам везет, хорунжий! Считайте, что заручились поддержкой триумvirата полковников. Да и я симпатизирую вам. Будем знакомы: капитан Ухоздвигов, Кирилл Иннокентьевич, начальник политического отдела. Иначе говоря, начальник контрразведки. Знаете, что это такое? По фронту? Ну, не совсем то! С вами не знакомилась ВЧК у Дзержинского в Петрограде?

— Господь миловал, — вздохнул Ной, враз уяснив, что за новая фигура предстала перед ним: начальник губернской контрразведки! Экий глазастый капитан! Вот его-то и опасаться надо: если из контрразведки прилипнут — беды не оберешься. Как пиявки, сволочи.

— А вы хитрец, хорунжий! — сказал капитан, кособочась в седле. — Не случайно генерал Новокрецинов называл вас «красным конем Совнаркома». Вы и в самом деле приплыли сегодня из Минусинска на «России»? Как же вас не задержали военные власти? Ну, голубчик, во что бы вы ни вырядились, казак из вас выпирает из любых шаровар. Да еще с таким жеребцом, седлом и сумами!.. Было другое! Сказать? — И так-то сверкнул глазами, что у хорунжего холодок прошелся за плечами. Ну и глазастый дьявол. — Не будем врать друг другу. Условились?

Ной невнятно пробормотал: что врать он не сподобился.

— А что про пароход-то вы сочиняете! — хохотнул капитан. — На «России», хорунжий, вы были красный! Не так ли? Минусинские власти вспомнили про вас в самый последний момент, когда под Красноярском сложились трудные обстоятельства. Вызвали и без

лишних слов направили в Красноярск. А приехали вы к шапочному разбору — ни фронтов, ни сражений, бегство на север! А вы не из тех, которые кидаются из огня да в полымя. Не правда ли? — На этот раз капитан расхохотался, покачиваясь в седле, а Ною было не до смеха.

Под пятки вывернул, лобастый гад!

— Ну, что скажете?

Ною нечего было сказать — отдыхивался.

— Вот так-то, Ной Васильевич. Но это между нами, так сказать «тет-а-тет», иначе вам не миновать фильтрации. Какой? Всех, кто служил Советам, будут отмывать от красного, а у вас и борода красная. Пришлось бы бороду начисто отхватить! Но, как видите, даже министр внутренних дел Сибирского правительства доктор Прутов к вам благоволит. Так что считайте — провернулись... на первое время! — предупредил капитан. Ной напряженно слушал и помалкивал.

— Кстати, — продолжал капитан, — «Россию» должны были захватить в пути следования. И не с пристани, а на пароходе. Там ехали три офицера. Что с ними случилось, не припомните? — И так-то пронзительно посмотрел.

Ной поднатужился. Ну, лобастый черт! Что же ему сказать? Этому не соврешь — насквозь видит.

— Комендант арестовал трех мужиков, слышал. Будто бы артельщики-сплавщики. Один из них пытался бросить бомбу в машинное отделение, тут его и схватили. При обыске у его дружков отобрали еще бомбу и оружие.

— И вы приказали расстрелять их?

— На то был военный комендант с красногвардейцами.

— Ну бог с ними! Вечная им память, как говорят. Я вас о них не спрашивал, и вы мне ничего не говорили. Так будет лучше, хорунжий. И вы, конечно, не спешили в Красноярск на помощь красным, а ехали по вызову атамана Бологова. Впрочем, он такой же атаман, как я тиароносец.

У Ноя даже спина взмокла — до того разделал его капитан! Куда он еще повернет? Не арестует ли? Это же контрразведка!

— У вас есть закурить?

— Некурящий, извините.

— Хочу предупредить, хорунжий. Хотя вам и оказана поддержка полковников, но впереди у вас — Дальчевский и Новокрешинов! Это

зубастые акулы. Генерал, как я его великолепно помню, законченный кретин. А у кретинов, когда они у власти, одна молитва: «расстрелять! посадить в тюрьму! повесить!» каждого инакомыслящего или в чем-то запятнавшего себя перед строем и властью, которую олицетворяет его препохабие кретинов! Это опасно, хорунжий. И не только для вас, но и для всех мыслящих и порядочных людей. Много веков кретины, подобные Новокрецинову, кастрируют Россию без жалости и милосердия. От Ивана Грозного до Николая Александровича, бесславно павшего, Россией правили кретины, и не потому ли держава оказалась у разбитого корыта? Где, как не у нас, хорунжий, безжалостно уничтожались люди мыслящие, составляющие гордость нации? Кандальные тракты, тюрьмы и тюрьмы, каторги по всей Сибири! Молчите? Бойтесь сказать! Закурить бы! — снова вспомнил капитан. — Подождите, хорунжий! — Увидев кучку глазающих горожан, подъехал: нет ли у кого табачку?

Капитана угостили пачкою папирос, присовокупив:

— Спасибо вам, господин офицер, за освобождение от разбойников-большевиков!

— От разбойников? — переспросил капитан. — А вы все еще живые? Как же разбойники не прикончили вас, господа?

— Обошлось, слава Христе! Ежли засиделись бы товарищи — всех бы перевели.

— Прочь, ва-арвары! — вдруг взревел капитан. — Не собираться толпами!.. Прочь!..

Кучка городских обывателей, не ожидавшая такого поворота, моментально посыпалась от офицера во все стороны.

— Видели? Большевики для них разбойники, хотя никто из этих варваров не потерял при Советах ни единого волоса с головы. Обыватели и мещане — оплот любой тирании. При их молчаливом согласии можно вешать и расстреливать в улицах, и никто даже носа не высунет из бревенчатых стен. Ко всем чертям! Ненавижу подобную породу людей! Эх, пропустить бы сейчас рюмашку! Ведь не из гостиницы — из тюрьмы вылез, черт возьми-то!

Ной вспомнил, что у него в сумках имеется фляга самогонки.

— Что же вы молчали? Давайте же флягу! Ну, патриарх казачий! С вами жить можно.

Ной достал из сумы скруток вяленого мяса, калач, флягу подал капитану. Ухоздвигов вытащил пробку, понюхал, помотал головой, еще раз понюхал, потом попробовал и расхохотался:

— Шутник вы, однако, хорунжий! Это же отличнейший российский коньяк! Бог мой!.. Надо же, а? Коньяк! Шустовский!.. Уж я-то разбираюсь в коньяках. Ха, ха, ха! Воистину воскрес! — Отпил несколько глотков. — Ну, приобщайтесь к дарам господним.

Ной на этот раз не сказал, что он «непотребляющий» — фляга-то из его сумы! И кстати вспомнил:

— Прихватил с собою, как сегодня у меня день рождения.

— Серьезно?

— Двадцать восемь лет исполнилось.

— Что ж, поздравляю! А здорово вы тогда на митинге вернули казакам про Ноев ковчег! И волны нас хлещут, и ветры бьют, а нам надо плыть, чтобы почувствовать под ногами не хлябь болотную, а твердь земную. Долго еще нам плыть, голубчик, до тверди земной!..

Ной едва промигивался. Откуда он знает про митинг? Вот это «начальник губернской контрразведки»! Или он прощупывает печенку Ноя?

— Все, мною сказанное, сугубо между нами, хорунжий, — строго предупредил капитан. — Если кому из офицеров расскажете — радости мало будет. Учтите!

Ной успел за малый срок многое «учесть»; понял: хотя под ним седло не горит, но может и вспыхнуть.

— Держитесь на вокзале подальше от передней линии. Не попадайтесь на глаза Дальчевскому. Дальчевский — мстительный, о Новокрещинове я уже сказал. А что вы мало пьете ради собственного дня рождения?

— Мне пить много нельзя. Натура не принимает.

— Сочиняете! При вашей комплекции бочка рома не свалит с ног! Эх, сегодня бы нам, после встречи эшелонов, закатиться в «Метрополь». Да в кармане у меня пусто. Не одолжите тридцатку на два-три дня?

— Да хоть пятьсот, — бухнул Ной и не без умысла.

До него дошло с головы до пяток: если он заручится поддержкой капитана Ухоздвигова, то уж, верное дело, голова будет целехонька... хотя бы на сегодняшний день!

— Керенскими?

— Николаевскими.

Капитан прищурился, взъерошил пятерней кудрявившиеся волосы:

— Давайте!

Ной достал пачку денег, деловито отсчитал и передал капитану. Тот посмотрел — настоящие ли? И сунул в карман.

— Пейте! — передал Ную флягу, наполовину опорожненную. Ной удивился: почему капитан не пьянеет? Ведь огонь, огонь пропускает внутрь!.. Выпил, ладонью по губам, и, передавая флягу сотрапезнику, сказал, будто завзятый знаток вин и коньяков:

— Не хуже «Мартини», господин капитан.

— Хо, хо, «Мартини»!.. «Мартини» — это кислые французские сопли, выдержанные в...

Капитан употребил такие слова о красавицах француженках, что у Ноя рот открылся.

Ехали, прикладывались к фляге, далеко отстав от эскорта.

— Кстати, о чинах, хорунжий! — сказал капитан. — Мой самый высший чин — поэт! В поэзии — душа России, ее сердце, печаль и радости. Не царствующие особы восславили Россию, а Пушкин! Был еще Гавриил Державин, Некрасов, Крылов или вот Алексей — Кольцов:

Сяду я за стол —
Да подумаю:
Как на свете жить
Одинокому?..

А? Каково? Нищие мы духом без поэзии, хорунжий. Нищие и сирые! Если бы не поэзия, я бы пустил себе пулю в лоб! Да-с! Ведь: «И скушно и грустно! — и некому руку подать в минуту душевной невзгоды!..» Это сочинил поручик Лермонтов. Не сладко ему жилось под дланью венценосца! А Гавриил Державин?

...Скользим мы бездны на краю.
В которую стремглав свалимся;

Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся,
Без жалости все смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнца ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

Какая глубина! И ведь написано еще в ту пору, когда Русь свято верила в боженку, в твердь небесную! А поэт сказал: «И солнца ею потушатся, и всем мирам она грозит». Все смертно, хорунжий. Ни боженки, ни черта, ни преисподней! Все и вся на земле — дьяволы и боги! Люблю Россию, хорунжий. Как русский, как сын отечества. А вот запакоостили мы Россию изрядно. И это, знаете ли, скажется на будущих поколениях.

У Ноя было такое самочувствие, точно капитан содрал с него шкуру с мясом и душу вынул прочь. Ни бога, ни черта не оставил! «От безверья сгинет, должно, — утешил себя Ной, не вполне уверенный, что сам спасется верою в бога и всех святых апостолов. — Экое приспело время!»

VII

Между тем впереди у полковника и эскорта произошла непредвиденная заминка.

Миновав Плац-Парадную площадь, сворачивая в сторону вокзала, полковники снова увидели арестованных — вооруженные казаки гнали пятерых мужчин и двух женщин. Одну из них Бологов узнал издали — Евдокия Елизаровна Юскова! Простоголовая, в нарядной жакеточке с накинутым на плечи ажурным платком, в длинной синей юбке, она шла, сгорбившись, впереди всех, держась руками за живот.

Двое казаков с обнаженными шашками шли по сторонам арестованных, а сзади конвоируемых — офицер в парадном голубом казачьем казакине и... погонах есаула!

Полковник Ляпунов спросил у Бологова:

— Па-азвольте! Эт-то что еще, атаман? Есаул при погонах?!

— Я его впервые вижу, господин полковник, — ответил Бологов.

— Какой части, господин есаул? Фамилия?

— Третьего Енисейского казачьего полка, есаул Потылицын.

Полковник Розанов уставился на есаула.

— Я, командир полка, есаула Потылицына не знаю.

— Мне ваше лицо тоже неизвестно, — ответил есаул полковнику. — Моим командиром на фронте был полковник Шильников. Сейчас он на вокзале.

Евдокия Елизаровна, улучив момент, кинулась к Бологову, вцепившись в уздечку коня:

— Григорий Кириллович! Спасите за ради Христа! Вы же меня знаете! Мы же вместе ездили в Челябинск! Есаул со своими казаками арестовал меня на вокзале, как большевичку, и так меня били, били! Боженька! — заплакала Дуня. Лицо ее и в самом деле было избито, губы раздулись, и на подбородке запеклась кровь. — Скажите же! То красные меня расстреливали в Гатчине, то теперь есаул ведет на расстрел!

Атаман Бологов подтвердил: Евдокия Елизаровна, бывшая пулеметчица женского батальона, восставшего против большевиков, действительно является активной фигурой «союза освобождения», именно она в марте выполнила ответственную миссию при поездке представителей «союза» на переговоры с командованием чехословацкого корпуса.

— Что за произвол, есаул? Кто вас уполномочил производить аресты, избиения? — напрягся Ляпунов.

— Я лично вас не знаю! — отсек есаул Потылицын. — Я подчиняюсь полковнику Шильникову, начальнику Красноярского гарнизона! Он приказал мне очистить вокзал и перрон от подозрительных лиц. Евдокия Юскова, как мне точно известно, проститутка, активно сотрудничала не в нашем «союзе», а у большевиков. В Белой Елани Минусинского казачьего округа она застрелила командира повстанческого отряда, славного патриота Кондратия Урвана и скрылась в Красноярск с красным комиссаром Боровиковым.

— Не было! Ничего такого не было! — выкрикивала Дуня. — Есаул мстит мне за сестру, которая утопилась, только бы не выйти за него замуж. Ему хотелось получить капитал отца! Мстит, мстит! А всю

банду его, Григорий Кириллович знает, разогнали потом казаки. Это все знают!

Если бы Евдокия Елизаровна и не сказала ничего подобного, карьера есаула и так была бы испорченной. Он не признал полковника Розанова за командира казачьего полка и самого управляющего губернией отверг. А тут еще арестованные, перебивая друг друга, слезно умоляли господ офицеров освободить их, как ни в чем не виноватых. Они путевые рабочие, отдыхали в дежурном помещении, а там на столе валялась кем-то брошенная газета. И вот офицер за эту газету ведет их в тюрьму. Ляпунов посовещался с полковниками, доктором Прутовым — и к Бологову:

— Атаман! Приказываю: за самоуправство и учиненные бесчинства разоружить есаула Потылицына и казаков. Мы пришли, чтобы установить законность и порядок! А вы, граждане, свободны!

— Сдать оружие, есаул! — подъехал к Потылицыну Бологов, прямясь в седле.

— Кто вам дал право разоружать есаула? Сотнику не подчиняюсь. Меня может разоружить только полковник Шильников. И вы не имеете права освобождать преступницу Евдокию Юскову и вот этих, которых мы захватили за чтением большевистской газеты. Или вы на совдеповцев оглядываетесь, господа?

— Ну, это уж слишком, — проворчал доктор Прутов. — Если так дело пойдет, каждый офицер, собрав вокруг себя трех-четыре казаков, будет чинить суд и расправу по своему разумению! Это же произвол?! Кто вам позволил, есаул, надеть погоны?

— С кем имею дело? — ощерился есаул. — С лицом гражданским я вообще не намерен разговаривать.

Доктора Прутова передернуло.

— Ах, вот как! Гражданских лиц вы считаете только пригодными для арестов и избиений? Хорош, есаул! — И к полковникам: — Я полагаю, как министр внутренних дел, есаула с его сообщниками следует арестовать и препроводить в тюрьму. А с полковником Шильниковым мы еще поговорим...

Бологов по приказу полковников (на этот раз они проявили такое поспешное взаимопонимание, что их совещание не длилось больше минуты), выхватив шашку, гаркнул эскорту казаков:

— Шашки на-голо! Приказываю уряднику Сазонову, казакам Дружникову и Плотникову немедленно разоружить есаула и этапировать в тюрьму. И пусть содержат строго, впредь до особого распоряжения управляющего губернией.

Губернский комиссар Каргаполов спохватился: тюрьма — открыта, начальника тюрьмы нет, внешней охраны и надзирателей также, гауптвахты казачьего полка, как и самого полка, не существует, куда же водворить арестованных?

Сазонов с двумя казаками успели разоружить есаула, а вместе с ним — подхорунжего Коростылева и старшего урядника станицы Каратузской Ложечникова.

Полковники еще раз посовещались с доктором Прутовым, и полковник Ляпунов проявил-таки милосердие:

— По случаю нашей победы над совдеповцами отпускаю вас, есаул, с подхорунжим Коростылевым и старшим урядником Ложечниковым до десяти часов утра. Явитесь в мою резиденцию в дом губернатора. Ясно?

— Так точно! — козырнул за всех красномордый Коростылев.

Арестованные успели убежать кто куда и только Евдокия Елизаровна все еще стояла возле лошади Бологова, сгорбившись и сморкаясь в платок.

— Вы свободны, госпожа Юскова, — напомнил Ляпунов и тронул мерина; за ним поехали все остальные, объезжая Дуню. Некоторое время она шла следом за казаками, боязливо оглядываясь: не преследует ли ее есаул со своими мордovorотами, потом свернула на тротуар и, увидев лавочку у заплота, села согнувшись — дальше идти не могла.

VIII

Взбешенный есаул Потылицын, матюгаясь, шел некоторое время со своими сподвижниками не оглядываясь, решительно ничего не понимая в происходящем.

— Што же это получается, Григорий Андреевич? — зудит есаула Коростылев. — За какую-то гадину разоружили и чуть в тюрьму не посадили! Или мы мало послужили царю и отечеству? За царя мы будем или за проклятые Советы? Этот-то с бородкой, Прутов, —

который при Керенском танцевал перед большевиками и жидами, теперь министром внутренних дел назвался.

— А я што говорил на вокзале? — напомнил Ложечников. — Надо было сразу прикончить гадину и бросить там. Не нарвались бы. А тут полковники за шлюху! Вот это полковники! Вернуться бы на вокзал и обсказать Шильникову.

Потылицын зло матюгнулся:

— Пошли, они все к такой матери! Они с ума спятили.

— Полковники всегда споются между собою, — поддержал Коростылев. — И должности разделят полубовно, да еще банкет закатят для полного ажюра. На вокзале, видели, готовят ресторан для угощения Дальчевского. Но как же головка офицеров вас обошла, Григорий Андреевич? Вы же царский есаул, а не выскочка Бологов. Это же сволочь! Вы же отряд патриотов создали у нас в уезде. Не в бирюльки играли, а кишки выпускали из большевиков. Еще два офицера едут!

Потылицын присмотрелся — на караковом и рыжем коне едут двое, одного из них он узнал...

— Приветствую с победою, господа! — задержал каракового коня простоголовый офицер в расстегнутом френче. — Что вы такие кислые? Как там на вокзале?

— Пошел ты к чертям собачьим! — рявкнул Потылицын. — Ты знаешь, с кем едешь? Это — большевик! Красный хорунжий из Петрограда, которого давно надо шлёпнуть. Я его знаю по Белой Елани. Он сорвал наступление Сотникова на Минусинск в начале марта. Сволочь!

— Что?! Что?! — напрягся капитан. — А ну, стойте, воители. Я с вами сейчас разберусь. Хорунжий, револьвер мне! Шашку на-голо!

Ной быстро подал капитану наган и сам выхватил шашку.

— Ни с места! — орал капитан, наезжая на есаула Потылицына. — Документы! Быстро!

— Кто вы такой будете, что требуете документы? — отпятился к бревенчатой стене дома Потылицын.

— Я начальник губернской контрразведки, капитан Ухоздвигов. И без лишних слов!

Есаул подал документы; капитан заглянул в офицерскую книжку:

— Вот как! Родом из Белой Елани? Вы знаете моих братьев: полковника Иннокентия Иннокентьевича и сотника Андрея Иннокентьевича?

— Я знаю поручика Гавриила Иннокентьевича. Со старшими вашими братьями не встречался.

— В марте я читал одно из сообщений из тайги, подписанное «атаманом Григорием и святым Ананием». Не вы ли скрывались под этими именами?

— Да! При большевиках не ходил есаулом.

— Понятно. И что же, вы в самом деле считаете себя святым Ананием?

Есаул зло ответил:

— Это мое дело!

— В вашей книжке записана благодарность полковника Шильникова за проявленную бдительность на фронте в сентябре пятнадцатого года. В чем проявилась ваша бдительность?

— В разоблачении социалистов, втесавшихся в офицерский состав Третьего Енисейского полка.

— Служили верою и правдою царю-батюшке?

— Да! А вы где служили, господин капитан? В инфатерии тыла?

— Служил у кайзера Вильгельма в Берлине. Это вас устраивает? А вы, кажется, были приказчиком у миллионера Елизара Елизаровича Юскова? Из сотника — в приказчики? Помню, вы что-то натворили в Урянхее с Юсковым, и против вашей «доблестной службы» губернатор возбуждал уголовное дело?

Потылицын затравленно помалкивал. Фамилия Ухоздвиговых для него была столь же омерзительной, как и Юсковых. Сокомпанейцы-золотопромышленники немало поиздевались над сотником «на подхвате» в свое время. Да еще какой позор пережил с женитьбой на Дарье Елизаровне! И вот теперь остался у разбитого корыта, без денег, без чести и положения в обществе! А братья Ухоздвиговы преуспевали! Да еще, слышал, какие куражи устраивали со своим диким папашей!

— Вы эсер?

— Не имею чести быть знакомым со всеми этими сволочами и всей пакостью, от которой в России стало невозможно жить.

— Вот как! Монархист?

— Почитаю за честь быть именно им!

— Но мы не за царя-батюшку, господин есаул.

— Кто — «вы»? Братья Ухоздвиговы?

— Социалисты-революционеры.

— Плевать мне на них!

— Вот как! — капитан сунул документы есаула в карман френча. — В таком случае вам нечего делать у нас.

— У кого у вас? У социалистов-революционеров? А я и не собираюсь ничего делать у вас. В Сибири есть другие силы — Забайкальское войско, в конце концов.

— Монархист Семенов? Ясно! Так вы спешите к атаману? Та-ак! Ну, а вы, господа казаки? Разделяете мнение вашего есаула?

— Я — подхорунжий Коростылев, — пробурлил мордастый сподвижник Потылицына. — Правду вам врезал господин есаул. Со всякой сволочью социалистами нам не по дороге, господин капитан! Да!

— Документы! А вы кто, казак?

— Старший урядник Ложечников.

— И также готовы шлепать всех социалистов?

— С моим удовольствием! Мы из них выпускали кишки в нашем уезде с ноября прошлого года по недавнее время. Да и сейчас орлы нашего отряда чистят уезд.

— Ясно. Ваш документ, брат-монархист! Завтра найдете меня в губернском комиссариате или у полковника Ляпунова. Разберемся в вашем умственном хозяйстве, господа. Вы поздно проснулись. Не тот год и не то время!

— Не беспокойся, господин капитан, мы свое время не проспим, — ответил с вызовом есаул Потылицын. — Царствование социалистов продлится месяц или два, а потом белое движение очистится от всех сволочей и будет настоящим белым!

— С царем-батюшкой?

— Да! Будьте покойны! Если не царя — вождя сыщем!

— Однако вы весьма воинственны, господин есаул! Имеете награды за подвиги на фронте? Ах, да! В книжке записано: Георгиевский крест. Ну, что ж, для первого знакомства достаточно. Особо предупреждаю вас, господин есаул, если еще раз назовете заслуженного хорунжего Лебеда, полного георгиевского кавалера,

большевиком и красным, считайте себя рядовым казаком. Это я вам обеспечу, будьте покойны! И помните: то, что хорунжий Лебедь сделал для нас в центре совдепии, вам это, с вашим багажом монархиста, вообразить невозможно. С хорунжим Лебедем считались в Совнаркоме! А вы кто для Совнаркома? Печальный февральский день рухнувшего самодержавия! Ясно? Будете жаловаться? Пожалуйста! Небеса для вас всегда открыты. Господь милостив, тем паче он в трех лицах, и ему легче разобраться, кто вы и что вы?

Коростылев молча потянул Потылицына за рукав, и они подались тротуаром прочь от новоявленного начальника губернской контрразведки, на этот раз не только разоруженными, но и без документов, чистенькие.

— Бардак! — остервенело плюнул Потылицын.

— Чистый бардак! — дальше Потылицына харкнул Коростылев.

— Какая власть-то будет? Под красных, што ли?

— А, хрен ее знает! — кипел Потылицын. — Эти эсеры и все сволочи расхватывают теплые местечки, начнут митинговать и совещаться по партийной линии, а большевики соберут силу, тиснут из-за Урала, мокрого от них не останется!

— Эт точно! — поддакнул Ложечников. — А как понимать, Григорий Андреевич, служил он у кайзера Вильгельма? Это же што, продажная шкура или как?

— А кто еще? Шкура! Шпион. Я бы ему повесил на шею пеньковую веревку! Все они сволочи, Ухоздвиговы.

— Еще какие! — вспомнил Ложечников. — Ухари, дай боже! Перед войной на тройках закатывались к нам в Каратуз, попойки устраивали у атамана Шошина, сколько казачек попортили, и драки были на всю станицу. Сотника ихова подстрелили, помню.

— А рыжий-то молчал, гад! Шашку выхватил. Это тот хорунжий, который атаманов подбил, штоб разошлись казаки по станицам?

— Тот, сволочь!

— А мы-то ждали волюшку! — признался Коростылев. — Эх, и развернулись бы, мать честная! Таким бы сквозным ветром продули губернию — духу большевиков и совдеповцев не осталось бы. А что, если махнуть к атаману Семенову, а?

— В Иркутске сидят еще красные. Вот раздавят их чехи, тогда рвануть можно.

Послышался конский топот; все трое разом оглянулись, как ошпаренные: не догоняют ли их два офицера? Ехал извозчик. Коростылев выскочил на перехват:

— Стой!

— Верное дело, смыться надо, — догадался Ложечников.

IX

— Вы что, хорунжий, в самом деле успели «поработать» у Сотникова?

Ной не отперся.

— Та-ак!

Новокрешинов и Дальчевский — не есаул Потылицын, у них власть сушая и крылышки геройских командиров! С ними будет труднее: как бы и в самом деле не «произвели» в покойники хорунжего. Надо ему дня три-четыре переждать. Ной согласен — ему сподручнее ждать.

— А как вы думаете, хорунжий, во имя чего мы свергли Советы?

Ной попридержал язык — сам думай, капитан, во имя чего!

Ухоздвигов взъерошил и без того лохматые волосы, продолжил:

— Ведь если я Каин, то дайте мне существенную идею века, чтобы убить Авеля! Убийства ради убийства меня не прельщают. А я должен буду убивать, арестовывать, являясь начальником контрразведки. И все это, в сущности, за тени на тюремной стене? Надо верить, хорунжий, верить!

— Вера спасает, Кирилл Иннокентьевич.

— От кого и от чего спасает?

— От сумятицы в душе, следственно.

— А! Господь бог! Ну, сие от меня весьма далеко! Наш мир, хорунжий, сугубо материален, и все мы смертны! Верить можно в социальную идею века — в социализм, свободу, братство, а если именно этого нету у Каина, а все это имеется у Авеля? У Авеля — идеи, охватившие весь людской мир, и я, Каин, не имея за душой ни гроша собственной веры, должен укокошить брата Авеля за его истинную веру? И тираны будущие вознаградят меня чугунным памятником на болотной хляби? Так, что ли? Но в болоте памятник не устоит — засосет его хлябь, про которую вы говорили казакам на

митинге. Во что же вы тогда верили, в Гатчине, а? Почему не призвали полк к восстанию?

— Бессмысленно было бы. Положил бы весь полк в кровавом побоище.

— Понятно! А ведь эти ваши действия — во имя спасения завоеваний социалистической революции! И об этом никогда не забывают.

У Ноя от подобных рассуждений капитана весь хмель выдуло из головы. «И что он ко мне в душу лезет, холера его возьми? Ежели у Авеля есть вера, тогда и шел бы к брату Авелю без службы у белых. Да вот как пойти, если заваруха с головой захлестнула? Спаси нас бог! — Это было единственное, на что уповал Ной. — Ишь ты! Морочит мне голову! Писание знает, а бога отверг, как Дунюшка, неприкаянная душенька!..»

«Неприкаянная душенька» оказалась легкой на помине...

— Ной Ва-асильевич!

От неожиданности Ной вздрогнул. Справа, на лавочке у заплота — Дуня! Свет падал на ее белое лицо. Но что она так скрючилась?

— Евдокия Елизаровна!

— Помогите мне, пожалуйста, — жалобно попросила Дуня. — Я чуть живая. Есаул Потылицын со своими бандитами избил меня и вел на расстрел. Боженька! Что они со мной сделали? Так били, били, пинали, пинали!

— Господи помилуй! — ахнул Ной, спешившись и перекинув чембур через голову Вельзевула, подошел к Дуне. — За что он тебя?

— За Урвана мстит. Помните? За того бандита и моего мучителя. И столько на меня наговорил, да Бологов заступился и полковник Ляпунов с господином Прутовым и с офицерами обезоружили есаула, — говорила Дуня, смахивая на скомканный платок слезы. Лицо ее в синюшных кровоподтеках, губы вздулись и на подбородке запеклась кровь.

— Кабы знать, я б ему голову отхватил на тротуаре! — взревел Ной. — Только что видели гада ползучего! Ну, стерва длинная! И такие стервы по земле ходят! Как только земля их держит, господи.

— Триста лет держала, — поддал капитан. — И еще тысячу лет будет держать, только дайте им власть.

— Кирилл Иннокентьевич? — вскинула Дуня заплаканные глаза на капитана: — Вот мы и свиделись после Гатчины. Извините пожалуйста, я в таком состоянии, ужас!

— Давно в Красноярске? — сухо поинтересовался капитан, построжев. Он, конечно, вспомнил Дуню-батальонщицу.

— Да сегодня в обед приплыли на пароходе.

— На каком пароходе?

— На «России». И «Тобол» шел впереди.

— С хорунжим плыли?

— С Ноем Васильевичем, да еще госпожа Юскова, миллионщица, с архиереем Никоном и двумя иеромонахами и протоиреем с монашкой. Протоирея в плечо ранили у скита. До каких же пор стрелять да налетать будут?! А я-то думала, справедливость будет, когда придут наши. А тут — бандиты! Боженька!

— Ну, не все в России бандиты, Евдокия Елизаровна. Такое наше время. Не повезло вам в лучезарный день свободы, — криво усмехнулся капитан.

— Убивать их надо, гадов, — кипела Дуня, и к Ною: — В седло я не подымусь. Извозчика бы. Только не оставляй меня, за ради бога. Есаул еще скараулит и прикончит. За обезоруженье он мне отомстит.

— Поезжайте, Кирилл Иннокентьевич, — сказал Ной.

— Да, конечно! Где вы остановились, Евдокия Елизаровна? А! У госпожи Юсковой? По Воскресенской деревянный двухэтажный дом? Ну, я понаведаюсь к вам. А вы не спешите со службою, господин хорунжий. — И уехал в сторону вокзала.

И вот они снова вместе, сотрапезники злосчастной судьбы, Ной и Дуня. Сидят на лавочке тесно друг к другу, и Вельзевул головою к ним — покорный и смиренный.

— Кажись, не видеть мне от тебя ребеночка, — горестно молвила Дуня, пожимая в ладонях широченную руку Ноя. — Так и останусь одна со скотами и бандитами. Так меня мутит, мутит, а круженье — все перед глазами плывет, плывет, как на качелях будто. И боли, боли!.. Вот оно какое розовое небо над нами! Это покойная Дарьюшка писала в своих тетрадках, что над нами розовое небо. Не розовое, а чугунное. Хоть ты со мною, слава богу. А Вельзевул-то каким смиренным стал! У меня аж сердце зашло, как он понес тебя. А кругом орут, орут: «Разнесет мужика! Туда ему и дорога!» И с таким злорадством, ужас!

Звери. Если бы ты слышал, как орала толпа возле вокзала, когда меня били бандиты есаула: «Убейте проститутку!» Я бы им пасти разорвала. Сколько гадов на земле! Хоть бы кто заступился.

Ной успокаивал Дуню, но разве можно успокоить пораненную душу? Или от века до века так будет: страдание одного и каменное равнодушие всех к страдающему?..

— Ну, не плачь. Ты же со мною! Все, может, обойдется.

Дуня спросила: где Ной встретился с Кириллом Иннокентьевичем? И по мере того, как узнавала подробности, перебивала: «Ой, как же ты?! Урядник тебя мог зарубить!» — И когда обо всем узнала, обрадовалась:

— Вот видишь, а ты от меня таился. Ведь не чужая тебе, не чужая. Ох, Ной, Ной! Да что тебе Дальчевский и Новокрешинов! Кирилл Иннокентьевич, как я видела на том совещании офицеров в Гатчине, имеет большой вес. Сам Дальчевский лебезил перед ним, а Новокрешинова он обозвал Чингисханом. Да от тебя вином пахнет, — унюхала Дуня. — Коньяк был во фляге? Хоть бы мне глоточек, — может, лучше стало бы.

Ной достал из сумы флягу, потряс — на доньшке плескалось.

— Тебе оставить?

— Пей, пей. Мы с ним сколь выдули. Есаула-то он здорово разделал.

Дуня расслабилась, теснее прижимаясь к Ною, единственному защитнику.

— Ну, к чему ты шла на вокзал? Дальчевского, что ль, хотела встретить? Мало он тебя сплотировал? Плюнула бы на всех. Не я ли тебя призывал к тому?

— «Призывал»! — возмутилась Дуня. — Меня надо не призывать, а по рукам и ногам связывать и не отпускать; дурная папашина кровинка кидает из стороны в сторону, как вот Вельзевула бросало по площади. Ты его разве призывал! Если бы меня хоть раз укротил, так, может, и я стала бы покорной. Ой, язык заплетается. Как сразу опьянела. Хоть бы обошлось все. Я так боюсь. Извозчик едет!

Со стороны вокзала быстро ехал извозчик. Ной выскочил на середину улицы, держа Вельзевула на поводу. Пожилой извозчик в черном картузишке и лапсердаке остановил карего выездного коня, запряженного в экипаж с опущенным верхом.

— Меня послал господин офицер с вокзала увезти больную даму в дом госпожи Юсковой. Пожалуйста, пожалуйста. Стой, Верик! — прикрикнул извозчик на коня. И когда Ной повел Дуню к экипажу — она так и шла согнувшись, извозчик узнал ее. — О, иегове! Это же вас били господа казаки и угнали в тюрьму? Теперь отпустили? Слава Моисею! Я вас быстро довезу. Мой Верик, если бы знали, какой иноходец! Такого, скажу вам, в городе нету. — Расхваливая иноходца, старик обратил внимание на жеребца офицера.

— Я где-то видел вашего жеребца с длинной гривой! Истинно говорю вам — видел! Как будто сегодня или вчера? Еще подумал: «О, какой жеребец! Сила у него за трех моих Вериков». Разве не так?

В рессорном экипаже Дуню растрясло. После недавних дождей на Воскресенской улице непролазная грязь едва просохла, обтянутые резиною колеса подпрыгивали на выбоинах. Кусая губы, Дуня изо всех сил крепилась, готовая зареветь в голос, потом ее кинуло на ухабе в угол, и она, вцепившись руками в дужку, обтянутую брезентом, увидела над собою сине-синее небо, и это немилостливое небо будто лопнуло и упало ей на голову — в ушах зазвенело. Она знала, что с нею, и оттого ей было страшно. Она так теперь хотела ребеночка!

Так хотела! И сколько раз видела себя с малюткой, а небо лопнуло, раздавило ее, и ничего, ничего не осталось!..

Ной ехал следом за экипажем, поглядывая по сторонам: не увидит ли есаула с казаками? На тротуарах было много горожан и ни одного военного и милиционера: предержавшие власть и исполнители законов отсутствовали. На некоторых балконах свешивались царские, трехцветные флаги рухнувшей империи, встречались и белые флаги, будто жители домов сдавались на милость победителей: никто не знал — существует ли флаг у Сибирского правительства...

— Смотрите, жеребец пророка Моисея! И мужик тот самый! — раздавался голос с тротуара.

Ной зверовато оглянулся, увидел двух господ в котелках, один из них пробормотал: «Тише! Это — казак!» — И подались дальше.

Гриву жеребцу и хвост надо обрезать!..

Извозчик подвернул к воротам двухэтажного деревянного дома госпожи Юсковой, с балконом у полукруглого угла, с которого однажды выступал перед гражданами города его императорское

величество, самодержец всея Руси Николай Второй; в память такого события прибита была на стене медная пластинка.

Створчатые ворота, окованные железом, были закрыты. Ной спешился и подошел к Дуне. Она чувствовала себя до того плохо, что, открыв глаза, некоторое время бессмысленно смотрела на него, не слыша, что он у нее спрашивает.

— Дунюшка! Дунюшка! Приехали к дому Юсковой! Приехали!

— Пло-охо мне. Доктора надо! Доктора!

— В больницу ехать?

— В больницу? А мы где? У дома? А! Позови Евгению Сергеевну. Стучись в калитку. Скорее! Дворник там.

Ной забарабанил кулаком в калитку — железо зазвенело. Вскоре в прорезь кто-то выглянул:

— Кто приехал?

— Евдокию Елизаровну привез. Позовите Евгению Сергеевну, хозяйку.

— А што з ней зробилось? Больна? О, лихочко!

Старик извозчик оглянулся на Дуню:

— Если в больницу — тут недалеко, господин офицер. Госпожа из такого дома, ай, ай! Из такого дома! Ну если бы кто другой, но из такого дома, иегове!..

Из калитки вышла хозяйка в нарядном голубом платье, простоголовая и удивленно уставилась на Ноя, будто он был ее должником. Она узнала, конечно, пассажира «России». Ной сообщил о печальном происшествии с Дуней.

— Есаул Потылицын? Да он что, с ума сошел? — Евгения Сергеевна помнила, конечно, есаула Потылицына, когда-то посетившего ее дом еще в прошлом году. Подошла к Дуне. — Миленькая, что с тобою? Ах ты, горюшко! Ну, к чему ты пошла на вокзал в такой день?! Ужасно. Была бы со мною в соборе, ничего бы страшного не случилось.

— В больницу мне. В больницу! — бормотала Дуня. — Только бы со мною был Ной Васильевич!.. Боюсь одна! Он назначен командиром особого эскадрона.

Евгения Сергеевна ничего не поняла:

— Кто назначен командиром особого эскадрона? Что ты, Дунюшка?

— Ной Васильевич. Я вам говорила — мы ехали с ним из Гатчины. Он со мною.

— Ах, вот что! — Евгения Сергеевна взглянула на хорунжего. — Понимаю! Я могу позвонить в больницу, но ведь там ужасные условия, непостижимо ужасные. И как ты будешь там с Ноем Васильевичем? Это же невозможно. У меня есть доктор. И уход будет подобающий.

Дуня сжимала пухлую ладонь Евгении Сергеевны и, преодолевая боль, просила:

— А можно... Ною Васильевичу остановиться у вас? Вы же знаете... Если бы не он...

— Да я буду рада. Пусть остановится. А доктора я сейчас же вызову. — Оглянулась на усатого дворника. — Павел, открой ворота.

И когда извозчик проехал в ограду и развернулся у резного крыльца, Евгения Сергеевна сказала двум женщинам, вышедшим из дома:

— Аглая и Маша, помогите Дуне!

— Разрешите, я занесу ее, — подошел Ной.

— Видишь, какое мое счастье короткое! — сморкалась Дуня, когда Ной бережно взял ее на руки и она одной рукой обняла его за шею. Женщина открыла перед ним дверь, и Ной понес Дуню по лестнице мимо беломраморной Венеры со стыдливо опущенной вниз рукой.

Женщина сказала, что комната для Евдокии Елизаровны наверху; Ной пошел наверх по пушистому, мягкому ковру. В конце короткого вестибюлька женщина открыла полустеклянную дверь со шторкою, и Ной внес Дуню в маленькую комнатку с белеющей постелью на деревянной кровати.

Ной бережно опустил Дуню на постель; рука ее, соскользнув с плеча, вцепилась в полу кителя:

— Не оставляй меня, по-ожалуйста! — попросила Дуня. — Мне теперь страшно и жутко. Жутко. Я попрошу Евгению Сергеевну, чтобы ты был рядом. По-ожа-алуйста. Прости, что я была такая злюка в Белой Елани. Не дай мне погибнуть!

— Что ты, Дунюшка. С тобою я. С тобою.

— Поцелуй меня, пожалуйста!

Ной склонился и поцеловал Дуню в разбитые губы.

Она опять вскинула ему на шею руки. Он должен быть с ней, всегда с ней! «Я тебя люблю, люблю, Ной! Одного тебя люблю и никого, никого не любила! — бормотала сквозь всхлипывания Дуня. — И ты будешь со мной, правда?»

— Дунюшка, Дунюшка! — отвечал Ной сдавленным голосом, будто Дуня перехватила ему горло. — Если бы сразу так, Дунюшка! И горя не было бы никакого.

— Ты от меня ускакал на Вельзевуле, и я потеряла тебя. Нашла и потеряла! Боженька! А я не хочу больше терять. Не хочу! Мне так страшно! Я все время, как есть, все теряю! И ты уйдешь. Никого со мной не будет... Никого! Я знаю: уйдешь! Уйдешь! От меня все уходят и уходят, как от Дарьюшки все ушли, и она утопилась! Боженька! Какие мы с ней разнесчастные!

Дунюшка горько заплакала. Женщина стала снимать с нее жакетку, ботинки. Вошла Евгения Сергеевна. Она успела отослать извозчика в больницу за доктором.

— С извозчиком я рассчиталась, — предупредила. — Прислуга тут сделает все, что надо.

Ной понял и пошел из комнаты. Евгения Сергеевна вышла следом, и задержала:

— Вы офицер?

— Казачий хорунжий, Ной Васильевич Лебедь.

— Это правда, что вы назначены командиром эскадрона?

— Так точно.

— Буду рада, если офицер поселится у меня в доме. Представляю, что будет в городе, когда придут чехи, да еще беженцы нахлынут из России.

Ной сказал, что он не один, а с конем.

— Я видела. Конюшня у меня большая, господин хорунжий. Держала восемь лошадей, а теперь осталась тройка выездных да еще американский автомобиль. Жалею, что потратила на него капитал. Бензин надо доставать, да шофера иметь, обходится в три раза дороже, чем содержать шестерку выездных рысаков. Пойдемте, я вам покажу мое хозяйство, — и первой пошла вниз по лестнице, дородная, холеная, изнеженная хозяйка-миллионщица.

Вечер выдался удивительно тихий и теплый; солнце недавно закатилось, и на небе играла зарница, предвещающая хорошую погоду.

— А я на пароходе вообразила, что вы какой-то важный командир красных. У вас такой был недоступный и суровый вид. Дуня говорила про Гатчину; ну, а кто и что вы — ни слова. Понимаю: вы и не могли представиться ни мне, ни его преосвященству на пароходе. Мы же плыли с красными! Только что плыли с красными! Даже не верится, правда?

Ной ничего не ответил; усвоил — с господами надо как можно меньше говорить.

— Эшелоны с нашими войсками и чехами не пришли еще?

— Встречать поехали господа офицеры.

— Как мы только пережили тиранию большевиков! — вздохнула «истираненная» хозяйка — розовощекая, голубоглазая, с драгоценными кольцами на пальцах, с серьгами в ушах и с дорогими приколками в уложенных волосах. И в том же тоне пострадавшей: — Вы же знаете: они ограбили банк! Какой кошмар! Губерния осталась без денег. А что они вообще творили? На моих заводах, рудниках и приисках установили так называемый рабочий контроль, и заводы, в сущности, стояли, а рабочие непрерывно митинговали, митинговали восемь месяцев! Эти большевики только и научились устраивать непрерывные митинги и забастовки. Ну, пусть бы! Так ведь требовали выплату заработка. За пустозвонство — заработка? Да что же это такое? Я отказалась от выплаты денег — капитал арестовали в банке. Дикий произвол!

Хозяйка показала просторную конюшню, и Ной выбрал стойло для Вельзевула; приятно пахла свеженакошенная трава. В деревянном гараже — лобастый заморский зверь под брезентом — автомобиль. Хозяйка приподняла брезент, и Ной полубовался машиной.

Евгения Сергеевна пожаловалась, как ей трудно, вдове, содержать дом с прислугой, конюхом и кучером, управлять лесопильными и механическим заводами в затоне, да еще имеются рудник и прииски в южно-енисейской тайге, где она и сама не помнит, когда была, — но золото поступало в банки. И это золото теперь украли большевики.

«Эко, прижало буржуйку, — подумывал Ной, похаживая за хозяйкой. Уразумел, для кого свершили переворот господа серые каины. А знает ли о том народ? И как поведут себя серые с меньшевиками? Сладкие речи будут петь, или головы рубить? — Казнить будут, не иначе. Злобы буржуи скопили много».

Евгения Сергеевна поинтересовалась о службе Ноя в Гатчине и Петрограде и когда узнала, что отец Ноя станичный атаман, весьма обрадовалась.

— Мой брат, Сергей Сергеевич, тоже поддерживал большевиков в прошлом году, но потом горько разочаровался. Все мы горько разочаровались!

«Было ли очарованье? — подумал Ной, вспомнив брошенный буржуем дом в Гатчине с порубленной мебелью, где проживал с ординарцем Санькой. — Вот кабы мильены не трогали и дали бы волюшку, шток капиталы пухли, и серых не подбили бы к восстанию».

Ной многому научился в Петрограде и Гатчине и за один сегодняшний день. Но «фатера» на этот раз во всех отношениях была надежной.

На крыльце Евгения Сергеевна спросила: где будет лучше Ною Васильевичу: на первом этаже или на втором?

— На первом бы. Потому, как приезжать буду не всегда вовремя, ежели командовать доведется особым эскадром.

Хозяйка показала комнату на первом этаже, ту самую, в которой повесился лысый слуга покойного хозяина, Ионыч. Комната просторная, рядом с библиотекой. Кровать, стол, диванчик, стулья, иконы в переднем углу с лампадкою и огарышками свечей.

Извозчик привез доктора, и хозяйка, простившись, увела доктора наверх.

ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ

I

Эшелон Дальчевского задерживался...

Полковники — Ляпунов, Каргаполов, Розанов и Коротковский с доктором Прутовым прохаживались по перрону в ожидании доблестных воителей.

Немало офицеров, в том числе приземистый, мордастенький полковник Шильников, пришли при погонах и орденах — царских наградушках.

К полковникам подошел начальник станции с телеграммой, только что принятой из Ачинска:

«Начальнику станции Красноярск. Незамедлительно передать ультиматум командованию войск красных. Даю двенадцать часов для полной очистки города от красногвардейских частей и частей интернационалистов. Восемь утра чехословацкие освободительные войска придут Красноярск. Сопrotивляющиеся будут уничтожены. Ответ немедленно.

Командующий группой чехословацких войск на Востоке капитан Гайда».

И ни слова о командующем вооруженными силами белых военном министре Гришине-Алмазове, как будто в группе чехословацких войск не было Средне-Сибирского стрелкового корпуса, который исчислялся тремя генералами при 3807 солдатах и 275 казачьих саблях и имел на вооружении 37 пулеметов и 3 орудия.

За чтением депеши капитана Гайды застал полковников капитан Кирилл Ухоздвигов.

Ляпунов тут же сочинил ответ:

«Командующему группой чехословацких войск на Востоке, капитану Гайде. Город Красноярск силами патриотов социалистов-революционеров очищен от красных 15 часов 18 июня. Полковники совета патриотов приветствуют командующего чехословацкими войсками капитана Гайду. Ляпунов, Коротковский, Каргаполов».

Капитан Ухоздвигов иначе рассудил телеграмму Гайды. Она не так проста, как думают полковники. Спросил у начальника станции: был ли запрос из Ачинска о положении в Красноярске? Как же! Трижды за день. В час дня, в три часа и в пять, и все об одном и том же: ушли ли красные? Начальник станции инженер Скворцов на свой страх и риск в семнадцать часов дня телеграфировал в Ачинск: город полностью очищен от красных. Последние совдеповцы уплыли на пароходах «Тобол», «Сибиряк» и «Россия». И вдруг — ультиматум Гайды!..

— Не представляю, в чем дело, — недоумевал Скворцов.

— Вы свободны, — отослал капитан начальника станции. — Не будем спешить с ответом, господа, — и предложил обсудить телеграмму заново, поскольку он думает, что Гайда не случайно

«забыл» о Средне-Сибирском стрелковом корпусе и о самом военном министре Сибирского правительства. — Тут большая политика!

— Какая может быть политика? — отмел Ляпунов. — Просто Гайду не информировал начальник станции Ачинск о поступивших телеграммах из Красноярска.

— Не будем наивными, господа, — предупредил капитан. — Все телеграфные запросы продиктованы самим Гайдой. Надо знать этого капитана! Дорога повреждена, местами взорваны мосты, и освободитель Гайда застрял в Ачинске.

— Ну, голубчик! Это у вас стихи, — презрительно сказал Каргаполов. — Не надо сочинять стихов!

Капитан сдержанно напомнил полковникам, что все-таки они схлопочут себе пощечину от Гайды.

— Фантазии, капитан! — возразил Ляпунов, а Каргаполов присовокупил:

— Ответ Бориса Геннадьевича считаю правильным. Гайда ждет сообщения: свободен ли Красноярск от совдеповцев?.. Только и всего.

— Действуйте, — отмахнулся капитан.

Ляпунов подозвал одного из офицеров и попросил его отнести на телеграф составленный ответ.

В девять часов вечера при свете прожекторов подошел к станции эшелон «главкома армии белых» Дальчевского; паровоз пыхтел впереди и еще один паровоз сзади.

На перроне играл духовой оркестр; офицеры, у кого имелось оружие, в честь прихода эшелона стреляли из револьверов. Из двух классных вагонов высыпали семьдесят три беспогонника, а с ними в кителе при золотом крестике — Мстислав Леопольдович. Жена кинулась к нему с перрона, а вслед за нею Ляпунов, Каргаполов и Коротковский. Были лобызания, поздравления с победой над большевиками, и воители Дальчевского — сто пятьдесят казаков и триста пятьдесят солдат — выстроились вдоль эшелона. За двумя классными вагонами следовали обыкновенные, пассажирские с казаками и солдатами; в товарных — ржали лошади.

Выстроив свою армию, Дальчевский подошел к полковнику и торжественно отрапортовал: Клюквенский фронт красных уничтожен. Захвачена пленными тысяча двести и собрано совдеповцев по пути следования пятьсот семьдесят. Трофеи: две тысячи винтовок, два станковых и три ручных пулемета, три трехдюймовых пушки в полной исправности. Бои были жестокими, но потерь со стороны армии Дальчевского — единицы, его орлы дрались отчаянно. И ни слова о пяти чехословацких эшелонах, захвативших Канск и Нижнеудинск, массивным ударом разгромивших Клюквенский фронт красных.

Над перроном причудливо переплетались световые рукава прожекторов — синих, зеленых и слепяще-белых, — светились гирлянды электролампочек с пихтовыми ветками по проволоке. Все это подготовлено было под личным руководством начальника станции инженера Скворцова.

Приняв рапорт «главкома белой армии», полковник Ляпунов, взяв под козырек, произнес ответное слово, тут же записанное корреспондентом газеты «Свободная Сибирь»:

— Господа! Мы переживаем эпохальные дни освобождения Сибири от большевизма! Ведем известно, господа, Россия не раз освобождала Европу. Теперь настало время, когда великая Сибирь должна спасти Россию от диктатуры большевизма! Ура!

— Ура! Ура!

От социалистов-революционеров выступил председатель бюро Григорий Фейфер, успевший получить назначение на должность начальника губернской тюрьмы; и от социалистов-демократов (меньшевиков) Шпильгаузен, свирепо поносивший тиранов-большевиков.

— Ура! Ура!

По знаку Дальчевского один из офицеров подбежал к платформе с пушками, и батареи, как было условлено, выстрелили из трех орудий холостыми зарядами, испугав жен полковников, которые прибежали на вокзал, как и многие другие жены офицеров.

Кипели страсти, взаимные поздравления с победою, а батареи глушили патриотов залпами из трех пушек, чтоб весь город слышал о прибытии армии освободителей.

После семи залпов наступила благодатная тишина.

— Наконец-то, свершилось! — хлюпал седовласый миллионщик Кузнецов, преподносивший Дальчевскому хлеб-соль.

Капитан Ухоздвигов, простоголовый, в полурасстегнутом френче на несвежую рубаху, в офицерских, помятых от четырехмесячного бессменного пользования брюках, в стоптанных нечищенных сапогах, выглядел неважно: ни с кем не лобызался, и речи не произнес — должность у него строгая, без сантиментов. Кося глазами то в одну сторону, то в другую, присматривался к незнакомым офицерам — чистеньким, нафабренным, при орденах и даже при погонах.

Отцы города — Гадалов, Кузнецов, Шустаков, а с ними госпожа Щеголева, мама-купчиха, — торжественно пригласили господ офицеров в ресторан при вокзале на пир победителей.

Отведя Ухоздвигова в сторону, толстый Каргаполов сказал:

— У вас есть надежные офицеры, капитан. Проинструктируйте. Пропустить всех офицеров армии Дальчевского, освобожденных из тюрьмы, полковника Шильникова с супругою, а там — пусть смотрят. Да и мест для всех не хватит.

Еще в тюрьме капитан подобрал сотрудников в политический отдел, и, увидев двоих из них — штабс-капитана князя Хвостова и поручика Мурыгина, передал им поручение губернского комиссара.

Первыми прошли: вдовствующая, престарелая купчиха Щеголева, Гадалов с супругою, Кузнецовы, Шустаковы, полковники с женами и с

ними капитан. Зал постепенно наполнялся. В центре зала — отцы города с женами, министр Прутов с супругою и чета Дальчевских, полковники с капитаном Ухоздвиговым, с женами, и на довесок товарищ управляющего губернией, известный юрист эсер Троицкий с женою и шестнадцатилетней белокурой дочерью, в адрес которой капитан сказал комплимент:

— Вы единственный цветок в нашей аравийской пустыне, и пусть вам не будет скучно среди застарелых верблюдов.

Девушка хихикнула и, взглянув в заполняющийся зал ресторана, промолвила:

— При такой пустыне жить можно. Правда?

— Прозрение приходит с годами, — многозначительно ответил капитан и велел официанту с черной бабочкой убрать «узника со стола» — горшок с цветами. — Это же все равно, что любоваться китайским смертником с колодками на шее.

Жены полковников посмеялись над капитаном, но горшок попросили оставить — «цветы украшают жизнь».

Разговоры вязались незначительные, обволакивающие, а официанты тем временем разносили по столам блюда: салаты, кетовую и зернистую икру, семгу, осетрину, лимоны, яблоки, апельсины; на столе возвышались бутылки с французским шампанским, коньяком, сухими винами и портвейнами и, конечно, со «смирновкою» в плоских бутылках винокуренного завода Юдина.

Капитан открыл бутылку шампанского, выстрелив пробкою в потолок, разлил.

Начались тосты.

Разговоры пошли громкие; господа офицеры усердно приобщались к дармовому питанию и угощению.

Ухоздвигов краем глаза заметил движение у дверей: один из казаков, охраняющих дверь, пропустил человека в форме железнодорожника с листком бумаги, который он передал начальнику станции. Начальник станции поднялся и быстро подошел к почетному столу полковников.

— Господа, телеграмма из Ачинска, — сказал он.

По мере того, как Ляпунов читал телеграмму, лицо его багровело, лоб морщился, и он зло проговорил:

— Какого черта! Что еще за комедия?

Коротковский взял из рук Ляпунова депешу, прочитал.

— Настоящая комедия!

Каргаполов пыхтел над телеграммою дольше, качал головою, и тогда уже:

— Издевательство. И какое имеет право Гайда...

— Минуточку, господа, — оборвал капитан. — Пощадите дам! Мы охотно подождем, пока вы обсудите ваш вопрос где-нибудь в другом месте.

Каргаполов передал листок Ухоздвигову.

— Понятно! — кивнул капитан, читая телеграмму:

«Начальнику станции Красноярск объявляется арест десять суток. За самоуправство и дезинформацию главнокомандующего чехословацкими войсками капитана Гайды. Приказываю вызвать аппарату для переговоров полковников Ляпунова, Каргаполова, Коротковского. Исполнение незамедлительно. Гайда».

Это и была первая пощечина от капитана Гайды полковникам — освободителям Красноярска, предусмотрительно обещанная Ухоздвиговым.

— Пойдемте, господа, — поднялся Ляпунов, предупредив супругу: ничего страшного не произошло — они идут уладить «телеграфное недоразумение». — Пойдемте с нами, Кирилл Иннокентьевич.

— Увольте, Борис Геннадьевич, — уклонился капитан. — Оставьте меня с вашими супругами — кто-то должен ухаживать за дамами. Пригласите лучше Мстислава Леопольдовича и полковника Шильникова. Да и Николаю Семеновичу надо пойти с вами, — кивнул на Троицкого.

Ушли.

Кирилл Иннокентьевич щедро разлил шампанское дамам, выпили за благополучное возвращение с телеграфа доблестных мужей, рассказал о француженках, тоненьких, как рюмки, и на таких же тоненьких ножках, сыпал каламбурами, и до того развеселил жен славных патриотов, что они, смеясь и восхищаясь капитаном, назвали его подлинным кавалером.

Пришел подполковник Коротковский:

— Кирилл Иннокентьевич. Вас просит Борис Геннадьевич.

Ухоздвигов поднялся и галантно поклонился дамам:

— Не обращайтесь внимание на нашу суетню и беготню — мы же офицеры. У нас всегда — перелет или недолет, и редко — в яблочко.

Волнение охватило всех офицеров в ресторане. Что произошло? Почему поспешно ушли полковники и убежал начальник контрразведки? Какой-то поручик с перепугу пустил петуха:

— Пленные красногвардейцы вылезли из вагонов! А что думаете? Они всегда действуют потемну. А там пушки на платформе, пулеметы открыты!

— Что? Пушки?! Красные у пушек?!

Сохраняющий хладнокровие министр внутренних дел Прутов призвал перепуганных офицеров к порядку:

— Господа! Ничего страшного. Ответственные полковники заняты своими делами.

И все-таки страх не рассеялся; страхом насытился сам воздух; офицеры перешептывались, оглядывались, а кое-кто старался потихоньку улизнуть за дверь.

Ш

На телеграфе — маленькой комнатке со столом, на котором был установлен аппарат морзе, полковники теснились друг к другу, густо обволакивая себя папиросным дымом.

«Полковникам Ляпунову, Коротковскому, Каргаполову. Главнокомандующий Гайда требует незамедлительного ответа вопросы: какими вооруженными силами располагали господа патриоты при разгроме Красноярске войск совдеповцев? Количество штыков, сабель, полков, подробно вооружение. Число захваченных плен красных и трофейного оружия? Какие воинские части белых патриотов допустили уход большевиков пароходами «Тобол», «Лена», «Орел», «Иртыш», «Россия»? Фамилии командиров частей белых, повинных уходе пароходами большевиков? Ответ жду аппарата. Гайда».

Патриоты-полковники молча и сосредоточенно в десятый раз перечитывали депешу. Капитан Гайда попросту сдирал с них шкуру без почтения к званиям и чинам...

— Так, значит, он получил телеграмму начальника станции об уходе пароходов? — спросил Ляпунов.

Капитан помалкивал: пусть полковники чуточку поумнеют!..

— Это же не что иное, как издевательство! — пыхтел Каргаполов, вытирая позаимствованным у жены надушенным платком лицо и шею, отчего в комнате распространился несносный запах смеси табачного дыма и духов; и без того было душно и жарко, хоть парься — были бы веники!..

— Никакого издеательства, — возразил Ухоздвигов. — Я же советовал вам подумать. В большой политике опрометчивых ответов давать нельзя. Возле Гайды, кроме нашего генерала Новокрецинова, имеются лица из французской, английской и американской миссий. И вы что же, полагаете, Гайде легко было переварить, что Красноярск вдруг оказался освобожденным мифическими вооруженными силами патриотов социалистов-революционеров, полковников без полков?!

Молчали.

— Это уж, капитан, не политика, а шарлатанство! — не удержался Шильников.

Ухоздвигов оглянулся:

— Если завтра Гайда увидит вас в погонах полковника, вас ожидают большие неприятности.

— Это мы еще посмотрим, капитан! Не берите на себя много — надорветесь!

— Конечно, у вас, господин полковник, достаточно воинственного духу, чтобы разгромить все вооруженные силы чехословацкого корпуса.

Коротковскому еще раз пришлось бежать из аппаратной, на этот раз за министром внутренних дел; авось, что-нибудь дельное подскажет. А лента течет белым ручейком:

«Главнокомандующий Гайда ждет ответа...» И так четырежды.

Полковники изрядно вспотели — и от «здравных» тостов и спертого воздуха в комнате телеграфиста; министр тоже ничем не помог, разводил руками.

А капитан Ухоздвигов тем временем пристроился на углу стола и составил дипломатическую «пилюлю в сладкой облатке».

«Главнокомандующему чехословацкими вооруженными силами на Востоке господину Гайде. После разгрома вашими доблестными легионерами фронта красных под Мариинском и на Клюквенском плацдарме красноярские большевики бежали на пароходах низовье

Енисея. Наших вооруженных сил городе не имелось для задержания пароходов. Известные вам по телеграмме полковники освобождены были из губернской тюрьмы восемнадцать часов сего дня. По мере сил приступаем управлению делами губернии. Двадцать один час на станцию Красноярск прибыл из Ключвенной эшелон нашей части под командованием полковника Дальчевского. Захвачено плен тысяча семьсот семьдесят красногвардейцев, интернационалистов. Ждем приказа главнокомандующего Гайды. Полковники...»

— Капитан, ты нас в ничто превратил! — возмутился Ляпунов. — Были наши силы в городе! Подпольная организация социалистов-революционеров действовала! А возмущение народа — это разве не сила?!

— Если вы считаете, что именно этими силами разгромлены войска красных на западном и восточном фронтах, и только под натиском названных вами сил большевики покинули город, сообщите об этом Гайде.

Полковники судили, рядили, возмущались беспардонными действиями какого-то капитанишки Гайды. Как смеет он низводить в ничто славное движение социалистов-революционеров! Кто он такой? И что происходит в ЧСНС, если капитаны позволяют себе подобные выходки?! О чем думает русский генерал Шокоров, командующий чехословацким корпусом? Или чехословаки сжевали русского генерала вместе с подтяжками?

Но ответ, составленный Ухоздвиговым, передали-таки по телеграфу.

Из аппарата поползла ответная змея из Ачинска:

«Полковникам Красноярска (без перечисления, скопом). По поводу вашей первой телеграммы ставлю известность Омское правительство о недопустимости подобных действий. Полковнику Дальчевскому за неподчинение приказам поручика Дымки, командующего чехословацкими вооруженными силами на востоке, объявляю выговор. Приказываю эшелону Дальчевского немедленно отойти исходную позицию на станцию Ключвенная и находиться в подчинении командующего поручика Дымки. Неисполнение приказа буду рассматривать как вызов Чехословацкому национальному совету и нашим вооруженным силам. По мере налаживания мостов и поврежденной линии железной дороги вверенные мне войска

освободят Красноярск. Захваченных в плен красногвардейцев и интернационалистов водворить в тюрьму, тщательно проверить каждого, годных — зачислить на службу. Приступить немедленно формированию стрелкового полка и батареи. Исполнение данных указаний проверю лично. Переговоры закончены. Главнокомандующий чехословацкими вооруженными силами на Востоке — капитан Гайда. 22 часа 17 минут. Ачинск».

— Как вам это нравится, господа? — усмехнулся Ухоздвигов.

— Прекратите, капитан! — рявкнул Дальчевский; ему вообще было не до шуток. Слыхано ли: за неподчинение поручику — полковнику выговор! Отойти на исходные позиции в подчинение какого-то дрянного поручика! Это же издевательство над полковником. Он, Мстислав Леопольдович, не прапорщик, и не поручик, в конце концов! — Подобных издевательств не позволяли себе комиссары Смольного!

— Смольный! — подхватил капитан Ухоздвигов. — До бога далеко, Мстислав Леопольдович, а до Смольного еще дальше! Не забывайте: большевики делали свою революцию без помощи чехословацкого корпуса или каких-либо иностранных вооруженных сил. Вы, полковник, помогали большевикам со своим полком. И прошу не кричать на меня!

Ляпунов вздохнул: «Приказ Гайды придется выполнить, иначе мы вызовем огонь на себя не только со стороны Сибирского правительства, но и ЧСНС. А это вовсе не шутка».

— Плевать мне на ЧСНС! — ярился Дальчевский, оскорбленный от макушки до подошв сапог. — Ко всем свиньям Гайду с поручиком Дымкой. Можете отослать эшелон с любым офицером, но я не слуга поручику Дымке. Увольте, господа.

Полковники струхнули: если Дальчевский не выполнит приказа Гайды, возникнет большой конфликт, и кто знает, как его удастся уладить. Министр Прутов обещал Мстиславу Леопольдовичу воздействовать на Гайду, а губернские правители немедленно отзовут полковника, чтобы он возглавил отряд погони за совдеповцами.

— Банки очищены! И мы сидим без денег, — напомнил Прутов.

Дальчевский перекипел: он согласен принять на себя командование отрядом погони. Не сожрут же совдеповцы золото по дороге? Да он из них вытряхнет все до копеечки!..

Капитан заметил, как внимательно слушал разговор телефонист...

— Как ваша фамилия, голубчик? Трошин? Хорошо. Должен сказать вам, как и господину Скворцову: если хоть одно слово из наших разговоров станет кому-либо известно в городе, мы вам обещаем: за разглашение военной тайны — военно-полевой суд. Все записи и ленты — мне!..

Телеграфист Трошин, вытаращив глаза, молча отдал телеграфные ленты и записанные телеграммы офицеру. Начальнику станции объявили: пусть сейчас же подберет заместителя, а сам на десять суток под домашний арест.

Согласовав важные вопросы за пределами комнаты телеграфиста, полковники вернулись в ресторан, и Ляпунов объявил: торжественный ужин считает законченным. Он благодарит за угощение почетных граждан города. Всем присутствующим офицерам приказывает остаться на вокзале, а дамам — отбыть.

Капитан созвал всех офицеров своего отдела со штабс-капитаном князем Хвостовым во главе и приказал приступить к фильтрации военнопленных. К прибытию эшелонов Гайды сортировка должна быть закончена; часть военнопленных нужно отобрать в первый красноярский стрелковый полк.

Солдаты и казаки Дальчевского оцепили вокзал и станцию, и военнопленных выпустили из вагонов. Шеренгою потянулись они с перрона через привокзальную площадь в город и все в один голос кричали:

— Воды! Воды! Воды!

У конвоя был один ответ:

— Тюрьма всех напоит и накормит! Шагом арш, краснозады! И без разговоров! Отступающих пристрелим!

Тюрьма в эту ночь приняла в свою утробу тысячу семьсот семьдесят заключенных...

IV

Поздним вечером хорунжий Лебедь отыскал дом Ковригиных на берегу Качи, сразу за мостом — двухэтажный, с просторною верандою, тесовые ворота, высокий заплот из плах. На стук в

окованные ворота утробным лаем отозвались собаки, и выглянул в прорезь калитки хозяин:

— Кто такие?

— Это дом Ковригиных?

— Ковригиных. А што вам?

Хозяин не опознал Ноя: на пристани был мужик без коня, в шароварах и бахилах, а тут — казак при шашке!

— Багаж мой сюда отвезли. Я — Лебедь.

— Ах, господи! Ждем вас. Милости прошу.

Хозяин открыл ворота, и Ной провел на поводу жеребца. Ковригин с некоторым страхом поглядывал на Ноя, его шашку и коня — грива-то, грива чуть не в два аршина! А тут, дома, сын Ковригина успел заглянуть в сверток — шашка, отделанная золотом, карабин и револьвер еще! Оторопь всех взяла — вот он каков красный хорунжий! И что еще испугало: в куле — офицерские сапоги со шпорами, новый китель с орденами, брюки; прибыл при полной экипировке, значит, не красный, а настоящий беляк!

Ковригин протянул руку погладить жеребца по храпу, но жеребец — хватить его за рукав пиджака да в сторону — с ног сбил.

— Экий дикарь, господи! Где вы такого купили? — бормотал Ковригин, отряхиваясь.

Ной привязал Вельзевула к столбу ограды, погрозил ему кулаком: «Стой, дьявол. Смотри у меня».

— А мы вас потеряли. Ушли и нету. Куда девался человек — неизвестно.

— Угу, — кивнул Ной, трудно обдумывая: как и что он должен сказать Ковригину? Со второго этажа по лестнице от веранды спустились дочери — Ной узнал их.

Впереди шла светлоголовая Анна Дмитриевна в той же жакеточке, в которой была на пристани, только коса через плечо, как у старшей сестры. Еще на лестнице остановилась, увидев Ноя, оглянулась на старшую сестру, медленно сошла вниз, настороженно уставившись на хорунжего. Сказала:

— Добрый вечер, — а глазами так и режет под каблуки. — Вы уже в военной форме? — спросила, как бы кинув камнем: вот ты каков, красный хорунжий! Белогвардейская шкура.

Ной сдержанно спросил:

— Не уплыли, значит? Ну и слава богу.

— По-очему? Мы должны были уплыть. Но... — И больше ничего не сказала.

Чтобы расположить к себе насторожившихся сестер Ковригиных, Ной выложил о бандите пророке Моисее, которого пустили в расход; об укрощении Вельзевула, про случай у тюрьмы и как отблагодарили его господа полковники. Рассказал о капитане Кирилле Ухоздвигове.

— Так. Так, — сухо сказал Ковригин, оглядываясь на своих. — Значит, командиром будете особого эскадрона? При контрразведке?

— При гарнизоне, — поправил Ной. — Ну, да про то говорить покуда нече. Середина лета — конь у меня имеется. Может, махну в Урянхай за Саяны.

— А служба-то как? — допытывался Ковригин.

— Смотря какая служба будет, Дмитрий Власович. На карательную я не пойду, на фронт могут не послать. А у фронта всегда две стороны.

Ной заметил: сестры о чем-то пошептались, и Анна Дмитриевна сказала отцу:

— Папа, пригласи в дом господина хорунжего.

— Благодарствую на приглашении. Но мне надо еще съездить в Николаевскую слободу, узнать: остался ли комендант с «России», Павел Лаврентьевич Яснов. При случае у него жить буду. И к тому же, если Иван вернется — в депо устрою его, к Павлу Лаврентьевичу.

— Разве вы не думаете жить в доме Юсковой? — поинтересовалась Анна Дмитриевна настороженно, с холодком.

— Про то завтрашний день скажет. Я ведь и сам не знаю, какой разговор будет у меня с господами Дальчевским и Новокрещиновым.

— Вы доверяете капитану Ухоздвигову? — вдруг спросила Прасковья Дмитриевна, и Ной понял: это их всех интересует.

— Капитану? Не более, чем серому волку. Он ведь тоже, должно, из «серых». А доверья у меня к серым нету, тем паче — начальнику губернской контрразведки. Служил у кайзера Вильгельма, будто, стал быть, тертый и не дурак, хотя и прикидывается доверчивым и отчаянным в разговорах. Печенку мне прощупывал.

— Он очень опасный, — раздумчиво проговорила Прасковья Дмитриевна.

— Паша!

— Что, Анечка? Я ничего особенного не сказала! Пойдемте, Ной Васильевич, хоть чаем угостим вас, если вы не ужинали у миллионерши. У них сейчас великий праздник!

Ней согласился: что верно, то верно — у буржуев великий праздник.

Сын Ковригина, Василий Дмитриевич, вынес из дома «опасный» сверток, спросил: хорунжий сейчас возьмет? И деньги еще за конину — успели продать.

Ной отказался от денег — конь у него имеется, а вот мешок с вещами увезет — переодеться придется.

— А все остальное покуда пусть лежит у вас. Я ведь пребываю в полной неопределенности, сами понимаете.

Угрюмоватый Василий молча вынес Ную его куль с офицерской амуницией, притащил седло с убитого Савраски и, как не отказывался Ной, а передал ему пачку денег, вырученных за проданную конину, как бы говоря: уметайся, господин хорунжий, и чтоб духу твоего здесь не было!

— Остальной багаж я вам подвезу сейчас к дому Юсковой.

— К Юсковой завозить не надо, — ответил Ной. — Я вот побываю в Николаевке, туда, может.

— Вещи Ивана собрать?

— Вася! Ну, что ты пристал к человеку? — сказала брату Анна Дмитриевна. — Если Ной Васильевич оставляет вещи Ивана у нас и свой багаж, пусть лежит.

— Я знаю, что говорю и делаю, — сердито выговорил младшей сестре нелюбезный брат. — Ты сама-то понимаешь, что произошло? Завтра господа из контрразведки могут нагрянуть с обыском; что ты им скажешь о книгах Ивана, о его вещах и багаже господина хорунжего? Они ведь и офицера потом спросят: в каких дружественных отношениях он находится с большевиками, если оставил вещи у нас! И седло еще казачье! Шутка!

Старик Ковригин поддержал сына:

— Это уж верно: шуток у белых не будет. Вспомните девятьсот пятый год! Весь дом у нас тогда перевернули вверх дном, и на Каче сколько мастеровых арестовали? Теперь все мы на волоске от тюрьмы висим. Она — рядышком, тюрьма-то!

— А я о чем говорю? — пробурлил Василий. — Так что вещи, особенно книги Ивана, и багаж офицера — до завтра оставлять нельзя. К чему под монастырь подводить господина офицера?

Ной подумал: Ковригины правы — дом-то у них и в самом деле не из благонадежных! Дочери — большевички, квартировали в доме до позавчерашнего дня «шишки» из большевиков, и кто этот человек, с огоньком сигарки возле крыльца, ни словом не обмолвившийся! Уж не Машевский ли? И не захотят ли его искать завтра офицеры капитана Ухоздвигова?

Вот оно как приспело!

— Понимаю! — Ной посмотрел на отца и сына Ковригиных. — Тогда подвезите мой багаж покуда к дому Юсковой.

— Дельно! — кивнул Василий, и к сестрам: — Соберите поскорее книги, вещи и все, что есть Иваново; ружье в казенке лежит, а я коня заложу.

Анна Дмитриевна предупредила: у Ивана много марксистской литературы, так что Ной Васильевич должен все тщательно разобрать.

— Я с книжками быстро управлюсь, — успокоил Ной. — Сегодня же. Ни к чему вводить во искушение дьявола.

Сгрузили багаж и имущество Ивана в легкий экипаж, и Ной, сдержанно попрощавшись с сестрами Ковригиными, хозяином, покинул ограду. На мосту Ной попросил Василия Ковригина остановиться и сказал, что книги он выбросит в Качу.

— Тогда отъедем подальше, господин хорунжий. Мост возле нашего дома. А в случае чего — выудят книги. Так что не обессудьте.

Отъехали подальше, на безлюдье, и здесь Ной облегчил экипаж и себе душу: избавился от «проклятущей политики»...

V

В доме Ковригиных, меж тем, не настало покоя после выдворения хорунжего. Анечка поссорилась со старшею сестрою. Это же дико, нелепо! Человека просто выгнали, как собаку! И только потому, что хорунжий откровенно рассказал им, что произошло, и при каких стечениях обстоятельств он получил назначение командиром особого эскадрона!

— У него же за плечами Петроград, служба социалистической революции, разгром эсеровского заговора в Гатчине! — кидала Анечка старшей сестре и рикошетом била в Машевского; именно он, Машевский, друг семьи, шепнул Василию, что от вещей Ивана и багажа хорунжего надо избавиться. — Если бы Ной Васильевич был подлец и белая шкура, как вы думаете, не стал бы он с нами откровенничать, вот что! Не стал бы.

— Не забывай, Анечка, — напомнила старшая сестра. — Господин Дальчевский тоже служил революции в октябре прошлого года! А кто он сегодня? Белогвардейская шкура, каратель! Мало он уничтожил наших красногвардейцев?

— А ты забыла, что говорила Селестина Грива из Минусинского УЧК? Она же сказала: «Хорунжий порядочный человек, и было бы хорошо, если бы партийный комитет поддержал с ним отношения».

— Какой партийный комитет? — спросила старшая сестра. — У нас еще нету партийного комитета. Нам даже неизвестно в данный момент, кто из большевиков остался в городе.

— Так надо же немедленно узнавать, а не сидеть сложа руки! Почему вы бездействуете, Казимир Францевич?

Машевский, в черной косоворотке с перламутровыми пуговками, сидел, сгорбившись, на стуле, будто не слушая перебранку сестер; вскинул светлые глаза на Анечку, усмехнулся:

— Учусь молчать, Анечка. Это совсем не легко при работе в подполье. Поменьше слов — и больше дела, настоящего дела. А с хорунжим поступили правильно. Есть еще ваш дядя, Сидор Макарович, не забывайте. Или вы отнесете ему утром, как он предупредил, десять тысяч николаевскими за молчание?

— Убить надо гада! — притопнула Анечка. — Я бы его сама пристукнула, когда он явился со своими наглыми угрозами. И Вася тоже — что он его выпустил?

— С ним пришли трое долгогривых, — остудила пыл Анечки старшая сестра. — И не так просто убить провокатора, как тебе думается. Не будем это обсуждать. У нас тоже времени осталось час-два.

— И того много, — поднялся Машевский. — Надо сейчас же уехать. Ваш дядя постарается не опоздать; откладывать до утра не будет.

— Боже мой, почему мы не уплыли на пароходах? — кинулась Анечка в другую сторону. — Остались тут себе на погибель! Если дядя явится в контрразведку — искать будут по всему городу.

Машевский успокоил: Анечка как большевичка никому неизвестная, хотя и вступила в партию в Минусинске, а Минусинск еще не в руках белых, да и навряд ли Минусинский партийный комитет оставит документы для контрразведки. Так что Анечка останется дома. А вот ему, Машевскому, с Прасковьей Дмитриевной надо сейчас же убираться.

Машевский мягко, доверительно сказал Анечке, что она за минувший день допустила четыре крупных ошибки. Какие? К чему Анечке было болтать с хорунжим на пристани о нем, Машевском? Это же сведения для контрразведки! И вторая ошибка Анечки: когда явился к Ковригиным из тюрьмы дядя-протоиакон, Анечка вступила с ним в ссору, грозилась большевиками, которых-де в городе много, и они разгромят белых. И будут контрразведчики хватать всех сочувствующих без разбора — у страха глаза велики. И третья ошибка: как бы мог остаться в городе партийный комитет, руководители которого известны в лицо каждому горожанину? Или просто остаться «на заклание»? И четвертая: запальчивость суждений Анечки. Как же она будет работать легально среди белогвардейцев, если не умеет сдерживать себя и молчать? А хорунжего никто не выгонял как собаку; для его безопасности лучше, что он «никогда не был в доме Ковригина и адреса его не знает»; и масленщик Иван никакого родственного отношения к хорунжему не имеет. Жил Ваня, а кто он и что он — никому не известно. Машевский поручает Анечке поддерживать хорошие отношения с хорунжим, чтобы он не попал в сети контрразведки. И чтоб никаких фраз и глупости!

Машевский, прохаживаясь по просторной гостиной, наставлял Анечку; Прасковья собирала вещи в дорогу, складывала привезенные с Клюквенского фронта медикаменты в куль.

Анечка отказалась поддерживать «хорошие отношения с хорунжим»:

— На пароходе с ним приплыла пакостная женщина, Евдокия Елизаровна Юскова. Белая гадина! Она была здесь в заведении какой-то Тарабайкиной-Маньжурской! Кошмар! И хорунжий с нею. Это же гадко, гадко и омерзительно. За одно это я его глубоко не уважаю. Если

бы ее убил какой-то есаул — на земле было бы чище! А хорунжий трогательно заботился о ней! Стыдно вспомнить. Селестина Грива предупредила нас с Пашей: «Эту белую гадину опасайтесь. Она связана с головкой заговора». Жалела, что выпустила ее из УЧК.

Машевский посмеивался. Анечку кинуло прочь от хорунжего; только что защищала его и ссорилась с сестрою, а теперь «гадко и омерзительно».

— Кстати, кого назвал хорунжий в Николаевке?

— Янова Павла Лаврентьевича.

— Паша, разве комендант на «России» Янов?

— Из Красноярска поплыл Топоров, — ответила Прасковья. — А кто был комендантом из Минусинска, не знаю.

— Вот вам пример нашей невнимательности, — мягко заметил Машевский; голос у него был тихий, но если он волновался и начинал говорить громко, то чуточку заикался. — Мы могли бы, — продолжал Казимир Францевич, похаживая по гостиной, — осторожно спросить хорунжего про Янова и узнать адрес. Анечка, обязательно узнай. Главное для тебя на первые дни: связь с товарищами.

Машевский назвал несколько фамилий, особо просил побывать у двух девушек, работающих в губернской типографии, чтобы через них достать типографский шрифт, а наборную кассу он сам сделает в деревне, куда уедут с Пашей на пару дней.

— Придется тебе, Анечка, устроиться на работу в «Общество самодеятельности». Там есть наши товарищи и сочувствующие. Главное — собрать силы. И вот еще... — Казимир Францевич остановился возле Анечки, пылливо взглянул ей в глаза. — Относительно капитана Ухоздвигова...

Анечка передернула плечами, будто ее ударил Казимир Францевич, а он тем же мягким голосом продолжал:

— Понимаю, для тебя это имя крайне неприятно после всего, что было между вами и столь печально оборвалось.

— Ничего не было! Ничего! — запальчиво выкрикнула Анечка.

— Ты меня не выслушала. А есть кое-что очень важное! — И, взглянув на Прасковью Дмитриевну, сказал: — Мне кажется, капитан этот не так прост.

— Хорошо о нем сказал хорунжий, — вспомнила Анечка: — Самый серый из серых, да еще назначен начальником контрразведки!

Значит, имеет большие заслуги у белогвардейцев за работу в подполье. Я бы ни одного из арестованных офицеров не оставила в тюрьме! Ни одного! Тем более Каина-капитана!..

— Самосудов у нас не было и быть не могло! — строго заметил Казимир Францевич.

Слышно было, кто-то заехал в ограду — собаки не лаяли, значит, Василий вернулся. Машевский прошел из гостиной через прихожую на веранду, сказал Василию, чтобы он не распрягал коня.

— Поедете?

— Да!

— Тогда я вам запрягу Соловка в рессорный ходок. Экипаж нам нужен для извоза. В ходе вам будет удобнее.

— Только поскорее!

Вынесли багаж в ограду. Василий, запрягая Соловка, сообщил сестрам:

— Ваш господин хорунжий мигом разделался с политикой! Утопил в Каче.

— Кого утопил? — не поняла Анечка.

— Все книги. Без разбора.

— Молодец! — похвалил Машевский, и к Анечке: — Сейчас же перебери книги. Не оставляй политических. Загляни в комнаты, где жили Рогов и Юргенсон. Все подозрительное убрать и уничтожить. Если придут в дом с обыском из контрразведки, не вздумай вступать в дискуссию. Мы уплыли на пароходе с Пашей. А дяде-протодиакону просто приснилось, что он нас видел. И не задирай дядю. Это я серьезно говорю...

— Еще чего не хватало, чтоб я с ним разговаривала!

— Это для тебя первое испытание, Анечка. Главное — впереди...

Сестры обнялись и потихоньку всплакнули.

В эту первую белогвардейскую ночь во многих домах люди не спали.

VI

Полковники задыхались от навалившихся чрезвычайных и неотложных дел.

Управляющий губернией Ляпунов со своим первым заместителем юристом Троицким ночью приступили к трудной службе, заняв под управление двухэтажный каменный дом — резиденцию бывшего губернатора Енисейской губернии Гололобова.

Нужны были чиновники, и они ждали приема; никто не хотел опоздать на «теплое местечко». У каждого были заслуги по борьбе с большевизмом. Один — саботажник; другой — густо перчил большевикам где мог; третий чуть ли не стрелял в большевиков, а в общем все ввали, сочиняя небылицы, отталкивая друг друга от «губернского сдобного пирога», а без них, без этих подленьких душонок, существовать не может управление губернией. А тут еще вопросы, вопросы! Снабжение продовольствием армады военнопленных (а их в городе около восемнадцати тысяч — австрийцы, мадьяры, итальянцы!), формирование стрелкового полка и батареи; машина должна работать — пережевывать по всей губернии власть Советов, чтоб помину от нее не осталось!

Служащие получали назначение, и каждый спешил захватить себе кабинет в двухэтажном доме.

Оставшиеся в наследство от Советов пять легковых и десять грузовых автомобилей управляющий губернией поделил по совести. Для управления взял три легковых и пять грузовых; губернскому комиссару Каргаполову — один легковой и два грузовика, чтобы возить особо важных арестантов и перебрасывать внутри города карательные части; губернской милиции подполковника Коротковского уделил один легковой и три грузовика. Весь запас бензина — под строжайший учет отдела по транспорту.

Чиновников — хоть пруд пруди, а вот где сыскать офицеров?! Ляпунов слышал, что у Деникина и Юденича тысячи бездельничающих офицеров и пятьсот безработных генералов — подумать только?! Хоть бы перебросили их в Сибирь!..

Офицеров и — денег, денег! Пусто в трех банках. Троицкий, созывай всех купцов, именитых граждан, пусть откроют домашние сейфы, шкатулки. Денег! Денег! За нами не пропадет. Денег, денег!..

Полковник Розанов занял под штаб несуществующего казачьего полка дом на Благовещенской, приказал всем красноярским урядникам и казакам мчаться в станицы Есаулово, Атаманово и не возвращаться

без казаков. Казаков, казаков! И добровольцев в армию. Как можно больше добровольцев!

Губернский комиссар Каргаполов под управление захватил два дома: для отделов — двухэтажный каменный дом, а через улицу — под собственную резиденцию деревянный особняк. У него, у комиссара, уйма дел! «Мясо будет — была бы мясорубка». И Каргаполов усердно налаживал свою мясорубку, чтоб не опоздать: не сегодня-завтра в тюрьме окажутся большевики и видные совдеповцы из уездов и волостей. Где все это добро обрабатывать? Офицеров! Офицеров! И надежных чиновников — следователей! Надежных, главное. Надо кого-то послать в уезды, чтобы и там установить свои мясорубки — комиссариаты и уездные отделы — милицию, подобрать управляющих уездов, а чтоб не затесались на ответственные посты бывшие совдеповцы и, упаси бог, большевики, кто-то должен поехать на места. Офицеров! Офицеров! И денег, денег! Без денег никуда не уедешь.

VII

А в тюрьме — охи и вздохи, и допросы, допросы! Офицеры разместились в трех корпусах в коридорах за столами и вели сортировку военнопленных: где родился? Какое имел хозяйство? Семейное положение? Какой черт гнал тебя в Красную гвардию, олух царя небесного! Кем мобилизован? Сколько расстрелял патронов в чехов и патриотов? Согласен ли служить верою и правдою в освободительной армии, чтобы искупить тяжкий грех перед народом и правительством? Или тебе лучше через военно-полевой суд отправиться на тот свет? Жить хочешь?! Подписывайся, собака, да помни: шаг влево, шаг вправо — пуля в лоб! Следующий!.. Следующий!..

Неутомимый капитан Ухоздвигов в парадном мундире с орденом Почетного легиона, застегнутый на все пуговицы, в начищенных до блеска сапогах, носился от одного стола к другому, из корпуса в корпус, поторапливая офицеров: быстрее, быстрее!

Отобранных в полк собирали в камере первого корпуса, еще раз просматривали, назначая из разношерстной среды временных командиров из бывших солдат, унтер-офицеров и фельдфебелей; и

здесь тот же вопль — офицеров, офицеров! А где их взять? Из рукавов собственного мундира не вытряхнешь!

Начальник тюрьмы Григорий Фейфер, сухонький, черноголовый, горбоносый, бывший адвокат, набрал из отобранных в стрелковый полк временных надзирателей да просеял старых, совдеповских, устанавливал режим для камер, карцеров, корпусов и организовал работу котлов на кухне, чтобы накормить проголодавшихся военнопленных; у него, у Фейфера, работы было по горло. Но главное свершилось — тюрьма жила; мать-укротительница мятежного духа и свободы пережевывала узников в каменных двухаршинной толщины стенах, и начальник ее, Фейфер, заняв место за массивным столом в кабинете, работал.

Ухоздвигов, присев отдохнуть на жесткий, вытертый диван, будто упал в яму.

— Голова трещит, — пожаловался капитан, протирая кулаками глаза, чтобы разогнать сон.

Фейфер снова углубился в сочинение реляции начальству о состоянии принятой им тюрьмы и о мерах по ее улучшению — нужен был ремонт; в карцерах обваливались от сырости своды; кухня не приспособлена для кормления полутора тысяч заключенных — надо расширить, а на какие средства? Где взять строительный материал — кирпич, цемент, известку, железо.

Зазвенел телефон. Фейфер поднял трубку. Полковник Ляпунов просил позвать к телефону капитана Ухоздвигова.

— У меня капитан, Борис Геннадьевич. Пожалуйста.

Ляпунов сообщил Ухоздвигову: через два часа прибывают в Красноярск эшелоны с чехословацкими войсками из Ачинска и личный поезд ставки командующего Гайды со свитой. Ляпунов спрашивает: кого, по его мнению, пригласить на встречу Гайды? Духовой оркестр? Каких офицеров? Именитых граждан города с хлебом-солью, или ударить в набат, чтоб к вокзалу сошелся народ?

— Ни фанфар, ни бутафории, Борис Геннадьевич. Или вы забыли телеграмму Гайды? Он спешит освободить Красноярск — пусть так и будет. А на вокзале должны его встретить те, кто подписывал телеграмму. Если имеете ключи от города — преподнесите.

— Нету ключей таких, Кирилл Иннокентьевич, — басил Ляпунов. — А вот поступила телеграмма от Гришина-Алмазова с

указанием на недопустимость наших действий, расцененных им как анархизм. Это просто возмутительно!

— Не будем возмущаться, Борис Геннадьевич. «Освободителей» не надо обижать и задирать.

— Вы ведь знакомы с капитаном Гайдой?

— Знаком. Но это не столь важно. Хорошо, я буду к десяти на вокзале. Сортировка идет к концу. Отобрано в полк семьсот пятьдесят солдат и пуд бумаги исписано.

— Только семьсот? — удивился Ляпунов.

— Среди военнопленных было триста семьдесят женщин — не брать же их в полк. Еще не тронуты товарищи интернационалисты — займемся днями. У нас еще имеются в городе казармы с военнопленными итальянцами, австрийцами, мадьярами; и части поляков. Из них, думаю, если одобрит Гайда, создадим интернациональный полк. Но этот вопрос надо согласовать на высшем уровне нашего Правительства с ЧСНС.

— Понятно, Кирилл Иннокентьевич. За вами подослать машину?

— Нет, не надо.

Ухоздвигов положил трубку. Фейфер заискивающе поинтересовался:

— Что-то случилось у полковников с Гайдой?

— Пусть вас не беспокоит Гайда, — отмахнулся капитан и ушел из кабинета. Отыскал во втором корпусе своего заместителя штабс-капитана князя Хвостова, поручил собрать бумаги опросов и доставить в отдел.

— Как себя чувствуете, друг мой Горацио? — спросил штабс-капитана.

— Валюсь с ног от усталости. Эти рожи, рожи и ложь, ложь. До чего же лживы мужики, бог мой!

— Как все мы, князь. Праведник один — господь бог. Ну, а я еду встречать господ чехов. Подписки осведомителей у тебя? Храни их особо. Это наши глаза и уши, хотя для меня эта порода людей крайне антипатична, друг мой Горацио! Ну, всего!..

Тюрьму временно охраняли атамановские и красноярские казаки. Во дворе кормились кони, а караковый мерин капитана стоял на привязи. Капитан выговорил одному из казаков — не удосужились накормить! Подтянул подпруги на отощалом пузе мерина, вывел за тюремные ворота, ногу в стремя и ускакал. Попутно завернул на Благовещенскую взглянуть на дом, занятый губернским комиссаром. Капитан знал деревянный двухэтажный особняк, где в апреле и мае прошлого года выступал со стихами: тут, в клубе имени Третьего Интернационала, собирались военнопленные — немцы, итальянцы, поляки. Кипели споры о будущем России, о свергнутом самодержавии, и никто еще не знал, что произойдет в Сибири через какой-то год с месяцем!..

На крыльце деревянного особняка сидел на ступеньках какой-то странный человек в непомерно длинной поддевке с палкою в руках. Похоже, он дремал, пригревшись на солнце. Увидев капитана, он поднялся, снял старенькую шляпу, обнажив лысую голову, отвесил поклон:

— Рад вас видеть, господин капитан, в добром здравии. Весьма рад. Только что видел Сергея Сергеевича с большой свитой: узнал, что вы назначены начальником политического отдела. Отрадно сие, весьма отрадно, хотя должность ваша не предвещает спокойствия. Дай-то бог, чтоб победа белого движения была полная во всей державе. О том молебствие было вчера в соборе. Да ниспошлет господь милость свою России!

Капитан узнал гундосого человека. Резко оборвал излияния:

— Вы что, молитвы пришли читать? Священник?..

— Протодиакон при соборе на выходах владыки. Освобожден вчера из тюрьмы — вместе с вами. Упрятан был ГубЧК за патриотическое сотрудничество с подпольным комитетом офицеров еще 17 декабря прошлого года.

— Что вас привело к подполковнику? Вы его знали?

— Как же! — кивнул лысой головой протодиакон. — С девятьсот четвертого сотрудничал по искоренению подрывных элементов. И не мало претерпел! Не мало!

— Любопытно! — скрипнул капитан, глядя на протодиакона сверху вниз. — С охранкой сотрудничали?

Протодиакон вскинул бесцветные узкие глаза на капитана, покачал головой.

— С предержавшими власть, а если фигурально: с политическим отделом при губернском жандармском управлении. Как вот вы теперь будете начальником такого же отдела.

Капитана покорило сравнение его отдела с охранкою, но он стерпел: так оно и есть — функции те же самые. Протодиакона надо выслушать, если он когда-то сотрудничал в охране с Каргаполовым. Кого он еще знает?

Возле крыльца зеленела трава, и мерин изо всех сил тянулся к ней. Капитан спешился и отпустил коня на поводу.

— Конь-то некормленный, — заметил протодиакон. — Ишь, как хватает травушку! Так и люди в неволе — хоть бы глоток волюшки, а ее нет, как нет! Мне вот довелось сидеть восемь месяцев в мерзостной камере, вспомнить страшно. С ворами и картежниками, и не мог я общаться с господами офицерами в других корпусах, особенно с Сергеем Сергеевичем, которого хотелось бы повидать.

— Подполковника сегодня не будет. Пройдемте ко мне в отдел. Может, я заменю вам подполковника.

Протодиакон, не уловив иронии, разразился по дороге похвальным словом:

— Большущие заслуги имеет! Хотя бы в том же девятьсот пятом году. Был у нас в губернии умный жандармский ротмистр, Головин по фамилии. Так он что придумал! Согласовал с Петербургом и создал при Доме просвещения будто бы тайный клуб интеллигенции. Семеро нас было в том клубе: главным — Сергей Сергеевич — он тогда служил в гарнизоне при интендантстве; от казачества — сотник Дальчевский, ну и я с ними, тогда еще был диаконом, как бы от свободного духовенства, был и от учителей, от ссыльных трое. Ротатор имели, тайные собрания проводили, протоколы писали, рукописный журнал выпускали, все честь по форме, чтоб выявить из молодежи гнилые души и обезвредить их. Это была бо-ольшая акция! Сергей Сергеевич удостоен был награды правительства, хе, хе, хе. А что если вам, господин капитан, провести такую акцию сейчас? Для видимости подпольная, а для политического отдела — открытые карты всех подрывных сил.

— Вы с этим шли к подполковнику?

— Непременно напомнил бы, да не успел. Торопился он на автомобиле на вокзал. Я и присел отдохнуть, а тут и вы подъехали, слава богу.

— Прошу вас, — сказал капитан, открывая дверь кабинета. Протодиакона надо вытрясти до конца и так, чтобы он впредь не сотрудничал с Каргаполовым. Это — опасный тип! — решил Ухоздвигов.

— Много вы раскрыли преступников через клуб?

Протодиакон, присаживаясь на стул, усмехнулся:

— Разве один клуб был у нас? Имелись девицы при заведении мадам Маньжурской и флигель особо держали для щепетильных интеллигентов. При гарнизоне создали три клуба — два солдатских, один для офицеров. Секты были для разных верований, и мне довелось позднее быть в секте хлыстов. Мерзостная! — поморщился протодиакон. — Из одного гарнизона взято было более пятисот солдат и младших офицеров после мятежа. Советы ведь вспухли в Красноярске с рабочими дружинами; горячо было! Ох, горячо! — содрогался от воспоминаний слуга господний. — Вспухли, да лопнули, хи, хи, хи! А вы такой же бравый, Кирилл Иннокентьевич!..

Капитан сухо обрезал:

— Прошу не забываться? Я, кажется, не сотрудничал в ваших жандармских клубах!

Протодиакон невозмутимо заметил:

— В те годы вы были мальчишка — какое сотрудничество? А вот в прошлом году бывали в таком «клубе» клиентом. Где, а? Вспомните!

— Нечего вспоминать! Не терплю вранья.

— Ну, не мне врать, господин капитан, — отмахнулся протодиакон, прихорашивая козлиную бородку. — Разве не были в доме Ковригина? Это — шурин мой. А дом и был тем самым «клубом». И о том не знал даже сам Ковригин. Начальником отдела был Сергей Сергеевич. А я — глаза и уши и голова того дома. Мно-ого мы выявили субъектов через дом Ковригина, да никого не взяли: большевики оседлали! Они без рассуждений: шаг вправо, шаг влево — с богом или с чертом! Аминь!.. Вот эту твердость надо перенять у них, чтоб вырубить их самих под корешки. А верхки сами засохнут, хе, хе, хе!

Противный смех протодиакона коробил капитана, но он терпел.

— Анечку-то помните? — ввернул протодиакон, сладострастно облизнув губы. — Красавица, каких в городе поискать. Стихи писали ей, ухаживали, и мне думалось: женитесь, хотя она и была гимназисткою выпускного класса. А потом вдруг Кирилл Иннокентьевич венчается с Любовью Васильевной Шубиной! Никак того не ждал. А ведь Анечка-то — цветок, цветок!.. Непостижимая удалась красавица.

Капитан знал тщедушного шурина Ковригина, Сидора Макаровича! Таким он и был — ввинчивающимся, лезущим в душу, выпрашивающим гривенники или пятиалтынные на «шкалик», и капитан считал его просто пьянчужкой, зряшным, отпетым человеком! Ну и ну! Как тесен мир людей, если в одном доме живут люди и сволочи рядом с ними!..

— Что ж, учту ваши пожелания, Сидор Макарович, — трудно проговорил капитан, преодолевая отвращение к тщедушному и пакостному жителю земли. — Вы свободны.

— Вот и имя вспомнили! Хе, хе, хе! Молодость она с секретом — вроде забыл, или хотел забыть, а потом, пожалуйста, память выдала золотой! А главного-то я не сказал вам!

— Что еще?

— В городе Машевский остался! Казимир Францевич Машевский. Он ведь из головки большевиков! Из головки! Ежли помните, он при вас рассказывал, как жил в эмиграции, переправлял в Россию нелегальщину, знаком был с Дзержинским! Не вам говорить, кто такой Дзержинский при Ленине!..

Голос капитана насытился железом:

— Где он? Подробнее!

Протодиакон обрадовался заинтересованностью капитана:

— В доме шурина накрыл.

— Подробнее! — завинчивал капитан; ему нужны точные данные: при каких обстоятельствах? В каком состоянии был Машевский? Один ли? И если не один, то кто с ним?

Протодиакон поднялся, одернул полы своего плаща, смахивающего на одежду странствующего капуцина, сообщил:

— Как вышел из тюрьмы, пошел в дом шурина. Да что-то подмыло: не нарвусь ли на кого? Они ведь, Ковригины с Машевским, упрятали меня в тюрьму. Ну, вернулся, пригласил из собора трапезника

и двух диаконов для страховки. Часов в пять, не позднее. Калитку ограды открыл сам шурин. Ну, и с любезностями: «Ах, Сидор Макарович! Сидор Макарович!» — вроде обрадовался. А я ему: не уможай, говорю, Дмитрий Власович, не та обстановка теперь. Пришел не один — видишь? Вещи возьму. Вынеси, говорю, мое добро с верхнего этажа, а я в комнату свою забегу. Жил я в первом этаже по соседству с председателем ревтрибунала Юргенсоном. Ну, он пошел за вещами, а я сбегал в комнатушку, кинулся к тайничку под печью, где прятал тетради записей наблюдений за прошедший год. Вышел, сестра моя, Таисия Макаровна, кинулась со слезами: «Сидор! Сидор!», да остановил: спасибо, говорю, сестрица, за передачи, а в дальнейшем, Таисья, покрывать ваш дом не буду. И за десять тысяч не подкупите. А тут сошлись в ограду — невестка Ковригина с ребенком, и муж ее Василий, племянницы Прасковья и Анна, встревожены, вижу — паленым запахло. Прасковья-то хотела расположить меня, да Василий, бандюга отпетый, рявкнул: «Не смей разговаривать с жандармской сволочью! Чтоб ноги его не было!» А я вскинул глаза на веранду (помните, у них по второму этажу веранда?). И вижу — там двое прячутся. У одного фуражка со звездой. Каковы грузди в рождество Христово! У меня, правду сказать, земля поплыла из-под ног и внутри захолонуло. До того трухнуло. А тут еще Анна подошла ко мне (еще краше стала, чем была; одни глазищи чего стоят! Синь поднебесная). Ну и влепила: «Радуюсь, дядя, пришли твои белогвардейские бандиты? Ну, радуйся! Только помни, говорит, социалистическую революцию бандитам не задушить. У большевиков сил хватит, чтобы разделаться со всеми белогвардейскими сволочами!» Каково, а? И это Анечка?! Ну, я за вещички, и был таков!.. Бежим через мост и оглядываемся: не перестреляют ли товарищи из окон второго этажа? Пронесло, господи!

А теперь подумайте, господин капитан: что происходило в доме шурина в первые часы нашей власти? А вот что: Машевский (а это был он, я узнал) спрятал у себя кого-то из красноармейцев. Значит, жди — подпольный комитет организуют. Поезда на линии будут лететь под откос, в депо или на паровозовагоноремонтном заводе появятся ухари для саботажа и организации стачек, а там, глядишь, через мобилизованных зашлют в батареи, охранные батальоны и полки

гарнизона большевиков и — за упокой, господи, рабов господних!.. Это же большевики.

Капитан вытер платком лицо, успокоил:

— До «упокой, господи» далеко, Сидор Макарович. Но сообщение ваше заслуживает серьезного внимания. Считайте, что вы сотрудничаете в моем отделе. Мои принципы — свобода и только свобода, без экстремистских вылазок монархистов или анархистов. Пусть процветает свободная торговля, кооперативные объединения, но без насилия над личностью. Без жандармской тирании!.. Для России достаточно, считаю, трехсотлетнего царствования самодержавного гнета! Или вы иначе думаете?

— Дай-то бог, если утвердится свобода, — отозвался Сидор Макарович, тут же усомнившись: — А не сжуют эту свободу большевики? У них, как я изучил, строжайшая организация. Это же военный кулак!

— Анна — большевичка?

— По моим записям в тетрадях не числится, — деловито ответил агент. — Потому, как была еще зеленая и, хи, хи, хи, влюбленная!

— В кого влюбленная?! (Нет, Кирилл ее не забыл, если кольнуло в сердце).

— К чему скромничаете, Кирилл Иннокентьевич? Она ведь грезила вашими стихами! Вы для нее были явлением Христа для души, жаждущей жизни и любви. И вдруг в сторону! Видели бы, что стало с ней! Вся семья встревожилась. Анечка, Анечка! Как бы руки на себя не наложила. Да и я глядел за нею денно и ночью; любимица моя, хотя и закружил ее этот Машевский. Ну, да не ее в том вина! С того и в Минусинск уехала учительствовать. А Прасковья, известно, большевичка. Краснее ее перец не вызревает, и тоже в когтях Машевского. В гражданском браке с ним состоит. Мерзостно!..

— Сейчас мы, пожалуй, никого не застанем в доме Ковригина? Вы для них личность известная!

— Как же! как же! — поддакнул протоиерей. — Машевский, безусловно, смылся, а племянницы-то, должно, остались. Василий, конечно, дома. Он извозчик. С большевиками не сотрудничал, но содействие оказывал. Из него можно много вытянуть при желании.

Капитан понял: допросы пытками! Ну, мерзостная личность! Нет, он его повяжет, этого старого шпиика!..

— Где ваши тетради?

— При мне.

— Давайте.

Протодиакон достал из-за пазухи три толстых тетради, завернутые в грязную тряпку, развернул и подал капитану, извиняюще пробормотав:

— Во второй тетради, на середине так, за апрель-май прошлого года, есть о вас: какие вели разговоры с Машевским, Прасковьей и с теми ссыльными, которые каждодневно посещали дом Ковригина.

Ну, старый козел с бородой!..

— Вы что, и на меня писали доносы? — спросил капитан, втискивая тетради в офицерскую сумку.

— Как же! Без лицепрятия и выдумки. Как и полагается для информирующего предержащих власть.

— «Предержащих»! — поморщился капитан. — Кому доносили?

— Сергею Сергеевичу в собственные руки. «Клуб» был под его особым вниманием. Он ведь как говорил при Временном: «При партийной системе государства охранка должна рассредоточиться. Чтоб в каждом доме был агент, а за мужчинами надо начинать слежку со дня рождения; патриархальные семьи, говорил, надо полностью разрушить». Да ведь это сколько надо привлечь агентов! — сокрушенно вздохнул Сидор Макарович.

— Много арестовано по вашим доносам?

— Никого! Я же сказал: Временное — забеременело путаницей и нетвердостью власти. Вот она куда вылилась, свобода-то! А Сергей Сергеевич многих собирался взять. И на вас прицел был. По другой линии.

— По какой?

— Военная разведка целилась. Штой-то по Франции. Будто вы там с какой-то партией сблизилась и сотрудничали для французов против нашей державы. Про то знает только Сергей Сергеевич! Это за моими пределами. У Сергея Сергеевича, надо думать, в личных архивах кое-что имеется.

У капитана тошнота подступила к горлу, будто он проглотил живьем жабу, и она ворочалась у него в пустом желудке. Ну, омерзительный тип! И при царе доносил на подрывные элементы и при Временном с офицерским комитетом сотрудничал!..

— У большевиков были агентом? Без вранья!

— Спаси бог! — размахисто открестился протоиерей. — За што бы меня в тюрьму упрятали?

— В качестве «наседки» могли держать!

— Спаси бог! Среди воров и картежников?

— Какая у вас была кличка в жандармской охранке?

— При царе? — протоиерей поскреб скрюченными пальцами в сивой бородке. — «Иеронимом» подписывался, в честь святого. А в прошлом году и с девятьсот одиннадцатого: «Исидор Ужурский». По месту рождения. Отец-то у меня богатый был, да развеялось богатство дымом — братья пустили на ветер, да еще сестра Таисия, любимица покойного папаша, немало выудила денежек и дом двухэтажный купила потом с Ковригиным в Красноярске. Вот и объехали меня братья с сестрою на саврасых! — сетовал Сидор Макарович.

— Та-ак! — Капитан закурил папиросу и глубоко затянулся. Ему необходимо выудить из протоиерея важные сведения, чтобы на время будущее обезопасить себя.

Протоиерей почувствовал на себе давящий взгляд, смутился: что нужно лобастому капитану?

— Размотаем главное, — начал капитан, и в упор, как из револьвера: — Под какой кличкой в жандармской охранке работал Сергей Сергеевич Каргаполов?

Протоиерей не ждал такого вопроса — испугался:

— Тайны сии не разглашаются, господин капитан. Знаете?

— Знаю! Потому и спрашиваю, — оборвал капитан. — Вы теперь будете работать со мною, а у меня — иные принципы. Ясно? Ну!

— Сергей Сергеевич, как губернский комиссар, стоящий над вами, как начальником политического отдела, может меня привлечь за разглашение тайны.

— Это не ваша забота! Моя. А вы — помалкивайте! Ну?!

— При жандармском ротмистре Головине Федоре Евсеевиче он подписывался «Тихим». Да и держался тихо, не шумливо. Ну, а под какими кличками работал с девятьсот девятого года, мне неизвестно. Он был отозван в Санкт-Петербург его превосходительством Зубовым. Слышали про такого? Работал при Третьем отделе его императорского величества.

— Кличка сотника Дальчевского?

— Господи, господи! — завздохнул протодиакон. — К чему вам, господин капитан? Время прошедшее. Не мои сии тайны — государственны, державны. Хотя теперь и нету той державы, дак ведь — правительства уходят, а тайны разведки остаются для всех тайнами. Вы же знаете!

— Не виляйте! Поздно! Выкладывайте! — освирепел капитан, растоптав папиросу.

— Если вам так необходимо, господи! Могу сказать: «Хазбулат» была его кличка. Мы его звали «Хазбулат Удалой».

— Не врете?!

— Обижаете меня, господин капитан. Если уж сказал я, то только достоверное. Старшиною был в группе сыска.

— Верю. Доктор Прутов сотрудничал в охранке?

— Уклонялся. А как по державной практике: если человек в России плавает на казенной должности, то обязательно явно или подспудно состоит в тайном осведомлении. Но доктор уклонялся.

— Понятно. Ваш адрес?

— Пока живу при соборе в комнатухе свечного цеха. Не мог же остаться в доме шурина, хотя дом частично мой. Прикончил бы бандюга Василий или Машевский.

— Бумага у вас есть и все необходимое, чтобы писать? Хорошо! Идите к себе, закройте и подробно напишите на мое имя показание о сотрудничестве Каргаполова, Дальчевского и всех, кого вспомните, с охранкою жандармерии. Предупреждаю: подробно! Где, что и как было организовано? Система слежки «клубов», разветвлений, арестов, участие Дальчевского и Каргаполова. Не пугайтесь — от меня не выскочит! Но не вздумайте не выполнить задания. Я не «Тихий»! У меня другая хватка, и это прошу учесть сразу!

Протодиакон уже учел — ноги еле держали.

— Господи! Господи, спаси мя!

— До трех часов дня — ждите меня. Будем вместе брать ваших милых племянниц. Это вас не пугает?

— Претерплю, господи, претерплю, — клонился грудью на посох протодиакон. — Надо обезвредить, что поделаешь! В таком деле родства нету.

Капитан еще не все вытянул:

— Как понимать «протодиакон на выходах владыки»?

— При соборных богослужениях его преосвященства архиерея-владыки я иду с малыми слугами — ипподиаконами, а так и при алтаре помогаю владыке.

— Ясно. Владыко и священники сотрудничали с охранкою?

— Непременно, но чрез особое касательство, как тайну исповеди разглашали, а сие — грех тяжкий.

Капитан призадумался: все лгут и продают рабов господних. Священники, владыки, папы римские, премьеры правительств, все и вся продажно и подчинено великому негласному ордену тайной разведки!

— Позвольте спросить, — проверещал протодиакон. — В какой должности будут при губернском комиссаре полковник Шильников, а так и войсковой старшина Старостин?

— Вы что, видели их?

— Как же, как же! Из этого дома вышли с Сергеем Сергеевичем. Казаков было здесь полусотня, али больше. Вся улица возле дома в конском помете, заметили? Казаками командовал какой-то есаул, должно. В голубом казакине, звероватый на вид, хотя и молодой. А потом, когда Сергей Сергеевич с полковником Шильниковым и войсковым старшиной Старостиным сели в автомобиль, из дома вышли еще три офицера. Ну, спросили: по какому делу? А я им: по политическому. Один офицер назвал вас, что вы, говорит, занимаетесь тюрьмой.

Капитан теперь только понял, откуда возле дома столько конского помета. Он давно сообразил, что здесь были казаки! Какие казаки? Войсковой старшина Старостин, как ему известно, находился в подполье в станице Есауловой, и с ним был брат Кирилл, Андрей Иннокентьевич, сотник. И Гавриил, пожалуй, скрывался в Есауловой. Но — полковник Шильников! Уехали в одном автомобиле встречать чехословацкие эшелоны?! Ну и ну, дела!.. Шильников открыто рвется на большой скандал! Тогда как же мог поехать с ним в одном автомобиле подполковник Каргаполов? Что-то тут неладно! Надо спешить на вокзал.

Протодиакон заметил-таки:

— Ладно ли, господин капитан, что вы в этом мундире? И орден Франции, сапоги, мундир, только погон нету. А ведь, как помню, Сергей Сергеевич ох как поносил развратную Францию!

У капитана Ухоздвигова другое кипело в голове: Шильников с Каргаполовым! Не спелись ли они! За счет чьих голов! Если есаул Потылицын командовал казаками...

— Идите выполнять задание, Сидор Макарович. Не менее пятнадцати страниц текста, предупреждаю. Чем больше текста, тем выше вознаграждение. Это мне крайне необходимо для развертывания работы отдела. А мой мундир пусть вас не смущает; я жандармских не носил.

«Господи, господи, — постанывал Сидор Макарович, направляясь восвояси и боязливо оглядываясь. — Ведь он мне петлю на шею накиннул — только затянуть, и — аминь!.. Ох, хо, хо! Куда он тянет, француз проклятый, знать бы... А — крут, крут, яко волк. Ну, да не сожрать ему Сергея Сергеевича — не тот квас. У Сергея Сергеевича всегда два лица: одно для всех, другое тайное, сжует французского путаника! А вот ежели я напишу показание на Сергея Сергеевича, а так и других офицеров по тогдашней охранке, воспоследует мне от самого Сергея Сергеевича препровождение в преисподнюю! Спаси мя господи! Скрыться надо на некоторое время. Да ведь сыщет француз. Агентуру пустит; а есть ли у него агентура?..»

Так и сяк обдумывал Сидор Макарович, а выхода не было. Ведь уже выдал тайну. А разве не сказано было в подписке: ни устно, ни письменно и ни во сне?!

«Сошлюсь на слабость зрения и нездоровье после тюрьмы, — изворачивался Сидор Макарович! — И то! Какое мое здоровье? Ноги, как чужие. Хоть бы на шкалик дал! С шурина-то я непременно сорвал бы десять тысяч, как предупредил Таисью. Сыскали бы! А што получу от француза? Ох, господи, господи!..»

Куда не кинь — везде клин.

IX

На Плац-Парадной площади встретились капитану казаки — ехали не строем, кучею, какие-то взъерошенные, а впереди атаман Бологов в расстегнутом френче, без фуражки и шашки. Один из казаков узнал каракового коня:

— Вот и конь мой! А я-то думал, ханул конь!

Капитан уставился на Бологова: на его френче выдраны пуговицы, карманы оторваны, лицо в кровоподтеках, губы разбиты, даже черные усики будто покривились. Казак, узнавший коня, вырвался вперед к капитану, сокрушаясь, как отощал конь!

— Разве мыслимо так относиться к животному? Не кормлен, не поен, наверное, вторые сутки. Ай-я-яй! Не хорошо, господин офицер!

— Да погоди ты со своим конем! — рявкнул Бологов. — Отстань! Цел твой конь, а покормить успеешь еще. — И к казакам: — Езжайте, я вас догоню.

— В чем дело, сотник? — спросил Ухоздвигов.

— Дело — табак! — плюнул Бологов и, достав платок, осторожно вытер разбитые губы. — Видите, как разделал меня есаул Потылицын со своими орлами? Это за то, что я его вчера по приказу Ляпунова разоружил. Взъярились, гады! Если вы едете на вокзал — схватят. Хорошо, что припозднились. Ляпунов, Розанов, Коротковский, Мансуров и Троицкий посажены в подвал под рестораном. А меня Каргаполов погнал найти хоть под землей хорунжего Лебеда. А где его искать?

— Что там произошло?

— Говорю же — переворот! Полковник Шильников с войсковым старшиной Старостиным и с двумя сотнями казаков заняли вокзал — из Торгашиной и Есауловой прикопытили, гады! Ну, и захватили власть. Подполковник Каргаполов перешел на их сторону. Теперь он управляющий губернией, а Шильников — начальник гарнизона. Кутерьма, туды их в иголку! — Бологов матюгнулся от всей души. — Еще ждут сотню казаков из Атамановой и полусотню из Казачинска. Вот-вот прикопытят. Шильников даром время не терял прошлой ночью. Развернулся на всю катушку, а с ним — есаул Потылицын.

Как же он, Кирилл Ухоздвигов, не разгадал вчера маневра подполковника Каргаполова и Шильникова? Не случайно они запутывали Ляпунова с ответом Гайде, чтобы вызвать недовольство командующего чехословацкими войсками! Все было заранее обдуманно. Наверняка Каргаполов вел двойную игру из тюрьмы. Его, понятно, не устраивало место губернского комиссара, ему нужно было управление губернией! Разгул белого террора, резня и пытки без суда и следствия!.. Недаром он так артачился в тюрьме, когда полковники выдвинули Ухоздвигова на пост начальника контрразведки!

Бологов трубно сморкался и матерился, проклиная все и вся на свете.

— А где искать хорунжего? У кого он, не знаете?

— Зачем он понадобился?

— Не знаю. Приказал; если не доставлю его, упрячет меня в тюрьму и рядовым пошлет на фронт. Живого или мертвого требует.

Капитан почувствовал тот прилив неудержимой энергии и ярости, какой не раз выручал его в трудные моменты.

— Не ищи хорунжего, сотник. Это первое. Мне нужен извозчик. Это второе.

Бологов внимательно посмотрел на капитана. Что он еще задумал?

В центре Плац-Парадной площади стояли безработные извозчики.

— Давай одного сюда! — приказал капитан.

Бологов рысью поскакал за извозчиком, и когда вернулся, не узнал капитана: на нем было золотое пенсне и парадные погоны.

— Извините, господин капитан. Не понимаю.

— Ви, русски офицер, не знай французски — язык свободно народ? — удивился капитан и разъярил на ломаном русском, чтобы сотник распустил пока казаков, а сам ехал в ресторан «Метрополь» и выпил бы «смирновки» для успокоения и лицо бы помыл: неприлично для офицера иметь лицо, испачканное собственной кровью. Он, капитан Шерпантье, найдет сотника в «Метрополе». — Вам понятно?

— Понятно, господин капитан, — хлопал глазами Бологов, удивляясь и завидуя капитану, — вот что значит капиталы папаши! Все они, братья Ухоздвиговы, получили прекрасное образование, не то что он, Григорий Кириллович Бологов, сын простого казака! — С казаками из Есауловой станицы, — вспомнил Бологов, — прибыло несколько офицеров, а с ними — сотник Андрей Иннокентьевич и поручик Гавриил Иннокентьевич Ухоздвиговы.

— Прекрасно, сотник! Возьми этот конь для хозяин!

Капитан вошел в роль француза и явно пускал пыль в глаза извозчику, а заодно и Бологову.

Извозчик — бородатый старик в легкой поддевке под синим кушаком с почтением оглядывался на француза.

Со стороны вокзала раздался оружейный залп из нескольких стволов.

— Бронепоезд прибыл, господин капитан! — таращился на Ухоздвигова Бологов, не понимая, что задумал капитан? Встретиться с Гайдой, а в свите Гайды, конечно, есть французские офицеры!

— Вокзаль! Вокзаль! — подтолкнул извозчика капитан. — Надо спешить, спешить!

На вокзальной площади у тополей — привязанные кони, кони. Пешие и конные казаки, при шашках и карабинах — полным полно коробочка!..

Извозчика задержали двое казаков. Кого везешь?

— Французского офицера, — ответил извозчик, а «французский офицер», ворочая на чужом для казаков языке, повторял два слова по-русски: «Встреч Гайда! Встреч Гайда!»

— Вези его к вокзалу! — разрешили казаки.

Капитана и в самом деле было трудно узнать: низко опущенная фуражка с длинным козырьком затемняла верхнюю часть лица, да еще пенсне, скрывающее глаза, мундир и погоны! Возле двери в вокзал дежурил казак и еще какой-то молоденький офицер. Ухоздвигов представился ему на ломаном русском языке капитаном французской армии Шерпантье, который прибыл на встречу командующего Гайды и просит офицера сопровождать его к вагону.

— Стой здесь! Никого не пропускать! — приказал казаку молоденький офицер, преисполненный гордости, что именно ему выпала честь сопровождать французского офицера к самому Гайде, а не торчать у дверей по приказу папаши, полковника Шильникова (это был сын Шильникова, недоучившийся юнкер).

На перроне толпились все офицеры, «шильниковцы и каргаполовцы», уверенные в своей победе над кликой арестованных полковников, самозванных правителей губернии — Ляпунова, Розанова, Коротковского. Казаки на перрон не были допущены — висели на заборе, толпились у проходных ворот, разглядывая бронепоезд со щетинящимися из гнезд пулеметами и пушками. Из бронированных вагонов успели высыпать чехословацкие легионеры, офицеры, в два ряда заняв перрон. Гайда, размашистый, плечистый, в австрийском мундире, в лакированных сапогах, стоял возле штабного салон-вагона, с надраенными медными двуглавыми орлами. В тот момент, когда юнкер Шильников, растолкав господ офицеров, провел за собой французского капитана Шерпантье, навстречу командующему

Гайде парадным шагом подошли полковники Шильников, Каргаполов, войсковой старшина Старостин, держа руки под козырек, а следом за ними несли хлеб-соль почтенные отцы города — седовласый Кузнецов и лысеющий грузный Гадалов, прибывшие на вокзал в свите Ляпунова и при «стечении обстоятельств» принявшие сторону Сергея Сергеевича Каргаполова, пообещавшего им немедленно организовать погоню за совдеповцами, чтобы вернуть в пустующие банки золото и выпросить у Сибирского правительства кредит для оздоровления промышленности и торговли в губернии. Хозяева-то все равно они — отцы города, ворочающие промышленностью, хотя и захудалой, приисками и торговлей.

Чехословацкие легионеры пропустили французского офицера, и тут капитан Ухоздвигов так быстро пошел вперед, что подоспел к вагону командующего Гайды как раз в тот момент, когда Каргаполов торжественно приветствовал славного Гайду, истинного освободителя Сибири от тирании большевиков.

Капитан Гайда безразлично слушал приветствие, ничем не проявлял своей заинтересованности и не вскинул руку к козырьку; рядом с ним толпились чехословацкие штабные, французские офицеры, русские, и в их числе возвышался тучный, мордастый генерал Новокрешинов. Однако Гайда сразу увидел капитана Ухоздвигова, с которым пировал в Самаре, делился ошеломляющими замыслами свержения большевизма! И капитан Ухоздвигов был именно в той же французской форме, при тех же орденах, как будто они вчера расстались.

— О, мой капитан! Капитан! Ошечь рад, мой капитан!

И, отмахнувшись от полковников (на этот раз Шильников был без погон; игру кончил — привел себя в надлежащий порядок), Гайда сам подошел к капитану и, как того никто не ждал, обнял и расцеловал его. Тут и подполковник Каргаполов разглядел «француза» — глаза осоловели и дрожь прошла по телу.

А два капитана, поздравляя друг друга, радовались долгожданной встрече, ничего доброго не предвещавшей ни Каргаполову, ни Шильникову.

Капитаны разговаривали на французском. Ухоздвигов сообщил: командующего чехословацкими войсками Гайду встречают оголтелые монархисты, только что арестовавшие социалистов-революционеров:

управляющего губернией полковника Ляпунова, а с ним — таких-то и таких-то губернских правителей; глава монархического заговора — вот этот полковник Каргаполов, бывший сотрудник царской жандармерии. Прошлой ночью именно он, Каргаполов, спровоцировал полковника Ляпунова дать командующему Гайде возмутительную телеграмму об освобождении Красноярска силами патриотов, чтобы вызвать недовольствие командующего и с его помощью утвердить себя вождем губернии, вызвать резню среди офицеров, сорвать формирование воинских частей и прочее.

Слушая французское бормотанье капитана Ухоздвигова и ни слова не понимая из того, что он говорил Гайде, Каргаполов раз пять поймал свою фамилию в потоке гундосых слов, наливаясь ледяным холодом страха. Лицо его сперва побурело, потом начало бледнеть, и нижняя челюсть противно дрожала. Топит, подлец! Топит без жалости и милосердия, как будто сам Каргаполов час назад не топил без жалости и милосердия своих собратьев, да еще приказал схватить капитана Ухоздвигова, как только он появится у вокзала. Уж он-то, Каргаполов, выспался бы потом на «французском агенте». Надо бежать, бежать без оглядки! Но как убежишь, если Каргаполов прикипел у личного вагона командующего Гайды; а сзади — оцепление чехословацких легионеров с офицерами!

Выслушав информацию своего друга, капитан Гайда мгновенно преобразился: он любил разделяться с мятежными офицерами, как это случалось в Омске и Новониколаевске, когда белогвардейцы, захватив власть с помощью легионеров Гайды, растащили воинские части всяк в свою сторону, а в Новониколаевске вспыхнула перестрелка, в которой были жертвы с той и другой стороны. Им бы только власть, этим белым офицерам царя-батюшки; у них пусто в голове, как у генерала Новокрешинова, которого Гайда не допустил до командования даже полком в Средне-Сибирском стрелковом корпусе, оставив при своем штабе консультантом.

— Поручик Брахачек! — подозвал Гайда одного из своих офицеров и отдал команду объявить боевую тревогу: орудия двух бронированных передних платформ направить на станцию, депутацию офицеров разоружить и арестовать, как и всех офицеров на перроне, составить списки мятежников и препроводить в тюрьму под конвоем.

Ни Каргаполов, ни Шильников с войсковым старшиной Старостиним не успели сказать ни одного слова в оправдание, да и не знали, что наговорил на них капитан Ухоздвигов. Легионеры под командованием поручика Брахачека моментально разоружили их; седовласый Кузнецов с перепугу уронил хлеб-соль, тут же втоптаный в щебенку между шпалами. Стрелки-чехословаки бегом окружили вокзал, чтобы не выскочил ни один офицер с перрона. «Ни с места! Ни с места! Вы все арестован!» — орал поручик Брахачек.

Не прошло и полчаса, как с заговорщиками было покончено — были — и нету, — переписали поименно каждого, отобрав оружие, и выстроив на привокзальной площади, пересчитали: семьдесят пять — лоб ко лбу, оцепили конвоем, и — шагом арш! В тюрьму, господа хорошие!

Это было редкое зрелище для горожан. С быстротой птичьего полета разнеслось по городу: чехословаки арестовали русских офицеров и гонят в тюрьму. Со всех домов в улицы высыпали любопытствующие горожане поглазеть на чехов и арестованных. Чехи-то, чехи-то, оказывается, не только большевиков и совдеповцев хватают, а офицерье!

У Каргаполова было такое состояние безразличия и отчужденности от всего сущего, точно он шествовал на кладбище к собственной могиле. И надо же было случиться так, что хорунжий Лебедь, предупрежденный вчера капитаном Ухоздвиговым держаться покуда в стороне, хорошо отоспавшись в доме миллионерши Юсковой, выехал на Вельзевуле поразмяться и «понюхать воздух», вдруг встретил необычайное шествие этапируемых чехословаками офицеров: «Экое, господи прости! Али чехи метут русских офицеров? — дрогнул предусмотрительный и весьма осторожный в действиях Ной, плотнее втискиваясь в седло. Узнал Каргаполова, есаула Потылицына с подхорунжим Короетылевым и старшим урядником Ложечниковым, чему был весьма рад. «Ну, этих гнать надо! Пуцай посидят с богом, авось поумнеют», — напутствовал Ной и повернул Вельзевула обратно в крепость госпожи Юсковой.

Протодиакон, Сидор Макарович, предупрежденный соборным трапезником, тоже помчался с необычайной проворностью посмотреть арестованных офицеров, и успел-таки. Как раз в тот момент, когда этапируемые подошли к спуску с горки к тюрьме по Пляц-Парадному,

Сидор Макарович подбежал к угловому дому. И кого же он увидел среди арестованных?.. Самого Сергея Сергеевича! «О, господи! Да што же это, а? Кажись, француз уже сожрал его? А?! То-то и вырядился в мундир. Сам, должно, рвется на должность губернского комиссара. Ах, беда-то, беда-то! — постанывал Сидор Макарович. — И Шильникова гонят, Старостина, а вот и тот есаул!.. Ай, ай, ай! Надо писать показание, а то и меня упрячет, хлыст проклятущий...»

Обстановка для Сидора Макаровича окончательно прояснилась.

X

Капитан Гайда дал знатный завтрак в честь губернских правителей — Ляпунова, Троицкого, Коротковского, Мансурова, министра Прутова, а с ними был и друг его, капитан Ухоздвигов, славный капитан, достойный кавалер ордена Почетного легиона!

Салон-вагон Гайды был обставлен дорогой красивой мебелью, позаимствованной в одном из музеев Самары; из музея же взяты были и редкие гобелены, картины, составленные в углу, ковры, застилавшие пол; капитан Гайда заботился о завтрашнем дне. При освобождении больших городов он обычно созывал именитых граждан и накладывал на них контрибуцию — деньгами, дорогими вещами, пушниной не брезговал. Так случилось и в Красноярске; господам Кузнецову и Гадалову было объявлено через консультанта, генерала Новокрешинова, передать главкому Гайде не позднее 21 июня — четыреста тысяч наличными (Нету? Хоть под землей сыщите! — предупреждал Новокрешинов).

Надо сказать, забегая вперед, под конец сибирской кампании, когда чехословацкие эшелоны бежали под напором Красной Армии на восток, Гайда, к тому времени генерал, вывез восемнадцать вагонов «личного имущества», а офицеры его награбили по восемь-десять вагонов.

Кухня в салон-вагоне Гайды была отменная. Из Самары он прихватил повара-француза, и маленький, чернявый Морис баловал командующего такими отменными блюдами, что полковники пальчики облизывали. Пили вина и коньяки. Благодарные за выручку и воскресшие из мертвых полковники начали было, в подпитии, расхваливать оперативность капитана Ухоздвигова, но сам капитан

прервал их: он обязан был раньше предотвратить заговор Каргаполова и Шильникова, а теперь считает себя «лопухом», но в дальнейшем этого не повторится. Ляпунов предложил капитану место губернского комиссара, и тут Ухоздвигов удивил сотрапезников: «Не надо спешить, Борис Геннадьевич. У нас есть губернский комиссар. Продуем ему мозги, освежим память и пусть начинает работать».

Ляпунов спросил о хорунжем Лебеде. Верно ли, что он повинен в расстреле трех офицеров и аресте «центросоюза»? Ухоздвигов успокоил: в аванюре гибели трех офицеров повинен Дальчевский. Именно он подослал трех офицеров убить председателя полкового комитета в его доме, ну, а хорунжий, будучи не дураком, перестрелял террористов. «А вы как бы поступили, Борис Геннадьевич? Ждали бы, когда вам в дом подкинут связку гранат?»

Что ж, если это так, пусть хорунжий Лебедь возглавит особый эскадрон, который будет действовать вместе с охранным 49-м чехословацким эшелонем под командованием подпоручика Богумила Борецкого; эшелон должен прибыть в Красноярск дня через два, закончив установление власти в Ачинске.

Капитан Гайда тоже заинтересовался казачьим хорунжим Лебедем, служившим в Петрограде и Гатчине, и попросил капитана Ухоздвигова привести его к нему в вагон до отбытия эшелонов в Иркутск.

В Красноярске с 20 июня начнет действовать чехословацкая комендатура.

Корректный и педантичный министр Прутов не вступал в обсуждение военных вопросов; поблагодарив за гостеприимство командующего Гайду, покинул вагон с Троицким. Полковники еще посидели, обменялись мнениями, выслушали программу Гайды по жесточайшему уничтожению большевиков и, получив от него согласие, что полковник Дальчевский возглавит отряд погони за красными, ушли, теперь уже окончательно утвердившимися владыками губернии.

Капитана Ухоздвигова Гайда попросил остаться для весьма серьезного разговора. Знает ли капитан, что на 4 июля в Москве назначено открытие Пятого Всероссийского съезда Советов, на котором правительство Ленина выступит с проектом Конституции РСФСР? О, это чрезвычайная акция Ленина! Гайда информирован, что

на съезде будет принята попытка ареста Ленина левыми эсерами, но он, Гайда, не верит в левых. Но если бы им удалось ликвидировать правительство Ленина, то чехословацкий корпус повернул бы все свои вооруженные силы на Москву; бросок из Самары — и Москва!

У Гайды нет достоверных данных, что происходит в самарском Комуче, в самом Омске, и он просит капитана Ухоздвигова выполнить для него маленькую акцию поездки в Омск, а потом в Самару, чтобы совершенно точно знать: на какие силы можно рассчитывать, и кого сам Гайда должен поддерживать? В Омске и Самаре у Гайды имеются надежные люди, которые введут капитана в соответствующие общественные круги. Для поездки в Омск и Самару Гайда выдаст капитану деньги и, кроме того, ценные подарки для некоторых важных особ; в Омске, например, капитан должен повлиять на красавицу княгиню Тимиреву Анну Васильевну, супругу военного министра Сибирского правительства, полковника Гришина-Алмазова. О самом Гришине Гайда крайне низкого мнения; Гайда предвидит, что командир степного корпуса Сибирского казачьего войска Иванов в ближайшее время сожрет Гришина-Алмазова.

Капитаны сидели за столиком в личном купе Гайды; по стенам были развешаны карты восточной части Транссибирской магистрали, утыканые синими флажками войск под командованием Гайды и зелеными — генералами Сыровым и Чачеком, которых Гайда попросту презирал за их старческое слабоумие и бездеятельность. Гайда был уверен: там, где старики берут власть в руки, будь то военная или гражданская сфера, для общества или армии наступает «мертвый сезон»; старье не способно ни мыслить, ни действовать; единственное, о чем заботится каждый старик: как бы подольше прожить. Капитан Ухоздвигов согласен с Гайдой; старики заташат белое движение в болотную старческую хлябь.

— Болото! болото! — энергично подхватил Гайда, полнокровный сангвиник, русоволосый, как и Ухоздвигов, чисто выбритый, с глубоко запавшими светлыми глазами, точно осколками бутылочного стекла, он не мог усидеть на одном месте — энергия распирала его по всем швам. — Молодость — сила, великая сила, Кирилла. Я тебя великолепно, преотлично понимаю. Колоссальная энергия в молодости. Мы будем устанавливать в Чехословакии правительство молодых. Надо действовать, решать, двигать. Сонный сплин пусть

останется для старого тряпья в старых халатах. Не так ли, Кирилл? — И Гайда, развивая мысль о молодых правительствах, сказал про красную совдепию Ленина, где основные силы — молодежь. И самому Ленину, как знает Гайда, всего сорок восемь лет. Это кипучий возраст! После шестидесяти лет надо убирать стареющих людей в правительства во второй и третий эшелоны — поближе к могиле, чтобы они не замораживали всеобщее движение прогресса. Старики действуют Гайде на нервы, усыпляют, парализуют движение и мысль, и потому он всех стариков убрал с командирских должностей. Все его командиры эшелонов и соединений не старше тридцати лет. Никак не старше.

Капитан Ухоздвигов должен быть с ним, с Гайдой; они ровесники. Гайде тридцать лет!

— Мне тридцать один, — напомнил Ухоздвигов.

— Самый раз, Кирилл! Самый раз! — подхватил Гайда. — Что тебе делать среди лысых полковников? Они теряют память, грызутся за высокие должности, им бы только жрать, спать и долго жить. К чему им долго жить? Их, стариков, надо расстреливать. Без лишних разговоров — в расход всех. В обществе достаточно молодых сил, Кирилл. Достаточно!

— Когда-то и мы будем стариками, Гайда!

— Ми? Никогда! — подскочил Гайда. — Никогда! Ми можем погибнуть в боях, но ми не будем старыми помойками, развратными плевательницами для молодых. Фу, фу! Это ошечь дурно чувствовать себя — плевательницей для молодых.

Кирилла Ухоздвигова поражал этот энергичный, не знающий ни усталости, ни покоя капитан санитарной службы Гайда. Он будет, конечно, генералом, и своих старых генералов стопчет, разотрет в пух-прах.

— Ты выполнишь мою маленькую акцию, капитан? Я ошечь прошу!

— Выполню, капитан, — твердо ответил Ухоздвигов. — Это у меня займет полтора-два месяца.

— Великолечно! Ты выедешь завтра?

— Девятого или десятого июня.

— Ты живешь старый царский стиль? О, капитан! Даже у Ленина сейчас новый стиль!

— Двадцать второго.

— Великолепно! Завтра ты получишь десять тысяч, особо важные документы ЧСНС, чтобы действовать наверняка, и дорогие подарки для дам. О, чрезвычайно важно — дамы! Княгиня Тимирева должна работать на нас. Она красива, молода, никак не для набитый дурак Гришина-Алмазова. Ты будешь Омск, Самара, а потом освободим Уфу, Екатеринбург. Мы должны повернуть мельница на себя, чтобы перемолоть старые плевательницы! У меня впереди Иркутск, байкальская железная дорога и там много тоннелей. Есть данные разведки: десять тысяч красных двигаются по Забайкалью, там еще дурак — атаман Семенов. Красные захватили пароходы на Байкале, но вот карта, капитан: куда они могут уплыть? Даже в Монголию не могут уплыть.

— Никуда! Поплавают по Байкалу, и выйдут где-то на берег.

— Всех, всех! Под пулеметы, минометы, под мои броневики и мощную артиллерию! Всех, всех, всех! — разошелся Гайда, топчась по купе — он не мог сидеть на одном месте, считая это опасным для его возраста; иначе постареешь раньше пятидесяти лет и придется отступать в тыл политических и государственных дел и стать «развратной плевательницей» для молодых.

Планы Гайды были обширными, ошеломляющими, и Ухоздвигов встревожился. Гайда — опасный капитан! Чрезвычайно опасный и жесточайший каратель!..

— В Чита я должен встретиться с нашими эшелонами, — четырнадцать тысяч легионеров! — гремел Гайда. — О великая сила! Они идут навстречу моим войскам из Владивостока. Скажи, Кирилла, разве не великолепный был мой план? О! Это я настоял на нашем ЧСНС растянуть эшелоны по всей великой Транссибирской дороге, чтобы нанести мощный удар разрозненным силам красных.

Прожекты, прожекты, авантюры и надежды, надежды!..

Ляпунов был против отъезда головастого капитана из губернии на такой срок — столько чрезвычайных и сложных вопросов, но одно слово Гайды, и он поспешно согласился: если надо, значит, надо.

До отъезда из Красноярска Ухоздвигов взялся разобраться со всеми арестованными офицерами — Гайда назначил его председателем следственной комиссии, хотя сам Ухоздвигов заранее решил: никакого следствия не будет.

На другой день, после бражного дня и ночи с Гайдой, Ухоздвигов занялся арестованными; все они сидели в камерах смертников, для острастки, авось, сразу поумнеют и не станут заниматься заговорами и нести друг на друга «пакеты».

Каргаполов встретил Кирилла Ухоздвигова таким потоком самоуничужения, что Ухоздвигову тошно было смотреть на него: знал, что врет, подлец, выкручивается! Сморкаясь себе в ладони, бывалый шпик охраны каялся: если ему оставят жизнь, он, согласен служить солдатом, только бы жизнь, жизнь!

— Прекратите ломать комедию, — брезгливо сказал Ухоздвигов. — Жизнь ради жизни, Сергей Сергеевич, противная штука! Надо же ради чего-то жить! Ну, хотя бы ради жены — у вас хорошая жена и сын еще! А вы помните только себя! Впрочем, я, как председатель комиссии, буду просить оставить вам жизнь и должность губернского комиссара.

Сергей Сергеевич божился, что он не пощадит живота своего, только бы выловить большевиков всех до единого и, понятно, почитать будет Кирилла Иннокентьевича за своего спасителя и никогда не подведет его. И кается, кается, что когда-то усомнился в его способностях...

Полковник Шильников не винился: он остается при своем мнении: России нужен монарх, как воздух, как хлеб насущный!

— Посидите месяца два-три, подумайте, полковник. Если мы призовем на престол монарха — вас не забудем, — пообещал Ухоздвигов, и следственная комиссия приговорила полковника Шильникова к трем месяцам заключения, но не прошло и месяца, как он был досрочно освобожден (офицеров, офицеров!) и назначен начальником Нижнеудинской унтер-офицерской школы.

Есаул Потылицын со своими подручными мордоворотами Коростылевым и Ложечниковым сидели в одной камере. Капитана Ухоздвигова встретили настороженно. Но капитан и голоса не повысил: будут ли они служить белой гвардии достойно, без монархических заскоков?

— Мы на эту службу, господин капитан, призваны самим господом богом, — с вызовом ответил Потылицын, жалея, что ему, Потылицыну, не удалось разделать под орех этого гладкого

«выкормыша французов», как они проучили на вокзале самозваного есаула Бологова.

Капитан сказал: поскольку госпожа Юскова не возбуждает против них уголовного дела, то он, начальник политического отдела и председатель следственной комиссии, считает, что есаулу Потылицыну можно доверить командование сотней в третьем Енисейском полку, а с ним зачислить в полк и его верных друзей.

Потылицын не без натуги отблагодарил капитана, и на том спрос был закончен.

И так со всеми «шильниковскими» офицерами, в том числе и с войсковым старшиной Старостиным, который, не разобравшись в чем дело, залез в кутерьму.

Братьев — сотника Андрея Иннокентьевича и поручика Гавриила Иннокентьевича — капитан Ухоздвигов освободил без допросов следственной комиссией.

Все шло хорошо, и надо было спешно формировать для Гайды стрелковые полки, батареи и казачьи части.

Улицы Красноярска заполнились чехословацкими солдатами; армия Гайды находилась на отдыхе перед отправкой на Иркутский фронт.

ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ

I

Все эти дни хорунжий Лебедь не обременял себя заботами о службе у белых. Капитан Ухоздвигов наказал повременить, ну, а сам Ной тем более не торопился, хотя до него дошел слух, что среди офицеров произошел какой-то конфликт, и, как он видел, некоторых «воинствующих» чехи угнали в тюрьму. Лучше уж разминаться на Вельзевуле! С утра уезжал за город, устраивал скачки с препятствиями, рубил шашкой молодой березнячок, тренировал Вельзевула бежать к нему на свист, но все-таки скребло: почему о нем забыл капитан Ухоздвигов? Или все в губернии перемешалось и, чего доброго, самого Ноя угонят в тюрьму? На всякий случай подготовился к побегу. В сумках возил припасы на неделю, патроны для карабина и

револьвера, разузнал у бывалого извозчика про дорогу на Минусинск берегом Енисея.

Своих сомнений и планов не высказывал Дуне — ни к чему, еще выболтает миллионерше, с которой Ной не соприкасался. Один раз поговорил, и на том знакомство кончилось. За что Дуня попеняла ему: Евгения Сергеевна обещала помочь ей стать законной наследницей капиталов папаша. «А ты чуждаешься ее, как будто брезгуешь, — ругала Дуня. — Хоть бы сыскал сокомпанейца моего. Где он запрятался? Капитан, может, знает?» А Ной не спешил на розыски капитана Ухоздвигова, тем паче сокомпанейца Дуни, инженера Гавриила Иннокентьевича. Для Ноя все эти разговоры Дуни о приисках, золоте были отвратны.

Проживал Ной в доме Юсковой — сам по себе, хотя и навещал болящую Дуню, но ее разговоров о золоте и капитале не поддерживал, отмалчивался.

В субботу у миллионерши Юсковой был банный день. Евгения Сергеевна ванн не принимала, а парилась в бане березовым веником не хуже ломового извозчика, о чем Ной узнал от Дуни.

— Ты с баней-то повремени, — попросил Ной.

— Да что ты! Теперь уже все кончено. Оно и к лучшему. Что бы я делала с ребенком? Не будем говорить об этом. Капитана видел или нет?

Ной еще засветло вернулся из своей поездки, будто бы со службы, но капитана, конечно, не встречал.

— Что. у тебя за служба, если не можешь найти капитана? Я же просила! Сейчас время терять нельзя. К управляющему губернией надо идти, начинать хлопоты.

— К управляющему не собираюсь, говорил уж. Не для меня то!

— Для тебя только скакать по городу! Евгения Сергеевна рассказывала, что промеж офицеров был большой скандал, и чехи разняли их. А ты мне ни слова не говорил. Или сам ничего не знаешь? Вот уж мне! Там такое произошло, говорят! Полковник Шильников с офицерами хотел захватить власть и полковников Ляпунова, Коротковского, Мансурова и Мезина с господином Троицким держали под арестом на вокзале. А тут подъехал Гайда, командующий чехословаками, арестовал Шильникова с офицерами, а Ляпунова и

всех полковников освободил. Вот что было! А ты мне что говорил? «Чехи метут офицеров!» — сердилась Дуня на несведущего Ноя.

В комнату вошла горничная Аглая с мокрыми, кое-как скрученными волосами; Ной поздравил ее с легким паром.

— Спасибочка, господин хорунжий, — чинно ответила Аглая, сообщив: — Вас просит капитан Ухоздвигов. Во дворе он.

Дуня встрепенулась:

— Слава богу! Сам приехал. Иди зови его в дом. Я мигом приберусь. Надо мне с ним поговорить. Он-то знает, где его брат поручик!

Ной ушел крайне недовольный Дунею: у нее одно на уме — сокомпанеец Гавриил Иннокентьевич, приисковые дела, золото, золото, будь оно проклято. Вот уж хлещет из нее папашина кровинка — удержу нет! Не укротить ему Дуню! Легче совладать с десятью Вельзевулами, чем с одной Дуней. И кем он будет, Ной, при Дуне, когда она сыщет своего сокомпанейца?

У крыльца Ноя поджидал Ухоздвигов. Но это был не тот растрепанный и взлохмаченный капитан, с которым он пил коньяк из одной фляги. Перед ним был подтянутый и строгий капитан в отменном мундире при орденах, в фуражке с большим козырьком, какие носят французские офицеры, при сабле и пистолете, в сапогах с лакированными голенищами.

— Здравия желаю, господин капитан! — козырнул Ной.

Капитан медленно окинул взглядом Ноя, как будто впервые видел:

— Здравствуйте, хорунжий. Отдохнули?

— Слава богу.

— Как настроение?

— Помаленьку перемежаюсь.

— «Перемежаюсь»? — уставился капитан. — Любопытно! Вы хоть знаете, что произошло за эти дни?

— Никак нет, господин капитан. Пребываю в полной неизвестности.

Капитан покачал головой:

— «Пребываете»! Удивительный вы человек! С вами не пуд соли надо сожрать, а вагон, чтобы приблизительно понять, что вы из себя представляете, «перемежающийся». Точное слово.

Ной по своему обыкновению слушал и помалкивал. Это его не касается — все эти выводы и рассуждения.

— Хорошо, что вы эти дни «перемежались», — продолжал капитан. — Офицеры-монархисты должны были устроить вам за Гатчину и совдепию публичную казнь.

— Господи помилуй! Или я утаивал? — дрогнул Ной.

— Если бы сотнику Бологову по приказу Каргаполова удалось вас схватить позавчера, вы бы, наверняка, «перемежались» теперь на том свете.

Ной прикусил язык: капитан Ухоздвигов резал под каблуки. До чего же въедливый, дьявол! А чем-то встревожен, это чувствуется по голосу, и — зол, зол!..

— Отойдете от крыльца, — позвал капитан, и голос-то у него тугой, как закрученная пружина. — Как ладите с миллионершей Юоковой?

— Да никак. Я ее всего два раза видел.

— У вас есть брат Иван?

— Есть, — сразу ответил Ной; капитану все известно!

— Он жил за Качею в доме Ковригиных?

И это знает капитан!..

— Проживал.

— Разумеется, вы знаете дом Ковригина. Слушайте внимательно. Жеребец ваш здесь? Хорошо. Это, оказывается, жеребец скитского бандита, который шел с Сотниковым на Минусинск. Хорошо, что товарищи успели расстрелять эту вонючую пакость, о чем вы мне почему-то не сказали. Ну, ладно. Сейчас же оседлайте жеребца и мчитесь к дому Ковригиных. В их бане только что мылись большевики — Машевский и с ним еще двое растяп! Предупредите, чтоб духу их в доме не было! И ждите меня на мосту. Задание ясно?

У Ноя по заплечью мороз драл. Вот оно как взнуздал. Обратного хода не будет, и это враз уяснил.

— Ясно, господин капитан.

— Выполняйте! Где у вас шашка и револьвер? Непременно возьмите.

Капитан пошел из ограды. Ной, не раздумывая, забежал в дом, встретил внизу Аглаю, попросил передать Дуне, что капитан не мог зайти в дом, взял шашку (револьвер у него был в кобуре на брючном

ремне под кителем), и в конюшню. Не прошло трех минут, как вывел он за калитку Вельзевула, увидел за углом дома пару лошадей, впряженных в пролетку, и капитана, махнул в седло и помчался к дому Ковригиных, пребывая в крайнем недоумении. Вот так капитан! Кто же он, знать бы! Одно совершенно ясно: если он, Ной, ненароком выдаст этого опасного капитана — жить ему с локоток, не больше. Вот уж времечко, господи прости! И люди таятся от людей и звери — от зверей!..

Ной домчался до дома Ковригина; по второму этажу горел в окнах свет. Спешился у ворот и забарабанил кулаком в калитку — собаки всполошились. На стук прибежал сам Ковригин, выглянул в глазок калитки:

— Господин хорунжий?

— Слушайте! Незамедлительно пушай уйдут от вас Машевский и те двое, которые мылись с ним в бане. Незамедлительно!

— Господи, господи! — простонал Ковригин, и Ной слышал, как он побежал по ограде и затопал по приступкам на веранду. Не задерживаясь, Ной сел в седло и отъехал на ту сторону моста, остановился, а у самого мороз по коже. Минуты через две из ограды Ковригина выскочили трое мужчин — Ной узнал по фуражкам, и за ними женщина в платке. Женщина остановилась и посмотрела на него. Прасковья Дмитриевна, наверное.

Все четверо скрылись улицею в сторону темнеющего юдинского сада.

II

Капитан Ухоздвигов ехал в пролетке по Благовещенской. Вместе с ним старший урядник Сазонов и протодиакон Сидор Макарович, выследивший-таки «изверга рода человеческого» Машевского. Пробрался тайком в огород и пролежал там до того, как увидел возле бани сперва племянницу Прасковью — приходила с матерью кутать баню, а вскоре прошли мыться двое в кожанках с Машевским. Тут Сидор Макарович, не мешкая, побежал в контрразведку к самому капитану. Выслужился, раб господний!

— Надо бы поспешать, господин капитан, — попросил Сидор Макарович.

— Гони, урядник! — прикрикнул капитан, и Сазонов, хлестнув бичом коней, погнал их быстрой рысью по Благовещенской. Доехали до Архиерейского переулка.

— Остановись! — попросил капитан. — Тебе приходилось, урядник, арестовывать опасных большевиков?

— Ни в жисть не арестовывал.

Капитан сказал:

— В таком случае от тебя не польза, а помеха может быть. Я их сам возьму. А ты, голубчик, иди отдыхать. Да предупреждаю: если скажешь кому про данную операцию, голову потеряешь. Тайные дела контрразведки — смертельные тайны. Никому ни слова! Ясно?

— Так точно, господин капитан. — Сазонов рад был освободиться от подобной операции. Большевиков брать не дай-то господи! Помнит их по девятьсот пятому году. Немало атамановских казаков скопытилось тогда в Красноярске, да и самого Сазонова слегка скобленили.

— Сидор Макарович! Берите вожжи, гоните. Дорога вам знакомая.

Завидев огни в доме шурина, Сидор Макарович обрадовался:

— Кажись, застанем. Чаевничают, должно, после баньки.

Ной чуть отъехал в сторону, давая дорогу пролетке.

— За нами, хорунжий! — зыкнул капитан.

У ворот капитан спрыгнул с пролетки, достав из кобуры парабеллум, постучал им, оглянувшись на хорунжего:

— Револьвер держите наизготовку!

Под надрывный лай кобелей кто-то подошел к воротам, окликнул:

— Кто такие?

— Контрразведка! — ответил капитан. — Без шума! Открывайте ворота. Быстро!

Загремел замок, скрипнула в петлях перекладина, и старик Ковригин распахнул сперва одну, потом другую половину окованных железом ворот.

Сидор Макарович заехал в ограду, а за ним Ной провел Вельзевула.

В две глотки надрывались кобели, гремя цепями по проволоке.

— Уймите собак, хозяин! — приказал капитан,

На веранду кто-то вышел.

— Кто там приехал, отец? — Ной узнал голос Василия.

— Гости! — опередил Кавригина капитан, и к Сидору Макаровичу: — Идите следом за хозяином. А вы, хорунжий, за ним. Смотреть внимательно.

Хотя хорунжий и знал, что в доме Машевского с товарищами нет, но настроение у него было отвратное. Нет, это не как в Гатчине! Там все было определено, и Петроград со Смольным под боком!.. А тут... сам черт не разберет. Тайные замыслы капитана ему были неизвестны, да и вообще не по натуре были Ною всякие тайны, привык жить открыто, без вранья. Но теперь, при белых, с открытой душой не проживешь — душу выдернут прочь!

В гостиной за большим столом ужинала семья Ковригиных. Женщины только что пришли из бани: молоденькая невестка Ковригиных с трехлетним ребенком на руках, старуха в ситцевом платье и Анна Дмитриевна в кофточке, с неприбранными волосами. Еще сидел в застолье рыжебородый татарин в ермолке, который назвался Абдуллой Саффутдиновичем Бахтимировым.

— Идите домой, — отослал его капитан. — Машевского не видели?

— Какой есть Машевский? — Нет, Абдулла Саффутдинович не знает никакого Машевского.

И все Ковригины в один голос: Машевский уплыл на пароходе. Сидор Макарович не сдюжил:

— Ох, врете, врете! Сегодня он в седьмом часу вечера шел в баню — собственными глазами видел. И ты сестра, ходила кутать баню с Прасковьей.

Старуха Ковригина заголосила:

— Ах, Сидор! Сидор! Креста на тебе нету, ирод ты проклятуший! Кого топишь-то, асмодей? Али не на наших хлебах столько жил? Ирод ты, ирод!

— Это ты вышла замуж за ирода, сестрица, — отвесил Сидор Макарович, оглядываясь на три двери, ведущие из гостиной в другие комнаты: как бы оттуда не выскочил Машевский! — Может, в доме прячутся, господин капитан?

— Зажгите лампу, хозяин. Хорунжий обыщет дом!

Старуха Ковригина проклинала Сидора, и сын Василий, зло поглядывая на дядю, пообещал ему в будущем виселицу, на что дядя

ответил: виселица ждет самого Василия.

— Без семейных сцен, прошу! — оборвал капитан. И когда хорунжий со стариком ушли в комнату с лампой-коптилкой, капитан подошел к Анне Дмитриевне; она сразу встала, машинально держась за распущенную косу.

— Если Машевский скрылся, придется вам, Анна Дмитриевна, поехать со мной в качестве заложницы.

Презрительный взгляд Анечки ненавистью поливал капитана. Губы ее дергались, и на глаза навернулись слезы.

— По какому праву, господин офицер? — вмешался Василий.

Капитан оглянулся:

— Пусть это вас не беспокоит, Василий Дмитриевич. Права у губернской контрразведки весьма обширные. Хуже, если бы к вам приехали чехи. У них другая хватка, уверяю вас. И не одна Анна Дмитриевна поехала бы в качестве заложницы, а и вы с нею. Остальные были бы повешены в ограде.

— Понятно! — пробурчал Василий.

— Мне можно отнести ребенка? — спросила жена Василия, русокобая перепуганная молодка. Капитан разрешил, и она ушла. А Василия попросил сесть и не вставать.

Хорунжий Лебедь со стариком обошли все комнаты — ни Машевского, ни его товарищей не нашли, понятно.

— Собирайтесь, Анна Дмитриевна. Документы принесите мне, прошу, — еще раз напомнил капитан, чем не в малой мере удивил Нюя. Что еще за фокусы? Сказал же, чтоб ушел Машевский, и тут, пожалуйста, арестовывает Анну Дмитриевну! — Без слез, пожалуйста. Соберите необходимые вещи, хотя бы одно платье, теплую кофту на всякий случай, накидку или что другое. Одним словом, быстро! Хорунжий, пойдите с нею.

Старуха заревела в голос, упрашивая капитана оставить Анечку, она ни в чем не виновата; сын Василий прикрикнул на мать:

— Кого просишь, мамань? Спасибо брату говори! Он от белых орден получит за усердие!

Сам Сидор Макарович тоже скис. Анечку-то он жалел и не надо бы ее брать в контрразведку — не большевичка же, он такого показания не давал. Капитан и на него прикрикнул: «Молчать! Это мы еще выясним!».

Василий вспомнил: надо же Анечке что-то собрать из продуктов! Капитан разрешил.

В пролетку капитан посадил Анечку рядом с собою, а Сидор впереди с вожжами. Когда проехали мост, капитан приказал гнать на вокзал.

— Почему на вокзал? — переспросил Сидор Макарович.

— Без разговоров, агент! Ни слова! И если вздумаешь бежать, помни: от меня еще никто не убежал! Хорунжий, смотреть за ним!

III

Вечер выдался удивительно тихий, благоухающий; высыпали неяркие звезды, и где-то далеко-далеко за тюрьмою небо вспыхивало багровыми сполохами — играла зарница.

И эта далекая зарница, тишина улиц деревянного Красноярска, притихшие, нахохлившиеся дома, — ничто не успокаивало Ноя; лучше бы он вместе с шалопутным ординарцем Санькой отсиживался где-нибудь в Саянах, охотился на зверя, отлеживая бока в какой-нибудь таежной избушке, почитывал евангелие «для успокоения совести», а там, когда все наладилось бы, вышел из тайги в добром здравии: ни он никому перца, ни ему никто — зла. Благодать! А сейчас трясется в седле за пролеткой, не привязанный, а оторваться не может.

Привокзальная площадь в оцеплении чехословацких патрулей, охраняющих вокзал и несколько чехословацких эшелонов с бронепоездом и личным составом командующего Гайды. Чехи, чехи, кругом чехи! Вот она, вооруженная сила-то!..

Анечка, увидев вооруженных чехов, испугалась:

— Вы меня к чехам?!

— Не дай бог! — успокоил капитан. — Мы едем в Омск. Слышите, Сидор Макарович? В Омск! Ваши агентурные тетради вызвали восхищение нашей главной контрразведки. А вы, Анна Дмитриевна, только подтвердите правильность агентурных наблюдений вашего дяди или будете оспаривать. А ехать мы будем совершенно свободно. Но прошу, без глупостей!

Патрульные стрелки задержали пролетку. Капитан предъявил пропуск, подписанный Гайдой.

— О! Пжалста! пжалста! Казак за вами?

— Со мною!

Пролетку оставили у ворот на перроне и к ней сзади Ной привязал Вельзевула.

На первом пути, под сплошной охраной вооруженных легионеров, стоял личный поезд Гайды, а впереди него тускло поблескивали под прожекторами бронированные звенья бронепоезда.

Капитана останавливали чешские часовые, и он предъявлял пропуск; за ним тихо шла Анечка с чемоданом и узлом; следом Сидор Макарович, согнувшийся, еле волочащий старческие ноги — он и сам был не рад, что влип в непонятную историю; замыкал шествие хорунжий.

Долго обходили эшелоны; дымились кухни и пахло жареным мясом. На седьмом пути попыхивал паровоз с десятью пассажирскими вагонами. Капитан остановился у четвертого вагона. Вагон охранялся двумя чехами. Пропуск капитана имел магическую силу для часовых. Достаточно одной подписи Гайды, и стрелки вытягивались в струнку. В тамбуре стоял дородный проводник в синей куртке, с фонарем.

— Купе для начальника контрразведки приготовлено? — спросил капитан.

— Пожалуйста! Первое купе.

— Примите вещи у дамы.

Проводник принял от Анечки чемодан и узел, и все поднялись в тамбур. Капитан оглянулся на хорунжего:

— Подождите!

— Слушаюсь, господин капитан.

А что еще оставалось хорунжему? Слушаться и исполнять.

В коридоре вагона стояли господа в черном — это были тузы губернии — промышленники и купцы, а с ними чехословацкие офицеры, французы, долговязые американцы. Все они ехали в Омск — столицу Сибирского правительства.

Шикарный вагон, обитый тисненными обоями, со шторами на окнах, ковровою дорожкой по коридору, освещался свечными фонарями.

Проводник открыл дверь купе, занес вещи, и капитан попросил пройти Анечку. На двух нижних местах были постели с двумя подушками на каждой, ковер под ногами, а на столике графин, стаканы

и связка стеариновых свечей. Проводник поднялся по лесенке и зажег фонарь.

— Садитесь, Анна Дмитриевна, и вы, Сидор Макарович, — пригласил капитан. И когда проводник вышел, предупредил: — Поезд отойдет в половине двенадцатого. Прошу из вагона не выходить — часовые предупреждены. Можете, Анна Дмитриевна, умыться. Все необходимое здесь имеется. Я подойду к отходу поезда.

И ушел, закрыв за собой дверь.

Анечка в легком пальто и ботиночках, в цветастом платке, некоторое время сидела молча, положив руки на колени, прихлопнутая арестом. Она думала, что капитан доставит ее в контрразведку к чехам, и тогда... Она и сама не знала, что случилось бы тогда. О зверских казнях чехами совдеповцев в Ачинске, Мариинске, Боготоле и Чернореченской знал весь город. Повешенные, повешенные! Рассказывали о «семейных букетах». По приказу могущественного карателя Гайды вешали целые семьи на крючках телеграфных столбов — по три-четыре человека; у многих перед повешеньем вырывали языки, чинили надругательства над женщинами.

— Что он еще задумал, господи! — постанывал Сидор Макарович. — У контрразведки имеются подвалы, тюрьмы, но к чему же в Омск? Ох, лют, лют, капитан, спаси мя!

Анечка с презрением взглядывала на мерзостного дядю. Низкий и подлеший провокатор! За что он так выслуживается? Или получил от капитана те десять тысяч, которые просил от ее родных за молчание?

— Получили от капитана десять тысяч? — брезгливо опросила Анечка.

— Господь с тобой, Анечка! Какие десять тысяч? Пошутил я.

— Хорошие шутки!

— Да разве я хотел, чтобы тебя арестовали! Господи, господи! Ни словом, ни помыслом тебя не опорочил. И не давал агентурных данных на тебя в прошлом году. Машевский — отпетый бандит, и его надо было обезвредить, а ты-то кто? Лань господня, но не волчица лютая Прасковьюшка. К чему взял тебя капитан — ума не приложу. Если заложницею — зачем везти в Омск? На то имеется тюрьма! А ведь в Омск везет! Или куда в другое место? Ох, господи, господи! Что же такое происходит?

— Замолчите! Противно слушать! Никогда не думала, что так низко может пасть человек! Разве вы человек? Агент! Провокатор! Я бы вас убила за такое предательство! Лучше молчите!

Сидор Макарович отодвинулся к столику, налил воды из графина и выпил — жажда мучила...

Капитан с хорунжим долго обходил эшелоны с другой стороны.

— Смотрите внимательно, хорунжий, — предупредил капитан. — Это и есть те самые страшные вооруженные силы, использованные в Сибири для переворота. Видите, каков бронепоезд? А бронированные площадки с орудиями? Этот бронепоезд захвачен Гайдой в Омске вместе с орудиями, тремя броневиками и пятью аэропланами. Каково?

Ной во все глаза разглядывал страшный бронепоезд. На такую махину не попрешь в атаку с шашками и карабинами.

Не доходя до поезда Гайды, капитан остановился, закурил. Рядом никого не было.

— Слушайте внимательно, хорунжий, — начал капитан. — Я уезжаю и, вероятно, надолго. Если со стороны комиссара Каргаполова будут какие-либо провокации по вашему адресу, обращайтесь к полковнику Ляпунову; я с ним все обговорил в должной степени. В карательных операциях участия не принимайте. Ваша обязанность — охрана станции вместе с чехословацким эшелоном. Для пущей безопасности представлю вас командующему Гайде, и если Ляпунов потянет сторону Каргаполова, дайте телеграмму Гайде. Ясно?

— Понимаю, — кивнул хорунжий, хотя и ничего не понимал.

— Учтите: у Каргаполова при его отвратительном бабьем голосе хватка акулы. Опасайтесь полковника Дальчевского. Он вас просто может пристрелить. Это для него не вновь — натаскан в жандармской охранке.

«Опасную игру затеял, гад лобастый», — туго провернул Ной, чувствуя себя подавленным под напористым взглядом капитана.

— Сегодня же побывайте у Ковригиных, предупредите: Анна Дмитриевна свободна и поехала со мною не в качестве заложницы. Отнюдь! Главное, чтобы в контрразведке Каргаполова ничего не было известно. Ни в коем случае, если они не желают ее гибели. И про Сидора Макаровича знать ничего не знают. Если что-то дойдет до Каргаполова и кого-то из Ковригиных вызовут на допрос, могут сказать: приезжал капитан с протодиаконом с обыском по поводу

квартирантов-совдеповцев — Рогова и Юргенсона. Но ни вашего имени, ни Анны Дмитриевны не должны называть. Урядника Сазонова предупредите, что я отослал вас на вокзал. Приструните его!

— Болтливый гад!

— В крайнем случае — уберите! — завернул капитан.

Легко сказать! Дело-то не шутейное!

— Хочу предупредить: опасайтесь Евдокии Елизаровны! Она еще с фронта завербована в агенты «офицерского союза», а там немалую роль играл Дальчевский.

— Какие могут быть разговоры с Евдокией Елизаровной! У ней сейчас одно на уме: прииски и золото.

— Вот и пусть занимается приисками и золотом. Пусть тешится сказками!

— Так оно и есть — сказки, — поддакнул Ной.

— Но у Юсковой — опасные «сказки»! — еще раз предупредил капитан. — Если она выудит что-то из вас, то не для потехи, а для Дальчевского. Да и поручик наш с тем же душком. Никаких отношений с ним.

— Я с ним ни разу не встречался, и не поспешаю к встрече.

— Именно так: не поспешайте! И лучше было бы переехать вам на другую квартиру. В доме миллионерши Юсковой вам делать нечего. Сейчас у нее начнется престольный праздник, и господ офицеров приглашать будет на званые обеды и ужины, а вам на этих приемах, думаю, опасно быть. За флотилией красных готовят погоню. Дальчевский поведет отряд на «Енисейске» и лихтере.

— Господи помилуй!

— Трудное положение, хорунжий! Очень трудное. Но не безнадежное, думаю.

Вот тебе и капитан белогвардейской контрразведки! Стало быть, и тот раз, когда ехали от тюрьмы, прощупывая Ноя, капитан вовсе не шутил с ним. Значит — не Каин, а сам Авель!

— Извините, господин капитан. Сумление у меня. По разговору понимаю так: вы не из серых и белых. А в тюрьме сидели при красных.

— Бывает, хорунжий. При необходимости всякое бывает, — ответил капитан. — Кстати, за капитана Голубкова я вам благодарен. Он шел по моему следу. Хорошо, что вы его шлепнули. А помогали

ему, знаете, кто? Дальчевский, Евдокия Елизаровна и Леонова! Ну, Леоновой теперь нету. А вот Дуня живет рядом с вами!

Ною нехорошо стало. Который раз капитан напоминал про Дуню, да так, что муторно слушать. Не то ли говорила ему Селестина Ивановна! А вот он привязался к шалопутной и опасной Дуне и не знает, как отлипнуть. То-то она и выпытывала у него эти дни про офицеров, капитана Ухоздвигова; хорошо, что Ною сказать нечего было — проминался за городом! Бежать надо от нее, пока не поздно! Есть у нее бог — полковник Дальчевский да еще сокомпанеец поручик отыщется! Ох, хо, хо!..

— Что кряхтите?

— Ведь если оступлюсь...

— Не оступитесь! Вы ничего лишнего не сказали Евдокии Елизаровне?

— Она хворала эти дни, да и откровения у меня к ней не было. Ни в Гатчине, ни на пароходе. Вихлючая, какое может быть откровение?

На двух разговаривающих русских офицеров обратили внимание чехи. Печатая шаг, трое легионеров шли мимо с винтовками.

— Документ! — потребовал офицер.

Капитан сказал что-то по-французски, но чешский офицер не знал французского.

— Документ? Ви кто? Русс?

— Русские офицеры! — рывкнул капитан и неожиданно для Ноя предъявил два пропуска.

Чешский офицер взял под козырек:

— Прошу прощения, господа офицеры!

И пошли прочь.

— Индюк поганый! — ругнулся Ухоздвигов вслед офицеру. — Ну, идемте в вагон Гайды. Сейчас я вас ему представлю. Для того и пропуск достал. Вот уж кого не назовешь «перемежающимся»! На станции Ачинск по его приказу повешены на телеграфных столбах сто семьдесят не «перемежавшихся», захваченных под Мариинском в плен красногвардейцев, и расстреляно более семидесяти женщин, жен советских работников, а с ними сорок стариков — отцов красногвардейцев. Такие-то времена, хорунжий! Одни — «перемежаются», другие — вешают и расстреливают. Вас это устраивает?

— Спаси бог! Я не каратель!

— Это очень опасный капитан Гайда! — наставлял Ухоздвигов. — Он вообразил себя спасителем России от Советов и большевиков; а кто его призывал спасать русских от самих себя? И вот чехословаки, французы, американцы, англичане, итальянцы, все стараются спасти Россию от Советов! Вы, понятно, не думали об этом, хорунжий, «перемежались», а придется думать и действовать! Восхваляйте командующего Гайду до умопомрачения. Он это обожает, как всякий вешатель и тиран. Чем подлее человек — тем больше требует чествовать себя. Это истина веков. Наиболее кровавые цезари Римской империи — захлебывались в лести со стороны униженных и оскорбленных сограждан Рима. Так это было — так всегда будет при тирании!

Ну, дьявол, не капитан!..

Ухоздвигова с хорунжим Лебедем часовые пропустили в личный салон-вагон Гайды, где в этот вечерний час ужинали созванные Гайдой командиры его эшелонов, подготовленных к наступлению на Иркутский фронт.

За столом в два ряда пиршествовали офицеры, представители французской и американской миссий и миллионеры города — Кузнецов и Гадалов, успевшие внести в кассу Гайды требуемую контрибуцию — четыреста тысяч наличными и на двести тысяч пушниною и ценными подарками.

Пирующих обслуживали красивые молоденькие официантки из русских беженок — доченьки дворян и важных сановников рухнувшей империи.

Увидев капитана Ухоздвигова, Гайда поднялся, пошел навстречу, приветствуя по-русски:

— О, мой славный капитан! Наш великолепный капитан Кирилл! Прошу, прошу! — Гайда старался говорить по-русски и заставлял своих офицеров изучать язык, чтобы эти «азиаты» не водили их за нос и не втирали бы очки освободителям. На всех приемах и обедах он предпочитал разговаривать на русском, чем не в малой мере льстил господам гадаловым, кузнецовым и всему белому офицерству. — Внимание, господа офицеры и мои гости! — могучим голосом продолжал Гайда. — Представляю вам кавалера ордена Почетного легиона мсье Кириллу Ухоздвигова, моего большого друга и сподвижника!

— Виват! Виват кавалеру ордена Почетного легиона! — дружно отозвались французские и американские офицеры.

Гайда устался на рыжебородого патриарха. Капитан Ухоздвигов назвал:

— Я вам обещал, господин главнокомандующий, представить в некотором роде представителя нашего Енисейского казачества. Хорунжий Ной Васильевич Лебедь.

Главнокомандующий распахнул руки, похлопал по плечам Ноя, приветствуя:

— Ошинь рад! Ошинь рад! Ви есть патриарх казачий! Господа офицеры, наш гость — патриарх казачий! Ошинь приятно!

В этот момент за одним из столов всплыл багровомордый, неповоротливый генерал Новокрещинов и своим неприятным, трескучим голосом обратился к Гайде:

— Господин капитан! Разрешите доложить!

Это крайне неприятное обращение к Гайде — «господин капитан», да еще со стороны генерала, будто ремнем стегануло по упитанной спине Гайды; он быстро обернулся:

— Что у вас, генерал?

— Этот хорунжий, господин капитан, которого вы приветствуете, будучи в заблуждении, достоин четвертования на лобном месте. Уверяю вас, господин капитан! Как мне совершенно точно известно, хорунжий Лебедь в не столь отдаленном прошлом являлся «красным конем военки Совнаркома» и совершил гнусные преступления против отечества и русского народа...

Великий главнокомандующий не вытерпел отповеди генерала; о хорунжем Лебеде он получил исчерпывающую информацию от своего друга капитана Ухоздвигова, и потому распорядился:

— Ефрейтор Елинский!

— Есть! — подскочил за одним из столов белобрысый ефрейтор.

— Капрал Кнапп!

— Есть, мой главнокомандующий! — поднялся еще один упитанный чех.

— Генерал ошинь пьян. Он забывает, кто здесь хозяин! Прошу вас, отведите его в спальный вагон и дайте ему капушный рассол два кружка. Старику надо отдохнуть от общества молодых и наша энергия. Идите, генерал! — При гневe Гайда вдруг терялся в дебрях русского языка, коверкал слова или сразу переходил на чешский или французский. — А вы, славный хорунжий Лебедь Ной — я правильно назвал?

— Совершенно правильно, господин главнокомандующий, — отчеканил рыжебородый хорунжий, моментально поняв, как надо себя держать и разговаривать.

— Господа! — Гайда не мог говорить в пустое пространство, ему нужна была аудитория с поклонниками и почитателями его таланта полководца и непревзойденного государственного деятеля. — Наш

гость, господа, хорунжий Ной! Вы понимаете, что значит Ной? Мы все приходим от нашего одного предка Ноя! Прошу, прошу, господин Ной! Вы мой гость! Можете снять вашу шашку. За столом неудобно при шашке. Прошу, мой капитан!

Ефрейтор Елинский и капрал Кнапп помогли вылезти из-за стола толстому генералу Новокрецинову, вслед которому Ухоздвигов кинул:

— Эти развратные старые плевательницы затянут все наше белое движение в болото!

— Ошине великолепно, мой капитан! Мы генералу дадим роту красногвардейцев. Это будет хорошо! — подхватил Гайда; это ведь именно он назвал стариков «развратными плевательницами».

— Прошу, генерал. Прошу! — тащили под руки генерала ефрейтор и капрал.

Пировали на славу, и чего только не было на столах! И фрукты, и закуски, начиная от изумительной волжской белорыбицы, семги, осетрины, паштетов на любой вкус, всевозможных выдержанных вин и отменных коньяков, не говоря о русской водке. Эшелоны Гайды не жили на скудном довольствии: у них всего хватало.

Хорунжий Лебедь с капитаном Ухоздвиговым угощались за одним столом с великим Гайдой.

Капитан Ухоздвигов провозгласил тост за талантливого главнокомандующего Гайду и за его поход на Иркутск и Забайкалье; великий Гайда в свою очередь ответил тостом за кавалера ордена Почетного легиона, с которым они, как братья, единые и неразрывные, и французские офицеры скандировали мсье Кириллу, увековеченному на скрижалях Французской республики:

— Виват! виват! виват!

Ухоздвигов попросил главнокомандующего покровительствовать казачьему хорунжему Ною Лебедю, поскольку среди «старых русских плевательниц» имеются такие военные, как незадачливый генерал Новокрецинов, которые готовы сами себя сожрать, не разбираясь ни в политике, ни в военных вопросах.

— Ни один волос не тронут ваша голова, господин хорунжий, — торжественно заверил Гайда. — Вы будете служить взаимодействию с моим сорок девятым эшелоном под командованием славного подпоручика Борецкого. И если кто из дураков офицеров в Красноярске начнет акция против вас, мой подпоручик даст мне знать,

И я буду смотреть, как будет чувствовать себя набитый дурак после моего вмешательства!

— Премного благодарен вам, господин главнокомандующий, — встав, поклонился рыжечубой головой хорунжий, чем вызвал еще большее удовольствие Гайды.

Ноя узнал долговязый, розовощекий, в меру упитанный подпоручик Богумил Борецкий, у которого он был в купе императорского вагона в Самаре:

— Ви меня помнить, хорунжий? О, я помнить! Ми буйдем служить рука с рука, — и подпоручик пожал свои пухлые руки, показывая, как они будут служить.

Посидев полчаса в застолье с великим главнокомандующим, преисполненным важности своей исторической миссии по истреблению большевизма, капитан Ухоздвигов поднялся: ему пора на поезд, а с ним покидал пиршество и хорунжий Лебедь.

На прощанье великий Гайда расцеловался с капитаном и сказал ему по-французски, что он с нетерпением будет ждать благоприятных известий от капитана из Омска и особенно полную информацию из Самары о баталиях других чехословацких эшелонов и белой армии на западном фронте и о переговорах с лидерами Комуча.

— Все будет на высшем уровне, мой главнокомандующий! — ответил капитан Ухоздвигов.

Когда прошли поезд Гайды, капитан плюнул, вытер платком губы и лицо, с остервенением сказал:

— Жалею, что мне не придется повесить эту международную сволочь! Сегодня же побывайте у Ковригиных. Непременно! Иначе они утром наделают глупостей. Чего доброго, явятся к Каргаполову.

— Понимаю, Кирилл Иннокентьевич.

Ухоздвигов остановился, и открыв офицерскую сумку, вынул из нее увесистый пакет, связанный шпагатом.

— В этой пачке — десять тысяч пятьсот рублей. Пятьсот ваши; спасибо за вырубку. Итак, возьмите свои пятьсот, а десять тысяч передадите Машевскому. Лично, без свидетелей! Мое имя не должно называться при этом.

Ной с трудом засунул пачку в карман брюк — в китель не втиснулась.

— Вас не пугает мое поручение? Не тяжело? — спросил капитан.

Ною действительно было тяжело — еле ноги держали. Теперь уж для него окончательно все стало тайной, и часть этой тайны капитан взвалил на плечи Ноя. Тяни, рыжий, коль сам влез в хомут еще в Петрограде!

— Как не тяжело, Кирилл Иннокентьевич? Я ведь в тайных делах участия не принимал, и к тому не учился.

— Жизнь, голубчик, самая лучшая школа. А вы ее не плохо начали в Петрограде и Гатчине. Только не заболейте страхом,

— Страх на позиции не ведал. А ведь тут не позиция!

— Позиция, голубчик, да еще самая тяжелая! Ну мне пора, Ной Васильевич!

Крепко пожал руку Ною и, круто повернувшись, ушел.

V

Ной некоторое время стоял еще на перроне, глядя вслед капитану, чувствуя себя подавленным и растерянным. Ничего подобного он, конечно, не ожидал в тот день, когда пил с капитаном из одной фляги. А вот как все обернулось! Будто не пачку денег засунул в карман, а бомбу с замедленным взрывателем. Один неосторожный шаг, и она взорвется, разнесет в куски Ноя! Подобные тайны носить, это же все равно, что испытывать крепость веревки собственной шеей: удавит или лопнет веревка?

Однако надо предупредить Ковригиных, чтобы не вздумали искать Анну Дмитриевну в контрразведке. Василий может выехать в извоз ранней ранью, и, чего доброго, побывает там, тогда будет поздно!..

Помчался верхом к Ковригиным. В их доме не было света; придется будить. Ничего не поделаешь — такая суматошная выдалась ноченька, будь она неладна!..

Долго стучался в ворота. Спущенные с цепей собаки надрывались от лая. Наконец из глубины ограды раздался злой голос:

— Какого еще черта! Черня, Фармазон! Цыц, вы, проклятые! Кто еще там?

Хорунжий назвал себя.

— А, вон кто! — Без лишних слов Василий вышел за калитку — пиджак накинут на плечи, простоголовый, только что с постели. — Что

еще вам нужно, господин хорунжий? Что? Увез с собою? А ну, зайдем в ограду. Как так? Не понимаю! А где старый зоб!

— Какой зоб?

— Сидор наш.

— С ними.

— Ну, а почему он их взял с собою? Куда повезет? В Омск? К чему в Омск? Вот уж гад, так гад! Ну, гад!

— Тут все темно, Василий, понять не так просто, — тужился Ной. — Похоже, что капитан работает не на белых. Если он предупредил, что Анну Дмитриевну не надо искать через контрразведку, прямо скажу: надо не спешить. Если дадите розыск — контрразведчики ухватятся. Это уж точно! Агента увез с собою и большевичку. По какой причине? С чьего разрешения? Потянут: что же произошло ночью? И если узнают, что по приказу капитана я предупредил вашего отца о Машевском и его товарищах...

— Разве это он послал вас?

— В том-то и штука, Василий. Завалить мы его можем запросто. Поехать сейчас в контрразведку, поднять по телефону Каргаполова, обсказать все, и — тревога по железной дороге до Ачинска! Схватят его моментом на какой-нибудь станции. Ну, а дальше что? Я уж не говорю о себе; моя песенка будет спета сразу. А вот как другие? Все окажемся в контрразведке или того хуже — в сорок девятом чехословацком эшелоне. Не слышал про эшелон? Имеется такой. Командующего Гайды контрразведка со всеми обширными правами.

— У всех обширные права, туды их... — выматерился Василий. — Только у народа нашего никаких прав не было и нет. Это уж точно говорю. До меня это дошло еще на фронте, до того, как контузило от взрыва снаряда. Знаете, как было там? «Братцы! солдатики! за царя, за землю русскую, на немцев, ура!» А потом шарахнуло: царь отрекся от престола! Свобода! Свобода! Хрен с луком, не свобода! Собачья грызня началась. И от той партии, от другой — всяк со своей дудкой. Махнул домой из лазарета, и тут грызутся, стервы. Какая партия должна власть захватить? И все от имени народа! Меня хотели втянуть — послал их к такой матери со всеми их партейными потрохами. С Прасковьей мы давно на ножах; терпеть ее не могу, дуру набитую. Работала бы фельдшерницей, вышла бы замуж, как все порядочные, а ее на подпольные сходки потянуло. И

Анечку закружили. На кой хрен с луком мне все их партийные призывы? Знать не хочу ни белых, ни красных. К едрене матери! И вас я в тот вечер выдворил с багажом из-за Анечки, чтоб не пронюхивали про ее дурацкое большевицтво. А вы, оказывается, сами из той же клюквы. Валяйте! Кому что. Только меня в эту музыку не впутывайте, предупреждаю!

Василий с остервенением матерился в адрес всех проклятых политиков в мире, от которых житья нету; а ему, Василию, надо свободно жить, хорошо зарабатывать, и чтоб ни одна тварь не лезла к нему с политикой.

— Понимаете такое или нет? — наседал он на Ноя. — Обрыдла мне вся эта ваша музыка; осточертела на веки веков. Вот жду: как откроется железная дорога на Владивосток, дня терять не буду. Продам свою пару коней, катану к морю и на корабль матросом, чтоб смыться навсегда из России. Ко всем свиньям ее, потаскуху. Заполитиканилась, стерва. Пусть ее сжирают с потрохами хоть эсеры, хоть большевики, хоть чехи или французы!

Ной таратился на Василия, не зная, что сказать: к подобному разговору он не подготовился. Понятно, в сердцах чего человек не скажет, да еще русский! И бога наматюгает, и богородицу присовокупит, а все из-за мозоли на левой пятке, так ее перетак!

— Это вы все со зла, Василий Дмитрич, оговорили себя, — степенно заметил Ной. — У вас хорошая жена, ребенок, а так и...

— Хрен с луком! — оборвал Василий. — Нет у меня ни жены, ни ребенка. Как? Да очень просто, господин хорунжий. Воровскую девку выиграл в карты. Или не знаете, как режутся в карты? Дай боже! Я и до фронта играл на Каче. Ну, а как приехал, срезался с одним вором в Николаевке. Продулся он в пух-прах, а потом на банк девку свою поставил. Лизка-то красивая, видели? Бац, и выиграл! Сам того не ждал. По праву выигрыша мог убить ее — это в законе воров. Если кого проиграют, амба! А я проявил благородство, в дом привел. Ладно бы, да у нее, оказывается, есть ребенок, которого она скрывала у своей сестры в Овсянке. Начала хныкать: «Жалостливо мне, Вася, ребеночка. Та-ак-то жа-алостливо-о!» — передразнил Василий, поддергивая пиджак на плечи. — Я и размяк. А на кой хрен с луком мне все это господское благородство, спрашивается? Махну я от всего этого, и кончено! Обдуманно до последней пуговицы. Свободы хочу без белых и

красных! Это вы понимаете? Или вам нравится вся эта заваруха? Валяйте! А я сыт!

Ноя беспокоила судьба Анны Дмитриевны и капитана. Как бы этот взбалмошный Василий не разговорился в таком же духе с извозчиками!..

— Если вы про Анну Дмитриевну и капитана вот так скажете кому из дружков, тогда погубите сестру. Или это вам все равно?

— Кто вам сказал, что мне все равно? — вскипел Василий. — У меня сердце кровью обливается, а что я могу поделать? А молчать я умею, не беспокойтесь. Не хуже вас, политиков. И не без ума! В логове волков овцу искать не буду. Так и так сожрут, если утащили. Капитан ли сожрет или Каргаполов какой-то с чехами, а все равно не быть в живых Анечке. Утащил он ее, чтоб любовницей сделать. Ахинея все, что он вам наговорил, гад! Еще в прошлом году он на нее глаза пялил и умощал стихами, стерва. Умный бандит, это точно. Да и Анна спала и во сне видела этого французского капитана. Он ее натаскивал говорить по-французски. Он, может, и вправду француз, а? Нет? Мало ли что Ухоздвигов! Наш Сидор печенку ему крепко прощупывал, это я тогда еще заметил. Как бы он не сожрал теперь Сидора! Ну, этого гада не жалко. А вот Анечка! Что он с нею сделает, бандюга?

Ной заверил, что Анна Дмитриевна вернется целой и невредимой; капитан-де мог взять в любовницы любую красотку из поезда Гайды; полно их там на любой вкус.

— Вы думаете, капитан работает против белых?

— Думаю так.

— Но он же белая шкура!

— Не шкура, а вывеска. Я вить тоже при звании хорунжего.

— Понимаю! — кивнул Василий. — Пожалуй, вам надо пойти к Машевскому и сестре и все обсказать им самолично. Так уж и быть, отведу. Будем тонуть за компанию!

— С чего нам тонуть? По глупости?

— Глупость ни к чему, — отмахнулся Василий, вышагивая рядом с Ноем по темной улице.

Ной внимательно приглядывался к Василию. Он-то, Ной, считал его за простака, а парень оказался с секретом. Экие завихрения в башке! Да разве можно свою землю бросить, когда народ в беде?!

Подошли к каменному дому возле горы. Высоченный заплот, глухие ворота. Василий постучался в ставень и назвал себя. Вскоре вышел хозяин: Ной узнал татарина, которого видел в застолье у Ковригиных. Василий ушел с ним и вскоре позвал Ноя в ограду. Встретили двое.

— Я — Машевский, — подошел к Ною человек, которого он мельком видел в ограде Ковригиных.

Хозяин вынес из избы фонарь «летучая мышь», и Машевский увел Ноя под навес, где стояли ломовые телеги, выездные кошевки с санями и легкой экипаж. Машевский попросил Ноя сесть в легкой экипаж и, поставив фонарь на облучок, поднял верх из черного брезента.

— Ну, что у вас? Давайте по порядку. Когда вы первый раз встретились с капитаном? — спросил Машевский, говорил он с легким акцентом, как и все поляки, не успевшие обрусеть.

Ной сказал, что познакомился с капитаном Ухоздвиговым в городе и не думал даже, чтоб впоследствии все так обернулось. Но сам капитан, оказывается, знал хорунжего Лебеда по Гатчине.

— Вы его в Гатчине не видели?

— Припоминаю: приходил он к моему дому с Дальчевским, начштаба Мотовиловым и генералом Новокрешиновым; смотрели убитых офицеров.

— Поподробнее, пожалуйста, о вашем разговоре с капитаном после происшествия у тюрьмы и о последней акции.

У Ноя была хорошая память, и он почти слово в слово рассказал о необычайном собеседнике, вывернувшем его «под пятки», и о питии коньяка из фляги. Ну, а после первой встречи, поскольку Ной не поспешил на службу, ему ничего неизвестно было о событиях в Красноярске; вечером явился к нему капитан. Тут уж Ной ничего не упустил: о странном поручении капитана, об уряднике, которого капитан не взял с собою, об аресте Анны Дмитриевны и сопровождении ее в поезд на Омск вместе с Сидором Макаровичем, припомнил дословно весь разговор на перроне до посещения вагона Гайды и после; какое получил предупреждение капитана и достал пакет с деньгами.

— В пачке не десять тысяч, говорил, а десять пятьсот. Вложил деньги, какие у меня взял взаймы.

Машевский развязал шпагат и, сняв упаковку, отдал ее Ной.

— Для меня он лицо неизвестное, — медленно проговорил Машевский. — Да и вы его не знаете!

— Про то и говорить нечего! — отозвался Ной. — Я-то считаю его серым Каином.

— Возможно и серый Каин, — согласился Машевский. — Сейчас очень сложное время. Тайну его имени мы сохраним, понятно: он увез нашего товарища. Завалить его — погибнет Анна Дмитриевна. Это совершенно ясно. Лично мне он известен по марту-апрелю прошлого года как эсер. А эсеры большие путаники, это вы должны знать по Гатчине. Вам придется поддерживать с ним связь, если он вернется сюда, в чем я сомневаюсь.

Ной подтвердил, что капитан, наверное, навсегда уехал.

— Понятно, — кивнул Машевский, о чем-то призадумавшись, и спросил: — Что вы решили с квартирой?

— Хотел бы переехать к Ковригиным, да вот у Василия Дмитрича, как послушал, завихрения имеются.

— Успел и вам высказать свою программу неучастия? Не обращайтесь внимания. Такие завихрения у многих бывают в трудные моменты, но человек он не из породы провокаторов, хотя и картежник. Это мы все знаем. Опасным был Пискунов.

— Должно, Сидор Макарович взлетит в скорости на небеса в рай господний.

— Не думаю! Тайну этого контрразведчика капитана не так-то просто разгадать. Он мог убрать Пискунова здесь. Но не сделал этого. Значит, он ему еще нужен. Подождем. Я вам отсчитаю пятьсот рублей, поскольку он вернул вам долг.

Ной отказался и предложил еще от себя.

— Пять тысяч николаевскими, да еще сколько-то иностранными.

— Откуда у вас такие крупные деньги? — насторожился Машевский.

— Не сказал вам: конь-то упокойного пророка при себе имел большущие деньги. С наследством поймал жеребца. Или вернее — с кладом.

По чисто казачьему соображению Ной утаил истинную сумму обнаруженных денег.

— За поддержку — большое спасибо. Нам крайне нужны деньги в данный момент, особенно иностранные. Вы не узнали товарища, с которым я встретил вас? Это — Артем Таволожин. Вчера приплыл из Минусинска на лодке, простыл на Енисее, вот мы и пошли в баню.

Когда Ной вернулся в дом миллионщицы Юсковой, Дуни и след простыл. Отыскался ее сокомпанеец, Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов, как сообщила Аглая, и они ушли в гостиницу «Метрополь». Скатертью дорожка!

На другой день Ной переехал со всем своим добром на квартиру в дом Ковригиных.

VI

Страх и смерть топтали улицы города чужеземными ботинками, позвякивали казачьими шпорами и шашками, хрустели офицерскими сапогами, горланили медными глотками.

Губернская тюрьма, ежедневно пополняясь новыми узниками, глухо и тяжело стонала сквозь стальные решетки:

«Друг мой, товарищ, где ты? Жив ли, или расстреляли тебя в подвалах контрразведки?»

С вечера до утра по улицам города ездили конные казаки особого эскадрона хорунжего Лебеда и носились на мотоциклах чешские патрули. Жители онемевших домов с тревогою прислушивались к цоканью копыт, лютому урчанию мотоциклов и окрикам на чужом языке.

Каждую ночь слышалась стрельба то на одной, то на другой улицах.

В пригородных слободках и в самом городе люто свирепствовали воры и грабители.

Моросил дождь.

Небо лежало на горбатой спине города — лохматое и мрачное.

Подхорунжий Коростылев шел серединою улицы, настороженно приглядываясь к черным заплотам и бревенчатым домам, боялся темноты, неожиданности, безмолвия улицы, и на всякий случай кобуру нагана держал открытой.

Свернув в переулок в сторону Воскресенской, Коростылев увидел человека у заплота, в руке у него было что-то белое. И на заплоте

появилось белое пятно. Прокламация — красный!

Выхватив наган, Коростылев крикнул:

— Стой!..

Неизвестный кинулся бежать. Коростылев за ним, стреляя из нагана. Преследуемый упал на тротуар. Коростылев подбежал к нему, еще раз хотел выстрелить в спину красного — он был уверен, что попался красный, большевик, конечно, но не стал стрелять: и так никуда не уйдет! Надо его доставить в контрразведку вместе с прокламациями, чтоб назвал других подпольщиков. Рассыпанные по тротуару листовки собрал и сунул себе в карман шинели.

«Сдох он, что ли?» И чтобы удостовериться, Коростылев пнул его сапогом в бок, опустил наган в кобуру, еще раз пнул и, наклонившись, повернул на спину. В тот же момент неизвестный ухватился за его ремни, рванул на себя, и они сцепились не на живот, а на смерть. Катались по обочине тротуара в канаве, подвешивая друг другу кулаками и пинками. Кто-то бежал улицей, шлепая по грязи. Окрики на чужом языке. Чехи! Неизвестный ударил Коростылева промежду глаз — искры посыпались. Подхватился, и бежать. Чьи-то дюжие лапы схватили подхорунжего, подняли, заламывая руки.

— Я подхорунжий! Слышите!.. Большевика схватил! Догнать его надо! Прокламации расклеивал!..

— Мольчайт! — заорал один из чехов, а второй содрал с подхорунжего шашку и ремень с наганом. — Ми будем твой мордом бить! Этот твой прокламаций!.. Ми видаль!..

— Я подхорунжий! Казачий подхорунжий! Понимаете? Вы большевика упустили! Прокламации расклеивал, сволочь!

Чехи приняли «сволочь» на свой счет, и давай насовывать подхорунжему прикладами в спину и в бока, выкрикивая что-то почешски, а потом погнали к вокзалу в свой эшелон. Ножевой штык уперся Коростылеву в спину.

Взбешенный подхорунжий готов был лопнуть от возмущения. «Будьте вы прокляты, дуболомы! Я еще с вами поговорю. Вы за это ответите перед нашим командованием». Злоба накатывалась на тугой кулак, да вот руки приказано держать за спиною!..

В чешском эшелоне на запасных путях слышалась граммофонная музыка, топот и песни. У штабного салон-вагона часовые выслушали

патрульных стрелков, потом вызвали офицера и тот приказал им ввести арестованного в вагон.

В салоне командира 1-й маршевой роты 8-го Силезского стрелкового полка пировали чешские офицеры с командиром роты подпоручиком Богумилом Борецким. За одним столом с подпоручиком сидел в кителе с крестами и медалями хорунжий Ной Лебедь, знакомый подхорунжему по встрече в улице, да и позднее виделся с ним в штабе казачьего полка.

Один из патрульных доложил подпоручику Борецкому, что задержан неизвестный, который-де расклеивал прокламации у вокзала. Они за ним гнались, схватили, но он оказал сопротивление, выдавая себя за казачьего подхорунжего. Чехов ругал всячески, называл сволочами. И ни слова о бежавшем, как будто патрульные стрелки не видели, как тот успел скрыться в чьей-то ограде.

— Я подхорунжий! — напомнил Коростылев. — У меня документы! Я поймал большевика с прокламациями, дрался с ним, но ваши патрульные солдаты схватили меня, а большевика упустили. Это возмутительно!

Изрядно помятый, весь в грязи, без ремней и оружия и без фуражки, подхорунжий выглядел жалким.

— Ошινή интересно! — вышел из-за стола подпоручик Богумил Борецкий. — Обыйскать.

С Коростылева содрали грязную шинель — из карманов шинели вытащили портсигар и десятка полтора скомканных прокламаций. Все это положили на свободный стул. Под шинелью — китель, документы в кармане. Подпоручик проверил документы. Действительно, перед ним подхорунжий.

— Ошινή интересно!

Небрежно выслушал сбивчивый рассказ Коростылева и еще раз спросил стрелков: видели ли они большевика, который расклеивал прокламации? Оказывается, они никого не видели, кроме задержанного. Они гнались за ним от вокзала.

— Что они говорят? Переведите мне!

— Та-ак!

Подпоручик взял одну из прокламаций, передал Ною:

— Прошу, читай, хорунжий! Это ошινή интересный! Наш патрульный стрелок не видель никакой польшевик. Он сам —

польшевик!.. Ми буйдем слушайт!

Хорунжий подошел к электрической лампочке, расправил на ладони листок, начал читать нарочито медленно, густо:

«Товарищи!

При царском самодержавии мучили и убивали людей, но таких чудовищных зверств, какие творят белочехи карателя Гайды по всей нашей Сибирской железной дороге, еще не знала история. На станциях Мариинск и в Ачинске замучены сотни людей. В своих карательных эшелонах белочехи насилуют женщин, творят расправу без всякого суда и следствия. Чешские солдаты из всего нашего русского языка выучили только четыре слова: «хочу помилую, хочу росстреляю...»

Года, месяца, числа под листовкою не было.

Когда Ной кончил читать, чешские офицеры, понимающие по-русски, изрядно выпившие, налетели на Коростылева, как ястребы на воробья, били со всех сторон. Большевиков надо уничтожать, чтобы красная чума не заразила чешских легионеров. Коростылев орал во всю глотку, что он не большевик, да никто его не слушал.

Хорунжий Ной стоял в стороне и не проявил никакого желания защитить незадачливого офицера. Пушай проучат этого хлыща, сообщника есаула Потылицына, чтоб он ребрами почувствовал карательные меры, какие сам чинил над беззащитными жертвами. Он, хорунжий, не суперечит чехам — пусть ярятся. Весь его особый эскадрон с первого июля находится в двойном подчинении: с одной стороны отдает приказы начальник военного гарнизона полковник Ляпунов, а с другой — отменяет эти приказы подпоручик Борецкий. Мало того — подпоручик изъявил желание, чтоб достоправный казачий хорунжий Ной Лебедь проводил с ним вечера в салоне. Пусть Ной Васильевич не пьет — это даже хорошо, и мало говорит — это еще лучше, но подпоручику приятно видеть здоровенного бородатого Ноя, которого представил всем офицерам командующий Гайда перед походом на Иркутск и Забайкалье.

VII

Избитый подхорунжий с окровавленным лицом валялся возле мягкого дивана. Борецкий приказал патрульным стрелкам привести его в чувство. Те притащили в солдатском котелке холодной воды, вылили

на голову Коростылева, и он мало-помалу очухался, хотя и не мог ни встать, ни сесть без посторонней помощи.

— Садись на стул! — приказал подпоручик.

Стрелки усадили Коростылева. На кителе оборваны пуговицы. Глаза запухли, с разбитых губ и носа текла кровь.

— Теперь будешь указывать, польшевик, где ваш подпольный комитет?

— Я... я... не большевик, — едва выдавил из себя Коростылев.

Борецкий обратился к хорунжему:

— Ви может скажайт, где мог получают оружие — шашка, наган, документ этот польшевик?

Хорунжий подумал. Экая бестия подпоручик! Сам же понимает, что избитый подхорунжий не самозванец. Должно, солдаты упустили настоящего большевика, а не сказали о том, чтоб не отвечать.

— Подхорунжий это, господин подпоручик. Коростылев. Имени-отчества не знаю. Не большевик. Думаю: где-то в улице он и в самом деле сцепился с большевиком, когда тот лепил свою прокламацию.

— Прокламаций был его карман! Видаль, как взял наш стрелок прокламаций карман его шинель?

— Как же! Да ведь в грязи бумажки-то! К чему бы большевику вывалить в грязи прокламации и держать их в кармане комом?

— «Комом»? Што понимайт «комом»?

Хорунжий смял в руке прокламацию, показывая, что значит «комом»,

— Ты его знайт?

— Как же! Сомнения нет — подхорунжий Коростылев. Печальное событие произошло, да что поделаешь? Ночная темень, дождь к тому же. Большевик успел скрыться, как говорил Коростылев. А тут патруль увидел еще прокламацию. Вот и приняли его за большевика. А не большевик он, оборони бог!

Подпоручик Борецкий подумал: как-никак подхорунжего умяли ни за что ни про что. На всех улицах и перекрестках кричат, что чехи — братья русских солдат, казаков и офицеров, и вдруг этакий конфуз!..

— Ми будем вести следствий.

— К чему следствие, господин командир? Большевики про то в момент узнают и по всему городу разнесут: чешские солдаты арестовывают русских братьев-офицеров.

— Если бы не чешски легионер — всем русски офицер капут от польшевик!

— Так и было бы — капут! — кивнул хорунжий. — Какая у нас сила без вас? Не было силы. Да и нету!..

— Ты молодец, хорунжий! — похвалил Борецкий. — Пусть подхорунжий точно скажит: как он упустил польшевик? Пошему чешский стрелка назвал «сволоша»?

Хорунжий подошел к Коростылеву:

— Должно, не обознался: подхорунжий Коростылев? Ага! К чему чехов обозвал сволочами?

— Не чехов, большевика!

— Ага! Понимаю. Так и поясни командиру роты. И, кроме того, скажи, что большевик успел убежать до того, как патрульные подошли. Или не понимаешь: мы все на чехах держимся, как вши на очкуре. Винись да кайся, покуда есть у поручика настроение помиловать. А если почнут следствие — стрелки будут свидетелями, что ты сам расклеивал прокламации. Моей защиты мало будет.

Обалдевший от побоев мордастый подхорунжий не одолел подступившей горечи — задохся от обиды. Весь он как-то скис, ссутулился, плечи задержались, как у неврастеника, и, закрыв лицо руками, он разрыдался.

— Экое, — махнул рукою хорунжий. — Баба ты, не подхорунжий, господи прости. Это же чистый срам!

Чехи о чем-то энергично забормотали, неприязненно косясь на всхлипывающего Коростылева.

— Сами видите, какой он большевик, — кивнул Ной, отойдя в сторону. — Дозвольте мне уехать к себе на отдых, господин Борецкий. Час поздний, да и конь застоялся.

Борецкий пожал руку хорунжему:

— До свидани, Ной Васильяв! Ми тебя глубоко уважайт.

— Благодарствую, — поклонился хорунжий, и вон из вагона.

Коростылева успокоили, угостили коньяком, чтоб взбодрился, и поручик Брахачек допросил его. Про большевика, которому удалось вырваться и бежать, Коростылев дал такое показание: «Он был высокий, в гимнастерке военного образца и в кожаной фуражке. Невероятной силы, лет двадцати пяти, не больше. На левой щеке шрам. Нос с горбинкой, глаза синие». Надо же! Коростылев даже цвет

глаз успел разглядеть во тьме ночи. Но если бы всем чехословацким корпусом стали искать в городе большевика по указанным приметам, то его так же легко нашли бы, как иголку на дне Енисея...

VIII

Управляющий губернией получил депешу из Туруханска от полковника Дальчевского: пароходы бежавших красных захвачены, большевиков вылавливают, чтобы доставить в Красноярск.

На другой день из Красноярска была дана телеграмма в Омск Сибирскому правительству:

«Девятого июля полковник Дальчевский со своим отрядом настиг большевиков в Туруханске. При артиллерийском обстреле пароходов красных пробиты борт, кухня на «Лене». Обстреляны «Орел» и «Россия». Машины везде остались целые. Пароходы большевиков выбросились на берег. Большевики в панике бежали. Брошенный ими пулемет направлен был против них. С нашей стороны потерь нет. Большевики с интернационалистами потеряли 120 убитыми, 45 ранено и 100 взято в плен. Захвачено все золото и несгораемые сейфы с кредитными билетами.

Отряд Дальчевского вылавливает разбежавшихся по тайге большевиков...»

В домах купцов, промышленников, сановных чиновников, как в храмовые дни, — ликование и лобызания. Наконец-то!

Хорунжий Лебедь явился на совещание к управляющему губернией полковнику Ляпунову.

Вызваны были начальник городской милиции Коротковский, есаул Потылицын, губернский комиссар Каргаполов, командир стрелкового полка Федорович, 1-го казачьего — полковник Розанов и военный комендант города полковник Мезин.

— Я созвал вас на строго секретное совещание по чрезвычайно важному вопросу, — предупредил Ляпунов. — В ближайшие дни захваченные большевики будут доставлены в Красноярск. Не исключено, что подпольный комитет попытается организовать побег особо выдающихся большевиков. Мы должны разработать меры строжайшего конвоирования арестованных, а также защиту граждан от

возможных провокаций со стороны подрывных подпольных элементов.

Меры выработали. В состав конвоя из стрелкового полка будет выделено 44 человека, особо проверенных, от чехов 50 стрелков, из казачьего полка 40 конных и 20 пеших, под общим командованием есаула Потылицына. Впереди должны идти чехи, в середине солдаты с винтовками, а за ними пешие казаки. Конные казаки составят вторую линию охраны всей колонны арестованных.

Хорунжий Лебедь со своим особым эскадром, с двух часов ночи и до начала этапирования арестованных должен очистить улицу Благовещенскую, переулки Андрея Дубенского, Батальонный и Архиерейский. На подступах к тюрьме не должно быть ни одного человека, подозрительных — в контрразведку. Арестованных вести по четыре в ряд, на расстоянии четырех шагов ряд от ряда. Наблюдать за выгрузкой и построением их в колонну будет лично начальник гарнизона и управляющий губернией Ляпунов. Общее командование возлагается на коменданта города полковника Мезина.

Ляпунов особо предупредил, чтоб никто не проболтался ни в семьях, ни в гостях о мерах по этапированию арестованных.

Хорунжего Лебеда попросил остаться.

Когда все разошлись из кабинета, Ляпунов подсел к хорунжему, поинтересовался, как он живет, не стеснен ли материально, у кого в доме снимает квартиру?

— Прощу, — угостил Ляпунов папирсой.

— Некурящий. Благодарствую.

— Ну, как вы думаете, хорунжий, положи руку на сердце: усидят большевики с Лениным в Москве? Вы знаете, что шестого июля в Москве было восстание?

Хорунжий впервые слышит о восстании.

— Было, было! Левые эсеры восстали.

— Знаю таких, — кивнул Ной. — В полк к нам в Гатчину приезжал агитатор. Митинг созывали. Из кожи вон лез, чтоб казаки и солдаты сложили головы за мировую революцию.

— Ну и как?

— В тот же день служивые посыпались из полка. И комитетчики сбежали. Остался я один с комиссаром в штабе и при конях, которых кормить нечем было — сено и фураж сожгли.

— Ха-ха-ха! Вот, представляю, картина была!

— Хуже некуда. За мировую, а так и за прочую, чужую, как в других державах, русские кровь проливать не пойдут. От своей задохлись...

— Ха-ха-ха! — покатывался Ляпунов. — Однако! Тут еще ничего неизвестно, — усомнился Ляпунов. — Социальный прогресс говорит нам совсем другое.

— Про прогресс ничего оказать не могу. А думаю: у каждого человека, какой бы он нации не был, одна манера — руки к себе гребут, а не от себя. Социалисты толкуют: человек при каком-то новом порядке отгребать будет от себя, а не к себе. Сам не поест, следственно, а соседа кормить будет. Такого человека ни одна баба еще на свет не народила. Только курица от себя гребет, а прочая живность к себе.

Полковник хохотал до слез, липуче приглядываясь к хорунжему.

— Я рад, что мы с вами единомышленники. Но я ни разу не видел вас в Доме офицерского собрания. Надо бы побывать там. Вы же видный офицер.

— Какое! — отмахнулся Ной. — Офицерство мое, скажу, по нечаянности. Великий князь пожаловал за полк, когда вывел его из окружения. Вот кабы он с чином ума прибавил... А так — был казак на четырех копытах, и остался на тех же копытах.

— Напрасно скромничаете, — усмехнулся Ляпунов. — Я бы вас сию минуту назначил командиром полка.

— Оборони господь! Я не фарисей.

— Причем тут «фарисей»?

— Фарисеи, как по евангелию, брали на себя божью и мирскую власть. От жадности и властолюбья-то. В каком звании кто призван быть, в том должен оставаться. Как по уму, следственно. Не брать сверх того, что можно. Или конь один потащит на хребте мельничный жернов?

Полковник призадумался: не взял ли и он на себя мельничный жернов?

— Ах, да! Давно хотел спросить: вы не помните, при каких обстоятельствах арестован был Дальчевский в Гатчине?

Хорунжий построжел:

— Как за поджог окладов с фуражом и продовольствием.

— Вы его арестовали, или ЧК?

— Не ЧК, не я, а матросский отряд с Бушлатной Революцией, то есть комиссар полка, Свиридов по фамилии.

— Ах, вот как! Ну, а кто командовал полком во время разгрома женского батальона?

— Я, как председатель полкового комитета.

— Полковник был уже арестован?

— Никак нет. Так и был командиром полка.

— Вот оно что! Ну-ну. Все мы служили понемногу, кому-нибудь и чем-нибудь. В том числе большевикам. Кстати! Гайда особо просил, чтоб вы постоянно находились в тесном контакте с подпоручиком Борецким — командиром маршевой роты. Гайда восхищен вами. Чем вы ему потрафили?

— Самого Гайду видел раз, откуда быть восхищению? Чем потрафил — не ведаю. Может, потому, что я их не задираю? Без чехов не было бы переворота.

Полковник встал. Подобное рассуждение ему не понравилось.

— Обошлись бы и без них, хорунжий. Хорошо, что они оказали нам помощь. Но общая ситуация сложилась так, что мы и без чехов вымели бы из Сибири большевиков. На Дону нет чехов, а восстал весь Дон.

Прошелся по кабинету, успокоился.

— Сколько у вас сейчас в эскадроне?

— Пятьдесят три конных со мною.

— После того, как арестованных водворим в тюрьму, сорок конных казаков поступят к вам. Пополним особый эскадрон. Сами вы по-прежнему будете находиться во взаимодействии с чешским эшелоном. Сейчас в нашу армию повсеместно вступают добровольцы. Предстоят большие бои с Красной Армией за Уралом. Возможно, одними добровольцами не обойдемся. Приступим к мобилизации...

Хорунжий ничего не сказал. Дело ваше, мол. Хоть мобилизуйте, хоть всех демобилизуйте.

— Вы женаты?

Хорунжий ответил весьма неопределенно: женитьба, мол, не напасть, как бы женатым не пропасть. К тому же он вот уже пять лет, как на копытах.

— Ну, ну, хорунжий! Вся Россия сейчас на копытах и в седле. Тем не, менее, о «даре господнем» — женщинах — нельзя забывать. Завтра в доме миллионера Гадалова будет дан званый обед для господ офицеров. Будут гимназистки, курсистки, бежавшие из красной совдепии, молодые вдовушки, так что можете выбрать себе любую розу. Оставил для вас пригласительный билет.

Хорунжий встал аршином, поправил ремни, каблуки сдвинул:

— Благодарствую. А билета не надо. Потому на банкетах господа и дамы вина пьют, образованные разговоры ведут, а у меня язык казачий, деревянный, да и вина не потребляю. Ни красного, ни белого. А сидеть в застолье да не пить — нехорошо будет.

Хорунжий попрощался и ушел.

IX

И видит Ной: кипит котел сатаны, и в том котле — бестолочь и самоуправство, речистость политиков и ярость мстителей, тут же иноземцы со своими коммерческими делами, беженцев тьма-тьмуца — кто и что, разберись попробуй, и все они призывают к разгрому совдепии, а в самом городе, в одном из каменных домов, офицеры чехословацкой комендатуры истязают большевиков, не жалея плетей и шомполов. Чего уж скупиться по мелочам, коль довелось поговорить с красными ноздря в ноздю!..

Вчерашние военнопленные итальянцы, болгары, мадьяры, поляки получили оружие; формировались воинские части; подъехали из Владивостока американцы, сотня япошек по коммерческому делу, а по выправке не иначе, как самураи, ну и, само собою, петухами ходили по городу победители — белочехословацкие легионеры.

А погодушка удалась славная. В меру перепадали дожди, чтоб хлеба не иссохли, и людям бы радоваться лету, теплу, зреющим злакам! Но люди не радовались! То, что происходило вокруг, было тяжким, запутанным и безотрадным; не все могли понять, куда же мчится таранас России, во что надо верить и во имя чего топтать землю под солнцем?

Душеньку жгло, смутность напала, как в таежных дебрях темной ночью: куда ни сунься — ударишься в дерево.

17 июля к хорунжему Лебедю на вокзал, где он постоянно находился, прискакал казак из контрразведки — сию минуту явиться к подполковнику Каргаполову.

Ной дрогнул, но виду не подал. Подожди, мол, служивый, надо предупредить подпоручика Борецкого — в его распоряжении нахожусь.

Подпоручика застал хворым. Подпухший от ночной попойки, Богумил Борецкий пожаловался хорунжему на голову — раскалывается на части: «Чем русские лечат котелок, когда он насквозь проспиртувозился?» Ной сказал, что опыта у него по этой части нету, а вот батюшка его лечился капустным рассолом. Помогало. А дело у него к подпоручику вот какого свойства: прискакал гонец из контрразведки. «Опять, вроде, ковыряются в моей судьбе. Может, еще не возвернусь оттуда?»

— Ми будем им башком трещать! — вспылит белобрысый подпоручик. — Можей не ехайт. Завтра Гайда будет. О! Великий Гайда!

— Благодарствую. А поехать надо — может, у них дело ко мне по службе? Если к вечеру не буду, стал быть, знаете, где я.

Поплелся Ной пешком в контрразведку, чтоб попутно охолонуться да с духом собраться.

Солнце жарило невтерпеж.

У трехэтажного дома контрразведки тихо. Большущие окна завешаны шторами от солнца. Только Ной подошел к парадному подъезду, как дверь распахнулась — вышел казак с карабином наперевес, при шашке, в гимнастерке, русочубый, зыкнул:

— Па-асторонись!

А вот и арестант со связанными руками — концы бечевки болтаются. Вот она, преисподняя сатаны!..

Каргаполов встретил хорунжего Лебеда по-братски, обнял за плечи, похлопал пухлыми ладонями по лопаткам, усадил в мягкое кресло и тогда уж вернулся за свой массивный письменный стол с двумя телефонами, где он только что закусывал бутербродом из серого хлеба с чухонским маслом, запивая жиденьким чаем вприкуску с сахаром. Пожаловался, что у него нет времени даже пообедать.

— Трудное, ох, какое трудное время, хорунжий! — тоненько верещал Каргаполов. — Как служба? Настроение казаков?

— Служба как служба. Настроение доброе, не жалуются.

— Славно, славно! Ах, как это хорошо! И Сибирь может вписать свою страницу в историю уничтожения большевизма! Ах, как это славно, — умильно вибрировал бабьим голосом Каргаполов, и блинообразное лицо его с маленькими свинными глазками расплывалось в улыбке. — А я, видите ли, побеспокоил вас вот по какому вопросу. Подхорунжего Коростылева знаете? Угу. Не скажете ли, при каких обстоятельствах чешские офицеры избили его в вагоне? Ах, вот что! Приняли за большевика? А вам не кажется, хорунжий, что избиение было злоумышленным? Чешские офицеры, надо сказать, наглеют! Воображают себя верховной властью, как будто без них ничего бы не произошло в Сибири. Как вы думаете?

— Того не могу сказать.

— Чего не можете сказать?

— Про чехов и словаков.

— Не понимаю. Уточните, любезный.

— Чтоб они за большевиков были.

— Помилуй бог! Разве я сказал, что они за большевиков? Еще чего не хватало! Но нельзя, господин хорунжий, раболепствовать перед ними. А вы, похоже, служите только подпоручику Борецкому. Всего-навсего подпоручику! Как же вы так, а?

— Как прикомандирован к первой маршевой роте, потому и служу, следственно.

— Разумеется, разумеется, — кивнул лысой головой Каргаполов, и чубчик его пепельных волос, скудный остаток былой шевелюры, прилаженный на лысину, свалился на лоб; хозяин тут же водворил его на место, притиснув ладонью, а потом взялся за бутерброд, старательно дожевал, собрал с листа бумаги рассыпанные крошки, и в рот себе. На мятом лацкане поношенного пиджака — пятна, узел черного галстука съехал набок, да и воротничок сорочки не блистал белизною. — Но, как вы помните: кесарево — кесарю, а божье — богу. И если для вас подпоручик Борецкий в некотором роде кесарь, то ведь и господь бог существует.

— Само собой.

— Вот именно! — Каргаполов вышел из-за стола — коротконогий, пузатенький, в черных тусклых сапогах, прошелся животом вперед по обширному кабинету с окнами под потолок, потянулся, поглядел на улицу. — Само собой!.. Ну, а если это именно

так, служить должны богу, как никак, не кесарю. А вашим богом, думаю, являются не чехи, а мы, русские! Сибирское правительство. Не так ли?

— Так, — кивнул хорунжий.

— Вот видите! Ну, а поскольку вы находитесь в тесном контакте с чешскими и словацкими офицерами, и они вам доверяют, информируйте нас обо всем, что происходит в их эшелоне, и особенно среди офицеров, где вы званый гость. Хи-хи-хи! Дружба дружбой, а служба службою. Верно?

Ноя подмыло: «Экая сволота. Своим аршином, да по моей хребтине!»

— Ну, как? Вы согласны, я думаю? — гнул свое Каргаполов, расплываясь в улыбке.

— Не по плечу.

— Как, то есть, не по плечу?

— В разведке не служил,

— Какая разница?

— Большущая, господин подполковник. Душу надо иметь в другом сложении.

— Но мы же не можем, поймите, быть в полнейшем неведении относительно чехов?

— Само собой — не можете.

— Ну вот видите! — Каргаполов снова двинулся по кабинету. — Нам стало известно, что одиннадцатого июля в девятом часу вечера поручик чешской разведки, комендант Красноярска Брахачек с тремя стрелками пригнал из Ачинска одиннадцать большевиков и среди них пять женщин. Где они их держат? Кто ведет допросы? Какая система дознаний? Для нас это очень важно.

— Того сказать не могу.

— Ваши же казаки оцепили перрон, когда чехи снимали с поезда арестованных!

— На перроне дежурил урядник Синцов. Говорил про арестованных, а куда их дели — того не знаю.

Каргаполов и так и эдак подкатывался к тугому хорунжему, но ничего не выудил, как из колодца, в котором отродясь не водилась рыбка. Рассердился.

— Так вы что же, воображаете, что Гайда защитит вас за дела в Гатчине?

Это уже иной коленкор!

— Про службу в Гатчине утайки не было, — поднялся хорунжий во весь рост: удары надо принимать стоя, как воину. — Про то известно полковнику Ляпунову и вам.

Блин Каргаполова снова расплылся:

— Бог мой! Чего с кем не бывало, хорунжий! Главное — служба сегодня. А вы отказываетесь. Как это понимать?

— Служить — служу, а к шпионству не сподобился.

— Ах, вот как! — поморщился Каргаполов, крайне недовольный щепетильным бородачом.

Предупредил, чтоб о состоявшемся разговоре никому ни слова, тем более чехам. Пожелал хорунжему доброго здоровья и проводил вон из кабинета.

У особняка Ной встретил Сазонова.

— Разве ты теперь здесь служишь, Михаиле Власыч?

Сазонов повел глазами — рядом никого, вздохнул:

— Тут, господи прости. От сотни Кудрина.

— Не знаешь, какого арестованного два казака с офицерами увели в тюрьму?

Сазонов дрогнул, засуетился, глаза в сторону, и, направляясь в особняк, бормотнул:

— Не знаю! Не знаю! — И — хлоп дверью.

«Паскуда подтощала!» — плюнул Ной.

Улица дымилась пылью — проехал извозчик. Духота, жарыща, собаки и те задыхаются, вывалив языки, а Ноюшке холодно: нутро стынет. Вернется ли башковитый капитан Ухоздвигов? С ним было бы надежнее и безопаснее.

Утром, во вторник, Ной ускакал в слободу Кронштадт подыскать тайную квартиру для брата Ивана. У кладбища встретился с каким-то мужиком. Так и так, не скажете ли, у кого можно снять комнату, и чтоб коня было где поставить, и люди были надежные?.

Мужичок в ситцевой рубахе прицелился:

— В каком понятии «надежные»? По воровству, али по языку?

— От воровства сам оборонюсь!

— Справедливо сказано, господин офицер. Вора за руку схватить можно, а вот за язык попробуй!.. Для вас квартиру, или еще для кого?

Ной присмотрелся к мужику с высоты седла:

— Про то разговор будет с тем, у кого сему квартиру.

— Задаток вперед будет?

— Само собой.

— За надежность по языку, господин офицер, платить придется дороже, — прищурился мужичок в полинялом картузе. — Ежли скажу: пятьдесят целковых за горницу и десятку за конюшню? В доме — хозяин и хозяйка. Глухая ограда, ворота замыкаются на замок. Кобель в ограде.

— Покажите дом.

— А вот тут, сразу за кладбищем, в Кронштадте. Самое тишайшее место.

— Стал быть, вы хозяин?

— Угадали.

Ной осмотрел ограду, конюшню, амбар, кладовку, горницу с тремя окошками. Места лучше и тише не сыщешь.

Хозяин — Мирон Евсеевич Подшивалов; хозяйюшка — Мария Егоровна. Есть еще незамужняя дочь Устинья — фельдшерницей работает в городской больнице, и там же, при больнице, снимает комнатку, чтоб не ходить ночами домой на окраину города в Кронштадт.

Хозяйюшка выкатывала ржаное тесто; топилась русская печь. Ной с хозяином сидели у стола, прощупывая друг друга. Поговорил про погоду, наплыв беженцев, а про власть и переворот — ни слова...

— Издалека будете? — закинул удочку хозяин,

— Не из ближних.

— Вроде погода добрая будет?

— Погодье на погодье не приходится.

— Хоть бы уж что-то определялось окончательно.

— Пора еще не пришла. Солнышко в тучах.

— И то!

Ной поднялся.

— Ну, мне ехать надо. Фатера приглянулась. Как сказали — шестьдесят рублей. Буду здесь, нет ли, а горница за мною. Наперед уплачу за месяц. Дружок должен подъехать ко мне — здесь будет жить.

К пятнице надо бы мне купить хорошего коня. Из казачьих бы. В цене не постою.

— На базаре навряд ли купишь, — усомнился хозяин.

— А если я вас подряжу съездить куда-нибудь в станицу?

— Отчего не съездить. Расходы токо.

— Оплачу сполна.

— Не керенками?

— Николаевскими.

— Добро. Когда деньги будут?

— Сейчас выдам. Триста хватит?

— Должно хватить. Как вас звать-величать?

— Господин хорунжий. Более никак.

На том и сошлись; деньги из рук в руки, и — молчок...

В тот же день Ной понаведалься в Русско-Азиатский банк с иноземными бумажками, которые столь нечаянно попали к нему: принимают ли?

Казначей долго разглядывал желтую купюру — уголок оторвал и даже понюхал. Морда лисья, глаза, как у рыси, высунулся в окошечко, присмотрелся.

— Чем так пропитана купюра? — поинтересовался.

— Конским потом.

— И много у вас долларов?

Хорунжий и тут не растерялся:

— Ежли принимаете — будем разговор вести.

— Как же, как же! Американские доллары высоко котируются, господин офицер. Но, к сожалению, наш банк пока пустой. Сейчас не можем обеспечить золотом. Придется вам подождать с недельку или через наше посредничество обратиться в омский банк.

— Подожду. А вот эти как?

— Ого! Иены?! Выпуска 1897 года! Надо бы мне справиться: не была ли девальвация иены. Я запишу. Как вас?

— Ни к чему пропись. Так узнайте. Я понаведаюсь.

Казначей умилился:

— С этими деньгами, господин офицер, вы можете проехать по всему свету и голодным не будете.

Ной запрятал кожаное портмоне в объемистый карман френча и, поддерживая саблю рукою, степенно вышел из банка.

Смехота! По всему свету! Дай бог, чтоб шкуру не спустили дома, а про весь свет загадывать нечего.

Если, упаси господь, Ивана исповедовали в пути следования, то ведь, чего доброго, Дальчевский отобьет депешу в Красноярск, чтоб схватили за гриву и самого Коня Рыжего!

Сготовился ко всему: если будут брать, то не с малой кровью!..

До пятницы обзавелся хорошим конем — вороной, по пятому году, не уезженный, сытый, выложенный в прошлом году, гривастый, со звездочкой по храпу и белыми бабками. Одно вводило в сомнение — вороной!.. Долго ли он на нем поедит?

Коня оставил во дворе Подшивалова. Перевез туда седло Вельзевула с потником, Яремееву шашечку, нательный крест деда спрятал в тайник сойотского седла, чтоб не поживились контрразведчики. У него была еще шашка штучной поковки. А кроме того, настоящий арсенал заимел: маузер купил с пятью обоймами да кольт подарил Богумил Борецкий; пару карабинов достал и у того же Богумила Борецкого выпросил десяток английских бомб-лимонок «на всякий случай».

ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Лихо — не тихо. Скребет и душу рвет...

Одна заботушка: удастся ли выхватить Ивана из колонны арестантов?

И так и сяк думается силушке-Ною: в живых быть завтра или придется голову сложить?

А ночь легла парная, располагающая к отдохновению, но нету угрева сердцу — не спится Ною. Сидит он на веранде второго этажа дома Ковригиных, чужая сабля на коленях (свою спрятал) и чужой кольт в кобуре, еще не испытанный в бою.

И кажется Ною, что он не в Красноярске, а в той самой Гатчине в январскую стынь перед сраженьем. Так же вот мутило душу в ночь на воскресенье, и ум за разум заходил.

Душно! Хоть бы подпруги кто отпустил ему на одну эту ночь, чтоб дух перевести. Или от бога положено ему, Коню Рыжему, сдохнуть под железным седлом с туго затянутыми подбрюшными подпругами?..

Ох, хо, хо! Времечко!..

Разулся, поставил сапоги возле табуретки, на которой сидел, портянки повесил на перила, стащил с себя френч и ноги вытянул по половику, чтоб охолонулись.

Один он, как перст, среди казаков. Куда кинуться с братом Иваном?

«Куд-ку-да! Куд-ку-да!» — подала голос курица. Яйцо снесла, что ли, или с насеста свалилась?

Вчера полковник Ляпунов ораторствовал перед казаками полка. Ну, обсказал про бои с красными. По его словам, совдепия на военной карте похожа на графин, перевернутый узким и длинным горлом в Каспийское море. И что из этого красного графина доблестные войска белых армий всю кровь большевиков выцедят в море. Дно «графина» у Петрограда со стороны Мурманска и Архангельска разобьют войска генерала Миллера с белофиннами, американцами и англичанами в придачу. Горловину сдавят деникинцы — возле Орла двигаются, а со стороны Казани и Самары — чехословаки с белой армией генерала Дутова, так что сибирякам надо поспешать. Ну и про свободу сказал, про демократию и гуманность.

Ной так и не уразумел, что обозначает «демократия» и «гуманность»? Полную истребиловку или отсидку в тюрьмах?

Вот уж приспела «свободушка»! Сам в себе варись, как яйцо в кипятке, а язык — не для души, а как у коровы — для жвачки. Жуют люди каменные слова, а душу на замке держат.

Как-то обернется в субботу!..

Для Ноя завтрашний день — суббота с числом 13 июля. А по новому — пятница будет с 26 числом.

Все люди города жили и думали, принимали новорожденных и отпевали в храмах божьих усопших по-старому, а на службу ходили и бумаги подписывали по-новому, совнаркомовскому стилю, в том числе и белогвардейцы.

Такая же двойственность была во всем. И сама Россиюшка от Петрограда до Владивостока раскололась на две половины — на

красную и белую.

«Когда же она единой будет, господи?..»

Пискнула дверь — кто-то вышел на веранду. Ной скосил глаза — Лизавета! Кто же еще! Василий с отцом в извозе, а квартирантов еще не подселили из городской управы — трое беженцев побывали, поглядели комнаты на первом этаже и больше не пришли: Кача!..

Не заметив притихшего Ноя на табуретке, Лиза так-то сладко потянулась, зевнув; толстущая русая коса по белой сорочке, а сама такая подобранная, покатоплечая. Вроде и не ядреная баба, но до чего же работающая: весь дом Ковригиных держится, в сущности, на одной Лизавете. Она и обстирывает всех, и за двумя коровами доглядывает, и кухарничает, и в отменном обиходе держит весь второй этаж с пятью комнатами и кухней, и все это нешумливо, без крика, с улыбочкой, словно Лиза век прожила не в кромешном аду, а на небеси в раю.

— Ай, Ной Васильевич! — обрадовалась она. — Я так-то волновалась, што вы гдей-то задержались. Все ли ладно?

— Все ладно, Лиза.

— Нет, иначе. Вижу я, все вижу. Если бы я чем могла помочь! Бестолочь я, бестолочь. Токо и знаю, что молюсь за вас. Особливо — за золовушка Анечку. Ни известия, ничего нет. Жива ли? Вася говорит: давно убил ее капитан.

Ной вздохнул — сам ждет не дождется, хотя бы какой вести об Анне Дмитриевне.

— Как с Ваней надумали? Пригонят ведь. Славненький такой мальчик! Не сгинуть же ему, правда?

— Думаю, Лиза.

— Я так-то волнуюсь! Так-то волнуюсь, ежели б знали, Ной Васильевич. И за вас молюсь, и за Прасковью Дмитриевну, и за Казимира Францевича, за всех, за всех!..

Именно: «за всех, за всех!..» Но не за себя.

— Завтра пригонят?

— Завтра, Лиза.

— Паша ничего не передавала?

— Ничего.

— Али силы ишшо нету народ поднять?

— Нету, Лиза. Народ подыметя не сразу — многотерпенье еще не исчерпалось. Наш народ многотерпелив от пращуров.

— А Ленин?

— Ох, Лиза! Я же упреждал тебя!

— Дак мы ж двое...

— И у земли есть уши, Лизавета. Сгубишь себя, гляди. Просил же тебя: запомнят некоторые слова. Хоть бы ради сына своего. Кто его растить будет?

— Ах, Ной Васильевич! А к чему растить Мишеньку, ежели жить ему потом до смертушки во тьме-тьмущей, как у нас на Каче, в поножовщине да страхе. Разе это жизнь?

— Экая ты! — Ной подтянул ноги, подобрался, и строго так: — Или век, думаешь, тиранству быть? Время пришло свести его на нет, оттого и врукопашную пошли друг на друга, чтоб без душегубства жить на своей земле. Вот оно как!

— Ах, кабы все так свершилось, как сказываете, — глубоко вздохнула Лиза.

— Иди, почивай, Лиза. Миша еще проснется.

— Он у меня крепкий на сон, слава богу. А мне не уснуть, иначе. Дымова и Рогова тоже пригонят?

— Должно.

— Ах, какие люди-то, люди-то! Век бы им жить. Али добрые завсегда недолго живут, а?

— Добрые — они потому и добрые, Лиза, что свою жизнь не жалеют для других. Долголетия у них нету.

— И правда! Вот у нас на Каче лонись старик помер — скоко душ сгубил, не счесть, а прожил сто три года! Ужась! Али вовсе бога нету, што злодеям долгая жизнь, а вот как Христу — короткая?

— Экая ты, Лиза! В какую глубь ныряешь?

Петухи пропели на Каче первую побудку, кобель взлаял в ограде, и тут раздался стук в ворота калитки. Лиза испугалась:

— Ктой-то?

— Иди, Лиза! Я спрошу, — сказал Ной, быстро натягивая китель и вынув из кобуры кольт.

II

Нежданные гости — Прасковья и Артем!

Им тоже не до сна в эту тревожную, жуткую и вместе с тем погожую июльскую ноченьку...

Прасковья — в монашеском черном платье; она живет теперь с монашками, в их обители, где и работает фельдшерницей. Обитель тут же, в городе, недалеко от духовной семинарии.

Артем в рабочей куртке, в кепке и ботинках.

Сразу к делу:

— Имеются сведения — казаки под командованием есаула Потылицына готовят расправу над нашими товарищами — сообщил он. — Кого именно казнить будут при этапировании — пока еще неизвестно.

Этого Ной не знал!

— Что же делать? — спросил Артема.

— Ничего.

— Как так? Глядеть, что ли? Да я один могу...

— Потому и пришли, чтоб предупредить вас, — сурово и строго заметил Артем. — Ничего вы один, конечно, не сделаете, а дело загубите. В данный момент мы не располагаем такой силой, чтобы поднять и вооружить народ. Следовательно — ничего! Если они справят кровавую тризну над арестованными, тем самым приблизят свой собственный конец.

Ной подумал и сказал:

— Среди арестантов будет и мой брат. Иван.

— И вы для него отыскиали квартиру в Кронштадте? — продолжал Артем. — Это неосмотрительно, Ной Васильевич. Крайне неосмотрительно. Иван — молодой парень, не из руководителей. Обыкновенный парень. Ни для контрразведки, ни для белогвардейского правительства никакого интереса собою не представляет. Это ясно. Брат? Но у вас хорошее алиби: брат давно ушел из семьи. Никаких других обвинительных документов в контрразведке против вас не имеется. Это мы знаем совершенно точно!

Ною это тоже известно.

Но — брат же, брат! Чтоб не вырвать его из лап карателей — да Ной вовек не простит себе такого паскудства!

— Если Дальчевский узнает, что Иван — мой брат, да еще член партии...

— Не думаю, — перебил Артем, — чтоб наши товарищи не сообразили уничтожить документы! Большевики, понятно, но документов у карателей не будет.

— Пойду, хоть подышу родными углами да на племянника взгляну, — вздохнув, сказала Прасковья, и к Ною: — Вам хорошо здесь?

— Покуда все ладно.

— У нас только мама ненадежный человек. Но мы ее отправили в Ужур. Пробудет там до зимы. Вы еще не ложились спать?

— Не до сна! Да и со службы вернулся поздно. Богумил Борецкий привязался со своими любезностями, чтоб ему околеть.

Прасковья ушла.

— От Анны Дмитриевны нету вести? — спросил Ной.

Артем помедлил, потом оказал:

— Пока ничего определенного. Но прибыл товарищ из Омска. Особо просил, чтоб мы воздержались от непродуманных шагов.

Вернулась Прасковья, пригорюнилась. Отчий дом! Близок локоть, да не укусишь. Уходить надо!..

Артем еще раз напомнил Ною:

— Держитесь спокойно при этапировании арестованных! За вами будут наблюдать. Это единственный момент для контрразведки, чтоб изобличить вас, как сочувствующего большевикам. Воздерживайтесь от единоличного партизанства.

Ной ничего не ответил. Тяжко! Ох, как тяжело! Если бы был здесь капитан Ухоздвигов, он, конечно, помог бы Ною выручить брата!..

Долго не мог заснуть, ворочаясь на перине. Ночь выдалась тихая, несносно жаркая, душная, как это бывает только в июле.

«Хоть бы сон хороший увидеть, — подумал Ной; он всегда запоминал сны, обсуждал их потом сам с собою. — Только бы не церковь приснилась, господи прости!» Увидеть себя или кого из близких в церкви, значит, быть в тюрьме, а если в тюрьме — то к свободе. А лучше всего — ворох пшеницы! К богатству то!

А приснилась... Дуня!

Нелепо и дико!

Ною страшно и жутко до невозможности... Он зовет людей на помощь и бьет, бьет Дуню. Ее подослали к нему из контрразведки от

Каргаполова, чтобы изобличить Ноя в подрывной связи с Кириллом Ухоздвиговым. А самого капитана Ухоздвигова уже расстрелял каратель Гайда в сорок девятом эшелоне.

Ной отбивается от Дуни, от контрразведчиков, и рычит, как пораненный тигр...

— Ной Васильевич!..

Кто-то его зовет. Но он понять не может — откуда слышится голос?

— Ной Васильевич!..

— А? Что? — очнулся Ной весь в холодном поту — взмок на пуховой перине. Чья-то теплая ладошка на его мокром лбу. Кто же это? И где он? — О, господи! Доколе же будет так? — взмолился, еще не освободившись от страшного сна. Возле кровати Лизавета — он ее узнал сразу. Окно тускло отсвечивает; черные лапы огромного фикуса отпечатались на раме, и тишина, тишина. — Ты, Лиза?

— Вы не захворали, Ной Васильевич? — спрашивает участливый голос Лизы. — Ужас, как стонали. Подумала — плохо вам. Я же с Мишенькой за стенкою сплю.

— Испужал тебя? — Ной погладил руку Лизы. — На перине нельзя мне спать — телу стеснительно.

— Нет, нет! — лопочет Лизавета. — Не от перины это, от души. Я вить все понимаю, Ной Васильевич. Это страх вас одолевает. А вы плюньте на него, на страх-то. Бог даст, все и обойдется. Сама сколь раз спытала. Все хорошо будет, Ной Васильевич. Все будет хорошо. Вы успокойтесь и усните, а я пойду. День-то завтра будет у вас тяжелый: силу надо иметь.

И тихо скрылась за дверью, словно и не было ее тут.

Ш

Со второй половины дня пристань оцепили казаки и чехословацкие легионеры.

Казаки особого эскадрона хорунжего Лебеда разъезжали по улицам, а польские легионеры оцепили депо и механический завод.

Торжествующие победу губернские власти ждали прибытия полковника Дальчевского с доблестными воителями.

На большой деревянной барже, заменяющей дебаркадер, застланной коврами, со столиками и стульями, с предупредительными официантами из ресторана «Метрополь», попивали прохладительные напитки товарищ управляющего Троицкий, щеголеватый, подтощальный господин в пенсне, а с ним министр МВД Прутов, упитанный сангвиник с бородкой, полковник Ляпунов, подполковник Каргаполов, прокурор Лаппо, полковник Розанов, управляющие банками: Сибирским акционерным — Афанасьев и Русско-Азиатским — Калупников, начальник губернской милиции Коротковский, госпожа Дальчевская с дочерью и сыном и многие другие, не столь значительные, но прикипевшие к власти, как вороньи гнезда к деревьям.

С дебаркадера по широкому трапу на берег протянута коврая дорожка. На гальке у трапа толпились музыканты духового оркестра военного гарнизона. Им предстояло впервые исполнить гимн Сибирского правительства: «Где бесконечная снежная ширь...». Репетируя, музыканты выдували каждый свою партию, чтобы дунуть потом сообща, когда к пристани подойдет отважный «Енисейск».

Важные дамы города, щебеча и переливая новости, томились на берегу в ожидании парохода.

В кучке офицеров на барже кто-то громко сказал:

— Рубить жидов с головы до пят, и весь им суд и следствие!

Прутов оглянулся:

— Никакой резни, господа! Мы пришли на смену большевистской тирании. И, кроме того, должен заметить, если вы тронете евреев, сие немедленно отзовется во Франции и Америке и во всем мире. И тогда мы наживем много неприятностей.

— «Енисейск»! — кто-то крикнул с кормы.

— Еще неизвестно, «Енисейск» ли?

— «Енисейск», конечно!

— «Сокол» такой же.

Вслед за первым пароходом показались другие. Они шли кильватерным строем: «Енисейск», «Орел», «Лена», «Тобол», «Иртыш».

Ждали.

Против пристани «Енисейск» остановился, к нему подошел «Тобол» и принял на буксир вместительный лихтер № 5 с

захваченными красными.

Освободившись от лихтера, «Енисейск» протяжно загудел, направляясь к пристани. Остальные пароходы стали на якоря.

Полковник Ляпунов крикнул на берег:

— Гимн! Гимн!

Кто знает, по чьей вине духоперы вдруг рванули вместо: «Где бесконечная снежная ширь...» «Боже, царя храни!»

Господа на барже обнажили головы; оба банкира и миллионщики набожно перекрестились. И сам Прутов до того растерялся, что вместо того, чтобы остановить исполнение царского гимна, почтительно снял шляпу.

Дуня с поручиком Ухоздвиговым, не допущенные к дебаркадеру, смотрели на церемонию встречи «Енисейска» с берега.

— Еще одна ведьма! — ахнула Дуня, завидев с каким-то пожилым офицером Алевтину Карловну, бывшую полюбовницу покойного папаша. Подумать! Ее, Евдокию, Елизаровну, с инженером Ухоздвиговым не пустили к трапу, а прости-господи Алевтинушка сыскала себе нового покровителя, разнарядилась, как балаганная актерша, и прет к трапу под ручку с усатым моржом!..

Дамы толкаются, лезут на баржу, но их отгаскивают офицеры и казаки.

— Помилуйте! Там и так яблоку негде упасть.

— Господа должны уступить место дамам!

— Помилуйте!

IV

Подпоручик Богумил Борецкий со своими офицерами и хорунжим Лебедем чинно прошли по ковровой дорожке на дебаркадер. Перед ними расступились. Прутов первым приветствовал подпоручика Борецкого, хотя тот руки не подал министру: он, подпоручик Борецкий, знает только великого командующего Гайду, а на всех этих сибирских правителей ему начхать!..

Когда Богумил Борецкий с офицерами и хорунжим отошли в глубь дебаркадера, прокурор Лаппо шепнул Прутову:

— Видели рыжебородого, который с Борецким?

— Ну? — повернулся Прутов; он, понятно, помнил хорунжего.

— Это хорунжий Лебедь, который удачно отличился возле тюрьмы. Но это был всего-навсего маневр. Получено письмо генерала Новокрешинова, в котором сообщается, что хорунжий Лебедь агент Ленина!

Хватив через край, Лаппо ввернул, что хорунжий Лебедь пользуется расположением чехословацких офицеров и самого Гайды, а это неспроста: чтоб иметь заслон.

Прутов жестко обрезал:

— Оставьте! Должен заметить вам, господин прокурор, вы здесь в губернии преуспели в обострении отношений с чехословаками. И если дело дошло до того, что они доверяют только одному хорунжему, это значит, что вы все противопоставили себя чехословакам. А это уже дурно пахнет, да-с! Надо помнить: без их помощи мы не сумели бы опрокинуть Советы в Сибири, насквозь пропитанные большевизмом. На этот счет мы будем еще говорить.

«Енисейск» причалил к дебаркадеру.

По правому борту парохода — офицеры, офицеры, офицеры, молодые казаки. На капитанском мостике — полковник Дальчевский, подтянутый, в фуражке и в кителе с золотым крестиком; приветственно машет рукою.

— Патриотам — уррааа!..

— Уррааа!

— Ррааа!

Орут с берега и с дебаркадера.

Матросы выкинули с парохода трап, а казаки застлали его еще одной ковровой дорожкой.

Первым сошел Дальчевский и облобызался с министром Прутовым, управляющим губернией полковником Ляпуновым, с банкирами Афанасьевым и Калупниковым, а тогда уже с женою и детьми.

— Уррраааа!

— Мстиславу удалому — уррраааа!

Дамы бросали цветы на ковер по трапу, чтоб доблестный воитель сошел на благословенную красноярскую землю по неувядшим полевым цветам и оранжерейным неблагоухающим розам и хризантемам.

Ной, как только причалил пароход, спрятался за офицерские спины, чтоб не попасть на глаза Мстиславу Леопольдовичу.

Наяривал духовой оркестр, на этот раз гимн Сибирского правительства: Восторженно взвизгивали дамы.

Слепило солнце, кидая свои лучи вкось по Енисею. Горбатились на правобережье лиловые горы.

Дальчевского на берег повел под руку министр Прутов, а за ними губернские чины, ну и, конечно, дамы, ошеломленные и счастливые дамы города.

Про чехословацких офицеров и самого командира сорок девятого эшелона подпоручика Богумила Борецкого запомнили. Мало того, оттеснили в сторону.

Взбешенный подпоручик Борецкий с офицерами Овжиком и Брахачком поспешно покинули баржу и, не задерживаясь, убрались прочь с пристани.

Ляпунов заметил-таки Ноя.

— А! Ной Васильевич! — подошел он к хорунжему, разомлевший и пунцовый от выпитого портвейна. — Ну как?! Не победа ли?! Ах, как это славно! А каковы наши офицеры? Орлы! Без единой потери всю флотилию красных в пух-прах! А ведь у красных были превосходные силы: комиссары, командующий Марковский!

Ной почтительно помалкивал.

— На пару слов! — Ляпунов кивнул в сторону кормы, откуда только что ушли чехи. Ной пошел за ним. Ляпунов вытер лицо платком и тогда уже приступил к делу: — Командование эскадрой на сутки передайте старшему уряднику Еремееву. Сами будете находиться в моем распоряжении. Ради такого праздника управление губернией выделило для казаков некоторые суммы. Представьте мне к понедельнику список достойных казаков вашего эскадрона и не забудьте тех, которых передали в сотню есаула Потылицына.

— Слушаюсь!

— Ну, а сегодня не всухомятку же праздновать, не так ли, Ной Васильевич? Ах, да! Вы же непьющий и некурящий! Но тем не менее, хорунжий, нельзя ущемлять других.

— Само собой, господин полковник.

— Ну-с отрядите старшего урядника Еремеева с двумя казаками и пусть получают кое-что у бакалейщика Шмандина. На пять тысяч

рублей пока достаточно?

— Того много даже!

— Ну что вы! Ради торжества скупиться нельзя.

Ляпунов достал из нагрудного кармана книжицу и бегло написал химическим карандашом на официальном бланке управляющего губернией бакалейщику Шмандину распоряжение: выдать Еремееву для казаков на пять тысяч рублей подарков, а в скобках упомянул: «водка в том числе», и размашисто, по характеру, расписался. Это был в некотором роде вексель, только из чьего кармана будут взяты деньги, чтобы погасить этот вексель?..

— Фу, какая жарница! — вздохнул потеющий Ляпунов. — Как только уладите все в эскадроне, отдыхайте до часу ночи — набирайтесь силы и спокойствия. А к часу ночи чтоб были на пристани. Надеюсь, все обойдется благополучно.

Эх, хо-хо! Ваше благородие надеется! А водку для чего выписал?!

А на какую же сумму получают подарков отборные казаки сотни есаула Потылицына?!

V

Началась церемония выноса золота и миллионов из утробы «Енисейска», куда оно было перенесено при взятии «Орла».

На баржу поднялись казаки из сотни есаула Потылицына — один за другим, при шашках, с нарукавными бело-зелеными полосками. Казаки выстроились лицом к лицу от трапа парохода, до двух американских автомобилей на берегу.

Полковник Розанов скомандовал:

— Шашки наголо!

Шашки выхватили и — на плечо. Замерли.

По ковру казачьим коридором прошли на пароход, управляющие банками — Афанасьев и Калупников, управляющий губернией Ляпунов, Коротковский и тридцать солдат. Через некоторое время с парохода вышел солдат со слитком золота в руках, за ним второй, третий, четвертый...

— Золото несут! Золото!

Дуня с поручиком Ухоздвиговым протиснулась-таки, чтоб взглянуть на золото.

— Боженька! Ужли мой слиток несут! Гавря, гляди, гляди!

— Он что, меченый?

— А как же? Нестандартный, записано. С печатками «ЕЕЮ».

Дуня, конечно, не успела разглядеть никакой печати.

— Господи! Богатство-то, богатство-то! — ахнула какая-то дама.

У Дуни сердчишко зашло от счастья — два пуда золота ее собственного! Она будет самая счастливая дама города. Она успела побывать в банке с поручиком Ухоздвиговым и узнала о судьбе сданного ею золота. Теперь уже банк был не государственным, а как раньше — Русско-Азиатским.

Новый управляющий банком Калупников обрадовал:

— Как же, как же, Евдокия Елизаровна! Имя ваше нам известно. Благодарите нашего старого казначея господина Румянцева за его сообразительность. Если бы он записал, что золото сдано комиссаром Боровиковым без указания, кому оно принадлежит, вы бы не имели на него никакого права. Впрочем, если бы большевики задержались, банк был бы пустым. Слава богу, с ними покончено! Весь золотой запас России с алмазным фондом и прочими банковскими драгоценностями тоже в данный момент вывозится из Казани в Омск.

У Дуни дух захватило — она знатная вкладчица банка! А может ли она взять золото из банка?

— Разумеется, — ответил управляющий. — Мы не большевики. Ваш капитал неприкосновенен. Но если в наш банк, упаси бог, не поступит все золото, изъятое красными, тут уж будет решать правление банка. Будем надеяться, что они не успели расхитить его в тундре. Настигли их вовремя.

Яснее дня солнечного два слитка — собственность Дуни! Семьдесят девять фунтов с золотниками и долями — отродясь столько не имела. Калупников сказал еще, что она может получить потом деньгами — николаевскими, конечно. А сколько же бумажками? Всего-навсего тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят два рубля и тридцать три копейки. Умора! За два пуда? Ну уж дудки! Она лучше сама сгрызет это золото, чем пустит его на ветер бумажками.

Вынесли множество слитков и в том числе несколько нестандартных — пудовики золотопромышленников (недоставало одного пудового слитка, загадочно исчезнувшего по пути следования в город).

За золотом тащили на носилках несгораемые ящики с кредитными билетами.

К рукам добропорядочного социалиста-революционера Мстислава Леопольдовича «прилипло» не так уж много, как потихоньку позже установили управляющие банками: всего пуд золота, двадцать фунтов серебра (один слиток) и николаевскими пятьсот тысяч. Все было подсчитано точно — тютелька в тютельку. Но красные, оказывается, не прикарманили ни одной копейки.

На автомобилях в сопровождении конных казаков ценности увезли покуда в Русско-Азиатский банк.

Экипажи разъехались.

Поручик Ухоздвигов удесятирил ухаживание за Евдокией Елизаровной. Сам-то он незаконнорожденный, без наследства и капитала! (Правда, ему передал свою долю Кирилл Иннокентьевич). Но сегодня он надыхаться не мог Дунюшкой. Иллюзии. Грезы. Золотые сказки!..

— Мы уедем в Париж, Гавря, — млеет Дуня.

— Теперь у нас золотые крылья, можем и улететь.

— Ты ведь любишь меня?

— Разве я не доказал тебе свою любовь? Я тебе говорил: в тайге у папаши запрятано тридцать шесть пудов золота. Мне совершенно точно известно, что проводник отца, Имурташка, живой и скрывается где-то в инородческих улусах или аалах, как их там. А раз меня отсылают в Минусинский гарнизон — разве я упущу возможность найти Имурташку? Я его из-под земли вытащу!

— Тридцать шесть пудов! — ахнула Дуня. — А братья? Обожмут, как с наследством.

— Если я найду Имурташку или брата его, Мурташку, все золото будет мое. Надо успеть.

— Боюсь я туда ехать. Маменька с горбуньей живо вцепятся. Еще тогда грозились лишить наследства.

— Пусть попробуют! Ты законная наследница. Мы еще...

Подошли двое казаков.

— Просим, господин офицер, покинуть пристань.

— Что это значит?

— Приказано всех выдворить. Вон есаул Потылицын, можете обратиться к нему. Ежли дозволит...

— Пойдем, Гавря!

При одном упоминании об есауле Дуню прохватывала дрожь...

VI

Синий текучий вечер. Ни звезд, ни луны.

Чарующий вечер в городском саду.

Духовой оркестр играет вальс «Амурские волны».

Нарядная, духмяная публика веселится с небывалым упоением.

Дуня танцевала с поручиком Ухоздвиговым, выгибаясь в его руках, и видела над собой звездную бездну неба.

Никогда еще поручик Ухоздвигов не ощущал в себе такого подъема духа. Дуня ему и в самом деле нравилась. Она такая подвижная, красивая, ну девочка просто. Даже не поверишь, что хлебнула горького на позициях и в прочих мерзостных местах, про которые Гавриил Иннокентьевич хотел бы начисто забыть, да никак не может: сколько рук ласкали вот это ее гибкое и красивое тело!..

Кругом кружатся в вальсе господа офицеры — молоденькие прапоры, пожилые штабсы и капитаны с дамами, барышнями, гимназисточками. Один из офицеров таращился на поручика Ухоздвигова с явно выраженным намерением побить ему морду.

— Уйдем в аллею, — шепнул Дуне Ухоздвигов, трижды перехватив свирепый его взгляд.

— Мне так хорошо, Гавря! Я еще никогда не была так счастлива!..

— Здесь может быть драка. Офицеры вдрызг пьяны.

И, как бы в подтверждение слов поручика, хлопнул выстрел. Кто-то за площадкой заорал во все горло: «Аааа! Аааа!»

Тесня друг друга, публика повалила решетчатую ограду площадки. Ухоздвигова с Дуней волною выкинуло в кусты. Рев, гвалт, визг, выстрелы из пистолетов.

— Боженька! С ума сошли!

Ухоздвигов тащил Дуню в глубь леса. Скорее, скорее! Подальше от пьяной орды. Черт знает, что они могут натворить! Перепуганные горожане что есть духу бежали вон из сада. В воротах образовалась пробка. Жулики-мазурики, пользуясь моментом, чистили карманы, ридикюли, срывали кольца и серьги у дам прямо на глазах очумевшей

публики. Некоторые модницы выскакивали на Ново-Базарную площадь, облегченные до последней возможности.

Ухоздвигов с Дуней притихли в зарослях. Пряно пахло помятым смородянником. Дуня жалась к своему кавалеру, бормоча:

— Мне страшно, Гавря!

Кто-то за кем-то гнался — трещали кусты. «Стой, гад! Стой! Стреляю!» — и выстрелы, выстрелы. Истошно визжали женщины. Орала пьяные офицеры. Послышался конский топот — примчались казаки особого эскадрона. Свистки. Окрики.

— Раааззойдись!

— Убивство! Убивство!

— Поооооогитеээ!

— Рааазззооойдись!

Кого-то потчуют плетями. Гонят, гонят прочь из сада. Город объявлен на военном положении — живо, живо по домам!

Подобрали раненых. Очистили аллеи сада. Наступила та благословенная тишина, как это бывало на позициях после жаркого боя. Дуня вспомнила окопы, сколько она натерпелась страха на войне! И теперь была рада-радехонька, что в живых осталась и встретила свой «последний огарышек судьбы» — Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова.

Железные ворота с калиткою были замкнуты. Ухоздвигов нашел сторожа, и тот выпустил их. Шли через площадь, мимо высокого заплота рынка к собору, а потом на Благовещенскую. Возле гостиницы слышались крики пьяных. Дуня сказала, что лучше пройти по Всесвятской, а там темными оградами пробраться во двор гостиницы. Но поручик не послушался: чего особенного, пойдем через парадный!

В ресторане «Метрополь» гремела музыка — гуляли воители Дальчевского. У подъезда гостиницы пьяные офицеры потряхивали хозяина ресторана и гостиницы тучного Дегтярева.

— Предоставь девиц, рыло! — слышался рычащий голос.

— Господа! Господа!

— Или мы разнесем всю твою богадельню в пух-прах.

— Господа! Господа! Откуда взять девиц?

— Пойдем по номерам!

— Господа! У меня проживают семейные. Эти же гостиница, не заведение!

Дуня потянула поручика обратно, но было уже поздно: пьяная рожа нацелилась на нее.

— Друзья! Там вон офицер с индюшкой, — крикнул он своим товарищам, и те пошли им навстречу.

— Гавря, бежим!

— Тихо! Ничего страшного.

Двое офицеров в расстегнутых кителях, пригнув головы, преградили путь.

— С кем имеем честь?

— Поручик Ухоздвигов. Что угодно, господа офицеры?

— Какой части?

— Что угодно, господа?

— Какой части, спрашиваю! Я штабс-капитан Моралев. Ну-с, а вы кто?

— Да чего с ним разговаривать?! Сразу видно, что тыловая крыса!

— Сволочь! Мы за вас лбы подставляем под пули красных. А вы здесь с бабами прохлаждаетесь!

— Господин капитан, не забывайтесь!

— Што-о?! Ты на меня орать, тыловая крыса! Кто ты такой, чтоб орать на капитана Моралева! Да я таких, как ты, в два счета, три секунды!..

И штабс-капитан сунул Ухоздвигову кулаком в нос и губы. Но поручик устоял и одним ударом сбил с ног пьяного штабс-капитана. И тут на него навалились сразу трое. Били кто куда и по чем попало. Дважды поручик слетал с ног. Но Дуня не терялась, кидаясь то на одного, то на другого. Дралась ловко и настырно, царапалась, как рысь, когти ее впивались в чьи-то щеки, в нос и губы. Один из прапоров взвыл:

— Уйди, тварь! Гадина! Уйди!

Но Дуня разошлась не на шутку. Ухватив прапора за ухо, другой рукой хлестала по губам и носу.

Зафыркали кони: примчались патрульные казаки.

— Раааззойдись!

Свистнули плети. Дуню ожгло с плеча до поясницы. Досталось и поручику Ухоздвигову. Офицеры схватились с казаками. А те полосуют их плетями слева направо, присаливая: «Ззарубим, сволочи! Ззарубим!»

— Беги, Гавря!

Отведав плетей, поручик Ухоздвигов вырвался-таки и чесанул в сторону гостиницы, на коне не догонишь. Дуня замешкалась — потеряла сумочку, шарила по земле, а казак нагнулся, схватил ее за воротник:

— Лезь в седло, шлюха! Ну?! Я т-тебе покажу!

— Да вы што?! С ума сошли!

— Лезь, грю, в седло!

Один из офицеров, кажется, штабс-капитан, подоспел на выручку. Ухватил казака за ногу и сдернул с седла. Что было дальше — Дуня не знает: увидела сумочку у себя под ногами, подобрала и бежать в гостиницу.

Ошалелый поручик влетел на второй этаж с быстротою горного козла, раздувая ноздри и не чувствуя, как по лицу из рассеченной щеки и подбородка текла кровь.

В этот момент в коридор вышла соседка из двенадцатого номера, Марина Стромская, в сопровождении своего сидящего брата. С поручиком и Дуней они мало были знакомы, жили замкнуто, ни с кем не общаясь. По своему виду это были весьма интеллигентные и порядочные люди.

— Матка боска! Что случилось, пан поручик?

— Дьяволы пьяные!

— У вас кровь по лицу, пан поручик. А где пани?

А вот и пани Дуня...

Все разом увидели на спине Дуни по белой кофте проступившую кровь — плеть у казака была со свинцушкой. Да и у самого поручика на плечах лопнуло сукно кителя — не сдюжило.

— О, каты! Тебе нельзя туда сегодня, Юзеф, нельзя! Я же говорила... — лопотала маленькая пани Марина, миловидная и аккуратненькая полька, ухватившись за лацканы пиджака своего усатого брата.

— И не вздумайте выходить на улицу! — отрезала Дуня. — Там сегодня такое творится... черт бы их всех побрал! Хорошо, что мы живые с Гаврей выскочили из сада!

Дуня держалась молодцом, она еще не остыла от драки, волосы у нее были растрепаны, лицо пылала, она то нервически хохотала, то

готова была расплакаться от боли в спине — как он ее хлестанул, проклятый казак!

— Это же зверье! Я вас ни за что, ни за что не отпущу на улицу.

— Пойдемте к нам. Вместе нам будет веселее! Гавря, тебе необходимо помыться. Но где же взять воды? Этот лентяй коридорный, сколько ему не говори...

Пан Юзеф принес ведро воды и медный тазик — у поручика Ухоздвигова были расквашены нос и губы. Он все еще грозился, что так этого не оставит, кого-то притянет к ответу, на что умудренный опытом пан Юзеф отвечал, поливая ему воду на руки, что виновных не будет. Он, Юзеф Стромский, хорошо знает русских жандармов и казаков еще с 1911 года, когда его схватили в Варшаве и сослали вместе с женою и сестрою в Сибирь, где полным-полно ссыльных, каторжных, буйствующих, спивающихся с катушек, и потому, дескать, в Сибири не жалуют никого — в семьях разврат, дебоширство, пьянство, нет уважения человека к человеку — зверинец в некотором роде.

— А вы, собственно, чем здесь занимаетесь? — насторожился Ухоздвигов.

— О, молодой человек, молодой человек! Я, конечно, теперь не у дел. Вот сестра преподает французский язык в гимназии. А я совсем не у дел! Но когда-то читал курс истории России и ее восточных окраин в Варшавском университете. Я был профессором. Тогда я еще не был социал-демократом, меньшевиком...

— А! Меньшевик! Ну, социал-демократы, меньшевики, эсеры — какая разница?! Главное сейчас — живым остаться!

У поручика голова болела от побоища и все тело ныло от казачьих плетей. И в самом деле — разгул буйства, и кто знает, кому из них жить, а кому придется аминь отдать!..

— Ну, куда это годится?! Хватит вздыхать и охать! У нас есть вино. Я хочу гулять, Гавря! Ну, что ты нахохлился? Болит? Ну и что? У меня тоже болит! Будем гулять. К черту всех карателей, хотя бы на одну ночь!

Дуня хотела веселиться. Она же — миллионщица! У нее будет золото, золото, золото!.. Любую потасовку можно стерпеть, только бы вернуть золото!..

Луна ушла, но свет ее все еще полоскал небо, а на востоке уже рдела предутренняя заря. Июльская ночь коротка — заря с зарею сходится.

Надо торопиться.

Губернские власти боялись, что при этапировании большевиков может случиться нападение на колонну. Кто знает, сколько подрывных элементов осталось в городе?! Вдруг они вздумают освободить арестантов?

Под покровом ночи надо успеть переправить арестованных в тюрьму!

Вся пристань охранялась солдатами, пешими и конными казаками и чехословацкими стрелками.

На дебаркадере начальство поджидало лихтер с арестованными.

На мачте горел керосиновый фонарь и еще три фонаря висели у кормовой надстройки.

«Тобол», сверкая огнями, медленно прошел мимо дебаркадера, чтобы подвести лихтер. Начальник пристани сам принял с лихтера конец. Двое матросов помогли тянуть канат, покуда лихтер не подошел вплотную. На борту кучкою стояли офицеры и казаки — охрана арестантов.

Когда лихтер причалил, «Тобол», шипя паром, пошел полным ходом вниз по течению, в затон. И все без гудков — как будто пароход онемел при исполнении столь трагического рейса.

От офицеров и казаков на борту разило водочным перегаром до того нестерпимо, что хорунжий Лебедь не выдержал и отошел в сторону.

Полковника Дальчевского не было — «мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

С лихтера первым сошел на баржу конвойный начальник — подпоручик Калупников, сынок управляющего банком.

Ляпунов выслушал рапорт: 238 арестантов, среди них столько-то женщин. Калупников не сказал, сколько убито на пристани Монастырской, — кто их записывал и считал?

Списки красных составлены в пути следования. Сами арестованные будто уничтожили все документы, как партийные, так и гражданские. У некоторых при обыске отнято много денег — билетами, и только у одного золото россыпью, не из банка, собственное — приискатель.

— Ну-с, начнем, господа! — сказал Ляпунов. — Подхорунжий Коростылев!

— Есть!

Ной глянул на Коростылева. Этаким мордоворот! Пожалуй, слона пережует.

— Помогите с вашими казаками команде лихтера вывести арестованных на берег.

Коростылев позвал за собою казаков, на лихтер.

— Все здесь? — оглянулся Ляпунов. Да, все налицо: Коротковский, Мезин, Потылицын, капрал Кнапп — командир чешской тюремной охраны, Розанов, Фейфер.

— А вы что в стороне, хорунжий Лебедь?

Ной подошел ближе. Есаул Потылицын косо, пронзительно посмотрел на него.

Ляпунов напомнил маршрут: по переулку Дубенского до Благовещенской, а там по Плац-Парадному в тюрьму. Общее командование возлагается на коменданта города — полковника Мезина, есаула Потылицына и капрала Кнаппа.

Все ли спокойно в городе?

Начальник милиции Коротковский сообщил, что офицеры и казаки отряда Дальчевского в двух ресторанах устроили побоище и что в городском саду две девушки растерзаны в аллее, четверо ранено — качинцы, мол, орудовали, финками резали. А так все спокойно. Питейные заведения и рестораны закрыты.

Хорунжий Лебедь дополнил, что возле гостиницы «Метрополь» на трех казаков его эскадрона напали четверо пьяных офицеров, стащили с коней, избили, обезоружили и лошадей угнали — казаки-де не отважились применить оружие.

Ляпунов возмутился: что это за казаки?! С лошадей их стащили, избили и коней угнали! Тряпье, а не казаки! Не будут в другой раз налетать на своих же!.. Молодчаги офицеры. Не иначе, как орлы Дальчевского.

На баржу с лихтера вывели Топорова, Агафонова, Лебедеву и Марковского. Сзади их подталкивали прикладами карабинов казаки. Арестованные тащили свои скудные пожитки: Агафонов, в тужурке и фуражке, шел с чемоданом; Топоров, в армейской шинели нараспашку, тоже нес чемодан; Ада Лебедева — в защитной гимнастерке под армейским ремнем, в шароварах и сапогах, простоволосая, стриженная, поддерживала под руку раненого Тихона Марковского. Он был в длинной шубе и в шапке.

— Ага, драные комиссары!

Подполковник Мезин подскочил к Марковскому, выдернул его из ряда и ударил в лицо:

— Голову держи, главнокомандующий! Шуба тебя не спасет, сволочь! Ты опозорил звание русского офицера! Настал твой час, большевик!

Аду Лебедеву задержал полковник Розанов. Схватил ее за ремень гимнастерки, приподнял:

— Ну, птичка, весу в тебе мало, а натворила ты, сволочь, много пакостей. Борис Геннадьевич, — кивнул Ляпунову: — Узнаешь птаху? Кому ты совала под нос свой револьвер? Вспомнила или забыла? Эту тварь четвертовать мало! — И зажав лапой лицо Ады, повернул его, как бы отвинчивая голову...

За первую четверкой прогнали еще группу и с ними Печерского в пальто и кепке, тоже с чемоданом; шел он кособочась и прихрамывая. Кто-то из офицеров опознал его: — «Ага, вот еще один, из тех самых», — а есаул Потылицын кому-то ответил: — «Мы знаем, кого не следует в тюрьму вести». Ной быстро оглянулся на Потылицына — тот разговаривал с Коротковским. Ага! Ясно! Коготь дьявола метит свои жертвы.

Вывели Вейнбаума, Парадовского, Дымова и какую-то женщину с ними. И когда их погнали вниз по трапу, Ляпунов сказал Мезину: «Ни одного из этих!»

Понятно — в тюрьму доставят. Есть на то чье-то высшее указание! А чье?

В следующей четверке, крайним слева, шел Тимофей Прокопьевич Боровиков. Ной сперва не узнал его — босяк какой-то в рваной хламиде, простоголовый, избитый — лицо распухшее.

— Господа! Чрезвычайный комиссар Совнаркома Боровиков! — опознал есаул Потылицын.

Трех арестантов оттеснили в сторону, а Боровикова окружили Ляпунов, Мезин, Коротковский, подхорунжий Коростылев, капрал Кнапп, державшийся до этого в стороне, но решивший взглянуть на комиссара Совнаркома.

— За хлебом приехал?! — узнал Ной голос Ляпунова. — Ты его получишь, комиссар. Сегодня же! Сыт будешь по горловую косточку! Всю совдепию накормишь!

Перебивая один другого, выплескивали на Боровикова ненависть и злобу.

Ной ждал, что Боровикова начнут избивать, но его почему-то не тронули, только Мезин, как бы напутствуя, сказал ему: «Ты, как офицер, умей умереть по-геройски!» На что Боровиков ответил:

— Ладно. Учтем.

И когда он спускался по трапу, Мезин кинул Потылицыну: «Всыпать этому комиссару!» — Потылицын понял: Боровикова отдают ему на расправу.

Ляпунов поторапливал: скорее, скорее! К четырем часам арестованных надо доставить в тюрьму.

Спешно прогоняли женщин — все больше молодых; шли друг за другом, кто в чем: в пальто, в жакетках, почти все с чемоданчиками, узлами.

Вдруг на берегу слышались крики арестованных, как будто тишину ночи развалило воплем на две половины:

— Каарааауул!..

— Поооооогиите!

— Ой, маааа! За что?! За что!

Пьяные казаки, выгоняя арестованных на крутой берег, потчевали их кто чем мог: прикладами, ножнами шашек, плетями.

Ни Ляпунов, ни Мезин глазом не повели, как будто им всем уши заложило.

За женщинами снова погнали мужчин. Ной напряженно всматривался в каждое лицо — Ивана все не было...

И вот протащились последние пятеро стариков — еле шли, поддерживая друг друга. Подпоручик Калупников сказал!

— Все. Разрешите отпустить мою команду. Солдаты дьявольски устали, господа.

Ляпунов поблагодарил Калупникова за доблестную службу и отпустил всю его команду.

Когда с передачей арестованных было покончено, Ляпунов позвал за собой на берег Ноя, пожаловался, что последнее время он совсем не спит — должность управляющего губернией до того уездила, с ног валится; «так что, Ной Васильевич, прошу вас быть моим личным наблюдателем при этапировании арестованных. И если что случится из ряда вон выходящее, немедленно мчитесь ко мне на квартиру в дом купца Свешникова, на Набережной, недалеко от казачьих казарм».

Экая хитрость бывшего вашбродия! Пусть все свершится не в его присутствии. Он оставил своего личного «наблюдателя» — хорунжего Лебеда.

Но ведь Ивана-то нет?!

Может, проглядел?

Арестованных выстраивали по четыре человека, в четырех шагах ряд от ряда.

Ряды чехословацких легионеров щетинились штыками.

Солдаты и пешие казаки занимали вторую линию охраны.

Начинало светать.

Ной шел вблизи колонны, ведя в поводу Вельзевула, заглядывая в лица арестантов.

Обходя колонну с другой стороны, увидел в четвертом ряду крайнего Боровикова.

— А! Хорунжий! — узнал Боровиков. — Не опоздал на базар с мукою?

— Поспел.

— Па-анятно! Про лопату не забудь.

— Про какую лопату?

— Ссволочь, желтолампасная! — ударил, как булыжником, Боровиков, в упор расстреливая взглядом хорунжего.

— Кто обозвал сволочью хорунжего? — взвинул голос есаул Потылицын: он объезжал колонну на вороном коне, а в руке — плеть треххвостка со свинцушками.

Ной, не ответив есаулу, пошел дальше. Но есаул-таки рванул плетью Боровикова, приговаривая:

— Эт-то тебе задаток, комиссар! Зад-даток! Полный расчет получишь в ближайшем будущем. Миллионами, гад! Бриллиантами, па-адлюга!

Стиснув кулаки, едва сдерживаясь, Ной остановился, помотал головой, глянув в ряд, и — оторопел: Селестина Ивановна Грива! Как он ее не видел, когда выводили с лихтера! Узнал до ужаса расширенные, округло-черные глаза — немигающие, полные до краев дегтярно-черной ненависти и презрения. Такой взгляд бывает только у жертвы в тот миг, когда убийца занес кинжал, но еще не вонзил в грудь. «Господи, помилуй!» — обожгло Ноя, но он не отвел глаз от Селестины. Она стояла крайней в ряду, а за нею полная, простоволосая женщина в тужурке. Селестина была в той же гимнастерке защитного цвета, и золотистая кашемировая шаль, кутая плечи, свисала вниз. Ни хромовой тужурки, ни фуражки и ремня! Воители Дальчевского, наверное, ободрали ее, как и всех арестованных, оставив то, что было на ней, да чемодан, который она держала в руке. Увидев Ноя, она отвернулась к толстой женщине в тужурке, проговорив:

— Боже мой, с какими бандитами мы, Клава, встречались в жизни и не подозревали о их подлейшем содержании!

— Тихо, Сенечка. Казак рядом. И без того всех избили — еще изрубят шашками.

— Пусть рубят, гады! Им за все отомстится сторицею! — нарочито громко сказала Селестина.

Брата Ивана в колонне не было.

VIII

Все пили вино, но не все пьянели. Пан Юзеф нервно расхаживал по номеру, порываясь все время куда-то идти. Но пани Марина и Дуня цепко удерживали его и снова садили за стол.

— Пейте, пан Юзеф, пейте! — требовал порядочно захмелевший поручик Ухоздвигов. — Пейте и забудем все, что сегодня было! В этом бардаке надо учиться все забывать. Иначе не проживешь. Не-ет, не проживешь!.. Так чем, вы говорите, занимаетесь теперь, пан профессор?

— Я изучаю типы ссыльных и каторжных Енисейской губернии. Готовлю очерки о Восточной Сибири. За семь лет у меня скопились

такие потрясающие материалы. Вот только цензура...

— Ха-ха-ха-ха! Цензура! Если бы только цензура?! Это — преисподняя дьявола, не государство! Не-ет! Тюрьмы и плети, расстрелы и пытки! Не-э-э государство! Пишите, пан профессор, свои очерки хоть до самой смерти. Я тоже когда-то писал труды по горному делу... Будь оно все проклято! Теперь я хочу только выпить.

Ухоздвигов налил полный фужер коньяку и выпил залпом. Он хотел опьянеть, чтобы ничего не помнить и не чувствовать ноющей боли в плечах и спине от казачьих плетей и офицерских кулаков, и еще большей боли, сжимающей сердце.

— Ко всем чертям! — ударил кулаком по столу Ухоздвигов.

— Гавря! Ты совсем сдурел. Перестань лакать коньяк такими дозами. Что подумают гости?! Ради бога, Гавря!

— «Я верил вам в минуты счастья, при встрече были вы со-о мно-оо-й»... — вдруг затянул романс Ухоздвигов.

— Гавря! Прекрати!

— «Измеен-аа счастье вен-ча-а-а-ет»... — ревел все громче Ухоздвигов.

— Я прошу тебя, Гавря! Умоляю. Перестань орать эту волчью песню. Или я разревусь. На, закури! — и Дуня трясущимися руками сунула в зубы Ухоздвигову папиросу. — Пани Марина, пан Юзеф, простите его. Не оставляйте меня одну! Я с ума сойду с ним здесь.

«Как одиноко! Как страшно одиноко! — думал пан Стромский, расхаживая по комнате и не находя себе места. — Всем страшно и не с кем даже поговорить!». Разве мог он, пан Стромский, открыть этому пьяненькому хлюпкому поручику, такому жалкому интеллигенту с разбитой физиономией, что его жена Евгения, быть может, умирает сейчас среди арестантов, плененных полковником Дальчевским. Как в жизни все у него перемешалось, перевернулось! Разве думал он, что все так обернется, когда женился на русской учительнице Евгении Катышевой, которая оказалась членом РСДРП, большевичкой. Не минуло и двух лет их супружеской жизни, как Евгения была схвачена на подпольной сходке в Варшаве и сослана в Енисейскую губернию, в Канский уезд. А еще через год и сам пан Юзеф с сестрой Мариной были арестованы и определены в ту же «благословенную» каторжно-ссылную губернию, но не в Канский уезд, а в Туруханск — поближе к белым медведям, так что пан Юзеф мог теперь действительно изучать

курс истории окраинной губернии Восточной России сколько ему угодно.

После Октябрьского переворота Евгения Стромская вошла в состав губернского Совета и работала среди польских легионеров, создавая батальон интернационалистов. А когда Советы в Красноярске оказались раздавленными, Евгения, как ее ни уговаривал муж, бежала с красными на одном из пароходов флотилии. А всех захваченных в Туруханске сегодня доставили в Красноярск, но еще не выгрузили с какого-то лихтера. Каково же теперь ему, пану Стромскому? И почему не идет Никифор? Он же обещал все разузнать?!

Настенные часы отбили половину четвертого, когда в коридоре послышались чьи-то шаги.

— Юзеф, это к нам! — сказала Марина и кинулась к двери.

— Мы оставляем вас, пани Евдокия. Очень благодарны. Спокойной ночи. Уже светает.

И вот они снова вдвоем — Дуня и Гавриил Иннокентьевич. Не близкие и не далекие. Сожители на грешной земле.

Ухоздвигов уткнулся лбом в сложенные на столе руки и мгновенно уснул — отключился.

Дуня отодвинула от него тарелки, убрала бутылку. Ей было не до сна! Нервное возбуждение спало, но теперь ее стало морозить.

В дверь кто-то постучался. Вернулась пани Марина.

— О, пани Евдокия! Вы не знаете, что происходит на пристани! Наш знакомый был там. Видел, как гнали арестованных с баржи на берег и били, били — казаки, солдаты! Плетями, ружьями!.. Это что-то невероятное, страшное, жуткое! Их сейчас гонят по нашей улице. Разрешите нам с Юзефом посмотреть с балкона. О, matka боска!

— Зовите, зовите его скорей!

Стромский с Мариной выбежали на балкон.

— Гонят! — раздался голос Стромского.

— Боженька! Гавря! Гавря! Проснись!

— Ну, что такое?!

— Гонят!

— Кого гонят?

— Арестованных гонят!

— А! Пусть гонят всех в преисподнюю! — И тут же рухнул на пол вместе со стулом.

Дуня выскочила на балкон. В улице трое конных казаков, а в отдалении, по Благовещенской — арестованные.

— Эй, вы! Убирайтесь с балкона! — раздался окрик с улицы.

Стромский с Мариной спрятались за балконную дверь.

— Эй, ты! Слышишь?!

— Я у себя дома, где хочу, там и стою.

— А пулю проглотить не хошь?

Казак снял карабин.

— Стреляй, гад, — вскипела Дуня, но Марина и Стромский втащили ее в номер.

Стромский стоял у балконной двери, сосредоточенно накручивая длинный ус. Ухоздвигов валялся на полу. Свет лампы тускнел — розовело небо.

Солнце еще не выкатилось из-за горизонта. В предрассветном мареве белым айсбергом возвышался на площади огромный собор, светясь золотыми тыквами куполов с узорчатыми крестами.

Черная толпа арестантов приближалась. Послышался цокот подков по мостовой, фыркание коней.

Дуня подскочила к Гавре, чтобы поднять его.

— Гавря! Гавря! Да проснись же ты, ради бога!

— Пани Евдокия, не тревожьте его, не тревожьте. Давайте положим его на диван, — сказал Стромский. — И пусть он спит.

Втроем они кое-как затащили Ухоздвигова на диван.

Пан Юзеф все свое внимание сосредоточил на улице, прячась за оттянутую на балкон портьеру. Дуня с пани Мариной тоже спрятались за портьерой.

Впереди проехали конные, за ними шли солдаты с ружьями наперевес, за солдатами пешие казаки с обнаженными шашками, а рядом с арестованными — чехословацкие legionеры с винтовками при ножевых штыках. Вдруг все движение остановилось, как раз напротив балкона. Произошла какая-то заминка. Legionеры почему-то отошли в сторону, а конные казаки подъехали вплотную к арестантам.

— Юзеф! Они что-то задумали! — охнула Марина, а Дуня узнала есаула Потылицына на вороном коне и на соловом — подхорунжего Коростылева. Те самые!

— Боженька!

В этот момент какой-то казак выхватил женщину в гимнастерке из первого ряда. Она отбивалась, но коннику помогал пеший солдат.

— Евгения! — крикнул Стромский и рванулся на балкон.

— Юзеф! Юзеф! Что ты делаешь?!

— Это она, она! — твердил Стромский.

Ной отчетливо видел, как подхорунжий Коростылев перегнулся и, схватив женщину в гимнастерке за ремень, поднял ее и положил впереди себя поперек седла. Кричали арестованные, на них налетели казаки, солдаты и били плашмя шашками, прикладами, плетями. Коростылев ускакал со своей жертвой и двумя казаками.

— Не смешивать ряды!

— Сволочи!

— Черносотенцы! — кричали арестанты.

Из того же первого ряда трое пеших тащили кого-то в шубе, но его держали товарищи. Тогда старший урядник Ложечников накинул аркан на шею человека в шубе и выдернул его из колонны.

— А-а-а! Марковского, Марковского убивают!

Аркан почти задушил Марковского. Он упал, но петля сорвалась, и он, глотнув воздуха, рванулся в толпу арестантов, которые укрыли его. Снова просвистел аркан. Полузадушенную жертву поволокли по земле; двое пеших содрали с нее шубу. И когда Марковский бессознательно ухватился за стремя, Ложечников перекинул его впереди седла, а другой казак ухватил за ноги.

— Стоять на месте! — орал Потылицын, кидая своего коня то в одну сторону, то в другую.

В рядах арестантов началось смятение, слышались истошные вопли. Заорали чехи:

— Конец! Конец! Порядка! Порядка нужен!

— Боженька! — вскрикнула Дуня. Теперь их не гнали с балкона — не до того! — Хорунжий Лебедь! Маменька! Кого это он? Кого? Еврейку какую-то. И он с есаулом?!

Хорунжий Лебедь выхватил Селестину. Толстая женщина вцепилась в нее, Ной толкнул ее так, что она отлетела на других арестантов, подхватил Селестину с растрепавшимися черными волосами, кинул поперек седла у передней луки. Вельзевул взлетел в дыбы, сбив грудью чешского legionera.

Есаул Потылицын с полковником Мезиным, отвечающие за этапирование в тюрьму арестованных, отлично видели, как быстро управился со своей жертвою хорунжий Лебедь. Есаул оглянулся на Мезина:

— Это хорунжий Лебедь! Ему никто не поручал...

— А кому и кто поручал? — вздулся Мезин, напряженный и испуганный происходящей расправой. — Спрашиваю!

— Я и говорю: никто никому не поручал, — извернулся есаул. — Все окончательно взбесились! А свалят на меня и вас. — Увидел рядом казака своей отборной сотни: — Торгашин! Лети за хорунжим. Пусть вернется! И чтоб никакого произвола! — И заорал во всю глотку:

— Стро-ойся!..

А на балконе гостиницы:

— Матка боска! Матка боска!

— Черносотенцы проклятые!

— Боженька! Хорунжий Лебедь заодно с есаулом! Я ему глаза выцарапаю, гаду рыжему!

А внизу бьют, бьют прикладами, плетями, ножнами шашек.

Рев, визг на всю Соборную площадь.

— Стройся! Стройся! — орет с другой стороны полковник Розанов. — Прекратить! Есаул, прикаазываю!

— Боженька! боженька! Полковник Розанов тут, Мезин, есаул, подполковник Коротковский!

Чехословацкие легионеры, исполняя команду капрала Кнаппа, снова оцепили колонну. По четыре в ряд, по четыре в ряд, четыре шага ряд от ряда.

Двинулись...

Ряд за рядом.

Спешили, толкались, подбегая рысью, скорее, скорее!

Пани Марина быстро и часто шептала молитву матке боске; Юзеф Стромский собрался идти на поиски Евгении; это ее увезли первые два казака, он в том уверен. Далеко черносотенцы не увезли — где-то прикончат на Каче.

— Я тоже пойду с вами! — решительно заявила Дуня.

— И я, Юзеф! И я!

— Город на военном положении, — напомнил Стромский. — Всем вместе опасно идти. Будем пробираться задворками по одному.

Смятение. Растерянность, подавленность. Свершилось ужасное, вопиющее!

Розовело небо; сияли золотые купола собора.

Казак Торгашин, пришпоривая своего не столь рысистого коня, потерял из виду хорунжего с его жертвою. Со стороны Качи неслись истошные вопли истязуемых.

— Кааараааул — высоко взмыл истошный женский вопль.

— Кааараааул!

— Спааситее!

И потом раздались выстрелы.

Торгашин увидел, как трое казаков, спешившись у мельницы, полосовали кого-то шашками. Ему показалось, что один из них хорунжий Лебедь. Вопли истязуемых были настолько страшными, что Торгашин, охваченный ужасом, повернул коня и ускакал обратно.

IX

Решение спасти Селестину Гриву хорунжему пришло сразу, мгновенно, когда он в колонне не нашел Ивана, и Селестина кинула в его адрес слова, полные ненависти и презрения. Понимал: в тюрьму ее доставят на короткий срок; как-никак работала в Минусинском УЧК. Когда возле гостиницы «Метрополь» началось избиение арестованных и подхорунжий Коростылев, выдернув из колонны женщину — это была Ада Лебедева, — ускакал с нею, а за ним трое совладали с каким-то мужчиною, хорунжий спешился и отбил от колонны Селестину. И когда Вельзевул понес его галопом по Архиерейскому, он еще не успел сообразить, что будет делать дальше, хотя и помнил о своей тайной квартире, подготовленной для брата Ивана.

По дороге слышал душераздирающие вопли убиваемых откуда-то со стороны мельницы Абалакова... А Вельзевул летел, летел знакомою дорогою вниз, перемахнул Юдинский мост, и не по воле Ноя на мосту перешел на рысь, повернув к ограде Ковригиных. У Ноя сердце екнуло. Вот так штука! Ехать в Кронштадт было поздно: время упущено! Оглянулся, не спешиваясь: казаков не видно. Но и к Ковригиным стучаться не решился — на виду стоит у ворот да и дом из ненадежных все-таки! Осенило: к Абдулле! У Абдуллы проживает на тайной квартире Артем. Да и как бы он поехал в Кронштадт к

Подшиваловым? Как объяснит им, если внесет в дом женщину в гимнастерке в таком состоянии? Сразу догадаются: из колонны арестантов. Это же обеспеченный провал!

Не медля, помчался к Абдулле. На его счастье ворота были открыты — сын Абдуллы, Энвер, выезжал в легковом экипаже в извоз.

Ной въехал в ограду, спешился.

— Ай, бай! Ай, бай! — забормотал перепуганный Энвер.

— Артема позови! Быстро!

— Ай, бай! Ай, бай! — постанывал Энвер, направляясь не в дом, а на задний двор, где у семьи Бахтимировых была шорная мастерская и там же баня.

Ной снял Селестину — она была не в состоянии стоять, ноги подкашивались. А взгляд дикий, полный ужаса. Перепугана насмерть. Ной держал ее возле себя и дрожь ее тела передавалась ему.

Прибежал Артем, в нижней рубаше, босиком. Увидев Селестину, узнал и от неожиданности остановился, будто его парализовало.

— Возьмите ее! Скорее! — напряженно проговорил Ной, и когда Артем подхватил Селестину, не задерживаясь, махнул в седло, развернул Вельзевула и был таков — только цокот копыт раздался в улице.

Колонну арестованных нагнал на подходе к тюрьме. Увидев хорунжего, есаул Потылицын подъехал к нему:

— Где жидовка, которую вы увезли, хорунжий?

Ной успел все обдумать:

— Плывет в обратном направлении, — твердо ответил он.

— Куда плывет? По какому праву вы ворвались, спрашиваю?!

— Разве я не видел, как подхорунжий Коростылев уволок одну...

И я за ним, следственно. Большевичка же! У меня, слава Христе, все обошлось тихо, без рева и крика, следственно.

— Тихо! Черт бы вас побрал! — ярился есаул. Он готов был лопнуть от злости и, матерясь, предупредил:

— Отвечаете вы, учтите! Это вам не сойдет! Кто вам поручал, спрашиваю?

Ной вытаращил глаза, взяв себя в руки. Ну, гад! Этаким хлыщ, а?

— Я-то подумал в суматохе, что брали без особого поручения. И сам потому взвинулся. А кто поручал?

Ничего не ответив, есаул поехал прочь — колонна подошла к тюрьме.

X

Розовела тюрьма в лучах восходящего солнца.

Трехэтажная с полуподвалом, красно-кирпичная, за высокой каменной стеной с железными воротами, прозванная в городе гостиницей «Красный лебедь», она в этот ранний час 27 июля 1918 года ждала измученных и истерзанных арестантов.

Путь от пристани и до тюрьмы был кровавым...

Чехословацкие легионеры по команде капрала Кнаппа один за другим ушли в тюремный двор.

Толпа арестантов сбилась у ворот.

Ной не спускал глаз с подтощалого есаула; его окружили верные подручные: подхорунжий Коростылев, урядник Черногринов (из эскадрона хорунжего Лебеда), казаки — Васютин, Журавлев, Трофим Урван и старший урядник Ложечников. У некоторых были приторочены узлы с вещами казненных. У Ложечникова за седлом лежала шуба Марковского. Ной подъехал ближе.

— Прокурора! Прокурора! — раздался крик арестованных.

— Прокурора! Прокурора!

К есаулу Потылицыну подъехал полковник Мезин:

— Заткните им пасти! Дайте им, сволочам, прокурора!

Потылицын скомандовал:

— Казаки! Дать большевикам прокурора!

Казаки — пешие и конные, врываясь в ряды арестованных, выхватывали некоторых и били плетями, ножнами шашек, кулаками, на всю силушку!

Полковник Мезин, перепугавшись, ускакал прочь «доложить по начальству» — он к сему-де непричастен.

Трое казаков: Василий Шошин, Трофим Урван и урядник Ложечников спешили, и по приказу Потылицына выволокли на аркане из толпы Тимофея Боровикова.

— Тащите его туда, к стене, — показал Потылицын вправо от ворот тюрьмы.

Босоногий, в рваных брюках и в такой же рваной гимнастерке, избитый, с наполовину оторванным рукавом, простоголовый, с арканом на шее, Тимофей шел за казаками — Василием Шошиным и Трофимом Урваном, каратузскими одностаничниками, а сзади его подталкивал шашкою старший урядник Ложечников из того же Каратуза. Потылицын и Коростылев ехали на конях. Повернули за угол северо-восточной стены.

— Здесь! — остановил Потылицын, спешившись. — Па-аговорим, чрезвычайный комиссар! Держите его за руки.

Трофим Урван и Василий Шошин вытянули руки Боровикова по стене, распяли, как Христа на Голгофе.

Потылицын кинул чембур своего коня Коростылеву, молча шагнул к Боровикову и, размахнувшись от левого плеча, хлестнул треххвосткой — кровь брызнула. Боровиков в ярости вырвал руки, но тут же напоролся животом на шашку урядника Ложечникова.

— К стене! К стене! — заорал Потылицын, и Урван с Шошиным снова ухватили Боровикова за руки. Ложечников размахнулся было шашкой, но Потылицын успел крикнуть: — Па-агоди!

Из распоротого живота ударила кровь, и гимнастерка моментально потемнела.

— Та-ак, большевичек! — цедил сквозь зубы Потылицын. — Думал, навек пришла ваша бандитская власть? А вот и конец ей! Может, «Интернационал» споешь?

Боровиков все еще был в сознании. Он стоял лицом к солнцу и видел, как солнце медленно всплывало над городом, разбрызгивая розовые лучи по горам правобережья. Это было его последнее солнце, последние горы, последнее утро! Где-то была тайга, Белая Елань, Петроград, Смольный и его собственная молодая жизнь, и любовь к Дарьюшке, на которую не хватило ни времени, ни места, потому, что сердце его сгорело в борьбе. Все это сейчас, сию минуту, кончится, а ему было жаль покидать этот мир с солнцем. О чем он думал и как он думал в последние минуты своей жизни — этого никто не узнает, но он с жадностью смотрел на солнце.

— Куда смотришь, Боровиков? На небо? В рай сготовился, комиссар? Не будет тебе рая! — остервенел Потылицын и еще раз хлестнул плетью по лицу, и в тот же миг для Боровикова навсегда потухло солнце...

— Кончайте! Без выстрелов! — кинул Потылицын карателям и, взяв повод своего коня, ушел не оглядываясь.

Стон и вопли арестованных неслись теперь из ограды тюрьмы. Конные казаки все еще сидели в седлах, курили. Десятка полтора коней было привязано у прясел, а хозяева их избивали арестантов за каменной стеною возле тюрьмы. Никого из офицеров, кроме хорунжего Лебеда, не было по эту сторону тюремной стены.

Потылицын кинул повод своего коня какому-то казаку, чтоб тот поставил его отдохнуть, и подошел к Ною.

— Отойдемте, хорунжий. Поговорим, — сказал, покривив губы.

Остановились поодаль от казаков.

Потылицын достал портсигар и закурил; руки его тряслись и губы дергались.

— Ну вот что, хорунжий. Должен вас предупредить: никаких разговоров! Вы никого не видели, и вас никто не видел.

— Должно быть так.

— Иначе и быть не может, — скрипнул Потылицын. — Тюрьма примет живых, не мертвых.

К тюрьме кто-то ехал в пролетке, и двое скакали в седлах.

— Кажется, губернское начальство, — покосился Потылицын, сжевывая мундштук папиросы. — Мезин поднял переполох, сволочь. Ну-с, будем держаться! Они ведь только для приличия будут орать и возмущаться, а все обдуманно ими же, и музыку они заказали!.. Я со своей стороны разделался только с одним, а все остальное — музыка по ихнему заказу. Ну, а вы сверх того постарались. И кончено! Концы, как говорится, в воду. Туда им и дорога!

Так вот оно как! Музыка заказана высшими властями!

Потылицын почтительно встретил прокурора Лаппо, полковника Ляпунова, полковника Мезина: так и так — арестанты взбунтовались. Несколько раз предпринимали попытку совершить побег, но доблестные казаки вынуждены были применить оружие.

Лаппо заорал:

— П-пообег? Какой может быть по-обег?! Как мне известно, творилось бесчинство, самосуд.

— Самосудов никаких, помилуйте! Но при попытке к бегству...

— Вранье!

— Позвольте, господин прокурор, — вступился Ляпунов. — У меня есть другие данные: еще на пристани некоторые большевики пытались бежать, но были вовремя схвачены.

— Господин Мезин, что вы говорили мне? Подтвердите! — потребовал Лаппо.

— Я вам говорил, господин прокурор, совершилось вопиющее преступление, — бормотал Мезин, косясь на Ляпунова.

— Именно — вопиющее!

— Большевики пытались совершить побег на Ново-Базарной площади, — закончил Мезин, сообразив, наконец, что к чему. Против ветра — не надуешься!

Лаппо захлебнулся:

— Па-азвольте! Ничего подобного я от вас не слышал!

— Помилуйте, господин прокурор! Именно это я и хотел вам сообщить.

— Ах, вот оно что! Хотели сообщить, но почему-то не сообщили! Как вас надо понимать?

— Вы не успели меня выслушать.

— Любезно! Очень любезно с вашей стороны. Вы подняли меня в пятом часу утра, и я не успел вас выслушать?! А там, что за содом во дворе тюрьмы?

— Мне это неизвестно, — отчеканил Потылицын. — По-видимому, они все еще сопротивляются.

— Кто сопротивляется?!

— Арестанты, господин прокурор. Требуют освободить их немедленно и вернуть им власть. Если вы хотите это сделать — пожалуйста!

Прокурор поутих.

— Хорунжий! — оглянулся Ляпунов. — Предупредите всех офицеров и казаков: не разъезжаться до особого распоряжения.

— Есть предупредить!

Мезин заметил посторонних людей у северо-восточного угла тюремной стены. Что это за люди?

— А это, надо думать, из тех, которые поджидали большевиков, если бы им удалось бежать. Вот вам, господин прокурор, полюбопытствуйте! Как с ними поступить?

— Задержать! — ответил Лаппо.

Потылицын отослал трех казаков арестовать подозрительных и тут же успел шепнуть Коростылеву: «Метись к стене и сию минуту унеси ко всем чертям труп! Головой поплатишься! Живо!»

Вскоре к прокурору Лаппо с Мезиным и Ляпунову подогнали задержанных — двух женщин и мужчину.

Кто такие? Откуда? Юзеф Стромский? Ссылнопоселенец? Профессор из Варшавы? Большевик? Как так не большевик! Выясним, господин Стромский. А вы, дамы? Марина Стромская? Сестра профессора? Великолепно! А вы, как вас?

Дуня не успела ответить, опередил Потылицын:

— Эта та самая Евдокия Юскова, господин прокурор, которую я арестовывал 18 июня на вокзале. Я еще тогда сказал: она связана с Боровиковым — чрезвычайным комиссаром Совнаркома! Только что перед вашим приездом от ворот тюрьмы Боровиков кинулся в побег. Казаки догнали его и успели прикончить. А вот и сами господа пожаловали, которые должны были укрыть Боровикова, да опоздали.

Ни пан Юзеф Стромский с пани Мариной, ни даже Дуня, которая никогда не терялась в трудные моменты жизни, — никто из них слова не успел промолвить в свое оправдание, как прокурор коротко рявкнул:

— Водворить в тюрьму!

— Есть! — подтянулся Потылицын.

У Дуни мороз пошел по спине — вот уж влипла так влипла!

XI

Дуню со всей ее компанией не сразу занесло к стене тюрьмы.

Выбравшись из гостиницы на Всесвятскую, они услышали истошные вопли истязуемых где-то возле Качи. Побежали туда.

Чуть выше моста, слева, вверх по течению реки, у мельницы Абалакова, трое конных топтали и избивали кого-то.

— О, каты, бог мой, каты! — взмолилась пани Марина. — Может, там Евгения!..

Ни в одной из бревенчатых избушек, втиснутых в болото возле речки, не было огней, ни одного окна, открытого на Качу, — все под ставнями с железными накладками. Надрывая глотки, выли и лаяли собаки.

Не доходя до мельницы, услышали сдавленный стон. Казаков и след простыл.

На взгорье, у бревенчатого амбара, лежала женщина — навзничь, руки и ноги вытянуты вдоль тела, в гимнастерке, шароварах и серых чулках. Стромский разглядел каждую черточку на ее лице. Чуть вздернутый нос, глаза открытые, серые; маленькие уши в крови и грязи — правое рассечено; высокая шея и оголенное плечо — на плече две рубленые раны; волосы русые, чуть вьющиеся, стриженные — слиплись. Она была молодая. Не Евгения. Нет! Но он узнал эту женщину — это была Ада Павловна Лебедева, большевичка. Стромский встречался с нею в казармах польских легионеров.

— Ма-ама! Пи-ить, — тихо, очень тихо в беспамятстве просила Лебедева.

Стромский в пригоршнях принес воды, но она и глотка не выпила.

Дуня нашла еще одного раненого, брошенного в Качу. Правая нога согнута в колене, левая в воде. Руки сложены на груди. В рубашке защитного цвета, в кальсонах, босой, весь в крови. Подбородок и правое ухо отсечены.

Дуня с Мариной испуганно отступили: человек все еще был жив! Он стонал трудно, прибулькивая, взхлеб.

Шагах в десяти от него, за сваями, лежал еще один мужчина — ничком, босой, правая рука откинута, кулак сжат; левая со сжатым кулаком — под подбородком; в грязной рубахе и окровавленных шароварах коричневого цвета. На голове две рубленые раны; третья — пулевая, с затылка в лоб навывлет; и на спине две пулевых, а шашечных не считали — весь исколот.

Откуда-то появился милиционер.

— Кто такие? Почему здесь? Жителям запрещено разгуливать! Комендантский час — не знаете?!

— А, милиционер! — подступил к нему Стромский. — Где вы были, когда казаки рубили шашками вот эти жертвы?!

— Жертвы? Казаки, говорите?! Спокойно, граждане, — струхнул милиционер. Чего доброго, эти трое прибьют его здесь. — Разберемся! Я мигом. Не трогайте убитых!

И убежал.

— Подлец! — кинул ему вслед Стромский. — Теперь его не дождешься. Надо самим дать знать в больницу — может, еще спасут

этого?.. Мы должны всем рассказать, что здесь увидели...

От тюрьмы все еще неслись крики избиваемых. И там, быть может, еще жива Евгения, и найдутся люди, которым можно сказать про весь этот ужас, что они увидели здесь, на Каче!

Побежали к тюрьме. И у северо-восточной стены натолкнулись еще на одно тело, изрубленное шашками. Дуня опознала — Тимофей Прокопьевич Боровиков...

Тут и взяли их казаки...

XII

Хитрость на хитрость метала; глазами в глаза смотрели, а говорили совсем не о том, что думали.

Ляпунов отчитывал хорунжего Лебеда.

— Ах, как это нехорошо! Возмутительно, голубчик. Я же вас оставил, понадеялся, а произошел этакий непредвиденный конфуз! Вы понимаете, чем это нам грозит?

— Само собой.

— Оставьте это свое «само собой»! Кого выхватили?

— Про то ничего сказать не могу.

— Вы же при колонне были?

— Сзади ехал. В арьергарде, стал быть.

— Ну, знаете ли! «В арьергарде»! Нет, с вами невозможно говорить. Ну, влипли! Надо же, а? И Потылицын с Мезиным. Шкуру бы с них спустить.

«Эге! Спустите шкуру, как же! Не совместный ли сговор был у вас, господа пригожие?»

— А там еще кто едет? Сам Прутов! — враз поутих Ляпунов. — Ну вот что, Ной Васильевич. Будем держаться плечом к плечу. Этот с бородкой играет в демократию. Понимаете? И мой Троицкий с ним! Ну, попович еще покажет себя!..

А через минуту разлюбезно улыбался министру Прутову.

Ох, хо! Чистые бандиты. Как высшие, так и низшие.

Прутов орал до хрипоты в глотке — такие, рассякие! Черносотенцы! Он, министр, сию минуту поставит обо всем происшедшем в известность Гришина-Алмазова! Всех, всех вас до единого гнать надо из армии!..

Троицкий не ввязывался — он все-таки только товарищ управляющего губернией. Пусть отвечает головка!..

Когда и с кем подъехал полковник Дальчевский, Ной не видел, но вдруг встретился с ним лицом к лицу. Оробел даже.

— А, хорунжий! — узнал Дальчевский. — Оч-чень рад! — И первым подал руку Ною.

Потискались. Не крепко, но уважительно.

— Как служба?

— Слава богу.

— Очень рад. Что тут произошло?

— Дак, в арьергарде ехал. Не видел.

Дальчевский захохотал:

— Ах, хитрец! Ну, председатель! Каков, а? А вообще-то за тот митинг в Гатчине надо бы вас, извините, вздуть.

Прищурился, и голосом пониже:

— Наделали переполоху! Уму непостижимо! Весь город взвинчен. В пять часов утра судья Суриков с врачом Гнетевым подняли на Каче три обезображенных тела: Марковского, Печерского и Лебедевой. Всех трех доставили в городскую больницу, понимаете? Это значит: официально будет записано и припечатано! Вопиющий факт.

Ах, вот что беспокоит Мстислава Леопольдовича! Дело предано огласке, а он сейчас в таком почете! Надо, чтоб все было в ажуре; из пятисот уплывших красных в город доставлено двести тридцать восемь, остальные будто бы бежали в тайгу! Туруханск — не близкий уголок. Туда можно всю Россиюшку упрятать, и следов не сыщешь. И никакого возмущения общественности!

Подумал так Ной, но ничего не сказал: верти в собственной башке жернова, да язык держи на привязи.

— Четырех, говорят, у тюрьмы убили?

— Не могу сказать, Мстислав Леопольдович, — ответил Ной; он и в самом деле не знал. С площади ускакал от колонны, а когда вернулся, арестованных успели загнать в ограду тюрьмы и там продолжали побоище. Убитых, наверное, утащили туда же, чтоб следы замести. Один остался за углом — Тимофей Боровиков — хорунжий видел его. Теперь, может, его подобрали.

Узкое, выбритое лицо Дальчевского ехидно улыбалось:

— Как же ничего не знаете, если сами приняли участие! И ваши казаки! Боровикова комиссара не вы казнили? Или успокоились на одной жертве? И все это наделали казаки вашего эскадрона! Хорроши!..

— Никак нет. Казаки мово эскадрона патрулировали город, а в этапировании были казаки из сотни Потылицына. Мне поручено только, чтобы никого из посторонних не было в улицах.

— А посторонние были, оказывается? — прицелился Дальчевский.

— Не видел.

— У Качи нашлись свидетели. Даже казаков спугнули. И сюда к тюрьме пришли. Большевики?

— Трех тут арестовали при мне, а кто такие — неизвестно. С ними была Евдокия Елизаровна Юскова. Дак разве она большевичка?

— Дуня Юскова?!

Уж кого-кого, а Дуню-то Мстислав Леопольдович знает!

— Как же она влипла?

— Того не могу сказать.

— М-да! — Дальчевский пожевал тонкими, скаредными губами, недобро косясь на рыжую бороду хорунжего. — Не обижайтесь на меня, — сбавив тон, сказал Дальчевский. — Я же как-никак защитник вам по делам Гатчины.

(Ох, уж защитник! Давно бы Ной голову сложил на плахе, кабы надеялся на таких защитников!)

— Ах, да! Что это у вас за рыжий конь? Таким же манером добыли, как в Гатчине?

— Купил у одного извозчика.

— Ха-ха-ха-ха! Нет, вы неубойный, хорунжий! Но если вы попадете в руки красных, как вы полагаете, они помилуют вас за подобную службу у белых? Подпольный комитет большевиков действует в городе. Ждите — выпустят листовку.

— Пущай выпускают. Кто их читает, те листовки?

— Читатели есть, хорунжий! Да власть не у них в руках. Сами они, эти подпольные товарищи, если бы еще раз дорвались до власти, не так бы расправились со всеми офицерами и казаками! Так что нам надо держаться в строгом соответствии, и — никакой пощады большевикам! Ни малейшей! Скоро мы с ними разделаемся.

— Угу! — кивнул хорунжий; вот теперь он узнал прежнего Мстислава Леопольдовича. — В Минусинск охота. Батюшка у меня атаманом, а хозяйство без мужчин в разор идет.

— Ну, ну, братец! Пусть пока хозяйствуют женщины. Вы так и не женились? Могли бы успеть! Жду, когда пригласите на свадьбу.

— Невеста ушла к другому. Поручика сыскала.

— Вот как? Кто же это? Что?! Евдокия Елизаровна? Хитрец вы, однако! Богатая невеста, но навряд ли она вам достанется. Чересчур вольная птица!

Еще раз пощупали глазами друг друга, играя в доброхотство и братство.

Скребет у Ноя: не обмолвится ли Мстислав Леопольдович про брата Ивана! Все глаза проглядел, а в колонне его не было. Где же Иван? Если бы его прикончили в пути следования — по лицу Дальчевского можно было бы понять. Или он, Ной, разучился понимать морды вашбродий?

— Что это гудит? — прислушался Дальчевский.

— В тюрьме, должно.

XIII

Тюрьма гудела.

Заключенные били в окованные железом толстущие двери с двойными замками — в коридорах можно оглохнуть. От подвальных калориферов до камер смертников на четвертом этаже — со всех сторон неся гул и рев арестантов.

— Прокурора! Прокурора! Прокурора! — кричали в тысячу голосов арестанты.

Во всех коридорах, с оружием на изготовку, немо тарасились друг на друга чехословацкие охранники капрала Кнаппа, а русские надзиратели, с ключами от камер, очумело жались у дверей, чтоб в случае чего бежать первыми.

Тюрьма гудела, гудела, гудела...

И этот гул и рев возбуждающе действовал на министра Прутова, прибывшего в тюрьму на совещание по поводу трагических событий минувшей ночи.

На совещании присутствовали все офицеры, принимавшие участие в этапировании арестованных; от чехословаков были трое: подпоручик Богумил Борецкий, капрал Кнапп — комендант тюрьмы, и поручик Овжик — эмиссар главнокомандующего Гайды.

До начала заседания Прутов в сопровождении начальника тюрьмы Фейфера и двух его помощников обошел весь обширный двор с этапными бараками, побывал в бане, в кочегарке; он тут знал все закоулки с давнишних лет, когда еще в девяностых годах, будучи ссыльным, служил доктором тюремной больницы; министр заглянул даже в калорифер.

Свет электрических лампочек, черных от копоти, едва освещал каменные закутки.

— Что здесь? — крикнул он. — Дайте фонарь!

Под брезентом грудилась бесформенная гора. Он узнал брезент — тот самый, которым покрывали трупы усопших еще тогда, двадцать лет назад.

Министр откинул брезент и отстранился; перед ним лежали изуродованные, окровавленные трупы.

— Сколько их тут?

— Семеро. Пять мужчин и две женщины, — глухо ответил Фейфер.

— Фамилии известны?

— Не установлены — еще глуше ответил Фейфер.

— Не могли установить или не хотели?

— Не было возможности, господин министр. Если бы вы видели, что тут творилось! Я и представить себе такое не мог.

— Офицеры устроили кровавый шабаш?

— И офицеры, и солдаты, и чехи.

— Чехи не трогали арестованных!

— До тюрьмы не трогали, а здесь — помилуй бог, что они творили!

— О, господи! — шумно вздохнул министр и примолк. Он и сам не знал, что же ему предпринять? Арестовать виновных? А кого именно? Чехов — не в его правах; офицеров, ответственных за этапирование? А казаки? Казаки! О, господи! До чего же мы докатимся?..

В этот момент гул в тюрьме усилился, будто к перезвону малых колоколов присоединился набатный рев большого колокола.

Министр согнулся, втянул голову в плечи и вышел из «преисподней» во двор. Остановился, хватая ртом свежий утренний воздух. Никогда не жаловался на сердце, а тут притиснуло. В глаза навязчиво лезли окровавленные, изрубленные шашками трупы.

— О, господи! — взмолился он еще раз.

«До чего же мы докатимся?» — снова и снова спрашивал себя и ничего не мог ответить.

Свою речь на совещании Прутов начал с истории Рима. Знают ли господа офицеры, почему развалилась могущественная Римская империя?

— Тирания, террор погубили империю, господа. Я должен сказать вам: всякое насилие, жестокость, какими бы они благими намерениями не маскировались, в конечном итоге приведут к гибели тех, кто развязал жестокость и тиранию! Ибо, господа, тирания сама себе вьет веревку, в петле которой испустит дух. Рано или поздно, но так должно произойти. Угарный смрад тирании разлагает людей, кастрирует их, здоровых превращает в безнадежных шизофреников, в пьяниц, тупиц, и тогда сама нация скатывается к самоуничтожению. Да-с!

Дальчевский наклонился к уху Ляпунова, шепнул:

— Да он без трех минут большевик!

— Не большевик, а классная дама с бородкой. С большевиками он собирается воевать аспириновыми порошками, — ответил Ляпунов.

— С меня довольно! — проворчал Дальчевский и поднялся. — Прощу прощения, господин министр. Вам не кажется, что вы злоупотребляете нашим долготерпением? Господа офицеры устали...

Министр захлебнулся на фразе про события в Нижнем Новгороде, где будто бы тройка большевиков без суда и следствия расстреляла девиц и офицеров...

— До совдепии мы еще доберемся, — продолжал Дальчевский. — А вот до империи Рима — далековато; свежо предание, а верится с трудом. От обжорства патрициев или от беспробудного сна погибла Римская империя — нас это мало интересует. На шее у нас большевики. И мы с них шкуру красную снимем! Про тиранию и жестокость, о чем вы так красноречиво говорили, позвольте возразить: всякая власть — тирания и жестокость. И удержится только та власть,

господин министр, у которой будут железные кулаки и жернова в желудке, чтоб прикончить и перемолоть таких несъедобных субъектов, как большевики. Да-с! А то, что нация тупеет и глупеет — ерунда, извините! Мы не собираемся лепить из людей богов — им нечего делать на нашей земле; на наш век хватит чертей и тупиц, а для них нужна крепкая власть. Не надо тратить много слов, когда тюрьма гудит!

Тюрьма и в самом деле продолжала гудеть, и даже стекла в окнах позванивали.

— Позвольте спросить, господин министр, что вы прикажете предпринять, если бунтовщики из камер вырвутся в коридоры, сомнут стрелков и схватят нас тепленькими? Будете ли вы их утешать речами или прикажете нашим солдатам стрелять?

Министр затравленно уставился на Дальчевского, тяжело вздохнул и сел.

— Уголовники!

Ной поглядывал то на одного, то на другого офицера, складывал себе на уме: вот уж банда так банда дорвалась к власти!

В десятом часу утра казаки забили площадь — тюрьма притихла...

Прокурору Лаппо в этот день пришлось открыть новое уголовное дело за № 1255 об убийстве Марковского, Печерского, Лебедевой (о трупах в калориферах — ни звука).

Состоялось еще одно секретное совещание министра Прутова с Ляпуновым, Коротковским, Мезиным и Троицким, на котором вынесли решение: есаула Потылицына с его помощником — подхорунжим Коростылевым и со всеми казаками, принимавшими участие в этапировании, срочно отправить из Красноярска в Минусинск, где Потылицын возглавит Минусинский военный гарнизон. Щуку бросили в реку, чтоб жирок нагуливала!

XIV

Лаппо долго думал, прохаживаясь по кабинету и косо поглядывая на Дуню.

— Вам известно, что за господа — Юзеф Стромский и его сестра?

Дуня знает их, как хороших, отзывчивых людей. Самые порядочные.

— Порядочные? Любопытно! Если большевики для вас порядочные, то позвольте спросить: почему же вы с женским батальоном шли свергать их в Петрограде?

Дуня спохватилась:

— А разве они большевики?

— Отъявленные! Из подпольного комитета, — ввернул для острастки Лаппо. — И вы, надо думать, бывали на заседаниях комитета?

— Боженька! Да что вы?

— По заданию комитета большевиков Стромский и его сестра должны были организовать побег Марковского, Печерского и Лебедевой, — безбожно врал Лаппо. — Нам это известно. На площади возникла опасность побега, и конвой вынужден был принять крайние меры. А вот вы сейчас выступаете в защиту большевиков. Я, со своей стороны, обязан открыть на вас уголовное дело, как на соучастницу задуманного преступления.

— Я ни в чем не виновата! — моментом открестилась Дуня.

— Но вас захватили со Стромскими?

— Боженька! Я ничего такого не знала. Мы хотели только посмотреть...

— Не знали? Так почему же вы даете компрометирующие показания на господ офицеров? Называете их фамилии?! Порочите патриотов отечества?

У Дуни лицо вспотело.

— Нет, нет! — смешалась она и вдруг призналась: — Я, однако, обозналась.

— Ну вот видите! — У Лаппо голос чуточку оттаял; как будто все идет хорошо. Надо эту особу выпутать из столь неприятного дела, чтобы не было лишнего свидетеля, как о том предупредил его полковник Дальчевский.

Приструнив незадачливую свидетельницу, Лаппо составил коротенький протокол, в котором Евдокия Елизаровна дала показание на Юзефа Стромского и его сестру, как они-де обзывали всячески казаков и офицеров, рвались с балкона, чтоб выхватить Евгению Стромскую, да побоялись усиленного конвоя, и потом утащили Дуню с

собою к тюрьме, а к чему и зачем, она не знает. Про казненных в Каче возле мельницы и про Боровикова у тюремной стены — Лаппо ничего не записал.

— Для вас это будет лучше.

Дуня притихла. Надо помалкивать.

— Должен предупредить, — стращал Лаппо. — Никому ни слова, что вы видели и слышали. Никого не называйте! Ни единой фамилии! Да, да! Никаких откровений! Подпольный комитет большевиков действует, не забывайте! Уши у них длинные — везде слышат и ловят простаков. При моем содействии, если вы будете держать себя благоразумно, банк выдаст вам сданное вами золото, и вас введут в права наследницы капиталов отца. Но при одном условии: с поручиком Ухоздвиговым вы немедленно уедете в Минусинск.

Уложив бумаги в портфель, прокурор вывел Евдокию Елизаровну через проходную тюрьмы и еще раз напомнил, чтоб не задерживалась в городе: золото ей выдадут завтра, и поручик Ухоздвигов получит назначение в Минусинский гарнизон.

Время перевалило за полдень. Плавилось солнце, истекая на дымчатую землю потоком горячих лучей. Жарища. Только что уехали казаки, оставив возле тюрьмы конские кучи, вокруг которых собирались вороны. Невдалеке поджидал прокурора рессорный экипаж; кучер спал в затенье. Гнедой мерин, жарясь на солнце, понуро опустил голову возле прясла.

— Вас подвезти? — спросил Лаппо у Дуни.

— Если можно.

— Прошу.

Лаппо разбудил мужика в синей косоворотке, тот сладко потянулся, зевнул, косясь на Дуню. Взобрался на облучок, оглянулся на Лаппо с пассажиркой, подобрал вожжи:

— Н-но! Животное!

ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ

На Благовещенской Ной обогнал Дуню с прокурором. Не тонушая, якри ее! Должно, любовник Мстислав Леопольдович замолвил словцо за «сестру офицерского подпольного союза». А вот другие как? С портками и потрохами сгниют в тюрьме — лютость-то по первой пене идет. Дуреют белоказак, удержу нет. Накуролесят, немало снесут безвинных голов, окончательно упьются кровушкой, а потом вернуться, как ветер, на круги своя, и повинные головы сложат на плаху.

Трое зверски истерзанных на берегу Качи...

Семеро (или больше?) затолкано в калорифер...

Комиссара Боровикова изрубили у тюремной стены...

Угарно и тяжко!

Не солнцем холсты отбелятся — кровушкой выстираются и лютыми ветрами сурового времени высушатся!..

Ярость — на ярость; копыто — в копыто; зуб — в зуб; око за око; небу жарко будет!..

Мерю жизни свершится отмщение народа белобандитам, никому не избежать его, каждому воздастся по заслугам и карательным подвигам.

Отмщение мерю жизни — неотвратимо!..

Ишь, есаул Потылицын принял хорунжего Лебеда за «сваяка», в любезный разговор пустился; Дальчевский и тот подобрел, хотя и выговаривал Ною для отвода глаз, благородная стерва! А как бы они посмотрели на Ноя, если бы им стали известны доподлинные его дела?

Жарища томит, а усталость и того больше. Не из боя, а нутро перегорело — кишки слиплись.

После затянувшегося совещания в тюрьме, на котором представитель чехословацких войск Богумил Борецкий со своими офицерами категорически отстоял хорунжего от губернских воротил, чтобы не ссылали их друга, Ноя Василича, за учиненные бесчинства в Минусинский гарнизон вместе с головорезами есаула Потылицына, Ною пришлось поехать с чешскими офицерами на обед в салон-вагон Богумила Борецкого. Обед был шикарным. Подвыпившие офицеры вместе со своим командиром пустились в разговоры на чешском и словацком, орали национальный гимн, девиц позвали, граммофон крутили. А Ной, оттесненный в сторону, уселся в угол возле сваленной

в кучу одежды. Пододвинул ближе стул с перекинутой через него чьей-то шинелью, облокотился.

Морил сон — измучился за ночь. И так и сяк пристраивался — неудобство! Перевернул шинель подкладкой кверху, чтоб голову прислонить, и обомлел: под ноги выкатилась пачка пропусков! Новехонькие! Точь-в-точь, как у него. Только чистые, незаполненные, с печатью и подписью, отпечатанные в типографии чешской контрразведкой для проезда по железной дороге и свободному хождению на территории, занимаемой эшелонами. Тоненькая, картоночка, но сколько в ней силы! Пока заталкивал пропуска обратно, — огляделся вокруг. На него никто не обращая внимания. Понять того не мог, как руки отполовинили стопку, потихоньку переправив ее в объемистый левый карман брюк.

Помянул господу бога и вытер тылом правой руки пот со лба. Отодвинул стул, перешел в другой конец вагона, уселся в кресло, положив голову на эфес шашки.

Прочитал трижды «Отче наш иже еси» и, как это всегда случалось с ним после перенапряжения, храпанул, да так густо, что офицеры с командиром вдосталь нахохотались. Перетащили граммофон поближе к Ною, направили трубу прямо в ухо и запустили пластинку с романсом «Я встретил вас — и все былое...»

Ной сладко причмокивал губами, и дул, аж усы шевелились. Девицы, толпясь с офицерами возле стола, подпевали граммофону.

«Патриарх казачий» чуток переменял положение головы, и заросший бородой рот его выдул нечто схожее с «тпррру», да трижды так.

— Он едет на коне, ей-богу!

— Остановился, если сказал «тпррру», — похохатывали девицы.

Офицеры хором подхватили:

— Тпррру! Тпррру! Тпррру!

И Ной, дрогнув, проснулся.

Богумил Борецкий потешался:

— О, как ви храпел, Ной Василич! Как ви храпел! И «тпрру, тпрру» говорил свой Вельзевуль.

Ной, невинно усмехаясь, развел руками:

— Уморился я, господа. Извините великодушно.

— Ми — извиняй. Ты можешь пойти наш вагон рядом. Купе есть шикарно. Там спать будешь!

— Дозвольте великодушно, господин командир, поехать домой. Отдохнуть надо после таких суток.

Борецкий дозволил отбыть на отдых.

Отъехав от вокзала на тихую улочку, Ной спешился, отпустил подругу и, достав из кармана опасную добычу, засунул в один из потайных кармашков потника. Так-то надежнее и безопаснее!

На Благовещенской увидел Дуню...

Навстречу шел автомобиль с открытым верхом. Ной свернул на обочину. Автомобиль остановился.

— Господин хорунжий! — раздался бабий голос подполковника Каргаполова. — На минуточку!

Ной подъехал к автомобилю, Вельзевул фыркал, но беспрекословно слушался хозяина. Ной достаточно натренировал его за месяц. С вокзала отпускал, и Вельзевул приходил один к дому Ковригиных, бил копытами и ржал, пока ворота не открывали.

Блинообразное лицо Каргаполова с его свинными узкими глазами было настороженным и злым. Хищные ноздри сузились, и нос будто стал тоньше.

— Где вы были, хорунжий, с одиннадцати утра?

— На вокзале.

— В эшелоне у Борецкого?

— Там.

— Завидую вашему спокойствию и самоуверенности, — сузил глаза Каргаполов, зло поглядывая на богатырскую фигуру хорунжего. — Что же вы там делали, у Борецкого?

— На обеде присутствовал.

— Весьма похвально! А я вот в комиссариате вынужден был париться с этими утренними делами. Неслыханное зверство! Ни одна жертва столь жестоко не была казнена, как большевичка Лебедева. Этот вопрос, как и ряд других, меня, как губернского комиссара, крайне заинтересовал, господин хорунжий. — Завидев в экипаже прокурора Лаппо, Каргаполов помахал рукою, позвал: — Иван Филиппович! Прошу вас!

Что еще за номер подготовил для него этот упитанный, брюхатый недоносок с бабьим голосом? Вздумали свалить на него, Ноя,

зверскую казнь большевички Лебедевой? Ведь подхорунжий Коростылев выхватил Лебедеву. Надо быть предельно осторожным.

К автомобилю подошел прокурор Лаппо, поздоровался с Каргаполовым.

— Вы с кем, Иван Филиппович?

Лаппо ответил: едет до гостиницы «Метрополь» со свидетельницей Евдокией Елизаровной Юсковой, обвинявшей офицеров в учиненном разбое над арестованными большевиками.

— Ах, вот как! Очень кстати, — оживился Каргаполов, ворочаясь на мягком сиденье. — Есть чрезвычайно важный разговор, Иван Филиппович, касающийся учиненного произвола. Имеются важные данные. И, кроме того, мы собирались с вами решить один вопрос. Поскольку счастливо съехались, прошу вас ко мне в присутствие с госпожой Юсковой, чтобы разом покончить со всеми делами.

— Хорошо. Сейчас подъеду, — густо пробасил Лаппо, покосившись на хорунжего.

Каргаполов пригласил хорунжего следовать за автомобилем в дом комиссариата.

Автомобиль шел на малой скорости, воня бензином.

Отослав шофера в каменный дом политического отделения за офицерами, Каргаполов подождал, покуда подъехал прокурор с Дуней и хорунжий Лебедь.

— Прошу, господа, ко мне наверх!

Ной спешился, привязал чембур возле луки седла и, хлопнув ладонью по крупу жеребца, прикрикнул:

— Пастись! Бегом!

Каргаполов не успел ничего сказать, как жеребец умчался галопом. А он-то, Каргаполов, хотел приказать офицерам тщательно обыскать сумы хорунжего: имелись на то агентурные данные.

— Я вам не разрешал отпускать коня, хорунжий!

— Но вы не предупредили, господин подполковник.

Дуня помалкивала. То, что прокурор вдруг повернул экипаж к контрразведке, вконец рассердило ее. Она с ночи куска хлеба не видела — живот подвело. Вот еще гады! И Ноя стало жалко — что-то они замыслили, этот толстый, мордастый Каргаполов и прокурор Лаппо?

В приемной Каргаполов оставил офицеров с господином хорунжим и Евдокией Елизаровной, а сам с прокурором Лаппо ушел в

кабинет.

Дуня с Ноем сели на мягкий диван с высокой спинкой, а прапорщики взяли себе стулья и, закурив, нагло разглядывали рыжебородого и черноглазую красотку: кто еще такие? Задержаны или арестованы? Комиссар просто сказал: побыть с господами в приемной. Не с госпожой и господином, а господами. Ладно. Можно просто курить и смотреть за этими «господами».

— Курить при даме не положено, если вы не в конюшне воспитывались, — сказала Дуня, с ненавистью взглядывая на молоденьких прапорщиков. — Выйдите в коридор и там курите.

— Вот как! — ответил один из них. — Мы из знатных?

— Прошу не хамить! — обрезала Дуня.

Два, прапорщика поднялись и вышли в коридор, третий еще пускал из ноздрей дым, пожирая глазами дамочку с гонором, но, не выдержав ее презрительного взгляда, тоже вышел.

— Боженька! Что они еще задумали, морды? — тихо промолвила Дуня. — Я бы тебе сегодня глаза выцарапала. Я все видела с балкона гостиницы! Лучше помалкивай, а то я за себя не ручаюсь!

Ной только хлопал глазами. Ну, Дунюшка! Как ее понять и рассудить? С чего ее занесло в ранний час к тюремной стене с неизвестными к телу казненного Тимофея Боровикова? Неужели и в самом деле помышляла выручить комиссара? Да ведь это же просто безрассудство!

— Сколько держал на допросе, морда, да еще сюда привез, — возмущалась Дуня. — Жаль, что придется на днях уехать в Минусинск, если получу из банка золотые слитки. Обещают отдать. А то бы я ему показала!

Прапорщики вернулись и расселись на те же стулья.

— Боженька! Если бы ты согласился быть управляющим хотя бы рудника Благодатного!

— К чему мне рудник! Что я смыслю в золотодобыче? Или я инженер?

— Есть инженер. Управляющий нужен, хозяйственный человек, со смекалкой, и больше ничего. И чтоб не вор! На приисках и рудниках нашей компании сколько их перебывало, и все воры, жулики. Хотя бы Урван! С чего начал? Иваницкого обжулил. А ведь сам Иваницкий из жуликов жулик и мошенник. Прииски-то как заполучил?

— Не по мне то, Дуня. Говорил уж. Да и кто бы меня отпустил со службы. Я служу у командующего Гайды. В сорок девятом эшелоне, командир знает. В крайнем случае...

— Мало, что ли, офицеров? Хватает всяких! — сказала Дуня нарочито громко в адрес ушастых прапорщиков. — Если понадобится — знаю, что хотел сказать, — успокоила Ноя. — Я и Гайду найду, не беспокойся!

В приемную быстро вошел князь Хвостов, глянул на хорунжего и Дуню, спросил у прапорщиков, здесь ли комиссар?

— У комиссара прокурор.

Князь поправил мундир, постучался в дверь и прошел в кабинет.

— Что у вас, штабс-капитан? — взглянул на него Каргаполов.

— Обнаружены только что выпущенные подпольным комитетом большевиков прокламации, расклеенные по городу. Мне в отдел доставлено несколько штук. О событиях сегодняшнего утра.

Каргаполов схватил прокламации, словно сгреб в ладони раскаленные угли, и тут же кинул на стол — обжегся; быстро прочитал несколько фраз, выдвинул ящик и смел в него помятые листки, выговорив капитану:

— Вы представляете себе, штабс, как начальник оперативного отдела, что значит подобная прокламация, отпечатанная типографским шрифтом?!

Штабс-капитан почтительно вытянулся:

— Возмутительная наглость большевиков!

— Только-то?! — взвинчивался Каргаполов. — Эта наглость, князь, называется оперативностью подрывных сил, действующих подпольно! Именно этого я жду от вас, господин капитан! Оперативности и еще раз оперативности! Быстроты действия, натиска всеми имеющимися силами! Бездействуем мы, сударь. Если так дело пойдет — мы на своих спинах будем носить прокламации подпольного комитета! Да-с! И губернского прокурора заклеят подобной дрянью. Это еще начало — прокламацию размножат в достаточном количестве и распространят по всей губернии! Да-с! По всей губернии! Жду от вас не позднее завтрашнего дня оперативный план по раскрытию подпольного комитета.

— Прошу отставки, господин подполковник, — заявил князь Хвостов, напомнив в который раз комиссару, что у него нет ни опыта,

ни данных для работы начальником оперативного отдела.

— Идите! Завтра обсудим этот вопрос, — отослал Каргаполов князя.

Минут через двадцать Каргаполов любезно пригласил в кабинет Евдокию Елизаровну; Ной остался уминать диван, соображая, что за веревку вьет на его шею брюхатый недоносок — акула, как аттестовал Каргаполова Кирилл Иннокентьевич.

Обрадовала Дуня: с намека все поняла! Именно об этом он и хотел просить ее: если его начнут запутывать да, чего доброго, посадят в подвал контрразведки, чтоб незамедлительно дала знать командующему Гайде через командира сорок девятого эшелона. Подробнее сказать при трех парах ушей нельзя было, но она его поняла. Молодчага!

Как там не суди, а Селестину Ной вырвал из колонны. А вдруг кто из казаков заметил, как он умчался с нею через мост. «Хоть бы ее не взяли, — подумал Ной; о себе думать нечего — в контрразведке пребывает. — Отошла ли она от испуга? Ждала, что я ее зарублю, оттого и из памяти вышибло».

II

...Но Селестину не вышибло из памяти. Еще на дебаркадере среди офицеров она увидела Ноя; он стоял боком и смотрел мимо — в том самом кителе; золотой эфес шашки зловеще поблескивал. Вот он, еще один белогвардеец! Разом вскипело лютое зло, и Селестина, поднимаясь на берег, даже не чувствовала ударов прикладами в спину. Щетинились ножевые штыки чехословацких легионеров, тренькали казачьи шпоры, вытягивалась колонна по четыре в ряд, и Ной степенно шел сбочь колонны, разглядывая арестованных, ведя в поводу большого рыжего коня. Рыжего коня! Само собою выплеснулось у Селестины — зло, презрение и ненависть. Ненависть! Ной ничего не ответил и пошел прочь. Колонна тронулась. Наплывали глубины домов, безмолвных, как надгробные памятники: ни единой живой души в улице! И только позвякивало оружие, стучали копыта. Из бездны мрака всплыл огромный белый собор и тут, невдалеке от

божьего храма, — ярость карателей! Бог все простит и все скостит — и грехи, и злодейские убийства.

Ненависть! Ненависть!

И, как того не ждала, рядом спрыгнул Ной. На миг Селестина увидела его упругий взгляд, и вдруг Ной схватил ее, легко перекинул поперек седла. Конь вздыбился, тряхнул Селестину и помчался, помчался в неизвестность, а где-то рядом кричали: «Кааараул! каараул! Маааааа!» Убивают, убивают! Селестина поняла — хорунжий зарубит ее, зарубит! Куда он ее завез? Экипаж, обширная ограда. Хорунжий снял ее. Подкашивались ноги и голова кружилась. Подбежал человек в нательной рубаше. Хорунжий умчался прочь. Где она? Что с нею? И что за человек ведет ее куда-то? Переступила порог в открытую дверь — хомуты со шлеями, резкий запах дегтя и самовар с черной трубой. Незнакомый человек посадил ее на жесткий диван. В окно плескался утренний свет.

— Артем Ива-анович?! — узнала Селестина.

— Потом, потом, Селестина Ивановна. Успокойтесь. Сейчас я вас напою чаем.

Она все еще ничего не понимала — хомуты и шлеи — Артем Иванович Таволожин — хорунжий Ной — резкий запах дегтя — стол с горкой белофарфоровых чашек. Чашки сияли, искрились на столе. Так же вот искрились льды, льды, будь они прокляты! И эти льды ворочались сейчас перед глазами Селестины. Ослепительно сияющие белые горы, и пароходы, пароходы красной флотилии, борт к борту, а впереди, за островом Монастырским, — распахнутая от берега к берегу ледяная преграда — плыть дальше некуда! Некуда! И это было страшно.

По всему Енисею к Туруханску плыли льды. Кто-то из матросов пробежал по палубам. «Затор на Енисее! Затор!» — позвал, как на пожар. Селестина с Иваном Лебедем, Григорием Спиридоновичем Вейнбаумом, Адой Лебедевой и комендантом Топоровым поднялись на капитанский мостик «России».

Огромные белофарфоровые льдины за пристанью Монастырской, налезая одна на другую, поднимались все выше и выше, вставая ледяной крепостью. Дул сильный низовой ветер. Слепило солнце. Вода на глазах прибывала, вздуваясь, лезла на берег острова Монастырского. И ледяная крепость поднималась все выше и выше!..

— Вот мы и приплыли, товарищи. О чем я предупреждал своевременно, если мне не изменяет память, — раздался спокойный, равнодушный голос.

Это был дядя Селестины, капитан парохода, Тимофей Прохорович Грива.

И его седая льдистая голова, и бело-белый воротничок сорочки с черной бабочкой, и морской бинокль на его груди — все это было ненавистно Селестине. «Они всегда обо всем знают, такие вот «дяди», и своевременно предупреждают.

Спустя четверо суток вода начала падать, и они вошли в устье Нижней Тунгуски. На берегу пристани льда не было — смыло и унесло во время затора, но выше, на взгорье, дыбились ледяные торосы, выброшенные вспухшей водою. Ниже Туруханска и по Тунгуске продолжался ледоход. Еще бы неделя! Но им не дано было недели.

Сияющим утром из-за острова Монастырского показались два парохода. Комендант Топоров в бинокль увидел: «Енисейск» и «Красноярец». Во флотилии их не было. На «Енисейске» по тентовой и средней палубам толпились вооруженные люди.

— Белые!

Спешно отдали команду сойти всем на берег, а Селестина с Топоровым и Ваней Лебедем в топке кочегарки сжигали документы и важные бумаги — никаких документов белогвардейцам!

«Енисейск» и «Красноярец» разворачивались, густо дымя, выстилая над рекою черные косы. На корме «Енисейска» вооруженные люди, сдернув брезент, обнажили пушку.

Послышались взрывы снарядов, стрельба из винтовок. Селестина с Топоровым и Ваней Лебедем, покинув кочегарку, выбежали на берег. Красногвардейцы отступали в глубь пристани, за торосы.

Втроем они выбежали на пригорок, отстреливаясь из винтовок. Вдруг Ваня упал грудью на льдину, даже не вскрикнув. Селестина перевернула его на бок — по искристо-белой, ноздристой льдине текла кровь, и грудь Вани была залита кровью.

В тайгу уходили группами — кто с кем. Тучи гнуса забивали глаза, липли к телу пригоршнями. Люди шли тайгою, охваченные со всех сторон хвойным безмолвием. Ночами, чтобы не замерзнуть, сбивались в клубок, как пчелы в ульях на зимовке.

Обессиленные, изъеденные гнусом, распухшие, на пятые сутки они выползли из тайги. Каратели полковника Дальчевского бросили их в трюм к захваченным в плен товарищам. Из пятисот — двести пятьдесят...

После выпитого крепкого чаю тепло разлилось по всему телу Селестины, и она сбивчиво, с пятого на десятое старалась рассказать обо всем этом Артему. Но перед глазами все еще плыли льды и хвойное безмолвие...

III

Дуню мытарили на допросе не меньше часа, и вышла она из кабинета в сопровождении комиссара Каргаполова до того возбужденная и покрасневшая, что в ее руке тряслась сумочка.

Глянув на хорунжего, выпалила:

— Путают нас в агенты большевиков! С ума сошли!

— Я вас предупреждал, — одернул Дуню Каргаполов. — Строго смотреть за арестованной! — приказал прапорщику. — Прошу, господин хорунжий.

Поддерживая шашку, Ной прошел в кабинет. Каргаполов пригласил его к длинному столу под зеленым сукном, стоящему впритык к массивному комиссарскому с тремя телефонами. С другой стороны развалился на стуле прокурор Лаппо, обволакивая себя густым дымом папирсы.

— Скажите, хорунжий, — начал Каргаполов, усаживаясь за стол и выдвинув к себе ящик, где у него лежал револьвер. — Вы стояли на квартире госпожи Юсковой Евгении Сергеевны?

— Стоял.

— А что произошло вечером 22 июня?

— Запомню.

— Так уж, «запомнили!» С каким вопросом приехал к вам капитан Ухоздвигов и кто был с ним?

— Это уже опаснее.

— Приехал сообщить мне, чтоб я приступил к службе в эскадроне.

— Вот как! А почему вы не являлись на службу девятнадцатого, на второй день освобождения города?

— Капитан сказал повременить, поскольку среди офицеров имеются бандиты из анархистов, то головы у них, говорил, мякиной набиты, а нутро пресыщено злобою. Подождать надо, пока у дураков проветрятся головы.

— Любопытно! Весьма. А куда вы уехали по его приказу верхом на коне?

— Велел поехать на вокзал в салон-вагон командующего Гайды, так как Гайда пожелал познакомиться со мною. И пропуск, полученный от Гайды, передал мне.

— Пропуск у вас?

Ной достал из кармана кителя пропуск, показал. Так оно и есть: пропуск выдан лично Гайдой 21 июня!

— И что же вы делали в вагоне Гайды?

— Сидел за одним столом с командующим на торжественном ужине. Это после того, как Гайда выгнал генерала Новокрецинова. За то, что он выжил из ума и превратился в «старую развратную плевательницу». Это не мои слова, а самого Гайды. И генерала вытащили под руки ефрейтор Елинский и капрал Кнапп, который сегодня командовал чешским конвоем, спросите у него.

— Прошу, господин хорунжий, ваше оружие, — сказал Каргаполов, подготавливая себя к главному разговору; с вооруженным хорунжим разговаривать небезопасно.

Ной спокойно передал кольт.

— Еще какое оружие имеете?

— Шашка при мне.

Каргаполрв позвонил в колокольчик. Вошел один из офицеров.

— Прапорщик, обыщите хорунжего. Нет ли у него при себе оружия. Прошу извинить меня, господин хорунжий. Такое у меня правило. Снимите шашку, прапорщик сохранит ее.

У Ноя сердце покатило куда-то вниз — арест! Из заднего кармана брюк прапорщик достал браунинг и запасную обойму к нему, документы из карманов и пачку «николаевок» — все это перешло на стол мило улыбающегося Каргаполова.

— Разрешите спросить, господин полковник, вы меня арестовали? — спросил Ной.

— Ну, что вы, хорунжий. Если вы будете откровенны, все может благополучно разрешиться. Почему вы сами не отдали браунинг?

— Это подарок командира сорок девятого эшелона.

— Садитесь. Ну, а теперь расскажите нам с прокурором, кто вам внушил, что у наших офицеров, в том числе заслуженных полковников, головы мякиной набиты? А господина генерала вы аттестуете дураком и развратной плевательницей?

Достав фирменные листы для допросов и передав их прапорщику, Каргаполов попросил записывать беседу с господином хорунжим, чтобы потом составить протокол допроса.

— Ничьего внушения не было, — ответил Ной. — Генерала назвал «развратной плевательницей» командующий Гайда. А у меня с генералом ссора произошла на казачьем митинге в Гатчине.

— О митинге в Гатчине и вашем зверском убийстве доблестных офицеров вы нам еще подробно расскажете, — предупредил Каргаполов, продолжая улыбаться. — Есть на этот счет достоверные данные не только генерала Новокрецинова, но и других офицеров. А теперь ответьте на вопрос: при каких обстоятельствах встречался с вами в Гатчине капитан Ухоздвигов? Какие вы от него получили инструкции?

Ной никогда не встречался с капитаном Ухоздвиговым до 18 июня, и знать ничего о нем не знал.

— Лжете, хорунжий! Встречи у вас были. Именно под его влиянием сорвано было восстание сводного Сибирского полка в Гатчине, двух полков в Петрограде и дивизии в Пскове! Сожалею, что мы вынуждены будем допрашивать вас в более жестких условиях, если вы будете заператься.

«Неужто капитана схватили?» — подмыло Ноя. Усилием воли напряжился — ни дрожи в коленях, ни мороза за плечами. Единственное, что было отвратно — это блинообразная морда полковника, и особенно его бабий визгливый голос.

— Зачем вы явились в дом Ковригина с капитаном Ухоздвиговым в ночь на 22 июня? Каких большевиков намерены были арестовать, но не арестовали? И где находится в данный момент протодиакон собора господин Пискунов?

Ною решительно ничего неизвестно, и он не был с капитаном Ухоздвиговым в доме Ковригиных 22 июня.

— Любопытно! Весьма! Чья школа лжи усвоена вами? Капитанская выучка? Не так ли?

Ной сказал, что он почитает капитана Ухоздвигова за достойнейшего и порядочного офицера.

— Похвально! Похвально, хорунжий. Ваши восторженные отзывы в адрес капитана мы внесем в протокол. Уточните: когда вы поселились на квартире в доме Ковригина? Ах, 23 июня! Обратите внимание, Иван Филиппович! В ночь на 22 июня бесследно исчез протодиакон кафедрального собора! Но это еще не все. Вы сняли в слободке Кронштадт тайную квартиру для неизвестных целей, выплатив задаток хозяину в сумме пятьдесят рублей и вручив ему триста рублей для покупки еще одного коня с седлом, непременно казачьего. Ну, так как же?

Свиные глазки Каргаполова сузились до маленьких щелочек, широкий, жирный блин расплывался в торжествующей ухмылочке.

У Ноя нутро захолонуло: вот так «надежную» квартиру сыскал в Кронштадте! И жить там не жил, а продан в контрразведку! А что если бы сегодня привез туда Селестину?!

— Что же молчите, любезный? — верещал Каргаполов.

— Выдумки все это жадного на деньги мещанина Подшивалова и более ничего. Ну, я с ним еще поимею разговор!

— Навряд ли, господин хорунжий, «поимеете разговор», — ухмыльнулся Каргаполов. — Пока что мы имеем разговор с вами. Вернее, преддверие настоящего разговора. Так сказать, предварение будущего следствия, и вы нам обо всем расскажете: какие дела провернули с капитаном в доме Ковригина, куда упрятали его достоинство протодиакона собора Сидора Макаровича Пискунова. Полагаю, вы с ним так же любезно расправились где-нибудь на берегу Енисея, как это сделали сегодня на берегу Качи, у мельницы Абалакова. Ни одна из жертв так зверски не была истерзана, как большевичка Лебедева. И это ваша работа.

— Подхорунжего Коростылева! — не сдюжил навета Ной.

— Врете, сударь! Врете! Подхорунжий Коростылев увез женщину к тюрьме и там отдал ее под стражу. А за вами был послан вдогонку казак Торгашин, который застал вас за казнью в таком озверении, какое вообразить невозможно. Испугавшись, он даже не в состоянии был окликнуть вас, чтобы предотвратить расправу, как ему было приказано есаулом. Нет, вы только посмотрите, Иван Филиппович, на стоическое спокойствие избличаемого в преступлениях красного разбойника с

большой дороги! Каков, а? Вы знаете, на что он надеется? На капитана Гайду!

— А мы еще посмотрим, как защитит его капитан Гайда! — басом ответил Лаппо, положив свой пистолет на стол.

Теперь уже Ной не сомневался, что его ждут в ближайшие дни допросы и пытки. Ребра трещать будут. Страшно то, а еще страшнее проговориться. Похоже, что капитан завалился вместе с Анечкой! А протодиакона, должно, по дороге в распыл пустил.

Сергей Сергеевич старательно пересчитал изъятые у хорунжего «николаевки» — две тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля и сорок пять копеек!

— Откуда у вас такие крупные деньги, хорунжий? Мы все бедствуем из-за отсутствия денег в банке, а у вас за три тысячи рублей наличными, если приплюсовать выданные господину Подшивалову? Или позаимствовали у вашей сообщницы Евдокии Елизаровны? Но она только что уверяла нас: сидит без денег!

— Мои деньги, — ответил Ной.

— Откуда? Не ссылайтесь на отца атамана — он и сам таких денег за всю жизнь в руках не держал. Без вранья, предупреждаю!

— С фронта имею деньги. И не три тысячи, а более семи тысяч было.

— Ну, ложь! Какая наглая ложь, прости меня господи! — взмолился Каргаполов, пряча деньги в стол. — Кто у вас в Таштыпе? — спросил он, покойно развалившись в мягком кресле.

— Семья. Отец, мать, сестренки, бабушка.

— Назовите сестренку и сколько лет каждой?

— Старшая — Харитинья, шестнадцати лет. Елизавета — одиннадцати, Анна — семи. Была еще Прасковья — в прошлом году померла по девятому году от глотошной.

— «От глотошной!» Так. Так. Печально. Ну, а почему отец, станичный атаман, называет вас «красной шкурой?»

«О, господи! И батюшка прислал донос...»

— Откуда мне знать?

Каргаполов достал из папки какое-то письмо с прицепленным на булавку конвертом, передал прапорщику:

— Зачитайте письмо хорунжему. Господин прокурор тоже послушает.

Прапорщик зачитал:

«Добрый день, братушка! Здравстуй, дорогой наш Ной Василич! Во первых строках письма посылаю тебе niskий поклон и с любовью добраво здорвья и щастья. А пишет тебе сестрица Лиза, как ишшо жива, тово и тебе жилат. Братушка, батюшка наш таперича всех в доме поносит, а шибче тово матушку ни за што, ни про што. Мы, братушка, сичас в большой тривоге. Вчире уехамши от нас охицеры и казаки, какие власть красных апрокидывали. Охицеры сичас, братушка, ездют по станицам и деревням, да казаков с инагородними добровольно сгоняют в армию белых. А хто супротивится, тех дуют плетями. И батюшка наш дул в Таштыпе инагородних, и в Юдиной дул, в Абрамовой и в Бельтары дул. Братушка, письмо пишу в Красноярск на казачий полк, как адрыса низнаючи. Учительшу, Анну Михайловну, тоже шибко дули плетями — она заступилась за инагородних, и померши таперь. Наши казаки ишшо поихали в Белоцарск, в Урянхай, штоб там плетями дуть сойотов и разных нерусских людишек. Братушка, будь асторожный, как батюшка грозит поихать в Красноярск и там спустить с тибя красную шкуру. Откель ты красный, откель ты белый, я тово ни знаю. Ишшо Кириллу Белозерова из бидняков батюшка дул плетью в станичной управе, и Кирилла помер типеря. Очинно страхота стало жить, братушка. Учительши у нас типерь не будет, и школу прикроют. Батюшка сказывал — никому ничего не надо, окромя плетей. Ишшо прописываю: шибко гонют самогонку в станице, и гульба у казаков повальна, ажник опосля дуреют.

Приизжай, братушка, домой, а то он всех нас заест. Сестрица твоя Лиза. Цалую и шибко жду.

Писано в Таштыпе во вторник».

От такого бесхитростного и нескладного детского письма малой сестренки у Ноя в голове тяжело стало, и душа захолинула. «Очинно страхота стало жить, братушка». Это был крик, истошный вопль из ада кромешного! «Учительшу, Анну Михайловну, шибко дули плетями — и она таперь померши...». Она была добрая, ласковая ко всем ребятишкам — казачьим и иногородним, поселенческим!

— О, господи! Спаси нас, сирых и злых сердцами! — вскрикнул Ной, схватясь за голову. — Если только есть спасение для извергов рода человеческого! Нету у нас бога, нет у нас людства, а зверство единое, неслыханное! На том и с батюшкой схватился перед отъездом!

— Ах, вот как вы заговорили, красная сволочь! — взревел Каргаполов. — Но вы напрасно ждете прихода красных, чтобы учинить суд и расправу над патриотами отечества, уничтожающих большевистскую заразу повсеместно в Сибири! Как вам это нравится, Иван Филиппович: мы, оказывается, изверги рода человеческого! А? Каково? У большевиков христианские добродетели, а у нас одно зверство! Па-анятно, хорунжий. Так и раскрывайте свою душу впредь на допросах, чтобы не испытать вам на себе «зверства извергов рода человеческого!» Что ж, Иван Филиппович, прошу выписать ордер на арест хорунжего с его гатчинской сообщницей Юсковой.

Прокурор Лаппо не возражал против ареста хорунжего Лебеда, повинного в убийстве офицеров в Гатчине, да еще учинившего зверскую расправу над большевичкой Лебедевой, но госпожу Юскову не следует сейчас арестовывать. Евдокия Елизаровна являлась активной сотрудницей «офицерского союза».

— Но вы же знаете, Иван Филиппович, что Юскова с командиром Леоновой накануне убийства офицеров присутствовала на заседании полкового комитета! В этот момент она и получила шифровку резидента ВЧК для хорунжего! — плел свои выводы шпик охраны. Он-то, Каргаполов, знает, как все это делается! — Она являлась связной! Капитан действовал через нее.

— Вранье все это! — не удержался хорунжий. — Путаете вы господина капитана, потому как вам надо выжить его да еще в тюрьму упрятать.

— Совершенно верно, хорунжий! — подтвердил Каргаполов. — Но не в одну камеру с вами, учтите! Отныне вы не будете получать его инструкций!

— Не было никаких инструкций!

— Мооолчать! — завизжал Каргаполов и стукнул кулаком об стол. — Ты нам еще раскроешь все свои карты! Будь покоен, мы это сумеем сделать. Прапорщик! Вызвать трех казаков для этапирования арестованных в тюрьму. Штабс-капитана Хвостова ко мне!

IV

Комиссар Каргаполов спешил. Очень спешил, пользуясь отсутствием капитана Ухоздвигова. Сейчас или никогда! Надо вырвать

из утроб хорунжего и проститутки Юсковой нужные показания, и со всем досье выехать самому в Омск, чтобы там схватили тепленьким резидента ВЧК. Надо спешить, спешить! Лаппо, конечно, поможет произвести дознание сообщников резидента ВЧК на высшем уровне. В тюрьме у Фейфера имеются надежные мастера для допросов большевиков. Жаль, что Каргаполову не удалось произвести в покойники капитана еще в апреле-мае прошлого года. Тогда он, Каргаполов, будучи начальником политического отдела, напал на верный след изобличения капитана Ухоздвигова! «Я сдеру с него шкуру француза и большевика, — накручивал Каргаполов. — На этот раз пуля ему будет обеспечена». Новокрецинов написал, что на Северном фронте восстание дивизии семнадцатого корпуса и двух полков в Петрограде, как и сводного в Гатчине, сорвано было агентурой ВЧК, поскольку в Пскове и Петрограде схвачены были видные офицеры подпольного союза. И это все работа капитана Ухоздвигова. И не одного капитана! По Гатчине — хорунжий Лебедь, председатель полкового комитета, в женском батальоне — Юскова!

Вошел прапорщик: казаки в приемной.

— Где штабс-капитан?

— Сейчас будет.

— Надежные казаки?

— Урядник Сазонов, урядник Хорошаев и казак Зубов.

А вот и штабс-капитан Хвостов, моложавый, бравый князь, белолицый, холеный, с тонко подбритыми усиками.

— Вы, князь, помнится мне, поклонник талантов разведчика капитана Ухоздвигова?

— Не отрицаю, господин комиссар.

— Ну, а вы знаете, кому служит разведчик Ухоздвигов? Не знаете! Потому я и вынужден отстранить вас от работы в комиссариате. Немедленно сдадите дела подполковнику Свищеву.

— Слушаюсь, господин комиссар. Но должен сказать...

— Говорить будете в другом месте, князь, и при других обстоятельствах! Если вы не являетесь агентом резидента ВЧК, вас выпустят. Но сейчас я вынужден арестовать вас на время следствия. Прошу сдать оружие!

— Это произвол, господин комиссар.

— Без разговоров! Здесь контрразведка, милсдарь, а не богадельня для выродившихся отпрысков князей! Теперь вы убедились, господин прокурор, какую сеть заговора сплел у меня в комиссариате Ухоздвигов? Я окружен его агентурой! Связан по рукам и ногам! Подпольный комитет большевиков нагло работает в городе, выпускает листовки, имеется подпольная типография, а весь мой аппарат бездействует! Штабс-капитан Хвостов, любимчик капитана, таскается за юбками. Каково, а?

— Сергей Сергеевич, я как прокурор разделяю ваше возмущение и сочувствую. Но мне нужны улики, доказательства, факты...

— Факты? А это разве вам не факт?! Пожалуйста! — Каргаполов достал из стола и сунул под нос прокурору Лаппо листовку подпольного комитета. — Оперативно работают большевики!

«Товарищи!

При царском самодержавии мучили и убивали людей, но таких чудовищно-гнусных преступлений, какие сейчас творятся на наших глазах, еще не видывала история. Это нечто такое гадкое, беспредельно-мерзкое, что не поддается никакому описанию. Нет слов на человеческом языке, чтобы передать всю бездну утонченных мук над товарищами, захваченными в низовьях Енисея. Всю дорогу над ними измывалась пьяная орда белоказаров и офицеров Дальчевского.

Были насмерть замучены Марковский, Лебедева, Печерский и ряд других товарищей. Но палачам мало этих жертв. За городом найдено несколько товарищей, изрубленных шашками, с кусками мяса вместо лица. У одной женщины отрезаны груди, распорот живот. В тюрьме — пир сатаны, кровавая вакханалия! Арестованных раздели донага, били нагайками, прикладами, каблуками. В результате несколько человек мертвых. Без всякой одежды их загнали в калорифер, но и там избиения не прекращаются. Приходят и вымещают злобу на безоружных людях все, кому не лень.

Но недолго продлится торжество буржуазии и ее прихвостней! За моря крови, за все пытки и муки они ответят сторицей перед судом рабочих и крестьян очень скоро! Гораздо скорее, чем они могут ожидать.

Вечная память мученикам!

Проклятия убийцам!

Долой правительство палачей!

Красноярский комитет коммунистов (большевиков)».

Слышно было, к дому губернского комиссара подошел автомобиль. Прокурор Лаппо выглянул в окно:

— Управляющий губернией приехал с кем-то, — сообщил он, присмотревшись, уточнил: — Коротковский. А ему-то что здесь нужно?

Лаппо моментально убрал пистолет в кобуру, вернул листовку Каргаполову и предупредил комиссара:

— Не спешите, Сергей Сергеевич, Борис Геннадьевич терпеть не может недоказуемых арестов. Надо хорошо аргументировать. Я вас полностью поддерживаю в данной операции; но надо говорить спокойно, убедительно.

— Мы должны действовать решительно, в конце концов. Вы же прокурор! — взвизгнул Каргаполов.

— Разумеется, Сергей Сергеевич, — басил Лаппо, чувствуя себя не вполне уверенным. — Вы имеете главные доказательства: письмо генерала Новокрещинова, показания сотника Бологова, есаула Потылицына и мещанина Подшивалова.

— Есть еще особый свидетель, — напомнил Каргаполов. — Член полкового комитета сводного Сибирского полка, старший урядник Сазонов! Ну, а главные доказательства мы получим в ближайшие три дня.

Ной тылом руки вытер вспотевший лоб. Так вот кто еще выступает свидетелем его разоблачения! Вихлючий комитетчик Сазонов! У жирной свиньи нету никаких других доказательств. И он, Каргаполов, с прокурором Лаппо будут вытягивать нужные показания из самого Ноя и Евдокии Елизаровны. Дуня, понятно, не сдержит страшных пыток и может подписать любые протоколы...

Тем временем управляющий губернией Ляпунов и подполковник Коротковский прибыли в контрразведку по чрезвычайному делу: только что получен пакет из Омска. Постановлением управляющего военными делами Сибирского правительства и решением кабинета министров подполковник Каргаполов снят с должности губернского комиссара.

Коротковский назначен губернским комиссаром. Сам полковник Ляпунов назначен начальником гарнизона, а на его место утвержден Троицкий.

Поднимаясь по лестнице, застланной коврой дорожкой, Ляпунов сказал:

— Все это, как гром с ясного неба. Здорово же разделался с ним капитан. Уму непостижимо! Считаю, что вовремя убрали эту сволочь, в конце концов.

Коротковский закурил папиросу и угостил Ляпунова.

— Одного не понимаю: где капитан мог достать документы жандармских архивов по Петербургу. Он вам ничего не говорил, Борис Геннадьевич?

— Такие люди, Григорий Пантелеймонович, как капитан Ухоздвигов, для меня абракадабра! Доктор Прутов сказал, что в следственную комиссию капитан доставил бывшего жандармского шпика, протодиакона собора Пискунова, а документы жандармских архивов капитан изъясил на квартире у самого Каргаполова, когда тот двое суток сидел в тюрьме.

— Но, Борис Геннадьевич, почему капитан в вагоне Гайды настоял оставить губернским комиссаром Каргаполова?

— Тут ларчик просто открывается, — ответил Ляпунов. — Очевидно, Кирилл Иннокентьевич готовился уничтожить его на уровне правительства. Ну, а относительно меня постарался, понятно, сам доктор Прутов. Адвокат Троицкий для него во всех отношениях фигура более подходящая для управляющего губернией.

Покурив на лестнице, полковники вошли в обширную приемную, где застали офицеров, трех казаков и в уединении, в углу на стуле — Евдокию Елизаровну Юскову, ту самую...

Дуня не растерялась и на этот раз.

— Господин полковник, — обратилась она к Ляпунову. — За ради бога, спасите! Арестовал меня господин комиссар как агента ВЧК. Да разве я зналась с ВЧК?

— Успокойтесь, госпожа Юскова, разберемся, — ответил Дуне Ляпунов и первым прошел в кабинет за двойными дверями, за ним — Коротковский.

Каргаполов носился по кабинету пузом вперед, приземистый, толстоногий, раскрасневшийся, и до невозможности воинственный. Увидев Ляпунова и Коротковского, без всякой подготовки шархнул:

— В моем комиссариате заговор раскрыт! Заговор! Мною и прокурором приняты экстренные меры! Схвачен один из главных агентов резидента ВЧК! Вот он, полюбуйте! — показал он на хорунжего Лебеда. — Полностью раскололся, сволочь!

— Враки то! — отмел Ной. — Сами придумали резидента и агентов и господ полковников пужаете!

— Мооолчаать, красная шкура! — взвыл Каргаполов, памятуя о главном: запугать до икоты управляющего губернией. Чем больше нагнать на него страху, тем вернее заполучить право провести следствие, как бог на душу положит.

Но полковник Ляпунов не испугался на этот раз.

— Господин Каргаполов, — спокойно начал он. — Мы прибыли к вам для выполнения чрезвычайного решения правительства и уполномочены зачитать приказ военного министра Гришина-Алмазова.

Каргаполов повернулся к прапорщику:

— Приказываю: под усиленным конвоем увести в тюрьму арестованного хорунжего Лебеда, агента ВЧК, его сообщников Юскову и Хвостова. Каждого из них водворить в одиночные камеры.

— Приказ отменяю! — круто оборвал Ляпунов.

— Прошу не вмешиваться в сферу моей деятельности, — вздулся Каргаполов.

— Успокойтесь, господин Каргаполов. С сего дня вы сняты с должности губернского комиссара и лишены звания подполковника, — объявил Ляпунов, раскрывая папку. — Имеется на этот счет указание кабинета министров правительства. Мы вас ознакомим. — И зачитал приказ.

Каргаполов на некоторое время онемел, тупо уставившись на Ляпунова. Он снят с должности?! Лишен звания подполковника?! Быть того не может!

— Господин прокурор, — сурово спросил Ляпунов у Лаппо, — как вы могли допустить подобный произвол в комиссариате?

Огромный Лаппо поднялся, отошел от стола, поспешно ретировался:

— У губернского комиссара имелись изобличающие документы на хорунжего Лебеда, и я как прокурор...

— Вы помогали Каргаполову «добыть» эти данные? Мы вынуждены будем поставить об этом в известность министра юстиции, господин Лаппо. Освободите сейчас же госпожу Юскову!

Штабс-капитан Хвостов обратился к Ляпунову с жалобой на распоясавшегося Каргаполова и попросил передать его офицерскому суду чести за оскорбления.

— Успокойтесь, князь. Приказом военного министра вы произведены в подполковники и назначены начальником политического отдела. Губернским комиссаром утвержден Григорий Пантелеймонович Коротковский.

Поверженный Каргаполов едва доплелся до кресла и не сел, а плюхнулся на него, осовело уставившись на Ляпунова и Коротковского. Он, Каргаполов, уничтожен! Уничтожен!

— Сдайте оружие, господин Каргаполов, — приказал Ляпунов.

Коротковский и Хвостов зашли с двух сторон и без единого слова взяли из ящика стола пистолет и отстегнули от пояса наган, да еще из кармана брюк вытащили пачку денег, неизвестно как перекочевавшую туда из стола. Каргаполов схватил Хвостова за руку:

— Не смейте!

— Это что, те деньги, которые вы обещали есаулу Потылицыну за намеченные вами жертвы? — спросил Хвостов. И к Ляпунову: — Господин полковник, как стало известно, Каргаполов обещал есаулу Потылицыну по пятьсот рублей за голову каждого убитого при этапировании. Было намечено уничтожить семнадцать арестованных. Убито одиннадцать, тридцать в тяжелом состоянии.

— Ложь! Ложь! Инсинуации! — завизжал Каргаполов. — Кровавую расправу спровоцировал хорунжий Лебедь, вот эта сволочь! Чтобы вызвать недовольство народа.

— Хватит, Каргаполов! — остановил Ляпунов. — Натворили вы дел. И не только сегодня, но и девятнадцатого июня. С сего дня вы будете находиться под домашним арестом.

Каргаполов обмяк в кресле, ссутулился, уставившись, взглядом в пустой ящик стола. Повержен и уничтожен!

— Вы еще пожалеете, господа! Пожалеете! — бормотал он, покачивая лысой головой. — Убит протодиакон собора! Если бы он не был убит!

— Протодиакон Пискунов? — спросил Ляпунов. — Не беспокойтесь, протодиакон жив и давал показания следственной комиссии в Омске по расследованию вашей деятельности в жандармерии Красноярска и Петербурга за 1903–1916 годы. Документы жандармских архивов предоставлены следственной комиссии капитаном Ухоздвиговым.

— Он меня ограбил, ограбил, — беспомощно бормотал Каргаполов. — Зарезал, зарезал, подлый предатель отечества! Еще во Франции он продал Россию. Это мне совершенно точно известно, господа! Дайте мне три дня! Всего три дня, и я раскрою всю сеть! Это могу сделать только я!

Хорунжий, не принимавший участия в разговоре, тихо вышел из-за стола, спросил: может ли он считать себя свободным.

— Безусловно! — разрешил Ляпунов. — Но прошу не разглашать о том, что здесь произошло. Возьмите, пожалуйста, свое оружие и документы.

— А деньги?

— Конечно, и деньги.

— Вы пожалеете, господа! Попомните меня! Попомните! Только я мог раскрыть и обезвредить красного дьявола во французском мундире. Только один я! Я шел по верному следу. Дайте же мне три дня!

— Успокойтесь, Сергей Сергеевич, — попросил Ляпунов. — Мы же не собираемся вас убивать. Вы назначены начальником милиции в Туруханский туземный округ. И в ближайшие дни вас приказано туда препроводить. Там у вас достаточно будет времени для размышлений!

Князь Хвостов позвал из приемной трех офицеров, чтобы помогли доставить Каргаполова на его квартиру. Коротковский, не теряя

времени, приступил к исполнению обязанностей губернского комиссара.

Ной взял свою шашку, поправил ремень с кольцом в кобуре и даже про письмо сестренки не забыл!

Хвостов отыскал письмо в папке, отдал и, воспользовавшись моментом, изорвал в клочья протоколы допросов, в том числе на самого себя, и бросил в корзину.

— Не беспокойтесь, Ной Васильевич, все будет в порядке. Слово князя!

Ной попрощался с князем и полковниками.

— Но что же с самим Кириллом Иннокентьевичем? — спросил князь.

— Капитан Ухоздвигов за доблестную службу и проявленную самоотверженность по предотвращению офицерского мятежа, организованного Каргаполовым 19 июня, пожалован в подполковники и отозван правительством для работы по специальному заданию. Полковник Розанов произведен в генерал-майоры и рекомендован правительством на пост наказного атамана Енисейского войска, утверждение которого должно состояться на общевойсковом кругу десятого августа.

— Слава богу! — отлегли страхи у князя Хвостова.

— Но это еще не все. Чехословацкий национальный совет удостоил капитана Гайду чином полковника, и более того, имеются сведения, что через месяц-полтора Гайда получит производство в генерал-майоры.

VI

Завидев хорунжего, офицеры в приемной повскакивали. От прокурора Лаппо им стало известно, что губернский комиссар подполковник Каргаполов снят с должности и разжалован, а «гатчинский Конь Рыжий» на копытах — не повязан!

Окинув испепеляющим оком каждого из офицеров, Ной уперся взглядом в тщедушного Сазонова, подошел к нему и молча взял обеими руками за ремни, поднял.

— За ради бога! За ради бога! Ной Васильевич! — забормотал Сазонов.

Стиснув зубы, Ной потащил за собою Сазонова вниз по лестнице. Выволок на парадное крыльцо, зыркнул глазами справа налево и тем же манером потащил в ограду. Ярость и бешенство распирали Ноя до такой степени, что он и сам не знал, какой мерою воздаст вихлючему комитетчику за его предательство. Убить, убить мало гада! Ведь наказал же Нюю капитан Ухоздвигов проследить за Сазоновым и в крайнем случае убрать, а он, Ной, проявил милосердие, хотя и догадывался, что Сазонов дал на него и капитана показания в контрразведке.

Сазонов всеми святыми и богом просил помиловать его, он ни в чем не виноват: Каргаполов стращал его смертной казнию!

— Маааалчаать, стерва! Где твой конь?

— В той ограде, — ответил Сазонов. — Там все кони.

Раздувая ноздри, Ной чуток подумал. К чему еще конь! Он его так утащит за собою ко всем чертям! Ну, падла! До чего же мерзким бывает человек! Не подоспей правительственного указа, ему, Нюю, не видать бы белого света из-за этого вот предателя! И если его оставить в живых, новый губернский комиссар Коротковский, хотя и тихий будто подполковник, но непременно потребует от Сазонова подтверждения показаний, данных Каргаполову. Ему оказать милосердие, а себе — виселица. «Ну, нет, гад! Одна есть мера!..»

— Следуй за мною! — рявкнул Ной. — Теперь ты мне обскажешь без вихляния, каким ты показал себя, гад, в Гатчине! Дезертировал, падла, и других утащил за собою в самый ответственный момент. Или того мало тебе?! Замолкни! Чтоб ни звука по пути следования городом! Упреждаю!

Вот теперь урядник Сазонов окончательно понял, что перед ним все тот же хорунжий Лебедь, суровый и жестокий председатель полкового комитета сводного Сибирского полка.

Солнце только что ушло, и на небе рдела полоса заката. Освежающий тихий ветерок дул навстречу. Ной вел рядом с собою Сазонова сперва по Благовещенской, сунув в карман брюк кольт, решая трудный вопрос: как-никак урядник Сазонов находится на службе при контрразведке в сотне Кудрина и его, понятно, хватятся. Придется давать объяснение не только в контрразведке, но и у новоявленного генерала Розанова — наказного атамана Енисейского войска. Убрать Сазонова надо тихо, без шума. Ага! Есть еще мещанин Подшивалов,

который сочинил в контрразведку донос на «подпольщика с рыжей бородой».

— Куда мы, Ной Васильевич! Помилосердствуй!

— Завилял, сука! Погодь! Время твое еще не пришло, сейчас. Пойдешь со мною в дом одного гада, такого же, как ты сам, влупишь ему плетей за клевету, да покрепше, чтоб век помнил, как вихлять перед властью и пакостить доподлинным офицерам, на которых правительство держится! Смыслишь?

— А меня, меня?!

— Тебя ждет самый страшный суд подполковника Ухоздвигова, которого ты со всех сторон обмарал перед гадом Каргаполовым!

— Господи! Господи! — стонал Сазонов, дошло до пяток: жизнь его накоротке, со смертью перемежается.

Перешли деревянный мост и по пыльной кривой улице стали подниматься в гору: Сазонову отказывали ноги — на кладбище ведет!

Упал на колени:

— Помилосердствуй, Ной Васильевич! За ради ребятишек! Пятеро у меня! Пятеро!

— Встать, пакость! — рывкнул Ной. — Ты меня самого милосердствовал, когда давал показания?! Нету для таких милосердия. Только не я тебя кончать буду, сказал. А сейчас идем к паскудному мещанину, у которого я снял квартиру и коня купил. Ужо всыплешь ему для ума-разума!

— Как прикажешь, Ной Васильевич!

— Я тебе не Ной Васильевич, а господин хорунжий! Или ты первый день в казачестве?!

— Слушаюсь, господин хорунжий!

У Сазонова чуть отлегло, когда хорунжий провел его мимо кладбища и свернул к домам слободы. Подошли к глухой ограде, и Ной так ударил сапогом в калитку, что защелка вылетела вместе со скобой. Навстречу кинулся на проволоке, протянутой через всю ограду от навеса до ворот, лохматый черный кобель с оскаленной пастью. Мигом выхватив шашку, Ной с такой силой полоснул кобеля — туловище надвое развалилось. У Сазонова дух занялся от страха. Не дай-то господь, если так же хватанет шашкою самого Сазонова!

На крыльцо выскочил из избы Мирон Евсеевич Подшивалов, а за ним толстая рябая дочь Устинья.

— Выходите все! Живво! — гаркнул Ной. — Упреждаю! Один шаг к побегу — пристрелю стервов! А теперь, хозяин, отвечай: кто тебе подсказал писать клеветнический донос на меня? Или я вас не упреждал: квартиру сымаю, чтобы была в полной надежности и шестьдесят рублей задатку дал еще. Так или нет?

— Так-то оно так, — бормотал Подшивалов, сходя с крыльца. — Токо разобрались бы, господин хорунжий. Всемиловейше разобрались бы! Потому, как время такое. Того и гляди нарвешься на подпольщиков-большевиков. Они, падлы, разгуливают на свободе и выдают себя за офицеров. Вот ночью гнали их в тюрьму с парохода, так сколько сволочей разбежалось. Того и жди — бунт подымут супротив нашего правительства. Кабы знатье, што вы доподлинный офицер, разве Устинья стала бы писать в контрразведку!.. Виноваты мы, виноваты. Всемиловейше прошу, господин хорунжий, помиловать!..

— Тааак! — протянул Ной Васильевич, резанув злеющим взглядом мордастую дочь Подшивалова. — Сходи с крыльца, стерва! Живво! А ты, хозяин, расчет получишь по второму номеру. Сей момент выведи мово коня, оседлай, а ты, старуха, вынеси мои вещи в мешке из горницы, и ежели замечу пропажу — расстреляю всех до единого!

— Помилуй нас! Помилуй нас! — заголосила хозяйка.

— Урядник Сазонов, приступай к экзекуции подлой твари. Двадцать пять плетей! Ложись, гадина, на крыльцо, да платье задери, чтоб сидеть не на чем было недели две опосля!

Мордастая, толстозадая Устинья Мироновна всеми богами клялась, что донос она написала под диктовку есаула Потылицына, который лечится в городской больнице, и пусть ее помилует господин хорунжий: она за него молиться будет. И что сегодня утром, когда в больницу доставили с Качи проклятых большевиков, порубленных доблестными казаками, она, Устинья Мироновна, находясь на дежурстве, такую оказала «первую помощь» еще живому Марковскому, что он быстро испустил дух.

— Кишки я ему втолкала в брюхо вместе с грязью! Еще доктор Прейс, жидюга, выговор мне сделал, — выворачивалась фельдшерица, чем еще пуще взбесила Ноя. Это же надо! «Кишки вместе с грязью втолкала в брюхо!»

— Лооожись, гаааааа! — трубно взревел Ной Васильевич, выхватив кольт. — Или пристрелюуу!

— Погодь, господин хорунжий! — остановил Сазонов, умудренный в таких делах. Он не раз участвовал в порках.

Сазонов выволок на середину ограды деревянную скамью, старательно привязал к ней не сопротивляющуюся Устинью, задрал ей платье, закинув на спину. И Ной, выхватив у него плеть, в ярости врезал по трусам Устиньи и передал плеть Сазонову.

— Пори!

Тем же манером привязали и отпотчевали Мирона Евсеевича — двадцатью пятью плетями, чтоб впредь неповадно было писать доносы.

Приторочив свои вещи в мешке к седлу Воронка, лоснящегося от сытости, Ной не забыл и о расчете. За коня уплачена, как ему известно, рыночная цена, сотня, да пускай еще пятьдесят седло, за поездку в станицу Есаулову еще пятьдесят — двести, а дал триста, да пятьдесят за квартиру.

— Сто пятьдесят рублей верните сей момент!

Старуха вынесла деньги.

— А теперь предупреждаю: если еще раз напишете донос — со всем домом будете сожжены. Это будет раз. Я покажу вам, как клеветать на белых офицеров! Мы вам не большевики. Разговор у нас самый короткий: одно слово супротив — к стенке или на телеграфный столб.

Шли дорогою мимо кладбища. У Ноя скребло: как же поступить с Сазоновым? Он же должен убрать его! Надо бы свернуть влево к старице Енисея, шлепнуть и с крутого берега кинуть вниз. А силы нету — всю выплеснул в ярости на отца и дочь Подшиваловых. «Предателя смертным страхом не удержишь! Как только отойдет от него страх, опять будет сочинять доносы, пакость. Да ведь пятеро ребятишек у него, господи!»

— Какого возраста ребятишки у тебя?

— Старшему сыну, Николаю, двадцать пять, живет в отделе. Другому сыну — Павлу, двадцать один, ишшо не женатый. Под ними три дочери, Наталья, Ольга и меньшая — Лизаветой звать, по пятому году.

— Лизаветой? — дрогнул Ной, и сердцу больно стало: сестренка Лиза вспомнилась. Да еще безропотная жалельщица из дома

Ковригиных.

Остановился. Достал платок, вытер лицо.

— Сей момент метись ко всем чертям. Чтоб духу твоего в городе не было. Замолкни! Не нуждаюсь в благодарностях и твоих молитвах. Прооочь, гаад! Бегоом!

Не задерживаясь, подхватив шашку, держа ее поперек тела, чтоб не мешала, Сазонов припустил под гору такой рысью — на коне не догонишь. Живой! Живой вырвался, слава Христе и господу богу! Живой!

Между тем Сергею Сергеевичу Каргаполову не суждено было отбыть в Туруханск к исполнению обязанностей начальника милиции туземного округа. На второй день после выдворения его из комиссариата он был убит поздним вечером в своей собственной ограде по Гимназическому переулку пулею в затылок с короткого расстояния. Убийцу никто не видел, да и милиция не очень старалась раскрыть преступление, и на том дело кончилось. Полковник Ляпунов догадывался: оскорбленный до глубины «голубой» души, князь Хвостов свершил свой скорый суд.

VII

Догорал последними вспышками на прислоне неба этот длинный-длинный-длинный день кровавого воскресенья.

Ной так и не сел на Воронка — вел его в поводу, чувствуя себя совершенно разбитым. Только сейчас, отдыхая от всех ужасов минувшего раннего утра и вытряхивания из него, Ноя, показаний на капитана Ухоздвигова, он явственно почувствовал, что висел на волосок от смерти.

И еще подумалось Ною:

«Пузатый Каргаполов все время аттестовал Ухоздвигова «резидентом ВЧК». О, господи! Работа-то у капитана какая тяжеленнейшая! Ни единого дня без страха схлопотать себе пулю в лоб».

«Стал быть, подтянуться мне надо и быть начеку с полковниками и генералами», — обдумывал Ной, успокаиваясь. Одним разом разделался с доносчиками Подшиваловыми — хорошо! И Сазонов, должно, удует из города и глаз не покажет до нового пришествия

Христа-спасителя. Вспомнив о Христе, дрогнул: что-то не слышал ни ранним утром, ни вечером колокольных перезвонов! Не может быть, чтоб в двух соборах и одиннадцати церквах служб не было в воскресенье! Или уши заложило от всех переживаньев, господи, прости меня! А ведь и господу богу давно не молился, ни в церкви, ни в соборе ни разу не побывал.

Заметно вечерело, и веяло по улицам освежающей прохладой с севера. Еще не доходя до дома Ковригиных, увидел свет в окнах. Как-то у них? Ворота и калитка были на запоре. Постучался — кобели не взлаяли: унюхали постояльца.

Подбежала Лиза, выглянула в прорезь, радостно залопотала:

— Ой, Ной Васильевич! Слава богу! Живой, живой! Слава богу! А я весь-то день-деньской на коленях стояла перед иконами: молилась, молилась, чтоб живым увидеть вас, Ной Васильевич!

Ноя тронула заботливость Лизаветы, но на душе у него было тяжело после пережитого.

— Еще конь у вас? Чей? Ва-аш? Ой, ой! А Вельзевул пришел еще после обеда, да так заиржал! Ажник у меня сердце оборвалось: игде, думаю, Ной Васильевич? Вить какие казни были на Каче! Ой, ой! Василий так перепугамшись прилетел — лица не было. Сказал, што настало у белых время казней, и потому он в доме дня не задержится. Со свекором так-то ругался, так-то ругался из-за сестер! Выдавил из папаши три тышчи деньгами и коней своих взял, шмутки собрал, даже подушки и теплое одеяло — навсегда уехал, навсегда! Собирается бежать кудый-то на Владивосток со своей милашкой, которая живет у него в Николаевке. А потом и свекор до обеда уехамши на сенокос. За Коркину али за Маганск, не сказал. Токо упредил, чтоб я сама тут съездила на коне Абдуллы Сафуддиновича за свежей травой для коров и козы и хозяйство соблюдала. А я и так соблюдаю.

— Ох, Лизанька, Лизанька! — вздохнул Ной, расседывая Воронка. — О Василии не тужи. Не пропадешь. Вельзевула не расседлала?

— Дык ужась как боюсь иво!

— Ладно.

— А за вас так-то беспокоится Абдулла Сафуддинович! Так-то беспокоится! Сам приходил два раза. Будто какой-то извозчик сказал ему, что вас самого забрали в контрразведку. Абдулла Сафуддинович

подсылал туды шустрога мальчонка, штоб он разведал. И тот нарошно забросил мячик в дверь, когда офицеры бегали там, и в дом зашел. Крик слышал, не разобрал. Казак иво плетью стебанул. С того Абдулла Сафуддинович очинно встревожился. Ишшо старуха иво приходила: нет ли вас в доме?

Ной не стал пугать Лизавету: извозчик просто обознался, а он находился на вокзале у командира эшелона.

Расседлал Вельзевула. Седло сойотское положил в пустой ларь, куда хозяин ссыпал овес. Потник, как всегда, взял с собою и, когда вышли из конюшни, попросил Лизавету занести в дом мешок — он не тяжелый, а сам вынул из тайничка пачку пропусков, сунул в карман кителя. Надо спешно пойти к Абдулле Сафуддиновичу, разузнать, как там Селестина Ивановна? Может, перепрятали ее на другую тайную квартиру, тогда все слава богу.

Потник сам занес в свою комнату и сунул под перину, где и хранил его всегда: собственный банк при себе — не шутка! Разузнай о тайне Ноя Василий, наверняка бы почистил потник! На Лизавету надеялся — копейки не возьмет!

— Ужинать-то! Ужинать-то! — бегала Лизавета, собирая на стол.

— Скоро подойду. Надо сходить к Абдулле — беспокоятся же!

Головастый, белоголовый Мишенька сидел у стола на ящичке, поставленном на стул, и таким-то осмысленным взглядом посматривал на Ноя, как будто что-то хотел спросить или сказать ему о своей сиротской доле. Ной погладил его по головке, приласкал.

Абдулла Сафуддинович, в жилетке на белую рубаху и тубетейке, встретил Ноя с не меньшей радостью, чем Лизавета:

— Ай, бай, батыр наш! Батыр наш! Я знал — батыр наш не взять белый шакала! Не взять! Такой батыр, ай, ай! Славный батыр, ай, ай! — И повел Ноя, приговаривая что-то по-татарски, на задний двор к шорной мастерской, где едва виднелся свет из занавешенных окошек.

Дверь была на запоре, Абдулла Сафуддинович постучался:

— Свой, свой, товарища! Токо свой! — торжественно предупредил Абдулла.

Плеснуло пологом света, спугнув сгущающуюся тьму, и Ной лицом к лицу встретился с Артемом. Через его плечо увидел Селестину Ивановну и с нею — тонколицый Машевский и

кудрявоголовый Павел Лаврентьевич Яснов, еще кто-то — не стал приглядываться. Человек семь.

Артем у порога схватил Ноя в объятия и поцеловал, а Абдулла Сафуддинович восторженно бормотал:

— Наш батыр — славный батыр! Самый смелый батыр! Большая друг мой!

Селестина поднялась с табуретки и нетвердо пошла навстречу Ною. Он видел, как лицо ее мученически искривилось, задержались губы, из ее черных, широко открытых глаз по щекам покатились слезы. Подняв руки, она медленно положила их на плечи Ноя и зарыдала, уткнувшись лицом ему в китель. Ной поглаживал ее по плечам, успокаивая:

— Слава Христе, живая! Чего теперь? Жить надо, Селестина Ивановна.

Артем что-то шепнул Абдулле Сафуддиновичу, и тот убежал, закрыв дверь. Ной слышал, как скрежетнула железная задвижка.

— Ну, чего так расплакалась, Селестина Ивановна? За ради бога, успокойтесь! — терялся Ной.

Страхи пережитого пленения, долгая и тягчайшая дорога от Туруханска в Красноярск, пытки и надругательства над арестованными в пути следования — все это разом хлынуло из сердца Селестины и отливало в потоке слез и рыданий.

— Ваня ваш убит, Ной Васильевич! Какой был добрый и славный мальчик! Мы с ним бежали вместе с парохода. Боже, боже мой, что там происходило!

У Ноя захолонуло сердце: сгиб Ваня, братишка, по девятнадцатому году... О, господи! Спаси мя! Дальчевского надо шлепнуть — непременно и безотлагательно! За кровь брата, за всех убитых в Туруханске и замученных по пути следования — смертную казнь серому гаду!

— И то сполню! — басом вывернул Ной. — Я Дальчевскому такую казнь устрою! За Гатчину, за все его подлые дела, какие они готовили мне сегодня в контрразведке, выворачивая нутро!

— Значит, вас действительно держали в контрразведке? — спросил Артем.

Селестина перестала плакать и, подняв голову, пристально посмотрела в лицо Ноя.

— Счастливым случаем спас, слава Христе, — перевел дух Ной и прошел к столу вместе с Селестиной.

Ноя попросили рассказать обо всем, что случилось. Про казненных Аду Лебедеву, Тихона Марковского и Печерского они знали. Ной дополнил: растерзан у тюремной стены Тимофей Прокопьевич Боровиков, семь жертв найдены в калориферах — фамилии их неизвестны. У Каргаполова было собрано много материалов, чтобы схватить некоего резидента ВЧК, да выручил подоспевший полковник Ляпунов с подполковником Коротковским. Ну и все дальнейшее, вплоть до плетей доносчикам Подшиваловым. И про Сазонова — отпустил живым-здоровым, хотя «горбатого могила исправит», но ведь пятеро детей имеет!..

Артем подживил самовар — надо угостить хотя бы чаем уезженного за сутки Ноя Васильевича.

— Идти мне надо, товарищи, — отказался от угощения Ной. — После всего — отоспаться бы.

— Про какого же резидента ВЧК выпытывал на допросах Каргаполов? — спросила Селестина. Ной быстро и коротко глянул на Машевского, ответил:

— Имя его не называлось, Селестина Ивановна. Должно, имеется, если Каргаполов столько старался разоблачить его. Дай бог, чтобы не повязали. Я вот письмо получил от сестренки, какая заваруха происходит по станицам — сердце леденеет! Казни и порки плетями до умопомрачения! Эко, чуток не забыл! Пропуска я для вас украл в сорок девятом эшелоне. — И достал из кармана кителя стопку пропусков, один из которых был заполнен на купца Андрея Митрофановича Циркина. На всех бланках была отпечатана замысловатая подпись командира сорок девятого эшелона подпоручика Богумила Борецкого.

Артем Таволожин ухватился:

— Это нам, как глаз, сгодится! Ну, спасибо вам, Ной Васильевич. Большую помощь вы нам оказываете.

Машевский, все время молчавший, пристально вглядываясь в Ноя, не похвалил.

— А что, если бы эти пропуска изъяли у вас при обыске?

Ной рассказал, как он их перепрятал, покинув салон-вагон Богумила Борецкого.

— И все-таки это большой риск, тем более, что за вами шла слежка Каргаполова. Да и Вельзевула вашего могли найти у Ковригиных и обыскать сумы!

Артем не согласился с чересчур осторожным Машевским:

— Самый большой риск для Ноя Васильевича, Казимир Францевич, был ночью, когда он выхватил из колонны Селестину Ивановну. Считаю, есть такое стечение обстоятельств, когда надо идти на крайний риск.

— Ну, я пошел, — сказал Ной.

— Конечно, конечно! — поддержал Машевский. — Я провожу вас.

Когда вышли в темень ограды, Машевский позвал Ноя под навес, и они сели в тот же экипаж, в котором беседовали месяц назад.

— Это верно, что новоявленный подполковник Хвостов изорвал протоколы допросов, все документы по «резиденту» и подозреваемым в связи с ним? — спросил Ной.

— Да ведь на самого князя паутину сплел брюхатый недоносок, оттого и отвел душу князь. В клочья порвал все протоколы и письмо генерала Новокрешинова.

— Понимаю! Случай произошел благоприятный. А как вы думаете, кого подразумевал Каргаполов под именем «резидента ВЧК»?

— Кириллу Иннокентьевича Ухоздвигова, — и Ной подробно рассказал о том, что произошло в кабинете Каргаполова.

Машевский слушал, переспрашивал о деталях и долго думал, выкуривая одну папиросу за другой.

Прощаясь с Ноем в глухой и темной улице, Машевский еще раз попросил ни в коем случае не рисковать. А Селестина Ивановна жить будет покуда у надежного во всех отношениях бывшего политического ссыльного по 1905 году Абдуллы Сафуддиновича Бахтимирова. О встречах с ним, Машевским, нигде никаких разговоров. Встречаться Ной будет только с Артемом и Абдуллой Сафуддиновичем.

— Благодарствую за все советы, Казимир Францевич, — ответил Ной. — Одно сумление: помощь-то моя для вас малая при моей должности командира эскадрона.

Машевский похлопал Ноя по плечу:

— Дай бог, чтобы все нам оказывали такую помощь! И я надеюсь, что это время придет.

— Да, чуть не забыл, — встрепенулся Ной. — Каргаполов-то лютовал до пены на губах, что в городе действует подпольный комитет с типографией и выпускает листовки. На князя Хвостова кричал во все горло, что князь не видит за юбками, что происходит в городе. Листовку какую-то сунул прямо под нос прокурору Лаппо.

— Отлично! Это же отлично! — обрадовался Машевский. — Значит, дошла листовка. Ах, молодцы ребята.

— Дозвольте спросить... Об одном сокрушаюсь: чего так долго вести нет от Анны Дмитриевны?

— Это еще одна тайна, — отозвался Машевский. — Так что, Ной Васильевич, осторожность и еще раз осторожность.

Распрощались.

Еще издали от сада Юдина Ной увидел прячущуюся у ворот Ковригина какую-то темную фигуру. Дрогнул: не агент ли? Можно было свернуть в юдинский сад и скрыться. Темная фигура отделилась от ворот и пошла навстречу. По платку — женщина. Да Лиза же это, господи прости! До чего беспокойная душенька!

Сунув приготовленный кольт в кобуру, пошел быстрее. Лиза подошла грудь в грудь, глядя в лицо Ноя.

— Эко испугала меня, язва! — ругнулся Ной. — Подумалось, возле дома кто из контрразведки дежурит. Спала бы.

— Разве могу уснуть после таких переживаньев?

После угарного длинного дня Ною захотелось помыться: за жаркий день просолел и вчера, в субботу, не был в бане, хотя Лиза топила. Попросил полотенце, достал кусок пахучего мыла — добыток из богатых припасов чешского эшелона — и ушел сполоснуться от грязи, прихватив зажженный фонарь. Лиза тем временем подогрела ужин, достала малиновую наливку.

— Может, выпьете, Ной Васильевич, после бани?

— Выпью, Лиза. За упокой души брата моего Ивана, меньшего, последнего! Убили его каратели.

— Ой, Ванечка! Милый Ванечка! — запричитала Лиза, закрыв ладонями лицо. — А добрый-то какой был! Такой-то душевный парнишечка. Я иво так-то обихаживала, чтоб не чувствовал он себя сиротою, как я возросла.

Голос причитающей Лизаветы будто ножом полоснул по сердцу Ноя. Ухватившись за голову руками, он вылетел из-за стола, остервенело пнув табуретку.

— Окаянный я, окаянный! Ирод рода человеческого! Ивана я сгубил по наущению дьявола! Потому, как знал — застрянут они во льдах, не прорвутся к Ледовитому океану! Знал, знал и отпустил на погибель — пущай плывет, чтоб смерть принять, а я спасу свою шкуру и голову рыжую, окаянную! Несть бога в душе моей, Лизавета! Несть! Дьявол я!

Лизавета испуганно вскрикнула:

— Ой, што вы так на себя-то, миленький Ной Васильевич!

— Не смей жалковать и называть дьявола миленьким! Убивец я! Убивец! Кровь двух братьев на моей совести. А сколько других братьев полегло в том бою, в котором Василий сгиб, по моей милости?! И вот Иван еще... Не по моему ли примеру он из семьи убежал! Переживал-то как, матушка сказывала, когда я с плотогонами в Урянхэе пластался! Зачем, зачем я его бросил? Зачем тут остался?

— За напраслину убиваетесь...

— Молчи, Лизавета! Ничего ты не знаешь. Кровь дьявола кипит во мне. Отмщения просит. Не успокоюсь, покуда жив! Иль душа на части разорвется!

Елизавета отступила: такого Ноя Васильевича она не знала. Переживает-то как! Ужли и вправду много людей сгубил где-то на войне и брата еще?

— Выйди вон, Лизавета. Не гляди на меня! — рыкнул Ной, опускаясь на табуретку и сотрясаясь от рыданий.

Лизавета до того перепугалась, что, не смея больше рта раскрыть, молча юркнула в свою горенку, притихла там.

А Ной сидел, покачиваясь из стороны в сторону, и трудно дышал.

Отчего так в жизни происходит, что люди убивают друг друга? Или им так на роду написано? Где они, тот царь и отечество, за которых он в бою сгубил брата Василия и столько людей положил на землю мертвыми телами?! Нету царя. И отечество расколосось на две половины. У белых или красных отечество? В той путаной Самаре у Комучей или здесь, у сибирских правителей? Зачем ему, Ною, теперь кресты и медали, коль братьев не возвратить никакими молитвами?! Один у него крест теперь — отмщение! Иван, который только жизнь

почал, должно, твердо знал, где отечество. А он, пес вихлючий, шкуру свою спасти хотел. Да не вышло то! И не выйдет!..

Припомнилась песня русская: «Горе горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело». Набрело на Ноя, на весь его казачий род, на всю умыканную Россиюшку, и не вычерпать его ведрами, не иссушить солнцем и ветрами!

VIII

Поздним утром Ной уехал к вокзалу в особый эскадрон и на перроне встретился с подполковником Хвостовым.

Князь провожал какую-то даму на поезд — разнаряженную и красивую, льнувшую к нему принародно. Когда Ной подошел к ним, подозванный князем, дамочка сердито взглянула на кавалера, выговорив:

— Даже провожая меня, Жорж, ты не можешь забыть о своих делах!

— Я на минуточку. До отхода поезда еще целый час. Пойди, пожалуйста, в вокзал.

Дама ушла, а князь, взяв под руку хорунжего, повел его по перрону:

— Ну, хорунжий! Натерпелись мы с вами страхов вчера! Это же надо, в «агенты ВЧК» завербовал нас исчадь дьявола?! Это меня, князя, чья родословная не поместится на этом фасаде вокзала, — говорил князь. — Слышал, вы выпороли доносчиков-provокаторов? Пороть, пороть посконников и луковичных червей! Откровенно говоря, я боялся, как бы вы со страху не оговорили нашего друга Кириллу Иннокентьевича! Это мой лучший друг, знаете ли. Мы с ним давно на брудершафт! И если бы эти сволочи из губернского управления не задержали пакет — ничего подобного не произошло бы. Они, мерзавцы, вынюхивали, какой им линии держаться при новом управляющем губернией.

Князь напропалую ругал чиновников губернского управления и пригласил хорунжего откусать с ним в ресторане по случаю благополучного пребывания на свободе.

— А жидовку вы напрасно отправили ко всем чертям в преисподнюю. Я, понятно, не за милосердие к большевикам, но не за

беззаконие. Пусть это останется совдепии, господин хорунжий. А мы должны установить у себя демократические порядки. «Свобода, свобода, мать человеческая!» Это наш лозунг с капитаном, теперь уже подполковником. Вы с ним не встречались в Гатчине (это между нами)?

— В сводном сибирском полку он не служил, как бы я мог встретить его? А если приезжал в Гатчину тайно, то, ясное дело, не для встречи со мною.

— Я в этом уверен, — поддакнул князь. — А ловко я вчера в ключья порвал хитросплетения иуды искаротского? Тут играл момент! Секунда, братец! Коротковский еще не сел в комиссарское кресло, а Каргаполов разжалован и отстранен. А я при исполнении священных обязанностей. Чик, и в дамках. И сам сжег паскудную бумажную паутину, которая, братец, опаснее пули для человека в России!

От приглашения в ресторан Ной отказался: у князя дама, и он, Ной, стеснит их.

— Маменька! — воскликнул князь. — Эта дама, братец, у меня вот где, — и резанул ребром ладони по горлу. — Беженка, черт бы ее подрал. Без капитала и имущества — гола, как скала! Отправляю ее в Иркутск на казенный счет. Опостылела. Супруг удул в сторону генерала Краснова с золотом и драгоценностями, она в Самару, и сюда вот прикатила. Богата тем, что на ней, да под платьем. Но, братец, с таким капиталом недолго протянешь, если к тому же — дамочке хлестнуло за тридцать, и нежный коленкор ее отцвел изрядно. — Плюнул в сторону, вытер платком губы, пожалел. — Тоскую о Кирилле, хорунжий. Это же мозг. Да еще какой крупный и отлично работающий. Вы в этом вчера убедились. Задержится в Омске до конца августа: к генералу Дутову послали с переговорами. Что для нас главное в данный момент? Воссоединение всех вооруженных сил. Сейчас, как имеются данные, многие из бывших офицеров, которые были командирами в Красной Армии, бежали к нам. Выворачиваются в следственных комиссиях, простирываются, чтобы стать снова беленькими и водить бы наши части в бой с красными. Ну, надо думать, простирают их хорошо, и служить они будут, как черти. Попадись они еще раз красным — это уж верная преисподняя!

Ной согласен: за предательство красные комиссары не помилуют.

Попрощавшись с князем, Ной пошел попроведовать подпоручика Богумила Борецкого.

Сорок девятый эшелон стоял на запасном пути недалеко от складов товарной биржи. Хвостовые вагоны эшелона огорожены были высоким заплотом и поверх досок протянута колючая проволока: в тех вагонах содержались арестованные, доставляемые чешской контрразведкой со многих станций, из городов — Ачинска, Канска и самого Красноярска. Допросы и следствия велись под руководством подпоручика Борецкого и начальника политического отдела, поручика Брахаचेка. В тридцати вагонах с паровозом находились легионеры, офицеры, и отдельно, в тупичке, уходящем во двор товарной биржи, стояло еще вагонов пятнадцать, куда укладывали награбленное добро. Все вагоны были именованными, с надписями краской, у каждого свой замок. В пространстве между тупичком и запасным путем были установлены кухня, столы под навесом из брезента, где и трапезничали легионеры, вечерами играли на губных гармониках, крутили граммофоны, весело проводили время.

Тут же, составленные в деревянные клетки, как кони в стойло, выстроились мотоциклы, наводящие ужас на горожан, и поодаль серел личный бронированный автомобиль командира эшелона с высунувшимся стволом пулемета.

Подпоручика Борецкого Ной не застал. Знакомый ефрейтор Елинский сообщил, что командир с поручиком Брахаचेком до вечера будут заняты в запретной зоне: большевиков допрашивают.

Возвращаясь от эшелона, Ной увидел конвоируемых чехами двух неизвестных. Один из них — парень в промасленной брезентовой куртке, другой — пожилой усатый мужчина в лоснящейся тужурке, в какой обычно ездят машинисты паровозов. У парня и мужчины руки были скручены черной промасленной веревкою, в спины арестованным упирались ножевые австрийские штыки. Ной догадался: из депо, не иначе!

ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ

Беды людские — не верстами меряются...

Горе людское — не ведрами черпается...

Со всех волостей, уездов стекались в Красноярск сообщения милиции о расправе над крестьянами. Никакими мерами не могли призвать к повиновению мужиков. Люди скрывались от мобилизации в тайгу, таились по заимкам, прятали животину, не сдавали хлеб, не платили недоимку за три минувших года, а губернские власти наседали на волостное и уездное начальство: хлеба, хлеба, денег, солдат, мяса, мяса!

...Когда над поймой Малтата проносится черный буран и молодые деревья, кланяясь до земли, как бы просят пощады, а иные, не выдержав напора бури, со стоном гибнут, выворачиваясь из земли вместе с корневищами, — старый тополь только клонит свою мощную гриву, и шумит, шумит, по-богатырски схватываясь со стихией. И не дрогнет его толстущий ствол, не согнется, будто он отлит природою из упругой стали.

Подобно черному бурану крутанула Белую Елань лютая кипень гражданской войны.

Из Минусинска с крестьянского съезда едва живыми выскочили приисковые ревкомовцы — Ольга Федорова с Никитой Корнеевым, а с ними — Мамонт Головня, братья Харитоновы и Аркадий Зырян.

Из Каратуза примчались пяток казаков с атаманом, чтоб прикончить совдеповцев, а их и след простыл. Собрали сходку, и сам атаман Шошин возвестил: отныне, дескать, для всех настала свобода — живите, как можете, без красных и временных, да только смотрите! Если кто будет помогать беглым большевикам — милости пусть не ждет. Старостой выбрали богатея — Михайлу Юскова.

Особенно возрадовались тополевы. Прокопий Веденеевич воспрянул духом и созвал единоверцев на молебствие, как в престольный ильин день.

— Свершилась воля твоя, господи! — ликовал духовник, простирая руки к небу. — Да придет на анчихристов-красных месть Каинова, Исавова, Саулова, да пожнет их огонь-пламя!.. И будет нам прозрение и радость великая!

Да где она, радость, если небо над Белой Еланью заволокло тучами, а за Амылом грохотал гром и молнии полосовали черноту его

огненными лентами.

Хлынул дождище. Тополевцы сбились под святое древо. Духовник продолжал службу, не обращая внимания на дождь — кто помочит, тот и высушит. Меланья с малым чадом Деомидом и с грудной девчонкой стояла на коленях, истово отбивая поклоны.

Филимон поспешно переполз поближе к тополи с подветренной стороны — он не таковский, чтоб бороду мочить. Косился на Меланью: «Хучь бы окоянного выродка молнией шибануло», — согрешил. Хоть помирился в третий раз с отцом, а все на сердце лежал камень; никак не мог принять в душу тятин приплод. Да и в доме Филимон проживал вроде работника. Хозяйством управлял отец — знай поворачивайся, а к бабе Меланье не прикасайся — епитимью воздержания наложил на увальня. «Осподи, как жить ноне? Таперь батюшка силу набрал. В Ошарову уехать к Харитинье, што ль? Ипеть-таки хозяйство!» Нет, хозяйство Филя не бросит. Не три же века будет топтать землю батюшка? Когда-то и аминь отдаст!

Изо дня в день лили дожди. На час-два проглянет солнышко, и тут же подоспеют тучи. Льет, льет — на двор не высунешься. Деревня жила тихо. Начальство покуда не наведывалось. Про красных сказывали, что их, будто, повсеместно вылавливают и казнят. Пущай хоть всех прикончат.

Первую травушку скосили в дожди. Прокопий Веденеевич взял на сенокос трех поселенцев, а Меланья домовничала. «Ишь, как жалеет! — сопел Филя. — Погоди, ужо. Я ей, лихоманке, припомню потом!..»

Ни сам Прокопий Веденеевич, ни Филимон ни разу не вспомнили про Тимофея. Как будто и знать такого не знали.

А вспомнить пришлось...

На сенокос прибежала Меланья, босая, в длинной черной юбке, с узлом снеди, еще издали крикнула:

— Ой, тятенька! Идите сюды! Скорее!

Прокопий Веденеевич взял свою литовку и пошел к Меланье, а за ним Филимон в бахилах, вразвалку, нога за ногу.

— Бежала-то я как, осподи! Ажник сердце зашло, — тараторила Меланья, переводя дух. — Новность-то какая, батюшка. Барыня Юскова — Евдокея Елизаровна приехамши из города...

Меланья никак не могла отдышаться и собраться с мыслями.

Старик выжал мокрую бороду себе на посконную рубаху, спросил:

— Ну и што, ежли приехала? Какая наша сторона к ней?

— Дык-дык — в дом к нам заявила. Я овец стригла. Манька прибежамши в пригон...

— Погоди, — остановил Прокопий Веденеевич, почуяв недоброе. Глянул на поселенцев, и к Филимону: — Коси тут с ними. Седне из-за дождя мало положили травы. Эко лило!

— Я ажник насквозь мокрая, — ввернула Меланья. — Бегу, бегу, а дождь как из ведра. До ниточки промокла. Шалью узел с хлебом прикрыла. Да ведро свежей рыбы приперла. Маркелушка принес. На Казыре ловили. Ужась скоко поймали ленков, тайменей и харюзов.

Холстяная длинная юбка на Меланье обвисла и обтекала на голые ноги. Черная кофтенка прилипла к телу и мокрый платок припечатался на волосах.

— Какая новность? — не утерпел Филя, переступая с ноги на ногу.

— Иди, грю, косить! — погнал отец. Глянул на поселенцев, плюнул: — Ишь, сатанинским зельем задымили. Токмо бы дымить да бока отлеживать в стане. Работнички!.. Не поденно нанимать бы, а урочно. Ужо потолкую! Пять дней косим, а скошенного на три коровы.

— Дык дожди-то эко льют.

— Когда ишшо травушку косить, как не в дождь? Ступай!

Филя, так и не узнав новости, пошел с поселенцами продолжать покос. Старик с Меланьей направились к становищу. Меланья начала было говорить, но старик оборвал:

— Погоди с новностью. Вот разведу огня, обсушишься. С кем ребяенок оставила? С Варфаламеевной? И то!

Невдалеке от реки, на сухой горке, возвышалось два берестяных стана. Один для чужаков-поселенцев, другой — для себя. Между становищами очаг с прокоптелыми котелками, нарубленный хворост-сушняк, лагушка с квасом — для поселенцев посуда на особой доске. Прокопий Веденеевич вынес из стана беремя сухих дров и скруток бересты, развел огонь, обдумывая, с чего вдруг вертихвостка Евдокия Юскова навестила их дом? По какой нужде? Неспроста!

Меланья подсела к огню, чтоб высушить мокрую юбку.

— Ну, обсказывай.

— Дык доченька Юскова заявила. Которая Урвана застрелила из леворверта.

— В доме была?

— Я все опосля ее перемыла. И пол выскоблила с дресвой, табуретку и лавку, а потома окропила святой водой, чтоб...

— Не про лавку спрашиваю. Сказывай, как она пришла, по какой надобности, какой разговор был. Да не тараторь. Со смыслом, по порядку.

II

А было так...

С утра Меланья ушла в пригон стричь овец. Каждый год овец стригли, и все-таки они никак не могли привыкнуть к стрижке. Блеяли на весь пригон, кучились, тараща свои глупые глаза, и надо было каждую ловить, вязать по ногам, чтоб не брыкалась. День выдался морочный, и в пригоне было сумеречно. Повязав овцу, Меланья подстилала холщовое рядно, чтоб не грязнить шерсть, и, ловко орудуя острыми ножницами, стригла от зада к голове. Работала быстро, ни разу не поранив животное. Никто из мужчин, пожалуй, не мог бы соперничать с Меланьей на стрижке, как и на жатве серпом, за что и хвалил ее свекор. К полудню она управилась — семнадцать овец, четырех баранов и семь валушков остригла и выгнала в пойму Малтата пастись. Только успела управиться, полил дождь, а крыша пригона местами протекала. Надо было перетащить шерсть в амбар и там расстелить на рядно, для просушки и сортировки, как прибежала четырехлетняя Манька в холщовом платице, босая.

— Ой, мамка, чужачка у нас, Демку на руки взяла.

Манька в четыре годика научилась различать «чужачек», людей, не похожих на тополецев.

Схватив Маньку за ручонку, Меланья поспешила в дом. Еще в сенях ударил в нос чуждый запах — духмяность буржуйская. Переступив порог, Меланья замерла. На табуретке сидела черноволосая гостья — белолицая, в кожаной распахнутой тужурке и шерстяной шали на плечах, в черной юбке и в хромовых сапожках, по

союзкам испачканных грязью. На коленях у нее сидел Демка, и щеки у него отдулись — набил рот конфетами.

— Господи! — ахнула Меланья. Она узнала чужачку — Евдокию Елизаровну. Ужли за Демущкой явилась?

— Что испугалась? — спросила гостя, вскинув на Меланью свои большие черные глаза. — Или не признала меня?

Меланью будто кто толкнул в спину — один миг, и она выхватила мальчонку из рук чужачки. Та удивилась:

— Что ты так? Парнишку-то испугала!

— Чаво тебе надыть? Чаво? — вздулась Меланья. — Живо мужиков кликну.

Мужиков, конечно, дома не было — но надо же припугнуть.

— Какая ты, ей-богу! Ну, позови мужиков. Кто у вас дома-то? Старик?

Меланья ни слова.

— Какая же ты дикая!

— Уходи, барыня. Чаво надыть? Ежли за Демкой — дык топор схвачу.

— Какие страсти-мордасти! Ну, схвати топор. Да себя не заруби. Ох, какая же ты пуганая! Тошно смотреть. Мужики-то дома или нет? Ну, что молчишь? Мне с ними поговорить надо.

— Не будут они говорить с тобой, — отсекала Меланья, чуть успокоившись. — Чо надо — сказывай, коль в дом без спросу явилась.

— У вас все со спросом! И в дом, и воды испить, а как погляжу — дикость и невежество! Ну да вот что. Если мужиков нету дома, не забудь передать старику... Как его?

— Прокопий Веденеевич.

— Да, да. Прокопий Веденеевич. — Помолчав минуту, что-то обдумывая, Евдокия Елизаровна скупно сообщила: — Скажи старику, что... Тимофея Прокопьевича казнили в городе. Шашками изрубили казаки. Так что... нету теперь Тимофея Прокопьевича. Просто не верится, что такой человек родился в этом страшном доме, — повела взглядом по избе.

Меланья ни слова, ни вздоха, как будто слова Евдокии Юсковой летели мимо ее сознания.

— Я видела его изрубленного шашками у тюремной стены; трудно было признать, до того изуродовали каратели. По шраму на

щеке признала, да по мертвым синим глазам. Такие синие-синие, ужас. Передай все это старику. Так что... убили! С пятницы на субботу казнили. 27 июля по-новому. Число не забудь. Может, поминки отведете.

— Ишь, как! — встрепенулась Меланья. — Как он был анчихрист, така и смерть пристигла. Да штоб поминки ему! Пущай в геенне жарится с нечистыми.

Евдокия быстро поднялась с табуретки, коротко и зло взглянув на Меланью, кинула, как грязью:

— Звери вы, вот что. Звери!

И с тем ушла...

Все это рассказала Меланья старику с пятое на десятое, по многу раз повторяясь, путаясь в словах чужачки, и особенно ей запомнился наряд Евдокии Юсковой — кожаная куртка с красивыми пуговками, шерстяная шаль с узорами.

— Красивющая-то, как с картинки сошла. В лице ни сумности, ни заботушки. А ведь убивица!

Старик сидел на корточках, выпятив горб, пошевеливал палкой огонь. Он еще не сообразил, как и что, а сердце захолонуло. Как будто росомаха когтями скребла за грудиной. Он никогда и ни с кем не говорил о сыне, Тимофее Прокопьевиче, но денно и ночью думал о нем, поминая в своих тайных молитвах. «Владычица небесная, мать пресвятая богородица, ужли то правда?» — ворочалась трудная мысль.

— Ежли в куски изрублен — как она признала? По шраму? Экое. И я бы не признал по шраму. Да и шрам-то одна невидимость. Ипеть — глаза. Мало ли у кого синие?

— Толды тоже похоронная была. А как он есть оборотень...

— Про оборотня не болтай! — оборвал старик невестку. — Никому не ведомо, кто под какой планидой круг жизни свершает. Мало ли бывает праведников, которые много лет рыло отворачивали от бога, опосля прозрели? И апостол Петр трижды за ночь отрекся от духовника свово, Христа-спасителя.

У Меланьи даже рот распахнулся от удивления. Вот те и на! Не сам ли старик заклятье наложил на Тимофея и предупредил, штоб все называли его оборотнем, а теперь жалеет вроде.

Старик трудно дышал. Расстегнув ворот рубахи, сунул руку к сердцу. За грудиной скребло, тискало, давило, и на лбу старика

выступила испарина.

— Аль худо, батюшка?

— Молчи. Подживи огонь. Шибче.

Меланья подбросила в огонь сушняка. Старик закрыл ладонью бороду, подставляя грудь теплу. Так вот что его мучило три недели сряду — ни сна, ни покоя. Как ночь, так к нему являлся Тимофей. И они начинали спорить, доказывая каждый свою правду-матку. Тимофей — безбожную, отец — тополевою, филаретовскую. А тут как-то во сне...

— Вроде сон был, али виденье, — бормотал старик. — Вижу, как теперь тебя, Тимофей в рубище пришел ко мне, а — молчит, молчит. Потом заржал Гнедко — с жеребцом схватился, и я вылез из стана. А жеребец-то, будто и не жеребец, облик человека вижу. Спужался. К чему бы так, думаю. А голос изнутри: «Се твой сын, Тимофей Прокопьевич, праведник, и знать ему дано». До сей поры в толк не могу взять, что и к чему примерещилось. Праведником назван, и все, дескать, дано знать ему.

Меланья почтительно помалкивала.

— Побудешь на покосе дня три, а я полежу дома, — сказал старик, что-то обдумывая. — Сила не та, чтоб ровень с поселенцами пластаться с литовкой, а сам себя удержать не могу. Хомут завсегда на шее — тащить надо воз, хоша и гуж не дюж. Ежли чуть разведрится — грести надо, копны ставить и стога метать. Ох, хо, хо! Ночами мучаюсь — сна лишился. И так кидаю мыслью, и эдак, а исхода не видно. Какая она, жисть, будет дальше?

— Ужли хуже будет, чем при красных? — бормотнула Меланья.

— Кто ие знает! Покель тихо. Да ведь и после тиха приходит лихо. Кабы по всей земле была одна община — тополевая, и то вить скоко всяких по белу свету! Нету крепости — нету силы. Ладонькой гладят, а не бьют. Кулаки сжать бы. Единая вера надобна, вселюдная, чтоб сила была у людей. Нету таперь такой силы — каждый себе тянет. Вот Тимофей сказывал, что его сила в какой-то партии... Заложь коня! Поеду.

Меланья запрягла гнедого мерина в телегу, кинула свежей травы, а старик все так же сидел возле огня, что-то бормоча себе в бороду.

— Может, один не доедешь, батюшка?

— Чаво еще?! — огрызнулся старик. — Косите тут. Погода вроде переменится. Ишь, как кучатся тучи. Должно, верховой ветер играет. Подует, и разведрится. Дай-то, господи, чтоб с сеном до страды управиться.

Уселся в телегу, взял вожжи, тронул. Меланья шла рядом.

— С Филимоном таперь будь, слышь, — вдруг сказал старик и понужнул мерина.

К вечеру заслон облаков прорвался. Вершины берез качнулись под напором ветра. Лиловые громады туч рвались, расплываясь в разные стороны, будто кто их разгребал лопатой и мел по небу метлой. Выкатилось закатное солнце, прыснуло лучами по мокрым листьям берез, потряхиваемых ветром, и сразу стало веселее: защebetали птицы в кустах возле речки, и даже косить стало легче.

Меланья сварила ведро ухи из большого куска тайменя, свежей картошки отварила, и поселенцы, похваливая хозяйошку, управились с ухой и картошкой. После ужина сумерничали у двух костров — поселенцы развели свой возле стана, курили сигарки, обсуждали житейские невзгоды, а потом и на боковую завалились. Меланья тем временем вычистила ведро, чтоб завтра сварить в нем бараньей похлебки, перемыла песком и прибрала посуду, а потом сама вымылась в речке, и руки окропила святой водой — срамные, к поселенческим кружкам и ложкам прикасалась.

Филимон Прокопьевич поджидал Меланью у костра.

— Какая новность-то? — спросил жену, когда она вытерла руки рушником и перекрестилась лицом к восходу.

— Дык худая, — бормотнула Меланья, присаживаясь на сосновую чурочку и опустив ладони на колени. — Тимофея будто казаки изрубили шашками в Красноярске. Изловили гдей-то, а потом изрубили, грит.

— Значитца, кокнули комиссара!

— Дык, может, ишшо не он. Евдокея обознаться могла.

— Тимоха приметный — не обозначаешься. Опять-таки, как ежли по перевороту, Тимохе один конец. Повсеместно белые большаков кончают. Кого шашками рубят, а кого к стене. Микита Шаров говорил,

как чехи стрелили красных игде-то на станции Клюквенной. Едва убеги, грит.

— Батюшка-то как переменился, — вздохнула Меланья. — Я ажник спужалась, как он вот здесь покачнулся и за сердце схватился: «Зашлось, грит, духу нету».

— Эва! — удивился Филимон, кося глаза на Меланью. Вот она рядышком, женушка! Вроде поправились и в щеках играет кровца, не то что была зимой — кость костью. Как же отец оставил ее с Филей? «Вить епитимья же, осподи!»

...С памятной зимней поездки со «святым Ананием», когда волки разорвали коней, Филимон не прикасался к Меланье, а на пасху отец объявил ему в моленной горнице: «Как ты чадо мучил, какого бог послал, епитимья тебе на три года: к Меланье чтоб не прикасался!» Легко ли? Есть жена — и нету жены.

Костер полыхает, тьма жжет, лицо греет, и так-то хорошо окрест, что даже Меланья умилилась:

— Ноченька-то экая теплущая! И звездочки рясные высыпали.

Филя тоже взглянул на небеси:

— Во Царствие небесном завсегда согласие, не то што среди людей. Луна ликует, ежли в чистом виде округлится, звезды сияют, как будто радуются. А люди как живут! Поедом едят друг друга. В одной семье и то согласия нет. Отец изводит сына, а за што, про што, неизвестно. В одной вере живут, а друг друга мучают. Вот хоша касаемо меня. Как в толк взять — есть у меня жена али нету? По всем статьям нету, как в натуральности. К солдаткам пойти, што ль? На той неделе Нюська Зуева, вдова, встрела меня на выпасе коней, хохочет охальница: «Ты, грит, Филимон Прокопьевич, как я слышала, холостуешь? Дык не статья ли мне? — грит. Мой-то, грит, сгил на позиции, али в плену у немцев или мадьяр, а тело-то у меня молодое и душа певучая».

Меланья потупила голову, и ладошки на коленях вздрагивают:

— Дык што? Шел бы к ней, ежли у ней душа певучая. А мне-то што сказываешь? Али я сама на себя епитимью наложила?

— Стал быть, чужой тебе, — подковырнул Филя.

— Не чуждалась я, не чуждалась! Разве моя воля?

— А ты бы спросила у него. Ежли не чужой тебе.

— Дык... спросила, — соврала Меланья. — Когда поехал домой, сказал мне: «С Филимоном будь». А што обозначает...

— Слава Христе! Отошел, значитца, — воспрянул Филимон Прокопьевич. — А как «будь» — известное дело. Чаво мешкать-то?

Жизнь, как река, легла берег к берегу.

IV

Подоспела страда — хлеб уродился неслыханный: по сто пудов пшенички с десятины намолачивали, то и двести по парам, экая радость! И тут же беда приспела: прикопытил в Белую Елань казачий отряд подхорунжего Коростылева, а с ним начальник Сагайской милиции с милиционерами. На сходку мужики не шли, как будто нюхом чуяли, что после сходки им придется портки менять. Казаки гнали плетями — знай поворачивайся. Живо! Живо! «Слабодушка, якри ее! — оглядывались мужики друг на дружку, поспешая на площадь, где на крыльце ревкома строжело высокое волостное начальство. — При Советах так не потчевали, чтоб с плетями гнать на сходку! Вот те и на!»

Коростылев пригляделся к толпе, поправил казачий картуз без кокарды и начал:

— Слушайте! — Ни гражданами, ни крестьянами не назвал. Никак. — Разговоров будет мало. Каждый мужчина, которому от двадцати лет до сорока, добровольно запишется в сибирскую армию, чтоб уничтожить красных большевиков. Списки староста заготовил. Семьдесят лбов будут забриты в первую очередь и сто двадцать во вторую. Без разговоров. За сопротивление милости не ждите. Плети и шомпола у казаков имеются, а так и патронов в подсумках хватит.

Коростылев взял у Михайлы Елизаровича список, посмотрел и передал начальнику милиции. Тот прочитал, кому сейчас же надо записаться в добровольческую сибирскую армию.

Мужики не успели обдумать, что и к чему, как Коростылев возвестил новый приказ: каждый домохозяин должен сдать Сибирскому правительству столько-то пудов хлеба, ржи, ячменя, мяса в убойном весе и в живом, такую-то собрать одежду — полушубки, валенки, бахилы, а если у кого имеются армейские сапоги и шинели, тащите сейчас же! Без промедления. Кроме того, за три минувших

года, исчисляя с тысяча девятьсот шестнадцатого, взимается с крестьян недоимка. То, что платили деньгами и сдавали хлебом временным и большевикам, не в счет.

— Не можно то! — раздался первый голос, а тут и все мужики подхватили:

— Нету хлеба! Откеля взять? Сами с голоду пухнем!

— Мы не сажали на власть временных и большевиков тех — сами с них взыскивайте!

— Ма-алчать!

Мужики отхлынули от ревкома, собираясь разбежаться, но с той и с другой стороны оцепление — казаки в седлах.

— Слабода, сказывали! А игде она?

— Кому надо «слабоды»? Кто орал?

Тот, кто вспомнил про «слабоду», — язык проглотил, но не остался безучастным Прокопий Веденеевич — его хозяйству по списку положено сдать двести пудов пшеницы, тридцать пудов мяса в убойном весе и пятнадцать в живом и три тысячи рублей в царских деньгах, да и сын Филимон в первом списке добровольцев.

Коростылев расстегнул кобуру, уставившись на сивобородого космача с длинными косичками, а староста, Михайла Елизарович, успел шепнуть: это, мол, духовник тополевец, но фамилию духовника забыл назвать.

Прокопий Веденеевич, меж тем, поднявшись на три ступеньки крыльца, протянул руки к сходке:

— Зрите, зрите, люди! Это две руки! Али у вас по четыре и по десять горбов? Доколе будут грабить нас анчихристы? Не от бога то, хрестьяне, от нечистой силы. Али не пихнул народ царя за грабеж, скажите! Али не пихнули какова-то Керенского? Не дадим хлеба! Пущай камни глотают! И в сатанинское войско никто пущай не записывается. Аще сказано в писании...

Коростылев схватил духовника за ворот шабура, а сходка орет бабьими и мужичьими голосами:

— Нету хлеба! Нету!

— Казачье треклятое!

— Плетей бунтовщикам! Шомполов! — гаркнул подхорунжий Коростылев, и казаки в седлах — упитанные, дюжие, — налетая конями на крайних, засвистели шомполами и плетями — визг и рев на

всю деревню. Мужики кинулись кто куда — дай бог ноги, да не всем удалось вырваться.

— Хватайте казаков, мужики! За ноги хватайте, — призывал старый Зырян, стаскивая с коня желтолампасника.

— Огонь по убегающим! О-о-ого-онь! — скомандовал Коростылев.

Тут уж не убежишь — сбились в тесто, месят друг дружку, бабы визжат — смертушка пришла!..

Первым на крыльцо уложили Прокопия Веденеевича. Как он не брыкался, не грозился геенной, а содрали с него посконные шаровары с исподниками: двое держали за голову и руки, третий уселся на ноги, а здоровенный казачина начал потчевать винтовочным шомполом по голой спине и заду, приговаривая:

— За анчихриста! Ррраз, ррраз, рраз! За сатану — рраз, рраз! За бунт рраз, ррраз! — свистел шомпол.

Прокопий Веденеевич сперва крепился, а потом заорал во все горло. Сколько шомполов влупили ему, никто не считал. Когда из окровавленного тела не слышалось ни оха, ни вздоха, Коростылев махнул рукою, и казаки сбросили тело вон с крыльца.

Сын Филимон тем временем, отведав пару плетей по чувалу спины так, что сквозь рубаху кровь проступила, мчался что есть духу в пойму Малтата по проулку Юсковых. «Экая власть объявилась, осподи помилуй, — отдувался Филя. — Слабода, слабода, а оно эвон какая слабода — плетями дуют и хлеб, должно, вчистую выгребут».

Плотное чернолесье укрыло Филюшку, а родной батюшка, отведавший «слабодушки», валялся возле крыльца, еле-еле душа в теле. Потом его утащили единоверцы.

Вслед за Прокопием Веденеевичем втащили на высокое крыльцо старого Зыряна за нападение на казака и призыв к восстанию.

Михайла Елизарович подсказал:

— Этого бы смертным боем, как он из каторжных, вредная политика, а сын его большевик, в тайге скрывается.

— Триста шомполов большевику! — приказал Коростылев. Никакой конь не сдюжил бы столько, и это знал, понятно, подхорунжий, но он исповедовал жестокость, и чуру не ведал.

Старый Зырян кричал мало — лицо втиснули в половицы. Моложавая жена Зыряна, Ланюшка, прорвалась на крыльцо, оборвала портупю на Коростылеве и глаза чуть не выткнула. Тот вырвался, отскочил в сторону и, выхватив маузер, выстрелил в грудь Ланюшки. Она скатилась с приступок вниз — не охнула.

А старого Зыряна все били и били мертвого, чтоб другим неповадно было хватать желтолампасников за штаны и стаскивать с коней. Бабы и мужики возле ревкома, стиснутые со всех сторон конными казаками, окаменело взирали на высокое начальство при оружии, которому дана власть творить казнь. С шомполов брызгами летела кровь на тех, кто прижат был к крыльцу. А небушко в этот момент над Белой Еланью было такое чистое, погожее, и светило солнышко!..

Начальник с милиционерами, староста Михайла Елизарович, отвернувшись от иссеченного до костей тела старого Зыряна, пряча глаза, отступили за спину подхорунжего, а он, этот мордастый подхорунжий Коростылев, уверенный в своей силе и власти, с маузером в руке, толстоногий, стоял в отдалении от экзекуторов, чтоб мундир его не забрызгали кровью, и, глядя сверху вниз в распахнутые ужасом глаза сельчан, ни о чем существенном не думал, кроме того, что дремучее отродье, разбалованное болтовней большевиков, надо образумить жестокостью, чтоб каждый почувствовал ребрами, как надо выполнять веления высшей власти, утверждающей в России демократию и гуманность.

— Пороть, пороть их надо! — приговаривал Коростылев, а у самого глаза вскипают, как молоко, на людей не смотрит, а куда-то вкось и ввысь. — Чтоб дух из них вон!

— Сдох большевик, — сказал носатый казачина, отсчитав свои полторы сотни ударов, а за ним и второй в последний раз свистнул шомполом. Обезображенное тело бросили вон с крыльца.

— Это для порядка! — подбил итог Коростылев, ткнул маузером на какого-то молодого мужика возле крыльца: — Ты! Есть твоя фамилия в списке в добровольческую армию?

Мужик молчал.

— Тебя спрашиваю? Ну? Под шомпола или в добровольческую армию?

— Ноги у меня нету. Деревянная. Вот она, глядите.

Коростылев не стал смотреть деревянную ногу — приказал старосте:

— Проверьте по списку каждого. Пригодных к службе — в сборню. Домой не отпускать. Сопrotивляющихся — на крыльцо! Под шомпола!

Михайла Елизарыч с молодым писарем Фролом Лалетиным сошли вниз в толпу и проверили — набралось пятьдесят семь человек.

Под шомпола никто не лег.

Уразумели.

V

Прокопий Веденеевич долго не приходил в сознание. Старухи отпаивали его взваром каменного зверобоя, а взвар внутрь не шел — лился с кровью на подушку. Язык у старика был высунут наружу — искусанный и распухший. Меланья причитала у постели батюшки, старцы Варфоломеюшка и Митрофаний молились.

Под вечер старик пришел в себя, но слова сказать не мог — булькал о чем-то, не разобрать. Ему подали взвару — пропустил два глотка. Иссеченные спина и зад Прокопия Веденеевича накрыты были простыней, и холстяное полотно покрылось пятнами и подтеками.

Поздней ночью чернолесьем, озираючись, Филимон подкрался к дому от тополя и заглянул в окно моленной: две или три старухи, Варфоломеюшка с ними, а на кровати кто-то под холстом. Горели свечи у всех икон, как в храмовый праздник или на похоронах. «Ужли батюшка скончался? — туго проворачивал Филя. Меланью увидел с кружкой в руке. Старухи подняли голову отца, и Меланья поднесла кружку к бороде... — Экое! Знать, тятенька также отведал плетей. Ишь ты, какая она, слабодата. С плетями. А я што сказывал? Ежли кричат власти про слабоду, — значит, драть будут. Плетями или того хуже — из винтовок постреляют».

Соображения Филимона были довольно обстоятельны. Отведав пару плетей, он понял-таки, что и к чему свершается.

На другой день к Боровиковым пришел милиционер и предупредил хозяина, чтоб поспешал с обмолотом хлеба; документы проверил у Филимона.

— По какой причине белый билет дали?

— Как круженье головы с малства. Память теряю, — врал Филимон, и голова у него чуток потряхивалась.

— Ладно, белый билет держи в сохранности, как не от красных получил, — предупредил милиционер, вычеркнув Филимона из списка. — А продрозверстку, так и по мясу, деньгами, чтоб расчет был полный.

Выгнали из надворья Боровиковых корову за недоимку, пару свиней, и кадушку меда взяли из амбара. Старую шинель Филимона конфисковали и новый полушубок.

— Грабют, — покорно гнулся Филимон.

В осеннюю непогодицу заунывно-тревожно пошумливал старый тополь. Пожухлые лапы-листья носились в воздухе, сдуваемые пронзительным ветром, а Прокопию Веденеевичу чудилось, что то не тополь так расшумелся, а весь люд стоном исходит в кромешной тьме, и головы, как листья тополя, падают и падают с мужичьих плеч. «Нету в живых Тимофея — изрубили шашками лампасные анчихристы! А ведь Тимоха с правдой шел к люду, чтоб жизнь устроить без казаков и без буржуев. И я того не разумел. Сатано я, сатано! — казнил себя старик, тяжко хвораая, зубами выцарапываясь из могилы. — Сатано треклятый! И не будет мне спасенья, ежли не отмолю тяжкий грех перед сыном моим».

Как-то ночью, когда особенно свирепо рвал холодный ветер, Прокопий Веденеевич поднял домочадцев на большую службу очищенья духа.

«Рехнулся, может, тятенька», — сопел недовольный Филимон, поднимаясь с угретой постели.

Прокопий Веденеевич читал молитву во здравие раба божьего Тимофея, яко праведника, явленного спасителем, чтоб люди прозрели от вечной тьмы: и сын этот, Тимофей, должен жить вечно, потому что дан ему глагол божий.

У Филимона от такой молитвы заурчало в брюхе.

— Виденье мне было нонешнюю ночь, — продолжал моление старик. — Сиж у окна, мучаюсь от боли и гляжу на тополь наш. Вижу — сиянье озарило святое дерево, и небо открылось огненным крестом, а под тополем — Тимофей, сын мой. И был мне глас спасителя: «Не ты ли, раб божий Прокопий, изгнал сына-праведника, и стала тьма? Не токо ли незрячие изгоняют святых угодников, когда они являются в

люди во плоти и в рубище? И не будет радости в доме вашем, ежели вы не прозреете и праведника не почитите молитвою на большой службе бдения». А я гляжу, гляжу на Тимофея, и весь он, вижу, кровью исходит — раны отверзлись на его членах, и кровь льется из тех ран наземь, на корни тополя. «Господи! Сатано я, сатано, коль не узрил в доме своем праведника!» — сказал так себе, и все померкло: тополь ипеть стал черным; и тут я поднял вас. Аминь.

— Аминь! — отозвались домочадцы.

VI

Отгорало лето, трудное, тревожное, заполненное смятением и болью...

И даже те, кто недавно пел аллилуйю белогвардейцам и чехам, свергнувшим Советы в Сибири, оказались на распутье: ни демократии, ни свободы. Царствовала бестолковщина, разруха, грызня эсеров с меньшевиками, монархистов с анархистами, а по губернии — разгул карателей, порка плетьюми и расстрелы дезертиров.

«Один — до леса, другой — до беса», — говорили в народе.

Август выдался жарким.

С утра город купался в солнце, а к полудню с запада наплыла темно-лиловая туча. Клубясь и разрастаясь, она ширилась, медленно подступая к городу. Навстречу ей с востока ползла такая же плотная черная туча, и когда они сомкнулись, враз похолодало, словно над городом нависла чугунная плита. Огненная лента полоснула вдоль и поперек плиты, раздался оглушительный взрыв грома, и хлынул ливень.

Молнии ослепительно сверкали, сопровождаемые громом, точно над городом в схватке не на живот, а на смерть сошлись две армии, открыв артиллерийскую перестрелку. Ливень хлестал как из ведра. По канавам улиц шумно неслись грязные потоки, выплескиваясь на плиточные деревянные тротуары.

В разгар грозы и ливня на станцию Красноярск прибыл пассажирский поезд дальнего следования. Из мягкого вагона вышел господин в отменном драповом пальто с бархатным воротничком, в ботинках с галошами, шляпе. В правой руке он держал стянутый

ремнями увесистый саквояж, к ручке которого был привязан на широкой зеленой ленте ключ.

Мимо патрульных легионеров в армейских накидках толпа пассажиров хлынула в вокзал. На какой-то миг приезжий выхватил из оцепления бравую фигуру рыжебородого казака, из-под накидки которого виднелась золотая оковка ножен шашки. Низко надвинув шляпу на глаза, он миновал зал ожидания и вышел в город.

На привокзальной площади толпились извозчики, предлагающие свои услуги.

— Не угодно ли извозчика, господин коммерсант?

Приезжий быстро обернулся, присмотрелся к лицу человека в дождевике и сказал:

— Непременно, непременно, милейший, — и пошел за ним, хлюпая по лужам.

— Эй, Абдулла Сафуддинович, отвезешь господина коммерсанта.

— Якши! — Абдулла пересел на облучок, а господин коммерсант сел на его место под тент, прикрыв колени полостью.

Тронулись.

— Ой, яман погода! Был солнце, а теперь ливень и гром! — И погнал коня рысью от привокзальной площади к центру города, не оглядываясь и не спрашивая, куда везти.

По Воскресенской домчались до двухэтажного особняка архиерея, свернули по переулку вниз и по Большекачинской, не доезжая до Садового переулка, подвернули к воротам каменного особняка.

— Здесь, — оглянулся Абдулла на пассажира. — Дверь три раза стучать надо. Яман, яман, погода! Дурной сопсем — собак не гонят на улица. — И, развернувшись, уехал.

Хозяйка в теплой шали на плечах, забрав мокрую одежду гостя, проводила его в просторную комнату с голландской печью, буфетом, письменным столом, венскими стульями и вышла.

Пока гость протирал запотевшие очки, скрипнула дверь, вошел Машевский.

— Ефим! Дружище! — воскликнул Казимир Францевич, облапив гостя. — Вот уж кого не ожидал встретить! Ну, обрадовал, обрадовал! Карпов, да ты что, меня не узнаешь, что ли?!

— Неужели Казимир?! Голубчик мой! Сколько лет, сколько, зим! Это как же... Значит, жив!

— Жив, здоров. Садись, садись ближе к печке. Грейся!

— О, какое у тебя тут тепло! Изрядно я промок, изрядно, — сказал гость, направляясь к открытой дверце голландской печи.

— Ну, как ты добрался? Мы тут все с ума сходили в ожидании.

— Как нельзя лучше, — ответил русоголовый гость, погладив аккуратную бородку и протянув руки к огню. — Ах, как хорошо! А помнишь, Казимир, как мы соорудили камин в той избенке в Тулуне?

— Еще бы!

— Это была такая роскошь! Мы все ложились на пол вокруг камина. А Маркиз, помню, месяца три нам пересказывал «Трех мушкетеров», да с такой художественной выразительностью, как будто сам их сочинил!

— Умер бедняга от чахотки на другой год после твоего побега.

— Жалко. Какой весельчак был! А ты знаешь, на вокзале я немного трухнул: среди чехов, гляжу, такая знакомая борода! Точь-в-точь хорунжий Лебедь из Гатчины! Ведь я эту бороду еще по Урянхаю помню, когда он лоцманил. Потом он был председателем полкового комитета. А теперь — каратель? Или я обознался?

— Не обознался. Хорунжий Лебедь, точно. Но он нам не опасен. Я тебе потом о нем расскажу... Это наш человек. Да. Он действительно служит у белых. Но тут ведь такая сложилась тяжелая обстановка. Обо всем я тебе расскажу. Но прежде всего о делах. Забастовку по железной дороге готовим объединенными усилиями подпольных комитетов Восточной Сибири — это раз. Грандиозная пиллюля будет! Обзавелись шрифтом и типографским станком — это два. Все время выпускаем листовки. налаживается связь с партизанами. Моя Прасковья должна вот-вот вернуться из Шало. Я ведь женился на Прасковье Дмитриевне.

— Пстой, пстой! Прасковья Дмитриевна Ковригина? Она не сестра Анны Дмитриевны? У меня письмо от Анны Дмитриевны ее старшей сестре...

— Анечка жива?! — воскликнул Машевский. — Господи, радость за радостью! А мы уже отчаялись ждать от нее вести. Для Прасковьи это будет такая радость, если бы ты знал, Ефимушка! Она же сейчас в тайге. В Степном Баджее формируется партизанский отряд. Из действующих отрядов у нас пока два: под Красноярском отряд Копылова и в Мариинской тайге около восьми тысяч наших

красногвардейцев, отступивших туда после разгрома фронта белочехами. Там идут бои. Давай же письмо!

Письмо было длинным и наполовину густо зачеркнутым химическим карандашом.

«Милая моя Пашенька! Я все сделаю, чтобы быть достойной тебя и Казимира и всех наших славных товарищей. За малое время я многому научилась. Я верю, верю в наш светлый завтрашний день. Этот день будет нашим, Пашенька! И ты верь, как бы тебе не было трудно в это страшное время. Рано или поздно мы будем вместе. Вы только ни в чем не вините К.И. Он ничего не сделал мне во вред, а только на пользу».

Дальше все было густо зачеркнуто. С трудом Машевский прочитал одну строчку: «...дядя наш повесился... уборной гостиницы... Пусть мама не плачет...»

Письмо заканчивалось словами:

«Обнимаю тебя, милая сестричка, и Казимира Францевича, маму, папу и всех товарищей! Очень бы хотела хоть на минутку побыть с вами. Но я так далеко, далеко, что и вообразить невозможно». Снова большой прочерк и слова: «...ждите письма из Москвы. И вспоминайте меня иногда. Вы навечно в моем сердце, дорогие.

С коммунистическим приветом

Аня».

У Машевского тряслись руки, когда он кинул в печь письмо и печально смотрел, как бумага на раскалённых углях разом вспыхнула, выкинув пламя.

Прасковья будет обижена, когда узнает, что он сжег письмо сестры, не дождавись ее возвращения из тайги. Но тут уж ничего не поделаешь!..

— Анна в Москве? В Центре знают, с кем и каким образом она уехала из Красноярска? — не мог не спросить Машевский.

Карпов молча прошел к двери, открыл ее и заглянул в сени, тогда уже ответил:

— Мы касаемся, Казимир, особых тайн. Но поскольку моя встреча ограничится тобою, скажу: Анна направлена в Центр с секретнейшими документами. Мне об этом в Самаре сообщил подполковник Кирилл Ухоздвигов. Это такая фигура, брат... По

конспирации нам с тобой до него, пожалуй, и не дотянуться при всей нашей выучке. Он же прошел школу дипломата. Еще во Франции вступил в социалистическую партию. Коммунист до мозга костей. Вот такие дела, брат.

— Если бы мы все это знали!..

— Он и так выкрутился отлично. И главное — помог наладить с вами связь. А теперь уже будет нам легче. С деньгами в республике крайне тяжелое положение — на счету каждая копейка. Золотой фонд Российской империи, вывезенный в Казань, белогвардейцы перетащили в Омск, и к нему дорвались «сибирские правители». Даже у Самарского Комуча с «народной армией» генерала Болдырева слюнки текут. А золото — это оружие, займы Франции, Англии и Америки! Им подавай наличными, господам империалистам!.. Но я вам все-таки кое-что привез.

— Мы д-деньги не транжирим, — успокоил Машевский. Волнуясь, он всегда чуточку заикался. — Но б-было очень трудно первое время. П-провокаторы погубили двух парней, пообещав им пятьсот рублей. Они погибли, но никого не выдали. Да я и сам однажды винтовку украл...

— Знаю, знаю, друг мой, знаю. На все пойдешь при таком положении. Но теперь у вас будет оружие.

Кто-то постучался в дверь. Машевский успокоил:

— Хозяйка, — вышел из комнаты и вскоре вернулся с кипящим самоваром.

— Она надежная женщина? — спросил Карпов.

— Член партии с 1911 года. Мужа убили на фронте. Была учительницей в ссыльно-поселенческой волости Степного Баджея.

Не смыкая глаз проговорили до самого утра. Машевский рассказал Карпову о Селестине, Ное, Таволожине и других товарищах.

— Да, дела у вас тут идут отлично. Но что-то ты сам плохо выглядишь, Казимир?

— Все волнуюсь о Прасковье. Предчувствия дурные одолевают.

— Это нервы, брат, нервы. Нам ли с тобой верить предчувствиям?! Все будет хорошо! Ну, мне пора — поезд в Иркутск должен отправиться в шесть. Желаю удачи!

— Взаимно...

В пятом часу утра Абдулла Сафуддинович отвез «господина коммерсанта» на станцию. Прощаясь с Машевским, Ефим Семенович предупредил:

— Будь предельно осторожен. Опасайся контрразведки белочехов. Они не скупятся: щедро оплачивать провокаторов и доносчиков — награбленных денег у них хватает.

Машевский уходил из города на станцию Бугач, где он скрывался последние дни. Вчера хорунжий Лебедь преподнес ему страшную весть: лично за Машевским и некоей Грушенькой — приметы такие-то и такие-то — охотятся контрразведчики комендатуры поручика Брахачека. Шпикам вручен был листок с приметами Машевского: ходит с тросточкой, имеет при себе портновские ножницы — это все его оружие. Иногда заикается. Поступил чей-то донос. Но кто доносчик? Кто? Из комитета? Быть того не может! Сережа Сысин, который заменил наборщицу Лидию? Той пришло время родить, и она уехала в деревню Дрокино. Есть ли в контрразведке на нее донос? Надо бы предупредить. Непременно! Он, Машевский, пойдет сейчас в деревню Дрокино.

На этот раз у Машевского в кармане кроме ножниц был еще и пистолет, подарок Ноя Лебеда.

«Главное сейчас — не сорвалась бы намеченная забастовка железнодорожников», — подумал Машевский, глядя с Николаевской горы на тускло светящийся город.

Если бы он сейчас появился на вокзале со своей тросточкой, сколько бы шпииков подскочило к нему?

Кривые улочки без света, а внизу тусклые огоньки...

Долго еще идти Казимиру Францевичу до огней, где бы он был в безопасности. Как там в тайге Пашенька с товарищами? Все ли обойдется благополучно? Пропуска у них надежные, а вдруг?! Он постоянно думает о Прасковье: она теперь не одна — с ребенком! С его ребенком в такое время!..

Долго шел пологой горою, спотыкаясь во тьме. Надо обязательно к рассвету быть в деревне. Надо предупредить Лидию! Она должна уехать из Дрокино, его бесстрашная наборщица.

Дохла осень!..

Сентябрь крупными ломтями урезал дни, удлиняя ночи. Солнце косо взглядывало на землю, не прогревая ее до истома и неги. Ночами вскипали заморозки. Березы под ветром роняли на землю желтое платье. А боярышник и черемушник густо разгорались багрянцем.

Печальная пора увядания!..

Птицы — вечные странники сбивались в стаи. В один из пасмурных дней Ной грустным взглядом проводил длинную цепочку улетающих лебедей. «Эко плывут царственно, — подумал. — Кабы мне за ними, господи прости!» Но ему не суждено было взлетать в небо, хотя, и носит фамилию Лебедь.

Не ведая о людских бедах, проплыли они над головой в сторону южную. И будто вместе с ними отлетела мечта Ноя ускакать на Вельзевуле берегами Енисея из Красноярска в Минусинский уезд, а там, сторожко объезжая казачьи станицы, выбраться к седым лохматым Саянам, подняться на Буйбинский перевал, где теперь, наверное, уже лежит снег, и дальше, дальше вниз от станка до станка скотогонов, бродом через ледяные горные речки, стороною мимо пограничного казачьего кордона, взобраться на Сапун-гору и снова, петляя распадками между гор, глухоманью кедровой и пихтовой до горы Злых Духов, откуда будет виден как на ладони маленький Белоцарск с паромной переправой через Енисей. Но не к парому, а влево с тракта, до ревучего Бий-Хема подался бы Ной берегом, берегом к староверческой деревушке, где он когда-то познакомился с бывалым лоцманом. Кто-нибудь из жителей той деревушки помнит рыжеголового Ноя!

Улетели, улетели лебеди!..

Вся привокзальная площадь забита была солдатами линейного батальона; расхаживали офицеры. Горели костры, вокруг которых кучками сидели солдаты; дымились походные кухни.

«Как бы побоище не выиграло, — подумал Ной, направляясь к тополям, где стояли казачьи лошади его эскадрона в полном составе. — Как же мне быть, если прикажут вести эскадрон в атаку на рабочих?..»

Страшно!..

Третьи сутки продолжается забастовка железнодорожников. От станции Тайга до Иркутска остановилось движение. Некоторые

паровозы замерли в пути следования — ушли в назначенное время машинисты, кочегары, масленщики и проводники с кондукторами.

Подъехал к толпящимся желтолампасникам. К Ною подошли трое командиров взводов.

Лица у урядников сумрачные, серые и глядят на Ноя как-то странно — будто на тот свет сготовились.

Спешился. Как и что?

Один из урядников сказал:

— Ладно, что вы припозднились, Ной Васильевич. А мы тут нагляделись такого — кишки выворачивает. Чехи на столбах «букеты» навешивали.

— Какие еще букеты? — не понял Ной.

— Забастовщиков. По четыре человека на один столб, на те верхние крюки.

Стиснув зубы, Ной ничего не сказал. Небо серо-серое! А второй из урядников дополнил:

— Ни при одном царе таких букетов не было. Не слыхивал ни от отца, ни от деда.

Третий ворчливо и зло:

— Чево царей споминать! Таперь социлисты-революционеры у власти, да ишшо эти из эшелона! Как всех перевешают, так и власть утверждают, тудыт-твою!..

— Гаврилыч, ты што?! — одернул кто-то из казаков. — На столб торопишься?

В этот момент со стороны путей раздался истошный женский крик: «Баааандааа! Паааалааачи!»

Урядники дрогнули, теснее стали друг к другу, и кто-то из них сказал Ною:

— Можете взглянуть сами, господин хорунжий. Вон опять букет подвешивают!

Со стороны города раздался тяжелый вздох большого соборного колокола:

— Боом! боом! боом!

— Да вить покров день севодни! — вспомнил один из урядников и, сняв шапку, набожно перекрестился. За ним и другие обнажили головы.

— Бооом! бооом! бооом!

— Не покров, а служба севодни в соборе. Анафему будет петь владыко большевикам.

— Всем бы сицилистам анафему! — ввернул Гаврилыч. — А што? При царе-то как жили? Аж вспомнить радостно. Чего только не было на ярмарках и базарах? А таперь нищенство, тиф, да вшами торгуют беглые лабазники.

Никто не хохотнул. Со стороны станции все еще неслись душераздирающие вопли — по коже мороз гулял, и в затылке у Ноя ключом кровь вскипала. Беда! Великая беда приспела!..

А большой колокол надрывно вздыхает:

— Боом! боом! боом!

А Ною слышится:

— Убьем! Убьем! Убьем!

И тут пустились в радостный перепляс малые колокола:

— Три-ли-ли! три-ли-ли! Били, били, не всех еще убили!

И средний колокол медной глоткой:

— По-оовесим! пооовесим!

«Владыко человеколюбче, — помолился про себя Ной. — Просветли окаянную душу мою благодатью и милосердием...»

И в ответ подумалось:

«Не будет больше милосердия, не будет благодати, а будет стремительное побоище, и никто того не ведает, где и как голову сложит!»

«Не убий» — стало преступлением.

«Убий и возлюби посылающих на убийства, и дьявол отметит тебя своей милостью и благодатью!..»

«Укради и твое будет, ибо ты украд у тех же воров и разбойников с большой дороги!..»

«Господи! Доколе? Али навек муки этакие?» — И не было ответа Ною Лебедю. Не было ему утешения, не было спокойствия.

Где-то возле депо раздался винтовочный залп...

Казаки и младшие офицеры дрогнули и, не глядя друг на друга, отошли в сторону... Еще кого-то расстреляли белочешские легионеры...

Ной поплелся к газетно-книжному киоску общества «Самодетельность», в котором торговала Селестина. Он всегда навещал ее, покупал ненужную, изолгавшуюся до одури газету

социалистов-революционеров «Свободная Сибирь», просматривал заголовки — вранье, вранье банды разбойников!..

Ной никогда не разговаривал с Селестиной. Купить книжку или газету, понятно, можно, но не показывать виду, что знакомы. Ни в коем случае!

Газетный киоск плотно окружали офицеры линейного батальона — уж больно красивая киоскерша торгует! Ной подошел ближе. Селестина увидела его, а во взгляде — тревога и смятение плещется черным пламенем.

Ной передал через головы двугривенный:

— «Свободную Сибирь», — попросил.

— Еще не привезли, — ответила Селестина.

Один из офицеров — по нарукавной бело-зеленой повязке — штабс-капитан, оглянулся на хорунжего:

— Свободной Сибири давно нет, господин офицер, — язвительно заметил он.

— Вчера еще была, — ответил Ной и пошел прочь — понимай, как хочешь, штабс-капитан.

Вышел на перрон и остолбенел: рядом с депо на столбе висят четверо. Чехословацкие legionеры по перрону, а там, еще на трех столбах — повешенные, мужчины и женщины. На одном из столбов увидел двух женщин, малую девчушку голоногую и мужчину в рабочих ботинках. Ветер раскачивал трупы.

«Банда! Разбойники! Кабы была у меня сила — стребил бы всех захватчиков, — яростно подумал Ной. — Кого вешают? Трудовых людей вешают!»

Ярость!

И вдруг — лицом к лицу — князь Хвостов! Ной уставился на него и не признал сразу: лицо землистое, щеки ввалились. Даже княжеские холеные усики перекошены.

— А, хорунжий! — скрипнул князь сквозь стиснутые зубы; оглянулся: нет ли рядом белочешских legionеров. — К подпоручику? Не ходите! У него горячий день сегодня. Видите гирлянды! — кивнул на повешенных. — И это после тишайшего царя Николая, а? Тишайшим был! Какие-то сотни расстрелянных в Петрограде и тысячи сосланных, а сейчас сколько? По одной нашей губернии тысячи расстрелянных и повешенных за полтора месяца! Каково, хорунжий?

Ной — ни звука, язык одеревенел, и в горле сухость.

Князь прикурил папиросу и жадно затянулся, выпуская дым из ноздрей горбategoся породистого носа, тронул ладонью заросший щетиною подбородок, продолжил:

— Приказом управляющего губернией и моего шефа комиссара я прикомандирован к сорок девятому эшелону для проведения чрезвычайных мер над забастовщиками. Сейчас всех лазутчиков чехословаки с солдатами нашего линейного вылавливают по всей Николаевке. Многие разбежались и где-то прячутся. Дорога парализована! И что, это все большевики? Какой-то Машевский, которого сейчас ищут по всему городу? Ерунда, хорунжий! Будь у Машевского тысяча рук и ног — ничего бы он не сделал. Пухнут рабочие с голода, вот на чем самовар забастовки вскипятили. Царь-батюшка платил машинистам и кочегарам денежки. Сегодня я все это высказал на чрезвычайном заседании в эшелоне, так на меня какая-то офицерская шантрапа в атаку пошла: что я понимаю? Это я, князь? Ну, хватит! С меня хватит.

Что-то вспомнив, князь положил тонкую руку на богатырское плечо Ноя и попросил:

— Если встретите когда-нибудь моего фронтowego друга, Кириллу Иннокентьевича, скажите: я не благодарю его за производство меня из штабсов в подполковники! Не-ет, не благодарю. Он меня предал, оставив с этой бандой! Да, да! А сам он смылся к Деникину. Па-анятно? На юге теплее. Не забудете?

Ной перемял плечами, не сообразив, бредит ли князь или пьян в стельку? Но от князя нестерпимо воняло духами.

— Кстати! Напоследок окажу вам услугу: от эшелона и господина Борецкого, особенно — Брахакека, держитесь подальше. Вас в чем-то заподозрили. Как и меня, впрочем, в слюнявом самодержавном гуманизме. Да, да! В «самодержавном царском гуманизме». А лучше уж разом покончить со всем этим бардаком, и — кончено! Как это положено князю Хвостову. Да-с! Я именно за «слюнявый царский гуманизм», но не за эти гайдовские букетики! У меня сегодня, когда допрашивали этих, — кивнул на повешенных, — желудок вывернулся. Полчаса полоскало! Слышали: Дальчевский произведен в генералы? Летите к нему, поклонитесь, и пусть он вас возьмет в казачий полк дивизии, которой он командует. На следующей неделе дивизию

направят на фронт — там все-таки почетно быть убитым лицом к заклятым врагам, большевикам! Почетнее, хорунжий! Ну, прощайте. Иду в ресторан — задыхаюсь, хорунжий. За-адыхающуюсь!

Спекся родовитый князь!..

Оно и понятно: времена царские и дворянские не вернуть князю никакими молитвами, а тут еще приказано присутствовать при «чрезвычайных мерах» по подавлению забастовки! Разве это княжеское дело?!

А на путях — холодные, мертвые паровозы, составы, составы, и никакого движения.

Мертвые, холодные паровозы, и мертвые составы на всех путях. Славно!..

Князь Хвостов прямо назвал фамилию Машевского и его, Ноя, предупредил, охотятся за ним. Неспроста обмолвился!

«Приспело лететь мне вслед за лебедями, на свою сторону южную, сибирскую», — наматывал решение.

Разбойник Дальчевский произведен в генералы и назначен командиром дивизии, готовится к отправке на фронт против Красной Армии?! Но главный виновник убийства Ивана не уйдет от него, Ноя! «Мщенье и аз воздам! Также, господи благослови».

Глотка пересохла — нет ли в вокзале воды? Или взять бутылку ситро в буфете?..

Возле буфета, недалеко от ресторана, выстроилась длинная очередь ожидающих пассажиров — ехать-то не на чем: ни на запад, к теплой Самаре, ни на Восток, к океану.

Завели, и никто из них не знает — надолго ли?

Не пользуясь своим преимуществом офицера, Ной долго стоял в очереди, изогнувшейся в две петли.

Слышал выстрел — где-то близко, на перроне, будто? Не винтовочный, пистолетный скорее всего. Вдруг из ресторана выскочил официант в черном пиджаке.

— Милиционера! — закричал диким голосом.

Подбежал к очереди, увидел возле стойки офицера, и торопливо:

— Господин офицер! Прошу в ресторан! Пожалуйста! Несчастье! У нас там офицер застрелился. Выпил два стакана коньяка и застрелился! Пожалуйста!..

«Это князь, — обожгло Ноя. — То-то и разговор вел, как вроде заупокойный по самому себе».

Вышел из очереди, и вон из вокзала — надо немедленно ехать, ему здесь делать больше нечего. Спасибо, что князь успел предупредить...

VIII

Беды не приходят в одиночку — черных товарок за собой ведут.

Радость — одинокая и пугливая гостья: дунь на нее, вспорхнет, как воробей, и поминай как звали.

Опустел дом Ковригиных. Хозяин уехал к старухе в Ужур. В доме остались Лизавета с малым Мишей да Ной. От Василия было письмо из Владивостока: «Уплыл на французском торговом пароходе в чужую страну, и пошли вы все к черту! Живите, как можете». Машевский не навещался. За ним началась настоящая охота. Прасковья Дмитриевна все еще не вернулась из тайги.

После самоубийства князя Хвостова и бегства с вокзала Ной коротко сообщил Артему: службу кончил, собирается махнуть к себе в тайгу, а там, как бог даст!

В доме не жил, а поселился в амбаре, чтоб в случае чего сподручнее было бежать.

Дня через три Ной уехал куда-то, ничего не сообщив Лизавете. Через двое суток вернулся и опять ни слова.

Среди ночи раздался стук в ворота. Настороженно спавший Ной моментом выскочил из амбара. Револьвер в руке на боевой изготовке.

— Кто-там?

— Это я, батыр Ной Силыч. Энвер, — слышался голос сына Абдуллы.

— Чего тебе?

— Тебя надо, батыр Ной Силыч. Прасковий приехал из тайга.

Задворками пробирались на зады дома Абдуллы к лазу в высоком заплоте. В шорной тускло светился свет.

За столом сидели Абдулла со старухой-татаркой, Артем и Прасковья. Ной глянул на нее и оторопел: голова коротко острижена, и чуб на лоб. Уши торчат, будто месяц валялась в больнице. Взгляд

какой-то текучий, беспокойный. Экая коса была у бабы — загляденье! Что же случилось?

— Не узнал?

— И то! Стряслось чего?

— погоди. Не перебивай. Садись и слушай. Ну вот, — продолжила она прерванный разговор. — Сперва поехали мы по железной дороге до Камарчаги. Все сошло удачно. В Камарчаге поджидали нас мужики на трех телегах из Покосной. Деревушка такая за Шало в тайге. Перегрузили медикаменты, боеприпасы, порох, селитру, патроны, пистоны. Все это надо было доставить в отряд. Пригодились твои денежки, Ной Васильевич! В Степном Баджее нас тоже встретили. Груз сразу же отправили в тайгу. Отдохнули мы и к утру решили возвращаться. А когда приехали в Шало — тут нас и накрыли. Попали в засаду прямо возле деревни. Мужиков и двух лошадей пулеметной очередью скосили, а мы кинулись врассыпную, кто куда. Хорошо, что рядом был лес. Я сперва побежала дорожкой. Вижу, двое скачут. Я в сторону. Выхватила бомбу, выдернула предохранитель и кинула, да так удачно: каратели сами наехали на взрыв. Не знаю, убила или нет конников — ушла в лес. Потом почувствовала боль в плече. Ну, перевязала сама себя и пошла дальше. Похоже, кость-то не повредилась. На другую ночь пришла в Маганск на нашу явку и тут встретила Леона — самого молодого парня из всей группы.

— Ну, а сейчас рана-то как? — спросил Артем.

— За дорогу все затянуло коростой. Сняла бинты. Рубец останется.

— От Анны Дмитриевны письмо было. В Москве она, у надежных людей. Здорова. Просила не беспокоиться. Приезжал товарищ из Центра. Письмо приказано было сжечь после прочтения, — сказал Артем.

— Слава богу! Жива Анечка! Ну, значит, связь у нас есть. А как же, как же... этот Ухоздвигов?!

Никто не ответил.

— Господи! Как я рада-то. А что еще тут без меня произошло?

Артем встал, прошелся возле стола, закурил, скосив глаза в сторону Ноя.

— Сегодня в девятом часу утра по пути из города в военный городок убиты генерал Дальчевский и его адъютант поручик Иконников. Поднят на ноги весь гарнизон, казачий полк и вся контрразведка. Шутка ли? Командир дивизии препровожден в преисподнюю! А дивизию должны были отправить торжественно на фронт. Надо же случиться такому печальному событию! Каково теперь господину Троицкому, а? Завтра я воздержусь от поездки на своей телеге. Надо подождать. Между прочим, весь город, как в лихорадке, а у командира особого эскадрона, как я вижу, ни в одном глазу!

— А чего? — напружинился Ной. — Мне-то какое дело? И что? Стал быть, приговор приведен в исполнение!

— Какой... приговор? — спросила Прасковья Дмитриевна.

— Как по листовкам, значит. Мало ли он исказил людей?! — отчеканил Ной.

— Ты была в тайге, когда здесь палачу был вынесен смертный приговор от имени его жертв, — пояснил Артем. — Таковую мы ему пилюлю состряпали и разбросали листовки по всему городу. Вот только непонятно, кто с ними разделался на пустынной дороге? На каждого потрачено всего-навсего по одной пуле. Чистая работа!

— Якши работа! Якши! — прищелкнул языком Абдулла. — Такой работа только батыр умеет! Сверху вниз — может, с коня, может, не с коня — один пуля в лоб генералу, другой пуля в глаз поручику. Якши! Вся Кача гудит: молодец — батыр! Я тоже выражаю мой глубокий уваженья батыру. Смерть карателю! — И Абдулла смачно плюнул на пол.

— Вот дела так дела! — сказала Прасковья Дмитриевна, оторопело глядя на Ноя.

Ной и ухом не повел: все это его не касается! Он сидел у порога, чинно сложив руки на коленях и уставившись в темный угол. Убили Дальчевского? Собаке — собачья смерть!

— Ну, ладно, — подвела итог Прасковья Дмитриевна. — Этого надо было ожидать. Меня волнует другой вопрос — почему до сих пор нет Казимира Францевича? Что с ним могло случиться?

— Может, наш портной заболел? Всю неделю шибко кашлял, совсем больной был. Простывал. Домой не может ходи. Спать лег типография? — высказала свои соображения старуха-татарка.

— Нет, этого с ним никогда не бывало, — отмела Прасковья Дмитриевна. — Я в страшной тревоге. Сколько можно ждать?! Уже час ночи, а его все нет! Неужели схватили?! У меня такое предчувствие, будто мы никогда уже не встретимся с Казимиром! Ну что же Слава не идет? Я же его послала в половине двенадцатого. А сейчас сколько?

— Десять минут второго.

— Пора, давно пора. Выйди, Артем, посмотри.

Вскоре в избушку вернулся Артем в сопровождении белобрысого парня в промасленной тужурке с инструментальным ящиком в руках.

— А, Слава! Ну, говори!

— Накрылись. И хата, и киоск. Сдуло.

— Как?!

— А черт его знает, как! При киоске дежурил Резвый. Я его разыскал. Он сказал, что в четыре часа дня из этапного эшелона бежали трое. Станцию оцепили солдаты линейного батальона и конвой эшелона. Резвый удул. Когда вернулся в семь часов вечера, оцепление было снято. Где он шлялся столько времени, черт его знает. Киоск уже был закрыт. Резвый подумал, что Цыганка ушла домой.

— И потом?

— Ну, нашел я его. Он в Николаевке живет. Пошли с ним обратно на вокзал. К сорок девятому сунулись и чуть не нарвались. У них тридцать седьмой и тридцать восьмой вагоны с арестованными. Я будто иду мимо. Выскочил чех — штык на меня: «Стой». А у меня — гаечный ключ, ящик с инструментами. Заглянул в ящик и погнал в сторону. Резвый говорит, что в вагонах тихо.

— Полно там, — сказал Ной.

— Тихо было.

— Допросы сымают в одиннадцатом вагоне.

— Вот черт! Надо же!.. Трех чехов, говорят, арестовали за спекуляцию сахаринном и еще чем-то. Они всю спекулируют.

— А изба стариков?

— Завал на весь гудок. Ее мы пощупали с Резвым после сорок девятого. У вокзала какой-то солдат подошел, спрашивает: не знаем ли адреса, где можно достать самогонки. Резвый ему: «Есть адресок, да вот нам тяжело с инструментом тащиться. Сбегай для себя и для нас». Дал ему десятку и указал на хату. Тот пошел, а мы за ним наблюдать

стали. Как только он завернул в ограду, там и цапнули его. Ясно! Завтра мы еще проверим избу. Может, старуха осталась?

— Ладно, — поникла на какое-то мгновение Прасковья. — Все ясно! Похоже на провал. Мешкать некогда. Надо принимать решение. Я потому и Ноя Васильевича на всякий случай позвала. Что будем делать, товарищи? Надо же срочно перевезти типографский станок, шрифт, оружие, медикаменты на другую квартиру! Покуда мы будем ждать здесь Казимира Францевича, все может случиться!

— Но куда везти? — спросил Артем.

— Только к Яснову. В Николаевку. Ной Васильевич, ты найдешь его дом ночью?

— Само собой.

— Тогда бери своего коня. А Артем запряжет ломового. Он знает, куда ехать. А ты, Слава, беги, скажи, чтоб все было готово к переезду. Знаешь, куда идти?

— Знаю.

— Ну, с богом! Надо потемну управиться. Да будьте осторожны!

Такую Прасковью — предприимчивую, смелую, сообразительную — Ной впервые видел и отдал ей должное: баба сто сот стоит, хотя и без косы.

Не прошло и часу, как Ной на дрожках, Артем — на ломовой телеге подъехали к дому Анны Ивановны Роговой.

Хозяйка в вязаной кофте и пуховой шали на плечах открыла ворота.

— Проходите, проходите. Сейчас работу заканчиваем.

В сенях напахнуло запахом типографской краски — так пахнут свежие газеты. Ной услышал какие-то странные звуки в подполье, будто там отминали конские кожи. Не иначе, как на печатном станке тискают газеты или прокламации.

— Торопиться надо, Анна Ивановна.

— Грузите пока оружие и медикаменты.

Ной с Артемом и Славой перетаскивали из другой половины дома ящики с медикаментами, десять карабинов, полтора десятка бомб, ящик с патронами, мешки с селитрой и порохом — быстро управились.

На ломовую телегу двое незнакомцев погрузили печатный станок и шрифт.

Поехали.

IX

Тьма за окном.

Ночь и неизвестность!

И ветер, ветер!

Пустота томительная и долгая.

Абдулла со старухой ушли спать.

Прасковья ходит из угла в угол мастерской и тень ее то метнется под потолок, то совсем исчезнет.

Что же случилось с Казимиром? А если он действительно заболел и остался в типографии? Нет, нет — это же опасно! Он не пойдет на такой риск. Он такой осторожный! Прасковье всегда хотелось быть похожей на него. Даже тогда, когда она училась у него кроить и шить. Он был одним из лучших портных Варшавы. Выдворенный на вечное поселение в Сибирь за революционную работу, он поселился в доме Ковригиных, и в комнатухе сразу же застрекотала ножная машина «Зингер». Машевский прошел большую школу каторги и ссылки, был знаком с Софьей и Феликсом Дзержинскими. «Кристалльные революционеры», — говорил он о них. Как Прасковье хотелось быть похожей на Казимира, чтобы он потом сказал о ней, как о Софье, «кристальная революционерка!» Теперь Прасковья — его жена, у них будет ребёнок. Хотя Казимир однажды сказал, что они допустили величайшую глупость. Но эта «величайшая глупость» давно толкалась под сердцем Прасковьи, и она втайне была уверена, что Казимир будет рад, когда у них родится ребенок.

Где же он теперь? На конспиративную квартиру Браховичей нельзя — там провал. Но есть еще квартира сапожника Миханошина, который работает в типографии подсобным рабочим. Это он достал для комитета шрифт. Он наверняка что-нибудь знает о Казимире! Надо спешить. Не сидеть же ей в неизвестности! Может, Казимир ранен? Или лежит где-нибудь больной? Она же фельдшерица, в конце концов! Надо идти!

Собрала медикаменты и все необходимое в брезентовую сумку с красным крестом, оделась потеплее, повязалась суконной шалью и, не забыв прихватить испробованный в Майской тайге колыт, вышла в

ограду. Темно. Темно! Ворота и калитка в улицу на замках. Надо выйти через тайные воротца в каменной стене возле бани у оврага Часовенной горы.

Темень. Темень!

Отыскала железные воротца, прошла к оврагу, берегом вниз по Каче. А небо темное-темное, набухшее тучами, завывает ветер и хмуро, хмуро, как на душе у Прасковьи, — ни света, ни щелочки, тьма-тьмущая.

Малокачинская...

Селились тут мастеровые люди, скорняки, сапожники, шорники, извозчики, плотники и краснодеревщики, некогда мазанные одним миром — каторгою и ссылкой; и песни тут по престольным праздникам распевают каторжные: про дикие степи Забайкалья, про золото, про страну Иркутскую и Александровский централ, про славное море — священный Байкал и омулевую бочку, в которой плыл беглый бродяга с Акатуя, про буянство и конокрадство.

Прасковья знала дом сапожника Миханошина, брат которого, Григорий, командовал отрядом подрывников при отступлении красных с Клюквенского фронта. От Казимира слышала: дом надежный, старший брат Авдея, хотя и не был в Красной гвардии, но помог младшему. В первые дни после вступления белых в город в доме Миханошиных скрывались подрывники-красногвардейцы.

Прасковья ни разу не была в доме. Третий по нечетной стороне с белыми ставнями и резными наличниками, глухая ограда с воротами и калиткою. Кажется, вот этот. Три закрытых ставня в улицу. Оглянулась — кругом ни души. Пошел дождь, ветер хлестал мокрыми брызгами в лицо. За ставнями темно — ни единой щелочки света. Спят!

А дождь льет и льет...

Прасковья подошла к высокому заплоту из широких плах, отыскала щель, заглянула. Из второй половины дома сквозь закрытые ставни прорезывался в ограду пучками свет. Не спят!

Прасковья постучалась в ставень. Если бы она поднялась на завалинку и заглянула внутрь горницы, то кинулась бы бегом от злополучного дома!

Она постучалась еще раз.

— Господи! Кто еще? Кто там? — спросил напряженный женский голос.

— Портной у вас?

Секундное замешательство, и:

— Какой портной? — И через мгновение дрожащим торопливым голосом женщина ответила: — У нас! У нас! Идите к калитке — открою.

В улице послышалось тарактенье телеги. Пригляделась сквозь мглистую пряжу дождя — дышловая упряжка: военная. Едут двое. Кажется, с винтовками.

А вот и голос женщины:

— Идите скорее!

Прасковья кинулась к калитке, зажав в руке кольт на боевом взводе, и только что прошла мимо рослой женщины в ограду, как была схвачена с двух сторон за руки. Нажала на спуск — грохнул выстрел в землю.

— Эта птичка, кажется, из важных! Ну, вперед! Тихо! Тихо! Хозяйка, открой двери!

Прасковья слышала, как возле ворот остановилась военная упряжка, и мужской голос что-то сказал по-чешски.

Чехи!

Впереди шла женщина, за нею Прасковья, из открытой двери в избу ударил свет лампы. Сразу увидела Миханошина в белой натальной рубахе со связанными за спиной руками. Как же он взглянул на Прасковью! Сердце в комочек сжалось. Миханошин тут же отвернулся, как от незнакомки. На лавке — мужчина в меховой душегрейке, и на другой лавке у простенка — широкомордый грузный мужик в суконной поддевке и яловых бахилах.

В передней комнате дома перевернуты постели, разбросаны сапожные инструменты, открыто подполье, а филенчатая дверь в горницу закрыта. Вот почему не видно было света с улицы!

Женщина в черном, опустив руки, остановилась возле цела русской печи.

На полу возле стола ствол станкового пулемета, густо смазанный маслом, железная тележка на двух колесах, патронные цинки, несколько винтовок и карабинов, бомбы и гранаты, пакеты с

динамитом, скруток бикфордова шнура, а на столе — бумаги, бумаги, пачки последних подпольных воззваний комитета. Провал!

Два стрелка чехословацкого эшелона, офицер и черноусый, курносый русский офицер с нарукавной нашивкой прапорщика воззрились на Прасковью.

С нее сдернули шаль, жакетку: обыскали, и чешский поручик подошел ближе, воскликнул:

— О! Вы меня помните! Поручик Брахачек. О, вы меня помните! Мы ехали от Красноярск до станции Камарчага. Вы везли товар с вашими двома братьями для магазин папаши в Шало! Интересный момент!

Прасковья ничего не ответила — попалась... Подошел русский офицер с черными усами:

— Это Грушенька, господин поручик! Грушенька! По всем приметам, какие известны нашей контрразведке.

— Ваша контрразведка — пиво варить надо, — отпарировал поручил Брахачек. — Мы будем вести следствие. И к Прасковье: — Вы представил мне хороший сюрприз. Я вас никак не ждал. Помните: дочь купца Фесенко. Так? Как вы себя назвал? Грушенька?

— Гликерия Алексеевна, — машинально ответила Прасковья, ее всю трясло, будто она искупалась в ледяной купели.

— А два брата как звать?

— Петр и Савелий.

— О, да! Совершенно правильно. Вы были очень... М-мм... пикантны... м-мм... забывал имя: Грушенька?!

— Гликерия Алексеевна.

— О, да! Гликерий Алексеевна. Мадемуазель. И — мадам! Удивительно. Вы пришел к «портной». Но здесь живет сапожник. — Поручик кивнул на Миханошина. — Вы сделать заказ ему? Почему молчите! Вы много говорил в нашем купе вагона! Я спрашиваю; вы пришел делать заказ? Имел при себе кольт? Интересный заказ! Как ваша имя теперь? Настоящий имя, фамилия?

— Гликерия Фесенко.

— Она лжет, господин поручик! — вмешался черноусый русский офицер. — Она член подпольного комитета большевиков, под кличку Грушенька. Она жена Машевского, как нам известно. Чрезвычайно опасная подпольщица! Недавно вернулась из Майской тайги, где

собирается банда дезертиров и уголовников. При возвращении из тайги...

— Господин прапорщик, я вас не спрашивал! Барышня мой друг. Мы будем отпускать мадмуазель-мадам до папаша в Шало! О, да! Вы меня приглашали в гости к папаше? Мы возьмем «портной» и сапожник, будет у нас веселый компания. О, да! Я люблю веселый компания.

Прапорщик не сдержался:

— Господин поручик! Настоятельно прошу вас передать Грушеньку вместе с Миханошиным в нашу контрразведку. Имеется такое досье, что их следует сто раз повесить! И не из ее ли кольца, господин поручик, убиты сегодня генерал Дальчевский и поручик Иконников? Эта Грушенька, она же Машевская, безусловно, руководительница террористического отряда банды большевиков. И я настоятельно...

— Господин Черненко! — оборвал поручик Брахачек. — Вы прикомандированы к первой маршевой роте восьмой Чехословацкий стрелковый Силезский полк не затем, чтоб давать нам указаний! Вы понятой, как этот мужик. Подписал протокол обыск? Вы можете быть свободен.

Прапорщик Черненко отважился напомнить:

— Я представитель правительственных вооруженных сил, господин поручик, а не понятой.

— Понимаю! — злорадно усмехнулся поручик Брахачек. — Вы требует Грушенька, Миханошин, чтоб... как это? Заметать следы провал ваша контрразведка! Вы видел документ вашей контрразведки, захваченный у господина Машевски, который вы арестовали сегодня в типографии? Очень понятно! Вам мы должен передать этих большевиков и вы будете умыть руки? Делать приятный лицо при скверный портер?! О, нет! Завтра господин Машевский будет взят мой эшелон.

— Я вас не понимаю, господин поручик!

— А я вас глубоко понимаю! Завтра мы будем разговор иметь с управляющий губернии. Вы можете идти! Прошу! — И поручик Брахачек указал рукою на дверь.

Прапорщик Черненко вышел.

Поручик Брахачек что-то сказал стрелкам, и те стали выносить оружие, мужик в суконной поддевке помогал им. Прасковья раза два взглянула на Миханошина. Он сидел на стуле спиной к печи и не оглянулся на нее. Молчал.

Когда все оружие и боеприпасы вынесли, поручик сам завернул в хозяйскую клеенку со стола бумаги, изъятые при обыске, вытряхнул из брезентовой сумки с красным крестом медикаменты: камфору в ампулах, нашатырный спирт в бутылочках, скипидар, бинты, пачку горчичников, шприц для внутренних инъекций и... две запасных обоймы к кольту! Оглянулся на Прасковью — она все так же стояла в углу возле филенчатой двери в горницу, а рядом с нею стрелок с карабином, мордастый, низенький, в короткой шинели и ботинках с обмотками.

— Подойдите сюда! — позвал Прасковью поручик, указал на медикаменты на голой столешне: — Вы доктор? Или это маскарад?

— Я фельдшерица.

— Так. — Поручик покрутил в пальцах белесый ус, пронзительно разглядывая арестованную. — Ваше лицо, барышня, очень запоминать можно. Я вас сразу узнал. Как по-русски? — И ткнул пальцами на оспинки, редко раскиданные по лицу Прасковьи. — А, оспа! Понимал. Глаза — синий, коса — русский. Коса нету? Ха-ха! Вас и без коса сразу опознать можно. Вы есть крупный телосложения, мадемуазель-мадам Машевски. О, да! Мощный. Я уважаю мощный. Хозяйка, прошу! — подозвал хозяйку в черном платье. — Вы узнали эту женщину? Глядеть в лицо!

Перепуганная хозяйка, прижимая руки к груди, посмотрела на Прасковью.

— Впервой вижу. Не была у нас. Ни разу не была.

— У вас есть ребенка?

— Ребенка? Нет, нет. Мы бездетны.

— Вы потому рисковал — бездетны?

Хозяйка не поняла.

— Я спрашиваю: вы потому рисковал — укрывал ваш муж, Миханошин, и оружие, что вы бездетны? Не боитесь смерти? Спрашиваю: где проживает барышня? Вы знаете ее! Называйте адрес — я оставляю вас. Жить будете ваш дом. Не называйте — вы будете арестован.

— Господи! Господи! — тряслась с испугу хозяйка. — Што я могу сказать, если впервой вижу ее! Впервой вижу! Не из городских она. Приезжая, кажись.

— Та-ак!

Поручик подумал, покрутил усик, и тогда подозвал к столу понятого, в суконном армяке.

— Э? Господин Цирка?

— Циркин, господин поручик, — уточнил мужик, которого Прасковья ни разу не встречала. — Циркин. По имени-отчеству — Андрей Митрофанович.

— Вы этот барышня знаете?

— Никак нет, господин поручик. Как я установил наблюдение за домом Миханошина, барышню ни разу не видел. Ни я, ни супруга моя, а так и тесть, Иван Никитич, который проживает в моей семье и писал вам донесение на бандита Машевского.

— Когда вы установили наблюденье?

— Дак месяц тому, аль чуток больше. Как показалось тестю, значит. Одно окно из нашего дома к ним в ограду выходит. Да вот Миханошин нужник поставил насупротив мово окна в огороде, и для видимости закрылись ворота и крыльцо. Дык мы через забор подглядывали в щели между плахами. Особливо тесть мой, Иван Никитич, глаз с них не спускал.

— В городе барышня не встречал?

— Вроде где-то видел, а не в памяти. Ах, ты господи! Ну, никак не припомню.

— Если вспомните барышня, — перебил поручик, — вы получите полный награда: мешок риса и тысяча рублей деньги. Не вспомните — один мешок чечевицы, без деньги.

Лунообразное лицо Андрея Митрофановича с хищным вывертом ноздрей покрылось испариной — до того он тужился вспомнить, где видел рослую, синеглазую и стриженую барышню. Ведь тысяча рублей проплывает мимо бритого рыла Андрея Митрофановича! Шутка ли! Да он за тысячу рублей продаст с потрохами не то что соседа, но и собственную супругу с тестем Иваном Никитичем в придачу! Ай, ай! Вот беда-то! Обещали же — тысячу рублей и мешок рису за одного соседа, а нежданно накрыли еще и склад с оружием и боеприпасами. А тут, пожалуйста, припожаловала еще одна

проклятушая подпольщица! Думал, награду увеличат. Так нет же. Наоборот уменьшают. Ай, ай, беда!..

— Вспоминай, вспоминай, господин Цирка! — подталкивал поручик Брахачек. — Вы есть патриот. Для такой люди, как вы, мы не жалеют деньги. Очень важно знать адрес барышня! Понималь?

— Как же! Как же! — поддакивал господин Циркин. — Я вить скоко следил за этим домом. Душа с телом расставалась от страха, истинный бог. — Он вдруг хлопнул себя по лысине. — Вспомнил, господин поручик! Видел я эту стерву в июне месяце возле моей мясной лавки на базаре, подошла она к одному господину, а с нею была ишшо большевичка по фамилии Лебедева, которую в июле убили казаки. Из самой головки совдеповцев! Ну, и вот эта тварь вдруг выхватила револьвер и наставила на одного господина: «Вы арестованы», говорит. И та Лебедева тоже с револьвером. Ну, повели человека. А хто он был — того не знаю.

— Хорошо! — похвалил поручик Брахачек. — Вы — есть патриот.

— От всей души. От всей души, — устлался господин Циркин.

У Прасковьи задымились глаза от ненависти к мерзавцу, она готова была вцепиться ногтями в его свиные, заплывшие жиром глазки, чтоб он никогда уже не подглядывал через щели заборов, не видел ни солнца, ни неба, провокатор и доносчик, выродок рода русских людей.

И словно почуяв недоброе, Андрей Митрофанович отошел к поручику Брахачеку, чтоб в случае чего тот защитил бы его лоснящуюся от жира и пота харю. Толстое пузо Андрея Митрофановича раздувалось — до того он тяжело переводил дух, и суконная замусоленная мясом поддевка то поднималась вверх, то опадала, как шкура на утробе ожиревшей, неудойной коровы.

— В наш эшелон есть одиннадцатый вагон. Мы там будем хорошо спрашивать! Стрелок! Помогайте одеваться! — И поручик сказал почешски, чтоб солдаты помогли одеться арестованным: Миханошину и Прасковье.

Господин Циркин угодливо подсказал:

— Авдееву-то бабу, Аксиною, не оставляйте, господин поручик. Она вить донесет на меня подпольщикам, и те, вот вам крест, святая икона, прикончат меня, так и тестя Ивана Никитича, и дом сжечь могут.

— Понимать! — кивнул поручик. — Мы никого не оставляют, господин Цирка. Дом закрывать буду.

— Господи! Господи! — заголосила жена Авдея, Аксиныя. — Побойся бога, Андрей Митрофанович! Меня-то за что топишь?

— За дело! — рявкнул Андрей Митрофанович. — Из-за таких стервов, как вы, власть в седле не усидит. Изничтожать вас надо под корень.

— Хорошо сказала, Цирка! Под корень! — подхватил поручик Брахачек. — Я давно изучал русский люд и русский язык. Понимать так: самый опасный народ — русски наци! Очень опасный. Вы не считайте так, Грушенька?

— Я не Грушенька!

— Ха-ха! Правильно — вы не Грушенька. Когда вы ехали в мой купе, я знала, кто вы есть. Вы имели пропуск от русской контрразведки за подписью швинья Каргаполоф, и за круглой печатью, как морда Каргаполоф. Я помогала вам, и не стал арестовывать с вашим братом, и не конфисковал товар, который был оружие. Вы не думали: почему? О, вы полагали — поручик есть дурак. Вы очень ошибались. Я был на фронте в разведке германской армии, посылал свой агент до самой Петербурга! У меня хорошая школа. Я знала: рано ловить птичку. Птичка будет в моей сети. Нам важно иметь полную информацию состояния банды в тайге.

Тут поручик разглядел-таки большой живот Прасковьи под бумагой кофтой. Ткнул пальцем:

— Вы носите ребенка? Этот ребенок от Машевски?

Прасковья ничего не сказала.

— Думайте! Думайте, Грушенька! При такой, как по-русски? А! Вспомните! Брюхо, брюхо. Опасно не давать ответы. Очень опасно! Мы имеем точные сведения: Машевски был с вами на Клюквенском фронте! Вас знали на фронте как жена Машевски. Имя ваше — Прасковья — не Грушенька — Прасковья Машевски. Вы есть его жена без регистрации. Нам все известно!

У Прасковьи кровь отлила от лица. Это хорошо, что на фронте знали ее как Машевскую! Пусть будет так. Она умрет Прасковьей-Грушенькой Машевской.

— Вы безжалостны! — язвил поручик Брахачек. — Я это знал давно, по разведке на фронте. Самый жестокий люди сами к себе —

русски! Фанатичны русски! И потому — опасны. Вы не жалеете ни ребенка, — толчок рукою в живот Прасковьи, — ни ваш муж Машевски. Он будет погибаль, если вы будете молчать... Это есть Азия, мадмуазель. Дикий Азия!

Пусть будет Азия — черт с тобой! Но Прасковья ничего не скажет этому брюхатому поручику.

Не добившись ни слова от Прасковьи, поручик Брахачек не огорчился, он не кричал, не топал. К чему? У него удачнейший улов! В типографии сегодня схвачен член подпольного комитета РКП(б) Машевский, у сапожника взят склад с оружием и боеприпасами! Некоторые документы переписаны на машинке, а подлинники, пожалуй, куда-то отправлены. Пропуска, бланки, машинописные копии секретнейших протоколов совещаний ставки чехословацкого корпуса, подписанные генералами Сыровым и Шокоровым и даже доктором Павлом!.. Да еще арестована Грушенька — мадам Машевская! Такого успеха никак не ждал поручик Брахачек. Ему теперь наверняка обеспечены погоны капитана, а подпоручик Богумил Борецкий, командир роты, проглотит собственный язык от зависти. Поручик Брахачек наездом бывает в Красноярске, а вот, пожалуйста, продемонстрировал особый класс высокой работы.

А вся удача поручика Брахачека заключалась в том, что позавчера, когда командир роты Борецкий уехал на станцию Злобино, явился с доносом в 49-й эшелон мещанин Циркин. Поручик ухватился за донос и сегодня во второй половине дня в доме Циркина устроил засаду, а поздним вечером при помощи того же Андрея Митрофановича Циркина с тремя стрелками и русским прапорщиком Черненко беспрепятственно проник в дом Миханошина, а тут и мадам Машевская сама пришла, это же... как по-русски? Чудо! Он, поручик Брахачек, сотворил чудо!..

Прасковью вывели два стрелка к дышловой телеге, запряженной откормленными немецкими битюгами. Поручик Брахачек посадил Прасковью рядом с собою, чтобы она не имела возможности перекинуться хотя бы парюю слов с Миханошиным. Авдея Миханошина с женою Аксиньей, безутешно плачущей, усадили на другой стороне телеги. Вооруженные стрелки уехали с винтовками наперевес: вдруг налетят бандиты, чтобы отбить арестантов.

Опустевший дом бездетных Авдея и Аксины Миханошиных оставили под замком, и ключ от замка взял поручик Брахачек.

Этой же ночью Андрей Митрофанович Циркин с усердным тестем Иваном Никитичем начисто ограбили дом Миханошиных.

Для Прасковьи настала темная ночь...

А было ли в жизни Прасковьи солнце?

Может, не было ни солнца, ни отчего дома, ни земли, ни неба, ни самой Прасковьи с Казимиром Францевичем Машевским?

Тьма, тьма и борьба с кромешной тьмой и тиранией!

Их было двое в клетке вагона с забитыми окнами...

Илия и Лэя — так их нарекли когда-то, и они прожили под этими именами каждый шестьдесят семь лет; родили трех дочерей и четырех сыновей, а те — одиннадцать внуков и внучек, но все они — дочери, сыновья, внуки и внучки, племянники и племянницы — находились теперь в другой, недостижимой для стариков жизни, старик и старуха вспоминали их, печалились, уверенные, что никогда уже не встретятся с родными под этим небом.

Их, Илию и Лэю Браховичей, убьют или замучают на допросах.

Ай, ай, ай! Горе! Горе!

Что же такое случилось?

Стальные решетки; железный вагон, железные шаги по коридору; звяканье оружия и неизвестность.

Илия трудно и долго думает...

У них была изба — собственная изба с оградой за тесовым заплотом, с конюшней для иноходца Верика, со стаюшкой для рыжей козы Баськи, с хорошим огородом, колодцем в ограде, ай, ай, ай! Какая изба! И в каком месте! На привокзальной улице — не так далеко от станции с горластыми паровозами, и не так далеко от города. Старик зарабатывал на жизнь извозом; он был легковым извозчиком. Вы, конечно, знаете, что такое легкой извозчик! А иноходец? Какой иноходец! Сидишь на облучке с ременными вожжами в руках, а Верик, бог мой, Верик не бежит, а танцует вальс, покачиваясь с боку на бок. Это надо было видеть. От рыжей лохматой Баськи они всегда имели молоко и к пасхе — козленка. Сам Илия резал козленка, мазал его кровью косяки и сенную дверь; Лэя жарила козленка целиком с внутренностями — сердцем, легкими, печенью, почками, и они съедали его вдвоем, если в гостях не было кого-нибудь из внуков или внучек.

О, Яхве! Яхве!

Что-то такое случилось — люди с ума сошли! Истинно так. Все враз оказались недовольными властью, царем, а тут еще война, бог мой! Двух сынов — Якова и Григория — в тюрьму посадили за

политику. За эту самую политику! И трех племянников туда же упрятали.

Упал царь! Отрекся от престола. Илия помнит тот ледяной день: ехал на Верике по Большой, и — га-га-га-га! Уррра! Чего «ура»? Какое такое «ура»? Царь упал!..

Сыновья и племянники вышли на свободу...

При совдепии сыновья Илии и племянники взлетели, ой, как высоко! Даже страшно подумать. А чем все кончилось? Пришли белые с чехословаками, и оба сына с тремя племянниками Илии Браховича бежали на пароходах... Потом их привезли, в тюрьму упрятали. Сидят. Оба сидят. Три племянника тоже сидят.

Потом в избе Браховичей поселилась Селестина. Если была на земле предков Ревекка-красавица, так эта самая Селестина красивее Ревекки! Глаза черные, как маслины, лицом белая, волосы, как смола, и такая добрая, бог мой!..

Когда Лэя была еще невестой (дай бог вспомнить, когда это было? Ой, давно, давно!), она была такая же красавица, как Селестина. Лицо и нос, глаза и подбородок, волосы, ну как есть сама Лэя в семнадцать лет!

Ночами Селестина что-то такое делала, бумага называлась восковкой и еще валик с краской, от которой руки квартирантки были черными, как у красильщика хромовой кожи.

Иногда приходили в избу чешские стрелки и даже сам господин ефрейтор Вацлав! Еще вот Артем из депо.

А кто такой Артем? Одно слово — подпольщик.

Ай, ай, ай! Это было совсем, совсем невесело для Илии и Лэи!..

Раза три или четыре, нет, больше, Илию встречал у вокзала Артем, говорил, что надо съездить в одно место. Всегда кому-то чего-то надо! Ну, грузили в экипаж оружие и — ехали, бог мой! Куда ехали?! У Илии холодели руки и ноги от страха!

Лучше не вспоминать!..

Селестина в киоске при вокзале газетами и книгами торговала. Илия видел ее сколько раз, и всегда там были чешские стрелки.

Красавица же, бог мой!

А чем все кончилось?..

Это было в субботу... А в субботу Илия всегда отдыхал по закону Моисееву, а как же?

Селестина пришла на обед, а с нею — ефрейтор Вацлав и трое стрелков... Кто их знает, как их звали! Илия не спрашивал. Разве это его дело — спрашивать?

Они что-то читали на чешском языке. Надо сказать, до чего же умница эта самая Селестина! Она не только понимала по-чешски, но даже читала.

Лэя теребила козью шерсть — пух, чтоб он был без примеси ворсинок. Для шарфа внуку или внучке — какая разница? Всем надо, если дед и бабка живые. Всем надо!

Залаяла собака... Какая там была у них собака?! Просто маленький песик; попросился из избы, и кто-то его в ограде потревожил. Илия пошел за песиком, и вот вам — господин офицер, а с ним пятеро стрелков с короткими винтовками и ножевыми штыками. Эге, подумал Илия, неладно... Нет, он ничего такого не успел подумать. Офицер погрозил револьвером — разве что-нибудь подумаешь?

Всех арестовали. Как есть всех! Квартирантку, Илию и Лэю. И ефрейтора Вацлава со стрелками (они были у них без оружия).

Илия знал — верите или нет, но он знал, что рано или поздно их возьмут.

Взяли Илию и Лэю. А разве Лэя в чем-нибудь виновата? О, Яхве! За что караешь? Она ни в чем не виновата! Но ее взяли, а от козы Баськи остался пух...

Сперва связали руки чешским стрелкам. Илия еще подумал: «Ага! Своих вяжут. Ну, пусть вяжут. Разве он имеет что-нибудь против?» А ефрейтору Вацлаву сам господин офицер побил лицо. Ох, как он его бил! Это надо было видеть. Илия видел, Лэя видела. Нет, Лэя ничего такого не видела. Лэя так перепугалась, что ничего такого не видела.

А потом господин офицер спросил: кто живет с ними в избе? Есть ли у них дети? Илия успел взглянуть на Лэю! Она знает, как он на нее взглянул! Это же надо, а! Господин офицер думает, что если Илия — просто еврей-извозчик, то он уже дурак! Офицер напрасно так думает! И это все. Лэя сразу поняла, надо спасать детей и внуков. Нет!.. Нет!.. У них никого нет. Никогда никого не было.

Ой-ой, горе! Горе!

А потом господин офицер приказал: «Собирайтесь».

Ах, боже мой! Как это было страшно! Илия сказал, что же будет с избой? Что будет с Вериком и Баськой? Офицер спросил: кто такой Верик и Баська? Это ваши родственники? Ну, если правда — родственники. А как же? На Верике Илия зарабатывал себе на хлеб. А Баська — разве Баська не давала им молоко и козленка к пасхе?

Господин офицер послал Илию со стрелком, чтобы он заложил в экипаж своего Верика. Своего Верика! А вы бы этого не сделали, а? Или сыновей, дочерей, внуков, внучек и всех племянников отдали бы на заклятие самому дьяволу? Ох, ох, ох!

Этот самый стрелок, который вышел с Илией в ограду, зарезал штыком козу Баську! Илия еще не успел завязать перетягу, как увидел: стрелок тащит к экипажу за ноги бедную Баську!

Яхве! Что такое происходит на белом свете? Где же закон?..

У квартирантки нашли пистолет. Господин офицер так и сказал: «Браунинг». Что-то еще везде искали: в подполье, в подвале, в ограде, в конюшне, в стаюшке, в сенях, в кладовке!

Офицер кричал: «Оружие! Оружие! Где оружие?»

Какое оружие может быть у бедного еврея? Бог мой! Какое оружие?

Офицер тыкал Илию в нос револьвер: «Делай нюх, нюх!» Илия, понятно, нюхал. Такое уж дело — приходится нюхать. Ляя тоже понюхала.

Офицер спросил у квартирантки: «Это ваш ротатор? Ваши большевистские прокламации?» Она сказала: «Мои». Еще что-то спрашивал офицер. Значит, «ротатор» — это простой валик? Илия еще подумал: что бы было с ним, если бы захватил его господин офицер в экипаже, когда он отвозил на Сопочную... Бог мой, так и проговориться можно. Ничего он такого не отвозил.

Избу замкнули. Что стало с избой? Их дети и внуки не такие дураки, чтобы прийти в избу. Нет! Нет! Они поймут — засада будет. Обязательно!

Ай! Ай! Горе! Горе!

И вот они сидят, старик и старуха, на жестком ложе арестантского купе. Сколько им еще сидеть? Когда их убьют? Сегодня или завтра? Одиннадцать дней и ночей сидят. Много это или мало?

Ох, беда, беда!

Когда привезли в эшелон, Илия увидел на фонаре вагона цифру «11» — это уж точно! В вагоне не было купе. По бокам только нары-полки; может, здесь был ресторан для господ пассажиров? Кто его знает. Два или три стола, много стульев. Все окна были плотно завешены, а к чему завешивать окна, если у 11 вагона — заплот из высоких плах? И те вагоны, в которых сидят арестованные — 13, 14, 15, — за высоким заплотом? Еще есть 17-й, там сидят смертники. Об этом Илия знал, когда еще возил пассажиров на Верике, бог мой, Верик, Верик!..

Они, Илия и Лэя, в 13-м вагоне, слава Моисею. Бог смилуется, и господа офицеры отпустят их на свободу. Нет, не отпустят! Разве только в тюрьму отправят. Это бы хорошо! Там два сына и три племянника. Может, еще раз свидятся...

Сам командир роты пан Богумил Борецкий допрашивал Илию, Лэю и Селестину; ефрейтора Вацлава и трех арестованных стрелков увели куда-то в другой вагон; они с ними с той поры ни разу не встречались.

Пан Борецкий требовал, чтобы старик сказал, куда отвозил оружие, похищенное, будто, чешскими стрелками из его 49-го эшелона. Какое такое оружие?!

Тогда их начали бить...

Лэя лежала на полу, и кровь лилась у нее из носа и разбитых губ. Илия горько плакал и ползал по полу вагона. Его пинали и требовали: «Оружие! Оружие! Оружие! Оружие! Кто такой Артем! Артем! Артем?!»

Ой, горе! Горе!

Старик видел, как пан Борецкий ткнул папиросой в нос квартирanted Селестине, и она... Что вы думаете? От одной папироски упала. Как стояла, так и упала. Борецкий пинал ее в голову — не подымалась. Потом пришел доктор в белом халате — совсем молодой доктор. Долго осматривал Селестину, хлестал ее по щекам, что-то давал нюхать, и она пошевелилась, но встать не могла. Стрелки подняли ее и усадили на жесткий стул у стены. Доктор разговаривал с

упитанным Борецким, потом подошел к Илии, спросил: «У девушки всегда были такие глубокие обмороки?»

— У ней какая-то редкая аномалия в нервных центрах, — сказал доктор по-русски. — Или она больна эпилепсией?

Илия ничего такого не знал.

— Еврейка?

— Русская, русская.

— Разве я не вижу, что она еврейка? — со злом сказал доктор. —

И ты тоже русский?

Илия, конечно, еврей.

— Исповедуешь ли ты закон Моисеев?

— Как же! Как же! — ответил старик.

— Так вот, старик, я помогу тебе со старухой, если ты скажешь пану командиру: кто был у тебя из большевиков? Кто такой Артем? Где скрывается? С кем из большевиков связана ваша квартирантка, — показал доктор на Селестину. — И куда ты отвозил оружие! Ты все должен сказать, и я помогу тебе.

Доктор назвался. Иозефом Шкворецким, сказал, что отец его раввин в городе Праге. Илия поверил.

— Так ты скажешь, кто такой Артем?

Илия не знает никакого Артема; впервые слышит.

— Ты лжешь, старик! С Артемом встречались у тебя в избе пробольшевицкие элементы из состава нашей роты! — сказал доктор. — И ты это знаешь.

— Ничего такого не знаю, пан доктор.

— Плохо тебе будет, старик! — пригрозил доктор Шкворецкий. — Ты продался безбожникам-большевикам и попрал закон Моисеев и веру своих отцов!

Илия помнил страшную кару господню, но разве он в чем-нибудь нарушил закон Моисея?

Илия еще помнит, как пан Борецкий с доктором допрашивали Селестину, но уже не били. Вежливо так. Кто такая? Чем и когда болела? Селестина ответила, что она была контужена. Это очень удивило пана Борецкого. На фронте? Где? Ах, вот как! Кто она такая? Фамилия? Когда приехала в Красноярск? Разное, всякое спрашивали.

Еще помнит Илия, как пан Борецкий сказал Селестине:

— Вы хотели сделать солдат моей роты большевиками? Мы вам дадим такую возможность! О, да! Мы не будем бить вас. Нет! Нет! Вы будете агитировать — мы будем смотреть, как это у вас получится. О, да! Это очень интересно!

Для Селестины пан Борецкий придумал особый метод. Ее не будут бить. Нет, нет! Он, пан Борецкий, отдает ее ефрейтору Яну Елинскому — настоящему ефрейтору! И если она, Селестина, сделает ефрейтора большевиком, пан немедленно освободит ее из-под ареста.

— Я будет демократ! — прохаживался по вагону пан Борецкий. — Если вы сделайте мою роту большевиками — мы свершаем новый переворот. О, да! Белый власть опрокидываем, красный террор утверждаем. О, да! Полный демократия!

И тогда Селестина сказала: «Свинья»! О, о! Что она такое сказала?! Зачем? Разве можно было говорить пану Борецкому, что он свинья? Зачем? Пан хотел быть таким милостивым! Но он снова ткнул в лицо Селестины горящей папирасой. А стрелки держали ее за волосы. И Селестина почему-то не упала в обморок, а отбивалась от них и все равно кричала:

— Свиньи! Свиньи! Наемные свиньи! Убирайтесь домой! Тираны! Скоро придет вам конец!

— О! Ви заговориль, заговориль, красная сволочь! И совсем не падаль в обморок! Юда, смотри, смотри сюда, как будет отвечай ваша дочь!.. Ну! Откуда ви имель японски иены, доллары, на которые покупаль оружие и боеприпасы от солдат моя маршева рота? От подлый солдат, который мы уже росстреляли, росстреляли через военно-полевой суд! Отвечай!

Селестина молчала.

Горячая папираса впилаь в шею Селестины.

— Смотри, смотри, юда! — орал пан Борецкий.

Но Селестина, рванувшись, вдруг впилаь зубами в нос чешского стрелка, ухватившего ее за волосы.

— Волчица, волчица! Сволочь! — ругался стрелок, зажав прокушенный нос платком. — Росстреляй надо! Росстреляй!

Ай-ай! Как нехорошо вела себя Селестина! Теперь ее убьют! Обязательно убьют, а как же?..

Старики и в самом деле не знали, кто такой Артем. Кто руководитель подпольного комитета большевиков. И что они могли бы знать? Разве бы им доверили такие тайны? Оружие? Никакого оружия в глаза не видели.

Но их били. Доктор Иозеф Шкворецкий приводил их в сознание, и солдаты уносили стариков в тринадцатый вагон. Во всех купе были арестованные, ни старик, ни старуха никого из арестованных не знали.

Была еще ночь...

Илии страшно вспоминать...

Их привели в тот же одиннадцатый вагон, в котором допрашивали всех арестованных в разное время — днем и ночью, особенно — ночью. О, Яхве! Яхве! К чему ты сотворил ночь?..

Офицеры со стрелками и ефрейтором Яном Елинским допрашивали мужчин и женщину — беременную женщину, стриженую, молоденькую; Илия никогда ее не встречал в городе.

Лицо женщины вздулось от побоев — ни глаз, ни носа; кровь, кровь, и руки связаны. Мужчины тоже сидели со связанными руками, но как же их избили!..

Незнакомый Илии офицер сказал:

— Ты видал их? Называй! Гляди на мадам! Ближе, ближе!

Старик подошел ближе: не видел!

— Хорошо смотри, старик! Хорошо!

— Не видел! Видит бог, не видел!

— Ты всегда врешь, юда, богу и нам. Смотри хорошо!

— Господи, господи! Где же я мог видеть?

— Старуха, смотри!

И старуха никогда не встречала в городе женщину...

— Это Грушенька, — сказал белобрысый, мордастый офицер. — Ты слышать Грушеньку? Комитет большевиков?

— Где бы я мог слышать? Господи! Господи!

— Теперь гляди сюда, на мужчину. Вот на этот! Бистро, бистро!

Старик смотрел на мужчину...

Сперва не узнал — раздувшееся лицо, в кровь разбиты щеки, подбородок, но приглядевшись, испугался: Машевский! Кто бы мог подумать, а? Но если, он, старик, назовет Машевского, тогда... Что будет тогда?.. О, Яхве! Яхве!

— И мужчина не видал? Самого Машевски? Ты врать, старик! Это сам Машевски — председатель комитета большевиков!

— Господи! Господи! — трясся Илия. — Да разве сам председатель пришел бы к нам в избушку? Кто я такой для председателя? Или наша квартирантка? Вы же знаете: сам господин ефрейтор Вацлав...

— Молчайт! — крикнул офицер.

Ни Машевский, ни стриженная женщина не признали стариков; они их никогда не видели...

Старика и старуху отвели обратно в тринадцатый вагон. Но еще до того, как они спустились вниз, из тамбура раздался пронзительный крик женщины...

Лэя до того перепугалась, что упала со ступенек и разбила колено.

О, Яхве! Что же такое происходит с людьми!

Они сидят рядышком, старик и старуха. Они всегда рядышком. Вот уже пятьдесят лет — золотую свадьбу успели справить. «Разве это мало, Лэя?»

Кончился еще один день; и настала ночь...

Илия трудно поворачивает голову и смотрит вверх на маленькое оконце за решеткою. Темно, темно. Дождь шумит, будто. Осенью всегда дождь шумит. В такую погоду Илия ездил в дождевике с капюшоном, и на Верика накидывал брезент. А как же! Что теперь с Вериком? Тот офицер сказал, что конь покуда будет при эшелоне.

Тускло светится электрическая лампочка; рядом в купе кто-то тяжело стонет. Кажется, мужчина. И там, дальше, слышатся стоны.

Они сидят рядышком...

Лицо у старика вздулось от побоев, морщины разошлись, нос посинел и распух с лежалую грушу, губы разбиты, и кровь запеклась на них, передние зубы, которыми он хвастался перед внуками, начисто выбиты еще неделю назад, как и у Лэи — к чему им теперь зубы? Ни к чему! Все тело налито саднящей тупой болью. Илия не знает, что в его теле осталось живое, а что умерло?

За дверью-решеткой тихо. Коридорные окна забиты досками, чтоб никто не заглядывал в чрево дьявола на чугунных колесах.

— Лэя, — тихо, со вздохом позвал Илия.

Послышалось слабое:

— Что, Илия?

— Она еще живая или нет?

— Кто?

— Наша квартирантка.

— Разве я знаю?

— Ох, хо, хо, хо! Беда, беда.

Старик вздыхает, покачивает головой. Лэя тоже вздыхает.

— Что теперь с нашими, а? Как они там? Их тоже бьют, а? Или там не бьют?

Старуха догадалась: Илия говорит про сынов и племянников в тюрьме. Но разве можно говорить про них?

— Помнишь, Лэя, в писании сказано: «Явится жнец с кровавым серпом, и будете вы сжаты и мертвыми снопами ляжете на мертвую землю»? Жнут нас кровавым серпом. Детей наших, внуков — всех, всех! Подумать только — Машевского тем же кровавым серпом сжали! Какие люди гибнут, а? Еще та стриженная женщина — Грушенька, как ее назвал господин офицер. Кто она такая? Ой, ой! Всех жнут, жнут. А кто же останется?!

Послышались железные шаги по коридору. Старик со старухой теснее прижались друг к другу. К решетчатой двери подошел охранник, сунул ключ в замок, открыл дверь, но не вошел в клетку. Еще шаги, шаги.

Первый охранник вошел в клетку задом, за ним второй. Кого-то принесли. За плечи и за ноги. Бросили на полку, ну, как мешок. Женщина. Та самая женщина! По пояс голая — белеют высокие груди. Ай-ай!

— Юда! Делай дых, дых! — сказал один из охранников старикам, кивнув на женщину. — Дых! Дых!

— Боже! Боже! — Илия не понимал, что он должен делать с этой женщиной?

Чехи о чем-то поговорили, и один из них побежал по коридору, бухая коваными ботинками. Вскоре он принес цинковое ведро воды и вылил на голову и обнаженное тело женщины.

Женщина не шевелилась. Может, она мертвая? Ай, ай! Ни вдоха, ни движения. Правая рука свисает с полки — кровоточат раздавленные чем-то пальцы. Старуха вскрикнула и повалилась набок; Илия успел поддержать ее. Один из охранников оглянулся, плюнул на старуху:

— Фу! Юда! — И еще что-то на своем языке.

О, Яхве! Яхве! Спаси нас!

Охранник взял с верхней полки солдатский котелок с водой, поднес к губам женщины, и, разжимая зубы, стал лить воду. Илия отвернулся, чтобы не видеть страшной картины, он хотел вспомнить слова молитвы, но никак не мог, мешала старуха — ее бил озноб, словно кто-то ее потряхивал. Холодно. Очень холодно! Которую ночь они, старики, вот так трясутся, не попадая зубом на зуб. Охранники отобрали всю их одежду — это было тоже пыткой, понятно.

Холодно! Холодно!

Не от мороза — от страха холод, тут уж ничем не согреешься.

Ох, ох! Скоро ли конец всему?..

А эти трое в солдатских ботинках все еще возились с Грушенькой. Наконец, послышался стон. Тихо так и глухо, будто кто под вагоном стонал.

— Дых! Дых! Дых! — кричит грубый голос.

— Ты! Юда! — толкнул старика один из стрелков. — Помогайт!

Дюжий чех оттолкнул старуху, подхватил старика под руки и легко перенес к полке, опустив коленями в лужу.

Старик никак не мог понять, какую помощь требуют от него? Рука женщины свисала рядом, но он боялся притронуться к обезображенной руке, словно она могла оторваться.

— Помогайт! Помогайт! — еще раз прикрикнул чех.

Старик слышал, как щелкнул замок. Шаги, шаги, шаги.

Ушли!..

Сегодня их убьют или завтра?

И будут они сжаты кровавым серпом!..

Кто же вложил серп в руки тиранам?

Она еще живая, Грушенька!.. Живая! Грудь в чугунных кровоподтеках. Истязали! Ох, ох! Как ей было трудно! Может, ей дать воды? Котелок на полу. Старик заглянул в котелок — наполовину с водой. Что-то надо делать! А что? Разве старик знает, что в таких случаях делают? Он никогда не видел вот таких истерзанных. Или так и должно, когда нет закона? Где же теперь закон? Или закон умер? И потому их могут терзать, кому как вздумается? Ни адвокатов, ни судей, ни прокурора, ни присяжных заседателей!

Закон умер!.. Это уж точно.

«Боже, боже! На кого ты нас покинул? За что же ты нас караешь, боже!»

Может, и сам бог умер, как и закон?

Старику страшно, страшно!

XIII

Теперь их трое в стальной клетке...

А по коридору шаги. Шаги. Железные шаги часового.

Старик не смел подняться с колен. Если поставили — надо стоять.

Оглянулся на старуху — она укуталась в шаль, спряталась в угол и смотрит на него. Ох, ох! Лэя! Лэя! Разве мы такое ждали? Мы никогда такого не ждали!.. Закон умер, Лэя, вот в чем все дело.

Грушенька застонала громче и попыталась поднять руку, но не смогла: рука толкнулась в бок старика, и опять повисла.

— Ооо! Ооо! Ооох!

Она еще живая, Грушенька-Прасковья...

Нечто смутное и страшное вспыхивает в ее воспаленном сознании и тут же гаснет, она что-то должна кому-то сказать. Но где она? Бьют ее или нет? Она не чувствует никакой боли в изуродованном теле, да и самого тела будто нет. Глаза запухли, но она все-таки что-то такое видела, упорно приглядываясь. Над нею была верхняя арестантская полка — и это было ее самое низкое небо без солнца, желтая полка, как тело покойника.

— Ка-зи-мир, — тихо, очень тихо прошептала Прасковья и враз все вспомнила: Казимир убит. Его замучили на ее глазах. Били, били, и он не поднялся. Совсем не поднялся. И тогда выстрелил в него подпоручик Борецкий. Палач, палач! Убили!

Желтое, деревянное небо висело над нею неподвижно, и она упорно смотрела на это деревянное небо без милостивого солнца, не в силах понять: где же она? Что еще за лысый старик рядом? Почему он возле нее? Хотела что-то спросить, но тут же запомнила; начались боли внизу живота.

— Ооох! Ооох! — громко застонала она. — Где я? Где?!..

— В эшелоне, — ответил старик. — В сорок девятом эшелоне.

— Кто вы? Откуда?

— Арестованный. Со старухой вот. Брахович по фамилии.

— Брахович?! — Прасковья уставилась на старика, что-то вспоминая. — Это... это... вас приводили на очную ставку?

— Как же! Меня! И старуху.

— Ста-руху? Ооох! Плохо мне! Живот! Живот! Маамочка!..

Илия испугался и оглянулся на Лэю:

— Ты слышишь? Что я такое могу сделать, а? Она говорит — живот. А что я могу, а?

Прасковья хватает воздух широко раскрытым ртом, всхлипывает с прибулькиванием, двигает голыми ногами по полке, и стонет, стонет, громко стонет. О, Яхве! Яхве! Смилуйся над этой истерзанной женщиной. Старик тихо бормочет молитву, рядом с ним Лэя. Ага, Лэя! Что она может, бедная Лэя? Что она может?

— Илия! Илия! — шепчет Лэя, положив руки на большой живот Прасковьи. — Доктора надо, Илия, доктора! У ней роды, Илия. Роды!

— Боже мой! Боже мой! В такое время?! — сокрушается Илия, отползая на коленях.

— Ма-а-а-ама-а-а! — Долгое, долгое и тяжкое. Длиннее дороги в землю Ханаанскую. Она зовет маму. А кого же еще звать? Всегда нужна мама. Но где ее мама? О, Яхве!

— Ма-о-амо-о-очка-а-а! Оооо! Оооо!

— Стучись, Илия. Стучись!

— Что ты такое говоришь, Лэя. Кому стучать? О, господи!

— Ма-амо-очка-а! Ооо! Убили!.. Казимира убили!..

Убили Казимира? Какого Казимира? Старик не знал, как звали Машевского. Наверное, Казимир ее муж? Но тут старик увидел часового по ту сторону стальной решетки. Оловянные глаза, торчит нос между двух стальных прутьев. Старик никак не может собраться с духом, чтобы сказать часовому: доктора надо! Желтая лысина старика блестит от пота. Он плачет, Илия. Слезы сами по себе катятся по его вздувшимся щекам, заросшим седою щетиной. Прасковья кричит, кричит! Помоги ей, господи. Или так и должно, как сказано в писании: «И почел я мертвых счастливее живых, а счастливее их обоих тот, кто еще не родился, кто не видел худых дел, какие свершаются...»

— Ма-а-а-ама-а-а!

Часового нет возле решетки — ушел. Разве он не от женщины родился, часовой, и ничего не понимает?! Есть ли кто живой в этом мире, полном тьмы и страха?!

Много ли, мало ли времени прошло, Илия не помнит. Пришел доктор в белом халате — сам доктор Иозеф Шкворецкий. Илия испугался, отполз на свободную полку. Доктор поставил на полку возле Илии маленький баул, открыл его, что-то достал, а тогда уже подошел к женщине. Илия помог Лэе, посадил ее рядом с собою, и они притихли, не в силах смотреть на ту сторону — на ту сторону, где что-то делал доктор. Прасковья стонала, но не громко, и вдруг стало тихо — совершенно тихо, а потом: «Аааа!» Это был не голос женщины, нет, а необычный для арестантского вагона младенческий голос новорожденного человека. В такое время родить, и в таком месте!.. Худо, худо!..

Доктор Шкворецкий позвал к себе Лэю, но она не могла встать, до того обессилела.

— Я вас зову, старуха! — прикрикнул доктор Шкворецкий.

Вошел пан Богумил Борецкий и с ним еще два офицера; в клетке стало тесно, старики отползли в угол, женщина не стонала, а ребенок все еще залиvistо кричал.

Часовой подал доктору Шкворецкому простыню, самую настоящую простыню и одеяло — стариково суконное одеяло, которое он брал с собой. О чем они разговаривали, офицеры, Илия не понимал. Потом доктор ушел, взяв баульчик, а за ним двое офицеров в шинелях. В клетке остался пан Борецкий и два стрелка с карабинами.

— Та-а-ак! — протяжно сказал пан Борецкий, уставившись на старика и старуху. — Вы не знаете эту женщину? — кивнул на Прасковью. — Она родила ребенка. У меня в эшелоне нет содержаний для женщины с маленька ребенка. Вы ее не знаете, говорю?

— Не знаем! Не знаем! — ответил старик.

Подпоручик подпернул на плече шинель, достал папиросу, зажигалку, закурил, не спуская пронзительных светлых глаз со стариков. Он что-то обдумывал, насыщаясь ароматным дымом табака.

— Вы почему трясетесь? — спросил старика. — Полагайте, пан командир зверь? Вам такой внушений давал большевик Машевский?

— Господи! Разве мы знаем Машевского?

— Знаете! — уверил пан Борецкий. — Нет, теперь нет Машевский! Совсем сдох. Вам жалко?

— Разве мы его знаем? Видит бог!

— Не надо бог. Без всякий бог! — рассердился неверующий пан Борецкий. — Я понимаю так: вы был слепой оружий Машевски. Вы теперь осознайте ваши ошибки? Не надо быть слепой оружий бандита! Я хочу помиловать. вас, если вы будете лояльны к существующей власти. Понимайте? Где ваш изба? Улица?

Старик сказал.

— Далеко от вокзала?

— Не так далеко. Нет, нет.

— Живет ли кто в избе?

— Кто же может жить, пан офицер? Мы же одинокие...

— Вraithе! — оборвал подпоручик. — Эта красивая барышня Селестина, которая печатала на ротатор прокламации, есть ваша дочь. Я это знал сразу. Не вraithе! Не вraithе! Она глупый оружие большевиков. Я давал возможность ваша дочка вести агитация моя рота; не имела успеха. Никакого успеха! Вы будете жить с вашей дочка! Я буду помиловать!

Подпоручик подумал и еще раз спросил: не живет ли кто в избе стариков? Есть ли какие-нибудь родственники?

— Господи! Господи! Кто же может жить в нашей избе? Никто!

— Та-ак! Я буду думать. Если мадам Машевски, — подпоручик кивнул на полку, поправил шинель, — отвечайт на один вопрос, я отпускаю живой мадам Машевски. Будете жить в вашей избе. Согласный?

Старик не знал, что ответить. Грушенька — мадам Машевски? И она будет жить в его избе?

— Мы бедные люди, пан командир, — пожаловался старик. — В мои годы — разве много зарабатываешь?

— Заработайте! Вы извозчик?

Конечно, старик извозчик. Но вот лошадь-то взяли у него!

— Вы потом получайте свой конь! Получайте! Еще какой вещи взяли?

Старик сказал, что одежда у них была...

— Получайте одежда! Сейчас получайте! А теперь я буду спрашивать мадам Машевски, Если отвечайте один вопрос — помилований будет. И вам с красивой дочка помилований будет.

Старик промолчал. Если пан командир считает, что квартирантка Селестина его дочь — пусть думает так.

Подпоручик подошел к полке, где лежала под суконным одеялом Грушенька-Прасковья, мадам Машевская.

Она крепко спит, мадам Машевская. Вдруг сразу уснула. Подпоручику понятно: после допросов, смерти Машевского, да еще родов, сон для Грушеньки — спасительная благодать. Именно потому и надо разбудить ее для последнего допроса. Теперь у нее ребенок, завернутый в простыню. Борецкий знает — родился мальчик. Она теперь мать! О, да! Если она ответит на его вопрос, он...

Большевики опасны даже мертвые, как в том убедился вчера пан Борецкий.

Ефрейтору Яну Елинскому с двумя стрелками приказано было утопить тело Машевского в Енисее. Но, видно, кто-то их спугнул, и они подбросили его под железнодорожный мост. А утром рабочие подобрали тело Машевского, унесли в депо и там был митинг — стихийный митинг! Сегодня Машевского похоронили на кладбище в Николаевской слободе, и все будут знать его могилу, проклинать чехов и особенно командира маршевой роты Богумила Борецкого. А ведь он, Борецкий, предупрежден генералом Гайдой, чтоб «никаких следов не оставалось».

Богумилу Борецкому предстоит еще возня с главными совдеповцами губернии: Дубровинским, Вейнбаумом, Яковлевым и инженером Парадовским. По приказу генерала Гайды он должен взять их из тюрьмы и судить военно-полевым судом, будет, конечно, смертный приговор, и большевиков прикончат в эшелоне. Ну, а тела куда захоронить? Как надоела ему эта комедия с судами!..

Нужен паровоз, просто паровоз, на котором кочегарили бы надежные стрелки ефрейтора Яна Елинского, и в топке паровоза сжигать всех замученных и расстрелянных.

Но куда паровоза нет...

Есть изба стариков! К чему им изба! Да и они сами? Кому нужны старики?..

XIV

Стрелок разбудил Прасковью; сам Борецкий не стал пачкать об ее тело руки. Одно прикосновение к этой упрямой волчице вызывало у него брезгливость.

— У вас родился сын, — начал пан Борецкий, вынужденный смотреть на ее обезображенное лицо. Видит ли она его? Понимает ли? — Я поздравляю вас с рождением младенца. Вы меня слышите?

Тяжелый вздох, никакого ответа.

Борецкий взял кончиками пальцев одеяло, отвернул его: красное личико младенца уткнулось в изуродованную грудь матери: рука с раздавленными пальцами поддерживает младенца. Борецкому неприятно было глядеть на страшную руку, закрыл одеялом.

— Ваш муж Машевски погиб от дикого молчанья, он не думал про ребенка, который вы носила. О, да! Не хотел думать! А вы будете думать?

Ни слова.

— Я вас спрашиваю! — начинал вскипать Борецкий, до чего же эти большевики страшны в своем упрямстве! — Вы меня слышите?!

— Да-а, — со вздохом ответила Прасковья. — Что вам еще нужно?

— Слушать очень внимательно вопрос, один вопрос! Если вы отвечаете один вопрос — вы будете жить со стариком юда в их избе. Но вы дайте мне слово: не будете принимать участия в подпольной работе большевиков! Слышайте?

Прасковья не верила...

— Слышу.

— Давайте слово?

— Вы... меня... убили... какое слово?

— Живой! Живой будете. Поправляться будете. Сын растить. Машевски сын! Если отвечайте один вопрос!

— Какой... вопрос? — не поняла Прасковья.

— Я хочу знать: кто воровал секретный документ русская контрразведка?! Кто?! Это важный заданий генераль Гайда!

— Не знаю, — был ответ Прасковьи.

— Врите! Документы находились в сейфах МВД! Сейфах! Русская контрразведка имела ваш агент. Кто он? Фамилий. Связь, связь!

Прасковья молчала.

— Или называйте фамилии, или — крайний мера! Крайний! Вы меня понимаете? Фамилий, фамилий! Кто он есть такой? Вы и Машевски имели связь с агентом. И вы хорошо знайте его. О, да! Я вас

не спрашиваю про дочь Браховича, Селестина. Она. слепой оружие вашего агента. Это мы понимаем! Ваш член комитета каждый имел свое задание. Вы и Машевски занимался организацией банда в тайге.

— Не-ет! — слабо ответила Прасковья, у нее иссякли силы разговаривать. — Не было никакого агента. — Но разве Борецкий мог поверить? Он уверен, что у ЦК партии большевиков всюду агенты. И если генерал Гайда приказал вырвать у арестованных большевиков его имя, Борецкий сделает это во что бы то ни стало. — Не было агента. Не было!

— Ты есть красный тварь! Большевистский волчица! — окончательно потерял терпение пан Борецкий, выхватив из кобуры пистолет. Прасковья смотрела на пистолет снизу вверх, не мигая. — Я давал возможность быть живой с твой поганый сын от Машевски!

— Па-ала-ач!

— Еще один момент будет! Один момент! Или называй фамилий агента, или росстреляю, росстреляю с твоим поганый сын! Считай до три! — И, приставив ствол пистолета ко лбу Прасковьи, подпоручик начал медленно, с паузами отсчитывать: — Один! Другой! Слышай?! Половина третий! Ну? Ты слышай?! Три!.

Хлопнул выстрел. У Илии и Лэи дрожь прошла из тела в тело. Илия видел, как дернулись ноги женщины под одеялом, и в тот же момент пискнул ребенок. Может, в предсмертное мгновение Прасковья с силой прижала его к себе, и он заплакал? Подпоручик рывком откинул одеяло — еще выстрел...

Тишина...

Ни писков новорожденного, ни стонов истерзанной....

Старик и старуха, судорожно сцепившись, зашептали молитву, последнюю молитву. Сейчас их застрелит пан Борецкий!..

Яхве! Яхве!

Борецкий медленно повернулся, подошел и уперся в стариков свинцовым взглядом, сама смерть глядела из его широко открытых глаз. Ему тоже нелегко, палачу! Дышит тяжело, с присвистом, словно тянет воз смерти в гору.

— Та-ак!..

Терпко пахло сгоревшим порохом. Замерло черное оружие в руке пана Борецкого. Сейчас оно еще два раза выстрелит...

— Видал, юда, какой смерть большевистска волчица?

Стариков било ознобом...

— Вы помогал бандитам! Опасный преступник, как эта Грушенька и она — мадам Машевски. Но вы не знали, кому помогали. Я вас помилую. Вы теперь пойдете в, вашу избу. Слышайте! Ваша изба! Стрелки ночевать будут вашей изба. Понимайте? Завтра стрелки тихо хоронят эту бандитку! Вы — молчать! Понимайте? И ваш дочь Селестина молчать! Будет говорить — росстреляю! Росстреляю! Понимайте?!

— Понял! Понял! — кивнул лысой головой Илия.

У него все-таки повернулся язык — не окаменел от страха.

Борецкий больше ничего не сказал, сунул пистолет в кобуру, подпернул шинель, повернулся и вышел из купе.

Щелкнул замок...

Тишина... Тишина во всем вагоне! Ни стонов, ни вздохов.

Только что-то капает, капает...

Ляя тряслась все сильнее и сильнее. Дрожь ее передалась Илии. Они боялись взглянуть на ту полку, но они отчетливо слышали капель. Самую настоящую капель. Как будто что-то растаяло на той полке и капля за каплей стекало вниз. Может, всегда бывает так, когда чья-то жизнь растает? Капает. Капает.

Пан Борецкий, освежившись на воздухе, приказал одному из стрелков вызвать ефрейтора Александра Голоушека, он все сделает как следует, ефрейтор Александр Голоушек!

Было два часа ночи...

Пан Борецкий выпил стакан коньяка, не закусывая, прошелся по пустому штабному вагону, что-то упорно обдумывая. Так и не удалось узнать, кто же агент! И как будто напали на след — арестовали Машевского с его Грушенькой и вот, пожалуйста, провал! Что скажет Гайда? Поручик Брахачек все свалит на Богумила Борецкого. И вылезет в капитаны!.. А вот и Александр Голоушек.

Здоровенный, плечистый — быка утащит! Так и так. Надо отвезти стариков-юдов с дочерью Селестиной и трупами женщины и младенца в их избу. И там сжечь. Ефрейтор Голоушек с двумя отборными стрелками завернул тело большевички Машевской в брезент. А двое стрелков помогут идти старикам с их дочерью Селестиной. В избе они затопят печь. И кончат всех без выстрела — без единого выстрела! Штыками, зубами, как угодно. Затем подожгут избу. И чтоб в роте —

ни единого слова! Головой отвечаешь! Приказ ясен? Выполняйте, ефрейтор Голоушек.

XV

Капает! Капает! Все еще капает...

Старики успели одеться (часовой вернул им одежду) и опять сидели рядышком, тесно прижавшись.

Вот теперь они совсем собрались в дорогу. Илия в дождевике, и капюшон накинута на кепчонку — так теплее, и руки ладонями на коленях. Лэя в стареньком мужнином лапсердаке, укуталась шалью, и так же, как Илия, — ладони на коленях. Они уже едут, едут! Куда едут? Туда, откуда еще никто не возвращался. Илия прочитал приговор себе и старухе в глазах пана Борецкого! Ох, хо, хо! Яхве! Господин Борецкий считает старого Илию совсем дураком? У Илии старые глаза, но как же они далеко видят! Но Лэя пусть не знает, что с ними сделают стрелки в избе! Может, и она догадалась обо всем, но молчит, чтоб не расстраивать его, Илию? Ой, ой, Лэя! У нее всегда были такие секреты, которые он еще вчера забыл, до того, как они ей стали известны. Ах, Лэя! Ну, пусть молчит. Не надо ничего говорить — перед ними два тела...

Убиенные младенец с матерью...

Яхве! Яхве! Есть ли ты?

Ничего и никого не было. Ничего и никого!

Никаких богов, пророков. Пустота. И в этой зловещей пустоте...

Капает. Капает.

Все реже и оттого громче падают капли...

Часовой открыл дверь — вошли двое стрелков и притащили брезент, большой такой немецкий брезент. Стрелки даже не взглянули на стариков, взялись за свое дело. Молча, деловито завернули в брезент тело матери с младенцем и вынесли. Потом вернулись и жестами позвали стариков — не знали по-русски...

— Ну, едем, Лэя! — поднялся Илия.

Старуха с трудом встала.

— Едем, Илия. Едем, — покорно ответила; она все знает, понял Илия по ее голосу.

На полу клетки в луже осталось скомканное, пропитанное кровью одеяло...

Старуха с трудом спустилась с приступок вагона на землю — ноги не держали: стрелок не дал ей упасть — поддерживал. И на том спасибо!..

Моросит дождь. Сыро, сыро и холодно. Брезентовый сверток лежал на земле; стрелки кого-то поджидали. Где-то совсем рядом слышатся паровозные гудки: станция! Это же как музыка, станция! И всегда здесь люди, которые куда-то едут, едут. Илия любил бывать на станции. Такое дело — извозчик, без пассажиров не проживешь.

Идут двое — высокий в короткой шинели, а с ним на голову ниже женщина — это же Селестина! Идет сгорбившись, как старуха! Ой, ой! Где же ее держали?

Может, в семнадцатом? Селестина в той же плюшевой жакетке, в модной шапочке, отделанной мехом, в ботинках с высокими голенищами. Она узнала стариков, глядит и молчит. Илия хотел поздороваться с ней, но разве это можно? Ночь! Глухая, непогодная ночь!

Чехи о чем-то посоветовались между собой, и тот, высокий, огромный, подошел к свертку; стрелок помог ему вскинуть его на плечо, назвав «паном ефрейтором». Еще один пан ефрейтор! О, Яхве! Что сделают с ними!?

— Пшли! — скомандовал Голоушек. — Старик, далеко изба? — Он сносно говорил по-русски.

Мягкая ноша в брезенте повисла назад и вперед. Один из стрелков поддерживал старуху, второй — Селестину. Илия старался не отставать, хотя началась одышка — одиннадцать суток в клетке! Ох, ох! Лучше не думать.

Возле товарной биржи сбочь улицы стояла ломовая телега и хозяин дрыхнул на ней.

— Извозчик надежный? Проверяли? — спросил по-чешски ефрейтор Голоушек у стрелков.

— Проверяли. Пьяница один. За бутылку маму в преисподнюю отвезет!

Ефрейтор Голоушек направился к телеге и, ничего не сказав хозяину, бросил свою ношу на задок. Извозчик поднялся. В ушастой шапчонке, в дождевике.

Ефрейтор Голоушек что-то сказал извозчику (Илия не расслышал) и достал у него из кармана дождевика бутылку.

— Молодца, русс! — басом похвалил извозчика ефрейтор Голоушек, подозвал стрелков, открыл бутылку, понюхал, потом стал пить прямо из горлышка. Раза три приложился и остаток отдал стрелкам, скомандовав:

— Старик, сажай! Мы буйдем ехать! Молодца, извозчик! Сажай, сажай! Плотно! Мы — близко!

Ефрейтор Голоушек и без того подвыпивший в вагоне у Яна Елинского, заметно охмелел от самогонки-первача.

Когда Илия помогал сесть на телегу Лэе, он близко увидел лицо извозчика: Артем! Илия мог поклясться на талмуде, что извозчик тот самый Артем, про которого так усердно допытывались чешские офицеры и сам Борецкий. Очень уж хотели взять его, а он — вот он, рядом с ними. Ой, ой! Разве так можно! Узнает ли его Селестина? Она так и не сказала старикам ни одного слова — ни одного слова, будто бы она и не она. А тут вот он, Артем, в ломовых извозчиках!..

Илия наперечет знал всех легковых и ломовых извозчиков — каждого помнил в лицо и даже у кого какая лошадь. На чьем же коне Артем? Вороной, подобранный, нетерпеливый и голову держит к дуге, скорее всего верховой.

Усевшись на телегу, ефрейтор посадил рядом Селестину, она не сопротивлялась...

Артем сел в передок, опустил ноги вниз, на оглобли, и когда все расселись, тронул вороного.

— Старик! Говоряй ямщик, ехать надо куда! — крикнул Голоушек. Илия подумал: кто-кто, а Артем-то знает, где его изба! Но сказал, куда надо ехать.

Возле привокзальной площади встретились трое патрульных чехов. Стой! Ружья наперевес. Ефрейтор Голоушек спрыгнул с телеги. Что-то говорил патрульным, но те ломили свое: куда едете? Что в брезенте?

Илия знал — в брезенте выносили оружие из эшелона. Всегда ночью.

Трое патрульных сцепились с ефрейтором Голоушеком, стрелки тоже слезли с телеги, лопочут, кричат. Лэя жметя к Илии и дрожит, дрожит.

Селестина оглянулась на стариков, и тихо так, посторонне:

— Они всех убьют в избе. Всех.

Илия и Ляя уставились на Селестину, она смотрела на них совершенно спокойно, как будто и в самом деле была посторонней во всех происходящих событиях.

Артем сидел, как истукан, не оборачиваясь.

Патрульные солдаты требовали развернуть брезент, говорили по-чешски.

Артем все слышал и понимал.

Ефрейтор Голоушек сказал: если русский извозчик увидит, что находится в брезенте, то ему будет известна тайна, командир особо предупреждал, чтоб все было тихо!

— У нас тоже приказ командира, пан ефрейтор! — упорствовал патрульный унтер-офицер. — В брезенте вывозили оружие!

Так вот оно в чем дело!..

Ефрейтор Голоушек подошел к телеге:

— Момент — сторона! — И по-чешски сказал стрелкам, чтоб старик, старуха, Селестина и ямщик отошли в сторону, пока он покажет патрульным солдатам, что находится в брезенте.

Стрелки отогнали всех в сторону.

Для Артема все ясно — тело Прасковьи Дмитриевны... Желваки вспухли на скулах. Он везет мертвую Прасковью. Молчи, молчи и зубы стискивай.

Патрульные посмотрели и пошли дальше мимо черных тополей через пустынную площадь к вокзалу.

Снова уселись все на телегу в том же порядке, ефрейтор Голоушек крикнул:

— Давай! Гоняй коня! Бистро!

Артем погнал вороного, напряженно обдумывая положение. Если ему удастся разделаться с этими палачами, то как же быть с телом Прасковьи? Чехи патрулируют главные улицы и вокзал, милиционеры — глухие улочки и переулки, да их ночью не сыщешь. Следовательно, убитых скорее всего обнаружит кто-нибудь из прохожих и сообщит милиции. В таком случае командиру роты Борецкому удастся выдать убийство стрелков за обыкновенный террор подпольщиков, чтобы вывести на казнь заложников в тюрьме. Об этом надо подумать.

Долго тянулась привокзальная улочка с прокоптелыми от паровозного дыма домиками железнодорожников. Глухая, безлюдная...

Артема пробирали дрожь — надо взять себя в руки, стиснув зубы, взять себя в руки!

— Где твой изба, старик? — терял терпение ефрейтор Голоушек.

— Вот та, третья! Боже! Боже! — Илия давился слезами: его изба! Как будто век не был в ней.

Темная, мрачная и пустынная улочка. В осенние промозглые ночи здесь редко кто рискует проходить к вокзалу. Фонарей нету, тротуары из плах до того прогнили, что расшибиться можно. Если идут дожди, тут наводнение непролазной грязи.

Тесовые ворота ограды распахнуты — без хозяина и дом сирота.

Илия постанывал:

— Боже, боже! Что осталось в избе, а? Ничего не осталось! Ай, ай! Конюшни нету, ай, ай! Кто-то украл конюшню! Ай, ай! И двух полениц нету! Столько было дров! Ай, ай!

— Молчай, юда! Молчай! — прикрикнул ефрейтор Голоушек: ему тоже стало страшно. Темень, пустынная ограда. Мрак.

Заехав в ограду, Артем разворачивал телегу, чтоб выехать.

— Стой! Долой, долой! Бистро! — спрыгнул с телеги ефрейтор, а за ним стрелки.

Нельзя было упустить момент, пока ефрейтор Голоушек со стрелками отошли в сторону. А старик и Селестина помогали старухе слезть с телеги...

И в этот момент Артем, пятясь к ефрейтору Голоушке со стрелками, будто распутывая вожжи, вдруг резко повернулся и выстрелил в упор в Голоушека и еще два выстрела в стрелков.

Ефрейтор рухнул спиной на приступки крыльца, стрелки повалились в разные стороны. Артем подскочил к ним, убедился, что все трое уложены наповал, взял у одного карабин, патроны из двух подсумков, у другого вынул нож из ножен, а у ефрейтора снял ремень с пистолетом в кобуре.

Бывалый фронтовик, Артем Иванович Таволожин, он же — Иван Бирюков по теперешним документам, и Артем — для товарищей подполья, стрелял без промаха.

Все это произошло так быстро, что ни старик со старухой, ни Селестина не успели вскрикнуть, словно окаменели.

— Скорее на телегу! — приказал Артем. У старухи подкашивались ноги, и Артем с Селестиной с трудом втащили ее на телегу.

— Бери вожжи, старик!

Старик проворно взял вожжи и, выехав из ограды, погнал вороного по темной улочке.

— Выезжай на Песочную. Дочь у тебя на Песочной или сын?

И дочь и сын. О, Яхве! У него в руках вожжи, вожжи! Будто век не держал вожжей. Они живые, Илия и Лэя! Видит бог, живые! Вот он какой, Артем. Ой, ой! Теперь Илия понимает, почему офицерам важно было схватить Артема. Он хитрее их всех. Кто бы мог подумать? Он, Илия, простился с жизнью, и вот — вожжи в руках. Добрый конь у Артема. Ой, какой добрый конь!..

Тарахтела телега по камням, из-под копыт летела грязь, они ехали, ехали. Быстро ехали. Из переулка в переулок, минуя главные улицы, и вот — Песочная.

Илия подвернул к бревенчатому двухэтажному дому зятя. Здесь живет его дочка Яника! Ах, какой расчудесный человек зять у Илии! У зятя лавчонка — приторговывает мелочью, а на хлеб с маслом всей семье хватает. А что еще надо бедному еврею? В доме зятя Илия и Лэя найдут себе надежное пристанище!

Илия постучался в ворота.

— Кто там?

— Ах, боже мой! Это ты, Боря?! — вскрикнул Илия. — Это мы, Илия и Лэя.

— Бог мой, бог мой! — обрадовался зять.

Артем и Селестина, не попрощавшись со стариками, поехали дальше. Рысью! Рысью!

XVI

Пожар, пожар в душе Ноя!

Сколько дней прошло, как убили Машевского, исчезла Селестина и арестовали Прасковью Дмитриевну? Девять, десять? Или века пролетели?!

Ной сидит в шорной мастерской Абдуллы Сафуддиновича и тяжело думает.

Возле входной двери на стенах развешаны хомуты, уздечки на крючьях. В углу слева — станок, на котором кожей обтягивают хомуты. Два деревянных топчана у стены. Здесь прячется теперь постоянно Ной и частенько ночует Артем.

На что еще надеется Артем?! Все равно теперь уж ни Прасковьи, ни Селестины в живых нету. А он каждую ночь дежурит на вокзале, толкается между чешскими стрелками, чего-то ждет!..

— О, аллах! — ответно вздыхает Абдулла Сафуддинович. — Так было, когда в Казани казнили татар за восстание. Везде ищут тебя, батыр. Сам читал объявление у вокзала. Про бороду, про коня. За укрывательство — смерть! А мы тебя спрячем. Много домов у Абдуллы Сафуддиновича. Другой дом — третий дом! Все татары помогут! Шакалы! Белый шакалы! Не надо, батыр, ехать Минусинск. Хана будет.

Давно Абдулла Сафуддинович ни с кем так откровенно не разговаривал, как с батыром Ноем Силычем! Про свой род Бахтимировых рассказал, про трех братьев, членов партии РСДРП, казненных в Казани в 1905 году. Остались жены братьев, дети. Всех их сослали за участие в восстании на вечное поселение в Енисейскую губернию. Пятнадцать семей поселились в этом тупичке улицы на Каче. Живут, как единая семья. Мужики занимаются извозом, ремеслом, хлебопашеством. Женщины ткут ковры. И у всех одно вероисповедание — ненависть к царям и белогвардейскому правительству, свергнувшему власть Советов в Сибири!

Белые — яман, яман!..

Это хорошо, батыр Ной продырявил башку генералу Дальчевскому. Якши! Белых шакалов убивать надо!

— Мой старший сын Ахмет в партизанском отряде Копылова. Может, туда пробираться, батыр?

— Надо с Артемом посоветоваться. Не поедет со мной — один отправлюсь! Не могу я сидеть больше! Все нутро перегорело. Возмездия требует! И днем и ночью перед глазами тех повешенных вижу: две девчушки в ситцевых платишках, старухи меж ними, голый мужчина с иссеченным телом. А ветер рвет, и они бьются друг об дружку. Не ад ли то?! Народ наш под корень стреляют изверги чужеземные!..

— Шакалы, шакалы! Белый шакалы!

Под навесом рядом с шорной два раза звякнул колокольчик — кто-то подъехал к тайным воротцам со стороны Караульной горы. В плахах заплота была запрягана веревочка, протянутая под навес, про нее знали только члены подпольного комитета. Звонить надо было дважды с интервалом: первый раз — два звонка, и через минуту — еще три звонка.

Абдулла и Ной напряженно ждали, пока еще три раза не прозвенел колокольчик. Свои, значит!

— Артем приехал! — сказал Ной и не одеваясь кинулся во двор.

Абдулла вышел следом, плотно закрыв дверь. Во тьме поднавеса они увидели, как Артем помогает кому-то сойти с телеги.

— Селестина Ивановна! Живая?! Слава Христе! — узнал Ной.

— Живая, — глухо отозвалась она, и голос у нее почему-то оборвался, — только вот... Осторожней снимайте брезент...

Ной наткнулся в темноте на что-то мягкое и, ощутив брезент, откачнулся:

— Что?! Кто там?!

— Пашеньку привезли.

— О, господи!

Ночь, ночь! Беспросветная, темная ночь! А было ли солнце?

Может, не было ни солнца, ни сизого восхода утра, когда она, Селестина, маленькой девочкой поклялась отомстить за смерть матери. Может, не было часовни Прасковеюшки-великомученицы, которую, по преданию, разорвали конями кучумцы, и отец-атаман на месте ее смерти поставил часовенку с позолоченным крестом? И под этой часовенкой без креста и песнопений сегодня они зароят еще одну убиенную Прасковью с младенцем! Может, и Прасковьи-Грушеньки не было?! И Селестины тоже не было?! Что было? И как было?

Селестина шла, шла, упрямо карабкаясь на гору, и слезы застилали ее глаза.

На солнце глядеть — ослепнешь.

Но даже в малой капле росы можно увидеть солнце. И лучи его не жалят, а ласкают!

В одной душе можно увидеть все беды и горе людское. Но почему так мало отпущено счастья человеку? Что ей делать теперь, Селестине? Каким солнцем растопить ненависть, посеянную в сердце?

Артем говорит: ехать в тайгу к Кульчицкому. Там собирается партизанский отряд. Восстание!

Только восстание поможет народу сбросить ярмо ненавистной власти!

Жаль, что Артем не может поехать с Селестиной и Ноем Васильевичем! Он еще надеется на связь с Центром.

Селестина сама не раз встречалась со Станиславом Владимировичем Кульчицким в Минусинске. Интересная личность! Все он за кого-то хлопотал! Какие-то прошения крестьянам писал...

— Пойдем, Селестина Ивановна, — сказал Ной, когда последняя лопата земли была брошена на могилку Прасковьи Дмитриевны.

На горизонте зарделась алая полоска утренней зари. Артем, Абдулла, Селестина и Ной стали спускаться с Караульной горы.

ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ

I

Дорога, дорога!

Лес и небо да горы вокруг!

Они все едут, едут, едут, Селестина и Ной, а конца пути не видно.

Лохматилась осень. Гасли тусклые дни один за другим. Дули ветры, отряхивая наземь желтизну кудрявых берез и багрянец осин по логам. Над тайгою месились тучи, и частенько ночами выпадал снег — начинался октябрь.

Они часто останавливались на привалы, разжигали костер, сушились у огня и грелись, стараясь не попадаться людям на глаза.

Так они и ехали от деревни к деревне берегами Енисея — то правым, то левым, переправляясь на паромах. А осень все гуще и гуще, и холода все сильнее. Травы серебрились от инея.

У Селестины от долгой, непривычной езды в седле болели ноги — еле спешивалась. К концу второй недели добрались до Яновой. Ной решил побывать у Курбатова, понюхать воздух — как и что?..

Уже в надворье он сразу заметил большие перемены в хозяйстве Курбатова. Никто не встретил их, не распахнул ворота, не помог расседлать коней. В ограде пахло запустением. Работничьи избы не

светились, хотя Ной с Селестиной приехали потемну. Шорная мастерская Селиверста Назарыча на железном замке. Сам хозяин сошел с крыльца, поприветствовал:

— Милости просим. — А в голосе сумность. Ни улыбки, ни живинки в глазах.

— Дозвольте передохнуть, Терентий Гаврилович, — сказал Ной. — Неделю в пути. Это сродственница моя в дальнем колене... Ну, и товарищ по несчастью. Обскажу потом.

— Проходите, проходите! Не обессудьте, что так встречаем...

В передней избе, где за большим скобленным столом обедало когда-то вместе с хозяевами и работниками до двадцати душ, встретила гостей хозяйка Павлина Афанасьевна, до неузнаваемости постаревшая, да хлопотала с самоваром кормилица семьи — Федосья Наумовна.

Курбатов ни о чем не расспрашивал гостей. И о Дуне даже не вспомнил. За чаем Ной осторожно спросил:

— А где же остальные?

— Э, Ной Васильевич! Много воды утекло за минувший год! Всего и не обскажешь. Горе такое посетило нас, что не знаю, как дальше жить!

— Осиротел, наш дом, навсегда осиротел! — всхлипнула, сморкаясь в платок, Павлина Афанасьевна. — Кешенька наш, помните, которого в баню с собой носили? Помер от тифа. Сорок дней скоро, как схоронили...

— А сыновья — Павел и Александр — в Красную Армию записались добровольцами, — дополнил Терентий Гаврилович. — И Павлуша, кучер, который вас вез, тоже с ними утезенил. Вот за них-то мой дом и разорили. И дочь Глафиру опозорили...

— Как опозорили?!

— В сборне, перед всем людом пороли за братьев. Собаки лютые! Чтоб им всем на осинах передохнуть! Опозорили! Исказнили! Она теперь глаз на люди не кажет. Учительница же! Народ сгоняют в белую армию, как скот. Селиверста Назарыча с сыном под ружьем увели. Помните, шорники были? Избиения и казни по всем деревням идут. В Минусинском уезде вот-вот лопнет котел. Мужики податей не выплачивают, сплошь дезертирство! Страх и горе пеленает людей!..

— Знать, время пришло! — сказал Ной.

— Кажись, пришло, — ответил Курбатов. — Уж ежели эта власть мой дом и семью на распыл пустила, я первый все, что не успели отобрать, партизанам в тайгу отвезу! Есть еще у меня добро. Есть! Кое-что припрятано на заимке. Я за позор своей дочери... — Курбатов не договорил, поднялся из-за стола и заходил по избе размашистыми шагами. От прежней степенности его не осталось и помину. — Собаки лютые! Собаки! Издохну, но отомщу! Ох, силу бы! Оружие!..

— Будет сила, — уверил Ной. — Ярость по всем душам вскипает. Чем лютее будут править, тем скорее пожар займется. В какую сторону податься только? Мы ведь сейчас с Селестиной Ивановной оба, как зафлаженные волки, — признался он. — Скрываемся от властей. Розыски, поди-ка, теперь уж в станицу посланы.

— Трудное у вас положение, — согласился Курбатов. — Хуже некуда! Я сразу так и подумал: в бегах Ной Васильевич. Убьют его казаки за Гатчину и Смольный!..

— Кабы только это! Одна дорога осталась — в тайгу! По слухам, где-то здесь организуется партизанский отряд.

— Откуда у вас такие данные?

— Знающие люди говорили.

Курбатов прошелся вокруг стола, нацедил из самовара чашку чая, сел.

— Есть у меня на примете человек, да только прежде посоветоваться надо, — сказал он, раздумчиво помешивая чай ложечкой. — Погостите денек, отдохните. А я завтра в одно место съезжу.

— Терентий Гаврилыч, вы с Кульчицким незнакомы? — спросила Селестина. — Он тоже политкаторжанин, жил в Дубенском, часто наезжал в Минусинск, когда я там работала.

— Как же! Как же! — оживился Курбатов. — Друзья мы с молодых годов. Вместе в ссылку прибыли. Одно время разошлись как-то. Женился я, семьей обзавелся, хозяйством... Да ухнуло теперь все хозяйство! А он так бессребреником и остался: ни кола, ни двора! Может, так и надо было? Жену отхватил из богатого кержачьего дома, красавицу, рукодельницу, а ничего не взял у ее папаши в приданое. Проживем, мол, своим трудом. Он же отличный кузнец. Подковы

ковать, гвозди там — это для него плевое дело. Ну, а Клавдея его опояски ткёт на кротках. Удивительной красоты. Из гаруса. На божницу бы весить эти опояски — художество! Так и живут в Дубенском. Детей у них нету. Ну, да им и без детей не скучно. Характер у обоих веселый, открытый на чужую беду и на радости. Вот позавчера приезжал ко мне, овес для коней увез, которых мужики прячут в тайге от властей. Вы бы сразу так и сказали, что знаете его. А то ходим вокруг да около! Вам к нему надо подаваться. Повстанческий отряд он организует.

— Я же говорила, Ной Васильевич, что они друзья!

— Еще какие друзья! — подтвердил Курбатов.

Проговорили до третьих петухов.

Когда в окошке чуть стало отбеливать, Селестину разбудил зычный голос:

— Вставай, комиссар! Проспишь все царство небесное!

Поспешно одевшись, Селестина выскочила в переднюю избу.

У кипящего самовара сидели Курбатов, Ной и размашистый в плечах, заросший кудрявой светло-русой бородой, улыбающийся Кульчицкий.

— Станислав Владимирович! Когда же ты успел?!

— Ночью подъехал, — сказал, обнимая Селестину, Кульчицкий. — А я-то все ждал, ждал кого-нибудь из Красноярска! Ходят слухи про провал комитета, но точно ничего неизвестно. Ну, рассказывай!

Селестина сообщила печальные подробности гибели Машевского, Прасковьи Дмитриевны и других товарищей.

— Кто же там остался теперь?

— Артем Иванович Таволожин. Надеется восстановить связь с Центром. Анна Ивановна Рогова, Яснов, Абдулла Сафуддинович, есть еще люди!.. А мы вот с Ноем Васильевичем к тебе... Примешь?

— Есть хоть у вас какие-нибудь документы? Хорунжему тяжело будет!

— Про хорунжего забудем, Станислав Владимирович! Таволожин обеспечил нас документами. А Ной Васильевич теперь рабочий депо — Иван Васильев.

— Грузи, Терентий, еще телегу овса. Думаешь, я задарма к тебе приехал? Видишь, в нашем полку прибыло! — весело сказал

Кульчицкий. — Мужики не выдадут, а с казаками так и так столкнуться придется. Будет у нас теперь свой комиссар!

— Новостей никаких нет? — спросил Терентий Гаврилович. — После твоего выступления на сходке начальство должно бы припожаловать.

— Пока никто глаз не кажет. Тишина и сонность до одури. Перед бурей тишина. Уездное начальство все еще думает, как в бараний рог согнуть и без того согнутого мужика. Пусть думают!

Нагрузили телегу овса и проводили Кульчицкого.

II

В село Дубенское приехали среди ночи. Погода выдалась сухая, с морозцем. Отыскали избу Кульчицкого на краю села, как обсказывал. Постучались в окно не спешиваясь. Баба выглянула: кто такие?

— Позови самого, Клавдея Егоровна!

— Самого-то нет. С вечера уехал в тайгу на пасеку. Верст семь так. Он говорил про вас. Беда-то у нас какая случилась! Ой, ой! Со дня на день ждем карательный отряд. Оденусь-ка я да поведу вас на пасеку. Станислав Владимирович на рассвете собирался поехать по деревням: в Черемушки, Восточное — по всей волости, предупредить мужиков, чтоб в случае чего на помощь пришли...

До пасечной заимки добирались часа три — темень, глухомань.

Ной с Селестиной спешились возле омшаника. Кругом стояли порожние улья один на другом. Коновязь. Чернели по взгорью сосны. Плеснуло светом из распахнутой двери избы.

— Кто там?

— Это мы, Станя. Свои. Гостей привела. Встречайте! — откликнулась Клавдия Егоровна.

— Ну, товарищи, — воскликнул Кульчицкий, обнимая Ноя и Селестину. — Вы успели как раз на «горячее». Каша у нас тут заварилась! Теперь расхлебать бы только!

Кульчицкий представил односельчан: бывших фронтовиков унтер-офицеров Василия Ощепкова, Алексея Пескуненкова, а трое других — крестьяне из деревни Черемушки.

— Это, товарищи, тот самый Иван Васильевич Васильев, про которого я вам рассказывал. И Селестина Ивановна Грива, мой старший

друг, фронтовичка и красный комиссар.

События в Дубенском начались просто...

На сельском сходе крестьяне вынесли резолюцию: никому из мужиков в белую армию не идти, налоги за три минувших года не платить — у самих портки на теле не держатся, и главное — восстановить Совет в Дубенском, а так и по всей волости.

На другой день после сходки из волостного села Тигрица прибыл акцизный начальник с участковым милиционером, двумя казаками Каратузской станицы и управляющим волости богачом Дрюмовым.

Созвали народ, чтобы повязать зачинщиков прошлой сходки. Послушали мужики сладкие речи волостного управляющего, акцизного начальника, и когда те потребовали арестовать заводилу беспорядков, бывшего политкаторжанина Станислава Владимировича Кульчицкого, а заодно с ним бывших фронтовиков, унтер-офицеров — Василия Ощепкова и Алексея Пескуненкова, сходка единым духом рявкнула: «Не будет того! Как бы мы вас всех тут не заарестовали! От резолюции не откажемся, и никто из мужиков в белую армию не пойдет!»

Милиционер с казаками выхватили оружие. Мужики повязали их, намяли бока, отобрали револьверы и шашки. С того и пошло. Избитые и обезоруженные служивые с управляющим волости и акцизным начальником поспешили в Минусинск с неслыханной вестью: бунт в Дубенском!

III

Было воскресенье...

Усердно пели колокола, псаломщик Феодор старался: наказал звонарю Даниле, чтоб всю свою сноровку вложил в воскресный благовест. На то была причина: минуло три дня напряженного ожидания после печального события, когда сельчане изрядно поколотили волостное начальство с милиционерами и двумя казаками.

Почему не едут власти? Что бы сие значило?

Псаломщик Феодор рассудил так: власть, она тоже не дура! Понятие имеет: народ забижать нельзя — бунт произойти может. А к чему власти бунт? Ни к чему. Должно, акцизного заарестовали за

превышение власти, и милиционеру досталось с казаками: не лезьте на рожон! Ну, а коль все сошло, слава Христе, то надо и грехи замолить сельчанам: ишь, как ревели на сходках! — «Возвертайте Советы!», «Не признаем белую власть из буржуев и серых кратов!», а что обозначают «серые краты» — сами того не ведают. Грехи, грехи!..

А посему: лупи, Данила, в колокола! Лупи на всю силушку, чтоб все явились в церковь, раскаянные и смиренные, яко овцы господни.

— Бом! Бом! Бом!

А слышалось:

— Зовем! Зовем! Зовем!

Народ со всего села — стар и млад, женщины и мужики густо повалили в церковь. Разве кто из власти посмеет плетей всыпать в воскресенье? Да и грешки мучили. Ишь, как базлали на двух сходках! Ой, худо, худо! В белую армию не идти, податей не платить, живность не сдавать, начальству шейной мази подкидывать, милицию и казаков разоруживать. Ой, е-ей! Ладно ли? Послушать надо батюшку Григория, сытенького, щекастенького, кругленького, румяного, в меру плешивого, не в меру скупого; у батюшки Григория — садик с десятинку, яблоки выращивает, малинку, смородинку, в городе приторговывает, статейки умильные пописывает в «Свободную Сибирь», книжки сочиняет, завсегда потрафит власти, и к тому сельчан призывает. Еще при царе батюшка сподобился — орденочек получил, хотя и не «Анну» на шею, но и не железку же! Умнющий батюшка, слова не скажешь. А как поет-то! Заслушаешься. «Вот так, значит, потому, значит, смиренье, значит, господу богу угодно, и допрежь того — власти, значит». Ну и про святых угодников, а так и земных, про все обскажет с толком и понятием.

Слышали: батюшка очень уж гневался на сельчан за сходку. Как бы анафему не пропел бунтовщикам! Ой, беда, беда! Грехи, грехи!..

Василий Ощепков, выбранный на последней сходке председателем сельской управы, тоже шел в церковь с женою и двумя сынами. Слыл за безбожника после фронта, а вот проняло же! Принарядился — не в шинели, а в новом пиджаке, картуз к тому же не военный, сапоги начищены, Георгия несет на груди, и баба его в новой сарпинковой юбке и черном платке, в ботинках, у входа в церковь осенила себя крестом, и парнишки перекрестились. Сам-то только картуз снял.

А вот и Алексей Пескуненков с бабою и старухою. Ишь ты! Вот уж он-то громче всех орал: «Не с белыми жить, а с Советами; не за белых воевать, за Советы!» Ужо батюшка Григорий наставит на путь истинный буйную головушку.

Ох, грехи, грехи!

Кульчицкого не видели. Ну да он — окончательный безбожник! Как кузнец — всех мер, ничего не скажешь, а вот линию гнет — упаси бог. Истый каторжник. Еще при царе водворили в Дубенское на вечное поселение после каторги, тут и прикипел. В жены взял Клавдию Теплому, да не повенчался в церкви: не из православных, мол, католик. Ну, а Клавдия прошла в церковь. Все видели. Пуцай помолится за себя и за своего безбожника.

Заполнили церковь под завязку, как мешок с пшеницей. В притворе, на крыльце — всюду набилось народишку. Давно столько не собиралось. Началась заутреня.

IV

Было раннее сизое утро с легким морозцем, солнышко всплыло над Дубенским; воробышки радостно чирикали, будто довольные тишиной и смирением дубенцев, избы и крестовые дома румянились на солнышке. Благодать, благодать господня!..

И вдруг в тихую благодать господнюю, как пуля в порожнюю бочку, — цокот копыт, цокот копыт!..

Ка-аза-аки!

— Гляньте, казаки скачут! Казаки! — ахнули сельчане на крыльце, не вместившиеся в храм божий.

Казаки в шинелях, картузах, при шашках и карабинах моментом окружили церковь.

Фыркают кони, тускло отливают чернью стволы карабинов, сияют на солнце эфесы шашек.

Пароконный рессорный ходок, а в коробке — двое господ тесно друг к дружке.

Кто бы это?!

— Есаул Потылицын!.. Кааратель!..

— Сам Зефилов! — узнал один из мужиков.

Какой Зефилов! Эге! Начальник уездной милиции!

Вон и подхорунжий Коростылев командует отборными казаками. Сколь прикопытило?! Милиционеры в седлах с прапорщиком Савельевым. Ого!.. Беда!..

Народишко жаманул в храм божий — пищали, да лезли, давя друг друга, чтоб не быть схваченными на крыльце.

Рессорный ходок остановился у церковной ограды.

Начальство припожаловало!

Есаул Потылицын при шашке, револьвере, по серой бекеше — ремни крест-накрест, прыгнул с ходка. За ним сошел Зефиров, подозвав к себе начальников милицейских участков Мамонтова и Коркина. Все двинулись к воротам, важные, сосредоточенные.

Десять конных милиционеров и сорок казаков — силушка.

Ого-го-го!

Есаул Потылицын распорядился: трем казакам и пятерым милиционерам остаться возле церкви, чтоб ни одна посконная душа никуда не улизнула, а всем остальным — охватить улицы и переулки, вытаскивать из домов, подполий, со всех нор дремучее дубенское отродье и гнать плетями сюда, на площадь. Да побыстрее!

По личному распоряжению управляющего уездом, эсера Тарелкина, а он в свою очередь получил телеграфное распоряжение от управляющего губернией Троицкого, «двадцать пять злостных элементов Дубенского, двадцать пять таких же элементов деревни Черемушки, сорок элементов села Субботина Каптыревской волости, соответственно выпоров как подстрекателей к бунту, препроводить в тюрьму», что и следовало исполнить сперва в Дубенском, а затем в Черемушке и Субботине. Казачий отряд подхорунжего Коростылева подобран лоб ко лбу; уездные милиционеры тоже маху не дадут — вдох и выдох у каждого медвежий — сила! Ну, а сила — солому ломит.

Солнышко припекало...

Зефирову и Потылицыну жарковато в бекешах, в тень спрятались, поджидая начала экзекуции. Казаки и милиционеры гнали мужиков и баб из деревни — не все же были на заутрене. Некоторых мужиков вытаскивали даже из подполий, погребов, стаюшек и, влупив им горяченьких, погнали: «Бегом, бегом! Мы вам покажем, как горланить на сходках!»

Зефиров отослал милиционеров, чтоб притащили на площадь к церкви стол со стульями и лавки для порки — из любых домов, без

рассуждений.

— Да веревки не забудьте!

Бабы испуганно охали, глаза на начальство, мужики повздыхивали, и каждый старался нырнуть за чью-нибудь спину — уж больно страшно стоять пред грозными очами начальников!

Стол поставили на теневой стороне у церкви, тут же пять лавок — сготовились...

Из церкви никто не выходил — ни поп Григорий, ни прихожане.

— Они что, задумали отсиживаться там до нового светопреставления? — спросил есаул Потылицын, косясь на Коростылева. — Пошли кого-нибудь! Пусть крикнет: если через полчаса не выпростаются из церкви, то будем выпускать по одному, и каждый получит пятьдесят плетей, как за сопротивление существующей народной власти!

Туманно, но верно: как можно сметь свое суждение иметь при «существующей народной власти»? Ай-я-яй! Никак нельзя.

Подействовало...

Упаренные от спертого воздуха в церкви, прихожане выходили на воздух...

У воротцев стояли казаки с Коростылевым и местным жителем, по прозвищу Самошка-плут, который должен был опознавать людей, внесенных в список. Ощепков? В сторону! Пескуненков? В сторону!

Одного за другим, одного за другим — паленым запахло.

А вот и учительница, Евгения Петровна, этакая миленькая, румяная, разнаряженная, в ажурной белой шали, в городчанской жакетке, а с нею жених, тоже учитель, из Тигрицка. Учителя пропустили, а Евгению Петровну — в сторону, вот сюда, до кучи.

Молодой учитель возмутился:

— Да вы что, господа? Она же учительница! Разве это возможно?

— А это што за фигура? — спросил Коростылев у Самошки-плута.

Тот, долго не думая, бухнул:

— А хто? Большевик, ясный день. Слышал вот: ночью какие-то темные люди приехали верхами к избе Кульчицкого. На двух конях, говорили. Из тех, однако.

— Я учитель из Тигрицка, — учитель назвал себя.

— Ну уж, извини-подвинься! Давай-ка поближе к учительнице!

— Кульчицкая! — шепнул Коростылеву Самошка-плут.

— Ага! — Коростылев схватил Клавдию Егоровну за рукав жакетки, швырнул в кучу арестованных смутьянов.

Псаломщик Феодор шел с батюшкой Григорием. И псаломщика поволокли в кучу. Тот взревел:

— Батюшка Григорий! Я же при сане! Ко власти лоялен, и вам то известно, батюшка.

Мордастенский батюшка умиленно ответил:

— Не суетись, Феодор, как значит, не при сане, а псаломщик. И не лоялен, значит, паки того, злоязычен. И кроме того, значит, не потребно вел себя на сходках. Так, значит, претерпеть надо, брат. Не обо всем, значит, информировал меня, как обязывался.

Речь батюшки Григория весьма понравилась Потылицыну и Зефирову. Батюшку пригласили к столу и на стульчик усадили. Он сытыми глазками поглядывал на прихожан: славно, славно! Давно пора, значит, беса изгнать из смутьянов!..

Но где же Кульчицкий?

— А ну, погляди! — подтолкнул Самошку-плута Коростылев.

Самошка взобрался на стул, глядел туда, сюда — не видно.

Коростылев повернулся к жене Кульчицкого.

— Где твой бандюга-каторжник?

— Да разве он бандюга? Хоть у кого спросите. Што же это...

— Молчать! Где он, бандит?!

— Уехал.

— Куда уехал?

— На охоту, в тайгу. Еще вечер уехал.

Самошка-плут не дал соврать:

— Видел я иво, когда пастух коров собирал, сам он корову гнал в стадо. Дома гад спрятался.

Коростылев откомандировал Самошку-плута с двумя конными казаками, чтоб отыскали Кульчицкого:

— Хоть из-под земли вытащите и гоните в три шеи сюда!

Селестина и Ной завтракали, когда к крыльцу пасеки кто-то подъехал на коне.

Ной быстро вскочил из-за стола, взглянул на стену.

На сохатиных рогах висели одежда и оружие...

Вошел Кульчицкий, встревоженный, сверкнул серыми глазами и вместо «здравствуйте» преподнес:

— Каратели в Дубенском! Казачий эскадрон подхорунжего Коростылева с милиционерами. Народ захватили в церкви, а кто был дома — плетями гонят на площадь. Мне удалось выскочить через огород, конь у меня недалеко был спутан. Никиту Зотова, пастуха, погнал в Черемушку людей поднимать. А сам на заимку Василия Ощепкова помчусь. Надо успеть! Там у нас скрываются надежные ребята из Белой Елани: Мамонт Головня и Аркадий Зырян.

— Может, и мне ехать с вами? — спросил Ной.

Кульчицкий подумал:

— Верное дело. Народ поднимать надо!

— Оружие у вас где? — поинтересовалась Селестина.

— Все наше оружие, какое успели собрать, здесь спрятано, в омшанике. Пятнадцать винтовок и двадцать берданок, два улья с патронами. Все это надо быстро погрузить на телегу и подтянуть к деревне, к сосновой опушке. Туда я людей пошлю. Управишься, Селестина Ивановна?

— Будто ты меня не знаешь, Станислав Владимирович?! Только бы дорогой кого не встретить!

Запрягли лошадь, перетаскали все из омшаника на телегу, поставили улья, прикрыли соломенными матами.

— С богом! — сказал Ной.

— Ты, слышь, Селестина Ивановна, седло прихвати. Как доберешься до сосняка, спрячь телегу, а сама в сторону. Мало ли чего может случиться. Это ежели тебя никто там не встретит. Да и встретит, все равно седло сгодится. Сумеешь оседлать-то?

— Научилась за дорогу.

Ной снял с оленьих рогов шабур, быстро надел его, подпоясался ямщицким кушаком, войлочный котелок на голову, за кушак фронтальной кольт.

Тронулись.

V

Сперва выступал есаул Потылицын. Немилостивым взглядом обозревая толпу с высоты стола, как бы стараясь постичь ее истинный

смысл и вес, спрашивал: чем думали, дубенцы, когда орали на сходке за Советы? По большевикам стосковались? А кто такие большевики — известно вам или нет? Каторжане и ссыльные конокрады, фальшивомонетчики, подделыватели паспортов и векселей! И разве они, белые, свергнувшие большевиков, не установили в Сибири самую справедливую народную демократию, чтоб весь народ вздохнул на полную грудь! Где ваши солдаты? Где ваша помощь? Дубы! Нету вашей помощи! Недоимки не выплачены, самогонку смолите и в пьяном виде орете за свергнутые Советы, от которых у вас на шеях не сошли мозоли. Мало вас потрошили при Советах. На чью мельницу воду льете, спрашиваю?!

И пошел, пошел, пошел! Так-то пробирал дубенцев, аж у батюшки Григория в ноздрях завертело.

Добрался до Кульчицкого:

— Где он, Кульчицкий? — топал по столу Потылицын. — Известно вам или нет? Смылся? А вы думали: с вами будет ответ держать? Ждите, дубье! Конокрад и фальшивомонетчик, которого даже большевики не приняли в свою партию, — нещадно врал есаул, дабы смешать с грязью подстрекателя к бунту. — И вы, дубовые головы, попались к нему на удочку. Даже псаломщик на побегушках был у Кульчицкого. Позор такому псаломщику! Я уже не говорю про Василия Ощепкова, Алексея Пескуненкова и других; они свое получают полною мерой, но псаломщик и учительница возмутительные горлодеры! Эти горлодеры, — Потылицын показал на отобранных для предстоящей экзекуции, — затащили бы вас в такую заваруху, из которой бы вы в жизни не вылезли! Мы боремся за свободу, а вы, дубье, подставляете нам ноги в этот исторический момент! Остолопы! Смерды посконные! Поселенцы безмозглые! Мне стыдно видеть ваши дубовые головы, как мужские, так и бабьи. Нет у вас мозгов!

— Не мыслящие! — поддакнул батюшка Григорий. — Паки того, сыроеды сермяжные.

— Именно! Сыроеды сермяжные! — подхватил Потылицын, притоптывая каблуками по крашеной столешне. — Если сегодня к вечеру не явятся в сбррню мобилизуемые в армию, согласно списку, против которого вы драли свои медные глотки, то уж не пеняйте на меня! Я прикажу выпороть поголовно всех! Ибо ваше сопротивление

не что иное, как бунт против народной власти и завоеванной свободы. Ясно вам или нет?

Толпа газеет и молчит, бабы крестятся, будто на столе перед ними в серой бекеше некий новоявленный святой, не молиться на которого нельзя: драть будет.

— Молчите?! Языки проглотили? Дошло до вас или нет, что всякое неповиновение законам и начальникам правительства будет достойно вознаграждено! Сейчас вы в этом убедитесь! Но помните! Демократическое правительство потому и называется демократическим, что именно оно, правительство, денно и нощно печется о своем народе! И если кто пикнет против народной власти, у правительства хватит силы заткнуть крикуну горло! Анархия — не пройдет! Прежде всего — порядок, повиновение, и чтоб вы восторженно говорили о своем правительстве, и тогда вы можете жить спокойно. За вас думают вожди правительства! Вот хотя бы ваш священник — достойнейший человек, писатель. Ему стыдно, что вы все оказались сыроедами сермяжными!

Решив, что пронял в достаточной мере мужиков, есаул Потылицын спрыгнул со стола и приказал приступить к экзекуции.

В первой пятерке вывели к лавкам Василия Ощепкова, псаломщика Феодора, учительницу Евгению Петровну, Егора Теплова и его дочь, Клавдию Егоровну,

Потылицын сорвал Георгия с пиджака Василия Ощепкова.

— Не с твоей харей носить боевой орден! Я с тобой еще паговорю в уезде! Ты мне, голубчик, распишешь всю свою родословную от всемирного потопа до загробного мира! Председатель сельской управы! Кто тебя выбирал, спрашиваю?! Народ?! Этот?! — махнул рукой на толпу Потылицын. — Что же он не заступает за тебя? Какой же ты председатель? Самоед ты и больше ничего. Вяжите ему руки и на лавку.

Меж тем псаломщик Феодор еще раз обратился за воссочувствием к батюшке Григорию: требы, мол, сполняю с вами, во хоре пою дискантом, как же можно, чтоб тело мое в голом виде предстало перед прихожанами?

Батюшка Григорий урезонил:

— Так, Феодор, бес тебя попутал, значит. Так, значит, изогнать надо беса. Не ты ли, значит, протокол писал на вопиющей сходке?

Потребно ли то господу богу, значит, и народной власти, паки того, значит, демократической?

— Грех на тебе будет, отец Григорий.

— Не суесловь, Феодор, смири гордыню, значит, как от диавола то, значит, а не от правительства, народной, значит, демократии. Ложись на лавку. Тебе же легче будет: бесов изгонят, и ты, даст бог, значит, прозреешь: куда занесли тебя, значит, ноги при отсутствии мыслящей головы.

Выслушав отповедь отца Григория псаломщику Феодору, усмехаясь, малость смягчившись, Потылицын подошел к учительнице:

— Ну-с, Евгения Петровна, настал час ответить за вашу столь неразумную голову вашему столь почтенному... — и хлопнул рукою в перчатке по заду учительницу.

Та вспыхнула:

— Как вы смеете!

— О! Мы с гонором? — Потылицын ехидно усмехнулся. — А ведь мордашка у вас — почтенная, смазливая, в меру курносая, в меру румяная, и, бог мой, что будет с вашей мордашкой после допросов в нашей контрразведке? Ну-с, снимите жакетку, а все остальное стащут казаки перед тем, как уложить на лавочку.

Учитель из Тигрицка крикнул:

— Это издевательство, господин есаул! Какая власть позволила вам подобное издевательство над учительницей?

Потылицын оглянулся:

— А! Это вы, голубчик! Прапорщик, прикажите тащить его сюда. Ему не терпится — удовлетворите просьбу: пятьдесят плетей ему и ей.

Еще раздался голос из толпы:

— Живодеры окаянные! Штоб учительницу...

— Кто орет?! Хорунжий!

Подхорунжий Коростылев к Самошке-плуту: узнает ли голос?

— Матвей Скрипкин, кажись. Ты, дядя Матвей?

— Ах ты, паскуда! — басил мужик, выталкиваясь из толпы. Здоровенный, простоголовый, гонщик смолы и дегтя. — Ну, чаво ты выслуживаешься, Самошка? С кем опосля жить будешь?

— Сюда его! — приказал Потылицын. — Если окажет сопротивление, пристрелить!

— Вяжите, вяжите! — бурчал Матвей Скрипкин. — Как бы вас опосля не повязали.

— Угроза? Шомполами пороть! Пятьдесят! Ну-с, кто еще выступит с защитой?

Никто не выступил — притихли.

Псаломщика Феодора и Егора Теплова оставили покуда, прикрутили к лавкам Василия Ощепкова, учителя из Тигрицка, Матвея Скрипкина, Клавдию Егоровну и Евгению Петровну.

Бабы, выдвинутые мужиками на передний план, глазели на обнаженные тела со страхом и недоумением: как можно так? Стыдобушка-то!

Когда привязали пятерых, Потылицын, поигрывая плетью, взятой им у казака, прошелся у лавок, остановился возле учительницы:

— Ну-с, может, скажете, у кого получали воззвания подпольного комитета большевиков? — И как бы играючи, легко стегнул учительницу плетью, предупредив: — Сие не в счет, сударыня. Просто из любезности. Молчите? Ну, брат, начинай, — сказал казаку. — Кстати, это тебя разоружили?

— Меня, — ответил казак.

— Фамилия?

— Глотов.

— Когда тебя обезоруживали — учительницу видел?

— А как же! Она, гадина, в стороне отиралась.

Потылицын махнул рукой прапорщику Савельеву:

— Начинайте!

После первой же плети кровь брызнула, учительница дернулась на лавке, но удержали конопляные веревки, закричала диким голосом.

— Базлаешь, гадина? Базлай, базлай! Кабы не интеллипутия проклятушая, царь батюшка до сей поры сидел бы на престоле!..

Клавдия Егоровна тоже кричала страшно и пронзительно...

Вопль, вопль на всю деревню и дальше.

...Знали цари матушки России, от жесточайшего тирана Ивана Грозного с его всеистребительной опричниной до царя Николая Второго, кого воспитывали своими милостями и привилегиями. Потому-то и служили казаки верою и правдою тиранам, не ведая ни жалости, ни милосердия к ближнему, тем паче к лазутчикам городов, к мужикам и всяким иногородним. Псами лютыми показали себя на подавлении народных восстаний, обагрив шашки безвинной кровушкой, не сожалея о том и не раскаиваясь ни перед богом, ни перед людьми. «Так должно!» И не потому ли Татьяна Семеновна, бабушка Ноя, изрубив Яремеевой шашкой двоюродную сестру Селестину Григорьевну, спокойно спала до того дня, покуда не узнала от внука, чью кровушку выцедила из тела в деревушке Ошаровой на Енисее в рождество 1907 года!..

После ночного разговора с Ноюшкой, побывав в Минусинске, навестив доктора Гриву и выпросив у него, правда ли, что жена его убита в Ошаровой в то рождество, Татьяна Семеновна кинулась в собор к самому протоиерею Константину Минусинскому, чтоб покаяться в пролитии родной кровушки.

Протоиерей Константин, выслушав, в каком грехе кается старуха, утешил ее: то был не грех, дескать, коль убиенная была бунтовщицей, да еще политической ссыльной, принимавшей участие в восстании красноярских лазутчиков, не было бога в душе безбожницы-подпольщицы, и потому не грех убить волчицу, отринувшую бога и сословье свое, казачье, из коего происходила убиенная.

'«Не грех, не грех: благодать тебе, раба божья Татьяна!»

Управляющий уездом Тарелкин вызвал к себе начальника Минусинского гарнизона есаула Потылицына, категорически потребовал от него сыскать хорунжего Лебеда хоть в подземном царствии!

Есаул Потылицын трижды посылал гонцов в Белую Елань и во все казачьи станицы, особенно в Таштып, на розыски Ноя Лебеда, но все тщетно: будто в воду канул хорунжий — нигде о нем не слыхивали и в глаза его не видывали.

Поиски Ноя в самом Таштыпе вызвали переполох. Дело в том, что Татьяна Семеновна, после исповеди у протоиерея Константина Минусинского, навестила батюшку атамана Лебеда, заявила, что Ноюшка подпольщик-большевик. Он стращал ее будто перед отъездом из станицы и проклинал казачество. Батюшка Лебедь сначала вспылал гневом: грозился прикончить паскудного сына, отступника от славного рода Алениных-Лебедей, но потом вдруг, напившись, высрамил Татьяну Семеновну за злостный навет и обозвал ведьмой, убийцею сестры. Грехи навалились на старуху до того тяжкие, что она на третий день после похорон чахоточного мужа, оставшись в большом крестовом доме одна-одине-шенька, не выдержав угрызений совести, повесилась в сенях. Спустя сутки кто-то из соседей встревожился — у старухи в ограде мычала недоенная и некормленная корова, визжали свиньи, кудахтали куры. Заглянули в дом: висит Татьяна Семеновна, вывалив лиловый язык изо рта...

Ной ничего не знал: ни о розысках его по всему уезду, ни того, что произошло в родной станице; только матушку и сестер вспоминал, а батюшку — из души и сердца вон!

VII

Драли. Отменно драли.

Бабы в толпе всхлипывали и молились, мужики угрюмо и тяжело молчали. И только сытенький батюшка Григорий, оберегая малюхонькие глазки от солнца, покойно придремывал на стуле.

Пятерку за пятеркой...

А солнышко припекало...

Потылицын с Коростылевым и прапорщиком Савельевым разделись, сложив бекешу на стол; фыркали кони на привязи возле ограды.

Настал черед драть псаломщика Феодора с Алексеем Пескуненковым.

Феодор подошел к лавке, снял черное одеяние, перекрестился на восток.

Батюшка Григорий не преминул заметить:

— Славно то, Феодор, значит! Славно! Ай, как славно. Так, значит, смиренье снизошло на тебя, яко...

Федор неожиданно гавкнул на батюшку:

— Чтоб тебе язык проглотить, паскуда! Косноязык ты, Григорий, «значит», как и твои сочинения дуболомные, пригодные, «значит», только для употребления в нужниках. Сытый ты боров, а не священник, «значит», — передразнивал батюшку Григория Феодор. — Презираю тебя, скаредное и пакостное творение господа бога. Тьфу тебе на твою жирную харю! Ты есть скверна и смрад отхожего места, а не поп. Тьфу!

От подобной отповеди у батюшки Григория румяные шаньги щек побурели от гнева, курносый нос сморщился, и батюшка, осенив себя крестом, обратился к есаулу Потылицыну:

— Возопил раб сатанинский! Глубь нутра его, значит, преисполнена скверны, значит, не смирения; вопиет, значит, вопиет о достойном наказании! Ибо сей сыроед сермяжный, значит, ездил по деревням от бунтовщика Кульчицкого, яко змий трехглавый. Подбивал посконников к восстанию!

Перепалка псаломщика с попом развеселила Потылицына с Коростылевым.

— Как ты смеешь, смерд, позорить батюшку! — подзудил псаломщика есаул Потылицын.

— Не зрю батюшки! — отпарировал Феодор. — Или вы сами не видите, что сие не человеце, а свиное сало с протухшими яйцами от дня воскресения Христова, упакованное в сей мешок из кожи Валаамовой ослицы. Ведомо ли вам, господа начальники, что при Советах сей мешок из кожи Валаамовой ослицы статейку тиснул во славу Советов и осанну пел во храме господнем! Да если бы Советы удержались до сей поры, сей поп сочинил бы еще одну отхожеподобную книжку во славу великомучеников Акатуя, а так и Нерчинска!

— О смерд! Смерд! — возопил батюшка Григорий. — Не верьте сему смерду, значит, ибо уста его, значит...

— То и значит, что кобыла скачет, а ты за хвост держишься.

Потылицын с Зефировым ржали, да и казаки покатывались. Кто-то из толпы дубенцев подкинул:

— Наш батюшка по тяжелому сходит и оглянется: нельзя ли матушку покормить!

— Скупердяй!

— За Керенского молебствие служил!

— Он и черту служить будет!

Потылицын почувствовал, что дубенцы поперли не в ту сторону.

— Мо-олча-ать! Сыроеды! Посконники! Дуболомы! А ты, псаломщик, ложись! За поношение священника влупить ему тридцать шомполов. Не плетей — шомполов. — И к толпе: — Есть заступники за псаломщика? Выходи! Три лавки свободных! Ну?!

Не вышли...

— Не быть тебе, значит, во храме божьем, значит, сыроед паскудный! Смерд ты смердящий! — все еще трясся от негодования батюшка Григорий. — Вяжите смерда!

Повалили на лавку, спустили штаны, повязали «смерда» Феодора рядом с Алексеем Пескуненковым, который давно лежал привязанным к лавке.

Шомполом по заду «смерда» и плетью по мужичьей спине. Ах! Ах!

Казачина Глотов отсчитывал шомпола псаломщику:

— Одиннадцать! Две-енадцать! Три-инадцать!..

На счете «одиннадцать» послышались винтовочные выстрелы: Потылицын с Зефириным переглянулись в недоумении.

Выстрелы в улице.

— Бах! Бах! Бах!

Потылицын моментом прыгнул на стол: увидел скачущего казака, стреляющего в воздух.

— Ба-а-анда-а-а! — орал во все горло казак, подскакав к толпе. — Село окружают! Никитин убит!

Потылицын крикнул в толпу:

— Раааасхоодись! Бегоооом! Казаки! Милиционеры! Приготовиться к бою!

Сшибая друг друга с ног, дубенцы кинулись врассыпную по улице, переулку и по оградкам — мигом опустела площадь. Есаул Потылицын с Коростылевым успели сесть на коней, оставив свои бекешки на столе, а за ними — прапорщик Савельев, Зефиринов... Казаки грудились невдалеке от церковной ограды, как вдруг раздались выстрелы с тыла: прапорщик Савельев повалился с коня.

— С колокольни стреляют! — кто-то крикнул из казаков.

Батюшка Григорий бежал переулком что есть мочи — на коне не догонишь. Откуда только взялась прыть у степенного отца Григория!..

По дороге из Дубенского казаки напоролись на засаду — трех чубатых как не бывало. Из ружей, винтовок стреляют, стреляют!.. Отряд помчался обратно мимо церкви, и тут со всех сторон стрельба.

Пораненные кони ржут, носятся без всадников, со всех сторон крик, и никто из отряда не слушается команды есаула Потылицына и подхорунжего Коростылева; казаки угодили в окружение.

Спешиваясь, бросая коней, они разбегались по огородам, а там через огороды — за село, во все стороны.

Потылицын с Коростылевым, стреляя в белый свет, как в копеечку, летели во весь опор за казаками, вырвавшись из Дубенского. За ними неслись конные повстанцы с Кульчицким и Ноем. От метких выстрелов Ноя то один, то другой слетал с седла. Казаки кинулись врассыпную — кто куда!

Лесом, лесом, без дороги!..

Селестина, раздав все оружие и оседлав коня, присоединилась к трем всадникам, преследующим группу казаков за поскотиной.

Двое, оторвавшись от группы, стали углубляться в лес.

Селестина прицелилась из револьвера и ловко сняла одного. Другой скрылся за кустами.

— Хорошо стреляешь, комиссар! — услышала она позади себя голос. — Будем знакомы — Мамонт Головня! Мне про тебя Кульчицкий сказал. Давай обратно. Того уж не догонишь!

Потылицын с Коростылевым опомнились только в Знаменке, и не задерживаясь, сменив коней, поспешили в Минусинск к управляющему Тарелкину. Так и так — восстание в Дубенском! Отряд уничтожен. Откуда налетела банда — неизвестно. Не менее семисот всадников!

А на самом деле в Дубенском было убито три милиционера, прапорщик Савельев, одиннадцать казаков, да раненых вернулось семнадцать человек.

Потерь со стороны черемушкинцев (это они подоспели на выручку дубенцев) не было.

Звонарь Данила ударил в набат, созывая люд на митинг.

— Бом! Бом! Бом!

— Ти-ли, ти-ли, бом! Бом! Зовем! Зовем!

Мужики свели в церковную ограду двадцать семь казачьих и милицейских коней и рессорный экипаж с пароконной упряжкой. На многих оседланных конях были вьюки с теплой одеждой, провизией и боевыми припасами в сумках.

Тела убитых казаков и милиционеров освободили от одежды и сапог — добро сгодится.

Собрали карабины, шашки, винтовки, ремни с патронными подсумками.

Начался стихийный митинг.

На паперть поднялся длинноногий Кульчицкий:

— Товарищи! Даешь восстание! Другого выхода нет. Ни часу промедления на сборы, иначе уездное правительство успеет стянуть в Минусинск всех казаков округа, и тогда будет поздно!..

— Восстание! Восстание! Все пойдем на восстание! — галдели мужики и бабы. — Возьмем вилы, топоры, кому не хватит оружия! Довольно терпеть живодеров!

— Надо выбрать главнокомандующего! — крикнул мужик в шабуре, пробираясь на паперть.

— Есть у нас главнокомандующий! — сказал Василий Ощепков. — Станислав Владимирович Кульчицкий!

— Кульчицкий! Кульчицкий!

— Все пойдем за главнокомандующим!

— Убивать злодеев! Мстить за пролитую кровь!

— Тише, товарищи! — попросил Кульчицкий. — Будем действовать обдуманно. Надо призвать к восстанию минусинскую дружину — не все там стоят за правительство карателей. Немедленно откомандируем туда гонцов. Казаков из станиц не выпускать! Разоружать их по мере возможности! Вооружайтесь и будем действовать. Разобьемся на три отряда. Командирами предлагаю Алексея Пескуненкова, Василия Ощепкова и Ивана Васильева. Он сегодня отлично командовал боем. Я его знаю, товарищи. Это наш человек!

Псаломщика Феодора, теперь уже просто Федора Додыченко, единогласно избрали писарем в штаб: пишет разборчиво и красиво.

Разослали нарочных по всем деревням и селам уезда во все концы!

Кульчицкий с Ноем, прямо с площади, помчались в волостное село Сагайское, в семи верстах от станицы Каратуз, чтоб спешно поднять там повстанцев и не дать вооруженным казакам проскочить в Минусинск.

Во втором часу дня раздался набат в Сагайском. Петр Ищенко, командир Сагайского отряда, забравшись на колокольню, ударил в колокола.

Набат этот слышен был и в Каратузе. Станичному атаману Шошину сообщили, что в Сагайске, кажись, пожар.

— Пуцай горят все к едрене матери! — отозвался Платон Шошин.

А в Сагайске в это время уже организовался отряд повстанцев из семисот человек. Из них — двести женщин. Народ вооружен был кто чем: дробовиками, винтовками, берданками, вилами, топорами. Ни один беляк не был пропущен через восставшее село Сагайское в Каратуз.

Из Сагайска откомандировались конные гонцы во все села и деревушки волости. Кульчицкий с Ноем, не задерживаясь, поехали в Большую и Малую Иню. Потом в Тесинскую волость.

Вскоре число повстанцев превысило десять тысяч человек и охватило 20 волостей.

Казаки Каратуза оказались в мышеловке...

Разноликая, плохо одетая, вооруженная чем попало — от револьверов всех систем до стариннейших пицалей, толпа крестьян двинулась на Минусинск...

Восстание!..

VIII

Белая Елань тоже вздыбилась: из Сагайска прискакали вооруженные мужики, возвестив о повсеместном восстании.

Старосту, Михаилу Елизаровича Юскова, поймали у поскотины: бежал на лошади в Каратуз.

— А ну, спешивайся, да пойдем в сборню!

Из Дубенского подоспели Мамонт Головня, Аркадий Зырян и еще четырнадцать мужиков с ними; не припозднились. Михаила

Елизарович, как увидел Головню с Аркадием Зыряном, так и похолодел: за порку шомполами, за кровь старого Зыряна с кроткой Ланюшкой спрос будет определенный — кровь за кровь!

— Попался, кровопийца? — сказал продымленный у костров, заросший бородою Аркадий Зырян. — Ну, сказывай, как исказнил моих родителей!

Старец тополеводской общины, Варфоломеюшка, явился к хворому духовнику, Прокопию Веденеевичу, отведавшему не в малой мере шомполов и с той поры лежащему в постели.

— Восстанье, гришь? — спросил Прокопий Веденеевич. — На белых анчихристов со казаками-кровопивцами? Славно, славно!

— Да ведь за Советы восстанье, — напомнил духовнику Варфоломеюшка. — Можно ль подымать праведников за власть безбожников? Аль мы не пели анафему Советам?

Одолевая тяжкую хворь, Прокопий Веденеевич поднялся, спустив босые ноги на пол, спросил:

— За Советы, гришь? Али не было у тебя раздумья, Варфоломеюшка, опосля сверженья Советов? Што поимел народ от белой власти? Али не явились люду псы рыкающие, скверну изрыгающие, телеса наши казнящие? Али не грабют люд денно и ношно? Али не выдавили из нас недоимку за три минувших года? Слыхано ли то! Али ждять, когда белые кишки из нас-выпустят?

Варфоломеюшка ответил:

— Оно так, духовник: кишки выпустят! Во вкус вошли кровопролития.

— Вошли, вошли! А через што? Через молчанье народа, чрез повиновенье! Иди, созови старцев ко мне, да живее. Порешить надо сей же день!

Варфоломеюшка, помолившись на древние иконы, ушел.

Прокопий Веденеевич попробовал встать на ноги — худо, но держат тело, в коленях гнутя, эх, сила, сила! Где ты? Выхлестали силушку из тела шомполами. Настал час отмщению, и аз воздам псам рыкающим!

Прошелся по моленной, выглянул в переднюю — Филимон сосредоточенно чинил сбрую, глянул на батюшку:

— Чавой-то вы, батюшка, стали?

— Помоги одеться перед моленьем, да свечи зажги у икон.

— Чего средь недели-то?

— Сполняй! Старцы сичас придут. На восстанье призову общину.

— Господи! — разинул рот Филимон, глядя на еле держащегося на ногах отца. — Посконников созывают на восстанье, а не праведников нашей тополевой веры, батюшка. Пушай они лезут в пекло, а нам-то ни к чему. Слышал: Верхние Курята, так и Нижние Курята с Таятами, так и Таскина, отворот показали гонцам из Сагайска. Как не по старой вере, значит, воевать за анчихристов. Сказать тебе хотел, да вот хомут починить надо.

Раздувая ноздри, Прокопий Веденеевич прицыкнул:

— Сполняй, грю! Али ждешь, когда старцы подойдут, да я скажу, штоб кликнули мужиков умять твою жирную утробу? Измутохают!

— Господи! — бурчал Филя, подымаясь. — Чавой-то не пойму вас, батюшка! Иль не сами анафему наложили на тех анчихристов-большаков, а теперь на восстанье будете звать за Советы и большаков? Восстанье-то за Советы — самолично слышал!

— Мякинная утроба! Проклятья наложу на тя!

— Господи! Дык я што? Как повелите — так и будет. Али слово нельзя сказать, как было при большаках? Помню Тимоху! Слово ему скажешь — а он тебе заталкивает это слово обратно в глотку! И то — слабода? Господи! Мне што! Как повелите — так будет. На то вы и духовник.

Задыхаясь от гнева и бессилия, Прокопий Веденеевич уполз обратно в моленную. Филимон подумал: «Ну, батюшка! Должно окончательно свихнулся», — и, отбросив хомут, поспешил в моленную: увидел отца на коленях, трухнул.

— Сичас, сичас зажгу свечи! И облаку вас, батюшка! Сичас, сичас!

Проворно зажег свечи у икон, угольков принес из загнетки для двух лампад, кинул на уголья ладан, вытащил из сундука одежду духовника: черную рясу на застежках, клобук, большой крест на цепочке, писание открыл на столе, свечи зажег с трех сторон возле писания и, облачив отца, удалился, наполненный по маковку яростью: пришиб бы он батюшку, да вот старцы соберутся!.. Ну, да Филимон не таковский, штоб самому себе петлю на шею вскинуть и за те окаянные Советы лоб под пули подставлять. Фигу вам! Кони дома, телега добрая, токо бы успеть. Пусть сходятся старцы, а он, Филимон,

запряжет коней в телегу. «Батюшке што? Все едино опосля шомполов ногами по пояс в могиле стоит. А мне ни к чему сгинуть ни за што, ни про што!»

Думая так, Филимон вынес хомут, взял из сеней другой и кинулся на задний двор. Хоть успеть бы до рекостава переправиться через Тубу!..

Недавно купленная пара коней для ямщины — загляденье!

На них Филюша имел большую надежду. Запряг их с поспешностью пожарного, благо Меланья с Апроськой в избенке покойной Лизаветушки лен мнут, не помешают. Притащил из амбара два куля пшеничной муки, куль овса, кадушечку с медом и такую же кадушечку с маслом, две бараньих тушки с полостью, чтоб закрыть.

Трое стариков прошли в дом — пушай собираются, комолые! Батюшка утащит их на верную погибель — туда им и дорога...

Сбегал еще раз в дом, собрал кое-какие вещи в куль, сунул туда три буханки хлеба, кусков десять сала, завернутого в рушник, прихватил доху и шубу, ружье, достал из тайника кошель с золотом и бумажными деньгами и — бегом, бегом на задний двор к телеге.

Старики, меж тем, один за другим сходились на моленье...

Распахнул Филимон ворота, выехал из ограды. Старик в шубе тащился к воротам. Остановился:

— Далече ли, Филимон Прокопьевич?

— Да вот на заимку. Сей момент возвернусь.

В это время улицей шли домой Меланья с Апроськой. Увидели Филимона, а он на них — никакого внимания. Глянул и тут же отвернулся, понужнув коней.

— Филя-а-а! Куды-ы ты? Филя-аа-а!

У Филя — волки в брюхе выли, поминай как звали...

— Али на базар в Минусинск? — спросила Апроська.

— Кто иво знат! С полной телегой уехал. Чаво увез-то?

— А какое такое восстанье будет, маменька? — поинтересовалась Апроська, рослая, красивая, не девка — загляденье; она так вжилась в семью Боровиковых, что Меланью привыкла звать маменькой, а Филю батюшкой, как и Прокопия Веденеевича.

— Погибель будет, одначе, — вздохнула Меланья.

В моленной слышалось песнопение старцев — ни Меланья, ни Апроська не смели заглянуть в моленную — нельзя.

Под вечер старцы разошлись, и Меланья прошла к свекору, попросившему чего-нибудь горячего, да пусть Меланья приготовит ему теплую одежду: всей общиной выедут ночью в Сагайское, чтоб уничтожить казачье в Каратузе, а там и по всему уезду.

— Огнь и полымя будет тиранам!

Меланья набожно перекрестилась.

— Филя на восстанье уехал? — спросила.

— Куды уехал? Дома был, нетопырь!

— Сама видела, как на телеге уехал. Так-то коней гнал! На телеге много груза. Посмотрела дома — масла кадушку увез, мед, муки...

Меланья перечислила, чего не досчиталась... Прокопий Веденеевич сполз с кровати на пол, вскинул глаза на икону, наложил на себя большой крест с воплем:

— Нет в сем доме мякинной утробы! Проклинаю сию утробу! Рябиновка проклятущая наградила меня нетопырем, господи!

Меланья горько всхлипнула...

IX

Гони, гони, Филя! Кони дюжие — выдержат. Убирай подальше ноги и тело сытое — не ровен час, погибнешь, и не станет на земле одного из мудрейших жителей!

Гони, гони коней!

К ночи Филимон подъехал к избушке на левом берегу Тубы.

Поодаль стояли две телеги, мужики сидели возле костра, на тагане вскипал чайник.

Поздоровался. Спросили, откуда и кто? Соврал, конечно.

И тут разговор про восстанье — то село поднялось, другое, третье, повсеместно взъярились мужики.

Филя — ни слова...

Хотел распрягать коней — паром идет со стороны Курагиной. Вот подвезло-то! Мужики кинулись запрягать, а Филюша первым подъехал к припаромку. Так-то вот поспешать надо.

С парома сошли четверо и коней под седлами вывели под уздцы — не иначе, кто-нибудь из начальства.

Когда конники уехали, паромщик сказал:

— Ишь, припекло волостных правителей — бегут в Минусинск под прикрытие казаков. Ужо и там не спасутся.

Филюша слушал и помалкивал. Его дело — сторона! Он свое обмозговал: мужику начальником не быть, а потому хитрить надо, вовремя нырнуть в чащобу, а другие пушай в пекло лезут, кошка скребет — на свой хребет.

Переночевал в Курагиной, и ни свет ни заря двинулся дальше, передохнул в Имиссе, а там деревня Курская, Брагина, Детлова. Здесь и прихватил его первый снег — не на юг, на север поспешал. Пришлось Филюше задержаться в Детловой, покуда не променял телегу на новые сани без стальных подполозков, хоть не кошева, а ехать можно. Еще два дня пути через Белоярск, Усть-Сыду на Кортгуз, снега пошли, морозец крепчал, а про восстание — ни слуху ни духу. Да и Филюша помалкивал — ни к чему вонь развозить по деревням: за шиворот схватить могут.

В Анаше задержался: Енисей еще не стал, а Филимону Прокопьевичу спешить теперь некуда, беда и поруха остались где-то за спиной, в волостях возле Минусинска, пушай царапаются мужики, коль жизнью не дорожат, бог с ними!

Отъедался и отсыпался.

По первопутку поехал дальше, то займищами, то Енисеем среди торосов — еще неделю до Ошаровой близ Красноярска. Потемну добрался в деревушку.

В знакомой избе с двумя окошками в улицу горел огонек. Филимон слез с саней, набожно перекрестился, а тогда уже заглянул в окно: Харитиньюшка сидела возле печи у смолевого комелька и пряла лен на самопрялке. Одна, слава Христе! А он-то, Филимон, всю дорогу сокрушался: а вдруг вдовая белокриничница вышла замуж? Баба-то ведь собой пригожая, телесая, синеокая, коровенка у ней, изба, лошадь — хозяйство вдовье, бедняцкое, да разве в хозяйстве дело, коль душа к бабе лежит. Примет ли? Почитай, год не был у ней! Может, еще мужичишка какой наведывается ко вдовушке?

Постучался в окно. Харитиньюшка убрала прялку с льняной бородой, подошла к окну, посмотрела, окликнув. Филимон назвал себя. Обрадовалась, всплеснув руками, схватила полушубчишко и простоголовой выбежала во двор к воротам, распахнула их перед долгожданным гостем:

— Филюшенька! Вот радость-то! Заезжай, заезжай! Откель ты? Ужли из свово уезда? Енисей только-то схватился. Как рискнул-то?

— Слава Христе, доехал.

Филимон завел разномастных коней в ограду: ни конюшни, ни поднавеса в ограде не было — звездное небушко, распряг лошадей. Хлевушка для коровы, а за нею задний двор возле огорода, стог сена, огороженный в три жердинки, мерин у сена, и Филя поставил туда же коней. Со вдовушкой перетаскали кладь в холодные сени, прошли в избу.

— Дай хоть погляжу на тебя, воссиянный, — молвила Харитиньюшка, помогая ему освободиться от дохи и шубы. — Ах ты, борода моя рыженькая, уважил-то как! То-то меня подмывало: жду и жду чавой-то, а понять не могу. Во сне видела тебя скоко раз. А ты вот он, воссиянный! Дай хоть расцелую тебя, долгожданный мой.

Филимон Прокопьевич обнял Харитиньюшку, нацеловывает ее в губы, мяконькие, приятные, Харитиньюшка льнет к нему, бормочет точь-в-точь, как бывало на реке Мане, когда впервые согрешили на сплаве леса; сколь годов прошло! Ах ты, Харитиньюшка! До чего же ты благодная!

Огонек на загнетке вот-вот потухнет, а хозяйюшка с воссиянным гостем никак не могут намиловаться, запаматовав обо всем на свете.

— Осподи! Осподи! — лопочет Филюша. — Экая ты, Харитиньюшка! Ехал дорогой, а сумленье так-то было: одна ли, думаю?

— Ах ты, рыженький! Какое может быть сумленье? Одна, одна! Бабы у нас в Ошаровой — истые ведьмы окаянные! Мужиков на корню иссушили, а на меня поклеп возводят. Слава богу, что приехал. Малый тополевец-то живой? — вдруг спросила Харитиньюшка, подживив комелек смолеными полешками.

— Выродок-то? Живой, живой. Никакая холера не берет.

Харитиньюшка хихикнула:

— И батюшка так же милует твою Меланью?

— Теперь ему не до милостей, — проворотил Филя. — Еще в страду казаки влупили ему шомполов — нутро отбили, лежмя лежит, а тут вот вдруг поднялся...

Филюша осекся на слове: говорить иль нет дальше?

— Ну и што, поднялся? Меланью прибрал к себе?

— Куды там! Худо у нас в уезде. Сказать и то страшно.

— Говори, говори. Аль не ко мне приехал?

— Дык-дык — тебе можно, та штоб — ни слухом, ни духом в деревню не ушло.

— От меня не упорхнет! — заверила Харитиньюшка. — Тайны соблюдать умею. Вот самовар поставлю, на стол соберу, обскажешь.

X

Филимон занес в избу из сеней кадушку с медом, сало, а Харитиньюшка собрала на стол угощенье, зажгла коптилку на постном масле — керосину не было. Ну, да Филя, как съездит в город, так доставит керосину и подарочек купит Харитиньюшке, она того достойна.

Сели за стол, тесно друг к дружке, чаек горячий с медом, то-се.

— Дак што приключилось? — спросила.

— Беда пристигла, — вздохнул Филимон, от одного воспоминания о беде холод по спине продрал. — По всему уезду мужики восстанье подняли.

— Да што ты?! — охнула Харитиньюшка. — Ужли восстанье?!

— Не приведи господь, как мужичишки взъярились! Я того не принял, как погибель верная. Потому — власть мужикам не спихнуть, а што опосля будет?

— Беда-то! Беда-то!

— Истинно так!

— Ладно, што уехал. Сгил бы, истинный бог.

— Как пить дать! Али под пулей, али шомполами заporоли бы. С отцом окончательно разминулся — никакого житья с ним нету. Слыхано ли, штоб людей старой веры подымать на восстанье? Пущай спытает, ужо. А мне таперь ни к чему возврататься в тот угол — ни бабы, ни курочки рябы, чуждость! Как токо год-два пройдет, власть укоренится, заявлюсь, хозяйство продам, и перееду к тебе в Ошарову, штоб дом поставить. А покеля у меня белый билет и кони добрые — ямщину гонять буду, проживем, гли?

— Проживем, проживем. Коль прислонился — не бросай, за ради Христа! Я вить не бабий век прожила, а каких-то тридцать годочков.

— В самой поре!

— Ах ты, голубь! Вспоминал меня?

— Без тебя жизни никакой не было, муторность едная, как тина, вроде, — отвечив Филюша, опрокинув чашку на блюдце и обняв Харитиньюшку. — К Меланье, опосля батюшки, срамно лезти, а одному мыкаться да аукаться — тоска захомутает.

— Не будет тоски, не будет, голубчик ты мой рыженький, — ластилась ладная, русокосая Харитиньюшка, и пахло от нее куделей, бабьим теплом, глаза с поволокою, поливали Филюшу синью поднебесною, и так-то ему хорошо стало, слов нет.

Филя сунул пимы в печку, чтоб к утру просохли, да в постельку к Харитиньюшке под стеженое одеяло. На комельке догорали смоленые полешки, по избенке порхали густые тени, с Енисея слышался треск льда — примораживало. Лед толщину набирал.

XI

Была ночь. И была тьма за окнами моленной.

Прокопий Веденеевич лежал в постели высоко на подушках лицом к образам с горящими свечами в подсвечниках; это была его последняя мирная ночь в собственном доме. Мякинная утроба сбежал — срам и стыд перед единовѣрцами за паскудного сына, а что поделаешь? Претерпеть надо.

Меланья примостилась с краюшку кровати в черном платье и в черном платке, повязанном по обычаю до бровей, и глаз не могла поднять на свекора — страшно! Лицом почернел, осунулся, борода и космы волос резко отбелились за время хвори и руки иссохли — упокойник!

Попросил горшок.

Меланья сходила за горшком и вышла. Старик долго поднимался, вцепившись, как коршун, в спинку кровати, сполз на пол, и тут ноги не сдюжили — упал, Меланья подоспела, запричитала.

— Ну... чаво ты! Исусе!..

— Позвать бабку?

— Нету такой бабки, чтоб нутро отбитое заживить наговором. Дай взвару корней — пуцай кровь сгонют. Хуть бы на единую неделю силу господь ниспослал.

Ночь осенняя, долгая, а ветер так-то зловеще свистит в сучьях тополя! Пахнет ладаном и горящим воском.

— Слушай!

— Слушаю, батюшка, — тихо ответила Меланья.

— Не забывай клятву, какую дала мне пред иконою в бане. Не открой тайну мякинной утробе — навек проклятье будет, мотри! До возрастанья Диомид не трожь клад. А как Диомид подымется на свои ноги, укажи место клада: сам отроет, гли.

Меланья поклялась точно исполнить завещание Прокопия Веденеевича.

— Порушишь клятву — в смоле кипучей гореть будешь. Помни!

— Не забуду, батюшка, — поникла Меланья, клад мучил ее — так и хотелось отрыть да хоть одним глазом глянуть: «Много ли золота припрятано у батюшки для Диомиды?»

— Не отверзни лицо твое и душу в час бедствия мово, не пусти слово на ветер! — наказывал духовник, поглаживая костлявой рукою плечо Меланьи. — Не было нам радости, видит господь. Дык пуцай опосля меня возрадуется Диомид — сила у него будет большая, в тех туясах хватит, штоб хозяйство поправить опосля порухи. Да говори потом Диомиду, как я на сходке за народ заступился и муку принял великую, а не убоился того, не пал духом. Пуцай и он возрастет с той же крепостью нерушимой, за правду штоб стоял, хоша бы смерть в глаза ему зырилась.

— Не забываю, батюшка, — кивнула Меланья, не соображая, что к чему.

— Туши свечи — ни к чему воску гореть. Две оставь на аналое.

От двух свечек в моленной стало сумрачно. Слышались вздохи старого тополя. Натужно вздохнет, притихнет, а потом со свистом выпустит воздух сквозь сучья.

— Эко вздыхает святое дерево! — слушал старик. — Полегчало мне, слава Иусу. Кабы корни пил сразу — может, поднялся бы.

— Дай бог, штоб вы поправились...

Старик помолчал, о чем-то думая, потом спросил:

— Поселенцы выступили?

— Ишо вечером. Много-много. Ехали! Ехали! Которые верхом на конях, а которые на телегах, пешком шли.

— Головня повел?

— Головня и Зырян.

— Надо бы и нам не мешкать, да вот старцы елозились в моленной. До вторых петухов отложили. Пошли-ка Апроську к Варфоломеюшке, чтоб послал сынов созывать праведников к выезду, да за мной пушай заедут на телеге. Про Филимона не сказывай, што убег, — экий срам на мою голову! Не в Минусинск ли он поехал?

— Не знаю, батюшка.

— На заимку, должно, где летось деготь гнали. Послать бы кого туда, штоб бока ему намяли. — Подумал, отказался: — Ни к чему! Все едино: с мякинной утробы, окромя нитья, проку не будет. Ладно, неси мне теплую одежду, облаку. Да Апроську пошли. Штоб бегом!

XII

Со вторыми петухами поднялись тополевы — выезжали на телегах, верхами, молодые и пожилые, но женщин не взяли: не бабье дело воевать с казачьем треклятым.

Меланья в черном платке шла до поскотины возле телеги, на которой везли духовника, шла с иконою в руках, как и все тополевы — тихие, кроткие, не источая слез в час горькой разлуки.

Была еще середина холодной, ветреной ночи, шли, шли и ехали молча, угрюмо...

Одни — расставались на век, другие — притащились вскоре домой, подавленные, онемевшие от оглушительного разгрома белоеланского отряда в селе Городок на Тубе, мало кому удалось бежать живым, когда белые окружили село Городок и открыли артиллерийскую стрельбу. Повстанцы кинулись на тонкий лед Тубы и пошли на дно с воплями и криками. Аркадий Зырян с Мамонтом Головней прорвались с полусотней конников из окружения к повстанческим отрядам.

Прокопия Веденеевича привезли из Каратуза на той же телеге, укрытого холстяной полостью, возле тела сидели старцы в шубах — Варфоломеюшка и Евлампий. Следом еще три одноконные упряжки со стариками.

Выехав на большак со стороны Предивной, старики остановили телеги и по обычаю начали песнопение по убиенному духовнику. Вскоро собралась старухи, женщины с детьми. Начался малый

воплъ. Варфоломеюшка, открыв лик убиенного, сняв шапку с белой головы, возвестил единоверцам, что вчера, еще до рассвета, когда из Сагайска на Каратуз выступили повстанцы, духовник повелел тополевам идти в первых рядах, хотя на весь тополевый отряд было семнадцать дробовиков, остальные шли с дубинами, топорами, кто с чем.

— Тьмою, тьмою двигались, со песнопеньем псалмов царя Давида, а такоже молитв древних. Другие штой-то орали — да мы к ним не имели прислону, потому как верование наше праведное, а ихное — сатанинское.

Варфоломеюшка указал перстом на голову духовника с развеваемыми ветром седыми космами:

— Зри, зри, духовник: али мы не с тобою? Дух в тебе ишшо, и ты пребываешь с нами, и слышишь вопль наш! — Не вытирая слезы, говорил Варфоломеюшка: — Кабы зрили вы, как воссиял наш духовник, когда тьмою великою вошли мы в Каратуз ко смертным врагам нашим, треклятым казакам! Идем, идем по улице, инда нету их, треклятых. До станичной управы дошли — нету окаянных. Тут услышали, казаки схоронились в церкви сатаны, тьфу-тьфу!

Единоверцы дружно отплевывались. Варфоломеюшка обсказывал дальше:

— Двинулись мы к той поганой церкви, где засели кровопивцы, с ружьями, а оттеля выстрелы — не густо вроде, да люд весь попер кто куда, перепугавшись. Духовник крикнул: «Не убоюсь того, Варфоломеюшка, потому как со словом божьим иду на гадов!» И пошел на три шага ишшо, как пронзила иво пуля во самое сердце, господи! Ишшо один мужик убит был — не ведаю хто, не из наших праведников. Спаси нас, господи!

— Спаси нас, господи! — отозвались тополевцы.

— И подвигнулась на ту церковь тьма-тьмушая, яко стадо великое, со криками, стрельбою, земь под ногами сдвинулась. Кабы зрили, как вытаскивали из той анчихристовой церкви казаков, лупили их, били, хто чем мог. Кто топором, кто дубинами, потом топтали, штоб гнев выплеснуть из нутра. И мы были там со старцами, да не зрил того духовник наш, Прокопий Веденеевич! Таперь он великомученик Филарет пятый, как по уставу нашей общины. Отслужим поминальную службу под деревом нашим: пушай душа

великомученика возликует на небеси, и будет нам всем радость великая. Аминь!

До поминальной службы тело духовника занесли в моленную горницу, куда сошлись семеро старцев, обмыли его, окурили ладаном.

Среди ночи начался большой вопль по убиенному духовнику. Стонали осиротевшие старики и старухи, молодые тополевики, малые детишки, ничего еще не смыслящие в происходящем, и больше всех ревела Меланья со чадами — Манькой, Демкой и Фроськой. Апроська тоже горько плакала. Они остались совсем одни в большом доме. Не стало советчика и хозяина, а про Филимона и не вспоминали. Да и где он, Филимонушка?

Ночь выдалась холодная, с лютым ветром — на рекостав Амыла тянуло морозом, речушка Малтат давно покрылась льдом, и только Амыл все еще бурлил, вскидывая серебряную гриву, взламывая ледяной панцирь.

Черный тополь тяжело стонал под напором ветра, а единоверцам казалось, что само святое древо оплакивает духовника. Не под этим ли деревом когда-то давно-давно почил Ларивон Филаретыч? За ним отошли Лука, Веденей, и вот лежит в лиственной домовине Прокопий Веденеевич — Филарет пятый. Не стало у тополевицев духовника из Филаретова корня! Потому-то малого Демку Варфоломеюшка посадил в изголовье домовины, как бы надеясь на него, что со временем «сей малый явится перед общиною в облике нового духовника», а до той поры — горькое сиротство! Плач, плач и стенания!..

— Возрастай, Диомидушка. Возрастай! — наговаривал Варфоломеюшка. — Да не забывай про крепость нашу, Филаретову, не склони праведников со пути истинного ко церкви сатанинской! И бысть тебе середь ангелов на небеси, ежели дух твой окрепнет, и возликуют мы на веки вечные!..

Почавший третий год жизни на белом свете, Диомид, укутанный в старый полушубчишко убиенного Прокопия Веденеевича, будто и в самом деле что-то соображал, тараща светлые глазенки на духовника, лежащего в колоде. Он помнил, понятно, как брал его с собою на моленье старик, ласкал, наговаривал что-то, учил первым молитвам, а сейчас почему-то тихо лежал в колоде с закрытыми глазами, а все кругом плакали, причитая: «Убиенный, убиенный! На кого ты нас покинул, сирот горемычных!» И сестры Диоида — Манька и

Фроська — ревмя ревели вместе с мамкой, и нянька Апроська исходила в вопле, а Диомид сосредоточенно и серьезно созерцал лик деда, еще не ведая, что лежащий в колоде — его отец.

Варфоломеюшка заметил сосредоточенность Диоида, поднял его перед всеми, вещая:

— Радость нам будет! Смотрите, сей малый не хнычет, а обуян тяжкою думою; дано ему око господне, штоб зрить нас и лик духовника, отошедшего к пращурам нашим. Вижу, вижу, братия и сестры, се будет духовник! Аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже!

— Аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже! — откликнулись единовѣрцы.

Когда пропели третьи петухи — все разом поднялись, крестясь на тополь, женщины подходили к домовине, прикладывались к сложенным рукам духовника, кланяясь, отходили в сторону, старцы затагнули псалом, и шестеро из них подняли домовину, на рушниках понесли в гору и там улицею и переулком к кладбищу.

Женщины и старухи остались, штоб собрать в доме Боровиковых на столы поминальную трапезу.

Домовину несли молча, тихо, штоб не потревожить отлетающую на небеси душу Филарета пятого.

На кладбище поджидали их старцы в черном, выкопавшие глубокую яму рядом с могилами — Филарета второго, третьего и четвертого.

Крест Филарета второго, хотя и был из толстой лиственницы, давно сгнил и свалился; новый ставить нельзя, да и поправить старый — так же, крест Филарета третьего держался хорошо, но почему-то повернулся поперек могилы. Над этим поворотом креста старики не раз призадумывались: что бы сие означало? К добру или лиху?

Как только прах закопали и обложили могилу дерном, повесив на крест хвойный венок, сразу началось радостное песнопение: с этой минуты расточать слезы по отошедшему в мир праведников и святых великомучеников — тяжкий грех, надо ликовать вознесению на небеси нетленного духа Филарета пятого, где сей дух, конечно, радостно встретится с четырьмя другими Филаретами, прародителями общины истинных праведников.

— Аллилуя! аллилуя! аллилуя!

— Слава тебе, боже! слава тебе, боже! слава тебе, боже!

На поминальной трапезе молодые тополевки, сменив черные платки на светлые, потчевали старших, снедь для трапезы готовили в каждом доме, и потом приносили в чугунках, сковородках и в бутылках. Пили брагу и вино, даже самогонку: это единственный случай, когда тополевцы могли без греха пить вино, ликуя, как это было с самим спасителем на свадьбе в Кане Галилейской.

В моленной потчевались старцы. Сидели они за тремя столами треугольником, лицом к иконостасу (иконы были развешаны на всей стене в сторону восхода солнца), стул духовника спинкою обращен к иконостасу, а вместо самого духовника стоял на столе черный колпак с вышитым осьмиконечным крестом, а на спинке стула висело облачение.

Сидящие за столами, разговаривая, все время смотрели на колпак и облачение духовника: он еще с ними, Прокопий Веденеевич, и потому старцы, веселясь на его поминках, разговаривают с ним, как с присутствующим, только не называют мирским именем — Прокопием Веденеевичем, и не по монашеской схиме — Филаретом пятым, а просто — духовником.

Не ведали старцы, что вскорости их всех казнят каратели за участие в восстании, сейчас они веселились, пили брагу, а кое-кто хватанул самогонки: любо то! любо! возрадуйся, духовник! Али ты не зришь, как всем весело, што ты вознесся на небеси, и оттуда зришь на трапезу. Любо то, любо!

Горели толстые восковые свечи, теплились лампы; пахло воском и ладаном.

— Спомни, духовник, — говорил Варфоломеюшка, — как убоялись народа кровопивцы! У, сила неслыханная, гли, сошлась в Сагайск. Как ты упал, значит, и во храм сатаны вломились люди, почали вытаскивать и стрелять казаков, помнишь, хтой-то подсказал на рыжем коне? Не конь, огонь о четырех копытах! И на коне том, видел, сидел этакий здоровый мужик, в шабуре и войлочном котелке, самотканый котелок-то, гли, мужичий. Вздрыбил тот мужик с рыжей бородой свово коня рыжего, как заорет: «Опомнитесь, люди! Разве мыслимо вытворять изгательство над безоружными?» Весь люд разом обернулся на мужика, — а голосина у иво, как труба иерихонская.

— И тут хтой-то, гли, опознал рыжебородого, — продолжал Варфоломеюшка, уставившись на черный колпак. — Слышу, кричит:

«Мужики! Это казачий хорунжий Лебедь. Из Таштыпа он, хоша и Васильевым назвался, а доподлинно сам Кульчицкий с Ощепковым и Петром Ищенко говорили, что Васильев — казачий хорунжий!» Тут и пошло!.. Ох, как орали мужики сагайские, а так из других деревень. Один захваченный казак опознал рыжебородого: «Ной Васильевич, кричит, товарищ хорунжий! Что с нами творят, видишь? Разе мы, орет, кого казнили под Петроградом!» Ишь, откелева появился рыжебородый! Из анчихристов Петрограда со большевиками!..

Старцы повздыхивали: беда, беда! Как бы восстание не захватили окаянные большаки! На что Варфоломеюшка ответил:

— Не можно то! Как они безбожники — мыслимо ли?!

— Того рыжего прикончили или нет? — спросил Варфоломеюшку старец Митрофаний.

Варфоломеюшка сказал:

— Ктой-то стрельнул в него из винтовки, да не попал, кажись. Вздрыбил он свово коня и вскачь полетел. Ишшо раз пульнули, да я не зрил, свалился с коня, аль нет?

— Убивать этаких гадов! Топором бы иво по рыжей башке.

— Куды топором! — возразил Варфоломеюшка. — Он вить был при казачьей шашке, винтовка за плечом, да ишшо левольверт видел за кушаком.

— Гляди ты! Может, нечистый?

— А хто же! Нечистый и есть.

— У, гады! Когда их токо стребят?

— Хучь бы волюшку отвоевать у насильников!

Волюшку! Да где она, волюшка? От Филарета первого до только что закопанного в землю пятого в глаза ее не видывали, слухом про нее не слыхивали.

Волюшку бы!..

— Обскажи, духовник, отцу небесному, как мы тут из века в век мытаримся, и несть исходу мукам нашим!

— Духовник обскажет!

— Али не иво исказнили каратели!

— Пожалей нас, отец, заступись пред господом богом! Али вороги лютые окончательно изведут нас во могилы, — хныкали старцы, растирая слезы, стекающие в белые бороды.

— Эко мы на радостной трапезе-то! — опомнился Варфоломеюшка. — Со жалобами да стенаниями. Не можно то, старцы. Давайте псалмом радостным усладим духовника, и он с нами ужо воспоеет.

Запели.

ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ

I

Вьюжилась зима пронзительными ветрами, свинцовой полостью крыла холодное небушко, но хуже всех морозов и метелей сжимал людей страх отчаяния и боли, как будто и вправду по уезду из деревни в деревню летал антихрист, выдирая из жизни мужиков, бежавших из разгромленного повстанческого войска.

В конце ноября повстанцы толпами разбежались по деревням, не выдержав боев под Минусинском. Вьюга волком выла, заматая кровавые следы разбитого войска. Стихийно выплеснулся гнев народа, но не было у него еще достаточной подготовки, оружия, не было единого руководства, чтобы осилить ненавистного врага.

Страх отчаяния, ненависть и боль пеленали сердца.

Люди снова разбегались по тайге, прятались по заимкам, утаптывали тропы. Снег слепил им глаза, коченели руки, стыли обмороженные лица, и многие не вернулись домой, погибли. Немало повстанцев выловили и казнили каратели.

В феврале 1919 года военно-полевой суд в Минусинске вынес 87 смертных приговоров, 44 человека были осуждены на двадцатипятилетнюю каторгу. Более трех тысяч было казнено за участие в восстании. А сколько избито и арестовано — про то знает только ноченька темная!..

Станислав Владимирович Кульчицкий был повешен.

Кровавую попойку справлял в уезде есаул Потылицын. По деревням про него с ужасом говорили, будто он черный дух и весь пропитался кровью казненных. На всех экзекуциях и казнях он самолично присутствовал, поигрывая витой плеткой-треххвосткой со свинцушками. И если кого хлестал, пробивал даже шубу. Никакой

истощный вопль не мог проникнуть под серую бекешу есаула. Подручным есаула по экзекуциям и вылавливанию красных был подхорунжий Коростылев.

— Я из вас, космачи, красный дух вытряхну, — обычно грозился Коростылев, приступая к делу.

Потылицын командовал пятью карательными отрядами. Но сам находился при отряде Коростылева. «Два сапога — пара», — говорили про них казаки.

За день до масленицы 1919 года с двумя эскадронами, Коростылева и Мамалыгина, Потылицын приехал в Белую Елань. Каратузских казаков отпустили на масленицу домой — пусть погуляют...

К масленице весна уселась в санки зимы и покатила под гору, оставляя проталины на солнцепеках. Теплыми ветрами обмело куржак с черного тополя, отчего он еще больше почернел, будто за тяжкую зиму обуглился.

Нерадостной была масленица. Только казаки летали из улицы в улицу в расписных деревенских кошевках; взмыливались гривастые кони — не казачьи, а жителей Белой Елани, своих казаки поставили на отдых.

Потылицын в есауловском казакине с башлыком, начищенных сапогах, белой барашковой папахе, при погонах, шашке и пистолете куражи устраивал на тройке юсковских коней. Лежал он, развалясь, под медвежьей полостью, подвыпивший ради масленицы и так-то цепко поглядывал на Дуню Юскову, как будто печенку у нее прощупывал. Рядом с нею в передке кошевы сутулился молодой поручик Гавриил Ухоздвигов — невенчаный супруг Дуни.

Подхорунжий Коростылев — морда кирпичом натертая, плечистый, нахалющий, верный телохранитель есаула, отвалился в левый угол кошевы со своим командиром, и не менее дерзко взглядывал на Дуню: «Никуда, голубушка, не денешься! Чинно-благородно покатаемся, а потом Григорий Андреевич прощупает тебе ребра».

Дуня не знала, что замыслил есаул Потылицын. Догадывалась.

Чинно-благородно из неутвердившейся в своих правах Дуни-миллионщицы есаул Потылицын надумал выдавить два пуда золота — тех самых два слитка! Мать Александра Панкратьевна с горбатенькой

Клавдеюшкой, Валявиной в замужестве, опротестовала самоуправство Дуни, объявив, что Евдокия, дескать, лишена прав наследства, как беспутная потаскушка, изгнанная из дома покойным отцом. Но документов у них не было о лишении прав наследства Дуни. Началась тяжба, а золото Дуня припрятала в доме Ухоздвиговых в Белой Елани и сама проживала в этом же доме.

Мать затаила глухую ненависть к дочери, прибирающей к рукам капитал Юскова, и на помощь позвала Григория Андреевича Потылицына, пообещав ему воздать всем движимым и недвижимым, только бы он укоротил руки проклятущей дочери, опозорившей дом Юсковых.

Время смутное, неустойчивое, и есаул не намерен был оттягивать разоблачение Евдокии Юсковой. У него на этот счет давно руки чешутся, а поручика Ухоздвигова за укрывательство преступницы — под пули красных! И все это надо сделать... чинно-благородно, чтоб ни пылинки не упало на мундир есаула. Кроме Дуни, есть еще одно дело — ликвидация тридцати семи заложников. Жены партизан, мужики-поселенцы, заподозренные в содействии красным, сидят сейчас под арестом в тайном убежище дома Юскова под охраною трех милиционеров из Сагайска. Надо всыпать всем этим заложникам, прежде чем пустить в распыл.

Ну, а Дуня?

Дуня для Потылицына, как бельмо в глазу. Накипь давнишней злобы и обиды закупоривала горло. Мало ли он, есаул, стерпел от «жми-дави» Юскова и остался при пиковом интересе — не в карман, а из кармана потерял? Так еще Дуня вывернулась! В Красноярске у нее были защитники, а вот здесь кто ее прикроет шинелью? Этот долговязый поручик? Один кивок подхорунжему Коростылеву, и тот разделает поручика, как бог черепаху — сжует вместе с портупеей.

Дуню как огнем опалило прищурым взглядом есаула. «Боженька, что он задумал? Доживу ли я до утра? Маменька, вспомнется тебе, если ты изведешь меня есаульскими руками! — горько думала Дуня. — Ни тебе, маменька, ни горбунье золота в глаза не видеть! Просчитаетесь!..»

Утехи мало, если мать с горбуньей просчитаются. Своя-то жизнь не копейки стоит...

— Гони, гони, Трофим! Или ты кисель развозишь? — поторапливал Потылицын, хищновато скаля мелкие, прокуренные зубы. — Вы что-то невеселы, Евдокия Елизаровна? Ни песен не слышу, ни смеха. Или считаете, что я вас пригласил на собственные похороны?

Дуня сослалась на головную боль — привычная отговорка, а глаза отводит в сторону. Она сидела в черном казачьем полушубке не по росту и ее фигуре, да уж не до нарядов сегодня! Шаль на голове, кудряшки волос трепыхаются на ветру, и руки засунула в рукава полушубка. Рядом с Дуней поручик Гавриил Ухоздвигов в бекеше и папахе, пистолет в кобуре, без шашки.

Кони мчатся лихо — Потылицын щурится от ветра, бьющего в худое злое лицо, румяный блин Коростылева расплывается в понимающей ухмылке. Подхорунжий только и ждет, когда же Григорий Андреевич скомандует: «Взять ее в переплет, шлюху!..»

Из-под копыт коренника комья снега шлепаются в передок кошевы. А малиновые перезвоны заливаются, хохочут трелями, шаркунцы серебром позвякивают, подборные колокольцы под дугою сыплют скороговоркой — веселиться бы, а веселья нету! Ни для грешной Дуни с ее поручиком Ухоздвиговым, ни для есаула Потылицына с подхорунжим Коростылевым.

По самиверстной улице от стороны Предивной до конца поселенческой Щедринки — махом, как будто в пекло торопятся. Казак Трофим навинчивает длинным бичом, подхлестывая пристяжных, ловко разворачивая кошеву на поворотах.

— Эй, вы, дьяволы! Дьяволы! — орет Трофим.

— «Жми-дави» Юскова черти! — язвит Потылицын. И к Дуне: — Не жалеете папашу?

— За что мне его жалеть? — заискивающе проговорила Дуня. — Мало ли я натерпелась?

— А хватка у вас папашина!

— Да ведь я совсем была девчушка, когда он меня выгнал из дома, — оправдывалась Дуня.

— Однако!

Дуня подавленно примолкла...

День выдался солнечным. Снег не визжал под полозьями, а податливо сжимался, и в бороздах проступала талая водица. Над белой Еланью носились стаями вороны, сороки, воробьи, как бы возмещая немоту притихших жителей. Ни на кержачьей, ни на поселенческой стороне не слышалось песен, гулянок, не видно было нарядных девок с парнями, как будто все в подпольях отсиживались.

— Притихли, тугодумы! — проскрипел Потылицын, когда казак гнал тройку большаком на конец стороны Предивной. А вот и дом Боровиковых. Тот самый дом, где год назад Прокопий Веденеевич, спасший есаула от ревкомовцев, перекрестил его из православной в тополевою веру и возвел в святые Анании. По-прежнему ли космачи справляют тополевые службы и старики радеют с невестками? Умора! Это же надо придумать! Лотовцы, содомовцы проклятые. А что если появится еще один духовник, который потащит космачей на новое восстание?

«Под корень бы их всех вместе с тополем», — накручивал Потылицын, вспомнив про Тимофея Боровикова.

И сразу же вспенилась лютость.

А тройка скачет, скачет чернолесьем поймы Малтата к Амылу, кошева вязнет в глубоких наметах осевшего снега, а впереди по берегу сторожат ели-великаны. И как же некстати сказала Дуня:

— Дарьюшкин крест видите?

У Потылицына окончательно испортилось настроение:

— Ну и черт с ним, с ее крестом. Она его схлопотала заслуженно. Трофим, поворачивай!

Когда из поймы подъехали к извозу, Потылицын сказал, что они с подхорунжим разомнутся немного, а поручик с Дуней пусть их подождут на горке.

О чем они беседовали, неизвестно. Поднялись на горку, и Потылицын позвал всех в дом Боровиковых.

Ш

Тесовые ворота в квадратных железных бляшках, калитка, листовенные струганые столбы, обширная ограда с двумя амбарами, завозней и скотным двором в отдалении. Возле крыльца проталина с лужею.

Шли молча. Впереди есаул, за ним поручик Ухоздвигов, Дуня, подхорунжий Коростылев и последним вошел Трофим. Их встретила Меланья в будничной юбке и кофте, в черном платке, а за столом хлебали щи из одной глиняной чашки русая девочка, как будто век не чесанная, кудрявый мальчонка — лобастый такой, Дуня его сразу узнала. Демка! Она его на руках носила в доме старого Зыряна. Как давно это было, боженька! Будто века минули, а не какой-то год!

За столом еще сидела девушка на табуретке — она сразу встала, как и Меланья, уставившись на неожиданных пришлых! В льняном платье, рослая, без платка — белица на возростанье, и льняная коса в руку толщиной через плечо по выпуклой девичьей груди. Лицом румяная, брови русые, а глаза голубые-голубые, или, может, от окна так отсвечивают?

Потылицын некоторое время молча ввинчивался ржаво-коричневым взглядом в Меланью, будто сверлил в ней дырки. Потом снял папаху и пригладил ладонью тощие русые волосы, зачесанные на правый висок.

— Не признала святого Анания, раба божья? — спросил он, как бы подтягивая взглядом Меланью к себе. — Али не молятся здесь во здравие святого Анания, который явится в дом, чтоб спрос учинить, а ежли тут живут грешники — крестить их огнем, не крестом, не жита им на стол, а золы и камней!

— Осподи! Осподи! — перепугалась Меланья.

— Али не говорил тебе духовник, что придет святой Ананий?

Меланья упала на колени и крестом себя, крестом. Чудо, чудо! Святой Ананий явился. Как батюшка сказывал, так и сбылось. Жди, говорил, явится к нам святой Ананий, и будет нам спасение от нечистых.

— Али нехристи в доме сем? — выламывался Потылицын, глядя на рослую девицу. — Почему не молится девка?

— Апроська, молись, молись! — оглянулась Меланья. — Святой Ананий явился к нам, осподи. Спаси нас, Исусе!

Апроська с той же неистовостью, как и Меланья, молилась на лик святого Анания. Подхорунжий с казаком стояли у двери, Дуня с поручиком Ухоздвиговым впереди них. Мужчины сняли папахи, помалкивали, а Дуня прикусила губку. Никак понять не могла, какую комедию выламывает есаул?

— Девка чья?

— Наша белица. Апроськой звать.

— Твоя сестра?

— Дык безродная. Прижилась в семье, как своя кровинка.

Потылицын размашисто перекрестил разом Апроську с Меланьей и чад в посконье за столом.

— Где духовник?

— Сгил он, спаси его, Христе. Захоронили ишшо осенью святого Филарета.

— Какого Филарета?

— Дык опосля смерти-то у духовника не мирское имя — святого Филарета на себя взял, как по общине, значит.

Есаул насупился:

— При каких обстоятельствах сгил духовник? Не в битве ли с красными анчихристами?

— Дык-дык — не ведаю, — сообразила-таки Меланья, что перед нею не только «святой Ананий», но и казачий есаул Григорий Андреевич Потылицын, брат тех Потылицыных, которые когда-то вытащили Филимона из печи.

— Не ведаешь? Али таишься от святого Анания? Смотри, за тяжкий грех крестить буду огнем и мечом! Кто теперь духовником?

— Нету теперь духовника. Осиротели.

— И в моленной никто не служит?

— Никто. Как без духовника службу править?

— Я, святой Ананий, пришел в дом сей, чтоб справить службу очищенья духа и плоти и спрос учинить с грешников. Открой моленную и зажги свечи для большой службы.

Меланья позвала Апроську, чтоб помогла зажечь свечи, но святой Ананий отослал Меланью одну. Подошел к Апроське, взял ее за подбородок.

— Грешница или праведница?

— Дык я што — не знаю, один господь ведает.

— Почему не вижу в доме хозяина — Филимона? Где он?

— Нету.

— В тайгу удрал?

— Не! Ишшо осенью уехамши, и — нету.

— Куда уехал? С отцом убивать казаков?!

— Не! Один на паре коней в телеге. Не сказамшись куды.

Лицо Апроськи и без того румяное, как пропеченная корка пшеничной булки, насытилось огнем, она не в силах была выдержать липучего взгляда святого Анания. Батюшка-духовник хламиду носил, босоногим выстаивал долгие молитвы под тополем, и редко наряжался в новую холщовую рубаху под самотканый поясок по чреслам. Говорил еще: «Пророки в рубищах ходят». А святые в лакированных сапогах, значит? Дивно то и, ой, как страшно! Апроська не понимает, отчего страх пронизывает ее с голых пят до разобранный ряда волос на голове.

— Не врешь?

— Про што? — Русые мотыльки ресниц Апроськи часто-часто порхают, будто взлететь хотят.

— Про Филимона. Куда он уехал? Когда?

— Дык убег. От батюшки-духовника убег.

Меланья слушала разговор святого с Апроськой от дверей моленной, она успела прибрать там и зажгла свечи.

— Та-ак! — Потылицын пожевал губами, забывшись, достал серебряный портсигар, открыл его, но вовремя вспомнил — святые же не смолят табак, да тем паче у староверов в избе. — Дары господние принимала?

Апроська взглянула на Меланью — какие, мол, дары?

— Духовник призывал тебя на тайное моление?

— Дык всегда молюсь.

— С духовником молилась? Или одна?

— Когда одна, когда с мамонькой, а когда на большой службе со всеми.

— Сколько тебе лет?

— Шешнадцать будет летичком.

Святей Ананий уперся взглядом в живот Апроськи: не брюхата ли? Чего доброго, духовник приобщил рабицу божью на тайных молениях! Но нет, как будто ничего не заметно. А девка — кровь с молоком.

Думая так, Потылицын предупредил поручика Ухоздвигова с Дуней, что они сейчас увидят большую службу, как положено по уставу тополевой веры.

— Увольте нас от такой службы, господин есаул, — сдержанно отказался Ухоздвигов. — Я православный, не раскольник, — напомнил поручик и будто вытянулся вверх, глаза его сцепились с есаульскими, суженными буравчиками. Подхорунжий Коростылев меж тем как бы ненароком вытащил из кобуры американский десятизарядный маузер, из которого он за тридцать саженей садил пулю в двугривенный, продул ствол и, шлепая маузером по ладони, сказал: — Все будет чинно-благородно, как в церкви.

Поручик упорствовал, он христианин-де, не тополевец.

Потылицын подумал, лицо его будто смягчилось, размыв натиск черных бровей:

— Жаль, поручик. Хотел доставить вам удовольствие, но если уж вы столь ревностный христианин, отменяю приказ.

Поручик облегченно вздохнул, а Потылицын в упор:

— Приказываю, господин поручик, сию минуту, без всякого промедления, как по боевой тревоге, мчитесь в Курагино к командиру дружины Свищеву. С вами выедет подхорунжий Коростылев со своим эскадром. — Есаул посмотрел на часы: — Через два часа и тридцать минут вы должны быть в Курагиной. Дружину поднимите по боевой тревоге, направите в распоряжение атамана Сотникова. Если кто из дружинников откажется выполнять приказ — расстреливать без суда и следствия. Приказ ясен? Повторите!

Дуня никогда еще не видела такого бледного лица у своего возлюбленного Гавриила Иннокентьевича. Ей тошно было смотреть, как он вытянулся перед карателем в голубом казакине, и дрожащим голосом повторил приказ.

— Подхорунжий Коростылев! — властно звенел голос есаула. — Возлагаю на вас строжайший контроль за исполнением приказа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поручика оставите у атамана Сотникова.

— Есть, господин есаул!

— На выезд из Белой Елани даю двадцать минут.

— Есть, двадцать минут!

— А вы не спешите, госпожа Юскова. Следует кое-что выяснить.

Если бы Дуня не пережила в своей жизни столько разных ужасов и страхов, она бы, наверное, упала в обморок. Никто не заметил, как она вздрогнула. «Боженька! Вот она, смертушка!»

Поручик Ухоздвигов до того был прихлопнут внезапностью приказа, что не сообразил сразу, что ему предпринять и не успел оглянуться на Дуню, как властный голос есаула толкнул его:

— Исполняйте приказ! Кру-угом! Шагом арш!

Машинально поручик развернулся, вывалился из избы, а следом за ним, с маузером в руке, подхорунжий Коростылев. В этот же момент здоровенный казак Трофим, при револьвере и при шашке, заслонил выход. Дуня кинулась было к двери. Но казак схватил ее за руки:

— Погодьте!

У Дуни ноздри раздулись, как у рыси.

— Пустите!

— Взять ее в переплет, шлюху!

— Как вы смеете!..

Казак ударил Дуню, и она, падая навзничь, стукнулась затылком о лакированный сапог есаула. И тут же второй сапог пнул ее в ухо. Малые ребятишки завизжали на всю избу. Меланья с Апроськой подхватили их и убежали в горницу.

Дуня оглохла на правое ухо, и звон, звон в голове, будто кто лупит в колокол. Из прикушенного языка льется кровь. Дуня повернулась на левый бок, вытерла тылом правой руки губы, привстав на локоть, не злобно, а как бы невзначай обмолвилась:

— Ка-аратель! Не видеть тебе золота, как своих ушей. Хоть на куски изрежь. Будь ты проклят!

— Трофим!

— Слушаю, господин есаул.

— Дядю Кондратия Урвана помнишь?

— Так точно, господин есаул. Я в его семье возрос до призыва в войско.

Боженька! — озарило Дуню. Так вот на кого похож этот мордастый казачина! От одного его взгляда холодела спина. Племянник Кондратия Урвана — мучителя шестнадцатилетней Дуни!..

— Знаешь, кто застрелил дядю?

— Так точно, господин есаул. Эта вот шлюха. Я ее давно держу на примете. Но как вы сказали повременить, следственно. Я бы...

— Сдери с нее полушубок, — приказал Потылицын, доставая портсигар; теперь уж не до соблюдения тополевого устава.

Трофим содрал с Дуни полушубок — в карманах что-то стукнуло. Сунул руку... бомба-лимонка! У есаула папироса выпала из пальцев. Вот так гостинец! И Дуня, чуть опомнившись от оглушительных ударов, жалостливо вскрикнула:

— Боженька! — Как она могла забыть, что в одном кармане полушубка бомба! А в другом...

— Кольт, господин есаул! — сказал Трофим, таращась на Дуню. И самому страшно стало. — Быть бы нам, господин есаул, упокойными, кабы я ее хорошо не двинул под санки. Из памяти враз вышиб.

— Врешь, врешь, поганец! — вскрикнула Дуня, но не успела подняться, как от удара Трофима отлетела к двери в моленную горницу. — Каратели! Каратели!

Потылицын снова достал папироску и, не прикуривая, кивнул Трофиму на Дуню:

— Зажми ей голову в коленях да всыпь как следует ножнами!

Держась за косяк двери, Дуня пыталась подняться, но Трофим схватил ее за узел растрепанных волос и так потрянул, чуть голову не оторвал от плеч. Сунул голову промеж коленей, стиснул, и Дуня взвыла.

— Не на смерть! — предупредил есаул, прикурив папиросу. — Ты еще скажешь нам, шлюха, куда девала папашино золото! Для кого ты припасла бомбу и кольт? Мы расколем и твоего поручика. Чинно-благородно, как говорит Коростылев. Ясно? А завтра спровадим с протоколами допроса в контрразведку. Там тебя разделают под орех. — Потылицын сверкнул глазами, погрозил пальцем племяннику Урвана: — Ни одна душа не должна знать, где эта тварь находится! Уехала в Курагино вместе с поручиком Ухоздвиговым. Понял?

— Так точно, господин есаул, — рапортовал Трофим, не отпуская Дуню.

— Влупи ей для первой радости! Да заткни ей пасть! — приказал Потылицын, подбрасывая на ладони бомбу-лимонку. Вот оно как бывает в жизни: если бы не забыла в трудный момент, что лежит у нее в карманах, не править бы ему ни тополевой, ни карательной службы!

Трофим связал Дуне руки холщовым рушником. Подтащил ее за волосы поближе к двери и затолкал в рот тряпку, подвернувшуюся под руки.

— Оттащи ее в тот угол и смотри за ней, — приказал Потылицын и позвал Апроську из жилой горницы, но та до того перепугалась, что никак не могла встать с лавки. «Мамонька, мамонька, мамонька!» — бормотала, хватаясь за Меланью.

Потылицын прошел в горницу:

— Ты слышишь? Али твои уши сатано копытами заткнул? Зову на моленье. Тащи ее, Меланья. Или я вас сейчас же ввергну в геенну огненну! Духовник ваш — Прокопий в сатану обратился, на святое праведное войско единоверцев позвал. Перед иконами скажите, кто подбил его на восстание?

— Господи, господи — тряслась Меланья, ребятишки тоненько повизгивали.

— Сят, сят, сят! — крестился кроха-Демка.

— Господи, саси нас, — лопотала Манька, пуская пузыри.

Фроська в люльке сучила голыми ножонками и визжала, визжала.

У есаула пропала охота допрашивать перед иконами очумелую Меланью с Апроськой.

— Сидите здесь. Тихо чтоб! Божий праведник Трофим допросит ведьму в моленной горнице, а вы тут заткните себе уши. И смотрите! Если кто в Белой Елани узнает, что у вас мы допрашивали ведьму — дом вместе с вами будет сожжен. Молите бога, что я не приказал сжечь его сейчас за упокойного духовника-дьявола.

Что происходило в моленной горнице, ни Меланья, ни Апроська не видели. Они сидели, заткнув уши, ни живы, ни мертвы, прильнув друг к дружке, исходя в ознобе, а за стеною слышалось чье-то натужное мычанье, кого-то били, что-то двигали, гудели грубые мужские голоса: «Где слитки?! Слитки?!»

Смерть колотилась в стены, и кто знает, не ворвется ли она к ним, несчастным, в жилую горницу?

Потом вышел красномордый казак в расстегнутой гимнастерке и потребовал ключи от амбара. Меланья без слов отдала.

— Ты вот што, баба! В амбар упрячем ведьму, а вы — нишкните! Чтоб духу вашего не слышно было. Девку господин есаул возьмет в залог. Ежли заглянет кто в амбар — девке кишки выпустим, а тебя с выводком поджарим.

— Мать пресвятая богородица!

— Не причитай. Собирайся, ты! — кивнул на Апроську. — Што глаза вылупила? Ждешь, чтоб в моленную потащил, и вздул там? Ну!

— Мамонька! Мамонька!

Казак схватил Апроську за льняную косу, со щеки на щеку ударил ее и приказал, чтоб не визжала, а у Меланьи потребовал ее одежду.

IV

Меланья слышала, как зазвенели колокольчики в улице, и вскоре стихли. Уволокли Апроську. Куда? В какой залог? Не понимала.

Она сидела на лавке возле ребристых березовых кросен, за которыми с Апроськой по вечерам коротали зиму. От зари до зари крутилась она по хозяйству: холсты надо наткать, чтоб одеть себя и ребяенок, за скотиной смотреть, ездить в лес за дровами, за сеном и соломой. И все это одной, одной. А хозяйство разорялось. Пару коней угнал Филимон, оставив старого мерина и кобылу-четырёхлетку, от трех коров — одна теперь, от полусотни овец — два десятка, и так все к одному — к разору. А за што? Неведомо. Был царь — пихнули царя, не жалела и не думала о том — нудились свои заботушки. Временные, потом красные на малый срок и вот казаки, белые, значит. Лихо приспело.

Она не плакала — слезы иссохли в сердце. Ребятенки цеплялись за ее длинную посконную юбку, она их машинально поглаживала по головкам. Вечер темнил горницу — надо бы детишек покормить и спать уложить, а в руках и ногах такая слабость, что встать не может. Манька отважилась выглянуть из горницы в переднюю избу, а там и в моленную посмотрела. Прибежала к Меланье.

— Ой, мамка! В моленной иконов которых нетути!

— Ты што, оглашенная! Поблазнилось те.

— Не, мамка. Нетути.

Призвав на помощь святителей, Меланья пошла в моленную и, не переступив порог, обмерла: на иконостасе во всю стену белели квадраты — икон нету. Спасителя, святого благовещения, святого Георгия, святой троицы — древнейших поморских иконушек и писания нету! Оно лежало на виду, возле поминальной золотой чаши. И чаши нету! Сосчитала пятна — семь старинных иконушек утащили

анчихристы!.. На веки вечные испоганена моленная. Что скажут старцы?!

— Погибель нам, детушки! — заголосила Меланья, а вместе с нею Манька и Демка заскулили, как щенята.

Наплакались, причитая, и тогда уже Меланья посмотрела на пол. В окна из поймы падал свет. Мерцали свечи, оплывая узорчатыми потеками. Валяется пустая четверть из-под кваса. Выпили квас, лиходеи!.. Кровать духовника разворочена, и на полу, выскобленном до желтизны дресвою, резко отпечатались пятна крови.

Пытали ведьму, значит. Какую ведьму? Меланья узнала Евдокию Юскову в полушубке, как только та вошла в их избу. Так, значит, Евдокея ведьма? Меланье ничуть не жалко ведьму. Пущай казнят хоть всех ведьм, а вот иконушки-то украли, господи!..

Не было сил прибрать в моленной — потушила свечи, и не помолившись — моленная-то опаскужена! — вышла, плотно закрыв дверь.

Усадила ребятишек за стол, достала из печи чугунок с обедешными щами, налила всем в одну чашку, хлеб нарушила, подобрала крошки себе в рот. Потом достала большим ухватом один за другим два ведерных чугуна с распаренным овсом и картошкой для свиней, вылила в лохань, перетолкла деревянным пестом и опять вспомнила: казак наказал, чтоб духу ихнего не слышно было.

Как же идти кормить свиней, задать сена коровам, лошадям и овцам?

Надернула на плечи полушубчишко, вынесла лохань на крыльцо, оглянулась по ограде — никого. Спустилась вниз с кормом и завернула за крыльцо — свинарник был под сенями. Ахнула! Черный кобель на цепи лежал мертвый возле собачьей будки. А она и выстрела не слышала!

— Осподи, помилуй! Может, и свиней утащили?

Наклонилась к лазу в свинарник:

— Чух, чух, чух!

— Рюх, рюх, рюх, — дружно отозвались свиньи.

Живые! Слава те, господи! Принесла им корм.

Сходила в избу за подойником, и когда шла на скотный двор мимо амбаров, опасно покосилась на двери — замки висят и никого не слышно.

Задала сена скотине, подоила корову и, возвращаясь с молоком, из одного амбара услышала мычание. «Ммм-мы-мммы-мммы», — протяжно так, вроде корова телится. Истая ведьма! Искушает!

— Свят, свят, свят! Да сгинет нечистая сила, да расточатся врази иво, спаси мя, — скороговоркой прочитала молитву, и так бежала в дом, что молоко расплескала из подойника.

Перекрестила косяки двери, окна от наваждения нечистого, уложила ребяенок к себе в кровать и притихла, боясь пошевелиться.

Среди ночи кто-то постучал в окошко. Кто бы это? Казак, должно! Не отозваться — дом подожжет. Наспех накинула на себя юбку с кофтой и вышла в переднюю. Сальник помигивает — оставила на ночь, чтоб не примерещилось во тьме что.

Стук в сенную дверь.

— Господи! Господи! Сохрани и помилуй! — бормоча себе под нос, вышла в сени. — Кто там?

— Открой, Меланья. Это я, свояк, Егор Андреяныч.

— Господи! Какой Егор Андреяныч?

Меланья знала — свояк, Егор Андреевич Вавилов, муж старшей сестры, сразу после разгрома прошлогоднего восстания скрылся в тайге с Мамонтом Головной, Аркадием Зыряном и много еще поселенцев с ними, власти называют их бандитами, будто бы стрелили до единого, и вдруг — Егорша стучится в дверь.

Было отчего испугаться и без того насмерть перепуганной Меланье.

— Господи! Господи!

— Да открой дверь-то, — толкался Егорша.

— Господи! Господи! — лопотала Меланья, вынув запор. Пятясь в избу, взмолилась: — Сгубишь нас, Егорша. Как есть сгубишь. Казаки всех упредили: кто будет укрывать бандитов — дома жечь будут, а жителей расстреливать. А ты вот он, господи! Сичас придут казаки!

— С чего они к тебе придут?

— Дык-дык, вечор ишло сам есаул Потылицын с казаком в моленной ведьму пытали. Ужаси. Ужаси!

— Какую ведьму? — тарачился на перепуганную свояченицу Егорша, заросший черной бородой от глаз до ушей, — истый леший. — Ну, чаво трясешься, как вша на очкуре?

— Дык-дык — не велено... пресвятая богородица!.. Ежли прихватят, осподи!.. Хучь ребяенок пожалей!.. Вот-вот заявятся казаки али сам есаул за ведьмой... Стребят, стребят, и дом сожгут, осподи! Сам есаул упредил. Апроську в залог уволокли. А ты эвон — из банды!

Егорша не сдюжил:

— Ну, едрит-твою! До чего же ты мешком пришибленная. Сказывай: какая ведьма? Гляну на нее? Ну?

Егорша хотел пройти в моленную, но Меланья опередила его, заслонив дверь:

— Не здесь! Нетути в моленной. Иконушки поворовали... золотую чашу...

— Где же ведьма? Аль вот я сяду за стол и буду сидеть и ждать, покеля ты в чувствительность придешь да обскажешь, как и што произошло.

Меланья вскинула глаза на темные лики икон, молится, молится, а Егорша сел на лавку, промеж ног поставил винтовку, ждет.

— Тепериче не жить мне с детушками на белом свете! Стребят, стребят. И Аксинью твою прикончат, в заложниках сидит в доме Юсковых.

— В котором доме Юсковых?

— Дык у матери ведьмы.

— У чьей матери? — соображал Егорша. — Да говори же ты толком, моль таежная!

— Дык Евдокея-то ведьма. Евдокея Ализаровна. Упокойного миллионщика. В анбар замкнули и ключи унесли, да упредили: ежли хто заглянет...

— В большом доме Юскова заложники?

— Там, там. За тридцать человек. Баб много и поселенцев. Утре стрелять будут.

— Много их тут, головорезов?

— Откель мне знать, осподи. Сам есаул при погонах здесь: весь день гульба шла — коней в кошевках гоняли да песни распевали казаки. А так ништо не праздновал масленицу.

— Куда уж! — поднялся Егорша. — Настал великий пост. Дверь не закрывай. Ведро воды возьму да буханки бы две хлеба. Ну, чаво ты? Али хошь, штоб я ждал казаков?

Меланья быстро начерпала ковшом воды из кадки в ведро, бормоча:

— Куда две буханки-то? Али не один?

— Ну и скупердяйка ты, господи прости! — вырвалось у Егорши. — Ладно, дверь не закрывай — ведро занесу.

— На крыльце поставь. На крыльцо! Да к анбару-то не подходи! Искушает ведьма-то, гли. Искушает. Реченья нетути — мычит токо.

Вскинув ремень винтовки через плечо, зажав под мышкою пару ковриг, с ведром в правой руке, ударившись головою о притолоку, ругнувшись, Егорша вывалился на крыльцо.

Густились тучи к снегу — темь-темнущая: ни звездочки, ни краюшки луны.

Постоял на крыльце — тихо. Кругом тихо. Время, пожалуй, переваливало за полночь. Ради масленицы, наверное, перепились. Самый подходящий момент. Хоть бы повезло. Силы бы, а силы нету; выцедили кровушку из отряда проклятушие каратели.

Партизаны поджидали Егоршу на скотном дворе, в бане. Пробираясь в какую-либо деревню, они располагались не в богатых домах или избах, а чаще всего в ригах, банях либо на заимках близ деревень, тщательно маскируя свои убежища.

V

Их было тринадцать... Всего-навсего осталось тринадцать... Из бежавших повстанцев в ноябре Головня с Ноем собрали большой отряд, да не все были с оружием. Мотались по уезду, пока не угодили в засаду в глухой таежной деревне. Два отряда лыжников-добровольцев, из тех, что остались от армии Кульчицкого, с боем вырвались из окружения, отступая в глухомань. На прииске Благодатном еще раз собрали силы, и тут нарвались на предательство приискового казначея Ложечникова. Окружили их на зимовье лыжники, выкрикивая, чтоб сдались. Особенно горланил Мамалыгин — тот самый, что увел из Гатчины эскадрон минусинцев до начала демобилизации сводного полка. Ох, как хотелось бы Ною встретиться в смертном поединке с Мамалыгиным, да не кинешься на пулеметы!..

Бежали в тайгу, отстреливаясь. Двое суток плутали по тайге, не смея разжечь огонь и передохнуть, а мороз крепчал — сиверок

шевелил верхушки заснеженных елей.

Потом набрали на охотничью избушку. В этом переходе отморозила ноги Селестина.

Спаслось их тогда девятеро: Мамонт Головня, Ной, Никита Корнеев, Иван Гончаров, Егорша Вавилов, Аркадий Зырян, Селестина, Ольга Федорова и Маремьяна Мариева, вдова хорунжего, казненного казаками еще в июне. Остальные остались лежать у зимовья...

В тайге пришли к ним братья Переваловы — Иван и Андрей. У Ивана Перевалова был недавно отряд из бывших повстанцев подтаежных деревень. Гоняли беляки их по всему уезду, многих взяли в плен, остальные по тайге разбегались, и остались братья одни. У них теперь две дороги — под распыл к белым или бродить по глухомани, как бродят шатуны-медведи.

И стало их одиннадцать!..

На охотничью Клопову заимку в Заамылье явились еще двое — Антон Мызников из поселенцев Щедринки (он-то и сообщил о предстоящей казни тридцати семи заложников в Белой Елани), а с Мызниковым — Никита Ощепков, брат того Ощепкова, которого казнили за Дубенское восстание. Заросший русоватой щетиной, обмороженный, в рваном полушубке и ушастой шапке, он до маковки пылал ненавистью и злобой к карателям: избу его сожгли, ребятенки и жена померли.

Егорша Вавилов с Антоном Мызниковым насели на Головню и Ноя: надо спасти заложников в Белой Елани! Это же наши жены и отцы. Да и Аркадий Зырян приуныл: жена его, Анфиса, тоже оказалась в заложниках.

— Ну как, Мамонт Петрович?

Тот махнул рукой:

— Нету силы, Ной Васильевич. У Коростылева не менее десятка пулеметов, хватает бомб, да и отряд наполовину из нижеудинских унтер-офицеров! Да еще, может, Мамалыгин там с кулаками-добровольцами? А у нас сто девятнадцать патронов для карабинов и револьверов! Да вот у Селестины Ивановны две обоймы для кольта. Хоть бы парочку бомб!

Примолкли партизаны...

— Силы такой не имеем — верно, — сказал Ной, — а побывать в Белой Елани должны. Завтра — первый день масленицы. И штоб

казаки не гульнули — того быть не может! Но упряждаю: у кого поджилки трясутся — пусть останется. Спрос с каждого будет строгий. Ясно всем?

Конечно, всем ясно.

— Кто останется?

Никто.

— Ночью подъедем к Белой Елани. Возлагаю ответственность на Егора Андреяновича, чтоб в самое надежное место завел.

Егор Андреяныч привел их через скотный двор в баню Боровиковых, уверенный, что в доме Меланьи навряд ли беяки останутся ночевать. Дом на окраине, да и поживиться особенно нечем.

Коней спрятали в чащобе поймы Малтата.

Ночь. Глухая, предвесенняя, настоящая на дневных оттепелях, тревожная ночь...

Думы, думы, думы. Голова одна, а дум — не счесть, роятся, как пчелы, и остервенело жалят в самое сердце.

Ной думает... Сердцу что-то беспокойно...

Тринадцать...

Хоть бы где четырнадцатого подхватить!

«Что меня мутит, господи прости!» — рассердился на себя Ной. Он сидел на лавочке в поношенной рыжей бекеше в скрещенных ремнях, шашка промеж ног, руки на золотой головке лебедя, папаха на коленях. Возле каменки поднялся на жидкие ноги красный телок, пустил струйку под брюхом, поглядывая на Ноя. Ишь ты, беломордый!

Телок подошел и сунулся мордочкой в отвороченную полу бекешки. Ной погладил его промеж ушей, и так-то стало горько! Как давно не ухаживал за скотиной, не доглядывал за коровами и овцами, не выносил после отела телят на руках из хлева!..

В черепушке слабо светит сальная плочка с холщовым фитильком. Мамонт Головня развалился на полу, вытянув ноги в пимах до порога, полушубок в ремнях, шашка и карабин под боком, а в изголовье заячья шапка. За ним прикорнул щупловатый Иван Гончаров, в углу бани около двери уместился на дно перевернутой шайки Никита Корнеев — винтовка рядом. На полку забралась Ольга Федорова, ее полушубком закрыто оконце, чтоб свет из бани не виден был со скотного двора. У полка, в углу, вздремнула мужиковатая казачка Маремьяна. Селестина в бекеше, подкорчив ноги, лежит на лавочке, положив голову на колени Маремьяны. Обмороженные пальцы ног забинтованы, едва ходит.

Братья Перевалевы, Антон Мызников, Никита Ощепков и Зырян с ними — отдыхают в предбаннике. Тринадцать! Хоть так крути, хоть эдак. Ох, хо, хо!..

А вот и Егорша Вавилов с ведром воды и двумя ковригами ржаного хлеба. Прикрыл дверь и к Ною вполголоса: так и так, у Меланьи есаул Потылицын с каким-то казаком допрашивали Евдокию Юскову и в амбар будто замкнули. Меланья насмерть перепугана — казаки вот-вот должны подойти за арестованной.

— Корнеев и Гончаров! — позвал Ной. — Выведите всех из предбанника к хлеву, в засаде будете. Зыряна с Переваловым пошлите спрятаться возле дома, чтоб в случае чего схватить казаков без шума. Живо!

Гончаров и Корнеев ушли.

Головня сел рядом с Ноем. Поднялись женщины, сообщение Егорши встревожило всех.

— Дуню Юскову? — проговорил Ной, подумав. — Лучшего языка не сыскать. С чего бы ее есаул допрашивал? А ну, сходим за нею. Чтой-то не верится, штоб сидела она в амбаре.

В ограде тихо. Ной глянул на Егоршу: разве у хозяйки нету собаки?

— В самом деле, чтой-то не слышал, — ответил Егорша вполголоса. — Как же без собаки! Помню, кобель у них был черный. Разве Филимон взял?

Два амбара — в котором? Ной постучал кулаком в дверь одного — ни звука, замок навешан с овечью голову. Пошли к другому — и тут такой же замок. На стук послышалось из амбара невнятное мычание. Егорша не удержался:

— Здесь!

— Тих-ха! — шепнул Ной и, взяв замок в обе руки, поднатужился, вырвал со скобою из двери, отслонил всех за косяк, с наганом в правой руке распахнул дверь, заскочил в амбар, споткнулся обо что-то мягкое в темноте, сказал: — Дверь закройте! Головня, серянку, живо.

На полу кто-то ворочался и трудно мычал. Свет спички спугнул тьму. Дуня! Глаза большущие, круглые. Кляп во рту. По ногам и рукам скручена веревками, да еще к столбику возле сусека подтянута спиною. Ной видел только ее взгляд, полный ужаса, она ничего не понимала, кто пришел за нею? На миг увидела в руке бородатого казака сверкнувший нож. Вся скрючилась, зажмурившись: сейчас ей смертушка!.. И тут потухла спичка и вскоре снова плеснуло светом: бородатый резал ножом веревки, развязал полотенце и вынул кляп. Она не понимала: кто он и что он? Еще двое! Куда ее несут? И все молча, молча!..

Ной занес Дуню в баню. Она тяжело постанывала, но говорить не могла — скулы отерпли от кляпа.

Ной усадил Дуню возле полка.

Дуня смотрела, смотрела расширенными глазами на рыжебородого, не веря собственным глазам. Это же Конь Рыжий. Конь Рыжий! В той же бекеше и белой папахе! Боженька! Конь Рыжий!

Ной поднес воды в ковшике:

— Выпей, Дуня, да скажи, што тут произошло? Чем не потрафила есаулу? Ты же с поручиком Ухоздвиговым, кажись, или нету его в отряде? Много тут у есаула казаков и унтер-офицеров?

Диковатый взгляд Дуниных глаз был страшным. Она всех боялась, не понимая, откуда взялись эти люди? Конь Рыжий, Головня, Ольга и... Селестина Грива!

Вскинув глаза на Ноя, Дуня взмолилась:

— Ной Васильевич! Не виновата я. Ни в чем не виновата! — И по вспухшим щекам покатались слезы. — Все есаул проклятый!.. Зверь, зверь! Убейте его!

Ной ничего не понял.

— За што тебя пытали? — спросил.

— За золото! Боженька! Они хотели подослать меня с вашим отцом к вам в отряд. Я не пошла. Не пошла!

— Разе здесь отец? — дрогнул Ной. — Видела его?

— Отец ваш у Мамалыгина. Здесь, должно. — Вспомнив, Дуня сказала: — Есаул послал Коростылева с отрядом в Курагино... дружину поднять... Из Ачинского уезда идет Щетинкин... Минусинскую дружину погонят туда. На Енисей белые стягивают крупные силы, чтобы разбить Щетинкина. Слышала — он бывший штабс-капитан, при Советах служил в Ачинске, в уголовном розыске. А теперь у него целая Красная Армия! А больше ничего не знаю. К Перевалову идут, а Перевалова отряд разбили, в газете писали...

— Стал быть, отец с Мамалыгиным?

— Я не пошла с ними, не пошла!

— А кто его посылал ко мне? Есаул? Али он сам умыслил?

— Нет, нет! Приказано Тарелкиным взять вас живым. Обязательно живым! В газете про вас печатали. А ваш отец... очень уж он свирепый! В Уджее при мне драл плетью женщин, которые помогали красным. Выспрашивал меня про Гатчину, и... и про комиссаршу. Доктор тоже напечатал статью в газете... Отрекся от дочери и так-то поносил ее всячески за УЧК и комиссарство. Как мой папаша!.. Боженька!.. Они все с ума сошли! Я даже не знала, что

комиссарша с вами, Ной Васильевич. Ничего такого не знала! Еще Санька, ваш ординарец, теперь ординарцем у подхорунжего Мамалыгина. Убейте, убейте есаула, Ной Васильевич! Христом богом прошу — убейте, убейте!.. Боженька!.. В карманах у меня была бомба и кольт! — вспомнила Дуня. — Враз выбили из памяти!..

У Мамонта Петровича нечаянно вырвалось:

— Эх, кабы нам парочку бомб, едрит-твою в кандибобер!

— Бомб?! — переспросила Дуня. — Есть, есть бомбы! Три ящика бомб и гранат! Цинки с пулеметными лентами, «льюисы» и два «максима». Зарыты в подполье дома Ухоздвигова.

— Што-о-о? — вытаращил глаза Ной, выпрямился, стукнувшись головою о потолок. — Где этот дом?

Мамонт подхватил:

— Ты это всурьез, Евдокия Елизаровна?!

— Боженька! Что же мне врать? Еще когда пришли казаки из Красноярска и в Белой Елани начали расходиться по станицам... Старший Ухоздвигов, Иннокентий Иннокентьевич, спрятал тогда в своем доме много оружия и пагронов... так и лежит. Гавриил Иннокентьевич не тронул: если старший брат припрятал, пусть, говорит, останется.

Все разом возбужденно заговорили, перебивая друг друга. Оружие! Если бы у них было оружие — разве бы они отсиживались месяц на Клоповой заимке?

Но ведь это же Дуня — Евдокия Елизаровна Юскова! Можно ли ей верить? Не заведет ли в ловушку?

Селестина обулась в разбухшие пимы, прихрамывая подошла к Дуне и молча, испытующе уставилась в лицо бывшей батальонщицы.

— Правду говорю! Есть тайник... Селестина Ивановна, — с запинкою проговорила Дуня. — С чего врать-то мне? Боженька! Если есаул останется в живых — не жить ни мне, ни Гавре... И бомба, которая была у меня в кармане, из того тайника.

— Я тебе верю, Дуня, — успокоила Селестина и, оглянувшись на мужчин, задержала взгляд на Ное: — Она не врет.

— Далеко дом Ухоздвиговых? — спросил Ной Мамонта Головню.

Тот ответил:

— В центре, наискосок от дома Юскова. Низом поймы пройти можно без особого труда. Но и здесь кто-то должен остаться, Ной

Васильевич. Если мы все уйдем, а вдруг придут за Евдокией Елизаровной?

— Придут! Обязательно придут! — отозвалась Дуня. — Я же так и не сказала, где спрятаны слитки.

— Какие слитки? — обернулся Ной.

— Два слитка золота, — бормотнула Дуня. — Мамонт Петрович помнит, как взяли тогда слитки у моего отца. Вот, они самые! Мать уговорила есаула, чтоб он выбил из меня это проклятое золото.

— Эвон ка-ак! — кивнул Ной, окончательно уверившись, что Дуня говорит правду. — Побудешь здесь, Селестина Ивановна. На обмороженных ногах далеко не уйдешь, а мы там управимся. Но только оборони бог вступать в бой с казаками! Если один или двое явятся — бей из засады без промаха. Кольт у тебя будет и карабин.

Мужики вышли посоветоваться, и Селестина с ними.

Телок подошел к Дуне и лизнул ее руку. Маремьяна отпихнула его от лавочки.

— Не троньте его, по-ожа-алуйста, — жалостливо попросила Дуня и опять заплакала. — А я теперь одна осталась. Как есть одна! Живу ли я, умру ли я, кто по мне слезу прольет, боженька! Как мне страшно, страшно! Пусть не радуются маменька с горбуньей! Не видать им золота, как своих ушей!

— Не плачь, Дунюшка. Живая, слава богу, — утешала Маремьяна-казачка. — Давай оденемся; мужики ждут. Токо бы оружие добыть.

— Есть! Есть оружие! — еще раз уверила Дуня. — На той половине дома живет казначей прииска Ложечников со своей бабой.

— Ложечников?! — переспросила Ольга. — Вот уж кому я горло перерву! С Настасьей он?

— С Настасьей, — сказала Дуня.

Дуня попробовала снять полушубок, но шерсть присохла к иссеченному телу, вызывая страшную боль.

— Сядь-ка, сядь, — усадила Маремьяна Дуню. Развязав мешок, вытащила узел, достала из него солдатскую флягу, бинты, йод в бутылочке, ножницы, а тогда уже попросила Ольгу поддержать Дуню, пока она будет снимать с неё полушубок. Дуня постанывала сквозь стиснутые зубы, Маремьяна ножницами обстригла присохшую к ранам шерсть. Ужаснулась: вся спина Дуни была в кровотокающих рубцах.

Маремьяна перебинтовала спину Дуни по опавшим маленьким грудям до пояса и тогда уже натянула на нее разорванное шерстяное платье с вязаной кофтой.

— У вас есть спирт? — промолвила Дуня. — Мне бы чуть-чуть, чтоб не трясло меня.

Маремьяна налила ей в кружку из фляги, дала выпить.

VII

Аркадий Зырян стоял на карауле возле калитки, чтоб врасплох не подошли к дому казаки. Большаком кто-то бежал в белом. Ближе, ближе. Зырян отпрянул в ограду и спрятался за столбом ворот. В калитку проскочила босоногая девка с растрепанными длинными волосами, в исподней рубахе, кинулась к окошку и постучала кулаком в раму:

— Мамонька! Мамонька! Это я, Апроська! Слышь? Открой дверь. Скорее, скорее!

Меланья окликнула:

— Откеля ты, осподи?!

— От есаула, мамонька! Убегла! Ой, ма-амо-онька!.. Спаси за ради Христа! Босая я, ма-амо-онька-а-а!..

Меланья выскочила на крыльцо и увела Апроську.

Иван Перевалов подошел к Зыряну:

— Духовито! Как бы за девкой не прилетели казаки!

Зырян ничего не ответил...

Подошел Егорша, позвал к бане. Все в сборе — пора двигаться.

Поймою брели глубокими наметами снега.

Благополучно прошли через огород в глухую ограду большого дома Ухоздвигова, некогда богатого, веселого, разбойного, а ныне притихшего. В одной из половин на две комнаты жил казначей прииска Ложечников с женою Настасьей, в другой, в трех комнатах — поручик Ухоздвигов с Дуней.

Казаки и унтер-офицеры нижнеудинцы расположились в трех домах Юсковых, есаул с отборными казаками в доме братьев, да еще по соседству с домом Потылицыных — у богатого мужика Беспалова. Сколько казаков увел Коростылев с Мамалыгиным, Дуня не могла сказать: будто бы эскадрон...

Партизаны спрятались возле дома у стены.

Дуня постучалась в сенную дверь на половину казначея Ложечникова. Рядом стоял Ной.

— Кто полуночничает? — Дуня узнала голос Ложечникова.

— Я, Дуня! Откройте, пожалуйста. Дело есть.

Ложечников удивился:

— Откуда ты? Был есаул с казаком — говорили, что ты уехала с поручиком в Курагино.

Открыв дверь, Ложечников увидел не Дуню, а какого-то огромного бородатого мужчину, не успел ахнуть, как был схвачен за горло, и тут же его упокоили, оттащив в сторону.

В передней избе было подполье. Зажгли лампу на полсвета. Все вошли в дом. Отыскали еще лампу, и Дуня с Ноем, Головной и Егоршей Вавиловым спустились в подполье. Что-то там ворочали, разламывали. Никита Ощепков сидел на лавке бок о бок с Аркадием Зыряном, то и дело нетерпеливо поторапливая:

— Быстрее, быстрее надо! Что так долго возитесь?!

Полчаса прошло или чуть больше, когда из подполья начали подавать деревянные ящики с оружием, цинки с патронами, тщательно завернутые в мешковину ручные английские пулеметы, две железных тележки с «максимами»...

У Ивана Перевалова вырвалось:

— Кабы мне хоть половину этого на Большом Кордоне!..

Дуня первой вылезла из подполья, а за нею остальные, начали быстро очищать от смазки ручные пулеметы, карабины, револьверы, маузеры, парабеллумы.

Дуня привалилась к кухонному столу, поглядывала на Ноя и Мамонта Петровича, супя брови — у нее свои думы-печали. Она сказала в подполье Нюю: в доме матери — Трофим Урван, казачьи урядники и унтер-офицеры, приголубленные муженьком горбуни Иваном Валявиным.

— За твою помощь, Евдокия Елизаровна, которую ты нам оказала, господь бог и мы все грехи снимаем с тебя, — сказал Ной.

Потом обсудили, кто и куда пойдет. Сил в отряде мало — надо взорвать казаков в домах, а если кто выскочит, уложить из пулеметов.

На часах Ноя было без семнадцати минут четыре часа утра, когда партизаны, замкнув сенную дверь, вышли из ограды Ухоздвигова...

Дуня шла безлюдной улицей, чуть сгорбившись, зажав в руках по бомбе, да еще пара бомб в карманах полушубка и парабеллум в придачу.

Как-то враз иссякли силы, и боль во всем теле до того усилилась, что трудно было идти. Дуня часто останавливалась. Кружилась голова...

Ни души в улице...

Упились казаки и почивают сном праведников: завтра у них много работы — казнь заложников...

«Боженька! Помоги нам!» — молилась Дуня за всех партизан. Боженька!.. Но она не верила боженьке — никому не верила, самой себе только. Если бы ей сейчас станковый пулемет да силу, как в батальоне бывало, — никто бы из карателей не ушел.

Тихо, тихо. Ни шагов, ни голосов.

Третьи петухи запели.

В окнах отчего дома яркий свет. Ужли казаки не спят? Нет, не во всех окнах свет, а тодько в гостиной — пять окошек в улицу и три в ограду.,

Егор Андреяныч должен был встретить Дуню возле ворот. Нет ни Егора Андреяныча, ни Никиты Ощепкова.

Дрогнула.

«А, все едино — один конец!» — решила и быстро прошла в открытую калитку; боль враз отступила. Поднялась на каменный фундамент, ухватившись за резной наличник окна, заглянула... «Боженька!» — как бичом по сердцу: за столом сидел в обнимку с каким-то казаком Трофим Урван! Упился и спит, уткнув голову в стол. Четверти, бутылки и всякая всячина на столе. На стульях, креслах, всюду спящие. Много их тут!.. А где же есаул?

Спрыгнула наземь — в глазах потемнело от боли, но она взяла себя в руки, выдернула кольцо, подержала бомбу, прицеливаясь глазом, и швырнула — стекло звонко лопнуло. Упала наземь, вцепившись руками в истоптанный, мокрый снег. Что было прежде — толчок земли или грохот взрыва? Не помнит. Быстро поднялась, рванула кольцо второй бомбы...

Крик, рев, истошные вопли раненых...

Взрывной волной Дуню отбросило в сторону. Не охнула. Рядом, вот тут где-то рядом, зацокал ручной пулемет...

Казаки выбегали из омшаника, из дома, прыгали из окон, а Егор Андреяныч косил их из пулемета.

— Ааааа! Аааа! Аааа!

Где-то вдали от дома Юскова ахнули еще взрывы. Цокают, цокают пулеметы.

Она не видела, как Егор Андреяныч с ручным пулеметом перебежал из ограды в улицу, расстреливая там казаков, выскакивающих из горящего дома в палисадник.

Дом изнутри занялся, как порох — враз охватило огнем.

Дуня не подумала, что с маменькой и Клавдеюшкой — живы они или разорвало их на части? Не до них!

Она стояла чуть в отдалении от дома, смотрела, как длинные языки пламени вырывались из окон, и чувство свершенного отмщения вдруг до того расслабило ее, что она, если бы не привалилась к столбу ворот, упала бы. Так она и села наземь возле столба.

— Ну вот и все! Мучители! Попомните меня! — проговорила она с запинкою, не подумав, как мертвые могут помнить ее.

Из омшаника успели выскочить заложники — мужчины и женщины, и дети с ними. Много, много.

Дуня никого не видела...

Она сидела у столба, скрючившись, обессилев, и пламя пожара озаряло ее лицо.

По обширной ограде бегали люди — работники, деревенские мужики что-то орали, суетились, и никто из них не видел Дуню. Может, потому, что она в черном полушубке сливалась с черным столбом? Хотела встать, а силы не было — как будто враз всю силу вычерпали, как воду из колодца до дна. Она не прислушивалась к крикам мужиков, все это шло мимо ее сознания.

А ведь горел дом, в котором она родилась, из окон которого выглядывала в мир деревенской дремучести, не ведая, какие узлы навяжет ей потом судьба и в какую сторону закинут ее страшные ветры переменчивого времени!

Ветры и судьбы!..

Сейчас она была здесь пришедшая из мира зла. Как волчица вскармливает волчат своим молоком, так мир, жестокий и злой для

слабых, вскормил ее своим лютым молоком, и она уверовала: добра нет, совести в помине не бывало, есть один разврат, продажность — душу черту заложи, а тело отдай нечестивцам. И если, не ровен час, упадешь — копытами раздавят, и не охнут. И она изо всех сил старалась не упасть, и все-таки копыта дьявола истоптали ее тело, осквернили душу и вытравили из нее все светлое и радостное.

А дом горел! Отчий дом горел!..

Крики, истошные крики заживо горящих...

Пламя изнутри дома со свистом рвалось наружу из окон, как будто раззявились пасти многоголового змия. Взрывались патроны, бомбы, трещали бревна, пылала краска на железной крыше, и само железо скручивалось в огненные свитки, обнажая стропила. А внутри дома лопались винтовочные патроны, взрывались бомбы и гранаты.

Пожар перекинулся на работницкие избы и на конюшни. Утробно ржали кони, мычали коровы. Мужики, бабы в ограде.

— Господи помилуй, сколько добра ханет!

— Пуцай все сгорит к такой матери! Как нажили добро — так и ушло: огнем-полымем!..

— Светушки! Светушки! Мамонька там! Мамонька! — визжит какая-то девчонка, кидаясь к пылающему крыльцу.

Дуня узнала прислугу Гланьку...

— Куды лезешь, дура. Сичас крыша рухнет!

— Ой, пустите! Ой, пустите! Мамонька там! Мамонька!

Какой-то мужик подскочил с кувалдою, чтоб сбить замок с железных петель окованных ворот. Ударил со всего маху — у Дуни в ушах зазвенело.

«Что это я? — опомнилась. В правой руке зажата бомба. — Боженька, из ума вышибло! Как же они?!» — вспомнила наконец про мать и горбатую Клавдеюшку.

— Хтой-то? — уставился на нее мужик. — Чаво сидишь тут? На пожар глазеешь?

Дуня не могла встать — ноги не слушались.

— Помогите мне, пожалуйста,

— Эко! — мужик подошел к ней, узнал. — Евдокея Елизаровна?! Вот те и на! — удивился. — Ханул ваш дом-то. Как порох, гли. Добра-то скоко сгорит, якри ее. Чо с тобой приключилось? Ноги отнялись от

горя? Гли-те, мужики, Евдокея Елизаровна! Я кувалдой бах по замку, а у столба — она.

Дуню увидела Гланька.

— Ой, Дунюшка! Што подеялось-то! Што подеялось-то! — кинулась Гланька к Дуне, заливаясь слезами. — Я вечер убежала от казаков, а маменька осталась. Покель бежала со Щедринки, — домище эвон как разгорелся и мамонька тама! Мамонька!

— А наши? Мать с Клавдией?!

— Тама, тама! Бонбы партизаны кинули в дом. Бонбы!

Пожар жжет, жжет лицо Дуни — она заслоняется ладонью, а все равно жарко, жарко, нестерпимо жарко!..

Гланька сквозь слезы лопочеть:

— Одначе разорвало бонбами и мою мамоньку, и Александру Панкратьевну с Клавдией Елизаровной, и мужа ейного, Ивана. От бонб пожар-то начался.

А со стороны — мужичьи голоса:

— Само собой — от бомбов!

— Скоко урядников и этих унтеров полегло, глите!

— И тут, и тут! Унтеры-то молодые экие — парнишки ишшо; в белье повыскакивали.

— Посек их из пулемета Егор Андреяныч. Самолично видел, как он стрелял их.

— Туда им и дорога!

— Собакам — собачья смерть.

— А все люди, робята. Хучь оттащить надо — бревна вот-вот повалятся, сгорят тут.

— Пушай горят к едрене-фене! До кой поры цедить будут кровь из народа!

— И то!..

— Иван-то Валявин с горбатой Клавдеей и тещей погорели, кажись.

— Все, погорели!

— А сказывали — стребили того Коня Рыжего! А оно вот как стребили. Взяли есаула али нет?

— Дык горит же дом Потылицына и Беспалова рядом. Ажник в улице подступу нету — чистое пекло, истинный бог. Наверное, он там.

— Как бы ветер не поднялся — все погорим!

— Эй, мужики! Чаво топчетесь тут? Деревню спасать надо.

От Беспалова дома огонь перекинулся на избу Кривцова. Маркел Захаров горит, а на стороне от дома Михайлы Юскова — дом Шориных загорел. У Микишки Лалетина крыша занялась!

— Эй, люди! Если кого из беглых казаков или унтер-офицеров увидите — тащите к ревкому. Вылавливать всех аспидов до единого!

Бегут, бегут люди со стороны Щедринки на пожар, едут на телегах с кадками, в улице несусветная толчея — крик, рев, а где-то на тракте возле села — та-та-та-та — пулеметы строчат, вколачивают огненные гвозди...

IX

Сперва Апроська прыгала по избе, отогревая ноги — босиком прибежала из дома братьев Потылицыных, рубашка на ней была изорвана. В горнице ревели перепуганные ребятенки.

— Цыц вы! Спите! — прикрикнула на них Меланья. — Сказывай, што подеялось-то, осподи?!

— Ой, мамонька! Ой, мамонька! Опоганил миня исаул-то! — У Апроськи — в три ручья слезы. — Спрячь меня, мамонька, за ради бога! Хучь во монастырь потом уйду, штоб за душеньку-то мою, опоганенную, старушки помолились. Мне-то не жить таперь, мамонька. Я токо и думала: как убегу, так во монастырь уйду! И — убегла. Когда исаул ушел, тут и убегла. Все кругом храпели, анчихристы! Ой, мамонька, мамонька, как жить-то таперича? На иконушки-то разе можно мне таперя молиться, опоганенной?

Меланья упала на колени лицом в передний угол:

— Господи, владыко небесный, есть ли нам спасение? Есть ли нам спасение, господи, али изничтожат нас, исказнят, и нету защиты нам ниоткелева. Владыко небесный, заслони от нечистой силы! Али мы великие грешники?..

Темные лики святых морщились, молчали, будто каменные, и глаза их были неподвижными, безучастными, как у мертвецов.

— Богородица пресвятая, сжался над нами! — вскрикнула Меланья, протянув руки к большой иконе в углу. — Прости меня, мать пресвятая богородица, — отбила поясной поклон Меланья. — Спаси нас, господи!..

Это была единственная молитва в послеполуночный час на всю Белую Елань...

Апроська не молилась — опоганена, а так-то ей хотелось помолиться, чтоб хоть чуточку полегчало.

Наплакались вволюшку, сели на лавку возле простенка у двух окон в ограду, беззащитные в большом и страшном мире этом. Ни от бога и святых угодников, ни от людей не было им утешения; одинокие, ничего не понимающие в происходящих событиях, обе сготовились отойти в мир иной — свояк-то Егорша с бандитами в ограде! Меланья, когда выходила за Апроськой, двух видела. Кто такие — не опознала, одежду ведьмы взял Егорша — значит, нет теперь ведьмы в амбаре. Стребят, стребят, и дом сожгут казаки есаула.

Много ли, мало ли времени прошло, кто его знает, Меланья услышала отдаленный гром.

— Господи! В масленицу гром гремит! К погибели!

— Ой, мамонька! Хоть бы сгинуть вместе. Ой, как гремит!

Гремел, гремел гром...

В огороде под окнами раздался напряженный мужской голос:

— Григорий Андреевич! Григорий Андреевич! Ее там нету! И в бане нету. Должно, партизаны ворвались в село. Слышь, гремит?!

И тут хлопнул выстрел — стекла звякнули... Еще выстрел и еще раз за разом...

— Тварь красная!.. — заорал во все горло мужской голос. — Твааарь краасная!..

Еще, еще выстрелы...

Меланья с Апроськой упали на пол и поползли под лавки... А откуда-то из деревни: та-та-та-та-та!

— Господи! Господи! Царица небесная!..

— Та-та-та-та-та!.. — И раскаты грома!

В окна по избе полыхнуло кроваво-красным светом, даже свет коптилки разом померк.

— Ой, мамонька! Горим, горим! — вскрикнула Апроська.

— Подождгли нас, подождгли! Ма-а-ату-ушки! — заголосила Меланья, вылезая из-под лавки.

Глянула в окно — не свой дом горит, а где-то дальше на середине большака. Разом в нескольких местах — пожар, пожар!

— Осподи! Казаки жгут деревню! Скоро к нам прибегут! Оденемся, да хоть в коровник спрячемся с ребятенками. Али в пойму уйти, а там в Кижарт. Ну, чаво тыкаешься по избе? Скорей одевайся, Демку понесешь. Я прихвачу Маньку и Фроську. Осподи! Осподи! Горемычные наши головушки! Ра-а-азнесча-а-астные!..

Во всем доме стало светло — будто кровавое солнышко взошло над Белой Еланью.

Огненные столбы подпирают небо...

Перепуганные ребята кричали в три голоса — Меланья не унимала их, поспешно укутывая кого во что попало — скорее, скорее!

X

Пожар! Пожар! Пожар!

И как это всегда бывает при пожарах, по всей деревне всполошились собаки, утробно ржали кони, мычали коровы, по улице мужики гоняли лошадей в санях и на телегах с бочками и кадками — к реке и обратно, соседние с горящими дома укрывали половиками, поливали водой, выносили вещи, визжали ребятенки, причитали женщины, сутились мужики с баграми, топорами, ведрами, и во всей этой суматохе партизаны и освобожденные заложники вылавливали казаков и нижеудинских унтер-офицеров.

Оказывается, было еще три дома на большаке и одни на Приисковой улице, где остановились кулаки-дружинники из Тесинской и Восточненской волостей. Сперва они кинулись на конях по тракту, но там перехватили их Корнеев и Гончаров с двумя пулеметами.

Ни Ной Лебедь, ни Головня не знали, сколько их было теперь, партизан, но давно уже не тринадцать.

Маремьяна с заложниками вынесла оружие из дома Ухоздвигова, Иван Перевалов с поселенцами вытащили в улицу станковый пулемет.

Егор Андреяныч, покончив с беляками у главного дома Юсковых, кинулся на подмогу Аркадию Зыряну.

Казачьих коней мужики согнали в ограду бывшего ревкома, стащили туда седла и оружие, что успели подобрать, помогали партизанам все, кто не был занят на пожаре.

Ной с Головней, оседлав казачьих коней — за своими некогда было бежать, мотались с шашками из улицы в улицу, по всем

закоулкам, рубили на всю силушку.

Застигнутые врасплох, белые нигде не находили спасения.

— Конь Рыжий! Конь Рыжий! — орали унтер-офицеры, охваченные паническим ужасом, отстреливаясь и разбегаясь по оградкам, кто куда, но их вылавливали мужики, пристукивая дубинками и топорами.

Всеобщее возбуждение охватило всех жителей от стороны Предивной до Щедринки.

Ной приказал оцепить деревню, мобилизовав народ, чтоб никто из белых не убежал. Как раз в этот момент встретился с Егором Андреянычем, тот шел улицею — на плече пулемет.

— Много их было тут, ядрена-зелена! Кабы не арсенал Ухоздвигова — не одолели бы. Дружинники-то экие, а? Многих опознал, которые были с нами в восстании в прошлом году. Ну, подлюги!

— Как там Селестина? Не знаешь?

— Откель бы я успел!..

Ной вздыбил коня, развернулся, поддал пятками валенок под брюхо и помчался на конец большака.

Невдалеке от ворот Боровиковых кто-то в голубом казачьем казакине лежал лицом вниз. Ной спешил. Узнал есаула Потылицына. Схватил за волосы, перевернув на спину, желтые глаза таращатся, оскален мелкозубый рот. Секунду-две Ной отупело глядел в желтоглазое лицо. Бросил повод коня, кинулся в открытую калитку:

— Селестина-а-а! Се-е-еле-ести-и-ина-а-а!

Кричал, кричал. И не было ответа.

Рассвет начинающегося утра отбелил небо.

Ной забежал в баню, но там было еще темно.

Чиркнул спичку, огляделся: никого! Увидел холстяной мешок с продуктами и медикаментами отряда. Еще раз зажег спичку — заглянул под полки...

Нету!

— А что же это такое? — кинулся вон из бани. Забежал в овечий хлев — нету, на конюшню — нету. Еще коровник вот. Рысью туда. Одна комолая корова, а хлев на пяток коров. Увидел сметанное сено. При свете спички разглядел чьи-то торчащие из сена ноги в валенках. Вытащил бабу в полушубке...

— Не видела в ограде женщину?

— Осподи помилуй нас! На крыльце там... осподи!..

Бросился из коровника к крыльцу, и тут увидел Селестину.

Она лежала ничком на ступеньках, вытянув левую руку, правая свисала вниз. У Ноя подкосились ноги, и он камнем опустился рядом, повернул Селестину, отстегнул ремень, распахнул полушубок и ухом к сердцу — тихо!

— О, господи! — ему стало душно, и сердце вдруг захолонуло, к горлу подступил комок. Не уберег, господи! Не уберег самого дорогого товарища! Как сестру родную хранил...

Все еще не веря в случившееся, сунул руку под спину Селестины между вязаной кофтой и полушубком, почувствовал под рукою что-то липкое и клейкое... Услышал, как кто-то подошел к крыльцу.

Всхлипнула женщина, проговорив:

— Сенечка! Наша Сенечка! Как же это, господи?!

Ной узнал голос Маремьяны, отвел лицо в сторону, достал из кармана платок, вытер глаза, косо глянул на Маремьяну и Егора Андреяныча, тяжело вздохнул.

— И есаул убит, — недоуменно проговорил Егорша. — Лежит возле ворот. Кто же их тут?

— Должно, есаула она уложила, — с трудом проговорил Ной, — а вот ее кто?..

— Значит, есаул не один приходил, — догадался Егорша. — Точно!

Егорша нашел карабин, кольт и шапку Селестины за крыльцом.

— Вот где он скараулил ее! Снег примят, и кровь. Из кольта стреляла, — понюхал Егорша ствол револьвера.

— Кто еще убит из отряда? — спросил Ной.

— Токо Андрей Перевалов легко ранен в мякоть ноги, а из деревенских — пятеро мужиков и три женщины. Да еще сгорело много в домах.

— Ладно. — Ной помолчал, что-то обдумывая. — Схоронить надо ее. Гроб сделать, да тело где-то прибрать, как должно. Во вьюке на ее Воронке есть платья и все такое, чтоб обрядить. — И только сейчас Ной увидел свою руку в густых потеках запекшейся крови — тошнота подступила. — Воды бы мне! — попросил Егоршу.

Тот побежал в дом и вскоре вернулся с полным ковшиком. Ной выпил воду.

— О, господи! Вот оно как довелось, — тихо проговорил он, поднимая тело Селестины. Голова ее запрокинулась, и черные волосы гривую повисли вниз.

— Папаху-то забыл!

Егорша хотел надеть папаху на голову Ноя, но тот велел положить ее на грудь Селестины.

Она еще тело! Обмоют и положат на лавку — покойницей будет, опустят гроб в могилу и закопают — прахом станет, а для Ноя — вечно живым, дорогим товарищем! Сестрою, которую не уберег!..

— Эко краснующее подымается солнце, — сказал Егорша. — К перемене погоды, кажись. Подморозит опосля масленицы.

Ной тоже видел всплывший над горою за Белой Еланью кроваво-красный лик солнца и подумал, если бы это было возможно, он так и понес бы Селестину крутой дорогою на небо, чтоб запомнить про дела земные, кровавые, с едкой гарью пожарищ и людских слез.

— Одиннадцать беляков живыми взяли, — вдруг сообщил Егорша, принаравливаясь к размашистым шагам Ноя. — Пятеро нижнеудинских унтер-офицеров Шильникова, остальные казаки. Один среди казаков — старший урядник, тяжело порубанный шашкою — по бедру и ляжке — до костей, должно — помер. А при памяти был, когда натолкнулся на него Иван Гончаров на Приисковой улице. Про тебя спрашивал...

Ной не уяснил: к чему Егорша сказал про старшего урядника?

— И што он, тот старший урядник?

— Дак помер.

У Ноя застряли в голове слова Егорши: «Про тебя спрашивал...» Да ведь Дуня обмолвилась, что батюшка Лебедь был в сотне Мамалыгина: «Тяжело порубанный шашкою — по бедру и ляжке — до костей...» О, господи! Ной с Головной рубили дружинников и казаков на Приисковой улице! Да разве мог бы Головня рубануть «по бедру и ляжке?!» Он и шашку-то непутево держит — левша же!

Вскидывалось пламя на месте дома братьев Потылицыных; сруб рухнул, но огонь со свистом рвался из обвалившихся бревен. Рядом домов не было — беспаловский сгорел и еще один, никто из мужиков не тушил огонь — пускай сгорит дотла казачье гнездовье.

В улице возле бывшего дома ревкома — густо толпились мужики, на крыльце возвышался кряжистый, светлоголовый Иван Перевалов в коротком полушубке, при шашке и револьвере, что-то ораторствовал, махая ушастью шапкою в правой руке.

— Вишь, митингует Иван! — кивнул Егорша.

Иван Перевалов увидел Ноя с Селестиной на руках, сбежал с крыльца:

— Ранена? — спросил.

— Убита! — ответил Егорша.

— Што-о-о?! — вытаращил глаза Иван, глянул в лицо Селестины.

Ной с Егоршей и Маремьяной пошли дальше, толпа разваливалась перед ними на две половины.

...Рыжебородый старик был еще жив, когда увидел его Иван Гончаров. Ворочаясь в снегу возле чьей-то изгороди, хватаясь рукою за жердины, старик спросил: что за банда налетела на них? Не Ноя ли Лебеда?

— А вам не все равно? — спросил Гончаров, собираясь пристрелить старика.

— Ежли не Ноя Лебеда — убивай, бандюга, шток не мучиться. Я вас тоже немало спровадил на тот свет! Стреляй! Стреляй! Да ежли встретите где Ноя Лебеда, скажите ему мое остатное слово: проклиная я его! Слышь, мол, отец проклиная паскудного выродка! Прости мя господи!

Гончаров кликнул Аркадия Зыряна, чтоб помог унести старика в ревком, шепнул на ухо:

— Отец Ноя Васильевича. Да никому ни слова!

Старика занесли в большую комнату. И тут после перевязки старый Лебедь тихо отошел без мира в душе.

Вскоре Ной пришел в ограду ревкома, поглядел на сложенные возле заплота трупы убитых, узнавая на некоторых свою «тяжелую руку»; Гончаров и Аркадий Зырян с партизанами поглядывали на командира со стороны.

— Все тут лежат? — спросил Ной,

— Один еще в ревкоме — вот его документы, — ответил Гончаров; Аркадий пошел из ограды в улицу, а за ним и все остальные; Гончаров подал командиру документы.

Ной взял документы... Старший урядник Василий Васильевич Аленин-Лебедь, уроженец станицы Качалинской Войска Донского, атаман станицы Таштып — Енисейского войска, 1858 года рождения...

По крыльцу из ограды прошел в большую комнату и тут увидел возле двери у стены тело, накрытое попоною. Отвернув край попоны, посмотрел в мертвое лицо,

— Отец!..

Склонив обнаженную голову, Ной стоял на коленях перед прахом отца, покачиваясь с боку на бок, и даже не осенив себя крестом. Покойная Селестина как-то сказала ему: «Ты, кажется, разучился молиться?!» Ной много раз думал о том. Перемена в нем произошла неожиданная, резкая, как будто он диким горным архаром перепрыгнул с одной горы на другую, и еще не уяснил, где он теперь находится!..

XIII

А гвозди вбивали и вбивали в гробы...

Настал длинный-длинный день для Ноя. Он сидел под навесом в надворье Вавилова, навалившись грудью на эфес шашки, втянув голову в плечи, будто Егорша с Аркадием Зыряном и еще двумя мужиками в четыре молотка вбивали железные гвозди не в два сосновых гроба, а прямо ему в сердце.

Два сосновых гроба...

Он никому не сказал, для кого понадобился второй гроб, приказав сделать его, но все партизаны без слов поняли, и Егорша снял мерку с тела старого Лебеда.

Никто из партизан в этот длинный день не лез к Ною ни с расспросами, ни за советами, сами управлялись.

Много-много крутых и страшных событий произошло всего-навсего за один минувший год!..

Увидел Дуню. Она спускалась с резного крыльца дома Вавилова в сапогах и распахнутом черном полушубке; пуховый платок, спущенный с головы, свисал длинными концами вниз по полушубку,

она шла к нему через двор по черному снегу, опустив голову, скомканный носовой платок держала возле губ.

Ной сперва поднялся с перевернутой пустой кадки, поправил ремни на бекеше и снова сел, прямо и твердо глядя на опущенную черную голову Дуни с ее трепыхающимися по вискам кудряшками цыганских волос.

Хрустя сосновыми стружками, Дуня приблизилась к Ною, вскинув на него мокрые покрасневшие от слез глаза, глубоко вздохнула. Не поздоровалась, и сам Ной, расставшись с нею в ограде Ухоздвиговых, так и не спросил ни разу, что с Дуней? Жива она или мертва?

Смотрели в глаза друг другу до ужаса знакомые, когда-то близкие, и вместе с тем — такие далекие и чужие. Рок упорно сталкивал их на резких поворотах судеб, и свирепые ветры дули в лицо им обоим. И как это ни странно, минувшая ночь не только не сблизила их, а вовсе разбросала в разные стороны...

— В нашем доме было золото... Оно же не сгорело. Не хочу, чтобы оно досталось карателям. Поищите с партизанами...

— Ладно. Поищем.

— Я уезжаю... Прощайте, Ной Васильевич!

— Прощай, Евдокея. — Он даже не спросил, куда она уезжает? Дуня постояла и пошла прочь.

Ночью Ной с Егоршей и Ольгой Федоровой отвезли на паре саней два гроба на кладбище у поскотины и там захоронили.

XIII

В ту же ночь курагинская дружина с тремя пушками и семью пулеметами угодила в засаду под огонь партизан. Не успев развернуть орудий, бросив обоз с продовольствием и боеприпасами, разбежались по тайге, оставив множество трупов на снегу...

На другой день с раннего утра Головня с двадцатью партизанами часа три рылись на пепелище дома Юскова, и не напрасно: отыскали около трех тысяч сплавившихся золотых монет — пятнадцатирублевиков, сгодятся. Но слитков не нашли.

Поселенцы Щедринки — старики, старухи, детишки семьями уходили в тайгу.

Под вечер партизаны покинули Белую Елань. И было их не тринадцать, а сто пятьдесят. Ной решил присоединиться к отряду Щетинкина из Ачинского уезда; если такой отряд есть на самом деле.

За Тубою партизаны разбились на два отряда: Иван Перевалов с трофейными пушками, пулеметами, конницей и с большим санным обозом подались на Верши-но-Биджу, в исток Томи. А Ной с товарищами пошли дальше Енисейской тайгой.

В первых числах апреля встретились с передовым отрядом Щетинкина, командиром отряда был Артем — Артем Иванович Таволожин...

Щетинкинцы направлялись вниз по Енисею, в Заманье, где действовал большой отряд партизан Кравченко.

И тайга, тайга, с глубокими подтаявшими снегами. Тропы утаптывали всем отрядом, чтобы можно было тянуть за собою обоз с пушками и пулеметами на санях.

Поспешали вперед, в трудное, но неизбежное...

ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ

I

Ветры и судьбы!..

Ветры и судьбы жесточайшего времени!..

Хлестали суровые ветры по всей Россиюшке, замечая следы кровавых лет.

Красная Армия дотаптывала в смертельных схватках последние разрозненные отряды белых...

К концу 1919 года почти вся Енисейская губерния была освобождена партизанами от интервентов и белогвардейцев.

Дивизии, дивизии, полки и полки Пятой Красной Армии, перевалив Урал, неудержимо двигались в глубь Сибири, вызволяя от белогвардейцев город за городом, уезд за уездом.

Отпузырился взлетевший в верховные правители России кровавый адмирал Колчак. Год назад он оповестил мир, что въедет в Москву на белом коне, вышло так, что кубарем покатился на Восток!

Омск пал. Верховный правитель бежал, и про него распевали:

*Табак японский,
Правитель — омский,
Табак скурился,
Правитель смылся...*

В тылу белогвардейцев восстания крестьян охватывали уезды, вплотную подступая к Транссибирской магистрали, а за Красноярском тасеевские партизаны в середине декабря перехватили горло железной дороги.

Отборной колчаковской армии во главе с генералом Каппелем довелось отступать на Восток тайгою, минуя партизанские пожарища. В пути теряли обмороженных, сами добивали раненых...

В Минусинском уезде образовалась партизанская республика.

II

В конце декабря белые бежали из Красноярска...

С одним из недобитых отрядов в деревушку Ошарову на Енисее приехала Дуня Юскова со своим «последним огарышем судьбы» Гавриилом Ухоздвиговым.

Деревня сразу наполнилась под завязку драными и обмороженными воителями.

Рота капитана Ухоздвигова вместе с казачьим полком приступила к реквизиции лошадей, продовольствия, шуб и полушубков, теплых штанов и шапок — давай, давай!

На всю роту у капитана Ухоздвигова — одна трехдюймовая пушка, три пароконных упряжки со станковыми пулеметами и боеприпасами да еще кошева самого капитана.

Казачий полк забил все ограды, избы, бани, подкармливая лошадей. А сами казаки чистили под гребенку хозяев — вопли, слезы не трогали белых воителей.

Реквизиция! Реквизиция!

Дуня в шубе и пуховом платке шла улицею с капитаном Ухоздвиговым, уговаривая его бежать на прииски, минуя тракты.

— Если в Белой Елани Головня — нас не тронут. Ты же не командовал карательными отрядами!

— Тебя оставят, меня — шлепнут, — оборвал рассуждения Дуни сутуловатый Гавриил Иннокентьевич. — Но помощь нам ты оказать можешь. Найдем хороших лошадей, и с каким-нибудь мужиком выедешь в разведку до Новоселовой. Есть сведения, что партизанская армия Кравченко и Щетинкина уходит из уезда на Ачинск.

— Што ты только говоришь, Гавря! Меня же там схватят как шпионку и тут же расстреляют. Или ты не понимаешь, кто такой Щетинкин?! Только попадись к нему. Мало ли я натерпелась страхов, боженька!

— Хм! «Боженька», — ворчал капитан. — Тебя не волнует ничья судьба, кроме твоей собственной. Но ты не забывай, что Мамонт Головня живым остался благодаря твоей помощи.

— Ну и что?

— А то, что если об этом узнают...

— Не угрожай, пожалуйста! Сам же меня бросил тогда на растерзание, и он же мне еще угрожает!..

— Оставим этот разговор, — отмахнулся капитан. — Что, в сущности, спасти нам? Шкуры? Армия откатывается ко всем чертям! Вся военная наука ни черта не стоит перед сермяжной, оболваненной большевиками толпой! Это же величайший позор для истории России! Адмирал смылся, генералы вприпрыжку за ним. А главком Пятой Красной Армии всего-навсего бывший поручик! Стыд и срам! У нашего генерала такое состояние, что я боюсь, как бы он не пустил себе пулю в лоб!

— Не пустит!

— Ты все знаешь! Думаешь, легко перенести такой удар, как развал всей белой армии?

Дуня примолкла. Шли улицею, взаимно недовольные друг другом. А мороз жмет, жмет, лютует...

И кого же видит Дуня! Уж не обозналась ли? Бородища красная, длинная шуба нараспашку и до ужаса знакомая морда!..

Мужика с красной бородой ведут два молоденьких прапорщика, суют ему в бока и спину маузерами, приговаривая:

— Ты найдешь, рыжий! Ты сейчас все найдешь! Волком взвоешь, подлюга!

— Господи! Господи! — постанывал рыжий мужик. — Игде взять тех коней? Нету у меня коней, ваши благородия! Вот вам крест святая

икона спаса Суса!

— Рразговарривааай, ррыло!

Дуня ахнула:

— Боженька! Да это же... Гавря, останови прапорщиков, пожалуйста!

Капитан задержал офицеров. Дуня вплотную подошла к мужику, присмотрелась.

— Кажется, Филимон Прокопьевич? — спросила.

— Господи! Богородица пресвятая! Неужто это вы?! — выпалил Филимон Прокопьевич, уставившись синими глазами на барыню в шубе, поярковых пимах и ворсистом платке, пахучую — за сажень прет духмянностью. — Дочь Елизара Елизарыча?

— Ну, конечно, Филимон!

— Самолично, господи! Вот господа охфицеры заарестовали за коней, а игде их взять, тех коней?! Спасите меня за ради господа бога! Ущербный я, в болести пребывающий! — Филимон сдернул шапку, отвесил поклон и осенил себя размашистым крестом. Какая разница, на кого молиться? Была бы польза. С дочерью-то упокойного Елизара Елизаровича офицер, авось воссочувствует. — Спасите за ради бога! Как вроде сама богородица на путе моем тяжком, — и крестом себя, крестом, вылупив глаза.

А у богородицы зубы ядреные, сахарные, уста не миррою окроплены, греховные, а в глазах, как в смоле кипучей, чертяточки прыгают, бесятя, потешаются над рабом божьим Филимоном Прокопьевичем.

— А я его знаю, — сказала Дуня капитану.

— Как жа! Как жа! Земляки жа! В тяжкой болести пребываю, опосля Смоленскова лазурету. При белом билете, как умственно не шибко! Заобижен господом богом! За што, про што, сам того не ведаю.

Дуня расхохоталась на всю улицу, улыбнулся и капитан Ухоздвигов. Филимону то и надо: дурак он, набитый дурак — ни мозгов, ни силушки, по миру ходит с сумой который год.

— Ой, умора! «Заобижен богом»! Из «лазурету»! — покатывается Дуня. — Уж если назвал богородицей, воссочувствую. Капитан, скажи прапорщикам, пусть его отпустят.

— Как, то есть, отпустить? — уставился курносый прапорщик. — Он лошадей скрывает в тайге, господин капитан. Староста показал:

хитрее этого рыжего мужика бывает только сам черт. А мы пешком будем тащиться из-за таких рыжих сволочей?

— Какие лошади? — заступилась Дуня. — Он ведь нездешний, из Минусинского уезда, Белой Елани. Там у него остались лошади, хозяйство и дом. А он еще в прошлом году убежал из дома, чтобы не принимать участие в восстании. Мы же земляки.

— Истинно так, пресвятая богородица! Бежамши, бежамши от сатанинского восстания, на какое подбили мужиков анчихристы со звездами во лбу. И батушку мово, умом тронутова, подбили. А я бежамши пешком в одних шароварах. Где миром просил, где натошак бродил, да клял красных анчихристов, штоб им всем околеть!

— Староста не сказал, что он нездешний, — переглянулись прапорщики.

— Зоб староста-то! Это он сам тройку коней прячет в тайге, вот вам крест святая икона! И красным вспомоществование оказывал. Самолично видел, как к нему с Маны на лыжах тайно приходили бандюги красные! Али не я кровь проливал и слезы горячие от красных сатанов?

Дуня шепнула капитану, что это тот самый Боровиков — хозяин дома, где учинил над нею казнь есаул Потылицын. Отец его действительно убит во время восстания, брат — красный комиссар — расстрелян у тюремной стены. А этот — всех чертей переживет, любой масти, хоть красной, хоть белой.

— Ах, вот как! Из тех Боровиковых?!

Филимон трухнул. Легко сказать — «из тех Боровиковых»! Сколько времени таился у белокриничницы Харитиньюшки, накатывая сало на бока, и вдруг — «из тех Боровиковых»!

— Упаси господь, ваше благородие! Не из тех, не из тех! Из самоличных, следственно... Те — сами по себе издохли, как собаки, а я проживаю со Христом-спасителем.

— Это вы про отца и брата: «издохли, как собаки»?

Филимон и тут сообразил:

— Ежли хоша бы и отец взял сторону анчихристов с красными звездами во лбу, то хто он сам? И тот «оборотень», какой прикидывался Боровиковым, а ни с какой стороны не Боровиков! Вот вам крест: фамилию только запакостил!

— О! Это, пожалуй, не так ущербно сказано, — скрипнул капитан Ухоздвигов. — Вы мне по душе, Боровиков, «без красной звезды во лбу». Но помните, что вы сейчас сказали об отце и «оборотне» — комиссаре. Сейчас я вас мобилизовываю. Прапорщики найдут хорошего коня и вы повезете в Минусинский уезд Евдокию Елизаровну, свою землячку.

У Филимона в ногах жидко стало. Домой! От сладостной Харитиньюшки да к немилостивому тятеньке в лапы...

— Пооомилоосердствуйте, ваше высокоблагородие! — взвыл Филя, готовый назвать капитана даже Христом-спасителем. — Не можно мне домой. С отцом смертоубийство произойдет за восстание, на которое он праведников водил.

— Вы что, не знаете, что ваш отец погиб в восстании?

Филимон и в самом деле не имел никаких известий из дома.

— Спаси мя, не слыхивал!

— Ну, видите! — сказал капитан. — Так что вам давно пора вернуться домой и стать хозяином. Прапорщик, помогите ему собраться и приведите в сборню. А вы подпрапорщик, сообщите полковнику о старосте. И если он действительно имел дело с бандитами и спрятал лошадей — все имущество конфисковать, всю семью расстрелять! Ясно?

— Так точно!

У Филимона в брюхе заурчало — на старосту-то наврал ради спасения живота своего. Подпрапорщик ушел. Филимон переминался с ноги на ногу.

— Идите! Живо собирайтесь — и в дорогу с землячкой.

— Дык-дык, ваше превосходительство, — поднимался все выше в чинопочитанье Филимон Прокопьевич. — Ежли домой, как сказали господину, то за конями на заимку сходить надо. У красных бандитов отбил недавно — лоб в лоб схлестнулся с ними в тайге, трех укокошил, а коней спрятал, — врал беспощадно Филимон Прокопьевич. Как можно сказать, что спрятаны свои кони, когда Христом богом клялся, нет у него коней?!

— Слышите, господин капитан? — возмутился прапорщик. — Есть у него кони!

— Ясно! — кивнул капитан. — Идите с ним на заимку за конями. Быстро!

Когда прапорщик ушел с Филимоном, Дуня схватилась за живот:
— Ой, умора! Я чуть сдюжила, ей-богу. Никаких красных он не убивал и в глаза не видывал!

Капитан Ухоздвигов не смеялся:

— Ничего, мы его так повяжем — не прыгнет, не дрыгнет! Он еще нам пригодится!

Капитан с Дуней вернулись в дом деревенского спекулянта, где они остановились вместе с командиром разбитой дивизии.

Генерал Толстов лежал на жестком диване. Шинель распахнута, погон сморщился, седая голова запрокинута, как у покойника. Выслушав капитана Ухоздвигова, поднялся, запахнул полы шинели.

— Это вы хорошо придумали, капитан! Очень важно точно знать: если ушли из Минусинска в Ачинск банды Кравченко и Щетинкина — для нас это спасение! Мы так можем до весны продержаться, а затем через Урянхай и Монголию до Харбина. Третьего нам не дано. Полагаюсь во всем на вас, Евдокия Елизаровна. Если нужны деньги, капитан, берите в нашей кассе сколько требуется, на ваше усмотрение.

— Слушаюсь, господин генерал!

Толстов снова завалился на диван, закрыв холеной ладонью верхнюю часть лица...

III

Разве мог Филимон Прокопьевич оставить лошадей, которых сберег от всех напастей всякими правдами и неправдами! Одному богу известно, как он изворачивался, когда в Ошарову наезжали военные, чтоб взять у мужиков коней, скотину-животину. Филя не мешкая скрывался на заимку в тайгу — избенка в распадке гор возле Маны, отлеживал бока, топил самодельную глинобитную печь, охотился на зверя, вдосталь варил мясо, доглядывая за тремя лошадьми: парой своих, и мерином Харитиньюшки.

«Жили-то как ладно, осподи! Кабы не война!» Про войну Филя вспомнил нечаянно. Ни белые, ни красные не цеплялись за его шаровары. Какое ему дело до них, белых и красных? Не ему власть вершить! Землю ворочать надо. А вот каким манером выжить при белых и красных — тут Филя мозговал. Не шутейное дело — выжить! «Ишь, как обернулось с батюшкой! А я, слава богу, убог! Кокнули бы.

И белые вот. Эко верховодили, писали приказы про стреление красных бандитов, а таперича сами шуруют. Куды шуруют? К погибели!»

А вот и заимка Филимона. Избушка, пригон для овечек с теплым навесом, конюшня из ельника для трех коней, два стога сена рядом. Под копной соломы кошевочка — загляденье: оглобли крашены, дуга с росписью, колокольчики привязаны. Кони упитаны не меньше самого хозяина, то и разницы — умственной ущербностью не страдают, взлягивают от сытости, готовы хоть сейчас в поход.

— Бери всех трех! — приказал прапорщик.

— Не можно! — возразил Филимон. — Гавриил Иннокентьевич, с которым мы, можно сказать, дом к дому проживали в Белой Елани, как и с госпожой Юсковой, велел взять двух. А мерин — хозяйки, у которой я сымал фатеру. Да и по губам гляньте — вислые, значит, старый и по бабкам — на ноги посажен. Кляча, не мерин.

Солнце свернуло за обед, когда Филимон с прапорщиком в кошевке подъехали к сельской сборне — штабу полка. Капитан позвал его в комнату писаря, усадил на стул, сунул ручку, чтоб писал заявление про убитых красных бандитов, и положил на стол маузер — страхи господни! Филя сперва ссылался на полную неграмотность, но тогда капитан сказал: если он, Филимон, будет петлять перед ним, то согласно приказу генерал-лейтенанта Розанова, он, капитан Ухоздвигов, шлепнет Боровикова, чтоб воссоединить Филюшу с братом Тимофеем Прокопьевичем и отцом... И Филя сдался. Написал «заявленью» под диктовку капитана Ухоздвигова о всех своих «патриотических» подвигах, аж самому стало страшно: до чего же он был отчаянный белый!..

Заручившись заявлением, капитан сказал, что он проводит Евдокию Елизаровну до Езагаша, откуда Филимон с нею поедет в Даурск и Новоселово.

Филимон не забыл о вещичках, которые надо было взять у Харитиньюшки. Подъехал к избенке с Дуней и капитаном, сходил за вещами и мешком овса на дорогу — «кони допреж всего!»

Харитиньюшка вопила на всю улицу, заливаясь слезами:

— Воссиянный! Воссиянный! На кого меня покидаешь?!

Ну и все такое, бабье. Филимон покряхтывал, сопел в бороду, не по своей, мол, воле, а как «замобилизованный», возвернусь, бог даст.

Но Харитиньюшка не верила, что Филимон вернется вскорости: там у него хозяйство!.. Детишки...

— Соответственно, понаведаюсь, гляну, как домом верховодит батюшка, да раздел имущества восстребую. — И прикусил язык. Как можно «востребовать раздел» с покойного отца?

Капитан усадил Дуню, укутал в доху. Харитиньюшка долго еще бежала за кошевой, истошно взывая: «Воссиянный, воссиянный, возвернись!»

«Воссиянный», не оглядываясь, понужал коней.

Ночевали в Езагаше в богатом доме, и капитан Ухоздвигов еще раз «прошуровал» мозги Филюши, нагнав на него страху до нового светопреставления — в зобу дыханье сперло! По всему выходило так, что сам капитан Ухоздвигов собирался жить где-то возле приисков и содержать при том «вооруженные силы»...

— У красных будешь — козыряй братом-комиссаром и отцом! — наставлял Ухоздвигов. — Ну, а в случае чего — на небеси взлетишь! У меня в тайге руки будут длинные — учти и заруби себе на носу!

Учел и зарубил на носу... Распрощались.

Теперь уже без капитана, с «пресвятой богородицей», Евдокией Елизаровной, Филя поехал дальше по морозной утренней сизости, аж стальные подползки звенели по льду Енисея. Гони, гони, Филя! «Эко захомутал, стерва! — подумывал он. — Вить заявленью выдавил из меня духовитую. Ежли попало бы в руки Головни — каюк! Вить самолично составил и прописался доподлинно Боровиковым!..»

Дуня, как залезла в кошевку, укуталась в доху, так и уснула сном праведницы. Ни мороз ее не берет, никакая худая немочь.

Отоспалась «богородица», в расспрос пустилась: верит ли Филимон Прокопьевич в бога? В православного или в тополевого? Как жил в Ошаровой?

Филя отвечал сдержанно — он не духовник, а бог для него, как и для всех, един, на небеси пребывает. И про Ошарову мало сказал.

— Ох, и молчун ты! — молвила Дуня, отворачивая лицо от ледяного хиуза. Ветра будто нет, а лицо жжет и губы твердеют, торосы занесены снегом, и такая кругом пустынность, как будто за сто верст окрест нет никакой живности — ни зверя, ни птицы, ни человека.

Дуне холодно. И скушно — глаза бы не глядели. Куда она едет? На пепелище? Что ее ждёт там, в Белой Елани? Чужие углы,

немилостивые люди и вечная неприкаянность? Она не верит, что белые могут прорваться в Урянхайский край — везде красные! Спереди и сзади. В Новоселово она теперь ни за что не вернется. Может, жив Мамонт Головня со своими партизанами? Головня помилует Дуню, ну, а потом как жить? На притычке у красных? Ни приисков, ни миллионов! Все и вся «пролетариям всех стран, соединяйся»!

— Пшли, пшли! — пошевеливает вожжами Филя.

— Далеко до Даурска?

— Верст десять аль пятнадцать — кто их тут мерял, версты! — пробурчал Филимон, обметая лохматкой заиндедевскую бороду.

— Иззябла я! — пожаловалась Дуня. — Ты хоть повернись ко мне, заслони от ветра. Иль ты не мужчина?

— Само собой, — пыхтел Филимон Прокопьевич, неумело подворачивая бок к землячке.

— Да вот так, вот так! — Дуня сама повернула к себе недогадливого земляка и полезла настывшими руками к нему за пазуху под шубу. — Ох и сытый ты, боженька! — И что-то вспомнив, сказала: — Я как увидела твою красную бороду, испугалась даже. Конь Рыжий, думаю.

— Эко! Разе кони с бородами? Гривы у них.

— Был и с бородой Конь Рыжий.

— Не слыхивал и не видывал. Поблазнилось должно. Еман — тот с бородой.

— Не еман, а Конь Рыжий! Какой же это был чудной Конь!

Помолчали, каждый потягивая собственную веревочку.

— Что же ты скажешь Меланье, когда приедем? — спросила Дуня.

— Чаво говорить? Нече. Хозяйство мое, и все тут.

— Но ведь ты двоеженец теперь?

— Как так?

— А Харитинья кто тебе? Жена! Как она бежала за кошевой-то! «Воссиянный, воссиянный!..» Хоть бы оглянулся на нее.

— Чаво оглядываться? Погрелись и ладно.

— Ох и жук! — сказала Дуня с веселинкой и завистью. — Изображаешь из себя ущербного, а хватило ума жить при собственном интересе. И коней вон каких имеешь!

Филя не любил, когда его выворачивали наизнанку — недовольно побряхтывал, пошевеливая вожжами.

— А Тимофея Прокопьевича в куски порубили!

Филя не охнул — порубили, ну и пусть. Он жив-здоров, слава Христе.

— Какой это был красивый человек! — подковыривала Дуня. — Такого и взаправду полюбить не грех.

— Ишь ты! Дык и сестра ваша, утопшая Дарья Елизаровна, также заглядывалась на Тимоху.

— Ой, как же меня исказнил есаул Потылицын в вашей молельной! — с маху перескочила Дуня. — Иконы, кругом иконы, свечи горят, ладаном пахнет, а меня бьют, бьют, выворачивают руки, таскают за волосы!.. Как я только в живых осталась, сама не знаю. «Святой Ананий»!.. Чтоб ему на том свете черти смолой пасть залили.

На этот раз Филя заинтересовался: в моленной горнице? «Святой Ананий»? Тот самый, которого в марте прошлого года вез Филя, и они нарвались на волков?

— Он и Меланью твою с ребяташками сжег бы с домом, — продолжала Дуня, — если бы его вместе с казаками не прикончили в ту ночь партизаны Мамонта Петровича.

— Ни сном-духом не ведал того.

— Где уж тебе, «воссиянный»! У тебя была Харитинюшка.

Филя ничуть не устыдился — вздохнул только. Не от огорчения или натуги, а просто так вздохнулось.

Руки Дуни отогрелись за пазухой Филимона, щекочут, окаянные.

— Ой, не щекочи! Не щекочи! Из кошевы выпрыгну, ей-бо!

Дуня потешается:

— Душу хотела прощупать у тебя, да ты такой сытый боров! Сала-то, сала-то сколь накопил! Да вот что — фамилию свою нигде не называй и что мы едем в Белую Елань. Я буду за тебя говорить. Хоть с красными, хоть с белыми.

Филимон согласен: меньше хлопот.

Поздним вечером приехали в Даурск. Дуня спросила прохожую бабу: нет ли в селе белых или красных. Ни тех, ни других. Тихо.

На ночлег остановились в зажиточном доме — у Дуни водилось золотишко, и она не поскупилась — пятнадцатирублевый империял положила на ладонь хозяина за ночлег, угощение и мешок овса для

коней. У Филимона даже в ноздрях завертело от такой щедрости! Мыслимое дело — империял! Он за полтора года скопил трудом праведным и хитрым всего-навсего десяток империялов и пачку николаевок, столь же ненадежных и неустойчивых, как беспрестанно меняющиеся власти. А золото, оно всегда останется золотом, Подумал — сколько же заплатит Евдокия Елизаровна самому Филимону? Или сунет кукиш под нос?

Хозяин с хозяйшкой расщедрились — поросенка прирезали и целиком зажарили для знатной гостыи с ее рыжебородым ямщиком, самогонкой угостили, и Филимон Прокопьевич не отказался — пропустил огненную чарочку.

В застолье разговор шел про красных и белых. Когда же кончится несусветная круговерть?

— Как жить таперича? — спрашивал дотошный хозяин, догадавшись, что гостыя с империялами не иначе, как от белых пробирается в Минусинск, чтоб разведать, нет ли где прорехи у красных? — Откуда они взялись, эти красные? Ежли, как вот щетинкинцы, так это же, господи прости, голь перекатная, ачинская, поселенческая. Добра от них не ждать. В разор введут.

— Истинно в разор, — поддакнул Филя.

— Хотелось бы знать, есть ли сила, чтоб стребить красных полностью?

Филимон Прокопьевич кстати вспомнил:

— Дык во святом апокалипсисе Иоановом сказано, как семь ангелов вступят в трубы...

— Хватит про трубы и про ангелов, — оборвала Евдокия Елизаровна, поднимаясь из-за стола. — Мы так намерзли за дорогу, ужас. — А глазами так и режет Филимона под пятки, чтоб не болтал лишку.

Толстеньякая старушка-хозяйка отвела гостям горенку — узорчатые половики, божница с иконами, лампадка, свечечки, занавески на трех окошках, бок голландской печи, обтянутой жестью, кровать с пуховой периною и пятью подушками — рай господний!..

Филимон хотел остаться в избе с хозяином, но Дуня не отпустила от себя. Когда старушка ушла, Дуня прислушалась к ее шагам, посмотрела за дверь и тогда уже предупредила:

— Про ангелов и архангелов в другой раз сны не рассказывай!

— Дык-дык — как по писанию...

— Без всяких «дык» и «тык», — укорачивала Дуня. — Едем домой, и все. Ни красных, ни белых.

— Оно так. К лешему их, — согласился Филимон.

На треугольном столике горит керосиновая лампа под стеклянным абажуром. Красная сатиновая рубаша Филимона с косым воротником, застегнутым под кадык на его толстой шее, отливает кровью, и рыжая борода на красном не так резко выделяется. Плисовые шаровары вправлены в самокатные валенки с голенищами выше колен. Дуня пригляделась к нему:

— А ты и вправду не похож на Тимофея.

Филимон который раз отверг сходство с убиенным братом.

— Нету у меня с ним схожести. Каждый в своем обличье проживает. Хоша бы вы. Как помню Дарью Елизаровну — очинно похожие, да токо все едино разные.

— Что правда, то правда, — вздохнула Дуня. — Ну и ладно. Будем спать, — сладко потянулась она, выгибаясь и закинув руки за голову. На ней была вязаная кофта с кармашками, темное платье и фетровое угревьё на ногах. Вместительную дамскую сумочку и кожаный саквояж она определила на венский стул возле кровати.

— Почивайте. На экой постели вроде, как принцесса.

— То богородица, то принцесса, — прыснула Дуня. — Уж что-нибудь одно. На принцессах красные воду возят. Уж лучше останусь богородицей.

— Ох, грехи, грехи!

— Какие грехи?

— Богородицу всуе поминать.

— Не ты ли меня назвал богородицей?

— Дык согресишь с вами!

— Грех родителя бросать, когда он идет на битву с врагами. А ты ведь бросил, не убоялся. Ну хватит про грехи! Спать надо.

— Приятственных снов.

Филя хотел уйти, но ладонь Дуни легла ему на плечо...

— Не оставляй «пресвятую богородицу» — она ведь из пужливых, — пропел медовый голос. — У старика видел какой взгляд? Как у скорняка. Не хочу, чтобы завтра он скоблил сало с твоей. шкуры

и вырезал рубцы на моей. Моя шкура в рубцах. Что так уставился? Раздевайся, «воссиянный».

У Фили в ноздрях стало жарко. Экая неумная! В глазах смола кипит, губы припухлостью манят, но разве мыслимо, чтоб с этакой краснеющей доченькой упокоюного Елизара Елизаровича, который и полтину-то пожалел для Филимона, вдруг хотя бы на одну ночь разделить постель? Не полтину в руки, а духмяной плотью рода Юсковых завладеть! Умом рехнуться можно. Но ведь сама позвала, сама! Али насмешку строит?

Дуня как будто не видит замешательства Филимона, переступающего с ноги на ногу, спокойно сняла фетровые сапожки, кофту, расстегнула пуговицы по боку платья, наклонилась, подхватила подол руками, точь-в-точь, как Филя сдирал шкуры с желтых лисиц — с хвоста и через голову. «Экое происходит! Совращенье вроде», — подумал Филимон, не уяснив, кто и кого совращает: диавол ли в образе дочери Юскова, или сам господь бог испытывает твердость духа Фили? Рядышком плоть духмяная. Вынула шпильки из узла волос, откинула чернущую гриву за спину, а глазами прожигает насквозь, и усмехается, усмехается. Белая рубашка с кружевами, должно, шелковая, французская, какими торговали нищие буржуйки на барахолке в Красноярске. Белые, белые руки — не Харитиньюшки или Меланьи, а изнеженные, соблазнительные своей наготою. На спине от белой и высокой шеи и по покатым плечам — рубцы чуть краснее кожи.

Дуня перехватила взгляд Филимона:

— Любуешься на метки есаула?

— Осподи! Этак исполосовать!..

Не стесняясь, Дуня поставила ногу на круглое сиденье венского стула, задрала рубашку, стащила резинку, а потом и шерстяной чулок с ноги. У Фили стало горячо в глотке от окаянного видения. Мнет половики под валенками. Дуня достала из саквояжа вороненый пистолет, сказала, что это у нее браунинг, положила под подушку, и сумку туда же, легла в постель, как в пенное улово Амыла.

— Ну, что ты топчешься, как мерин у прясла!.. Поставь стулья к двери. Не так! Стул на стул. Если кто войдет к сонным — стулья грохнутся на пол — проснемся. Какой ты неповоротливый. Ну вот. А теперь ложись.

Филя потушил лампу, разделся, перекрестился во тьме, успев прочитать молитву на сон грядущий, завалился на пуховик. Вздохнул. Дуня лежала к нему спиной, лицом к стене. Молчит, а он не смеет дотронуться до ее духмяного тела. Оторопь напала. Собака взлаяла в ограде, и опять стало тихо. Еще раз где-то уже в улице взлаяла собака. Угол дома треснул — мороз жучит. Слышит, Дуня мерно засопела. «Ну и лешак с ней, пушай спит!» Повернулся на правый бок и помолился:

— Слава Христе, не совратила!

И тут же вспомнилась домовитая Харитиньюшка. Уехал ли он от Харитиньюшки несовращенным, или во грехе и блуде по уши утоп, и сам того не понимает!..

IV

Проснулся Филимон с третьими петухами. Из тепла да на дымчатую искристость мороза. Градусов под сорок. Старик-хозяин со вдовицей невесткой хлопотали во дворе. Вдовушка принесла два ведра степенной воды из бани. Филимон спасибо сказал и напоил коней. Отсыпал по мере овса в две торбы, подвесил коням на головы — пушай насыщаются красавцы. В конюховской избушке занялся сбруей — кое-где надо подтянуть, бляхи на шлеях надраить, чтоб все было чин чином.

Невестки хозяина успели подоить коров — по два ведра молока притащили. Филя прикинул: в зимнюю пору, когда коровы стельные, четыре ведра не надоишь от четырех. Наверное коров восемь. Старик тем временем скорняжничал — скоблил на стенке овечьи шкуры.

Сперва тихо, а потом все певучее зажжужал сепаратор. Эх-хе! Кабы завести такую машину — сколько было бы прибыли!..

Долго ждал, когда проснется землячка — пора бы и ехать. Пошел в горенку, зажег там лампу — серянки всегда при себе держал. Дуня так-то сладко потянулась, выпростав руки из-под одеяла. Щурясь на свет, усмехнулась:

— Воссиянный!.. Как крепко я спала. За целый век. И такой страшный сон приснился.

— В тепле с морозу завсегда сны видишь.

— Какие-то пожары, пожары! А я все бегу, бегу, а Конь Рыжий гонится за мною. Ужас! Который раз один и тот же сон вижу.

— Стало быть, сродственность поимели с Конем Рыжим, —
ввернул Филя.

— Боженька! С кем только у меня не было сродственности, а все одна. — И, взглянув на Филимона: — Вот и с тобой, как сродственники спали под одним одеялом, а проснулась — одна-одинешенька. Сродственничка за всю ночь ни разу не почувяла. Ужли с Харитиньюшкой ты проживал таким же сродственником? Уйди, мерин, я оденусь.

Слова Дуни, как горячие оладьи со сковороды на обе щеки. Эко поддела под ребра доченька упокойного миллионщика!

Чаевничали — Филя глаз не поднял на землячку.

Помог ей одеться, вывел к кошевке, заботливо усадил, гикнул, свистнул, щелкнул ремненным бичом, и кони понесли рысью по сонной улице Даурска, а за селом — займищем...

Бегут, бегут сытые кони, колокольчики серебром разливаются в немую пустынность, а Филе невтерпеж — стыд ворочается в сердцевине. Чтоб баба в лицо кинула, что он не мужик, такого позора никто не сдюжит.

Дуня, ничего не подозревая, пригрелась возле Филимона и крепко уснула.

— Ужо, погоди!

Свернул с дороги и легкой рысью погнал лошадей в глубь займища. По всем приметам здесь не пашни, а сенокосные уголья. Версты две отъехал бездорожьем и увидел-таки в ложбине початый зарод. Кони шагом подтащили кошеву к зароду и мордами уткнулись в сено. Филя выскочил из кошевы, разрыл сено сбоку зарода, вернулся, достал из саквояжа Дунин браунинг, спрятал себе в карман, осторожно поднял землячку и опустил на мягкое сено.

— Боженька! Чтой-то?! — очнулась Дуня.

Филя схватил ее за руки, притиснул, как клещами.

— Ты с ума сошел, мерин!

— Ежли мерин — ущерб тебе не будет, — провернул Филя.

— Пусти сейчас же! Или я тебя пристрелю, — вспенилась Дуня, изворачиваясь. — Ей-богу, пристрелю!

— Сперва я тебя застрелю, опосля ты меня! Мужика в другой раз зудить не будешь. Не брыкайся, грю! Аль я безо всякого левольверта

придушу, и взыскивать никто не станет. Отвезу до полыньи и спущу под лед.

Дуня ничего подобного не ожидала.

— С ума сошел! За что меня придушишь?

— Для порядка чтоб.

— Да ты что, Филя? Опомнись! Если ты меня придушишь...

— На Ухоздвигова надежду имеешь? Ужо погоди, в нашем уезде встретят их партизаны. Живо на небеси преставятся!

— Што тебе от меня нужно?

— Ничаво. Чтоб сродственность почуяла, гли. Ночесь позвала, а теперь волчицей рыкаешь.

— Боженька! Всю ночь дрых на пуховиках, и вдруг на морозе...

— Чаво мороз? Под зародом-то сподобнее. Духмянность от сенца экая вязкая.

— Ладно. Пусти руки.

— Царапаться не будешь? Оборони господь, ежели разозлишь меня. Я вить родного батюшку чуток поленом не пристукнул, а тебя-то моментом придушу. Левольверт твой взял себе. Ни к чему бабе с револьвертом ходить. Мущинское дело быть при оружии.

Дуня уразумела — шутки кончились, и царапаться она не будет.

— Окромья того, морду от меня не отворачивай, когда в другой раз позову.

— Как позовешь?

— Как бабу, следственно.

— Ты с ума спятил! У тебя и так две бабы.

— А у турецкого царя, слышал, тышча баб, и все до единой под его властью. На земле всякое происходит, а я што, сивый, не на земле проживаю?

Дуня ничего не сказала, вот так ущербный мужик с рыжей бородищей! Как же он с ней ловко управился...

Поехали Енисеем. Горы подступали вплотную...

Дуня укуталась в доху с головой, притихла. Не то было обидно, что «потерпела от рыжего» — это для нее дело привычное, а вот то, что этот рыжий устойчивее Дуни стоит на тверди земной и ни о чем особенно не сокрушается и не печалится — повергло ее в отчаяние. Для нее, Дуни, нет исхода. Чем и как жить, если утвердятся красные? В поте лица своего добывать хлеб насущный?

— Белые! — крикнул Филя.

Дуня откинула доху: на дороге двое в белых маскировочных халатах, винтовки — поперек дороги.

— Тпру! — натянул вожжи Филимон, а по спине от шеи до зада — мороз прохватил.

Один подошел к кошеве:

— Кто такие? Откуда?

— Дык белые мы, белые, господа охвицеры! — бухнул Филя, как топором с плеча по чурке дров. — Едем, значитца, от огромтящей белой армии. Как послали...

— Штоб тебе язык проглотить! — взревела Дуня, и к людям в белых халатах: — Никакие мы не белые! Ямщик с перепугу брякнул. Едем мы...

— А ну, вытряхивайся, господин белый, из кошевы! — приказал человек с ружьем. — Быстрее! А вы, дамочка, сидите. Не баловать, предупреждаем. Винтовки на боевом взводе. Григорий, обыщи «господина белого».

— Осподи! Осподи! Да разе...

— Не разговаривать! — прицыкнул названный Григорием, ткнув винтовку в снег, приступил к обыску. Из кармана штанов Филимона, достал браунинг. — Гляди, Павел! Штучка! Та-ак. А еще что имеется?

Павел держал на прицеле дамочку, кося глазом на рыжебородого; Дуня от злости на Филимона кусала пухлые, отвердевшие от мороза губы. «Штоб тебе подавиться, — присаливала мысленно Филимона Прокопьевича. — Не она ли предупреждала «держать язык за зубами»? И вот, пожалуйста! Дьявол рыжий! Он меня сейчас продаст и наврет еще больше того».

У Филимона отобрали кожаный кисет, полный золотых, добрую пачку «николаевок», а из документов — поистертый от долгого пользования «белый билет», никаких других бумаг не нашли.

Григорий передал документ товарищу и тот сказал:

— Липа! А сейчас садись на снег, и — тихо! Руки положи на колени — лохмашки не снимать. А вы, дамочка, вылазьте.

Филя уселся на снег, предусмотрительно подмостив шубу под зад, тарашась на людей в белых халатах. Кто же это такие? По одежде — белые. Филимон видел точно в таких саванах белых в Ошаровой. Ах

ты, беда-то! «Чавой-то у нее вытащили из-за пазухи? Золото! Как я не ущупал, а?»

Григорий что-то прочитал, сообщив товарищу:

— Здорово, Павел! Знаешь, что это за барыня? Золотопромышленница Евдокия Елизаровна Юскова.

— Обыщи кошеву — чемодан вижу, а потом посмотри под кошевой.

Из саквояжа Дуни парень достал еще какие-то бумаги, семейную фотографию — ее в кругу братьев Ухоздвиговых.

— Ого-го-го! Дамочка с генералом! Здорово!

Павел поторопил:

— Положи карточки в баул. Вещи лучше перетряхни!

— Павел, глянь-ка! Еще деньги, деньги. Пачки, пачки! А это што?! Бомбы! — ахнул парень.

— Ну?! Вот так барыня! — удивился Павел. — Гранаты-лимонки? Надо патрульных вызвать. Живо переверни кошеву — не спрятано ли у нее чего там?

Под кошевой ничего не оказалось.

— А ну, господин хороший, подымайся! Быстро!

Филимон, и без того перепуганный, при виде бомб вовсе ошалел. Что с ним теперь будет?!

— Становись лицом к лицу у кошевы! Руки на плечи друг другу, Быстро!

— Господи Иисусе! — топтался Филимон, положив руки в собачьих лохмашках на плечи «пресвятой богородицы», которая до того свирепо пожирала земляка глазами, как будто живьем заглатывала его вместе с дохой, полушубком и стеженными шароварами!..

И тут над самым ухом Филимона вдруг грохнул выстрел. Филимон взвыл, вцепившись в Евдокию Елизаровну так, что она не выдержала:

— Што ты меня тискаешь, дьявол?! Оторвись! Стой смирно! Не дыши!

— Куды дышать-то? Господи! Али не сказано: лицом к лицу? Помилосердствуйте за ради Христа. Ни в чем таком не виноват, ваши... как вас... Это все она! Она!..

— Разберемся, господин хороший!

— Убогий я! Вот те крест, убогий! А эта шкура...

— Не валяй дурака! Не на тех нарвался! Расколем сейчас обоих...

Послышался цокот кованых копыт: на выстрелы примчался с берега конный патруль. Дуня увидела двух всадников при шашках и карабинах.

— Кого задержал? — спросил один из них.

— Разведка белых, — ответил тот, что стрелял из винтовки. — Отобрали браунинг и пару гранат-лимонок. Господин с бородою играет под убогого мужичка. А барыня из знатных. Надо обоих доставить в штаб полка.

— Ясно! — сказал конный. — Хорошо обыскали?

— Обыскали тщательно, но это же господа белые, сам понимаешь, с фокусами,

— Ясно! Лагутин, будешь ехать впереди, карабин наизготовку. Я за кошевой, А ну, господа, садитесь, садитесь в кошеву! И без фокусов, предупреждаю!

У Филимона тряслись руки, когда взялся за самотканые, в три цвета вожжи, усаживаясь бок о бок с Евдокией Елизаровой.

И зачем он только вылез в Ошарову с таежной заимки?! С Харитиньюшкой хотел повидаться! А теперь вот из-за этой проклятущей Дуньки... «Влип, как кур во щи. Да только вот в чьи щи? В белые или красные?» Так и не разобрался. С одной стороны, как по белым саванам — доподлинные белые. С другой стороны, морды не господские — красные, кажись.

Оглянулся на свирепую землячку:

— Дык, ежели исказнил тебя исаул, то...

— Молчи, сссволочь продажная! — И, как того не ждал Филимон, Дуня сунула ему кулаком в губы. — Я т-тебе покажу, гад! Я тебе...

— Эй вы, в кошеве! Прекратить! — крикнул всадник, следующий сзади.

— Шкура неубойная! — зло прошипела «пресвятая богородица».

Филя ухватился за облучок, приподнялся, подворачивая ноги, ощерился:

— Сама ты шкура белая! Захомутала меня на погибель со своим охвицером горбатым, штоб ему сдохнуть, сволоте! Хучь бы человек был, а вить горбатый, вислогубый, как старый мерин, хоша и при погонах со звездами. Расколют уже обоих вас!

— Зззамолчи!

— А чаво? Аль за вас, белых гадов, голову свою подставить? Шиш вам под нос, стервам!

— Ах, ты дьявол. Вот как заговорил?! А про заявленье забыл?! — И Дуня снова сунула ему кулаком в нос.

— Тихо, барыня! Без фокусов!

Кони поднялись на извоз в деревню Трифонову, растянувшуюся по левому берегу Енисея. Дуня разглядела под срубленными елками замаскированные пушки, пулеметы, тут же партизаны с винтовками. «Боженька! — горько подумала она. — Не прорвется Гавря в Минусинск. Сколько их тут, партизан? Множество!»

Вооруженные люди в шубах, полушубках, шинелях, тужурках, в шапках и лихо заломленных папахах с красными лентами окружили кошеву: беляков захватили!

На Филимона напала икота. «Доподлинные красные, — уразумел. — А я-то брякнул, што белый и еду от огромятущей белой армии. Вить кокнуть могут с Дунькой! Дык не белый же я — обскажу про Тимоху и батюшку. — И тут же усомнился: поверят ли? Как знать». Едущий впереди всадник спешил у тесовых ворот крестового дома, передал повод одному из партизан и ушел в ограду.

Дуня задыхалась от злобы: «Надо же так влипнуть? Ох, Гавря, Гавря! Послал с этим идиотом!» И тут увидела знакомую фигуру Мамонта Петровича во френче, перекрещенном ремнями, с маузером, в смушковой папахе. А за ним — боженька! — Ной Васильевич! Конь Рыжий! В шинели внакидку.

Головня узнал Дуню, распахнул руки:

— Дунюшка! Я так и знал, что ты подъедешь к нам со всеми данными о белогвардейцах, удирающих из Красноярска! Молодчага, Дунюшка! Так и дальше держи революционный шаг — завсегда будешь, при нашем высоком уважении! Ной Васильевич! Я же говорил, что Евдокия ни в жисть не останется с белыми!

— Не поспешай, Мамонт Петрович. Поживем — увидим, — степенно сказал Ной. — Ну, выкладывай, какие новости привезла? Как дела на твоих приисках? Где твое золото?

— Кто старое помянет — тому глаз вон, Ной Васильевич, — сказала Дуня и отвернулась.

— Ладно, ладно. Я не со зла.

— Э, да это, кажись, Филимон Боровиков? — пробасил Мамонт Петрович. — Ну, как, Филимон, кончилась твоя служба у белых?

— Да что вы, Мамонт Петрович! — сказала Дуня. — Разве он мог бы служить у белых или красных? Сам у себя только. Скрывался в избушке одной вдовы в Ошаровой. Коней прятал в тайге, чтоб не отобрали при реквизиции. Расстреляли бы его, если бы не я. — И, толкнув Филимона в спину, дополнила: — Это же такой дуrolом, Ной Васильевич! Увидел часовых на дороге в белых халатах и заорал: «От белых мы! От огромятущей армии!» Штоб ему околеть, идиоту!

Слова «пресвятой богородицы» для Филимона Прокопьевича были до того отрадными, что разом все страхи отошли: воскрес из мертвых! «Ишь, какая умнющая! Слава Христе, выручает». На том и успокоился вполне. Евдокию Елазаровну увели в крестовый дом, где размещался штаб Майских полков крестьянской армии, насчитывающей восемнадцать тысяч штыков. Там Дуню допросили. И когда Ной Васильевич рассказал, как она спасла его отряд в Белой Елани, отпустили на все четыре стороны.

— Стало быть, Ной Васильевич, вы теперь полком командуете?

— Стал быть, так.

— И куда же вы теперь?

— В Красную Армию пойду. Дотапывать белых!

— А я вот еду на старое пепелище. А что меня там ждет — не знаю...

— Каждому своя дорога. Прощай, Евдокея!

— Прощайте, Ной Васильевич!

Мамонт Петрович определил Дуню, как землячку, к партизанам на ночлег и посоветовал покуда не выезжать: бой намечается не сегодня, так завтра.

Филимон тем временем отлеживал бока в конюховской избушке, Мамонт Петрович приходил к нему, допрос снял, но на этот раз Филимон отвечал только то, что сказала Дуня. Да, скрывался в тайге, жил в Ошаровой. Про вооружение белых доподлинно ничего не знает: сама Евдокия Елизаровна расскажет все, что разведала и вынюхала, про то ей лучше знать. Она вить не дура!

И настал день — грохнули пушки!..

Невдалеке от конюховской избушки лопнул снаряд — стекла в рамах запели. Конюха дома не было, и Филя с его женою, шустрой

бабенкой, не дожидаясь, покуда снаряд угодит в избушку, махнули в подполье. Фекла еще не успела отойти от лесенки, как на нее верхом уселся Филимон.

— Аааай! Чаво ты сел на меня-то, леший! — взревела баба.

Рванул снаряд в ограде, заржали кони.

— Господи! Хана моим коням!

— Спаси нас бог! Спаси нас бог! — бормотала Фекла быстро и часто, а за нею Филимон, тесно прижавшись к щупловатой бабе не ради искушения, а во спасение брэнного тела: если уж угодит снарядом, авось сперва разорвет Феклу!..

Потом Фекла забила в угол, а Филя, успевший захватить с собой доху, укутался в нее, слушал оружейную стрельбу, далекие взрывы снарядов, истово читал молитвы, и так часов шесть сряду, и когда артиллерия утихла, прикорнул на картошке да так храпанул, что проспал до следующего утра.

Разбудил Филимона горластый зов конюха.

— Эй, мужик! Вылазь. Живой ты там, али со страху дух испустил?

— Вздремнул малость, — ответил Филя, вылезая. — Для меня все эти пушки — одна полная невидимость! Обыкся на фронте, когда пребывал во Смоленском лазурете, почитай, кажинный день лупили из пушек. А я токо упокойных вытаскивал на носилках.

Оглядевшись, Филя снял доху, на него косо взглядывала баба конюха Фекла. А вот и Дунюшка — все такая же сердитая!

— Живой, лешак?

— Воистину, Евдокия Елизаровна!

— Запрягай лошадей и едем! С полками белых покончено. Полторы тысячи офицеров и казаков взяли в плен. — А в глазах Дуни темная, непроглядная осенняя ноченька.

— А мои кони как? Живы ли?

Конюх ответил за Дуню:

— Чаво подеется твоим коням? Снаряд-то разорвался посредине ограды. Двух коней вестовых убило. Стреляли, гады, прицельно по этому дому!.. Ну, каюк им всем таперича.

Когда Филимон запряг лошадей, перепуганных не меньше хозяина, Мамонт Петрович, в шинели, при шашке, папахе, вышел провожать Дуню. Филимон слышал, как грозный Головня сказал ей:

«В Белой Елани, как передашь мое письмо Зыряну, займись секретарством в сельсовете. Все будут харчи. Меня поджидай, когда я возвернусь. Мы их, белых гадов, быстро разделаем».

— А разве ты не вместе с Конем Рыжим?

— Он с майцами подался в сторону Ачинска. А мы поспешаем в Красноярск. До встречи, Дуня. Жди. Партизаны идут на слияние с Красной Армией.

А с Филимоном не попрощался — будто его и не было!..

Когда выехали на трактовую дорогу к Новоселовой, Филя оглянулся на «пресвятую богородицу», сказал:

— Хана таперь всем белым! Экая силища у красных — оборони господи! А Мамонт-то, Мамонт-то, гли, чуток не генерал!.. Как он душевно с тобою...

— Заткнись, черт. Моли бога, что этот Мамонт не шлепнул тебя!

— Аль я мильенщик? С чаво меня шлепать?

— А «заявление» капитану помнишь? Идиот! Да если бы я хоть слово сказала про твое дурацкое «заявление»... Заявленье-то у капитана! А капитан удрал с какими-то офицерами в тайгу. Как мне страшно, боженька! Как мне страшно! — бормотала Дуня. Душеньку жгло как огнем. Теперь уже окончательно не быть ей ни миллионщицей, ни золотопромышленницей, все развеялось, как дым при ясной и ветреной погоде. Кого и чего ей ждать? Возвращения Мамонта?

Филимон тоже надолго примолк.

Так и ехали...

И через неделю приехали в Белую Елань — двое в одной кошеве, чуждые друг другу и вместе с тем в чем-то близкие.

Евдокия Елизаровна и Филимон Прокопьевич.

Двое в одной кошеве...

1963–1972 гг.

г. Красноярск

ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

I

Много повидал на своем веку старый тополь!..

Его вильчатая вершина видна издали над домом Боровиковых, хотя дом — крестовый, рубленный в поморскую лапу из толстущих бревен, на фундаменте из лиственниц в обхват, более ста лет дубленных солнцем, — стоял на горе, а тополь тянулся снизу, из мрака и сырости поймы Малтата.

Давно еще грозовой удар расщепил макушку тополя; но дерево не погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного два ствола.

Разлапистые сучья, как старческие крючковатые пальцы, протянулись до конька тесовой крыши, будто собирались схватить дом в охапку. Летом на сучьях густо вились веревчатые побеги хмеля. Тополь был величественным и огромным, прозванный старообрядцами Святым деревом. С давних пор под ним радели крепчайшие раскольники тополевого толка, выходцы из Поморья, крестились двумя перстами, предавая анафеме всех царей, а заодно с ними православных никониан за их еретичное троеперстие-кукиш. Невесты топольников вязали себе нарядные венки из гибких веток тополя, потом принимали крещение в студеных водах Малтата и Амыла, очищаясь от мирской скверны.

На всякую всячину насмотрелся тополь за длинный век свой: на радостных невест и на битых баб, на скорбных вдов и на сторожких, прячущихся под его ночной чернью неумных жен, лобызающих немужние сладостные уста.

Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние вьюги, покрывая коркою льда хрупкие побеги молодки на заматерелых сучьях. И тогда он, весь седой от инея, постукивая ветками, как костями, стоял притихший, насквозь прохватываемый лютым хиузом. И редко кто из людей задерживал на нем взгляд, будто его и на земле не было. Разве только вороны, перелетая из деревни в пойму, отдыхали на его двуглавой вершине, чернея комьями.

Но когда приходила весна и старик, оживая, распускал коричневые соски клейких почек, первым встречая южную теплинку, и корни его, проникшие в глубь земли, несли в мощный ствол живительные соки, — он как-то сразу весь наряжался в пахучую зелень. И — шумел, шумел! Тихо, умиротворенно, этаким старческим мудрым гудом. Тогда его видели все, и он нужен был всем: и мужикам, что в знойные дни сиживали под его тенью, перетирая в мозолистых ладонях трудное житье-бытье, и случайным путникам, и ребяташкам. Всех он встречал прохладой и ласковым трепетом листвы. К нему летели пчелы, набирая на лапки тягучую смолку, чтобы потом залатать прорехи в своих ульях, мохнатые жирные шмели отсиживались в зной в его листве, болтливые сороки устраивали на нем свои немудрящие гнезда.

Сколько же ветров и бурь пронеслось с той поры, когда первый хозяин еще недостроенного дома — Ларивон Филаретыч Боровиков с внуками и сыновьями затравил собаками беглого варнака и, как потом узнали, родного брата, Мокея Филаретыча, из чьей кровушки каторжанской возрос на диво всем могучий тополь!..

Шли годы и годы...

Менялись поколения, времена и нравы, а старый тополь все так же шумел под окнами дома Боровиковых.

Костляво-черный в зимнюю пору, белый от куржака в морозы, огромный и величественный в зеленой шубе, возвышался он над крестовой крышей дома, как загадочный свидетель минувших времен, чтобы потом, на страшном суде, дать показания о всех бедах и преступлениях, свершенных людьми на его веку.

II

Нечто загадочное и тревожное мерещилось малому Демке в старом тополе. То Святое древо как-то странно посвистывало, будто созывало праведников на моление, то оно лопотало, лопотало ночи напролет, словно что-то рассказывало чернолесью на своем тополином языке, то в лютую стужу скребло по крыше голыми сучьями, ровно в тепло просилось, чтоб погреть задубевшие старые кости, то исходило натужным гудом перед непогодьем; и, когда налетала буря с Амыла, тяжело стонало. И чудилось Демке, что Святой тополь отбивается от

несметной силы нечистых, и боялся, как бы он, не выдержав битвы, не рухнул на крышу дома. «Как бабахнется, так всех придавит. И меня, и мамку с Фроськой». Тятюку — рыжую бородищу не жалел — пушай давит. Все едино Демке добра не ждать от тятюки.

Со всем могла смириться Меланья: и со строгостью Филимона к малому Демке, и к самой себе, и с тем, что жить стали в моленной, а вот нутро пересилить к квартирантке-ведьме, Евдокии Елизаровне, которая поселилась в горенке, никак не могла.

— Нишкни! — пригрозил Филимон. — Не твою ума дело, как и што свершается в круговращенье людском. На земле проживают люди разных верований, и ничаво — ладят. Али я не гоняю ямщину? Пушай хучь сатано подрядит, господи прости, моментом в ад доставлю. Токо бы на возвратную дорогу ворота открыли,

— Сгинем мы, Филимон, от этакого паскудства!

— Молчай, грю, ежели ум у те с коготь иль того меньше. Али не слышала: отторг я тополевою веру — белоцерковную самую праведную возвещать буду.

— Осподи! В церковь к нечистым метнулся!

— Не в церковь, а старая вера есть такая под прозванием Белая Церковь, самая праведная. Согласно такое единоверцев, и двумя перстами хрестятся, как мы. А по белоцерковной вере, как вот у Харитиньи, — вдруг проговорился Филимон и тут же смолк: до того неожиданно вылетело словечко.

— У какой Харитиньи?

— У праведницы, следственно, — сопел в бороду Филя.

Меланья припомнила:

— Осподи! Ты еще когда во сне Харитиньюшку нацеловывал да шанежкой называл. Знать, у Харитиньи скрывался все время, а мы тут слезами исходили, казни претерпели!

— Не болтай лишку, грю! — окрысился хозяин. — Али у самой хвост не припачкан? От кого выродок в доме моем хлеб жрет?

— Хлеб-то и мой, поди. Я ведь содержала дом и хозяйство, покель ты с Харитиньей гдей-то проживал.

Филимон перед малой силой скор на руку. Бах — и врезал по шее Меланье, чтоб язык прикусила.

Меланья после такого разговора с мужем совсем сникла. Мало того, что Филимон метнулся в какую-то чужацкую веру, так еще и

Харитиньюшку завел себе — где только, узнать бы! Одна надежда у Меланьи — Демка. Вот вырастет, подготовится в духовники тайно от Филимона, а там и сама Меланья ко святым мученицам приобщится, как не поправшая святых заповедей Прокопия Веденеевича, с кем только и отведала малую толику бабьего счастья.

III

Осенней неисходной желчью налились листья старого тополя. Холодом тянуло с Татар-горы. Птицы сбивались в стаи. Откуда-то из неведомых углов, одна за другой, тянулись длиннущие журавлиные ленты и косяки гусей — летят, летят, и Демка провожает их долгим взглядом — самому бы взлететь за птицами на небо!..

В какой из дней осени Демка почал пятый год своей жизни, он, конечно, не ведал. Он любил играть под тополем с Манькой и светлоголовой Фроськой. Хоть на два года был младше Маньки, а в играх и забавах верховодил — «головастый выродок растет», — отмечал про себя Филимон Прокопьевич.

Под тополем устильно от опавших листьев. Манька выкопала ямку в отвесном яру и пекла из глины с песком пирожки без огня и дров; малая Фроська — по третьему годику — собирала листья в кучу: горку строила. Демка наломал гибких прутьев тальника, натыкал их вокруг тополя — как будто это единоверцы, и позвал к себе Маньку и Фроську на моленье.

Маньке понравилась новая забава. На колени стали, молятся, а Демка-духовник, спиною к тополю, осеняет единоверцев самодельным крестом из связанных прутьев, бормочет нечто про Суса Христа, про святых угодников, и Фроська, еще не умея креститься, машет ручонкой возле своего пухлого личика и вслед за Манькой и Демкой неловко отбивает поклоны. В два-то годика Демка как крестился! Сам Прокопий Веденеевич хвастался, а у Фроськи не получается — соображенья мало.

— Мань, чо она язык выпехала! — кричит Демка. — Сусе Христе, спаси нас от наважденья, от нечистого, чо не молитесь! — бьет Демка самодельным крестом по гибким прутьям. — А ты, рыжий, из веры в веру прыгаешь! У, анчихрист! Мякинная утроба! Как вот поддам крестом! Спаси нас боже!

— Дем, а ты кто?

— Духовник.

— Ой, ой! — тарашится черными глазенками семилетняя Манька и быстро крестится. — Как был дедка, ага?

— Сусе Христе, помилуй нас! — дуется Демка. — Сечас рыжего в геенну огненну пихну. Как поддам!

И Демка поддал одному из прутьев — в сторону отлетел, в геенну, значит.

— Дем, а хто рыжий?

— Не знаешь?

— Тятка, ага?

— Не тятка он! Сатано, сатано! Рыжий сатано! — орет Демка.

А сам «сатано», только что приехав с пашни и не застав Меланью с ребятенками дома, выглянул в окно моленной, распахнул створку и прослушал весь детский лепет новоявленного духовника в холщовых штанишках на ляжке, босоногого, и увидел, как этот духовник бил самодельным крестом анчихриста рыжего, прыгающего из веры в веру, да еще назвал мякиной утробой. Такого поношения Филимон стерпеть не мог. Ему и в голову не пришло, что мальчонка бормочет не свои слова, а мамкины.

«Осподи! Выродок-то куды метит! — тарашился Филимон, готовый выпрыгнуть из окна — до того вскипела ярость. — Ужо в силе я покель. Покажу ужо окаянному!»

Манька с Фроськой все еще стояли на коленях возле тополя, когда подбежал тятка и схватил Демку за ворот рубашонки. Демка остолбенел от испуга, округлил глазенки на рыжую бородищу.

— Кого в геенну, гришь? Каку рыжу бороду?

А тут еще Манька брякнула:

— Это он про тебя, тятя, сатано, грит, рыжий.

— Пшли домой, живо!

Манька подхватила Фроську и убежала.

Таская за собой Демку за ворот, Филимон собрал в пучок наломанные таловые прутья, спустил штанишки с него и голову зажал промежду толстых ног в бахилищах.

— Сатано, гришь? В геенну огненну, гришь? Вот тебе, проклятуший, геенна! В духовники метишь, окаянный? Вот тебе

духовник, духовник, духовник! Чтоб не встал, не сел! Не встал, не сел!..

Демка визжал, хватался ручонками за продегтяренные голенища бахил, а таловые прутья, которые он сам же наломал и натыкал в землю возле тополя, собранные рыжим чудищем в пучок, будто насквозь прошибали Демкину кожу — дух занялся. Демка звал мамку, но мамка была где-то на огороде, Демка захлебывался собственным криком, тело его дергалось, как у лягушки, и только старый тополь мирно пошумливал своей желтой шубой, роняя наземь широченные листья, и послеобеденное солнце все так же покойно цедило свои прохладные лучи сквозь толстые черные сучья.

Свистят прутья, кровь брызнула, а рука Филимона никак не может остановиться — злоба подхлестывает и разум затмился будто. Может, и не жить бы Демке на белом свете, если бы не раздался голос:

— Доколе, господи! Доколе!

Филимон оглянулся — перед ним бабка Ефимия вся в черном с палкой в руке.

— Эко! — шумно перевел дух Филя, отбросив прутья.

Бабка Ефимия ткнула его палкой в грудь:

— Боровиков?! Ай-я-яй! Под деревом казни казнь вершишь над ребенком? Али мало роду вашему убийства каторжанина? Али мало вам молитв на тополь, под которым убиенный лежит? И будет проклят ваш род, ежели не образумитесь и на жизнь по-людски не взглянете!

— Что несешь-то, старая! — огрызнулся Филя; Демка валялся между его ног, как промежду двух столбов — только вместо перекладки холщовая мотня висела над кудрявой головенкой.

— Изверг! Изверг! Людей позову сейчас. Людей! — наступала бабка Ефимия, смахивающая на черную птицу. Филимон пятился. Бабка Ефимия склонилась над ребенком — по голым ноженькам кровь бежит, от спины до ног все тело иссечено вдоль и поперек. Лежал лицом в землю, не кричал. Тело его подергивалось.

— Убийство вижу! Убийство!

— Окстись, окстись! — Филимон и сам перепугался: не пришиб ли насмерть выродка — беда будет!

— Смотри, смотри, Боровик-разбойник! На кровь смотри! Доколе сами себя изводить будете, господи! Али крови возалкал? Людоедства

возалкал? Али не из рода вашего изгой Филарет, яко змий терзавший сирых и бедных? Ларивона вижу! Ларивона!

Филимон топчется под тополем, бормочет нечто невнятное — из ума выжила старушонка! Но если бы он мог пораскинуть своим умом, то увидел бы, что бабка Ефимия — не просто престарелая старушонка, вся сжавшаяся в комочек, истоптавшая три бабьих века, — она, как и этот распахнувшийся вширь и высь тополь, была еще и живой свидетельницей времен и исчезнувших поколений людей.

Сохранив разум и память, пусть даже с провалами, она не в силах была уразуметь сути происходящего. В неведомом новом поколении видела нечто свое, одной ей доступное, а именно тех давнишних людей, кости которых истлели в земле; она их видела, помнила их дела, и каждый раз, когда свершалось насилие, припоминала именно то, что было ей известно, возмущалась в меру сил и разума и строго судила живых, новых и неведомых, мерою того суда, какой свершился на ее памяти над исчезнувшими поколениями. Явственно видела в рыжебородом чудище Ларивона Филаретыча, убийцу родного брата, в могилу которого вбит был тополевыи кол; видела тупых и до одури жестоких апостолов Филаретовых, душителее кудрявого Веденейки, — да уже не Веденейка ли кудрявыи на ее старческих руках сейчас?

— Веденейку вижу! Веденейку, богородица пресвятая! Унесу сейчас. Унесу! Да пусть разверзнется земля под тобою, Ларивон, сын Филаретов!

— Чаво бормочешь-то, осподи прости!

— Не простит господь, не простит! Убивства не прощаются! Земля, оскверненная кровью человеческой, кровью же и омывается!

Демка опамятовался — всхлипнул раз, другой; тело его конвульсивно передернулось. У Филимона отлегло от души — живой! «Экая у меня рука чижолая, Исусе Христе!» А вот и Меланья бежит в подоткнутой юбке. Задержалась на миг, глядя на сына на руках старухи, — кровь увидела на теле Демки и, коротко взвизгнув, как росомаха с дерева, кинулась на Филимона, вцепилась ему в бороду. Все это произошло так быстро, что Филимон не успел уклониться. Рвет, рвет бороду, восставшая рабица господня.

— Окотись, октись! — бормочет Филимон. — Опамятуйся! — А борода трещит, ажник слеза прошибла. Ударил Меланью в ухо —

удержалась за бороду. На губах пена выступила, глаза дикие, распахнутые, лицо перекосилось. Филимон зажал ей ладонью рот и нос и тут же отдернул руку — мякоть ладони прокусила. И все это молча, будто Меланья лишилась языка. Такою рабицу Филимон впервые видел и не в малой мере трухнул. Если умом рехнулась — беды не оберешься. Ребенка изувечил, скажут, и бабу из ума вышиб. — Осподи, осподи! Опамятуйся, грю!

А тут еще бабка Ефимия подкинула:

— А, разбойник! Каково? На всякого зверя — волчица сыщется.

Голос бабки Ефимии дошел до сознания Меланьи, и она вдруг обрела дар слова:

— Сатано ты, сатано треклятый! Ребенчишка мово в кровь избил, лихоимец!

Вырвав руки из лап Филимона, Меланья царапнула его по пунцовому лицу своими черноземными ногтями — кровцу добыла. Рубаху разорвала до пупа. — Асмодей, асмодей! — кричит. — Топором зарублю! Грех на душу возьму — зааарууублюуу!

— Экое! Экое! Ополоумела!

— Сааатаааанооо!

Филимон оторвался-таки от взбешенной жены и прыгнул в сторону, за тополь, припустив по чернолесью — только сучья трещали под ногами.

Меланья запричитала:

— Иусе, за ради каких мучений токо я на свет народилась! Али мыкаться мне до смертушки, аль бежать куды, господи!

Черные пытливые глаза бабки Ефимии глядели на Меланью с великим сожалением и земным спокойствием. Сколько она, Ефимия Аввакумовна, повидала за свою жизнь слез рабиц господних, немало выплакала своих, обретая понимание людей; на всякую всячину нагляделась, а все-таки одного не уяснила: с чего это люди изводят друг друга?

— Не реви, бойкая! — строго сказала бабка Ефимия. Демка жался к старушонке, перепуганный дракою матери с рыжим тятькой. — Ты чья будешь? Из Боровиковых? Или у Боровиковых?

— Про што вы?

— Из Боровиковых или у Боровиковых живешь?

— Дык у Боровиковых.

- Кажись, у тебя ребенка принимала?
- У меня.
- Да ведь я девчонку приняла, помню.
- Девчонку.
- И этот твой?
- Мой. Сиротинка несчастная.
- Разве не мужик тебе этот, рыжий?
- Мужик. Сатано треклятый.
- Как его звать-то, запомятовала. На Ларивона запохаживает.
- На какого Ларивона?
- Боровикова. Сына Филаретова.
- Не слыхивала про Ларивона.
- Да тебе-то сколь годов? Звать-то как?
- Меланья. А годов мне за двадцать пятый три месяца прошло.

— Богородица пресвятая, как мне было на Ишиме, когда пришел к нам человек светлый и разумный, в цепи закованный, Александра Михайлович! Время-то сколь минуло! Ноне-то двадцатый год исходит нового века, а с кандалником свиделась в тридцатом старого века. Время-то, время!.. Стара я, стара! Доживу ли я до дня светлого, когда люди не будут терзать друг друга! Доколе же, скажи совести каменной быть, а разуму гнатым?

Меланья не понимала, о чем толкует старуха в монашеском черном одеянии и отчего она так пристально уставилась на нее?

— Не ведаю, про што говоришь, бабушка.

— Кем взростишь сына, скажи: мучителем иль спасителем? Если так вот будете терзать его, попомни мои слова, мучителя взростите. И будет он казнить правых и виноватых, как секли его до крови. Ишь, как иссечен!

Меланья пожаловалась, что муж ее, Филимон Прокопьевич, невзлюбил ребенка и потому изводит его денно и нощно.

— Так и сбудется, — вздохнула бабка Ефимия. — Мучителя взростите.

— Духовником он будет. Клятьба такая на нем.

Ефимия вздрогнула и посмотрела на Меланью взыскивающе-строго:

— Каким духовником?

— Нашей веры, тополевой. Как от крещенья тополевец.

— Ведаешь ли ты, что глаголишь? Матери ли говорить такие слова? Духовник у старообрядцев, как и поп в церкви, чтоб блуд покрывать блудом, невежество — невежеством, дикость — дикостью, и чтоб люди до скончания века утопали во мшарине невежества! А ежели парнишка твой станет потом духовником, каким был Филарет?

— На святого Филарета молимся, как прародителя нашего.

— Нечисть-то! Нечисть! Еретичество! — рассердилась бабка Ефимия, подымаясь от тополя, где она сидела.

Демка чего-то испугался, отполз от старухи, подобрал свои штанишки с болтающейся лямкой. Меланья кинулась к нему и подхватила на руки.

— погоди! погоди! Сказать тебе надо, женщина, — остановила ее бабка Ефимия. Имя Меланьи успела забыть — так резко рвались нитки в памяти. — погоди! Ты вот сказала, чтоб он, сын твой, стал духовником, каким был Филарет. А ведаешь ли ты, мать сына своего, каким был Филарет-мучитель? Да ежели он взрастет Филаретом — много крови прольется! Много будет несчастных, как ты вот сейчас! Знаешь ли ты, какую казнь учинил над моим телом и духом Филарет-мучитель? Как удавили под иконами сына мово, Веденейку кудрявого, Филаретовы апостолы? И крик был, и вопль был. Вопила я, видит небо, да не внял моим воплям ни Иисус Христос, ни отец, ни дух святой, ни сам Филарет Наумыч. Скажи же...

Меланья не стала слушать — Демка плакал от боли — на руках сидеть не мог.

— Чой-то вы пристали ко мне, бабка? Самой тошно. Голову не знаю где приклонить, а вы говорите всякое.

И ушла.

— Нету прозрения, вижу! Тьма пеленает, людей, — сказала вслед Меланье бабка Ефимия.

...Все это время, после того как дом Ефимии в прошлом году сожгли белые, а люди металась в схватках друг с другом — красные с белыми, белые с красными, бабка Ефимия, покинутая всеми, нашла себе пристанище в старообрядческом женском скиту в Бурундате, куда Меланья отвезла хворую сироту Апроську. Но и в Бурундате у монашек не прижились мятежная старуха — попраля старообрядческий устав, объявив его еретичным, и добиралась теперь

до Минусинска в поисках своих дальних родственников. По пути в Минусинск заехала в Белую Елань, чтоб поклониться могиле Мокея Филаретыча — старому тополю, и тут застала зверство — избиение ребенка.

И подумалось Ефимии: не от того ли в мир приходит жестокость, что люди, терзая друг друга, сами не зная того, пророждают изгоев, а не праведников? В любви рожденный, без любви возвращенный — кем будет? Зверем.

Погостила бабка Ефимия у тополя, вороша свои древние мысли и столь же древние видения, и пошла по стороне Предивной в поисках приюта на ночь.

Боровиковых минула — чуждые люди...

IV

Была ночь. И была тьма.

Черная осенняя тьма за окнами под тополем. И черная тьма на душе Меланьи.

Рабица господня отстаивала всюнощную молитву перед иконами, чтоб настало прозрение.

Молилась, молилась.

Мерцали у древних икон три свечечки.

Рядом с Меланьей лежал топор.

Филимон знал, зачем Меланья взяла топор и держала его под руками, а потому и удалился в горницу, где проживала квартирантка, Евдокия Елизаровна.

Квартирантка три дня как уехала в казачий Каратуз.

Филимон не знал, что в Каратузе, в Арбатах и в Таштыпе восстали казаки.

Уезд будоражился. Партизаны крестьянской армии Кравченко и Щетинкина ушли в Ачинск и Красноярск, а белые, улучив момент, подняли казаков...

Филимону намылила шею гражданка. Глаза бы не глядели ни на что в эком круговращенье.

Меланья молилась, чтоб святые угодники надоумили, как ей спасти возлюбленное чадо — сына Демида, чтоб не быть клятвопреступницей перед убиенным Прокопием Веденеевичем.

Молитва на измор тела — тяжкая, а голоса видений тихие и внятные, из уст в ухо будто.

Меланье послышался голос Прокопия:

«И сказано, исполни волю мою: быть Деомиду духовником. Пушай ярится мякинная утроба, а ты будь твердой, каменной и обретешь силу. Вези к праведницам в Бурундат Демида, куда отправила в храмов праздник сироту Апроську, и попроси игуменью Пестимию, чтоб обучили чадо читать писание, службы править и чтоб не опаскудился он среди нечистых, которых везде много. В обители будет ему спасение. Пушай не даст корову Филимон для Апроськи, а ты отрой мой клад и возьми с собой долю и отдай Пестимии — ребенчишка примут и благодать будет».

— Слышу, слышу! — воскликнула Меланья. Детишки не проснулись от ее голоса. Демка спал на животе и во сне постанывал — на спину не мог перевернуться. — Слава Христе, слава Христе!

Утром Филимон собрался и уехал на пашню с двумя поселенцами — молотья подоспела.

— Оставляю Карьку, — сказал Меланье вскользь, глядя куда-то в сторону. — К обеду чтоб привезла молотильщикам снеди, да не забудь, накопай в огороде картошки. Молитвами хлебушка не оммолотишь!

Меланья ничего не ответила. Но как только закрыла ворота за Филимоном, поглядела туда-сюда по ограде, взяла заступ и топорь и пошла в баню.

Помолилась на закоптелую иконку.

Убрала пустую кадку, вывернула топором три половицы и стала копать. Как говорил покойник свекор, Прокопий Веденеевич, — наискосок под угол бани. Заступ ткнулся в камни. Убрала камни руками. Под камнями, обложенные шерстью со всех сторон, два берестяных туеса.

Достала один — замшелый, отсыревший, с налипшей шерстью. В бане было сумрачно, и она вынесла туес в предбанник. Выглянула — нет ли кого на заднем дворе и в ограде? Никого. Крышка туеса не поддавалась — разбухла и будто впаялась в бересту. Выбила ее топором. Оказывается, гвоздями была прибита по кромкам туеса. Сверху слой слежавшейся шерсти — для чего, не понимала. Под шерстью холщовый положек, а под ним пачки, пачки, пачки николаевских денег в бумажных банковских перевязях, и все крупные

бумажки, золотом когда-то обеспечивались. По виду пачек — деньги не были в обращении. Будто покойный Прокопий Веденеевич получил их из рук в руки от самого помазанника божьего, самодержца российской Николая Второго.

Меланья знала, что в этот двадцатый год Филимон платил налог еще николаевскими, а керенские и колчаковские и всякие губернские боны не принимали в Совете.

Под пачками николаевских — четыре золотых кольца, два толстых из червонного золота, обручальных, а два с камнями — из дорогих, должно. Два золотых крестика на тонких цепочках. На чьих шеях висели эти крестики — кто знает; Меланья о том не подумала. Четыре золотых серьги с камнями — из чьих ушей, знать бы! Ах, какие сережки! Вот если бы тополевая вера не была столь строгой к женщине — можно было бы носить в ушах серьги, золотые кольца, как бы Меланья могла нарядиться! Вот диво-то — к чему тятенька накупил серьги и кольца, с какими хаживают никониановские срамницы! Должно, получил от каких-то богатящих пассажирок во время ямщины. Сколь ямщину-то гонял!.. И пачками николаевских платили, должно, и серьгами с кольцами, и крестиками — и кресты анчихристовой печатки.

Серебряные рубли и полтинники — много, много, много. Выгребла из туеса, отложив к пачкам и золотым безделушкам. Под серебром —

золото

золото

золото

золото

золото!!!

И сразу, в тот же миг, сатано лягнул Меланью своим раздвоенным копытом — затряслась, как в лихорадке. Торопится, торопится, оглядывается, а в пальцах, в трясущихся пальцах —

золото

золото

золото

золото!!!

Испугалась чего-то, накрыла сокровище жакеткой, выскочила из предбанника — никого, ни души! И бегом обратно, к сокровищу.

Выгребла в кучу золото — много-много. А сколько? Считать не умела. Знала только дюжину — двенадцать. Вся превратившись в слух, поспешно раскладывала золотые на кучки по дюжине монет в каждой. Спешила, путаясь в счете, снова пересчитывала; двенадцать дюжин и еще семь золотых к ним. Серебро и бумажные не стала считать — ума-то сколько надо! Писарь, может, не сосчитает!..

БОГАТСТВО

БОГАТСТВО!..

Перевела дух, помолилась сидя на корточках.

— Сусе! Сусе! Спаси мя! — бормотала себе под нос, поспешно складывая сокровища в туес в том порядке, как было уложено когда-то Прокопием Веденеевичем. Крышку закрыла и забила ее топором. Опомнилась — с чем же поедет в скит, в Бурундат к монашкам! — Господи! Господи! Из ума вышибло. Из другого туеса возьму ужо. Из другого. Богатство-то экое, осподи!..

БОГАТСТВО

БОГАТСТВО!..

Отнесла туес на прежнее место, вытащила другой, а этот обложила заплесневелой шерстью и сверху камнями. Быстро. Быстро, как будто сатано подстегивал копытами. В момент закопала, половицы наладила, кадушку поставила и еще раз присмотрелась, не видно ли, что половицы подымались? Нет как будто. Вышла со вторым туесом в предбанник. Так же выбила крышку топором. И тут сверху шерсть и холщовый положек. Серебряные деньги сверху — от пятиалтынного до рублей, и золотые часики на золотой браслетке. Точно такие же, как были у Дарьи Елизаровны. Сама тот раз на ладони держала. Золотые часики! Малюхонькие. К чему тятенька купил экие часики? Не понимала.

Выгребла серебро, а потом насыпала на шаль золото — золото — сияющее золото! Куски от солнца будто. Как же оно взбудораживает душу — будто силы прибавило Меланье.

— Господи, осподи! Богатство-то какое! Ах, Демущка! Счастье твое, — бормотала себе под нос, и нечто неприятное мутило душу. — Ужли все отдать сыну? Самой ни с чем остаться! Господи! Али я не заработала у тятеньки? — подумалось. — Али не со мной втайне жил и в рубище Евы пред образами ставил! Господи! Демид может и на ветер пустить экое богатство. Исусе, спаси мя!..

Разложила кучки дюжинами. Четырнадцать дюжин золотых, а в каждом золотом — десять рублей. Сколько же это? «Ой, вного, одначе! Четырнадцать дюжин! Кабы счет знать, осподи!»

На поездку в Бурундат отложила шесть дюжин и золотые часики с браслеткой. Остальное все сложила обратно, как и в первый туес. Заколотила крышкой. Подумала: шесть дюжин! А в каждой дюжине двенадцать золотых, а в каждом золотом — десять рублей. Шевеля губами, пальцами, считала, считала — и не сосчитала.

— Исусе! Шесть-то дюжин вного, одначе. За сто рублей золотом тятенька купил пару рысистых жеребят у Метелина. А сто рублей это — это скоко же золотых надо?

И опять считала. В одном десять, да еще десять — двадцать. Десять рублей — десять по десять...

Испугалась:

— Осподи! Всего десять золотых за два рысака! Дюжины нету! Сусе! А я шесть дюжин монашкам. Подавиться им. Ишшо подумают, что у меня вного золотых. Власти донесут. Осподи! Дык часы ишшо. Подавиться им! Демка-то, поди, робить будет в скиту.

Оставить при себе лишние золотые не решалась, а вдруг, не ровен час, увидит мякинная утроба?

Еще раз открыла туес и две дюжины золотых положила обратно — взяла четыре. А какая сумма?

— Вного, одначе. Ну, да за Апроську, а так и за Демида, штоб духовником стал. Успокоилась.

— Мааамкааа! — раздался голос Маньки.

Меланья до того испугалась голоса дочери, что животом легла на туес, будто дочь вошла в предбанник, а не кричала откуда-то от дома.

— Маааамкааа! Маааамкааа!

— Окаянная! — одумалась Меланья и, накрыв жакеткой туес, вышла из предбанника.

— Чаво орешь?

Манька кричала с крыльца.

— Демка плачет. Спина, грит, шибко болит, Ой-ой, как болит.

— Скоро приду. Ступай! Сиди с ним. Молока дай. Сметаны набери из кринки.

— Дык пост ноне.

— Для болящего... Ладно, не давай молока и сметаны, Меду дай из кладовки. Да мотри — не жри сама! Не из кадки бери, а из большого туеса. Нет, не из туеса. Из корчажки возьми. С сотами. И себе с Фроськой положи маненько на блюдечко. Мотри! Маненько возьми. Космы выдеру, ежли нажретесь. Золотуха будет. Ступай!

Распорядилась с Манькой и вернулась к сокровищу. Куда же деть туес? Ямку-то зарыла. Вот еще наваждение нечистой силы — из ума вышибло.

— Дык чо их в одно место закапывать? — подумала, круто сводя тонкие черные брови. — Вдруг чо приключится — не дай осподи! В другое место зарюю.

Куда же? Пораскинула умом. А что если в омшанике? Нет, нельзя. Тятенька туда бы не спрятал — омшаник-то новый, перед войной поставили. В овчарню лучше. На месте овчарни была когда-то старая конюшня. Самый раз. Унесла туес в жакетке, будто дитя возле груди, сыскала место в пустующей овчарне — овцы нагуливались в мирской отаре; выкопала ямку на полтора аршина глубины под стеной в углу на закат, поставила туда туес. Да ведь туес-то надо шерстью обложить, как было. Тятенька, поди, знал! Золото, как живое тело, одначе, тепло любит, холить надо. Уходит в землю, слышала, если человек недобр и небережлив. У бережливых золото, как хорошая баба, само пухнет; у ротозеев и простофиль — само себя изводит и уходит. А Меланья не хотела, чтобы оно исчезло. Золото за малый час жизни будто прошло сквозь ее сердце, и само сердце отяжелело, как туес вроде. Насытилось.

Сбегала под завозню, где на деревянных решетках проветривалась шерсть летнего настрига. Набрала охапку и укутала туес со всех сторон, с банной каменки притащила камней, придавила туес сверху и зарыла, притоптав землю.

Место трижды перекрестила.

— Спаси Христе!

Здесь ее клад, Меланьи Романовны, дочери скопидома Валявина, младшей сестры завидущих скопидомок Белой Елани — Аксины Романовны, Авдотьи Романовны, Екатерины Романовны. Одна из сестер, Авдотья Романовна, побывала в замужестве за приискателем. Однажды муж вернулся с фартового места, застал жену с другим, собрался навсегда покинуть блудную бабу, но Авдотья Романовна,

похитив у него золото, предварительно напоив сивухой, отрезала сонному бритвой нос. Чтоб не про золото вспомнил опосля похмелья, а про нос! Так-то надо выдирать у простофиль богатство — хитростью!..

Теперь надо скоренько собраться и ехать с Демкой в Бурундат. Как же быть с Манькой и Фроськой? Одних не оставишь. Надо найти единомерку на неделю, чтоб доглядывала за домом и ребятишками. Филимон, конечно, рассвирепеет. Пущай! У Меланьи теперь сила — золото! А за золото она и черту глаза выдерет и нос отрежет, как сестрица Авдотья.

Единомерку сыскала. Собралась. Взяла на дорогу хлеба, масло в туесе для Апроськи и меду большой туес для монахинь, чтоб не ругались шибко. Демкины вещички сложила в мешок, запрягла ленивого Карьку в телегу, кинула две охалки сена, выехала за ограду, вернулась за Демкой, еще раз помолилась в избе, и к телеге.

— Спаси Христе!

— Спаси Христе! — ответно поклонилась Меланье единомерка.

Поехали.

V

В Таяты, в Таяты, в Бурундат!..

Я поеду в Бурундат,

В Бурундат, в Бурундат!

Богу молиться,

Христу поклониться... —

распевал тонюсеньким голосом Демка. Он едет в Бурундат, в Бурундат! И не будет терзать его рыжая бородища — сатано! Демка вернется из скита духовником и вытурит рыжего в геенну огненну!..

К ночи приехали в большое кержачье село — Нижние Куряты.

Здесь живут старообрядцы-даниловцы и стариковцы; как и в Таятах — разные ветви от распавшейся филаретовой крепости. Люто прикипели к земле — не выдерешь никакой силой. Дома ядреные, солнцем прокаленные; мужики бородатые, бабы все брюхатые, оттого и ребяенок полным-полно в каждом доме.

Справно живут.

Пришлые лентяи и обжимщики, чтоб пожить на чужой счет, в Нижних Курятах не задерживаются.

Меланья отыскала избу старовера и попросилась на ночлег. В избу вступила по уставу: «Спаси Христе чад ваших!» И ответное: «Спаси Христе и вас помилуй!» — с поклонами, без суетности и праздных слов. Староверы не выспрашивают — куда едешь, зачем едешь. Если пустят в дом, не преступай положенных пределов, не мешай хозяевам, не паскудь ни дома, ни стола, ни углов, не вскидывай завидущие глаза на амбары и клетки, на скотину-животину — в шею получишь.

Хорошо!..

Меланья с Демкой устроились в уголке, чтоб никому не мешать, поужинали своей снедью, пили свою воду из своей посуды, ели из своей посуды и улеглись на свое барахло.

Чуть свет Меланья заложила Карьку в телегу, вынесла на руках сонного Демку, поблагодарила за приют хозяина с хозяйшкой и поехала дальше в Верхние Куряты.

Верхние от Нижних ничем не отличаются — тот же русский дух и той же Русью пахнет.

Коня покормили на берегу Кизира. Демка бегал возле реки, радовался, как будто и не был бит смертным боем; детское тело забывчиво.

Мать всю дорогу наговаривала сыну, как кротко и послушно надо держать себя перед матушкой-игуменьей, чтоб она не отказала принять его в скит на возрастанье и ученье.

Солнце скатилось за бурую гору, как за медвежью спину; шерсть на медведе вспыхнула в багровом зареве.

Приехали в Таяты. Село большое, размашистое по берегу Кизира, и с такой же старообрядческой строгостью нравов и обычаев, как и в двух Курятах.

Дома крестовые, заплоты все тесовые.

Община крепчайшая, какой не сыщешь во всей России — прадеды вышли из Поморья в поисках обетованного Беловодьюшка. Дошли до края земли, в места, известные в ту пору зверю и птице. Рыбы в порожистой реке, сколь хошь, зверя много, лесу красного — море разлитое, пашни по взгорьям славные — земля сытая, травы по лугам в пояс.

Живи не тужи!

Пришлых с ветра не принимали.

Пришлomu — ни здравствуй, ни прощай; единове́рца — душевно привечай и ворота открывай.

Меланья с Демкой переночевали в доме единове́рца, утром помолились, хозяину с хозяйюшкой поклонились, Христа добром помянули и за порог нырнули, как говаривают присловьями в этих местах.

Утро выдалось с мороком — туман чубы вскидывал над Кизиром и лохматыми Саянами.

До Бурундата шесть верст и все горою.

Тянигус, тянигус, тянигус. Как будто пузатый Карька тащил телегу на небушко.

По берегу малой речушки, шириною в шаг, возле румяных сосен, на обширной елани три домика за частоколовой оградой — женский скит. Шагов за полсотни — еще две избы за забором из жердей — старцы живут, пустынники.

Меланья привязала Карьку у столбика для приезжих, наказала Демке, чтоб он не слезал с телеги, накрыла его шабуром, помолилась на иконку на столбу ворот, прошла в ограду. Кругом порядок, чистота. Три амбара, поднавес с машинами, конюшня, коровник, овчарня, колодец с колесом и с ведром на крышке колодца, за амбарами — большущий огород, обнесенный тыном, баня в огороде, а там, еще дальше — синие горы.

В крайнем домике у сенной двери — колокольчик. Меланья позвонила и, насунув черный платок до бровей, подождала, когда вышла послушница-белица, еще не принявшая пострижения в монахини.

Обменялись староверческим приветствием.

— К матушке-игуменье?

— К ней. Спаси Христе.

— А! Я вас узнала. Меланья из Белой Елани? В храмов праздник вы привезли к нам девушку, Апросинью

— Привезла. Привезла.

— Плохая она. Совсем плохая. Скоротечная чахотка у ней. Если бы вы привезли осенью, может, спасли бы. Теперь поздно. Как свечечка догорает.

— Спаси ее душу, господи!

Белокурая красивая девушка, заблудшая в миру овца, Евгения, дочь колчаковского полковника Мансурова, где-то летающего с бандой по уезду, сама похожа была на догорающую свечечку: тоненькая, белолицая, вся в черном по обычаю скита, так кротко и покойно смотрела на Меланью своими большими серыми глазами, как будто ей было известно, что жить и ей осталось мало, — и она сгаснет, отойдет в иной мир, и там кому-то пригодятся ее начитанность и влюбленность в небо. В ее голосе не было скорби по догорающей Апроське, а скорее радость — отмучается, несчастная, и на небеси возликует среди ангелов.

VI

Белица отвела Меланью в отдельную залу для приезжих — комнатка с двумя окошками, с двумя лавками, голым столом, с иконами в переднем углу и с русской печью на пол-избы — здесь же и пекарня для обитательниц скита.

Куть была отделена от залы ситцевой занавеской. Обволакивающий запах свежеиспеченного пшеничного хлеба успокоил Меланью, и она, поджидая игуменью, крестись на темные лики икон, обдумывала, с чего начать приступ к игуменье — шутка ли, в женский скит мальчонку привезла, да еще с коровой обманула!

Вошла игуменья Пестимия, строгая старуха в черном одеянии, как лодка, проплыла мимо Меланьи. За нею белица Евгения. Пестимия помолилась, а белица тем временем застлала лавку черным плюшем, и тогда Пестимия села возле стола. Посмотрела на Меланью, отбивающую поклоны на коленях.

— Встань.

Меланья поднялась.

— Корову привела?

— Дык-дык белые-то забрали Апроськину корову. Хозяин мой возвратился из пропащих, Филимон Прокопьевич. В чужую веру прыгнул. Белой Церковью прозывается и согласьем, грит.

— Австрийское согласие?

— Согласие. Согласие,

— Ну, а корова-то тут причем? Ты же привезла девицу и сказала, что к осени приведешь корову. Белых с зимы нету. Ты же ничего не говорила про белых, когда привезла в мой скит болящую?

— Дык хозяин-то — мужик мой — осатанел в чужацкой вере. Тополевый толк наш отринул. Меня смертным боем бил и ребенчишка — малого парнишку — забил насмерть. Привезла вот.

— Кого привезла? — строжела Пестимия, перебирая в пальцах черные четки на шнурке.

— Дык ребенчишка. Сына мово, Демушку.

Игуменья выпрямилась на лавке, положила кисти рук на черное одеяние, обтягивающее ноги до полу, посмотрела на Меланью так сердито, что та снова бухнулась на колени и крестом себя, крестом с поклонами, не жалея лба, стукнулась в половицы, выскобленные до желтизны.

— Зачем ты ребенка привезла? Показать?

— Дык осподи! — к вам привезла: смилуйтесь за ради Христа, матушка!

Игуменья рассердилась!

— Ты никак умом рехнулась?

— Осподи! Осподи! Ма-а-атушка! — завопила Меланья, падая на колени. — За ради Христа!

— Да встань ты! Чего воешь? Как будто я не понимаю вашей кержачьей хитрости! Ох, господи! Спаси и помилуй. Когда же вы прозреете, сирые! Когда же вы вспомните про господа бога, сына человеческого и святого духа! Когда же вы поймете, что входить надо к богу тесными вратами, потому что широкие врата и просторный путь ведут к погибели. И ты... как тебя звать? Меланья? Да встань же ты, наконец.

Меланья поднялась.

— Ну так вот: ты надумала еще в храмов день обмануть меня с коровой. А к обману вел широкий путь и широкие врата моего доверия. А теперь корову белые забрали. И ты все это говоришь перед образами? Ты обманула не меня — господа бога! Может, разговаривала с еретичкой Ефимией, коя проживала у меня с год, натворила паскудства, оплевала святую обитель и ушла. Виделась с Ефимией? Она же из Белой Елани.

— Дык-дык-дык...

— Виделась! Так и есть!

Игуменья поднялась — взгляд, карающий грешницу, пальцами сжала черные четки.

— Вот что, Меланья. Обманувшая обитель — не достойна быть и малый час в ней. А на парнишку твоего смотреть нужды нету — здесь женский скит, не мужской. Или ты не в своем уме?

— Клятьба на нем, мааатушкааа! — завопила Меланья, снова бухнувшись на колени. — Тайная клятьба на нем! Слово с меня взято, мааатушкааа!..

Игуменья задержалась, соображая, о чем бормочет баба, спросила:

— Какая еще «клятьба»?

— Дык-дык колды помирал убиенный...

— Убиенный?

— Допреж сказывал...

— Вразуми меня, господи, понять эту женщину! — взмолилась игуменья Пестимия. — О чем ты бормочешь?

— Дык клятьбу взял с меня духовник в бане — батюшка наш, Прокопий Веденеевич...

— Тот греховодник, которого клянет Елистрах?

— Дык сказал мне он до гибели своей: «Ежли, грит, сгину, то отдай Диомида в скит праведнице Пестимии на возрастанье, чтоб грамоту узнал, писанье мог читать, службы править по нашей тополевой вере. А на то дело, грит, клад завещаю — четыре дюжины золотых и часы ишшо»...

Да простит господь Меланью! Она успела окончательно уверовать, что покойный Прокопий Веденеевич завещал клад не Демиду, а только ей, Меланье, а из того клада — четыре дюжины золотых да часики для Демида... А все, что в туесах — для нее, только для нее, рабицы господней! Это она сама скопила золото. Сама. Сама! Сама ямщину гоняла. Сама. Сама! В туесах ее золото, ее золото!..

Игуменья подумала:

— Тебя мучает какая-то тайна?

— Мучает, матушка. Мучает. Про парнишку свою, Про Демущку. Игуменья кивнула белице-послушнице, и та вышла за двери.

— Поклянись перед создателем, что говорить будешь только правду.

Меланья поклялась, наложив на себя тройной крест.

— Говори.

Пестимия вернулась на лавку.

— Дык мужик мой — ирод, сатано, отринувший нашу праведную веру...

— Тополевый толк — греховный, — укоротила Пестимия. — В чем твоя тайна, говори!

— Дык Филимон-то — мужик — изводит ребенчишку мово, Демушку.

— Изводит? Почему?

— Дык как по тополевой вере народился...

— Причем тут ваша тополевая вера! Не понимаю.

— Дык-дык радела я с духовником...

— С духовником? С каким духовником?

— Дык-дык с тятенькой, со Прокопием Веденеевичем, как со праведником.

— Как «радела»? Говори же ты толком!

— Дык во стане сперва, когда Филимон во тайгу убег от войны той. Хлеб убирали со свекром, и явленье было ему: матушку свою во сне узрил, и она сказала, чтоб он тайно радел со мною, и радость, грит, будет, и у меня народится сын потома.

— Что? Что? — тарацилась игуменья. — Спала со свекором, что ли?

— Во стане сперва, а потом дома. В рубище Евы зрил меня, — лопотала Меланья, и ни искорки стыда не было в ее карих, спокойных, как у коровы, глазах.

— Господи! — Пестимия осенила себя крестом. — Так ты парнишку родила от свекора?

— От духовника, матушка,

— Так он же твой свекор?

— Ежли по мужику...

— Помилуй меня! Кем же еще может быть свекор, как не отцом твоему мужу. Ты хоть в грехах-то покаялась?

— Дык пошто? Как по нашей вере...

— Какая вера?! Дикость! Преступность-то! Сожитие со свекором — отцом мужа твоего, это же тягчайший грех, женщина! Судить за то надо, судить! Не божьим, а мирским судом. Бог осудил вас в ту же

ночь, как вы позволили себе экий срам. О, господи! Слышишь ли ты! В тюрьму бы тебя со свекором!

— Дык-дык батюшка-то сказывал — святой Лот со дщерями своими, грит...

— Тьфу! Тьфу! Тьфу! — плевалась Пестимия. — Как же мне с тобой разговаривать, грешница, если ты и греха-то не видишь, когда по уши утопла в грязи и блюде?! Слыхано ли, господи!

— Дык-дык разе я одна тополевка. В Кижарте вот — али вот суседка моя такоже радела с батюшкой и двух дитев народила.

— Господи помилуй, в полицию бы вас! В полицию! Да плетями бы вас, плетями, плетями! Видел царь...

Игуменья осеклась на слове — что поминать царя, когда его пихнули вместе с престолом!

Меланья, не уразумев, за что на нее гневается матушка Пестимия, сказала?

— Дык царь-то не видел. Не было его в стане, когда мы с тятенькой...

— Тьфу, тьфу! Замолкни! Дура ты, что ли, в самом-то деле! И этот ребенок жив?

— Дык привезла к вам, матушка.

Игуменья всплеснула руками:

— Богородица пресвятая, слышишь!? Она привезла ко мне своего выб... — Пестимия не выговорила слово — подавилась. Четки в ее пальцах пощелкивали, будто черт стучал копытцами, танцевал от радости, созерцая нераскаившуюся грешницу. — О, господи! На старости лет слушать такое...

Игуменья примолкла, а Меланья все так же глядит на нее своими коровьими глазами, ждет милости.

— Что же он завещал тебе, этот блудник и преступник?! И нет ему отпущения грехов!.. Что он завещал?

— Дыд-дык сказал на остатность — мучился от плетей шибко.

— Так его все-таки драли плетями? — обрадовалась игуменья.

— Драли, матушка. Шибко драли казаки...

— Слава Христе, — помолилась игуменья. — Ну, и что он завещал?

— Оставляю, грит, шесть дюжинов золотых на возрастанье Диомида. Четыре, грит, отдай матушке Пестимии, штоб грамоте

обучали в скиту и штоб опосля стал духовником, как я...

— Господи! Нераскаявшийся пакостник завещал блуднице, чтоб она на замену ему вырастила еще одного снохача. И она, грешница, привезла в мой чистый скит во грехе и блюде рожденного и просит... Нет, не могу! Сил лишусь, господи!..

VII

Игуменья надолго примолкла.

Четыре дюжины золотых? О чем бормочет нераскаявшаяся грешница?

— Господи! И ты еще жалуешься на мужа своего! Да тут и сам святой растерзал бы тебя, блудница!..

Но — четыре дюжины золотых! Это сколько же? Сорок восемь? Чего сорок восемь? Да ведь она сказала — шесть дюжин. Сперва четыре, а потом шесть. Ох, грешница! Можно ли верить такой грешнице? Пред иконами лжет и не раскаивается!

— Про какие шесть дюжин говоришь?

— Про четыре, матушка. Часы ишшо.

— Ты же сказала — шесть дюжин?

— Дык-дык-дык четыре, матушка. Для скита. Часы ишшо.

— Ты, я вижу, скрытная и жадная. На свое и на чужое добро жадная. Врешь ты богу и мне. Вижу то! Покарает тебя господь, ох, как тяжко покарает. И не искупишь потом свой грех никакими дюжинами, грешница!.. Где эти дюжины и часы?

Меланья показала себе на грудь:

— Тута.

— Покажи.

Сверток в старом платке засунут был между грудей. Меланья достала и протянула матушке Пестимии.

— Встань и сама развяжи на столе.

Развязала. И вот оно — золото

золото

золото

золото!..

И золотые часики на золотой браслетке с камнями. Игуменья взяла их с платка, разглядывала на вытянутой руке.

— Чьи часы?

— Дык батюшки.

— Такие часы покупают только богатые барыни за большие деньги. Кому он купил часы, старый грешник?

— Дык не покупал... в ямщине заробил, грит.

Золото сверкает на темном платке — сатано скалит зубы, радуется, совращает непорочную святую Пестимию, чтоб спеленать с грешницей Меланьей. Сорок восемь зубов выставил. А все ли они здесь, сорок восемь?

— Четыре дюжины?

— Как есть четыре. Хучь сосчитайте, матушка.

— Не вводи во искушение! Господи меня помилуй! Так что же ты хочешь?

— Чтоб малого мово, Демушку, взяли от погибели. Ирод-то, Филимон Прокопъич, прибьет его, истинный бог!

— Не ирод муж твой, а святой мученик, если до сей поры не пришиб тебя насмерть за такое паскудство! Господи! Как же мне поступить с этой грешницей?

— Смиловивьтесь, маатушкааа!..

— Молчи. Я помолюсь.

Считая четки, Пестимия долго молчала, читая про себя молитву, чтоб не ввел ее нечистый во искушение.

Сорок восемь золотых десятирублевиков лежали на платке. И часики. Редкостные заморские часики. Любая барыня за такие часики... Ах, господи! Остались ли в городе барыни? Ну да золото всегда останется золотом, и — часики...

— Ты же сказала: шесть дюжин завещал грешник?

— Дык-дык батюшко-то сказывал: четыре дюжины, грит, в скит отдай, штоб малого взяли учить писанию. А две дюжины, штоб опосля ученья хозяйством обзавелся. Ить Филимон-то Прокопьевич ничаво не даст Демушке из хозяйства. Вот те крест! Не даст.

— Не накладывай на себя кресты, грешница! Но как же мне поступить?.. Ох-хо-хо! Скотство. Как звать сына?

— Диомид. Дема.

— Пять лет ему?

— Четыре, пятый. Недели две, как четыре сполнилось.

— Послушный?

— Души не чаю в нем. Ум в глазах светится.

— Откуда тебе знать, ум или дикость светится у него, если ты — тьма неисходная!

Игуменья еще помолчала, кося глаза на кучу золотых. Сорок восемь? Четыреста восемьдесят золотых рублей! Нелегко скопить золото и даже великому грешнику...

— Муж знает про дюжины?

— Оборони господь!

— Как же ты живешь с ним, если кругом обманываешь?

— Не обманываю. Оборони господи!

— А это? Что это?

— Дык-дык клязьбу дала...

— Ладно. Заверни все это в платок и пойдем. Покажи ребенка.

Меланья завязала дюжины с часиками в платок и протянула игуменью. Та посмотрела на нее взыскивающе строго:

— Ох, грешница! Сама утопла в тяжких прегрешениях и меня вводишь во искушение. Нечистый дух попутал тебя. Изыди! Не во храме ли божьем пребываешь? Не пред ликами ли святых? Не приму твоих дюжин — из нечистых рук они. Отверзни душу и лицо свое в час прозрения да прокляни навек совратителя твоего! Аминь.

Прошла мимо растерявшейся Меланьи, оглянулась:

— Веди к ребенку.

Низко опустив грешную голову, зажав в обеих руках платок с золотом, Меланья вышла из избы со вздохами: «Осподи! Кабы все шесть дюжин привезла — приняла бы Демушку».

Возле крыльца игуменья взяла свой черный посох, поскрипывая рантовыми ботинками, шла медленно из ограды.

Демка успел уснуть под шабуришком.

— Демушка! Демушка! Подымайсь!

— Ой, мамка! Больно. Шибко больно! — хныкал спросонья малый, не в силах сесть на телеге даже на мягкое сено.

Черная высокая старуха уставилась на него испытующим взглядом. Так вот он какой, во блюде рожденный! Кудрявые волосенки ниже плеч — мать не стригла сына; глазенки синие, спокойные, удивленно распахнутые. Холщовая рубашонка и штанишки, чирки на ногах, рослый для четырех годов — может, и тут обманула, блудница?

— Дык четыре, четыре, матушка. Вот те крест! Тянется. Покойный батюшка, Прокопий Веденеевич...

— Окстись! — отмахнулась игуменья. — Не поминай имени совратившего душу твою. Навек забудь! Проклят он, и нет ему спасения на том свете. Тебе жить — тебе и грех свой замолить. Ежли прозреешь только. Ох, господи! Вразуми эту рабу божью!

— Дык-дык что же мне таперича, осподи! — смигнула слезы Меланья, готовая разреветься. Игуменья прикрикнула — не слезы точи, мол, а молитвы читай, да пред богом покаяйся во всех своих тяжких прегрешениях.

— На какую боль жалуется?

— Дык смертным боем бил его Филимон Прокопьевич. Кабы вы зрили, осподи!..

— Покажи.

Меланья спустила с Демки штанишки — малый не сопротивлялся. За дорогу от Белой Елани до Бурундата мать многим показывала, как он избит рыжей бородищей.

Еще не затянувшиеся коросты на иссеченном тельце.

— Святители! — испугалась игуменья. — Не звери ли то, господи!

— И бабка Ефимия такоже сказала — обмолвилась Меланья.

Игуменья рассердилась:

— Не поминай имени еретички, как и совратителя своего. Аминь. Чтоб ни в душе, ни в памяти!

Помолчали.

Высокая игуменья медленно перебирала четки, глядя на пенные горы, близко подступившие к скиту.

Горы пенятся туманами к непогоде.

— А мы еще пшеницу не всю в скирды сложили — сказала игуменья. — Да и в тайгу надо ехать монашкам, чтоб ульи составили в омшаник.

Меланья подумала, что игуменья приговаривается к ней, чтоб она помогла скитским управиться с хлебом.

— Дык-дык ежли на недельку, дык останусь. Филимон-то Прокопич не знает, што я к вам уехамши.

— У нас хватит сил и рук, чтоб управиться с хлебом, со скотиной и пчелами. Ты о душе подумай! О своей душе подумай!

— Как приняла я тополевый толк...

— Ладно. Не о том говорить будем. Отвези эти дюжины и часы сатанинские мужу своему, отдай, и во грехе покайся пред ним и пред господом богом. Сделаешь так?

У Меланьи и рот открылся, а во рту-то сухо — ни слов, ни божьей мяты.

— Дык-дык как же? Клятьба-то на мне экая!

— Али ты навек продала душу сатане?

— Осподи!

— Прозрей, пока не поздно. Отдай дюжины мужу, говорю. И мир будет в доме вашем.

— Дык осподи! Прибьет он меня! Прибьет. Остатное востребует. Скажет: где хоронился клад? Покажи? Туес весь... — проговорила Меланья и сама испугалась.

— Туес!? Так я и знала! Пред иконами лгала! Лгала, лгала! Нечистый кругом запеленал тебя! Изыди! Изыди! Поезжай сейчас же домой и молись, молись, молись! Ежли прозреешь — наведишь скит мой. До прозрения не приезжай, говорю. И мальчонку не привози — не место ему в скиту.

Меланья в слезы: не судьба, видно, быть Демке духовником. Так со слезами и уехала, и долго, долго плакала дорогою, не уяснив, за что же на нее разгневалась старуха игуменья? Может, за то, что корову не привела? Так ведь четыре дюжины золотых давала! «Осподи, что же это такое? Али греховный толк наш? И Демушку не приняла. Что же мне делать-то, матушка! Горемычная моя головушка!..»

Всю дорогу до Белой Елани исходила слезами и решилась-таки отдать мужу тятино золото. И Филимон Прокопьевич, глядишь, мягче будет, смирится с выродком.

...Возликовал Филимон и зарок дал (в который раз) не трогать Демку, а золото, богатство экое, надежно припрятал, пустив в оборот «николаевки», покуда у Советской власти не было еще своих денег.

Года на три в доме у черного тополя настал мир и согласие.

Подрастал Демка...

ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ

I

Вешняя отгалка голубила землю.

Над просторами Амыла, над безлюдными, угрюмыми Саянами, над синь-тайгою, накапливая тепло, подтачивала стынть зимы весна 1923 года. Теснее жалось к тайге солнце. Чернели зимники по займищам. Реки пучились наледью. Забереги отжевывали лед от берегов. Птицы, совсем недавно безголосые, наполняли щебетом и гомоном обжитые места. На солнцепеках пашен темнели веснушки проталин. Деревушки подтаежъя не буравили черными штопорами небо, а выстилали по земле свадебные дымовые шлейфы: земля готовилась к венчанью с солнцем, чтобы потом справить свадьбу у первой борозды на пашне, когда еще окрест голые леса и сама земля в серой шубе прошлогодних вытаявших трав. Ну, а после свадьбы земли с солнцем, после сладостного томления вешних ноченок брызнут травы по лугам, развернутся листья на деревьях, и даже люди тайги молодеют, вспоминая зимушку, как вчерашний день.

Такие же перемены бывают и в жизни...

Недавно лилась кровь; бились грудь в грудь красные с белыми, не чая увидеть завтрашний день; белые армии гибли, горели, как солома на огне, красные — уверенно и немилосердно дотапывали на Востоке гибнущие армии — и дотоптали их.

Бряцая шпорами юфтовых сапог, вчерашний командир кавалерийского взвода Пятой Красной Армии Мамонт Головня шел дорогою из Каратуза в Белую Елань.

Если бы кто со стороны посмотрел на Мамонта Петровича в красноармейском воинском наряде, он мог бы подумать, что вояка перемещается с позиции на позицию. Лихо заломленная смушковая папаха со звездочкою, буденновская длиннополая шинель с красными хлястиком на груди, болтающаяся кривая шашка с золотым эфесом, парабеллум в кобуре на ремне, портупей, само собою — шпоры, притянутые ремешками к задникам сапог — без слов говорили о том, что Мамонт Петрович достаточно порубил беляков кривой шашкою,

если получил ее в дар от Реввоенсовета республики, и немало успокоил врагов из парабеллума, коль приклепали к рукоятке оружия серебряную дарственную пластину от Главкома Пятой армии.

Но Мамонт Петрович шел не на войну, а с войны: наелся войной по горловую косточку.

Дымчатая синь-тайга да вороны встречались вояке на дороге. Под ногами ледок Амыла. Вешний, пористый. Подковки мягко бряцают по льду. Хорошо. Радостно Мамонту Петровичу. Над Амылом курилось волглое марево: солнышко плавало в белесой пене. Куда только мог хватить глаз, не видно было ни души. Справа — отвесные горы. И где-то там, на горах, качали мохнатые вершины сосны и пихты. По крутым местам взгорий карабкались вверх березки. Слева тайга, и кто ее знает, куда она ушла!..

Как-то там, в Белой Елани! Аркадий Зырян, бывшие партизаны отряда Головни, и вот еще Евдокия Елизаровна. Уезжая из Белой Елани, он успел поговорить с Дуней. Откровения особого не было — про любовь там, вздохи и всякое протчее, буржуйское, но Мамонт Петрович сказал-таки, если Евдокия Елизаровна не брезгует им, кузнецом, то пусть ждет его возвращения, и они потом вместе одним мехом будут раздувать угли в советской кузнице. Дуня обещала ждать. «Мной бы не побрезговал, Мамонт Петрович, — сказала ему. — А я буду ждать с радостью». Ждет ли? Не надеялся. Это же Дуня Юскова!..

Вдруг Мамонт Петрович остановился, широко распахнув глаза: прямо перед его носом из-за тороса выглядывал широкий, как печная заслонка, зад бурого медведя.

— Едрит твою в кандибобер! — ахнул Мамонт Петрович, и зад медведя моментально скрылся за торосом. — Стой, гад! Стреляю! Стой!

Медведь припустил по льду такой рысью, чю ему мог бы позавидовать рысак.

Мамонт Петрович кинулся следом с парабеллумом в руке. Торосы мешали бежать, и он раза два разостлался на льду во весь свой богатырский рост, гремя военными доспехами. Медведь ухал, шпарил что есть силы. Кто-то не вовремя поднял лежебоку из берлоги, вот он и шатался, перебираясь с одного берега Амыла на другой. Добежал до огромной полыньи. Сунул лапу в воду, ухнул сердито, повел головою в одну сторону, другую, а сзади выстрелы — бах, бах, бах! Одна пуля

влипла в стегно, и медведь, рывкнув во всю медвежью глотку, прыгнул в полынью, аж брызги посыпались во все стороны, и поплыл. Мамонт Петрович добежал до полыньи, посмотрел на пятна крови, а сам медведь тем временем вылез на лед с другой стороны и — дай бог ноги!..

— Ушел, каналья! — не то пожалел, не то обрадовался Мамонт Петрович, пряча парабеллум в кобуру. — Вот бы Евдокии Елизаровне был подарочек! Шкуру я бы сам выделал. Встал утром, опустил ноги на шкуру и, пжалста, закуривай!

И Мамонт Петрович закурил японскую сигаретку, а шкура для Евдокии Елизаровны, ухая от радости, что уцелела, косолапила в тайгу.

II

Куда он шел, Мамонт Петрович? Не в ту ли сторону, куда пригнали его по этапу еще при царском прижиме на вечное поселение, и он не обрел в глухомани ни семьи, ни дома, а так и остался одиноким бобылем! Какая неведомая сила тянула его в таежную глушь, он и сам того не разумел. А ведь мог бы теперь уехать в родную Тулу на оружейный завод, на котором в раннюю пору стал кузнецом, а отец слыл за такого умельца, что и блоху знаменитого Левши мог бы подковать! Мамонт Петрович запомнил Тулу, Москву и всю Расею-матушку — студеная Сибирь спеленала по рукам и ногам, и он не помышлял своей дальнейшей жизни без людей тайги. Он был кузнецом, политиком в доме Зыряна, повстанцем и командиром партизанского отряда — здесь его отчий край, не в Туле розовой юности.

Он не думал кого-то обрадовать своим возвращением в Белую Елань — тут живут люди скупые на праздное слово, зато цепкие, звонкие и размашистые, как сама матушка-тайга!..

Долго шел трактом по займищу; солнце ткнулось в синющие хребты Саян, и стало холодно: схватывался ледок на лужах, потрескивая, как стекло, под сапогами кавалериста. Плечи одеревенели от тяжести мешка на лямках. Что было натолкано в заплечный мешок, пуда в два весом, неизвестно; Мамонту Петровичу не привыкать к вьюкам. За годы гражданки он привык к большим

переходам и ко всяким тяжестям. «Мамонт вывезет!» — обычно говорили о нем товарищи.

Минуя деревню, Мамонт Петрович завернул в окраинную избушку: нет ли у хозяйюшки чайку или кринки молока?

— Экий молосный! — усмехнулась ладная чалдонка, плеснув в лицо Мамонта Петровича карий свет своих любопытных глаз. — Из Красной Армии, поди?

— Из Красной Армии.

— На побывку, чать? При оружие-то.

— Насовсем. Оружие у меня именно — навечно останется со мной.

И словно тучка насунулась на лицо хозяйюшки в бумазейной кофтенке, полногрудой, изождавшей мужской ласки.

— А мой-то сгил до Красной Армии в партизанах — печально прошелестели вдовушкины слова. — Век горевать одной да ребятишек растить. Трое сирот осталось.

— А где он был в партизанах, ваш муж?

— На восстанье сперва ушел, ишло когда белые власть взяли, а как разбили восстанье — с отрядом Мамонта Головни скрылся в тайгу и там сгил.

— По фамилии как?

— Ржанов. Петр Евсеевич. Вот ездила осенью в коммуну возле Курагиной. Партизаны Головни сторнизовали там коммуну в экономии Юскова. Крупчатный завод у них, коней и коров много. Встрела одного коммунарского, по фамилии Зырян. Мельницей управляет. Он тоже был у Головни в отряде. Сказывал, будто отряд ихний на прииски пришел, а управляющий прииска выдал их карателям. Сонных захватили на заиздке — семеро спаслось токо. А карателями командовал хорунжий Ложечников. Будь он проклят! Кабы я это знала, я б иво кипятком ошпарила, истинный бог!

— Как бы ты его могла ошпарить кипятком?

— Да у меня ведровый чугун кипятка стоял в ту ночь в печке!

— В какой печке? — Мамонт Петрович решительно ничего не понимал.

— Да я не все обсказала вам — спохватилась вдовушка. — До того как побывать мне в коммуне партизанской, за неделю так или чуть больше, заявили ко мне среди ночи четверо — двое мужчин и две

женщины; изба-то у меня на самом краю деревни. Верхами приехали, и все при оружии — мужчины и женщины., Грязнющие, мокрые, не приведи господи. Дождина полоскал всю ночь ту. Печь заставили топить, барана жарить, а сами разболوکлись и мокрое развесили сушить у печи. Ну, разговаривают промежду собой, а я все слышу — от кути далеко ли? Рядышком. Мужчины один другого называют по имени-отчеству.

— Так! Так! — насторожился Мамонт Петрович, забыв про чай и молоко.

— Один такой высокий, русский, поджарый — Гавриил Иннокентьевич.

— Ухоздвигов?!

— Он самый. Мне потом сказали. А другой — Анатолий Васильевич.

— Хорунжий Ложечников?!

— Кабы знатье!

— Ну и что они? О чем говорили?

— Банда у них была большая, сабель триста, из казаков вся. Пробивались через Саяны в Урянхай, да их перехватили за Григорьевкой, растрепали вчистую — спаслось мало, окаянных. Жарю им мясо, сволочам, а они цапаются друг с другом, кто из них больше виноват, что их так растрепали. Сытый этот, Анатолий Васильевич, попрекал Евдокию Юскову, полюбовницу Ухоздвигова...

— Што-о-о? — вытаращил глаза Мамонт Петрович — Евдокию Елизаровну?

— Али знаешь ее?

— Знал.

— Да вы откуда будете?

— Из тех же мест, кузнец.

— Кузнец? Ишь ты! А теперь, поди, командиром был в Красной Армии?

— Командиром. Говори дальше. За что попрекал Ложечников Евдокию Елизаровну?

— Дык за разгром банды. «Твоя, грит, сельсоветская потаскушка подвела всех нас под монастырь». Будто Гавриил Иннокентьевич посылал Евдокию Елизаровну в Ермаки и в Григорьевку, чтоб она все там разузнала про каких-то чонов.

— Части особого назначения?

— Вот-вот. Банды изничтожают.

— И что же она, не разузнала?

— По словам Ложечникова, выходило так, что она, Евдокия Елизаровна, будто снюхалась с теми чонами, и вся банда казаков угодила в западню за Григорьевкой. Пулеметами стрелили. Ну, а сам Ухоздвигов защищал свою любовницу. Что она, дескать, знать ничего не знала про пулеметы чонов.

— Все может быть, и не знала — кивнул Мамонт Петрович. — Ну и чем кончилась ссора?

— Не приведи бог, как они сцепились. Ребяенок моих перепугали в горнице, и меня у печи так трясло, что я руки себе обожгла в беспмятстве. Схватила голыми руками за сковороду с мясом. Ох, как они тузили друг друга и за револьверы хватались. И бабы промеж собой сцепились. Катерина какая-то, любовница Ложечникова, чуток не придушила Евдокию Елизаровну. Вот тут она ее в угол втиснула, и душит, душит за горло. Кричит ей: «Шлюха ты красная! Всех как есть перекрутила и запутала!»! Какими только срамными словами она ее не обзывала — не слушать бы! А Ухоздвигов-то, хоть и поджарый, а верткий такой! Как поддаст, поддаст толстому Ложечникову, так тот в стену влипает. Стол опрокинули, посуду всю перемесили под ногами. Не знаю, чем бы кончилась ихняя потасовка, кабы не забежал в избу ишшо один бандит. Орет им: «Чоновцы выступили из Каратуза!» Ну, эти враз прикончили драку. Мужчины вышли на улицу, а бабы сопли да слезы растирали у себя по щекам, космы приглаживали.

Час так прошел; я увела ребятшек к суседке: бандиты вернулись — Ложечников с Ухоздвиговым потребовали мясо. Меня ударил бандюга Ложечников за пригорелое мясо. А то не понимает, как бы я сберегла мясо, когда они друг друга мутузили!

Самогонку из четверти пили. Похабствовали, и бабы с ними похабствовали. Ну, прямо, как свиньи. А меня так-то лихотит, так-то лихотит, гляючи на них. Потом Ухоздвигов куда-то ушел со своей любовницей, а Ложечников с Катериной остались и спать легли в горнице на кровати. Там бы я их, если бы знатье, как он убил мово Петра, ошпарила бы кипятком. Истинный бог, ошпарила бы!..

Мамонт Петрович, сидя на лавке возле стола, крутил в пальцах свой русый ус. Евдокия Елизаровна! А он еще подарки для нее несет!..

В избу вошла девчушка лет одиннадцати в мужском полушубке с завернутыми рукавами. Остановилась у порога и смотрит исподлобья на незнакомого дядю.

— Что вы молоко-то не пьете? Крынку просили, а кружки не выпили.

Мамонт Петрович сыт — горячий камень застрял в глотке, на щеках желваки вспухают.

— Разбередила я вас, должно, рассказом про бандитов.

— Спасибо, хозяйюшка, — поблагодарил Мамонт Петрович и, чтобы вытравить несносную боль из сердца, отвлечься, спросил: — Ты не сказала, как партизаны в коммуне живут?

— Хорошо живут. Меня звали с ребятами. Особенно этот Зырян, который про мужика мово рассказал мне.

— Самое верное дело для тебя — коммуна, — заверил Мамонт Петрович.

— Собираюсь вот. Двое ребяташек в коммуне теперь. У меня вить никакого хозяйства нет. Конь издох, осталась коровенка. Весною приедут за мной коммунары.

Собираясь уходить, Мамонт Петрович взялся за свой увесистый мешок, что-то вспомнил, развязал его, порылся и вытащил богатющий узорчатый платок с кручеными кистями — трех баб завернуть можно, и еще один, наряднее первого, шелковый, японский; немислимые для крестьянки: кулек с рисом и пакетики с шоколадом, японскими галетами, с пряниками, черепаховый гребень — не волосы чесать, а чтоб голову украсить красавице. И все это добро положил на стол. Хозяйка смотрела на диковинные вещи недоумеая — богатством хвастается, что ли?

Мамонт Петрович так же молча завязал мешок и закинул его себе за плечи. Ремни поправил на шинели. Папаху надел.

— Ну, до свидания, хозяйюшка.

— А добро-то, добро-то оставили!

— На память тебе от партизана. Твой муж, Петр Евсеевич, погиб смертью храбрых за дело Советской власти. Не сонный погиб, а с винтовкою в руках. И меня лично спас в том бою в тайге. В коммуне мы еще свидимся.

— Да постоит же! Постойте! — вцепилась хозяйюшка. — Хоть скажите, кто вы?

— Мамонт Петрович Головня.

— Бог ты мой! Бог ты мой! Сколь про вас слыхивала, а впервой вижу. Как же вы? Бог ты мой! Про Петеньку бы рассказали мне! Про Петеньку-то! Бог ты мой! Нюся, проси дяденьку, чтоб остался. Хоть на одну ночь с нами. За ради бога! Про Петеньку-то!..

Мамонт Петрович стиснул зубы — самому бы не расплакаться, а вдовушка цепляется ему за плечи. Девчушка ревет.

— Мы еще свидимся. Как тебя звать-величать?

— Клавдеей звать. Ржанова. Ржанова. Бог ты мой! Да останьтесь же вы! Останьтесь. Куда на ночь глядя? Непогодь подымается. Останьтесь же! Про Петеньку расскажите.

Но разве мог Мамонт Петрович остаться, если у него в башке ералаш, а в горле камень катается? Евдокия Елизаровна!.. Хоть глоток холодного воздуха хватануть бы, чтоб не задохнуться.

— Свидимся в коммуне, Клавдия. В коммуне. Идти мне надо. Идти. Такое дело. Извиняй, пожалуйста. — И вывалился из вдовой избы, не оглядываясь.

III

Небо затянуло лохматою овчиною. Непогодь. Вскоре повалил снег. Мокрые хлопья липли на лицо Мамонта Петровича, но он все шел, шел навстречу непогоди, чуть пригнув голову. В ложбине сбился с дороги, угодив в сугроб по пояс. Присел отдохнуть под кустом черемухи. Черные сучья качаются под напором ветра, циркают друг об дружку, а Мамонту Петровичу кажется, что это черные косы Дуни. Ветер сюсюкает в косах, издевается: «Не ссс тоообооой! не ссс тоообооой!»

Мамонт Петрович вскочил на ноги, зло уставился на куст черемухи с перепутанными голыми ветками. С визгом вылетела шашка из ножен и со всего плеча по черным косам Дуниных волос:

— Гадюка ползучая! Ррраз, рраз! Перед строем партизан речь говорил! В куски, в прах, ко всем чертям!

«Вззи, взззи, вззи!» — поет кривая шашка, отхватывая сук за суком у безвинной черемухи.

— Клялась, что навсегда повернулась лицом к мировой революции, а ты, оказывается, буржуазная гидра!..

Одеревенела рука, занемело плечо, а Мамонт Петрович, освобождая сердце от тяжести, рубил и рубил сучья черемухи...

Умаялся, сел передохнуть. Грудь вздымается, как мехи в кузнице. Если бы он знал!.. Он мог бы остаться на Дальнем Востоке. Его уговаривали поехать учиться в школу красных командиров, но он отказался. Человек он мирный, просто кузнец, и за оружие взялся по крайней необходимости. И он себя показал, что значит рука кузнеца с шашкою! Не раз побывал на свиданке со смертью; под Читюю он со своим взводом потерпел полный разгром и угодил в лапы семеновцев. Сам некоронованный владыка Забайкалья допрашивал Мамонта Петровича в атаманском вагоне, грозился зажарить его живьем, но не удалось атаману привести свой замысел в исполнение: эшелон семеновцев слетел с рельсов, и Мамонт Головня бежал по шпалам до Читы. Тринадцать дырок насчитал в шинели, и хоть бы одна пуля царапнула — судьба берегла, что ли? Для каких же свершений она его берегла, хотел бы он знать!..

Командование кавалерийским полком считало его погибшим в Забайкалье и послало о том извещение в Белую Елань и Сагайскую волость. Мамонт Петрович не стал опровергать извещение: пусть считают погибшим. Некому особенно плакать о нем — ни жены, ни детей, а про родичей в Туле и не вспомнил даже. Он считал себя вечным солдатом мировой революции, а солдату не пристало носиться со своей персоной. И вот сейчас, возвращаясь к себе в Белую Елань, Мамонт Петрович ни в Каратузе, ни в Сагайске не назвался и никому не представился. Ни к чему! Он решил потихоньку добраться до Белой Елани, разузнать, что и как, и кто где, а потом, возможно, так же тихо покинуть таежный угол. Жизнь коротка, а земля чересчур огромная, хотя у Мамонта и длинные ноги. Махнуть бы в Москву, что ли? В столицу мировой революции, поближе к Ленину!..

Не мог рассудить о себе: отчего у него вдруг ярость разыграла? Какое ему дело до Дуни Юсковой? Ну, в банде! Рано или поздно сломит себе голову, ну и пусть! Ан нет! Ему не все равно. Как заноза в самое сердце.

Посвистывает ветерок в сучьях черемух. Сыплется и сыплется снег на грозного солдата мировой революции, а самому солдату мерещится Дуня в медной мастерской деда Юскова. Она мешает ему вытачивать на станке серебряные и медные подвески и бляхи для

наборных шлей и хомутов; она залезла на верстак и смотрит на него своими черными влажно-блестящими глазами. Платье ее задралось, и он видит ее округлые колени.

«Политики могут любить?» — спрашивает Дуня.

«Такая подвеска не для шеи социалиста-революционера» — отвечает Мамонт Петрович.

«Ты социал-революционер? А что это такое?»

Он отвечает нечто пространное, в чем и сам плохо разобрался. Дуня хохочет.

«Я красивая? Скажи, красивая?»

«Очень даже красивая».

«В Туле есть такие красивые?»

«В Туле мне не до красавиц было».

«А почему ты такой высокий, как каланча?» — похохатывает Дуня.

«А это чтобы далеко видеть. Специально вытянулся. Из тайги Тулу вижу».

«И кого ты видишь в Туле?»

«Медные самовары».

«Ой, боженька! Медные самовары!» — заливается Дуня.

Он так и не мог объяснить себе в ту пору, отчего она липла к нему, моль таежная? Он помнит, как Дуня жаловалась ему на свирепого отца, на неприкаянность в родительском доме, и как ее испугал какой-то парень на рыжем коне в Каратузе, и она провалилась на экзаменах в гимназию. И еще вспомнил ту рождественскую ночь, когда Дуня прибежала к нему в избушку Трифона и просила его, умоляла, чтобы он спас ее от живодеров и увез бы куда-нибудь, а он не посмел дотронуться до нее — так далеко и невнятно он видел тогдашнюю Дуню! А именно она, тогдашняя, была ближе к нему, чем теперь.

Минули годы, и он. Мамонт Петрович, не признал в истасканной девице ту Дуню, которая когда-то опалила его своим горячим дыханием; перед ним была другая Дуня — грубая, курящая; не было в ней наивности прежней Дуни, чистоты и этакой сизой вязкости, как это бывает в летнюю пору в тайге, когда все кругом цветет и благоухает. И еще вспомнилась третья Дуня, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту; и в этой третьей, искаженной, как будто воскресла на одну ночь та первая, из медной мастерской. Теперь он,

Мамонт Петрович, наверное, встретится с четвертой Дуней — из банды хорунжего Ложечникова...

А что если Дуня и в самом деле ни в чем не повинна? Все может быть! Ухоздвигов с Ложечниковым просто запутали ее, и она им всем отомстила — подвела под чоновские пулеметы.

Надо подумать. Охолонуться. Казнить легче всего; миловать не всякому дано. Для милости надо иметь натуральную душу, а не овчину с барана.

Снег, снег и ветерок к тому же. Ветерок. Непогодь. По всему свету непогодь. Что-то ищут люди. Кидаются в крайности. Сбиваются с дороги, петляют, возвращаются старым следом, и опять ищут, ищут, ищут, а кругом непогодь, непогодь, непогодь!

На век людской или на три века — непогодь?..

Что-то ищут люди...

Вечности или забвения?

Присыпает снежок Мамонта Петровича, ветерок посвистывает, убаюкивает, будто спать укладывает в белый пуховик.

Спать. Спать. Спать.

Откуда-то взялся дед Юсков, хромый. Угрожает:

«На чей каравай рот раззявил, поселюга? Али ты не знаешь, какого мы роду-племени, Юсковы? За Дуню мы тебе век укоротим!»

Мамонт Петрович очнулся. За Дуню? Ах, да! Тогда она просила меня спасти ее от живодеров, а я отвез ее обратно к Юсковым на съедение волкам, едрит твою в кандибобер!..

Так оно и было.

Он самолично отвел агницу на заклятие дьяволу.

Не с его ли легкой руки Дуню растерзали, истоптали, и он потом не признал в ней таежной лани, и не то чтобы не удивился, а просто подумал, что так и должно — «буржуйская порода...»

Непогодь для всех пород одинаковая — и тем, и другим не сладко.

Кто-то сбился с пути, кто-то кого-то столкнул с дороги, ушел дальше, а оставшийся на обочине гибнет, и все проходят мимо — у каждого своих хлопот полон рот.

Суд свершен скорый и правый: сильный притаптывает слабого и приводит приговор в исполнение — втаптывает живьем в землю.

Так легче жить.

А легче ли?..

Выхватить вострую шашку из ножен и рубить сплеча черные косы Дуниных волос... и вместе с косами — голову? «Была не была! Не сбивайся с дороги!..»

«Нет, так жить в дальнейшем не будем, — туго проворачивает Мамонт Петрович, выбираясь на дорогу. — Если ее тут окончательно втоптали в грязь, я должен оказать ей помощь при наличии всего моего вооружения, а так и моих принципов. Был такой момент, когда она выручила нас, партизан, и не дрогнула — первая кинула бомбы в проклятый дом, в котором над ней свершили первую казнь. И я того не понял. Я должен был взять ее с собою в отряд».

Надо все разузнать и принять экстренные меры.

Мамонт Петрович буравит снег смушковой папахой...

IV

Невдалеке послышалось: «Геть, стерьва! Ннн-оо!..»

Мамонт Петрович подождал на дороге. Кто-то ехал в кошеве. Когда кошева поравнялась с Мамонтом Петровичем, он без лишних слов запрыгнул в передок.

— А, матерь божья! — испугался возница. Еще один лежал укутанный в доху — ни головы, ни ног, густо засыпанный снегом.

— Не подвезешь, хозяин?

— Да ты вже влез!

— В Белую Елань едешь?

— До Билой Илани, хай ей пузырь вскочет на самую холку. Геть, стерьва!.. Це больная лежит, не наступи. Хай спит. Угрелась пид дохою. Геть, геть! Нн-оо! Отвозил до Каратуза нарочного от того чона, шо банды стреляют, да ще хфершала, бодай йго комар. Всю дорогу хфершал тягал горилку, стерьва. Садился у Билой Илани на своих ногах... геть, сивый!.. а в том Каратузе слиз — ни ума, ни памяти. Я иму кажу дорогой: «Це горилка у вас, чи що?» А вин мене: «Ни, каже, це такая желудочная хикстура. Страдаю, кажет, желудком». А как пидъихали до больницы в Каратузе, вин вже ни матки, ни батьки, ни чого не разумее. Храпит, як хряк. С тем парнем, нарочным чона, вытащили его з кошевы, а вин кричит на всю улицу: «Клизьму поставлю зараз!» Во скотиняка. Ннн-о, сивый!

Мамонт Петрович стянул вьюк со спины и положил его к себе под ноги, пристроившись на облучке, спиной к ветру и мокрому снегу. На папаху накинул суконный башлык и завязал уши и щеки.

— А ты, часом, не комиссар, га?

— Не комиссар. С Дальнего Востока. С Красной Армии.

— Из Билой Илани?

— Иду туда.

Мамонт Петрович не называл себя встречным и поперечным — ни к чему ляды точить.

— Японцев мурдовали?

— И японцев, и англичан, и американцев с французами. Всю мировую контру пихнули в океан с нашего берега.

— Эге ж. Доброе дило. Нн-о, сивый! Геть, геть! Дюже ленивый мерин, стерва иго матке. Винтит хвостом, як та хвороба, а рыси нима. В плуге тягае за два коня. Кабы себе такого коняку!

— А чей конь?

— Маркела Зуева. Мабуть, знаете?

— Нет. Не знаю.

— А богатеев Потылицыных знали? Казаки були стороны Предивной. С того Каратуза переихалы у Билую Илань, шоб добрые земли занять.

— А! Но ведь Потылицыных истребили партизаны?

— Стребили. А Маркел Зуев поставил свою хату на погорелье тих Потылицыных, эге ж. Сперва була хата, а зараз ще дом поставили. Два сына поженил, худобы накупил, земли мае бильше, чим було у Потылицыных. Крупорушку купил, сенокоски, жатки, молотилку, маслбойню поставил. Эге ж! В его хате на погорелье зараз я живу с семьею, роблю на куркуля и подводу гоняю за него. Була у мене своя хата на стороне Щедринки, худоба была, да спалили белые хату, хай им лихо. Худобу забрали, а мене плетей надовали, поганцы. Кажуть: «Ложись, кум Головни, влупим тебе плетей». И влупили. Добре влупили.

Мамонт Петрович присмотрелся к хохлу:

— Как так — кум Головни?

— Мабуть, знали Головню? Був головою тих партизан в нашей тайге. И ковалем був ще до войны. Дюже добрый коваль був, хай иму на тим свити мягко буде спати.

— А как он стал твоим кумом?

— А так. Ще в четырнадцатом роки, в травень, жинка моя, Гарпина, прийшла к нему в кузню, шоб косу склепал. Стал он клепать ту косу, а Гарпину попросил раздувать мехи — один був в кузне. А Гарпина моя, бодай ие, комар, в тягости була. Эге ж. Скико раз рожае, и все не так, як трибо. Ще на другой год, як мы поженились, родила, хвороба, пид коровою. Ивась вырос. Добрый мужик. Геть, геть, сивый! Нн-о, стерьва! А после Ивася родився Павло. Жили мы ще на своем хуторе на Полтавщине. Пид самое рождество случилось. Парубки з дивчинами калядовали, и моя жинка з ними калядовала. А потом як схватит ие, хворобу, а парубки с дивчинами хохочут, стерьвы, катают ие по снегу, а она вже родила. Эге ж. Так и принесли в хату ряженую и з дитятей.

Мамонт Петрович все вспомнил, но терпеливо слушал быль кума, потягивая японскую сигаретку.

— И в кузне Головни случилось. Схватило Гарпину, вона скручилась, хвороба, кричит Головне: «Ой, лихочко! Зови, каже, якусь бабку, чи старуху. Родить буду». Эге ж. Головня туда, сюда — никого нима. Зовет на помощь тих староверок, що двумя перстами хрестятся, а они, ведьмяки, не идут. Бо им никак нельзя по их дурной вере принять дитину от бабы шо в цирковь ходить, бодай их комар. А до нашей Щедринки бежать далеко. И шо ты думаешь, добрый чоловік? Тот Головня сам принял дитяту у моей жинки. Геть, стерьва! С того и стал моим кумом. До билых вин був головой ревкома — куркулей смолил той продразверсткой. Добре смолил! Как праздник, чи шо, вин вже подарок своей крестнице несе — конхфеты, чи на платье, чи сам зробит якусь диковину. И дочка до того полюбила иго, шо до сего роки жде: не придет ли крестный тато? «Где мий тато, каже; чи скоро приде?» Ждет, хвороба. Вумная да красивая растет дивчина, эге ж. Девятый рок пиде з лита, а она вже картинки малюет, букварь читае. Мабуть, мордописцем буде, га?

Так, значит, есть хоть одна живая душа, которая ждет возвращения Мамонта Петровича! Как он мог забыть про крестницу Анютку? Да и самого кума Ткачука не узнал — бедняка из поселенцев Щедринки.

Анютка!.. Нету у Мамонта Петровича подарка для крестницы Анютки, да он и не вспоминал про нее; для Дуни складывал в мешок диковинки из японских, французских и английских трофеев; для Дуни

тащился в глухомань за тридевять земель, хотя и сам себе не мог бы признаться в том.

Снег все так же метет в кошеву, лениво шлепает копытами мерин — ни рысью, ни шагом.

Под дохой кто-то пошевелился.

— Как тут партизаны живут? — спросил Мамонт Петрович, только бы не думать про Дуню.

— Хай их перцем посыпят тих партизан — плюнул кум Головни, понужая сивого. — На кажинной сходке выхваляются друг перед другом, хто из них був главнейший, вумнейший, храбрейший, а того не разумеют, головы, шо вси разом були не вумнейши, не храбрейши, а як ти зайцы — трусливейши, эге ж. В тайгу поховались от мобилизации, и как тико у билых була гулянка, чи шо, вылезали из тайги ночью, кусали билых за ноги, забирали у мужиков худобу, чи хлеб, и опять ховались в тайгу, стерьвы.

Мамонт Петрович готов был выпрыгнуть из кошевы от подобного поношения красных партизан.

— Как так «трусливейшие зайцы»?

— А як же? Зайцы! Колчак як правил, так и правил бы, кабы не Красная Армия з Расеи. Вот ты, добрый чоловик, з Красной Армии...

— А тебе известно, — напомнил «добрый чоловик» — что вся Енисейская губерния горела под ногами колчаковцев?

— А як же! Горела! Красная Армия пидпалила.

— А партизаны...

— Я ж говорю: ховались, стерьвы, по тайге чи по заимкам. Налетали на тих билых, когда билых було мало, чи совсем не було, а мужиков грабили, скотину забирали, а зараз похваляются, як воны завоевали Советскую власть, и грудь себе бьют кулаками. Смотрите на них! Тьфу.

У Мамонта Петровича дух перехватило — до того он разозлился на кума. Как можно так говорить про красных партизан?!

А кум Ткачук зудит:

— Кабы у того Колчака було чим заслониться от Красной Армии з Расеи, вин тих партизан зловил бы и стребил бы, як чоны стребили банду Ложечникова. И самого Ложечникова споймали, эге ж.

— А тебе известно, кто прикончил карателей есаула Потылицына в Белой Елани? — еще раз сдержанно напомнил Мамонт Петрович.

— Евдокея Юскова стребила — ответил кум Ткачук. У Мамонта Петровича папаха съехала на лоб — так он потрянул головой. — Це ж такая дивчина, кабы вы ие знали! Эге ж. Хай ей сон сладкий снится зараз, — кум Ткачук покосился на человека под дохою; Мамонт Петрович не заметил взгляд кума. — Позвала партизан Головни на масленицу, когда тот поганый есаул Потылицын со своими казаками гульбу устроил у Билой Илани. Эге ж. А Евдокея припасла гостинцев для есаула: бомбы, пулеметы, тико рук не було — гукнула партизан. А у того Головни чи десять, чи пятнадцать партизан осталось в живых — сгибли все; белые стребили.

У Мамонта Петровича не нашлось слов, чтобы отместить навет на его славных партизан, а кум Ткачук, не замечая перемен в попутчике, дополнил:

— Це ж такая отчаянная голова! Эге ж. Сама бросила бомбы в свой дом, где гуляли казаки. Тут и партизаны подмогли. Ох, и лупили! Пять домов спалили в ту ночь. И утекли на Енисей, бодай их комар, а Евдокею бросили. Во головы!

Мамонт Петрович промолчал.

— Сам кум Головня — продолжал Ткачук, — когда уезд заняли партизаны и Евдокея возвернулась у Билую Илань, говорил, шо она була главнейшая по стрелению карателей Потылицына. И я ту речь слушал, эге ж. Дюже гарно говорил кум. Такой вин був правидный чоловик.

Мамонт Петрович окончательно притих. Он, конечно, «правидный чоловик», а вот кум Ткачук все переврал.

— Она сейчас в банде Ложечникова?

— Про кого пытаешь?

— Про Евдокию Юскову.

— О, мать божья! Це ж брехня, грець ей в гриву!.. Балакали про Евдокею Елизаровну, шо вона ушла в банду. Да не так було. Ни. Ще в прошлом роки до снигу приихала Евдокея Елизаровна в Билую Илань с командиром отряда того чона, Петрушиным. Собрание було. Командир тот, Петрушин, балакал, шо Евдокея Елизаровна помогла иго отряду стребить главные силы банды Ложечникова. Во как! И стала она опять секретарем у сельсовете, да бандиты не змирились: пид рождество скараулили ие да с винтовки стреляли по ней. А живая осталась, живая! О то и оно! Самого Ложечникова споймали с иго

Катериной, хай им лихо. Мабуть, отправят в Минусинск в тюрьму. Кабы не мене в подводе быти, грець им в гриву!..

— А Ухоздвигов пойман?

— Нима Ухоздвигова. Не було в банде.

— Осенью он был в банде.

— Спытать надо Евдокею, она, мабуть, знае: був, чи не. Геть, сивый! А ты, я бачу, в сапогах? Чи мороз не бере?

Из-под дохи раздался невнятный голос живой души. Мамонт Петрович не спросил, кто лежит в кошеве под дохою. Если бы он знал, что рядом с ним была та самая Дуня!..

V

Дуне снился странный сон.

Она видела себя девчонкой в нарядном батистовом платье. И на руках ее была девочка — ее дочь. Она не помнит, как родила дочурку, она просто радовалась, что на ее руках малюхонькая дочь. Она видит себя на резном крыльце отчего дома — того дома, который сожгла двумя бомбами. В ограде много-много гусей. Вожак-гусак бродит по ограде с красным бантом на шее. Вокруг него гусыни — одинаково белые, одинаково краснолапые, одинаково гогочущие. Маленькой Дуне холодно, но она сидит на крыльце и ждет Гавриила Ухоздвигова. Он должен увидеть, какая у него красивая дочь родилась. Но его нет. Вдруг подошел отец — чернущая борода, медвежий взгляд и голос зверя:

— А, тварь! Народила мне, курва прохойдонская! В пыль, в потроха, живьем в землю! Раззорррву!

Дуне страшно. За себя, за маленькую дочку. Он убьет ее, убьет!

— Боженька!..

— В пыль, в потроха! Марш, сударыня, полы мыть в доме. Вылижи языком до блеска, чтоб лакированными стали. Мотри!

И она, Дуня, моет полы в доме. Моет, моет, а грязь все ползет и ползет — вековая грязь от сотворения мира. В ушах будто зазвенели малиновые колокольчики. Тоненько-тоненько. И она, теряя силы, падает в холодный колодец. Чашечку бы чаю!

Здоровенный полицейский навинчивает крендельки усов:

— Чашечку чаю? Чашечку? Не будет тебе чаю, проститутка! Отвечай: при каких обстоятельствах ударил тебя ножом господин Завьялов, акцизный стряпчий! Не ври! Упреждаю. Деньги вымогала?

Дуня не помнит, что она вымогала у господина Завьялова. Это он, стряпчий, истязал ее, совал в губы замусоленную трешку, предупреждая: «Бери, шлюха, да помни! Ежли еще раз отвернешь от меня рыло — щелкну, как гниду!»

Гусак орет на всю ограду:

— Го-го-го-го-го!..

Дуня проснулась не от голосов разговаривающих мужчин, а от сильного толчка изнутри — ребенок, которого она еще не родила, пошевелился в ней. У ней будет ребенок. Сама себе не верила, что станет матерью. Она хотела стать матерью и боялась того. Она не посмеет назвать имя отца ребенка, не назовет его отчеством — изгой, скрывающийся под чужой фамилией...

Холодно Дуне. Настыли ноги в пимах — пальцы как будто одеревенели. Переменила положение, привстала чуть, отвернув с лица воротник дохи. Белая мгла. Ночь. Ткачук ворочается рядом и понуждает мерина. Кто-то сидит в башлыке на облучке кошевы. Кто это?

Дуня прислушалась к разговору мужчин.

— Була б для моего кума добрая жинка, — говорит Ткачук. О ком это он? — Сама балакала мне, шо кум Головня, колысь уходил з Билой Илани с теми партизанами на Красноярск, сказал ей: «Жди мене, Дуня. Возвернусь с войны — жить будем». Добре говорил кум, эге ж. Да не сбылось. Как тико прислали дурную весть у сельсовет, шо Мамонт Петрович сгиб где-то в бою, Евдокея сама сменила себе хвамилию и стала Головней.

— Головней?!

— А то як же. Головней. Кабы не подстрелил злодей, хай ему лихо, бандюге. Мой куркуль, Маркел Зуев лютуе: «Здохла бы, каже, стерьва. Бо вина сама свой дом пидпалила бомбами; мать ридную сгубила». Эге ж. А того не разумеет, куркуль, шо це був за дом! Злодияки, какого свит не бачил.

Дуня благодарна была Ткачуку за такие слова; не все клянут ее, как злодейку. А кто же этот, в шинели и в башлыке?

— А кто у вас председатель сельсовета? — спрашивает Ткачука человек в башлыке.

— Куркуль из кержаков, Егор Вавилов. Партизаном був у Головни. Богато живе, стерва. Був партизан Зырян головою сельрады, зараз в коммуну уихав.

— Вот бы и ты поехал в коммуну — для бедняков в самый раз.

— Эге! В той коммуне ни жити, а волком выти, — ответил Ткачук. — Сбежались людины со всех деревень — не робить, а скотину гробить. Економию того Юскова жрут — коров режут на мясо, мукомольный завод мают, песни спивают. Як сожрут всю економию — разбегутся. Один до лиса, другой до биса. Эге ж.

— Едрит твою в кандибобер! — выругался человек в шинели и в башлыке. Дуня вздрогнула — знакомый голос. До ужаса знакомый голос! — Вонючий ты мужик, Ткачук. Определенно вонючий. На коммуну сморкаешься, на партизан плюешь, а чем ты сам живешь, спрашиваю!?

«Боженька. Боженька! Неужели?» — испугалась Дуня, напряженно приглядываясь к человеку на облучке кошевы.

— О, мать божья!..

— Нет, погоди, кум! Кто тебе вдолбил в башку вредные рассуждения про коммуну и партизан? — гремит человек в шинели. — Если бы не наши красные партизаны, Колчак мог бы в пять раз больше бросить белогвардейцев на фронт с Красной Армией. Известно это тебе или нет? А кто разгромил войско атамана Бологона в Белоцарске? Кто вымел белых ко всем чертям из Минусинского уезда еще до прихода Красной Армии в Сибирь? Попался бы ты ко мне в отряд, едрит твою в кандибобер!..

— Мать божья! Ратуйте! — воскликнул Ткачук и вожжи выпустил из рук. — Це ж сам Мамонт Петрович, га! А штоб мои очи повылазили — кума не признал. — Оглянулся на Дуню. — Не спишь, живая душа? Дивись, дивись, це ж твой мужик, Евдокея.

А Дуня все смотрела и смотрела на Мамонта Петровича, не веря собственным глазам. Он ли?! Неужели Головня? Как же она теперь? Фамилию его присвоила себе, чтоб навсегда откреститься от злополучного рода Юсковых. И вдруг!..

И у Мамонта Петровича дух занялся, аж в глотке жарко. Ничего подобного он, понятно, не ожидал. Вот так свиданьице подкинула судьба! Мало того, что перед ним Дуня — Евдокия Елизаровна, так еще и по фамилии Головня! Значит, не запаматовала Мамонта

Петровича! А он только что сплеча рубил шашкою ее чернушие косы — ветки черемухи. И голову срубил бы под горячую руку.

«Едрит твою в кандибобер, какая ситуация!» — только и подумал Мамонт Петрович, стягивая с рук шерстяные перчатки. Башлык зачем-то развязал, откинул его за спину; папаху поправил, шашку между коленями. А снег сыплет и сыплет. Ветерок скулит. А кум Ткачук подкидывает:

— А, грець вам в гриву! Чаво ж вы очи уставили друг на друга, тай молчите, як те сычи у гае! Матерь божья, гляди на них! Чоловик с жинкою повстричался, и хоть бы почеломкались, грець им в гриву. Да я б жинку свою зараз затискал! Запазуху б ей руки, щерб жарко було, ей-бо! Чи у красных, кум, кровь не рудая, а билая да студеная? Ай-яй, грець вам в гриву!

— Боженька! Боженька! — едва-едва выдавила из себя Дуня, глядя на Головню, возвышающегося на облучке, как памятник на постаменте.

— Евдокия Елизаровна, — натужно провернул Мамонт Петрович; за всю свою жизнь он еще ни разу не целовал женщину. — Думать о том не мог, что встречу вас, следственно, на дороге, в данной ситуации.

— Ще це за ситуация, кум?

— Мамонт Петрович! Если бы я знала... я бы... я бы не посмела фамилию вашу, — бормочет Дуня. — Случилось так... не могла оставаться Юсковой... кругом все тычут в глаза... Юскова, Юскова... взорвала своих родных бомбами...

— Дивись на них, нибо! — воскликнул неугомонный кум Ткачук. — Друг друга павеличивают, як ти свергнутые паны. Геть, сивый!..

— Я... я напишу заявление...

— Геть, геть, сивый! Ннн-о! А щоб тоби копыты поотваливались!.. Они вже бегут! Один до лиса, другой до биса. Цоб мене!

Мамонт Петрович окаменел на некоторое время. Он слышал, что ему говорила Дуня, а высказать себе не мог. Да разве он в чем-то попрекает Евдокию Елизаровну? Но в данной диспозиции боя, так сказать, он еще не сообразил, с какого фланга надо начать атаку.

— Боженька! Пусть я останусь Юсковой... если... если у меня такая злая судьба...

— А, мать божья! Дуня, бери мою хвамилию, бодай ие комар. Хай я не партизан — грець им в гриву! Но хвамилия Ткачука добрая. И будимо мы тебя кохати, Дуня, як ридную дочку, ей-бо! И я, и Гарпина, Ивась старший, Павло, Микола, Саломея, Хведосья, Анютка, Аринка малая. Все зараз будимо тебе риднее ридных, бодай нас комар!

Дуня расплакалась от таких простых и сердечных слов Ткачука, и сам Ткачук вытирает слезы на рукавицы, а Мамонт Петрович, окончательно сбитый с толку, выпрямившись аршином на облучке, тарашчися на них, машинально ухватившись за эфес шашки.

Ткачук заметил, что кум Головня схвагился за шашку, и пуще в слезу:

— Рубай нас, кум Головня! Рубай шашкой.

— Едрит твою в кандибобер! Замолкни сей момент! — выиграл на самых высоких нотах Мамонт Петрович, только бы подавить в себе растерянность и великое смущение.

— Рубай нас, кум! Рубай! Який ты есть...

— Замолкни, Ткачук!

— Мать божья, як мене змолкнуть, колысь рядом слезы точит живая душа, и нима у ней малой хвылины, яка б защитила ие! Не повезу я тебя дальше, товарищ Головня. Не можно! Тпрру!

И тут произошло совершенно невероятное, к чему никак не подготовился речистый кум Ткачук: Мамонт Петрович сграбастал его и выбросил вон в снег. «Рааатуйте!» — заорал кум Ткачук, а Мамонт Петрович никакого на него внимания. Опустился рядом с плачущей Дуней, неловко обнял ее вместе с дохою и сказал, что он окончательно рад, что встретил ее на дороге.

— В данной ситуации, как я тебе дал слово, прямо заявляю, что я имею полную ответственность, — трубил Мамонт Петрович, будто Дуня была глухая.

— Не надо! Не надо! — испугалась Дуня. — Я сама кругом запуталась.

— Никакой путаницы. Жить будем, как я дал слово.

— Чи можно мене сидать в кошеву? — спросил кум Ткачук.

— Садись да молчи. Упреждаю.

— Добже! — Ткачук занял место на облучке. — Геть, сивый!
Ннно!
Поехали.

VI

Едут...

Месят копытами ночь со снегом и волглым ветром.

Едут к живым в жилое.

Дуня пожаловалась Мамонту, что ее всю трясет и она никак не может согреться.

На этот раз Мамонт Петрович проявил сообразительность. Поближе, поближе, вот так; одним теплом живо согреемся, и таежная лань — долгожданная лань прильнула к нему, а кум Ткачук укутал их сверху дохою, довольный, что грозный Головня, наконец-то, смягчил свою партизанскую душу и слился с жинкою; геть, сивый! Геть!

А под дохою в угревьє свой мир и свои сказки-побаски...

— Боженька! Как все неожиданно произошло, — лопочет Дуня, пригретая Мамонтом Петровичем, и он отвечает ей:

— Очень даже великолепно произошло. Теперь я окончательно и бесповоротно воскрес из мертвых. За такую ситуацию я бы еще три года пластался на позиции.

— Не надо больше позиций, Мамонт Петрович. Я так рада, что вы вернулись. Если бы я знала, что вы живой... но я теперь не одна...

— Само собою, Дуня. Нас теперь двое. Окончательно и бесповоротно, — ответил Мамонт Петрович и, призвав на помощь всю свою отвагу и отчаянность, поцеловал Дуню в щеку, а Дуня лопочет, что она не одна совсем в другом смысле; она беременна.

— У меня будет ребенок. Нет, нет! Я не замужем. Он убит бандитами. Я только что узнала в Каратузе. Он был командиром Минусинского отряда чон и погиб в бою с бандою Ложечникова. Сергей Петрушин, — соврала Дуня. Надо же кого-то назвать отцом своего будущего ребенка. — Он мне говорил, что вместе с вами был у Щетинкина.

— Петрушин? Сергей Петрушин? Очень даже великолепно помню, — ответил Мамонт Петрович. — Так, значит, он был командиром отряда чон? В нашей крестьянской армии он командовал

всей нашей артиллерией. Из унтер-офицеров. Справедливый большевик и полностью за мировую революцию. А тебе, Дуня, скажу так: тут никакой твоей вины нету. Такое наше время. Если будет ребенок — само собою будет, вырастим, следственно. Никаких разговоров быть не может.

— Боженька! Я такая несчастная! — еще теснее прижалась Дуня к Мамонту Петровичу, вдруг вспомнив не Сергея Петрушина, погибшего от рук бандитов, а Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова. Но разве посмеет она сказать грозному партизану Головне, что ребенка ждет вовсе не от Петрушина, а от Ухоздвигова!

Хорошо Мамонту Петровичу сидеть в обнимку с Дуней; таежная лань, у которой так красиво выгибались ладони лодочками, и сама она в свои пятнадцать лет была нетерпеливая, призывно-ищущая, наконец-то угрелась под полою его шинели, и губы ее жаркие, жалящие, будто накалили до белого свечения сердце кузнеца, впору хоть подкову из него куй, и Мамонт Петрович, впервые вкусив сладость женских губ, опьянел и до того размягчился, что готов был примириться со всем белым светом: А со стороны, как бы с другой планеты, доносится песня кума Ткачука:

*Ой, хмелю ж мий, хмелю,
Хмелю зелененький,
Де ж ти, хмелю, зиму зимував,
Шо и не развивався...
Ой, сину, мий сину,
Сину молоденький...
Де ж ти, сину, ничку ночував,
Шо и не разувався...*

Поет кум Ткачук, радуется кум Ткачук в предвкушении свадьбы грозного кума Головни. Мерин винтит хвостом, а рыси не прибавляет.

На дороге послышалось гиканье — кто-то ехал следом.

— Эй, с дороги! С дороги!

Ткачук свернул в сторону. Кто-то пролетел на тройке, впряженной гусем. В кошеве ехали четверо, торчали пики винтовок. И еще пара лошадей, впряженных в сани. Ткачук разглядел пулемет.

— Матерь божья, гляди, кум!

Еще одни сани с пулеметом и люди с винтовками. И еще такие же сани. Конные в полушубках. Карабины за плечами, при шашках, только копыта пощелкивают. Карабины, шашки. Рысью, рысью, рысью.

Ткачук притих на облучке, сгорбился; Мамонт Петрович успел пересчитать конных — семьдесят пять всадников.

— Мабуть, казаки, га?

Дуня слышала в больнице Каратуза, что позавчера будто восстали казаки в Саянской и Таштыпской станицах.

Мамонт Петрович подумал вслух.

— Если это банда, чоновцы в Белой Елани дадут им бой.

— Скико, кум, тих чонов у Билой Илани? Чи тридцать, чи сорок.

— Без паники. Поехали. Если услышим выстрелы, сообразим, как быть в дальнейшем.

Выстрелов не было, и они поехали в деревню мимо кладбища. По другую сторону от кладбища, среди голых вековых берез, чернело пепелище сожженного дома Ефимии Аввакумовны Юсковой — белые сожгли...

У первой же избы — приисковой забегаловки поперек улицы стояли сани с пулеметом. Лошади кормились возле изгороди. Трое с карабинами стояли на середине улицы.

— Стой! Кто едет?

Подошли к кошеве. Мамонт Петрович накинул на себя доху, чтоб оружия не было видно. Ткачук сказал, что он здешний и к нему в гости едет кузнец с жинкою.

— Кузнец? Папаха на нем офицерская. И шинель под дохою. А ну, руки вверх! Без шуточек. Офицер?

Дуня кого-то узнала:

— Иванчуков?! Не признал меня? Евдокия Головня. А это Мамонт Петрович Головня. Мы его считали погибшим, а он вот вернулся из армии. А я испугалась — не казаки ли!

— Головня? А документы есть, что вы — Головня?

Мамонт Петрович достал документы. Чоновец в полушубке и в шапке-ушанке попросил товарища посветить спичками.

— Ого! Награду имеете от Реввоенсовета республики? Здорово! Просим извинения, товарищ Головня. Про вас я много слышал. Тут у

нас сейчас военное положение. Ожидается налет казаков. Главарей банды собираются отбить. Ну, вот. Товарища Гончарова знаете? Он у вас был партизаном. Сейчас он начальник ОГПУ. А председатель ревтрибунала — Кашинцев, из Красноярска. В школе заседает трибунал. Судят главарей. Может, заедете к нам в штаб? Командир отряда, Сергей Петрушин, убит. Знаете? Ну, вот. Так что извините, товарищ Головня.

Когда отъехали от чоновцев, Ткачук сказал:

— Колысь тико кончится лютая хмара, грець ей в гриву. З Полтавщины пишут: то один батька литае, то другий, то чоны, а як людям жити?

— Раздавим буржуазную гидру и жить будем, — заверил Мамонт Петрович, стоя в кошеве, как фараон в двухколесной таратайке. Дуня посматривала на него с некоторым страхом — не шутка быть женою грозного Мамонта Головни! — Заедем в штаб чоно. Как ты, Дуня?

— Я так себя плохо чувствую, Мамонт Петрович, — пожаловалась Дуня. — Три месяца вылежала в больнице. Не знаю, пустит ли меня в дом Меланья Боровикова. Я у них стояла на квартире, до того как меня подстрелили на улице.

— Отвези, Ткачук, к Боровиковым. Подними Меланью и скажи от моего имени, чтоб все было, как полагается. Без всяких старорежимных фокусов и тополевых запретов. Ясно? И чтоб самовар был готов к моему приходу. Чин чином. Поезжай. Мешок мой занесешь в горницу жены.

Дуня не ослышалась — Мамонт Петрович так и сказал: «в горницу жены». Впервые Дуню назвали женою, да еще кто — Мамонт! Не радость, а мороз от головы до пяток. А что скажешь!?

VII

Как будто ничего не переменилось за три года на большаке стороны Предивной, а Мамонт Петрович не узнает улицу. На пепелище Потылицыных чья-то изба поставлена, а рядом новехонький, еще не отделанный, без наличников и ставней крестовый дом Маркела Зуева — одиннадцать полукруглых окон в улицу. Такой поздний час, а в пяти окнах горит свет — розовые шторы, отчего в улицу сочатся кровавые отсветы. Еще три новых дома на пепелищах —

застраиваются жители Предивной. В доме бывшего ревкома — сельсовет, и тут же штаб части особого назначения. Сани, сани, на крыльце станковый пулемет, и на санях пулеметы; красноармейцы с винтовками, часовые возле ворот и в улице. Захваченные бандиты: полсотни казаков, тридцать мужиков из тех, кому Советская власть прищемила хвост за колчаковщину, и шесть женщин с ними, находились под усиленной охраной в сельсовете и в школе, где когда-то Мамонт Петрович размещался со своим первым ревкомом. В одной из комнат заседал ревтрибунал. Мамонта Петровича не допустили на закрытое заседание трибунала. Судили главарей банды: полковника Мансурова, подьесаула Коростылева, хорунжего Ложечникова и его верную сподвижницу, начальницу штаба банды — Катерину, и сотника из казачьего Каратуза Василия Шошина.

В ограде полыхал большой костер из старых бревен — грелись красноармейцы. Мамонту Петровичу приятно было, как на него с завистью поглядывали красноармейцы: шутка ли, командир партизанского отряда и недавний кавалерийский комвзвода в Пятой армии! Все уже знали, что у Мамонта Петровича золотая шашка Реввоенсовета и парабеллум от Главкома Пятой армии. Мамонт Петрович сожалел, что орден Красного Знамени привинчен у него на френч — на шинель бы его, чтоб все видели.

Ходит Мамонт Петрович вокруг костра, позвякивает серебряными шпорами. Так и надо держаться командиру мировой пролетарской революции! Чтоб видела мировая контра, каковы теперь командиры Красной Армии. Не слыхивали про такую армию? Ну, так вот, понюхайте, чем пахнет ее увесистый кулак! А если и того мало — получите такой пинок под зад, что лететь будете кубарем через моря и океаны. Так-то!

Около часа похаживал Мамонт Петрович, покуда трибунал не вынес свой приговор особо опасным государственным преступникам — расстрел.

— Мамонт Петрович! Ну и ну! Здорово! — подбежал к нему Гончаров, его бывший партизан, маленький, верткий, в длиннополой шинели внакидку, в папахе. — Обстановка сложилась... Знаешь? Ну вот. Откуда ты? Мы считали тебя погибшим, согласно сообщению из Пятой армии. Надолго к нам? Да что ты! Ну, нет, Мамонт Петрович. Рано тебе демобилизовываться. Здесь мы тебя мобилизуем — будешь

командовать частями особого назначения. Надо же покончить с бандами.

Мамонт Петрович обиделся, что его не допустили на заседание трибунала, и потому, разговаривая с Гончаровым, поглядывал на него с некоторым пренебрежением с высоты своего двухметрового роста. Ишь ты, как полез в гору его бывший партизан!

— Засекретились, чиновники! Где же могли допустить меня на заседание трибунала — субординация не та!

— Да что ты, Мамонт Петрович! Я только что узнал. И даже не поверил. Не может быть, думаю. Такая неожиданность.

— Само собой. Неприятная.

— Да брось ты! С чего взял, что неприятная?

— Хотел бы я посмотреть на главаря Ложечникова.

— Увидишь. А Катерину помнишь?

— Ложечникову? Откуда я ее мог знать. Я и самого Ложечникова в глаза не видел.

— Почему Ложечникову! Она Можарова. Ефима Можарова жена. Из Иланска учительница. В Степном Баджее, помнишь?

— Та Катерина? Как же! — Мамонт Петрович великолепно помнит красавицу Катерину Можарову. Она еще выхаживала его, когда он валялся в тифе. Так разве она...

— Она самая! Если бы мы тогда знали. Бой в Вершино-Рыбной, под Талой; когда расстрепали манцев еще до нашего прихода к ним, бой под Григорьевкой, когда мы шли в Урянхайский край, — помнишь, как наш полк тогда разделили белогвардейцы? Все это на совести Катерины. Она была заслана контрразведкой к партизанам еще осенью восемнадцатого года.

— Едрит твою в кандибобер!

— В двадцатом, когда в Красноярске захватили документы контрразведки, все разом открылось. Сам Можаров был тогда в Красноярске. Кто ее предупредил, неизвестно, но она успела сбежать. В банде Мансурова была начальницей штаба, и у Ложечникова была начальницей штаба. Такие вот невеселые дела. Трибунал приговорил ее к расстрелу.

Закурили.

— Хорошо повоевал?

— Нормально.

— Холостуешь?

Нет, Мамонт Петрович не холостует. Он женат, и жена его находилась здесь — Евдокия Елизаровна Головня.

Маленький Гончаров принял это за грустную шутку.

— Понимаю! Присвоила твою фамилию, а мы здесь уши распустили. В ОГПУ было достаточно документов, чтобы ее взять и определить, куда следует, да я прошляпил. Завтра я ее арестую в Каратузе. Вот сейчас здесь Ухоздвигов. Это же...

— Па-азволь! — отрубил Мамонт Петрович. — Мою жену арестуешь? Пока я жив, и орден Красного Знамени горит у меня на груди, и золотое оружие Реввоенсовета республики вот здесь, а парабеллум Главкома Пятой армии вот здесь находится, — никто пальцем не тронет мою жену, Евдокию Головню. Ясно?

Маленький Гончаров чуть было в землю не врос под таким энергичным натиском Мамонта Петровича. Такой же, каким был в партизанах! Но то, что у Головни орден Красного Знамени и наградное оружие, этого Гончаров не знал.

— Не горячись, пожалуйста. Вопрос очень серьезный. Есть в ОГПУ достаточно документов относительно Евдокии Юсковой. На заседании трибунала бандиты показали...

— Юскову не знаю! Есть Евдокия Головня. Мало ли какие показания ни дадут бандиты перед тем, как их в распыл пустят. А мне доподлинно известно, как в сентябре прошлого года в доме вдовы Клавдии Ржановой в Старой Копи произошла драка между Ложечниковым и Ухоздвиговым, а так и Катерины с Евдокией Елизаровной.

Мамонт Петрович рассказал все, что узнал от вдовы.

У Гончарова не было таких данных. Ну, а про то, что Евдокия Елизаровна подвела банду под чоновские пулеметы — ерунда! Банду выдал некий Максим Пантюхич из бывших партизан-анархистов, а Евдокия Елизаровна, наоборот, пыталась спасти бандитов. Ее связь с Ухоздвиговым доказана. Она здесь не случайно осталась, а из-за приисков. Имеется донесение Филимона Боровикова...

— Хэ! — отмахнулся Мамонт Петрович. — Филимон Боровиков на кого угодно донесет, только бы свою шкуру спасти. Где он сейчас? Ямщину гоняет в Красноярске? Хэ! Это же такой космач! Сам Тимофей Прокопьевич брал его за жабры еще когда! А ты вот что

скажи, — Мамонт Петрович надвинулся на маленького Гончарова, взял его за воротник шинели, подтянул к себе, — ты вот что скажи, служивый из ОГПУ: кто нас спас от полного уничтожения здесь, в Белой Елани, в ту масленицу? С чем мы вышли, числом в тринадцать лбов из тайги, чтоб освободить заложников? Какое вооружение имели в наличности? Какое количество патронов к винтовкам и берданкам? Без пороха и пистонов к дробовикам! Помнишь или нет, начальник? А кто нас выручил в ту ночь? Святой дух или архангел Гавриил на золотых крылышках? Не ты ли первым говорил, не одолеть нам казаков, а мы, двенадцать, заставили тебя идти вместе с нами. Помнишь или вылетело из башки? Кто нас выручил в ту ночь? Кто? Кого я на руках вынес из амбара Боровиковых?

— Не будем шуметь, Мамонт Петрович, — оглядываясь, сказал Гончаров. — Нас слушают красноармейцы.

— Слушают? А кто же должен нас слушать?

— Да пойми же...

— Преотлично все понимаю, Гончаров, и переводчика с японского языка на русский не потребую, — рубил Мамонт Петрович. — И прямо заявляю: если посмеете арестовать мою жену — я махну к Ленину в Совнарком. Сей же момент! Я еще сумею постоять за себя и за свою фамилию Головни. Это тебе раз. На моих глазах прошла жизнь Евдокии Елизаровны, и я превосходно помню, как изничтожил ее сам Юсков, какое изгальство она претерпела. А время какое было? Мотались не такие головы из стороны в сторону! Покрепше! Это так или нет? А ты с нее одной хочешь спросить за весь буржуазный класс и за все шатания-мотания, какие она пережила за гражданскую? Ломали ее так и эдак, или мало того — теперь мы будем доламывать? Это будет два. Она моя жена — это будет три. Ясно?

— Ясно. Пусть будет твоя жена, — сдался Гончаров, и Мамонт Петрович отпустил его душу на покаяние. — Придется мне сейчас говорить с членами трибунала. Вынесено определение...

— Я сам буду говорить!

— Нет уж, позволь, Мамонт Петрович. Ты не член ревтрибунала. Тут я буду говорить. Не беспокойся, не подведу. Жена так жена. Только я не хотел бы, чтоб ты, мой командир по партизанскому отряду, оказался в таком же положении, в каком сейчас Ефим Можаров. Это тоже наш партизан и большевик с девятьсот десятого года. Машинист

паровоза. Отец его казнен в Иланске в девятьсот пятом — биография!.. А жену — жену приговорили к расстрелу. И он был на заседании ревтрибунала. Легко или нет? И он тоже доверял ей за все время партизанства у Кравченко. А сколько мы потеряли товарищей, когда белые громили нас? Белым все было известно! Каждый наш патрон, каждое движение! А сколько она со своими бандитами порешила людей за три последних года?! А ведь учительница! Под большевичку играла! Так или нет?

Мамонт Петрович и тут нашелся:

— А у тебя есть такие данные, чтоб эта самая учительница взорвала бомбами карателей в собственном доме, где находилась ее мать и сестра? Есть такие данные?

Нет, таких данных не было и быть не могло.

Гончаров ушел в школу говорить с членами ревтрибунала.

Мамонт Петрович бряцал шпорами.

VIII

А снег все сыплет и сыплет. Всю ночь сыплет снег. Прорва мокрого снега. И ветерок к тому же. Ветерок. Ветерок.

Непогодь.

Свету белого не видно.

Грядет ли утро? И будет ли день?..

Непогодь.

В обширной ограде кони, кони под седлами, присыпаемые снегом.

Мамонт Петрович думает.

Чоновцы в шинелях, в полушубках, шубах, с карабинами и винтовками вокруг костра, и над всеми витает напряженное ожидание чего-то важного, чрезвычайного; все знают, что пятеро главарей банды будут расстреляны.

Мамонт Петрович все так же похаживает вокруг костра, постукивая сапогом о сапог — прихватывает пальцы ног и кажется ему, что он не в ограде бывшего ревкома, а в Степном Баджее на Мане, среди партизан в самые тревожные дни Степно-Баджейской республики, и там он встретился с Ефимом Можаровым и с его красавицей женою, Катериной Гордеевной. Он помнит ее лицо — улыбающееся, круглое, доброе, и такие выразительные синие глаза.

Синие? А не карие? Кажется, карие. Точно. Катерина утешает его: «Вы такой могучий, Мамонт Петрович. Обязательно выздоровеете. Мамонты от тифа не умирают». — И улыбается, улыбается оскалом белых и крупных зубов.

Из школы вышли четверо — прокурор уезда в дохе и длинноухой шапке, председатель ревтрибунала в шубе и в папахе, Гончаров в шинели и в папахе и Ефим Можаров — начальник милиции из Каратуза.

Гончаров представил Мамонта Петровича — боевой командир партизанского отряда, недавний комвзвода Пятой армии, краснознаменец и все прочее, и Головня пожал руку всем троим; Ефим Можаров почему-то сразу отошел в сторону — ему нелегко, понятно, к расстрелу приговорили женщину, которая жестоко обманула его. Как и что пережил он на заседании ревтрибунала — никому не известно; он стоял в стороне от всех и беспрестанно курил прямую трубку. В кожанке под ремнем с кобурой, в кожаных штанах и в сапогах, в белой смушковой папахе, точно такой, как у Мамонта Петровича.

Мамонт Петрович взглядывал на Ефима Можарова. Он его великолепно понимал, но ничем утешить не мог — такое время. Борьба все еще идет по городам и весям своей железной метлой, и тут ничего не попишешь! Надо вытянуть и этот тяжкий воз, чтобы наконец-то установить порядок и начать новую жизнь.

Можаров сам подошел к Мамонту Петровичу, когда трибунальцы вернулись в школу.

— Так, значит, вернулся? Не ожидал, что мы еще раз встретимся и в таком вот положении. Знаешь?

— Угу, — кивнул Мамонт Петрович, закуривая. Поглядел на осунувшееся лицо Можарова, посочувствовал: — А ты держи голову тверже. Если она столько лет гнула свою контрреволюционную линию, какой может быть разговор! А может, что не так? Есть ли определенные доказательства?

— Хватает, чтобы сто раз расстрелять, — глухо ответил Можаров, кося глаза в сторону. — Хватает!

— Гончаров сказал, что ты сам ее разоблачил?

— Почему «сам»? — Можаров выбил трубку и снова набил табаком. Долго прикуривал. — «Сам»! Хэ! Документы колчаковской контрразведки ЧК разбирало полгода. В июле так, когда я был в

Красноярске, вызвали меня в ЧК. Она фигурировала под именем Лидии Смородиной. Ну, ее собственноручные сообщения, донесения, шифровки, и вдруг нашли приказ о представлении к награде Лидии Смородиной — Екатерины Григорьевны Шошиной — ее девичья фамилия. Она ведь родом из Каратуза, казачка! Я в тот же день махнул в Иланск — нету. Успела скрыться. Куда? Неизвестно. И сына бросила. Потом из Минусинска поступило сообщение о банде Мансурова — в двадцатом осенью, в октябре, кажется.

Помолчал, раскуривая трубку.

— Ну, вот. И я прилетел в Минусинск, и с той поры здесь работаю. Теперь в Каратузе начальником милиции. Два года мотался с чоновцами по уезду, но так мне и не удалось схватить ее. Я бы ее сам! Собственноручно! Ну, да о Чем говорить! Ну, а ты как? Демобилизовался? Останешься здесь или махнешь к себе в Россию? Ты из России, кажется? Из Тулы? В Тулу уедешь?

Нет, Мамонт Петрович не собирается в Тулу.

— Ты сказал — Григорьевна? Она же Гордеевна?

— Гордеевна. А в приказе генерала Шильникова — Григорьевна. Какой-то писарь переврал. Какое им дело, как ее величать? Попалась птичка, стой, не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой ни за что на свете. Как в песне.

— Она призналась?

— Хо! Призналась? Не те слова. Послушал бы, какую она речь закатила в трибунале. Ого! Патриоткой себя величает. Ах да о чем толковать!

Махнул трубкой — искры посыпались.

— Сын у меня растет. В Иланске сейчас у моей матери, — вдруг вспомнил Ефим Можаров. — Я ведь с ней жил с зимы четырнадцатого. Машинистов такого класса, как я, на фронт не брали. Водил пассажирские. Она у нас начала учительствовать. Ну вот. Сын растет. Хорошо, что он в Иланске сейчас. В банде у нее еще родился ребенок. Девчонка будто. Ну да, девочка. А у кого оставила — не сказала.

Можаров оглянулся на школу, перемял плечами.

— Что они тянут, трибунальцы? — как будто сам себя потарапливал. — Казаки могут налететь с часу на час. Когда мы их только призовем к порядку? И нэп как будто самое подходящее для них, а все еще взбуривают и пеняются, сволочи чубатые!

Из школы вывели приговоренных — четверо мужчин, связанных попарно одной длинной веревкой, и пятую Катерину — ее не связали.

Можаров сразу же отошел от Мамонта Петровича.

Подошел Гончаров — дымит сигаркой самосада.

— Самая неприятная обязанность, вот эти дела, — сказал как бы между прочим. Мамонт Петрович спросил, который атаман Ложечников. Гончаров указал на левого в первой паре. Правый — полковник Мансуров.

— Понятно! — кивнул Мамонт Петрович и пошел взглянуть на карателя. Так вот он каков, недобитый фрукт белогвардейский! Здоровый мужик в шубе и в шапке, морда круглая, упитанная — не успела исхудать, глаза смиренные, открытые, в некотором роде добряк, если судить по круглой физиономии с курносым носом.

— Ложечников?

Ложечников чуть дрогнул, приглядываясь к высоченному военному, которого он принял за какого-то нового, только что подъехавшего комиссара.

— С кем имею честь?

— Мамонт Головня.

— Ма-амонт Го-оловня?!

Все пятеро — четверо мужчин и Катерина, уставились на Мамонта Петровича.

Катерина не опустила голову — ответила прямо и твердо на взыскивающий взгляд Головни. Она, конечно, узнала его, бравого партизана. И он ее узнал сразу. Из-под теплого платка выбилась прядка прямых волос на ее бледную щеку. Резко выделяются черные, круто выгнутые брови, пухлый маленький рот, утяжеленный подбородок с ямочкой, круглолицая, одна из тех, про которых говорят, — русская красавица. У партизан в Степном Баджее она была писаршей в штабе, и не раз сам Кравченко, главнокомандующий крестьянской армией, посылал ее в опаснейшие рейды в тыл белых за медикаментами и перевязочными материалами, и она всегда возвращалась благополучно. Говорили, что она находчивая, смелая, отважная, а было все не так — белые сами помогали доставать ей медикаменты, а взамен получали от нее все данные о партизанской армии. Они все знали, подготавливая июньский сокрушительный удар, — только чудом спаслась партизанская армия, бежав с берегов Маны в глубь непроходимой

тайги, через лесной пожар за две сотни верст в Минусинский уезд, где партизан никто не ждал.

Мамонт Петрович хотел спросить Катерину, почему она, столь важная разведчица белых, не осталась на Мане, когда партизаны беспорядочно и суматошно бежали в тайгу?

Но он спросил совсем не о том:

— Так, значит, Катерина Гордеевна? М-да. Не думал, не гадал о такой встрече. Один вопрос у меня к вам, последний. Евдокию Елизаровну помните?.. Из-за чего вы дрались с ней в доме вдовы Ржановой, что в Старой Копи?

Мамонт Петрович говорил спокойно, как будто размышлял вслух над трудным вопросом, и это его спокойствие передалось Катерине, смягчив ее окаменевшее сердце. Она не ждала, что с нею кто-то из этих красных может так вот по-людски заговорить, как будто трибунал не приговорил ее к расстрелу.

— В Старой Копи? — переспросила она дрогнувшим голосом. — Помню, помню. Осенью прошлого года это было. Глупо все вышло. Ужасно глупо. Все были издерганы после боя за Григорьевкой. Если увидите Евдокию Елизаровну — пусть она простит меня. Теперь я знаю, кто подвел нас под пулеметы чоновцев. Он еще свое получит. А Евдокия Елизаровна... Дуня... она сейчас в больнице в Каратузе. Кто ее подстрелил в рождество — не знаю. Никто из наших не стрелял в нее. Никто. Это я хорошо знаю. Пусть не грешит на нас. А впрочем!.. Ее участь такая же, как и моя. «Мы жертвами пали в борьбе роковой!»...

— Это не про вас! — оборвал Мамонт Петрович.

— Как знать! Про всех, наверное. Ах, да какая разница!.. Я хочу сказать... Дуня ни в чем неповинна, хотя и была с нами. И с нами, и не с нами.

— В каком смысле?

— В прямом. Она ни с кем. Ее просто смяли и растоптали. А притоптанных не поднимают.

— Она моя жена! — вдруг сказал Мамонт Петрович. Катерина посмотрела на него непонимающим взглядом.

— Жена? Дуня? Ваша жена? Да вы шутите! Ничья она не жена. После того, что с нею случилось, — она ничья не жена. Ничья. Она не живая. Изувечена.

— Воскреснет еще, — сказал Мамонт Петрович, не вполне уверенный, что Дуня может воскреснуть из мертвых, но отступить ему не дано было — в самое сердце влипла.

— Дай бог! — натянуто усмехнулась Катерина, удивленно разглядывая Мамонта Головню. Чудак и только. Ах, если бы побольше было чудаков на белом свете! Но она об этом не сказала Мамонту Петровичу. — Боже мой, как все запутано! Как все запутано! А вы... забыла, как вас величать... не судите меня строго. Я к вам, если помните, не питала зла. Нет! Если помните, конечно. И если разрешено вам помнить, — жалостливо покривила пухлые губы. — Я исполнила свой долг перед Россией, которую... так жестоко, так жестоко растоптали. Будет время, «подымеется мститель суровый, и будет он нас посильней!..»

— Это песня тоже не про вас, — перебил Мамонт Петрович.

Катерина покачала головой:

— Еще никто ничего не знает! Никто — ничего! Да, да! Не надо быть такими самоуверенными. Ах да. У меня так мало осталось времени! Так мало!.. Я хочу... извините... попросить вас... поговорите, пожалуйста, пожалуйста! С Ефимом Семеновичем. С Можаровым. В трибунале я не могла... последняя моя просьба... разбередили вы мне сердце, что ли!.. О чем я? Ах да! Про сына. Пусть он ничего не говорит обо мне сыну — не надо! Неумно отравлять жизнь сыну. Вы меня понимаете? Это наша борьба. Наша кровь за кровь. А у сына... я еще ничего не знаю! Кем он будет, рожденный в мае пятнадцатого года? Кем? Я ничего не вижу. Тьма! Тьма! Если бы мы знали наше будущее!.. О господи!.. Как мне стало тяжело!.. Размягчили вы меня, что ли? Скажите, чтоб он не отравлял сердце сыну. И еще про дочь. У меня остается дочь. Полтора года девочке. Скажите ему... Если он... Нет, нет. Это невозможно! Хочу сказать...

Катерина не успела договорить — подошел Гончаров. Шепнул Мамонту Петровичу, что он задерживает.

— Кого задерживаю? — не понял Мамонт Петрович и взглянул на Гончарова, а потом на конвой с винтовками наперевес — понял все и отошел в сторону.

Раздалась команда караула:

— Трогайтесь!..

Первая пара, за нею вторая тронулись с места, а потом и Катерина. Она так и шла с недосказанными словами на припухлых губах, в черненном мужском пулушубке, глядя вперед себя, в неведомое, мятежное, с ветром и мокрым снегом.

Трое чоновцев с винтовками наперевес шли впереди, по трое с боков и двое с карабинами сзади. Следом за ними — председатель ревтрибунала, прокурор. Гончаров бок о бок с Мамонтом Петровичем, и чуть в сторону, ссутулившись, втянув голову в плечи, Ефим Можаров в кожанке под ремнем. Руки он засунул в карманы.

А снег все сыпал и сыпал, как бы нарочно заметал следы.

IX

Меланья не хотела пустить Дуню в дом, но кум Ткачук поговорил с нею, пригрозил грозным Головной, и хозяйке пришлось принять «ведьму квартирантку», самовар поставить и на стол собрать.

Филимона дома не было — на всю зиму уехал гонять ямщину куда-то в Красноярск.

Кум Ткачук посидел часок с Дуней, выпил с нею по чашке чаю и ушел, так и не дождавшись Головни: «Почивайте, Евдокея Елизаровна, и хай вам добрые сны привидятся».

Но куда уж там до добрых снов!

Подмывало под сердце — трибунал заседает! Утопят ее бандиты, особенно Катерина. Она ее щадить не будет. Все выложит: и про связь Дуни с Гавриилом Ухоздвиговым, и про то, что Дуня всем нутром была с бандой, и пусть, мол, ей будет то же самое, что и нам, — смерть!..

Страшно и постыло.

Ждала Мамонта Петровича — больше некого было ждать в столь тяжкий час жизни. Она примет его и, если надо, всплакнет о своей горькой доле, только бы он защитил ее от новой напасти. Не любовь, а страх и безысходность пеленали ее с Мамонтом Головной; не любовь, а страх прищемил сердце. Сколько раз взглядывала на часики — тики-так, тики-так, придет не придет...

Деревянная кровать, пара табуреток, две лавки, иконы в переднем углу с луковицей свисающей лампы, кросна с недотканными

половиками, самопряха в углу с льняной бородой на прялке, большущий кованый сундук и мешок с вещами Мамонта Петровича.

В мешок не посмела заглянуть.

А что если Мамонт Петрович не придет? Наверное, он там узнал всю подноготную про нее и скажет потом: «Ответ будешь держать перед мировой революцией, едрит твою в кандибобер!»

Холодно.

Когда под шестком в избе в третий раз загорланил петух, Дуня надумала сама пойти в штаб чоновцев и в трибунал — пусть берут ее, только бы не мучиться в неведении.

Посмотрела время на ручных швейцарских часиках — половина четвертого жуткой ночи!.. Горько усмехнулась сама над собою: «Вот уж счастливица, боженька! Нашелся муж, назвал женою и, не переспав ночи, — убежал. Сдохнуть можно от такого счастья!»

Вышла на улицу в дохе, — если посадят, тепло будет. Не замерзает же в кутузке!

В калитке задержалась. Куда идти? Если уж сами придут, тогда другое дело. Что это? Кого-то ведут серединой улицы. Ближе. Ближе. Впереди красноармейцы чона в шинелях и в шлемах, с винтовками наперевес. Издали узнала Мамонта Петровича — спряталась за калитку, оставив ее чуть открытой. В оцеплении караула четверо со связанными руками, боженька! И Катерина с ними! Дуне страшно. Жутко. Доха не греет — до того трясет от мороза. Узнала маленького Гончарова, Можарова из Каратуза — начальник!.. Следом за всеми ехали на двух санях двое красноармейцев. К чему сани-то? Или их увезут куда-нибудь подальше? «Вот и отстрелялись на веки вечные! — подумала она. — Как теперь Катерина? Говорила, что она слезу не уронит перед красными. Сколько она партейцев самолично прикончила, и сама попалась».

Когда все скрылись под горою в пойму Малтата, Дуня прошла заплотом к высокой завалинке дома, поднялась, ухватившись за наличник, глядела вниз, в пойму, но ничего не увидела — снег, снег, метелица!..

Белым-бело, как в саване.

Вся жизнь представилась Дуне тесной, узкой, как тюремный коридор. Одни — лицом к стене, других ведут мимо, мимо. Она побывала с Гавриилом Ухоздвиговым в красноярской тюрьме —

смотрели красных. Думалось тогда — прикончили большевиков. Навсегда! Само «красное» стало пугалом не для одной Дуни. А вот они — красные! Живут и вершат свой суд революции. Какая же сила подняла их — обезоруженных, полуграмотных, притоптанных и оплеванных важными господами?..

Понять не могла. Свершилось так, и все тут. Знать, такая судьба матушки-России!..

Х

Пути-дороги скрещиваются.

На скрещенных дорогах развязываются узлы, и сама вечность как бы останавливается перед днем грядущим.

Пятеро главарей банды прошли последний путь и стояли теперь невдалеке от берега Амыла лицом к лицу со своими судьями и с теми, кому выпал жребий привести приговор в исполнение.

Четыре бандита, связанные одной веревкою, в сущности, не сегодня оказались связанными вместе, а давно еще, в пору Самарской директории и жесточайшей колчаковщины, когда каждый из них вершил казни над красными по своему опыту и разумению, не щадя ни женщин, ни стариков, ни малых детишек. Каждый из них мог бы соорудить себе пирамиду из трупов казненных. Они сами в себе вытоптали и огнем выжгли все человеческое и, конечно, знали, что их никто не помянет добром, а только проклятием и полным забвением; для них не было дня сущего и дня грядущего. И это они понимали, и потому им было страшно. До ужаса страшно.

Катерина в черном полушубке, неестественно выпрямившись и глядя вверх на отягощенное тучами небо, как будто шептала молитву.

Снег был глубокий и рыхлый, и главари банды увязли по колена в снегу.

Перед ними немо сторожили семеро чоновцев с винтовками наперевес.

В лесу на прогалине было необыкновенно тихо.

Темнели высоченные ели по берегу Амыла. Фыркали кони, впряженные в сани.

Один из красноармейцев светил фонарем «летучая мышь», и председатель трибунала читал приговор осужденным.

Каратель Коростылев втянул голову в плечи.

Хорунжий Ложечников не выдержал и крикнул: «Кончайте!» И выматерился.

Председатель трибунала продолжал читать.

Мамонт Петрович внимательно слушал, глядя на Катерину. Он и сам не мог бы себе объяснить, почему ему, бывалому партизану и комвзвода Красной Армии, было жаль вот эту женщину, столь отчужденную и далекую от него во всех отношениях.

Председатель трибунала спросил, какое будет последнее слово приговоренных.

— Не ломайте комедию, обормоты! — крикнул Ложечников. — Кончайте!

Катерина коротко взглянула на всех и почему-то опустила шаль с головы на плечи.

Ничего не сказала.

Полковник Мансуров, заикаясь от страха, напомнил, что он лично не казнил совдеповцев. Он-де не был министром в кабинете кровавого Колчака. «Произошла жестокая ошибка. Пощадите мою дочь, Евгению! Она ни в чем не виновна. Пощадите ее! Она ни в чем не виновна!»

— Заткнись, полковник! — крикнул Ложечников, но полковник все еще умолял, чтобы пощадили его дочь Евгению.

Ложечников матерился.

— Заткните пасть этому волку! — не выдержал полковник. — Я прошу вас... прошу... о, боже!.. помилуйте мою дочь!.. Пусть я достоин смерти с этими вот... бандитами. Но моя дочь, боже!..

Председатель трибунала ответил:

— Вашу дочь никто не собирается расстреливать.

— Дайте мне слово! — выкрикнул сотник Шошин. — Нас приговорили к смертной казни, а генералов почему не судили? Али помилуете? А еще большевиками прозываетесь!

— Будет суд над генералами, не беспокойтесь, — ответил Шошину председатель трибунала.

Мамонт Петрович спросил у Гончарова, про каких генералов говорит бандит?

Оказывается, в Таятах в женском староверческом скиту арестованы были два колчаковских генерала — Иннокентий

Иннокентьевич Ухоздвигов и Сергей Сергеевич Толстов — князь, которых надо доставить в Красноярск.

— Где эти генералы?

— Здесь. В нашем штабе.

— А сколько всего бандитов?

— Восемьдесят шесть со скитскими. Игуменью взяли с монашками, а эти монашки — две жены бандитов: Ложечникова и генерала Ухоздвигова, а две — дочери. Одна — Мансурова, другая — генерала Толстова. В скиту у игуменьи был главный штаб банды.

К Гончарову подошел председатель трибунала. Переглянулись. Гончаров молча кивнул.

Настал последний момент...

— Го-о-отовсь!

Ложечников выматерился.

Полковник Мансуров громко сказал:

— Господи, помилуй меня! Спаси мою душу грешную! Евгению спаси, господи!

Гончаров скомандовал:

— По врагам мировой пролетарской революции и рабоче-крестьянской Советской власти — пли!

Раздался залп из семи винтовок.

Четверо упали тесно друг к другу.

С деревьев посыпался снег.

Катерина продолжала стоять, подняв согнутые в локтях руки на уровне плеч, ладонями от себя.

Густо пахло жженой селитрой.

Гончаров повернулся к красноармейцам, вскинул револьвер, скомандовал:

— По белогвардейской шпионке и начальнице штаба банды — пли!

И еще один залп.

Мамонт Петрович видел, как Катерина с маху оттолкнула от себя огненную жар-птицу, но жар-птица раскинула ее руки в стороны, клюнула в грудь, в самое сердце. Катерина так и упала навзничь с широко раскинутыми руками. И вдруг, совершенно неожиданно, как будто кто щелкнул бичом, — еще один выстрел...

Никто не ждал этого выстрела.

Мамонт Петрович быстро оглянулся:

— Едрит твою в кандибобер, Можаров!..

Шагах в десяти от всех Ефим Можаров, как-то странно прижав руки к груди, согнувшись, сделал шаг, еще шаг и упал лицом в мягкий снег.

Один — лицом в землю. Другая — лицом в небо...

Все подбежали к Можарову. Он лежал скрючившись, зарывшись головою в снег. Папаха слетела. Мамонт Петрович повернул Можарова на спину. В руке зажат наган. В зубах — трубка. Потухшая трубка. Кожанка расстегнута. Никто не видел, когда он снял ремень и расстегнул кожанку. Выстрелил себе в грудь, точно, без промаха. Наповал. Снег быстро потемнел от крови. Под тусклым светом фонаря лицо Можарова казалось чугунным, как будто обуглилось.

Первым опомнился молчаливый прокурор:

— Как мы могли прошляпить, товарищи? Нельзя было допускать его на заседание трибунала.

— Он держался нормально, — сказал Гончаров.

— Головы, туды вашу так! — выругался Мамонт Петрович. — Бывшую жену вывели на расстрел, и — «нормально»! У него, может, нутро перевернулось за эту ночь. Он говорил мне про сына, который сейчас у него в Иланске у матери, а у самого в лице туман и отчаянность.

— Может, нам не все известно? — Гончаров переглянулся с председателем ревтрибунала. — Я говорил: Как могло произойти, что он с четырнадцатого года по февраль двадцатого проживал с нею, так сказать, одну постель мяли, а потом вылезло наружу из захваченных документов контрразведки: жена — белогвардейская шпионка! Тут что-то...

— Голова! — оборвал Мамонт Петрович. — А ты подумал про такую ситуацию: если бы шпионка не сумела обмануть одного человека, который доверял ей и ни в чем не подозревал, тогда как бы она могла обмануть всех нас? Я преотлично помню, как она ухаживала за мной, когда я лежал в тифу. Подбадривала, проклинала всех белых и все такое, а сама — белая! Знал я про то или нет? Мог ли подумать? Хэ! А вот почему она ничего не сказала в последнем слове после приговора — загадка. Глянула на всех, как с отдаленной планеты, и молчок. Я так думаю: перед смертью она, может, первый раз

посмотрела на себя и на бандитов не криво, а прямо. А что увидела? Ни сына у ней, ни дочери, ни земли, ни неба! Докатилась до последней черты. Я это так понимаю. И сам Можаров от стыда и позора, что он когда-то доверял такой бандитке и сына заимел от нее, пустил себе пулю в грудь. Душа не выдержала. Или вы думаете, что у коммунистов чугунные души?

Все примолкли, а Мамонт Петрович дополнил:

— В душу к нему не заглянули, вот что я вам скажу, трибунальцы! Про душу-то и в самом деле запомнили.

А возле берега, сажени за три, лежала Катерина. Ноги ее увязли в снегу и согнулись в коленях. Будто она куда-то шла, шла, притомилась, села на снег, а потом легла на спину, уставившись в небо. Чоновец с фонарем подошел к ней. Пятно света упало на ее бледное лицо, обрамленное рассыпавшимися темными волосами. На ее распахнутые ужасом глаза падали снежинки и тут же таяли, стекая от уголков век крупными слезинками по вискам, словно она и мертвая плакала. Все ее лицо покрылось капельками, будто вспотело. Белела полоска зубов. Чоновец в буденовке наклонился к ней и пальцами прижал веки, закрывая глаза. Веки были холодные, но когда пальцы скользнули по щеке, он испуганно отдернул руку — щека была еще теплая. Пятно света переместилось на полушубок, застегнутый на пуговицы. Крови не было. Ни капельки. Подошел еще один красноармеец, и первый с фонарем сказал, что надо ее повернуть. И тот повернул. На снегу под спиною натекла кровь, и в полушубке вырваны были клочья овчины...

— Отлетала в бандитах, шпионка! — сказал тот, что поворачивал. И когда он опустил плечо, тело снова легло на спину. Надо было вытащить ноги из снега, но красноармеец не сделал этого. Первый с фонарем отошел в сторону, вытер тылом варежки пот со лба, поставил фонарь на снег и, расстегнув пуговицы шлема, стащил его с головы, и шлемом вытер потную шею и голову. Он был еще молодой, боец части особого назначения войск ОГПУ, и впервые за свою жизнь участвовал в расстреле врагов Советской власти. Красноармейцы перетаскивали тела бандитов в сани, чтобы захоронить их где-нибудь подальше от деревни на неведомом месте. Трое подошли к телу Катерины. Она все так же лежала лицом в небо...

По черным елям пронеслась верховка, и деревья тихо зашумели, а потом послышался скрип чернолесья, усилился шум, а из деревни

донесся собачий брех. Местами небо прояснилось, и робко выглянули звезды.

Мамонт Петрович не стал ждать трибунальцев — они все еще обсуждали самоубийство Ефима Можарова, пошел размашистыми шагами в обратный путь. Горечь недавно пережитого была до того вязкая, что впору ложись в снег, чтоб отвратность ушла из души. Свершилась какая-то роковая ошибка, но в чем эта ошибка?..

Жалел Ефима Можарова и не мог себе простить, что в тяжкий момент не стоял плечом к плечу с ним. Надо было его поддержать, а он. Мамонт Петрович, все свое внимание обратил на бандитку, как и все трибунальцы. А свой, в доску свой человек, оставленный без внимания и участия, пустил себе пулю в сердце. «Это же до умопомрачения дико произошло, — размышлял Мамонт Петрович. — Она его столько лет обманывала, предавала всю нашу партизанскую армию, летала по уезду в банде, а он не сумел вытоптать эту бандитку в самом себе. Какая сила вязала его с ней?..»

Понять того не мог.

XI

И крута гора, да забывчива; и лиха беда, да избывчива.

Горы надо одолевать, чтобы горя не видать.

А что если за горами еще больше горя и зла неизбежного?..

За годы гражданки Мамонт Петрович немало отправил беляков на тот свет, но никогда ему не было так тяжело и сумно, как сейчас. Как будто залп грохнул не по бандитам, а — нутро изрешетило. В горле сушь и в голове туман.

Поднимаясь на боровиковскую горку из поймы, смотрел на черный тополь.

В голых сучьях черного тополя посвистывал ветер.

У столба ворот Боровиковых увидел Дуню в пестрой дохе. Удивился: почему она в улице? Может, Меланья не пустила в дом? Но когда подошел близко и встретился с ее глазами, догадался: она все знает.

— М-да. Не спишь? — И не узнал свой голос. Звенит, как колокольная медь. Дуня прижалась спиной к столбу, а в глазах вьет гнездо страх. Чего она испугалась? Сказать про то, что случай занес

его присутствовать на казни бандитов, — не мог. Тяжесть такую не вдруг подынешь на язык.

Ничего не сказал.

Дуня прошла в ограду, и он следом за нею. Выбежала лохматая собака, взлаяла. Мамонт Петрович чуть задержался, посмотрел на собаку, и та, захлебываясь лаем, отступила и, скуля в бессильной злобе, спряталась в теплый свинарник.

В избе горела плошка и пахло жженым конопляным маслом. Густились тени. Иконы казались черными, без ликов и нимбов. На столе стоял медный самовар, собранная снедь в двух глиняных чашках — отваренная картошка, квашеная капуста, постное масло в блюде и две солдатских алюминиевых кружки — посуда для пришлых с ветра.

Дуня сбросила доху и повесила на крюк возле двери. Под дохою был еще черный полушубок, точь-в-точь такой же, как на Катерине. Мамонту Петровичу вдруг примерещилось, что перед ним в полумраке не Дуня, а Катерина.

«Что он так уставился? — дрогнула Дуня, машинально расстегивая пуговицы полушубка. — Наверное, ему что-то сказали про меня!.. А что если в Таятах схватили...» — Но даже сама себе не отважилась назвать имя человека, которого окрестила «последним огарышком судьбы» — Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова.

Полушубок кинула на лавку.

Мамонт Петрович, как столб, возвышался посредине избы. И та же отчужденность в усталом лице. Что он знает? Почему он так страшно молчит?

— Подогреть самовар? — тихо спросила Дуня.

— Не надо.

Мамонт Петрович оглянулся по избе, подошел к кадке. Ковшика не было, и Дуня подала ему кружку. Зачерпнул из кадки воды и выпил разом.

— В горнице постель, Мамонт Петрович, — так же тихо сказала Дуня и, взяв плошку со стола, прошла в горницу. Слышала, как по половицам скрипнули рантовые сапоги — офицерские! Поставила плошку на стол.

Мамонт Петрович молча снял папаху, положил на табуретку, затем шашку, хрустящие ремни с парабеллумом в кобуре, генеральскую шинель на красной подкладке, достал из кармана шинели трофейный

английский портсигар, вынул японскую сигаретку и медленно прикурил от спички. Дуня до того оробела перед молчащим Мамонтом, что не знала: привечать ли его, бежать ли от него без оглядки? Взясась разбирать постель. Это была ее постель: одеяло из верблюжьей шерсти, две пуховых подушки в давно нестиранных наволочках, пуховая перина.

Докурив сигаретку, Мамонт Петрович так же молча перенес оружие на пол возле кросен, отстегнул шпоры, разулся и, сложив сапоги голенищами вместе, положил на шашку и парабеллум. Дуня догадалась, что он устраивается спать на полу. «И оружие под голову! Правду говорил Гавря: нам никогда не будет доверия от этих красных! Никогда! Им век будут мерещиться наши миллионы, которых мы сами в глаза не видели. Век будут подозревать. Что у него за бляха? Орден, может? А разве у красных есть ордена? Они же кресты и медали офицерам забивали в грудь, а в погоны, в звездочки, вколачивали гвозди. Боженька! Как мне страшно! Завтра меня возьмут или сегодня? Хоть бы скорее все развязалось! Если схватили Гаврю в Таятах...»

И сразу же вскипела ненависть к этим красным — и в бессильной ярости тут же притихла.

Мамонт Петрович лег на пол на затоптанные половики в своем френче и в казачьих диагональных брюках, укрылся шинелью. Его длинные ноги вытянулись до двери. Он все время думал, как и что сказать Дуне, но подходящих слов не было, как будто он растерял их в пойме Малтата.

Молчание стало тяжелым и давящим.

Дуня примостилась на край деревянной кровати, не смея взглянуть на Мамонта Петровича. Но он ее видел всю — от ног в черных валенках, до углистых волос, небрежно собранных в узел. Понимал: казнь бандитов, с которыми она зналась, прихлопнула ее, и она сейчас в душевном смятении. Вспомнил разговор с Гончаровым. Понятно, в ГПУ достаточно материалов, чтобы взять Дуню под арест, и тогда она будет восемьдесят седьмой. Ну а что потом? Упрячут в тюрьму за связь с бандой, а из тюрьмы она выйдет, начиненная ненавистью ко всем красным, в том числе и к Мамонту Петровичу. Такого он допустить не мог.

Достал из кармана френча трофейные часы и посмотрел время. Шумно вздохнул, пряча часы в карман.

— Ложись, Дуня. Скоро шесть утра. — Но это были не те слова, которые он должен бы сказать. — Такая вот произошла ситуация, м-да. Непредвиденная. Голова гудит и тошнота подступает. Тяжелое это дело — казнить врагов мировой революции, а что поделаешь, если враги не сдаются без боя. А ты ложись, спи. Ни о чем таком не думай, и так далее. Если я дал слово, кремень значит. Так что не беспокойся. С бандами мы в скором времени покончим. Апределенно!

Суровые слова Мамонта Петровича не утешили Дуню, а еще пуще расстроили. Она и сама понимала, что силы такой нету, чтоб мог подняться ее «огарышек судьбы» и она бы обрела с ним счастье. А в чем теперь ее счастье? Если не арестуют, то все равно не будет ей жизни. Кто и что она среди этих красных «мамонтов»? Век будут попрекать юсковским корнем, и куда бы она ни сунулась, за нею будет тянуться хвост ее окаянной жизни. «А, скажут, Дунька Юскова? Знаем ее! Вертела хвостом направо и налево — с красными и с белыми. Юсковская порода. Гниль да барахло».

«Боженька! Хоть бы к одному концу скорее!»

Но она ничего не сказала Мамонту Петровичу.

Ничего не сказала.

Как в свое время Дарьюшка не нашла слов к Тимофею Прокопьевичу в последний час своей жизни, так и Дуня извела такое же чувство одиночества и отчуждения в стенах боровиковского дома.

Где-то в отдалении раздалась пулеметная очередь. Дуня сразу узнала знакомый голос «максима» и винтовочные выстрелы.

Та-та-та-та-та!

Мамонт Петрович поднялся одним махом.

— Вот и банда припожаловала, — сообщил спокойно, обуваясь с поспешностью военного. Не минуло трех минут, как он был в шинели, в папахе, при шашке, а парабеллум вытащил из кобуры, посмотрев обойму, заслал патрон в ствол и сунул в карман шинели. Наказал Дуне, чтоб она никуда не выходила из дома; в случае чего, он найдет ее здесь. Не оставит на произвол банды. — Выждали момент, сволочи, чтобы захватить отряд чона врасплох. Молодцы ребята. Это наши пулеметы работают.

С тем и убежал, брэнча шпорами.

Вскоре в горницу заглянула Меланья в длинной исподней холщовой рубахе, босая, в черном платке, уставилась на Дуню:

— Осподи! Банда, што ль?

Дуня ничего не ответила.

— Головня выскочил-то?

— Головня.

Выстрелы слышались все чаще и чаще с разных концов деревни.

— Огонь-то потуши. Живо на свет явятся.

— Не кричи. Никто к тебе не явится.

— До кой поры будет экая погибель?

— Пока всех не перебьют.

— И то! Никакого житья не стало. Хучь бы Филимон скорее
возвернулся.

Филимон! Она ждет Филимона, тьма беспросветная!

— Не беспокойся, вернется твой Филимон. Его не сожрут ни
красные, ни белые, никакие черти вместе с его Харитиньюшкой.

Меланья не ждала такого удара:

— Откель про Харитинью знашь?

— Откель! В Ошаровой видела его с Харитиньей еще в двадцатом
году. Если бы я не оторвала его тот раз от Харитиньи, он бы и сейчас
там «временно пребывал». Напрасно я его вытащила. Какая ему здесь
жизнь? Ты только и знаешь, что лоб крестить да поклоны отбивать.
Фу! Дремучесть. А Харитинья, как я ее видела, веселая баба. Бежала за
кошейкой и кричала: «Воссиянный мой, возвернись! Воссиянный
мой». Лопнуть можно. Это Филимон-то воссиянный?!

Залпы из винтовок раздались под окнами — зазвенели стекла под
ставнями. Меланья ойкнула и убежала к ребятишкам. Дуня быстро
отошла от простенка к дверям горницы. Стреляют. Стреляют. В кого
стреляют? Кто стреляет? Ржут кони. Долго и трудно ржут пораненные
кони. Кто-то ударился в ставень — звон стекла на всю горницу. Дуня
подскочила к столу и потушила плошку. Отбеливало в двух окнах, что
в ограду, не закрытых ставнями. Начинаясь рассвет. Кто-то орал возле
дома: «Робята, робята! Не бросайте! Не бросайте!»

Пулеметные очереди сыпались вдоль улицы.

Та-та-та-та-та-та-та!..

И где-то вдали цокает пулемет и хлещут из винтовок и карабинов.

Дуня накинула на себя полушубок, шаль и выбежала на крыльцо.

В ограде стрельба слышалась явственнее. Бой шел, как
определила Дуня, с трех сторон: возле дома Боровиковых, на окраине

приисковой забегаловки и где-то со стороны Щедринки.

На деревне лаяли собаки, мычали коровы.

Синь рассвета плескалась над крышами домов.

Ветер свистел в карнизах крыльца.

Час прошел или меньше, Дуня не знает, но возле дома Боровиковых прекратилась стрельба. Только слышно было, как трудно ржала чья-то лошадь в улице и возле ограды стонали двое или трое. Дуня отважилась выглянуть из калитки. Как раз в этот момент лихо промчались вниз в пойму конные — бандиты или чоновцы в полушубках, кто их знает. Посредине улицы распласталась раненая лошадь. Она все еще вскидывалась, чтоб подняться, падала мордой в истоптанный снег и дико ржала. Еще одна лошадь поодаль откинула копыта. Рядом с нею валялся убитый в полушубке. Одна нога его была под лошадью. И возле дома Трубиных тоже убитая лошадь без всадника. Кто-то стонал рядом. А, вот он! Человек полз к пойме возле завалинки. И еще откуда-то раздавался стон. Дуня присмотрелась — никого не видно. А стонет, стонет. Кто же это? От тополя, кажется. Ну, да! И этот ползет вниз, к тополю. Со стороны штаба чоновцев бежали люди с винтовками. Дуня спряталась за калитку, выглядывая в щель. В буденовках — в шлемах, заостренных кверху. Хлопнул выстрел — и стон прекратился. И еще, еще выстрелы. С той и с другой стороны. Кто-то стрелял в чоновцев от тополя. Бандиты, конечно! Те, что остались без коней.

Развиднело.

Ни выстрела, ни конского топота.

Тихо...

XII

Она сама пришла — ее никто не звал.

У бывшего дома переселенческой управы, где размещался штаб чона, Дуню остановили красноармейцы в шубах — трое. Она их не знала. Спросили: к Гончарову? Фамилия? Дуня подумала: если назовется Юсковой — не пустят.

— Мамонт Петрович здесь?

— Нет, Мамонта Петровича нет в штабе.

— То к Гончарову, то к Мамонту Петровичу. Кто такая, спрашиваю? — подступил молоденький красноармеец в тулупе.

— Евдокия Головня, — назвалась Дуня.

— Головня? Так бы сразу и сказала. Жена, что ли? Его сейчас нету в штабе. Увел нашу конницу вдогонку за бандой. Слышала, как налетели казаки?

— Слышала. Но мне надо повидать товарища Гончарова.

Красноармейцы переглянулись.

— Спешно, что ли? Тут казаками набили полный двор. Товарищ Гончаров разбирается с ними.

— Скажите ему, пожалуйста, что Евдокия Головня пришла к нему для важного разговора.

Чоновцы подумали и разрешили — иди.

Дуня прошла в ограду. Сразу у заплота, ничем не закрытые, трупы убитых чоновцев. Сколько их лежало — пятнадцать, двадцать? В крайнем правом узнала Иванчукова! Тот пулеметчик, который задержал кошеву кума Ткачука. Вот она какая жизнь человека с ружьем!..

Тут же в ограде навалом лежали убитые казаки. В бекешах, шубах, полушубках, в шапках, папахах.

Одни лежат тесно друг к дружке, как будто отдохнуть прилегли после жаркого боя; другие навалом, как стаскивали, бросали, так и коченеют теперь.

Ни мира, ни войны между теми и другими — тишина: ни забот, ни тревог.

Отвоевались.

Одни у заплота, другие — у завалинки дома, как обгорелые черные сутунки.

Тех, что у заплота — охраняет почетный караул — по два чоновца с винтовками с двух сторон. Винтовки со штыками. Честь честью.

Этих, накатанных друг на дружку, никто не охраняет. Хотя именно они на рассвете примчались в Белую Елань, чтоб уничтожить отряд чона и освободить захваченных бандитов.

Обмозговали захватить врасплох, сонных, а нарвались на пулеметный огонь.

Такова война — малая и большая.

Одним — почетные похороны, как героям; других сваливают в яму — столько-то убитых, и все.

Это было знакомо Дуне по фронтовым денечкам. И все это ей опостылело.

С другой стороны дома, у второго крыльца, сбившись в кучку, сидели прямо на снегу под охраною захваченные живьем бандиты. Казаки, казаки... Чубатые казаки! Без шашек и карабинов. Возле них прохаживались Гончаров и прокурор уезда. Того и другого Дуня знала.

Пискливым тенорком говорил какой-то казак. Дуня прислушалась. Что-то про Ухоздвигова!

— Оно так, начальник. Сами должны были думать. Ипеть-таки скажу: как заявился к нам в станицу капитан Ухоздвигов, обсказал про тайный приказ Ленина, чтоб зничтожить поголовно всех казаков, как не подумаешь? К погибели дело подошло! С того и станица поднялась.

— Приказ! Приказ! — громко сказал Гончаров. — А вы подумали: как мог Ленин издать такой приказ, если на всю РСФСР объявлена новая экономическая политика? Нэп! Слышали! Так что же вы городите про какой-то тайный приказ! А что такое нэп? Заводись хозяйством, подымайся каждый, у кого сила имеется, а если мало силы — товарищества взаимопомощи организуются повсюду. Четыре коммуны в уезде. Это что вам, «зничтожение»?

— Капитан Ухоздвигов зачитывал приказ-то — сказал еще один из казаков. — Печатными буквами приказ-то. Помню такие слова: «Казачество, как Дона, Кубани, Урала, Сибири, а также и Забайкалья, на протяжении всей мировой революции показало себя...» Запечатывал, как там было дальше. Злющие слова. Ну, как бы попросту. Показало, значит, как за буржуазию воевало супротив мировой революции. А по такой причине, значит, уничтожить поголовно всех. И подпись: «ЛЕНИН».

— Нет у Ленина такой подписи — сказал Гончаров. — Он подписывается: «В. Ульянов», а в скобках: «Ленин». Ульянов было или нет?

— Ульянова не было. А разве Ленин — Ульянов?

— Вот видите — подхватил Гончаров — как вы легко попались на провокацию капитана Ухоздвигова! Даже настоящую фамилию Ленина не знаете. Он — Ульянов! А кто такой капитан Ухоздвигов? Сынок золотопромышленника! Говорил он вам, что среди захваченных

бандитов в Таятах взят его старший брат, генерал Ухоздвигов? Нет! Каких же казаков вы спешили освободить? Семнадцать бывших офицеров, а среди них — два генерала. Остальные, правда, казаки. Генералов пришлось расстрелять, когда вы обложили со всех сторон наш штаб. Так что напрасно ловчил ваш Гавриил Иннокентьевич! И врасплох нас не захватили. Ну, а теперь ответ будете держать.

Гончаров сам увидел Дуню и подошел к ней.

— Ну, здравствуйте, Евдокия Елизаровна! — пожал руку Дуне. — К Мамонту Петровичу? Увел он нашу конницу. Выручил отряд! Отменный командир. А я, понимаете, когда налетела банда, схватился за голову: где Мамонт Петрович? В каком доме остановился? А он — вот он! В самый раз подоспел. Петрушин убит в Таятах, Иванчуков пал возле пулемета. Ах да! Извините! — спохватился Гончаров. — Поздравляю вас, Евдокия Елизаровна! Ну, ну! Как будто никто не знает! Мамонт Петрович торжественно заявил нам, что вы его жена. Так что...

— Нет, нет! — разом отрезала Дуня. — Я пришла... мне надо поговорить с вами.

Гончаров посмотрел на нее внимательно, чуть склонив голову к левому плечу, позвал за собою в ту самую комнату, где ночью заседал ревтрибунал.

Дуня шла, как тень, за маленьким Гончаровым. Квадратная комната с кирпичной плитой. На плите солдатские котелки, кружки, продымленный чайник, дрова, чьи-то валенки на просушке, на стенах — шубы, шубы, полушубки, а в углу свалены трофеи — казачьи шашки, палаши, сабли, клинки и даже самоковки. Ремни карабинов, винтовки и ручной пулемет «льюис». Табуретки возле стен, два или три стула, тот же стол, за которым когда-то восседал Мамонт Петрович с Аркадием Зыряновым, когда Дуня пришла в памятную ночь в ревком...

Знакомое и чуждое.

Гончаров пригласил сесть.

В комнатку жарко, а Дуне холодно.

Гончаров снял шинель, повесил ее на гвоздь, туда же ватную безрукавую душегрейку, папаху, пригладил русые волосы, одернул гимнастерку под ремнем и тогда уже спросил, какая нужда привела Евдокию Елизаровну к нему?

— Тогда, в больнице, в Каратузе — начала Дуня, взглядывая на сапоги Гончарова. — Я утаила...

Голенища сапог поблескивают, а мысли Дуни тускнеют, линяют, и она их никак не может собрать в кучу.

Гончаров не помогает ей. Прохаживается наискосок по комнате. Курит.

— Разрешите, если можно, закурить?

— Пожалуйста. Но у меня скверный самосад.

— Ах, мне все равно.

Дуня послюнила кончиком языка завернутую сигарку, склеила. Гончаров поднес огонек от патронной зажигалки. Точь-в-точь такая же зажигалка, какую подарил Дуне какой-то чистенький штабс-капитан в Самаре!

Табак был крепкий — задохлась. Аж слезы выступили. Сразу стало легче, безразличнее, покойнее. «Все равно к одному концу».

— Тогда я вам дала показание...

— Я вас не допрашивал, — перебил Гончаров. — Просто зашел поговорить с вами.

— Да! да! — «Он зашел поговорить, начальничек! Как у них все просто», а вслух: — Ну вот. Я не все сказала. Фамилию Головня я присвоила умышленно...

Гончаров все так же прохаживается наискосок по комнате, думает, покуривает. Знать бы, что у него на уме?

— Кто вам говорил про заявление Филимона Боровикова? — спросил в упор.

— Про какое заявление? — хлопала глазами Дуня.

— Так-таки ничего не слышали про заявление Боровикова?

— Ни сном-духом.

Еще одна петля по комнате, и:

— Я вас сейчас познакомлю с этим заявлением. Но — должен предупредить: не разглашайте.

XIII

Обо всем могла догадываться, многое предвидеть, но чтоб Филимон Прокопьевич сочинил такое заявление, Дуня никогда и никому бы не поверила.

Заявление было вот какое:

«В город Минусинск в ГПУ начальнику самолично Гончарову от Филимона Прокопьевича Боровикова из Белой Елани Сагайской волости.

Заявления:

Как я есть сознательный хрестьянин и в белых не пребывал, а так и по причине родителя мово, Прокопия Веденеевича, как сгибшего от белых карателей, и как не из миллионщиков, по такой причине заявлено делаю в ГПУ насчет Евдокеи Елизаровны Юсковой.

Про Евдокею Юскову заявляю, что она есть насквозь белая и самолично слышал обо всем, докладую: — декабрь был 1919 года, в деревню Ошарову из Красноярска пришли множеством белые каратели, как генерал Ухоздвигов, а так и три брата Ухоздвигова, особливо самый злющий охфицер Гаврила Ухоздвигов, а с ним была любовница Евдокея Юскова самолично.

Меня заарестовали белые, как за родителя мово, который воевал за красных, и вели по деревне исказнить. Тута встретила меня с Гаврилой Ухоздвиговым Евдокея Юскова и обсказала, что как она землячка, так пуцай покеля живет, да под мобилизацией будет. Меня замобилизовали в подводы. Из Ошаровой повез я на своих конях охфицера Ухоздвигова с любовницей Дунькой Юсковой. В Даурске произошел сговор ихний. Чтоб она ехала в Белую Елань доглядывать за приисками. Охфицер Ухоздвигов пригрозил мне смертной казнью, а Дунька Юскова ехала в моей кошевке с левольвертом, ежли засопротивляюсь, убиенство ученить.

В Новоселовой Дунька Юскова при угрозе оружия заставила меня спать на одной кровати, чтоб я ее самолично охранял от мужика-скорняка, ну, а я, как не из блуда происхожу, всю ночь не спамши был и совращенья не было. А Евдокея утром так сказала: «Ежли ты, Филимон,

донесешь красным на меня, тебя на куски изрежет сам Ухоздвигов, у которого, дескать, руки длинные». Ипеть я не убоялся, потому как природа наша наскрозь известна.

Приехали в Белую Елань, Евдокея Юскова поселилась у меня, а в тайне ездила на свиданку с Гаврилой Ухоздвиговым и потом была в банде для стрельбы Советской власти. Ишио было такое, как Евдокея подбивала меня пошуровать на пепелище Юсковых, да пепелище обшуровали сами власти и там нашли золото. С банды Евдокея возвернулась ипеть ко мне в дом, всячески грозила Ухоздвиговым, который собирал новую банду из казаков. Допреж, когда была секлетаршисей в Совете, Дунька срамно себя держала, как она есть шлюха и про то вся тайга знает. Как за то самое ее подстрелили и потом повезли в больницу — меня дома не было. Ишио была угроза Евдокеи Юсковой сознательному хрестьянину Маркелу Зуеву. А по какой причине Дунька угрожала, поясню: для банды надо было собрать деньги, а так и коней казакам. А у Маркела Зуева были кони, да и так справно жил, но на банду рубля не дал. При новой власти Маркел Зуев на ноги поднялся.

Какая она есть Евдокея Юскова, я прописал в доподлинности, как не мог утаивать по причине мово дорогого родителя, сгибшего от белых казаков во время восстания в 1918 году опосля покрова дня, про што все скажут у нас в деревне.

Прошу заарестовать Евдокею Юскову и дознание произвести чтоб она призналась, как любовница Ухоздвигова, а так и зловерный лемент мировой революции.

Подписуюсь — Филимон Боровиков».

Числа под заявлением не было. Года также.

У Дуни дух занялся от «заявления сознательного крестьянина, в белых не пребывавшего»! Все, что она решила сказать, разом вылетело из головы. Осталась одна злость, злость на Филимона. Надо же! Филимон! Мякинная утроба!

— Боженька! — едва продыхнула Дуня. — Филимон все врет! Все врет!

— Врет? — спокойно спрашивает Гончаров.

И тут Дуню осенило:

— Да ведь это Маркел Зуев научил Филимона написать такой донос! Маркел Зуев!

— Маркел Зуев?

— Я все скажу. Все! Это было в масленицу в девятнадцатом. Я жила здесь, в доме Ухоздвигова. С матерью у нас была ссора. Из-за золота. Два слитка золота по пуду. Это было золото отца. Оно досталось мне. Понимаете? Мне! За все мои мытарства! Я не хотела отдать это золото ни матери, ни Клавдии — сестре с ее мужем Валявиным Иваном. Ну, вот. Два слитка золота!..

Меня изломали с девичества, выдали замуж за жулика — за пай на прииске!.. боженька!.. за тот пай на прииске, перепроданный и проданный! Ну, вот!.. Разве не мое это золото? Чье же? Мякинная утроба — Филимон Боровиков — пишет, «срамно держала себя, как она есть...» А разве я сама стала такой? Разве не меня терзали и мотали? Не меня покупали и продавали? А с чего все началось? С отца родного! И я сказала: «Это мое золото, и я его никому не отдам!» Но мать подговорила есаула Потылицына. О, господи! Маменька!.. И вот тогда, в масленицу, в доме Боровикова исказнил меня есаул Потылицын. Причина была — я застрелила бандита Урвана, своо мучителя. Да все это для отвода глаз. Терзали из-за золота, чтоб я назвала тайник.

Боженька! Как я только не умерла после той казни! Бросили меня в беспмятстве в амбар, и тут нашел меня Головня. Помните? Вы тогда были в его отряде. Ну вот. А есаул в ту ночь взял золотые слитки из тайника в конюшне Ухоздвигова. Есаула взорвали бомбами в доме Потылицыных, и дом сгорел. А золото? Где золото?

Когда вернулась в Белую Елань, вижу — на пепелище Потылицыных поставил избушку приисковый шатун, Маркел Зуев. Он же ни одного золотника не намыл на приисках, и вдруг — коней накупил, коров, барахла всякого, а теперь еще и дом крестовый поставил для сыновей. На какие дивиденды разбогател? Ага!

Пришла я к Маркелу Зуеву и сказала ему: «Не твое золото, хотя ты и нашел слитки в пепле. Отдай мне хоть фунт из двух пудов». Как

бы не так! Всеми богами клялся, что ни «сном-духом» не видывал слитки. А я ему: «С чего же ты разбогател?» Ну и все такое. Сказала, что донесу в милицию. И не успела. Если бы вы слышали, как Зуевы накинулись на меня! Я думала разорвут. А через два дня, ночью, шла из сельсовета, и меня подстрелили. Из переулка Трубиных раздался выстрел. Сам Зуев стрелял или сыновья его, чтоб я не донесла на них.

— Почему же вы сразу не сообщили в ГПУ про этот факт? — спросил Гончаров. — В Каратузе в больнице вы сказали, что вас подстрелили бандиты. А теперь говорите, что стреляли Зуевы.

— Да ведь я не видела, кто стрелял в меня! Думала, может, бандиты. А про Зуева не сказала потому, что не хотела говорить про это проклятое золото.

— Ну, что ж, разберемся, Евдокия Елизаровна. Спасибо за правду. Так и должна поступать жена Головни.

Дуня не смела возразить. Жена так жена! С тем и ушла из ревкома, унося опустошение и недосказанность.

...В этот же день Маркела Зуева с двумя сыновьями упрятали в кутузку. Трое суток Зуевы запирались, напропалую ввали, а когда Мамонт Петрович Головня, которому Гончаров поручил довести это дело до конца, заявил, что избушку Зуевых и новый дом раскатают по бревнышкам, а на пепелищах просеют всю землю, и если золота не найдут, то Маркела с сыновьями спровадят в тюрьму на веки вечные, как контру Советской власти, Маркел сдался — они действительно нашли оплавленные слитки. Но ведь это их находка! Их счастье, а не какой-то Дуньки-потаскушки, которая подкатывалась к Маркелу, страшая его, чтоб он поделился находкой с нею и с Ухоздвиговым...

И вот еще что потешно: из Маркела Зуева выдавили вместо двух пудов всего-навсего одиннадцать фунтиков, пять золотников и три доли! Эким прожорливым оказался бывший бедняк и незадачливый приискатель.

— Гидра капиталистическая! — только и сказал о нем Мамонт Петрович.

Дуня держала себя с мужем кротко и тихо — ни слова поперек. Встречала его ласково и сама управлялась по домашности. Поселились они в пустующем доме Зыряна, но не успели обзавестись хозяйством — Мамонта Петровича назначили командиром части особого

назначения ОГПУ. И снова дороги, леса и горы, погоня за бандитами. На праздник Первое мая понаведалься в Белую Елань, и вот тебе подарочек: Евдокия Елизаровна родила дочь. Этакую чернявую, волосатую, просто чудище.

Но Мамонт Петрович ничуть не перепугался:

— Красавица будет, погоди! Капля в каплю ты, — сказал жене.

Сама Дуня отворачивалась, глотая слезы.

— Назовем Анисьей. Мою покойную мать так звали. Как ты на это смотришь?

— Да хоть как назови! — махнула рукой Дуня.

В миру появилась еще одна живая душа с именем Анисьи Мамонтовны Головни...

ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ

I

Год от году старел тополь.

Крутая, незнамая новина подпирала со всех сторон. То было время вопросов, недоумении, нарастающих тревог, когда на смену старым понятиям и установлениям приходило нечто новое, еще никем не изведенное, потому и непонятное.

То было время, когда Советская власть, набирая силы, проникала за толстые бревенчатые стены деревенских изб, садилась в передний угол в застолье, вмешивалась в родственные узы, перемалывая кондовые нравы и характеры, когда мужики на сходках шумели до вторых петухов, схватываясь за грудки.

То было время, когда Советская власть шла своею трудной дорогой. Порою — глухолесьем, упорно прорубая просеку в будущее.

Не вдруг, не сразу мужик принимал новое. Были поиски. Иногда отчаянные, страшные!..

II

Филя не доверял власти — мало ли к чему призывает? Объявился некий нэп, и сельсоветчики из кожи лезли, чтоб Филимон Прокопьевич прикипел к земле, отказался бы от ямщины, чтоб хозяйство поднять и расширить посевную площадь. «Как бы не так! — сопел себе в бороду Филимон. — Рядом коммунию гарнизуют, а мужикам мозги туманят. Мороковать надо: что к чему? Ежли коммуны верх возьмут, стал быть, в два счета все хозяйства загребут в те коммуны, а к чему тогда хрип гнуть? Ужо гонять ямщину буду. Так сподобнее».

И — гонял. Как только схватывались реки, уезжал из Белой Елани в Красноярск будто, и до весны не возвращался. Меланья догадывалась: у Харитиньюшки живет, пороз — а суперечить не могла. Кабы жив был Прокопий Веденеевич, тогда бы мякинной утробе прижали хвост. Сколь раз Меланья кляла себя за то, что отдала

мужу два туеса с золотом. Правда, отполовинила в туесах, но все-таки отдала же! А он, Филимон, и к Демке душой не прильнул и от самой Меланьи отвернулся. «Чаво тебе? Мое дело ямщина, а твое — хозяйство. С выродком и с девчонками справишься, гли».

— Да вить кругом мужики хозяйство поднимают, богатеют, а ты все едино прохлаждаешься в извозе!

— И што? Такая моя планида. А хозяйство подымать при таперешней власти морока одна. Седне подымешь, а завтра Головня заявится с сельсоветчиками — и спустит с тебя шкуру. Власть-то какая, смыслишь? От анчихриста! Разве можно верить? Погоди ужо, повременим.

Если возвращался из ямщины по последнему вешнему бездорожью, то не обременял себя работой по хозяйству — жаловался на хворь в ногах, хотя мужик был — конем не переехать. Завалится на лежанку у печки, храпит на всю переднюю избу — силушку копит. Тащили Филимона в комбед, в товарищество взаимопомощи. А он, знай себе, похрапывает.

— Филя, хучь бы коровник подновил — скажет Меланья.

— Не к спеху.

— Столбы-то перекошились, упадут.

— И што? В писании сказано: сойдет на землю анчихрист, и порушатся все заплоты, коровники, овчарни, в тлен обернутся хрестьянские дома, и настанет на земле расейской пустыня арабавинская.

— Што же нам, помирать, што ль?

— Помрем, должно. Как большаки окончательно взнудают теми коммуниями, так все помрем, яко мухи али твари ползучие. Аминь! — зевнет Филя во всю бородатую пасть.

Работящая Меланья, так и не набравшая тела в доме Боровиковых, родив еще одну девчонку — Иришкой назвали, — безустали вилась по дому, по хозяйству, подстегивая дочерей — Марию и Фроську — с Демкой, а Филя толкует святое писание да ласково привечает сельчан, исповедующих старую веру. Не тополевыи толк и не филаретовский, а просто старую — двоеперстную без всякого устава службу.

Из богатых мужиков скатился до середняка. Из четверки коней оставил пару для ямщины и пузатого Карьку для хозяйства; из трех —

две коровы да десяток овец. А деньжонок и золотишка не тратил — складывал в тайничок «на время будущее».

Под осень 1929 года к Филюше стали наведываться богатеи Валявины: тестюшка — Роман Иванович, дырник по верованию, и братья его — Пантелей и Феоктист.

Придут под вечер, запрутся в моленной горнице и совет держат перед иконами: как жить? Как обойти Советскую власть и как сухими из воды выскочить? Вскоре в дом Филюши невесть откуда привалило богатство — шубы, дохи, кули с добром и всякой всячиной, и все это переносилось в надворье темной ночью из поймы Малтата. Не жнет, не пашет Филя, а живет припеваючи. И медок, как слеза Христова, и белый крупчатый хлебушка, и мясца вдосталь.

Средь зимы — гром с ясного неба: раскулачивание!..

Филя не успел сообразить, что означает мудреное слово — раскулачивание, как тесть Роман Иванович и шурыки — Пантелей Иванович и Феоктист Иванович — вылетели из своих крестовых домов в чем в мир хаживают: что на плечах — твое, что за плечами — мирское, колхозное.

«Зачалось! — ахнул Филя. — Али не на мое вышло, как я толковал? Дураки нажили хозяйствы, а теперь вытряхнули их без всяких упреждений. Каюк! И тестю, и шурыкам, а так и всем, которые грыжи понаживали себе на окаянном хрестьянстве. То-то же! Вот она власть-то экая!.. Кабы я раздулся, как тестюшка, да работников держал, вытряхнули бы теперь без штанов на мороз. Эх-хе! Мое дело сторона. А всеж-таки поостеречься надо. Махнуть в ямщину. Али вовсе скрыться?»

Пошел Филя к сельсовету, а там — вавилонское столпотворение. И бабий рев, и детский визг, и мужичий рокот на всю улицу, а возле богатых домов Валявиных — народищу, пальца не просунуть. Мороз давит, корежит землю, белым дымом стелется, а всем жарко.

— Отпыхтели окаянные!..

— Ишь, как Валявиху расперло — в сани не влазит — гудел народ, любуясь, как толстую Валявиху с тремя дочками выпроваживали из собственного надворья. Дочери вышли в подборных шубках, начесанных пуховых платках, в белых с росписью романовских валенках.

— Экие телки молосные! Впору землю пахать.

— А што? Лошадей-то вечор у Валявина всех забрали. Вот таперича он бабу свою да дочек запрягать будет — злорадствовал конопатый безлошадный мужичишко Костя Лосев.

— Чья бы мычала, а твоя бы, Костя, молчала — осадил его Маркел Мызников, по прозванию Самося, так как был он в многочисленной своей семье «сам осьмой».

— Это ишшо пошто я должен молчать? Советская власть, она знает кому укорот дать. Как я батрак, таперь имею право...

— Не батрак ты, а лодырюга. Вечно бы пузо грел на печке, откуда у те достаток будет? Каков поп, таков и приход. А Валявин от зари до зари хрип гнул на пашне и семья его такоже.

— Я вижу, ты, Самося, как был подкулачником, так и остался. Погоди, ишшо определяют и тебя на высылку.

— Меня?! Не ты ли меня определишь? За што? За то, што я роблю, а не побираюсь, как ты? Не высматриваю, где што плохо лежит, и у соседей гусаков не ворую?!

— А ты видал, как мы гусаков украли?! Ты нас поймал?! — взвизгнула, подскакивая к Маркелу, сухопарая баба Кости Лосева, Маруська, мешком пришибленная, как припечатали на деревне.

— Ну, поперли! Ишшо этого не хватало, чтоб собирать таперь про всех кур и гусей! Уймьтесь! Маркел Петрович! И чего ты взъелся? Ведь не про тебя речь, а про живоглота Валявина. Вот ты скажи, стал бы ты своей скотине глаза ножом выкалывать? Нешто это порядок — изголяться над животным?

— Аспид он, Валявин! Аспид? — подхватила старуха Мызниковых. — Собственными глазами видела, как он, асмодей, вчера за поскотиной игреневою кобылку изнахратил. На заимку ее, должно, волок, спрятать хотел. А навстречу-то по дороге вдруг машина из району. Ну, известное дело, животная, она отродясь такого страху не видывала. У меня у самой-то руки-ноги млеют, как ее, окаянную, заслышу. Валявин-то кинулся было ей глаза лохмашками прикрыть, а она бедная, так вся ходором и ходит, так и ходит! Как поравнялась машина-то — Игренька в дыбы. Валявин и так и сяк, а она очумела, бедная, подмяла его под себя — и волоком, волоком, да по колкам, по колкам! Страсть! Тут он и остервенел. Ножик, аспид, выхватил из-за пима, такой кривой сапожный ножичек — да по глазам ее, по глазам! Я кричу, а он колет и колет! Уж, как она иржала, сердешная! Ну, чисто

человек! Да сослепу-то грудью об березу, потом об пень, упала, перевернулась и в тайгу! Таперь, поди, все ноги переломала...

— Господи, господи! Спаси и помилуй! Ополоумели рабы твоя...

— Тут ополоумеешь, когда жизнь вся летит вверх тормашкой.

Толпа подавленно гудела. Люди отворачивались друг от друга, как будто всем вдруг отчего-то стало стыдно. Новость про игреневую кобылку взбудоражила их еще больше. Многие остервенело матерились, проклиная и Валявина, и новые порядки, и всю неразбериху. Эта кобылка была общей любимицей деревни, как малое дитя, которого все ласкали и баловали. И вдруг людская любовь почему-то обернулась ненавистью и зверством. Все знали, как Валявин выхаживал эту кобылку, родившуюся в самые морозы, как растил ее до весны в избе вместе с ребятишками, как поил из соски. И кобылка, привыкнув к человеческой доброте, лезла в каждые открытые сени, прыгала на крыльцо, а иногда забредала даже в куть, прямо к столу, выпрашивая корочку хлеба или горстку сахара. Не раз навевалась она и к Филе, где малый Демка угощал ее стянутыми со стола кусками хлеба. Однажды она даже сожрала у них целую миску меда.

— О! Чтоб тебе околеть, окаянная! — матерился Филя. — Пшла, пшла, нечистая сила! Это ты, варнак, привадил проклятую кобылу. Вот я тебе сейчас окрещу, штоб помнил... — И крестил. Кобылу по липким шелковистым губам, Демку — по чем попало.

Но даже и Филе стало жалко эту «окайнную» кобылу, когда он представил себе, как Валявин кривым ножом тычет в доверчивые карие глаза с длинными белесыми ресницами. Украдкой он покосился на нагруженный воз Валявина и втайне поймал себя на мысли:

«Туда ему и дорога».

Переглянулся Филя с тестем и голову опустил. Тесть машет ему собачьими лохмашками и кричит:

— Свершилась, Филимон Прокопьевич, анчихристова воля. Выпотрошили из свово дома, лишили всево добра. Ну да мое споманется! Рыком из нутра выйдет. Слезы наши землю наскрозь прожгут.

— Давай, давай, не задерживай!

Длиннополая доха Валявина тащилась по снегу.

— Отрыгнется мое сельсоветчикам! — вопит Валявин. — Слышь, зятюшка! Да воскреснет бог, да расточатся врази его!

Зятюшки след простыл. Не помня себя, Филя влетел в дом и, ошалело крестясь, выпалил, что настал конец света и что им с Меланьей и ребятишками надо бы сготовиться, чтоб «предстать в чистом виде» перед лицом создателя.

— Своими ушами слышал, как сельсоветчики говорили, што надо бы пошшупать Филимона. То есть меня, значит. Грят, будто добро Валявиных у меня припрятано. Кабы худо не было. Не мешкай, собирай рухлядь всю. Живо мне!..

Меланья носилась из угла в угол, из двух горниц в избу, стаскивая богатство батюшки.

III

...Два отцовских туеса с золотом Филя самолично вытащил из подполья и перепрятал в овечий хлев. Но и там не залежались. Ночью разворотил каменку в бане, под каменкой выкопал глубокую ямищу, обложил ее досками, и там, в яме — еще тайничок, куда Филя засунул туеса с золотом.

Золото! Уж что-что, а золото у Фили никто не вырвет. Ни господь бог, ни сам антихрист.

Никогда Филя не работал с таким остервенением, как в ту памятную морозную ночь. Фунтов пять сала спустил с боков, и на лицо заметно осунулся, а успел вовремя. К утру заново сложенная каменка на месте тайника весело потрескивала березовыми дровами. Хоть не субботний день, Филе понадобилось попариться. И вышло хорошо. Филя хлестался распаренным березовым веником, когда в дом ввалились сельсоветчики во главе с председателем. Мамонтом Петровичем Головной. Пришли с обыском. Конфисковали кулацкое барахло и самого Филю арестовали как подкулачника. Меланья исходила криком, девчонки цеплялись за шаровары тятеньки, и только один Демка, тринадцатилетний подросток, поглядывал на рыжебородого тятюку исподлобья, как звереныш.

Филя успел шепнуть Меланье:

— Гляди за выродком — волком зырится! Отвези к куме Аграфене в Кижарт. Сей же час. Пусть там побудет до моего возвращения. Как вроде в гостях. Смыслишь то?

— Ночью-то как?

— Ни пискни! Сполняй! Он нас под самый корень срежет. Скажешь: в гости едем. И так дале.

Покорная Меланья заложила лохматого, заиндевевшего Карьку в сани-розвальни, кинула туда охапку лугового сена, положила в головки саней топор на всякий случай — если волки нападут в дороге, наскоро одела сухонького, лобастого и всегда молчаливого Демку в рваную шубу и в разбухшие отцовские пимы, прихватила кое-какое барахлишко в подарок куме Аграфене и в середине ночи выехала из ограды. Сразу за воротами — дорога в пойму Малтата. А там, в десяти верстах за Амылом, кержачье поселение Кижарт.

Небо прояснилось рясными звездами. Между звездами — точно от крупчатой булки, крошечная краюшка луны. Певуче и сладко скрипел снег под полозьями. Карька лениво шлепал нековаными копытами, будто бил в ладоши.

— Погостишь малость, Демушка — тараторила мать, подстегивая хворостиной вислопузого Карьку. — От ученья-то худущий стал. Хоть бы поправился, болезный мой.

— Как же! — пробурлил Демка в облезлый воротник шубы. — То все молились, как бы бог прибрал выродка, а тут — штоб поправился.

— Окстись, што бормочешь-то?

— Не правда, што ль? Мне в школу надо, а тут — в гости.

— Дык грю: худущий ты. Силов у те никаких нету-ка на анчихристову школу.

— В гости — есть, а в школу — нету? Уйду я от вас.

Мать начала хныкать, сморкаться, жаловаться на свою лихую судьбу, что вот — вырастила сына и добра от него не жди. Демка отмалчивался. Наслышался он всякого от отца и матери, только ни разу никто не приласкал Демку, не пожалел. Гоняли из угла в угол, кидали его книжки, тетрадки, грифельные карандаши, и единственно, в чем согласны все были, так это — что он выродок. И сестры звали выродком, и мать, и отец. И отец ли Демке Филимон Прокопьевич? Жил Демка, как огарышек в поле. Кругом радостная зелень, а огарышек торчит, маячит перед глазами, и никому до него дела нет.

Сам Филя не жаловал Демку. Для него сын — пустое место, как срамной туес, из которого старообрядцы потчуют водицей пришлых людей с ветра.

В ту пору, как Филя не солоно хлебавши вернулся с германских позиций и узнал, что отец в его отсутствие призвал к тайному радению невестку Меланью и та осенью 1916 года родила мальчонку, он готов был испепелить все надворье. Нету теперь в живых батюшки Прокопия Веденеевича, а выродок окаянный вот он — жив-здоров!..

IV

...Парнишке полюбился тополь. Не раз Демка поднимался на развилку старого дерева, мастерил там самострелы из гибких сучьев, засматривался в дымчатую синь тайги.

— Ишь, язва! Как белка летает по дереву — поглядывал Филимон Прокопьевич. — Кем будешь, Демид: кедролозом аль водолазом?

— Комсомольцем хочу — сказал однажды сын.

— Што-о? Под анчихристову печать метишь? Я те покажу косомол! Попробуй токмо. Так исполосую шкуру — сам себя не признаешь.

— Все в школе вступают, и я вступлю.

— Все, гришь? А ну, слазь, лешак!.. Я те покажу косомол!

И — показал. Содрал с Демки шароваришки на лямках и долго порол ремием с медной пряжкой, приговаривая: «Вот те, выродок анчихристов, косомол и вся Советская власть. Вовек не забудешь».

Постепенно между отцом и сыном будто кошка хвостом дорогу перемела — оказались чужими. Отец давил на сына жестокою синевою глаз, бил нещадно, на всю мужичью силу, на что сын отвечал угрюмым, настороженным сопением. И хоть бы раз попросил пощады. Упрется глазами в землю — ни слова. Только кряхтит — тяжело, с придыхами.

Как-то поутру Филя позвал Демку в моленную горницу, поставил на колени перед иконой Пантелеймона-чудотворца и спросил:

— Чадо, зришь ли бога?

Демка поглядел на иконы и лба не перекрестил.

— Зришь ли бога, вопрошаю? — наступал Филя.

— Какого бога? Тут одни доски разрисованные.

— Што-о?! — вытаращил глаза Филимон Прокопьевич. — Доски, гришь? Ах ты, окаянный выродок! — И, как того не ждал Демка, Филимон Прокопьевич схватил его за тонкую шею и ударил лбом в

половицы. Раскровенил нос, губы, и кто знает, до какой степени измолотил бы его, если бы под тот час не подоспел Мамонт Головня, председатель сельсовета.

— Истязательством занимаешься? — гаркнул высоченный Головня, вторгаясь в моленную. — За такой номер при Советской власти очень свободно загремишь в тюрьму. Сей момент составлю протокол, единоличная контра!

Филимон Прокопьевич позеленел от злости.

— А ну, гидра библейская, пойдем в сельсовет, потолкуем.

Почуяв недоброе, «как-никак, Филимон-то хозяин: а без хозяина и дом — сирота!» — Меланья кинулась в ноги Мамонта Петровича и, заламывая руки, причитая в голос, всячески чернила собственного сына.

— Кабы знали, какой он вреднуший аспид, осподи! — вопила она. — С отцом огрызается, девчонок затравил, змееныш. А лодырюга-то, лодырюга-то какой, осподи! Сидит себе с книжками, и хоть рожь на нем молоти! Как же такого лоботряса не проучить? В петлю из-за него лезти, што ль?

У Демки от напраслиных слов матери слезы закипели в глотке. Это он-то лодырюга! С утра до ночи работает, и он же лоботряс.

— Уйду от вас! Все равно уйду — бормотал Демка, размазывая кровь по щекам. — Живите со своими иконами и с библией. И в бога вашего дурацкого совсем не верую. Вот!

Пунцовое лицо Филимона Прокопьевича готово было брызнуть кровью — до того оно пылало.

Протокол Мамонт Петрович не составил, но в сельсовете круто поговорил с Филей. Толстоногий, упитанный Филя не знал, чем и оправдываться. Бормотал себе в бороду нечто невнятное о «тятинном грехе», и что у него все нутро выболело, и дал слово больше не трогать пальцем.

Слово свое сдержал — отмахнулся от сына, как будто и не видел его в доме.

Постепенно мутная горечь обиды на покойного тятеньку отстоялась у Филя, как старая опара в квашне. Пусть живет тятин грех, коли бог не прибрал!.. Да вот беда: времена-то какие смутные! Как бы выродок про золото не пронюхал.

И вот Демку мать отвезла к крестной Аграфене в Кижарт...

Вдовая Аграфена приняла Демку ласково. Жила она в маленькой избенке о трех окнах, занималась рукодельем, имела своих пчел, коровенку и кобылу.

Демка старался помогать одинокой Аграфене: и дрова таскал в избу, и за коровой смотрел, и за сеном не раз съездил. Потому что крестная Аграфена сама была хвора. Все кашляла. На грудь жаловалась. А к весне и совсем согнулась, скрючилась, как обруч. Все ей холодно было, мерзла.

Однажды ночью подозвала она к себе Демку, попросила воды, пожаловалась, что в избе не топлено и ей придется умереть не согревшись.

Демка, конечно, не верил, что крестная Аграфена вдруг умрет. Но однажды утром она не встала с постели. Тогда Демка притащил два беремя дров, растопил железную печку, чтоб крестная немного отогрелась. Но та лежала на деревянной кровати желтая и неподвижная. Рука ее, свисая с кровати, не гнулась. Демка попробовал поднять руку, но вместе с рукой поворачивалась крестная Аграфена. Демка даже удивился, как за ночь она вдруг помолодела. Морщины на лице разошлись, нос стал тоньше, с забавной горбинкой, которой не было вчера...

На похороны приехала мать. Сообщила, что Филимон Прокопьевич сидел в каталажке и, как только его выпустили, уехал будто бы насовсем из Белой Елани, так что в хозяйстве теперь у матери остался только вислопузый Карька да одна корова. Овец и свиней отец прирезал.

Демка, как чужой, слушал мать. И когда крестную схоронили, он сбежал к кижартской учительнице, наотрез отказавшись возвращаться домой. Учительница приняла Демку, обиходила и отвезла в Каратуз в интернат школы крестьянской молодежи. В Каратузе весною встретил Демку Мамонт Петрович Головня.

— Демид? Ого! В натуральную величину вытянулся. В какой группе учился? В пятой? Маловато. Чем и как жить будешь летом? Не знаешь? А вот я имею соображенье. Поедешь со мною в Белую Елань...

— Не поеду! — перебил Демка.

— В каком смысле, то есть?

— Не хочу и все.

— Ну, это ты брось! Заладил. Дело есть при колхозе. Пасека у нас огромятущая собралась. Пчеловодом взяли Максима Пантюховича, предбывшего партизана из Кижарта. Поживешь с ним до осени на пасеке, подкормишься. Ну, а зимой, слышь, самолично отвезу тебя в Красноярск на курсы по лесному делу. В самый аккурат будет для такого орла, как ты. Парень ты смысленый. Для чего мы кровь проливали в гражданку? Чтоб такие орлы пропадали заздря?..

Демка не посмел перечить и приехал с Мамонтом Петровичем из Каратуза в Белую Елань. Перед тем, как отправить Демку в тайгу на пасеку, Мамонт Петрович наказал:

— Гляди за пасечником-то! Хотя мы его и не выселили с его кулачкой Валявихой, как в работниках он у ней пребывал, а нутро у него подпорченное. В кулаки метил, сивый. Смотреть надо. Ты это таво, Демид, смотри за ним в оба и на ус мотай, хотя усов у тебя в доподлинности не имеется. Но вырастут еще! Вырастут!

V

...Из-под мшистых камней пробивается родничок. Прозрачный, звонкий и резвый. Это еще не река, не ручей даже, а только родничок. Здесь путник может утолить жажду. Здесь кругом вольготные заросли дикотравья — дремучие, непролазные дебри — тайга. Родничок журчит, бормочет, сверкает меж камней и бежит, бежит. По пути он собирает другие роднички. И вот уже не родничок, а ручеек. Еще дальше — речушка в шаг шириной.

Так от источника к источнику набираются толщи вод, покуда не заиграет такая вот могучая и гордая река, как Амыл, несущая шумливые воды в слиянии с Тубою в Енисей и дальше в океан льдов.

Демка — еще не мужчина, не парень даже, он только журчащий родничок. Журчит, журчит, бежит, бежит — а куда? Про то и сам Демка не ведает. Он растет еще, мужает.

Скучно Демке с Максимом Пантюховичем на пасеке.

Пасека далеко от деревни. Очень далеко! Места здесь по взгорью залиты душистым иван-чаем, над которым с утра до вечера жужжат пчелы. Богатей Валявин давно еще облюбовал место в верховьях

Жулдетского хребта для пасеки. Начал строиться. А нынче весною перевезли сюда всех пчел, отобранных у раскулаченных мужиков.

Дом еще не отстроили. Не вставили окна, двери. Но дом будет большой, пятистенный.

Тошно Демке с Максимом Пантюховичем у костра. Рыжее пламя плещется, жжет темень, а просвету нет.

Накрывшись дерюгой до черной бороды, Максим Пантюхович лежит возле костра и смотрит в небо. Не спит. Бормочет себе в бороду, кряхтит.

Демка наблюдает за Максимом Пантюховичем с другой стороны костра. Вздыхает.

Ночь. Теплая, июльская. С двугорбого хребта тянет в низину верховой ветерок. По берегам речки тоскливо пошумливают лохматые деревья. На прогалине белеет дом с торчащими ребрами стропил. Квадратные глазницы окон без рамин чернеют, как пропасти. И кажется Демке, что в срубе дома хозяйничает домовый, черный, лохматый, бородатый, похожий на Максима Пантюховича. И он отчетливо слышит, как домовый посвистывает, перебирает щепы, шебуршит, стучает чем-то, будто на кого сердится. Только бы не ополчился на Демку за щепы и обрезки досок. Если вдруг сядет на шею да крикнет: «Вези, Демка, да не останавливайся!» — вот тогда хана Демке. Бога нет — это точно. Сколь раз Тятка колотил его в моленной. И никакая холера не заступилась. А вот черти есть. Крестная Аграфена кажинную ночь крестик из прутиков на порог клала и под цело. Это от чертей. Она сказывала, как самолично видела чертенят у заслонки.

Шумливые воды Жулдета ворчат на перекате, плещутся возле берега. Темная туча ползет по небу, застилая звезды и синеву небес, а куда? Учительша, Олимпиада Петровна, говорила, что тучи вокруг земли плавают. Вот бы оседлать тучу и полететь с нею. А вдруг она спустится на землю и ляжет вот здесь, возле костра, придавив Демку, Максима Пантюховича с берданкой, что лежит у него в изголовьях!.. Да нет, Демка не видел, чтобы тучи спускались на землю в низине. Оседлает туча макушку горы, полежит немножко и уплывет дальше. Но так, чтобы туча кого-то придавила, — не слыхивал. А кто ее знает! С тучами разное случается. И градом хлещут, и молнией жгут. Глаза Максима Пантюховича, черные, углистые, под метлами косматых

бровей, устрашающе поблескивают в отсветах костра. И что так тревожно ухаёт тайга? И отчего стволы берез возле омшаника черные, а листья отбеливают, трепещутся? И что там в небе за тучей? И отчего так беспокойно Демке? И сердчишко ноет у Демки, и ноги занемели от сидения на корточках. Наседает гнус. Липнет пригоршнями на продегтяренное лицо. Максим Пантюхович отмахивается от гнуса, матерится, похожий на большущего паука. Лежит мужик на душистых хвойных лапах, подтянув под себя ноги, охает, как истый лешак.

Муторно Демке. Никого-то, никого у Демки теперь нет. У всех, как у людей, и тятка, и мамка. А у него тятки вроде отродясь не было. «Выродок». Об матери и говорить нечего! У ней Манька, Фроська, Иришка да эти иконы...

Нет, как ни говори, а крестная его любила. И книжки давала читать. Особено он любил ту, с картинками, про геологов. Вот бы и ему выучиться на геолога и пойти искать в тайге золото и разные там металлы, минералы... А вот теперь он, Демка, за сторожа на пасеке.

— Кинь хворосту! Вишь, тухнет? — рыкает Максим Пантюхович.

Костер и в самом деле тухнет. Угольки покрываются сединою пепла, подмигивая Демке красными бусинками, как будто мышинными глазками. Но ведь хворосту на всю ночь не хватит, если все время подбрасывать по охапке?

— Дык горит же — мямлит Демка, пихая в костер хворостину.

— Ты што? Тебя зачем послали? Помогать?

Демка отбежал от костра, захватил хворосту, подбросил в огонь.

— Ох-хо-хо — стонет Максим Пантюхович, ворочаясь на хвое. — Душа ноет, мается. Места себе не находит. Эх ма! Молодость-то промчалась по земле в бесшабашье, все было нипочем. А вот теперь судьба пристигла — похолодела душа. Нет у ней пригрева: ни детей, ни бабы, ни курочки рябы. Знать, сдохну, и креста некому будет поставить. Ну да об кресте печали не имею. Потому: ни в бога, ни в черта отродясь не веровал.

Демка внимательно слушает рокот Максима Пантюховича, угодливо соглашается:

— Бога нет. Я тоже не верую... Дурман один.

— Как так?! А тебе откуда это известно? «Не верую!» Да ты сопля, чтобы знать, есть он, Христос-спаситель, или нет его!..

Демка погнулся у костра, примолк.

Вот так каждую ночь. Хоть беги из тайги. Что-нибудь да выкопает Максим Пантюхович в душонке Демки. Зловредный мужик. Хуже самого черта. И борода у него чернее сажи, и лицо углистое, и нос крючковат, и голова лохматая, как шерсть на неостриженном баране.

Максим Пантюхович кряхтит, садится на лагун, закуривает. Из залатанных штанин выпирают мосалыги коленей. Он вздыхает, горбится, а из ноздрей — вонючий дым.

— И что меня крутит? — бурчит он. — Который день душа мается, будто пчела в нее всадила жало. И какие мои ишшо годы, чтоб об смерти думать? А вот, поди ты, мается душа. Знать, окончательно переехала ее телега жизни.

— А душа, значит, есть? — Демка вытянул тонкую шею, ждет, что скажет Максим Пантюхович. В отсветах костра насквозь просвечиваются оттопыренные уши Демки, словно большущие лепестки розы с ниточками жилок.

— Душа-то? Ежели мается, знать, существует. Душа у человека — сердце. В нем есть такая чувствительность, что всего тебя переворачивает, и ты не знаешь, куда сунуть голову. Ежли вынуть сердце — капут.

Демка моментально соображает. Если у человека душа в сердце, то и у свиньи есть душа. Он сам видел, как Филимон Прокопьевич, зарезав свинью, зажарил ее сердце. И потом они съели свинячье сердце. А выходит — душу у борова слопали.

— И у борова душа есть? — тянется Демка.

— Как так у борова? — Максим Пантюхович повернулся к Демке, подозрительно посмотрел. — Ты ее видел, у борова? Экая сопля! И туда же со словом. Вынуть бы из тебя душонку да мою вставить, чтоб ты уразумел, что и к чему.

Демка испугался. А что если в самом деле мужик вынет из него душу да себе вставит? У него-то душа, поди, старая, никудышная, а у Демки — как желторотый птенчик, едва оперилась. С такой душой жить да жить!..

От свирепого взгляда Максима Пантюховича губы у Демки слиплись, веки пугливо запрыгали, сердчишко заныло, и весь он, еще более сжавшись узкими мальчишескими плечами, готов был слиться с землей или, превратившись в дым, подняться в небо к звездочкам. Чугунный напор углистых глаз давил Демку, сверлил, пронизывал.

Озаряемое красными космами костра бородатое лицо Максима Пантюховича, прошитое рытвинами морщин, нагоняло на Демку такой страх, что он дрожал, как осиновый лист. Не зря же в Кижарте Максима Пантюховича побаиваются! И нелюдимым зовут, и лешаком, и носатиком. А за что? Про то Демка не ведает. Не потому ли Мамонт Петрович наказывал Демке смотреть за ним и, если что заметит подозрительное, немедленно сообщить. А как смотреть? Он, Демка, не знает.

Скорее бы минула мгла парной ночи да настал рассвет. Днем Максим Пантюхович говорит Демке о жизни пчел, о трутнях, которых безжалостно истребляет, заботливо доглядывает за ульями. К пчелам он подходит с некоторым умилением, с ласкою. Никогда не одевает лицевой сетки, и пчелы его не жалят. Демка не раз видел, как пчелки, ползая по лицу Максима Пантюховича, забирались ему в ноздри, и тогда он громко чихал. Не терпит Максим Пантюхович курильщиков, близко к пасеке не подпускает их, хоть и сам с кисетом не расстается, когда не работает у пчел. «Пшел от ульев, пшел — кричит он на курцов-махорочников. — Не с твоим дымогарным рылом подходить к вразумленным тварям».

Прежде чем выйти к пчелам, Максим Пантюхович полощет рот Кипреем, моется и Демку заставляет мыться настоем воды на кипрее и белоголовнике. Простой водой никогда не плеснет на руки. Под вечер, когда наступают сумерки, мужик мрачнеет, темнеет, а к ночи он уже не Максим Пантюхович, а лешак. И тогда для Демки настают мучительные часы бдения у костра. Максим Пантюхович не дает ему спать, тормошит, зырится на него подозрительно и зло, а если Демка прикорнет сидя, он рычит на него страшным голосом. И кого он боится, леший? В избушке Максим Пантюхович почти не бывает. «Для человека природа сготовила одну всеобщую крышу-небушко — говорит он, пользуясь этой крышей в любую погоду. — Кто помочит, тот и высушит. Кто в озноб кинул, тот и отогреет». Но Демке в его рваной одежке невесело под такой крышей. Знай таскай хворост для костра да сиди вот так, каменя на корточках. И так до самой зорьки. Как только плеснет по небу зорька и звездочки одна за другой потухнут, Максима Пантюховича одолевает долгожданный сон с тяжелым храпом. Тогда Демка валится на бок и, забыв обо всем на

свете, дрыхнет как убитый. Ни укусы комаров, ни гнус — ничто не в силах нарушить сон Демки.

Два дня назад на пасеку забрел гость — в коричневой кожаной куртке, с ружьем. Он вышел из тайги под вечер, когда на траву пала роса. Максим Пантюхович угощал пришельца медовухой, сотовым медом и переспал с ним в избушке. Демку угнал на крышу омшаника. Утром пришелец, умываясь в Жулдете, подозвал к себе Демку и, заглядывая ему в глаза, спрашивал, есть ли у Демки родители, чей он, у кого живет, и пообещал взять с собой на охоту, если Демка будет прилежным парнем. Но что значит быть прилежным? Что разумел под прилежностью охотник со шрамом на лбу и с такими жидкими русыми волосами на темени, что Демка про себя назвал его лысым? И не его ли боится и караулит Максим Пантюхович?

VI

Макушка горы курилась, как кипящий чайник. Жарища — ни гнуса, ни комарья. И птицы не хлопают крыльями. Максим Пантюхович с Демкой с утра приподняли крышки над ульями, чтоб пчелам не было душно.

К полудню вся тайга укуталась в кипящую струистую мглу. И заросли кустарника по берегам Жулдета и речушки Кипрейной, и горы — все стало сине-синим. Кругом ни облачка. Небосклон не васильковый, а в серой паутине.

Словно пылью одуванчиков, припорошило диск солнца.

С горы Лысухи зашелестел по листьям деревьев резвый ветерок, сразу же напахнуло гарью.

Максим Пантюхович с Демкой работали возле улья; очищали с рамок трутневые свищи.

— Гарью несет! — Максим Пантюхович потянул в себя воздух и, прямя сутулую спину, огляделся. — Так и есть, поджег, сволота! Эх-хо-хо, люди. Куда идут? Кому вред причиняют? Сами себе. Ну, кончай, Демка, пойдем.

Накинули на рядки рамок холщовый положок, испачканный рубчиками пчелиного клея — прополиса, закрыли соломенным матом и пошли варить обед.

После обеда Максим Пантюхович ушел с берданкой в тайгу и вернулся поздним вечером. Демке — ни слова. Выпил кружки две медовухи, спрятался в затенье оплывшего смолкой сруба и так просидел дотемна.

Неповоротливые роились думы. Когда-то и он не был вот таким, нелюдимым и угрюмым, а был просто Максимкой на прииске Благодатном. Хаживал с артельщиками по речушкам тайги в поисках золотого фарта, не вешал головы, когда фарт плыл мимо рыла. Всякое приключалось в жизни! Парнем ушел в город, на «железку». Кочегарил на «кукушке», слушал забастовщиков, побывал в пикетчиках возле депо, схватил лиха в кутузке, а позднее — отведал пороховой гари на позициях. Свободушку оберегал пуще глаза. Зачем ему семья? Ребятчи рты? Не лучше ли парить по жизни вольным соколом? И он парил, распушив усы.

На фронте, сразу же как свергли царя, Максим показал немцам спину — и был таков. Керенцы запрятали его в штрафной батальон как дезертира, но он сумел уйти от них.

Пешком от Казани до Рязани, и от Рязани до Белой Елани; баловался силушкой.

После солдатчины работать отвык, а харч казенный получать негде было. Поневоле побывал в поденщиках. От литовки разламывало плечи, от комарья — зудилась шея. На удачу Максима в Белую Елань вышли из тайги партизаны. Винтовки не досталось — подвернулся дробовик. И то не без ружья, стрелять можно. Распушил Максим чуб, нацепил на рукав красную девичью ленту; кругом стал красный. В первой же схватке с беляками пофартило обзавестись винчестером. Сабля на боку, винчестер за плечами, маузера, две бомбы «картофелины» у пояса, вместо ремня — пулеметная лента — громовержец! Глянет на себя Максим, аж самому страшно. Ну а про молодок-солдаток или там девок — говорить нечего. Не житье, а удаль. Но и удалы настал конец. Колчака изгнали, на деревнях мужики засиживались на сходках. Обсуждали новую жизнь, что к чему и как. Максим приземлился в Кижарте. В Белой Елани обошли его мужики. Метил в сельсовет, но там и без него достаточно было героев. И рыжий Аркадий Зырян, и длинноногий Головня, и Павел Вихров, да мало ли? Еще раз повоевал — в банду метнулся... Потом прибился в тайгу — притихший, как вчерашний день.

В Кижарте Максима приняла в дом вдовушка из рода белоеланских Валявиных — хозяйственная бабенка.

Про любовь и разную там чувствительность разговоров не было. Потянуло Максима на пятистенный дом, коровник, пригон для овец, омшаник на сотню ульев. Мать вдовушки, прижимистая старушонка, не позволила, чтобы дочь вышла замуж за бесшабашного мужика перекасти-поле. Но как одним управиться с таким хозяйством? Сенокосилка, жатка, новенькая молотилка «маккормик», маслобойка. Нет, без мужика, без работника невозможно! Так и жил покуда в работниках. Но вот пришел день, и на собрании бедноты вдовушку Валявину подвели под раскулачивание.

По улицам мела поземка, лютовал февраль, а в надворье Валявиных безлошадные мужики заглядывали в зубы откормленным коням. Вдовушка, очумев от горя, вцепившись в швейную машину «зингер», кричала что есть мочи: «Граааабют! Спаааасите, люди добрые! Грабют!» Старуха, распустив юбку колоколом, стоя на коленях, била лбом в половицы, призывая на голову «анчихристов» кару господню. Сам Максим Пантюхович смотрел на все это, как на театральное представление. Был и не был в хозяйстве — как в песне поется: «Ванька не был... Ванька был». И дом, и коровник, и омшаник — все это ему будто во сне приснилось. Жалко только было одних пчел. Уж больно они полюбились Максиму Пантюховичу.

Старуху Валявиху с дочерью отправили на высылку, а Максима Пантюховича, работника, оставили при пчелах на колхозной пасеке. Как-никак «без хозяина и дом сирота», а пчелиных домиков у кулаков отобрали видимо-невидимо.

И вот встреча... Зачем припожаловал в тайгу колчаковский капитан Ухоздвигов? Мало он здесь насолил в гражданку!? Какая нужда пригнала?.. Неужели за золотом? Говорят, в гражданку папаша его где-то здесь, в тайге, зарыл много золота... И у кого же он скрывается?

Думы одолевали нерадостные. Одна другой хуже. Маячил перед глазами Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов. Сколько лет не виделись, и вдруг — столкнулись.

«Пронюхал-таки, стерва! Знаю я тебя, голубчика. Полгода таскался в твоей банде. Ну, а чего теперь тебе от меня надо?.. К чему же колхозную пасеку и тайгу жечь? Кому от пожара польза? Переворот

пожаром не произведешь. Эх-хо-хо!.. Мечется человек по земле, рыщет, а чего ищет? Чтоб смерть приголубила? Нет, дудки! Прииск поджигать не пойду. Ни пасеку, ни тайгу не трону. Пожарами переворота власти не сделаешь. Ох-хо-хо! Времечко... Не запить тебя, не заесть!..»

VII

Вторые сутки горела тайга. И чем гуще стлался по тайге дым пожарища, тем сумрачнее становился Максим Пантюхович. Ни к ульям не хаживал, ни кусок в горло не лез.

Ночью у костра грел костлявую спину.

— Горит тайга-то, Демка?

— Ага. Горит, — отвечивал Демка.

— Не боишься сгореть в этаким пожарище?

— Дык пожар-то далеко.

— Эх-хо! Может и на нашем хребте кукарекнуть петух на красных лапах. Каюк тогда. Сгорим. Вроде с прииска пожар начался. Ох-хо-хо!.. Люди!..

Демка вздохнул, облизнув губы. Измаялся Демка с Максимом Пантюховичем. Хоть бы сбежать, что ли. Не по плечу Демке житье на пасеке. Первый взток меда откачали, а до второго еще неделя. Тогда приедут колхозники. Демка уедет с ними в деревню. Обязательно. Ни за что не останется в тайге.

— И вечер навернуло страшным сном, — гундосит себе в бороду Максим Пантюхович, — и третьеводни. С чего бы? Нутром чую беду, как грыжей погоду. И вроде сила в ногах есть, и телом не так чтобы окончательно износился, только бы жить да жить, а смерть стоит за плечами. Чую, стоит. Вот оно, какой конец пришел мне, шпингалет. Такое навождение, господи! И через что? Через нрав неукротимый. Сколь лиха хватил из-за дури своей, господи!.. Всего навидался на своем веку. Пуля другой раз свистнет возле уха, как песню пропоеет. А ты чешешь себе, аж в пятках смола кипит. Воевал, воевал, а что завоевал? В какую только петлю шею не пихал, а через что?! И вот опять сыскал меня, подлюга!..

— А зачем к вам охотник приходил?

Максим Пантюхович вздрогнул, свирепо повел взглядом:

— Не мели боталом! — И минуты две помолчав: — У каждого своя линия жизни. У одного — такая, у другого — шиворот-навыворот. А кто знает, куда затянет линия? Кабы знать!

Демка подбросил в костер хворосту. Стало светлее. Максим Пантюхович подставил к огню сгорбленную спину и замолчал надолго.

Из-за омшаника, издали, слышался собачий лай.

— Кому бы это быть, а?

Максим Пантюхович вскочил на ноги, не забыв вооружиться берданкой.

— Знать, настал мой час, — проговорил он, не обращая внимания на Демку.

Где-то за Кипрейчихой трещали сучья. Споткнувшись на хворостинке, старик упал навзничь, прямо в костер, аж искры брызнули, и тут же вскочил, подхватив рукою затлевшие штаны.

Ошалелый взгляд его на секунду задержался на лице Демки. «Ах, да! Вот еще с ним Демка!..»

Демку он не даст в обиду. К чему парню мучиться за чужие грехи? Уж он-то, Максим Пантюхович, знает Ухоздвигова, если что, сущий дьявол, живого свидетеля не оставит. Или сказать все Демке? Открыть тайну узла с Ухоздвиговым? Но поймут ли его люди? Не поймут. Да, может быть, обойдется еще все по-хорошему! Он должен повлиять на Гавриила Иннокентьевича, умилоствит бандита словом, авось отстанет. Уйдет в другие места. Тайга-то — море разливанное!..

Вот еще беда-то какая! Будь она проклята, эта нечаянная встреча с Гавриилом Иннокентьевичем! Не думал, не гадал, а жизнь полетела кувырком. И как бандюгу занесло на пасеку? Зачем он дал ему слово исполнить все, как следует? А вот как пришлось взяться за исполнение поручения, так и руки упали. Вышел позавчера на сопку хребта, как посмотрел с горы на пасеку и на привольное богатство тайги, так и брызнули слезы. Не ему, Максиму Пантюховичу, ходить в поджигателях. Дело прошлое — побывал в бандитах. И по сей день скрыл от людей постыдный факт. Так вот крутанула житуха, будь она неладная.

«Душа изныла, а смерть — за плечами. Если что, бандюга выцедит из меня кровушку. Ну да я свое отжил. Молодость напетляла, что век не расхлебать, а парня надо спасти!»

— Дядя, а дядя, штаны-то у тебя загорелись — дым идет — подал голос Демка, не понимая, отчего так перепугался Максим Пантюхович.

— Тут не штаны, душа горит, парень, — выдохнул мужик, снова хватаясь ладонью за зад шароваров. — Бандюга идет на пасеку. Понимаешь? Бандюга первый сорт. Бери берданку да беги в деревню. Живее! Не заблудись! По Кипрейчихе. Как перевалишь хребет, так иди берегом реки. Скажи там, что, мол, на пасеку пришел Ухоздвигов. Сынок того Ухоздвигова! Не забудь: сынок того самого Ухоздвигова. Скажешь: Ухоздвигов банду собирает из кулаков. И меня приходил сватать на такое паскудство, да нутро у меня не позволило! Слышишь? Не позволило нутро. Так и скажи. Может, прикончит меня бандюга. Иди, иди, Демка. Да не робей. На мою тужурку. В карманах патроны. Краюху бы тебе на дорогу, да бежать надо в избушку. А, вот они, господи!..

Возле омшаника, шагах в трехстах от костра, выплыли углисто-черные движущиеся тени людей.

— Беги, Демка! Беги, парень. Господи, пронеси беду. Может, отговорю еще? Задержу их. Помогите мне, господи! Вроде идут двое. Трое, кажись. Беги, Демка.

Демка не слышал, что еще кричал вслед Максим Пантюхович. Он нырнул в чащобу, будто игла в стог снега.

VIII

Есть нечто жестокое в самом ожидании. Приговоренный к смерти отсчитывает жизнь минутами. Они ему кажутся то мучительно долгими, изнуряющими, то слишком быстротечными.

С той секунды, когда возле омшаника показались пришельцы, Максим Пантюхович соразмерял свою жизнь со стуком сердца. Сперва сердце будто замерло, остановилось. На лбу, на волосатых щеках, на шее Максима Пантюховича выступил холодный пот. Потом сердце лихорадочно стукнуло в ребро и забилося часто-часто, нагнетая кровь в голову. Максиму Пантюховичу стало жарко, душно, не продыхнуть. И вдруг сердце опало. Максим Пантюхович похолодел с головы до пят; спину до тошноты пробрало морозом. Перед глазами расплывалось оранжево-зеленое пятно, расходящееся кругами, как вода в омуте от кинутого камня. И сразу же тени людей сплылись в кучу. Вдруг зрение

прояснилось. Он увидел все отчетливо и резко, как бывало в детстве. И Ухоздвигова в кожаной куртке, и блеснувшую пряжку ремня-патронташа, и ствол ружья, и наsunутую на лоб кепку. Рядом шел незнакомый человек. За ними — еще кто-то, и еще кто-то. Не опознать. И опять зрение укуталось в мутную привычную сетку. Фигуры людей стушевались, предметы слились в черное.

Внутри Максима Пантюховича за какие-то минуты свершилась такая работа, так много перегорело в нем, что он вдруг почувствовал себя совершенно разбитым, усталым.

— Ну, как ты тут, Пантюхович, мудрствуешь лукаво? — были первые слова Ухоздвигова. — Греешься?

— Греюсь, Иннокентьевич — развел дрожащими руками Максим Пантюхович. — Милости просим к огоньку.

— Что же ты огонька не развел побольше, как мы тогда договорились? Ты же обещал за два дня понаведаться на прииск и поджарить их там?

Едучие, сплывшиеся к переносью, глубоко запавшие глаза смотрели на Максима Пантюховича в упор, не мигая, будто приколотив к тьме за спиною. В горле у него першило, и он закашлял.

— Печенка не выдержала, так, что ли? — впивался допытывающий голос. — Кто тут у тебя побывал после меня?

— Да никто вроде. Места глухие. Даль.

— Не криви душой, Пантюхович, — угрожающе процедил допрашивающий. — Я тебя насквозь вижу. На предательство потянуло, сивый ты мерин!

— Истинный Христос никого из деревни не было. Да и зачем? Взятки увезли, а до другого взятка — неделя-две.

Максим Пантюхович, растрепанный и всклокоченный, облизнув сохнувшие губы, поглядел на окружающих. Тут он только заметил знакомые лица, с кем не раз встречался.

Ни взгляда, ни участия! А трое знакомых мужиков! Соучастники робко прячутся за спину Ухоздвигова. Они даже свидетелями себя не выставляют. Они просто при сем присутствуют и — не по своей, дескать, воле! Вот хотя бы Крушинин: «Пронесло бы, господи, — молился он. — Конечно же, если Максим Пантюхович останется в живых, то Иннокентьевичу не сдобровать. А тогда... Немыслимое дело! Куда ему еще жить, Пантюховичу? Размяк, совсем размяк мужик.

Потерял окончательно линию жизни. Прибрал бы его господь, только бы без ужастей». Под «господом» Крушинин разумел Ухоздвигова. «Жалко мужика. Вроде безвредный жил, а вот, поди ты, набедокурил. Дело-то щекотливое. Из-за одной срамной овцы, а всем на голову погибель».

Больше всех Максим Пантюхович надеялся на защиту хакаса Мургашки. Именно Мургашку Максим Пантюхович выручил в двадцать втором году из беды. Их было двое в тайге: Мургашка и Имурташка. Оба они были проводниками у золотопромышленника Ухоздвигова. Мургашка, младший брат Имурташки, пользовался доверием сынов Ухоздвигова, а сам Имурташка — не признавал сынов, а подчинялся только хозяину. Случилось так, что при побеге с прииска сам Ухоздвигов где-то в тайге спрятал золотой запас. Имурташка был с ним. Когда в подтаежье настала Советская власть, Имурташка скрылся. И вот вместо Имурташки ОГПУ арестовало Мургашку. Максим Пантюхович, бывший приискатель, партизан, грудью встал на защиту Мургашки. И хакаса освободили.

Но именно Мургашка с особенным нетерпением ждал, когда же «хозяин» воткнет кривой охотничий нож в пузо Максима Пантюховича. Мургашка чувствовал себя отменно, когда сосед корчился в предсмертных судорогах. «Хозяин знает, как надо резать баран. Сопсем плохой дух у блудливый баран».

Но Максим Пантюхович еще верил, что мужики не дадут его в обиду. Он же стоит перед ними в залатанных штанах, в одной грязной, испачканной медом рубахе, безоружный и одинокий. А они все в силе, в здоровье, с ружьями! С кем им воевать-то?

Минуту молчания смел властный голос главара:

— А парнишка где?

Максим Пантюхович схватился рукой за шаровары:

— Вот так погрелся я, якри ее, — бормотал он, делая вид, что не слышал вопроса Ухоздвигова и стараясь собственной забывчивостью разжалобить, рассмешить мужиков.

— Горят штаны-то, робята! Горят! Как припекло-то, а? И не чую даже. Хе-хе-хе!..

Отчаянная усмешка над самим собою Максима Пантюховича мгновенно угасла. Никто ее не поддержал.

— Парнишка где, спрашиваю! — зыкнул Ухоздвигов.

— Демка-то? — Максим Пантюхович развел руками, поддернул прогоревшие сзади штаны. — Должно, спит на омшанике или еще где. Умаялся за день.

— А ну, позови его!

Максим Пантюхович отупело уставился в узкое и длинное лицо Гавриила Иннокентьевича, будто припоминая что-то. «Ишь ты, позвать! Демка, может, далеко не ушел. Вернется на мой голос. Помешкать надо».

— Пойти, разве, поискать?

Лапа Гавриила Иннокентьевича схватила Максима Пантюховича за воротник рубахи и так рванула, что от рубахи остались рукава да перед. Костлявая спина оголилась. Руки его повисли вдоль тела. Перед рубахи, потеряв поддержку воротника, свесился карнизом, оголилась волосатая ребристая грудь. Максим Пантюхович рванулся было из последних сил, чтоб раствориться в темноте ночи. Но цепкие лапы, теперь уже не одна, а две, три, четыре сдавили ему железными заклепками запястья и горло.

Теперь он перед ними голый, беспомощный. А костер тухнет. Но вот Мургашка подсунул хворосту, напахнуло чадом тряпицы. Ухоздвигов кинул в костер лоскутья рубахи.

— Ты не финти, мерин! — гремел Ухоздвигов. — Парнишка здесь был. Куда ушел? Ну? Крикни ему. Слышишь? Или я из тебя душу вытрясу. Кричи, тебе говорят!

— Што же вы, робята, а? — взмолился Максим Пантюхович. Слезы катились по его щекам, теряясь в зарослях бороды. — Ни в чем я не виноват, робята. Помилосердствуйте!.. Мургашка! Я же жизнь тебе возвернул, спомни!.. Что же вы, а? Не мне жечь прииск, пасеку и тайгу. Ни к чему такое дело. Кому вред-то? Себе же. Потому и руки не поднял на поджог. Ему-то что, Гавриилу Иннокентьевичу? Махнет в город. У него везде найдется угол. А мы-то как? Приискатели чем жить будут? Народ?! Войдите в понятие, мужики. Не трожь меня, ааа!..

Ухоздвигов схватил Пантюховича за горло. Голова мужика болталась во все стороны, зубы цокали.

— Так, так! Бить надо, глупый баран. Сопсем баран! Бить надо баран. Прииск сопетский жалел, баран. Киньжал в бок! — свирепел Мургашка.

— Ты же, мерин, предать меня задумал! На предательство потянуло, дохлый сыч. А ты забыл, какие ты номера выкидывал в моем отряде в двадцать пятом году? Как ты из коммунистов жилы вытягивал? На огонь тебя, Иуда! На огонь. Ты нам сейчас скажешь, куда послал парнишку. Скажешь! Мургашка, подживи костер.

Максим Пантюхович понял, что теперь ему конец. Но он не подал голоса, не вернул Демку. Пусть парнишка уйдет от греха да скажет людям, от чьей руки погиб Максим Пантюхович. «Насильственная смерть скостит с меня все тяжести, какие я навьючил себе на хребет. Изголяться будет, бандюга! Господи, помилосердствуй! Сниспошли мне смерть скорую, господи!..»

Сухой валежник, накиданный Мургашкой, поспешно разгорался.

Крушинин, вылупив глаза, обалдело таращился на огонь. Ни о чем не думал. Очумел.

— Так ты не скажешь, мерин, куда послал парня, ну? В сельсовет послал? Говори!

Максим Пантюхович пересилил страх смерти.

— Не скажу, бандюга! Скоро тебя скрутят, попомни мое слово. Демка сообщит про тебя власти. Сыщут и прикончат!.. Попомни мое слово!.. Прикончат!.. И вам, мужики, худо будет! Демка, он...

— А ну, Мургашка, двинь его в скулу! Да в костер! На огонь его, на огонь, Крушинин! Живо!

Крушинин, изнемогая от стонов Максима Пантюховича, топтался на одном месте.

— Что ты мнешься? — кинул ему «сам». — Помогай! Поджарьте этого мерина. Да огня под сруб дома. Тащи туда огонь, Крушинин!.. Живее!..

Максим Пантюхович отпихивался от мужиков, кричал им что-то о каре, но те свалили его голой спиной в пламя костра.

Хватая судорожными глотками воздух, Крушинин опустился на землю.

— Праааклинаю, бандюга-а-а!! — истошным воплем понеслось в глухомань тайги. — Праааклинаааю!..

Истошный вопль Максима Пантюховича подхлестнул Демку. Он еще не верил, что на пасеку заявили бандиты. Но вот тайга, вся лесная темень лопнули от крика Максима Пантюховича. Со всех рассох, падей, с каменистых обрывов двугорбого хребта неслись истошные крики.

Демка кинулся бежать. Темень, хоть глаз выколи. Выставив вперед руки, чтоб не напороться на сучья, он шел, спотыкаясь о валежины, падал, спохватывался, не чуя под собою ног. По крутому склону отрога хребта он лез на четвереньках. Сердчишко Демки исходило в страхе, пот застилал глаза, головенка тыкалась то в коряжины, то в пни, трава царапала щеки, но Демка, не чувствуя боли, лез и лез в гору. Он не знал, куда карабкается, что его ждет там, на горе, единственное, что его подгоняло, был страх перед бандитами.

Сколько он прошел, вернее прополз, он и понятия не имел. Но здесь, на горе, среди шумно лопочущего леса, он немножко пришел в себя и, переведя дух, осмелился оглянуться. И что же он увидел? Танцующее пламя на том месте, где была пасека...

— А! — вылетело у Демки. Больше он ничего не мог сказать. Горел сруб дома. Вся пасека в багряных отсветах пламени видна была с горы как на ладони. Ряды пчелиных домиков, старая береза возле избушки, крыша над омшаником, а там, за Жулдетом, отвесная стена черных елей. Горящие головни, подхватываемые огненным вихрем, взлетали в небо, рассыпаясь над землей летучими искрами. Ветер нес валежник. — Горит, горит! — бормотал Демка. По щекам его катились слезы. — Горит, горит!.. Все горит.

Но вот по ту сторону Жулдета поднялся к небу столб огня. Пожар перекинулся на тайгу.

Возле пасеки суетились какие-то люди. Двое или трое. Они были до того маленькие, как те домовые, про которых когда-то рассказывала крестная Аграфена Карповна.

— Все, все сожгут — вздыхал Демка. — И Максима Пантюховича сожгли, наверно, и все ульи!.. А что если меня сцапают? Тот бандит-то видел меня на пасеке... Ухоздвигов, значит. Вот он какой, Ухоздвигов-то!..

И Демка кинулся в дебри.

Труден путь по бездорожью и бестропью. Но во сколько раз он труднее по тайге! Демка не шел, а вламывался в чащобу, шаг за шагом.

Деревья то сплывались стеной, не пройти, то расходились на шаг-полтора, как бы открывая двери в некое потаенное местечко. И так — дверь за дверью, шаг за шагом. Тужурку Максима Пантюховича Демка тащил то на плече, то волочил за собою, и она ему мешала, цеплялась за деревья. Он хотел ее бросить. Но ведь в карманах тужурки патроны от берданки!

— Зарядить надо берданку. Если что — двину, — подбодрил себя Демка.

Присел на валежник, зарядил берданку, выкинул холостой патрон. Долго искал патрон, завалившийся в траву, и найти не мог.

Натянул на себя тужурку, закатал рукава и опять пошел вперед, шмыгая и разговаривая вслух, чтобы самому себя слышать:

— Если зверь налетит — пальну. Да нет! Заряды-то дробные. Пальнешь, пожалуй! Он потом, зверь, как насядет на тебя, так враз кишки выпустит. А может, есть заряды с пулями?

Демка говорит с паузами, втяжку. Он теперь не шпингалет, а мужчина, настоящий мужчина. Тайга — и он в тайге. И больше никого. Но страхота-то какая!

X

На солнцевсходе Демку сморила усталость. Он присел возле выскори — вывороченного из земли дерева, зажал берданку в коленях и крепко заснул.

И чудится Демке, что он не в тайге, а плывет на большущем белом пароходе по Енисею, на том самом пароходе, какой он всего один раз видел в Минусинске;

Тогда Демка стоял на крутом берегу и нюхал, именно нюхал пароход. Смотрел и нюхал. Пароход так вкусно пах, что он так бы и съел его. Толстущая коса пароходного дыма стлалась по самому берегу. И Демка, раздувая ноздри, втягивал в себя запах каменного угля. Такого запаха не было в тайге.

— Ох, какой он пахучий! — восторженно отозвался Демка, на что дружок его, чернуший Степка Вавилов, поддернув штаны на лямке, ответил:

— Они все пахучие, пароходы. Я завсегда их нюхаю.

— Вот жратва так жратва! — вздохнул Демка. — От одного запаха можно насытиться.

— Ну да! Насытишься, — пробурлил Степка, — это ж так воняет каменный уголь. Перекипятят камни в смоле да жгут их потом. А тятка говорит, будто вынимают из земли этот камень. Если, значит, наверху земли камень — тот простой камень. А если под самой землей камень — тот каменный уголь.

Из разъяснений Степки Демка уяснил только одно, что большущие пароходы на Енисее жрут каменный уголь. И этот уголь чрезвычайно вкусно пахнет. С той поры, как только Демка, возвращаясь к приятным воспоминаниям, тешил себя видением парохода, он припоминал запах парохода и никак вспомнить не мог. Перебрал все запахи на деревне, в тайге, на пасеке, но ни один не был похожим. И вдруг сейчас, в тяжкую минуту, во сне, на Демку повеяло тем самым чудесным запахом!

Демка во сне захлебнулся от удовольствия. Чудно! Он плывет на пароходе и в то же время — видит весь пароход, будто сидит не на самом пароходе, а на толстой косе пароходного дыма и смотрит на пароход сбоку. Но он, Демка, плывет! Конечно, плывет! Он чувствует, как качается его головенка от движения парохода по волнам Енисея. Вперед и назад, вперед и назад...

Сладкий утешительный сон. Но если бы Демка не спал так крепко, он бы увидел, как в каких-то тридцати шагах от него по высокогорной тропе в сторону Верхнего Кижарта прошли бандиты: охотник в кожаной куртке, что приходил к ним на пасеку, и еще какие-то двое. Такова матушка-тайга!

Кто не бывал в тайге, тому трудно ее понять — непроходимую, со звериными тропами, где легко потеряться, но нелегко выбраться новичку. Тут можно пройти мимо батальона солдат, спрятавшегося где-нибудь в пади, и остаться уверенным, что кругом безлюдье.

Демку разбудил стук дятла и запах дыма. Будто кто-то стучал в ухо: «Беги, Демка, беги! От смерти уходишь!» Демка испуганно проснулся. Над ним, в сизой паутине дня, качается широченная лапища сосны. И сразу же на Демку наплыли ужасы минувшей ночи: столб огня в зажулдетской стороне, истошный вопль Максима Пантюховича, пожар пасеки, черные фигуры бандитов. Надо бежать, бежать. Но куда же он забрел ночью? Впереди — деревья и с боков

деревья. Под ногами прошлогодние иссохшие на корню травы, прикрывающие едва пробившуюся зелень, валежник, трухлявые пни, а сверху — мглистое, горячее небушко без солнца.

Солнце где-то над головою, но его не видно. Между солнцем и землею — синие разводья плавающего дыма.

У Демки болят исцарапанные руки, колени, мозжит все тело. Ему бы хоть глоток воды! Всего один глоток. От вчерашних страхов пересохло внутри. Губы у Демки обгорели, и во рту сушь, точно он наглотался горячих углей.

Но где же течет Кипрейчиха — слева или справа? А может быть, надо идти вот так прямо, к Становому хребту Жулдета?

Поник Демка. Он не знает, куда ему идти. А идти надо. Не стоять же здесь, под сосною возле выскори!

Прежде всего Демка обшарил карманы тужурки Максима Пантюховича. Из одиннадцати патронов, оттянувших карман, только семь оказалось с зарядами. Пять с дробью и два с пулями. Демка разложил патроны на тужурке и долго разглядывал их. «Как налетит зверь, пальну» — решил он, заряжая ружье.

В другом кармане тужурки нашелся складной кривой нож с деревянной рукояткой и неполный коробок спичек. И еще какая-то тряпка. Демка завернул спички в тряпку, чтоб не отсырели.

«Максима-то Пантюховича нету-ка таперича, — вздыхал Демка, соображая, как ему поступить с тужуркой. — Рукава обрежу, и она мне придется в самый раз».

Так он и сделал, потом двинулся дальше по отрогу, наугад, куда судьба выкинет. Ту горную тропку, по которой утром прошли бандиты, Демка пересек, даже и не заметив.

Июльский денек — семнадцать часиков. Немалый путь прошел Демка по глухолесью до того, как солнышко свернуло в заобеденную грань. В рассохе между Становым хребтом и его отрогом Демка отдохнул у речушки, напился, умылся и побрел дальше.

XI

...Накануне нового года по укатанному санному следу, скрипя подполозками, на большак Белой Елани выехала кошева. Мимо полуотстроенных новых домов, мимо присыпанных снегом руин

пожарища провели из тайги пойманных бандитов. Вся деревня сбежалась посмотреть на виновников своего несчастья. Ребятишки, улюлюкая, стеною валили за кошевой, буравя крупитчатый снег по обочине дороги.

— Пошли отсюда! А ну, назад!.. — кричал Мамонт Головня, размахивая рукояткой бича. Бандитов было двое. Мургашка и охотник Крушинин. Их поместили в сельсовете, в жарко натопленной комнате с буфетной стойкой. Приставили стражу и дали отдохнуть до утра.

Косясь на мужиков, Мургашка лежал на полу маленький, желтый, как лимон, выкуривая одну трубку за другой. Одет он был в какие-то лохмотья, в яловые ичиги, а с головы так и не снимал рваную баранью шапку-треух.

— Ну, как тебя звать, гость дорогой? — спросил Головня, суживая маленькие колючие глазки и закуривая «козью ножку».

— Мургашка.

— А фамилия?

— Меня все звал Мургашка. Нас два был — Мургашка и Имурташка. Я, который вот я, и другой, который был главным проводник самого хозяина.

— Какого хозяина?

— Один был хозяин тайга. Ухоздвигов.

— Кем же ты был, второй Имурташка?

— Работал немного. Земля таскал. Всего делал немного.

— На кого работал?

— На хозяина. Кого еще? — рассердился хакас.

— Откуда ты родом?

— Какой «родом»? Не понимайт. Ты кто? Начальник?

— Председатель сельсовета.

— Пошто хлеб не даешь, председатель? Пошто голод держишь? Мургашка закон знает. В тюрьма хлеб дают. Баланда дают. Чай дают. Сахар дают. Прогулка. Советская власть нет закон бить. Ваш колхозник бил! Зачем бил Мургашка? Я шел тайга. Мало-мало охотился. Медведь смотрел. Ружье был. Билет был. Все забрал!

Мургашка, успев отдохнуть, заготовил целую речь. Он, конечно, знать ничего не знает ни о каком Ухоздвигове!

— Все врешь ты, как сивый мерин — сказал Головня.

— Ты, председатель, не имейт права так говорить. Я сказал: был в тайга на охота, значит, так запиши. Другой ничего не знайт! Ваш холхозник все скажет. Я ничего не знайт!

— Знаешь! Где сейчас Ухоздвигов?

— Может, помер, может, нет.

— Финтит, язва — сказал один из мужиков, стороживший Мургашку с карабином наизготове. — Хитер подлюга.

У Мургашки огонь в глазах. Желтые, прокуренные зубы щерятся — вот-вот укусят!

— Сколько тебе лет, Имурташка? — спрашивает Головня.

— Мургашка я! Мургашка! Трисать зим Мургашке. Сопсем молодой. Имурташке сорок пять зим давно. Должно, сдох теперь Имурташка...

— Тоже мне, молодой! Жених прямо!.. Ссохся весь, как печеное яблоко, грязный, вонючий... Вши вон по тебе ползают. Тридцать зим Мургашке, и уже каюк, да?..

Мургашка хмурится, попыхивает едким самосадам и, чтобы не продолжать разговора с Головней, свертывается калачиком, ложится в угол за шкаф, бормочет:

— Мургашка ничего не знайт. Мургашка будет помирай.

Головня спрашивает у стоящих в охране рабочих прииска — сына и отца Улазовых:

— Их что, не кормили?

— Какое! Буханку хлеба слупили да чаю выдули чуть не с ведро — поясняет Улазов-отец, здоровый, широкоплечий, косматый мужик лет шестидесяти.

— А што, Мамонт Петрович, скоро мы их спровадим в огэпеу? Противно на них смотреть, пра-слово. Люди-то они оба бегучие, что этот Крушинин, что Мургашка. А Крушинин — Улазов качнул головой в сторону охотника, укывшегося однорядкой — орудовал в нашей тайге при Колчаке. Знаю я его как облупленного. Сдается мне, он да Мургашка этот знают все тайные ходы Ухоздвигова. Без их помощи он бы давно наружу выплыл.

— А ну, поднимите его! — Головня подвинул к себе стул.

Крушинин привстал на локоть, зевнул.

— Значит, бандит со стажем?

Крушинин молчит, будто не у него спрашивают.

— Я у тебя спрашиваю, Крушинин!

— Крутилин я, товарищ председатель. Как вечер говорил, так теперь поясняю: нивчью попался! Пришел вот на заимку, вот этот косоглазый...

— Хе-хе-хе, ловко! Насобачился, стерва — замечает Улазов-отец. — Вы, Иван Михеич, не играйте в прятки. Мамонт Петрович не любит кривых выездов. Говорите правду-матку. Вам ловчее и нам легче.

Крушинин, вылупив глаза, непонимающе помигивает на Улазова. Накидывает на плечи однорядку, садится на пол возле стены, отвечает:

— Да ты чо, паря? Ополоумел или как?

— Давно ли ты, Иван Михеич, перелицовался? — спрашивает Улазов-старик. — Финтишь, а ведь люди-то знают тебя! Не Крутилин ты, паря, а Крушинин. Две буквы переделал в фамилии, а вот про душу-то, паря, забыл. Родом ты, паря, из казачьего Каратуза, а не из Кижарта. Земляки мы с тобой. Аль запомнил Улазовых? Ты казак и я казак. Ты рубил красных и я рубил красных... по дурости, прости меня, господи, как не разобрамшись. Тогда тебе нашили лычки... Я за свое казачество, паря, отбрыкал семь лет, а вот ты бы не сносил головы.

— Вот оно, какие дела! — проговорил Головня, встав со стула.

— Поклеп, товарищ председатель. Обознался мужик-то. А мне-то, мне — петля! Охотник я из Кижарта. Там и семья у меня...

— Ты не сепети — урезонил Улазов-отец. — Я и в Кижарте встречал тебя, и в Сухонаковой!.. Видал, а молчал. Думаю, пусть живет мужик, коль прибился к берегу. Сбежал ты со ссылки-то. По дороге сбежал. И семью свою уволок. Двух детишек схоронил по дороге. Все знаю!.. Но тапернча молчать не стану. Потому — с бандой увязался.

Охотник даже позеленел. По его хищному взгляду, как он смотрел исподлобья на старика Улазова, Головня понял, что он использует любую оплошность охраны, только бы убежать.

— Свяжите его, — сказал Головня. — Скоро мы их отправим.

Сын Улазова, такой же коренастый мужик, как и отец, ни слова не обронивший во время разговора отца с Головней, молча связал руки Крушинину, хотя тот и пустил слезу, умоляя Улазова-старика отказать от своих слов.

Вскоре после ухода Мамонта Петровича в буфетную зашла Авдотья Головня. Румяная, нарядная, она всегда входила гордо, грудью. Никто еще из мужиков не видел ее угрюмой, мрачной. Она была приветлива, легка на шаг. Авдотья попросила оставить ее на минутку с Мургашкой.

— А ежлив што случится? — косился Улазов. — Ить они в окно выпрыгнут. Тогда как?

— У меня не выпрыгнут! — успокоила Авдотья. — Да вы встаньте один у двери, другой у окна. И охотника возьмите с собой в сени. Я буду говорить одна с Мургашкой. Мне Головня велел, — соврала Авдотья, не моргнув глазом.

— Ну велел так велел. — И ушли.

Мургашка притворился спящим. Но услышав насмешливый голос Авдотьи, приподнялся, невозмутимо посмотрел на нее и, не торопясь, стал набивать алюминиевую трубку.

— Што надо, баба?

— Мне тебя надо.

— Я весь тут. Вот он.

— А весь ли? Может быть, ты здесь, а душа улетела куда-нибудь к Разлюлюевскому местечку? — Авдотья хитровато щурит свои черные глаза, присаживаясь на корточки возле Мургашки.

Мургашка не любит женщин. Мургашка не выносит женского взгляда. Он морщится и пыхает вонючим дымом в лицо Авдотье.

— Да не дыми ты, Сароол!

— Как?! Как?

Мургашка даже трубку выронил от такой неожиданности. Сароол, Сароол! О, великий Хангай! Это же его настоящее имя, некогда пропетое ему над колыбелью матерью. Как узнала баба его настоящее имя? Ведь по обычаю Мургашкиного рода ни одна женщина не смеет вслух произносить имя мужчины. Даже мать поет над колыбелью сына, называя ребенка как угодно, только не своим именем, чтобы злые духи не подслушали и не унесли его. Но, видно, женщины Мургашкиного рода не соблюли этот закон со всей строгостью. И вот налетели злые духи, принесли неизвестную болезнь, и не стало в юрте ни отца, ни матери, ни сестер. Может быть, и Мургашки не было бы, если бы не забыл он навсегда своего имени? Всю жизнь Мургашку знают как Мургашку, и никак иначе. Когда они с братом пришли в

тайгу к Ухоздвигову, он приютил их, назвал брата Имурташкой, а его Мургашкой, так это и осталось навечно. Никаких документов у них никто не спрашивал, да они и не имели их. «Ты, Имурташка — сказал золотопромышленник — будешь мой проводник. Я тебя научу понимать тайгу, искать в ней золото. Ты будешь первым Имурташкой на всем белом свете!» А Сароол стал Мургашкой. Когда пропал хозяин, когда пришла Советская власть и Мургашку посадили в тюрьму, чтобы допытаться, куда хозяин упрятал свое золото, Мургашка так и не сказал своего настоящего имени, будто его и не бывало. Круговерть унесла все в тартарары. С тем из тюрьмы и вышел.

— Как? Как ты сказал, баба? — переспросил Мургашка, поднимая трубку.

— Да разве ты забыл свое имя, Сароол из рода Мылтыгас-бая? — удивилась Авдотья, отмахивая ладонью вонючий дым.

— Ты сам шайтан, баба! Как знал — Сароол Мылтыгас? Кто сказал? Ты — кто?

— Твой дом сказал. Я живу в твоём доме, который построил вам с братом хозяин. Хороший дом. Только больно потолки низкие. Как у вас в юртах. Эх ты, Сароол Мылтыгас-бай!..

— Так не говори. Я — Мургашка. Всегда Мургашка.

— А я вот знаю, что ты не Мургашка, а Сароол Мылтыгас-бай. Помнишь, как ты приходил к нам в Белую Елань с братом. Тогда я была еще совсем девчонка. Ты сидел на крылечке... Помнишь? А мой отец и твой хозяин Ухоздвигов Иннокентий Евменыч обсуждали, где лучше построить для вас с братом дом. Я тебя еще напоила чаем. А ты просил варенья и меда. Помнишь? Ну вот. А в твоём доме теперь живу я. В подполье я нашла шкатулку. Там лежали ваши метрики, в труху истертые, какая-то книжка, разные бумаги. Неужели ты совсем забыл про свою юрту, Сароол? Про свою мать.

Хмурое лицо Мургашки заметно переменилось. Нечто живое тенью прошло от его потухших глаз до бескровных губ — и сгасло.

— Мой юрта! Мой юрта!.. Мой баран!.. — бормотал Мургашка, в такт слов покачиваясь всем корпусом. — Был юрта — нет юрта!.. Шайтан забрал. Все забрал!.. Был Сароол Мылтыгас-бай — нет Сароол Мылтыгас-бай!.. Есть Мургашка. Сопсем один. Помирать надо. Заптра помирать. Жить не надо Мургашка... Зачем живет? А? Сопсем плохой человек. Сопсем дурак. Вот такой — (Мургашка очертил круг

трубкой в воздухе). — Круглый дурак! Живет — зачем живет? Сам не знает. Когда был царь, когда был порядок тайга, Мургашка знал, зачем жил. Был хозяин у Мургашка. Нет царь, нет порядок, нет хозяин, есть много нашальник — Мургашка помер. Нету! — И грустно покачал головою. Жидкая бороденка тряслась, как у старого емана.

Авдотья притронулась рукою к плечу Мургашки и, склонившись, тихо спросила:

— Скажи мне, будь добрый, только правду скажи... Где твой молодой хозяин?

Мургашка выпрямился, отстранил руку.

— Ты шиво? Баба! Шайтан! Какой хозяин? Я шел охота. Помирать шел в своя тайга. Меня забрал дурак! Бил!.. Я брал билет. Медведя хотел стрелять. Меня...

— Зачем ты мне-то городишь чушь этакую? Я же протокол не пишу. Ты же видишь — один на один разговор веду? У меня... дочь есть, Мургашка. Понимаешь?! Дочь! Эта дочь...

Мургашка сузил глаза, присмотрелся.

— Тебя как звать?

— Дуня... Юскова. Головня теперь. Помнишь Елизара Елизаровича Юскова?

— Дуня? Ализара Ализарыча? Ай-яй!.. Знай!.. Гаврила любит тебя, скажу, Дуня. Сильно любит, шайтан. Сном видит тебя. Я буду ворожить, дай бобы. Есть бобы? Нет бобы? Ну, ладно. Спичка пополам, будем ворожить. Скажу тебе все про хозяина.

Хитер хакас! Авдотья, невесело ухмыляясь, смотрела, как Мургашка, ломая спички, пересчитывал их, потом положил перед собой, разделил на три кучки, потом еще на три, и еще на три, разложив кучки в три ряда. Что-то помешал, подул вправо и влево, а тогда уже, вздохнув, заговорил:

— Слушай, Дуня. Не перебивай. Бобы правду держат — на червонного короля Гаврил. Фамилий как — не знаю. Бобы не сказал. Имя сказал. Гаврил. Всю жизнь сказал — вперед и назад. Все сказал. Страшно! Ой-ой-ой, как страшно. Боишься?

— Не из пужливых, говори.

— Молчать будешь?

Авдотья кивнула головой.

— Бобы сказал: был Гаврил богатый батыр — стал бедный батыр. Мало-мало живой.

— А дальше?

— Не перебивай!.. Когда родился батыр, звезда упал с неба и утонул в воде. Вода была холодный, плыл туда-сюда лед, звезда замерз и сопсем потух. Тогда сказал шаман: «Твой звезда, Гаврил, утонул в лед. Ты будешь ходить свобода. Будешь искать — нет нигде!» Так сказал шаман. Гаврил жил, мало-мало искал счастья, мало-мало любил русский дебашка-красавиц. Был одна самый красивый. Он стал баба председатель.

— Не ври — не удержалась Авдотья.

— Пошто мешашь? Бобы говорит — не я. Не надо — буду молчать.

— Говори, говори.

— Потом начался холхоз. Новый порядка. Беда! Гаврил много шел тайга, ломал себе ноги. Хотел в тайга спасться, искать свой звезда. Искал долго, плохо кушал, плохо спал, сильно мерз зима! У, как сильно! Брр! Сопсем простыл, захворал... Идет Гаврил по тайге — рысь упал с дерева — плечо выдирал сопсем! Еще больше захворал Гаврил. Черный стал день и черный ночь... Никто не стал лечить Гаврил. Он лежал — помирать хотел. Стал копать яма себе — глубокий яма. Ой-ой, как глубокий. Хотел сам лечь яма и помирать, чтоб медведь не тащил кость...

— Врешь ты все! Врешь, Сароол! Не верю я тебе, — вскинулась Авдотья, ухватив Мургашку за бешмет.

У Мургашки выпала трубка из зубов.

— Шайтан-баба! Шайтан-баба! Пусти! — бормотал Мургашка, отодвигаясь от Авдотьи. — Ты сопсем не Дуня! Ты шайтан-баба! Чего хватал за грудь. Чего дергал Мургашка?

— Ну, скажи же, наконец, жив он? Жив? Мургашка подтянул под себя ноги калачиком, запахнулся.

«Ух, какой злой баба! Горячий баба» — подумал, косясь на Авдотью.

— Не сердись! Скажи же, что дальше говорят бобы?

— Ничаво дальше нет. Кончал базар!

— Ну, будь добрый! Не мучай меня. Доскажи судьбу-то Гавриилову. Не про себя же ворожишь?

Зажмурив глаза, Мургашка подумал. Подвинулся к разложенным бобам-спичкам:

— Чо последний сказала?

— Сказал, что стал он яму себе рыть...

— Когда сопсем глубоко стал рыть — нашел золото. Много золота! Ой-ой, как много!.. Свой звезда нашел. Тот, что искал. «Я не буду помирать — сказал Гаврил. — Возьму золото. Маленько возьму. Много оставлю»... И ушел из тайги. Сопсем ушел.

— И опять ты врешь, Сароол! Не может этого быть.

Мургашка пожевал трубку, покачал головой, смахнул ребром ладони спички-бобы, рассердился:

— Ты шибко хитрый баба! Я тоже хитрый. Хошь знать больше Мургашка? Вот как!.. Бобы все врал — ты слушал. — И усмехнулся вымученной улыбкой.

XII

В тот же день Мургашку с Крушининым-Крутилиным увезли в Минусинск в ОГПУ.

Мургашка плевался всю дорогу.

— Какой баба! Тьфу, ведьма! Дунька — ведьма!.. — и цыркал желтой слюной по белому снегу.

Крушинин-Крутилин, притворившись казанской сиротой, плаксиво бормотал в спину Улазова-отца:

— Душу мою погубить задумал, паря. А с чего? Что мы с тобой не поделили! Я поперек твоих дорог не хаживал, а ежлив ты зуб поимел на меня за ту выдру, которую я тогда достал в Кижарте, то поимей в виду, на Кляuze ты никуда не уедешь. Значит, зло сорвать хочешь на моей судьбе?

— Не ври, — ответил Улазов-старик. — Никакой выдры в помине не было. Едешь и придумываешь, как тебе ловчее выкрутиться.

— Господи! С выдры-то и понес на меня!

— Не умничай, Иван Михеич. Ни к чему, — ответил Улазов-старик. — Таперича Советская власть, ее на кривой кобыле не объедешь.

— То-то ты и выслуживаешься! Хвост-то он и у тебя примаран.

— Я от старого давно отторгся.

— Знамо дело! С берданкой этой куда ловчее управляться, чем хрип гнуть на пашне. Все Улазовы лодырюгами были. Помню. Не забыл. Весь Каратуз знает — как сенокос или страда, так Улазовы работников ищут! А таперича вам совсем лафа — набивай пузо дармовым хлебушком!

— Заткнись! Или я тебя изничтожу, как при попытке к бегству!

— Пуляй, пуляй! Токмо свидетелей куда денешь?

Так всю дорогу и ехали, ссорясь.

Ночью Мургашка не спал, бегал из угла в угол по каталажке, насмерть перепугал Крушинина-Крутилина, беспрестанно бил кулаком в дверь, вызывал начальника.

На первом допросе у начальника Мургашка метался как угорелый.

— Ой-ой, я сопсем ничего не знайт, начальник. Не был банда, нет в тайге банда! Тайга сам горел. Ничего не знайт!..

Самое страшное началось в обед, когда в каталажку подали в глиняной миске картофельную похлебку на мясном бульоне. Крушинин-Крутилин, подвинувшись к Мургашке на нарах, хотел было принять свою миску, чтобы пересесть от вонючего соседа подальше, как вдруг Мургашка подпрыгнул, дико отшвырнул алюминиевую ложку: ему показалось, что из миски по черенку ложки ползла золотая змея с белыми глазами. Сперва он глядел на нее ошалелым неподвижным взглядом, но потом, когда исчезла ложка и миска, а на месте ее толстым клубком, шевелясь кольчатым туловом, оказалась змея, Мургашка вскрикнул, отшвырнул миску в сторону. Тут и началось. Со всех сторон камеры тянулись к нему золотые змеи. Из окон, с потолка, из подполья — отовсюду ползли змеи. Мургашка видел, как медленно передвигаясь, выполз золотой удав с головой Ухоздвигова.

«А! Мургашка! Ты что же, подлец, делаешь? — сказал хозяин, вылупив на Мургашку фиолетовые глаза. — Ты что же, а? Подлюга! Предаешь меня?» И потянулся к шее Сароол Мылтыгас-бая.

Вид его был ужасен. Воспаленные, налившиеся кровью глаза с мешковатыми отеками в подглазьях дико озирались, не задерживаясь ни на одном предмете. Мургашка за неделю осунулся, страшно пожелтел, будто в самом деле помирать собрался. Что бы ему ни подали: чай, хлеб, трубку, — везде он видел змей. Они его душили,

мучили. «Ой-ой! Давай нашальника! — вопил Мургашка во все горло, когда его связали. — Зачем заперал Мургашка? Зачем напускал змей? Ой-ой!..»

Мургашка, умевший забывать даже собственное имя, так и не дал ни одного показания. С тем и отправили его в Томскую психиатрическую больницу, как это случилось в 1923 году с его старшим братом Имурташкой...

Крушинин-Крутилин сознался в преступлении злоумышленного поджога тайги, не забыв главную вину свалить на Ухоздвигова. Суд присудил ему высшую меру наказания за убийство и поджог. Но после кассации приговор заменили десятью годами.

...Спустя семь лет Мургашка снова вернулся в тайгу доживать век — больной, помятый и какой-то бесцветный; не житель, а пустоцвет на земле.

ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Старый хмель жизни не слился с новым. Размышляя над судьбою Демида, уехавшего учиться в город, Филимон Прокопьевич вспомнил библейскую притчу о том, что никто не вливает молодое вино в мехи ветхие; иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет. И никто, пив старое вино, тотчас не захочет молодого, ибо говорит: старое лучше.

Молодое вино бродило, пенилось в деревне, набирая силу. Мужики, хоть и оглядывались на старину по привычке, а все-таки не сидели сложа руки — работали в колхозе.

«Может, и бога вовсе нету?» — соображал Филимон Прокопьевич.

Три года Филимон Прокопьевич скитался по свету, промотал хозяйство и вернулся домой осенью 1933 года «со вшивым интересом»; и на рождество, подсчитав свое единоличное состояние, порешил отпихнуться от старой жизни.

Всю ночь сочинял заявление о приеме в колхоз. Меланья клала поклоны в моленной горнице, где когда-то радели тополевы и покойный свекор толковал ей таинственный смысл бытия о дочерях Лота, а Филя, мусоля языком химический карандаш, описывал всю свою «жисть», как он ее понимал. Начал с тополевого толка, и как дремуче веровали люди в пору его молодости, и как измывался над ним покойный тятенька, и что он, Филимон, долго не мог высвободить затуманенную голову из густых зарослей старого хмеля...

Был морозный день, когда Филя уложил на сани уцелевший сакковский плуг, деревянные бороны, подцепил сзади телегу и, нахлестывая Карьку, перевез свое богатство в колхозную бригаду, которая размещалась в надворье раскулаченного тестя Валявина.

— Вот оно все мое единоличество, — сказал Филя.

— С таким достоянием, Филя, на тот свет в самый раз никаких излишков, — посмеялся бригадир Фрол Лалетин, такой же рыжебородый, как и Филимон.

— Корову тоже привести?

— Держи у себя. А вот телушка, видел, стоящая. Добрая корова вырастет. Отведи ее на нашу ферму.

— Ишь как! — щелкнул языком Филя. — Как же без мяса проживу? Силов не будет на работу.

— Проживешь старым жиром, — хлопнул по тугому загривку Филя Фрол Лалетин. — Хозяйство-то промотал — хоть телушку приведи в колхоз.

— Ежели так, берите и телушку — согласился Филя, и даже повеселел, как бы освободившись от непомерной тяжести. — Все едино, мороки меньше.

Долго стоял на пригорке, глядя на седой тополь. Тонкие и толстые сучья — до ствола в наметах куржака, как в иглистом серебре, сухо пощелкивали.

«Эх-хе-хе, горюшко людское — подумал Филя. — Не выдрать тебя из земли, не изничтожить. Тятенька жил так, а меня вот кувырнуло вверх тормашкой: в колхоз записался. В коммунию попер, якри ее. А што поделаешь?»

II

Из города вернулся Демид в леспромхоз.

Лохматая тайга встретила Демиду пахучестью хвойного леса, работающим народом, перепевами зубастых пил, вкусными щами в орсовской столовке, и что самое интересное, Демид сразу стал самостоятельным парнем. Никто не попрекал его куском хлеба — он ел свой.

Тайга, тайга!..

Близкая и таинственная, она звала к себе юное сердце Демиды, будоражила кровь, и он, забывая обо всем на свете, работал с лесорубами, довольный собственными, хотя и небогатыми, получками зарплаты. Вернулся он из города возмужалым, рослым и стал работать по сплаву леса. Беспокойный и бесстрашный, неломкий в трудных переплетах, рыскал он по таежным рекам месяцами, подгоняя хвосты молевого сплава. Как-то по мартовской ростепели навестил Демиду отец на дальнем лесопункте Тюмиле. Демид жил в бревенчатом бараке, в самом конце, в отгороженной досками клетушке. «Чистый

свинарник» — отметил Филимон Прокопьевич, втискиваясь в клетушку.

Застал сына за скудным обедом. На голом столе картошка в кожуре, щепотка соли, кирпичина черного хлеба, медный, прокоптелый на кострах чайник и алюминиевая кружка вся во вмятинах. Стены проконопачены мхом. Деревянный топчан накрыт серым одеяльцем, вместо подушки — комом свернутая телогрейка. На стене брезентовый дождевик с обтрепанными рукавами, нагольный полушубок, да еще ружье — «из дорогих, должно, бескурковое. Стоящую премию цапнул».

Единственное окно с одинарной рамой оледенело снизу доверху.

— Эх-хе-хе, постная у тебя житуха, Демид. — Филимон Прокопьевич оглянулся, куда бы сесть. Две чурки, на чурках доска неструганая. Демиду только что назначили прорабом. И он жил тут же, на лесосеке, не покидая своего участка. — Вроде в начальниках ходишь, а взгляд копеечный.

— Не жалуюсь.

— Оно так. Поди, весь заработок на займы отдаешь?

— Сколько полагается, отдаю.

— Одичал, вижу. Рубаха-то с грязи ломается.

Демид перемял широкими плечами:

— Тут ведь тайга, папаша. Всяко приходится жить.

— Оно так. И холодом, и голодом, а мильенами ворочаете. Лес-то куда турите? За границу? Эге! Кто-то греет руки на нашем нищенстве.

— Кто же это греет? — синева Демидовых глаз скрестилась с отцовской хитринкой.

— Ты грамотный, сам должен понимать — кто. И в библии про то сказано. «Оскудеет земля под анчихристом, и люди станут, яко черви ползучие — во грязи, во прахе, в навозе, и без всякой людской видимости».

Демид посунул от себя картошку, поднялся с табуретки:

— Ты что, библию пришел читать?

У папаши нашлось более важное заделье:

— Посодействуй, слышь, устроиться в лесники на Большой кордон. Не по ндраву пришлась колхозная житуха. Не житье — вытье. Один — не тянет, не везет, другой — на небо поглядывает. Третий ворон считает. А все не прибыль, а убыток. Порешили стоящих

мужиков, а голь перекатная из века в век с куска на кусок перебивалась. Глаза бы не зрили.

— На единоличность потянуло? Филимон Прокопьевич махнул рукой:

— Отторглась единоличность. Как костыль из души вынули. Тапереча одна линия — в пустынность, чтоб глаза не зрили этакую житуху.

— Нету такой пустынности на земле.

— Как так? А Большой кордон? В самый аккурат. Избу новую поставлю на свой манер, коровенка, лошаденка...

— Иконы туда перевезешь?

— А што? Перевезу. Не груз — руки не оттянут.

— Кончать надо тебе с иконами.

— К анчихристу перекатиться?

— И с антихристом кончать надо.

— Ишь ты! Отца учишь!

— Не учу, советую. Ничего ты не достигнешь ни с иконами, ни с антихристом. Берись за дело.

— Толкую про дело. Устрой в лесники. Самое по мне.

— Рановато тебе в лесники — пробурлил Демид, косясь на полнокровное лицо папаша. — Иди в бригаду лесорубов.

— Несподручно. Сила не та, штоб лес ворочать.

— Силы у тебя за четверых.

— Все может быть. Но силу надо расходовать умеючи. Не ровен час — надорвешь жилы, а ради какой корысти?

— Не буду я тебя устраивать в лесники.

— Ишь ты, как привечаешь! — крикнул Филимон Прокопьевич, поднимаясь с лавки. — А вроде сын мой, а? Истинно сказано: «И станет сын врагом отца своего, брат подыметя на брата, а сама земля остынет. Не будет ни тепла, ни людства, никакой другой холеры» — вещал Филимон Прокопьевич. — И еще скажу тебе...

И тут только Филю осенило: перед ним вовсе не Демид, а братан Тимофей, каким он запомнил, когда брат приехал из Петрограда. И поджарость та же, и прямина спины, и разлет бровей, и малая горбина на носу, и лбина Тимохин!

Так вот что подмывало под сердце Фили, когда он вошел в клетушку Демиды. Он встретился с Тимофеем. Истинно так!

«Удружил мне тятенька, царствие ему небесное, — ворохнулась тяжелая дума. — Если умом раскинуть: в каком родстве я состою с Демидом? Кто он мне? Сын аль братан?»

В самом деле — кто Демид Филимону Прокопьевичу? — По жене Меланье — как будто сын. А если взять по Прокопию Веденеевичу, от которого Демид на свет появился, то брат, выходит? И кем будут доводиться Филе дети Демиды? Внучата иль племянники?

«Ах ты, якри тебя в почки, — сокрушался Филя, топчась на одном месте. — Стыдобушка-то какая, а?»

— Ну я пойду, прощевай, — заторопился Филимон Прокопьевич, запахиваясь полушубком.

Демид удивился, что за перемена произошла с отцом.

— Погости — пригласил сын. — Схожу в столовую — обед принесу. Мы хоть и бедно живем, а щи в столовке имеются.

— Спасибочка на приглашеньи. Без щев обойдусь. А ты што же к матери не наведываешься? Уж если ко мне прислон не удержишь, то про мать-то пошто запамятовал?

Демид сказал, что скоро переберется в Белую Елань и будет там жить.

— Сплавконтору откроем.

— Ишшо одну контору? Повелось же! В колхозе у нас контора, в сельсовете тоже — секлетарь пишет, в леспромхозе еще одна контора, и прииск открыл свою контору. Ловко! А мы-то жили, якри ее, никаких контор не видали.

— Вы — жили! — усмехнулся Демид, и опять Филе показалось, что даже усмешка у Демиды Тимохина. — Одни молились из избы в дырку на восток, другие — на рябиновый крест. Холстом покрывались и дерюгою одевались. И тоже — жили!

— Оно так. Из холста не вылазили — поддакнул Филимон Прокопьевич, а сам подумал: «Истинный бог, вылитый Тимоха! И голос с той же глухостью, и глазами пробирает до нутра, как Тимка. Оказия! Што же происходит, а?»

А сын Демид спрашивает:

— Хотя бы тополевыи толк. К чему он привел? У Фили захолонуло внутри, будто схватил стгоряча ковшик квасу со льдом.

— Толк-то? Пропади он пропадом.

— Ты же ему веруешь?

— Я-то? Што ты, Тимоха! — вырвалось у Филимона Прокопьевича. — Господи помилуй, Тимофея вспомнил. К добру ли?

Демид потупился и смял в пальцах махорочную сигарку. Он не раз слышал от односельчан, что очень запахаживает на дядю Тимофея и что Филимон Прокопьевич ему не отец.

Но в каком же дурацком положении оказался сам Филимон Прокопьевич, менее всего повинный во всей этой истории?!

— Раздевайся, отец. Я сейчас схожу в столовку, что-нибудь сготовят. Медвежатины попрошу поджарить.

— Пост ноне. Мясного на дух не подпущу до самой пасхи. Разве постных щец похлебать?

— Найдем что-нибудь. Завтра вместе поедем домой. Ты с попутчиками? А нет, так у меня юсковский рысак есть — моментом домчит.

— Ишь ты! Юсковский! Который год, как их вытряхнули из деревни, а рысаки живут. Хо-хо. Чего не переживешь и не перевидаешь.

Демид раздобыл в столовой постного масла, мороженой рыбы — ленков и хариусов, сам поджарил рыбу, чем не в малой мере удивил Филимона Прокопьевича, и угостил отца на славу. Отец подобрел, отмахнулся от навязчивой и сердитой тени брата Тимофея и даже позволил себе пропустить чарку водки — свершил тяжкий грех.

— Жили-то мы как, Демид? — бормотал повеселевший Филя. — И то нельзя, и это непозволительно. А штоб вином умилоствиться — оборони бог. Отец насмерть пришиб бы. Так и говорил: со щепотником, бритоусцем, чаехлебом, табачником — не водись, не дружись, и не бранись. Великий грех будет. А ты усы бреешь, табак куришь, постов не блюдешь, а ничего — живешь и в ус не дуешь. Никакой холеры не боишься. Вольготно так-то.

Филя призадумался.

— Жизнь вся перевернулась вверх тормашкой! Будто старого вовсе не было. Хотя бы вот наш тополь. От мово прадеда происходит. Как думаешь: грабануть бы его под самый корень, а?

Демиду тоже не раз довелось подумать о тополе. Но можно ли одним топором разделаться с памятью старины? Со всеми предками? Не угодно — взял и вырубил под корень. Все равно, что перечеркнуть собственную фамилию.

— Что он тебе, тополь?

— Застит окошки, якри его.

И долго еще Филимон Прокопьевич поведывал сыну Демиду про старину, про брата Тимофея, как малый Тимка порубил иконы в моленной горенке и потом бежал в город, и одиннадцать годов глаз не казал дома, а заявился из самого Петрограда насквозь красным — от ушей до пят, так что краснее его никого на белом свете не было.

В печурке звонко потрескивали еловые дрова. Чугунная плита пылала, как борода Филимона Прокопьевича. В бараке кто-то пел песню без начала и конца, а Филимон Прокопьевич, удобно устроившись на деревянном топчане, может, впервые почувствовал себя отцом Демиды. И сам Демид звал его не тятенькой, как девчонки, а именно отцом — создателем всей живности на земле.

«Эх-хе-хе! Вот она, жизнь человеческая! — размышлял Филимон Прокопьевич. — Никому не ведомо, куда повернет тебя судьба!.. Вот он, хоша бы Демид. Худо, хорошо ли, а выгнул-таки на свою линию — начальником стал! Недаром сказано в писании: «Судьбами людей наделяет бог с высоты седьмого неба».

III

Не думал Демид, с высоты какого неба бог распоряжается его судьбою.

Давно растолкнулся он с отчим домом и со всеми его богами, редко наведываясь даже к матери.

И кто знает, как сложилась бы дальнейшая жизнь Демиды, если бы судьба не столкнула его с красноармейкой Агнией Вавиловой.

Как-то вешним вечером Агния встретила Демиды на берегу ревучего Амыла.

«Демка! Ей-богу, он самый!» — обрадовалась Агния. Она же давно не видела Демиды. А разве не вместе сидели они за одной партой на зависть всем девчонкам?! Детство! Смешное и милое было время. Разве не Демка говорил ей, что как только вырастет, они обязательно поженятся и будут жить в городе на Енисее... Смешной парень Демка. И вот он теперь перед ней в болотных сапогах с высокими голенищами, в брезентовой куртке, поджарый и рослый, с кудрявым пшеничным чубом, чуть горбоносый, с обветренным лицом. Вот он

каким стал, Демид Боровиков! Такого Демида Агния впервые видит и робеет перед ним.

— Агния? — И голос совсем немальчишеский — грубоватый, чуть охрипший. — Ну, здравствуй, Агния. — И протянул сухую, шершавую ладонь.

— Здравствуй, Демид — промолвила Агния, не отнимая руки.

— Вот ты какая стала, Агнейка!

— Изменилась?

— Не то что изменилась, а как бы тебе сказать? В общем, не Агнейка. Что это тебя совсем не видно? Сколько раз проходил мимо Вавиловых, глядел через заплот и в окно, но ничего не выглядел. Прячешься, что ли?

— От кого мне прятаться?

— Что не бываешь в клубе, хотя бы в кино?

— Мне теперь не до кино. У меня сын растет.

— Про сына слышал. На Степана похож или на тебя?

— Весь вылитый Степан. Я думала, что-нибудь перейдет от меня. Ни капельки. Как уголь, чернявый и такой ревучий. Второй год пошел. Ну а ты когда женишься?

— Я? — Бровь Демида опять кинулась вверх и там замерла. — Молевщики говорят: «Когда Жулдет вспенится — тогда Демид женится».

— Что так?

— Да уж так. Ну а ты, счастливая?

— Мое счастье известно. Четыре стены, три коровьих хвоста, три свиных рыла, чугуны да ухваты, а потом — контора колхоза. Трудодни разношу по книжкам.

— Здорово! Ты же на геолога училась?

Агния потупила голову:

— Если бы ты знал, Дема, как мне бывает трудно! Другой раз так подмоет под сердце, что хоть с берега и в воду. Сама себе хомут надела на шею... И в техникуме не доучилась, и с кержаками не примирилась.

Да, она была чужой в доме свекра Егора Андреяновича. Высокий, вислоплечий, костистый, усатый, как уссурийский тигр, Егор Андреянович Вавилов ходил по дому тяжело, на всю ступню. Правда, Агнию он не обижал. Но была еще свекровка Аксинья Романовна, набожная староверка, суетливая и жадная. Не одну слезу уронила

Агния в пузатый двухведерный чугунок с картошкой для свиней; не один раз подкашивались ноги от усталости, а свекровке все мало. Гоняла невестку и днем и ночью. Ни веселья, ни радости. И вчера и сегодня — одно и то же. Супились брови, старилось сердце.

И вот, неожиданная встреча с Демидом! И вечер выдался необыкновенно теплый, прозрачно-синий, когда вся земля млеет в истоме после жаркого дня. Полыхала багряно-красная зарница. Лениво и сонно порхали птицы в чернолесье.

— Помнишь, как мы с тобой каждый вечер торчали где-то здесь, на берегу?

— Не здесь. У старой дороги. Там, где был паром.

Подул легкий освежающий ветерок. Дурманяще резко напахнуло молоком цветущей черемухи.

— Чуешь? — Демид раздул ноздри, приняюхиваясь.

— Черемухой пахнет.

— Черемуха — все равно что сама любовь. Носится вот так, ищет кого-то. Может, тебя?

— Что ты! — испугалась Агния.

— А я б с моим удовольствием встретил ее! Пусть бы жгла душу — не жалко.

— Ты парень. Кто что скажет?

— Степан скоро вернется?

Агния горько вздохнула:

— Он остался служить сверхсрочно. Учится в Ленинграде на командира. Обещается на побывку в будущем году.

— Понятно. — Демид поднял булыжину и кинул в улово под яр. Камень булькнул, а брызг не видно — так черно внизу. За рекою лают собаки и кто-то растяжно кричит: «Ма-аню-ута-а!» И эхо троит голос: «У-та, у-та».

По листьям плакучей ивы, склонившейся с берега к воде, пронесся внезапный трепет, точно ива продрогла. Листья зашумели, как мыши в соломе.

— Люблю ночь встречать на реке, — сказал Демид. — Вот обниму иву и буду целоваться с ней. Слышишь, как она лопочет?

— Разве девок мало на деревне? — тихо спросила Агния, а у самой сердце захолонуло.

— Моя не в девках.

— Где же? В бабах, что ли? Не Дуня Головня?

— Моя Дуня — вот она! — И, как того не ждала Агния, Демид обнял ее с такой поспешностью, что она вскрикнула.

— Что ты! Что ты! С ума сошел. Отпусти, Демид. Ну, говорю тебе, отпусти. Еще увидит кто!..

Большие карие глаза Агнии сейчас казались черными. Демид обнял ее, потеснив к старой иве. Агния хотела оттолкнуть Демиду, но руки у ней ослабли, согнулись в локтях, и она прижалась к Демиду своей полной грудью, чуть откинув голову, встретилась с его горячими, сухими губами. Мягко лопотали листья ивы над головой.

— Пусти же. Вдруг кто увидит.

— Пойдем к старому броду.

Шли берегом, пробираясь в густых зарослях чернолесья. Дикотравье цеплялось за ноги, хлестало Агнию по голым коленям. Демид крепко держал ее за руку. Еще спросил, отчего у ней ладошка холодная? Мягкие ветви черемух, осыпая белыми лепестками простоволосую голову Агнии, цеплялись за ее плечи, за пряди растрепанных волос.

Вот и прогалина, и старый брод. Здесь когда-то был паром. И Демид с Агнией часто сиживали здесь, на берегу.

Потом они пошли к старому тополю: там никого не бывает вечерами.

Агния глянула на развилку старого тополя — и ей стало жутко. Она столько наслышалась страхов про могилу каторжанина. Но ведь не одна же, с Демидом?!

Вокруг тополя — лохматые кусты черемух, боярышника, молодого топольника — тьма-тьмущая. Шумливая, загадочная и волнующая.

Слова Демиду тихие, как шалый суховей, и руки его стали горячие, нетерпеливые.

— Погоди, не трожь меня, Дема — пролепетала Агния, опускаясь на брезентовую куртку, которую Демид кинул возле тополя. — Видишь, я вся как в огне. И щеки горят, и во рту сохнет. Боже мой, с ума сошла я, что ли? — шептала Агния, глядя на лицо Демиду снизу вверх. — Глянь, как сквозь сучья тополя небо проглядывает. И мне кажется, будто мы с тобою никогда не расставались, Дема.

— Милая моя Агнейка! Ты для меня всегда будешь Агнейкой, какую я знал.

— Если бы я не была дурой, разве бы выскочила замуж за Степана?

Тихо, словно спросонья, бормотал старый тополь, будто ему известно было нечто важное и значительное, чего не могли знать ни Демид, ни Агния.

Листья-лапы казались черными. Примятая трава терпко пахла мятой. Откуда-то тянулись перепутанные нити хмеля, зелеными пуговками обвисая плетями с толстых сучьев.

В небе одна за другой зажглись звездочки-свечки — яркие, лучистые. Агния запомнила их на всю жизнь. Они глядели прямо ей в глаза через листву, ласково помигивая. К ее ресницам протянулись тонюсенькие лучики-паутинки. Если бы их поймать, намотать на клубок, можно было бы соткать нарядное праздничное платье — мягкое, легче шелкового, и теплое. Потому что ниточки от звезд должны быть теплыми.

И ниточки и звездочки пронеслись и сгасли.

Агния только видела его глаза — Демидовы, и они тоже горели, как две звездочки, неодолимо притягивая ее к себе...

IV

А назавтра, чуть сизый дымок затянул горизонты тайги, когда горкло запахло сыростью пойменной низины и лес налился густой чернью и прохладцей, Агния спешила, летела по заброшенной дороге, густо заросшей кудрявым подорожником.

Прочь, прочь от постылых вавилонских стен! От безрадостной, ледяной кержачьей твердыни, от угрюмого ворчанья свекровки! Скорее, скорее на простор, туда, к тополю! Там ждет ее Демид. А с Демидом она готова хоть на край света!

От зноя в сердце, от необоримого желания снова увидеть его, она бежала и ног под собой не чувала.

Вот и скамеечка бабки Ефимии.

Скамеечка была пуста. Но с другой стороны тополя, на разостланной брезентовой куртке, поджидал ее Демид. Он вскочил, как только услышал легкие шаги.

— Агнюша! Пришла... А я уж думал...

— Дема! Милый!.. Я вся дрожу! Я так бежала. Этот тополь. Что это он? Ветра нет, а тополь шумит.

— Он всегда шумит.

— Тут, говорят, часто бывает бабка Ефимия. Лучше уйдем отсюда. Я боюсь.

— Что ты! Здесь хорошо. Сюда никто не придет.

— Дема, милый, я умру без тебя — шептала Агния, прислушиваясь, как сердце Демида стучало ей в грудь. — Без Степана могла пять лет жить — без тебя пяти дней не проживу!.. И как будто заново народилась. Как будто и не было ничего: ни Степана, ни Андрюшки... Во всем теле у меня теперь такая робость, будто я ничегошеньки не знаю. Как девчонка...

— Я тебя люблю, Агнюша.

— Как же нам быть-то теперь, а?

— Может, осенью уедем отсюда.

— У меня же Андрюшка, милый!

— Ну и что?

— Ах, какая же я дура! И зачем я только тогда за Степана выскочила? Ведь не любила же я его, не любила. Я это и тогда чувствовала. И как я теперь буду тятю в глаза смотреть?

V

...Его все звали Зыряном, будто у него не было ни имени, ни отчества. Ребятенки, играючи, подражали его неторопливой походке, изображая Зыряна за штурвалом «Коммунара» либо за рычагами ЧТЗ. Никто в Белой Елани не мог бы представить себе старого Зыряна без трактора или комбайна. И если кто тужился вспомнить, когда в Белой Елани появился первый трактор, то вместо трактора прежде всего видели Зыряна — кривоногого, приземистого, с рыжими усиками и седыми патлами кучерявых на темени волос.

Зырян сел на трактор «фордик» еще в двадцать седьмом году в коммуне «Соха и молот», куда он ушел из деревни. Позднее коммуна влилась в колхоз «Красный таежник», и Зырян притащил на тракторе американскую молотилку — достояние коммунаров.

Многие трактора побывали в цепких руках Зыряна. И тучный, прожорливый «катерпиллер», и капризный, привередливый на горючее «валлис», и первый Путиловский с бобиной, не терпящий пыли и сырости, и длинношпорный СТЗ, урчащий, будто внутри его сталкивались громовые тучи, и грузный, тяжелый ЧТЗ. Так что всю технику колхоза Зырян познал практически. Посутулился мужик, а все еще крепок на ногу, ядрен, как лиственный пенёк, — не столкнешь.

Под крышею зыряновского дома, прячущегося в ограде в зарослях черемуховых кустов, жил немирный дух хозяев. Сам Зырян после гражданки был председателем сельсовета, нажил себе много недругов, но никогда не падал духом. Случалось, туговато было. Ни хлеба, ни табаку, но не лежал на боку — работал.

Анфиса Семеновна — дородная, статная, родившая Зыряну двух дочерей и сына, чуть курносая, белолицая, нестареющая бабенка, умеющая отпотчевать гостей и отшить недругов, под стать была своему супругу. Зырян называл ее Метлой, изредка — милой Метлой, что было высшим признанием заслуг супруги.

В зыряновском доме чаще пели, нежели плакали, Сам Зырян приналегал на тальянку. Вечерами выходил на лавочку под черемухи и начинал поигрывать «На сопках Маньчжурии», полюбившуюся ему за минорные переливы. В такие моменты он не смеялся, не шутил, а усердно растягивал пестрые мехи тальянки, чуть склонив голову набок, как бы прислушиваясь к чему-то.

Дом Зыряна делился на две горницы и кухню с перегородкой, где стояла железная койка Зыряна, до того узенькая, похожая на плаху, с волосяным матрацем, на которой телесная Анфиса Семеновна и дня не улежала бы.

VI

...По весне, когда на Амыле трещал синюшный лед, а на займищах успела пробиться изумрудинка зелени, Зырян застал студентку дочь в пойме Малтата со Степаном Вавиловым. Уж чего-чего, а такого позора Зырян не ждал. Его дочь! Агнюша! Так вот ради чего она покинула геологический техникум. Еще год — и дочь стала бы геологом-изыскателем. Она бы порадовала сердце Зыряна, всегда помышлявшего об открытии чего-нибудь необыкновенного, так чтобы

утереть нос кержакам Вавиловым, этим «твердолобым тугодумам», которых он ненавидел. Это они, Вавиловы, к делу и не к делу поднимали на смех Зыряна, видя в нем потешного человека без всякого смысла, некую увеселительную побрякушку.

Зырян не любил их кондовые твердыни, не хаживал к ним в гости. Они последними вошли в колхоз, но и там держались плечом к плечу. Никакая новь не волновала Вавиловых: ни первый трактор, ни комбайн, ни сложная молотилка МК-1100, ни радио, ни веселье клуба, куда они почти не заглядывали. Таким же был Степан, сын Егора Андреяновича. Взгляд исподлобья, косая сажень в плечах — весь из кержачьей кости. Три года водил трактор СТЗ, получал премии, и все-таки чужим был. Не раз Зырян пробовал пробить вавиловскую броню на сердце Степана, да ничего не вышло. И вот с этим-то парнем-нелюдимоном согрешила его Агния.

— Эх, доченька, удружила ты мне потеху! Век не забуду. Лучше бы ты в подоле тайменя принесла, чтоб тебя черти побрали! Срам на всю деревню! — костерил дочь Зыряна, конвоируя ее от поймы Малтата до села.

Следом за ними шел Степан, точь-в-точь медведь крался по следу. Слышно было, как он бухал сапожищами и сопел.

Невдалеке от крестового дома сельсовета Степан позвал Агнию.

— Зайдем, что ли, в сельсовет, — сказал он, опередив Зыряна.

— Куда ты ее зовешь, кержак? — вспыхнул Зырян.

— В сельсовет — невозмутимо ответил Степан.

— Это... зачем в сельсовет? По какому случаю?

— Запишемся, вот зачем.

— Куда запишетесь?

— На мою фамилию, Вавиловой будет, не Зыряновой. Ясно? И вы не очень-то разоряйтесь. Она самостоятельная. Может сама решать вопросы как и что.

Так Агнюша и ушла со Степаном. Зырян выкинул ее пожитки, накричался в границах собственного дома, дав зарок не видеть больше дочь и заявив, что Агния ему вовсе не дочь, а так, черт знает что такое.

Прежде чем ввести Агнюшу в дом, Степан долго разговаривал со своими, оставив невесту под крышей завозни. Тут ее и застал свекор, Егор Андреянович. Он вышел к ней в подштанниках, высокий, белоголовый. Присмотрелся, как к некой диковинке, ковырнул:

— Пришла, стал быть? Корень зеленый! Ишь ты! Как же Зырян? Супротивничает? Пустой человек Зырян. Смысла жизни не имеет. Ему бы звезды считать, а не дом вести. Это ничего, что ты пришла. В нормальности. Свадьбу справим.

На вешнего Николу Егор Андреевич справил сыну богатую свадьбу.

Вавиловы жили по старинке, только не постились. «Я грешник с ребячества, — говорил Егор Андреевич. — Но Миколу угодника ввек не забуду. На Миколу, паря, жеманул меня медведь. Перепоясал вот эдак, тиснул, а я, господи помилуй, обратился к Миколу угоднику. Ведь как приспичило! Имя забыл. Мне надо бы Егория вспомнить, а я — Миколу. И помогло. Косолапый замешкался, а я пырнул его под лопатку. Аж до рукоятки завязил нож. Так он и осел, как мешок с пшеницей».

Когда сватья Маремьяна крикнула: «Горько!» — Степан, сдвинув брови, поцеловал красавицу Агнию, как деревянную икону, вскользь, мимоходом. Никогда ей не было так тяжело, как тот раз, когда Егор Андреевич подвел ее со Степаном к постели. «Ну, детки, живите, милуйтесь, корень зеленый!» И сам обнял Агнию. Поцеловал в шею, потираясь пышными усами, а Степан смотрел на нее, как на подпиленную березоньку. Что было в его взгляде? Кто его знает! В семье он слыл за молчуна, смирягу, как и его дядя Санюха, медвежатник об одном глазе. Другой раз скрипнет зубами, сомкнет брови, и с тем уйдет, не обронив слова.

Все лето Агния работала учетчицей в тракторном отряде, втайне помышляя уйти в геологоразведку. Осенью Степана призвали в армию.

VII

Лихо отплясав на проводах, проломив половицу в отцовском доме, Степан еще в ту пору надумал не возвращаться в Белую Елань. Опостылел ему отцовский дом.

Взьерошивая пятерней нечесаную заросль волос, грозя коротким толстым пальцем, Егор Андреевич наказывал: «В армии, Степан, держись на определенной струне! Ты Вавилов. Корень у те ядреный. Я преж, бывало, служил на флоте его императорского величества, на крейсере «Новик». В сраженьях за Порт-Артур был не последним, за

что поимел награды, а также и звание георгиевского кавалера. Смыслишь? Мотай на ус!»

Всхлипывая в подушку, Агния жаловалась, что сума сойдет от тоски, а Степан, вперив немигающий взгляд в горбину матицы, лежал подле нее, как бревно, прибитое течением к берегу. Подойдет волна — бревно унесет дальше. Не влюбил он Агнию-мечтательницу, хоть и сам привел ее в дом. Работящая, кроткая, она, как вьюн, вертелась по дому, угождая суровой свекровке, Аксинье Романовне, и теряясь под чугунным, неломким взглядом ядреного свекра.

— Ты хоть скажи: как мне жить? — спрашивала она Степана.

— Иди в тайгу. Собиралась же?

— Я же... беременная.

— Не всю жизнь будешь беременной. Родишь. Обыкновенно.

— Не любишь ты меня, Степа, совсем не любишь!

— Хватит. Слышал. Спать надо.

Так и лежали друг подле друга, законные муж и жена, а в действительности — чужие люди, каждый наматывая на свой клубок собственные думы: Агния — таежные, приисковые, Степан — армейские. «Останусь сверхсрочным, командиром буду, как Жарлыков».

Агния боялась, что не примут ее родители с ребенком, а у Вавиловых оставаться не хотела. «И буду ходить я по тайге с малым дитем на руках! Вот и техникум мой, и вся геология!» И тихонько кусала наволочку подушки.

По приморозку, звонко скалывая синюшную накипь льда на лужицах, на паре племенных жеребцов Мамонт Головня отвез призывников на пристань в Минусинск. Хмельной Степан, бесчувственно свалившись в дрожках, не слышал, как Агния, утирая платком щеки, причитала над его черной головушкой, чуя сердцем долгую разлуку.

Когда пароход, такой же белый, как пена тумана, отчалил от берега, медленно разворачиваясь на обмелевшем фарватере, Агния все еще стояла на берегу и махала клетчатым платочком с узорной обшивкой. Игнат Вихров, Мишка Спиваков, Васятка Пашенный дружно кричали ей «до свидания», а Степан так и не поднялся на палубу; выглядывал из окна. Он и парнем чурался людей. Жил, как и отец, по-вавилонски скупко роняя слова в текучую жизнь.

В марте, когда небушко над тайгою румянили вешние зори, а из тайги по отталке напахнуло йодистым запахом прошлогоднего вытаявшего разнотравья и с заречных целинных земель подули теплые ветры юга, уминая глубокие снега под настом, Агния родила сына.

Вечером она еще подоила двух коров и, натруждаясь ведрами, принесла с речки, кипевшей наледью, студеной воды, а ночью подоспели роды. Они пришли вдруг сразу, во сне. Агнюша проснулась от нещадной боли. Путая черные волосы по подушке, скорчившись под суконным одеялом, она потихоньку стонала, боясь нарушить сторожкую тишину избы. Скажут еще кто знает что! Вавиловы не любят слабых людей. Мало ли кто не мается животом? Но боли не проходили. В избе пошумливали хриплым маятником ходики. В окне виднелась сучковатая голая береза. Крестовина рамины, уродливо вытянувшись по полу от лунного наводнения, лежала во всю горницу до деревянной кровати. Слышно было, как Аксиныя Романовна что-то проворчала спросонья, а кошка, мягко шурша под печкою, мяукала подле котят.

— Степа! Маменька! — крикнула Агния. Внизу живота ровно что-то рвалось, распирая бедра и схватывая за сердце.

— Ты чо орешь? — окликнул свекор и тут же захрапел.

Обомлевшая, испуганная Агния, не помня как, скатилась с кровати на крестовину лунной тени. Она не слышала, как проснулась Аксиныя Романовна, вздула огонь, как подняла ее на кровать, подостлала рядом, как пришла повивальная бабка — все это прошло в тягостных муках.

— Внук, корень зеленый! — обрадовался Егор Андреянович.

Через три дня новорожденного осмотрел патриарх рода Вавиловых, сам Андреян Пахомович, скуповатый на теплынь любовную к правнукам.

— Надо бы Алексеем назвать, — сказал патриарх, — но не наше имя, не вавиловское. Будет Андреем. Так и запишем. Да не мешкайте, завтра призовите духовника и будем крестить по-нашему старообрядческому обычаю. Без крещения — на глаза не кажите.

Записали новорожденного, окрестили, справили крестины Андрею Вавилову.

Не скоро откликнулся на счастье отцовское Степан. Каждую неделю Агнюша слала мужу письма в Ленинград, но муж молчал, будто утоп где-то там в Неве. Егор Андреянович сам написал забывчивому сыну письмо с пристыдкой, и от Степы пришла долгожданная весть из ленинградского военного училища. Ни искорки не было в том письме. Агния перечитывала его много раз, а все не грело, ровно льдину прислоняла к сердцу.

И чудилось Агнии, что у Степы есть зазноба в Ленинграде. И город-то на Неве она представляла каким-то странным, громоздким, с длинными прямыми улицами, с туманами, этаким серой громадиной! Она любила тайгу, лес, дебри. От неба до неба синегрудую тишь, изморозь по первопутку, керосиновые огни в раминах — все это пленило ее простое сердце, и она не помышляла покинуть свою обетованную землю. Здесь все такое близкое, родное!

VIII

А любовь? Про любовь не думала Агния. Кто же ее, любовь-то, из баб или молодух в деревне видывал?

За три года замужества Агния глаза в стручок спрятала. Певуньей была и самой красивой девкой в Белой Елани. А тут — увяла, как цветок, раздавленный копытом.

— Агния-то как переменилась в доме Вавиловых! — судачили бабы.

— И! Как ковшом кто вычерпал.

— У Вавиловых расцветешь! Свекровушка — полынь горькая. На зубах не разжуеть и внутрь не проглотить.

— Степан-то пишет ей?

— Пишет будто. Сверхсрочным остался в армии. Потом, как заявится, подхватит любую девку — и был таков.

— У ней же сын растет.

— Мало ли што! С тремя бросают, а то с одним.

Пересуды смущали, точили сердце Агнии, и она все чаще, смыкая черные брови, задумывалась, входя в дом Вавиловых, как в тюрьму.

Вавиловы хоть и в колхозе работали, а службу старообрядческую справляли по всем правилам, особенно свекровка, Аксинья Романовна. Станет перед иконами и частит лоб двумя перстами, бормочет молитву.

С переднего угла, заставленного темными ликами старинных икон, несло чадом лампы и еще чем-то горьким, перегорелым, как сырая трава на огне. Свекор, Егор Андреянович, молитв не читал и двоеперстием будто отмахивался от мух. Мужик он был в завидной силе — семнадцать пудов навьючит на хребет и не согнется. Вечерами он играл на однорядной гармошке. Клапаны у гармошки западали, и она то визжала, то подвывала хриплыми басами.

— Люблю музыку, Агнеюшка, — скажет иной раз свекор, а сам подмигивает невестушке. — Скушнота без музыки, истинный Христос. Другой раз до того свербит в душе, будто кто там ногтем ковыряет, корень зеленый. А я как возьму ее, милую, растяну пошире, враз сердце опреснится, будто ветрам обдует. Эх, кабы мне, Агнеюшка, лет двадцать сбросить с хребта, я б еще так завьюживал, ох-хо-хо!

— И, бабник окаянный! — встрянет в разговор Аксинья Романовна. — Мало тебя носило по деревне, лешего, ишло ноздря свистит, штоб тебя расперло!

— Ну, понесло мою телегу! — отмахнется от жены Егорша.

Вавиловы жили зажиточно. Сам Егорша выработывал до шестисот трудодней. С весны до лета на посевной в тракторной бригаде, потом на сеноуборочной, а как поспевали хлеба — становился машинистом на молотилку МК-1100. И на пасеке мог работать, и в кузнице, и по столярному ремеслу. В личном хозяйстве держал двух коров и нетель, два десятка пчелиных улей и выкармливал две-три свиньи. Огородище охватывал чуть ли не гектар. И со всем хозяйством надо было успеть управиться. Свекровка поднималась потемну, а за нею — Агния. Нароботавшись дома, Агния шла в контору колхоза.

Бежать бы Агнии от Демида, но куда убежишь от собственного сердца, от желанья снова и снова видеть его?!

Никуда она не уйдет и не убежит от Демида. К чему бежать от самой себя? К чему ей, Агнии, постылые вавиловские стены, коровьи хвосты и свиные морды? Вот он рядом с нею, молодой парень, чуть моложе ее, которого она тайком поджидала в пойме Малтата еще тогда, в детстве. Пусть они в то время были несмышленими, но ведь и молодой квас и тот играет.

А тополь шумел и шумел предостерегающим мудрым гудом.

Вокруг тополя лохматые кусты черемух, боярышника, молодого топольника — и тьма-тьмущая. Шумливая, загадочная, волнующая.

Невдалеке брякало ботало на чьей-то блудливой скотине.

Возле ствола тополя — скамеечка бабки Ефимии. Сколько раз Демиду доводилось видеть старушонку, как она, вся в черном, кутаясь в шаль даже в теплый день, пробиралась к тополю и коротала здесь время.

— Тут хорошо, Дема, и совсем не страшно, — шептала Агния, обрывая с хмелевой плети липкие бархатные шишечки. — Мне всегда кажется: тополь живой. А вдруг он заговорит, а? Мы ведь на могиле каторжника. Слышишь, Дема, шумит тополь? Как в сказке,

— Горькая сказка, — откликнулся Демид, накинув на плечи Агнии свою куртку.

Еще не потемнила ночь двуглавую вершину тополя, еще не успела Агния прильнуть к Демиду всем сердцем, как невдалеке за кустарником послышался мягкий, шуршащий хруст веток: кто-то шел. Агния спохватилась и, отступая вместе с Демидом, спряталась возле черемух. Вскоре к тополю вышло нечто скрюченное и черное — бабка Ефимия!

— Я же говорила!

— Вот еще черт носит старушонку.

— Тсс!..

Бабка Ефимия по-хозяйски уселась на собственную скамеечку, передохнула и, осенив себя крестом, опустилась на колени.

— Помолится и уйдет, — сказал Демид.

— Погоди, послушаем.

— Будто реченье слышу? — раздался скрипучий голос бабки Ефимии.

Демид фыркнул в кулак.

— Яви мне свет лица твоего, создатель! Просветли душу, ибо силы мои иссякли и телом я немощна. Исцели меня, господи, вдохни в сердце мое силу, чтобы могла я вознести молитву во славу твою, ибо в смерти какая сила? Каждую ночь слезами омываю ложе. Изверилась я! Доколе же люди скверну творить будут? И будут ли когда постыжены и посрамлены враги твои, яко твари ползучие? Чую снова приближение львов рыкающих, и сердце мое от страха делается, как воск. Сила моя иссякла, память ослабла, язык прильнул к гортани, и приближаюсь я к смертному одру... Доколе же глаголить мне? Слово мое — яко звук, исторгнутый в пустыне... И скопище злых духов снова обступило

меня. Чую, чую, как поднимаются они вокруг! Они пронзили руки мои, и ноги мои, и пальцы мои. Они смотрят на меня, яко звери рыкающие!.. Крови они жаждут. Крови!..

— Как страшно, Дема! — молвила Агния, теснее прижимаясь к Демиду.

— Тронулась она, что ли?

— Слышу, слышу, создатель! — вещала бабка Ефимия, глядя вверх на сучья тополя. — Повинуюсь во всем тебе, господи! А жалко, жалко учителя-то Лаврищева, Добрый был человек. Добрый.

— Что это она? Про Лаврищева что-то бормочет.

— Жалеет. Разве ты не слышал, что учителя Лаврищева арестовали? Как врага народа, говорят.

— Ерунда! Какой он враг?

— И в газетах сейчас пишут про разные разоблачения врагов народа.

— Не верю я... Старухи всегда о чем-нибудь каркают.

— А мне страшно, Дема!

Старуха запела что-то тонюсеньким детским голосом. Слов не разобрать.

— Что это она?

— Это она всегда так. Песни про любовь поет.

— Про любовь?

— Ага. Я слушал раз, она песню Соломонову пела.

— Песню Соломонову? — вдруг спросила бабка Ефимия, оглянувшись. — Чей голос слышу, господи? Не твой ли, Амвросий праведный? Не твой ли дух поднялся со дна моря Студеного? Не ты ли, Амвросий, ждешь меня в своей пещере каменной, чтобы принять просветление души? Утоли мою жажду, господи! Яви мне лик Амвросия Лексинского! — неистово молилась старушонка, глядя на сучья тополя, как на лик господа бога. — И песню песней пропою тебе. Возверни мне младость души моей, чтоб узрила я берега Лексы и Выги и Студеного моря, чтоб сподобилась жить во граде Китеже святейшем! Сведи меня, господи, с возлюбленным моим, и я скажу ему: «Приди, возлюбленный мой, выйдем во поле и поглядим, распустилась ли виноградная лоза? Раскрылись ли почки на деревьях? Расцвели ли гранатовые яблони? Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь,

люта, как преисподня, злая ревность, и стрелы ее — стрелы огненные...» А род человеческий неисправим. Во грехе и блуде пребывает. Быть крови, быть! Грядет анчихрист, грядет! Чую я, чую!.. Слышу тебя, Амвросий праведный! Гонение будет, гонение! И Боровика Тимофея, и возлюбленного моего Лопарева, и Лаврищева учителя уже увели...

— Мне страшно, Дема.

— Ну чего ты, глупая? Ты же со мной, — успокаивал Демид, а у самого мурашки по спине бегали,

— Бежим, отсюда, — пятилась Агния.

— За что же арестовали Лаврищева? И Мамонт Петрович говорит: «У кого-то мозги свихнулись набекрень».

IX

Шли дни — перемежалось погоды ненастьем. Плыли толстые и тонкие бревна по Амылу, Разлюлюевке, Кижарту и по другим рекам леспромхоза. Демид носился от реки к реке, подгонял молевщиков, и сам работал с багром, но не было такого дня в неделе, чтобы он не встретился с Агнейкой.

Не один раз старик-тополь прикрывал грешную любовь Агнии и Демиды своими пышными ветвями, осыпал полумесяцами сережек, серебрил их головы летучим пухом.

После каждой ноченьки, желанной и бессонной, у Агнии опускались руки от бессилья и подкашивались колени. Ее полные заветренные губы шелушились, а в карих глазах неугасимыми искрами теплилась всеми охаянная любовь.

Так и пролетела эта хмельная весна 1937 года.

Брызнуло жаркое лето.

За летом наплыли густые осенние туманы.

Снова непогодь пеленала землю...

X

Хвост молевого сплава вышел в устье Малтата в первых числах сентября. Малтат обмелел, и по его дну перекачивались листовенницы-утопленницы, закупоривая русло.

Рабочих на сплаве не хватало, и Демид день и ночь бродил в ледяной воде с багром в руках, проталкивая на отмелях и подтягивая к берегу ослизлые лиственницы и осины.

— Проклятые утопленницы! — ворчал Демид. — И когда же мы от них отделаемся?

Возле старого брода образовался большой затор. Двое суток бригада молевщиков билась на заторе, растаскивая бревна баграми. Река пучилась в запруде, вскидывая серебряную гриву сыпучих брызг.

К вечеру Демид так изматывался, что даже и не ходил в деревню, а коротал ночи тут же, у чадных костров, подкрепившись скудной артельной похлебкой.

Как-то раз, наработавшись на заторе, но так и не пробив пробку, Демид решил сбегать в деревню: кончились сухари и другие припасы, да и Агния давно не шла.

— Сбегаю сегодня в деревню. Попарюсь, — сказал он Павлухе Лалетину, своему напарнику. — Ноги чего-то ломит...

— Знаем мы твою ломоту! — заржали мужики. — Валяй, валяй. Да, смотри, чтоб к утру вернулся.

Берегом, напрямик, не чуя под собой ног, помчался Демид в деревню. И вдруг у самой обочины дороги, за кустами черемух он услышал голос: не то зверь скулил какой, не то ребенок плакал. Демид кинулся на голос и увидел на заброшенной дороге Аниску, дочь Мамонта Петровича Головни. Девочка сидела, ухватившись за голую ступню, и, покачиваясь, бормотала с подвыванием:

— Ой, чо теперь будет! Ой, чо будет?..

— Аниса! Уголек! Что с тобой? — кинулся к ней Демид.

Он всегда называл ее «Угольком», хотя давно минула пора, когда Аниска застенчиво пряталась за спину Мамонта Петровича, цепляясь за его штаны, если Демид заходил к ним в дом, и вспыхивала, как уголек, румянцем от малейшей его ласки. Теперь Аниске шел пятнадцатый год, и она из худенькой, смуглой, черноглазенькой девочки превратилась в ладного подростка с копной рыжеватых, вьющихся из кольца в кольцо волос.

— Змея, змея, змея!.. — бормотала девочка, моргая черными смородинами глаз, омытыми слезами.

Демид заметил, как на обочине дороги мелкою волною шевелится подорожник. Но он не стал искать змею. Ухватив ногу девочки, он

увидел, что из четырехзубого прокола еще сочится кровь. Он впился в ногу Аниски губами и стал отсасывать и сплевывать кровь.

— Ой, ой! Не надо, дядя Демид! — орала Аниска, извиваясь. — Бооольно!

— Ничего, ничего, — говорил Демид. — Потерпи, Уголек. А то ногу отрежут. Эх ты! Разве можно в пойму бегать босиком? А еще невеста. Ты зачем сюда пришла?

— Меня... Меня папа послал. К тебе, дядя Демид, — сквозь рыдания бормотала девочка.

— Ко мне?

— Моего папу арестовали, дядя Демид.

Жаркая волна ударила в голову Демиду и отхлынула по ложбине спины липким, холодным потом. «Как?! Мамонта Петровича?! Но за что же? За что? Не может того быть!» И как-то сразу выплыло в памяти иссеченное грубыми прошвами лицо Мамонта Петровича. «Он же красный партизан! Честный, непримиримый большевик!»

Все в леспромхозе знают, что Мамонт Петрович жил в большой дружбе с Демидом. Не раз ездили по участкам вместе, подгоняли хвосты молевого сплава и случалось — выпивали из одной пол-литры.

— Дядя Демид, а тебя арестуют?

Демид вздрогнул.

— Почему арестуют?

— Про тебя спрашивал толстый Фролов из НКВД. «А где, говорит, сейчас находится Демид Боровиков?» Папа сказал: «Не путайте его в эти дела. Он, говорит, еще не успел начать жизнь. А вы ему, говорит, географию ломаете».

— География?..

— Так папа сказал. И еще что-то говорил, совсем не помню. А потом отвел меня в сторону и шепнул: «Беги к дяде Демиду. Скажи ему, пусть уходит из Белой Елани. Плетью обуха не перешибешь».

— Он так и сказал?

— Так и сказал.

«Так вот откуда пришла беда! Вот они, какие дела!..»

Ощущение потерянности, скованности овладело Демидом. Беспричинный страх волною подмывал под сердце. Демид никак не мог унять противный стук зубов. Он знал, что надо что-то немедленно предпринять, что-то делать, бежать куда-то. Может, поехать в район к

прокурору!.. Но он знал также, что Мамонт Петрович два дня как вернулся от прокурора, куда ездил с протестом об аресте Кости Лосева. И этот протест подписал Демид. Костю Лосева арестовали только за то, что он назвал Троцким ненавистного всей деревне быка Ваську. А Головешиха донесла об этом уполномоченному, злобясь на Костю за перетасканные из чайной стаканы. Мамонт Петрович в пух и прах разругался с Головешихой и поехал защищать Костю. А что из этого вышло? Уж не потому ли арестовали и самого Мамонта Петровича?.. А учитель Лаврищев? Который был так уверен, что немедленно вернется. Где он теперь?.. Мысли бились в голове Демида, как птицы в клетке, не находя выхода.

По Амылу плыли бревна, красные и желтые. Как бодливые коровы, они тыкались в берег упрямыми лбами, и не было им ни конца и ни краю. А небо, свинцовое, мутное, кучилось низкими облаками, предвещая долгое непогодье.

Демид брел наугад, подставляя грудь и лицо ветру, стараясь остудить бешеный стук сердца.

Ветви деревьев хлестали Демида по лицу.

Играла зарница, кидая по небу багровые метлы. Тихо и упорно пошумливал черный лес, насыщенный осенним увяданием. Желтые и багряные листья хлопьями устилали землю. Несметное число ворон, чуя перемену погоды, металось в воздухе, беспрестанно каркая, носясь кругами над лесом.

Демиду противно было слушать воронье карканье и противна была дрожь, которую он не мог унять. Сжимая Анискину руку, он долго пробирался узенькой тропинкою возле воркующего обмелевшего Малтата до огорода Головни.

Низ огорода густо зарос бурьяном и крапивой в рост человека. Узкая стежка, по которой носили воду, изрыта была приступочками. Лиловыми округлыми головами торчали кочаны капусты. Одноногие подсолнухи кучились возле изгороди, глядя чуть в сторону и вниз своими лохматыми шапками. Местами в междугрядье набирали спелости пузатые тыквы, распустив длиннущие усы-плети. Посреди ограды, на скрещенных палках, торчало пугало в лохмотьях и в старой партизанской папахе Мамонта Петровича. С парниковой гряды сползали желтые семенные огурцы, а на соседней гряде вились на палках высохшие гороховые и бобовые побеги.

На крыльце крестового дома, кутаясь в черную шаль, сидела бабка Ефимия.

Как только Аниска прыгнула на крыльцо, бабка Ефимия очнулась, что-то пробормотала себе под нос и уставилась на Демида морщинистым желтым лицом с крючковатым носом:

— А! Боровик?! — каркнула старушонка, — еще не забрали тебя, голубчика? Заберут, заберут. Лётает ястреб, лётает! Отольется тебе последняя слеза Дарьюшки! Господи, сверши волю твою!

Бухая болотными сапогами, Демид молча прошел мимо старухи и нырнул в квадратные темные сени, как в сундук.

Если бы мог Демид задержаться на три-четыре минуты, пригляделся бы к старухе, поговорил бы с нею, может, она и сменила бы гнев на милость. Бабка Ефимия давно начисто вычеркнула из памяти и сердца жаркие дни молодости, декабриста Лопарева, собственных сынов, с которыми так и не ужилась, растеряла по белому свету правнуков и праправнуков. Все как есть, все запаматовала бабка Ефимия! Жила она теперь как случайная свидетельница из минувшего века. Мимо нее проходили совершенно незнакомые люди, известные ей только по фамилии, и она их путала с теми, которых когда-то знала.

«А, Боровик?» А какой Боровиков? Может, сам Филарет-старец? Или Ларивон, сын Филаретов? Или Прокопий, сын Веденеев? Или Тимофей, сын Прокопия? Или Филимон? Про Демида — сына Филимона — совсем ничего не ведала. Одно то, что Демид очень похож на Тимофея, страшно сердило бабку Ефимию. Но если бы спросить старуху, чем ее разгневал Тимофей, она бы, наверное, не сумела пояснить.

Все смешалось и перепуталось у бабки Ефимии. Она даже не знала, у кого век доживает. Кто ей Авдотья Елизаровна? Одно родство — из одного корня происходят.

Беспощадна и жестока старость, когда дряхлеет тело, слабеет мозг и тухнет огонь жизни в глазах человека!..

Первое, что увидел Демид, входя в переднюю избу, была сама хозяйка, Авдотья Елизаровна. Она стояла возле окна, опираясь руками на косяки, и смотрела в улицу. Ее толстая черная коса лежала вдоль спины по серому платью.

Каждый раз, встречаясь с Авдотьей Елизаровной, Демид испытывал неприятную оторопь. Робел и страшно смущался. Не раз

перехватывал на себе испытующие взгляды Авдотьи, и тогда Демид чувствовал, как у него будто сжималось сердце.

Разное говорили про нее. Бабы с ненавистью обливали ее грязью. Мужики с затаенным интересом посмеивались в бороды. Всегда нарядная, броская незаурядной внешностью, она держалась среди баб, как гусыня среди индеек — спесиво и трусовато. Не раз была бита, когда попадала в плотное окружение трех-четырех баб. Поспешно отступала в стены своей бревенчатой крепости, оберегая от затрещин румяные щеки с ямочками, но никогда не вешала голову.

— Мама! — позвала Аниска.

Авдотья Елизаровна вздрогнула, оглянулась.

— Демид? — не то спросила, не то удивилась Авдотья Елизаровна.

— Анису вот привел.

— Привел? Откуда?

— Из поймы Малтата.

— Чо ее туда занесло? — машинально спрашивала Авдотья Елизаровна, ни на минуту не отрываясь от окна.

— Ее змея ужалила.

— Змея? Какая змея!.. Боже мой! Одно горе за другим! Да ты зачем лётала в пойму босиком, дура? Ветрогонка ты несчастная! Что же мне делать, а? — метнулась она к Аниске и вдруг опять кинулась обратно. — Сейчас его увезут, — сообщила как бы для себя. — Машина подошла.

Демид и Аниска подскочили к окошку.

Насупротив, через улицу, возле высокого крыльца сельсовета, возвышаясь, как мачта, стоял Мамонт Петрович Головня в своей неизменной кожаной куртке, в кепке, а рядом с ним — сотрудник НКВД. Дождь лил как из ведра, не утихая ни на минуту, будто небо опрокинулось и решило залить землю потоком. Вода лилась Мамонту Петровичу за воротник, стекала струйками по изборожденным морщинами щекам, капала с подбородка, но он стоял каменным изваянием, вперившись немигающим взглядом в сторону своего дома.

Мамонт Петрович поднялся в кузов полуторки и снова повернулся лицом к своим окнам. И в тот момент, когда машина газанула и тронулась, в глазах Аниски точно опрокинулось небо.

— Папа! Папа! Папочка!

— Перестань! Сейчас же перестань! — крикнула Авдотья Елизаровна.

— Папа, папочка, — твердила Аниска. — Ой, что же будет?! Что будет!.. Бедный папа. Я побегу туда... Я с ним... — рванулась Аниска от окна.

— Сядь! — мать ударила ее по щеке и отшвырнула на пол в угол горницы.

— Ну что вы в самом деле, Авдотья Елизаровна! — Демид заслонил Аниску от матери. — Нельзя же так, честное слово. У Анисы такое горе. И нога вот еще...

— Ой, нога, ой, ноженька, — еще громче запричитала Аниска. — Так тюкает, так тюкает...

— Заживет твоя ноженька!..

Да, нога заживет у Аниски. Демид отсосал яд гадюки. Но вот когда отсосется тот яд, которым отравили сердце Аниски? Аниска верила в папу, Мамонта Петровича. И он ее любил, папа Мамонт, человек с таким огромным и неловким именем. Он был добрый и самый справедливый папа! Конечно, у Мамонта Петровича много недругов в Белой Елани и во всей подтайге. Здесь он устанавливал Советскую власть, был первым председателем ревкома. Он беспощадно воевал с дремучими космачами-раскольниками. Он организовал колхоз и вытряхнул из деревни кулаков. Человек он был резкий, прямой, как шест, негнувшийся в трудные моменты, и вот чем все это кончилось...

— Ах, боже мой, боже! Что же мне теперь делать?! — причитала Авдотья Елизаровна. — До какой жизни я дожила с критиканом несчастным! Хоть бы раз, единый раз послушался меня Мамонт! Так нет же! Сам себе жизни не мог устроить и меня доканал! Все правды искал! А где она, правда-то? Чихала я на правду! Другой бы, похитрее, куда взлетел после партизанского командирства? А он. Головешка, остался тем же, кем был: ничем! Зато с принципами! Вот и достукался!..

Демид не знал, что и сказать Авдотье Елизаровне. Конечно, она сейчас несет такое, от чего через час сама же откажется. Но все-таки как обидно, что Авдотья Елизаровна так несправедлива к Мамонту Петровичу.

— Не я ли ему говорила, так дальше не пойдет! Кончать надо. Так он же верил в эту свою проклятую мировую революцию. Вечно носился со своими планами, с какими-то делами, которые век не переделаешь. А в ревкоме тогда и в сельсовете вез за четверых, и в леспромхозе тянул за директора, а что вышло? Что заработал?

— Мама, перестань! Перестань, мама, — рыдала Аниска, Демид посутулился на лавке.

— Разберутся еще, — глухо проговорил он. — Мамонт Петрович, как вот подумаю, самый справедливый человек.

— Разберутся! Жди!.. Дурак несчастный! Не видел ничего, что вокруг творится!.. А как я жила с ним? Ни света, ни потемок. Пустота одна. Все учил уму-разуму. Это меня-то учить уму-разуму? Да я такое видела, чего ему и во сне не снилось. А тоже, было время, всему верила. А жизнь-то как ко мне повернулась? Что и обидно, что он, Головешка, из этого ничего не понял...

— Не говори так, не говори так! Папа хороший, хороший, — захлебываясь, твердила Аниска.

— Хороший? Ох, сколько он мне кровушки попортил твой хороший! Не я ли ему говорила: бросай свою политику, в город поедem. Да я бы там разве так жила? А он все твердил: сиди, сиди, чего тебе надо? Подожди, скоро во как заживем! Вот и дождалась. Досиделась!

Такую Авдотью Елизаровну Демид впервые видел. Было в ней что-то отчаянное, недоговоренное, туго закрученное и неприятное. И в то же время Демид как бы враз увидел ее всю жгучую, собранную, с высокой шеей, с красивыми ступнями маленьких босых ног, с ее чуть вздернутым, туповатым носом, упрямо выписанными бровями, пухлоротую, с бешеными черными глазами.

— Так тюкает, так тюкает, — хныкала Аниска.

— Что еще? — Авдотья Елизаровна все забыла.

Посмотрела ногу Аниски. Ступня опухла, как подушка. Но опухоль выше щиколотки не поднялась.

— Надо бы фельдшеру показать... Сейчас же собирайся! Пойдем. Тошно мне, тошно. А ты сиди, Демид, коли пришел. Сейчас я сбегая и все разужаю. — И, взглянув в окно, предупредила: — Огня не зажигай. А ставни я закрою.

У юности цепкая, когтистая память.

Надолго, на всю жизнь запомнил Демид эту жуткую осеннюю ночь тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Чего только не передумал он, сидя в потемках. «Как же так? Как же так? — неотступно билось в его мозгу. — И в самом деле, он еще молод и ни в чем не разбирается. Но за что?! За что? Ума не приложу, что делать? Что делать?»

Чернота опустилась на землю, будто крышка гроба захлопнулась. А потом раз за разом сверкнули молнии, белым полымем охватив всю избу и двор Головешихи.

Вслед за молнией — удар грозы, будто кто по крыше грохнул железным листом.

Хлынул дождь.

В избу вошла бабка Ефимия, скинула шаль на кровать и, шаркая чирками, топталась возле кухонного стола, потом хотела вздуть лампу, но невзначай уронила стекло и долго ползала по полу, собирая осколки. Потом вскарабкалась на русскую печь и там притихла.

Демид курил папиросу за папиросой, прислушиваясь к шуму дождя.

Резко прихлопнулась половина ставни, за нею другая, и загремел железный засов в косяке. Одно за другим закрылись все ставни на окошках в избу и в горницу. Мокрые, чавкающие шаги в сенях. Пискнула дверь.

— Темень-то какая!

Демид зажег спичку.

— Не ушел?

Авдотья Елизаровна сняла у порога сапоги, мокрую жакетку, платок.

— Лампа на кухонном столе. Зажги.

— Бабушка вот стекло разбила.

— А, чтоб ей провалиться! — Авдотья Елизаровна полезла на полку за новым стеклом. Достала, протерла пузырь рушником, наладила семилинейную лампу, поставила на стол.

— Как с Анисой?

— У Макар Макарыча оставила. Смотреть будет до утра. Ну, а теперь вот что, слушай. Фролов ищет тебя по всей деревне. Своего человека послал в Кижарт. Молевщики-то говорят, что ты с ними был на заторе до самого вечера. И дома у вас сидит сотрудник — тебя ждет. Господи, как меня всю трясет!

— Если меня ищут — надо идти.

— Сдурел, что ли?

— Я ни в чем не виновен.

— Ой-ой, какой ты еще зеленый, Демид! Мужиком стал, а ума не нажил. Время-то такое, видишь? Уйти надо тебе из тайги. От греха подальше. Хоть на Таймыр, что ли? Там у меня знакомый человек проживает. Хочешь, адрес дам?

Демид ничего не ответил. Он все еще не мог собраться с духом.

С печи высунулась белая голова бабки Ефимии.

— Сон-то ноне будет аль нет?

— Ты же легла? Спи.

— Подай мне творожку, яви такую милость. А это кто там сидит на лавке? Боровик? Боровик, Боровик! Скажи, чтоб ушел.

— Да отвяжись ты от меня, надсада! — прикрикнула Авдотья Елизаровна. — А ты сиди, Демид! Сиди! Не пущу тебя, на беду глядя.

— Смотри, смотри, Дуня. Как бы с тобой не приключилось того, что с Дарьюшкой, вечная ей память, — проговорила бабка Ефимия, зло косясь на Демида.

— Не страшай, худая немочь! Лежи и спи. Без творога проспишь одну ночь. — И со злом задернула занавеску наверху печи, спрятав там беспокойную старуху.

— Нет, я пойду. Раз такое дело, чего же прятаться? — решил Демид.

Авдотья Елизаровна стояла рядом грудь в грудь. Ее черные глаза придвинулись к Демиду совсем близко. Теплое дыхание опалило щеки.

— Никуда ты не пойдешь. Слышишь? — ее мягкие, но сильные руки легли ему на плечи. — Раздевайся. — И сама сняла с него брезентовую куртку, повесила на гвоздь. — Не пущу. Ни за что не пущу!.. Ты для меня сегодня, как последняя соломинка. Уйдешь — и я с ума сойду. Слышишь, с ума сойду! Не останусь я в такую ночь одна вот с ней! — махнула рукой на верх печи. — Не останусь! Мне живая душа нужна сегодня! Живая душа!.. Иль ты не мужик? Пожалей ты

меня! Правду тебе говорю, неужели сам не видишь, что со мной делается?

— Успокойтесь, успокойтесь, Авдотья Елизаровна... У меня же ни паспорта, никаких документов... И Агния...

— Агния! Ах, вот оно что! Ха-ха! Агния! Вот о чем у тебя забота. А с виду робкий ты... Как же ты такую затворницу сумел расшевелить? Она же из дома Вавиловых, как из скворешни, выглядывала. Вот так робкий! Ну да с Агнией тебе придется проститься, миленочек! Слушай меня. Уж коли Агния тебе дорога, ты и носу к ней не показывай! Был и сплыл. Мне-то нечего терять. А Зыряна сразу же загребут, как только узнают, что ты у них скрываешься. Понял? Это во-первых. А во-вторых, Агнии твоей дома нету. Она третий день как в район с Андрюшкой уехала. К доктору его повезла. Ну, а документы твои сама принесу. Хочешь? Я все могу. Я такая. А могла бы и иначе поступить... Где у тебя документы-то?

— Сумка такая у меня. Висит в амбарушке. Я там спал... На брус висит.

— Достану. Так что и комар носу не подточит. Ну, не вешай голову. Посмотри на меня. Какой ты красивый парень. Жалко мне тебя, ей-богу! И ничего-то, ничего еще в жизни не знаешь! Дай мне руку. Вот так. Обними меня. Забудь обо всем на свете. Сразу полегчает. Иди сюда...

Обнимая Голоवेशиху, Демид с тоской чувствовал, что все дороги у него теперь к Агнии отрезаны. Разве можно было думать об Агнии после такого? Нет, нет, надо бежать, бежать из Белой Елани!..

XII

Как лист срывается с дерева и потом несет его ветер, куда дождь и непогоде не прибьют к земле, так сорвался из Белой Елани Демид Боровиков, и никто не видел, куда его унесло суматошным ветром.

Кривотолки плескались из дома в дом. В районной газете напечатали статью про вредительство в леспромхозе, где недобрым словом помянули молодого прораба Демиды Боровикова. И что будто молевой сплав злоумышленно затягивал до поздней осени, и ни слова про то, что леспромхозовцы с момента организации лесных разработок

в тайге работали по старинке — топором, поперечной пилой и лес возили гужем. Что рабочих не хватало и заработок был мизерным — так что никто не шел в леспромхозы. Если поверить газете, то вся вина ложилась на четырех человек: на Мамонта Головню, Игната Мурашкина, Демида Боровикова и Толоконникова. А что могли сделать четыре человека, если леспромхоз не имел даже трактора?

Аркадий Зырян тыкал в газету, ругал Агнию за то, что она спуталась с отчаянным прохвостом, с Боровиковым, и что дочери пора взяться за ум и перейти на работу в МТС.

Агния ничему не верила. Ни газете, ни отцу. Знала: Демид ни в чем не виноват.

Побывала у Боровиковых, впервые переступив порог сумрачного дома, и встретила с тихой, неприметной Меланьей Романовной — Филिमонихой, как ее все теперь звали на деревне.

Крашенные охрою стены избы, деревянная кровать у порога, половики и — гулкая пустынность.

Филिमониха не пригласила Агнию пройти на лавку и не подала табуретки.

— Про Демида спрашиваешь? — кособочилась Филिमониха, глядя подозрительно на Агнию. — Откель нам знать, где он пропадает? Ни слухом ни духом не ведаем. Один бог знает.

— Мне-то можно сказать. Я для него не чужая, — напомнила Агния.

— Не знаю, Агнеюшка! Не знаю! Про что толкуешь-то — не пойму. Ты же нам вроде сродственница. Аксиныя-то Романовна — сестра моя старшая. Што у вас произошло-то — не ведаю. Слышала: осрамила ты дом Вавиловых. Худо! Ой, как худо!

Агния попросила воды напиться. Филिमониха испуганно глянула на нее, точь-в-точь сама Аксиныя Романовна, и с неохотой пробормотала:

— Воды попить? Не запасла воды для пришлых, милая. Туес пустой стоит.

А рядом с Агнией, у порога — полная кадучка воды, накрытая крышкой. И ковшик на кадучке. Филिमониха перехватила взгляд Агнии, прошамкала:

— Из кадки-то нельзя. Сама знаешь: веры старой держусь. Ты напьешься из кадки, а потом што делать? И кадку выкинуть, и ковшик.

Агния молча повернулась и ушла не оглядываясь. До чего же противное старовечество! И воды испить не дадут, если в доме срамной туес пустой, сесть не пригласят, и уж, конечно, переночевать в таком доме не думай — за порог не пустят, хоть умри возле дома.

Довелось Агнии поговорить в конторе колхоза и с Филимоном Прокопьевичем. Боровиков явился узнать, сколько у него выработано трудодней, Агния справилась, записала трудодни в книжку и, провожая Филимона Прокопьевича из конторы, спросила с глазу на глаз, есть ли какие вести от Демида?

— Што ты! Што ты! — замахал руками Филя. — Ни слухом ни духом! Кабы знал, где он, самолично притащил бы в энкавэдэ.

— За что в энкавэдэ?

— Экая! Или не читала газету? Чистый вредитель. Я ишло когда заметил в выродке вредящую линию. С мальства! Таких надо под самый корень выворачивать, чтоб и духу ихнего не было. Спроси хоть у ково в деревне, все знают, как прижимал меня Мамонт Головня. И так брал на притужальник, и этак. Чистый зверюга. Таким и Демид вырос. Вся деревня про то скажет.

XIII

Непогожая выдалась осень тридцать седьмого года. Дождь лил и лил, перемежаясь грозами. Земля раскисла. Молнии вспыхивали над Белой Еланью, будто резали серебряными ножами ржаной квасник. С хребтов тянуло сыростью и стужей. Розоватые облака, наливаясь синевою, меркли.

Притихли, замыслились события последних дней. Никто ни слова не говорил про арест Мамонта Петровича, побег Демида... А между тем была еще одна встреча, про которую никто не знал, но она могла бы пролить свет на многое...

На багряной осине, у сметанного зарода сена, рядом с паровым полем, чернея комьями, беспокойно гоношились две мокрые вороны. То перелетали на зарод, то снова возвращались на осину.

Снизу зарод сена был разметан, и под его карнизом на душистом сене лежал Ухоздвигов. Головешиха сидела рядом, разбирая принесенную снедь.

— Раскаркались, проклятые! — беспокойно и зло сказал Ухоздвигов. — Шугнуть бы!

— Не надо. Здесь теперь никто не ходит, — успокоила его Голоवेशиха. — Охотников по этой рассохе нет. Разве волк забредет.

— Значит, говоришь, Мамонта взяли?

— Спекся голубчик!

— Ты все исполнила, как я сказал?

— Все, все! Сама ездила в район к следователю НКВД и все ему обсказала... И какие Головня речи разводил в леспромхозе. И как ругал Советскую власть вместе с Демидом Боровиковым...

— Да-а, дела! — раздумчиво сказал Ухоздвигов, закуривая папиросу и устало взъерошивая белесые волосы.

Он сильно постарел, опустился. Волосы на темени еще больше поредели, отчего лоб казался огромным, выпуклым.

— Зарос-то как! Бедный мой! — сказала Дуня, обнимая его и ласково потершись щекою об его колючую щетину. — Пожил бы у меня, отдохнул. Горница моя, сам знаешь, как устроена — солдат с котомкой завалится, и век не найдешь.

— Нет, Дуня. Не до отдыха теперь. Аресты кругом идут. Могут и меня сцапать. Такое дело! — устало ответил Ухоздвигов. — Я вот что пришел тебе сказать... Я, Дуня, пришел проститься.

— Как? Насовсем?

— Уходить надо, Дуня. Совсем уходить.

— А как же я?! Нет, нет! Гавря, милый! Неужели ты меня кинешь?!

Дуня всхлипнула, вытирая нос уголком повязанного платка.

— Что же мне теперь?... Совсем, совсем одна!

— погоди, погоди, Дуня. Не плачь.

Не зная, чем утешить, угрюмо сказал;

— Что я могу поделать? Ты же сама видишь, какая складывается обстановка... Нельзя мне больше здесь оставаться. Измучился я. Вечно прятаться... Как волк. Сил нет. Надоело. Надо уходить в город. Там народу больше... Видишь сама, какой я стал. Ноги хрустят в суставах, будто в чашечках дресва. А тут еще с весны привязалась рожа к ноге, будь она проклята! Зудит и зудит между пальцами, хоть вой!

— Вот и побыл бы.

— Нельзя, Дуня!

— Я принесла тебе чистые портянки. И белья смену, — покорно сказала Дуня. — Тут вот, в котомке, сало и свежие лепешки...

— Ничего, ничего, держись! — угловато обнял Дуню Ухоздвигов, с наслаждением вдыхая аромат ее волос. — Может, еще свидимся. Устроюсь где-нибудь подальше от тайги. Дам знать. Как там Аниса? Береги ее, Дуня. Жалей. Эх, жизнь проклятая! А как бы мы могли жить! Ну да ничего! Наше от нас не уйдет, — подавил он в себе вздох отчаяния, — Не горюй. Жить будем. Не пропадем! Есть у меня такие люди в городе, помогут... Во Владивосток подамся.

А все-таки обидно. До чертиков обидно. Вот она в трех километрах, Белая Елань, отчий дом, богатейшие отцовские и юсковские прииски... Дунины прииски! Скольке раз он проклинал свою нелегкую судьбину? Кем он стал в тайге? Зверем. Очерствел, одичал. Ему бы сейчас в постель, на Дунину мягкую перину!.. Все, все рухнуло! У него ничего нет. Что его будущее? Лучше об этом не думать!

Труха сена набилась за воротник полушубка, покалывая шею. Нестерпимо зудилась спина между лопатками. Так бы прошелся по коже скребницей, не говоря уже о парной бане с березовым веником!

— Бросаешь, стал быть, меня?.. И не жалко? — плотнее прижимаясь к Ухоздвигову, говорила Дуня.

— Глупая!

— А я еще в силе, Гавря, ей-бо!.. Любой девке за мной не угнаться, прямо скажу. Девки ноне — хиль какая-то. Настя Устюжникова ночесь проваландалась с Петькой Шаровым, встретила со мной в проулке Зыряновых, а в глазах-то пустошь. Будто ее ковшом кто вычерпал. Эх, говорю, Настя, в твои-то годы я до того была дюжая, что драгой не вычерпаешь, не то что каким-то Петькой. Ну, чего ты совсем скис, бедный мой? — тормозила Ухоздвигова Дуня, стараясь изо всех сил подбодрить его. — Как зверобоем-то напахнуло. Чуешь? Так и пьянит сенцо. Лист к листу, сердце к сердцу, тело к телу-то и жизнь, Гаврюшенька! Живем единожды, умираем каждый час понемножку. Одним узлом-то связаны... Поди, изголодался в тайге-то?

Ухоздвигов невесело усмехнулся.

— Что смеешься? Не навек расстаемся, поди?

— Ты все такая же!

— Какая?

— Ненасытная.

— А что заранее помирать? Я ведь тоже в поле обсевок. Почитай, всю Сибирь из конца в конец прошла. И в Питере мыкалась, и пулеметчицей была. Чего не пришлось! А об счастье так и не запнулась. Да что счастье? Как ветер. Сегодня подует на тебя, а завтра загонит в яму и дует на другого... Да ежели бы я каждый раз помирала, сколько меня судьба трепала, давно бы старухой стала. А я вон, гли, какая... Дай руку, пощупай... — и заговорила сбивчиво, шепелявя, скороговоркой: — Грудь-то так и млеют. Век бы... с тобой бы... Не расставаться бы нам!.. Худущий какой стал... Придет время, Гаврюшенька! Мы еще живые, слава богу!.. Сколько натерпелась я от дурака Головни с его мировой революцией... Теперь бы жить, жить бы!.. И Анису растить — твою кровинку. Боженька, как я люблю тебя! Никто не знает нашей тайны, Гавря!.. Никто!.. Вместе бы нам уехать из тайги, а? Вместе бы!..

Любовной утехе помешала мышь. Она как-то пролезла за пазуху Ухоздвигову, скобленув по телу коготочками. Ухоздвигов дико вскрикнул, выбежал из-под зарода, нащупывая мышь рукою. Когда выхватил подол рубахи из брюк, мышь камнем упала к его ногам. Он ее отлично видел! И тут же скрылась.

«Это к гибели!» — холодея от ужаса, подумал Ухоздвигов.

— Ты вроде захворал, Гавря?

— Я? Н-нет. Прости, Дуня. Нервы...

— Измотался сердечный! Вконец измотался.

...На закате, когда вокруг сгустилась лиловая пасмурь и вся земля, пропитанная влагой, источала осеннюю остудину, Голоवेशиха проводила Ухоздвигова в дальнюю дорогу.

ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ

I

Хрустким ледком покрылись осенние лужицы. Оголилась двуглавая крона старого тополя. Как-то ночью Агния выглянула в окошко — кругом белым-бело. Зима пришла.

Изба Зыряна выстыла. Маленький Андрюшка спал на сундуке, раскидался и скорчился, озяб, должно. Агния хотела переложить сына на свою постель — и тут же присела. Тошнота подкатилась. От Андрюшки несло запахом парного молока. «Неужели!?» — кольнуло в сердце. Что же она теперь будет делать? Что скажет отцу и матери?

Нежданно Агнии довелось поговорить с Авдотьей Елизаровной.

Под вечер так шла Агния в сельпо и встретила лицом к лицу с нарядной Дуней. В белых чесанках, в беличьей шубке, единственной на всю Белую Елань, в пуховом платке, Авдотья Елизаровна не шла, а будто плыла по улице. Агния слышала, что Авдотья устроилась в магазин ОРСа леспромхоза и жила припеваючи.

— Тут вот письмецо к тебе, Агния, — оглядываясь, сообщила Авдотья Елизаровна. — Давно хотела передать, да не встречала тебя. — И подала Агнии бумажку.

Коротенькая записка, всего несколько слов:

«Агния! Пишу тебе мало — сама все знаешь. Не верь никаким слухам. Не виноват я ни в чем решительно. Самое светлое, что у меня было в жизни, — это ты. Никогда бы от тебя не ушел, если бы не такое положение. Прощай. Демид».

У Агнии муть в глазах. Видит и не видит перед собою черноглазую Авдотью Елизаровну. Вспомнила, что молевщики говорили, будто Демид ушел тот раз из поймы Малтата с дочерью Авдотьи Елизаровны, с Аниской. Где он был, Демид, в ту ночь? Неужели у ней, вот у этой женщины?

На секунду столкнулись карие глаза с черными, и будто увидели нечто такое, что карие глаза стали злыми, ненавидящими, а черные воровато схитрили и спрятались в ресницах.

— Где он был тогда?

- Откуда мне знать?
- У тебя он был в ту ночь?
- Не понимаю, про что говоришь. Записку мне сунул прохожий.
- Неправда!
- Другой правды у меня нету, милая.

И так же спокойно, как соврала, Авдотья Елизаровна поднялась на крыльцо сельпо.

— Головешиха ты проклятая! — вырвалось у Агнии вслед Авдотье Елизаровне. — Вся черна, как сажа, и других запачкала.

Авдотья Елизаровна поглядела на Агнию с высоты крыльца, как с капитанского мостика, сокрушенно покачала головою.

— Да ты, я вижу, дура, Агния Аркадьевна. А еще в техникуме училась. Ай-я-яй! Постыдилась бы. Кого чернишь? От живого мужа хвост припачкала и на меня же пальцем тычешь. Молчала бы. А кого ждешь — не жди. Он по тебе не очень-то скучал, скажу по секрету. Парнишка очень обходительный, не тебе чета. Найдет еще подруженьку, не печалься. До свиданьица.

И ушла в сельпо.

С этого памятного вечера Агнию будто подменили, знала, что покоя ей теперь не ждать и что вся ее жизнь полетит кувырком.

Ночами душила тоска. Мутная, как вешняя тина в Малтате, схватывала за горло, втискивая лицо в подушку, истекая редкими слезинами.

«Вот и осталась я со своим стыдом и горем, — никла Агния, как ракета на ветру. — Если бы Степан вдруг приехал на побывку да застал бы меня на боровиковском пригорке, возненавидел бы на всю жизнь!»

II

...Степан и в самом деле застал Агнию на окраине большака, на боровиковском пригорке. В начале марта он приехал в краткосрочный отпуск из Ленинграда. До Агнии еще не успела дойти весть о приезде Степана, и она, ничего не подозревая, вышла теплым вечером посидеть на лавочке дома Санюхи Вавилова. Дом Санюхи стоял через улицу от Боровиковых.

Смеркалось. Из поймы тянуло горклым дымом. Где-то в Заамылье жгли прошлогоднюю гнилую солому. Султаны прибрежных елей торчали из стелющегося дыма, как вежи узловатой дороги.

Агния сидела на плашке возле калитки притихшая, потерянная, сосредоточенно к чему-то прислушиваясь. Еще в обед, когда она с матерью перебирала картошку в подполье, она почувствовала, как что-то тяжелое и сильное подкатилось под сердце, потом боль медленно сошла вниз, распирая бедра. Прикусив до крови губы, она долго сидела, не в силах встать на ноги.

«Что же мне теперь делать! — думала Агния, глядя на черный дом Боровиковых с закрытыми ставнями. — Не жить мне в Белой Елани, уехать бы...» Но куда Агния могла уехать с малым Андрюшкой и с тем, которого должна скоро родить?

А в доме Боровиковых одна из дочерей Филимона, Иришка, кажется, затянула песню:

*За окном черемуха колышется,
Распуская лепестки свои...
А за рекой знакомый голос слышится,
Где всю ночь пели соловьи...*

Голос мягкий, еще неустоявшийся, будто стелющий на зеленя холсты, упругий, беспечальный, какой бывает только у девушек.

К Иришкину голосу привязался резкий подголосок, и сразу песня раздвоилась. Девичью чистоту, как ножом, резанула черствая сила. Агния узнала — подпевает Фроська, сестра Иришки...

«Такая же, как Дуня Голоवेशиха», — думала Агния, глядя на дом Боровиковых, где билась знакомая песня, то порхая жаворонком на одном месте, то ястребом кидаясь вниз.

Из ограды Санюхи раздался хриповатый голос:

— Нааастасьяаа!.. Куда, холера, запропастилась?

Санюха жил все так же замкнуто, обособленно от всех братьев, да и не похож был ни на одного из них. Те, что медведи: ширококостные, тяжелые, рослые, лобастые, Санюха — последыш, мелок в кости, щупловат, молчун.

Не успела Агния подняться с плашки, как в калитку высунулась голова в лохматой шапке.

— Настасья! Аль не слышишь?

— Тут нет Настасьи.

— Нету-ка? — углистый, единственный правый глаз Санюхи, как сверлом, нацелился в лицо Агнии. — Агния? — пробурлил он в бороду, вылезая из калитки.

В брезентовом шумящем дождевике, перепоясанный патронташем, с ножом у пояса, до того длинным, что им можно было бы насквозь проткнуть медведя, Санюха подошел к Агнии и долго молчал.

— Сумерничаешь? — спросил. — Как живешь-можешь?

— Живу, вот.

— Угу. Худое несут про тебя бабы, слышал.

— Пусть несут. Всю не разнесут.

— Оно так. Не разнесут, а душу изранят, язби их в сердце. На меня тоже всякое несли опосля гражданки. Начисто отбрили от деревни. Оттого и в молчанку сыграл. А был бедовый парень!.. Тебе это не уразуметь — молодая ишшо: мало соли съела. А я ее слопал, будь она проклята, центнера три, не мене. Вот нутро и просолело. Отчего такое, понимаешь? Угу. Не понимаешь. Братаны меня урезали, язби их. Они воевали с красными, а я с белыми. Эх-хе-хе!

А из дома Боровиковых:

*За окном весенняя распутица,
Ночью выпал небольшой мороз,
Мне недолго добежать до проруби,
Не запрятав даже русых кос...*

У Агнии сжалось сердце в горячий комок и подкатилось в горлу — не дыхнуть. А тут, как назло, двое шли улицею.

— Ишь, топает моя баржа-перегрузка, — проговорил Санюха. — И мужик с нею? Кого ведет в дом на ночь глядя?

С приземистой, толстой Настасьей шел высокий человек в шинели. Он курил папиросу.

Агния не знала, куда деться от злоязыкой Настасьи, и придумывала, какое бы найти заделье, чтоб Настасья не чесала лишний раз языком. И без того разговоров на деревне хоть отбавляй.

— Вот те и на! — ахнул Санюха. — Степан, кажись?!

Агнию будто подбросило с плашки.

— Племяш! Ах ты, язби тя холера! Племяш! — рычал Санюха, облапив Степана и троекратно чмокнувшись с ним в губы.

Настасья, подоткнув руки в бока, смотрела на Агнию.

— Ипеть у нашей подворотни, милая? — начала она ласково, что предвещало неумную бабью колкость. — Иссыхаешь по любовнику? — Будто хлестнула наотмашь Агнию по лицу. — Гляди, Степа. Я же говорила: редкую ноченьку Агния не токует у нашей подворотни. Все ждет, когда подаст о себе весть Демид Филимоныч.

И, повернувшись к Агнии, осмотрев ее с ног до головы, Настасья спросила:

— И не совестно тебе, Агня? Да я бы, вот те крест, провалилась сквозь землю. Брюхо-то какое нагуляла, ай-я-яй!

Живот Агнии, когда она привалилась спиной к столбу, выдался вперед. Она запахнулась полами жакетки, но полы не сошлись.

Степан смотрел на нее в упор. Агния не в силах была встретиться с его черными, едучими глазами. Она чувствовала на себе их чугунную тяжесть, и ей стало жарко, а зубы мелко стукались друг об дружку.

— Та-ак, все ясно, — глухо вывернул Степан. — Андрюшку я возьму к своим. Они подрастят его, пока я в армии. Завтра оформим развод. Лучше уж гуляй под своей фамилией.

— И то правда, — вздохнула Настасья. — Она хвостом вертит, а грязь на Вавиловых летит.

Агния передернула плечами.

— Может, сейчас можно взять Андрюшку?

— Андрюшку?

— Не тебя же!

Настасья хихикнула, Санюха громко сморкнулся, уставившись на живот Агнии с упрямым кротким недоумением, какое бывает только у мужчин, которые всю жизнь помышляли о собственном ребенке, но так и не извели счастья отцовства.

— Договорились?

Агния вздрогнула и впервые глянула в полнокровное, возмужавшее лицо Степана. Какой он стал красивый!..

— Не бойся, бить не буду.

— Меня? Бить?! Ты!? — Агния рванулась вперед. Степан попятился. — Меня? Бить? Бей же, бей! Только до смерти бей! Бей, говорю!..

— Не стоит марать руки.

— Не стоит? У тебя они чистые, да? Руки твои чистые, да? Или такие, как мои, а? Кержаки вы проклятые! Изранили мне всю душу. Кто ты мне? Муж, да? За три года — два письма, и — муж, да? Разве такие мужья бывают? Андрюшку еще задумал взять! Ты его родил, Андрюшку? Ты его растил? Деньги, может, слал? Ты его хоть раз видел? И ты — меня бить, да?!

— Сдурела баба! — всплеснула ладошками Настасья.

— Не видать тебе Андрюшку! И разводиться с тобой не пойду. Оформляй сам, как хочешь.

— Оформлю. А насчет Андрюшки — суд скажет свое слово.

— Не суд, а я. Тут тебе и суд, и прокурор.

— Ах ты, бесстыдница!

— Кто бесстыдница? — Агния круто повернулась к Настасье и моментом вцепилась ей в волосы. Настасья дико завопила на всю улицу. Степан схватил Агнию за руки и с силою отнял их от головы Настасьи. Агния, не помня себя, кинулась на него, но он так стиснул ее запястья, что она почувствовала нестерпимую боль. И, как того не ожидал Степан, у Агнии подкосились колени, и она повисла на руках, как надломленная ветвь.

Степан оставил Агнию на лавочке отдышаться, а сам пошел к Санюхе. Агния не помнила, как шла домой, долго потом искала веревку под навесом и, когда нашла, тщательно запрятала под жакетку. Над оградой Зыряна плыл молодой месяц, как белый рог быка. Вышла в улицу — тишина. Уродливые лунные тени протянулись до середины улицы. В редкой избе светился огонек.

Шла туда, к пойме Малтата, к старому тополю...

Земля, припорошенная снегом, тверда, как уголь. Агния спешит, торопится. Цветастый платок сбился ей на плечи, и волосы растрепались.

Скорее бы, скорее! Может, в последний раз бежит Агния по большаку, где ей знакома каждая заплотина. Пусть смотрят на нее черные стекла рамин, они все равно ничего не видят. Только бы поскорее укрыться под тополем. Под ним она была так счастлива с Демидом, и под ним пусть будет ее могила...

На крутом спуске Агния задержалась, глянув помутневшим взором на громаду черного тополя. Стала опускаться вниз прямо по обрыву от угла дома Боровиковых. Юбка зацепилась за что-то, она ее рванула с силою. Послышался треск по шву. Сердце туго сжалось и заныло.

Главное — ни о чем не думать. Агния никак не может унять противный стук зубов. Дрожащими руками достала из-под полы свернутую веревку. На веревке болталась бельевая прицепка. Как она ее не сняла? Отцепила и бросила. С силою подавила застрявшее в горле рыдание. Не до слез!..

Какой сук выбрать? До любого не достать рукой. Раза три закидывала веревку на сук, но та срывалась. Цепляясь за обломанные сухие сучья, прильнув голыми коленями к шершавой бугорчатой коре, полезла на дерево. Так она поднялась на метр от земли и только хотела ухватиться рукою за толстую ветку, как под ногою хрустко переломился сучок, и Агния, неловко взмахнув руками, полетела вниз. И сразу же почувствовалась страшная боль. Начались схватки. Звенело в ушах и сохло во рту. Не в силах подняться, она поползла по снегу к пригорку и стала кричать. Она еще видела, отчетливо и резко, как к ней подбежал сперва Санюха, а потом Степан.

— Егорий громовержец!.. — ахнул Санюха.

— Что ты, Агния?! — Степан наклонился, поддернул на плече сползающую шинель.

— Вережка-то, видишь? Вешалась, знать-то.

Степан попытался поднять Агнию и вдруг услышал тонюсенькое, незнакомое, чужое и непонятное «аааа», похожее на писк звереныша, — отпрянул.

— Егорий громовержец, родила!

Санюха хотел развязать узел на петле веревки, но пальцы у него тряслись, и он никак не мог распутать узел. Степан побежал за Настасьей. Та выскочила из дома, а из Боровиковой ограды вышли сестры — Иришка и Фроська — и сразу подбежали к Агнии.

Настасья вынесла какой-то половик, на который Степан с Санюхой бережно уложили Агнию.

— Ой, матушки, померлааа! — завопила Настасья.

— Тихо! — скомандовал Степан. — Давай, дядя, к тебе занесем, что ли?

— Куда же еще, паря. Давай, давай!..

Санюха додумался влить Агнии водки в рот. Ложкою разжали зубы и влили. Агния открыла глаза и сразу увидела Степана. Хотела встать, но Степан удержал ее за плечо.

— Девчонка! — сообщила Настасья.

Степан видел, как по впалым щекам Агнии прокатились одна за другой слезинки, и, сомкнув брови, скрипнув зубами, отвернулся.

Агния глубоко вздохнула. Напахнуло застоялым кислым воздухом. Где она? В чьей избе? Рядом топчется толстая Настасья Ивановна и сутулый одноглазый Санюха. «Тошно мне, тошно мне! Стыд-то какой! У Санюхи в доме», — и до крови прикусила губы. На какое-то мгновение еще раз встретилась с черными глазами Степана — и зажмурилась, сдерживая подступившее к горлу рыдание.

Степан глухо попрощался с дядей Санюхой и с Настасьей Ивановной. Потом хлопнула дверь — ушел!

Навсегда ушел...

На другой день Степан уехал в свою воинскую часть в Ленинград, заявив, что никогда больше не вернется в Белую Елань, и даже не взял развода.

Так и осталась Агния Вавиловой. Не замужняя, не вдова...

Как только чуть подросла Полюшка, дочь Демида, Агния перебралась из Белой Елани на лесопункт Раздольный, унося в душе обидное и горькое воспоминание — развилку старого тополя.

Она все еще ждала Демида. Хотела, чтобы он узнал, что у него растет синеглазая дочь. Но Деמיד так и не узнал. Откуда-то с Украины в середине ноября 1941 года вдруг пришла Боровиковым похоронная: в боях за Днепр 19 сентября 1941 года погиб Деמיד...

— Хоть бы весточку какую прислал до смерти! — причитала постаревшая Меланья. — Сколько годов ни письма, никакого известия и вдруг — убили Демушку!..

С вечера Меланья зажгла десяток тонюсеньких восковых свеч у потускневших старообрядческих икон и долго молилась, чтобы господь бог смилостивился и распахнул бы перед убиенным Демидом врата рая.

Сам Филимон Прокопьевич лба не перекрестил.

— Как был он вырождаком, лешак, такая и смерть пристигла!

— Мой грех, мне и слезы лить, — ответствовала, сутулясь, тихая Меланья Романовна.

И надо же было под этот час зайти в дом Боровиковых престарелой бабке Ефимии! И без того в доме тошно, а тут еще на ночь глядя, вся запорошенная снегом, в рваном полушубчишке, перепоясанная веревкой, в какой-то немислимой шапчонке, в разбухших мужских валенках, опираясь на толстую палку, вкатилась в избу старушонка.

От такой неожиданности у Филимона Прокопьевича зарябило в глазах и перехватило в глотке. «Свят, свят! Изыди!» — еле пробормотал Филимон Прокопьевич и со всего размаха ткнул себя двумя перстами в лоб, потом в туго набитый плотным ужином живот, в плечи, пяясь в передний угол под образа.

— Спаси вас Христос! — возвестила старушонка обычное приветствие староверов, уставившись на хозяина черными провалами глазниц.

Четыре года, как не появлялась бабка Ефимия в Белой Елани. Куда ее спровадила Авдотья Елизаровна, никто особенно не интересовался, тем более Филимон Прокопьевич, и вдруг — Ефимия в доме!

— Стужа-то какая! — шамкала старушонка, протягивая к теплой русской печи свои скрюченные, почерневшие руки. — Не время бы морозу быть, а лютеет, лютеет.

— Экая! — продохнул Филимон Прокопьевич, сообразив, что перед ним не привидение, а сама бабка Ефимия. — Откель тебя принесло-то? С самого тридцать седьмого года ни слуху ни духу, и на тебе! Где жила-то?

— Везде, везде. И в Минусинске, и в деревне Подсиней у правнучки Алевтины Крушининой, а потом в Новоселовой — там отыскалась правнучка Апросинья Григорьевна, — бормотала старуха, прикладывая иссохшие ладони к теплому боку печи. — Не больно приветливая Апросинья-то. Не больно! Все в родстве ковырялась и не

находила. Как же не родственница! От Евгеньи дочери происходит, четвертое колено. Муж у ней добрый человек, Алексей Никанорыч. Дай бог, чтоб минула его пуля Гитлерова. Ох-хо-хо! Война-то какая полыхнула, а? Как наполеоновское нашествие. И теперь еще в памяти сам Наполеон, как мы шли к нему на Поклонную гору. Несли иконы из нашего Преображенского монастыря и красного быка гнали. Думали, навек пришел Наполеон, а он — зимы не пересидел. То и с Гитлером выйдет. Бежать, бежать будет, как поджарят его огоньком, как того Наполеона!

— Гитлер не побежит! — бухнул Филимон Прокопьевич и тут же спохватился. — Там без нашего ума обойдутся, должно. Война, она такая штука — раз на раз не приходится.

— Приходится, приходится, — стояла на своем бабка Ефимия, шаря рукой по полушубку в поисках пуговиц, хотя и была перетянута веревкой. — Нашу землю никто не одолеет. Нету такой силы, Прокопий Веденеевич.

— Эко! Прокопия вспомнила!

— Обозналась? — и тут же перескочила на правнучку Апросинью. — Спомянется ей, Апросинье, ох, как спомянется! Как взяли на войну Алексея Никанорыча, так и отправила меня в Белую Елань. Сам-то Алексей Никанорыч — добрый человек, привечал меня, как родную матушку. И разговоры со мной вел, собеседования. И пропись сделал с моих слов про раскольников, как мы шли с Поморья в Сибирь с Филаретом-старцем. Царствие ему небесное, Филарету Наумычу. Записал и про Александра Михайловича Лопарева, как он бежал от стражников в кандалах. Спаси его бог!

Заметив горящие свечи у икон, бабка Ефимия перекрестилась.

— Иль праздник какой? — спросила. — Свечечки-то горят.

Филя махнул рукой и тяжело опустился на лавку. Меланья Романовна смахнула слезы с щек.

— Спрашиваю, иль праздник какой? Я-то числа все перепутала. Не стало памяти.

— Сына убили на войне.

Бабка Ефимия глянула на Меланью Романовну и перекрестилась: царствие ему небесное. Спросила:

— Которого сына? Тимофея?

— Свят, свят! Што ты, бабушка! Не было у нас сына Тимофея. Один был у меня сын — Демид.

— Демид? Погоди, погоди! Тебя как звать-то? Степанида Григорьевна?

— Да ты што, бабушка? Степанида Григорьевна когда еще померла. Моя свекровушка. И Прокопий Веденеевич, покойничек, — свекор мой.

— Помню, помню, царствие ему небесное. Как же!.. Слышала, как он тайно радел с невесткой. Ай-я-яй!.. Не так он уразумел слово писания. И сказано: «Вопль содомский и гоморрский поднялся и достиг неба. И сказал господь бог: сойду и посмотрю, точно ли так поступают грешники в Содоме и Гоморре, как о том вопль исходит от них ко мне? Так ли они погрязли в тяжких прегрешениях?»

«И послал господь двух ангелов. Праведник Лот поклонился им и пригласил к себе в дом: «Государи мои, сказал ангелам Лот, войдите в дом раба вашего». А жители Содома явились к дому Лота и — сказали: «Где люди, пришедшие к тебе? Выведи их к нам, и мы познаем их». Лот оказал им: «Не троньте моих гостей. Я вам дам своих дочерей, в вы делайте с ними, что угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли гостями под кров дома моего».

Не послушались Лота содомовцы и стали ломиться в дом. Тогда ангелы ослепили их, и жителей Содома всех ослепили. И старых, и малых. А Лота с дочерьми и женой, яко праведников, увели из Содома, а на город обрушили пепел и серу горячую. Жена Лота оглянулась на город — и стала соляным столбом. И стал жить Лот на горе в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая дочь младшей: отец наш стар, и нету человека, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Напоим отца нашего вином и переспим с ним...»

Меланья Романовна попятилась в угол, сгорая от стыда. Она все еще помнит и никогда не забудет, как читал ей святое писание свекор Прокопий Веденеевич. Доколь же ей напоминать будут о таком грехе?!

Филимон Прокопьевич поднялся с лавки. Ох, как ему осточертели все предания про Лота!

— Погрелась, бабка? Иди.

— На другой день сказала старшая дочь Лота младшей...

Филимон Прокопьевич не стерпел дальнейшего. Подскочил к бабке Ефимии, и, схватив ее под мышки, приподнял с табуретки:

— Говорю, обогрелась, иди. Наслышался твоих сказок, буде. И без того накликала на мой дом беду. Иди себе.

— Погреться бы мне. Остудина в теле. Видит бог!

— Ступай к Авдотье Елизаровне и там грейся. Сродственница твоя.

— К Авдотье? Ведьма Авдотья-то. Истая ведьма. Прогнала меня.

— Тогда шуруй в сельсовет. Там разберутся.

— В Совет? И то! Дай руки-то погреть. С испару зашлись. Не помню, не помню, чтоб сразу после покрова дня так лютовал мороз. Студено, студено на улице. Ту ночь провела в Таскиной. Добрые люди приняли хорошо. Как фамилия-то? Запоматовала. Еще сам хозяин читал мне газету про сражение под Москвой. Говорит: Москву ни за что не отдадут Гитлеру. Я-то ему толковала, как в Москву заявился Наполеон и как горела потом Москва. Не верит! А все прошло на моей памяти. И наполеоновская война, и Севастопольская, и японская, и германская, и белые с красными. Еще про матушку покойную говорила, как она пришла из богатого княжеского дома в монастырь на Преображенское кладбище, чтоб спасти душу. И опять мне не поверил. Я толкую: были такие князья Дашковы...

— Были да сплыли, — подвел черту Филимон Прокопьевич, не чая как выжить старушонку.

— И то верно, и князья, и дворяне, и сам царь. Все сплыли, как на земле не живши. Сколько перемен прошло на моей памяти? А тут вот Советы. Неслыханно, неслыханно. Ни в каком писании про Советы не было сказано. Ни в бытии Моисеевом, ни в книгах Ездры, ни в книгах Царств...

— Ступай, ступай, — подталкивал Филимон Прокопьевич. — Давно помирать пора, а ты все еще шляешься по земле.

— Пора, пора. Чую смертушку. Сон такой видела. Амвросий праведный будто явился за мною. Взял так за руку и говорит: «Заждался я тебя, Ефимия, пойдем». И я пошла. И святой град Китеж там, на дне моря Студеного. Волжские раскольники толковали, будто град Китеж на дне озера. Врут, врут. На дне моря Студеного град Китеж. В том Китеже — Амвросий праведный и Лопарев там, возлюбленный мой. Ждет меня, ждет.

— Вот и ступай к нему, к возлюбленному своему. Ступай, ступай, пока ночь не пристигла.

— Зол ты, вижу, Прокопий. Каким был Ларивон, дед твой. Сам себя возлюбил, яко тварь ползучая свой хвост.

Филимон Прокопьевич вытарашил глаза.

— Споманется тебе убиенный каторжанин! Вижу перст, занесенный над тобою. Вижу! — грозилась бабка Ефимия.

— Чо мелешь-то, старая? Совсем из ума выжила. Какой тебе Ларивон? И в памяти такого нету.

— Врешь! Врешь. Не отрыгнешься сам от себя. Борода-то огненная. Твоя, твоя.

— Мое прозвание — Филимон, бабка.

— Гореть будешь в геенне огненной — вспоманешь меня. И батюшка Филарет в могиле перевернется от грехов твоих. Крестом положил человека наземь, собакам стравил. Грех! Тяжкий грех! — вещала свое бабка Ефимия.

— О, богородица пречистая! — взмок Филимон Прокопьевич. — Чо несешь-то непотребное, старая? Ступай, грю. И без тебя тошно.

— Пойду, пойду. В свою избу пойду. Может, кто живет в моей избе, не знаешь?

— В какой твоей избе?

— У поскотины, в роще. Иль запомятовал?

— Помилуй нас! Избу вспомнила. Ту избу твою еще белые сожгли.

— Сожгли? Врешь, врешь. Стоит изба моя, — упорствовала бабка Ефимия, копаясь за пазухой полушубка. — Стоит, стоит.

— Иди, бабка. Иди, не мешкай.

— Иду, иду. Не толкай меня, анафема!..

Вышла бабка Ефимия в ограду — а кругом ночь. Лютая да ветреная. Снегом лепит в лицо. «Дойду, дойду до избы своей», — бормотала себе под нос бабка Ефимия, выползая из ограды на улицу. Свернула в переулок, в сторону большого тракта. Постояла в проулке, подумала. А снегом лепит и лепит!

Тыкая палкою, долго шла до следующей улицы.

«Нелюдим Боровик-то, нелюдим. Который Боровик-то? Борода красная и лицо, как из меди литое. Ларивоновы приметины. Ишь, сам от себя отказался. На войну бы его, на Гитлера послать».

Из чьей-то подворотни вылетела лохматая таежная собака и кинулась в ноги бабки Ефимии. Она отпихнула собаку палкою.

— Ишь, нечистая сила, как подкатывается ко мне. Не возьмешь, мразь! Изыди!

Вихрился и танцевал снег, подгоняемый ветром. В какой-то избе светилось три окошка. «Не моя ли изба? — пригляделась бабка Ефимия. — Нет, не моя. Роши не видно. Моя дальше. Дойду, дойду, небось. Если кто живет — не прогоню. Пусть живут добрые люди. А Дуня — ведьма. Черна, как чугун, гулящая. На порог не пустила, лихоманка».

Шла, шла трактом, и все роши не видно.

Остановилась передохнуть, и подкосились колени...

«Сила будто уходит. Творожку бы мне, самую малость. Ох, Боровик-разбойник!.. Есть ли у тебя сердце, лешак таежный?!»

Бабка Ефимия присела возле дороги, прямо в снег, лицом к ветру. Хотела отвернуться — ни рукою, ни ногою пошевелить не могла. А мысль зреет ясная, в память воскрешает то одного сына, то другого, то третьего. То одну дочь, то вторую.

«Всех, всех вижу! И Гришеньку, и Сашеньку, и Васятку, и Михайлу убиенного, и Евгенью, и Марию».

И опять подумала про свою избу...

«А ведь и правда: сожгли мою избу белые! Куда шла-то? Мне бы в Совет надо, пожаловаться на Авдотью. Снегом-то как лепит! Хоть бы лицо спрятать. Знать, во всем теле набирается остудина. Надо бы Давыдов псалом прочитать».

Долго перебирала в слабеющей памяти Давыдовы псалмы и, наконец, припомнила сто тридцать восьмую песнь:

«Господи! Ты испытал меня и знаешь. Иду я к тебе. Ты окружаешь меня тьмою, снегом и видишь: я жду приобщения к дарам твоим, — пела бабка Ефимия, вплетая в мертвый псалом собственные живые мысли. — Взойду ли я на небо, и там ты. Спустишь ли я в преисподнюю, и там вижу тебя. Окажу ли я: может, тьма сокроет меня и свет вокруг меня станет ночью, и тело мое съедят черви. Но и тьма не затмит тебя, господи. И ночь станет днем, и звезды померкнут в небесах. И скажу тогда: возьми меня, ибо ноги мои не несут тело, и сердце не гонит кровь к щекам. И нет мне пригрева!.. Где моя роща березовая, господи? Кто сжег избу мою? Кто наслал на землю белых и красных, и злобность людскую? И стало у людей черное сердце и лютая кровь, яко у зверей рыкающих? — спрашивала бабка

Ефимия. — И ты ответь мне, господи, всемогущ ли ты, коль на землю опять сошли, яко волки, изверги гитлеровы? Еще скажи мне, господи, где начало света и конец тьмы кромешной? Есть ли исход бытия? Откуда оно началось? От тьмы иль от света?»

«Искала я в земле Поморской правду-истину, а нашла там кару лютую. Хотели меня приковать в каменном подвале с донной водой на железную цепь и мучить семь лет — денно и ношно! По твоей ли воле приказ такой вышел из Собора, господи? Коль не по твоей — пошто не покарал нечестивцев? Отчего отдал меня в руки изверга — охотника Мокея — сына Филаретова, который измывался над телом моим, яко коршун кровожадный? Есть ли ты, господи? Не вижу тебя. Не вижу».

Мысли путались, и во всем теле настало умиротворяющее, долгожданное успокоение. Всего на один миг в тухнущем сознании бабки Ефимии алой зарницею пронеслось видение камышистого берега Ишима, и там стоял Александр Лопарев, бывший мичман гвардейского экипажа. В белой посконной рубахе, в белых штанах, и звал к себе. «Иду, иду!» — откликнулась Ефимия молодым голосом.

Голоса не было — виденье одно.

Живое стало мертвым...

Так умерла Ефимия Аввакумовна Юскова на большом тракте на сто тридцать седьмом году жизни...

Авдотью Елизаровну стыдили всей деревней, но для Дуни стыд не дым, глаза не выел и морщин не наметал на лицо.

IV

Гулко стонут мерзлые деревья. Охапки иглистого снега летят с хвойных лап, засыпают головы, руки и одежду лесорубов. По всей лесосеке слышен дробный перестук топоров — подрубают пихты и сосны. Визжат поперечные пилы. Слышно, как с шумом падают деревья, хрустко подминая молодняк.

Рубят и рубят лес!..

Если со стороны глянуть, не поймешь, кто копошится на лесосеке: не то мужчины, не то женщины. Неуклюжие, неловкие человеческие тела в телогрейках, бушлатах, иные в рваных полушубках, в немислимых платках, в шапках. Тут же барахтаются на санях подростки — совсем ребяташки. Им бы в школе сидеть, а они

работают в лесу, возят толстые и тонкие бревна на берег реки Раздольной, обрубая сучья.

— Па-аберегись! — слышится рядом.

— Давай, подруженька, по-фронтному! — заносит пилу молодуха в мужском бушлате.

И подружки, налегая на пилу, врезаются в толстый ствол старой пихты.

На лесосеке — Агния Вавилова.

— Бабоньки, торопиться надо. Не унывайте, милые. День-то совсем короткий — поспеть надо, — торопит она измученных, усталых женщин.

Агния! Кто бы ее теперь узнал? В нагольном полушубке с наполовину оторванной полрой, в суконной шаленке с обтрепанными концами, в больших сапогах с кирзовыми голенищами, бродит она по лесосеке от одной пары женщин к другой, поторапливает, помогает советом и все время напоминает, что надо выполнить дневную норму.

Кругом одни женщины. Здесь нет мужчин, кроме малых подростков. А лес надо заготовить, вывезти к берегу реки, сложить в штабеля и потом сплавить по реке до Амыла и Тубы, где молевой сплав продолжают рабочие сплавконторы.

Как только началась война и мужчин мобилизовали, Агнию оторвали от конторы лесопункта, где она занималась счетоводством, и поставили руководить заготовкой леса.

«Люди-то где? — оглядывалась Агния. — Кем руководить-то? Хоть бы на весь участок два-три мужика. Ведь одни бабы. У той малые ребятишки, у другой — пятеро по лавкам». От тяжких дум ломило в висках и весь свет перед глазами морщился, как овчина на огне. А надо, надо заготовить лес. Надо! Лес нужен для экспорта. Каждое сосновое бревно — это автомат или пушка. Патроны или снаряд. Лес — это чистое золото.

Простуженный голос Агнии напоминает:

— Бабоньки, что же вы сели? Иль, думаете, на фронте ваши мужики сидят сложа руки?

— Там у них паек на фронте, Агния. Не такой, как у нас. Овсянка да хлеб из просяных охвостий. Силу-то где взять?

— Стыдилась бы говорить такое. Паек! Со смертью рядом — кусок в горле застрял бы у вас.

Бабы поднимаются и берутся за топоры и пилы.

И опять по всей лесосеке слышится дружный перестук топоров.

«Так, так, так!» — ахают топоры о мерзлые деревья.

«Вжи, вжи, вжи!» — визжат пилы.

«Тррах-тах-шух», — со свистом и треском летят наземь спиленные деревья.

Хоть бы один-разъединственный трактор на подмогу! Есть на лесопункте три стареньких СТЗ, разбитых и давно списанных с баланса, — нету к ним запасных частей. Стоят возле сарая засыпанные снегом. До войны на лесопункте с техникой было не густо: пять тракторов и две автомашины. С первого дня войны машины угнали на железнодорожную станцию, а спустя неделю — туда же ушли и два новых «Сталинца» вместе с тракторами.

На фронт, на фронт!

На каждом бараке, на конторе лесопункта — красные полотнища:

«Все для фронта! Все для победы!».

Ветер треплет красные полотнища, пытается сорвать с гвоздей. Но Агния крепко их прибила — не сорвешь. Каждый метр ситца или сатина — диковина. Нету в магазинах ОРСа ни мануфактуры, ни сахару, ни конфет, ни пряников. Хлеб — по карточкам, и того мало. Ко всему привыкли люди — не жалуются.

На второй год войны в Раздольное явились старики из Белой Елани — один другого белее, сутулее. Пришли они с собственными топорами и пилами. Бригаду стариков привел на лесопункт Егорша Вавилов, свекор Агнии. Встретился с невесткой возле конторы и, прямя спину, представился:

— А вот и я, Агния, со своей гвардией. Гляди — один к одному, лоб в лоб. С такой ротой можно и на фашистов двинуться. Тут нас примут аль нет?

— Всех принимаем, Егор Андреяныч.

— Туго с народом?

— Очень трудно.

— Оно так, невестушка. Война лютеет. Степан пишет — жмут на фашистов, а перемен покуда что не видно. Читала: под Сталинград немцы подкатились? В ту войну так не было. Этак немудрено к Уралу позиции перенести.

— До Урала не дойдут.

— Оно так. Не одолеют нас немцы, корень зеленый. Не одолеют. В случае чего, сам двинусь на позиции. Нацеплю на грудь все свои кресты и медали, какие поимел в награду за японскую войну, и — двинусь. Пешком до самого фронта. Дойду, небось. И буду же я их лупить, супостатов, до той поры, покуда в землю на аршин не вколочу. Во как!

И так же решительно, как соображал двинуться на позиции второй мировой войны, Егор Андреянович повел свое старое, испытанное в житейских невзгодах войско на штурм тайги.

Кряхтят старики, хватаются руками за поясицы, пыхтят, как паровозы, — пилят, рубят, зачищают стволы. Топоры у них отточены, что бритвы, пилы — с хорошим разводом, не заедают, да и глаза стариков наметаны. Знают, с какой стороны ловчее свалить дерево, чтоб оно не зажало пилу и, чего доброго, кого-нибудь не изувечило.

— Нажмем, нажмем, ребятушки! Такое ли видывали на своем веку! — басит Егорша на всю лесосеку, подкидывая вверх свои вислые, обмерзающие усы.

И ребятушки, задыхаясь, обливаясь потом, потягивают пилы, машут топорами, храбрятся, а к вечеру — еле передвигают негнущиеся в коленях старческие ноги.

— Эх-хе-хе! — кряхтит один. — Кабы не холерская грыжа, да я бы, едрит твою так, всех баб Агнеиных за пояс заткнул!

— Куда там! — вторит другой старик. — Скинь с моей шеи годов пятьдесят, да я бы, осподи, Микола угодник, что натворил бы! В тридцать-то лет я, паря, один на медведя хаживал.

— И! — шипит третий в бороду. — В тридцать-то лет я, паря, сутунок на плечо — и тяну за пару лошадей. Истинный бог, не вру. Во силища была! Как у нашего Егорши.

Сам Егорша Вавилов, хоть и не прочь прихвастнуть, но, соблюдая бригадирскую дистанцию, хвалит других — и Михей Вьюжников был в силе, и Андрон Корабельников — коня на скаку останавливал, и Михайло Сутулов — по пятнадцать пудов на хребте таскал.

Старики слушают бригадира, храбрятся, подмигивают молодухам-красноармейкам, а поздним вечером в дымном бараке при тусклом свете керосиновой лампы с закоптелым стеклом просят Егоршу прочитать газетку: как там сынки воюют на фронтах?

Корежили тайгу февральские морозы.

Дымно в тайге от стелющегося тумана. Жулдет и река Раздольная кипят наледью.

Мороз за сорок пять градусов. К середине февраля — пятьдесят три градуса.

Замерла жизнь на лесопункте — не дыхнуть. Сколько женщин обморозились, не говоря о ребяташках.

Простудным кашлем наполнились бараки лесорубов. День и ночь бухают старики бригады Егорши Вавилова. И сам Егорша, с примороженными щеками, синеющей горбиной носа, свирепо наседает на начальника лесопункта — требует фельдшера.

— Бревно ты аль бесчувственность какая! — ругается Егорша в конторе лесопункта. — Достань хоть мази для обмороженных. Мозгой шевелить надо, товаришок.

«Товаришок» — тщедушный, усталый пожилой человек из горячего цеха ПВРЗ отмахивается руками:

— Нету такой мази, товарищи. Где ее взять, ту мазь? Я и сам кругом обмерз. И ноги обморозил, и руки.

У Агнии на щеках чернеющие пятна, как отметины жарких поцелуев. Егорша глядит на невестку, журит:

— Холерская, аль не успела оттереть? Куда глядела-то? Дошла до бесчувственности?

— И у вас, тятенька, нос прихватило. И щеки тоже.

— Ишь ты! У меня! Да ты с мое поживи, худая немочь. Мне поди шестьдесят пять годков. Не мало! Да и оттого ли я обмерз? Слышала — похоронную от Николая получил? Васька без вести пропал, как в воду канул. И от Степана другой месяц нету письма. Душа обмерзла, вот она какая статья, невестушка.

И ушел к себе в барак — веселить стариков.

V

Чадно в бараке и холодно, холодно.

Старики беспрестанно шуруют три печки сосновыми чурками, а жару нет — барак насквозь промерз. Наледи на стенах, на полу. По углам и у дверей — наметы куржака, как на медвежьих берлогах.

Белые головы стариков на черном фоне стен барака вырисовывались, как кочаны капусты, прихваченные морозом.

Подобно журчанию таежных ключей, голоса стариков лились в густые сумерки. Выделялся боевитый голос Андрона Корабельникова, кузнеца из колхоза «Красный таежник», и медлительный бас Михея Вьюжникова.

Любопытно заметить, как сидели старики в бараке. Возле пузатых железных печек расселись старшие — Васюха-приискатель, средний брат Егорши Вавилова, Михей Вьюжников, Митрофан Харитонов и еще пять или шесть белых голов.

За белыми головами — сивая проседа, или, как они сами себя зовут, — «шестидесятники». Одному — за шестьдесят, другому пятьдесят девять, третьему — шестьдесят три.

Их тридцать семь человек. Когда-то они вместе охотничали, шлялись по золотым местам, бывало, ссорились, обходили друг друга, снова сходились, но не вместе собираются помирать. Нет среди них Прохора Зыкова, Никишки Валявина. — Но они помнят их, умерших: Афанасий Мызников тогда-то помер, помнишь? Рекостав был. Прохора Зыкова медведь задрал. Ну и медведище был! Не лапы — сковороды!

И вот сидят они в бараке, похожие на зимний белый лес, потрепанные невзгодами, дурными годами, с глубокими морщинами на бурых лицах. Тому что-то нездоровится, у другого спина разболелась — поясницу не разогнуть, у третьего со вторника грыжа расшумелась — погоды переменится.

Они не перемалываются, скоропреходящие слухи, их не волнуют страсти молодежи — они свое пережили. Остались на дне их жизни весома, проверенная годами мудрость, сноровка, смекалка и стариковская хитринка.

Разговор один и тот же — про войну...

— В ту войну не так было, паря, — толкует Митрофан Харитонов. — Сам в окопах лежал, помню. Жали немцы, супротив ничего не скажешь. Но чтоб до Волги дошли — оборони господь бог!

— Спомни, как в газетах прописывали: ни одной пяди земли не отдадим. А куда дело обернулось?

— Чего не писали! Как в японскую. Шапками закидаем, а как жаманули япошки, господи помилуй, не помню, как угодил в плен, на остров Окинаву. Семь годов мантулил на японца, якри его в почки. Приглянулась мне там японочка, — журчит тенорком Михей Вьюжников. — Как спомню — смехота, и только. Та японочка, ну, как

бы вам сказать? С лохмашку будет аль нет, истинный бог! На ладони носил ее, холеру. Вот так посажу и несу к самому морю. Выпущу у моря, как стриганет в воду, ну, как та русалка. Истинный бог! Не успеешь глазом моргнуть, как она на версту уплывает от берега.

— Ишь ты! На море возросла.

— Ишшо бы! Там вес на острове возросли.

— Ну, и как ты с ней, Михей Евграфыч, поладил аль так просто, всухую?

— Что ты, паря. Ребенок родился.

— Да ну?!

— Истинный бог. Девчонку бог дал. Обличность вроде бы с русской схожа, а глаза раскосые.

— Ишь ты! Как только она выдюжила, та японка? Совсем махонькая была, гришь?

— Они, паря, ох, до чего дюжие. Вроде в чем дух держится, а как по женскому понятию — наша баба не устоит. Да и я был в ту пору в силище. Матросом первой статьи плавал на крейсере. Адмирал Рождественский самолично к награде представил за одно сраженье.

— Ну и трепанули же вас японцы в ту пору!

— Не говори! Три раза, паря, с духом расставался. Ну, думаю, гибель пришла. Батарейного командира, офицеров, механиков — всех порешило, и сам крейсер лишился плавучести, а я, знай себе, наяриваю из тяжелого орудия. Вдруг — заело. Механизмы вышли из строя. Тут и взяли япошки в перекрестный огонь. Как лупили — светом не возрадовался. Начисто снесли всю надпалубку, истинный бог. Как корова языком слизала. Не крейсер, а одна срамота осталась. С тем и взяли в плен, проклятущие.

Егорша Вавилов, мусоля карандаш, подсчитывал недельную выработку старой гвардии. «Кубов не хватает, якри ее, — пыхтит Егорша. — Кабы не мороз — подрезали бы пятки нашим бабенкам. А так что — не с чем лезти на Красную доску!»

В барак зашел начальник лесопункта.

— Товарищи! Сообщают по радио — армию Паулюса разгромили под Сталинградом. И самого фельдмаршала взяли в плен.

Тишина...

— Слава тебе господи! — перекрестился Михей Вьюжников.

— Таперича — баста! — прямит богатырские плечи Егорша Вавилов. — Помяните мое слово: война на перелом пошла. Лиха беда начало. Так завсегда бывает: трудно прорвать малую дырку, а большая сама образуется,

— Оно так, паря, — поддакивают старики.

VI

Совсем другие песни в бараке лесорубок-красноармеек...

Известие о разгроме армии Паулюса под Сталинградом женщины приняли как известие о конце войны.

— Бабоньки, радость-то какая! Война-то, знать, захлебнулась.

— Может, и мой скоро возвратится. Ох, и буду же я, бабоньки, песни петь на встрече.

— Погоди еще, погоди, Степанида. Может, не песни петь, а слезы лить придется.

— Не каркай, рябиниха! Духом чую.

— Мне тоже во сне чуялось, да на яву не исполнилось.

— О чем вы только говорите! — журит женщин Мария Спивакова, чернявая, бровастая, старшая дочь Филимона Прокопьевича. — В газете про что пишут? Про битву под Сталинградом, а вы — конец войны учуяли. От Волги до Берлина, ох, какая дальняя дороженька, милые. Потопаешь.

— Знать, Маруська, не ждешь ты Мишку Спивака, коль не возрадовалась, — кто-то кинул Марии с дальнего угла барака.

— Я не жду? Это ты лопочешь там, Настя? Дура ты, и больше ничего. Может, не так, как ты, жду. Покрепче.

— Видать!..

И кто бы мог подумать, что через каких-то две недели, в этом же бараке, Мария Спивакова, трясущимися руками вскрыв тонюсенький конверт, свалится с ног в тяжелом обмороке!

— Ай, бабоньки, Маруська-то обмерла! Что с ней случилось-то? Письмо, вроде...

Кто-то заглянул в бумажку, выпавшую из рук Марии.

— Похоронная! Михаила Спивакова убили под Сталинградом...

Так проходили дни за днями. Трудные. Нестерпимо тяжкие, горькие и, как думалось всем, — неизбывные.

Подули теплые апрельские ветры с юга. На реке Раздольной посинел ледок, разъедаемый заберегами.

Агнию Вавилову послали руководить сплавом.

— Кого, кроме тебя, пошлешь на сплав? — говорили в дирекции леспромхоза. — Ты же за военного комиссара среди женщин. Они тебя понимают лучше, чем любого мужчину.

— Кидаете вы меня, как мячик, с места на место. То один лесоучасток, то другой, а теперь на сплав. Что-нибудь бы одно.

— Ну, ну, не скупись на добро, Агния Аркадьевна. Будешь у нас за инженера на сплаве. Ты же в техникуме училась.

— Не в лесном же!

— Какая разница? Пять лет знаем тебя — справишься.

Ничего не поделаешь — пришлось взяться за сплав леса. Не раз вспомнила Демида. С Раздольной — на Тюмиль, с Тюмиля — на Кизир и Казыр — обе реки капризные, порожистые. Не сплав — мучение. Не успеешь к июню выгнать лес к устью Казыра — кричи караул. Хоть руками перетаскивай бревна через обмелевшие пороги.

Отучилась Агния думать и понимать постороннее. Только лес, лес и лес. И вчера, и сегодня, и завтра.

Ко всему привыкла, все могла перенести и пережить, не роняя жалких слез, а вот к одиночеству так и не притерпелась.

Не раз Агнию охватывали вдовьи слезы. Вдруг получит кто-нибудь похоронную — и тут же, в бараке ли, на сплаве ли, падает камнем и ревет в голос. Агния спешит как-то утешить несчастную женщину, говорит, что жить надо хотя бы ради детишек и что после войны настанет совсем другая жизнь...

— Да мне-то какая радость, Агния? Вдругоредь на белый свет не нарожусь. Не расцветешь под старость. На кого он меня покинул, горемычную головушку! Не я ли ждала — ночами глаз не смыкала? Не я ли печалью изводилась? Не я ли молилась за него и денно и ношно? Убиилии!.. Нету более у меня мужа! Нету! Совсем одна!..

«И я тоже всегда одна», — думалось Агнии в такие моменты.

Подрастали Андрюшка, вавиловская ядреная кость, кудрявая синеглазая говорунья Полюшка, дочь Демида, а у сердца Агнии лежала

нетающая льдинка — одиночество. Обшивала, кормила ребятишек, учила их, всю силу убивала на сплаве леса, ни как только оставалась одна хоть на час-два, так сразу же к горлу подкатывал клубок — не дыхнуть. Отожмутся редкие слезы в подушку, а во сне — Демида увидит. Всегда Демида и никогда Степана...

— Хоть раз отпиши Степану, — укоряла мать — Деньги шлет, знать, не считает за чужую.

— Не мне деньги, сыну.

— А сын-то чей? Иль чужой тебе?

— Отстань, пожалуйста. И без моих писем Степан воет хорошо. Не буду же я лгнуть к нему, как повилика.

— Одичаешь эдак. Мужчина что любит? Ласковость и покорность. Чтобы покорилаь ему. Повинилась бы.

— Непокорная я. И не из виноватых. Проживу без мужика.

Сказать легко, а прожить в одиночку — пустота несусветная. Будто весь век сидишь в избе, поставленной от солнца, — всегда в тени.

О Демиде часто напоминала Полюшка.

— Когда убили моего папу? Где? Кто убил?

Агния поясняла, как могла, что отца Полюшки убили проклятые фашисты еще в самом начале войны, где-то на Днепре, на Украине. Угрюмоватый Андрюшка бурчал:

— И совсем неправда! Не было у Польки отца. Безотцовщина она, вот и все.

Как ни укрощала Агния упрямого Андрюшку, ничего поделать не могла. Съездит Андрюшка в деревню, наслушается бабки Аксины Романовны и дурит потом целую неделю, изводит сестру Полюшку.

Возвращались с фронта мужья солдаток. Агния радовалась чужому счастью, а собственное сердце исходило стоном.

«Несчастливая я. На работу везучая, а в жизни — как цветок пустоцвет».

Год от году пережитые военные трудности как-то тускнели, стирались в памяти.

Время затягивало открытые раны, лечило живых.

Отгорел на щеках Агнии девичий румянец. Глаза ее, такие ясные, карие с точечками у зрачков, словно потускнели и глядели себе в душу, будто искали там что-то заветное и милое. На высоком смуглом лбу

таежницы врезались морщинки, и в межбровье будто вороненок скобленул коготком. Углы пухлых губ сдвинулись вниз, и редко на черномбровом лице Агнии порхала беспечная улыбка, как в пору девичества. Сердитые брови сжимали кожу над переносьем, старя сердце.

Частенько Агния наведывалась на боровиковскую горку, чтоб поглядеть на черный тополь.

И он, старый тополь, тоже переменялся с той поры, когда под его развесистыми сучьями встречались Агния с Демидом.

Двуглавая вершина тополя в нынешнюю весну не выкинула лапы-листья, осталась чугунно-черной, неприглядной. И сразу тополь стал непохожим сам на себя. Разросшиеся сучья старого дерева нарядились в бархатистую зелень, широко размахнувшись вокруг, а сверху словно кто воткнул железные вилы, смертельно поранившие ствол.

Нынче почернела вершина, потом тлен проникнет вглубь, до самых корней, и тогда под окном Боровиковых торчать будет мертвый скелет тополя. Вороны еще будут садиться на голые сучья, но никто не услышит лепета листьев, вешнего переклика старого дерева с молодняком, никого не порадует прохладная тень от тополя. И самой тени не будет. Отпечатается на земле узорчатая вязь перепутанной кроны, вот и все.

Старый тополь умирал стоя...

VII

Еще до того, как старый тополь вырядился в вешнюю обнову, шла Агния в бригаду молевщиков на Жулдет и долго глядела на тополь. Щедро поливало апрельское солнышко. Обычно тополь наряжался раньше всех деревьев в пойме. И одевалось дерево, как и должно, с вершины. А тут — глядит Агния и удивляется: вершина углистая, а на толстых сучьях раскручиваются клейкие трубочки листиков.

Дня через два, когда бархатистая листва усыпала все дерево, Агния уверилась в догадке: вершина тополя засохла. Вскоре вся деревня заговорила про боровиковский тополь. «Отжил свой век, — толковали старики. — Деревья и те не могут пережить самих себя».

Но старый тополь все еще не поддавался смерти...

Гордый, по-прежнему непокорный и могучий, он будто ринулся в последнюю схватку с недугом, выкинув небывалую пышную зелень по всем сучьям. И если бы кто пригляделся внимательно к дереву, то, наверное, заметил бы, что именно с нынешней весны от корней отошли новые побеги, стрелчатые, как иглы, и на сучьях дерева особенно их было много — тонюсеньких, гибких, как пальчики младенца.

И что самое удивительное: Боровиковы узнали последними про недуг тополя. Филимон Прокопьевич не поверил даже, когда ему кто-то сказал, что тополь сохнет. «Неужто правда?» — И сам поглядел на тополь. Обрадовался.

— Чернеет, окаянный! Настал-таки черед. Таперича года два — и высохнет на корню. Потом я обрублю сучья, и каюк ему. На ползимы дров хватит.

Подслеповатая, рано постаревшая, еще не дожив до шестого десятка лет, Меланья Романовна не возрадовалась, как Филимон Прокопьевич, но каждую субботу, поминая за упокой сына Демида и всех родственников, не забывала и про тополь: «Прости мне, господи, и свекору покойному все тяжкие тополевые прегрешения. Каюсь, господи!..»

Филимон Прокопьевич о грехах не думал. Не тем голова была занята. Еще со второго года войны избрали Филимона Прокопьевича общим собранием завхозом «Красного таежника». И Филимон Прокопьевич, щедро оделяя колхозным добром районное начальство, особенно медом, занимался артельными делами напару со свояком, Фролом Лалетиным, председателем колхоза. Про них в районе так и говорили: «Две красных бороды, и обе хитрые».

«Две красных бороды» постарались: «Красный таежник» сполз на последнее место в районе. Но сам Филя не обеднел! Немало добра скупил за бесценок у эвакуированных людей с запада. Туго набил карман червонцами, но по-прежнему в собственном доме было пусто: все, что Филе ползло в руки, тут же оборачивалось в хрустящие бумажки.

— Ну, жмон Филя! Этакого свет не видывал! — толковали меж собою колхозники.

Вешнею птичкою-говоруньей влетала в дом Боровиковых Полюшка, дочь Демида. Вьющиеся льняные волосы Полюшки успели отрасти в толстую косу до пояса, и Полюшка очень гордилась своей косой. Сама тоненькая, синеглазая, беленькая и румяная, она так и светилась радостью. Бабка Меланья и та преображалась, как только Полюшка переступала порог.

— Моя ты ненаглядунья! Ласточка сизокрылая — бормотала Меланья Романовна, стараясь удержать в доме Полюшку. — Ах, если бы Демушка был жив. Как бы он возрадовался!

— Да ведь он меня не знает, бабушка?

— Што ты, што ты, ласточка. Кровь-то, личико, глаза куда денешь? Все капли Демидовы переняла.

— А бабушка Анфиса говорит, что я похожа на какую-то ее сестру, которая померла давно.

— Врет Анфиса Семеновна. Она же из Федоровых, из приискателей. Всех ее сестер помню. Чернявые были, как угли. А если взять по Зыряновой родове, — рыжий рыжего погонял. В отца ты удалась, в Демушку.

— Андрюшка дразнит меня «безотцовщиной».

— Плюнь и не слушай. Андрюшка — несмышлениш, мало ли што не брякнет.

— Я знаю. Я все знаю, бабушка. Мама очень любила моего папу. Над ней все смеялись, а она все равно любила. И я бы любила, если бы папа был живой.

— И мертвых любить надо. Полюшка. Не от своей смерти сгас Демушка, отец твой. От пули гитлеровской смерть принял. Теперь и Гитлер окошел в своей берлоге, и все фашисты погибель нашли на нашей земле, и войско наше в Берлине, што более! Отомстилась извергам безвинная кровушка Дрмушки и всех, которые погибли на войне. Тебе жить — тебе и память держать про отца. Я-то помру, кто помнить будет? Мать твоя, может, сойдется со Степаном Егорычем. В законе состоят, и сын растет у них. А ты завсегда останешься дочерью Демида.

— Я буду помнить, бабушка. Всегда-всегда, — обещала Полюшка. — Если бы хоть одна карточка осталась от папы!

— Нету, милая. Нету карточки. Мать твоя тоже спрашивала. Нету — скупилась Меланья Романовна, хоть в ее огромном сундуке, в

заветной подскринке, куда Полюшка не смела заглянуть, лежали две или три фотокарточки Демида молодого, чубатого, еще совсем зеленого парня. Меланья даже сама не глядела на эти карточки: все, что лежало в сундуке, — дорогие вещи, староверческие иконы, золото, бумажные деньги, было неприкосновенно, «про черный день», и сама Меланья до того сжилась с огромным кованым сундуком, что не было такой силы, чтобы посунуть ее от сундука хотя бы ради собственной кровинки. Это было ее сокровище.

VIII

Не жаловал Полюшку Филимон Прокопьевич. Никак не мог сообразить, по какой причине прилипла чужая девчонка к его старухе? Что у них за секреты объявились? Как бы старушонка не сболтнула чего лишнего!

— С чего к нам в дом зачастила Зырянова перепелка? Иль не понимаешь, кто такой сам Зырян? С потрохами слопает, — бубнил старухе Филя. — Смыслишь, на какой должности состою? Завхоз — все равно, что амбар под замком. Каждый норовит заглянуть в амбар: что там лежит? И Зырян подбирает ко мне ключи. Слух пустил, будто я начисто облупил всех эвакуированных. А еще сундук откроешь перед перепелкой аль в казенку заведешь: гляди, мол, скоко у нас добра напасено про черный день.

— Свят, свят, свят! Чо мелешь-то?

— У тебя ума хватит.

— Оборони меня господь бог! — крестилась Меланья Романовна.

— Гляди! Старый Зырян яму под меня и под Фрола Андреича копает. В райкоме разговор вел: так, мол, и так хозяйничают в «Красном таежнике». Ишь, сволота какая!

— Осподи! Зырян-то, Зырян-то с чего несет на тебя? Его же Агнея скоко время с Демидом путалась, и на тебя же экий поклеп.

— Мстит, стал быть, — пыхтел Филя.

— Через што мстить-то?

— Экая! Как не дотумкаешься: Агнея-то с чьим прикладом осталась? Тумкай, старая. Кабы не приклад — жила бы теперь и нос задирала кверху! Майорша! Степан-то до майора дошел. Званье Героя Советского Союза поимел. Всего лишилась через приклад, хи-хи-хи!..

Ловко ее объегорил Демидка. Как спомню, как они токовали ночами под тополем — смех в глотке застревает. Умора! И так он ее обихаживает, и этак. Лежу раз в черемухах и слушаю: про что толкуют полуночники. Демид говорит ей: «Осенью уедем с тобой в Манский леспромхоз. Зовут, грит, туда на должность технорука». Ишь ты! Зовут — не кличут, и в зубы натычут, думаю. Вот ты теперь и кумекай: по какой причине Зырян засылает к нам в дом перепелку?

— Аль есть причина? Демушкина дочь-то.

— Плевать ему на Демушку твою!

— Свят, свят! На мертвого-то мыслимо ли плевать?

— Зырян на всех плюнет. Хоть на мертвых, хоть на живых. Такая у него линия. Ни родства, ни кумовства не признает.

— От безбожества все!

— Про бога тоже помалкивай, как неоднократно тебе указывал. Держи про себя, и все. Потому — в завхозах хожу.

— И так держусь, — вздохнула Меланья Романовна. — Тайно приобщаюсь.

— Твое дело, приобщайся. Но штоб люди не зрили. Гляди! У Зыряна кругом глаза. Неспроста засылает перепелку. Штоб выглядела: што и где лежит у нас? Много ли денег?

— Свят, свят, свят! Мыслимо ли?

— У партейцев все мыслимо. Понимать должна.

— Пошто заранее не сказал?

Филя подпрыгнул на лавке:

— Сундук, должно, открывала? Аль в казенку пускала?!

— Што ты, што ты! Ни в жисть!

— Побожись!

Меланья Романовна бухнула на колени:

— Вот те крест непорочный, ни сном ни духом не зачерненный. Говорю перед Пантелеймоном Чудотворцем — не открывала Полянке сундука и в казенку не пускала.

— А разговор был про барахлишко?

— Не заикнулась даже. Вот те крест.

— И Полянка не выпытывала?

— Ни сном ни духом. Про карточку Демушкину сколь раз спрашивала, а так чтобы про вещи, про деньги — оборони бог.

— Карточки-то в сундуке? Знать, открывала?

— Господи! Разе я дам в ихі руки Демущкину карточку? Сказала нету, и все тут.

— Ну и слава богу, — перевел дух Филимон Прокопьевич, не забыв важно распушить бороду. — Так што — держи ухо востро с перепелкой. Пытать будет так и эдак — не проговорись.

— Да я ее, лихоманку, на порог не пушу.

— Не сразу. В глаза всем бросится, коль турнешь сразу. А так постепенно отваживай. Хворой прикидывайся. Мозгой ворочать надо, старая. Время такое пришло. Без хитрости никак не проживешь. Фрол Андреич и так изворачивается, и этак. А все мокрое место. Фронтвики всюю насаждают. Все возвращаются и возвращаются. Жмут, лешаки! И колхоз развалился, и прибылей нету с пчеловодства, и на звероферме лисы попередохли, язби их, и хлеб каждый год под зиму уходит. Кругом дыры. Собирались вот у Фрола, мозговали: как быть? Я так присоветовал. Собрать малочисленное собрание и поставить председателем Павлуху Лалетина.

— Сынка Тимофей Андреича? Он же племянничек Фрола Андреича.

— И што? Фронтвик — первая статья. При двух орденах — вторая статья.

— Парень-то он шибко тихий, покорный.

— Ишь, разглядела-таки, старая. Знать, у те в голове еще варит. Хе-хе-хе. Оно так — тихий, покорный, и весь в кармане Фрол Андреича. Потому — выпить любит.

— Куда же Фрол Андреича?

— И то обмозговали. Присоветовал так: Фрол Андреич станет заведовать всеми номерами пасек. Полторы тысячи ульев! Житуха, якри ее. Руки погреть можно, хе-хе. Кажинная пасека чистая деньга. Что твой прииск.

— Богатство-то экое! — всплеснула ладошками Меланья Романовна. — Кабы в одни руки!

— В мои бы, — вырвалось у Фили.

— Мать пресвятая богородица, жили бы как, а?

— Ну, ну! Я так, шутейно, а ты всурьез принимаешь. К чему нам такое богатство? Маята одна.

— Куда же тебя, коль Павлуху поставите председателем?

Полнокровное лицо Филя расплылось в самодовольной улыбке до ушей.

— Без меня у всех кумовьев Лалетиных — дырка будет, которую они никак не закроют. На том же месте остаюсь. Завхозовать. Ну, пропесочат на собрании. Покаюсь, должно. А там! — Филя махнул рукою.

Меланья Романовна стала собирать ужин.

— Только ты смотри! Про наш разговор — ни гу-гу!

— Што ты! В меня, как в яму, сложил. Што положил, то и будет лежать на месте.

И это было так — как в яму.

После ужина, перед тем как уйти в правление колхоза, Филя попросил у старухи ключи и заглянул в огромный, окованный железными полосами сундук, куда можно было бы ссыпать кулей пять пшеницы.

Деньги лежали на своем месте. И тридцатки, и десятки, и пятидесятки хрустящие, помятые, а все денежки — не водица!

Если бы знал Филя в этот час, что именно эти драгоценные денежки вдруг лопнут, как мыльные пузыри!..

IX

На исходе года Филя укатил в город на новогоднюю ярмарку с колхозными поросятами.

На трех подводах везли штук двести визгливых, не в меру прожорливых глоток, только бы с рук сбыть. Дорога дальняя — за сто километров. А тут еще мороз приударил.

Филя натянул на шубу собачью доху, на руки — двойные лохмашки, завалился между клетками с поросятами и сопит себе в воротник. Две колхозницы-свинарки Манька Завалишина, курносая, полнощекая, и Гланька Требникова, конопатая даже зимой, одетые в шубенки — веретенном тряхни, бежали вслед за санями вперегонки — только бы не замерзнуть.

— Жмон-то, жмон-то, сидит себе, и хоть бы хны!

— Ему-то что? — еле шевелила замерзшими губами Манька Завалишина. — На нем жиру, поди, как на упитанном борове. Истый пороз!

— Поросята бы не примерзли.

— Пусть мерзнут, лешии, — пыхтела Манька. — Я сама, то и гляди, льдышкой стану.

— Амыл-то как дымится! Свету белого не видно. Ты давно была в городе?

— Впервой еду. Да что мне город-то? Кабы с деньгами ехать, а так что! Гляди, да не покупай. Маята одна.

— Я там слетаю на барахолку. — Платок хочу купить, как у цыганок — поцветастее, — мечтала Гланька.

— Тебе идет цветастый: к лицу. Чернявая.

— И, чернявая! Кабы глаза, как у той Голоवेशихи, а то что: волосы черные, а глаза — простокваша. Терпеть себя не могу из-за глаз.

Филимон Прокопьевич тем временем ударился в богословие:

«А бог, он все ж таки существует, как там ни крути. Партейцы, оно понятно, — им бог — кость поперек горла, а вот для меня — действительно, — сопел Филя, усиленно двигая пальцами в валенках — начинало прихватывать. — Што для меня бог? Как вроде телохранитель. И в ту войну господь миновал — хоть турнули на позиции, но, пока шель да шевель, переворот произошел. Ипеть я цел, невредим. А другим, которые в безбожестве погрязли, тем хана, каюк. Или вот красные с белыми. Кабы прильнул я к белым, ипеть вышел бы каюк. Бог вразумил: в тайгу ушел. Кабы не колхоз — богатым был бы и в почете числился бы. Ну да мне и так не худо. Хоть тот же Тимоха. Што выиграл от своей политики? Ровным счетом ничего. Прикончили белые, и батюшка тако же смерть сыскал. Вот оно каким фертом вышло!.. А я, слава Христе, в живых пребываю».

Пощипывало кончик носа. Филя потер его лохмашкой и глубже запрятал голову в воротник.

«В колхоз вступил? Господи помилуй, тут моей вины нету. Такая линия вышла. Всех в колхоз турнули. И так три года скрывался, чуть не сдох в Ошаровой вместе с Харитиньюшкой. И ту в колхоз загнали».

Нет, Филю бог никак не может покарать за то, что он вынужден был вступить в колхоз. Тут его вины нету. Хоть так верти, хоть эдак. Чистенький.

«Разве я от бога отрекся, как другие? Оборони господь! В помышленье такое не имел. Бог он все зрит! Понимает, стало быть, что

к чему. Ежли про тополевы толк — дык што в нем толку? Одно заблужденье. Потому и отторг от души, как несуществительность. Богу надо поклоняться незримо, как сказано в самом писании. Без храмов и без фарисеев чтоб. Оно и я такую линию держу. Тайную. И бог со мною. Не забывает. Вот хотя бы эта война. Мало ли мужиков перещелкали? Эх-хе! Видимо-невидимо. Другие от голодухи попухли, а я, слава Христе, приобзык. И самому тепло, и старухе, и про черный день припас — хватит!»

Сколько же он припас, Филимон Прокопьевич? Много ли выторговал на барахолке в городе, сбывая вещи эвакуированных и при случае прикарманывая денежки колхоза, когда ездил самолично продавать мясо?

«Эх-хе-хе! Жить надо умеючи в таперешнее время. От сатаны сорви клочок — богу прибыток. Вот хотя бы эти девчонки-свинарки. Што заимели? Хи-хи-хи! Ловкая житуха! Они выводят свинюшек, а прибыток перепадает мне, а так и Фрол Андреичу, и так дале. Мороковать надо. Есть ли в том грех? Нету. Потому бог сказал: грейте руки возле анчихриста, а во славу мою псалмы читайте».

Ну, на псалмы Филя не скупец. Если надо, день и ночь читать будет. Конечно, сугубо тайно, чтоб посторонние глаза не зрили, какой он богомольный. Пусть все почитают за безбожника, а вот он перед господом богом чистенький, как червонец из денежной фабрики. Ничьими руками не заляпанный.

«Или вот Демид, — вспомнил Филимон Прокопьевич погибшего сына. — Как ни жывал будто. Отчего такое? Греховное во грехе сгило. Должно, искусил нечистый тятеньку, подвох вышел. Эх-хе! Житие Моисееве», — спутал Филимон Прокопьевич «бытие» из библии со староверческой книжкой «Житие Моисееве в пещере на Выге», которую когда-то читал.

К вечеру подъехали к Малой Минусе, где и остановились на ночлег в колхозном дворе.

Манька и Гланька разворошили солому с клетушек, заглянули к пороссятам. Те скрючились, жались друг к дружке — жалкие, тощие, визжащие до полной невозможности.

— Глянь, Манька, тута-ка вот сдохли! Три штуки!

Манька перебежала к следующим саням, поглядела.

— Филимон Прокопьевич, поросюшки-то доходят!

— Куда доходят?

— Сдыхают, грю.

Филимон Прокопьевич тоже посмотрел и обрушился на молодых свиначок.

— Вот как влуплю по акту за ваш счет издохших, тогда узнаете, как со свиньями возиться! — рычал Филя.

— Дык мы-то при чем тут!

— Я вот вам покажу! Чем глядели-то? Вас к чему приставили?

— Вот еще! Сам ехал в дохе и шубе, а тут беги за санями в полушубчишке, и ответ нам же держать. Как бы не так! Ты есть завхоз — сам понимать должен. Можно аль нет везти поросюшек в экий мороз? А те на ферме ни кормов, ни муки, никакой холеры, и мы же виноваты. Глядите на них! — разорялась боевитая Гланька. — Начальство тоже мне! Нет того, чтоб поросят подкормить, а потом продать. Так приспичило: везите на ярманку! Будто у ярманки глаз нету.

Пришлось бежать Филимону Прокопьевичу к колхозному председателю договориться, куда определить поросят, потом таскать их в чью-то пустовавшую хлевушку, нагревать ее всякими хитростями и спасать визгливые создания от окончательной гибели. Мало того — у поросят открылся понос: перемерзли. На этот раз Филя откупил чью-то баню, и там сутки возились с поросятами.

— Ну поездочка, штоб она в тартарары провалилась! — пыхтел Филимон Прокопьевич.

Мороз заметно сдал, потеплело. Проглянуло на какой-то час солнышко и опять скрылось.

Под вечер двадцатого декабря Филимон Прокопьевич пошел по деревне «понюхать воздух», как он сам определял свои прогулки в чужих деревьях.

Середь улицы толпились мужики. Филимон Прокопьевич поздоровался со всеми, прислушался к разговору.

— Так сказывал: ждите, грит — долбил о чем-то приземистый мужичок в дождевике поверх шубенки.

— Может, враки? — усомнился другой. — Вот вы тоже презжий, товарищ. Может, слышали про реформу?

Нет, Филимон Прокопьевич ничего не слышал.

— В каком понятии реформа? — поинтересовался.

— Да вот был тут человек из города, сказывал: у кого, грит, деньги лежат по кубышкам, то пиши хана им. Пропадут.

Филимон Прокопьевич разинул рот.

— В нашей деревне, можно сказать, ни у кого кубышек нету, — сказал третий, из молодых.

— Не говори! К примеру возьмем Феклу Антоновну. Всю войну торговлишку вела в городе. То перекупит и перепродает, то молоком торговала — лупила, будь здоров! То еще чем. У ней денег скопилось — ой-ой-ой! За сотню тысяч, если подсчитать. И все хоронятся в кубышке.

— Вот теперь в увидим, где лежат деньги у Феклы Антоновны, а так и у других. Кто набил карманы, а кто жил на совесть, как весь народ. Реформа выяснит.

Филимон Прокопьевич еле продыхнул:

— Позволь, товарищ, какая такая реформа? Слушаю, а в толк войти не могу.

Филимону Прокопьевичу разъяснил мужчина все, что сам слышал про надвигающуюся денежную реформу.

— Эвон как! — У Фили зарябило в глазах. — Может, враки? Какая может быть реформа, когда государство наше совершило полную победу над фашизмом?

— Там была военная победа. А здесь — на хозяйственном фронте. Мало ли денег навывускали во время войны? Во что рубль обернулся? С этих соображений, значит.

— А! Из соображений! — туго вывернул Филимон Прокопьевич, ухватившись за собственную бороду.

Мужики говорили так и эдак. Будет и не будет. Филимон Прокопьевич слушал, слушал и до того расстроился, что не помнил, как дошел улицей до конца деревни.

Всю ночь мыкался на полу под собачьей дохою в чьей-то избе, никак уснуть не мог. Только сомкнет глаза — и вдруг ползет на него реформа в виде Татар-горы: «А ну, гидра библейская, сколь накопил денег в кубышке?» — рычит нутряным голосом Татар-гора.

«Экая дрянь в голову лезет!» — стонал Филимон Прокопьевич, перекатываясь с боку на бок.

Под утро успокоился:

«Вранье! Переполох один. Власть стоит — и деньги стоять будут.

С тем и выехал в город. Настал день, двадцать первого декабря. Манька и Гланька удивились, что случилось с завхозом за ночь? Молчит, как сыч.

И вдруг, возле самого города, от какого-то встречного трахнуло, как обухом в лоб: объявлена по радио денежная реформа!

У Фили вожжи выпали из рук и язык присох к гортани.

— Филимон Прокопьевич, дай сбегать в кассу или куда там — узнаю. У меня же триста рублей, — насела Гланька.

— Молчайте! Вы к чему приставлены?! — орал Филимон Прокопьевич, испуганный не меньше Маньки и Гланьки. — Заедем вот на постой к Никишке Лалетину, там все прояснится.

Никишку Лалетина, земляка, не застали дома. Заехали в ограду и узнали от соседей, что вся семья Лалетина убежала в какой-то пункт менять деньги.

— На старые деньги теперь ничего не купишь, — тараторила соседка Лалетина. — Сейчас вот послала парнишку за хлебом — шишь, не берут старые деньги!

— Как же я-то, мамонька! — заголосила Гланька.

— Я пойду менять, и все! — решительно двинулась к воротам Манька, а за нею Гланька.

Машинально, не помня себя и не осмысливая движений, Филимон Прокопьевич распряг лошадей, поставил их к заплоту на выстойку, а сам свалился в сани — сердце что-то зашлось. Крушение пристигло. Беда! Если и в самом деле свершилась реформа — плакали денежки Филимона Прокопьевича! И те, что в кованом сундуке, и те пачки подобранных тридцаток, какие спрятаны в тайнике в казенке. Прикинул: сколько всего? Более ста тысяч! Всю жизнь копил — тянул по сотне, а где и тысячками, а с торговли колхозным медом хапнул на пару с пчеловодом, немного-немало, а по пятьдесят тысяч!..

«Господи, отведи погибель! — цедил сквозь зубы себе под нос Филимон Прокопьевич. — Покаяние принесу тебе, господи! Хоть в церковь схожу — молебен закажу, — на все решусь! Господи! За сто тысяч у меня. Это што же такое, а? Сусе!.. Ограбление. Сколь мыкался, изворачивался, и вот — дым, незримость одна».

Вспомнил еще, как тайком сбыл со зверофермы десяток черно-серебристых лисьих шкур по пять тысяч каждую.

«Еще продешевил. В ту пору буханка хлеба стоила сто рублей».
Все, все денежки лопнули!

X

Вечером Никишка Лалетин трижды перечитал Филимону Прокопьевичу в районной газете «Власть труда» правительственное постановление о денежной реформе, но Филимон Прокопьевич решительно ничего не понял: затменье нашло.

Гланька весь вечер редела. За триста семьдесят пять рублей она получила тридцать семь рублей и пятьдесят копеек. На такие деньги цветастый платок, конечно, не купишь.

Филимон Прокопьевич не плакал — защемило сердце. Если бы каждый потерянный рубль вышел у него хоть единой слезинкой, он бы весь изошел на соленую воду.

Свинарки сами торговали поросятами на колхозном рынке, а Филя отлеживался на квартире земляка. За три дня он до того осунулся, что можно было подумать, что он не менее года вылежал в тяжелой хвори. Весь почернел, погнулся и все молчал, беспрестанно перебирая пальцами в бороде. Сядет за стол — и кусок в горле застревает.

— Может, врача позвать, Филимон Прокопьевич? — встревожился земляк Никишка.

— Нутро, паря, перевернулось — жаловался Филя. — У меня, слышь, дома лежат чужие деньги — пять тысяч. Перехватил на покупку коровы. И — лопнули.

— Старуха-то обменяет!

— И, куда там! Моя старуха, брат, из дома не вылазит. Пальцем не тронет деньги.

Не мог же Филимон Прокопьевич сказать земляку, что он нахапал за сто тысяч!..

Только на третьей сутки, перед самым отъездом, Филимон Прокопьевич вдруг вспомнил, что у него в грудном кармане пиджака, тщательно зашитые Меланьей Романовной, лежат колхозные семь тысяч рублей. Деньги взял на покупку сбриуи. Кинулся прямо с базара в ближайшую сберкассу, а там — из маленького окошечка да медовым девичьим голосом:

— Опоздали, товарищ. Реформа закончена. Где же вы были?

— Деньги ведь! Деньги! Не мои, колхозные! Семь тысяч!

— Идите в банк.

Поплелся Филимон Прокопьевич в Госбанк. Едва ноги тащил. Прохожие на тротуарах оглядывались: не болен ли мужчина?

Бормоча молитву, «мужчина» поднялся на второй этаж Госбанка. От окошечка кассира — к управляющему, Попался человек добрый, обходительный, вежливый, но до чего же неподатливый! Все допытывался; откуда? По какой причине приехал в город? Филя бубнил, что денежную реформу провел в дороге.

— В какой деревне ночевали в день денежной реформы?

— В дороге же, говорю.

— Среди поля?

Филя пыхтел.

— Вроде к Малой Минусе подъехали.

— В котором часу подъехали?

— Часов не имею, товарищ.

— А утром из какой деревни выехали?

— Из Малой Минусы.

— Что же там не обменяли?

— Так ведь только слухи бродили про реформу! Да разве мыслимо, думаю, чтоб советские деньги при Советской власти лопались без всякого переворота. Это же уму непостижимо!..

— Значит, денежная реформа застала вас в городе?

— В точности у винзавода, товарищ. Воссочувствуйте за ради Христа!

— Так что же вы не обменяли деньги? — не понимал Филимона управляющий.

— Из ума вышибло. Так пристукнуло, что и дух вон.

Ничего не поделаешь — неси убыток, Филимон Прокопьевич.

«Эх-хе-хе! Погорел я, зная-то, окончательно. Таперича сел на щетку... Кабы был дома — хоть десять тысяч, а мои были бы. И то денежки! Теперь и карточек в городе не будет. Вольная торговля открывается. Ох-хо-хо! Чем отчитаюсь перед правлением колхоза? Хоть бы с шелудивых поросюшек сорвал щетинку, а ведь девкам доверил продажу!»

Кругом вышла поруха.

Приехал Филя домой из города — еле-еле душа в теле. Не успев перенести ноги через порог, спросил у Меланьи Романовны:

— С деньгами как?!

— Прибегали тут девчонки, грят, еформа какая-то прошла. Ишшо звали на еформу. Турнула их.

— Турнула?! — Филя еле прошел в избу.

— А как же! Все подсватываются доченьки к денежкам. Пусть сами наживут, лихоманки.

Филя упал на колени перед образами и наложил на себя тяжкий крест с воплем:

— Скажи мне, господи, за што караешь? Бабу послал — непроротную туманность, от которой я как без рук живу. Кругом один, господи! Могу ли я управиться со всеми делами? Как мне жить в дальнейшем? Иль в петлю голову пихнуть, а? Господи!

— Свят, свят! — перепугалась «непроротная туманность».

— Замолкни! С богом разговор веду, — гавкнул Филимон Прокопьевич.

Понаведалься к хворому завхозу председатель колхоза, Фрол Андреевич.

Прошел в передний угол, сел на красную лавку.

— Ты што лежишь, Филя? Прихворнул?

— Сам видишь. Дух в грудях сперло.

— Худо дело! — вздохнул Фрол Андреевич. — В такое время нам с тобой не надо бы хворать.

— Болезнь, она не спрашивает. Пристигла — ложись.

— Значит, семь тысяч лопнули?

— Лопнули, кум. Как пузыри из мыла.

— М-да, — пожевал губами Фрол Андреевич. — Одно к одному идет. Тут вот Зырян готовит всему правлению фронтовой раздолбон.

— Знаю!

— Ревизию вызывает из района.

Филя привстал на подушке.

— Дык у нас своя ревкомиссия. Как по уставу.

— Ха! Тут вот проходило у нас расширенное заседание правления с директором МТС, Ляховым. Ну, Зырян, как и вообще, подвел под все наше правление определенную линию, и под ревкомиссию тако же. Как будто мы все тут перевязали друг другу руки кумовством. И все

такое прочее. До райкома дело дошло. Сейчас вот явился инструктор. Начинает принохиваться.

У Фили отлегло от сердца. Не он один страдает, и кума вот припекло. Ему тоже, однако, не шаньги снятся.

— Пусть нюхает. У меня по хозяйству, что имеется, все в полной наличности. Какая моя должность?

— В правлении состоишь?

— Дык што? Мало ли нас в правлении? А всему голова — председатель.

Фрол Андреевич никак не ожидал такой пакости от кума, Филимона Прокопьевича.

— Вместе работали, Филия. Чуть не с самого начала войны, а ты норовишь сигануть в сторону. Вместе и ответ держать должно. Оно завсегда так. Куда иголка — туда нитка.

— Эге! — воспрял Филимон Прокопьевич. — Это с какой стати я должен ответ держать вместе? Или я нажился на завхозованье? Реформа, она, кум, вывела всех на чистую воду. У кого по кубышкам накопились денежки, а у кого — вши на очкуре. Я как был со вшивым интересом, так при нем и остался. Слава те господи! Не крал, не утаивал, как другие при должностях. Вся Белая Елань про то скажет. Может, моя старуха или я сам обменял на реформе деньги? Тышчи на сотни, как другие? Вот хотя бы Маремьяна Антоновна. Прибеднялась, а, говорят, куль денег приперла. Семьдесят тысяч!

Меланья Романовна шурует железную печку, чтоб прогреть перемерзшие кости Филимона Прокопьевича. Фролу Андреевичу жарко в дубленом полушубке. Но он терпит. Ни хозяин, ни хозяйка не привечают что-то.

— Тут, кум, самим бы как удержаться.

— А по мне — хоть сегодня растолкнусь с завхозованием. Наелся. С поросятами, думал, издохну. Дались они мне, будь они прокляты!

— Под мороз попали. Надо было переждать.

— Сам же торопил, Фрол Андреич. Я бы вовсе не поехал на такую погибель, якри ее. Скажи: как с деньгами-то быть? Лежат вон в тряпице. Рубль к рублю — семь тысяч. Што же мне теперь из штанов выпрыгнуть, или как?

Фрол Андреевич подумал.

— Обмозговать надо, кум. Булгалтерия, сам понимаешь, щекотливая штука.

Филимон Прокопьевич заохал:

— Вот еще погибель на мою шею, господи! Кто-то денежки менял, хоть за десятку рупь, а с меня, то и гляди, три шкуры спустят. Што же это, а? Ты вот говоришь, махнул со своими деньгами в райцентр, пятьдесят тысяч обменял. Коня загнал. Это я говорю промежду нами. Стал быть, у тебя, кум, водились денежки? А я вот, как сам Христос, безо всякой корысти. Колхозные, и те не сумел обменять из-за хвори. Три дня валялся в постели у твоего брата Никишки. Хоть бы помереть мне! — развел нутрянной стон на всю избу Филимон — Прокопьевич.

Фрол Андреевич покосился на стонущего, утешил, чем мог, и ушел.

Кто-кто, а сам председатель знал, какие у Фили руки с крючьями. Но вот вопрос: ни старуха Филимона Прокопьевича, ни его три дочери — Мария, Фроська и Иришка, не меняли крупных денег во время реформы. Сам Фрол Андреевич в день реформы навестил Меланью Романовну, предупреждал: если лежат деньги — не мешкайте, меняйте.

Филимониха махала руками: «Ни копеечки не водится, осподи!.. Откелева деньги-то?!»

«Загадал он мне загадку, Филин, — сопел Фрол Андреевич, шествуя серединой улицы к правлению «Красного таежника». — Не съел же он их? И в доме пусто. Ни вещей, ни дорогих пустяковин, какие выменивал у эвакуированных» Куда все делось?»

Аркадий Зырян и тот развел руками;

«Не соображу, в чем тут секрет? Боровиков всюду хапал деньгу. И вот, пожалуйста, ни рубля не обменял. Вот так номер!»

«Номер Фили» оказался везучим. Филя оседлал бескорыстнейшего иноходца и попер вперед: глядите всем миром — чистенький, как стеклышко. Все считали, что Филя хапуга, жмон, набил карманы во время войны, а я вот он какой — глядите!..

Мало одной печали, нагрязнула другая: отчетно-перевыборное собрание. Приехали представители МТС и района,

Филя сразу учуял: пахнет паленым и, не задерживаясь, хныча, жалуясь на простуду, ушел с собрания. Утром узнал — вытряхнули его из завхозов! Фрола Андреевича переместили на заведование колхозными пасаками — на самое теплое место, а Филюше — прямая дорога в полеводческую бригаду.

— Кукиш вам с маслом! — сунул Филя трехпалое сооружение в сторону правления колхоза. — Вот оно как нонече! И Лалетины откачнулись. Павлуху председателем поставили. Фролу пасаки отдали, а меня — под зад. Таперича конец! Палец о палец не ударю. Найду себе место.

Новый председатель Павел Лалетин не хотел отпускать из колхоза бескорыстнейшего Филимона Прокопьевича, но помог кум — Фрол Андреевич. — «Пусть, мол, уходит». — Знает кошка, чью мясу съела!

Отдал Филя нетель колхозу в счет семиста рублей, приобрел еще пустые бумажки, которые неделю назад ценились семью тысячами, отлежался дома и двинулся к знакомому лесничему в Каратуз. На этот раз повезло! Освободилось место лесника на Большом кордоне.

«Сколь годов я собирался на Большой кордон!» — возрадовался Филя, поджидая попутную подводку в Белую Елань.

С того дня, как Филимон Прокопьевич принял немудрящее хозяйство лесника на Большом кордоне, он начисто вычеркнул из памяти и сердца все годы, какие прожил в «Красном таежнике». Если встречался с колхозниками — отворачивался. «Пропадите вы пропадом! Не я ли лез из кожи, а — вытряхнули с завхозов. Ну, погодите! Еще вспомните меня, Фрол Андреич. Ноне ты заведующий пасаками, а как фуганут тебя — дальше меня улетишь!»

И сердце начинало побаливать у Филимона Прокопьевича, и голова кругом шла — все никак не мог примириться с потерей денег.

Изредка Филя навещал Белую Елань, где коротала жизнь в одиночестве Меланья Романовна, как бы являясь сторожихой в опустевшем доме при большом кованом сундуке, с которым она не расставалась — и спала на твердом, как камень, сундуке.

День за днем дом Боровиковых чернел изнутри и снаружи, как будто из бревенчатых стен шаг за шагом уходила жизнь.

ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ

I

Шла весна 1949 года...

Канун февраля дохнул оттепелью; в начале марта мягко и призывно зашумели хвойные леса. Оголилась макушка Татар-горы. Закипели студёные воды в ревучем Амыле, выплескивая синюшную накипь на ледяную твердь. А там, где течение билось с особенной яростью, распахнулись дымящие полыньи, будто река, оборвав застёжки ледяного тулупа, выставила свою богатырскую грудь, готовая вырваться на простор, поиграть силушкой.

Дороги развезло, улицы почернели, тучи ползли низко, и сам воздух, настоенный на таежной растительности, стал гуще, духмянее.

От вытаявших пашен терпко несло ржаной закваской.

И девушки, по-весеннему яркие, нарядные, беззаботные, голосистые, как сама матушка-тайга, допоздна засиживаясь на клубных вечеринках, ждали весну, солнце, и ничего другого знать не хотели.

Они смеялись и тут же, бывало, плакали — всего понемногу. Им предстояло веселиться и жить, любить и быть любимыми, для них шла весна после лютой стужи.

Как никто из девчат, радовалась весне Анисья Головня, горячая и подвижная, как таежная лань.

Анисья готова была вдохнуть в себя всю оттепель марта и вдруг, превратившись в облако, подняться высоко над землёю, чтобы почувствовать себя совершенно свободной от всех земных страхов и обманов.

— Весна пришла! Весна пришла! — пела Анисья, сверкая оскалом широких и ровных сахарно-белых зубов. И глаза ее, большие, округло-черные, влажно-блестящие, то искрились призывно, то тосковали по ком-то. Глаза Анисьи искали любви, бурной, как воды Амыла, и такой же чистой, прозрачной, как капля родника, впитывали в себя всю терпкую, хмельную силушку жизни.

— Ну и девка у Головешихи! — говорили про Анисью в Белой Елани. — Норовистая, холера. Если попрет в Авдотью, — беды не оберешься, всех мужиков перекрутит.

Анисья и сама не ведала, куда ее потянет беспокойный норов. Ей хотелось многого и столь необъятного, что от одних дум и желаний кругом шла голора.

С нескрываемой ревностью зрелой женщины приглядывалась к Анисье Агния Вавилова.

«У нас теперь две Головешихи, и обе беспутные», — зло думала Агния. Она все еще не простила Авдотье Елизаровне давнишнюю обиду.

Много перемен произошло за двенадцать лет. И сама Агния поутихла, и дети ее подросли, и даже старый тополь Боровиковых прошлое лето не выкинул ни единого зеленого листика. Филимон Прокопьевич постарался: не пожалел полтора пуда соли, вдосталь напоил корни тополя, и дерево, наконец-то, засохло.

Ни вешние ветры, ни солнце — ничто не в силах оживить мертвое дерево. Отшумело оно, отлопотало свои песни-сказки и торчит теперь мрачное, черное, присыпаемое прахом земли, не дерево, а сохнувший на ветру скелет. Настанет день, когда его срубят, и останется только пень, который со временем сгниет. И никто тогда, пожалуй, не вспомнит, что когда-то в Белой Елани шумел нарядный тополь, возле которого собирались старообрядцы на молитву. Да и теперь мало кто знает, как радели «тополевы». Разве Меланья Романовна глянет другой раз в окошко из малой горенки, осенит себя двоеперстием и вдруг вспомнит лобастого, неломкого свекора, Прокопия Веденеевича...

«Осподи! И я в ту пору в силушке да в красе была», — вздохнется Филимонихе.

Если поднимался ветер, голые сучья громко стучали по крыше дома, и тогда одинокая Филимониха, падая на колени, до измора отбивала поклоны. И чудилось ей, что по дому ходит свекор, стучит бахилами, охает, побряхтывает и все что-то ищет. Былое, что ли?

Минуло былое, кануло в вечность!..

И только Агния Вавилова наведывалась на боровиковский пригорок, будто ее тянула к черному тополю неведомая сила.

«Осподи! Доколе ждать будет? — вздыхала Филимониха, глядя на Агнию из окошка. — И косточки Демушки, поди, давно сгнили, а ей

все нейдет. Из смерти ишло никто не возвертывался».

И молилась за упокой сына Демида...

«Живой он, живой! Я чувствую, что он живой», — как бы в ответ Филимонихе шептала Агния, глядя на развилку тополя. И если бы незримо приблизиться к Агнии в этот момент, глянуть ей в лицо, рдеющее румянцем, то можно было бы увидеть, как много разных чувств — то грусти, то глухой, застарелой бабьей тоски, то мимолетной радости — порхает на ее лице! «Как недавно и — как давно это было! И мертвого Демида люблю, как живого. Что же это со мною?» Она все еще чего-то ждала. Каких-то перемен, и — счастья. Хоть немножко, на одной ладони, а счастья бы!

Жизнь, как и вешняя погодушка, — то теплом повеет, то приморозит. Вот опять за одну ночь деревья оледенели и вырядились в белые шубы куржака. В тайге, на дорогах, на пашнях образовалась ледяная корка — копытом не продавить. Настала гололедица. От бескормицы гибли красавцы маралы, сохатые, дикие козы. Волки подступали вплотную к деревне. Но люди не унывали. Они знали, что весна придет, весна придет!

Белая Елань, хоть и звали ее белой, днями и ночами курилась черным дымом.

II

Вешний ветер играючи стучится в калитки, в ставни, раздувает веером хвосты петухов и куриц, завывает на разные лады в карнизах, мечется по улицам и переулкам, свистит в сухих сучьях черного тополя и как бы ненароком напирает на ставни дома Боровиковых.

Дом никак не отзывается на посвист южного гостя. Окна дома, выходящие на улицу и в пойму Малтата, наглухо задраены толстыми ставнями с железными накладками. Калитка закрыта; ворота с резным навесом точно век не открывались.

Утреннее солнце заглядывает в глубь ограды. У заплотов толстые наметы снега, не тронутого за зиму ни ногою человека, ни копытом животного. Развалившиеся стаюшки и амбары с прогнившими крышами подставляют солнцу черные ребра стропил.

Кругом царит запустение. И вместе с тем в доме кто-то живет. Над крышею вьется тощий скруток дыма, пахнувший черемухой: хозяйева жгут хворост.

Если внимательно приглядеться к дому, к порожкам крыльца, к железному кольцу на сенных дверях, к аккуратно заколоченным воротам, к тому, как заботливо смазаны смолою железные петли на калитке, можно понять, что дом никогда не переходил из рук в руки и что здесь живут те же хозяйева, что и двадцать, и пятьдесят лет назад. И что запустение усадьбы и дома пришло не вдруг сразу, а медленно, с годами. Сперва заколотились большие ворота, потом стаюшки, опустели поднавесы, затем амбары, за ними — задний скотный двор, конюшня, а потом уж осел в землю большой дом. Видно, внутри дома, сейчас онемевшего, с бельмами ставней на окнах, некогда бушевали страсти, сталкивались бурные, противоречивые мнения, пылали людские сердца. И вот теперь осталось одно немое свидетельство всех минувших гроз и потрясений.

Ветер крутил косицу дыма над прогнившей крышей. На крыльцо вышла старушонка в заношенной бордовой юбке, в чириках на босу ногу, простоволосая, с помойным ведром.

Она осторожно спустилась по скрипучим порожкам, прошла по наторенной тропке в глубь ограды, выплеснула помой и тем же мелким, шаркающим шагом, не глядя по сторонам, пошла обратно, выставив к солнцу свою горбатящуюся, костлявую спину с шевелящимися лопатками.

Звякнуло железо калитки. Старушонка оглянулась. В ограду перенес ногу сам Филимон Прокопьевич. Его красная, окладистая борода горела на солнце, как медная лопата.

В дождевике поверх подборной — черной борчатки, в лисьей шапке с длинными ушами, с дуствольным ружьем, Филя выглядел молодцом для своих шестидесяти лет. Покосился на старуху, пробурчав: «А, жива!» — и провел в ограду сытого мерина, увешанного кожаными сумами. Вслед за хозяином прошел в ограду лесообъездчик Мургашка в полушубке и в шапке-ушанке, который так и жил у Фили на кордоне с тех пор, как вышел из сумасшедшего дома. Он тоже провел за собою лошадь. В тороках мургашкиного коня — тюк сена, стянутый алюминиевой проволокой.

— Давай, Мургашка, пристраивай лошадей, — командовал Филя, снимая кожаные сумы с пушниной и таежной добычей. — В избе, поди, холодище? — спросил у старухи.

— Вишь, топлю. Ночесь выдуло.

— Дрова-то все сожгла?

— Скоко их было, всех-то? Кабы не Полюшка — давно бы замерзла, может. Силов нету дрова рубить аль пилой пилить. Полюшка придет, нарубит да наколет, вот и живу, греюсь.

Филя фыркнул:

— И плахи с заплота рубишь?

— Дык заплот-то все равно перевалился в пойму. Весной, поди, рухнет.

Филя плюнул, выругался и потащил вслед за старухой кожаные сумы, которые оставил в снях.

Про заплот Филимон спросил просто так, для блезиру, чтоб напомнить, что из тайги заявился хозяин, который волен за все спросить и взыскать. Ну, а если взаправду, то Филя давным-давно плюнул на заплоты, стаюшки и на всю прошлую житуху. Он таки уразумел, что напрасно тужился в тридцатом году, уклоняясь от коллективизации и потихоньку пакостя Советской власти. А власть-то оказалась на редкость выгодной. Разве при единоличности, во времена царского прижима, мог бы Филя так покойно и сытно жить, дармовой снедью набивая брюхо и не надрывая пуп на работе? Немыслимо подумать даже! А что при Советской власти получилось? Разве от едкой соли у него расползается теперь рубаха, как при тятеньке? — Или грыжа погоду предсказывает? С прохладцей, с ленцой, вразвалку да вразминку — вот и вся работа. А хлебушка завсегда на столе — ешь не хочу, и крошки не смахивай со столешни в рот да в лохань. Хватит. Ну, а если к тому же словчить, на теплое место пристроиться, как вот он теперь, можно жить совершеннейшим лодырюгой — жрать и спать от ноздри до ноздри и в ус не дуть. Там сорвать, тут прибрать к рукам. «Буржуйская житуха настала», — размышлял Филя у себя в лесном имени, недалеко от прииска Разлюлюевского вверх по Амылу. Оно и правда — для таких, как Филя, буржуйская. Устроился Филимон Прокопьевич лесником, поселился в хорошем казенном доме на берегу Амыла; лошадь у него, сенокос, корову и нетель увел от старухи к себе в именье, а старуху оставил при доме сторожить углы — таковская. Ни

к чему ему старуха. Одна маята; к иконам приросла, как накипь к чайнику. Ну и пусть себе изживает век в пустом доме. Не убыток, а прибыль. Оно понятно, Филимону Прокопьевичу положено смотреть за лесом, сторожить несметные богатства тайги, ловить браконьеров, истребляющих живность. Да мало ли чего положено! Бывает, попадаются браконьеры на месте преступления. Схватишь у теплого марала или сохатого, тут и распушишь для страха. Глядишь, браконьер раскошелится и отвалит откуп. Без акта, любовно. Лапа в лапу. И опять на боковую. Если вспыхнет пожар в тайге — опять-таки не свои шаровары горят; пусть горит. Ну, похлопочешь, потопчешься для примера, и на том пожар кончится. Житуха, истинный бог. И мясцом запастись можно и рыбой. Да еще какой! Хариусами, ленками, тайменями. Сорожняк не в рыбий счет. И главное — тебе же почет: на государственной должности состоишь. Надо только уметь эту должность для себя с выгодой обернуть. Тогда не жизнь — манна небесная!

В полутемной избе холодно и сыро. Воздух затхлый, так и бьет в ноздри.

— Экая вонища! Тьфу, срамота. Аль ты на корню гниешь? Чистая упокойница.

— И то! Знать, господь смилостивится, приберет мои косточки, — прошамкала Меланья Романовна, подкладывая черемуховые кругляши в железную печку. — Сон ноне такой привиделся. Будто заявился в избу упокойничек Демушка в красной рубахе. А на голове-то корона из чистого золота. Так и светится, ажник само солнышко. Грит: «Ты здесь, мама? Я за тобой пришел». И руку так протянул ко мне. А рука-то холоднющая, холоднющая! Прокинулась я и слышу: кой-то стучит, будто ходит по избе. Хочу крикнуть, а голосу нету. Вроде сама упокойница. А по избе стучит, стучит!..

— Ишь ты! — безразлично отозвался Филимон Прокопьевич, стягивая дождевик с черной борчатки. — Про сон опосля доскажешь. Дай-ка мешок. Да который почище.

— Куда с мешком-то?

— Не твое дело. Живо мне!

Меланья Романовна подала мешок.

— Топи большую печь, штоб избу нагреть да похлебки сварить. Рыбешки на варево дам, копалушек, рябчиков. И баню пусть

Мургашка стопит. Попарюсь маненько.

Уделив старухе пару копалух, трех рябчиков, десяток мерзлых хариусов и ленков, Филя собрался уходить, предварительно нагрузив мешок дичью и рыбой.

— К ведьме собрался?

— Молчай!

— Осподи! Хоть бы помереть мне! Покарает тебя господь, Филя. Погоди! Никакого пригрева от тебя не вижу. Сколь годов! Как заявишься, так бежишь к ведьме аль по магазинам шастаешь. И корову в тартарары сбыл, и нетель. И куриц перевел. Чем жить-то мне? С сумой пойти — силов нету. Знать, отходила. Кабы не Полюшка, с голоду померла бы.

Филя махнул рукой. Наслышался он разных песен от своей «неповоротной туманности»,

— Ты же при колхозе состоишь? Пусть помогают. Моя линия при лесхозе. Такая жизнь происходит. Планиды наши с тобой разошлись. Если не хошь одна жить, возьми в дом Марию с ребятишками.

Меланья Романовна поджала губы и отвернулась.

— Во сне-то мне привиделся вовсе не Демушка, а покойничек свекор, — вдруг сообщила Меланья Романовна и перекрестилась.

Филя торопливо вышел из избы.

— Тьфу, пропастина! Доколе будет скрипеть? — спросил сам себя, охолонувшись на свежем воздухе.

III

Дула верховка.

Рваные хлопья облаков заслоняли полуденное солнце. Хвойный сивер Татар-горы темнел лиловым пятном, а юго-западные склоны багряно рдели. По затенью Татарской рассохи толпился плотный лес, а на восточных склонах виднелись прогалины — елани. Почернелый снег под настом смахивал на чешуйчатый панцирь.

На вытаявшей полосе, возле кучи прошлогодней соломы, от которой несло йодистым запахом прели, мышковала желтая лисица. По ее следу, взгорьем, крался здоровущий волк, а за ним — волчица, до того отошала, что ее ребра выпирали из-под кожи, что обручи на

бочке. Шерсть стояла дыбом, хвост, как прут, волочился по проталинам.

Волчица задержалась на обочине полосы возле кустов черемухи; волк осторожно полз на брюхе к лисице. Ветер верховки тянул на него, и он, чуя запах псины, крался так ловко, что корка хрусткого наста не шуршала под его тяжестью. Волчица неотрывно следила за ним. С ее уса­тых губ текла слюна, а по отвисшему брюху с набухшими сосками пробегала судорога. Изголодалась она, избегалась в зимнюю свадьбу.

Волку оставалось осторожно подтянуть зад и — прыгнуть на лисицу, как вдруг, совсем рядом с черемухами, хрустнул наст. Волчица успела повернуть голову. Прямо на нее уставилась круглая дырочка ружья. Она видела лыжины, две ноги в серых пимах, низ белого овчинного полушубка и, рванувшись к кустам, оглохла от выстрела. Она еще подпрыгнула вверх, упала, кинулась в сторону, сунувшись мордой в кусты: передняя правая лапа была подбита.

Из-за кустов прыжками вылетел волк; человек с одноствольным ружьем, не успев выбросить стреляную гильзу, остолбенел от ужаса. Но тут же перехватил ружье за ствол и, орудуя им, как дубиной, огрел волка по голове. Удар был до того сильным, что матерый хищник перевернулся вверх лапами, но тут же вскочил.

Длинная, горбоносая морда старого волка с торчащими ушами, узко поставленные горящие глаза, могучие лапы, чуть вывернутые наружу, клыкастая пасть — вот все, что успел разглядеть человек за какую-то секундную передышку.

Борьба за жизнь предстояла неравная. Длинные, не охотничьи лыжины, привязанные к пимам сыромятными ремнями, мешали путнику. Он пытался освободиться от них, движениями ног растягивая ремни, а волк кидался на него то с одной стороны, то с другой, ловко отскакивая от ударов... Волчица, рыча, пятная кровью снег, тоже ползла к нему.

Орудуя левой рукой, путник приловчился сбросить заплечный мешок, в котором что-то стукнуло. Волк моментально вцепился в мешок и откинул его в сторону. Подстреленная волчица, бросаясь по снегу туловищем, запустила клыки в лыжину и так рванула ее на себя, что охотник опрокинулся на спину. И сразу же бросился волк, пружиня мускулы, готовый перекусить человеку горло. Но тот ухитрился перекинуть волка через себя, моментально освободив ноги от пимов.

Теперь он был бос, в холщовых портянках. Шапка его валялась на снегу. Его белые волосы свисали прядями на просторный лоб, закрывая впадину левого глаза под кожаным кружочком. Отмахиваясь от волка, охотник сбросил белый полушубок, оставшись в грубой солдатской гимнастерке под ремнем. «Нет, вы меня живьем не возьмете!» — приговаривал он, отбиваясь от зверей.

Раздавались рычание — надсадное, утробное, — хруст уминаемого снега, хищный щелк зубов и трудные, отчаянные крики человека.

Он звал на помощь, проклинал, бил, бил! Но что он мог поделать с двумя хищниками? С разгоряченного его лица градинами катился пот. Дышал он тяжело, прерывисто. Его единственный глаз, светло-синий, расширенный от ужаса, глядел по сторонам как-то странно дико, не моргая. Он не знал, сколько времени бился с волками. Он еле стоял на ногах. И тем свирепее наседали волк. Старый хищник брал жертву измором.

— Помо-оги-ите-ээ!

Истошный зов человека разбудил эхо в рассохах Татарского хребта.

Черные вороны, неизвестно откуда налетевшие, кружились прямо над его головой, каркали, перелетая с березы, к стволу которой он прислонился спиной, на куст черемухи и обратно.

И это нудное карканье ворон, и волчья осада так измотали путника, что он едва держался на ногах и, качаясь, то отступая на шаг от березы, то снова прислоняясь к ней, бормотал что-то невнятное. Смерть как бы глянула ему в лицо двумя парами звериных глаз, каркала над ним, как щипцами схватывая за сердце. Он уже знал совершенно определенно, что продержится на ногах не больше часа, а затем сунется в снег, — и конец! И смерть настанет трудная, мучительная.

Набравшись сил, он снова несколько раз крикнул:

— По-о-мо-о-гии-те-ээ!

И как бы в ответ прямо перед ним, задрала голову, завывала волчица. Это был не просто вой, а гудение — тугое, протодиаконским басом. Ничего подобного он за свою жизнь не слыхивал.

Мысли его путались, а волк в полутора шагах от него, ощерив пасть, подбравшись, готовился к прыжку.

Когда и с какой стороны подоспела подмога?..

Он даже не сообразил, в чем дело, когда увидел, именно увидел, а не услышал, большую черную собаку. Он сперва принял ее за третьего волка, но когда собака бросилась на волчицу, он громко крикнул:

— Дави ее! Рви! Рви!

Вдруг собака пронзительно взвизгнула и кинулась прочь. И в то же мгновение донеслось до его слуха откуда-то со стороны:

— А-а-нисья! Анисья! Вернись!

Кто звал? Какую Анисью? Ему было решительно все равно, но Анисья — шла, бежала, спешила. И это имя иглою прошло его насквозь, оно слилось с ним, с его жизнью, со всеми его надеждами на будущее. В Анисье — жизнь, живинка! «Анисья! Анисья!» — выстукивало его сердце. И он, собрав все свои силы, громко закричал:

— Анисья! По-о-омоги!

Если бы он мог хоть на мгновение оторвать взгляд от хищников, особенно остервеневших в последнюю минуту, он бы увидел, как взгорьем, поперек полосы, бежала женщина в черном полушубке с вилами в руках.

Это и была Анисья Головня.

Мать ее, Авдотья Голоवेशиха, стоя на санях-розвальнях, кричала дочери что есть мочи, чтоб та вернулась.

Ехали они за сеном. Анисья, как только услышала зов о помощи, долго не раздумывая, схватила с саней железные вилы и, не мешкая, кинулась в гору.

Гнедой конь, почуяв волков, закусив удила, взял махом вверх по Татарской рассохе, звонко щелкая шипами подков о ледок почернелой дороги.

Авдотья Голоवेशиха, отчаявшись вернуть Анисью, намотав вожжи на руки, пыталась было сдержать Гнедка, но то ли у ней силы не хватило, то ли испуг одолел, но конь будто не чуял вожжей. Он летел с такой быстротой, что сани, визжа стальными подползками на раскатах, готовы были перевернуться вверх тормашками. Голоवेशиха, вцепившись в отводья, сидела на санях ни жива ни мертва.

Слева, на елани, темнел зарод сена. Голоवेशиха, собравшись с духом, натянула вожжу. Гнедко, храпя, врезался оглоблей в зарод.

Между тем черная собака, обежав кусты черемухи, вцепилась зверю в загривок неповоротливой шеи. Свившись тугим клубком, они

катались по снегу. То волк оказывался сверху, то собака. То черное, то серое.

И как-то сразу, в мгновение, путник увидел женщину в черном полушубке нараспашку, с шалью на плечах. Ему показалось, что в ее руках ружье.

— Скорее! В волка, в волка стреляй! — орал он.

Трехлапая волчица бросилась в сторону к кустам, но женщина со всего размаха ударила волчицу железными вилами по черепу. Он слышал, как певуче зазвенели вилы. Машинально, сам не понимая, что делает, он взвел курок, приложился и нажал на спуск. Курок щелкнул без выстрела. И опять он взвел курок, не помня, что в ружье — стреляная гильза.

И еще раз сухо щелкнул курок.

— Ружье зарядите! — крикнула Анисья.

Он поднял на нее свой единственный глаз, но не видел ничего: слеза застилала. Сзади, за спиною, что-то тяжело ворочалось, рычало, сопело, мяло, скреблось, подкатившись вплотную к нему. Он отполз на четвереньках, сунувшись лицом в снег. Зубы его жадно вцепились в снег, перемешанный с землею. Освежающий холодок разлился по всему телу, и он почувствовал такую слабость, что не в силах был пошевелиться.

— Ружье зарядите! — донеслось до его сознания. Он спохватился и первое, что увидел, — перебирающую задними лапами волчицу.

— А!.. — вскрикнул он, шаря по снегу. Нащупав ружье, он догадался, что надо выбросить гильзу, что он должен торопиться. Но он забыл, где у него патроны. В карманах брюк и гимнастерки их не оказалось. Пополз за полушубком. Анисья шагах в трех от него била волка вилами. Осатаневший волк, поранив собаку, кидался на Анисью.

— Ружье. Ружье зарядите!

За каких-то две-три минуты передышки путник воспрял. Движения его теперь были уверенными, определенными, осмысленными. Не вставая на ноги, он достал из кармана полушубка патроны, разломил ружье и, выбросив гильзу, заслал туда патрон с зарядом.

Раздался выстрел. Волк свалился замертво. Путник снова зарядил ружье и прицелился в мертвого волка.

— Где она, тварь? Где она? — искал он волчицу. — Я ее... я ее — разорву! — И, встав на ноги, пошатываясь, пошел к волчице. Следом за ним по истоптанному снегу тянулись портянки. Он не чувствовал, как у него окоченели ноги, ему было жарко. Он видел, что волчица околевает, но бил, бил и бил ее ложею ружья, пока не размозжил череп.

— Конец! Конец! Теперь тебе конец!.. — приговаривал он, еще раз свирепо ударив по трупу волчицы ложей ружья, вдруг покачнулся и упал, вцепившись в шкуру руками и уткнув в шерсть лицо.

— Возле самой деревни! — бормотал он, задыхаясь. — На фронте!.. В окопах... в концлагерях... в карцерах... в каменных карьерах... жив остался... а эти... меня... возле самой деревни! Возле самой деревни!..

Кажется, для него нестерпимо обидным было то, что какие-то шелудивые, проклятые волки могли разорвать его возле самой деревни. Спина его солдатской гимнастерки была мокрая и дымилась испариной. Анисья накинула ему на плечи полушубок.

— Хиузом тянет с гор, простынете. Обуйтесь!

Он медленно поднял голову от волчицы, вытер кулаками подглазья, поправил сбившийся кружок кожи, прерывисто перевел дыхание. На его мокром багрово-красном лице клочьями прилипла волчья шерсть.

— Здорово они меня прижали! Конец бы! — сказал он, глядя на Анисью.

Лицо ее показалось ему поразительно знакомым. Когда и где он мог видеть это лицо? Оно было девичьим. Определенно девичьим. Розоватое, словно умытое брусничным соком, с колечечками красновато-каштановых волос на висках и на лбу. Ее глаза — большие, влажно-блестящие, будто искупанные в свежем напыске меда черные смородины, — такие удивительно знакомые! Он не мог оторвать взгляда от ее глаз — ласковых и в то же время странно робких, застигнутых врасплох. Он где-то, где-то видел точно такие глаза — обволакивающие, как бы притягивающие к себе. Может, просто ему показалось?

— Обуйтесь же! — напомнила Анисья, не выдержав пристальный взгляд незнакомца. — Без ног останетесь.

Он стал обуваться, наспех обматывая ноги портянками и вытряхнув снег из пимов.

— И черт ее знает, откуда взялся второй волк? Как из-под земли. Стрелял в одного, а их оказалось два. Разорвали бы, определенно. А ты... смелая, вижу, таежница. Из Белой Елани?

— Откуда еще? Ехала с матерью за сеном. Слышу: «Помогите!» А потом и волк завыл. Схватила вилы — да в гору. А возле полосы — ямина. Как ухнула — по самую шею. Ох, и перетрусила! Думаю, а что, если не выберусь?

Сейчас она готова была посмеяться над своей минутной слабостью, когда, подбежав к месту схватки человека с волками, попросту струсила. Сперва она подумала, что волки напали на старика — вислые, седые усы, белая голова. Но теперь она разглядела путника. Ему нельзя дать и сорока лет. Он спросил, чья же она из Белой Елани?

— Собственная дочь, — уклончиво ответила она.

IV

Хотя солнце стояло высоко, но внизу деревня и лес в пойме Малтата заметно темнели.

Из промоины облаков выглянуло натужное солнце, багряными мазками плеснувшее по черным крышам домов Белой Елани, цепочкой растянувшихся вдоль крутого, обрывистого берега реки. И вся деревня вмиг преобразилась, будто помолодела, туго наполнившись жаркой кровью.

Анисья стояла рядом с охотником, присматриваясь к нему сбоку. Да, он здорово измаялся в схватке с хищниками. Его светло-синий, почти белый глаз беспрестанно помигивал, словно от дымного чада.

Что за странный человек! Он не из здешних. Анисья, по крайней мере, знает всех жителей Белой Елани и соседних подтаежных деревень. Измученный, одноглазый, седой, а брови — черные. Что он говорил о каких-то концлагерях? И почему он так мучительно приглядывается к Белой Елани? Да он, кажется, плачет!..

Багрянец разлился по всей деревне, прихватив обширную пойму, а по щекам незнакомца катились слезы. Он плакал молча, окаменело. Щека его подергивалась, и белый ус шевелился.

— Все по-старому! — вздохнул он.

И этот тяжкий вздох резанул Анисью. Никогда еще ее девичье сердце не испытывало такой терпкой, горячей боли, как сейчас.

Багряный луч угас — солнце укрылось в гряде облаков.

— И все на том же месте! И то, и не то. Кажется, ничего не переменилось — ни тайга, ни Татар-гора, ни Лебяжья грива, ни берега Малтата и Амыла, а — что-то вот не узнаю.

— А вы разве из здешних?

Он криво усмехнулся и вдруг стал спрашивать о людях, которых Анисья хорошо знала.

Наконец, странный пришелец произнес:

— А Голоवेशиха все еще скрипит?

— Вы... вы ее знаете? — тихо переспросила она.

— Кто же ее не знает, Голоवेशиху! — с иронией проговорил охотник, закусывая кончик уса. — Цветет, наверное, поет и пляшет? Мастерница на кляузы да провокации.

Румянец густо прилил к щекам Анисьи, словно все ее лицо охватило пламя. В ее глазах стояли испуг, смятение, растерянность. Это же...

«Демид! Демид Боровиков! — твердило сердце Анисьи. — Нет, нет! Мне просто показалось».

Оба молчали. Она чувствовала, как пальцы рук у ней мелко вздрагивали. Одна тень за другой набегали на ее щеки с ямочками, на лоб, затемненный кудряшками растрепанных волос. Странные были у нее волосы. Густые, пышные, темноватые у корней, постепенно набирая красноватый оттенок, они, казалось, вот-вот вспыхнут.

«Кто такая? Чья? — спрашивал себя пришелец. — Мало ли подросло девок за это время! Но что она так смотрит?»

«Он меня не узнал! Ах, если бы он никогда не узнал меня и никогда бы нам не встречаться. Что же делать? Если он увидит маму, тогда... А что если взять да и сказать ему, что она — дочь той самой Голоवेशихи? Напомнить бы ему одно-единственное слово — «Уголек»! Только один «Уголек», — он же, Демид, назвал когда-то ее, Аниску, Угольком!»

Но, видно, то, о чем она хорошо помнила, было настолько трудным, запутанным и необъяснимым, что от одной мысли сказать ему, что она дочь Голоवेशихи, у нее разжались пальцы и руки беспомощно опустились.

С усилием отрывая от земли одеревеневшие ноги, Демид (Анисья уже не сомневалась в этом) шаг за шагом обошел место недавней

схватки, брезгливо и удовлетворенно глядя на трупы волков. Пнул ногою самца и, взяв его за задние лапы, подтащил к волчице. Потом отвязал от лыжин сыромятные ремни, соорудил подобие санок и, привязав вместо поводка лыжную палку, уложил зверей.

— Ну, я пойду, — сказала Анисья, запахивая полушубок и повязываясь пуховой шалью.

— Куда же вы! Пойдите. Сейчас мы вместе двинемся и найдем вашу мать.

— Если вам в Белую Елань, — тихо ответила Анисья, — то здесь совсем близко. И легко идти. Со склона к деревне сами скатитесь. А я как-нибудь одна найду мою... — Она помолчала и с трудом выговорила: — Голоवेशиху.

— Голоवेशиху? — оторопел Демид.

— Моя мать...

— Пойди, пойди! Как же это? Так неужели ты... Не может быть!

Анисья быстро повернулась и побежала вниз по расколу, легко, ни разу не проломив корку наста. Ей было стыдно и горько, что у нее такая мать, которую редко поминают добрым словом.

Она, как сейчас, видит тогдашнего Демида — лобастого, поджарого, плечистого парня, на которого заглядывалась не одна пара девичьих глаз. Она помнит, как любила слушать Демида, когда он рассказывал ей о встречах со зверями, о тайнах сибирской тайги. Анисье хотелось тогда стать таежницей. Все будут говорить: «Голоवेशихина-то дочь, глядите, какая непохожая на мать...» Во всем быть непохожей на нее, жить совсем по-другому — вот чего хотелось Анисье.

Была еще одна причина стыда за мать, самая горькая!..

Девчонкой Анисья влюбилась в Демида. Да как! Места себе не находила. То была чистая любовь подснежника к лучу солнца. Детская душа Анисьи вдруг раскрылась, как цветок, и никто об этом не знал! Ни мать, ни подружки. Она вообразила себе какого-то особого Демида: необыкновенного чудо-Демида, богатыря, перед которым расступается тайга. И он приходил в ее светлый мир, волновал воображение, манил за собою в таежную хмарь, в горы, в непролазные дебри, к Белогорью. Он был ее взаправдашним героем. Он ее назвал Угольком, как никто не догадался назвать. А Демид пришел и сразу дал ей точное имя. Будто заглянул в ее рано разгоревшееся сердчишко. «Ну где тут мой Уголек?»

— обычно спрашивал он, входя к ним в дом. И ей так было приятно, когда Демид, ласково поглаживая кудряшки ее волос, смеялся над застенчивостью девочки: «Гори, гори, Уголек, разгорайся!»

Да, ей было хорошо и радостно с Демидом! И эту радость отняла у нее мать! Изю дня в день мать поучала Анисью своим неписанным законам: «Девка рождается для мужиков, для хитрости. Постоянство — для дур!» И чем чаще мать учила дочь своей морали, тем невосприимчивее к ее поучениям становилась Анисья.

Ей, девчонке, нравилось все страшное, необычное. Иногда ночами она уходила за деревню, на кладбище. В бурю, в непогоду она частенько бродила в дремучих зарослях чернолесья, простоволосая и необыкновенно счастливая. А помнит ли Демид ту ночь дождливого сентября? Это она принесла ему страшные вести об аресте отца и о том, что собираются арестовать его!..

Помнит ли он?

А Демид вспомнил свое...

Недолго погулял он, покинув Белую Елань. В Петропавловске, как только устроился на работу, его арестовали. Судили тройкой за соучастие во вредительстве. Дали десять лет. Главным обвинением служили показания Головешихи. Потом два года восемь месяцев кайлил камень для постройки плотины, писал жалобы на имя Сталина. Перед самой войной добился освобождения из-за отсутствия состава преступления. И вот фронт. Но и на фронте Демиду не повезло. Дивизия, в которой он служил, угодила «в клещи».

Батальон, где Демид служил минометчиком, был отрезан на правом берегу Днепра. Надо было пробиться на свой берег или погибнуть.

Демид со своим минометом прикрывал переправу батальона, но был присыпан в траншее землю от взорвавшегося тяжелого снаряда. Когда к нему вернулось сознание, он почувствовал на себе непомерную тяжесть. Он не мог пошевелить ни рукой ни ногою, не мог поднять голову. Но он свободно дышал. Трудно Демид выкарабкивался из-под засыпавшей его земли. Когда он вылез, то не мог встать на ноги. Долго полз по земле, перепаханной снарядами, ничего не слыша и не соображая. В голове стоял странный неутихающий гул, в ушах звенело. Он видел лес с обтрепанными вершинами, срезанные под корень мощные дубы, кланяющиеся от

ветра ветки лещины, видел птиц, порхающих в багровых лучах заката, но не слышал ничего.

Ночь пролежал под дубом — и очень удивился, что дуб похож на тот самый прадедовский тополь!..

Утром он вышел на дорогу, направляясь на восток, но далеко не ушел — схватили...

Некий зондерфюрер решил, что к нему попался не иначе, как переодетый комиссар. Подручный зондерфюрера, бандеровец, заверял, что он будто бы видел Демида в штабе дивизии.

Месяц Демида мучили в гестапо Житомира. Допрашивали, били, выжгли пятиконечную звезду на груди, истязали, потом погрузили в товарный вагон и повезли в Германию.

Жестоко избитый эсэсовцами и бандеровцами, с опухшим лицом и кровоподтеками на теле, Демид лежал в вагоне, не ожидая ничего хорошего от будущего.

Потом тюрьма в Моабите, побег, но неудачно!

Чего он только не пережил и не перевидал в концлагерях! Он постоянно видит кошмарные картины...

Поймут ли его здесь, на родине?

V

Анисья бежала по склону хребта, мелькая между белыми толстыми березами черной тенью. Щеки ее — в напрыске вишневого сока, кудряшки растрепались и вились медными змейками по ушам, смоченные градинами пота. Сердце сильно билось, и она прижала ладонью упругую грудь, распахнув полы полушубка навстречу ветру. Бежала — и все думала, думала...

Вот ей уже двадцать шесть лет. А большая любовь — ответная, счастливая — так и не пришла к ней.

И вдруг неожиданная встреча! С тем, кого любила с детства, — с Демидом! Но — с каким! Ей стало жутко. Она бежала, бежала, будто спешила унести совесть от неумолимого позора.

Запыхавшись, не в силах остановиться на крутом спуске к приисковой торной дороге, с разбегу обняв рукою шершавый ствол сосны, Анисья крутнулась возле дерева.

«Что это я? С ума сошла, что ли! — опомнилась она, утирая тылом руки потный лоб. — От кого бежала-то? И вилы там оставила! Ну, дура. С чего я взяла, что он Демид? — кольнуло в сердце. — Да разве похож?»

«Разве похож?» — снова спрашивала себя Анисья, осторожно отталкиваясь от дерева и продолжая удаляться от того похожего-непохожего...

Потихоньку, словно крадучись, шла она к зароду, видневшемуся в излучине Малтата.

Головешиха еще издали встретила дочь руганью:

— Как есть шальная! Куда запропастилась-то, дура? — кричала она, идя навстречу Анисье. Вернее сказать, Головешиха не шла, а плыла — статная, высокая, на голову выше дочери, моложавая, в черном распахнутом полушубке, отороченном кудрявыми смушками, — Что там случилось-то? А вилы где? Да что ты молчишь?

— Поедем домой, вот что.

— Здравствуйте! Спятила, что ли?

— Я вижу — на всей заречной целине у колхоза один зарод сена. Кругом — одонья. Как же можно брать сено, если у колхоза последний зарод? А что будут есть коровы?..

— Э! Были коровы, а ноне будьте здоровы. Одни хвосты остались! Ни коров, ни телушек, ни овец, ни ягнушек. На процветание дело идет. Как окончательно процветем, так и без коров проживем.

— А я не буду метать это сено.

— Да что ты?! — Подбоченясь, Головешиха подошла вплотную к Анисье. — На сено у меня квитанция от правления. Деньги уплатила за три центнера! Слышишь? Твое-то какое дело, последний или нет зарод сена у колхоза? — презрительно скривила губы сердитая мать. — Ты сиди себе в леспромхозе, клади в карман зарплату да поплеывай в потолок.

— Какая же ты в самом деле!

— Какая же? — прищурилась мать.

— Мастерница на кляузы да провокации, как про тебя сказал один человек.

На минуту Головешиха растерялась, не зная, что ответить. Ноздри ее тонкого носа раздулись, губы зло подергивались.

— Это кто же такую воньку про меня пустил? — спросила она, сдерживаясь.

— Кто бы не пустил, а правду сказал, — отрезала дочь, ни на шаг не отступив перед матерью. — Ты и меня кругом запутала. Долго ли так будет? Боже мой, какая же я дура!

— Ты... ты... сдурела, не иначе! Да я... — у Головешихи перехватило дух. — Я те покажу!..

— Ты? Мне? — Анисья тряхнула головой. — Насмотрелась я, хватит. Ты меня еще в сорок первом запутала с этим проклятым дядей Мишей. Как же вы заплевали мое девичество? Чего вы с ним ждали? Перемен? Каких? Ждали, когда немцы возьмут Москву? И сводки у вас были особенные. Помню! Все помню. Как вы замутили мне голову, боже мой! А вечные пьянки! Любобовники твои! Как все это противно и гадко, гадко!

Мать не в шутку перетрусилась. С чего Анисья вдруг разразилась обвинительной речью? Кто ее подзавел? Надо с ней поосторожней. Сдуру сама себя утопит.

— Ты лучше, милая, прикуси язык, — и, боясь, как бы кто не оказался рядом, Головешиха оглянулась. — Не раз говорила тебе: не меня, себя топишь. Себя, себя! Мне-то что? Я свое пожила. А у тебя — молодая жизнь, красота в расцвете. Побереги ее! Чего задумалась-то? Чем тебе не потрафила мать? Не я ль тянулась в нитку, чтоб ты закончила институт? Чьи денежки получала? Прожила бы на стипендию или нет? То-то и оно! Умей жить — умей крутиться. Так в нынешнее времечко. Не из-за тебя ли я крутилась? А дядя Миша... Какая ты забывчивая! Не он ли устроил тебя в институт? Погиб, может, а ты его кости перемываешь. Ишь, воскипела инженерша! Хоть скажи, кто тебя подзавел на горе?

Анисья смотрела куда-то в сторону.

Мать еще раз напомнила:

— Думаешь, если бы утопила меня, то сама сухой бы из воды выскочила? Не-ет, так не бывает. Утонула бы первая. Видела, да скрыла. Знала, да помалкивала. — И тут же спохватилась: — Да что худого я сделала? В чем меня виноватишь?

— Что худого? — язвительно переспросила дочь. — Откуда у тебя взялось золото?... Куда ты его сплавляла?

— Цыц ты!

— Не цыкай, пожалуйста! — отпарировала дочь. — Рано или поздно все это вылезет наружу. Да и сейчас ты скупаешь золото. Где та черная бутылка?

— Да ты что, ошалела? Белены объелась? Убиралась бы ты из тайги, если тебя червь точит. Вот что я тебе скажу. Поживи при городе или где в другом леспромхозе. Мало ли я тебе добра припасла? Бери все до нитки, только не заедай мою жизнь.

— Не я твою, а ты мою заела! — ответила дочь. — С таким грузом, какой лежит у меня на душе, я никуда не уеду. С тобой буду век вековать... второй Головешихой!

Головешиха расплакалась, кляня себя, злой рок судьбы и всех на свете. Она и такая, сякая, разэтакая, только ни в чем не виноватая.

— Вся-то моя разнесчастливая жизнь в узлах да в обрывках, — бормотала она сквозь слезы. — В Девичестве били, били, да и вытолкали на все четыре стороны!.. А что я пережила на стороне? Кто меня жалел? Хоть бы одна живая душа...

— Перестань, пожалуйста! — не выдержала дочь. — Будем метать сено.

Мать все еще всхлипывала. Анисья залезла на зарод и начала сбрасывать на сани сено охапками.

— Куда гниль-то кидаешь? — моментом воспряла мать, как будто и слез не лила. И, что-то вспомнив, сказала: — Ты еще над тем раскинь своей умной головой, что если и было что — былшем поросло. Если бы...

Завидев человека в белом полушубке, направляющегося поперек елани к зароду, Головешиха осеклась.

— Кого еще черт несет? Да он с нашими вилами! Знать, на него напали волки-то?

Анисья взглянула на Демида (это же Демид, конечно!) и ничего не ответила матери, продолжая кидать охапками пахучее сено.

VI

— Господи! — удивилась Головешиха. Она будто впервой видит этого одноглазого с вислыми седыми усами. Может, заезжал когда ночевать в гостиницу — бывший Дом приискателя, где работает заведующей Авдотья Елизаровна?

— Что у вас за кладь на лыжах? — спросила, приглядываясь к незнакомцу и не узнавая его. — Волки? Вот уж диво-то! — И с той же важностью, как держала себя, пошла взглянуть на волков. Какие матерые зверюги! Голова одного из волков разворочена пулей, а второй весь в крови — истыкан вилами. Знать, Анисья убила! Когда вернулась к незнакомцу, сказала: — Как ты только отбился, господи! Нонешнюю весну напропалую лезут к деревне, к колхозной ферме. На неделе задрали трех телок. Должно, эти самые. А волчица-то, кажись, старая.

— Не из молодых, — ответил охотник. Он успел передать вилы Анисье на зарод. И к Головешихе: — Да и вы не молодая теперь, Авдотья Елизаровна, как в те годы.

Головешиха подошла вплотную:

— В какие «годы»? У меня, мил человек, немало было разных и всяких годов. — Прямо и нагло всматриваясь в незнакомое лицо, усомнилась: — Я, кажись, впервой вас вижу.

Незнакомец криво усмехнулся:

— Забыла, как из Белой Елани меня провожала? — напомнил, вздернув бровь над зрячим глазом. — Парнем тогда был, а ты будто такой же, как сейчас. И годы тебя не берут, и войны не гнут.

— И! Какие мои годы! — хихикнула Головешиха, прикрыв рот рукою в вязаной варежке. — Мне-то, поди, не сто лет, а всего-навсего тридцать седьмой. Уж не обознался ли?

— Вот это здорово! — захохотал путник, у Анисьи на зароде вилы выпали из рук: так неожиданно прозвучал хохот. — И в тридцать седьмом году — тебе шел тридцать седьмой годок, и через двенадцать лет — тридцать седьмой годок. Когда же стукнет пятьдесят?

И тихо, но внятно назвал:

— Демид Боровиков. Помнишь?

Головешиху будто кто толкнул в грудь. Она отступила на шаг, прижав руки к полушубку. Перед ее глазами на какой-то миг полымем мелькнуло давнее и почти забытое. Арест мужа, Мамонта Петровича, о чем не очень-то горевала, хотя и побаивалась, как бы ее, «свидетельницу», не вывернули под пятки, Демид в ее избе, когда она удержала его, чтоб он не влип сдуру, осенний дождичек, притихшая, нахохлившаяся деревня, мокрая и грязная улица...

— Что пугаете-то? Господи! Да что вы!.. Скажут же!.. — бормотала Головешиха и почему-то сняла варежки. — Нет, нет!

Похоронная же была.

— На похоронную и рассчитывала, что ли, когда показания давала, будто я вредительством занимался в леспромхозе вместе с Мамонтом Петровичем? А ведь я тогда поверил, что ты и в самом деле ничего не знаешь! А ты, оказывается, на всю нашу, так сказать, «группу» дала показания. Еще до того, как Мамонта Петровича взяли. Ну, дела!

Головешиха безжалостно теребила пальцами узорчатую кайму пухового платка.

— Да что ты, что ты! Ничего не знаю!.. Не виновата я, истинный бог. Ни в чем не виновата. Эта сам следователь Андреев напетлял, чтоб ему провалиться. Грозился, что сгноит меня в тюрьме, как дочь бывшего миллионщика, хотя я в глаза не видывала никаких миллионов!.. Как тут не подпишешь, коль тебя вот так прижмут? В уме ли я была, спроси! Ведь Аниска на руках, а кругом — ни души, ни вздоха!.. На кого бы покинула девчонку? Вот и подписывала протоколы. Не читая подписывала. Клянусь, как перед богом.

— Неправда! — раздался, как выстрел, голос Анисьи с зарода. Она смотрела вниз на мать и Демида. — Не так все было! Почему не сказать правду?

— Не так?! — Щеки Головешихи, как оползни, сдвинулись вниз; она смотрела на дочь зло и брезгливо. — Не так? Или ты за моей спиной стояла, когда я подписывала протоколы? Ты, может, лучше меня знаешь, какое было время тогда? Как меня страх пеленал по рукам и ногам — известно тебе или нет? Не из-за тебя ли...

— Оставим, Авдотья Елизаровна, — сказал Демида. — У меня было время подумать. Сам был не маленький, когда сдуру бежал из Белой Елани. Теперь бы не кинулся в побег. Ну да, что было, то было. И быльем поросло, с обидами век не жить.

У Головешихи отлегло от сердца.

— Что правда, то правда, Демушка. Господи! Вижу и глазам своим не верю. Воскрес из мертвых, значит?

— Как будто воскрес, — отозвался Демида, еще не вполне уверенный в том. — Значит, не ждут меня?

— Какое! Сколько лет прошло-то. Мать пенсию за тебя получает. А ты вот он, живехонек. Отец-то твой, Филимон Прокопьевич, при Жулдетском лесхозе лесником. Такой же красный, как медь, и борода

медная. Вот уж кого годы не берут! А ты совсем старик. И усы седые, как у Егорши Вавилова. Как ты переменялся-то, а? Глаз-то где потерял?

— В концлагере. Овчарка выдрала, — ответил Демид, сворачивая сигарку.

— Из плена? — оживилась Головешиха. — Как же тебя долго держали!

— Не одного меня держали и держат еще.

«Такой же гордец, каким был Тимофей Прокопьевич. А пятно-то черненькое. Из плена, что из тлена. Одна дорога — с печи на полати по кривой лопате», — подумала Авдотья Елизаровна, окончательно успокоившись: беда минула стороной!

— Мать-то не опознает тебя, ей-богу! Испугаешь ты ее до смертушки. Одна живет в доме-то. Филимон редко наезжает. Сегодня, кажись, приехал со своим Мургашкой — лесообъездчиком. Помнишь Мургашку?

— А, тот самый!.. — кивнул Демид, подумав: «Папаша опять стриганул из колхоза. Оно понятно: жить там, где пожирнее».

Головешиха будто догадалась, о чем подумал Демид:

— Умора! Ты бы знал, Демушка, как Филя завхозовал в колхозе во время войны. Мужики-то ушли на войну, кого на трудовой фронт мобилизовали, а Филимона Прокопьевича в завхозы выбрали. Фрол Лалетин был председателем; два сапога пара. Хи-хи-хи. До чего же они ловко спелись — водой не разлить. А тут еще понаехали эвакуированные с запада. Душ за двести было. Голоднющие, перепуганные. Ну, Филимон Прокопьевич пригрел которых. За буханку хлеба или за килограмм мучки — юбку с бабы снимал. Какие были у кого стоящие шмутки — все скупил. У нас ведь лисий питомник при колхозе. Так питомником-то заведовал племян Фрола, а Филимон шкуры лисиц сбывал в Минусинске. За шкурку — шкуру драл с головы до ног, хи-хи-хи!.. Думали — денег у него тысяч триста. А тут вот, позапрошлым годом, бах — реформа. Чтоб ей провалиться. Меня и то притиснуло. Маремьяну-казачку знаешь? Ну, которая с Головной партизанствовала в гражданку. За семьдесят тысяч притащила денег на обмен. Битком набитый куль. И что же, ты думаешь? Твой папаша не обменял ни одного рублика. Вот загадка-то. В те дни он как раз ездил в город с поросятами. Как вернулся с

лопнувшими колхозными деньгами — из памяти вышибло, жаловался. И девки потом говорили, которые с ним ездили в город, что он там и рубля не менял. Куда же деньги девались?

Головешиха нашла на торный след — выложила всю подноготную про Филимона Прокопьевича, про Фрола Лалетина, про убитых и пропавших без вести — куча новостей, и все с душком.

— Понятно!..

Демид горестно покачал головой. Папаша отличился! Это на него похоже. Как был единоличником-хитрюгой, таким и остался!..

Головешиха меж тем подковырнула, как бы мимоходом:

— Андрюшку Старостина помнишь? При тебе в леспромхозе бригадиром был.

— Помню. Где он?

— Хи-хи-хи! В лагере теперь. Прошлый год возвратился из плена из этой самой Германии. Ну, потоптался с месяц на радостях, что кости дотащил домой, потом устроился в леспромхоз начальником участка. Теперь ведь у нас новый леспромхоз — от Украины. Хохлы понаехали за лесом; погорелье свое застраивают. Дали им технику в центре. Районной власти не подчиняются — перед Украиной отчет держат. И сам директор хохол. До чего же толстущий да проворный. Веселый мужик. Анисья моя в этом леспромхозе инженером. Она ведь институт закончила, — сообщила как бы между прочим. — Ну, Андрюшка Старостин чтой-то разругался на участке с хохлами, а те его и взяли в переплет, как из плена, значит. Моментом с копылков слетел. А тут и эмгэбэ присваталось, хи-хи-хи!.. Вот уж счастьеце!

Демид поежился, будто внезапно продрог сидя под зародом. Головешиха примостилась рядом, удобно устроившись на мягкой подушке сена: в спину не дует и снизу греет. Анисья не видит их — мечет воз сена. Головешиха специально отвела Демиду с глаз дочери, чтоб та не подслушивала разговор.

— Что ж ты, Дема, про Агнью-то ничего не спросишь? — вдруг переключилась собеседница, а сама так и впилась в Демиду. Тот дрогнул, но ничего не спросил. — Такая стала красавица, хоть сейчас на выставку. Хоть и залазила в петлю из-за тебя, но если ты ее поманишь пальцем, побежит за тобой, истинный бог, как моя Альфа за зверем. Она ведь и родила дочку от тебя в доме Санюхи Вавилова...

Глаз Демиду сверкнул:

— Дочь?!

— Вылитая твоя копия. Полюшкой назвала.

— Моя дочь?!

— Чья еще? Твоя, твоя, миленький. Не ветрова же! — доканывала Голоवेशиха.

Демид поднялся и отошел от Голоवेशихи.

Полюшка! У него есть дочь Полюшка... А он ничего и не узнал бы о ней, если бы не выбрался из крошечного ада.

Как же он, Демид, встретится с Агнией?

Подошла Голоवेशиха. У ней еще есть новости...

— Степан-то Вавилов до майоров дослужился, — сообщила с некоторым сожалением. — Звезду Героя Советского Союза получил. В Берлине сейчас. Письмо было Агнии насчет Андрюшки. Сын-то при ней. Вот уж привалило бабе счастье — от двух мужей ребятишки, и оба мужика в живых оказались. Да еще с Золотой Звездой законный муженек, хи-хи-хи!.. А у тебя-то, Дема, какое звание?

— Военнопленный, — угрюмо вывернул Демид.

— И-и, как не повезло-то тебе! Ни орденов, ни медалей, а усы серебряные. И голова побелела, однако? Да ведь еще как посмотрят на твой приход из плена. Сыграют, как с Андрюшкой Старостиним, и вся недолга. Докажи, что ты не сивый. Характер у нашего народа, знаешь, какой? Если топить — топят с камнем на шее, чтоб не вынырнул. Если почнут хвалить да пригревать — очумеет который от радости и ног под собой не чует. Думает, что на небеси взлетел. Хи-хи-хи! Уморушка, не жизнь. Век так перемывают: то вверх, то вниз.

Демид чувствовал, как у него вспотела спина и начался зуд между лопатками, — давала себя знать экзема, нажитая в концлагере. Ему стало тяжело — будто темень глаз застилала. Сердце наполнилось чувством страшной горечи: помышлял вернуться домой с войны непременно героем при орденах и медалях, чтоб враз выпрямиться и обрести силу, а вышло все вверх тормашками — военнопленный! Но — живой же, живой, живой! Наплевать, в конце концов, на всякие разговоры и страхи; он будет работать, жить, и все увидят, что он не конченный человек, если даже судьба обошлась с ним сурово — не приголубила и добром не одарила. Он не поддался ни на какую провокацию американских офицеров и насадок ЦРУ, не завербовался в

школу диверсантов, не стал предателем Родины. И он докажет это. Пусть не спешит Авдотья Елизаровна на его похороны!..

Но он ничего подобного не сказал Головешихе: научился держать язык за зубами.

VII

Анисья проворно и ловко затянула воз бастриком. Не воз, а загляденье. Обчесала вилами со всех сторон, чтоб дорогою не терять сено, и очески приметала к зароду.

— Ловкая ты, Уголек! — похвалил Демид и спохватился: — Извини, пожалуйста, что я тебя так назвал. Сколько лет прошло, а из памяти не выветрилось. Но какая же ты раскрасавица, честное слово! Замужем?

— И, милый! — встряла Головешиха со своим копытом. — Разве для Анисьи Мамонтовны сыщется жених? Кто бы на нее ни взглянул — каждому от ворот поворот. Как принцесса какая.

— Оставь, мама!

— Не ругаю же. Хвастаюсь. Али грех похвастаться?

— Спасибо, Уголек. Не струсила с вилами кинуться на волков.

— Она и на самого черта кинется, — усмехнулась мать.

— На черта легче кинуться — его в природе не существует. А вот на волков!.. Сердце, значит, доброе. Отзывчивое. Такое не у всех бьется.

А сердце Анисьи будто сжалось в комочек, готовое растаять от ласковых слов Демида.

— Я сразу не узнал тебя. Вижу — знакомые глаза. А чьи? Не мог признать. И волосы. Такие редко у кого встретишь. Совсем забыл твои кудряшки.

— Да ты уж не влюбился ли, Демид Филимонович?

Демиду стало неудобно; Анисья смутилась и покраснела. «Бессовестная», — только и подумала дочь о матери.

— И, господи! Не было печали, так черти накачали! — всполошилась Головешиха. — Головня с мужиками. Из тайги тащутся, медвежатники. Давай-ка, Анисья, заведем воз на другую сторону зарода. Пусть их лешак пронесет мимо.

— А что особенного? — спокойно ответила Анисья. — У тебя же квитанция на сено от правления колхоза?

Охотники шли дорогою гуськом друг за другом. Впередигнулись двое в упряжке — тащили за собою какую-то кладь на лыжах. Двое последних остановились, поговорили о чем-то, к ним еще подошел охотник с ружьем.

— Головня агитирует, чтоб ему лопнуть! — ругалась Голоवेशиха. Головня! Мамонт Петрович!

— Так он жив-здоров? — спросил Демид.

— Еще в сорок седьмом вернулся с отсидки, — небрежно кинула Голоवेशиха, глаз не спуская с высоченного Головни. — Может, пройдут мимо.

— Я рад. Очень даже!

— Пойди тогда к нему навстречу, порадитесь вместе, — присоветовала Голоवेशиха. — Сюда летит, чтоб ему окосеть.

— Мама!

— Молчи, когда не спят сычи. Мне придется отбрехиваться от заупокойного активиста, чтоб ему на лыжах разъехаться.

За Головней шли еще двое. Мамонт Петрович первым подлетел к зароду на коротких охотничьих лыжах, подшитых камусом — шкурками с голеней сохатинных ног.

Высокий и поджарый, прямой, как телеграфный столб, в полушубке и дождевике нараспашку, с двуствольным ружьем за плечами.

— Па-а-анятно! Грабишь?!

Подкинул рукавицей рыжие торчащие усики, оглянулся на своих спутников:

— Вот полюбуйте! Собственной персоной Авдотья Елизаровна — моя предбывшая супруга. Моментик. Как вам это нравится? И ты, Анисья?! Тэк-с! Великолепно.

Длинное, носатое, очень подвижное лицо Мамонта Головни со впалыми щеками было одним из тех лиц, о которых говорят: щека щеку ест. Пунцовое от долгого пребывания на морозе, оно будто затвердело, подернувшись медной окалиной. И дочь тут же! Его дочь Анисья, из-за которой он не раз схватывался с Голоवेशихой еще в те годы, когда Аниска была маленькая, — вот до чего она докатилась!..

— Тэк-с, — крякнул Головня, шумно вздохнув.

Двое других охотников помалкивали. Один из них, участковый милиционер Гриша — медлительный, тихий, недоуменно косился на незнакомца в белом полушубке; второй — здоровенный вислоусый Егор Андреянович, бывший партизан отряда Головни, поглядывал на Анисью с Голоवेशихой с некоторым участием: не наша, мол, вина, что налетел на тебя твой бывший супруг. Демид, в стороне от всех, у зарода, чувствовал себя подавленно. Мамонт Петрович показался ему каким-то жалким, прихлопнутым, хотя и держался воинственно. Жалел Анисью-Уголька. Она ни за что влипла — уж в этом-то был уверен Демид. Голоवेशиха самого сатану запутает и обведет вокруг пальца.

А голос Головни, насыщаясь гневом, постепенно набирая силу, гудел на всю окрестность:

— Один зарод сена на весь колхоз, на всю посевную, и тот растаскивают, иждивенцы проклятые! На работу вас с фонарем не сыщешь, на воровство — тут как тут. Навьючили воз — коню гуж порвать, и ждете ночи, чтоб задворками к своему огороду подвезти. Не выгорело? Влипли? Ну погоди, гидра, выселим тебя в отдаленные земли!

Голоवेशиха картинно подбоченилась:

— Не ты ли меня выселишь?

— Я!

— Отвали ты от меня на полштанины!.. Индюк ты краснолапый!

— Я тебе еще покажу! Погоди, вот напишем акт.

— Не надо шуметь, Мамонт Петрович, — вмешался покладистый Егор Андреянович. — Одним возом все едино все конские, а так и коровьи утробы не набьешь.

— Примиренческие рассуждения, Андреяныч, — огрызнулся Головня. — Если так миротворствовать, то очень определенно сядем все на щетку. Ты подумал, как жить в дальнейшем? Грабят колхоз всякие присоски, как вот Голоवेशиха, а мы глаза закрываем. Откуда будет достаток, если на корню тащат хлеб, воруют животину, а списывают как погибшую али пропавшую в тайге от зверья. Кончать надо эту лавочку. Авдотье с ее заезжей-переезжей гостиницей пинком под зад! Порядок нужен. Вот они, воры! — ткнул на Голоवेशиху и Анисью. — Не жнут, не пахнут, а живут припеваючи. Отчего такое происходит? Ты вот, Григорий, как участковый милиционер ответь: какую борьбу проворачиваешь с расхитителями? А никакую! Скрозь

пальцы глядишь на колхозное добро. Будто оно есть бесконечно далекий Млечный путь.

Головешиха, подбоченясь и чуть склонив голову к плечу, всем своим видом как бы отвечала: мне наплевать, куда и кому предназначено сено — для посевной ли, для коров ли на МТФ; у меня вот разрешение правления «Красного таежника». И, в подтверждение этого, подошла к участковому Грише, подала квитанцию:

— Вот погляди, Гриша. За сено уплачено. Уйми ты этого индюка за ради Христа!

За сено, и в самом деле, Головешиха уплатила в колхозную кассу тридцать два рубля семь копеечек. Наряд на получение сена подписали председатель колхоза Лалетин, бухгалтер Вихров-Сухорукий. Честь честью.

— Порядок, — вздохнул участковый Гриша, возвращая квитанцию.

— Какую она еще маневру придумала? — оторопел Головня. — Ага! Квитанция. Па-анятно-о! Знаешь, чем пахнет твоя хитрость, Авдотья?

— Сенном пахнет, индюк! — невозмутимо ответила Головешиха, пряча квитанцию. — Так и прет от него медвяный дух. Принюхайся, пока я не увезла его домой. Знать, уж такое мое счастьеце. Кому — сено, а кому — шиш под нос! — И поставила перед носом Мамонта Петровича свое трехпалое сооружение. — Видел? И весь тебе тут смысл.

— Замри, гидра! — брезгливо процедил сквозь зубы Головня и тут же обрушился на Анисью. — И ты, Анисья! И не стыдно тебе? Как ты можешь смотреть людям в глаза после такого совершенствования? Позор! Вот до чего ты докатилась, технорук леспромхоза. Мало тебе зарплаты в одну тысячу семьсот рублей, когда колхозники перебиваются на копейках, так ты и на копейки позарилась. Кто ты есть после этого, спрашиваю? Воровка!

Анисья, ни слова не сказав, кинулась в сторону тайги. Слезы обиды, стыда и позора подступили ей к горлу. Отец! Это ее отец! Пусть мать давно отвергла отцовство Головни, но сама Анисья слышать не хотела ни о каком другом отце, кроме Мамонта Петровича. Мало ли что не скажет такая мать, как Головешиха!..

— Это ты зря, Мамонт Петрович, — заметил участковый Гриша. — Если имеется документ, как можно говорить, что сено воруют? Через документ не воруют.

— Па-азво-оль!

Егор Андреевич махнул рукой и, ничего не сказав, пошел прочь от зарода. Следом за ним участковый Гриша. Головня остался лицом к лицу со своей «предбывшей».

— Поворачивай оглобли! — подтолкнула Голоवेशиха. — Индюк ты заполошный. Чего ищешь, скажи? Справедливости для всего света? А кто тебя просил искать эту справедливость? То ты носился, как чумной, с мировой революцией и ног под собой не чуял, то тебя кидало по тайге за бандитами, как за теми зайцами!.. То тебе не потрафил сам Сталин, и ты на него шипел, индюк!.. А он тебя за шиворот да в ящик!.. До какой же поры ты будешь эдак кричать и носиться на красных лапах? Спасибо говори колхозникам, что они доверили тебе конюшню, кусок хлеба дали на старости лет, да Маремьяна-партизанка пригрела! Сдох бы ты под забором, каменный плакат мировой революции! — И, круто повернувшись к прихлопнутому Демиду, Голоवेशиха махнула широким жестом: — Вот, полюбуйся, Демид Филимонович, твой друг и соратник Мамонт Петрович!.. Радуйтесь тут, а мне надо ехать!

Головня на некоторое время оглох от подобной отповеди, и тем более поразили его последние слова Голоवेशихи. Демид Филимонович? Вот этот белоусый?

Демид сам подошел к Мамонту Петровичу и подал руку:

— Здравствуй, Мамонт Петрович. Вот как мы встретились!

— Миленькая встреча! — прошипела Голоवेशиха.

Жалостливо и недоуменно помигивая, Мамонт Петрович некоторое время молчал, собираясь с духом.

— Постой, постой! — Не отпуская руку Демида, Головня пригнул голову, будто диковину разглядывал. — Демид?! Как же ты, а?! Откуда? Это же...это же...едрит твою в кандибобер, событие!.. Демид, а? Живой! Очень даже натурально. Жив-здоров и невредим святой Никодим! Явился — не запылится, только усы белые. Но как же так — усы белые, а? Ах ты, едрит твою!..

Мамонт Петрович сграбастал Демида и стиснул в объятиях, бормоча:

— Рад, Демид Филимонович! Как если бы невооруженным глазом открыл новую планету. А у нас тут, видишь, какие порядочки? Одни — жар загребают чужими руками, а другие — вкалывают!.. Ну, нет. Так дальше не пойдет. Ну да, про порядки и прочее потом поговорим. Откуда ты? Што-о-о? Из плена?! Угу! Как же это ты, позволь?!

— Как на войне, обыкновенно, — поутих Демид.

— Само собой, на войне. Но... М-да! Надо бы нам потолковать с тобой. Я ведь тоже в известном роде на боевых фронтах побывал. Десять лет Колымы хватанул! Как произошло подобное, не думал? Эге! Математика из двух действий, как дважды два. Всякие недовольные Советской властью, как вот эта гидра, почуяв кампанию, которую развернул Ежов как борьбу с врагами народа, ловко передернули карты. Руками Советской власти прикончить доподлинных революционеров, каким был я, а так и другие пострадавшие. И если вникнуть...

Головешиха не позволила вникнуть — заорала во весь голос:

— Ааа-ааа-аааниисьяааа!

Головня погнул голову. Зря он накричал на Анисью, всячески позоря дочь!..

— До свидания, Мамонт Петрович, — попрощался Демид. — Пойду за Анисьей. Напрасно вы так...

— Нече за ней идти, — ворчнула Головешиха. — Сама найдет дорогу. Это ты, индюк, чтоб тебе лопнуть с твоим горлом! Нно! Тяни, Гнедко! — И поехала. Сено повезла.

Головня остался у зарода, растерянный и жалкий.

Демид шел следами Анисьи до излучины Малтата. В лесу снег был глубокий и рыхлый. Анисья местами проваливалась, но все шла и шла к реке. Так она спустилась на лед и взяла вниз по Малтату. Чем дальше, тем спокойнее были ее шаги: ровные разрывы между следами.

«Дойдет, — подумал Демид, присаживаясь на корягу покурить. — Такие-то дела, Демид Филимонович, — с горечью сам себя пожурил. — Жизнь — штука суровая. Каждому своя доля. Что-то будто сломалось в Мамонте Петровиче. А жаль! Совсем не такой, каким был!.. Уездили сивку крутые горки, да Головешиха помогла, черт бы ее подрал. Ну и баба!.. Надо же?! Как ее не вертело-крутило, а все на поверхности плавает. Из нетонущих, что ли?»

ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ

I

Время! Кто знает, что такое время, истинный смысл его?

Смутные ли, беспокойные тени былого, как лучом прорезая нашу память, говорят нам о времени минувшем, незабвенном! Морщины ли, некстати набежавшие на лицо, напоминают о прошлом: где-то там, далеко, детство, отрочество, юные мечты, возмужание! Когда-то, совсем недавно, кажется вчера, ты переступил отроческую черту и почувствовал себя не по возрасту взрослым человеком. Давно ли ты задумал то-то и то-то, а вот уже минуло столько лет!..

Кто, скажите, кто не хотел бы заново пережить счастливый день своей жизни? Кто с умилением не вспоминал былое? Кто, возвращаясь в родные места, не говорил себе: «Как тут все переменилось!» — не замечая перемен в самом себе?

Можно ли пережить заново минувшее? Есть ли грань времени: когда оно началось и где ему конец?

Оно без конца и начала.

Никто не отметил чертой его первоначальной грани, не указал конечной. Не задержать его, не повернуть и не ускорить.

Попробуйте ступить в одну и ту же проточную воду два раза. Там, где только была ваша нога, — журчат новые струи. Река — непрерывное движение.

Время, как и река, мчит свои воды вперед, в будущее, оставляя в нашей памяти либо смутные, как далекие тени, либо яркие, как утренние зори, воспоминания.

Воспоминания — следы жизни...

II

«Как тут все переменилось!» — думал и Демид, приглядываясь к окрестностям Белой Елани.

И дорога совсем не та, и лес как будто поредел, и горы, кажется, стали выше, синее и круче.

Демиду показалось, что он уже видит тополь. Тот самый прадедовский тополь!

Странно — тополь совершенно белый, огромный, расплывчатый, как облако.

Демид остановился и, приставив руку козырьком к шапке, долго смотрел в низину поймы. Нет, то не тополь белый, а облако тумана, медленно ползущее по склону Лебяжьей гривы.

Вечерняя мгла кутала окрестность. Демид ждал ночи — просто ноги не несли. Чем ближе к дому, тем тяжелее путь.

Отчий дом чернел высоко на горе безглазой глубиной.

Да, да! Как тут все переменялось. И отчий дом двенадцать лет назад был, кажется, выше и светлее, и небо будто опустилось ниже.

Он хорошо помнит, какие нарядные росли сосны на том склоне Татарской рассохи, где его прижали волки. Теперь там пашня.

Время меняет не только человека, но и землю.

Удивительная картина! Он, Демид, успел побелеть за двенадцать лет, а дом его почернел и, кажется, наполовину врос в землю.

«Какой я был дурак и шалопай!» — подумал Демид, припоминая былое. Какая теперь Агния? Он никак не мог представить себе, какой была Агния в то давнишнее время. Помнит: у Агнии карие глаза с поволокой, с точечками, черные брови и белая высокая шея. Напрягая память, Демид старался увидеть всю Агнию, и вдруг, совершенно некстати, наплыло лицо одного солдата, смертельно раненного в живот. шел бой под Киевом. Демид сидел со своим минометом в окопчике, а рядом с ним молоденький необстрелянный солдат с винтовкой. Рванул снаряд, и винтовка из рук солдата выпала. Осколок снаряда угодил солдату в живот. Демид пытался расстегнуть шинель у солдата и вдруг испугался, глянув, что наделал осколок. Солдат в упор смотрел на него белыми глазами. Его безбровое лицо, совсем мальчишеское, было удивительно спокойным. Потом оно вдруг потемнело, и глаза начали гаснуть. «Как она меня гвозданула, а? — проговорил умирающий мальчишка, глядя в упор на Демида. — Мама осталась совсем одна! Ма-амочка!..» И этот предсмертный вскрик солдата, и то, как омертвели светлые мальчишеские глаза, навсегда запомнились Демиду. Так и умер солдат с удивленно-распахнутыми глазами, прижимая правую руку к животу, а левую к сердцу.

— Как она меня гвозданула, а? — повторил Демид слова неизвестного солдата, глядя в беспредельную даль. Там, за этой далью, далеко-далеко, он столько пережил и выстрадал, что ему хватит воспоминаний на три жизни, если бы он их имел... Одну-единственную, и ту укоротили. Каменные блоки, бункера, эсэсовцы, овчарки и черствые, как камень, люди!..

«Трудно мне будет, — невольно подумал Демид. — Ну, да ничего. К земле протяну руки — в ней вся сила».

Разве думал он когда-нибудь, что ему придется вот так прибиться к родным берегам, измотанному физически и нравственно? Не думал, и во сне не снилось.

III

Когда Демид почувствовал под ногами поскрипывающие порожки знакомого крыльца, окинул взглядом запущенную ограду отцовской усадьбы, увидел черные перекосившиеся столбы, подпиравшие добротный под-навес, крытый листовными плахами, — сразу обмяк, обессилел. Никаких признаков животины в ограде не было. Из-под снега, у самого крыльца, торчали толстые будылья прошлогоднего дикотравья. Наверное, летом вся ограда зарастает дурниной. На карнизах дома пристыли сверкающие в лунном свете потеки подтаявшего снега. Ворота в листовных, обшитых тесом столбах, не похожи были на те, какие знал Демид. Резной навес над воротами, где в давние времена обитали голуби, сейчас обвалился, на фоне неба торчали черные ребра стропил. Большие ворота, занесенные до половины подтаявшим и посеревшим сугробом, как видно, давным-давно не открывались.

Демид вспомнил, каким нарядным был дом отца в пору его детства. В ограде, вымощенной торцом, с трех сторон красовались вместительные поднавесы, где, чинно расставленные, смазанные маслом, стояли машины: конная молотилка, конные грабли — зубьями их он любил звенеть. Под вторым поднавесом спасались от непогодного времени телеги, сани, дрожки, выездная кошевка, обитая медвежьей шкурой, резные дуги с колокольчиками, сбруя и всяческая хозяйственная утварь. Третий поднавес служил для сушки конопли и льна. Здесь же, в глубине поднавеса, был двойной амбар для зерна, а

слева — глубокий погреб для хранения солонины и мяса осеннего убоя. На заднем дворе, где сейчас пустырь, был скотный двор с летником и зимником. А там, дальше, в необозримом огороде, стояли рядками расставленные ульи пчел. Когда-то Прокопий Веденеевич жил богато, как и большинство крестьян Белой Елани. До кулака Прокопий Веденеевич не дотянул — времени не хватило, да и жаден был на копейку. Скорее сам согнется в три погибели на пашне, домашних загоняет до полусмерти, но работника не наймет. «Наемный человек — поруха хозяйству, — говаривал Прокопий Веденеевич, рачительный и суетливый. — Работник за копейку рубль в землю вгонит. А мы сами. Попотеем, зато зимушку пузо погреем».

Как тут все переменялось!

Мать — старуха. В силу ли ей содержать дом и хозяйство? Отец, как сообщила Голоवेशиха, при лесхозе обосновался. Да, он знает отца. Не прижился он в деревне. Единоличник. Собственник.

Настывшее железо щеколды жгло руку. Демид долго стучал кольцом в дверь, чувствуя, как кровь бурно прилиwała к голове и к сердцу, отчего ему стало жарко. Он распахнул полушубок, сошел с крыльца и, подтянув лыжины с кладью, повернулся на хлопнувшую дверь. На крыльцо вышел Филимон Прокопьевич. Отец!

— Кого тут черт носит?!

И этот злой, ворчливый голос отца как-то сразу воскресил тяжелую память детства. Будто что-то наплыло на Демиду изморозью, серым, пробирающим до костей туманом...

— Погреться можно, хозяин? — спросил Демид, зябко потирая ладони.

Филимон Прокопьевич рявкнул:

— Христарадничаешь? Самим жрать нече!

Вот теперь он окончательно узнал отца. Такой же он скупой и черствый!..

— На тепло-то не скупись, хозяин.

Филимон Прокопьевич булькнул, как рассерженный индюк:

— Тепло, старик, оно тоже даром не дается в таперешние времена. Откуда будешь?

Демид ответил с заминкой:

— С... прииска.

— С которого? Тут приисков много, господи помилуй, и все на ладан дышат.

— С... Благодатного.

— Эва! Что у те за кладь? Волки? Эх-ва... Где завалил? В Татарской рассохе? Ишь ты! Тут их пропасть. Волчица и сам волк? Смотри ты!

Филимон сошел с крыльца, пнул ногою волков, нагнулся и, запустив пальцы в шерсть, наставительно проговорил:

— Ошкуривать надо, приискатель. Ночь переночуют — утре шкуру зубами не отдерешь. Давай помогу с половины.

— Берите их целиком! — кинул Демид, не в силах одолеть неприятную нервную дрожь.

Филимон Прокопьевич еще раз булькнул гортанным выдохом, но миролюбиво проворчал:

— Оно и то верно говоришь, старик. Куда тебе с ними канителиться. А мы вот их затащим в баню, она еще горячая — недавно мылись. А потом я их ошкурую. Хе-хе-хе. Переночуешь у меня, буханку хлеба на дорогу возьмешь, то, се, чай там, постель, погреешься — все едино расход, а не приход. Дам тебе на четушку. Далеко путь держишь-то? Ну заходи.

Демид втянул голову в плечи, деревянным шагом поднялся на крыльцо. За ним шел сам хозяин. Сколько лет не был в сенях Демид, а безошибочно впотьмах опустил руку на дверную скобу. Напахнуло теплым, застоявшимся воздухом избы. Полумрак. Первое, что бросилось в глаза Демиду, — омертвевшие ходики. Черный пятак неподвижного маятника, стрелки, застывшие на четверти третьего, — не то дня, не то ночи. Матово-темное стекло рамины, закрытой ставнем. Под потолком горела семилинейная лампа под абажуром. Стены, когда-то крытые охрою, теперь почернели.

Филимон Прокопьевич по-хозяйски прошелся в передний угол, сказал, чтоб старик погрелся, а затем сообщил старухе, что прохожий приискатель заночует у них и пусть старуха подогреет чайку да соберет на стол «что бог послал».

Демид стоял в тени у порога. От железной печки несло жаром. Ноги Демида словно приросли к половицам. Во рту сохло. Он облизнул запекшиеся губы, и, закусив изнутри щеку, украдкой взглядывал на мать. Пожелтевшее, маленькое, изрезанное морщинами вдоль и поперек лицо, и — тусклость. Как на старинной иконе. Какая она старенькая, его мать! Коричневая кофтенка бог весть из какой материи, мешковатая юбка, чирки на босу ногу, седая, трясущаяся голова. Она как-то отчужденно-безжизненно глянула на пришельца и тут же отвернулась, пройдя в куть, шаркая пятками чирков.

— Поляночка! Это не мать пришла, вылазь. Чай-то будешь допивать?

— Я напилась, бабуся, — ласково пропел детский, еще не окрепший голосок, ожививший мертвые стены.

У Демида затряслись ноги в коленях. Полянка! Неужели его дочь? Какая она? Почему она здесь?

И сразу же больно заныло сердце. Но тут взгляд Демида уперся в пунцовый загривок складчатой шеи отца. Мать едва жива, а папаша раздобрел! Он бодр, румян. Борода отца, такая же красная, как и его загривок, с вьющимися волосами, расчесана, как у Иоанна Кронштадтского, чей портрет сорокалетней давности, похожий на чайный поднос, украшает стену над мертвыми ходиками. Сколько годов прошло, а тени минувшего, отжившего, кажется, приросли к стенам Филимоновой твердыни.

В дверях горницы показалась, как в черной рамине, одиннадцатилетняя Полянка. Рослая, по-детски тонкая, белокурая и белолицая, в темном платье под белым фартуком. Полюшка! Вот она какая. Полюшка! Демид видел ее пухлые губки, легкий подбородочек, кудряшки волос и большие, доверчивые, наивно открытые на жизнь глаза. Его глаза!

Демид вздохнул и выпрямился. У него было точно такое состояние, словно он после долгого охмеления обрел наконец трезвость и увидел вокруг себя вещи и явления жизни такими, какие есть они на самом деле, действительными. И отца он видел теперь единственным глазом в полный рост, и Иоанна Кронштадского на жести, и согбенную мать, и вот эти черные, прокоптелые стены.

Полюшка! Полюшка! Чувство стыда, горечи, раскаяния комом подкатило к горлу — не дыхнуть. Хорошо, что он стоит в такой густой

тени, да еще у порога, и на него никто не обращает внимания, как на случайного прохожего, которому из милости открыли дверь.

— Ты, Полянка, ступай домой, к матери, — пророкотал Филимон Прокопьевич (хозяину не хотелось сказать при Полюшке, что ему достались дармовые волки). — Ступай. Потому — порядок требует.

— Что ты ее гонишь? — огрызнулась мать.

— Ты помалкивай, старая. Я тут хозяин.

— А ты хозяйствуй в лесхозе! Корову и нетель увел, углы оставил, да и над углами приезжаешь командовать? Поди к Голоवेशихе и там хозяйствуй! А нас не трожь. Я, может, век доживу с Полянкой. И дом ей откажу. Все не бросит, похоронит честь честью.

— Ты дом-то сначала заведи, а тогда и отказывай.

— Это мне-то заводить дом? — выпрямилась старуха. — Сорок лет гнула на тебя спину, и угла своего нет? Ишь, как рассудил! Дом на колхозной земле. Я десять лет при колхозе роблю, а ты по заработкам прохлаждаешься! И зверина у тебя, и дичина, и бог твой там. Молитесь хоть черту, хоть ведьме, окаянные. К кому ты утресь заявился, прежде чем к своему дому подъехать? К Голоवेशихе! Все знаю, боров. Привез ей, поди, свежей рыбки, медвежатины, орешков — все забава ведьме. Вот на кого нет управы! Черна, как змея, а норовит от-белиться. Доберется до нее Головня! Вытряхнет из деревни.

— Наперед она его вытряхнет из штанов. Голоवेशиха не колхозная моль, а баба со смыслом. Она тебе так вытряхнет, что и родню не вспомнишь.

— Дедушка, а что у вас за секта? Такая же, как у деда Акима? — спросила Полюшка, хитровато поглядывая на Филимона Прокопьевича.

Филимон Прокопьевич не удостоил внучку ответом. Послышался звук хлопнувшей калитки.

— По стуку узнаю — Агнея. Она так ходит, — сказал он.

Полюшка шмыгнула в горницу, Филимониha сморкнулась в передник и, еще более согнувшись, засуетилась с чайником.

— Отогрелся, старче? — обратился Филимон Прокопьевич к одноглазому путнику. Сам присел на лавку, чинно распушив бороду на две половины.

Прислушиваясь к скрежету железной щеколды на сенных дверях, к шагам Агнии, к тому, как она нашарила дверную скобу, Демид отпятился к печке и застыл белой тенью на ее темном фоне.

В избу вошла Агния без стука, высокая, в плюшевой жакетке, в белых чесанках и в пуховой шали, небрежно накинутой на голову.

— Здравствуйте. — Агния остановилась у порога. Заметив белоголового седоусого человека, сощурилась и спросила у Филимоники:

— Польшка у вас?

— Где же ей быть еще, Аркадьевна? — поспешно отозвался Филимон Прокопьевич. — Вот спряталась в горницу и велела сказать, будто ее нет.

Агния горестно вздохнула:

— Замучилась я этот год с ней. Как с ума сошла! Работы по горло, дома приходится бывать в неделю раз, а тут еще она села мне на шею. Ни учиться, ни помогать в доме ничего не хочет. И что с ней? Двойки, двойки! С осени начала хорошо, ну, думаю, остепенилась после третьего класса. И вдруг тетради в сторону, книги побоку, и пошла!.. То в кино, то вчера вместо школы умудрилась стригануть в Кижарт!

— Знать, переняла все штуки Демидовы, — протянул Филимон Прокопьевич. — Тот, не приведи господь, до чего был упрямый. Драл я его как сидорову козу.

— Что и говорить, прикладывал ты руки к Демушке, — вздохнула старуха. — И за дело, и так, а все березовой кашей потчевал. Бил-то за что? За доброту Демушкину! Тот каким рос? Рубашку с плеч для другого, а ты за дубину и потчевать: «Не растаскивай! Не будь простофилей!»

— А ты бы как хотела растить человека? — огрызнулся Филимон Прокопьевич. — Чтоб все имущество растащил да и тебя бы в залог отнес в сельпо. Так, что ли?

Агния хотела было сесть на стул, поданный ей Филимоном Прокопьевичем, но почему-то, взявшись рукою за спинку стула, снова оглянулась на незнакомца у печки и задержала на нем взгляд.

— Агния, — тихо, очень тихо сказал он. Какая-то страшная сила тянула Агнию к белоусому человеку, назвавшему ее имя.

— Не узнаешь? — снова проговорил незнакомец, машинально проведя темной ладонью по носу, губам и подбородку.

Молчание в избе стало тягучее, настороженное, если бы эти слова грянули с самого неба, — и тогда бы они так не оглушили Агнию. Еще до того, как он назвал ее имя, ей почудилось, что это... Демид. Но вот сейчас, когда он знакомым жестом провел ладонью по лицу, она уже не сомневалась, хотя и заставляла себя это делать. «Не может быть! Нет, нет! Мне показалось!» — Она подошла вплотную к Демиду и откачнулась на косяк двери, беспомощно опустила руки.

— Вот и я... — проговорил Демид, жадно заглатывая горячий воздух, обжигающий губы и горло.

— Да ты кто будешь, приискатель?! — с тревогой спросил Филимон Прокопьевич, когда старуха, ойкнув, опустилась на лавку.

— Демид! — вскрикнула Агния и, пригнув голову, ткнулась лбом в косяк, тихо всхлипывая.

— Дему-ушка-а! — визгливо прозвенел голос матери. — Ай, господи! — Мать рванулась к сыну, но у нее подкосились ноги, и она упала на пол, сперва на колени, а потом ткнулась головой в половицу. Демид подскочил к ней и бережно усадил на лавку. Она хватала его за плечи, тянулась ладонями к его лицу, но руки у нее падали, как плети.

— Демушка! Демушка! — бормотала мать словно в забытьи.

Филимон Прокопьевич растерянно разводил руками, то поднимаясь, то садясь на лавку. Полюшка, выскочив из горницы и не понимая, в чем дело, кинулась к матери.

Демид, осторожно отстранив мать и не глянув на отца, подошел к Агнии.

— Агнюша!.. — Что-то сдавило ему горло, лицо перекосилось, побледнело. Полюшка испуганными глазами глядела на него снизу вверх. — Полюшка!.. Доченька!.. — И, схватив девочку, прижался к ее щечке своим мокрым глазом.

— Светопреставление! — бухнул Филимон Прокопьевич. — И сказано в писании: да вернется блудный сын к дому породившего его отца. Мургашка, вставай, леший!

Мургашка, беспробудно спавший на лавке под тулупом, дернулся и, поспешно сев, спросил:

— Ты меня звал, Филя?

— Вставай, вставай, светопреставление!

Агния будто очнулась. Голова ее склонилась Демиду на плечо, а руки словно не по ее воле обвили Демида.

— Демушка, Дема! — шептала она, всхлипывая. — Я так и знала, так и знала, что ты жив! Знала я, чувствовала!.. Дема!..

— Прости меня, Агнюша!.. Прости!.. Я...

— И сказано в писании, — гремел Филимон Прокопьевич, — до семи ли раз прощать сыну моему, согрешающему супротив меня? — И ответил господь бог: «Не говорю до семи раз, а до семижды семидесяти раз!»

Однако Филимон Прокопьевич, прежде чем подойти к сыну со своими отцовскими чувствами, вспомнил о драгоценной кладу у крыльца:

— Вставай, Мургашка, — заторопил он своего подручного. — Тебе говорят, вставай, лешак! Бери ножевой да иди ошкуруй волков. Сын вот возвратился, двух волков приволок. А завтра премию цапнем, хе-хе-хе. — И, выпячивая грудь, направился к Демиду и Агнии. — А про меня-то забыл, Демид? Негоже. Я для тебя первая статья. Потому отец...

Дальнейшее осталось невысказанным. В сенях раздались чьи-то голоса, шум ног, кто-то шарил по стене в поисках дверной скобы, наконец, нашел ее, и вот — на пороге сама Авдотья Голоवेशиха, а за нею — сестры Демиды: Фроська Корабельникова и Мария Спивачиха. Шествие замыкал участковый милиционер Гриша, детина под потолок ростом, в форменной шинели, подтянутый, строгий и важный.

V

Пожалуй, никого еще так не проклинал Демид, как Голоवेशиху в этот поздний час. Есть ли у ней хоть капля совести?

— С праздником вас, — врасстяжку заговорила Голоवेशиха, проходя в передний угол. — Не ждали этакой радости? Господи, каких перемен на свете не происходит! Другой раз-темень, глаза выколи, и вдруг — замельтешил огонек. Вот и свиделись, сердешные! А ведь не было бы у вас ноне радости, кабы не моя Анисья. Говорил Демид иль нет, как Анисья спасла его от волчья? Господи, что было-то!..

Сестры — Фроська и Мария — кинулись к брату. Белокурая полненькая Фроська повисла на шее Демиды, оттеснив Агнию к кровати. Черноволосая Мария, плача и сморкаясь, вспомнила погибшего на фронте мужа. У нее пятеро детей, один другого меньше.

Филимон Прокопьевич, не обращая внимания на сына и дочерей, распушив бороду обеими руками, не знал, куда и посадить Авдотью Елизаровну.

— А я к вам не с пустыми руками, — сообщила Головешиха, поднимая на стол вместительную продуктовую сумку, откуда достала три поллитровки водки, несколько банок консервов, селедку и кусок медвежьего мяса, килограмма на три с половиной. — Вот и я побывала на охоте. Медвежатина-то свеженькая.

— Что же мне делать-то, осподи! — опомнилась Филимониха, все еще не осознав, что ее единственный сын воскрес из мертвых. — Гостей-то принимать надо, Филя, а у нас...

На призыв матери отозвалась проворная Фроська, любимица Филимона Прокопьевича. Она сейчас же сбегает домой, принесет и варево, и жарено, и самогонки четверти три, которую Фроська в присутствии участкового Гриши назвала скромно «медовухой на хмелю».

— Давай, давай, Фрося! Тряхни заначку мужика свово. Ну а что Мария притащит на встречу брата?

— А что мне тащить, тятя! Пятеро голодных ртов...

— Хе-хе-хе, действительно, — отозвался Филимон Прокопьевич, разведя бороду обеими руками. — Без них можно обойтись.

— Веди, веди, Маруся, всех своих ребят. Обязательно! Я хоть погляжу, что у меня за племянники и племянницы, — сказал Демид, глянув на отца исподлобья.

Участковый Гриша, переждав суету хозяйских распоряжений, подошел к Демиду и присел на лавку.

— А я тебя, Демид, у зарода ни за что не признал!.. Значит, спытал хлеб-соль у союзников? Здорово они тебя устряпали. Ну, ничего, дома поправишься. Были бы кости, мясо нарастет. Усы сбрей. Зачем тебе седые усы? Ты ж мой годок.

Вышло так, что Агния с Полюшкой оказались в углу возле дверей, в суматохе оттесненные от Демиды, на деревянной Филимонихиной кровати, на куче рухляди и рваньи.

Настороженная, немножко испуганная происходящим, Полюшка не спускала глаз с Демиды. Отец! Это же ее отец!.. Вот этот высокий, белоголовый, усатый, с заветренным лицом человек в солдатской

гимнастерке без погон — ее отец! Она же так много наслышалась про Демида, который будто бы жестоко обманул ее мать. Как обманул? Когда? Она не знает. Но все говорят, что Демид был плохим человеком, и вот Полюшка видит отца — и совсем не такого, каким она представляла его. У него такой мягкий, душевный голос и ласковый взгляд часто помигивающего глаза.

Агния между тем решала трудную задачу. Самолюбие ее, гордость, боль, которую испытала, были оскорблены. Как же ей поступить сейчас? Встать и уйти? Ну а потом? Завтра, послезавтра?

— Полюшка, собирайся, пойдём.

— Что ты, Агния? — спохватился Демид, покидая участкового Гришу. — Куда идти? Что ты!

— У нас есть свой дом, Демид... Филимонович. Агния подала Полюшке шаленку и поторопила одеваться.

— Да что ты, Агнюша? Я же... я же... Еще не успел повидаться с Полюшкой. Если бы я знал, что у меня растет такая хорошая дочь...

— Какая она тебе дочь? — выпрямилась Агния, застегивая жакетку. — Мой грех — мои и заботы. Что ворошить-то старое?

— А старое-то, Агния Аркадьевна, на хмелю настоено, крепче молодого на ржаной закваске, — ввязалась в разговор Головешиха, выдвигаясь на середину избы. — Может, ты думала, что вот, мол, заявилась Головешиха и дорогу тебе поперек перейдет. Не думай так: не дура, ума набралась.

Агния не слушала Головешиху. Давнишняя обида на Демида хлынула из сердца, холодом налив ее карие, печальные глаза.

— Ну что ты копаешься? — тормозила она девочку. Демид вдруг обнял Полюшку и прижал ее к себе:

— Моя ты, моя ты! Полюшка!.. Не уходи!

Руки Полюшки тянулись к Демиду, но Агния, схватив дочку за воротник пальто, выдернула ее из объятий отца, толкнув ногою дверь, не вышла, а боком вывалилась в сени вместе с Полюшкой.

— Пусти меня! Пусти! — кричала Полюшка, отбиваясь от матери.

Демид хотел было кинуться в сени, но загремел Филимон Прокопьевич:

— Опамятуйся, Демид! Потому — линия.

— Что? Что ты говоришь? Какая линия? — не понял Демид, ладонью закрыв кожаный кружочек над потухшим глазом.

— Говорю — линия! Агния не признает тебя ни в какую, смыслишь? Это она сгоряча на шею тебе кинулась. А как поразмыслить: ты не статья для нее. Потому — партийная. Место такое занимает в геологоразведке. Соображаешь? Окромя того — Степана ждет из Берлина.

Слышно было, как шумно вздыхали сестры.

Демид уставился в угол материнской кровати, где недавно сидела Агния с Полюшкой. Он стоял посредине избы под матицей полатей — высокий, прямоплечий, белоголовый...

VI

Тускло горит подслеповатый огонек в двух окошках дома Аркадия Зыряна. Три четверти дома спит, а в двух окошках мерцает, словно кровцой налитый, красноватый свет. Не спит Агния, места себе не находит на пуховой, негреющей постели.

Две черные косы Агнии, свисая до полу, шевелятся; Агния то в одну сторону повернет голову, то в другую. Полюшка спит рядом с ней. Кудряшки ее золотистых волос, касаясь оголенного плеча матери, щекочут тело, будто по коже ползают дикие пчелы. Пухлые губы Полюшки расплываются в сладостной улыбке. «Верно, приснился ей отец, — думает Агния, часто-часто помигивая. — Как разгорелась-то, ласточка моя. Какая она рослая да тонкая. Как есть его портрет, ни капельки от меня. Все от него».

И кажется Агнии, что это не Полюшка рядом с нею спит, а он, ее Демид, ее любовь!

«Никогда я не любила Степана так, как Дему. В Деме вся моя душа, все мои радости и веселье! Если бы в ту пору не беда эта, жили бы мы с ним души не чая друг в друге. И любила-то я его больше жизни!»

«Не узнаешь?» Как нежно и ласково он позвал ее: «Агния».

Так и слышится его голос — страждующий, исторгнутый из сердца.

«Одна я ждала его, — думает Агния. — Может, моя любовь и спасла его от смерти? Что же мне делать, боже мой?»

Агния повернула голову и поглядела на кровать Андрюшки. Тот спал лицом к ней, слегка посапывая. Угристо-черные волосы и брови,

сплывшиеся над переносом, утяжеленный Степанов подбородок, смуглявое лицо — Вавиленок, упрямый и норовистый. Не парнишка, а взрослый парень. Нынешний год Андрей получит паспорт и уедет учиться в город.

— Не балуй, грю! Как пхну — покатишься!.. — вскрикнул спросонья Андрюшка.

— С кем он воюет? — вздрогнула Агния.

Как странно! Полюшка — истый Демид, Андрюшка — Степан Егорович. И почему-то Полюшка ближе к сердцу Агнии. Андрюшка льнет к деду Егору Андреяновичу, Полюшка — у сердца матери, не оторвать.

«Правду говорят в народе: любовь — присуха. Сколько лет прошло, а все Демид для меня, как первый листок на березоньке. Люблю его, одного его. Хоть и не будем мы вместе, чую сердцем, не будем».

И ей так захотелось в этот тревожный час ночи, чтобы Демид был с нею, вот здесь, рядом! Как бы она прижалась к нему — трепещущая, зябкая, счастливая от его близости. Как он ласкал ее! И она не стыдилась ни его страстной, обжигающей любви, не прятала глаз на деревне; ей все было нипочем!

«Может, я теперь постарела? — кольнула в сердце отрезвляющая дума. — Да ведь и он не парень!»

«А что, если взглянуть на себя в зеркало?»

Потихоньку встав с постели, ступая на кончики пальцев, Агния подошла к треугольному столику, где горела лампа. Перенесла лампу к зеркалу, поставила на подоконник возле белой расшитой узорами занавески, пугливо оглянулась на кровать Андрюшки: не проснулся? Потом подошла к сыну и, бережно взяв его за плечи, повернула лицом к коврику на стене.

Теперь она одна, сама с собою, да со своим отражением в большом зеркале. Чья же эта счастливая, порхающая улыбка озаряет смуглое, млажавое лицо с красиво выписанными полудужьями черных бровей и тонким, чуть горбачающимся носом, и таким легким, округлым подбородком? Кому улыбаются широко открытые карие глаза под тенью черных изогнутых ресниц в лучиках едва заметных морщинок? Чьи это пальцы скользят по лицу, разглаживая морщинки у глаз и на просторном лбу, а черные косы, струясь, как ручейки смолы

по белой сорочке, то приподнимаются, то опускаются? Это она, Агния, страстная, беспокойная, нетерпеливая и неугомонная! Сорочка медленно, будто неохотно, сползает вниз, оголяя упругие, еще не опавшие груди. Агнии у зеркала приятно и радостно смотреть на ту Агнию — пьяняще-свежую, крутобедрую...

— Дема, милый, я все та же, ей-богу! — тихо, певуче прошептала Агния. — Дема, да ты посмотри, какая я!.. Ну что, разве я переменялась, а?

И вдруг, словно кто со стороны шепнул: «А если рядом будет стоять Анисья?»

Лицо Агнии в зеркале постарело, углы губ опустились и глаза потухли.

Она поспешно отошла от зеркала и стала одеваться.

«Хоть бы взглянуть на него, как он там сейчас, в доме у себя? Ну что такого, если бы я побыла там с Полюшкой? Он же отец Полюшки. Какая я трусиха! Он еще подумает, что у меня в душе — ни искорки к нему. Как будто он мне совсем чужой! Пойду, и хоть издали, да буду смотреть на него».

И тихо-тихо, чтобы не разбудить ребят, Агния замурлыкала песенку:

*За окном черемуха колышется,
Распуская лепестки свои...*

Медленно замер голос Агнии, и слезы брызнули из ее глаз.

Уткнув лицо в ладони, согнувшись на кровати, она плакала по Демиду, оттого, что он не с нею, что между ними залегла какая-то страшная ямина, через которую ни ей, ни ему не перешагнуть.

«Если я подойду с поймы к ихнему окошку, меня никто не заметит, — решила она. — Что особенного, взгляну только и сразу вернусь».

За каких-то две минуты она успела надеть на себя платье, плюшевую жакетку, повязалась шалью, и только тогда вспомнила, что она босая. Валенки в комнате не было, они сушились на русской печке в передней избе. А там, за печью, на железной кровати, спит чуткий Зырян, отец.

Агния заглянула под кровать — нет ли там туфель. Но туфель не оказалось — все в передней избе, в ящике для обуви.

Потихоньку, так, чтобы не скрипнуть, не брякнуть, Агния прошла через большую комнату, где спала мать с двумя меньшими сестрами, Маринкой и Иришкой, и так же осторожно вошла в переднюю избу. Из двух окон тускло падал свет на белую русскую печь, на широкий стол, покрытый клеенкою. На своей ли кровати спит отец? Может, ой в горнице у матери? Что-то не слышно его всхрапывания?

Руки в привычном месте нашарили валенки, из-за печи раздался голос отца:

— Куда собралась?

Руки вздрогнули и досадно замерли.

— Что молчишь, спрашиваю?

— На двор, куда же больше? — И не узнала собственного голоса.

— Дворов в Белой Елани — четыреста семьдесят пять. В который из них путь держишь?

— На свой, что вы в самом деле!

— Не дури. Я тебя вижу насквозь. Как встретила Демида, так враз все забыла. И что муж обещает домой вернуться, и про Андрюшку. Не нравится мне такое обстоятельство. Кем он для тебя был, Демид Филимоно-вич? Соображать надо, а не прыгать очертя голову, куда толкает тебя дурная материна кровинка.

— Ты чего шумишь, старый? — раздался из горницы голос хозяйки — Анфисы Семеновны.

— Помолчи, метла, дай обуться Агнеюшке. Она вот спешит на свидание к Боровикову, а катанки перепутаны. Куда пойдешь: один белый, другой черный?

В избе посветлело. Это над Белой Еланью прояснилось небо. Облака рассеялись, проглянули звезды. Стояло полнолуние. Молочно-белый свет разлился на косяках окон.

— Нет, постой, голубушка! — загородила дорогу мать. — Смотри у меня! Так отдую, что не на чем сидеть будет.

— Отстаньте вы ради бога! — Агния выскочила в сени и вскоре на крыльцо.

Анфиса Семеновна, припав к окну, сообщила, что непутевая дочь ушла из ограды.

— Ах дура-то, ах дура-то! — ругалась Анфиса Семеновна. Ее широкая спина и плечи загородили половину окна. Щуплый Зырян, поддегивая рукой подштанники, подошел к дородной Анфисе Семеновне со спины и, положив ладонь на ее затылок, склонившись к мочке уха с золотой серьгой, спросил:

— Кипит?

— Што кипит?

— В затылке, спрашиваю, кипит у тебя иль нет?

— Да я ее, дуру, за косы приволоку от Боровиковых! Она за ночь-то такое накрутит, в век не распутаешь. Пусти!

Зырян как бы ненароком обнял податливое, теплое тело жены, пробормотал:

— До чего же ты у меня горячая, метелушка! В тебе энергии, голубушка, что в электростанции. Только подведи провода — и на всю деревню электричества хватит. Али ты забыла, как сама была молода? Может, и тебе тоже проветриться захотелось?

— Да будет тебе! — не без виноватости в голосе сказала Анфиса Семеновна.

Что она могла поделать с непутевой дочерью, когда все знали, что и сама Анфиса Семеновна стояла в доме, как веретено, на которое наматывали трудовые деньги Зырян с детьми. Не раз Анфиса Семеновна пускала на ветер все сбережения. Если Зыряниха запила, то с дымком, по-приискательски. До бесчувствия не напивалась, было хуже: как начнет гулять, соберет узел, да и махнет на прииск Благодатный к старику отцу, и нет Анфисы Семеновны! «Моя супруга жить не может без проветривания души», — пояснял соседям Зырян. Вернется Анфиса Семеновна, виноватая, в глаза не смотрит Зыряну, а он и виду не подает, что ее дома не было. Как ночь, Анфиса на коленях прощения просит за грехи земные.

— Вот дура-то? Кого прощать-то? Ее или тебя? Ты всегда в приличном политическом виде, а она — дура. Бить ее? Жалко. Да и смысла нет. Вовсе сдурет. Стремнина бушует — поставь плотину — выпрет на займище. Проветрилась, ну и слава богу.

Под местоимением «ее», «она» был сокрыт некий бес души Анфисы Семеновны.

В мать удалась Агния. Такая же кареокая, статная, влюбчивая и беспокойная.

VII

А ночь легла светлая да теплая.

Лучистая россыпь звезд усеяла небо от горизонта до горизонта, сияюще-пыльный Млечный путь высветлился, слабо мерцая далекими, неведомыми мирами. И все окрест — и это алмазное небо, таящее вечные загадки, Млечный путь над синь-тайгой, и сама тайга, как бы притихшая и онемелая, пахучие дымы деревянных изб, большак стороны Предивной, лунные тени через всю улицу-все будто слилось в единую гармонию, призывая живых к миру и отдохновению.

Агния любила вешние ночи, они возбуждали ее, взбадривали, и она, бывало, часами любовалась небом и синь-тайгой, прежде чем расстаться с днем уходящим и встретить день грядущий.

Но сегодня ночь легла особенная...

Из мертвых воскрес Демид — ее тревожная и несчастная любовь, замылось что-то в сердце или сама Агния постарела, но она давно уже не видела Демида во сне и вдруг неожиданно встретила с ним наяву.

В пойме Малтата собирался туман, как мыльная пена в корыте. Султаны прибрежных елей торчали из тумана, как вехи узловатой дороги, ведущей из глухомани на енисейские просторы.

А южный шалый ветерок, взбивая седые кудри тумана, летит к Белой Елани, попуткою тревожа черный тополь, будто хочет оживить великана, отчего тополь шуршит и скрежещет своими стариковскими, высохшими сучьями.

Луна только что вошла над Белой Еланью — среб-ролика, круглая, как дно цинкового ведра, отбелив правую сторону улицы и притемнив левую; от левой к правой дремотно-тихо лежали уродливые тени домов, заборов из жердей и заплотов из плах, частокол пятнил почернелый снег. У конторы леспромхоза сверкали в лунном свете лобастые лесовозы, еще новые, не разбитые по таежному бездорожью. И, как некстати, от конторы леспромхоза в улицу вышла Анисья Головня вся в черном. Сперва она не заметила Агнию и направилась в ту же сторону, на конец большака — к Боровиковым, наверное! Заслышав шаги, она оглянулась и остановилась. У Агнии враз отяжелели ноги, но она упрямо приблизилась к Анисье. Глаза их сцепились в немом поединке.

— Агния? — робко прозвучал голос Анисьи.

— Что так посмотрела на меня, будто смолой окатила? — зло спросила Агния, хотя сама усталилась на Анисью с нескрываемой ненавистью.

Для Агнии Анисья была сама Головешиха, с той только разницей, что мать Головешиха — отцвела, оттопала и вылиняла, как старая гусыня, а доченька-в силе девичества; кому не вскружит голову, если захочет. Правда, про Анисью говорили, что она ни с кем не вяжет узлов; живет замкнуто, сдержанно, у всех на виду и, мало того, пользуется большим уважением у приезжих украинцев, добывающих лес, чтобы застроить выжженные войною хутора и села Украины.

— Да нет, обыкновенно смотрю, — растерянно ответила Анисья и ни с того ни с сего сообщила: — Хотела уехать на лесоучасток, а никого из наших нет. А тут еще в тайге туман собрался. И дом на замке. Мать куда-то ушла.

— Знаю я ваши с Головешихой туманы, — выпалила Агния. — Всю жизнь топчетесь в тумане, когда вы только выберетесь на свет! — И язвительно спросила: — Говорят, будто ты Демида спасла от волков? Вот, однако, радости-то было у вас при встрече!.. Как в кино. Хоть бы со стороны посмотреть. Помню, ты и девчонкой льнула к нему. А теперь что-то поостыла, вижу. Никаких слухов про тебя. Силу копишь, что ли? Или орла высматриваешь? Да ведь Демид, скажу тебе, далеко не орел!.. С ним и без тебя Головешиха управится. Или на пару веселее?

И захохотала — чуждо, нехорошо, грязно.

Лицо Анисьи в лунном свете казалось страшно бледным, неподвижным, словно вылепленным из алебаstra. Светились только чернущие глаза, как у цыганки. Точь-в-точь Головешихины!

— Ладно, я тебе отвечу, Агния! — И, глубоко вздохнув, Анисья зябко перемяла плечами, будто продрогла. — Отвечу без зла...

Но она не могла ответить без зла. Она с трудом подбирала слова, глядя прямо в лицо Агнии:

— Я тебе отвечу, Агния!.. Постараюсь ответить так, чтобы ты запомнила мои слова на всю жизнь. Да! На всю жизнь. Ты меня больно ударила. Очень больно. Не первый раз меня бьют вот так, ни за что ни про что. Но я не о том. Да, я льнула к Демиду девчонкой! А что тут стыдного? Если бы тебя, как меня, рвали всю жизнь за руки: мать — в одну сторону, отец — в другую. Один — в небо, другая — живьем в

землю! Ты бы тоже, может, придумала бы свою какую-то особенную любовь и готова была бы вспыхнуть и сгореть за одно-единственное ласковое слово: «Уголек»!

Помню, как бежала к нему на лесосплав, когда отца арестовали. Мне было страшно. Очень страшно! Я еще ничего не понимала и ни в чем не разбиралась. Слышала — Демида возьмут, как и моего отца. И я бежала к нему, чтобы спасти его. Только бы успеть! Только бы успеть! Это было самое страшное для меня — не успеть! И я успела, Агния. Не ты, а я! А где же была ты в то время со своей любовью? Разве ты не чувствовала, что кругом творится неладное? Где было твое сердце и любовь твоя взрослая, а не моя девчоночья? Ты была не девочка! Не-ет! Если бы ты его любила — не проморгала бы, скажу. И сегодня я спасла Демида от волков. И я рада, рада, понимаешь!? Не ты, а я спасла. Только почему опять не ты, а я?

Агния задохлась от злости.

— Молчишь? Или нечего сказать? Ладно, Агния, слушай: если ты спешишь к Демиду — иди же, иди скорее! Сейчас иди. Не завтра, а сейчас. Спеси к нему, когда он совсем-совсем один и такой прихлопнутый! Не завтра, когда он выпрямится, а сегодня. У тебя же Полюшка! Демидова Полюшка! Да я не верю, что ты спешишь к Демиду. Ты бы давно была там. Что же ты не с ним? В такой час не с ним?

— Не твоего ума дело! — вспыхнула Агния, готовая вцепиться Анисье в кудряшки волос, вьющиеся по бледным щекам. — Там, где вы с мамашей напетляли, — живая трава не растет. Голоवेशихи вы проклятые! Ненавижу вас! Обоих ненавижу!

Анисья нашла в себе силы сдержаться:

— Ладно, вали все на двух Голоवेशек! Только скажу тебе, хоть ты и партийная, а в людях ты нисколечко не разбираешься. Просто баба и все тут! Пусть я проклятая Голоवेशиха, но я тебя вижу насквозь. Степана ты ждешь — Героя Советского Союза, вот что. И к Демиду тебя тянет, да вот как со Степаном-то быть? Он не чета Демиду! Он-то справился бы с двумя волками без всякого ружья. А Демид позвал на помощь. Ползал по снегу, босый, весь включенный, жалкий!.. Не герой!.. Да. Просто обыкновенный человек, которому не повезло в жизни!.. Вот ты и злишься: и этого жалко, и того бы не упустить. Только скажу: за двумя зайцами не гонись — ни одного не поймаешь!

Агния вздрогнула и чуть отступила, будто Анисья плюнула ей в лицо.

Но не успела ответить Анисье: послышался чей-то крик. Девчонки плакали, кажется.

Анисья оглянулась. От Боровиковых бежала женщина с ребятами. «Кажется, Мария со своей оравой. Что это они режут? — узнала она Марию Спивакову, вдовушку, старшую сестру Демида. А с нею — весь выводок: три плачущих девчонки и два подростка.

Агния быстро прошла мимо Анисьи навстречу Марии.

— Что случилось? — спросила.

— Ах, боже мой! Отец с Демидом схватились, — ответила Мария. Девочки продолжали хныкать, мальчишки отошли в сторону. — Ребятишек перепугали, господи!.. Ни с чего будто, а как собаки сцепились, ей-богу. Кто-то успел наговорить Демиду про отца, как он тут завхозовал в колхозе, и про эвакуированных... Голоवेशиха, наверное, чтоб ей сдохнуть!

— Она везде успеет! — поддакнула Агния.

Анисью будто кто подтолкнул — она метнулась мимо Агнии и Марии с ребятами в сторону дома Боровиковых.

Зачем она туда шла? Что ее несло к Боровиковым? «Скорее бы, скорее!» — торопила она себя, не видя по сторонам ни домов, ни лунных теней, ни чубатого тумана, успевшего укутать в серую овчину всю пойму Малтата.

VIII

Не было мира и отдохновения в эту тихую и звездную ночь.

Из дома Боровиковых, как из кипящего котла сатаны, рвутся в ограду истошные крики, рев, бабьи причитания.

Что-то звонко треснуло, рассыпалось на осколки. Кто-то бухнул в стену. Потчуют друг друга матерками. Сенная дверь открыта настежь, и на крыльце толпятся мужики и бабы, бог весть откуда набежавшие на шум драки.

Началось будто бы с пустяка...

Филимон Прокопьевич в застолье оказался рядом со сватом Андроном Корабельниковым, колхозным кузнецом, еще здоровым и сильным мужчиною, хотя ему и перевалило за шестьдесят лет. Андрон

слыл на деревне за молчуна и правдолюбца. Он скромно сидел в застолье в залатанной рубахе, не ввязываясь в разговор.

Филимон Прокопьевич, бахвалясь, уязвил свата Андрона, выставив на посмеяние компании Андронову залатанную рубаху.

— Вот хотя бы Андрона взять, — кивнул Филимон Прокопьевич. — Как ежли по совести: мало ли ты, Андрон, железа перековал на разные штуковины?

— Много! — ответил Андрон.

— А чаво ж ты рубаху себе не выковал за тридцать годов в колхозной кузнице? Ты ведь еще, помню, в коммуне был?

— Был. Как же!

— И там рубаху не выковал?

Андрон — всклоченный, седоголовый, готов был провалиться в подполье от стыда.

— Дык не выковал, Филимон Прокопьевич. Колхоз — не прииск, а так и другие гарнизации. Само собой.

— «Гарнизации»! — хохотнул Филимон Прокопьевич, похозяйски развалясь в переднем углу. — Гарнизацию, сват, надо иметь у себя в башке, тогда и жить можно, хе-хе-хе! Кочуй ко мне в лесхоз, хоша бы в лесообъездчики! Обую, одену и денег еще отвалю. У меня мошну набьешь и килу не наживешь. Это тебе не колхоз, сват!..

Может быть, тем бы и дело кончилось — потехою над пристыженным Андроном в залатанной рубахе, если бы на другом конце не поднялся Демид. Он был еще трезвым, как и все в застолье, но в его лице и особенно во взгляде, который он кинул на Филимона Прокопьевича, было что-то чуждое мирной компании, чересчур серьезное и взыскательное. Со стороны Филимона усталились на него четверо — сам Филимон, сват Андрон, Фрол Лалетин и улыбающаяся Авдотья Елизаровна; но улыбка ее моментально сгасла, встретившись с Демидовым отталкивающим взглядом. По левую сторону стола на табуретках и скамейке сидели тетушки Демида, которых он и в бытность парнем в Белой Елани никогда не навещал — Авдотья Романовна, не в пример матери, крепкая, здоровая, носатая, с мужскими плечами и такими же крупными ладонями рук, и ее младшая сестра, Аксинья Романовна, мать Степана Вавилова — свекровушка беспутной Агнии Аркадьевны. А с ними — медвежатник Санюха Вавилов со своей толстой Настасьей Ивановной, и на уголке

стола примостился тронутый умом седенький Мургашка, ссохшийся и скрюченный, как паук.

На лавке, спиной к двум окнам, разместились в некотором роде единомышленники Демида — Павлуха Лалетин, председатель «Красного таежника», милиционер Гриша, сестра Мария Филимоновна с двумя черноголовыми парнишками — одному за четырнадцать, другому — двенадцать, ничуть не похожими на боровиковскую кость — мелкой спиваковской породы; сидела еще Апросинья Трубина, соседка-вдова, муж которой был убит бандитами в 1918 году. Пышная и веселая Фроська с матерью потчевали гостей. На столах было собрано и жарено и варено — сами гости нанесли; хозяйюшка-то с куска на кусок перебивалась — не до угощений.

Сам Филимон Прокопьевич ничего худого не заподозрил со стороны Демида. Может, что скажет про свой плен? И как бы подталкивая, намекнул:

— Скажи-ка, Демид, как там в загранице живут людишки. Ты ведь в Германии и во Франции побывал. Колхозники там есть али другие вот такие гарнизации, где хаживают в таких рубахах — заплатка на заплате, как ват у свата Андрона? Очинно интересно знать.

— Довольно, папаша, не хорохорься! — врезал Демид. — У тебя «гарнизация», вижу, самая крепкая!

— Экое! — поперхнулся Филимон Прокопьевич.

— За границей такие, как ты, — живьем людей глотают, вместе с заплатами. Там это позволено.

— Вот те и на! — ахнул Санюха-медвежатник.

— В каком смысле? — тарацился Филимон Прокопьевич.

— В том смысле, папаша, в каком ты показал себя во время войны завхозом колхоза. Поработал на славу, говорят. И теперь еще, наверное, эвакуированные поминают тебя лихом. Обдирал ты их, говорят, ловко — «воссочувствие» оказывал! За буханку хлеба — шаль; за полпуда — шубу или пальто. На это ты горазд со своей «гарнизацией»! Таким ты всегда был. Содрать шкуру с ближнего, и не охнуть. Теперь вот стриганул в лесхоз — и там приложишь руки. А руки у тебя с крючьями.

Наступила до того страшная, неподвижная тишина, что, казалось, вся компания враз окаменела. Никто ничего подобного не ожидал услышать от Демида. Головешиха и та струхнула — это ведь она

«качнула Демиду все новости про Филимона Прокопьевича!..» Сам Филимон сперва растерялся, шея и лицо его сравнялись в цвете с бородой, до того налились кровью, а Демид подкидывает:

— Помню тебя, папаша, помню! В тридцатом ты быстренько умелся из деревни — «гарнизация сработала»; овец и двух коров прирезал и мясо увез на паре лошадей. Коллективизация припекла, понятно!.. Где ты скитался три года? И с чем явился? Со вшами? Да еще имущество кулаков Вавиловых прятал у себя.

— Господи! Демушка! — всполошилась мать.

— Ты зрил то имущество, проходимец?! — взорвался Филимон Прокопьевич.

— Головня может подтвердить.

— Головня? — заорал Филимон, будто в застолье были глухие. — Штоб ты окошел вместе с Головней! Али не тебя с Головней выдернули из леспромхоза как вредителей и врагов народа? Ты успел стригануть из деревни, выродок, да еще Агнею-дуру обрюхатил! А таперь дочь Полюшку сыскал, проходимец? Ты ее растил, выродок? Али не из-за тебя Агня в петлю залазила и вот у Санюхи девчонку родила? И меня ишшо поносишь какими-то акуированными? Отрекайся от слов сей момент, али выброшу из дома!

— Тятенька, тятенька!

— Господи!..

— А ну, попробуй!

— Под пятки выверну, варнак!

— Филя, Филя, охолопись!

— Я на все решусь! — тужился Филимон Прокопьевич.

— Я еще не все тебе сказал, каков ты есть, — молотил свое Демид. — Ты ведь и в гражданку показал себя со своей «гарнизацией». Отца родного бросил и удрал подальше от восстания, чтоб шкуру спасти. Ни с красными, ни с белыми! Самое главное для тебя — шкура. А шкура у тебя крепкая. Другие на смерть шли за Советскую власть, а ты шкуру спасал. Это из тебя так и прет — шкура!..

«Судьба решается» — осенило Филимона Прокопьевича. Он не слышал, кто и что говорил за столами. Единственное, что его жгло, были слова Демиды. Если он сейчас же не срежет его под щетку, то худая молва разнесется по всей деревне, и тогда глаз сюда не кажи. А чего доброго, слова Демиды дойдут и до лесничества, и там

призадумаются: оставить ли Филимона в должности лесника на займище кордона, или дать ему под зад, как он получил от колхозников в позапрошлом году.

Машинально, сам того не сознавая, Филимон рванул ворот синей сатиновой рубахи — дух в грудях сперло, а правой рукой нашаривал на столе подручный предмет.

— Отрекайся от слов, выродок! — наплыл Филимон, зажав в руке железную вилку. — Отрекайся, грю! Али разорву сей момент на сто пятнадцать частей!

— Осподи! — присела со страха Меланья Романовна.

— Филя, Филя, охолопись!

— И ты, Демид, не хорошо так-то! Отец он тебе, а ты его этак осрамил, — гудел кум Фрол Лалетин.

— С чего взбесились-то, петухи драные! — попробовала примирить отца с сыном всемогущественная Голоवेशиха, чинно покинув застолье. Подошла к Демиду: — Али мало на войне кровушки выплеснули? Вот уж повелось, господи! Как заявится кто из фронтовиков, так тут же и потасовка на всю деревню.

Филимон пуще того раздулся, почувствовал поддержку компании:

— Отрекайся, грю! Али не жить тебе!..

— Потихе, папаша! Потихе. Говори спасибо народу, что тебя в тюрьму не упекли за все твои завхозовские дела. Дай тебе волю — ты бы ободрал всю тайгу, как тех эвакуированных.

— Акуированных? — поперхнулся Филимон. — А ты зрил тех акуированных, которых я ободрал? Али они в Германию, али Францию прибегали к тебе с жалобой? Сказывай, варнак! Али я деньги менял в ефрму, как другие по сто тысячч?!

— Пра-слово, не менял деньги! — поддакнул Фрол Лалетин.

— Осподи! Ипеть про окаянную ефрму. Да што ты, Демушка? Как жили-то мы — все знают. С куса на кусок. Ажник страх божий! — лопотала Меланья Романовна, а тут и две тетушки и сестры Демиды встряли: не менял, не менял деньги! Ни рубля, ни копеечки. Колхозные и те не успел обменить.

— Далась вам реформа! — всплеснула руками Голоवेशиха. — Кого не скобленула? Были деньги в руках — пустые бумажки оказались, чтоб окна заклеивать, хи-хи-хи! Чего вспоминать-то?

...Между тем было нечто особенное в ссоре Демида с Филимоном Прокопьевичем. И, конечно, не из-за эвакуированных, которых неласково пригрел хитромудрый Филимон Прокопьевич, разгорелся сыр-бор. Нужна была только причина, чтобы прорвался застарелый нарыв. Ни Деид, ни Филимон не могли подавить в себе вскипевшей ненависти друг к другу, выношенной годами, всей жизнью, и не щадили один другого во взаимных оскорблениях.

Деид все так же стоял возле стола, упираясь кулаком в столешню, накрытую поистертой клеенкой. Он думал, куда же в самом деле девались деньги у тугодума-папаши?

— Да он их сгноил в кубышке! — вдруг осенило его.

— Кого сгноил, варнак?!

— Деньги сгноил! Наверняка. Пока твоя «гарнизация» сработала.

На Филимона Прокопьевича нашло затмение, будто на солнце среди ясного дня наплыла черная тень луны. Шутка ли! Деид наступил ему прямо на сердце — раздавил, как гнилую грушу. Лопнувшие деньги для Филимона были тяжким воспоминанием, что он долгое время всерьез побаивался, как бы ума не лишиться от такого переживания.

— Деньги сгноил, гришь? — заорал Филимон во все горло, рванувшись из-за стола, опрокинув свата Андро-на вместе с табуреткой. — Аааслабодите! Я ему морду сворочу набок! — рвался он из рук Фрола Лалетина и Санюхи Вавилова.

— Тятенька! Тятенька!

— Ох, Деид! Ох, Деид! Как тебе не стыдно! — ругала сестра Мария, поспешно покидая застолье вместе с мальчонками; ее девочки, перепуганные до икоты, жались в углу на деревянной кровати.

— Господи! Мать пресвятая богородица! — частила Меланья Романовна, крестясь не на иконы, а на затылок Деида.

— Аааатрекааайся, вырооодоок!..

Меланья повисла на шее Деида:

— Отрекись, Демушка! Он вить, леший, сатане служит. Ипеть в новую веру переметнулся — пятидесятью!

— Молчай, старая выдра! — орал Филимон. — Я из вас обоих одним разом весь смысл вытряхну. Одним разом! Мургашка, хватай

двустволку. Слышишь? Влупи им по заряду!

— Тя-а-атенька! — подвывала Фроська, бегая между отцом и братом, как бы притаптывая пожар: то к отцу подбежит, то к брату; ее черная расклешенная юбка то раздувалась от крутых поворотов, то опадала. — Чо не поделили-то, господи? Ребятишек, гли, перепугали!

Может, удалось бы мужикам удержать Филимона и Демида, если бы не Голоवेशиха.

— Да ты сам-то каков, соколик?! — подскочила она к Демиду, грозя ему кулаком. — С фронта? С какого фронта? Не со власовцами ли стрелял своих же, как Андрей Старостин? Тот тоже выдавал себя за героя, а как потом открылось — был самым злющим власовцем. Эткими героями, как ты, дороги мостят!

— Власовец?! — хрипло переспросил Демид. Лицо его задергалось и перекошилось. Одним рывком он отбросил прочь Павлуху Лалетина с милиционером Гришей и, не размахиваясь, сунул Голоवेशихе кулаком в подбородок. Тут и пошло. Филимон кого-то сбил с ног и сграбастал за грудки Демида. Трещали рубахи, отлетали стулья и табуретки. «Ааа, такут твое!»-пыхтел Филимон. «Шкура, шкура!»— дубасил отца Демид Филимонович. Сила силу ломала. Один из столов опрокинули. Тетушки с визгом и ревом вслед за Марией с ребятишками бежали прочь из избы. Меланью шквалом отбросило на деревянную кровать, и кто-то грузный навалился на нее спиной. Настасья Ивановна, кажись. Мургашка вопил во всю глотку, угрожая, что он всех перестреляет за Филю:

— Стреляй буду! Бей, Филя! Моя отвечай не будет!

Мургашка и в самом деле лез на кровать за ружьем, висящим на стене.

— Аааай, мааатушки! — завывла Настасья Ивановна. — Саааня, спаааси!

Санюха Вавилов сграбастал Мургашку со спины:

— На мою бабу лезешь, вша таежная! Прысь отселева!

— Кусай буду!

— А, клещ окаянный! — Санюха выбросил Мургашку вон из избы в сени.

А по избе метут, метут, как будто всех закружил внезапно налетевший смерч. Визг, истошный рев, хруст тарелок и чашек под ногами.

— А ежели по-праведному, так вот как! — развернулся кузнец Андрон и ахнул Филимона в челюсть. — Так штоб по-праведному!

— Тятенькааа!

— Отвали ты от меня на полштанины! — орала Головешиха, отбиваясь от милиционера Гриши, который изо всех сил удерживал ее. — Я ему, недоноску, другой глаз вырву!

— Тиха! Тиха!

Рикошетом влетело в затылок Санюхи. Он даже не сообразил, кто его гвозданул. Помотал башкой и, долго не думая, вырвал из железной печки трубу, размахнулся и трахнул по лбу Фрола Лалетина.

— Такут твою в копыто! Это тебе за председательство, моль таежная!..

— Ты штооо?..

На этот раз Фрол Лалетин помел по избе с Санюхой — железную печку раздавили в лепешку. Сопят, рычат и подкидывают друг другу под сосало.

Филимон и Демид свалились на пол, продолжая тузить друг дружку, перекатываясь из стороны в сторону.

Как раз в этот момент в избу вошла Анисья в распахнутом черном полушубке. На нее никто не взглянул. На перевернутом столе рычали Санюха с Фролом, оба дюжие, рукастые. Настасья Ивановна, выручая Санюху, тащила Фрола за ноги, а Фроська удерживала Санюху. Анисья видела только Демиду и Филимона. Ей было так стыдно и горько за Демиду, что она, кусая губы, спустив шаль на плечи, готова была расплакаться. Демид! Демид! Тот самый Демид, который для юной Анисы был необычайным героем, заправдашним парнем, и она готова была бежать за ним в огонь и воду, если бы ей годов было побольше. И вот Демид — рычащий, свирепый, расхристанный. И это она его спасла от волков? А может, это не тот Демид, которого она спасла? Тот был какой-то жалостливый, когда смотрел с горы на деревню и по его лицу скатывались слезины...

— Тащите их за ноги, за ноги! — кричал милиционер Гриша,

— Веревки! Веревки! Где веревки? — тормозил Павлуха Лалетин Фроську, когда разняли Фрола Лалетина с Санюхой; Настасья Ивановна успела утащить Санюху из избы.

Наконец-то дерущихся разняли.

Упираясь в пол руками, поднялся Демид. От его гимнастерки и нижней рубахи болтались только лоскутья. Он их тут же сорвал и бросил на пол, камнем опустившись на табуретку.

Филимон, отдуваясь, голый по пояс, уселся на лавку в простенке между двух окон.

Все молчат, трудно переводя дух, и те, что дрались, и те, что разнимали.

Теперь все увидели трезвого свидетеля — Анисью.

Из губ и носа Голоवेशихи текла кровь по подбородку.

— Полюбуйся, полюбуйся вот, доченька, какого ты героя спасла от волков! — хныкала Голоवेशиха, вытирая кровь платком и подбирая шпильки.

Анисья метнулась к Демиду и впилась в него взглядом. Губы у ней подергивались. Все ждали, что она скажет ему.

Демид выпрямился и, будто обвиняемый при словах: «Суд идет!» — встал с табуретки. Лицо его кривилось, словно он пытался улыбнуться Анисье: «Я, мол, невиновен. Не признаю себя виновным».

Но он ничего не сказал.

— Это — это — это — что?! — едва выговорила Анисья с паузами, кусая губы. — Самосуд, да?! Самосуд?! — Она задыхалась от обиды и горя, едва сдерживая слезы. А тут еще Голоवेशиха-мать ввернула:

— Поцелуй его, соколика!

Анисья, не помня себя, ударила Демида по щеке.

— Теперь — меня, меня бей! Твори самосуд! Бей! — И еще раз влепила с левой руки — голова Демида качнулась в сторону.

— Так его! Так! Выродка! — удовлетворенно крякнул Филимон — включенный, красномордый, раздувая тугой волосатый живот.

По избе дохнул сквозняк шумных вздохов. Демид стоял перед Анисьей, опустив голову, прерывисто дыша.

— Бей меня! Бей! Твори самосуд!

— Тебя?! — Демид покачал головой. — Н-нет! — еще раз помотал головой: — Тут не было самосуда. С папашей вот итог жизни подбили. Назрела такая необходимость.

Опустив руки, не видя и не слыша никого, Анисья стояла возле Демида, готовая упасть перед ним на колени. Нечаянно взглянула на обнаженную грудь Демида. Что это? Вместо правого соска — лиловое

рубчатое пятно в виде пятиконечной звезды — отметина взбешенных бандеровцев в житомирском гестапо... «И я его же!» — обожгло Анисью. Что-то несносно-муторное подкатилось ей прямо к горлу, стесняя дыхание. В ушах возникло странное шипение, словно она с крутого яра Амыла бросилась в пенное улово. И звон, звон в ушах! Расплываются перед глазами звенящие волны...

А Филимон бубнит:

— Все едино изничтожу выродка!

— Не марай руки, Филя, — каркает Головешиха, тыкаясь по избе в поисках своей одежды. — Помяни меня: подберет его эмвэдэ не сегодня так завтра, как Андрюшку Старостина. Не я буду Авдотьей, если не упеку субчика! Он меня еще попомнит, власовец.

— Давай, давай! — глухо ответил Демид. — Тебе не привыкать упекать людей.

Все засобирались уходить.

Фроська вдруг вынула из-за пазухи кусок рыбьего пирога, поглядела на него, недоумевая, и залиvisto захохотала:

— Пирог! Ей-бо, пирог! Ха-ха-ха! Чо, думаю, колет в грудях? А туда пирог залетел. Ах, господи! Вот умора-то!

И, как того никто не ждал, Анисья вдруг медленно сникла, опустившись на табуретку возле Демиды. И, как мешок, сползла на пол.

— Фроська, воды! Живо! — подхватил ее Демид. — Что с тобою? Уголек?! Уголек!..

— Отвались ты от нее, бандюга! — взыграла Головешиха, отпихнув Демиду от Анисьи.

Анисья медленно пришла в себя — звон в ушах оборвался.

— Убирайся, сейчас же! — обессиленно сказала она матери. — Кто тебя сюда звал? Не ты ли успела наговорить Демиду про Филимона у зарода? Кто тебя сюда звал?! Там, где ты, не бывает мира!

— Сдурела!

— Убирайся, слышишь!

Головешиха попятилась от дочери, выговаривая ей обиды: вырастила, выкормила, дала образование, и она же ее гонит.

— Жалеешь, что отхлестала по морде власовца?

— Ты — ты — как смеешь?! Ты забыла, кто ты есть сама? Забыла, какие дела проворачивала здесь вместе с Ухоздвиговым во время

войны?

— Отвались ты от меня, дура! — отпрянула Головешиха от дочери и вон из избы, не закрыв за собою дверей — ни избяную, ни в сенях.

Настороженные, трезвеющие взгляды прилипли к Анисье. Про какого Ухоздвигова она в сердцах обмолвилась? Давным-давно не слышали про Ухоздвиговых, и на тебе — Анисья вывернула матери такую вот заначку.

Участковый Гриша в черной шинели, застегнутой на все металлические пуговицы, и в форменной фуражке подошел к Анисье:

— А разве Ухоздвигов был здесь во время войны?

— Что? — опомнилась Анисья. — Какой... Ухоздвигов? А... а... разве... не было здесь Ухоздвигова во время той войны?

— Экое, господи прости! — шумно перевел дух Филимон Прокопьевич. — Чо вспоминать про ту войну!..

Демид вытер лицо лоскутьями рубахи, сел за стол с уцелевшей закуской и выпивкой; Павлуха Лалетин успел поставить на место опрокинутый стол, жалостливо улыбнувшись Анисье. Толстеньякая Фроська, причитая, собирала с матерью осколки посуды.

— Бедные мои тарелочки! Фарфоровенькие! Сколь берегла их!.. Из города везла — не разбила. Бедные мои тарелочки...

Фрол Лалетин, успев натянуть дубленую шубу, подждал в дверях Филимона с Мургашкой, чтоб увести их от греха подальше.

Меланья, набрав в подол юбки побитой посуды, наткнулась на Анисью:

— Чо стоишь, как свечка? Иди отсель! Звали вас с матерью обеих сюда, што ль?

Стыд! Стыд! Позор!

X

Прозрачная и звонкая ночь, и темень, темень на душе Анисьи.

Выбежала за ворота, а куда идти, неизвестно!

Отошла вправо от калитки — и привалилась к заплоту у столба.

Луна поднялась высоко — круглолицая, как Фроська.

«Как же я? Что я сказала? — соображала Анисья. — Если рубить сук... сама свалюсь в яму. Во всем виноватой окажусь одна я, и мать, конечно. А он? Где он? И что я знаю о нем? Что я знаю?».

Сама себе разъяснить не могла.

«Меланья выгнала меня. И правильно. Что меня занесло сюда? Юсковская кровинка?»

Кто-то вышел из калитки. Фрол Лалетин с Филимоном и Мургашкой.

Мургашка дымил трубкой, бормоча что-то себе под нос.

На минуту остановились у ворот, но не взглянули в сторону Анисьи.

Филимон на чем свет стоит клял Демида, грозясь, что он «подведет под выродка линию»; Фрол Лалетин увещевал кума: Демиду и без того будет не сладко. Как ни суди — из плена.

— У нас этаких не жалуют, паря. Ловко Анисья управилась с ним, язва! — гудел Фрол Лалетин. — Как оладьями отпотчевала. Хи-хи-хи! Истая Головешиха, якри ее. Экий норов. Так и будет получать он оладьи со щеки на щеку.

И захохотал.

Анисья готова была стореть от стыда. Она всего-навсего Головешиха! «Оладьями отпотчевала!» Завтра вся Белая Елань узнает про ее подвиг — хоть в лес беги от судов-пересудов. Ну зачем, зачем я это сделала? Он мне никогда не простит. Никогда!»

Отошла на пригорок за угол дома и, как бы освобождаясь от чадного угара, глубоко вздохнула, уставившись на громаду черного тополя. Он свое отшумел, а все еще занимает место на земле среди живых, как бы напоминая им о мертвых.

Вспомнилось: мать говорила про сестру Дарьюшку — умную, начитанную, метущуюся, и будто Дарьюшка знала какие-то пять мер жизни и таинственное розовое небо. Как это понимать? Юная Аниса выпрашивала у матери про эти «пять мер жизни» и «розовое небо», но ничего не узнала.

А что если и вправду существуют пять мер жизни и загадочное розовое небо, как алые паруса, про которые Анисья читала в книге Грина? Или вся жизнь складывается из одних буден и серости?

Анисья никак не могла представить, какая была Дарьюшка? Если такая же, как мать, тогда бы она не кинулась в полынью! И сейчас на Амыле, на том же месте, взбуривает полынья, но никто в нее не бросился. Мать — Головешиха за километр обойдет, а Филимон Прокопьевич — за пять сторонкой объедет. И что Анисья знает про

Дарьюшку и людей того времени, которые ушли из жизни до того, как она на свет появилась?..

«Если решать так, как тетушка, — рассудительно подумала Анисья, — Демид никогда бы не воскрес из мертвых».

Вот еще Демид...

Такая ли она, как Демид? Сумеет ли она устоять при самых тяжелых стечениях обстоятельств и выцарапаться к родным берегам. Демид бы мог промолчать, не сказать своему отцу, каков он есть фрукт, и не было бы драки. Почему он не умолчал?..

«А я? Как же я?..»

Про себя не хотела думать. Страшно.

«Скоро мне стукнет двадцать шесть, — горестно вздохнулось. — А там... почернею, как этот тополь!..»

Не восемнадцать, когда она готова была взлететь в небо и так легко мечталось и пелось, а двадцать шесть лет смоталось на клубок, и не размотать его в обратную сторону. Она никак не могла поверить себе, что останется навсегда в глухомани; она рвалась в город — в большой город, и каждодневно ждала какой-то перемены. Но ничего не было. Уходящие дни попросту гасли, как керосиновые огни ночью в подтаежной деревне. Один за другим, а потом и вся деревня мирно и тихо засыпала. Все реже Анисья оглядывалась на себя, мотаясь по участкам леспромхоза: весна, лето, осень, зима, а сердце день ото дня стыло, пеленаясь тоскою. Одна и одна! Красивая, а не счастливая. В отпуск всегда ездила с матерью — в Ереван, на Южный берег Черного моря — в Сухуми; в Ленинград, и всегда мать с кем-то встречалась, находила каких-то нужных людей, с которыми у ней были дела. Анисья догадывалась-золото! В Ереване у матери был сокомпанеец из пожилых армян, и она с ним куда-то ездила, а куда — Анисья не расспрашивала: не хотела пачкаться. Мать покупала ей дорогие наряды, и наряды не радовали.

Сама Головешиха не подталкивала дочь на знакомства, как бы мимоходом напоминая: «Твое от тебя не уйдет. При этакой красоте да при дипломе завсегда туза выдернешь из колоды». Противно было слушать, и уж, конечно, ни о каком тузе не мечталось.

В восемнадцать лет, когда к ней льнули парни-ровесники, она держала себя замкнуто, отличалась прилежностью в учебе и поведении. У нее была всего одна подружка за все школьные годы,

рыжая, веснушчатая, но такая светлая, жаркая, что Анисья восхищалась ею. Потом они поссорились и навсегда разошлись. Парни про Анису говорили: «Эта не про нас. За какого-нибудь инженера выскочит». Она не собиралась за инженера. Просто жила сама в себе с какими-то надеждами и мечтаниями. Она перечитала все книги в Уджейской библиотеке. Книги вносили в ее жизнь особенный мир, незнаемый и совершенный. Потом началась война, и парни ушли на войну, и мало из них вернулось. Из ее класса, как она узнала, в живых осталось пятеро, и трое инвалидами. С младшими не о чем было говорить, а мужчины, начиная с пятнадцатого года рождения, хлебнувшие войны, — семейные, и у них свои заботы и узелки жизни. Просто так связаться с кем-то — не могла себе позволить, чтоб не повторить судьбу матери. Уж лучше быть всегда одной, нежели осмеянной.

Уходящая юность покрывалась твердеющей окалиной, хотя сердце под окалиной было жарким, нежным, как и в восемнадцать лет.

Колос пшеницы, ткнувшийся в землю, прорастает в непогоде; колос, сохранивший устойчивость, сушит зерна на ветру, чтобы в будущем, когда зерна кинут в землю, были хорошие всходы.

Анисья стояла, как колос; но ведь не вечно же колосу стоять, иссушивая зерна?..

Работа, кино, книги, встречи на людях «так-сяк», а у себя дома — утвердившийся порядок. Никого близкого рядом; матери чуралась и ни о чем с ней не откровенничала.

Как-то в тайге, на участке, влетело в ухо Анисьи:

— К техноручке не подъезжай — пустой номер. Старая дева.

Это было как плевок в лицо.

Она, Анисья, старая дева...

XI

...Когда началась война, в августе, кажется, среди ночи к Голоवेशихе постучался Филимон Прокопьевич: «Человека к тебе привез, Авдотья. Знакомый, грит. Попуткою из города взял». И этот человек не сразу вошел в дом, а вызвал мать в ограду; Анисья не узнала мать, когда она вошла в избу. Чем-то встревоженная, лицо заплаканное, тыкалась по избе, привечая дорогого гостя. Он был

пожилой, в болотных сапогах, в дождевике, сутулился и так-то пристально уставился на юную Анису. Мать сказала: «Это дядя Миша — мой сродственник. Сколь лет не виделись, господи! Привечай, Аниса, как отца родного». Аниса сдержанно поздоровалась с дядей Мишей — мало ли что не скажет мать! Отец Анисы, Мамонт Петрович, в ту пору отбывал срок, и писем от него не было, да и не ждала от него писем переменчивая Авдотья Елизаровна. «Был и сплыл!» — не раз говорила Анисе.

Меж тем с приездом дяди Миши — Михаила Павловича Невзорова, охотника-промысловика, в доме Головешихи произошли большие перемены. Ночами мать о чем-то секретничала с ним, потом они уехали в верховья Амыла на прииски. Когда-то Аниса жила на Сергиевском прииске на Амыле — это было давно еще, в двадцать девятом году, когда мать в первый раз ушла от Мамонта Петровича. В тридцать третьем они уехали с прииска, и мать снова сошлась с Головней.

Недели через полторы вернулась мать, но без дяди Миши. Она была какая-то особенная, помолодевшая.

— Вот уж поглядела я на свои прииски, боженька! — загадочно проговорила мать, прищуро взглядывая на восемнадцатилетнюю дочь. — До чего же ты писаная красавица, Аниса! Как будто себя вижу, какой была в девичестве. Только волосы у меня были всегда чернущие, а у тебя с огоньком, хи-хи-хи!.. Ох и заживем же, когда все утрясется и смрадный дым развеется!

Аниса не поняла загадок матери.

— погоди, придет час, узнаешь. Богатой проснешься, истинный бог! Доколе мне быть продавщицей да заведующей сельпо! Смехота одна, не жизнь! погоди же!

Аниса так и не узнала, на какое нежданное богатство намекала мать.

Когда выпал первый снег, из тайги вернулся дядя Миша и в тот же час порадовал Анисью: пора собираться в институт! Есть возможность поступить в лесотехнический.

Анисья не собиралась в этот институт — хотела в медицинский, но дядя Миша урезонил:

— В медицинском тебя в два счета оформят в школу медсестер, и не успеешь оглянуться — на фронт, в санбат. А с фронтом не надо

спешить.

— Что ты, что ты, Гавря! — испугалась мать, нечаянно назвав какое-то чужое имя, и тут же засмеялась: — С чего это я оговорилась, господи!.. Хватит того, что я свое девичество истоптала. Разве не в лесу живем? В самый раз — лесотехнический.

Так и распорядились с Анисьей мать и дядя Миша.

Из Минусинска в Красноярск плыли с последним плоскодонным пароходишком «Академик Павлов». По берегам были забереги — зима легла ранняя. Тяжело вздыхал черный Енисей. Он всегда бывает черным в хмурые и холодные дни уходящей осени. Пароход был забит мобилизованными приискателями с Амыла — молодыми и пожилыми. Мобилизованных провожал до Красноярска начальник прииска — тихий, печальный человек, страдающий астмой. Он все время хватался за сердце и бегал то к фельдшерице за лекарствами, то к молодому толстому капитану за последней сводкой Совинформбюро. Анисья помнит, как дядя Миша как-то обмолвился на палубе про мобилизованных: «Никто из них не вернется. У немцев хорошая мясорубка. Особенно танковая. Да и бомбить с воздуха умеют — европейская выучка! А у нас ни танков, ни самолетов. Энтузиазм пресловутой гражданки, да и маршалы — смех и грех! Им бы коней, дармовые харчи, знамена и песню: «По долинам и по взгорьям»! Ну, на этой песне они до весны не протянут».

Он ничуть не жалел этих, которые никогда уже не вернуться...

У Анисьи было много багажа — два куля картошки, бочка с огурцами, ящик со свиным салом, три больших туса с медом, тюк с постелью и чемодан. Мать привезла ей с прииска красивую беличью дошку — на золото купила. Анисья не думала, откуда у матери взялись золотые боны.

Город встретил их мокрым снегом и пронзительным ветром; в беличьей дошке было тепло. В магазинах — шаром покати, пусто. У продовольственных ларьков вились живые очереди за хлебом по карточкам. Анисья остановилась у землячки, тети Кати — продавщицы в каком-то магазине у железнодорожного вокзала. Муж тети Кати был на фронте. Они жили двое в избушке у самого Енисея, под яром. Была когда-то чья-то баня, а тетя Катя с мужем переделали баню в избу. Маленькая избенка, как тугой кулак, и все под руками. В

десяти шагах — бормочущий Енисей. Вылези на берег — за три квартала центр города.

Дядя Миша без особых хлопот устроил Анисью в институт. Занятия давно шли, но в институте оказался большой недобор студентов. На факультете, где училась Анисья, осталось только три парня, и тех не взяли в армию по уважительным причинам. Один был горбатый, второй близорукий, а у третьего на ногах были сросшиеся пальцы. Но и этот третий скоро добровольцем ушел на фронт. Анисья со студентками ходили провожать его на вокзал. Каждый день из Красноярска уходили эшелоны на запад, и, как бы возмещая отлив людей из города, один за другим прибывали поезда с тяжелоранеными.

Отгорал с грохотом и кровью тревожный и лютый 1941 год.

Однажды Анисья шла с дядей Мишей по улице Маркса, и они остановились на тротуаре напротив двухэтажного деревянного дома.

— Посмотри на этот дом внимательно, — сказал дядя Миша.

Дом с большущими итальянскими окнами, замысловатыми резными карнизами и наличниками, а по первому этажу окна закрывались ставнями, и в каждом ставне — вырезанный червонный туз. С улицы в дом был когда-то парадный вход с крыльца под резною крышею, но теперь желтая дверь была заколочена.

— Запомнила? — кивнул дядя Миша. — Улица эта когда-то называлась Гостиной. На каждом квартале здесь были частные гостиницы со всеми удобствами. А в этом доме было заведение мадам Тарабайкиной-Маньчжурской.

— Фу, какая чудная фамилия!

— Не очень приятная. Особенно профессия этой мадам.

— Купчиха была?

— В Маньчжурии она действительно была купчихой, а когда приехала в Красноярск, выстроила вот этот дом и открыла заведение для девиц.

— Как это понять: заведение для девиц?

— Ну, таких заведений в России было очень много.

Дядя Миша показывал Анисье дома: вот этот миллионера Кузнецова и построен был архитектором Никоном, архиереем. При Советской власти Никон отрекся от священного сана и построил много домов в Москве, таких же замысловатых, как и этот, красноярский. А вот здесь жили Юсковы, а вот тут был собственный магазин купца

Шмандина, здесь — гадаловские магазины, купчихи Щеголевой, особняк губернатора... А вот здесь, возле горсада, был первый в городе «электротئاتр» Полякова, кино по-теперешнему.

Воскресали какие-то странные тени исчезнувших людей.

Анисья помнила, когда они жили на Сергиевском прииске в верховьях Амыла и мать заведовала золотоскупочным магазином, она не жалела денег на наряды для единственной дочери, и однажды открыла ей великую тайну, что Мамонт Головня вовсе не ее отец: «Не вскидывай на него глаза. Судьба скрутила меня с ним, как лисицу с волком. Слава богу, что волк не сожрал меня вместе с тобой, — наговаривала мать, ласкаясь к дочери. — Ты ведь не знаешь, какая метелица мела по Сибири в восемнадцатом году, а я пережила ее. Обмирала и оживала несколько раз! Ох, Аниса! Была бы ты счастливая, если бы обгорелые головни не стали у власти. Ни ума у них, ни сердца. Головня и есть головня. Не полено даже, а головня. И меня из-за него прозвали Голоवेशихой, чтоб им всем сдохнуть. Да разве такая участь была написана на моем роду?»

Но кто же ее настоящий отец и где он? Жив ли? — с этими вопросами она не раз приставала к матери.

— Живой, живой! — уверила мать. — Да вот случилось с ним так, что он живым не может быть при Советской власти. Я ведь из рода Юсковых. Одна-единственная уцелела! И он такой же огарышек судьбы, как и я. Ты не Мамонтовна, а Гаврииловна. Да вот не суждено было мне записать тебя в метрику Гаврииловной. Про себя помни, а на людях молчи. Беда будет!

Фамилию настоящего отца Анисьи мать не назвала, будто сама запаматовала.

Как-то ночью, перед отъездом Анисьи с дядей Мишей в Минусинск, мать долго секретничала с ним в горнице, и Анисья случайно подслушала их разговор.

— Ох, Гавря, Гавря! — слышался певучий голос матери. — Если бы все свершилось, как ты говоришь, да я бы от радости молебен заказала в церкви, хотя отродясь туда не хаживала, ей-богу!

Знакомый голос дяди Миши уверил:

— До весны они не протянут, это точно. Праздновать Седьмое ноября им не придется в Москве. Ну, а там...

— Боженька! Дай нам радости! — воскликнула мать. — Анисья вот выросла, и от тебя, и от меня собрала все золотишки. Может, не надо ей ехать в институт? Подождать?

— Образование ей не повредит, — успокоил дядя Миша.

— Подцепит ее там какой-нибудь голодранец, скрутит голову, а потом что? Боюсь я за нее, Гавря!

И опять «Гавря», не Миша! У Анисьи в комочек сжалось сердце. Она же Гаврииловна. Значит, не случайно обмолвилась мать, когда дядя Миша явился в дом в ту первую ночь? Так кто же он? И почему от нее все скрывают? Если она, Анисья, «собрала все золотишки и от него и от нее», дядя Миша — ее отец? Иначе как понять обмолвку матери?

Анисья не стала слушать дальше — мороз пошел по телу, и она, так и не потревожив мать с дядей Мишей, легла в свою постель и долго не могла уснуть.

У матери потом не отважилась спросить: кто такой дядя Миша? И почему мать наедине с ним зовет его Гаврей?

...Еще вспомнила, как ездила с дядей Мишей на правый берег Енисея посмотреть беженцев с запада. Лепило мокрым снегом и было холодно. Они сошли с пригородного поезда на станции Злобино, перешли пути и сразу же начался «Китай-город» эвакуированных.

На обширном пустыре, продуваемом со всех сторон, не было ни домов, ни бараков. Кругом землянки, землянки с толевыми крышами на метр от земли, и там жили дети, старики и больные. Все эти люди эвакуированы были вместе с паровозостроительным заводом из города Бежицы. Между рядами землянок возвышались брезентовые палатки. На веревках трепыхалось развешенное белье, дымились костры, вокруг которых кучились люди, кто в чем. Поодаль, у железной дороги, сгружено было оборудование завода — станки, штабеля железных труб и всякая всячина. И что самое удивительное — под снегом стояло пианино, а возле него навалены были какие-то разрисованные доски — театральная бутафория и книги — множество книг. Анисья подняла одну из книг — не художественная, про паровозы что-то, бросила обратно в кучу. Дядя Миша задерживался у костров, спрашивал какого-то знакомого, а когда пошли обратно к станции, он сказал Анисье, что все эти беженцы так и замерзнут на пустыре, и никому до них дела нет, и что в Москве приготовлены

самолеты для бегства правительства. И что при побеге правительство, понятно, вывезет из Государственного банка все золото и драгоценности, и ничего о том не знают люди, мерзнувшие под открытым небом. Он будто жалел несчастных беженцев. «Ты должна все это видеть, запомнить — поучал он Анисью. — Наша жизнь вся из узлов». Именно в этот раз он сказал Анисье, что настанет час и она будет гордиться своим отцом, который не покривил совестью, как бы ему ни было трудно, и что во имя возрождения свободы в России он готов сложить голову. «Противоестественной власти скоро настанет конец, и мы обретем свободу и сумеем еще послужить отчизне». Он так и сказал: «отчизне».

В восемнадцать лет душа распахнута к тайнам и подвигам «во имя справедливости», хотя Анисья и не очень разбиралась, в чем истинная суть и смысл человеческой справедливости и что такое свобода для избранных и тюремная крепость для всех? Она просто верила дяде Мише, хотя знала уже, что он не дядя Миша, а Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов — последний из Ухоздвиговых, как мать ее — последняя из Юсковых. У ней еще не было ни собственного взгляда на жизнь, ни опыта, ни мозолей на сердце, натираемых невзгодами. Все это пришло позднее.

В конце войны дядя Миша в последний раз навестил Анисью в институте. Он приехал из тайги какой-то болезненный, помятый, прихлопнутый, еще больше сутулился, жаловался на ревматизм в суставах, и на голове его увеличилось затылочное отверстие. За годы войны и напряженного ожидания великих перемен он согнулся и постарел.

— Такие-то дела, Аниса, — сказал он, когда они шли улицей к ресторану «Енисей». — Укатали сивку крутые горки! Ах, да что там говорить. Свершилось! Как крышка гроба захлопнулась над головой.

Анисья навсегда запомнила эти страшные слова...

В ресторане он отыскал укромный уголок за колонною и попросил официантку никого не подсаживать к их столику.

Говорил мало и Анисью ни о чем не расспрашивал, как бывало в прошлые годы. Он никак не мог стряхнуть с себя какое-то сонное оцепенение.

Когда официантка подала закуску и водку в графинчике, а для Анисьи поставила портвейн, дядя Миша медленно так оглянулся,

посмотрел на подоконник, на окно, будто что-то искал, и потом вздохнул:

— Тут могут быть везде уши. Ладно, дочь, выпьем за твое здоровье и благополучное плавание! Защитить диплом, и в добрый путь!.. А путей-дорог у Советской власти много — выбирай любые. Живи, дочь, и отца помни. Он для тебя сделал все, что мог, даже сверх того!..

Анисью озадачило подобное откровение. Почему он так громко и торжественно заявил, что она его дочь и что у Советской власти много путей-дорог? Она-то знала, как он жаловал Советскую власть, при которой так и не стал хозяином папашиных и юсковских приисков.

— Само собою, после института выйдешь замуж, — продолжал так же мрачно дядя Миша. — Об одном прошу: если у тебя будет сын, назови его Гавриилом.

И поглядел на Анисью как-то отчужденно, неузнаваемо. О чем он думал?

Когда вышли из ресторана, прямо в улице услышали по радио сводку Совинформбюро: советские войска подошли к Берлину...

Дядя Миша скупно попрощался и ушел, не оглядываясь, по улице Перенсона.

XII

Из дома Боровиковых вылетела песня. Сперва в один хрипловатый мужской голос:

Бьется в тесной печурке огонь...

И тут же подхватили еще два мужских голоса и один женский. Это было так неожиданно, что Аниса с недоумением уставилась на черные стены дома.

*На поленьях смола, как слеза...
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...*

Это же Демид, Демид поет! Она узнала его особенный голос, выделяющийся из всех, — высокий, переливчатый. Такого голоса, как она знает, нету ни у Павлухи Лалетина, ни у милиционера Гриши. И у Фроськи такой же высокий и приятный голос. Какие они голосистые, Боровиковы!

Когда пропели:

*Ты сейчас далеко, далеко...
Между нами снега и снега...
До тебя мне дойти нелегко...
А до смерти четыре шага... —*

сама не понимая с чего, Анисья расплакалась. Смотрела на черный дом, потом на тополь и плакала, плакала.

Когда песня смолкла и наступила пугающая тишина, Анисья пошла прочь от дома Боровиковых серединою большака в лунном наводнении. Редко в каком из домов светились огни. В одной половине дома матери, в горнице, просвечивались розовые шторы, отбрасывая в улицу заревые пятна. Анисья остановилась, подумала — и пошла дальше. Она попросится переночевать к Груне Гордеевой, известной на деревне хохотушке.

Когда-то Груня работала на тракторе, соревновалась с мужиками, всегда выходила победительницей, потом ушла на колхозную ферму и выхаживала телят. Полугодовалых телков она поднимала себе на плечи и танцевала с ними.

В окошках ее дома не было света. Анисья постучала в ставень. В ограде залаяла собака.

— Кого там черт носит? — раздался грубый голос Груни.

— Это я, Анисья Головня.

— Анисья? Что тебе?

— Пусти переночевать.

— Переночевать? Умора! — захохотала в избе Груня. — Иди в ограду, открою.

— Там собака.

— Не сожрет тебя собака, если волки не слопали. Ох, умора!..

Вскоре Груня вышла на крыльцо в одной нижней короткой рубашке выше колен, рослая, крупная, широкая в плечах, как мужчина, босоногая и простоволосая. Шумнула на собаку, и та спряталась под крыльцо. По приступкам поднялась Анисья.

— С матерью поцапалась?

— Угу.

— Бывает. Мать у тебя с душком.

Было довольно холодно, градусов за десять, а Груня стояла на высоком крыльце в трикотажной сорочке, плотно обтягивающей ее мощное, ядреное тело, запрокинув голову, любовалась луной:

— Какая луница-то, глянь, инженерша! Как зеркало, ровно. Вот бы поглядеться в него вблизи. Люблю полнолуние, истинный бог. В такое время я сама, как вымя невыдоенной коровы, полным-полнехонька, — и опять громко захохотала своим мужским, раскатистым смехом. — А на тебя действует луна?

— Что-то не замечала.

— Вот уж мне девка! При полной луне груди бренеют, будто их распирает, ей-бо, хоть никогда ты и дитя не рожала. И вот тут такое томленье, — ажник невтерпеж! А как луна пойдет на ущерб, внутри тебя все опадает, обвисает, и ты ходишь сонная, квелая, будто тебя полная луна выдоила. Ха-ха-ха! Умора!

Все недавние горечи и страшные вопросы жизни враз отступили от Анисьи, и ей стало легко, и свободно вздохнулось.

— Какая ты удивительная, Груня! — промолвила Анисья, восхищаясь подружкой. Анисья не раз ночевала у Груни, и всегда ей было весело и забавно слушать и видеть эту неповторимую, самобытную, смелую и дерзкую и во всем откровенную Груню, про которую на деревне по-разному судачили бабы.

— Ты бы лучше стихами, — хмыкнула Груня, что-то вспомнив потешное. — Тут у меня побывал корреспондент из районной газеты. Ну, ходит и ходит за мной, как хвост за коровой. Сам такой молосненький, несмелый, хотя годов ему, наверное, под сорок. Бывают такие мужики, которые всю жизнь ходят молосными, ровно маменьки родили их недоношенными. Так и живут до смертушки недоношенными. Я ему говорю: «Ну, что ты льнешь ко мне, суслик? Ведь я, говорю, если приголублю тебя, помрешь возле моей груди, и маменька про то знать не будет, на каком поприще ты дух испустил».

Так нет же, льнет и льнет. Да еще стихами потчует. Песню мурлычет и даже пританцовывает. А сам щупленький, волосенки реденьки, личико в кулак собрать, росту — мне вот так, — Груня показала ребром ладони себе под грудь. — Умора, истинный бог! Видела бы ты его — сдохнуть можно.

Мороз был — инеем телята покрылись, а он пританцовывает возле меня в своих кожаных штанах и в летчицких унтах — где он их только раздобыл, суслик! «Я, говорит, покорен вашей природной щедростью, сударыня». Чтоб ему околеть — сударыней назвал! «Если позволите, говорит, узнать вас ближе, очерк напишу в газету или даже книжку выпущу про вас». Вот ведь трепло!

Глянула на него — посинел от мороза и на усишках мокрость настыла. Ажник отвернуло, а — терплю. Из газеты ведь! Павлуха Лалетин привел на ферму, чтобы я ему про себя обсказала.

Позвала к себе в гости, отпотчевала вареньем, угостила своей наливкой, он и вовсе разморился в тепле и этикие мне стихи лопочет, что в животе у меня расстройство вышло. У другого, может, стихи иначе звенели бы. Потому — от природы все. На колени упал передо мной, обихаживает мои ноги и мурлычет, мурлычет, точь-в-точь шелудивый котик. А у меня нет к нему никакого интереса — одно расстройство, думаю. В чем только дух у него держался! Вышла я посветить ему в избе, а он, как увидел меня, сиганул с перепугу на кровать деда.

Анисья покатывается, схватившись за живот, аж слезы выступили. Груня хоть бы смешинку уронила. Стоит этакая серьезная со скрещенными руками на груди, качает головой — и продолжает:

— Убежал он в ту ночь и портфель свой забыл. Так и лежит у меня его портфель. Бумаги там, газеты, книжка со стихами Есенина, зубная щетка с порошком, мыльница с огрызком мыла. Имущества на рупь с полтиной. Еще блокнот лежит, в котором он пропись делал про меня, чтоб очерк дунуть в газетку. Читала блокнот и такое меня зло скоблито, попался бы он мне под горячую руку!.. Про меня — ни слуху ни духу, а все больше про телят: сколь вырастила, сколь подохло, чем выкармливала, про тракторную бригаду прописал: с кем работала, на каком тракторе, и еще, как я осталась круглой сиротой с дедом Гордеем, когда бандиты убили мать и отца, двух сестреноч со старшим братом в двадцать третьем году в Уджее. Ложечникова банда

прикончила. Вот ведь! А он про все в три строчечки. Главное ему — телята и трактор! Сколь раз читаю в газетах такие статьи про людей и всегда злюсь до невозможности. Человека-то для них нету! Как будто мы на свет народились с «производственными показателями», чтоб им окосеть!

Груня плюнула и про луну забыла.

— Ты же замерзнешь, Груня! — опомнилась Анисья.

— Это я-то замерзну! Да я голышком могу пойти сейчас в Каратуз и, не обопнувшись там, вернуться. Али не видела, как я хожу на ферму зимой? В косыночке да в тужурке «веретенном тряхни», и хоть бы чох! Ну, пойдем. Не споткнись. Тут у меня мешки с комбикормом для телят. Воруют доярки, чтоб их черт побрал. У себя комбикорм храню.

Анисья задержалась у порога, покуда хозяйка зажгла семилинейную керосиновую лампу, висящую над столом. Вся изба застлана самоткаными половиками. Справа на кровати лежал столетний дед Гордей, весь в белом, совершенно лысый — без волоска на голове, только на щеках и бороде щетинилась седина, стриженная овечьими ножницами. Иссохшие руки он сложил на груди, как покойник, а сам длинный, в белых подштанниках, ступнями уперся в железные прутья кровати. Он посмотрел на Анисью, бормотнул что-то и опять отвернулся, уставившись неподвижным взглядом в беленый потолок.

Кругом по избе стояли цветы — на трех подоконниках, на лавке, на табуретках, в горшках, кадучках, — везде цветы. Груня разводила такие диковинные цветы, каких не видывали даже в городских оранжереях. И на любовь Груня не скупилась, но замужем не побывала. Ее полнехонькие груди выпирали из-под сорочки, как сдобные булки. Анисья разделась у порога, повесив полушубок и шаль на вешалку под ситцевой занавеской. Сняла валенки, по совету Груни, положила их к боку теплой русской печи, чтоб просохли к утру.

— Перекусить не хошь?

У Анисьи с утра во рту маковой росинки не было.

— Если можно...

— Фу-ты ну-ты, ножки гнуты! «Если можно...» Извольте, сударыня-барыня, в передний угол под образа! Чем тебя угостить? Остались обедешные щи в печи, нарежу мороженого сала, молоко есть, сметана, хариус соленый. Может, выпить хошь? По лицу вижу —

осунулась. Чего не поделили? Ах да, разве в дележе вопрос! Бывает, ни с чего поцапаешься, ажник в затылке потом кипит. Садись, садись, красавица. Хочешь выпить, чтоб угар прошел? Ишь, как позевнула! Это всегда так, если на душе муть.

Говоря так, Груня успела достать из печи в чугуне щи, налила в тарелку, нарушила хлеб здоровенными ломтями, выбежала в сени и притащила кусок сала — трем не управиться, и мокрой, вынутой из рассола рыбы — хариусов.

Анисья села на лавку спиной к окну в улицу, в черном шерстяном свитере с тугим воротом под подбородок, в черной юбке и в черных чулках. Волосы у ней рассыпались, шпильки вывалились, она их собрала и положила на подоконник.

— Как он, седой, говорят? — спросила Груня.

— Седой. И усы седые.

— Усы? У Демида усы? Вот уж диво-то. Хоть бы взглянуть. Я ведь в него была влюбимшись, ей-богу. Так втрескалась — ночей не спала, дура.

— Ты што раскаркалась, ворона? — раздался голос деда Гордея.

— Вот еще мне горюшко! — махнула рукой Груня в сторону кровати. — Я ведь тоже с ним цапаюсь. У-у! Как разойдемся — углы трещат и тараканы разбегаются во все стороны. Как мужик какой придет ко мне, так он, ерш, всю ночь пузыри пускает.

— У тебя никого нет? — тихо спросила Анисья, скосив глаза на закрытую дверь горницы.

— Ха-ха-ха! — рассыпалась Груня, покачиваясь возле стола. — Нету, милая. Одинешенька, как рукомойник с водою. Ткни в рыльце — вся водой истеку. Ладно, что зашла ко мне. Я ведь, знаешь, когда хожу полная, плохо сплю. Мутит и мутит. Другой раз таракана поймаю, зажму в ладони и наговариваю ему про любовь да про вздохи при полной луне. Ей-бо!

— Смешная ты, Груня. Лучше бы вышла замуж.

— Хо, замуж! Изволь узнать: есть у вас на примете женишок, специально под мой образ и мою конхфигурацию? — Груня провела руками по своим полным грудям, по бедрам и, поставив босую ногу на лавку, шлепнула себя по ляжке. — Чувствуешь, какой у меня товарец? Купца бы на него, да не захудалого, как тот корреспондентишка, а чтоб

от моего кулака с ног не падал. У меня ведь, знаешь, какой удар кулаком? Быка Марса видела? Вчера я саданула его кулаком в лоб, так он очумел, холера. Мотает башкой и понять не может, что за снаряд ударил ему в голову.

А сама хохочет, хохочет, поблескивая крупными, сахарно-белыми зубами. Глаза у нее большущие, синие, игривые. Про свои глаза Груня говорит, что они у нее разбойничьи.

— Ну так за что же мы выпьем? — подняла Груня полный стакан со зверобойной настойкой. — За него, что ли? За воскресшего?

— Да! — ответила Анисья. За здоровье Демида она с радостью выпьет. — Только я не могу столько, честное слово. Ты же знаешь, я...

— Не принуждаю. Выпей столько, сколь желаешь ему здоровья. А я за него до доньшка — хоть не мой кривой, а все едино нашенький. Пусть ему не будет лихо, как говорят твои украинцы в леспромхозе.

Не запрокидывая голову, Груня осушила в три глотка граненый стакан, и тылом руки по губам.

Анисья чуть помедлила, набрала воздуху полную грудь и, прижмурившись, поднесла стакан настойки ко рту, будто ковш раскаленных углей. Обожгло язык, небо, горло, но она пила, пила маленькими глотками, запрокидывая голову. Едва вытянула до дна.

— Ого! — Только и сказала Груня. А у Анисьи от стакана настойки дух зашелся и слезы выступили. Схватила хариуса и в зубы, а слезы катятся по щекам. — Ого! — еще раз сказала Груня, о чем-то задумавшись.

— И у меня, Груня, понимаешь, муть на душе, — быстро пьянея, проговорила Анисья. Лицо ее насытилось румянцем. — Не потому, что поругалась с матерью, а, понимаешь, накатила какая-то муть, понимаешь, хоть на луну вой.

— И взвоешь! — понимающе поддакнула трезвая Груня. — Тебе ведь, милая, не семнадцатый годочек! Как помню, на три года моложе меня. Ох, боже мой, тридцать один год оттопала! Это же надо? Тридцать один!.. Сдохнуть можно от такой радости.

Анисья туго соображала:

— Погоди. Как, на три года? Если тебе — если тебе тридцать один, а мне — а мне — двадцать пять...

— Ой, ври! Это ты перед парнем молодись да чепурись, а я за тобой не ухлястываю. Двадцать восемь тебе.

У Анисьи распахнулись глаза, как черные окна, озаренные молнией.

— Да нет же! Двадцать шестой мне.

— Еще прибавь, милая, — смеется Груня. — Мы же с тобой вместе были на Сергиевском прииске. Помнишь?

— Помню.

— Слава богу, хоть это помнишь. А Сохатиху с Филатихой помнишь?

— Помню.

— А Мавру Тихоновну помнишь?

— Н-нет.

— Ладно. Сохатиху помнишь?

— Помню.

— А я жила у Сохатихи. Она моя тетя по убитой матери. Мы с ней золото мыли лотками. И ты с нами ходила мыть золото. Помнишь?

— Помню.

— А сколько тебе лет было тогда, помнишь?

— Н-нет.

— А тебе было столько лет, сколько мне. Только я отроду удалась крупной кости, и вся разница. Знать, тридцать один годочек тебе, подруженька!

Вот так подсчитала Аграфена Гордеевна Гордеева!

— Это, это — как же? — чуть не подавилась словами Анисья, захваченная врасплох. — Да нет же!

— Есть же, милая. «Иже еси на небеси», как поет мой дед Гордей Гордеевич Гордеев. У нас были все Гордеи и по фамилии Гордеевы. Коммунисты от пятки до затылка. Потому и бандиты в куски изрубили отца и мать, и сестер, и брата. Есть же, милая! Тридцать один годочек с хвостиком. Это у меня с хвостиком — я в феврале народилась. А ты? Ах да! Откуда тебе знать. Мать у тебя умнющая! Попроси ее, завтра припасет тебе метрику, и будет в ней семнадцатый годок тебе! Пора нам, подруженька, подмолодиться! Ха-ха-ха!

Этот раскатистый смех Груни неприятно подействовал на Анисью, но она стерпела, подумай: а что если и в самом деле оттопала она тридцать один годочек? Ужас! Тихий ужас! Да нет же! В сорок первом она закончила среднюю школу...

— Я же перед войной, понимаешь...

— Что перед войной? — не поняла Груня и не дала досказать Анисье. — Повезло тебе, истинный бог! Нет того, чтоб мне спасти его от волков. Я ведь только что мимо вас проехала с дровами тем же логом. Так нет же, приспичило волкам напасть на него после того, как я проехала!

— В самом деле, ты только что проехала, — вспомнила Анисья.

— Вот именно. Не судьба, видно. Как ты думаешь: Агния опять прильнет к нему? Да нет! — возразила себе. — У ней теперь Степан при Золотой Звезде. Деньги от него получает. Ешь, ешь! Что ты, как на поминках?

— Не представляешь, я, кажется, пьяная, — лопотала Анисья, неловко двигая руками.

— На радостях я бы вдрызг была пьяна. Про Полюшку он знает?

— Знает.

— Лучше бы я ему родила Полюшку, — вздохнула Груня. — Ты вот скажи: какая со мной холера приключилась, что дите родить не могу? И врачи ни черта не понимают. А ребенка хочу. Ой, как хочу! Ажник день и ночь подсасывает. С моими-то грудями я бы, истинный бог, четверых кормила. А вот надо же, а? Сколько раз в городе врачам показывалась, а они, белохалатники, ни в ноздрю свист!

И вдруг без перехода схватила Анисью за нос, чуть подержала и ахнула:

— Ма-атушки! Влюбилась!

— В кого ты влюбилась? — вскинула чернущие брови Анисья.

— Не я, а ты, подруженька! Шишечка-то носа раздвоилась — холоднющая. А я-то смотрю, смотрю тебе в лицо, и в толк не могу взять: откуда эта краска у тебя в щеках и туман в глазах? А это же — то самое!

— Что — «то самое»?

— Влюбилась, вот что. И не с матерью ты поцапалась, а места себе не находишь после встречи с Демидом. Я же девок и баб читаю от корки до корки, как завлекательные книжки. Ха-ха-ха! Ну и как он, узнал тебя?

Анисья пуще того раскраснелась:

— У-узнал.

— А ты его?

— Узнала.

— Сразу?

— Нет. Потом, когда он смотрел на деревню. И так мне стало тяжело. Вспомнила, как он меня называл Угольком... Так сразу и назвал Угольком!.. Давно... как сейчас помню, понимаешь...

— Тогда не чикайся. А то ведь и другие при теперешнем голоде на мужчин мух ловить не будут. Хотя бы я. А что? С моим удовольствием. Хоть седой, хоть кривой, а мой! Ха-ха-ха! Не бойся — пощажу твою душу образованную. Из плена? Невесело! Ну да обомнется, беда сотрется, и душа проснется.

И, покачав головой, Груня призналась:

— Ох, Анисья, если бы ты знала, какая я жадная! Люблю тайгу, небо и землю, телят моих молосненьких. От них так приятно пахнет парным молочком! Или вот дома летичком иль весною. Выйду поутру на крыльцо, сон еще за плечами, а по ограде курицы бродят, в огород лезут, язвы. Махну вот эдак рукой: «Кышь вы, ясная поляна!» И так-то славно тебе, хоть танцуй от радости. А еще бы девчонка иль парнишка с тобой — своя кровинка... Понимаешь, если бы я могла родить, — давно бы вышла замуж. А так — к чему обман, когда столько девок и вдов того больше, и все не уроды, не от медведей народились. Им тоже ведь, милая, нелегко мять холодные постели!.. Как в песне: «Горе горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело!..» На всех набрело!.. Вот она, война-то, чем кончилась!.. Ну, а что же ты, господи! Ты же красавица, инженерша! Что же ты прикипела? Иль от гордости ног под собой не чувствуешь?

— Н-нет. Не потому. Не знаю. Не потому.

— Заладила! Почему же? Ни разу ни с кем тебя не видела.

— Не могу, — жалостливо усмехнулась пьяненькая Анисья. — Не могу! По мне: или один раз на всю жизнь, или — никого и ни разу.

— Ужли ты и вправду ни с кем?

— Ни с кем.

— Ей-богу?

— Честно.

— Умора! Ха-ха-ха! Да ведь ты так иссохнешь, как тополь Боровиковых. Разборчива, что ли?

— Н-не знаю. Не могу.

— Ну, а если он?

— Он? Он?

Анисья застеснялась и закрыла лицо ладонями.

— Лопнуть с вами можно, фантазерки вы образованные, — рассердилась Груня. — А жизнь-то проще, скажу тебе. Проще и слаще. А ты ее сушишь, и сама сухарем станешь. Да нет, не верю! Скрытная ты.

— Ты што раскаркалась, ворона!

— Спи, лешак!

— Мотри, вздую тебя, ворона!

— Я тебе вздую, леший! Спи.

Дед Гордей поворчал еще и притих. Груня разлила остаток настойки в два стакана.

— Я не буду. Извини. Ты же видишь — пьяная.

— Выпьем за то, чтоб свершилось то, что я задумала. Про тебя задумала. Слышишь? Не я буду Гордеевой, если не сведу тебя с ним. Ладно, молчи! Хоть раз в жизни отведай счастье, а тогда и отнекивайся.

— Как же... не понимаю... я... он...

— И ты и он будете вместе! Нравишься ты мне, Анисья.

В большой горнице пахло цветами. Лапы фикусов висели над кроватью, черные, как смоль. Рядом спала Груня. Анисья долго не могла уснуть. Закутавшись по грудь в стеганое одеяло, она смотрела на фикус, но видела хмурые дебри леса, пойму Малтата. Сухонаковский лесопункт и Демида... «Ну зачем, зачем я это сделала?» — думала Анисья. — И всегда так: одно зацепится, потянет за собой другое, третье». Она гнала от себя мысль о Демиде.

Как пронзительно зазвенело в ушах! Будто ее кто ударил. Да, да! Она же просила, чтоб Демид ее ударил. Но он не поднял на нее руки. И от этого ей было еще больнее.

Она еще видела черные листья фикуса, угол полукруглого окна, потом все перекувырнулось, и она как-то вдруг сразу перестала чувствовать собственное тело. И — радуга, радуга! Огромная, разноцветная, через всю тайгу. Из-под радуги прямо к ней шел Демид, и она потянулась к нему — трепетная, чистая, как вешний подснежник к жарким лучам солнца.

Но Демида не было. Он слился с радугой...

На другой день Анисья собралась в дальнюю дорогу, в Красноярск, в командировку. Складывая в чемодан белье, платья, вспомнила вчерашнее и готова была бежать к Демиду просить прощения.

«Нет, нет! Разве такое прощается?»

С матерью расстались сдержанно. У Головешихи на лице от вчерашней потасовки прикипели синяки и губы вздулись.

Стальные подполозки на оголенной земле неприятно визжали: по коже мороз продирает. Караковый мерин с лохматыми бабками, напрягаясь, еле тащил кошевку по трудной дороге.

За деревней поехали веселее. Здесь еще лежал оледенелый снег.

Воздух синий, прозрачный. Вдали виднеется Жулдетский хребет. Анисья смотрит на лиловый горизонт тайги, и что-то тяжелое, горькое подкатывается к горлу.

«Демид мне никогда не простит, — подумала она. — И никогда не узнает, что я люблю его».

Росные горошины навернулись на глаза Анисьи.

Нет, нет! Уехать надо, уехать хоть на время из Белой Елани! Уехать бы и не возвращаться, забыть и мать, и Демида, и всю эту путаницу в сердце.

ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ

I

Шумнуло по всей Белой Елани — от стороны Предивной до Щедринки: Демид Боровиков воскрес из мертвых. И похоронная была, а вот, поди ты, живехонек, хоть и одноглазый. Мало того — успел подрасться с прижимистым папашей Филимоном Прокопьевичем.

Толковали всякое. Одни хвалили Демида, другие осуждали.

Всем интересно было поглядеть: каким он стал, Демид? Не парень теперь с кудрявым чубом, а мужчина за тридцать лет.

Ни свет ни заря заявились к Филимонихе соседки, но старуха не пустила их через порог. В сенях встретила и выпроводила вон: не до соседушек!..

Еще до того, как Агния пришла на работу в контору геологоразведочной партии, молва докатилась до нее, будто бы Демид чуть ли не насмерть пришиб Голоवेशиху и что Анисья надавала ему по щекам.

В бревенчатом крестовом доме, где когда-то жил дядя Голоवेशихи, Андрей Феоктистович Юсков, раскулаченный в начале тридцатого года, в трех комнатах работали геологи — Матвей Вавилов, двоюродный брат Степана Егоровича; инженер Матюшин, еще молодой парень; Олег Двоглазов — начальник комплексной разведывательной партии треста Енисейзолото; маленький, щербатый Аркашка Воробьев — геолог-практик и две девушки — Лиза Ковшова и Эмма Теллер. Лиза и Эмма, недавние десятиклассницы, работали помощницами Агнии в коллекторской. Еще неопытные, путающие аншлифы минералов, с трудом отличающие кобальтовые минералы от магнетитовых или даже железных руд.

Агния прошла через большую комнату, как сквозь строй. Она догадалась, что в конторе только что разговаривали про нее и про Демида Боровикова.

В обеденный перерыв в коллекторскую к Агнии зашел Матвей Вавилов — нескладный, долговязый мужчина.

— Я про Демида Боровикова, — начал Матвей, усаживаясь возле стола Агнии. — Такого таежника, как он, не сыскать. Надо взять его к нам в партию — ко мне в отряд. Нам же рабочие во как нужны. Позарез! Как ты на это дело смотришь, а?

За окном — включенное, пасмурное небо. Тучи ползут так низко, словно сейчас вот спустятся на землю, и станет темно и сыро. И настроение у Агнии такое же пасмурное. Какое ей дело до Демида? Будет ли он по-прежнему работать в леспромхозе или у геологов — ей решительно все равно. А Матвей долбит:

— С Двоглазовым разговаривал. Ты слушаешь?

— Ну?

— Говорю: с Двоглазовым разговаривал. Обрисовал ему всю картину Демида, как и что. Загорелся! Такого, говорит, нам вот как нужно, — Матвей резанул ладонью по выпятившемуся кадыку. — Слышь, поручил, мне сосватать Демида и как можно скорее. Завтра я махну в Лешачье. Ты тут поторопи, чтоб Демид поскорее оформился.

— С чего это я буду торопить его? — рассердилась Агния.

— В наших же интересах!

Агния сидела, как на углях.

И каково же было ее удивление, когда она вечером дома не застала Полюшки и мать, Анфиса Семеновна, скептически поджав губы, сообщила ей, что Полянка совсем выпряглась и самовольно ушла к Боровиковым.

Тут-то Агнию и взорвало:

— Самовольно! А ты что смотрела? — накинулась она на мать. — С девчонкой совладать не могла. Дала бы ей, чтоб у нее вся дурь выветрилась из головы.

Анфиса Семеновна моментом выбежала из дому и через некоторое время приволокла Полюшку за руку, всю в слезах, растрепанную, немало оскорбленную буйной бабушкой, но по-прежнему непреклонную.

Со двора забежал Андрюшка — черноголовый, в тужурчонке по пояс, в рваных штанах, глянул на Полюшку да и сказал:

— А что ее держать? Пусть уходит к своим Боровиковым.

— Молчи ты! — прикрикнула Агния.

Черные едучие глаза Андрея засверкали, как у звереныша.

— Молчать не буду! — крикнул он. — Если она Демидова — пусть и убирается к Демиду-дезертиру!

— Ты сам убирайся отсюда! — У Полюшки враз высохли глаза. За отца-то она сумеет постоять. — Двоечник!

— Я вот тебе как поддам!

— Брысь! — оттолкнула Андрея воинственная бабушка. — И не стыдно тебе? Полмужика скоро, а с девчонкой связываешься! А ты смотри у меня, задира. Не лезь к нему.

Андрюшка проворчал нечто не весьма внятное, провел рукой по углисто-черным волосам и с достоинством покинул избу.

Агния смотрела ему вслед... До чего же он лицом похож на Степана!..

II

Филимониha собирала на стол обедать. Собирать-то особенно нечего было. Нарезала треугольными ломтиками черный хлеб, состряпанный из овсяной муки напололам с пшеничными охвостьями, поставила в щербатой тарелке квашеную капусту с огурцами, разлила в две алюминиевые тарелки жидкую картофельную похлебку, заправленную конопляным маслом, пережаренным с луком, — вот и все сборы.

Демид сидел возле окна на лавке. Щека его, рассеченная во вчерашней драке, запухла, и ссадина затянулась коростой. В подглазье накупел синяк, и зрячий глаз подпух. Губы, разбитые увесистым кулаком Филимона Прокопьевича, неприятно вздулись, и верхняя поднялась к распухшему носу. Голова у него страшно болела: не пошевелить. Шею будто кто свернул.

Нет, он не раскаивается в том, что сделал вчера.

Глаз Демида уперся в стену возле дверей. Там висит чудесная двустволка, из штучного производства «геко», с которой он охотился до побега из Белой Елани. Такую двустволку редко встретишь. И на зверя и на птицу — без осечки. Кто же ею пользуется теперь? Конечно, Филимон Прокопьевич. Демид ее возьмет. На двустволке кожаный патронташ на полсотни патронов в два яруса, сумка кожаная, изрядно потасканная. Все охотничье снаряжение Демида.

Демид снял двустволку с патронташем и сумкой и понес в горницу.

— Куда ты, Демушка? Сам завладал двустволкой-то, — всполошилась мать. — Оборони бог, он за двустволку пришибет тебя.

— А ты вот что мать: кончай с ним. Нечего ему делать в нашем доме.

— Дык он и так бывает наездом. Как приезжает, так больше с Голоवेशихой прохлаждается.

— Пусть туда и катится! Здесь ему делать нечего. — И, глянув на мать, на ее рваную юбку и кофту, поинтересовался: — Что у тебя в тех двух сундуках в горнице, на которых я спал сегодня?

— Дык что, барахлишко.

— Открой. Посмотрю.

— Что ты, Демушка? Нечего смотреть-то. Рвань разная.

— Слышал, ходила по миру?

Филимониha всхлипнула в грязный фартук.

— Ходила, Демушка, ходила. Как солнышко пригреет, так иду по миру, христарадничаю. Кто кусочек, кто гривенник, кто чем, и на том спасибо. Доченьки-то, ни одна алтын не занесла. У Фроськи ничего не допросишься, у Марьи — брать нече. Сама перебивается с куска на кусок.

— А Ирина как?

— Иришка-то? И! Милый. Та глаз ни разу не казала, Мызничиха.

Демид долго стоял в дверях горницы, что-то напряженно обдумывая. Жизнь начинать надо сызнава, на голом месте. Ну ничего!

Ушел в горницу, и вскоре оттуда раздался его хрипловатый голос:

— Где у тебя ключи от сундуков?

Филимониha вздрогнула, выронила краюху из рук прямо в тарелку с похлебкой.

— Я спрашиваю, где ключи?

Демид стоял в дверях. Бережно потирая ладонью лицо, глядел в спину матери. Та не обернулась и не пошевелилась.

— Ты что, мама?

— Я-то? Дык-дык ничего. Сердце штой-то зашлось. Ровно кто кольнул. Отдыхиваюсь. На ладан дышу, осподи. Знать-то, ноне господь бог приберет.

— Ты эту похоронную песню гони в отставку. Я вот поступлю в леспромхоз или в геологоразведку, заживем.

— Примут ли?

— Примут. Не беспокойся. Рабочие руки везде нужны. — И еще раз спросил, где ключи.

— Да где же они? Ума не приложу, куда я их засунула. Давай пообедаем. Суп-то остынет.

За обедом мать поднесла припасенную чарочку водки на похмелье. Демид выпил с удовольствием, повеселел. Говорил о том, как они хорошо заживут без Филимона Прокопьевича, что настанет такой час, когда на свой заработок он купит матери и новую кофту, и юбку, и еще кое-что.

— Кабы ночесь стол не опрокинули да печку, на неделю бы нам харчей хватило, — вздыхала Филимониha, дую на алюминиевую ложку. — И пирог рыбий, и мед сотовый, и стряпню Лалетиных, и медвежатину Голоवेशихи, все-то, как есть все, истоптали ногами. Измесили в грязь. Господи! Утре собирала с полу, слезами заливалась...

III

Из ограды донеслись голоса Филимона и Мургашки.

Демид пересел на край стола, отодвинул от себя посуду. Ждал. Его черные брови, резко выделяющиеся на лице, сплылись к переносью. Предстояло выдержать еще одну схватку с Филимоном Прокопьевичем: последнюю.

Первым в дверях появился Мургашка в бешмете, словно Филимон Прокопьевич выставил впереди себя заслон.

На Филимоне черная борчатка с перехватом у пояса, пыжиковая шапка и шерстяные перчатки.

Не раздеваясь и не ожидая приглашения, уселись на лавку возле окна в пойму.

Начал разговор Филимон:

— Тэк-с, Демид Филимонович. Стыдно тебе аль нет опосля вчерашнего?

— Не мне, а тебе должно быть стыдно, — ответил Демид, заметно подобрившись на лавке. — Не я, а ты пустил мать по миру. Не я, а ты

увел с надворья корову и нетель.

— Про мать, про коров разговор не ведем. Не тебе совать нос в мою жизнь, как она происходит. Мать живет себе, я себе. Каждый на свой манер. Хозяйство вязало; нет хозяйства — развязались, и узелки врозь. Вот она какая планида нашей житухи.

— Что же тебе здесь нужно в таком случае?

— Про то будет разговор, зачем пришел. Опосля вчерашнего я покажу тебе из мово дома — порог и семь дорог. Катись по любой.

— Вот оно что! — Демид медленно поднялся с лавки. В груди его начал нарастать такой бешеный гнев, что он с трудом говорил.

— Дом принадлежит матери, Филимон Прокопьевич. Ты первый раз ушел из дома в восемнадцатом году. В тридцатом ты еще раз бежал — увел тройку лошадей, успел промотать сенокоску, жатку, двух коров, три десятка ульев пчел, а денежки сложил себе в карман. Таким образом, ты получил сполна свою долю. Я, Ефросинья, Мария — свидетели. Тогда ты оставил голый дом и надворье. А потом вернулся к нам со вшами за очкурком. С тем и вступил в колхоз. А во время войны, сказывают, в спекуляцию ударился, эвакуированных обдирал. И опять — вон из дому!.. Где же твой дом, спрашивается? Там, где ты живешь. Тут и поставим точку.

— Рассудил, как размазал.

— Перемазывать не буду, Филимон Прокопьевич. И заявляю: с сегодняшнего дня чтоб ноги твоей не было в доме. Слышишь?

Филимона так и подбросило на лавке.

— Подумай, папаша борчатка на тебе новая. Если полезешь в драку — останутся одни лоскутья, — предупредил Демид.

Борчатка! Филимон Прокопьевич мгновенно опомнился и, вздрогнув, опустился на лавку. Зло спросил:

— Такому обхождению с отцом тебя обучили на западе? Но ты вот что поимей в виду: лучше тебе, пока не поздно, смазать лыжи из деревни. Потому как ты в тридцать седьмом году сидел по вредительству. Тебе сейчас моментом припаяют за прошедшее, а также за плен.

— Господи! — подала голос Филимониha. — За что паять-то?

— Не встречай в разговор! — осадил Филимон Прокопьевич. — Мургашка, забирай свои мешки. Пойдем от греха. Но попомни, Демид, я с тобой еще схлестнусь!

— Приходи, только без борчатки.

— Молчай, сукин сын! — рявкнул Филимон Прокопьевич, багровея. — Разорву одним часом. Не доводи до греха.

Мургашка вытащил из-под кровати три мешка, туго набитые пушниной, — таежный прибыток Филимона Прокопьевича. Но где же волчьи шкуры?

— Шкуры волков забрал или как? Вечор отдал, утре конфисковал. Хе-хе-хе, жадность!

— Ты же получил шкуры с прохожего приискателя, с него и спрашивай, — криво усмехнулся Демид.

— Ладно. Я тебе потом все припомню! Отсчитывай свой век от сегодняшнего дня короткими шагами: укорочу. Не я, так сама Голоवेशиха. Она тебя упекет! А двустволка где? — округлил глаза Филимон Прокопьевич, уставившись на стену. — Как?! Твоя?! Да я, я — разорву тебя одним часом! За мою двустволку — жилы из тебя вытяну. До единой. Слышь, супостат? Отдай сичас же! Не доводи до греха. Мне за нее десять тысяч давали, да не отдал. Где двустволка?

Филимониha от испуга спряталась в куть, готовая нырнуть головой в печь.

— Ты не кипятись, — остановил Демид, на всякий случай заняв оборонительную позицию между кутью и столиком на треноге, где грудилось кухонное снаряжение — чугунки, сковородка, пустые кринки и оцинкованные ведра, засунутые одно в другое. — Остынь, папаша. — Двустволку тебе не видать как своих ушей. С какой стати ты к ней примазался? Говори спасибо, что попользовался в мое отсутствие. И хватит. Самому нужна.

Филимон Прокопьевич задыхался от злобы. Ему стало жарко, несносно душно. К горлу подкатился такой ком, что он не мог выдать из себя слово. Единственное, что его сдерживало, — позиция Демиды: непреклонная, уверенная. И он понял эту позицию. До него дошло: не одолеть ему Демиды, не смять. Если схватятся сейчас — польется кровь. А чья? Он уже знает, какой Демид в бешенстве. Такого Демиды Филимон не знал: ожесточился на чужбине. И хваток в драке, костей не соберешь. А Филимон Прокопьевич любит жизнь, бережет ее по-божьему. Бог дал — бог возьмет!..

Все это пронеслось в сознании Филимона Прокопьевича за какие-то десять-пятнадцать критических секунд. Наступила та свинцово-

тяжкая тишина, когда слова не имели уже никакого смысла, когда злоба дошла до предела кипения. Слышно было трудное шипение тяжелых вздохов Филимона Прокопьевича, не менее напряженное дыхание Демида.

Хоть бы глоток холодного воздуха! В голове у Филимона било молотками, туго налитое кровью лицо казалось медным. Машинально, сам того не сознавая, трясущимися скрюченными пальцами левой руки Филимон нашаривал в борчатке неподатливые крючки, расстегивая их, освобождая грудь от бараньего панциря, в котором он взопрел. Он стоял возле стола на широко расставленных ногах, упираясь кулаком в стол, похожий на большущий ржавый черный якорь, прислоненный к уютной лодчонке. Его расширенные гневом глаза такого безобидно васильково-поднебесного цвета наливались кровью. Лицо его сравнялось в цвете с рыжей бородой. А со стены, чуть склонившись вниз, глядел на него благостно ухмыляющийся его двойник, протопоп Иоанн Кронштадтский, которого Филимон Прокопьевич получил в дар от уджейской церкви в 1923 году за принятие православной веры. Тогда он плюнул с высокой колокольни на все старообрядчество, чем жили его предки, начиная от пугачевца Филарета. Откровенно говоря, он вообще не верил в бога. Еще с тех дней, когда лежал в Смоленском лазарете с брюшным тифом и каждые сутки из лазарета вывозили десятки трупов солдат, усомнился Филимон в существовании бога, но приличия соблюдал. С тем и принял православие — ради приличия.

В смутную пору после гражданской войны, припрятав отцовское золото, Филимон ждал: когда же, наконец, все успокоится, «ушомкается», и он тряхнет мошной? Тогда бы он показал, на что способен Филимон Боровиков! Он бы завел конный завод, шестерки рысаков, гонял бы ямщину!.. Не зря покойный тятенька, Прокопий Веденеевич, поучал Филю: «Смотриай, вожжу не отпускай. Чо ухватишь — держи крепко. Раздуй кадило, чтоб затмить самого Юскова!» Но «кадило» раздуть не довелось — тут уж другие причины, а что насчет «чо ухватишь — держи крепко», — этой заповедью Филя никогда не пренебрегал.

И вот выставляют его из собственного дома. И кто? Сынок, варнак! Было от чего взбеситься Филимону Прокопьевичу. Собственный дом для него — видимый оплот жизни. И хоть не жил в доме, но всегда знал, что у него есть собственный домина. А тут еще

двустволка, какую во всей тайге не сыщешь. Десятка три медведей уложил из нее, штук пятьдесят маралов, сколько сохатых, бесчисленное количество снял белок! Верно, двустволка именная — ее получил как премию сын Демид, и на ложе серебряная пластинка с дарственной надписью, а где-то в сундуке Филимониhi хранится соответствующая бумага... Все это так, но Филимон привык к двустволке и давно сказал: «Это — мое!» А «мое» отнять нельзя.

И вот стоит перед ним сын. Их разделяет угол стола, всего один шаг, а кажется, что не угол стола разъединяет отца и сына, а Жулдетский хребет — так далеки они друг от друга.

Если бы на лице Демида дрогнул хоть один мускул, тогда Филимон обрушился бы на него, как гора на мышь, и раздавил бы. Но сын стоял перед ним напружинясь, уверенный в своей силе.

«Судьба решается!» — снова осенило Филимона Прокопьевича. Он уже знал: если сейчас отступит, то никогда уже не перенесет ногу через порог собственного дома. Он будет изгнан навсегда.

Филимониxу била лихорадка. Зубы ее стучали, ноги подкосились, и она, придерживаясь рукою за печь, тихо сползла на пол возле кочерги, замерла в ожидании.

— Ай, что вы тут? Тягенька?! — неожиданно лопнула тягостная тишина.

Плечи Филимона и Демида враз обвисли; оба перевели дух. В избу вошла Иришка Мызникова, меньшая дочь Филимона Прокопьевича, а за нею — Иван Мызников, рослый парень. — Чтой-то вы, а?! Вчера, слышала, подрались? С ума посходили, что ли? — звонко лила Иришка, помигивая светлыми глазами.

Одета она была по-городскому. Нарядное пальто из коричневого драпа, замысловатые манжеты, объемистые карманы, куда можно было всыпать по полпуда зерна, дерматиновая сумочка на руке, яркая гарусная косынка, едва прикрывающая золотистые волосы Иришки, губы накрашенные, утолщенные, брови подведены, и даже на щеках румянец, кажется, не совсем натуральный.

Напряжение спало. Филимон обругал Демида, как непутевого сына; Демид отвечал не менее энергично.

Иришка старалась примирить отца с Демидом, но ни тот, ни другой не приняли ее слов близко к сердцу.

Разошлись смертельными врагами. Филимон Прокопьевич отступил от собственного дома и от двустволки. На крыльце он плюнул, взвалил на плечо мешок и подался к Фролу Лалетину, свояку.

Между тем Иришка с Мызниковым пришли пригласить Демиду к себе в гости. Демид, еще не остыв от напряжения, сперва не ответил на ее приглашение, с неприязнью косясь на Иришкины ноги, обутые в резиновые боты. Колени Иришки обтягивают тонкие чулки. Виднеется низ шерстяного платья со складочкой.

— Придешь, Дема? — трещала Иришка, поблескивая мелкими беличьими зубами. Подбородочек у ней легонький, носик слегка вздернутый: красавица. — У нас будут свои люди: мызничата да приглашу из геологоразведки Олега Двоеглазова и Матвея Вавилова. Если бы я вчера знала, что ты возвратился, прилетела бы к вам среди ночи.

Демид поднял голову:

— Говоришь, среди ночи прилетела бы?

— Еще бы, как пуля, прилетела бы!

Демид криво усмехнулся, щека его задергалась:

— Что ж ты не прибежала к матери, когда она ходила с сумой по деревне?

Мызников кашлянул, переступил с ноги на ногу. Иришка глянула на мать, фыркнула:

— Она ходила по своей воле. При чем я-то?

— По своей воле?

— А что же? У ней, небось, зимой льда не выпросишь. Когда у меня родилась Гланька, я просила у ней хоть с метру батиста, дала мне? Фигу! Сундуки напихано добра, а сама ходит в рвань. Чего у нее там только не лежит! И куски бархата и батист, и кружева, а денег — сколько... Тятенька-то, когда был завхозом, сколь всякого добра скупил у эвакуированных!..

— Ай бесстыдница! Ай бессовестная! — всполошилась Филимониха, беспокойно заерзав на лавке. — Вот врет-то, вот врет-то, бесстыдница окаянная. Ты мне клала в сундуки-то добро аль не клала?

Слова Иришки оглушили Демиду. Он не знал, что сказать. Не может же быть, чтобы в сундуках у матери лежало добро!

Не раздумывая, он пообещал Иришке, что придет к ним посидеть в компании, — тем более — Иришка пригласила геологов, с которыми

ему необходимо завязать связи, войти в жизнь поисковой партии, один из отрядов, которой размещался в Белой Елани под начальством инженера Марка Граника.

Уходя Иришка шепнула ему по секрету, что на гулянку пригласила Агнию Вавилову и, блестя глазами, поскорее ушла из избы.

IV

Демид долго ходил по избе: никак не укладывалось в голове, что мать, имея деньги, ценные вещи, могла надеть на себя суму и идти по деревне. Это что-то чудовищное, неестественное, противочеловечное. Неужели до такой степени может изуродовать постыдное стяжательство, крохоборство, когда человек в состоянии голодать, лежа на хлебе?

— Так что же у тебя в сундуках в самом-то деле? — остановился Демид перед матерью.

Желтое, иссохшее лицо матери пугливо отвернулось от сына, а тонкие, скупые губы прошептали:

— Рвань разная, Демушка. Истинный бог! Врет Иришка-то, врет! Чтоб ей не видеть белого света.

— Где ключи?

— Дык утеряла. Давно утеряла. Рвань-то чо смотреть?

— Может, в рванье найдется кофта почище, чем на тебе сейчас?

— И, милый! Весь народ во рванье да в хламиде.

Демид раза два прошелся по избе, заглянул на печку, под кровать, будто что искал.

— Значит, ключи потеряла?

— Мать пресвятая богородица, да што же это такое?! — взмолилась мать, не в шутку пугаясь.

Она видела, что Демид вытащил из-под печки конец толстой проволоки, из стены гвоздь, нашел заржавленные стамески, щипцы и перешел в горницу. Здесь как будто век не открывались окна. Пахнет плесенью и спертым, прокисшим воздухом. Душно!

Возле стены — два сундука, куда бы можно было ссыпать кулей по пять пшеницы в каждый. Демид приподнял один из сундуков — тяжел, наверное, не одно рванье.

— Господи! Царица небесная! Помоги мне, горемычной да обездоленной, — начитывала мать, всплескивая костлявыми ладонями. — Что делаешь, Демушка! Замки-то испортишь! Матушки-светы! Замки-то ханут... Таких нету таперь, господи!..

— Рванье можно не замыкать.

— Агриппина великомученица, помоги мне! Демушка, не ломай замки-то. Ключи найду. Завтра найду.

Но Демид прилаживал отмычку. Филимониha, видя, что никакие уговоры и молитвы не действуют, проворно выбежала в сени, достала там из тайника связку ключей, принесла сыну.

Со странным, далеким звоном запел внутренний замок трех оборотов. Музыкальный звук замка, раздавшийся как бы из минувшего века, резко и злорадно прозвучал в затхлой горнице. Демид открыл окованную железными полосками крышку сундука, набитого доверху вещами. Молча вытаскивая вещи из сундука, рассматривая, он складывал их прямо на пол, возле ног. Филимониha стояла перед ним, как изваяние из окисленной меди: безжизненная, остолбневшая от ужаса, глядя на разворошенные сокровища.

Нарядные городчанские платья, слежавшиеся, как пласты каменного угля; три куса добротного бархата, кусок японского шелка, кружева, кружева, нарядные кофты с буфами на плечах, какие-то накидки, полушалки, платки, платки, куски батиста — тончайшего батиста, какой теперь редко сыщешь! И все это слежалось, утряслось, отошло на вечный покой! Проживи Филимониha сто лет — богатство обуглилось бы.

А тут что завернуто? Демид распутывает узел. Тряпки, но не рванье, а куски от пошитых вещей. Внутри узла — пачки червонцев! Настоящих червонцев, выпуска 1924 года! Он смутно помнит эти червонцы — сеяльщик с лукошком. И вот они лежат в сундуке. Эти деньги в то время ходили в курсе золотого рубля. Сколько же их? Пачки, пачки! А вот и пачки керенок!.. Эти давным-давно превратились в ничто, а у матери все еще лежат, ждут возврата старых времен. А в мешочке что? Какой он тяжелый!

Демид развязал мешочек. В сундук посыпались николаевские десятирублевки. Один, два, три, четыре — сколько же? Сто пятьдесят золотых! Тысяча пятьсот золотом!.. Здесь и советские десятирублевки — граненые, давнишние, впервые увиденные Демидом. И советских

сорок шесть штук — четыреста шестьдесят рублей. Полтинники, серебряные рубли — николаевские и советские.

Демид открыл второй сундук.

Первое, что он увидел, был его собственный баян. Ах да! Мать сказала вчера, что баян она сохранила.

Демид бережно поставил баян на стол.

И каково же было его удивление, когда он достал из сундука собственную кожаную тужурку из хрома, перчатки, шевиотовый костюм, белье, три шарфа и даже носовые платки, некогда подаренные и расшитые Агнией Вавиловой!

— А я-то в грязной рубаше, — вырвалось у Демида. — Что же ты утром не сказала, что есть белье? Ты же видела, в чем я хожу!

Филимониha отвечала вздохами.

— Отец знал, что у тебя в сундуках?

— Как же! Вместе наживали.

— Что же он не залез в сундуки?

— Дык — получил свое.

— Корову и нетель, что ли? Тут же на сто коров лежит.

— Золото я ему отдала.

— Сколько?

— Туес полный. Покойный батюшка клад оставил нам. И вещи он свои все забрал. Еще когда первый раз уходил к Харитинье. Золото взял, когда на кордон уехал.

V

То, что открыл Демид в сундуках матери, смахивающих на мучные лари, потрясло его, обидело до слез, и он, вывалив содержимое ларей на пол, долго стоял в ворохе лежалых вещей и кусков тканей, потерянный, уничтоженный, оскорбленный. Мать! Он сказал ей, что, когда заработает денег, купит кофту и юбку, а тут, оказывается, сокрыты такие богатства...

Демид попросил открыть ставни. Мать послушно и безжизненно, как стояла в рваных чирках на босу ногу, так и вышла в ограду открывать ставни. Неприятно запищали ржавые засовы в скважинах. Сколько лет не открывались ставни — можно было судить по тому, что стекла на всех пяти окнах с наружной стороны покрылись таким

плотным слоем окаменевшей пыли, что едва пропускали полуденный свет.

Демид осмотрелся, мучительно соображая, что ему делать, какое решение принять. Детишки Марьи ходят в рванье с чужих плеч, в обносках, изможденные от недоедания... Надо будет отыскать в душе матери какую-то неокостеневшую часть, чтоб она почувствовала, поняла, что так жить нельзя, чтоб разбудить в ее сердце сострадание к внучатам.

Прежде всего он должен хотя бы приблизительно подсчитать, на какую сумму лежит здесь ценностей. Его часы «Мозер»...

Завел часы, приложил к уху — идут. Сунул их в карман, склонился над сундуком. В угловом ящичке-подскринке — кольца, золотая цепочка, роговые шпильки, еще одни часы — старинные, толстые: отцовские? Он их не видел у отца. Пробовал завести — мертвые.

На дне сундука — его сапоги: он покупал их к двадцатилетию Октября, да так и не надел. Вот и диагональные бриджи, подтяжки, еще одни шагреновые перчатки, кожаная кепка.

«Любил я тогда щеголять», — невесело вспомнил Демид. А это что? Что так старательно завернуто в расшитые полотенца? Иконы! Груда бумаг. Какие-то справки, налоговые листы по сельхозобложению за 1922–1927 годы! Фотографии — целая стопка.

Какая-то странная, мимолетная улыбка пристыла на губах Демида.

С тоской поглядел на свою фотографию. Пышные кудри, большие открытые глаза. На фотографии, конечно, не видать цвета глаз, но он знает и так, какие были у него синие глаза. Теперь один, да и тот уже не такой ясный.

Демид развернул толстый кусок бархата.

— Ай, господи, да приberi ты мои косточки горемычные! — истошно завопила мать, глядя на шевелящийся кусок бархата. — Разор пришел, анчихристов разор! Что делаешь-то, Демушка? Побойся бога!

Демид бросил ткань, повернулся к матери:

— Откуда у вас столько вещей? Пачки денег? Откуда?

— Без тебя нажито, ирод. Без тебя!

— Со своего хозяйства вам никогда бы не набить сундуков, вот что я хочу сказать. Никакой «батюшка» такого золотого клада не

оставил. Может, Филимон ограбил кого?

И, глядя на вещи, на сверкающее золото в первом сундуке, на грудку пачек бумажных денег, не имеющих теперь никакой цены, покачал головою:

— Своим хозяйством столько не нажить!

— Своим! Своим нажили! — крикнула мать. Щеки ее спустились вниз, взгляд черных глаз стал безжизненным, тупым, как у старой коровы. — Царские золотые скопил еще Прокопий Веденеевич!.. Своим горбом нажили, вот что! До переворота нажили. Свекор копил деньги, чтоб купить конный завод, поставить мельницу, маслобойку... Да переворот помешал. Чтоб они провалились — и красные, и белые! А потом Прокопий Веденеевич, покойничек, золото завещал...

И сморкаясь в грязный фартук, вся согнувшись, тихо всхлипывала. Она не сказала, кому завещал золото свекор. А ведь это Демидово золото!..

«Ничего! Я на нее сумею повлиять. Сползет с нее кержацкая скорлупа», — уверил себя Демид и ушел таскать дрова и воду в баню. С сегодняшнего дня он начинает новую жизнь — настоящую. Каким же слепым кротом он был в своей молодости!

После бани он сбреет себе усы, вырядится в те бриджи и сапоги, что не успел обновить двенадцать лет назад, возьмет свой баян, и они пойдут с матерью к Иришке-моднице. Но прежде всего он повеселит Марию. Конечно, пусть и у ней с ребятами настанет праздник. Что она такая печальная? Жить надо, черт побери! Жить. Сила в руках и ногах есть, мозги работают. Что еще нужно? У него есть дочь Полюшка. Он и дочь порадует. Но как быть с золотом? Сдать его без лишних слов государству?

«Ну, заварил я кашу».

В большом чугунном котле, вделанном в каменку, ключом закипела вода. Камни накалились докрасна. Жару и воды хватит на десять человек. Баня устроена по-белому. Дым из каменки уходит в трубу. Стены побелены, потолок для парки в два яруса. Шайки деревянные, ковш железный, еще тот самый! Как долго живут вещи, удивительно!

Вечерело. Филимониha вышла на крыльцо, уставилась на закатное солнышко, перекрестилась.

Демид уходил в баню с бельем, сапогами, костюмом.

— Да что ты, мама, такая унылая? — спросил он, задержав ногу на приступке крыльца. — Я же тебе говорю: жить будем веселее, в открытую. Да еще так, что и другим завидно будет. Сходи за Марией с ребятами.

— Власти не раскулачили — сынок возвернулся, раскулачил, — как бы про себя проговорила Филимониha, уставившись на красное закатное солнышко.

— Опять за рыбу деньги! Я же сказал: покончено со старым. Что ты за него цепляешься? Живут же люди. И мы будем жить.

Вздых отчаяния вырвался из груди Филимониhi, но сын будто не заметил ее вздоха. Насвистывая песенку, ушел в баню. Филимониha проводила его сумрачным взглядом.

«Ишь, как распорядился, — ворочалась тугая старческая мысль. — Моим добром — Марьиных голодранцев обделять да утешать. Моими деньгами да ихние голодные рты насыщать, ирод проклятуший. Не знала, что ты таким уродишься».

Она его проклянет. Не будет ему покоя ни днем, ни ночью. Но как же золото? Бархат? Куски шелка?

«Все, все раздаст! Завтра буду голая и босая, осподи! Прибери мои косточки, мать пресвятая богородица!..»

Теперь она знает, что ей делать. Надо спешить, пока сын в бане. Все равно сын лишил ее самого ценного — золота. Ее золота!..

Вернулась в избу, стала на колени перед иконами и сухим, трескучим голосом, как хруст сосновой лучины, минут десять читала молитву, чтоб бог простил ей все земные грехи да отворил бы перед ней, великомученицей, златые врата рая. Багрянец заката падал ей на пергаментно-желтую кожу. Растрепанные волосы свисали на висок космами, отчего старуха смахивала на какое-то неземное чудовище. Костлявая спина, выпирающая из-под кофтенки, земно кланялась, а лоб стучался в пол. С переднего затемненного угла смотрели на нее едва видимые лики святых угодников с огарышками незажженных свечей.

— Проклинаю анчихристову душу! — вырвалось из ее груди со старческим хрипом.

И сразу же наплыло давнее, ее девическое. Отцовский дом Романа Ивановича Валявина; тройка на масленую неделю, свекор Прокопий Веденеевич, от которого родила Демида... Тополевое радение... Откровение Прокопия Веденеевича в бане, когда он указал Меланье на тайник с золотом, и она тогда поклялась, что золото сбережет до возрастания Демида, но так и утаила от Демида — не комсомольцу же проклятому отдавать!..

Для нее не существовало ни людей, ни деревни, ни ее трех дочерей и единственного сына! Вымри весь мир — она и бровью не поведет: была бы она жива и ее состояние, нажитое покойным Прокопием Веденеевичем за долгие годы скопидомства. Она совсем запомнила, какую клятву дала свекру!..

Демиду и в голову не пришло, какие чувства обуревали мать, когда он ушел в баню. С какой ребяческой радостью хлестался он березовым веником, побряхтывая, подбадривая себя, довольный, что истопил баню.

— Теперь мы будем беленькими, — смеялся Демид, нахлестывая спину. — Ах, как хорошо! Так ее, так ее! Еще, еще!..

Спустился с полка, окатился холодной водой из шайки, отпыхтелся и опять полез с веником, поддав ковшиком горячей воды на каменку.

Клубы горячего пара обволакивали его всего. Свистел веник, и горячие прилипающие березовые листья приятно щекотали ложбину спины.

Мылся он часа полтора. В бане стало совсем темно, и он зажег керосиновую коптилку на окошке.

От слежавшегося в сундуке белья несло запахом кожи.

Не успел натянуть бриджи, как со стороны дома раздался визгливый пронзительный голос:

— Ай-ай, ма-атушки!..

Демид выскочил из предбанника. К воротам калитки от крыльца бежала. Иришка.

— Ирина! Ирина! Что ты?

— Ах, боже мой, мать повесилась!..

Босоногий, по снегу, в какие-то секунды Демид пролетел от предбанника до крыльца. Одним прыжком перемахнул через ступеньки, влетел в открытые двери сеней и избы — и откачнулся на

косяк. Прямо перед ним, загородив проход в передний угол, свешивалось с бруса неестественно приподнятое над полом тело матери. Голова ее откатнулась набок, рот открылся, и пена скопилась на губах.

В мгновение Демид подхватил тело, приподнял на руках, нашаривая узел на шее. Но узел не поддавался. Бешено колотилось сердце, словно пыталось разорвать ему грудь. Он звал мать, бормоча что-то бессвязное, одной рукой стараясь дотянуться до бруса и развязать бечевку. Когда поднялся на табуретку, не отпуская тело матери, мертвая рука, случайно приподнятая его локтем, сорвалась, ударив его по щеке.

— Мама! Мама! — вскрикнул он, развязывая узел на бресе. — Иришка! Иришка!

Но Иришки и след простыл.

Уложив легонькое, сухое тело матери на кровать, скинул петлю с шеи, приложился ухом к груди: ни вдоха.

Вскоре прибежала сестра Мария с такими испуганными черными глазами, каких он никогда у нее не видел. За Марией — Фроська, Санюха Вавилов, а потом наполнилась вся изба.

В тот же вечер, когда старухи обрядили тело матери в чужое нарядное платье с кружевами, Демид пригласил в горницу председателя сельсовета Вихрова, старого Зыряна, участкового Гришу, Павла Лалетина и старого учителя Анатолия Васильевича Лаврищева, отбывшего полный срок наказания и возвратившегося снова в Белую Елань.

Демид открыл перед ними сундуки матери; высыпал на стол золотые десятирублевки из мешочка, выложил пачки червонцев, екатеринок, керенок; и, как потом подсчитали, советских денег лопнуло у Филимона Прокопьевича с Меланьей Романовной в денежную реформу 1947 года ни много ни мало, а сто семьдесят тысяч рубликов!..

Молча, без слов, глядели люди на куски бархата, шелка, батиста, маркизета, на груды золота, и кто знает, кто и что думал из них?

А старухи, собравшиеся в избе у покойницы, припоминали, какой красавицей была Филимониha в молодости и какая завидная она была невеста.

На похороны сошлись сестры Филимонихи — Аксинья Романовна, жена Егора Вавилова; Авдотья Романовна, вдовушка; Марья Романовна, жена Вихрова, председателя сельсовета. И так-то горько вздыхали все...

Побывал на похоронах и сам Филимон Прокопьевич. Молчаливый, угрюмый, настороженный. Он знал причину смерти Меланьи Романовны и, опасливо кося глазом на сына, ждал: не обронит ли слова Демид о туесе с золотом? Было-то два туеса!..

VII

Демид переселил старшую сестру Марию из ее избенки к себе в дом. И сразу мрачная Филимонова твердыня преобразилась: защебетали, запели звонкие детские голоса; заскрипели половицы в горнице, захлопали филенчатые двери. Словно поток нахлынувшей жизни готов был распереть дом по швам. И веселье, и смех, и детский плач, и материнские шлепки, и снова хохот, суета, движение! И сам Демид, помогая трудолюбивой Марии отмыть прокоптелые стены и потолки, подшучивая над черноглазой, повеселевшей вдовушкой, как-то помолодел, преобразился. Им было радостно, они жили.

И только изредка под сердце Демида подкатывался тяжелый ком обиды на покойную мать. Разве она не могла вот так же устроить свою жизнь? Что ей мешало поселить у себя Марию с ребятишками? Может быть, он, Демид, слишком круто поступил с матерью в тот день, не сумел открыть в ней добрую половину души? Но тут уж виноват не он, а те сгустившиеся обстоятельства, в каких он тогда оказался в трудный день возвращения домой.

Вечерами Мария допоздна засиживалась за швейной машиной, торопясь пошить обнови ребятишкам. Те, сгрудившись, стояли возле матери — сияющие, радостные и непослушные, как все дети. У той будет новое платье с бантиком, и у другой будет платье, и у третьей! Мальчишки — одиннадцатилетний Гришутка, черный, как цыганенок, и старший Сашка — заняты были сооружением подводной лодки. Строительным материалом для них послужил тот самый Иоанн Кронштадтский на жести, что недавно еще с такой умиротворенной, сытой улыбкой взирал на Филимона Прокопьевича со стены. Синие

глаза Иоанна. Кронштадтского, точно такие же, как у Филимона Прокопьевича, смотрели с двух бортов лодки.

— Глазастая у вас лодка вышла, — улыбнулся Демид.

— А мы их выцарапаем, глаза, — буркнул Гришка, поддергивая штанишки на лямке.

— Зачем же выцарапывать? — остановил Демид. — Вы думаете, подводная лодка может быть безглазой?

— У подводки устроим перископ, — сообщил Гришка и, долго не раздумывая, выскреб глаза святому.

...Так — по малому, по крупице, по частичке, исчезали из дома Филимоновы приметины, все, что составляло сущность его жизни.

В дом не заходили обиженные сестры Демида и Марии. Они ждали, что Демид разделит между ними поровну состояние матери, но Демид распорядился по-своему: отдал все вдовушке Марии с детьми. И деньги, и вещи, и материю. Себе он ничего не взял, ни копейки. Только собственные вещи. Да попросил Марию не обделит подарками Полюшку.

Не менее обижены были и тетушки Демида, сестры покойной матери. Хоть и жили они не хуже других, а Аксинья Романовна в полном достатке, но все-таки ждали, что от сестрицы перепадет им кое-что. Аксинья Романовна побывала даже в сельсовете, но безрезультатно. Председатель сельсовета оказался на стороне Демида, а Аксинья Романовна не преминула шепнуть Авдотье Романовне, что Демид «хорошо подмазал председателя» и что управу надо искать в районе, а то и выше. Правда, дальше слов дело не пошло, но тетушки сплетнями старались очернить племянника. Он и такой, и сякой, и мать в могилу загнал, и отца из дому выжил!

Вечерами не закрывали ставней. Из батиста Мария сшила, нарядные шторы на окна, отделанные кружевами. Достали две лампы: десятилинейную в горницу и «молнию» в переднюю избу. Наверное, никогда еще дом Боровиковых не сиял так в ночную пору, как в эту памятную весну. Он светился и в пойму тремя окнами, и в улицу пятью, и тремя в ограду. Со всех сторон к нему можно было подойти на огонек и, не постучав в двери, войти к гостеприимным хозяевам, что и делали девчата и парни стороны Предивной. Сперва они находили заделье у Марии, с которой работали вместе на ферме колхоза, а потом приходили просто послушать баян Демида.

Дня за три до Первого мая случилось еще одно событие, над которым Демид долго потом раздумывал.

Поздно вечером Мария занята была стряпней к празднику. Жарко горела русская печка, озаряя пламенем кухонный столик и окно. Демид наигрывал на баяне. Ребятишки облепили его со всех сторон, слушая музыку, заглядевшись на пальцы Демиды, скользящие по перламутровым пуговкам. Вдруг Гришутка от окна подал голос:

— Ай, дядя Дема, глянь-ка, наш тополь рубит Андрюшка Вавилов.

Демид и Мария разом подскочили к окну.

И в самом деле, чья-то черная приземистая фигура копошилась возле тополя, размахивая топором.

— Ты смотри-ка, а? Рубит. Ах ты, Вавиленок! Вот я ему задам сейчас, — заторопилась Мария.

Демид остановил ее:

— Я сам схожу. Надо с ним поговорить.

В ограде Демид задержался, обдумывая, с чего и как начать разговор с Андрюшкой. Потом спокойно подошел к пареньку.

— Бог в помощь, Андрей Степанович, — поприветствовал Демид. — Что, заготовливаешь дровишки?

— Нужны мне они, дрова, — пробурчал Андрюшка.

— Так что же ты, строить что-нибудь собираешься?

— Ничего не строить. Просто рублю, и все.

— А! И то неплохо. Я давно, брат, собирался срубить его. Помогу от всей души. Только где нам стекла достать, а? Иди-ка сюда, глянь. Ну что стоишь? Пойдем. Погляди, куда он рухнет, когда мы его срубим. Прямо в окна. Вот если ты залезешь на тополь и наклонишь его в другую сторону, а я тем временем подрублю его — к утру мы его завалим.

Андрюшка молчал, уставившись на Демиду исподлобья, как на врага, с которым он не намерен мириться и тем более разговаривать.

— Ну что, полезешь?

— Сам лезь! И сиди там до утра, — проворчал Андрюшка, забирая свою тужурчонку и шапку.

— Что ж ты рассердился? Какой же ты неразговорчивый, однако.

— Вот тебе и «однако»! — передразнил Андрюшка, закинув топор на плечо. — А тополь я все равно срублю. Вот посмотрите, срублю. Не

будете тут под тополем обниматься да целоваться.

У Демида дух перехватило и даже уши запылали от таких слов Андрюшки. Чего-чего, а этого он не ждал.

Андрюшка ушел, а Демид все еще стоял под черным, тихо шумящим тополем, припоминая минувшие дни бурной юности.

VIII

Черный тополь!..

Ни вешние ветры, ни солнце, ни пойменные соки земли — ничто не в силах оживить мертвое дерево. Отшумело оно, отлопотало свои песни-сказки и теперь возвышается мрачное, углистое, присыпаемое прахом земли, — не дерево, а сохнувший на ветру скелет. Настанет день, когда Демид срубит мертвое дерево, и останется тогда пень в три обхвата, который со временем сгниет. И никто, пожалуй, не вспомнит, что когда-то в Белой Елани шумел нарядный и гордый тополь...

Демид смотрел в окно, и чувство горечи и одиночества накатывалось на него волной. Так же вот, как и этот черный тополь, торчал он в жизни столько лет. Держался на ногах, но не жил. Если бы он мог, то никогда бы не оглянулся на прошлое. На те каменные блоки и бункера, где он был погребен заживо.

Он вырвался из самой преисподней, и все еще не верил, что он дома, что он живой. Ни разу даже во сне он не видел себя молодым и беспечным. Чаще всего ему снится один и тот же сон: побег из концлагеря Дахау по канализационной трубе. Он спускается в грязную, вонючую трубу, и лезет, ползет на брюхе, и никак не может проползти до конца эту проклятую трубу. Каждый раз он просыпается от страшного удушья и суматошных перебоев сердца. Вскакивает с постели, сворачивает махорочную сигарку, прикуривает и потом долго смотрит в окошко на черный тополь.

Весь лес и кустарник в пойме Малтата нарядился в зеленые пышные одежды, и только тополь под окном торчит, как обуглившийся скелет.

«Я его срублю. Хватит ему торчать здесь, — думал Демид. — И мне пора встряхнуться. Пусть обгорел, но не сгорел же!..»

Частенько к Демиду навевывалась Полюшка. Она приходила тайком от матери и бабушки Анфисы Семеновны. Между отцом и

дочерью установилась какая-то странная, молчаливая любовь. Полюшка ни о чем не расспрашивала отца. Она догадывалась, как ему тяжело. Сердце подсказало ей, что отцу больно всякое напоминание о прошлом. И она щебетала ему о своих неотложных делах, поверяла маленькие тайны, тормошила, когда он становился задумчивым.

Однажды Полюшка спросила:

— Папа, тополь совсем мертвый?

— Засох. У каждого дерева есть свой век.

— Тогда ты его сруби, если он совсем неживой.

Демиду стало грустно и больно. Ведь именно здесь, под старым тополем, он когда-то встречался с Агнией... А теперь Агния так далека от него. У нее своя дорога, трудом завоеванное место в жизни, хорошая зарплата, она партийная... А он что? Бывший враг народа, бывший военнопленный, бывший ее любовник!.. Ну бывший, так бывший! Стало быть, все, что было между ними, быльем поросло. И на этом пора поставить точку! Агния даже Полюшку к нему не пускает. Разве он дурак? Сам не видит, что их разделяет пропасть? Прав отец, что удержал его в тот вечер. А то бы все подумали, что он навязывается ей в мужья.

— Папа скажи, ты сильный?

— А почему ты спрашиваешь?

— А бабушка Анфиса говорит, что ты теперь как дохлая курица. Это ведь неправда, папа? Скажи, неправда? Вон у тебя какие мускулы!

— Неправда, неправда, — смутившись, заверил ее Демид.

На другой день он ушел в тайгу с ружьем.

Оттепель. Курилась макушка Татар-горы. Демид долго стоял у подножия горы на берегу Малтата и вдруг кинулся на штурм по крутому склону. Камни летели из-под ног, Демид срывался и чуть не упал кубарем вниз, но успел уцепиться. Удержался. Три часа он бился, весь взмок до нитки, но одолел подъем. «Сила еще есть в ногах и руках», — восторженно озирался он с макушки Татар-горы. Вдали синели тайга и ледники Белогорья.

IX

Неожиданно к Демиду в гости явились геологи: Матвей Вавилов, Аркашка Воробьев и совсем молодой парень, белобрысый и

белолицый, как женщина, и такой же улыбчивый, Олег Двоглазов.

Демид мастерил корчагу из ивовых прутьев для ловли щук в малтатских яминах. Сыновья Марии помогали ему: один подавал распаренные в печке прутья, другой, по примеру дяди, вплетал прутья в корчагу.

— Эге, тут рыбалкой пахнет! — начал Матвей, как только перенес ногу через порог. — Ну а мы вот пришли к тебе в гости.

Демид смутился и ногой отпихнул связки прутьев вместе с корчагой. Матвей крепко пожал ему руку — пальцы слиплись.

— Ну как? В силе?

— С твоей бы рукой молотобойцем быть. Вместо кувалды навинчивал бы по наковальне.

— Будь здоров! Знакомься: Олег Александрович Двоглазов. Инженер, начальник партии.

Демид почувствовал, что Двоглазов оценивающе взглянул на него, будто хотел убедиться, пригоден ли Демид для поисковой работы в тайге?..

Ворохнулось что-то тяжелое, сердитое в сердце Демиды и ворча притихло.

Матвей что-то успел шепнуть Марии Филимонов-не. Аркашка Воробьев, всегда тихий, такой же, каким его знал Демид, жался к двери. А ведь хороший геолог! Куда лучше Матвея. Скромняга! Так, наверное, и работает, как прежде, — за троих, и помалкивает.

— Я тебя давно не видел, Аркадий, — обнял Демид маленького Аркашку. — Ты ничуть не постарел, браток. Я-то думал, что ты теперь не иначе как начальник геологического управления.

— Будь здоров! Аркашка потянет, — откликнулся вездесущий Матвей. — Мы с ним, как Малтат с Амылом, неразлучнк. Где мы только ни бывали с Аркашкой! И в Туве, и в Казахстане, и на Урале, — а все тянуло в свою тайгу.

Демид пригласил гостей в комнату.

Как только переступили порог маленькой горенки, утопающей в сумерках угасающего дня, Матвей нарочно задержался у порога и, прищелкивая языком, сообщил Двоглазову, что вот, мол, Олег Александрович, вы столько раз слышали разговоры про старину, про былых раскольников, которых сейчас в Белой Елани днем с огнем не

сыщешь, — а вот и моленная «тополевецв»! Здесь происходили их радения и ночные бдения.

Демид не поддержал разглагольствования Матвея.

— А мне говорили, что у тебя усы, — проговорил Аркашка, прячась в тень возле простенка.

— Сбрил усы, Аркашка. Давай раздевайся. Что ты уселся в полушубке?

— Мне не жарко.

— Он ни зимой, ни летом с полушубком не растается. Закон геолога, — ответил за него Матвей.

Мария подала закуску — огурцы, квашеную капусту, отварную щуку, а Матвей вытащил из своих объемистых карманов две поллитровки водки.

— Ну, как, Демид? Принимаешь сватов?

Демид перемял плечами.

— Мы пришли тебя звать на самый трудный маршрут: Жулдетский хребет пощупать надо. Без знающего человека тут не обойтись. Будешь за проводника и разнорабочего. Заработком не обидим. Харчи казенные...

У Демиды запершило в горле, и он едва сдержал слезы. «Надо начинать все сначала», — подумал он. И вслух твердо сказал:

— Раз надо, так надо.

— Это у меня самый тяжелый участок разведки, — дополнил Двоеглазов. — Нам вот обещают из Ленинграда геофизиков. Но пока мы должны сами разведывать весь хребет. Подготовим плацдарм для них. А вы, говорят, все эти места хорошо знаете?

— Слепым могу туда дойти. Работал там когда-то в окрестностях. Лес валил. Не раз пересекал хребет.

— Вот и отлично. Нам как раз такого человека и нужно. Ну, а как здоровье?

— Не жалуясь. На днях поднялся на Татар-гору по коршуновской стороне.

— По коршуновской?! — уставился Матвей. — Вот здорово! Это же, браток, для альпинистов! Ну, тогда ты нам вполне подходишь. А я-то думал, ты совсем сдал! Вот даешь!.. Значит, сосватали?! Выпьем, братцы, за Демиды! За сибиряка кремневой породы!

— И еще за удачную разведку Жулдетского хребта!

— И за Первое мая! Чего ждать? Два дня осталось!

— Правильно! Кто праздничку рад, тот накануне пьян.

Все выпили и стали закусывать хрусткими огурцами. Только Аркашка, оставив стакан, крикнул, шумно вздохнул и ни к чему не притронулся.

— Ты чего, Аркадий, сидишь, как красная девица? — подступилась к нему расторопная Мария. — Угощайся солониной-то, своя, домашняя, грузочки вот, огурцы...

— Живот у меня сегодня чегой-то купорит и купорит. Поел вчерась в чайной колбасы, и вот второй день все купорит и купорит...

— Эх, бедняга! Ну, это мы сейчас поправим. Раз купорит, надо раскупорить! — И налила ему еще полстакана водки.

Все дружно рассмеялись и выпили по второй. Полюшка заглянула было в горницу и тут же шмыгнула обратно.

— За красивых девушек! — выпалил ей вслед Матвей, взъерошивая слипшиеся волосы. — Мы же с тобой, Демид, годки. И оба старые холостяки. Тебе вот теперь подвалило счастье: дочь как-никак! А может, и мне откуда с неба свалится пара сынов, чем черт не шутит! А я был бы рад! Ей-богу, рад!..

Х

Вся Белая Елань стекалась на первомайский митинг. Дул легкий ветерок, плескались красные знамена.

Престарелый Андрей Пахомович Вавилов — и тот не усидел дома. Он шел в клуб, где молодежь устроила вечер самодеятельности. Дед этот был известен на всю деревню как глава рода Вавиловых. Он давно уже не помнил, сколько ему годов, а однажды, возвращаясь из леса с грибами, перед тем, как перебрести речку, снял холщовые подштанники, перекинул через плечо да так и прошествовал по всей деревне, позабыв надеть их обратно.

Андрюшка встретил прадеда у трибуны.

— Ты куда, деда? — спросил он, весьма озадаченный появлением худощего старика с вислыми белыми усами, все еще бодрого на шаг.

Старик даже не взглянул на такую мелочь, как Андрюшка. Неестественно прямо держа шею на ссохшихся костлявых плечах, не

разгибая ног в коленях, шел он вперед, глядя куда-то поверх таежного горизонта.

— Деда, а деда, ты куда?

Скособочив голову, старик пригляделся к Андрюшке:

— Ты чей пострел?

— Я-то? Вавилов. Ты что, не узнаешь меня, деда?

— Ишь, как хлестко режешь! Чей будешь, говорю?

— Дак Вавилов, дедюа.

— Хо! Вавилов! Разве я знаю всех? У меня, пострел, одних сынов было девятеро, да дочерей семеро, да трех старух пережил, ядрена-зелена! А от них сколь народу пошло, соображаешь? Вот и спрашиваю: от чьего отводка этакий побег отделен? От Никиты аль Катерины?

— Я Степана Егоровича.

— Степанов? Ишь ты!

Андреян Пахомович помолчал минуту.

— Что Степан не зайдет ко мне? Возгордился?

— Да ведь он сейчас в Берлине...

— Ишь ты! В Берлине? Вот оно как обернулась война с Гитлером! Славно. В Берлине? Экая даль! В чужой державе, значит.

И невозмутимый прадед торжественно подался дальше.

Потом Андрюшка долго стоял на крутом берегу Малтата. Синь-тайга распахнулась от горизонта до горизонта. Снег местами еще не сошел, но уже заманчиво оголились сохатиные тропы. Скоро мать возьмет Андрюшку с собой в тайгу.

Подул легкий ветерок. К Андрюшке подбежала Нюрка Вихрова. У Нюрки — большие синие глаза и смуглая, обожженная солнцем кожа. Нос у ней немножко горбатый, как у деда Вихрова.

— Ой, кого я сейчас видела! Угадай!

— Чо мне угадывать. Сама скажешь.

— А вот не скажу!

— Ну и не говори. Важность.

— Самого Демида Боровикова! В кожаной тужурке и в хромовых сапогах. В клуб прошел с баяном. Играть будет. Вот! Пойдем послушаем, а?

— Плевать мне на твоего Демида-дезертира, — рассердился Андрюшка.

— И вовсе он не дезертир! В плену у Гитлера был, вот что. Говорят, у фашистов были такие лагеря, что всех пленных убивали или в печах сжигали. Отец рассказывал.

— Кого убивали, а Боровик вышел живой. Может, фашистам продался! погоди еще, узнают, — угрожающе процедил Андрюшка и плюнул под яр.

Нюрка примолкла, не понимая, почему Андрюшка сегодня такой злой.

— Ой, звездочка упала! Чур моя, — хлопнула она в ладоши, наблюдая, как над тайгою огненным хвостиком мелькнула и угасла упавшая звездочка. Оба задрали головы вверх, раскрыв рты, похожие на едва оперившихся птенцов тайги.

В клубе заиграл баян. Нюрка встрепенулась, как ласточка, готовая вспорхнуть и улететь.

— Ой, Демид заиграл! Пойдем, а?

Андрюшка пошел прочь от Нюрки и от клуба, только бы не слышать, как наигрывает на своем баяне Демид.

Но тут он увидел мать. Она стояла с высоким Матвеем Вавиловым возле крыльца клуба. Андрюшка хотел было шибануть камнем в окно клуба, но сдержался. «Погоди, я еще с ним столкнусь! Я ему покажу, ухажеру проклятому!» — бурчал себе под нос Андрюшка, придумывая, как бы позвать мать, чтобы она не торчала возле клуба. Ничего не придумал. Пришел домой и сказал бабушке, Анфисе Семеновне, что в клубе сейчас играет на баяне Демид и мать там же.

— Ты бы ее позвал домой!

— Как же, позовешь!

Анфиса Семеновна сама пошла в клуб за Агнией...

XI

Агния сидела за столом, как на железных шипах: в контору пришел Демид!..

Матвей Вавилов возвестил всем, что Демид явился к Двоглазову с заявлением и что именно он, Демид Боровиков, будет работать с Матвеем в девятом поисковом отряде.

Девчонки за коллекторскими столами шушукались. Агния слышала, как веснушчатая Лиза Ковшова шептала толстушке Эмме

Теллер, что Демид совершенно необыкновенный парень, хотя и седой.

— Один глаз, а все видит! А как он играет на баяне, если бы ты слышала, Эммочка. Я так плясала Первого мая, что каблуки у туфель отлетели. А он подошел ко мне и говорит: «Каблуки — не пятки, починить можно».

Секретарша Двоглазова, пожилая, бывшая учительница, Елена Петровна, прервала шушуканье девчонок:

— Олег Александрович просит всех в кабинет. Агния Аркадьевна, захватите документы седьмого и девятого отрядов за прошлый год.

Лиза и Эмма погляделись в зеркальце, подчепурились и, сорвавшись со стульев, помчались из коллекторской.

Агния открыла одну папку, достала другую, третью и, перелистывая бумаги, никак не могла сообразить, что ищет. Ах, да! Маршрутные листы и документы. Но какие? Девятого отряда и пятого, что ли? Матюшин руководил девятым... Надо собрать все свои силы, чтобы вот так просто, обыкновенно, на виду у всех встретиться с Демидом.

Секретарша еще раз напомнила и помогла Агнии собрать документы.

«Я даже не успела прибрать волосы, — подумала Агния, когда секретарша открыла дверь комнаты начальника партии. — И лицо у меня, наверное, дикое!»

И сразу увидела Демида, отдохнувшего, помолодевшего. Голова белая, а на лице бурый загар и ни единой морщинки. Совсем парень!

— Начнем с девятого отряда, — подтолкнул голос Двоглазова, и Агния положила на стол начальника папку с документами седьмого отряда.

— Я же говорю: с девятого!

Присела на стул возле стола, боком к Демиду, внимательно слушала Матюшина, Матвея Вавилова, Двоглазова и решительно ничего не понимала: о чем они говорят?

— Если будут геофизики — другое дело. Геолог с молотком не прощупает землю на сто метров, — гундосит Матюшин, страдающий постоянным насморком.

Но вот раздался голос Демида:

— В марте тридцать седьмого года на Лешачьем хребте, помню, геологи подняли образцы марганцевой руды. Я тогда работал в

леспромхозе. Может, там крупное месторождение?

— Случайная находка — еще не месторождение. Посмотрим, что нам даст Жулдетский хребет. Важно разведать и знать наверняка.

Двоеглазов говорил долго, и Агния успела успокоиться. Теперь ей придется часто встречаться с Демидом, и надо привыкнуть к нему сразу, с первого дня.

Совещание геологов прервал незнакомый человек. Борода черная с проседью, вьющаяся, как у цыгана, и взгляд какой-то диковатый. Видать, из староверов. Он ввалился без разрешения в комнату и остановился у порога.

— Геологи тут? — спросил, снимая зимнюю шапку. — Мне надо бы начальника.

Двоеглазов назвал себя.

Старик присмотрелся, хмыкнул себе в бороду, усомнился:

— А не врешь? Тут есть постарше тебя, гляжу.

— У нас совещание, дед, — усмехнулся Двоеглазов, догадываясь, что старик нашел какой-нибудь блестящий камушек медной обманки и выдаст его за кусок золота. — Если у вас какая находка — выкладывайте. Или ждите до вечера.

Бородатый тяжело вздохнул.

— Мои жданы кошки съели, сынок. Вечером меня с собаками не сыщешь. А поговорить мне надо с начальником с глазу на глаз. Потому: дело сурьезное.

— Вы же видите: у меня народ.

— Вижу, парень. Накурили-то — не продохнуть. Вот и сделайте перерыв на десять минут, чтоб проветрить избу. Тут я и поговорю с тобой.

Матвей Вавилов поддержал столь полезное предложение, и совещание прервали. Когда все вышли из кабинета, бородатый сказал Двоеглазову, чтобы он открыл форточку для проветривания, а дверь кабинета закрыл бы наглухо.

— Теперь слушай, начальник. Письменности никакой не будет. Знаю я смертное место — открою для власти. У Двоеглазова белесые брови поползли на лоб:

— Как понимать «смертное»?

— Такое место, где не одного человека ухрястали. Смыслишь? Тогда слушай да не перебивай. Про Жулдетский хребет слыхивал,

начальник?

— Ну и что же?

— С того хребта по рассохам вытекают три речки: Кипрейная, Жулдет и Талгат. Через хребет перевалишь — прииск. Кумекай. Вхолостую работают там, можно сказать. Золото лежит на Кипрейской рассохе. Много! На целый прииск хватит. На том месте Ухоздвигов, который был золотопромышленником, прииск хотел ставить. Революция помешала. Место глухое, дикое, а золота много. Прорва! Если лето поработать с лотком — всю жизнь можно на боковой отлеживаться. Как было на руднике «Коммунар», знаешь? Рудник задохся. Геологов — тьма-тьмушая, а золота нет. Тогда пришел к начальнику человек и сказал: «Дайте поработать мне на себя месяц — место открою». И что ты думаешь? Под носом у геологов взял полтора пуда золота! Хэ-хэ! Так-то, начальник.

— Вы старались на том месте?

— Не старался и рук прикладывать не буду, — отрезал бородач. — Потому — смертное место. Сам хозяин держит его под своей пяткой.

— Какой хозяин?

— Сынок Ухоздвигова. Слыхал про такого?

Двоглазов подумал: не спятил ли старик с ума?

— Он что, воскрес из мертвых?

— Дай бог, чтоб ему подохнуть, — отозвался бородач. — Да живой еще. Мало ли живыми ходят по земле из мертвых? По всем статьям — нету в живых, а — ходит, пакостит.

Старик помолчал, поковырялся пальцами в вечно нечесанной кучерявой бороде, потом достал из-за пазухи кожаный мешочек.

— Неверующему показать надо. Гляди! Это я взял на том месте. Шутейно взял. Вроде испытков сделал. Без лотка. Соорудил желоб возле речки и покидал руками песочек. Без лопаты, парень. Вот! — И высыпал на чистый лист бумаги пригоршню тусклого золота.

Двоглазов определил — не менее полукилограмма.

— Вы же можете сделать заявку, товарищ. Получите деньги за открытие месторождения.

Бородач покачал головой:

— Ни к чему мне, парень, ни заявки, ни золото, ни деньги. Живу при пасеке, замаливаю старые грехи, грею кости на солнце, и тем рад. Вот копнул, говорю, для приблизительности, и носил в кармане. Думал

еще: эх, кабы молодым был, да в силе, да при семье!.. Опосля раздумал: погубил бы и молодость, и силу, и семью через это проклятое золото. Так-то преж бывало, парень. Тепер времена другие, другой хмель жизни бродит!.. — И поднялся.

— Что же вы не взяли свое золото?

— Эхва! Говорим вроде, а друг друга не понимаем. Я же сказал: со смертного места ничем не попользуюсь. Носил в кармане — отдаю тебе. Употребите куда надо, как состоите при руководящей должности.

— Точнее: где это место?

— Скажу. Наперед условие поставлю.

— Ну? Я слушаю.

— Дело давнее. И не надо бы ворошить, кабы не заметил я, что на том месте кто-то старается. Кругом шурфов понакопано. Стало быть, не чисто дело... Вот я и подумал: пасека-то моя от того места рукой подать. Как бы мне не угодить в лапы коршуну, как тому Максиму Пантюховичу...

— Какому еще Максиму Пантюховичу?

— Мужу, что на моем месте был пчеловодом на кижартской пасеке. Давно это было, а в памяти живет по сей час. Сжег его бандюга Ухоздвигов в тридцатом году. Полтайги и деревня тогда сгорели. Вот я и думаю... Ежели опять роют, стало быть, не настал ли и мой черед?.. Потому и решил упредить. А условие мое такое: место то золотиносное по Сафьяновому хребту открыла вдова одна, Ольга Федоровна. В двадцать четвертом году, кажись, это было. Бедовая была женщина! На том месте и столкнулась она с бандюгой Ухоздвиговым. Сидел он над ним, как коршун. Убил он ее. Так-то. Дело давнее, а на моей памяти, будто вчерашний день. Вот и говорю — смертное место. На крови стоит. А условие мое такое. Тут у вас, в Белой Елани, живет сестра той Ольги — Анфиса Семеновна. За Зыряном замужем. Слышал, дочь Зыряна и, стал быть, Анфисы Семеновны, Агния, геологом у вас. Ей и покажу место. Она тоже вроде вдова.

«Вот это космач! — подумал Олег Двоеглазов, разглядывая бородача. — Покопаться, так еще и не такое скажет». — Но расспрашивать ничего не стал.

Условие старика Двоеглазов принял без оговорок.

Поздним вечером, когда звезды в небе разгорались все ярче и ярче и горизонт окутывался непроницаемым мраком, Агния сидела на лавочке возле своей ограды.

На стороне Щедринской чей-то звонкий голос лил в таежную даль:

Молоденький казаченько, шо ж ты зажурывся...

А со стороны Предивной, как бы отвечая на зов дивчины, кто-то орал, пьяным голосом:

*Укрой, тайга, меня глухая,
Бродяга хочет отдохнуть ...*

В тайге этого нет. Там тягучая, медовая тишина. Дрема. Звериные тропы, разливы таежных рек.

Агния думает о тайге, о предстоящем пути куда-то в верховья речки Кипрейной. Там потаенное место, как сказал угрюмый бородач с кижартской пасеки, — «смертное место». Агния знает старика. Зовут его Андреем Северьяновичем. Он вызвался провести Агнию с одним условием — ни часу сам не задержится на том окаянном месте. Агния должна ехать одна. «Лишние глаза — лишний язык, — говорил Андрей Северьянович. — А ты приезжай, ежели смелая таежница».

— Я поеду с сыном, — ответила Агния.

Андрей Северьянович сперва воспротивился, но потом махнул рукой: приезжай, мол. Да накажи парню, чтоб не трепал языком.

Надо ехать. Ничего не поделаешь...

Темень в улице становится до того плотной, что избы на склоне Лебяжьей гривы чернеют, как копны сена. В конторе «Красного, таежника» горит огонь. У раскрытой двери сидят мужики. Сверкают огоньки сигарок.

Подошел старый Зырян, присмотрелся к дочери, как к некой диковине. От его черных замасленных шаровар за метр несло керосином. Приземистый, в брезентовой тужурке нараспашку, лобастый, стоял он перед дочерью, как вопросительный знак, поставленный над всей ее жизнью. С того дня, как появился Демид,

Зырян редко разговаривал с Агнией, будто выжидал. Подойдет, посверлит глазами и с тем покинет.

«Все от Демида меня караулит». Агния спрятала руки в пуховую шаль, съежилась, глядя себе под ноги.

— Думаешь?

— Нет. Так просто. Вечер такой погожий.

— Угу. Завтра едешь?

— Утром.

— С Андрюшкой?

— С ним.

— Подумать надо. Я вот разговаривал с вашим Двое-глазовым. Инженер-то он молодой, необтертый на таежной мельнице. Как бы он не втравил тебя. Я бы на его месте взял этого Андрея Северьяныча за шиворот да в эмвэдэ.

— Это за что же?

— А за то, как старик этот — замок с секретом. В тридцатом он сбежал от раскулачивания и семью за собой уволок. А где скитался — неизвестно! Под конец войны возвратился в тайгу весь опухший. Говорят, «с трудового фронту». Живет вот теперь на пасеке, один, как сыч!..

— Ну и пусть живет. Многие вернулись из бывших кулаков и тоже живут, работают. Я бы сказала, не хуже других. Андрей Северьянович сам пришел к начальнику партии. Чего же больше? Он мог и не приходить, и никто бы не знал. Место он укажет. И если там есть золото, будем разведывать совместно с геологами приискового управления. Мое дело только дойти туда и установить заявку. Вот и все.

— Смотри! Я бы поостерегся. Не ровен час — налетит коршун, как в двадцать четвертом на Ольгу Семеновну.

— Нам ли с тобой, тятя, коршунов бояться!

— Кто-то же ковырялся там?

— Может, это дезертиры рылись во время войны.

— Вранье! Дезертиров было всего пятеро, и тех сразу выловили. Был кто-то другой. Прижать бы Андрея Северьяныча, выложил бы всю подноготную.

Агния молчала. Может быть, отец и прав, но нельзя же вот так просто взять и арестовать человека. За что?

Зырян раскурил трубку и, собираясь пройти в ограду, как бы мимоходом спросил:

— Боровиков тоже едет в тайгу?

Ах, вот в чем дело!..

— Да. У них свой отряд! С Матвеем Вавиловым и с Аркашкой Воробьевым. Жулдетский хребет будут разведывать.

— Угу. Понятно! — хмыкнул Зырян.

Агния с досадой отвернулась. «И чего ему надо? Неужели я не могу поговорить с Демидом или встретиться?!»

Улицей идут двое. Долговязого Матвея сразу узнала. И, конечно, Демид с ним. Громко разговаривают.

— А что ты не возьмешь баян? — гудит Матвей. — Не помеха, думаю. Зато как мы будем жить там! Возьми!

— Без баяна обойдемся, — ответил Демид.

— Агния, кажись? — задержался Матвей, приглядываясь.

— Ну я пойду, — проговорил Демид. — Надо еще зарядить патроны.

И ушел...

Матвей подошел к Агнии и сел на лавочку.

— Что-то, я вижу, Агния Аркадьевна, сторонитесь вы друг друга, как чумные. А чего вам сторониться? Не чужие, кажись. А?

Агния оглянулась на калитку, как бы стараясь убедить себя, что отца близко нет, тихо спросила:

— Выедете утром?

— Как только солнышко подмигнет, так и тронемся. Тебе на Кипрейную? Так что до Маральего перевала будем ехать вместе. Там заночуем.

Агния бесстрастно выслушала Матвея — пусть как хочет, так и думает. Если бы она могла сейчас высказать, что у нее лежит на душе, о чем она думает днем и ночью; сказать бы, как ей нелегко видеть Демида и ни разу не подойти к нему, когда на каждом шагу подстерегают углистые глаза Андрюшки и много, много чужих глаз!.. Но разве можно сказать такое болтливому Матвею?..

Утреннее солнце посылало лучи откуда-то из-за лилового хребта Татар-горы. Над Белой Еланью небо полыхало багровым заревом.

Мимо ограды старого Зыряна проехали трое верховых с тяжелыми сумами в тороках. Агния только этого И ждала — отряд Демида двинулся в путь.

Прикрикнув на сына, чтобы он еще раз проверил подпруги и правильно ли висят переметные сумы, Агния подошла проститься с матерью. Сам Зырян еще на зорьке уехал в тракторную бригаду колхоза. У него свои заботы.

— Ты поостерегись там. И Андрюшку-то береги, — наказывала мать.

— Ну что вы мне страсти нагоняете? Придумают бог знает что и других пугают. Уже по всей деревне переполох пустили.

— Ишь, какая смелая! Сестрица-то моя, Ольга, тоже была отчаянная. А сложила головушку. На золото идешь, понимать надо. Если жилу ктой-то скрывал, знать, доглядывает за ней.

От ворот по ограде, заросшей кустами черемух и яблонь-дички, шел Двоеглазов с ружьем, пригибая голову под развесистыми сучьями, — белобрысый, поджарый молодой человек. Таким вот когда-то был Демид...

Анфиса Семеновна, одернув полосатую кофтенку, почтительно встретила начальника партии:

— Беспokoюсь я, Олег Александрович: ладно ли, что Агния едет одна?

— Думаю, что ничего дурного не случится, Анфиса Семеновна, — сказал Двоеглазов. — Я вот принес Агнии Аркадьевне свою трехстволку — ружье надежное. И, кроме того, дал указание отряду Матвея держать постоянную связь с Агнией Аркадьевной. Они остановятся невдалеке от пасеки и пойдут потом следом.

Анфиса Семеновна поджала губы:

— Матвей-то не больно надежный.

Агния хотела возразить: неправда, мать не от доброго сердца говорит такое. Но, закусив губу, промолчала. Не в Матвее дело!..

— Езжай к воротам, — сказала Андрюшке.

Двоеглазов отдал Агнии трехстволку и показал, как с ней обращаться.

— С таким ружьем не страшно встретить ни медведя, ни сохатого, ни самого лешего. Верное дело. И помните: как мы с вами договорились, так и действуйте. Как только возьмете две-три пробы — если даже неудачные, все равно — немедленно уезжайте оттуда. Я вас буду ждать на Верхнем Кижарте. Там решим, что делать. Поддерживайте связь с отрядом Матвея. Да будьте осторожны. В патронташе полсотни патронов с пулями для нижнего ствола. Как только выедете в тайгу — стреляйте. Надо к ружью привыкнуть. И у Андрюшки есть ружье?

— Берданка. Она у нас тоже надежная, — усмехнулась Агния.

— Ну, Андрей Степанович, ты теперь за мужика. Береги мать, привыкай, — посоветовал Двоглазов, осматривая притороченные сумы. — Что-то мало у вас сухарей. От Кипрейной до Верхнего Кижарта — немалый путь.

— Хватит. Завалим с Андрюшкой медведя да над костром накопим мяса — вот и еда будет.

Тронулись в дорогу. Двоглазов проводил Агнию и долго смотрел вслед: таежница! Побольше бы таких геологов партии!..

Лохматая тайга встретила путников волглостью хвойного леса, цветущим в низинах разнотравьем, гомоном пернатых обитателей.

Тайга, тайга!..

Шумишь ты днем и ночью, непокорная и щедрая кормилица медведей, маралов, сохатых, пушистохвостых белок, золотистых соболей и всякой живности. Не здесь ли звенят хрустальные ключи — истоки рек? Не в твоих ли недрах покоятся несметные сокровища?

Вольготно в тайге летом. По палям рассох и гор, по берегам малых речушек наливается жгучей чернотой смородина, черника, голубица, А в июле начинает красной осыпью вызревать малина! Чего тут только нет!

Кругом разлита сытая истома хвойного леса и разнотравья. А дикий хмель по чернолесью!

Зелен хмель в мае...

Проходит пора, и хмель набирает силу.

«Отцвел мой хмель», — думала Агния, глядя на тонкие побеги, спиралями вьющиеся вокруг черемух.

Думала и так и эдак. Боялась Демида, сторонилась, а втайне грезила о неожиданной встрече.

XIII

Остановились на ночлег на Маральем становище, километрах в пятнадцати от пасеки колхоза.

Когда Агния с Андрюшкой подъехали к стоянке, отряд Демида успел развести костер у холодноводного ключа.

— Давай, давай к нашему огоньку поближе! — приветствовал Матвей, шагая навстречу на своих длинных, как жерди, ногах.

Демид сидел возле костра и чистил рыбу. Мимолетный взгляд — будто сверкнула искорка во тьме и тут же потухла: Демид опустил голову и больше не взглянул на Агнию.

— Мы успели рыбы наловить, — сообщил Матвей: — Ленков и хариусов вытащили из Малтата. За каждого ленка, Агния, с тебя причитается по грамму золота.

— Не дорого ли берешь, Матвей Васильевич?

— Эге! Попробуй налови.

Андрюшка, разминая ноги, недовольно буркнул:

— Нужны нам ваши ленки и харюсы. Ешьте их сами.

— Ого! — Матвей уставился на Андрюшку, как аист на ящерицу. — Вот ты какой...

Агния тем временем расседлала лошадей. Матвей помог ей спутать их, отвел на лесную прогалину на подножный корм.

Андрюшка усердно таскал сухостойник. Он надумал развести свой костер — у чужого не греться, тем более — возле Демидова огонька.

Щупленький Аркашка Воробьев в брезентовом плаще, до того длинном, что полы тащились по земле, пригласил Агнию поближе к костру, но Агния, скупно поблагодарив, отошла к своим вьюкам и там помогла Андрюшке развести огонь.

Матвей сперва наблюдал молча, потом возмутился!

— Да вы что, единоличники или как? Негоже потакать парню, Агния. Он же тебе шагу не даст ступить. А по какому праву, спрашивается. Ты кто такой, Андрюшка? Тля, и больше ничего. Если

поехал с геологами — держись плечо к плечу. Не сопи себе в воротник. Моментом затуши костер. Одного хватит на всю тайгу.

— Мне какое дело до вашего костра? — окрысился Андрюшка.

— Да ты на какой земле живешь? Соображаешь? Геологи мы... у нас такой закон: все за одного и один за всех. Ишь ты, единоличник!

Агния заступилась за сына, наотрез отказалась от наваристой ухи, чем вконец испортила настроение Матвею.

— Попомни, Агния: вырастишь еще одного угрюмого кержака. Наломает он тебе шею.

Демид поглядывал на Агнию от старой пихты. Стоял во весь рост, прямой и высокий, белоголовый, с черным кружком на глазу, в теплом бушлате и в болотных сапогах, и о чем-то думал. Может, осуждал Агнию? Смеялся над ее материнской слабостью? Пусть смеется! Он ведь не растил детей, да еще от разных отцов на глазах у всей деревни.

Но Демид совсем не о том думал. Агния, вот она рядышком. Подойти разве, поговорить? Плевать на Андрюшку. Надо бы ей сказать, Агнии, что он, Демид, совсем не тот, каким был когда-то. «Внутри у меня, кажется, все перегорело и потухло. Не могу я теперь навязываться к ней на шею. Огня из воды не высечешь. И ей нелегко будет со мной, и мне невесело. Так и сказать надо». И вдруг, так не ко времени, вспомнил распахнутые глаза Анисьи. Знал: не для него горит Уголек, и все-таки радостно, что на земле живет Уголек. «Эта Анисья теперь для меня, как заноза в сердце. С ума сошел!..»

Если бы Агния знала, о чем думал Демид!..

Легла ночь. Волглая и мягкая, духмяная, настоенная на таежной растительности. Низина наполнилась пойменной сыростью. Дым от костра не поднимался вверх, а стлался по земле.

Потрескивали еловые сучья. Агния глядела на раскаленные головни и никак не могла отогреться. Что-то знобило ее, точно она искупалась в ледяной воде. И сердцу больно, будто оно предчувствует беду. Вот он, в десяти шагах Демид; но Агнии холодно от такой близости. «Он меня совсем не замечает. И тогда в конторе, я потом на совещании, и на обсуждении маршрутов разведки сколько раз встречались и будто не видели друг друга. Может, он подумал, что я сторонюсь его? Хоть бы нам поговорить!»

Но как поговоришь, когда рядом недремлющий Андрюшка? Вот он беспрестанно подкладывает в огонь сухостойник. Оранжевые языки

пламени жгут тьму. Чернеют конусы высоченных елей. Невдалеке фыркают лошади.

— В тайге еще много снега, — бормочет Андрюшка.

Да, конечно, чем дальше заедут в тайгу, тем больше будет снега. Лошадей придется кормить овсом и прошлогодними вытаявшими травами.

Агния видела, как Демид забрался в спальный мешок и улегся рядом с Аркашкой.

«Вот и поговорили! — ворохнулась горькая мысль, оседая тяжестью в ноющем сердце. — Он таким не был. Совсем, совсем другим стал!.. — И легла на мягкую постель из пахучих пихтовых веток. — Завтра он повернет к Жулдету, а я к пасеке. Так и разъедемся. Навсегда, может».

Обидно и горько, а что поделаешь?

Высоко-высоко мерцают звездочки. Агния смотрит на них сквозь пихтовые лапы точно так, как тогда, давно, глядела сквозь сучья старого тополя.

Костер Демиды гаснет. Для Агнии по соседству только один Демид. Ни Матвея, ни Аркашки как будто нет. Есть Демид и гаснущий костер.

— Ложись спать, — говорит Агния сыну.

— Посижу еще. А вдруг волки? Задерут лошадей.

— В тайге волков нет.

— А где же они водятся?

— Всегда возле деревень. По балкам и оврагам.

Андрюшка помалкивает. Он бы хотел узнать, где и какими тропами будут ехать завтра до пасеки и до золотоносной жилы. Там откроют прииск. Вот это будет здорово! Только как бы тот угрюмый старик не прихлопнул их. «В случае чего — у нас два ружья. Я возьму трехстволку, а мать пусть с берданкой».

Андрюшка очень любит мать. Теперь никакой Демид не закрутит ей голову. И бабушка, Аксиныя Романовна, наказала Андрюшке, чтоб он глаз не спускал с матери и Демиды. «Оборони бог, опять срам выйдет на всю тайгу».

Нет, сраму не будет. Андрюшка — настоящий мужчина...

Чуть забрезжила сизоватая зорька и над низиной Маральего становища собрался туман, геологи оседлали лошадей.

Демид подошел к Агнии.

— Ну, теперь мы разъедемся, — начал он глядя в землю. — Поберегись там. И не задерживайся. Возьмешь две-три пробы — и на Верхний Кижарт.

Вот он о чем беспокоится!..

— Я думала, ты что-нибудь другое скажешь.

Демид ответил твердым, спокойным взглядом. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Я думаю, Агния, мы останемся с тобой хорошими друзьями.

— Друзьями? — У Агнии перехватило дыхание. — Разные бывают друзья, Демид Филимоныч.

— Я понимаю, Агния. Если бы можно было все пережить заново... Знаю, виноват. Если позволишь — Полюшке буду помогать.

— Ах, вот что ты надумал! — У Агнии кровь хлынула в лицо и даже уши зарделись. — Полюшке!.. Нет уж, Полюшка как-нибудь проживет без твоей помощи. А за дружбу благодарствую! Только... не нуждаюсь, — отрезала, как ножом, и ушла к Андрюшке.

Матвей и Аркашка Воробьев должны были ехать до пасеки, а потом свернуть в сторону Кипрейной и там поджидать Агнию с бородачом.

— Если что неладное окажется — двинь из двух стволов. Мы тут как тут будем. А так не покажемся, — сказал Матвей. — Пусть думает космач, что ты одна.

— Я не одна.

— Понятно! Ну, Андрей, держи ушки на макушке!

Демид поехал один в сторону Жулдетского хребта. Там он будет поджидать Матвея и Аркашку в геологическом пятом квадрате, как помечено на маршрутной карте.

До пасеки ехали торной тропой. По взгорью лошади вязли по брюхо в снегах.

Жулдет еще не успел набрать воды. По каменистому руслу бурлила ледяная суводь. Лошади фыркали и ни как не шли с берега в реку. Агния взяла за повод Андрюшкиного солового и первая спустилась к реке. Андрюшка побаивался: а вдруг собьет бурное течение?

Переправились благополучно.

На берегу Жулдета показалась пасека. На обширной елани — рядками расставленные ульи с утепленными днищами.

Андрей Северьянович встретил Агнию с Андрюшкой не особенно дружелюбно. Сказал, чтоб лошадей расседлали подле омшаника, подальше от пчел. «Уж не передумал ли?» — мелькнула отрезвляющая мысль.

— Вы так и живете один? — поинтересовалась Агния, когда расседлала лошадей.

— Со пчелами живу, дева. Один сдох бы. Без родства — душа омертвевает. Слыхивала? То-то и оно.

Вот и пойми: если с пчелами он, значит — не один.

— Ждал вас через неделку-две. В тайге снега, почитай, чуть тронулись. Как одолеем ледник — ума не приложу. В избушке устройтесь или в омшанике? Смотрите, где лучше...

И пошел куда-то в тайгу. А вернулся поздним вечером. Долго грелся возле огня, решительно не обращая ни малейшего внимания на Агнию с Андрюшкой. Агния с сыном опять развели костер, и каково же было их удивление, когда на склоне горы они заметили пятно огня. Это же Матвеев огонек! Вот так спрятались. Хорошо еще, что Андрей Северьянович не заметил.

Но космач узнал-таки, что Агния приехала не одна.

Когда на рассвете собирались в дорогу, он долго к чему-то принохивался и бормотал нечто невнятное себе в бороду.

— Благослови, господи! — перекрестился Андрей Северьянович перед дорогой, не снимая шапки, и тут же оговорился: — А в бога я не верую. Дурман один. У меня свой бог — тайга-матушка. Молюсь, чтоб зверь не тронул.

И вдруг спросил:

— А ты что, дева, вроде сопровождаемых взяла? Огонь жгли вот там. А кому жечь? Охотников поблизости нету, да и на кого охотиться в такую пору? Говори: кто там?

Агния попробовала уклониться от ответа, но Андрей Северьянович рассердился:

— Не мальчонка я, за нос не води. Доверия нету — с места не тронусь.

— В той стороне у нас геологи. У них свой маршрут, у меня свой.

— Эх-хо-хо! — покряхтел космач и пошел впереди гнедика Агнии.

«Доверия нету, вот оно какая музыка, — бормотал себе под нос Андрей Северьянович. — Опять-таки: через что я должен иметь доверие?»

Подумал и решил: заслуг для доверия не имеет.

XIV

Далеко от пасеки не уехали. Кони по пузо вязли в глубоких наметах рыхлого, крупитчатого снега. Агния с Андрюшкой вели лошадей за собой, пробираясь между сухостойными стволами старых пихт. Андрюшка еще удивился: куда ни глянешь — кругом мертвый лес.

— Хо-хо! В бурю-то в таком лесу — чистая погибель. Чуть замешкался — насмерть прихлопнет, парень.

— А почему он засох, лес-то?

— Пакость такая водится. Вредитель, значит. Жучок иль как там прозывается, токмо чистая погибель от него. Как напал на пихтач иль кедрач — вчистую погубит. Вот оно как. Одни в жизни добро делают, а дру» гие — погибель сеют.

Наткнулись на свежий след. Андрей Северьянович пригляделся и сказал, что здесь только что прошли две лошади с тяжелыми вьюками и двое мужчин — один в болотных сапогах, какие носят геологи и приискатели, а второй, легкий на шаг, в броднях. Потому — один все время вяз в снегу, второй — держался на наст.

— По всему: идут за Большой Становой хребет. Если не ваши люди — оборони бог заявиться туда. Сказывай, дева.

— Я же говорила: геологи идут.

— На Большую Кипрейную?

Агния подумала. Большая Кипрейная — приток Крола. Это же за Большим Становым хребтом.

— Разве мы туда идем?

— Куда еще? Туда и есть, Токмо не перевалить через Становой. Не вовремя приехали. Сказывал: не раньше большой воды. А до воды, почитай, полторы недели ждать.

— Это же далеко, Андрей Северьянович! А вы говорили рукой подать,

— Хо-хо! Золото, дева, токмо во сне близко лежит. А так — всегда далеко и трудно. Место там дикое, безлюдное. На сотню верст, а то и более, до прииска нет заимок, и никакой холеры не проживает, окромя таежного зверя.

Впереди, со склона Малого Станового хребта, в струистом лиловом мареве плавал отрог Банского хребта. Таких Становых хребтов по тайге немало. Становой — значит главный, как бы старейшина среди гор. Есть Становой хребет на цепочке Жулдетских отрогов, Маралье-то перевала, Кижартского кряжа, а все они от Саян род ведут, от Саян, опоясавших каменным поясом Сибирь от Байкала до Алтая.

Со склона горы повернули в низину. Не шли, а ползли свежими следами по рыхлому, водянистому снегу.

ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ

I

У каждого бывают безрадостные дни в жизни, когда небо кажется с овчинку. Другой раз так они навалятся на плечи, чтодохнуть тяжело. Сидеть бы сиднем, пережидая житейскую непогоду. Иной как-то умеет перелить полынь горечи в другого: выскажется, что лежит у него на душе, ему посочувствуют, надают тысячу советов, столь же неприемлемых в жизни, как и легко все разрешающих, и — горюну легче дышать. И глаза засветятся у него веселее, в губах мелькнет притухшая улыбка, и он уже видит, хотя и не близкую, но перемену к лучшему.

«Лето не без ненастья, — говорит он себе. — Все перемелется — мука будет».

Не такова была Анисья Головня. Она переживала молча. И чем тяжелее было горе, тем суше были ее глаза. В такие дни она была особенно собранной, отзывчивой на чужое горе.

Безрадостным было для Анисьи возвращение из города домой. Она ушла от матери, собралась навсегда покинуть Белую Елань. В тресте ей предложили место технорука в леспромхозе на Мане. Но ей не хотелось возвращаться в тайгу. Она чувствовала, что надвигается какая-то страшная беда.

Тому причиною была одна случайная встреча в городе. Как-то на улице ее остановил пожилой человек в черном пальто. Он ее просто взял за руку чуть выше локтя и, когда она дернула руку, спокойно усмехнулся:

— Не узнала?

У Анисьи точно оборвалось сердце. Она, конечно, узнала его!

— Давно в городе? — спросил пожилой человек в черном пальто, пристально глядя ей в глаза. — А! По делам леспромхоза? Как успехи? Неважные? Не верю! Не верю, Анисья. В моей родове, как я хорошо помню, бесталанных не было. А ты вся в деда, в моего отца, — нажал он на последние слова и опять взял ее под локоть. Она не вырвала руку. Шла, неживая от страха.

— Зови меня просто дядей Мишей. — (Анисья вздрогнула). — Ну, а что нового в Белой Елани?

Анисья не знала что сказать, и совершенно случайно выпалила, что ее мать как будто вышла замуж за Филимона Боровикова.

Дядя Миша ничуть не удивился и не огорчился:

— За Филимона? Вот как! Разошелся со старухой?

— Она... повесилась.

На этот раз дядя Миша даже замедлил шаг:

— Повесилась? Удивительно! Она же из старообрядок-тополевцев, а, как мне известно, у старообрядцев насильственная смерть — тяжкий грех. Прямая дорога в ад. Как же это случилось?

— Мама писала, что сын Филимонихи, Демид, нашел у матери золото и сдал государству.

— О-о! — протрубил дядя Миша. — Это уже причина! Когда подошли к шумному перекрестку, дядя Миша пригласил Анисью в ресторан «Енисей» — в тот же!.. — отметить хорошим обедом их встречу. Анисья не хотела идти в ресторан, отговаривалась, но дядя Миша так цепко держал ее за локоть, что Анисье пришлось уступить. Все равно он ее не выпустит из рук.

«Теперь я погибла! Погибла, погибла!» — твердила Анисья про себя, а дядя Миша снял с нее пальто, пуховую шаль, отыскал столик в тени от света большой люстры с хрустальными подвесками, подальше от шумного оркестра.

Теперь они были вдвоем...

Он очень переменялся, «дядя Миша». Человек, которого Анисья даже про себя не могла назвать настоящим именем.

Одет просто — в черный шевиотовый пиджак, видна клетчатая рубаха без галстука, но лицо — другого такого не встретишь, наверное, во всем городе на Енисее! Оно было особенным: заостренное, как лезвие бритвы, энергичное, изрезанное глубокими морщинами. У дяди Миши появились залысины, и на темени серебрились реденькие волосы. Запомнились руки — нетерпеливые, нервные, цепкие, жилистые. Дядя Миша никак не мог их удержать на одном месте. То клал на скатерть ладонями вниз, то передвигал фужеры и узорные рюмки, то потирал ладонь о ладонь, похрустывая пальцами. И только глаза — глубоко запавшие, какие-то бесцветные, под такими же тонкими бесцветными бровями, смотрели на Анисью

безжалостно и страшно: они копались в ее душе, в ее сердце, иглами покалывали напряженные нервы.

— Как поживает Крушинин в Сухонакове?

— Охотник? Тот, что отбыл срок за поджог тайги?

— Ну, я не знаю, за что ему тогда приварили. Меня интересует, чем он теперь занимается?

— Известно чем. Браконьерничает.

— А! — Дядя Миша тонко усмехнулся. Говорил он до того тихо, что Анисье все время приходилось нагибать голову. Со стороны глянуть — не иначе как старик затеял интрижку с бывалой девчонкой.

— Ну, а Потылицын как? Андрей Северьяныч?

— Какой Потылицын?

— Пчеловод. Он же там заведует Жулдетской пасекой.

Нет, Анисья не встречалась с Потылицыным.

— Мургашку-хакаса видела?

— Лесообъездчик? Он напару с Филимоном работает.

— Понятно! Боровик любит загребать жар чужими руками.

Официантка — круглая, как бочонок, — собрала на стол. Дядя Миша наполнил одну рюмку мадерой, а другую — водкой:

— За твои успехи, Анисья. И за счастье.

У Анисьи сдавило под ложечкой: какие тут успехи! Какое может быть счастье!

— Санюха Вавилов медвежатничает?

— Он всегда в тайге. Как бирюк.

— Так сложилась у него жизнь. Был веселым парнем. Братья его доконали. Это же космачи!

Анисья попробовала бульон с гренками, но не осилила и десяти ложек.

— Выпьем для аппетита, — предложил дядя Миша. — Без аппетита жить нельзя на белом свете.

Пришлось выпить. Приятная золотистая и вкусная мадера обожгла Анисью до кончиков пальцев.

Дядя Миша что-то вспомнил и пристально глянул Анисье в глаза. До нутра прохватил:

— А ведь у Филимона Боровикова, как я помню, сын погиб в начале войны. Разве у него еще был сын?

— Нет, тот самый. В леспромхозе до войны работал. Вернулся из плена.

— Ах вот как!

И, секунду помолчав:

— Как же он раскрыл материнскую записку?

— Не знаю, — Анисья не хотела говорить про Демида.

В одиннадцатом часу вечера поднялись из-за стола.

Из ресторана по улице Перенсона вышли на Дубровинскую, где Анисья остановилась на квартире у знакомых. Дядя Миша что-то говорил ей, чтобы она держалась молодцом и что не вечно же они будут последними могиканами, но Анисья ничего не понимала. Единственно, что ее жгло, как каленым железом, — сознание того, что она запуталась, запуталась навсегда и ей лучше бы умереть, чем жить с такой тяжестью на сердце.

Вспомнила Демида. Что сказал бы он, Демид, если бы знал всю подноготную про Анисью?

Долго и безутешно плакала в постели, накрывшись с головою одеялом. «Есть же счастливые люди! Живут, никакого горя не знают. А она должна нести такой крест. За что?»

В полночь тронулся лед на Енисее. Домик стоял невдалеке от берега, и Анисья сразу проснулась, как только раздался гулкой треск льда. Из затона доносились протяжные гудки: где-то невдалеке образовался затор.

На Анисью напала тоска. Она не знала, куда себя деть. Сторонилась товарищей. Вечерами допоздна торчала на берегу Енисея и все смотрела и смотрела на кубовые горизонты далекой тайги, будто хотела постигнуть их тайну.

II

Подтаежные колхозы начали посевную; на лесопункте образовался прорыв. Не хватало рабочих, а лесосплав не за горами.

В труде забываются невзгоды и огорчения. И Анисья с головой окунулась в нахлынувшие заботы. Она никому не жаловалась на трудности. Ее видели то в седле, то на лесосеках, то на трелевочном тракторе. Случалось, ее ругали на планерках. Но не нашлось бы

такого, кто не уважал бы Анисью. Рабочие прозвали ее Горячкиной. За темперамент.

Ее газетная статья про опыт мастерских участков лесопункта расшевелила райком.

Приехал секретарь райкома Селиверстов, похожий на монгола, подполковник запаса. Он встретился с Анисьей.

— Читал статью, читал, — сразу начал Селиверстов и крепко пожал руку Анисье. — Хороший горчичник приложила Завалишину. И мы еще приложим. Сейчас задача: подтянуть фланги. Такие мастерские участки надо организовать на всех лесопунктах. Особенно на Тюмиле.

Завалишин — бестолково-суетливый управляющий участком, с которым Анисья не раз схватывалась, держался на этот раз тихо: воды не замутит.

Шумел лес — пихтовый, пахучий.

Шум леса для нее стал печальным и грустным.

— Что ты невеселая, технорук? — заметил Селиверстов и, взяв за плечи Анисью, повел ее в свой газик-вездеход.

В машине Селиверстов спросил у Завалишина:

— Так что же ты надумал? Как организуете передачу опыта мастера Таврогина?

— Созовем совещание.

— Думаю, совещание ничего вам не даст. Надо организовать школу передового опыта. И тебе придется, технорук, взяться за эту школу. Обязательно. Ты комсомолка?

— Я? Н-нет. — Анисья облизнула сохнувшие губы. — Давно не комсомолка. С сорок седьмого.

— Вот как! А райком комсомола числит тебя в своем активе. Как же это произошло?

— Из возраста вышла. Мне же двадцать шесть лет.

— Подумать, какая старуха! Я вот пожизненно считаю себя комсомольцем. А ты записалась в старухи. Совсем нехорошо.

Селиверстов говорил долго и убедительно, но не тронул этим Анисью. У нее свои соображения и тайны. Не могла же она вот так, вдруг сразу, при Завалишине и шофере, распахнуть душу и сказать, что она сейчас живет, как зафлаженная волчица.

Вечером на лесопункте созвали мастеров и передовиков-рабочих. Секретарь райкома торжественно вручил президиуму собрания переходящее Красное знамя и сказал коротенькую напутственную речь.

— А теперь давайте поговорим, что вам мешает работать еще лучше.

Анисья не хотела выступать, но ее заставил мастер Таврогин:

— Давай, Горячкина, скажи, как Завалишин устроил нам «скатертью дорога» из балансов.

— Крой, Горячкина! У тебя это накипело!

Ничего не поделаешь — пришлось выйти к столу президиума.

Завалишин покосился на Анисью, как на гремучую змею, и, втянув округлую косматую голову в плечи, сидел ссутулившись, точно ждал удара в затылок.

Анисья говорила про мастера Таврогина и про другие бригады, которые работали рядом с передовыми, а плелись в хвосте.

— А теперь я хочу сказать про мои взаимоотношения с управляющим участка...

— Подбить личные счета. Самое подходящее место, — подкинул Завалишин.

— Личных счетов с Иваном Павловичем не имею. Есть у меня счета по актам.

Анисья открыла толстую папку и положила на стол президиума несколько актов.

— Вот мои счета, Иван Павлович, — и, обращаясь ко всем, продолжала: — Товарищу Завалишину не нравится, что я технорук. Ему не по душе вообще техноруки. Ему бы хотелось работать по-семейному: ни я его, ни он меня. Взаимоприкрытие от всяких неприятностей. А так работать нельзя. Позавчера на нашем лесопункте товарищ Завалишин дал указание проложить дорогу по заболоченному месту из балансов для горной промышленности. Я не подчинилась приказу. Лес растет не для того, чтобы его срубить и сгноить на месте. Вот еще один акт. Под носом директора поржавели электропилы. Их привезли на участок непригодными к работе. Директор дал указание списать их...

— Не было такого указания!

— Было, Иван Павлович. Только не в письменной форме, — сдержанно заметила Анисья и, приглядевшись к задним рядам, к двери, осеклась. Возле дверей стоял... Демид Боровиков!

«Не может быть! — испугалась Анисья, совершенно забыв про все свои акты. — Я с ума сошла!.. Нет, нет!» И еще пристальнее поглядела на человека в кожаной тужурке. Его белая голова резко выделялась на фоне темной двери. Это, конечно, Демид! И рядом с ним Матвей Вавилов и Аркашка Воробьев. Геологи! Какими ветрами занесло их на собрание лесорубов?

— Продолжай, Анисья Мамонтовна, — напомнил Селиверстов.

Что она еще должна сказать? Никак не могла собрать в папку злополучные акты. Она видела, как Матвей Вавилов повернулся к двери и потянул Демиду за рукав тужурки. Он не должен уйти, Демид. Не должен. Демид — вот кто ей поможет выпутаться из трудных обстоятельств. Демид — единственный, кто поймет ее... Анисья хотела крикнуть, чтобы Демид не уходил. Что она должна с ним встретиться и все сказать. Пусть он ее судит, Демид. Он один имеет право судить Анисью.

Так и не закончив выступления, Анисья кинулась от стола президиума. И сторонкою, возле стены, пробралась к двери.

— Горячкина! Ты куда? Завалишина испугалась, что ли? — кто-то крикнул ей вслед.

III

Пригнув голову, ничего не видя и ни на кого не обращая внимания, Анисья выскочила на крыльцо, увлекая за собой Демиду. Ей было все равно, что подумают о ней люди, что скажут, лишь бы он не ушел вот так сейчас, сию минуту.

Запыхавшаяся, взволнованная, шла она по обочине дороги. Волосы ее были растрепаны и пряди топорщились красноватыми кольцами, падая на лоб и виски. На верхней губе пристыло пятнышко от мазута.

Теперь они были вдвоем. Только черемухи по обочине дороги да пыльный смородяжник источали пряное дыхание. И сразу же Анисья испугалась. Что она наделала? Зачем на людях схватила Демиду за

руку? Что подумает он сам? Что хотела сказать, вдруг исчезло куда-то, растерялось...

— Что с тобою, Уголек? — Как давно он не называл ее так! — Что случилось?

Она не сразу уяснила, что значат его слова, и мучительно вглядывалась в его лицо. Значит он, Демид, не сердится на нее? В его взгляде столько теплоты и участия. Седые волосы коротко подстрижены и сверкают на солнце, как серебро. А лицо бурое от загара и совсем помолодевшее. Они не встречались с той страшной ночи, и было удивительно, что он совсем не такой, каким ей показался в первый раз. Тот Демид, которого она спасла от волков, а потом надавала пощечин, был какой-то подавленный, отчужденный и омерзительно свирепый. А этот — простодушный, сияющий, радостный.

— Ну, что же ты, Уголек? Что ты так смотришь? Я же к тебе приехал! — с запинкою проговорил Демид. — Ты уж прости меня. Я тогда замотался. То волки, то страсти-мордасти Авдотьи Елизаровны, то битва с Филимоном Прокопьевичем. Все пронеслось, как в угаре. И взвинчен же я был в тот страшный день!

— Это я... Я виновата! Я хотела все по-другому... — бормотала Анисья, смущенно и жадно глядя на Демида.

— Если бы ты знала, видела, как я летел к тебе, Уголек! Я так спешил! Прямо через горы, без тропинок, лесом. Мне все казалось, что с тобой что-то случилось. Иду и такое во мне чувство, будто я догоняю тебя, а ты все бежишь, бежишь лесом, лесом! Я уж думал — тебя нет...

Ее глаза, распахнутые, лучистые, благодарно тянулись к нему, и та сила, которую она сдерживала в себе, вдруг хлынула из ее сердца потоком без слов, смыв всю ее девическую стыдливость, всю скованность. Сейчас же, немедленно, сию минуту должно разрешиться все. Только бы обрести ясность. И если уж потухнет ее не успевшая разгореться любовь, то пусть тухнет сразу. Но от одной мысли, что Демид уйдет, она опять останется со своими думами одна, ее охватил страх. Не помня себя, она вдруг обвила его литую, тугую шею загорелыми руками. Его теплые, мягкие губы закрыли ей рот, прижали кончик носа...

— Не уходи, не уходи... — шептала она. — Я так виновата. Так виновата...

— Что ты! Что ты, Уголек! Это я, идиот, ничего не мог поделать с собой. Я не должен был приходить сюда. Но я не мог. Говорю тебе, все эти дни я как с ума сошел! Меня хлестали такие чувства — и горькие, и сладкие, и мучительные. Ну, думаю, если еще день-два тебя не увижу — расшибусь где-нибудь об деревья. И письма тебе писал. Сколько я порвал писем! Напишу и сам испугаюсь. Порву, опять пишу, пишу, рву... Ну, прямо, как мальчишка. А потом решил — сбегаю, только посмотрю на тебя и сейчас же уйду...

Он и правда был похож сейчас на мальчишку. Кроткая, наивно-детская улыбка застыла на его припухлых губах, с горькими складками по углам рта. Если бы не седина, кто бы мог подумать, что ему уже тридцать три года?..

Снова они шли тем же берегом, как и двенадцать лет назад. Руки их, влажные и горячие, сплетались в едином тугом узле. Полноводная река пенилась, ревела, затопив курьи и отмели. Тополя и прибрежный кустарник выступали из воды, как причудливые гигантские водоросли. Заматерелые ели стояли на берегу, сберегая сумрак и прохладу бурных вод. По реке снова шел лесосплав. Толстые и тонкие бревна, тесня друг друга, неслись по быстрине, как огромные щуки.

— Ты помнишь это место, Демид? Здесь меня укусила змея...

Помнит ли он?! Да он готов поклясться, что сама судьба пришла к нему навстречу в образе этой маленькой босоногой девчонки! И теперь он готов еще раз заново пройти все мытарства, чтобы только дожить вот до этой счастливой минуты!..

Где та тропа, по которой они бежали осенью тридцать седьмого года? Черемушник, боярышник, калинник, никлые прошлогодние травы, пробившаяся свежая зелень и сплошные заросли ягодников — все это запуталось, перевилось дурниной, снесло с лица земли старые тропы.

— Пойдем напрямик, — сказала Анисья и первая нырнула в чащу.

С кустов то тут, то там свешивались хмелевые плети. И Анисья, продираясь вперед, высоко запрокинула голову, то и дело отводя в сторону изумрудные спирали новых хмелевых побегов. Одна из плетей захлестнула ее удавкой, больно резанув по шее. Анисья пыталась освободиться, но побег все крепче впивались ей в кожу, так что

Демиду пришлось перегрызть их зубами. И вдруг борьба чувств, желаний, которые он так долго сдерживал, все это разом поднялось, подобно вихрю, начавшемуся крутиться по дороге. В ушах у него звенел ее голос, под ладонями он ощущал ее вздрагивающее тело, и от этого еще более возбуждался. Он схватил ее в охапку, прижал к себе и с какой-то изголодавшейся дикой жадностью целовал в губы, в щеки... От всего ее тела пахло ароматом разнотравья до того резко, будто вся она состояла из цветов. Может быть, так пахли смятые цветы, он так и не мог понять, откуда шел такой запах, бьющий в виски и обволакивающий сердце. Но он с жадностью вдыхал этот запах и все жарче целовал ее в губы, в щеки, в коричневую родинку на шее, похожую на горошину. Он спешил. Он страшился не того, что делал, а того, чтобы она не ушла от него, страшился неисполнения желания, от которого, как он думал, зависело все его будущее...

Анисья летела по пойме, как легкая лань. Ветви кустарника хлестали ее по лицу, она не обращала на них внимания, а все бежала, бежала, прижав к груди косынку, в которой, зацепившись, торчал пониклый приплюснутый цветок. Свершилось! То, что так долго давило на ее сознание, казалось, порою делало ее жизнь неполноценной, наконец-то свершилось!

— Ты что-то хотела мне сказать, Уголек?..

К чему слова, зачем думать опять обо всем этом бреде: о матери, о дяде Мише, когда все вокруг так прекрасно, и она, наконец, поняла, что все пустяки перед счастьем, которое ей открывала любовь...

— Ты сердись на меня, Уголек?

— Нет, нет! Что ты?! Давай, Демид, перебежим на тот берег!.. И если... если мы хорошо перебежим... Пусть тогда все плохое у нас останется позади!

Демид хотел крикнуть, что она с ума сошла! Что так шутить нельзя, что, разве она не видит, затор только что тронулся с места и сплавщики все до одного сбежали на противоположный берег. Но было уже поздно. Анисья прыгнула на затор. Демид кинулся за нею.

Затор был очень большой. Его только что прорвало мощным течением. Бревна трещали, бились, тупо упирались друг в друга. Гора леса, шевелящаяся, как живая, медленно оседала. Демид и Анисья карабкались на эту гору. Пан или пропал! Другого пути у них не было.

Демид увидел, как одно бревно, толщиной в обхват, свечой вылетело из груды леса и тут же рухнуло, брызнув корою. Секунды три он приглядывался, переводя дыхание, не столько к шевелящейся горе — безжалостной, если вдруг оступиться и угодить между бревен, — сколько к Анисье, к ее ногам, куда они ступят? Он помнит, как вот в таком заторе одного рабочего расплющило в лепешку, так, что и хоронить нечего было.

— Эй, вы, черти, куда лезете! — крикнул сплавщик с того берега. — Эй, Демид, с ума ты сошел! Вернитесь, говорю! Вот дураки! Куда лезут, куда лезут?!

Ничто не могло остановить Анисью. Она верила, она знала, что должна стоять насмерть, как солдат, которому отступать некуда. Она бежала по затору, нарочно забрав вправо, вверх по течению, то и дело оглядываясь, здесь ли Демид? Вот перед самым ее носом с каким-то звериным шипом, треском, выскочила осклизлая, бескорая тонкая ель, брызнув холодными каплями в лицо. Она отскочила в сторону, упала, зашибла колена. А бревна громоздились, шурша перед ее глазами, выпираемые чудовищной силой закупоренной реки. Перескочив на толстую сосну, балансируя, мелко перебирая ногами, она оглянулась. Демид барахтался в воде. К нему навстречу по затору бежал рабочий с багром в резиновых сапогах с длинными голенищами. Ее испугало выражение его лица, освещенного солнцем. Но тут, прямо на нее, в упор, лезло круглое бревно. Сзади что-то трещало, шипело, терлось, слева — бурлила вода, справа — неслись новые лесины, разбивающие затор. Она почувствовала, что кровь разом отлила от лица, по спине побежали мурашки. С ужасом она ощутила, как ее больно ударило в плечо и оттолкнуло от лесины: круглое бревно легло рядом. Она опять кинулась ползком по этому бревну, растерянно оглянувшись влево и вправо. Надо было прыгнуть. Если она перепрыгнет через этот рукав кипящей воды, то спасется. Там устойчивый затор. И она прыгнула, ловко вцепившись руками за что-то круглое и мокрое. Впереди был берег, совсем рядом...

— Ну, Головня! Чтоб вас черти забрали!.. Ну, окаянные! И ты, Демид! Со смертью играли!.. Ежели бы я не подоспел с багром, приплюснуло бы тебя меж бревнами. Счастливый ты, истинный бог! — говорил черноголовый плосколицый рабочий с багром в руках. Тут же подбежали еще трое сплавщиков.

— Ну, Анисья! Ну, оглашенная! Куда неслась-то?.. Что у тебя горит? Надо переждать было, паря... Тут черт-те что! Завсегда такой затор. Поднапрет, а потом как почнет корезить, только держись.

— Ничего, ничего! — сказал Демид, выжимая портянки. — Значит, нам еще долго жить!

На лице у Анисьи не было ни кровинки.

IV

К ограде Головешихиной усадьбы подошла старушка в рваном мокром пальто и суконной шали, с клюшкой в руке. За ее спиной болтался мешок, без слов говорящий о ее профессии.

Старушонка, чавкая разбухшими чирками, вошла в ограду, где ее встретил здоровущий черный кобель.

— Цыц, падаль! — крикнула она, ловко сунув в пасть собаки клюшку так, что кобель с воем отскочил от нее.

Головешиха вышла на стук в сенную дверь, глянула на старушонку, брезгливо сдвинув пухлые губы, сказала:

— Иди, иди, голубушка! Не подаю.

Пытливые глаза старушонки зыркнули за спину Головешихи, пощупали там тьму и встретились с настороженным взглядом хозяйки.

— Иди, иди, бабушка, — спроваживала Головешиха старушку, намереваясь захлопнуть дверь перед ее носом.

— Христос с тобой, какая ты пужливая, — сказала старушка, настырно просовывая клюшку в сени. — Я, может, не к тебе, а к вербовщику. На стройки коммунизма... У тебя, говорят, проживает.

— О, господи! Она... пришла завербоваться! — И Головешиха, подбоченясь, расхохоталась, поблескивая оскалом здоровых зубов, — Умора! Твой вербовщик, бабушка, на кладбище! Ха-ха-ха!

— Не лопни, красавица. От смеха морщины ползут по лицу, — предостерегла старушонка и, сразу посерьезнев, приблизив к Головешихе лицо, проговорила вполголоса:

— Крести козыри.

«Крести козыри» — это был условный пароль самого «капитана». Один-единственный человек мог послать к Головешихе доверенного с таким паролем. Господи боже мой, наконец-то! Как она ждала этой минуты!

Сколько раз бывая в Красноярске, она бродила по улицам, вглядываясь в лица прохожих, надеясь случайно встретиться с «капитаном». Она почему-то не верила, что «капитан» мог погибнуть. Он же такой опытный, настырный, ловкий. Нет, он не погиб. В газетах все чаще писали про «холодную войну», про атомную бомбу, а «капитан» молчал. Почему он молчал? Гавря! Милый Гавря!

И вот встреча со старушонкой! К ней явились долгожданные «крести козыри»!

— Как ты сказала, бабушка?

Секунду приглядывались друг к другу.

— Крести козыри. Ответь свое.

Рука Головешихи, ослабнув, сползла по косяку двери.

— На крестовую даму кинь, — тихо ответила.

— Есть кто в доме?

— Никого.

— Дочь дома?

— Она сейчас в тайге.

— А вербовщик-то где?

— Уехал.

— Насовсем?

— А что ему тут делать? И без него все мужики, которые попроворнее, ушли яа прииск, на рудник и в леспромхоз.

— Хи-хи-хи, — сморщилась старушонка. — В колхозе-то, наверное, мало мужиков осталось?

И, не дожидаясь ответа:

— Одна, значит. Чайной, слышала, заведуешь? Ну я пройду в избу. Закрой сени на задвижку. И никого не впускай. Баньку бы истопить. Прогреться бы с дороги.

— Истоплю, бабушка, — И голос-то у Головешихи переменялся. Лился, что масляный ручеек. Куда девались заносчивые нотки.

— Ишь ты! А гнать хотела.

Старушонка переступила порог степенно, с достоинством. По тому, как важно она поворачивалась, какими движениями сбросила с плеч рваную хламиду и сняла через голову такое же рваное платье, под которым была надета теплая вязаная кофта, видно было, что старуха из бывалых.

Головешиха развесила нищенские доспехи доверенной «капитана» на просушку и пригласила гостью в горницу.

— Ишь ты какая, Авдотья Елизаровна! — Старушонка уселась на диван. — Я-то думала, что встречу «крестовую даму» моих годов. А ты — красавица, да еще с норовом. Наверное, от мужиков отбоя нет?

Головешиха хихикнула:

— Не те годы, бабушка.

— Видать! Вербовщик-то без ума уехал от тебя? Слышала: судить его будут... за растрату денег. Пропил, будто.

Головешиха, краснея, вытаращила глаза. Вот так старушонка!

— Кто говорил про вербовщика-то?

— От ветра наслышалась, милая. Ловко ты его общипала! Ветер шепнул, будто десять тысяч просадил он в Белой Елани. Дорогая ты, Авдотья Елизаровна. За такую хватку сам «капитан» похвалил бы.

Моложавая хозяйка сладко вздохнула. Сам «капитан» ее не осуждает!..

— Он где, «капитан»?

— При своем месте.

— В городе?

— Не все знать надо, милая. «Капитана» теперь нету. Есть слуга господний «Свидетелей Иеговы», Михайла Павлович Невзоров. Или запомятовала?

Головешиха слышала про секту «Свидетелей Иеговы», пустившую корни в леспромхозе. Секта тайная. Неужели сам «капитан» вступил в такую секту?

— Он же... неверующий, бабушка. Как же он в секту вступил?

— Не мели лишку. И про «Свидетелей Иеговы» тоже помалкивай. Они свое дело вершат в тайности. Грядет день Армагеддона, и погибнут слуги сатаны.

Старушонка оглянулась, точно боялась: не подслушивает ли ее кто?

— Гонение великое на слуг господних, да не все ведомо властям. В одном месте сожгут, в другом господняя травка опять зазеленеет. Так и «Свидетели Иеговы». Как травка — из-под камней, а пробьется к божьему лучику.

Вот еще наваждение! Неужели и Головешихе придется вступить в эту секту?

— Ты живи, милая, как живешь, — ответила посланница «капитана». — У спасителя много верных слуг, но не всех он выставляет напоказ. Одних уберут — другие объявятся.

Хозяйка собрала на стол. Поставила дымящиеся жирные щи из говядины, жареную баранину в утятнице, разлила в стаканы малиновую настойку собственного изготовления и пригласила гостью:

— Тебя-то как звать, бабуся?

— Так и зови. Другого имени не спрашивай.

Вот что значит свидетельница бога Иеговы. Не брякнет лишку, не выдаст то, что не должен знать третий.

Головешиха догадалась, что старушонка побывала в Сухонаковском леспромхозе, где свили себе гнездо сектанты.

— У латышей побывала, бабуся?

— У каких латышей?

— В Сухонакове. Там у них большая секта. Чирки-то у тебя на ногах латышские. Они такие мастерят.

Старушонка подтянула ноги под табуретку и поджала тонкие губы:

— Чирки тебе оставляю. Найди мне какие-нибудь сапожишки.

Выпили крепкой «малиновки», взаимно пожелав друг другу доброго здоровья.

— От «капитана» есть письмо мне?

— Я же сказала: «капитана» забудь. Есть Михайла Павлович Невзоров. По охотничьему делу работает. Какая же у тебя непутевая память, ай-я-яй! Поговорим после баньки. Устала я, милая. Сколько верст перемесила грязи!.. Михайла Павлович собирается приехать к вам в тайгу ловить живых зверей для зоопарков. И напарник с ним. Подумать надо. Ответ будет ждать через меня.

— Какой ответ-то?

Старушонка не сразу сказала:

— Тут его никто не темнил? Может, слух какой прошел?

Головешиха заверила, что про «капитана» местным властям ничего не известно. Дело давнее.

— А ты не спеши с ответом. Сама все узнаю через старух. Вот еще письмо надо пустить по рукам.

Старушонка достала из-под кофты сверток бумаг, вынула «божье письмо» и дала его почитать хозяйке.

«Святое письмо к верующим во Христа спасителя, в господа бога и божью мать. Аминь.

Истинно говорю вам, верующие и те, кто сбился с пути господнего: все, что не от бога, будет разрушено огнем и мечом, мором, градом, наводнением, серым дымом. И тогда свершится суд господний, слуги сатаны сгинут, а верующие спасутся.

Смотрите, кто этому письму не верит, тому великий грех будет.

Истинно говорю вам: придет на землю день Армагеддона в ту минуту, в тот час, когда вы не будете его ждать...»

Письмо было длинное, с угрозами и проклятиями для неверующих в бога Иеговы.

И православной церкви досталось. Оказывается, и церковь сатанинская!..

Головешиха не поверила ни единому слову «святого письма», но виду не показала.

Старушонка прожила у гостеприимной хозяйки три дня и ушла на зорьке в неведомом направлении, оставив в Белой Елани послание бога...

V

Новости в деревне пухнут, что тесто на опаре. Откуда-то влетело в ухо Авдотье, что был-де старик с Кижартской пасеки, заявку про золото сделал. Кроме того, слухи ползли: в тайге беспокойно.

С этого дня Авдотья Елизаровна преобразилась, втайне стала поджидать гостя.

Вечерами в чайной собирались рабочие геологоразведки, леспромхоза, сплавконторы, проезжие горняки и приискатели и, конечно, местные жители.

Авдотья Елизаровна умела не только потчевать, но и не менее охотно принимала приглашения посидеть минутку-другую возле столика.

Ни разу не побывал в чайной Демид Боровиков. До Головешихи доходили только слухи и, как назло, не из приятных. Ждала: не похвастается ли Демид, как живут за границей? Не обронит ли где ершистое слово про жизнь в Белой Елани? «Демид-то как живет? —

обычно спрашивала она у знакомых завсегдатаев чайной. — Говорят, будто не по вкусу пригласил его таежная житуха?»

— Пошто не по вкусу? Наоборот! Помолодел. В самую пору женить!

Настораживало Авдотью Елизаровну сообщение о том, что Демид будто бы встретился с Анисьей. Головешиха призадумалась. Не замышляет ли Демид закрутить Анисье голову? Или тут еще что-то скрывается?

Было одно обстоятельство, над которым Головешиха упорно размышляла. Какими судьбами уцелело у покойной Филимоники столько золота, и денег, и дорогих вещей в сундуках? И разве не досадно, что ценности уплыли мимо Головешихи? Как мог допустить сам Филимон Прокопьевич, чтобы все эти богатства хранились у выжившей из ума старухи?

А может быть, у Филимона в заначке еще кое-что есть? Когда он стал вдовцом, Дуня начала встречать его с еще большей ласкою, негою, игривостью своего полнеющего тела; и Филимон, забывая о старости, чувствовал себя в ее доме сорокалетним мужиком. Его медно-красное лицо так и сияло! И пусть на деревне говорят все что угодно, пусть срамят его, но он сошелся с Головешихой после сороковин покойной старухи, и ему наплевать на все разговорчики.

От лесхоза до Белой Елани каких-то два десятка километров. Так что Филимон Прокопьевич наезжал к новой жене чуть не каждый день. Вечерком примчится на сытом мерине, а на солнцевсходе он уже в седле, а к полудню — у себя на заимке, на Большом кордоне, что расположен был среди плотных зарослей пихтача, ельника, кедрача, где по склонам гор кустился малинник, смородяжник, чернишник — соблазнительные места для ягодниц.

В обязанности Филимона Прокопьевича и его соседа по участку — лесообъездчика Мургашки входило наблюдение за лесом, за подрастающим молодняком и, главное, охрана редкостного кедрача от хищнических порубок охотников за кедровыми орехами. Осенью в Разлюбовскую теснину, где рос сплошной кедрач, наезжали любители орехового промысла. Они-то и валили огромные кедры направо и налево, устраивая лесные заломы. Филимон Прокопьевич задерживал браконьеров и иногда доставлял их в Белую Елань к участковому Грише. Чаше же всего он предпочитал взыскивать с

нарушителей собственной властью и разумием. Попросту брал взятки — шкурами зверей, деньгами. И отпускал грешников с миром.

Кроме того, Филимон Прокопьевич обязан был предупреждать лесные пожары, смотреть за охотниками, чтобы они не истребляли красавцев-маралов, которых осталось в белоеланской тайге не так-то много. Но никто, пожалуй, не был столь равнодушен к их истреблению, как Филимон Прокопьевич и Мургашка!

Они и сами не прочь были полакомиться вкусной, завяленной в затенье маралятиной. Жили, что называется, в свое удовольствие. Ни надзора за ними, ни подозрений, а зарплата шла. Чего лучше?

Но однажды вся эта вольготная житуха пошла прахом...

VI

Вдоль белоеланского тракта, со стороны Амыла, поздним июньским вечером шли двое путников в брезентовых дождевиках с насунутыми на голову капюшонами, с тяжелыми заплечными мешками и с ружьями в чехлах.

Шли друг за другом травянистой обочиной дороги. Впереди вышагивал в болотных сапогах с высокими голенищами пожилой человек, рослый и костлявый, тыкающий в землю суковатой палкой. Звали его Михайлом Павловичем Невзоровым, по документам — охотник-промысловик, работающий по договору для одной из заготовительных организаций. За ним вперевалку вышагивал его напарник, Иван Птаха, в дождевике до пят, навьючивший себе на спину увесистую кладь — пуда в два, не меньше. Силен был малый! Он шел легко, обозревая окрестности подтаежья — неприглядные, мутные, подернутые вечерней синевой, сквозь которую, как через большое сито, сыпался drobный дождь.

Ночь застала их на половине дороги. Темень сгустилась как-то вдруг сразу. Померкли очертания далеких гор, скрылась шапка Татар-горы, слились в кучу купы столпившихся деревьев.

— Далеко еще?

— Изрядно. К полночи дотянем, — ответил ведущий, не замедляя размеренного шага, каким обычно ходят пожилые люди, привыкшие к пешему ходу.

— Черт побери-то, не засыпать ли банки? Что-то у меня сверлит в брюхе, — ворчал напарник, подразумевая под засыпкой банок свой собственный желудок. — Ну и погода!

— Погода как раз та, какая нам нужна, — хмуро ответил ведущий. — Лишние встречи — лишние разговоры. Наше дело — тайга, заимка лесообъездчика. Там мы отдохнем и отоспимся. Жить будем, как у Христа за пазухой. Мужик он тугой, хитрый, но верный.

— Так мы что, до заимки идем? Она же в тайге.

— Заимка в тайге. Я тут задержусь пока в деревне. Надо же представиться в сельсовет со всеми документами, чтоб все шло как полагается.

Шагов двадцать прошли молча.

— В сельсовет? — вдруг переспросил медлительный на раздумья Иван Птаха. — Но тебя же, Михаил Павлыч, знают здесь.

Костлявый, рослый путник, поправляя лямки на плечах, некоторое время молча вглядывался в лицо Птахи, потом заговорил тихо, но внятно:

— А человек ты, как я вижу, неопытный. Практики не хватает. Я не знаю, какую ты прошел школу, — на последнем слове Михаил Павлович сделал ударение, — но настоящая школа для тебя начинается здесь, в тайге. Что ты мог там познать? Ну, допустим, разбираешься в радиоаппаратуре, в маскировке, настырился с документами, удачно высадили тебя где-то в Латвии. И то великое счастье! Многие ломают шеи на высадке. Тебе повезло. Но имей в виду: это еще только начало. Ты вот сумей выработать в себе такую неуловимость, как я. Меня могут везде принять с моим почтением. Соображаешь? Людей здесь тысячи и тысячи, а вот умей выбрать среди них тех, которые как раз и нужны. К примеру, лесник Филимон Боровиков. Этот может запродать в два счета. Но коготок его у меня в кармане. Невыгодно запродавать. Или вот Иван Квашня. Тот обитается на прииске. Тебе придется некоторое время жить у него. Но самым верным из всех будет для нас хакас Мургашка. Лучше его, пожалуй, никто не знает тайги... Ну вот. Боишься, значит, что знают меня здесь. Так ведь смотря кто и как. Те, кто повязан со мною смертным узлом, — вот эти крепко держат язык за зубами. Ну, а для всех прочих человек я вполне благонадежный. Промысловик-заготовитель. Мало ли в тайгу приходит разных промысловиков из города?

Прилежно слушая наставления, Птаха не менее усердно уплетал за обе щеки говяжью тушенку из консервной банки.

Подзакусили, отдохнули, пошли дальше. Теперь шли серединою разжеванной колесами дороги, не обращая внимания на вязкую грязь, дождь, ухабы. Ведущий ни разу не споткнулся впотьмах до самой деревни. Его путник, неловко вышагивая в раскисших от грязи и сырости кирзовых сапогах, частенько спотыкался, падал, измазал руки, лицо.

В деревне, возле переулка, остановились, приглядываясь к светящимся окнам сельсовета. Огонек — на руку. Чего лучше: явиться в сельсовет попросить пристанища. На всякий случай сложили увесистые мешки в глухом переулке под забором и подались через улицу к сельсовету. Там их встретил засидевшийся за кварталным отчетом секретарь сельсовета Митя Дымков, совсем еще молодой курносый парень, готовый оказать любое содействие усталым путникам, направляющимся в тайгу.

Первым представился Мите Дымкову Михаил Павлович. Отряхнув набухший от воды, окостеневший дождевик, отбросив капюшон, он подошел к столу секретаря, без лишних слов предъявил документы, справку от управления зоопарков, в которой разрешалось охотникам Невзорову и Птахе добыча маралов, росомах живьем для нужд зоопарка. Местным властям предписывалось оказывать всевозможное содействие охотникам.

Митя Дымков, снедаемый обыкновенным для юноши любопытством, внимательно прочитал документы, довольный, что именно ему выпала честь принимать таких почетных охотников. Ему понравился обходительный и вежливый старик с посеребренной лысеющей головой.

Сухое, оттянутое книзу лицо, горбящийся тонкий нос, впалые щеки, твердый подбородок, заросший щетиной, вислые плечи, сутулая согнутость спины, по всему — человек хваткий на зверя, бывалый. Мите нравился цепкий и в то же время доброжелательный взгляд пожилого охотника. Митя Дымков, конечно, тоже охотник. Но не такой еще, чтоб живьем ловить зверей. А вот этот старик, оказывается, немало выловил живых зверей. Даже тигра скручивал в Уссурийской тайге. Тигра! С дождевика охотника стекала грязная вода, расползаясь лужею на полу.

Покуда разговаривал Михаил Павлович с Митей Дымковым, Иван Птаха, почтительно держась возле дверей, старался показать себя этаким увальнем, недотепой, по недоразумению угодившим в напарники к бывалому охотнику.

— Интересно бы поохотиться с вами, — бормочет Митя, забыв о завтрашней поездке в райисполком, — очень интересно. У нас есть медвежатники, но то — что! Самоучки... А вы надолго к нам?

— Да как сказать? К июлю будем в городе. Вот поглядим здешнюю тайгу, да и махнем через горы дальше. Там у меня есть знакомые ребята — помогут! А тут вот давали мне адресок лесника Филимона Боровикова. Где его найти?

— А, Филимон Прокопьевич! — оживился Митя, ослабив свое мальчишеское веснушчатое лицо озорной улыбкой. — Он сейчас здесь. Вы его не знаете лично? Вот увидите, что это за человек. Жадный кержак! Из староверов. Прямо удивительно: до сих пор дух не выветрился. Ничем он вам не поможет, уверяю. А сам-то он женился недавно тут на одной бабе, Голоवेशихе. Вот вы говорили: где вам отдохнуть? Это очень просто. Здесь есть Дом приискателя. Заходите туда запросто, переночуете. Там и буфет есть, и столовая для рабочих прииска и геологоразведки. Хороший дом! От сельсовета совсем недалеко. Его найти просто: крыльцо у него в улицу с резными столбиками. Вот в ту сторону идти. — Митя показал направление через окно, но тут же вызвался проводить охотников.

Михаил Павлович попросил его не беспокоиться: «Найдем сами».

И они, конечно, нашли Дом приискателя — дом, некогда принадлежавший Иннокентию Евменовичу Ухоздвигову... Иван Птаха остался в Доме приискателя, а сам Михаил Павлович пошел к дому лесника.

Долго стучался в сенную дверь. Капало с крыши. Шумел дождь по луже в ограде.

Кто-то тяжелый, ворчащий, вышел в сени.

— Кто там ломится? — зыкнул хриплый, заспанный голос.

— Свои, Прокопьевич. Свои.

— Кто такой будешь, не пойму что-то?

Михаил Павлович приложился губами к замочной скважине, ответил:

— Не узнаешь? «Капитан». Слышишь? «Капитан». Ну? Шевелись!

— Богородица пресвятая, что ты за человек, а? Ума не приложу.

Охотник оглянулся на шумящую тьму, полную дождя и, снова приложившись к замочной скважине, сердито зашипел:

— Да ты что, очумел? своего «капитана» не узнал. Или тебе память отшибло. Позови Дуню, живее!

— Господи помилуй! — бормотал перепуганный голос, удаляясь от двери.

VII

Из окна избы в ограду брызнул огонек. Вскоре заскрипела дверь. Кто-то, видно, вышел в сени, но так осторожно, что ничто не стукнуло, не брякнуло, не скрипнуло. Пришелец у двери под дождем спрятался за косяк, торопливо переложив из-за пазухи в карман дождевика зажатый в ладони пистолет. Ему не нравилась подозрительная медлительность Филимона Прокопьевича. Чем черт не шутит в ночную пору! Но вот из-за двери окликнул охотника низкий женский голос: ее голос, Дуни Юсковой, той самой Дуни! И ласковый, и нежный, и взволнованный.

— Это ты, «капитан»? — позвала она.

И у него даже сердце толкнулось сильнее. Сейчас он увидит ее. И что ж такого, что она стала женой Филимона? Просто — ее новая связь. Как и десятки прошлых, от лютой бабьей крови.

— Откуда ты, боже мой?! Я так ждала!.. — бормотала Авдотья Елизаровна, когда он вошел в сени и втащил за собою два тяжелых мешка, которые положил в угол, за сенную дверь. — Я же теперь замужем. Знаешь? А!.. Филимон-то не узнал тебя. Трясет меня: «Капитан», — говорит, — какой-то ломится». Меня так и подбросило на постели. Тут старуха у меня побывала. Говорит: нету «капитана». Есть слуга «Свидетелей Иеговы»...

— Тихо, Дуня!.. Тихо.

В сенях он сбросил дождевик, сунул пистолет в карман брюк, а тогда уже направился за Дуней в избу.

С темноты на свет — прищурил глаза, поздоровался с Филимоном Прокопьевичем. Тот стоял возле стола, едва успев надернуть на себя

шаровары, босоногий, растерянный. Пальцы его копошились в бороде.

Вся передняя изба устлана самоткаными половиками, окна завешены тюлем и драпри, а с улицы закрыты ставнями. Филимон Прокопьевич и Авдотья Елизаровна живут за закрытыми ставнями. Мало ли кому вздумается заглянуть через окна в дом?

Гость сбросил с себя промокший солдатский бушлат, разделся. Под ним была затасканная гимнастерка с оборванными пуговицами, засаленные шаровары. Болотные сапоги он снял у порога и прошел в передний угол в шерстяных чулках. Любил тепло, и даже летом. Давал себя знать давнишний ревматизм.

Филимон Прокопьевич вынес из горницы стул с высокой спинкой: еще юсковское достояние.

— Присаживайтесь, Иннокентьевич, — проямлил Филимон Прокопьевич.

Гость криво усмехнулся.

— А ты, Севостьян, не узнал своих крестьян?

— Сущестительно.

— Так ты и родного сына не узнаешь.

Филимона Прокопьевича передернуло, будто он завязил ржавую иглу в пятку. Что верно, то верно: родного сына он не узнал однажды!

— Хе-хе-хе, всяко приключается, Иннокентьевич.

— Ты что-то путаешь, Прокопьевич. Какой Иннокентьевич. Я, например, не Иннокентьич, а Михайла Павлович Невзоров. Прибыл к вам для отлова живых зверей. И еще человек со мною. Ты с тем человеком, Филимон Прокопьевич, выедешь в тайгу, к себе на заимку. Там он тебе кое-что объяснит. А я передохну и найду к вам дорогу сам.

У Филимона Прокопьевича перехватило дух. Вот так гость с дальней дороги! Не мешкая, берет быка за рога, и — в оглобли. Тяни, Филя, таковский. А он здесь останется... с его законной женой

— Да мне вроде не к спеху на заимку.

Еще что-то хотел сказать Филимон Прокопьевич, но внезапно осекся, встретившись со звероватыми глазами нежданного гостя. Взгляд был не то чтобы суровый, страшный, скорее всего — урезонивающий, напоминающий.

— Послушай, Боровиков, ты в самом деле хромаешь на память! — начал Михаил Павлович, приблизившись к хозяину дома настолько, что тот почувствовал на своем лице его дыхание. — Забыл,

как мы ждали с тобой перемен совсем недавно и ты помогал мне хлебом и солью? Помнишь? А сейчас не сможешь? Тогда говори сразу: примем меры. Обязаны будем принять. Других поворотов в жизни нет.

У Филимона Прокопьевича зарябило в глазах. Лампа отчего-то потускнела, огонек в пузыре стекла осел, замигал, окно расплылось во всю стену. Не ждал, не ведал, и нагрязнула нечистая сила, приперла к стене — ни дохнуть, ни моргнуть глазом. Куда ни кинь — везде клин. И так плохо, и так нехорошо.

Дуня тем временем возилась в горнице, нарочно задержавшись там.

— Ну, что скажешь, Прокопьевич? Давай, брат, договоримся на берегу, прежде чем плыть за реку. Прямо скажу: мне твой дух не нравится.

Филимон Прокопьевич развел руками:

— Я к тому, значит, э... Михайла Павлович. Как вы проживали у нас во время войны, то, се, и я, стал быть, как по воссочувствию... А тут вот опосля войны такая оказия произошла. Помните пчеловода Андрея Северьяныча?.. Андрей Северьяныч самолично сделал заявление геологам про месторождение той жилы, на которой вы тогда работали. Я к тому, значит, чтоб поостереглись.

Михаил Павлович онемело уставился в пол. Филимон Прокопьевич нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— И я таперича вроде как в подозренье нахожусь, — мямлил Филя. — Сын у меня возвратился из плена. Старуху в гроб загнал, варнак. Сундуки растряс, разбойник. Наизнанку вывернул... И меня, стал быть, подозревает.

Михаил Павлович сверкнул огненным взглядом:

— В чем подозревает?

— Принюхивается, варнак.

— И, подумать только, а! — раздался голос Дуни. — Перед кем крылья распустил. Тоже мне мужик.

Головешиха прошла по избе. Насмешливая, нарядная, язвительная, пахнувшая «упокойными духами «шипр», как их определил Филя, не терпевший кладбищенского духа.

— С кем не совладал! С Демидом! — И, обращаясь к гостю, пояснила: — Сынок у него в леспромхозе работал до войны. Ты его помнишь, наверное. В тридцать седьмом году сбежал от ареста.

Бравый парень был. Да ты, Миша, сам займись им. Свернуть бы ему голову, проходимцу.

У Филимона захолонуло сердце. «Как у ней ловко вывернулось — «Миша»! Ну и ну, И ласковость в голосе, и вся в полной готовности».

— Ты, Дуня, поимей в виду: окромя Демида, есть еще Андрей Северьяныч.

— Тэк-с! Значит, говоришь, продал Иуда!

У Филимона опять начала трюиться лампа. Кого-кого, а «Михайлу Павловича» он достаточно хорошо знает. Если он займется Демидом или Андреем Северьянычем — обоим несдобровать. Каюк тогда! Мертвая хватка у старого волка.

Жалко Демида. Что ни говори, а боровиковский корень!

Но Михаил Павлович жестоко приказал:

— Пора, Филимон Прокопьевич, собирайся!

Филимон перекрестился во всю свою богатырскую грудь на тусклый лик богородицы с младенцем и стал собираться в дорогу, покряхтывая и вздыхая, будто ему предстояла дорога не в тайгу, а на кладбище.

VIII

Никогда еще Филимон Прокопьевич не проклинал так свою жизнь, как в эту постылую, ненастную июньскую ночь, кутающую туманами таежную синь.

«Ноне, видно, собирается подпустить красного петуха на всю тайгу, — соображал дорогою Филимон Прокопьевич, — и та, стерва, с готовностью приняла подлюгу! За што же ты меня караешь, господи!»

— Когда приедем на заимку? — поинтересовался Птаха.

— Как поедем... Погода-то, вишь, какая!.. — пробасил Филимон Прокопьевич.

— Ну, ты не очень-то спешишь. Дряхлость одолевает? А говорят, недавно женился, да еще хорошую бабу взял?

— Чтоб ей околеть! Была баба, да съела кошка ряба, один хвост остался. Все они потаскухи!

Иван Птаха оглушительно захохотал, покачиваясь в седле.

— Что, обкрутила тебя, а сама бежит к молодцам? Бывает. Я вот тоже засмотрелся в Кливленде на одну американку, жениться хотел, а

потом, гляжу, она такие номера выкидывает, что не дай бог.

Филимон Прокопьевич пожевал губами, некоторое время что-то соображая.

— Как это понимать — Кливленд? Что такое? — настороженно спросил он.

— Не слышал Кливленда? Это, брат, такой город в Америке! Штат Колорадо.

— Вон чего. Так ты што ж, был там?

— Я везде, старик, успел побывать. И повоевал, и в плену побывал, и баланду у фрицев жрал, и Америку повидал. Даром время не терял.

— Эвон оно как!.. У меня сын тоже из плена к союзникам попал. Держали его там...

— И где он сейчас, твой сын?

— С геологами в разведку ушел. Руду разыскивают.

Иван Птаха насупился, прикусил свои толстые губы и долго ехал молча. И он когда-то думал вернуться на родину без пятнышка, да не вышло...

«Сволота какая, — подвел итог Филимон Прокопьевич. — Тоже, значит, из наших пленных! Через таких вот проходимцев пятно ложится на всех пленных. Ишь, Кливленд! Нашел чем хвастаться. Показать бы твою морду Демиду, он бы ее живо набок свернул. Какая нечистая сила попутала меня связаться с такими чертями, а? Петля по самую смерть. Держит меня, как сыч, в когтях. Дунуть бы куда глаза глядят, и вся недолга. И то дуну! Выберу момент и отпихнусь от проходимцев, а так и от Головешихи, чтоб ее черт задрал живьем».

И лес — толстущие косматые сосны сбочь тропы, нарядные пихты, сизовато-зеленые кедры, изредка встречающиеся по пути, — будто понимал настроение Филимона Прокопьевича, роняя наземь росинки-слезинки. Пищала иволга, тревожно трубил где-то у реки неугомонный дергач, а тропа текла и текла в толщину тайги, извиваясь между деревьями, — и оборвалась у притока Малтата. Голубая речушка, затопившая отмели, бормотала что-то веселое, рассыпаясь искристым смехом по оголенным камням-валунам, торчащим из воды. Подточенные берега, распутив длиннущие усы подмытых деревьев, глядели на игру резвой речушки отчужденно-угрюмо, насупив старческие черные лбы. По ту сторону, навалившись к реке,

разросшийся куст черемухи помахивал Филимону Прокопьевичу длинной веткою, будто предупреждал его об опасности. Старая ель, окруженная разливом воды, зябко дрожала нежными лапами хвои, хотя сам ствол, казалось, не ощущал напора таежной речушки.

— Вот хлещет! Э-хе-хе, — вздохнул Филимон Прокопьевич.

— А ты, слушай, старик, не води круги на постном масле, — посмотрел на него Иван Птаха. — Я про тебя все знаю. И мне надоели твои охи да вздохи. А, то с одним случилось так: вздохнул — и ноги протянул.

Иван Птаха не спускал с Филимона Прокопьевича глаз: держал, под строжайшим надзором и пообещал ему «прямую дорогу в рай» за малейшее послушание. Шаг влево, шаг вправо — огонь. Пистолет Ивана Птахи мерещился Филимону Прокопьевичу даже во сне. Он знал, что бандиты собираются поджечь тайгу сразу в нескольких местах. Ждали только сухой погоды, когда от одной спички может вспыхнуть неслыханный пожарище, если угодить под ветер.

С приездом в тайгу «самого» дела пошли еще хуже для Филимона.

Для связи с Иваном Квашней и другими сообщниками послан Мургашка. Он же поддерживал отношения и с леспромхозом, где два раза получал зарплату по доверенности Филимона Прокопьевича.

Не раз Филимон Прокопьевич тщательно «обмозговывал» план побега, но «сам» неизменно ловил его на мысли. «Не мудри, Прокопьевич, — предупреждал он. — Всегда помни: ты для меня не составляешь секрета ни во сне, ни наяву. Я через тебя смотрю, как через стекло. И если ты в голове держишь какую-то дрянь, тем хуже для твоей головы».

Трудное настало время для Филимона Прокопьевича. «Не житье, а выть».

IX

...Сизое, пасмурное утро прорезывалось в горницу сквозь щели в ставнях. Михаил Павлович прилег на старинный юсковский диван и мгновенно заснул. Голоवेशиха подложила гостю под голову пуховую подушку, а сама присела возле дивана, заглядывая в сонное лицо —

старчески желтое. Запавшие глаза, глубоко врезанная складка около губ... Голоवेशиха вспомнила молодость — и свою, и его, когда она вернулась от него к Мамонту Петровичу беременной. С тех пор он навевался изредка, неизвестно откуда. Но с кем бы ни встречалась без него Авдотья, кому бы ни дарила женскую ласку, — заветного дружка не забывала. На все шла ради него. Только бы замести в воду концы.

...Уходя из дому, замкнула дверь на три замка.

И даже сонный, он слышал, что Дуня закрыла дверь на замок. Подсознательная тревога, постоянная его спутница, моментально проникла в мозг. И сразу же наплыли кошмары. Ему стало жарко, тошно. Он задыхался. Горела тайга!.. От края до края, на тысячу километров. И он чувствовал, что это он поджег тайгу, но как и когда — не помнил. Ему просто было жарко от огня. Скорее бы спрятаться в безопасное место! Скорее бы!

— Я такую разве тебя ждала — слышит он чей-то голос, но чей, разобраться не может. — С чего ты не в духе, скажи, пожалуйста.

— Будто ты и в самом деле ждала меня!

— Чем же я тебе не угодила? Скажи хоть!

— Так нельзя жить!.. Так дальше нельзя жить. Надо честно... честно... Хоть один раз в жизни! Сколько я тебе об этом говорила?!

— Т-сс! Дура!.. Ишь, как взъерепенилась! Опять на родную мать хвост поднимаешь! Не я ли тебя выкормила, выходила, дала образование? Пеклась об тебе, окаянной, денно и ночью! И она же меня теперь учит!

Что за сумятица? Чьи это голоса? Откуда они появились здесь вот, среди пылающей тайги? Кругом горит земля, а два женских голоса ссорятся.

— Кто у тебя там? — слышит он.

— Человек. Пришлый охотник.

— Опять?!

Сон как смело. Михаил Павлович очнулся, подтянул ноги, потом спустил их с дивана, сел, прислушиваясь к разговору в избе.

— А где твой муж? — слышит он молодой женский голос. — Или ты успела разойтись с ним?

Ах вот оно в чем дело! Кажется, приехала Анисья.

— Ты мне позволишь вещи свои взять? Я думаю, ты ничего не потеряешь, если я не буду мешать твоей жизни.

— Не тебе меня корить, Анисья, — загремел голос матери. — Ишь, приехала и ноздри раздула! И то ей не так, и это не в ту сторону. Вишь, ты как раскипелась! Или я тебе дорожку перешла? А перешла! Как пилой перепилила. Теперь тебе Демид Филимонович не жених, а сводный брат. А ты ему — сводная сестра, ясно? Не кусай губы-то, я тебя, милая насквозь вижу. Не тебе меня перехитрить!

— Что ты только говоришь, а? Есть ли в тебе хоть капля совести? — И после паузы: — А Демид, как тебе известно, не сын Филимона Прокопьевича!..

С треском хлопнула дверь.

— Куда ты? Вещи-то хоть возьми!.. Ах, дура, дура!..

Михаил Павлович выскочил из горницы в тот момент, когда Авдотья выбежала следом за дочерью. Он видел в окне чью то голову в платке, и то на один миг...

Х

Запасшись продуктами, Демид снова уезжал в тайгу к своему поисковому отряду. Возле ограды стояли навьюченные лошади. Полюшка притаилась в калитке и доглядывала, как звереныш, на Анисью Головешиху, которая зачем-то приехала провожать ее отца. Демид крутился возле Анисьи, совсем забыв про Полюшку. А Полюшка терпеть не могла Анисью. Вот еще привязалась! Зачем она пришла?!

— Папа, ты обязательно должен встретить в тайге маму. Почему она так долго не возвращается?

— Хорошо, хорошо, Полюшка. Я постараюсь. Наши ребята теперь ее, наверное, уже проведали... Не бойся, ничего не случится.

Мимо шла Мария Спивакова с полными ведрами.

— Бог помочь, Демид Филимонович! В тайгу поспешаешь?.. Что так припозднился? Солнце-то вон уж, гляди, где! Али кто ночесь спать не давал? — и, улыбаясь, подморгнула карим глазом, взглянув на Анисью.

Уж эти соглядатаи! Ничего-то, ничего от них не скроешь!

А Анисье так бы хотелось побыть с Демидом наедине. Открыться, рассказать все о матери... Она взглянула с неприязнью на Марию Спивакову и нечаянно встретилась с глазами Полюшки. У той в глазенках плескалась откровенная ненависть.

— Ну, как, Демид Филимонович, ожил? Тайга — это тебе не плен. Хорошие люди у вас в отряде?

— Везде, хорошие люди, Мария. Когда мне овчарка глаз выдрала, думал, концы отдам. А ничего, и в плену выжил. Выходили, выкормили, делились последним куском. В одиночку я бы пропал... Трудно было, когда нас начали обрабатывать на все катушки-вертушки. Кого послали в Аргентину, в Канаду, в Грецию, в Америку. Других в какие-то особые школы. Диверсантов и шпионов готовили.

— Диверсантов?!

— Были и такие проходимцы. Мне вот пришлось с одним столкнуться в комендатуре лагеря. Жалко, не перервал ему горло!

Анисья побледнела.

— Что с тобою, Уголек?

— Душно что-то.

— Ну, и как же потом? — напомнила Полюшка.

— Вот я и говорю: одни от страха сами лезли в петлю, вербовались кто куда. Другие — сопротивлялись. Ну а я — рвался домой. Домой, домой!.. Подняли меня вот так ночью к английскому коменданту, тут я и встретился с проходимцем из русских. Тоже сватал меня на предательство. Из кожи лез, сволочь, доказывал, что если я вернусь домой, то схвачу лет двадцать каторги, а то и пулю в лоб. Помяли меня тогда здорово!

Да, он хватил лиха. Жил как мог и где приходилось. И все же совесть у него чиста. Разве легко ему вот и теперь начинать все сначала. А что же делала она, Анисья, когда встретила в доме матери Ухоздвигова? Видела и молчала? Может, сказать ему? Все сейчас рассказать? Нет! Нельзя впутывать его в это дело. Ему своего горя хватает. Он же ей никогда не простит такого. Никогда! Да и самого его снова затаскают по милициям.

В этот же день Анисья повстречала отца. Шел он улицей, балансируя у забора с мешком за плечами.

— Э! Анисья! — вместо приветствия сказал Мамонт Петрович. — Куда это с чемоданом-то?..

— Вот... От матери ушла.

— Добро, добро! А ну, зайдем ко мне, потолкуем...

Жил он теперь с казачкой Маремьяной Антоновной, женщиной боевой, прижимистой, бельмоватой на один глаз. Почему Маремьяна женила на себе Мамонта Петровича, так и осталось неизвестным. То ли жалко ей стало ютившегося в конюшне Головню, то ли решила жадная Маремьяна Антоновна замолить грехи свои бескорыстием Мамонта Петровича. Так или нет, Головня вскоре после заключения оказался, в Маремьяниной твердыне на правах мужа.

Когда Мамонт Петрович ввел Анисью в ограду, на резном крыльце между двумя столбиками показалась, как в раме, высокая Маремьяна Антоновна с засученными по локоть рукавами. Ее горбатый нос и тонкие поджатые губы, особенно тяжелый подбородок, говорили о ее властном, неуживчивом характере.

— Где пропадал, мерин?! — зычно подала она голос, уперев одну руку в бок.

Мамонт Петрович сразу же посутулился, стал как будто на вершок ниже своего роста и заговорил сиплым, незнакомым голосом:

— Позволь молвить, Маремьяна Антоновна. Сичас изложу полную информацию.

— Я те изложу! Где солома?

— Нет соломы, Маремьяна Антоновна. Все тока обошел.

— Какие тока?

— За Гремячим.

— Скажите, куда его черт утартал! Нет соломы — паяльную лампу нашел бы. Я же сказала — у старого Зыряна есть паяльная лампа, чтоб тебе лопнуть. Боров-то ждет ножа. С утра не кормлен.

— Ты погоди, Маремьяна Антоновна. Вот зашла к нам Анисья...

Прищурив бельмоватый глаз, Маремьяна Антоновна пригляделась к Анисье, сошла с крыльца. Она не стала спрашивать, откуда она и куда — какое ей дело! Своих хлопот полон рот. Кивнув головою на крылечко с выскобленными до желтизны приступками, напомнив супругу, чтобы он почище обтер об соломенный мат свои рыжие

бахилы с отвисшими голенищами, ввела за ним Анисью. И все это не спеша, чинно, будто совершала некий обряд.

В крашеной избе густо пахло творогом, жужжали одинокие мухи. У лавки был прикручен пузатый сепаратор. В эмалированном ведре под марлею стояло молоко обеденного удоя от знаменитой на всю округу Маремьяниной коровы Даренки, трехведерницы. Даренка давала от тридцати до сорока литров молока, чем и жила Маремьяна Антоновна, своеобразная единоличница в колхозе. Выработав с грехом пополам норму трудодней, а чаще и минимума не вырабатывая, Маремьяна жила лучше всех сельчан. Она продавала молоко приискателям и рабочим леспромхоза, да еще разводила его водичкой. Оттого-то сундуки Маремьяны-казачки ломались от добра! Водилось и золотишко.

На столе, застланном узорчатой скатертью с длинными гарусными бахромами, в стеклянной кринке иссыхали оранжевые огоньки вперемешку с пахучими ирисами. На полу самотканые половики в крупную клетку. В углу обвешанные рушником иконы. Во всем чувствовался тот особенный порядок, свойственный одиноким старикам, которые, вставая утром, до вечера ходят по одной плашке, ступая с носка на пятку.

— Чо с чемоданом-то? — спросила Маремьяна, поведя глазом по Анисье.

— От матери ушла.

— Ишь как! И, повернувшись к Мамонту Петровичу:

— Ну?! Боров-то ждет ножа.

— Ждет? Вот еще статья, а? Я так соображаю, Маремьяна Антоновна, содрать бы с него шкуру. По всем статьям полагается, кхе, содрать. Каждая шкура на учете. А палить... Как бы участковый не припалил нам хвост с фланга закона, а? Смыслишь?

Красиво подбоченясь, Маремьяна Антоновна ласково улыбнулась той многообещающей коварной улыбочкой, за которой, кто знает, таятся какие каверзы! От ее бельмоватого щурого глаза до мясистого подбородка масляным потоком стекла улыбочка, притаившись в губах, открывающих верхний ряд стальных зубов. Единственный глаз Маремьяны Антоновны, не утративший зоркость, прошелся алмазным зерном сверху вниз по Мамонту Петровичу, словно расчленяя его на две половинки. Мамонт Петрович чуточку попятился, но попал

петелькой телогрейки на крючок пальца супруги, которая подтянула его к себе, как пескаря на удочке.

— Каждая шкура на учете, говоришь?

— Соответственно.

— То-то ты меня и манежил! А я-то жду, жду...

— Да я же искал. Все ноги избил.

— Искал? Так ты искал? А ну, выйдем во двор! — И, кивнув головою на крытую охрою дверь с медной надраенной скобой, увлекла за собою в сени заметно струсившую «вторую половину жизни».

Не успела захлопнуться дверь, как в сенях начался Задушевный разговор Маремьяны Антоновны с Мамонтом Петровичем.

— Участковый, говоришь? — начала хозяйка на миролюбивой ноте, но вдруг, сорвавшись, возвысила свой глас до трубных звуков иерихонской трубы: — Ах ты, чучело огородное!.. Он меня страшить еще!.. Я жду-жду, а он — каждая шкура на учете! До каких пор, спрашиваю, ты будешь портить мне кровь? Трепать мои нервы, печенку, селезенку? Да ты что, сволочуга, измываешься, а? Измываешься?..

И — хлесть, хлесть, будто шлепались об стенку избы горячие олады.

Анисья сжалась в комочек на диване, невольно жалея несчастного отца. Вот так жизнь у Мамонта Петровича с Маремьяной Антоновной!

А в сенях:

— Всю мою кровушку!.. Всю мою жисть!.. Придет, нажрется, и хоть трава не расти!.. Да ты что, кормить я тебя обязана, что ли? Обихаживать? Паршивца такого!

— Маня, Маня! Да ты погоди... Манечка

Мамонт Петрович вылетел из сеней к ограде, как стрела, пущенная из лука, и, не оглядываясь, вздымая брызги в огромной луже посередине улицы, помчался в проулок с резвостью стригунка.

«Опять воюют», — подумала Анисья.

Вся деревня знает, что не проходит недели, как Мамонт Петрович с Маремьяной Антоновной делят горшки и черепушки, запираясь один в переднюю избу на диван, другая в горницу, и там живут, обходя друг друга, как солдаты двух воюющих армий на рубеже огня. В такое время в их доме царит хаос перевоздания. Они подолгу спорят, уточняя и утверждая правила внутреннего распорядка: кому утром доить

корову, кому вечером, кому в обед, кто должен присматривать за курицами, индюшками, гусями, кто и когда обязан скоблить в сенях и на крыльце. В дни таких междоусобиц зачастую корова уходит в табун неподоенной, гуси беспрестанно гогочут, надоедая соседям. Дед Аким Спиваков, чья изба zaczynaет забегаловку, хворостиной гоняет Маремьяниных поросят, и вообще творится черт знает какая неурядица! И что обиднее всего: Мамонт Петрович в такие дни до того тощает, что еле ноги волочит — то обед не успевает сготовить для себя, то печь занята, то хворост вышел, то посудина прибрана в горницу супруги, куда ему путь заказан.

По всему видно, что горница — святыня хозяйки. Мамонт Петрович занимает куть.

Сразу у двери стоял его жесткий диван с тощим матрасом, байковым одеялом и плоской подушкой, смахивающей на прошлогодний каравай хлеба. На стене — полки с книгами. Толстые, тонкие, совсем крохотные. Он читал все, что попадало под руку: медицинскую, философскую, политическую литературу. Особенно увлекался проблемами Галактики. На стене тут же висела подзорная самодельная труба, не хуже Коперниковой, и еще какие-то предметы, о практическом применении которых трудно было сказать что-нибудь определенное... Над спинкой дивана — картины неба. Тут и звездная карта, и египетские жрецы, наблюдающие появление Сириуса, и старинный русский рисунок, на котором представлена земля в виде лепешки на трех китах.

Живут они, как говорится, на разных планетах. Жена — с пузатым сепаратором да с молитвами. Муж — с философствованием и мечтами, когда же, наконец, изобретут такой межпланетный снаряд, на котором бы он мог улететь из Белой Елани хотя бы на Луну?

По передней избе ходили гуси, пятная зелеными отметинами Маремьянины самотканые половики. Такое чисто плотная Маремьяна терпела только во времена баталей.

Вернувшись в избу, Маремьяна даже не повернулась в сторону Анисьи.

— Кыш ты, проклятый! — пнула она под зад захлопавшего крыльями гуся так, — что тот, загоготав, вылетел на крыльцо. И еще более рассердилась, вляпавшись и поскользнувшись на крашеном полу. — Ишь, что наделали, окаянные! Ведь говорила же, говорила,

выгони гусей в пойму!.. У-у! Лодырюга, лодырюга, спасу нет! Согрешила я с ним, — как бы оправдываясь, повернулась она к Анисье. — Значит, ушла, говоришь? Ну, ну... Что это вы опять с ней не поделили?

— Можно мне у вас... чемодан оставить?

— Чемодан?! — Маремьяна Антоновна подумала минуту и, польщенная доверием, сменила гнев на милость. — Отчего же не можно?.. Можно. И сама побудь. Хошь в горнице у меня побудь... Располагайся. Может, олух энтот маленько встряхнется... Замордовал он меня, леший! Ох, грехи, грехи! — И пошла в горницу, опустилась на колени перед иконами.

— Стану я, раба Маремьяна, благословясь пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, под светел месяц, под луну господню, под часты звезды, — бормотала она, усердно кладя поклоны... — На киянсвятом море стоит святая церква, в той церкве стоит злат-престол, на том престоле сидит мать пресвятая богородица со всеми ангелами, со всеми со архангелами, со всей силой небесной: Иваном Предтечей, Иваном Богословом, Иваном Златоустом... Все отцы-пророки молите бога за нас...

Вернулся Мамонт Петрович с паяльной лампой.

— Вот принес, — буркнул он.

Маремьяна перевела дух, поднялась, ухватившись за поясицу. На лбу у нее выступила испарина.

— Полегчало? — кинул Мамонт Петрович, взирая на нее исподлобья.

— Иди, зови Михея. Резать надо. Неуж я опять сама должна?!

ЗАВЯЗЬ ДЕСЯТАЯ

I

Худое было настроение у Мамонта Петровича, когда он утром пришел на племенную конюшню колхоза. В неизменной потрепанной телогрейке Мамонт Петрович шел таким давящим шагом, что конюх Михей Шумков по одной его походке догадался, что заведующий конюшней не в духе, подходить к нему с разговорами в такие минуты было крайне рискованно.

Михей Шумков прибирал двор конюшни.

Караковый мерин с лохматыми бабками, переминая ногами, стоял у коновязи. Мерин леспромхозовский. На нем ездит Анисья.

— М-да! — кашлянул Мамонт Петрович.

В стойлах лениво, жевали овес племенные жеребцы и кобылицы. За первые послевоенные годы конюшня значительно поредела; много незанятых перегородок с кормушками, но и то, что осталось, не в каждом колхозе имеется. Не будь Мамонта Головни, навряд ли объединенный колхоз «Красный таежник» имел бы и такую конюшню. Мамонт Петрович заботливо выращивал лошадей, которых он считал по достоинствам на втором месте после человека.

— Эх-хе-хе, мученики! — покачивал головою Мамонт Петрович, остановившись возле вороного иноходца со сбитыми плечами — Юпитера.

— Не Лалетину да Юпитере ездить! Ему бы свинью в упряжку. А ты, Юпитер, будь смелее! Бей его копытами, хватай зубами, отстаивай жизнь в непримиримой борьбе с негодьями! Что он с тобой сработал, а? Плечи в кровь избил и на передок жалуешься.

Юпитер скосил глаза на Мамонта Петровича и, будто понимая, потянулся к нему мордой, положив голову на плечо хозяина.

Так они постояли минуты две. Юпитер от удовольствия прижмурил глаза, а Мамонт Петрович от негодования матюгаясь сквозь зубы на председателя колхоза, Павла Лалетина.

Или вот Марс, пятое стойло слева. Марс — гнедой рысак с тонкими ногами, помесь арабской лошади с орловской породой,

хваткий на зачине. Как почует вожжи, рванет, ну, кажется, будь закрытыми ворота, сиганет птицею через ограду. Что стоит один взгляд Марса. Так и стрижет белками. Иссиня-голубоватые белки перекатываются в глазницах. А хитер, мошенник! Стоит гнедому почувствовать под ногами избитую проселочную дорогу за деревней, как хвост у него обвисает, голова клонится книзу, и он из крупной рыси переходит на ленивый шаг: «Знаю, мол, торопиться некуда!»

Характер Марса выработался в поездках бывшего председателя колхоза Гришина. Ленивый, пухлощекий и всегда сонный, любящий показать товар лицом при районном начальстве, Гришин обычно, когда оставался один, отпускал вожжи и храпел всю дорогу. Марс завозил его куда-нибудь к зароду, к полевому стану и там спокойно отдыхал, покуда Гришин всхрапывал. Но стоило Гришину завидеть деревню, он вдруг преображался, нахлестывая Марса что называется в хвост и в гриву.

А вот и гордость колхоза — пара вороных: кобылица Венера со звездочкой и жеребец, единственный чистокровный рысак, названный Звездой, вероятно, потому, что в расходе были наименования всех планет, известных Мамонту Петровичу. Красноглазые, стройные, мощные лошади! На Венере и Звезде изредка выезжает сам Мамонт Петрович в Каратуз. Не один раз зарился на них Павел Лалетин, скандалил с заведующим конюшней, но последний поднес Лалетину кукиш, на чем Лалетин и успокоился.

— М-да, — крикнул Мамонт Петрович. — Когда Лалетин из Минусинска вернулся?

— Да вроде на зорьке.

— В себе или как? На взводе?

— Под хмельком. Но не так, чтобы очень.

— Гм! Кто принял от него Юпитера?

— Дык я, Мамонт Петрович. Плечи сбиты, и так весь в мыле.

— М-да. Акт требуется составить. Разберем на правлении.

— Дык председатель же, какой акт?

— Для свистунов, Михей, нет указания правительства относительно поблажек, — сурово загремел Мамонт Головня, подкинув пальцем свои рыжие усики. — Перед законом Советской власти все равны — Лалетины, Вавиловы, Шумковы, председатель, секретари райкомов, горкомов! Все отчет должны держать за свои

поступки, а так и по поводу своей жизни. До каких пор я буду внушать тебе, что каждый на своем посту — президент, а не шайба от винта. Имей в виду, последнее замечание.

— Имею. Но все ж даки, как там ни говори... А где же конюху заставить председателя колхоза подписать акт?

Михей Шумков раздумчиво поскреб пальцами в сивой бородке.

А вот и Анисья.

— Что ты такой хмурый, папа?

— А вот глянь, что наделал Лалетин! Гвардии лейтенант, при орденах! Ухайдакал Юпитера за одну поездку! Откуда такое происходит, ты мне скажи? От души, в которой на прикурку огня не добыть. Вот против нее и двинем новую революцию. Изничтожить надо этот срам под самый корень... — И пошел по ограде, воинствующий, непримиримый, каким его знала дочь.

II

Поздним вечером Анисья сошла с крыльца конторы колхоза, следом за нею отец — хмурый, вконец расстроенный от перепалки с Павлом Лалетиным из-за Юпитера. Вышло так, что вопрос Головни на заседании правления колхоза вызвал всеобщий смех; Лалетин отделался легким испугом, делая вид, что на чудака Головню не стоит обращать внимание. Тогда Головня потребовал немедленную ревизию кассы колхоза, говоря, что с кассой творится что-то неладное. «Откуда ты берешь деньги для горла? — орал он. — Не из нашей ли кассы? Через какие дивиденды заливает себе за воротник Фрол Лалетин? Не от доходов ли Никиты Мансурова, пчеловода на третьем номере пасеки? Ревизию! Требую ревизию!» — и опять Мамонту Петровичу ответили всеобщим смехом. Вопрос стоял о выделении рабочей силы леспромхозу, о сеноуборочной, о прополочной, кампании, подъеме паров, а Головня заговорил о ревизии. Между тем сам Павел Лалетин менее всего хотел бы, чтобы именно сейчас началась ревизия кассы колхоза и тем более третьего номера пасеки, где удачно приземлился зять Фрола Лалетина. На пасеке не все было в порядке. Но через неделю-две там наведут полный ажур; комар носа не подточит. Вот почему из членов правления трое Лалетиных — Фрол, Василий и Павел Тимофеевич, пользуясь отсутствием Аркадия Зыряна, который

уехал на совещание механизаторов — обернули вопрос Головни в забавную шутку.

Анисья понимала, что отец прав, но не нашла в себе силы поддержать его. Стыдно было смотреть на смеющихся Лалетиных. Парторг колхоза, он же бухгалтер, тихий мужик Вихров-Сухорукий, беспокойно ерзал на стуле. Стоит ли ссориться с Павлом Лалетиным, недавним фронтовиком-однопольчанином?

— Капитулянты, едрит твою в кандибобер! — бормотал отец, размахивая руками.

«И в самом деле капитулянты», — покусывала губы дочь.

Оседлала каракового мерина. И в тот же вечер уехала в леспромхоз, увозя с собой смутную невысказанную тяжесть...

III

...Между тем далеко в тайге Агния с Андрюшкой и Андреем Северьяновичем подошли к «смертному месту».

Не шли, а продирались ощупью в непролазных дебрях. Агния хотела остановиться на ночлег сразу за Большим Становым хребтом, но Андрей Северьянович настоял на своем:

— Сказывал: приведу ночью. Сами потом оглядитесь, как и что. Тут оно, место. Другого не знаю. Бывал здесь два раза и зарок дал — не видеть в третий, слышь. Вот и не вижу. Темень, глаз выколи. Так-то, дева. Не обессудь. И вы не задерживайтесь. Неровен час — налетит коршун, беда будет. Пошупай место, остолби и поезжай на Верхний Кижарт, как тебе сказал начальник.

Агния хотела спросить, про какого коршуна обмолвился Андрей Северьянович.

Но хрустнули ветки. Шорох удаляющихся шагов — и все стихло.

— Ма-ам, он ушел!

— Ну и что? Привел, и ладно.

Кони жмутся друг к другу. Сопят.

Полыхает зарница, да так широко, точно небо, играючи, на мгновение обнажает свою искристо-белую лебединую грудь.

— Как будем-то?

— Расседлывать лошадей будем. Приглядимся, соберем сухостойник и разведем огонь.

— Огонь-то еще заметят!

— Ишь ты, какой трусоватый. А я-то думала — ты мужик у меня! Андрюшка притих. Надо быть мужчиной...

IV

В заречном поселке на прииске в доме Ивана Квашни гостил охотник за живыми маралами Михаил Павлович Невзоров, которого Иван Квашня знал как Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова.

Михаил Павлович разговаривал с хозяином горницы и курил папиросы. Пили водку.

Из всех Ухоздвиговых уцелел только он, Гавриил! Единственный наследник Благодатного и Разлюлюевского приисков. А мог бы он раздвинуть горизонты и до приисков Иваницкого. Он бы еще потягался с теми золотопромышленниками, которые в годы гражданки бежали за границу, подальше от земли, где не припекает. А вот он, Гавриил Ухоздвигов, дважды был арестован органами Советской власти, сменил шкуру и ни разу не изменил себе: работал на подрыв устоев Советского государства. Да, сегодня он — никто! Но никто с оружием ненависти и с постоянной готовностью к непримиримой борьбе. Он много раз оказывался одиноким после поражений, когда обрывалась связь с теми, кто поддерживал его из-за, границы, но никогда не падал духом. Он должен был выжить во что бы то ни стало. И он выжил!

Какое разочарование принес ему 1945 год!.. Рухнули все надежды. Чего теперь ждать?.. Надо уходить во Владивосток. Там иностранные суда. Нащупывать связи... Но он устал! Отчаянно устал! Ему бы отдохнуть! Завалиться бы, как медведю в берлогу на долгую спячку, этак лет на тридцать, а потом проснуться. Но настанут ли перемены в России через тридцать лет?

Верных людей осталось мало! Ничтожно мало. На самом прииске единственный Квашня. Есть еще свои люди в тайге, где он в 1929 году возглавлял банду кулаков, кое-кто уцелел в Манской, Белоеланской, но кто они, уцелевшие? Космачи первобытные.

Блюдце на столе было полно окурков.

Иван Квашня, пригнувшись к уху глуховатой жены Анжелины, кричал ей, чтобы принесла из подвала кислой капусты.

— Вот глухая тетеря! Кричи ей во всю глотку — ни черта не слышит, — жаловался Иван. — Ну что ты вылупила на меня бельма? Ка-аапусты! Слышишь! Каапусты, стерва. Бери тарелку и шпарь за капустой.

Когда покорная и молчаливая, как все туговатые на ухо старухи, жена Ивана Квашни ушла за капустой, он с горечью проговорил:

— Разве бы мы так жили, Иннокентич, если бы...

Но Гавриил Иннокентьевич прервал его:

— Геологи вернулись с «места»?

— Вроде не слышно. Сам начальник прииска ждет с нетерпением. Можно и геологов накрыть. Проучить бы! Как тогда ваш брательник кокнул Ольгу за Сафьяновое.

«Тогда» было давно. Август 1924 года... Иван Квашня; конечно, помнит те жаркие денечки. Вот в этой же горнице «тогда» отсиживался старший брат Гавриила, щербатый и сутулый Андрей Иннокентьевич.

— Шли мы за той Ольгой след в след. До самого Сафьянового. Учужала, стерва. И я схватил пулю. Не помню, как выполз. Думал, хана, погибель пришла. А вот выжил, слава те господи.

— Идти туда нельзя, — сказал Гавриил Иннокентьевич. — С местом покончено. Там уже, наверное, поджидают нас...

— Все может быть. — И, оглядываясь, Квашня прошептал: — Поджарить бы их на том месте. Подпустить летушка на красных лапах. По Жулдетскому хребту пихтач сухостойный. Там только искру оброни...

— М-да.

Глухая супруга Квашни принесла в обливной чашке кислой капусты. Квашня достал еще одну пол-литру водки.

— Говоришь, Северьяныч один живет на пасеке?

— Завсегда один. Это же такой космач. Бурчит да мычит себе в бороду. А вот место продать — ума хватило.

— Как его не раскололи?

Квашня развел руками:

— Провернулся. Может, для приманки оставили, чтоб кого другого схватить?

Иннокентьевич уразумел намек. «Кого другого» — касается только его, последнего из Ухоздвиговых.

Над столом висела маленькая электрическая лампочка, но Иван Квашня не зажег ее, а велел старухе достать керосиновую лампу. Ставни закрыты наглухо, но хозяин на всякий случай завесил окошко в улицу суконным одеялом — береженого бог бережет.

Допили вторую пол-литру и не опьянели. А на зорьке, еще до того как раздался гудок обогатительной фабрики, гость Ивана Квашни с котомкою за плечами и двуствольным ружьем, с подтощалою Голоवेशихиной Альфой подался пешком в тайгу.

Иван Квашня проводил его до таежной тропы, поясняя, как перевалить Сухой гонец:

— За Сухим гольцом держитесь правого берега Кипрейной. С богом, Иннокентии. За Филимоном-то гляди в оба. Кержак хитрый. Чуть чего — продаст. Сын у него возвернулся из плена. С геологами он сейчас в тайге. Вот по их следам и надо подпустить петушка.

V

Синь-тайга. Горы... Теснина...

Агния роет новый шурф недалеко от безымянного ключа, впадающего в Большую Кипрейную речку. Бурый слой земли, переплетенный корневищами кустарника и травы, уже снят. Штыковая лопата Агнии врежется в зеленовато-глинистый пласт. Попадается кварцевая порода в изломе, сахарно-белая, крупитчатая. В одном из таких кусков Андрюшка обнаружил тоненькую золотую змейку, похожую на окаменевшую молнию.

Агния растирает на ладони горсть породы, пристально разглядывает в лупу под палящими лучами солнца. И-видит, именно видит, как по-особенному искрятся некоторые песчинки, до того крошечные, что их не узришь простым глазом.

Золото!

Это ведь оно мельтешит лукавыми, хитрыми лучиками!

Седьмой шурф, и все идет золото. Надо бы Агнии с Андрюшкой ехать на Верхний Кижарт, где поджидает ее Двоеглазов.

У ключа, едва пробившегося из земли, где устроена маленькая запань, возится с лотком медлительный Андрюшка, по пояс голый, загорелый, мускулистый, черноголовый, как жук. Бросает лопату за лопатой на специально устроенный лоток, потряхивает его ногою, как

зыбку, промывает породу под струями прозрачной, но тут же мутнеющей воды, и снова берется за лопату. Агния то и дело покрикивает: — Да шевелись ты, шевелись! Что ты, как сонная тетеря! Это я на тебя шурф загадала, — говорит мать и тащит волоком куль с новой пробой от шурфа к лотку. — Погляжу, какой ты у меня счастливый, Андрей Степанович.

Андрюшка зло скосил глаза на куль:

— Надоело. Сказала же: неделю поработаем и уедем.

— Успеем еще отдохнуть.

Мать снова взялась промывать пробу из шурфа, загаданного на сына. И какова же была ее радость, когда в рубчике лотка задержался самородок в черной рубашке, величиною с наперсток.

— Гляди, гляди, самородок!

Андрюшка уставился на неприглядный черный камушек и ничуть не обрадовался.

Агния видит свое в самородке. Ей кажется, что именно здесь, в теснине между распадками гор Станового хребта; через год-два будет выстроен поселок, появится драга, обогатительная фабрика, подвесная канатная дорога. Становой изроют шахтами, и люди здесь будут жить богато и, кто знает, вспомнят ли о том, что она, Агния, с сыном проводила тут поисковую разведку.

«Смертное место» станет счастливым местом для людей. Здесь много золота. Весь хребет, куда вели давние чьи-то отметины, сложен из кварцевых пород. Сверху напластовалась земля, заросшая мохом и брусничником. Первые шурфы не радовали. Одиннадцать дней Агния с Андрюшкой топтались по берегам Большой Кипрейной и ничего не нашли. Потом Андрюшка случайно наткнулся на старый шурф в стороне от речки, сверху замаскированный валежником, как прячут волчьи или медвежьи ямы. Агния взяла там первую пробу, и пошло золото. Один за другим открыли десяток таких же замаскированных шурфов, уходящих к подножию Станового хребта. Потом Агния обнаружила глубокую выемку-шурф в самом хребте, где шла сплошная кварцевая жила...

Теснина лежала между хребтами. И странным казалось, что лес на одном из хребтов засох на корню и торчал теперь сухостойными скелетами, а на другом и в самой теснине — вековые заросли

хвойника: тут и пахучие пихты, и стройные ели, и нарядные кедры, и разлапистые сосны.

В поисковом журнале Агния окрестила это место «Тесниною». Может, так и будет называться будущий прииск?

Место красивое, диковатое!..

— Ну, хватит на сегодня! — Агния распрямила спину и вытерла тылом руки пот с лица.

Они хорошо поработали! В каждом рубчике лотка — изрядный осадок еще неприглядного, необработанного, на которое и смотреть-то неинтересно, золота.

VI

Откуда-то напахнуло гарью. Андрюшка еще не успел разложить костер, возле которого ночью спасались от гнуса, а пахнет дымом.

Ничего не сказав сыну, Агния вышла на берег речки, и здесь, у воды, еще сильнее тянуло гарью. Откуда бы? Неужели кто разложил костер? Но кто? Может, охотники? Но какая сейчас охота? Месяц глухой, покойный, тихий. На маралов и сохатых охотиться запрещено, да и место неблизкое от подтаежных деревень. За три недели Агния привыкла, что в теснине, кроме нее и сына, никого нет, что «смертное место» совершенно безлюдное.

Вернулась к шалашу. Андрюшка таскал хворост.

— Дымом несет, кажется?

Андрюшка фыркнул.

— Давно тянет. Я еще подумал, вроде кто костер развел. Так и несет.

— Лошадей смотрел?

— Там они, в пойме.

— А Полкан где?

— Черт его знает, где. Носится где-нибудь или завалился под выскорь и лежит себе.

— А ты подумал, откуда дымом несет?

У Андрюшки округлились глаза: вот об этом-то он и не подумал!

— А что?

— А то, что нам пора собираться. Нас ждут на Верхнем Кижарте. Что надо было-сделали. Иди за конями. А я уложу сумы и инструмент.

Надо ехать.

У Андрюшки как рукой сняло усталость — бегом кинулся к пойме, где паслись лошади.

Не прошло и часу, как они покинули берега Кипрейной речки. Поднимаясь на склон Большого Станового хребта, ахнули: в тайге пожар!.. Агния знала: если ветер вдруг повернет в их сторону, тогда им не спастись.

Шли всю ночь от пожара, на юг, к Саянам.

Агнию не пугают дебри тайги: она знает ее. Не страшат ее большие таежные переходы, ей ведомы затесы на деревьях и звериные тропы. Не подстережет Агнию хищная рысь на дереве — у нее зоркий глаз. Но люди! Разные люди по тайге бродят...

Остановились передохнуть в расщелине между гор. Андрюшка, как слез с лошади, упал в прошлогоднюю траву и уснул.

Сизыми сполохами начиналось утро над отрогами Саян.

Далеко-далеко над бездонной синевой неба вспыхивала зарница, и звезды одна за другой гасли. А вокруг сонная благоухающая тишина, насыщенная запахом прели, ароматами хвойного леса и дымом пожара. Высокие лиственницы и кедры не шумели верхушками, а будто нашептывали друг другу тревожную весть.

Солнечная рань плескалась над тайгой. И дым, дым!.. Агния кинулась в низину за лошадьми и никак не могла сообразить: куда тянет ветер? В какой стороне Малый Становой хребет?

Сверилась с компасом. Надо пробираться на юго-восток. Где-то там приисковый кордон. Скорее бы уйти от пожарища!

Долго будила сына. Андрюшка еле поднялся. Лицо у него подпухло.

— Как ехать-то? Кругом дым. Сгорим вот, тогда узнаешь!..

Мать поторапливала:

— Шевелись ты! На коне-то усидишь? Чего ты раскис?

— Говорю — болит все. И руки, и ноги, и голова.

— Ешь да поедем.

Андрюшка категорически отказался от завтрака, и с трудом уселся в седло.

Больше они не будут подниматься в гору и выедут, если не на рудник, то к геологам прииска, и там отдохнут. А сейчас надо ехать. И день, и ночь! И еще день!

За какой-то речкой, название которой Агния никак не могла установить по карте, на другой день спустились в низину, в буреломы, и только зоркий глаз Агнии сумел узреть тропу, по которой ездили геологи на вьючных лошадях. Еще бы какой-то метр, и они бы проехали мимо, и тогда, ктознает, куда бы их занесло...

Андрюшка теперь уже не сидел, а лежал в седле. Дымом заволокло всю низину. Агния шла пешком и вела за чембур лошадь.

Тропа уткнулась в берег, затененные высоченными елями. Это, конечно, Кижарт. На перекате вода бурливая, изрытая водоворотами. Надо брести на тот берег.

Агния наказала Андрюшке, чтобы он держал коня навстречу течению. У Андрюшки-муть в глазах.

Наконец-то вылезли на другой берег и остановились на привал. Передохнули, пообедали и пошли берегом Кижарта вверх по течению. И все лес, лес, дым и дым! Ни конца, ни края. Да где же тот кордон где работают геологи прииска? Может, они заблудились и не выберутся из тайги. Вот так и будут ехать неизвестно куда, пока идут лошади. Потом лошади упадут, и Андрюшка никогда уже не увидит ни Белой Елани, ни большого города на Енисее, куда мечтает уехать учиться, и — отца не увидит! Андрюшка все время ждет отца из Берлина. Приедет или не приедет? Должен же отец вспомнить, что есть еще Андрюшка!..

— Мама!.. Мама!..

Мать остановилась, оглянулась на сына:

— Ну?

— Может, заблудились, а? Уже вечер, а тропы нет.

— Нет не заблудились. Скоро кордон.

— Где он, скоро?

— Потерпи! Или ты не мужик? Я же держусь...

Проехав еще с час, спешились.

— Покорми лошадей. — И Агния пошла смотреть тропу.

...Отдыхая на замшелой колодине, Агния обратила внимание на густой черный дым над отрогами Станового хребта. Дым столбом поднимался к небу. Верховка (как называют здесь ветер от Белогорья) дула вдоль Станового.

В густых сумерках вечера пламя металось из стороны в сторону и горящие огненные кометы головешек, словно термитные снаряды,

взлетали высоко в небо, выписывая дуги. Померкли горизонты; густо несло едучим дымом — не продохнуть.

Агния решила повернуть вдоль хребта на юго-запад, где меньше было дыма. Тяжело потрескивая по зарослям мелколесья, бежали какие-то звери. Агния, не выпуская ружья из рук, шла и шла вперед, протирая слезящиеся глаза. Так она прошла километра два и уже не соображала, в какую ее сторону занесло. Дыму стало меньше, но темень июньской парной ночи» сгустилась. Переправившись через неведомую горную речушку, Агния хотела было двинуться дальше, в сторону чернеющего хребта, за которым, по ее предположению, должен быть кордон, но вдруг совсем близко раздался лай собаки. Агния поспешно притаилась в плотном пихтаче. Совсем рядом лезло что-то тяжелое, неповоротливое. Не надеясь на зоркость собственных глаз, Агния прилегла на землю возле старой пихты и, вырвав с корнем пук травы, спрятала в ней нос, чтобы обмануть нюх зверя, и в то же время Дрожащею рукою сжимала ложу двустволки, не спуская пальцев со спусковых курков: если стрелять, так сразу из обоих стволов. Хоть и темно было, но Агния отлично видела, как на каменистую отмель, в тридцати-сорока шагах от нее, из-за кустов калинника и черемушника выбежал тяжелый красавец тайги сохатый, а следом за ним черная, как смоль, собака, маневрирующая вокруг зверя. Кто-то громко кричал: «Альфа! Альфа!»

Черная собака громко лаяла на сохатого. Пригнув голову, зверь бил копытами по камням; осколки летели во все стороны, звонко щелкая. Внезапно раздался один за другим три выстрела, пороховые вспышки на мгновение озарили разлапистые ветви черемухи. Сохатый взметнулся на дыбы, трубно проревев на всю тайгу. Он повернулся в сторону кустов, но не успел сделать прыжка, как раздался новый выстрел сразу из двух стволов. Сохатый упал на передние ноги и тяжело, надрывно ухнул. Агнии жаль было подстреленного зверя.

Из мрака вышли трое, таких же черных, безликих, как ночь.

— Уф, какой шибко большой зверь! — сказал один из охотников. — Шибко сильный зверь.

Агния еще крепче прижалась к земле.

— Экий матерый сохатище, а? — сказал второй охотник. — Вот такого я завалил на Сухонаковой летось. Пудов на двадцать мяса навялил; на семь тысяч он у меня обошелся, стерва.

— Я саданул в него из двух стволов, — сказал третий.

— Ты вроде промахнулся, Иван, — сказал второй голос. — Потому — опосля твоего выстрела он еще повернул на нас.

— Скорее всего твои заряды, Крушинин, пошли за молоком, — возразил третий голос.

— Все может быть, Иван. Вот Мургашка, он вроде вlepил в него здорово!

— Моя стрелял в глаз, — ответил первый голос. — Нету пуля в глаз, за молоком пошла. Ты, Птаха, бил карашо. Уф, здорово! Шибко большой зверь.

— Крушина, давай, жги огня! Мяса жарить будем, кушать будем. Давай, давай, Крушина!.. — кричал голос, как видно, принадлежащий Мургашке.

— Костра не будем разводить, — возразил второй голос. — Нам надо поскорее сматываться из Лешачьих гор. В другом месте подпустим «красного петушка».

— Зачем ходить? Куда ходить? Огонь не придет на лешаки. Кругом старые гари — леса нет. Мало-мало можно отдыхать. Мясо кушать можно.

— Оно так, токмо сам-то нас ждет, как уговорились...

— Немножко будет ждaть. Ничаво! Отдыхать надо.

— С мясом-то как будем? Может, взять лошадь в заповеднике да перевезти?

Крушинин поддержал:

— Разделаем вот да завернем в шкуру. Утре перевезем. Женщинам только шепни — моментом расхватят.

«Так вот кто жжет тайгу!»

Тайга горит чуть не каждый год. И люди уже к этому привыкли. Но такого пожарища давно не было. С самого тридцатого года, как помнят люди.

Надо поскорее уйти незамеченной.

Не дожидаясь, что будут делать дальше браконьеры, Агния поползла в сторону...

...Тайга горела, горела, горела! Окрест на десятки километров все пылало, пылало, пылало. Даже небо по ночам дышало жаром.

Белую Елань кутала плотная мгла чадного дыма, будто кто стлал по земле невероятно огромную рваную шаль с длинными бахромами.

Ночами, если подняться на Татар-гору, видно было, как пламя танцевало на далеких таежных хребтах. А днем весь горизонт был укутан в непроницаемую сизую мглу. Вековые пихты и ели, разлапистые сосны по песчаным склонам рассох вспыхивали от комля до вершины красными столбами. Две-три секунды — и от заматерелого дерева оставался тощий огарышек, торчащий свиной щетинкой.

Страшен пожар в тайге!

Горели медведи, белки с пушистыми хвостами, проворные рыси, красавцы-маралы с неокрепшими летними рогами и отяжелевшие матки. Никакая живность не могла спастись в пожаре леса. Там, где бушевало пламя, — лежало безжизненное черное поле с дымящимися огарышками деревьев.

Однажды утром на Белую Елань вылетело пяток маралов. Измученные, безразличные ко всему, звери шли серединой улицы, не обращая внимания на собачий, переполох, сопровождавший их от крайней избы Михея Заболотного до дома Санюхи Вавилова. Как-то под вечер в улице появилась тяжелая медведица с двумя пестунами. Она вылетела из-за Малтата как очумелая, про-косолапила по улице, но, вовремя опомнившись, кинулась в проулок Авдотьи Голоवेशихи и скрылась в зарослях чернолесья.

Где-то высоко в небе день и ночь ревели самолеты, кружась над огненным океаном. Самолеты пролетали над деревней, сбрасывали пакеты, указывая, в каких местах возникли новые очаги огня. И люди, от мала до велика, шли на тушение пожара, задыхаясь в смрадном, вонючем дыме, стелющемся низовьем, лезли в холодные воды рек и ключей, и все шли и шли, не в состоянии подступить к огню.

Когда попробовали тушить встречным огнем, вышло совсем плохо. Встречный огонь понесло на промышленные массивы леса, куда повернул ветер.

Анфиса Семеновна голосила:

— Ой, тошно мне! Ой, тошнехонько! Сгорит Агния-то в этом пожарище. Сгорит! И малого сгубит, горемычная!..

— Не наводи паники. Поди, уж давно выбилась к геологам, — утешал Зырян.

Под вечер собрались тучи. Они ползли медленно, наливаясь синевою, будто им трудно было подступиться к горячей тайге.

Аркадий Зырян, проснувшись ночью, услышал, как по крыше дробно забарабанил дождь. Выбежал на крылечко в одних подштанниках, поглядел на обложные тучи — и ну танцевать, шлепая по приступкам голыми пяткам.

— Ат-та-та-та! Та-та! Ат-та-та! Еще прибавь! А ну, небесная канцелярия, выдай по моему наряду. Еще! Еще! Так ее, так ее дуру пересохшую!..

И дождь, будто подчиняясь Зыряну, припустил как из ведра. В доме проснулись ребята — Федюха и две дочери, и даже Полюшка Агнии. Соскочила и Анфиса Семеновна. Как же можно было лежать в такой праздник, как явление дождя на испепеленную пожаром и зноем землю, на увядшую и заброшенную огородину, на сварившиеся хлеба на склонах отрогов Татар-горы? Теперь, может, и Агния с Андрюшкой скоро придут!

Вся семья Зыряна высыпала на крыльцо.

— Слава тебе господи, мать пресвятая богородица-заступница смилостивилась! Сроду не молилась и то помолюсь, — сказала Анфиса Семеновна, протягивая ладошки под дождевые капли.

— Ты же пророчила, что тучи разойдутся! Хэ! Пророк. Если сказано — дождь нужен, значит, не замедлит явиться. Потому у Советской власти с небом нерушимый контракт заключен. Теперь жди. Не сегодня-завтра — Агния прибедет!

— Хошь бы скорее дал-то бог! Не радуйся допрежь времени. Заплясал, как маленький. А ну, иди обуйся!

— А ты не «нукай». Я не мерин. Если говорю, значит, имею достоверные сведения, а так и предчувствия... Агния не из, таковских, чтобы в тайге пропасть!

— Фу, как небо-то заволокло! — вставила Полюшка, спросонья поеживаясь от дождевых капель.

— А ты не «фукай»! Этот дождик теперь для твоей матери и для всей живности слаще меду.

Дождь лил и лил. Пересохшая пыльная улица впитывала дождевую воду, собирала в канавы и гнала мутным говорливым

потоком в пойму Малтата. Гроза шла сторонкой. Над Белой Еланью вспыхивали молнии. И после каждой вспышки молнии через несколько секунд урчал гром.

VIII

Глубокой ночью Агния с Андрюшкой подошли к Верхнему Кижарту, где работал со своим отрядом главный геолог приискового управления Марк Граник.

В низине, возле реки, в трех избушках-временках жили рабочие прииска. Со всех сторон откуда-то налетели собаки. Из первой избушки вышел мужик, пригляделся, спросил: кто едет и откуда?

— Агния Вавилова? Вот те и на! Живая. Думали, сгорела в пожарище, — удивился мужчина и подошел ближе. — Тебя же ищут наши геологи. Сам Двоеглазов два дня крутился на вертолете над тайгой, да разве что узришь в этаким дыму!

— Ищут? — У Агнии дрожали ноги в коленях, и во всем теле разлилось такое бессилие, что она еле стояла. — Он здесь, Двоеглазов?

— Еще позавчера уехали все. Беда у них стряслась. Говорят, будто тайгу поджег кто-то из ваших — Демид Боровиков, который из плена заявился. Завербованный, должно...

У Агнии захватило дух.

— Демид Боровиков? — И сразу же усталость сменилась страхом. — Кто про него такое говорит?!

— Да сам Двоеглазов сказывал. По радио вызвали его в Белую Елань.

Агния хотела крикнуть: «Неправда? Демид не поджигал тайгу». Но ничего не сказала. Оглянулась на Андрюшку: тот сидя спал в седле.

— Пойдем, Агния. Тут наш приисковый геолог, Марк Георгиевич. В избушке-то у него просторнее.

Фыркали лошади, лаяли собаки, и тайга казалась темной и густой: нырнешь — и с концом. Агния не помнит, как дошла до избушки, что еще говорил приискатель и как встретил ее Марк Граник. Все это пронеслось в тревожном, тяжелом полусне. Граник тоже подтвердил, что Демид Боровиков арестован как будто бы за поджог тайги и что Двоеглазов срочно вызван на вертолете в Белую Елань.

— Что же это такое, Марк Георгиевич? Зачем Боровикову жечь тайгу? Чуть не каждый год и до него случались пожары!.. Я же видела, как браконьеры убили марала и собирались подпустить «красного петушка».

«Надо скорее возвращаться в Белую Елань...»

— Это же на дурака рассказ, чтоб Демид стал жечь тайгу! Браконьеры жгут.

— Может, оно и так. Но дело-то посложнее будет. Пчеловода кижартской пасеки Андрея Северьяновича нашли убитым. А Демиду взяли в двух километрах от пасеки в тот же день...

«Так вот оно что! Значит, Андрея Северьяныча убили! Потому он и не встретил ее с Андрюшкой, как обещал».

— Но какая же нужда Боровикову убивать пчеловода?

— Вот тут-то собака и зарыта,

— Боже мой, боже мой!

Агния закрыла лицо руками. Она слышала, как припелся в избушку Андрюшка, упал и захрапел на нарах. Что-то еще говорил Граник, спрашивал — не отозвалась. Взяла тужурку, вышла на волю, присела возле старой сосны, глубоко вздохнула.

Предутренняя синяя марь начинала отбеливать тайгу. Сна не было.

Не помнит Агния, сколько так просидела. Час ли, два ли прошло.

Красноватый диск солнца выплыл над горизонтом.

Бывают минуты в жизни у человека глубокие, как колодец. Посмотришь в него — дна нету. Оглянешься — и не знаешь, год ли, десять ли прошло? А может, века пролетели?

Подошел Марк Граник.

— Так и не отдохнули, Агния Аркадьевна? Поспали бы...

— Ничего. Я не устала...

— Я только что говорил по рации с Двоглазовым. Он сейчас в Жулдете. Очень рад, что вы счастливо вышли из пекла. Там решили, что вас тоже захватил пожар. Никак не могли пробиться на то «смертное место». Кстати, что там за место, Агния Аркадьевна? Мираж, наверное? Двоглазов уверен, что там ничего существенного нет.

— Что вы, Марк Георгиевич! Там сплошная золотоносная жила.

— Значит, там все-таки есть золото?

— И много! — ответила Агния и опять подумала о Демиде: «Кто же оговорил его? Неужели опять Головешиха? Будь она проклята!..»

IX

А было так...

Над Жулдетской пасекой сгустились вечерние тени. В синеве неба едва пробились робкие звезды. От реки дохнуло сыростью. На огромной поляне у подножия Лешачьих выводков рядками белеют ульи пчел. В мареве вечерней дымки они кажутся большой деревней, когда глядишь на них вот так, с высоты крыльца.

Андрей Северьянович смотрит на домики пчел, и что-то тяжелое, давящее подкатывает под сердце. Глазами бы не глядел!..

Мудрая, сложная жизнь у пчел в дни летнего взятка. Без устали трудятся они с утра до вечера, умиротворенно жужжат, прошивая прозрачный воздух золотыми пулями. Осматривают медовые запасы, очищают восковые ячейки для червления. Косяки трутней, лениво ползая по раминам, с нетерпением ждут, когда же настанет, наконец, и для них отрадный час! Поднявшись высоко в синее поднебесье, они будут оспаривать между собою первенство за брачный миг с маткой-молодкой. После чего самец вернется на землю только для того, чтобы вскоре умереть. А матка, радостно гудящая, найдет свой улей не для того, чтобы жить в нем на положении заневестившейся молодки, а чтобы сплотить вокруг себя молодых пчел, строиться с ними в новом жилье и уже никогда не покидать его — работать, работать, плодить деток! Невелик век матки. Всего каких-то три-четыре годика. Но вся ее работа радостная, разумная, беззлобная и строгая!..

Случается, пчелы схватываются с пришлыми хищниками: осами, шмелями, мышами и даже медведями. Ударит пчелка, и сама тут же погибает, но никогда не уклонится от защиты своего домика...

В сложной, трудолюбивой жизни пчел Андрей Северьянович читал как бы укор самому себе. Не так ли вот и он жил, трудился, работал, ночей недосыпал, никого не обижал. Была и у него жена, дети. А где теперь его жена Аграфена Тимофеевна? Царство ей небесное! Давно сгнили косточки и жены, и деток в суровом краю на высылке у Подкаменной Тунгуски. Потом связался с бандой, будь она

проклята! А зачем, к чему?! Махал кривой саблей с червленой серебряной рукояткой! Сколько греха принял на душу?..

«Ох-хо-хо, люди, неразумные твари! Злобствуют, убивают, пакостят... А вот она, жизнь-то, какая мудрая, добрая... Живи и радуйся, никому вреда не делай».

Нет, не так он жил. Что-то просмотрел, где-то сбился с тропки. Умрет вот теперь в тайге, умрет весь без остатка и похоронить будет некому! Был сосуд, держалось в нем вино жизни, упал сосуд, разбился — и ничего не осталось. Нет у него ни детей, ни внуков — пустошь!

Не думать бы, не вспоминать, не чувствовать!..

Андрею Северьяновичу становится страшно. И он уходит в дом. Ложится на жесткую постель. На стене мирно тикают ходики, как единственное живое напоминание об уходящем времени.

За окном темень. Мрак. Шуршащей птицей бьется в окно ветер. Пошумливают, лопочут зеленой гривой черемухи под окном. Грустно Андрею Северьяновичу. В сенях надсадно забулькал индюк и ударил лапой.

«А индюк почему не спит? И ему тошно?»

Странное существо индюк. Живет, булькает, бьет лапой, а зачем?»

Индюк еще громче забил лапой. Андрей Северьянович поднялся, прислушался. Кругом тихо. И индюк успокоился. Андрей Северьянович всматривается во тьму и видит, именно видит, чьи-то страшные, зеленовато-лучистые глаза в углу у дверей. Округлые, покалывающие. Андрею Северьяновичу жутко. «Да ведь это Мурка!» — вспомнил он и успокоился.

И куда же потом денется Мурка? Индюки, куры?.. Андрей Северьянович всегда был добрым хозяином и любил живность.

На некоторое время снова наступает давящая тишина. Но вот индюк опять глухо прогремел, за ним загоготали, забулькали индюшки. Там же в сенях голосисто заорал на шестке перепуганный петух, и лай собаки в надворье...

«И что их сегодня леший давит?!» — Андрей Северьянович слетел с кровати, одним махом преодолел пространство до сеней.

«Надо бежать, бежать! Немедленно, сейчас же... К людям, к людям!.. Где же чемодан?!» Руки цепляются, тыкаются в темноте, никак не находя нужный предмет... Неистово осеняя грудь крестом,

Андрей Северьянович вылетает на крыльцо в одних исподних подштанниках.

Лай собак все ближе и ближе. Вот они уже у крыльца...

— Эй, хозяин! Встречай гостей! — узнает Андрей Северьянович знакомый ненавистный голос.

К крыльцу подъехали трое верховых. Испуганные глаза Андрея Северьяновича выхватили из тьмы длинное, узколобое лицо Гавриила Ухоздвигова...

После смерти Андрея Северьяновича нашли в избушке документы на имя Василия Петровича Сивушникова, старинный пистолет «смит-вессон», а в тайнике потрепанного кожаного чемодана, каким-то чудом уцелевшего из всего имущества доброго хозяина, реликвии молодости: погоны прапорщика колчаковской армии, несколько фотокарточек и мешочек золота — поисковая добыча...

Х

Не утихая, целую неделю лили обложные дожди. Вся деревня только и говорила о бандитах, поджегших тайгу, кляня их на чем белый свет стоит.

Слух, что змея, исподтишка жалит.

Как-то сразу полыхнуло по деревне, что Санюха Вавилов — соучастник поджога тайги. И пошло гулять по деревне: Вавиловы, Вавиловы!..

Вавиловы — работающий народ, дружный. Если один попадал в беду, выручал другой. Семьи Егора и Васюхи делились между собой всем: достатком, взаимной поддержкой, участием. Особенно дружны были братья Васюха и Егор. Если случалось, Егор Андреянович попадал в нужду, он пользовался кошельком своего среднего брата без лишних слов. «Ну, Васюха, я врезался. Выручай!» Егор Андреянович любил горькую. Если пил, то с дымком, по-приискательски. В такие дни он ходил по Белой Елани в особенно приподнятом настроении — море по колено. Завернув в чайную Дома приискателя, угощал встречного и поперечного до тех пор, пока в кармане шуршали деньги, и во всю глотку орал любимую песню:

*Бывало, вспашешь пашенку,
Лошадок распрягешь!..*

Дальше песня не шла. Но на этом знаменитом двестишии она могла литься у Егора Андреяновича до тех пор, пока он носом не буравил землю.

Никто из Вавиловых, начиная от раскольника Пахома, угодившего на поселение в Сибирь, не терпел жизненных шор, стеснения. Им подавай живинку, бурные переживания, которые не одного из Вавиловых смыли с берегов жизни.

Братья Вавиловы от разных матерей. Михайла и Васюха — рождены Василисой, первой женой Андреяна Пахомовича. Санюха — Лукерей Завьяловой. Все они унаследовали от отца одни черные глаза. В обличности Санюхи сказалась Завьяловская порода: коренастость, сутулость, упрямость. У Санюхи рыжие усы и светлорусые вьющиеся волосы, на висках прошитые сединой. У трех старших братьев — головы белые. У Егора и Васюхи — пышные усы зеленоватой седины и густые метелки черных бровей, вроде как Горностаевы хвостики, приткнутые к надбровным дугам. У Михайлы — тонкие черты лица, резко прочерченный волевой рот, твердый подбородок с ямочкой, сухая жилистая шея. У Васюхи и Егора — тяжелые выпяченные подбородки.

Братья Вавиловы, не сговариваясь, собрались у Егора, потолковали, побряхтели и двинулись на другой конец предивинского большака к Санюхе.

Впереди шел старший брат — Михайла Андреянович — почетный железнодорожник, пенсионер. Он полстолетия водил скорые поезда по Сибирской магистрали. Такой же вислоусый, как и все Вавиловы, Михайла шел в новехонькой железнодорожной форме и начищенных штиблетах, торжественно переставляя трость с костяным набалдашником. В сорок седьмом году вернулся он со старухой доживать свой век в Белую Елань, поселившись в пятистенном доме.

По тому, как шел Михайла, как тыкал тростью в землю, как бы ставя вехи своего движения, как неподвижно прямо смотрел вперед своими глубоко посаженными глазами, как отвердело его гладко

выбритое лицо, как приподняты были худущие плечи, можно было понять, что шествует он на некое судилище.

На почтительном расстоянии от Михайлы, на шаг друг от дружки, шли Васюха и Егор. Васюха вырядился в приискательские шаровары непомерной ширины, какие носил он еще в бытность прииска Ухоздвигова. Выпяченная челюсть, немирный взгляд семидесятилетнего приискателя говорили о той бурной жизни, которую прожил Васюха. Это был человек хваткий, тяжелый на руку. Старики Предивной помнят, как молодой Васюха, еще до переворота, захлестнул насмерть цыгана Дергунчика — за ноги и об заплот, и как раскатал по бревнышку собственную баню, где согрешила с Дергунчиком его первая жена. Потом Васюха сжег свой дом, истребил всю животину и, забрав детей, сбежал из Предивной бог весть в какие края. Двадцать лет о нем не было ни слуху ни духу. Заявился он присмиривший и долго еще сторонился сельчан — жил на отшибе, хаживал в одиночку за золотом, покуда не женился во второй раз.

Егор Андреянович, как всегда простоголовый, в холщовой рубахе и в холщовых шароварах с болтающейся мотней по колено, ширококостный детина, не в пример старшим братьям, вышагивал по большаку с некоторой резвостью. Он успел подмигнуть молодке Снежковой, подкинув большим пальцем левый ус, многозначительно кивнул Нюрке Шаровой, что встретила им в улице, крикнул при встрече с Митей Дымковым, секретарем сельсовета, но когда поравнялся с Маремьяной Антоновной, то ноги его как-то сами собой круто забрали влево.

— Куда лыжи-то наострили, усачи? — спросила Маремьяна.

— Да вот братаны заженихались...

— Ишь как! Все резвишься, сивый.

— Кровь у меня такая, Маремьянушка. Как завьюжит по жилам, невтерпеж.

— Егор, что ты там? — позвал Васюха.

— К Санюхе, поди?

— К нему, — уронил Егор Андреянович, покидая Маремьяну.

Крестовый дом Санюхи — на окраине большака, возле дома Филимона Прокопьевича.

Братья молча прошли в калитку ограды. Навстречу вышла Настасья Ивановна, в розовой поотцветшей кофтенке и в полосатой

подоткнутой юбке, простоволосая, смахивающая на монголку скуластым лицом и узкими прорезями глаз. Еще у крыльца она стала усиленно сморкаться, жалуясь на Санюху: запил-де мужик, сидит в горнице, что барсук, не подступись.

Стройный костлявый Михайла с неприязнью поглядел на толстую золовку и, не задерживаясь в надворье, прошел в глухие сенцы, где пахло творогом и кислыми овчинами, и, не разгибаясь, шагнул в избу, чистенькую, пахнущую застарелой краской, с большими окнами, занавешенными пестрыми шторами, с облезлыми лавками, столом с поистертой клеенкой, кутью, заставленной чугунами и ухватами. За ним вошли братья, каждый под потолок. Дверь в горницу была закрыта. Настасья Ивановна кинулась вперед, но ее остановил Васюха.

— Ты помешкай покуда, Настасья. Мы сами.

И гуськом двинулись в комнату.

Санюха сидел за круглым столом с пол-литрой водки. Преломленные лучики солнца отражались от бутылки на стене. На столе в алюминиевой тарелке — огурцы, квашеная капуста, в черепушке — черная соль, полбуханки хлеба. Ни вилок, ни ложек, ни ножа.

Как только вошли братья, Санюха, конфузливо отвернувшись от них, встал, торопливо запахнув голый живот разорванной по столбику натальной рубахой.

— Вот... справляю поминки, — сообщил, прямя спину.

— Овдовел или как? — поинтересовался Егор.

— Вроде. С душой расстаюсь. Определенно.

Михайла, стоял посреди горницы, как размашисто кинутый восклицательный знак. Потом снял фуражку, пошарил глазами, куда повесить ее, заприметив гвоздь, подошел к стене определил туда фуражку. Скосил глаза на прибитые маральи рога — убой нынешний, паскудничает Санька!

Вид горницы запустелый, нежилой. Кровать взлохмачена, половики затоптаны, стены обиты обоями сорокалетней давности, с орлами. Собственно, орлов не видно было. Местами торчали головы, распростертые крылья, перья, какие-то аляповатые цветы.

— Видать, ты нагрузился, Санька, — посочувствовал Васюха, любящий горькую не менее младшего брата.

— Я? Нннет. Тверез. Пью — не пьянею. Нутро горит. Льешь — не зальешь. Топишь — не утопишь. Вот оно как, значит.

— Так, так. — Михайло выдвинул к себе стул и осторожно, как присаживаются старики, опустился на жесткое сиденье. Тугой ошейник мундира, подпирающий под челюсти, прямил его длиннолицую, прямоносую голову с тонкими невавиловскими губами. — Не пьян, значит? Тогда умойся да смени рубаху.

— Рубаху? Найдем, Андреяныч. У меня, как у всякого теперешнего холхозника, есть две рубахи: которая нательная и которая верхняя. Настасья, дай верхнюю! Мундиров нам, братуха, не выдают. Пенсиев — также. Пробиваемся помаленьку. Ну да ты — не из пришлых, знаешь.

— Вонючий ты мужик.

— Оно так, Андреяныч. Припахиваем. Ни денег, ни табаку, житуха — сопатому не в милость.

С тем и вышел из избы. Долго умывался студеной водой, сменял рубаху и штаны, а когда вернулся, выглядел бодро.

К делу приступил старейший.

— Давайте начнем так: сядем криво, а говорить будем прямо. Живешь ты, Санюха, бирюком. Пробовал вытянуть тебя из бирючьего положения — не вышло. Настал черед разобраться во всех твоих делах и жизненных стежках. Как, что и почему.

Помолчал, покручивая щепоткой сахарно-белый ус, уперся глазами в лоб младшего.

— Говори на совесть: с кем ты встречался ноне в тайге?

Санюха беспокойно задвигался на стуле, повел глазами по окнам, стенам, включенной постели и, заметно бледнея, вывернул из сердца:

— Было дело. — И, пригнув ребром ладони рыжий ус, утверждающе кивнул головой. — Встречался. Мало ли люду по тайге ходит? — Его кудрявящиеся на темени волосы рассыпались и свисали на узкий лоб, изрезанный глубокими прошивами морщин.

— Ты не юли, — уронил Васюха. — Говори прямо — видел бандитов, которые тайгу жгут?

— Того не сказал.

— Допрежь подумай. А потом говорить будем. Али в молчанку сыграем? — спросил Михайла.

Санюха зыркнул по недопитой пол-литре, облизнув губы, как бы поборов жажду, ответил:

— Понимаю! Стал быть, пришли допрос учинить? Кровинка точит?

— За язык не тянем. Пришли поговорить, как и водится, по родству, — пояснил Васюха, треугольником раздвинув ноги, обутые в яловые сапоги с отвисающими голенищами, как и у Егора Андреяновича. — Ежели тонешь — может, помощь оказать придется. То, се, как водится. Люди-то говорят такое, не слушал бы. А как оно ни прикинь — костерят всех Вавиловых. А к чему? Может, навет? Отвести можно. Очень свободно.

Санюха привстал на стуле, потом снова сел и, помигивая, возразил:

— Скажу вам, братаны, так: мягкость в обращении не для меня. Сызмала привык к жестокому обхождению. Так и толковать будем. Оно, хотя тайги не поджигал и умысла такого не имел, но с людом разным встречался на таежных тропах. Не единожды, а много раз. По-свойски скажу вам: ежелив у одного чешется — трое не царапаются. Один буду. Вот оно какие дела. Ежелив подозревают меня в чем, как-нибудь отцарапаюсь. Без вас в ге-пе-у хаживал. В эн-ке-ве-дэ такоже. Теперь, может, в ге-бэ позовут.

— Не умничай, Санька скажи просто: кого видел в тайге, о чем толковал с ними и почему все держал в тайности? Знал, а молчал. Худо, паря, прямо скажу. Ежлив знал да молчал, выходит, корень зеленый, узелок завязал с бандитами.

— Узлов не вязал, — отверг Санюха, не взглянув на Егора Андреяновича. — Ежлив был бы узел — не утаил бы. Поджилки крепкие. Трясучкой отродясь не хварывал. С кем виделся? С охотниками.

— Темнишь ты что-то, Санька.

— А чего мне темнить?

— Так кто же жег тайгу?

— Горела, стал быть.

— Бандюга жег!

— Про то не могу сказать. Не видел.

— Тут и видеть нечего! Ты должен был пойти к властям и обсказать...

— На доносах, Андреяныч, руки не набивал. Каждый идет своей дорогой. Я, стал быть, тоже своей иду. Поперек чужих дорог не хаживал. А я, Андреяныч, на тайге возрос. Документов охотник у охотника не спрашивает. Мое дело телячье. Пососал и в куток.

— Вот тебе насосут, узнаешь, — буркнул Васюха.

— Все может быть, и насосут. У каждого свой норов.

— Запутался ты, Санюха, — посочувствовал Егор Андреянович.

Не верил Михайла, что Санюха говорит правду. Нет, тут что-то другое. Что-то он утаил.

XI

Если бы посторонний наблюдатель завернул в этот час в горницу Санюхи, он бы увидел картину столкновения разных характеров.

Четыре брата — четыре характера. Старейший, унаследовав практическую сметку, степенность от матери Василисы, смахивал на прокурора. Его вопросы, сдержанные, цепкие, с едучим сарказмом, заставляли обвиняемого беспокойно ерзать на стуле. Дородный Егор Андреянович, развалившись на стуле, что бурый медведь, хитроватый, явно сочувствующий Санюхе, отличался от старейшего покладистостью. Он действовал в семейном судилище по присказке: «Конь о четырех ногах — и тот спотыкается». Васюха, повывавший на своем веку многих, у кого жизнь шла через пятое на десятое, не оправдывал младшего брата, но и не обвинял. Придерживался нейтралитета. «Запутался Санька. Промывку требует», — думал Васюха.

— Значит, покрываешь бандитов? Врагам подыгрываешь! Советская власть тебе не по душе?

Этот вопрос Михайлы застал Санюху врасплох.

— Почему не по душе?

— Не по душе! Вижу, — отрезал тоном прокурора Михайла и, как-то сразу прижмурив глаза, машинально прижал сухую жилистую ладонь к сердцу. — Неспроста ты покрываешь банду. Но попомни мои слова: главарь не уйдет, поймаем. И вот тогда с тебя спросится. Тогда ты определишь, на чью ногу прихрамывал всю жизнь!.. Ежели бы оповестил вовремя, что за люди в тайге, не бывать бы пожару. А тебе, я вижу, Советская власть не нравится. На старое потянуло...

Санюха ухватился за пол-литру, сжал ее пятерней, потом резко отсунул в сторону и, встав, рванул ворот рубахи так, что пуговицы посыпались, как горох.

— Не пужай, Андреяныч! Не пужай! Двух смертей не бывать — одной не миновать. Стал быть, так. Не нравится! Не по душе! В ту пору не нашивал одной рубахи, покуда не стлеет, не ел вот этот хлеб с черной солью, будь она проклята!.. — куражился пьяный Санюха. — Не знал ни запретов, ни укоротов. Вот оно, какие дела, Андреяныч, Я дуюсь, дуюсь, а толк где? При старом времени на прииске сидели трое: казначей, доверенный по приему золота да счетовод-писец. А ноне что? В Благодатном контора в два этажа, на Разлюлюевском контора в полверсты, в Белой Елани еще одна контора. А золота — кот заплакал. Это как? Порядок? На чьей шее эти служащие? Буде! Сыт! Не хочу!

«Вот так молчун, — отметил про себя Васюха. — Эх-ха-ха, путидороженьки! И в гражданку шел по жизни через пятое на десятое: то метнулся к белым, то к красным»...

Егор помалкивал. Жалел Санюху. Ровно, кто от сердца отрезал кусок. Ну, запутался мужик, а ведь свой! До чертиков свой, окаянная душа!

Братья разошлись, как не сходились.

Санюха остался допивать самогонку. Егор Андреянович, пригнув голову, свернул в проулок и ушел к себе по заколище, безлюдьем. Васюха долго стоял на взлобке заброшенного извоза. Один Михайла возвращался к себе домой тем же размеренно-торжественным шагом, скупно кивая на приветствия прохожих. Васюха проводил старейшего долгим взглядом. Михайла тяжелее всех переживал жизненную драму Санюхи. Он шел, как заведенный механизм, чувствуя, что, если чуть отпустить пружину, то тут же упадет и никогда уже не встанет. В глазах у него мутнело, в ушах стояло то знакомое шипенье, каким сопровождалась сердечные спады. Сердце билось то быстро, то совсем переставало, замирая. Но он не прислушивался к своему сердцу, он думал, упорно, по-стариковски тяжеловато. Да, он знал, как трудно живется колхозникам после войны. Он видел черный хлеб из охвостьев, истощенных ребят, видел рваные одежонки на вдовах, кросна во многих избах, на которых бабы, как бывало в старину, ткали холсты, — много трудностей в жизни, но ведь их надо изживать, а не

снюхиваться с бандитами! Потом он вспомнил трех своих сыновей, погибших в Отечественную войну, и сразу же в виски ударила кровь. Ему стало жарко, душно, хотелось присесть в затенье возле чьего-нибудь заплота, но он был человек гордый, негнувшийся старик. Идти до конца, как бы тяжело ему не было! Так держать! Вот так, прямо, стучая тростью, одолевая противную дрожь в коленях. Он чувствовал, что на лице проступили мелкие капельки пота. Печет. Где-то над головою чирикают воробьи. Солнце играет на осколках битого стекла — лучистое, ровно от земли протянулись к глазам сверкающие ресницы. Может, это — его последний полдень?.. Последние ресницы солнца? А что там дальше? Конец, всегда неприятный, нежеланный. От него не уйдешь. Жил долго, а — еще бы, еще бы!.. Если бы он мог сейчас подняться по железным ступенькам на свой паровоз СУ! Почувствовать руками тепло рычагов парового котла, посмотреть на манометр и, высунув голову в знакомое окошечко, освежить лицо встречным ветром. Он всегда ездил на большом клапане, на большой скорости. Пятьдесят лет! Водил поезда в гражданку, в Отечественную, бывал в катастрофах, но никогда не отчаивался. Паровоз был его домом. Там прошла его жизнь от масленщика до машиниста. Его знали, уважали за суровость. Он был мужественным машинистом, он был коммунистом с основания первого марксистского кружка в депо станции Красноярск. Как-то обошлось так, что его ни разу не арестовала охранка, не побывал он ни в тюрьме, ни на этапе. У других арест за арестом, а он все в стороне. Работал усердно, прилежно, нешумливо. Провокаторы не обращали на него внимания. «А! Этот! Пусть тянет, сивый. Не он главный!» Он и не лез в главные...

Отечественная война унесла у него трех сыновей, изничтожила под корень всю его кровь и силу. И вот теперь он доживал век свой со старухой в Белой Елани.

Едва-едва Михайла дотянул до малтатского мостика, как силы покинули его. Вдруг все стало багряно-пылающим, кто-то резко свистнул в ухо, так что ударило в затылок и подглазья. Ему показалось — нет, он это почувствовал каждым мускулом, что он на паровозе, что надо, надо перевести рычаг с большого клапана на малый, что надо это сделать сейчас же, сию минуту! Что путь впереди размыт дождями, а за ним, за машинистом, семь пассажирских вагонов!.. И он, с силою сжав костяной набалдашник, рванул его на себя и, уже ничего не

чувствуя, упал навзничь у мостика. Фуражка его слетела с головы и укатилась с горки на речную отмель, где, стукнувшись о камень-голыш, перевернулась подкладкой вверх. Солнечный луч скользнул по черной сатиновой подкладке, заиграл на ромбике крытой лаком фабричной марки.

Антошка Вихров с Колькой Мызниковым сидели у мостика с удочками. И вдруг увидели — упал Михаила, будто кто его с ног сбил. Ребята кинулись к старику.

Суровое, побледневшее лицо Михайлы со старческими складками у рта казалось каменным. У Кольки не хватило духу тронуть старика за руку, в то время как спокойный Антошка Вихров, напрягая силенки, вытягивал косяную рукоятку трости из рук Михайлы, но это ему не удалось. Старик крепко держал трость.

— Он... помер!.. Ей-бо, помер, кажись!.. Как шел, так и помер. Ей-бо!.. Вот те крест! — И Антошка для пущей убедительности перекрестил лепешки веснушек на своем носу и щеках.

Но вот Михайла потянул левую ногу и тихо, как ребенок, простонал: жалобно, бессильно.

— Нет, не помер!.. Ей-бо, не помер!.. Вот те крест, не помер! — заверил Антошка, краснея, и, встав на колени, дотронулся ладонями до лба и щеки Михайлы. Щека и лоб были теплыми. — Воды, Колька! Омморок. Завсегда льют воду. У нас бабка Лукерья как упадет в омморок, льют воду, — пояснил Антошка, хотя Колька бежал уже к речке, где, вытряхнув из котелка пескарешек, зачерпнул воды.

Ключевая вода освежила Михайлу. Он медленно, с трудом открыл синеватые веки с мешками в подглазьях. Он еще не знал, где он: на паровозе ли, в своем ли доме, у Санюхи ли, — и что с ним случилось. «Так держать. На малом клапане», — вдруг пришло в голову, и он все вспомнил.

«Нет, не на малом, а на большом», — возразил он себе.

Воротник жал шею, как стальным кольцом. Он попытался поднять правую руку — руки не было. Он ее не чувствовал. Хотел что-то сказать, но рот его приоткрылся углом. Вместо слов вырвались непонятные булькающие звуки.

«Это для меня последний звонок, — невесело отметил про себя старый машинист. — Третий звонок!.. И все-таки так держать, дружище. До конца!»

Михайлу парализовало. Через три дня его увезли в город в железнодорожную больницу, где он и закончил свой последний путь старого машиниста.

ЗАВЯЗЬ ОДИННАДЦАТАЯ

I

Жизнь, как и река, не стоит на одном месте. С утра проглянуло щедрое солнышко, и простоял первый погожий денечек. Пожухлая огородина зазеленела новыми побегамии прямо на глазах, стали подниматься хлеба. Что ни день-то солнце. А к вечеру гроыхала гроза, освежая полуденный зной.

Анисья сидит у окна, смотрит, как скрещиваются белые молнии, прорезая насквозь лилово-черную тучу.

Молнии жгут небо, а просвету нет.

Дождь, дождь и гроза!..

Духота знойного дня сменяется освежающей, прохладой.

Из избы через щель в филенчатой двери — тонюсенькая полоска света: отец не спит. Анисья слышит шаги Мамонта Петровича и недовольное бурчание. «Расщедрилась небесная канцелярия! Уж буде бы!»

Сверкнула молния. В горнице стало так светло, что Анисья зажмурилась. Ударил гром. И еще, и еще совсем близко, да такой силы, что, стекла зазвенели. Маремьяна Антоновна перекрестилась. Мамонт Петрович громко выругался.

Анисья распахнула створку, будто хотела, чтобы гроза ворвалась в горницу. Маремьяна Антоновна завопила:

— Сдурела! Да ты что, угробить меня хочешь?! Анисья закрыла створку. Снова блеснула молния, озарив чью-то фигуру в дождевике.

— Анисья! — звал чей-то голос.

— Кто? Кто там? — откликнулась Анисья, высунув простоволосую голову, в окно.

— Это я, Гордеева, выдь на минутку.

Анисья долго искала платье. Ее красноватые, блестящие в зареве молнии волосы рассыпались по спине, по груди, мешали ей. Она их откинула за спину, замотала в узел.

Возле калитки встретила ее Груня в мокром, шумящем, как железо, дождевике, накинута на голову. Прикрыв плечи Анисьи

полою дождевика, склонив голову к самому уху, тихо прошептала;

— Демида везут в район. Арестованного. Только что приехали из тайги Семичастный с Гришей.

Холод прилил к сердцу Анисьи. Ноги сделались чужими, ватными. И она чуть не упала тут же на мокрую землю.

— Ну что ты, что ты! Беги, может, успеешь повидать его...

Анисья не могла вымолвить ни слова: зуб на зуб не попадал.

— Да постой же ты, чудачка! Куда? На, надень хоть мой, дождевик! Мне тут близехонько...

Анисья кинулась напрямик к сельсовету. В улицах непролазная грязь, но она бежала, ничего не замечая.

А дождь шумел и шумел по лужам.

В узком, как щель, леспромхозовском проулке плескались лужи. Анисья пробиралась подле изгородей, цепляясь руками за частокол, не чувствуя, как хлещет вода за воротник, стекая по спине и прилипшему платью, и не догадавшись даже поднять капюшон. Она и сама не сумела бы объяснить, какая сила толкала ее сейчас вперед. Единственное, к чему она стремилась, — это поскорее увидеть его и, если можно, помочь.

II

А между тем на окраине деревни в доме Егорши Вавилова шел невиданный переполох: от Степана сообщение — едет.

Сам Егорша как угорелый метался по избе, зычно покрикивая на суetsyающуюся Аксинью Романовну. То и дело раздавался его голос: «Поторапливайся, слышь? Очнись, говорю. Мне к спеху: мешкать некогда!»

— Што еще тебе?

— Вынь подштанники.

— Подала же.

— Какие ты мне сунула? — кипятился Егорша, потрясая холщовыми подштанниками. — Вынь полотняные, жила!

Поглядел на залатанные в коленях штаны, поморщился.

— Достань оммунировку. Потому — момент такой. Должен я явиться перед глазами Степана при полном параде.

— Какую ишшо оммунировку?

— А в какой я приехал с войны.

— Осподи! — всплеснула сухими, костлявыми руками Анисья Романовна. — Сколь годов не одевана! Враз расползется. Говорил же: на смертный час чтоб сохранилась. Пусть лежит.

— Повремени со смертным часом! Мне всего семьдесят годов! Вынь да подай, чего требую. И рубаху красную, сатинетовую-тоже.

— Ополоумел, осподи! Разве можно при царской обмундировке в таперешнее время ездить? Чо забрал в башку-то, а? То пропадает на своей пасеке месяцами, то зайвится домой, и — вон какой!..

— Тебе грю, вынь и положи. Я за свою парадную выкладку кровь проливал, не водицу! Я, может, один на взвод мадьяр и австрияков тигром кидался, а што ты в таком деле смыслишь? Пусть он глянет, служивый, что и отец его не лыком шитый. Может, запомятовал за службу. Я еще погляжу, какой он у нас, майор Степан Егорович. В мою ли выпер кость?

Пришлось Аксинье Романовне достать из глубины сундука суконные штаны Егорши, изрядно побитые молью, китель, с прицепленными четырьмя Георгиями и четырьмя медалями. Все это, дорогое и памятное, навеяло на белоголового Егоршу долгое раздумье.

Он сидел на лавке, прямоплечий, крупный, в белых подштанниках, босоногий. Ссутулившись, глядел на кресты и медали, а видел — Пинские болота, окопы, атаки, контратаки, сражения с немцами и мадьярами в войну 1914 года... «А ну, поглядим, какой герой к нам припожалует. Не ударит ли он ишшо перед отцом в грязь лицом...».

Крякнув, он стал натягивать на себя брюки. Они оказались в самую пору. Китель жал в плечах, но Егорша не обратил на такую мелочь внимания: занят был крестами и медалями. Попросил у старухи суконку и, не снимая кителя, надраивая медали, мурлыкал себе под нос старинную фронтовую песенку.

За торжественными сборами мужа Аксинья Романовна наблюдала с затаенной завистью: заупрямился старик, не хочет брать ее с собой на пристань — на встречу Степушки. Сам, говорит, один встречу — мужик мужика.

— Что про Агнею скажешь? — спросила, настороженно глянув на Егоршу.

— Про Агнею? — Егорша кинул суконку на лавку, еще раз скопил глаза на заблестевшие медали, ответил: — Подумать надо. Не обо всем сразу.

— У Агнеи-то ноне заработок за полторы тысячи перевалил, — нечаянно вырвалось у Аксины Романовны. — Да и сама она, как вроде картина писаная. И почет имеет при геологоразведке.

— Гитара двухструнная! — крикнул Егорша. — Тебе бы только тысячи, шипунья-надсада, а остальное — полное затмение!

— Про какое затмение разговор имеешь? — услышал он вдруг голос Мамонта Петровича, вошедшего в горницу. — Ни солнечного, ни лунного не предвидится. Заявляю авторитетно. Э? — протрубил вдруг Мамонт Петрович, округлив глаза на кресты и медали Егорши. — Экипаж подан, Андреич. А ты — при царственном параде, э?

Чинно развалившись возле стола на крашенной охрою табуретке, Егорша развел обеими руками усы, вроде как потянул собственную голову за серебряные вожжи.

— Ну, как, Петрович, гожусь в новобранцы? — Егорша подмигнул угольно-черным глазом.

— Адмирал! — одобрительно поддакнул Головня, — Тебе бы при такой вывеске не мой экипаж подать надо, а подвести к воротам дредноут иль там подводную лодку. Было бы в самый раз. А так што телега на расхлябанном ходу. Наилучше же всего, — чеканил Головня, подкручивая свои по-рысьи торчащие рыжие усики, — теперь тебе, Андреяныч, прямая дорога на Марс.

— Пошто на Марс?

Головня выдвинул ногу вперед, засунул руки в рваные карманы телогрейки, едва доходившей до пояса, пояснил:

— При таком наряде ты бы там, Егорша, пришелся в самый раз. Потому: планета отдаленная от солнца, холодища там несусветная, а, значит, и ты сохранился бы там на долгие века. А земная атмосфера — что! То дождь полощет, то солнце печет, то градом лупит — моментом сползет царский наряд.

Зашли в избу и братья Егорши — каждый чуть не под потолок; полюбовались. Васюха одобрил затею Егорши. Санюха промолчал.

В избе становилось темнее; сумерки сгущались, оседая в углах, на полу, потемнив всю справу бывшего полного георгиевского кавалера

Егора Андреяновича. Скоро надо ехать встречать Степана.

— Может, еще будет председателем колхоза, — сказал Головня.

— Держи карман шире, председателем! — рявкнул Егорша. — С майоров да на председателей нашей Предивной-прорывной — в самый аккурат.

— А через что Предивная стала прорывной? — не унимался Головня. — Ну, там война была, трудности всякие, это понятно. Но ведь наш Лалетин-недомыслие природы. Окончательно пустил колхоз в распыл. Какой из Павлухи Лалетина председатель? Трем свиньям хвосты не скрутит, а ему — колхоз на шею! Он же весь в карманах своих дядьев.

— Чхать на них! — отмахнулся Егорша.

— Содрать бы с тебя кресты за такие слова, — крикнул рассерженный Головня. — На предбывшей вывеске не проживешь, Андреяныч! Двигать надо сегодняшней день. Вот оно как! А кто должен двигать? Какая сила? Степан, а так и другие фронтовики-с нами всеми вместе. Кем уходил Степан в армию? Трактористом. Кем возвернулся? Майором. А на чьи денежки поднялся он до майора? На народные! Так или не так? Так почему же мы должны теперь ему поблажку давать?

— Оно... Ну, вот что, — поднялся Егорша. — Пора ехать.

Закончив сборы, перекинув через руку брезентовый дождевик, осенив грудь размашистым крестом, Егорша в сопровождении сморкавшейся в передник жены, братьев и Мамонта Петровича Головни вышел из дому к воротам ограды. И каково же было его возмущение, когда по ту сторону открытый настежь ворот предстал перед ним исхудалая рыжая лошаденка в довольно потрепанной сбруе.

— Насмешка или как? — в груди Егорши забурлило, он шумно перевел дух. Кресты на кителе поднялись и, звякнув, опустились. — Кого ты запряг, а?

— Разуй глаза, увидишь: сама Венера!

— Да не она же это!

— Если бы тебя на соломе держать месяца три, ты бы, Андреяныч, богу душу отдал, а не то что нарядился бы вот так в предбывший мундир! А Венера — выжила. Да еще тебя повезет и обратно возвернет... с будущим председателем. Вот он пускай полюбуется, до чего довели коней.

— Срамота!

— А чего ты дивишься, кого срамишь, будто ты есть уполномоченный? Спомни: когда выбирали Лалетина Павла, разве мы не говорили мужикам, чтоб не голосовать? А вы, которых больше оказалось, вы — что? Не наше дело!

— Што ты мне суешь Лалетина? — разозлился Егор Андреянович. — Его же представители выдвигали.

— Можно отпихнуться, Егорша, можно! Не голосовать — и баста. Не подать ни одного голоса.

— Тебе, пожалуй, не подадут, — угрюмо заметил Егор Андреянович.

— Не страшай, Егорша! Не такие страхи Головня видывал, а все жив. Взгляд надо кидать шире. Суют негожего? Погодите! Мы его, мол, знаем вот с какой стороны. И под зад ему! Под зад! — Головня пнул ногою, словно дал под зад председателю, развалившему колхоз.

— Э! Балаболка! — плюнул Егор Андреянович. — Уж больно ты идейный. Только почему это тебя, идейного, — в партии не восстановили?..

Мамонт Петрович потупился. Крыть-то нечем.

— Ну, ладно. Петрович, не сердчай. Я это не со зла, — помягчел Егорша. — Но у тебя же есть еще на конюшне Юпитер, два Марса, Пошто их не запряг?

— На Марсе Аркадий Зырян уехал в МТС! Второй Марс, трехлеток, у трактористов в бригаде: не возьмешь.

— А Юпитер-то, Юпитер где?

— Под самим Павлухой Лалетиным. Есть в наличности Венера, ее и запряг. А если бы тебе подать чалого Астероида или там саврасого Плутона, — ты бы до поскотины не доехал. Определенно! Ты вот прикипел в тайге на пасеке, мастеришь у себя под навесом ульи, а нет того, чтобы прийти на конюшню да кинуть взгляд, что и как,

Егорша покачал головой.

— Стыдобушка-то какая, господи! Отвозил я Степана на колхозных рысаках, в момент домчались до Минусинска. А встречать приеду на ком?

Внизу, под яром, бьются волны; теплоход недавно отчалил от берега. Черная толстущая коса угольного дыма стелется над протокой, резко выделяясь на зелени обширного острова.

Степан стоит на берегу пристани и смотрит вслед уходящему теплоходу.

Была Агния, была юность, трактор СТЗ, потом армия, Ленинградское военное училище, финский фронт, линия Маннергейма, первое знакомство с лотами и дзотами, как бы перенесенными из учебных классов в натуру, потом мирная передышка и вдруг — гром Великой Отечественной войны. Отход на восток, Днепр — чудный при всякой погоде, битва за Смоленск, декабрьское победное сражение за Москву, минные осколки, госпиталь в Саратове, и снова фронт, и еще раз Днепр, хатка учительницы Агриппины Павловны и фронтовая любовь к дивчине, фельдшернице Миле Шумейке — тревожная, с опасностями, со смертью рядом.

Где теперь Шумейка?

Степан хмурит метелки черных бровей, задумчиво смотрит на лоно мутных вод, прислушивается к воркующим всплескам.

«Мальчонкой приходилось бывать здесь, отсюда и в армию меня провожали», — вспоминал Степан и как-то сразу увидел себя не теперешним Степаном, майором, демобилизованным в запас, а парнишкой Степкой, несмышленьшем. Тогда он впервые увидел парохода Минусинске. Стоял вот на этом же берегу со своим дружкой, — Демкой Боровиковым, и они нюхали дым парохода. Именно нюхали.

Настойчиво, неумолимо минувшее, печальное и радостное, воскресало в памяти Степана в картинах, лицах, днях, врезавшихся в память, подобно золотым паутинам в кварцевую породу.

С этого берега уехал Степан когда-то в армию с призывниками. И где-то вот здесь, помахивая Степану белым платочком, плакала навзрыд Агния, которую он и полюбить-то не успел. Степан тогда подумал, что Агния не прощается с ним, а отмахивается, как от окаянного. И все-таки в памяти остался белый, трепещущий на ветру далекий платочек!..

«Все перемелется — мука будет», — подумал Степан, теребя бровь.

На попутной машине добрался он до Каратуза, а дальше пошел пешком по пыльной дороге, четко, по-армейски, печатая шаг. Кое-где шоссе подновили, засыпали гравием. И все-таки каждый куст был знакомцем, каждая тропка — подружкой юности.

Пока шел до переправы на Амыле, взмок. Не велика тяжесть-чемодан да рюкзак за плечами, а выжимает испарину. День-то поднялся жаркий, знойный, с сизым маревом над тайгой.

В полувыгоревшей траве по обочине дороги густо стрекотали кузнечики. Пели на все лады неугомонные птицы, славя погожий день.

Паром стоял у берега, причаленный к желтому свежеструганному припаромку.

«Старый-то, видно, сгнил. Либо снесло весенним паводком», — подумал Степан.

Из-за Амыла несется голос:

— По-о-дай-те па-аром!..

Вместо избушки паромщика Трофима, где когда-то давно Степан провел долгую ночь в ожидании попутчиков, ныне стоял пятистенный дом.

Густо пахло нефтью и бензином. Степану почему-то жаль стало избушки паромщика, жаль топольника, в тени которого он когда-то пролежал до вечера.

А из-за Амыла будоражит призывный голос:

— По-ода-а-айте па-а-ро-ом!

«Наверно, парень, вроде Андрюшки, — думает Степан. — Какой он теперь, Андрюшка?..

— Ах, язви ее, настырная Голоवेशиха! Говорил же, не подам лодку, так на тебе, кричит, окаянная душа! Будто подрядили меня в перевозчики.

К Степану подошел медлительный сутулый старик в брезентовой короткой тужурке, попыхивающий вонючей трубкой. Степан узнал бородача: это был тот самый Трофим, у которого он когда-то ночевал в избушке.

— Кажется, дед Трофим, а?

— Трофим не Ефим, а борода с ним. Откуда меня знаешь, товарищ майор?

— Я как-то ночевал у вас. Давно еще! Степан Вавилов.

— Э, брат! Из Белой Елани? Там у вас Вавиловых — хоть пруд пруди. В отпуск едешь или как? Вчистую? Ишь ты! Навоевался?

— Навоевался.

— Знать, в рубашке родился. Если всю войну протопал да живым-здоровым возвратился — не иначе, как чья-то любовь сохранила. Правду говорю, материна там аль жены, сына, дочери. Большущая любовь!.. А вот мне в ту войну, паря, не пофартило. — И, присаживаясь на причальный промасленный столб, смачно выругался.

— Как не пофартило? — поинтересовался Степан.

— А так. Баба моя свихнулась.

— Свихнулась?!

— Было дело. Получил я от нее такую писульку, что, значит, катись от меня, Трофим, а мне по ндраву пришелся Ефим. Так сразу на меня наплыло страшное отчаянье. В атаку один супротив десятерых. Лежу в окопах, а Даша ворочается в самом сердце, спасу нет. «Дайте, говорю, ваше благородие, простор мне на самую большую отчаянность!» И давали. Вышел я к шестнадцатому году в полные Егории, в унтеры затесался. Хотели меня отправить в школу прапорщиков, да не пожелал. Успокоения в боях искал, а не находил. Хо-хо!..

Спытал я, паря, немцев в ту войну! Лупил их из трехлинейки за мое поживаешь. Ну, думаю, быть мне фетьфебелем, а там и в офицеры пролезу. Явлюсь к Даше при золотых погонах — ахнет бабенка и обомрет. Тут-то я и объявлю ей свой ндрав. Да не так получилось, как думалось. Под осень, на покров день, двинули наш сибирский полк в атаку. Поднялись мы из окопов, земля мокрая, грязища по самое пузо. Ну прем, дуемся, солдатики. И што ты думаешь? Покатились немцы. Кричат, постреливают, а вроде не в охоту. Ну а мы ждем: «Ур-р-р-я-я!» А што «уря», когда дело дошло к «караулу»? Как хватанули нас с флангов, мы не успели опомниться, как нам хвост зажали. Меня, паря, хоть бы камнем-голышком пришибло. Цел, невредим божий Никодим! Измолотили нас из трехдюймовок да загнали к ветряку — мельница такая. Тут голубчиков пересчитали, а меня, как полного Егорья при выкладке да еще унтера, особо прибрали к рукам и фуганули сквозняком в самую Германию. Так и везли со всеми Егориями при погонах. Такое, значит, было предписание германского начальства. «Вот, смотрите, мол, русский егорьевский кавалер. Живехонек, без

царапин, а мы, мол, берем таких голыми руками, как навроде брюкву выдираем из гряд!» Сниму, бывало, кресты, конвойный вызовет меня из теплушки, двинет раз-другой в скулу — живо оденешь. С тем и заявился в Германию.

Продали меня в Лейпциге с аукциона немцу-арендатору, вроде наших кулаков бывших. Пузатый, глаза навывкат, пощупал меняла хребтовину, стукнул разок по шее для приблизительности: гожусь! Взял вместе с Егориями да и загнал на ферму коров доить, сволочуга! Хоть бы на какую другую работенку — землю ли пахать, за лошадьми ли смотреть, а он, нет тебе, на коров поставил! Да еще наказал, чтоб на дойку коров выходил я со всеми Егориями, при погонах и протчая. Я полез было в амбицию, но... уговорили. Насовали под микитки, утихомирился!.. Ох, клял же я в ту пору грешную Дашу!

Степан захохотал:

— Ну а Даша-то при чем тут?

— При своей статье, — ответил Трофим. — Если бы не свихнулась, разве бы я дался немцам живым в руки? Ни в жисть!

Под кустами черемух гомозились куры, зарываясь от зноя в прохладный чернозем. Победно драл горло красногрудый петух, озирая янтарным круглым глазом свое пернатое семейство. Терпко пахло ивняком, рыбьей чешуей от шаровар деда Трофима, сыростью мутных вод, а откуда-то со стороны несло гарью потухшего костра.

— По-о-ода-айте па-а-ро-ом!..

Трофим выругался, поцарапал в затылке, сдвинув старую кепчонку на лоб, меланхолично ответил:

— Ить говорил же, не подам! До чего же настырная баба! Душу вымотает, а настоит на своем.

Ну, паря, дою неделю, дою две, месяц, год, два года!.. И вот, поимей в виду, возлюбил коров, что людей. Понимал их с первого мыка, с вилюжины хвоста, по глазу. И коровы возлюбили меня. Но, сказать правду, не одни коровы. Подвернулась тут бабенка, пухленькая немочка. «Идем, грит, Иван, — нас всех там величали Иванами, хотя я и Трофим, — идем, грит, Иван, в пивную, повесели публику, танцами. Видала, как ты плясал выпивши». И тут я не ударил в грязь лицом. Показал им, как трещит пол под русскими каблуками. Ни один немец не выдержал конкурса в танце. Хо-хо!..

И вот, что ты думаешь, втюрилась в меня та немочка, не оторвать. А я из сердца не мог вытравить Дашу. В мыслях-то и коров доил с ней, с неверной! Но, думаю, до коих пор буду сохнуть по паскуднице? Взял да и сошелся с немкой. Живу год, два, а все нет-нет да и вспомню про Россию-матушку, и особенно про нашу сторонку сибирскую. Тянет родное гнездовище, хоть на том гнездовище ни соломины твоей нет.

— Дошло до меня: в России-де произошел полный переворот, и власть будто захватили разбойники. Режут и правого, и виноватого. Как послушаешь — голова вспухнет. И что ни день, то хлеще слухи. Потом и цифры пришли. Вырезали будто бы какие-то большевики тридцать миллионов, и еще сколько-то тысяч сотнями. Как счетоводом подбито! Ну, думаю, зарезанным видеть себя никак не желаю. А поскольку я егорьевский кавалер, да еще унтер, как заявлюсь домой, тут мне и пропишут смертный час.

А немочка моя, Матильда Шпеер, что ни год, то шире. Развезло ее, холеру, в дверь не влазила. А я все думаю: «Ну куда ты гожа супротив моей Дашки?» Так и жили мы с ней, ни муж, ни жена, а ведьма да сатана.

В двадцать девятом году прочитал я в германских газетах, что большевики двинулись на кулаков. Под корень их выводят, аж у всей заграницы ум помутился. Ну, думаю, такое дело по мне! Не устоит, наверное, и мой Тужилин. Сынок его, Ефимка, Дашу-то мою подкузьмил. Смыслишь?

Поехал я с Матильдой в Лейпциг на ярмарку, а оттель махнул в Берлин, под Рождество так. Стал искать Российское посольство полномочное. Как где ни спрошу, так на меня вот эдакие глаза вылупят, косоротятся. Настрополил я к тому времени на немецком, что не отличишь от немца. Разыскал посольство. Принял меня добрый человек. Выложил я ему всю подноготную, так, мол, и так. Спросил: не прикончат ли меня за Георгия, а так и за унтерство? «Напрасно, говорит, вы всяким слухам верите. В Советском Союзе, грит, вот какая картина происходит...» И нарисовал мне полную картину изничтожения кулачества как класса сплуататоров и что державой управляет всенародный ВЦИК.

Подал я заявление, чтоб восстановили меня в подданстве и разрешили бы возвратиться в свою Сибирь, сюда вот, откуда я происхожу родом...

Степан вздыхает, оглядывается вокруг, сучит в пальцах густую разросшуюся бровь и видит давнишнее Демида Боровикова, Белую Елань, отцовский дом, непутевую жену Агнию.

— Так вы и не встретились с Дашей?

— Што ты, Христос с тобой, — оживился дед Трофим. — А как же? Возвернулся я домой. Даша моя лежит в постели: иссохла вся. Краше в гроб кладут. В избе ребятишки: мальчонка и девчушка. Ефим-то, будь он проклят, взял ее измором, бедную солдатку. Без всякой там сердечности. Просто — по нутру пришлась, отчего не побаловать? И набаловал двойню! Смыслишь? Опосля откачнулся, и вся недолга. Как глянул я на нее — и, не поверишь, вроде сознание потерял. Тысячи смертей перевидал на позиции, миллиен насмешек натерпелся, а завсегда был в памяти. А тут — не выдержали нервы иль сердце, лихоманка ее знает. Встала она, грешная, да так-то меня слезами окатила, будто я в море выкупался!

И ребятенки-то льнут ко мне, жмутся. Хилые да тощие. Прилипли ко мне, как коросты. Куда я, туда и они. Замыслил поставить их на ноги, в люди вывести, на удивленье всей деревне. Поглядел бы ты, паря, каким цветком Даша распустилась! Жили мы с ней опосля пятнадцать лет, как вроде семь дней пролетело. Да не уберег я ее, сердешную. Утонула она вон возле того острова. Кинулась в полноводье паром спасать, сорвало его водой, а лодку возьми да и переверни волной!.. С той поры, товарищ майор, и присох на этом берегу. Сын у меня вышел в инженеры, а дочь — бухгалтером. Тянут меня к себе, да куда там!.. Не сдвинусь с этого берега, с Дашиного. Здесь и упокой приму. Живет со мной сестра-старуха. Вот и коротаем дни-недели, эх-ма!..

Какая же неприятная ворохнулась дума у Степана. Он все еще не простил грех Агнии. И даже собственным сыном не интересовался. А ведь Андрейка-единственный сын...

— П-о-о-да-а-а-й-тее па-а-р-ом! Па-а-ром по-о-дай-те! — опять звенело над рекой. И голос такой обидчивый, умоляющий.

— А, штоб тебя! Ить, как за душу тянет, холера. Вот норовистая Голоवेशиха! Придется плыть...

— Авдотья Елизаровна, что ли?

— Да нет. Дочка ейная, Анисья.

И Трофим пошел отвязывать паром.

— Ну, пойдем, майор, переправлю. Хоша и спешить-то тебе некуда. Скоро подъедут твои, встренут. Утре Пашка Лалетин проезжал, сказывал — сготавливаются.

Степан поднялся, разминая ноги, побрел по берегу.

Под ногами мялся ситец мягких трав и пестрых цветов. Птицы черными стрелами пронизывали воздух. Совсем близко, рукой подать, синела тайга.

— Ну, что ты базлаешь? Поговорить с человеком не, даешь, — незлобиво кинул Трофим, когда Анисья прыгнула на покачнувшийся настил парома. — Погодить не могла, что ли? Не родить, поди-ка, собралась...

— Хуже, дядя Трофим!

— Вона! И лица штой-то на тебе нет?

Анисья отвернулась, не ответила.

— Это кто с тобою разговаривал? — спросила она, отходя с Трофимом в сторону.

— Степан Вавилов припожаловал. С Берлину. Майор при Золотой Звезде.

В это время к берегу подъехав припозднившийся Егор Андреянович, и отец с сыном начали тискать друг друга.

IV

Серединой улицы шел Мамонт Петрович Головня, в насквозь промокшей телогрейке, размахивая руками, разбрызгивая ботинками грязь, будто хотел всю ее вытоптать. Поравнявшись с домом Голоवेशихи, Мамонт Петрович решил обойти лужу.

— Надо полагать, на планете Марс, а так и на Венере, ежлив там обнаружены атмосферы, идут дожди, — бормотал Мамонт Петрович. — А могут и не быть. Вода — Земное происхождение, не Марсово, не Венерово. По всей вероятности, на Марсе и прочих планетах влага оседает постепенно в виде земных рос.

Вопрос жизни отдаленных планет занимал Мамонта Петровича днем и ночью, в дождь и снег, в будни и в праздник. Каждый раз, когда он переживал какое-либо Земное явление — грозу ли, дождь ли — он прежде всего ставил перед собой вопрос: встречается ли подобное

явление на других планетах? Так ли, как на Земле, или в каком-то особенном виде? Например, мороз. Головня вычитал, что на Марсе температура значительно холоднее, чем на Земле, а следовательно, дополнял Головня, тамошние жители от рождения в шубах, как медведи. Опять-таки Венера, тут все наоборот. Если там климат жаркий и влажный, то и люди особенные — крылатые, чтобы в небо взлетать и там проветриваться.

Как видите, размышления Мамонта Петровича были весьма важные, когда он взялся рукою за столб Головешихиной калитки. Повернув голову, зоркоглазый Головня увидел, как по двору Головешихи, в тот момент, когда сверкнула молния, крался какой-то человек. Вслед за вспышкой молнии припустил дождь, и заступил плотный мрак, так что не только в ограде Головешихи, но и у себя под носом Мамонт Петрович ничего уже не видел. Но он был человек и, как всякий земной житель, беспокоился не только о своем собственном благополучии.

Насторожив ухо, устремив взгляд через калитку, благо был ростом с колокольню, Головня отлично услышал, как под чьими-то ногами чавкала грязь. И — чирк! Молния! Ослепительно белая, но не столь могущественная, чтобы ослепить Головню. И вот тут-то он увидел человека в дождевике с башлыком на голове. Он крался... Куда бы вы думали? К погребу Головешихи!

Ударил молния чуть не в макушку Головни. Но он не дрогнул и глазом неморгнул. Подойдя к завалинке Головешихи, постучал в ее окошко.

— Кто там? — откликнулся голос из избы.

Мамонт Петрович прильнул к окну и встретился с носом Авдотьи Елизаровны, расплывшимся по стеклу с другой стороны рамы.

— Это я, Авдотья.

— Кто ты?

— Головня.

За окном молчание. На секунду. Нос Головешихи пополз по стеклу, как толстая резинка.

— Авдотья, Авдотья! — позвал Головня, оглядываясь на мокрую тьму. За шиворот струился толстый ручей с крыши, холодил ложбину тощей спины.

— Кто, кто там? Кто? — торопила Головешиха переменившимся голосом.

— Это я, Головня, говорю.

— А! Перепугал меня, леший, — голос Головешихи стал значительно мягче.

— Дуня! — позвал Головня, взбираясь коленями на завалинку и понижая голос до шепота. — Кажись, к тебе гости! В погреб лезут! Воры!

— Да что ты?! Боже мой! — вскрикнула Головешиха. Загремела щеколда. Звякнул крючок на двери. — А ну, пойдём, поглядим.

Головня помешкал секунду — идти не шуточное дело. Ночь, дождина, темень, чего доброго негодяй стукнет дубинкой в лоб, ну и протянешь ноги, но храбро двинулся к погребу. Замок на месте. Вокруг никого. Пришлось спросить, есть ли что в погребе Головешихи. Оказывается, погреб пустой.

Но долго еще Головня ломал себе голову, видел ли он в самом деле человека в ограде или ему показалось? И если видел, то кто из земляков занимается паскудным ремеслом — ночными похождениями? А может, к Головешихе крался очередной полубовник? Но — кто же?

Между тем, как только Головня ушел, в сенную дверь Авдотьи Елизаровы раздался знакомый для хозяйки стук. — На этот раз Головешиха не заставила себя, долго ждать. Проворно выскочила в сени, тихо окликнула:

— Ты, Миша?

— Да, да!

Лязгнули засовы, один и другой, ржаво пискнул крючок, словно скобленул по сердцу Авдотьи Елизаровны, и вот в приоткрытую дверь ввалился в шумящем дождевике Михаил Павлович, охотник за маралами.

— Перемок, поди?

— Изрядно, — хрипло ответил охотник. — Ну и льет дождина! Выдалась же погодушка, будь она проклята.

— Зато целый месяц стояла несносная жарница, — проговорила Авдотья Елизаровна, закрывая дверь на засовы и на толстый крючок. — Если бы еще погодые продержалось с месяц, наша тайга выгорела бы до леспромхоза. Сколько тут возни поднялось из-за пожара, если бы ты знал! Самолеты-то видел над тайгой?

— Насмотрелся.

— Если еще раз такого «петушка» запустить, леспромхозы можно будет переселять в степную местность.

— Туда им и дорога!

Вошли в темную избу. Гость сбросил с себя мокрый дождевик.

— Вздуть огня?

— Зачем? И без огня видим друг друга.

— Я слышала, ты прихворнул?

— Скрутил ревматизм. Еле доплелся. Теперь мне надо бы с недельку отлежаться, иначе я не дотяну до города. Как видно, с маралами придется расстаться. Кто тут поднял разговор насчет Альфы?

— Да кто же? Агния. Как приехала из тайги, так и надела на меня: «Где Альфа? Кто ее увел?» Ну я и передала через Мургашку, чтоб ты ее убрал с глаз, Альфу. Разговоры-то про черную собаку пронеслись по всей деревне.

— Ну что ж. Пусть ищут черную собаку.

— Убил? — вздохнула Авдотья Елизаровна. — До чего ж смышленная собака была, как человек! И на зверя, и возле дома — другой такой не сыщешь. Как она тогда кинулась на волков!.. Тут как-то подослал ко мне Демид Матвея Вавилова, своего дружка, чтобы я продала ему Альфу. Ну я и сказала, что собаку кто-то увел со двора. Не дай бог, если бы ее сейчас увидели в надворье!

Авдотья Елизаровна перешла в горенку и зажгла там свечку: собрала на стол. Полюбовника что-то морозило, и он с удовольствием осушил стакан водки. Заговорили о новостях деревни.

Авдотья Елизаровна сообщила, что Демида Боровикова арестовали. Слух прошел, будто бы Демид с Матвеем Вавиловым и Аркашкой Воробьевым подождли тайгу.

— Великолепно, Дуня. Все идет как следует. Главное сейчас — навести на ложный след. Выиграть время, — отозвался гость, энергично потирая руки. От выпитого стакана водки он заметно повеселел, оживился. — Так и должно быть. Это еще только начало. Скоро их всей компанией загребут.

Авдотья Елизаровна охотно поддерживала своего испытанного дружка. И в самом деле, давно настало время столкнуть Боровикова в

яму. Из плена заявился. И нос еще задирает. За Анисьей вот, говорят, приударивает. Самое время на него все свалить.

Они разговаривали полусшепотом за круглым столиком, придвинутым к дивану, на котором сидели тесно друг к другу. Между ними нет секретов. Не первый год они вот так сходились, единые в своих делах и желаниях!

V

Над Татар-горою курилось марево. Пели комары, ровно сверлили невидимые дырочки в воздухе. Комолая корова махала хвостом, как маятником. Красный петух, натаптывая землю на одном месте, подзывал растрепанных куриц к обнаруженному в мусоре ячменному зерну.

На высоком крыльце дома Егора Андреяновича в ряд, тесно друг к дружке, сидели предивинские старики.

На середине ограды чернели рядками расставленные ульи, где под присмотром сторожевых пчелок отдыхали великие труженицы. Над крышей вавилонского дома курился ароматный дымок: Аксинья Романовна пекла пироги с таймениной. Вечор улов был богатый. Старики выбродили Малтат вдоль и поперек, перетаскивая лодку на себе с отмели на отмель. Добыли пудов девять рыбы — тайменей, ленков, хариузишек, а завтра, в воскресенье, приглашая друг друга на пирог, разопьют медовуху. Тем паче — у Егора Андреяновича сын приехал.

Хлопнула калитка. К крыльцу подбежала соседская молодка, Манька Афоничева, с кудряшками на висках, большеротая, в пестрой юбчонке.

— Слышали новость? — спросила она, еле переводя дух, переступая с ноги на ногу. — Демида Боровикова арестовали. Сказывают: это он поджег тайгу и пчеловода на кижартской пасеке убил.

— Не врешь?

— Сичас в сельсовет прискакал участковый Гриша. Коня так взмылил, что ажник... Ух!

Старики сразу задвигались, заговорили.

— Вот тебе и Демид Филимонович!

— Давай, валяй все на Демида, — кинул Зырян, выпустил струйку едучего дыма из трубки. — Тайга горит — Демид, пчеловода убили — Демид. А хватит ли у него рук и ног, чтобы совершить подобное? Есть ли доказательства, что это работа Демида? Оно, с первого взгляда, кажется, что Демида как бы обошла судьба: крутанула сверх всякой возможности. А с другой стороны — мужик он прямого характера.

С Зыряном все согласились. Нельзя же, в самом деле, все таежные беды валить без всяких доказательств на Демида.

Санюха Вавилов поднялся, плюнул и, никому ничего не сказав, ушел. Настороженный взгляд среднего брата Васюхи пощупал его сутулую спину.

— Чо с Санькой? — спросил столетний отец Андреян Пахомович.

— Вроде Настасью вспомнил, — кинул Егор Андреянович.

VI

Головешиха всегда поспевала на горячие блины. То ли у нее нюх был так устроен, то ли природа одарила ее особенным слухом, но она никогда не опаздывала. Как где проглянет новинка — явится ли кто из района с важными делами, прогремит ли где семейная драма, излупит ли мужик бабу или баба мужика — все ведомо Головешихе по первоисточникам.

Не успел майор Семичастный вынуть ногу из стремени, а участковый Гриша осмотреть левое копыто мерина, на которое он припадал всю дорогу, как Головешиха была уже тут как тут. Успела вовремя. И еще издали, не доходя до конторы колхоза, она просияла приветливой улыбочкой, а подойдя, поздоровалась с Семичастным.

— Засекся мерин-то? — обратилась она к участковому. — Если засекся — дай погляжу. В лошадях толк имею. — И, смело подойдя к лошади, оглаживая вислый зад ладонью, взялась за ногу. — Ногу, Карька! Ногу! — и конь покорно повиновался, дав Головешихе ногу. — Нет, не засекся, а хуже. Мокрость у него по венчику копыта. А подкова избилась.

Маленький Семичастный с бледным сухим лицом и горбатым носом, разминая ноги, сказал, что Авдотья Елизаровна, как видно, мастерица на все руки. Она ли не угощала майора в чайной свежими ватрушками из отбивной муки, пышными шаньгами, пельменями в

пахучем бульоне? Не только майор Семичастный, но и многие приезжающие из района, не раз угощаемые Головешихой, нараспев хвалили ее, как совершенно необыкновенную женщину, хотя и знали, что она «с душком».

Вот почему, покуда Семичастный разговаривал с Головешихой, никто не вышел на крыльцо дома правления колхоза, хотя в конторе в этот час сидело немало мужиков. И Забелкин, и Вьюжников, и Павел Лалетин — предколхоза, и бухгалтер колхоза Игнат Вихров-Сухорукий, и оба брата Черновы — Митюха и Антон. Мужики смотрели в окно, видели, как Головешиха, отойдя с майором в сторону, о чем-то оживленно разговаривала.

— Сейчас Головешиха просветит начальника...

— А потом котлетками попотчует.

— Ну и житуха у ней! Как сыр в масле катается!

— Кому быть повешенному, тот до самой веревки катается, как сыр в масле, — сказал Вихров-Сухорукий.

— Это ты правильно сказал. Токмо не всегда сбывается насчет повешенья. Другая стерва до смерти катается в масле, и хоть бы хны!

— Всякое бывает, — поддакнул Павел Лалетин. А разговор между майором Семичастным и Головешихой был не из тех, что говорят во весь голос.

— Вот он где, подлюга, выродок прятался! — скрипнула Головешиха, скроив мину ненависти. — Дайте мне его. Дайте. Я из него по жиле всю жизнь вытяну! За всю тайгу, за все миллионы кубов леса!..

— Поттише, Авдотья Елизаровна!

— Кипит! Внутри все кипит!.. Как она, голубушка, горела!..

По улице шли босоногие ребяташки, остановились, сгрудились в кучу, как табунок жеребят-стригунков, посмотрели на майора Семичастного, а потом на Головешиху, и, завернув в проулок, закричали в разноголосье:

*Головня горит, воняет,
Головней свиней гоняют,
Головня, Головня,
Головешиха свинья!..*

Майору стало неудобно, что рядом с ним идет эта Голоवेशиха, и он, поспешно смяв начатую беседу, скупно отмахнувшись от участия Голоवेशихи, сказал, что ужинать зайдет в чайную, и пошел в контору колхоза.

VII

А на Санюху Вавилова снова напала хандра. Черной лапой сдавила глотку — не продыхнуть. Как узнал, что Демида арестовали, места себе не находил. Тыкался по надворью из угла в угол, а все без толку. Принялся было доклепывать кадку под солонину Настасье — обруч лопнул, пнул ее ногой, развалил совсем. Полез на крышу, хотел зашить дыру в сенцах — давно пробегают, и тут беда: угодил молотком по большому пальцу. В сердцах, что все из рук валится, бросил молоток с крыши и полез в погреб за самогонкой.

Пил всю ночь, а чуть свет заявил Настасье Ивановне:

— Теперь, Настя, простимся, стал быть. Честь по комедии.

— Куда же ты собрался? — испугалась Настасья Ивановна.

— К властям потопаю. С повинной. Статья такая подошла. Уф, как запетлялся, якри ее, а!

— Да ты чо, ополоумел или как?! Это братаны все твои тебя с ума сводят. Мало ли чо они ни наговорят! Собака лает — ветер носит. Ежлив тайги не поджигал, бандитов не укрывал — в чем же твоя вина? Образумься, говорю!

Но Санюха уже вполне образумился.

— Стал быть, про то и говорю, что своим умом пришел в полную чувствительность. Не объявил гада одного, теперь невинный человек должен за это страдать, вот оно какие дела!.. Им что! А на мой шиворот давит. Михайла был прав.

И больше Санюха ничего не сказал. Ушел с повинною.

Шила в мешке не утаишь. Обязательно наружу вылезет. В деревне все на виду. Ни одно событие не укроется от зорких глаз досужих сплетниц, пока не закружится от дома к дому стрижиными петлями.

Погнула, Агния свою гордую голову, когда узнала, что Демид открыто схлестнулся с Анисьей. Везде их видели вместе. И сама

Анисья будто улетела в Каратуз. Ишь, заступница какая нашлась!.. Почему Анисья, а не она, Агния?

Обидно и горько до слез Агнии! Не она ли ждала его? Сколько слез под топодем вылила?! Несчастливая она, несчастливая!.. И Польша... Как сдурела опять. Совсем выпряглась, ничего по дому делать не хочет. Днюет и ночует у Боровиковых ворот. Анфиса Семеновна согрешила с нею, никакого сладу!

Ну, нет! Этому не бывать! Она еще покажет Демиду Филимоновичу! Он еще узнает, какая бывает Агния!..

Прямая, полногрудая, в нарядном платье, простоволосая, пышущая злобой, она летела по улице, ничего не видя перед собой. Красные круги расплывались у нее перед глазами. Ну, будто бык в ярме! Доколе везти этот воз?! А не лучше ли разметать все в пыль и прах, раскопытить в порошок! К чертовой матери такую жизнь, не давшую ей счастья!..

Поравнявшись с домом Боровиковых, еще от ворот она кинула, как булыжником, что-то делающей на крыльце Марии Филимоновне:

— Проходимцы!

Марию так и подбросило, будто под ней взорвалась бомба. На голову выше полнеющей Агнии, она молча уставилась на нее непонимающими глазами.

— Агния! Ты что?..

— Не Агния я тебе, слышишь? Никто! И сейчас же, сию минуту подавай мне мою Польшу! Чтоб ноги ее с этого часу в вашем доме не было! Слышишь, Маруська! Проходимцы несчастные!.. Ишь, чего удумали! Отобрать у меня мою Полюшку!..

— Тю! Сдурела. Да ее и не было сегодня у нас.

— Я вам покажу еще, как измываться над Агнией! Не выйдет! И откуда он свалился в деревню? Лучше бы подох там, в Германии!

— Агния! Опомнись! И не стыдно тебе? Давай поговорим по-хорошему...

— По-хорошему? С вами по-хорошему?! — ноздри тонкого носа Агнии раздулись. — Пусть теперь с ним прокурор говорит по-хорошему. Или вот доченька Головешихи... Ишь, чего задумали! Обмануть меня! Отобрать у меня дочь! Какие у него особенные на то достоинства? Может, те, что там, на фронте, когда другие кровь проливали, он показал спину со страху?!

— Ополоумела баба!

— А, не нравится?..

Агния еще что-то кричала сумбурное, торопливое, не обращая внимания на собирающуюся народ. Единственное, чего она хотела, так это навсегда оторвать от Демида Полюшку, чтоб он к ней и пальцем не прикасался. Выкинуть Демида из памяти, как горькую полынь-траву.

— Глядите, разошлась как холодный самовар! — вдруг раздался голос подошедшей Груни Гордеевой. Она гнала по дороге телят на водопой и не могла удержаться, чтобы не узнать, в чем дело. Рука Груни, как гиря, легла на плечо, а карие, с черными бисеринками возле зрачков глаза уставились в пылающее лицо Агнии, насмешливые, задорные. — Что ты разоряешься здесь? Кто он тебе, Демид Боровиков? Сват, брат, кум или муж про запас?..

— Два мужа сразу припожаловали. Вот она и бесится — не знает, которого выбрать, — раздался чей-то голос.

— Дура ты, дура! Как я вижу, — сказала Груня Гордеева. — А еще в техникуме училась...

От такой отповеди у Агнии перехватило дух. Не помня себя, она выбежала из калитки Боровиковых и, придя домой, заперлась в горницу, упала на подушки, разрыдалась.

— Ну, уймись ты, уймись! — гладила ее по вздрагивающим плечам Анфиса Семеновна. — Полюшка давно дома. И не у Боровиковых она была вовсе, а в школе. Учительше помогала.

А в этот момент кто-то вошел в избу. Анфиса Семеновна выглянула в филенчатую дверь и, заслонив собою Агнию, растерянно проговорила:

— Степан Егорович?

Агнию будто кто толкнул в грудь.

Полюшка, подняв голову, вздернув круто вычерченные бровки, уставилась на широкоплечего человека в кителе, ростом чуть не под матицу полатей, в фуражке с карнизиком козырька и черным околышком. Она сразу узнала Степана Егоровича и застеснялась. Анфиса Семеновна захлопотала по избе, тыкаясь то в один, то в другой угол, подала стул Степану, пригласила сесть, но он почему-то не сел, а сняв фуражку, запустив растопыренные пальцы в смолисто-черную заросль волос, провел ладонью со лба до затылка и все смотрел на Полюшку. Его верхняя губа неприятно подергивалась.

— Полюшка? Какая же ты большая! Невеста, прямо.

Всматриваясь в Полюшку, Степан хотел увидеть в ней Агнию, хоть какую-нибудь отметину — губы, нос, волосы. В Полюшке все было особенное, не от Агнии, а от другого, и это другое — было чужим, враждебным.

Полюшка потупила голову и поспешно вышла из избы в сени. Степан вздохнул и выпрямился. Быстрым взглядом перебегая с предмета на предмет — по шторинам, столу, никелированному самовару с чайником на конфорке, по полотенцам на столбике русской печки, по кухонному столику с кринками, чугуном, алюминиевыми кастрюлями, по ухватам, уткнувшимся в прожженный пол кути, — он словно что-то искал, усилием воли подавляя тревогу нарастающего чувства встречи с Агнией.

Он знал, что Агния здесь, рядом, в горнице, за приоткрытой дверью. Он ощущал это горячей кожей лица, потеющими ладонями рук. Он знал, что и она там, в горнице, стоит, наверное, сама не своя, не зная, как они взглянут друг на друга.

...Минута казалась часом. Ему стало жарко. Кровь жгла уши, подглазья, но он взял себя усилием воли в руки. Агния!..

Сейчас он увидит ее всю в рамине дверей — высокую, с чуть пригнутой черной головой, прижатыми ладонями к груди, в бордовом платье. Увидит ее смугловатую кожу, мягкий вздрагивающий подбородок, прямой нос с раздувающимися ноздрями, словно ей не хватало воздуха, раскрытый рот со льдинками верхних широких зубов и глаза — тревожные, немигающие, с накипающей слезой. Воздух в избе стал горячим, воротник гимнастерки жал шею.

Клетчатая бумазейная спина Анфисы Семеновны на миг заслонила Агнию, потом закрылась филенчатая дверь, и они предстали друг перед другом, мужчина и женщина, законные супруги, в сущности, до сих пор незнакомые друг другу...

Секунду они молча смотрели в глаза один другому. Ее щека и лоб, подрумяненные багрянцем солнцезаката, были красными, будто по ним кто мазнул кровью. Какая-то страшная сила тянула Степана к Агнии. Он подался вперед, хотя ноги его, одеревенев, не сдвинулись с места. Потом он машинально провел широкой ладонью по носу, губам, подбородку. Она что-то хотела сказать, но, безнадежно махнув рукой,

захватив зубами прядь скатившихся волос, вдруг не то засмеялась, не то заплакала, вздрагивая плечами и пригнув голову.

— Вот пришел взглянуть на Андрюшку... Агнюша!.. Что ты!.. — пробормотал Степан и, широко шагнув к ней, обхватив ее всю за плечи, прильнул щекою к ее шевелящимся от всхлипывания лопаткам...

VIII

...Как нельзя в гибком прутике угадать всю величавую красоту будущего дерева с его особенным расположением ветвей, кроны, мощности ствола, так трудно предсказать будущность ребенка, будь то девочка или мальчик.

Степан знал Агнию, но не ту, что встретил сейчас, а семнадцатилетнюю девчонку. Та была тихая и обидчивая.

Та Агния, с ее кротким характером, готовая услужить всем, без опыта жизни, боялась людей. Тогда и сам Степан чудной был парень. Он, как пузырь, надутый теплым воздухом, стремился куда-то ввысь, в беспредельное и неведомое, лишь бы лететь. Сила молодости распирала его. Тогда между ними, юными молодоженами, неумелыми, неловкими и грубыми друг с другом, ничего не было общего, кроме физической близости, которая не роднила их, а расталкивала в разные стороны. И он невзлюбил Агнюшу, хоть сам, без воли отца и матери, ввел ее в дом. Кроткая девушка с карими глазами и ямочкой на подбородке, с такими красиво вычерченными черными бровями, прильнула к нему, что стебель повилики к ядренному колосу, и он, Степан, почувствовав в себе власть мужчины, привел ее к своим из озорства. «Вот какой я — что хочу, то и делаю! Я — сила. А что она? Стебелек!»

И вот — другая Агния. Зрелая женщина, много пережившая лиха и радостей, мать Андрюшки и Полюшки. От прежней Агнии осталась ямочка на подбородке, да и та едва заметна. Нет Агнии с ее испуганными глазами и вздрагивающими веками, а есть женщина, гордая, с приподнятой головой, сильная и женственная. Та ходила, пряча глаза в землю, эта — забавно помигивала, влекла к себе.

О чем они говорят, милые незнакомцы? О мелочах, тут же забываемых, а в сущности, они говорили о самом главном — они

знакомились, ровно шли навстречу лесной хмарью. Подавали один другому голос, и так сближались.

И он для нее был не тот. Совсем не тот!

IX

Поздним вечером Агния шла со Степаном к Васюхе Вавилову. В бревенчатых домах краснели керосиновые огни. Где-то за Амылом столбом поднимался черный дым. Степан шел размеренным шагом рядом, Агнию вдруг охватил озноб. Сейчас же, сейчас она должна все выяснить. Надо удержаться, уцепиться за потерянное счастье...

— Степа!.. — решительно сказала она. — Мы муж и жена — или как?

Степан зябко поежился.

— Тогда дай я тебя поцелую. Не так! Не так! — И властно обвив руками столб Степановой шеи, притянула его к себе. — Вот... так... — И, ослабнув от напряжения, уронила голову на грудь Степана.

Прошли молча шагов десять по узкому переулку. Степан хотел взять ее под руку, но она оттолкнула его ладонь, почувствовав, что между ними как будто идет кто-то третий.

Вавиловы несколько дней справляли встречу Степана. Ходили компаниями из дома в дом. Сейчас они шествовали, на окраину стороны Предивной, к Васюхе-приискателю.

Там их ждала большая компания. И Лалетины, и Мызниковы, и Афаничевы, не говоря уже о сыновьях Васюхи, Матвее, Григории и Николашке.

Степана, как и во всех прошлых застольях, опять посадили в передний угол, на этот раз — рядом с Агнией. Он чувствовал тепло ее полнеющего, крепко сбитого тела, прикосновения проворных, огрубевших рук, видел ее прямой нос с раздувающимися ноздрями, смеющиеся полные губы, пунцовое от водки лицо... Все это возбуждало Степана. Но ни тепло се тела, ни ее заразительный хохот, ни жар ее жестких рук, сталкивающихся с его руками, не могли заглушить в Степане затаенной скованности. Он сидел в застолье каменным изваянием и видел одно и то же синеглазое лицо, лицо Мили Шумейки из Полтавы... Где она теперь, Шумейка? Неужели фронтовая любовь, о которой говорят так много плохого и хорошего,

скоро забудется и у него? Он впервые встретил Шумейку на хуторе Даренском, когда, разбитый в боях, полк попал в окружение.

Белые хатки, заросли лещины подле мелководной речушки, и дивчина в синем платье — все это врезалась в память навсегда. Он запомнил ее глаза — округлые, удивленные, с черными длинными ресницами. Секунду они смотрели друг на друга. Она что-то спросила (он понял это по ее шевелящимся губам). Тогда она потянула его за рукав кителя в заросли речки, чем-то похожей на Малтат.

— Капитан, капитан! — кричала она ему в ухо (тогда он был еще капитаном артиллерии). — В хуторе фрицы! Слышите? Фрицы, фрицы!

Он понял, что она ему прокричала, но у него было такое состояние безразличия, когда человек, как бы оттолкнувшись от действительности, живет своим особенным внутренним миром, ничуть не интересуясь внешним.

— Капитан! Фрицы! — еще раз прокричала дивчина.

Он поглядел на нее, склонившуюся над ним, и вдруг сказал:

— Какая ты красивая!

Дивчина смущенно и как-то жалостливо улыбнулась и опять хотела сказать о фрицах в хуторе, но он, дотронувшись до ее руки, проговорил, словно в забытьи:

— Какая ты красивая!

— Я — Шумейка, Миля Шумейка! — сказала, ему дивчина, облегченно вздохнув. Его спокойствие и безразличие к окружающему миру передались и ей.

— Шумейка? А!.. Здесь фрицы? — Степан кивнул головой в сторону хутора. — Дали нам жизни! В ушах гудит. Ты — Шумейка? Ну, вот. Я — Степан Вавилов. Капитан артиллерии... Просто — Степан. Артиллерии у меня нет.

Плечо его кровоточило и ныло от боли. Рука не поднималась. Она хотела забинтовать ему плечо, но он отстранил ее и выкурил потом папиросы три, медленно приходя в себя.

Ночью Шумейка провела его огородами на хутор к своей тетушке, учительнице Агриппина Павловне.

Всю осень Степан укрывался в хате Шумеек. Когда он немножко поправился и к нему вернулся слух, он уже не мог представить себе

дальнейшую жизнь без Шумейки. Но что он мог поделать? Надо было уходить.

Если бы Степан не оставил у тетушки Шумейки все свои документы, награды, полевую сумку и не переоделся бы в гражданскую одежду, ему бы несдобровать. Когда их захватил полицейский патруль, Шумейка выдала его за своего мужа, припася заранее фальшивый пропуск. Находчивость синеокой дивчины спасла Степана от концлагеря военнопленных.

Он помнит ее глаза — тревожные, глубокие, немигающие, когда они декабрьской ночью шли придонбасской равниной в глубь Украины в поисках партизан. А кругом было так безлюдно и тихо, и бело-бело, словно вся степь вырядилась в саван. Они брели снежной целиною. Она целовала его так жарко, словно хотела испепелить его сердце огнем своей любви. До Шумейки он и не знал, что есть такая сила, которая сильнее всего на свете, — сила любви...

Он и сейчас видит ее глаза — ласковые, в которых так много было вопросов. Он помнит ее заиндевевшие волосы, кудрявящиеся на висках, ее маленькие настывшие руки и упругую девичью грудь...

Он говорил ей о Сибири, о Белой Елани, о Вавиловых. Она умела ответить взглядом, выражением больших синих глаз. Кажется, он не всегда понимал ее, хотя и был на двенадцать лет старше.

Голодные, измученные, добрались они до какого-то хутора недалеко от железнодорожной станции. Их пугали электрические огни большого хутора. А тут еще ударил мороз, до того лютый, что на щеках притихшей Шумейки стыли слезины. «О боже ж мой, боже ж мой, — шептала она, закусывая губы, — сгублю я тебя, Степушка, сгублю! Идем мимо хутора! Це ж большой хутор... Тут немцы. Чую беду, Степушка!»

На окраине хутора их встретил рабочий железнодорожник, дядя Грицко. Он укрыл Степана и Шумейку в своей хате, а потом переправил Степана к партизанам.

...Остаток зимы воевал Степан в партизанах. И не было у него счастливее и страшнее минут, чем редкие — всегда на волосок от смерти — встречи с Шумейкой. Она, к тому времени была уже на восьмом месяце беременности.

— Степушка! Ридный мой Степушка, не ходи ты бильше до хутора, не ходи! Лютуют немцы, дюже лютуют!.. И за меня не бойся,

Степушка. Не загину я, не загину! Тилько бы ты був жив!..

Но когда советские войска освободили украинскую земли от немцев и Степан, присоединившись к военной части, двинулся на запад, в наступление, он не нашел уже ни хаты деда Грицко, ни Шумейки...

* * *

Васюха, молчун и скромница, в красной сатиновой рубахе под ремнем, суетился возле шести столов, протянувшихся из избы до глубины горницы, разносил гостям медовуху, от которой у непьющего мутился рассудок, потчевал всевозможной стряпней и, как изысканное блюдо, — преподнес маралье вяленое мясо.

— Отведайте, отведайте, гостюшки, от моей коровушки, — говорил он, потряхивая черными скрутками мяса.

— У коровы-то, Андреяныч, на рогах отростков не было?

— Го-го-го! — гремел Егорша.

— Давай, давай, Андреяныч! Потчуй, холера тя бери! — сипел старик Мызников.

На столах всего было вдосталь — и мяса, и стряпни, и меда, и настоенной на сотах крепкой браги.

— Отведай, гостюшка. Отведай, милая!.. А! Степушка! Мил-племянничек, что ж ты сидишь, ровно сам не свой, а?

Степан, расстегнув мундир, отвалившись в угол, отшучивался, говорил, что он уже сыт «по завязку», но на него напирали со всех сторон.

— Эх-ва, герой! Ра-разе герой насытится стаканчиком, а?

— Существовительно!

— Андреяныч! Поднеси Степану ковш браги!..

— Не одолеть ему, истинный Христос, — божилась Матрена Лалетина и, зачерпнув ковш медовухи, расплескивая мутную, пахнущую хмелем и спиртом жидкость, поднесла ее Степану, протянув руку через стол и головы гостей. — А ну, Степан Егорович! Уважь, милый. Ежлив не уважишь — околею возле стола.

— Да меня разорвет, — смеялся Степан.

— Если разорвет, сошьем. Суровыми нитками. Вдвое крепше станешь.

— Агнюша, ненаглядная певунья, затяни «Черемуху»! — попросил кто-то из компании.

Агния поискала глазами, кто ее попросил, но, не найдя, схватилась за ковш в руке Степана и, хохоча, прислонилась к нему губами, столкнувшись лбом с носом Степана.

— Урра! Тянут из одного ковша! — гаркнули гости. — Тянут-потянут, а вытянуть не могут!

— Вытянут! Давай, давай!

— Вытянули! — прогремел бас Егорши, и он, по-медвежьи выпятившись из застолья, бухнул каблуками бахил в половицы и пошел танцевать, смешно вихляя своим толстым бабьим задом.

ЗАВЯЗЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

I

Шесть шагов от одной стены до другой. В одну сторону и обратно. И так без конца. Думы роились, как пчелы. «За что? Наверное, за плен, не иначе. Нет доверия. А что я могу сказать в свое оправдание? Кто может подтвердить, как я держался там в концлагерях? Никто!»

Все свершилось без лишних слов и шума. Приехали два милиционера, оперуполномоченный, которого он видел впервые, и жуткая фраза: «Вы арестованы!» И — ночь, суматошная, темная, сырая, чавкающая. Ехали верхами из тайги в райцентр. Объездной дорогой мимо Белой Елани. На рассвете переправились через Амыл, и Демид оказался в четырех бревенчатых стенах, за решеткой на окне.

И вот привели его на допрос.

— Демид Боровиков? Так. Бывший военнопленный. В тридцать седьмом году сужден по 58 статье...

— Так точно, гражданин майор. Судим тройкой. Два года восемь месяцев кайлил камень. Освобожден за недостаточностью состава преступления после пересмотра дела.

— Когда вернулись в Белую Елань?

— В марте нынешнего года.

— Почему вы пришли из города один? Могли найти попутчиков. Не так ли?

— Не было попутчиков. Машины не ходили. Лед вешний, сами понимаете, ненадежный.

— Где купили ружье?

— Не купил. Встретил старого товарища по леспромхозу, Тимкова. У него взял.

Ответы Демид майор не записывал.

— Так. — Майор прищурился, — Попробуйте вспомнить, о чем вы говорили с Евдокией Елизаровной Головной при первой встрече возле зарода?

Демид криво усмехнулся:

— Сказал ей пару ласковых слов, как она хотела утопить меня в тридцать седьмом году, и все.

— А не говорили, что наши военнопленные все категорически отказались ехать на родину?

— Вранье! Такого разговора не было.

— Так, так. — И, мгновение помолчав: — В каких отношениях вы были с Анисьей Головной в тридцать седьмом году?

Демид почувствовал, как кровь прилила к его щекам:

— Какие могут быть отношения с малолетней девчонкой?

Майор положил ладонь на папку:

— В какое время дня проходили тем хребтом, где начался пожар?

— Утром.

— И много было там сухостойных деревьев?

— Да весь пихтач и кедрач. Сплошной сухостойник. И валежнику было много. Целые завалы.

Майор, выпрямился и в упор поглядел на Демида.

— И если под такой завал подложить огоньку — сразу пожар?

— Безусловно.

— Когда вы шли по таким завалам, не обронили случайно папиросу?

— Нет, не обронил.

— Вы же, наверное, не один раз закуривали, когда шли своим поисковым маршрутом?

— У тех, кто работает в тайге, есть такая привычка, гражданин майор: если закурил — спичку прячешь под доньшко коробка. Всегда так. Папироса докуривается и тушится.

— Ну, а по рассеянности? Забыл — и бросил.

— Не страдаю такой забывчивостью.

— Так. — И опять настороженное молчание. — Долго вы шли тем хребтом?

— Часа два, может. Потом спустился в рассоху.

— Уточните слово «рассоха».

— Рассоха — расщелина в хребте, наподобие лога. Но рассоха сквозная, где обыкновенно собираются горные воды, стекающие в пади, к подножиям хребтов. Как, например, нельзя назвать бахилы сапогами или чирки — тапочками, так и рассоху логом, увалом, обрывом.

У майора подобрело лицо:

— Однако вы хорошо знаете свою родину, Боровиков! А скажите, какая же разница между бреднями и бахилами?

— Бахилы — водонепроницаемая самодельная кожаная обувь с мягким или высоким полутвердым задником, с широким и низким каблуком. Подошва — либо лосевая, прошивная, либо из кожи «полувал», на деревянных шпильках, со швом между шпильками. Голенища бахил без поднаряда — высокие, мягкие, с ремешками под коленями и у сгиба ступни. Бродни — без каблуков и задников, с голенищами, как у бахил. Шьются и те и другие на два размера больше ноги, чтобы можно было пододуть три-четыре портянки или собачий чулок с портянкой.

Демид старался говорить спокойно, но руки у него тряслись, и левая щека нервно подергивалась.

— Обычно в бахилах охотник идет в тайгу в мартовские морозы, когда нельзя идти в пимах, тем более в твердом и неудобном сапоге. Бахилы и бродни — обувь легкая, удобная и сохраняющая тепло. Надеть легко, а идти — ног под собой не чуешь, как говорят охотники. В дополнение к бахилам — шаровары с болтающейся мотней чуть не по колено. В таких шароварах не подопреешь. Я пробовал охотиться в обыкновенных брюках, без мотни, — не выдержал.

— Понятно! — Майор улыбнулся. — Так вот почему у некоторых мужиков в таежных деревнях мотня штанов болтается, как мешок. Я думал — не умеют шить домашние портнихи.

— Наоборот, штаны с мотней и настоящие бахилы не всякий сошьет.

Майор достал из ящика письменного стола толстую тетрадь в коленкоровом переплете и что-то записал в нее, посмеиваясь себе под нос.

— Записываю местные речения, поговорки, присказки, побаски и редкие слова. Сибирь — амбар под семьюдесятью замками. Лес, горы, теснины, увалы, рассохи вот и тайга! А в тайге — дырка в небо. Я, например, человек степной, с Дону. Люблю простор, ширину, чистоту полей... А здесь, в тайге, как в преисподней. И люди тут, скажу, темные, будто в шубах на свет народились. Кого ни копни — замок с секретом. Не так ли я говорю?

— Люди везде разные бывают. И хорошие, и плохие. Хорошим — тайга мать родная. Плохим — лютая мачеха...

— Вот-вот, Боровиков. Как это говорят: каждый кулик свое болото хвалит? Я — степи. Вы — тайгу. Только зачем же ее жечь?

— Тех, кто жжет тайгу, надо расстреливать, гражданин начальник, — отрубил Демид, прямо и твердо взглянув в глаза майору.

— Кстати, почему ветер называют здесь хиузом?

— Но хиуз — не ветер.

— Что же такое?

— Хиуз — едва ощутимое перемещение воздуха в мороз. При февральском хиузе, если выпустить пушинку из рук, она будто застынет в воздухе, в мгновение покроется куржаком и медленно опустится на землю. И вместе с тем идти с открытым лицом навстречу хиузу невозможно: обморозишь щеки. Старожил никогда не скажет: дует хиузом, а — тянет хиузом.

Майор построжел.

— Итак, продолжим разговор без хиуза, — сказал он, открывая следственное дело.

Но в эту минуту вошел милиционер и сказал, что один гражданин из Белой Елани просится к майору.

— Пусть подождет, — буркнул майор.

Однако приоткрылась дверь и показалась голова Мамонта Петровича. Демид выпрямился, взглянул на односельчанина: «Мамонт Петрович! Неужели и он меня подозревает?!»

— Подождите, говорю!

— У меня разговор безотлагательный, — заявил Мамонт Петрович и вошел в кабинет. — По срочному делу, товарищ майор.

Пришлось майору прервать допрос арестованного и выслушать нежданного гостя.

Как только Демиду увели из кабинета, Мамонт Петрович уселся на Демидове место и начал без обиняков:

— По ложному следу идете, товарищ Семичастный. Прямо надо сказать: облапошила вас Головешиха! Боровикова занапрасно арестовали. Тайгу он не поджигал и в помыслах такого не имел. Определенно! Погодите! Тут вот какая штука. Соображать надо, товарищ Семичастный. Кто такой был Андрей Северьяныч, которого убили на пасеке? Предбывший белогвардеец, а потом кулаком

заделался в Кижарте. Куда он стриганул во время раскулачивания? В каратузскую банду, которую собрал в тридцатом году Ухоздвигов. Слышали про такую фамилию?

Семичастный что-то слышал про Ухоздвигова. Бывший золотопромышленник, что ли?

— Самого Ухоздвигова давно в живых нету, — пояснил Мамонт Петрович. — Было у него пятеро сынов. Как известно, самый младший, Гавриил Иннокентьевич, который при Колчаке командовал карателями, и по сию пору в живых состоит. Провернулся через все мельницы и крупорушки.

— Ну, ну! И что же из этого следует?

— Хэ! А теперь прикиньте себе на уме: кто открыл геологам «смертное место»? Андрей Северьяныч. На том месте, как вот вчера говорила Агния Вавилова, браконьерничает какая-то банда. Сама видела, как завалили сохатого. Опознала Мургашку и еще каких-то двоих... Кроме того, кто-то попользовался золотишком. Есть там и шурфы, и инструмент, и все такое, приискательское. Так или нет?

— Мог сам Андрей Северьяныч оставить такие следы.

Мамонт Петрович вздыбил плечи:

— Хэ! Тогда бы он повел Агнию Вавилову на то место без всякой оглядки! А тут у него поджилки тряслись. Говорил еще Агнии Вавиловой: «Поторопись, дева. Как бы не налетел черный коршун». Про какого «коршуна» речь шла, хэ?

Майор беспокойно вышел из-за стола, прошелся по кабинету. Доводы Мамонта Петровича начинали беспокоить. Что-то тут есть!

— Говорите, говорите. Я слушаю.

— Действовать надо, товарищ Семичастный. Без всякого промедления. В нашей тайге блудит матерый зверь. Определенно. Есть такая примета.

— Какая?

— Секретарь нашего сельсовета говорит, что был у него какой-то охотник за живыми маралами для зоопарка. Фамилия — Невзоров. Так будто. Где он сейчас, этот Невзоров?

— Н-да-а!..

— Двоеглазов, которому, открыл Андрей Северьяныч «смертное место», похоже, что одним глазом смотрел на космача. Ну, старик, мол, то, се. Значения не придавал особенного, а тут корень глубже всажен.

«Смертное место» — ухоздвиговского рода заначка. Как вроде кладовка. Немало уже из-за этого «места» людей порешили. Вот я и думаю: не Ухоздвигова ли это рук дело?

— Это все ваши догадки?

— У меня, товарищ майор, особенный нюх на врагов Советской власти. Как у собаки на зверя.

— Значит, вы думаете, что в тайге сейчас Ухоздвигов и что он убил Андрея Северьяныча?

— Определенно. Больше некому. Отомстил за «смертное место», лишнего свидетеля убрал. И опять-таки Мургашка. Кто такой Мургашка? Собачью должность исполнял при поручике Гаврииле Ухоздвигове. Человек затуманенный. Вот еще Крушинин. И этот тоже погрел руки при Ухоздвигове. Вот оно, какой фокус.

— Ну, а зачем Ухоздвигову жечь тайгу?

— Хэ! По империалистической арифметике. «Не мое — и не ваше. Пусть все огнем горит». Как вроде окончательный итог подбил на сегодняшний день. Кроме того, приноживайтесь к самой Авдотье. Хоть и была она моей супругой когда-то. Но не чиста.

— Н-да-а! — Майор крепко призадумался.

В это время в дверь снова постучали.

— Я занят. Занят же! — С досадой крикнул майор.

— Но, товарищ майор, — проговорил дежурный, просовывая голову в приоткрытую дверь. — Эта борода ломится, сладу с ней никакого нет... Заарестуйте, говорит.

— Что еще за борода?!

Но дежурный не успел пояснить, как Санюха Вавилов уже влез в кабинет следователя и, взглянув на Мамонта Петровича исподлобья, молча сел в углу на стул.

— В чем дело, гражданин?

— С повинной, стал быть, пришел, как осознал, чтоб арестовали.

— Кого арестовали? За что?

— Как опознал я его, следственно, председателя артельщиков-то, что добывают смолу-живицу. Не Невзоров он, а Ухоздвигов Гавриил Иннокентьевич. Сколько годов прошло, а я его сразу признал: вылитый сам Иннокентий Евменович — что глаза, что лбина, и ухмылка та же... и согнутость спины — ухоздвиговская. Ну, думаю, всякая тварь под богом ходит. Мое дело сторона. Вот и молчал. По таким

соображениям, следственно... А тут такие дела, значит. Вот и пришел...

— Ах, едрит твою в кандибобер! Ну что я говорил?! У меня же нюх на врагов Советской власти! Что же ты молчал, Санюха?! Тугодум ты, едрит твою в кандибобер!

II

...Слышно было, как по крыше барабанил дождь, как, стекая с карнизов, булькала вода под окном в огороде, как молнии, одна за другой чиркая мутнину за окнами, озаряли черные дома, поблескивая в стеклах.

Скверная ночь. Непроглядная ночь. Дом Головешихи тонул во мраке, и только в горнице из-за плотно занавешенных окон тускло прорезывалась узенькая полоска света.

Полюбовник Дуни собирался в дальнюю дорогу.

Головешиха складывала в мешок продукты: слоеные калачи, шаньги, ватрушки с творогом, пару зажаренных в собственном сале гусей. Складывая в мешок припасы, роняла слезы. Он ее покидает. В который раз! Да и доведется ли еще свидеться?!

— Дуня, что ты накладываешь? Много не надо, — сказал Гавриил Иннокентьевич, натягивая заплатанные грязные шаровары. Вся его одежда продумана была до последней пуговицы: бушлат изрядно затасканный, с обтрепанными обшлагами, а вместо фуражки — старенькая кепка. Документы в порядке. — Мне же на горбу тащить мешок. Не близок путь — километров двадцать.

— Двенадцать всего, — уточнила Головешиха.

— До утра надо успеть.

— Успеешь. Непогодь на всю ночь.

Затянул гимнастерку брезентовым поясом, обдернул, прошелся по горнице, налегая на всю ногу — не трет ли где портянка.

— Разве ждала вот так проститься с тобой?

— Да-аа, — ответил Ухоздвигов, выходя в темную избу. Подошел к окну, прислушался, присмотрелся. Улицы пустынные. Ни души. И, возвращаясь: — Погода по мне. Ну, что ты, Дуня! — И взялся за мешок, взвешивая его на руке. — На горбу ведь тащить, по грязи.

Где его дом? И сколько у него домов? Есть ли надежнее дом, чем тот, в котором он сейчас?

— Мне что-то страшно оставаться, Гавря, — она его звала то Мишей, то Гаврей.

Раскладывая по карманам брюк и гимнастерки разные бумаги — деньги, документы, матерчатый кисет с махоркой и газетой для сигарок, Ухоздвигов проговорил: — Страшно? Ну что ты!.. В первый раз, что ли!

Помолчали, каждый наматывая на свой клубок собственную думу.

Гавриил Иннокентьевич прикинул, с кем может встретиться на дороге; не лучше ли пойти зимовьем — там вовсе никто не ездит.

— Ну, кажется, пора, — сказал он, порывисто шагнув по горнице и так же круто развернувшись на каблуках. В бушлате, под брезентовым ремнем, с пистолетом за пазухой, в кирзовых сапогах, он выглядел вполне прилично для тех документов, какие были спрятаны у него в корочках блокнота в нагрудном кармане.

Головешиха подошла к нему, обняла, крепко прильнула грудью к грубой ткани бушлата.

— Так и действуй, как я говорил, — начал Ухоздвигов, потираясь щекой о рассыпавшиеся волосы своей верной помощницы. — Так и действуй. Теперь наша опора «Свидетели Иеговы». Чем больше завербуешь людей в секту, тем лучше. Мы еще потягаемся, с коммунистами: кто кого!.. Близится день Армагеддона!.. Это будет наш день спасения.

Плечи Головешихи охватил мелкий озноб. Ухоздвигов помолчал, поглаживая ее ладонями по шее и голове.

— Действуй, Дуня!.. Я еще побываю в тайге.

— Милый! Что же я-то... одна ведь... совсем одна... Как в тюрьме...

— Да... сволочи!.. — И, что-то вспомнив, заскрипел зубами. — Какие сволочи!..

Итак, рухнули все надежды, все грезы! Что же осталось? Проповедывание сектантского учения? Он же не верит ни в бога, ни в черта, ни в день Армагеддона!..

Посидели на неприбранной постели, тесно прижимаясь друг к другу, похожие на обгорелый уродливый пенек на лесной прогалине.

Звериный слух Гавриила Иннокентьевича уловил чьи-то шаги в улице. Вмиг отстранил Головешиху и в три шага был уже в избе, не скрипнув, не брякнув, ни за что не задев во тьме. Три темных фигуры, одна из них с папиросой, шли серединою грязной дороги, свернули к воротам Головешихи.

Ухоздвигов кинулся в горницу, по-волчьи люто бросил Дуне: «Прибери следы» и, схватив со стола какой-то сверток, мешок, одноствольное охотничье ружье, выскочил в сени и там затаился. Головешиха с той же проворностью прибрала все лишнее — потушила свечу и залезла в постель, укрывшись с головою. В окно кто-то постучал, вызывая хозяйку. Головешиха помедлила, полежала, потом поднялась. Вся в белом вышла в избу, прислонилась к стеклу. За окном, под струями дождя с крыши, стояли трое или четверо.

— Хозяйка, хозяйка!..

— Кто там?!

— А ну, открой на минутку. На ночлег к тебе из райзо.

Головешихе стало полегче.

Но вот что-то подмыло ей под сердце, не продыхнуть. Кажется, кроме знакомых людей, под окном еще кто-то спрятался на завалинке; подозрительно скрипнул ставень.

Застучали в сенную дверь.

А эти, трое, стоят здесь под дождем у завалинки...

— Авдотья Елизаровна! — позвал неестественно громкий голос Мити Дымкова.

Митя Дымков поднялся на завалинку, и она встретила с ним глазами.

— Открой же, Авдотья Елизаровна. Вот товарища Вабичева надо приютить и накормить. Там у вас в чайной никого нет.

— Манька там. Стучите ей, откроет. Я хвораю, Митя.

И опять напористый стук в сенную дверь. Мимо окна, по завалинке, мелькнула незнакомая тень и, кажется, с винтовкой!

Сердце Авдотьи Елизаровны сжалось и горячий комочек, а по заплечью — мороз.

— Хвораю я, слышь, Митя.

На завалинку поднялся щупловатый Павел Вихров, председатель сельсовета. Она его узнала сразу.

— Слушай, Авдотья, открой избу, — забурчал старческий голос. — Дело есть.

— Господи! Да как же!..

Головешиха отпрянула от окна, схватилась рукою за грудь, будто хотела прижать лихорадочно стучащее сердце. Так и есть, пришла беда!..

Но что же делать?

А в дверь ломились. Она отлично слышала, как тяжело напирала на дверь и что-то там трещало.

Авдотья кинулась за печку. Там у нее была потайная дверь, как во многих сибирских избах. Дверь вела в подпол, а из подпола был лаз во двор. Об этом знали лишь два человека: сама Авдотья и Ухоздвигов. Лаз давно обвалился и местами засыпался, но только он мог спасти Ухоздвигова. Авдотья, туждсь изо всех сил, старалась сдвинуть Капустную бочку, загородившую дверь. Но бочка была пузатая, десятиведерная.

В избу ошалело влетел из сеней Гавриил Иннокентьевич, накинул крючок и рванулся было за печку.

— Ты что делаешь, тварь! — свирепо прошипел он. Ему показалось, что Авдотья загораживает ему единственный выход к спасению. — Будь ты проклята!

Толкнув Авдотью, он попытался перелезть через бочку во всей аммуниции. Но Авдотья, ничего не понимая, подбежала к нему сзади, намереваясь обнять. И он люто ударил ее пистолетом в грудь. Взмахнув руками, она упала спиной на лавку в простенке между двумя окнами.

— Ты, ты, паскудная тварь, задумала предать меня! — прохрипел он. И сразу же боль в груди от удара пистолетом стихла, под сердце подкатилась обида, слезы, и она, всхлипнув носом, сползла у лавки на пол.

— За что?! За что?! Гавря, милый, меня-то за что, а?!

Он пнул ее носком сапога под живот, страшно выматерился, обозвав потаскушкой, продажной шкурой.

— Ты, ты, тварь поганая, на мне в рай задумала выехать?.. Сдохнешь ты, поганая шлюха! Вот здесь, у лавки! — и опять пнул ее под живот, раз за разом.

— Не я! Клянусь богом, не я!

— Лжешь, тварь! Если бы не задержала меня, я бы спасен был, шлюха. Ты еще с вечера баки мне забивала своей проклятой любовью! И припасла эту бочку.

— Гавря, милый!

— Лжешь.

— Клянусь! Клянусь! Клянусь! — И, встав на колени, неистово перекрестилась, глядя на него снизу вверх.

Слышно было, как треснула сенная дверь, громко стукнувшись там о стенку. Кто-то дернул за дверь избы. И в этот же миг хищный взгляд Ухоздвигова встретился с чьими-то глазами по ту сторону единственного незакрытого ставнею окошка. Он хотел прицелиться и выстрелить прямо в лицо, но Голоवेशиха, обняв его за ноги, хотела встать, и он — промахнулся.

— А, тварь! — крикнул он, подумав, что Голоवेशиха старается свалить его на пол.

Она не слышала его последних слов. Смерть пришла к ней внезапно и безболезненно. Мгновенное ощущение сверлящего удара в затылок и — полное забвение. Руки ее, как обняли его ноги, так и остались, судорожно сжавшись в агонии. Он пытался вырвать ноги, но она его держала, мертвая. И он еще раз выстрелил ей в голову. И в ту же секунду почувствовал, как кто-то здоровущий схватил его со спины...

— Сюда! Сюда!

Руки ему заломили за спину. В локтях хрустело.

Режущее-белый свет электрического фонарика ударил ему в лицо, и он зажмурил глаза, мучительно сморщившись. «Взяли!» — кипятком полилось в мозг.

— Где у них тут лампа? А, вот она! Держите его крепче!

— Никуда не уйдет. Держим.

Первое, что он увидел, — была лужа крови у его ног.

— Он ее прикончил! Бандюга! Сколько она его покрывала, а он ее прикончил.

— Что, отслужила вам, майоры, Авдотья Елизаровна? — процедил он сквозь зубы, переводя нагловатый взгляд с майора Семичастного на Степана Вавилова.

Кроме Степана Вавилова и Семичастного, в избе толкались человек шесть мужиков, и среди них одно знакомое мальчишеское

лицо секретаря сельсовета.

— А, приятель! — кивнул Ухоздвигов Мите Дымкову, — По какому праву, скажи, пожалуйста, скрутили меня майоры?

— Поговорим позднее, арестованный.

Документы его выложили на стол, а с ними — четыре обоймы от «вальтера».

Потом его разули. Посмотрели, прощупали сапоги. Из мешка вытряхнули толстую библию, какие-то тетради, печатные антисоветские прокламации «Свидетелей Иеговы» — секты, недавно созданной в леспромхозе и на прииске.

— Это все лично вам принадлежит, Ухоздвигов?

Арестованный молчал.

— Я у вас спрашиваю, Ухоздвигов.

— Я с Ухоздвиговым незнаком, гражданин майор. Если вы обращаетесь ко мне, то я — Михаил Павлович Невзоров, промысловик-охотник. Обратите внимание на мои документы, они в полном порядке. Если я прикончил эту шлюху, то, надо думать, я имел достаточно оснований уничтожить тварь. А что насчет библии и моих записок, то это дело моей совести. Кому хочу, тому и молюсь.

— Да? — глаза майора Семичастного смотрели в упор, не мигая. — Должен вам сказать, Ухоздвигов, вы поторопились с самосудом. Вы убили единственную преданную вам соучастницу. Жаль, конечно, что не вместе с нею вы предстанете перед судом. Но вы не будете одиноки, на этот счет не беспокойтесь. В сельсовете ждет вас Птаха со всем оборудованием походной радиостанции.

Ухоздвигову стало и в самом деле дурно! Так, значит, предал его... Филимон Боровиков? Да не может быть!

— Вранье! — выкрикнул Ухоздвигов, меняясь в лице. Куда девались его спокойствие, наигранность!.. — Не берите меня на удочку, гражданин майор. Я гусь стреляный.

— Да, именно, стреляный, — подтвердил майор Семичастный.

Убийцу со скрученными руками усадили на табуретку, на ту самую, на которой он только что обувался, собираясь в дальнюю дорогу.

Майор Семичастный попросил лишних выйти из избы, оставив братьев Вавиловых, Васюху и Егоршу, участкового Гришу и Степана Вавилова, которого Ухоздвигов сперва принял за майора

государственной безопасности, но присмотревшись к погонам и мундиру, увидел, что майор — артиллерист и, вероятно, из демобилизованных.

Убийца вздохнул свободнее, тревожно и быстро оглянувшись. Он влип глупо, по-дурацки, но еще не окончательно. Надо что-то придумать. Если его поведут сейчас в сельсовет, есть еще возможность бежать. Да, да, бежать! Каких-то тридцать прыжков по темной ограде, и он ныряет в пойму Малтата, как в омут.

— Нельзя ли закурить?

Ему никто не ответил.

— Поднимите тело на лавку.

Ах, да! Есть еще тело!

Удушливая тошнота подкатила к горлу. В ушах звенели колокольчики. Он, слегка ссутулившись, напряженно-неподвижным взглядом глянул на тело. Васюха, осторожно переступая по полу, чтобы не вляпаться в лужу крови, зашел с головы, Егорша взялся за податливые, неприятно белые босые ноги тела Голоवेशихи. Склонившаяся набок голова Авдотьи с широко открытыми черными глазами глянула на убийцу. Ему показалось, что по левой щеке из ее глаза катились слезы. Вся правая сторона лица и кончик носа были испачканы кровью. В межбровье — разворочена кость на вылете пули.

— Мне бы закурить!

— Найдите там в горнице простыню, что ли. Накройте ее!

Покуда Егорша ходил за простыней в горницу, Васюха зажег висячую семилинейную лампу под абажуром и отодвинул стол из переднего угла.

Трезвея, убийца соображал, взят ли он как «капитан» — под кличкой, известной по ту сторону океана, или он влип просто случайно, по недоразумению? Кто его может изобличить? Птаха? Филимон Боровиков? Дуня все-таки не могла пойти на предательство! Никак не могла. И мертвые, в конце концов, не свидетели.

«Я, кажется, старею! Как глупо влип, а? Где-то в деревне, среди бородатых космачей! В каких переплетах бывал, а здесь, в деревне!..»
— Это было неприятно и обидно.

Испачканное кровью лицо Дуни с обезображенным лбом тянуло к себе взгляд убийцы.

— Уведите меня! Уведите отсюда! Я, я — не могу! Не могу! Душно! Душно! Воды! Дайте хоть воды!

— Слабоват на кровь-то, бандюга, — по-мужичьи тяжело проговорил Егорша.

— Отвернитесь к стене, арестованный, — приказал майор Семичастный.

— Что?!. К стене? Не могу! Не имеете права! Слышите! А-аа...

Зубы его так стучали, что он едва пропустил глоток воды, поданной ему Егоршей в железной кружке.

Его перевели в горницу, где еще недавно, он сидел с Дуней и она, жарко дыша ему в щеки, целовала его, а он, прижимаясь к ее оголенному пухлому и теплому плечу, набираясь тепла, думал, как ему в будущем поступить с непригодным к делу Иваном Птахой?

Один вид неприбранной пуховой постели, сбитых простыней, одеяла из верблюжьей шерсти подействовал на убийцу так, словно его силком втокнули в открытую могилу.

А в это время в сельсовете, под охраной коммунистов Павлухи Лалетина, Вихрова-Сухорукого и Аркадия Зыряна, рассаженные в разные комнаты, сидели арестованные Иван Птах и Филимон Прокопьевич, с почерневшим, как чугунок, лицом.

После того как акт был составлен, Ухоздвигова отправили в сельсовет.

Филимона Прокопьевича привели в дом Голоवेशихи.

Входя в избу, Филимон Прокопьевич увидел тело на лавке под простыней. Ему никто не сказал, что на лавке под простыней Авдотья Елизаровна, но он и без слов догадался, что это она.

— Господи! — Филимон Прокопьевич перекрестился.

Майор Семичастный попросил фельдшера приоткрыть лицо Авдотьи.

— Узнаете?

— Она, значит. Она! Убил, значит? О, господи!

— Ваша жена?

— Какая жена, гражданин начальник! Никакая не жена! Схожденье имел по глупости. И то наездом. А так — никакая не жена.

— Об этом мы будем вести разговор в другом месте. Сейчас вы должны установить ее личность, опознать.

— Да опознал же!

— Головешиха — ее прозвище?

— Точно так.

Филимон Прокопьевич подписал акт. Рука его тряслась, и он еле еле вывел свою фамилию.

— Куда меня занесло, господи? Што я наделал, а? Истый лешак! И нет мне спасения ни на земле, ни на небе, — стонал Филимон Прокопьевич, беспокойно переступая с ноги на ногу. — Демида-то, гражданин начальник, как я и говорил, не вините.

— Потом, потом, — остановил майор Семичастный. — Сейчас мы должны сделать обыск. Садитесь.

III

За два дня до ареста Демида Боровикова охотник Крушинин и лесообъездчик Мургашка сами заявили к властям, изобличая Демида Боровикова, будто бы подбивавшего их на поджог тайги.

Показания Крушинина и Мургашки, сдобренные клятвами, были достаточно убедительными для майора Семичастного.

Крушинин с Мургашкой успели уйти в тайгу в Спасское займище, где их ждал старик Пашков и куда должен был приехать Птаха с Филимоном Прокопьевичем.

На зорьке погожего дня в Подкаменную заявился Филимон Прокопьевич. Поперек седла норовистого Карьки лежал Иван Птаха.

— Берите бандюгу! Я его стукнул там, на займище, чтоб скрутить, значит, — были первые слова Филимона Прокопьевича, когда он, виноватый и опустошенный от внутреннего разлада, предстал перед участковым Гришей.

Майор Семичастный впервые в жизни видел такую сложную и вместе с тем удобную и легкую радиоаппаратуру, с которой Птаха пришел в тайгу. Дело оказалось серьезным.

Демида освободили.

Семичастный с участковым Гришей, не теряя времени, кинулись в Белую Елань, прихватив с собою Филимона Прокопьевича и Птаху. Надо было не опоздать: захватить главаря банды. Демид тем временем с рабочими поискового отряда направились в тайгу по следам бандитов.

...Опечатав горницу Головешихи, майор Семичастный увез арестованных в Минусинск.

Когда Ухоздвигова свели на очной ставке с Иваном Птахой, бандиты сцепились друг с другом.

— А! И вы здесь, знаток бородачей! — пробурчал Птаха, готовый раздавить своего бывалого предводителя. — Что же вы здесь, а? Вы же хвастались, что мужики за вас горой! Что вы знаете их природу, черт бы вас подрал!

— Растяпа! — отпарировал Ухоздвигов.

IV

Много Аркадий Зырян перевидал председателей колхоза. Сам потопал на председательских каблуках, когда Павлуха Лалетин два месяца валялся в госпитале — осколки выходили после ранений. Но как ни бился Зырян, а все толку мало. То Мызниковы не тянут не везут, то Вавиловы идут стороной — будто работают, а сработанного не видно. То Шаровы через пень колоду валят.

Зырян понимал, что нельзя требовать с колхозников, ничего не давая взамен — ни хлеба на трудодни, ни денег. Но он требовал, требовал, гонял бригадиров из конца в конец, сам дошел за два месяца до того, что в чем только дух держался. А с него требовало начальство из района. А хозяйство разорялось. И Зырян понял: не в председателях дело! Пусть бы даже он был семи пядей во лбу — дать ничего не мог. Хотя хлеб шел от комбайнов и молотилок прямо на элеваторы, зачастую и государству сдавать не хватало, потому авансы и те урезались — «повремените», «погодите», и только на бригадных котлах можно было накормить людей. Что же он мог поделаться? Да разве председатель, пусть даже сам господь бог, накормит одной буханкою всех? Он не пророк из библии!..

Нет, не все председатели были никудышными, как Павел Лалетин. Как же сделать хозяйство богатым? Чтоб колхозник мог всю зиму кормиться, не заглядывая в пустой амбар. Ведь до войны-то какой трудодень был? Не знали, куда зерно девать! Думал, думал Зырян и не мог отделаться от тяжести собственного бессилия.

А тут еще старики тянули вспять, припоминали старину, свои заветные пашни, похвалялись друг перед другом, ввали нещадно. «У,

скрипучее отродье! Когда же вы передохнете, кержаки патлатые? Не про старое вспоминать надо, а как по-новому хозяйствовать», — ворчал на них Зырян. «Тебе нахозяйствуют! Живо из району уполномоченный прикатит. Им оттуда, сверху, виднее, созрел хлебушка или нет... Ха-ха! То-то пашеничка кажинный год под снег уходит! А раньше разве так бывало? Да хозяин, он ее, милушку, кажный колосочек из ладони в ладонь переложит, перетрет и вовремя с полосы уберет! Потому он сам себе хозяин. А тут без распоряженьев сверху трогать не моги! А то тебе так тронут... век царапаться будешь! Спомни Марью Хлебиху. Отбрякала два года. За што? За то, што всем звеном колоски сдумала подбирать».

«Да, избаловался народишко, обленился. Воду в ступе толкут, а ничего не делают», — думал Зырян. И все-таки надеялся, что вот теперь Степан как-то изменит тяжелое положение в колхозе. Он же гвардеец! Фронтовик! Герой! Степан не из пужливых. Этот сумеет постоять за колхозников!

«Эх-хе-хе, — вздыхал Зырян. — И хочешь, а не вскочишь!»

— И чего ты вздыхаешь, как баба на сносях? — спрашивала Анфиса Семеновна, приглядываясь к Зыряну. — Навьючил на себя воз и гнешься, сивый. Аль тебе больше других надо? Издохнешь где-нибудь на дороге, леший. Другие ходят налегке, и ты так ходи. За всех не переработаешь!

— Не твоего ума дело, метла, — отвечал Зырян, исхудалый, с ввалившимися щеками, заросший рыжей бородой; он все так же на зорьке поднимался и уходил на тракторный стан. Не мог он пузо гладить на печке, когда на столе были одни постные щи.

«Может, в город податься? В городе, как-никак, зарплата каждый месяц, поощрения, а на старости лет — пенсия. Вот и Федюху надо учить...» Но куда Зыряну в город! Без тайги, без Агнии, без привычного грохота тракторов! Да он там сразу с тоски помрет!..

Как-то под вечер, после приезда из тракторной бригады, Зырян понуро плелся по большаку Предивной. Расторопный длинноногий Головня догнал его у конюшни.

— Ты чего, Аркадий Александрович, такой квелый? Вроде бы как нос повесил? Утре звезды предсказывали хорошую погоду на весь месяц. Только успевай паши...

— Паши, паши! Я-то пашу, да паханого не видать, — зло усмехнулся Зырян. И тут же замял злость шуткой. — А что, Петрович, звезды — самое подходящее теперь поле деятельности для нас! Я вот тоже утром наблюдал за ними. Так это они расшумелись, ну, прямо, брякают, как колокольцы! К добру или к худу, думаю? Вытянет наш колхоз из прорыва Степан али нет... Если его заместо Павлухи?

— Как это... брякают? — не понял Головня и даже остановился. Уж не насмехается ли над ним Зырян? — Удивительное, понимаете ли, представление о небесных светилах! Звезды не могут брякать, Аркадий Александрович, поскольку они не сбруя с медными подвесками и не кошельки с деньгами.

— Плохо ты их слушал, Мамонт Петрович. Вот если бы ты был комбайнером, то услышал бы, как брякают звезды. Идет комбайн на зорьке, глянешь в небо, а звезды подмигивают, да так это нежно попискивают, звенят, звенят...

Головня фыркнул, рассердился. Это же явная насмешка над его астрономией! Или Зырян спятил? Что-то неладно с ним...

— Ты вот что, брат, — осадил он Зыряна. — Ты это... про звезды мне больше не говори! Мелочь это... Я сам знаю. Помалкивай. А насчет Степана — вытянет или не вытянет — нечего гадать! От самих себя все зависит. Ты спомни, как мы партизанили. И сразу порядок будет. Ясно?

Зашли в конюховскую избушку.

И тут Головня остолбенел. Хомут, что вчера еще звенел медными бляхами и всевозможными подвесками, был гол, как обглоданная кость!

— Едрит твою в кандибобер! — расвирепел Головня. — Кто же это сработал?!. Канальи, канальи! Вот, Зырян, ежели на планете Марс, — орал он, мгновенно забыв о строжайшем запрете говорить про звезды, — ежели и там имеются такие же канальи, которые освобождают сбрую от малинового звона, то нет никакого смысла для полета на Марс!

V

Лежа в затенье на свежескошенной траве, вытянув длиннущие ноги в ботинках и уставившись взглядом в дырявую крышу, Мамонт

Петрович размышлял о том, выделит ли ему новый председатель правления или нет рабочую силу для капитального ремонта конюшни? «Стропилы окончательно подгнили, — размышляет Мамонт Петрович, — а так и стояла. Как дождь, негде укрыться ни жеребцам, ни кобылам».

Кто-то громко позвал Мамонта Петровича.

В ограду вкатил рессорный ходок с железными подкрылками. С рысаков ключьями сползает пузырчатая пена. Юпитер, тяжело поводя боками, косится на Мамонта Петровича, храпит и бьет копытом. Чалая Венера грызет удила.

С рессорного ходка сошел участковый Гриша.

— Тебе тут повесточка, — сообщает участковый, роясь в полевой сумке. — Прими и распишись. Послезавтра к шести часам вечера явись в сектор гэбэ.

Мамонт Петрович держит повестку в огрубелых пальцах, но видит не повестку, а лицо убиенной Дуни. Теперь нет Дуни. Ее давным-давно нет. Ни вчера, ни три недели назад она ушла из жизни. Разошлись их стежки-дорожки в разные стороны. Росла промежду них Анисья. Кто она ему, Анисья? Дочь ли?

Да, он отстаивал от Авдотьи Анисью! Пробовал влиять на дочь личным примером своей бескорыстной трудовой жизни, да Анисья не поняла его.

Тошно Мамонту Петровичу! Никто не знает ни его дум, ни его боли. Как объяснить происшедшее с ее матерью?

— Вот здесь, — тычет пальцем участковый, показывая, где нужно расписаться.

Головня спрашивает, скоро ли закончат следствие по делу банды.

— В ажуре! — участковый тряхнул головой. — Раскололи бандюгу с головы до пят, вывернули все его корни, на которых он держался столько лет. Вот хотя бы та же Анисья...

Участковый Гриша осекся на полуслове.

— Что — Анисья? — дрогнул Мамонт Петрович.

— Там разберутся, как и что. Анисья знала все тонкости по делу Ухоздвигова. Не раз видела его, не раз покрывала.

Мамонт Петрович еще больше посутулился, его глаза потухли, как угли, залитые водой.

А голос участкового, набирая силу, жал к земле:

— Или вот взять бандита Птаху. Кто он такой? Во время войны попал в окружение, как и Демид. Обкатали его там, и Птаху полетел в Сибирь на диверсии. Другая вышла статья у Демида. Никак он не прилепился к капитализму, удрал. И тут вышла такая канитель с матерью. Кто на деревне не знал, что у Филиimoniхи — сундуки трещат от добра? Все знали, но никому не было дела расколоть ее. А у Демида хватило духу. И не то что по злобе, а по своей доверчивости. Хотел, чтоб мать сменила рваную юбку с кофтой.

И, взглянув на Головню, заметил:

— Я так скажу тебе, Мамонт Петрович, хоть для тебя слышать подобное невыносимо, а ты все равно все узнаешь. Зря ты принял под свое крыло Авдотью, когда она заявила к тебе с интересом. Что ж ты не спросил, от кого она поимела его?

— Она, может, сама не знает от кого, — кинул конюх Михей.

— Хэ! Еще как знала!

У Мамонта Петровича перехватило дух. Он готов был горло выдрать участковому Грише за его паскудные слова, да руки у Мамонта Петровича до того обессилели, что сигарка не удержалась в пальцах, выпала в грязь под ноги. Его дочь Анисья! Какой срам! Какой позор!

— Вот куда потянул номер, — подвел итог раздумью Мамонта Петровича участковый Гриша.

— М-да, — пожевал губами Михей.

— Ее... арестовали?

Немигающий взгляд Мамонта Петровича смутил Гришу.

— Ничего не могу сказать. Сам все узнаешь.

Участковый Гриша залез в тарантас и выехал за ограду.

Остался Мамонт Петрович наедине со своим горем. Анисья! Его дочь! Больше у него никого нет, ни единой души. Судьбина занесла его в отдаленный край, а не свила ему здесь гнезда,дохнула в лицо терпкой любовью, опалила обманом, а теперь еще и отбирает Анисью.

Участковый Гриша встретился с Агнией. Та шла из конторы леспромхоза.

— Здравствуйте, Григорий Иванович.

— Привет!

— Что так спешишь?

— Неделю не был дома.

И Агния поинтересовалась, скоро ли будут судить бандитов.

— Хэ! Судить! Какая быстрая. Представляешь, какая открылась картина? Что ты можешь сказать об Анисье Мамонтовне, например?

— А что мне Анисья?

— Как что? Землячка.

— Ишь, какая родственница. — Губы Агнии передернулись, в карих глазах — злобная язвинка. — Она что, в Минусинске?

— Там.

— Я так и знала, что она прилетит.

— Гм! Поневоле прилетишь!

— Какая же такая неволя?

— Если присвадается прокурор, тут уж, черт дери, всякая любовь выскочит из любой бабы. В точности.

— С чего прокурор?

— Услышишь, Аркадьевна. А насчет Демида могу заверить, он еще предъявит доченьке Голоवेशихи полный счет.

Агния потупила голову, скупно попрощалась с Гришей, повернула к своему дому.

VI

Тяжелое наследство досталось новому председателю от Павла Лалетина. В колхозной кассе, можно сказать, ни копейки. Кредита — не жди, если с долгами еще не рассчитались. Конеферма — в плачевном положении. А тут еще уборка хлебов подоспела.

Степан с членами правления обходил хозяйство колхоза.

— Сушилку строить? А кто будет строить? — разводил руками завхоз Фрол Лалетин.

— Без сушилки не прожить. Надо только дух поднять.

— И дух весь вышел, — бурчал Фрол.

— А ты не умирай раньше смерти, Фрол Андреевич, — перебил Степан. — И дух вышел, и руки не поднимаются! Что за упокойные разговоры! Пора встряхнуться.

— Оно так, Егорыч, пора, — косился Фрол, ничуть не тревожась напористостью Степана. Он знал, что как жил, так и жить будет. Видал он таких напористых!

В кузнице возле наковальни сидел косматый и черный от угольной пыли Андрон Корабельников. Костлявый, широкоплечий, неловко сгорбившись, старик старательно что-то записывал в тетрадь.

— Что ты тут пишешь, Андрон Поликарпович? — поинтересовался Степан.

Андрон закрыл тетрадку, поднялся:

— Про то услышишь, Егорыч, на собрании.

— Это он, Егорыч, речь сочиняет, — пояснил Фрол, вцепившись в бородавку.

— Не сочиняю, а записываю происшедшие факты за время председательствования племянника твоего Павла Тимофеевича, так и за время твоего нахождения на должности завхоза, — пророкотал Андрон.

...А на собрании Андрон, тяжело ступая, вышел к столу президиума с тетрадкой в руке и сразу же начал с погрома.

— Я наперед зачитаю, потом скажу от себя еще, — пробасил он и начал читать:

«Горлохватское правление.

Пол-литру водки надо купить? Для того, чтобы купить, надо иметь деньги. Их надо заработать. А как можно пить каждый день, а ничего не зарабатывать? Про то пояснение даст Фрол Лалетин, наш завхоз. Кто был при Павлухе Лалетине завхозом? Фрол Лалетин. Он распоряжался и живностью, и деньгами. Говорят: не пойман, не вор. Пословица неправильная. Пьет, а где деньги берет?

Вот взять пасеку первый номер. Сидел там Егор Вавилов — порядок был, прибыль была первеющая. Чай пили с медом. Фрол пхнул на первый номер свояка, Худина. И пасека моментом прохудилась — нету ни меду, ни денег. Или взять порядок по хозяйству. На конюшне нет сбруи. Головня сколько раз вопрос ставил решительно? А что делает Фрол? Вместо сбруи — ухлопал колхозные денежки на маслобойку да шерстобитку. Машины завезли, а к чему они, когда в наличности ни конопли, ни льна нет, из которых можно жать масло! Или про овец. Сколько их? Всего три сотни голов! План по шерсти не выполняем, а шерсточесальную машину купили. Вот и ржавеют под дождем. Разве порядок?

Примеров много, но скажу — так и далее. Мое предложение: Павлуху Лалетина надо утвердить бригадиром по первой бригаде,

пусть поучится малым отрядом руководить, а прежнего бригадира беспредельно снять, как неоправдавшего доверия. Фрола Лалетина надо поставить на молотилку как машиниста. Пусть поработает для хозяйства. Из правления предлагаю вывести Фрола Лалетина и опять же Худина, как никуда негодного».

Закрыв тетрадку и утерев пот с лица, Андрон продолжил:

— Вот теперь скажу не по бумаге: председателем ревкомиссии на место Лалетина Тимохи выбрать Мамонта Петровича.

Наступила неприятная тишина. Слышно было, как пощелкивали на зубах кедровые орехи, как сопели мужики возле Андрона.

— Планеты ревизовать или как? — поднялся Фрол Лалетин, моментально сообразив, что на вопросе с Мамонтом Петровичем он может выскочить из воды сухим.

— Молчи, Фрол! — загремел Андрон. — Головня наперед грабанет тебя под пятки, а там и к планетам поднимется.

Раздался смех.

Мамонт Петрович поднялся со скамейки и стоял сейчас среди народа в своей распахнутой старой телогрейке, из-под которой виднелся низ синей рубахи. Он смахивал на маяк в открытом море, доступный всем ветрам и непоколебимый ими.

— Хлещи, Андрон! Двигай.

— Головню председателем ревкомиссии!

Но вот выдвинулся Егор Андреевич. Поднял руку, тронул щепоткой седой ус, задирая его вверх, наподобие стрелы:

— Про што толкуете, мужики? Андрон в шутку кинул, а тут и всерьез приняли. Нехорошо. Разуметь надо, а не хаханьки строить на собрании. К чему обижать убогого? Какой вам Головня председатель ревкомиссии! Ему самого себя не проревизовать! Садись, Мамонт Петрович. В обиду не дам тебя. — Как бывшего моего партизанского командира.

Всем стало неудобно, стыдно. Не за Головню, а за Егора Андреевича.

Головня раздувал ноздри, не зная, что ответить Егору Андреевичу. Вот как можно хитро унизить человека, что и ответить-то на оскорбление — рта не откроешь.

За председательским столом на сцене поднялся Степан.

— Насчет убогости — разговор оставим на совести Егора Андреевича. — Палец Степана указал прямо на отца. — Я лично знаю Мамонта Петровича как честного колхозника, труженика на совесть. И, конечно, не убогого. Убогими считать надо тех, кто дальше своего носа ничего не видит, кто живет, пряча нос в потемках. А Мамонт Петрович — всегда на переднем крае. И я поддерживаю предложение Андрона Корабельникова избрать председателем ревкомиссии Мамонта Петровича. Без настоящей ревкомиссии не будет порядка.

— Верно, Егорыч!

— Надсмешки строить всякий может!

— Вопрос-то важный решаем.

— Позвольте сказать! — поднял руку Зырян.

— Тише, товарищи, — крикнул Степан. — Слово — старейшему механизатору.

Все постепенно успокоились.

— А я сейчас не как механизатор скажу. Шире вопрос-то, — тихо, но внятно начал Зырян. — Я хочу узнать, кто сдал Сухонаковскому участку триста гектаров сенокосов? Кто сбагрил дойных коров в город? Одну — директору треста, другую... да что перечислять? Отдали как вроде выбракованных, а на самом деле — первеющие коровы. Пусть скажет Марья Спивакова. Еще одна корова сплавлена директору леспромхоза как нетель. А три года доилась. Как так переделали в нетель? Скажи, Марья, сколь давала молока та корова.

— Пятнадцать литров, — ответила Марья.

— Слыхали? А фуганули как нетель. Запишите: «Возвернуть всех коров, которых Фрол Андреевич спихнул, как никудышных». Я кончил.

Зырян сел, но тут же поднялся.

— Нет, я еще не кончил. Помните, какой был трудодень перед самой войной? Два рубля тридцать копеек. А продуктами...

— Много было, что и говорить.

— Хватало!

— Да ведь война-то...

— Война, конечно, немало порушила. Во всей стране аукнулось. Но ведь выдюжили. Да уж не первый год, как она кончилась. А у нас что? Я говорю к тому: пусть новый председатель крепко забирает вожжи в руки! Народ у нас стоящий. Наведем порядок в хозяйстве...

«Молодец старик, — думал Степан, — с такими работать можно». Головня стал председателем ревизионной комиссии.

VII

Сторона Предивная бурлила. Заговорили все враз о делах нового председателя; некоторые считали: круто-де берет в гору, как бы гужи не оборвал.

Вожжи он натянул, уселся по-хозяйски, и — давай, давай, поехали! Ленивых брал за хребтовину, прижимал к земле; праздное слово ронял скупно, если говорил, попадал в точку. Зароды сена, поставленные рабочими леспромхоза на колхозной земле, отобрал без лишних разговоров; сено перевозили к фермам, к зимникам. Директор леспромхоза протестовал, надрывая голосовые связки, грозился поставить вопрос на бюро райкома, да все это шло стороной, мимо Степана.

Вскоре после общего собрания вернулись на МТФ семь коров, списанных по настоянию Фрола Лалетина и задарма отданных «нужным людям». Секретарь райкома, зачастивший в Белую Елань (хоть и далеко она от райцентра), выслушивая то одного обиженного, то другого, подбадривающе поддакивал Степану: «Так держать, майор!»

Маслобойку со всем оборудованием пришлось сбить одному из степных колхозов в обмен на племенных телок и тонкорунных овец, каких на стороне Предивной и в глаза не видывали. Шерсточесальную машину, освободив от ржавчины, вернули сельхозснабу, а взамен привезли веревки, хомуты, вожжи и всяческую хозяйственную утварь.

С зорьки, едва начинало отбеливать, Степан шел уже по деревне, заворачивая то на бригадный баз, то на МТФ, то в кузницу. Иные подозрительно поглядывали из окон на председателя, почесываясь, кряхтели.

А Степан шел тугим армейским шагом, всегда подтянутый и строгий, в мундире без погон, а если поливало дождичком — ходил в шинели под ремнем, будто он находился в армии. И если какая из любопытных бабенок, глянув в окошко, встречалась с цепким, вытягивающим взглядом председателя, ей становилось не по себе.

— Ишь, лешак, до нутра прохватывает!

— Вроде как сквозь стены видит.

— Оботрется, может. Павлуха начал тоже с крутого поворота, да скоро обмололся.

— Михея Замошкина вроде берет за хребтовину.

— Да ну? Самого Михея?

— И-и не совладает! Замошкины-отродясь охотой промышляли.

Што им колхоз!

Неуемная сила гвардейца Степана незаметно проникла в каждый двор, лезла в застолья, заставляла ссориться мужиков с бабами, снох с золовками, старух с дочерьми. «Выбрали же себе на голову майора, чтоб ему лопнуть!» — говорили одни. «Привыкли за последние годы вразброд жить, вот и не нравится! — возражали другие. — Понятное дело — ему без нас «успеха не добиться: однако и нам без настоящего руководителя колхоз не поднять — факт».

Первое время бригады Павлуха Лалетин и Филя Шаров летали по деревне от дома к дому, звали, тревожили, требовали. И люди шли — на запоздалый сенокос, на уборку подоспевших хлебов, на закладку силосных ям, на строительство зерносушилки.

Мало-помалу вся Белая Елань, до того тихая да сонная, стала заметно просыпаться.

VIII

Завернула беда и к хитроумному Михею Замошкину, медвежатнику-одиночке, откачнувшемуся всей семьей от колхоза, промышлявшего добычей зверины, орехов, ягод и торговлишкой.

Ни сам Михей, еще ядреный, ни его сын Митька, ни сноха Апроська, ни глухая дочь Нюська ни разу не вздохнули над колхозной пашней, но пользовались землей колхоза. Поставили в Татарской рассохе три зарода сена, насадили в поле картошки чуть ли не с гектар, растили поросят, трех овец, холили добрую корову, четырехлетнего бычка. И корова, и бык возили в надворье сено, дровишки.

Прежние председатели прикладывались к Михею со всех сторон, да ничего не вышло. Нажимали на совесть, на сознание, но все это покрылось у Михея такой толстой броней, что ничего не помогло.

До Михея стороной дошло, что Степан-де готовит ему полный притужальник; что члены правления колхоза единогласно решили выселить за пределы Белой Елани семьи Михея Замошкина и Вьюжниковых. Михей, хотя и не верил в законность решения правления, но заметно встревожился: «А чем черт не шутит!» Откомандировал сына Митьку в район по начальству и прежде всего к братцу, Андрюхе Замошкину, начальнику райфо.

На неделе навестили Михея правленцы — Степан, Павлуха Лалетин и Вихров.

Апроська возилась с поросятами. Рослая и еще сильная старуха готовила на огромной каменке в пузатом чугушке какое-то варево для супоросной свиньи, сам Михей, ворочая могучими лопатками, мастерил здоровущую колотушку из березового чурбана, какой бьют по стволу кедра, — скоро ведь дойдут орехи.

Степан прошел в ограду первым, не вынимая рук из карманов армейского серого плаща, осмотрелся, захватив единым взглядом полусадьбы, вместе с согнутой над каменкой спиной старухи, с толстыми ногами Апроськи, а тогда уже встретился с настороженным взглядом Михея.

Сорочьи глаза Михея дрогнули, не выдержали поединка со Степановыми черными смородинами. Он поднялся и повернулся к председателю.

— Как же вы дальше соображаете жить, Михей Васильевич? При колхозе числитесь с тридцатого года, а на колхоз давным-давно не работаете?

— Мало ли кто числится.

— А у тебя, Апроська, сколько трудодней? — спросил Павлуха.

— А што мне с трудоднями, целоваться или как? Они меня не кормят!

Павлуха осекся, глянув на Степана. «Изучает обстановку, черт лобастый».

Работать со Степаном оказалось нелегко. Взвешивай каждое слово. В бытность Павлухи председателем контора колхоза смахивала на проходной двор. Люди сидели тут днями и вечерами, потчужа друг друга побасенками; дымили, бросали окурки на пол, на что Павлуха не обращал никакого внимания, сам постепенно обрастая грязью и податливо устремляясь на первый зов «побеседовать за пол-литрой».

При Степане с первого же дня контора превратилась в штаб. Никаких праздных разговоров. Ни окурков, ни плевков.

— Нету антиресу при колхозе, — сипел Михей. — Мой антирес при тайге. Не просим же мы хлеба?

Глаза Степана сузились.

— Хлеба не просите, но живете-то на колхозной земле, — сказал парторг Вихров. — Если исключим из колхоза общим собранием, учтите — и участок огорода отберем, и картофельное поле, и все зароды сена. Числитесь колхозниками, а промышляете в тайге.

— По договору промышляем. И мясо-зверину сдаем, и шкурки — как белок, так и зверя всякого.

— Договор имеете?

— И договор есть

— Покажите.

Михей развел руками:

— Вот Митька привезет из района.

— Не было у вас никакого договора! — утвердил Вихров. — И какой может быть договор, когда вы член колхоза? Мы же вас не отправляли в охотничество.

— Как не отправляли? — уцепился Михей. — Вот Павел Тимофеевич пусть подтвердит: само правление, когда он, значит, хозяином был, разрешало нам работать для промысла.

— Кто разрешал? — опешил Лалетин.

— Да ты же сам и разрешал.

— Я?

— Апроська, позови Нюську. Пусть она скажет.

Павлуха обалдело уставился на Михея.

— Как же Нюська может знать, что я говорил, если она грохота пушки не услышит?

— Нюська-то? — Михей облегченно перевел дух, почуяв слабинку наступающей стороны. — Ты, кажись, засматривался на Нюську-то, Павлуха. Аль запомнил? То-то и оно! Разговор имел с ней. — И, глянув на Степана, заискивающе пояснил: — Сколь раз вел с ней собеседование. Она ему говорит, а он ей на бумажке ответы пишет. Вот на бумажке ейной ты и написал, что, ежели, мол, Михей Васильевич промышляет охотой, то правление колхоза не против охотников. Для охотников тайга — плацдарм. А теперь, што жа, в

обратную сторону? Ишь как! Бумажки-то я еще вечер подобрал с твоими записями на вопросы Нюски. Хотел вот показать Егорычу, что, значит, не по своему норову ударились мы в тайгу. По закону! Как ты был власть колхозная — ты и разрешения давал. А што дело у вас расклеилось с Нюской, так здесь моей вины нету.

Лалетин, потупя голову, молчал. Он здорово влип! Как же он не предусмотрел уничтожить те записки?

— Спомнил? — сверлил басок Михея.

Павлуха выцарапывал из уголка глаза сорину, морщился.

— Где там запропастилась Апросинья? — засеменил Михей к крыльцу.

— Ты што же, Егорыч, делаешь с нами? — напомнила о своем существовании старуха. — Я ить довожусь тебе сватьей.

— Ясен вопрос? — спросил у Степана Вихров.

— Все ясно, — заговорил Степан. — Человек спиной повернулся к социализму, ко всей Советской власти, какие могут быть разговоры?

С крыльца избы, по-молодому прыгая через ступеньки, летел Михей с «пустяками Павлухи». Передал пару бумажек Степану, хитро сощурился.

Вот что прочитал Степан в первой бумажке:

«Нюсечка, напрасно волнуешься. Отец и брат твой — охотники самые первые. Их дело таежное — пусть живут. А если ты дашь согласие быть моим другом жизни, — простору хватит для всех нас. После перевыборов я займу должность начальника участка леспромхоза. Или пошлют меня директором совхоза. Как скажешь, так и жить буду. А не говори, что мои слова про любовь одни пустяки. Я бы тебе день и ночь писал про любовь».

Степан поморщился, будто хватил ложку тертой редьки.

На другой записке было написано:

«Зря волнуешься, Нюся. Мало ли чего не треплют по деревне. Я председатель и никакого протеста не имею против Михея Васильевича. А бабьих сплетен никогда не переслушаешь. Скажи: кто тебе говорил, что я покрываю твоего отца?»

Степан протянул записки Михею.

— Храни. Или брось.

— Што? — пригнул голову Михей.

— Ерунда — все эти любовные записочки.

— Само собой, — Михей вздохнул, пряча в карман записки.

— А дело тут серьезное. Вопрос поставим на общем собрании колхоза.

Челюсть у Михея отвисла. Как-то сразу он почувствовал, что в надворье вошла такая сила, которая действительно может скрутить самого Михея. И что эта сила сомнет его, изжует и вышвырнет вон из привычной кормушки. А куда? «Куда-х-та-тах», — голоснула рядом курица со взъерошенными перьями.

— Кыш, погань! — пхнул Михей курицу.

На возвышении крыльца показалась Апроська, а за нею Нюська, в ситцевом цветном платье, с открытым, напряженно слушающим и разглядывающим взглядом больших светлых глаз. Она медленно сошла по ступенькам.

Сомкнув брови, Степан в упор глядел на Нюську.

«Что он на меня так смотрит?» — беспокоилась Нюська, подняв брови. Она еще не знала, кто этот человек в армейском плаще, плечистый, с пристальным взглядом черных глаз. Она даже не знала, что Павлуха Лалетин, ее бывший поклонник, уже не председатель колхоза. Ей никто ничего не написал о переменах в деревне. А какие-то перемены есть! Она это поняла по встревоженному состоянию отца.

— Что случилось, Павел Тимофеевич? — спросила Нюська, по обыкновению протянув Павлухе маленькую записную книжку с карандашом.

Павлуха кивнул на Степана, а книжки не взял.

— Пожалуйста, напишите, что случилось, — попросила Нюська Степана, вручая книжку.

— Она что, и вправду глухая? — спросил Степан.

— Ни звука! Четыре года, как оглохла. От простуды. Вот и говорю, — начал было Михей, но Степан, раскрыв книжку, зажав ее в ладони левой руки, написал:

«Думаем решением правления колхоза «Красного таежника» исключить из колхоза вашу семью и выселить ее за пределы Белой Елани. Сегодня состоится общее собрание колхозников. Устав артели диктует: тот, кто не трудится в артели, тому нечего делать на колхозной земле. Председатель колхоза Вавилов».

Нижняя губа Нюськи передернулась, лицо потемнело, и девушка, едва сдерживаясь от слез, тревожно и жалостливо глядя на Степана,

торопливо забормотала:

— Я так и знала! Так и знала! Как можно так жить! А мне всегда писали, что все правильно. Ничего не правильно! И вы тоже, Павел Тимофеевич! Я хочу работать и жить в колхозе, как все! Чем я виновата, скажите, пожалуйста! Я хочу работать при МТФ. Почему не разрешили мне? Скажите, почему?

— Ты что, и в самом деле не разрешал ей работать на МТФ?

Лалетин сдвинул фуражку на лоб:

— Да какая же из нее работница? Она же, как пень, глухая.

Девушка внимательно следила за губами. Заметно побледнела и со слезами в голосе проговорила:

— Ну и что же, что я глухая? Если я глухая, значит, мне места нет в жизни? Да? За что меня выселять? Или за то, что я не согласилась быть женою Лалетина? Я комсомолка, понимаете? Я, может, еще вылечусь.

И глаза Ньюски впелись в губы Степана. Она ожидала ответа. Вытащив из кармана гимнастерки свою записную книжку, Степан написал:

«Если будете работать на МТФ, приходите сегодня на общее собрание колхоза к восьми вечера, обсудим ваше заявление».

— Погодите, погодите, — опомнился Михей. — Это што же выходит, на выселку меня? Как вроде кулака?

— С какой стати, как кулака? Просто вам придется убраться с колхозной земли. Единоличных наделов колхоз не дает.

Степан знал, что если он этого не сделает немедленно, сейчас же, тогда и другие, глядя на Михея, окончательно откачнутся от колхозной работы. Он вспомнил про письмо от имени всех колхозников района. И по тому письму дано обещание вырастить стопудовый урожай, сдать мясо, молоко, овощи в срок, а стопудового урожая не предвидится, а из района жмут: душа через перетягу, а обязательство должно быть выполнено! Нет, такие Михеи — только помеха в хозяйстве. Окончательный разор!..

— Да што вы, ребята? Да я... как же так? Ежли новое правление решение приняло, чтоб работать нашей семье, да мы с моим удовольствием. Хоть завтра выйдет на работу Апроська.

— Так и есть! — покривилась Апроська. — Нужен-то мне ихний колхоз!

— Цыц ты, кадушка! — топнул Михей.

— Подумаешь, — мотнула головой Апроська и пошла себе в избу. Михей растерянно топтался на одном месте, просил правление «воссочувствовать ему», принимая во внимание его прежние заслуги. Степан ответил, что заслуги эти, видно, слишком долго принимались во внимание, что на одних заслугах в рай не проедешь, что решит судьбу Михея — собрание.

IX

Нюська вернулась с собрания в середине ночи. Возбужденная, глаза заплаканные. Не глянув на отца, сняла полушалок, поправила обеими руками свои льняные волосы, села на лавку возле стола.

— Сами знали, что так жить нельзя, а жили. Против всех, — тихо, очень тихо проговорила Нюська, как иногда говорят оглохшие, которым кажется, что они говорят, достаточно громко. — Мне было так стыдно за вас!

...Она сидела и не слышала, что толковал народ о Замошкиных и Вьюжниковых, но, казалось, сама атмосфера общего собрания до того была насыщена зарядами досады и обиды, что Нюську прохватило будто электричеством.

Впервые побывала она на общем собрании колхоза и прочувствовала, именно прочувствовала, что ее затворническая жизнь в семье, отколовшейся от колхоза, была просто постыдной, чужой и никому не нужной. Мучительное сознание того, что она, красивая девушка, постоянно находилась в каком-то звуконепроницаемом погребе, угнетала ее, и она не знала, как можно выбраться из этого проклятого погреба, где до нее не доходило ни единого звука жизни! Ни единого звука!

И вот Нюська на собрании. Пусть она сначала не знала, о чем говорят колхозники, — ведь почти все выступавшие стояли к ней спиной и нельзя было следить за движением губ; она только два раза видела, как новый председатель говорил, сидя в президиуме: «Правильно!» И еще она видела несколько раз, как он наклонялся над столом, что-то писал, а потом передавал бумажку Нюське.

И Нюська с дрожью в сердце следила, как бумажка приближалась к ней, и, взяв ее, читала. Братья Черновы, медвежатники из

промысловой бригады колхоза, говорили, например, что Михея Замошкина надо бы турнуть куда-нибудь подальше как браконьера, истребившего десятки маралов. И это была правда!

Потом... потом Нюся сама выступала перед колхозниками. Не слыша ни своего сдавленного горем и стыдом голоса, ни наступившей полной тишины, она стала говорить о себе, о своем несчастье... Пусть ей разрешат остаться при колхозе, и она будет работать на МТФ — просто дояркой. Учиться и работать.

Ей сочувствовали. Это она видела.

Народ вынес решение: оставить Анну Замошкину в колхозе, а всех остальных членов семьи исключить из колхоза и выселить за пределы Белой Елани. Натерпелись, хватит!

— Это Черновы на меня несли из-за маралов? — шумел Михей Васильевич. — А ты што им сказала? А? Или у тебя язык отсох?

— Есть решение собрания выселить, — пролепетала дочь.

— Черта с два! Я им покажу «выселить», тетеря! — Отец тряхнул дочь за плечо, чтоб она подняла на него глаза, спросил жестаами, что она сделала с записками Лалетина. — Записки Павлухи читала иль нет? А?

— Я изорвала записки, когда шла на собрание. Что закрываться записками, когда все, что говорили на собрании, — правда.

— Порвала записки? Да ты што, окаянная! Документы изничтожила! Да врешь ты, тетеря! — и сам полез в карман пиджака, а потом и в карманы платья дочери. Выгреб все ее бумажки, записную книжку и разложил на столе возле лампы. — Вот еще навязалась на мою шею, глухая тетеря, — бормотал он, поднося к лампе то одну, то другую бумажку, и никак не мог найти нужную. А вот записка Вавилова! «Братья Черновы говорят, что Михей Васильевич с Митькой систематически истребляют маралов».

— А ты ему што? А? Как ответила Вавилону? Говори! — И ткнул записку под нос дочери.

— Это же правда, тятя!

— Што? — округлил глаза Михей. — Чтоб тебе ни дна ни покрывки! Да ты меня топить ходила на собрание, окаянная! Отца родного! Да ты што понимаешь в моей — жизни, как она происходит? Думаешь, я буду тянуть на колхоз до седьмого поту? А Михею — шиш

под нос! На, Михей, выкуси! Отчего я в тайгу ударился — это ты понимаешь?! Жрать-то ты каждый день просишь, глухая тетеря...

— А как же другие, тятя? — скорее поняла слова отца, чем услышала Нюська.

— «Другие»! Плевать мне на других! Хошь все передохнете. Другие воруют, тянут все, что ни попади. — Я и честным трудом проживу. Охотой! Зарезала, зарезала отца родного! У, пропастина окаянная! — И, не в силах сдержать подступившую спазму злобы, ударил дочь по щеке. Та откинулась на простенок:

— Тятя!

— Я те дам «тятя»! Чтоб духу твоего не было у меня в избе! Живо! Метись! — И, схватив за руку дочь, рывком откинул ее к порогу.

Нюська убежала из избы, не закрыв за собою дверь. Проснулась Апроська в горенке. Выскочила в одной нижней рубашке и, взглянув, как Михей рвал в клочья записную книжку и разные бумажки Нюськи, тут же спряталась.

Под утро появился Митька — ходатай Михея.

— Ну, што там, в районе? — подскочил к нему отец. — Тут у нас собранье проходило-турнули нас из колхоза. А там как, говори. Был у Андрюхи?

Митька сбросил тужурку, уселся на лавку. Здоровенный мужик, как и отец, чернявый, с глубоко запавшими глазами на скуластом лице, в сатиновой рубахе с расшитым столбиком. Такому бы работать в кузнице вместо старого Андрона Корабельникова.

— Худо дело, тятя. Про район даже не говори, — пробурчал Митька.

— Был у Андрюхи?

— Дядя Андрей — што! И ухом не повел.

Михей схватился за голову.

— Угробила глухая тетеря! Как есть под монастырь подвела! Нюська-то заявила на собрании, што мы с тобой, дескать, маралов почем зря лупили.

— Нюська? — спохватился Митька. — Да я из нее жилы вытяну! Где она?

— Турнул я ее ночесь, паскудницу! Пусть метется. Узнает, почем сотня гребешков! Она ишшо по-настоящему-то хрип не гнула. А мы и при городе проживем. Была бы шея — хомут найдется!..

Дня через два семья Замошкина выехала в город. В избе Михея осталась хозяйничать при голых стенах единственная дочь Нюська. Михей сам распорядился собрать все пожитки от подушки до последней ложки. Собственноручно заколол на дорогу семипудового борова, десяток поросят, отрубил всем курицам головы, а корова и бык остались в надворье — председатель сельсовета не разрешил продать.

ЗАВЯЗЬ ТРИНАДЦАТАЯ

I

С того дня, когда Санюха Вавилов явился к следователю с повинной, а тут еще Филимон Прокопьевич приволок в деревушку Подкаменную диверсанта Ивана Птаху, следствие пошло совсем в другом направлении.

Демида освободили. Но Анисью арестовали. На Анисью обрушилось страшное горе. Эта боль не покидала Демида ни днем, ни ночью. Он знал, что она жертва каких-то страшно запутанных обстоятельств. Но каких?! Как могла она носить в себе такую тайну и даже ему не сказать ни слова!.. «Нет, это ошибка, ошибка. Недоразумение», — твердил себе Демид. Он знал и помнил Анисью-Уголек. Верил в ее доброе, горячее сердце. Но что стоила его вера перед запутанным узлом надвигающихся событий! «Я должен ее выручить! Помочь ей. Если мать... Если Головешиха запутала ее с детства... Разве можно карать ее за это? Одна Головешиха не делает погоды, — размышлял он. — Кроме Головешихи, были еще люди, среди которых росла Анисья. Были причины, из-за которых она носила этот тяжкий груз в себе... Разве со мной не случилось подобного, хотя я и ни в чем не был виноват?..»

В кабинете майора Семичастного он заявил:

— Я могу дать показания по делу Ухоздвигова. Я твердо уверен: Анисья Головня тут ни при чем. Скажите: разве вы не арестовали меня в Подкаменной, подозревая в диверсии? Так вот, я хочу сказать: не такая ли ошибка произошла и с Анисьей Головной?

Ноздри Демида раздулись, и он, не в состоянии выслушать майора, поглядывающего на него с мягкой улыбкой, заговорил громко и зло:

— Вы скажете: весы сердца — не всегда точные? Правильно! Но не думайте, что я говорю только по велению сердца. Я сам... Вся моя жизнь... Что она мне говорит, моя жизнь? — запинаясь, говорил Демид. — Думаю, легче всего искалечить человека, чем оказать ему помощь. Надо защищать человека, помогать, если он заблудился. Но

не убивать. Убивать — каждый дурак сумеет. А вот спасти, поставить на ноги — не каждому дано. Тут надо, иметь характер, сердце, совесть, а еще больше — опыт жизни.

— Хорошо, успокойтесь, — начал майор, не глядя на Демида. — Я хотел узнать: можете ли вы присутствовать на допросе одного из арестованных по делу диверсионной банды? И вижу — не можете.

— Как то есть не могу?

— Потребуется от вас большая выдержка.

— Так в чем же дело? Если вы думаете, что я могу случайно взорваться, то вы просто ошибаетесь.

— Прекрасно! — майор поднялся со стула. — Тогда я попрошу вас к четырем часам дня в управление.

— Хоть сию минуту.

— Нет, нет, к четырем часам дня завтра.

— Буду, — отчеканил Демида, твердо решив: «Что бы ни случилось, я буду защищать Анисью-Уголек!..»

Неизбежное приближалось...

За дверью послышались шаги. Сердце Демида будто вмиг распухло, уперлось в ребра, гулко стукнув, точно пробивало себе дорогу. Сейчас он увидит Анисью. Что она? Какая она?

Машинально ухватившись за кожаный кружочек на глазу, он заметил, как пристально поглядел на него пожилой подполковник Корнеев.

Кабинет — квадратная светлая комната с четырьмя окнами, вся в пятнах солнечного света. Возле ног Демида растянулась тень оконной рамы, вытянутая к письменному столу, за которым сидит подполковник — человек медлительный, подстриженный под ежика, тот самый Никита Корнеев, который когда-то работал в Минусинске в чека.

Тоненько пискнула дверь — и на пороге — Анисья-Уголек. Демида выпрямился на стуле. Он ее увидел сразу всю — в бордовом платье с мелкими сбежавшимися в кучу складочками на боку, с ее такими необыкновенными пышными красноватыми волосами, в кудряшках которых запутались лучики солнца, отчего волосы будто шевелились, медленно разгораясь багрянцем. И вдруг потухли — лучики солнца

переместились на смуглый лоб милиционера, который шел следом за Анисьей.

В ту секунду, когда Анисья перешагнула порог кабинета, держа голову вниз, она почувствовала, что в кабинете следователя сидит Демид. И, подняв глаза, встретила с его немигающим взглядом.

Кровь отлила от лица Анисьи.

— Проходите, Головня. Садитесь, — проговорил милиционер, и она машинально двинулась к стулу, присев на краешек сиденья.

— Вы здоровы?

Она посмотрела на подполковника и, с трудом сообразив, что у нее спросили, ответила:

— Да.

Подполковник вышел из-за стола и занял место между Демидом и арестованной.

— Посмотрите на этого человека.

Она вся повернулась к Демиду, но поглядела не в лицо Демиду, а на мелко вздрагивающие пальцы, теребящие пуговицу гимнастерки.

— Кто этот человек?

— Демид Боровиков.

— Расскажите, как вы его знаете, когда впервые встретились, какие у вас были взаимоотношения.

Демид опустил голову.

— Я же... давала показания...

— Расскажите еще раз, и как можно подробнее.

Как же она сумеет рассказать поподробнее о своих взаимоотношениях с Демидом, если у нее в голове сейчас все перепуталось?

— Тогда... в тридцать седьмом году... я была еще девочка. Он же наш, деревенский, — и облизнула губы, напряженно собираясь с мыслями и с трудом удерживая нить рассказа. — Тогда я еще совсем ничего не понимала.

— Говорите.

Майор Семичастный писал протокол. Анисья поглядела, как записывает ответы майор, стиснула ладони.

— Не помню сейчас. В августе так или в сентябре — арестовали отца. Я побежала к Демиду Боровикову в пойму Малтата. Не помню,

что говорила. Просила еще, чтобы он взял меня с собою в тайгу от матери...

— Вы подтверждаете это, товарищ Боровиков?

— Подтверждаю. Случилось это в начале сентября, в первых числах.

— Не вспомните, что она конкретно говорила вам о матери?

— Что она плохая, скверная, и что она, ее мать, то есть, никого не любит, кроме самой себя.

— А не сказала вам тогда Анисья Головня, что у матери есть особенная, тайная любовь?

— Нет. И слов не было ни о каких тайнах.

— Расскажите, Головня, как появился у вас в доме военный человек в 1937 году? И кто был этот человек?

Анисья испуганно поглядела на подполковника, но тут же еще ниже опустила голову.

— Он появился... в сентябре, нет в августе. Помню хорошо, что он приехал ночью.

— Как его встретили? И кто его первым встретил?

— Мать. Она вышла на стук в дверь. Отец был тогда в тайге. Я спросила у матери, кто это? Она ответила, что это ее знакомый, что он из Красной Армии... И еще она сказала, чтобы я не болтала языком. И если я не буду молчать, то мне он сам отрежет язык.

— Где он провел ночь?

— С матерью в горнице.

— Вы хорошо помните, что мать один раз сказала вам, что военный из Красной Армии, а потом — из НКВД?

Недоумевающий взгляд Анисьи метнулся на подполковника. Она, конечно, хорошо помнит, как сказала тогда мать. И в первых протоколах ее допроса это записано.

— Я это хорошо помню.

— Так. Продолжайте.

— Когда я проснулась утром после той ночи, военного не было. Я спросила у матери, где он? Она меня шлепнула и сказала, чтобы я прикусила язык.

— Когда он появился во второй раз?

— Тоже ночью.

— Он был один?

— Нет, их было двое.

— Что вы подслушали в ту ночь?

— Он говорил... Я смотрела на него в щель и вся тряслась, что-то мне было страшно, не знаю. Он тогда сказал: теперь пусть моют золото не драгой, а голыми руками. И что, если еще вторую драгу разворотить, тогда прииск накроется, или как-то по-другому сказал. И еще, что большая шахта на Разлюлюевке накроется завтра. Я это хорошо помню. А потом говорили — кого НКВД арестовало на прииске...

II

«Так вот где собака зарыта. Узелок-то когда завязан. А может, еще раньше».

Слушая Анисью, перехватывая каждый ее вздох, заминку, Демид все еще не мог поверить, что такой чужой, глуховатый голос, отвечающий на сдержанные, спокойные вопросы подполковника Корнеева, принадлежит именно Анисье Головне, а не какой-то незнакомой женщине, которую Демид никогда не знал. Но перед ним сидела Анисья. Вот тут, рядом, в двух шагах от него. Он, конечно, помнит, когда Анисья прибежала к нему, как она тогда плакала от страха и от укуса змеи. Но он понятия не имел о тайных связях с Ухоздвиговым покойной Голоवेशихи.

«Если бы я знал правду, то не ушел бы из тайги. Нет! Другой был бы коленкор».

— Я вот хочу спросить, почему Анисья не сказала мне правду тогда? Если она и сейчас все помнит, как происходило дело?

Анисья, закусив трясущиеся губы, сдерживая подступившие слезы, напряженно разглядывала собственные руки.

— Отвечайте, Головня.

— Я... Я ничего не могу сказать... Я не знаю, почему я тогда не рассказала все.

— Что вы спросили потом у матери, когда тот военный уехал от вас? И что она вам ответила?

— Мать? — В глазах Анисьи стояли слезы. — Когда я спросила, кто такой военный, который уехал, и почему она называла его Гаврей, она мне сказала, что мой отец мученик, что ему приходится

скрываться, что все прииски в нашей тайге — его и ее собственные и что они их скоро вернут. А я буду их единственной наследницей... И что Головня не отец мне.

— И вы сумели сохранить тайну матери?

— Да, — пролепетала Анисья, облизнув губы.

— Теперь расскажите, когда в вашем доме появился артельщик-промысловик, в котором вы сразу опознали того же военного. И как он назвался?

— Это случилось в начале войны, в июле. Они вчетвером приехали, в Белую Елань. Ехали в тайгу будто бы добывать смолу-живицу для военного завода. Трое остановились у Санюхи Вавилова, а бригадир артельщиков у нас. Он был в военной форме, с кубиками. Капитан какой-то военной части. Не помню. Михаил Павлович Невзоров — так его звали. А мать велела мне звать его дядей Мишей. Я его узнала... Приехали они днем. Я и мать были дома. Когда он вошел в избу, мне показалось, что я его где-то видела.

— Что он говорил о войне?

— Он жил всего три дня. По вечерам у нас собирались мужики: Филимон Прокопьевич, завхоз колхоза, Санюха Вавилов, Михей Замошкин, Вьюжников. Он говорил им, что к осени в Сибири установится новая власть, что каждый будет хозяином, как было раньше. И что в Белой Елани жизнь сразу пойдет в гору.

— Вы тогда вступили в комсомол?

— Да. В школе вступила. Тогда я только что получила аттестат.

— Зачем вступили в комсомол? Расскажите.

Анисья еще ниже уронила голову.

— Зачем вы вступили в комсомол, если ждали переворота власти?

— Я не ждала.

— Но ведь мать внушала вам, что вы дочь золотопромышленника, что отец ваш — хозяин приисков, и вы верили этому?

Демид пытался прикурить папиросу, но никак не мог зажечь спичку.

— Когда вы узнали от матери, что этот человек — ваш отец — Гавриил Ухоздвигов?

— Когда он ушел в тайгу, мать мне все рассказала.

— Что вы знали о пожаре тайги?

— Из разговора матери... я поняла, что тайгу подожгли артельщики, которые приехали с ним.

— Когда он уехал в город, Ухоздвигов?

— Осенью. Я тогда ехала с ним в Красноярск в институт.

— Когда он вернулся?

— Опять в июле, на другой год.

— Где вы с ним встретились?

На пароходе. Я ехала из города. Он встретил меня на палубе, сразу, как пароход отошел от пристани города. Я ехала в четвертом классе, и народу было очень много. Была страшная давка. Он перенес мои вещи в каюту.

— В какую каюту? И на каком пароходе вы ехали?

— На «Академике Павлове». Он взял разрешение у капитана занять служебную каюту. Там ехала еще какая-то старушка, я ее не помню. И еще какой-то человек, — пролепетала Анисья.

— Ни старушки, ни постороннего человека не было с вами в каюте, — поправил подполковник.

— Были! Были! Не одна же я была с ним!

— Так вы отвечали на всех прошлых, допросах. Но следствие располагает другими данными. Зачитайте, майор, показания капитана парохода Васютина. Вы знаете такого капитана? Вспомните.

— Был капитан. Но я... я не знаю его фамилии.

Майор Семичастный зачитал показания капитана парохода Васютина: «Личность на фотографии я опознал. Помню я его. Дело было в августе 1942 года. Мы уходили в рейс в Минусинск. Человек этот принес ко мне в каюту пару бутылок коньяка. В то время коньяк был редкостью. Он назвался каким-то инструктором крайзаготпушнины, точно не могу сказать. За беседу он много говорил о предстоящем разгроме фашизма и вообще показал себя патриотом. Сам он — будто инвалид, с той войны. Я хорошо помню: он показывал «белый билет», но по какой статье он был снят с воинского учета, не могу сказать. Может, я тогда не обратил внимания на статью. Потом он, в виде одолжения, попросил у меня разрешения занять служебную каюту, так как с ним будто бы ехала его дочь. Каюта была не занята, и я отдал ему ключ. Там я увидел девушку».

«Пила ли та девушка коньяк?»

«Пила. Рюмки две выпила. Это я хорошо помню».

«Вам показана фотокарточка одной женщины. Не опознаете ли вы в этой личности ту девушку?»

«Это она самая. Совершенно точно».

«Какие были взаимоотношения у того человека с этой девушкой?»
— «Очень любезные, но не похожие, что этот человек был ее отцом. Девушка стеснялась немного, но когда выпила коньяк, то, как я обратил внимание, не отказывалась от ухаживания со стороны своего покровителя даже в моем присутствии».

«Личность вот на этой фотокарточке — Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов. Это тот самый человек?»

«Тот самый».

«Личность вот на этой фотокарточке — Анисья Мамонтовна. Головня. Этот та девушка?»

«Та самая».

«Имели ли вы какие-либо личные счета с указанными личностями?»

«Никогда и никаких. Они только раз проехали на моем пароходе. Больше я их нигде не встречал».

Майор Семейчастный попросил Демиду взглянуть на протокол; затем он подозвал к столу Анисью Головню.

— Взгляните на подпись капитана Васютина.

Словно омертвевшими, остановившимися глазами Анисья глянула на протокол, но не видела не то что подписи Васютина, но и папки с бумагами.

— Садитесь, — сказал ей майор.

И она машинально опустилась на стул.

— Зачитайте, майор, показания Гавриила Ухоздвигова.

— Не надо! Не надо! — вскрикнула Анисья, умоляюще вскинув глаза на подполковника.

— А разве вы знаете, какое это показание? Мы его вам еще не зачитывали. Послушайте.

Анисья всхлипнула, вытирая слезы, пила воду, и зубы ее звонко цокали о стекло. Все эти звуки бились в Демиде, отдаваясь в сердце. Ему было невыносимо тяжело.

Между тем Ухоздвигов показал вот что:

«Вопрос: Вас познакомили с показаниями капитана парохода Васютина. Подтверждаете ли вы это показание?»

Ответ: Подтверждаю. Личных счетов с Васютиным не имею.

Вопрос: Какую цель вы преследовали, уединяясь в каюту с Анисьей Головной?

Ответ: Я постарался сделать все возможное, чтобы направить ее на путь борьбы с коммунизмом, чему я посвятил всю жизнь. Я видел в ней цельный характер. Я начал с того, что мы с нею не чужие люди, а родственные души, хотя ни она, ни я словом не обмолвились, что мы родственники по крови. Я знал и твердо уверен, что она в будущем последует моему примеру, посвятит всю свою жизнь борьбе с коммунизмом. И эту мысль я ей сумел хорошо внушить и разъяснить.

Вопрос: Назывались ли вы Анисье Головне своим настоящим именем?

Ответ: Мы и без того достаточно понимали друг друга.

Вопрос: Что вы внушили Анисье Головне о фашизме и о войне?

Ответ: Я не внушал, я на нее имел прямое влияние. Если говорить о внушении, то это было сделано до меня ее матерью.

Вопрос: Что вы внушили Анисье Головне о ее будущем?

Ответ: Тогда этот вопрос мною не был решен. Я ждал окончательной развязки войны. Если бы в России установился настоящий порядок, то, вероятно, мне пришлось бы взяться за восстановление моих приисков. Тогда бы я нашел место и для моей дочери. Я никогда не забывал, что она моя единственная дочь, и постарался бы сделать все возможное, чтобы она была счастлива. То, что мне не удалось, не моя вина.

Вопрос: Уточните, какие были между вами взаимоотношения?

Ответ: Между мною и Анисьей в годы войны установились взаимоотношения полного единения. С тех пор мы встречались с нею как хорошие друзья. Я верил, что она никогда не пойдет на предательство.

Вопрос: И вы никогда не назывались ей отцом?

Ответ: В этом не было необходимости.

Вопрос: Принимала ли Анисья Головная участие в диверсиях, совершенных вами на прииске Раздольном, а также в поджогах тайги и в делах секты «Свидетели Иеговы»?

Ответ: В этом также не было необходимости. У меня было достаточно помощников и единомышленников.

Вопрос: Кто вам помогал?

Ответ: Кроме известных вам лиц, во время войны — дезертиры, скрывавшиеся в тайге.

Вопрос: В показаниях капитана Васютина есть намек на то, что между вами и Анисьей были особенные взаимоотношения? Как понимать такие взаимоотношения?

Ответ: Между мною и Анисьей была только духовная близость, полное единение. Что, вероятно, и бросилось в глаза капитану Васютину.

Вопрос: Взгляните вот на эту фотографию. Узнаете ли вы, кто сидит за столиком в ресторане?

Ответ: За столиком по правую сторону сижу я, по левую — Анисья. Это было в ресторане «Енисей» в 1949 году...»

Наступила минутная заминка.

Майор Семичастный, закрыв папку с делом Ухоздвигова, ждал, что скажет подполковник.

Анисья, согнувшись на стуле, рыдала навзрыд. Подполковник в третий раз подал ей стакан воды. Она приняла стакан, но руки ее так дрожали, что она едва удержала стакан, сплеснув воду на платье.

— Успокойтесь.

Подполковник опустил ладонь на плечо Анисьи.

— Если вы так запутались, надо смело развязывать узлы. Другого выхода нет.

— Я, я разве виновата, что родилась у такой матери, — сквозь слезы пробормотала Анисья. — Чем я виновата? Такая жизнь! Всегда обман! Всегда хитрость!.. Я ничего не могла сделать... это началось сразу, как я только помню себя. И тогда на пароходе... не знаю, почему ушла из трюма... я знала... чувствовала, что кругом запуталась, а как быть — не знала! Не было у меня единения с Ухоздвиговым! Не было. Я всегда слушала и молчала. Не было, не было!

— Успокойтесь.

— Узнайте в леспромхозе, как я работала. У рабочих, у всех. Я пробовала оторвать мать от такой жизни... мы всегда ссорились. Да что я?

— Так почему же вы не разоблачили бандита? Не помогли обезвредить его вовремя? — вспыхнул подполковник впервые за весь допрос. — Что же вы молчали? Вы же смелая девушка! Ну, а золото, которое тайно скупала ваша мать и переправляла спекулянтам? Вы

показали, что дважды отвозили посылку спекулянту в Красноярск? Вам же было известно, какие посылки отправляла с вами мать!.. Сейчас арестована большая группа валютных спекулянтов. Вам придется с одним из них встретиться.

Анисья примолкла.

Подполковник развел руками, потом сомкнул их, будто собрал в кучу все трудные, нерешенные вопросы, прошелся по кабинету.

III

...Можно ли доверять нахальному откровению Ухоздвигова? Он, конечно, использовал любую возможность, чтобы опорочить, запутать тех, кто встречался с ним. Так он поступил и с Анисьей на пароходе.

Была еще мать, Евдокия Елизаровна Юскова-Головня. Та действительно была предана бандиту и душой и телом. Анисья попросту оказалась связанной. И мать, и ее наставления с раннего детства, и жизнь семьи, полная тревог и опасностей, — все это вместе взятое постепенно, не сразу, откололо Анисью от общества, от товарищей. На некоторое время она забывалась на работе, как бы отталкиваясь от страшных вопросов нарастающей трагедии, но как только встречалась с матерью — трясина засасывала ее. Так продолжалось ни день, ни два, а годы. Постепенно в ней выработалась привычка закрывать глаза на всю преступную, запутанную жизнь матери.

Неделю назад вот в этом же кабинете на очной ставке Ухоздвигова с Анисьей он самодовольно заявил:

— Зафиксируйте: это моя единственная дочь.

На что Анисья ответила с ненавистью:

— Никогда я не была вашей дочерью! Лжете вы!

— Тогда кого же ты можешь назвать отцом?

— У меня нет отца. Слышите: нет, и не было!

Что побудило Ухоздвигова настойчиво долбить в одну и ту же точку, что Анисья Головня его дочь и чтобы его отцовство было бы признано следствием?

Похоже на то, что бандит никак не хотел уходить из жизни, не оставив после себя потомков. Вот, мол, весь я не умер! Вы еще не

убили меня. Есть еще дочь, а потом появятся и внуки. И я буду жить, как бы это вам не нравилось.

Подполковник разгадал маневр Ухоздвигова.

— Следствием не подтверждено, что Анисья Мамонтовна Головня — ваша дочь, — сказал он.

Тогда Ухоздвигов объявил протест и выставил свидетелем бабушку Акимиху Спивакову, у которой снимал квартиру Ухоздвигов в 1923 году. Она-де подтвердит, что Евдокия Юскова не только разделяла с ним брачную постель, но он ее и отправил в Белую Елань беременной.

Свидетельница подтвердила страшный для Анисьи факт, но подполковник все-таки выделил дело Анисьи Головни из банды Ухоздвигова.

Говорил подполковник Корнеев и с секретарем Каратузского райкома партии, который заверил его, что Анисья Головня была одним из лучших мастеров леспромхоза. Никто из рабочих Сухонаковского лесопункта не опорочил Анисью Головню ни единым словом.

Когда Корнеев познакомил первого секретаря райкома партии с делом Анисьи, обвиняемой «в сокрытии контрреволюционных элементов из банды Ухоздвигова», секретарь райкома все-таки настаивал на освобождении Анисьи Головни, уверяя, что сам арест послужит для нее достаточным наказанием.

— Закон есть закон, — ответил Корнеев. — И не в моих правилах отступать от революционной законности, Понятное дело, странным кажется, как могло случиться, что такая вот производственница, как Анисья Головня, вдруг оказалась преступницей. Но если бы преступники носили какую-то особенную личину, держались бы не так, как все обыкновенные люди, тогда не было бы трудностей изобличить их. Кто не встречался с диверсантом Ухоздвиговым? У него достаточно было друзей на дорогах, в тайге, в деревнях, в городе — везде, где он появлялся, знали его с хорошей стороны. Приятный собеседник, человек — душа нараспашку! Однако это не мешало ему быть бандитом. Вот почему нельзя оправдывать, тех, кто его знал со всех сторон, но молчал по трусости либо по каким-то семейным соображениям, как молчала Анисья Головня, щадя мать. И мать погибла от пули бандита, и дочь запуталась.

Сама Анисья не подозревала, что ее кто-то защищал.

Но если бы знала Анисья, что вот этот пожилой человек в погонах подполковника государственной безопасности настроен к ней не враждебно, а доброжелательно! Он, в сущности, защитил ее от ухоздвиговской напасти, обрубил все путы, которыми спеленал ее хищник по рукам и ногам. Если она и понесет наказание, то не как сообщница Ухоздвигова, а человек, запутавшийся в своих противоречиях, из которых ему не выбраться без помощи закона!..

— Итак, продолжим, — начал подполковник после раздумья. — Признаете ли вы себя виновной, Анисья Мамонтовна Головня, в том, что не помогли вовремя обезвредить опаснейшего преступника, агента иностранной разведки Ухоздвигова, которого не один раз видели в доме вашей матери, встречались с ним на пароходе и в городе и знали, что он совершил поджог тайги и взрыв драги и шахты на приисках, но молчали?

— Если бы не мать... — вырвался отчаянный вздох у Анисьи.

— Признаете ли вы себя виновной, что скрывали преступную деятельность Ухоздвигова?

— Признаю, — упавшим голосом ответила Анисья.

Демида словно подмыло волною.

— Она не виновна, — вдруг сказал он твердо и жестко.

— Минуточку, товарищ Боровиков.

— Она не виновна! — отчеканил Демид, поднимаясь. — В такой же степени виновна, как и я. Судьбы наши, к несчастью, одинаковы. С таким же успехом и меня можно посадить в тюрьму, товарищ подполковник. Разве не ясно, что ее просто запутал Ухоздвигов? Совершенно ясно! Я понимаю Анисью: она считала, что перевоспитает мать собственными усилиями, и вот не удалось. Бандит оказался опытнее ее, хитрее. Я лично так понимаю это дело. Но она не враг, нет! Я еще раз подтверждаю свое заявление. Анисья — не виновна. Нет! Я прошу следствие учесть ее молодость, ее трудную и страшную жизнь в семье такой матери, какой была Евдокия Головня. И еще я прошу учесть, что такой ловкий бандюга, каким является Ухоздвигов, не одну Анисью обвел вокруг пальца. Я сам лично встречался с ним в тайге. Был он у нас на Кипрейчихе. Послушал я его, как он ловил живых тигров в Уссурийской тайге, и подумал: вот настоящий человек. Было такое дело. А тут еще у Анисьи мать. Что ей

было делать? Мать, она всегда у всех одна. Если вот у меня произошла такая история с матерью, так я и теперь не нахожу себе места. Вот здесь сосет, товарищ подполковник. Сосет и днем и ночью! Это нелегко, уверяю вас. А что же она могла сделать против матери, если мать заботилась о ней по-своему? Помогла ей учиться, наставляла ее своей мудрости с самого детства. Это же факт! Анисья не виновата. Не виновна. Нет!

С каким же трепетом слушала Анисья-Уголек слова Демида! Она думала, что он о ней теперь не вспомнит, что она никому не нужна вот такая, опозоренная, изобличенная в преступлении, а вот он, Демид, готов спасти ее от любой напасти. Он верит ей, он не стыдится...

— Ваше заявление, товарищ Боровиков, приобщим к делу. Суд учтет откровенность признания Анисьи Головни.

— Спасибо... Спасибо, Демид, — прошептала она, заливаясь слезами.

Демид не помнит, что такое говорил подполковник Анисье после того, как подписан был протокол; единственное, что он уяснил: следствие по делу Анисьи Головни было закончено и суд, вероятно, учтет ее откровенные признания, обстоятельства ее личной жизни и то, что она фактически не знала, что ее мать выполняла задания колчаковской контрразведки с июня 1918 года, с тех дней, когда Анисьи и в помине не было.

Вскоре дело Анисьи слушалось на закрытом заседании краевого суда. И опять Демид в своих показаниях защищал ее.

Анисью приговорили к восьми годам лишения свободы.

— Я не оставлю тебя, Уголек! Не оставлю.

Анисья попросила разрешения у суда проститься с Демидом...

Майор Семичастный отвернулся, когда Анисья кинулась к Демиду и долго не могла оторваться от него, рыдая безудержно и горько...

IV

За селом, на взгорье, пятнистой шкурой зверя лежали пашни, желтые по черному полю копны необранной соломы; вокруг копен была вспахана зябь. Но вот вошло солнышко. Сперва оно прильнуло к вершинам деревьев, позолотило их, потом поползло выше, затопив деревню ярким утренним светом.

Солнышко поднималось все выше и выше.

Улицы Предивной — пустынно. Кое-где над крышами витают толстые косы дыма. Пахнет жареной картошкой, сдобными шаньгами, мясом. Воскресенье...

Недавно прошло на пастбище колхозное стадо-коров. Пастух отщелкал бичом, и снова все смолкло. Один за другим плетутся колхозники к бригадным базам: еще никто не выехал в поле, кроме трактористов и комбайнеров. А ведь канун сентября! Чего бы ждать? В такую пору работать от зари до зари, прихватывая вечерние сумерки. Время-то какое! В поле — перестоялый хлеб.

Десять часов утра...

В улицах наблюдается заметное оживление. Ошалело летает по деревне Павлуха Лалетин, а на другом конце Предивинского большака — Филя Шаров.

— Авдотья! Авдотья! — кричит Лалетин в окно крестового дома, стучая кнутовищем в раму. — Авдотья, Авдотья!..

Створка распахнулась — и высунулась черноволосая голова с маленькими, хитрыми глазками. На подоконник опустились полные груди.

— Чо орешь-то, лешак?

— Сознательность у тебя есть или нет? — зло шипит Лалетин, перегнувшись в седле к Авдотье.

— Кабы не было сознательности, на свете не жила бы.

— Нет у тебя сознательности! До каких пор, спрашиваю, напоминать тебе...

— Тсс, лешак! Катерину разбудишь!

— Катерину?! — изумился Павлуха, предав забвению вопрос о сознательности Авдотьи. — Разве Катерина приехала?

— Вечор еще. Отдыхает вот.

— Ну, как она? Подобрела?

— И, кость костью, — сокрушается Авдотья. — Работа у ней вся нервная.

— Где она работает?

— Магазином заворачивает при городе.

Глаза Павлухи округлились, как две пуговицы. Весь он как-то обмяк в седле, посутулился. Вот тебе и Катька! Была здесь, метнулась в город. Прошло каких-то два года — Катерина заворачивает магазином.

— Ну ладно, пусть отдыхает. — Приду, приду, — ухмыляется Павлуха, довольный приглашением Авдотьи разбить с нею радость приезда Катерины в отпуск.

Лалетин хлещет рысака и мчится к другому дому: к Хлебиным. Здесь тоже незадача: сама Хлебиха не может выйти на работу — рука развилась, не поднять, а дочь и невестка еще вечером ушли с ночевьем в тайгу брусничничать, вернуться, чай, не ранее завтрашнего дня.

А вот и дом Злобиных. Крестовый, загорелый на солнце. Здесь живет семья Михайлы Злобина, недавнего тракториста. Михайле лет двадцать пять, но он до того ленив и тяжел на подъем, что его можно только трактором вытащить на колхозное поле. В доме четверо трудоспособных: мать Михайлы, сорокапятилетняя вдова, ее дочь Таня, метящая в любой институт, сам Михайла и, наконец, жена Михайлы Гланька из фамилии Вихровых.

На стук в раму высунулся Михайла, белобрысый, полнокровный мужик.

— Ну, а ты что, Михайла?

— Я-то?

— Ты-то!

Михайла невинно помигивает, улыбается.

— Сижу вот. Гланьку жду.

— Где она?

— Черт ее знает, где, — зеваает во весь рот Михайла. Потянулся, хрустя плечами. — А тебе что?

— Так ты же в возчики зерна назначен!

— Я! — белесые брови Михайлы выползли на лоб, постояли там в недоумении, опустились вниз в окончательном решении: конечно, он не пойдет в возчики зерна, не с руки.

— А что тебе с руки?

— Да черт ее знает что! Рыба сейчас играет.

— Где играет? Какая рыба?

— Да в Малтате играют хариусы и ленки. Жир-ну-ущие! Вчера со Спиваком в три тони по ведру цапнули. Тебе вот котелок наложил ленков, а Гланьки нет — придет, отнесет.

Михайла отводит глаза за наличник, смотрит по улице, будто кого ищет, а Гланька меж тем, только что проснувшись, показывается за его спиной в одной нательной сорочке. Увидев Лалетина, вскрикнула:

— Павлуха! А я-то голышом. Тю, черти!

Лалетин хохочет, качаясь в седле. Михайла посмеивается своей жирной ухмылочкой. А как же ленки? Не возьмет ли Лалетин сам? Да нет, Лалетину неудобно. Пусть Гланька занесет и отдаст Марии Филимоновне — жене Лалетина, с которой он только что сошелся.

— Слушай, Павлуха, — приободрился Михаил, высунувшись до пояса в окно. — Дай мне на сегодня твою лодку и невод. У Филимона, знаешь, какой невод!.. Мы его пришьем к нашим — три стены будет. Весь Малтат перецедим. Тебе — пай. В натуре. Целиком.

Лалетин на мгновение задумывается, смотрит по улице — не идет ли кто, отвечает:

— Бери. Только... пусть сама Гланька. С Марусей там. Вынесет в пойму задами, а там возьмете. — И отъезжая от окна, как бы невзначай кидает: — Придется сказать Степану, что ты и Спивак откомандировались в леспромхоз.

В двух следующих избах Лалетину повезло. В одной — только что вышли на бригадный баз, в другой — собираются и, надо думать, к двенадцати часам дня соберутся. И то дело!..

В третьей избе — Мызникова — снова осечка. Молодуха Мызниковых, Ирина, с красивым музыкальным голосом, с чернобровым, незагорелым лицом, не открыла створку окна, а вышла в ограду и за калитку, выставив навстречу Лалетину все свои женские прелести: литые, крепкие ноги, округлые бедра, покатые плечи, полную грудь, обтянутую нарядным штапельным платьем. Подперев руку в бок, она с видимым состраданием выслушала Лалетина и тихим медоточивым голосом возвестила:

— И что ты, Павлуша! Хвораю.

— Опять?!

— Что «опять»?

— Ты ж с начала уборочной хвораешь! Что у тебя?

— По женскому, Паша.

Павел опускает глаза: а Иринка меж тем, вздыхая, жалуется на фельдшера, от которого она не видит никакого проку. Так нельзя ли взять лошадь в колхозе да съездить в районную больницу?

Павлуха прекрасно понимает, что никаких «женских» или других хворей у Иринки Мызниковой нет, но, учитывая свой грешный опыт, он не кричит, будучи уверенным, что никакими судьбами он не

выволок бы Иринку на колхозные поля. Чем же занимается Иринка? Вышиванием гарусом для милого Вани, муженька. Как увидит Ваня, что новое у Иринки, так на руках носит. А то в поле, на уборку хлеба! Фи!..

V

Половина двенадцатого...

Солнце затопило всю Предивную. Засверкали крыши, зачирикали беззаботные воробьи, радуясь погожему дню, хлопьями чернеют галки на сучьях тополя возле конторы колхоза. Под тенью тополя — Гнедик Павлухи Лалетина и Пегашка Фили Шарова, привязанные за один сук, ткнув морда в морду, блаженно отдыхают, а в конторе гул и треск — настоящий переполох. Хозяева Гнедика и Пегашки держат отчет перед председателем колхоза Степаном Вавиловым.

Степан в армейской гимнастерке, в черных брюках, вправленных в рабочие сапоги с побелевшими от рос носками, бегаёт по конторе из угла в угол — от председательского стола до бухгалтерского шкафа, то задевает за стулья, то хлопает по столу деревянным пресс-папье, не говорит, а шипит на бригадиров.

Филя Шаров до того раскраснелся, что, кажется, ткни пальцем, и из него, как из подрезанного барана, вот-вот брызнет кровь и зальет всю контору. Но это только внешняя картина. Филя Шаров до того притерпелся к подобным сценам, что слушая Степана, краснея от спертго воздуха в конторе и от крика председателя, просто детально обмозговывал ответ по всем пунктам: кто и почему не вышел на работу, и он, Филя Шаров, не милиционер, чтобы мог применить какие-то особые меры воздействия к уклоняющимся. Павлуха Лалетин меж тем, ссутулясь, уставившись взглядом себе под ноги, вообще ничего не обдумывал: он свое слово сказал.

Голос Степана постепенно глух и, наконец, вошел в норму, хотя и с хрипотцой — перехватило голосовые связки. Заговорил представитель райисполкома Мандрызин. Он начал с бумажки: столько-то имеется трудоспособных, столько-то занято там-то и там-то, а где же остальные?

— Где народ, говорю? Где?

В ответ молчание. Тягучее, клейкое. Слышно, как хрипло отсчитывает время маятник ходиков. Тики-так, тики-так. Р-ррр — трещит что-то в ходиках.

— Где же люди, интересуюсь?!

Лалетин, подняв голову, смотрит на плакат в простенке. На плакате большими красными буквами начертано!

«УБЕРЕМ ХЛЕБ БЕЗ ПОТЕРЬ И ВОВРЕМЯ! ВСЕ НА УБОРКУ УРОЖАЯ!».

В контору влетает Ванюшин, зоотехник райзо, прикомандированный к животноводческим фермам. Ванюшин — стройный, русоволосый парень, любимец девчат в райцентре.

— Что же вы, товарищи, оголяете фермы? — начал Ванюшин. — Всех рабочих сняли. Это же скандал! Кто будет закладывать силос? Ямы открытые, а силорезки стоят.

Завязывается ожесточенный спор, что важнее: силос или хлеб?

— Силос, силос! Когда заложим силос? — настаивает Ванюшин.

— Хлеб! Хлеб! Когда уберем хлеб? — спрашивает Мандрызин.

Представителей удачно мирит Лалетин.

— Когда же, черт дери, из города приедут рабочие, а? Что они там копаются, в самом деле! — возмущается Павлуха Лалетин, уверенный, что в городе только и дел вытаскивать из прорыва белоеланцев: посеять за них хлеб, убрать, в закрома ссыпать, а им бы сидеть да, по примеру Михайлы Злобина, ртом мух ловить.

Половина второго...

В поле умчались оба бригадира полеводческих бригад.

Мандрызин сидел еще с бухгалтером колхоза и копался в книгах, делая выборку, кто и сколько выработал за год трудодней.

Вихров-Сухорукий с Ванюшиным двинулись по дворам колхозников. Заходили в каждый дом, разговаривали, усовещали, стыдили, кое-кого пробрали до печенки-селезенки, так что многие женщины пошли пешком в поле.

VI

Паровое поле!..

Справа — аспидно-черное, как воронье крыло, дымящееся негою, истомою; слева — желто-бурое, иссохшее, шуршащее под тяжестью

разболтанных башмаков трактора — паровое поле!..

Кто впервые поднял тебя, черный пласт, да и оставил потом под солнышком, чтоб земляца, набралась силушки? Кому пришло в голову потрудиться в заклад под завтрашний день?

Паровое поле!..

Мало ли песен сложено о пахаре, поднимающем на сивке-бурке пашню-десятину? Мало ли пролито крестьянских слез и пота за чапыгами древних сох и конных плугов, покуда не пришел на смену сохам и плугам вот такой работяга пятилеток, плечистый, тяжелый и необыкновенно легкий на крутых поворотах, теперь уже старенький ЧТЗ!? И кто знает, сколько понадобилось усилий, сноровки, смекалки, чтобы человек мог сотворить собственными руками послушного коня!

ЧТЗ! Умная ты машина, ЧТЗ! Сработали тебя в грохоте кузниц, в огненных плавках доменных и мартеновских печей: прошел ты деталь за деталью через все корпуса завода челябинских тракторостроителей, а пришел вот сюда, в енисейскую подтайгу на пашни Белой Елани, поднатужился и потянул за собою сцеп двух четырехкорпусных плугов!..

Идешь ты, голубчик, и дрожит под твоею тяжестью земля, словно печатает на ней следы сказочный богатырь. И нет тебе равных по силе в синеющем просторе подтаежья. Ты — все можешь. В твоих стальных и чугунных узлах — чудовищная сила, вложенная инженерами и рабочими. В твоём чугунном корпусе под железным мундиром-капотом бьется стосильное сердце, не знающее ни усталости, ни одышки. Тяни, тяни, голубчик! В тебе — краса самой жизни: торжествующая песнь труда.

Колечечками вьется лигроиновый дымок, исчезая в синеве горячего воздуха. Серебряным блеском сверкают отвалки. Мягким бархатом ложится пласт за пластом.

Паровое поле!..

Жаркий, погожий денечек; медленно, неохотно истекает багрянцем заката. Солнышко ткнулось в Жулдетский хребет, продырявив где-то там землю, готовое на всю ноченьку нырнуть в нее, как в подушку.

Невдалеке от ЧТЗ черной черепахой ползет емкий «натик». А там, дальше, Белая Елань, а за нею — тайга, вечные ледники Белогорья!..

Опустив руки с ременными вожжами на колени, старый Зырян наслаждался прохладой вечера. Местами толпился березовый лес. Кипы деревьев просвечивали сбоку розовым светом заходящего солнышка. Их ветви с трепещущей листвой отбрасывали на дорогу причудливые кружевные тени.

На тракторе Федюха Зырян.

В радиаторе ЧТЗ клокочет кипящая вода. Крышка на радиаторе мерно звенит, как колокольчик. Струйкою вырывается белесый пар. На радиаторе — красный флажочек.

Знает старый Зырян, как нелегко достался Федюхе красный флажочек! Как он недосыпал ночей в дни посевной, по семнадцать часов не слезая с трактора!..

Не в пример старому Зыряну, Федюха был высокий, плечистый парень. Его знали председатели многих колхозов, где он когда-то побывал со своим комбайном на уборке хлебов. Всегда бодрый, веселый, с зыряновской живинкой.

Юность Федюхи подмыла война. В свои шестнадцать лет он был таким плечистым, кряжистым, лобастым. Сила в руках непомерная. А в голове ласковое буйство крови. Как рыжечубый телок, носился он среди мужиков и баб, готовый за похвальбу прошибить лбом любую преграду.

Особенно бабы вызнали безотказный Федюхин характер.

— Федюха, подмогни!

— Федюха, завяжи мешок!

— Федюха, таскай пшеницу! — неслоь со всех сторон, когда Федюху поставили возить хлеб на ссыпной пункт.

Однажды за день Федюха стаскал на элеватор двести мешков пшеницы. Сам завязывал, не доверяя бабам, так как трижды мешки развязывались, окатывая его золотым дождем на полпути по узкой дощатой лесенке, ведущей на верхотуру, сам закидывал их себе на спину. На двести первом мешке чуть было не угодил в проем элеваторных лестниц. На последней ступеньке ноги под ним ходуном заходили, все тело охватила непомерная дрожь. Федюха тянулся, тянулся одной рукой, чтобы ухватиться за перекладину над головой, и не мог дотянуться на каких-то два вершка. Кабы не подоспел сзади Маркел Лалетин, быть бы Федюхе в проеме лестничной клетки. Маркел подтолкнул Федюху сзади, и рука ухватилась за перекладину.

Сделав еще шаг, Федюха упал на площадку вместе с мешком, из носу у него пошла кровь.

Сколько так пролежал? Не помнит. Оклемался маленько и опять на коня, в ночь, за мешками с хлебом. На телеге уснул, и лошадь, быть может, измотанная не меньше хозяина, в темноте оступилась под яр. Дорога шла по самому берегу Жулдета. Телега перевернулась. Лошадь сломала обе передние ноги. Ошалелый Федюха, спросонья ничего не поняв, принялся нахлестывать ее вожжами. Был он цел и невредим, даже ушибов нигде не чувствовал. Но когда понял, что лошадь не поднимется, его охватил страх. «За лошадь-то судить будут!...»

И судили. Тут же, при сельсовете.

Кто что говорил — не помнит. Знает только, что вместо одной лампы ему все казалось две. Будто в голове у него что помутилось. И страшно хотелось спать...

Присудили Федюхе год отрабатывать за лошадь, тут же, при колхозе.

Отработал за коня, пошел на курсы трактористов, тайно лелея мечту об армии.

Но и тут не повезло. Комиссия забраковала. Признали грыжу и положили в больницу на операцию. После операции привязалась какая-то лихорадка, ломота в костях. Обнаружился бруцеллез. Полгода провалялся он в больнице. Вернулся домой — кожа да кости, надеясь, что мать и родной воздух поправят его. И действительно, вскоре опять сел на трактор.

Так и не был он фронтовиком, но всю тяжесть тыла испытал, когда в тракторных вагончиках зачастую приходилось ложиться натошак, когда ни трактористы, ни комбайнеры не видели мясного приварка, когда приходилось работать по восемнадцать часов — все это сказалось на здоровье Федюхи. Под конец войны он опять захворал. А тут еще подоспели зачеты в заочный институт. С градусником под мышкой Федюха рылся в книгах, отработав свою смену. И вот на полгода снова лег в больницу. Так и не защитив диплома, Федюха остался трактористом.

Ленивого коня подхлестывают.

Ретивого коня сдерживают.

Федюха был ретивым конем.

Старый Зырян доволен сыном. Он еще вытянет! Он свое возьмет. Федюха — мечта Зыряна, душа Зыряна! Федюха — продолжатель фамилии Зыряна.

По правде говоря, во всю свою скудную трудовую жизнь, полную немалых разочарований, старому Зыряну менее всего пелось и смеялось, хотя он слыл за неистошимого весельчака.

Когда старый Зырян, подъехал к полевому стану, Федюха приглушил трактор и побежал умываться к речке.

Девчата, трактористки и прицеппщицы, развели большой костер возле вагончика. Где-то невдалеке, у речки, лился задорно девичий голос:

*Не твою ли, милый, хату
Я вчера белила?
Не в твоей ли, милый, хате
тебя полюбила...*

По голосу старый Зырян узнал Аринку Ткачук, звеньевую тракторной бригады. Она всегда танцующая. И на работе Аринка веселее всех. Загорелая, рослая, хотя и была последышкой в многодетной семье деда Ткачука.

— Ириша, а Ириша! Иди-ка сюда, — слышит старый Зырян басовитый голос Федюхи.

— А ну тебя к ляду, — отвечает Аринка и с хохотом, мелькнув тенью возле скирды, выбегает к вагончику.

«Время-то как летит!» — умиротворенно и грустно думает Зырян.

— Дядя Зырян, а дядя Зырян! — говорит покрасневшая Аринка. — Чи будет дождичек, чи нет? Ох, кабы не было дождичка, дядя Зырян! Глянь, сколько нас? И все одна к одной. Как спасешь от дождя, по десять раз поцелуем каждая, ей-бо! Чи, правду я говорю, девки?.. — и снова заливисто и звонко хохочет.

Как хороша в наивном задоре юность! А голос Аринки с переливами льет приятную девичью грусть:

*Зреет в поле, колос зреет,
соком наливаются!*

*Милый едет, милый едет,
едет улыбается...*

Мгновенная тишина замирает в вопрошающем раздумье. И вдруг, резкий и звонкий, подхватывает голос Груни Гордеевой:

*Ах, их! Ах, их!
Я его любила!..*

Девчата, неутомимые, веселые, пляшут, поют. И кажется старому Зыряну, что он видит перед собою лицо Анфисы — пылающее, курносое, белоглазое, совсем молодое лицо. И это вовсе не Аринка перед ним, подвижная, вьющаяся в танце, как вихрь, внезапно возникающий на дороге в знойный день, а его молодость брызжет и обдаёт задором присыпанное пеплом сердце. Так бы и бросил ременные вожжи, стряхнул с себя дорожную пыль времени, вошел бы в круг Аринки, хлопнув в ладоши, закружился бы, как и она, в пьянящем вихре молодости.

Повариха бригады тетка Харитониха угостила Зыряна, наваристыми щами с мясом. Зырян выпил целый жбанчик квасу с черным хлебом и крикнул от удовольствия.

Из пяти тракторов бригады старого Зыряна в ночную смену работали три. «Натик» стоял на ремонте. А на Федюхин ЧТЗ что-то не пришел из деревни сменный тракторист, ленивый Парфишка Корабельников.

— Загулял, что ли, Парфишка-то? — спросил Зырян.

— А, черт его знает, где он шляется! — подала голос Груня.

Зырян с сыном остались в ночную смену.

VII

Степана вызвали на бюро райкома. Ничего хорошего он не ждал от бюро. Достанется ему за провал уборочной. Организация труда — тут лучше помолчать.

Так что на душе Степана кошки скребли.

У Игната Вихрова-Сухорукого тоже настроение было не из веселых. На прошлом заседании бюро он клятвенно заверил райком, что колхоз в ближайшие дни отобилизует все силы на поднятие хозяйства, а на деле вышло, что он просто втер очки. «И черт его знает, почему у других дела идут преотлично, а у нас никак не получается?» — думал Степан дорогой.

А вокруг — вольготная ширь! Где еще встретишь такие девственные дали, упирающиеся в синь дымчатых горизонтов!.. Едешь, едешь, и все целина, целина, залежи, залежи, поймы речушек и рек, крутобережье бурливого Амыла, горы и горы под самое небо, леса, леса, увалы, суходольные луга, местами стога сена, причесанные дождями и ветрами, смутно сереющие на золотистом жнивье скирды, волглые ложбины, пятнящиеся отарами на выпасах, кое-где, тревожа сторожку тишину, гудят трактора. Вот они, бескрайние просторы Сибири!

Дорога, дорога!

Вороной Юпитер, вздернув гривастую голову к дуге, бежал рысью, развевая по левому уху черную челку. Невдалеке по косогору маячили силуэты копен, как шишаки древних рыцарей, зароды сена, а кое-где по жнивью виднелись неубранные снопы.

Слева — Талгатская гора, опушенная березами. В низине у подножия горы недавно был поселок Талгат, но после объединения колхозов часть жителей переехала в Белую Елань, а иные переселились в другие деревни. Кое-где торчат столбы; на недавних усадьбах вздымается бурьян.

— Вздрючат нас, Егорыч, — начал Вихров-Сухорукий, закуривая папиросу. — Как там ни говори, из прорыва не вылазим.

— Не помирай раньше времени, — буркнул Степан, недовольный парторгом колхоза. И вечно он в панике. И во время посевной порол горячку, и теперь кидается из одной крайности в другую. Сам же требовал на заседании правления колхоза перекинуть трактора на старые залежи, а теперь вспомнил о заречной целине.

— Вздрючат, определенно, — пыхтел Вихров-Сухорукий.

— Черт бы тебя подрал с твоими охами и вздохами!

Степан плюнул и подстегнул Юпитера в гору. «Когда еще пожар, а у него поджилки трясутся. На бюро он окончательно распишется. Отречется от решения правления, все свалит «на близорукость и

политическую недальноркость», самокритикнется и на этом прикипит». Не любил Степан Вихрова-Сухорукого за бестолковую шумливость и трусоватость. Парторгу колхоза, да еще бухгалтеру, надо быть скуповатым на праздное слово.

— Опять-таки удои на МТФ. Картина!

— Вот и возмись за эту «картину» сам, — посоветовал Степан. — Ты ведь еще ни разу не был на пастбище.

— Так там же твоя Агния Аркадьевна заворачивает! С нее можно спросить, как с члена партии. Вот поставим вопрос на партсобрании, пусть скажет, по какой причине летние удои молока замерли на зимнем уровне.

Степан промычал что-то себе под нос и тихо затянул любимую песенку, перевирая есенинские слова!

*Пейте, пойте в юности,
Бей врага без промаха!
Все равно, любимая,
Отцветет черемуха!..*

И сразу же наплыло лицо Шумейки с ее тревожно замершими черными бровями, синеглазое, еще совсем юное, с ее жарким, беспокойным лепетом: «Ох, Степушка, коханий мой, як я буду жить без тебя? Никого у мене немає, тико ты єдний, и ще дитина пид сердцем. Як же буду гудувати дитину? О, лихочко! Ты мене не забудеш, Степушка? Коханий мой, ридный мой! Тико всегда помни: я буду ждаты тебя. Всегда, всегда!» — И ты, Степан, клялся, что никогда не забудеш Шумейку, но вынужден был оставить ее в хате деда Грицко, железнодорожника с вислыми рыжими усами, а сам ушел с военной частью дальше на запад, по следам отступающего зверя.

Ты не мог иначе поступить.

Не два, не три года минуло с той поры, а девять лет!..

Ты ее искал, Шумейку. Писал из Берлина, из Белой Елани, и не нашел. В том хуторе, где ты впервые встретился с Шумейкой, не осталось ни одной семьи с такой фамилией. А годы шли!..

И ты, Степан, переменялся за эти трудные годы, и Шумейка, если осталась жива, может, нашла себе новое счастье, но отчего же тогда,

скажи, ноет твое сердце? Вдруг наплывет что-то, сдавит под ложечкой, и ты тянешь себе под нос: «Ночь такая лунная, месяц в окно светится, все равно, любимая, нам с тобой не встретиться!». И тогда весь белый свет кажется тебе текучею смолою — черным-черно. И дом Зыряна, где ты живешь три года, становится чужим и неуютным, как постоянный двор. Сколько раз ты проводил тревожные ночи где-нибудь на бригадном стане либо бродил по взгорьям. Иной раз будто въявь слышалось: «Степушка, отзовись!» — И ты вздрагивал, беспокойно озираясь.

Текуча жизнь человека. Каждый день приходит со своими неизменными заботами и со своим движением.

А что же Агния? Сошлись вы по обоюдному согласию, а не вьете веревку вместе.

Ты помнишь, как вошел в дом Зыряна с гулянки у дяди Васюхи? Агния жалась в горнице, стесняясь тебя, а ты глядел на нее, как посторонний, возбуждаясь близостью ее красивого женского тела, но не души. Для всей семьи Зыряна ты так и остался вечным молчуном, «человеком, у которого душа закутана в три шубы», и он ее никак не может отогреть. Но ведь в самом деле ты совсем не такой! Просто тебе не хватает Шумейки, синевы ее любящих глаз, ее горячей ласки, ее большой заботы, внимания, когда и без шубы сердцу жарко. Да и сама Агния будто исполняла супружеский долг по какому-то странному обязательству, тайком оглядываясь на Демида. Не зря язвили бабы: «Вот уж повезло Агнии Аркадьевне! Со Степаном живет, Демида — про запас держит через Полянку». И ты все это видел, понимал и помалкивал, будто тебя не касается.

Люди говорят: «Стерпится — слюбится». А вот не стерпелось и не слюбилось.

«У нашего Егорыча правление, как полюбовница. И днюет, и ночует там. Такого председателя еще не было», — часто слышал Степан.

Оно и в самом деле, правление колхоза стало для него родным домом. И в праздник, и в будни, летом и зимою он всегда там. Во время посевной или уборочной, возвращаясь с поля, он спешит не домой, к Агнии, а подворачивает к правлению.

Вода точит камень, время — человека.

День за днем, весна за весной, уборочная за уборочной, и ты не заметил, как седина брызнула в голову; первые снежинки ранней осени! Тебе еще сорок лет. В такие годы мужчина в кипенье силы, а ты обмяк, посутулился, отпустил усы, и редко улыбка трогает твои губы. Недаром говорят: «Нашего Егорыча рассмешить может только оглобля!» Но с оглоблей на тебя еще никто не налетал. Так ты живешь без смешинки, не замечая, как быстро стареет сердце от черствости. Иногда думаешь: «Так и жизнь пройдет без всякой перемены». — И ты хотел бы что-то предпринять, встряхнуться, куда-то поехать, «переменить обстановочку», но никуда не уехал. Не все люди умеют и могут менять обстановочку. Так и ты прикипел к Белой Елани, как смола к штанине, и только изредка, как во сне, вспоминаешь Шумейку, партизанский отряд, дивизию, товарищей артиллеристов, штурм Берлина, взятие рейхстага, настороженную встречу с американцами на Одере, и потом все это меркнет, куда-то отодвигается, и ты лениво подстегиваешь Юпитера. За три года ты ни разу не был в отпуске. В районе будто запомнили, что и председателю нужен отдых. Сегодня ты собираешься говорить с первым секретарем. Он человек новый, поймет ли?

«Нет, не пустят, — думаешь ты, — А хотелось бы куда-нибудь съездить. Махнуть бы по фронтовому маршруту». Да, да! Самое разлюбозное дело. Проехал бы еще по тем дорогам, где когда-то шел пешком с Шумейкой в поисках партизан.

Ты слышишь, Степан, как шепчет Шумейка: «Степушка, ридный мий, коханный мий, не приходи больше, немае моих сил бачити, як тоби схватят. Кинь мене, Степушка, а сам иди, шукай своих партизан».

VIII

Длинные улицы Каратуза. Грязь — Юпитеру по колено. Вихрову-Сухорукому понадобилось что-то в сельпо, а Степан тем временем, разминаясь, пошел к колодцу напиться воды.

— Вавилов! — раздалось со стороны.

Степан оглянулся. Из проулка шел Ляхов, директор МТС. В новеньком кителе, сшитом на заказ, в синих бриджах и в хромовых сапогах.

— На минутку! — позвал Ляхов.

Степан побрел к Ляхову прямо по луже.

— На бюро?

— На бюро.

— Там еще, наверное, не съехались. — И, как бы стараясь ошарашить Степана, бухнул: — Так что же, поздравить тебя, что ли?

Степан насупился.

— С чем?

— Еще бы! Райком рекомендует тебя в директора племсовхоза. Первого в нашем районе. Высота! Ну как? Потянешь? А? Дело новое.

Степан покривил поветренные губы.

— Но учти! — Ляхов погрозил пальцем. — За нарушение Устава сельхозартели выговор тебе влепят! Как пить дать. Этот номер тебе не пройдет. Зачем ты разрешил леспромхозу скосить сено на паях для колхоза? А? Я ведь все знаю. Половину колхозу, половину забрали в леспромхоз. А так по Уставу не полагается. Хитер, брат!..

— Зато теперь кормов хватит.

— Не имеет значения. Устав сельхозартели — святыня для колхозника!

— Не всегда по Уставу полагается... Где бы я людей взял?

— А как другие работают? И не хуже тебя. Так что разговор будет еще. Стружку сымут. М-да-а!.. Директор племсовхоза — это же, братец мой, величина!.. Ты уедешь — Мамонт будет колхоз вытягивать.

Степан еще не верил Ляхову. Мало ли чего не наговорят!

— Что молчишь? Думаешь, Мамонт не потянет? И я тоже так думаю, брат. Ну, старейший коммунист, партизан и все такое прочее, а все-таки обстановочка сейчас не та! Не та! Грамотенки у него, пожалуй, не хватит. Да и годы. Ему за шестьдесят?

— Гм!..

— Что?

— Мамонт, если потребуется, еще и за тебя, и за меня потянет. Закваска у него крепкая. Диплома у него нет, а голова варит не хуже, чем у нас с тобой.

— Там посмотрим! — отмахнулся Ляхов и, что-то вспомнив, ухватился за отворот дождевика Вавилова. — А ты, оказывается, гусь лапчатый! — И захохотал. — Ну, ну! Не двигай бровями. Стороной до меня дошло, приехала какая-то твоя жена. Я ее лично не видел. Все

это держится в большом секрете. Титов мне обмолвился. И сын с нею. Будто бы твой. А? Как?

Степан уставился на Ляхова:

— Ты что, с похмелья?

— Я? Нет, брат, это ты с похмелья, если жен своих не помнишь. Погоди, на бюро тебя протрезвят. И за Устав, и за двоеженство. Определенно. Скажи спасибо, что я тебя предупредил. Влип бы, как кур во щи. Где ты ее бросил, ту жену?

— Какую жену?!

— Не притворяйся! Титов называл ее фамилию. А, черт! Вылетело из головы. В общем, с Украины. Будто бы твоя фронтовая подруга.

— Фронтовая?!

— Да, брат. Мало ли у кого не было фронтовых подруг, но не все же такие путешественники, как эта твоя Шумейка. Ба! Шумейка, в точности. Шумейка! Сразу вывернулось.

— Шумейка?!

Степана будто кто хватил обухом по лбу. Он чуть пошатнулся, пробормотал нечто невнятное и, не попрощавшись с Ляховым, быстро пошел к тарантасу, бухая сапожищами по грязи. Забыл и про Вихрова-Сухорукого. Шумейка! В Каратузе Шумейка! Быть того не может! Неужели?

— Кто-то кричал Степану, чтобы он остановился, — Вихров-Сухорукий, что ли, — он ничего не слышал. За какие-то три минуты промчался большаком Каратуза, удивляя встречных отчаянной лихостью.

Неужели здесь Шумейка? Откуда?

Да, Степан, Шумейка в Каратузе. Она приехала еще на той неделе в пятницу, и вместе с нею — твой сын, Леня, Леонид.

Из Полтавы до Красноярска на поезде; от Красноярска до Минусинска на пароходе.

Не близкий свет, а приехала! Нашла тебя, Степан!..

А ты не знал, что Шумейка вот уже два года, как ищет тебя? «Она трижды писала в райком и не получала ответа. Бывший секретарь райкома, не без сговора с Агнией Аркадьевной, «замял это дело с Шумейкой», и все письма Шумейки неизменно попадали в руки

Агнии. И те, что Шумейка посылала в райком, и те, что шли на твое имя в Белую Елань.

Думала ли Агния Аркадьевна, что ее хитрость когда-нибудь откроется и Степан все узнает?

Не думала и не гадала. До Полтавы — не рукой подать! Она сговорилась с заведующей почтой в Белой Елани, Нюрой Шаровой, своей давнишней подружкой еще по леспромхозу, и та добросовестно передавала ей письма Шумейки из Полтавы. Ни слезы Шумейки, ни стенания — ничто не тронуло сердце Агнии. А ведь она перечитала все письма! И то, в котором Шумейка прислала Степану Егоровичу фотографию сына Леонида и свою собственную, слезно умоляя Степана написать «хоть едное слово до сына Леша!»! Разве можно было читать без щемящей боли письмо Шумейки:

«Степан Егорович, пишу тобі и горькими слезами моюсь, як проклятая. Напиши хоть едное слово своему сыну Леше, бо тут в Полтави скаженные люди прозвали його фрицем. Кажуть, шо вин родився вид якого-то фрица, а не от русского офицера. Говорять, шо я нагуляла його с яким-то ээсовцем и бежала с тим фашистом у Польшу. Ты едний человек, шо знает, де я була в зиму сорок третьего роки! Отзовись, Степан Егорович. От того дида Грыцька, де ты мене оставил беременную и больную, на другой день забрали мене полицаи в управу и били мене, пытали, шоб я сказала, де сховались партизаны. А я ничего не знала! Три дни держали мене в той управе, як у черта в пекли. О, боже! Шо тико не пережила в те дурные години!.. Потом мене погрузили в товарный вагон, як ту скотину, и повезли до Германии. В Польше, когда у мене начались роды в вагоне, мене выкинули фрицы на яком-то разъезде. Добрые люди помогли мене, и я не сгила, як та былинка у поли. С дитиной на руках я сковалась у городи Лодзи. Добрый чировик, доктор, принял мене в больницу, и я стала роблить дежурной сестрою. И все ждала, ждала конца хмары! И вот — побили ворогов, и я стала шукать тобі; И в Москву писала, и до Каратузского райкому, и не было мене ответа. Потом ще раз написала в управу колхозов, и мене пришла цидулька, шо ты проживаешь у Белой Елани и робишь председателем колхоза.

Спомни, Степан Егорыч, чи не говорил ты мене, шо никола не забудеш своей Шумейки! А боишься послать хоть едное слово! Нима

у моего сына ни фамилии, ни отчества батьки. Як той приبلудный котенок. А скико я пролила слез та стинаний, одно небо знает!

Слухай, Степан Егорыч! Один лютый чировик, здесь в Полтаве, написал на мене клевету, и я вже три месяца не знаю, куда притулить голову. Тот чировик — Хома Тарасюк, сам служил у полицаев, и когда стал приставать к мене, шоб я выйшла за него замуж, я сказала поганцу: для мене краше от зелья смерть, чем выйти за тебя, полицай! И вин тогда написал до газеты, до горсовету, до горздраву, и везде кидал на мене грязью. И шо сын у мене от фрица, и сама я бежала до Польши с фрицами-фашистами! О, лихочко! Як жить мене, скажи?..»

И ты, Степан, ничего не ответил, потому что и не подозревал о существовании такого письма Шумейки! Если бы ты взял в руки такое письмо, у тебя бы вспыхнули ладони.

Обо всех своих долгих мытарствах Шумейка поведала первому секретарю райкома.

Два часа Шумейка разговаривала с секретарем при закрытых дверях.

— Поганный он чировик, Степан Вавилов, коли не признает своего сына. — Так заявила Шумейка секретарю райкома.

Потом Шумейка попросила, чтобы секретарь взглянул на ее сына, и сама привела мальчика из приемной. Рослый, лобастый паренек, черноглазый, смуглый, стоял перед секретарем райкома, потупя голову. За малые годы он много кое-чего пережил! И фрицем звали Лешу, и приبلудным, и, случалось, поколачивали сверстники. На все оскорбления взрослых и детей он отвечал настороженным, тяжелым взглядом, точь-в-точь сам Степан Вавилов. Потом Леша усомнился: правда ли, что у него отец русский офицер, сибиряк?

— Чи не похож? — И Шумейка умоляюще взглянула на секретаря. По ее щекам скатились две слезинки.

Секретарь ответил:

— Очень похож. Вот подрастет, отпустит черные усы, и тогда их не отличишь — отца от сына.

— Усы? — удивилась Шумейка, смахнув слезы с лица. — У Степана Егорыча усы?

— Усы, усы! Вот такие! Как у запорожца.

— Боже ж мий! Я б его не признала. Тогда вин був без усов.

— О! — секретарь покачал головою.

— Чи пиихать мене до Билой Илани? — спросила Шумейка.

— Нет, подождите здесь. Во вторник у нас бюро, и Вавилов обязательно здесь будет. А пока — держите в тайне свой приезд. Пусть ой встретится с вами внезапно. Так будет, пожалуй, лучше. В Белой Елани у него жена и сын.

— Вин мне ще тогда балакал, шо у него е сын. Он вже взрослый, его сын?

— Второй год работает трактористом, — ответил секретарь. — А вы надолго приехали в Сибирь? Может, останетесь у нас здесь, в Каратузе? Я могу позвонить в райздрав.

— Я ще сама не ведаю, як мне быти. В Полтаву я не вернусь.

— Тогда продолжим наш разговор в среду. Я вас буду ждать.

После Шумейки секретарь долго говорил со своим помощником. Тот подтвердил, что действительно в райком приходили письма от Шумейки, и прежний секретарь получал их лично и наказал «не разглашать тайну писем Шумейки». И если бы Степан Вавилов узнал про Шумейку, то он, конечно, немедленно бы уехал на Украину, либо вызвал бы Шумейку в Сибирь, и тогда бы все полетело кувырком.

— А он, как там ни говори, тянет колхоз! И, кроме того, Агния — законная жена Вавилова. Я ее лично знаю еще с сорок третьего года, когда она работала в леспромхозе. Не женщина — а подвиг.

— А что у ней за история была с Боровиковым?

Помощник махнул рукою.

— В той истории, если разобраться, виноват сам Вавилов.

Секретарь попросил найти письма Шумейки.

— Их в райкоме нет. Я передал их Агнии Вавиловой.

— Значит, все письма Шумейки у жены Вавилова?

— У ней.

— И Вавилов ничего не знает?

— Думаю, что нет.

— Значит, фактически устроили заговор против Вавилова?

ЗАВЯЗЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

I

...Есть, говорят, у любви какое-то шестое чувство. Ни осязание, ни зрение, ни слух, ни вкус, ни обоняние не могут проникнуть в тайну сердца; как и что там? Любовь проникает всюду.

Еще до того, как Шумейка надумала ехать в Сибирь из Полтавы, она была уверена, что Степан любит ее. Особенно насторожило Шумейку гневное письмо Агнии Вавиловой, «законной» супруги, полученное еще в начале марта. Агния требовала, чтобы Шумейка прекратила писать Степану, и что он, не читая, рвет ее письма, и до каких же пор Шумейка будет надоедать мужу Агнии, Степану Егоровичу?

— Це же та самая Агния! — вспомнила Шумейка. Степан говорил ей, как его жена спуталась с каким-то парнем и родила от него девчонку, и они разошлись. — Брешет Агния. И письма мои ховает от Степушки. Сама пийду до Сибири!

И вот — приехала...

За четыре дня Шумейка многое успела узнать. И весь Каратуз исходила с Лешей, и в больнице побывала, где нашлось место фельдшерицы, и в районной гостинице подружилась с милой заведующей, Ириной, а главное — разведала про Степана.

— Бирюк. Чистый бирюк! — говорили одни.

— Вавилов? Который Вавилов? Из кержаков? — спрашивали другие.

— Шо це за кержаки? — недоумевала Шумейка.

— Не знаешь кержаков? Да ты что, нездешняя? С Украины? А! Ну, значит, кержаки это, как бы тебе сказать, дева, староверы, значит.

И Шумейка стала расспрашивать, что за люди староверы. Наговорили ей столько, что голова кругом шла! И молятся двумя перстами, и гостей не привечают, и сами в гости не ходят. Но ведь Степан совсем не такой!

Один представительный мужчина сообщил:

— Вавилов? А! Это такой председатель — зимой льда не выпросишь. Скупердяй, кержак!

И еще одна новость:

— Вавилов? Да это же, извините, полнейшее недомыслие природы! Бренчит орденами, а сам — пень пнем!

— Ох, брешете! — не выдержала Шумейка.

На Амыле, купающемся в сизом мареве, пожилой человек с удочками ошарашил Шумейку.

— Вавилов? Еще бы! Не человек, а кедр по звонкости. По характеру — чугуун, не согнешь через колено, сердце — мяконькое, как из воска сработано.

Шумейка спросила про Агнию Аркадьевну.

— Агнечка? Это которая? А, жена Степана Егоровича! Как бы вам сказать? Ну, баба, как все протчие, а со смыслом. Не пустышка.

— Она молодая?

— В соку. Как на погляд, как по силе — доброму мужику впору.

Шумейка невольно покраснела.

— А ты что, дева, знаешь Егорыча?

Шумейка только вздохнула. Пожилой человек догадался.

— Подумать! — удивился он. — Удивленье просто! Как ты могла проникнуть в такую крепость? Как мне доподлинно известно, Егорыч не очень-то благорасположен к вашему полу, то есть женскому. И кроме того — Агнечка! Навряд ли она поделит с вами мужа.

Шумейка вовсе не намерена делить Егорыча.

— Сердце ще никто не делил!

— Сердце? Хы! Про любовь, дева, только в книжках пишут, а в приблизительности ее и во сне не бывало! Какая там любовь? — И закинул удочку в реку. — Вот жду: клюнет аль поманежит? То и сказка про любовь. Которым нече делать, те, конечно, балуются со всякой любовью. А такому, как Егорыч, какая может быть любовь? То хлеб сеет, то сенокос, то коровы, то всякая всячина! — И махнул рукой.

Шумейка призадумалась. В самом деле, что она ищет? Зачем приехала в Сибирь? К Степану, женатому человеку? «О лихочко! Куда тико занесли меня ноги, га? Мабуть, прокляну и тот день и ту годину, колысь мы повстречались!..»

В ночь на вторник Шумейка не сомкнула глаз. В окно гостиницы заглядывала луна. Тревога матери передалась Леше, и он долго

ворочался на кровати. Леша тоже ждет встречи с отцом. Завтра он окончательно узнает: есть ли у него отец или нету?

— Мамо, лягай!

— Спи, Леша. Я ще трошки посижу.

— Пидешь до речки, га?

— Чи ты знаешь, чо я була ночью на Амыле?

Леша, конечно, знает.

— Боже ж мий, я ще не бачила найкращей реки! А Енисей? Ты помнишь, Леша, как ехали пароходом по Енисею?! Горы такие высоченные, як те громады Карпат. Пид самое нибо. И лесу стико, на всю Вукраину хватит. И немае того холода, як мы думали у Полтаве.

— Ще лито, мама. Погодь до зимы. Мабуть, змерзнешь.

— Не змерзнем, сыну. И тут живут люди.

— Це ж сибиряки!

— И мы будем сибиряками. Чуешь? Найкращего миста нема на всем свити.

— Як я пиду в школу, колысь плохо разумею и балакаю по-русски?

— Ще лучше всех балакать будешь, Леша. Погодь трошки, и мы одолеем русскую мову. Мы вже добро балакаем.

Помолчали, спаянные единым желанием.

— Мамо!

— Шо, Леша?

— Ты ему грала на скрипке, когда вин був с тобой на том хуторе?

— О, Леша! Немцы ж були. Каты!.. Боже ж мой, какое лихо!..

С утра Шумейка собралась с сыном на Амыл к парому, чтобы встретить Степана до того, как он приедет в Каратуз.

Собрала в сумку продукты, нарядилась в лучшее крепдешиновое платье, накинула на пышные русые волосы шелковую косыночку и долго вертелась перед зеркалом. И казалось Шумейко, что она такая же! И синева глаз та же, и вздернутый нос, и черные брови, и вся она подобранная, стройная.

Леша одел короткие штанишки и новые ботинки на каучуковой подошве.

Над Амылом кружились ласточки. Берегом тянули невод. Где-то над тайгою громыхала гроза. К обеду грозовая туча продвинулась к Каратузу. Шумейка с Лешей укрылись под тополем. При каждом ударе

грозы Шумейка вздрагивала, как от артиллерийской канонады. «О, лихочко!» — И наблюдала за дорогой: а вдруг подъедет Степан? В самый ливень к припаромку подошла автомашина. Шумейка побежала узнать: не Степан ли? Дождь прополоскал ее до нитки, но ей было все равно.

— Глянь, Леня, шо зробилось з моим платьем? — Платье прилипло к телу, и она его оттягивала пальцами.

И гроза минула, и дождь. И опять солнце, и ожидание. Ни одной подводы, ни одной машины, ни одного человека не пропустила Шумейка, чтобы не глянуть: не Степан ли?

Чужие, незнакомые люди без конца ехали в Каратуз.

Солнце давно свернуло с обеда, а Степана все нет и нет! Или Шумейка проглядела?

Плашкоут только что отчалил от правого берега. Синева. Дымок. На припаромок накатились волны, и Шумейка едва успела отбежать. Оглянулась — и остолбенела.

На пригорке стоял вороной конь, впряженный в тарантас с железными подкрылками на колесах. Усатый человек сошел с тарантаса и направился к припаромку, щелкая бичом.

Это был он, Степан! Ее Степан!..

У Шумейки будто остановилось сердце, и она не могла пошевелить ни рукою, ни ногою.

Горечь, обида, давнишние тернии ожидания, сполохи тревожных ночей на хуторе Даренском, когда она, роняя слезы, до утра просиживала у хаты тетушки Агриппины, скованная страшной думой: «Не идут ли в хату фрицы», — все это разом нахлынуло на нее, сдавив горло. Как много довелось ей выстрадать за свою нескладную любовь и как мало она видела счастья!..

Пригнув голову, остановился Степан. Он даже не взглянул на Шумейку!

— Мамо, ще долго будем ждаты, га?

И этот голос сына Шумейки, как бичом, подстегнул Степана.

— Миля? Ты?!

— Чи не бачишь?

И взглянула в лицо Степана: черные глаза, смуглое прямоносое лицо, вислые усы, дождевик нараспашку, три орденских планки и Золотая Звезда на поношенном армейском кителе.

— Миля!

Солоноватая слезина, щекоча, скатилась на ее вздернутую губку, в ямочку...

Грубоватые мужские ладони легли на ее плечи. Напахнуло сыростью ила, истоптанной травой и еще чем-то вязким, горьковатым, как прелая солома.

— Степушка!.. Ридный мий Степушка!..

И сразу же, жаркодохнув, твердые губы прижались к ее полуоткрытому рту, поцеловали в губы, в нос, в щеки. Хмелем ударило в голову: она почувствовала, как зазвенело в ушах и, пьянея, теряя силу, повисла на его руках, запрокинув голову. И только сейчас сквозь слезы увидела все его лицо, обросшее черным жнивьем, ввалившиеся щеки, пропыленные коричневой пылью загара, глыбу упрямо нависшего лба.

— Шумейка ты моя, Шумейка! Как же я тебя искал!

— Боже ж мой! Скико я писала!..

И ручьями полились слезы, облегчающие сердце. Он гладил ладонью ее вздрагивающие плечи, ее пышные волосы, мягкие, как шелк, теплые, пахнувшие водою, лезли ему в глаза, в рот, а он, не отнимая лица от ее головы, терся об них, с жадностью вдыхая знакомый запах,

Она говорила, говорила, говорила!..

— Твоих писем, Миля, я в глаза не видел! Леша? Где Леша?

Оба враз оглянулись — Леша не было. Убежал к тополию.

— Шумейка ты моя, Шумейка!

— Я все Шумейка, Шумейка, твоя Шумейка! Чи прогонишь мене, га?

Степан захохотал.

— Тебя прогнать? Ну, нет! Без тебя небо над головою с овчинку сморщилось.

— Пидем к Леше.

Подошли к старому тополию возле берега Амыла. Леша хотел бежать от тополя, но остановил голос отца:

— А ну, покажись, Леонид Степанович!.. Вот, оказывается, какое отчество у Леша! А в метрике записано «Павлович», по дедушке, которого Леша тоже не знал: отец Шумейки погиб на границе в начале войны.

— Гляди, Степушка, який це фриц!..

— Сволочи! Ну, да теперь с таким фрицем нам никто не страшен, — ответил Степан и, склонившись, обнял сына, как мужчина мужчину. Случилось то, чего и сам Степан не ожидал. Сразу как-то обмякло сердце, и ему стало так приятно и радостно, словно он заново на свет народился.

С плашкоута ехали втроем. Остановились возле гостиницы.

— Я все Лешу учу балакать на русском мове. Он такой понятливый, Степушка. Взглянь — у него твои глаза. Такие едучие, с отметиной. О боже ж мой, как тико мы доихали до Сибири! На Енисее скалы пид самое нибо. И звезды лежат на скалах. Правда, Степа! Когда смотришь на них з парохода, кажется, шо звезды на скалах.

В двенадцатом часу ночи Степан вернулся с бюро, Остановился возле порога и развел руками:

— Ну, а теперь будем жить, Шумейка!..

На бюро райкома Степана рекомендовали директором нового племсовхоза.

На другой день Вихров-Сухорукий уехал из Каратуза с попутчиками в Белую Елань. И, как водится в деревне, часу не прошло после возвращения Вихрова-Сухорукого, как вся Белая Елань знала уже, что к Степану Егоровичу приехала фронтовая жена Шумейка и что он задержался с нею в Каратузе. Разливу этой вести не в малой мере посодействовал Мамонт Петрович Головня, крайне недовольный, что Степан не сегодня — завтра распрощается с Белой Еланью.

— Нам бы еще два-три года, и мы бы с Егорычем на первое место вышли! — шумел Мамонт Петрович. — Чем они там думали на бюро, спрашивается?

И выехал сам в Каратуз.

Еще через день — ахнула вся сторона Предивная. В тарантасе по большаку Предивной проехал Степан Егорович со своей фронтовой женой Шумейкой и сыном Лешей...

II

Густились тени. Улица пошумлиwała вечерней суетой. На двух телегах со смехом и летучим тающим говором прокатили колхозники лалетинской бригады, на ходу спрыгивая каждый возле своего дома.

Агния шла к дому и все слышала, как пели Аринка Ткачук и Груня Гордеева — обе румяные, видные собой, в полинялых отгоревших платьях.

Аринка смотрела прямо на Агнию черными глазами, голосисто вытягивая знакомую песню:

*Ой вы, грезы, мои грезы,
Зо-олотые сказки...
Про-летела-а мо-олодость
Без-з лю-убви и ласки...
Что со мной случилось-ся-я,
Я и сам не знаю...
В ночь по-одушку мо-окрую
К се-ердцу-у прижи-имаю-аю...*

И сразу же, тут же в улице, на глазах у всех, ручьем хлынули слезы. Опустив свою несчастную голову, ускоряя шаг, Агния торопилась к дому, провожаемая взглядами сельчан. Она не видела, как открывались створки то в одной, то в другой избах, как Авдотья Романовна, вдовушка, сестра Аксины Романовны, стоя у открытой калитки, засунув руки под холщовый фартук, смотрела на нее печальным взглядом, а у самой поблескивали в подглазьях горем выжатые слезины. Не сладка вдовья жизнь, но и не сахар, когда мужик бежит из дому.

III

Встретила мать, суровая Анфиса Семеновна, такая же рослая, прямая и ширококостная, как и Авдотья Романовна.

— Знаешь?

— Слышала!

— Ну вот...

В просторной ограде, петляя в багрянце угасающих лучей, более обыкновенного жужжали хлопотливые труженицы-пчелы, летящие то с крошечными поносками желтой пыльцы на лапках, то с клейким пахучим прополисом; суетились на летке, деловито обнюхивались, то

густо шли в пойму к цветущему доннику, щедро выделяющему нектар после пригрева солнца, набирались живительной влагой и, отяжеленные, довольно жужжа, возвращались в ульи, торопясь залить прозрачные восковые соты нектаром.

На другой день вечером по прохладному таежному сумеречью, дохнувшему из тайги в улицу и в избы через открытые настежь окна, пришел домой Степан.

Еще в ограде он встретился с Анфисой Семеновной, перекинулись колкими немирными словами, взаимно жалащими друг друга, и, чуть задержавшись в темных сенцах, наливаясь непомерной тяжестью, переступил порог на половину Агнии. Ни Федюхи, ни старого Зыряна не было дома...

Тюлевые шторы на трех окнах, хватаемые ветерком, пучились в комнату. Тяжелые коричневые часы с двумя гирями под стеклом блестели эмалью круглого циферблата. Пахло каменным зверобоем и фиалками до того резко, словно кто перетер цветы в ладонях. На круглом столе — хрустальный графин с веселыми, еще не изведавшими дыхания смерти цветами, питающимися речной водой: они еще живут, пахнут, твердо держат головки.

Смуглая щека Андрея и такой же, как и у отца, прямой мясистый нос с крутым вырезом ноздрей, широкое покатое плечо — зыряновская покать, этажерка, отяжеленная книгами; столик-треуголка у окна с живыми повислыми маками; зеленая кадушка с фикусом, вымахавшим под потолок, широко разбросившим лапы-листья, и — такая тишина! Будто все замерло в ожидании чего-то поворотного, что должно совершиться в эту минуту. Слышно, как замедленно, с разрывами дышит Агния, опустив голову, как Андрей, переступая с ноги на ногу, вдавливая скрипящие половицы.

Взгляд враз все схватил и отпечатал навечно в памяти.

Он пришел сказать о перехваченных письмах, сказать, что фронтovou любовь никогда не забудет, сказать ей, Агнии, что сошлись они просто по недоразумению, а главное, из-за Андрюшки, что у него есть еще сын, и она, Агния, постыдно скрыла письма Шумейки, но он ничего не сказал.

— Я... бумаги возьму. И — шинель.

В ответ глубокий вздох Агнии.

Он достал из шифоньера гимнастерку, брюки, снял с вешалки шинель и форменную фуражку с кровавой каплей звездочки и только было повернулся уходить — ноги сами понесли к порогу, как тишину смял голос Агнии.

— Степа! Куда ты? А?

— Знаешь.

— А-а...

Андрей кинул:

— Пусть уходит. И без него проживем. Постоялец.

— Ты — помалкивай.

Глаза сына округлились, брови сплылись, сдавив кожу над переносьем.

— Это почему же я должен помалкивать? — спросил он. — Иди, жених.

— Андрюша, не надо, пожалуйста. Не надо!

— А что молчать?

И голос Андрея, жесткий и суровый, бил, как железным прутом, по туго натянутым нервам. И, как всегда в такую минуту, в горле тонкими коготочками заскреблась сухость...

— Что же, уходи. Так будет лучше, — глухо проговорила Агния. — Это фактически не жизнь. Ты меня совершенно не знал! Ты жил, где хотел и как хотел. Это и было разводом, затянувшимся разводом. А сын рос... Он же не знал тебя. И если он встретил тебя, как отца, это значит, что я постоянно говорила ему о тебе, что ты на фронте, хотя в моей душе ты не жил. Мы же совершенно разные люди! Вот что я хотела тебе сказать, Степан. Можешь на меня сердиться, но я сказала правду. Еще не всю правду!

— Говори всю, — глухо прозвучал голос Степана. Он стоял у стола, тяжело дыша, будто долго шел в гору. Значит, все это она держала на сердце?

Как безразлично толкнул взглядом Андрей! Брезгливо усмехнулся и пошел из горницы, кинув отцу в спину:

— Жених!..

В окно падал сумеречный свет. Играла вечерняя зарница, льющая багряный поток в окно, выходящее на запад. Широкая полоса красного света пролегла через всю комнату, разъединяя мужа и жену. Ни тот, ни другой не сделали шагу через эту полосу отчуждения, как бы

протоптанную сыном Андреем. Степану надолго запомнилась именно эта полоса, и то, как он глядел на Агнию, но не видел ее лица. Глаза его упирались в сгустившуюся пустоту. Из пустоты звучал чужой голос.

— Только ты не думай, что я без тебя пропаду. Жила и жить буду. Уходи!

В ограде послышался треск мотоцикла.

— Со мной жила, а на Демида оглядывалась, — напомнил Степан, медленно переводя дыхание.

— На хорошего человека всегдаоглядываются! — И точно так же, как сын Андрей, Агния брезгливо усмехнулась. — А ты разве был мужем? За три года — трех минут душа в душу не поговорили. И правда, постоялец! Спасибо скажи хоть за квартиру со всеми удобствами, еще вот письма Шумейки. — Вытащила чемодан из-под кровати, вытряхнула тряпки и достала из барахла стопку писем, завернутую в газету. Бросила Степану. Конверты разлетелись, как карты.

Сдерживая закипевшую ярость, Степан подобрал письма и сунул в карман кителя.

Агния стояла посредине комнаты.

— Уходи! — И отвернулась к окну.

Багряная полоса померкла, будто ее и не было.

В дверях Степан столкнулся с Полюшкой. Синие васильки обожгли лицо. Полюшка прислонилась к косяку двери, пропустила Степана и закрыла за ним дверь.

— Мама!..

Агния, как пьяная, подошла к пуховой кровати и упала головой на подушки.

Полюшка под села к ней.

— Ну что ты, мама? Хорошо, что он ушел! Нужен он, тебе! Вечный молчун. Я его терпеть не могла! — тормозила Полюшка, утешая мать. — Слушай, мама, я только что приехала из Таят. Ох, как я мчалась на мотоцикле. Папа никогда на такой скорости не ездит. А я как газанула, аж в ушах свистело. Через мостик перелетела, как на крыльях. Мотоцикл занесло, чуть не вылетела. Вот папа бы увидел!..

Сдерживая слезы, Агния прислушалась Полюшка! Доченька! Она же вот, рядом.

— Ты... одна... приехала? — всхлипывая, спросила мать.

— Одна.

Обняв Полюшку, мать глухо заголосила.

IV

...Когда Шумейка подошла с сыном Лешей к усадьбе Вавиловых, ее будто волной подмыло:

— О! Це ваш дом? И лес, и гора! Скико тут лесу! Леша, гляди!

И в самом деле, было чему удивиться. Крестовый дом Вавиловых смахивал на крепость. Невдалеке — хребет Лебяжья грива. Неизменный палисадник с черемухами и березами. Наезженная улица зеленела подорожником и пучками пикульника. Здесь был тупик — дальше улица не шла. Справа — обрывистый берег Малтата. А за Малтатом — лес, лес, лес. А еще дальше — аквамариновая синь тайги.

— Боже ж мой, кабы на Вукраине було стико лесу! Вы, одначе, пиляете такой лес на дрова?

— Еще толще пилим, — ответил Степан. — Двухметровой поперечной пилой. Еле отвалишь чурку.

— Чурку? Шо за чурка?

Степан усмехнулся и показал руками, что значит отвалить от бревна чурку.

— Леша, разумеешь?

— Разумею

— Добже. Учись балакать по-сибирски. — И опять спросила: — А лесничий не жалкует?

— На колхозной земле лесничих нет. А земли у нас вот такой, какую видишь, — с лесами, реками, оврагами, горами, пашнями, лугами, поймами — семнадцать тысяч гектаров. Есть где развернуться. Ты еще познакомишься с Сибирью, а сейчас — пойдемте

Прошли в просторную ограду с тесовыми поднавесами, двумя амбарушками и частоколовой изгородью огорода. В стороне, у огорода, рядки пчелиных домиков. Пестрая однорогая корова с опустившимся чуть не до земли выменем и свисающим морщинистым подгрудком, стоя в затенье, переминала жвачку, сонно скосив на пришлых меланхолический желтоватый глаз. От крайней амбарушки, гремя

кольцом по проволоке, черным клубком выкатился кобель — и тут же попятился от взгляда Степана.

На крыльцо вышла Аксинья Романовна, еще ядреная, но поотцветшая, с остреньким носом на плоском, как перезревший табачный лист, желтом лице.

Скрестив руки на груди, вычертив губы в тоненькую линеечку, Аксинья Романовна стояла на возвышении крыльца, как комбайнер на штурманском мостике, взимая на гостей настороженно и подозрительно. Она уже знала, что за кралю ведет в дом Степан Егорович! Вся Белая Елань только об этом говорит сейчас.

— Гостья?

Медью звякнул голос Аксиньи Романовны.

— Моя жена. Мелентина Шумейка. Приехала ко мне из Полтавы. И вот — сын мой, Леонид. Война нас растолкнула, и вот — съехались теперь.

Аксинья Романовна выпрямилась, как вязальная спица, и — хоть бы слово — ни здравствуй, ни прощай. Еще тоньше вычертила линию скупых губ, посунулась в сторонку, пропуская Шумейку с сыном и Степаном в избу. Успела глянуть на невестку сверху вниз, посмотрела на икры — не понравились: как сточенные! И вся будто сухостоина — ни груди, ни живота. В лицо не взглянула. Найдя заделье, чертыхаясь, протопала вниз, влетела в амбарушку, перевернула мигом порожнюю бочку, приготовленную к замачиванию в речке, сдвинула тяжелый станок, на котором Егорша мастерил ульи, еще что-то хотела сдвинуть, но, всплеснув руками, так громко выругалась, что Черня, поджав хвост, поспешно заполз под амбарушку.

— До-ока-ана-ют меня! До-ока-анают!

Долго кипела Аксинья Романовна. Вот, оказывается, что за Шумейка припожаловала! Змеища, не баба. Она ее непременно выживет. Не сегодня, так завтра. Пигалица какая-то, не баба. То ли дело Агния Аркадьевна!

Степан позвал в дом. Аксинья Романовна помешкала, поостыла и взошла на крыльцо и в избу деревянным шагом.

— Чо звал-то?

Взгляд сына, такой же тяжелый, как и у отца, Егора Андреяновича, укоротил без слов.

— Доконаете вы меня с отцом, — скрипнула натруженным голосом. — Доконаете! Тот, старый кобель, чтоб ему треснуть, вечно стригет глазами по бабам, да ты еще! Когда насытитесь?

— Молоко у нас есть?

— Откель! Не доила еще.

— Обеденное?

— Посмотреть надо

— Степа! У меня е гроши. Сходи, купи.

— Тут на гроши молока не продают, — скрипнула Аксинья Романовна.

— Не жадничайте — Степан покосился на мать.

Аксинья Романовна, как и все ее сестры, слыла на деревне скопидомкой, нехотя вышла из избы и вскоре принесла из подвала кринку снятого молока. Степан взял, попробовал, посмотрел на мать из-под бровей, толкнул ногой дверь и, не размахиваясь, запустил кринкой в открытую дверь. Молочная дорожка пролегла от порога до крыльца.

— Ах, леший!

— Тут не свиньи. Пойлом не потчуй.

И сам пошел за молоком.

Шумейка подошла и села на лавку рядом с Аксиньей Романовной. Ту так и передернуло. Посунулась к столу и, вперив взгляд в стол, простонала:

— Робишь, робишь, и свой же тебя, осподи! Хоть бы смерть! Окаянная жисть! Ишь, снятое молоко не пондравилось! Какое же пить? С чего брать сливок? Сметану? Масло на сдачу?

Рука Шумейки легла на плечо Аксиньи Романовны.

— Ты чо оглаживаешь? Я не корова — не доюсь! — И, встав, пересела подальше от Шумейки.

Степан сам вынул из печи чугунок со щами, тушеную картошку в утятнице, пригласив мать пообедать вместе и получив отказ, перенес снесь в горницу, и там пообедали с Шумейкой.

V

Аксинья Романовна вышла в ограду и дотемна провозилась у пчел, то расширяя летки, то сужая, то смотрела, не лезут ли прилетные

воровки-осы. Тут и встретила с весткой Мызниковых. Потом подошли сестры: Марья Романовна и Анна Романовна с Марией Спиваковой. Сколько они уж повздыхали, поклялись всех незаконных жен, что таскаются к чужим мужьям через весь свет! И вот еще что надо заметить — все сестры Аксиньи Романовны неудачливы в браке. Слов нет, бабы работащи, проворны, заботливы, припасливы, а мужья бегут от них, как от чумных.

Вечером у Степана побывали Вихров-Сухорукий с Пашкой Лалетиним.

Пашка Лалетин за все время, покуда был в избе, глаз не сводил с Шумейки. Разговорился, в распрос ударился, да Степан незаметно одернул его. Вихров, наоборот, ни разу не взглянул на Шумейку, будто ее и в избе не было.

Поговорив о новом назначении Степана, шли вместе, оставив свиток махорочного дыма. И сразу же, словно сороки-белобоки, в избу с двора поналетели бабы с ахами, охами, судами да пересудами. Шумейка отсиживалась в горенке, как медведица в берлоге, обложенная охотниками.

— Вот уж не повезло Агнии!..

— Горемычная головушка! То Демид мутит ей голову, то Степан...

— Так уж повелось, Романовна. Столкнулся в проулке — вот те и сошлись... до первой оглядки.

— Ни сыт, ни голоден.

— Воля портит — неволье учит.

— Лизка-то Ковшова разошлась с Ветлужниковым.

— Нноо?

— Ей-бо!

— Хворостылевы вечер передрались. Из-за Груньки-срамницы.

— И, бабоньки!..

И почему-то все захохотали. Заговорили все враз, не разобрать, кто о чем.

— Господи, сколько я намыкалась с самим-то, а тут и сынок попер в его кость! Ить, кобелина треклятый, всю жисть рыскает, что волк. От него и Степка набрался.

— Не велика беда, коль влезла коза в ворота. Можно и от ворот указать поворот.

— Она-то где?

— Хоть бы посмотреть, что за птица.

— В горнице отсиживается, чтобы ей там околеть!..

Распахнув филенчатую дверь, Шумейка вышла в избу с Лешей. Мальчик задержался в дверях. Бабы, рассеявшиеся по лавкам и у застолья, зашевелились, но ни одна не растерялась. Вот уж любопытству утеха! Сама вышла. А ведь слышала, поди, как перебирали ее косточки? Молодка с характером. Две Романовны — Мария и Анна, еще не видевшие пришлую злодейку, так и впились в нее колючими буравчиками. Аксинья Романовна, привередливо поджав губы, смотрела в пол, держа на коленях серого кота. Мария Спивакова повела черным глазом по Шумейке и облегченно вздохнула: ей нравились смелые женщины. Такая живо отошьет! Афоничева Анютка, ширококостная, белая, с круглым, как зарумяненный блин, лицом, щелкая кедровые орехи и складывая шелуху в подол, первая заговорила:

— Сразу видно нездешнюю. У нас бабы крупные.

— И, крупные! Есть и пигалицы.

Шумейка посунула ногою табуретку и села насупротив двух Романовн.

— Леша, це тетеньки дюже добрые. Глянь, как они лузгают орехи:

Мария Спивакова громко захохотала и, подойдя к Леше, заглянула ему в глаза.

— Так и есть, Степановы!

По избе метнулся шумящий вздох трех Романовн. Снежкова и Афоничева хихикнули, невестка Мызниковых подтверждающе кивнула льяной головою.

— Ишь, какой видный парень-то! — сказала она.

— Он же в породу Вавиловых, — напомнила Мария.

— Лицом-то вылитый Степан, — сказала Ирина Мызникова, сестра Марии Филимоновны, привередливо выпятив губы и надув толстые щеки.

— Ишь как!

— Примерещится же!

— Да ты взгляни! Глаза-то, смуглявость, брови — чьи? Все Степаново!

Аксинья Романовна ругнулась на кота, — сбросила его с колен, сунулась в куть, что-то там передвинула, заглянула в цело, вытерла руки о фартук и нырнула в сенцы за корытом. Приспичило белье замочить.

VI

По осени падает лист — с желтинкой, с красноватыми прожилками, словно в листьях позастыла кровь; багряный, будто жженный в гончарне, жухлый, оранжевый. Ветерок отряхивает деревья от летних, нарядов, а зимою, когда дуют с Белогорья ледяные ветры, голые сучья постукивают друг о дружку, как костями.

Осень — пора увядания.

Так и прожитая жизнь Агнии. Много опало листьев, а все жадное сердце чего-то ищет, ждет, томится... Агния никак не верит, что настала пора ее осени! Давно ли она цвела лазоревым цветком девичества! А минуло столько лет! И каких лет? Сколько пережито за эти годы? Сколько передумано? Была ли она хоть день счастлива? Ах, если бы она могла удержать Демида!.. Как-то вот вышло так, что они не сошлись.

Листья прожитого падают и падают, гоня дрему.

Тихо в горенке. По углам таятся дегтярные сгустки тьмы. Тюль на окошке то полыхает пузырем внутрь, то втянется в окно отощавшим брюхом. За окном — огоньки сигарок. Птичьим линиялым пером закружились во тьме горенки обидные слова, занесенные тиховею ночью:

- Как, интересно, Аркадьевна теперь, а?
- Ей не впервой! Выдержит.
- Дрыхнет, и окно настезь.
- А та, брат, не нашей породы!
- Видал? Как она?
- В перехвате, как оса, а бедра и...
- Ха-ха-ха...
- Теперь у Степана медвяные ночи.

Узнала по голосу Пашку Лалетина. А те, двое, кажись, Сашка и Николай Вавиловы, сыновья вдовы Авдотьи Романовны.

— А где Демид? — докатился хрипловатый голос Вихрова-Сухорукого.

— В город собирается. Все ищет свою Голоवेशиху, — лениво ответил Лалетин.

— М-да-а, хваткий человек!.. Без него со сплавом бы запурхались. (Демид, проработав два сезона в геологоразведке, перебрался в леспромхоз на мастерский участок Таврогина).

И снова все стихло. Агния, закусив губу, потихоньку всхлипнула. Ах, как ей постыло!.. Сама себе испортила жизнь. Зачем ей было хитрить со Степаном? Из-за Андрюшки! Вот и осталась и без Степана, и без Демиды. И во всем виноваты многочисленные родичи Вавиловы. Это они всякими правдами и неправдами свели ее со Степаном!.. Это они закидали полынюю дорогу между нею и Демидом. Да вот еще была Авдотья Головня!..

А листья падают и падают, гоня дрему.

VII

Не чаяла Акси́нья Романовна, что изведает еще раз счастьеце бабушки.

Взыскивающе вглядываясь в черты Лешы, вспомнила давнее.

— Господи, уродится же ребеченчишка! Хоть бы каплю перенял, а ведь весь ковш кровинушки выхлебал, дотошный! Степка, истинный Степка. Уродила же хохлушка! И до чего настырная — через весь свет приперлась! Господи! Ну, чо зовешь? Спи. Я те хто? Бабушка. Да ты это, таво, говори по-нашему, по-чалдонски. Чтоб не слышала «шо, шо»!

Как ни крепилась Романовна, а поцеловала сонного Лешу в пухлую щеку. Тут и началось, покатилося, не сдержаться! Будто с души льдина сползла; затомилося под ложечкой.

И голос-то у ней переменялся. Куда девались ворчливые и крикливые ноты, от которых бросало в дрожь даже Черню? Журчал, что таежный родничок, пробившийся сквозь мшарины дымчато-изумрудных мхов, узорами устилающих брусничные места, где каждое летичко хаживала с совком за ягодами.

Но с Шумейкой так и не помирилась. Не лежало к ней сердце. Особенно серчала на нее за то, что она ровно присушила к себе

Степана. Ночами, прислушиваясь, как сын миловался с молодой женой, так и кипела: «Замурдует Степана, истинный бог!.. Как целуются-то, как целуются-то, а? Осподи! Вытрусит, окаянная присуха, всю силушку из мужика! И сам был смолоду такой же, да я ему укорот сделала: мужику надо не миловаться с бабой, а робить!»

Так от ночи к ночи накатывала злобу на сноху.

Утрами будила на заре. Чуть забрезжит сизоватая рань, пора вставать.

— Милка! Доколь дрыхнуть будешь? Проспишь все царствие небесное!

— Зараз, мамо!..

— Сама ты «зараза»! Сколько раз говорено: не суй мне «заразу»! Я, поди, чище тебя.

Как ни поясняла Шумейка, что в ее словах нет ничего обидного для Аксиньи Романовны, убедить старуху не могла.

— Милка, чугу́н ставь в печь, — как-то сказала Аксинья Романовна: сама возилась с квашней.

Шумейка сперва храбро взялась за двухведерный пузатый чугу́н, но не осилила — от полу не оторвала.

— Не поднять!

— Да ты что, хвороба? Ночью-то Степку до беспамятства устряпываешь, а на чугу́не руки опустила? Ставь, говорят!

Пришлось Шумейко понатужиться, а чугу́н поставить.

На корове поссорились. Пеструшка была ведерницей. Таких коров в деревне три: у Марии Спиваковой да еще у Маремьяны Антоновны.

Послала Романовна Шумейку подоить Пеструшку, та и принесла ей на ладонь неполное ведро.

— Ты чо, окаянная, аль выдоить не могла?

— Скико було, все выдоила.

— Скико! В ней не «скико», а ведро. Растирала вымя-то? Я ж те показывала, как подходить к Пеструшке! Ежли не дает — песню мурлычь, да ласковую, нежную.

И пошла сама додаивать. Полчаса сидела под коровой, мурлыкая песенку: «Ой уты, ой уты, ой утятки май-и»... Пеструшка, меланхолично нажевывая жвачку, слушала, смежив сладостно глаза. А молока так и не спустила. Ни капли. Тут-то и вскипела Аксинья

Романовна. Испортила хохлушка корову! Ночью глаз не сомкнула, ждала утра.

Спозаранку вышла доить сама. Пеструшка, недопив хлебное пойло, лежала под навесом в прохладке. Акси́нья Романовна огладила ее от шеи до объемистого брюха, вздымающегося, как мех в кузне, похлопала по стегну — вставай, мол, хозяйка пришла, но Пеструшка, лениво приподняв хвост, никак не хотела встать. Романовна и так и сяк оглаживала ее и, вскипев, пнула ногой в брюхо.

Зло скосившись на хозяйку, мостящуюся на стульчике с эмалированным подойником, Пеструшка туго раздоилась, снова недодав молока.

Романовна побежала за бабкой Акимихой, до того согбенной старушонкой, что едва переставляла ноги, сухие, как костыли, выгнутые в коленях наружу. Аки-миха приплелась в ограду, ощупала подгрудник у коровы, приподняв его, заглянула в глаза, пощелкала языком, понюхала метелку хвоста, и — тоном прокурора:

— Изурочена.

У Романовны аж дух сперло.

— Полечи, Николаевна! Уважь, милая. Добром отплачу.

— Полечить не стать, да как бы костылем до неба не достать. Сын-то у те — партеец, как лечить-то? Лонесь, ездила в город на благовещенье. В церкви от народа — не продыхнуть. Чуют, что в другой войне спасутся те, кто будет исповедовать веру во Христа спасителя и мать божью!..

Брызгая слюною, щеря белозубый еще молодой рот, бабка Акимиха до того разошлась, подергивая по забывчивости хвост Пеструшки, что та, не выдержав такую издевку над ее хвостом, подняла ногу да как свистнет Акимиху, что твой конь, так старушонка и покати́лась, гремя языком проклятия. А тут еще на беду подоспел Черня, который, не разобрав, в чем дело, принял стремительное падение бабки Акимихи за сигнал к действию, вынырнул из-за приклетки и, скаля клыкастую пасть, рыча, наметом кинулся на жертву и вцепился ей в воротник кофты так, что от кофты полетели клочья. И откуда взялась прыть, у Акимихи!

— Цыц, цыц! — вопила она истошным голосом.

Романовна утюжила Черню. Отбив руки, поспешила к Акимихе, пристроившейся на крыльце. Как же тут не разберет зло на Шумейку,

из-за которой Пеструшка вроде сдурела?

VIII

В пятницу из тайги пришел Егор Андреянович. От людей наслышался о Шумейко. Романовна в тот День пасла Пеструшку в заречье. Дома была одна Шумейка. Когда Андреянович вошел в избу, Шумейка, подобрав платье выше колен, хлюпая вехоткой, домывала пол.

Ворохнув метелкой черной брови, расправив вислые белые усы, широко шагнув от двери, Андреянович прошел в передний угол, успев высмотреть все достоинства снохи. Слаб был старик на бабью красоту. Еще позавчера, когда ему Нюрка Шарова, навестив пасеку, рассказала про Шумейку и ее красоту, Андреянович прежде всего сбрил седой усев на щеках, выпарился в бане, а тогда уже, отдохнув денек, двинулся к гнездовью.

Выпрямившись у порога, Шумейка вопросительно поглядывала на старика. Под его бродни подтекла лужа грязи. Она узнала его не по тем засиженным мухами фотокарточкам, что висели в рамках по стенам горницы, а по черным молодым глазам и метелкам бровей. Отец был крупнее и осанистее сына. Прямя спину, поглаживая широченной ладонью по истертой клеенке, старик смотрел на нее веселыми глазами.

— Корень зеленый, не узнаешь?

— Егор Андреянович?

— Хе-хе! Аль на мне прописано, что я Егор Андреянович?

Шумейку смущали глаза старика, липучие, как у того кота, что только что прошлялся ночь по крышам.

— Коль познала — привечай, Шумейка. Так, что ли?

Вытерев руки о холщовое полотенце, свешивающееся с маральего рога у печи, Шумейка робко протянула руку с выпрямленной ладонью, но старик, встав во весь свой богатырский рост, проведя ребром ладони по усам снизу вверх, пояснил:

— Об ручку — с пришлым! Со мной, как и водится, троекратно поцеловаться надо.

Вся вспыхнув, Шумейка не успела опустить протянутую руку, как Андреянович сграбастал ее в объятия, щекоча усами, впился в губы.

От старика пахло пихтачом и пряным запахом пчелиного клея — прополисом. От его загрубелых рук разило хлебной, чем кормят пчелы детку. Холщовые штаны с болтающейся мотней, испачканные медом и загрязненные, лоснились. Рыжие бахилищи с отвисшими голенищами, по союзкам пропитанные дегтем, вдавливали половицы — так он был тяжел на ногу.

— У те глаза, как картина, — вся душа видна. Чо спужалась? И — легкая, корень зеленый! Я думал — ну, Шумейка, хохлуша, фельдшерница, знать, женщина во какая в объеме! А ты вот какая! — И еще раз приподнял усы вверх.

От троекратного поцелуя у Шумейки помутилось в глазах.

Андреянович посмотрел на внука, спросил, сколько ему лет, и удовлетворенно похлопал Шумейку по плечу.

— Старуха-то, поди, не приветила, как я? Она у меня с валявинским душком — ни тепла, ни живинки. Немочь.

Заметив футляр скрипки на столе, открыл, вынул скрипку, тронул струны загрубелыми пальцами.

— Играешь?

— Смычка нема, нету. Я просила Степана принести конский волос, но он еще не принес.

— Нашла кого просить! — ухмыльнулся Андреянович. — Степану с малства медведь на ухо наступил. Ни в музыке, ни в барабане — ничего не смылит. Что тальянка, что двухрядка — единый звук. Не уродился же в меня, корень зеленый! Я и в тайге музыку слушаю. Другой раз поднимешься на зорьке, выйдешь за омшаник, тут тебе и пошло, полилось! Всякая, тварь свою песню насвистывает: живет, радуется. Медведь и тот не может без музыки. Как-то шел за орехами, вижу, сидит косолапый верхом на сухостойне и так это раскачивает ее. Сухостойна попискивает, скрипит — тем и доволен медведь. Или, к примеру сказать, утро. Синь над тайгою, пчела идет в первый лет, ульи пошумливают-приложишь ухо и слышишь, как хлопчет матка возле детки. По густым звукам угадываю старицу. Тоненько попискивает — молодка хлопчет. Живи, голубушка!..

На другой день Андреянович притащил Шумейке целый пучок конского волоса, которого хватило бы на сотню смычков. Сам помог натянуть волос, проканифолить и попросил Шумейку сыграть ему что-

нибудь задушевное, таежное. Степан молча посмотрел на затеи отца и, не дожидаясь, когда Шумейка начнет играть, ушел из дома, хоть Шумейка-то старалась из-за него. И сразу же будто по избе полыхнул сквознячок. Так и полезли мурашки по заплечью.

Долго настраивала скрипку. Пальцы стали какими-то чужими, деревянными. Андреянович поторапливал.

— Чо бренькаешь-то, сыграй?

— Шо ж вам сыграть?

— «Глухой неведомой тайгою» — знаешь? Или «Ланцов задумал убежать»? А?

И вот полились мягкие, сочные звуки, такие же загадочные, чуточку грустноватые, как и сама тайга. Сперва неуверенно, робко, а потом все смелее и смелее играла Шумейка песню о тайге. И грезилось ей полноводье могучего Енисея, белоеланский шлях, где ехала со Степаном, — горы и горы! Звуки ширились, нарастали, как снежный ком, выплескиваясь через открытые окна, будили дремотную улицу. Андреянович слушал, низко склонив голову и беспрестанно тербя седой пышный ус, выжав скупую слезину на полнокровную загорелую щеку. Ему свое виделось. Непролазные дебри, полные звуков жизни, медвежьи тропы и густотравье, сохатинные стежки на солонцы, где сиживал на лабазе с братом Санюхой... Видел себя молодым, безусым, задористым и бесстрашным. Эх, если б вернуть те давние годы!..

Леша следил, как мать играет, смотря на сына тем далеким взглядом, который он никогда не понимал. Соседи Снежковы и Афоничевы высыпали к палисаднику.

Хорошо играла Шумейка, Андреяновичу понравилось. Не иначе, артистка. «И обличность как из кино вынута, и обиходливая».

Подумал. Артисты — народ ох какой ненадежный! Со стороны смотреть — терпимо будто, а как поближе — спаси нас, господи!

«Может, еще не прильнет к Степану?»

Спросил: что за песню наигрывала? «Реве та стогне Днипр широкий». Который Днипр? Не тот ли, где Андреянович брел когда-то еще в первую мировую войну? Тот самый?

— Глыби в нем вот столько, — и показал ребром ладони чуть ниже плеч. — Такая река в Сибири — не в счет, речушка! — И махнул рукой. — Масштабность у нас другая. Огромятушая.

— О, я бачила тот Енисей! — восторженно отозвалась Шумейка. — Такой реки нема на Вукраине.

— Во всех мировых державах таких рек нет, какие у нас в Сибири. И окромя того — люди кремневые. Как по характерам, так и по всему протчему.

И сразу, без всяких переходов:

— Любишь мово Степана аль так, манежишь?

— Ще це «манежишь»?

— Ну, голову крутишь, а потом — хвост покажешь.

Шумейка потупилась. Она, конечно, любит Степана. Разве бы приехала из Полтавы в Сибирь, если бы не любила? Столько лет она искала Степана...

— Слышала: правление колхоза не пускает Степана на директорское место в совхоз? То-то и оно! Сегодня вот подъехал сам секретарь райкома. Как там порешат, не знаю. Пойду вот, послушаю. Может, пойдешь со мной?

Пойти бы, но страшно что-то. За одиннадцать дней Шумейка дальше Малтата никуда не ходила.

— Нет, не пиду. Степа еще обидится.

— Оно так, без согласования нельзя. — И пошел из избы — высокий, угловатый, белоголовый, как лунь, бывший полный георгиевский кавалер.

В ограде подошел к старухе. Подкинул усы вверх, предупредил:

— Гляди у меня! Ежли в будешь обижать Шумейку, гайку подкручу. Смыслишь?

— Иль те по вкусу пришла, лешак?

— Молчай, шипунья-надсада. Гляди! — И поднес к носу супруги свой увесистый кулак, величиною с детскую голову.

Аксинья Романовна попятилась: беда пришла!..

Андреянович вышел из ограды, оглянулся и плюнул. Самому ему невесело подле Романовны. Маялся всю жизнь — только и спасенье тайга-матушка, глухомань, колхозная пасека. Отчего такие разные люди проживают на белом свете? Один весь век шипит, суетится, тащит то отсюда, то оттуда, а зачем? Ужли в одном скопидомстве жизнь? Без веселинки — сердцу остуда. А Романовна так и прожила век, как кочерга. Ни в компании веселья, ни дома утеха.

Вечерело. Солнце только что закатилось, и по небу над Лебязьей гривой расплылись багряные потеки. Потом и они померкнут, и настанет парная июльская ночь.

С пастбища серединою большака шли коровы. Пестрые, красные, пятнистые, черные, комолые, вислорогие. Напахнуло молоком и сыростью пойменных просторов.

Давно ли Андреянович шел по большаку с братьями — Михайлом, Васюхой-приискателем? Вчера будто. И Михайла помер в городской железнодорожной больнице, и Васюха нынешней весной тихо преставился. Колол в ограде дрова, упал и умер. Как не жил будто.

«Напару с Санькой остались — приуныл Андреянович. — Надо бы побывать у него. Вечно он, молчун, косоротится. А ведь одна кость — Вавиловская».

Сотрясая землю и воздух, навстречу идут трактора к мостику через Малтат. Гул нарастает, ширится, проникает всюду. Впереди шлепают разболтанными башмаками два стареньких ЧТЗ. Вслед за ними — новенький, сверкающий тускло-серой краской ДТ-54 и знакомая коренастая фигура Андрюшки, сына Степана.

Андреянович подошел поближе.

— На целину?

Андрей оглянулся на деда, поправил пятерней черный чуб, скупно кинул:

— На целину.

Андреянович будто въявь увидел заречные просторы целины, где вчера еще всем колхозом дومتывали зароды сена. Веками лежала там целина, и никто ее не смел тронуть. Андреянович помнит, как на ту целину зарились богатей Юсковы и Валявины, да их осадили всем миром: не трожь! Мирская кладовая не для жадных рук. И вот поднимают целину. «Остатную кладовую распечатали! А не подумали про то, чем скотину кормить будут, когда выпаса распашут! Э-эх, руководители, корень зеленый! Племсовхоз организуют, а сенокосные уголья — под плуг!..» — И покачал головой, вспомнив, как он лет сорок пять назад, вставая с зарею, закладывал тройку в сенокоску, первым выезжал из деревни на заречные просторы. Тогда они жили одним домом с братьями. А что если бы сейчас вернулась единоличная жизнь и Андреяновичу отвели бы надел на заречной целине?

Махнул рукой:

— Куда мне? Отторглась единоличность. Ни один из мужиков не взял бы надел. Подумать, а? Не слыхано, не видано, чтоб мужик отказался от земли, а вот произошла такая перемена!..

IX

Поздно вечером пришел из правления Степан.

Шумейка засиделась на бережку тиховодного Малтата, у костра, разложенного на заилившихся голышах камней.

Плотная стена топольника в замалтатье казалась таинственной, как мутнина омута, — ткнись, и потеряешься. На деревне мычали коровы, лаяли в разноголосье собаки. Звуки по реке отдавались так резко, будто деревня пряталась в чащобе поймы. Ночь удалась теплая — ровно парное молоко струится в воздухе, так и клонит в дрему. В огонь засунута замшелая коряга, чадящая вонючим дымком, отчего не насаждает комарье. Веет с гор теплинка низовки. Речушка — по весне бурливая, многоводная, летом обмелевшая-певуче перебирает камни, воркует, всплесками зализывая мокрые пески.

Все та же думка! Как жить здесь, в глухомани? Суровые тут люди! Скупые на приветливость. Степану надо бы не отмалчиваться, а говорить целыми речами, чтоб пронять таких людей, как Аксиныя Романовна и ее сестры.

По берегу шел Степан, хрустя галькою. И сразу же по заплечью прошел морозец.

— Ты что здесь?

— Так. Сидай рядом.

— Мать что-нибудь?

— Ни. А... что с шинелью?

— Тебя укрыть.

Он накинул на нее шинель. Посидели возле огня — друг против друга. Она смотрела на него из-под воротника шинели. Тот же лоб, широкие брови, смыкающиеся над переносьем, тяжелый подбородок. Все в нем угловатое, могучее, грубое. Ждала — не заговорит ли? Но он, уставившись в огонь, молчал, охватив колени руками. Угли тухли, покрываясь пленкой пепла.

— Ну, вот так!..

— Шо?

— Отстояло меня правление в председателях. Ну, да ничего! Жить будем и работать, Миля. Вытянем!

И, не ожидая ответа, взял ее за руки, притянул к себе — какая она легкая!..

— Степушка!..

Сразу за огородом начиналась Лебяжья грива, поросшая у подножия березняком. Как медведь, продираясь в зарослях, Степан шел в гущу леса, не чувствуя на руках тяжести ее тела. Она говорила что-то бессвязное, случайное, обвив руками столб Степановой шеи, жарко дыша ему в щеку.

— От тебя пихтачом пахнет, — сказал он каким-то странным, срывающимся голосом. Под ногами шуршала трава, цепляясь за бахилы, рвалась, прямилась, алмазами помигивало небо. Где-то в низине ухал филин и голосисто заливалась собака.

— Куда ты, Степа?

— На гриву елани. Там — красиво, — выдохнул он, прерывисто дыша. Она чувствовала, как все сильнее стучало его сердце, словно хотело выскочить из груди и улететь птицей.

— Я пиду сама, Степа!

— Ничего. Подниму!

— А — гадюки?

— Спят. Расползлись которая куда.

— Боже ж мой, скико лесу?

Он еще сильнее прижал ее к себе, и все шел, шел, вздымаясь пологим взгорьем.

X

Как величаво красив лес Лебяжьей гривы лунной ночью! Заматерелые разлапистые сосны, пихты и ели по низине, кудрявые березы кажутся темными, загадочными, полными невысказанной мудрости. Какими причудливыми узорами темнеют на фоне звездного неба, лапчатые ветви сосен, откинутае в сторону и наотлет! Внизу, поблескивая стальным литьем, с шумом перекачивает бурные воды Амыл; у подножия гривы — Белая Елань, согнутая спиралью речушкой Малтат. А высоко лучистые звезды с таким ясным,

переливчатым светом, что смотришь на них и диву даешься: до чего же разнообразен подлунный мир! Какими причудливыми нагромождениями кажутся с хребта гривы синие, бескрайние просторы тайги, утесы Амыла, кремнистые тропы, выющиеся чешуйчатыми змеями в междугорье? Что говорят одинокому путнику темные кипы плакучих берез, перебирающие гибкими пальцами ветра смутно сереющую пахучую листву? Что в их шуме-то возбужденном, торопливом, как говорок влюбленных, то мягком и даже печальном, как воспоминание о чем-то приятном, но давно минувшем? Не напоминает ли шум Лебяжьей гривы море, когда волны одна за другой накатываются на берег и, тяжело вздохнув, рассыпавшись каскадами серебряных брызг о земную твердь, с шумом и всхлипыванием бегут обратно, чтобы снова и снова ринуться на него? И так же, как море ночью, кажется то бездонно глубоким и непонятным, грозным, суровым, предостерегающим неопытного пловца, то лукавым во время штиля, — так же и смешанный лес Лебяжьей гривы поражает сложную гаммой звуков, возникающих неведомо где и как! Вот только что где-то что-то щелкнуло, скрипнуло; прощелбетало, пронеслось мимо, и снова все замерло, насторожилось! И ты стоишь, и все слушаешь, слушаешь что-то, а понять не можешь — ни глубины мгновенно наступившей тишины, ни шорохов, ни звуков, которые вдруг нарушают ее. И вот ты слился воедино с величественной природой, с ее лесами, горами, беспредельным простором синевы — и всего, что объемлет глаз и чувства! И какие же несказанные грезы и думы обуревают человека в такие незабвенные минуты!..

Кто, скажите, кто не переживал свою жизнь заново под матерински-нежным покровом тихой ночи?

Все притихло. Все молчит, объятые сном, кроме мятущихся облаков да осторожного неумолчного ветра, обдувающего с юга Лебяжью гриву.

Ветер взбивает облака, как кудри, то замирает, прислушиваясь к чему-то, то с лихим посвистом летит в пойму Малтата, в дикие заросли, то петляет по улицам и переулкам, выхватывает кое-где ароматные дымы, то обдувает с двух сторон дом Егора Андреяновича и, промчавшись пятиверстной улицей, налетает на дом Боровиковых.

А ветерок все мчится дальше и дальше. Петляя в прибрежных елях, взметнувших высоко в небо свои роскошные султаны, он

затишает, чтобы с новой силой дунуть в обратную сторону по Белой Елани.

Но куда же мчатся груды облаков? Среди каких буйных просторов они будут держать свой совет?

У ледников Белогорья их пристанище! Там, в пучине седых гор, они долго еще будут реветь, стонать и выть всю ночь напролет! В ущельях Белогорья ни днем, ни ночью не утихает ветер. Там рождаются холодные циклоны, Сюда, к Белогорью, рвутся вихри и тучи из неведомых просторов. Здесь они бушуют до той поры, покуда не хлынут бешеным потоком в долину Белой Елани в начале ноября.

Степан и Шумейка шли взгорьем и смотрели вниз на сонную деревню. Под их ногами хрустят сухостойные ветки, тонюсенько, без нажима. Ущербный месяц, как гаснущий бычий глаз, то прячется в мякоть тучи, то выныривая, льет тусклый свет в лесную глухомань. Сторожкая тишина нарушена голосами: Степановым — грубым, раздумчивым, и Шумейкиным — торопливым, певучим и тоскующим.

Они идут, слившись воедино друг с другом. Ровно идет один человек — непомерно широкий, неуклюжий, медлительный.

— Как же я люблю тебя, Степа! — шепчет она, сплетая свои горячие торопливые руки с его руками. — Все бы с тобой. Везде бы с тобой, с тобой!.. Не могу я без тебя. Никак не могу.

Идут молча. И лес молчит. Под плакучей березой присели на замшелой колодине. Они, как видно, не раз бывали здесь, если так уверенно нашли знакомую колодину.

Он разостлал на колодине шинель и приподнял Шумейку, усаживая. Она сжала своими горячими ладонями его щеки и, целуя в губы, в лоб, смеясь, говорила торопливо, невнятно.

— Ай, хтой-то это?

— Филин ухаает.

— Как я спужалась!..

И, запрокинув голову, посмотрела в небо. Над ними вереницею кочевали белесые облака. Где-то высоко-высоко перекликались журавли...

Все притихло. Все молчит, объятые глубоким сном, кроме осторожного, неумолчного ветра, обдувающего Белую Елань с севера.

Над травой черным комом метнулся рябчик и снова зарылся в траву. Она прислонилась к Степану. Он прижал ее к себе. Сухие

твердые губы скользнули по ее щеке, закрыли рот... Как-то сразу она увидела над собой купол неба с звездочками меж тучами и его черные суженные глаза...

— Степушка! — Она еще что-то хотела сказать, но только плотнее прильнула к нему, тихо засмеявшись. И он чувствовал, как ее горячие, цепкие пальцы жалют его кожу на шее.

— Все будет хорошо, Миля, — бормотал Степан. — Сейчас трудно, но надо выдержать. Я уверен, скоро жизнь будет совсем другая. Наладится! Я в это вот как верю. А ты?

— Шо я? Где ты, Степушка, там я.

— Шумейка ты моя, Шумейка!

— Ще Миля. Чи ты забул мое имя?

— Ты не убежишь от меня?

— О, мать божья! Кабы все так бегали, як я, мабуть, гарно було бы жити на свити, га?

И, помолчав, сообщила:

— Я ще нарожаю тебе сынков и дочек. Чуешь?

Багряный серп ущербного месяца медленно поднимался над тайгою.

ЗАВЯЗЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Теснина между гор наполнилась молоком устоявшегося тумана. Ветер шел над сопками. Валки туч, медленно переваливаясь, клубясь, вереницей ползли на север. А на востоке, над горами, в проеме черной тучи, кумачовым рядом пылала зарница утра. Коровы со свисающими подгрудками шли под гору, на водопой, в туман. Лобастый комолый бык, пригнув голову, копытил мокрую землю. Но вот поднялось солнце. Сперва оно прильнуло к вершинам деревьев, посеребрило их купы с золотой кое-где уцелевшей листвой, потом спустилось в междугорье к деревне и затопило ярким светом кривую улицу, дома, стадо коров, возвращающихся с водопоя. А упрямый комолый бык все еще стоял на том же месте, на пригорке, и так же копытил мокрую землю. Медленно поднимался туман.

Солнце лизнуло вершины гор, высветлило небо. Первый луч его упал в теснину между гор. Коровы лениво побрели к ферме.

— Краснуха! Милка, да ты куда, шальная! Я тебя!

— Марс! Марс! Вот еще окаянный! Не бык, а трактор!

— И пра, трактор.

— Устинья Степановна, давай скажем председателю, чтоб перевел Марса в тракторную бригаду, а?

Устинья Степановна хмурит брови и почему-то часто-часто мигает белесыми ресницами. Девчонки смеются над племенным производителем Марсом. Бык-то никудышный!

А упрямый комолый Марс стоит невдалеке от фермы, у горы, и все так же копытит землю. Когда прошла на ферму последняя корова. Марс, задрав голову, посмотрел на Устинью Степановну и довольно недружелюбно, а затем угрожающе заревел.

— На место, Марс! Слышь, что ли! — кричит одна из девушек, звонкоголосая, с льняными волосами, выбившимися из-под теплого платка.

На правленческом рысаке Юпитере подъехал Павел Лалетин. Сутулясь в седле, играя ременной плеткою, он спросил у бригадира

Шумкова, справится ли он один с фермой.

— Меня опять на уборочную? — догадалась Устинья Степановна. Вот так уж повелось в Белой Елани! В сорок пятом году ее поставили на комбайн Зыряна штурвальной, и теперь как уборочная — снимают с фермы, хотя здесь так много работы. — Да что вы, в самом деле, смеетесь, что ли?

— Без особых разговоров, Устинья Степановна. Есть решение правления — выполнять надо!

— Я обжалую решение.

— Э, Устинья Степановна! Кому обжалуешь? Уборочная!

Устинья Степановна пешком ушла в полеводческую бригаду на комбайн старого Зыряна...

II

Все чаще пеленали землю прохладные, ветры севера. Утрами падал иней, росинками искрясь на сочных отавах. Обмелевшая речка, серебром перекатывая воркующие воды на отмелях, ночами пенилась туманным чубом. Жухлая медь чернолесья, сдутая ветром с деревьев, шурша и смягчая стук колес, пятнила проселочные дороги, вьющиеся черными змеями в междугорье.

Оголился лес Лебязьей гривы. Побелели хмелевые бутоны в чернолесье, да и само чернолесье запестрело, будто тронула его бойкая кисть художника. И багряные, и ярко-зеленые, и серые с черными прожилками листья, и красные, и пурпурные устилали землю.

«Коммунар» Аркадия Зырянова, такой же старый, как и сам Зырян, с облезлой краской, вмятинами на боках, приминая опавшие листья на обочине полосы, шел на загонку соседа, такого же «Коммунара», словно вмерзшего в полосу. Из трех комбайнов единственный, зыряновский, работал. Зырян выжимал из машины все, что она могла дать. Надо же убрать хлеб! Позавчера к предивинцам пришел на помощь «Сталинец», на котором работал сын Федюха.

Зырян для Устиньи Степановны был совсем молодым парнем, хотя у «парня» давно пожелтели прокуренные зубы. Устинья Степановна называла его парубком, а его посеребрившуюся голову — пеной. «Линяет Зырян, — говорила она, посмеиваясь. — Вот отлिनяет, когда бросит его горячая Анфиса Семеновна, ей-боженьки!».

Небо серое, мутное. Железо настало — не хватись рукой. Зырян в овчинном полушубке и в пимах стоит за штурвалом. Поле идет по склону горы — неровное, с балками. Местами чернеют обгорелые смолистые пни, выкорчевать которые можно только тяжелым трактором, да и то с подрубом корневища.

За комбайном — седой след половы и соломы. В колхозе нехватка кормов — не успевали ставить зароды сена, а солома вот останется под снегом.

Странно, как привыкаешь к безумолчному стрекоту комбайна. Для Зыряна, не туговатого на слух, слышащего беличий шорох в пихтаче, когда он бывает на охоте, сейчас на комбайне совершенная тишина. Сам комбайн, ныряя с пласта на пласт, дребезжит, поет, визжит, скрипит, молотильный аппарат жужжит, как очумелый шмель, трактор, поыхивая перегаром горючего, тарыхтит, как телега, по мерзлым кочкам, но для Зыряна все эти издавна привычные звуки не воспринимаемые ухом, идут где-то стороной. Для него — тишина, рабочий покой. В такие моменты он любит подумать, пофилософствовать, но по-своему, по-зыряновски, с покряхтыванием. Но вот за спиною Зыряна что-то тихо-тихо всхлипнуло... Зырян насторожил ухо, оглянулся. По щекам Устиньи Степановны скатывались слезинки. Ее мокрые глаза смотрели прямо в лицо Зыряна, но, кажется, ничего не видели.

— Ты что, Устя?

— Вот вспомнила, — как жала на этом поле серпом... Это же было займище Василия Евменыча...

— Нашла кого вспоминать!..

— А потом мы с Егоршей убрали здесь лобогрейкой овес, и он подрезал... перепелку. Так-то она вспорхнула! Полетела, мелькнула крылышками, да и упала мне на подол юбки... Наверное, где-то там, на Курской дуге, упал вот так мой Егорша... Лицо Устиньи Степановны еще более покраснелось, губы скривились, и слезы одна за другой покатались градинами.

— Что же ты, что же ты, — бормотал Зырян, налегая на трубку, — Чей дом, милая, не припятнала война?

— Да вот хотя бы твой, Зырян... Минула тебя судьба... Никого ты не потерял... Счастье-то какое!..

Зырян помрачнел. Не впервой он слышит такой укор.

— Сойду я, Зырян, полежу на жнивье. Сердце чтой-то заходится, — пробормотала Устинья Степановна, неловко спускаясь по сходням с мостика. Зырян проводил ее взглядом. В молотильном барабане что-то щелкнуло, не так громко, но Зырян выделил этот звук. Он уже знает, что по полотну с хедера занесло в барабан какую-то палку и перемололо ее в мелкие щепки.

На лицо Зыряна слетело что-то холодное и тут же растаяло. Снег! И еще, еще. Снег! Снег!

Тракторист сразу же остановил трактор.

Зырян, приложив ладонь козырьком, всмотрелся в дальний угол полосы. «Сталинец» шел...

— Что у тебя, Митроша?! — крикнул Зырян трактористу.

— Снег повалил!

— Какого черта выкомариваешь! Жми! Круг, и тот наш!

Митроша заскочил на мостик трактора и, стоя, поглядел в ту же сторону, где плыл громоздкий «Сталинец». Понятно! Где же Зырян остановится, когда «Сталинец» Федюхи наяривает всюю!

III

Устинья Степановна, подметав под себя охапку хрусткой соломы, лежала на боку. Вот уже второй сердечный приступ. Так еще не бывало. Все тело ее стало будто чужим. Прижав ладонь к сердцу, она лежит на соломе, и вся-то ее жизнь, как одна цельная картина, в лицах, в движении, проходит перед ней...

...Ночь. Страшная ночь! Ни луны, ни звезд. Ноеет и стонет ветер. Скрипят заматерелыми стволами тополя, шумят заросли черемух, мелкокользя на большом ермолаевском острове — Закамалде. Волны Енисея, взбитые ветром до пены, налетают на пологие берега острова, всхлипывают и откатываются с ревом. Черные тучи ползут так низко, точно они собираются лечь на остров и вдавить его в толщу бушующих стылых вод. Маленькой Усте страшно. Ой, как страшно! Почему так печально шумит темный лес? Куда и зачем плывут осенние тучи? Где они разбушуются мокрой непогодицей? И что там, за тучами, далеко-далеко? И отчего так холодно крошке Усте, сиротке Усте с васильковыми глазами? Костер тухнет. Угольки покрываются сединкой пепла. Одна она. Совсем одна на острове и в жизни! Никого-

то, никого у Устнныи — нет. Ни тяти, ни мамки, ни бабки, ни теток, ни дядек. Только вот жеребята богатея Артамонова. Она пасет жеребят Артамонова. Она сторожит их от зверей. Жеребята породистые. Их холят пуще человека. Таких жеребят ни у кого нет во всем подтаежье...

И вдруг — где-то совсем близко из кустарника взвыла волчица. Жеребята кинулись к костру, нетерпеливо перебирая тонкими ногами. Волчица взвыла еще и еще!.. Вот уже волки здесь, совсем близко. Костер догорает — ни хворостинки под руками, ни прутика. Как ляжет темень — раздерут волки Устю вместе с жеребятами. Она не помнит, как кинулась к берегу протоки, как брела, как сбило ее с ног течение и она ухнула в ямину с головой. Всю ночь бежала до Ермолаевой. «Как будто за мною кто гнался, — рассказывала она ермолаевскому попу, отцу Калистрату, тощенькому старичку с прямым пробором гладко причесанных волос. — Бегу, бегу, батюшка, аж дух перехватывает. Вот, думаю, как нагонит волчица, как вцепится! Как страшно, ой-ой!»

«Глупое, несмышленное дитя, — пожурил батюшка. — Без воли бога — волос с головы не потеряешь».

И надо же было приключится беде. В ту же ночь на острове волки задрали трех жеребят. Сам Артамонов нашел беглянку, не стал бить ее в доме батюшки, а взял этак ласково за ухо да и вывел из дому. Потом посадил в тарантас и увез к острову. На шею четырнадцатилетней Усти навесили жеребьячьи кости и так повели деревней. Такой уж был нрав у Артамонова. Он и на человека-то смотрел волком: из-под лохматых бровей, которые любил вертеть, как усы. Как, бывало, подкрутит бровь, жди беды. Либо руки пустит в ход, аль выдумает какую-нибудь пакость, а потом пожертвует целковый.

Устю провели работники Артамонова через всю деревню. Пристыженную, испуганную до смерти, ничего не смыслящую в том, за что над нею так потешаются. Отобрал учитель. Более недели Устя глаз не казала в улицу. Ночью, как только все уснут, Устя, забившись с головою в дерюжку, не попадала зубом на зуб — мучил пережитый страх. Потом судьба закинула ее в Белую Елань...

...Революцию Устя смотрела из окна сторожки на пашне Василия Евменыча. Вот на этой полосе, где лежит сейчас. Шли дожди. Мелкие, сыпучие. Батраки Василия Евменыча рады ненастью, отсыпались в избушке. Устя сидела у окна, когда по тракту ехали партизаны Мамонта Головни. Батраки выскочили на дорогу, а Парамон Жуев ушел за партизанами. И когда минуло много лет, Устя, припоминая революцию, — всегда видела одну и ту же картину: осенний дождик, всадников с ружьями и мокрые спины разномастных лошадей...

Да, Устя была девка куда с добром! Никто из работников не мог сравниться с ней в работе. Куда ни пошли Устю — все сделает на совесть. Что серпом жать, что снопы вязать, что за плугом идти, что по домашности.

Когда Усте исполнилось двадцать лет, она успела переработать за семерых. И вот еще что в удивление: работа не старила ее и не печалила. Она всегда была весела. Когда смеялась, на ее щеках показывались ямочки. А молодость, как веяние южного ветерка, медовым хмелем пьянила сердце. Она и сама не знала, что ждала от жизни, чего хотела, отчего девичья грусть так больно пощипывала сердце? И когда поздние зори румянили хребтовины гор, она подолгу смотрела на багряные пятна, и все что-то ждала. В поле пахло мятою. И ей хотелось, зажмурив глаза, пойти куда-нибудь далеко-далеко, но куда? Сама не знала. То был зов зреющей женщины. Если бы Устя умела думать, она бы поняла, что ее звало материнство. Когда на зимних вечерках Устя встречалась с парнями, ей так хотелось понравиться Егорше Спивакову, самому красивому парню Белой Елани.

Осталась Устинья одна... Ушел Егорша!.. Двадцать лет они жили душа в душу и все ждали сына или дочь, но так и не дождались. И она осталась одна в крестовом доме.

И даже теперь, когда давным-давно нет в живых Егорши, она все еще ждет его!..

— Устенка! — позвал Зырян.

«Вздремнула я, что ли», — спохватилась Устинья и удивилась. Вся окоченела, как ледышка. А вокруг — бело! Зима легла.

За каких-то полчаса побелело жнивье. Снег, снег, да не мокрый, а сухой, что пойдет в зиму. Ветер суровеет.

На бригадном, стане возле крестового дома, некогда перевезенного в поле из деревни, собрались трактористы, комбайнеры, колхозники, жнецы, вязальщики, ученики семилетки. Все продрогли, перемокли. Зима застала врасплох. Еще не доходя до стана. Зырян услышал голос Ляхова — разгневанный, срывающийся на высоких нотах, и сиплый, трескучий Павла Лалетина. «Газик» Ляхова стоял возле припозднившейся «технички» — грузовой машины с брезентовым навесом над кузовом. Неделю ждали «техничку» к комбайнам, и вот зна прибилась к предивинским пашням, когда ей делать здесь нечего.

Возле дома жгли солому, таская ее с поля. Пламя то вспыхивало, то скрывалось под охапками соломы, зыбрасывая синие космы дыма.

V

А снег все шел и шел! Побелели поля; сиротливо приуныла пшеница. Кругом белым-бело!

Степан смотрел на пшеничное поле, засыпаемое снегом, и то знакомое чувство боли, от которого ему всегда было тошно, когда его постигала какая-либо неудача, комом подкатилось к горлу. Он все глядел и глядел на увесистые колосья, соображая, что же ему делать. Зырян сказал, что можно еще убирать, если приспособить обыкновенные конные грабли для поднятия колосьев.

Следом за Степаном на поводу плелся Юпитер.

— Вот как подвела нас погода, — проговорил Степан, вышагивая обочиной дороги к деревне.

Представьте себе увесистый колос пшеницы, пониклый от зерна, с червленной серебринкой соти, не колос, а загляденье! И вдруг, совершенно неожиданно, без всяких на то природных предзнаменований, дохнула лютая стужа в ночь на одиннадцатое октября. В каких-то два часа хлопьями мокрого снега занесло поля, рощи, лес, дороги. Пшеница под бременем неожиданно нахлынувшей зимы полегла; колосья, надломив соломины, ткнулись в землю. А снег все мело и мело!

Навстречу Степану от деревни кто-то шел в белом полушубке. Степан, прищурился, удивился: плелся Демид Боровиков. Куда его несет на ночь глядя?

За минувшие три года Степан редко встречался с Демидом. Сойдутся, перекинутся немирными взглядами и разойдутся разными дорожками. Хотя тот и другой пристально следили друг за другом. Было время, когда Степан действительно поверил провокационным слухам, что Демид — поджигатель тайги. Потом он не менее отчаянно клял Головешиху, а с Демидом так и не сошелся. Стояла между ними Агния с Полюшкой.

Степан задержался на обочине дороги, свертывая махорочную сигарку, соображая, поздороваться ли с Демидом или сделать вид, что не заметил.

В шапке, полушубке, с тяжелым вьюком за плечами, Демид шел медленно, издали заметив Степана. На сапоги налипал мокрый снег, накатываясь комьями под каблуками.

— Подкузьмила погодушка, — сказал Демид, вместо приветствия кивнув на поле, тревожно и цепко приглядываясь к лицу Степана.

— Да, погодушка, будь она проклята, — пробурчал Степан, отвечая Демиду таким же схватывающим взглядом. — А ты далеко ли подался с таким вьюком на спине?

— В город хочу съездить.

— Что так поздно?

— Да вот сообщили по телефону, чтобы приехал к двадцатому октября. Надо спешить.

— Уезжаешь, значит?

— Там будет видно, — ответил Демид, заметно темнея лицом. — Может, останусь еще в леспромхозе. Ты вот тоже хотел уехать. Да «ехало» не повезло.

Степан насупился. Не смеется ли над ним Демид?

Лицо Демиды серьезное, задумчивое.

— Слушай, Степан, там я передал Андрюшке свой баян для Полюшки. Пусть он ее поучит играть на баяне.

— А при чем тут я?

— Да просто хотел попросить тебя, чтобы напомнил Андрюшке.

— Что ж, напомню. А ты это... пиши письма Полюшке, если останешься в городе, — вырвалось у Степана. И вдруг он спохватился: — А ты что же пешком? Далеко ведь... — невольно представил себя в положении Демиды. — Зашел бы к Мамонту Петровичу, взял бы лошадь, что ли. Отвезли бы тебя.

— Дойду как-нибудь до Каратуза. А там автобус ходит.

— Не дойдешь, а доползешь. Вернись, возьми лошадь.

— Возвращаться дурная примета.

Юпитер дернул Степана за ременный повод, словно напоминая о своем существовании.

— Тогда вот что: бери Юпитера. В седле, пожалуй, лучше ехать. Сдашь его в Каратузе на конюховскую колхоза, а завтра наша почтальонша захватит с собой.

Демид ответил долгим взглядом. Снежинки падали ему на щеки, на подбородок и тут же таяли.

— Бери, бери! Чего тут раздумывать?

— Ну, а ты как?

— Что обо мне беспокоиться? Я — дома. — И протянул Демиду повод.

Тот принял его из руки Степана, вздохнул.

— Спасибо, Степан... Я ведь хотел нажимать на третью скорость.

— Какой же ты странный человек, — покачал головой Степан. — Что стесняться-то, в самом деле? Что ты, ужой для нас, что ли? Держись прямее, скажу. Возвращайся в леспромхоз.

— Может, вернусь, — ответил Демид.

И вот они расстались, друзья детства, недавние враги, от души пожелав друг другу счастья и успехов.

«Он ее будет ждать, свою Анисью Головню», — невольно подумал Степан.

АПОЛОГ

I

Счастье!..

Какое оно, и в чем? Кто изведает глубину счастья и может сказать: «Вот оно, мое счастье! И пусть оно продлится навсегда!»

Рог молодого месяца испарывает синее брюхо неба, плывет под звездами и уходит за горизонт.

Так и счастье. Бывает, что оно проплывает мимо, как лучистый рог месяца. Глаз видит, да зуб неймет! Но если бы счастье висело на вешалке, как пальто, наверно, никто бы не подумал о нем. Если надо — подошел и снял с вешалки.

О счастье написано много песен, а еще больше — про несчастье. Они, как близнецы-братья, всегда рядышком.

И кто знает, у кого какое счастье?

Когда озверелые бандеровцы в гестапо Житомира выжгли каленым железом на груди Демида пятиконечную звезду и Демид все-таки остался жив, он подумал: «Я еще счастливо отделался, могли бы угробить».

Потом концлагерь в Дахау, в тридцати километрах от Мюнхена, и знаменитый блок № 7, откуда вела прямая дорога в газовую камеру. Три месяца Демид валялся в бетонном блоке, и каждую ночь его товарищи уходили в вечность, а он все еще жил. И жил ли? Ни о чем не думал и ничего не ждал. «Скоро я сам дойду, без газовки», — утешал себя Демид и все-таки нашел в себе силы бежать из блока по канализационной трубе. И еще один концлагерь в Мозбурге. Военнопленные работали на развалинах города. Днем и ночью город бомбили англичане и американцы. Однажды фугаска взорвалась в середине колонны военнопленных в тот момент, когда их только что вывели из ворот лагеря. На месте взрыва остались изуродованные трупы. Стон и крик раненых перемежался взрывом бомб, а Демид, оглушенный, без единой царапины, лежал на земле и отупело смотрел в небо. Оно было удивительно спокойным, сине-синим!..

Еще концлагерь перемещенных лиц с Востока. И опять побег. Долгожданная свобода! Но какой ценой? Овчарка выдрала глаз, изжевала до кости правую руку. Но не лютость зверя, обученного людьми, была страшной. Ужас перед лютостью людей поселился у него в сердце. И этот ужас часто преследовал его даже во сне тем же видением: зверь рвет его на части, жует мышцы и кровь льется ему в глаза, ослепляет весь белый свет!.. Да и свободу ли он обрел, если сердце стало камерой для пыток?..

Долго скитался в поисках пропитания. Рука заживала медленно и нудно. Дошел до Франции, устроился работать грузчиком в Марселе. А душа тянулась на родную землю.

Как зверь уползает в свое логово залечивать раны, так рвался Демид на Родину. Пусть судьба с самой юности бросила на его весы совсем крохотную частичку счастья. Но это было его счастье — его мед и яд! Услышать знакомый говор, увидеть свое — не чужое небо, ощутить каждой клеточкой тела мудрый, благословенный покой тайги, где он возрос! Наконец, узнать жива ли мать, Агния... Все это стало его самым вожделенным желанием. И что греха таить — боялся возвращаться на Родину. Во французских газетах писали, что по приказу Сталина всех военнопленных судят как изменников Родины... Но сила любви к тому, что тебя вспоило и вскормило, сильнее страха!

И вот — Демид дома...

По первопутку, в декабре, Демид приехал из города и вскоре стал снова работать в леспромхозе. Он, конечно, не ждал особенного счастья, и вдруг оно само пришло. Счастье принесла дочь Полюшка. Как-то под вечер, у конторы леспромхоза, Полюшка остановила отца.

Падал снег. Мягкий, пушистый.

— Папа, я хочу спросить, — начала Полюшка и запнулась на слове, потупя голову. Ее беличью шапочку запорошил снег. — Можно, папа, я буду с тобой жить. Ты же совсем один? И-и я хочу записаться на твою фамилию.

Демид дрогнул, прижал Полюшку к себе и отвернулся, чтобы она не видела, как у него от боли и радости перекосилось лицо. Полюшка прильнула к нему, как к единственной опоре, бормоча сквозь слезы, что она не будет жить с матерью и Андрюшкой и что она никогда не станет Вавиловой, Какая-то потаенная боль толкала Полюшку. Быть

может, она надеялась помирить Демида с матерью?.. Склеить разорванное на две половинки свое счастье?.. Кто знает?!

И вот еще что удивительно. Как только Полюшка поселилась в доме Боровиковых и они с отцом заняли комнатку, где когда-то во времена оные собирались «тополевы» на торжественную службу, Демида будто кто подменил. — К нему вернулось прежнее веселье, неугомонность и непоседливость. Полюшка стала, действительно, Боровиковой. Демид боялся, что Агния будет возражать, но ничего подобного не случилось. За неделю до Восьмого марта Демид порадовал Полюшку новой метрикой, где было записано: «Полина Демидовна Боровикова родилась восьмого марта 1938 года»...

Демиду никогда не забыть то раннее утро пятого марта, когда Полюшка подняла его на зорьке, сказав всего два слова: «Сталин умер».

Сон как рукой сняло. Демид сперва не поверил, но Полюшка, всхлипывая, твердила свое: «Умер, умер!» Потом в дом влетел Павлуха Лалетин, остановился в дверях, что-то хотел сказать, но только обалдело таращился на Демида, потеряв дар речи. Слышно было, как в горенке Мария ревела в голос, а сам Демид, босоногий, в нательной рубашке, поеживаясь от холода, сидел на кровати.

И вот свершилось нечто чрезвычайное, когда человек, как будто замерев на месте, вдруг оглянется и подумает: «Ну, а дальше что?».

Одно было ясно Демиду, что между Вчера и Сегодня пролегла невидимая грань и что дальше непременно будет Завтра...

И долго-долго еще Демид будет вскакивать с постели в холодном поту, хватать воздух разинутым ртом, как рыба на мели, не в силах унять бешеный стук сердца. Но Демид верил, что мудрость, выстраданная многими, сделает будущее Завтра светлее и радостнее, чем оно было у него, у Мамонта Петровича, у Анисьи...

В мае 1954 года по амнистии вернулись трое рабочих из леспромхоза. Демид с нетерпением стал ждать Анисью. И Полюшка догадалась, что отец ждет Анисью Головню.

— Папа, ты ее ждешь? — как-то спросила Полюшка.

— Кого?

— Голоवेशиху! — выпалила Полюшка.

— С того света еще никто не возвращался, Полюшка.

— Я не про ту Головешиху, а про другую. Которая работала в леспромхозе.

— А! — И Демид ничего не ответил. Не мог же он сказать дочери, что действительно ждет Анисью-Уголек. Ждет с того дня, когда в последний раз принес ей передачу в тюрьму, получил от нее ответную записку: «Спасибо, Демид. Передачу получила. Но дороже всего для меня ты. Один-единственный на всем белом свете. И всегда будешь один. Люблю тебя. Пишу и слезы льются. Сама кругом запуталась. Прости меня, прости!»

С той поры — ни единой вести. Анисья как в воду канула.

Где она, Анисья?

II

Настало лето.

Все цвело, тянулось к солнцу, отцветало; пробивалась новая поросль жизни там, где вчера еще гремели трактора на взмете пара. Над отрогами таежного синегорья колыхалось марево, похожее на легкую, невесомую газовую ткань.

По обочинам дороги пестрели цветы — розовые, фиолетовые, лиловые, синие с желтыми длинными тычинками, оранжевые, неприглядно-лохматые, колючие с шипами, как у осота, дурно пахнущие медвежьи вонючки, махрово-грубые, нагло открытые, стыдливо свернутые головками вниз, — пестрели они то там, то сям, распространяя окрест медово-терпкий запах. По низинам цвел разлапистый донник, словно обрызганный молочной пеной. На дороге лежала толстым слоем пыль, и даже от слабого ветра она поднималась облаком, густо припудривая сочную зелень трав.

Анисью не радовал ни веселый щебет птиц, ни разлив летних цветов, ни лесной простор, ни торная дорога в Белую Елань, по которой она шла, — все было точно чужим, впервые встреченным, хотя на обочинах дороги ей знаком был каждый кустик.

Кто ее ждет здесь, в Белой Елани? Кому нужна Анисья из заключения, да еще с ребенком на руках! Ее ребенок! Сейчас она и сама не понимает, зачем зарегистрировала сына именем Демиды? Что скажет Демид, когда узнает, что она назвала своего первенца его

именем! Поверит ли он? Ведь между ними фактически была близость только несколько раз. Мало ли женщин возвращается из заключения с ребенком на руках?..

Анисью как детную мать освободили осенью 1953 года. Потом она работала вольнонаемной, а к весне в лагере осталось мало заключенных, и его ликвидировали. Анисья стала собираться домой. Судимость с нее сняли.

За три года она не послала ни одного письма в Белую Елань. Кому писать и о чем? О том, что у ней в феврале 1950 года родился сын? А вдруг Демид не поверит, что это его сын?.. Или написать Мамонту Петровичу о том, что на следствии выяснилось, чья она дочь? Мамонт Петрович и без того все знает. Одна! Кругом одна.

И вот торная дорога в Белую Елань...

III

Анисья стояла на берегу. А с парома стаскивали какие-то ящики, скатывали бочки. Маленькая, щупленькая старушонка в клеенчатом нагруднике, босоногая и простоволосая, принесла ей для ребенка бутылку молока.

— Вот тебе, дева, стерлядка, — сказала старушка, заворачивая в газету жареную стерлядь. — У те сродственники в Белой Елани али знакомые?

— Знакомые.

Подошел Трофим, дымя вонючим самосадом.

— Анисья! Вот те и раз! Возвернулась, стало быть. Да еще с приплодом! Ну, дева, значит, в нашем полку прибыло!

Трофим переправил ее на лодке через Амыл в деревню. Она отдохнула на крылечке почты и пошла дорогою в тайгу.

Ухабистая дорога, извиваясь по мыскам, увалам, текла к реке. Невдалеке чернели конусообразные ели. Мост через речку был отрезан разливом воды. Анисья постояла, потом разулась и побрела с сыном на руках, оголив по колени ноги.

Кижарт пенился, беснуясь в сваях. Коренная вода, хлынувшая с Белогорья, вышла из берегов, заливая низины, курьи, отстаиваясь в логах, отражая в себе кудреватый ивняк с клейкой пахучей листвою и красный кустарник. Толстые тополя, увитые лебязьими сережками

пуха, стояли по левому берегу за мостом, как титаны, оберегающие утреннюю прохладу и сумрак зеленоватых вод. Птицы порхали с дерева на дерево, проносились плотными стаями, мелькая в косых лучах солнца черными хлопьями крыльев. Воздух был прозрачен и звучен. Где-то стучали топором, а чудилось, что стучат в тридцати местах с обоих берегов.

Шел лесосплав. Бревна, ободранные и зализанные водою, тесня друг друга, ныряли под мост, как огромные щуки. Хватаемые мощным потоком, они то перевертывались, как соломины, то вставали торчмя, то бухались в воду, ударяясь в сваи. Мост вздрагивал и, казалось, вот-вот рухнет. На берегу суетились сплавщики, словно литые из бронзы, по пояс голые, загорелые, мускулистые, в мокрых закатанных штанах, иные в резиновых сапогах с длинными голенищами. Ловко прыгая с бревна на бревно, балансируя баграми, они направляли лес под мост. На берегах, на отмелях, виднелись целые штабеля леса, вытесненного во время затора.

Работа сплавщиков трудная. Уж она-то знает! Необходимо иметь не только ловкость, смекалку, но и проворство. Малейшая оплошность — можно угодить под лес. Сплавщиков подстерегала опасность на каждом шагу, на каждом прыжке.

На мосту стоял человек в полосатой косоворотке и в брезентовых штанах, вправленных в болотные сапоги. Он внимательно глядел вниз, изредка покрикивая: «Левее, левее! Эге-ге, Матюшин, не прыгай, черт тебя, не видишь, что ли! Эй, верхние, чего вы там спите!..» На мосту он стоял, вероятно, давно. Брезентовая куртка, плащ-палатка, полевая сумка без ремней лежали на перилах. Сапоги его были выпачканы илом. Рядом с ним торчал воткнутый в плаху длинный багор.

Взглянув на Анисью, он пригнул голову и развел руками:

— Горячкина?

— Таврогин! — узнала Анисья.

Таврогин крепко пожал руку Анисьи.

— А ты что здесь, Григорий Иванович? Ты же работал мастером на лесопункте.

— Э! Когда еще. Два года как на сплаве. С Демидом Боровиковым заворачиваем. Знаешь такого?

— Да, — тихо ответила Анисья.

— Теперь у нас во какой порядок! В прошлом году мы закончили лесосплав к десятому июля. А нынче к первому числу управимся. Хвост гоним. Порядок! Кривой умеет организовать дело. И черт его знает, откуда он черпает энергию? Только что сейчас был здесь со своей красавицей Полиной и помчался в Белую Елань.

У Анисьи захолонуло внутри. Что еще за «красавица Полина» с Демидом? Наверное, жена!..

— Сын? — кивнул Таврогин.

— Сын.

— У нас теперь в леспромхозе новое начальство. За два года вышли на первое место. Особенно по сплаву.

— Кто теперь в Сухонаковой?

— Начальником Гомонов. Знаешь?

— Мастером работал?

— Ну да. Техноруком — Исаков Антон Кузьмич. А ты что, в Сухонаково вернешься?

— Нет, наверное, — вздохнула Анисья.

— А что, давай! Исаков, слышал, собирается уходить. Не по вкусу пришлась ему наша тайга. А, знаешь, Сухонаково скоро ликвидируют. Полезут в верховья по Кизыру и Казыру. И весь наш леспромхоз полезет в верховья, к Саянам. Сейчас тут кругом работают геологи. — И, взглянув вниз, прокричал: — Перекур!.. Эге-ге-ге, Матюшин! Перекур!.. Разводите костер, обедать будем. — И, повернувшись к Анисье, сообщил: — Крепкая бригада, один к одному, как на подбор. У Боровика ленивый не задержится. Моментом отчислит. В прошлом году моя бригада двенадцать тысяч премиальных отхватила. Здорово? Ну, а ты как? По чистой? Понятно! Жалели тогда тебя. Ни в чью врезалась.

Анисья ничего не ответила. Таврогин поскреб в затылке, покачал головой и, закуривая, пригласил Анисью к артельному котлу. Но она отказалась и пошла дальше.

Навстречу ей из тайги ползла лиловая туча. Сталкиваясь с упругими лучами солнца, она нехотя сворачивала в сторону, еще более ширилась, погромыхивая вдали глухими и долгими раскатами. На ее фоне темнела уродливая крона сосны и особенно ярко выделялась плакучая береза, распутившая до земли нарядные сережки. В зените стояло косматое черное облачко, похожее на папаху горца. Оно как

будто поджидало лиловую тучу, чтобы сообща с нею обрушиться на землю лавиной дождя.

Анисья часто останавливалась, спуская сына на траву, что-то показывала ему, снова брала на руки и шла, усталая, докрасна обожженная солнцем. По ее лицу скатывались солоноватые градины. Заплечный узел оттянул ей ключицы. Сердце все сильнее стучало. Лицо у нее было смугло-розовое, еще совсем девичье, хотя у глаз успели сбежаться тонюсенькие морщинки, а углы губ чуть опустились, как у человека, не стяхнувшего с плеч горе. Маленький, вздернутый нос с едва заметной горбинкой, широкий лоб и особенно глаза — думающие, тревожные, говорили о ее упорстве, выносливости.

На избитой дороге волчками вспыхивали вихри, оставляя крошечные воронки в пыли. Взад-вперед сновали жирные суслики. Вертясь в воздухе, то внезапно падая, то стремительно взвинчиваясь вверх, пели жаворонки, как это всегда бывает перед грозой и дождем. А солнце жгло. Оно будто хотело выплеснуть на землю все тепло, какое недодаст потом в непогоде.

IV

На пригорке росли березы, отбрасывающие тень на сочное дикотравье. Четыре березы росли из одного корня. Внизу они сплелись, а потом оторвались друг от друга, устремляясь каждая по-своему вверх. Средний ствол, затемненный двумя крайними, изогнулся коленом до земли, обойдя третью крутым изгибом и потом затемнив ее своей развесистой шапкой, отчего третья зачахла, вся покрывшись сучьями. Две крайние вытянулись, как по уровню, — стройные, без сучков до вершин.

Анисья долго смотрела на семейство берез, будто понимая их, как им трудно было вырасти из одного корня, как они воевали друг с другом за тепло, солнце, как ненавидели тень одна другой.

— Мама, чис, чис! — сказал сын, покачиваясь на кривых ножках. Он показал на цветок в траве.

— Это цветок, Дема, — пояснила мать, но сойти в густую заросль разнотравья побоялась.

Взяв сына на колени, она принялась кормить его теплым молоком, давая прикусывать рассыпчатое печенье. Наевшись и

напившись, сын стал играть в тени берез, а она все еще сидела на обочине дороги, устремив взгляд вдаль, о чем-то задумавшись. Она не видела, как туча, захватив половину неба, вплотную приблизилась к солнцу, как, винтясь, на осинах завертелись листья, не видела, как молния, чиркнув за ее спиной, на миг разрежала лиловую тучу на две половины. Она смотрела дальше, за пределы видимого и осязаемого. В ее глазах не отражалось ни горечи, ни восторга от картины лета с надвигающейся грозой — глаза ее светились ожиданием чего-то значительного и важного. Казалось, они так широко были открыты потому, что где-то, быть может, вон за той разлапистой сосной, за стеною пихтача и ельника, там, где небо смыкается с землею, вот так же ищуще глядела другая пара глаз, заглядывая ей в душу через пространство и тревожа ее сердце. Теплый ветерок обдувал ее лицо. Темные, красноватые волосы застилали ей то щеку, то лоб, но она все так же глядела вдаль странным взглядом.

Вдруг сразу все потемнело, будто землю накрыли черной шалью. Туча напозла на солнце, маленькое облачко слилось с большим. С ложбины потянуло волглостью, но птицы все еще пели. Жаворонок, как дымок выстрела, кувыркнулся в воздухе и комком упал в траву.

Ударил гром, будто лопнуло небо. И раз, и еще раз свирепо рыкнул голодным псом.

— Мама, мама! — испугался сын, обхватив шею матери руками и прильнув к ее груди, как к единственной защите от всех напастей.

И сразу же, словно из промоины, хлынул дождь — крупный, прямой. Дождевые горошины, падая на пыльную дорогу, взметнули вулканчики. Демка захныкал. Она опять остановилась, вытащила из узла суконную шаль, укутала сына и пошла дальше. И странно, в то время, когда она смотрела на тучу издали, она боялась ее. Но как только над головою прогремел удар грома, она успокоилась. Лицо ее стало серьезным, готовым встретить любую напасть. Дождь лил и лил, а она все шла и шла. Когда на танкетки налипло много грязи, она сняла их и пошла босая, печатающая маленькими ступнями размякший чернозем. Мокрое штапельное платье, обтянув ее тело, холодило плечи и спину.

На мостике через Татарский ключ Анисья споткнулась и чуть не уронила сына, завязив ногу между досками. Поднявшись на пригорок к развесистым кустам черемухи, она укрылась здесь под листвой, поеживаясь от капли с веток.

Кто-то ехал верхом, сутулясь в седле и насунув на голову капюшон дождевика. Высокий, нескладный седок. Прямые плечи его топорщились, как у ястреба крылья. Он бы проехал мимо, если бы не заметил женщину с ребенком под черемухой.

«Папа, папа!» — узнала Анисья, не в силах вымолвить слово.

— Эге! Гостья? — спросил Мамонт Петрович, остановившись на середине дороги. Чалый породистый конь махал головою, бряцая железными кольцами уздечки. — Издалека? — И, наклонив голову к плечу, Мамонт Петрович пристально поглядел на Анисью. Он ее не узнал сразу. Вернее — не думал встретить вот так, на дороге, да еще с ребенком.

Сверкнула молния, точно лезвие кривой шашки. Резко и коротко лопнул снаряд — грозовой удар. Чалый конь, натянув повод, попятился к мостику.

— Плутон, Плутон, стоять! — приказал Мамонт Петрович и спешился.

И еще один миг — миг молчаливой встречи. Мамонт Петрович, наконец-то, признал Анисью. Выпрямился, застыв на месте.

— Э? — проговорил он, удивленно помигивая.

— Папа!..

— Господи помилуй, Анисья! Пропавшая грамота! Драматургия! — бормотал отец, размашисто шагнув навстречу дочери. Та кинулась к нему. Он ее облапил своими длинными руками, целовал в мокрые щеки, в лоб, приговаривая: — Одна-разъединственная моя радость! Солнце мое, Вселенная моя! — И заплакал, по-мужски сопя в нос.

— Папа, папа! Ну что ты! Папа, папа!

— Как же я тебя ждал, господи помилуй! Одна ты у меня радость, одна моя звезда. И вечерняя, и утренняя... Вот она какая драматургия жизни!

Анисья смотрела на отца сквозь слезы. Губы ее тряслись.

Только сейчас Мамонт Петрович обратил внимание на сына Анисьи.

— Э? — сказал он, вздернув бровь.

— Мой сын, папа.

— Э? Твой сын?

Секунда молчания.

— А другая половина чья? Природа завсегда из двух половинок — мужской и женской. Может, на прочих планетах есть люди из одной половины, про то пока ничего неизвестно, а наша планета двуглавая — скрозь из двух половинок.

Белая лента молнии, раздвоившись вилкой у тучи, резанула зигзагом мутный свод неба. Вслед за молнией, глухо ворчнув, ударил гром с раскатом, словно по небу протарахтели по булыжнику железные бочки. Дождь полил как из ведра, пригибая ветви черемух и прибывая траву обочь дороги. Татарский ключ вздыбился пузырями. С пригорка с шумом бежал мутный поток, набирая силу.

— Хоть бы письмо написала! Как же так можно, а? Ждал, ждал. И вот она — пропащая грамота. А! — Мамонт Петрович помрачнел.

И вдруг, вспомнив не менее важное, сообщил:

— Неделю назад мое заявление разбирали в райкоме. Теперь я чистенький, как новый рубль. В партии восстановили с моим стажем — с тысяча девятьсот девятнадцатого года ноября месяца.

Из-за поворота дороги выехала пароконная телега с железными бочками. Напахнуло керосином.

— Посторонись, Мамонт Петрович! — крикнул человек с телеги. Анисья узнала Санюху Вавилова.

— Давай, давай, Санюха. Поторапливайся. Там тебя ждут с горячим. — И, взглянув на Анисью, сообщил: — Теперь у нас в колхозе все работают. В прошлом году трудовень вытянул на три рубля семнадцать копеек и хлебом кило восемьсот. Смыслишь?

Пара разномастных лошадей, чавкая грязью, фыркая, прошла так близко возле черемух, что Анисья попятилась в глубь кустов. Санюха поглядел на нее.

— Кажись, Анисья Мамонтовна?

— Она самая, — подтвердил Мамонт Петрович.

— Ишь ты! Ну, здравствуй, Анисья Мамонтовна. С приездом тебя. Заходи в гости.

— Спасибо.

— Отец-то сокрушался, а ты вот она — заявила. И проехал мимо за мостик, протарахтев по плахам.

Мамонт Петрович смотрел на дочь и все еще не верил глазам своим. Его дочь, Анисья Мамонтовна, вот она!

— А ты ничуть не переменялась.

— Что ты, папа. Мне кажется, я такая старуха.

— Ишь ты! Побольше бы таких старух. Ну да я тебя великолепно понимаю. Это завсегда так бывает, когда человек выходит на свет жизни из драматургических переживаний. Я вот вспомнил, как я сам возвратился в сорок седьмом с Колымы. шел и ноги не несли. А тут еще с Дуней такая история! Впрочем, с ней завсегда происходили истории. — И, секунду помолчав, двигая рыжими бровями, признался: — Сколько лет прожил с ней, а с душой ее так и не сблизился. Двойную жизнь вела с самого начала.

— Не надо, папа!

— То есть? — И, недоумевая, покосился на дочь. — Умолчание в таком вопросе, Анисья, никак немислимо. Оно, понятное дело, мать и все такое прочее. Ну, а кто виноват, скажи, если покойница мою и твою жизнь грязью закидала? Мало я поимел от нее переживаний? Тебе это неизвестно, как я ее отбелил? И в тридцатом отвел от нее беду. Ее бы надо на ссылку отправить как по ее происхождению, так и по ее душе, а я ее заслонил своим авторитетом. Душой покривил перед партией! Вот какая вышла драматургия! А что получил? Полное непонимание! Она жила сама по себе, я сам по себе. Да еще тебя к себе притянула. Две жизни под удар подвела. Легко ли? И в тридцать седьмом самолично сделала показание на меня — наскрозь лживое. Можно ли такое прощать, и даже мертвым?

Анисья потупила голову, сдерживая слезы.

— Мне так тяжело, папа! Если бы ты знал!..

— Не принимай тяжесть на себя! Не принимай! — запротестовал отец. — Я к тому говорю, что, значит, итог жизни подбить надо. Чтоб в дальнейшем началась светлая жизнь. Такое настало время теперь. Ты вот придешь в Белую Елань, а на душе у тебя муть. Встряхнись! Ты должна быть светлая, как вот этот Татарский ключ. Потому — сына имеешь. Ему жить. Смыслишь?

И как бы в ответ на слова Мамонта Петровича сын Анисьи потянулся рукою к длинной гриве чалого Плутона.

— Мама, мама! Дай-ка, дай-ка...

— Э?

— Это конь, — пояснила мать сыну.

— Конь! — повторил сын.

— Удивительный вопрос! От горшка три вершка, а руку тянет к Плутону. Современность. Люди зреют не годами, а часами. Молодец, парень! Время — кровь жизни, не выцеди ее напрасно, пока сидишь на руках матери. Ну, садись с ним на Плутона, а я пойду пешком.

— Что ты, папа. Так дойдем.

— Бери тогда Плутона за чембур, а мне давай внука. Как его звать?

Анисья смутилась и ответила с запинкой:

— Дема.

— Э?

— Демид.

— Демид?! Позволь, позволь! Разве, э?

— Нет, нет, папа. Просто записала так.

— А по фамилии как?

Вот они самые неприятные вопросы, которых так боялась Анисья.

— На свою фамилию записала.

— Э?

— Головня. Другой у меня фамилии нет.

— Господи помилуй! А отчество?

Анисья ответила так тихо, что отец не расслышал.

— Как ты сказала?

— Мамонтович.

Мамонт Петрович от такой неожиданности чуть не упал.

— Не врешь?

— Я же говорю, записать могла только на свою фамилию и на свое отчество.

— И метрика честь честью?

— Все, все! И гербовая метрика, и сам Демид Мамонтович Головня налицо. Люби и жалуй, дед!

— Слава те господи! — воскликнул Мамонт Петрович, торжественно приподняв внука, как знамя. — Живет моя фамилия! Хоть я неверующий, а воспою аллилуя. Услышал бог мою молитву. Это же, это же событие государственного значения! Вот оно, у меня на руках, не Уголек, а целая Головня мужского рода. И жить будет эта Головня на радость всей Вселенной, начиная со спутника Земли — Луны до отдаленного Юпитера и Плутона, а так и Марса с Венерой, едрит твою в кандибобер! Живи, Головня! Преображай Вселенную, а

так и нашу Землю. Ты поспеешь как раз вовремя. Работы на твой век хватит до полного утверждения коммунизма! Живи, Головня! Не скупись на тепло.

«Головня Вселенной» — светлоглазый Демка перепугался от неожиданных полетов на руках деда и заревел.

— Папа, папа! Он боится.

— Молчи, Анисья. Парадом командую я, и Демид Мамонтович Головня мой полный единомышленник и соратник. Пет такого зла, через которое мы с ним не перешагнули бы. Вперед, вперед, на полное изничтожение гидры эгоизма!

И долго еще Мамонт Петрович разглагольствовал о всесветной путанице, с которой суждено будет сражаться Демиду Головне, а дочь чем ближе подходила к деревне, тем подавленнее было ее самочувствие. Ее пугала встреча не только с норовистой Маремьяной Антоновной, но и с Демидом.

«Он еще подумает, что я навязываюсь ему. И сына, скажет, потому Демидом назвала».

Отец что-то говорил о Степане Вавилове, о том, как к нему припожаловала Шумейка и как показал он себя стоящим председателем колхоза, а сам Мамонт Петрович с осени прошлого года работает заместителем председателя.

— Ты, папа, очень переменялся!

Анисья такого отца не знала. Тот Мамонт Петрович был добродушный, терпеливый, иногда резкий, нескладный и угловатый, увлеченный планетами и астрономией, а этот — весь занят был земными делами, но вместе с тем не было мягкости, отзывчивости у нового Мамонта Петровича. Он будто не понимал, что Анисье сейчас не до колхозных перемен.

— Хэ! Переменялся! Мы все, Анисья, переменялись. Если бы не произошла большая перемена, ты бы сейчас где находилась?

— Папа, папа! Не надо!..

— Великолепно все понимаю и знаю. И про твое самочувствие, и про твои думы. Сам неоднократно находился в таком положении, — твердо ответил отец. — Потому и радуюсь перемене. Это же, это же — как открытие новой планеты!

Грозовая туча перевалила за Амыл и там гремела. И как это бывает летом, враз прорвалось солнце — и стало жарко.

Но где же знакомая поскотина? Ее перенесли в деревню, а тут все распаханно. Мамонт Петрович сообщил, что они теперь с Зыряном в колхозе — заглавные фигуры. Сам Степан Вавилов достает стройматериалы, какие-то трубы, рельсы, автопоилки для коров, нажимает на подшефный судостроительный завод. А он мечется на своем Плутоне от одной бригады к другой, из поселка в поселок.

— Как зорька, так я на Плутоне. На коня и пошел! Годы вот только подкузьмили: разматываю шестьдесят третий.

— Значит, Степан разошелся с Агнией?

— Разошелся. Как приехала его хохлушка, так и кринки побили! Да она ничего, живет. Молодчина! Женщина, можно сказать, героическая. Показала себя лицом в деревне. Сразу, как приехал Степан, распрощалась с геологами и вступила в колхоз: сама назвалась в доярки на ферму. Может, хотела к Степану поближе быть, привязать его к себе. Да не судьба, видно! Полтора года доила коров. Натура! Нонешний год поставили ее заведующей животноводческой фермой. Андрюшка трактористом работает, а Полина — в оппозицию ударилась: переметнулась к Демиду Боровикову и фамилию отца приняла. Не девка, а гвоздь со шляпкой.

Так вот про какую Полину говорил мастер по сплаву леса...

И, как бы между прочим, Анисья спросила:

— Демид Филимонович женился?

— Хэ! Интересуешься?

— Просто так.

— Про лебедя сказка! Ишь ты, «просто так»! А что если я скажу: женился и от счастья ног под собой не чует, тогда как? Э?

Анисья не знала, куда спрятать собственное лицо от глаз отца.

— Правильно, Анисья. Какой может быть разговор про Демида Боровикова, когда вот он, у меня на руках, Демид Мамонтович? Мыслимо ли с двумя совладать? Я так и заявил Демиду Филимонычу: напрасно, говорю, интересуешься Анисьей Мамонтовной. Если бы она, говорю, имела к тебе касательство, то письмо прислала бы.

— А он что, интересовался?

— Неоднократно.

— Спрашивал?

— Говорю, неоднократно. А я ему: нет, говорю, писем и не жди.

На пригорке показались поскотина и знакомые березы на кладбище.

— Ты мне покажи, где ее похоронили, — тихо промолвила Анисья, не взглянув на отца.

Мамонт Петрович молча открыл ворота поскотины. И когда Анисья провела за собой Плутона, закрывая ворота, спросил:

— Может, в другой раз?

— Нет, лучше сейчас.

— Тогда пойдем. Привяжи Плутона у поскотины. Мамонтович спит, как богатырь. Умаялся, сердечный. Пусть отдыхает, пока на руках носят. Когда сам понесешь — тогда не отдохнешь. «Давай, скажут, Головня, разворачивайся на всю катушку. Грей, не скупись!» Ну да мы с ним на тепло не скупые. С нашим удовольствием! — И, взглянув на деревню, видневшуюся в низине, продолжал: — Кабы все люди понимали, что на тепло нельзя скупиться! А ведь как некоторые живут? К чужому огню руки тянут, а свой за тремя шубами носят, чтоб наружу не вырвался. Ну, пойдем!..

VI

Тихо, словно спросонья, шептались гигантские березы, какие растут, наверно, только на кладбищах. Они толпились в беспорядке, подобранные и стройные, гладкие, без единого сучка до своих пышных лохматых шапок. И там, вверху, в синеве неба, шептались листвою, словно им было известно нечто великое и таинственное, чего не могли знать люди, занятые земными делами. Березы будто держали совет и переговоры с беспредельным простором небес, с наплывающими тучами, с ночными звездами и со всей Вселенной. Под этими высоченными березами Анисья с отцом казались маленькими.

Тихо, очень тихо шелестят вверху березы.

Здесь где-то, на этом клочке Вечности, могила старца Ларивона Филаретыча Боровикова. И если бы мертвые действительно могли воскреснуть, то первым праведником поднялся бы Ларивон. Это он привел общину раскольников на Амыл.

По крестам можно было понять, какие разные люди нашли здесь пристанище. У старообрядцев-филаретовцев — массивные кресты из

цельных бревен с тройными перекладинами: одной косой и двумя прямыми. У юсковцев-федосеевцев — кресты нарядные, шестиконечные, с накрылкой конусом, как в часовнях. У правоверцев — с двумя перекладинами. Кое-где между старыми могилами и крестами виднелись тумбочки со звездочками. А вот и могила бабки Ефимии...

— Разве она здесь похоронена?

— А ты не знала?

В дальнем углу кладбища, у самого обрыва в пойму Малтата, там, где Дуня поставила крест давно усопшей Дарье Юсковой, единоплодной сестре своей, нашла себе последнее пристанище мать Анисьи, так много напетлявшая в жизни. Сосновый крест с одной прямой перекладиной еще не потемнел от времени. Холмик могилы аккуратно выровнен. В ногах могил сестер Юсковых шумели четыре березы из одного корня. Анисья их сразу увидела и тут же вспомнила другие четыре березы, в тени которых недавно сидела на обочине тракта. Было нечто жуткое в таком совпадении. Глаза Анисьи тревожно перебегали с берез на два креста — черный, перекосившийся Дарьи Елизаровны и с одной перекладиной — матери. Анисья почему-то не подошла близко к могиле и все смотрела на прямую перекладину. Будто мать, распахнув руки, намеревалась схватить дочь в свои смертельные объятия. И Анисья вспомнила в подробностях, как впервые свиделась с тем подозрительным военным мужчиной, который потом оказался ее отцом и убийцей матери. Что же такое произошло все-таки?

«Мама, мама! Зачем ты так жила?» — И, как бы продолжая мысль Анисьи, раздалось слова Мамонта Петровича:

— Кругом сама запуталась и успокоилась от руки бандита. А все могло быть по-другому...

Все могло быть по-другому, — с горечью думала Анисья. Закрыв глаза ладошкой, она тихо плакала, мелко вздрагивая. Слезы у ней струились между пальцами. Волосы и платье сушило солнце. На затылке и на спине Анисьи отпечаталась узорная тень: солнце цедило свои жаркие лучи сквозь березовые папахи.

«Все могло быть по-другому!..»

И Анисья вдруг поняла до щемящей боли в сердце, что здесь, на этом клочке Вечности, живая она со своим малюткой сыном и с

Мамонтом Петровичем, и еще живые березы, и небо над ними, и сама земля, заросшая густой травой, но нет жизни в тех, кто лежит в могилах. Для них все кончено!

Во вчерашнее возврата нет.

Живое-живым, и хмель задора — тоже для живых. Молодой и выдержанный временем хмель. И что будет постоянное брожение молодого хмеля.

Но есть же какая-то связь между живыми и мертвыми? Есть же нечто, что еще вяжет Анисью даже с мертвой матерью? Есть, есть! И это нечто — очень важно. «Сколько бы я ни прожила, я ее буду всегда помнить, — подумала Анисья. — За все свои ошибки, какие у ней были, она заплатила жизнью. Мама, мама! Если бы я могла повлиять на тебя!»

Резко, как два выстрела, прозвучало над головой: «Ку-ку!..» Анисья поглядела на вершины берез. Там где-то пряталась кукушка. И опять: «Ку-ку!»

Только сейчас Анисья обратила внимание на молоденькую рябину в изголовье могилы. Возле деревца стоял Мамонт Петрович, бережно перебирая пальцами листики рябины. На плече Мамонта Петровича — кудрявая головка ее сына, которому совершенно безразлично, где он сейчас находится. Виски Мамонта Петровича белые, будто солью присыпанные. Лицо изрезали морщины, и только рыжие усики по-прежнему топорщатся, как хребтовый плавник у ерша. Что он так задумался, Мамонт Петрович?

«Папа, папа! Как я была к тебе несправедлива!»

Вот она какая, жуткая правда жизни!..

Человек, которого ни твоя мать, ни ты не жаловали любовью и вниманием, не уважали и презирали даже за его неловкость, угловатость, а он один сохранил в своем сердце и любовь к тебе, и встретил тебя, одинокую, на дороге, и распахнул навстречу руки, и от радости выложил все новости Белой Елани, и, может, ради тебя и твоего сына с утра до поздней ночи мечется верхом на Плутоне по полям колхоза! И вот теперь на его руках твой сын, Демид Мамонтович. И сына ты записала на его имя и фамилию.

— Папа, папа!.. — И Анисья, кусая губы, медленно присела тут же, где стояла, точно ее прижала к земле непомерная тяжесть.

— Анисья! Доченька! — напугался Мамонт Петрович и в три шага оказался возле нее.

На плече деда проснулся Демка и заревел с испугу.

— Мама, мама! На меня! На меня! — кричал сын.

Анисья рыдала навзрыд.

Мамонт Петрович присел возле дочери, утешал ее, как мог:

— Что же теперь поделаешь? Такое произошло несчастье! Слезами не поможешь. Жизнь, она завсегда из двух половинок — из несчастья и счастья. Не плачь, не плачь!..

— Папа, папа! — бормотала Анисья сквозь слезы. — Я... я... Ты, ты один-единственный... настоящий... всегда-всегда!

— Ну вот! Ну вот! — смутился Мамонт Петрович. — Слава богу, вернулась и ладно. Вроде как планета новая открылась.

Демка ревел настойчивее, протягивая ручонки к матери, требуя ее ласки, ее материнского внимания.

Анисья поднялась и взяла на руки сына. Тот сразу отмахнулся от дедушки и, вздув толстые губы, сердито уркнул:

— Дед! Дед! Как дам!..

— Не смей так! — прикрикнула мать. — Это мой папа. Понимаешь? Папа!

Демка насупился. Он еще не мог сразу понять, что значит требование матери.

— Растет рябина-то, — вдруг сообщил Мамонт Петрович. И по тому, как он поглядел на рябину, Анисья догадалась: рябину он сам посадил!

— Папа, это ты... посадил?

Мамонт Петрович отвернулся.

— Я никому не скажу, папа!

В ответ — тяжкий вздох.

— И говорить не надо. Про такое никому ничего не говорят. Вот они, какие дела, Анисья. С живой я с ней никак не мог столкнуться, хоть и жить мне было трудно без нее. Без твоей матери. Вон оно как! Другой раз думаю: много звезд во Вселенной, а каждому нравится какая-то одна звездочка. А та звездочка, если разобраться, может, три тысячи лет назад как потухла. Свет ее летит по Вселенной, а звезды нету. Кто про то знает? Человек, как сама Вселенная, еще не весь разгадан. В каждом имеется большая тайна. И ты сам не знаешь, какая

это тайна? В чем ее сила? Кабы все было известно, я бы сказал, что со мной произойдет завтра и послезавтра, а там и через пять годов. А может, я завтра умру? Известно это мне или нет? — И, как бы между прочим, напомнил: — Ты вот что, Анисья, никому не болтай про наш разговор. Ну, а если тебе доведется хоронить меня, вот тут мое место. — И показал на свободный квадрат земли между двух могил сестер Юсковых. Труп утопшей Дарьи Юсковой еще тогда, в апреле 1918 года, выловлен был в полынье Амыла, далеко от Белой Елани...

VII

Человек, который прожил шестьдесят лет, видит жизнь в трех измерениях.

Далекое, недавнее, настоящее...

Давно ли Мамонт Петрович, мастеровой парень из Тулы, бунтарь, прибыл в Белую Елань на вечное поселение, а вот уже минуло сорок три года!..

И кажется Мамонту Петровичу, что вот эта торная дорога, по которой он идет сейчас с Анисьей, впервые протоптана его ногами и что он шел по ней давным-давно, чуть ли не тысячу лет назад, когда здесь, в глухомани, люди жили в дремучих потемках староверчества и вся Белая Елань отрещивалась от поселенцев, как от нашествия антихриста. И слышится Мамонту Петровичу нутряной рык Прокопия Боровикова: «Изыди, сатано! Изыди!» И толпа, глазастая, дикая, холстяная, распахнув рты, орет на него в сотню глоток, тычет пальцами, крестится, кидая камнями, а он, Головня, видит себя молодым парнем. Одно понять не может: какая сила привязала его к Белой Елани? Почему он не ушел отсюда? Ведь мог же, мог! Тысячу раз мог и — не ушел. Точно кто пришил его гвоздями.

В ту пору про раскольников говорили: «Что ни дом — то Содом, что ни двор — то Гоморра, что ни улица — то блудница». И раскольники отвечали: «Режь наши головы — не трожь наши бороды». И молились усердно, всяк по-своему.

Давно ли?

На памяти Мамонта Петровича шумел тополь Боровиковых, и косматые тополевы на ильин день справляли всенощную службу под деревом. Вопили псалмы на всю пойму, посыпали головы тополевыми

листьями, вязали тополевые венки для невест, потом крестили их в студеной воде Малтата и Амыла. И думалось тогда: неистребимо староверчество. Так и будет жить Белая Елань в вечной тьме, отрешиваясь от всего мира двоеперстием. А теперь тополь засох и торчит вильчатой, уродливой тенью, не привлекая к себе внимания.

И вот за каких-то двадцать лет исчезли раскольничьи толки, и сами старики редко вспоминают, кто и в каком толке состоял.

И Мамонт Петрович постарел — теперь ему не совладать с пудовым молотом; и голова засеребрилась у Мамонта Петровича, а он все еще видит себя молодым парнем и никак не может помириться со старостью.

Была Дуня Юскова. Совсем недавнее и в то же время далекое, как синь-море от Белой Елани.

Ее нет, Дуни! Но вот рядом идет Анисья — настороженная, стройная, с кудряшками красноватых волос, раздуваемых горячим ветром. Мамонт Петрович украдкой поглядывает на Анисью, на ее пунцовую щеку, на прядку волос, заслоняющую ухо, на ее упрямо вскинутый вверх подбородок, на крошечную горбинку носа, и то знакомое чувство умиления, какое он когда-то испытывал от близости Дуни, теплой волной омывает сердце. У него такое ощущение, что к нему из тьмы Далекого, из густых сумерек Вчерашнего, вернулась Дуня. И не та, какую он знал, а та особенная, совершенная, какую он вообразил и уверовал потом, что она существует. Рядом с такой Дуней он, Мамонт Петрович, чувствует себя молодым и торжественно-подтянутым.

А у самой Анисьи — метелица в душе. Метет, метет метелица! То зимней вьюгой запорошит сердце, отчего оно сожмется в комочек, то жарким пламенем ударит в щеки, и тогда сохнут губы и капельки пота выступают на лице. Хоть с берега и в воду, чтоб охолонуться!..

Вот она, рукой достать, Белая Елань!

Что ее ждет здесь, Анисью? Сумерки или росное утро? Лютый мороз или знойное лето с грозой? Счастье или несчастье?

А счастья бы, счастья!..

У Анисьи вся жизнь в одном измерении.

В ее чувствах никак не уживается Далекое. У ней еще нет ступенек, по которым надо спускаться куда-то вниз, во мрак Минувшего. У ней одно измерение — жизнь. Давнишнее и недавнее

— сливаются в единый день без сумерек и ночи. В ее сердце еще не выбродил молодой хмель, не устоялось вино, не набрало крепости. Вчерашнее сливается с сегодняшним. А сегодняшнее — наполовину в завтрашнем. Единая цепь жизни. Для Анисьи сейчас все важно и значительно: и лес, и солнце, и сын Демка, и будущая работа в леспромхозе, и особенно — встреча с Демидом. «Как он? И что он? Такой ли, как тогда?»

Метет, метет метелица!..

И жаркое полуденное солнце, и теплый ветер, и внезапное прояснение в душе Анисьи, и мягкая старость Мамонта Петровича, и фыркающий Плутон, и лес по обочинам дороги, и черные крыши деревни в низине — все это сейчас слилось для Анисьи в одну общую картину ее возвращения в Белую Елань, и она хотела угадать: как будет жить завтра?

Навстречу из-за поворота дороги шел мотоцикл, громко стреляющий на всю окрестность. Мамонт Петрович успел сообщить:

— Гляди, Демид Филимоныч газует со своей Полиной. Показал он себя в леспромхозе. Рвет, как огонь в трубу.

Анисья не слышала, что еще сказал отец. Крепко прижав рукою Демку, она замерла на одном месте. Пламя кинулось в щеки, в уши, и даже во рту стало сухо и горячо. Демид! Отчетливо и резко отпечаталось лицо Демиды со знакомым кожаным кружочком на левом глазу. На фуражке блестели стекла защитных очков.

Мотоцикл шел обочиной дороги, где остановилась Анисья. Отец что-то крикнул, она не слышала. И мотоцикл рывкнул — коротко и зло. Анисья не сдвинулась с места. Демид резко свернул в жидкую грязь, а тут еще Плутон стал поперек дороги. Демид повернул обратно к обочине, но заднее колесо мотоцикла, свистя грязью, скользнуло по дороге так, что Демид и Полюшка за его спиной еле удержались.

— Ну что вы, в самом деле! — заорал Демид, выжав сцепление и опустив ноги в сапогах в лужу. — То конь на дороге, то баба!

Демид оглянулся через плечо и машинально крутнул рукоятку подачи газа. Мотоцикл истошно взревел и заглох. Полюшка тоже оглянулась на женщину с ребенком.

Анисья стояла на том же месте.

Мгновение — и они узнали друг друга.

— Не по такой дороге на мотоцикле шпарить, — бурчал Мамонт Петрович. — Тут грязь по колесо, а ты газуешь!

Вся напряжась, придерживая Демку обеими руками, не чувствуя, как истошно забилось сердце, то бледнея, то краснея пятнами, Анисья смотрела на Демиду широко открытыми глазами, и виноватая жалостливая улыбка, порхая у ее припухлых губ, готова была слететь ему навстречу. Демид развел руками, словно хотел обнять Анисью через пространство, потом споткнулся, выпрямился во весь рост, тая летучую веселинку в губах, и весь подавшись вперед, выдохнул:

— Анисья! Уголек?!

Скорее почувствовала, чем услышала Анисья, вздрогнув всем телом. Перед глазами качалась гибкая веточка черемухи с зелеными пуговками ягод. Ветку раскачивал Демка, ухватившись пухлой ручонкой за ягодную кисточку, тянул ее к себе, пробуя оторвать.

— Наконец-то!

Теперь она видела его лицо. Близко-близко. Смуглое, загорелое, мужественное, чуть горбоносое, с соболиным разлетом черных бровей и с белыми висками. Прядка седых волос прилипла на лбу. Брезентовая куртка нараспашку, и под курткой синяя косоворотка с расстегнутым воротником. На груди, у ямочки, золотистый пушок. Руки его судорожно сжимали Анисью вместе с сыном.

— Как же так?! А я ждал, ждал!

Она что-то хотела сказать, но только прерывисто вздохнула, подавив закипевшие в горле слезы.

Мгновение Демид глядел на сына Анисьи. Это, конечно, ее ребенок. Он почему-то никак не мог представить Анисью-Уголек с ребенком на руках.

Один миг, одна секунда, но какая же она трудная, неотвратимая, как рок, и неизбежная, как налет волны на берег. Волну ничем не остановишь, если она движется к берегу.

Полюшка прыгнула с заднего сиденья мотоцикла и, одернув черную юбочку, быстро отошла на другую сторону дороги. Глаза Полюшки, как васильки, опрысканные росой, готовы были испепелить «Головешину дочь». Так вот с кем встретился отец на дороге. И она, эта самая Анисья, нарочно не сошла с проезжей дороги, чтобы

остановить мотоцикл. «Противная, гадкая, гадкая!» А голос отца, неузнаваемый, мягкий, сердечный, спрашивает:

— Сын или дочь?

— Сын.

И отец Полюшки протянул руки к ЕЕ сыну! Ее отец, которого любит Полюшка. Лучше Полюшке убежать, чтобы не видеть этой сцены. Но как можно убежать от отца? Одного-единственного...

«Если я убегу, папа останется с ней, с этой Голоवेशихой. И тогда...» — Страшно подумать, что может случиться тогда.

— Ну, как тебя звать?

У Полюшки кровь кинулась в щеки и без того румяные от солнца. Отец взял на руки ее сына!..

— Как же тебя звать, а?

И вдруг так неожиданно раздался голос Мамонта Петровича:

— Твой тезка. Демид Мамонтович Головня. Мой полный единомышленник и соратник в будущем.

— Тезка?! Демид, значит?! — И голос отца стал особенным — нежным, радостным. Полюшка видела, как подтверждающе кивнула головой эта самая Анистья. — Вот это здорово! — ликовал отец Полюшки. — Теперь нас двое в Белой Елани. Сила! А? Какой богатырь! Сила, а? — И Демид поднял на руках своего тезку чуть не до вершины куста черемухи.

Это был момент, когда решалась судьба не только маленького Демиды и его матери, но и Полюшки, и Мамонта Петровича, который особенно настороженно поглядывал на Демиды, прислушиваясь не столь к его словам, сколь к их интонации.

«Хитрая, хитрая Голоवेशиха! — кипела Полюшка. — И сына своего назвала Демидом, и сама заявила, нахально остановив мотоцикл среди дороги. Но это же не сын ее отца! Нет, нет! Ничего подобного. Этого не может быть! Не хватало еще, чтобы у нее появилась мачеха?! И какая?! Та самая дочь Голоवेशихи!..» Мрак, черная ночь спустились на Полюшку!

Но почему голос отца такой нежный, взволнованный, радостный? Полюшка никогда не слышала такой голос у отца. Разве только один раз, когда он впервые сказал ей: «Полюшка... Доченька!..»

В суженных глазах Полюшки — искры и пламя.

Рослая, тоненькая, стоит она в тени придорожной осины, и каждый нерв, каждый мускул ее юного тела до того напряжены, что тронь Полюшку пальцем — и она зазвенит, как струна.

Ее кудряшки пышных волос оранжевым дымом выются из-под цветастой крепдешиновой косынки, как бы оттеняя чернь упруго выписанных бровей и синеву Демидовых глаз, а легкий, как воздух, воротничок шелковой блузки, выглядывающий из-под кофточки, как венком, украшает высокую смугло-розовую шею. На румянном лице Полюшки еще не прочикнулась ни одна морщинка горечи. Ей невдомек, что у отца могут быть какие-то сложные чувства к дочери Голоवेशихи и что он, отец, имеет право на личное счастье. Полюшке важно, чтобы ее отец — был только ее отцом и ничьим мужем (если уж они навсегда разошлись с мамой Полюшки).

«Мы всегда были вместе, и нам все завидовали». Вся Белая Елань, весь леспромхоз, решительно все знают, как дружно живут Полюшка и Демид. И вдруг все рухнет!..

Полюшка еще сумеет постоять за себя и за отца!

И опять отец спрашивает:

— Значит, Демид? — И тихо-тихо, так что Полюшка еле расслышала: — Спасибо, Уголек!

На глазах у Полюшки закипели слезы. И она хотела крикнуть «Папа, поедem!», но вдруг увидела... Что это? Неужели отец плачет? Или смеется?..

Единственный глаз Демида смотрел на Полюшку с таким страданием и болью, как будто он упал с неба на грешную землю. Демид хотел что-то сказать Полюшке, но слова застряли где-то глубоко в горле и никак не слетали с искривившихся губ. Живчик передернул Демидову щеку.

— Полюшка! — выдохнул он, наконец. — Что же ты там стоишь, доченька!.. Подойди сюда.

Полюшка сделала три шага и уперлась, как бодливая коза, отвернувшись в сторону.

— Это же твой брат, доченька!.. Брат! Подержи его. На, возьми скорее!.. — И Демид посадил ей на руки маленького Демку.

Демка сразу же обнял ее тоненькую шею, уцепившись ручонкой за порхающий воротничок. Он не любил мужского общества.

«Брат! Вот еще!» — Полюшка готова была бросить в грязь этого ненужного, ненавистного ей брата. Но Демка ухватил ее за растрепанную прядку волос и, доверчиво улыбнувшись, сказал:

— Пуль, Пуль!..

— Полюшка, Демочка! Ее звать Полюшка, — проговорила Анисья.

— Поль-ка, — отдельно и четко сказал Демка.

Все засмеялись весело и радостно.

— Ты, должна его любить, Полюшка, — возбужденно бормотал отец.

Лицо Полюшки покраснелось от смятения. Даже шея покрылась пятнами. «Нужен мне брат! — кипела Полюшка. — Чтоб он меня потом бил и таскал за косы, как Андрюшка!..»

— Видишь, какой он маленький, — ласково и нежно говорил отец.

И правда, этот брат был совсем маленький, легонький, как перышко, ножки тоненькие и желтые, как соломинки. А глаза действительно синие-синие с золотыми ресницами, как у Полюшки, не вавиловские едучие, черные смородины...

«Папины глаза!» — с грустью и болью подумала Полюшка, как будто проиграв сражение.

— Ну, что ж мы стоим! — спохватился Демид. — Давайте обратно! Полюшка, мы сегодня не поедem. Завтра успеem... Подождут сплавщики по такому случаю... — возбужденно и весело кинул он, заводя мотоцикл.

Громко затрещал мотоцикл. Демид вывел его на дорогу.

— Как поедem? Ты, Аниса, усидишь с Демкой сзади?..

— Нет, нет, Демид! Мы дойдем пешком. Поезжайте с Полюшкой. Демка еще испугается...

Но что случилось с Демкой? Он не хотел идти с рук Полюшки. Как дед ни старался забрать его к себе на руки, он орал и, уцепившись за шею Полюшки, лопотал свое:

— Как дам! Как дам!..

— Тогда бери его сама, Аниса, А вещи я увезу и мигом обернусь. Скажу там Марии, чтоб приготовила все к встрече.

Но Демка и от матери отвернулся. Тогда Полюшка сказала, будто спустила груз на тормозах:

— Папа, мы пойдем. Тут недалеко осталось... — И быстро пошла вперед по дороге с Демкой на руках.

Летучая веселинка покривила лицо Демида и он, переглянувшись с Анисьей, дал газ.

Мотоцикл умчался, тарахтя и стреляя голубыми выхлопами.

Так и шли они серединой дороги, обходя дождевые лужи: высокий старик с послушным Плутонем, молодая женщина с такими горячими и ищущими глазами и впереди их на десять шагов — тоненькая девочка с ребенком на руках.

Светлые волосенки Демки, как одуванчик, трепыхались вокруг головы, путаясь с червонным золотом Полюшкиных волос.

— Какая она большая стала — Полюшка! — раздумчиво сказала Анисья.

— Что ты! Не девка, а уксус. Натуральная эссенция без всякого разбавления. Летает с Демидом по всей тайге, по всем рекам, удержу нет. В геологический техникум метит поступать нонче. И Демид хотел с нею в город перебираться на жительство.

— Да? — с какой болью вырвалось у Анисьи это коротенькое «да?»

— Это же такая иголка! Ну, прямо, сера горячая! Демид для нее готов и в огонь и в воду... Она же и фамилию его приняла, и от матери отторглась!

«Так вот в чем дело!» — ворохнулось что-то неприятное в сердце Анисьи и тут же сгасло.

— Мама, мама! — замахал Демид руками, когда они стали подходить к деревне.

Анисья ускорила шаги.

— Это, Дема, деревня. Белая Елань. Моя деревня, где я родилась.

Для маленького Демки начиналась новая жизнь, познание большого суетного мира.

Навстречу шла Устинья Степановна, полная, степенная, в красном платке, румянящем ее широкое плоское лицо с белесыми едва заметными отметинами бровей.

Посторонилась на тропке возле амбара, заглянула на ребенка.

— Матушки-светы! Никак Анисья?

— Соответственно, Устинья Степановна.

— С приездом, Анисьюшка. Какая ты, красавица-то, господи! И худенькая стала. Сыночек или доченька?

Мамонт Петрович опередил Анисью:

— Мой соратник в будущем, Мамонтович по отчеству, Головня по фамилии. Э?

Устинья Степановна всплеснула ладошками:

— Вот счастье-то!

— Счастье, Устинья Степановна, как воздух: напахнет — дыхнешь, не успеешь отведать и — нету.

И Мамонт Петрович вздыбил плечи, выпятил грудь, как генерал на торжественном смотре. И даже чалый Плутон за его спиною, и тот ободряюще фыркнул, дернув ременный чембур.

VIII

...Поймою Малтата шла Агния. Медленно, безразлично передвигала она уставшие ноги. Ей некуда было спешить. Просто ноги по старой памяти привели ее в знакомые места. Машинально брели они по вытоптанной тропе, хотя отлично знали, что все дороги уже пройдены...

Вот и развесистая черемуха, под которой не раз Агния целовалась с Демидом... Какая она нарядная, ядреная, рясная! черные гроздья завязей еще твердые, вяжущие. Раскуси такую ягоду, и оскоминой сведет зубы. Нет, не скоро они созреют! У старой черемухи еще все впереди. Оттого-то она так пышно и раскинулась... Быть бы и Агнии еще черемухой. Каждую весну осыпать цветущим снегом свои поломанные сучья... Но не цвести Агнии... не наливать соком ядреных завязей, про то твердо знает сама Агния...

Тишина. Сонность. Полуденная дрема. Только без усталости снуют труженицы-пчелы, будто золотые челноки ткут невидимый узор над смородяжником и дикотравьем в кустах чернолесья, да где-то в стороне гулко стучат топором по дереву.

— Бух! Бух! — размеренно и четко отдается в ушах Агнии.

А вот и дом Боровиковых. Шатровая почерневшая крыша. Угliestочерная вильчатая верхушка мертвого тополя. Частоколовый палисадник плетеной корзиной выпирает в улицу. В палисаднике

новые голубые ульи. Ворота настезь. И у ворот — желтые смолистые плахи. Боровиковы строятся... Жизнь идет своим чередом.

Но что это? Никак Демид рубит тополь?

Точно.

Рубит!

Вот он, в синих брюках, по пояс голый, загорелый, размахивает сверкающим на солнце топором и с силой вонзает его в податливый полусгнивший ствол дерева.

— Бух! Бух! — постанывает, скрипит мертвое дерево. А Агнии кажется, это не дерево скрипит. А это ее сердце натруженно и гулко ударяется под ребра. — Бух! Бух! — обливается смертельной усталостью сердце Агнии. Оно сжимается от боли с каждым ударом. — Бух! Бух! — размеренно и четко кромсает острый топор одинокое, уставшее сердце Агнии. — Бух! Бух! — гулко и тяжело колотится покинутое сердце... И щепы, желтые, кудрявые щепы летят, летят, летят. И слезы ползут по впалым, загорелым щекам Агнии...

Мариины ребятишки, оседлав раздвоенную вершину, опиливают вильчатые рога старого тополя.

Здесь же и Мамонт Петрович, и Полюшка... Ее Полюшка. И даже маленький Демка егозится возле ног Демида: собирает щепы и таскает их во двор к печке-временке, где Мария и Анисья готовят обед.

Демка припадает на одну ножку и с трудом волочит другую — ему только что сделали переливание крови. Наклоняясь за щепами, Демка, как гусак, вытягивает назад одну ногу, а то и совсем садится на землю, и тогда уже, набрав беремья, корячится, чтобы подняться...

Эта работа — таскать желтые щепы старого тополя — дается Демке с трудом! Вообще, счастье жить досталось ему с трудом. Знает Агния, не таскать бы Демке желтые щепы старого тополя, кабы не ее Полюшка!..

Перенесенная дорога, недостаток питания, перемена воды и пищи — изнурили мальчонку болезнями. Две недели метался он в жару, бредил, исходил рвотой и поносом. Полюшка рассказывала, как он на стенке ловил какие-то одному ему ведомые пряники...

Полюшка! Как же она переменилась за эти две недели, ее Ласточка! И в кого она такая щедрая, ласковая?.. Куда девалась ее ненависть к Анисье? Враз забылись все распри отца и матери. Все ушло от нее куда-то в сторону. И она день и ночь металась около

Демки, как собака, охраняя плотную, тугую дверь между жизнью и пустотой, куда ненароком мог нырнуть маленький Демка...

— Может, в этом и есть смысл жизни?

— Дети иногда бывают мудрее своих родителей...

Печет, печет полуденное солнце, сушит соленые слезы на потрескавшихся губах Агнии.

— Бух! Бух! — стонет дерево, гулко отдаваясь эхом окрестности.

Значит, в жизни бывает так. Нашла грозовая туча, громыхнула, вылилась дождем, и вот снова проглянуло солнце, разведрилось, опять установилась хорошая погода. Изю дня в день до того печет солнышко, такое щедрое и ласковое, что земля трескается и вянут травы. Люди млеют в духоте и зное, глядя на небо: когда же оно, наконец, лопнет и прольет дождь? Так вышло и в жизни Анисьи. Встретила ее Белая Елань грозюю, дождем, ненавистью юной Полюшки, сумятицей бабьих сплетен, а теперь какая она счастливая...

Но не так вышло в жизни Агнии. Оттого-то и колелось натруженное сердце Агнии: «Бух! Бух!»

Когда Демке стало немного полегче. Полюшка носилась с ним по деревне, уверяя всех, что у него «вылитые папины глаза!»

— Ну вот нисколечко-нисколечко на Анисью не похож! Вы только поглядите!.. А какой умный-умный, ужас прямо! Демочка, сосчитай до пяти.

— Пять, шесть, — говорил Демка.

— Ах ты, мой цыпленочек! — восторгалась Полюшка. Она поила его настоем целебных трав, уговорила Шумейку поехать с нею и Демкой в районную больницу к доктору. И на свой риск и страх они с Шумейкой взялись за переливание Полюшкиной крови Демке. Каждый раз, после очередной порции, впрыснутой в ягодицу Демке, он становился воинственным и драчливым.

— Так ее! Так ее, Демид Мамонтович! — поддакивал Мамонт Петрович, когда уросивший Демка таскал Полюшку за волосы. — Ишь ты, как в тебе Полянкина кровинка-то бушует! Ничего! Значит, оклемаешься. Перезимуешь!

Мариины ребятишки тоже жалели Демку и старались наперебой ему угодить. Любопытный Гришка все приставал:

— Дем! А, Дем! Ну покажи, что у тебя там болит?..

— Нет! Ззя! — решительно ограждался Демка, загоразивая больное место руками. И, сделав страшные глаза, убежденно врал: — Там бабака. Она кусается. Уф!..

Вздыхнув, с шелестом и хрустом ломая иссохшие сучья, поникла сначала одна, потом другая вершина тополя. Ребятишки спрыгнули с дерева и стали помогать Демиду наклонять его в сторону дороги.

— Бух! Бух! Бух! — еще яростнее и оживленнее заработал топор.

— Бее-е-реги-ись! — раздался голос Демиды.

— В сторону! Все в сторону!..

— От окон его вали! От окон! — суетился Мамонт Петрович.

Ствол дерева качнулся, дрогнул, затрещал, будто внутри его переломился хребет, и оно со стоном повалилось на землю.

Ноги у Агнии одеревенели, но она все стояла, таясь за кустами в зарослях поймы, как будто невидимая цепь приковала ее к тополю.

Черный, черный тополь! Отлопотал ты свои песни-сказки. Больше никто уже не будет вязать венки из твоих гибких веток. Не будешь ты заметать дорогу пуховой метелицей, не укроешь бредущих куда-то в поисках счастья людей. Не спрячешь от непогоды в своей листве мохнатых, жирных шмелей, и золотистые пчелы не унесут на лапках твою душистую смолку!.. Твоя тень померкла, улетучилась. И только маленькая, ершистая поросль напоминает людям, что ты еще весь не умер, что корни твои живут и взбуривают землю неумемной жаждой жизни — обновления.

И кто знает, не вырастет ли со временем из этой маленькой поросли снова могучее дерево?

